

Полное собрание  
сочинений

Гашек

Весь

Ярослав  
Гашек

в одном томе

Diximir



Ярослав Гашек

## Весь Гашек Ярослав в одном томе

Однотомник создан на базе шеститомного собрания сочинений (1983 г.) fb2. Все тексты сохранены без изменений. Картинки переведены в прозрачный формат (255 картинок. К, ставшим классическими, иллюстрациям Йозефа Лады добавлено несколько иллюстраций художника Петра Ткаченко). Подробные сведения о переводчиках перенесены в главу "О переводчиках". Все фото-материалы также собраны в одну главу - "Фотографии".

Сборка: Diximir (YouTube) 2017 год.

# Содержание

Рассказы 1901–1908 гг.	0013
Сельская идиллия	0013
Смерть горца	0015
Wódka lasów, wódka jagodowa (Очерк из Галиции)	0016
Идиллия кукурузного поля (Миниатюра из жизни на венгерских равнинах)	0021
Разбойник за Магурой	0023
Рыбак Гулай	0026
Заторская канония (Очерк о Галиции)	0030
Похождения Дьюлы Какони (Юмореска)	0033
Как дедушка Перунко вешался (Очерк из Подгалья)	0037
Воспоминание о болоте	0040
Крестины	0042
Три очерка о венгерской пусте	0045
Ружье (Очерк из Подгалья)	0047
Гей, Марка!	0049
Старая дорога	0051
Благодарность	0053
Невезение пана Бенды	0055
Родные места	0058
Нет больше романтики в Гемере (Венгерский очерк)	0060
Клинопись	0062
Наш дом (Рассказ Лойзика)	0064
Восточная сказка	0066
Предвыборное выступление цыгана Шаваню	0068
На сборе хмеля	0070
Ослик Гут (Зарисовано в Бернских Альпах)	0073
Пример из жизни (Американская юмореска)	0076
Ромашковая настойка	0078
Милосердные самаритяне	0081
Как черти ограбили монастырь святого Томаша	0083
Галицийский пейзаж с волками	0089
Среди бродяг	0094
Поминальная свеча	0096
Вознаграждение	0099
Рекламная сцена (Американская юмореска)	0102
Возвращение (Словацкая зарисовка)	0105
Новые течения	0108
Цыганская история	0112
Над озером Балатон (Венгерский очерк)	0121
В стогу Из цикла «Оборванцы»	0124
Над озером Нейзидлер-зе	0126
Ткач Бартак	0130
Из рассказа судейского чиновника	0132
Похищение людей (Из рассказа одного очень старого холостяка накануне его свадьбы)	0135
Фасоль	0140
Музыкальный талант	0143
Ищу поручителя	0146
Вшивая история	0149
Господин Глоац — борец за права народа	0152
Батистовый платочек	0155

Новый год .....	0157
О парламентах .....	0160
Право .....	0163
О балах .....	0164
Магурская зимняя быль .....	0166
Об одном цензоре .....	0168
История старосты Томашека .....	0172
Грабитель-убийца перед судом .....	0175
Лекция профессора Гарро «О развитии человеческого разума», которую он читает в 2207 году .....	0178
Приключение Гая Антония Троссула .....	0181
О поэтах .....	0184
Поэзия социальная .....	0190
Лечение ревматизма укусами пчел .....	0193
Первомайский праздник маленького Франтишека .....	0198
История о выборах .....	0201
Бетярская повесть .....	0204
Трубка патера Иордана .....	0210
Кузнец Чекай (Заметки из Галиции) .....	0214
Восхождение на Мозерншпице (Туристская юмореска) .....	0217
Искатели неизвестного (Почти спиритическая история) .....	0221
Художник-философ (Из жизни пражской богемы) .....	0225
Про пана Петранека (Из воспоминаний неудачливого литератора) .....	0229
Рождество в «Народной политике» .....	0232
Рассказы о Ражицкой башне .....	0234
Бунт арестанта Шейбы .....	0254
Такова жизнь (Американская юмореска) .....	0262
Школьные хрестоматии .....	0266
Печальная судьба пана Блажея (Трагедия избирателя) .....	0269
«Умер Мачек, умер...» (Очерк из Галиции) .....	0272
Рассказ о клопах .....	0276
«Der verfluchte Ruthene» .....	0279
Катастрофа в шахте .....	0281
Идиллия в аду .....	0284
Юбилей служанки Анны .....	0285
Полчаса на Каналь Гранде .....	0287
История поросенка Ксавера .....	0290
Изумительное чудо святого Эвергарда .....	0293
Дедушка Янчар .....	0297
Рассказ о безнравственном ежике .....	0299
Мой дядюшка Габриель (Из галереи родственников) .....	0301
Осиротевшее дитя и его таинственная мать (Трогательная история из периодической печати) .....	0305
Тайна исповеди .....	0310
Удивительные приключения графа Кулдыбулдыдеса .....	0314
В деревне у реки Рабы... (Очерк из Галиции) .....	0317
Боснийская ослиная история .....	0323
Как Юрайда сделался атеистом .....	0328
Тюремная кухня .....	0331
Рассказы 1909–1912 гг. ....	0335
О святом Гильдульфе .....	0335
Нравоучительный рассказ .....	0338
Клятва Михи Гамо (Из рассказов о Междумурье) .....	0341
Об одной ужасной собаке .....	0353

Антигосударственный заговор в Хорватии (Пособие по массовому производству государственных изменников) .....	0358
Юный император и кошка .....	0361
В старой лавке москательных и аптекарских товаров .....	0364
Первое мая советника Мацковика .....	0383
Животные и чудеса (Посвящается господам редакторам журнала «Чех») .....	0385
Ослик Гуат .....	0387
По долгу службы История, поучительная для всех налогоплательщиков .....	0390
Случай у райских ворот .....	0393
Как мой друг Ключка рисовал святую Аполену .....	0395
Д-р Карел Крамарж .....	0399
Сеанс спиритизма .....	0401
Фуражка пехотинца Трунца .....	0403
Съезд младочешской рабочей партии .....	0407
Д-р юриспруденции Йозеф Мысливец .....	0410
Министры д-р Жачек и д-р Браф .....	0412
Удивительное происшествие с Франтишеком Махулкой, практикантом магистрата .....	0415
Король Румынии отправляется на медведей .....	0421
Приключения школьного инспектора Калоуса .....	0423
По следам убийцы .....	0427
Амстердамский торговец человечинной .....	0430
Сочельник в приюте .....	0432
Акционерная фабрика по производству яиц .....	0435
Спасен .....	0437
Пепичек Новый рассказывает про обручение своей сестры .....	0439
Неприличные календари .....	0442
Его превосходительству кавалеру Билиньскому, министру финансов, Вена .....	0444
Камень жизни .....	0446
Семейная драма Из дневника маленького Франтишека .....	0449
Судебный процесс по делу Хама, сына Ноя (Отчет из зала суда, написанный доисторическим репортером) .....	0459
Дачицкая история .....	0462
Первое апреля пана Фабианека .....	0478
В Гавличковых садах .....	0480
Монастырь в Бецкове .....	0487
На разведку .....	0489
Фонд пана Каубле на благотворительные цели .....	0490
Бунт братьев Безкочек в 1901 году .....	0493
На родине .....	0499
Солитер княгини .....	0502
«Пражске уржедни новины» .....	0505
Как у нас варили картофельный суп для бедных детей .....	0507
Забастовка преступников .....	0509
Финансовый кризис .....	0513
Проблема любви .....	0515
Трагическое фиаско певицы Карневаль .....	0517
Падение кабинета Бинерта .....	0520
Смерть старого Фенека Венгерская зарисовка .....	0521
Дело государственной важности .....	0524
Заседание верхней палаты .....	0527
Доисторическая обезьяна .....	0529
Мятеж в австрийском флоте .....	0531
Пятидесятилетний юбилей газеты «Народни листы» .....	0534

Несчастный гондольер Витторе.....	0537
Смерть сатаны.....	0541
Происшествие в аду.....	0543
Кирилло-мефодиевское братство в Морушове.....	0546
Триумфальный въезд бухарского эмира Восточное предание.....	0548
Дредноуты.....	0550
Как пан Мазуха мстил за поруганную супружескую честь.....	0551
Наследство Шафранека.....	0552
Анонимное письмо.....	0555
Сердечное поздравление с именинами.....	0556
Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика пошлины на пражском мосту.....	0559
Торжество справедливости.....	0561
Исповедь государственного изменника, или Тайна Петршинского бастиона.....	0564
Добросовестный цензор Свобода.....	0566
Чаган-куреньский рассказ.....	0568
Несчастный случай с котом.....	0571
Непоколебимый католик дедушка Шафлер в день выборов.....	0573
Христианско-социалистическая партия в общих чертах.....	0575
Сказка свечной бабы Альбрехтовой о том, почему в Пелгржимове прокатили на выборах его преподобие священника пана Милоша Зарубу.....	0577
Бравый солдат Швейк Увлечательные приключения честного служаки.....	0579
«Счастливым домашний очаг».....	0592
Немецкие астрономы.....	0619
Когда сносили старые стены.....	0622
Способ господина полицмейстера.....	0626
Роман пана Хохолки, сборщика пошлины.....	0629
Сватовство в нашей семье Из записок примерного мальчика.....	0632
Интервью со связанным офицером.....	0635
Как уездный начальник пан Скршиванек боролся с дороговизной.....	0637
Печальная участь вокзальной миссии.....	0639
Заметки пани Едличковой о моде.....	0642
Мой золотой дедушка.....	0645
Сказка о трагической судьбе одного порядочного министра.....	0647
Наказание с тетей Из рассказов маленького Карличка.....	0649
Преступная авантюра пана Тевлина.....	0652
Сыщик Гупфельд.....	0654
Как я выбыл из национально-социальной партии.....	0657
Хозяйственные реформы барона Клейнгампла.....	0660
Солнечное затмение.....	0662
Заседание сельского правления в Мейдловарах Выборы стражника.....	0664
Сословное различие.....	0667
Краткое содержание уголовного романа.....	0669
Пособие неимущим литераторам.....	0671
Конец святого Юро.....	0674
«Любовь, любовь, ты всемогуща...».....	0677
Сыщик Паточка.....	0680
Судебный исполнитель Янчар.....	0681
Исповедь старого холостяка.....	0684
Куда поехать на дачу.....	0697
Отцовские радости пана Мотейзлика.....	0699
Продолжение отцовских радостей пана Мотейзлика.....	0702
Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки.....	0705
Святотатец в Хотеборжи.....	0706
Сербский поп Богумиров и коза муллы Исрима.....	0708

Пятнадцатый номер	0710
Деяния современного дипломата	0712
Роман о ньюфаундленде Оглу	0714
Рассказы 1913-1917 гг.	0720
Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге	0720
Экспедиция вора Шейбы	0726
Борьба за души	0730
Новый год храброго зайца с черным пятном на брюшке	0737
Закрытое заседание	0740
Как я спас жизнь одному человеку	0742
Барон и его пес	0744
О запутавшейся лягушке	0746
Как Балушка научился врать	0749
О курочке-идеалистке	0752
Доброе намерение отца бедняков	0754
Благотворительное заведение	0756
Хулиганство библиотекаря Чабоуна	0759
В венгерском парламенте	0761
Кобыла Джама	0762
Надьканижа и Кёрменд	0764
Когда цветут черешни	0767
После коронации Королевская трагедия в Албании	0770
Из записок австрийского офицера	0771
Бунт третьеклассников	0773
Как становятся премьер-министрами в Италии	0777
Перед экзаменом	0778
Среди друзей	0781
Индейский рассказ	0783
Как гром служил господу богу	0785
Сыскная контора	0788
Несчастный случай в Татрах	0790
Проект закона Идиллия министерства юстиции	0793
Протест против конфискации	0795
Детективное бюро	0797
Полицейский комиссар Вагнер	0799
Бык села Яблечно	0802
Об искренней дружбе	0807
Идиллия в богадельне	0811
Мой друг Ганушка	0814
Как бережливые спасли отчаявшегося	0817
Предательство Балушки	0819
Как Цетличка был избирателем	0823
Мытарства автора с типографией	0825
Любовное приключение	0828
Как Тёвел вернул пятак Секейская повесть	0830
Репортаж с ипподрома	0834
Любовь в Муракезё	0837
Короткий роман господина Перглера, воспитателя	0843
Супружеская измена	0846
О двух мухах, переживших это	0848
Одежда для бедных деток школьного возраста	0850
Перед уходом на пенсию	0853
Приключения кота Маркуса	0856
Кочицкая божедомная братия	0859

В исправительном доме Постный день .....	0861
История с биноклем .....	0863
Букетик незабудок на могилу национально-социальной партии .....	0867
Урок закона божьего .....	0871
Как я торговал собаками .....	0873
Роман Боженки Графнетровой .....	0880
Весенние настроения .....	0883
Визит в город Нейбург .....	0886
Дело о взятке практиканта Бахуры .....	0889
Страстное желание .....	0892
Маленький чародей .....	0895
Великий день Фолиманки .....	0900
Небольшая история из жизни Река .....	0904
Сказка о мертвом избирателе .....	0906
Сатисфакция .....	0909
Страдания воспитателя .....	0913
Штявницкая идиллия .....	0916
Писарь в Святой Торне .....	0922
Опасный работник .....	0929
Колокола пана Гейгулы .....	0935
О прекрасной даме и медведе из Зачалянской долины .....	0939
Жертва уличной лотереи .....	0943
Сыскная контора пана Звичины .....	0946
Моя дорогая подружка Юльча .....	0949
Ярмарка на Филипа и Якуба .....	0961
История с хомяком .....	0963
Судьба пана Гурта .....	0970
Повесть о портрете императора Франца-Иосифа I .....	0972
Итог похода капитана Альзербаха .....	0976
По стопам полиции .....	0978
Бравый солдат Швейк в плену .....	0984
У кого какой объем шеи .....	1031
Школа для сыщиков .....	1034
Двадцать лет тому назад .....	1038
Разговор с горжицким окружным начальником .....	1042
Идиллия в Мариновке .....	1044
Рассказы 1918–1923 гг. ....	1048
На Златой улочке в Градчанах .....	1048
Градчаны и Смотровая башня продолжают разговор .....	1050
Из дневника уфимского буржуа .....	1052
Трагедия одного попа .....	1054
Два выстрела .....	1055
Жизнь по катехизису .....	1056
Vae victis .....	1056
Преосвященный владыка Андрей .....	1057
Армия адмирала Колчака .....	1058
Из белогвардейских настроений .....	1059
Что такое отделение церкви от государства .....	1060
Уфимский Иван Иванович .....	1061
Вооруженные силы пролетариата .....	1062
Международное значение побед Красной Армии .....	1063
Творчество эсеров .....	1064
Замороженные чиновники в советских учреждениях .....	1065
Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине .....	1066

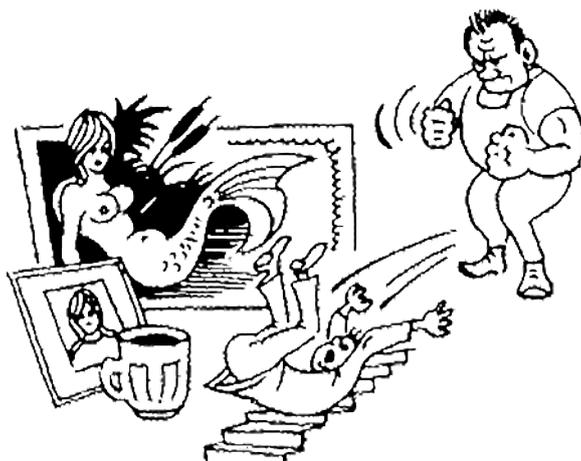
Из дневника уфимского буржуа .....	1068
Обзор военных действий .....	1069
Рабочие полки .....	1070
Перебежчики .....	1071
Сибирская скоропадчина .....	1072
Дневник попа Малюты .....	1073
В мастерской контрреволюции .....	1074
Англо-французы в Сибири .....	1075
Вопль из Японии .....	1077
Жертва немецкой контрреволюции в Сибири .....	1078
Чешский вопрос .....	1080
К празднику .....	1081
Белые о 5-й армии .....	1082
Чем болен аппарат экспедиции .....	1083
Что станет с Чехословацкой буржуазной республикой? .....	1085
История заслуг пана Янко Крижа .....	1087
Археологические изыскания Бабама .....	1091
Законное вознаграждение .....	1095
Письмо Ярослава Гашека к Яр. Салату-Петрлику .....	1099
Душенька Ярослава Гашека рассказывает: «Как я умерла» .....	1101
Юбилейное воспоминание .....	1104
Комендант города Бугульмы .....	1106
Адъютант коменданта города Бугульмы .....	1110
Крестный ход .....	1113
Стратегические затруднения .....	1116
Славные дни Бугульмы .....	1119
Новая опасность .....	1122
Потемкинские деревни .....	1125
Затруднения с пленными .....	1128
Перед Революционным трибуналом Восточного фронта .....	1131
Чжен-Си, Высшая правда .....	1134
Маленькое недоразумение .....	1141
И отряхнул прах от ног своих... ..	1143
Как я встретился с автором некролога обо мне .....	1157
Возлюбим врагов наших (Из подготовленной книги «Как писать полемические статьи») .....	1160
Поединок с Армией спасения .....	1162
Моя исповедь .....	1165
Как я редактировал журнал «Обозрение для чешских женщин и девушек» .....	1167
Отдел писем в «Народии политике» (Письма) .....	1170
Отдел объявлений в «Народии политике» (Брачные предложения) .....	1172
Протокол II съезда Партии умеренного прогресса в рамках закона .....	1174
Советы для жизни .....	1177
Буржуй Рамзелик .....	1180
Истребление практикантов экспедиторской фирмы «Кобкан» .....	1182
Трое мужчин и акула .....	1187
Проблемы литературного творчества .....	1191
Какие я писал бы передовицы, Если бы был редактором правительственного органа .....	1194
Цепная торговля сахарином .....	1200
Идиллия винного погребка .....	1204
О подходящих названиях .....	1207
Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче .....	1213

Вопросы и ответы	1216
Солидное предприятие	1220
Что я посоветовал бы коммунистам, если бы был главным редактором правительственного органа — газеты «Чехословацкая республика»	1224
Похождения общительного человека	1227
История Господа бога	1230
Брачная жизнь мужчины и женщины	1232
Марафонский бег	1236
Гид для иностранцев	1241
Товарищеский матч между «Тиллингеном» и «Гохштадтом»	1245
Донесение агента государственного розыска Яндака (Кличка «Тршебизский»)	1251
Вознаграждение за честность	1253
Роковое заседание конференции по разоружению	1256
Похождения чрезвычайного посла	1259
Взаимоотношения родителей и детей	1263
Разговор с цензором	1267
Перемена фамилии	1269
Хрестоматия приятных манер	1271
Речь в защиту доброго приятеля	1276
Печальная участь изобретателя	1280
Конец фирмы «Гаррах и Гавелка»	1282
Генуэзская конференция и «Народни листы»	1286
Опыт безалкогольной вечеринки, или Американское увеселение	1288
Мститель	1293
Памяти Ольги Фастровой	1296
Путеводитель по Ничему	1298
Муниципальные выборы	1300
Съезд земляков	1308
Поможем деткам познать природу	1312
В альбом гражданину Махару	1317
О миссионерах	1319
Как я получал деньги, посланные по телеграфу	1321
Рассказ о черной трости	1328
История с градусником	1335
Случай с ветераном Кокошкой	1339
Прославленный греческий ученый Архимед на обследовании в римской психиатрической клинике	1342
Запятая	1348
Книга памфлетов «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона»	1350
Введение	1350
I Из летописи партии умеренного прогресса в рамках закона	1352
II Апостольская деятельность трех членов партии умеренного прогресса	1390
III Разведывательные аферы партии умеренного прогресса в рамках закона	1460
IV Партия идет на выборы	1483
Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны	1497
Часть первая В тылу	1497
Часть вторая На фронте	1649
Часть третья Торжественная порка	1806
Часть четвертая Продолжение торжественной порки	1961
Биография	2019
#1	2019
Семья	2019
Ранние годы	2020

В тылу.....	2021
На фронте.....	2024
В плену.....	2025
Послевоенная жизнь.....	2027
Семейная жизнь.....	2029
Политические взгляды.....	2030
Творчество.....	2032
Роман о храбром солдате Швейке.....	2033
Мировое признание Гашека.....	2034
Фотографии.....	2035
О переводчиках.....	2057
Рассказы 1901-1908 гг.....	2058
Рассказы 1909-1912 гг.....	2060
Рассказы 1913-1917 гг.....	2063
Рассказы 1918-1923 гг.....	2065
Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона.....	2068
Похождения храброго солдата Швейка во время мировой войны.....	2070
О книге.....	2071

**Весь  
Ярослав Гашек  
(в одном томе)**

## Рассказы 1901–1908 гг.



### Сельская идиллия

**Б**ыл прекрасный июльский день. Я весело шагал по живописной долине Сазавы. По одну сторону реки простирались густые леса, по другую тянулись поля шумящих хлебов. Целью моего пути было местечко Ледеч. Солнце сияло вовсю, хотя уже близился вечер.

Я не очень хорошо ориентировался в этой местности, и весьма вовремя мне пришло в голову справиться у подростков, пасущих коров на опушке леса. Я спросил их, как скорее всего добраться до Ледеча. И пошел вперед, не обращая внимания на комья земли, которыми меня, чужака, любовно потчевали эти пастухи.

Пройдя лесом примерно полчаса, я увидел башню костела в деревне С. Я прибавил шагу и вскоре очутился на деревенской площади. Мне хотелось есть, и я направил свои стопы в трактир, откуда слышалась громкая музыка.

На пороге сидела девчушка лет пяти и горько плакала.

— Чего ты плачешь? — спросил я ее.

— Дядечка умер, и сегодня его хоронили. Мама сказала, что больше он не вернется, а в воскресенье он всегда давал мне крейцер.

— Ну не плачь, — успокаивал я ее. — Вот тебе два крейцера.

Девчушка утихла, взяла два крейцера и радостно побежала к лавчонке, расположенной неподалеку.

Я вошел в трактир. Там было полно народу и царило оживление.

Громкий смех звучал то у одного, то у другого стола.

Откуда-то из глубины, где устроились музыканты со своими инструментами, доносился настоящий адский грохот.

Через окно виднелся садик, там танцевала молодежь.

У девушек на головах красовались белые венки, и парни были одеты по-праздничному, хотя день был будничным.

Я разглядывал хоровод танцующих, и вдруг мое внимание привлекли пожилая женщина с девушкой лет двадцати. Девушка не переставая плакала, а пожилая женщина лишь время от времени вытирала платком глаза.

Утолив голод и жажду, я завел разговор со стариком, сидевшим за моим столом.

Пожаловался на жару, царившую в тот день.

— Да, жара, — сказал старик, — и дождика не видать так что, слава богу, нам повезло.

— А это что, свадьба? — спрашиваю я старика.

— Свадьба? Да что вы! Нет, поминки справляем. Умер брат здешнего трактирщика, не бедный был. Дом имел и на книжке тысчонку-другую. Да и не женатый, вот все трактирщику и досталось. У нас обычай: если кто умер, так после похорон от наследников всем угощение. Трактирщик хотел устроить поминки поторжественней и пригласил музыкантов, родственникам поднес пиwa, народу набралось много, ну, он еще и подзаработает.

— Поглядите, — продолжал он, — видите, вон там женщины плачут? Старостиха с дочкой. Дочка собиралась замуж за покойного. Но человек предполагает, а бог располагает. Брат трактирщика был уже год как болен и позавчера умер. Когда об этом узнали у старосты, так обе, старостиха и дочка, чуть не рехнулись и с той поры бесперечь плачут.

Еще с полчаса я посидел с разговорчивым старичком, выслушивая рассказы об урожае, о его жизни и, наконец, расплатившись, отправился в путь дальше.

Старостихи с дочкой уже не было видно в садике.

Шагая по дороге, я размышлял о чувствительной картине, увиденной мною в трактире, как вдруг ход моих мыслей был прерван криком, донесшимся из домика, прилепившегося у дороги.

— Ах ты, глупая девка, уж не могла заставить, чтобы он на тебе женился, все равно бы сдох, и мы бы все после него унаследовали! А теперь все захапает этот боров трактирщик.

Вскоре из домика вышли две женщины; они присоединились к группе крестьянок, стоявших перед соседним домом.

Молодая, всхлипывая, говорила:

— Господи боже, такой молоденький, а на тебе — умер!

Пожилая тоже ударилась в слезы.

— Чего уж тут плакать, ничего не поделаешь, это каждого ожидает, голубушка, — успокаивала старостиху одна из женщин.

И вся группа направилась к трактиру, откуда звучала веселая музыка.

## Смерть горца

**М**ихаэл Питала бежал из тюрьмы. Укрываясь в высоких хлебах и в лесах, он постепенно приближался к югу, к горам. Крестьяне кормили его, снабжали одеждой и едой для дальнейшего пути.

Близился вечер. Дорога белой змеей извивалась по склонам гор. На их вершине, на горном перевале стоял крест.

Беглец медленно подымался по пыльной дороге. К длинному запыленному кафтану, какие носят крестьяне в Тарновском крае Галиции, дрожащей морщинистой рукой он прижимал маленький узелок с продуктами.

Он опасливо озирался, а на лице его была написана решимость, едва лишь вдали блеснет штык стражника, броситься по крутому склону в долину.

Наконец он добрался до перевала, где стоял простой деревянный крест с полусгнившей скамеечкой у подножия. Перекрестившись, Михаэл Питала устало опустился на скамеечку. Положил узелок рядом, на траву и огляделся вокруг. Дорога по обе стороны вела вниз. Перед ним открывался вид на лесистую долину.

Какая красота вокруг! Вдали, среди серых вершин, высится могучая Бабья гора, там дальше Лысая гора, а где-то за нею его родные места. Через два-три дня после стольких лет отсутствия он увидит родную деревню, разбросанные по склону на опушке леса хатки, часовенку.

Солнце медленно опускалось к горам и уже не пекло.

Беглец, склонив седую голову на руки, вспоминал свою жизнь. Много лет назад он в поисках работы отправился со своей женой и детьми в Германию. Там они работали, выбивались из сил, терпели нужду. Как-то зимой он остался совсем без работы, и вся семья голодала. Он не мог вынести страданий своих близких, задумал отравить их всех и отравиться самому. Раздобыл яд и осуществил свой замысел. Жена и дети умерли, а он выжил.

После выздоровления его осудили на долгие годы тюремного заключения. Сколько лет, завидев во время работы затянутые дымкой горы, он мечтал снова побывать там! Наконец ему удалось бежать. И вот он здесь...

Михаэл Питала снова огляделся.

Солнце опускалось все ниже. Вершина Бабьей горы расплывалась в вечерних сумерках.

Заходило солнце.

На западе багряный огненный шар медленно опускался за гору. Красное зарево вечерней зари таяло над горами. А вслед за ним поднималась, то разрываясь, то снова смыкаясь, завеса тумана. Какой-то особый полумрак окутал черные леса, и чуть теплый ветерок доносил на дорогу аромат хвои. Внизу тянулся горный склон, усыпанный замшелыми валунами. Шумный ручей мчался, перепрыгивая через камни и вывороченные с корнем стволы деревьев, и терялся в темных зарослях высоких лиственниц и сосен.

Низко опустив заросшее бородой лицо, беглец задремал. Ему снился родной дом. И сам он — не седой старик, а молодой парень. Он только что вернулся из леса. Вот маленькая комнатка в родной хибарке, затянутая дымом, который выбивается из очага. Вот отец, мать, вся семья. Они спрашивают: «Михалек, где ты пропадал так долго?» Потом все садятся на скамьи, ужинают, разговаривают и пьют овечье молоко. Приходят соседи. Рассказывают, как в лесу

медведь задрал его товарища Коничка.

Он подбрасывает в очаг поленья, они трещат и освещают закопченную комнату. Так приятно здесь, в комнате, куда снаружи доносится мычание возвращающегося с пастбищ скота. Звонят к вечерне. Все встают, крестятся, громко молятся, а огонь весело трещит.

Сон беглеца вдруг нарушили чьи-то тяжелые шаги. Он оглянулся и увидел совсем рядом точно выросшего из-под земли жандарма. Его штык угрожающе блестит в последних лучах закатного солнца.

Михаэл Питала схватил свой узелок и, одним прыжком перемахнув через дорогу, бросился вниз по склону горы.

Трижды раздалось: «Стой, стой, стой!» — и тотчас в вечерней тишине среди замолкших лесов прокатилось многократное эхо выстрела.

Падая с простреленной головой, беглец как-то дернулся вперед и вверх, словно в последний момент хотел еще раз посмотреть на заходящее солнце и крутую цепь родных гор.

Солнце закатилось.

Где-то в долине раздается благовест, призывающий к вечерней молитве. Жандарм, стоящий наверху, на дороге у креста, снимает шапку, крестится и читает молитву «Ангел божий...». Дым, поднимающийся к небу из дула его манлихеровки, извивается, как вопросительный знак.

Когда над лесом взошла луна, осветив бледными лучами лежащий на склоне труп беглеца, казалось, что из его посиневших губ словно бы рвался крик: «Родина! Родина!»

## **Wódka lasów, wódka jagodowa[1]** (Очерк из Галиции)

**Н**и один священник не запечатлелся так в благодарной памяти своих прихожан, как пан фарарж из Домбровиц.

Долго еще будут вспоминать во всем Тарновском крае этого доброго старикана, и потомки нынешних поселян будут рассказывать своим детям то, что слышали о нем от своих родителей.

Но не зажигающие проповеди, вливающие умиротворение в сердца добродушных крестьян, не набожность снискали ему бессмертную славу в Домбровицах, в округе да и в самом Тарнове, а его зеленое вино, о котором он сам иногда с восторгом говорил, что оно — его кровь, экстракт его мыслей, детище его разума.

И не менее поэтично звучало название его творения — «Лесное вино, вино земляничное». Он утверждал, что дал ему это название, когда несколько лет назад после долгих исследований получил первую бутылку вина, в свежей зеленой влаге которого он ощутил благоухание всех лесов, окружающих Домбровице, благоухание весны и лета, а также запах земляничных цветов и одновременно аромат спелых земляничных ягод.

Никто не знал, как приготавливает пан фарарж этот превосходный напиток. Было известно только одно: что главной составной его частью являются крупные красные ягоды земляники, которые священник собственноручно собирал в лесу.

К своим молитвам он всегда присовокуплял пожелание, чтобы уродилось

много земляники, которую затем он собирал в большую корзину на определенных, только ему одному известных местах.

В течение всего августа до поздней ночи светился огонек в окнах низкой почерневшей фары приходского дома, сквозь открытые окна которого струились приятные запахи. Когда деревенские парни забирались на деревья приходского сада, они видели, как длинные белые волосы преподобного отца развевались над змеевидными приборами, как трясущейся рукой он наливал рюмочку приготовленного им свежего напитка, набожно крестился, медленно выпивал его, чмокал и щелкал пальцами так, что старый кот, дотоле спокойно сидевший на большой печке, вскакивал, будто у него над головой загорался пук сена, и, фыркая, вылетал из избы.

В такой момент пан фарарж казался им особенным, неземным существом. Богобоязненно слезали парни с груш и яблонь приходского сада, не забыв набить за пазуху даров этих деревьев.

Так было в августе. Ноябрь проходил в трудах по наполнению великого множества бутылок и в приклеивании этикеток, которые домбровицкий пан ректор расписывал и разукрашивал в течение всей зимы.

На этикетках несколько фантастически изображалось, как святой Станислав благословляет маленького ангелочка, несущего солидную бутылку, на которой золотом начертаны слова: «Лесное вино, вино земляничное».

Когда ложился первый снег и ночью было слышно, как недалеко от деревни воют волки, в одно из воскресений священник сообщал своим мягким и проникновенным голосом, что он приглашает всех верующих на вечернюю христианскую беседу.

В такое воскресенье просторный приходский дом набивался до отказа, прихожане толкались и теснили друг друга.

Преподобный отец сидел в старом, выцветшем кресле, помнившем бог знает сколько его предшественников, и ласково говорил, улыбаясь, что пришла зима, уже рождественский пост, но из-за зимы прихожане не должны забывать ходить в костел и помогать бедным. Затем он добавлял несколько слов о рождестве, которое уже не за горами, и вдруг куда-то исчезал.

А вскоре возвращался с корзиной бутылок и начинал раздавать прихожанам свое зеленое лесное вино, свое земляничное вино.

Когда они смотрели на его белую голову, на его милое лицо, на трясущуюся от радости бороду, у многих слезы навертывались на глаза. Многие не могли не печалиться при мысли, что же будет, когда старый священник почиет вечным сном под березами и лиственницами домбровицкого кладбища.

Потом в Домбровице пришла зима, а ее пан священник всегда очень страшился. Она была причиной того, что в течение всей весны и лета старый священник молился, чтобы господь бог отпустил ему грехи, которые он совершил за прошедшую зиму и совершит в будущем.

Иногда ему казалось, что молиться впрок все же немного неуместно, но он успокаивал себя мыслью, что господь бог знает, почему так неустойчивы перед соблазном существа человеческие.

Каковы же были грехи, совершенные им зимой? Его зимним грехом было пристрастие к своему зеленому вину.

В зимние вечера он грустил о тех зеленых лесах по которым любил ходить. И, погружаясь в тепло, идущее от огромной печки, садился перед большой бу-

тылью своего зелья, как бы переносясь в благоухание лета.

Стаканчик возле бутылки то наполнялся красивой зеленой влагой, то снова становился пустым.

Когда первые капли напитка касались губ священника, перед его глазами вставала свежая зелень дубов, елей, берез и проплывали места, красные от обилия зрелых ягод крупной земляники.

Лежащий перед ним молитвенник оставался нераскрытым, и вместо вечерней молитвы в тихой комнате раздавались удивительные звуки, свидетельствующие о том наслаждении, с каким он маленькими глотками пил зеленую искрящуюся влагу.

Старый пан фарарж сидел, пил и думал о зелени лесов, о весне, о лете, и мысли его не прерывались даже тогда, когда внизу недалеко от фары начинали выть волки и раздавались выстрелы, разгоняющие голодных бестий.

Не могла его вывести из такого состояния и сестра (она была моложе его на два года и вела все хозяйство), когда приходила и начинала упрекать своего брата за грехи, призывая на помощь всех святых, имена которых всплывали в ее уме.

Пан фарарж не говорил ничего, он только кивал белой головой и размышлял об аромате зеленых лесов.

Когда же он направлялся к постели, у него немного кружилась голова, и он затягивал песню о лесных девах и о зеленом вине, так что его сестра-старушка затыкала уши.

На другой день утром он поздно вставал и зарекался, что отныне на этот адский напиток даже не посмотрит. Но ничего не поделаешь! Приходил вечер, в лунном сиянии на улице блестел снег, и снова им овладевала тоска по лету, и снова он опорожнял один стаканчик за другим.

Сколько лет уже день за днем молилась его сестра, чтобы господь бог уберег ее брата от грядущих адских мук, но каждую зиму повторялись вечера, когда молитвенник оставался нетронутым, а стаканчики опорожнялись.

Напрасны были все ее хождения по «святым» местам, напрасно жертвовала она на мессах деньги за своего несчастного брата.

Иногда, размышляя об этом, она начинала горько плакать.

В ее набожных раздумьях представления о муках ада связывались с образом пана фараржа.

Однажды зимой дьявол, как она говорила, особенно преуспел в искушении пана фараржа.

Как-то перед сном священник так громко пел о прекрасных лесных девах, что Юржик Овчина — деревенский стражник, возвращавшийся поздно вечером из корчмы, — остановился перед фарой, и через минуту в ночной тишине послышался дуэт.

Один голос, довольно сильный, но приглушенный толстыми оконными стеклами, принадлежал священнику, другой, более хриплый, голос стражника, так был похож, по-видимому, на вытье волка, что несколько крестьян с ружьями и палками поспешили к фаре, где остановились в изумлении и с такой набожностью стали прислушиваться к пению пана фараржа, распевавшего о лесных девах и о зеленом вине, как если бы это была молитва, возносимая в костеле пресвятой деве Марии.

Когда на следующий день к полудню священник встал с постели, то узнал

от своей заплаканной сестры о большом прегрешении, которое вчера вечером он совершил, опять искушенный дьяволом.

И он вновь зарекался, но вечером повторилось то же самое, и снова полдеревни набожно и почтительно, с открытыми ртами, слушали под окнами спальни, как там, наверху, их старый духовный пастырь распевает удивительные песни о зеленом вине и лесных девах.

С той поры такие песнопения стали повторяться, и крестьяне каждый вечер ходили послушать пана фараржа.

Для его сестры настали печальные времена. Всюду она видела адский огонь и однажды, набравшись мужества, дрожащей рукой написала викарию в тарновскую консисторию письмо, в котором просила во имя спасения пана фараржа в Домбровицах явиться с ревизией к ее брату, по-отечески пожурить его и высвободить из сетей и когтей дьявольских.

Она подписала письмо, окропила его слезами и послала в Тарнов, ни словом не обмолвившись об этом своему брату.

Прошло несколько дней.

В один прекрасный зимний день перед фарой зазвенели колокольчики, четыре ретивых коня забили копытами по мерзлой земле так, что искры полетели, а из саней вышел достопочтенный тарновский пан викарий, объявив удивленному пану фараржу, что приехал с ревизией.

Молнией пронеслась в голове священника мысль — не проведали ли в Тарнове о его певческих упражнениях, — и он не отважился взглянуть на седого, хотя и более молодого, чем он, викария, который, напротив, очень был учтив со старым седовласым фараржем.

Досточтимый пан викарий выразил свое удовлетворение состоянием костела и после ужина уселся напротив пана фараржа, подыскивая повод, каким бы образом он мог выполнить просьбу сестры священника, которая в это время в соседних покоях усердно молилась.

— Здешние края летом, вероятно, необыкновенно красивы, — начал он после длительного молчания.

— Да, необыкновенно красивы, — печально произнес пан фарарж, поглядывая в угол, где стояла большая бутылка с благочестивой этикеткой.

— Сколько радости приносят вам эти леса летом, — продолжал пан викарий, — а зимой грустно. И тогда лучше всего сидеть у теплой печки и читать молитвенник. Прекрасно читаются размышления святого Августина и отцов церкви. Тогда уже не страшно никакое дьявольское искушение. Брат мой, я привез с собой несколько книг о вечной жизни и замечательные рассуждения святого Августина. Лучше всего это читать по вечерам два-три раза. Сейчас я их принесу.

С этими словами он удалился в соседнюю комнату.

Священник после его ухода что-то смекнул, подскочил к бутылке и отведал своего волшебного напитка.

Когда достопочтенный викарий вернулся с грудой книг в руках, пан фарарж снова уже спокойно сидел на своем месте, набожно уставившись в потолок.

— Вот здесь то чтение, которое возносит душу читающего к иным мирам и которое отгоняет все дурные мысли, — сказал пан викарий, раскладывая перед фараржем книги, и спустя некоторое время добавил:

— Тут у вас такой аромат, как будто бы влились сюда запахи леса.

— Это мое «Лесное вино, вино земляничное», — радостно вырвалось у пана фараржа, и, не дожидаясь ответа, он наполнил зеленым напитком два стаканчика и чокнулся со сконфуженным паном викарием.

Они опорожнили стаканчики.

— Не правда ли, необыкновенный вкус? — спросил сияющий пан фарарж, видя, как пан викарий причмокивает. — Еще одну, не так ли?

И снова опорожнились стаканчики.

— Необыкновенно! Кажется, что человек бродит летом по лесу и впитывает в себя благоухание лета, — мечтательно, со вздохом промолвил ревизор.

У священника блестели глаза, когда он рассказывал о своем изделии, о детище своего разума, экстракте своих мыслей.

При этом оба всякий раз отвеदывали зеленый напиток, и досточтимый викарий перед каждым новым стаканчиком шептал: «Multum poscet, multum poscet»[2], — совершенно забыв о цели своего посещения, о дьяволе, о святом Августине и о святых отцах.

Когда же вечером крестьяне по обыкновению собрались перед фарой, они к своему изумлению услышали, что из спальни пана фараржа доносятся звуки песни о лесных девах и о зеленом вине, распеваемой не одним, а двумя головами, причем тот, второй, незнакомый голос был намного сильнее...

О дальнейшем я умолчу. Добавлю только, что это был первый, но далеко не последний визит и что когда досточтимый тарновский пан викарий, вернувшись на третий день домой, развернул большую бутылку «Лесного вина, вина земляничного», то, к своему удивлению, обнаружил, что оберткой ей послужило несколько страниц книги святого Августина и святых отцов.

«Лесное вино, вино земляничное» снискало домбровицкому пану фараржу бессмертную славу.

## Идиллия кукурузного поля (Миниатюра из жизни на венгерских равнинах)

**Ш**ироко, необозримо широко раскинулось кукурузное поле. Ветер колыхал высокие стебли, и все поле слегка волновалось.

А среди поля жил цыган Варга со своей семьей.

Три месяца тому назад староста из Лочбани сказал ему:

— Слушай, Варга, собачий сын, хочешь стеречь нашу кукурузу? Получишь две мерки зерна после уборки, а молодой кукурузы рви сколько хочешь, только смотри, много не набирать!

Цыган Варга согнулся чуть не до самой земли и забормотал:

— Ваша милость, как же мне не хотеть сторожить общинную кукурузу? Ведь община мне мать родная, она кормит меня, содержит меня, хвала господу богу, я живу в общине, должен быть благодарен ей, клянусь душой, ведь община — наша мать родная!

— Так хочешь сторожить или нет? — прервал староста красноречивого цыгана, раскуривая трубку.

— Как не хотеть, — повторил Варга, почесывая грудь, — как не хотеть, ваша милость, ведь община — моя мать; только я просил бы три мерки, а не две: жизнь теперь тяжелая да и лихих людей много. Сиди хоть все ночи напролет — и то не усмотришь; а еще я просил бы на стопку палинки: ночи теперь стоят холодные.

— Ну ладно, только помни: сторожить хорошенько. Особенно присматривай за этими бандитами, цыганами из Ботфали. Понадобится — бей, трави собаками. Иначе ничего не получишь. Смотри же, хорошенько охраняй, — сказал староста и дал Варге на палинку.

Без конца кланяясь и благодаря, цыган Варга удалился и сообщил радостную новость своему семейству, которое, живописно расположившись на лужайке за деревней, перед слепленным из соломы и глины шалашом, спокойно и удовлетворенно предавалось «ликвидации» ворованной картошки, испеченной в золе.

Так случилось, что семья Варги уже три месяца жила среди высокой кукурузы.

Варга сторожил. Днем он лежал, любуясь колыхающимися метелками и сверкающей меж зеленых стеблей лазурью неба.

Его близкие сидели у тлеющего костра или валялись на земле, подражая главе семьи; только старшая дочь Гава изредка поднималась, срывала несколько початков и клала их на огонь, чтобы они испеклись. Иногда она брала кувшин и шла за водой, а принеся воды, опять спокойно укладывалась рядом с остальным семейством.

Когда наступал вечер, Варга вставал и вытаскивал из тайника в кустах у ручья старую тачку, а едва солнце садилось за низкие холмы на западе, сторож Варга принимался рвать кукурузу и складывать на тачку. Затем, дождавшись, пока умолкнут звуки рога, отмечавшие полночь, осторожно отвозил свой груз под тополя у дороги, где его поджидал староста со своей тачкой. Груз перекладывали, Варга получал от старосты на водку и возвращался к своему ложу среди кукурузы.

Так идиллически жил он до тех пор, пока его дочь Гава не влюбилась в молодого цыгана Болдара, принадлежавшего к семье тех самых «бандитов» из Ботфали, от которых староста предостерегал Варгу.

Быть может, Варга ничего и не имел бы против этого, если бы его дочь сама ходила навещать своего милого: в таком случае она могла бы прихватить что-нибудь домой, например, горшок, кувшинчик и тому подобные мелочи. Варга всегда поучал свою дочь: «Ты молода, а молодой крови всего хочется. Не надо терзаться, если тебе что-нибудь понравится».

Но тут получилось наоборот. Цыган Болдар сам приходил навещать Гаву, и после каждого его посещения Варга обнаруживал, что от полной бутылки доброй дребенской сливовицы оставалось только чуть-чуть, на самом доньшке.

Возлюбленный Гавы аккуратно выпивал запасы своего тестя in spe[3].

Старик каждый день ругался с дочерью, но все было напрасно.

Тогда Варга отправился жаловаться старосте: дескать, цыган Болдар каждый вечер приходит к его дочери и при этом выпивает все, что пахнет спиртом.

— А побить его я, видите ли, не могу, — прибавил он грустно.

— Почему же?

— Да не могу, ваша милость, не могу. Если я его ударю, он даст мне сдачи, а он раз в двадцать сильнее меня, — чуть не плача, ответил Варга.

— Знаешь что, налей-ка в бутылку керосина, — посоветовал староста, — он выпьет и больше не покажется.

И Варга одному ему известным способом достал где-то в деревне керосина, налил его в бутылку и стал ждать, когда наступит ночь, а сам отправился в кукурузу.

Там было хорошо. Тихо, спокойно. Варга уснул.

Прогнулся он поздно ночью.

При свете месяца, недалеко от себя, он увидел свою дочь рядом с молодым Болдаром.

Болдар держал в руке бутылку. Варга подошел ближе. На него пахло керосином.

— Что ты здесь делаешь? — робко спросил он сидевшего на земле молодого цыгана.

— Да так, просто сию и пью, — прозвучал ответ. — У тебя какая-то странная сливовица: пью с самого вечера, а не выпил еще и четверти бутылки. Хороша, только уж очень крепкая. — И молодой цыган положил курчавую голову на колени Гавы.

Месяц осветил живописную группу; легкий ветерок клонил к земле и снова поднимал высокую кукурузу.

Старый цыган Варга молчал...

## Разбойник за Магурой

Подули ветры из Галиции, и утром, когда рассеялся туман, пастухи, посмотрев из шалашей над Ждьяром в сторону Высоких Татр, увидели, что даже подножия гор покрыты белым сверкающим снегом. Жутко чернели лишь острые пики да склоны гор.

Осень наступила сразу. Потемнели на низких склонах кусты кизила, а их плоды рдели среди черных листьев, как капли крови. На лугах появились сиреневые бессмертники. Они распустились за одну ночь повсюду среди хмурой зелени осенних трав.

— Вот и осень, — вздыхали пастухи в шалашах. — Недалеко до холодов, пора спускаться с отарами вниз, — добавляли они, кутаясь в свои огромные шубы.

Повсюду царила какая-то особая грусть; казалось, даже костры трещат не так весело и светят не так ярко, как в теплые ясные летние ночи.

Снова повторяли рассказы о том, как несколько лет назад Кашу Войтикову зимой задрали медведи. Говорили, что ночью слышен вой волков на польской стороне, а на венгерской так протяжно режут дикие звери и трубят олени, что страх берет.

Молодой Борко рассказывал, как худо пришлось им в позапрошлом году в последнюю ночь, когда они поздней осенью спускались вниз с отарами. Они уже рассуждали о том, сколько слез будет, когда их найдут погребенными под снегом, окоченевшими, с погасшей трубкой-носогрейкой в зубах. Так много снегу выпало тогда и такой был мороз. А ко всему еще дул ужасный ветер с польской стороны. Шалаш трещал. В ту ночь замерзло пятнадцать овец. А когда на минуту затихал ветер, было слышно печальное бляение овец, стоявших в открытом загоне подле шалаша. И никак нельзя было им помочь.

За такими разговорами в шалашах готовились к спуску вниз, чтобы жестокие холода не застигли овец в горах. Все радовались близкой встрече с семьей, которую не видели целое лето, а молодежь радовалась не только семье, но и красивым девичьим личикам.

Итак, вниз!

Но Янко Карача этот призыв не обрадовал, а сильно опечалил. И вот почему. Еще летом молодой Янко подолгу задумчиво сиживал на пастбище, не играл на рожке и все поглядывал поверх поросших карликовой сосной склонов на польскую сторону. Так сидел он молча целыми часами и лишь изредка протяжно и грустно напевал:

*Прямо к лесу, к лесу стадо подгоняла  
И сама не знала, кого целовала.  
Долы мои, доли вьются меж горами,  
И никто не знает, что случилось с нами.  
Я тебя, тебя я не заставил силой,  
Ты сама на это меня соблазнила.*

Янко Карач был влюблен. Вечером, когда подоив овец, все усаживались вокруг потрескивающего костра, старый пастух Гач шутил, что Янко опять запел, значит, теперь даже сусликов не увидишь: давеча он нашел у родника двух околевших, вероятно, они пришли напиться да там и подохли с тоски,

потому что неподалеку Янко пас свою отару.

Бедный парень краснел. А остальные еще пуще смеялись, и молодой Чамко рассказывал, как Янко познакомился с Картушей.

Сидел Янко как-то в полдень на большом камне и насвистывал разбойничью песенку, вдруг слышит за спиной рычание медведя. Янко испугался, обернулся и остолбенел — вместо медведя увидел Картушу.

В шалаше хохотали еще громче, а Янко багровел от гнева, но делал вид, будто это его ничуть не касается.

— И скажу я вам, хлопцы, — снова раздался в шалаше голос пастуха. — Картуша эта, судя по всему, с нашим Янко вмиг бы справилась, хоть он и сын разбойника Карача. Я ее видел. Такая девушка за пятерых парней сойдет — крепкая, рослая...

Этим пастух окончательно вывел Янко из себя. Разозлившись, он вскочил с войлока, на котором сидел, и крикнул:

— Не думай, что я побоюсь этой Картуши! Она рассказывала, что зимой сама сторожит свою отару. Пойду и украду из Картушиной овчарни самую лучшую овцу. Посмотрим: кто кого! Подумаешь, что мне Картуша!

— Ладно, если сумеешь украсть овцу — ты настоящий мужчина, — отрезал пастух, и больше об этом не говорили. Но чем ближе подходили холода, тем грустнее становился Янко.

И вот наступила зима. Пастухи согнали отары с гор в деревянные ждьярские овчарни и вечерами при свете сальной свечи вырезали деревянные башмаки, палки, разные формы для сыров и только по воскресеньям собирались в корчме. Вспоминали там разные случаи, происходившие летом, когда они пасли отары высоко в горах.

Во время одной из таких встреч старый пастух Гач упрекнул Янко: что ж он, мол, до сих пор не попытался украсть овцу у Картуши из Подলেখниц.

В тот день много выпили, и Янко пообещал в будущее воскресенье, как только вернется из церкви, отправиться в Подলেখнице.

Водку пили в воскресенье, и тогда Янко разглагольствовал, но в понедельник призадумался и стал вздыхать.

Вспоминал солнечный летний день, когда, глядя в голубые глаза Картуши, обещал, что зимой в церкви огласят их помолвку. А вчера обещал пойти и украсть у своей суженой овцу. Вся деревня слышала, как после полудня он кричал это на площади.

Что скажут, если он не пойдет? Все бабы будут приставать к нему. А потом станут судачить, что он испугался женщины. Нет, пойдет с помощью божьей. Ах, Картуша, Картуша!

Миновала неделя, и снова наступило воскресенье. Выйдя из церкви, Янко отправился в корчму подкрепиться для предстоящего похода.

Пришли соседи, выпили по несколько стаканчиков, и Янко расхвастался, что такого разбойника, как он, нет и не будет не только в Подгалье, но и за Магурой. Потом пели разбойничьи песни.

Даже на деревенской площади слышно было, как дрожали грязные стекла корчмы, когда затянули:

*Были хлопцы, были,  
На разбой ходили.  
Быть веселым, смелым*

*Надо для их дела.  
Взять валашку в руки.  
Прыгать через буки,  
В зной идти и в холод.  
Обвенчайся с милой,  
Яник, пока молод.*

Янко слушал песни. Бурная мелодия вливалась в его душу отвагу, к тому же Янко так усердно пил водку, что ему мерещилось, будто перед ним уже не со-седи, а овцы Картуши, которых он гонит домой.

Тем более когда запели:

*Гей, ребята, все за мной!  
На разбой спеши весной,  
А лишь тронет лес зима,  
Гей, ребята, по домам!*

Гей, в Подলেখнице! Янко встал и, пошатываясь, побрел по покрытой снегом дороге. На склонах гор снег, на соснах снег, на хатах снег, всюду снег, рассуждал Янко, зайду-ка я в Подলেখнице опрокинуть еще стаканчик, обратный путь с овцами будет нелегкий.

Так он и сделал. Подкрепился в Подলেখницах, а когда луна осветила белые равнины, оказался перед Картушиной усадьбой.

Тяжело перепрыгнув через небольшой забор, все еще распаленный, Янко очутился у овчарни.

Еще шаг, вот уже открыта дверь, и на подвыпившего молодца повеяло теплом овчарни.

И тут разразилась катастрофа.

Янко вдруг восторженно грянул:

*Скоро, хлопцы, скоро  
Окропит росой горы  
Белой, точно пена,—  
Снегом по колено.*

Красивые белые овечки заблеяли, раздался шорох, мускулистая рука схватила злополучного разбойника и не то выволокла, не то вынесла его из овчарни.

— Иисусе Христе, ведь это я, Янко! — кричал он, но голубоглазая Картуша с возгласом: «Ах ты, разбойник, разбойник!» — своими железными руками обрушивала на него все новые удары.

А луна освещала сверкающий снег.

Утром вся деревня Ждьярки была взбудоражена.

Янко вернулся с распухшей щекой, хромал и держался за нос.

На вопрос, где овцы, он ничего не ответил и пошел прямо к священнику. А потом исчез из деревни...

Как же были поражены горцы, когда в следующее воскресенье священник среди прочих оглашений прочел: «Первое оглашение помолвки Янко Карачи и Картуши Повако».

Вечером в корчме пастух Гач предложил разрешить следующий философский вопрос: «Кого украл Янко: овец или Картушу?»

Эх, Картуша, Картуша!

## Рыбак Гулай

«My house is my castle»[4] — гордо говорит англичанин. Но еще более гордо говорит рыбак Гулай: «Моя халупа — вот мое село».

Гордость у Гулая в крови. По его утверждению, в жилах его течет благородная кровь. Что, впрочем, отнюдь не мешает ему ловить в Висле рыбу и с пренебрежением отзываться о сильных мира сего. Как человек белой кости он пользуется безграничным уважением в селе Сопольнице, до которого от его прославленной халупы минут десять ходу.

Халупа же у него особая — во всей освещимской округе такой не найти. Вообразите себе пространство, огороженное несколькими бревнами да слоем земли и глины, притом что в целом это сильно смахивает на большую собачью конуру. Таково место обитания сего знаменитого мужа. А знаменит он настолько, что сопольничане выбрали его старостой, хотя живет он на выселках.

Избранием на эту должность он обязан не одной только шляхетской крови, но и замечательному умению печь рыбу, умению лечить скот, сметливости, изумляющей даже приходского сторожа и звонаря Машова (а уж Машов-то человек бывалый, поскольку в свое время отсидел два года в краковском остроге), и наконец — педагогическим нововведениям, которые состоят в том, что он кормит березовой кашей некоторых сорванцов, поручаемых паном учителем его особому попечению.

Гулай — моя «lewa ręka»[5], говорит о нем старый учитель, ибо сам он левша.

Нету в учительской руке той твердости, какая требуется, чтобы основательно ударить, и потому он наказывает главных сорванцов, которым в воскресенье надлежит прийти к Гулаю.

И как ни странно, не бывало случая, чтоб кто-то не пришел, — приходят даже те, которые ни в чем не провинились, готовые без возражений лечь под розги.

Потом зато все бывает очень хорошо. Рыбак Гулай сидит с ними на прибрежной травке у тихой Вислы, рассказывает, как надо брать ерша, плотву, как щуку или карпа, для примера ловит с ними рыбу и запекает, обмазав глиной и посыпав пряной зеленью, на вертеле над костром, куда подбрасывают березовые полешки, прихваченные из панского леса на том берегу.

С реки тянет приятным холодком, вечерние лучи солнца золотят довольные лица честной компании, с наслаждением уплетающей печеную рыбу.

Вид на Вислу в зелени берегов радует душу, шелестит листвой березняк, синяя лента воды теряется вдалеке, между низкой порослью леса по одну сторону и камышовыми зарослями по другую.

Собираются тут люди и старшего поколения, приходят из села «na gozmbówku»[6] со своим старостой.

И хороши же эти вечера! На берегу играют песни, водят хороводы, а среди собравшихся похаживает Машов со здоровенным жбаном, наполненным, как правило, рябиновкой. Рыбак Гулай сидит на пороге своей хибары, одобрительно кивает и, дымя огромной глиняной трубкой, не устает повторять:

— Моя халупа — вот мое село!

В браке он никогда не состоял и потому с особым удовлетворением наблюдает, как иногда во время таких сходов какая-нибудь пара затеет меж собой

жестокую перепалку, так что нередко в ход пускаются и камни.

Но если, по его понятиям, драка чересчур затягивается — административным порядком окунает не в меру расходившегося супруга в Вислу, чтобы остыл.

Ко всему этому он и философ — если случается что-то, всегда говорит: «Коли случилось, так тому и быть».

— Казя меня порешить хотел, — жаловался ему один мужик.

— И порешил? — спрашивает Гулай.

— Да нет.

— Ну видишь, он тебе еще ничего не сделал, — успокаивал его староста.

Мужик вполне довольный уходил.

Некоторые из гулаевских доктрин встречают самую широкую поддержку деревенской общественности. Одна из таких доктрин гласит: «Природу создал господь бог, он один может ею распоряжаться, а никого другого она не касается. Каждый держит ответ за себя перед господом богом и только». Этой религиозной догме следует он на практике, занимаясь в панском лесу браконьерством. Поскольку же авторитет воздействует на массы, примеру старосты следует все село, и сопольничане пользуются славой самых что ни есть продувных браконьеров в имении князя Загорского.

Дабы застичь врасплох хоть одного честного обывателя, панские лесники из кожи лезут вон, но, по их уверениям, сопольничане — скользкие, как угри. Прямо из-под носа улизнут. Шли один раз и по следу Гулая, считали уже, что староста у них в руках, но тут вдруг потеряли его из виду, а подойдя к реке, увидели, что он сидит себе на поваленной старой ольшине, ловит бреднем рыбу да посасывает трубку. Гулай ехидно сделал им ручкой и крикнул в направлении леса:

— Wędź, panie, zdrow![7]

Но вот однажды паренек Волача подстрелил в лесу серну и, не думая худого, потащил к халупе Гулая, намереваясь, как обычно, спрятать ее у старосты.

Возле самой халупы вынырнули из камышей три панских лесника.

Скверное вышло дело. Волачовскому парню здорово поправили фасад. Не только соседи — родные мать с отцом его не узнали.

Одного уха вовсе не увидели, второе разодрано, пояса нет, правая нога волочится... Мгновенно всем в селе стало известно, как волачовского парня отделали панские холуи. Вдобавок через пострадавшего передали, что следующий, кто попадет, получит еще не такое.

Но и на этом не остановились. К старосте Гулаю явился полицейский и объявил, что если тот допустит впредь в лесу хоть один случай браконьерства, без разговоров будет отправлен в город и пойдет под суд.

Явление полицейского вызвало невероятную сенсацию среди всех жителей деревни, которые могли увидеть блюстителя порядка, разве что приехав в близлежащий город на базар.

Печальные настали времена... Не слышно стало вечерами песен у реки; потух костер, не пекли рыбу, и не ходил по кругу веселящихся жбан с водкой.

Тогда впервые не сказал Гулай: «Коли случилось, так тому и быть», — бродил повеся голову и запустил занятия с молодежью.

Вся деревня с надеждой смотрела на него, ожидая, что он поможет их горю.

Староста думал о том, как найти способ вернуть прежние времена.

Он сидел у реки, а деревенские приходили смотреть, как их староста думает.

Наконец он придумал план. И как-то под вечер созвал всех жителей к своей халупе.

День выдался пасмурный и неприветливый, под стать душевному состоянию сопольничан.

— Я созвал вас, — повел речь Гулай, — размыслить о том, как мы снова могли бы бить зверя у князя в лесах. Этими днями князь приезжает сюда на охоту — надо устроить так, чтобы он оказался перед нами в чем-то виноватым. Я задумал вот что. Когда князь будет выслеживать дичь, надо, чтоб он кого-нибудь из нас нечаянно подстрелил. Машов, скажем, для этого как нельзя более подходит — он и сам мужик толстый и кунтуш на нем здоровый. Я рассуждаю так: возьмусь показать князю места, где зайца добывать легче всего, и поведу в сторону камышей. Там спрячется Машов в трех кунтушах и двух кожухах. Я крикну: «Вот он, заяц!» Видит ясновельможный пан плохо, стрельнет дробью... Ну а Матов, когда его слегка царапнет, примется кричать. Князь испугается, я передам ему прошение, чтобы нам разрешили отстрел дичи у него в лесах, и дело в шляпе.

Это блестящее выступление слушатели приняли с восторгом, и только Машов улыбался как-то странно. Однако возражать не стал, боясь прослыть перед всем обществом за труса. Не мог же отставной солдат, посаженный когда-то на два года в краковскую крепость, сказать, что испугался нескольких дробин, предназначенных для зайца.

Расходясь по дворам, сопольничане долго еще перешептывались — дивились, до чего же умный у них староста.

Наконец в один прекрасный день торжественные звуки рожка, которыми в обыкновенные дни пастух сзывал по утрам стадо, возвестили сопольничанам, что его сиятельство князь Загорский пожаловал в эти места гонять зайцев и вепрей в поле, чумазых ребятишек на меже и гусей на выпасе.

Стрелял его сиятельство довольно скверно.

По издавна сложившейся традиции сопольничане при таком событии помогали охотникам загонять зверя, колотя в оловянные миски с таким усердием, что и в Пожоти, до которой от Сопольнице было час ходу, выбегал народ за гумна, глядел в ту сторону, откуда доносился грохот, и уважительно говорил:

— Должно, маневры!..

Князь вышагивал с чисто аристократическим достоинством, награждая оплеухами мальчишек, которые таращились на него и то и знай тянули за полы, чтобы привлечь к себе внимание.

Когда он дошел до халупы Гулая, тот выступил из темноты и учтиво его приветствовал.

— Ясновельможный пан, есть для тебя на примете зайцы — крупные, с новорожденных телят, — сообщил он конфиденциально. — Вон в тех вон камышах.

У князя глаза разгорелись. Вместе со старостой он направился к камышам.

Машов же за час до того вышел из корчмы Мефусалема Батана, в которой крепко поднабрался за общественный счет, и несколько нетвердой поступью — имея на себе три кунтуша, два кожуха, два платка на шее и столько же на голове — тяжело двинулся к камышам, где и спрятался в условленном ме-

сте.

Он лежал ничком, старательно зарывшись головой в траву. И непрерывно подбадривал себя, вспоминая, как в бытность свою солдатом просидел два года в остроге. Велико дело заячьи дробинки! Получит их, так ведь и благодарность всей общины — тоже...

Разморенный вином и раздумьями, он уснул. Однако спать ему пришлось недолго. Что-то кольнуло его... потом другой раз, третий... и вот уже по всему телу жалило и жгло. К своему ужасу он убедился, что это муравьи. Какое-то время он терпеливо сносил их надругательства. «Поднимешься, а вдруг князь уже близко!» — думал он, продолжая лежать неподвижно.

Из-за спины внезапно долетел знакомый голос Гулая:

— Вот тут, ясновельможный пан, у них лежки. Тише... Вон крупный заяц, соблаговолите выстрелить.

Князь, который за всю жизнь не застрелил ни одного зайца, ответил:

— Постой минутку, пусть зашевелится.

Минутка эта показалась Машову вечностью. Муравьи ужесточили свои атаки, а один залез Машову прямо в ухо. Это было уже чересчур. Он все еще не слышал щелканья затвора и, уткнувшись лицом в землю, забыв про все на свете, заорал:

— Да вот он я, стреляй, ясновельможный пан, бога ради, сожрут они меня!.. Тут муравейник...

Князь и по сей день вспоминает те загадочные слова и до сих пор дивится, почему рыбак Гулай набросился тогда на лежащего человека, который их проносил.

Но как утекшим водам Вислы невозможно повернуть назад, так и надежде беспрепятственно бить зверя в панской вотчине не возродиться никогда для рыбака Гулая.

## Заторская канония (Очерк о Галиции)

Заторские каноники держали собственных стражников, которые днем и ночью оберегали их владения, носили письма куда надо и вообще занимали видное место в истории обители.

Последним из этих мужей был прославленный Тадеуш Боруньский.

Я сказал «прославленный», ибо таковым почитала его вся округа.

Там никто не скажет: «При канонике Яне Можевском стражником был Боруньский Тадеуш».

Всякий скажет так: «При стражнике Тадеуше каноником был Можевский».

Слава Боруньского разнеслась по всей округе.

Он был не только стражником, он шил еще кунтуши.

И кунтуши эти были — песня, а не кунтуши. Белы, как горный снег, пуговицы с кулак — синие, черные, желтые, зеленые или красные, по желанию заказчика, а подкладка алая, как солнце, когда оно осенью закатывается за рекой Скавой.

Невысокая кряжистая фигура Боруньского уже с воскресного утра красовалась во дворе каноника, возле статуи святого Венделина, покровителя стад, к которому приходили молиться окрестные мужики, отправляясь продавать скотину на базаре в Подгуже, что возле Кракова; им-то и предлагал свои кунтуши Тадеуш Боруньский.

Через этих мужиков слава о нем расходилась по всей округе. С каноником Можевским Боруньский жил в ладу. Редко каноник сердился на него или делал ему внушения. Правда, он имел обыкновение говорить: «Тадеуш, вы осел, хоть я этого и не думаю». Но однажды каноник не добавил «хоть я этого не думаю».

Это случилось, когда Можевский узнал, какую странную штуку выкинул Тадеуш в прошлое воскресенье.

В тот день стоял он, как всегда, у статуи святого Венделина и торговал кунтушами. Какой-то крестьянин пожелал купить кунтуш для сына, которого с ним не было. На вопрос, какого роста его сын, крестьянин с благоговением указал на фигуру святого.

Тадеуш Боруньский, недолго думая, притащил несколько кунтушей и стал примерять их на статую, пока не подобрал по росту.

Крестьяне дивились и головами качали: таким красивым был святой Венделин в кунтушах Боруньского.

Но каноник Можевский выразился по этому поводу кратко:

— Осел ты, Тадеуш, ослиный хвост, ослиная башка.

Однако гнев его скоро остыл. Под конец он даже посмеялся над этой историей, промолвив:

— Впрочем, если поразмыслить, то Боруньский вовсе не осел.

А вечером в городском трактире каноник, уже улыбаясь во весь рот, просил Боруньского рассказать, как тот двадцать пять лет назад гасил пожар в Станиславове.

Это был конек Тадеуша — повествовать о своих приключениях.

Все так и покатались со смеху, едва с губ Тадеуша слетели первые слова:

— Провалиться мне на этом месте, все так точно и было.

И он принялся рассказывать, как спас жизнь девяноста трем людям, один вынес двадцать сундуков из шестидесяти двух горящих домов, а под конец выяснилось, что в ту пору во всем Станиславове и щепочки не занялось.

Иной раз Боруньский рассказывал о своей жене, и самое большое удовольствие получала публика от того, как он изображал супружеские перебранки.

Сначала он будто бы стоит на улице и рассуждает, что, если жена его встретит плохо, он ей спуску не даст... Но вот он входит в дом и... Тут он передразнивал резкий, крикливый голос жены: «Как огрею тебя по хребту, негодяй, бездельник! Я тебя проучу! Убирайся вон! Сейчас же убирайся! Понял, или я тебя...» А он будто отвечает: «Касенька, Касенька, ради бога, опомнись, пожалуйста, да я никогда...»

Публика хохотала, Боруньский тоже.

Но однажды ему стало не до смеха: каноник, уходя вечером из трактира, велел Боруньскому прийти завтра после обеда: надо, мол, поговорить о рыбной ловле на Скаве.

А это для пана Тадеуша был весьма щекотливый предмет разговора.

Право ловить рыбу в Скаве принадлежало исключительно канонии, и Боруньский обязан был еженощно следить за тем, чтобы никто другой не закидывал в реку своих удочек. Но неужто же Боруньскому бродить ночью по прибрежным кустам, по камышовым зарослям и болотам? Канония не рухнет, если кто и выловит рыбку-другую, рассуждал он и, вернувшись из трактира, спокойно оставался дома, шил кунтуши и укладывался на боковую.

Что теперь делать?

Весь день он провел в страхе. Чем кончится разговор с начальством? В последний раз он выходил сторожить ночью реку четырнадцать лет назад. Ох, грехи наши тяжкие!

И вот, весь дрожа, стоит он перед каноником Можевским, нервно комкает в руках шапку и ждет, что сейчас ему бросят в лицо такие слова, как «нечестный человек», «укрыватель браконьеров», «висельник», короче: прохвост.

Но каноник заговорил с ним очень мягко:

— Знаешь, Тадеуш, почему я призвал тебя? Знаю, ты всегда достойно исполняешь свои нелегкие обязанности, ведь мы с тобой немало лет знакомы. Ты, конечно, усердствуешь и ходишь дозором где-нибудь далеко, а тут, под самыми окнами канонии, каждую ночь удят рыбу.

— Не может быть, я об этом и мысли не смел допустить! — с прояснившимся лицом начал врать Тадеуш Боруньский. — Везде ходил: и у черного дола и у перевоза — и никого не поймал.

— Нет, я тебе верно говорю, — возразил каноник. — Вчера ночью разболелась у меня голова. Открыл я окно и вижу, сидят при лунном свете рядком на бережку с удочками... Пожалуй, лучше всего искупать кого-нибудь из них. Река тут неглубокая, по колено, никакого худа не случится, разве что вымокнут. Завтра возьми с собой кухаря и кучера и в одиннадцать часов выходи на обход сюда, под окна. За каждого пойманного — отдельная награда. Кого увидите — в воду! В другой раз не полезет. Понял?

— Понял, пан благодетель.

— Ну, добро!

С этим Боруньский был отпущен. Как легко стало у него на душе! Искушает кого-нибудь, да еще ему за это заплатят, а главное, уважать еще больше будут. Все теперь скажут: «О, наш пан Тадеуш — серьезный человек, с ним не шути!» В общем, хватай каждого — и в воду.

Настала ночь. Месяц временами появлялся в разорванных тучах. Скава тихо несла свои воды в камышах.

Часов в одиннадцать по берегу легким шагом проходили Тадеуш, кухарь и кучер.

Тадеуш шепотом объяснял им, что делать. Как кого увидят — в воду! Так подошли они к саду канонии. На берегу под самым садом чернела какая-то фигура; человек этот то и дело озирался вокруг.

— Учуял что-то: видите, как осматривается, — прошептал Тадеуш спутникам на ухо. Он дрожал от возбуждения. — Теперь тихонько, на цыпочках... Сейчас мы ему покажем!

Караульщики неслышно подкрадывались к подозрительной фигуре. Вот их отделяет от него уже только узкая полоска камышей. Ага!

Две пары мускулистых рук схватили подозрительного и с большим шумом спихнули его в неглубокую чистую Скаву. Тотчас раздался жалобный вопль:

— Помогите! Я каноник Можевский!

Злополучный каноник вышел посмотреть, как будет Тадеуш исполнять приказ, и стал жертвой его рвения.

Когда перепуганные сторожа вытащили каноника, вид у него был плачевный, но еще несчастнее выглядел Тадеуш Боруньский, так что даже пострадавший, отжимая воду из одежды, усмехнулся:

— Ты не виноват. Не рой другому яму...

Он не закончил, так как Боруньский, видя, что каноник улыбается, воскликнул:

— А награда-то нам достанется?..

От такого купанья канонику достался насморк, а Тадеушу — ничего. Счастливые люди!

## Похождения Дьюлы Какони (Юмореска)

Молодой Дьюла Какони отправился под вечер на прогулку. Сначала он прошел по всей деревне Целешхас, потом направился к реке Нитре, воды которой между невысокими берегами можно было видеть уже издали.

Он немного полюбовался ее стремительным течением, широким руслом, окаймленным с обеих сторон глинистыми красноватыми берегами, и неторопливо пошел вниз по реке, прислушиваясь к ругани пастухов, которые поили у брода грязную скотину.

Затем он бродил, раздумывая в нерешительности, стоит ли идти дальше, пока пастухи не погнали стадо в деревню, громко перекликаясь и щелкая бичами.

Почти совсем уже стемнело. В опустившемся тумане стало трудно различать окрестности, и путь вдоль берега перестал быть привлекательным. Но Дьюла Какони все-таки пошел вниз по течению шумящей реки, в сторону цыганских хибарок.

Целешхасские цыгане жили не слишком романтично. Наоборот, это были весьма почтенные граждане. Они не воровали, не грабили, а честно занимались домашним хозяйством и игрой на скрипке. По воскресным дням и в праздники они играли в целешхасской корчме, и богатые крестьяне щедро платили за их не слишком искусную музыку, главным образом потому, что с цыганами выступала красивая цыганка Йока. Несмотря на самую простенькую мелодию, она умела настолько захватить своей музыкой, что мужчины восторженно хлопали себя по ляжкам и кричали наперебой: «Éljen, éljen!»[8]

Когда музыканты возвращались в свои лачуги и пересчитывали выручку, они всякий раз бормотали:

— Ну и Йока, чистое золото!

Вот туда-то, к этим лачугам, и направил свои стопы Дьюла Какони.

В первой хибарке горел свет.

— Свет... — прошептал Дьюла, спотыкаясь о травянистые кочки, оципаные коровами.

— Охотно бы... гм... в самом деле, охотно поболтал бы я с Йоккой, да как это устроить? Войду сейчас и спрошу. Постучу, — продолжал он, отряхивая черные штаны, которые испачкал, споткнувшись в темноте, — похвалю их выступление, особенно же Йоку. А дальше?.. Ну да, цыгане и есть цыгане. Восточная кровь. Ладно, там увидим!

Разговаривая так сам с собой, он подошел к освещенной хибарке, постучал. Ответа не было. Постучал еще раз. Опять молчание. Он уже собирался было уйти, когда в лачуге послышались звуки скрипки — там играли марш Ракоци.

Дьюла Какони открыл дверь и вошел.

Дух у него занялся. При свете крохотной коптящей керосиновой лампы он разглядел на середине комнаты Йоку со скрипкой в руках. В лачуге больше никого не было.

Йока, высокая красавица с блестящим ожерельем из монет на шее, спросила, что угодно его милости.

— Я пришел... — смущенно заикаясь, начал Какони, — поблагодарить за то

удовольствие, которое мне доставила ваша музыка в прошлое воскресенье, когда вы выступали в деревенском трактире. Я был просто восхищен! Уж поверьте мне, сударыня, в Пеште я не слыхивал ничего подобного. Ваше выступление меня захватило...

— У вас красивая булавка, — ответила Йока, вытаскивая ее из галстука Какони.

— Я принес булавку вам в подарок за ваше воистину художественное выступление, — снова смущенно залепетал Какони, удивленный внезапным оборотом дела. Притворщица Йока улыбалась ему так приветливо, что он был готов немедленно подарить ей не одну, а двадцать таких булавок.

— Лучше подарили бы вы мне этот перстень, а булавку я отдам брату. — Йока опять улыбнулась. — Я галстуков не ношу.

И она коснулась руки Какони.

— Этот перстень я принес вам как особое вознаграждение, — врал Дьюла, — а булавку я и вправду подумывал отдать вашему брату, — говорил он, а сам уже снимал перстень с пальца.

— Барышня, — продолжал он, не сводя с цыганки влюбленного взгляда, — ваше выступление меня очаровало, но мне хочется, чтобы и вы были ко мне немного более благосклонны.

— Ваша милость, — ответила красавица цыганка, — сейчас того и гляди сюда войдет кто-нибудь из моих родственников, а с ними и мой жених цыган Рокко. Не знаю, что он вам скажет. Приходите-ка лучше завтра об эту же пору на старую плавучую мельницу на реке. Я буду ждать вас там.

И не успел Какони опомниться, как был деликатно выставлен за дверь хибарки. Вслед ему в ночной темноте понеслись звуки скрипки, играющей в ускоренном темпе марш Ракоци.

Дьюла, спотыкаясь, вышагивал по темной дороге среди лугов в сторону деревни, к поместью своего дяди.

«У нее есть жених, но она дьявольски хороша, — думал он. — Теперь я могу уже на кое-что отважиться...»

А в помещицьем доме царил переполох.

Дядя встретил племянника обрадованный, что тот жив. Но за ужином обнаружилось, что у Дьюлы нет в галстуке булавки, а на пальце перстня.

— Я купался, — пояснил Дьюла, — и уронил эти вещи в воду.

— В галстуке ты, что ли, купался? — недоверчиво спросил дядя.

— Нет, когда раздевался, слышу, булькнуло что-то, и галстук... то есть я хотел сказать, перстень, то есть нет... булавка утонула, а перстень соскользнул с пальца в воду, когда я вылезал. Вода была сегодня холодная, но я думаю, что она еще потеплеет, — пытался Дьюла замять разговор, видя, что дядя пристально смотрит на него, — может, еще и дождь пойдет...

— После купанья ты, видно, еще и прогуляться вздумал? — спросил дядя, помолчав.

— Да, я решил пройтись, знаешь, ведь это очень полезно для здоровья. Я прошелся немного по берегу реки и не заметил, что иду в сторону от деревни.

— Бывает, бывает, — согласился дядя. — Я ведь только потому и спросил, что кучер видел тебя вблизи от цыганских хибарок. Он шел из города, поздоровался с тобой, а ты и внимания на него не обратил. Правда, было уже темно. И ты будто бы что-то бормотал все время и спотыкался, идя через луг, понима-

ешь ли. Вот что рассказал кучер.

И дядя принялся громко хохотать.

«Ну, влетит мне теперь», — думал Какони, обгрызая дынную корку.

— Кучер говорит, что он еще подумал: «Молодой барин, кажись, где-то лишнего хватил и домой попасть не может». Ха-ха!

Какони облегченно перевел дух.

— Давай-ка поговорим серьезно, — продолжал дядя. — Сегодня днем, когда тебя не было дома, я получил письмо от твоего отца. Он приедет сюда завтра вечером. Он пишет, что хочет проверить, образумился ли ты и можешь ли вернуться в Пешт. Он предполагает, что ты, конечно, уже забыл эту певичку и тебя, вероятно, можно теперь женить, не опасаясь, что ты будешь с ума сходить по ней.

— Дядюшка, мне и в голову ничего подобного не приходило, — ответил расстроженный Дьюла. — Вы меня, должно быть, уже хорошо знаете. Ведь я живу здесь почти месяц, и вы могли убедиться, что со всеми девушками я обходился весьма скромно. А с певичкой это было просто так.

И Дьюла Какони, явно расстроженный, удалился в свою спальню.

\* \* \*

С месяц назад в конторе фирмы «Янош Какони и К°» в Пеште произошел весьма неприятный разговор.

На канцелярском столе сидел молодой Дьюла Какони, а перед ним весь красный стоял его отец.

— Ты женишься на Ольге как можно скорее и прежде, чем состоится общее собрание акционеров нашей компании по производству цемента! Запомни, что отец Ольги держит в руках семьсот семьдесят акций, которые он дает за ней в приданое. Если мы прибавим к ним твои двести двадцать акций, ты станешь владельцем тысячи акций, которые я куплю у тебя по номинальной стоимости двести крон за штуку. Но это должно быть сделано до общего собрания, потому что на общем собрании ты сорвешь хорошие проценты с прибыли. Впрочем, я хотел говорить с тобой не об этом. Ты — жених, понимаешь? А понимаешь ли ты, что как жених должен следить за собой и не компрометировать семейство Какони? Получив такое хорошее воспитание и будучи женихом, ты раскатываешь по городу в коляске с певичкой из кафешантана, танцуешь с ней, словно ослеп и оглох. Разве ты не понимаешь, что отец твоей невесты видит все это? Ты просто осел! Помни, речь идет о семистах восьмидесяти акциях. Словом, ты должен на месяц убраться из города и выбросить из головы эту певичку. Иначе, пожалуй, ты натворишь еще больших глупостей! Завтра же отправишься к дяде в Целешхас. Поезд уходит в половине восьмого утра с Северного вокзала. Согласен?

— Да!

Какони-старший подошел к телефону, попросил дать ему номер 238 и сказал в аппарат:

— Милый друг! Дьюла завтра уедет в деревню. Надеюсь, что все обойдется!

\* \* \*

Так примерно думал о прошлом Дьюла на следующий день, расхаживая по берегу Нитры.

Певичка была красива, но с Йоккой не шла ни в какое сравнение. Какое там! Огромная разница! У певички черные глаза и белокурые волосы, а у цыганки

черные глаза и черные волосы. Настоящий восточный тип!

Перед обедом Дьюла отправился еще раз осмотреть старую плавучую мельницу.

Это была одна из тех мельниц, что во множестве еще можно встретить на реках неподалеку от впадения их в Дунай.

Два дощаника соединены между собой примитивным срубом, в середине его установлено мельничное колесо, которое вращается силой речного течения.

Дощаники обычно привязывают к берегу канатом. При желании такую мельницу можно переплавлять с места на место. Жители прибрежных деревень приносят к реке зерно для помола.

С берега на плавучую мельницу перебрасывают деревянные мостки.

Вот такая мельница и была назначена местом свидания.

Здесь уже давно ничего не мололи: водяное колесо было совсем изломано.

Наступил вечер.

Какони сказал, что пойдет в город встретить своего отца, а сам отправился к старой плавучей мельнице.

Под крышей было совсем темно.

Какони сел на перегородку, закурил и стал ждать.

Поблизости мычало стадо и ругались пастухи.

Речные струи с шумом бились в бока дощаников.

Мычание скотины постепенно замирало вдали, пока наконец совсем не смолкло.

Мельницу слегка качнуло.

«Должно быть, Йока сейчас уже придет, — обрадовался Дьюла. — Она не хотела, чтобы ее видели пастухи. Который же час?»

Дьюла зажег спичку и посмотрел на часы.

«В половине девятого приедет отец, — думал Какони-младший. — А-а, скажу, что сбился с дороги».

Мельница как-то странно вздрагивала, вода шумела все сильнее.

— Не хочется здесь долго торчать, — пробормотал Дьюла, просидев час. — Она могла бы уже и прийти, очевидно, дома что-то задержало... Ну ладно, лишь бы пришла... Жаль, что ее в Пеште нет.

Мельница вдруг резко повернулась, так что Дьюла чуть не свалился с перегородки, на которой сидел.

— Черт побери, что такое происходит? — пробормотал Дьюла, зажигая маленький карманный фонарик. — Я лучше выйду.

Он поднялся по нескольким ступенькам к дверце, которая вела на мостки.

Фонарик чуть не погас от резкого порыва ветра, и Дьюла Какони, к немалому своему испугу, увидел, что мельницу со всех сторон окружает вода, а деревья и кусты с бешеной скоростью убегают назад.

Дьюла Какони плыл вниз по течению Нитры...

Он принялся кричать, но шум воды заглушал его отчаянные вопли о помощи.

На следующий день в газетах было напечатано следующее сообщение:

### **НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА РЕКЕ**

*Во время пребывания в Целеххасе с господином Дьюлой Какони произошел сенсационный случай, который привлечет внимание читате-*

лей, поскольку господин Дьюла Какони известен во всех кругах пештского общества. Вчера вечером он решил осмотреть старую плавучую мельницу и не заметил, что по не установленной до сих пор причине оборвался канат, которым она была привязана. Когда мельница находилась уже на значительном расстоянии от Целешхаса, господин Дьюла Какони вдруг заметил, что она плывет вниз по течению. Все его призывы о помощи оказались тщетными. Только сегодня в шесть часов утра мельница была остановлена близ впадения Нитры в Дунай и господина Дьюлу Какони выручили из неприятного положения. В своем плавучем заключении он проделал путь в 45 километров...

\* \* \*

Прочитал ли эту заметку жених прекрасной Йоки, цыган Роко, сказать не могу, так же как не могу объяснить, почему Йока не могла играть на скрипке в трактире даже через две недели и ходила с завязанным лицом.

И не стану я также утверждать, что кто-нибудь видел цыгана Роко перерезающим канат у старой плавучей мельницы или что его кто-нибудь видел за день до происшествия подслушивающим у старой хибарки, когда там находился наедине с цыганкой Дьюла Какони.

Но как бы то ни было, Роко всякий раз, проходя по берегу реки Нитры, при виде плавучей мельницы лукаво ухмыляется.

## Как дедушка Перунко вешался (Очерк из Подгалья)

Пока был жив лесник Дудра, хорошо жилось подлехницким жителям. Лесник Дудра говаривал в подлехницкой корчме:

— Я лесник, и хороший лесник, господам-то я служу много лет, но землякам почет в первую очередь. Вы из Подлехниц, я из Подлехниц, значит, у нас родная кровь. Я все вижу и ничего не вижу.

Сказав так, он умолкал и через несколько минут обращался к подлехницам, будто речь шла совсем о другом:

— Друзья, завтра я иду на обход к перекрестку.

Ну, понятное дело, не было ничего странного, что в тот день на противоположном конце леса кубарем катились зайцы и косули, а в Подлехницах у многих лоснились губы. Все это было уже настолько привычно, что лесник Дудра ни одного вечера не приходил трезвым в господскую лесную сторожку, дырявая крыша которой живописно выглядывала из-за свежих зеленых елей.

Но это бывало лишь зимой. Летом у горцев нет времени думать об охоте. Им хватает хлопот и с разбегающимися в разные стороны овцами. Тут уж не до зайцев и косуль! Летом горец, увидев косулю, говорит спокойно:

— Если бы да наши овцы так прыгали, за ними никто бы не углядел.

Зато уж зимой забьется сердце горца под овчинным кожухом, глаза заблестят, и он даже сплюнет:

— Эх, черт побери, если бы да эти косули так же тихо ползали, как наши овцы.

Но в последнюю зиму вышло все по-другому.

Летом лесник Дудра помер. Хватил немного лишку и сбился с дороги, идя домой. Вместо леса попал он на Разбойничью скалу, упал с нее да разбился на-

смерть. Эх, как жалели все Дудру!

Господским лесничим стал Станько Шашчар. Он был не из Подলেখниц, а из Важной. И поскольку родом он происходил из Важной, у него не хватало одного уха. Ведь подলেখнинцы — закоренелые враги всех жителей Важной и потому во время драк с ними по старому своему обычаю отрезали им уши.

Такая судьба постигла и Шашчара, когда он влюбился в дочку газды[9] Перунко. Газда Перунко самолично произвел эту операцию.

Тот, когда рана зажила, сказал:

— Даром все это деду Перунке не пройдет. Ему бы, старому черту, ноги переломать, тогда я за все бы с ним рассчитался. И дочка у него зубастая, дьявол!

Грустно было в Подলেখницах той зимой.

Дедушка Перунко тоскливо поглядывал на печь, где под кожухом, на котором он спал, ржавели проволочные силки для зайцев.

Прежде зимой куда лучше жилось. Как первый снег выпадет да подморозит покрепче, он, дед Перунко, первый потихоньку слезет, бывало, с печи, возьмет силки и идет по хрустящему снегу в лес. Там он знал места, где зайцы бегали к деревне. Он ставил силки и шел домой на печь. И утром, глядишь, отличный заяц в силках. Потом его жарили. А нынче?

Вот уже и первый глубокий снег выпал. Дичи вдоволь. И косули уже подходят к домам. Прежде взял бы дед Перунко свое ружье, старинное, но очень хорошее. Разве что пороху много надо для этого ружья, зато бьет оно без промаха... Может, кого другого отдача и свалит на землю, а ему, деду, хоть бы что — ни за что не упадет, но уж несколько голов дичи из него уложит! А сейчас ружье в углу ржавеет, порох весь отсырел. Все ржавеет. А эта собака Шашчар вокруг хаты деда Перунко похаживает. Как взойдет месяц, так тень Шашчара и видна в халупе. Никак нельзя на охоту выйти!

Так плакался дедушка Перунко старосте и соседям, когда они в воскресенье собрались у него потолковать.

— А завтра, друзья, время будет, — тонким голосом сказал Войтех Свака, — непременно будет. Встретил я утречком у корчмы бабу из Важной. Да вы ее знаете, эту Кмохову Мару. Она шла выпить немножко. Остановился я — словечком-другим перекинуться. Она, между прочим, и говорит, что завтра Шашчар в город подастся на польскую сторону, к господам, мол, пойдет за письмом. Значит, можем мы действовать смело, бояться нечего. Лесника не будет, а зайцев — под каждым кустом. До польской стороны далеко, он послезавтра разве что к вечеру вернется.

Условились. Завтра вечером все соберутся у дедушки Перунко и пойдут в господский лес.

Сколько лесов, — и все господские, прости господи! Сколько дичи, и вся господская, а мужику ничего?

\* \* \*

На следующий день вечером восемь горцев в кожухах вышли из Перунковой халупы.

Перунко шел с проволочными силками впереди всех.

Они тихонько ступали по хрустящему снегу, поглядывая на заснеженные серебристые в белом свете месяца равнины.

Ни единого черного пятнышка на снегу. Тишина повсюду.

Дошли мужики до леса. Черные деревья быстро приближались.

Прошли полосу леса и вышли на лесосеку.

— Оставайтесь здесь, — приказал дедушка Перунко, — а я пока кое-где силки расставляю, ну вон хотя бы у той елки.

Он указал на небольшую елку, одиноко стоявшую на середине вырубки, и пошел.

Остальные спрятались в кусты.

Идет Перунко. Подходит к елке. Ставит силки внизу между елкой и низкой еловой порослью. И тут сильная рука ухватила его за воротник. Оглянулся дед... А это — Шашчар, настоящий Шашчар.

— Ты чего здесь делаешь? — рявкнул он над ухом деда. Ружейный ствол блеснул в лунном свете.

— Я... я... — залепетал Перунко. — Я... я...

— Говори, негодяй! — снова рявкнул лесник.

В седой голове Перунко мелькнула удивительная мысль.

— Я... я... иду на лесосеку повеситься, — еле вымолвил он. — Надоело мне жить на свете, плохо мне живется...

Лесник молчал.

«Я его перехитрил», — подумал дедушка Перунко и потому продолжал:

— Плохо жить на белом свете, налоги одолели, а сколько их! Старость подошла, и дома говорят: как с дедом быть, от его работы толку нет. Ну вот и пошел я на лесосеку повеситься на проволоке.

Перунко умолк, всхлипнул и подождал ответа Шашчара.

Тот ухмыльнулся.

— Дедушка Перунко, эта елка тебя не удержит. Вон там, на склоне, сосна отличная, ветки у нее толстые. Если не доберешься до них, я тебя подсажу...

И лесник почти поволок ошеломленного Перунко по тропинке к красивой сосне.

Не понадобилось и пяти минут пути в ту сторону, чтобы дедушке Перунко снова захотелось жить, и он тут же признался ухмылявшемуся Шашчару, что и не думал удавиться в силках, которые годились лишь для зайцев.

После этого дедушка Перунко отсидел в кутузке пять дней.

## Воспоминание о болоте

Если смотреть на простор равнин вдоль реки Вислы, отбрасывая мысленно березовые рощицы, которые замыкают его вдалеке, невольно кажется, что вы на несколько сот километров юго-восточнее — в степях Украины.

Все здесь напоминает те края. Высокая трава волнами плещется по ветру и, когда клонится долу, обнажает сокрытые в ней невысокие холмики — могилы праобитателей этих мест.

Чуть стихнул ветер, снова она распрямилась, — и опять до самого горизонта только паводок желтых опаленных солнцем трав.

Вы бредете среди них по разбитой грунтовой дороге, как по лесной просеке.

Навстречу вам шагает человек в сапогах, выцветшем кунтуше, подпоясанный черным облупленным поясом.

А дорога меж тем разветвляется впереди на несколько тропок.

Вы тотчас отвлекаетесь от раздумий, забываете о степях Украины и, приветствуя встречного по-польски, осведомляетесь, как пройти в Лучки.

Так это было и со мной.

Человек в кунтуше ответил на приветствие, сказал, что сам из Лучек и, буде пожелаю, может меня сопровождать.

— Дорога ужасная, — предупредил он. — Болотами идти не меньше часу. И нужно перебраться на сухое засветло, а то не разглядишь камней, по которым надо прыгать. Чуть поскользнулся — и уже в трясине. Утонуть, правда, не утонешь: глубина там не более полуметра, зато промокнешь основательно.

Человек в кунтуше вдруг осекся.

— Простите, я вам даже не представился — тут понемногу совсем одичаешь. Станислав Злотик. Я учительствую в Лучках. Не удивляйтесь, что кунтуш мой в таком состоянии. Живется здесь нашему брату учителю не ахти как сладко. Сегодня, например, ходил я на базар, продавать двух поросят. Вся выручка пойдет в уплату долга. При этом, сударь, я могу похвастаться. Угодья у меня такие, что за два часа не обойдешь и одного. Только доходу с них и на табак не хватит. Я владею болотами подле Вислы, которые моему деду даровал ясновельможный пан Чемериньский из Лучек, после того как дед однажды за деревней вытащил его из трясины, где ясновельможный пан увяз. Так и наследует наш род из поколения в поколение эти болота, и по несчастному совпадению все представители его — учителя. Жалованье мизерное, перспектив никаких, покупаешь все втридорога — ведь у крестьян и у самих ничего нет, а если что и есть, относят корчмарю, и я любую мелочь у него перекупаю, — а пробовал просить перевода, открыли межевую книгу: «Станислав Злотик, владелец обширных земельных наделов, нет причин улучшать ваше положение». Простите, сударь, что я так разговорился, ведь я вас не знаю, вы меня впервые видите. Дойдем до Лучик, и конец. Едва ли приведет бог встретиться. Но вспомните когда-нибудь повисловскую равнину, болото, где нашли вы странное созданье, которое, хоть и напоминает человека, но весь свой век проводит на болотах и бессильно из них выбраться.

Стена травы кое-где расступалась, и сквозь проемы видны были берега реки.

У одного такого проема мы остановились.

— Взгляните-ка сюда, — сказал учитель. — Видите косяки воды, вдающиеся

в берег? Еще при жизни деда тут была дамба, предохранявшая эти места, под Лучками, от затопления. Пойдемте дальше.

Дорогой он продолжал:

— Теперь, когда тут сплошные болота и нету денег на их осушение, восстанавливать дамбу уже поздно. Пока она была, здесь хорошо родился хлеб, хотя места эти открыты с севера холодным ветрам.

При старом пане Чемериньском, который жил у себя в замке в Лучках, дамбу по весне прорвало, и окрестности затопила вода. Правда, она скоро сошла, но жители уже с тревогой ждали паводка в новом году.

Дело покуда можно было бы легко поправить, захоти только панство восстановить дамбу в первоначальном виде, но пан Чемериньский был чудаковат. С утра до вечера, как одержимый, играл в шахматы. Одного старого дворового сделал своим постоянным партнером.

Пан выигрывал по пяти партий в день, где же ему было интересоваться, цела там еще дамба или не цела.

— Мачейка, — говорил он этому дворовому, — бог с этими людьми, а мы с тобой сыграем еще партию. Даю тебе два хода фору.

Однажды к нему явилась депутация — просить, чтобы пан милостиво снизошел к нуждам своих сельчан и дал восстановить снесенную часть дамбы.

Ясновельможный пан в тот день проиграл три партии кряду и велел своим челядинцам показать депутации порог, да еще из окна честил уходивших нехорошими словами.

На третий день, однако, депутация пришла опять. На этот раз пан был настроен более благодушно и объявил, что не может принять никакого решения, не заручившись согласием соседа своего, пана Болиньского из Строжи, поскольку прорванная дамба наполовину и в его владениях.

Этого соседа пан Чемериньский никогда не видел, хотя пятьдесят с лишком лет жил от него в каких-нибудь трех часах ходу.

Пан Болиньский редко когда покидал пределы своего имения, пан Чемериньский вообще никуда не ходил.

Пан Чемериньский был, однако, человек добросердечный. Чтоб депутация вперед не причиняла ему беспокойств, просил пана Болиньского почтить его своим визитом, — речь, мол, пойдет о деле, где затрагиваются его интересы.

Пан Болиньский приехал.

Явилась депутация, пан Болиньский все выслушал, а после предложил пойти осмотреть прорванную дамбу.

Ладно. Пришли примерно на то место, где мы с вами смотрели сейчас сквозь траву на берег, как вдруг пан Чемериньский и говорит:

— Взгляните: эта часть равнины напоминает чем-то шахматную доску! Вербка вон там — король, тот выступающий куст — конь, а здесь можно расставить пешки...

— А я одним только конем на своей половине в три хода дам тебе, дружище, мат! — внезапно с разгоревшимися глазами перебил пан Болиньский.

— И ты, я вижу, играешь в шахматы? — радостно подхватил пан Чемериньский.

— Еще бы, только этим и занимаюсь...

— Тогда пошли, сыграем партию-другую, а то тут мой дворовый человек..

И к удивлению всех присутствующих, оба ясновельможных пана поверну-

лись и быстро зашагали к замку, забыв и прорванную дамбу, и депутацию, и свое совещание.

Дамба по-прежнему пребывала в том виде, в каком оставил ее последний паводок, а пан Болинский каждую вторую неделю приезжал к пану Чемериньскому играть в шахматы, поскольку каждую нечетную неделю пан Чемеринский приезжал к нему.

Весенний паводок следующего года размыл последнее, что еще сохранилось от дамбы, и с той поры повсюду здесь только болото.

И вот, сударь, та часть его, которая перед вами и по которой мы сейчас пойдём, — моя, — добавил он с усмешкой, показывая на поблескивающую меж высоких крепких камышей темную воду.

А в черной густой топи между тем уже видны стали тесно положенные в ряд белые камни, по которым владелец ее, пан учитель Станислав Злотик, ходил в то утро на базар продавать поросят.

С Вислы тянуло холодом.

## Крестины

**Х**алупа Гробека стоит на отшибе. Старые хмурые деревья как будто с состраданием поглядывают на нее, на деревянный загон, где летом содержатся овцы, и на притулившийся неподалеку полуразвалившийся хлев для зимовки скота. Смотрят деревья, размахивают ветвями, словно хотят сказать: «Когда же наконец все это вместе со всеми обитателями сметет ветер? Смел бы по крайней мере хоть гробековских ребятишек, чтобы не кидали в нас камнями!»

Примерно так думал и Гробек, когда у него родился седьмой ребенок.

— До чего ж они жалостно качаются, эти деревья... Опять на одного больше, а халупа того и гляди рухнет, хлев вот-вот развалится, — рассуждал он сам с собой, стоя перед своим жилищем. — Теперь-то уж беспременно рухнет. Новый хлопец тут поможет. Здоровый будет парень...

— Где взять крестного? — размышлял он дальше, глядя с откоса вниз, на рассыпанные по долине избы подлехничан. — Ну кто ко мне пойдет? Небось каждый смотрит на меня как на вора. И то правда, ворую я овец. Да ведь столько ребят... Чем больше ребят, тем больше нужно овец. Это уж такое дело.

К примеру, пойдя я к Вореку, а он спросит: «Куда девал барана, что у меня украд?» Пойду, скажем, к Палеку, этот схватится за кнут: «Отдай моих овец, негодяй!» А если пойти к Ренчану?.. Тяжко, братцы! Я у него... Э, да что там говорить! Лучше всего обратиться к Лунеку, он тоже поворовывает, как и я. Помоги, господи! Чего-нибудь уж принесет младенцу. Как же, иначе нельзя: крестный отец — почетный отец.

Приняв решение, Гробек зашел в избу, подпоясался и спустился со склона вниз, в долину.

Вскоре он был уже в Подлехницах. Лунека нашел в корчме; пропустил с ним несколько стопок водки, прослезился и в сердцах сообщил приятелю:

— Лунек, друг, родился у меня хлопец.

Затем, встав с грубой деревянной, кое-как сколоченной скамьи, обнял Лунека и, всхлипывая, прошептал ему на ухо:

— Дружище, прошу тебя быть крестным.

Удивленный Лунек выдавил: «Ладно», — и Гробек облобызал его:

— Крестный отец — почетный отец!

После этого оба пили в свое удовольствие, и краснощекая грязнуха корчмарка то и знай ставила на стол все новые и новые склянки.

Разошлись поздно ночью, оба были так растроганы, что расплакались в ночной тишине, поскольку уже не могли разобрать, кто к кому должен идти за крестного: Гробек к Лунеку или Лунек к Гробеку.

Тяжко было Гробеку добираться до своей хаты. Поминутно путался он в сети трав; спотыкаясь, брел через просеку, натыкался на сосны, падал на кусты ежевики, но домой все-таки дополз. Привычка есть привычка.

Дома в свете тлеющих в жаровне углей вместо одного новорожденного он увидел целых пять. Выбежал он вон и начал кричать, что вечером, когда он выходил из дома, у него был всего один новорожденный, а сейчас их пятеро.

Гробек вопил и причитал в голос. Вернувшись в избу, он обнаружил уже шестерых.

Наутро все село покатывалось со смеху. Староста клялся всеми святыми, что около полуночи услышал странные звуки, доносившиеся со стороны халупы Гробека, и явственно разобрал, как Гробек сначала кричал, что приключилось диво-дивное: у него народилось сразу пятеро ребят; а вскоре-де раздался совсем отчаянный вопль: это Гробек уже причитал над тремя парами младенцев.

Да вот он, Гробек, и сам тут как тут. Идет, кожух на плечах, расстроенный, вздыхает.

— Что там у тебя приключилось? — спросил староста — по случаю воскресного дня он мылся в ручейке, который низвергался в долину с гор и пробегал через всю деревню.

— Староста, несую тебе злую весть: кто-то ночью украл у меня лучшего барана. Он был весь черный, как земля вокруг костра, чернехонький, только на шее белое пятнышко. Король-баран! Я его недавно... — Гробек прикусил язык. — Я его недавно... купил на базаре в Кежмароке. Дорога была долгая, тяжелая. Купил и вчера еще думаю себе: «Вишь, какие дела, старый Юро, у тебя теперь новый парень и новый баран. Парень вырастет — и баран вырастет. Барана парень сможет продать, коли понадобится. А пока что он нам послужит. Себя оправдает. Все на одного больше».

А баран-то и пропал! Иду это я утром в хлев, а там одни только белые шубы.

Гробек вытер глаза засаленным рукавом своего кожуха.

Староста усмехнулся:

— Видишь, Гробек, и ты чужих потаскиваешь! А сейчас у тебя самого утащили. Вор у вора дубинку украл!

Староста умылся и зашагал к дому. Гробек поплелся к корчме, не переставая причитать дорогой.

\* \* \*

Прошло несколько дней. Фарарж окрестил младенца. Крещение обошлось без всяких неприятных происшествий. Только празднично разодетый крестный Лунек целых семь раз погружал молодого Гробека в огромную купель, так что младенец в знак протеста начал даже брызгаться, чем доставил немалое удовольствие присутствующим подлехничанам; в тишине костела раздались их одобрительные восклицания: «Вот это да! Это будет парень! Гляди, как трепыхается! Чертеночек маленький!»

Когда Лунек надумал повторить эту процедуру восьмой раз, пан фарарж дал ему по уху.

На этом крещение было закончено и началось празднование.

При крестинах, как и при свадьбах, в Подলেখницах обычно стреляют из старых пистолетов. На этот раз стреляли в направлении гробековской халупы, перед которой красовался бочонок водки.

Завидев его, гости запели:

*Дай мне бог здоровья, воззри отчим глазом,  
Чарочки четыре опрокину разом.  
Горилочка — уйу! — в животе играет.  
Если я помру, кто меня вспомянет?*

Младенец, положенный на траву, надрывался от крика. А все пили. Подходили к новорожденному со стопкой и, наклонясь над ним, шептали: «Благослови, господи, благослови, господи», потом залпом опоражничивали склянку, и снова раздавалось пение:

*Умру, умру, не буду жить,  
Кто ж горилку будет пить?  
Есть девчонка у меня,  
Пьет горилочку, как я.*

Старая Вавруша хриплым голосом засипела:

*Девчоночка, девчоночка,  
Моей будешь, моей...*

Некоторые гости, что постарше, уже спали, истомленные питьем, когда упившийся крестный Лунек прошептал Гробеку:

— Пойду, братец, за подарком!

Ушел... Прошло немного времени, прежде чем на откосе снова раздался его голос, оповещающий о прибытии. Он тащил за собой что-то черное. Это «что-то» неистово упиралось.

Несколько раз споткнувшись, Лунек приблизился наконец к собравшимся горцам. И тут вдруг Гробек завопил:

— Лунек! Ты вор, негодяй!

И вот уж Лунек лежит на земле, а на нем восседает Гробек, вцепившись ему одной рукой в горло, а другой удерживая поводок, обвязанный вокруг шеи приведенного Лунеком животного.

Это черное животное и оказалось тем самым неоцененным бараном, которого украли у Гробека. Черный баран, а на шее белое пятнышко.

Крестного Лунека нещадно поколотили...

Наутро, когда староста допрашивал его, как он мог так ошибиться, Лунек, пригорюнившись, ответил:

— Так их у меня много, черных-то баранов! Кто их там разберет!

Воистину, крестный отец — почетный отец!

## Три очерка о венгерской пусте

### I

#### Табунщик Лайко

**Н**ад равниной у Тисы спускался вечер. За кукурузным полем горели костры — сторожа и табунщики пекли на углях свой ежедневный однообразный ужин: початки кукурузы.

Ветер доносил из недалёкой деревни буйный напев старинной разбойничьей песни: «Nem loptam én eletedben»[10].

— Весело в корчме-то, — подал голос парень в замызганных штанах, сидевший у ближнего костра, и неторопливо вытащил из золы дочерна испекшийся початок. — Прямо не поверишь, до чего все хорошо слышать, — он стал грызть початок. — К тому ж там нынче свадьба, то-то и весело.

— Рендёр берет Иштванову дочку Марку, — заметил его сосед, старый табунщик. — И не грустно тебе, Лайко?

Парень вытащил из огня еще один початок и, обгладывая его, произнес:

— Чего грустить-то? Подумаешь...

— А говорят, Лайко, любил ты Марку, — сказал кто-то, сидевший у соседнего костра.

— Ну, любил, и что такого, — спокойно возразил Лайко, подбрасывая хворосту в огонь. — А теперь делу конец.

— И не злишься на Рендёра, что Марку у тебя увел? — спросил старик.

— Как не злиться? Сволочь он, Рендёр, — тем же невозмутимым тоном сказал Лайко, пережевывая зерна.

— И не сотворишь над ним чего? — допытывался старый.

— Отчего ж не сотворить? — Лайко уставился на огонь, озарявший красноватым светом высокую, колыхавшуюся на ветру кукурузу. — Очень даже легко могу сотворить.

— А что, к примеру? — не отставал старик.

— К примеру, убить могу, — зевая, ответил Лайко.

— Так и убил бы?

— А чего ж не убить? — Лайко привольно растянулся у костра так, чтобы дым не ел ему глаза.

В деревне зазвонил колокол, а пение смолкло.

— По покойнику звон, — тихо заметил старик. — Кто ж это помер?

— А это теперь Рендёра нашли у колодца за околицей, — проговорил Лайко, не отводя взгляда от огня.

— Это как же?

— А так, что час назад я ему череп топориком раскроил, — равнодушно объяснил Лайко, поворачиваясь на другой бок. — Спокойной ночи.

По равнине разносилось: бим-бам, бим-бам...

### II

#### Цыганская поэзия

**В**зошла луна, багровый шар все явственнее выступал из мглы, бледнея, и вот уже белым светом залило степные травы.

Цыган Барро следил за восходом луны. Он стоял, то покачивая головой, то кивая: луна поднималась все выше и выше, и казалось, цыган вполне ее одобряет.

— Давненько не видел ты этого, — промолвил молодой цыган, сидевший рядом на земле. — В тюрьме ты на небо не смотрел.

— Да, отсидел-таки три месяца, — ответил Барро, не сводя глаз с луны.

— А чего ты так на нее смотришь?

— Думаю, — медленно произнес Барро. — Сначала был большой шар, потом красный цвет побледнел, и шар стал совсем белый.

— Хотел бы я быть месяцем, — проговорил молодой цыган. — Плавал бы там, наверху, и никто бы меня не поймал.

— А я ходил бы среди звезд да смотрел вниз, на жандармов, — задумчиво произнес Барро.

— И они казались бы маленькими, — решительно сказал его молодой товарищ, — такими маленькими, что и не разглядишь.

— И они не могли бы разглядеть нас, — подхватил старший, — и жил бы я спокойно, бегать не надо было бы.

— Разве ты бежал из тюрьмы?

— Да видишь ли, — доверительно сказал Барро, — нынче утром удрал я из города, и вот я в степи. Три месяца отсидел, а еще девять сидеть не захотелось. Теперь самое подходящее время: крестьяне убирают кукурузу, в деревнях ни души.

— Смотри, как звезды дрожат, — перебил его молодой цыган, подняв лицо к небу.

— Дрожат — это у них вроде землетрясения, — серьезно пояснил Барро. — А видишь месяц, он уже белый, смотри, облака проходят по нему, как будто он плывет, а сам стоит на месте.

— Хотел бы я очутиться на месяце, — в раздумье проронил молодой цыган. — А за что тебя схватили?

— За коня, вернее, это был жеребенок, — ответил спрошенный. — Видишь ту яркую звезду, а там вон — красную?

— Вижу, но скажи, тебя не били там, в тюрьме?

— Били, но немного; смотри, месяц выплыл из облаков.

Из высоких трав вдруг вынырнули два штыка, и в следующее мгновение Барро лежал на земле с наручниками на запястьях, а над ним склонялись свирепые лица жандармов. Молодой цыган исчез.

В лунном свете посверкивали штыки жандармов, когда Барро в наручниках шагал между ними к городу по широкой безмолвной степи.

А в городе, когда судья спросил, как его поймали, Барро сказал:

— Месяц задержал, вельможный пан.

— Как месяц?

— Да вот всходил месяц, я и задержался.

### III

## НА ОТХОЖИХ ПРОМЫСЛАХ

Пришли на равнину к полевой страде, пришли с высоких гор, поросших елями да причудливо раскидистыми соснами, из лесов пришли, где шумят горные речки и пахнет смолой да хвоей — нашли здесь, правда, обживу, которой не давал им их прекрасный край, зато плоской, как стол, была здешняя земля, и пахло болотной гнилью, и росла вместо деревьев высокая, пожелтевшая от солнечного зноя трава, да кукуруза, кукуруза, куда ни глянь.

И вместо благозвучной родной речи их слышался вокруг чужой говор, по-

хожий на ржание коней да на крики больших птиц, что кружат вечерами над вонючими водами.

Там, дома, им нечего было есть, кроме черного хлеба из отрубей или из ржаной муки, здесь они ели мясо, но ночами, когда укладывались они вокруг костров, мерещилось им, будто они дома; видели свои развалившиеся лесные хатки, пили воду горных речек и жевали черный хлеб...

И по утрам жалко им было просыпаться от этих снов, опять расстилалась перед ними бескрайняя туманная равнина, и в полдень пекло им головы солнце, и черные стоячие воды поблескивали вокруг.

Одна радость — пели за работой, и по вечерам, после изнурительных трудов, звенели у костров их песни:

*Мара моя, Мара,  
вспомни Яшу только,  
как ему пристала  
за поясом пистолька...*

Песня сменяла песню, все печальные, раздумчивые — а у соседних костров пели венгры свои дикие песни, дикие, как их кони, на которых гоняли они по равнине за стадами...

Но представляли они, как обрадуются дома их жены и дети, когда вернутся они с заработанными денежками, и за этими представлениями забывали порой и вонючие трясины, и солнечный зной, и то, как один за другим умирают они от лихорадки.

## Ружье (Очерк из Подгалья)

Отчим Войцеха умирал. По крайней мере, в Закалянке все так думали. Он лежал в маленькой низенькой хате подле очага, ворочаясь с боку на бок, и молчал, а два его племянника, Южи и Маркус, тут же вели разговор о том, как вчера в господском лесу за селом в их силки попались две ручные молодые лисицы с подрезанными ушками, принадлежавшие детям лесника.

Южи и Маркус, оба браконьеры, смеялись и злились одновременно.

Старый Михал лежал на тулупе, смотрел на огонь и молчал.

Маркус потянул Южи за пояс с медными пряжками, и они оба вышли из избы.

— Южи, — сказал Маркус, — а ведь дядя Михал помирает.

— Да, Маркус, помирает, — ответил Южи, глядя куда-то вверх, на лесистый косогор.

— Знаешь, я отдам тебе свой зипун, — произнес через минуту Маркус, — коли ты скажешь, куда дядя Михал спрятал свое ружье.

— Ого, — ответил Южи, — да я тебе целых два зипуна дам, коли ты мне скажешь, куда это он ружье запрятал.

Ружье дядюшки Михала пользовалось известностью среди браконьеров всей округи. У всех остальных браконьеров ружья заряжались спереди, а у дяди Михала сзади, с казенной части. Загадкой оставалось, где он такое ружье раздобыл. Поговаривали, что лет шесть назад он отнял ружье у одного охотника. Другие уверяли, что ружьем этим дядя Михал обзавелся уже семь лет назад. Однако все сходились на том, что ружье дядя Михал у кого-то отнял.

«Куда же все-таки он его запрятал?» — спрашивал сам себя Маркус. А вслух произнес:

— Наш старый дядя умирает, и ружье — мое, потому что я — старший.

— Как это старший? — запротестовал Южи, — ты же моложе меня.

— Ну, парень, — предостерегающе обратился Маркус к Южи и наверняка сопроводил бы свое обращение каким-нибудь ругательством, если бы к ним внезапно не подошел Войцех.

Войцех женился на девушке из Молешки и переселился к ней. Так же, как его отчим, он был браконьером.

— Ну, что там с моим папашей? — спросил Войцех, подходя к двоюродным братьям. — Говорят, помирает.

— Ясное дело, — отозвался Южи, — помирает.

— Ничего уже не говорит, — подтвердил Маркус.

— Не ест ничего, — добавил Южи.

— Вчера трубку разбил о камень, — заметил Маркус.

— А жалуется на что? Как это случилось? — нетерпеливо расспрашивал Войцех.

— А так: вернулся он позавчера ночью домой, лег на тулуп у печки, не сказав никому ни слова, и вот лежит. И молчит. Видать, конец его приходит, — толковал Маркус.

— Бедный папаша! — воскликнул Войцех. — Эй, ребята, я хочу вас кое о чем попросить. Я дам вам овцу, большую и жирную, только скажите мне, куда это мой папаша спрятал свое ружье.

— Мы не знаем, — сказал Южи. — Впрочем, ружье-то ведь наше. Нешто ты заботишься о нем, Войцех? Разве ты ухаживаешь за отцом?

— Вот сейчас я сходил да и подбросил в печку дровишек, Войцех, — сказал Маркус, — чтоб дядюшке Михалу в последнюю его минуту было тепло.

Тут из хаты послышался вдруг страшный гомон и слова: «Всё! Всё!»

— Пресвятая богородица, видно, уж конец, — запричитал Маркус, но тут, на удивление Южи, Войцеха и Маркуса, из хаты сломя голову выскочил старый Михал. Пробежав мимо них, он на редкость ловко перескочил канаву напротив дома и начал быстро взбираться вверх по крутому лесистому склону.

Все трое побледнели.

— Хочет помереть в лесу, — глубокомысленно заметил Войцех. — Пошли!

И вот уже все трое карабкались по косогору, раздвигая кусты, однако они не пробежали и половины пути, как увидели старого Михала.

Старик теперь спускался вниз. Подойдя к ним, он победоносно произнес:

— Да как же мне было не вспомнить, куда я заховал свое ружье? Два дня голову ломал, а все же вспомнил!

## Гей, Марка!

На скалы, над долиной святого Яна, опустилась вечерняя тишина. Перестали посвистывать сурки, которых в этих местах водилось больше, чем по всей Дюмбьерской гряде; задремали над пропастями хищные горные птицы, угнездившиеся в расщелинах белых скал; несколько коз, только что пасшихся здесь, заслышав лай сторожевого пса, стремглав попрыгали со склонов на плато и помчались к загону бачи Гронека.

Валахи загнали овец и прибежавших коз за ограду и вошли в колибу.

В низкой деревянной колибе пылал и трещал огонь, на котором в котле варились простокваша.

Быстро темнело. Тепло летнего дня сменилось ночной прохладой, и, когда в хижину вдруг ворвался поток холодного воздуха, все подобралось поближе к очагу.

Бача Гронек лежал на овечьем кожухе и время от времени подбрасывал в огонь подсохшие сосновые чурки. Их едкий дым заполнил чадом всю колибу, так что нельзя было даже разглядеть развешанные по стенам широкополые праздничные шляпы, окованные пояса, чепраки и вырезанную из дерева всевозможную утварь.

Простокваша в котле закипела. Пастухи разлили ее по черпакам, подали один Гронеку и начали пить, пока еще не остыла.

Наевшись, они достали из-за поясов короткие трубки, набили их табаком и сунули в горячий пепел, чтобы запеклись. Как только из обитого латунным железом мундштука пошел дым, они их вытащили, осторожно продули, закурили и по примеру бачи растянулись на овечьих кожухах.

— Мало уж осталось снегу на Дюмбьере, — сказал бача Гронек, попыхивая своей «запекачкой».

— Мало, — ответил младший валах Яно.

— На Дерете он еще маленько держится, — отозвался старший валах Юрчик.

— Трава гляди как быстро начала расти, — продолжал бача.

— Уж и мох зацвел, — заметил Юрчик.

— Подкинь-ка в огонь, — распорядился бача. — А ты, Яно, давай спи с божьего благословения. Утром пойдешь вниз, в Валаску, за солью. У овец уж почитай ничего не осталось.

Не было особой необходимости советовать Яно заснуть. Он и так уже клевал носом. Совсем умаялся сегодня. Дважды забирался он нынче на Большой Дюмбьер, чтобы взглянуть оттуда на деревню Валаску. Но утром вся долина Грона была покрыта туманом, и ему пришлось спуститься ни с чем. Тогда после полудня он влез снова на вершину и наконец-то глубоко внизу, под лесами, увидел Валаску. А когда около четырех часов туман окончательно рассеялся, его зоркий глаз разглядел на краю деревни, у реки, маленький домик. На этот-то домик он и смотрел почти целых два часа: в нем жила его Марка.

Яно уснул на своем кожухе так крепко, что бача должен был отодвинуть его ноги от огня, а то бы у него и опанки сторели.

Вскоре на высоте почти полутора тысяч метров спокойно спали три человека. Тихой ночью лишь изредка раздавалось в горах блеяние овец да лай сторожевых псов.

Рано утром бача начал будить Яно. Длилось это довольно долго. Но стоило только ему сказать, что пора идти в Валаску за солью, как Яно сразу вскочил.

— купишь двадцать фунтов, — наказывал бача Яно, — да передашь поклон старому Мише. Скажи, что, мол, все здоровы. Да гляди у меня, чтобы не напиться... И у Марки долго не задерживайся.

Яно быстро съел кусок черствого хлеба, взял свою валашку и тронулся в путь.

Было еще темно. Все окутывал утренний туман. Он покрыл и все острые контуры скал, которые могли служить ориентиром. Но Яно это нисколько не тревожило: он знал дорогу так хорошо, что мог бы спуститься вниз, в долину, даже с завязанными глазами и при любом ненастье.

Кругом расплзлась седая мгла. Но когда Яно вскарабкался на Прегибу, темноту уже начали робко прокалывать первые лучи восходящего солнца. Они были фиолетовые. А как только утренний ветер чуть разогнал туман, из-за скал появился красный солнечный шар. Чудилось, он так близко, что можно рукой достать.

— Гей, божье солнце! — воскликнул Яно в честь восходящего светила и высоко подбросил вверх свою валашку.

Туман быстро рассеивался. Казалось, он течет — бежит к долине и хвойным лесам.

Солнце поднималось все выше и выше, постепенно уменьшаясь в размерах. Ясное утро сразу вступило в свои права.

Только что в двух шагах ничего не было видно, а сейчас открылось все: и поле, и скалы — и все так ясно и отчетливо. Хорошо были видны и Малый и Большой Дюмбьер, подальше Прегиба, Лесковец... Все эти вершины и скалы появились так неожиданно, словно вдруг вынырнули из этого седого влажного тумана.

Со всех сторон блестели ветви стелющейся сосны, а остатки снега в расщелинах Дереша сверкали так нестерпимо, что у Яно даже глаза заслезились.

Яно спускался с Прегибы тропинкой посреди ползучих сосновых ветвей и смеялся.

«Ну и удивишься ты, Марка, — думал он переполненный радостью. — Не видал тебя с самого начала лета, как только мы перебрались в горы на пастбище...»

Несколько пугливых сурков, потревоженные его шагами, засвистели и поспешно скрылись в норках.

Яно запел, и леса отвечали эхом на его песню.

Он перестал петь и крикнул в тишину лесов: «Гей, Марка!» И леса ответили: «Гей, Марка!» «Гей, Яно!» — крикнул он снова. И снова лес зашумел в ответ: «Гей, Яно!»

Ползучие сосны постепенно уступили место низкорослым елям и пихтам. А Яно все смеялся, радуясь, что увидит свою Марку, и спускался все ниже и ниже.

Всюду журчали летние воды. Холодный утренний ветер сменился теплым, летним. Лес становился все выше и гуще, тут и там попадались полуистлевшие стволы упавших деревьев, из которых выбивались молодые побеги.

«Через три часа буду у Марки», — прикинул Яно, взглянув на солнце, и снова крикнул в глубину леса: «Гей, Марка!»

Бача Гронек любил порядок, поэтому, когда Яно не вернулся к вечеру из Валаски, он сказал Юрчику:

— Я всегда говорил, что из Яно никогда не выйдет порядочного югаса. Вот пошли его за солью, а он нейдет, и овцам лизать нечего.

Когда же Яно не возвратился и на другой день, бача поделился со старшим валахом своей тревогой:

— Не иначе как с Яно какое несчастье приключилось!..

Нет, с Яно не случилось никакого несчастья. Когда он в то чудесное утро спустился в Валаску, он прежде всего направился к Марке.

У отца Марки, старого Миши, неделю тому назад утонул в разлившемся Гроне батрак. А попробуй-ка в нынешних условиях найти в Погронье хорошего работника. И остался Яно у старого Миши, совершенно забыв, что должен был купить для бачи двадцать фунтов соли.

Седой Дереш и вся Дюмбьерская гряда и по сей день напрасно ждут, что вот-вот появится валах Яно с солью для овец...

А чтобы не повторялось подобных случаев, стал бача Гронек уже сам ходить в Валаску за солью.

Гей, Марка!

## Старая дорога

**З**а три дня до окончания прокладки нового шоссе старый Бабажич говорил старику Частичу:

— А славно, что теперь не будем через горы ездить. Да и сама дорога была никудышная. Одни тебе камни — всю душу вытрясет, пока доедешь. А еще, вспомни: как дожди-то взялись, по колеям прямо ручьи текли. Про езду и сказать нечего: с бугра да на бугор, по камням, по колодам. И с боков один лес. Ветер подул — назавтра лучше не езжай. Там, смотришь, поперек дороги ель свалило, там сосну.

Частич, соглашаясь, кивал и убежденно поддакивал:

— Не говори. Лошади в мыле, запарились, а управляющий — на тебя же ругаться! Дорога новая — она как скатерть. Пускай ты на час дольше едешь, да зато равниной. Любой холмик она тебе обойдет.

За окнами людской смеркалось.

Старики, с молодых лет в числе господской дворни исполнявшие обязанности конюхов, привыкли к темноте и не испытывали потребности зажигать свет. Да и к чему тут свет? Капусту в миске, что стояла на скамье, не надо было видеть. Довольно было чувствовать ее терпковатый вкус и горечь пригоревшей муки, которой заправляли подливку. Они привыкли получать подобные отходы из кухни управляющего и радовались, что от разогретой капусты по жилам их пойдет немножечко тепла, которого год от году все более недоставало высохшему стариковскому телу.

Теперь они сидели на скамье и, со стуком опуская в миску деревянные ложки, неспешно поглощали куски плохо вымытой капусты. Разом зачерпывали и, словно в такт, жевали. Капуста налипала на беззубые десны, ели не торопясь, следя, чтобы нисколько не упало на воскресные штаны, белесые от времени и вытертые на коленях.

В людской кроме них никого не было. Уже который год проводили они воскресные вечера в одиночестве. Более молодые дворовые уходили в деревню.

— Н-да, теперь дорога будет легче, — сказал Бабажич, зачерпывая капусту.

— Легче, — односложно подтвердил Частич, заглатывая длинный кусок капустного листа, прожевать который был не в состоянии.

— Поехать по такой дороге — красота! — начал опять Бабажич. — Кони ржут...

Он отложил в сторону ложку.

— Крикнешь: «Ге-ей!» — горячо продолжал он, — и покатили с ветерком. Никакой тебе тряски. Вот это езда!

— Ты ешь, простынет, — резонно заметил Частич.

Они всегда зачерпывали пищу одновременно, и потому он тоже отложил теперь свою ложку.

Бабажич зачерпнул капусты. То же сделал и Частич. Некоторое время оба только глотали и причмокивали, потом Бабажич снова повел разговор:

— И долго же мы ездили по той дороге — не сосчитать сколько лет...

— Поболее пятидесяти, — сказал Частич, — еще мы молодые были, когда начинали.

— Мне двадцать первый шел, — сказал Бабажич очень тихо.

— А мне двадцатый, — отозвался Частич, — поехал по весне первый раз в город, за железом.

— Ну а я летом, этак что-нибудь в июне! Собрался по дрова на вырубку, — сказал Бабажич и снова отложил свою ложку.

— И хорошо же в тот раз было ехать, — задумчиво произнес Частич. — Деревья не просохли после дождика, воздух душистый. Где съезд с горы — возле креста, знаешь, — нагнал я молодуху Залку. «Подвез бы, — просит, — на телеге». — «Садись», — говорю. И поехали мы вместе. Жаль ее было. Повенчали тогда с этим Малишкой, а он, что ни день, бил ее.

— Давай-ка есть, — предложил Бабажич, — а то капуста будет уж простылая.

Ложки застучали, и оба старика принялись за еду, пока Бабажич не прервал ее словами:

— По старой дороге ехали мы с покойной женой в костел венчаться. Тому уж сорок лет. Что снегу-то было вокруг! На земле, на деревьях, на взгорках... Одиннадцатый год она в сырой земле, бедняжка.

Бабажич смолк и стал глядеть в окно на двор.

— А весело было на старой-то дороге, — прервал скорбную тишину Частич. — С утра до ночи ездили телеги. Однажды у меня там пала лошадь. Споткнулась — и прямо о камень головой, — добавил он, желая вспомнить что-нибудь печальное. — Понятливый был конь, весь серой масти, и шерсть на боках кудрявилась.

— Тот самый, что нас вез венчаться, — не сразу отозвался Бабажич. — Как он ржал тогда всю дорогу!..

Старик Бабажич устремил взгляд в темноту нетопленной избы и прикрыл веки. Он видел старую дорогу всю в снегу, яркое утро, ныряющую по ухабам телегу. На телеге видел себя, молодого, рядом — жену, а серый конь, с кудрявящейся шерстью, весело ржал и нетерпеливо похрапывал.

— Жаль старой-то дороги, — проговорил он вдруг, широко открывая ве-

ки, — там хорошо было. Теперь позарастет травой и запустеет.

Частич поднял на него водянистые глаза и чуть слышно сказал:

— Твоя правда. И для чего прокладывали новую?..

От миски, что стояла на скамье, тянуло горьким запахом капусты.

## Благодарность

У него было большое поместье недалеко от тюрьмы. Во время прогулок он часто видел заключенных, которые лениво копались в земле под строгим взглядом надсмотрщика.

Он относился к ним с любопытством. Дело в том, что у него в библиотеке была книга итальянского ученого Ломброзо, которую он знал почти наизусть. И самым любимым его занятием стало искать в лицах заключенных черты преступников.

Однажды его внимание привлек заключенный, которого он раньше не видел. Небольшой, плечистый, он, согнувшись, окучивал свеклу. Услышав шаги, арестант выпрямился. Пан Мотычка — так звали нашего помещика — вытаращил на него глаза, с изумлением открыл рот и воскликнул: «Прямо из Ломброзо!» И зашептал: низкий лоб, взъерошенные волосы, выступающие скулы, могучая челюсть, оттопыренные уши. Он чуть не вскрикнул от радости.

Заключенный решил, что этот человек сошел с ума.

— Что это вы на меня вылупились? Дали бы лучше бычка!

Пан Мотычка машинально бросил ему сигару, которую тот ловко поймал.

— Хороша, — сказал арестант, сделав несколько затяжек, — а теперь можете глядеть сколько влезет!

И снова принялся за работу.

«Прямо из Ломброзо», бормотал по дороге домой довольный пан Мотычка. Он нашел то, что так долго искал. Ему никогда еще не приходилось встречаться с таким прекрасным образчиком преступника. С тех пор заключенный стал его любимцем. Пан Мотычка разыскивал его повсюду. Радость его увеличилась, когда он узнал от надзирателя, что арестант неисправимый разбойник и вор. Мотычка носил ему сигары, еду, разные лакомства, вел душевные беседы, как с дорогим другом. Надзиратель закрывал на это глаза, но никак не мог взять в толк: отчего это пан Мотычка так симпатизирует преступнику. Он даже сомневался, в своем ли тот уме.

Сам заключенный принимал приношения пана Мотычки с выражением благосклонности, как нечто само собой разумеющееся.

— Хороший мужик, да, видать, с приветом, — говорил он своим приятелям. В этом он полностью сходил с надзирателем.

Чудачество пана Мотычки шло арестанту на пользу. Он на глазах поправлялся, так что даже скулы уже не так выпирали.

— Хороший вы человек, век вам буду благодарен, — сказал он пану Мотычке, когда тот принес ему большущий кусок печенки. И подтвердил свои слова выразительным взглядом.

«Смотрите-ка, преступник, а ведь сердце у него доброе», — подумал про себя пан Мотычка и чуть было не разуверился в теории Ломброзо. — «Должно быть, он исключение», — решил наконец пан Мотычка, успокоив свои сомнения.

— Знаете, ваш-то сбежал вчера вечером, — коротко бросил как-то раз над-

зиратель пану Мотычке.

— Сбежал?! — в ужасе проговорил пан Мотычка. — Как он мог так со мной поступить? — добавил он грустным голосом.

— Ну, свобода есть свобода, — сказал надзиратель, — тут уж ничего не поделаешь, надоело ему. Того надзирателя, что с ним шел, чуть до смерти не убил. А когда тот уже почти без сознания лежал, сказал, что, мол, всем привет, а особенно вам. Вот бандитская рожа!

Пан Мотычка был потрясен. Он уже так привык к заключенному, что, перестав его видеть, почувствовал в душе какую-то пустоту.

— Такое выразительное лицо — жаль, право, жаль, — повторял он про себя, — хоть бы еще разок с ним встретиться.

И они встретились. Был теплый весенний вечер, пан Мотычка возвращался домой с прогулки. Он с удовольствием вдыхал освежающий лесной воздух. И удовольствие было еще большим от сознания, что этот лес был его собственностью. Было уже довольно поздно.

Вдруг он услышал за собой шаги. Пан Мотычка даже не успел повернуть головы, как один схватил его сзади за руки, а другой заткнул рукой рот. Из кустов вылез кто-то третий и встал перед ним.

— Господин наверняка при деньгах, он должен нам помочь, ничего не поделаешь, времена нынче плохие.

Говоря это, преступник вытащил из кармана пана Мотычки бумажник и снял с жилета часы на золотой цепочке.

Пан Мотычка не сопротивлялся. Вдруг он посмотрел в лицо вора и чуть не расплылся в улыбке. Он узнал старого знакомого — арестанта. Тот тоже узнал пана Мотычку.

— А это вы, очень рад, — благосклонно сказал он. — Ребята, отпустите этого господина, он сопротивляться не будет.

Бродяги отпустили пана Мотычку, тот с облегчением вздохнул и проговорил:

— Спасибо, спасибо вам.

— И нечего меня благодарить, не за что. Садитесь-ка лучше на это бревно да раздевайтесь. Вон у вас костюмчик-то какой: как раз то, что нам нужно.

Пан Мотычка остолбенел.

— Да вы не стесняйтесь, рубашку мы вам оставим, вы ведь ко мне всегда хорошо относились.

Пан Мотычка сделал, как было велено. А когда остался на лесной дорожке один, тяжело вздохнул.

— Да, странная благодарность, — подумал он. — Зато теория Ломброзо получила еще одно подтверждение, — добавил он с удовлетворением и медленно зашагал по тропинке к дому.

## Невезение пана Бенды

Каждый день, входя в канцелярию, чиновник Бенда просил одолжить ему газету.

— Видите ли, — говаривал он, — газеты мне ни к чему, а все-таки хочется знать иногда, что там в мире происходит. Времена что ни день меняются, и мир тоже. А покупать газету или выписывать — это мне не по карману.

— Как это не по карману, — возражал официал Барта, сидевший напротив, — это вам-то, после стольких лет службы? И на попечении у вас никого, кроме дочери, нет. Просто вы жмот, вот и все.

— Эх, дорогой коллега, — защищался Бенда, — вы же знаете, я коплю деньги, чтобы дачку себе купить; и в газетах я только одни объявления и читаю. Как выйду на пенсию, переберусь на дачу и стану хозяйствовать. Дача у меня непременно будет с огородом, чтобы можно было в земле копать. Прейскурант семян я уже приобрел.

В канцелярии раздался взрыв смеха.

— И что тут смешного? — возмущался Бенда. — Человек должен всем заранее запастись. Так вот, окучу я, стало быть, грядки — и обедать, а после обеда пойду в хлев, загляну в кормушки...

Слушатели покатывались со смеху.

— Да ведь обед у вас уже был, — замечал младший чиновник Малый.

— Тоже мне умник нашелся, — сердился Бенда, — я затем в кормушки загляну, чтобы проверить, есть ли корм у коров. У меня ведь будут две коровы. И все тогда будет свое: масло, сыр и прочее. Я теперь по вечерам книги по сельскому хозяйству штудирую. Да, не забыть бы: после хлева пойду взглянуть на гусей и кур. Потом полдник — и на прогулку. Вот будет жизнь!

— Что ж вы до сих пор не купили дачу с хозяйством?

— Ишь вы какие шустрые! Дачи-то нынче кусаются! Уж где только не искал, все места вокруг Праги исходил — цены везде безбожные.

— Добрые люди говорят, что в Шарку вас не пускают, да и в Ржичаны с Мукаржовом вам тоже дорога заказана. Стоит, дескать, увидеть такого грошového покупателя, как людей просто в жар бросает, — отозвался официал.

— Вам бы все шутки шутить, — разозлился Бенда, — лучше бы дали газету посмотреть: нет ли чего насчет продажи?

— Есть там кое-что, будто специально для вас. Да вот — сами прочтите.

— Неужели? И не дорого?

— Еще бы! Вот, пожалуйста.

Официал Карта достал из ящика стола газету и ткнул пальцем в объявление:

*«Продается дом в Свойшицах под Брно, с земельным участком площадью 435 мер, в том числе 135 мер строевого леса, с богатым живым и мертвым инвентарем, в живописной местности. Подробности — у владельца Карела Сервуса. Ближайшая станция Свойшице. Цена 560 золотых».*

Близорукий пак Бенда прочел объявление раз, другой, потом опустил руки на колени и, не замечая хитрых усмешек, воскликнул:

— Бог мой, до чего дешево, даже не верится!

— Да почему же не верится, — загорячился официал Карта, — сами знаете, Бенда, бывают на свете благодетели, которые спят и видят, как бы каждому да собственным хозяйством обзавестись. На такое, знаете ли, только благодетель способен. Вы только подумайте, 135 мер леса, 435 мер земли и дом — и всего за 560 золотых!

Практикант Лоуда за противоположным столом так смеялся, что с носа у него свалилось пенсне.

— Что тут смешного, если мне захотелось купить этот участок? — горячился Бенда. — Захочу и куплю. 560 золотых у меня найдется, может, и со скидкой уступит, раз уж он такой благотворитель. Для начала предложу 400 золотых.

— Но ехать нужно прямо сегодня же, — продолжал официал Карта, жестом утихомиривая смеющихся коллег, — по случаю такой дешевки там начнется столпотворение, я бы на вашем месте поспешил. Сейчас полдевятого, сходите к начальнику и попросите двухдневный отпуск, потом — сразу за деньгами, а в полдвенадцатого — на скорый до Брно. Через пять часов вы уже в Свойшицах.

— Это же расход какой! — ужаснулся Бенда.

— Да идите же, не то опоздаете, — торопил его официал, — каких-то 560 золотых — и сегодня вечером вы уже помещик. Господи, да ведь это почти даром, так и подмывает самому туда поехать.

Старый бухгалтер Бенда еще раз взглянул на объявление и пошел просить двухдневный отпуск.

— Жаль мне его, Карта, — сказал после его ухода официал Балота. — Приедет он туда, а его возьмут еще да посадят. Напрасно ты так, не нужно было стирать два нуля на конце!

— И поделом ему, скупердяю. У него дочка такая славная, а он никуда ее, бедняжку, не пускает, никуда ей нельзя: в театр — никоим образом, на танцы — ни-ни, все ведь больших денег стоит, пусть лучше дома сидит. Добро бы у него денег не было — так ведь он же выгодно женился, да еще от отца деньги достались, и теперь каждый год пару сотен откладывает — так пусть хоть раз за свою скупость поплатится. Вот будет потеха, когда он вернется из поездки!

— Только бы он из-за этих издержек с ума не спятил, — заметил практикант Лоуда.

— Так я поехал, — сообщил, просунув в двери голову, бухгалтер Бенда. — Начальник тоже советует ехать.

— Ну, желаем удачи, и не забывайте нас, когда станете большим баринном, — напутствовал его официал Карта, — и смотрите, не забудьте: скорый на Брно отправляется в полдвенадцатого.

\* \* \*

Помещик Карел Сервус, отдыхая после полдника, попыхивал сигарой.

— Странно, Йозефина, — обратился он к своей супруге, читавшей газету у окна, — в сегодняшней почте — ни одного предложения от покупателей. Может, 56 000 золотых кажутся им слишком высокой ценой? Если бы хоть кто-нибудь приехал, я бы, пожалуй, немного сбавил.

Раздался стук в дверь.

— Войдите!

В комнату вошел пан Бенда с чемоданчиком в руке.

— Мое почтение, — обратился он к помещику. — Я имею честь говорить с паном Карелом Сервусом?

— К вашим услугам.

— Я прочел сегодня ваше объявление, — продолжал Бенда, утирая потное худое лицо большим синим платком. — Так как ваше предложение меня устраивает, я приехал, чтобы увидеть предмет купли своими глазами. Разрешите представиться: старший бухгалтер Бенда из Праги.

— Весьма рад; я сейчас же велю заложить коляску, чтобы вы могли объехать все уголья и лес; а пока осмотрим жилые строения.

Всю дорогу бухгалтер Бенда издавал возгласы удивления и восторга.

Вернулись они только под вечер.

Помещик отправился в людскую отдать распоряжения на завтра, а пан Бенда остался с пани Сервусовой наедине.

— Ну как, вы довольны? — спросила его пани помещица.

— О да, милостивая пани.

— И цена ведь не чрезмерна, не так ли?

— Милостивая пани, — сказал Бенда просительным голосом, — я бы с радостью заплатил за все 400 золотых.

Пани Сервусова расхохоталась:

— О, да вы шутник!

— Ну хорошо, даю 500 золотых, — продолжал торговаться Бенда.

Взглянув на серьезное, осунувшееся лицо пана Бенды, пани Сервусова перестала смеяться. При свете лампы пан Бенда выглядел устрашающе. Он был совершенно лысый, со впалых щек свисали, как у турка, черные лоснящиеся усы, а, открывая рот, он всякий раз щелкал деснами.

И в довершение всего предлагает 400 или 500 золотых за поместье, которое они собираются продать за 56 000.

«Это сумасшедший, — подумала пани Йозефина. — Я не останусь рядом с ним ни секунды».

— Простите, — сказала она пану Бенде, — мне нужно посмотреть, где мой муж.

Поспешно выйдя, она разыскала пана Сервуса.

— Послушай, Карел, — сказала она, побледнев и с трудом переводя дух, — ну и покупатель к нам пожаловал! Он же сумасшедший. Представь себе, сперва он предложил за все четыреста золотых, а потом заговорил о пятистах. А вид у него! Глазами вращает и все время бренчит деньгами в кармане.

— Хорошенькая история! — вздохнул пан Сервус. — Я ведь тоже кое-что подметил, пока мы с ним ехали. Он и со мной заговаривал о четырехстах золотых, только я не мог его толком понять. Трижды меня «благодетелем» называл. Потом что-то бормотал про окучивание грядок и про кормушки.

У супругов вырвался сдавленный крик, потому что в людской появился пан Бенда:

— Даю 520 золотых за все — и по рукам! — произнес он, вращая глазами.

— Хорошо, хорошо, — сказал побледневший пан Сервус, снимая с гвоздя связку ключей. Вы еще не осмотрели подвалы. Возьмите с собой этот фонарь.

— Что ж, поглядим. Я хочу увидеть все.

Как только они спустились в подвал, пан Сервус схватил пана Бенду за горло, живо задул фонарь, швырнул Бенду на грудь картофеля и бросился прочь,

поспешно запирая за собой все двери.

— Я этого сумасшедшего запер. Утром его отвезут в Брно, — с довольным видом сообщил Сервус своей жене, поднявшись наверх. — Слышишь, как он там буйствует?

\* \* \*

Через три дня пан Бенда вернулся в канцелярию, еще более осунувшийся и худой, чем всегда. На вопрос, как прошла поездка, он ответил с вымученной улыбкой:

— Не очень удачно; мне не повезло.

Больше из него не удалось вытянуть ни слова.

## Родные места

**Р**одные места, отчий дом, сколько очарования таите вы в себе... Все воспоминания прекрасной поры детства оживают... Родная деревенька манит неодолимо...

Бродяга Малек, сидя на скамье железнодорожного вагона в обществе жандарма, который вез его по этапу в родные места, в отчий дом, придерживался иного мнения.

«Черт побери, — думал он, — снова меня везут в эту деревню, будь она неладна». Как видите, суждение это полностью противоположно приведенным выше изящным и нежным словам, которые, признаюсь, я списал из хрестоматии наших воспитанных и добропорядочных школьников.

С циничной дерзостью продолжаю списывание: «В родной деревне мы встречаемся с людьми, милыми и дорогими нам с детских лет...»

Увы, бродяга Малек не мог присоединиться к этим словам.

— Прощения просим, господин жандарм, — обратился он к сопровождающему, — что, Неедлы все еще староста?

Жандарм некоторое время размышлял, стоит ли отвечать Малеку, и наконец сказал:

— Да, Неедлы все еще староста.

— Сколько я от него натерпелся, — продолжал Малек, — вечно он мне твердил: «Послушай, зачем ты просишь подавание, лучше уж взять веревку да повеситься, коли ты ни на что не годен, надоедаешь только своим нытьем: «Сжальтесь, Христа ради, над стариком, подайте на пропитание».

Жандарм, закурив сигарету, ухмыльнулся, потому что Малек очень похоже передразнил голос старосты.

— Мой отец нищенствовал, — рассказывал дальше Малек, — и мать тоже, вот и я также. «Голодранцы вы, нищие, — говаривал Неедлы, — с такими надо разделаться. Всем вам веревку на шею и повесить в общинном лесу».

Сидевшие в купе рассмеялись.

— Вот ведь нахал, как врет, — шептала сидящая сзади бабка своей соседке. — Неедлы — добрая душа и очень толковый человек. Моему сыну устроил лицензию, ну, правда, кое-что и ему перепало, но зато лицензия на торговлю водкой в кармане. А этот Малек... Вор, каких свет не видывал. Представьте себе, милочка, он даже свящёнными предметами не брезгует. Стали мы святить к пасхе крутые яйца и, пока они лежали в сакристии, этот безбожник влез туда и все съел. Брал яйца голыми руками, а они ведь свяченые были.

Между тем Малек продолжал разговор с жандармом.

— Но, думаю, и до старости дойдет черед.

— Вас никто не спрашивает, так что помалкивайте, — сказал жандарм бродяге.

— Слава богу, — прошептали сзади, — господин жандарм велел ему замолчать. Мыслимое ли дело — слушать такие речи.

— Котвалтице, — послышался крик кондуктора.

— Приехали, вставайте, — приказал жандарм Малеку.

\* \* \*

Начальник канцелярии Ванек со своей семьей ехал на том же поезде, что и бродяга Малек.

— Сколько лет я не видел родных мест, — вздыхал он, — видите, дети, вон там башню, это башня нашего маленького костела.

— Как здесь хорошо, папа, — кричали дети в бричке, везущей их со станции в Котвалтице.

— Подождите, вот увидите дом, где я родился, знаете, тот, что мы сняли. Все время будем в лесу. На охоту будем ходить, рыбу ловить...

— Муженек, — сказала супруга Ванека, прижимаясь к нему, — ах, как я рада, что мы будем жить в твоей родной деревне.

Повозка поравнялась с бродягой Малеком и жандармом.

— Фу, — сказал господин начальник, — видите, дети, этого грязного человека, которого ведет жандарм? Это Малек. Он, когда я еще учился, — видите, вон там школа — все время ходил к школе просить подаяние. Видите, к чему это привело...

— На обед неплохо было бы цыпленка с горошком, — заметила его супруга.

Родные места... милые... дорогие...

## Нет больше романтики в Гемере (Венгерский очерк)

Когда в Добшине бывает базар и старуха Карханиха, которая у костела продает разноцветные платки, видит поблизости Юраша, она тотчас же убирает в ящик красные платки с голубыми колечками.

И вот почему. Лет пять назад Юраш купил Маруше Пухаловой точно такой же платок, но так и не женился на ней, хоть и ухаживал больше четырех лет.

С тех пор Юраш видеть не может эти платки, каждый раз скандалит:

— Что же ты, бабка, такие платки продаешь?!

Лет пять назад в Добшине тоже был базар. Юраш пошел туда с Марушей, купил ей платок, в городском трактире угостил стаканчиком сладкого вина и на обратном пути (а идти-то до Гнильцы четыре часа надо) то и дело объяснял ей в любви.

А под вечер этого чудесного дня два жандарма вели Юраша в Спишску Нову Вес — в суд за недозволенную охоту в лесу и дерзкое сопротивление властям.

Бедняга Юраш! Он проводил Марушу до дому и на радостях выпил сливовицы у Радика. А там услышал, что граф Андраши выехал сегодня в лес на охоту.

— Чем я хуже графа? — сказал Юраш, голова которого кружилась от любви и сливовицы, встал с изрезанной скамейки, пошел домой, взял двустволку покойного отца и отправился в лес браконьерствовать.

Идет он вдоль ручья по долине, а навстречу ему лесник Пехура.

— Уйди с дороги, Пехура, — сперва вполне добродушно посоветовал Юраш.

Лесник Пехура, который шел, не зарядив ружья, схватился за длинный нож, что был у него в кармане куртки.

— Черт сам не пройдет, так жандарма пошлет, — рассказывает теперь Юраш. — Отобрал я нож у Пехуры, и он уже стоял на коленях, потому что я грозил пырнуть его. И тут откуда ни возьмись жандармы... И после того...

Словом, суд приговорил Юраша к шести месяцам тюрьмы.

На четвертом месяце отсидки в камеру к Юрашу попал молодой Оравец. Он угодил под арест на неделю за угрозу бросить в ручей сельского старосту из Предней Гуты.

— Чудные дела у нас в Гнильце творятся, — сказал в первый день Оравец, лег на нары и уснул.

На следующий день он обратился к Юрашу:

— И Маруша...

И только на третий день договорил:

— Маруша выходит замуж.

Оравец, боясь, что Юраш его изобьет, сказал это в присутствии надзирателя, когда тот принес им еду.

Тем не менее Юраша перевели в камеру № 4 и, наложив на него дисциплинарное взыскание, посадили на несколько дней в темный карцер, ибо в тюремном дисциплинарном уставе сказано: «а) Если заключенный учиняет насилие над другим заключенным, то...»

А Маруша и вправду собралась выйти замуж. Узнав, что Юраша в тот достопамятный день увели жандармы, она забыла и думать о том утра, когда он, ее жених, объяснял ей в любви, и о том, что он купил ей на шею красный пла-

ток с голубыми колечками, и сказала отцу:

— Этот Юраш — чистый разбойник. Несчастной будет та женщина, что ему в жены достанется.

В следующее воскресенье Марушу провожал в костел Васко.

У Васко была большая мельница, на голубую куртку были нашиты тяжелые серебряные пуговицы. А у Юраша была крохотная хибарка, он поставлял древесный уголь на рудник и вместо голубой куртки носил рубашку с пряжками. Вдобавок это был негодяй и разбойник.

Через две недели Васко пришел к Пухалам просить руки Маруши. Старый Пухала дал согласие, но на следующий день Васко пожаловался, что у него болит спина — его подстерegli у мельницы парни, друзья арестованного Юраша.

Узнал об этом лесничий в Долинке и при случае как-то сказал добшинскому нотариусу:

— Какой наш народ романтичный!

А романтики еще прибавилось, когда Юраш вышел из тюрьмы.

Все видели, что Юраш торчал целый день у мельницы Васко.

— Ждите самых удивительных событий, — сказал лесничий в добшинском казино городскому нотариусу.

И в самом деле произошли преудивительные события.

Лежит Юраш в лесу у самой мельницы и внимательно следит, не покажется ли Васко.

— Ну-ка выйди, парень! — кричит Юраш мельнику. — Выдь-ка, мне надо с тобой потолковать!

У окна показывается испачканное мукой лицо Васко.

— Ну, так выйдешь ты или нет? — снова кричит Юраш.

Васко осторожно приоткрывает окно.

— Юраш, дружок, не сердись...

— Такпусти меня! — кричит Юраш. — Мне надо кое о чем с тобой потолковать.

— Юрашек, — упирается Васко, — не могу, ты меня избьешь.

— Спрашиваю, тыпустишь меня или нет? — гаркнул Юраш на весь дремучий черный лес, подходя к окну.

Васко, еле волоча ноги, подошел к воротам, отодвинул засов ипустил Юраша.

— Хорошо, — одобрил Юраш и шагнул в комнату, Васко — за ним. Оба сели.

— Юрашек, не сердись. Не выпьешь ли рюмочку? — дрожащим голосом спросил Васко.

— Выпью, отчего не выпить, — согласился Юраш. — Знаешь, о чем я хочу с тобой потолковать?

— Не сердись, друг милый, — попросил Васко. — Я и сам не рад, что так получилось. Девушки что листья с дерева. Сегодня здесь, завтра там.

— Васко, давай неси вино, — посоветовал Юраш, — да народ от окошек отгони.

Ведь половина деревни ждала, чем кончится эта встреча.

Вскоре Васко вернулся с вином, налил, оба выпили.

— Доброе вино, — сказал он, — в Ягре покупал. Не кислое, но и не сладкое.

— Замолчи! — ответил Юраш. — Да знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел?

— Милый, золотой мой, — попросил Васко, — к чему этот разговор! Мы всегда были товарищами, и... понимаешь, она мне понравилась, я — ей...

— Не об этом я спрашиваю! — закричал Юраш. — Садись-ка поближе да ви-на наливай, чего ты все к двери жмешься?

Юраш выпил и тихонько сказал Васко:

— Тот платок, что я Маруше купил, обошелся мне в два гульдена. Васко, заплати мне эти два гульдена, и дело с концом!..

— Видишь теперь, братец, — сказал немного спустя Юраш, пряча деньги за потертый пояс, — мы всегда были товарищами.

— Нет больше романтики в Гемере, — сказал на следующий день в добшинском казино лесничий из Долинки и стал рассказывать...

## Клинопись

Неподалеку от подножия обрывистых скал, где добывала уголь фирма «Вильгельм и К°», на втором этаже здания дирекции сидел в своем кабинете бледный, дрожащий инженер компании Павел Вебрейх. Время от времени он потирал спину, в чрезвычайном волнении, что было ему вообще-то несвойственно.

Павел Вебрейх уже давно жил на Востоке. Самое любопытное заключалось в том, что здесь, на северо-востоке Малой Азии, где добывала уголь фирма «Вильгельм и К°», он поспешил применить свои принципы, усвоенные им в Европе. Другими словами, он с чистой совестью клал себе в карман часть заработка шахтеров, людей самых различных национальностей, как-то: арабов, грузин, персов и армян — совершенно так же, как где-нибудь в Центральной Европе.

Но, кроме того, он ставил здесь различные научные опыты, стремясь на практике проверить, возможно ли вообще ничего не платить шахтерам. Другим его развлечением, совершенно несхожим с остальными его занятиями, были поиски древних клинописей, которые оставили на окрестных скалах ныне вымершие жители этой страны.

И в этой области инженер Павел Вебрейх достиг блестящих результатов. Не было в Европе такого ученого исторического общества, которое время от времени не публиковало бы в своих научных журналах открытия инженера, его сообщения о найденных им новых клинописных текстах и их расшифровке.

Словом, Павел Вебрейх был весьма известным исследователем древней ассирийской письменности. За несколько тысячелетий до нашей эры в этих краях жили ассирийцы, занимая территорию от Тигра и Евфрата до северо-востока Малой Азии, где в наши дни добывала уголь фирма «Вильгельм и К°».

Смутный араб, слуга инженера, смотрел в замочную скважину на странное поведение своего господина. Тот то и дело тер спину и ерзал на стуле, склоняясь над бумагами с оттисками клинописи.

Павел Вебрейх расшифровывал новый, весьма пространный текст, открытый несколько недель назад на соседних скалах. Сейчас перед инженером лежала именно эта клинопись.

Чем дольше смотрел Павел Вебрейх на оттиск, тем усерднее тер он спину и ерзал так чудно, что араб, слуга инженера, подражая своему господину, тоже начал ерзать и тереть рубаху так же странно, словно уклонялся от многочисленных ударов.

Это удивительное развлечение продолжалось до тех пор, пока к Павлу Вебрейху не пришел гость — глава фирмы Вильгельм.

— Приветствую вас, господин директор, — сказал бледный Вебрейх.

— Я пришел узнать, как подвигается расшифровка вновь найденного клинописного текста, — сказал Вильгельм.

— Я прочитал его, — произнес дрожащим голосом инженер.

— По вашему лицу сразу заметно, сколько сил вы положили на разгадывание этой клинописи, — сказал Вильгельм. — Что же с вами случилось, почему вам не сидится спокойно?

— Я не нахожу себе места, разрешите вам сказать, господин директор, — отвечал бледный инженер. — Поневоле начнешь ерзать, если мороз подирает по спине. Ужасные вещи я узнал из этой новой клинописи.

Тут Павла Вебрейха снова схватило, и он принялся чесать спину об угол шкафа.

Несколько успокоившись, он продолжал:

— Извините, что вы видите меня в таком странном состоянии, но вы несколько не удивитесь, когда я прочту вам перевод этой клинописи. Необыкновенно интересная надпись. У древних ассирийцев, как я узнал из расшифрованного текста, еще шесть тысяч лет назад здесь были шахты. Произошло восстание...

Директор Вильгельм, услышав слово «восстание», нервно закусил свой черный ус.

— Началось восстание, — продолжал Вебрейх. — Собственно говоря, древние ассирийцы, которые были рабами и работали в шахтах, взбунтовались... Произошли ужасные события... Древние ассирийцы прогнали своих начальников...

Директору пришлось сесть, так как от слов инженера у него подкосились ноги.

— Да, — продолжал инженер, — они прогнали своих начальников и в память об этом событии выбили на скалах надпись, которая рассказывает, что тогда произошло.

Павел Вебрейх склонился над бумагами и начал переводить текст клинописи, сопровождая свои слова различными невразумительными восклицаниями, обращенными к директору.

Он переводил:

— «...Было нас, ассирийцев, в копиях много... а их было мало... Но они подгоняли нас бичами... И даже малую, рабскую плату нам не доплачивали... И было тех адсубаров как пальцев на руке...»

— «Адсубар» — это что-то вроде нынешнего инженера, — пояснил Вебрейх и продолжал переводить:

— «У тех адсубаров взгляд грозный, слова их еще ужаснее, и дыхание вонючее...»

— Какая дерзость! — возмутился директор. — Читайте дальше.

Вебрейх прочитал:

— «Слова адсубаров скотские, и мы молчали, как тигр в тростниках Евфрата, израненный стрелами лучников.

И сказали мы себе, что адсубаров мало, столько же, сколько пальцев на руке, а нас — что звезд над горами Ирана...

И после того сказали мы, что конец адсубаров близок.

И вечером одного дня, когда они выходили из нагашей...»

— «Нагаш» — это серебряный рудник, — пояснил Вебрейх и продолжал:

— «...Когда же они выходили из нагашей, схватили мы их одного за другим и...»

Инженер поерзал и прочитал сдавленным голосом:

— «...и плетками из бычьих хвостов учинили алварашукбу», что значит расправу, и была «марушукба», это значит «пролилась их кровь...»

Вебрейх дочитал клинописный текст, и араб, слуга, что подглядывал в замочную скважину, увидел самое удивительное зрелище: Вебрейх и директор чесали свои спины об углы шкафа.

И оба были бледны как полотно.

Когда наконец они успокоились, директор сказал:

— Одно меня радует: эти древние ассирийцы давно уже вымерли...

А что, если вымерли не все?

## **Наш дом (Рассказ Лойзика)**

**Д**ом, в котором живем мы, красивый и сразу всякому бросается в глаза. В древне люди живут в собственных маленьких низких домиках и хибарках. А тот дом, где мы живем, не наш, но зато он огромный, высокий. В нем пять этажей, подвал и чердак. Из подвала до самого чердака идут лестницы. Они хоть и узенькие, но зато длинные-предлинные. Мы по ним поднимаемся к себе на пятый этаж. Мама, правда, ругается: уж очень высоко мы живем, а папа утешает, напоминая, что было бы гораздо хуже жить на улице.

А мама плачет и говорит, что лучше уж жить на улице, чем терзать свои несчастные легкие. (Она всегда, как закашляется, говорит: «Ах, мои несчастные легкие!») Папа уверяет, что когда-нибудь дело тем и кончится, что мы окажемся на улице. А я заранее радуюсь: то-то будет потеха!

Одного мне только жалко. Дворника у нас тогда не станет и подшутить не над кем будет. Ну да кто-нибудь еще найдется. Есть на худой конец наш Лойза-мальш, например. А ведь и правда! Значит, о дворнике можно не жалеть. Вечно он только бранится насчет квартирной платы в конце квартала, да так, что мне этого нельзя и слушать, даже если я и не на все слова обращаю внимание.

Ну, понятно, все будет к лучшему. Авось мама поменьше кашлять станет. Здесь-то ее мне даже жалко бывает!

Но я хотел о нашем доме написать.

Я уже сказал, что дом красивый, высокий, очень приметный. Стены гладкие, выкрашены на славу желтоватой краской, немножко, правда, от времени грязной. Да разве это так важно, если в доме столько квартирантов. В общем, хозяин сдает двадцать восемь квартир: в подвале три, на первом, втором и третьем этажах — по четыре, на четвертом и пятом — «на галерке» — по пяти, да еще на чердаке три. Всего, значит, двадцать восемь квартир — здорово много! Как и всюду, квартиранты платят за квартиру, шумят, ругаются между собой и сбрасывают всякий мусор на маленький двор. Там уже выросла преогромная куча. Она когда-нибудь до самого чердака дорастет.

Но это еще нескоро, и нам этого не дожидаться. Из всех жильцов, — не считая собак и кошек, а их здесь в доме 23, то есть, если написать словами: двадцать три! — нравится мне больше всех старый дедушка с чердака.

Он каменщиком раньше был и говорит, что строил и эту «башню». Так он наш дом называет.

Иногда мы болтаем с ним о разных разностях. Я заметил, что он хоть и старый, а из ума не выжил и вести себя умеет. Обычно он куда-то в слуховое окно смотрит, поплеывает на крыши и пускает густые клубы дыма. Это он курит.

И всегда ругает разных живодеров и обирал... Мне кажется, он намекает при этом и на нашего хозяина дома, и на других богачей, которые наши денежки у нас берут.

Просто удивительно, что те люди, у которых и без того денег хоть отбавляй, еще хотят взять у тех, у кого их вовсе нету.

Я как-то сказал об этом дедушке с чердака, а он плюнул и ответил, что это жульничество и таким людям надо дать хорошего пинка.

Но кому дать, так мне и не объяснил. Может, он думал о тех, кто позволяет отбирать у себя последнее, что у них есть?

Потом он мне рассказал и о нашем доме.

Раньше будто бы здесь пустырь был, а на нем какие-то доски лежали и всякая всячина. Потом этими досками огородили место, где дом задумали построить, и выкопали большую яму под фундамент.

И, как всегда бывает, одни люди копали, а другие за ними смотрели. Те, кто смотрел, от работы больше уставали, потому и денег им больше платили. В общем-то все было по справедливости.

Вправду ли так дедушка-каменщик думал или просто так сказал, я до сих пор не знаю: уж как-то очень чудно он подмигивал, когда все это говорил.

После фундамента и самый дом стали строить. До четвертого этажа довели, а потом все рухнуло. Семь человек убило, но хозяин не бросил свою затею, все-таки достроили дом до крыши. Под этой крышей теперь и живет старый каменщик, то есть этот дедушка с чердака.

Я спросил: почему же никто этих семерых покойников не боится? Ведь они могут людей испугать. А дедушка меня просмеял.

— Если, — говорит, — эти покойники при жизни ничего не сделали тем, кому их бояться следовало (кто это такие, я снова не понял), так теперь уж, когда они гниют, и вовсе никому ничего не сделают.

А я сказал, что на их месте я сделался бы привидением и ходил бы в такой дом людей пугать. Дедушка меня опять на смех поднял и глупым мальчишкой обозвал.

Мальчишка там я или нет, я уже решил: буду каменщиком, а если случится со мной то же самое, уж и покажу я этим неведомым людям, своих не узнают!

— Когда этот дом построили, — рассказывал мне еще дедушка, — взял я, говорит, в руки карандаш и подсчитал свои заработки. Вышло, что получал я ровно один гульден и пятнадцать крейцеров в день. И я еще доволен этим остался. И архитектор будто бы тоже подсчитал, и вышло, что он гульденов десять в день зарабатывал. И он недоволен был и все ругался, главное, из-за тех семерых, что на стройке убились. Ничего удивительного! Ему пришлось раскошелиться, дать вдовам один-другой золотой. И, мол, больших денег стоило ему все это дело.

Вот какую историю мне плюгавый старик каменщик рассказал. А теперь у него только и делов, что перекладывать трубочку во рту со стороны на сторону да ворчать целый день.

Я уже радуюсь, что мне тоже делать нечего будет.

Ну нет, со мной ничего подобного не приключится. Я упаду с лесов, убьюсь и привидением стану, чтобы людей пугать. Да испугать-то я и сейчас кого угодно могу. Моя мама, к примеру, говорит, что я оборванец, будто пугало огородное. Я сроду еще пугала не видывал, но один парень, что в деревне побывал, объяснил мне, что это — чучело такое, воробьев пугать.

Сейчас, значит, я могу воробьев пугать, а как вырасту — черт возьми! — стану на людей страх нагонять!

Даже живой!

Как гляну я на свою маму, когда она закашляется, да посмотрю на нас всех, так и кажется мне, что прав дедушка с чердака.

А почему же бояться таких оборванцев, как мы, если у людей совесть чиста?

И мне хочется не только пугать их... Ну, да там видно будет!

## Восточная сказка

**В** некоем государстве, не в нашей стране, а далеко-далеко отсюда, жил некий государь, который вечно опасался за свою жизнь, и называли его султаном.

Не знаю точно, где это произошло, то ли в Турции, то ли в Персии, только все это истинная правда.

Вот как было дело. Новый сотрудник редакции газеты «Идалмо» ночевал в редакции на матрасе. Он мирно спал, а рядом, за стеной, в другой комнате тоже мирно спал главный редактор этой же газеты.

В полночь в коридоре послышались шаги. Несколько человек тяжело топали, как могут топтать только стражи общественного благополучия.

Вскоре пробудился и новый сотрудник редакции, подумав, что на него падает потолок.

Но не обрушился на него потолок. Это шумели те самые люди, что топали в коридоре. Они колотили ногами в двери редакции и громко кричали:

— Откройте во имя аллаха, откройте во имя аллаха!

Им открыл дверь новый сотрудник редакции, и в редакцию ворвался юсупаша — начальник жандармерии того края, и еще двое, все вооруженные до зубов.

И спросил начальник нового сотрудника редакции:

— Что вы здесь делаете?

— Сплю, сейчас ночь, — отвечал сотрудник редакции.

— Ваше имя? — строго спросил юсупаша.

— Такое-то.

— Имя вашего отца?

— Такое-то.

— Вашего дедушки?

— Такое-то.

— А вашей бабушки?

— Такое-то.

— Вашей повивальной бабки?

— Такое-то.

— Имя повивальной бабки вашего отца, повивальной бабки вашей бабушки, отца вашего дедушки, деда вашего дедушки и бабушки вашего прадеда?

Спросив так, юсу-паша подошел к матрасу и осмотрел его.

— Здесь нет, — недовольно проговорил юсу-паша. И пошел обыскивать печку.

— И даже здесь нет, — проворчал он.

После этого он осмотрел чернила, кисет, пальто, повешенное на дверь.

— И там тоже ничего нет, — недовольным голосом сказал юсу-паша своим подчиненным.

Осмотрев плевательницу, подкладку пиджака и штаны сотрудника редакции, посетители ушли, оставив ошеломленного сотрудника редакции в изумлении от всего того, что ему довелось видеть.

Юсу-паша после того пошел со своими людьми на квартиру главного редактора, и повторилось там все, что происходило рядом в редакции, с тем лишь различием, что гости осмотрели и тарелки и стакан с водой.

А заглянув в рот сыну главного редактора, ушли.

Главный редактор сказал им:

— Как у себя дома!

— Как у себя дома, — ответили в один голос жандармы и ушли.

На следующий день повторилось то же самое, что накануне, с той лишь разницей, что юсу-паша под тем предлогом, что раньше работал сапожником, осмотрел ботинки нового сотрудника, а в квартире главного редактора — под предлогом, что когда-то был грудным младенцем, засунул голову в детскую коляску и долгое время не мог выбраться оттуда.

И было так целую неделю из ночи в ночь.

На седьмую ночь главный редактор спросил:

— Какого дьявола вы здесь ищете, в конце концов?

Юсу-паша улыбнулся в ответ и кивнул своим людям.

И жандармы хором ответили:

— Ничего не ищем. Это мы просто так, по привычке.

И в той стране эта привычка сохранилась до сей поры, и тот юсу-паша жив, если не умер.

Седой дедушка, рассказавший своим внучатам эту сказочку, помолчав, добавил еще:

— Запомните, детки! Ничего мы не ищем, это мы просто так, просто так, по привычке!

## Предвыборное выступление цыгана Шаваню

Были у цыгана Шаваню политические убеждения? Нет. Ему было безразлично, какая партия стоит у кормила власти в новом здании парламента в Пеште. В газетах решались важнейшие политические проблемы, а цыган Шаваню только меланхолично любовался широкими равнинами, на которые открывался такой замечательный вид из его домика, стоявшего на самом краю Борошгаза.

Самые прекрасные политические лозунги не могли взволновать старого Шаваню, а когда в соседнем городе проводили народные собрания, Шаваню любил смотреть на толпы крестьян в бекешах и потрепанных широких штанах, отправлявшихся в город послушать благородного пана Капошфальви, который трижды в год изволил выступить перед своими избирателями.

В такие дни в деревне, как вы сами понимаете, никого не оставалось, а это было на руку семейству Шаваню: можно было кое-что стянуть. Поэтому за приступы красноречия пана Капошфальви Шаваню приходилось потом расплачиваться отсидкой.

Кроме абсолютной независимости политических убеждений, у цыгана Шаваню была еще одна особенность. Он играл на скрипке. О цыганских музыкантах написано уже бесчисленное количество страниц. Но Шаваню был и в этом отношении своеобразен. Обычно цыгане играют, а крестьяне тихохонько сидят, не пикнут, слушают, иногда танцуют. Но когда играл Шаваню, крестьяне должны были пить, а сам Шаваню в отличие от своих цыганских коллег, играя, никогда не пил и не засыпал. Шаваню играл, крестьяне пили, он исполнял все новые и новые мелодии, одну веселее другой; ну, а поздно ночью, когда крестьянам уже было безразлично, по какой струне он проводит смычком, староста вскакивал из-за стола и кричал: «Nagyon szér!» (Замечательно!) и бросал Шаваню деньги, а тот все играл да играл. Случись в такой момент, что аплодирующего старосту от возбуждения хватил удар, слушатели единодушно выбрали бы старостой Шаваню.

Были назначены выборы в парламент. Благородный пан Капошфальви десять лет подряд был депутатом, при этом ни разу не вызвал недовольства у своих избирателей и никогда не имел соперников. Но в последнее время он загрустил и, как только речь заходила о выборах, сидел понуриив голову: у него появился соперник.

Капошфальви потерял сон. Будь новый кандидат хотя бы «благородным» человеком, который мог бы, подобно ему, Капошфальви, проследить свою дворянскую родословную до XVI столетия! Художественно выполненный дворянский герб Капошфальви висел в его рабочем кабинете: красивая выразительная голова осла и рука с мечом, согнутая под углом 45 градусов. Но его соперник не имел ни дворянского звания, ни герба в кабинете, ни кабинета вообще, потому что был простым крестьянином, правда, богатым, но все же крестьянином. Его единственным званием было то, которым его наделили крестьяне: пан староста. Это он кричал Шаваню «Nagyon szér!». Звали его Фереш. Его фамилия даже не кончалась на букву «и», окончание, которым гордились свыше пяти тысяч венгерских дворян.

Единственный сын Фереша изучал в Праге право. Этот молодой человек вбил себе в голову, что его отец должен стать депутатом, так как, сдав первый

государственный экзамен, юноша вообразил, что второй ему удастся сдать гораздо легче, если в списках будет сказано: «Янош Фереш, сын депутата парламента».

Борошгазский староста Фереш, до сих пор трижды в год с восхищением внимавший речам благородного пана Капошфальви, на последнем собрании крикнул оратору: «А мы что, пустое место?» Фереш малость напутал. Сын велел ему во время речи благородного пана Капошфальви громко выразить свои оппозиционные убеждения. Но благородный пан, к несчастью, говорил о важности разведения мясного скота, и тут-то, к всеобщему изумлению, Фереш разразился упомянутым возгласом: «А мы что, пустое место?»

Благородный пан пригласил цыгана Шаваню, вернее, не пригласил, а велел привратнику привести его. Когда привратник явился с цыганом, Капошфальви сидел в своем кабинете.

— Дорогой друг, — обратился благородный пан к Шаваню, у которого тряслись ноги. — Я надеюсь, что ваши политические убеждения глубоко оскорблены бестактным выступлением пана Фереша, который намерен выставить свою кандидатуру. Я был в течение десяти лет вашим депутатом, и все вы знаете, что не впустую потрудился.

Цыган Шаваню не понял и десятой доли из речи благородного пана и потому только кивал головой, а после каждого елова приговаривал: «Смотри-ка, вот оно как!» Наконец он пришел в себя и ответил:

— Вельможный благородный пан, я бедный цыган *romano čanejai čuprikane devlehurebske* (клянусь богом), вельможный пан, я никого не обманываю, не вору, *domneha sovelam* (сплю в комнате), и только несколько лет назад *prašta zidžubena* (со мной случилась беда).

Теперь уж благородный пан не понял Шаваню, потому что в его ответе было очень много цыганских слов. Поэтому он поддакивал: «Верно, верно» — и, чтобы закончить разговор, сказал:

— Я знаю, что ты порядочный человек и прекрасно играешь на скрипке, мне говорили, что крестьяне могут без конца слушать твою игру и, если ты попросишь, ни в чем тебе не откажут. Так вот, прошу тебя, прошу вас, дорогой друг, ходите из трактира в трактир, играйте там и при этом кричите: «Да здравствует наш депутат благородный пан Капошфальви!» А я щедро вознагражу вас за это. Но кричите хорошенько!

— Что говорил тебе благородный пан Капошфальви? — спросил цыгана в тот же вечер староста Фереш, проходивший мимо цыганских хибарок.

— Вельможный пан староста, я должен прославлять в трактирах благородного пана, — сознался Шаваню, которого мало трогало, что перед ним стоит соперник благородного пана.

Дома Фереш передал сыну слова Шаваню.

— Не беспокойся, делай то же, что я, а у меня есть идея, — ответил студент-юрист. — Завтра я сам поговорю с Шаваню.

— Шаваню, я слышал, что ты должен прославлять благородного пана. Молодец, кричи хорошенько, — сказал он на следующий день Шаваню. — Сколько у тебя детей?

— Двенадцать, — ответил цыган.

— Хорошо, — продолжал сын старосты. — Отпусти этих двенадцать детей ко мне на воскресенье. Получишь за каждого по пятьдесят крейцеров.

Неожиданно привалившее счастье, надежда получить деньги на минуту ошеломили цыгана, но он быстро очнулся и стал торговаться. Это, мол, мало, надо бы дать хоть по шестьдесят крейцеров за ребенка.

— Ладно, получишь по шестьдесят, — согласился молодой человек, — но, советую тебе, кричи погромче.

Наступило воскресенье. Утром все двенадцать детей Шаваню, можно сказать, в чем мать родила, вышли из усадьбы Фереша. Впереди шагал старший, тринадцатилетний мальчик — у него была рубашка подлиннее, — с зеленым знаменем в руках, на котором было написано: «Да здравствует благородный пан Капошфальви, наш депутат вот уж десять лет!»

В усадьбе их должным образом проинструктировали, и утром, когда особенно много народу шло в церковь, эта чумазая стайка выступала со знаменем по самым оживленным улицам и кричала во всю глотку:

— Да здравствует наш депутат благородный пан Капошфальви! Да здравствует наш благородный отец!

«Благородный отец» снял свою кандидатуру.

## На сборе хмеля

**В** длинных бревенчатых постройках слышен говор, смех, пение. Равнина от Спалта до самого Нюрнберга погружена в туман, из которого, как составленные в козелки ружья военного лагеря, торчат составленные вместе жерди хмельниц. И только островками леса высятся подпорки, где еще кудрявятся усики свисающих плетей хмеля.

Равнина, сумрачная и унылая теперь, когда большая часть обширных хмельников уже обобрана, кажется сизой в тумане.

И только где-то там, на юге, чернеют контуры леса, да черные вороньи стаи прорываются сквозь туман, окунаются в него, вновь появляются на составленных подпорках хмельниц, крича: «Карр, карр...»

Зато внутри построек царит оживление.

За длинными деревянными столами — множество людей, пришедших сюда со всех концов Германии. Мужчины, женщины и даже несколько подростков — те, кто уже за месяцы до этого заговорил о том, как в августе подзаработает немного денег, когда потребуется чесать хмель.

Есть здесь бродячие поденщики, оборванные, опустившиеся, работающие для того только, чтобы пропить полученные деньги в ближайшем кабаке; есть наряду с ними и люди немощные, неприспособленные к тяжелому труду, которые хотят сберечь про черный день добытую копейку; и все они теперь говорят наперебой, поют, смеются — с тем ощущением беспечности, которого им так давно недоставало, и при этом счесывают душистые шишки хмеля со стеблей в корзины, — а утреннее августовское солнце тем временем вытесняет с безлюдной равнины туман.

Запах хмеля приятно раздражает ноздри, иногда вызывая кашель, а аромат смолы, источаемый свежим срубом, дурманит голову.

— Это, как я смотрю, приятней, чем ходить за куском по миру! — сказал расположившийся в конце стола оборванец.

— Работа легкая, — подтвердил сидящий рядом. — Ты кто по ремеслу?

— Кузнец, — ответил оборванец, — звать Карлом, из Ганновера.

— А я из Гамбурга, — представился второй, — каменщик. Хайсом зовут.

— Я уж двенадцать лет без заработка, — продолжал кузнец, — прежде-то хорошо шло дело, а как нанялся на железку, сломал на их работе ногу. В Тюрингии в больнице три недели провалялся. Инвалидную карту дали. И думаешь, хозяева мне возместили за увечье? Еще хотели, подлецы, чтоб я больницу оплатил. «Ты, — говорят, — напился, вот и сломал ногу».

— Бедного человека, как собаку, гонят, — сказал Хайс, — а заступиться некому. Меня один мастер за то выгнал, что его дочку я обхаживал. «Дочь моя не про вас!» И ведь простой десятник. Я и скажи ему, что он каналья. Ух и остервенился он! Палку схватил да на меня! Мы на лесах стоим, от земли метра три будет... Я только крикнул: «Ах ты, черт, каналья!.. Как развернусь — он и слетел на землю. Оскорбление действием должностного лица.

— Сколько же тебе присудили, друг? — спросил сидевший против него малый — пекарь, судя по колпаку.

— Шесть недель, — отвечал каменщик.

— Только-то? — вмешался с другого конца стола старичок, жевавший сигарный окурок. — Спихнуть, когда там от земли три метра... Шесть месяцев — это скорей похоже. Мне вот в свое время поблажки не дали. Шел я по линебургской пустоши на Шлезвиг. В какую-то деревню — уже около моря — заходим побираться еще с одним. Не помню, кто он был, — дело давнее. Ну, обошли мы все дворы — а тут вдруг полицейский. «Проследуйте со мной!» «Еще чего, — думаю, — в кармане денег целая пригоршня — там всюду подают, — а мне проследовать с тобой!» Начал я препираться, а потом думаю «Ладно, мы сейчас при народе — а погоди, как отойдем немного...» И не стал спорить. А когда подошли, уже далеко за деревней, к самому каналу, схватил его за горло и пихнул в трясину. Пока он выбрался, нас уже было не видать за травами. На следующий год идем еще с одним по Прусской Силезии, и останавливает нас у Кладиска какой-то полицай. Знакомая такая харя. Вглядываюсь — тьфу, черт, да это тот, которого я запихнул в трясину, там, у моря.

За столом рассмеялись.

— Шесть месяцев схлопотал, — сказал старичок, — да еще в исправительном столько же.

— А что, по линебургской пустоши неплохо походить, — сказал каменщик. — Всюду пускают, иной хозяин сам тебя зазовет; только вот жалость — деревни очень уж далеко друг от друга. Часов пять иной раз отшагал — а деревни не видно. Да и идти-то надо низкой лесной порослью, и трава накрывает тебя с головой. Чуть сбился с правильной дороги, так иной раз дня три проплутаешь. Все кажется, что ты здесь уже был. Вернешься, и придешь опять туда, откуда вышел. Но в деревнях зато куда как хорошо. И в господских имениях, где замки. Наешься от пуза, и монет сколько настреляешь! А спать охота — вышел из деревни, ложись себе в траву и спи. И так до Шлезвига. Да и в Шлезвиге хорошо.

— Верно говоришь, — подтвердил кузнец, — рыбы наешься досыта. Рыбы у моря полно. Мы как-то раз в одной деревне влипли... Пришел я и еще один, с которым мы ходили, к старосте: так, мол, и так — голодные. «Садитесь, принесу вам рыбы». Выходит в сени, а там у него жареной рыбы полна миска. Дает нам каждому по штуке. Съели мы и пошли. А рыба эта очень была вкусная, и вот в сенях попутчик мой взял да и опрокинул всю ту миску себе в полу. Полны карманы напихал — и даем ходу. Не успели мы из двора выскочить, бежит

за нами староста. Попутчик-то забыл, что у него в карманах дыры, а через них, пока мы шли, вся рыба одна за одной и выпала. Вот ведь несчастье! Бежим, а как народ увидел, что за нами староста погнался, тоже давай нас ловить. Собак натравили... Потом нас староста в пустом хлеву запер. А утром заявился и протягивает иглу с ниткой — дескать, чтобы попутчик мой зашил свои карманы!

У стола засмеялись, а старичок, жевавший табак, пронес:

— Не всякому слову верь, но говоришь ты складно. Знавал я одного, он все рассказывал, рассказывал, где побывал, куда его нанимали, а после, как я к нему в послужной-то список глянул, — и вышло, что он три недели всего ходит по поденкам.

Старичок закашлялся и сплюнул.

Кузнец настороженно прищурился.

— А я знавал одного деда, — сказал он, — и все-то было не по нем, все он бурчал.

— Старый человек всегда знает, что говорит, — вставила сидевшая у стола женщина с неприятным лицом.

— Х-ха, — засмеялся кузнец, — Фодк у нас возговорила. Втюрилась напоследок в старца.

— Да он мне как папаша, — посмеивалась Фодк, — а я ему как дочь; он хоть ворчит, а добрый. Мы с ним из-под самого Виттенберга все шли.

— Ты чем сейчас живешь-то? — спросил каменщик.

— Хожу по свету, — осклабилась Фодк, — где чего дадут... Со мной и дочка ходит.

— Где она, дочка-то? — спросил кузнец.

— Да вон, у третьего стола. Красивая девчонка, а...

Фодк вздохнула.

— И что с ней потом будет, — добавила она, понизив голос, — богу одному известно.

— Что будет? — подхватил кто-то из сидевших напротив. — Бродяжить будет и помрет где-нибудь на дороге, как и ты, как все мы. Другие явятся, тоже пойдут бродяжить, как вы с ней. Эти помрут — опять же явятся другие...

— Какой разумник выискался, — засмеялся у того же стола пекарь. — «Другие явятся»... Х-хе... Теперь тут мы. А что нам до других?

— Всей жизни жаль, — проговорил разумник.

— А нам тебя жаль, что ты дурью маешься, — сказал кузнец. — К чему такие разговоры: «Всей жизни жаль...» Теперь ты хмель чешешь. Теперь-то мы под крышей! — вскричал он.

— Теперь нам хорошо, — сказал каменщик.

— «Теперь»... вот то-то, что «теперь», — возразил прежний голос.

За столом на мгновение стало тихо. Каждый почувствовал в этих словах правду. Взгляды невольно обратились на равнину, простиравшуюся за окном. Пустую до самого горизонта, как и вся жизнь у большинства собравшихся здесь людей.

— Наполненные корзинки отнести! — слышится голос нанимателя.

Солнце прогрело деревянные постройки, и туман на равнине истаял.

— Через два дня разойдемся кто куда, — сказал кузнец.

— Кто куда, — повторил за ним каменщик.

Карр, карр... — донеслось из-за окон. Воронья стая неторопливо перелетела жерди хмельников, и от дыханья близкой осени затрепетала промасленная бумага в оконных рамах.

## Ослик Гут (Зарисовано в Бернских Альпах)

С весны и до самой зимы Анна Пэг была в горах, на «альме».

Знаете альму? Ту самую, о которой в Швейцарии постоянно поют: «Там, на альме, хотел я быть; там, на альме, хотел я жить; розы альпийские на ней срывать...» — и т. п. Короче говоря, прославленные «альмы» — это поросшие высокой травой плоскогорья в Альпийских горах. В «альме» над головой у вас глетчеры, а под ногами — альпийские долины с зыбчатыми навесами скал, под которыми расстилаются и раскидываются деревушки с характерными широкими крышами на домах, обложенными крупным камнем для защиты от альпийских ураганов и лавин.

На тиллингенской альме и жила все долгие шесть месяцев Анна Пэг — тетка Анна, как называли ее внизу, в долине. На ее попечении крестьяне из тиллингенской деревни оставляли свой скот, а точнее: своих коров. Под скалою у Анны был домик с такой же крышей, как у деревенских. В нем был очаг, где она стряпала себе и черному псу, правда, невзрачному, но до того заливистому, что тихими вечерами лай его слышался даже внизу, у Бодамского озера.

Хотя ее и называли теткой Анной, в ней не было решительно ничего от таких теток, которыми пугают маленьких детей: она была молодая, незамужняя, высокая, с чертами лица резкими и очень недурна собой.

«Какое-то у нее браконьерское лицо», — говаривал об Анне Пэг молодой Строшайн из Дюнсинга, после того как та отвергла его предложение послать к чертям собачьим альму, оставить домик в горах и стать его женой.

«Красивая, но чем-то от себя отталкивает», — стал говорить о ней Рангер из Галленсхайма под глетчером, когда она ответила ему, что не встречала еще такого дурака, как он, Рангер из Галленсхайма под глетчером и никогда не выйдет замуж за балбеса.

Так Анна Пэг и продолжала жить на альме, помимо тучных своих коров никого не видя. Кроме...

Трактирщик «У альпийской долины» недаром говорил:

— Не видит тетка Анна ни живой души весь день, кроме одного осла, которого я ежедневно посылаю с продуктами на тиллингенскую альму.

Эта туманная фраза неизменно вызывала взрыв веселья, ибо живой душой был у трактирщика серый ослик Гут, каждый день приносивший из деревни все необходимое для тетки Анны и забиравший оттуда вниз масло и сыр.

Ослик Гут был единственное связующее звено альмы с деревней Галленсхайм.

Четырехчасовой путь по крутой стежке проделывал он с пунктуальной аккуратностью, нигде не отклоняясь ни на шаг, поскольку отклоняться было просто некуда — разве что в пропасть с маленьким зеленым озерцом на дне.

Ослику явно нравилась его ежедневная прогулка, четыре часа вверх и менее четверти этого времени вниз. Дорогой он кричал «И-о», что было, видимо, своего рода ослиной импровизацией, воспевавшей красоты альмы.

А тетка Анна утверждала, что однажды в необыкновенно ясную погоду никакими силами не могла заставить его начать путь обратно с грузом масла.

Ослик Гут якобы мечтательно смотрел на долину, оборачивался ко всем четырем сторонам света (в тот день будто бы все было четко различимо чуть ли ни до Берна). По этому рассказу выходило, что ослик Гут не мог в досталь налюбоваться величавой панорамой, открывавшейся в ясный день с альмы.

В противовес тому трактирщик «У альпийской долины» выразился так:

— В конце концов это же все-таки осел, что бы он там ни делал.

И завершил свое высказывание загадочной фразой:

— С ним то же самое творится, что со мной.

Но, разумеется, трактирщику никто не удивлялся: общеизвестно было, что в свое время он переехал сюда откуда-то из Баварии.

А тетка Анна жила себе да поживала. В пятом часу вечера хлопала палкой по листу жести, висевшему у входа в ее домик, — и белухи, пеструхи, чернухи, неторопливо переступая копытами, скупивались около нее. Подоенные, они снова разбегались по альме, исчезая в высокой траве, и слышно было только их короткое мычанье.

Примерно в это время и заливалась черная собачонка Анны грозным лаем.

Встречала она этим ослика, степенно шествовавшего по крутой каменистой стежке со своим «И-о» в виде ответного приветствия.

А между тем завсегдатаи «У альпийской долины» решали за стаканами вина, понятливое или глупое животное осел.

— Это животное понятливое, — сказал однажды Йоган, подручный лесничего, недавно заявившийся сюда из Дюнсингена, дабы согласно предписанию начальства пресечь производимый жителями незаконный отстрел серн — хотя серн жители не видели в этих местах по меньшей мере лет пятнадцать, а незаконно производили теперь только рубку леса.

Йоган влюбился в тетку Анну, не успев даже ее увидеть.

Влюбился по рассказам завсегдатаев трактира, многие из которых уже домогались ее руки.

И вот однажды Йоган возымел намерение посетить ее на альме.

Трактирщик на другой день говорил, что слышал чей-то крик, правда, неясно. Вообще во всю эту историю с посещением напущено много туману.

Трактирщица, конечно, рассказала, как Йоган попросил ее залатать ему штанину, разорванную на икре — и похоже, что собачьими зубами, — но толком так ни до чего и не дознались.

Сам Йоган только плакался, что дорога на альму ужасная, а всех собак неплохо бы перестрелять, и далее в подобном роде.

— Добрались вы туда? — спрашивали Йогана.

— Добрался.

— Понравилась вам Анна-то?

— Понравилась.

— Ну, объяснились с ней?

— Не объяснился.

К этому Йоган ничего уже не прибавлял, только бурчал по-прежнему, что всех собак неплохо бы перестрелять.

Потом опять заговорили о понятливости осла Гута и Йоган вставил:

— А я вот разучу с ним одну штуку...

И ночью, когда луна озарила камни на широких крышах и блики ее трепетали на заснеженных плато и глетчерах окрестных гор, смотрел на черные тени скал, на зубчатые контуры леса и стежку, круто уходявшую по-над деревней к альме, где на душистом сене спала Анна.

Вспомнив о ней, он сразу вспомнил и об ослике.

Йоган тайно вынашивал план, в котором Гуту отводил роль своего посла и посредника.

Он начал думать, как бы войти к ослику в доверие. Подождал за деревней, пока тот неторопливым шагом пройдет мимо.

Однако пришел к заключению, что ослик его избегает. На следующий день при подобной ситуации ослик дал недвусмысленно понять, что относится к Йогану с предубеждением. Даже пытался укунить в плечо. Попытки с сахаром на третий день окончились для Йогана полным провалом.

Сахар-то ослик взял, но потом стал лягаться.

На четвертый день он уже отказался и от сахара, а на приход Йогана никак не отреагировал.

Но Йоган все еще защищал животное.

— Очень понятлив, — говорил он об осле.

В день пятый Йоган заготовил с вечера необыкновенно трогательное письмо. Письмо предназначалось Анне Пэг.

В нем говорилось о сердечных муках Йогана. Он де не знает, что над собой сделает, если она его отвергнет. И пусть прекрасная дочь альмы помнит: он, Йоган, подручный лесничего, одним выстрелом убирает орла с ледниковой вершины (такой орел уже стоит в Берне в музее), пусть она помнит, что стрелять-то он умеет, а ружье всегда при нем...

Ослик Гут должен был послужить посредником. План был предельно прост.

Дождавшись за деревней, пока ослик начнет свое восхождение на альму, Йоган сунет письмо в одну из корзин, привязанных к ослиному боку, — и сунет так, что письмо нельзя будет не заметить. Анна Пэг там, наверху, прочтет и... не устоит...

И Йоган лихо покручивал свой обкусанный ус.

Наутро он дождался ослика за поворотом дороги. Сначала протянул ему кусок сахара. Ослик остановился, взял сахар и начал его разгрызать.

Потом Йоган осторожно приблизился к корзинам, намереваясь сунуть письмо...

И тут произошло невероятное.

— Ну, братцы, — сказал один из крестьян, сбежавшихся на крики Йогана и поднимавших его с земли, искусанного и избитого, — ну, братцы, этого осла никто не обдурит, тутошние пытались — и то не выходило...

Так Анна Пэг и не прочла письма от Йогана, поскольку ослик никакого письма не приносил.

— Это, в конце концов, всего только осел, — говорил Йоган, отбывая к себе в Дюнсинген.

А отбыл он туда довольно быстро.

Ослик Гут! Осел ты или не осел?

## Пример из жизни (Американская юмореска)

— Нет, нет, ни в коем случае, мой юный друг, — произнес банкир Вильямс, обращаясь к молодому человеку, который сидел напротив, задрав ноги на спинку стула. — Никогда, господин Чейвин! Выслушайте меня внимательно и попытайтесь чему-нибудь научиться.

Вы просите руки моей дочери Лотты. Вам, очевидно, хотелось бы стать моим зятем. Вы надеетесь в конечном счете получить наследство. Минутой раньше на мой вопрос, есть ли у вас состояние, вы ответили, что вы бедны и получаете только двести долларов дохода.

Мистер Вильямс положил ноги на стол, за которым сидел, и продолжал:

— Вы можете сказать, что у меня когда-то не было и двухсот. Не отрицаю, но смею вас уверить, что в ваши годы я имел уже кругленькое состояньице. И это только потому, что у меня была голова на плечах, а у вас ее нет. Ага, вы ерзаете в кресле?! Советую вам не горячиться: слуга у нас — здоровенный негр. Выслушайте меня внимательно и намотайте себе на ус!

Шестнадцати лет я явился к своему дяде в Небраску. Деньги мне нужны были дозарезу, и я уговорил родственничка, чтобы негра, которого так или иначе должны были линчевать, казнили на его земле.

С чернокожим расправились на участке дядюшки. Все желающие поглазеть должны были заплатить за вход, потому что место казни мы обнесли забором. Выручку собирал я, и, как только негр был повешен, благополучно смылся, захватив все деньги.

Повешенный принес мне счастье. Я купил земельный участок на Севере и распространил слух, что, перекапывая его, нашел золото. Позже участок был очень выгодно продан, а деньги положены в банк.

Едва ли стоит вспоминать, что потом один из одуроченных стрелял в меня, но его пуля, раздробившая мне кисть правой руки, принесла мне почти две тысячи долларов — как возмещение за увечье.

Поправившись, я на все свои сбережения купил акции благотворительного общества по возведению храмов на территории, населенной индейцами. Мы выдавали почетные дипломы стоимостью в сто долларов, но не выстроили ни одной церквушки. Вскоре общество вынуждено было объявить себя банкротом. Это произошло ровно через неделю после того, как я обменял обесцененные акции на партию шкур, цены на которые тогда быстро росли. Основанный мною кожевенный завод принес мне целое состояние. И это все оттого, что продавал я за наличные, а покупал в кредит.

Разместив свой капитал в нескольких канадских банках, я объявил себя несостоятельным должником. Был арестован, но на следствии плел такую чушь, что эксперты признали меня душевнобольным. Присяжные не только вынесли мне оправдательный приговор, но и организовали в зале суда сбор денег в мою пользу. Их вполне хватило, чтобы добраться до Канады, где хранились мои сбережения.

У бруклинского миллионера Гамельста я похитил дочь и увез ее в Сан-Франциско. Он вынужден был согласиться на наш брак, так как я пригрозил, что не отпущу ее до тех пор, пока не смогу дать в газеты сенсационное сообще-

ние, вроде: «Дочь мистера Гамельста — мать незаконнорожденного ребенка».

Видите, господин Чейвин, каким я был в ваши годы, а вы все еще не совершили ничего, что позволило бы мне сказать: вот вполне разумный молодой человек!

Вы говорите, что спасли жизнь моей дочери, когда она, катаясь в лодке, упала в море? Прекрасно, но я не вижу, чтобы для вас это имело практический смысл, ведь, кажется, вы совершенно безнадежно испортили свои новые штилеты?

Что же касается ваших чувств к моей дочери, то я не понимаю, почему я должен платить за них из своего кармана, тем более «зятю», у которого соображения нет ни на грош.

Ну вот, вы опять вертитесь в кресле. Пожалуйста, успокойтесь и ответьте мне, положив руку на сердце: совершили вы хоть раз в жизни что-нибудь путное?

— Ни разу.

— Вы богаты?

— Увы!

— И вы просите руки моей дочери?

— Да.

— Она любит вас?

— Да.

— Наконец последний вопрос: сколько у вас с собой денег?

— Сорок шесть долларов.

— Хорошо, я беседую с вами больше тридцати минут. Вы хотели узнать, как делают деньги. Так вот, с вас тридцать долларов: по доллару за минуту.

— Ну уж позвольте, мистер Вильямс... — запротестовал молодой человек.

— Никаких «позвольте», — с усмешкой проговорил банкир, глядя на циферблат. — С вас причитается уже тридцать один доллар: прошла еще одна минута.

Когда изумленный Чейвин уплатил требуемое, мистер Вильямс любезно попросил:

— А теперь извольте оставить мой дом, или я прикажу вас вывести.

— А ваша дочь? — уже в дверях спросил молодой человек.

— Дураку она не достанется, — спокойно ответил мистер Вильямс. — Убейтесь, или я доставлю вам удовольствие проглотить свои собственные зубы.

— Хорош был бы у меня зятек! — сказал господин Вильямс дочери, когда Чейвин ушел. — Этот твой возлюбленный глуп на редкость. И никогда не помнеет.

— Значит, — осторожно спросила Лотта, — у него нет никаких надежд стать моим мужем?

— При теперешних обстоятельствах — это совершенно исключено, — категорически заявил мистер Вильямс. — Пока он каким-нибудь ловким манером не докажет обратное, у него нет никаких надежд!

И мистер Вильямс поведал теперь уже дочери историю линчевания негра на земле его дядюшки, рассказал также о своей крупной ссоре с миллионером Гамельстом и добавил:

— Я сообщил твоему знакомому немало поучительного.

На следующий день Вильямс уехал по делам. Неделю спустя он возвратил-

ся и нашел на своем письменном столе записку следующего содержания:

«Многоуважаемый мистер Вильямс!  
Сердечно благодарю за совет, который вы дали мне на прошлой неделе.  
Ваш пример так воодушевил меня, что я вместе с вашей дочерью уехал в Канаду, захватив из вашего сейфа все наличные деньги и ценные бумаги.  
С уважением  
Ваш Чейвин».

А ниже стояло:

«Дорогой папочка!  
Просим твоего благословения и заодно сообщаем, что мы не смогли найти ключ от сейфа и взорвали его нитроглицерином.  
Целую  
Лотта».

## Ромашковая настойка

**М**ного аптек в Праге снабжала бабушка Пешкова сушеными травками, например, ромашкой и зверобоем, но больше всего ромашки и зверобоя продала она аптекарю Колошке.

Летом и осенью она появлялась в лавке с огромным тюком на спине, не торгуясь, сколько крейцеров за килограмм, отдавала травки взвесить и принимала деньги безо всяких пояснений.

Потом садилась прямо на опустевший тюк, выпивала рюмочку тминовой, которую ей подносили «за труды», и заводила разговор с паном Колошкой: «Знаете ли, милостисдарь, ни у одной бабки нет такой вкусной ромашки, как у меня. Я, знаете ли, — женщина честная, я ромашку собираю всегда утречком, а это, знаете ли, совсем не та ромашка, что у бабки Каутской. Бабка Каутская, она ведь как — ромашку хоть и к вечеру ближе собирает, а перед этим, с позволения сказать, со скотиной в хлеву возится. А глянули бы, милостисдарь, на ее руки! Глянули бы и заплакали, да и в горло недели две ничего не полезло бы. Зато уж моя ромашечка чистыми руками собрана, да еще пока роса не обсохла, а это, знаете ли, очень даже много значит. Выпьешь такого отварчика — сразу полегчает. В Штеховицах люди так и говорят — ничегошеньки от сглаза не поможет, разве что ромашка бабки Пешковой. Так вот и знайте, женщина я честная, а бабку Каутскую со мной и равнять нечего. И во всем остальном тоже. Знали бы вы, милостисдарь, как она ромашку сушит, руками бы развели, и все дела. У Каутских на чердаке такая простынка... а ведь с позволения сказать, чердак чердаку тоже рознь. У Каутских на чердаке кошек тьма — едино день, едино ночь. Каутская говорит, будто она уж ежели везет что в Прагу, так сначала переберет и выкинет, что нехорошее, а я не верю ей, и все тут. Дак ведь поверь бабе, которая и не разберет как следовало — хорошая ромашка или дрянь: в одной лавке ей раз так и сказали, да и выгнали, потому как только половина была хорошая, а остальное — возьми да брось, а когда люди ее покупали, так им плохо делалось. А бабка Каутская им врала, будто у нее с глазами плохо, а это вовсе ведь и неправда. Бабка Каутская куда как лучше меня видит, а вот гляньте-ка: в моей ромашке есть хоть одна негодя-

щая? Она пароход на Влтаве углядит — ему плыть да плыть, я ведь его и вовсе еще не вижу. У нее с глазами плохо, видали? Да если б я захотела, я бы знаете сколько про нее наговорила, какая уж она есть, такая и есть. Глянули бы вы, как они живут, эти Каутские, только б руками развели. У бабки Каутской в доме на поселении сноха живет. А вовсе она и не сноха. Ее сын, Йозеф Каутских, как привел ее к себе, так до сих пор, с позволения сказать, наш патер не скинул их с амвона, потому как у нее, видите ли, приписки нет. Так и живут — одно слово, позорище, — он ей пятерых детей сделал, а она говорит, что и не все дети ее. А пришли бы вы к ним, — господи! — детишки бегают грязные, в одних рубашонках, с позволения сказать, а рубашонки-то тоже не больно чисты, а ребятки за все хватаются, глянешь на их руки — сразу видно, что у Каутских было на обед. Вот и судите сами — сушеная ромашка в этом логове на полу лежит, а детишки кругом резвятся, а уж разыграются, так и давай в ромашке прятаться, так вот и прячутся, и прячутся в ней, а как с улицы прибегут, так прямо на ней и валяются. Зато уж у меня чистота — ангелы небесные летают. Ну вы сами посудите, придет Йозеф Каутских домой, так, значит, как все, которые в Давле на кирпичках работают, закурит трубку, сядет и, с позволения сказать, да простит меня боженька наш, что приходится так выражаться, плюет куда ни попадя. А ведь знает, что в углу на той самой простынке ромашка сушится. А потом сам же и смеется, когда кто-то ромашку пьет.

Так и ведет свои рассказы бабушка Пешкова про то, что знает о бабе Каутской. И всякий раз, появляясь со своими травками, живописала она, какая у них в Штеховицах Каутская — грязнуха женщина.

— Можете пойти пообедать, — сказал однажды после очередной беседы с Пешковой пан аптекарь Колошка своему помощнику, который как всегда при том присутствовал, — уже двенадцать.

— Простите, хозяин, — отвечал помощник, — мне что-то нехорошо, я сегодня обедать не буду.

— А что с вами? — спросил аптекарь Колошка.

— С желудком плохо, — эту Пешкову как послушаешь...

— Ну-ну, — засмеялся пан аптекарь Колошка, — Пешкова — женщина честная. А если у вас болит желудок, возьмите немного ромашки и прокипятите ее в спирте. Мне это всегда помогает. Или выпейте ромашковой настойки.

— Нет, спасибо, не могу, — сказал помощник и вышел за дверь.

Аптекарь Колошка покачал головой вслед уходящему помощнику и сказал сам себе: «Станный какой-то человек, даже мою ромашковую настойку не пользует».

Ромашковая настойка, которую пан аптекарь Колошка производил из той ромашки, что поставляла старая Пешкова, была плодом его многолетних изысканий.

Пан аптекарь пришел к выводу, что вовсе не безразлично, сколько ромашки в спирт сыпать. Самое благоприятное соотношение — это двести граммов на полтора литра чистого спирта. Полежит ромашка в спирте недели две, тогда можно добавить пол-литра воды и четверть литра сиропа.

Это была его собственного изобретения ромашковая настойка, которая под названием «Пражский желудочный бальзам» стояла в бутылках за витриной аптеки пана Колошки.

— Самую лучшую ромашку мне приносит старая Пешкова, — объяснял он

всем покупателям. — Честнейшая женщина. Собирает только отборную.

«А Каутская-то до чего же, должно быть, мерзкая баба, — рассуждал он сам с собой. — Ни за что бы не стал покупать у нее ромашку. Пусть только попробует сунуться ко мне со своей ромашкой! Не-ет уж, лучше пусть и не появляется». А Каутская и вправду ни разу не появилась.

Будучи в хорошем настроении, пан аптекарь Колошка хлопал помощника по плечу и начинал:

— Вот ведь Каутская, бывают ведь грязнухи! Вы же слышали. И эти кошки у нее на чердаке. Налить вам рюмочку ромашковой настойки?

— Спасибо, не хочу, — отнекивался помощник.

— Ну, тогда я сам приму, — говорил на это Колошка и шел к нише, заставленной бутылками с настоящей ромашковой настойкой (то есть с «Пражским желудочным бальзамом»), наливал себе рюмочку и выпивал с большим удовольствием.

— Без своей настойки я долго бы не протянул, — объяснял он знакомым в своем любимом подвальчике.

— Хорошо еще, что вы старый холостяк, — потешались знакомые. — А то ваша жена просто растворилась бы в вашей настойке. Вы бы ее с утра до вечера только ей и потчевали. И к каждому празднику дарили бы только «Пражский желудочный бальзам».

— Тем не менее, моя настойка — истинный бальзам, — отвечал с достоинством пан аптекарь. — Такой ромашки, как у меня, ни у кого нет.

И к вящему увеселению присутствующих изображал беседы с Пешковой, с этой удивительно честной женщиной. Пересказывал все, что ему было известно о том, как Каутская собирает и сушит ромашку. И так без конца.

— Фу ты, прямо тошно делается, — в очередной раз говорили знакомые.

— То же самое твердит и мой помощник, — торжествовал аптекарь Колошка.

\* \* \*

— Деваться некуда, пан Таухен, — сказал в субботу пан аптекарь своему помощнику. — Вам завтра, в воскресенье, все равно за город ехать дышать воздухом, — туда ли или куда еще, какая разница. Поезжайте-ка в Штеховице и раскопайте там нашу старушку Пешкову. Знай я адрес, давно бы уже написал. Ромашка кончилась, а когда она явится, никому не известно. Так что поезжайте и скажите, чтоб везла ромашку, да поскорее. Дорога за мой счет.

— Хорошо, поеду, — согласился помощник Таухен.

В понедельник утром между ним и господином шефом состоялся следующий разговор:

— Господин шеф! Ездил я туда. Искал-искал, еле нашел. Пешкова живет в самом конце Штеховиц. Прихожу, стучу. Открывает какой-то мальчик. Спрашиваю:

— Можно видеть пани Пешкову?

— Бабушка, — отвечает, — у Каутских.

— А что она делает у Каутских? — спрашиваю.

— А она ромашку у них берет — по два пятачка за кило, — отвечает.

— Ну, я — к Каутским.

— А там что? — спросил перепуганный пан аптекарь.

— Там, — отвечал помощник, — там все тютелька в тютельку так, как гово-

рила старая Пешкова. Дети в ней валяются. Что с вами, господин шеф?! — вежливо спросил помощник. — Не сбежать ли за ромашковой настойкой?..

## Милосердные самаритяне

По лесной тропинке спускались с горы старый и молодой Вейводы.

— Да, да, — сказал старый, — уж больно трогательно говорил пан священник об этом милосердном самаритянине.

— Не свались, отец, — предостерег сын, заметив, что старик вдруг пошатнулся.

— Сам не свались, Францек, — ответил старик. — А водочка-то сегодня была отменная.

— Уж куда лучше, — поддакнул Францек.

Из этого разговора каждый может понять, что представители семьи Вейводов шествовали из трактира, куда заглянули по пути из костела.

— Так вот, я говорю: до чего же здорово пан священник рассказал об этом самаритянине, о его милосердии, — продолжал благочестиво настроенный старик.

— А о разбойниках? — подхватил Францек. — Они так избили странника, что тот подняться не мог.

— Очень хорошо растолковал он и про разбойников, — добавил старик. — Они беднягу обобрали да так поколотили, что тот не мог сообразить, как и домой добраться.

— А как прекрасно, что самаритянин взял странника с собой и обмыл его раны, — сказал Францек. — Он был милосердный и не счел за труд возиться с ним.

— А сколько людей прошло мимо! — продолжал старый.

— Не свались, отец, — воскликнул Францек.

— Я смотрю под ноги, — ответил старый Вейвода. — И никто-то на него даже не взглянул, кроме самаритянина, а самаритянами тогда все гнушались.

— Люди тогда самаритян не любили, — отозвался Францек. — После только признали их.

— Глянь-ка, Францек, — сказал старик, — вон лесник сидит.

— А, этот живодер! — подхватил Францек. — Он готов нас живьем сожрать.

— Наш пострел везде поспел, — продолжал старик, останавливаясь на вершине холма. — Ему всегда ведомо, где человек в последний раз ставил силки.

— Не успеет иной собрать охапку хвороста, — добавил Францек, — а он уже тут как тут.

— Францек, погляди-ка на лесника, — произнес его почтенный отец, — он вроде как-то странно ухмыляется.

— И вроде с места никак не сдвинется, — пояснил Францек. Похоже, пытается встать, да не может, опять садится.

— Пошли, — сказал старик, — живодер он.

— Голову даю на отсечение, — сказал Францек, — если я с ним поздороваюсь, он не ответит: с ворами, мол, не здороваюсь.

— Не по душе ему браконьеры, — обронил старый. — Он много о себе воображает, ходит что твой барон, а сам всего-навсего лесник.

— А в лесу тоже крадет, — подхватил Францек. — Одно слово: лесник.

Так за разговором они приблизились к сидящему леснику.

— Мое почтение, добрый день, пан Фойтик, — приветствовал лесника старик, а вслед за ним и Францек.

— Здравствуйте, — к их удивлению, ответил лесник. — Ради бога, люди добрые, помогите мне, встать не могу.

— Что-то вы больно морщитесь, — заметил Францек.

— С обрыва упал, — запричитал лесник, — и вывихнул лодыжку.

— Ногу нужно вправить, — деловито заметил Францек, — взять ее и покрутить, и, когда она хрустнет, значит, все в порядке. — Францек схватил лесника за ногу.

— Моя жена вправила бы вам ногу, — сказал старый, — она уже многим людям помогла, возьмется за ногу — и готово.

— Знаю, — сказал лесник, скрипнув зубами от боли, когда Францек потянул его за ногу, — ваша жена вправляет людям кости, но Войта Длоугий не захотел меня к ней отвести. Шел он тут мимо, а я ему говорю: «Пан Длоугий, со мной приключилось то-то и то-то, будьте добры, доведите меня к Вейводихе». А он в ответ: «Ты, дед, в тот раз засадил меня за зайца, вот и сиди тут, пусть тебя хоть лихоманка схватит».

— Мы самаритяне, — сказал старый Вейвода. — Подхвати-ка, Францек, пана Фойтика под левую руку, а я возьму под правую.

— Хоть вы нас и обижали, — сказал Францек, когда они вели лесника к своей лачуге, — с нашей стороны было бы нехорошо не оказать вам милосердия.

— Авось в другой раз будете поумнее, — разглагольствовал старый Вейвода, — ведь порой можно и закрыть глаза кое на что...

Разговаривая, они подошли к лачуге, где старая Вейводиха вправила леснику вывихнутую ногу.

Через несколько дней после этого происшествия старый Вейвода с сыном ставили силки на зайцев на холме за просекой.

— Знать, лесник будет нам благодарен, — сказал Францек, — ведь мы поступили с ним как самаритяне.

Не успел он рта закрыть, как кто-то схватил его за шиворот.

— Господи, да это лесник Фойтик! — воскликнул старый Вейвода.

— Именем закона, — спокойно произнес лесник, держа Францека за воротник. — Собирайте свои силки и пойдете со мной в контору.

— Извольте шутить! — добродушно сказал старый Вейвода. — Разве вы уже забыли про вывихнутую ногу?

— Молчать, и марш в контору! — заорал лесник. — Силки в руки — и айда!

— Но позвольте, пан Фойтик, — испуганно пролепетал старый Вейвода. — Неужто вы не помните о самаритянах?

— В контору, и баста! — строго сказал лесник, и все трое молча зашагали к деревне.

За правонарушение старый и молодой Вейвода представ ли перед окружным судом.

— Вы обвиняетесь, — сообщил им судья, — в том, что ставили силки на зайцев. Что можете сказать в свое оправдание?

Старый и молодой Вейвода переглянулись, вздохнули, и седовласый старик Вейвода сокрушенно произнес:

— Ваша милость, скажу только одно: мы поступили как милосердные самаритяне.

## Как черти ограбили монастырь святого Томаша

Третьего дня октября месяца лета господня 1564 настоятель монастыря святого Томаша Никазиус беспокойно шагал в своих сандалиях по монастырской галерее, утирая пот рукавом рясы.

Временами он останавливался и снова устремлялся вперед, не смущаясь тем, что монахи глазели на него из своих келий, удивляясь, отчего это настоятель не кланяется даже образу своего патрона, святого Никазиуса, каковой образ необычайно волновал воображение, ибо на нем были запечатлены последние минуты угодника, посаженного магометанскими язычниками на кол.

В конце концов настоятель все-таки остановился перед этим образом и вздохнул: — О мой святой покровитель, хотел бы я быть на твоём месте! Аминь. — И продолжал свое хождение.

В конце галереи он опять остановился, вынул из сумки на боку письмо, писанное на пергаменте, и, в который раз пробежав глазами строчки при свете неугасимой лампы, печально поник головой и прошептал:

— Ох, недоброе дело, *miseria maxima*[11].

В письме, которое уже, наверное, десять раз перечитывал настоятель Никазиус, сообщалось, что король Максимилиан II повелел хоронить своего умершего отца Фердинанда I шестого октября в соборе святого Вита, на Градчанах, но перед тем как упокоиться в царственном склепе, тело усопшего должно было по дороге в Прагу два дня лежать в стенах монастыря святого Томаша.

— *Miseria maxima*, — еще раз прошептал бедный настоятель. — Это ведь сколько коп грошей придется выкинуть! Кормить весь двор. — От этой мысли аббат чуть не заплакал.

Настоятелю Никазиусу приходилось быть очень бережливым., Монастырь был беден, доходы неважные, и всякий раз, как случалась необходимость, аббат с болью в сердце отпирал кованный ларец, в котором поблескивали монетки старой чеканки. А тут такое известие! В Праге давно уже толковали о погребении Фердинанда I, но настоятель никак не предполагал, что это затронет его монастырь.

— *Tributa*, расходы, — бормотал он, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице в кухню, где брат Пробус резал тонкими ломтиками каравай хлеба не слишком заманчивого цвета — монахам к ужину.

— Слыхал ли ты, брат Пробус, — обратился настоятель к кухарю, — покойный Фердинанд I два дня будет лежать у нас в храме, чтобы похоронная процессия отдохнула по пути к собору святого Вита!

Усевшись на табуретку возле окованной двери, он продолжал:

— Придется двор кормить, *miseria maxima*. Тяжкое бремя, брат Пробус, *opus* [12] для бедных монахов...

Брат Пробус, не менее бережливый, чем настоятель, так испугался, что, вопреки обычаю, отвалил от каравая несколько толстых ломтей.

Некоторое время в темной сводчатой кухне царило молчание, нарушаемое лишь вздохами аббата Никазиуса.

— Надо что-то придумать, — молвил Пробус. — Большая для нас честь — принимать двор.

— Двор-то мы примем, — глухо отозвался настоятель. — Но как? Подешевле бы...

— Экономия и еще раз экономия, — вставил кухарь.

— Я сам произнесу речь о том, что времена нынче худые, скудные, — соображал настоятель. — Монастырские доходы убоги, а расходы велики, и, мол, чем богаты, тем и рады...

— На весь двор одной рыбы фунтов сто уйдет, — молвил брат Пробус.

— Брат Пробус! — с укоризной воскликнул настоятель. — Хватит и пятидесяти фунтов, а ежели будет недовольство, я опять скажу, что времена худые, а с 1556 года, с тех самых пор, как монастырь был вверен мне, за восемь лет мы многое сделали для его процветания, и это потребовало больших денег...

Тут разбухшие от сырости ножки табурета подломились, однако настоятель поднялся как ни в чем не бывало и даже не прервал речи.

— Брат Пробус, — говорил он, — думаю, рыбы хватит и двадцати пяти фунтов. Да, да, купи двадцать пять.

— А пиво? — сказал кухарь.

— Пустое, — возразил настоятель, — пиво у нас свое есть, ты его только в кувшинах подавай. Все да пребудут в трезвости.

— А жаркое? — осведомился Пробус.

— Три телячьих окорока хватит, да не приправляй их слишком пряностями, — посоветовал Никазиус. — Во всем блюди умеренность!

— А гуси жареные? — не унимался Пробус. — Этих сколько?

— Изжарь пять гусей, — разрешил настоятель. — О, *miseria maxima, tributa...* В общем, делай как знаешь. О, *fidem habeo*[13].

Настоятель поднялся по лестнице, огляделся, не подсматривает ли кто, и тихонько отпер ключом решетку небольшой ниши в галерее, где стоял обитый железными полосами ларец с монетами. Аббат вынул ларец, опять осторожно огляделся и открыл его. Бережно отсчитав монеты, он сунул их в свою кошну и снова тщательно запер, попробовал на диво выкованный замок, заперт ли, и вернулся в кухню. На стол, источенный червями, он выложил перед братом кухарем серебряные гроши и удалился.

По уходе настоятеля брат Пробус постоял, глядя на монеты, и задвинул дверную щеколду.

— Моя кухня пряностями не бедна, — пробормотал он, осторожно отвернув полу подрясника, серого, латаного, который он из экономии носил на кухне. Под подрясником у него был привязан расшитый кошелек; в него-то и ссыпал брат Пробус несколько грошей со стола.

— Худые времена, — бормотал он. — Надо про черный день копить, может, еще хуже станет...

Сухонькое личико брата Пробуса прояснилось. Он подумал: «Зачем целых двадцать пять фунтов рыбы да три телячьих окорока — куплю два, да поплотше...»

И брат Пробус сгреб в свой кошелек еще несколько монеток.

— А гусей-то к чему пять штук? — прошептал он. — И четырех довольно! нарежу малыми кусками, вроде пять и жарил.

И брат Пробус спрятал в свой кошелек новую стопку грошиков.

Потом он подошел к нише возле плиты, вынул рясу, надел, подпоясался потертым шнурком и ссыпал со стола остаток денег в кошну, которая болталась

у него на боку и при каждом шаге хлопала по старенькой рясе, похожей на те, какие носят нищенствующие монахи.

Затем брат Пробус разыскал брата Мансвета, носившего титул *cellarius*, сиречь келаря.

Брат Мансвет сидел на низеньком табурете в монастырском погребе, барабаня пальцами по бочке. Время от времени он делал глоток из кружки, на которой пестрыми красками мастерски была изображена седьмая остановка Иисуса на крестном пути. Брат Мансвет постукивал оловянной крышкой кружки, мурлыкая в такт богомольную песенку. Он встретил Пробуса словами:

— Доброе пиво, доброе весьма.

— *In nomine Domini*[14], — ответил Пробус, отхлебывая из поднесенной кружки. — Я к тебе с новостью, брат Мансвет.

Пробус рассказал о покойном короле Фердинанде, о предстоящем прибытии двора и закончил такими словами:

— Бог не любит нас больше...

— Итак, все это будет отдано двору на потоп и разграбление, — мрачно проговорил брат келарь, указывая на пивные бочки, освещенные чадящим пламенем восковой свечи.

Брат Пробус сделал еще несколько глотков из кружки и покинул монастырские пределы, отправившись покупать и заказывать все необходимое для угощения.

В Малом Месте пражском, под Карловым мостом, сидел у развалившейся лачуги Мартин Сквернавец и глядел на Влтаву; ее волны нагоняли одна другую и бились о три камня перед лачугой, служившие прачкам мостками.

Мартин Сквернавец был дурной человек, достойный своего имени. Рыбу он продавал дешево, так как добывал ее нечестным путем.

Безлунными ночами он обворовывал садки и верши честных рыбаков по обоим берегам реки. Брал он и мелкую рыбу и крупную — какая попадет, и по утрам честные рыбаки находили свои верши перевернутыми, садки пустыми, ограбленными.

К этому-то человеку, потерявшему правое ухо во время одной такой экспедиции, и направил свои стопы брат Пробус. Они хорошо знали друг друга, так как часто встречались по торговым делам.

Несколько оборванных ребятишек с улюлюканьем бежали за монахом, швыряя в него комьями земли, камнями и поленьями. (В те времена юношество было невоспитанное.)

Преподобный брат Пробус пошел рысью, чтоб оторваться от шалунов. Так он достиг берега, где и нашел Мартина Сквернавца в настроении не совсем розовом.

При виде монаха Мартин пробормотал что-то такое, что могло означать и приветствие и ругательство.

— Куплю двадцать пять фунтов рыбы, — без всякого предисловия объявил Пробус.

— Нету у меня столько, — сказал Мартин. — И дешево не продам, — добавил он. — Нынче рыбы мало стало. Которая сверху идет, ту у Збраслави ловят, а которая снизу — у Трои.

— Надо. У тебя нет — у честных куплю, — возразил брат Пробус. — Нам, монахам, всякий с радостью продаст.

Мартин Сквернавец пробурчал что-то непочтительное про монахов и красных чертей, затем сказал:

— Пошли!

Они вошли в развалившуюся лачугу. У каменной стены в двух чанах, покрытых зеленоватой слизью, плескались рыбы, большие и маленькие. На глаз и то тут было более трех сотен фунтов. Отсюда можно было заключить, что Мартин Сквернавец не прочь и прилгнуть.

— Каких тебе? Карпов или помельче? — спросил он.

— Мне смешанных, — ответил Пробус. — Взвесь и принеси вечером в монастырь.

Они пожали руки в знак состоявшейся сделки и скрепили ее чарочкой зеленого вина. Осушив чарку, брат Пробус стал выкладывать монеты, причем не преминул спросить:

— Мартин Сквернавец, а что, у хромого Шимона не будет для меня двух телячьих окороков да четырех гусей? Надобно мне их к вечеру.

— Спрошу, — ответил Мартин.

Они поднялись, вышли из ветхой лачуги и зашагали вдоль берега. Неподалеку, там, где во Влтаву впадал ручей, протекавший по замковому рву мимо Черной башни, в домике, слепленном из глины и досок, жил хромой Шимон, который крал все, что попадалось или что ему заказывали клиенты.

Теплая погода выманила Шимона из его берлоги, и он вышел посидеть на бревне у реки. Невеселы были его мысли: подручный, с которым Шимон обычно совершал свои деловые поездки, вчера был схвачен у Тейнки в тот самый момент, когда уводил подсвинка из крестьянского хлева, и тут же отправлен в пыточную.

Услышав от монаха о цели посещения, хромой Шимон помрачнел еще более и начал плакаться, что-де не знает, как-то еще дело обернется, а вдруг подручный выдаст его, Шимона, заплечным мастерам.

— Да мне только всего и надо, что четыре гуся да два телячьих окорока, — наседал брат Пробус. — Тебе ведь ничего не стоит раздобыть все это к вечеру. Нынче в Прагу множество иногородних понаехало — в два счета затеряешься в толпе.

Шимон, сдаваясь, махнул рукой:

— Окорока — это что, — сказал он. — Гусей вот достать труднее.

И он, повесив голову, погрузился в раздумье.

— В монастырском саду у бенедиктинцев ограда не так чтоб высока... — намекнул брат Пробус.

— Был я там вчера, — грустно проговорил Шимон. — Схожу-ка я за Голодную стену, в деревню куда-нибудь, — решил он наконец. — Вечером постучусь. Голову прозакладываю, что принесу все нужное.

Преподобный брат Пробус подал руку хромому Шимону и тотчас уплатил денежки.

Умел Пробус дешево покупать.

Вечером того же дня монастырская братия была занята приготовлением блюд из рыбы, гусятины и телятины. Настоятель Никазиус освободил монахов от вечерней службы.

Четвертого дня октября месяца в монастыре приятно пахло рыбой, жареным гусем и телячьим жарким; монахи без усталости пекли и жарили угощение для придворных.

Настоятель Никазиус пробовал и то и это, не переставая вздыхать, что вот, мол, какие расходы. При всем том он бдительно следил, чтобы кухонная братия не подъедала приготовленные яства. В тот день он на всех наложил пост, рассчитывая сэкономить хоть пару грошей.

Брат келарь Мансвет распевал псалмы в монастырском погребе, приготовляя по распоряжению настоятеля пиво; монахи под присмотром брата Пробуса носили готовые блюда в помещение, соседнее с комнатой для бедных.

В темной комнате для бедных, свет в которую проникал лишь из коридора через маленькое окошко, утром, когда в монастыре суэта была в самом разгаре, сидели за длинным и не очень чистым столом три человека не очень приятного вида. То были бродячие нищие. Они пришли утром в монастырь и ждали обеда.

Все монастыри были открыты для бродячих нищих, и нуждающийся путник имел право жить в каждом хоть три дня подряд: однако в монастырь святого Томаша нищие заглядывали редко. Они избегали этот монастырь, а в последние годы, когда настоятелем стал Никазиус, слух о его скряжничестве отпугивал даже самых отъявленных бродяг.

Но сегодня явились эти трое. Они пришли издалека. По остроносым башмакам можно было заключить, что они немцы.

Одежда на них была потрепанная — отороченные камзолы, узкие штаны, а на головах не то шляпы, не то береты, причем ясно было, что головные уборы не по ним: видно, выпросили из милости или украли где-нибудь.

Дороги Королевства Чешского в ту пору кишели всяким сбродом.

Бродяги тихо разговаривали, бросая на стол кости. Они играли для препровождения времени уже добрых пять часов.

Порой они переставали играть, и старший из них что-то рассказывал, размахивая руками. Он говорил по-немецки, на гортанном баварском наречии.

— Совсем живот подвело, — проговорил один из бродяг. — Лучше бы мне на виселице болтаться, чем ждать в этой дыре.

— Ничего, — утешали его товарищи. — Чуешь, как вкусно пахнет? Видно, в этом монастыре славно едят, и монахи с радостью уделяют бедным путникам от щедрот своих.

Запахи яств, проносимых в соседнее помещение, все сильнее дразнили их голод.

Вдруг в комнату для бедных упала полоса яркого света: вошел брат Пробус, неся обед: миску хлебной на воде похлебки.

Баварцы накинулись на еду.

— Да ведь это и свиньи жрать не станут! — воскликнул один, отбрасывая деревянную ложку.

— Подождем ужина, — посоветовал старший. — Наверное, ужин будет лучше. Слышите запах?..

И вновь по столу застучали кости, мелькая гранями с шестью точечками.

— Не съели, — доложил настоятелю брат Пробус. — Дадим им это же и на ужин. Да просились переночевать: устали, мол, от дальней дороги, и ноги им

не служат.

— Пусть ночуют на полу в комнате для бедных, — решил настоятель. — А на ужин им отнеси то, что они на обед не съели. Подай-ка мне фаршированное мясо, отведаю... Ах, Пробус, — с укоризной сказал он, пожевав мяса, — много пряностей кладешь. Придворные пить захотят, и много пива вольется к ним в глотки. Ох, горе, горе...

В ту ночь монастырь сторожил брат Мансвет, келарь. В двадцать втором часу, по-нынешнему счету в десятом, он задремал. И нечего удивляться: ведь он целый день приготавливал пиво для приема. В двадцать третьем часу келарь уже храпел, склонив колени на молитвенной скамеечке перед образом Иоанна Крестителя у входа в чулан, где в ожидании гостей стояли блюда, и в нескольких шагах от комнаты для бедных, где спали бродячие баварцы.

Спали?.. Нет, нищая троица не могла уснуть от голода. Баварцы лежали на соломе, которую принес им на ночь брат Пробус, и тихо совещались.

Старший, с прыщавым лицом, поднялся с соломы и бесшумно отворил дверь.

Месяц, ломая лучи о шпиль костела, отбрасывал черные тени на галерею. Брат келарь храпел, склонившись на молитвенной скамеечке. Баварец ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Оба его товарища скользнули в дверь, и все трое прокрались мимо келаря в чулан, откуда исходил дух добрых, вкусных яств.

Брат келарь по-прежнему выводил носом рулады, к которым теперь примешивалось чавканье и довольное урчание трех бродяг, хозяйничавших среди блюд, предназначенных для королевских придворных.

В пять часов утра, выпустив странников из ворот и благословив их на дорогу, сонный брат келарь отправился убирать комнату для бедных. Он вынес солому и нашел нетронутой миску с хлебной похлебкой. Но, подметая пол, он обнаружил много рыбьих костей и других, которые могли быть и гусяными.

— Как раз, станут они нашу похлебку хлебать, — усмехнулся келарь, сметая сор в совок. — Нахристарадничают по дороге мяса да и поедят на покое, нужна им наша похлебка!..

Солнечные часы у садовой ограды показывали восьмой час, когда монахи отслужили утреннюю мессу.

— Брат Пробус, — сказал, спустившись в кухню, настоятель Никазиус, — принеси-ка мне кусочек жареного мяса из чулана...

Пробус повиновался.

Настоятель предвкушал, как он сейчас поест гусятины, но кухарь не шел. Тогда он сам отправился за ним...

Немало воды из монастырского колодца пришлось натаскать монахам, прежде чем они привели в чувство настоятеля и кухаря, которых келарь Мансвет нашел распростертыми на полу в чулане перед опустошенными блюдами.

— Черти все съели, — были их первые слова, после того, как они очнулись. — Черти нас ограбили...

И оба заплакали.

— Может быть, случилось бы и еще кое-что похуже, если б я всю ночь напролет не стоял на коленях да не пел тихонько псалмов! — заметил брат

Мансвет и пошел за кадилом — окуривать чулан; он усмехался: прекрасно он понял, какие тут побывали черти.

Настоятеля Никазиуса, правда, несколько утешило, что похороны Фердинанда I не будут совершены даже после заседания земского сейма, что они отложены на неопределенное время; но он долго еще плакался, что черти ограбили монастырь, пожрав яства, приготовленные для двора.

Тут и конец этой истории.

## Галицийский пейзаж с волками

Когда в позапрошлом году в Строзе появился человек и, взобравшись на огромный камень прямо над рекой Рабой, срисовал всю деревню и ее окрестности вместе со скалами и лесами, крестьяне страшно удивились: почему этот пан выбрал именно их деревню, такую забытую богом деревушку, от которой до ближайшего города не менее шести часов ходу?

А зимой этого года они подивились еще пуще, потому как тот человек явился снова, да вдобавок привел с собой еще и другого.

«И что они тут будут малевать? Наверное, снег. Это ли не диво? Малевать наши косогоры да снег на деревьях? Ясно, что это диво, — рассудили все. — Мы вот рады-радешеньки, коли можно посидеть долго, подбрасывая в печку дровишки да толкуя между собой, а эти господа торчат на морозе да малюют халупы, покрытые снегом».

Между тем оба художника работали над своими картинами, собственно, еще над эскизами.

— Как думаешь, Колдовский, понравятся наши картины? — спросил младший из них, когда они сидели в комнате, которую сняли у деревенского старосты.

— Определенно, — ответил Колдовский. — Только сдается мне, Влодек, успех был бы значительнее, если бы мы изобразили нечто такое, что произвело бы на зрителей глубокое впечатление.

— Значит, — снова заговорил Влодек, — по-твоему, наши зимние пейзажи не производят никакого впечатления?

— Да нет, — возразил Колдовский, — почему бы они вообще не производили никакого впечатления? Избушки, заснеженные, маленькие, огонь в очагах... Если его написать ярко-красным, отражение будет великолепно играть на снегу. Деревья за халупами тоже впечатляют. Ветви прогибаются под тяжестью снега, и темная зелень иголок необычайно эффектна. А потом эта темнота в глубине леса... Твоя картина тоже совсем не дурна. Река Раба схвачена очень здорово. Стремительность ее течения ощущается прекрасно. Ледяная крошка у берега совершенно естественна. На самом деле, почему вечно писать лишь замерзшие реки?.. И все-таки мне кажется, что нашим картинам чего-то недостает, чтобы впечатление было полным.

— Но чего же, чего? — добивался Влодек.

— А знаешь, сюда просто просятся волки. Всего несколько волков, чтобы впечатление было ошеломляющим. Ты когда-нибудь волка видел?

— Только в музее да в зоопарке, — ответил Влодек. — Я мог бы попробовать его написать. У меня в этюднике даже есть несколько набросков.

— Вот и отлично! — обрадовался Колдовский. — Впишем в этот зимний пейзаж несколько волков. Это просто и эффектно. Зимой у волков шерсть

светлая, пепельного оттенка. Морду сделаем еще более светлой, но с несколькими полосами шерсти потемнее. Волки произведут неизгладимое впечатление. Решено! Напишу несколько волков — больших и поменьше.

— Я тоже напишу нескольких, — сказал Влодек. — И картина сразу заиграет.

— Я изображу волков на той лесной дороге, что ведет из Строзы к Буйицам, — решил Колдовский.

— А я их помещу, — сказал Влодек — перед лесом, как раз за деревней, там, где дорога ведет на Новый Тарг.

И оба друга вышли из избы писать эскизы к картинам, на которых волки произвели бы на зрителей неизгладимое впечатление.

\* \* \*

Юзеф, сын старосты Звары, у которого квартировали художники, очень хорошо знал дорогу от Строзы к Буйицам, ту, о которой упоминал художник Колдовский. Еще бы не знать: не меньше трех раз в неделю ходит он по ней к Каське, дочери Батика из Буйиц.

От Строзы до Буйиц три часа ходьбы лесной дорогой, и сейчас, зимой, там полно снегу, но как же ему не ходить, если он любит Каську!

И вообще эти три часа пролетали для него незаметно, поскольку он думал о своей Каське и всю дорогу готовился к тому, как он попросит старого Батика отдать ему Каську в жены.

А когда он возвращался из Буйиц домой, три часа опять-таки пролетали быстро, поскольку он размышлял о том, как случилось, что и сегодня он не отважился посвататься.

Так он ходил целую зиму и все не осмеливался предложить Каське свою руку и сердце.

Он, кому никто не был страшен во всей горной долине реки Рабы, первостатейный кулачный боец, не отваживался сказать старому Батику: «Отдай мне Каську в жены».

Не решился даже в тот раз, когда Батик сказал ему: «Ходишь ты к нам, Юзеф, дюже долго, а зачем?»

И Юзеф на это ответил: «Да просто так».

И не высказал он свои намерения даже когда Батик спросил: «Ну, Юзеф, для чего ты к нам ходишь?»

Тогда Юзеф отвечал: «Так, так, нравишься ты мне, крестный».

Сегодня Юзеф снова возвращался из Буйиц. Шел печальный, раздумывая о речах, которые вел с ним Батик.

По дороге в Буйице Юзеф Звара твердо решил, что сегодня обязательно попросит руки Каськи, а теперь вот снова возвращался расстроенный, поскольку снова не нашел в себе отваги. Но и в этом еще не было бы ничего страшного, если бы не речи Батика, которые он повел, усевшись напротив парня:

— Михась Домб придет в воскресенье на побывку. Знаешь ведь, он в армии последний год, а раньше ходил за моей дочерью... Старый Домб сказал, что в воскресенье сын будет сватать Каську. А коли я скажу Каське: «Выйдешь замуж за Домба», — Каська выйдет замуж за Домба. А коль скажу: «Выйдешь за Юзефа Звару», — выйдет за Юзефа Звару. Что ты на это скажешь?

— Так, так, крестный, — ответил Юзеф Звара.

— А ты ведь хорошо знаешь, — продолжал старый Батик, — что у нас, в го-

рах говорят: «Кто раньше ударит, тот и выиграет».

— Так, так, крестный, — отозвался Юзеф, — святая правда... А что, крестный, долго в нынешнем году зима протянется?

На обратном пути Юзеф Звара размышлял об этом разговоре: «Уж мог бы я сегодня сказать, а вот ведь не сказал... Ну ладно, если не сказал сегодня, скажу в субботу. Домб придет свататься в воскресенье, а Батик ему и скажет: «Такие дела, парень, Каську получит Юзеф Звара из Строзы. Знаешь ведь, как говорится: «Кто первый ударит, тот и выиграет!» Да, — продолжал размышлять Юзеф, — послезавтра, в субботу, беспременно попрошу в жены Каську. Это просто даже чудно, что я сегодня не набрался храбрости. Впрочем, в таких делах спешить не годится».

\* \* \*

В пятницу утром Колдовский и Влодек усердно трудились над своими этюдами к зимним пейзажам. Волков писали с воодушевлением и особенно старательно.

— Это, несомненно, произведет впечатление, — похваливали они свои труды, когда в комнату вошел староста Звара.

— Вельможные паны, — начал он, учтиво снимая меховую шапку, — прошу прощения у вельможных панов, что вчера ночью мой Юзеф поднял в избе такую кутерьму. Напился невежа! Для храбрости. Завтра пойдет свататься к Каське из Буйиц.

— Ничего страшного, пан Звара, — заверил его Колдовский. — Подойдите-ка посмотреть, что мы нарисовали. Вы же видите, что мы не сердимся. Ну как, узнаете?

Старый Звара подошел к мольберту.

— Это дорога на Буйице, еще бы не узнать! А звери!

— Это же волки, — отвечал Колдовский.

— Пресвятая панна Мария! Волки! Волки, значит... — забормотал староста, — Вот это новость! И вельможные паны их намалевали!

— Ну, это так, пустяки, — улыбнулся Колдовский.

— Посмотрите-ка на мою картину, — предложил Влодек.

— Отец небесный! — разволновался староста. — Это же лес за деревней! И опять волки! Да сколько! А этот вон и пасть разинул! Как ловко вы их намалевали. Так, значит, волки, волки... Вот это новость! Двадцать лет назад были они у нас и задрали жеребенка у соседа. Кто бы мог подумать, что они опять заявятся! Надо предупредить мужиков! Эй вы, бестии! — погрозил он волкам на картине и вышел.

— Своеобразный народ, — заметил после его ухода Колдовский. — Совсем не то, что крестьяне под Краковом или в Мазурском крае.

— Давай, Колдовский, пойдем куда-нибудь, хотя бы к Буйицам. Свет сегодня никуда не годится.

— Ну, что ж, — ответил Колдовский. — Пять волков я уже написал, а этот, шестой, подождет. Пошли. К вечеру вернемся.

Они надели полушубки и вышли.

Между тем староста отправился в корчму. В зимнюю пору крестьяне каждый день сходились в корчме. Когда там появился староста, они только что хлебнули какой-то скверной водки.

— Соседи, — объявил староста. — У нас появились волки!

— Шутишь! — отозвался сосед Лембик. — В последний раз волки были здесь лет двадцать назад.

— Какие тут шутки, — озабоченно ответил староста. — Господа художники, что у меня квартируют, видели их и намалевали.

— Ни в жисть не поверю! — провозгласил корчмарь Станко.

— Клянусь святым Станиславом! — воскликнул староста. — Господа художники встретили волков и намалевали на картине. Один из вельможных панов видел их на дороге, что ведет лесом от Строзы к Буйицам.

По корчме разнесся вопль: «Песьи бестии!» Это выкрикнул Юзеф Звара.

— Эй, волчьи бестии! Так, значит, на дороге в Буйице, куда мне идти свататься?

— А другой из вельможных панов, — продолжал староста — застиг их перед лесом, за нашей деревней.

— Вот это, я скажу, отвага у тех вельможных панов — малевать волков, — снова вступил в разговор Лембик.

— И как здорово они их припечатали! — добавил староста. — Один, так тот пасть растягивает и зубы скалит... А паны художники малюют. А другой как будто прыгнуть хочет, гоп! И тоже пасть распяливает, язык высунул, глазищи так и сверкают!

— Помилуй нас, отец наш небесный! — прошептал корчмарь Станко и перекрестился.

Все последовали его примеру и тоже перекрестились.

— Волки добрались аж до самой деревни, — снова заговорил староста. — Оторопь берет, как на них поглядишь. Глаза так и сверкают. Глядишь, глядишь и трясешься от страха. Так и чудится: вот сейчас выскочит на тебя с картины. Кто бы мог подумать! Двадцать лет о волках не было слышно. А тут сразу к самой деревне подошли. Даже малевать можно. И голодные, как я видел на картине, худые, кости можно пересчитать.

— Пришли сюда, поди, с Мазурских гор либо с Татранских, — отозвался старый Протка. — Пришли в долину Рабы полакомиться нами.

— Надо на них облаву устроить, — отважно произнес корчмарь Станко и добавил осторожно: — А много их?

— На одной картине я видел пять, — ответил староста, — а на другой, кажись, восемь. Но их будет больше. Художники не все малюют, что видят. Вот ведь пропустили те две березы, что на опушке. Знать, пропустили и какого-нибудь волка.

— Это дело серьезное, — отозвался Протка. — Придется рыть для них ямы, как делают на венгерской стороне. Роят яму, покрывают ее ветками, на ветки набрасывают снег, а сверху кладут кусок мяса. Волки подойдут, учуют мясо. Почему бы на него не наброситься? Прыгнет волк — и угодит в яму.

— Ну, я вам скажу, и отважные хлопцы эти паны художники, — снова взял слово староста. — Малюют, малюют, волки перед ними, а им нипочем, будто дерево малюют. И ничего не сказали. Это, видите ли, так, мелочь, пустяки: ну, что, соседи, думаете, будем копать ямы на волков?

— Это бы лучше всего, — согласились все. — Выкопаем ямы.

— Давайте сделаем это не откладывая, — предложил староста.

И так как решающее слово было произнесено главою деревни, это звучало как приказ.

Когда все шли с лопатами за деревню, Юзеф прошептал отцу:

— Свататься в Буйице не пойду. Жизнь мне милее.

— Сперва выкопаем волчью яму на лесной дороге к Буйицам, — распорядился староста.

Вечером оба художника возвращались из Буйиц в Строзу.

— Эти волки, думаю, произведут эффект, — произнес Влодек.

— Не сомневаюсь, — ответил Колдовский. — Они великолепны на фоне снега... Посмотри-ка, что это там, посреди дороги, — вдруг заинтересовался он.

— Похоже, гусь, — отозвался Влодек. — Идем, посмотрим, что это в самом деле.

— Земля здесь вся изрыта, — проговорил Колдовский. — Это...

Раздался треск, и оба в мгновение ока провалились куда-то в глубину. Сверху на них посыпались ветви и снег.

— Это же волчья яма, — воскликнул Колдовский, опомнившийся первым. — Нужно громко кричать, чтобы нас высвободили. Наши картины действительно произвели большое впечатление... Понимаешь?

— Должно быть, в этом краю зимой очень страшно, — толковали зрители, столпившись возле картин, выставленных изобретательными художниками.

— Очень страшно, — подтверждали оба. — Представьте себе: однажды мы оба даже провалились в волчью яму.

Так об этом приключении отзывались художники. А Юзеф Звара в Строзе рассказывал:

— Кабы не эти волки, быть бы мне мужем Каськи. Слава богу, господь миловал! Домб, ее муж, уже дважды вешался: такой оказалась ведьмой...

## Среди бродяг

Вечером в городской королевской тюрьме над Вислой жизнь шла своим чередом.

Внизу под окном расхаживали часовые с примкнутыми штыками; перед самой тюрьмой, на лужайке, густо поросшей травой, играли ребятишки и паслось несколько козлят.

Там, на другой стороне Вислы, за могилой Костюшко заходило солнце. Сверкнули в его лучах громоотводы домов у реки, последний багровый отблеск пробежал по камерам и сразу погас.

— Солнце садится, — проронил один из арестантов, стоявший у окна. — Через часок пора на боковую.

— Эх, Грабша, — откликнулся другой, лежавший на толстенном соломенном тюфяке, — завтра в это же время я уже буду дома, братцы.

— Бог в помощь, конечно, — сказал Грабша, не отходя от окна, — да разве наперед угадаешь. Я-то знаю. Сколько раз под конвоем водили! Помню, комиссар посулил: «Вечером будешь дома», а меня до деревни аж на третий день довели. По пути конвойный засиделся за рюмахой, пил до самого утра, а меня на всю ночь заперли в хлеву. По дороге его так скрутило, что пришлось топтать обратно в корчму, желудок у него, видите ли, расстроился и все в таком роде.

Договорив, Грабша устался в окно, стал смотреть на воды Вислы.

— Пароход! — закричал он, обернувшись к арестантам. — Скорей! Смотрите, отплывает!

Все восемь обитателей камеры бросились к окну. Грабша подтянулся, уцепившись за решетку, чтобы лучше было видно.

— Вниз! — прикрикнул на него солдат.

— Да ты не сердчай, — разъяснил Грабша, — ведь пароход там...

Невозмутимый солдат размеренным шагом прошествовал дальше.

— Шиш тебе собачий! — гаркнул Грабша на Ленковича, которому тоже захотелось посмотреть на пароход, плывший по реке.

Грабша спрыгнул с окна и заехал Ленковичу в ухо.

— Ты что, сукин сын, к нам лезешь, — гаркнул он на него, — ты же у меня полбуханки украл, подлюга, а теперь примазываешься, рожа твоя бесстыжая!

Все остальные арестанты отступили от окна в предвкушении азартной стычки. Поняв, что на него смотрят, Ленкович наклонил голову и стал размахивать кулаками, готовясь к бою.

Не успел он съездить Грабше по роже, как противник двинул ему прямо в поддых.

— Ату его, по-мазурски! — кричали стоявшие у окна, восхищенные точностью удара.

А Грабша коленями уже придавил Ленковича к полу и плевал ему в лицо:

— Вот тебе, слюнтяй, за мой хлеб!

Изловчившись. Ленкович схватил Грабшу за горло и не успел удивленный Грабша опомниться, как тот уже сидел на нем верхом, награждая оплеухами и приговаривая при этом:

— Знай наших из Вадовиц! Знай Михала, Ленковича сына!

В коридоре послышались шаги.

Грабша и Ленкович разошлись по своим углам. Надзиратель отомкнул

дверь, зашел в камеру и скомандовал:

— Тюфяки на нары и спать! Грабша, за водой!

Тюфяки мигом оказались на местах. Грабша отправился за водой.

— Ну и здоров мужик! — признал Ленкович, когда он вышел.

— Да и ты не оплошал, — отозвался кто-то, — а как ты его на лопатки-то!

— Споем, что ли, — предложил кто-то, и все согласились.

И через окно на простор вырвалась старинная польская бродяжья песня:

*Чем томиться по молодке,  
Так уж лучше за решеткой.*

— Хорошо поете! — сказал Грабша, вернувшись с водой. — А я новость принес. Маришка-то, нищенка, вернулась после суда. Сейчас лягу — расскажу, чего она мне наговорила, пока воду набирали.

Грабша растянулся на тюфяке и начал:

— Сказала, Ленковича шибко любит. Как пустят его дальше по этапу, так она попросится с ним.

Все, кроме Ленковича, засмеялись.

— Грабша, — невозмутимо ответил Ленкович, — что ж ты, старухе — и то покою не даешь? Выходит, нищий над нищенкой издевается.

— Да она дряхлая совсем, — сказал Грабша, — поди, шестьдесят скоро.

— Наша она, из Вадовиц, — продолжал Ленкович. — У ее сына хозяйство в Салае. Поля — сплошь чернозем.

— Чего ж она тогда милостыню просит? — удивился Грабша.

— Вот и просит, сволочь он этакая, — ответил Ленкович.

— Я бы его задушил собственными руками, — отозвался голос у окна, где лежал Грабша, — по-нашему, по-мазурски.

— Живьем бы его зажарить, — сказал другой, — это же надо: мать нищей по миру пустить.

— Каких только людей нет на белом свете. — Ленкович утер глаза. — Наплакалась Маришка-нищенка всласть. Просила она его: «Хоть в прислугах оставь, сыночек!», а он мать-старуху — за порог.

— Паразит! — выкрикнул кто-то. — Пустить бы ему красного петуха!

— Спать! — раздался окрик снизу.

— Да лежим уже! Даст бог, уснем, — ответил Грабша. — Во имя отца и сына...

Встав прямо на нарах на колени, бродяга Грабша начал молитву. Но не ту, что читают под чужими дверьми, выпрашивая подаяние. Он твердо верил, что бог услышит ее.

Он молил наказать сына Маришки-нищенки — спалить дом, разорить поля...

За Вислой один за другим гасли огни. Опустилась ночь.

## Поминальная свеча

Старого старосту похоронили на деревенском кладбище под лиственницами; женщины и дети разошлись по хатам, а мужики направились в корчму дядюшки Шимона.

— Шимон, — крикнул кто-то из крестьян, когда все уселись за грубо отесанные столы. — Эй, Шимон, поднеси-ка, согрей душу! — Утерев глаза рукавом кунтуша, он со вздохом обратился к сидевшим: — Эх, нет больше нашего старосты!

— Смерти все одно, — промолвил седой Станко, — что староста, что не староста.

— Да уж, смерть не выбирает, — поддакнул Земб. — Вот так напьешься, свалишься с телеги, а она тебя поперек — и все!

— Здорово тот цыган ему предсказал, — вспомнил Станко, — давненько это было. Пришел тогда цыган в деревню, а покойник староста как раз от Шимона идет. «Что это ты, парень, смеяться вздумал!» — говорит ему староста и велит в каталажку упрятать. «Да всыпать ему по первое число!» — приказывает мне и покойному Хохличу. Всыпать-то мы всыпали, а цыган и говорит: «Староста ваш или упьется до смерти или убьется спьяну». И вот, поди ж ты, сколько лет прошло — едет староста из города мертвецки пьяный, падает с телеги — и прямо под колеса. Вот и нет его.

— Эй, Шимон, выпей с нами, — крикнул Земб, — жалко, такой был староста!

— Жалко, ох как жалко. — поддержал его Шимон, выпив с мужиками. — Помните, в прошлом году он двух бродяг запер в пустом хлеву и три дня ни крошки им не давал? А когда они просили его поесть, чтобы не умереть с голоду, только смеялся: «То-то, ребята, сами теперь видите, у нас в горах нищим плохо подают».

На четвертый день отпустил их, дал по краюхе хлеба. «Видал, Шимон, — говорит мне, — какого задали стрекача. Я им покажу... Работать надо!»

— Зато стариков нищих любил попотчевать, — продолжил Земб. — Придет старичок за милостыней. «Ты откуда, сердешный?» — «Оттуда-то». — «А отец твой?» — «Помер, хозяин». — «Не сладко тебе приходится», — скажет, бывало, староста и чуть не целую неделю старика кормит.

— Как же, помню, — сказал Шимон, — сидел как-то староста здесь, выпивал, а старик нищий заходит. «Выпей со мной, братец», — пригласил его староста. Нищий выпил и захмелел, а староста мне и приказывает: «Уложи-ка его, Шимон, да поудобнее!»

— Выпьем, — предложил крестьянин Михаил, — помянем покойного добрым словом.

Все выпили, и тут снова заговорил седой Станко:

— А мне не забыть, как сидел староста перед своим домом вечером, накануне злосчастной поездки в город. Я присел рядом с ним на лавочке, а он мне и говорит: «Станко, дружище, дай руку». Подаю ему руку, а он мне: «Слушай, брат, разве про себя наперед что узнаешь? Вон священник из Строжи всегда одно и то же твердит: из деревни, мол, уезжаешь, а вернешься, нет ли — дело темное. Так и пребываешь в вечном страхе, по себе, небось, знаешь, Станко, — кто без греха? Вот я и подумал: поставить бы в часовне святого Йозефа возле

леса большую свечу во искупление моих грехов. Может, как умру, скажет мне отец небесный: «Пока свеча не догорит, будешь в чистилище, а потом на небо возьму». Так все и думаю об этом последнее время. А вчера приснилось мне, будто святой Йозеф присоветовал: «Гляди только, дружище, чтоб свеча была побольше!» Я и прикинул: вот, мол, поеду в город, куплю большую свечу. А что, как пить начну, деньги спущу, а свечу-то купить и позабуду?» Тут он мне и говорит — как сейчас его вижу, покойника: «Станко, дружище, сделай одолжение, дам я тебе денег на свечу, а как умру — купи и поставь в часовне святого Йозефа, пусть горит во искупление моих грехов. Грешен я, Станко, ох и грешен!»

Седой Станко выпил, утер набежавшую во время рассказа слезу и продолжал:

— Дал он мне деньги и говорит: «Вот тебе, дружище, три гульдена. На большую свечу хватит! То-то будет гореть, пока я буду мучиться в чистилище! Как догорит, знайте: староста ваш уже в царствии небесном. И потолще пусть будет, больно много у меня грехов. Придется помучиться. Держи деньги крепче да не забудь про свечу. Когда зажжете ее в часовне и пойдете лесом, перекреститесь и скажите: «Дай ему, господи, вечный покой, много он грешил, но бог милостив». Все это покойный староста мне за день до смерти говорил, эх, кабы знал, бедняга, что сегодня схороним его под листовницами.

Седой Станко снова вытер слезы, вытащил из-за пояса три золотых, положил их на стол и сказал:

— Вон как вы весело блестите! — Поеду в город, куплю свечу большую-пребольшую. Ох, бедный наш староста, копил ты эти золотые и думать не думал, что так скоро в часовне святого Йозефа будет гореть свеча в упомин твоей души.

— А что ему было копить? — буркнул Земб. — Ведь он как? Всем известно: налоги соберет — а мы платили исправно — да и пропьет все. Куда там в город деньги возить! А если возил, так не все.

— Он сам про себя говорил, — сказал Мачех, — грешен, мол, дня нет, чтоб не согрешил. Обещал мне похлопотать, чтоб сына не забрили. «Это влетит тебе в копеечку, — говорит, — зато будь покоен, я уж с начальством договорюсь, как рекрутчина подойдет». Отдал я ему пару гульденов, а сын, почитай, третий год в уланах служит. Вот он какой был, бедняжка наш покойник. Денежки в карман — и дело с концом. Что ему три гульдена оставить на свечу!

— А то, случилось, и займы брал, — припомнил молодой Хохлич. — Раз ко мне пришел: «Дай, — говорит, — парень, гульден». Я дал. А потом спрашиваю как-то: «Эй, староста, деньги-то когда вернешь?» А он мне: «Помилуй, да разве я тебе должен?» — «Да что ты, староста, опомнись!» — «А чего мне тебя обманывать, — говорит, — мы с отцом твоим в ладу жили, так что прощаю тебе, парень, эту шутку.»

Земб с вождедением посмотрел на три гульдена, лежавшие на столе, и сказал:

— Бывало, и мне не нравилось, что он, бедняжка наш, сегодня взял, а завтра вроде бы и забыл. Однажды одолжил я ему гульден, а как припомнил должок, он мне в ответ: «Не помню, дружище, ей-богу, не помню, сдается, не брал я у тебя займы».

— Все мы грешники на этой земле, — заметил крестьянин в кунтуше. —

Правильно староста говорил, грешник он был большой, но, я думаю, простить бы ему надо...

— Да вы только вспомните, — продолжал молодой Хохлич, — покойный староста и на налогах нас обсчитывал, и деньги займы брал без отдачи. Как в хозяйстве у него что кончалось — тоже занимал, а там ищи ветра в поле. А теперь ему еще и свечу покупать? Да за что же, я вас спрашиваю?

Земб снова с тоской взглянул на деньги, лежавшие перед седым Станко, и сказал:

— За что да за что! И так всем ясно — не за что. Правильно ты, Хохлич, сказал: и на налогах обсчитывал, и займы брал, и долгов не отдавал. Чего там говорить. — Земб накрыл деньги рукой. — Так что, Станко, я считаю, нечего для покойника за три гульдена свечу покупать.

Седой Станко вздохнул:

— Так ведь и у меня покойник — царство ему небесное! — взял как-то золотой, да и пропил его. Бог милостив... — Станко снова вздохнул, — и грехи отпускает по милосердию своему. Зачем же свечу покупать? — Покойник был, конечно, человек грешный, но... — он помолчал и закончил: — Но деньги, хоть и после смерти, честно вернул.

Старый Станко засунул себе за пояс один из трех гульденов и сказал:

— Один гульден по праву принадлежит тебе, Хохлич, один — тебе, Земб.

Вот почему и по сей день темно в часовне святого Йозефа, покровителя покойного старосты. Не горит там большая свеча за упокой грешной души. Темнота в часовне сливается с лесной тишиной, нарушаемой лишь, когда молодой Хохлич, Земб или седой Станко, возвращаясь из корчмы дядюшки Шимона, останавливаются перед часовней, крестятся и шепчут:

— Ох, староста, бог милостив, и без свечи распахнет он пред тобой врата небесные, а ты замолви там словечко за нас, грешных...

За трех сукиных сынов...

## Вознаграждение

Я служил в налоговом управлении. Сидя на расшатанном стуле в комнате практикантов, где не было даже печки, я что-то переписывал из одной книги в другую, как вдруг кто-то похлопал меня по спине.

Я оглянулся, и перо выпало у меня из руки. Надо мной стоял заведующий канцелярией пан Комарек.

Если старик похлопывал кого-то по плечу, значит, дело было дрянь.

— Прошу прощения, ваша милость, — начал я, заикаясь, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Переписывайте побыстрее, — сказал Комарек, — а когда все уйдут, останьтесь и попрошу в мой кабинет. Смотрите, не забудьте. Повторяю, не уходите со всеми, а зайдите ко мне в кабинет. Запомните хорошенько, юноша!

Начальник ушел в соседнюю комнату и вскоре оттуда послышался его голос: «Вы, пан Кебл, как я посмотрю, после повышения стали себе вместо жирной грудинки копченый окорок покупать. Помните, значит, про свои годы».

Голос начальника постепенно затихал, но из соседней комнаты еще доносилось:

— А вот пан Марек даже в будни курит виржинские. Наш капитан, бывало, говаривал, что, уж если кто курит виржинские, должен одну сигару на всю неделю растягивать. Закурить в понедельник, сделать пять затяжек, а потом целый день держать погашенную сигару в зубах, во вторник опять закурить, сделать пять затяжек и весь вторник держать в зубах, и так всю неделю, а в воскресенье зажечь остаток сигары, потом погасить, опять зажечь и так докурить всю до конца.

Служитель Ваничек, который что-то переписывал в комнате практикантов, заметил:

— Старик сегодня в настроении, вас «юношей» назвал, а теперь вон все шутит.

— Пан Ваничек, зачем же он все-таки меня к себе в кабинет пригласил? — спросил я удрученно.

— У всякого «зачем» свое «потому» есть, — ответил пан Ваничек. — Может, он хочет вас спросить, не бью ли я баклуши или как выполняю свои обязанности. Так вы скажите, что я от работы ни на шаг... Ну вот, старик ушел, все спокойно, так я, пожалуй, пойду выпью кружечку. Если меня кто спрашивать будет, скажите, что, мол, нехорошо ему стало.

Ваничек ушел и оставил меня наедине с моими грустными мыслями.

— Чего я старику понадобился? — думал я. — И главное: в кабинет вызывает.

Я вспомнил про практиканта Фучика, которого старик тоже вот так вызвал однажды к себе, а Фучик вернулся от него и сказал:

— С первого я уволен.

Все уже ушли, Ваничек открывал окна, проветривал служебные помещения и собирал сигарные окурки, когда я с трепетом входил в кабинет заведующего.

Заведующий поднялся навстречу мне и, протирая носовым платком очки, спросил:

— У вас есть собака?

— У меня... Видите ли, ваша милость... — замямлил я, при этом зубы у меня отбивали барабанную дробь.

— Не отрицайте, я вчера с противоположного тротуара видел, как вы с ней прогуливались.

— Прошу прощения, да, у меня есть собака, не извольте сомневаться, ваша милость.

— Так вы любите животных, — перебил меня заведующий, — ведь правда, любите?

— Да, с вашего позволения, люблю, ваша милость, — отвечал я, весь дрожа.

— Это мне в вас нравится, — проговорил начальник, надевая очки. — Садитесь и слушайте.

Он усадил меня на стул напротив и сказал:

— Мне нравится, что вы любите собак. Вы, пожалуй, единственный во всем управлении, кто, как бы это сказать, не равнодушен к бессловесным тварям. Вы ведь к ним не равнодушны, правда?

— Не равнодушен, ваша милость, — ответил я.

— Вот это мне и нравится, — продолжал начальник, — что вы, человек с небольшими доходами, держите собаку. Я заметил, она у вас хорошо откормлена, живот почти по земле волочится. А что, умеет она у вас какие-нибудь штуки выделывать?

— Прошу прощения, пан заведующий, но она уже очень старая.

— Сколько же ей лет? — спросил заведующий.

— Я купил ее еще щенком, как раз когда стал практикантом, — ответил я.

— Ну, тогда она, пожалуй, действительно старая, — согласился заведующий. — И сколько вы на нее в день тратите?

— Пять геллеров, ваша милость, — не считая налога на собак, — ответил я.

— Что ж, это очень порядочно с вашей стороны, раз вы не бросаете собаку и даже тратитесь на нее. Да, у человека могут быть чувства, даже если он просто практикант, ведь у вас есть чувства?

— Так точно, ваша милость.

— Да, да, именно это мне в вас и нравится, — сказал заведующий, — что вы не равнодушны к бессловесной твари, которая чувствует все так же, как человек. А когда ваша собака была молодая и резвая, умела она что-нибудь делать, ну, к примеру, служить или давать лапу?

— Она многое умела, ваша милость, и служить, и подавать лапу, и искать в кармане сахар.

— И это вы ее обучили?

— Да, ваша милость, это стоило мне немало труда, но все-таки я смог ее кое-чему научить.

— Да, да, — заулыбался заведующий, — я как принял вас на службу, сразу заметил, что вы человек способный и голова у вас работает. И знаете, я в вас не ошибся. Вы выполняли все как надо и угадывали каждое мое желание. Я ведь в вас не ошибся, верно?

— Думаю, не изволили ошибиться, ваша милость.

— И если бы я вам сказал, сделайте то или это, уверен, вы бы все исполнили. Например, если бы я попросил вас подбросить угля в камин...

Да нет, я не имел в виду сейчас, — остановил меня заведующий, когда я бросился к камину. — Это был всего лишь пример, садитесь и слушайте даль-

ше. Я вижу, вы меня любите, как отца родного, ну, а я это ценю. Послушайте, вы можете оказать мне одну услугу.

Заведующий с минуту помолчал.

— У нас тоже есть собака, сучка, — продолжал он, улыбаясь, — молоденькая сучка, у которой вот-вот должны быть первые щенки. Моя супруга эту собачку очень любит, но не хочет, чтобы та ощенилась у нас дома. Моя супруга очень чувствительна, боюсь, ей сделалось бы дурно. Одна наша служанка выпустила как-то нашу собачку на улицу, хотя мы ей это запретили, так я дал ей расчет. А теперь, как я сказал, у нее должны быть щенки. Вы, я вижу, животных любите, так окажите мне услугу, возьмите нашу сучку на это время к себе. Собачка красивая и не кусается. А уж когда все закончится и родятся щенки, я вас отблагодарю. Задаром мне ничего не надо. Эта сучка чистокровный фокс-терьер, так что вы уж поухаживайте за ней как следует, вы человек способный. А я вам буду признателен. Вознаграждение за мной. Наша служанка принесет вам собачку в корзинке. Берегите ее, как зеницу ока...

— А я уж вас отблагодарю, — еще раз повторил заведующий. — Теперь идите домой. Я пришлю к вам служанку после обеда.

— Большое спасибо за доверие, ваша милость, — горячо благодарил я, и в глазах моих стояли слезы, — будьте уверены, я его оправдаю.

\* \* \*

На следующий день я рассказал служителю Ваничку о том, что заведующий доверил мне ухаживать за своей сучкой, что его служанка вчера принесла ее ко мне, что это прелестная собачка, которая понесет самое большое через три дня, и наконец, что пан заведующий обещал меня наградить.

Ваничек сначала посмотрел в потолок, потом на меня и спросил:

— Когда вы подавали прошение о повышении в должности?

— Шесть лет назад, — ответил я. — Я работаю практикантом уже двенадцатый год.

— Ну что ж, тогда это возможно, — сказал Ваничек.

— Что возможно? — спросил я.

— Ну что в награду за это он вас повысит. Например, одного он повысил только через десять лет, — сказал Ваничек.

— Да, наверно, он меня повысит, — с радостью думал я, — ведь это ему ничего не стоит. И отблагодарит.

Когда я, радостно предвкушая свое повышение, вернулся домой, хозяйка квартиры объявила:

— Ну вот и все. Всего два щенка, один весь белый, а другой с черными пятнами.

Из моей комнаты доносилось тихое скуление, а когда я вошел, моя питомица облизывала своих деток.

Я нежно погладил ее.

— Хорошая собачка, — думал я, — если бы не ты, меня бы не повысили.

\* \* \*

На следующий день я не шел, а летел в управление, чтобы скорее сообщить заведующему:

— Ваша милость, все в порядке.

В половине девятого, как только он появился, я постучал в кабинет и вошел.

— Ваша милость, — сказал я, поздоровавшись, — все обошлось благополучно.

— Это вы о моей собачке, — сказал он с теплотой в голосе, — так все кончилось хорошо?

— Очень хорошо, ваша милость, — ответил я, — она принесла двух щенят. Одного белого, а другого белого с черными пятнами.

Заведующий прошелся по кабинету, как бы раздумывая над чем-то, и наконец сказал: — Я обещал отблагодарить вас, и я сдержу свое слово...

— Я не осмеливался даже надеяться, ваша милость, — проговорил я дрожащим голосом.

— Отчего же, я умею быть благодарным. — возразил заведующий.

Он посмотрел мне в глаза, подошел ближе и сказал:

— Так какого вы хотите себе оставить, белого или того — с черными пятнами?..

## Рекламная сцена (Американская юмореска)

По одной из оживленнейших улиц американского города, название которого не имеет значения, в час пик шли навстречу друг другу два человека приятной наружности, с чисто выбритыми лицами.

Они почти столкнулись, и тут господин в сером цилиндре спросил господина в мягкой шляпе:

— Простите, сэр, не имел ли я чести встречаться с вами?

— Отнюдь нет, сэр, я вас не знаю, — ответил господин в мягкой шляпе.

— Это поразительно! — громко, чтобы было слышно прохожим, воскликнул первый. — Итак, вы утверждаете, что никогда меня не видели?

— Никогда, — удивленно подтвердил второй.

— Тогда разрешите спросить, — продолжал господин в сером цилиндре, — почему вы так внимательно разглядывали меня издали?

Во время разговора вокруг них начали собираться зеваки.

— Эти господа могут подтвердить, что я на вас не смотрел, — сказал второй.

— Нет, смотрели, сэр! — весьма громогласно ответил первый. — Если вы джентльмен, извольте ответить, почему вы это делали!

— Я вас не знаю, считаю ваш вопрос совершенно неуместным и...

— Продолжайте, пожалуйста, что «и»... — сказал первый господин. — Что вы хотели сказать этим «и»?

— Я не собираюсь отвечать, — спокойно проговорил второй и, обращаясь к окружающим, которые с возрастающим интересом прислушивались к этому необычному спору, добавил: — Господа могут подтвердить, что я не сказал ничего дурного.

— Тогда, значит, думали нечто дурное, не так ли, господа? — спросил возбужденно первый.

— Я отказываюсь отвечать и на этот вопрос, — сказал второй господин, — так как...

— Что «так как»? — прервал его господин в сером цилиндре. — Вы хотели, по-видимому, сказать: «Так как не собираюсь больше пачкаться о вас»?

— Я этого не говорил, — возразил господин в мягкой шляпе, — потому что...

— Что вы понимаете под этим «потому что»?

— Абсолютно ничего, сэр!

— Но вы сделали на этом «потому что» какое-то особое ударение, сэр.

— Не думаю.

— Ну, так не обременяйте меня своим присутствием, — раздраженно рявкнул первый.

— Я могу стоять, где мне угодно, хотя...

— Словом «хотя» вы собирались оскорбить меня, сэр! — прорычал господин в сером цилиндре.

Количество зевак и любопытных между тем возросло.

— Вас? И оскорбить?! — спокойно ответил второй господин. — Едва ли это возможно!

— Что вы хотели сказать этой фразой?

— Ничего, кроме...

— Что вы понимаете под словом «кроме»?

— Под словом «кроме», — ответил второй рассудительно, — я понимаю, что вы, сэр, осел.

— Дайте ему! — посоветовал кто-то из зрителей. — Пристрелите его!

Господин в сером цилиндре поставил свой цилиндр на землю и начал засучивать рукава.

— За это вы ответите, сэр! — крикнул он.

— А ну, подойдите! — произнес второй. — Повторяю еще раз, что вы осел!

— О'кей! — воскликнул первый. — За это я выбью вам зубы!..

— Попробуйте!

— Что ж, попробую! — угрожающе произнес первый и стукнул господина в мягкой шляпе по зубам с такой силой, что тот упал на землю.

Наступила сумятица. Все бросились на зачинщика... Но в это время потерпевший поднялся, встал против своего противника, которого присутствующие уже собирались линчевать, и совершенно спокойно сказал:

— Леди и джентльмены, посмотрите на мои зубы: не пострадал ни один из них. — И он показал окружающим свою челюсть, в которой сверкали прекрасные белые зубы.

— Джентльмены, смотрите и помните! Мои зубы искусственные. Фирма «Мартенс и К°» производит несокрушимые искусственные зубы — наилучшую замену настоящим!

После этого первый господин взял второго под руку, и оба они прокричали:

— Рекомендуем вам искусственные зубы фирмы «Мартенс и К°»!

Затем оба, закулив сигары, спокойно отошли.

\* \* \*

До сего дня эти двое служащих фирмы «Мартенс и К°» были добрыми приятелями. Но после вышеописанной сцены между ними возникли разногласия по денежному вопросу.

— Вильям, — сказал второй, когда они после своего выступления пошли подкрепиться в ресторан, — вот твои три доллара.

— Мне полагается получить еще два, Джон, — возразил Вильям. — Ведь господа «Мартенс и К°» платят нам по пять долларов в день.

— Правильно, — ответил Джон. — Но со вчерашнего дня ты должен мне два доллара.

— Ничего подобного!

— Вильям, — сказал Джон беспокойно, — разве ты не помнишь, что занял их у меня вчера до того, как упился?

— Я не упивался, — защищался Вильям. — Это ты был пьяный.

— Хорошо, — ответил Джон. — Ты был трезв и не занимал этих двух долларов, ты просто взял их у меня.

— Но я взял только свои, Джон, потому что позавчера ты вынул у меня из кармана мундштук для сигарет стоимостью в два доллара.

— Мистер Вильям, вы лжец!

— Мистер Джон, вы вор!

— Пьяница!

— Черномазый!

В зале ресторана раздался своеобразный звук, происхождение которого объяснил мистер Вильям:

— Мистер Джон, за эту пощечину мы еще рассчитаемся!

И служащие фирмы «Мартенс и К°» разошлись во гневе...

— Джентльмены! — сказал мистер Мартенс на другой день, когда бывшие друзья явились в канцелярию фирмы. — Наш компаньон мистер Уоттер был весьма доволен, можно даже сказать, восхищен тем, как великолепно вы сыграли вчера вечером на Четвертой авеню рекламную сцену. Вы провели ее совершенно естественно, — за что выражаю свою признательность как вам, мистер Джон, так и вам, мистер Вильям. Сегодня вы сыграете нашу рекламную сцену на Шестой авеню в семь часов вечера. Проведите ее как можно естественнее. Я уже говорил с начальником полиции, и он мне обещал не чинить вам никаких препятствий, так как не видит в этом ничего противозаконного...

Мистер Вильям, водрузив на голову серую шляпу, ушел с завереньями:

— Будьте спокойны, мистер Мартенс, нашу рекламную сцену мы сыграем самым естественным образом...

Итак, в семь часов вечера по Шестой авеню шли навстречу друг другу мистер Вильям в сером цилиндре и мистер Джон в мягкой шляпе.

Мистер Уоттер, компаньон мистера Мартенса, был восхищен сегодня еще более, чем вчера, так как в голосе мистера Вильяма звучал подлинный гнев.

Сцена протекала вполне естественно.

— Вы хотели, по-видимому, сказать: «Не собираюсь больше пачкаться о вас»? — говорил мистер Вильям мистеру Джону, подхватывая уже известную нам фразу: «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как...»

— Я этого не говорил, — произнес мистер Джон, — потому что...

— Что вы понимаете под этим «потому что»?

— Абсолютно ничего, сэр!

— Но вы сделали на этом слове какое-то особое ударение, сэр.

— Не думаю.

— Ну, так не обременяйте меня своим присутствием!

— Я могу стоять, где мне угодно, хотя...

— Словом «хотя» вы хотели оскорбить меня, сэр!

— Вас? И оскорбить? Едва ли это возможно.

— Что вы хотели сказать этой фразой?

— Ничего, кроме...

- Что вы понимаете под словом «кроме»?
- Великолепно! — воскликнул мистер Уоттер, компаньон мистера Мартенса, находившийся в толпе.
- Под словом «кроме» я разумею, что вы, сэр, осел!
- Потрясающе! — восхищался мистер Уоттер, так как мистер Вильям с еще более угрожающим видом, чем вчера, начал засучивать рукава.
- За это вы ответите, сэр, — говорил мистер Вильям мистеру Джону.
- А ну, подойдите! — отвечал мистер Джон. — Повторяю еще раз: вы осел!
- О'кей! — воскликнул мистер Вильям, набросился на мистера Джона, повалил его на землю и начал молотить, приговаривая: — Это тебе за вчерашнюю пощечину, вор!
- На помощь! — закричал мистер Уоттер в ухо полицейскому, который спокойно наблюдал за этой сценой. — Вмешайтесь, пожалуйста...
- Это же разрешенная рекламная сцена, — возразил полицейский с улыбкой. — Господа играют необыкновенно естественно.

На следующий день в газетах появилось следующее сообщение:

«Нижеподписавшийся начальник полиции запрещает проведение рекламных сцен, поскольку на днях при подобной рекламной сцене мистер Джон, служащий фирмы «Мартенс и К°», получил, согласно медицинскому заключению, серьезные увечья от мистера Вильяма, служащего той же фирмы, причем у мистера Джона была полностью разбита его искусственная челюсть».

## **Возвращение (Словацкая зарисовка)**

**К**аждый, кому доводилось ехать по дороге, ведущей по берегу Вага вверх к Жилине, любовался видом, открывавшимся на деревню Кочковице. Маленькие рубленые хаты, окружавшие невысокий белый костел, выглядывали из зелени фруктовых деревьев.

Но обитатели этих милых рубленых хат с соломенной крышей жили в постоянной борьбе за существование.

Маленькие скудные поля не могли прокормить большие семьи. Половина мужчин, соблазненная рассказами о роскошной жизни за океаном, уехала в Америку, и мало кто вернулся. А возвратившийся становился еще беднее, чем раньше, потому что его родные брали в долг у корчмаря Шварца зерно для посева и другие необходимые в домашнем хозяйстве предметы и, чтобы расплатиться с долгом, приходилось продать хату и поле.

Некоторые мужчины ушли работать вниз на венгерские равнины, где воздух пропитан испарениями болот и гниющих трясин, там их ждала смерть от лихорадки; остальные отправились с пуховскими дротарями бродить по свету.

Матуш Бучко присоединился к пуховскому дротарю Чепаку. Накинув рабочую блузу, он сунул за пояс неразлучную свою трубку, взял в долг у Шварца несколько жестяных кастрюль, мышеловок, немного железной и латунной проволоки, простился со своей женой Маркой и двумя сынишками, зашел напоследок к корчмарю выпить стаканчик сливовицы и отправился бродить по свету с Чепакком.

Через год Бучко вернулся один. Чепака в драке убили бродяги где-то в Южной Австрии. Узнав об этом, пуховский нотар распорядился продать хату Чепака в уплату налогов за год, и вдова Чепака с четырьмя детьми перебралась в избу Матуша Бучко.

Уплатив Шварцу из заработанных денег долг за зерно для посева и хлеб, что брала в долг его жена, Бучко с неделю пожил дома, порассказал, как кому живется на белом свете, что он видел, какие чудесные поля, какие дома, и снова отправился бродить по земле. Прошел год, а Бучко не возвращался. «Он вернется, — говорила Марка, а дети каждый день ходили к перевозу у Пухова смотреть, не покажется ли на дороге их отец. А он все не приходил.

«Наверное, далеко забрел, хочет заработать побольше, — радовалась жена, — он обязательно вернется, если не в этом году, так через год».

Здесь в Кочковицах женщины привыкли к тому, что их мужья возвращались иногда и через пять лет, как Кметнич-младший, который вернулся после пятилетнего отсутствия и заплатил Шварцу все до последнего крейцера, и у него еще столько осталось, что он смог покрыть хату новой соломой.

Женщины в Кочковицах, замученные работой, худые, мечтали не о том, чтобы, вернувшись, мужья обняли их, они надеялись, что мужчины расплатятся со всеми долгами у Шварца. В этих милых хатах, издали столь живописных, любовь мало-помалу исчезала, уступая место заботам о хлебе насущном.

Марка Бучкова была исключением. В этой худой темной женщине, которая весной сама впрягалась в плуг, жила такая любовь к мужу, что мысли о пропитании отступали на второй план.

После того как дети укладывались друг возле дружки на соломе и вдова Чепаква засыпала, Марка выходила из дома и, глядя на туман, поднимающийся над долиной Вага, плакала.

Порою Марка заглядывала в сундук, где хранилась праздничная шляпа Матуша с широкими полями; стоя перед сундуком, она шептала: «Я знаю, он вернется».

Она не походила на вдову Чепакву, которая, когда ее муж еще был жив и подолгу не возвращался из своих странствий, говаривала обычно: «Я знаю, он вернется с кучей денег».

Бучко не вернулся и на следующий год.

Марка плакала, но твердила: «Я знаю, он вернется».

На какое-то время от мыслей о муже ее отвлекли случившиеся тем временем события. В Пухово был пожар. Ваг вышел из берегов.

Кругом только и говорили о несчастье, о том, сколько людей утонуло в разлившемся Ваге, наверху река даже снесла хаты. Вода спала, и о несчастье начали забывать. «Вот теперь и Матуш вернется», — снова надеялась Марка.

Корчмарь Шварц начал беспокоиться.

— Марка, — сказал он, когда жена Матуша пришла купить хлеба, — твой муж не вернется, а за тобой долг. Чем ты мне заплатишь? Голодранцы, берете в долг, а платить нечем. Если бы не мое милосердие, твоя хата давно пошла бы с торгов.

— Матуш вернется, — плакала Марка, — он должен вернуться, милостивый пан, и все вам заплатит.

— Глупая, — набросилась на нее жена Шварца, — да теперь, поди, не узнаешь, где его закопали.

— Придется пустить с торгов твою хату, — решил Шварц.

И пустил. И сам купил ее, причитая, что никогда не терпел такого убытка.

— Знаешь что, — сказал Марке Шварц после продажи хаты, — я не какой-нибудь бесчувственный человек. Пойдешь работать на стройку в Тренчианске Теплице, будешь подносить кирпичи. Получать будешь двадцать крейцеров в день плюс питание.

— Матуш вернется, — всхлипывала Марка, вокруг нее плакали ее дети и дети Чепака.

В тот же день молодой Шварц отвез работниц на строительство вилл в окрестностях Тренчианских Теплиц.

В июне этого года я переправлялся от романтической Скалки на другой берег Вага к Тренчианским Теплицам.

Поденщицы на берегу грузили песок, который залегает там толстыми пластами.

— А все-таки Бучко вернулся, — рассказала одна из них, — вчера его нашли в песке, вон там. — Она показала разрытое место у воды. — Он лежал в песке на глубине больше метра, — продолжала поденщица. — Молодой пан говорил, что он пролежал там, наверное, с полгода. В поясе у него было зашито больше сорока золотых.

— Боже мой, сколько денег, — сказала другая поденщица, бросая лопатой песок на телегу, — верно, бедняга упал в воду, и течением его принесло сюда.

Спустя немного времени я ехал по дороге долиной Вага, и сосед обратил мое внимание на Кочковице.

— Взгляните, какой вид, что за прелесть — эти избушки, — воскликнул он с восторгом.

— В самом деле, — отозвался я холодно.

## Новые течения

Когда я пришел к своему приятелю Ладиславу, первым делом мне бросилось в глаза несколько листов чистой бумаги, лежавших перед ним на столе.

На одном из них я увидел заголовок «новелла». Слово «новелла» было зачеркнуто, а рядом написано «рассказ». Больше ничего, только страницы аккуратно пронумерованы: 1, 2, 3, 4, 5.

Ладислав сидел над чистыми листами бумаги, зажав в зубах перо и обхватив голову руками.

— А, это ты, — проговорил он, заметив мое появление и выпустив ручку из стискивающих ее челюстей.

— Да, — ответил я, — пришел посмотреть, что ты подделываешь.

— Как видишь, я пишу рассказ, — гордо сказал Ладислав.

— О чем он будет повествовать?

— Не знаю, — ответил он с меньшей гордостью. — Я как раз придумываю название.

— Присядь, — сказал Ладислав доверительно, — и дай мне совет! Ты, наверное, знаешь, что в моем родном городе выходит журнал, который до сих пор печатался без развлекательного приложения. Однако позавчера я получил из редакции письмо, в котором редактор сначала рассказывает, что по воскресеньям он собирается издавать развлекательное приложение. Потом в послании говорится о стиле модерн, господствующем в литературе, и еще в письме указывается, что редакция посылает мне двадцать крон.

— Извини, у меня в доме нет ни капли одеколона, — заметил мой приятель, увидев мое волнение, и продолжал: — В своем письме редактор расхваливает мой талант, еще раз упоминает о двадцати кронах и, наконец, пишет: «Эти двадцать крон я посылаю вам в качестве аванса, будьте так любезны, пришлите с обратной почтой какое-нибудь достаточно большое произведение для нашего воскресного приложения, произведение непременно модернистское, ибо мы хотим пропагандировать новые течения...» В этом все дело! Но вот в чем проблема: целый день я сижу над бумагой, и до сих пор мне в голову не пришло ни одной путной мысли, хотя, по мнению автора письма, я глашатай новых идей. Будь любезен, посоветуй мне, о чем писать, дай мне совет, подкинь какую-нибудь идею.

— Ты действительно получил обещанные двадцать крон? — спросил я спокойно.

— Да, как раз сегодня утром.

— Это меняет дело, — оживился я, — я дам тебе блестящий сюжет, чисто модернистский. Напиши о бледной деве с золотыми волосами, стоящей посреди затуманенного края, она полна решимости убежать из дома, от дядюшки с зелеными глазами, который, как кот у красного камина (опиши, как огонь трещал на дубовых поленьях) уставился на нее своими зелеными глазами, помни, что она его воспитанница и утопает в мечтах о невыразимом счастье, о котором она узнала из песен пригожих лодочников, перевозивших ее через черные заводи печальной реки. Напиши, что река обладала дурманящей силой манящих вдаль скитаний, вечерних возлюбленных, это, я думаю, вполне в духе модерна. Пиши о сгустившихся сумерках, о пылающих страстью очах, пиши о пылких желаниях ветра, который скользит по туманным королев-

ствам любви, это тоже очень современно. Добавь еще несколько предложений типа: «Ибо там бы мог быть иной свет», «Оцепеневшие звуки удалились на цыпочках», «Безразличный праотец дней», «Мечтательная летаргия наполнила иссохшие вены», как следует разбавь все это и можешь закончить свой абсолютно модернистский рассказ какими-нибудь стихотворными строками, например: «На фоне бледной охры заката — черный гном, крик петуха в томлении умолк за окном».

— И пожаловаться-то некому, — посетовал приятель, выслушав меня.

— Не сердись, — сказал я, растроганный его грустным тоном, — здесь, в комнате, тебе все равно ничего не придет в голову, пойдем прогуляемся.

— Зачем?

— Ну, поищем какой-нибудь сюжет. Понаблюдаем за людьми. Например, пройдет мимо нас какой-нибудь господин с дочерью, мы пойдем следом. Он подумает, что мы возлюбленные его дочери...

— Я думал, ты остроумнее, — вздохнул приятель, надевая пальто, — ладно, пойдем прогуляемся, может, что-нибудь придет в голову.

Мы вышли из дома и некоторое время шли молча, наблюдая за прохожими.

— У меня есть идея, — сказал я. — До сих пор мало кто описывает жизнь на вокзалах, пойдем туда.

Мой приятель без звука согласился, и вскоре мы прохаживались по перрону недавно перестроенного Франтишкова вокзала.

— Одни избитые темы, — ворчал приятель, — люди прогуливаются, уезжают, ждут знакомых, отец или мать едет домой в деревню из Праги, где гостили у сына.

— Или у дочери, — прибавил я, а приятель продолжал ворчать:

— Или у дочери. Трагическая завязка. Отец находит сына, который должен усердно учиться, где-нибудь в кабаке. Портрет отца. Высокий, угловатый, выбритый, с трубкой в зубах. Мать находит дочь на смертном одре отравившуюся мышьяком. «Во всем виноват Карел», — вздохнет, умирая, дочь. Несчастливая мать дознается, что Карел был любовником ее дочери.

— В этом много романтизма, — сказал я приятелю, — но если ты хочешь ворчать, бубни себе тихонько, не так громко. Люди оглядываются, думают, что ты сумасшедший.

Приятель задумался. Мы уселись на лавочку на перроне.

— Это тоже не подходит, отозвался наконец приятель. — Я было подумал, что нашел сюжет, чисто модернистский. На основе твоей фразы: «Люди думают, что ты сумасшедший». Хорошо. Мы и вправду сумасшедшие и ждем своего собственного приезда.

Я был вынужден испытующе посмотреть на своего приятеля, который, заметив мой взгляд, сказал:

— Не бойся, и из этого рассказ не получится; кажется, я уже читал нечто подобное. И вообще странно, что мы пришли на вокзал. Наши новые течения...

— Оставь новые течения, — посоветовал я, — лучше смотри вокруг. Думаю, у тебя есть талант наблюдателя.

— Талант наблюдателя, — вздохнул приятель, — легко сказать. Посмотри вокруг! Что можно из этого выжать? Взять вокзал, что, собственно, я вижу вокруг себя? Несколько дюжин обыкновенных людей, суесящихся, чтобы не

опоздать на поезд, двух-трех кондукторов, дежурных в залах ожидания, корзины и чемоданчики, солдат, едущих в отпуск, скамейки с изогнутыми спинками, несколько влюбленных пар, которые назначили здесь свидание, несколько барышень, намеревающихся завязать здесь знакомство. И ты хочешь, чтобы из этого я сделал рассказ в духе модерна?

— Я обещал одному своему хорошему знакомому, — начал я, — как-нибудь навестить его. Сегодня как раз подходящий случай. Это недалеко от Праги. Полчаса езды на поезде.

— Не понимаю, чего ты, собственно, хочешь и зачем ты привел меня на вокзал? — заметил приятель.

— Милый Ладислав, — ответил я, — купи два билета до Колодеев. Это ведь совсем просто. Ты сможешь почерпнуть свои сюжеты в атмосфере сельской местности. Колодеи — это деревня, которой не коснулся столичный дух, ты сможешь написать чисто модернистский рассказ из сельской жизни. Зайдем с моим знакомым в трактир, увидишь сливки местного общества. Послушаешь их говор, расцветишь по желанию, можешь описать в своем рассказе ручную хромую серну — достопримечательность всей округи, можешь расписать пруд, устроенный в местном заказнике. Ты сможешь воспеть лесные тени, скользящие по воде. Мне кажется, это очень соблазнительно. Рассказ ты можешь назвать «Из жизни деревни Колодеи в окрестностях Праги». Колодеи еще никто не описывал, таким образом ты одновременно приобретешь заслуги в области краеведения. Возможно, колодейский общинный совет сделает тебя почетным гражданином.

— Последнее время, — пробормотал Ладислав, — я не понимаю, болтаешь ты первое, что тебе в голову взбредет, или ты говоришь серьезно.

— Совершенно серьезно, — заверил я, — купи два билета на поезд, и ты не пожалеешь. В наши дни, если хочешь создать что-нибудь оригинальное, ты должен идти на любые жертвы.

Я убеждал его еще некоторое время. Наконец он пошел и купил билеты.

Через четверть часа мы уже сидели в поезде.

— Может быть, тебя разочарует эта странная экскурсия, зато ты сможешь потом написать рассказ «Об обманутых надеждах», — рассуждал я, когда поезд тронулся, — в наше время искать идеи трудно.

— Это точно, — вздохнул приятель. — Вот написал я драматическую сцену «жертва нищеты». Главным действующим лицом была обманутая женщина, по имени Маринка, которая всю пьесу плачет и при этом умирает. Это, по моему, весьма необычная идея. В то время как все люди в комнате разговаривают, Маринка беспрестанно причитает: «А-ах. о-ох, а-ах». Я думал, что на сцене это будет смотреться замечательно. Но критики написали: «Старая, избитая тема, плохо разработанная, автор дал пьесе банальное название «Жертва нищеты». Потом я стал писать модернистские стихи, как например, «Тысячу женщин я, верно, любил», «Страстный поцелуй» и тому подобное. В результате в моем родном городе матери стали прятать от меня своих дочерей. Тогда я начал писать нежно и тонко, а результат... Из многих уст я слышал: «А, это тот, что хнычет в газетах, как старая дева».

Приятель малодушно махнул рукой.

— Теперь я хочу написать что-нибудь крупное, — продолжал он, — какой-нибудь роман, только не знаю, из какой жизни. Я хочу написать большое

произведение, чтобы реализовать идеи новых течений. Я в последнее время наблюдал жизнь животных. Эта нива, мне кажется, в литературе еще недостаточно обработана.

— Хочешь написать роман, — вставил я, — а сам не знаешь, что сочинить для воскресного приложения местного журнала.

— Даже не представляю себе, — грустно признался приятель, надеюсь, что в этих Колодеях я найду подходящий материал.

— Беховице! — закричал кондуктор.

— Выходим, — подтолкнул я своего приятеля, — от Беховиц до Колодеев недалеко.

Мы сошли с поезда и двинулись по грязному шоссе.

— Делай заметки, — предложил я, — они пригодятся при описании местности. Слушай:

Однообразные холмы, на них коричневые комья вспаханной земли. Шоссе взбирается на холм и выбегает на равнину, которая разделена полосами полей на квадраты, прямоугольники, трапеций и ромбы. Осенняя измученная трава зеленеет скудно, и свекольная ботва, собранная на полях в кучи, подвергается химическому процессу гниения в ожидании крестьянских телег, которые отвезут ее в места, определенные всеведущей природой. Вблизи проглядывают во мгле осеннего дня очертания деревни, зовущейся Колодеи. За деревней чернеют контуры заказника, а вдали теряется полоса Ирэнского леса. Вот мы и в Колодеях.

Приятель поник головой. В Колодеях мы навестили моего знакомого.

Я объяснил ему причину нашего визита, рассказал, что мой приятель ищет материал для рассказа, что он глашатай новых течений и что у него в кармане двадцать крон.

— Пойдемте в трактир, — предложил мой знакомый, — там найдется много материала, а кроме того, там вы можете поужинать.

— В трактир мы и в Праге могли пойти, — вздохнул Ладислав, поворачиваясь к моему знакомому, — вы не можете себе представить, какая это мука писать что-нибудь на заказ.

— Я вас понимаю, — ответил мой знакомый, — потому что я сам тоже интересуюсь литературой и много читаю.

Подобными расплывчатыми фразами мы развлекались в трактире в течение первого часа, пока под воздействием выпитого пива не начали защищать свои взгляды.

Между тем среди посетителей распространилась весть, что мы приехали писать повесть о жизни колодейских граждан.

Карты на соседних столах исчезли, и бодрые граждане, произносившие минуту назад цветистые ругательства и слова не очень изысканные, стали вежливыми, а их грубая речь — почти благозвучной.

Хозяин — сплошная любезность, сплошные «извольте», «о, пожалуйста». В трактире царила тишина, нарушаемая лишь иногда громким голосом моего приятеля Ладислава, который, обращаясь к окружающим, изрекал:

— А это вы читали? Прочтите!

При этом он все время пил и шептал мне на ухо:

— А идеи у меня все еще нет.

Чуть позже он начал барабанить пальцами по столу, мурлыкая на какой-то

неизвестный мотив «Новые течения, тра-ля-ля, новые течения».

В десять часов вечера я оставил своего приятеля, не пожелавшего покинуть трактир, и пошел на вокзал. В сельской тишине из трактира доносилось непрекращающееся пение моего приятеля:

«Новые течения, тра-ля-ля, новые течения...»

\* \* \*

На следующий день после обеда я навестил своего приятеля Ладислава, и мне сразу бросились в глаза чистые старательно пронумерованные, листы бумаги, на одном из них слово «новелла» было перечеркнуто и заменено словом «рассказ».

— У меня болит голова, — пожаловался приятель вместо приветствия, — ночью поезда не ходили, мне удалось уехать только утром.

— Извини, — ответил я, — я пришел посмотреть, что ты делаешь, а теперь я должен идти домой, чтобы написать...

— О чем? — прервал меня приятель.

— Ну, — ответил я уже в дверях, — хотя бы об этой погоне за сюжетом для рассказа, я назову это «Новые течения».

— Мошенник! — раздалось за моей спиной.

Это были последние слова, которые я слышал от своего приятеля, потому что с тех пор он со мной не разговаривает.

## Цыганская история

**Н**ового владельца Фюзеш-Баноцкого поместья воодушевляли гуманные принципы, что противоречило всем обычаям венгерского дворянства.

Все выглядело тем более странно, что человек этот был к тому же гусарским поручиком.

Иштван Капошфальви — так его звали — унаследовал доброе, благородное сердце своей матери; приказав однажды выгнать обкрадывавшего ее старого управляющего, она долго плакала по этому поводу.

У Капошфальви было мягкое сердце, такое же мягкое, как мякоть зрелых дынь, что дремали, положив на землю свои желтые головы, на полях за замком.

Такое доброе было у него сердце, что пештские шансонетки с напудренными щеками могли рассказывать целые истории о том, как он, увидев слезы на прекрасных глазах девушек, ни в чем не мог отказать им и даже плакал вместе с ними, если выпивал перед тем несколько бутылок эгерского; да, плакал, хоть и был гусарским поручиком!

Такое доброе было у него сердце, что ему пришлось продать родовой замок под Эгером, на дороге Хатван — Геделле — Дьендеш. Люди, которые умеют во всем находить плохое, говорили, что он промотал имение, и доказывали это тем, что Иштван Капошфальви в тридцать лет обладал уже солидной плешью. Сам он, однако, объяснял появление плешу чрезмерными тяготами военной службы, и, кроме того, лихорадкой, полученной во время маневров в болотистой местности у Дярмата.

Фюзеш-Баноцкое поместье он купил по дешевке. На это хватило денег, которые у него остались после продажи с аукциона старого дворянского гнезда и уплаты долгов.

И вот в одно прекрасное утро, когда на востоке взошло красное, как горя-

щая степь, солнце, бывший гусарский поручик, украшение бульвара Андраши в Пеште, превратился в обыкновенного помещика, озабоченного тем, поднимается цена на кукурузу на городском рынке или падает.

В то же утро он велел позвать приказчика и сказал ему:

— Я здесь уже неделю, но до сих пор не знаю, как выглядит мое поместье. Будьте любезны, покажите мне его. Я хочу осмотреть и амбары, и курятники, и конюшни — словом, все.

Приказчик был так поражен этой речью, что вначале не мог вымолвить ни слова.

— Ваша милость, — произнес он минуту спустя, — примите, пожалуйста, во внимание...

— Что я должен, черт возьми, принимать во внимание? — рассердился дворянин.

— Извольте принять во внимание, — спокойно ответил приказчик, — что до сих пор у нас не было заведено, чтобы господа осматривали амбары и хозяйство. И кроме того, как раз за нашими хозяйственными постройками в четырех шалашах живут цыгане. А они, как вам известно, не очень-то чисто-плотный народ.

— Я прикажу прогнать их, — сказал высокородный помещик.

— Не извольте гневаться, ваша милость, — заметил приказчик, — чудное дело с этими цыганами. Покойный граф был обязан им. Видите ли, старый господин любил выпить и однажды, напившись, свалился в помойную яму. И случилось так, что цыган Фараш вытащил его сиятельство из ямы, привел в чувство и обсушил у огня в своем шалаше. Еще покойница графиня очень сердилась. С тех пор старый граф любил, очень любил цыган. Поговаривали даже...

Приказчик доверительно потянул его милость за сюртук.

— Поговаривали, что покойный граф хаживал потом к цыганам не из-за старого Фараша, а из-за его дочери. Видите ли, дочь, родная дочь. Зовут ее Гужа, это цыганское имя, и означает оно: «Вечерняя звезда».

— Красивое имя, — похвалил Капошфальви, которого эта цыганская история начинала интересовать. — А больше ничего не говорили?

— Я часто гулял с покойным графом, и он сам мне кое-что рассказывал. Эта Гужа — настоящий черт. Раз как-то он зашел в шалаш и ущипнул Гужу за щеку. Если бы мой господин ущипнул меня, я из почтения смолчал бы, но Гужа устроила скандал и доставила старенькому графу большое огорчение. Сначала обругала его, а потом вытолкала вон. Да, ваша милость, настоящая дикарка. И покойный господин не заслужил такого обращения. Бедный граф! Последнее время он начал терять память. «Приказчик, сколько мне лет?» — спрашивает, бывало. Это был добрый барин, а негодница Гужа кричала на него: «Старикашка из помойки!» — Приказчик глубоко вздохнул. — Трудно с этими цыганами, — продолжал он. — Вся банда ворует, где только может. А быть с ними построже — тоже не резон. Они способны на все. Целуют руку, а отвернешься — смеются над тобой.

— Дружище, — произнес его милость, — добротой добьешься большего, чем строгостью. Это всегда было моим девизом. — И он провел рукой по своей лысой голове.

— Доброта, — вздохнул приказчик, — от нее тоже мало толку. Вот взять хо-

тя бы нашего покойного графа. Он всегда обращался с цыганами благородно. Однажды, помню, пришел к нему староста из деревни и пожаловался, что цыгане ночью увели у него из хлева свинью. Старый граф сам отправился к цыганам. Приходим в первый шалаш. Его сиятельство начинает уговаривать их не красть, вести себя хорошо, говорит, что они тоже люди, что он велит их всех арестовать, если они не отдадут свинью, что он, впрочем, не станет этого делать, так как знает: в следующую ночь они вернут свинку в хлев. Он скажет старосте, чтобы тот оставил хлев открытым на всю ночь и не запирает его. Не говоря ни да, ни нет, цыгане молча поцеловали графу руку. Но что было утром, на другой день! Староста, чуть не плача, докладывал господину, что оставил хлев открытым, как и приказал его милость, но цыгане свинью не вернули, а, напротив, увели другую и украли еще двенадцать кроликов. Его сиятельство хотел арестовать цыган, но как раз на следующий день свалился в помойную яму.

Приказчик собирался повторить рассказ о случае с помойкой, но Капошфальви прервал его:

— Доброта не должна уступать место глупости. Судя по всему, мой предшественник был немного глуповат и ни на грош не смыслил в хозяйстве. Я хочу взглянуть на цыган. Надо упорядочить их жизнь. Проводите меня!

Они пересекли сад и очутились на южной стороне его, где изгородь густо заросла виноградом. Кисти винограда свисали вниз, а между ними мелькали грязные и смуглые лица детей.

— Смотрите, ваша милость, это ребята цыгана Терека. Гужа любит виноград.

Бывший поручик остановился.

— Черт побери, — произнес он, похлопывая приказчика по плечу, — я никак не могу понять, чего вы так носитесь с этой Гужой! Гужа любит виноград! А если Гужа любит жареную свинину и цыгане украдут свинью — вы скажете: «Гужа любит свинину!»

Капошфальви рассмеялся. Ему казалось, что он очень удачно сострил.

— А что, — продолжал он. — Гужа действительно хороша?

— Очень хороша, ваша милость, — стал описывать Гужу приказчик. — Прежде всего у нее прекрасные глаза. Глянешь в них — и кажется, весь мир вокруг вас кружится, будто вы залпом выпили бог весть сколько вина. Они черные, как черная тряпина, если можно так выразиться, — знаете, ваша милость, если бы вы бывали за Хатваном, то могли видеть такую тряпину часах в трех ходьбы от города, — вот какие у Гужы глаза. Лицо у нее смуглое, уши маленькие, а волосы... — Приказчик задумался и вздохнул. — Волосы, ваша милость, у нее мягкие и черные. Чернее сюртука вашей милости. Сама Гужа, однако, невероятно груба, — закончил приказчик свою поэтическую речь.

Они вышли из сада и зашагали вдоль речки. На берегу стирали женщины из деревни, стуча вальками по белью, разложенному на камнях. Увидев помещика, они перестали стирать и зашептали друг другу:

— Наверно, их милость решили посмотреть на Гужу. А приказчик сам ведет его! Хоть бы постыдился.

За рекой, в четверти часа ходьбы, расположились шалаши баноцких цыган. Сколько этих шалашей — установить довольно трудно: если, допустим, цыгане сломают днем несколько, то за ночь настроят новых, так что число

шалашей все время меняется. Перестраивая свои жилища, фюзеш-баноцкие цыгане преследуют определенную цель. Говорят, несколько лет назад их шалаши стояли на расстоянии часа ходьбы от деревни, а теперь приблизились к ней вплотную.

К этим-то слеplенным из глины и соломы шалашам, что вечером, при лунном свете, напоминают укрепления, прикрывающие подступы к крепости, и вел приказчик своего господина.

Подойдя к шалашам, они услышали голос, напевавший цыганскую песню: «Биш фунты заштера ра, ра» — «Три фунта железа у меня на ногах». Это трогательная и жалобная песня, она воспеваeт разбой и кражи и скорбит о цыгане-грабителе, брошенном в темницу.

Первой, кого они увидели, была Гужа.

— Это Гужа, — заметил приказчик, следя взглядом за проворной фигуркой, мгновенно исчезнувшей в шалаше, из которого валил дым — от коротких цыганских трубок и отчасти от очага.

Капошфальви и приказчик пробрались в шалаш, в котором скрылась Гужа. Некоторое время Капошфальви ничего не видел из-за дыма; к тому же у него слегка кружилась голова от духоты и непривычного запаха: ведь цыгане пахнут не так, как оседлые обитатели Европы.

Он ничего не видел, но чувствовал, что вокруг него копошатся большие и маленькие цыгане, которые наперебой тянутся к нему и целуют ему руки.

Привыкнув к полумраку, он заметил, что стены шалаша завешены пестрыми коврами, вернее, кусками материи, которые много лет тому назад были, вероятно, коврами, а вдоль стен сидят на земле несколько детей, старая цыганка, старый цыган и Гужа.

Он сразу узнал ее по описанию приказчика.

— Ты Гужа! — сказал он ей.

Она ничего не ответила, зато целым каскадом слов разразился старый цыган Фараш:

— Государь наш, всемиловейший благородный господин, это Гужа, моя дочь, ваша честь, это она, негодница, сидит тут, вместо того чтобы подойти и поцеловать руку благородному господину, который соизволил прийти посмотреть на наш убогий шалаш.

Тут речь Фараш а приобрела плаксивый оттенок.

— Да уж, убогий, совсем нищенский, никудышный, — продолжал он. — При старом графе, при покойном благородном господине — много времени тому назад, государь наш, — было лучше, много лучше. Мы сами были сыты да еще помогали своим в соседних шалашах. Его милость разрешили Гуже (Поцелуй, негодница, руку благородному господину!) ходить каждый день на господскую кухню за остатками, которые сиятельные господа не изволили скушать.

Старый цыган вытер глаза широким рукавом рубахи.

— Убогие мы, государь наш. После смерти покойного господина Гужа не ходит больше на господскую кухню — ее оттуда выгнали. Ах, боже мой! Цыган ведь тоже человек, а что ему приходится выносить от людей! С ним обращаются хуже, чем с собакой, ваша милость, карша ваганджа. Целуй, Гужа, в последний раз тебе говорю, целуй благородному господину ручки! Не хочешь? Ваша милость, благороднейший господин, Гужа — очень робкая девушка. Она

не осмеливается (Погоди у меня, негодная!), не осмеливается поцеловать благороднейшему государю руку, я высеку ее, ваша честь, к вашим услугам, всемилостивейший господин!

Старый цыган всхлипывал и нанизывал плаксивым голосом одно слово за другим.

Гужины очи светились во мгле.

— Гужа может приходить на кухню за остатками, — сказал благородный господин, — я постараюсь помочь вам, чем смогу, только не крадите. Воров в своем поместье я не потерплю.

И Капошфальви с достоинством вышел из шалаша, точнее сказать вылез, преследуемый благодарностями всей семьи цыгана Фараша.

— На сегодня с меня хватит, — сказал он приказчику, вдыхая свежий воздух.

— Извольте приказать, чтобы осмотрели ваше платье, — лаконично заметил приказчик, — цыгане, знаете... Покойный граф всегда отдавал выпаривать платье, когда возвращался от них.

Уже более двух недель Гужа ходила на господскую кухню за остатками еды, и за все это время кухарка сообщила лишь о пропаже трех серебряных ложечек, которые, впрочем, могла сама случайно выплеснуть.

Высородный господин время от времени вспоминал Гужу, но в течение этих недель особенно ею не занимался, ибо усердно изучал сочинение «О различиях и продуктивности пород рогатого скота», хотя, к его досаде, ему постоянно мешали спокойно исследовать столь важную для помещика книгу.

Он как раз сидел над нею, подчеркивая такие слова, как «пинцгавская» и тому подобные, когда кто-то робко постучал в дверь. Вошла жена приказчика.

— Целую руку благородному господину, — начала она, — не откажите, ваша милость, хорошенько пробрать моего мужа. Эта Гужа совсем вскружила ему голову, и как только старику не стыдно. Стоит ей появиться на кухне, он только и делает, что вертится вокруг нее. И подумайте только, ваша милость: платье выпросил у меня, чтобы ей, дескать, приличнее одеться. Он даже упомянул еще ваше имя — мол, это он только для вас старается. Врет он, врет! При покойном господине тоже все за ней увивался. Совсем забывает, что у него есть ребенок и я. Боюсь, как бы он не сбежал с этой цыганкой. Он ведь из такой семьи. Его дед три месяца бродил с цыганами и бросил их только после того, как его под Дебреценом ножом порезали.

Слезы брызнули у приказчицы из глаз. Капошфальви улыбнулся.

— Не бойтесь, — сказал он, — приказчик в Гужу не влюбится, а если и влюбится, так не убежит с ней. Впрочем, скажите на кухне, что я велел прислать Гужу в полдень ко мне. Я с ней побеседую.

— Соизвольте быть осторожным, ваша милость, — посоветовала приказчица, — как бы она вас не сглазила.

С первым ударом деревенского колокола Гужа вошла в кабинет Капошфальви.

Платье, подаренное приказчицей, было ей очень к лицу. Она скромно остановилась у двери, только глаза блестели.

— Подойди поближе, — подозвал ее Капошфальви, — и скажи откровенно, что у тебя там с приказчиком?

— Ничего, совсем ничего, девлегуретке, клянусь богом, — отвечала Гужа, — просто госпоже приказчице везде чудится бинг, черт. Как увидит меня, начинает кричать — по-цыгански выучилась, — только знай кричит: «Овай андра гау, мурдулеска барро, яв адай, кхай, нуке тукелесден морэ».

И прекрасная Гужа дала волю слезам.

— Что это значит? — спросил Капошфальви.

— Это значит, — всхлипывая, объясняла Гужа. — «В той деревне закопали свинью, пойди, цыганка, пусть ее отдадут тебе».

Гужа перестала плакать, и ее черные глаза сверкнули. Она в упор смотрела на благородного господина.

У Капошфальви, как известно, было очень доброе сердце.

— Гужа, — промолвил он, — хочешь получить работу? Ты могла бы помогать при уборке комнат. Я прикажу тебя хорошо одеть. Приказчица объяснит тебе, что делать. Понемногу научишься. Твой отец, старый Фараш...

— Он не отец мне, — возразила Гужа. — он только с малых лет воспитывал меня, ваша милость. — Она приветливо улыбнулась бывшему гусарскому поручику.

— В шалаше тебе возвращаться, конечно, незачем, — сказал Капошфальви; чем дольше он смотрел на Гужу, тем ласковее становился. — Об остальном позабочусь я...

На другой день приказчица уже обучала Гужу всему, что полагается знать горничной.

Вокруг Фюзеш-Баноцкого поместья расположено пять других поместий, земли которых непосредственно соприкасаются с Фюзеш-Баноком. Владеют этими поместьями дворяне Золтанаи, Виталиш Мртолаи, Дёже Берталани, Михал Комаи и Карол Серени. Всем им вместе триста двадцать пять лет.

Это потомки старинных дворянских родов. В день святого короля Иштвана они еще надевают плащи, бекешы, отороченные каракулем, и пристегивают к поясу кривые сабли, на клинках которых выгравирован год — 1520, 1632, 1606, 1580 или 1545, в зависимости от того, когда какой род вступил на доблестный путь древнего венгерского королевства.

Их замки похожи друг на друга, как их плащи, а их нравы схожи, как их замки. Эти-то дворяне и собрались у самого старшего, семидесятидвухлетнего Карола Серени ровно через три недели после того, как Гужа впервые стала выполнять обязанности горничной в доме Капошфальви.

Они сидели в столовой за круглым столом, перед каждым стояла оловянная чарка с вином. Все молча покуривали короткие трубки.

Только в три часа Серени сказал: «Неслыханно!» В половине четвертого Комаи уронил: «Невиданно!» В четыре часа Берталани заметил: «Ужасно!» В четверть пятого Мртолаи произнес: «Поразительно!» Еще через десять минут Пазар Золтанаи промолвил: «Это совершенно небывалый случай!» И только в пять часов Серени, хозяин дома, снова открыл рот.

— Я полагаю, что мы все говорим о нашем соседе, господине Капошфальви, — сказал он.

Чувствовалось, что вино развязывает им языки.

— Я принадлежу к старинной секейской семье, — заметил Берталани, — но никогда ничего подобного не слышал.

— При Яне Запольском, сто лет назад, были очень вольные нравы, но такого не потерпели бы и тогда, — подхватил Комаи.

— Я сожалею, что Капошфальви — наш сосед, моя кукуруза граничит с его арбузами, — произнес Золтанаи.

— Целая округа говорит о том, что у Капошфальви горничная — цыганка по имени Гужа, — вставил Комаи.

— Меня посетил преподобный патер из Фюзеш-Банока, — продолжал Золтанаи, — я как сейчас вижу его. Он едва не плакал. Цыганка Гужа прислуживает гостям.

— Я слышал, — прибавил Серени, — что она сказала преподобному отцу: «Пейте, господин патер, пейте, не стесняйтесь».

— А Капошфальви, говорят, — заметил Комаи, — рассмеялся, похлопал цыганку по плечу и сказал ей: «Бестия».

— Ничего подобного, — возразил Серени, — он сказал: «Красивая бестия».

— И это в присутствии священника! — воскликнул Берталани.

— Невиданно!

— Неслыханно!

— Ужасно!

— Это небывалый случай!

— Мы достаточно натерпелись позора от покойного графа, — сказал Серени, когда общество немного успокоилось, — а ведь он ничего дурного не делал, только любил ходить к шалашам и смотреть на Гужу. Но подобная выходка истощила наше терпение.

— Обсудим все обстоятельно, — предложил Мртолаи. — Мы стоим перед свершившимся фактом: в нашу среду проник человек по имени Капошфальви, который прокутил где-то в Пеште свое старое дворянское гнездо над Рабой и все-таки сумел избежать разорения, купив Фюзеш-Баноцкое поместье, — говорят, все спустить он просто не успел. — Мртолаи отпил вина. — И едва пригревшись здесь, этот человек — разве я не прав? — задумал подкопаться под наши добрые нравы, устроить, так сказать, подкоп, — не так ли? Цыганку Гужу он вдруг делает горничной. Цыганку, подумайте только!..

Тут Мртолаи, проявив все признаки возбуждения, взмахнул рукой и опрокинул чарку с вином. Когда чарку снова наполнили, он сделал порядочный глоток и среди наступившей тишины произнес:

— Вот что я хотел сказать. Полагаю, мы понимаем друг друга.

— Нам ничего не остается, — резюмировал Карол Серени, — как решиться на трудный шаг: в следующее воскресенье навестить Капошфальви и объяснить ему, что мы все одного мнения: он запачкал репутацию дворянина. Я думаю, что к нему нужно направить Виталиша Мртолаи.

— А мне кажется, — возразил Виталиш Мртолаи, — что мы все должны поехать к нему, он, по крайней мере, нас испугается.

— Я скажу ему, чтобы он убирался из нашей округи, — произнес Золтанаи, которому вино придало отваги.

— Он гусарский поручик, — заметил Серени.

— Я скажу ему, — продолжал Золтанаи, — чтобы он помнил о своих предках.

— Да будет милостив к нему господь, — торжественно провозгласил Серени, поднимая бокал. — В следующее воскресенье мы навестим его.

Из пяти бричек, остановившихся в следующее воскресенье перед домом Капошфальви, вышли пятеро дворян; с достоинством вступили они в дом, молча поднялись по лестнице, молча вручили слуге визитные карточки. И только когда хозяин вышел их приветствовать, они один за другим холодно произнесли: «Прошу прощения, ваш покорный слуга».

Молчание пятерых дворян продолжалось до тех пор, пока в дверях не появилась Гужа.

— Мы хотели сказать вам кое-что, — обратился Пазар Золтанаи к хозяину дома.

— Сначала мои соседи выпьют глоток вина, — ответил Капошфальви. — Гужа, принеси вина!

Гости подтолкнули друг друга локтями, а их лица приняли скорбное выражение.

— Красивая у меня горничная, — сказал Капошфальви, когда Гужа принесла вино, — не правда ли, красивая, господа?

— Мы хотели сказать вам кое-что, — произнес Серени, делая вид, что не расслышал.

— Нечто важное, — прибавил Михал Комаи.

Мортолаи, Берталани и Золтанаи только кивнули.

— О, торопиться некуда! — заметил Капошфальви. — Гужа, прислужи господам.

— Мы сами себе нальем, — возразил Золтанаи; но Гужа уже склонилась над ним и заглянула ему в глаза.

Золтанаи потупился.

— Прокля.. — выругался он потихоньку. — Вот наказание божье!

— Есть ли у кого-нибудь из вас, господа, такая красивая горничная? — спросил Капошфальви, когда Гужа вышла за новой порцией вина. — Наверное, каждый не прочь со мной поменяться.

— Мы намерены говорить с вами по серьезному делу, — ответил Пазар Золтанаи. — Вот Комаи объяснит вам цель нашего визита.

— Мортолаи старше меня, — выкрутился Комаи, — пусть он скажет, зачем мы приехали.

«Странная компания, — подумал Капошфальви. — Молчат, пьют и без конца твердят, что должны сказать мне нечто важное».

— Ваши бокалы пусты, — произнес он вслух. — Гужа, эй, Гужа!

Комаи толкнул коленом Берталани, Берталани двинул локтем Золтанаи, и этот последний выдавил из себя, обращаясь к Капошфальви:

— Многоуважаемый сосед, я хочу передать...

— Эльес (превосходно), — сказал Мортолаи на секейском наречии, на которое переходил всегда, когда волновался.

— Я хочу передать вам наше общее пожелание, — продолжал Золтанаи, делая ударение на каждом слове. — Я полагаю, что представители нашей округи собрались здесь в полном составе, то есть я, Берталани, Золтанаи... то есть я, Комаи и Мортолаи.

Золтанаи вытер пот со лба и машинально протянул руку к пустому бокалу.

— Гужа, — позвал Капошфальви, — вина господам!

Появилась Гужа и стала разливать вино. В ее обращении с Золтанаи скво-

зила какая-то интимность; наливая вина Комаи, она коснулась его заросшего лица своими волосами, Берталани положила на плечо левую руку, а старому Мртолаи взглянула в глаза так, что тот, растерявшись, залпом выпил полный бокал внушительных размеров.

— Благородному господину понравилось, — засмеялась Гужа, наливая снова.

— Цыганка, — произнес Золтанаи.

— Да, господин Капошфальви, — подхватил Берталани, — интересы сословия вынуждают нас... — не зная, что еще сказать, он выпил вина и закончил словами: — Бог свидетель.

А гибкая Гужа все вертелась вокруг гостей, наполняя бокалы. Час спустя Мртолаи взял Гужу за подбородок, а Берталани сказал:

— Кошечка!

— Бестия, — нежно проговорил через час Золтанаи, в то время как Берталани шептал ей:

— Дермекем (дитя мое).

Гости беспрестанно обращались к Гуже, перебивая друг друга, а Капошфальви только головой качал от изумления.

Старые почтенные дворяне были уже пьяны, когда через полуоткрытое окно в комнату донеслись звуки скрипки. Жалобные звуки. Видимо, скрипач, расположившийся под окнами замка, находил особое удовольствие в высоких тонах, что свойственно всем цыганским музыкантам.

Тоскливые, протяжные звуки витали над собравшимися — звуки, напоминавшие шорохи камыша в ясные ночи на дярматских равнинах.

Заунывная мелодия сменилась быстрой, и вот понеслись звуки живые, стремительные, как топот жеребят, мчащихся по долине Тисы.

И так же внезапно она вновь зазвучала жалобно, и уже лилась под окном цыганская песня, оплакивая печальную бродячую жизнь цыган.

— Цыган играет, — сказал Капошфальви. — Не позвать ли его, чтобы он сыграл нам?

— Конечно, — заплетающимся языком ответил Берталани, — эгерскому вину под стать цыганская музыка.

— Гужа, — приказал Мртолаи, — позови этого цыгана.

Гужа убежала. Голос скрипки под окнами дома зазвучал громко, ликующе, потом протяжно зарыдал — и стал удаляться, напоминая в тишине наступающего вечера крики больших болотных птиц. Прошло четверть часа — Гужа не появлялась, хотя вся компания, не исключая и хозяина, который тоже был на веселе, кричала: «Эй, Гужа!»

Не дозвавшись ее и в следующие полчаса, господа начали волноваться. Их тревога возросла, когда в комнату без стука ворвался приказчик.

— Не извольте гневаться, вельможные господа, — задыхаясь, выпалил он. — Четверть часа назад, возвращаясь из Банока, я встретил у мостика Гужу с Мегешем.

— А кто такой Мегеш? — с трудом выговорил изумленный Капошфальви.

— Мегеш — это цыган и музыкант, — ответил приказчик. — Неделю назад он вернулся из армии, и говорят, что он Гужин милый. Иду это я из Банока — и за Баноком встречаю Гужу с Мегешем. Мегеш несет скрипку. «Куда, Гужа?» — спрашиваю. «Да вот, — отвечает, — хочу побродить по свету со своим

женихом». Не извольте гневаться, высокородные господа, — закончил приказчик, вытирая со лба пот, — я еще весь дрожу, хотя, извините, от цыган всего можно ждать.

Так оно и было. Гужа больше не вернулась.

— Наше дело чести разрешила сама Гужа, — сказал через несколько дней старый Берталани своим соседям, когда они опять сошлись все вместе, — по крайней мере, нам не пришлось ссориться с нашим соседом Капошфальви.

— Он очень хороший человек, — заметил Мртолаи, вспомнив эгерское. — Но сдаётся мне, что об этой цыганской истории он сожалеет больше всех.

## Над озером Балатон (Венгерский очерк)

В тот полдень Болл Янош сидел перед своим домом на веранде, сооруженной по местному обычаю наподобие портика, который примыкает прямо к дому и предоставляет убежище от палящих лучей солнца.

Вид на окрестности был отсюда прекрасный. Зеленели и отливали голубизной пологие склоны, покрытые виноградниками. Среди густой, непроглядной зелени, сползавшей вниз, в долину, там и сям проступали синеватые пятна: в этих местах виноградники были обрызганы раствором, предохраняющим виноград от вредителей.

Отсюда все можно было обозреть: виноградники, сторожки, крытые соломой, полосы кукурузных полей и совсем далеко — луга, откуда доносился приглушенный звон колокольчиков и слышалось мычание коров.

А за лугами раскинулась безбрежная гладь озера Балатон, или, как гордо его называют здесь, «Magyar tenger» — «Венгерского моря». У этого моря зеленые беспокойные воды, сливающиеся на горизонте с небом, в синеву которого поднимаются круги дыма всякий раз, когда где-то в отдалении пароход бороздит водную гладь, простирающуюся отсюда на сто двадцать километров до самого Веспрема. Да, это был край «Magyar tenger» — с его вином, бурями и легендами о русалках, что вечерами увлекают рыбаков в глубины озера, со старыми сказками о речных вилах, которые похищают мальчиков по ночам, убивают их и оставляют на пороге дома.

Это то самое озеро Балатон, откуда в тишине ночи слышатся таинственные звуки, крики и плач детей водяных, которые с незапамятных времен целыми семьями живут в водных пучинах. Им, должно быть, несть числа, потому что в Бодафале, Медесфале, Олвашфале, в Олме и во многих других деревнях, разбросанных по берегу озера, вдруг объявляются древние седые старики с длинными бородами. Им, наверное, сотни и сотни лет, потому что о них рассказывали уже деда дедов, прапрадеды теперешних обитателей этих краев.

Однако Болл Янош вовсе не любовался красотой пейзажа. Он сидел на стуле, завернувшись в полушубок, хотя день был необычайно жаркий. На столике перед ним лежали часы. Лицо его было хмурым.

— Что-то долго не трясет, — проворчал он, взглянув на часы, — обычно в пять меня уже бьет лихорадка, а сегодня, ишь, окаянная, опоздала. В шесть заявите я окружной судья, а меня еще не отпустит. — Озабоченный Болл угрюмо наблюдал за часовой стрелкой. «Ну, слава богу, — вздохнул он в четверть ше-

стого, — забирает».

Болл Янош начал стучать зубами. Стук был такой громкий, что прибежал батрак спросить, не желает ли чего хозяин.

— Те szamar vagy — ты, осел, — выдавил из себя Болл, — принеси подушку и закутай мне ноги.

Когда ноги были закутаны, Болл, дрожа всем телом, принялся разглядывать окрестности.

В голове шумело, бил озноб, и все вокруг, как Боллу казалось, было окрашено в желтый цвет. Виноградники, кукуруза, сторожки, луга, озеро, горизонт... Это были самые страшные минуты приступа. Он хотел сказать батраку, что ему очень худо, и не смог вымолвить ни слова. Но вот желтая краска постепенно исчезла, и все сделалось фиолетовым.

Теперь Болл уже мог, стуча зубами, произнести: «О, страсти господни!»

А когда он объявил: «Ну, слава богу, кажется, скоро конец», — все предстало перед ним в своем естественном свете. Голубой небосвод, зеленые и синеватые виноградники, желтеющие луга и изумрудное озеро.

Когда же он приказал батраку: «Забери подушку, сними полушубок и принеси трубку», — то почувствовал, как греет солнце и как пот выступает у него на лбу. Приступ миновал.

— Теперь черед другой лихорадки, — проговорил он, разжигая черную трубку, — сейчас явится окружной судья.

Внизу, на дороге, которая вилась среди виноградников, затарахтел экипаж и послышался голос судьи:

— Я те покажу! Хорош кучер! Дай только остановиться, я всыплю тебе пяток горячих! Эк тебя развезло!

— Сердитый, — вздохнул Болл Янош, — строго будет допрашивать.

Экипаж остановился возле дома, и из него степенно, с достоинством вылез окружной судья, держа связку бумаг под мышкой. Он направился на веранду к Боллу, который уже шел ему навстречу, попыхивая трубкой.

После обычных приветствий судья представился:

— Я Омаис Бела. Приступим к допросу.

Он положил бумаги на стол, сел, закинув ногу на ногу, постучал пальцем по столу и произнес:

— Да, плохи ваши дела, голубчик.

Болл Янош тоже присел и пожал плечами.

— Вот так, дорогой. Печально это, — продолжал судья. — Когда же вы, милейший, застрелили цыгана Бургу?

— Нынче как раз неделя, — отвечивал Болл. — Это случилось в пять часов. Не желаете ли сигару? — спросил он, вынимая из кармана портсигар. — Очень хорошие. Банатский табак.

Окружной судья взял сигару и, обминая ее кончик, небрежно бросил:

— Так вы говорите, это случилось в пять часов двадцать первого июня?

— Да, — ответил помещик, — точно в пять часов двадцать первого июня. Двадцать третьего его уже похоронили. Позвольте. — Он протянул судье огонек.

— Покорно благодарю, — сказал Омаис Бела. — Итак, при вскрытии было обнаружено, что Бурга убит выстрелом в спину?

— Совершенно верно, — подтвердил Болл, — ланкастерка, номер одина-

дцать.

— Все это очень прискорбно. Откуда, вы говорите, этот табачок?

— Из Баната. С вашего позволения, я прикажу работнику принести немного вина?

— Оно бы недурно, — разрешил окружной судья. — Выпьем по чарочке и продолжим допрос.

Вино мгновенно появилось на столе. Помещик наполнил бокалы.

— Ваше здоровье!

— Благодарствую... Собачья должность!

Окружной судья приподнял бокал и с видом знатока принялся разглядывать вино на солнце.

Солнечные лучи играли в бокале, и лицо окружного судьи озарилось чистым красным светом. Он отхлебнул и выпил все разом, причмокнув от удовольствия.

— Прекрасное вино! — похвалил он, блаженно улыбаясь. — И что вам пришло в голову застрелить этого цыгана?

Болл Янош невозмутимо попыхивал трубкой.

— Это двухлетнее вино с моих виноградников западного склона, — объяснил он. — Ваше здоровье!

Они еще раз подняли бокалы.

— У меня есть и получше, трехлетнее, с виноградников восточного склона, — заметил Болл.

Он взял другую бутылку, отбил горлышко и налил.

— Великолепно! — хвалил окружной судья. — Вы, вообще говоря, превосходный человек!

— Если бы не лихорадка, — пожаловался Болл, — вот уже четыре дня мучает, никак ее не уймешь. Вам нравится этот букет?

— Очень! Превосходный аромат! — восхищался судья.

— Ну, у нас найдется и еще кое-что! — отозвался хозяин, вынимая из корзинки большую длинную бутылку. — Это вино пятилетней выдержки.

— Вы образцовый гражданин! — объявил Омаис Бела после первого бокала пятилетнего вина. — Ничего подобного я до сих пор не встречал. Этот вкус, этот цвет — восхитительная гармония!

— А я припас и еще лучше! — сообщил Болл Янош, когда пятилетнее вино было выпито. — Такого вы, пожалуй, не пивали... Смотрите, — сказал он, наливая вино из узкой бутылки, — это вино двадцатилетней выдержки.

Окружной судья был в восторге.

— Это как токайское, лучше токайского! — шумно расхваливал он, осушая один бокал за другим. — Вы же чудесный человек, я глубоко уважаю вас, но ответьте мне: отчего вы застрелили этого цыгана?

— Оттого, — Болл Янош стал вдруг серьезным, — оттого, что этот негодяй украл из моего погреба двадцать бутылей такого вина.

— Будь и я на вашем месте, — причмокивая, произнес окружной судья, — будь я... я поступил бы так же... Потому что это вино... Вот и запишем: «Цыган Бурга убит в результате несчастного случая». Налейте-ка мне, дорогой...

Помещик и судья пили вино, рожденное на склонах Балатонских гор, красное вино, такое красное, как кровь цыгана Бурги, вора...

## В стогу Из цикла «Оборванцы»

Поскольку старый Берка выглядел не лучшим образом, трактирщик отказал ему в ночлеге.

Берка был бос, изношенная одежда висела на нем. Когда он пропил всю собранную милостыню, его выкинули на улицу. Старый бродяга имел наглость сказать, что господь бог когда-нибудь накажет их за то, что они не пустили переночевать нищего старика. Ишь, расхрабрился! Да разве трактирщик проявил мало доброты, ведь он налил старому бродяге немного супу и позволил ему в грязной рваной одежде посидеть на лавке, пережидая осенний холодный дождь.

А сейчас ужё вечер. Пусть старик топает на все четыре стороны! Найдет где-нибудь стог или что-нибудь в этом роде, но позволить бродяге спать в хлеву или на теплом сеновале — ни за что на свете!

Вот так получилось, что осенним вечером старый Берка оказался за деревенской околицей.

Он привык к подобному обращению.

— Ничего не поделаешь, — бормотал он, — где-нибудь переночую.

Старик ступал босыми ногами по холодной траве, покрытой каплями дождя, и вглядывался в горизонт, терявшийся в вечерних сумерках.

Полосы тумана поднимались и клубились над полями с острыми колючками стерни. Тишина. Поля, кое-где разрезанные черными, поросшими кустарником полосами межи.

Ни одного стога не возвышалось поблизости. Только вдали виднелась скирда, круглая и высокая.

Босые ноги зашлепали по грязной дороге быстрее.

О чем он думает? Ни о чем, разве что о том, не делает ли жандарм где-нибудь неподалеку обход, и еще о том, чтобы как можно скорее достигнуть своей цели — этого шарообразного стога.

Остановившись, старик огляделся вокруг. Ничего! Тихо вокруг. Он снова засеменял по мягкой глинистой дороге.

Деревня совсем исчезла в вечерней темноте. Вдали справа чернел лес, немой, как и вся равнина, и только издалека, где плоскую долину прорезало русло речки, доносился шум потока, бегущего к мельничным колесам.

Берка пошел по меже направо, не выпуская из виду высмотренного им стога, силуэт которого становился все менее ясным в сгущавшейся темноте, хотя расстояние между ним и стариком все время сокращалось.

Потом Берка пошел снова налево по узкой дорожке, не обращая внимания на колючки ползучей ежевики, впивающиеся в ноги. Вперед, только вперед!

Все его мысли сосредоточились на том, чтобы, добравшись до стога, залезть поскорее внутрь и заснуть.

Спать — это самое приятное в его теперешней жизни. Спать и ни о чем не думать после дневных скитаний, которые повторяются без изменений день за днем. От дома к дому. Проси милостыню и берегись встречи с жандармами. Вот такая жизнь.

Старик хорошо запомнил заветную точку, исчезавшую в сумерках. Уже не

в первый раз он ищет вечером стог для ночлега.

В стогу тепло, мягко лежать на соломе, оставшейся после обмолота.

Снова, вправо по меже, трава, мокрая от дождя, холодила его воспаленные ноги...

Убыстрив шаги, старик пошел влево по другой меже. Стог! Он уже у стога.

Желтая солома светилась в темноте. Берка передохнул. Разгребая солому, быстро нащупал и выбросил подмокшую, ловко соорудил что-то вроде коридора внутрь — и на него пахнуло приятным теплом и ароматом сена. Теплом, сохраненным соломой с той поры, когда солнце пекло, согревая людей, которые собирали солому после обмолота и складывали ее в круглый стог.

Старик сгреб ногой выброшенную солому и тщательно закрыл вырытое убежище, так что никто бы не заподозрил, что здесь отдыхает человек.

Берка удобно улегся, разровняв солому под головой так, чтобы она не кололась.

Он шуршал соломой и вдруг затих. Изнутри стога внезапно послышалось приглушенное: «Кто здесь?»

Мужской голос. Берка, опомнившись от неожиданности, ответил: «Да вот, приятель, тоже собираюсь переночевать тут. В Чилицах трактирщик не пустил меня на ночлег, выгнал на улицу».

— И ты его еще просил! — отозвался голос. — Этого негодяя знают все наши. Меня он тоже выгнал. Ну, да в стогу ночевать лучше, чем в хлеву.

Берка обрадовался, что может поговорить с таким же человеком, как и он сам.

— Я так устал, — сказал он, — что хотел остаться там на ночлег. Сегодня с утра я обежал Квасице, Брач, Копины, Малоушовец...

— В Малоушовце я был позавчера, — заметил незнакомец, — кузнец дал мне пятак.

— И я получил пятак, — бросил Берка.

— Сколько тебе лет? — спросил голос.

— Шестьдесят пять, — ответил Берка.

— Да? А мне шестьдесят два. А как ты попал сюда, брат? Откуда ты?

— А, долго рассказывать, — начал Берка. — Я всякого навидался. В Малешницах у меня был дом, хозяйство. Отличное хозяйство — я удачно женился. И был у меня приятель Клоузек. Он повадился ходить к моей жене.

Берка, вздохнув, продолжал:

— Все это глупости, к чему рассказывать. Тебе не хочется спать?

— Нисколечко, — ответил голос, — рассказывай, рассказывай.

— Так вот, этот Клоузек повадился ходить к моей жене, — продолжал старый бродяга, — я знал об этом, и вся деревня знала. Я и мухи никогда не обидел, а мне вдруг такую свинью подложили. Думаешь, это все? Ему захотелось выгнать меня из деревни. Вот он и начал судиться со мной из-за клочка сада. Наверно, знаешь, как это бывает у крестьян.

— А как же, знаю, — отозвался голос.

— Ну, видишь, — продолжал свой рассказ Берка, — судились мы, судились, и тянулось это десять лет. Каждый хотел свою силу показать. Бросали деньги на ветер. Понимаешь, у этого прохвоста Клоузeka хозяйство было побольше, он выдержал эту тяжбу. А мое хозяйство пошло с молотка, и я, нищий, ушел из деревни. Моя жена перебралась к нему. Я хотел убить этого человека, да у

меня сил не хватило. Думал, однажды мы встретимся, и он мне за все заплатит. Я батрачил по деревням и в конце концов пристрастился к водке. Что оставалось делать? А потом я покатился все ниже и ниже. И теперь, брат, хожу от деревни к деревне, прошу подаяния, прошу, а да что там говорить, ты и сам, верно, знаешь?

— Еще бы, — ответил незнакомец, — как же мне не знать. Знаешь, брат, я ведь и Клоузека знал. Он плохо кончил. Чтобы платить за тяжбу, он взял деньги в долг. Град побил его хлеба и — конец. Его хозяйство тоже продали с торгов, твоя-то от него сбежала, и Клоузек, как и ты, побирается по деревням.

— Ах, бедняга, бедняга, — вздохнул Берка. — А ты не знаешь, брат, раз тоже бродишь по свету, где он теперь?

— Рядом с тобой в стогу, Берка, — донесся жалобный голос, — я, брат, тот негодяй Клоузек...

Воцарилась тишина, потом зашуршала солома, и Берка, протягивая бутылку сквозь слой соломы туда, где лежал Клоузек, сочувственно сказал:

— Выпей, Клоузек, вот бутылка, там еще осталось немного...

И когда утром оборванцы вылезли из стога, глаза у них были красны от слез.

## Над озером Нейзидлер-зе

Тот, кто видел, как Миклош Фехер, сломя голову, бежал тогда по кратчайшей полевой дороге к озеру Нейзидлер-зе или, как его называют в округе, «озеру болезней», мог бы подумать, что Миклош Фехер просто тронулся.

Во-первых, за ним никто не гнался; во-вторых, неторопливые по натуре местные крестьяне привычки бегать не имели; а в-третьих, было воскресенье, vasárnap, когда вряд ли кого-нибудь встретишь на пути к озеру, да еще в одиночку: кто веселится в корчме или в тени виноградников, а кто сидит дома и ест, пока не осоловеет. День господень — день отдыха. День перегруженных желудков.

Миклош Фехер бежал, с силой отталкиваясь от пружинившей и ходуном ходившей под каждым его прыжком земле, даже на бегу не забывая подкручивать непокорные длинные косматые черные усы, что придавало ему устрашающий вид, и это вполне соответствовало буйству его прыжков.

Перескочив через мостик, он понесся дальше по непросыхающей болотистой почве, источавшей отвратительный гнилостный запах. Наконец перед ним раскинулась гладь озера, обрамленного узкими, тонко изрезавшими берег заливами, терявшимися в зарослях камыша.

Вдали по левому берегу виднелось несколько рыбацких поселков, которые, казалось, погружены в воду; неподалеку от него, где кончалась дорога, стояла лачуга рыбака Дьёрдя.

Старый Дьёрдь сидел перед своим домишком верхом на перевернутой лодке, покуривая старую черную трубку.

— Дядюшка Дьёрдь, — еще издали крикнул Фехер, — дай мне лодку!

Дьёрдь не спеша обернулся и, увидев приближавшегося Фехера, выпустил изо рта дым. Ничего не ответив, он подождал, пока взмокший Миклош не остановился, все не переставая подкручивать свои воинственные усы.

— Дай мне лодку, дядюшка Дьёрдь, — повторил Фехер, усаживаясь на перевернутую лодку. — Мне нужно на озеро.

Старый Дьёрдь по-прежнему не произносил в ответ ни слова, раздумывая, отчего у парня такой шальной вид. Некоторое время он попыхивал трубкой, а потом неторопливо спросил:

— На что тебе лодка, Миклош?

— Хочу покататься по озеру, — ответил тот.

Дьёрдь покачал головой. Не бывало еще такого, чтобы кто-нибудь из крестьян захотел «покататься» по озеру. Правда, забавы ради дамы и господа из лечебницы доктора Вислинского в Больфше берут иногда лодки. Приехали сюда на лечение, а сами катаются по «озеру болезней» чуть не до вечера, пока воздух не насытится вредными испарениями и непривычных к здешнему климату гостей не начнет лихорадить.

Они платят щедро, но чтобы крестьянин попросил у него лодку...

«Никак, умом тронулся, бедняга», — подумал Дьёрдь и перевел разговор на другое. — Миклош, — сказал он, — а знаешь, что гонведы из Шопрони здесь устраивают маневры?

— Одолжи мне лодку, бачи, — настаивал Фехер.

— А знаешь ли ты, Миклош, — Дьёрдь продолжал гнуть свое, — что пятьдесят лет назад деревня Больфш стояла на самом берегу озера?

— Лодку, дядюшка! — взмолился Фехер.

— Не знаешь, Миклош, — Дьёрдь словно не слушал его, — может, кто из наших будет командовать?

— Лодку!

— Свихнулся ты, что ли, Миклош?

— Не в том дело, дядюшка. Ты лодку мне дай.

Рыбак Дьёрдь вздохнул:

— Будь по-твоему, и да хранит тебя всевышний.

— Mindtöröké[15], — ответил Миклош и по тропинке в камышах молча двинулся следом за рыбаком к воде, где покачивались лодки, привязанные к кольям.

Фехер приглядел самую маленькую, влез в нее и веслом оттолкнулся от берега.

— В добрый путь! — крикнул рыбак ему вслед.

— ...Istenei[16], — буркнул Миклош, что могло означать приветствие, равно как и проклятие. Миновав заросли камышей, он выехал на гладкую поверхность озера и поплыл, гребя все дальше.

Работал он проворно. Почти два часа бороздил темнозеленую поверхность озера, не замечая, что сквозь щели лодки пробиваются тонкие струйки, а на его воскресном костюме — чистых, широких штанах с бахромой внизу, черном кафтане с блестящими, как водная гладь, пуговицами — оставили след зеленые водоросли, и что начищенные до блеска сапоги оказались в воде на дне лодки. Он греб без усталости.

Нещадно палило жаркое полуденное солнце, пот струился по его лицу, но кафтана Миклош Фехер так и не снял.

Сильные руки погружали весло у самого борта, отчего лодка шла особенно быстро.

Он оглянулся. Уже пропала из виду лачуга дядюшки Дьёрдя, скрывшись за высоким камышом. Он плыл уже по середине южной части озера.

Кругом необозримая гладь, тревожимая лишь ударами весла, плесканьем

крупной рыбы да легким ветерком, доносившим сюда из далекой деревни непрерывное гиканье «юх — юху!» селян и подгулявшей молодежи, дождавшихся, наконец, этого воскресного дня, — а он словно нарочно выдался благодатным и теплым, чтобы сподручнее было пить вино за околицей, в тени деревьев у подножия виноградников.

Миклош Фехер перестал грести и осмотрелся.

Куда ни глянь — кругом вода, сбившиеся в островки водоросли, уходящая вдаль гладь озера, где-то на горизонте сливающаяся с землей.

Он с трудом различал деревья на противоположном берегу, утопающие в зелени хатки, еще дальше — склоны холмов, синеющие виноградниками. Это уже Сюлехей.

А позади? Там осталась деревня Больфш, откуда он бежал. Миклош в сердцах выругался и стал вспоминать.

...Совсем недавно, часа три, а то и два назад, сидел он за столом во-он в том белом домишке, который хорошо отсюда видать, настолько хорошо, что он мысленно представил себе надпись над входом «Vor es sör es palinka kime rése» («Вино, пиво и водка в разлив»).

Это корчма «У доброго Йозефа». Сидел он там, пил вино и глядел, как деревенские парни отплясывают чардаш. Настоящий чардаш, шумный, неистовый — тот, что каждый танцует со своей милой.

Он снова выругался, сплюнул в воду и опять погрузился в воспоминания. Сам он не танцевал, а только смотрел, как пляшет с его Этелькой Шаваню.

Миклош резко ударил веслом по воде.

С его-то Этелькой! А Этелька? Она хохотала, кружась в танце, смеясь, рассказывала что-то Шаваню и вовсе не замечала его, Миклоша, хмуро сидевшего за столом. Вот чертовка!

После Шаваню с Этелькой танцевал Ийеш. Чертовка этакая! Его сменил Дьёрёк. Чертовка, как есть чертовка!

Тут кто хочешь взбесился бы!

В злобе Миклош Фехер снова ударил веслом по воде.

Нет, зря он так раскипятился. Надо было вот как: вытащить нож, всадить его: раз! — в Шаваню, раз! — в Ийеша, раз! — в Дьёрёка и сказать им: «Jo ej szakat kiuapok» (желаю доброй ночи), да разве Этельку этим проймешь, из-за нее вон сколько драк уже было!

Лучше он накажет ее по-другому: возьмет да утопится.

«Ха-ха!» — рассмеялась летавшая над озером чайка.

— Цыц, дура! — гаркнул Фехер и снова погрузился в свои мысли.

У всех еще на памяти, как утопился Эздёкар, его друг, тоже из-за девчонки. Через полгода рыбаки вытащили его неводом на другом конце озера. Он весь был в водорослях, без глаз, зеленый, полуразложившийся.

Увидела таким его девчонка, грохнулась в обморок, да с тех пор и осталась дурочкой.

Нет, лучше всего утопиться. Очень просто. Вот сейчас он прыгнет, хлебнет воды, нырнет поглубже — и все. Никто ничего и не узнает.

Рыбак Дьёрдь удивится: дескать, долго Миклоша нет. Возьмет лодку, кликнет рыбаков, и они отправятся на поиски. Найдут пустую лодку и перекрестят-ся.

— Да где же Миклош-то?

— Черт его, что ли, забрал?

— С таким черт, глядишь, не сладит, — примутся рассуждать рыбаки.

— Утонул он, — скажет Дьёрдь. Самый старый из них, он первым снимет шляпу и начнет причитать: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Помолившись за его душу, рыбаки станут припоминать:

— Девчонка у него вроде была.

— Как же, была, — подтвердит старый Дьёрдь. — Этелька из Больфша.

Повернут они к берегу, и кто-нибудь помчит в деревню. Миклош Фехер утопился! От двора ко двору будут передавать эту весть по всей деревне, пока не дойдет она до Этельки. Может, она все еще будет плясать в корчме.

А потом?

Миклош Фехер глубоко вздохнул и представил себе, что произойдет дальше. Вдруг Этелька тоже наложит на себя руки или сойдет с ума?

Он отложил весло и усталился на воду, сверкающую под солнечными лучами.

А, может, и дальше будет отплясывать... Но совесть ей покоя не даст...

Фехер стащил правый сапог. Жалко, сапоги новые совсем. Он снял другой, скинул кафтан.

Запрокинув голову, засмотрелся на небо, на белые облачка, разбросанные в синеве. Глаза его начали слипаться.

Обессилев от вина, впечатлений, тяжелых дум и быстрой гребли, он растянулся в лодке и не заметил, как уснул.

Прошло больше часа, и тут вдруг его разбудил удар, словно в его лодку врезалась другая.

Он протер глаза и, удивленный, вскочил так, что лодка сильно покачнулась. И впрямь, в борт врезался нос другой лодки. А там стояла Этелька, разгоряченная, вся мокрая от воды...

— Миклош, — твердила она, прерывисто дыша, — а я тебя везде ищу. Ты вдруг пропал, вот я и побежала к дядюшке Дьёрдю, взяла у него лодку. Как я рада, что ты... — она осеклась.

— Чего ты меня ищешь? — спросил довольный Миклош, натягивая сапоги.

Этелька все еще растерянно молчала, думая, как бы лучше ответить, и, наконец, сказала со спокойной улыбкой:

— В корчме осталась твоя кружка, а в ней — больше литра вина. Иди, допей...

Потом две лодки, плывущие бок о бок, бороздили гладь озера, направляясь к лачужке дядюшки Дьёрдя. Завидев приставших к берегу, старик вышел из дому и, попыхивая трубкой, покачал головой. Не находя, что ответить на их благодарность, он сказал:

— Верите ли, пятьдесят лет назад деревня Больфш стояла на самом берегу, а теперь от нее до озера полчаса ходу...

Полчаса пролетели для Миклоша и Этельки незаметно; наверное, только в тот момент, когда оба входили в корчму «У доброго Йозефа», старый Дьёрдь опомнился от удивления и медленно сказал сам себе:

— Эти двое — хорошая парочка. Один бешеный, а вторая — и того хлеще...

И он усталился на гладь озера Нейзидлер-зе: начинаясь за камышами, она уходила в бесконечность и под закатными лучами солнца на глазах меняла темно-зеленый цвет на огненно-красный, словно расплавляемый металл...

## Ткач Бартак

Через открытую дверь из маленького домика у леса доносилось стрекотание ткацкого станка, которое людям из города, отдохавшим здесь летом, казалось очень поэтичным; к счастью, никто не портил себе впечатления и не входил в этот маленький домик, где вонь ткацкого клея смешивалась с табачным дымом деревянной трубки, которую курил старый ткач Бартак.

До самого Опатова встречается много таких домишек, у которых даже двери с покривившимися косяками вопиют миру о нищете, но домик Бартака был самым бедным.

Семейства, проводившие летнее время в Опатове, задерживались на прогулках перед домиком Бартака, что стоял на самой опушке елового леса рядом с прудом, окруженным высоким камышом, и прислушивались, особенно под вечер, когда солнце догорало на верхушках деревьев, к становящемуся все глуше и ниже трр-тррр, которое издавал ткацкий станок.

Все радовались красоте природы, запаху леса и травы, а из домика все время доносилось трр-тррр, которое прерывалось только в те минуты, когда Бартак набивал и раскуривал трубку, и наконец прекращалось, когда солнце садилось и Бартак уходил от ткацкого станка, ложился на скамью рядом с ним и засыпал, чтобы утром, с восходом солнца, снова сев на табурет перед станком, ткать, курить и думать.

Старый Бартак зарабатывал в день тридцать крейцеров, которых ему хватало на пропитание и табак.

Он ткал всю неделю, и гуляющие перед его домиком шептали друг другу: «Какая счастливая жизнь у этого ткача».

— Представьте себе, — говорили они, — собственный домик рядышком с прудом и лесом, и зимой, наверное, здесь тоже чудесно.

В субботу после обеда Бартак упаковывал сотканную материю и шел продавать ее в Чешскую Тршебову.

Уже много лет он делал то же самое, что и его отец и дед, которые зарабатывали многим больше и могли жениться. Из-за того, что условия жизни ухудшились, Бартак не женился; на тридцать крейцеров в день он мог прокормить себя, но на двоих этого бы не хватило.

Привыкнув к одиночеству и к своим тридцати крейцерам в день, он жил почти счастливо, ткал, курил и думал.

Сидя за станком, Бартак размышлял о том, что произойдет, если он заболит.

«Ну, заболею, что ж тут такого, — думал он, глядя в окно, заклеенное промасленной бумагой, — а потом умру, как мой отец, дед и отец деда».

Старый ткач вспомнил, как умер его отец; наверно, в том же возрасте, как он сейчас. Отец не болел; однажды он сидел у станка и вдруг говорит: «Лойзик, положи мое пальто на скамью».

Потом лег на скамью и к вечеру умер.

«А если я умру, — подумал старый Бартак, — кто меня похоронит?»

— Ну, кто-нибудь найдется, — сказал себе ткач, — но лучше бы мне умереть по дороге в Тршебову, когда я пойду отдавать ткань, тогда меня скорее найдут.

Поглощенный этими мыслями, Бартак перестал курить, а станок на мгновение остановился и стрекотание прекратилось.

Некоторое время он размышлял, потом махнул рукой и сказал себе: «Что толку мучить себя такими мыслями?»

И снова летал челнок, слышалось трр-трррр и пыхтение трубки, которую Бартак унаследовал от отца.

В Тршебову он ходил обычно с ткачом Паличкой. Каждую субботу, когда Бартак шел сдавать полотно, он заходил за ним.

Ткач Паличка жил за лесом в часе ходьбы от Бартака. У него был маленький полуразвалившийся домик, но его окружало картофельное поле, которое кормило хозяина и его жену.

«Смотри-ка, — думал Бартак, когда в субботу отправился к Паличке, — смотри-ка, а ведь этому Паличке хорошо живется. Картошку не нужно покупать. А мне приходится, у меня нет поля, чтобы посадить картофель. Что поделаешь, не всякому счастье улыбается».

Когда Бартак с Паличкой шли по лесу к Тршебове, оба почти не разговаривали; только иногда, останавливаясь передохнуть (домотканное полотно — тяжелая ноша), они обменивались одной фразой: «Как ты думаешь, не сбавят нам нынче за метр?»

И Паличка отвечал: «Боюсь, как бы не сбавили». И оба старика смолкали в задумчивости и, отдохнув, шли дальше по лесу, где пахло хвоей и дорога карабкалась с холма на холм, словно хотела подняться как можно выше, до самых Орлицких гор. Взобравшись на самый высокий холм, откуда, как утверждали ходившие сюда любители прогулок, открывался чудесный вид на город, старики передохнули, и Бартак снова сказал: «Только бы нам не сбавили за метр».

И Паличка ответил: «Боюсь, как бы нам не сбавили».

Время, когда они возвращались из города обратно в благоухающие леса, за которыми стояли их домики, с табаком и продуктами, было для Бартака лучшим за всю неделю, вернее, чудеснейшими двумя часами.

На протяжении двух часов Бартак ни о чем не думал, ни о том, что произойдет, если он заболит, ни о том, что он бедняк.

Однако, прощаясь с Паличкой возле его картофельного поля, Бартак подумал:

— Этому Паличке живется лучше, чем мне. Тоже бедняк, но у него хоть картофельное поле есть. А мне приходится покупать картошку. Видно, я беднее всех.

Когда Бартак подошел к своему домику, он сказал себе: «Боюсь, что я беднее всех».

— У Палички есть кровать, — рассуждал он, раскуривая трубку, — а я сплю на лавке. У Палички две пары башмаков, а у меня только одна.

— Что поделаешь, — заключил Бартак, — я самый бедный человек на свете и в окрестностях Тршебовы.

Кругозор Бартака был очень узок, но тем тяжелее давила на него мысль, что он беднее всех.

— На свете живут богатые и бедные люди, — рассуждал он вполголоса. — Из богатых богаче всех Гартманн из Тршебовы, куда я отношу полотно, а из бедных самый бедный — я.

И чем больше он думал об этом, тем больше терял покой, бормоча про себя: «Кто же станет хоронить такого бедняка. За мою развалившуюся хижину не

дадут и гроша ломаного, а ткацкий станок принадлежит Гартманну».

Бартак связывал мысль о смерти с размышлениями о своей бедности, и все чаще челнок останавливался, и нескоро вновь раздавалось трр-трррр.

Полуденное солнце освещало деревья в лесу, поверхность пруда перед домиком Бартака сверкала под его лучами, и старый Бартак, перестав ткать, принялся варить себе каждодневный обед: картофельный суп.

— Вот оно как, — думал он, — мне приходится покупать картошку, а у Палички целое картофельное поле, что ж, я самый бедный человек на свете.

Сварив суп, старый ткач вздохнул: «Как тяжело жить бедному человеку, а самому бедному и подавно!»

В эту минуту кто-то постучал в дверь и, приоткрыв дверь, проговорил: «Подайте, Христа ради, хоть что-нибудь, бедному бродяге, может, что осталось от обеда, подайте что-нибудь».

В этот день ткач Бартак не обедал и мало ткал. Он курил и предавался размышлениям: «Ну, кто бы мог подумать? Оказывается, на свете есть люди беднее меня!»

Он выпустил дым и сказал: «Нищий съел мой обед. Вот оно как! И это первый нищий, который попросил у меня подавание».

По лесу разнеслось стрекотание, но через минуту смолкло, потому что ткач Бартак, прервав работу, покачал головой и в сотый раз сказал: «Вот ведь оно как, есть на свете люди еще беднее, чем ткач Бартак!..»

### Из рассказа судейского чиновника

— Вот чертовщина, — сказал я, когда тюремный надзиратель пришел ко мне с сообщением, что Боурж сбежал, — господин советник будет ругаться.

И он ругался. Пять лет стоит уездный суд, и за все эти годы не было ни одной попытки к бегству, не говоря уже о том, чтобы кто-нибудь действительно сбежал.

А тут вдруг сбегает Боурж, который через два дня должен был выйти на волю, отбыв наказание за какие-то украденные штаны.

От нас сбежал Боурж, этот примерный заключенный, который появлялся у нас регулярно и часто, до четырех раз в год, за мелкие кражи, заключенный, которым тюремный надзиратель всегда был доволен, потому что среди людей в тюремной одежде, когда-либо отбывавших у нас наказание, нельзя было найти человека более миролюбивого, более услужливого и благоразумного. Человек, который при судебном разбирательстве никогда не запирался, всегда отвечал вежливо, заключенный, который уважал меня и так любил нашего надзирателя, что, будучи на свободе, не забывал навестить семью надзирателя и справиться о здоровье ее членов.

Над ним смеялись, мол, он нас так любит, что крадет ради нас и только в нашем уезде... Боурж никогда не получал дисциплинарных взысканий, никогда не вел себя дерзко, почитал и уважал нас, ему доверили раздавать обед, он носил уголь, колот дрова, таскал воду, помогал в литографии, мы платили ему добром за его хорошее поведение.

И вот он сбежал от нас за два дня до того, как его должны были отпустить домой.

Как же он сбежал? Совсем просто. Утром он пошел за водой к колонке на

дворе и, пока надзиратель разговаривал с посыльным, Боурж взобрался по громоотводу на стену и соскочил вниз.

Пока надзиратель обежал вокруг здания, беглеца и след простыл.

Правила для тюремных надзирателей очень строги, но, к счастью для нашего надзирателя, Боурж убежал не через дверь.

Господин советник влепил надзирателю выговор и, глядя на стену, недоверчиво покачивал головой.

— И как только этот парень смог взобраться туда, — удивлялся он.

— Господин советник туда бы не влез, — шепнул я надзирателю, — он слишком толстый.

Через два дня господин советник перестал браниться, а мы продолжали строить догадки, почему Боурж сбежал. Прикидывали и так и этак, но разгадки найти не могли.

Наконец мы получили известие, что описанного нами беглеца схватили в Кладно.

А два дня спустя жандармы привели к нам Боуржа в наручниках. Он снова попал в наши руки.

Надзиратель привел его к господину советнику.

Мы жаждали узнать, почему Боурж убежал, но тщетны были все расспросы господина советника.

— Я сбежал, — отвечал на все вопросы Боурж.

— Почему вы сбежали?

— Я сбежал, ваша милость.

— Но почему же, зачем?

— Да так, ваша милость, я сбежал.

Ничего больше не добившись от Боуржа, господин советник назначил ему неделю дисциплинарного наказания, три поста и карцер. Неделю за то, что Боуржа схватили в Кладно, когда он попрошайничал.

— Спасибо, ваша милость, — сказал Боурж. Когда надзиратель уводил его, беглец просил у него прощения.

— Мне кажется, этот человек свихнулся, — сказал мне надзиратель, — у него глаза мокры от слез.

На следующий день из карцера доносился плач Боуржа.

Когда его перевели в общую камеру, сидевшие с ним заключенные жаловались, что Боурж мешает им спать своими стонами и вздохами: «Я несчастный человек».

На вопрос, почему он плачет, такой старый человек, Боурж не отвечал, так же, как и на вопросы, почему он сбежал.

Наконец истек срок его наказания, и Боурж мог отправляться домой. Я приказал привести его ко мне, надеясь хотя бы теперь выведать у него причину его необъяснимого побега и поведения.

— Боурж, — спросил я его, — скажите мне теперь откровенно, почему вы сбежали?

Он не отвечал, и я сказал ему:

— Посудите сами, какой вы странный человек. Разве у вас были причины бежать? Ни с того ни с сего человек не сбежит. Надзиратель из-за вас мог лишиться места. Вам же неплохо жилось, вам доверили разносить обед. Никто вас не обижал. И все-таки вы ни с того ни с сего сбежали.

— Ваша милость, — сказал Боурж, — если бы я вам рассказал, почему я сбежал, вы бы все равно не поверили. Я должен был сбежать.

— Рассказывайте, Боурж, не бойтесь.

— Ваша милость, если вы любили когда-нибудь, вы сможете меня понять.

— Ну, не из-за девицы же вы сбежали?

— Ей-богу, как раз из-за этого. Я все вам расскажу, только не смейтесь.

Боурж печально посмотрел на меня и начал: «Я живу у Мары. Боже мой, я любил ее. Но до того, как я переехал к ней, у нее был возлюбленный, некий Петршик. Его посадили на шесть лет за кражу. Совсем пропащий парень. Он сидел на Панкраце, и на днях его должны были выпустить. Я думал: «Старая любовь не ржавеет, что, если он вздумает искать Мару?»

Я долго размышлял об этом. Видите ли, я люблю Мару, и эта мысль не давала мне покоя. «Надо бы сбежать, — думал я, — и посмотреть, не у Мары ли Петршик. И поэтому, когда меня послали за водой, я решил: бросаю ведро, а сам раз и — уже на стене».

Его лицо еще больше погрузнело, и он вздохнул: «Раз мне удалось счастливо убежать, я пошел прямо к Маре. И там я увидел Петршика. Эта мерзавка Мара его не забыла».

На глазах у Боуржа появились слезы.

— Я так любил ее, — сказал Боурж грустно. — Когда у нас не было денег, я воровал, как вы изволите знать, лишь бы ей хватило на глоток спиртного. Прихожу, а у нее сидит Петршик.

Боурж не смог удержать слез, он всхлипывал так, что я поневоле расчувствовался. За всю мою практику такого со мной не случалось.

— Успокойтесь, — утешал я Боуржа, — зато вы увидели, кого вы любили.

Боурж продолжал горевать, я не мог его успокоить. Он хотел еще что-то добавить, но слезы не давали ему говорить.

Наконец собрав все силы, Боурж выдавил из себя: «Ведь на этом негодяе были мои башмаки, мое пальто, он курил мою трубку. Он ведь мне все это не вернет».

Новый поток слез прервал его слова, и он медленно поплелся прочь, всхлиывая: «Он мне ничего не вернет, мерзавец...»

## Похищение людей

(Из рассказа одного очень старого холостяка накануне его свадьбы)

Никто не может утверждать, что я действовал непорядочно или даже подло. Кто меня знает — а надеюсь, таких людей больше, чем я предполагаю, — тот безусловно скажет, что по натуре я чист, безупречен, прозрачен, как искусственный лед, и кристально добродетелен. Я уверен, что, живи я в средние века, во времена грубого насилия, суеверий и невежества, меня объявили бы святым, потому что уж если святым сделали Карла Великого, который топил саксов, как котят, то почему не стать святым мне, человеку честному, который никому ничего не должен, ходит в латаном костюме и обуви, не пьет, в карты не играет, женщин не соблазняет, исправно платит дворнику за открывание дверей, никогда ни с кем не ссорится, не говоря уж о том, чтобы убить или оскорбить кого-нибудь, украсть, поджечь и ограбить...

Такая речь в свою защиту необходима, хоть в народе и гуляет некрасивая поговорка: «Похвала себе дурно пахнет». А необходима она потому, что на нашей улице едва не разнесся слух, будто я похитил человека, причем лицо слабого пола, а именно Фанни Коштылковоу, дочь моей домохозяйки, совершив преступление, которое в каком-нибудь скверном изложении параграфов уголовного кодекса могло бы называться «похищение людей».

Украсть человека! Скажи мне кто-нибудь, что я украл Фанни, я бы просто расхохотался, потому что Фанни весит 75 килограммов. Итак, я якобы унес эти 75 килограммов, носящие имя Фанни Коштылковой; она блондинка по цвету лица, но рыжая по цвету волос, вернее, если выразиться красиво, златокудрая, а еще красивее — блондинка с волосами, как струи расплавленного золота, как лучи заходящего солнца, огненного и ослепительного.

Остряки с нашей улицы утверждали, что от ее волос можно прикурить сигару... Если б Фанни Коштылково жила в Турции, где любят корпулентных дам, она сделала бы блестящую партию, потому что ее фигура всем бросалась бы в глаза.

И вот эту красоту я якобы и украл. Если выразиться цинично, то я украл 75 рыжих тридцатилетних толстых килограммов.

Дело было так.

Когда я въехал в коштылковский дом, то был очень доволен, потому что мамаша Коштылково по-матерински опекала меня. Пуговицы моего пиджака — а также и пуговицы брюк — всегда были пришиты в должном количестве; кальсоны, приходившие в упадок, она чинила и штопала, пришивала вешалку к пиджаку, воротнички так и сверкали, белье, окропленное нежной сиреневой эссенцией, всегда было белоснежным. Завтраки превосходные, обеды великолепные, ужины роскошные и полдники восхитительные. Развлечения непринужденные и интересные каждый день.

Пан Коштылек, пенсионер, был очаровательный господин, общительный, Фанни всегда элегантна и грациозна, несмотря на дородность. Она никогда не играла на пианино слезливых мелодий, а выбирала веселые пьески, причем не более трех в вечер.

Прошу вас, представьте себе хорошенько эту упорядоченную мирную

жизнь приличного семейства. Печь в углу приятно греет, горит висючая лампа, а фонарик в красном шарообразном бумажном абажуре (изделие пана Коштялека) льет красноватый свет. Под лампой круглый стол, под столом большой ковер, на котором ткач изобразил тигра размером с кошку, терзающего бедуина, который по меньшей мере в два раза больше вытканного хищника. А вокруг стола сидим мы и играем в карты на арахисовые орешки и смеемся, когда кто-нибудь «остается в дураках». Играем мы в «цинк» и так заняты игрой, что не замечаем, как бьют глубоким тоном большие стенные часы.

Десять орешков за крейцер! Вы ведь знаете эту игру — «цинк»? Сдается по три карты, а четвертую сдающий открывает, и это козырь. Если я хочу вступить в игру, то должен брать взятки. Если у меня на руках туз, то я обязан взять две взятки. Туза можно и нужно крыть козырем. Ну, кто ходит? Кто «стучит»? Ходит пан Коштялек, пани Коштялкова «стучит», Фанни тоже «стучит». Кто останется в дураках? Смеемся от всего сердца. «А мы вашего тузика козырем!» — восклицает пан Коштялек, козыряя. Он выходит с козырной восьмерки — козырная масть у нас «желуди», — пани Коштялкова перебивает десяткой, Фанни валетом, я бью козырным тузом. Есть одна взятка! Хожу красным тузом, пан Коштялек бьет козырной дамой, пани Коштялкова ходит в масть, Фанни сбрасывает последний свой козырь, девятку «желудей».

Пан Коштялек ходит с козырного короля. «Проиграли! — кричит он мне. — Где у вас вторая взятка?» — «Не проиграл!» — «Не может быть!» — «Спорим!»

И тут я кладу на козырного короля шарового туза и кричу: «У меня была фигура тузов, три туза! Я не проиграл!» Значит, в дураках остались обе дамы... Веселый хохот! Ну разве забудешь когда-нибудь такие развлечения?

А весной мы проводим досуг в садике при доме. Сидим там вечерами, и я с ними, самый счастливый человек, счастливейший из всех, кто когда-либо снимал тут квартиру.

Мне и в голову не приходит таскаться в трактир, как бывало. Жил я в свое удовольствие и почитал всех, кто окружил меня отеческой, материнской и сестринской любовью за тридцать гульденов в месяц.

К барышне Фанни я относился как старший брат к младшей сестре.

Возвращаясь домой и находя все в порядке, а Фанни ласковой, я всегда побратски пожимал ей руки.

А когда я отправлялся спать, пани Коштялкова обязательно заходила проверить, приготовлена ли моя постель и стоит ли на ночном столике питьевая вода. «Спокойной ночи, пани Коштялкова!» — «Дай вам бог доброй ночи!»

И эти-то добрые души заподозрили меня в том, что я украл их Фанни...

Было начало лета, когда столько людей устремляется за город, когда пражане толпами отправляются на полдня, на день погулять, а возвращаясь в несказанном блаженстве, тащат с собой флору лесов, лугов и полей, даже ветки деревьев.

В эту пору молодые люди чаще удаляются на лоно природы; он выпивает три кружки пива, она одну, или четыре кружки вместе — где-нибудь в деревенской глуши, около жалкого, ободранного леска, где и одуванчик-то редко увидишь в траве.

В таких местах больше всего любят бродить молодые парочки; он говорит, она смеется, потом она говорит, а он смеется, потом оба говорят и оба смеются. Под конец, объятия, поцелуи, признания в любви — и домой.

Наслаждаться природой! Невозможно, милые мои. В окрестностях Праги вы всюду натываетесь на эти создания, которые не видят ничего вокруг и оскорбляют ваше чувство приличия.

Такое мнение, высказанное мной в присутствии почтенного семейства Коштялеков, возбудило удивление.

— В наше время, — продолжал я, — если хочешь без помех насладиться природой, этим прекраснейшим творением поэзии, не тратя при этом много времени, поезжай на Сазаву. Долина Сазавы, не оскверненная будничностью, смолистые благоухающие леса, где не чувствуешь запаха мускуса и дамских духов, где восхищаешься видом скал над рекой и роскошными девственными долинами... Прелестные деревеньки, разбросанные в тени лесов, свежих, чистых и великолепных... Вот письма, слагающиеся в прекраснейшее поэтическое творение, вот природа, ничем не нарушенная, не испорченная, настоящая, прекрасная и нетронутая, как песнь, когда птицы поют в тех лесах, шумят деревья, журчат ручьи и бурно течет Сазавы, и пенится, и высоко вздымает брызги своих голубых вод над прибрежными валунами...

Такая речь растрогала бы кого угодно, а тем более семейство пана Коштялека, который, с довольным видом попыхивая трубкой, вздыхал:

— Увы, ноги отказываются мне служить... Хотел бы я заглянуть в те края, да что поделаешь...

— Я хотела бы умереть там, — вздохнула Фанни.

— Умирать вам там незачем, а вот съездить туда как-нибудь мы могли бы, — охотно предложил я.

Предложение мое было встречено с некоторым недоумением. Мне возразили, что раз не могут поехать все, то нельзя же ехать одной Фанни со мной на весь день; не то чтобы они опасались доверить ее мне, сохрани бог, нет, они ведь знают меня как человека порядочного, но что подумают люди, мало ли, встретишь случайно кого-нибудь, какую-нибудь торговку-сплетницу. Короче говоря: нельзя.

А потом наступил тот злосчастный день. Пан Коштялек с пани Коштялковой отбыли на целый день, поездом конечно, в Саталице — поехали с обязательным визитом к старому другу пана Коштялека, к пану Моудрому, у которого тоже была дочь, но на пять лет моложе Фанни и уже замужем, отчего Фанни никогда к ним не ездила, чтоб не огорчаться.

— Мы вернемся в одиннадцать вечера, — объявил пан Коштялек.

Когда мы уверились, что родители уже на вокзале, мы быстро составили план:

— Поехали на Сазаву!

Мне не пришлось даже уговаривать Фанни. Вечером вернемся, облагороженные красотами природы и чистым счастьем, которое охватывает сердце всякого, кто видит настоящие леса, ручьи и деревеньки. Мы поехали.

Станция Сазавы! Обитель славянских монахов, руины, и дальше — в гору, в лес, на поиски деревеньки, знаете, такой, где ничего не приготовлено для туристов, деревеньки с неизменной лужей посередине, а у лужи ссорятся гуси, с колокольней, с пастухами, с загорелыми и очаровательно грубыми крестьянами, деревеньки, где в пяти минутах от последней очаровательно развалившейся хижины темнеет лес, а в лесу том встречаются картофельные полоски, лужайки и поля, и все это в очаровательном беспорядке.

Все это я обещал барышне Фанни, и обо всем этом говорил с восторженностью человека, пишущего плохонькие стишки. Я обещал ей корчму, где не приготовлено никакой еды, где при нас изловят курицу, бегающую на дворе, и подадут жареную курятину и грибной суп с картошкой... Я обещал ей, что она увидит здоровую деревенскую жизнь, и что деревенские мальчишки будут глазеть на нас с удивлением и восторгом, и что малыши с пухлыми грязными щечками заревут, когда мы дадим им крейцер, и я говорил о соломенных крышах, об окнах, заклеенных бумагой, в общем, обо всем, что может привести в восхищение человека, чья жизнь проходит в пятиэтажных домах, который попирает ногами камни мостовой, выскакивает из-под носа трамвая, а вечером, в сиянии электрических огней, разглядывает витрины.

Я наговорил ей с три короба, и поэтому мы заблудились. Это было ужасно.

Мы шли с горки на горку, кругом ни души, не слышно стада, не встретится лесник... Ничего! И снова лес, а мы все время то в гору, то снова под гору... Страшное дело!

Фанни уже не могла плакать и лихорадочно дрожала. Я утешал ее, твердя, что уж к вечеру-то обязательно наткнемся на какую-нибудь деревушку, где не ждут туристов, и где все будет так, как я рассказывал.

Вечернее солнце застало нас в Напшах, очень убогой деревне — но все же деревне, с очень убогой корчмой — но все же корчмой. Вместо кур там были только сырки, и мы ели их, плача от страха, что же будет с нами дальше, потому что один бог знает, как все это случилось и куда нас занесло. Нам сказали, что до ближайшей станции пять часов ходьбы, а кто не знает дорогу, тот обязательно собьется, да и если б мы даже добрались до станции, то все равно никакого поезда не будет до утра.

— О ночлеге не беспокойтесь, — сказала хозяйка, — у нас в горнице есть хорошая чистая кровать.

Подумайте: кровать!

И я поступил, как порядочный человек! Как самый порядочный человек под солнцем.

Кровать одна. Значит, кровать для Фанни. Фанни ляжет спать, а я пойду в Прагу пешком, буду идти всю ночь, чтоб утром явиться к Коштялекам и объяснить им все случившееся и одновременно доказать свое алиби. Вы меня понимаете...

— Меня здесь убьют! — рыдала Фанни, когда я сообщил ей о своем бесповоротном намерении.

Я до того был сбит этим с толку, что просил хозяйку не причинять вреда Фанни. Фанни не желала отпустить меня. Я буквально вырвался. Так должен поступать порядочный человек! Провести ночь под одной крышей, в незнакомом доме? Никогда!

Расспросив о дороге, пошел я в Прагу, руководясь инстинктом путников, которые даже в темноте находят нужное направление. Впрочем, у животных это тоже встречается...

Дорога была ужасна, я то и дело натыкался, спотыкался, потерял часы, но наконец, проделав кошмарный путь, с глазами, вылезшими из орбит, с пеной на губах, добрался до Ржичан и блаженно вздохнул. Отсюда я уже знал дорогу.

Проходя через Вршовице, я затрепетал, представив себе, что будет, когда я

такой, весь в грязи, дикий и страшный, предстану перед Коштялеками без их Фанни...

С бьющимся сердцем ступил я в квартиру Коштялеков, и зубы у меня застучали. Вокруг стола сидела вся родня, встревоженная, заплаканная: вид моих вытаращенных глаз на миг ошеломил их, но тут ко мне подскочил посиневший пан Коштялек с криком:

— Вы украли нашу Фанни!

Я онемел от испуга. Со всех сторон на меня кричали. Кричали тетки, мать, дядья и отец:

— Вы украли Фанни!

— Фанни в Напшах, — пролепетал я.

— Вы ее украли! — продолжались крики.

Явился полицейский, потом еще один, повели меня в участок, и всю дорогу пан Коштялек орал мне в уши:

— Вы ее украли, мерзавец!

В участке полицейский комиссар мне говорит:

— Известно ли вам, чего требует от вас этот господин?

— Нет.

— Поскольку вы похитили его Фанни, то чтоб теперь вы на ней женились, потому что, согласитесь, ночью, под одной крышей, двое молодых людей, понимаете...

Страшная опасность вернула мне дар речи.

— Господин комиссар, — сказал я, — господин комиссар, дайте мне карту окрестностей Праги. Вот тут Напши, а вот Прага. Теперь я докажу свое алиби. Из Напшей я вышел в девять вечера, утром в восемь я был в Праге... Остальное я уже рассказывал...

Не так-то просто поймать меня! Сколько раз мне грозила опасность, что меня женят или что я сам женюсь. С врагами я успешно справлялся, и с самим собой умел справиться, стоило только обдумать последствия такого шага. И вот опять!

Один из дядьев Коштялековской семьи стоял во время допроса позади меня и все кручинился:

— Бедная Фанни, затащил бог весть куда, что он с ней сделал!

— Хорошо, пусть она в Напшах! — кричал ее отец, не считаясь со священностью места. — Но все это еще надо доказать, прошу вас, арестуйте его пока, пан комиссар!

Вообще-то, конечно, выглядело все это довольно загадочно: я явился утром, перемазанный в грязи, в диком виде, без Фанни, которая никогда не выходила из дому без разрешения родителей.

— Вы ее сманили! — заседали на меня родственники, а пан Коштялек монотонно повторял, одержимый одной мыслью:

— Он украл Фанни, он украл Фанни!

— Ладно, господа, — сказал я, — подчиняюсь неизбежности: ни один волос не упал с головы Фанни, какой вы, почтенные родители, ее оставили, такой и найдете в Напшах, правда, заплаканной, но прежней.

Потом я воскликнул, как мученик:

— Берите меня, и если есть правда на свете, пусть Фанни, эта добрая душа,

сама скажет, похищал ли я ее, как вы утверждаете. Скажет, что похитил, — даю честное слово, женюсь на ней!

В тот же день к вечеру за мной пришел старший полицейский и отвел меня к комиссару, где я, к своему удивлению, увидел все семейство Коштялеков, не исключая самой Фанни.

— Дело выяснено, — произнес комиссар. — Все произошло по вине этого господина. Можете быть свободны.

Мы вышли на улицу, и там я воскликнул, сжав кулаки:

— Никогда я не прощу вам того позора, который претерпел по вашей милости, — я подам на вас в суд, пан Коштялек!

Пан Коштялек добродушно усмехнулся и молвил:

— Ну, не потащите же вы в суд своего тестя, вы ведь слово дали...

— Ка-ак?

Тут Фанни поскорей взяла меня под руку и торжественно проговорила:

— Вы меня украли, противный! После свадьбы я вас вознагражу.

Итак, друзья, сегодня последний день моей золотой свободы, завтра ваш очень старый холостяк покидает вас, завтра я женюсь на Фанни, и когда вы соберетесь снова в этом трактире и не увидите больше моей лысины — тогда, друзья, вспомните, что преступное похищение людей действительно существует: только не я украл Фанни, а они украли меня... Прямо хоть плачь!

Ну же, споем: «Никогда уж не будет так, коль мы женимся»... Ура! Последний нонешний денечек...

## Фасоль

### I

Семилетний Войтех дважды видел, как отец плачет. Год назад, когда мать сбежала с одним маляром, и сегодня, когда отец вернулся в их конуру, которую называют подвальной квартирой, после двухмесячного пребывания в больнице; расплавленное железо выжгло отцу один глаз и покрыло его лицо шрамами. Из единственного глаза, смутно различавшего Войтеха и тещу Павлитову, лились слезы, а с губ Костки хрипло срывались слова: «Теперь я калека...» К вечеру друзья из литейного пришли навестить товарища; усевшись на стол, на три стула и на жалкий диванчик, из которого вылезали внутренности, они снова и снова толковали о несчастном случае, который произошел два месяца назад; им вспомнилось, как на литейщика Костку брызнуло расплавленное железо, обварило лицо и выжгло левый глаз, как потом приехала «скорая помощь», как Костку сажали в нее, как его отвезли в больницу. В разговор иногда врывался хриплый голос Костки: «Теперь я калека...» Один из товарищей Костки послал за пивом, чтобы не сидеть за пустым столом, и Войтех, сидя в углу у стены, на которой выступала плесень, слушал: «Директору легко приказывать! Пусть теперь тебя кормит!» И жену Костки вспомнили. «Да, парень, тебе везет; в прошлом году Маржка сбежала, а теперь еще это несчастье».

Мать Маржки, старая Павлитова, вмешалась в разговор: «И почему я своими руками не удушила Маржку еще в люльке!»

Костка презрительно сплюнул, понимая, что Павлитова просто боится, как бы он ее не выгнал. «Слушайте, — сказал он, — я не знаю, что теперь с нами

будет. Шли бы вы лучше к дочке! Работать я не могу, а кто знает, сколько я получу по страховке!»

Павлитова, отодвинувшись к печке, вздыхала так, чтобы все могли ее слышать: «Взять бы топор и — конец!» Когда Войтех принес новый жбан с пивом, друзья совсем разошлись, и говорили громко, стуча и размахивая кулаками: «Не бойся, организация о тебе позаботится. Что же мы, за товарища не заступимся? Покалечили тебя и думают, можно просто выкинуть тебя на свалку и все? Не выйдет! У нас ведь организация!»

Слово «организация» действовало на Костку завораживающе. Он начинал верить, что все обойдется. В оставшемся глазу загорелся веселый огонек, Костка стукнул кувшином об стол, крича: «Пусть только попробуют выкинуть меня на свалку! У нас ведь организация!»

## II

Войтеху чертовски везло. В то время как его отец во всех инстанциях проигрывал процесс, который он вел против страховой кассы, Войтех выигрывал столько фасоли, что издалека приходили мальчишки посмотреть на замечательного игрока и попытаться счастья, сразившись с ним. Отец остался один, а вокруг Войтеха собирались толпы ребят, которых он приводил в восторг каждым движением руки, загоняющей фасоль в любую ямку с любого расстояния. Каждый день карманы Войтеха наполнялись фасолью белой и в крапинку, и каждый день домой уходили мальчишки без единой фасолины с такими же грустными лицами, как у отца Войтеха после каждой проигранной тяжбы. А сын лавочницы, Тоник, однажды взял дома добрых полкилограмма больших белых фасолин, которые одна за другой перекачевали в карманы Войтеха вместе с синеватыми, пятнистыми, коричневыми бобами мальчишек, присоединившихся к игре. В этот день, потерпев такое ужасное поражение, Тоник, сын лавочницы, уходил домой с таким же ошеломленным лицом, какое было у отца Войтеха при вынесении окончательного решения, что он будет получать за увечье две кроны семьдесят два геллера в неделю. А Войтех, пересыпав три кармана фасоли в объемистый мешочек из-под муки, спрятанный в тайнике за печкой, наполнил его до краев.

## III

— Две кроны семьдесят два геллера в неделю, — в сотый раз повторял Костка, держа в руках бумагу с судебным решением.

Старуха Павлитова сидела на своем обычном месте у печки, всхлипывая: «До чего я дожила! Взять бы топор и — конец!»

— Что же нам делать? — обращаясь скорее к самому себе, чем к Павлитовой, вздохнул Костка. — Я едва вижу одним глазом. На огонь совсем не могу смотреть, сразу такая резь в глазу начинается.

— Что, если пойти помощником к каменщику? — предложила Павлитова. — Отец-покойник хорошо зарабатывал.

— Литейщику стать поденщиком! — накинулся на нее Костка. — Вам бы лучше помалкивать!

Павлитова на минуту умолкла, а потом снова затянула свою песню:

— Взять бы топор и — конец!

— Лучше уж повеситься! — кричал Костка. — Покалечат человека, а потом сунут ему две кроны семьдесят два геллера в неделю!

Он начал пересчитывать деньги, выплаченные страховой кассой за три ме-

сяца со дня несчастного случая. «Тридцать две кроны шестьдесят четыре геллера, — выругался он. — Павлитова, сколько мы задолжали?»

— Четырнадцать золотых лавочнице, — ответила старуха. — Все ваши сбережения кончились две недели назад.

— Водку, что ли, покупали? Пойду платить.

— У меня снова звенело в голове, — оправдывалась Павлитова, — вот я и пила тминную понемножку.

#### IV

Уплата долгов лавочнице затянулась до утра. Заплатив долг, Костка встретился со старым товарищем, сидевшим без работы. Они зашли выпить пива, потом посидели в маленьком кафе, дожидаясь, пока начнут продавать крепкие напитки; угостив друг друга ромом, они отправились по домам. Костке не хотелось спать. У него было отличное настроение, и он решил пойти поискать работу: пусть подавать кирпичи — только бы работать. Он возвратился из своего похода удрученный и грустный, потому что нигде не нуждались в рабочем, у которого только один глаз, да и тот плохо видит.

С этого дня начались мучительные поиски работы, бессонные ночи, когда Костке, едва он смыкал единственный глаз, мерещилась фигура, до мельчайших подробностей похожая на него, исхудавшая и грустная, и что-то шептало ему, что это голод.

Голод не заставил себя ждать. Лавочница перестала давать в долг, а где взять еще денег, кроме двух крон семидесяти двух геллеров, на которые они покупали хлеб и картошку? Этого хватало до четверга, а как жить с четверга до субботы?

#### V

— Папа, — сказал в пятницу утром Войтех, — у меня есть мешок фасоли. Давай сварим ее!

Он самоотверженно отдал свои запасы — большой мешочек из-под муки, где хранились сотни фасолин, которыми так любят играть дети в дни беззаботного детства.

И когда Войтех уплетал вареную фасоль, свою фасоль, она была соленой от слез. Я уверен, что в этот момент Войтех, как взрослый мужчина, понял, что такое нищета.

## Музыкальный талант

В этой семье меня принимали охотно и вот по каким причинам:

1. Я вел себя столь учтиво, я вещал столь умно, что даже служанка стала как-то понятливее.

2. Я никогда не проявлял желаний отведать чего-бы то ни было и пил исключительно чистую воду.

3. Хотя навещал я их каждый день, стулья и прочая мебель остались в полной сохранности.

4. Я курил только свои собственные сигары и никогда не носил с собой трубки, как поступал пан Х., заглядывавший сюда до меня.

5. Я помогал младшим членам семьи выполнять школьные задания.

Сейчас я и сам удивляюсь, как у меня хватало терпения, и нахожу, что причиной тому была девица Гермина, выгодно отличавшаяся от своих сестер деликатным поведением, красотой и, наконец, главное — тем, что я сам был ей симпатичен. Симпатия эта зародилась после того, как однажды в разговоре я обмолвился, что абсолютно лишен музыкального слуха.

Страдая одним и тем же недостатком, товарищи по несчастью, как правило, обнаруживают друг к другу взаимную склонность.

— Я не отличаю «ля» от «ре», — как-то признался я ей, — высокие звуки от низких, и пою четыреста песен все на один лад.

— Этому легко помочь, — откликнулась Гермина, слегка зардевшись. — Я тоже не различала высоких и низких тонов, но теперь мой слух, можно сказать, отточен для восприятия и воспроизведения любых звуков. Этого я добилась, упражняясь в пении и слушая игру на фортепьяно, скрипке и прочих инструментах.

— Что касается пения, — сказал я, — то голос у меня отсутствует начисто. Раз было я записался в хоровой кружок, хормейстер, прослушав меня, тут же попросил разрешения обратиться к какой-то ученой корпорации, потому что обнаружил, что звуки, которые я пытался выдать за «ля», настолько отличались от человеческих, что...

— Да вы шутник, — засмеялась Гермина. — Завтра я сама вас прослушаю. Я раздобуду цитру и позанимаюсь с вами. Я ведь умею играть на цитре.

Следующий день был отмечен знаменательным событием. На столе в гостиной лежала цитра.

— Нравится? — спросила Гермина.

— Вид больно претенциозный, — ответил я, — струн многовато, а я не люблю излишеств.

— Но так и должно быть, — сказала Гермина. — Вот эти металлические — для исполнения мелодии, остальные — для аккомпанемента.

— Их делают из высушенных кишок, — бросил я сухо, ибо цитра не вызвала у меня ни малейшего доверия.

— Да замолчит он когда-нибудь или нет? — Она говорила обо мне в третьем лице! — Ну вот, слушайте: это «ми».

— Скажите, что это за колечко у вас на большом пальце? — спросил я.

— Это плектр, которым играют на основных струнах.

— Гм-м, — буркнул я.

— Поразительно, вы так чисто взяли «ми», — удивилась девица. — А теперь

попробуем «ре».

— «Ре»... «ре»... Что-то не получается, — сознался я после долгих бесполезных попыток, заметив, что напротив открываются окна, а ведь я как-никак писал музыкальные обзоры в одну из местных газет.

— Мне кажется, цитра расстроена, — продолжал я. — Ее необходимо настроить как следует. А чем ее настраивают?

— Вот этим ключом.

Мы приступили к настройке. «Ля», «си-бемоль», «до», «ре», «ми», — звучало в комнате, — «ля», «до», «ре», «ля», «си-бемоль», «до», «ля», «до», «ре». Это заняло у нас больше получаса.

Через полчаса лопнули струны «ля», «ре» и «ми», а спустя час сдались струны для аккомпанемента.

— По-моему, у вас есть не только музыкальный слух, но и просто талант, — объявила Гермина, когда я уходил. — Нужно лишь его пробудить. Да не забудьте купить новые струны — основные и аккордные.

На другой день я пошел покупать струны. Проверил их на прочность — выдержат ли хорошую настройку.

— Вот она, силушка-то, где, — удивился хозяин магазина, когда я порвал третью.

Предвидя всяческие мелкие неприятности, я купил каждой струны по четыре штуки и отправился упражнять свой музыкальный слух.

— Я вас видела во сне, — такими словами встретила меня Гермина. — Вы выступали в качестве виртуоза.

— Во-первых, прикрою окна, — предложил я, — а потом уже приступим к занятиям. Что же касается виртуоза — то отчего бы и нет, в жизни всякое случается.

Прилаживание струн к цитре — дело весьма занятное, особенно если вам помогает такая прелестная девица, как Гермина.

Мы склонились над цитрой так, что лица наши соприкоснулись. В романах это называется «интимный момент».

— О чем вы думаете? — шепнула мне Гермина в самое ухо.

— Да вот смотрю, какой сложный инструмент цитра.

— О да, — несколько разочарованно произнесла девица.

— Но ваше присутствие, — подхватил я, — придает ему особую прелесть.

Когда все струны были на месте, мы принялись за настройку.

— Я куплю камертон, — пообещал я, ибо, по заявлению моей Гермины (а с того дня я действительно обращался к ней запросто, как к своей доброй знакомой), мы настроили цитру слишком высоко. Пообещав купить камертон, я попрощался с Герминой.

В ту ночь я почти не спал, поминутно просыпаясь от своего собственного пения. Во сне я чисто брал и «ля», и «ре», а в дремоте вытягивал даже высокое «до».

Последующие дни превратились в цепь бесконечных страданий.

И хотя на другой же день я купил-таки два камертона, ни одну из струн цитры нам не удалось довести до нужного звучания.

— Как вы думаете, это «ля»? — спрашивала Гермина, перебирая струны.

— Полагаю, что нет, — отвечал я. — Это или «до» или «ре».

— Это «ре», — вздыхала Гермина. — Для «до» низковато.

— Что с тобой? — спросил меня знакомый. — Выглядишь паршиво.

— Пробуждаю в себе музыкальный талант, — ответил я с гордостью.

Так продолжалось всю неделю.

Злосчастная цитра! Она обрекла меня на бессонницу. Ночью она вползала в мои сны. Несколько раз мне привиделось, что я сам цитра, и по мне туда-сюда водят огромными стальными кольцами, а иногда снилось, что я — аккордная струна, и что меня настраивают, а я лопаюсь. Жуть какая-то. Но — поди ж ты! — каждый день в четыре часа я появлялся у родителей Гермины. Цитра прямо-таки влекла меня к себе. Может, не цитра, а Гермина?

Наступил понедельник. Я пришел к Гермине. Она плакала.

— Я очень, очень рада, что вы здесь, — проговорила она, обратись ко мне. — Но сегодня мы не сможем заниматься, потому что я жду визита.

И она опять разрыдалась.

— Да отчего же вы плачете? — обеспокоившись, спросил я.

— Ах, это ужасно. Сейчас придет мой кузен, у нас все перед ним трепещут. Вечно он скандалит по пустякам. Вот и вчера, стоило вам уйти, он меня просто вывел из себя. И стул разбил, и меня обидел.

— Лучше всего, если я сразу поставлю его на место, — спокойно возразил я. — С вашего позволения, я его просто выкину отсюда.

Решительные поступки всегда производят на дам хорошее впечатление, подумал я. Гермина перестала плакать.

— Вы так добры! Я разрешаю вам все, но не обижайте его уж слишком: кузен все-таки!

Через полчаса наступила развязка всей этой истории. В комнату с грохотом, зато без всякого приветствия влетел мужчина.

— Это и есть ваш кузен? — тихо спросил я Гермину.

— Да, — испуганно ответила она.

— Та-ак, Гермина, — проорал молодой человек, еще стоя в дверях.

Он не успел произнести ничего больше, потому что я схватил его за шиворот и вынес из комнаты.

В прихожей он слабо сопротивлялся, но это ему не помогло, в итоге некоторое время спустя я возвратился в комнату один. Кузен был уже внизу, в подъезде — под лестницей.

— Я его выкинул, — коротко сообщил я Гермине.

— Ах, как вы любезны, ах, как я рада! — благодарила Гермина. — Вообразите, какой грубиян. Это у него я взяла цитру, так вот, видите, сегодня он вздумал за ней явиться.

Я обомлел. Потом, схватив с вешалки свою шляпу, вылетел из комнаты.

— Куда же вы? — услышал я возглас Гермины.

— Покорнейше прошу простить, произошла ошибка, досаднейшая ошибка, — сказал я кузену, настигнув его за углом, где он приводил себя в порядок. — Выбросу подлежите не вы один, так что извольте вернуться!

Однако возвращаться молодому человеку не хотелось. И я решил покончить с этой историей радикальнейшим образом. Я вернулся к Гермине и, прежде чем она успела опомниться, распахнул окно.

— Господи, только не прыгайте! — проговорила она и упала в обморок.

Я взял цитру и швырнул ее вниз. До сих пор удивляюсь, откуда у меня взялось столько душевных сил. Потом я привел в чувство Гермину. Придя в пол-

ное сознание, она сказала:

— Как мило с вашей стороны, что вы не выпрыгнули из окна. Я понимаю, мой кузен рассердил вас, но не принимайте это так близко к сердцу. Дайте-ка сюда цитру.

Бедная, бедная Гермина!

— Цитры нет больше, — произнес я елеинным голосом. — С вашего позволения, я выкинул ее следом за кузенком.

Гермина снова свалилась в обморок, а я поспешил незаметно скрыться.

— Ты выглядишь лучше, — заметил мне мой знакомый, встретив меня через несколько дней.

— Еще бы, — я, наконец, перестал пробуждать в себе музыкальный талант, — ответил я.

А ну его, этот музыкальный талант!

## Ищу поручителя

Для почтового служащего Дыкаста настали черные времена. Его любовница, Днекто Мицка, пригрозила ему крупным скандалом в том случае, если он не заплатит ей триста золотых. Ситуация была не из приятных, тем более что Мицка настойчиво добивалась выполнения своего требования, которое, если принять во внимание зарплату почтовых служащих, было, мягко выражаясь, завышено.

«Легко только говорится: стать отцом, — писала ему Мицка, добрая душа, когда-то называвшая его «мальчик ты мой золотой», — сказать-то легко, а каково детей вырастить? Был бы у меня один ребенок, но судьба, милый мой, послала нам двойню. У одного глаза голубые, но, мне кажется, цвет еще изменится. У второго — черные, хотя еще вчера были зеленые. Доктор говорит, так теперь и останется, редко, дескать, но бывают такие случаи. Друг мой, наверное, лучше всего мне удавиться. Но, к сожалению, мать догадалась, что у меня в мыслях, и начала меня отговаривать. Она хочет, чтобы вы заплатили триста золотых. У нас квартирует один юрист, так он сказал моей матери, чтобы я написала вам одно-единственное словечко; и словечко это

### ОТЦОВСТВО.

Он сказал, будто вы обрадуетесь, когда его прочтете, и предпримете соответствующие шаги. А еще он велел написать, что вы, государственный служащий, наверняка не захотите явиться

### В СУД.

Слово это он посоветовал мне написать отдельно и сказал, что, прочтя его, вы обрадуетесь еще больше и вышлете мне триста золотых. У мамы много всяких доказательств — ей все известно. Она говорит, что у стен есть уши. Не знаю, какие имена дать нашим детям, милый Фердинанд. Одного назову Фердинанд Дыкаст, а другого — Вацлав Дыкаст, а может быть, Алоиз Дыкаст, но фамилию Дыкаст будут носить оба. Как было бы хорошо, если бы в течение недели вы привезли необходимые триста золотых, чтобы при встрече мы договорились, как назвать наших крошек.

Ваша покинутая *Мицка*».

«Могу себе представить, что будет с паном советником из управления, — думал бедняга Дыкаст. — Вот уж он обрушится на меня и станет угрожать разбирательством, да это еще не самое страшное. Потом дело дойдет до старшего

советника, он-таки начнет разбирательство, и в конце концов переведут меня в какую-нибудь дыру... Нет, я должен, должен достать эти триста золотых...»

Дыкаст встал и принялся расхаживать по комнате. Вдруг он сник и прошептал: «Но где?» Этому вопроса оказалось достаточно, чтобы окинуть комнату затравленным взглядом.

«Надо бы с кем-нибудь посоветоваться, — сказал он сам себе. — Но с кем?» — Тут же возник новый вопрос.

Наконец он вспомнил, что знает одного человека, о котором все говорили, что состояния у него особого нет, нигде он не служит, однако его это ничуть не смущает, и он из года в год живет исключительно в долг.

К этому-то загадочному человеку и отправился Дыкаст, а тот проводил его к ростовщику, ссужавшему деньги под высокие проценты.

— Ладно, — сказал ростовщик, — нужно только, чтобы вы подкрепили вексель подписями двух человек, которые могли бы за вас поручиться. Вам необходимо найти двух поручителей. Разумеется, это всего лишь формальность...

И Дыкаст начал искать поручителей.

— Во-первых, — думал он, — о Мицке никому ни слова. Во-вторых, надо перебрать всех своих друзей и родственников, остановиться на лучших из лучших, а потом — на тех, кто больше других меня любит, и попросить их поручиться.

Сначала он пошел к дядюшке-торговцу.

— Дорогой дядя, — обратился он к нему, — ты, наверно, уже не помнишь пана Речека?

— Слыхом не слыхивал.

— Он был мелким торговцем, дорогой дядя, и моим приятелем. Полгода назад он помер, и я могу показать тебе записку, которую он написал на смертном одре. Просто сердце разрывается. В записке он просит меня взять на попечение двух его деток — не в смысле их воспитания, потому что мать у них есть; нет, он хотел бы, чтобы я стал их опекуном. Так я и сделал. Вдова продолжала вести торговлю, но сейчас она на грани разорения. Ей нужны триста золотых.

— Прости, Фердинанд, но в последнее время у меня были огром...

— Да я не собираюсь брать у тебя в долг. Я хочу только попросить, дядюшка, будь добр, подпиши вексель в качестве поручителя...

— Э-э, милый мой, — сказал дядя, поглядывая на часы, — знаем мы эти штучки. Пойми, и я когда-то был в твоём возрасте, и у меня был друг, который поручался-поручался, пока не допоручался, кстати сказать, он был попросту сумасшедший. И, слава богу, еще в своем уме, но ты, кажется, считаешь меня ненормальным. Я, может, и сам одолжил бы тебе эти три сотни, но по всем признакам видно, тебе прямо не терпится их у меня выудить. Я не выношу бесчестных поступков, пан Дыкаст, или вы думаете, что я позволю водить себя за нос, а мальчишка?! Вот тебе бог, а вот порог, жулик ты эдакий!

Итак, первая попытка не удалась. Ну что ж, у него был еще один дядя — приходской священник. И он отправился к нему.

— Достопочтенный дядюшка, — начал Дыкаст — Я пришел к вам с небольшой просьбой, и, надеюсь, вы меня выслушаете. Я живу по соседству с одной бедной, но порядочной семьей. Мать зарабатывает на пропитание вязанием чулок, а одна из дочерей ходит шить по домам. Вторая чуть было не ступила

на скользкую дорожку. Лишь религиозные убеждения уберегли ее от опасностей, которые подстерегают невинную девушку на каждом углу. У нее одна цель: бросить работу на фабрике резиновых изделий и уйти в монастырь. Я никогда не был особенно набожным, но это меня, признаться, растрогало. Я решил поговорить с ее матерью. Та справилась в монастыре, оказывается, при поступлении необходимо иметь при себе несколько вещей на сумму триста золотых, считая взнос. Я беру для нее эти деньги под проценты, вот вексель. Но мне нужны два поручителя, и я обращаюсь к вам, достопочтенный дядюшка: не изволите ли вы первым расписаться на векселе в качестве поручителя?

— Гм-гм, в наши времена никому нельзя верить, дорогой Фердинанд. На фабрике резиновых изделий, говоришь? Тем хуже для нее. Сам посуди — там не видит она перед собой ничего благочестивого, значит, плохая выйдет из нее невеста Христова. Народ нынче пошел такой скверный, что даже украсть норовит во имя Спасителя. На эти триста золотых она, несомненно, купит себе все, что угодно, только не монастырское приданое, но это тебе, конечно, невдомек, потому что ты все такой же добрый и отзывчивый Фердинанд. Прости, что не могу выполнить твоей просьбы, но тем самым я предотвращаю разочарование, которое порождает неверие. Надеюсь, в воскресенье ты, как всегда, придешь к нам на обед?

Бедняга Дыкаст вышел от дядюшки совершенно убитым.

Теперь начались поиски друзей, которые все-таки решились бы подписаться на векселе. Многие из них, до сих пор не ознакомившись с книгой «Значение, преимущества и польза приличия», попросту бранились в ответ. Напрасны были все приемы ораторского искусства, которые Дыкаст пустил в ход, чтобы заставить друзей поручиться за него. Один перед самым приходом Дыкаста собирался было застрелиться по причине финансовых затруднений, другой, напротив, не мыслил, как это можно: поставить подпись и не получить при этом даже половины суммы.

— Но должна ведь быть в ответах хоть какая-то логика! — горько сетовал Дыкаст после того, как один знакомый сказал ему, что не может подписать вексель, поскольку ждет письма из дома.

Наконец он вспомнил о своем друге по фамилии Земан, подвизавшемся на литературном поприще.

Он нашел его в постели. На противоположной кровати спал еще кто-то.

Дыкаст выложил все начистоту. Он не лгал. Он даже рассказал о Мицке. Он просил. И делал вид, что утирает слезы.

— Знаете, друг мой, — ответил ему Земан, — я помогу вам. Вон там на столе ручка и чернила. Давайте сюда вексель, я подпишу.

Сделав это, он сказал:

— Вторым поручителем может быть господин, что спит напротив. Сделайте одолжение, разбудите его. Он, как и я, литератор.

Когда коллега Земана проснулся, ему подали ручку, и тот с серьезным видом поставил свою подпись...

Дыкаст понес бумагу с подписями к ростовщику.

— Дня через два приходите за деньгами, а я пока проверю подлинность векселя, — сказал тот, и Дыкаст поступил так, как ему было указано.

Он пришел через два дня на полчаса раньше, чем было договорено.

— Послушайте, любезный, — ростовщик вызывающе рассмеялся ему в ли-

цо, — откуда вы взяли этих поручителей? Я послал к ним своего поверенного выяснить их финансовое положение, а они еще выудили у него две кроны! По-дите вы к черту!

И вот в газетах появилось объявление:

*Ищу поручителя — не литератора.  
С предложениями обращаться  
в адм. газеты, для Ф. Д.*

Ну, а пока что Дыкаст пытается в полной мере осмыслить значение слова «отцовство».

## Вшивая история

**Н**а заседании магистрата городской голова подвергся грубому оскорблению. Один представитель оппозиции встал, сплюнул, зевнул, вытер нос и произнес во всеуслышание:

— Господа, я констатирую, что наш голова вшивец!

На галерее раздались аплодисменты.

Голова подождал, пока там успокоятся, а потом быстро отпарировал удар остроумным замечанием — в том духе, что к вшивцу пристают не львы, а вши. Этим он задел своих сторонников, и те подняли страшный гвалт. У столика, за которым сидел голова, собралась целая толпа, в воздухе замелькали кулаки, но вдруг все стихло, и голова, бледный, дрожащий, произнес незабываемую фразу:

— Какой вшивец дал мне эту пощечину?

Он снял с шеи золотую цепь, кинул ее в сторону оппозиции и крикнул:

— Я отказываюсь, я отрекаюсь, я схожу с ума, я буду жаловаться!

— Отказывайся, вшивец! — тотчас загремело в ответ. — Отрекайся, вшивец! Сходи с ума, вшивец! Жалуйся, вшивец!

С этих пор слово «вшивец» приобрело в городе популярность, совсем отгесив на задний план все другие ругательства.

Хозяин стал ругать так служащих, начальник — подчиненных, а те — его, пономари — сторожей, офицеры — унтеров, унтеры — капралов, капралы — ефрейторов, а офицеры, унтеры — не имеющих звездочек рядовых.

Кончилось тем, что один талантливый писатель сочинил пьесу «Вшивцы», в которой вывел всех видных горожан. Пьеса не была поставлена. Цензура не пропустила.

Цензор сказал писателю:

— Переработайте первое действие, переработайте второе и третье, а также четвертое. Короче говоря: напишите что-нибудь другое.

В шантанах пели куплеты:

*Все мы вшивцы, и вы тоже —  
Ха-ха-ха, ха-ха-ха...  
Раз в трактире голова наш  
Взял разделся донага.*

Преподобный пан викарий сказал:

— Господь бог не будет больше этого терпеть. Спорю на двадцать бутылок вина: кончится тем, что в городе появятся вши.

Это предположение оправдалось. Господь разгневался на такую распущен-

ность, наслал на город *pediculus capitis* и *pediculus vesimentis* — вошь головную, вошь платяную...

\* \* \*

Директор приюта пан Будегард беседовал с приютским законоучителем отцом Вольфгангом о телесных наказаниях:

— Телесное наказание благодаря своему могучему воздействию вызывает в мыслях сироток мгновенное торможение и пробуждает в сиротках решимость воздерживаться в дальнейшем от дурных поступков. Так что, ваше преподобие, не придавайте значения тому, что мальчик до сих пор не пришел в себя. Телесное наказание должно причинять некоторую боль. Ну, выпороли парня немножко сильнее, так, по крайней мере, помнить будет. А что этот мерзавец сделал?

— Я объяснял этим безбожникам, пан директор, как надо вести себя в костеле, а главное, что там нельзя грызть ногти. Говорил от всего сердца. А в это время негодяй творил возмутительное безобразие. Можете себе представить, пан директор: все время, пока я читал им наставление, он кидал на своих товарищей вшей...

— Вшей? — воскликнул пан Будегард.

— Да, пан директор, живых светло-серых вшей... Я его наказал и велел отнести его в комнату. А остальных сироток подверг осмотру. И установил: у сироток нашего заведения полны головы вшей... Простите, по вас что-то ползет.

Патер Вольфганг почтительно снял это «что-то» с пиджака директора и прибавил:

— Это ужасно. На вас тоже попала одна.

Так появился в приюте этот бич.

Положение оказалось хуже, чем могло представиться на первый взгляд. Тут уж не до сироток: в пору самим себя спасать.

Вошь — страшно демократическое создание. Она добралась и до законоучителя. Одолела всех приютских служащих. Кухарок. Слуг. Директор просто голову потерял. Бродил как помешанный. Совсем спятил от отчаяния. Переходил из одного публичного дома в другой и после пяти посещений стал повторять вслух:

— Зверье! Зверье!

Говорил непристойности, хвастал, что воспитал для себя двух хорошеньких сироток, этаких толстеньких пареньков... Дошел до того, что сопровождал эти речи гурманским причмокиванием...

Патер Вольфганг с горя запил, оправдывая это словами Фомы Кемпийского, что человек должен переносить любые тяготы ради жизни вечной.

В конце концов всё население приюта, кроме сироток, стало каждый день мыться и менять белье.

Сиротки не могли каждый день мыться и менять белье, так как это обошлось бы слишком дорого. Дело было перед рождеством, и воду требовалось хоть немножко подогревать. Но греть воду стоит недешево. А сорить деньгами ради болванов-сироток негоже.

Так что сиротки продолжали чесаться и обирать на себе вшей. По вечерам в спальнях слышалось подозрительное похрустывание и раздавались детские голоса:

— Получай, гадина! Здоровая какая! К ногтю!

Во время богослужения — то же самое. В костеле один воспитанник искал у другого. Как обезьяны ищут друг у дружки блох.

А между тем близилось рождество. Обычно сиротки получали яблоки и сласти. Но до того ли им теперь, покрытым вшами?

\* \* \*

— Я вычеркиваю яблоки, — сказал пан Будегард, обсуждая с патером Вольфгангом порядок празднования рождества Христова в приюте.

— А я вычеркиваю сласти, — объявил законоучитель.

— Все-таки мы должны сироткам что-то дать, — заметил пан директор. — Для формы надо что-то сделать.

— Что ж, — промолвил гениальный последователь Фомы Кемпийского, — купим каждому в виде рождественского подарка баночку черной ртутной мази против вшей. Пускай мажут себе голову. Подарок будет полезный, и я произнесу приличную случаю речь. Надо сироток воспитывать. Это для меня удовольствие.

\* \* \*

Наступило рождество.

«Хорошо же начинается праздник», — подумал директор, видя, что уже в пять часов все служащие перепились и без всякого зазрения тискают сироток.

— Зажгите елку! — рявкнул пан Будергард в шесть часов.

Зажгли. Впустили в зал дожевывающих ужин сироток.

Пан директор приказал, чтобы запели «Рождество твое, Христе боже наш», и велел веселиться. Сиротки стали веселиться. Пели песни и пихали друг друга. Было очень славно. Во время пения в зал вошел патер Вольфганг, кое-как еще держась на ногах.

— Сиротки! — грянул он мощным голосом. — Неизреченна милость божия. Возблагодарите господа, что он послал на землю сына своего. Без этого вы были бы язычниками...

— Язычниками... — повторил он с энтузиазмом. — Но благодаря небу вы христиане, честь честью, как полагается. Христос родился около ослика, он был бедней вас, когда родился, был голый совсем, да к тому же еще и в хлеве. Но тут вошли три святых царя.

В задних рядах какой-то сиротка начал сморкаться.

— Какая это скотина не могла себе нос утереть, прежде чем сюда войти? — крикнул патер Вольфганг, но тотчас опять сложил набожно руки и продолжал:

— О, вы видите, как много может чистая любовь к Иисусу! Из дальних краев пришли святые цари, приведенные звездой. И дали божьему дитяти то, что имели. Один дал денег, другой — благодатную мирру, третий дал святому младенцу сосуд с благовонной мазью. Эту благовонную мазь Иисус посылает вам, сиротки. Мажьте ею голову, и вы увидите, что вас никто не будет больше кусать. Подходите по очереди к елке, берите каждый по баночке этой черной мази, и пусть каждый идет в спальню, и да сольются души ваши безраздельно с богом. О дети, велика доброта божья, которую изливает господь на боящихся его!.. А теперь ступайте и ведите себя как следует, а то сами увеличите последствия безобразий своих. А тому, кто с таким бесстыдством громко сморкался, объявляю, что утром он не получит завтрака... Бродяга!

\* \* \*

Пан директор Будегард и патер Вольфганг попивали до полуночи доброе вино, когда из спальни сироток донесся страшный рев.

Они послали сторожа узнать, в чем дело.

— Осмелюсь доложить, — вернувшись, сказал сторож, — эти маленькие бездельники совсем взбесились. Намазали себе лица полученной в подарок черной мазью и теперь не могут узнать друг друга.

— Пойдите скажите им, что завтра всех перепорю, — прогремел директор и, обращаясь к патеру, прибавил: — Да, ваше преподобие, в тех случаях, когда нужно, чтоб наказание произвело особенно глубокое влияние на волю наказуемого, рекомендуется отсрочить его исполнение, отодвинуть его, так как продолжительный страх заставляет ребенка обдумывать свой поступок... А теперь давайте веселиться, так как родился наш Спаситель.

— Экий вы вшивец! — улыбнулся патер Вольфганг, чокаясь с паном директором.

## Господин Глоац — борец за права народа

В этой тирольской деревне было добрых 60 процентов идиотов, в другой — 35, в третьей — 40, в четвертой — 50, в пятой — 45 процентов. Дальше — еще ряд деревень и городишек, где кретины составляли большинство. И все эти деревни и городишки, со всеми этими идиотами, представляли собой избирательный округ, выбравший своим депутатом в имперский сейм приходского священника из Соленицка господина Глоаца.

Само собой, в связи с этим избранием на плечи его преподобия легло тяжелое бремя. Легко сказать: двадцать крон вознаграждения за каждое заседание, а попробуйте разумно, продуманно истратить эти двадцать крон в Вене!

В этом отношении приходский священник и депутат, преподобный тиронец господин Глоац был вне конкуренции.

Номер в гостинице стоил четыре кроны. Оставалось еще шестнадцать крон на день.

Утром он шел на Люксембургский проспект отведать фаршированного перца. Посещением тамошнего ресторана и первым куском фаршированного перца он начал свою депутатскую деятельность.

Он внимательно и заботливо следил за тем, чтоб и в Вене живот его не терял сходства с земным шаром, а броская полоса, откуда начинались брюки, — с экватором.

В области еды Вена представляет большие возможности для наслаждения. За фаршированным перцем следовали венский шницель, несколько кружек пива и так далее.

Можно разнообразить. В другом ресторане сперва потребовать шницель, а потом фаршированный перец и вместо пива — вина...

«Какой славный народ — мои избиратели! — подумал г-н депутат, выходя из второго ресторана. — Я должен оправдать их доверие. Сегодня важное заседание!»

И господин Глоац отправился выпасться в парламент. Там как раз шла хорошая потасовка. Под этим неприятным впечатлением он удалился в буфет, поел там ветчины и выпил литр баварского пива.

— Простите, коллега, — спросил он одного депутата, только что вошедшего в буфет. — Там еще дерутся?

— Когда я уходил, дело шло к концу. По морде друг друга больше не били, а только плевали на председательский столик. Советую вам спросить еще поллитра Пшоррова пива. Пока будете пить, все успокоится — какое-нибудь там крепкое выражение не в счет.

— Последую вашему совету, коллега!

Когда человек немножко взволнован, лишний бутерброд, конечно, не повредит. Почему бы господину Глоацу не заказать парочку? Располагая доверием избирателей, имея чистую совесть. У бога состоя на хорошем счету. Пользуясь несокрушимым здоровьем, что твой вол. И ко всему являясь депутатом. Вознагради их, господи, за двадцать крон! За каким же дьяволом (отпусти ему, боже, прегрешение) не потребовать бутербродов? Святая депутатская обязанность!

Бутерброды были с лососиной. Он решил спросить еще отдельно на золотой лососины. Не беда, если придется, истратив двадцать крон суточных, тронуть свои. Так или иначе, субсидия духовенства будет повышена.

— Лососины на золотой!

Съевши лососину, он почувствовал, что ее нужно запить, да не пивом, а вином.

«Не обману доверия избирателей! — подумал он, заказывая бутылку монастырского. — Как выпью, сейчас же вернусь в зал заседаний и попрошу слова».

По телу стало разливаться приятное тепло. Он пошел искать уборную.

«Ни за что не обману доверия своих избирателей!» — повторил он и в уборной.

Подивился, что и в парламентском писсуаре тоже пишут всякую всячину. С изумлением прочел: «Граф Штернберг — осел», и ниже: «Кто это написал, тот скотина».

Спокойно улыбнулся, заметив надпись: «Чешские собаки!» — и нахмурился, увидев: «Немецкие разбойники!»

Махнул рукой и стал искать карандаш. Найдя, призадумался, что бы такое написать на мозаичных изразцах. Хотел уж спрятать карандаш обратно, как вдруг пришла славная мысль. Он написал: «Du schönes Land Tirol!»[17] Полюбовавшись на свою надпись, спокойно вернулся в буфет — допивать бутылку.

Перед ним остановился кельнер. Депутат посмотрел ему на ноги и увидел вместо черных брюк юбку. Такие же толстые ноги он уже видел у одной женщины там, дома, в горах.

«Если б только эти женщины так не потели», — вздохнул он, помаленьку попивая винцо.

Заметил, что многие на него оборачиваются, смотрят. Хотел ослабиться, да поперхнулся и облил себе сутану. Понял, чем вызвано это внимание: он пил не из бокала, а прямо из горлышка.

Налил себе в бокал, исправив ошибку. Тут произошло небольшое несчастье: он слишком сильно сжал в руке тонкое стекло, и бокал треснул.

Потекла кровь. Пошел вымыть порезанную руку. Парламентский врач наложил повязку.

«Если б избиратели мои только знали, как я пострадал», — вздохнул он, снова принимаясь за бутылку.

«Ничего не поделаешь. Обязанность есть обязанность. У нас много обязан-

ностей. К себе... К народу. К государству, а главное, к богу».

Ему показалось, что где-то заиграл орган. У него засверкали глаза, и было такое впечатление, что у каждого кельнера три головы.

Гневно сжав кулак, он сказал себе: «Избиратели почтили меня своим доверием. Довольно. Увидим, кто мог бы лучше защищать их интересы».

Он встал. Кельнер помог ему надеть плащ и спросил, не угодно ли ему рассчитаться. Случается, дескать, некоторые господа депутаты и забудут, и им делает великую честь, если они потом заплатят. Господин Глоац посмотрел с презрением на человека во фраке и заплатил.

Двадцати крон как не бывало, но я вам говорю: пособие духовенству урегулируют.

Он гордо вошел в зал заседаний. Стал искать свой стол.

Какой-то депутат подставил ему ногу. Он упал. Поднялся с помощью парламентских служителей — не сразу. Страшно захотелось вернуться в буфет, но он вовремя вспомнил о том, что избиратели... и т. д.

Полчаса блуждал между столиками, прося извинения, когда там и сям сбрасывал на пол какие-то бумаги.

Наконец ему объяснили, что он сидит во втором ряду, восьмой столик с края. Он уселся в кресло, перевел дух. Кругом ругались.

Глаза у него стали такие маленькие, что он еле различал председателя. Ему было теплей, чем в буфете.

С одной стороны неслись крики:

— Свиньи! Босяки! Мерзавцы!

С другой:

— Вор! Скотина! Подлые грабители! — и т. п.

Он уже не различал отдельных ругательств. Ему казалось, что вокруг звучит какая-то приятная музыка. Он стал засыпать. Очнулся еще раз. Рядом кто-то ломал кресло, чтобы кинуть ножку в противника.

Он вынул платок, большой такой, красный, и принялся важно утирать нос. В конце концов платок выпал из руки...

Господин священнослужитель окончательно уснул. Он так сильно храпел, что порой заглушал голос оратора.

Через час от господина Глоаца стал распространяться сильный запах. Между партиями установилось отрадное согласие: все сидящие вокруг этого депутата зажали носы платками.

Вдруг все увидели, что господин Глоац встал с закрытыми глазами, поднял правую руку кверху и сделал такое движение, будто потянул что-то вниз.

— Что вы делаете, коллега? — разбудил его один депутат, у которого был насморк.

Выпучив на него глаза, пан Глоац проворчал:

— Хочу воду в клозете спустить, да никак ручку не найду...

Так господин Глоац впервые выступил в парламенте в качестве непоколебимого борца за права народа.

## Батистовый платочек

Гувернер юного Антонина Марека отправился на прогулку в лес с его матерью.

Пани Марекова была высокообразованной дамой, она свободно объяснялась по-французски и по-английски, много читала и любила размышлять о жизни, которую в свои тридцать лет находила удивительной и прекрасной. Поговаривали, правда, что не один мужчина делит с паном Мареком ее благосклонность. Как бы там ни было, жизнь ее была полна прелестей.

Напротив, гувернер ее сына был человек задумчивый, и мысли его теперь были заняты, главным образом тем, что завтра он покинет эту семью, чтобы поступить в городе на новое место и заняться воспитанием какого-то молодого графа.

Итак, это была их последняя прогулка с пани Мареновой, любившей гулять в его сопровождении, поскольку был он образован, хорош собой и при этом очень робок. Сегодня он казался еще более задумчивым, чем обычно, потому как страдал насморком и позабыл дома носовой платок.

Положение было не из легких, что и отражалось на его лице, придав ему выражение грусти и легкого скепсиса.

Он отрывисто отвечал на вопросы пани Марековой, которой было жаль, что он уезжает: ведь он был так хорош собой и так робок, что ни разу не отважился произнести слова, которые дали бы ей понять, что он ее боготворит.

Они шли по лесу.

— Смотрите, — говорила она, — листья желтеют, и вянут, и осыпаются.

Махнув рукой, он ответил:

— Из года в год одно и то же.

— Ваш отъезд пришелся на такое грустное время года...

— Весной ли, осенью, летом или зимой, сударыня, — все одно, отъезд есть отъезд, был человек и нет его — с глаз долой...

Лицо его залилось краской — он изо всех сил старался не чихать.

— Вы должны признать, что были полноправным членом нашей семьи.

— Да, сударыня.

— Мы уважали и любили вас. Тоничек души в вас не чаял.

— Сударыня, мне этого не забыть никогда.

Он покраснел, потому что в носу все время что-то щекотало. Страдать насморком и не иметь при этом платка — последнее дело, и он, окончательно смутившись, буркнул:

— Спасибо, сударыня.

Пани Марекова обронила сумочку. Он поднял ее и, чуть отступив в сторону густого кустарника, сделал вид, что разглядывает ее, надеясь в зарослях незаметно вытереть нос рукавом.

— Чем вы там заняты?

— Любуюсь сумочкой.

Пани Марекова уже стояла рядом, и тут он, открыв замок, заглянул внутрь сумочки.

— Милостивая сударыня, — сказал он, вынимая из сумочки батистовый платочек, — какая великолепная вышивка. Подарите мне этот платочек, сударыня.

— На что он вам?

— На память о тех временах, когда мы гуляли с милостивой сударыней.

Она вопросительно взглянула на него: и куда это девалась его робость?

Пряча платочек в нагрудный карман, он сообразил, что сейчас самое время показать пани Марековой заход солнца с вершины холма и вытереть нос у нее за спиной. Она подошла к нему вплотную:

— Вы действительно будете о них вспоминать?

— Буду, сударыня.

Они поднимались на холм, не проронив ни слова, он был занят своими мыслями и не мог дожидаться той чудной минуты, когда поднесет платок к носу.

Наконец очутились они на холме.

— Какой закат! — сказал он. — Взгляните, сударыня, какие краски, как все полыхает на горизонте... А эти леса, верхушки деревьев...

Он отступил назад и, убедившись, что она любит закатом, приложил батистовый платочек к носу...

Это было вожделенное, волшебное мгновение. Он забыл обо всем на свете и страстно предавался наслаждению, хорошо известному людям, нюхающим табак.

Поэтому до его слуха не донесся звук, который более всего напоминает трубный зов. Он упивался освобождением, как человек, вновь обретший то, что потерял. Он сморкался, вкладывая в это занятие всю свою душу.

Подняв взор от платка, он побледнел. Пани Марекова глядела на него так укоризненно и так грозно, что он, заикаясь, смог лишь пролепетать:

— Милостивая сударыня...

— Негодяй, — промолвила она, указывая ему путь обратно к дому, — прочь с моих глаз...

На другой день гувернер прощался со всей семьей. Пани Марекова была в саду.

Не зная, что ей сказать, он выдал из себя:

— Не поминайте лихом, милостивая сударыня!

— Ну какое, что там, — ответила Марекова со значением. — Прощайте!

Не в силах опомниться после такого конфуза, гувернер, сидя в поезде, всю дорогу вытирал нос батистовым платочком.

Мораль: отправляясь в путь, не забывайте платков и вытирайте нос только своим собственным.

## Новый год

1. День прибавляется на 1 час 6 минут, или:
  2. На Новый год на куриный шажок.
  3. Тихая и ясная новогодняя ночь хороший год предвещает.
  4. Красный восход в канун Нового года всегда приносит зло.
  5. Накануне Нового года избегай встреч с монашками, иначе в июле ногу сломаешь.
  6. Если дождь под Новый год, жди на пасху снега.
  7. Если под Новый год солнце выглянет хотя бы на такой срок, чтобы возница успел хлопнуть бичом, август будет мягким и ясным.
  8. Если кто хочет от злой тещи избавиться, пусть перед обедом за нее «Отче наш» наоборот прочитает, и к весне теща начнет хиреть.
  9. Хорошая погода под Новый год — быть ведру во время жатвы.
  10. Сколько раз на Новый год зевнешь — столько детей у тебя за год родится.
  11. Если у вас на Новый год обедает полицейский, ждите продвижения по службе.
  12. Как идут дела в Новый год, таким и весь год будет.
  13. У Табора на Новый год бабка дитя на руках носит и верещит. Тамошние люди объясняют это так: когда родился Иисус Христос, черту тоже хотелось его увидеть, вот он и превратился в бабку, чтобы посмотреть на дитя в щелку.
  14. Если не хочешь, чтобы твои куры на чужом дворе неслись, под Новый год сделай из веревки или цепи круг и зерно для кур тут насыпь.
  15. Ревнивец, имеющий легкомысленную жену, может использовать это же средство.
  16. Девушка, хлопающая под Новый год дверями, родителям своим в будущем году большие неприятности доставит.
  17. Утонешь под Новый год — попадешь на небо.
  18. Государь, встретивший под Новый год епископа, может не опасаться за свою жизнь.
  19. И последнее. Если в новогоднюю ночь звезды мерцают, быть большому приплоду скота.

Ах, дорогой, милый Новый год! Какими поэтическими пророчествами ты окружен, народные поверья связывают с тобой всевозможные явления, словно у наших крестьян не было иных забот, только гадать: каким будет будущее, если в этот день хорошая погода, если идет дождь или снег, если ветер дует и т. д.

Для них Новый год был очень сложным понятием, а теперь определение, что такое Новый год, очень простое.

Это первый день каждого наступающего года, то есть в соответствии с современным календарем — день 1 января.

В давние времена человечество жило непрерывно. Потом научилось расчленять время. Изобрело годы. Понятие очень важное, облегчающее историкам работу. В лето господне такое-то произошла битва там-то и там-то. В лето господне такое-то погибло в этой битве столько-то людей. В лето господне такое-то убивали там-то и там-то. Люди выдумали годы, люди выдумали господа бога и люди выдумали лета господни.

Вначале о наступлении Нового года возвещали священники. Разумеется, Новый год, прежде чем современный календарь точно определил его срок: 1 января, претерпел ряд изменений. Евреи праздновали Новый год в первый день месяца тишри (наш сентябрь). Священники трубили на весь мир с высоты храма в серебряные трубы от рассвета до самого захода солнца.

В Древнем Риме год начинался с 1 марта. Древние римляне приносили жертвы двуликому богу Янусу (ведь даже богам не мешает иметь глаза и на спине).

Доблестные римляне в этот день посылали друг другу в качестве новогодних подарков (*strenae*) рабов и рабынь, слонов и т. п. А также обменивались пожеланиями, этот обычай сохранился и позже, в период христианства. С Новым годом, с новым счастьем! Счастья и веселья в Новом году! И до сих пор вы слышите эти слова и читаете их в газетах. Что касается новогодних подарков, эта традиция сохранилась во Франции (*étrennes*) и у нас тоже. В Австрии существует, например, обыкновение удивлять граждан на Новый год маленькими сюрпризами. В этом году, к примеру, повышением платы за почтовые и телеграфные отправления, которое войдет в силу 16 января 1907 года. В ближайшем будущем местные письма будут франкироваться 10 геллерами вместо 6. Такса за пневматические письма и бандероли будет увеличена на 5 геллеров. На телеграфе вводится плата за бланк 2 геллера и после ликвидации льгот для местных телеграмм устанавливается общий тариф — 6 геллеров за слово. Плата за служебные телефоны в Вене составит в зависимости от количества разговоров 300, 400, даже 500 крон, а за домашние телефоны — 240 крон. Почтовый перевод будет стоить на 1 геллер больше, а за конверт и обертку для бандероли будут брать 1 геллер в качестве возмещения накладных расходов. Австро-венгерская монархия желает всем своим гражданам счастливого и веселого Нового года — 1907!

Первого марта начинался новый год в Венецианской республике, где этот порядок сохранился до падения республики в 1797 году. В Пизе до 1749 года начало года приходилось на 25 марта. От пасхи вели отсчет времени во Франции с двенадцатого века до 1563 года. А поскольку пасха меняет свой срок тридцать пять раз за столетие, Новый год отмечали в разное время, и наконец все так запуталось, что в 1495 году Новый год отпраздновали два раза.

Датчане поступили хитрее. Они нашли одного святого, Тибурция, день которого приходился на 11 августа. Этого дня они придерживались до 1559 года, отмечая праздник своего святого, а заодно и Новый год.

И в Византии были свои затруднения с Новым годом, пока один из императоров под страхом тяжкого наказания не предписал, чтобы Новый год праздновали 1 сентября. Старые хроники рассказывают об одном человеке, который публично заявил, что это вздор. Человек этот, по имени Антакус, был подвергнут пыткам и заключен в тюрьму, где сидел до тех пор, пока не признал государственный Новый год.

Во время царствования Каролингов во франкской империи Новый год праздновали 25 декабря. И именно Карл Великий отметил как-то Новый год необычным и замечательным образом. Он приказал к вящей славе господней сжечь под Новый год несколько десятков сарацинов. Римский юлианский календарь не давал никаких определенных указаний, и в течение всех средних веков священнослужители европейских стран спорили из-за Нового года, по-

ка папа Григорий XII в своей булле не установил началом года 1 января.

Правда, это указание не всегда твердо соблюдалось (временами делались уступки произволу государей), пока не получило распространения в шестнадцатом и восемнадцатом столетиях.

Так что Новый год — это измышление церкви, по крайней мере, наш Новый год.

Счастливым и веселым Новый год! Утром человек просыпается и слышит тихий стук в дверь. Входит дворник. Целый год он оговаривал вас, целый год ругался, во всяком случае с таким жильцом, как я, а теперь с подобострастной улыбкой подает мне кусочек плотной бумаги, на котором золотыми буквами написано: «Дворник желает вам счастья в Новом году и веселого праздника». А сам стоит и ждет.

Ну, погоди, приятель! Я с серьезным видом подхожу к нему, жму ему руку и сердечно говорю: «Я тоже желаю вам счастья и веселья в Новом году!»

Потрясенный, он удаляется и только на улице приходит в себя: «Ну и грязнца!»

В кафе к вам тихо, как кошка, приближается официант.

Весь год он носил вам не те газеты, которые вы хотели, весь год вы воевали с ним из-за куска сахара, а теперь он тут как тут и, подавая вам календарик, очень искренне говорит: «Желаю счастья и радости в Новом году!»

Вы отвечаете ему так же, как дворнику, и прибавляете: «А теперь принесите мне «Омладину».

— Сколько он тебе дал? — допытывается в кулуарах кафе коллега-официант.

— Ха, вместо кроны он пожелал мне веселого Нового года.

Человек принципа! К вам приходит мусорщик, приходит трубочист, приходит почтальон, приходит водопроводчик, все подставляют руки. Счастья в Новом году!

Мороз по коже! Толпы поздравителей растут, они наступают на вас и в конце концов растаскивают вас по частям: один снимает пальто, другой — башмаки, третий — брюки, и все это с пожеланиями счастья и радости в Новом году.

Это называется сон в новогоднюю ночь.

На улицах люди останавливаются, снимают шляпы и жмут друг другу руки. Счастливого Нового года. И хотя человек, к которому обращено это пожелание, не знает, что он будет есть завтра, он отвечает с улыбкой: «Спасибо, спасибо, и вам того же».

На улицах вы видите людей, обвешанных календарями. Они спешат домой, чтобы повесить календари на стену.

В газетах печатают новогодние рассказы, новогодние пожелания и рассуждения о том, как хорошо жилось в прошлом году.

Полицейские блестят начищенными пуговицами мундиров. У наместника докладывают о прибытии сановников с поздравлениями.

Во всех домах готовят праздничные обеды и читают новогодние альманахи и фельетоны в газетах.

Тысячи людей делают вид, что они довольны и счастливы.

Однако тысячи и тысячи людей 1 января 1907 года смотрят в будущее с

иными чувствами, чем откормленные обыватели. Для этих людей существует лишь один Новый год, от которого впоследствии будут вести счет времени.

Этот Новый год означает день, когда исчезнут все эти глупые игрушки, когда рухнут прогнившие порядки...

Вот это будут замечательные праздничные к Новому году для всего человечества!..

## О парламентах

Про эту историю уже начинают забывать, потому что случилась она в 1897 году, а сейчас уже 1907-й. Приехал к нам тогда в декабре один депутат из Вены. Ну приехал, собрались мы вечером в пивной и начал он рассказывать, как там все было в Вене и что такое парламентаризм. Он говорил, что парламентаризм есть форма политического строя, при которой в управлении государством участвуют представители народа, обладающие иммунитетом, то есть полиция не имеет права их пальцем тронуть. Потом депутат немного помолчал, высморкался и сказал, что в Вене у них произошла небольшая неприятность.

Полиция ворвалась в парламент, побила нескольких депутатов и выволокла их за волосы и за ноги на улицу. Наш депутат со своим иммунитетом тоже схлопотал несколько тумаков, пока органы безопасности выбрасывали его из парламента. Но он сопротивлялся. И наш гость снова мечтательно повторял, что парламентаризм есть форма политического строя, при которой в управлении государством участвуют представители народа...

Был там один учитель гимназии, который сказал, что в латыни есть слово «парларе», которое означает: «говорить», слово «парламент» имеет с ним общий корень, а значит, означает форму политического строя, при которой в управлении государством участвуют «говорящие» представители народа.

Был там еще один человек, для которого, видно, не было ничего святого, потому что он ухмыльнулся и сказал, что это какое-то странное участие говорящих представителей народа в управлении государством, если этих говорящих представителей правительство может спокойно выкидывать из парламента.

После этого наш депутат нервно заерзал на стуле и заявил, что от всего этого парламентаризма его уже тошнит...

Как я уже говорил, с тех пор прошло десять лет и за это время подобные вещи мы наблюдали и слышали неоднократно. У правительства есть власть, а у депутатов только голосовые связки.

В Венгрии, например, один гонвендский поручик распустил имперский парламент. Он просто пришел туда, вытащил саблю и что-то зачитал. Депутаты не двинулись с места. Тогда появились солдаты...

У правительства есть армия. У армии — сабли, ружья и пушки, а что есть у парламента?.. Помните, тот учитель сказал, что «парларе» означает по-латыни: «говорить». Против этих сабель, ружей и пушек депутаты могут воевать только собственной глоткой.

Говорить-то, конечно, можно. Вон, например, в русской Думе депутаты заявили, что земля, принадлежащая помещикам, должна принадлежать ее настоящим хозяевам, мужикам. Правда, после этого одни депутаты вынуждены были бежать в Финляндию, других арестовали, третьих сослали в Сибирь и т. п.

А сейчас в России опять выборы, снова будет парламент, снова разговоры, снова депутаты сбегут в Финляндию, и говорящих представителей народа, участвующих в управлении государством, будут снова арестовывать, штрафовать и ссылать в Сибирь.

Это и называется участвовать в управлении государством. По мнению правительства, теоретически такие депутаты, находящиеся вне закона, управляют государством. Они в тюрьме, но зато у них осталось приятное воспоминание о своей неприкосновенности. Захотят ли они снова стать депутатами, когда вернутся из заключения? Только идиот может опять захотеть быть избранным, а значит, обладать меньшей свободой, чем сам избиратель.

Слово «парламент» по-английски parliament, по-французски parlement, по-немецки Reichstag, по-русски Дума, по-итальянски dieta, в Америке конгресс, в Испании cortes, в Сербии скупщина, в Болгарии собрание и т. д. — имеет одну и ту же основу и значение. Собираются люди, которых избирает народ. Потом эти люди что-то говорят. Если правительству это нравится, ладно, почему бы им не поговорить. Если не нравится, тоже ладно. Представителей народа разошлют по домам. Это настолько просто, что депутатам часто даже в голову не приходит, почему бы им и вправду не разойтись по домам, если это угодно правительству. Все происходит так же, как если бы ко мне на улице подошел полицейский и сказал: «Именем закона, разойдитесь!» Если я не уйду, он вытащит саблю и закричит: «Именем закона, разойдитесь». А если я и после этого не уйду, он скажет: «Именем закона, вы арестованы!» Это происходит на улице. В парламенте, где все неприкосновенно, все обстоит точно так же.

Вот вам еще одна история о депутатской неприкосновенности, которая произошла в декабре 1897 года.

Когда полиция ворвалась в парламент и начала выволакивать оттуда депутатов, все кричали, что они неприкосновенны. «Господин полицейский, я с вашего позволения, неприкосновенен», «Предупреждаю вас, господа, что я неприкосновенен», «Нет, посмотрите на них! Вы что, не понимаете?! Я пользуюсь иммунитетом», «Боже мой, как вы можете меня бить, ведь я неприкосновенен!», «Что вы себе позволяете, бить по щекам меня, неприкосновенного!», «March hinaus, sie Lausbuben»[18]. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что я неприкос...» До конца этот индивидуум договорить не смог, потому что ему наподдали по той части тела, на которой сидят в депутатском кресле, и он отлетел куда-то далеко.

Один из депутатов спрятался под перевернутыми депутатскими креслами. Он почти не дышал от страха, и вдруг с ним случилось то, что случается даже в самых порядочных семействах. Он издал звук.

Полицейские пошли на этот звук и вытащили беднягу, этого последнего из могикан, на свет божий. «Еще один неприкосновенный», — сказал полицейский и, схватив его за воротник, потащил к лестнице. «Я неприкосновенен», — в отчаянии кричал бедолага, надеясь, что это спасет его от побоев. Однако он ошибся.

— Этот тип даже не знает своих прав, — рассердились полицейские, — он даже не знает, что обладает иммунитетом, а такие люди только позорят депутатов!»

Они схватили беднягу и задали ему хорошую трепку. «Хорош же ты депутат, если даже не знаешь, что неприкосновенен!»

Парламент, собрание, существует с давних времен. Это что-то вроде религии. Люди верят. Верят в господа бога, верят в парламент.

Уже в Древней Греции о нуждах Эллады толковали депутаты отдельных областей. В Риме *senatus populus que Romanus*[19]. В сенате римской империи, правда, иногда происходили весьма милые события, например, убийство заговорщиками тирана Цезаря.

А в общем-то уже в древности слишком много времени было попусту истрчено на собраниях, где дело дальше разговоров не шло.

В средние века слово «парламент» было впервые употреблено во Франции, но тогда оно означало «судебная палата».

Французские парламенты приговаривали людей к смерти.

Позже это слово стало употребляться во Франции в значении: «собрание», «парламент», «сейм».

А что же такое сейм? Сейм, читаем мы в словаре, есть собрание лиц, облеченных доверием, которое регулярно созывается для того, чтобы действовать от имени различных областей, больших групп людей или классов, например, церковный сейм.

Сеймы, таким образом, выступали за кого-то. Человек не имеет орава выступать в одиночку. У меня нет этого права, но есть право присоединить свой голос к тем остальным голосам, которые решают, что от нас кто-то туда пойдет, чтобы сказать, что столько-то и столько-то тысяч людей должны мириться с величайшим бесправием, которое именуется правом, то есть написать на листке чье-то имя, чтобы этот кто-то выступал за меня в парламенте, к которому я не могу иметь доверия, поскольку он является таким же предрассудком, как и религия.

Мы отвергаем старые предрассудки, но никак не можем, хорошенько поразмыслив, отвергнуть парламент, позор которого тянется через всю историю человечества.

Теперь о парламентах вообще. Что касается того, как становятся депутатами, то тут есть две возможности. Либо лично за тебя голосует само правительство, это так называемое право наследственных депутатов, или вирильные голоса, либо тебя выбирают избиратели.

Парламенты делятся, таким образом, на палаты совещательные и выносящие решения. И вот мы у цели. Палата, выносящая решения — это панская палата.

Вы понимаете это слово: «панский»? Пан, господин. Господа утверждают то, что предложила совещательная палата, состоящая из народных депутатов.

Такое собрание господ и призвано служить противовесом всяческому демократическим элементам, а членами этого господского собрания являются главы крупных помещичьих родов, высшие государственные и духовные чины, представители различных университетов, корпораций и институтов.

В Англии это палата лордов (House of Lords), в Баварии — палата имперских советов, в Италии и Америке — сенат (House of representatives), в Испании палата грандов, у нас панская палата и т. п.

И вот эти представители господствующих родов, епископы, дворяне и другие им подобные утверждают или не утверждают решения демократических депутатов демократической палаты.

Обязанности депутатов! Представим, как все это будет выглядеть после вве-

дения всеобщего избирательного права. Это будет чудесно. Придут депутаты-республиканцы и скажут: «Мы хотим республику!» Как в Испании в 1870–1880 годах. Там тоже хотели республику. Само собой, правительство приказало направить на парламент пушки и окружило его войсками. Но с нами этого не случится. Новые депутаты, избранные на основе всеобщего избирательного, равного, тайного, прямого правительственного права, соберутся, и один из них, самый смелый, начнет свою речь так:

«Уважаемые члены палаты! Указ министерства от 10 мая 1866 года за номером 8823 запрещает живодерам откармливать свиней в чешских областях. И наоборот, разрешает тем из них, которые безупречно содержат домашний скот, держать свиней для собственных нужд. Мы, присутствующие здесь, на основе всеобщего и тайного избирательного права, обращаемся к правительству с нижайшей просьбой положить конец этой вопиющей несправедливости и разрешить живодерам откармливать свиней для всеобщего блага...»

## Право

Это было в эпоху, когда на земле появились люди, которые ходили в звериных шкурах и убивали животных в первобытных лесах Европы.

Эти люди уже начинали размышлять и изобретать новые понятия.

Жили в те времена два брата, они охотились на зверей, каждый сам по себе. Однажды, вооружившись каменными топорами, братья вместе отправились в дремучий лес и убивали животных, бросая в них топоры.

Большой пещерный медведь появился неожиданно, и оба брата одновременно метнули свои топоры и одновременно раскроили медведю череп.

— Это я убил его, — сказал первый.

— Нет, это я его убил, — возразил второй.

— Но я имею на него право, — сказал первый, взял топор и убил второго брата.

Вот так, путем устранения одного из двух людей с равными правами на одну вещь, возникло право.

## О балах

Это было в те времена, когда человек мог не сомневаться, что приятели дадут ему напрокат фрак и цилиндр. В то незабываемое время, когда я водил знакомство с людьми, имеющими фрак и цилиндры и готовыми дать их на время мне. Я любил появляться на балах, где собирались так называемые «сливки общества».

Я ходил туда с удовольствием, потому что никогда не видел ничего более забавного. Я видел там наместника Королевства Чешского, рассматривал полицейских советников, лицезрел князя Лобковица, наслаждался видом генерала Цибулки. Это так забавно.

Прибыл наместник: гремят фанфары, прибыл князь Лобковиц: снова фанфары, господин Цибулка: опять фанфары. Господин Кршикава: снова фанфары. Депутаты стибались в поклонах, щеки их рдели от волнения, лица их от почтения бледнели. Внизу рой кукол, стада ladies patronesses[20].

Светло-серые платья с настоящими брюссельскими кружевами, бледно-желтые туалеты в стиле ампир с кружевными шальями и аппликациями из настоящих брюссельских кружев, вечерние платья, бледно-лиловые с шелковыми кружевами, серовато-жемчужные, черные, светло-голубые, бархатные, туалеты из крепдешина с шальями, расшитыми бисером, длинные шелковые платья цвета сирени и брюссельские кружева и т. д. И множество драгоценностей, бриллиантов, сверкающих в прическах, в ушах, на пальцах...

Гейне написал:

*Если же ты вовсе нищ,  
Смерть помочь тебе сумеет.  
Жить имеет право тот,  
Кто хоть чем-нибудь владеет...*

Глядя вниз, я вспомнил, что по дороге на Жофин мне встречались нищенки, стоящие на углах улиц.

Наряд этих нищенок состоял из двух рваных юбок и заплатанной кофты...

«Туалеты дам отличались великолепием и блеском, особенно ladies patronesses выделялись ослепительными и роскошными нарядами...»

Вы понимаете, почему у человека вдруг появляется желание повесить на каком-нибудь фонаре всех репортеров буржуазных журналов, пишущих для рубрики «Вестник масленицы»?

«Танцующие пары в следующем порядке: принцесса Мария Терезия Лобковиц — госп. инж. Иржи Вишек, барышня Лада Штеткова — госп. Рудольф Рживнач и т. д.».

Какое, черт возьми, дело народу до того, что некая принцесса Лобковиц танцевала с каким-то инж. Иржи Вишеком...

(Изъято австро-венгерской цензурой.)

«Вестник масленицы»! Балы, и какие! Бал сыщиков, бал дворников, бал юристов, бал повитух, трубочистов, бал католической лиги, бал трактирщиков, балы философов и т. д.

Везде танцы и ликованье. У нас устраивают балы бродяг — «люмпен-балы», на одном из них в прошлом году первый приз за самую удачную маску получил человек, одевшийся полицейским.

И наоборот, где-то за границей на балу полицейских награду получила маска удачливого попрошайки.

Сегодня бал может устроить кто угодно. Если человек, имеющий две комнаты, хочет быть причисленным к людям, о которых говорят, он вытаскивает из комнаты диван и устраивает домашний бал.

Как гордо звучат слова: «Сегодня мы даем у себя бал».

В России тоже устраивают балы, но развлекаются на них иначе, чем у нас. Говорят, там балы не столь беззаботно-веселы, потому что очень часто во время танцев в зале вдруг появляются загадочные люди, держа в руках вместо цилиндра револьвер системы «браунинг», и отбирают у всех дам по очереди драгоценности.

Отчеты о тамошних балах выглядят приблизительно так:

«Губернатор устроил бал в честь подавления революционного движения в нашем уезде. Вечер начался с гимна «Боже, царя храни...». Танцы продолжались до самого утра без каких-либо происшествий. Только под утро танцующие обнаружили, что губернатор убит неизвестным преступником, а у дам исчезли серьги и другие драгоценности, унесенные гостями, личность которых не установлена...»

А вот отрывок из другого отчета: «Среди присутствующих на придворном балу в Царском Селе мы увидели генерала X, который отдал приказ расстрелять двести революционеров. Внимание гостей привлекли также благородные седины генерала Y, который приказал повесить триста революционеров...»

Ах, эти придворные балы! Близкий друг английского короля Эдуарда рассказывает, что его величество не любит придворных балов, потому что вид нализовавшегося в буфете государя производит на приглашенных неблагоприятное впечатление...

Полной противоположностью придворных балов являются наши милые балы деревенские, где все — от разбитых голов танцующих до разлитого по полу пива и подвыпивших музыкантов — дышит простотой и искренностью.

Через девять месяцев после таких балов рождается много детей.

Таковы балы истинно деревенские, балы демократические, где никто не думает о соблюдении такта, где все трогает своей простотой.

А сколько выпивается пива и тратится денег на водку!

Танцы протекают очень непринужденно. Весьма забавно, когда по полу в танцевальном зале рассыпают шерсть, вычесанную с лошадей.

К утру помещение для танцев превращается в нужник. Очень освежающе действует настоящий деревенский бал на городского жителя. К утру становится ясно, что все люди сделаны из одного теста. Рядом с бедным крестьянином сотрясается от морской болезни (можете назвать это, как хотите) сам староста.

Все — одно тело и одна душа. Демократы до мозга костей.

А у наших друзей свои балы. Они заманивают людей в свои деревеньки под предлогом устройства лекций.

Сначала лекция, а потом танцы. Друзья любят своих гостей и оказывают им честь, предоставляя возможность станцевать соло с трактирщиком и капельмейстером.

А так как мы, анархисты, стремимся перевернуть все порядки, никому в голову не придет отправиться домой в шесть часов, как это принято у мещан.

Бал у друзей продолжается до полудня следующего дня...

## Магурская зимняя быль

Сначала пришли тучи. На памяти дяди Михала, летовавшего с овцами над деревней Подলেখнице, давно не бывало туч такой густоты. Потом в один ноябрьский день тучи раздвинулись, и над Магурскими горами резко задул ветер. Он был такой невиданной свирепости, что там, где проносился, тут же замерзала вода. Он прохватывал горы, долины, поросли низкорослых сосен... лежащие ярусом ниже леса, сизые от тех туч, которые, крутясь, валили над Магурой и которые возвещали, что настало время сойти со скалы в Подলেখнице.

Дали очистились, вся польская сторона четко открывалась глазу: на Ломницком плато светились льды и снега, а мадьярская сторона под ним видна была как на ладони. Деревня Подলেখнице казалась отсюда, с голых вершин, такой близкой, что, глядя на катившийся вниз камень, думалось: «Ой, как бы он не высадил стекла в окне достойного учителя подলেখницких детей и взрослых, пана Ежиньского, который, отчаянно скучая здесь, в горах, от недостатка развлечений попивает сливовицу и вздыхает: «Что за жизнь!..»

Ну а в действительности камню в этом случае пришлось бы пролететь пятнадцать километров, перескочить лес, потом другой лес... Ведь пять подলেখницких холмов под нами — это стометровые ступени гигантской лестницы.

А широкий простор открывается глазу в студеный денек — необозримый простор!.. Видишь, как беловатой канавкой поблескивает Попрад, и можешь проследить глазами русло этой быстрой речки, пока не затеряется оно меж дальних скал. Да и сами те исполинские скалы — не больше, чем завиток шерсти какой-нибудь из восьми десятков овец дяди Михала, которые дрожат теперь от холода в своем загоне и так жалобно блеют.

Все восемьдесят обещал дядя Михал в приданое за своей дочкой Эвой, которая хозяйничает там внизу, в Подলেখнице, вместе со старой «мамулей» и из-за восьмидесяти овец не знает отбою от ухажеров. О, сколько выручит за брынзу, за ошчипки и за прочую молочную снедь тот, кто получит в жены Эву!..

Пока же овцы — собственность дяди Михала, и перейдут ли они к кому-нибудь из девяти Эвиных ухажеров, им, овцам, совершенно безразлично, — они равно дрожали бы от стужи, завернувшей так неожиданно, будь их хозяином Йозко, Мачей, Енджей или невесть еще кто.

— Завтра утром, ребята, — говорит чабанам дядя Михал, — да поможет нам мать божья Кальварыйская — поведем овец вниз.

— Воля ваша, — отвечают оба чабана: Йозко и Мачей.

К ночи пришлось подкинуть в огонь дров. Дощатый балаган не спасал от холода. Было так зябко, что дядя Михал отложил в сторону запекачку:

— И курить не захочешь.

Он напился жинчицы и стал ловить ухом, как беснуется за стеной ветер, как грохочут, срываясь с гор, камни и лают собаки за дверью балагана, в котором и жар близкого огня не согревает по такой погоде тела, закоченевшего под стылмым кожухом.

Потом вдруг среди ночи потеплело. Все это заметили. Пошел снег...

Собаки влезли в балаган.

— Давайте спать, ребята, — сказал дядя Михал.

— Воля ваша, — ответили чабаны.

Но дяде Михалу не спится. Слышно ему, как овцы блеют рядом, за плетнем загона, как налетает порывами ветер. Слышны звуки зимней ночи, наступившей так внезапно. Наконец сон сморил и его...

К утру огонь прогорел, и в балагане проснулись от холода.

— Спускаемся в Подлехнице, — приказывает дядя Михал, — уводим овец.

Поели сыра, разожгли угольком трубки, и снарядились в дорогу.

— Открывай дверь!

— Не откроешь...

Дверь никак не поддается. Пока спали, балаган замело снегом.

Решили выламывать доски. Выломали одну, но снег, спрессованный давлением, лежал за ней холодной, скользкой, устрашающей стеной.

— Ох, ребята, — сказал дядя Михал, не вынимая трубки изо рта, — придется через потолок.

Принялись выбивать потолок. Вышибли потолочные доски — над ними та же смерзшаяся ледяная стена.

Ни единого звука не проникает извне. Собаки, почуяв недоброе, отползли в угол, и одна из них, Фелка, завывала.

Сколько часов пытались они прорубиться сквозь ту страшную стену?.. Искромсанный снег падал на пол и таял. Они стояли в воде и молились.

А потом разложили у дальней стены костерок — разжечь трубки и обогреться.

— Грешники мы, — сказал чабанам Михал, — не будет нам спасенья.

Не находя себе выхода, дым заполнял балаган. Пришлось костерок потушить и оставаться в полной темноте, — лишь искры тлеющего табака посверкивали в трубках.

Трубочный дым усиливал удушье. Перестали курить и еще раз набросились на ледовую стену.

Мачей в отчаянии впился зубами в снеговую корку, — она была так холодна, что его начала бить дрожь.

Когда поняли бесполезность своих усилий, легли на кожиху, пропитанные влагой, и стали говорить.

— Из Подлехниц пойдут нас искать, — полагал Йозко, — нас найдут.

— Мертвых, — попридержал разбег его фантазии дядя Михал, все еще невозмутимый, словно бы сидел в подлехницкой корчме. — Искать пойдут. Только пока через снега к нам доберутся, мы будем давно покойники. Сыра хватит дня на три, потом убьем собак, а когда съедем их — конец... Волки вот, правда, нас уже не разорвут.

— Овцы наверняка уже померзли, — вставил стесненным голосом Мачей.

— Еще бы не померзнуть, — сказал Михал.

— Плакать будут, когда нас найдут, — заговорил Йозко, — повезут в мешках вниз, на погост...

На погост! Как будто здесь и без того не было как в могиле... А снег над потолком все падал, и слой его рос в вышину с поразительной быстротой.

\* \* \*

На седьмой день заточения под снегом, в кромешной тьме, начался бой за жизнь между людьми и собаками.

Первой должна была погибнуть Фелка — ее узнали по тому, как она скулила, — она сопротивлялась, и на помощь ей пришел второй пес. В тесном пространстве две собаки схватились с тремя людьми.

Дядя Михал откусил у еще живой Фелки ухо и, плача, принялся жевать.

Йозко пытался стиснуть Фелке горло, но та кусала его и царапала, а Мачей в это время, как одержимый, хлестал кушаком вторую овчарку, которая еще на той неделе лизала ему руку и радостным лаем встречала его появление.

Сколько же длилось потом мерзостное разговенье, пока магурские вершины заносило снегом?..

\* \* \*

Три года тому назад, скитаясь в тех краях, попал я, сопровождаемый подлехницким учителем Ежиньским, на место этого ужасного события, где в память о погибших свалена груда камней. Дело было летом. Палило солнце.

— А знаете, если верить доктору из Попрада, эти несчастные, там в балагане, покончили с собой, — благодушно произнес пан Ежиньский.

Я только зябко содрогнулся в ответ и, прищурившись, вдруг увидел в разгар нестерпимо знойного лета, как неумолимо и неустанно сыплет на магурские вершины снег...

— Этакая, знаете ли, зимняя бль, — сказал пан Ежиньский, протягивая мне бутылку сливовицы.

А груда сваленных камней сверкала, как чистейший снег зимой..

## Об одном цензоре

**В** то время, когда еще не существовало такой свободы печати, как сегодня, в те дни, когда печатные издания подлежали конфискации, чего не делается сейчас нигде в мире, жил в земле обетованной цензор с водой в голове.

С медицинской точки зрения этот цензор был интересен тем, что на расширение воды в его голове оказывала влияние погода. Кроме погоды, луна и солнце тоже играли важную роль в жизни цензора, изменяя объем воды в голове.

Он сам называл это явление приливом и отливом. Вода в голове цензора прибывала и убывала, но она всегда присутствовала в его мозгу в достаточном количестве.

Цензор состоял членом клуба, который объединял тех, кто с пренебрежением смотрел на людей, не имеющих в голове воды.

«Клуб идиотов» красовалось над входом в помещение клуба, в котором господин цензор был председателем.

Как председатель, цензор без устали заботился о духовном развитии членов клуба и поэтому с удовольствием и весьма часто читал им лекции о том, кто такие цензоры, зачем они существуют, почему цензоры необходимы и что бы произошло, если бы цензоров не стало.

Лекции эти произносились с большим воодушевлением по той причине, что господин цензор выступал только тогда, когда вода в его голове прибывала.

В одухотворенные лекции о своем благородном призвании цензор вплетал рассуждения о порядках в мире, размышления о государстве и добропорядочных гражданах, украшая эти рассуждения собственными афоризмами.

В каждой своей лекции цензор объяснял, что на свете существуют люди и

животные.

Это положение он подкреплял, выразительно указывая на факт своего существования.

Потом господин цензор рассказывал о том, что люди делятся на две разновидности: те, у которых есть вода в голове, и те, у кого ее нет. В государстве же пользуются уважением только первые.

Он приводил доказательства, указывая на себя и других членов клуба, и разъяснял, что из этих уважаемых граждан наиболее почитаемы цензоры, в большей степени, чем полицейские и им подобные, которые хотя и пользуются уважением, но не таким, как цензоры.

«Каждый цензор, — говорил наш герой, — знает об этой любви и уважении и гордится этим».

Затем господин цензор разъяснял, чем обладает каждый цензор. У него есть голова, уши, нос, рот, руки, ноги, шея, волосы, борода и усы, пупок, часто половой член, а у некоторых еще и родимое пятно.

От четвероногих цензоры отличаются тем, что в большинстве случаев ходят на двух ногах, не вступают в физические контакты с животными, говорят, курят, пьют спиртное и блюдут чистоту печати.

Каждый цензор носит носки, подштанники, или кальсоны, рубашку, помеченную меткой с его именем. В носовых платках цензоры не нуждаются, поскольку долг каждого порядочного цензора вытирать нос конфискованными рукописями.

Далее, каждый цензор носит брюки, сшитые так, чтобы производить благопристойное впечатление. Брюки не должны быть такими тесными, чтобы лопались на задку. Цензоры обычно носят жилеты и пиджаки по той причине, чтобы даже заклятый враг не мог найти изъяна в их одежде. По мере необходимости каждый цензор может менять нижнее белье. Далее, цензоры носят плащи, зимние пальто и шляпы. Этими предметами каждый цензор пользуется, как всякий другой человек. Боже мой, почему находятся люди, готовые бросить в цензора камень?

Поставив перед собой этот вопрос, господин цензор в своей лекции ответил на него быстро и остроумно.

Потому что у этих людей нет воды в голове. У человека, имеющего в голове воду, ум многим быстрее, чем у людей без оной. Недаром говорят: вода точит разум.

Поэтому суждения цензоров значительно остроумнее, чем у людей без воды в голове.

И в этом случае господин цензор представил доказательства из собственной практики: люди без воды в голове наивно печатают то, за что они, будь у них в голове вода, как у него, давно бы палками изгнали автора из редакции и, наказав его плетьюми, вновь приволокли в редакцию и бросили в мусорную корзину, чтобы утром растопить печь.

Это утверждение господин цензор доказал следующим образом: в одном журнале отважились напечатать такое предложение: «Испражнения летучих мышей коричневато-черные». Эту фразу ему пришлось изъять за грубое оскорбление нравственности. Каждый благоразумный человек должен признать, что слово «испражнения» не годится для журнала и глубоко оскорбляет нравственность. Читая слово «испражнения», пусть и в сочетании «испражне-

ния летучих мышей», человек вспомнит об уборной, а поскольку это уж точно предмет безнравственный, с этим понятием следует бороться чрезвычайно решительно.

А разве не было святой обязанностью цензора изъять следующие строки: «Весна плодоносящая, любовью все дышит...» С первого взгляда никто и не заметит в этом призыва к действиям, оскорбляющим общественную нравственность и целомудрие. Если же мы разберем эти стихи, нам бросятся в глаза слова: «плодоносящая» и «любовь». То есть: плодоносящая любовь и весна. Он, цензор, держит дома кота и кошку, и как только наступает весна, так эти кот и кошка... словом, он, цензор, знает, что хотел сказать поэт этой своей плодоносящей весной и этой любовью. Этот стихотворец хотел сказать: «Посмотрите на кота и кошку господина цензора и поступайте так, как эти зверюшки».

А вот случай, когда господин цензор был вынужден изъять из журнала такой отрывок: «Бедный человек тяжел о шагал по дороге, и в это время мимо него проехал экипаж. Бедняк в задумчивости посмотрел на удаляющийся экипаж».

И тут кто-нибудь скажет, что это звучит совсем невинно. Конечно, но надо читать между строк. Слово «в задумчивости» включает в себе нарушение общественного спокойствия и порядка, ибо этот бедняк в задумчивости думал. Правда, в этом отрывке не написано, о чем он раздумывал, но это каждый может себе представить. Определенно, он замыслил напасть на экипаж, убить лакея, избить грязными кулаками господ и завладеть их деньгами.

А что скажут члены клуба по поводу такой фразы: «У нас 127 600 питейных заведений и 18 200 школ. На одну школу приходится 7 питейных заведений».

Досточтимое собрание! Что находится в школе, кроме учеников, учителя и парт? Распятие. А еще? Портрет государя. А теперь еще раз прочитайте изъятую фразу: «На одну школу приходится 7 питейных заведений». Вы понимаете теперь, что этим хотели сказать, что государь пьет водку? Посему это оскорбление его величества и оскорбление церкви, ибо в скрытой форме задело и распятие.

Лекции господина цензора о его деятельности вызвали всеобщее волнение. Несколько психиатров обменялось грубыми письмами, потому что каждый хотел первым доказать, сумасшедший господин цензор или кретин.

Всем разговорам положил конец сам господин цензор следующим заявлением в правительственной газете:

«По поводу непрекращающейся распри господ психиатров, сумасшедший я или кретин, отвечаю следующее: я родился с такой большой головой, что несколько лет двигался как оловянная кукла, которая всегда падает на голову. Каждый из господ психиатров может с полным основанием говорить, что я головой ушибленный. Этим я не хочу сказать, что отказываюсь от названия «идиот». Это противоречило бы интересам нашего клуба, председателем которого я являюсь. Впрочем, зачем называть меня сумасшедшим или идиотом. Зовите меня так, как меня зовет большинство людей: «Господин цензор!»

Это свое заявление в правительственной газете наш герой сам же и изъял, а редактора отправил под суд за оскорбление чести, нанесенное в печати.

С этих пор о нем говорили, что он беспристрастен. А он стал старательней, чем раньше, следить за «прямой акцией».

Черт знает, сколько людей писало о «прямой акции». Цензор не успевал

изымать статьи, где появлялись два этих слова. Они не обязательно стояли рядом или на одной и той же странице. Например, на первой странице могло быть написано: «Нельзя определить прямую последовательность», а на следующей странице: «Тенденция закупать большое количество акций, к нашему удовлетворению, усиливается». Но он их раскусил и не дал сбить себя с толку тем, что на первый взгляд одно к другому не имеет отношения.

Подобным образом он был вынужден запретить состоящий из пятисот страниц роман из-за следующих предложений. Ева была прекрасна, нос — это часть головы, здоровье дорого, цапля живет на болоте, Ориноко — река, рука руку моет, дедушка жил долго, улей стоит на поляне, рак любит чистую воду, Карел был слугой, артишоки дают большой урожай. Если вы поставите эти предложения в соответствующем порядке друг за другом, то получится:

*Цапля живет на болоте  
Ева была прекрасна  
Нос — это часть головы  
Здоровье дорого  
Ориноко — река  
Рука руку моет  
Дедушка жил долго  
Улей стоит на поляне  
Рак любит чистую воду  
Артишоки дают большой урожай  
Карел был слугой*

Видите: заглавные буквы составляют фразу «Цензор дурак».

Как только об этом узнали, цензора назвали безнравственным, ибо только так можно назвать человека, который не счел за труд на пяти сотнях страниц отыскать отдельные криминальные предложения и составить их так, чтобы можно было подать жалобу на писателя.

И все же пришел конец и господину цензору.

В один прекрасный день он получил письмо следующего содержания:

«Господину с водой в голове!

Как только где-нибудь появляется упоминание о прямой акции, вы его сразу же изымаете. Несчастный! Ведь прямую акцию вы проводите уже давно. Вы ходите в уборную, чтобы не лопнуть, вы едите, чтобы не погибнуть от голода, вы пьете, чтобы не умереть от жажды. Господин цензор! Если вы действительно человек, который ненавидит прямую акцию, ведите себя соответственно!»

С того дня цензор погрузился. Он совершил прямую акцию! Он, который столько раз запрещал это проклятое выражение. Он ест, ходит в уборную, пьет и все прочее.

И он решил самоизъяться. Он не ел, не пил, не ходил в уборную и, наконец, не выдержав, открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа.

Он разбился, самоизъявшись в новой форме.

Крови из него вытекло, как из резаной свиньи, а из его головы вылилось столько воды, что в ней утонул проходивший мимо ветеран.

## История старосты Томашека

Умиротворенный староста Томашек возвращался из Домажлиц домой. Он испытывал огромное блаженство, так как купил себе шляпу. Когда он вышел за пределы Домажлиц, ему показалось несколько странным то, что он видит перед собой Вавилонские озера — это вместо того, чтобы сидеть в пивной под аркой. Потом он снова вспомнил про новую шляпу и порадовался такой хорошей покупке и тому, что он так хорошо выпил.

Как только староста вспомнил, что он хорошо выпил, так сразу забрал влево.

Было у него такое необыкновенное свойство. Если он выпивал десять кружек пива, то забирал влево совсем немножко, если пятнадцать — отклонялся на полметра, если двадцать, то на метр, а если двадцать пять — ходил по кругу.

Об этом его свойстве знала вся округа. Однажды хуторянин Кутинка расстался с ним в час ночи на рынке в Домажлицах — Томашек уже ходил по кругу. В три часа утра ночная стража обнаружила его на том же месте — староста продолжал ходить по кругу.

Стража повернула его в направлении Вавилонских озер, а в четыре утра жандарм обнаружил его в непосредственной близости от Домажлиц, где Томашек жалобно взывал о помощи, но все равно ходил по кругу.

Сегодня Томашек отклоняется влево на метр: из этого следует, что он выпил всего двадцать кружек.

Настроение у него было приподнятое.

Время от времени ему хотелось каким-либо образом выразить полное свое довольство жизнью — и тогда он пытался сплясать некий невообразимый танец. Увы, дело кончилось только попытками — староста кое-как поднялся и принялся искать свою новую шляпу. Сияла луна, Томашек орлиным взором окинул дорогу и убедился, что шляпы на дороге нет. «Она у меня на голове», — рассудил он и пошел дальше, мурлыча песенку.

Мурлыканье перешло в икоту, и староста стал забавляться тем, что икал в такт: «Ик, ик, ик, ик-ик-ик-ик-ик, ик, ик, ик, ик».

«А как дома-то шляпе обрадуются! — думал он. — Я покажу им ее сегодня же вечером. Разбужу этого мерзавца поденщика, жену разбужу. Нет. Жену будить не стану. Вот парнишку своего из постели вытащу. Гляди, Франтик, какая у твоего бати новая шляпа!»

Мысли старосты, можно сказать, были уже на вершине восторга, который сразу поубавился, когда он зацепился ногой о кучу щебенки.

Через несколько минут Томашек вновь стоял на ногах и оглядывался кругом в поисках шляпы. «Она, слава господу, у меня на голове, — раздумчиво произнес он вслух, нигде не увидев своей шляпы. — Не хватало еще новую шляпу потерять».

«Ежели бы ты, Томашек, потерял шляпу, — раздумывал староста, опираясь на телеграфный столб, — твоей голове было бы холодно, а тебе не холодно, потому что на голове — шляпа. Шляпа тяжелая, и голова тяжелая!»

После таких логических умозаключений староста оторвался от своего приятеля — телеграфного столба и направился в сторону Вавилонских озер.

Поглядев на звездное небо, вздохнул: «Мир просто чертовски хорош!»

Почувствовав потребность выругаться, сказал: «Черт побери все на свете».

«Отойду чуток подальше и скажу то же самое еще раз, — решил он и вскоре снова повторил: — Черт побери все на свете!»

Внезапно на него напала злость. «А чего в мире хорошего-то? — разбушевался староста. — Все на свете подлецы, я — тоже подлец».

— Чтобы я кого испугался! — расшумелся он, прислонившись к дереву у дороги. — Чтобы я, Томашек, кого побоялся!

Староста поглядел на черный в темноте лес и крикнул: «Да хоть тысяча на меня навались!»

Томашек встал было в боевую позицию, но свалился в канаву.

С минутку он полежал. Вокруг колыхалась травка, гвоздичка щекотнула его по носу, староста чихнул, и вся злость с него сошла.

И сменилась жалостливым настроением.

Он выкарабкался из канавы, и стало ему жалко, что недавно он поносил все на свете.

— Да я ведь и мухи не обижу, — заявил он, падая на колени. — Я, Томашек, такой хороший и всех очень люблю.

Подниматься с земли не хотелось. Он заметил, что пока стоит на коленях, пейзаж вокруг не кружится, поэтому решил постоять на коленях еще немного. Все это время он жалостливо причитал: «Да никакой я не пакостник и на колени-то встал случайно».

— Ведь я же христианин, ведь я же христианский Томашек, ведь это же я, ведь я же...

Не в силах вспомнить, что еще он должен был сказать после нового «ведь», староста зарыдал, поднялся с земли и пустился бежать, причитая на бегу: «Несчастный я человек, до чего же все на свете плохо, как худо приходится людям!»

Ему пришло на ум, что надо бы помолиться своему покровителю, святому Иосифу. И он начал молиться, вытирая рукавом слезы: «Святой Иосиф, покровитель небесный, ты же видишь, что я домой попасть не могу, а я так хотел еще сегодня показать всем новую шляпу! Святой Иосиф, сохрани и помилуй мое брненное тело...»

Молитве никто не внял, так как старосте пришлось совершить диковинный прыжок через новую кучу щебенки и солидный отрезок пути проехать в дорожной пыли.

— Да что такого я дорожникам сделал?! — причитал Томашек, растянувшись в пыли. — Дорожники, вы зачем мне подножку поставили?

Он опять прослезился и завздыхал: «Дорожники окаянные, мешаю я вам, что ли? Вот останусь лежать, и все тут!»

Староста перестал икать и плакать. Но положение показалось ему все-таки не слишком уютным, потому что приходилось дышать дорожной пылью, так что по некотором размышлении он попробовал встать.

После нескольких попыток ему это кое-как удалось, и Томашек продолжил свой тернистый путь к домашнему очагу.

Настроение менялось. После пролитых слез он вдруг расхохотался — до чего же ловко удалось обвести вокруг пальца дорожников! Хоть и головолomным образом, но кучу щебенки он обошел.

Веселье сменилось меланхолией, которая постепенно снова перешла в

страшную злость. Потом он опять заплакал; так он и развлекался на своем каменистом пути.

\* \* \*

Томашек ввалился домой. Вот он уже в комнате и тянет сына за ногу из постели, желая показать ему свою новую шляпу. Несчастный! Он не учел, что Франтик, как и любой нормальный спящий человек, перепугается, заметив, что его силой вытаскивают за ноги из постели. Естественно, сын поднял шум и крик.

От шума проснулась старостиha, которая тут же сообразила что к чему.

— Ага! — рывкнула эта нежная супруга и мать, — папаша опять нализался! Эй, старый осел, ты что это вытворяешь?

Она зажгла свечку.

— Ничего, мамуленька, — отвечал Томашек. — Просто я показываю Франтику свою новую шляпу.

— И где же она, твоя шляпа, пьянь несчастная?

Староста пощупал голову и вскрикнул: «Пресвятая дева богородица, я ее где-то потерял!» Баранья шапка была у него в кармане.

Люди потом говорили, что в доме у старосты той ночью ужас что творилось. Сомневаться в этом не приходится...

\* \* \*

Староста Томашек снова ходил в бараньей шапке. Первый его шаг в старой шапке был сделан в сторону Мейшовице. Он шел в трактир к дядюшке Пуличку посоветоваться насчет дровишек.

Приходит староста в трактир, заказывает кружку пива и страшно удивляется — дядюшка Пуличек говорит:

— Плати сразу, Томашек!

— Я вам хоть раз задолжал? — изумляется Томашек.

— Давай плати без разговоров, — резко обрывает Пуличек.

— На тебе, убогонький! — Томашек бросает деньги на стол, допивает пиво и уходит.

— Куда же теперь? А, ладно, пойду в Чехов!

«С ума они, что ли, все походили», — думает Томашек, пожимает плечами и входит в трактир.

— Деньги есть? — спрашивает Милоух.

— Еще бы! Что за вопрос, я тебе хоть раз не заплатил?

— Ну, раз есть, значит, на дрова припасено, так уж и быть, налью тебе кружечку.

— Чокнутый! — Томашек кинулся к двери. — Уже второй чокнутый, как пить дать.

Он остановился в размышлении, куда идти дальше.

— Пойду-ка я в Пасечнице, — решил он и через час вошел в Пасечнице, в трактир к Драбковым.

Трактирщица Драбкова наливает ему пиво, а сама молчит, только краем глаза косит на Томашека.

Томашек тоже молчит и пьет. Допивает, заказывает вторую и снова молчит. Черт, не ему же начинать разговор первым! И чего эта баба так чудно смотрит?

Пьет, допивает, заказывает третью. Драбкова приносит пиво, кашляет и

уходит. Через минуту возвращается с батраком Тондой, ставит для него стул у двери и говорит:

— Садись, Тонда, будешь его караулить! — И уходит.

«Караулить!» Ослышался он, что ли? Да нет, Томашек хорошо расслышал это «караулить»!

Отхлебнул староста пива и спрашивает Тонду:

— Кого это ты караулить должен, а?

Тонда вращает глазами, откашливается, вытирает нос и говорит:

— Вас караулить, отец вы наш!

— Да вы что, сразу всем околотком спятили? — изумляется Томашек. — С каких это пор ты должен меня караулить, Тонда?

Тонда снова рассудительно кашляет, вытирает нос, а потом начинает:

— Уж это так, отец наш, вы не извольте сердчать, я ведь на службе состою. Дак ведь и вы, отец наш, тоже чудной начальник. Последний раз в Домажлице, в пивной под аркой двадцать кружек пива выпили, не заплатили, собрались и пошли домой. Хорошо еще, свою новую шляпу оставили... Вот я и караулю, чтоб не сбегли.

На этом разъяснилась пропажа новой шляпы, и на этом кончается история старосты Томашека.

## Грабитель-убийца перед судом

Все газеты сходились в одном: преступник, представший перед судом присяжных. — субъект, встречи с которым должен избегать каждый порядочный человек. Этот негодяй совершил ограбление и убийство. Теперь он с покорностью смотрел в будущее, сам твердил, что его повесят; во время судебного разбирательства обвиняемый отпускал шуточки дурного тона. Например, он предсказал прокурору, что когда-нибудь и его повесят. А веревку, на которой его повесят, преступник преподнес председателю суда, чтобы последний подвязывал ею штаны. Естественно, эти замечания вызвали неудовольствие судебных заседателей, а прокурор поспорил с защитником, утверждавшим, что справедливый закон дает каждому подсудимому право защищаться, как умеет. Говоря о брюках председателя суда, обвиняемый хватался за последнюю соломинку, так как хотел своим висельным юмором завоевать симпатии присяжных, а брюки... Здесь прокурор прервал защитника, возразив, что обсуждение штанов председателя суда безнравственно. Защитник остроумно заметил, что безнравственны не брюки председателя суда, а тот, кто их носит, что вся система правосудия — от тюремщика до палача — сплошная безнравственность. После таких высказываний защитника лишили слова; в зал заседаний внесли плевательницу, чтобы председатель суда мог сплюнуть. В зале суда после плевка председателя поднялось большое волнение, несколько дам упало в обморок, а один из присутствующих по ошибке залез в чужой карман и, вытащив оттуда плитку шоколада, начал нервозно жевать его на глазах обворованного. Объявили перерыв, во время которого преступник адресовал прокурору бесстыдные жесты.

После перерыва судебное разбирательство продолжалось. Выяснилось, что подсудимый совершил преступление с невероятной жестокостью. Накануне убийца не ел три дня, чтобы теперь утверждать, будто буханку хлеба, о которой шла речь, он украл с голода. Совершенное преступление выходит за рам-

ки представлений о человеческой низости. Торговец, у которого подсудимый украл буханку, подстрелил его из револьвера, затем схватился с ним врукопашную, в ходе борьбы лавочник был задушен. Убийца попытался убежать, но, ослабев от большой потери крови, упал и без промедления был схвачен жандармами. Объяснение, что грабитель действовал в порядке самообороны, совершенно нелепо. Черт возьми, почему бы подсудимому не позволить стрелять в себя, а при случае дать себя застрелить, если на допросе он признался, что задолго до совершения преступления подумывал о самоубийстве. Трогательной была сцена очной ставки с вдовой убитого торговца, которая, плача, рассказывала о жестокости преступника: «Он душил его так, что у бедняги глаза на лоб полезли». Эти слова простой женщины глубоко подействовали на всех, а один репортер записал: «Глаза, вылезавшие на лоб» — будущий заголовок одного из столбцов отчета об этом процессе.

Подсудимый сразу производил впечатление преступника. Он говорил, что не верит в бога, что на бога ему наплевать с высокой башни, что бог ни разу ему не помог, он рассказывал, что его дедушка умер от голода, а его бабушку изнасиловал жандармский капитан, — словом, каждая фраза обвиняемого производила неприятное впечатление. Прокурор потребовал дополнительно возбудить дело о богохульстве и об оскорблении армии, поскольку жандармский капитан состоял в ополчении. «Я думаю также, — заметил прокурор, — что жандармский капитан не стал бы насиловать бабушку подсудимого, если бы знал, каким будет внук».

Эти слова вызвали оживление среди публики, несколько дам прослезилось, как будто жандармский капитан изнасиловал их самих. Преступник при этом «самодовольно», как записано в судебном протоколе, улыбался и, видимо, насмеялся над публикой и досточтимым судом. Во время допроса он употреблял отвратительные выражения, например: «Что ж, я должен был позволить убить себя?», «Ну, я его, мерзавца, чуток придушил, разве я виноват, что он загнулся у меня в руках?» И все в таком роде.

Иногда защитник пытался смягчить присяжных короткими разъяснениями и призывами к милосердию. С тем же успехом он мог стараться разжалобить камень, потому что все присяжные смотрели на убийцу кровожадно. Один из них, казалось, жаждал крови больше всех. Он не пропускал ни одного слова негодя, который отпускал все более грубые шутки. Этот присяжный просто пожирал глазами убийцу и наконец, не выдержав, воскликнул: «Вы что, радуетесь тому, что вас повесят?»

На этот каверзный вопрос грабитель-убийца спокойно ответил: «Уж точно, вас это радует больше, чем меня».

После этого заявления прокурор встал и в гробовой тишине сообщил, что он пойдет вымоет руки. Дескать, он во время перерыва ел селедку. Это был предлог для того, чтобы этот новоявленный Пилат сходил справить нужду. Он вернулся с сияющим лицом человека, которому полегчало, и, казалось, стал более благосклонен к подсудимому, потому что прекратил плевать в носовой платок после каждого взгляда в сторону убийцы.

Опрос свидетелей подтвердил обвинение по всем пунктам. Выяснилось, что подсудимый и раньше производил на всех плохое впечатление. Его вину отягчало то обстоятельство, что он незаконнорожденный и пьет к тому же жидкую водку. «Я не могу пить коньяк», — заметил подсудимый. После этих

слов председатель суда распорядился вывести обвиняемого из зала, но по просьбе защитника его привели обратно. Этот эпизод сопровождался волнующей сценой. Когда негодяя выводили, он еще раз громко повторил: «Я не могу пить коньяк, на это у меня нет денег». Волнение среди присяжных. «А были бы, он бы и коньяк пил», — заметил один из присяжных. Буря одобрения со стороны публики и крики: «Пьяница!» Присяжные восклицают: «Позвольте...» Всеобщее волнение. Нарушителя спокойствия уводят тюремные надзиратели.

Председатель суда восклицает: «Вы не в театре!»

Когда подсудимого привели обратно, ему показали украденную буханку хлеба и фотографию убитого. «Это тот самый хлеб?» — спросил председатель суда. «Да», — твердо ответил закоренелый преступник.

— Вы узнаете свою жертву?

— Когда я его душил, он был старше.

Этот циничный ответ глубоко потряс всех присутствующих, даже самые черствые судейские чиновники задрожали под своими мантиями с головы до пят. Остальные опрошенные свидетельствовали против обвиняемого. Защитника, выразившего протест, оборвал председатель суда, заявивший, что свидетели здесь не для забавы[21]. Из показаний свидетелей выяснилось, что у преступника не было крыши над головой. Причины этого подробнее не исследовали, но установили, что если уж обвиняемому негде было спать, он мог, по крайней мере, устраиваться на ночлег в каком-нибудь другом месте, а не в саду около костела. Один свидетель показал, что убийца и грабитель не носил воротничка, другой подтвердил, что у него не было рубашки, а третий под присягой сообщил, что убийца не был знаком с мылом. Более всего повредило обвиняемому свидетельство старосты его родной деревни: «Лодырь, никогда не носил носков, нос с детства утирал рукавом, изобразил непристойности на объявлении о крестном ходе, старосту обозвал свиньей двадцать лет назад и до сих пор должен ему, старосте, двадцать крейцеров».

### **Совещание присяжных**

— Господа, — сказал один из присяжных, когда суд удалился на совещание, — итак, мы собрались здесь, чтобы решить судьбу обвиняемого. Во всем городе вы не найдете настоящей паприки. Подсудимый — человек никчемный. Я заказал паприкаш у Дворжака, его нельзя было есть. С детства он проявлял склонность ко лжи и закончил свою карьеру убийством. В соусе я нашел муху. Телятина на телятину не похожа. Этот бездельник убил человека трудолюбивого и порядочного, который всю свою жизнь отдал на благо общества, он удушил почтенного торговца, который никогда не стал бы продавать такую паприку, из какой готовят соус у Дворжака. Он убил человека, которому, будь он мясником, совесть не позволила бы продавать мясо с душиком для паприкаша, который я утром ел у Дворжака. На виселицу этого негодяя, пусть болтается там, пусть извивается в предсмертных судорогах. Это просто подлость брать за одну порцию тридцать пять крейцеров. Перед нашим судом предстал преступник, хуже которого поискать надо. Опасайтесь трактира «У Дворжака», господа! Голосуем: я спрашиваю «Виновен?» и отвечаю «Да!»

— А вы, господа?

— Да! — Да!

— Приговорен к смерти через повешение! — зачитал председатель суда приговор. — Именем его величества — к смертной казни через повешение, —

повторил он еще раз.

В то время как дамы в зале заседаний посылали воздушные поцелуи господам присяжным, подсудимый издал звук, который нельзя отнести к разряду фантазий, но который, как считается, не принят в обществе.

У надзирателя, который уводил осужденного, после этого звука сделалось кислое лицо. Флатуленция, или ветры.

## Лекция профессора Гарро «О развитии человеческого разума», которую он читает В 2207 году

...Итак, уважаемые друзья, стремление к прогрессу в Европе доходило в минувших столетиях почти до курьезов. Мы должны, например, открыто признать, что еще триста лет назад существовали парламенты и, к примеру, в мае 1907 года проходили выборы... не смейтесь, друзья, сегодня вам не понятна ограниченность людей прошлого, которых просто несло по течению. Вот, друзья мои, портрет кандидата в депутаты той поры. На нем вы ясно видите, что рот у него, как говорится, до ушей. Сейчас, спустя три столетия, вы не понимаете, зачем людям был нужен такой большой рот, но современная наука учит, что патология мозга подобных индивидов сопровождалась вырождением определенных частей тела, поэтому, когда кто-нибудь рождался с большим ртом, повивальные бабки говорили: «Этот будет депутатом». Депутаты нуждались в таких ртах, и природа сама одаривала их ими так же, как она наделяла рыб жабрами, для того, чтобы они могли дышать. Без большого и широкого рта никто не мог стать депутатом. История, во всяком случае, не припомнит глухонемого депутата, и я выношу благодарность моему дорогому коллеге, профессору истории, который обратил мое внимание на этот интересный факт.

Для того, чтобы вы, уважаемые друзья, получили представление о том, кто такие были депутаты и кандидаты в депутаты, разрешите отослать вас к прекрасной работе покойного доктора Аоа «Физическое развитие депутатов», в которой среди прочего мы читаем: «Депутат был явлением общественным. Он мог родиться в любое время года, относился к теплокровным млекопитающим и произошел, по Дарвину, от обезьяны. Этот любопытный исчезнувший тип млекопитающего отличался многословностью и подразделялся на несколько подгрупп: млекопитающие социал-демократические, народные, аграрные, клерикальные, либеральные и т. д. Развивался он медленно. Некоторое время это млекопитающее назначалось на должность депутата правительством, затем оно стало избираться в куриях и, наконец, на основе всеобщего избирательного права. Для того чтобы быть избранным, это исчезнувшее млекопитающее употребляло всевозможные средства, одно из них ему предоставила сама природа. Это огромный рот, который употреблялся им для того, чтобы привлекать на свою сторону других общественных индивидов, называвшихся в то время избирателями. Все эти исчезнувшие млекопитающие любили говорить и страдали особым психическим заболеванием, которое носит название — обещательность. Обещания их были самыми разными. Одно из этих человекообразных млекопитающих, обещало, что пачка табаку будет стоить один геллер и что после его избрания поросята не будут болеть краснухой, другое обещало, что где-то какой-то королевский замок будет принадлежать всей стране».

Не смейтесь, друзья мои, не надо. Доктор Аоа совершенно правильно описывает этот процесс, происходивший триста лет назад. Тогдашние люди в основном спорили о вещах, им не принадлежавших, и, если королевский замок принадлежал их стране, они радовались, будто сами были его обладателями. Доктор Аоа далее со всей серьезностью пишет, что эти млекопитающие имели и другие средства, с помощью которых они добивались популярности среди избирателей. Благодаря тогдашнему высокому уровню мясной промышленности они могли бескорыстно угостить избирателей сосисками, сардельками и ветчиной, не забывая также о прекрасно развитой винно-водочной и пивоваренной промышленности, поскольку избиратели любили выпить, и в пьяном виде под влиянием разговоров и напитков вносили имена этих исчезнувших млекопитающих в бюллетени для голосования.

Доктор Аоа пришел к бесспорно интересным заключениям. Он утверждал и документально обосновал свое утверждение о том, что эти депутаты принадлежали к стадным млекопитающим и что время от времени они собирались в больших крытых загонах, или парламентах, где обменивались мнениями. Лишь единицы среди них жили отдельно и назывались «дикими». Остальные объединялись в стада неопределенной и постоянно колеблющейся численности. Зрелые в половом отношении самцы вступали в схватки между собой, борясь за самку депутатов — правительство. Их речь была самобытна. Они любили употреблять ругательства, отдавая предпочтение тем, которые означали полезных домашних животных. В их среде были распространены предложения вроде: «Опирайтесь на доверие избирателей, надеюсь, вы ничего не имеете против того, что избиратели облекли меня этим доверием. Доверие, которым облекли меня мои избиратели, заставляет меня...» и тому подобное. За то, что избиратели им доверяли, они получали так называемые суточные, по теперешним понятиям каждодневную зарплату в размере двадцати крон денежной монетой тех времен. Никогда не случалось, чтобы такой депутат отдал эти двадцать крон беднякам своего округа, выбиравшем его, пусть даже сам он имел тысячные доходы. Все исходило из предположения, что доверие не имеет цены и что двадцать крон просто известная часть чего-то неизвестного. Когда депутаты выходили из своих крытых загон, они радовались, что жили не напрасно, что народ не сидел сложа руки, а участвовал в выборах. Если бы этот народ сидел сложа руки, то где бы тогда были эти их двадцать крон и где бы они смогли сказать: «Я надеюсь, вы ничего не имеете против того, что избиратели облекли меня доверием... Опираясь на доверие избирателей...» и тому подобное. Вопрос о том, кто такие были избиратели, великолепно разрешил известный историк Магза в своей книге «Избиратели, или Как триста лет назад человечество надеялось улучшить свое положение с помощью листка бумаги». Здесь также нет ничего смешного, дорогие друзья, в этом вы убедитесь, познакомившись с тем, что пишет в своей работе историк Магза. Вот его слова из предисловия к книге: «Сегодня те, о ком я пишу, уже гниют в земле, а с ними сгнили и их идеалы. Мы восхищаемся этими героями своей эпохи, которые были так невероятно наивны, что вершиной счастья почитали первый избирательный бюллетень, но не будем смеяться над этими наивными детьми своего времени, поскольку детский ум всегда уступает в своем развитии взрослому. Давайте посмотрим на них трезвым взглядом историка. Хотя нам жаль той энергии, которую эти дети расходовали на выбо-

рах, голосуя за нескольких крикунов. Не смейтесь над детьми, которые всего лишь играли в прятки».

Кем были избиратели по мнению покойного профессора Аоа? Продуктами общества. Это несомненно. Эти существа чаще всего собирались в трактирах, где рассуждали о том, чего бы они хотели, и им не приходило в голову, что если они чего-то хотят, то должны сами этого добиться. Нет, они избрали иной путь. Взяли чернила и ручку и написали на избирательном бюллетене имя того млекопитающего — депутата, выступление которого должно было сделать их счастливыми. Таким образом их счастьем способствовал тот фабрикант, который изготовил бумагу для избирательного бюллетеня, тот, кто продавал стальные перья, которыми они их заполняли, а также тот, кто выпустил чернила, в которые они макали свои ручки. Счастьем их не было конца. Но иногда лица их омрачала печаль. Это случалось, когда полицейские выбрасывали их депутатов из парламента. Тогда они говорили: «Ну, подождите, на следующих выборах мы вам покажем, как выбрасывать из парламента неприкосновенных депутатов. Мы пошлем к вам людей, которые сумеют вам все как следует растолковать». И они послали лучших, но этих посланцев полицейские выбросили из парламента еще раньше, чем предыдущих, поскольку правительству уже давно не нравились их разговоры. Тогда избиратели сказали: «Ну, хорошо, теперь мы выберем самых лучших, которые там все на куски разнесут». Но эти самые лучшие не успели «там» даже как следует осмотреться и были выброшены раньше, чем поняли, что если бы у избирателей были полицейские, которые есть у правительства, то они перестали бы быть избирателями и депутатами, поскольку им было бы неприятно думать, что они ничего не могут сделать в парламенте и ходят туда так, для смеха.

Итак, дорогие друзья, это были выдержки из работы профессора Аоа. Известный антрополог Аоа писал, что черепа избирателей были необычайно большими, поскольку должны были вместить все обещания кандидатов, а пространство, которое обычно заполняет мозг, необычайно маленьким. Эти существа часто ссорились между собой, давали себя подкармливать кандидатам в депутаты, ругали друг друга и, как стадо овец, шли за депутатами — сегодня уже вымершими млекопитающими.

И, наконец, уважаемые друзья, я хотел бы предложить вашему вниманию очень странную находку тех времен, которая была обнаружена недавно при раскопках на южной окраине нашего города. Археологи долго не могли определить, что означает этот чистый листок бумаги, выкопанный из земли, и только теперь мы нашли неожиданное объяснение. Это чистый избирательный бюллетень 1907 года. Таким образом, эта находка помогла установить, что и тогда, триста лет назад, встречались разумные люди, не отдавшие свой голос ни одному из политических крикунов...

## Приключение Гая Антония Троссула

Гаю Антонию Троссулу доверено ответственное задание: как можно больше людей подвести под топор палача, внести их имена в проскрипционные списки. А что должны совершить эти люди для того, чтобы их головы вывесили над воротами города Арретия в Этрурии? Гнусное злодеяние: *crimen laesae majestatis*[22] — преступление, состоящее в оскорблении величества, оскорблении пресветлого цезаря римской империи Тиберия.

Антоний Троссул — начальник арретийских тайных ликторов, бдящих о порядке в римской империи. Правда, в прошлом он был разбойником в Трентании над рекой Тиферном, потом поставлял краденых девушек диким горным племенам в Умбрии, а впоследствии занимался самым обыкновенным воровством, обкрадывая бедных поселенцев в Коллации, в 450 стадиях от Рима. Старый добрый опыт должен помочь ему успешно выполнить нынешние почетные обязанности — ведь опытному убийце, вору и бандиту нетрудно втереться куда угодно. Но почему же именно теперь, именно в этрусском городе Арретии начинает он свою деятельность?

О боги! Да кто же из римлян не знает, что в ближайшее время, «*idibus martiis*»[23], цезарь Тиберий прибудет из Рима в Арретий, чтобы омыть свои ноги в реке Арно, протекающей в 50 000 римских шагов отсюда? Кто из римлян не знает, что арретийская община сооружает триумфальные арки от Кортонны до самого Арретия, что рабы трудятся даже ночью, воздвигая повсюду триумфальные столбы? Вся Этрурия в один голос твердит, что это будет стоить немалых денег и что по окончании торжеств для возмещения расходов придется предпринять набег на Умбрию. Но — да здравствует пятикратно пресветлый цезарь!

Пусть он увидит, как обожают его потомки этрусков, когда на пилонах вспыхнут огни и начальник городского совета Арретия выйдет с тремя легионами гарнизона приветствовать пресветлого. А потом в городском цирке начнутся игры, где несколько осужденных на смерть злодеев будут убивать друг друга и выкрикивать в сторону цезарева кресла, стоящего на возвышении: «*Morituri te salutant!* Идущие на смерть приветствуют тебя!», а кто из этих презренных останется в живых, тот будет амнистирован пятикратно пресветлым. «*Salve, caesar!*»[24]

А пока Антоний Троссул будет ходить по городу и прислушиваться к разговорам арретийцев, которые восхищаются триумфальными воротами и с интересом наблюдают, как протекает их строительство. Вот тут-то и заговорит с ними Троссул, начальник тайных ликторов, и горе мерзавцу, который скажет, что Тиберий — дурак. Он может и не говорить этого, достаточно, чтоб он так подумал. От этого ему будет не легче. Его предадут в руки ликторов, вывалят в смоле, а по приезде цезаря, к вечеру, под звуки труб, мерзкое его тело будет гореть ясным пламенем в честь пресветлого, во славу его божественности.

Впрочем, достаточно будет сказать, например, что сооружение триумфальных ворот — глупая затея. В таком случае ликторы предадут этого подлого хулителя секирам, он будет четвертован на дороге в Кортону. А если он скажет, что народ голодает и бедствует и что слишком много общественных денег расходуется на кратковременное чествование цезаря, то этого выродка заживо распилят на Циминском холме в то самое время, когда народ будет радостно

воскликнуть: «Salve, caesar! — Здравствуй, цезарь!» Сколько же таких негодяев запишет Троссул в проскрипционные списки? Все зависит только от него. А потому отправляйся-ка, Гай Антоний, туда, где рабы сооружают триумфальные ворота. Глянь, сколько народу наблюдает за строительством!

А вон у того пилона, на который вешают, гирлянды, сплетенные из горной умбрийской туи, стоит весьма подозрительный человек, вид у него недовольный, туника грязная. И обрати внимание, Антоний Троссул, как странно он смотрит! Судя по всему, этот нищий тунеядец думает, что будь у него столько денег, сколько стоит один такой триумфальный столб, уж он бы отгрохал себе дачку на берегу Тразименского озера. И сандалии у него подозрительные! Как смеет человек, наблюдающий за строительством триумфальных ворот в честь цезаря, ходить в рваных сандалиях? И какие мысли могут приходить такому человеку в голову, если его сандалии протекают? А потому, любезный Антоний, проверь-ка похитрее, что думает о цезаре и триумфальных арках этот бедно одетый, подозрительный тунеядец.

И с улыбкой приблизившись, Гай Антоний Троссул наступил ему на ногу и ласково сказал:

— О, прости, друг!

— Охотно прощаю, друг мой. О, друг, до чего же высоки эти столбы!

— Высокие, ох, высокие, мой милый!

Незнакомец тоже улыбнулся и пододвинулся к Троссулу поближе:

— Вот я и думаю, дружище: ведь народу это не все равно!

«Смотри-ка, Троссул, ведь ты как в воду глядел. Вот он, государственный преступник, прямо перед тобою».

— Так ты, стало быть, думаешь, что народу не все равно? Я тоже думаю, что не все равно...

— А почему ты думаешь, что не все равно, ведь цезарь...

— Ну, так то цезарь, а ты сам что думаешь?.. Столбы высокие, а могли бы быть еще выше...

«Н-да, — подумал Троссул, — не клюет; ну мы еще посмотрим»:

— Так, по-твоему, цезарю все равно? Или народу все равно?

У незнакомца странно замерцали глаза:

— Народу? Ну еще бы, это ведь стоит больших денег — или, по-твоему, ничего не стоит?

— Деньги вложены немалые, да и рабы тоже ведь не даровые, — отвечал Троссул, не теряя надежды, что тот клюнет.

Вокруг них стал собираться народ.

— Столбы хороши, — сказал незнакомец. — Или ты думаешь, что для пятикратно пресветлого они недостаточно великолепны?

— Пятикратно пресветлому эти превосходные столбы понравятся, а народу...

— Народу? Друг, что ты хочешь этим сказать? Они и народу тоже понравятся, потому что народ цезаря просто обожает.

— А чего ты смеешься?

— Ну, я думаю о цезаре, что это за человек.

Троссул тоже рассмеялся:

— Хе-хе, цезарь, какой же это светлый человек!

— А почему бы ему и не быть светлым? — с улыбкой спросил незнакомец,

жадно ловя каждое слово Гая Антония.

— Ну, я думаю, солнце тоже светит, но куда ему до цезаря!

Незнакомец кашлянул:

— Солнце и цезарь — оба они нас греют...

Троссул задумчиво покачал головой: «Этот мерзавец все время срывается у меня с крючка». А потому, наклонившись к самому уху незнакомца, он зашептал:

— А ты не думаешь, что и народ, который сооружает триумфальные арки, и цезарь Тиберий, который под ними проедет, — что все они дурачье?

— Ну, раз ты так думаешь, тогда конечно! — радостно зашептал ему на ухо незнакомец и воскликнул:

— Ликторы! Ликторов сюда!

— Ликторы! — воскликнул одновременно с ним Троссул. — Сюда, ликторы!

Они держали друг друга за горло и оба кричали:

— Ты совершил *crimen laesae majestatis*, ты оскорбил пятикратно пресветлого!

— Это я-то? Да ты знаешь, кто я?

— А кто я таков, этого ты не знаешь. Но сейчас узнаешь!

И вот уже бегут ликторы.

— Вот этот сказал, — крикнул Троссул, — что цезарь и народ — дурачье!

— А вот этот, будь он проклят, — крикнул незнакомец, — сказал, что все дурачье — и народ, и цезарь!

— Я — Гай Антоний Троссул, начальник арретийских тайных ликторов, а ты кто таков, враг отечества?

— Я — Марций Юлий Плацентий, начальник римских тайных ликторов...

Но было уже поздно представляться друг другу! Горе тому, кто совершает *crimen laesae majestatis*, кто оскорбляет пятикратно пресветлого цезаря Тиберия и его величие!

Гая Антония Троссула четвертовали у дороги на Кортону, а Марция Юлия Плацентия заживо распилили на Циминском холме в то самое время, когда пятикратно светлый Тиберий въезжал в город потомков этрусков, а народ громогласно возглашал ему навстречу:

— *Salve, caesar!* — Здравствуй, Цезарь!

И когда вечером эту историю рассказали пятикратно пресветлому, он смеялся до поздней ночи... Будь здоров, цезарь!

## О поэтах

Недавно я познакомился в кафе с одним молодым человеком. Он подробно рассказал мне о своей судьбе. Он чувствует непонятную печаль и поэтому пишет стихи, он чувствует какую-то странную тоску и поэтому пишет стихи, он чувствует какую-то страшную душевную боль и поэтому пишет стихи. И поэтому пишет стихи...

Он сказал еще больше о том, почему он пишет. Пишет потому, что:

*чувствует он роз обманный дурман в тиши,  
и несчастье его — на дне души,  
отчаянно голос его задрожал, небо совсем потемнело,  
призыв его где-то блуждает вдали.*

*И т. д.*

Это особый тип людей, особый тип литературы и продукции. Они бродят по захолустью, блуждают по грязи и тщетно призывают, чтобы кто-то их освободил. Или пишут, как кто-то где-то смотрит вдаль, но никого в той дали не видят. Такие поэты «все время» ждут, когда давно никто не ждет, что у них тучи в душе падут, они все время что-то хотят: «вознести до неба», воскресить душу, которая «падает», они хотят цветов насыпать в сердце, но это не получается. И они довольствуются тем, что в стихах ходят по затихшим паркам, чувствуют «мечтательность мгновения»; они всюду видят «что-то», они думают, что «омуты в садах, и он у кого-то в мечтах», волны на воде они считают сестрами и думают о них, что они чувственно шепчут, бросаясь, «разум потеряв, надежде бледной на колени». Юные поэты — парни кровь с молоком, но все у них туманно, бледно. Бледное солнце на бледных деревьях, тусклые отблески надежды неразумных. И все у них позднее, а у некоторых — кроваво-расплавленное. Кроваво-расплавленные волосы, дни, глаза (грохочущие), кроваво-расплавленная тишина. Многие из них видят массы, видят чье-то тело на погребальных носилках, немеют от скорби, завидуют покойнику, что на нем саван. У многих появляются странные прихоти. Один хотел бы проглотить желтую тоскующую розу, другой — повесить свое сердце на дерево греха, а третьему хотелось бы обнимать свою милую без греха встречи и так далее. А кто-то не может унести свое сердце. Один пророчески пишет: «Меня уже ничто не ужасает, сегодня кто-то с жизнью кончает», — тогда как другой измышляет: «Вот уже скоро, где голубеет отсвет долин, задрожит там голос мандолин».

Эти мандолины немало погрешили против молодых поэтов. Одно время не было стихотворения, в котором не появилась хотя бы одна мандолина. Таковы эти загадочные откровения.

Были и такие времена, когда молодой поэт писал о проститутках. Позже соединили проститутку с природой и писали о продажных женщинах в зелени деревьев. Это были и есть те поэты, которые считают чем-то возвышенным оставлять сборники своих работ на столах в помещениях, пользующихся дурной славой.

«Тем самым я плюю в лицо всему обществу, — говорил мне один такой молодой человек, — мои стихи читают все проститутки». И хвастался тем, что и бедняги читают его стихи о воображаемых ладонях...

Это какие-то странные приступы. Те, которые пишут о грусти, заставляют

себя так писать, поскольку они наслаждаются всеми радостями жизни. Это вынужденные, затверженные фразы, которые они, как попугаи, повторяют друг за другом. Эти парни думают, что симпатия всех людей на их стороне, когда они дают возможность своим читателям «проходить по краям, где утра нет, где ночь все время». (Нансен в своих путевых записках делал это тоже, но в более интересной форме.)

Какой интерес читателю, посудите сами, в том, что вы пишете, как в вас что-то растёт, усиливается?

Почему вы плачете в своих стихах, ребята? Такой детина горы мог бы свернуть, а он пишет (и не стыдится) в своих стихах: «Я горько плачу этим белым утром...»

Почему читатели должны знать про «песенку, что пел я в мае»? Какое кому дело до того, что этот бедняга что-то пел?

Несколько человек должны страдать, потому что ему, автору, кажется, что кто-то вдали взывает о помощи?

«Нет смелости у меня...» озаглавливает иной поэт свое стихотворение. Нам нет никакого дела, друг, что у тебя не хватает смелости сорвать розу, грешную розу с желтоватым блеском, никто из нас этого не делает.

«Сегодня я хотел бы целовать». Ну так целуй, негодяй, но не кричи об этом на весь мир.

«Отчего, я не знаю, мое сердце печально рыдает...» Если ты, друг, этого не знаешь, откуда нам это знать?

*У барышень платья весенние  
(улицу полили),  
и мне что-то очень грустно —  
ведь вчера мы перепили.*

Я этого не должен читать.

Итак, человека терзает воспоминание. И ему бы лучше прочесть, как под мостом долго шумела река и как там под этим мостом кто-то горько и искренне плакал. Поэт, который это написал, никогда ни под каким мостом не был и в последний раз плакал, когда у него двадцать лет тому назад умер дедушка... но ничего не поделаешь: его душе угодно, чтобы он был под мостом и чтобы он там причитал, как старая дева.

А другой пишет: «Я банкрот. И смеяться я разучился. Мой замок печальный в руины превратился. Мне куда-то уйти теперь надо, лишь будет допета баллада!» Куда он пойдет, об этом поэт не говорит. Он просто отойдет от своей ободранной халупки, повернется к ней спиной и сразу же остановится, чтобы люди не думали, что он уходит и что поворачивается при дневном освещении: «Здесь тьма, вдали же кто-то плачет, и над руинами заходит солнце там!»

Носовых бы платков молодым поэтам, и побольше, чтобы было чем вытереть заплаканные глаза! Послушайте! «Я из-за плача голову теряю...» или «Так в море слезы мои льются», — а один из них не только плачет, но при этом даже благоухает: «Слезы мои ароматом красоты благоухают». Шапку долой перед таким джентльменом!

Ах, сколько молодых людей, у которых есть «песенки заколдованные, а на них сто замков золотых». Таких лучше обходить за сто шагов, так как тебе грозит опасность, что сто золотых замков неожиданно отворятся, и сто песенок

высыпятся на тебя.

Есть такие поэты, которые сами себя хвалят и утверждают, что у них белая душа: «Ночью в душу белую грусть вошла — засияли от грусти сады и луга. В мою душу белую вошла печаль, что тебя не увидел, мне жаль». И вам жаль такого духовно «белого» человека.

Интересно, какие цветы любят больше всего эти прекрасные молодые люди. Прежде всего белену и безвременник, которые цветут в их стихах. Розы уже более будничны. Их расположением пользуются тамариск, орхидея и анемона.

Кроме того, молодые поэты любят деревья, отдельно растущие или сгруппированные. Из тех, что сгруппированы, самое любимое — это аллеи: «Я тот пепел, разрешите, там рассыплю в вечер летний, где любовь вы обещали мне в тихой тенистой аллее...»

Однако грустная жизнь у этих юношей. Они погребают свое счастье в стихах по шестьдесят строк, вырывают от грусти свое сердце из худосочного тела в стихах по пятьдесят строк, плюют смех скепсиса прямо солнцу в сияние в стихах по сорок строк.

На некоторых бедняг, забитых жизнью, падают звезды, а один такой горемыка постоянно чувствовал неуверенность: «Когда, кто, где меня убьет суровым кулаком, не знаю, но спрашиваю — счастье на свете что такое — не знаю».

А другой, в противоположность этому, поет, ликуя: «Не знаю ничего, века я ничего не знаю».

Но, друзья, простите, что я обвиняю. Берегитесь тех, кто начинает свои стихи так: «Что-то случится, я хорошо это знаю...» То есть очень загадочно, что, собственно, случится, и поэтому будьте осторожны!

*В мечтах моих горьких, в моей скорби и в горе  
одна звездочка тихо горит...*

Вы видите. Начинается это красиво. У такого поэта на дне его души есть и звезды. Это такие простые стихи. «Сад расцвел, браток, пойдем! Что же ждет сердце мое!» А дальше ты уже ничего не узнаешь. Все может также кончиться кладбищем.

*И все же блаженство: ароматом они опьяняют!  
Губы твои, поверь, горечь скрывают.*

Вот смотрите! Вы ожидаете, что будет дальше. И видите. За молодцом посылают скорую помощь. Губы его милой смертельно отравили его печальное сердце.

Песни и стихи о возлюбленных. Их должен такой варвар, как я, хорошенько обдумать и посвятить им новую главу.

*Ты, лес хвойный, приласкай меня  
своей музыкой шумной, что люблю я так.  
Ты сына прими своего, родная земля,  
он пришел к тебе сил начерпать...*

Простите варвару и на будущее, господа.

\* \* \*

Если уж ты ринулся в путь, став варваром, и в стихах молодых поэтов уви-

дел лишь неестественную душевную горячность, то тебе теперь можно задать вопрос о том, что ты думаешь о поэтах, которые воспевают возлюбленных и поют о любви. Этот вопрос коварен тем, что ты, варвар, как можно предположить, тоже любишь.

Ну-ка давайте детально проанализируем, как поступает поэт, который задумал петь о возлюбленных.

Прежде всего он идет в ресторан, где есть официантка, поговорит с ней немного, а потом идет домой. Дома он берет лист бумаги, чернила, перо и пишет.

И читатель, таким образом, должен невольно страдать, потому что на свете есть рестораны, потому что есть официантки, потому что у этого бедняги есть бумага, чернила и перо.

Он должен читать, как такой поэт хотел бы «помолиться у ног неизвестной», как он хотел бы покрыть поцелуями «складчатую» юбку любви своей возлюбленной, как он с «извечным стоном на губах шатался б без нее по паркам...»

Ах, сколько опять грусти в песнях и стихах о возлюбленных!

Какие грустные перспективы вырисовываются перед читателем. Он готов удавиться на ее волосах. Он позволит зацеловать себя до смерти, что неважный комплимент для той, о которой он пишет стихи, поскольку народ говорит: «Поцелуй меня, все равно умирать», а поэт, разумеется, в иной форме — сладко: «Позволяю тебе зацеловать себя до смерти».

А кто же эти существа, которые зацеловывают до смерти? В большинстве случаев они белые. Правда, черных возлюбленных на свете немало, а Африка ими кишит, но если бы вы взяли в руки какую-нибудь книжку стихов о возлюбленных, то вы бы не нашли там упоминания о черной возлюбленной. Там одни белые. Двести тридцать три раза и все «белая». Она подходит для окружения. Такое было бы, конечно, профанацией, если бы поэт начал поверять всему свету, что его возлюбленная мыла себе ноги. Ножки существ женского пола еще до их появления в стихах хорошо вымыты, и поэтому поэт может смело петь: «Счастье всасывал я из ног Твоих, Светлая!»

Некоторые восхищаются мизинчиком на ее ножке и представляют себе, как было бы красиво, если бы на каждый палец ноги было одето колечко верности.

Поэт раздевает свою милую на глазах у общественности. Горькой слезой он поливает бока своей обнаженной и бледной возлюбленной. А это уже похоже на порнографию. А другой хочет извлечь из пышного тела своей «бледной» несколько — количество не так важно — прекрасных миров. Но только в двух-трех случаях «небосвод над этой любовью смеется» вместе с читателями. По угрюмому краю бегают нагие бледные девушки. Это происходит не днем, наверное, потому, чтобы не оскорблять стыдливости читателей. Темная ночь — любимейшее время для «вылазок» возлюбленных таких поэтов.

*Послушай, успокой свое сердце,  
мы, может, однажды с тобой упадем  
как тот раз в черную, темную ночь.*

Весьма неутешительные обстоятельства. Я живо представляю себе одного молодого поэта, как он бежит по этой темной, пустынной местности ночью со

своей возлюбленной во время исключительно важное, то есть когда «горы по краю идут». И такие «хождения» гор, туризм чешских и других горных вершин излюблены в стихах о милых. Горы идут, а он на них смотрит со своей любимой. Может быть, своей возлюбленной он мог бы это внушить, поскольку возлюбленные изображены в стихах весьма привлекательно — так они преданны. Ей он может, например, внушить, что он видел, как Петршин шел в направлении к Жижкову, но читатель не позволит себя так легко провести.

Возлюбленные поэтов — это вообще самые удивительные существа. Много их ходит по свету нагими. «Я видел нагую ее на прогулке...»

Он видел. Он, поэт, кое-что видел. Он, например, заметил, как на грудь де-вы села летучая мышь. Об этой особой прихоти летучей мыши он сообщает миру в двустиишии. Поэт вообще любит информировать не только о том, что он видел, но и о том, что ему снилось.

*Мне снилось, как шла Ты Утром Белая,  
Ты бороздою жизни шла к печальным горизонтам...*

Смотрите, какой мастер этот поэт, и человек он разносторонний, он знает, что

*запашет борозды и вырастит там хлеб,  
насытит тем, что любовь его потребует.*

Вы видите! Честь таким молодцам. На какой-то момент он становится аграрием, а потом набрасывается на освоение ремесла пекаря.

*Как солнце девушка моя,  
я — снег, весной я белый,  
растаю по вершинам,  
лишь улыбка засияет милая твоя.*

Посмотрите! Он сам себе признается в том, что от него останется только немного воды.

*Есть звезды и солнце у меня,  
здесь со мною девушка моя,  
на губах ее бокал вина,  
что от всех страданий исцелит.*

Хотя тот бедняга писал такое в винном погребке в присутствии ворчливого хозяина, но это не помешало ему так беззастенчиво лгать.

И они лгут! Сначала такие поэты обманывают наборщика, который набирает плоды их трудов, потом корректора и, наконец, читателя.

Молодѣц не был дальше окрестностей Праги, но это ему вовсе не помешало написать

*В этом бурном потоке жизни  
нам часто друг друга не встречать;  
меня от тебя печаль навсегда разделяет,  
и тщетна надежда сердцем лгать.*

Есть сентиментальные, фальшивые и Каины.

*Я Каином был, ты Абелем была,  
я обманул тебя, ты Каина убила.*

А в Библии наоборот.

Другой же хочет создать гарем где-нибудь на Виноградах:

*Хотел бы я королем девушек прослыть  
и обрести в их сердцах могучее царство...*

Это «я» выдвигается на передний план, на то они и лирики.

Начинается это в школах. Ученик, бедняга, не может надлежащим образом выразить свое «я» и поэтому начинает писать лирические стихи, что весьма нетрудно. «Я люблю тебя, я тебя тоже люблю, и будь что будет, свет ты мой, любить тебя не перестану».

Ученики освобождают свою энергию в таких стихах. Вместо того чтобы обратиться свое перо против учителей, ставящих им неуды и не разрешающих даже в туалете курить сигареты, все они поголовно пишут любовные стихи, например, о дочерях учителей, которые дают им домашние задания.

Их стихи начинают печатать. Пока в тайном ученическом журнале, затем в шестом-седьмом классе средней школы они начинают писать стихи о реальных возлюбленных. Они то ходят на уроки танцев, то по борделям. Ко всему этому они читают чужие стихи и таким образом медленно развиваются, пока наконец не станут молодыми поэтами.

Некоторые потом оставляют лирику и бросаются на поэзию другого типа. Они опасны для окружения своей сентиментальностью. Они хотят принести пользу человечеству, когда издают за свой или чужой счет сборники своих стихов с названиями, притянутыми за волосы, как например: «Каплю туч в себя вместил», «Молитвы изгнанника», «Мир пуст, а сердце мое полно», «Я в людях ошибался, я ошибался в чувствах».

*Отравлен дух мой в глубинах  
чувств, изнуряющих ядом черным,  
что в чашу всыпал ему свет.*

Они пресыщены и поэтому зевают. Они думают, что на их печали строится система мироздания.

Они целуют колени своих возлюбленных в своих стихах, а в действительности они содействуют своим грошом поддержке разных полицейских шпи-ков, хозяев домов терпимости.

Порядочных мало. Они всюду видят золотые волосы, целуют их, испытывая при этом грусть. Другие же пишут откровенно. Они воспевают проституток и хвастаются ч стихах неизвестными болезнями.

А что читатели? Они читают, рассеянно взирая на мир.

— Что же вы, друг поэт, хотели сказать сборником своих стихов? — спрашиваю я. Он пожимает плечами. Что-то в душе его накопилось и стоило ему пять крейцеров — расходы на бумагу, и мир прочел что-то об этом.

Гурбан Ваянский! Ты был прав, когда ты писал под названием «Ужасное»:

*Что горькая судьба литератора бьет,  
ты правду пишешь! Тьма на него вáлит,  
и жизни он дает часов горячих дань,  
когда другие жнут, он в царствие небесное войдет.*

Горька судьба литератора, поэта. Дань горячих часов. С вас наверняка со-шло немало потов, прежде чем вы издали сборник стихов.

А нередко приходится попотеть и читателю над теми поэтами, многие из

которых, разумеется, безвредны, о чем бы они ни пели, чаще всего во всем этом невозможно разобраться.

Зато есть люди, которые напишут что-нибудь такое, что можно представить себе как на ладони.

*В церквушке для простонародья  
есть мадонна в алтаре,  
а улыбка младенца Христа  
прекрасное детство мое излучает.*

*Там вспоминаю о матушке я,  
о ласковом слове ее,  
стою я в слезах вблизи алтаря  
и снова детство переживаю.*

Вы видите: этот человек думает, что он тоже поэт. Точно так, как это думает целый ряд людей.

«Если я напишу стихотворение, то я поэт», — говорят и те, что пишут в «Ладу» и все те, которые писали в «Модерни ревю» и «Модни живот», они думали об этом тоже.

Но есть варвары, которые сомневаются в полезности такой литературы, например, в стихах социальных, которым нужно посвятить следующую главу.

## Поэзия социальная

**А** в ней еще более мрачная и удручающая доза сентиментальности, чем в предшествующих изделиях молодых литераторов.

*Гудят колеса, шестерни,  
Вращаясь непрерывно.  
Какая мрачная тоска  
В их песне заунывной!*

И во всех этих поэмах, в стихах и прозе, во всех романах и рассказах перед читателями предстают жалкие фигуры, терпящие притеснения и без надежды блуждающие в потемках. Это — ремесленная литература, где авторы не показывают, по какой дороге должен идти народ, а только причитают над его страданиями.

Слово «страдать» присутствует на каждой странице рассказа, в каждом стихотворении. Страдает рабочий, работница и дети этих страдающих родителей. Поэты им не помогают. Но, наоборот, сами падают вместе с ними в грязь; читателям же рисуют безнадежные горизонты.

То здесь, то там появляется утренняя заря, без которой не может обойтись ни один социальный поэт. Заводские трубы, увитые кровавыми розами. Багровое небо, и вдали, над унылыми толпами рабочих, вливающимися в ворота фабрик, — дождь.

Унылые толпы — это парадный реквизит социальной литературы. Кое-где вам обещают месть, но никогда не осуществляют ее. Случается, что такой пистолет откроет стрельбу по бастующим и для проформы бросит камень в голову офицера. Но обещанной мести вы не найдете. Забастовщиков уведут в кандалах. Это один вариант.

Иной автор пишет, как фабрикант, соблазнив работницу, вышвырнул ее за

дверь. Работница, естественно, плачет и сжимает кулаки. Где-нибудь снова появляется парадная заря. Обманутая клянется отомстить и кидается в пруд, а если действие происходит на сахарном заводе — в какую-нибудь наполненную водой яму.

Другой поэт ждет, пока работница, соблазненная и отвергнутая цинично смеющимся сыном фабриканта, родит Младенец обычно бывает мужского пола. Работница, задушив своего ребенка, вместо того чтобы задушить его отца, предстает перед судом. Этот сюжет излюблен в социальных драматургических произведениях. Далее все зависит от поэта. Либо он заставит присяжных осудить жертву-душительницу, либо оправдает ее. Решает тут авторская индивидуальность: то есть отрывал ли поэт в детстве мухам лапки или нет. Если он чувствителен, то освобождает обвиняемую, и она, рыдая, покидает сцену.

А вот еще одна излюбленная тема социальных стихотворений: шахтер рубает уголь, и кусок породы обрушивается на него. Перед тем, как отдать богу душу, он вспоминает о своей жене. Этим стихотворение и заканчивается. В нем ничего не говорится о том, что нужно наконец расквитаться с эксплуататорами пролетариата.

Пролетариат в этих стихах не более чем марионетка в руках поэта, а вместе с тем и в руках капиталистов, о которых поэт пишет.

Пролетариат вздыхает, пролетарии с грустными улыбками бродят по фабрикам.

*Идет рабочий по цехам угрюмыми шагами.  
К нам, друг, скорей!  
Поговори, засмейся грустно с нами.*

Грустные улыбки. И грустное повествование.

*Уголь в шахте мы рубали,  
Далеко вверху земля,—  
Про нее мы вспоминали,  
Про ее луга и дали,  
Чистый воздух и поля...*

Рабочие разговаривают о том, как холоден уголь, как он осыпается им на головы и как в это время шахтовладелец наверху, в замке, пирует среди зелени деревьев. Но о том, чтобы рабочим подняться наверх, в эту зелень деревьев, и взять то, что им принадлежит, что отнято у них пирующими, — об этом поэты не поют.

*Над трубами заводов дым.  
Я кровью харкаю.  
Но жду я бурю всей душой  
И песню жаркую.*

Ждут поэты, а с ними — рабочие и читатели.

Социальная литература должна обращаться к душам тех, кого она воспекает. А она говорит им об одном только ожидании. Вот-вот забрезжит алая заря.

*Мы ждем и верим: нас разбудит  
Багряно-розовый рассвет.*

Но выходит второе издание тех же стихотворений и опять:

*Мы ждем и верим: нас разбудит*

*Багряно-розовый рассвет.*

Колыбельная все время повторяется. Мне это кажется похожим на: «Спи, малютка, спи, глазоньки сомкни. Будет бог с тобою спать, ангел колыбель качать, спи, малютка, спи».

В социальных стихотворениях поэты препоручают народ великой заре и убаюкивают его вместо ангелочков.

*Усталость в темных улицах блуждает,  
Когда в изгибах крыш струится ночь.*

В социальных стихах много усталости, которая блуждает из строки в строку. Много грез выдумали социальные поэты.

Горизонт затянут тучами. Толпы отчаявшихся полегли под пулями. Крики подавлены.

*Когда злой ветер фонари качает,  
Голодным — лишь зубами скрежетать.  
Наверняка кому-нибудь сегодня  
Труп сына волны вынесут опять.*

Голодные люди ходят по улицам и скрежещут зубами, но у них не хватает смелости взять кусок хлеба. Почему? Этого не желают поэты. Если бы все люди насытились, такому поэту не о чем было бы писать. По его мнению, слово «пресытившийся» или «насытившийся» не годится в стихотворение. Впрочем, социальные авторы сами обречены на ту же судьбу, что и народ, о котором они слагают стихи:

*Сижу я над обрывом, лоб в ладонях,  
И на восток гляжу... Во мраке вьются  
Зарницы дальние: то малых душ порывы,  
То искры взрывов малых революций.*

Социальные поэты сами не знают, чего они хотят:

*Я хочу только выплакать душу  
И сложить тебе песню, народ.*

Это хоровод, который начинается грустью и вокруг грусти кружится.

*Вам, сынам кратеров черных,  
Вам, на севере, в душных могилах труда,—  
Вам песнь боли, вам песнь печали.*

Так говорит поэт, который в конце концов сам о себе поет, что он —

*Загубленная жизнь, души обломок,  
Отродье бедняков, отродье нищеты.*

Он поет лишь убогие песни, потому что иные песни не подойдут убогой хате.

Поет песни с ритмом болезненным, как тягостная жизнь тех, кому они посвящены.

Сплошные тяготы жизни, сплошные слезы, сплошное хныканье, — и это читается преимущественно рабочими. Такая литература воспитывает из них плаксивых баб, единственное утешение которых — воспоминания, слабая надежда, что когда-нибудь все же настанет какая-то новая заря. А покамест их

жены, по собственным словам поэтов, «дают миру новых рабов»...

Когда наконец мы услышим песни без фраз, когда наконец прочтем социальный рассказ без вечного хныканья и увидим на наших сценах настоящую социальную пьесу — пьесу о победоносном восстании, песню мятежа, гимн побеждающего пролетариата, а не смехотворную дребедень вроде социального стихотворения в жалком майском номере социал-демократов — «Сон павшего героя 48-го года о всеобщем избирательном праве...»

## Лечение ревматизма укусами пчел

Коренастый старый господин, сидящий за письменным столом, зевнул и положил перо. Это был пан Кржебек, княжеский лейб-медик в отставке, посвятивший себя теперь исключительно лечению суставного ревматизма и написанию своих исследований в этой области.

Он немного отдохнул, потом подровнял стопку бумаги и снова взялся за работу. Он написал:

«По моему мнению, каждый человек предрасположен к ревматизму, и потому важно в самом зародыше подавить его...»

— Ну, скажем, «его проявление», — пробормотал он и написал:

«...его проявление».

Стенные часы пробили десять.

— Хватит на сегодня, — сказал пан Кржебек. — Писать по два часа в день — вполне достаточно. Пожалуй, за пять лет закончу свой научный труд.

Он встал из-за стола и заходил по комнате, разговаривая сам с собой:

— Новые исследования... чепуха! Старые истины в новых одеждах... Да, да, у доктора Кржебека есть еще кое-что в голове... Решительно есть. Муравьиная кислота — пчелиный яд... Что у них общего? Мир бродит впотьмах, если говорить о химическом анализе пчелиного яда. Мир будет потрясен, когда доктор Кржебек выступит со своим новым методом. А глупые люди...

Тут пан Кржебек разволновался, гневно взмахнул рукой:

— Глупцы будут рады изничтожить меня, стереть в порошок! Утопить в ложке воды...

Пан Кржебек сбросил вазу, и она с треском разлетелась на куски.

Пан доктор замер, потому что дверь отворилась, и на пороге встала очень миленькая барышня в вечернем negligé.

— Папочка, — укоризненно сказала она, — на этой неделе ты бьешь пятую вазу.

— Ах, Эмми, — ответил пан Кржебек, — я просто задел локтем, и зачем вы ставите сюда такие хрупкие вещи! Эмми, вечерняя почта приготовлена на моем ночном столике?

— Да, папочка, иди ляг, а то разобьешь все вазы...

Пан Кржебек ушел в спальню и, улегшись в кровать, стал вскрывать и прочитывать письма.

Частные письма он откладывал, проспекты бросал в корзину, но одно письмо привлекло его внимание.

Он пробежал его глазами раз, другой, а в третий раз прочитал все письмо вслух. Оно гласило:

«Глубокоуважаемый пан доктор! Простите, что я осмелился обратиться к Вашей милости за советом. Имя Ваше, как специалиста в лечении ревматиз-

ма, было уже и раньше очень хорошо мне знакомо...»

— Хороший слог, — буркнул доктор и продолжал: «Посему прошу у Вашей милости медицинского совета. Я страдаю суставным ревматизмом, правда, не сильным, ибо полагаю, что это начальная его стадия. Позвольте ли Вы мне приехать и быть на излечении у Вашей милости? Покорно прошу ответить мне по адресу: Карел Глуза, частновладелец, Рожков».

— Я отвечу ему немедленно, — сказал пан Кржемек, — даже сегодня же. Почему бы мне не испробовать на этом человеке мой новый метод?

Он встал, надел халат и пошел в кабинет.

— Решительно я поставлю опыт на этом больном, — бормотал он, приготавливая бумагу и перо. Затем, подумав немного, он написал:

*«Глубокоуважаемый пан Глуза!*

*Меня чрезвычайно обрадовало доверие, какое Вы вложили в Ваше ув. письмо. Соизвольте приехать как можно скорее, ибо суставной ревматизм — недуг весьма серьезный. Нередко самое незначительное опоздание с лечением играет решающую роль. Заверяю Вас, глубокоуважаемый пан Глуза, что я буду иметь честь лечить Вас первого по моему совершенно новому методу; успех гарантирую.*

*С глубоким уважением*

*доктор медицины И. Кржемек».*

— Да, — воскликнул доктор, закончив письмо. — Мой новый метод!

Тут он стукнул кулаком по столу так, что чернильница подскочила.

Барышня опять появилась в дверях.

— Ах, папочка, ты ужасно шумишь, неужели нельзя обойтись без этого?

— Милое дитя, — ласково сказал доктор. — Я пишу письмо пану Глузе, частновладельцу из Рожкова, который приедет ко мне лечиться...

Барышня покраснела.

— Это имя мне ничего не говорит, — пролепетала она и покраснела еще раз. — Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи.

Почему покраснела барышня Эмми? История восходит к последней масленице, когда она гостила у тети в Праге. И лучшее объяснение этой истории мы найдем в записях пана Глузы, частновладельца из Рожкова, озаглавленных: «Самые прекрасные воспоминания о масленицах остались у меня от нынешней».

«Когда тебе тридцать лет, хочется повеселиться. В нашей глуши масленица проходит слишком однообразно. Я поехал в Прагу. По обыкновению своему, я стараюсь занимать место в купе для некурящих, я удачно выбрал купе: напротив меня сидела красивая барышня. «Красивая» — даже слишком слабое выражение. Блондинка, прекраснее всех блондинок мира, сидела напротив меня. Глаза голубые, прекраснее всех голубых глаз в мире. Волосы белокурые, как золото, самого прекрасного цвета в мире. И с этой красавицей я вступил в разговор. Она дочь доктора медицины И. Кржемека; как хорошая дочь, она безмерно хвалила таланты своего отца, специалиста в лечении суставного ревматизма. Едет в Прагу на масленицу. Остановится у своей тети. Танцы — ее идеал. Я сказал, что тоже очень люблю танцевать. Музыку обожает страстно. Я сказал, что живу для музыки. Любит пение. Я подчеркнул, что охотно пою. Умирает по театру. Я заметил, что сам играю в любительских спектаклях.

За разговором время бежало незаметно. Ее движение, ее фигурка, все такое соблазнительное... Судя по всему, я влюблен. «Увидимся на балу!» — многозначительно сказал я. Она возразила: «Позвольте, сударь!..» — «Ах, простите, — проговорил я. — Буду ли я иметь счастье увидеть вас?» — «Возможно», — ответила она, кокетливо улыбнувшись. Мне кажется, что я влюблен, потому что, выйдя из поезда, все время видел внутренним взором ее гибкую фигурку. Впрочем, посмотрим.

Продолжаю записи...

Она сказала, что будет жить на Виноградах, улица Коменского. Две ночи я дурно спал, все думал о ней. На третий день отправился искать ее дом. Она сказала — выкрашен в желтую краску. Такой дом я в самом деле нашел. У меня идея. Сниму поблизости комнату и целый день буду стоять у окна, а как увижу, что она вышла, последую за ней...

Судьба мне благоприятствовала. Моя новая комната, правда, не совсем напротив ее дома, а одним домом дальше в сторону, тем не менее мне отлично все видно. Уже полдня простоял я у окна. Если б не стеснялся, то и обедал бы на подоконнике, чтобы не пропустить ее.

Наконец, уже под вечер, она вышла с теткой, что весьма неприятно, как я сперва подумал, но потом успокоился, увидев, что они направились в театр. Билет — и за ними! Мое кресло было на шесть мест левее их. Она меня заметила. Я низко поклонился и улыбнулся. Она ответила небрежно, а тетка, видимо, спросила, кто это с ней поздоровался. Барышня прошептала ей что-то, тетя кивнула. Давали «Далибора», но я не слушал и все смотрел на свой идеал. Я влюблен не на шутку. Уверен в этом...

Она не может выйти на улицу, чтобы я тотчас не пошел следом. И удивительное дело — у меня не хватает смелости заговорить с ней, даже когда она одна. Я решил, однако, заговорить с ней как можно скорее.

Вчера решился. Подкараулил, когда она пошла на каток, и присоединился к ней у виноградского костела. Кажется, начал я хорошо. Встретившись с ней будто случайно у Народного дома, я сказал: «Ах, какой сюрприз, уважаемая барышня!» Но тут отвага покинула меня, и я понес нечто странное: «Прошу прощения, милостивая барышня, вы изволили упомянуть при нашем первом разговоре, что ваш пан отец занимается исследованиями в области суставного ревматизма...»

Но, оказывается, я затронул нужную струну. «О, конечно, — отвечала она. — Он с большим усердием и упорством посвящает свое время этому предмету». Начало разговору было положено. Всю дорогу мы говорили о ревматизме. С того дня болезнь эта кажется мне приятной...

Первый вальс! Вальс, который я танцевал с моим идеалом, с барышней Эмилией. В Жофинском зале сотни огней, но со мною звезда. Я высказывал ей свои суждения о ревматизме. Как жаль, что я не изучал медицину!

Костюмированный бал! Она тоже придет. У меня оригинальная идея. Я наряжусь подагриком, слуга будет возить меня в креслах, а в руке я буду держать костыль. А она? Она намекнула мне, что будет в костюме богини музыки. О Эмилия! Эмми!

Мы узнали друг друга среди сотен масок. Я сказал, что желал бы, чтобы отец ее лечил меня в ее присутствии. Она легонько стукнула меня лирой и возразила: «Мой отец не психиатр». Остроумная, обаятельная! К сожалению,

как «подагрик», я не мог танцевать.

Меня постиг страшный удар. Наутро после маскарада я проспал, а в это время моя дорогая Эмми — как интимно это звучит! — уехала домой. Я узнал об этом лишь сегодня, после того как три дня почти не отходил от окна. Она все не появлялась, тогда я зашел в ее дом и спросил у дворничихи. «Три дня как уехали!» Не сплю, все вижу ее перед собой. Сердце мое стучит, а когда удается уснуть, вижу сны о ревматизме...»

Остальные записи полны вздохами тридцатилетнего юноши, описаниями душевных волнений, отъезда в родной Рожков и словами: «Эмилия, Эмми, Эмми!»

Последняя запись гласит:

«Я должен ее увидеть! Решился на самое страшное. Буду симулировать суставной ревматизм и поеду лечиться к ее отцу. На войне и в любви не останавливаются перед ложью. Может, скоро увижу тебя, прекрасная Эмми!..»

Следовательно, нечего удивляться, что в тот вечер барышня Эмми покраснела, а очутившись в своей комнатке, вздохнула со словами: «И здесь нет покоя от этого противного человека!»

Через два дня пан Глуза предстал перед доктором, который весьма сердечно приветствовал подопытного пациента.

— Добро пожаловать, — сказал он, встряхивая руку своей жертвы. — Вы показывались ранее врачам?

— Да, — солгал пан Глуза. — Врачи находят суставной ревматизм в начальной стадии.

— Серьезная вещь, — бросил доктор, — очень серьезная. Вы, я вижу, прихрамываете на правую ногу?

— Да, колено, правое колено зудит, — сказал Глуза, — как будто муравьи ползают.

— Это только начало, пан Глуза, — назидательно изрек доктор. — Но смею уверить, мой новый метод излечит вас совершенно. Главное — не упустить время. Я уже все приготовил. Проходите...

Доктор открыл дверь, и пан Глуза увидел пустую комнату, посреди которой стоял только длинный ящик, а на стене висело какое-то одеяние, похожее на костюм водолаза. Все в этом одеянии было такое же, даже колпак с застекленными отверстиями для глаз, недоставало только дыхательной трубки. И еще стоял тут один стул.

Доктор позвонил.

— Сейчас придут служители, — сказал он, — и помогут вам раздеться. Мы должны немедля приступить к лечению.

Появились два здоровенных молодца.

— Разденьте пана донага, — приказал доктор.

— Позвольте! — воскликнул пан Глуза. — Я не предполагал...

— Ничем не могу помочь, — улыбнулся доктор, — цель оправдывает средства.

В две минуты пан Глуза был освобожден от одежды и сидел, подавленный, на кучке сложенных вещей, ожидая, что будет дальше.

— Сейчас мы наденем на вас вот это, — объяснил доктор.

Двух минут не прошло, как пан Глуза преобразился в водолаза.

— А теперь, — распорядился доктор, — положите пана сюда.

И он показал на длинный ящик.

Служители ввергли пана Глузу в ящик, и пан Глуза оторопело слушал повеление доктора:

— Принесите патентованный улей... Дорогой друг, — обратился он к пациенту, — мой метод весьма прост: я лечу укусами пчел. Вы слышите меня или надо кричать громче?

— Слышу, — простонал из ящика пациент.

— Вижу, вы человек сильного сложения, — продолжал доктор, с удовольствием созерцая пана Глузу. — Вы можете перенести пятнадцать жал в колено. Вы ведь сказали, правое?..

— Правое, — уныло подтвердил пан Глуза, — только оно почти не болит, может, массажик...

— Нет, нет, — перебил его доктор. — Болезнь надо задушить в зародыше. Прежде лечили муравьиной кислотой — пчелиный яд сильнее. Мы приложим к вашему колену секцию улья, раздражим пчел, они бросятся на вас и ужалят. Впрочем, служители будут вас держать...

— Выньте ту секцию, где пятнадцать пчел, — приказал доктор, когда улей принесли. — Так, теперь хорошенько держите пана за руки и за ноги...

Доктор нагнулся к жертве. Расстегнул патентованный костюм на правом его колене и, плотно прижав секцию с пчелами к самому колену, выдвинул заслонку.

Из ящика понеслись приглушенные вопли:

— Ой, Иисусе Христе, ой, господи на небеси!..

Служители крепко держали голову, руки и ноги...

— Можно отпустить пана? — спросил один из них спустя некоторое время. Доктор заглянул в стеклянное окошечко секции.

— Две еще не ужалили, — сказал он. — Подержите еще немного!

Потом еще дважды раздалось: «Ой, Иисусе Христе!», и доктор сказал:

— Готово, отнесите пана, заверните его в простыню и уложите в постель...

Через три дня, когда распухшее колено приняло нормальный вид, пан Глуза объявил, что совершенно здоров и в дальнейшем лечении не нуждается. И он уехал домой, где сделал следующую запись:

*«Жаль, что барышня Эмми — дочь доктора Кржемека, который лечит ревматизм укусами пчел... Но как же мне быть с сердцем?..»*

## Первомайский праздник маленького Франтишека

**М**аленький Франтишек с отцом живут в поселке «Новый свет», в одном из тамошних приземистых домиков. Иногда у отца бывает случайный заработок от продажи бумажных гвоздик, которые он делает вместе с сыном. В остальное время оба нищенствуют, и, когда Франтишек приносит мало крейцеров, отец нещадно расправляется с ним — бьет кулаком по лицу, приговаривая: «Эх, сын, сын!»

Слова «малыш» восьмилетний Франтик от него никогда не слыхивал, отец обычно называет его пащенком...

Франтик уже умеет пить водку, впервые он напился два года назад, когда ему было шесть лет, пропив два крейцера, которые нашел на улице.

Матери он не знал. Люди говаривали, что отец забил ее до смерти, но этого никто не мог доказать. Как-то Франтик по наивности спросил об этом отца. Тот избил его так, что мальчик неделю пролежал на кирпичном полу, под стареньким, пропахшем грязью плащом. В комнате у них всегда грязно, и если и бывает приятный запах, то только от водки, без которой отец не может обойтись.

Мальчик пьет тоже. «Выпей, сын, — не раз говаривал отец. — У нас демократия, слышишь, щенок? Ну, не реви!.. Капитал нас угнетает. Вот как дам тебе!.. Придушить надо было тебя еще маленьким... У одних деньги тьма, а у нас ни копыя. А ну, перестань реветь, пащенок чертов!»

Когда отец заводит речь о политике, Франта сразу начинает плакать, он знает, что отец так распалится, рассуждая о капитализме и демократии, что обязательно будет угощать его оплеухами, приговаривая: «Эх, сын, сын!»

Иной раз Франтику хочется, чтобы отца забрал полицейский, как забрали в свое время дедушку, который и сейчас сидит на Панкраце за то, что в престольный праздник украл в деревенской церкви чашу.

Дед был добрый человек, Франту он никогда не бил, только гладил по голове, а однажды даже вымыл внуку голову. И вот, извольте, отец выдал деда за литр водки. Ко всему оказалось, что чаша была медная.

Иногда к ним приходит дядюшка Калоубик. Отец вечно препирается с ним о трех пятаках, которые дядя несколько лет назад дал в долг покойной матери Франтика. Потом они мирятся и пьют водку прямо из бутылки, распевая песню «Кладбище, кладбище, садик наш зеленый...»

Бывают и другие гости: несколько профессиональных нищих, готовых обокрасть самого бедного бедняка. Гости шриходят после того, как Франтик и отец возвращаются из своего похода за подаванием. Это занятие совсем не претит Франтику. Он уже знает своих постоянных благодетелей, которые обычно подают ему милостыню, когда он детским голоском певуче жалуется, что семья у них восемь душ, отец слег, потому что на стройке упал с лесов, а мать увезли в больницу.

Глаза у мальчика такие искренние, добрые, голубые...

Франтику нравится звонить или стучать у дверей. Не нравится ему, когда подают не деньги, а хлеб — ломоть, который ему не съесть. Попробуй-ка принести отцу кусок хлеба, получишь такую оплеуху, что не поздоровится. И Франтик, поплевав на полученный хлеб, бросает его наземь и весело идет дальше.

В общем, нищенство — дело неплохое. Хуже бывает с бумажными гвоздиками, продавать которые иногда посылает его отец. Во-первых, их надо делать очень старательно, иначе товар не сбудешь. Из красной папиросной бумаги вырезаются кружки, по шесть на каждую гвоздику, и Франта завивает их в форме лепестков. «Сегодня, к примеру, мы делаем гвоздики для социал-демократов, — разглагольствует отец. — Каждый порядочный социал-демократ носит гвоздику в петлице, но плохонький товар у тебя никто не возьмет, шалишь! Понял, паценок? Вот как дам тебе по рылу!.. Разве это гвоздика? Не гвоздика, а веник! И зачем только я не утопил тебя еще маленьким, не злил бы ты меня теперь!»

Ловкие пальчики Франтика работают усердно, складывая алые бумажные кружки, которые вырезает отец. Цена бумажной гвоздике — три крейцера. Приятно под хмельком возвращаться домой в старой солдатской фуражке и с гвоздикой в петлице!

Отец сидит за столом, коптилка воняет, потому что в ней уже кончается керосин, а Франтик все еще усердно режет проволоку для «стебельков» гвоздики. Надо заготовить побольше гвоздик, завтра Первое мая, отец пошлет Франтишка продавать их на социал-демократическом митинге, где собираются сознательные, просвещенные товарищи.

У социал-демократов будут гвоздики в петлице, а у Франтишкова отца — похмелье. А у самого Франтика? Как обычно, опухшее от побоев лицо.

Коптилка погасла. Отец, работодатель сына, захрапел на полу. Ему снятся красные гвоздики, Франта и водка.

Завтра Первое мая! Франтик заснул над грудой красных гвоздик. Покойной ночи, Франтик, завтра Первое мая!

Утром отец повязал Франтику красный галстук и сказал, что раскровенит ему харю, если Франта зажилит из выручки хоть один крейцер. Тщательно сосчитав гвоздики, папаша дал Франте пинок в спину, и мальчик пошел продавать свой товар близ Стршелецкого острова.

Когда он вырастет, то научится насвистывать «Красное знамя», а пока, чтобы произвести на митинге хорошее впечатление, хватит и красного галстука. Вот, мол, какой юный борец за дело пролетариата! И до чего худенький, бедняжка! А как ему, будущему пролетарию, идет красный галстук!

— Купите красную гвоздику! — восклицает Франта.

— Дай сюда!

— И мне тоже!

— И мне! И мне!

Торговля идет бойко, коробка с товаром пустеет. Социал-демократы с гвоздиками в петлицах гордо отходят от Франтика... Сегодня торжественный день: Первое мая проходит под знаком всеобщего избирательного права в Австро-Венгрии.

— Эй, мальчик, тебе очень идет красный галстук. Дайка сюда гвоздику...

Франта распродал все гвоздики и зашагал домой. Отец наверняка уже ждет его и, коротая время, прикладывается к водочке.

Деньги позвякивают в кармане Франтишка, на душе у него весело, люди ему улыбаются, небосвод ясен. Около какого-то дома полицейский записывает фамилии жильцов, которые выложили на окна перины — вздумали их сегодня проветривать!

Неподалеку от своего дома Франта останавливается. Компания мальчишек играет в шарики, да не простые глиняные, а стеклянные, расцвеченные внутри, красные, желтые, синие, зеленые, фиолетовые. Шарики катятся и переливаются всеми красками. Загляденье!

Франта не устоял, вынул крейцер. Один из мальчишек презрительно сплюнул. Подумаешь, крейцер! Один шарик стоит два крейцера.

— Чего глаза вылупил, дурак?

— Хочу тоже поиграть.

— А деньги у тебя есть, зануда?

Ах, как хочется Франте сыграть в такие шарики! А в кармане у него много денег. Может быть, отец и не считал гвоздики...

— У меня есть деньги, ребята.

Франтика повели в лавку, где продаются шарики. Это был счастливейший день в его жизни. Он купил двадцать шариков, потом еще двадцать. Проигрывая, он любовался, как красиво они катятся и играют всеми цветами радуги.

Так Франта постепенно разменивал выручку за красные гвоздики на цветные стеклянные шарики. Какое удовольствие глядеть, как они катятся, сверкая на солнце! Сколько радости!

Мимо проходили участники митинга с красными гвоздиками в петлицах, наверное, купленными у Франты. А он все играл и проигрывал...

Потом мальчик пошел, купил еще шариков и снова играл, беззаботно тратя выручку...

К вечеру смертельно бледный Франтик вернулся домой и отдал отцу скудный остаток денег. Отец избил его так, что мальчик не мог двигаться.

Потом отец снял с него галстук, нацепил его сам и, с гвоздикой в петлице, ушел в трактир, потому что было Первое мая, и он, как пролетарий... и т. д.

Франтик плакал и перекладывал из руки в руку два красивых стеклянных шарика, оставшихся у него после недолгого счастья игры.

Так прошел для него этот первомайский праздник.

## История о выборах

Редакторы социал-демократической газеты в присутствии издателя составляли предвыборное воззвание.

Редакторов было восемь, и вид у всех был кровожадный.

Толстый редактор сказал: «Нужно ошеломить общественность».

— Да, конечно, в воззвании должно быть побольше огня, — согласился тот, что был потоньше.

— Речь идет в первую очередь о финансовых интересах газеты, — с мечтательным выражением лица заметил издатель.

— Несомненно, — сказал толстый редактор и начал диктовать низенькому человеку: — В нашей организации состоит сто тысяч членов.

— Напиши лучше пятьсот тысяч, — посоветовал издатель.

— Шестьсот тысяч, — предложил худой редактор.

— Значит, так: в рядах нашей партии шестьсот тысяч членов!

— Будь что будет, — воскликнул издатель, — разразимся громом и молнией.

— Расколом черепа, — добавил худой, поглаживая бороду.

— Но ведь это догматизм, — заметил философствующий редактор.

— Наши товарищи без всякого нажима воспримут противоречие между собственным «я» и остальным миром.

— Сейчас, перед выборами, нам надо выступать резче.

— Мы должны быть грубыми. Бейте, убивайте, не жалейте никого, — пропел длинный редактор.

— Мне в драке мешают габариты, — попробовал пошутить толстый.

— Твой живот возвышается спереди, — сказал философ, — а это уже трансцендентный идеализм...

— Бросьте шутить, ребята, — сказал издатель. Он называл их ребятами всегда, когда был в хорошем настроении.

— Мандаты бы поделите между собой, — сказал толстый, — жаль, мне еще нет тридцати, а то бы я тоже получал в день по золотому.

— Вот эти ботинки мне сшил один наш товарищ, — сказал издатель. — Ботинки добротные и хорошо носят. Он уже десять лет снабжает обувью всю нашу семью. Светлая голова этот сапожник — умеет так подобрать цвета для летних туфель, что они хорошо гармонируют. Например, серое полотно с черными лакированными полосочками. Давайте сделаем его депутатом.

Теперь они обсуждали, кому выдать мандаты.

Толстый редактор требовал, чтобы депутатом сделали одного товарища, с которым он играет в тарок и который обыграл самого короля тарока Куртца! Если товарищам депутатам будет в парламенте скучно, он мог бы научить их нескольким любопытным карточным фокусам, таким интересным, что, если сейчас о них рассказать, это показалось бы газетной уткой. Кроме того, он чревовещатель и в парламенте это его свойство можно использовать для запугивания противников. Например, ни с того ни с сего может показаться, что политический противник во время своего выступления ревет, как бегемот. А делается это животом. Или он мог бы, например, сбивать с толку депутатов противника во время голосования. Устроить, к примеру, так, чтобы депутаты и вправду подумали, что премьер-министр хрюкает. Ведь это могло бы повли-

ять на судьбы империи.

Худой редактор тоже предложил кандидатуру одного замечательного человека. Он-де знает его много лет и утверждает, что нет такого высокого чина, у которого бы этот прекрасный человек не брал в долг. Его выберут хотя бы затем, чтобы получить обратно свои деньги. Суточные депутата будут для них хоть какой-то гарантией. И вообще он человек самоотверженный. Своих политических противников норовит придушить прямо в трактире и при этом утверждает, что сам он идеалист. Он так же, как и Маркс, убежден, что только материальные отношения влияют на развитие истории, и поэтому ищет себе богатую невесту. В качестве депутата ему было бы легче ее найти, и поскольку это хороший товарищ и личный друг редактора, было бы желательно сделать его депутатом. Надо выставить его кандидатуру.

Низенький редактор заявил, что было бы желательно сделать депутатом одного спортсмена, который лежа выжимает сто пятьдесят кг. Он прекрасно разбирается в классической борьбе, а также великолепно владеет английским, ирландским и британским стилями бокса.

— Нам нужны сильные люди, — заявил редактор, — которые могли бы, если это потребуется, поломать в парламенте кресла. Атлетическая фигура этого товарища нагонит на правительство страху. Топор надо выбирать по дереву. Таким топором и будет этот товарищ. Он обладатель двух медалей по тяжелой атлетике и мало того что победил в международных соревнованиях одного негра, но еще и сделал из него социал-демократа. Победенный негр, лишившийся чемпионского титула, до сих пор подписывается на социал-демократические газеты.

Черноволосый редактор сказал, что он тоже знает одного прекрасного товарища. Грех было бы не выставить на выборах его кандидатуру. Он встречается с ним в кафе и знает, какой это начитанный человек. Этот товарищ написал книгу о воспитании детей в будущем социал-демократическом государстве. В ней он предлагает, чтобы Первого мая лучшие ученики социал-демократы, одетые ангелочками, выстраивались у редакции социал-демократической газеты, где им вручали бы книжки в красных обложках и красные галстуки. Это очень образованный товарищ. Сейчас он собирается писать трактат о приказе как социал-демократическом средстве воспитания. У него доброе сердце, и он говорит, что хотя социал-демократы пока еще не достигли совершенства, до совершенства им не хватает сущего пустяка — иметь собственных министров.

Так распределялись мандаты. Это был генеральный штаб, который решал, кого сделать депутатом. Не были забыты ни личные друзья, ни товарищи, которым присутствующие были чем-то обязаны.

Черт побери, кого же еще сделать депутатом? С минуту казалось, что кандидат для последнего округа так и не найдется.

Редакторы повесили головы, как вдруг поднялся издатель.

— Товарищи, — сказал он, — давайте сделаем депутатом нашего служителя Гарна. Он добрый малый. Недавно просил, чтобы ему повысили зарплату, а ведь так еще лучше. Будет получать суточные. Человек он очень порядочный. Когда бы мы ни посылали его за копченым мясом, он никогда нас не обманывал и всегда приносил все, что нам хотелось. Хочется постного, принесет постного, хочется с жирком — пожалуйста. Даже если за пивом пошлешь, и то по дороге не отопьет. В социализме он, правда, не разбирается, но голова у него

на месте. Мы напишем ему речь для избирателей, он выучит ее наизусть, прибавит кое-что от себя, избиратели за него проголосуют — и вот он уже депутат. Он сможет, например, продавать в парламенте и перед зданием парламента красные гвоздики или сосиски своим коллегам — товарищам депутатам: «Сосисочку с хренком не желаете?» Сгодится он и для контрольных обходов округа, научим его фехтовать и если кто из оппозиции нас оскорбит, пошлем Гарна, чтобы тот вызвал его на дуэль. Речи произносить он не будет, а будет только голосовать вместе с нами. Ну, а поскольку у него громкий голос, он сможет выкрикивать разные антиправительственные лозунги, чтобы всем казалось, что мы готовы разнести государство на куски.

Издатель подошел к телефону и позвонил в проходную:

— Сейчас же пошлите к нам Гарна!

Когда вошел Гарн, все сидели с серьезными лицами, а издатель сказал:

— Дорогой Гарн, исполнительный комитет социал-демократической партии решил выставить твою кандидатуру на выборах в депутаты парламента.

Гарн побледнел.

— Господин товарищ, — сказал он, — я ведь дурак.

— Не важно; того, что ты знаешь, вполне достаточно, чтобы быть депутатом. Мы определим тебя в такой округ, где ты обязательно победишь. На собраниях избирателей можешь говорить все, что тебе угодно. Да кроме того, речь я тебе и так напишу. Ты знаешь, что такое коллективизм?

— Нет, господин товарищ.

— Ну, как бы это тебе объяснить? Короче, на собраниях можешь говорить, что в нашем социал-демократическом государстве все будет устроено так, что приходишь ты, например, в магазин и говоришь: «Дайте мне пять плавленых сырков за четверть часа работы...»

— А шесть сырков за сколько?

Редакторы рассмеялись.

— Это я тебе потом объясню. За пять минут работы кружка пива и т. д. На собраниях можешь говорить, что угодно, ну, к примеру, что мы добиваемся, чтобы конина продавалась бесплатно.

— Нынешняя избирательная кампания обещает быть веселой, — заметил толстый редактор, после того как Гарн ушел. — Да, все-таки до слез жалко, что мне еще нет тридцати. Я бы подложил на живот подушку и произвел впечатление даже на капиталистов.

— Настоящий мужчина должен занимать достойное место, — сказал редактор-философ, — и настоящие мужчины всегда поддержат шутку.

— В нашей организации состоит шестьсот тысяч членов, — снова начал диктовать предвыборное воззвание толстый редактор.

Издатель чихнул.

— Вот, значит, так оно и есть, бог правду видит, — сказал худой редактор, и все они, как один, дружно рассмеялись.

## Бетярская повесть

Кигио и Техер лежали во мху под раскидистым дубом и кляли целый свет, а в особенности — деревенского старосту.

Эти парни — лет тридцати от роду — принадлежали к той касте мадьярских простолюдинов, которая носит звучное имя «бетяры». Бетяром называют либо человека, пасущего скот, либо вообще шалопаю, мазурика — словом, изрядного прохиндея.

Кигио и Техер, помимо того, что пасли свиней, были еще шалопаи и прохиндеи — иначе говоря, бетяры высшей пробы, — из тех, что расстаются со своей короткой трубкой, лишь попадая за лихие шалости в тюрьму, где взамен обычных для них серых портов и куртки получают серое арестантское платье.

В настоящее время они богохульствовали — дело, которое у подобных им достославных людей занимает, как правило, добрую треть всей их жизни.

Кигио только что наслал проклятие на деда старосты, а Техер в это время вспомнил, что еще не проклял старостову тетку.

Кигио сразу же спровадил в преисподнюю мать старостовой тетки, — но сверх того, сколько оба ни старались, вспомнить ни одного живого родственника старосты так и не смогли, и Кигио торжественно провозгласил «Mindt ögöke, amen» (во веки веков аминь!).

Вокруг них, в дубняке, паслось стадо свиней со всей деревни Талом, — свиньи визжали, хрюкали, рыли землю в поисках желудей; в разных местах сновали и крутились поросята; в полустоячем озере валялись хряки, блаженствуя в темной трясине, холодившей их толстую кожу, распаренную жаром солнечного дня.

Каких только мастей тут не было! От розовой и почти голой кожи до черных завитков кудрявящейся шерсти. Боровы, хряки, супоросые свиньи... грозно хрюкали вепри с клыками, которыми отталкивали остальных, любвеобильно похрюкивали толстые племенные матки, то и дело питая своим молоком жадно льнувших к ним сосунов...

Вокруг носились две собаки той породы, какая используется обыкновенно при пастьбе свиней и была получена когда-то скрещиванием собаки с волком.

Они носились, лаяли, оскаливали зубы и тем удерживали в повиновении все стадо, благодаря чему оба бетяра могли полеживать под сенью дуба и даже не протягивать рук за кнутами, брошенными на мох.

Один раз Техер все же поднял кнут — когда мимо пробежал кабанчик старосты. Поднял и ловко вытянул им кабанчика по спине так, что тот с визгом кинулся искать желуди в другом месте.

Излив таким образом злость на собственность старосты, Техер опять удобно растянулся на земле, выпустил изо рта дым и, глядя, как он медленно тает в безветренном воздухе, убежденно сказал:

— Сам-то он кто, этот староста? Пропойца. Пропойца, и больше никто. И он мне, видишь ли, будет запрещать жениться на Гомлоковой Франтишке!..

— Как, ты сказал, все это у вас было? — отозвался, став вдруг серьезным, друг его Кигио.

— А было так. Два года я люблю Франтишку, а она меня. Я к ним захоживаю. Ведь, сам знаешь, Гомлоковы кабаны для меня — первые свиньи, на луч-

шие места вожу... Ну, старик Гомлок ничего, не против, все говорит: «Пускай ты, парень, и простой бетяр, что из того, я тоже был бетяром. Да дело разумел. Свиной, которых получал в уплату, выкармливал и хорошо сбывал. Моих свиной охотно покупали. Гомлоковых кабанчиков и поднесь вся Зала помнит. Бывало, что и украдешь какого, а свалишь на медведя или волка. Подкопишь денег — покупаешь новых; выкормил — и опять же пользу взял. Двадцать лет так бился, пока не сколотил наконец столько, что и мужик-хозяин отдал свою дочку за бетяра. Отчего и мне теперь не отдать за тебя свою? Ты только знай работай, не ленись».

Все было на мази. А тут третьего дня, как пригнали мы стадо, ты пошел пропустить чарку — я, как обыкновенно, к Гомлокам. Смотрю, сидит старый Гомлок в горнице, а против него — здешний староста Нарва.

И так они заговорились, что не видели, как я вошел. Сел я в углу, за печкой, и стал слушать.

— Мой Ференц, — начал староста про своего сына, — по твоей Франтишке сохнет.

— Пустое дело, — Гомлок ему в ответ, — я уж ее обещал...

— Болтают, Гомлок, что ты собрался отдать дочь какому-то паршивому бетяру.

Я было хотел вскочить, но тут подумал: «Что на это скажет старый Гомлок?» Прислушиваюсь, а он говорит:

— Так ведь и Бирка отдал свою дочь паршивому бетяру, к которому ты теперь пришел.

Староста растерялся.

— Ты-то был не простой бетяр; Техер — совсем другое дело. Никто не знает, чье это отродье. Говорят, цыганское. Мать у него беспутная была — девка из господской дворни. Как жила, так и померла: хлестала горькую, пока не окачурилась...

Слышу, Гомлок на это:

— Ну, кто помер, тот уже покойник, а ведь и ты, староста, в Фараде одну испортил. Ребенок помер... Да и как было тебе на ней жениться, когда ты уже был с другой повенчан? А пить мы все пьем. Вино сотворил бог, а только ты вот пьешь не по-христиански.

— Выходит, отдаешь дочь процельге Техеру?

— Намереваюсь отдать.

— А что он вор, знаешь? Вот давеча пропала племенная матка...

— Как не знать, сам небось был бетяром.

— А что он на мирские деньги нанятый и я могу его погнать отсюда, тоже знаешь?

— Знаю и это. Да бетяр нигде не пропадет...

Тут староста озлился и ушел, а я тогда вылез из-за печки и говорю:

— Я слышал, что вы говорили. Отдашь, стало быть, за меня Франтишку?

— Отдам, — говорит Гомлок, — только сперва со старостой поквитайся, за себя, за меня и за всех бетяров.

— Ну, что ты скажешь, Кигио?

— Красного петуха ему пусти, — стал советовать Кигио. — Подкарауль и пырни ножом...

Техер покрутил головой.

— Это все не то. Зря только грех на душу брать, — невозмутимо выпустил он изо рта клуб дыма.

Потом, не поднимая головы, начал насвистывать и наконец затянул песню.

Это была одна из бетярских песен, о том как посреди степи стоял трактир, а у молодой трактирщицы была пригожая племянница. И полюбилась эта самая племянница бетяру. А трактирщица отвела ее зимой далеко в степь, чтоб сгубить, потому что не хотела отдать удалому бетяру.

Прознав про это, завернул он в тот трактир, да и вогнал прямо в сердце трактирщице нож.

Кигио подпевал, а потом щелкнул кнутом.

В дубняке удлинялись тени деревьев. Лес понемногу затягивало вечерним сумраком. Наступало время гнать стадо домой. Бетяры свистнули собакам, поднялись и загикали:

— Гей-га, гей-го!

Свиньи заволновались. Валявшиеся на траве или в трясине вставали и присоединялись к остальным.

Собаки бегали вокруг и заставляли их сбиваться в кучу.

— Гей-гей!

Защелкали кнуты так, что эхо в лесу прогудело ружейным выстрелом: «Праск!»

И стадо потихоньку тронулось.

Староста Нарва имел скверную привычку, выйдя откуда-нибудь, останавливаться под дверью и прислушиваться, не скажут ли чего о нем. Выйдя в тот раз от Гомлока, он тоже остановился и прислушался, не заговорит ли Гомлок сам с собой. И тут, к своему изумлению, услышал голос Техера, а затем и ответ старого Гомлока: «Отдам за тебя Франтишку, только сперва со старостой поквитайся, за себя, за меня и за всех бетяров».

Полуживой от страха, староста еле добрал до дома и заперся в горнице. Забыл и трубку, не заглянул ни разу в жбан с вином, не отвечал, когда к нему обращались, лег в постель и не мог уснуть.

Страх перед мезтью Техера оживил в его памяти слышанную некогда историю о бетярах давних времен, которые на Мадяр Пусте[25] насадили хозяина на вертел и изжарили.

Мысль о жестокости этих людей не давала ему покоя. И вот на следующий день, собравшись с духом, он отправился просить совета у деревенского нотариуса.

Нотариус, человек еще очень молодой, который лишь недавно по окончании курса расстался с шумным городом и открыл здесь свою маленькую контору, принял испуганного старосту учтиво.

У нотариуса была добрая сливовица, отчасти скрашивавшая ему деревенское одиночество, и после пятого стакана несчастный староста смог наконец приступить к изложению цели своего визита.

— Плохи мои дела, ваше благородие. Завтра могу с перерезанным горлом проснуться.

— Тогда-то вы, положим, не проснетесь, — резонно заметил начинающий нотариус и улыбнулся.

— Можно и по-другому извести: придушить или же, скажем, утопить... по-

весить, застрелить, располосовать... Ужас берет!

И староста отер лоб рукавом рубахи, служившим ему вместо носового платка.

— Странное вы что-то говорите...

— Теперь вы меня, ваше благородие, видите живого, а через час, может, найдут мертвого. Один бог знает, что надо мной учинят.

— Да кто, кто учинит-то?

— Бетяр, ваше благородие.

Нотариус нахмурился. Ему было известно, что с людьми этого рода шутки плохи.

— Он угрожал вам?

— Мне самому Техер покуда не грозил...

И Нарва рассказал, что произошло у Гомлока.

— Ну, что он будет мстить, это точно. А месть у них, у бетяров, ужасная. И зачем только Ференц меня посылал!.. — причитал староста, — сочтены, видно, мои денечки.

Нотариус почесал лоб.

— Арестовать, что ли, Техера?..

— Сохрани бог, ваше благородие, да это все одно, что мученический венец себе уготовить.

— Может, пойти поговорить с ним мне?

— Я дам священнику два гульдена, чтоб он за вас молился, когда вы пойдете.

При всей серьезности положения, нотариус не мог сдержать улыбки.

— Меня-то он не тронет. Сейчас вот и пойду. Куда они выгоняют?

— В долину Мергеш[26].

Нотариус пустился в путь, провожаемый изъявлениями благодарности своего клиента.

За деревней поднялся на взгорок, потом проселком стал спускаться к дубнякам, и по мере приближения к долине Мергеш чувствовал себя все более неуверенно. Энергичная поступь сменилась вялой и развинченной... Он закурил и не спеша побрел в том направлении, откуда доносился лай и хрюканье.

Как и вчера, Кигио и Техер лежали в тени дуба. Кигио спал, удобно растянувшись на разрытой земле; Техер, посасывая трубку, думал о том, как отомстит.

В этом состоянии и нашел их нотариус, нерешительно приблизившийся к дубу.

Техер дал Кигио тычка, и оба они, приподнявшись, сели.

— Добрый день, — поздоровался нотариус, останавливаясь совсем близко от их вытянутых босых ног.

— День добрый, — отвечали они небрежно.

— Приятно полежать, правда? — пытался молодой нотариус наладить разговор — ему было не по себе в этой обстановке.

Собаки прыгали вокруг как одержимые. Кигио отогнал их кнутом и снова лег.

— Сегодня, кажется, не очень парит, — продолжал нотариус.

— И то сказать, сегодня не так чтобы очень жарко, — отозвался Техер.

Нотариус отважился:

— Я к вам, голубчик, насчет старосты.

Техер не отвечал ни слова. Ободренный этим, деревенский нотариус продолжал:

— Ему случайно стало известно, что разговор его с Гомлоком был истолкован вами превратно. По поручению старосты я должен заявить, что он произнес те слова в состоянии аффекта — сболтнул, так сказать, спьяну...

— Выходит, этот пропоец меня боится?.. — спросил бетяр, поднимаясь на ноги.

Вопрос был задан так прямолинейно, что оставалось лишь ответить «да».

— Ну, это хорошо!

— Так что передать старосте?

— Что это хорошо...

Глаза у Техера сверкнули, и он снова лег.

Нотариус, успокоенный, ушел, а староста, узнав, чем кончился поход, в отчаянии опустил на лавку.

— Если бетяр говорит: «хорошо», значит, он сделает, что задумал. Меня ничем уж не спасти, ваше благородие.

Когда вечером Техер рассказал о посещении нотариуса Гомлоку, тот бесстрастно заметил:

— Все равно же ты отомстишь, сынок.

— Отомщу, — будь покоен, — ответил бетяр.

Минуло лето, наступила осень, и пришла зима; землю накрыло снегом. Техер в своей хибарке, на краю деревни, думал о том, как отомстит. На дворе все искрилось от мороза, а сердце Техера пылало жаждой мести. И согревало это так, словно в потрескивающее пламя подбрасывали несчетные поленья.

Старосту между тем иссушал страх. Он чувствовал себя, как приговоренный к смерти, не знающий, когда за ним придет палач. От бетяра, которого он подверг поношению, не приходилось ждать пощады.

В один из зимних дней Нарва подался в город составлять духовное завещание. Как ни оттягивал он эту процедуру, иного ничего не оставалось.

А одновременно со старостой в город другой дорогой входил Техер, все эти дни не выпускавший старосту из поля зрения.

Близилась масленица. И надо было отомстить, чтобы затем сыграть свадьбу. В чем будет заключаться месть, он еще сам не знал, но что она будет жестокой, в этом мог поклясться.

В городе Техер потерял старосту из виду; расстроенный, побрел в трактир, откуда вышел уже вечером, вскоре после того, как староста отправился в обратный путь.

Между тем оформление своей духовной Нарва отложил, поскольку сразу по его приходе в город таким теплом пахнуло из одной распивочной, что невозможно было пройти мимо, и он решил согреть себя глотком вина. В распивочной, конечно, одним жбаном он не ограничился, пил долго и вышел потом, когда на заснеженную равнину уже опускался вечер.

На востоке, где лежала его деревня, сумрак заметно сгущался. Все быстрее надвигалась оттуда зимняя ночь, меж тем как с запада начинал заметать на восток снежный буран.

Опьяневший староста плохо различал дорогу. Вино и снег отягощали ему путь.

Тяжелый тулуп становился все тяжелее, потому что снег падал безостановочно.

Снег облеплял усы, подтаивал от теплоты дыхания и смерзался в сосульки под наскоками ледящего ветра.

Вокруг не было ничего, кроме снега, которого все прибывало и по которому так трудно шагалось.

Ноги в этом сыром снегу скользили и разъезжались, пока, наконец, Нарва не упал.

Он сделал попытку встать. Попытка удалась ему, но тут налетел ветер и словно бы принес с собой ужасную усталость. Нарва упал лицом в наметенный сугроб.

Снег под ногами таял, и сапоги у Нарвы так же, как усы, покрылись ледяной корой.

Нельзя было подняться на ноги. В мутнеющем сознании мелькнуло, что он замерзает. И показалось вдруг, что на дворе тепло, весна, а он прилег на разогретую солнышком межу...

Тут кто-то стал его трясти, поставил на ноги и поддержал, не давая упасть.

— Ну шевелись, что ли, пропоец старый!

— Оставь, — пролепетал Нарва, стараясь снова лечь.

— И надо бы тебя оставить, чтоб ты тут замерз, — ворчливо произнес знакомый голос, — да не могу я этого.

Сильные руки подхватили старосту, и человек, взявший его в охапку, зашагал к деревне.

Староста слышал, как идущий клял его, потом забылся сном... Проснулся он уже в своей постели, под пуховиками.

— Что это? — изумился он.

— Ты лежал на снегу. Техер нашел тебя и принес к нам, — отвечал Ференц, поднося к самым губам отца бутылку со сливовицей.

Когда молодой бетяр пришел к Гомлоку и рассказал, что произошло, старый Гомлок, сам некогда бетяр, не мог удержать слез.

— Долго ты ждал, пока придет твое время отомстить... вот и дождался, — проговорил он сквозь слезы. — Вы, молодые, лучше нас. Будь это я, остался бы он на снегу... А только Франтишки тебе уж не видать.

Такова бетярская повесть.

Готов поклясться, что и все бетяры — будь то кондаши или же канаши, будь те, что выгоняют кабанов на плато бодачоня, — люди одной породы.

## Трубка патера Иордана

Такой во всем монастыре ни у кого не было. До того необыкновенная, что даже старый настоятель, имевший коллекцию трубок, не мог на нее надивиться. А в коллекции у него были трубки разной формы и разных народов: маленькие, большие; трубки из дерева, из глины, из фарфора, из металла, из морской пенки, из разных материалов; трубки с украшениями резными, литыми и чеканными; трубки с красивой блестящей металлической оковкой; трубки эмалированные; были здесь трубки исторические — например, трубка шведского офицера, участника Тридцатилетней войны, который был отнесен, раненный, в монастырь, где и умер; трубки французских солдат, трубки матросские, короткие, с гнутой куркой; персидские, турецкие и индийские чубуки, придававшие всей коллекции формой своей и пестрыми золочеными украшениями из красной кирпичной глины восточный колорит; два кальяна с змеевидным мундштуком из сверкающих металлических чешуй, заставлявшие настоятелева прислужника Анатолиуса при взгляде на них всякий раз креститься, в глубине души называя их грешными, так как, может быть, из них курил, взяв в рот вот этот змеевидный мундштук, какой-нибудь нехристь турок, окруженный полунагими гурийками своего гарема. Прислужник всегда старался эти две трубки окружить благочестивым соседством. Это благочестивое соседство составляли обычно памятные фарфоровые трубки из разных паломнических мест: «На память о Святой горе», «На память о Вамбержицах», «На память о Голгофе» и т. п.

Но все эти трубки, с сосудом для воды или без него, с длинными, короткими, вырезанными чубуками, с гладкими и точечными мундштуками из разного материала, решительно все — а их была пропасть! — имели с трубкой патера Иордана одно общее назначение: чтоб из них курить и курить.

Трубка патера Иордана была не длинная и не короткая и походила на замковую башню, круглую, с зарешеченной галереей. Но что особенно оригинально, удивительная трубка эта имела три отверстия — да, три отверстия, закрывающихся сильной пружиной, которая щелкала так, словно спустили курок ружья. И три отверстия эти были разбросаны по ее цилиндрическому телу, одно — внизу, второе — посередине, будто окно замковой башни, а третье — наверху.

Никто во всем монастыре не знал, зачем, собственно, нужны эти три отверстия.

Великая тайна окружала трубку патера Иордана, тайна, непрестанно, но безрезультатно обсуждаемая братией во время бесед в монастырском саду.

Другая тайна заключалась в следующем: как эта трубка зажигается?

Патер Иордан никого в эту тайну не посвящал, даже от настоятеля отделивался, когда тот пытался разведать, к какому отверстию нужно подносить спичку — к первому, второму или третьему, — зажигая трубку. В тихой обители воцарилась необычная тревога. Священнослужители, умеющие распутать любую, самую трудную и сложную религиозную проблему, знающие и ведающие, что означает любой крючок, любая черточка над письменами старых еврейских и сирийских рукописей, с недоумением качали головой, не зная, не умея проникнуть в эту тайну.

Все произошло как-то неожиданно. Патер Иордан, до тех пор преспокойно

куривший гипсовую трубку, зажигая ее каждый раз на монастырской кухне от огромной печи, которая приготавливала патерам столько хорошего, уехал хоронить дядю. И вернулся с этой вот удивительной трубкой. Удивительной и окаянной! А патер Флавиан, так тот в конце концов назвал ее другим словом — похуже, чем «окаянная»... Первый раз в жизни выругался, и на него было наложено строгое покаяние.

Мир покинул тихую обитель. Новая трубка отняла у всех душевный покой; только патер Иордан, появляясь с нею в саду, как ни в чем не бывало улыбался, разгуливая по дорожкам, где скрипел под ногами желтый песок, и на все вопросы насчет трубки отвечал:

— Подумайте, *amice!*[27]

Ему легко было говорить «подумайте», ему, досконально знавшему ее устройство, а каково им?!

— Как эта трубка зажигается? — спрашивал его настоятель уже в третий раз.

Но патер Иордан, улыбаясь, вежливо отвечал:

— Извольте подумать, *reverendissime!*[28].

И продолжал свою прогулку по саду, улыбаясь и куря загадочную трубку, останавливаемый патерами, которым ласково отвечал:

— Подумайте, *amice.*

Когда он зажигал ее и где?.. «Когда?» Она была такая вместительная, что он делал это только два раза в день: утром и вечером. «Где?» В своем монастырском покое, который нельзя было назвать кельей. Этот орден никогда не предъявлял к своим членам строгих требований.

«Когда?» С этим было связано новое беспокойство. Видя, что патер Иордан ушел зажигать свою трубку, братия принималась безрезультатно стучаться в дверь его комнаты.

Он запирался. И было слышно только чирканье спичек. Следили, не погаснет ли у него трубка во время прогулки и не постарается ли он зажечь ее где-нибудь в саду, в укрытии; выпускает ли он изо рта сильные или слабые облака голубого дыма; окружали беседку и все кусты в надежде, что трубка начнет гаснуть, вот-вот погаснет совсем, и патер Иордан не захочет возвращаться к себе в комнату, а зажжет ее где-нибудь здесь!

Но нет. Он только дразнил их любопытство. Вдруг раздует трубку и, расхаживая по саду, говорит каждому:

— Замечательная трубка, *amice.*

Но что им было до ее замечательности, когда они не проникли в ее тайну?

Куда девались мирные послеобеденные прогулки в монастырском саду, с разговорами обо всем на свете, такими тихими, как шум старых деревьев над головой? Беседы о священных предметах, о новых церковных службах, обсуждения проповеди, произнесенной тем или другим из них в воскресенье?

Все уплыло, отошло в прошлое.

Вместо тихих слов: «Какого вы мнения о пастырском послании?» — непривычно громыхало: «По-моему, она зажигается снизу», «Нет, нет! По-моему, сверху!», «Где? Посредине!»

В конце концов достойные патеры стали относиться с небрежением к повседневной службе. Утренние молитвы читались наскоро. Раньше при чтении молитвенника все мирно дремали, а теперь спать не спали и молиться не

молились.

А проповедь! Если прежде молящиеся, посещавшие монастырский костел, не понимали иных произносимых патерами проповедей, то теперь не понимали ни одной.

Отрывочные фразы (я не говорю уж об отсутствии логики, ее обычно в проповедях не бывает), перескакивающие безо всякой связи с одного предмета на другой, звучали совершенно невразумительно для душ верующих, не давая им опомниться от изумления.

И не только патеры лишились покоя. Тревожное состояние передалось мирянам и простым монахам,хватило брата кухаря, который стал задумываться и портить пищу. Неслыханное дело! Во время богослужения монашеский хор не пел уже с прежним усердием. Голоса то и дело звучали вразнобой.

Новый слух прошел по галерее: настоятель хочет обладать этой трубкой!

Он и в самом деле хотел этого и давал за нее Иордану драгоценный чубук с золотыми украшениями.

Снова галерею облетело известие: о том, что возразил патер Иордан на это предложение.

— Reverendissime, — сказал он, — это единственный предмет, отказанный мне покойным дядюшкой, единственная память о брате моего покойного отца. Я не могу отдать эту трубку, reverendissime.

Известен и ответ настоятеля.

— Милый Иордан, придется вам все-таки отдать ее мне. Неужели эта трубка заставит вас пренебречь своими обязанностями?

Патер Иордан улыбнулся. До сих пор он ни разу не пренебрег ни одной своей обязанностью.

Но вот однажды он пошел в садовую беседку и закурил там трубку; думая, что никто его не видит, вынул из кармана молитвенник с красным обрезом и стал молиться, покуривая и прочитывая страницу за страницей.

Но о молитве не думал. Он так привык к своей удивительной трубке, что не мог ни на минуту с ней расстаться.

Она помогала ему разгонять скуку, навеваемую нудным содержанием молитвенника. Остальная братия разбрелась по саду, а патер Иордан громко молился, выпуская изо рта облака дыма:

— Пошли мне, господи, мир душевный, ибо что ты делаешь, то добро. Не успокоить духа суете мирской. Повседневный опыт учит нас, кто много имеет, тот стремится к большему. Отсюда вывод: нельзя ли мне честным путем улучшить положение свое на земле?

Выпустив еще один мощный клуб дыма изо рта, он громко продолжал:

— Сделаю так, ибо не возбраняет мне этого никакой закон. А впрочем, да будет воля господня...

— Да будет воля господня... — повторил чей-то голос, и перед изумленным патером Иорданом предстал настоятель. Он уже полчаса следил за ним из-за куста.

— Милый Иордан, — важно промолвил он, — молитва и курение плохо вяжутся друг с другом. Как может душа вознестись к богу, если человек следит за табачным дымом? Как он может усердно молиться, куря? А кто не молится усердно, милый Иордан, сами понимаете, чем это кончается, amice!.. — Сделав паузу, от потребовал: — Подайте сюда трубку, которая мешает вашему благо-

честию...

Патер Иордан был похож в эту минуту на побежденного полководца, вручающего победителю свой меч.

— Вот она, *reverendissime*, — печально промолвил он, отдавая трубку настоятелю.

— Так, — сказал настоятель. — И покайтесь, *amice*.

Он ушел, скрывая торжествующую улыбку, а вслед ему доносился голос покинутого Иордана, который громко молился:

— Пошли мне, господи, мир душевный, ибо что ты делаешь, то добро. Не успокоить духа суете мирской...

Скоро стало известно, что настоятель конфисковал удивительную трубку.

До самой вечерни только и было разговоров что об этом.

В этот день для братии одна неожиданность следовала за другой.

Все сошлись в монастырском костеле. В вечерней тишине уже трижды прозвучал голос, сзывающий на молитву. Кто же не явился? Настоятель.

Пошли искать. Комната его была заперта. Ни в саду, ни в погребке, ни в коридорах — нигде нету. Как в воду канул.

Нарушили обычай — ударили в колокол четвертый раз.

И тут не пришел. Сиденье его у алтаря стояло пустое. Этого никогда не бывало. Пришлось служить вечерню в его отсутствие. И что это была за служба! Все руками разводили, гадали: что случилось с настоятелем, где он, что делает?

Богослужение без настоятеля! Где это слыхано, где это видано, чтобы строгий и набожный настоятель не пришел в храм?

Поскорей бы конец. Что такое случилось? Отслужили быстро. Глотали целые фразы. Во время литании вместо «Помилуй, господи!» кричали «Помгосди!». Строчку за строчкой, скорей, скорей. Конец. Amen![29]

Все устремились на монастырскую галерею: снова искать настоятеля. Поднялись на второй этаж, к его двери, постучали; за дверью послышался шорох, и она открылась.

Перед ними стоял настоятель с трубкой, из которой не выходило ни облачка дыма. Кинув взгляд вокруг, они увидели, что по всему полу раскиданы горелые спички.

— Она не зажигается, — сказал настоятель. — Пойдемте к вечерне.

Им стало страшно, но патер Иордан ехидно проронил:

— Мы, *reverendissime*, только из костела...

До поздней ночи слышалась в комнате настоятеля горячая молитва:

— Я — только человек, господи! Слабое и хрупкое создание, которому не прожить без поддержки десницы твоей. Опутали меня сети греха и грозят гибелью душе моей. К тебе взываю, отче и боже мой! Сохрани душу мою, отпусти мне тяжкие мои прегрешения, боже, отче мой!..

На другой день трубка патера Иордана оказалась в коллекции настоятеля, причем прислужник его Анатолиус поставил ее в ряд «грешных» — между кальянами и наргиле турецких пашей.

Прошло несколько лет. Патер Иордан умирал у себя в келье. Он лежал в постели, на столике горели свечи, на скамеечке для коленопреклонения молились два патера.

Настоятель сидел у постели умирающего и печально смотрел на его лицо — окунувшееся, пожелтевшее, с заостренными чертами.

Патер Иордан спал. Вдруг он вздрогнул и начал перебирать пальцами по перине. Проснулся. Устремил мутный взгляд на настоятеля и прошептал:

— Reverendissime...

Худой рукой притянул к себе настоятеля и с усилием промолвил:

— Эта... трубка... Reverendissime... зажигается... со всех трех отверстий... Открыть... одно...

Он откинулся навзничь. Потом, собравшись с силами, тяжело дыша, продолжал:

— Одно... за другим... и зажечь сразу в трех местах...

Патер Иордан захрипел, упал на подушку и навеки покинул монастырь. Умер!

Так была раскрыта тайна трубки патера Иордана.

## Кузнец Чекай (Заметки из Галиции)

Закалянский кузнец Чекай сидел как-то раз перед кузницей и беседовал со старым Мишо.

— Женись, брат, — говорил Мишо. — Жена и дом обиходит, и за хозяйством присмотрит. Женись.

— Эх, — вздохнул Чекай, — мне уж сорок стукнуло, где тут жениться. Как женишься, пищи пропало. Ей, вишь, по душе то, от чего тебя с души воротит, и не нравится то, чем ты доволен.

Чекай махнул рукой и ударил по скамье.

— Это, кум, тебе только кажется, что жена в хозяйстве помощь — вовсе нет. Она и точно, помогает — деньги из кармана тянуть, а кончается все, вон как с Варжиной. Женился, а через несколько дней ушел в лес да и повесился на ремне под распятым.

Деревня оживала. Щелкая кнутами, пастухи гнали вдоль дороги коров, по свистывая и поднимая пыль. Медленно катили возы с огромными ворохами сена, за ними шли хозяева.

— Вишь, Кася на тебя оглядывается, — заметил Мишо Чекаю, когда мимо них прокатил воз Борека.

— Пусть себе оглядывается, — грубо оборвал его Чекай, — знаем мы этих барышень. Только и знают — в разные стороны глазками стрелять. Я, когда в Станиславове служил, со многими гулял. Сегодня она тебе в любви клянется, а завтра, глядишь, уже с другим гуляет. Вот так-то. — Чекай снова ударил рукой по скамье и сплюнул.

Старый Мишо закурил коротенькую трубочку.

— Не все женщины плохие. Я вот, сам знаешь, два раза женат был. Первая жена, покойница, была старше меня на пять лет, а вторая — на восемь лет моложе, и обе добрые-предобрые. Теперь вот каждое воскресенье за них хоть стопочку да пропушу.

— А Кася Борек девушка красивая и умная, — продолжал старый Мишо, прищуривая то один, то другой глаз. — Сказывала мне недавно: что это, дядя Мишо, сосед-то наш, Чекай, такой из себя видный, а бирюк бирюком, к нам почти совсем не заходит. А коли и зайдет, только и разговору — подковал я, дескать, вчера коня Маловичу, такого он за триста золотых и брату родному не

продаст. Хорош конь.

Старый Мишо рассмеялся.

— Да, брат, разве с девушками так говорят, — хлопнул он Чекаю по колену.

Со двора напротив вышел Борек. Перейдя дорогу, он остановился перед Чекаем и Мишо и присел на лавку.

— Ну как дела, сосед, — обратился он к Чекаю, — сено свез уже?

— Слава богу, — ответил Чекай, недоверчиво поглядывая на Борека.

— Ну и как оно, ничего? — спросил тот.

— Да вроде ничего, не мокрое, — ответил Чекай.

— А ты что ж, коня у Маловича будешь покупать? — продолжал Борек.

— Да нет, не буду, — отвечал Чекай, заглядывая в кузницу, где еще догорали в горне угли.

— Надо бы тебе жениться, Чекай, — произнес ни с того, ни с сего Борек.

Чекай ударил рукой по лавке.

— Нет, сосед, не женюсь я, мы только что об этом с Мишо говорили. А что это ты меня все выпрашиваешь да советуешь? — Он подозрительно посмотрел на Борека, который отвечал ему добродушной улыбкой.

— Да просто так, — ответил Борек, — ну, а плуг-то ты починил?

— Починил, — отрезал Чекай.

— Пора опять коней ковать, завтра в лес поедем, — продолжал Борек. — Мальчишка утром приведет.

— Ладно, пусть приводит, — сказал Чекай.

— Ты что, и вправду никогда не женишься? — снова спросил Борек.

— Сказал нет, значит, нет, — решительно ответил Чекай, вытирая со лба пот. — Теплый вечер сегодня, — добавил он и опять уставился на кузницу, чтобы только не смотреть через улицу, где в воротах стояла дочь Борека Кася.

— Касенька, — крикнул Борек дочери, — принеси-ка нам кислого молочка.

Чекай стукнул кулаком по скамейке.

— Ты что, — испугался Борек.

— Да ничего... Комары — развелось их тут после дождя, — оправдывался кузнец.

С кринкой кислого молока подошла Кася, веселая, с блестящими глазами.

— Присядь-ка с нами, Касенька, — пригласил Борек дочку. — У Чекая всем места хватит.

Кася подсела к Чекаю и посмотрела ему прямо в лицо.

— Рассказал бы что-нибудь, Чекай, — сказала она, легонько хлопнув кузнеца по руке, — а то все в сторону смотришь да бурчишь чего-то.

Кузнец Чекай и вправду что-то бурчал себе под нос.

— Приходит ко мне позавчера молодой граф Пупильский, — начал Чекай. — Шел он на прогулку и остановился возле кузницы. А я как раз старосте ось чинил. Бью по раскаленному железу. Молодой граф посмотрел и говорит:

— А ну, кузнец, дай-ка мне молот, может, и я так смогу.

Я говорю:

— Если желаете, пожалуйста, ваша милость, но только...

— Никаких «но», — говорит молодой граф. Схватил молот и давай по железу бить. Искры вокруг так и посыпались. А молодой граф в легком летнем костюме был. Ну, куски окалины и прожгли ему брюки и жилет.

— Ты все про свое, — улыбнулась Кася.

— Э-э, пойду-ка я спать, — сказал Чекай. — Уж и луна взошла.

— Приходи к нам в воскресенье после обеда, рябиновки выпьем, — сказал Борек. — Сам делал. Каждая рюмка сама в горло проскакивает. Соседи придут, посидим, поговорим. Вот и старый Мишо придет. Верно, Мишо? Выпьем как люди, споем.

Он пожал Чекаю руку, а Кася так сжала другую, что тот снова что-то забурчал.

— Прощай, Чекай, — сказала она и вызывающе глянула ему в глаза.

Когда они ушли, кузнец медленно вошел в кузницу и перво-наперво разбудил своего подручного Йожко, который дремал в углу, на попоне.

— А ну-ка, давай поборемся, — рывкнул Чекай прямо ему в ухо и не успел тот опомниться, как Чекай обхватил его, ударил оземь, сел на грудь и, дико вращая глазами, сказал:

— Ну что, получил?

На другой день один из приятелей Йожко рассказывал, что мастер Чекай не иначе умом тронулся. Это подтвердил в разговоре со старостой и закалянский учитель Становский.

— Приходит ко мне утром Чекай и ни с того ни с сего говорит: «Пан учитель, вы в этих делах понимаете. Правда ли, что если кто не хочет жениться, то никогда и не женится». Я говорю: нет. Видели бы вы кузнеца! Подбросил вверх шапку и начал меня благодарить. Минут пятнадцать благодарил. Потом ушел, но скоро вернулся и притащил улей с пчелами. — Это вам, говорит, за услугу, пан учитель. В тот день Йожко не спал в кузнице, он поплевывал на ладони и натирал их канифольным порошком, чтобы руки не скользили, если вдруг мастеру снова вздумается с ним бороться.

Но этого не случилось, потому что мастер пригласил его вечером в трактир выпить рюмочку-другую «крепенького».

Пришло воскресенье. После обеда, нарядившись как на праздник, Чекай отправился к Бореку. В низкой комнате было весело. Несколько соседей уже пели охрипшими голосами. Чекай уселся за стол на лавку.

— Да не туда, садись рядом с Касенькой, — пригласил хозяин Борек Чекаю. Тот сел. По другую сторону устроился старый Мишо.

— Ну-ка, отведай рябиновки, Чекай. Хороша! — угощал хозяин.

— Не смотри бирюком, — шепнула Кася Чекаю на ухо.

— Да не смотрю я, рябиновки жду.

Потом все пили.

— Ну как, вкусна, Чекай? — шепнула Кася.

— Эх, хороша, — ответил кузнец. — Ну что, соседи, все уже сено свезли?

И начался разговор о сене.

— Пей, кузнец, — угощала Кася, — пей как следует. — И Чекай пил.

Когда старый Мишо хочет про кого-нибудь сказать, что тот много пьет, он говорит: «Пьет как кузнец Чекай рябиновку у Борекка».

В пять часов дня Чекай шептал Мишо, что ему нравятся Касины черные глаза, а через полчаса — что таких девушек как Кася — поискать.

А когда пробило шесть, он поднялся со скамьи, ударил кулаком по столу и сказал Бореку:

— Борек, сосед, от-тт-дай за меня Касю.

\* \* \*

Кузнец Чекай давно женат, у него растут двое мальчишек — четырех и шести лет.

Он часто говорит им:

— Ребята, вам это пока не понять, но когда подрастете, пейте все, что угодно, только не рябиновку.

Говорит, разумеется, в отсутствие жены, Каси.

## Восхождение на Мозерншпице (Туристская юмореска)

Прежде всего должен предупредить, что я не имел решительно никакого желания, бродя по Швейцарии, разбить себе голову, и если отважился выступить в поход на Мозерншпице, то это объясняется очень сильными побудительными причинами: меня заставили это сделать три бутылки вина и дочь бернского трактирщика, у которого я их выпил.

Но к делу. Что представляет собой Мозерншпице? Поскольку я на нее лазил, нетрудно догадаться, что это — горная вершина, и притом островерхая, о чем говорит самое название[30]. Что она принадлежит к Альпам, объяснять нет надобности, так как трудно допустить, чтобы кому-нибудь пришло в голову, будто в Швейцарии находятся Гималаи.

Мозерншпице гордо возвышается в Бернском кантоне, часах в шести езды от Берна, и примечательна тем, что до моего появления никто на ней ни разу не разбился насмерть — по той простой причине, что никто на нее не взбирался.

Вокруг Берна столько гор, что эта опасная гора теряется в их толпе, и не будь на свете предприимчивого бернского трактирщика Графергерена, никто до сих пор не имел бы понятия о том, что эта гора предоставляет массу возможностей для наслаждений, неразрывно связанных с альпинизмом, как-то: разбивание голов, перелом ног, рук и позвоночника.

Предприимчивый г-н Графергерен из Берна хорошо понимал, какими эта гора отличается преимуществами: мрачные ущелья, стремительные кручи, осыпающиеся каменья и т. п. — и решил поставить у ее подножия хижину для привлечения англичан и вообще людей, которым безразлично, откуда падать — с Монблана или с Мозерншпице.

Он построил хижину под горой и еще одну повыше, в четырех часах ходьбы, или, вернее, ползанья на карачках. С помощью ослов снабдил обе хижины запасами напитков, вина, ликеров, продовольствия и стал ждать первую жертву, которая сделает ему рекламу.

Волею судеб первым попался ему в руки я. В конце июня я приехал в Берн и остановился в его гостинице, где и клюнул, выражаясь вульгарно, отчасти на его вино, отчасти на дочку Маргарету.

И вино и Маргарета подстрекнули меня совершить восхождение на Мозерншпице. Вину удивляться не приходится, но удивительно, до чего бессовестны женщины.

Теперь-то я думаю: ну ее ко всем чертям, эту самую Маргарету из Берна; но тогда, разгоряченный вином, я готов был полезть на Эверест в Индии, а не то что на Мозерншпице, в которой всего три с половиной тысячи метров высоты.

Дело было так. Вечером, в самый день моего приезда в гостиницу Графергерена, я, попивая винцо, вступил в разговор с Маргаретой.

Что говорил — сам не знаю. Хвастался ей своими альпинистскими подвигами.

— Восхождение на Монблан — детская игра, пустяк, мадемуазель, — болтал я. — И знаменитый Глокнер — чепуха. В чем тут трудность? Даже голова не кружится.

Тут подошел г-н Графергерен.

— Милорд, — обратился он ко мне, решив по моим смелым речам, что я англичанин, — милорд, я могу вам предложить кое-что подходящее. Рискованный маршрут.

— Я предпринимаю только такие, которые грозят в семидесяти случаях из ста неминуемой гибелью, — врал я Маргарете. — Вы не знаете, сударь, где находится Небозизек?

— Не знаю, милорд. Она опасная?..

— Оттуда из сотни человек нормальными выходят разве что пятеро, — спокойно ответил я.

Это и на равнодушного Графергерена произвело должное впечатление.

— Милорд, — сказал он, — ручаюсь вам, что смертельный исход вполне возможен и на Мозерншице. Там есть обрывы и пропасти в две тысячи метров глубины.

— Это пустяк, господин Графергерен. Принесите еще бутылку и дорогой обдумайте мой вопрос: можете ли вы мне поручиться, что в случае несчастья я разобьюсь вдребезги?

Вернувшись с вином, хозяин ответил:

— Могу дать вам честное слово, что вы превратитесь в котлету. Падая, вы раз двести ударитесь об острые выступы скал, — стал он завлекать меня. — И кроме того, учтите хорошенько то благоприятное обстоятельство, что на Мозерншице свирепствуют страшные бури и ливни, так что могу поручиться: вас смоеет водой и сорвет ветром в пропасть.

— Ну, это хорошо для новичков, господин Графергерен, а для таких альпинистов, как я, не имеет никакого значения.

— Понимаю, милорд, но не забудьте, что вам придется подниматься по ледяным полям, а на Мозерншице ледяные поля — дело нешуточное. Насколько я знаю, из ста случаев по меньшей мере восемьдесят кончаются тем, что человек проваливается. Одним словом, милорд, восхождение на Мозерншице — прямо для вас. Не упускайте также из виду, что это единственная гора во всей округе, на которой вас может неожиданно окутать туман; очень велика вероятность сорваться в пропасть. Дальше: камни там осыпаются как раз в тех местах, где тропка вьется над пропастью. Все как будто для вас устроено.

— Экспедиция в вашем вкусе, — поддержала Маргарета.

— Мадемуазель, вам будет приятно, если я взберусь на Мозерншице? — спросил я.

— Да, милорд, — ответила она.

«Чтоб тебя черт побрал, швейцарская красотка!» — подумал я. А вслух произнес:

— Мадемуазель Маргарета, я полезу на Мозерншице.

И полез...

Проводника моего звали Георг. Он оказался католиком и многозначительно напомнил мне, что на дорогу можно исповедаться. Я отказался. Тогда он попросил, чтобы я дал ему на водку, пока мы еще в Берне. Эту просьбу я удовлетворил.

Георг так основательно хлебнул водчонки, что еще в Берне хотел привязать меня к себе предохранительным канатом. Я отклонил и это, и мы отправились, друг с другом не связанные, к хижине г-на Графергерена, куда хозяин еще прежде выехал на осле.

— Если я вас не увижу, — сказала мне Маргарета на прощание, — то буду ходить молиться на вашу могилу.

Эти швейцарские девушки такие добрые!

После шестичасового спокойного перехода мы подошли к первой хижине г-на Графергерена, где переночевали, пользуясь всеми удобствами, предоставленными нам гостеприимным хозяином.

А утром снова пустились в путь. Г-н Графергерен потирал руки. Прощаясь, он промолвил:

— Что передать вашей семье в случае возможного несчастья, милорд?

— Передайте только, что я рекомендую вас и Мозерншице всем своим знакомым.

— Слушаю, — ответил он предупредительно и затянул тирольскую песенку с переливами.

Подъем становился все круче. Георг привязал меня к себе; и могу сказать, что это был добрый католик, так как он все время молился.

— Как бы вы поступили, — спросил я, — если б я поскользнулся и повис над пропастью, а вам одному трудно было бы удерживать меня? Стали бы вы ждать, когда придет помощь?

— Я перерезал бы канат, — спокойно ответил Георг, — и пошел бы в Берн сообщить о несчастье. Заметка попала бы уже в дневной выпуск наших газет, и посмотрели бы вы, какой получили бы эффект. И как это было бы выгодно Графергерену. Все англичане полезли бы сюда: ведь они так любят опасность! Голова этот Графергерен, а?

— Да.

Искренность Георга понравилась мне. Приятно беседуя о разбившихся альпинистах, мы карабкались все выше и выше, пока не добрались до второй хижины, перед которой зияла порядочная пропасть.

Мы вошли в хижину, и пока Георг приготавливал гуляш из консервов да откупоривал вино, я стал размышлять.

Позади домика вздымалась тысячеметровая стена Мозерншице с торчащими выступами, похожая на гигантский жилой дом с балконами. Кое-где блестел снег, лед. Всюду чудовищные расщелины.

Черт возьми! Залезть наверх и где-то там размозжить себе голову?

Мне стало ясно: любезный г-н Графергерен желает устроить из моей гибели рекламу для своих альпинистских хижин и возвышающейся над ними Мозерншице.

— Я не полезу, Георг, — объявил я.

Георг всполошился.

— Как же, милорд? — испугался он. — Тогда я не получу платы.

— Я же вам заплатил.

— Да, конечно, милорд. Но господин Графергерен мне не заплатит.

— А за что он вам должен платить?

— За то, что я затащу вас на Мозерншпице.

— А если я во время подъема разобьюсь, Георг?

— Я все равно получу свои деньги. Кроме того, это привлечет туристов-англичан, и я еще на них заработаю. И от Графергерена еще кое-что перепадет.

— А если и англичане разобьются? Что тогда, Георг?

— Тогда уж на Мозерншпице полезут все кому не лень, и я накоплю денег. Так что, бодро вперед, милорд! Коли сорветесь, может, еще повиснете на скале, чего же бояться?

— Знаете что, Георг? Поживем здесь два дня; питаться будем из наших запасов; я дам вам двадцать франков — и вернемся, будто на самом деле побывали на Мозерншпице.

«Жаль будет, если старого Графергерена не хватит удар, когда он увидит, что я вернулся невредимым!» — подумал я, предвкушая наслаждение мести.

Мы провели в хижине два дня, ели и пили там, а на третий день спустились обратно.

У первой хижины Графергерена нас ждал большой сюрприз: человек шестьдесят англичан стояло у входа, с удивлением наблюдая наш спуск. Во главе их, вытаращив от удивления глаза, стоял сам Графергерен.

— Вы не погибли? — испуганно крикнул он мне.

— Нет, как видите, — небрежно ответил я.

— Сэр! — закричал мне в самое ухо один англичанин, махая перед моим носом номером «Бернской газеты». — Сэр, если вы джентльмен, прошу вас, объясните вот это...

И он вручил мне вчерашнюю газету, где синим карандашом было обведено следующее сообщение:

### **НОВЫЙ АЛЬПИНИСТСКИЙ МАРШРУТ**

*Нашему неутомимому Графергерену удалось найти новый интересный маршрут для любителей альпинизма. Это находящаяся в нашем округе труднодоступная гора Мозерншпице, на которой он с чисто швейцарской заботливостью построил две хижины. К сожалению, приходится констатировать, что первая экспедиция на эту девственную вершину окончилась несчастливо: альпинист, первым отважившийся туда подняться, вчера сорвался в пропасть; видимо, он был недостаточно внимателен к советам проводника, о судьбе которого тоже до сих пор ничего не известно.*

*Это очень интересный, опасный горный маршрут, который благодаря этим своим особенностям привлечет множество альпинистов. Ведутся усиленные поиски двух трупов. Более подробные сведения можно получить в хижине 2-на Графергерена у подножия Мозерншпице.*

— Господа, — обратился я к англичанам, — все это выдумка господина Графергерена. Восхождение на эту гору не представляет никакой опасности. Дорога, право, вполне удобная. Это просто послеобеденная прогулка.

— Мы возвращаемся в Берн, господин Графергерен, — объявил один из англичан. — Этот господин, оказывается, жив, маршрут безопасный, — ничего интересного нет. Вы нас обманули. Идемте, господа! Мое почтение!

— Господа! Вы только подумайте: вас там может завалить лавиной... — жа-

лостным голосом, чуть не рыдая, крикнул им вдогонку г-н Графергерен.

Больше мы ничего не слышали, так как удалились от его гостеприимной хижины.

Мимо нас пролетел сверху камень, и я до сих пор не знаю, сорвался он со скалы или его пустил нам вслед г-н Графергерен.

Мадемуазель Маргарету от необходимости посещать кладбище и молиться на моей могиле я освободил.

По натуре я добрый.

## **Искатели неизвестного (Почти спиритическая история)**

Ладя, ученик второго класса гимназии, в полной мере испытал силу слов Камилла Фламариона, который утверждал, что свободные поиски истины неприятны для всего мира, потому что у всякого человека есть свои мелкие предрассудки, от которых он не желает избавиться. В десять часов утра, на перемене, Ладя рассказывал своим одноклассникам, что дома у его сестры есть маленький столик, который передвигается с места на место, выстукивая ответы на всякие вопросы; так, например, на вопрос: «Кто-нибудь там есть?» отвечает: «Да» — и тому подобное. В самый разгар рассказа Ладю прервал преподаватель закона божьего и учинил строгий допрос, называя беднягу гимназиста «паршивой овцой», потому что он забивает спиритизмом головы двенадцатилетним мальчишкам.

Допрос был жестокий. У Лади спросили, каким образом случилось, что он верит в спиритизм. Ладя объяснил, что у него есть сестра, которая однажды была у подруги, где есть такойдвигающийся столик. И вдруг сестра потеряла сознание и в беспамятстве убежала на кладбище. А там она встретила духа, и тот вернул ее домой. Он дошел с ней до самого дома, а там возле мелочной лавочки сестру увидела мать. Дух исчез, а дома поднялся ужасный скандал. Отец сердился и говорил, что не позволит сестре ходить по улицам и слоняться с духами, которые как две капли воды похожи на Франтишека Крамера, студента-медика из соседнего дома. Потом сестра принесла домой маленький столик, и Ладя толкал его на бумаге с буквами. Сестра спросила: «Он любит меня?», и Ладя возился со столиком до тех пор, пока не получил такого ответа: «Конечно, нет». Тогда сестра сказала, что не понимает этого, и стала толкать столик сама. Ответ после этого звучал так: «Страстно». Потом Ладя отнес на почту письмо сестры, получил от нее два пятака и с тех пор поверил в спиритизм.

Это признание заблудшего отрока не имело для него никаких последствий. Ему было приказано впредь остерегаться морочить головы своим одноклассникам болтовней о спиритизме, гипнотизме и прочей чепухе, которая только сбивает людей с толку.

После этого весь класс тут же поверил в спиритизм. На другой день Бернашек принес в гимназию книгу о медиумах, об усыплении, еще через день в перемену весь класс искал медиума. Первым добровольно вызвался провозвестник спиритизма — Ладя, который сказал, что прежде всего надо всем классом помолиться.

Тогда вспыхнул спор о молитве, и тут победила точка зрения Лади, что

нужно молиться учителю латинского языка пану Брену следующими словами: «Молим тебя, пан Брен, будь милостив к нам и заступись за нас перед богом». Этой молитвой гимназисты успокоили свою совесть, ибо учитель Брен был их классным наставником. Ладя уселся за парту, а Бернашек его усыпил. Он пощекотал Ладю под подбородком и подергал его за нос, а второклассники при этом молились: «Молим тебя, пан Брен, будь милостив к нам и заступись за нас перед богом».

Ладя захрапел и сделал вид, что спит. Но он несколько забылся и вдруг начал вытирать себе нос. Бернашек успокоил сборище, сказав, что именно в эту минуту в Ладю вселяется дух директора гимназии, и попросил задавать Ладе вопросы.

Первым спросил Геблер:

— Отпустят ли по домам гимназистов по случаю жаркой погоды?

Ответ прозвучал невразумительно. Медиум пробормотал:

— Я и сам хотел бы!

Следующий вопрос задал Гайниц:

— Получу ли я обратно нож, который у меня стащил Штибиц?

Ответ был такой же загадочный, как говаривал директор:

— Я вынужден пожалеть вас.

И тут медиум чихнул.

После этого Бернашек сказал, что теперь дух директора покидает Ладю и потом в него войдет дух покойного дедушки Бернашека.

Весь класс содрогнулся, а Бернашек спросил:

— Дедушка, а как вам живется на том свете?

— Пока еще сносно. По пятницам я получаю на обед жаркое из свинины и лакричный корень. Апельсины здесь бесплатные, до ада отсюда как от Либени до Крчи.

— Дедушка, а вам жарко?

— Я купаюсь и только что заставил нырнуть невежу Гобзика...

Гобзик задрожал. Откуда знает дух дедушки Бернашека, что он, Гобзик, на ножах с Ладей?

Дух дедушки продолжал:

— Гобзик — жалкий мальчишка, он ворует у товарищей четвертушки бумаги и недавно под стенами Града обшаривал карманы одного парня. Если Гобзика кто-нибудь поймает, пусть перебьет ему ноги. А кто надает тумачков, тот попадет в рай.

После этих слов Бенде захотелось попасть в рай, и он начал толкать Гобзика в бок, и дело чуть не дошло до потасовки.

— Дедушка, — спросил Бернашек, — а что вы на том свете делаете целыми днями?

— Разбиваю камни для дороги в чистилище, — серьезно ответил медиум. — А эти камни — души учителей, там нет только учителя гимнастики.

Ладя потянулся и объявил, что просыпается. Его спросили, как выглядит загробный мир.

— Красиво, — ответил Ладя. — Все фиолетово-красное. У деревьев есть руки и глаза, а говорят они по-латыни, и другие духи их не поняли.

В загробном мире бродило также несколько индейцев. Среди них Ладя узнал Манитоу из романов К. Мая. Встретил он косоного духа, похожего на гим-

назического сторожа Францека. На папоротнике там растет инжир. Несколько древних римлян сидело у кровавого водопада, они учили латинский язык по грамматике Грбка. Когда Ладя встретился с духом дедушки Бернашека, ему показалось, что тот сильно похудел. Загробный мир не очень здоровое место, потому что туда попадают все покойники. Встретил там Ладя и одного генерала, который отдал ему честь и сообщил, что из Гобзика получится палач.

Таковы были беглые впечатления Лади после недолгого пребывания в загробном мире. Возвращение Лади с того света было ознаменовано страшным криком двенадцатилетних спиритов, вследствие чего в класс прибежал классный наставник и записал про весь класс в классный журнал следующее: «Придя в класс, я услышал жуткий рев».

Этим он подтвердил возвышенную мысль, что всегда найдутся люди, для которых незнание выше знания.

Жалкий классный наставник! Каким был он невеждой и как грубо пытался подавить стремления искателей неведомого. Их представитель Ладя, сидя за партой, как раз рассуждал с неким Майзлом об одной окаменелости. Она стала собственностью Майзла, когда третьего дня, как имущество кабинета естествознания, вместе с несколькими другими предметами в качестве наглядного пособия странствовала по классу, пока не застряла в кармане Майзла. Ладя и Майзл шептались:

— Знаешь, Ладя, я ее продам тебе, но только за пятак. Получишь ты ее только из рук в руки.

— Тогда я днем принесу тебе пятак. Я возьму дома на тетради и еще позволю тебе усыпить меня. Понимаешь, делается это так. Думай: «Дай боже, чтобы Ладя заснул!» Я тут же сразу засну, и моя душа переселится на тот свет. Думай об этом. Думаешь? Видишь, что я уже дремлю и сейчас заговорю во сне.

Майзл перепугался. Что теперь будет? У Лади глаза закрыты — он сам его усыпил. Придет учитель, а дух Лади заговорит с того света о нем, об окаменелости, которую он, Майзл, присвоил, о том, что он усыпил Ладю. К нему домой пошлют сторожа, он получит хорошую трепку, и велосипед его продадут. Несчастный Майзл! Вот, учитель уже здесь! А дух Лади тихонько бормочет с того света:

— Майзл, воришка, отдавай мне окаменелость...

Майзл сует ему в руку окаменелость, а дух Лади продолжает:

— Сейчас я гуляю по Марсу... Здешние люди похожи на сороконожек. Один здешний мальчишка говорит, что у его отца двести ног...

Майзл задрожал от страха и поднял руку.

— Что вам надо, Майзл?

— Разрешите выйти, пан учитель.

— Ну идите, но так, чтобы за вами не пришлось посылать, как за Бубенчиком.

Майзл кое-как выбрался из класса и долго стоял за дверью, совершенно удрученный. Что будет, когда он вернется? Проснулся ли Ладя? Вернулся ли его дух с того света или блуждает еще по Марсу? Не помешал ли ему кто-нибудь, не вошел ли он в классного наставника? Но вернуться в конце концов все-таки пришлось. Он вошел в класс. Ладя стоял у доски и отвечал на вопросы. Учитель спрашивал у него латинские слова. Ладя не знал, как называется по-латыни растение подмаренник, и получил плохую отметку. Огорченный

Ладя вернулся на свое место, где сообщил Майзлу, что не простит учителю двойки и, если в перемену его усыпят, скажет ребятам, что же ожидает классного наставника. Конец урока прошел за рассказом, как в отсутствие Майзла Ладя беседовал с духом Пилата, который сообщил, что Ганнибал живет на улице недалеко от тирана Трасибула.

— Кажется, — сказал враг поисков неведомого, классный наставник, — придется мне вас рассадить.

Но он не успел осуществить эту идею: прозвенел звонок и учитель отправился есть сосиски.

В перемену Майзл быстро разгласил, что во время урока Ладя был на Марсе, похвалился, что он усыпил его.

Ладю тотчас же окружила толпа юных искателей, предлагая усыпить его снова...

Ладю посадили на кафедре так, чтобы он не видел двери, и принялись молиться:

— Просим тебя, пан Брен...

— Да, — запротестовал медиум, — если наш классный мне свинью подложил, мы должны молиться кому-нибудь другому. Помолимся учителю гимнастики. Повторяйте за мной: «Просим тебя, милостиво воззри на своих учеников, пан учитель Листек, и заступись за нас здесь и на том свете перед всеми святыми и перед богом».

Гимназисты повторили все это за Ладей, и тот объявил, что они усыпят его, если дважды подряд повторить молитву, а он спросит на том свете у духов, что ожидает классного наставника.

Ладя зажмурился и начал:

— Я вижу учителя Брена — он ест сосиски. Вот как раз сию минуту я сделал подножку его духу. Учитель подавился и нашел в сосиске таракана. («Я тебе покажу, как ставить мне «неуды» за латинские слова!») Вокруг меня все желтое, как одуванчики, они здесь тоже есть, а мята — выше костела святого Аполлинария. Мне встретился какой-то древний дух, он прихрамывает... Теперь этот дух вошел в меня, и я уже знаю, что ждет учителя...

Всеобщее нетерпение достигло высшей степени. Все столпились вокруг медиума. А медиум пророчествовал:

— Наш классный наставник женится на моей старой слепой тетке, и она разобьет ему голову кастрюлей для супа. Чем дальше, тем глупей он станет и будет воровать перья у гимназистов и булочки из парт. («Это тебе за «неуд», пан учитель!») Во время выпускных экзаменов он украдет из кармана инспектора часы, за это его сделают сторожем, и ему придется чистить гимназистам ботинки.

Тут вошел классный наставник и немедленно направился к кафедре. Бубеничек заметил его:

— Ладя, классный здесь!

И тогда медиум громко произнес:

— Пана классного наставника сделают директором гимназии, он женится на богатой и будет школьным инспектором, он такой достойный человек.

После этих слов Ладя вернулся с того света и открыл глаза.

Классный наставник, услышав последнюю хвалебную фразу, погладил Ладю по голове и спросил:

— Итак, мальчики, во что вы тут играли?

Бубеничек сзади хотел помочь Ладе и вскрикнул:

— Он нас развлекал!

— Вы бездельники, — сказал классный наставник, — один раз я уже записал вас в классный журнал и запишу сейчас снова, а к Ладе домой пошлю сторожа, пусть мальчишке дадут трепку!

И он ушел, кося глазом от волнения.

Вот видишь, Ладя, искатель неведомого, как правдивы слова, что свободные поиски истины неприятны для всего света, ибо у всякого из нас есть свои мелкие предрассудки.

И какая для тебя радость, что и наука занимается спиритизмом, если твой отец, выслушав от сторожа поручение классного наставника, зовет служанку и говорит:

— Анна, принесите-ка сюда розгу и подержите Ладю...

Вскоре послышались визг и обещания Лади, что он больше никогда так делать не будет...

И одним мучеником науки стало больше...

## **Художник-философ (Из жизни пражской богемы)**

**Х**удожник Кубин был не только художник, но и философ. Он утверждал, что вершиной человеческого блаженства является состояние, которое он называл «безотрадностью». Человек блажен лишь тогда, когда видит, что его ничто не радует. Такому человеку не грозит разочарование. Иными словами, Кубин был стоик.

Ничто не могло его смутить, он ничему не удивлялся и ничего не боялся. Иногда же он приходил к убеждению, что все на свете — не более чем иллюзия. Это случалось, когда в кармане у него не было ни гроша. Тогда он утверждал, что и сам он не существует. В эти печальные времена он все подвергал отрицанию. Говорил даже, что мир лишен красок. Что не мешало ему рисовать собак синим цветом, а деревья красным. Люди, глядевшие на такие картины, постепенно тоже приходили в состояние «безотрадности» — идеала его жизни...

Стоило завестись деньгам, как он прилагал все усилия, чтобы вернуться в состояние «безотрадности». И оно наступало очень скоро. Достаточно было нескольких вылазок в некий известный кружок художников в еще более известном трактире. Прокутив с ними все деньги, он весело возвращался в свою мастерскую, и когда дворник посреди ночи впускал его в дом, Кубин в очередной раз доказывал ему, что он, художник Кубин, собственно, и не существует вовсе, что это лишь представление, ложная гипотеза цана дворника.

— Ну ладно, — уступал дворник, — а кто же мне тогда звонил, молодой пан?

Этот сложный вопрос, способный сбить с толку любого гиганта философской мысли, отнюдь не обескураживал Кубина.

— Да ведь и вас тоже не существует! — убеждал он несчастного дворника. — Все на свете — иллюзия; ответьте-ка мне: что у вас было на обед две недели тому назад? Не знаете? Ну вот, то-то и оно. Вы не ели, потому что вы не

существуете. Мир, любезнейший, состоит из одних представлений. Я вполне допускаю, что когда-то человек существовал, но это ведь было миллионы лет тому назад. А теперь живут одни лишь душевные представления, но не люди! Так-то! Спокойной ночи!

После такой беседы несчастный дворник в самом деле переставал соображать, где он и что с ним. Вернувшись к себе, он всякий раз будил жену, и лишь после того, как она начинала браниться спросонья, к нему возвращалась вера в собственное существование. Затем он непременно подкреплялся рюмкой рому и, дождавшись, когда по телу разольется приятное тепло, укладывался в постель, довольный и полный надежды, что он все-таки существует.

Подобные философические беседы Кубин вел и с господами домовладельцами, которым никогда не платил за квартиру.

Обосновывал он это тем, что, когда его выселят на улицу, для него наступит идеальное состояние безутешности...

Кредиторов своих он ненавидел и упрекал в том, что они принуждают человека совершать деяния, претящие его естеству, то есть платить долги.

Одному домовладельцу, который докучал ему напоминаниями о квартирной плате, он заявил, что у каждого хозяина свои обычаи, а потому никто не в состоянии определить, что есть истина и право.

— Истина в том, что вы задолжали мне за квартиру! — заявил домовладелец.

— А вот в этом вы страшно заблуждаетесь, — благодушно возразил Кубин. — Истины на свете нет, истинно лишь то, что мне или кому-нибудь еще представляется истинным. На точку зрения индивида влияют всевозможные обстоятельства. И поскольку у меня нет ни гроша, я никак не могу быть вам должен. Такова моя точка зрения. В то же время с вашей точки зрения я должен вам заплатить. Как превосходно иллюстрирует эта ситуация учение скептиков: одни и те же понятия в различных существах возбуждают совершенно разные чувственные ощущения и представления. В самом деле, люди так сильно отличаются в физическом и душевном отношении...

После этих слов домовладелец вышиб Кубина из квартиры.

— Вам доставило бы наслаждение, если б я вам заплатил? — спросил он другого домовладельца.

— Конечно, пан Кубин.

— До чего же это прискорбно, пан домовладелец, когда человек столь низко воспринимает жизнь! Брр! Даже подумать страшно, что я живу с вами под одной крышей. Представляете, с вами — с человеком, который ищет блаженства не в единственном, непреходящем наслаждении...

— Хоть за один квартал заплатите!

— Тем хуже для вас, почтеннейший. Я-то думал, пан домовладелец, что вы лучше владеете искусством жить, что блаженство у вас обусловлено самообладанием, а вы хотите, чтобы я вам заплатил. Да если б я заплатил, я бы никогда не простил себе этого, так как доставил бы вам преходящее наслаждение. Позвольте порекомендовать вам состояние, именуемое безотрадноостью...

Его выселили на улицу со всем его скарбом, хотя это, пожалуй, слишком сильно сказано. Что из вещей Кубина можно было вынести на улицу? Ведь за долго до этого момента он отнес все свои принадлежности к приятелю. Тем не

менее право восторжествовало. За ворота вынесли его умывальник — жестяной таз с выбитой надписью: «Вода хороша для умывания», чубук, насквозь пропитанный табачным соком, и жестяной кувшин, в котором Кубин варил для гостей грог, а вернее: подогревал ром; и, наконец, из квартиры выселили его обувную щетку, на тыльной стороне которой была надпись: «Получена в дар от наивернейшего друга моего Харвата, который украл ее у меня три года тому назад».

Неделю спустя Кубин снял мастерскую в другом месте. Счастье ему улыбнулось. Тамошний дворник был спирит и верил в переселение душ (неудивительно, что два члена его семьи успели умереть в сумасшедшем доме). Этот дворник был единственным человеком, который серьезно выслушивал его философские рассуждения о вершине подлинного человеческого блаженства — о безотрадности. Этому человеку Кубин сумел привить принцип, что мир состоит из представлений. Одним из таких представлений является золотой. Представления можно заимствовать, а потому: «Пан дворник, не занять ли мне у вас золотой?»

В то время Кубину удалось победить в конкурсе на плакат для одного пивоваренного завода. Этот плакат он рисовал с искренней любовью.

Когда в конторе пивоваренного завода ему выплачивали первую премию за плакат, при виде прекрасных золотых монет достоинством в двадцать крон его философское восприятие жизни пошатнулось...

— Господа, — сказал он служащим конторы, — известно ли вам, что сказал знаменитый философ Фихте? «Все, что есть, есть я». А потому я хотел бы получить копию оригинала.

Досточтимому правлению пивоваренного завода эта шутка понравилась, и оно послало ему бочонок пива — точно такой же, как он нарисовал на плакате.

Лишь только у Кубина появились деньги, он объявил себя приверженцем философской науки, которая утверждает, что наивысшим благом и целью жизни является беспечальность. Теперь он проповедовал прямую противоположность безотрадности и зашел так далеко, что вернул дворнику золотой, а домовладельцу (пожалуй, впервые в своей жизни) заплатил двенадцать золотых — месячную плату за квартиру. Пусть и они не ведают печали.

А в один прекрасный день он вернулся под утро домой с крупным и юрким ужом. Зачем он купил его на птичьем рынке — это осталось для него непонятным даже после того, как он протрезвел. Он знал только, что за день до этого события собирался купить кой-какую мебель для мастерской. Два стула, стол, мечтал о диване, а вместо этого принес в дом ужа...

Медленно разбираясь в своих мыслях и воспоминаниях, он пришел к выводу, что на покупку ужа определенное влияние оказал алкоголь.

Пошарив в карманах, он обнаружил в одном из них дохлую саламандру, завернутую в бумажку.

Итак, у него был живой уж и дохлая саламандра. Но при чем здесь саламандра?

После длительных размышлений он, наконец, догадался... Саламандру он купил, чтобы накормить ужа. Он бросил ее ужу, но тот ее даже не коснулся.

— Не жрет дохлятину, — вздохнул Кубин. — Уж — это, брат, не гиена.

Затем он ревизовал свою наличность и обнаружил, что вчерашний день

привел его в состояние безотрадности.

Может ли быть «беспечальным» человек с двумя геллерами в кармане?

Черт подери! Так и хочется надрать самому себе уши. Он постыдно изменил своим принципам и заплатил позавчера двенадцать золотых домовладельцу! Самому есть нечего, а он еще приносит в дом ужа-нахлебника.

Уж питается саламандрами, а одна саламандра стоит пять геллеров! Если ему вздумалось завести в мастерской какую-нибудь живность, почему было не купить мышь? У него ведь найдется пара старых ботинок, мышь бы ими питалась, а там, глядишь, и его финансы поправились бы. Но держать ужа, который запросто слопает за день десяток саламандр по десяти геллеров за штуку!..

У него было такое чувство, будто он взял на содержание по меньшей мере балерину.

Уныло опустившись на железный стул, он задумался над ужом. Найдя в кармане обломок сигары, закурил, предаваясь скорбным воспоминаниям о безрассудной уплате двенадцати золотых домовладельцу.

— А, что там, — решил он наконец, — ничему не удивляйся, ничего не бойся. Пойду к хозяину и змею с собой возьму.

\* \* \*

Пани домовладелица раскачивалась после обеда в кресле-качалке, пан домовладелец читал вслух результаты последних выборов, прихлебывая черный кофе, и тут перед ними предстал художник Кубин, держа в руке узелок, а в нем — ужа.

— Достопочтеннейший пан хозяин, — учтиво произнес он, — невыразимо тяжело расставаться с тем, что тебе всего дороже. Еще недавно был я в превосходном финансовом положении, а сегодня я, можно сказать, нищий. Но дело даже не во мне — а в этой вот змее.

И уstraшенным взорам хозяев предстал уж, зашипевший от яркого света.

Пани домовладелица дико глядела на художника, который преспокойно уселся между супругами. Пан домовладелец перестал хлебать свой кофе, и на лбу его выступил пот...

— К этой змее, — продолжал Кубин, — я привязался всей душой. Даже гадюка иногда бывает верной, хотя вообще-то я думаю, что эта зверюшка — вовсе не гадюка. Финансовые затруднения вынуждают меня обратиться к вашему благородию, зная, что вы, как меценат, охотно окажете дружескую помощь художнику. Убедительно прошу вас, пан домовладелец, не могли бы вы одолжить мне двенадцать золотых на некоторое время? В залог я оставляю вам змею. Я выпущу эту милую зверюшку и, знаете, она тут же уютно устроится в перинах. Больше всего она любит спать в перинах. А жрет она вот что...

Он вытащил из кармана дохлую саламандру и небрежно швырнул ее на стол.

— Пан Кубин! — в один голос взмолились оба супруга, помертвев от ужаса.

— Пан Кубин, — повторила, заикаясь, домовладелица, — мой муж охотно одолжит вам двенадцать золотых, только уберите эту гадину, не нужно нам никакого залога, и эту вторую гадость тоже оставьте себе.

Домовладелец выплатил Кубину двенадцать золотых, и художник с достоинством удалился, потрясая ужом в узелке.

На столе осталась мертвая саламандра, у стола — полумертвая супружеская

пара...

\* \* \*

Теперь художник Кубин едет на речном трамвайчике в Хухли, чтобы выпустить ужа на волю и вернуть его из состояния «безотрадности» в состояние «беспечальности».

В данную минуту он вступает в беседу с какой-то барышней и втолковывает ей, что для собственного блага человек должен избавиться от всех своих страстей.

«Какие глупости!» — думает барышня, отворачиваясь от Кубина, а тот уже допытывается у сидящего рядом господина, что он думает о пресмыкающихся...

Речной трамвайчик приближается к Хухлям...

## **Про пана Петранека (Из воспоминаний неудачливого литератора)**

С домовладельцем Петранеком мы расстались очень просто: он пришел ко мне в комнату, разговаривал довольно нервно и наконец сказал:

— Я с вами разделаюсь, хам вы этакий!

На мое «Позвольте, позвольте» он ответил грубо и нелогично:

— Если хотите высказаться, лучше заткнитесь!

Потом распахнул дверь и позвал какого-то детину с засученными рукавами, который стоял в коридоре.

— Помогите мне выставить этого типа!

Детина нахлобучил мне шляпу на лоб, и через секунду я летел вниз по лестнице, крича: «Где же ваши гуманные принципы, господин Петранек?»

Так я расстался с Петранеком после трехмесячной дружбы и через два месяца после того, как переехал к нему. И хотя, как видите, наше расставание было не слишком дружеским, я не могу удержаться от слез, вспоминая этого милого человека.

С Петранеком я познакомился, как и с остальными завсегдатаями ресторана «Черный вол», благодаря своему красноречию. Оно действовало даже на ресторатора Рамбу, который повидал белый свет, служил даже в драгунах, где, как он говаривал, его гнули в бараний рог.

Сначала я сиживал в уголке, прислушиваясь к затасканным анекдотам и глупейшим шуточным загадкам, которые рассказывали за соседним столиком; вся компания ржала от души. Мне запомнилась одна загадка: «Как лучше всего поймать двух львов? Поймайте трех и одного выпустите!»

Я серьезно слушал остроты возчика Пейзара, повторявшего: «Клоп — это еще ничего».

Наконец однажды я вступил в разговор. Тут уж ничего не скажешь, все пришли в восторг. В первый раз это было, помнится, когда говорили о политике и ресторатор Рамба назвал ее «чистым жульничеством».

Кратко, но содержательно я объяснил им, что Фома Кемпийский был ограниченный человек, потому что написал, что крепостное право полезно крестьянам. Дальше я сообщил, что сочинения Фомы Кемпийского перевел на чешский язык Доуха. Возчик Пейзар объявил, что знал одного Доуху: перево-

зил его с квартиры на квартиру. После этого вся компания прониклась ко мне искренним уважением и симпатией, а больше всех Петранек, который сказал, что никогда еще не слышал таких умных разговоров. Он был в восторге и с тех пор сосредоточенно слушал мои рассуждения, не отвлекаясь даже для того, чтобы похлопать по спине толстую жену ресторатора.

Короче говоря, Петранек испытывал ко мне такое благоговение, что недели через две даже осмелился дать мне прикурить, а когда еще через недельку я отплатил ему такой же услугой, он совсем смутился и забормотал что-то невнятное.

Дня через три после этого, когда я распространялся о том, что египетский король велел замуровать в пирамиде нескольких студентов, Петранек попросил у меня разрешения приписать выпитое мною пиво к его счету.

После довольно долгого размышления, которое произвело должный эффект, я сказал:

— У жителей окрестностей Неаполя есть поговорка: «Chi riceve un beneficio, perde la libertà», что означает: «Принимая благодеяние, теряешь свободу».

Затем ясно и доступно я объяснил, что такое благодеяние: «Добрый поступок без расчета на вознаграждение».

— Надеюсь, однако, — продолжал я, — что ваше предложение вызвано лишь дружеским расположением и вежливостью, и потому даю согласие на то, чтобы мое пиво было записано на ваш счет, милостивый государь.

Ресторатор Рамба при всеобщем ликовании приписал мое пиво к счету Петранека, а я сказал:

— В этой связи мне вспомнилось одно мое стихотворение:

*Доиграно, затихли струны,  
И тайные судьба уж чертит руны,  
Молчит рояль, мечтаю я о том,  
Кого еще не знаю в этом мире...*

Я подумал, что тут, собственно, нет никакой связи, однако стишок подействовал ошеломительно: возчик Пейзар заплакал, у мальчишки-кельнера волосы встали дыбом, а ресторатор, чтобы скрыть волнение, схватил его за ухо и закричал: «Как у тебя газ горит, остолоп!» Печник Калишек сунул сигару горящим концом в рот, а Петранек сказал, заикаясь:

— Превосходно, отлично, неподражаемо, господин поэт и писатель!

С того дня этот добрый человек буквально боготворил меня, а я преисполнился радужных надежд на будущее, поскольку у Петранека был четырехэтажный дом, два вклада в сберегательных кассах и дочь по имени Зденка, премилая красотка, на приятном личике которой никак не отражалось то, что ее отец прежде был торговцем свиньями и не без гордости называл себя «поросятником».

Я был вполне счастлив, хотя, скажу откровенно, со Зденкой даже ни разу не разговаривал. Подчеркиваю это только потому, что есть читатели, которые говорят: «Без любви ни один рассказ не обойдется, это уж факт!»

Итак, это была моя единственная слабая надежда на будущее, но ведь разве это не крупная моральная победа, когда молодой, начинающий писатель, единственно благодаря своему обаянию и благоразумию имеет шансы стать зятем владельца четырехэтажного дома и двух вкладов? «Вот тогда я издам

все свои стихи», — думал я, и это придавало мне сил в борьбе с капиталом.

Петранека я совершенно покорил. Что бы я ни сказал, все было для него святой истиной. Он, никогда ничего не читавший, стал без разбору покупать всяческие книги. Мои мнения стали его мнениями, он образовывался подле меня, изо дня в день платил за меня в ресторане и даже стал употреблять в разговоре иностранные слова: кумир, идиосинкразия, анахорет и прочее.

Какую только чушь я ему не городил! Я уверял его, что здание Рудольфинума вытесано из единого камня, что китайцы знали латинский алфавит раньше, чем мы, и что земной шар — это пузырь, на котором тонким слоем расположены моря, горы и реки. Петранек верил всему.

Что еще я мог желать?

Наконец я стал внушать ему, что надо любить искусство и покупать картины, растолковал основные понятия живописи: перспективу, пропорции, стиль.

Он так вошел во вкус этих разговоров, что в один прекрасный день начал объяснять возчику Пейзару, что Алеш рисует в манере, близкой к японской. (Один художественный критик, хаживавший в ресторан «Черный вол», с тех пор не появлялся там; говорили, что он наложил на себя руки, оставив записку, где говорилось, что, если нынче всякий осел рассуждает об искусстве, ему, критику, нечего делать на этом свете...)

Петранек стал настоящим меценатом, он покупал картины молодых художников, разыскивал в небольших лавчонках какие-то пейзажи и обнаженные натуры. Наконец, он предложил мне поселиться у него. Это было как раз, когда я начал писать свое крупнейшее произведение — драму в девяти действиях, на три полных спектакля с продолжениями, под названием «Я убийца!». Она начиналась монологом «Убийца я! Я изучал законы, я, жалкого трактирщика сынок...»

Когда я переехал к великодушному Петранеку и устроился в предоставленной мне комнате, наши отношения стали еще теснее. Целыми днями Петранек сидел у меня в комнате, с интересом рассматривая ненапечатанные рукописи или беседуя со мной обо всем, что взбредет ему в голову.

С его дочерью я так и не обменялся ни словом, никак мне не удавалось добиться того, чтобы мое общество было ей так же приятно, как ее папаше.

— Вчера она сказала, — признался однажды мне Петранек, — что люди вашего типа вечно должны в ресторанах и всегда норовят ущипнуть кельнершу. Выглядят они препротивно, потому что носят длинные патлы...

Такого мнения была обо мне Зденка!

«Ничего, она еще изменится», — сказал я Петранеку, и мы продолжили разговор об искусстве.

Однажды Петранек принес мне фотопортрет своей дочери и поставил его на письменный стол.

— Пусть ее очи улыбаются вам, — возвышенно сказал он, потому что в последнее время стал выражаться поэтически.

Зденка, в самом деле, очень мило глядела на меня с портрета, а я все так же ел, пил и курил за счет ее папаша, которого теперь начал просвещать в области метрики и стихосложения, что оказалось нелегкой задачей, так как он пытался рифмовать «кувшин» и «угасание».

А я принимал визиты исполненных зависти приятелей, которые говорили,

что никак не могут понять, почему этот меценат выбрал такого осла, как я...

Но настал день, когда мой приятель, художник Кубин, погубил меня. Он зашел ко мне в гости, с милым вниманием осмотрел мою комнату, а когда удалился, я заметил, что портрета Зденки нет на столе.

— Я ношу ее на груди, как делали средневековые рыцари, — объяснил я папаше Петранеку, когда он поинтересовался, куда делась фотография.

А Кубин тем временем писал в своем ателье большое полотно «Русалка и леший»...

Новая картина Кубина имела крупный успех: русалка, обнаженная натура, была прелестно написана и красовалась на картине в чем мать родила. Картина попала на выставку, и я посоветовал своему домохозяину побывать там.

А теперь прошу читателей не обижаться, если я повторю:

С домовладельцем Петранеком мы расстались очень просто: он пришел ко мне в комнату, разговаривал довольно нервно и наконец сказал: «Я с вами разделаюсь, хам вы этакий!..» Потом мне нахлобучили шляпу, и я покатился по лестнице, крича: «Где же ваши гуманные принципы, господин Петранек?»

Почему это произошло? Очень просто: в русалке мой почтенный домохозяин узнал свою дочь, это была вылитая Зденка. Дружок Кубин для этого и стащил у меня ее фотографию: теперь вам, надеюсь, все ясно?

Потому-то я и летел с лестницы. На этом кончаются мои воспоминания.

## Рождество в «Народной политике»

Удивительное это было рождество! Как прекрасно соотносится оно со временем наибольшей популярности детективных романов и расцвета издательства Гинека. Каждый из последних номеров «Народной политики» был источником вдохновения для сочинителей кровавых романов. И каждый из этих номеров был золотой путеводной нитью в расследовании убийства на Индржишской улице. Жаль, что детектив Шерлок Холмс не знает чешского языка и не выписывает «Народной политики». Наверняка он приехал бы и с успехом завершил дело, начатое этой газетой. И господин Олич с завистью посмотрел бы на горделивое здание «Политики», той самой «Политики», которая именуется «народной», поскольку целью «Народной политики» является «просвещение народа». 28 декабря «Народная политика», просвещая своих читателей, предложила им следующие заметки: «Убийство на Индржишской улице», «Страшное событие в сочельник», «Где грабители купили оружие»[31], «Вскрытие убитого», «Похороны убитого», «Сенсационное разоблачение», «Тайные квартироръемицики», «Приход гостей», «В день убийства», «Господа — исчезли», «Догадка подтвердилась», «Почему Адамский отпирался?», «Следствие по делу Адамского».

В тот же день вечером прибежал ко мне наверх сосед. Глаза вытаращены, в руках — три последних номера «Народной политики», с уст вот-вот сорвется признание в убийстве.

И в тот же самый вечер в одном ресторане какой-то господин, читая «Народную политику», вдруг начал кричать, что он — не убийца, хотя и на самом деле говорит по-польски, а также на ломаном немецком (как и убийца с Индржишской улицы); господин уверял, что он пекарь, есть тому свидетели, выпекает он сайки и может доказать свое алиби.

В тот же день ночью с новостройки на Индржишской улице слышался

подозрительный шум. Там обнаружили шестнадцатилетнего ученика мясника, в зубах у которого был нож, в одной руке — ремень с пряжкой, а в другой — номер «Народной политики» от 27 декабря, где высказывалось предположение, что убийца, по всей вероятности, скрылся на новостройке. Бедняга на свой страх и риск облазил всю новостройку в поисках убийцы. С соответствующим назиданием относительно того, что ремнем, пусть даже и с пряжкой, убийцу не удержишь, молодого человека отпустили.

В пять часов утра 29 декабря прибежал ко мне незнакомый господин, вытащил меня за ноги из постели и заорал:

— За два дня до сочельника «Народная политика» объявила, что на рождество выйдет номер с богатым и разнообразным содержанием!

— Не душите меня и объясните, что вы хотите этим сказать!

— А вы что, не понимаете? Бежим в полицию, там скорее поймут, что означает заблаговременно пообещать такие сенсации.

Я упал в обморок. Очнувшись, я заметил, что незнакомец исчез, а моя квартирная хозяйка принесла мне кофе, она была вся в слезах и призналась, что в последние дни у нее не выходит из головы, отчего это я в сочельник в половине девятого ушел из дома. Я объяснил, что отправился пить вино.

Тут она побледнела как полотно и удалилась, но вскоре вернулась, держа в руках утренний номер «Народной политики» от 28 декабря, где было напечатано, что схваченный разбойник Адамский, прибегнув к глупо-наивным оправданиям, твердил комиссару Кнотеку: «Ведь мы отправились всего-навсего пить вино...»

Я ужаснулся. Квартирная хозяйка упала в обморок, и я не замедлил скрыться.

Я отправился к другу — посоветоваться. Сообщил, какие подозрения имеются на мой счет у квартирной хозяйки, и высказал предположение, что она, очевидно, пойдет и донесет на меня полиции. Алиби у меня нет, а поскольку, согласно «Народной политике», этот Станислав Адамский — опытный преступник, то он при первой же очной ставке может сказать: «Да, это он. Ага, значит, уже попался, голубчик...» Исходя из этих соображений, я попросил своего друга предоставить мне убежище хотя бы на то время, пока не разыщут убийцу.

Приятель разразился саркастическим смехом. Неужто я хочу и его подвести под монастырь? Неужто он не читает «Народной политики» и не знает, что «грабителей было трое»? Стоит им найти меня у него, как он тут же окажется «третьим». К тому же он точь-в-точь, как разбойник Адамский, в сочельник отправился пить вино.

— Я тебе советую, — сказал мне друг, — иди ты покамест в кафе и спокойно играй себе на бильярде, будто ничего и не случилось и «Народная политика» вообще не выходила.

И я пошел. О господи, как же мне снять с себя подозрения в причастности к убийству и в том, что я знаю о нем больше, чем остальные, больше, чем писала «Народная политика»! О, попадись мне только этот убийца, уж я бы немедленно передал его в руки правосудия! Это, конечно, тяжело ударило бы по акционерам «Народной политики», все сенсации тотчас прекратились бы, но судебное разбирательство, я думаю, возместило бы им все убытки.

Мне повезло. Неподалеку от «Деминки» я заметил мужчину **без зимнего**

**пальто.** Я тут же вспомнил о «Народной политике», ибо 27 декабря газета сообщила: «**когда убийца убежал, он сбросил зимнее пальто, чтоб легче было бежать**».

Я указал жандарму на подозрительную личность.

— Где ваше пальто? — спросил у него жандарм.

— Вчера я заложил его в ломбард, — ответил мужчина, — чтобы купить себе «Народную политику».

Я вошел в кафе и, чтоб не возбуждать подозрений, затеял непринужденный разговор со своим соседом.

— Вы уже читали сегодняшнюю «Народную политику»? — спросил он.

Я печально покачал головой.

— Жаль, жаль, — сказал сосед, — там есть любопытнейшие подробности, будто один из грабителей скрылся в здании «Народной политики», где редакция побеседовала с ним.

— Вы не в курсе дела? — спрашивал какой-то молодой человек за соседним столиком, — говорят, первое сообщение об убийстве во вторник набирал сам шеф-редактор «Народной политики», когда весь наборный цех в пятом часу уже разошелся по домам.

— Удачное рождество, слава тебе господи, — радовался толстый господин у окна, — парочка таких убийств — и я покупаю новое здание.

Это был один из акционеров «Народной политики», которая нынче праздновала свое кровавое рождество.

## Рассказы о Ражицкой башне

**С**мотритель Ражицкого пруда Яреш приходился мне дедушкой. Давно уж стлеют на кладбище и его кости, и кости смотрительши Ярешовой. Однажды я собрался посетить место, где они когда-то жили и трудились: Ражицкую башню.

Ражицкая башня находится в живописной долине, по которой протекает речка Бланице, что берег свое начало у Воднян и Противина.

С трех сторон ее окружили подковой Писецкие леса, а в полудне ходьбы от старой башни раскинулись деревни Путим, Гержман и Ражице.

К башне примыкали два огромных пруда: Ражицкий и Прковский. По другую ее сторону тянулись пахотные поля, а за ними — белая дорога, огибавшая черный лес Гай.

В общем это был один из многочисленных живописных уголков Южной Чехии.

И вот теперь башня, повидавшая на своем веку много веселья, превращена в обыкновенную сторожку, ветхое строение распадается; через окно, заклеенное промасленной бумагой, старый сторож смотрит на дамбу с зияющими трещинами, а за дамбой он видит пруд, дальняя часть которого стала уже полем: работник, шагающий за плугом, то и дело выпаживает корни водяных трав, которые когда-то шелестели над гладью пруда, укрывая в своих зарослях диких уток...

Я глядел с дамбы на останки бывшей башни и вспоминал покойника деда, его рассказы об осенних вечерах, когда в башне собирались люди и вели неспешные беседы об истории с браконьерами, об управляющем Бегальте, о дуплистом дубе на дамбе, о работнике Матее и о конце башни...

## I

**О чем говорилось однажды вечером**

**В** горнице вокруг стола сидели смотритель Ражицкого пруда Яреш, ржежабинский сторож, штетицкий сторож и помощник старшего дозорного из Кесторжан; они ждали, когда совсем стемнеет.

Опустился осенний вечер. Водяной пар кружил над прудами и клубился в лесных верхушках за белой дорогой.

В окно было видно, как из тумана на лугах выныривали блуждающие огоньки, подпрыгивали и исчезали в кустарнике.

— Эти блуждающие огоньки, — сказал ржежабинский сторож, — очень напоминают покойника Ганжла.

— То есть как это, какого еще покойника Ганжла? — спросил помощник дозорного из Кесторжан, сидевший за столом у самого окна и глядевший в осеннюю мглу.

— Ну да, покойника Ганжла, — сказал ржежабинский сторож и принялся рассказывать.

— Ганжл был местный, из Ражиц. Хозяйство у него было богатое, да только заложенное и перезаложенное. Уж больно любил покойник выпить да в карточки побаловаться. В ту пору, когда Ганжл еще жив был, по всей округе шла слава о трех опасных браконьерах, которые таскали из прудов рыбу. Звали их Калоус, Шпачик и Шрамек. Эта троица знала все тропки наизусть, находила дорогу хоть ночью, хоть в самый сильный туман. И никому не удавалось поймать их с поличным.

Так вот, о чем бишь я говорил? Да, собрался как-то Ганжл на ярмарку в Противин, корову продавать.

— Без сотни домой лучше не приходи! — сказала на прощанье жена его, Ганжлова.

Пошел Ганжл, продал корову. Выручил за нее сотню с чем-то. Погода была тогда такая же: осенняя, холодная. «Как тут не пропустить рюмочку?» — подумал Ганжл. Зашел в трактир, и такая уж у него была повадка: выпил — и за карты. И двадцать золотых проиграл. «Что делать? — думает. — Домой нужно сотню принести, иначе жена на порог не пустит». А жена у него была, что называется, бой-баба.

Вот, значит, и остался Ганжл в трактире на ночь и на весь следующий день, все играл да играл и опять до сотни добрал. А к вечеру третьего дня просадил он, братцы, всю выручку, всю свою сотню, и когда платить ему стало нечем, его вышибли из трактира.

Был он в подпитии и по дороге домой свалился где-то в пруд. Немного протрезвел и, придя домой, говорит жене:

— Ну, что смотришь? Это я в пруд упал. В таком тумане, голубушка, недолго и с дороги сбиться. Я сперва переоденусь, а потом уж все расскажу. Вот такие, голубушка, дела!

Тем временем Ганжлова опомнилась и говорит строгим голосом:

— Деньги все принес?

— Ничего не принес, — спокойно отвечает Ганжл, — я их в одно верное дело вложил.

— Ах ты мерзавец, — говорит Ганжлова.

Короче, изругала она его и хотела выгнать из дому вон.

— Жена, не грехи, — серьезно так говорит Ганжл, — всю сотню оставил я в залог в Писецком суде. Это целая история. Пришел я в Противин и чего только не наслушался. Сама, небось, знаешь, что Калоус, Шпачик и Шрамек рыбу воруют.

— Боже милосердный, — всплеснула руками Ганжлова, — неужто ты с ними снюхался?

— Трудно мне с тобой говорить, — важно заметил Ганжл. — В общем, канцелярия славного князя Шварценберка назначила награду в триста золотых тому, кто их поймает. Вот я и подумал: смелости мне не занимать, почему, бы и не попытаться? Только вот в чем заковыка: кто за это дело берется, тот должен в Писецкий суд внести сто золотых залогом, тогда, мол, будет ясно, что ты со славной княжеской канцелярией не шутики шутишь. Ладно, внес я сто золотых и отправился домой. А как шел я из Писека, тьма была — хоть глаз выколи. И тут слышу — разговор. Понимаешь, по голосам я сразу узнал Шрамека, Калоуса и Шпачика. Пошел я за ними следом и дошел аж до Суковского пруда, а там в тумане и свалился в воду. Пока из воды выбирался, этих негодяев уже и след простыл.

— Боже мой, боже, — заплакала Ганжлова, — сам посуди, их трое, а ты один. Если они с тобой разделяются, куда мне потом деваться?

— Ну-ну, — говорит Ганжл, — я хоть и один, да зато не лыком шит. Или ты думаешь, мне лучше в это дело не ввязываться? Но тогда залог — поминай как звали.

— Только не это! — всполошилась Ганжлова, — я ведь только о том, как бы тебе не лишиться жизни из-за своей отваги.

Сами понимаете, Ганжл всю ночь не мог глаз сомкнуть от страха, как бы жена не сообразила, что к чему.

Но она, видать, не сообразила, потому что утром сказала ему:

— Мне уже снилось, что Шрамек тебя скинул в пруд.

— Как бы не так, — отвечает Ганжл. — Сегодня же вечером выйду посмотреть, не собрались ли они за рыбой.

Вечером вышел Ганжл из дому. Сами понимаете, каково у него было на душе. Домой раньше ночи возвращаться нельзя: как бы жена чего не заподозрила. А у нас ведь осенними ночами мало радости бродить в тумане — уж мы-то знаем.

Так оно и шло три дня. Ганжл слонялся ночью по околице, уже и насморк схватил, и жена ворчать начала, как это он все еще не поймал никого, того и гляди пропадет их залог. А Ганжл уже четвертую ночь бродил в тумане и чертыхался: вот, мол, сбrehнул жене, да на свою же голову. А выложить все начистоту он боялся.

Ну, как говорится, сколько веревку ни вить, а концу быть. Однажды вечером Ганжл опять ушел бродить в тумане, а жена его тем временем заглянула на огонек к соседям. И повстречалась с их сыном Винцеком, который держал трактир в Противине, где старый Ганжл проиграл злополучную свою сотню. Слово за слово, разговорились, вот как мы сейчас с вами, и зашла речь о ярмарке. И Ганжлова до тех пор допытывалась у Винцека, пока не выяснила, что Ганжл эту сотню проиграл.

Весело прошла та ночь у Ганжлов! Вернулся Ганжл из своих скитаний закончивший, постучал в окно и ждет.

В ответ ни гугу. В доме тишина. Постучал он во второй раз, опять никого и ничего. А когда постучался в третий раз, услышал из горницы голос жены:

— Ах, негодяй, это за твою поимку нужно бы триста золотых выписать. Раз ты нашу сотню проиграл, иди спать хоть в Писецкий суд, хоть в пруд, а в дом я тебя, негодяя, не пущу.

Ганжлу ничего не оставалось, как убраться прочь и дальше бродить этой туманной холодной ночью. Он шел куда глаза глядят и добрался аж до Кестржанской башни, где я состоял тогда в учениках. Рассказал он о своих мытарствах и заночевал у нас. С той поры прозвали мы его «болотный Ганжл», потому что блуждал он по ночам, совсем как эти огоньки на болоте.

— И я это помню, — сказал штетицкий сторож, — тогда в Кестржанской башне был еще смотритель, а не старший дозорный, как теперь.

— Да, прошло то времечко, — сказал смотритель, — тогда все было иначе.

— И тогда точно так же говорили, — молвил ржежабинский сторож, — как вспомнят про былое, так и вздохнут: «Славное было время, не то что теперь!»

— И то правда, жилось в Кестржанской башне весело, — продолжал он, — к примеру, когда из прудов рыбу отлавливали. Отовсюду съезжались господа; пиво текло рекой, жарили, варили, веселились. Работникам тоже перепадало. Помню, лет в семнадцать пошел я туда в ученики, а уже месяца два спустя участвовал в лове рыбы. Поставили меня рыбу считать.

Сосчитал я до двадцати. Я и понятия не имел, что при счете рыбы «двадцать» называется «мецитма». Вот я и считаю: «двадцать, двадцать один». Как вдруг получаю здоровенную затрещину от смотрителя пруда, и кричит он мне в самое ухо: «Мецитма, мецитма один!»

— За что, — говорю, — хозяин?

А смотритель:

— Мецитма один — и дальше так считай: мецитма два, мецитма три.

А я знай считаю дальше: «Двадцать один, двадцать два». И снова получаю затрещину. Смотритель кричит: «Мецитма один, мецитма два!» Тут уж я не стерпел и говорю: «Хозяин, да ведь я же не знаю этого языка!» Потом они смеялись надо мной целую неделю. Хорошо еще, другие смотрители пришли и взялись считать, а я помогал сети тянуть.

— Весело бывало не только в башнях у смотрителей, — сказал штетицкий сторож, — а и в сторожках тоже. Взять, к примеру, телинскую сторожку, когда в Телинском пруду рыбу ловили. Съехали господа смотрители со всей округи. В другом бы месте обед заказали в деревенском трактире, да только от тамошней сторожки до Телина далековато. Вот и подались они к сторожихе: «Хозяюшка, вот вам карп, приготовьте-ка нам его «по-синему». — «Конечно, как прикажете», — отвечает она. Это еще утром было.

На рыбной ловле аппетит разгуливается не на шутку, и господа смотрители заранее радовались, как вечером засядут за стол.

— А не дать ли нам ей еще одного карпа, чтобы она его «по-синему» приготовила? — говорит один из смотрителей.

Сказано — сделано. И уж разговоров-то было, как они вечером карпом по-синему полакомятся!

Стоило сторожихе показаться, они тут же ее спрашивали: как, мол, поживает их синий карп?

— Да уж полакомятся, — отвечала она.

— Уж вы постарайтесь, пожалуйста, — говорили господа смотрители, — сами понимаете, мы в долгу не останемся.

И вот кончился вечером лов. Изголодавшиеся господа смотрители пришли в горницу и тут же послали за пивом.

— Ну, хозяйюшка, а теперь подавайте нам синего карпа!

— Хозяйка, что вы с этим карпом так долго возитесь?

Приходит наконец сторожика с большим блюдом и с кульком. Над блюдом пар поднимается.

— Ну, вот вам, господа, ваш карп по-синему, а ежели кому из господ он не очень синим покажется, соблаговолите сами подсинить, я баба глупая и не знаю, как это у господ делается, — говорит сторожика.

— Горе вы наше горькое, зачем вы туда синьку положили? — охнули смотрители. И поплелись голодные в деревню, чтобы хоть там чего-нибудь перехватить.

А сторожика потом говорила:

— Не так-то легко большим господам угодить.

— И раньше бывало весело, и сейчас еще бывает, — сказал смотритель Яреш, — особенно, когда рыбу считают. Но однажды мне это веселье боком вышло. Дело было в Кестржанах, под рождество, подсчитали мы рыбу, ну, и выпили, как водится. Я тоже пил, а когда расходились, я был не то чтобы пьян, но, как говорится, навеселе.

И вот отправился я в полночь к ражицкой башне. Шел снег, ветер дул прямо в лицо. Мои высокие рыбацкие сапоги то и дело проваливались. Ветром намело сугробы, и не понять, где дорога, где канава. Вокруг белым-бело, а снег все валит и валит.

Я чуть было не замерз. Вздумалось мне передохнуть, жарко стало в тяжелом тулупе, вот и сел я в снег на каком-то косогорчике. Дома уже волноваться начали, а я тем временем на морозе, в самую метель заснул. Сам не знаю, как это получилось: уснул, будто в яму провалился.

А проснулся уже дома, в постели. Так и замерз бы в поле, если б не мой пес Пинчл.

Пес учуял меня уже перед Ражицами. Выбежал на дамбу и стал лаять. Потом опять воротился — и так до тех пор, пока люди не отправились меня искать, пока не нашли и не принесли домой.

Пинчл привел их ко мне. Спас он меня, а сам, бедняга, плохо кончил. Такой отличный был пес и вдруг взбесился. Однажды бегал за нами весь день, каждому лизал руки, терся о наши ноги, прыгал и вилял хвостом, опять терся, лизал руки и скулил. Под вечер стали мы его искать — нет Пинчла. Звали, а он не отзывался. Только вечером работник нашел его — Пинчл забился в дальний угол, не шевелился и весь окоченел.

Мы решили, что он издох, и работник вынес его на двор, чтобы зарыть утром. Очень нам было жаль этого пса. Утром выхожу во двор, а Пинчла и след простыл. Оклемался на воздухе и удрал. Когда он покусал трех собак, его застрелили писецкие охотники. У него нашли бешенство.

Тогда Тонда Коштел, фельдшер из Скочиц, дал нам хлебную корку, обрызганную чем-то вроде чернил, которую мы варили в несоленой воде, а отвар пили девять дней. И все девять дней нам нельзя было есть ничего соленого. Все мы ели без соли.

— Коштел был мастак, — сказал штетицкий сторож, — как-то при покойной княгине Элеоноре бешеный пес перекусал всю княжескую охотничью свору. Позвали Тонду Коштела, и он всех собак вылечил. Доктора вызвали его в писецкий суд и хотели выпытать у него, как лечить от бешенства, но Коштел им не сказал.

— А следовало бы, — отозвался ржежабинский сторож, — тогда бы всем людям польза была.

— Говорят: его отец ему этот секрет открыл и запретил выдавать, — сказал штетицкий сторож. — Во французскую войну отец его во Франции побывал и там этому научился.

— Ну, пора идти на Ржежабинецкий пруд, браконьеров ловить, — прервал беседу смотритель Яреш. — Уже десятый час.

Все поднялись из-за стола и вышли в туманную осеннюю ночь: смотритель Яреш, сторож Ржежабинецкого пруда, сторож Штетицкого пруда и помощник старшего дозорного из Кестржан.

## II

Во времена ражицкого смотрителя Яреша больше всего браконьеров было в Путиме, они воровали рыбу то в одном, то в другом пруду. А из этих путимских браконьеров известнее всех была семья Вейров, состоявшая из отца, сына и дочери.

Что касается дочери Анны, то она лишь продавала рыбу, наворованную братом или отцом.

В возрасте двадцати лет Йозеф Вейр переплюнул своего отца, попытавшись однажды спустить Прковский пруд.

Он вытащил из спускных труб заглушки, которые удерживают в пруду воду, а потом на отмели наловил целый короб карпов.

Таков был метод молодого Вейра. Старый Вейр придерживался традиционной школы и предпочитал ловить рыбу вершей. «Так меньше шуму», — обосновывал он свой метод, на что молодой Вейр, вдохновляемый новыми, прогрессивными идеями, возражал: «Но спускать пруды куда выгоднее».

Оба, молодой и старый, непреклонно отстаивали свои взгляды, отчего порой мир в семье оказывался под угрозой, а однажды дошло до того, что молодой Вейр перебрался к своему дяде Голоубеку, тоже браконьеру.

Но ненадолго. Из-за своего метода «спускания прудов» он не ужился и с дядей, потому что дядя Голоубек утверждал: «Коли уж красть, то по совести, а эти новые фокусы — бессовестные и бесчестные. Вот погляди: вчера мы с кумом на Ражицком пруду поймали вершами четырех карпов, и все были икрыные».

И молодой Вейр вновь перебрался к своему отцу. Это было в ту пору, когда по всему Путиму распевали песенку:

*Молодой Вейр ночью  
Прковский пруд спускал...*

Заканчивалась она словами: «Так он, вор зловредный, луга затопил, пока смотритель Яреш заглушки не вбил».

Эта песня оскорбила молодого Вейра до глубины души, и он поклялся отомстить ее сочинителю.

История человечества с незапамятных времен изобилует доказательства-

ми того, что в разных странах, городах и весях встречались изменники, которые, побуждаемые отчасти злопамятством, отчасти жаждою славы, подло выдавали врагам планы своих сограждан; в Путиме таким изменником оказался Йозеф Вейр, который, узнав, что вышеупомянутую оскорбительную песенку сложил дядя его, Голоубек, пришел в один прекрасный день в Кестржаны и там сообщил старшему дозорному прудов, что Голоубек задумал в ближайшую субботу красть рыбу в Ржежабинецком пруду.

Старший дозорный в Кестржанах был старик, известный своей слабостью ко всем мало-мальски привлекательным девушкам.

По этой причине его старуха жена служанок выбирала с крайней осмотрительностью. Если девушка была не урод, ее шансы получить работу в этом доме равнялись нулю, а потому все служанки, когда-либо служившие в доме старшего дозорного, отличались отменным безобразием и изъянами по части красоты.

Старшему дозорному только и оставалось, что искать утешения у деревенских девчат, к немалой злобе его жены, которая была ревнива и столь же безобразна, как все ее служанки.

— Стало быть, вы — молодой Вейр, — сказал старший дозорный, когда Йозеф доложил ему, что дядя Голоубек собирается красть рыбу в Ржежабинецком пруду, — и у вас есть сестра по имени Анна.

— Да, — отвечал Йозеф.

— У нее черные волосы, — продолжал старый старший дозорный, знавший всех девушек в округе, — а вы спустили Прковский пруд.

Молодой Вейр стоял как громом пораженный.

— Признавайтесь! — строгим голосом произнес старший дозорный. — Это пахнет тюрьмой.

Тут он переменял тон и сказал доверительно:

— Ну, а теперь выкладывайте всю правду. Кто еще пойдет с вашим дядей по рыбу?

— Отец, — выдавил из себя Йозеф, в глазах которого замелькали жандармы и тюрьма, а в ушах звучал припев песенки: «Так он, вор зловредный, луга затопил, пока смотритель Яреш заглушки не вбил».

— Значит, и старый Вейр тоже, — молвил старший дозорный, — в таком случае придется вам в интересах расследования этого дела прислать сюда Анну.

Между тем к молодому Вейру вернулось хладнокровие, и он сказал:

— Только прошу вас, не говорите, что я у вас был.

— Тогда я пошлю за Анной своего помощника, — благодушно уступил старший дозорный, который уже представлял себе, как он обнимает Анну за талию и щиплет ее за щечку.

И он послал за Анной своего помощника Гинека, а Гинек совсем недавно танцевал с Анной на гуляньях в храмовые праздники в Путиме, в Штетицах и в Ражицах.

— Девица Анна, — сказал старший дозорный, когда Гинек привел к нему девушку, — дело это сугубо официальное, поэтому садись сюда, ко мне поближе. Мне стало известно, что старый Вейр крадет рыбу. Садись поближе. Так вот, мне это доподлинно известно, но я подумал, что иной раз лучше все уладить по-хорошему. Ну-ну, подсядь еще ближе. Сама знаешь, Анна, я добрый че-

ловек, однако долг превыше всего. Жандармы, тюрьма, ну и так далее. Конечно, всякое дело можно уладить.

При последних словах старый старший дозорный одной рукой обнял Анну за талию, а другой ущипнул ее за щечку. При этом он сладко улыбался.

— Поцелуй меня, — прошептал он.

Анна разозлилась и вскочила на ноги.

— Вы, дед, лучше бабку свою целуйте, — сказала она, — а если еще раз ко мне полезете, я все вашей жене выложу. Будьте здоровы!

И она выбежала из горницы, покрасневшись от гнева.

— Анинка, — окликнул ее помощник Гинек, стоявший на дамбе, — да не бегите вы так, я вас провожу. Что там у вас случилось?

И он проводил Анну до самого Путима, а когда прощался, сказал:

— Не бойтесь. Я знаю — наш старик будет мстить, да я уж что-нибудь придумаю.

И действительно, старший дозорный принялся мстить. Он уведомил смотрителя Яреша, что в субботу ожидается кража рыбы из Ржежабинецкого пруда и что нужно принять решительные меры. Помощника Гинека он послал ражицкому смотрителю на подмогу.

И вот теперь смотритель Яреш, сторож из Ржежабинца, сторож из Штетиц и Гинек из Кестржан вышли в темную осеннюю ночь.

— Идти тихо. И чтоб ни звука, — предупредил смотритель Яреш.

Отряд шагал по лугам, перепрыгивал канавы, снова шел по полям, по проселку.

Они шагали уверенно, хотя на расстоянии шага ничего не было видно. Уверенно и беззвучно — слышно было, как журчат струйки в водоотводах и где-то вдали дребезжит на дороге телега.

Тьма была такая, что, шагая след в след, они не видели друг друга.

Через три четверти часа они были на дамбе Ржежабинецкого пруда.

Еще на подходе к дамбе они услышали подозрительное, непрерывное плескание воды — совсем не похожее на отдельные всплески выпрыгивающих из воды карпов.

Подозрительное плескание и шорохи не прекращались, теперь они определенно доносились с другого края пруда.

«Значит, старший дозорный не ошибся», — подумали все. «Это они», — говорил себе помощник дозорного Гинек, вспоминая про Анну.

На дамбе они разделились, чтобы взять браконьеров в клещи.

— Главное, тихо, — шептал смотритель на ухо своим людям, — а ты, Гинек, заходи с другой стороны.

И они принялись бесшумно окружать беззаботных браконьеров. Как вдруг в тишине туманной ночи раздался выкрик:

— Люди добрые, помогите, я в воду свалился!

Это был голос Гинека из Кестржан. А с другого края пруда откликнулся сердитый голос штетицкого сторожа:

— Да заткнись же ты, осел!

После чего подозрительное плескание прекратилось. А немного позже старый Вейр и Голоубек, окольными путями трусившие по лугам к Путиму с вершами на плечах, радовались:

— Наше счастье, что этот осел в воду свалился!

Запомни, помощник Гинек из Кестржанской башни, что нет пророка в своем отечестве, тем более если люди о нем и не подозревают...

Куда ни кинь, с обеих сторон ты остался ослом.

### III

#### Про управляющего Бегальта

Когда старый добрый управляющий княжеского имения в Противине ушел на пенсию, на его место прибыл Бегальт, немец, владевший чешским языком, который, однако, не упустил случая украсить свою чешскую речь немецкой фразой: «Himmel, Herr Gott!»[32]

Фигура управляющего Бегальта была примечательна тем, что, куда бы он ни пришел, в дверях сначала показывалась его жилетка, и лишь некоторое время спустя — лицо, ибо брюхо у него было огромных размеров и напоминало любой круглый предмет, но только не живот — если согласиться, что человек — венец творения на земле.

Прискорбно, что эта часть тела занимает главенствующее положение в описаниях фигуры управляющего Бегальта, однако описать ее необходимо, поскольку все то время, пока он был управляющим в Противине, и вообще во всей его жизни она играла наиважнейшую роль.

Органы его пищеварения тоже были в порядке — а как же иначе? — и тоже играли в его жизни немаловажную роль.

Можно сказать, пан управляющий Бегальт всю свою жизнь проел, и я убежден — даже во сне ему виделось, как он сидит за столом, а самым мучительным из кошмаров был, должно быть, сон о том, что на чешскую землю пришел голод.

У некоторых управляющих принято за время своего правления набивать карманы, а прочие жизненные проблемы их не волнуют; пан Бегальт за время своего правления тоже стремился набить карманы, но пуще всего он стремился набить брюхо и расширить его объем.

У каждого своя слабость: его предшественник, например, любил предаваться воспоминаниям о годах, проведенных на военной службе; куда бы он ни пришел, он только об этом и говорил:

— Ну да, в те времена... Наш капитан... И таких было много... Вся рота стоит как на карауле... А он только бровью поведет... А теперь какая служба...

Управляющий Бегальт в любом обществе гнул свое:

— Так вы считаете, что фрикасе из гуся... Как? Хрустящее гусиное жаркое... О да! Лучше не бывает... А как насчет жаркого из вырезки, с кнедликом? — Жаркое из баранины, почтеннейший, — это вещь, но оно должно просто плавать в подливке.

Я очень хорошо представляю себе управляющего Бегальта по рассказам покойного деда: вот он отбывает домой, довольный, что его посадили в коляску, специально для него сработанную, он в восторге от хорошего обеда, он поглаживает жилет, похлопывает по нему, приговаривая:

— Ну, слава богу, воздайте кесарю кесарево.

При этом он удовлетворенно переводит дух и сопит так громко, что кучер на облучке, еще не раскусивший нового управляющего, оглядывается, думая, что управляющий хочет подсказать ему, куда ехать: налево или направо.

Далее я представляю себе, как после часа езды паном управляющим овладевает беспокойство, вызванное новым приступом голода, как он снова погла-

живает жилет и на этот раз говорит про себя отеческим тоном:

— Ну-ну, успокойся, скоро будем дома.

Дальнейшая езда сопровождается вздохами:

— Ох, как это ужасно — вечно быть голодным.

И на самом деле, управляющего Бегальта голод изводил постоянно, аппетит просыпался у него даже ночью во время сна, через десять минут после завтрака, вскоре после сытного обеда, после ужина, короче говоря, в Противине еще не бывало управляющего столь толстого и столь ненасытного; это он, пригласив чиновников противинского имения на обед по случаю своего вступления в должность, за один присест съел целого гуся и двух кур, а после ухода гостей сказал жене:

— Для первого знакомства я старался держать себя в руках, ведь они ко мне приглядывались. Пришлось умерять аппетит. Ну ничего, я еще вознагражу себя за это.

И он принялся вознаграждать себя, нанося визиты зрителям прудов, входивших в княжеское имение.

Здесь зрительши взяли за правило носить на кухню управляющим гусей, кур, уток, яйца, масло и прочие полезные вещи.

Это правило, происхождение которого осталось неизвестным, соблюдали все зрительши, за исключением зрительши Ярешовой из Ражиц.

Возможно, эта разновидность подкупа управляющих объяснялась тем, что не у всех зрителей совесть была чиста, потому что зритель Яреш говаривал:

— Кто служит честно, тому незачем ходить с подарками. Этот вот управляющий, который имеет доход вшестеро больше моего, такой же княжеский слуга, как и я; почему же я должен делать ему подарки, если получаю вшестеро меньше и несу свою службу по чести и совести.

И зрительша Ярешова никогда, ни при одном из управляющих ничего не носила на их кухню.

Так было и теперь, при новом управляющем Бегальте, который, утоляя вечный свой голод, первое время ездил угощаться к зрителям под тем предлогом, что ему нужно лично с ними познакомиться, а впоследствии наведывался поесть под тем предлогом, что он обязан проверять, как они выполняют свои обязанности.

Зрительши угощали пана управляющего, а тот, наевшись и искусно намекнув за столом, что не грех бы захватить с собой кой-какую домашнюю птицу, ехал дальше, к очередной башне, и там ел опять, а зрительши исправно потчевали его, да еще перед отъездом клали ему в коляску птицу.

Но с особым удовольствием Бегальт предвкушал, как он придет угощаться к ражицкому зрителю, потому что зрительша Ярешова слыла отменной поварихой.

Пана управляющего приводили в восторг рассказы о том, как искусно она готовит дичь и баранину. Похоже, жаркое из баранины управляющий считал прекраснейшей из поэм, хотя сомнительно, чтобы он в жизни своей прочел хоть одну.

Итак, он не стал медлить с посещением Ражицкой башни. Велел заложить коляску, к которой после вступления его в должность было пристроено сзади некое подобие дорожного сундука, куда кучер складывал съедобные подноше-

ния, — и отправился в путь, предвкушая яства, которые приготовит в его честь ражицкая смотрительша.

У смотрителя Яреша его ждал строго официальный прием. Смотритель не очень-то перед ним расшаркивался, смотрительша тоже.

Усевшись на стул, который он предварительно окинул внимательным взглядом, соображая, выдержит ли стул вес его тела, управляющий объявил:

— Так вот, я приехал, чтобы повидать вас и лично с вами познакомиться.

— Не угодно ли пану управляющему перекусить с дороги? — спросила смотрительша.

— Гм, отчего же, перекусить можно, этим я, так сказать, не побрезгаю, — отвечал изголодавшийся управляющий, с вожделением поглядывая через окно во двор, где прохаживались гуси, утки и прочая домашняя птица, начиная с кур хохлаток и кончая цесарками, до которых управляющий тоже был большой охотник.

— Сколько же у вас домашней птицы, и гусей, и уток, — словно бы в задумчивости начал он, обращаясь к смотрителю, — а что до меня, так я очень уважаю хорошее гусиное жаркое. И я наслышан — дичь у вас готовят отменно. Ах, у вас, я вижу, и цесарки есть. Цесарок я очень люблю с лапшой. И вообще куры хороши в любом виде.

«Экий ты пряткий», — подумал смотритель, слушая изливания толстяка управляющего.

— В поместье, где я был управляющим до сих пор, приказчики тоже держали цесарок, гусей, уток — всякую птицу. Куда ни приеду — всюду угощают, а как поеду домой, кучер, бывало, говорит: «Милостивый пан, я на облучке еле сижу, до того меня гусями и утками завалили, все это, мол, милостивой пани управляющей посылают для кухни». Да еще сами приказчицы носили всякую всячину. Ну, как тут не быть признательным? И я, понятно, никого зря не допекал. А уж они во мне, ей-богу, души не чаяли.

«Ага, — подумал смотритель Яреш, — не на того напал». И продолжал слушать пана управляющего, который разливался соловьем, предаваясь сладким воспоминаниям:

— Куда, бывало, ни приеду, первым делом спрашивают: «Что вы любите больше всего?» А я отвечаю: «То-то и то-то», — и что бы я ни назвал — глазом не успеешь моргнуть — все уже на столе.

Пан управляющий хлопнул себя по животу и вздохнул:

— И все подкладывают и подкладывают. А я им говорю: «Как бы не пересть». И поверите, то и дело приходилось жилет расстегивать, а когда уезжал, опять совали мне в коляску всякую всячину, для кухни.

— В Кестржанах я слышал, — немного погодя продолжал он, — что ваша жена несравненно готовит барашка по-охотничьи.

Он помолчал, а потом, поглаживая жилет, заявил:

— Барашек по-охотничьи — это, по-моему, лучшее из блюд, но его нужно заказывать заранее, К примеру, скажешь дома: «Хорошо бы барашка по-охотничьи». И через неделю подадут отличнейшего барашка.

— А нет ли у вас молочных поросят? — вдруг спросил он. — Если есть, я бы, пожалуй, купил одного для нашей кухни. Обожаю поросят. Глядишь на дивного жареного поросенка — и, я бы сказал, все так в тебе и играет от радости. Расскажу вам один случай. В имении, где я был управляющим, спрашиваю я

как-то у одного из приказчиков, вот как у вас сейчас: «Не продадите ли поросеночка?» — «Никак не могу, благородный пан», — ответил приказчик и замаял разговор. А через несколько дней сам заявился на кухню и принес двух молочных поросят. Я рассмеялся и говорю: «Ах вы, шельмец, вы ведь говорили, что никак не можете! Сколько же они стоят?» И знаете, что он ответил? «Для благородного пана управляющего — даром»!

Управляющий Бегальт ждал, что смотритель Яреш рассмеется, но не дождался.

Смотритель Яреш сказал:

— Не угодно ли, пан управляющий, осмотреть башню? Ей нужен ремонт.

— Как-нибудь в другой раз, — отвечал управляющий и продолжал медовым голосом: — В этом имении дела тоже обстоят неплохо; смотрители, мне кажется, понимают, что такое признательность.

— Они выполняют свои обязанности, — сказал смотритель Яреш.

Тут пришла смотрительша и поставила перед управляющим жареного цыпленка и бутылку пива.

«Неплохое начало, — думал управляющий, уминая цыпленка. — Жареный цыпленок возбуждает аппетит; странно, правда, что цыпленка подают перед остальными блюдами, но здесь, видно, так принято».

Он доел цыпленка и выпил пиво, после чего хозяйка унесла пустую тарелку с бутылкой и убрала со стола.

«Наверное, хочет сменить скатерть, — думал управляющий, поглаживая жилет. — Судя по цыпленку, смотрительша и впрямь отличная кухарка. Чем-то она меня еще попотчует? У меня уже заранее слюнки текут».

Он не догадывался, что слюнки у него могут течь хоть до вечера — и все впустую, пока же он сидел очередные полчаса перед пустым столом, который никто не собирался накрывать. «Еще не готово», — рассудил управляющий и прервал тишину словами:

— Цыпленочек был превосходный.

— Чем богаты, тем и рады, — отвечал смотритель Яреш, — главное дело, что от души. Мне, например, цыпленок этот ни к чему. По мне, куда лучше копченая свинина с горохом и с капустой, которая у нас сегодня на обед. Если пожелаете, милости просим к нашему нехитрому столу. А пока мне нужно взглянуть, как работают косари. Если вам угодно пройтись со мной...

— Копченая свинина с горохом, — с трудом вымолвил изумленный управляющий, — а я-то было... я думал... Ну, если у вас дела... — Да, я вспомнил, мне тоже нужно еще кой-куда наведаться.

И вышел вон, не прощаясь. Когда управляющий влез в коляску и немного отъехал от башни, он спросил у кучера:

— Волешник, смотрительша тебе для нашей кухни ничего не дала?

— Нет, не дала, — отвечал Волешник. — Куда прикажете, милостивый пан?

— К Судомержской башне, — велел управляющий, глядя на вчерашнюю запись в записной книжке: «Судомерж — три утки для кухни».

Сегодня же он сделал заметку: «Ражицкая башня: смотритель — бунтарь». Эта краткая запись должна была означать: «Погоди, ты еще у меня попляшешь».

Управляющий Бегальт был разгневан: такого с ним еще не случалось.

— Я тебе устрою ремонт, — говорил он про себя, вспоминая слова смотрите-

ля. — Скажи пожалуйста — не угодно ли башню осмотреть? Ремонт ей, видите ли, нужен.

— Жареный цыпленок да бутылка пива, и даже «благородным паном» не называли! Ремонт ему нужен! Я тебе покажу, кто я есть! Ты против меня нуль. Ну, погоди, мы еще свидимся!

Неделю спустя управляющий Бегальт приехал опять, и с той поры повадился неожиданно наезжать в Ражицкую башню, норовя застать смотрителя расплож. И всегда ему что-нибудь приходилось не по вкусу.

— Я решительно запрещаю вам держать гусей и прочую домашнюю птицу, — заявил он во время одного из наездов, — от них очень много вреда.

— С вашего позволения, — отвечал смотритель, — пан князь дозволил мне держать птицу, а что касается вреда, то вредить они могут только лугу, который для меня же и выделен, да и пастух у меня есть, чтобы их стеречь.

— Они наносят ущерб полям, — настаивал толстый управляющий.

— Поля кругом крестьянские, — возразил смотритель, — если какой ущерб и будет, я с крестьянами улажу это дело.

— Они жрут рыбу и мальков, — ухватился управляющий за последний довод, который казался ему неотразимым.

— С вашего позволения, гуси ни рыбы, ни мальков не жрут, да и я их этому тоже не учил.

Во время другого визита управляющий заметил рядом с башней стога.

— Вы у нас совсем как помещик, — язвительно ухмыльнулся он.

Он не упускал ни одного повода для мести. Запрещал то одно, то другое, ожидая, что смотритель пошлет, наконец, хоть что-нибудь на его кухню. Но этого не происходило. Пани управляющая возмущалась:

— Уже все смотрительши у меня перебывали, а ражицкую я до сих пор в глаза не видала.

Снова и снова навещался управляющий в Ражицкую башню, не теряя надежды отомстить строптивому смотрителю.

Но однажды по всему Противинскому имению разнеслась весть: управляющий умер, и все смотрители должны присутствовать на его похоронах.

Вернувшись с похорон, божевский смотритель рассказывал дома:

— Давно таких похорон не бывало. Все собрались — чиновники, директор, смотрители, приказчики, сторожа, короче: куда ни плюнь — везде начальство. И народу тоже полно. Сами понимаете, в управляющих полгода не проходил и уже помер. По обычаю нести гроб полагается нам, смотрителям. Но тут вышло такое, чего никто не ожидал. Покойник был, как известно, человек тучный, и из-за этой своей тучности он возьми да и лопни в гробу. Весь гроб салом пропитался и пахло от него, понятное дело, не цветочками. Никто не захотел под этот гроб свое плечо подставить. Наконец смотритель Яреш говорит мне: «Давай, Йозеф, понесем гроб вместе». Взяли мы его и понесли. Остальным это чудно показалось. Управляющий о Яреше и слышать не хотел, шпынял все время, а он вон как себя благородно повел».

Об удивительных этих похоронах долго еще ходила молва, пока случай с управляющим Бегальтом не был оттеснен на задний план другим событием.

#### IV

### Другое событие

Об этом событии в Противинском имении узнали следующим образом. Директор имения обмолвился о нем чиновникам, чиновники рассказали своим женам, жены — знакомым противинским дамам, а те — своим знакомым, пока эта новость не разнеслась по всем селам, башням и сторожкам. Этот невиданный и неслыханный случай произошел с паном директором имения — первым человеком после самого пана князя. А случилось вот что.

Прошло несколько дней после проливных осенних дождей, и директор Противинского имения решил совершить объезд башен с целью ревизии и осмотра.

На больших рыбных прудах дождливая погода приносит зрителям много хлопот.

Приходится в дождь то и дело выходить на дамбу, наблюдать, как подымается уровень воды, следить, достаточно ли вытащены заглушки, чтобы избыточная вода могла стекать по трубам на луга. И все время нужно смотреть, не просачивается ли сквозь дамбу вода или, как в народе говорят, не прохудилась ли дамба.

Не дай бог, если дамба прохудится. Все начинается с того, что вода вымывает из дамбы один камень и начинает расширять возникшее отверстие. Вымывает под огромным напором второй камень, разрушает крепь дамбы, и все это спокойно, без малейшего шума: не хлещут волны, не колышется поверхность воды.

Понаблюдайте за прудом. Дождь с тихим шорохом усеивает мелкими кружками его поверхность, и вдруг из дамбы начинает бить струйка воды, сперва маленькая, потом все больше и больше — и тогда беда.

Если не обнаружить эту струйку вовремя, то вскоре дамба начнет рушиться.словно по чьей-то команде начинают вылезать из дамбы большие валуны, поросшие травой, дамба сотрясается, и вот уже режут потоки воды, сдирая с дамбы дерн, унося камни и глину; кажется, вся мощь пруда устремилась сюда, в это все расширяющееся отверстие, растущее с жуткой скоростью, под грозный рев воды, этой страшной стихии, которая только что казалась невозмутимой, а теперь мутные потоки ее с гулом низвергаются на луга, все сокрушая на своем пути.

Житье-бытье зрителя пруда только кажется безмятежным и счастливым, в действительности же это сплошные хлопоты.

Дамбу то и дело приходится осматривать: хорошо ли заделаны камни, не подмыло ли их в каком-нибудь месте. А когда в пору дождей вода в пруду начнет подниматься, тут гляди в оба: как бы не пробилась где в дамбе струйка воды. И уж тогда не плошай: нужно забросать с обеих сторон отверстие глиной и укрепить ее, да побыстрее, потому что если отверстие расширится, тогда глину хоть возами вали — ничто уже не остановит потоков воды.

Так вот, когда зарядили дожди и пруд вздулся, зритель Яреш ночи напролет бдительно следил за дамбой, проверял уровень воды и давал команду вытащить заглушки — приспустить воду.

Дамба Ражицкого пруда была в хорошем состоянии, но осторожность никогда не мешает.

Вода поднялась, но ее спускали по трубам, а когда пруд вздулся еще больше, зритель распорядился приподнять балочные ограждения, и новые потоки воды хлынули по трубам на луга под дамбой, затопляя траву.

Кончились дожди. Вода в пруду опять установилась на привычном уровне, заглушки загнали в отверстия, дамба подсохла и только полегшая луговая трава, которая в дождь оказалась под водой, говорила о том, что была большая вода.

Именно в это время на Ражицкий пруд прибыл директор имения. Он просмотрел записи и отправился осматривать дамбу, сопровождаемый смотрителем.

Директор заметил, что трава ниже дамбы полегла и покрыта илом.

— Дамба протекла, — заметил он, — ну и порядочки у вас!

— С вашего позволения, — отвечал смотритель Яреш, — дамба не текла, извольте взглянуть.

— Текла, — возразил директор. — Я еще не слепой! Видно же, что трава полегла!

— Прошу принять во внимание, — ответил на это смотритель, — сколько я здесь служу, дамба не текла ни разу.

— Но вот протекла же, — твердил свое директор. — Я ведь вижу: трава полна грязи.

Смотритель Яреш начал выходить из себя:

— Позвольте заметить: мне, наверное, лучше знать, текла дамба или нет. Трава полегла, потому что было половодье, вода из труб залила луга.

— Дамба определенно текла! — решительным тоном произнес директор, хотя в этом деле он разбирался плохо.

Смотритель Яреш разозлился не на шутку:

— А я говорю, не текла. Вы ее как следует осмотрите. По камням сразу видно, текла дамба или нет. Дамба сама за себя говорит, а трава здесь ни при чем.

За этим разговором они дошли по дамбе до щитов затвора, и директор, глядя в черную глубину вод, твердил свое:

— А я говорю, текла.

Это упрямство так рассердило смотрителя Яреша, что он в ярости воскликнул:

— Если вы повторите это еще раз, я сброшу вас в воду!

Директор побледнел, отскочил от края дамбы и произнес, заикаясь:

— Ну-ну, не обижайтесь, я ведь просто так спрашиваю, из любви к порядку. — И спросил, будто вскользь: — Так сколько дней шел дождь?

— Три дня подряд, — ответил смотритель.

— Три дня, м-да, это порядочный срок, — сказал директор и спрыгнул с дамбы. — Думаю, мы увидели все, что нужно.

Они вернулись в башню, и Ярешова, которая, замерев от ужаса, слушала со двора их спор, теперь встретила их с безмятежным видом, словно ничего не случилось.

С тех пор, посещая Ражицкую башню, директор вел себя чрезвычайно любезно, не показывая виду, что может быть недоволен смотрителем. Он его просто боялся.

Однако он обмолвился об этом случае в присутствии чиновников, те рассказали своим женам, жены — знакомым дамам и т. д., пока по всему краю не разнеслось, что ражицкий смотритель хотел сбросить пана директора в воду; при этом рассказчик не забывал добавить:

— Только никому об этом не рассказывайте.

## V

**Про дуплистый дуб на Ражицкой дамбе**

**О**н рос на краю дамбы, ветви его простирались с одной стороны над водной гладью, а с другой — над лугом, что лежал ниже.

Всходя или закатываясь, солнце всегда видело, как ветви дуба устремляются к небу, хоть был он старый и дуплистый.

Даже впятером его нельзя было обхватить, а в дупле у него могли спрятаться двое.

В его кроне было много птичьих гнезд, воробьиных и зябличьих, а на самой верхушке устроил гнездо аист.

В дупле поселился нетопырь, и вся эта ватага с весны до осени пицала и щебетала на ветвях дуба, воспитывала своих птенцов; он послужил убежищем бесчисленным поколениям.

Из его коры неумолимо пробивались молодые побеги, а корни его пронизали дамбу насквозь.

Прекрасный вид открывался на него со стороны башни. Если выйти вечером из башни, можно было увидеть, как порхают меж его ветвей птицы, лучи заходящего солнца бросали на зеленые листья розовый отблеск, своей тенью дуб накрывал всю дамбу, тень подрагивала на зеркале пруда, и старый дуб сиял в отраженном свете заходящего солнца.

Зимой же, покрытый снегом, нападвшим на его ветви и набившимся в расщелины коры, он выглядел не менее великолепно. Черная кора выделялась на фоне окружающей белизны, и контрасты света так же радовали глаз, как весной — зелень ветвей, а осенью — всевозможные оттенки отмирающей листвы.

Он служил укрытием при засадах на браконьеров, был чем-то вроде опорной базы, отсюда, из его дупла, можно было обозреть всю поверхность пруда.

И во время утиной охоты он служил укрытием для ражицкого смотрителя, без промаха бившего диких уток и гагар, когда они выныривали из воды.

Этот старый дуб стоял здесь на страже сотни лет, начиная с самого рождения Ражицкого пруда; он еще помнил барщину на господских полях, а в смутные времена видывал отряды солдатни, тянувшиеся по дороге из Противина на Писек, вроде французских вояк, вторгавшихся в эти края, о чем пелось в старой народной песне (ныне, к сожалению, почти забытой), которая заканчивалась припевом: «Нуза́, нуза́, óни том, óни том», — собственно, это была исковерканная французская фраза, перекочевавшая из солдатской песни:

*Nous sommes, nous sommes honnêtes hommes[33].*

Сколько птичьих поколений выпестовал он в своей кроне, сколько раз был свидетелем лова рыбы — и по-прежнему стоял спокойно, непоколебимый в своей силе, и как ни старались согнуть его налетавшие бури, старый дуб не поддавался, и хотя сердцевина его трухлявела, от ствола отходили все новые и новые ветви, пока однажды знойным летом молния одним ударом не пресекла его многовековую жизнь, а вместе с ней и жизнь аиста, гнездившегося на вершине, и многих птиц, спрятанных в его ветвях.

Резкая вспышка, раскат грома — и когда обитатели башни, напуганные ослепительным ударом молнии, выбежали наружу, то обнаружили, что старый дуб рухнул поперек дамбы, а верхняя половина его, вместе с кроной, ле-

жит в воде пруда.

Не скоро удалось успокоить маленькую дочь смотрителя, которая горько оплакивала конец старого дуба.

Всем было его жалко.

— Завтра распилим его на дрова, — сказал смотритель.

— То, что молния его поразила, — плохая примета, — покачала головой смотрительша.

— Пошлю-ка я завтра за старым Гайдой в Путим, — сказал смотритель, — пусть поможет его распилить.

В этот вечер все в башне были печальны, словно хоронили близкого друга.

На другой день работник Матей отправился в Путим за старым Гайдой, и тот явился вместе со своей женой.

Старый Гайда был бедняк, зарабатывающий на жизнь всякой случайной работой.

С помощью жены он отпилил верхнюю часть ствола, потом стал рубить топором ветви дуба, и за все это время оба не проронили ни слова.

В полдень они пришли в башню поесть и передохнуть, и за обедом старый Гайда вдруг обратился к смотрительше:

— Поверите ли, хозяйка, у меня такое чувство, будто я самого себя пилой резал.

Жена Гайды положила ложку на стол рядом с миской, и слезы выступили у нее на глазах.

— Да ну, что это вы плачете? — удивилась смотрительша.

— Поверите ли, хозяйка, — отозвался старый Гайда, — кабы не стыдно, я бы и сам заплакал.

— Вспомнилось мне, хозяйка, — зарыдала Гайдова, — как я в этом дупле в первый раз повстречала своего старика, а было это тридцать лет назад.

— Я тогда молодой был и не думал, не гадал, что придется на старости лет так вот мыкаться, — вздохнул Гайда. — А в тот раз шел я по дамбе...

— И вдруг град пошел, — подсказала сквозь слезы Гайдова.

— Тут я и спрятался у дуба в дупле. — продолжал Гайда.

— Я в гот раз тоже по дамбе шла, только чуть позже, — вспоминала Гайдова. — А как град-то пошел — куда денешься? Побежала я к дубу и тоже в дупло забралась.

— Так мы с ней там и познакомились, — вздыхал Гайда, — а сегодня стали мы его пилить и такая нас жалость взяла: как вспомнишь, какие мы тогда были молодые и чего только с тех пор не испытали...

Старым дубом топили в башне всю зиму.

И рассказ о нем был бы неполон, если не добавить, что весной от одного из корней, пронизавших дамбу, потянулась маленькая веточка будущего дубка.

## VI

### Работник Матей

**В** Малетицах был у него отчим, малоземельный крестьянин, который бил его смертным боем. Мать умерла очень рано, и в возрасте десяти лет Матей сбежал из дома и пришел в Ражицкую башню.

— До утра мы тебя здесь оставим, — сказала маленькому беглецу смотрительша, — а утром за отцом пошлем, пусть сам за тобой придет.

Отчим, когда за ним послали, велел передать: «Если оставите мальчика у се-

бя, я за вас буду по гроб жизни молиться, потому как малец до того прожорливый, что слопает меня вместе со веем хозяйством; а если приведете его ко мне, я с него семь шкур спущу».

Вот так и вышло, что остался Матей в Ражицкой башне за пастуха. Он пас гусей, скотину, здоровел и становился все ненасытнее.

На выпасе он коротал время, обучая вверенное ему стадо различным штукам.

Гусаков он настропалил нападать на прохожих, клевать их и бить крыльями, козленка приучил бодать незнакомых людей рожками.

Только и слышен был на выпасе голос Матея:

— А ну-ка, гусак, валяй! Давай, козлик!

Молодого бычка он научил бросаться на людей, и тот однажды полчаса гнал гержманского старосту по дороге.

В любое время можно было видеть, как Матей возится со своими подопечными, обучая их нападению.

Он возвращался с выгона усталый от борьбы, весь исципанный гусаками, избитый, избоданный козлом и бычком — и голодный.

Ел он за двоих, не разбирая еды. Подъедал все остатки и все равно оставался голодный.

Тайком прокрадывался в курятник и пил там яйца, пробирался в кладовку и опустошал ее, не задумываясь над последствиями.

И чем больше он рос, тем прожорливей становился.

Зато он отлично справлялся со своими обязанностями, а когда через несколько лет его произвели в работники, не было никого надежнее и добросовестнее его.

Смышленный по натуре, он внимательно наблюдал жизнь вокруг себя и, подстегиваемый аппетитом, пришел к выводу, что сама природа предлагает ему пищу в довольно широком выборе.

Он ловил зябликов и воробьев и жарил.

Обследовав луга, принялся ловить кротов: их он поглощал в печеном виде.

И наконец однажды он вернулся домой с полным узелком ежей.

— Это тоже надо попробовать, хозяйка, — сказал он смотрительше, — очень неплохая еда может получиться. Еж, он ведь ничего худого не жрет, это животное чистая. Стало быть, хозяйка, я их во дворе освежую.

В тот вечер он лакомился жареными ежами, заедая их большими ломтями хлеба.

— Весь об них искололся, проклятых, — оживленно говорил он, разделяваясь с новым блюдом.

— Матей, за тебя никто ведь замуж не пойдет, — сплюнул смотритель, — какая же девушка станет тебя целовать, коли ты ежей ешь?

— Ну и пусть, — отвечал Матей, разрезая свое жаркое мускулистой рукой. — Я думаю, они еще вкусней будут, если их на сале изжарить.

— Славная штука! — довольно вздохнул он, покончив с едой. — Кто бы мог подумать, что у них мясо такое нежное? Как это я раньше не сообразил?

С тех пор Матей усердно охотился на ежей и пришел к выводу, что ежи со свиными рыльцами куда вкуснее, чем ежи с собачьими рыльцами.

— Еж вкуснее ежихи, — толковал он, — а молоденький ежонок — этот вкуснее всех.

Однажды пришел проведать Матея отчим. Этот редкий гость заглядывал к нему примерно раз в пять лет.

Дело было в воскресенье. В послеобеденную пору Матей вернулся со своей охоты на ежей и обнаружил отчима, который сидел в горнице.

Смотритель со смотрительшей ушли куда-то в деревню, и Матей остался в усадьбе полным хозяином.

— Как поживаете, папаша? — радушно спросил Матей, поцеловав отчима в бритую щеку.

— Так, помаленьку, Матей, — отвечал отчим, — ну, а ты-то как, довольны тобой хозяева?

— Вроде довольны, — отвечал Матей.

— Ну вот, повидал я тебя, Матей, — молвил отчим, — теперь можно домой идти.

— Куда же вы, отец, — сказал Матей, — вы, небось, проголодались, а уж я вам сейчас такое кушанье приготовлю, какого вы еще в жизни не едали.

— Это что же такое?

— А вот увидите, папаша, — отвечал Матей, — ручаюсь, вам понравится. Значит, я пошел жарить.

Матей исчез, но вскоре появился снова.

— Сами понимаете, папаша, не могу я вас взять и отпустить просто так, — сказал он, — ведь мы с вами раз в пять лет видимся. А знаете, отец, я уже и забыл, что вы меня когда-то колотили и что мне от вас удрать пришлось, когда я мальчишкой был.

— Чего там старое ворошить, — сказал отчим, — ты, Матей, тогда прожорлив был до невозможности, взял однажды и зажарил двух цыплят.

— Я же тогда не знал, что бывает еда и повкуснее, — заметил Матей, — а вы, папаша, тогда здорово меня голодом морили. Да что вспоминать! Зато сегодня вы у меня полакомитесь.

Матей снова удалился на кухню, вскоре там что-то зашипело и в горницу проник аппетитный запах.

«Интересно, что это он раздобыл? — думал крестьянин. — Пахнет вроде бы неплохо. Все ушли, а он за хозяина. Хороший парень, забыл даже, как я его лупил».

Матей то возвращался к отчиму поболтать, то уходил на кухню, из которой все настойчивее доносился приятный запах.

— Ну вот, папаша, несу, — объявил Матей, ставя перед отчимом тарелку с мясом и каравай хлеба, — я вам уже нарезал.

Отчим принялся за ароматное жаркое.

— Какое-то особенное мясо, — похваливал он, — и косточки маленькие. Не поймал ли ты, Матей, молодого зайца?

— Ну что вы, отец, — посмеивался Матей.

— Значит, это какая-то молодая птица, — рассуждал отчим. — Уж больно кости мелкие. А мясо вкусное.

— Так, может, еще принести? — спросил Матей.

— Ну, коли есть — неси, Матей! — разрешил крестьянин, когда тарелка опустела.

Матей принес новую порцию и, ставя ее перед отчимом, сказал:

— На этот раз, отец, поджарено вместе с головой; может, хоть теперь дога-

даетесь.

Осторожно разделявая незнакому дичь ножом, крестьянин сказал:

— Клюв у нее какой-то странный.

— Да что вы, отец, — засмеялся Матей, — неужто у вас в Малетицах ежей не бывает?

— Каких еще ежей? — удивился отчим.

— Ну, ежей, вот как на вашей тарелке, — отвечал Матей.

— Господи помилуй, парень, уж не ежами ли ты меня накормил?

— А разве они вам не понравились? — удивился Матей. — Только что вы их за обе щеки уписывали.

Отчим поднялся из-за стола, нахлобучил шапку и, не сказав радушному хозяину ни слова, направился во двор, а оттуда — на дорогу в Малетице.

Когда удивленный Матей доел нетронутую вторую порцию и вышел на дамбу, он увидел, как отчим на дороге то и дело останавливался и вытягивал голову вперед, как человек, у которого желудок выворачивается наизнанку; и еще он увидел, как после каждой такой остановки отчим оборачивался в сторону башни и грозил кулаком...

В скором времени всем стало известно, как Матей из Ражицкой башни угощал своего отчима жареными ежами; поговаривали даже, будто он ест и мышей — хотя это была уже самая настоящая клевета.

И когда Матей в один из храмовых праздников отправился на гулянье, ни одна из девушек не захотела с ним танцевать, а местные парни выбросили несчастного работника из трактира.

В один прекрасный день отвергнутый всеми Матей поблагодарил зрителя и зрительшу за все благодеяния, оказанные ему с юных лет, и ушел пытаться счастье на новых местах, чтобы никогда больше не возвращаться в родные края.

Никто не знал, куда он подевался. Ражицкая башня лишилась одного из самобытных своих обитателей, и память о работнике Матее сохранилась лишь в выражении: «Он вроде Матея» — которое должно было означать: «Он что угодно съест».

## VII

### Конец Ражицкой башни

Он наступил внезапно. Это было не стихийное бедствие, а воля всемогущего директора имения, который счел ражицкого зрителя бунтарем за то, что тот не стал гнуть перед ним спину, как хотелось директору.

Неподалеку отсюда, в Телине, ловили как-то рыбу, и при этом присутствовал зритель Яреш.

Пруд спустили вечером. Вода осталась лишь в углублении посредине пруда, кишевшем рыбой, которую собирались выловить неводом поутру; и тут случилось, что неизвестный злоумышленник открыл ночью затворы трубопровода и выпустил остаток воды на луга.

В критический момент появился зритель Яреш и поднял всех на ноги; лишь тогда, напрягая все силы, люди стали возить бочками воду из соседнего пруда и лить ее в опустевшую яму, на илистом дне которой металась рыба.

Не будь этого, рыба уснула бы. Только благодаря зрителю Ярешу, который оставался на ногах, когда все уже спали, вся рыба в пруду была спасена. И вот после этого директор имения, узнав о случившемся, упрекнул зрителя

Яреша в непростительной нерадивости.

А когда смотритель Яреш, с сознанием выполненного долга, попытался объяснить, директор имения закричал на него:

— Марш от бочек!

Смотритель Яреш снял высокие сапоги, швырнул их под ноги пану директору и сказал:

— Тогда ловите сами.

И отправился домой, в Ражицкую башню.

Директор имения велел передать, чтобы Яреш пришел перед ним извиниться...

Он передавал это раз, другой, третий, а смотритель Яреш всякий раз отвечал:

— За то, что он прогнал меня от бочек, я должен перед ним извиняться? Может, мне еще руки ему целовать?

Тогда директор имения велел вызвать смотрителя в канцелярию. Вернувшись оттуда, смотритель без лишних слов объявил жене:

— Ну вот, с осени уходим на пенсию.

— Буду получать двести золотых в год, — продолжал он. — «Ражицкую башню мы упраздняем, — сказал мне директор, — мы давно уже об этом думали, поселим туда сторожа, и будет из башни сторожка».

И это был конец башни...

## Бунт арестанта Шейбы

Администрация тюрьмы лишила арестанта Шейбу дополнительного кнедлика, который он получал в качестве вознаграждения за то, что выполнял обязанности министранта.

Необходимо экономить, а ведь кнедлик стоит четыре геллера. Арестант прислуживает во время мессы сто раз в год, что составляет сто кнедликов или четыре кроны. И эти четыре кроны администрация тюрьмы сбережет. Начальник тюрьмы потер руки от удовольствия.

Как этот Шейба вытаращит глаза, когда после мессы узнает, что служил господу богу даром!

Надев мундир, начальник тюрьмы отправился в часовню, где уже ждали заключенные. Некоторые из них с наслаждением мусолили найденные по дороге в часовню окурки, радуясь, что они шли в костел не напрасно. Один из арестантов, отбывающий пожизненное заключение, неотрывно смотрел на солнце, лучи которого проникали через окна часовни.

Он ходит сюда уже пятнадцать лет и, когда солнце не светит, дремлет стоя. Лучи солнца обладают для него притягательной силой. Он всматривается в них в течение всей проповеди, всей мессы, не слыша, что происходит, механически опускаясь на колени, крестясь, он видит только солнечные лучи. Они проникают с воли — в этом их притягательная сила. Другие заключенные пялились на ангела-хранителя, намалеванного на потолке. Ангел выцвел от времени, местами потемнел от грязи, поэтому казался похожим на главного надзирателя из столярной мастерской. Одну руку, толстую как нога, этот неудачливый ангел протягивал к первым рядам, где стояли малолетние заключенные.

Большинство из них ехидно ухмылялось, глядя на своего надзирателя, из

кармана которого выглядывала бутылка рома.

После ночного дежурства надзиратель находился в приподнятом настроении. Все ждали, когда он фальшиво запоет: «Боже, пред твоим величием...»

Неподалеку от них стоял повар, седой арестант. Он сидит уже шестой год и радуется своей толщиной. Надзиратель, приглядывающий за кухней, тоже весьма упитан, но повар наверняка превзойдет его, не отсидев еще свои десять лет. Надзиратель из кухни стоит рядом с поваром, и оба зевают. Скорее бы началась проповедь, скорее бы закончилась месса.

Для них присутствие в часовне — самое неприятное время за всю неделю. Опускайся то и дело на колени, а поднимать тяжеленное брюхо — сплошное мучение.

В толпе пожилых заключенных раздалось рыдание. Все повернулись. Опять старый Кутина притворяется, будто плачет? Ограбил почтовую казну на двадцать тысяч, а теперь жалуется, что его, дескать, совесть грызет и жалко ему министра торговли.

Заключенным смешно, но они сохраняют серьезность, стараясь не показать, что Кутина ломает комедию.

Вот будет потеха, если во время проповеди тюремный капеллан, как в прошлый раз, начнет указывать на Кутину рукой и провозглашать громовым голосом: «С него берите пример. Он раскаивается в своих поступках. Он знает, что кара господня неотвратима и всех грешников, упорствующих в своих заблуждениях, ждет тяжкое наказание. Он плачет, понимая, что лишь искреннее раскаяние откроет врата небесные. Господь милосерд».

По просьбе капеллана Кутине стали давать больничный паек. Он платит за это новыми рыданиями, полагая, что вот-вот начнется проповедь.

Начальник тюрьмы смотрит на часы. Сегодня капеллан опаздывает на десять минут, а ведь вчера за картами начальник просил его: «Не запаздывайте с проповедью, вы же знаете, что в десять я должен быть в нашем винном погребе». И вот как капеллан держит слово. В тюрьме все должно идти, как часы, и богослужение тоже.

Наконец капеллан поднялся на кафедру, готовясь произнести краткую, но выразительную проповедь. Капеллан досадовал, что его проповеди — все на один лад, чего доброго, супруга начальника тюрьмы подумает, что он не способен на большее — это было бы ему весьма неприятно.

К тому же на капеллана пялится толпа бритых лиц и коротко остриженных голов, построенных в одну линию, что всегда вызывает у него отвращение.

Ему должны повесить плату. Он получает три золотых за проповедь и десять крон за мессу. Его проповеди, дескать, не оказывают большого воздействия на заключенных. А чего же ждать за три золотых? Здесь, скажем, триста арестантов, значит, за исправление каждого он получает крейцер. Мало, не правда ли? Итак, во имя отца, и сына, и духа святого... Капеллан заговорил о злодеях, распятых ошую и одесную господа нашего. Дамиан и Косьма. Сбившись, он начал снова. Так вот. Косьма и Дамиан. «Еще ныне ты при идешь со мной в царствие божие». А начальник тюрьмы вытаскивает часы. Ага, ведь в десять часов он хотел уже быть в винном погребе. Эка важность! Вчера начальник выиграл у него золотой, пусть теперь подождет. Капеллан продолжал говорить о злодеях, наблюдая за нервными движениями начальника. «Знайте, о грешные, что райские врата не отворятся без истинного раская-

ния». Ишь, какую мину скроил начальник тюрьмы. Ничего, потерпишь без талианов и бутылочки винца до половины одиннадцатого. Черт возьми, ведь правда, сегодня будут талианы. Нужно поскорее закругляться. «Грешный человек да покается, как этот негодяй, и получит прощение. Еще ныне ты приидешь со мной в царство божие». Эти слова относятся и к вам. Помните их, и давайте помолимся о благих помыслах ваших. Во имя отца, и сына, и святого духа. Отче наш...»

Начальник расплылся в радостной улыбке. Все-таки он попадет в ресторанчик раньше, чем от талианов останется одно воспоминание. Только бы мессу поскорее отслужили. Есть же у них совесть. В ризнице зазвенел колокольчик.

Начальник бросил радостный взгляд на Шейбу, шедшего впереди капеллана к алтарю со служебником в руках.

Шевелись, Шейба. Но Шейба полностью предался пополнению своих обязанностей, чтобы заслужить свой кнедлик. Целых два кнедлика.

Шейба с усердием произносит «Confiteor!»[34]

Целых два кнедлика. Ах, как пахнет разрезанный кнедлик! А лук, поджаренный на сале!

Шейба — большой любитель поест и усердный министр. Теперь он произносит «Kyrie eleison» и «Christe eleison»[35]. Три раза «Kyrie», три раза «Christe» и снова три раза «Kyrie». Шейба взывает к милосердию божию нарраспев, с выражением. Чем дольше служба, тем ближе обед. В часовне он — важная особа, а там — арестант. Поэтому Шейба говорит медленно, чтобы продлить мессу и сократить время, оставшееся до обеда. Ведь он так ждет свою добавку.

«Et — cum — spiritu — tuo!»[36] — Шейба произнес эти слова медленно и с чувством. Наверно, повар снова выберет для него самый большой кнедлик.

Начальник тюрьмы в бешенстве вращает глазами. Обычно они в это время приближались к концу мессы, а сегодня застряли на Послании Апостолов.

«Deo gratias»[37], — торжественно изрек Шейба после прочтения Послания. Бог — свидетель, как он предвкушает это сало с луком, это растопленное сало, в котором плавают кнедлики.

Начальник тюрьмы зевнул. Погоди, Шейба, мерзавец, в следующий раз ты не станешь бубнить в час по чайной ложке, когда узнаешь, что не получишь второго кнедлика; как будто нельзя сказать «Deo gratias» одним духом, «dgras» обязательно растягивать на целую милю: «Deo-o-ogra-ti-as...». И капеллан должен все это время стоять, набожно сложив руки. С ума сойти, как медленно этот негодяй Шейба бьет себя в грудь. Ну, наконец-то «Agnus dei»[38], а вот и колокольчик. Сиди тут и дрожи от страха, что от талианов тебе достанутся одни шкурки. Ну, погоди, Шейба! Угодишь в карцер за то, что произносишь «Amen» так медленно. Ах ты копуша несчастный! Уже давно пора сказать: «Ite missa est»[39]. Как же медленно он льет воду для омовения! Только этим задерживает мессу минуты на три, не говоря уже об остальном...

Начальник раздраженно выругался про себя. Принимая причастие, он с такой силой ударил себя в грудь, что по всей церкви стало слышно. Как этот Шейба копается!

Очи Шей бы горели восторгом, он переносил служебник на левую сторону алтаря так медленно, что начальник тюрьмы потерял всякую надежду увидеть талианы.

Зато Шейба все больше радовался предстоящему обеду. Кнедлик, плавающий в соусе. А сверху лук, пахучий, золотистый. Кнедлик представлялся Шейбе небом, а лук — звездами на нем.

— Iiiiiite miiiissa est, — Шейба растянул фразу, как можно дольше. — Deooo graaatiaaaaass, — зашипел он. Ах, как чудесно будет разрезать кнедлик ложкой, потом посолить и размешать в жирной подливке.

Наконец арестанты получили благословение, началось чтение последнего Евангелия: «В начале было слово, слово было у бога и слово было бог». Начальник пришел в отчаяние от того, что святой Иоанн сочинил такое длинное начало Евангелия.

— Теперь еще «Отче наш» и «Богородице, дево, радуйся», — думал начальник тюрьмы, — а потом я прикажу привести к себе Шейбу.

Дождавшись наконец последнего «аминь», начальник вышел в коридор, чтобы встретить Шейбу, когда тот пойдет из ризницы в свою камеру.

— Шейба, — сказал начальник тюрьмы, — администрация приняла решение не давать вам добавку в виде кнедлика за выполнение обязанностей министранта. Кто хочет служить богу, делает это даром, а не за кнедлик. Ясно?!

И случилось так, что Шейба объявил забастовку. Он отважился на этот шаг после долгой душевной борьбы. На одной чаше весов лежал кнедлик, а на другой — служение богу. Шейбе пришлось выбирать между пищей духовной, мистическим хлебом, и продуктом осязаемым и необходимым. После долгих размышлений и ссоры с другими заключенными камеры № 18 он избрал последнее. Пятеро его собратьев по камере настаивали на быстром разрешении конфликта — просто сказать: «Хорошо! Нет кнедлика, нет и министранта».

Но Шейба боялся прогневить господа бога. В то злосчастное воскресенье он сидел после обеда за столом. Правда, он наелся не так, как обычно по воскресеньям, но особого голода не испытывал.

— Господь бог прогневаается, — неустанно повторял Шейба.

Читая по слогам, он углубился в какую-то книгу божественного содержания, из коих состояла развлекательная часть тюремной библиотеки.

— Да, братцы, — произнес Шейба, отложив книгу, — тут здорово описано, как один крестьянин ругался и богохульствовал, когда пахал в страстную пятницу. И вдруг как грянул гром с ясного неба — и оба вола убитые лежат.

Эта чушь рассмешила всю камеру, что возмутило Шейбу.

— Мы внизу, господь бог — наверху, понимаете, — горячился он. — А я вот служил бы господу всего лишь за тарелку супа, мне и кнедлика не нужно. Даже если не получу ничего, все равно буду доволен и скажу: «Бог дал, бог взял, да святится имя господне».

К вечеру Шейбе захотелось есть. Обычно, в воскресенье, получив два кнедлика, он оставлял половину мяса на ужин, но сегодня, когда у него был только один кнедлик, он съел все мясо разом, ничего не оставив на вечер.

И тогда Шейба пустился в рассуждения о том, что ему должны были дать хотя бы супа.

Конечно, это была греховная мысль, поэтому Шейба принялся, расхаживая по камере, читать «Отче наш».

Казалось, молитва возбуждала его аппетит еще сильнее, чем греховная мысль о тарелке супа. Чем больше и горячее Шейба молился, тем сильнее ему хотелось есть. И что бы он ни делал, набожность его отступала перед голодом.

Она была меньше кнедлика и постепенно исчезала, уступая место кнедлику, большому и аппетитному, да еще с луком.

Три года, проведенные в тюрьме, Шейба по воскресеньям блаженствовал, а теперь целых два года ему придется служить господа даром? За что бог посылает ему такое наказание? Неужели за этот несчастный грабеж? Разве мало, что из-за нескольких жалких крейцеров человек пять лет сидит?

А как старательно он сегодня выполнял свои обязанности... Как чудесно он произносил «Kyrie eleison», «et cum spiritu tuo».

— Черт возьми, — сказал Шейба, — какой мне от этого прок?

Из угла кто-то ответил ему словом непечатным.

— Конечно, — отозвался другой, — Шейба болван. Если бы это со мной случилось, я бы сказал: «Мое почтение, счастливо оставаться, в следующий раз служите сами».

— Чего ты боишься, Шейба, ведь ты в богослужение свой ум вкладываешь, за это тебе тоже должны что-нибудь дать. Я знаю, что такое министрانت. Вот у нас в деревне министрانت и харчи от прихода получал, и деньги, а когда резали свинью, ему давали колбасы, сало, шкварки — да сколько... Сюда бы сейчас эту миску со шкварками!

Все пустились в разговор о шкварках, этом недосыгаемом лакомстве, оставив Шейбу наедине с его безбожными мыслями. С ними он и улегся спать. Завернувшись в одеяло, Шейба постепенно приходил к решению вопроса, какую чашу весов выбрать.

Зажмурив глаза, Шейба увидел перед собой кнедлик. А когда он уснул, ему привиделось, будто он сидит в костеле. У алтаря прислуживает министрانت в белом стихаре, и вместо головы у него кнедлик. При подношении даров кнедликов стало два, а перед последним Евангелием — три. Вдруг эти головы-кнедлики закачались и покатались-покатились прямо к Шейбе. А возле него сидит начальник тюрьмы, закованный по рукам и ногам. Он умоляет ради бога дать ему хоть один кнедлик. Шейба плюнул ему в лицо и съел на его глазах все три кнедлика. Намазав оставшимся салом волосы, он опустился на колени, дабы возблагодарить господа, а начальник тюрьмы облизал его голову.

Шейба проснулся от звона ключей и крика надзирателя: «Подъем! В мастерскую! Быть готовыми прежде, чем зазвонят. Ну, кому из вас приснился кошмарный сон, будто его посадили в тюрьму?» Это была обычная утренняя шутка; надзиратель двинулся к соседней камере, где, давась от смеха, снова отпустил свою шутку.

— Так вот, — одеваясь, сказал Шейба своим товарищам, — я решил: если мне не дадут кнедлик, министрантом не буду. Соловья баснями не кормят.

И всю неделю Шейба, встретившись с начальником тюрьмы, не мог сдерживать усмешки.

Начальник тюрьмы еще придет его упрашивать, предлагать будет кнедлик. А Шейба скажет:

— Нет! Два кнедлика, только тогда соглашусь быть министрантом.

\* \* \*

В воскресенье, в половине восьмого, надзиратель пришел за Шейбой — пора в часовню, готовиться к мессе.

Шейба играл в «волки и овцы» костями, слепленными из хлеба.

— Не пойду, господин надзиратель, — ответил он спокойно и, повернув-

шись к играющим, небрежно бросил: — Так мне девять овечек в овчарню не загнать.

Не зная, что и думать, надзиратель повторил еще раз, что Шейбе пора в часовню.

— Не пойду, — прозвучало в ответ, — кнедлик у меня отняли, а теперь, когда я им понадобился, со всех ног беги. Не буду министрантом — и точка.

— Шейба, подумайте, что вы говорите. Это бунт.

— Какой же это бунт, — принялся защищать Шейбу один из его товарищей, — хоть и говорится: «Служи господу богу», — но есть ведь тоже хочется. Я так понимаю.

Пришел главный надзиратель:

— Шейба, одумайтесь, ступайте в часовню.

— Не пойду.

— Тогда пойдете к начальнику.

— Ну и пусть.

Известие о бунте арестанта Шейбы быстро распространилось среди надзирателей.

— Эта камера № 18 давно казалась мне подозрительной, — толковали между собой надзиратели.

— Арестант Шейба в бога не верит, — разнеслось по всей тюрьме, — за это его к начальнику вызвали.

Между тем Шейба с серьезным лицом уже стоял перед начальником, сознавая собственную значительность.

Начальник тюрьмы ругался, побагровев от гнева.

— Да как ты, свинья, смеешь мне говорить: «Не буду министрантом задаром». Отслужишь мессу и — в карцер.

— Не буду.

Придя в отчаяние, начальник тюрьмы в бессильном гневе крикнул:

— Ну что, будешь министрантом?

— Не буду.

— В карцер его, — приказал начальник надзирателю.

Шейба шел гордо. Теперь он боролся не из-за кнедлика, а из-за принципа. Даже преддверие ада — карцер — не могло его сломить. Он уселся в темноте на нары, радуясь, что никто не заставит его выполнять обязанности министранта.

В это время начальник тюрьмы, ломая руки, метался по кабинету. Через четверть часа придет капеллан, а у них министранта нет. Какой позор!

Капеллан опоздал на пять минут. Он не торопясь шел в канцелярию, размышляя о том, сколь ничтожна плата за проповедь и мессу.

За сегодняшнюю проповедь ему должны заплатить по крайней мере десять крон, а не жалкие три золотых. Да, это было бы по справедливости. За проповедь — столько же, сколько за мессу. Ведь проповедь благотворно влияет на арестантов, особенно сегодняшняя: о том, что о каждой земной твари пекутся на небесах.

Усмехнувшись, капеллан вошел в кабинет, где начальник тюрьмы удрученно сидел возле печки.

Увидев капеллана, начальник встал и отдал честь:

— Доброе утро, ваше преподобие.

Снова усевшись и уставившись расстроено на печку, он проронил:

— Вы только представьте себе, Шейба устроил забастовку.

Капеллан удивленно посмотрел на начальника. Вроде бы трезвый.

— Но, господин начальник...

— Шейба взбунтовался, ваше преподобие, — продолжал начальник, — не хочет выполнять обязанности министранта, потому что я его лишил добавочного кнедлика. И я приказал посадить его в карцер.

— Мне нужно с ним поговорить, — решил капеллан, — откройте карцер.

Начальник тюрьмы махнул рукой. Если Шейба не послушался слуги государства, которое посадило его в тюрьму, вряд ли он станет слушать слугу господа, против которого взбунтовался.

— Думаю, ваше преподобие, от этого будет мало проку, — бросил он безнадежно.

Капеллан ушел в сопровождении надзирателя. Начальник тюрьмы остался в одиночестве. Глядя на часы, он думал: «А сейчас он, верно, грозит ему пеклом».

А капеллан стоял в этот момент на пороге темного карцера, рассматривая Шейбу, которого освещал проникающий сквозь открытую дверь дневной свет. В полумраке на лице Шейбы явственно читалось упрямство. Арестант гордо и непреклонно смотрел на капеллана. Ага, к нему уже депутацию прислали. Он чувствовал себя чрезвычайно важной персоной и отвечал твердым голосом:

— Нет, ваше преподобие, ни в коем разе министрантом не буду.

Капеллан прибег к помощи Фомы Кемпийского. Он обрушил на Шейбу несколько высказываний этого отца церкви:

— Боже, не оставь этого человека в плену ложных заблуждений, но дай ему истину самопознания. Пусть не в себя, а единственно в тебя верует он, о всемилостивейший. Боже вездесущий, наставь его, дабы с охотой служил он тебе. Шейба, станете прислуживать во время мессы?

— Не стану, ваше преподобие.

И разразился бой, жестокий бой между Шейбой и капелланом. Бой теолога против бастующего арестанта. За спиной капеллана надзиратель грозил Шейбе ключами. Но Шейба стоял на своем. Даже если надзиратели станут избивать его ключами, как они это умеют, когда никто из заключенных не видит, он не уступит. Он не простой арестант, он поднялся выше...

Наконец, как и предполагал начальник тюрьмы, капеллан добрался до пекла. Надзиратель счел нужным вмешаться в разговор и добавил то, о чем капеллан забыл упомянуть при перечислении адских мук:

— Черти будут лизать вас, Шейба, огненными языками, — выпалил он, вытаращив глаза.

— Ну и пусть, — серьезно ответил Шейба.

Капеллан терял терпение. Рядом в коридоре шумели арестанты, надеявшиеся по дороге в часовню подобрать бычок, они кричали:

— Хотим в костел, в костел!

— Вы слышите, Шейба, ваши товарищи жаждут освежить свои души посещением часовни, а вы их этого лишаете. Вы понимаете, что это смертный грех?

— Я тоже хочу в костел, ваше преподобие, я добрый католик и умру в той вере, в которой меня воспитала мать, но даром быть министрантом не хочу.

— Стоит вам после мессы попросить у господина начальника прощения, и он снова станет давать вам этот кнедлик.

Шейба пожал плечами. Он чуял подвох. После мессы! Ишь! Ну, нет! Не на такого напали. После он ничего не получит, посадят в карцер на хлеб и воду.

— Ваше преподобие, — добродушно сказал Шейба, — кто станет покупать kota в мешке? Береженого бог бережет. Вы говорите, ваше преподобие, господь бог вычеркнет меня из числа сыновей своих. Господу, ваше преподобие, дела нет до таких арестантов, как я. Только я без кнедлика служить не буду.

— Вы верите в бога, Шейба?

— Верю.

— Верите, что бог накажет вас за непокорность?

— Верю.

Этот ответ сбил капеллана с толку. Если бы Шейба сказал: «Не верю», он бы ему доказал, наверно, доказал бы, что его ждет божье наказание за неверие. А тут что сказать? Ему нужен министр, во что бы то ни стало, иначе он не сможет отслужить мессу и потеряет десять крон.

— Шейба, прошу вас, пойдёмте в часовню.

Ого! Капеллан его просит! Шейба почувствовал себя еще более значительным. Он знал, что сядясь нарушает правила, однако опустился на нары. «Кто хозяин положения? — подумал Шейба. — Я!»

— На вас наденут кандалы, — добавил к просьбе капеллана надзиратель, желая придать ей вес.

— Ваше преподобие, если вы пообещаете мне, что я получу кнедлик и что мне ничего не сделают, я пойду. А иначе не пойду, даже если меня будут в карцере до посинения держать.

— Обещаю вам, — сказал капеллан.

Шейба, встав, подошел к капеллану:

— Ваше преподобие, я еще попрошу — дайте мне руку.

Сбитый с толку капеллан решил, что Шейба хочет облобызать его руку в знак благодарности. Но Шейба бодро потряс протянутую ему руку, добродушно прибавив:

— Уговор дороже денег.

Капеллан чуть не лишился чувств от испуга. Что, если Шейба бывший убийца? Ведь капеллан никогда не спрашивал, за что он сидит. По дороге к часовне священник спросил у Шейбы, который шагал с видом победителя, выигравшего почти безнадежное дело:

— За что вы, собственно, сидите?

— За грабеж, ваше преподобие, за мелкий грабеж.

Слава богу, всего лишь за грабеж. Вздохнув с облегчением, капеллан отправился к начальнику тюрьмы сообщить об условиях, на которых арестант Шейба согласился прекратить бунт. Начальник тюрьмы выругался, но что поделаешь, рукопожатие капеллана обойдется государству в сто кнедликов ежегодно.

Богослужение прошло, как положено. Шейба выполнял свои обязанности с еще большим рвением, чем раньше...

\* \* \*

После мессы капеллан вместе с начальником тюрьмы отправился выпить винца.

— Посудите сами, господин начальник, — сказал священник в винном погребке, — три золотых за проповедь, это все-таки слишком мало. Позаботьтесь, чтобы мне платили десять крон, иначе в следующий раз забастую я...

А в это время Шейба, вкушая с таким трудом доставшийся ему кнедлик, говорил с набитым ртом:

— Н-да, братцы, богу до меня дела нет, но без кнедлика я ему не слуга.

С тех пор в камере номер 18 Шейба пользуется неограниченным уважением.

## **Такова жизнь (Американская юмореска)**

**М**исс Мэри сказала мистеру Вильсону:

— Милый Вильсон, нужно быть искренними, ведь уже завтра мы станем мужем и женой. Каждый из нас не без греха. Расскажем же друг другу всю свою жизнь.

— Я должен начать первым, не правда ли? — спросил мистер Вильсон.

— Начинай, — сказала мисс Мэри, — только ничего не пропускай.

— Ладно, — сказал мистер Вильсон, устраиваясь поудобнее и раскуривая трубку. — Родился я в Мериенс, в Канаде. Отец мой, милая Мэри, был добрый человек и очень сильный. Медведей по лесу гонял. Короче, добряк каких мало. Так мы спокойно прожили пять лет. И хотя мне было всего-то пять лет, я помню, что отца тогда упекли на десять лет. Ведь он зарабатывал для нас как мог и чем мог. От Мериенс до самых нижних озер нет ни одного более или менее богатого человека, который бы до сих пор не вспоминал про банду папочки Вильсона. Он заработал для нас кучу денег грабежом богатых фермеров. Мне, четырехлетнему карапузу, папочка сделал на именины самый лучший подарок, какой только может быть, — взял меня с собой поглядеть, как они у озера будут купца грабить. «Через год возьму тебя опять», — обещал он. и так жаль, что его и мое желание не сбылось, — как я уже сказал, папочка схлопотал десять лет.

Но даже и тогда он сумел сохранить хладнокровие, так как после объявления приговора заявил: «Джентльмены, благодарю вас от имени своих детей. Я тратил в среднем два доллара в день. В году 365 дней, стало быть, за год я израсходовал бы 730 долларов. За десять лет — 7300 долларов. Джентльмены, еще раз спасибо вам от моих детей за 7300 долларов. Ура!»

Хозяйство вела моя матушка. Она решила, что хватит жить в глуши, лучше переехать в какой-нибудь город. Хозяйство, правда, продать было трудно, потому что мать хотела получить за него большую сумму, гораздо большую, нежели соглашались за него заплатить. Тогда она просто застраховала наше имущество. Запасы мы тайно распродали. Мне было ровно шесть лет, когда мама подозвала меня к себе и сказала:

— Мой мальчик, я думаю, твой отец будет тобой гордиться, потому что в таком раннем возрасте ты проявляешь такие способности. Хотел бы ты посмотреть на большой костер? Знаешь, на такой костер, как если бы загорелся наш дом и с ним все остальное?

— Конечно, хотел бы.

Матушка продолжала:

— Ты мечтал о коробочке спичек, на тебе целых пять, и, раз уж ты от этого получишь удовольствие, подойди к сараю, подожги пучок соломы, но только никому ничего не говори, даже если бы отец, когда вернется из тюрьмы, убил тебя — помнишь, как он застрелил негра Торри?

Я поджег всю ферму. Мы тогда заработали 80 000 долларов. Матушка в награду купила мне Библию в изумительном кожаном переплете, каждый сантиметр которого стоил 1 доллар 25 центов. Это была якобы кожа предводителя индейского племени сиюукс. Позднее мы обнаружили, что предводитель жив, а торговец библиями нас надул.

Матушка моя после нашего переезда в Нью-Йорк не сидела сложа руки. Эта предприимчивая женщина твердо решила, что она станет владелицей большого цирка, в котором будут выступать настоящие индейцы. Она разослала в западные журналы объявления, что краснокожие приличного обличья и с приятными голосами будут приняты на работу. Случилось так, что их пришло примерно тридцать. И среди них — предводитель племени сиюукс по имени Годадласко, или же Звоночек, тот самый, на коже которого нас надул торговец библиями.

Случай был необыкновенный, и матушка влюбилась в этого краснокожего. Итак, на восьмом году жизни у меня появились новые братишки — премиленькие сиюуксодянчики с бронзовым оттенком кожи, двойняшки.

Кормить их грудью матушка не могла, потому что Годадласко не пожелал, чтобы они были вскормлены молоком француженки — моя мать была, как известно, из Канады, а французы когда-то шлепнули там несколько индейских повстанцев. Он приставил к двойняшкам кормилицу-негритянку. И тут случилось так, что отец моих новеньких братиков влюбился в эту негритянку, а когда мне исполнилось девять лет, сбежал с ней на запад, не выполнив договора относительно выступлений в цирке моей матушки. Она, конечно же, потребовала законной защиты. Годадласко, или же Звоночек, был изловлен в одном городе и посажен, а во время очной ставки оскорбил матушку грязным ругательством. Она вытащила пистолет и пристрелила его.

Присяжные ее оправдали, и матушкин цирк сделался заведением, которое посещало самое лучшее общество Нью-Йорка и Бруклина. За 50 центов с носа она показывала меня, потому что именно я, девятилетний мальчик, пока шло судебное разбирательство по делу моей матери, орал что есть мочи:

— Если вы ее осудите, я перестреляю всех присяжных IX, X и XI категорий!

— Ах, — выговорила Мэри, — как я вас уважаю, Вильсон!

— А потом, — продолжал мистер Вильсон, — когда мне было десять, я сбежал из Бруклина с девятилетней девочкой, забрав из дома 10 000 долларов. Мы шли по реке Гудзон вверх по течению от фермы к ферме, без остановки, разве только для того, чтобы устроиться под деревом и прошептать друг другу: «милый-милая...»

— Ах, дорогой Вильсон! — выразила восторг Мэри.

— За Олдеби, — продолжал он, — несколько молодцов увидели, как я разменивал стодолларовую банкноту, напали на нас, обобрали до нитки и бросили в реку. Девочка моя так и уплыла — у нее оказалась слишком мягкая головка, так что от удара молотком, которым ее наградили те лихие молодцы, она потеряла сознание. Я же, хоть моя голова тоже была проломлена, выбрался из воды и к вечеру доплелся до какой-то деревни; у тамошнего пастора, который

обо мне позаботился, забрал аккуратненько все сбережения и с ближайшей станции отправился в Чикаго...

— Дайте мне руку! — попросила Мэри. — Да, вот так! Как я счастлива, Вильсон, что вы, именно вы будете моим мужем!

— А дальше, — рассказывал Вильсон, — я мог положиться только на себя. Продолжение было следующее: в десять лет чистильщик обуви, о таких случаях вы, наверное, уже слышали, — я просто хочу заметить, что в Европе в рассказах об Америке всегда используется фраза: «Он был чистильщиком обуви». В одиннадцать лет — все еще чистильщик, в двенадцать — тоже, а в тринадцать меня уже отдали под суд, так как я тяжело ранил счастливого соперника. Той, которую я обожал, было двенадцать лет, и я каждый день чистил ей туфли. Потом, — вы представляете! — на другой стороне улицы в нее тоже влюбился чистильщик, четырнадцатилетний малый, и, чтобы меня доконать, сбавил цену на один цент за пару обуви. Та, которую я боготворил, была очень практична. Чтобы сэкономить цент в день, она перешла к моему конкуренту. Я купил револьвер, потому что тот, который я носил с собой постоянно, начиная с восьми лет, казался мне недостаточно надежным, чтобы кого-нибудь застрелить. К сожалению, даже новый револьвер не помог мне ухлопать соперника. Я его только тяжело ранил...

Мистер Вильсон сказал со вздохом:

— Поэтому, милая Мэри, очень вам советую, никогда не покупайте револьвер системы «Гриан».

— Во время судебного разбирательства выяснилось, кто я, собственно, такой и как три года назад сбежал из дома. Я сделался героем дня. Журналы утверждали, что если меня осудят, то народ в исключительных случаях — а таким и был мой случай — может освободить заключенного, а господ присяжных — стереть в порошок. Я сам произнес речь в свою защиту, которую закончил так: «Граждане! В ваших глотках, возможно, уже застряло сдавленное «да» — очень хорошо, и осужден. Граждане, в ваших глотках, возможно, уже застряло сдавленное «нет» — очень хорошо, я освобожден».

Этому спокойствию я был обязан не только всеобщим восхищением, но и тем, что с меня было снято обвинение, а господа присяжные стали чистить обувь только у меня.

Один издатель в Чикаго выпустил открытки с моими фотографиями, а один известный богач, который на старости лет не знал, куда девать деньги, захотел меня усыновить. Так что я переехал к нему во дворец.

Но я был воспитан слишком вольно и не позволил ему делать мне замечания, на что он так обозлился, что его хватил удар.

Я забрал все, что мог, и уехал на запад, в Сан-Франциско — там, уже четырнадцатилетним юношей, выкрасил себе лицо в желтый цвет, заказал длинную черную косу и поступил в кафешантан в качестве китайца, который — наверняка первый и последний — умел правильно петь американские песни.

Мое инкогнито вскорости было разоблачено настоящим китайцем, торговцем, который после представления обратился ко мне на чистейшем китайском языке. В гневе он так меня отмолотил, что я больше полугода пролежал в больнице.

— По выходе из больницы, — небрежно продолжал он, — я нанялся на приличный торговый корабль, где все занимались контрабандой. А когда наш ко-

рабль взорвали, я, конечно, взлетел на воздух вместе с ним, но упал так удачно, что рыбаки подобрали меня и оставили на берегу, так что я очутился на мели в буквальном смысле слова, особенно касательно моего кармана. Тогда мне было уже пятнадцать лет. У доброго фермера, который нанял меня в пастухи, были большие стада. До города было всего пять часов ходу, так что мне было нетрудно в один прекрасный день отогнать все стадо в город, продать там все 120 голов перекупщику и удрать на восток.

— Дорогой Вильсон, — восхитилась Мэри, — я мечтала только о вас...

— Я торговал оружием, — не останавливался Вильсон, — я продавал индейцам спирт, библии и молитвенники, в семнадцать лет я был самым юным проповедником одной секты, индейцы меня уважали и почитали, а так как у одного моего конкурента, тоже проповедника одной секты, дела с торговлей, особенно с продажей спирта и виски, шли лучше, чем у меня, я приказал снять с него скальп...

— Потрясающе, Вильсон...

— Потом я поменял массу профессий, убил в драках пять человек...

— Убить пять человек! Дорогой мой! — Мэри была вне себя от восторга. — Ну какой же вы милый...

— Я ограбил два банка и наконец, дорогая Мэри, — сказал нежно Вильсон, — сделался совладельцем банковского концерна Вильсон экд компани и владельцем такой прекрасной дамы, как вы, мисс Мэри Овей, владетельница ренты 2 000 000 долларов... Расскажите теперь о себе...

— Что же мне рассказать? — задумалась Мэри. — Разве только, что я была богата и богата до сих пор, что жизнь моя текла спокойно и я мечтала о таком муже, как вы, человеке необыкновенном, не как все прочие. И вот вы явились. Дайте мне свою руку... Я люблю вас с первой встречи!

Они поговорили еще немного, а на прощанье мистер Вильсон сказал:

— О'кэй, завтра утром, в одиннадцать — карета, пастор, костел, и на всю жизнь вместе, Мэри, на всю жизнь...

— Отличный парень, — сказала сама себе мисс Мэри, когда он покинул ее дворец. — Потрясающий парень, с таким не соскучишься. Да, а что это за книгу он здесь оставил? Видно, из кармана выпала.

Она бережно подняла с пола книгу, открыла ее и прочитала название: «Искусство ошеломлять молодых девушек, чтобы они влюблялись в джентльменов».

— Гм, — сказала она разочарованно. Открыв первую страницу, заметила подчеркнутую фразу: «На романтическую историю клонет любая...»

\* \* \*

На следующий день в девять часов утра мистер Вильсон получил длинную телеграмму:

«Мошенник!

Я все о вас узнала. Вы не совершили ничего замечательного из того, о чем рассказывали, никого вы не убивали и не грабили, вы заурядный сын Чарльза Вильсона, заурядного честного гражданина! А я-то была о вас такого мнения, негодяй! Между нами все кончено! Не смейте больше показываться мне на глаза!»

## Школьные хрестоматии

**А**вторам школьных хрестоматий нельзя отказать в стремлении воспитать из детей истинных патриотов и людей богобоязненных...

Об этом свидетельствует и деление книг для чтения на части: 1. Бог и человек (чтение нравоучительное). 2. Бог, отчий дом и Родина. 3. Бог, природа и мир. «Добыча соли в Величке» и «Что такое кошка домашняя».

Все три части составляют какую-то нравственную и божественную кашу, сдобренную муравьиной мудростью, не без остроумия придуманной покойным Б. Яблонским.

«Сын мой, учись у муравья добропорядочной жизни; он не ленится, живет скромно, собирая лишь то, что должно иметь. Он не тужит о счастье, радость которого в лениности состоит, величайшее богатство — удовлетворение в труде...»

Вот пример нравственного муравья, милые детки. И позже, когда вы будете за мизерную плату вкалывать на фабрикантов-кровопийц, декламируйте про себя: величайшее богатство — удовлетворение в труде. Ну что ж, имя пробста Яблонского будет вечно жить на страницах школьных хрестоматий.

Не будь Яблонского, дети бы не знали, что — и Тебя, сын мой (дочь моя), рука божья оделила толикой земли, ибо даровала тебе твою прекрасную и славную родину. И вот, милое дитя, надрывается твой папа, надрывается мама, и тебе уготована та же участь — трудиться до смерти, но как легко умирать от голода в прекрасном и славном отечестве; это твоя земля, милое дитя мое, правда, ты не можешь распорядиться этой, дарованной тебе рукою божьей толикой земли, на это есть соответствующие законы, но как приятно почитать об этом в хрестоматии.

И когда дома у вас не найдется и корочки хлеба, а отец твой начнет кашлять кровью, тогда почитай в хрестоматии о том, что во всем сущем на земле красота сочетается с пользой. «Прекрасное золотое солнце все живое согревает, дерево не для одной лишь пользы растет, оно также украшает землю. Плоды прекрасны, а вкус их сладок, и так во всем: куда ни взглянешь, сын мой, везде доброе и прекрасное сливаются воедино».

И когда тебя смертельно больного отправят по этапу, как это случилось однажды в Моравске Тршебове, вспомни школьную хрестоматию, вспомни, как ты в четвертом классе открыл первую страницу и что ты там прочел? Отче наш. К тебе свою молитву обращаем, ибо любовь твою хорошо знаем, что ты над нами простираешь. Отче наш!

И как бы тебя ни притесняли, не спеши с проклятиями! А не то у тебя полязыка одеревенеет. В школьных хрестоматиях я столкнулся с несколькими такими своеобразными болезнями: за одно несчастное «черт побери» тебе плохо придется и на земле и на небе. Как только тебе захочется выругаться, вспомни стихотвореньице Б. Гакла из школьной книги для чтения: «Пусть всегда течет чистая речь с уст твоих, мысль твоя пусть будет средоточием чести, никогда не произноси слов дурных».

Позволяй себя притеснять, ибо после смерти тебя ждет вознаграждение. Порукой тому славные имена Бенеша Мефодия Кулды, Ксавера Дворжака, Войтехы Пакосты и других умерших и живых отцов церкви, трубадуров надзвездного счастья.

За ними следует целая вереница писателей, которые жаждут воспитать в детях твердый характер при помощи сладчайших рассказов об Анчках, верных служанках и няньках, надрывающихся у одних хозяев на протяжении двух поколений и лелеющих лишь одно трогательное желание — упокоиться на кладбище рядом со своими господами: «Там мы снова будем вместе».

Или взять старушку, что молится, перебирая четки, и плачет. Ей восемьдесят лет, и она горюет, что у нее уже нет сил работать. Еще в прошлом году, когда ей было семьдесят девять лет, она трудилась. Все вокруг любят ее, окружают заботой, но плач ее занимает целую страницу школьной хрестоматии, где основной упор делается на этом несчастном нравоучительном чтении, душой которого был покойный Франтишек Доуха. 6 апреля 1834 года его возвели в сан священника, а он до сего дня, как привидение, все еще появляется на страницах хрестоматии. Он сочинил так много произведений о том, каким хорошим вырастет дитя, если оно прислушивается к добрым советам, а с другой стороны, так часто обличал детей, которых за непослушание и бесчестные поступки ждет ранняя и вечная погибель, что правую руку его свело писарской судорогой и он не мог держать перо. «Господи, — сказал этот чудесный человек, — неужели я не смогу воспитать добропорядочных подданных и истинных верующих!» И научился писать левой рукой! Он первым ввел в школьные хрестоматии так называемые прозрачные примеры, которые способствуют развитию слабоумия у детей. Под девизом прозрачных примеров авторы школьных книг для чтения принялись сочинять мудрые поучения.

Школьник Веноушек получает по всем предметам отличные оценки, но у него дурная привычка не здороваться со старостой. В наказание негодник проглатывает иголку. Вот вам убедительный пример того, что благо человека не в одних только знаниях (Веноушек получал только отличные оценки), а прежде всего в жизни добродетельной и богоугодной. О том, вышла ли из Веноушка игла, в убедительном примере не говорится.

Школьные хрестоматии изобилуют поучениям и, наставляющими молодежь на путь добродетели. Молись и работай! Смирись и веруй в бога! Уступчивостью приобретешь друзей! Мудрейший да уступит! Такими прекрасными правилами нашпигованы обычно книги для чтения. Истинную ценность этих советов многие поймут не сразу, а только повзрослев. Если у бывшего школьника возникнет спор с работодателем, он просто повесится, оставив записку: «Мудрейший да уступит» или «Уступчивостью приобретешь друзей».

Главное — это выбрать из школьной хрестоматии те правила, которые не годятся для нашего времени. К примеру, правила логические, как: «Если ты страдаешь безвинно, несчастье обернется для тебя благоухающими цветами» (Мат. Й. Сихра).

Рождаются новые советы, как вырасти добропорядочным гражданином: «Учись в нужный час сгибаться и ты многих неприятностей избегнешь». Дитя мое! Подставь спину и уповай на бога!

В конце концов, не все так плохо в школьных хрестоматиях. Как много в них поучительных историй о том, что, если ты попадешь в беду, добрые люди тебя не оставят. Например, «Сочельник в приюте». Бедные дети получают там в подарок чулки, яблоки и горсть орехов. Глядя на роскошно разодетых дам, дети поют: «Родился...» Присутствуют также родители детей, они растроганно плачут. А дети с горящими глазами натягивают под новогодней елкой пода-

ренные чулки и целуют руки чудесно одетым дамам. А внизу под этой историей написано: «Щедрого благодетеля бог любит».

Долго ли ты будешь грезить, дитя мое, о чулках и прекрасных дамах, прочитай это?

А почему этим детям выпало такое счастье? Потому что они были набожными и добродетельными, несмотря на свою бедность. Это особый случай, ибо в других местах вы найдете фразы такого рода: «Один своевольный мальчик, дитя бедных родителей...», и противопоставленные им — «Карличек был хорошим и учтивым мальчиком, и — его родители, состоятельные горожане...» Школьные хрестоматии одобряет земский школьный совет, отсюда вытекает: «Карличек был хорошим и учтивым мальчиком и будущим земским школьным советником...»

Школьные хрестоматии могли бы утверждаться также святейшей консисторией. Если я хочу быть достойным человеком, как предписывает церковь, я должен читать наши школьные хрестоматии, и хотя я останусь недоразвитым духовно, тем лучше для меня, ибо добродетель моя не понесет ущерба. Я вырасту патриотом и буду совершать паломничества на Велеград, я стану государственным чиновником и с благодарностью буду вспоминать школьные хрестоматии, которые детям обо всем рассказывают так хорошо, что из них вырастают люди богоугодные, с прекрасными жизненными правилами: «Молись и работай!», «Мудрейший да уступит!», «Учись в нужный час сгибаться!»

И эти угодные богу граждане обладают столь же невеликим мозгом, как и авторы школьных хрестоматий.

Некий Ян Яворницкий написал:

*Привыкай, молодежь, хрестоматии чтить,  
иначе тебя наказания тяжкие ждут.*

А это тяжкое наказание состоит в том, что для тебя не найдется места в доме для слабоумных.

## Печальная судьба пана Блажея (Трагедия избирателя)

Одиноким пенсионер Блажей много лет мирно благоденствовал в своем небольшом деревенском домике, пока не наступили земские выборы. В небольшом провинциальном городке оказалась уйма кандидатов. Чтобы перечислить их всех, я позволю себе прибегнуть к алфавитному порядку: Адам, Билечек, Борек, Велиш, Ганс, Гумбал, Жмола, Зайчик, Клабура, Матушек, Обалка, Рыбный, Сикора, Танин, Укршинский, Филин, Ходера, Якеш...

Все эти кандидаты печатали свои воззвания и листовки, приобретали врагов и приверженцев и ожесточенно боролись за голоса. Когда началась избирательная кампания, звонок у дверей Блажея не переставал звонить. Приходили какие-то личности, которых Блажей никогда в глаза не видел (чаще всего одетые в черное), и настойчиво предлагали одну из кандидатур. Один говорил:

— Не подумайте, что я его друг-приятель и агитирую по знакомству.

Другой простодушно сообщал:

— Я от пана Жмолы, сударь. Уж вы подайте голос за него, он вам этого по гроб жизни не забудет.

Приходили люди, которые говорили:

— Окажите ваших милостей...

Другие, наоборот, изъяснялись вполне грамотно, не плевали на ковер и употребляли исключительно негативные обороты речи:

— На свете нет человека достойнее пана Выходила, не извольте голосовать ни за кого другого, сударь.

Третьи кратко заверяли:

— Он такой добрый, он просто ангел небесный!

От большинства посетителей разило водкой; от тех, что поприличнее, — пивом; от самых приличных — мятными конфетками.

В результате этих посещений из передней исчезли вешалка с одеждой и половичок, укрепленный на цепочке (вместе с цепочкой). Один из агитирующих за какого-то кандидата между буквами В и У унес с собой — вместе с надеждой — еще и курицу, прихватив ее мимоходом во дворе.

Агитатор одного независимого кандидата был застигнут при попытке изломать платяной шкаф в передней. Он объяснил, что спутал его с входной дверью, и перевел разговор на восхваление своего поильца.

Блажей был совсем подавлен этой бурной предвыборной деятельностью. Он понуро слонялся по комнатам и, услышав звонок, вздрагивал и спешил подкрепиться рюмкой коньяку. Медленно, но верно он становился алкоголиком.

Однажды ему прислали по почте копченый окорок, а на другой день явился какой-то тип и начал:

— Изволили отведать ветчинки, сударь? Как масло! Тает во рту! А? Пан Ходера знает, как коптить ветчину! И вообще человек он душевный, бескорыстный, патриот в полном смысле слова. За правду — горой! Теперь таких мало! Теперь любой горлопан может пролезть в кандидаты. А пан Ходера выставляет свою кандидатуру только затем, чтобы доказать, что одной глоткой ничего

не возьмешь, и лишь настоящая, без громких фраз, патриотическая работа...

Еще через день Блажею прислали письмо и бочонок бархатного пива с соседней пивоварни. В письме говорилось:

«Уважаемый сосед!

В эпоху разнообразных девизов позволю себе послать вам и свой девиз: «Пить, как пили чехи в старину, крепко блюсти отцовские обычаи и не давать себя в обиду».

Надеюсь, что вы, милостивый государь, не отдадите свой голос тем, кто хочет извести старый чешский дух».

Подпись гласила: «Независимый кандидат — пивовар Клабура»; а ниже была приписка: «Когда выпьете все, посылайте без церемоний за другим бочонком. Блюстителю старых чешских обычаев должны жить дружно».

Потом Блажей получил несколько анонимных писем и узнал из них, что кандидат Адам — вор, Билечек — бандит, Борек — мошенник, Велиш — шулер, Ганс — развратник, Гумбал — убийца, Жмола — хам и так далее вплоть до буквы «я». Письма приходили целую неделю, и Блажей все чаще спускался в погреб подкрепиться пивом кандидата Клабуры.

В конце недели снова начались визиты. Эти посетители уже не просили, а угрожали. Перепуганный Блажей клятвенно обещал свой голос пятерым кандидатам, а оставшись наедине, с горя опять приналег на пиво.

За месяц до выборов к нему явилась депутация вегетарианского кружка и предложила ему баллотироваться от их организации. В кружке целых двенадцать человек, заявила депутация, и у них есть связи, так что они сумеют поддержать своего кандидата, а ему придется только внести двести крон, и его выберут почетным членом кружка. Блажей напоил депутацию коньяком и выставил за дверь. К вечеру у него началась головная боль, и перед сном он долго щипал себя за нос и твердил приглушенным голосом: «Нос, носа, носу, нос, о носе, с носом...»

Утром он нашел на дверях пять разноцветных плакатов. Блажей прочел их, и ему вдруг захотелось мяукать. Помяукав с полчаса, он содрал плакаты и, дико хохоча, повалился на кушетку. Через часок он выглянул на крыльцо и увидел, что дверь и весь фасад дома залеплены избирательными плакатами. Блажей уставился на них. В глазах у него зарябило, и все плакаты слились в какой-то необыкновенный цвет. Блажей стал подергивать плечами, прищелкивать пальцами и восклицать:

— Вкушайте манну небесную! Щелкает бич возмездия! Лисички-сестрички!..

Потом он заперся в комнате и принялся прыгать через кресла, причем ему казалось, что кто-то кричит в углу: «Крапиве мороз не страшен!»

Раздался звонок. Блажей побежал отворять. Кто-то сунул ему в руки разноцветные бумажки. Это были листовки. Блажей машинально поблагодарил и стал читать: «Твердо полагаясь на неутомимую энергию кандидата Обалки, мы убеждены, что только этот энергичный человек способен отстоять наши интересы...»

Через четверть часа новый звонок — и снова листовки: «Избиратели! Те из вас, которые сумеют полностью оценить энергию кандидата Танина, отдадут свои голоса только ему...»

Чтение прервал звонок. На этот раз зеленые листки: «Милостивый госу-

дарь! Вы безусловно принадлежите к лучшим сынам нашей родины и желаете ей процветания. Деятелем, который неутомимо и упорно работает на этом поприще, является кандидат Укршинский...»

Блажей с ужасом обнаружил, что все три листовки от имени членов клуба избирателей подписал он сам!

Разразившись смехом, судорожным смехом, он открыл клетку и выпустил на свободу своего кенара Маника. После этого человеколюбивого поступка он зарядил револьвер и всадил пулю в портрет своего бывшего начальника, приговаривая:

— Эне, бене, раба, квинтер-финтер, жаба...

Затем Блажей лег на пол и крепко заснул. Чуть свет он вскочил и выглянул на улицу. Домик был сплошь залеплен пестрыми плакатами. Некоторые были измазаны чернилами. Одна половина дома была изукрашена такими призывами: «Голосуйте за Билечека, Клабура — жулик».

Блажей пустился в пляс. Он трижды проплясал вокруг дома. Плакаты начали ему нравиться. Недолго думая, он взял кисть, обмакнул ее в чернила и вывел крупными буквами через все плакаты: «Здесь разрешается расклеивать плакаты». Затем он оделся и отправился в город. Там он навестил кандидатов Якеша, Адама, Билечека, Клабуру, Матушека, Обалку, Ходеру, Укршинского, Велиша и заверил каждого, что будет голосовать только за него. По дороге Блажей зашел в муниципалитет и попросил включить в списки избирателей своего покойного дедушку. Блажея вывели из ратуши весьма деликатно — поскольку кандидат муниципалитета рассчитывал на его голос — и объяснили, что это было бы не совсем удобно.

Вернувшись домой, Блажей несказанно обрадовался, увидев, что кое-где плакаты намалеваны даже на окнах. Он яростно оплевал те окна, на которых не было плакатов.

Под двери было подсунуто множество листовок и воззваний: «Отдайте свой голос тем, кто без громких лозунгов и заманчивых обещаний...»

Это окончательно развеселило Блажея. Он бросился обнимать свою старую служанку и обещал жениться на ней; затем уселся у двери и целый день ничего не ел, с веселым лицом принимая листовки. К вечеру Блажей перечитал их все до единой, разделся догола, натянул трусики и с замирающим сердцем стал ждать утра. Утром он появился в таком виде на городском базаре, вопя истошным голосом:

— Адам, Билечек, Борек, Велиш, Ганс, Укршинский, Филин, Ходера, Якеш!..

Это были имена кандидатов, которые довели его до столь прискорбного состояния. Да простит им бог!..

## «Умер Мачек, умер...» (Очерк из Галиции)

Не было в округе Латувки другого такого страстного плясуна, как Мачек. Ах, как он отплясывал мазурку, и подскакивал, и притопывал, а кунтуш распахнут, а очи горят!

Как раз по нему была песня Мазурского края:

*Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,  
Вы ему сыграйте — он еще попляшет,  
У Мазуры та натура —  
Мертвый встанет, плясать станет...*

Вот такая же «натура» была и у Мачека. Пусть он как угодно пьян, пусть сидит в корчме куль-кулем и только бормочет: «Святой боже, прости меня», — но дайте ему услышать музыку, сыграйте ему, и он еще попляшет. Да как! И подскакивать начнет, и притопывать, и кунтуш распахнет, и очи вспыхнут... Но стоит перестать играть — и тогда...

Тогда достаточно тому же дядюшке Влодеку подойти да тихонько толкнуть его со словами: «Хорошо пляшешь, Мачек», — и Мачек свалится наземь. Но попробуйте заиграть снова — ой-ой, опять пойдет плясать Мачек, пока звенит музыка.

Дальше в той песне поется:

*Умер Мачек, умер, на столе, бедняжка,  
Вы ему сыграйте — он еще попляшет...*

И по этой причине многие латувчане думали, что если б и умер их сосед Мачек и уже лежал бы на столе, то стоило бы только сыграть ему, как он пустился бы в пляс.

Особенно настаивал на таком мнении дядюшка Влодек, однако, увы, не успел убедиться в своей правоте, поскольку сам вскоре умер: задавило его бревном, скатившимся с горы.

Впрочем, по утверждению другого латувчанина, музыка, под которую плясали крестьяне в Латувке, в Смерши и в Вогатуве, так грохочет, что способна пробудить и мертвого. На беду свою этим он оскорбил мнение большинства, и его скинули в ручей, из которого он кричал:

— Братцы, бывал я в Станиславове и во Львове бывал, слышал оркестры, они так играли, как орган в праздник тела господня, и танцы играли, понятно?

Ему следовало все-таки уважать мнение большинства, а это мнение о латувской музыке было высокое, потому что латувская музыка казалась им самой лучшей.

Четверо самых почтенных граждан в Латувке с незапамятных времен играли по корчмам, и сыновья этих четырех самых почтенных граждан с почтением наследовали привилегию играть танцы, и их сыновья, в свою очередь, заняли их место, и музыка была все той же, громкой и бурной, и такой же прекрасной, как тогда, когда ее играли их отцы.

Она была особенно выразительной оттого, что когда притопывали танцоры, притопывали и музыканты, и казалось, сама музыка притопывает; и когда

подскакивали танцоры, подскакивали и музыканты, и когда танцоры дрались, то и музыканты вмешивались в свалку.

От такой музыки самые некрасивые девушки — из самой ли Латувки, или из Смерши, или из Богатува — казались красавицами, и самый плохой танцор огненно и красно отплясывал мазурку, и если кто оттапывал соседу ноги своими высокими сапогами, то музыка была так хороша, что потерпевший забывал и о боли и об отплате.

И нередко музыка выманивала всех из корчмы на майдан, потому что и музыканты наяривали все громче, все быстрее, и вот уже сами вскакивали и пускались в пляс, не переставая играть, и вываливались из дверей, и плясали на дворе, и со двора выскакивали, и плясали, и играли, пока не доплясывали до майдана, и там взвивалась пыль и разбрызгивалась грязь из луж, а напротив, из окон плебании, смотрел на них пан плебан, пока веселье не заражало и его, и он скрывался в своей библиотеке, где хранились святые книги, и там плясал и притопывал в одиночестве.

А тот, высокий, впереди, подскакивавший выше всех и притопывавший громче всех, — это и был Мачек.

Все ходило колесом: майдан, деревья, избы под соломой; шпиль костела, казалось, тоже пустился в пляс, а уста Мачека без устали повторяли:

*Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка.*

И он все плясал, и топал, и пел: «Ой дана-дана, ой дана-дана-дан!»

Но плясал Мачек один, потому что несколько лет назад вышел у него неприятный случай с одной девушкой.

Он взял ее плясать с собой и плясал с такой страстью, что не заметил, как девушка уже начала спотыкаться; а он тащил ее, и подкидывал, и не слышал криков: «Перестань, опомнись!» Он выбежал во двор, со двора на майдан, таща ее за собой, и все плясал и прыгал; наконец музыка смолкла, и он остановился.

— Зося, что с тобой? — удивленно спросил он, потому что бедняжка выскользнула из его объятий и упала на землю, да и как могло быть иначе, если она сомлела?

С тех пор ни одна девушка не хотела плясать с ним, но он плясал и без них, плясал один, и страсть его все разгоралась.

В пору танцев он ходил по округе, водил с собой латувских музыкантов, платил им, заказывал танцы, пил с ними, и вот случилось, что в один прекрасный день отправился он в плебанию и имел с паном плебаном такой разговор.

— Вельможный пан, — грустно сказал он, протягивая ксендзу три рейнские монеты, — отслужите, пожалуйста, за меня святую мессу.

— Почему, Мачек?

— Плохо дело, вельможный пан; покойный отец радел о хозяйстве, взял усадьбу за покойницей матушкой, а моя душа во власти дьявола.

— Как так, Мачек?

— Отслужите за меня святую мессу, помолитесь за меня божьей матери, чтобы бросил я танцы, а то ведь разорился совсем, плачу музыкантам, хожу с ними, пью, и дьявол подстерегает душу Мачека.

Сказал тогда пан плебан:

— Танцы — грешное дело, хотя менее грешное, если плясать в меру, но если плясать, как ты пляшешь, то это смертный грех.

— Если не брошу я этого, вельможный пан, то скоро продадут мою усадьбу, так что прошу я вас, помолитесь за меня, чертов я человек!

Хотя в Латувке трех золотых считалось мало за мессу, все же пан плебан горячо молился за душу Мачека в ближайшее воскресенье. Мачек был в костеле и повторял все молитвы за себя; органист заиграл на малом органе, и Мачек перестал молиться, потому что стал грешным образом думать, как бы можно сплясать под эту музыку.

А как вышел из костела, вздохнул и сказал:

— Чертов я человек!

И пошел в Богатув, где с полудня плясали.

Через два дня он снова явился к ксендзу и сказал:

— Вельможный пан, вот вам четыре рейнские монеты, отслужите святую мессу за Мачека, еврей уже хочет продать мою усадьбу.

В воскресенье он опять был в костеле, а после полудня пан плебан с удивлением увидел Мачека. пляшущего со всей музыкой на майдане.

Он плясал перед плебанией. и ксендз слышал его выкрики:

— Чертов я человек!

Потом Мачек запел во все горло:

*Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,  
Вы ему сыграйте, он еще попляшет,  
У Мазуры...*

— ...та натура, — подхватил плебан и пошел притопывать в своей библиотеке среди книг о святых отцах...

Через три недели почтенный Барем продал усадьбу Мачека и вручил ему пятнадцать золотых.

С этими пятнадцатью золотыми Мачек отправился в Смершу и пил там двое суток, поджидая латувских музыкантов.

Он их дождался. Латувчане пришли и увидели Мачека.

— Гляди-ка, — сказали они, — проплясал все имение, а ничуть не изменился, сидит пьяный, молчит и ждет, когда мы заиграем.

Едва раздались первые оглушительные звуки, Мачек вскочил, хлопнул себя по голенищам, забил в ладоши и пустился плясать, как и прежде, когда еще были у него изба, поле, коровы и работник, который обворовывал его и поколачивал, когда Мачек пьяный возвращался домой.

Он плясал, плясал...

Подскакивал, притопывал, покрикивал властно:

— А ну поддай! Еще поддай! Еще раз, давай!

И, гляди, уже бросает музыкантам последние монеты.

Прыгает, скачет и, танцуя, подносит выпить музыкантам, кричит:

— Помните, соседи, жив еще Мачек!

Соседи? Не соседи они ему больше. Да не все ли равно...

*Ходит Мачек, ходит, под полою фляжка,  
Вы ему сыграйте, он еще попляшет...  
У Мазуры...*

— Эй! Еще раз! — И скачет и поет Мачек: «Ой дана-дана, ой дана-дана-дан!»

Все пошло колесом. Смершанский корчмарь-христианин, музыканты, крестьяне, потолочные балки и стены, святые образки в углу, и белые двери, и цветные кунтуши — все слилось в какой-то неопределенный цвет.

Мачек в плясе вышел из дверей, быстро, как в беге, в плясе прошел по деревне, и у последней избы все вдруг закружилось перед ним: плетни, тучи на небе, гусята на лугу, и Мачек свалился, в последний раз хлопнув себя по коленям...

Сбежались крестьяне, прибежали музыканты, дети столпились вокруг.

— Мачек, ой, Мачек, вставай!

Стали поднимать — упал. Расстегнули кунтуш. Сердце не бьется, и сильная рука странно быстро холодеет.

В тот день не плясали больше в Смерши. Мачека отвезли на телеге домой, а Барем был так добр, что позволил положить его на кровать в доме, который больше ему не принадлежал.

Умер Мачек, умер! Пришел цирюльник (доктор был далеко, в городе), с важным видом сказал:

— Умер, начисто умер...

Отвезли его в покойницкую на латувском погосте, мимо которого бедный Мачек хаживал плясать в Богатув.

Обрядили его, покрыли саваном и положили в дощатый гроб. И оставили на ночь.

После этого несчастного происшествия латувские музыканты не стали играть в Смерши, а в тот же день отправились в Богатув. Масленица на дворе — пусть же будет весело! Играли до позднего часа и ночью побрели домой.

Идут по дороге, разговаривают:

— Жалко Мачека — сколько раз платил нам! Эх, жаль парня.

Шли они, шли и подошли к погосту.

— Братцы, — сказал тут старший из них, Мартин. — Что-то грустно мне, давайте сыграем «с прискоком»?

А были они как раз возле покойницкой.

— Эх, что ж, сыграем!

И в тихой, торжественной ночи зазвучала громкая музыка, и такая она была ярая да буйная, что и не слышали музыканты, как в покойницкой что-то затрещало, заскрипело...

Вдруг мелькнуло что-то перед ними; тут и бежать бы музыкантам, а они все играют, и волосы у них от ужаса дыбом поднимаются.

По дороге к ним скачет Мачек в саване, хлопает себя по голым ногам, поет:

*Умер Мачек, умер, на столе, бедняжка,  
Вы ему сыграйте, он еще попляшет...*

Когда Мартин, старший из музыкантов, рассказывает об этом, он всякий раз божится, что Мачек потом вдруг упал и закричал: «Ой, плохо мне, братцы!» — а они все играли ему, но он так и не поднялся больше и умер уже по-настоящему.

История, правда, загадочная, но люди в тех краях лгут редко; во всяком случае, можно им поверить, что «умер Мачек, умер» — тот самый Мачек, который проплясал свое хозяйство в Латувке, где и произошел этот странный случай...

## Рассказ о клопах

Наступила весна. Пробудилась ото сна природа, а вместе с ней и клопы по всей тюрьме. Больше всего клопов появилось в камере политических заключенных. «Это перст божий», — говорили тюремные надзиратели. К сожалению, божий перст крайне неприятно вонял, стоило до него дотронуться; спинной щиток у него был сердцевидной формы, задок яйцевидной, тело красновато-коричневое, маленькая голова и очень тоненький хоботок, приподнимающийся, когда он хотел укусить.

На одного политического заключенного приходилось в среднем пять тысяч клопов, восемь надзирателей, один главный надзиратель, один тюремный чиновник и одна седьмая начальника тюрьмы, так как политических заключенных было семь, клопов — тридцать пять тысяч, надзирателей — 56, семь главных надзирателей, семь чиновников и один начальник тюрьмы.

Человек, являющийся политическим заключенным, может много вынести, но в конце концов и у политического заключенного кончается терпение, и поэтому политические заключенные начали жаловаться.

Надзиратели пожимали плечами: «Ну, господа, чего вы хотите? Мы не имеем права вам тыкать, не можем бить вас по щекам, нам не разрешено вас душить, у вас свое белье. У вас свои книги, вы можете писать, вы можете думать, начальник тюрьмы относится к вам по-отечески. Чего же еще вы желаете? Ведь клопы — это не так уж страшно. Существуют на белом свете животные гораздо более опасные, чем клопы, например, львы и им подобные. Ну, и что же, что они сосут кровь? Боже мой, все хотят жить. Это вина создателя, что он не сотворил клопов вегетарианцами. В этом случае они накиннулись бы на казенную мебель, и долг государства заключался бы в том, чтобы найти способ их уничтожения. А в данных условиях проблема гораздо сложнее. Господам остается самозащита. Однако не разрешается переступить границы самозащиты, например, размазывать клопов по стенам. Не остается ничего другого, как подать жалобу, когда тюремный чиновник придет с проверкой».

Потом главный надзиратель заявил, что это, очевидно, бесполезная затея и, пожав плечами, в раздражении вышел из камеры.

Когда инспектор пришел с проверкой, было видно, что он озадачен. Боже мой, о чем господа говорят? Разве возможно, чтобы в государственной тюрьме завелись клопы? Нет, этому он не может поверить. Господа себе это просто внушили. Извольте сами убедиться. Господа требуют от него того, что не входит в его обязанности. Он инспектор по пище, а не по клопам. А если клопы падают с потолка в еду, не следует воспринимать это столь трагично. Клопы — предмет, который поддается вылавливанию. И все же, несмотря на то, что этот предмет имеет к его обязанностям весьма отдаленное отношение, господин инспектор сделает все, что в его силах. Сегодня точка зрения на политических заключенных в корне изменилась. Им нельзя тыкать, не разрешается бить их по щекам, их нельзя душить в соответствии с высочайшим указом 1886 года. Но в этом высочайшем указе ничего не сказано о клопах. Тем не менее на будущей неделе он пришлет с проверкой своего коллегу, который, как и он, сделает все, что будет в его власти.

Всю неделю клопы набрасывались на политических заключенных с удвоенным аппетитом, как будто зная, что в высочайшем и наивысочайшем указе

1886 года упоминания о них нет. А еще говорят, что у животных нет разума.

Во время следующей проверки второй инспектор застал политических заключенных за мрачным перетряхиванием матрасов.

— Что вы делаете, — взволнованно воскликнул он, — кто вам разрешил перетряхивать матрасы, неужели ваши фантазии о клопах проникли уже и в матрасы? Разве мы не делаем ради вас все, что можем? Разве я не пришел к вам лично, чтобы получить информацию из первых рук? Как, собственно, обстоит дело с этими клопами?

Вы твердите, что их тысячи. Ну, господа, сбавьте хоть немного. В конце концов, я не слышал, чтобы клопы кого-нибудь съели. В этом смысле опасаться нечего. Вы все сильные, здоровые. Н-да, вот в этом-то и беда. Вы получаете пищу, от которой у вас вырабатывается кровь. Вы становитесь полнокровными и этим раздражаете клопов. По крайней мере, такова моя точка зрения. Если бы вы сидели на хлебе и воде, клопы бы наверняка избегали вас. Но политические заключенные сегодня на особом положении. Им положена лучшая пища, чем раньше. Ведь вам, господа, совсем не так плохо. Вам не разрешается тыкать, и пусть только кто-нибудь попробует выбить вам зубы. Пусть попробует вас избить. Ему бы за это досталось. Раньше политическому заключенному могли вlepить такую затрецину, что у него искры из глаз сыпались, а пожалуйся он, его бы заковали в кандалы, если их ему не надели ещё раньше. Случалось, что заключенного забивали до смерти. Пусть теперь кто-нибудь попробует избить так кого-нибудь из вас, господа. Видите, как времена меняются, и все благодаря высочайшему указу от 15 июня 1886 года. И чем вам помешали клопы? Однако я сделаю для вас все, что смогу. Составьте в письменном виде прошение тюремной администрации. Через неделю я приду за ним.

За неделю клопы в камере размножились в ужасном количестве. Клопные мамы гладили своими усиками маленьких клопчат и сообщали им, что в высочайшем указе 1886 года упоминания о них нет. Да, именно в указе от 15 мая 1886 года. Не забудьте эту дату, дорогие деточки.

Через неделю начальнику тюрьмы вручили следующее письменное прошение политических заключенных:

«Глубокоуважаемой администрации тюрьмы!

Мы позволили себе подать сие прошение, чтобы глубокоуважаемая администрация тюрьмы распорядилась вычистить нашу камеру номер 8, в которой, пока мы пишем эти строки, находится бесчисленное множество клопов. Выражаем надежду, что глубокоуважаемая администрация тюрьмы любезно примет во внимание наше прошение и позаботится об устранении данного беспорядка. (Подписи.)»

Начальник тюрьмы глубоко задумался. Входят ли клопы в сферу его деятельности? Он должен заботиться о заключенных, и если клопы добровольно желают делить камеру с арестантами, какие у него могут быть против этого возражения? И наконец, впервые за долгие годы его деятельности в тюрьме кто-то жалуется на клопов. Как действовать в этом случае? Говорится ли что-нибудь об этом в инструкциях для начальников тюрем? После долгих размышлений начальник тюрьмы лишил политических заключенных некоторых привилегий и отослал в министерство юстиции следующую бумагу:

«Высокочтимые господа из министерства юстиции!

Нижеподписавшийся начальник тюрьмы доводит до вашего сведения, что в камере номер 8 для политических заключенных размножились в большом количестве клопы обыкновенные, или постельные (*Alanthia lectulasia*), и испрашивает у высокого министерства юстиции предписаний, как поступать, буде такие случаи повторятся».

Через месяц пришел следующий ответ:

*«Нижеподписавшееся министерство юстиции после тщательного рассмотрения вынесло решение разослать анкету и в то же время созвать в имперском городе съезд юристов, который бы обсудил данный вопрос ввиду его особой важности. Одновременно прилагаем циркуляр, который следует немедленно по заполнении выслать министерству юстиции.*

**ЦИРКУЛЯР**

*«Как вы полагаете, сколько яичек откладывает в среднем одна самка клопа в вашей тюрьме в нормальных условиях? За какой срок вырастают клопы в вашей тюрьме? Какое влияние оказывают клопы на перевоспитание заключенных? В какое время наблюдается наибольшее количество нападений клопов на заключенных в вашей тюрьме? Влияние поста у отдельных заключенных на условия суще ствования клопов? Как относятся к клопам малолетние преступники? Были ли в вашей тюрьме зарегистрированы случаи издевательств над беременными самками клопов? Какие меры в этом случае предпринимало духовное руководство тюрьмы?»*

*Эти вопросы администрации тюрьмы следует изучить и ответить на них с полной мерой ответственности. Министерство юстиции от...»*

Через полгода от политических заключенных остались кожа да кости, так их заели клопы, но это неожиданно поспособствовало развитию гуманизма. Министерство юстиции созвало в имперской столице съезд по охране клопов в тюрьмах, проходивший в присутствии дворянства, духовенства и знаменитейших юристов со всей империи.

## «Der verfluchte Ruthene»[40]

Русин Онуферко оказался на военной службе среди немцев и поляков. Вся рота насмеялась над этим малорослым мужиком, когда на брань унтеров и офицеров он отвечал тонким, жалостным голосом:

— Пожалуйста, не бейте меня.

И потому, что у него был такой жалостный голос и печальный взгляд и он был русин, поляки называли его «пся крев», а немцы — «der verfluchte Ruthene».

И в то время как остальные после занятий сидели в казарме и пили черный кофе, Онуферко на казарменном дворе еще долго падал на колени, вставал, снова бросался на землю, получая от капрала зуботычины и оплеухи.

— Мы из него сделаем человека, — говорили унтера.

От их воспитательного рвения у Онуферко кровь текла из носу, он уразумел, что у него не лицо, а морда, он начал понимать польские и немецкие ругательства — например, что «der verfluchte Ruthene» означает «проклятый русин». Онуферко явно становился человеком. Он уже не говорил: «Пожалуйста, не бейте меня», ибо, став человеком, понял, что это не поможет, и только печальные его глаза спрашивали у фигур, нарисованных на стене казарменного двора: «Зачем все это, нарисованные фигуры?»

Именно об этих непонятных вещах он и думал, когда на него надели кандалы и впихнули в вонючую дыру.

Он сидел на нарах и думал: «Зачем разлучили меня с нашими полями, и лесами на равнинах, и прудами, где стаи аистов парят над водой — там, у нас, возле русской границы. Коней, и тех так не бьют, как бьет меня фельдфебель Гребер. И когда коровы на пахоте не трогают с места, я не ругаю их так, как ругает меня офицер Хонке. Почему все зовут меня не иначе как «собачьим сыном»? Неужто меня не такая же мать родила?»

— Кто это там орет? — спросил офицер Хонке постового перед «губой».

— Осмелюсь доложить, арестованный Онуферко!

— Ах, der verfluchte Ruthene, найди и дай ему разок по «морде»[41].

Когда офицер ушел, солдат отпер дверь и заглянул внутрь. Там в полутьме сидел Онуферко и глядел так печально, что солдат тут же закрыл дверь, сказав сочувственно:

— Не ори, брат, не то получишь у меня по морде.

Приутих Онуферко и негромким голосом стал жаловаться покрытым плесенью стенам:

— Зачем посадили меня под замок, когда я сказал, что болен? Голова у меня болит, и в животе режет. Был бы я дома, пошел бы к дедушке Кореву, он бы мне травки дал. Сварил бы я ее с водочкой, выпил, зарылся бы в сено и перестала бы болеть моя головушка. Ох, дедушка Корев, зачем привезли меня на чужую сторонущку? Зачем надели этот синий мундир? Зачем больного заковали в кандалы? Зачем фельдфебель меня под ребра бил, когда от доктора вел? А голова у меня так болит, а живот жжет как огнем!

Онуферко улегся на нары, глянул на дверь и привиделись ему сказочные чудища, пришедшие с лесистых равнин его родного края. Только у одного была голова фельдфебеля Гребера, а у другого лицо офицера Хонке. А когда они поочередно глядели на Онуферко, у него то мороз, то огонь по телу проходили.

Потом померещилось ему, что с потолка падают ружья со штыками, а на каждый штык насажена бедная его головушка. Из угла, где стояла параша, выбежал аист и молвил человеческим голосом:

— Онуферко, я тебе спою, как на Украине поют, в пяти часах езды от русской границы, а ты подтягивай!

И запел Онуферко с аистом в горячечном сне:

— Ой, налетел Максим-казак, запорожец лихой...

Страшным голосом пел Онуферко, словно призывая Максима, лихого казака-запорожца, сесть со своей ватагой на приземистых коней, налететь на эту проклятую казарму и увезти его обратно, к его лесам, полям и степям.

— Не ори, Онуферко, а то по морде получишь.

А Онуферко знай поет себе дальше. Прибегает фельдфебель Гребер:

— Нажрался, сукин сын!

Подходит и бьет его по лицу, а Онуферко не встает и все поет свою песню.

Прибегает офицер Хонке, треплет его и ругает на чем свет стоит. Открывает Онуферко глаза, и что же он видит? Носится по избе нечистая сила, баба-яга, схватив за ухо, тащит его, Онуферко, на свой самострел, чтобы стрелнуть им прямо в печь, потому что любит баба-яга поджаристую человечину с золотистой, румяной корочкой — так рассказывал по вечерам дедушка Корев.

— Дедушка Корев, — кричит Онуферко, — плюнь им в глаза да берись за топор, а то уносят они меня, а баба-яга ими командует.

Это офицер Хонке скомандовал отнести его в лазарет.

В лазарете военный лекарь сказал:

— Эта свинья симулировала до тех пор, пока не заработала тиф.

К вечеру появился полковой священник. Так как ожидалось, что Онуферко до утра не протянет, военный лекарь предложил заранее произнести последнее напутствие этому негодяю.

— Пехотинец Онуферко, — сказал полковой священник, — нельзя тебе умирать, не примирившись с богом. Немало ты нагрешил здесь, на военной службе. Немецкого ты не знаешь, ружье всегда держал криво, а когда тебе командовали «Равнение направо!», ты пялил глаза налево. А когда нужно было глядеть налево, ты глядел направо. А при команде «links um»[42] ты стоял на месте как бессмысленная скотина. Вдобавок ко всему, ты еще пытался обманом попасть в лазарет. И бог покарал тебя. Ты уходишь на другую военную службу, куда строже здешней, где мы хотели сделать из тебя человека. Пехотинец Онуферко, каешься ли ты в своих грехах?

Грешник не отвечал, зато пришлось срочно менять ему белье, потому что тиф у него был не какой-нибудь, а **брюшной**. Только это и смягчало его вину, иначе его за милую душу упекли бы в крепость...

А через месяц Онуферко снова падал на колени, вставал, опять бросался на землю, получая от унтеров зуботычины и оплеухи. «Der verfluchte Ruthene» выздоровел, но негодяя все равно ждала крепость.

Через неделю после первой свежей капральской оплеухи пришла Онуферко телеграмма. Фельдфебель прочел телеграмму и говорит пехотинцу Онуферко:

— Так вот, сукин сын, у тебя померла мать. Конечно, ты захочешь поехать на похороны, сволочь. Гляди мне в глаза. Меня не проведешь. Значит, подашь

рапорт, попросишь господина капитана, чтобы на пять дней отпустил тебя домой. Я-то знаю, у вас на поминках жрут от пуза, скотина ты некрещеная, меня не проведешь. Стало быть, привезешь с побывки уток и кур. Не то чтоб я от тебя как начальник требовал, ни в коем разе, это я тебе просто как друг говорю: коли не привезешь — будешь у меня сидеть на «губе», пока не почернееешь, понял, собачий сын?

Приходит, значит, пехотинец Онуферко с рапортом:

— Осмелюсь доложить, господин капитан, мать у меня померла, разрешите пять дней отпуска.

Смотрит капитан на Онуферко, и что же он видит? Является это быдло с рапортом, а у самого одна пуговица на мундире потускнела, да еще и козыряет как увечный.

— Для начала замечу, пся крев, что пора уж научиться отдавать честь как следует. Во-вторых, получай восемь суток «*einzelarrest*»[43] за нечищенные пуговицы на мундире.

— А как же мать, господин капитан?

— Без тебя зароят. Кругом марш, сукин сын!

В конце концов Онуферко угодил-таки в крепость — за то, что через четверть часа после рапорта сбежал из батальона, чтобы побывать на похоронах матери.

И с сегодняшнего дня весь полк крепко надеется, что хоть в крепости из Онуферко, бог даст, сделают человека...

## Катастрофа в шахте

### I

Разумеется, пани Шталлова взяла на себя шефство над благотворительным праздником в пользу семей горняков, погибших в шахте ее мужа. То-то будет злиться супруга владельца шахт «*Mühle*»[44]: если бы вода затопила одну из его шахт, шефство над праздником досталось бы ей. Но чтобы избежать сплетен, пани Шталлова согласится избрать ее в организационный комитет праздника или поручит ей продавать цветы — хотя нет, это она доверит своей дочери, которую разоденет так, что остальные дамы позеленеют от зависти.

Ее немного огорчало, что шахтеров погибло только четверо, будь катастрофа побольше — какой великолепный праздник можно было бы закатить! Но не стоит гневить господ, спасибо ему и за эти четыре сиротские семьи.

Вещь первостепенная и наиважнейшая — роскошный вечерний туалет. Покровительнице праздника никак нельзя ударить в грязь лицом. Платье она закажет в Вене. Кроме того, учитывая, что заседаниям не будет конца, нужно заказать ментоловые карандаши от мигрени. Хорошо, что она обо всем помнит. Заседания будут проходить у нее в доме. Для дам-заседательниц можно устроить домашний бал. И еще одна блестящая мысль: после праздника она устроит скромный банкет для господ и дам из комитета. Управляющего шахтами мужа она тоже пригласит. А впрочем, почему скромный банкет? Чтобы ее приятельницы фыркали у нее за спиной? Нет, она задаст шикарный банкет на зависть всем. Правда, это влетит в копеечку, но она поговорит с мужем: пусть попытается поднять цены на уголь.

Все это пани Шталлова обсудила со своим мужем.

— Разумеется, дорогая, — с улыбкой согласился пан Шталл, — даже если

туалет обойдется в тысячу золотых, ты его получишь. Чего не сделаешь ради этих несчастных семей...

## II

Итак, погибло четверо шахтеров. Их жены и дети три дня и три ночи стояли на шахтном дворе, дожидаясь, когда вытащат разбухшие трупы.

Еще бы десять минут — и шахтеры поднялись бы на-гора и вернулись домой, к своим семьям — но тут прорвалась вода. В этих жутких лабиринтах, во тьме и в поту, они погибли как мыши, когда вода затопляет на лугах их подземные убежища.

Захлебнулись в тот час, когда жены готовили им ужин.

А когда их наконец вынесли из шахты — жены и дети не плакали. Глаза были сухи. Все слезы были выплаканы за эти три бесконечно долгих дня надежды и отчаяния. Зато те, кто поднялся с покойниками на поверхность, утирали слезы.

К ним протолкалась жена одного из утонувших:

— Франтишек, наш Карел уже говорит «папа, мама».

Она держала на руках малыша, который удивленно разглядывал тела, прикрытые парусиной, и, показывая на одно из них ручонкой, радостно кричал:

— Папа, папа!

Тут появился жандармский вахмистр и увел ее, говоря:

— Фам нелзя сдес, фам нушно домой, ви ему не помоч.

Жандармы! Любопытно, что после катастроф для умиротворения осиротевших на шахты всегда присылают жандармов. При крупных катастрофах шлют солдат. Официальные телеграммы, как правило, лаконичны: «Погибло восемьдесят человек, пришлите две сотни». То есть, на одного покойника — по два солдата. В данном случае порядок вокруг четырех трупов поддерживали сорок жандармов. Вахмистр зевал от скуки. Он рассчитывал на скопление народу, на угрожающие выкрики — и обманулся в своих ожиданиях. Вся надежда теперь оставалась на предстоящие похороны...

## III

А что ж утешение духовное — это вам пустяк? Само собой, священник местного прихода собирался прийти в осиротевшие семьи со словами утешения. Но какой же приходский священник в онемеченных краях знает чешский язык? А если бы и знал? Какой теперь прок от этих семей? Нищая гольтьба. К тому же это были социалисты. Лучше послать туда капеллана-чеха.

Капеллану идти не хотелось. Он считал такое утешение комедией. Но что поделаешь? Приходится лицемерить. И все-таки сам он туда не пойдет, не получится у него истинной задушевности. Он пошлет туда младшего капеллана. Тот все еще принимает это дело всерьез.

Вот так и вышло, что пополудни, спустя два часа после выноса тел из шахты, к одной из вдов постучался младший капеллан.

Он поздоровался и сел. А поскольку искренне сочувствовал вдове, то некоторое время молчал и только потом произнес:

— Господь дал, господь и взял; да будет имя господне благословенно!

Вдова сидела на постели и плакала.

Капеллан собрался с духом:

— Что пользы плакать, милая пани? Сегодня человек есть, а завтра его уже нет. Сколь счастлив и прозорлив тот, кто при жизни старается быть таким, ка-

ким желал бы быть после смерти!

Капеллан вошел в раж. Пятеро сирот испуганно пялили на него глазенки. Он погладил ближайшего ребенка и с жаром продолжал:

— Не должен человек полагаться ни на друга, ни на ближнего своего, ни откладывать на будущие времена свое спасение, ибо люди забудут его скорее, чем думают.

— Я его никогда не забуду, — возразила вдова.

Капеллан раздраженно отмахнулся. Чего она перебивает его?

— С глаз долой — из сердца вон, — решительно заявил он. — Сердце человеческое столь отупело и затвердело, что думает лишь о дне сегодняшнем, а будущим пренебрегает. В каждом своем деянии, каждом помышлении человек должен вести себя так, словно ему уже сегодня предстоит умереть. Если б он совесть свою содержал в чистоте, то не ведал бы и страха смерти. Лучше воздерживаться от греха, нежели денно и нощно опасаться смерти. А если ты сегодня не готов, то чего завтра ждать? Неверен завтрашний день, и кто знает, дождешься ли его?

Капеллан разошелся вовсю — он вскочил с лавки и возопил:

— Что толку долго быть живу, если ты погряз в скверне? Ах! Не всегда долгий век на пользу человеку, но часто умножает вины его.

Он трахнул кулаком по столу, как по церковной кафедре:

— О, если б нам хоть один день прожить на этом свете достойно. Но нет, нам...

Он так разбушевался, что перед домом стали собираться прохожие:

— Мы неисправимы. Умереть страшно, но еще страшнее влачить жизнь свою во грехе. Благословен, кто всегда видит перед собой свой смертный час и каждоденно готовится к смерти. Будь же всякий час готов, не дай смерти застать тебя врасплох. И когда пробьет твой смертный час, о, совсем по-иному предстанет перед тобой протекшая жизнь и горько пожалеешь о своем небрежении к добру. А потому горе тем, кто о смерти не думает...

Капеллан взял шляпу и вышел в сердцах из дверей.

Перед домиком стояла толпа людей.

— Ваше преподобие, — сказал один из них, — завтра бедной вдове не на что будет кормить детей.

— Я позабочусь, чтобы покойника окропили бесплатно, — сочувственно сказал капеллан.

Он уходил с сознанием выполненного долга. Остальных трех вдов он навещать не стал. После первого же утешения у него пересохло в горле...

#### IV

Похороны прошли спокойно. Вахмистр был разочарован. Через две недели под патронатом пани Шталловой состоялся благотворительный праздник в пользу шахтерских вдов. Ее вечерний туалет стоил тысячу двести крон. На празднике играл военный оркестр, который обошелся в три сотни. Потом банкет — еще пятьсот крон. Триста плюс пятьсот — уже восемьсот, да еще восемьдесят крон сверх сметы (фейерверк и прочее), итого восемьсот восемьдесят крон по графе расходов; а так как доход составил девятьсот две кроны, то еще осталось двадцать две кроны чистой прибыли, каковая сумма и была по справедливости разделена паном уездным начальником между четырьмя вдовами. Каждая получила за погибшего мужа по пять крон пятьдесят геллеров. Ну

чем не любовная сделка? Будьте любезны, вот покойничек, а вот вам 5 кр. 50 г...

## Идиллия в аду

Черт Адольф работал у котла номер 28, в котором варились души грешников. Он покуривал коротенькую трубочку, прихлебывал черное баварское пиво и тихим голосом напевал: «Бай, детка, бай». Вдруг слышит он, кто-то жалобно кричит в котле:

— Пожалуйста, выпустите меня!

Черт Адольф довольно захохотал и подбросил в огонь несколько книг небожного содержания. Крики и вопли стали громче, что очень забавляло черта Адольфа. Он еще сильнее вздул огонь под котлом, чтобы повысить давление и температуру, а сам все мурлыкал нежно: «Бай, детка, бай». Душа в котле начала ужасно вопить и плакать.

— Ах, я сойду с ума, если меня не выпустят!

Подошли на шум еще несколько чертей. Черт Рудольф сказал:

— Спроси-ка, Адольф, как зовут этого крикуна.

— Эй, душенька! — закричал Адольф. — Как вас зовут?

— Я корреспондент газеты «Нейе фрейе пресесе». — отозвался голос из котла. — Дайте мне только выбраться отсюда, я про вас такое напишу, что чертям тошно станет! Сейчас же выпустите меня, я желаю говорить с главным истопником.

Черти разразились смехом:

— Ох, и наивная же душа, воображает, что выберется отсюда!

— Миленькая, — сказал черт Адольф, — а зачем вам, душечка, говорить с главным истопником?

— Потому что мое место не в котле, а среди вас, уважаемые господа. Вероятно, перепутали списки. Когда небесная полиция вела меня сюда, заглянули мы по дороге в чистилище, и тамошний шинкарь угостил нас вином урожая шеститысячного года до рождения Христа. Конвоиры мои перепились и наврали в списках. Записали меня в души вместо истопников. Но правда всегда всплывет, как масло на воде.

— Пословицами нас не проймешь, братец, — заявил черт Рудольф. — Но если ты утверждаешь, что вкралась ошибка, мы позовем главного истопника. Вылезай!

И душа под свист пара вылезла из котла. Она была вся потная, с языком на плече. Черт Адольф подал ей кружку пива, душа выпила и села в круг чертей.

— Стало быть, вы служили на земле корреспондентом «Нейе фрейе пресесе», — переспросил один черт. — Какой симпатичный!

— Видите ли, приятель, — сказал черт Адольф, — главный истопник имел на земле сходную работенку. Этот черт с тремя звездочками был директором императорско-королевского ведомства печати. Что же вы нам раньше не сказали?

— Да ведь говорил я вам, опоили меня в чистилище. И когда меня бросили в котел, я думал, так и надо. Нет ли у вас покурить?

— Мы курим табак из сушеных полицейских комиссаров, друг мой, — заметил черт Рудольф, подавая ему сигарету. — Крепкий табачок. С течением вечности вы тоже научитесь сушить их. Приятное занятие: вы комиссара сушите,

а он в это время рассказывает вам анекдоты о себе. А, вот и главный истопник.

Действительно! К ним приближался бывший директор императорско-королевского ведомства печати, старший черт Рихард. Он мало изменился за время пребывания в аду. И улыбался все так же сладко, как на земле, когда передавал в газеты официальные сообщения. Увидев бывшего корреспондента «Нейе фрейе прессе», он кинулся ему на шею.

— Господа! — сказал он удивленным чертям. — Прошу этого господина любить и жаловать, потому что с ним не сравнится никакой бандит и разбойник.

Черт Рудольф покраснел. А бывший директор ведомства печати продолжал:

— Этот господин убил сотни людей. К примеру, произошла в Праге маленькая демонстрация — надо вам было читать после этого его заметку в «Нейе фрейе прессе»! Он писал, что в Праге революция, вырезано пятьсот немецких семей. Хороший был человек.

Теперь бывший корреспондент «Нейе фрейе прессе» поддерживает огонь под грешными чешскими душами в котле номер 1620.

## Юбилей служанки Анны

**П**редседательница Общества охраны прислуги госпожа советница Краусова готовила к завтрашнему заседанию торжественную речь.

У секретаря их общества, супруги коммерции советника, служит Анна, которая прожила в их семье пятьдесят лет и вырастила два поколения. Завтра она отпразднует пятидесятилетний юбилей верной службы. Служанке Анне 75 лет, она всегда вела себя благопристойно и никогда не таскала тайком сладости.

Завтра общество вручит Анне золотой крестик, золотую монету в десять крон, чашечку шоколада и два пирожных. Но это еще не все. Она выслушает также торжественную речь госпожи советницы Краусовой, а от своей госпожи получит новый молитвенник.

Разделаться бы поскорее с этой речью. Приходится напрягать свой мозг из-за какой-то служанки. Исписана уже груда бумаги, а речь никак не получается.

Советница прошлась по комнате, размышляя, о чем же говорить в своей речи. О том, что сегодня служанки создают организацию и требуют выходной день и ужин за счет хозяев? Ей-богу, с ними с ума сойти можно! Раньше было просто: дашь служанке пощечину и выкинешь ее на улицу. А сегодня она на вас еще жалобу подаст.

Госпожа советница, сев за письменный стол, потерла виски карандашом от мигрени.

Взять вот мою служанку. Завела себе кавалера, а тот дает ей книги. Эта мерзавка образования, видите ли, захотела! Ах, это так ужасно!

И госпожа советница снова схватилась за карандаш от мигрени.

Разволнуешься только попусту, вместо того чтобы речь писать. Ведь она написала столько речей, столько раз произносила их в Обществе охраны прислуги, что теперь хочется сказать что-нибудь новое, и нет ничего лучше, чем начать с господ бога. Для служанок бог всегда к месту. Молись и работай!

Знать бы, как это сказать по-латыни. Вернется муж, надо будет у него спросить. Вот так она и начнет: «Молись и работай!»

Госпожа советница принялась писать:

«Молись и работай! Какие прекрасные слова! Без молитвы нет успешной работы, без молитвы нет благочестивой жизни, и вот... Эта истина воплощается в жизни нашей юбилярши. Пятьдесят лет она усердно молилась, и бог вел ее через все препятствия к цели. Сегодня она отмечает пятидесятилетие неустанного труда, и немалая награда ждет ее на небесах и на земле... (На небесах — царство божие, а на земле — золотой крестик, золотая монета в десять крон, молитвенник, чашка шоколада и два пирожных.)

Молись и работай! Наша юбилярша Анна пятьдесят лет работала и теперь видит плоды своих трудов (золотая монета в десять крон равна пятистам крейцеров, стало быть, за год усердного труда — десять крейцеров), все эти пятьдесят лет она усердно молилась, не ходила ни на танцы, ни в театр, дурных книг не читала, единственным ее чтением были книги божественные, которые учили ее любви и уважению к своим господам, учили преданности и послушанию, всю жизнь наставляли на праведный путь. Молись и работай. Анна всегда вела себя осмотрительно. Никогда не разбрасывалась хозяйским добром, не тешила себя напрасными надеждами, отличалась скромностью, не заводила знакомств с чужими служанками, избегала лишних разговоров, не сплетничала о своих господах, молитва давала ей силы отказывать себе в лакомствах. Уважаемые дамы, посмотрите на эту старушку. Она убежденно противостояла злу, подавляла дурные желания, была по-настоящему набожна, молчалива, а ее сердце исполнено смирения; наверное, она часто размышляла о человеческой ничтожности, в свободные минуты обращала свои мысли к смерти, судному дню и наказанию за грехи. Размышляя на сон грядущий о предметах божественных, она горячо стремилась к праведной жизни. Покорной, никогда не прекословящей видели ее два поколения семьи славного коммерции советника Тихого. Ее чистое сердце переполняло чувство благодарности за каждый глоток, дарованный ей хозяевами, Анна искренне и преданно лобызала щедрую руку своих господ. Прожив пятьдесят лет в одной семье, она ни разу ничего не украла, а доверенные ей вещи сберегала с любовью. Анна работала за пять золотых в месяц, из них она откладывала — притом, что ужинала за свои деньги — на дорогу до Святой горы, куда с разрешения хозяев она ездила каждый год. Оттуда она привозила своим господам на память подарки, говорящие о чистоте ее души.

Анна не раз говорила, что готова не есть, не пить, лишь бы прославлять господу нашего, и тогда она стала бы еще счастливее, чем теперь, когда ей приходится служить своему телу».

Советница передохнула. Какое чудесное будет завтра торжество. Наверно, о ее речи упомянут в «Католической газете». Наконец, она может издать свою речь в виде брошюры под названием «Письма к служанкам». Может быть, они перестанут выбрасывать вместе с мусором хозяйские ложки, вспомнив о набожной жизни юбилярши.

В эту минуту вошла служанка и доложила:

— Госпожа советница Тихова!

И тут же в комнату влетела раздушенная дама и с плачем бросилась в объятия председательницы общества.

— Ах, как это неприятно, такая досада. Наша юбилярша только что скончалась.

Перестав плакать, гостья продолжала злобным тоном:

— Вчера вечером я послала ее в подвал за углем. Сами понимаете, раз старухе семьдесят пять лет, не выбрасывать же ее на улицу, но коли уж я ее кормлю, нечего бездельничать. А она, мерзавка, умудрилась свалиться в подвале с лестницы да так расшиблась — накануне торжества! — что сегодня утром умерла. Такая неприятность, все насмарку. А я-то ради этого торжества заказала себе такой чудесный туалет... И похороны обойдутся мне по меньшей мере крон в тридцать, а у покойницы на книжке всего двадцать пять.

Госпожа советница Краусова потеряла виски карандашом от мигрени и, глядя на листок со своей речью, вздохнула:

— Похоже, она сделала это нарочно...

## Полчаса на Каналь Гранде

Он сидел рядом с ней и обреченно созерцал воды Большого канала. Только что немытая, нечесанная итальянка прямо в Canal-Iazzo, как его называют венецианцы, из окна древнего палаццо вылила какую-то маслянистую пакость. Жир растекался по зеленой воде, сливаясь с полосой такой же густой грязи, нечистоты отливали перламутром, и пану Калисте делалось дурно.

Свадебное путешествие, называется! Он чувствовал запах жареной морской рыбы, тошнота подступала у него к горлу, а жена в это время млела от восторга, отыскивая на карте то один, то другой палаццо, разместившиеся вдоль Canale Grande:

— Палаццо Лабия! Палаццо Вендрамин Калерджи! Палаццо Пезаро! Видишь, Карел, эту дивную позднюю готику вон там, напротив? Это Ка'д'Оро! О! А теперь мы проплываем под мостом Риальто! Господи, Карел, ну, посмотри же на знаменитый фасад палаццо Камерленги! Вот, в путеводителе написано, что в давние времена три поверенных государственного казначейства подсчитывали здесь общественные доходы Республики.

— Хорошо, хорошо, моя милая, но что же в этом удивительного? Кто-то ведь должен контролировать доходы Республики. Взять хотя бы наш банк. Там этим занимается ревизор Ваничек.

Он утер пот со лба. С утра — ни одной кружки пива, ни стакана вина! Проклятые палаццо! Какое ему дело, что «напротив возвышается Фондако деи Тедески, бывший немецкий гостиный двор, ныне финансовое управление», и что здание было построено в 1228 году! Как будто в Венеции одни только палаццо. А пивные, а винные кабачки? Все они аккуратно внесены в его записную книжку. Он вынул ее из кармана и полюбовался исписанной страницей: ресторан «Бауэр-Грюнвальд», мюнхенское и штайрское пиво. Мюнхенская пивная «Пшорро» на площади Кампо Сант Анджело. Пльзеньский ресторан под открытым небом на Фондамента дель Балино Орсеоло за Старыми Прокурациями.

Пан Калиста заглянул в словарь и крикнул гондольеру:

— Старые Прокурации! — *Procuratia vecchia!*

Жена бросила на него благодарный взгляд.

— Вот видишь, дорогой, наконец-то и тебя хоть что-то заинтересовало. Но до Старых Прокураций мы еще должны осмотреть Дворец дождей, собор свято-

го Марка, погулять там по площади и покормить голубей. Ах, мой дорогой, просто не терпится увидеть залы пыток во Дворце дожей, свинцовую камеру и мост Вздохов, по которому уводили приговоренных к смерти...

При этом ее взгляд, устремленный на воды Большого канала, был так кроток и нежен, что его пробрала дрожь. Он вспомнил Брно, Шпилберк, где это хрупкое создание проявило такой же непосредственный интерес к ужасающим казематам. Целый час таскала она его по холодным подземным закоулкам и несколько раз кряду уточняла у гида историю барона Тренка и место, куда сбрасывали трупы замученных узников. Думал он и о том, что вот уже больше недели длится их свадебное путешествие и что по ее желанию они посещают именно те места, где в давние времена кого-нибудь пытали или убивали. Куда бы они не приезжали, она заставляла его ходить с ней по кошмарным тюрьмам, по камерам, где пытали и морили голодом, интересуясь при этом подробностями уголовного права. В музеях в первую очередь она осматривала испанские сапоги и рукавицы, орудия пыток.

— Дитя мое, — решился он наконец произнести после долгих сомнений, — что до меня, то в данный момент мне хочется только есть и пить. Я считаю, что Дворец дожей со свинцовой камерой, залами пыток и мостом Вздохов мы можем перенести на послеобеденное время.

Она замотала головой. Всю вторую половину дня они посвятили осмотру соборов. Шутка ли сказать — тридцать девять церквей не так-то легко обойти! Она тут же бойко зачитала из путеводителя имена святых, давшие названия соборам: Сан Бартоломео, Санта Катерина, Сан Донато, Санто Мария Элизабета, Сан Франтино, Сан Джакомо ди Риальто, Санти Джованни э Паоло, Сан Марчиллиано, Санта Мария деи Фрари, Санта Мария деи Мираколи, Санта Мария делла Пиета...

— Ну нет, дорогая, — остановил он ее с улыбкой. — Мы с тобой грешим, конечно, но не настолько, чтобы не вылезать из церквей. Ведь мы всего восемь дней как женаты.

Она даже покраснела, рассердившись. Как, ее рвение служит ему мишенью для двусмысленных шуточек! Да, да, он еще до свадьбы рассказывал ей сальные анекдоты, думая ее развеселить. Она уже тогда предчувствовала, что ее ждет, и вот теперь он предстал во всей красе. Добрались только до Венеции, а он уже потерял к ней всякое уважение. Что же будет, когда они попадут в Рим? Это все алкоголь! Вот сейчас она припомнит ему, где и как он пил. В Брно, в Вене, в Любляне, в Триесте и на палубе парохода по пути из Триеста в Венецию. Какая там морская болезнь! Это все следствия пяти выпитых бутылок «Lacrimae Christi»[45]. А как он сцепился с тем стариком на ипподроме в Пратере? И почему чей-то денщик в Мариборе надавал ему оплеух? Доверенное лицо, зять директора банка — и такой скандал! Свадебное путешествие, называется! Ей стыдно, что в открытках домой она вынуждена лгать: «Карел очень мил. Здесь прекрасно». В Штайре он спяну едва держал ручку, подписывая эту ложь. Она расплакалась, и только благодаря этому он наконец получил слово:

— Дорогая, тебе буквально все представляется в черном свете, — начал он спокойным, рассудительным тоном. — Да, я срывался, но только для того, чтобы защитить свое достоинство. Наряды, что ты взяла с собой, несколько экстравагантны, поэтому нечего удивляться, что в Пратере тебя не сочли дамой.

Да, признаю, я пил чуть больше обычного, но кто, дорогая моя, кто, моя радость, в этом виновен? Только ты одна. Ведь это ты, не дав мне даже как следует поесть, таскала меня по историческим местам. Ты по целому часу стояла перед каждым булыжником и слушала, кто и когда поставил его на самой дороге. Так что, душа моя, не удивляйся, что я с отчаяния... Лично я все представлял себе иначе. Я думал, что весь месяц мы, как нормальные молодожены, проведем где-нибудь в лесной глуши или на курорте...

— ...чтобы сэкономить на мне, да? — разразилась она. — А сэкономленное потратить. И неизвестно, с кем. Кто знает, может, у тебя есть кто-нибудь, кроме меня. Я убью ее, убью себя, тебя...

— А еще кого? — язвительно спросил он.

Она снова залилась слезами.

Взяв у нее путеводитель, он перелистал его и, дабы ее успокоить, произнес:

— Посмотри, какая красота прямо перед нами. Это палаццо Дарио, один из первых дворцов позднего Возрождения...

Немного помолчав, она сказала:

— Дай-ка сюда путеводитель.

Он протянул ей книжку, которую она, поджав губы, швырнула в воду.

— Что ты делаешь, дорогая?

— То же, что и ты со своей шляпой, когда мы поездом ехали через Земмеринг и ты перепил коньяку.

— Ну, знаешь ли, — рассердился теперь он. — А тебе нечего было вчера в отеле «d'Italie-Bauer» стрелять глазками на итальянских офицеров!

Она вскинула голову, отерла слезы и сказала:

— А что тут такого? Просто один из них был похож на пана Марека, моего постоянного кавалера в школе танцев. — И невинно добавила: — Помнишь, он еще так плакал на моей свадьбе.

Он закусил губу и не ответил. А что он мог ответить? Что итальянки хорошенькие? Это было бы глупее глупого: только вчера он говорил ей, что ни одна из них ему не нравится. Что оставалось делать? Он окликнул гондольера и, протягивая лиру, на ломаном итальянском языке попросил его что-нибудь спеть. Тот затянул песню на жаргоне гондольеров:

— *Vu xé caro e xé belin; ma xé tanto scarmolin. Che una mumia mi paré! Vu xé belo e xé grasset! Via! Sclargemose, destachemose, e passemola cosi!* — Как ты мила, как ты прекрасна, но тоща — как мумия... Мы расстанемся, разойдемся, каждому придется жить самому по себе...

И молодые супруги, не понимая смысла благозвучной песни, — отраженная многочисленными палаццо, она неслась над водами Canale Grande, — поддались ее очарованию и нежно взглянули друг на друга.

— *Che una mumis mi paré!* — Как мумия.

— Дорогая, — сказал пан Калиста, целуя ей пальцы, — дорогая, я просто несносен. Знаешь, моя радость, коли тебе хочется, давай перед обедом осмотрим свинцовую камеру и зал пыток во Дворце дождей, накормим голубей на площади святого Марка...

— А на обед закажем морских раков, — подхватила она победным тоном, подставляя руки для поцелуев.

— Само собой, дорогая, — подтвердил пан Калиста, чувствуя, как к горлу подступает тошнота.

## История поросенка Ксавера

Поросенка Ксавера кормили мелассовыми кормами. Имя Ксавер дал ему Управляющий именем в честь государственного советника профессора Ксавера Кельнера из Меккера, крупнейшего авторитета в области науки о кормах, которому принадлежит следующий блестящий афоризм: «Ввиду того, что меласса, по моим всесторонним наблюдениям, производит такое великолепное действие, ни один вид корма не заслуживает такого внимания, как это домашнее средство».

Поросенку Ксаверу меласса шла на пользу. Он толстел с каждым днем и философствовал в своем роскошном хлеву о жизненных наслаждениях, копаясь рылом в мелассовом корму и запивая еду отличным молоком. Время от времени его навещал владелец, граф Рамм, и говорил ему:

— Вы поедете на выставку, мой мальчик. Будьте умником, кушайте как следует, не осрамите меня!

Иногда заходила графиня.

— Ах, какой он большой и красивый — мой милый Ксавер! — с сияющим взором восклицала она.

На прощание оба говорили:

— Доброй ночи, дружок! Спи спокойно...

А поросенок Ксавер нежно жмурил глазки вслед уходящим и так мелодично хрюкал, что графиня говорила супругу:

— Слушая нашего Ксавера, я начинаю верить в переселение душ.

Заходили к нему и гости хозяев. Они выражали по-французски, по-немецки, по-английски свой восторг перед почтенным поросенком, фотографировали его себе на память.

Он был розовый, как только что выкупанный младенец, и на шее у него красовалась кокетливо повязанная огромная бархатная лента.

— Ваш Ксавер, милый граф, несомненно получит на выставке первую премию, — предрекали джентльмены, аристократы, друзья графа.

Нежный супруг преподнес Ксавера графине в числе других подарков в день ее рождения. Так что Ксавер принадлежал теперь только ей, безраздельно и неотъемлемо ей одной. И граф был обязан поросенку таким пламенным поцелуем, словно это был не толстый, мирный, флегматичный поросенок, а красивая дикая свинья.

Как только Ксавер перешел в собственность графини, были приняты еще более строгие меры к охране его здоровья. Его перевели в особое помещение с проверенной системой вентиляции, обеспечивающей идеальную чистоту воздуха. Он имел свою ванную, свой ватерклозет, отделанный со вкусом, свойственным всему графскому роду. Всюду были развешаны термометры, и приказчик Мартин получил указание измерять температуру воды и молока, предназначенных для Ксавера, — строго следя, чтобы уровень ее ни в коем случае не отклонялся от предписанного ветеринаром. Как же можно было допустить, чтобы столь хрупкое существо простудило желудок? Ведь от этого у него мог бы начаться хронический катар, бедняжка приобрел бы жалкий вид, и графине пришлось бы плакать.

Поэтому приказчик Мартин тщательно следил за температурой питья, заставляя по мере надобности охлаждать либо подогревать его.

В конце концов поросенку провели электрическое освещение и приучили его спать на волосяных матрацах, — разумеется, дезинфицированных. Поросенок Ксавер принимал все это благосклонно и день ото дня толстел.

Как-то раз графиня пришла с супругом навестить своего любимца. Ксавер как раз пил прекрасную воду, взятую из колодца, бактериологический анализ которой дал ноль процентов содержания вредных бактерий, тогда как химический обнаружил некоторое количество полезной для здоровья окиси железа в соединении с углекислотой (столь необходимой для свиней).

Граф, по обыкновению, опустил в воду термометр и — не поверил глазам своим! Температура вместо предписанных 8 °С достигла лишь 7,5. Графиня побледнела. Не может быть! Неужели этот негодный приказчик не измерил температуру?

Соединенными усилиями графу и графине удалось оттащить Ксавера от воды. Они растолковали ему, что он может простудить себе внутренности. Потом закрыли сосуд крышкой и вне себя кинулись на квартиру к приказчику.

— Ты измерял температуру воды для Ксавера, бездельник? — загремел граф.

Мартин показал на постель у окна.

— Сынишка мой очень болен, ваша милость. Жар у него. Я забежал домой попоить его.

— Э-э, я тебя спрашиваю: ты мерил температуру воды для Ксавера?

— Забыл, ваша милость. Мальчик разболелся. Пить я ему даю. Голова кругом...

— Что?! — закричал в бешенстве граф. — Так-то ты относишься к своим обязанностям? Я тебе уже не хозяин, мерзавец? Делаешь, что хочешь? Сейчас же собирай свои вещи. Ты у меня больше не служишь. До вечера чтоб духу твоего здесь не было! А не то я велю тебя отсюда выбросить вместе с мальчишкой.

— Ах, эта чернь! — поддержала графиня.

В тот же день приказчик Мартин зарезал Ксавера. Срочно вызванный ветеринар мог только констатировать смерть. Графиня чуть не помешалась от горя и долго лежала без чувств. Приказчика Мартина связали жандармы; больной сын убийцы был выброшен из усадьбы.

В газетах появилось сообщение: «Зверская жестокость. Приказчик известного аристократа графа Рамма, Мартин, был уволен за нерадивость. Из мести он зарезал ценный экземпляр породистой свиньи. Изверг отдан под суд. По слухам, он не признает никакой религии. Если это подтвердится — вот лишнее доказательство того, что, кто не верит в бога, тот способен на самые ужасные поступки».

Три месяца пробыл Мартин в предварительном заключении. На допросах он упорствовал, в тюремную часовню не ходил. Во время следствия обнаружилось кое-какие изъяны в его биографии. Пятнадцать лет тому назад он отсидел две недели за нарушение закона, запрещающего уличные сборища: негодяй не пожелал «разойтись» даже по требованию старшего судебного исполнителя. В этом были уже задатки тех проступков, в которых потом сказало все его злонравие. Далее он отсидел три дня за выкрик: «Эй вы, хохлатые!» — новое доказательство его неуживчивого, мстительного характера. Обвинитель использовал все эти подробности и прегрешения обвиняемого. Указав

вкратце на преступные склонности, обнаруженные последним в прошлом, он выразил твердую уверенность в том, что, подвернись обвиняемому под горячую руку вместо Ксавера сам граф, он и графа зарезал бы, как свинью.

Перед защитником стояла нелегкая задача. Прошлого никуда не спрячешь, а больной ребенок — слишком романтическое и притянутое за волосы смягчающее обстоятельство.

Невозможно было без жалости глядеть на бедную графиню, присутствовавшую в качестве свидетельницы и проливавшую горькие слезы при взгляде на бархатную ленточку, которая лежала на столе перед председателем суда.

— Да, я узнаю, узнаю ее, — ответила графиня на вопрос председателя. — Она принадлежала моему дорогому Ксаверу, прах которого похоронен под клумбой лилий в саду замка.

Обвиняемый, не обнаружив ни малейшего раскаяния, признал себя виновным в совершении преступления и был присужден к шести месяцам тюремного заключения со строгой изоляцией за умышленную порчу чужого имущества. И это еще не все. Для вящего торжества справедливости у него за это время умер сын, ибо божьи жернова мелют не скоро, но верно. А поросенок Ксавер мирно спит под клумбой белых лилий, посреди которой стоит памятник с надписью:

«Здесь покоится прах нашего милого Ксавера, зарезанного убийцей Мартином, присужденным к шести месяцам одиночного тюремного заключения и к шестидневному посту. Похоронен 8 мая 1907 года в возрасте полутора лет. Да будет тебе земля пухом!»

Граф Рамм заказал себе из ленты несчастного поросенка Ксавера галстук, который надевает каждый раз в годовщину гибели этой благородной свиньи.

## Изумительное чудо святого Эвергарда

### I

Францисканцы из Бецкова простирали блаженные пухлые руки свои далеко вширь и вдаль над долиной зеленого Вага, и словаки приходили к ним с равнины, гор и лесных заимок, чтобы пополнить кухонные кладовые достойных отцов и помолиться в монастырском костеле перед почерневшей иконой святого чудотворца Эвергарда, из славного племени франков. Этот святой особенно близок словацкому сердцу, так как, будучи при сыне Людовика Благочестивого наместником, он воевал со словаками и другими языческими народами, а также боролся против негров и нумидийцев.

Основные данные о нем:

1. Прилагал все усилия к тому, чтобы охранять и оберегать мечом своим церковь от неверных.

2. Основывал монастыри для тех, кого вырвал из памяти дьявола.

3. Во многих местах Франции построил церкви и щедро одарил их из своей военной добычи и добра, награбленного в языческих краях.

4. С особенной заботой относился к своему имению под названием Цизониум, в Торнаценском крае, построив там монастырь святого Каликста и поселив в нем каноников ордена святого Августина, вместе с мощами святого Каликста, чье тело незадолго перед тем святой папа римский Сергий передал Нотингусу, епископу в Бриксии.

5. Почил около 855 года после рождества Христова.

И словаки приходили и поклонялись черной иконе святого Эвергарда. С незапамятных времен появлялась даже процессия из Гемера — помолиться чудотворной иконе столь близкого словакам святого, одаривая при этом монастырь деньгами и разными приношениями.

С незапамятных времен икона означала для бецковских францисканцев благополучие, а бедные словаки платили деньги, как туго ни приходилось. И вдруг случилось нечто страшное.

Францисканцы из Фриштака потребовали икону обратно. Бецковский настоятель Парегориус мрачно смотрел из окна своей комнаты на зеленые волны Вага и ругался по-венгерски, как в те времена, когда служил в гонведах — гусарах в Кёрменте.

На окне перед ним лежало это несчастное послание фриштакского настоятеля Донулуса, а там, внизу, в монастырском саду, прогуливались, весело беседуя, братья, и брат-садовник распевал игривый припев: «Оравабан, Острогабан»[46] — на мотив чардаша.

Братия пока ничего не знала.

«Глупцы! — подумал настоятель Парегориус, глядя на несчастное послание. — Чего веселятся? Наложу на них чрезвычайный пост. Капусту будут жрать, басом азанят!»[47]

### II

Икона святого Эвергарда действительно принадлежала фриштакским францисканцам и в царствование императрицы Марии-Терезии была выкрадена из их монастыря братом Эрминиусом.

Брат Эрминиус и тогдашний настоятель Цезариус содержали вместе любов-

ницу-маркитантку, обслуживавшую размещенных в этом очаровательном городе гусар.

Отведав ласк настоятеля, маркитантка стала оказывать предпочтение брату Эрминиусу, монаху малого пострига, и следствием этого было то, что его преподобие велел посадить Эрминиуса в затвор и наложил на него тяжелое покаяние, а именно: сидя на хлебе и воде, выучить наизусть первую книгу «Наставления в благочестивой жизни» Фомы Кемийского.

В этом тяжком испытании брат Эрминиус дошел до главы «De contemptu omnium vanitatum mundi»[48], после чего скрылся из монастыря, взяв с собой икону святого Эвергарда, уже в то время славную во всей венгерской горной стране. Он прихватил также все богатство настоятеля — в виде четырехсот талеров звонкой монетой. Продав икону какому-то еврею в Нижней Венгрии, он перебежал в Турцию, дал совершить над собой обрезание и перешел в магометанство, причем к чести его надо добавить, что, в качестве тёрёгельского паши, он никогда не лишал христианского утешения пленных-христиан перед казнью.

Икона святого Эвергарда совершила длинное путешествие по монастырям. В те бурные времена она нигде не задерживалась надолго; грабившие монастыри мародеры всякий раз продавали ее в другое место, пока в конце концов она не стала собственностью графа Бартани, который и пожертвовал ее францисканцам в Бецкове. Для них это было даже лучше, чем получить в дар поместье, так как они сумели разрекламировать икону.

И вот теперь новый фриштакский настоятель Донулус писал бецковскому:

*«Reverendissime pater! In nomine domini! Reverendissime!»[49]*

*Прошу вас, не гневайтесь на меня за то, что я пишу вам касательно собственности нашего монастыря во Фриштаке. В вашей братской обители находится икона святого Эвергарда, пожертвованная, как я сам убедился из документов, хранящихся у нас в архиве, нашему монастырю в 1715 году, при настоятеле Эмиласиусе и генерале нашего святого ордена графе Эмиласиусе и генерале нашего святого ордена графе Галла ди Элемонте, и украденная членом нашего святого ордена Эрминиусом при аббате Цезариусе. Церковное имущество неприкосновенно, и я знаю, reverendissime pater et kollega, что ты, получив лично от меня достоверные доказательства того, что дело обстоит так, как я пишу, вернешь икону нашему монастырю. Как только мы отыскаем всех участников процессии из Баньской Быстрицы, я приеду, чтоб договориться о подробностях.*

*Препоручаю тебя, reverendissime, защите всемогущего и остаюсь — с христианским приветом*

*Донулус, настоятель ордена святого Франциска Ассизского во Фриштаке».*

Кто после такого скарредного послания не лопнул бы со злости?

### III

Настоятель Парегориус целые дни неистовствовал, налагая посты, в которых с горя участвовал и сам. Днем и ночью в глазах у него стояла эта черная икона, этот неясный лик, из которого проступало и можно было разобрать лишь несколько черт. Монахи обоих постригов, узнав содержание проклятого письма, ходили и молились сами не свои. Отнимут у них эту черную чудотворную икону святого Эвергарда, притягивавшую к ним целые толпы набож-

ного люда. А этот благочестивый люд платил денежки! Знатный Доход!..

Коровники полны скотом, хлева — свиньями. На дворе пропасть гусей, кур, цыплят, уток. До самого Тематина арендованы охотничьи угодья. А там прорва зайцев, серн, куропадок и других аппетитных тварей, бегающих, летающих. У братьев-кухарей есть дюжины рецептов, как приготовить дичину.

А теперь иконку увезут, и уже не в Бецкове, а во Фриштаке братья будут ходить с сальными губами.

И процессии с верховьев не будут у них останавливаться. Дальше пойдут, вдоль Вага, на Фриштак.

«Суета сует и всяческая суета. Суета — любить то, что прейдет, и не стремиться туда, где радость вечная».

На эту тему шли долгие беседы в трапезной.

Братья напоминали друг другу: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием».

Эта истина приводила их в умиление. Они видели бродящую по двору домашнюю птицу; слышали в хлеву визг свиней. Но, соблюдая предписанный пост, размышляли о неутолимых желаниях.

Пока, наконец, в один прекрасный день настоятель Парегориус не ударил кулаком по столу, не велел принести вина, нарезать поросят и, напившись, не крикнул:

— Аз эб адта[50]. Не отдадим икону! Пускай Донулус едет!

#### IV

Приехал из Фриштака настоятель Донулус, обнял Парегориуса. Был пир, и обоим аббатам носили вино пятидесятилетней выдержки. Беседа шла о церковных вопросах и о том, что нельзя допускать подрыва авторитета Библии в глазах народа.

Настоятель Донулус сказал, что подлинный и бесспорный уровень, достигнутый водами потопа, составлял примерно семнадцать тысяч стоп.

Настоятель Парегориус, разгоряченный вином, стал кричать, что математические законы даны природе богом, который сотворил их своим всемогуществом.

Донулус возразил, что бог не считался с математическими законами, создавая все из ничего.

Бывший поручик гонведско-гусарского полка Парегориус, махнув рукой, объявил, что при сотворении мира все шло как на войне. Эдь, ке-т-тё, харом — раз, два, три.

— Вот как, ей-богу, брат! Пей, reverendissime.

Они пили, до поры до времени не упоминая ни словом про икону святого Эвергарда. После продолжительного обеда и молитвы оба пошли в комнату Парегориуса, и только тут фриштакский настоятель завел речь об иконе.

— Нет, брат, так и знай, — сказал разгоряченный вином Парегориус. — Этой иконы ты не получишь.

— Нет, получу, брат...

— Не видать тебе ее как своих ушей...

— Reverendissime, я приехал за этой иконой...

— Reverendissime, ты поедешь обратно без нее...

— Это наглость! Икона наша!.. — крикнул Донулус в сердцах.

— Потеше, reverendissime, а то как дам...

Аббат Донулус выбежал на галерею с криком:

— Запрягай!

И сейчас же уехал к себе в монастырь, а на другой день, протрезвев, написал письмо генералу ордена, объяснив ему происхождение иконы и притязания монастыря на нее. К письму он приложил документы — в частности, дарственную запись графа Галла ди Элемонте от 1715 года.

Через месяц пришло решение: притязания фриштакского монастыря справедливы.

А бецковский настоятель получил от генерала ордена строгий приказ: передать святого Эвергарда фриштакским францисканцам. При участии генерала ордена икона была-таки снята и с великим почетом отнесена в карету, где сидел аббат Донулус.

Монахи плакали. Это было душераздирающее зрелище, когда толстый брат-кухарь Фортунат хотел кинуться под колеса кареты, увозившей все их благополучие.

Ко всему этому настоятель Парегориус назначил трехдневный пост и ночные бдения в костеле: в два часа ночи, в четыре и в пять.

Он бушевал как гроза, но однажды вечером, после скудного ужина, сказал братии:

— Вот увидите, святой Эвергард сотворит чудо, которое придется не по вкусу проклятым фриштакским.

## V

Икона благополучно прибыла на место. Навстречу ей вышли на расстояние часа пути детки из школы. Возле города на козлы сел фриштакский приходский священник, подчеркивая этим свое ничтожество.

Въездные ворота монастыря были украшены цветами. Икону под колокольный звон торжественно внесли в костел, к великой радости монахов, которым пришлось долгим постом готовиться к этому славному событию.

И вот она висит над алтарем, черная, неясная, как ее судьба в бурные старые годы.

Настоятель Донулус устроил пышную монастырскую трапезу в честь святого и генерала ордена.

Во время пира генерал ордена, находясь в добром настроении, сказал аббату:

— Святой Эвергард нашел себе новое местожительство, и надо его реставрировать. Велите икону вымыть. Я как будто знаю одного живописца, который при помощи всяких водичек обновляет старые иконы. Икона получается будто новая. Я дам вам его адрес, и вы увидите, как красиво будет выглядеть святой Эвергард. А то почти ничего нельзя разобрать. И люди будут молиться перед прекрасной, чистой иконой.

Так в монастырь вызвали знаменитого реставратора древних костельных икон живописца Готарда из Вены.

Перед иконой были быстро возведены леса и натянуто полотно, чтоб художнику никто не мешал.

— Ну как? Идет на лад? — спросил вечером аббат.

— Завтра будет готова.

После обеда пан Готард объявил, что осталось лишь протереть икону маслом, и она станет как новая.

Монахи с аббатом во главе пошли смотреть обновленную икону. Отстранили полотняное покрывало, пан Готард провел по иконе губкой с уксусом, и настоятель Донулус с диким воплем повалился на землю.

С иконы Эвергарда на них смотрела святая Екатерина, со всеми атрибутами, приведшими ее на небо...

## VI

В Бецкове, в костеле, услужливый брат Фирминиан покажет вам теперь пустое место на стене и дощечку с надписью: Sancta Ewerharde, ora pro nobis[51].

Он расскажет вам об изумительном чуде святого Эвергарда, изъясвившего свое неудовольствие по поводу вынужденного переезда таинственным изменением своего облика.

И по-прежнему к францисканцам в Бецков приходят процессии, и словаки бойкотируют фриштакских, которые лишили их святого Эвергарда, так чудесно выразившего свою волю.

Настоятель Донулус утверждает, что художник, реставрировавший икону святого Эвергарда, был еврей.

Может быть, это тоже сыграло свою роль во всем происшествии...

## Дедушка Янчар

Дедушка Янчар жил вместе с тремя ворами: Пустой, Живсой и Кобылкой, — да милостыню просил около церкви, куда доползал на своих деревяшках-протезах. Он болел костоедом, и у него постепенно отрезали обе ноги, — кусок за куском, происходило это обычно весной, из-за чего он воспылал ненавистью к врачам. Почему не режут ему ноги зимой, когда живется тяжелее всего? В больнице было бы тепло, там он наедался бы досыта. И не везет же: всегда ампутация приходится на весну. Конечно, хорошо из года в год по три месяца покойненько проводить в больнице, где не надо заботиться о куске хлеба, взывать к милосердию людскому и божьему и за каждый жалкий крейцер говорить: «Да вознаградит вас господь бог сторицею!» Хорошо и весной, но зимой толку было бы больше.

И вдруг у дедушки Янчара перестали болеть ноги. Он встревожился и отправился в больницу, где после внимательного осмотра ему сообщили диагноз, очень редкий в истории далеко зашедшего костоеда: омертвление кости прекратилось, благодаря прошлогодней операции ее ткань исцелилась. Его не могут принять в больницу. Нет оснований.

Выйдя из больницы, он едва волок свои деревяшки, прикрепленные к выздоровевшим культяпкам, и то плакал, то причитал. Рассеялись его мечты о трех прекрасных месяцах.

Дома он огорченно рассказывал о своем несчастье. Резать ноги ему больше не будут. Пуста возмутился вместе с ним. Это безобразие — так обращаться с человеком, который хочет отдохнуть. Место дедушки Янчара подле церкви уже наверняка занял на эти три месяца нищий Кунштат, так уж было у них заведено, — и неизвестно, уступит ли его теперь.

Место было невыгодное, потому что большинство прихожан, выходя из церкви, у самого входа подавало милостыню молящимся там старухам, которым покровительствовала жена причетника. Но несколько крейцеров дедушке Янчару все-таки удавалось собрать, а остальное давали ему на пропитание сожители-воры, которых он вознаграждал за это нравоучительными рассказа-

ми.

После прихода Живсы снова заговорили об отвергнутой просьбе Янчара. Вылечили его, прощельги!

— Это они нарочно, — заметил Кобылка, — потому что ты бедняк.

Никакой логики в его словах не было, но раздраженный дедушка Янчар ругал врачей и называл их бандой, не сочувствующей несчастному нищему. Только бы Кунштат не уперся и уступил место у церкви! Все они сомневались, что он пойдет на это. Кунштат — нищий, больной человек, и теперь, когда Янчар стал здоровым калекой, ни в какую не согласится.

Дедушка Янчар раскричался, что с него такой жизни уже хватит. Весь свой век он едва перебивался. Вечная нужда, вечный голод, только и радости было, пока лежал в больнице. А теперь он и ее потерял. Сейчас, когда ноги ему не нужны, эти культяпки вдруг оказались здоровыми!

Что он будет делать, если еще потеряет место у церкви? Выздоровевшие обрубки такие маленькие, что далеко плестись на них он не может. До церкви рукой подать, и то он устает, пока доберется. Собачья жизнь!

— Ну, если хочешь передохнуть, сделай что-нибудь — тебя и посадят на несколько месяцев. Получишь постель, вволю еды, и плевать тебе на весь мир, — сказал Живса, — довольно уж ты маялся.

— Разумный совет, — одобрил Кобылка, — пускай о тебе заботится государство.

Но тут дедушка Янчар стал ссылаться на свою честность. Он хочет умереть порядочным человеком, не побывав под судом и в тюрьме.

Пуста возразил, что сам он никогда ни у кого не крадет нужных вещей. Но если вещь все равно без толку валяется у людей, то уж лучше он ее возьмет, когда ему нужны деньги. В первый раз его посадили из-за куска угля. После этого он нигде не мог получить работу и с тех пор ворует, но считает, что, несмотря на это, он честнее больших господ, которые судят других, а сами живут припеваючи.

Янчар категорически заявил, что воровать не будет...

Все трое не знали, как быть. И говорили с ним как со здоровым человеком, забыв, что у него деревянные ноги.

В конце концов дедушка Янчар спросил:

— Да как же я, такой калека, могу воровать?

С этим согласились все, кроме Пусты, который утверждал, что дело ведь не в успехе кражи, а в попытке украсть, при которой его поймают. А раз поймают, все будет в порядке. Получит несколько месяцев и заживет спокойно. Какая у него теперь жизнь? Жалкая, нищенская, собачья жизнь, даже хуже. Янчар снова объяснил им, что он мечтает о покое; пусть даже в тюрьме, но позволить поймать себя на краже... нет!

— Так сотвори что еще, — откликнулся Кобылка.

— Да что еще, Кобылка, присоветуй.

— Ляпни что-нибудь этакое, и шесть месяцев обеспечены.

— Правильно, Кобылка, — одобрил Живса. — Мы научим деда, что надо сказать, он пойдет к полицейскому или в участок и скажет: «Так и так, господа полицейские, вот что я думаю!» Его арестуют, посадят в предварилку, а потом он попадет под суд. Как калека, получит больничное питание. Потом его выпустят, а когда ему свобода опять надоест, он снова пойдет к полицейскому и

скажет: «Так и так, господа полицейские, вот что я думаю!»

— Конечно, ты не расскажешь, кто тебя этому научил, — наставлял Пуста старика.

— Ну, с помощью божьей... учите, что надо сказать, чтобы получить шесть месяцев, — согласился Янчар. — Какая у меня жизнь на свободе? Верно вы говорите, уж лучше мне сидеть в кутузке.

Воры стали совещаться.

— Нет, Пуста, за то, что ты советуешь, он получит всего три месяца, ничего страшного тут нет, — спорил Кобылка. — Он должен сказать...

— Этого мало даже для пяти месяцев, — возражал Живса. — Пусть скажет вот это, да еще прибавит, что советует Кобылка. Дедушка Янчар, пойдешь и скажешь... понял? Не спутаешь? Этого хватит для шести месяцев. Больше тебе не дадут, потому что у тебя нет судимости. Запомнил?

— Повторите еще разок, ребята, — попросил Янчар, — в моей бедной голове плохо все укладывается. Авось до утра не забуду.

Перед сном и утром они снова проверили его. Он все выучил назубок...

Так дедушка Янчар, чтобы один раз в жизни полгода отдохнуть, совершил утром в присутствии ближайшего полицейского преступление — оскорбление его величества.

В судебных отчетах его квалифицировали как негодяя.

## Рассказ о безнравственном ежике

**В** одной деревенской гостинице жил ежик (*Echinaceus evropeus*), жизненным предназначением которого было ловить тараканов (*Periplaneta orientalis*). Но по божьему допущению был этот ежик очень безнравственным, и вместо того чтобы систематически ловить тараканов, как это делают порядочные и трудолюбивые ежики, он ловил их ровно столько, сколько требовалось ему единственно для пропитания. Зато он предавался разным порокам и стал почти алкоголиком, ибо всегда выпивал пиво, поставленное для приманки тараканов. Под действием алкоголя у негодника ежика развилась чувственность, и он пользовался каждым возможным случаем, чтобы проникнуть в гостиничные номера и подглядеть, как постояльцы раздеваются и залезают в постель.

Во время столь непристойных наблюдений глаза у него сверкали от неуправляемой страсти, и он все чаще забывал о своих обязанностях (хотя в учебнике природоведения Покорного-Росицкого для средней школы, утвержденном 25 июня 1894 года за номером 13914, значит, будто ежи — твари необычайно прожорливые, а посему — благословенные для человеческих жилищ, где, отправляясь каждую ночь на охоту, они в кратчайшие сроки изничтожают всех тараканов, сверчков, мышей, улиток, лягушек и т. п.).

Непристойный ежик явно вел себя вопреки исследованиям Покорного-Росицкого, он преспокойно предоставлял тараканам размножаться, мышей игнорировал, любил слушать пенье сверчков за печкой, а, кроме того, день ото дня все с большим и большим сладострастием подсматривал в номерах за людьми, остающимися перед сном в одном белье.

Уставившись откуда-нибудь из угла номера своими маленькими глазками, он прослеживал весь процесс раздевания, а если кто из постояльцев переодевался в ночную сорочку, распущенный ежик весь сиял от радости и лязгал

своими острыми зубками, а его носик, вытянутый наподобие хоботка, чувственно подрагивал.

Когда же постоялец гасил свечку, безнравственный ежик грустнел, свертывался где-нибудь в уголке клубочком, нетерпеливо дожидаясь утра, — чтобы не пропустить того момента, когда постоялец снова появится неглиже.

Иногда случалось, что постоялец ночью зажигал свет и ботинком убивал (обыкновенно ботинком) разгуливающего по стенам номера клопа (*Acanthia lectularia*). Тут беспардонный ежик незамедлительно перебирался на то место, откуда можно было видеть ярко освещенные подштанники возбужденного постояльца, являя педагогам красноречивый пример моральной испорченности, потому что ежику не было еще и полутора лет.

Однажды он кинулся следом за официантом, когда тот нес в номер бутылку вина. Ежик спрятался за диваном, а когда официант вышел, вылез на свет божий. И увидел двух существ. Одного — щетинистого, а другого — длинноволового. Присутствие в номере двоих одновременно исполнило его удивления. Оба существа были одеты. Тогда разгневанный негодник ежик залез в угол и стал подкарауливать звук, который означал бы снятие ботинок.

Он сидел и прислушивался.

— Ах, это страшно, господин Странский!

— Ну что вы, милостивая пани!

— Нет, нет, это я не о вас, господин Странский. Я прошу вас об одном — уйдите в свой номер. Утром я уж как-нибудь вернусь на курорт и объясню мужу свое отсутствие. Разве вы не знаете, что честь женщины — это самое дорогое, что у нее есть. Я не должна была допустить, чтобы дело зашло так далеко. Ведь это был всего лишь невинный флирт с другом моего мужа. И бедняга, ничего не подозревая, разрешил вам сопровождать меня на экскурсию. Неужели вы злоупотребите доверием моего мужа?! Нет, вы ответьте мне сейчас же, злоупотребите или не злоупотребите? О, мне жаль вас, бедный друг!

Беспутный ежик слышал, как длинноволосая тварь вздохнула, а обросший щетиной зверь с отчаяньем произнес:

— Позвольте мне хотя бы поцеловать вас.

Тут раздалось нечто, напоминающее звук, который издает еж, раскусывая таракана. И наш беспутный ежик, полагая, что встретил коллегу, выскочил из своего укрытия и нырнул прямо под одежды длинноволосой твари.

Длинноволосая тварь испугалась и встала. А щетинистый господин заметил, что это ежик.

— Пожалуйста, вынесите его отсюда, — умоляла дама.

Господин Странский подошел к негоднику ежику и, не обращая внимания на его колючки, самоотверженно вынес его в коридор. Однако, возвратившись, обнаружил, что двери номера уже заперты.

— Милостивая пани, откройте!

— Вам будет удобнее спать в соседнем номере, — услышал ежик голос длинноволового существа, — я заперлась. Простите, но я буду вам сестрой.

Это были последние слова, которые ежику довелось услышать в своей жизни. Щетинистый господин, желая хоть на ком-нибудь сорвать злость, раздавил его так, что от ежа осталось только мокрое место.

Так погиб беспутный ежик, на радость всем ревнителям нравственности, став жертвой своей пагубной страсти.

## Мой дядюшка Габриель (Из галереи родственников)

**М**алоземельный крестьянин Габриель пользовался в округе дурной славой. В Оуклицах, моей родной деревне, никогда не рождались порядочные люди, кроме меня, разумеется, о чем я скромно напоминаю. Люди у нас не рождались хорошими и не отличались примерным образом жизни, но малоземельный крестьянин Габриель вел себя так плохо, что набожные люди в наших местах считали, что Габриель живьем попадет в ад, ибо, являясь тезкой архангела Гавриила, позорит того, кто огненным мечом выгонял чертей из рая. Да так оно и было. Нашего Габриеля выгоняли из леса лесники, а поскольку Габриель называл их чертями, как это ни грустно, на деле получалось, что черти выгоняли Габриеля-Гавриила из рая. Без сомнения, леса вокруг Оуклиц — сущий рай. В Библии рассказывается, что в раю водилось множество дичи. В Оуклицких лесах зверья хватало. С чистой совестью могу констатировать, что в Оуклицах, как и везде в местности, лежащей вдоль реки Сазавы, тигры и львы не встречаются. Никто не находил в лесах обглоданных костей и черепов любителей прогулок рядом с принадлежащими им различными предметами, которые представляли собой главным образом шкурки от сосисок и сарделек да скорлупки от крутых яиц. Эти следы цивилизации встречаются на лесных опушках, куда отважно ступала нога отдыхающих, однако никто не слышал, чтобы гуляющие решились двинуться в глубь сумрачных лесов оуклицких.

Почему? В оуклицких лесах обитает чудовище. Если бы какой-нибудь храбрец, невзирая на просьбы и горькие мольбы своей невесты, возлюбленной, родителей, братьев и сестер, рискнул проникнуть под черную сень чащи, то наверняка, вернувшись, он бы с ужасом рассказывал, что встретил в глубине леса человека с дубинкой. И, дескать, этот субъект с бородой грабителя и голосом убийцы спрашивал, который час.

Да! Несчастный храбрец, переживший такое ужасное приключение, добавит, что от сего страшного мужа несло водочным перегаром.

А может случиться и такое. Компания расположилась на опушке, и вдруг где-то в лесу раздается глухой удар. «Что это?» — невольно спрашивает каждый, кто знает легенду об ужасном человеке с дубинкой.

«Какая драма разыгралась в густых оуклицких лесах?» — спросят барышни, увлекающиеся чтением кровавых романов.

А Габриель в чаще леса смеется, держа за задние лапы подстреленного косяго. Это и есть ужасный человек с дубинкой.

Сложив ружье в форме дубинки, он уходит. Такое у него ружье — складное. Черт знает, где он достал его. Вероятнее всего, путем обмена. Один старичок в Оуклицах (он уже умер) говорил, что за все свое имущество Габриель платил страхом в большей или меньшей степени. Этот старичок публично утверждал, что Габриель — вор. Сам он этого не отрицал, все равно это не помогло бы.

Габриель говорил о себе, что крадет с удовольствием и что такому старому уголовнику, как он, не пристало стыдиться того, что его называют вором.

Его воспоминания всегда касались какой-нибудь кражи или проделок,

предусмотренных каким-нибудь параграфом закона.

Лесники, егеря, жандармы и полицейские были его врагами. В Оуклицах жил только один вор, Габриель. Он смело мог написать над входом в свою хижину: «Один против всех!» В довершение всех несчастий Габриель приходился мне дядюшкой.

Регулярно каждый год он появлялся у меня в Праге, и всегда после его визита мы обнаруживали в квартире какую-нибудь пропажу.

На следующий год он снова объявлялся у нас с караваем домашнего хлеба, гостил неделю, и, когда мы говорили ему, что не стоит привозить нам хлеб, Габриель отвечал: «Я тебе — ты мне».

И действительно. У нас всегда что-нибудь исчезало.

Мой замечательный дядюшка! Однажды, когда он, как обычно, приехал навестить нас, я решил прогуляться с ним по Праге.

Гуляем мы, гуляем и вдруг встречаем одного господина, в чьей протекции я нуждался. Он присоединился к нам, я представил ему своего ужасного дядюшку Габриеля. Мы зашли в ресторан, сидим, разговариваем. Мой покровитель в восторге от замечательных идей моего дядюшки замечает: «Наверно, вы много испытали в своей жизни».

«Во всех кутузках я перебивал, — остолбенев, услышал я голос дядюшки, — пока не получил в наследство от папы свою халупу, и на принудительных работах проторчал два года. Там со мной произошел забавнейший случай. Я был там министрантом. Надену на себя красную юбку и получу за то, что прислуживаю при мессе, на один кнедлик больше, чем остальные. Такой большой кнедлик, выглядит, как отрубленная детская голова, его называют болваном».

Мой влиятельный знакомый заерзал. «Н-да, — продолжал дядюшка, — на принудительных работах случались презабавные истории. Прислуживал я еще с одним, получал за это болвана, чего еще надо. Полный порядок, но однажды мне добавку не дали. Как они со мной, так и я с ними, — решил я и жду. Наступило следующее воскресенье, уже звонят к мессе, а я спокойненько прохаживаюсь по двору. Хожу-хожу, и тут ко мне подходит надзиратель и говорит: «Идите наденьте стихарь», а я ему на это: «Что? Никуда не пойду; в прошлый раз мне не дали кнедлик». Они меня просят, требуют, а я хоть бы что, нет — и все.

Отслужили мессу без меня. После службы приходит ко мне патер и спрашивает:

— Почему же, Габриель, вы сегодня не прислуживали во время мессы?

— Мне, ваше преподобие, не дали за это кнедлик.

Святой отец испугался и спрашивает: «Значит вы, Габриель, служите госпо-ду за кнедлик?»

— Я ничего не могу поделать, ваше преподобие, я хочу есть. Да, господин хороший, — дядюшка похлопал моего покровителя по плечу, — я наголодался в тюрьгах». Ну а дальше что ж? Мой влиятельный знакомый встал, расплатился и ушел, не попрощавшись. На следующий день он прислал мне записку: «У вас дядюшка — уголовник. Яблоко от яблони недалеко падает. Если мы когда-нибудь встретимся, не трудитесь здороваться».

Мой милый, ужасный дядюшка Габриель! Помнишь, мы запретили тебе навещать нас после того, как ты во время одного своего приезда ни с того ни с сего продал торговцу мебелью мой письменный стол?

Мой дорогой дядюшка Габриель! Помнишь, как однажды ты украл у меня часы, ведь ты продал их трактирщику в Куржине? А те пять крон, припоминаешь? Видишь, все тайное становится явным.

\* \* \*

Если дядюшка Габриель вел себя скверно со своими родственниками, то он, естественно, еще хуже относился к чужим людям, В Оуклицах не осталось ни одного жителя, который, обнаружив пропажу, не подозревал бы, что к этому приложил руку мой дядюшка Габриель. Поэтому дядюшка жил отшельником. Никто не хотел иметь с ним дела. Для соседей мой дядюшка находил слова презрения, к государственным органам обращал слова проклятия, против хранителей леса использовал слова угрожающие. Это вполне устраивало и лесничего и егеря из оуклицкого имения. Лесник обещал переломать дядюшке ноги, егерь время от времени делал дядюшке заманчивое предложение пришпилить его большим охотничьим ножом к какому-нибудь дереву в лесу. А Габриель угрожающе заявлял им обоим, что на их счастье у него случайно не оказалось с собой ножа. И еще добавлял пару слов о щенках и удушении, в свою очередь егерь и лесник просили передать Габриелю, что при первом подходящем случае влепят ему в спину заряд соли со щетиной.

Домик Габриеля стоял на самом краю леса. Из его окон хорошо просматривался изрядный кусок рая, из которого Габриеля выгоняли черти в образе лесника и егеря.

В этом краю лесник и егерь жили бы спокойно и счастливо, если бы не мой дядюшка.

Но дядюшка Габриель не давал им покоя. Он браконьерствовал, воровал дрова и браконьерствовал. В Сазавском краю много загородных ресторанов, где можно продать зайца и другие вкусные дары леса.

Лесник и егерь, устроив в своих усадьбах летние ресторанчики, предоставляли любителям лесных прогулок и пикников возможность закусить и утолить жажду. Дела у них шли хорошо, но дядюшка Габриель портил им жизнь.

Разве могли они посвятить все воскресенье утолению жажды и голода гуляющих, которые за сытный обед под зелеными деревьями готовы хорошо заплатить.

Нет, не могли. Им приходилось гоняться за моим дядюшкой, который всю использовал летний сезон.

Чтобы на какое-то время обеспечить себе покой, лесник и егерь однажды в начале лета вlepили дядюшке в спину обещанную смесь соли и щетины.

И что же?! Когда отдыхающие толпами начали прибывать в наши края, дядюшка Габриель оказался снова здоров, как бык. Он просто дал щетине врасти в кожу.

В это время в Оуклице пришел медвежатник с медведем и поселился в нижнем трактире.

На ночь он посадил медведя на цепь. Проснувшись утром, люди увидели, что хозяин медведя собирается повеситься на ремне, а самого медведя нет.

Да, все было так, как сказал господин учитель в Оуклицах: «Медведь обыкновенный, или бурый, самое крупное плотоядное животное в Европе, ночью порвал цепь и убежал в оуклицкие леса. Туда, где сейчас столько любителей прогулок».

Первым делом хозяину медведя помешали повеситься. Совершив этот ра-

зумный поступок, все встали в тупик, не находя выхода из сложившейся ситуации. Один жандарм со слезами простился со своей семьей. Он должен идти в лес. Медвежатник объяснил ему, что зверя зовут «Рушко». Не будет ли, господин жандарм, любезен, идучи через лес, звать медведя по имени, возможно, медведь прибежит к нему. Жандарм ничего не обещал.

«Чем вы кормили медведя?» — спросил несчастный.

«Мясом», — в отчаянии ответил медвежатник. Жандарм задрожал, потому что не бывает жандармов из хлеба, жандармы состоят из мяса...

Отдыхающие, сидя в саду оуклицкого лесничества, ели, пили и радовались жизни.

Вдруг откуда ни возьмись появился дядюшка Габриель.

«Господа, — кричал он, — в Оуклице, полчаса ходьбы отсюда, вчера пришел медвежатник с медведем, сегодня ночью медведь убежал сюда, в оуклицкие леса. Хозяин медведя просит, чтобы господа и дамы, увидев в лесу медведя, позвали его «Рушко». Медведь откликнется на это имя, подойдет к вам, и вы сможете на цепи привести его в Оуклице. Хозяин медведя боится, как бы медведь не сдох в лесу от голода. Но я ему сказал, что этого он может не бояться.

В лесу медведь обязательно найдет, что разорвать и сожрать. Так будьте любезны...»

Последние слова любители прогулок уже не слышали. С невероятной прытью мчались все и вся из леса, спеша на вокзал, распространяя ужасную весть о том, что в Оуклицких лесах скрывается медведь.

Через полчаса дядюшка Габриель сообщал посетителям егеря то же самое, что и в лесничестве.

Надежды заработать растаяли, как дым. Даже через неделю медведя не нашли, хотя его хозяин твердил, что медведь слепой, старый и страшный добряк. Жандармы, лесники, егеря, охотники, крестьяне облазили все уголки леса.

Лесник и егерь не увидели больше ни одного клиента и медведя тоже не нашли. Староста, между тем, кормил покинутого медвежатника обедами и ужинами.

Смеркалось. Из хижины Габриеля раздался ужасный крик, и хозяин выскочил из дома, вопя: «Ухо, кажется, у меня нет уха».

Так оно и было. Ухо Габриеля было откушено. Дядюшка, стеная, побежал в жандармерию; там, перевязав ему рану, Габриеля арестовали и отправили в город в суд.

Знаете, что сделал мой дядюшка Габриель? Это он украл ночью медведя и держал его дома, чтобы отомстить леснику, егерю и жандармам, которые таскались, трясясь от страха, по следам медведя, который в конце концов освобовился из плена, откусив дядюшке ухо.

С тех пор дядюшку Габриеля зовут «Медвежатником», а я думаю, что мало кто может похвастаться дядюшкой, который крадет медведей.

## Осиротевшее дитя и его таинственная мать (Трогательная история из периодической печати)

### Глава I

#### Осиротевшее дитя с голубыми глазами

Ее звали Тонечкой; она не знала тепла материнской и отцовской любви. И поступила в один магазин. А туда ходила делать покупки служанка редактора одной газеты.

Вскоре начался мертвый сезон. Не о чем стало писать.

У этой Тонечки были голубые глаза...

У меня от слез валится перо из рук...

### Глава II

#### Почтальон с деньгами

Рассыльный с деньгами Ян Громада (сорокапятилетний, хорошо сохранившийся, женатый, католик, уроженец Либиц Колинского уезда на Лабее; особые приметы: родинка под пупком) упругим шагом вошел в магазин, где служило осиротевшее дитя.

— Тонечка здесь? — спросил он дрожащим голосом, так как уже прочел, что стояло в переводе.

— Здесь, — дрожащим голосом ответил владелец магазина, после того как почтальон срывающимся голосом прибавил:

— Я принес ей сто крон.

А на бланке перевода было написано:

*«Милое дитя мое!*

*Прости меня, я больше не в силах, не могу молчать. Я — твоя мать и уже говорила с тобой. У меня сердце разрывается на части. Служи усердно и надейся на бога. Он тебя не покинет. А пока вот тебе сто крон.*

*Твоя мать».*

Когда Тонечке прочли это, она уронила трехлитровую бутылку со спиртом, и спирт разлился по всему помещению.

Она могла себе это позволить: у нее было сто крон.

### Глава III

#### Мужественный поступок пенсионера Павлика

В следующее мгновение в магазин вошел шестидесятипятилетний пенсионер Йозеф Теодор Павлик. В руке у него была *дымящаяся сигара*. Увидев, что в магазине пролили денатурат, он мужественно выкинул горящую сигару в открытое окно — одному прохожему на голову.

Поступок этот достоин величайшего восхищения, как доказательство необычайного хладнокровия и отваги. Ведь спирт мог вспыхнуть, и, поскольку в помещении находился галлон бензина, наша трогательная история не могла бы иметь продолжения. Она закончилась бы обуглившимися трупами в выгоревшем магазине.

Кроме того, поступок этот заслуживает одобрения еще и потому, что благодаря своей быстроте и находчивости пенсионер Павлик сохранил государству почтальона с деньгами.

Министерство торговли восклицает моими устами: «Да воздаст господь бог

этому доблестному мужу!)

По выходе из магазина пенсионер Павлик не нашел брошенной им сигары.

#### Глава IV

### Коммерческий поступок коммерсанта

Через четверть часа после получения ста крон для Тонечки владелец магазина вышел на улицу. Купил трамвайный билет и поехал в редакцию газеты, которую редактировал тот самый господин, чья служанка ходила делать покупки в магазин того владельца, который отправился теперь к этому редактору.

Вы видите: все идет как по маслу.

Беседа с редактором длилась больше часа. Редактор ликовал. Такая трогательная история — и как раз в самый разгар мертвого сезона!

— Пойдет в завтрашнем же номере, — объявил редактор, прощаясь с владельцем магазина. — И я, конечно, дам полностью вашу фамилию.

После этого владелец магазина отправился в отдел объявлений и заказал там объявление в завтрашнем номере на видном месте.

В тот день его выручка была обычной.

#### Глава V

### Последствия статьи «Таинственная мать»

Редактор сдержал слово.

На другой день в газете появилась статья «Таинственная мать». Три с лишним колонки. Жалостное вступление было состряпано из Марлит, а также Карлен, Шварц и других слезливых писательниц семейных романов.

Далее следовали фамилия и адрес теперешнего покровителя Тонечки: торговец Вацлав Земан, ул. Каминского, д. № 18.

А на последней полосе, среди объявлений, было такое: «Вацлав Земан, торговец колониальными товарами, рекомендует вниманию почтеннейшей публики свой магазин по улице Каминского, дом № 18. Большой выбор: сыр, колбаса, мясные и рыбные консервы. Вино высших марок — красное и белое, 1 крона литр. Превосходная смесь кофе — 2 кроны 20 геллеров. Дешевый сахар. Литр рома — от 80 геллеров и выше. Всегда свежее сливочное масло».

В тот день все виноградские женщины и девушки пожелали видеть Тонечку, чтобы плакать с ней.

Плач стоял в магазине с утра до вечера.

У Тонечки в конце концов глаза пересохли, так что ей приходилось бегать в чулан нюхать лук, чтобы плакать дальше.

Приходили и старички, щипали ее за щечку. Тут нет ничего плохого: ведь ей было всего пятнадцать лет.

Среди всеобщих рыданий слышались выкрики:

— Мне кило кофе!

— Мне пять килограммов сахара!

— Литр рома!

— Бутылку вина!

Вацлав Земан не успевал обслуживать покупателей. Пришлось взять помощника. Жена тоже трудилась в поте лица. Виноградские женщины и девушки накупали продуктов на целую неделю.

Часов в десять, только стали запирают магазин, появилась еще одна заплаканная дама. Издалека, откуда-то с Модржан. Товару больше никакого не бы-

ло, так что ей продали старую медную гирю.

Номер газеты со статьей «Таинственная мать» разошелся тиражом на десять тысяч экземпляров больше обычного.

## Глава VI

### Глухонемая служанка

К довершению эффекта обнаружилось, что женщина, родившая Тонечку в родильном доме, воспользовалась рабочей книжкой одной глухонемой служанки, которая при помощи жестов поклялась, что не является матерью Тонечки. Физический недостаток ее очень огорчал редактора, так как, вполне естественно, лишал всякой возможности с ней договориться.

Дело в том, что для постоянного раздела «Осиротевшее дитя и таинственная мать» в своей газете он уже приготовил колонку под заголовком: «Разговор с мнимой, ненастоящей матерью».

Несколько виноградских дам и барышень прислали глухонемой служанке открытки.

Прокурор потребовал привлечь глухонемую служанку к ответственности за обман властей, поскольку она не родила, между тем как, согласно рабочей книжке, должна была родить.

Глухонемая служанка, вместо того чтобы нанять адвоката, отправилась на Святую Гору, оставив дома записку, которая всех озадачила и была тотчас доставлена редактору.

В ней было написано:

«Еду исповедоваться!»

В связи с этим полицейское управление отправило по следам глухонемой служанки двух сыщиков, переодетых священниками.

## Глава VII

### Новые письма, новые разоблачения и новые коммерческие операции

Тонечка каждый день получала от «таинственной матери» новые письма. Вацлав Земан добросовестно относил их в редакцию, которая печатала их с приличествующими случаю вздохами.

Пять человек, выпускающих художественные открытки, охотились за Тонечкой с фотографическими аппаратами.

Мужья стали подозревать своих жен и допрашивать их, заставляя клясться, что у них до свадьбы не было любовника.

Один муж, недосчитавшись у себя в кассе ста крон и заподозрив, что жена послала их Тонечке, взял бритву, побрился и пошел требовать развода.

Между тем у Тонечки скопилось в общей сложности четыреста крон, и привратница стала говорить ей: «Целую ручку, барышня».

Тонечке захотелось иметь длинное платье, и она расплакалась, когда ей не позволили.

Вскоре после этого она получила новое письмо от таинственной матери:

*«Милая Тонечка!*

*Я знаю, что ты плачешь, но не могу тебе помочь. Надейся на бога и будь умницей. Посылаю тебе тридцать крон.*

*Твоя несчастная мать».*

Это письмо тоже было опубликовано.

Завистники толковали:

— За четыреста крон и я согласен изображать осиротевшее дитя.

Один бывший лесник, выдавая себя за поверенного Тонечки, поместил в газетах объявление:

«Олень не знает туберкулеза, так как находит в лесу траву, составляющую главный ингредиент «Лесного чая и настоя», изготовляемого бывшим лесником Шуминским, — ул. Каминского, д. № 26. Много благодарственных писем из Америки, Австралии, Новой Зеландии, с острова Корсики, из Михле, Лондона, Парижа и Подебрад».

## Глава VIII Советы и рассуждения

В редакцию газеты с постоянным разделом «Осиротевшее дитя и таинственная мать» приходило множество писем. За две недели их набралось тысяча двести пятьдесят шесть. Одни с советами, другие с рассуждениями, напоминаниями, предостережениями.

Писалось о том, что Тонечку хотят свести с ума. С какой целью, корреспондент не объяснял.

Наконец газета опубликовала очень серьезный материал: просьбу к таинственной матери назвать себя. Просьба была проникновенная. Ее составили, используя печальные романы и чувствительные рассказы. Заимствования делались целыми фразами.

На улицах толпился плачущий народ. Шесть человек помешались от жалости и рыданий.

Тридцать виноградских дам и девушек ослепло. Женщины плакали по всей Чехии. Матери прижимали своих сыночков и доченек к сердцу. Пять парнишек и шесть девчуток задохнулись в материнских объятиях.

Один вдохновенный поэт-песенник пустил в ход новый глупый продукт своей духовной деятельности: песенку об осиротевшем ребенке. Ее стали петь на мотив: «Голубые глаза».

Виноградские дамы и девушки пожелали, чтобы эту песенку исполнил оркестр в виноградском театре.

О таинственной матери распевали весь день. Поющие женщины избили до полусмерти человека, который слышал пение и не прослезился.

Наконец в редакцию явился поверенный Тонечки, открыватель лесного корня для оленей и людей. После этого газета опубликовала новое обращение к таинственной матери:

«Просьба явиться на квартиру к изобретателю «лесного чая». Гарантируем полную тайну и молчание! Бывший лесник обязуется честным словом никому ничего не говорить. Таинственная мать не обязана покупать его лесной корень».

А через несколько дней появилось новое сенсационное сообщение.

## Глава IX Таинственная мать обнаружена и тайна соблюдена

Специальный выпуск «Вечерней газеты».

Таинственная мать откликнулась на приглашение изобретателя «лесного чая» и пришла к нему на квартиру.

Полная тайна соблюдена.

В газете стояло следующее:

«Мы связаны честным словом, поэтому соблюдаем полную тайну. Можем

сообщить только, что дама, являющаяся матерью Тонечки, — многодетная вдова. Не публикуем ее фамилию, так как обещали молчать. Поэтому можем только прибавить, что она имеет собственный дом в непосредственной близости от местожительства Тонечки. Мы дали честное слово соблюдать полную тайну и можем сообщить лишь то, что ей тридцать пять лет и она намеревается снова вступить в брак. По ее словам, отец Тонечки жив; он чиновник и тоже имеет несколько детей. Вдаваться в дальнейшие подробности нам не позволяет данное нами обещание хранить полное молчание об этом деле. Можем еще добавить, что господин этот как две капли воды похож на Тонечку, портрет которой мы даем в завтрашнем номере нашего иллюстрированного приложения вместе со снимком, запечатлевшем сцену трогательного свидания матери с дочерью».

Тайна была полностью соблюдена, а номер «Вечерней газеты» разошелся в количестве шестидесяти тысяч экземпляров.

## Глава X

### Отец чрезвычайно похож на Тонечку

Опубликование портрета Тонечки в «Иллюстрированном приложении» имело тот результат, что уже с утра бойко заработали парикмахерские.

Женатые и многодетные чиновники приходили сбрить бороду или обкорнать усы.

Двести женатых и многодетных чиновников тщательно прятали от жен номер с портретом Тонечки.

Триста жен потребовали развода, ссылаясь на бросающееся в глаза сходство своих мужей с Тонечкой.

Девяносто мужей признались в отцовстве:

«Вам-то хорошо, у вас жена на даче. А я похож на Тонечку!»

Редакция стала получать угрожающие письма.

Газета разошлась в количестве ста с лишним тысяч экземпляров.

Жена каждого чешского чиновника купила экземпляр.

Бог весть чем все это кончится. Никто не знает. Но один наборщик сказал мне, что у него заготовлены газетные заголовки такого рода:

«Отец Тонечки — в отчаянии!»

«Таинственная мать покончила жизнь самоубийством».

— На этом опять заработаем, — с улыбкой добавил наборщик.

## Тайна исповеди

Гимназист первого класса Балужка был мальчиком добросовестным, и потому еще за день до исповеди он каллиграфически записал все свои грехи на листочке, вырванном из тетради по чешскому языку соседа по парте. На следующий день в девять часов, сдав письменное задание по арифметике, он дополнил список своих грехов: «Списывал задание по арифметике». Балужка был хорошим мальчуганом, верил поучениям патера, что обманывать учителей — один из самых ужасных грехов. Чуть ли не смертный грех.

— Ибо, — говорил им на последнем уроке законоучитель, — чем больше грех, тем строже и тяжелее наказание. Если вы искренне не покаетесь в своих прегрешениях, то на Страшном суде тщетно станете вопить; кто списывает — покайтесь, иначе вашим уделом будут безутешные слезы и стенания.

За каждый грех предназначены особые муки. Один час в аду тяжелее ста лет самых страшных мучений на земле. Оплачьте свои грехи, не подсказывайте, не списывайте, не обманывайте учителей своих, дабы в Судный день быть среди праведных.

— Я прошу вас, пан коллега, — обратился недавно к законоучителю преподаватель математики, — поговорите на ближайшем уроке с первоклассниками, чтобы они меня не обманывали. Ребята организовали коллективное списывание, их письменные работы или все одинаково хороши, или во всех одни и те же ошибки.

Законоучитель охотно принялся внушать первоклассникам, что в Судный день послушание будет цениться гораздо выше всяких ухищрений людских. Обманы же не будут прощены. Списывание школьных заданий карается на земле двойкой и снижением отметки за поведение, а на том свете — вечными муками. Кто списывает — пусть покается с благим намерением больше не обманывать.

Вот почему после первой же контрольной Балужка и внес в список своих грехов: «Списывал задание по арифметике».

А в десять часов список пополнился еще одной записью: «Состою членом тайного общества «Чертово копыто». Если уж исповедоваться, надо рассказать все и очистить свою душу. А после покаяния можно снова грешить, опять состоять членом этого страшного тайного общества, которое приносит ему столько разных выгод.

Общество и впрямь было страшным. Мафия ничто по сравнению с «Чертовым копытом». Жуткие тайные общества Китая пасуют перед «Чертовым копытом», ибо «Чертово копыто» — общество первоклассников по обману учителей.

Лучшие ученики класса состояли его членами, даже любимчики учителей, те, что носили письменные работы преподавателям на дом. Один списывал у другого, один другому подсказывал, а когда несли тетради учителям, брали с собой чернильницу и ручку и где-нибудь в подъезде исправляли ошибки в работах.

«Чертово копыто» раскидывало свои страшные тайные сети на уроках латыни, чешского языка, истории, естествознания, математики.

Членом общества был даже сын учителя латинского языка, он тайком стирал в журнале отца крестики и прочие неблагоприятные значки против имен

своих одноклассников.

Перед исповедью, в десять часов утра, во время перемены, во дворе собрались все члены общества, и председатель его Катанок, сын учителя латыни, оповестил, что после уроков все должны встретиться у крепостной стены и решить, как вести себя на сегодняшней исповеди.

— Будем присягать на Коране, — сказал он.

«Чертово копыто» было обществом магометанским.

Все собрались и расположились над садом Фолиманки.

Каганек принес турецкий пиастр, который взял из отцовской коллекции. Арабские письмена на монете должны были заменить Коран.

— Говори, брат мой, — произнес Вомар.

— Уважаемые господа, — начал Каганек, — сегодня мы идем на исповедь. Надеюсь, что среди нас нет мерзавца, который предаст наше общество. Кто собирается сказать на исповеди, что он член общества «Чертово копыто», пусть выступит вперед, и я его убью.

— Но ведь существует тайна исповеди, — запротестовал Балужка, бывший первым драчуном в классе. — Во всяком случае, я покаюсь в этом. Законоучитель не посмеет никому сказать. Ему надо получить на это разрешение папы римского. А я грешить не стану. Если хочешь, Каганек, выходи против меня, подеремся.

Председатель Каганек отплюнулся.

— Предатель, — сказал он патетически, — каждый встречный имеет право убить тебя, как собаку.

— Балужка только исповедуется патеру, — вмешался Вачек, — без разрешения папы патер не смеет сказать директору. Ему придется съездить в Рим, и вряд ли папа даст разрешение. Однажды я читал в «Райском саду», как один человек признался на исповеди священнику, что убил купца и что на следующий день из-за этого казнят невиновного. Священник ничем не мог помочь несчастному, потому что обязан был хранить тайну исповеди. Тогда он телеграфировал в Рим, но, пока пришел ответ, невиновного уже повесили.

Все принялись обсуждать, почему настоящий убийца пошел не к судье, а к священнику.

Балужка за него заступился.

— Он знал, что священник не имеет права его выдать. А судья приказал бы посадить убийцу в тюрьму. Я тоже, как тот разбойник, все на исповеди расскажу.

— А, собственно, зачем тебе это надо? — спросил Петерка.

— А затем, что я боюсь пекла, — ответил Балужка.

Все с удивлением посмотрели на него. Может побороть Калисту, самого сильного парня из второго класса, а пекла боится.

— Почему ты боишься пекла?

— А ты не боишься?

— Нет, — ответил Петерка. — У меня один дядя священник, другой викарий. В крайнем случае они мне помогут. Как-то дядя-священник сказал папе: «Впрочем, пекло не так страшно, как его малюют», — и оба засмеялись, а папа добавил: «По крайней мере, человек там сидит в тепле».

— Неправда! — встал на защиту пекла Балужка. — В «Райском саду» я читал рассказ про одного жулика, который попал в ад. Он всю жизнь врал и ни-

когда в этом не каялся. Так ему черти каждую секунду отрезали язык, а он за полсекунды отрастал снова. Черти опять режут язык, а он тут же отрастает, и его снова режут. И так без конца, целую вечность.

— А глаза грешникам лижут там смердящие псы языками огненными, — сообщил Ногач. — Я видел такую картину у нас в церкви на потолке. И стреляют из пушек в души грешников, затем кропят их святой водой, заковывают в цепи и льют в глотку жидкий навоз.

— Все это враки, — отозвался Котва. — Откуда у чертей святая вода?

— Они крадут ее, — не сдавался Ногач.

— Не мели чушь, дурак, — окрысился на него Котва. — Черт святой воды боится.

— Не боится! Сам не мели чушь. Драться хочешь? Давай?

Ребята сцепились. Ногач повалил Котву и, лежа на нем, кричал:

— Так боится черт святой воды или нет?

— Не боится, — ответил проигравший Котва.

Ногач выпустил его и вновь заступился за Балушку.

— Пускай уж Балушка покается, что он член «Чертова копыта».

— И возьмет этот грех на себя за всех.

Председатель Каганек провозгласил: все клялись на Коране, что не выдадут общества, и если Балушка на исповеди скажет о нем, он нарушит клятву.

— Нет, — упрямо возразил Балушка. — Я католик и христианин. Если я согрешил, должен покаяться, а если ты еще что-нибудь скажешь, получишь пару затрецин. Патер не смеет разглашать, что ему говорят на исповеди.

Законоучитель Шимачек был зол и выглядел за решеткой исповедальни хмурым и строгим. Он спрашивал резко и накладывал суровые епитимьи. Заставлял читать «Отче наш» и «Богородицу» не менее восьми раз.

И как ему было не сердиться? Он исповедовал пятиклассников. Подошел и опустился на колени пятиклассник Ружичка.

— Верите в бога, Ружичка?

— Я бы сказал, да получу за это восемь часов карцера.

— Даю честное слово, не получите.

— Ну, тогда не верю.

— In nomine domini[52]. Во искупление прочтете сорок раз «Отче наш» и ступайте, не хочу больше грешить с вами. Думаю, что по закону божьему вы провалитесь.

— Негодяй этот Ружичка. Однажды патер Шимачек, доказывая в школе существование бога, разрешил ученикам дискуссию.

— Ваше преподобие, — обратился к нему Ружичка, — как же так, бог сотворил свет в первый день, а солнце только на третий?

За этот вопрос на открытом диспуте Ружичка получил четыре часа карцера и выслушал нотацию.

Мотив наказания: «Дерзкий вопрос».

Теперь законоучитель знает наверняка: «Ружичка не верит в бога». И он со злобой назначал епитимьи. Проходили класс за классом, и чем ниже класс, тем мизернее грехи. Восьмиклассники уже основательно грешили против шестой заповеди. Тут патеру довелось кое-что услышать. И семиклассники, не смущаясь, желая досадить законоучителю, исповедовались в безнравственных выражениях и поступках. А кое-кто из пятиклассников даже упоминал о

публичных домах. Постепенно грехи мельчали. Время от времени раздавались признания в онанизме. Четвероклассники, третьеклассники, второклассники. Наконец пришли со своими грехами первоклассники. Не слушались родителей, списывали уроки, говорили непристойности, ругались, крали дома деньги и т. п. Сплошь скучнейшие грехи. Ничего возбуждающего, как у гимназистов четвертого класса и выше.

Наконец среди этой скуки сверкнул луч.

Исповедовался Балушка...

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я состою членом тайного общества «Чертово копыто».

— Что вы говорите?

— Признаюсь богу всемогущему... — повторил формулу покаяния Балушка, — что состою членом тайного общества «Чертово копыто».

— А еще кто состоит в нем?

— Этого я сказать не могу.

И продолжал:

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я присягал на Коране.

— Вы с ума сошли, Балушка!

— Признаюсь богу всемогущему и вам, преподобный отец, служителю божьему, что я не сошел с ума.

— Балушка, я не могу вам отпустить грехи, ступайте к пану директору и признайтесь ему, как признались богу и мне!

— Не могу. Я знаю, что и вы ничего не скажете директору, ваше преподобие. — Балушка заплакал.

— Балушка, вы проявите подлинное раскаяние, если только сообщите обо всем пану директору. В средней школе недопустимы тайные общества. Идите, прочтите тридцать раз «Отче наш» и «Богородицу». А завтра расскажите все пану директору. — И, пробормотав что-то, преподобный отец сунул Балушке епитрахиль для поцелуя.

Балушка вышел, пошатываясь, и опустился на колени перед алтарем.

Он посмотрел на своих друзей. Нет, он не выдаст их! Ни за что не выдаст! Он ничего не скажет пану директору. Преподобный отец тоже не скажет, он же связан тайной исповеди.

На другой день законоучитель вызвал Балушку.

— Почему пан директор до сих пор ничего не знает?

Балушка покачал головой и, набравшись храбрости, ответил:

— Ваше преподобие, это тайна исповеди.

— погоди, негодяй! — закричал законоучитель. — Пойдешь ты к директору или нет?

— Ваше преподобие, не пойду, не могу я. Это тайна исповеди.

Бедняга Балушка расплакался тут же в коридоре. Из кабинета вышел директор.

— Что случилось? Почему мальчик плачет? — спросил он у законоучителя.

— Этот мерзавец не хочет признаться, что состоит членом тайного общества в своем классе, — ответил законоучитель.

— Пройди в кабинет, — строго сказал директор Балушке. — Разберемся, в чем дело.

И законоучитель, толкая перед собой несчастную жертву тайны исповеди, добавил:

— Вот в кабинете у директора небось признаешься, что ты за негодьяй...  
С тех пор Балушка перестал верить в бога.

## Удивительные приключения графа Кулдыбулдыдеса

### I

В один прекрасный день граф Кулдыбулдыдес проснулся в прескверном на-строении. Из окон своего тихого дворца он мог наблюдать огромное стече-ние народа: всюду, куда ни глянь, темнели человеческие фигуры. Это сильно встревожило графа: он понимал — этих людей привлек сюда отнюдь не усерд-ный сбор средств для великого братства святого Михаила и не церемония от-правки даров папе римскому.

Граф Кулдыбулдыдес нервничал чем дальше, тем больше: он привык ви-деть лишь пышные процессии с развевающимися хоругвями; время от време-ни он готов был примириться еще с каким-нибудь католическим съездом. Но людей, столпившихся на улице, к сожалению, абсолютно не интересовали ни процессии, ни съезды. Граф Кулдыбулдыдес чувствовал, что этой весьма вну-шительной толпой владеют отнюдь не те настроения, которые пришлось бы ему по душе; среди собравшихся не было ни дворецких, ни лакеев, ни приказ-чиков, ни управляющих, ни прочей челяди, дрожавшей от страха, стоило только милостивому господину взглянуть на кого-нибудь немилостивым оком, вооруженным моноклем.

Прежде, где бы граф ни появлялся, он всюду видел перед собой склоненные спины и был уверен — стоит только ему соблаговолить произнести «Meine Herren»[53], спины эти склонятся еще ниже. Но у людей внизу спины остава-лись прямыми. Вот это-то граф и не мог спокойно видеть.

Он мысленно перенесся в те золотые времена, когда его предки пировали, как Сарданапал, ничуть не заботясь о том, кто будет за это платить. Там вни-зу, на полях, трудились холопы, к которым по мере надобности посылали нескольких сборщиков податей и надсмотрщиков — и деньги появлялись, будто по щучьему велению. А теперь, даже для знатных господ, пополнение кошелька — довольно сложная проблема; банкиры стали такими негодьями, и граф видел, что многие из его однокашников, в молодости называвшие друг друга *frere et dochon*[54], ныне, бедняги, начисто разорились и живут лишь тем, что удастся выкачать из своих же собратьев. Чистой, незапятнанной сла-вы, могущества, благородства уж не сыскать, того и гляди, почтенные горожа-не перестанут именовать дворян почетными гражданами.

И тут граф вспомнил поразительную историю, которую ему когда-то дове-лось услышать. Якобы какой-то дворянин в смутную военную пору приказал забальзамировать себя под гипнозом и в состоянии оцепенения пережил несколько столетий, а затем, в мирное время, вновь восстал ото сна для луч-шей, более достойной истинного дворянина жизни. Хм, недурная идея! Граф Кулдыбулдыдес охотно позволил бы себя забальзамировать, чтобы переждать это время, когда уважение к дворянским привилегиям так серьезно пошатну-лось, а затем вновь воскреснуть в ту прекрасную пору, когда вместо этой чер-ни, не предвещающей ничего хорошего для прав и привилегий дворянства, улицы заполнят толпы восторженных католиков. Тогда поедет он, вельмож-

ный граф Кулдыбулдыдес, в сопровождении высокопоставленных лиц, принимая почести от несметных толп и обращаясь ко всем как можно любезнее: *Meine Herren...* — и гром аплодисментов разнесется по столице, сотни тысяч уст восславят его имя, и девушки в белом будут бросать ему цветы.

Граф прямо-таки уцепился за эту мысль.

«Обождите, я вас перехитрю. Советовать мне, всеильному господину, за спиртовать себя! Ну что ж, будь по-вашему, каналы, будь по-вашему! Только я обойдусь без спирта, потому что спирт по-латыни означает «дух», а я его решительный противник. Я повелю себя забальзамировать, Мой гениальный доктор Кнёдл усыпит и забальзамирует меня, чтобы через несколько столетий я вновь проснулся омоложенный и сильный. Я всех вас растопчу и заткну ваши злоречивые глотки, я отобью у вас охоту ко всему, кроме труда на полях милостивого господина.

## II

Гениальный маневр графа Кулдыбулдыдеса был осуществлен. Для света граф умер и был похоронен. Несколько клерикальных газет поместили трогательные некрологи, в которых было высказано предположение, что у его сиятельства случился разрыв сердца от горя, поскольку он потерял свое кресло в парламенте и не мог уже там спокойно выспаться, в связи с чем и решил почитать вечным сном. Однако никто не подозревал, что граф вовсе не умер и, если б мог, в душе смеялся бы над тем, какую остроумную шутку сыграл со своими бывшими друзьями и почитателями из великого братства, и над тем, как огорчился папский казначей в Риме, когда вместо милого его сердцу Кулдыбулдыдеса, щедрого и неутомимого собирателя подаяний, в отчете о пожертвованиях, весьма уменьшившихся, появилось новое имя. Граф тем временем мирно почивал в одном из отдаленных кабинетов своего дворца, приспособленном, благодаря гениальному искусству доктора Кнёдла, на целые два столетия так, что графу не приходилось нюхать нафталин в темном ящике. Здесь был установлен стеклянный колокол, именуемый обычно в просторечьи «glasšturg», а под ним находился граф, как две капли воды похожий на восковую фигуру из паноптикума.

Пока шаги истории грохотали над миром, граф отдыхал в своем нерушимом спокойствии; но вот и для него пробил час освобождения. Доктор Кнёдл хотя и был философом и иной раз увлеченно доказывал абсолютную бесполезность дворянства, — не исключено, что сам он верил в то, что и без дворянства все равно созревала бы рожь, рождались дети, а старики умирали, — однако, видя, как почтенные горожане теряют голову из-за дворянских гербов и бывают совершенно счастливы, когда им удастся хотя бы коснуться фалд графского фрака, он полагал, что дворянство, быть может, все же приносит какую-то пользу и, хотя бы ради тех добрых людей, что столь охотно чертыхаются, но еще охотнее целуют дворянские руки, его стоит сохранить.

Так минуло два столетия; все в графских покоях покрылось плесенью, лишь старый граф не заплесневел. В один прекрасный день он встал, до хруста в суставах потянулся, зевнул во весь рот и, покинув стеклянную тюрьму, но привычке, важной походкой направился на свое старое место в парламенте, словно и не было двухсотлетнего сна. Разве граф может проспать прогресс!

Но оказалось, на сей раз граф и в самом деле многое проспал. Он уже не узнавал города, не узнавал людей. Сказать по правде, ему даже не верилось,

что встречные — и в самом деле люди. Он решил продемонстрировать свое аристократическое превосходство над этими невнимательными существами, поэтому, остановив ближайшего прохожего, весьма прилично и красиво одетого гражданина, представился ему как граф Кулдыбулдыдес и попросил проводить его на площадь Пяти костелов. При этом его сиятельство сурово смотрел на незнакомца в свой монокль, будучи уверен, что тот, изумившись, немедленно согнет спину под тем знакомым углом, под которым склоняются члены патриотических комитетов в ожидании какого-либо ордена. Но к немалому удивлению его сиятельства спина гражданина оставалась прямой, и графу даже показалось, что на лице этого человека промелькнуло сочувственное выражение.

Но в остальном он весьма охотно удовлетворил просьбу графа Кулдыбулдыдеса и повел его сиятельство чудесными садами, в которых то там, то сям мелькали приветливые и живописные дома.

— Это виллы богатых горожан или дворян? — спросил граф проводника.

— Дорогой друг, — ответил тот, — видно, вы прибыли издалека, я с первого взгляда понял, что вы чужестранец. Это наши знаменитые фабрики с самым коротким рабочим днем и самыми большими успехами в изобретениях. Те, например, кто занимается повышением плодородия полей по новой системе, работают три часа в день; этого достаточно, чтобы увеличить урожайность.

— А что о том говорят ваши приказчики, управляющие? Бог мой, да как этим холопам взбрела в голову такая экономия? А что скажет граф относительно подобного ведения хозяйства? А? Откуда нам потом брать пожертвования для нашего великого братства? Что мы будем посылать в Рим, если этот сброд так беззастенчиво обворовывает нас? — распалялся граф.

— У нас, дорогой гражданин, нет ни графов, ни прочих титулов старого рабства, как они там именовались. Мне также не известно, чтоб подобный порядок где-нибудь еще сохранился, — сказал человек спокойно. — А деньги в Рим мы уже давно не посылает. Насколько мне известно, там прекрасный музей, а вовсе не...

Граф в ужасе перебил проводника:

— Так что ж, никакой граф Кулдыбулдыдес не посылает денег в папскую казну? Неужто неверие и падение нравов дошло до такой степени?

— Я, собственно, даже не знаю, что такое граф, и сроду не слышал имени Кулдыбулдыдес, — ответил проводник спокойно. — Были, конечно, когда-то, как утверждает история, лет двести назад, какие-то бедняги, полагавшие, будто они рождены лишь для того, чтобы тысячи других людей на них работали: соответствующим образом они себя и вели. Но для нас это все давно в прошлом.

Граф был на грани обморока. Господи, куда он попал?

— К счастью, даже эти бедолаги, так называемые аристократы, мало-помалу взялись за ум. Они тоже убедились, что несправедливо и просто безумно требовать для себя таких богатств, которых хватит на жизнь тысяче честных семей. Некоторые из них стали художниками, другие неплохо трудятся на иных поприщах, и притом они абсолютно счастливы и довольны своей судьбой — им не нужно ни лошадей, ни собак, ни охоты, ни тому подобных развлечений. Лишь несколько последних могикан были одержимы неизлечимой, навязчивой идеей, будто на основании каких-то давних привилегий они

имеют право на огромные поля, и заставляли людей работать на себя. Что нам оставалось делать с этими несчастными?

— Ужас, невероятно! — заикаясь, проговорил граф.

— Многое кажется невероятным, мой друг, — заметил спутник. — Когда триста лет назад в Америке шла речь об отмене рабства, тоже говорили, это немыслимо. И тем не менее, вскоре так оно и случилось. То же и с наемным рабством. Что поделаешь, люди поумнели. И в конце концов для этих горемык, одержимых навязчивой идеей, пришлось открыть специальный приют.

— И где этот приют? — выдавил из себя граф.

— Мне жаль вас, добрый человек, должно быть, у вас там какой-нибудь родственник. Успокойтесь, они находятся под наблюдением опытных психиатров и с ними обращаются как подобает. Только здание так себе, это покинутый дом привилегированного...

Дальше граф Кулдыбулдыдес не слышал. Сильное душевное волнение, огромный переворот, которого не предвидел ни он, ни доктор Кнёдл, так потрясли его, что, законсервированный таинственным искусством доктора, граф распался в прах на глазах своего проводника в тот самый момент, когда они вступили на площадь Пяти костелов.

## **В деревне у реки Рабы...** **(Очерк из Галиции)**

**П**ан Свышинский передал свою пропинацию (корчму) сыну Болеславу и Пумер. Этот шляхтич, предки которого в прошлом занимали, вероятно, высокие должности при дворе, должен был удовольствоваться продажей водки крестьянам, которых он спаивал, и все находили это вполне нормальным.

А он гордо говаривал о себе, что не только «шляхтич в огороде равен воеводе», но и «шляхтич в пропинации».

Умирал благородный пан тоже как подобает шляхтичу. Перед кончиной он созвал со всей деревни крестьян и велел выставить им бочонок водки. Мужики пили и время от времени провозглашали: «За здоровье пана Свышинского!»

Когда пришел фарарж и спросил удивленно, что тут происходит, — пан Свышинский, собрав последние силы, ответил:

— Так умирает шляхтич, ваша милость. Я дал мужикам выпить.

Затем он велел Болеславу выгнать из избы расшумевшихся крестьян, исповедался и, распорядившись, чтобы в день его похорон мужиков поили даром, спокойно умер, прося священника извинить, что он хрипит... Пан Болеслав унаследовал корчму.

На третий день старика похоронили на кладбище у реки Рабы, где шумят лиственницы. Кладбище переходило в лес и было подобно саду, вечно свежему и вечно зеленому.

Старый шляхтич покоился там рядом со своей женой Сташкой, которая была всего лишь дочерью обыкновенного лавочника из ближней деревни и не имела дворянского звания. Его шляхетское тело постепенно разлагалось, пока не остался один скелет, который ничем не отличался от скелетов крестьян, лежащих в соседних могилах. А его сын Болеслав хозяйничал между тем в рычовской корчме.

Корчма была невелика и неказиста. Низкое длинное строение состояло из трех помещений: трактира, хозяйской половины и маленькой каморки, где валялся разный хлам и стояла убогая постель, на которой спала Влода. Десятилетней нищенкой пришла она двенадцать лет тому назад в деревню. Мать то ли выгнала ее, то ли не могла прокормить.

Старый Свышинский взял Влоду к себе. Это не был внезапный припадок милосердия: купил он в то время двух коров, и нужно было кому-то за ними ходить.

И Влода осталась там, довольствуясь более чем скудными харчами. Девушка была глухой: однажды старый Свышинский так ударил ее палкой по голове, что она сразу оглохла; в тот день она тайком напилась в погребе и потребовала с него на новую юбку.

Но в остальном Влода выполняла свои обязанности исправно: ухаживала за коровами, работала в поле, обслуживала крестьян в трактире, правда, не замечая, кто что пьет, за что бывала частенько бита. Теперь, после смерти старого Свышинского, эта молодая девчонка напивалась только по большим праздникам.

Грубые и невежественные крестьяне насмеялись над ней, ругали ее, тискали и вздыхали: «Ох, девка, девка, бог тебя оставил».

Хаживала она и в костел, где садилась у дверей и спала.

И вдруг Влода круто изменилась: смотрела вокруг себя испуганными глазами и не выходила из своей каморки. Мужики посмеивались: «Ох уж этот пан Болеслав...»

У Влоды родился мальчик...

Никто не памятовал, чтобы в Рычове происходило когда-нибудь нечто подобное. Бывали, правда, временами случаи, когда через два-три месяца после свадьбы то тут, то там обнаруживали приращение семейства. Но дело быстро утрясалось: стоило только заплатить священнику, чтобы он отслужил мессу за отпущение грехов... А в остальном люди жили честно.

Поэтому сначала никто даже не поверил тому, что рассказывала старая Гаянова, которую в таких случаях приглашают.

Разнося свою новость по деревне, она еле держалась на ногах: так была пьяна.

— Пан Болеслав потом меня угостил, — хвасталась повитуха. — Голубчик родился, ножками сучит, весь в папеньку, белый голубчик!

Мужики пошли удостовериться. И в самом деле, все было именно так, как сообщила старая Гаянова. Но пан Болеслав одного за другим выставил за дверь.

Тогда все отправились на фару. Когда староста Матей вошел в избу, кланяясь и целуя протянутую ему руку, священник обедал.

— Ваша милость, срамота-то какая! У Влодки мальчишка родился!

Священник отбросил ложку и вскочил.

— Что такое, Матей?

— По вине пана Болеслава у глухой Влодки родился мальчишка! — повторил Матей.

Священник рассвирепел.

— Нехристи! — закричал он. — Все вы нехристи! Вон отсюда, негодяи! Бог

вас накажет! Вон!

Когда староста скрылся, священник опустился в кресло, на его лице застыло выражение гнева.

— Скоты! Скоты! — твердил он про себя. — Скоты в человеческом подобии! Господи боже мой, что мне делать?

Поспешно закончив свой обед, он направился к учителю, недавно приехавшему сюда из Бохни Мурованой. С ним он всегда спорил, ставя ему в вину и его молодость, и горячность, и прогрессивные убеждения и считая его поэтому полностью пропащим человеком.

— Видите, господин учитель, — начал он без всякого предисловия, — куда вы попали с вашей свободной любовью! Глухая Влода родила ребенка, отцом которого...

— Позвольте, — защищался учитель. — Я не имею к этому никакого отношения.

— О, это все ваша свободная любовь! — не сдавался почтенный фарарж, радуясь, что ему удалось вывести учителя из себя. — Отец бедняжки, к сожалению, человек, к которому я всегда питал доверие, — Болеслав Свышинский...

— Шляхтич, ваше преподобие, — отметил учитель.

— Не примешивайте шляхту к этой истории! — рассердился священник. — Странный вы человек...

Тут началась ссора, каких было уже немало. Закончилась она угрозой фараржа немедленно написать в школьный совет о дерзком поведении учителя.

— Это не имеет никакого значения, ваше преподобие, — ответил учитель Вегер. — Меня переведут в другое место, и я попаду прямо в рай, так как чистилище я прошел уже здесь.

Раздраженный священник удалился, размахивая рука ми и бормоча: «О эти молодые люди, безбожники и кальвинисты».

Он направился к пану Болеславу. Корчма была на самом конце деревни. Когда священник переплел ручей, его возмущение заметно уменьшилось, так как он вовремя вспомнил, что пан Болеслав закупает водку на небольшом водочном заводе у преподобных отцов каноников из города.

«Если я буду очень сильно на него нападать, паны каноники могут лишиться выгодного клиента...» — размышлял он.

Господин фарарж тоже хотел бы стать однажды каноником.

Подходя к корчме, он увидел толпу односельчан, которые колотили в дверь и кричали: «Открой, Болеслав! Мы идем поцеловать голубчика!»

Все были пьяны. Перед корчмой валялся бочонок. Пан Болеслав выкатил его им, чтобы они выпили за здоровье новорожденного, а потом заперся и не хотел никого впускать, опасаясь, как бы они не потребовали второго.

Фарарж ускорил шаги, и толпа, увидев его, приумолкла. Старый Йозеф, который шумел больше всех, схватил мясистую руку священника и начал усердно ее лобызать, причитая:

— Согрешила деревня, ваша милость! Глухая Влода согрешила, и благородный пан Болеслав взял на свою душу тяжкий грех!

— Где пан Болеслав?

— Вельможный грешник заперся в пропинации, — ответил пьяный Йозеф. — Помолитесь за нас, ваша милость! Кто мы? — воскликнул он сокрушенно. — Свиньи, ваша милость, самые настоящие свиньи.

Он подошел к бочонку, чтобы проверить, не осталась ли там еще хотя бы капелька.

Священник между тем начал стучать в дверь пропинации, откуда вскоре раздался голос пана Болеслава:

— Катитесь домой, паршивые псы! Никого к себе не пущу!

— Это стучит пан фарарж, невежа! — закричали крестьяне. — Дождешься, мы тебе шею намылим!

— Кто там? — спросил недоверчивый трактирщик.

— Фарарж Ладзевский, — ответил священник.

Ключ заскрипел, и фарарж вошел в сени. Но, так как за ним успел проскользнуть и один из крестьян, он смог беспрепятственно пройти на хозяйскую половину только после того, как удалось выпроводить непрошеного гостя.

Священник уселся на стул и произнес:

— Пан Болеслав, известие о рождении у вас ребенка наполнило меня безмерной скорбью. Так-то выполняете вы наставления вашего духовного пастыря!..

— Со мной случилось несчастье, ваша милость, — удрученно ответил пан Болеслав. — Я тяжко согрешил против закона божьего. Был я немного выпивши, милосердный боже... она тоже была пьяна и... не сопротивлялась...

Было необычайно трогательно смотреть на пана Болеслава, который при этой исповеди тяжко вздыхал и растерянно тер себе лоб.

— Это страшный грех, пан Болеслав!.. Ну и что вы теперь собираетесь делать?

— Испортил я себе жизнь, ваша милость! Ведь я же хотел жениться... И невесту себе присмотрел — дочь крестьянина Сташки из Стружи... А теперь всему конец...

Я мог получить тысячу рейнских, отделать пропинацию, купить участок леса... А сейчас никто за меня, подлеца, не пойдет!

— А что с Влодкой?

— Умирает в каморке, ваша милость. Роды были тяжелые.

— Несчастный! — вскричал священник. — Что же вы за мной не послали? Грешница может умереть без последнего покаяния!

— Знать, уж кончилась, — вздохнул пан Болеслав. — Из чулана давно уж ее криков не слышно.

Священник вскочил.

— Вы с ума сошли! Ведите меня к ней!

— Я совсем отупел, ваша милость, — защищался пан Болеслав. — Голова идет кругом.

Он почтительно повел фараржа в грязную каморку, к постели глухой Влоды.

Там лежала жертва пана Болеслава — белая, окоченевшая, с лицом, искаженным предсмертными судорогами. А у постели, в корзине, выстланной разным тряпьем, тихонько попискивал ее ребенок.

— Я не ошибся, — сказал трактирщик, боязливо глядя на умершую. — Бог взял ее к себе.

Священник опустил на колени и начал молиться. Наверно, никогда еще не молился он так усердно, как сейчас, когда столкнулся лицом к лицу с траге-

дией, с суровой правдой жизни.

Пан Болеслав тоже молился. Когда священник поднялся с колен, он начал сетовать:

— Я очень несчастен, ваша милость! Кто теперь пойдет замуж за грешника Болеслава?.. Позвольте, я вас почищу, здесь столько пыли; покойница в последнее время совсем перестала убирать комнаты.

— Пан Болеслав, — холодно произнес священник. — Ваша обязанность теперь позаботиться о ребенке. Я могу вам посоветовать. Возьмите кормилицу. Соседка Пригнова как раз кормит девочку. Заплатите ей, и все будет в порядке...

Несчастный трактирщик кивнул головой.

— Затем обращаю ваше внимание на то, — продолжал духовный пастырь, — что ребенку нельзя давать водки.

— Слушаюсь, ваша милость.

— Кроме того, я должен отслужить шесть месс: три за вас, две за покойницу и одну за новорожденного.

— Ваша милость, — начал торговаться пан Болеслав, — может быть, за покойницу хватит и одной, ведь она была глухой и немного еще успела нагрешить?

— Тогда, — сказал неумолимый пастырь, — за нее буду служить одну, а за вас четыре.

Сокрушенный трактирщик отошел за деньгами и, возвратившись, положил их на пыльный стол.

— Шестью три — восемнадцать, — отсчитал он. — Вот восемнадцать рейнских, ваша милость. Времена нынче плохие. В прошлом году неурожай был.

— Нехорошо поступаете, — строго сказал священник. — В святом деле не подобает торговаться, давайте двадцать рейнских!

— Никак не могу, я еще за солому не получил.

— Вы неисправимы, — проворчал священник, сгребая монеты. — При погребении вашего покойного батюшки вы не хотели мне дать даже восьми рейнских, хотя, как вы помните, в то время шел дождь, и я в результате схватил насморк.

Трактирщик приложился к его руке и спросил:

— Когда можно будет окрестить ребенка?

— Как только отслужу все заказанные мессы.

— А покропите, ваша милость, гроб несчастной Влоды?

— Покроплю.

— Благослови вас бог, ваша милость.

На пана Болеслава свалилась теперь масса забот. Вся эта история стоила ему немало денег. Во-первых, похороны умершей. Хотя он и купил самый дешевый гроб, священнику пришлось заплатить как за похороны по первому разряду. Кроме того, чтобы прекратить всякие разговоры, нужно было устроить поминки для всей деревни, которая когда-то так издевалась над глухой Влодой.

Староста перепился и кричал:

— Бог да хранит пана Болеслава! Да здравствует глухая Влода!

Старый Йозеф вздыхал:

— Свињи мы, а пан Болеслав — ангел! Но глухую Влodu бог оставил, не любил он ее.

Бабы пили сладкие настойки и целовали ребенка Влodu, который только благодаря своему здоровому организму выдержал этот бурный натиск и не скончался у них на руках.

Все были очень довольны похоронами. Тетка Пригнова добросовестно кормила младенца, за что получила хорошую трепку от мужа, потому что их собственная дочка плакала от голода.

А у пана Болеслава появилась новая забота: найти крестного. На поминках каждый навязывался в крестные, но после похорон настало протрезвление, и никто из всей деревни не хотел удостоиться этой «чести».

— Что такое, — возмущался староста, — будто я говорил: считайте меня за крестного! Я, староста, и вдруг — крестный отец ребенка этой похабницы и этого грешника!

Остальные рассуждали примерно так же: «Что мы, цыгане, что ли, чтобы взвалить такой грех на свою душу!»

Священник отслужил уже все мессы: и за трактирщика, и за его ребенка, и за покойницу Влodu, — но крестный все еще не появлялся. Прошло четырнадцать дней со дня рождения ребенка, а он еще оставался язычником... Но ему все шло на пользу.

Тетка Пригнова не хотела его кормить, говорила, что нехристя кормить не будет. И только два рейнских ее успокоили. Но все же она с презрением смотрела на сосущего младенца, вздыхая: «Басурман ты, басурман!..»

Однажды — было как раз воскресенье — в деревню пришел мазурский бродяжка и начал просить милостыню, переходя от одной избы к другой. Что это был мазур, видно было по его произношению, а что он бродяга — по его ветхой одежде и по обличию.

— Издалека будешь, сукин сын?

— Из Коломыи, приятели. Брожу уже двадцать лет.

Некоторые подавали ему, кое-кто давал и по затылку, и бродяжка шел дальше.

Так он дошел до пропинации пана Болеслава, где заказал себе на выпрошенные деньги водки. Пан Болеслав некоторое время наблюдал за бродяжкой, потом спросил:

— Скажи, ты человек честный?

— Честный странник, пан хозяин, — ответил тот. — Брожу двадцать лет. Сейчас иду в Коломыю, домой, в королевство.

— А ты никого не убивал?

— Матерь божия, заступница, никого я не убивал и никого не грабил. Мы только ходим, а нас преследуют.

Пан Болеслав задумался.

— Напою тебя даром, сделаешь кое-что для меня?

— Что желаете, пан трактирщик?

— Будешь крестным отцом моему ребенку, — решил наконец пан Болеслав. — Одолжу тебе кунтуш, и пить будешь даром, да еще рейнский дам в придачу.

И пан Болеслав рассказал бродяге свою печальную историю.

— Если вы желаете, пан трактирщик, — произнес бродяга. — Меня зовут

Пшека Йозеф... Отца своего не знаю... Только бук показала мне покойная матушка, на котором мужики повесили моего папеньку — конокрада.

На другой день были крестины.

Облаченный в одолженный кунтуш, бродяга важно держал ребенка, затем он сделал три крестика в метрике, а пан фарарж получил три рейнских. Потом все отправились в пропинацию.

Пришли и мужики и целовали крестного-бродяжку. Никакого неприятного происшествия не приключилось, только вдоволь пили и беседовали.

Пан Болеслав, довольный, что нашел-таки в конце концов крестного, отхлебывал паршивое вино и называл бродяжку братом.

Поздно ночью Пшека уснул на постели глухой Влоды, куда его отнесли мужики, которые долго еще потом шумели на улице, разбудив своими криками учителя Вегера. Тот так и не мог больше уснуть и смотрел из окна избы на долину реки Рабы, на шумливые воды, пенящиеся у скал, на темные леса над рекою, такие же темные, как и жизнь в этой деревне.

## Боснийская ослиная история

### I

На границе Боснии и Сербии стоит маленькая австрийская крепостенка. Внизу, в самой Боснии, находится деревня Црна Бара, а около нее — «бунар», колодец, куда из австрийской крепостенки всегда ходили за водой. Посылали, собственно, за водой осла с унтер-офицером и двумя солдатами. Осел таскал мехи с водой и был милитаристом.

На ком не было австрийского мундира, тот не смел и близко подходить к ослу, когда солдаты набирали воду из колодца и наливали ее в мехи.

Иначе беда. Осел брыкался, ревел и кусался. Короче говоря, проявлял явную ненависть к чакширам, то есть к штанам боснийцев, чему, конечно, ни один благонамеренный человек не может удивляться, ибо вот уже несколько лет, как осел постоянно жил в крепостенке, весело и свободно разгуливая по ее территории.

А по ночам, не выходя из стойла, осел караулил границу.

Чуть на сербской стороне что шелохнется, как наш милый и добрый осел начинал громко реветь, и от этого просыпался весь гарнизон. Кроме того, ужасный шум производил петух гарнизонного лавочника, который со временем настолько втянулся в военную жизнь, что преисполнился воинского духа.

Стоило только ночью сербским крестьянским подводам сдвинуться с места, как петух принимался неистово кукарекать. Так вот преспокойно все и жили в этой крепостенке, поскольку ее надежно охраняли осел и петух.

Жили да поживали в страхе божьем, пока не произошло одно событие, которое нарушило спокойствие гарнизона, спокойствие целого района и даже земское управление Боснии заставило прийти в великое возбуждение. Главным действующим лицом в произошедшей афере была коза Бранко Нушича.

### II

Прежде чем перейти к повествованию об этой предательской афере, повествованию, при котором кровь стынет в жилах у каждого добропорядочного гражданина, я позволю себе по примеру одного моего друга, дававшего пояснения знакомому французу, сделать несколько кратких замечаний о Боснии

и Герцеговине и вообще об оккупированных землях:

— Австро-Венгрия состоит из Австрии и Венгрии, а также земель оккупированных.

Те, в свою очередь, состоят из Боснии, о которой не рекомендуется упоминать, и из Герцеговины, о которой уж совершенно говорить запрещается. Кроме того, имеется еще Новый Пазар, но о нем тоже говорить нельзя.

— Ну а дальше что? — спросил француз.

— О том, что «дальше», тоже говорить не рекомендуется, — закончил свои пояснения мой друг.

### III

В Црне Баре в спокойствии и в довольстве жила коза Бранко Нушича; несколько лет назад ей волею судеб удалось пережить страшную катастрофу, постигшую всех коз в Боснии и Герцеговине. Случилось так, что земское управление повырубало леса, а потом вдруг уразумело, что в гибели лесов повинны козы. Негодные животные, видите ли, обглодали все кусты и деревья. На этом основании земская управа издала указ, чтоб до определенного срока в Боснии и в Герцеговине были съедены все козы, в противном случае каждый владелец козы предстанет пред военным судом.

Бранко Нушич спас свою козу, переправив ее через границу. Когда же правительственный указ был отменен, поскольку двоюродному брату одного начальника из земского управления врач предписал пить козьему молоку, Бранко Нушич снова переправил свою козу на боснийскую территорию.

Коза Бранко Нушича была очень умным животным, она уважала распоряжения земской управы и не обгладывала ни кустов, ни деревьев. Ведь сие преступление в Боснии и Герцеговине каралось смертной казнью. К тому же коза не могла просить об обжаловании приговора, что, впрочем, в Боснии все равно ни малейшего значения не имело.

Как бы то ни было, но коза Бранко Нушича почитала законы. Целых двенадцать лет искушали ее как лесные деревья, так и деревца, посаженные на государственные средства.

Искушение порой бывало просто нестерпимым, но коза всегда блеяла свое категорическое: «Не смею», осознавая, что она живет в стране с военным режимом.

Двенадцать лет — срок немалый, в особенности если принять во внимание, что среди коз встречаются существа, отнюдь не отличающиеся твердым характером.

Множество бесхарактерных коз встречается на холмах любых стран, не только в Боснии или в Герцеговине.

Но коза Бранко Нушича бродила по скалам и косогорам, не роняя чести.

Нередко приходилось ей глотать слюнки при виде зеленых молодых побегов, но ее честная гражданская добродетель всегда брала верх и побеждала. Ведь если таково распоряжение Боснийской земской управы, то даже и коза обязана забыть о своем чревоугодии. Двенадцать лет держалась коза, являя собой образец дисциплинированности. И вот вдруг случилось так, что листовница около крепостенки, посаженная несколько лет назад в честь оккупации Боснии и Герцеговины, вдруг оказалась обглоданной в течение одной ночи. Гнусное преступление было раскрыто утром в пять часов, а в шесть часов утра Бранко Нушича в кандалах уже вели в окружной суд.

## IV

В Црне Баре только один человек держал козу, и этим человеком был Бранко Нушич. Остальных коз солдаты давно уже перестреляли. Следующее доказательство: Бранко Нушич был некогда депутатом. Этого вам мало? Имеются и другие доказательства, свидетельствующие против Бранко Нушича. Ведь козу-то Бранко Нушича, когда за ним пришли солдаты, обнаружить так и не удалось!

Коза Бранко Нушича удрала в Сербию!

Бранко Нушич, пока его вели к окружному суду, клялся и божился, что невиновен.

Утверждал, что коза на ночь была привязана и что он отвязал ее только за полчаса до прихода солдат.

— Так куда ж ты ее спрятал?

— Никуда. Сама она убежала в Сербию, потому что на сербской стороне оказался козел.

Можем ли мы, кому известно, что коза Бранко Нушича была образцовой, поверить в такое объяснение? Скорее, мы можем допустить ту мысль, что она пыталась воспрепятствовать вторжению сербского козла на боснийскую территорию, осознавая, что боснийское правительство запрещает и строго карает пересечение границ.

С другой стороны, мы допускаем и такое предположение, что коза Бранко Нушича «ободрала», то есть обглодала деревце, посаженное в честь оккупации Боснии и Герцеговины у крепостенки над Црной Барой. Не исключено, что ее терпение и выдержка лопнули, и, впав в невменяемое состояние, она все-таки нанесла ущерб государственному имуществу.

Однако с позиций порядочности и гражданственности, мы совершенно не можем допустить мысли, что она могла так поступить, находясь в нормальном душевном состоянии.

Как бы то ни было, Бранко Нушич был брошен в каталажку окружного суда, и одновременно с этим дома у него произвели обыск. Кто знает, как в Боснии горит земля под ногами, тот нисколько не удивится, что начальник крепостенки, гетман Краус, переведенный сюда за долги из Нижней Австрии, быстро разобрался, что дело это не столь простое, как может показаться на первый взгляд.

А посему он сделал все, что считал нужным; об остальном должна была позаботиться земская управа.

То, что перед ним предательская афера, было ему так же ясно, как и то, что в оккупированных землях ненавидят немцев.

Того же мнения придерживался и окружной суд, который подверг Бранко Нушича предварительному заключению.

На первом же допросе Нушича произошло сенсационное разоблачение.

После перекрестного допроса Бранко Нушич признался, что двенадцать лет тому назад купил свою козу у Миливоя Нешковича.

Немедленно по телеграфу был отдан приказ арестовать Миливоя Нешковича в Црне Баре, столь же быстро приказ был приведен в исполнение, и уже на другой день окружной суд подверг Миливоя Нешковича трехчасовому допросу.

Сначала Нешкович даже слышать ни о чем не хотел, но потом вынужден

был признаться: «Я сам покуплял (купил) козу от турчанки (у турчанки) Меджимы Чарапичевой, а опосля (потом) сторговал (продал) ее Бранко Нушичу».

Окружной судья потирал руки. Значит, он не ошибся. Выходит, здесь замешаны и магометане.

Тотчас же отбили телеграмму: «Арестовать турчанку Меджиму Чарапичеву в Раковицах».

Уже в тот же день вечером предстала перед судом эта страшная старуха.

На вопрос, сколько ей лет, она ответила, что сто.

После неудачного допроса старуха была препровождена в тюрьму, ибо она настаивала на том, что ничего не помнит.

И все-таки окружной судья не отчаивался. Хотя нить следствия здесь прерывалась, судья проявил находчивость — и ему удалось добиться нового сенсационного разоблачения.

Сомнений не оставалось, речь шла о широко разветвленном заговоре.

Как было выяснено следствием, у Миливоя Нешковича был двоюродный брат Янко Веселинович, проживающий в Жаркове, и этот самый Янко Веселинович приходился женихом Эвице Васичевой в Црне Трджаве, отец которой был близким другом Петара Милутиновича из деревни Цукварице, подписывавшегося на журнал «Оборона Сербии», выходящий в Сараеве, то есть на антиправительственный журнал.

Уже через два дня все они были за решеткой. Янко Веселиновича, Эвицу Васичеву, ее отца, Петара Милутиновича, а также — Бранко Нушича, Миливоя Нешковича и турчанку Меджиму Чарапичеву переправили из окружного суда в верховный земский суд Сараева, прихватив заодно и редактора «Обороны Сербии» (Срб Обран). Одновременно в Которе, то есть в Далмации, был арестован сын Петара Милутиновича, пятнадцатилетний гимназист.

Это было ужасно. Как видите, заговор распространился и на Далмацию.

## V

Между тем окружной судья, проглядывая документы, касающиеся разбираемого дела, к своему удивлению, обнаружил, что отсутствует само основание для обвинения, то есть коза, принадлежавшая Бранко Нушичу. Среди арестованных ее не было.

И он предпринял все, что было в его силах.

Он обратился к гарнизону, расположенному над Црной Барой с призывом денно и ночью наблюдать границу и в случае, если коза решит вернуться из Сербии в Боснию, немедленно схватить ее и доставить в крепость.

Издав этот приказ, он еще раз изучил все документы, касающиеся этой аферы, — и его снова охватил ужас.

Он ясно увидел, что зашел уже слишком далеко. Но поскольку дело уже нельзя было исправить, не компрометируя себя, он решил дополнительно арестовать и средского начальника поселка Црна Бара, где проживала коза Бранко Нушича, а именно старосту Милковича, обвинив его в недобросовестном исполнении своих обязанностей. О каких именно обязанностях шла речь, признаться, не знал ни арестованный средской начальник, ни окружной судья.

## VI

А сейчас от окружного судьи вернемся обратно к ослу, который возит воду

в крепостенку из колодца в Црной Баре.

В течение всего этого времени осел пребывал в утрюмости, как это бывает, когда терзают муки совести.

Солдаты обсуждали всю эту историю, не стесняясь присутствия умного осла и, главным образом, по-немецки, то есть на наиболее доступном ему языке, ибо ранее он жил среди немцев в Тироле.

Таким образом, он знал обо всей этой афере в подробностях и печально ревел, а когда проходил мимо ободранного деревца, посаженного в честь оккупации Боснии и Герцеговины, то всегда понуро опускал хвост и глаза его увлажнялись слезами.

А ведь раньше это был буйный, разудалый осел, который весело поводил большими ушами. Но сейчас он выглядел весьма убого.

Осел не стриг ушами, не прыгал и лишь лениво прохаживался по крепости.

А потом пришла комиссия.

Приехал окружной судья и господа из верховного земского суда в Сараеве.

Приехали с тем, чтобы осмотреть ободранное деревце. И тут осел, который понял, о чем пойдет речь, тоже присоединился к комиссии.

Он стоял у несчастного деревца, опустив голову и свесив хвост, а заодно и повесив уши. И только, услышав имя козы Бранко Нушича, стал внимательно прислушиваться.

И вдруг он пробился через почтенную комиссию, заревел и набросился на деревце, посаженное в честь оккупации.

И, прежде чем господа из комиссии успели опомниться, несчастный осел ободрал дочиста оставшиеся листочки и кору.

А потом, подняв хвост и победно вскинув уши, загикал могуче и радостно: «И-а, и-а, это был я!»

Это была исповедь несчастного осла, замученного угрызениями совести.

Но славная комиссия так и не приняла его исповеди.

## VII

Чем кончилось дело с арестованными — неизвестно, потому что о Герцеговине говорить нельзя, и о Боснии тоже не рекомендуется. Коза Бранко Нушича из Сербии еще не вернулась. И я думаю, что о ней тоже говорить запрещено.

Предательство родины — дело деликатное.

## Как Юрайда сделался атеистом

### I

Юрайда, выпускник гимназии города Градиште, собирался в Прагу для пополнения образования; первым делом он съездил поклониться святым мощам в Велеграде, так как был весьма набожным юношей. Отец его был депутатом от клерикальной партии и при всяком удобном случае повторял: «Мы — католические христиане».

Один дядя Юрайды был приходским священником, два двоюродных брата — причетниками и одна отдаленного родства тетка — просвирней. Сам Юрайда в течение всех гимназических лет прислуживал в церкви министрантом, знал наизусть жития святых отцов и вот теперь должен был поступить в Пражский университет, хотя очень хотел бы стать сельским попиком. Но отец желал сделать из него адвоката, и так случилось, что Юрайда, сидя в ресторане Градиштского вокзала со своим дядей-священником, в последний раз беседовал с ним о боге и клялся, что останется и в безбожной Праге богобоязненным католическим христианином. При этом он лил в себя вино, как в бочку, и все твердил:

— А что? Мы — католические христиане.

— Эх, мальчик, — говорил ему на прощание преподобный дядя. — Прага — ужасный город. Ты ведь помнишь: они там утопили нашего святого Яна, да и сейчас там, поди, не лучше. Со всех сторон обступят тебя, начнут склонять к неверию, а ты им так и говори: знаете что, скажи, мы — католические христиане и до смерти так и останемся католическими. Ох, мальчик, они тогда богохульствовать начнут, а ты их не слушай.

Когда дядя закончил проповедь, племянник подумал, что можно бы получить от него дополнительных денег на дорогу, и прочувствованным голосом проговорил, что лучше бы ему снять отдельную комнату, чтоб не слышать, как богохульствуют сожители, но это потребует больше денег, чем он в состоянии уплатить.

— Что ж, мальчик, на тебе еще двенадцать рейнских, ты только от бога не отступайся. Не отступишься от бога — и он тебя не покинет и проведет тебя счастливо через все препятствия и препоны.

И Юрайда с сердцем, переполненным набожностью, укатил в Прагу.

### II

В Праге он не занимался науками, а пил пражское пиво; когда же случалось ему вспомнить родную Моравию — заглядывал в винный погребок, опрокидывал там чарочку-другую, съедал порцию моравской колбасы и говорил: «Мы — католические христиане».

После трех месяцев такого образа жизни он переехал из отдельной комнаты в общую с двумя студентами-политехниками, которых звали Мразек и Колинко и с которыми он заключил верную дружбу, не омраченную ничем, кроме разве того, что Мразек и Колинко не верили в бога. Религиозные дебаты переносились даже в трактиры, где Юрайда ближе к полуночи обычно кричал:

— Вы лютеране и язычники, а мы — католические христиане!

К двум часам пополудни обыкновенно наступало примирение, и язычники, обнявшись с католическим христианином, шагали домой, распевая во все

горло. Однажды друзья затащили Юрайду к студентам из Ганацкого края; к полному ужасу набожного Юрайды, ганаки затянули в полночь песню о картошке, которая на заливиستم ганацком наречии звучала примерно так:

*Господи на небесé,  
Не твори ты чудесé!  
Стоит дуть в твои мехé  
Для дурацкой картохé!  
Ты б чудесил для себé,  
Картофь растет и без тебé!*

Юрайда взбунтовался, зашумел:

— Чего и ждать от вас, все вы лютеране и язычники! А теперь я сам петь буду!

И он с ужасающей истовостью заголосил:

*Мораву никому от веры не отторгнуть,  
Наследье отчее нам сохрани, господь...*

Его отбытие было молниеносно и великолепно: на лету он опрокинул стол и два стула, но, очутившись на улице, все-таки крикнул безбожникам-ганакам:

— Больно надо мне с вами сидеть, язычники, магометане!

Он ушел домой, помолился всемогущему богу, благодаря его за то, что счастливо избежал подводных рифов неверия; когда вернулись Мразек и Колинко, Юрайда уже спал сном праведника на полу, где он постелил себе в наказание за то, что слышал, как поют: «Ты б чудесил для себé, картофь растет и без тебé». Утром он проснулся, томимый страшной жаждой, а тут еще предстоял экзамен, который должен был подтвердить, что Юрайда честно прослушал семестровый курс римского и германского права. Юрайда записался на экзамен, чтоб его освободили от уплаты за учение, ибо финансы его стремительно таяли под влиянием Смиховского акционерного пивоваренного завода.

Во всем этом было одно «но». Юрайда не знал ни аза ни в римском, ни в германском праве и только смутно подозревал, что это какая-то чепуха. Однако, с другой стороны, он уповал на помощь божью и с сердцем, переполненным доверия, ждал чуда.

Он принялся листать курс лекций и пить воду, гримасничая и злясь. Такая зверская жажда — и всего двадцать крейцеров в кармане! Тогда он стал жаловаться своим сожителям. Собачья жизнь. Деньги он получит только послезавтра. А завтра экзамен. И ему просто необходимо вечером как-то подбодриться, но как подбодришься, когда у тебя только двадцать крейцеров? Нищета, настоящая нищета. И вот у него к ним просьба: одолжите, ребята, два рейнских...

Мразек с Колинко переглянулись, отошли посоветоваться. Потом Колинко приблизился к Юрайде и с серьезным видом заявил:

— Вот что, приятель, денег-то мы тебе дадим, но ты сначала побогохульствуй.

Юрайда вскочил:

— Ах вы, язычники, мы — католические христиане, и лучше мне погибнуть, чем оскорбить творца...

— Значит, не будешь ругать бога, Юрайда?

— Не буду.

— Это твое последнее слово, Юрайда?

— Последнее.

— Что ж, будь здоров.

И они ушли, оставив его вне себя от негодования. Потом Юрайде сделалось грустно, он начал машинально перелистывать курс римского права. Его подзрения оказались справедливыми: сплошная чепуха.

Обедать Юрайда не пошел, закурил трубку, лег на диван и отбросил лекции: он курил и надеялся на бога.

После обеда заявили Мразек и Колинко; будто не видя Юрайду, они сели к столу и завели бессовестные разговоры о том, как они вечером пойдут в пивную «У Флеков» и какое там славное пиво.

Юрайда не выдержал.

— Ребята, ну дайте же мне хоть один рейнский, богом ведь прошу.

Он смотрел на них, как смотрит на судью обвиняемый перед вынесением приговора.

— Юрайда, богохульствуй, — был ответ Мразека.

Юрайда молчал. Мразек и Колинко спокойно продолжали беседу о флековском пиве, пока Юрайда не начал корчиться на своем диване.

— Да ну же, друзья, один рейнский!

— Юрайда, богохульствуй.

Страшная борьба шла в душе Юрайды — и Юрайда сломился.

Он начал ужасно богохульствовать, он ругал бога на чем свет стоит. Потом потребовал два рейнских. Его заставили еще покощунствовать и выдали монеты.

Все трое отправились во Флековскую пивную; на пороге распивочной Юрайда обернулся к друзьям:

— А все-таки мы — католические христиане!

Домой вернулись утром. Юрайда умылся и пошел на экзамен. Результат был таким, каким только и мог быть, когда человек вообще ничему не учился. И ни при чем тут богохульство. Юрайда с треском провалился потому, что на все вопросы отвечал нечленораздельным мычанием.

Все это случилось накануне пасхальных каникул, которые длятся месяц. В тот же день Юрайда уехал домой и весь месяц прилежно зубрил, так как решил пересдать экзамен после каникул. На каждой странице учебника он написал: «Мы — католические христиане». Он ежедневно посещал святую мессу и жарко молился богу, чтобы ему прощен был грех и из книги жизни были вычеркнуты его безбожные богохульные слова. Родные не могли на него нарадоваться и, когда он уезжал в Прагу, снабдили изрядной суммой. Так Юрайда с сердцем, переполненным набожностью, возвращался в столицу.

## II

— Юрайда, богохульствуй, — были первые слова, которыми встретили его сожители.

Он принялся усовещивать их, призывая помнить о вечном спасении. Как горохом об стену. Друзья хохотали, кричали наперебой:

— Юрайда, богохульствуй!

Юрайда ушел в костел; вечером он сидел дома, повторяя римское и германское право, а на другой день, с полным доверием к богу и уверенностью в своих знаниях, отправился держать экзамен.

И второй раз Юрайда провалился с треском, как будто и не занимался науками, а все вечера напролет позорил гнусными словами святую Орлеанскую деву.

В полдень, расшвырявший, он влетел в трактир, куда ходили язычники Мразек и Колинко, и гаркнул на все помещение:

— Ох, как я сейчас побогохульствую, я опять провалился, теперь мы атеисты!

Приехал как-то в Прагу дядя-священник и, не найдя Юрайды дома, пошел за ним в трактир. Там, в компании ганацких студентов восседал его племянник, громовым голосом выводя:

*Господи на небесé,  
Не твори ты чудесé!  
Стоит дуть в твои мехé  
Для дурацкой картохé!*

Дядя-священник моментально скрылся, а вдогонку ему неслось:

*Ты б чудесил для себя,  
Картофь растет и без тебе!*

— Язычник паршивый! — плюнул дядя.

## Тюремная кухня

### I

Вновь назначенный государственный советник министерства юстиции Кёлер получил задание проинспектировать тюрьмы Австро-Венгрии, а поскольку, еще только начиная свою карьеру, этот господин относился к своим обязанностям серьезно, эта поездка обещала многое. Господин Кёлер задумал осмотреть в первую очередь устройство тюремных кухонь, ибо государство, так правильно организованное, как Австрия, должно выполнять свой долг и по отношению к желудкам арестантов. Это подтверждается уже тем, что у нас в двадцатом столетии государство играет роль радушного хозяина не только в тех случаях, когда речь идет о посланниках других стран. Это происходит в случае, когда приговоренному к смерти государство предлагает вечером накануне казни хороший ужин. Как далеко вперед мы шагнули в Австрии по сравнению с веком минувшим, веком варварских обычаев. Правда, мы казним, но элегантно. В роли палача выступает во всех отношениях приятный человек во фраке, сворачивающий шею не так варварски, как раньше, слева направо, а совсем иначе — справа налево, самое же главное отличие состоит в том, что раньше перед казнью ужина не давали, теперь в двадцатом столетии мы скрашиваем осужденному перспективу близкой смерти видами на вкусный и сытный ужин. Бифштекс, жареный цыпленок, гусь, заяц, лосось под майонезом, суп по-королевски — все из лучших ресторанов, — потом какой-нибудь сыр, бутылочка вина, изысканные пирожные. И черного кофе сколько душе угодно. Ради такой благодати и мысли «Сегодня государство угостит меня» — одно удовольствие сунуть голову в казенную петлю. А утешение тюремного капеллана разве пустяк?

Обо всем этом размышлял государственный советник Кёлер по дороге в мошовскую тюрьму. Если правительство так печется о человеке, стоящем, соб-

ственно, одной ногой в могиле, то следует также позаботиться и о людях, заключенных в тюрьму на длительное время. Поэтому государственный советник собирался приехать в первую тюрьму перед обедом и, приводя в изумление начальника тюрьмы и тюремного чиновника, посмотреть, что дают арестантам на обед, из чего состоит этот обед, а главное, он решил этот обед попробовать, отведать. Как я уже говорил, это был молодой человек, хотя он уже получил титул государственного советника, а поэтому все чиновники в министерстве юстиции простят ему желание попробовать пицци из арестантского котла. Бедняга представлял себе этот котел в слишком розовом свете. Считаю также своей обязанностью упомянуть здесь, как государственный советник Кёлер приобрел свой титул.

У начальника отделения в министерстве юстиции был брат, этот брат был женат, а у его шурина был двоюродный брат. Кузен не был женат, зато у него была экономка, водившая знакомство с кухаркой родителей господина Кёлера. Эта кухарка умела делать замечательный пудинг из риса, яблок и картофеля. Экономка кузена шурина родного брата начальника отделения в министерстве юстиции научилась от нее делать этот пудинг. От экономки кузена — кухарка шурина, от нее — кухарка родного брата начальника отделения в министерстве юстиции. В их доме пудинг подавали на стол под названием «пудинг семьи Кёлер». И когда однажды господина Кёлера представили начальнику отделения, последний сказал необычайно мягко: «Ваше имя мне хорошо знакомо, пан Кёлер. Надеюсь, мы поладим. Вы молодой, одаренный человек с будущим».

Так господин Кёлер стал государственным советником, опередив восемьдесят двух старших коллег. Здесь, как мы видим, сыграла свою роль еда, поэтому я думаю, это отступление нельзя назвать притянутым за уши.

## II

Мошовская тюрьма принадлежала к числу тех тюрем, где арестанты совершали больше всего оскорбительных действий против его величества единственно затем, чтобы выбраться оттуда, ибо питание там отвратительное. Основу здешней пицци составляет картошка, капуста и нутряной жир. Удивляться этому не приходится. Начальник тюрьмы растил восемь детей, а тюремный чиновник — шесть. А дети немало стоят, это каждый знает. Управление этой тюрьмой делили между собой, как и положено, начальник тюрьмы, тюремный чиновник, тюремный священник и тюремный доктор. Им подчинялись надзиратели и старшие надзиратели, изрядно скучавшие и притесняемые всеми: и начальником тюрьмы, и тюремным чиновником, и священником, и доктором. Начальник тюрьмы, бывший уланский офицер, величал арестантов не иначе, как словами: «Проклятая свинья!» Он пил водку и поддерживал любовную связь с женой тюремного чиновника. Последний отличался большой вежливостью. Правда, он тоже называл арестантов свиньями, но не тыкал им. Он обращался к заключенным: «Вы свиньи!» Поэтому арестанты прозвали его «Пан Вы — свинья». Он тоже скучал и находился в доверительных отношениях с супругой начальника.

Тюремный духовник не верил в господа бога и утомлял арестантов долгими проповедями о вечной каре. О нем сплетничали, что во время причастия он сдабривает церковное вино коньяком. Священник ухаживал и за супругой начальника тюрьмы и за женой тюремного чиновника, а кроме того, пощи-

пывал украдкой малолетних преступников. Теперь очередь тюремного доктора. Он был человеком мрачным, все болезни лечил водой, хинином и карцером. Доктор наводил страх на больных и ужас на симулянтов. Посты также принадлежали к числу его излюбленных лекарств. Только арестантов, осужденных на пожизненное заключение, доктор окружал заботой, трогаящей до слез. И когда почти не оставалось надежды, он вырывал обреченных из лап смерти и снова отдавал в карающие руки правосудия.

«Это мой долг, — говорил тюремный доктор. — Приговаривая кого-нибудь к пожизненному заключению, государство идет на риск. Никто не знает, когда этот человек умрет, поэтому мой долг как можно дольше сохранить его в живых». Выпив большое количество своего любимого напитка — контушовки — доктор вел с тюремным священником непристойные разговоры.

Четыре тюремных владыки сегодня, как и каждый день, перед обедом собрались в кабинете начальника тюрьмы играть в карты и пить коньяк.

В тот момент, когда начальник тюрьмы хотел пойти с бубнового валета, вбежал старший надзиратель и, отдав честь, сообщил:

— Разрешите доложить, прибыл государственный советник Кёлер из министерства юстиции с проверкой.

— Хорошо, можете идти.

— Что делать, господа? — тоскливо спросил начальник тюрьмы. Вместо ответа его соратники высморкались громко и яростно.

### III

И вот он среди них. Господин советник сидел во главе стола и записывал. Состояние заключенных: «Отличное». «А как у вас дела с кухней?» — спросил вдруг советник.

Начальник тюрьмы с удовольствием отвесил бы ему пару затрепчин. «Кухня у нас, — закудахтал он, — только что окрашена, просторная, отвечает всем требованиям».

Государственный советник отметил это и сказал, что это его очень радует и что он специально приехал перед обедом, чтобы попробовать пищу заключенных.

Начальник тюрьмы сидел, как громом пораженный. «Господа будут пробовать вместе со мной, — продолжал государственный советник, — таким образом мы подадим заключенным хороший пример». Его собеседники грустно закивали головами, им стало не по себе. «Я должен, — сказал начальник тюрьмы необычайно быстро, — отдать кое-какие приказания». Выбежав из кабинета, он позвонил на кухню: «Алло! Алло! Сколько мышей упало в котел с капустой?»

— Несколько, — прозвучало в ответ.

— Выловили?

— Имею честь доложить, разварили.

Начальник тюрьмы вернулся в кабинет бледный. Между тем доктор развлекал государственного советника анекдотом двадцатилетней давности, а господин советник смеялся до слез. В это время начальнику тюрьмы удалось шепотом сообщить тюремному чиновнику: «Несколько. Разварили».

Чиновник выскользнул из кабинета — за бутылку вина.

— Вы, господин советник, еще не при исполнении служебных обязанностей, поэтому позволю себе предложить вам стаканчик вина.

Пока он наливал, начальник незаметно сообщил священнику и доктору прискорбную весть о нескольких мышах, разваренных в капусте. Оба начали икать.

Государственный советник все время посматривал на часы.

— Во сколько у вас разносят обед?

— В двенадцать.

Новый приступ икоты. Начальник тюрьмы, тюремный чиновник, доктор и священник лили в себя вино, как воду. Никакого толку. С приближением двенадцати часов им становилось все хуже и хуже. У них появилось чувство, как будто желудок собирается выскочить из живота и запрыгать по столу.

Пробило двенадцать часов. «Господа, пойдёмте пробовать», — промолвил государственный советник.

В этот момент желудок тюремного чиновника не выдержал. Несчастливого стало выворачивать на уложенные в углу папки с документами.

— Что с вами? — закричал начальник тюрьмы. — Что это...

Он не договорил. Ему показалось, что скользкий от жира мышиный хвостик шевелится у него во рту, между нёбом и языком. Начальник тюрьмы обладал чувством такта и еще успел сказать: «Про...» И ничего больше.

Остальные слюги вынесли из его уст непереважившиеся остатки завтрака и красное вино. Потом начало рвать священника. Наконец не выдержал желудок тюремного доктора. Это было полное и ужасное поражение.

А государственный советник? И ему стало плохо...

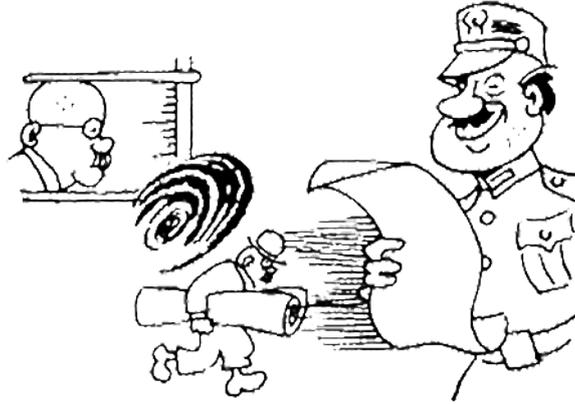
Тем временем обед разнесли.

#### IV

В результате этого временный надзиратель, который покупал в городе красное вино для тюремного чиновника, был немедленно уволен, ибо он купил плохое вино, оказавшее столь удручающее действие на здоровье и желудки благородных особ.

— Пути господни неисповедимы, — сказал надзирателю тюремный священник, — если бы вы были зачислены в штат или если бы господин государственный советник не приехал, с вами бы ничего не случилось.

## Рассказы 1909–1912 гг.



### О святом Гильдульфе

#### I

Тирольское селение Обервашберенталь раскинулось у перекрестка дорог. Само по себе это обстоятельство не представляло бы ничего достопримечательного, но на том перекрестке стоит столб, а на столбе висит образ святого с бичом в руке. А внизу подпись: «Heiliger Hyldulff, ora pro nobis!»[55]

Образ этот не лишен занимательности, поскольку святой Гильдульф указывает своим бичом на селение Унтервашберенталь, будто грозит ему. Примечателен он и тем, что нарисовал его бродячий подмастерье-маляр, когда оказался в неоплатном долгу у старосты Обервашберенталья — содержателя местного трактира. Не в состоянии заплатить, он оказался перед выбором: либо согласиться на предложение старосты и нарисовать «какого-нибудь святого, который грозил бы бичом Унтервашберенталью, где все село сплошь мерзавцы и враги обервашберентальцев», либо отправиться в тюрьму.

Бедняга предпочел первый вариант и, сидя на хлебе и воде, нарисовал святого. Когда же работа была закончена и его спросили имя святого, он в затруднении не знал, что ответить. К счастью, парень вспомнил, что в Линце у него есть дядюшка по имени Франц Гильдульф; дрожащей рукой он вывел тогда под своим творением: «Heiliger Hyldulff», а приходский священник приписал по-латыни: «Ora pro nobis!»

Самое интересное заключается в том, что дядюшка бродячего подмастерья стал святым, сонм святых пополнился еще одним типичным представителем, а жители Обервашберенталья были введены в заблуждение, так как обращались со своими молитвами к святому Гильдульфу в непоколебимой вере, что такой святой действительно существует.

Однако священник вражеского селения Унтервашберенталь, поглядев в святцы, установил, что Гильдульфа там нет.

Обервашберентальцы восприняли это как личное оскорбление. И их священник (который и раньше-то не терпел своего коллегу из Унтервашберенталья за то, что постоянно проигрывал ему в пикет) в ответ на возмутительное утверждение соседа торжественно провозгласил, что святому Гильдульфу во все и не обязательно быть в святцах: совершенно достаточно того, что он вместе с другими избранниками радуется на небесах, а на перекрестке грозит бичом Унтервашберенталю. А в конце концов, пусть в этом гнезде безбожников говорят, что вздумается, хотя бы и вместе со своим духовным пастырем, который жульничает при игре в пикет, — святой Гильдульф будет и впредь представлять за всех, кто горячо помолится перед его образом и опустит свою лепту в кружку, прикрепленную к столбу.

Каждую субботу причетник вынимал из кружки монеты, и негодяи унтервашберентальцы говорили тогда, что священнику понадобились денежки для карт. Все это было им совсем не по нутру. Святой Гильдульф начал успешно конкурировать с их святым, установленным на их перекрестке, со святым Вольмаром, которого обервашберентальцы сразу перестали почитать, как только обзавелись собственным святым.

Теперь, проходя мимо, они пренебрежительно смотрели на святого Вольмара и не останавливались, как прежде, чтобы попросить преподобного настоятеля из города Болоньи ограждать их скот от вздутия, болезней и падежа.

Зато к вечеру, когда солнце в последний раз окрашивало снежные вершины Альп, когда коровы на горных пастбищах, позвякивая колокольцами, укладывались на ночь в загонах, обервашберентальцы останавливались перед святым Гильдульфом и горячо молились, чтобы провел он их счастливо этой грешной жизнью к вечному блаженству, чтобы могли они после смерти вечно радоваться и пить топленое молоко, любимое лакомство всех депутатов из Тироля и Ворарльберга.

— Храни, святой Гильдульф, нас и наш скот от болезней и падежа! Ога про nobis! — просили они и назло соседям весело горланили свое тирольское: «Холарио, холарио! Холари, холари, холарио!»

Что тем оставалось делать? Пить со злости в своих трактирах и поносить святого Гильдульфа.

Нет, дальше так продолжаться не могло! Святого Гильдульфа нужно было чем-то унижить. Некоторые пугались: зачем оскорблять его публично! Бережного бог бережет. А вдруг Гильдульф и вправду существовал?!

Само собой разумеется, что колеблющимся врагам чужого святого и трусам поразбивали головы.

Унтервашберентальский кузнец Антонин Кюммели заявил после сей славной битвы:

— Я осрамлю святого Гильдульфа!

И на следующий день обервашберентальцы нашли своего святого изуродованным: рука, грозившая бичом Унтервашберенталю, была замазана черным скипидаровым лаком. Он стал одоруким.

В Обервашберентале началось повальное рыдание: рыдали старухи и старики, взрослые и дети, рыдал и сам священник, рыдало все селение.

И в тот же день, около трех часов пополудни по селению разнеслась страшная весть: кузнецу Унтервашберенталья Антонину Кюммели полчаса назад отрезало соломорезкой руку.

Сразу всем стало ясно: произошло чудо. В Унтервашберентале поднялась паника. Священник поспешил к старосте и, рухнув на лавку, произнес:

— Святой Гильдульф разгневался!

Это было страшно. И уж никого не интересовало, что кузнец был пьян, когда так неосторожно сунул руку в соломорезку, и что, когда он пришел в себя, то клялся и божился:

— Это не я! Я ту руку не замазывал! Провалиться мне на этом месте! Отсохни у меня язык! Это не я! Отец наш небесный, ведь это был не я!..

Кузнецу никто не верил...

## II

Вскоре кузнец поправился и был осужден судом за святотатство. Все тирольские католические газеты писали о нем как о последней скотине. Напрасно он твердил, что всю ту ночь напролет спокойно спал и что дома у него нет ни капли черного лака. Это не помогало. Преступление кузнеца было настолько очевидным, что никакие доказательства его алиби в расчет не принимались.

Итальянская клерикальная газета опубликовала биографию святого Гильдульфа с указанием даты его смерти. К чести редакции следует заметить, что она, по крайней мере, не сделала из него мученика.

Иллюстрированные журналы поместили фотографию святого Гильдульфа и однорукого кузнеца-святотатца.

В Инсбруке два еврея-старьевщика приняли христианство, поселились в Обервашберентале, основали там торговое дело и начали печатать и продавать открытки с видами его окрестностей.

Было просто необходимо найти поблизости от столба с образом святого Гильдульфа источник целебной воды. По приказанию священника крестьяне изрыли кругом всю долину, но, к сожалению, никакого источника обнаружить не удалось.

Следовало перенести столб куда-нибудь поближе к воде. Священник распорядился поставить его в своем саду, около колодца, аргументируя это тем, что там святой будет охранен от злоумышленников. Одновременно он повесил пять кружек при входе в сад, две — на особый столб около колодца и две добавил к той, которая была под самым образом.

За первую неделю он собрал триста гульденов, на которые вычистил и обложил кирпичом колодец. Все свидетельствовало о том, что Обервашберенталь станет притягательным и выгодным местом паломничества.

Даже в Унтервашберентале перестали молиться своему святому Вольмару.

## III

Между тем осужденный кузнец продолжал твердить, что он невиновен, и был настолько дерзким, что даже подал апелляцию. Это известие вызвало в обоих селениях бурю негодования.

Тут произошла новая неожиданность. В один прекрасный день было обнаружено, что святой Гильдульф смотрит на свет божий голубыми глазами вместо черных, какими он обладал раньше. Хотя здесь и была всего-навсего обыкновенная синька, но выглядело это необычайно красиво. А через три дня у старосты Обервашберентала родился мальчик с прекрасными голубыми глазами, как у отца и матери. В тот же день счастливый отец прибежал к священнику и, целуя ему руку, взволнованно стал рассказывать:

— Произошло новое чудо! Я все думал о том кузнеце. Когда он лишил святого Гильдульфа руки, то и сам утратил свою руку. Вот я и подумал: у меня глаза голубые, родится у нас ребенок, а кто знает, какого цвета будут у него глаза? Мне хотелось, чтобы они были голубые. И тут мне пришло в голову, что если я окрашу святому Гильдульфу глаза в голубой цвет, то и дитя родится с голубыми глазами. И святой Гильдульф услышал мою молитву.

Это новое чудо необычайно взволновало все село. А на следующее утро святой весь был разукрашен пятнышками от извести и цветной глины: это причетник хотел, чтобы ожидаемый теленок родился в крапинках.

Не знаю, исполнилось ли его желание. Не знаю также, как закончилось дело осужденного кузнеца, поскольку апелляционный суд затребовал мнение авторитетного историка церкви, существовал ли на самом деле святой Гильдульф. Знаю только, что Франц Гильдульф держит в Линце напротив вокзала трактир и до сих пор никак не может понять, почему у него вдруг оказалось сразу два крестных имени.

Heiliger Hyldulf, ora pro nobis! Холарио, холарио! Холари, холари, холарио!

## Нравоучительный рассказ

Княгиня фон Шварц состояла в любовной связи со своим молодым исповедником, который слыл непримиримым врагом порока, ибо бог всеведущ и вездесущ. Поскольку же патер был любовником ее светлости, он особенно яростно преследовал порок среди простого народа.

Сам он впервые признался княгине в любви в замковой часовне, а потом сказал:

— Иди, дочь моя, и больше не греши!

Это было так забавно, что княгиня старалась как можно чаще давать ему повод повторять сии библейские слова.

Итак, разделяя с князем благосклонность княгини, он в своих проповедях обличал порок, царящий внизу, у подножья замка, в низеньких халупах, заселенных людьми, работавшими на господском дворе.

Дети этих работников посещали школу, где несколько монашек толковали им закон божий, извлекая из него лишь самые нравоучительные истории. В результате в головах у ребятишек все перепуталось, и когда они приходили домой и слышали, как ругаются их родители, они сидели как пришибленные.

Но какой был толк от того, что детишки под влиянием монашенок тупели и заживо становились ангелочками, если их родители бродили во тьме и не стремились очистить свои души от плотских влечений и страстей?

Княгиня же совершала массу добрых дел, которые уравнивали ее грехи. Она молилась, возмещая набожностью недостаток добродетели. Княгиня верила в милосердие божье как в то время, когда грешила, так и тогда, когда добрыми делами и покаянием очищала свою душу от грехов, ибо милосердие божье беспредельно. Она даже приказала монашенкам варить детям чесночную похлебку.

Люди же в тех халупах, наоборот, жили в грехах и не думали о спасении души, потому что на это не хватало времени: с утра до вечера работали они за несколько крейцеров в княжеских владениях.

Они не молились и при получке весьма непочтительно отзывались о беспредельном милосердии божьем. А когда видели в замковом парке княгиню,

сопровождаемую достопочтенным паном патером, говорили, сплевывая:

— Эта потаскуха и не стареет!

В своем безверии они и не задумывались, что господа поставлены над ними самим господом богом и что княгиня могла услышать их слова.

Говорили они также, что преподобный и досточтимый пан патер — свинья, не помышляя о том, что господь может разгневаться и проклясть их за это. Но бог в своей беспредельной доброте не делал этого, ожидая, что грешники исправятся.

А они продолжали грешить и называли князя «паном буйволом». Один черт знает, как они и додумались-то до этого, ведь в княжеском хозяйстве, если не считать управляющего, казначея и им подобных, они имели дело только с волами.

Итак, они терпели наказание за свои грехи и умирали, изнуренные непосильным трудом, хотя обычно и говорится, что работа на свежем воздухе весьма полезна для здоровья. Уходили они на тот свет, истощенные голодом, несмотря на эту самую хваленую пользу труда на свежем воздухе, а все потому, что были безбожниками, богохульниками и недоедали.

К числу самых больших грешников принадлежали поденщик Вейвода и поденщица Петрова.

Несчастные находились во внебрачном сожителстве и вдобавок ко всему еще хотели обмануть господа бога тем, что в остальном были вполне порядочными людьми.

Но какая же это порядочность, если в результате их сожителства (неловко даже писать об этом!) появились незаконные дети.

Незаконных детей бог наказал тем, что они не получали чесночной похлебки, не были приняты в школу, руководимую монашенками, и не знали посему ничего о госпoде бoге. Они играли себе дома со спичками или копошились около пруда, и порядочные люди из замка ждали, когда же «эти басурманята» утонут либо сторят, ибо бог всемилосерден и карает лишь с той целью, чтобы люди исправились. (Вспомните последнее несчастье в Италии, когда погибло более четверти миллиона людей.)

Все же дурной пример заразителен, и тщетно пан патер после ночи, проведенной с ее светлостью в неусыпном бдении, особенно гневно обличал порок: люди не ходили в костел, не перегружали записями о крещении церковную книгу и не стремились получить благословение божье и заплатить за это благословение служителю божьему.

Обычно какой-нибудь парень просто говорил:

— Ну, девка, давай переселяйся ко мне!

И глядишь, уже живут вместе, к ужасу ее светлости княгини и пана патера, которые живо представляли себе устрашающую участь грешников на том свете.

— Мы по себе знаем, как трудно бывает избежать соблазна, — вздыхал пан патер. — У нас обоих, то есть у меня и у вас, ваша светлость, сильная воля, но плоть слаба, что, конечно, видит всемогущий господь. Но страшнее всего, когда в пороке погрязают бедняки. Какое значение может иметь проповедь, если эти несчастные не ходят в костел!

— Попробуйте тогда воздействовать на них своим личным к ним обращением, преподобный отец.

— Попробую, — ответил досточтимый патер и поцеловал княгиню в затылок.

Итак, в воскресенье он направился к Вейводе, чтобы разъяснить ему, что это за дьявольская выдумка — внебрачное сожительство.

Вейвода сидел за столом и курил трубку. Петрова вязала чулок, а на постели кувыркались их дети.

Пану патеру был предложен единственный стул, а Вейвода пересел на лавку к Петровой.

Патер без всякого предисловия выгнал из избы ребят и начал разговор по душам.

— Вам нужно было быть поосторожней и повнимательней, пока вы не зашли так далеко, что оказались в незаконном сожительстве. Истинно говорю вам: дьявол бродит вокруг нас, аки лев рыкающий, и ищет, кого бы ему поглотить.

— Оно так, — согласился Вейвода.

— Вы не можете даже представить себе, Вейвода, что это за святое дело — законный брак.

— Оно так, преподобный отец, святое дело.

— Ну, вот видите, Вейвода, и вы, Петрова, брак — вещь неоценимая и угодная богу. Неужели вы не понимаете, что если вы живете вместе просто так, то отвращаете от себя милость божью? А, Вейвода?

— Не все ли едино, ваше преподобие!

— Вейвода, опомнитесь! Что вы говорите?! Вам не кажется, что у вас деревенеет язык?

— Чего нет, того нет, ваше преподобие.

— Вейвода, ради всего святого, посещали вы уроки закона божьего?

— А то как же! По закону божьему у меня всегда были пятерки.

— И не жаль вам, Вейвода, того времени, когда вы учились усердно молиться богу?

Вейвода сплюнул.

— Так это, пан патер, было уж очень давно!

— А вы не думаете, Вейвода, что на том свете вам отольются все ваши прегрешения? Меня очень беспокоит ваша загробная жизнь.

— Все едино, ваше преподобие.

— Вейвода, заклинаю вас, очиститесь и поженитесь с Петровой согласно обряду. Ведь то, что вы делаете, это все равно что пожелать жену ближнего своего, как гласит заповедь! Вейвода, помните о вечной жизни, о смерти! Обещайте мне, что исправитесь. Ведь это же свинств, Вейвода! Это то же самое, как сказано в Писании, что соблазнить чужую жену!.. Так что мы сделаем теперь, Вейвода?

Вейвода вынул трубку изо рта, взял пана патера за руку и сказал доверительно:

— Видать, ваше преподобие, мы с вами так и останемся свиньями.

При этих словах ид тер, как ошпаренный, выскочил из избы.

## Клятва Михи Гамо (Из рассказов о Междумурье)

### I

Утреннее солнце выбралось из лениво клубившегося над полями тумана и позолотило купол костела в Дольном Домброве, когда Миха Гамо, самый богатый хозяин в Мурском округе[56], шагал по узенькой тропке над обрывистым берегом бурлящей реки Муры; время от времени он останавливался и погружал взор в шумный стремительный поток, будто пытался отыскать в этих мутных водах, пронесивших мимо глину и компост, разгадку мучившего его вопроса: «Кому же это я вчера в корчме у перевоза обещал отдать в жены свою дочку Матешу?» Но вздувшиеся воды Муры все так же выводили свою однообразную песню, и Миха Гамо, недоуменно качая головой, продолжал осторожно продвигаться вдоль крутого берега, утирая потный лоб. Несмотря на утреннюю прохладу, он вспотел от размышлений, ведь еще ни разу в жизни не случилось ему думать так напряженно, как сегодня.

Позавчера, помнится, поехал он в Любрек, на хорватскую сторону, продать десяток коней и взял с собой трех батраков — Крумовика, Растика и Кашицу. Всех коней он с выгодой продал и на обратном пути вчера днем заглянул с батраками в корчму у мурского перевоза. Народу там было порядочно, это он хорошо помнит. Корчмарь, Матео Лучик, проклятая его душа, все подносил и подносил — то вино, то рыбу с красным перцем, а вино у него отменное.

— Ну что, ребята, — предложил тут Миха Гамо батракам, — не пропить ли нам ну хоть того маленького жеребчика, что ржал всю дорогу?

— Да будет на то воля божья, — ответили те, и велел Миха Гамо принести кувшин «напейся-не облейся» с дырками по краю, так что, если наклонить его, вино через эти дырки вместо рта на землю льется. Не всякий изловчится напиться из такого кувшина.

Вино через ручки вытекает — и надо в одной ручке дырку пальцем заткнуть, а через дырку в другой ручке вино потягивать. Но до чего же вкусное вино из такого глиняного кувшина! Пьется приятно и быстро, а разогревает медленно. Выпьешь, долъешь и дальше передаешь, тот выпьет, снова долъет и дает третьему. Глаза начинают блестеть, и вот уже вокруг такого кувшина все запели, а проклятая душа, Матео Лучик, все подносит и подносит вино, то, что с виноградников под Вараждином.

— А что, хороший я хозяин? — спрашивает Гамо.

— Добрый хозяин, — отвечает Крумовик, а Растик с Кашицей и другие крестьяне пьют за его здоровье — Льеков, Опатрник, Къелин и еще кто-то, всех и не упомнишь. Когда вино на столе, вроде все знакомые, а после поди вспомни, с кем братался-целовался. Все крутится, в глазах мельтешит, ноги будто чужие, а ты знай весело напеваешь:

— Дой-думдойдой-дум-дум...

Плетешь невесть какую околесицу, еще и божишься, и чем только не клянешься. Матео Лучик от страха даже крестится. И вот, оказывается, поклялся ты отдать Матешу, дочку свою единственную, в жены новому своему побратиму, а кто он таков, наутро, проспавшись, и не помнишь. Ни кто он, ни откуда, с тобой ли пришел, раньше ли в корчме сидел, попозже заявился или еще как.

Может, был то Крумовик или Растик, а может, и третий — Кашица, что не видит на один глаз. Все из памяти выскочило, только и помнишь, что божил-ся, клятву страшную давал, поминал господа бога, а то, может, и крест целовал, и весь народ звал в свидетели...

Дойдя в своих воспоминаниях до этого места, Миха Гамо удрученно сел в траву на берегу, ломая голову, как быть дальше.



И до того ему было тоскливо, прямо хоть плачь.

Но тут, на счастье, вспомнил он о своем покровителе, святом Михе — Михаиле, и вознес к нему молитву, прося ниспослать в его дрянную, глупую, безрассудную башку хоть какую ни на есть полезную мыслишку.

Произнося молитву, уставился он на желтые воды вышедшей из берегов Муры, глядел, как крутятся водовороты, как волны терзают берег, швыряя в него грязную пену.

И почудилось ему вдруг, когда прищурил он глаза, будто сам святой Михаил шепчет на ухо: «Осторожно расспроси своих работников насчет вчерашнего...»

— Благодарствую, святой Михаил, — набожно сказал Гамо, — а если совет твой поможет, закажу новый оклад к твоей иконе, что дома у меня висит, и позолотить отдам.

Он поднялся и зашагал вдоль берега к своей плавучей мельнице на реке, где работники мололи кукурузу. Чем ближе подходил он к этому сооружению из двух лодок, привязанных цепями к кольям на берегу, с большим колесом между ними, и чем явственней долетал до его ушей стук мельничных колес и хриплое пенье работников из дощатой будки на лодках, тем медленнее становились его шаги.

«А вдруг я посулил Матешу Крумовику, или Растику, или одноглазому Кашице?»

Он поднялся на мостки и с бьющимся сердцем вошел в будку.

— Dobar dan[57], ребята, бог в помощь!

— Dobar dan, дай бог здоровья, gospro — хозяин!

— Ну, как вы, ребята, после вчерашнего, голова не болит?

— Не болит, хозяин, а сам-то ты здоров?

— И я, Крумовик, bog mi dao[58] здоров, вот вышел поглядеть, как тут у вас помол идет. Что, много ли муки из нынешней кукурузы?

— Сыплется, слава тебе господи.

Миха Гамо присел на мешки и неуверенно произнес:

— А что, братцы, вчера у Матео Лучика ничего я такого дурного не говорил? Работники смущенно топтались у жерновов.

— Ну, — серьезно произнес старший из них, Растик, — мы всего не помним, только вот Матешу ты кому-то в жены пообещал. Верно пан священник говорит: чертово вино чудеса творит и очи застит. А кому обещал — не ведаем, мы уж тут вспоминали, только никто его и не знает. Ты и клятву давал, да плохо мы ее запомнили, так, что ли, Кашица?

Одноглазый Кашица вздохнул и ответил:

— Начал ты вроде хорошо, по-христиански начал: «U ime Oca i Sina i svetog Duha»[59], я, Миха Гамо, клянусь...» а уж потом и нечистой силой клялся, и чертей красных приплел, которых пан священник в проповеди поминал.

— И еще о диком вепре, — грустно добавил Крумовик, осеняя себя крестным знамением, — пусть, говорил ты, дикий вепрь мою могилу разроет, а меня нечистым своим пяточком обнюхает. Верно, Кашица? И чтоб не было мне на том свете покоя, и чтоб мне грозой дом спалило, водой поле залило, воронье глаза выклевало, чтоб мне без рук, без ног остаться, и пусть мне волки уши обглодают, и кишки мои сгниют. Чтоб помереть мне без отпущения грехов, и чтоб черти мою душу через навозную кучу в пекло затащили, и чтоб жариться мне там веки вечные...

— А уж потом, — сказал Растик, — ты добавил: «И да поможет мне в том бог отец и сын и дух святой!» Правда, вот кому это ты клялся, мы чего-то не припомним, затмение на нас нашло.

\* \* \*

Невеселый вернулся домой Миха Гамо. Обед на столе, от капусты пар валит, и баранина жареная благоухает, только Миха ни к чему не притронулся, сидит за столом и пальцами по лавке постукивает.

— Ох, Матеша, — вздыхает Гамо, — отец твой на старости лет совсем рехнулся. Вчера у Матео Лучика какому-то человеку тебя в жены пообещал и клятву дал страшную, а кто тот человек, откуда пришел, и не знаю. Вот до чего зелье проклятущее доводит. Надо бы вечером к Матео Лучику сходить, может, тот знает...

— Ну что ж теперь, — через силу улыбнулась Матеша, — ты ешь, а то баранина быстро стынет.

## II

В Помурье дурнушку сыскать не так-то просто. На хорватской стороне об этом так говорят, не совсем, правда, учтиво:

— В Междумурье коней покупай и невесту сватай.

А девушки из Дольного Домброва сльвут самыми красивыми в Помурье, и какова же, надо думать, была Матеша Гамова, если шла про нее молва, будто краше всех она в Дольном Домброве.

И парни в Помурье тоже красивые и крепкие.

— Конь из Помурья в упряжке хорош, а помурянский парень в драке один троих стоит, — говорят опять же на хорватской стороне.

Самым же видным парнем был в Домброве Власи Сочибабик, тот, что по вечерам, когда парни с девушками сидели у дворов под шелковицами, ходил взад-вперед по селу и ни на одну лавку не глядел, кроме той, где сидела Мате-

ша Гамова.

И когда парни вечерами, прохаживаясь по селу, запевали песни, Матеша Гамова только Сочибабика голос и слышала... Хотя уже признался Сочибабик сестре своей Драгунке, что любит Матешу, самой ей не говорил пока ничего; правда, та от Драгунки уже про все проведала.

Как же тут было не сокрушаться Матеше, что до сих пор не открылся Сочибабик отцу ее, Михе Гамо. Так и так, мол, люблю вашу дочку, а отец, уж она-то его знала, вынес бы вина, угостил Сочибабика, а потом велел бы позвать Матешу и спросил у нее: «Ну, Матеша, вот Сочибабик пришел и, как тому положено, просит у отца благословения, значит, взять тебя в жены. И я, отец твой, спрашиваю, хочешь ли пойти за Сочибабика?» — «Хочу», — ответила бы Матеша.

Потом бы все целовали крест и в костеле поставили бы свечи по случаю согласного сватовства. А через неделю пришел бы отец жениха Филип с дядюшкой Стражбой.

«Кум и сосед, — сказал бы папаша Филип, — вот мы пришли к тебе выпить по чарке вина и узнать, не раздумал ты отдать за моего сына свою Матешу?»

«Не раздумал, — ответил бы Миха Гамо, — добро пожаловать, давайте выпьем вина и отведаем белой курицы».

Матеша зажарила бы белую курицу и съела ее сердце на счастье в супружестве, и тогда, по правилам, должны были уже Филип и Стражба поставить в костеле по большой свече, на которых свечник из города вырежет «Матеше Гамо, Власи Сочибабик, дай бог здоровья!» И горели бы эти свечи с утра до вечера целую неделю, а когда они догорели б, позвал бы пан священник Матешу и жениха ее в приходский дом, а там уже будут и Миха Гамо, и Филип с дядюшкой Стражбой, и нотариус Палим Вращень. Надо будет составить брачный договор о том, сколько земли и скотины уступит Сочибабика отцу, а сколько в приданое за Матешу даст Миха Гамо.

Брачный договор подпишут, обмоют это дело вином и пану священнику заплатят за «оровједенје»[60].

«Ну, — скажет пан священник, — соседи могли бы добавить». И те не поспеют. Первое оглашение, потом — второе, третье, а там уже и до свадьбы недалеко...

Размечтавшись обо всем этом, Матеша даже всплакнула. Вот глупый этот Сочибабик, все бродит молча по вечерам да улыбается с важным видом...

\* \* \*

После обеда Матеша Гамова отправилась на перевоз к Матео Лучику.

— Матео Лучик, кум дорогой, хочу я тебя об одном одолжении попросить.

А Матео Лучик, хоть и старик уже, но стоит пригожей девушке заговорить с ним, ретивое у него зыграет как прежде.

— Чего тебе, Матеша, голубка?

— Матео, милый, отец тут вчера у тебя напился. Что это за люди с ним были?

— Да ваши же работники, Матеша, и другие мужики — Льеков, Опатрник, Къелин и еще кто-то, все пьяные, и еще был тут...

— А Сочибабика здесь не было, Матео Лучик, милый?

— Нет, голубка, не было. Сидели тут Льеков, Опатрник, Къелин...

— Послушай-ка, Матео Лучик, век тебя не забуду, скажи вечером отцу, что

был тут Сочибабик и что это ему он пообещал меня в жены и клятву дал.

— Понимаю, Матеша, голубка, все сделаю как надо, а ты уж поцелуй старого Матео... Все, голубушка, не бойся, Матео Лучик свое слово держит.

\* \* \*

Птицей летит Матеша по дороге меж кукурузных полей, радостная спешит домой и весело напевает, глядя, как люди обрывают крупные початки...

III

Вечером Миха Гамо уселся перед корчмой у перевоза, закурил трубку, прихлопнул пару комаров на носу и спросил Матео Лучика:

— Ну что, Матео, хорошо тебе вчера было?

— Хорошо, Миха, а ты как?

— Худо мне, Матео, грех я на душу взял. — Он вздохнул и продолжил, — как выпью, так и несую невесть что.

— А Сочибабик-то это как пришлось, а, Миха?

— При чем тут Сочибабик, чего ты о нем вспомнил? Я тебе толкую, что согрешил и что теперь нам, несчастным...

— Ах, Миха, ты что же это не помнишь, что ли, что поклялся отдать Матешу Сочибабикку?

Тут Гамо встал и бросился обнимать Матео:

— Прямо камень с души снял. Сочибабик — хороший парень, и отец его Филип — добрый мой сосед, я уж сколько раз с ним братался. И ведь никто вспомнить не мог, кому это я клялся — ни Кашица, ни Растик с Крумовиком, никто не помнит. Все в грех впали, напильсь как нехристи, ну и я туда же. Я уж боялся, не затесался ли к нам нечистый, бес собачий, сучья кровь, не ему ли Миха Матешу посулил? Разве не слыхать по Междумурью, что нечистая сила христианам докучает? Покойница мать рассказывала, как ее отец, светлая ему память, поехал раз в Вараждин коров покупать. Купил, значит, и возвращается вечером домой. А купил как на подбор — одних черных. Гонит он их по дороге через лес за Любреком и чует — серой запахло. Кругом тьма-тьмушная, и вдруг коровы начали светиться. Шерсть у них засверкала, а хвостом махнут — будто молнии сыплются, и обернулись те коровы чертями, — Матео перекрестился... — стало быть, из коров превратились они в чертей, в нечистую силу, и сплясали чардаш вокруг горемыки христианина и сгинули в дубняке. Так и пришел он домой без коров, перепуганный насмерть, и всю дорогу из лесу голоса слышал: мачада, мачада, мачада... А плодятся черти больше всего в болотах у Муры и Дравы. Правда, люди и другое болтали, будто тех коров он в карты проиграл. Вот и поди знай, черта ли ты встретил или еще какую нечисть. Так и я мучился. Слушай, Матео, принеси-ка бутылку вина, запьем лучше эти страхи, да и за здоровье Сочибабика выпьем.

Выпил Миха Гамо с Лучиком, повеселел и обещал ему, что на свадьбу Матеша вино у Матео возьмут, то самое, что с вараждинских виноградников, А бутылки на счастье о деревья расколотят. И напроносят они им радости и счастья в жизни.

Допоздна засиделся Миха, а домой собрался, уже совсем как стемнело. И перепутал он дорогу, вместо поля пошел по узенькой тропке вдоль берега Муры. Тропинка узкая, а Миха на ней чардаш отплясывает. Распугал дроф, спавших в камышах, те поднялись с криком.

Большая дрофа на лету задела Миху крылом. А луна не светит, дорога в

темноте, воды не видать, острых листьев камыша и то не видно. Нехорошо это, дурной знак...

Выбрался Миха из камышей, приплясывая на крутом берегу, а волны Муры ему такт об берег отбивали. Эй, гой-гой-гой-гоп! Топал Миха по самому обрыву, и тут край тропинки под ним рухнул, закружила вода Муры самого богатого хозяина, тонет Миха, в ушах у него звенит, а в голове последняя мысль бьется. — завлекла его, значит, нечистая сила... И вполне могло выйти так, что Матео Лучик был тем последним, кто видел Миху Гамо живым.

#### IV

В каталажке вараждинского суда лежали под вечер на нарах пятеро бездомных бродяг, скитальцев, которых выловили в вараждинской жупе гайдуки и сельская стража.

Разлегшись на нарах, они вели между собой беседу о путях-дорогах.

— Да, — начал один, — трудно нашему брату на хорватских землях. Там, за Загребом, крестьянам самим есть нечего. А на пути из Загреба через горы селений и вовсе нету. Скалы одни, голые, как эти вот стены. Еле доберешься.

— В Далмации — другое дело, — вставил второй, — вот куда ходить надо. У всех в подвалах вино, далматинцы угостят, итальянцы напоят. А то иди в Крайну. Там, в Крайне, народ добрый. Накормят путника и денег дадут.

— У Постойны хорошо просить, — сказал маленький бродяга, — стоишь, бывало, люди мимо идут, видят, что странник, и подают...

— Я так скажу, ребята, — еле слышно произнес старый бродяга, который до той поры молчал, — ни к чему по чужим дальним странам шататься. За Муру идите, в Междумурье. Вот где путника привечают. Раз пришел я к Муре, в корчму, что у переправы стоит. Зашел, угостили меня вином из кувшина «напейся — не облейся», вместе с мужиками пью, будто ровня им. И подходит ко мне один пожилой хозяин, Михой его величали, обнял меня и сулил отдать в жены дочку свою. И обещание свое клятвой скрепил, такой страшной клятвой — у меня аж волосы дыбом встали. Богородицей клялся, отцом, сыном и святым духом... Правда, братцы, неплохо там.

— Что же ты, старый, там не остался?

— Да как начали меня крестить, я из рук у кума возьми и выскользни, и с тех пор несчастье так и ходит за мной по пятам. Выхожу я утром из этой самой корчмы, а навстречу жандарм, черт бы его побрал. «Лучше будет нам дальше вместе идти», — говорит, будь он проклят, чтоб ему мать обесчестили, отца убили...

И привел меня в город, из города за Драву, по этапу, а из Любрека сюда в Вараждин. Но вы, братцы, в Междумурье сходите, вас там приветят, дочерей своих посулят и самой страшной клятвой обещание свое скрепят...

#### V

Матеша Гамова бродила по двору сама не своя. Поздно уже, а отца все нет.

«Разве что задержался, — думает она со страхом, — ведь потом вдоль Муры пойдет пьяный. Берега-то крутые, обрывистые, рухнут невзначай, папаша ведь тяжелый».

— Эй, Растик, — зовет Матеша, — бери два фонаря, да пойдем-ка хозяина, отца встречать.

Сонный Растик, ворча, зажег фонари, и они вышли в ночь, в темноту.

— Послушай, Растик, — говорит ему Матеша, — не слышал ты чего о вода-

ных разбойниках?

— Слыхал, бабка, бывало, нам, ребятишкам, вечером как станет рассказывать, так мы сразу в рев. Про то, как водяные разбойники, злые духи, по ночам под бережком караулят. Идешь вдоль берега, а они тихонько так, спаси нас богородица, посвистывают. И если кто этот свист услышит, надо «Верую» задом наперед сказать — не то злые духи тело его ухватят. От их свиста берег дрожит и рушится... И не заметишь, как заманят тебя на край, и свалишься в воду, прямо в омут. А омут тот — тоже сила живая, злая, кружит она в воде души грешных утопленников. Схватит тебя такая вот грешная душа, и, ежели ты грешен, вода из тебя дух выжмет, и потонешь ни за что ни про что. А кто же не согрешит за всю жизнь? Немного таких найдется, кого бог помилует и ниспошлет ангела. Ну, а покуда ангел подоспеет, тебе самому надо с дьяволом справиться, водоворот остановить, а то, к примеру, выругаешься в воде, бог от тебя отступится и не поможет. Есть в реке и чистые души деток утопших. Коли заглотнешь с водой такую душеньку, дитяtko божье за тебя похлопочет. Хуже, если проглотишь с водой душу самоубийцы. Самоубийца покоя не знает, душа его в тебе начнет метаться, оглушит тебя, в водорослях запутает, на берег выбросит, тогда конец тебе, утонешь, не высвободишься.

— Растик, а что водяные?

— Эти у нас не водятся, Матеша. Они быстрого течения не любят, худеют от него и силу теряют. А ежели все же родится такое из дерьма самоубийцы-«самомора», то на Муре такой водяной обернется чайкой и улетит в болота, на Дольные земли либо на озеро Балатон.

— Поддай мне один фонарь, Растик, раз уж мы у мельницы, сяду-ка я в лодку и поплыву вдоль берега, вдруг папаша надумал все же по-над Мурой, честь ей и хвала, возвращаться. Ты, Растик, ступай кукурузным полем, вдруг хозяин-батюшка там пошел. А я погребу к перевозу и зайду к Матео Лучику, коли там отец, мы с тобой у Матео встретимся.

Матеша отвязала лодку, закрепила на носу фонарь, заплескали по воде весла, и поплыла лодка по Муре, честь ей и хвала, как сказала Матеша, потому что не приведи господи прогневать реку...

Матеша плыла в темноте, которую лишь на несколько метров разгонял свет от фонаря. Лучи света и плеск весел пробуждали от сна ласточек-береговушек, которые попискивали в ночной тиши и испуганно вылетали из своих гнезд в высоких берегах.

Вдоль самого берега ведет лодку Матеша, и что же видит она за излучиной реки?

Видит фонарь на другой лодке и слышит плеск весел.

Может, кто-то из Дольного Домброва рыбу ловит?

Подплывает ближе и различает лодку, а в лодке кто-то сидит, вздыхает.

Вот лодки почти поравнялись, и тут в тишине реки и берегов с другой лодки раздается:

— Здравствуй, Матеша!

И Матеша отвечает:

— Здравствуй, Сочибабик!

Так это Сочибабик, оказывается, вздыхал в лодке, Власи Сочибабик, славный парень, сын Филипа.

— Куда ты так поздно, Матеша?

— Да вот папаша ушел вечером к Матео Лучику, а мне тревожно за него, дома сидеть невмоготу. Растик пошел ему навстречу через поле, а я вдоль берега к перевозу плыву.

И поплыли две лодки рядышком.

— А ты, Сочибабик, куда на ночь глядя собрался, не иначе как рыбу ловить, только что же я сети не вижу?

— Ах, несчастная моя жизнь, — вздохнул Сочибабик, — не спалось мне дома, все думал-думал, а потом вышел вон, отвязал лодку и поплыл, куда вода понесет. Горемычный я человек, Матеша. Отец твой Миха, по деревне говорят, вроде вчера у Матео обещал тебя в жены отдать, а кому — не знает, и что вроде как поклялся он.

Лодка Сочибабика обогнала Матешу.

— Подожди, — зовет Матеша, — не шуми веслами, я тебя не слышу.

И снова поплыли лодки бок о бок.

— В чем же твое несчастье, Сочибабик?

Вздохнул Сочибабик и, подумав, сказал:

— Много девушек кругом, есть среди них и красивые, но ты, Матеша, краше всех. И, выходит, лучше мне утопиться.

— Опять ты меня обогнал... Так почему тебе лучше утопиться?

— Посулил тебя отец кому-то в корчме...

Сочибабик так заработал веслами, что Матеша еле его, беднягу, догнала.

— Не печалься ты, да подожди грести, не думай про это, да говорю же тебе: не греби, это ведь просто так болтали. Ну что, теперь ты доволен, Сочибабик?

Сочибабик со вздохом тихонько спросил:

— А ты бы пошла за меня?..

И снова оказался далеко впереди.

— Да подождешь ты меня или нет, Сочибабик? — кричит Матеша. — Подыми весла, послушай, что я тебе скажу.

И снова лодки плывут вместе, Сочибабик сидит бледный и тихо ждет ответа.

— Ну что, Матеша, пойдешь за меня?

— Пошла бы с божьей помощью, Сочибабик... Тихо, а то лодку перевернешь. Ты нагнись немножко, и я тоже, поцелуй меня, если хочешь, Власи!

Тихо плещут весла, и плывут в лодках два счастливых человека — Матеша и Власи. Несет их вода, и говорят они друг другу о любви... Но что это послышалось вдали на берегу? Веселый крик и топот «эй, гой-гой-гой-гоп», будто кто чардаш пляшет.

Все ближе горланят.

— Папаша идет, — восклицает Матеша, — храни его господь и святой угодник Михаил.

— Эй-гой-гой-гой-гоп!

И тут вдруг рухнул край берега и что-то тяжелое плюхнулось в воду.

А лодки уже спешат, несутся к тому месту. Смотрите, вот он, Миха Гамо, мечется в воде, будто душу самоубийцы проглотил. Крутит его на том месте, где корчатся в воде души грешных утопленников, кружится с ним водоворот, но вот крепкая рука Сочибабика поднимает Миху над водой. И что же видит Матеша, когда подплывает к лодке Сочибабика? Папаша Миха лежит в лодке

весь мокрый, а Власи старается из него воду выкачать.

Тихо подплыли лодки к переправе... Кликнули Матео, он прибежал, и недвижимого Миху вынесли из лодки на берег, а потом отнесли в дом. Позади них бредет Матеша, руки заламывает и причитает. В доме уложили Миху на пол, на грудь крест положили, потом достали свяченой воды, смочили ему виски и ложку водки в рот влили. И глядь — ожил Миха, медленно открыл глаза. Подвинули ему крест поближе к горлу, и Миха произнес:

— Где я?

После этого крест положили уже на лицо, чтобы и мысли пришли в порядок... Миха приподнялся, огляделся вокруг, увидел Матео, Матешу, Сочибабика да как разрыдается:

— Да что ж я за человек такой, будь я проклят, пьяница несчастный, Матешу чуть без отца не оставил, Сочибабика без тестя.

Матеша руку Сочибабика сжала и шепчет:

— Слышишь, Власи!

Миха заплакал и стал допытываться, не видал ли кто на реке голубого света — чертова знака, и не слышал ли кто непонятные голоса: мачада, мачада, мачада!

Никто ничего не слышал.

— Слава тебе, святой Михаил, — обрадовался Миха, — ушел я от нечистой силы...

Тут и Растик появился из темноты. Услыхав про случившееся, он даже прослезился и рассказал, что, пока он шел полем, ветра не было, а фонарь вдруг погас и высоко над головой услышал он звуки: джву, джву.

Видать, злые духи водили свой нечистый хоровод.

А Матео побожился, что, как ушел Миха, спустил он собаку и та, оборотясь к реке, три раза протяжно и тоскливо провыла...

В такую зловещую ночь страшновато им было домой идти и все остались ночевать в корчме. Чего понапрасну к нечистой силе в гости набиваться? Матеша легла в каморке, а мужчины остались в горнице языки почесать. Зашел разговор и о клятве Михи. Подивился Сочибабик, когда сказал Миха, что клятву ему давал, но и Матео Лучик подтвердил, тут и Растик вспомнил, что точно Сочибабика посулил Миха Матешу.

Власи божился, что в тот вечер он на реке рыбу ловил, и уж никак не мог быть в корчме у перевоза.

Вот какие странные вещи творятся, всеблагой наш спаситель, не иначе как темные силы избрали Междумурье местом для шабаша! А Сочибабик прошептал этим темным силам короткую молитву, благодаря за случившееся, и все думал про свою Матешу, пока не уснул, положив голову на стол у Матео Лучика...

## VI

Миха Гамо заказал благодарственный молебен по случаю избавления от нечистой силы.

— Как есть язычники, — отметил про себя пан священник, запирая в кассу деньги и улыбаясь при этом, как, вероятно, и любой другой уважаемый житель Междумурья перед свадьбой в богатой крестьянской семье... Уже догорела толстая свеча с вырезанными на ней именами Матешы и Сочибабика, уже состоялось первое оглашение и свидетели подписали у нотариуса Палима

Врашения брачный договор, который начинался словами: «U Krista Boga[61], я, Михи Гамо...»

Не меньше четверти часа прошло, пока ставил Михи свою подпись. Он очень старался, хорошо понимая важность документа, но запутался настолько, что сперва никак не мог вспомнить, как пишется буква «г», а потом и прописное «м» в слове ГАМО доставило ему массу неприятностей. Вместо трех палочек он написал пять, захотел исправить, но от чужого сочувствия стал совсем бестолковым, нажал слишком сильно и вместо собственного имени изобразил небольшое озерцо.

В конце концов он просто поставил три крестика, и свидетели, Стражба и остальные, последовали его примеру, призывая при этой тяжелой и ответственной работе в помощники святого духа; тот поспособствовал, и крестики красиво и ровно обозначили по очереди Стражду, Льекова, Опатрника и папашу Филипа, что скрепил под ними своей подписью нотариус, Палим Врашень, постаравшись и в службу и в дружбу.

Пока жив, будет оставаться Михи главой в доме, а как отдаст богу душу, наследство примет Матеша, и жить супруги до самой смерти Михи будут в доме Сочибабика, а с хозяйства Гамо брать процент, всегда неизменный, будет урожай или нет, прибавится ли скотины или убавится. И Сочибабик-отец тоже останется главою рода Сочибабиков до самой своей смерти, и свою «киси»[62] передаст Власи лишь в знак отцовской любви, а вовсе не потому, что захочет уйти от дел. Когда же умрет старый Сочибабик, главою станет Власи, и в светлую память об отце поставит часовенку у дороги из Дольного Домброва в Горный, и посвятит ту часовенку святому Филипу Нерею, богоугоднику, рожденному во Флоренции, в возрасте восьми лет провалившемуся с ослом в погреб и с божьей помощью от увечий и смерти спасенному.

Матеша в память о покойном Гамо тоже поставит часовню в честь его небесного покровителя, святого архангела Михаила, ангела второго ряда, и стоять она будет на дороге к перевозу, а если родится у Матешы сын, назовут его Михой.

— Будет тебе, — увещевал Михи папашу Филипа, когда тот при составлении брачного договора требовал, чтоб будущий внук звался Филипом, — хвала и честь святому Филипу, только ведь святой Михаил святее его, он самого черта из рая изгнал.

Состоялось и второе оглашение, затем и третье, и уже нотариус встречает свадебную процессию и регистрирует гражданский брак в книге регистрации бракосочетаний королевства венгерского[63].

После гражданского бракосочетания все направились в костел, бросая за спину горох.

Михи Гамо выпил у нотариуса два литра вина и теперь растроганно плачет, сестра Сочибабика, Драгунка, ведет невесту, а та, в сапожках со стельками из листьев подорожника, чтобы жить с мужем в согласии, шагает потихоньку и все оглядывается на веселое лицо Сочибабика, которого согласно мудрой традиции свидетели ведут в костел за руки.

— Поглядите-ка, на той стороне играет и ловит мух трехцветный котенок. Это счастливая, очень счастливая примета.

— До чего ж славная зверушка, — всхлипывает дядюшка Стражба, взволнованный не меньше, чем счастливый отец Михи, — мышку бы ему кинуть...

Учитель Вовик уже поджидает с музыкантами на хорах, свадебная процессия входит в костел. Звучит орган, гудит контрабас, жалобно поют скрипки, трещит маленький барабанчик — хоть и ни складу ни ладу, зато трогательно и по-церковному.

Миха готов бежать на хоры обниматься с учителем Вовиком, но понимает, что сейчас не время, пускай сперва обвенчают.

Досточтимый пан священник водружается на кафедру и читает из Евангелия:

— «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог дал своего единственного сына, — возвещает священник, — и ты, Миха, отдаешь свое единственное чадо и расстаешься с ним.

Миха, тронутый сравнением, проливает слезы и рыдает в голос, а священник продолжает излагать свою мысль о том, как же может быть счастлив Миха, отдавая свою дочь такому хорошему и достойному человеку, как Сочибабик.

Речь священника изредка прерывается паузами — должно быть, ему видятся пятьдесят золотых, лежащие в кассе, пятьдесят золотых за таинство бракосочетания, и еще думает он о свадебном угощении и вине.

Через полчаса священник заканчивает тем же, с чего начал:

— «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому».

Музыканты на хорах наяривают что есть сил, уже чую ароматы свадебного стола.

Служба. Министранты не поспевают за священником и глотают фразы: вместо «vobiscum»[64] звучит только «cum», затем «um» и, в конце концов, «m».

«Ite, missa est...»[65] Это единственное целое предложение, которое сумел выговорить священник — «отпусти, господи, грехи его», — и потерявшие терпение министранты отвечают «dras» вместо «gratias»[66], несмотря на страшные глаза, которые делает священник.

Все в переполненном костеле смотрят на Сочибабика и Матешу, коленопреклоненных пред алтарем. Лишь учитель Вовик, поговорив с Растиком, с таинственным видом извещает музыкантов, что на столе сегодня будут оленьи окорока.

И вот уже звучит в полной тишине «да» Матеша и из толпы гостей отзывается низкий голос растроганного Михи «да, да, да».

Весело играют на хорах музыканты, из костела валом валят зеваки и, приплясывая, выходят гости.

Власи ведет Матешу, вслед им звучит музыка, а перед костелом их встречают другие музыканты. Это цыганский голова Бурга со своим оркестром: загородив дорогу, грянули и они. А у общинного дома поджидают пятеро верховых со старинными саблями и пылающими факелами.

Подлетают ближе, саблями размахивают, кричат что-то неразборчивое — выкуп требуют от жениха. Остался этот обычай в память о турецком владычестве. Тогда, сто лет назад, в десяти часах езды отсюда в Надъканиже развеялся зеленый флаг и сверкал полумесяц канижского пашалыка, а турки учиняли

в наших полях набеги и в Мурском округе на свадьбах от гостей выкуп требовали.

Жених дает парням по золотому, тут подходят стрелки с «жупаном» и требуют на порох. Получают свое и эти.

Тут выходит старуха Григорова, бабка-повитуха, и трижды обходит вокруг, пританцовывая, чтобы дети у них родились, а парни палят из ружей и пистолетов, аж уши закладывает, чтобы дети были сильные, красивые и смелые.

Цыгане и деревенские музыканты играют разом, и все шествие с плясками выходит за околицу. Разве не в селе будет свадьба? Нет. Свадебный стол накрыт у Матео Лучика, там Михя поклялся, что выдаст Матешу за Сочибабика, так пусть и гулянье там будет, коли сдержал он свое слово.

Половина села приглашена на свадьбу, Матео Лучик встречает гостей уже на полдороге, а с ним еще один цыганский оркестр с хорватского берега.

И вот уже играют три оркестра, конец дороге — они у Матео.

До чего толково он все устроил, длинные, покрытые белыми скатертями столы стоят на зеленом лугу, в тени деревьев помурянского леса. На опушке леса кругом костры разложены и сырой хворост заготовлен, чтобы к вечеру комаров дымом разгонять.

## VII

Такого свадебного застолья в Мурской округе давненько не бывало.

Два жареных вола дожидаются, чтобы их разрезали. Кур уже съедено не один десяток, и четыре оленьих окорока из-за Дравы пришлись по вкусу и гостям и музыкантам. Жареные шницели из дроф и мягкие кукурузные лепешки, помазанные абрикосовым повидлом. Блюда печеные, жареные, тушеные. И вино красное, столько его пьется, что хоть литр разлей — никто и не заметит, вот сколько вина.

Слышны песни, играет музыка, трава затоптана — танцуют чардаш.

Миха подпрыгивает в танце, плачет, смеется. Плачет и пляшет Стражба.

Ну, а как там Къелин, Опатрник, Лъеков, Кашица, Растик, Крумовик и другие: священник, учитель Вовик, нотариус Палим Врашень? Едят, пьют, пояса распустили, толкуют меж собой, все на равных.

Что же касается Матео Лучика, то он как раз ведет у перевоза беседу с четырьмя странниками.

— В Вара жди не кой тюрьме, — начинает один из них, голова их и предводитель, — рассказывал нам старый бродяга, брат наш, что по Междумурью хорошо странствовать и что крестьяне тут, мол, дочерей своих в жены обещают, как обещал ему один, Михя какой-то. А старик тот в тюрьме занемог, вот и говорит нам: помру я, братцы, не видать мне больше Муры, а вы ступайте туда, найдите Миху и передайте ему поклон от старика бродяги, с которым он пил вино из кувшина «напейся-не облейся» и которому дочку посулил, в чем и поклялся...

Матео Лучик качает головой и отвечает им:

— Братцы, золотые мои, нехорошо про это Михе напоминать, выпил он лишнего и согрешил, лучше молчите, братцы, про это. Впрочем, в добрый час вы пришли. Свадьбу тут справляют. Поешьте с нами, попейте, о путях-дорогах расскажите, а про это дело помалкивайте, коли вы христиане.

Вот как случилось, что не передали бродяги Михе наказ старика странника. Пили, ели, напились-наелись, как и все гости, кроме Матеш, Сочибабика,

пана священника и нотариуса Палима...

А когда возвращались ночью в село и вел Сочибабик Матешу к себе в дом, только один пьяный цыган играл им по дороге, остальные разбрелись кто куда, какие пропали, какие улеглись спать по разным местам, — кто на меже, кто в лесу помурянском, а кто и под столом успокоился, где валялись кости оленей, дроф, куриц и волов... и где пролитое вино постепенно окрашивало землю в красный цвет, будто случилось там большое побоище, которого вопреки всем обычаям, к счастью, не произошло.

### VIII

На другой день сидел Матео Лучик у перевоза и подсчитывал, какую прибыль получил он от клятвы Михи Гамо. Считал, считал, а сам блаженно улыбался, потому что сбывался потихоньку давний его сон: накопить побольше денег и уехать отсюда в родные места, над Которской бухтой, — ведь он родом из Далмации.

Купит он себе там маленькую «киси», заведет хозяйство, будет на скалы и на море в Которской бухте смотреть, вспоминать о годах, что прожил здесь, на Муре, в корчме у перевоза, смеяться над нечистой силой и чувствовать на лице след того единственного поцелуя Матеша, при мыслях о котором у него, старика, трепещет сердце...

### Об одной ужасной собаке

Я был принят в редакцию журнала «Мир животных», владелец которого сохранил большую псарню. И хотя по части собак у нас имелся редактор-специалист и сам владелец был крупным знатоком, известным кинологом, совершенно естественно было и мое желание заставить серьезными знаниями относительно этих благородных друзей человека.

Я проштудировал целую кучу книг по кинологии, так что даже начал твоять во сне, и представьте себе, во всем разобрался. До сей поры я слабо представлял, чем «дакс» отличается от «барсучки». И вот вам пожалуйста! Не прошло и недели, а я уже знал, что «дакс» и «барсучка» означает одно и то же — то бишь таксу.

Итак, во всеоружии, как мне казалось, специальных знаний, я явился в редакцию, уселся за редакционный стол и стал с ужасом ожидать, что же будет дальше.

Подошел главный редактор, потрепал меня по плечу и сказал:

— Напишите в следующий номер статью о китайских пинчерах...

Сперва меня бросило в жар, затем в холод, и, перебирая на полках солидные монографии, я трясся сильнее осинового листочка. Вместо китайских пинчеров мне начали мерещиться по стенам китайцы. Наконец я наткнулся на труд Вацлава Фукса «Все породы собак в описаниях и картинках» и, вытаращив глаза, просидел над ней три часа, после чего в отчаянии решил сходить пообедать. На улице у входа в «Мир животных» мне встретилась дама, тащившая за собой пса. Ах, что это была за собака! Сидя над листками бумаги, я тщетно пытался придумать хотя бы одну фразу для заказанной статьи, но при виде этой собаки понял, что смог бы написать целую книгу. Мной овладело неодолимое желание стать владельцем замечательной собаки, поскольку было ясно, что без практического опыта я останусь полным олухом в области кинологии, к тому же порода этой собаки представлялась мне какой-то универ-

сальной. А дама, едва заметив, с каким вожделением я смотрю на ее собаку, сразу запричитала:

— Бедный песик! Вы посмотрите, что за красавец, но все же нам придется расстаться. На днях я поступаю на службу и уезжаю, а с собой взять его не могу. Вот и иду в редакцию «Мира животных», может быть, там кто-нибудь возьмет. Нет, я не продаю, боже упаси! Мне бы такое и в голову не пришло! Ведь это все равно что собственное дитя продать. Доверить воспитание — это другое дело. Он ведь такой красивый, вы полюбуйтесь, до чего хорош!

Да, пес был просто великолепен. Это я отметил сразу. Немного напоминал не то элитного скайтерьера, не то гигантского пинчера. И те и другие отличаются торчащими, аккуратно подрезанными ушами и коротким, обрубленным хвостом. Но этот был, по моему убеждению, красивее и тех и других. Хвост у него был как у пойнтера, одно ухо загибалось крючком, наподобие ушей шотландских овчарок — колли. Другое ухо торчало, как у карликового французского бульдога, а голова навевала воспоминания о неудачном представителе породы пуделей. Что же касается туловища, то оно было, на мой взгляд, само совершенство. По туловищу пес являл собой помесь фокстерьера со спание-лем.

Короче говоря, экземпляр был настолько замечательный, что мог послужить для меня пособием по изучению существующих собачьих пород.

— Сударыня, — сказал я, — я мог бы порекомендовать вам порядочного человека, который оценил бы достоинства вашего пса. Этот человек — я. Подайте мне собаку.

— Она ваша, — подозрительно быстро согласилась дама.

Каждый поймет, сколь счастливым для меня было это мгновение, воспоминания о котором я буду хранить до конца дней.

— Сейчас я сниму нижнюю юбку, — продолжала дама, — она, правда, не первой свежести, но, надеюсь, это вас не смутит. Собаке надо оставить какую-нибудь мою вещь, чтобы она к вам привыкла.

Ситуация создавалась щекотливая. Не хватало еще, чтобы она начала раздеваться посреди дороги! Дама уже готова была осуществить свое намерение, однако я, руководствуясь соображениями нравственности, заявил, что сойдет и носовой платок. Правда, платок у нее оказался один, и вдобавок она страдала насморком. Сейчас и я по ее милости хожу с насморком, но это еще не самое большое несчастье, постигшее меня в истории с этой великолепной собакой. Я дал псу обнюхать мокрый платок хозяйки и спрятал его в карман, а ей из чувства сострадания отдал свой, за который в свое время заплатил какую-то ерунду вроде тридцати геллеров, что, несомненно, было весьма незначительной компенсацией за столь роскошное приобретение.

Напоследок дама записала мой адрес, якобы для того, чтобы как-нибудь захватить проведать собаку, и добавила, что мне неплохо было бы запомнить пять адресов, или же записать их на случай, если пес от меня сбежит, а это, заметила она, не исключено. В этом случае найти его можно будет в Вршовицах у пани Камилы, Баракова улица, дом 14, или в Дейвицах у сапожника Книжки. Он может сбежать в Карлин на Виткову улицу к колбаснику. Если его и там не окажется, то тогда он наверняка будет у пани Зазворковой в кондитерской на Вацлавской площади. Однако вполне вероятно, что он сбежит на Подол, на Шварценбергский проспект, мануфактура пани Моучковой. Сама дама и есть

пани Камила из Вршовиц, а все остальные из разных концов Праги — ее родственники, к которым она ходила в гости с собакой. У всех этих родственников на Подоле, в Карлине, в Дейвицах и на Вацлавской площади есть дети, а собачка так любит детей, что до обеда, например, играет с ними в Дейвицах, а после обеда — в Карлине. Так что расстраиваться по этому поводу совершенно незачем, уж где-нибудь пса я найду непременно. На этом описание маршрутов его странных прогулок закончилось, и я попытался по зубам определить возраст собаки. Дама сказала, что она не кусается, и это оказалось святой правдой. Зубов у моей собачки не было вовсе. Дама объяснила, что зубы псу выбили стулом во время драки на престольном празднике. В этой связи чрезвычайно актуальным стал вопрос о его рационе. Оказалось, что по воскресеньям он ест фарш из вареного мяса и манную кашу, в понедельник — гороховое пюре с мелко нарезанными копченостями, во вторник — колбасу из рубленой свинины с ливером, в среду — картофельные галушки, в четверг — пшеничную кашу с корицей и сахаром, в пятницу — молочный пудинг, а в субботу — кровяную колбасу с картофельным пюре. И будьте внимательны, во вторник и в субботу не забудьте вынуть из колбасы деревянные палочки. Что же касается галушек, то в них ни в коем случае нельзя класть ни комбижир, ни маргарин, а исключительно сливочное масло. Мне были даны адреса фирм, имеющих лаборатории по исследованию пищевых продуктов, где можно купить апробированную высококачественную манку. Да, вот что еще! Обратите внимание на картофель для галушек. Сами понимаете, что подмороженный картофель тут не годится. Затем она дала мне рецепт приготовления горохового пюре и порекомендовала двух колбасников, у одного из которых следовало покупать кровяную колбасу, а у другого — колбасу из рубленой свинины с ливером.

Так мы дошли до трамвайной остановки. Дама погрозила псу пальцем: — Слушайся, разбойник!

И вскочила в трамвай так быстро, что в потоке ее слов я даже не успел вставить вопрос, как же, собственно говоря, зовут это чудовище.

Теперь-то я называю его чудовищем, и вы сами увидите, что за все его проделки, за то, что друзей он превратил в моих заклятых врагов, за то, что многих дорогих мне людей он довел до тюрьмы, он не заслуживает другого названиями даже более того: «чудовище» еще слишком мягкое выражение. А ведь до чего невинно он выглядел!

Когда мы остались наедине, он поплелся за мной, словно я уже лет десять был его хозяином. Непохоже было, что перемена владельца как-то на него подействовала.

Он имел вид подкидыша, которого волокут на поводке, смотрел вокруг с выражением полной апатии и лишь изредка останавливался, чтобы у стены дома совершить обряд, согласно общепринятым нормам собачьего поведения. Я не сразу заметил, что он проделывал это слишком часто и при этом явно старался испортить выставленные на лотках перед магазинами продукты. Теперь-то я понимаю, что его действия были направлены на то, чтобы мне поскорее опостылет. Но тогда я тащил его дальше в радостной уверенности, что моя замечательная собака будет у всех вызывать только зависть. Так мы и шествовали по Праге, когда останавливался он — замирал и я. На мосту он задержался у брюк сборщика пошрины за переход. Секунды ему оказалось доста-

точно. Смутившись, когда его обозвали свиньей, я потащил пса в кафе «Тумовка», намереваясь похвастаться своим приобретением и внести изменение в его меню, предложив рогалик, смоченный в кофе. Из кафе меня вежливо, но настойчиво попросили, и как можно быстрее, поскольку в общественные места вход с собаками запрещен, не говоря о том, что у моего пса, дескать, слишком разбойничий вид.

Сторая от стыда, я потащил его дальше и в ближайшей лавке купил ему колбасы. Чудовище только взглянуло на вывеску и, честное слово, не вру, колбасу жрать не стало. Оно не увидело на вывеске слова «Хмель». А жрал этот чертов негодяй колбасу только от Хмеля!

Однако тогда меня умилила проницательность собаки, и я зашагал дальше, заботясь лишь о том, чтобы она не входила в соприкосновение с брюками прохожих. Моим главным намерением было похвастаться псом перед своими знакомыми в редакции одной известной политической газеты, которые сомневались в моей способности быстро найти общий язык с собаками.

Короче говоря, доставил я его в редакцию и убедился, что политические обозреватели разбираются в собаках еще меньше, чем в политике. Все они решили, что перед ними немецкая овчарка. Наибольшее восхищение выказал доктор Пулпан. Пес с такой доверчивостью ответил на его восторги, что Пулпан необыкновенно проникновенным голосом принялся упрашивать меня отдать ему это животное. И что бы вы думали я сделал в приливе великодушия? Подарил пса. Но поскольку я не знал его имени, то мы выбрали ему кличку из книги Вацлава Фукса «Все породы собак в описаниях и картинках»: Ами, Амик, Амидор, Амичек, Афик, Вабика, Бабка, Бенда, Бика, Балабан, Блекта, Бобечек, Брблоун, Бундаш и так далее до Цыгана. Но и без клички он выглядел как философ из «Богемы» Мюрже.

В конце концов, какая разница — у меня будет собака или у моего друга Пулпана? Его невеста обожает животных. Заимев столь роскошного пса, Пулпан заслужит еще большее расположение невесты. И почему бы мне, собственно, не избавиться от такой великолепной собаки? Конечно, она и вправду красива, однако есть у нее кое-какие странности. Ее проделку со сборщиком платы на мосту не отнесешь к разряду красивых поступков. А взять ее привычки! Страсть к детям из разных концов Праги и ее окрестностей или это ее изысканное меню! Я и уступил пса Пулпану. Оставив адреса всех родственников прежней хозяйки и рассказав, чем его кормить, я ушел, распираемый сознанием собственной щедрости. Давно я никому ничего не дарил!

Шагать по улице было легко и приятно: во-первых, не надо было тащить за собой косматое существо, а во-вторых, приятно сознавать, что ты совершил добрый поступок. Домой я вернулся поздней ночью и узнал о событиях, от которых волосы у меня поднялись дыбом.

Под вечер к моей матери зашла какая-то дама, которая привела собаку и утверждала, что эта собака моя и что она от меня сбежала. Мать ничего не поняла, так как даже представить себе не могла, чтобы я оказался таким идиотом (ее собственные слова) и невесть от кого приволок к себе в дом этакую беззубую образину.

Началась перебранка. Дама сказала, что, во-первых, она не кто попало, а вдова, и сын ее уже три года на военной службе, а собака эта вовсе не беззубая образина, а очень порядочная собака. Обо мне она отозвалась, как о существе ан-

геле, который прекрасно разбирается в собаках, особенно в таких красивых. В конце концов дама объявила, что она не уйдет из дому, пока я не приду и не заберу своего пса. Выдворенная с помощью соседки за дверь, она пригрозила подать в суд за оскорбление личности, что впоследствии и сделала. Моя мать на старости лет оказалась под судом!

Дама зашла к привратнице, где два часа распространялась о грубости моих домочадцев и о том, какой я ангел. Дело кончилось тем, что привратница обещала покараулить пса до моего прихода. Но тут же уступила его за крону молодой даме с первого этажа, которой пес безумно понравился.

На другой день я с утра ушел в редакцию, и, едва сел за стол, раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышал голос Пулпана:

— Алло, алло, дорогой мой, ты представляешь! Собака сбежала от меня вчера под вечер, и я просто ума не приложу, что делать. Я же подарил его своей невесте, он ей страшно понравился, она сказала, что он просто душа. Я обещал пол-Праги и окрестностей, и наконец в Вршовицах у пани Камилы мне сказали, что пес у тебя, его вернет тебе привратница. Прошу, будь так добр, разреши мне забрать его сегодня вечером.

— Алло, — ответил я, — буду очень рад, заходи, или я сам тебе его приведу.

Вечером я зашел к той молодой даме с первого этажа и без лишних разговоров забрал собаку. Она ни за что не хотела отдавать, утверждая, что купила его у привратницы. Взамен этого ужасного пса я пообещал ей маленького той-терьера. На мое счастье, мужа ее не оказалось дома. Я отвел пса к Пулпану, а возвратившись домой, встретился на лестнице с мужем той молодой дамы. Завидев меня, он раскричался, будто я украл у него собаку, которую он уже продал за десять крон мастеру на фабрике. Тому, видите ли, хочется именно такую лохматую и смешную. Так что вечером, хочешь не хочешь, чтоб я привел собаку, поскольку из десяти крон задатка три он уже пропил, что-то отдал сюда, что-то туда, короче говоря, пса нет — его я украл, десяти крон тоже нет, авторитет его перед мастером подорван, и будет просто смешно, если после всего этого он не надаст мне по морде. Исполнить свое намерение ему не удалось, но шуму было много. Я заперся у себя в квартире, а негодующий храбрец через час вернулся с тем самым мастером, на вид вполне приличным человеком, так что я даже впустил его в квартиру. Но когда он палкой проломил столешницу кухонного стола, мы поняли, что приятная наружность и благородное поведение на лестнице были обманчивы. С помощью брата я вытолкнул его за дверь.

Нас замучили жалобами. От невесты Пулпана пес убежал уже раз пятьдесят, несчастная постоянно занимается розысками собаки, и обращать внимание на моего приятеля у нее просто нет времени.

Ужасная собака слоняется по окрестностям: утром она в Дейвицах, вечером на Подоле, а в обед — в Карлине.

Мою семью и меня ожидают судебные тяжбы. Пулпан на меня разозлился, поскольку из-за этого пса в его отношениях с невестой появился холодок. Друзья избегают меня, ибо обо мне пошли слухи, что я всем преподношу в подарок собаку, которая доводит хозяина до преступления и разрушает как семейное счастье, так и все иные виды благополучия...

## Антигосударственный заговор в Хорватии (Пособие по массовому производству государственных изменников)

### 1. Инструктивная беседа

**Н**аместник хорватского бана сидел в кабинете за своим столом и доверительно наставлял земского комиссара:

— Правительство нашего бана, барона Рауха, весьма непопулярно. И было бы недурно, если б мы сие попытались исправить. Как вы считаете — не повесить ли нам для этой цели пятьдесят человек?

— Что ж, — снисходительно отвечал хорватский земский комиссар, — дело не в количестве.

— Вижу, доброе у вас сердце, милый комиссар. Барон Раух обожает таких людей. Что же касается меня, я б распорядился повесить пятьдесят семь. Что вы на это скажете?

— Скажу, ваше превосходительство, что это не имеет значения: пятьдесят семь или пятьдесят восемь. Меня это не трогает. Я чиновник. И слава богу — хороший чиновник. Повесить так повесить, расстрелять так расстрелять. А велит закон утопить — и утопим, прикажут на кол сажать — посажу и на кол. Даст мне указание начальство зарезаться — и зарежусь. Да если бы наш светлейший бан повелел: «Kérem semit inni» — хватит тебе пить — и не буду больше пить, так и умру за родину от жажды. Вот я какой чиновник. И за королевство, за Венгрию как за свое отечество этими вот голыми руками удавлю любого изменника. Бог свидетель, ваше превосходительство. По высочайшему распоряжению...

Наместник бана улыбнулся:

— Этого не требуется, дорогой друг. Главное, как я уже говорил, снискать доверие народа к правительству нашего светлейшего бана Рауха... А это можно сделать, лишь организовав процесс против государственных изменников. Но за печкой или в собственном брюхе их не отыскать. А надо найти. Терпение и труд все перетрут.

Барону Рауху нужно закусить изменниками. Мы их ему состряпаем. Из сахара их не слепишь, оглядимся вокруг себя. Куда это годится, если среди такого обилия людей в Хорватии не найдется 57 изменников! Хвать здесь, хвать там, глянь, и отыскалась хотя бы курительная трубка с надписью. Порядок. Вот тебе и изменник, который курил эту трубку. А кто ему сделал надпись на трубке? Снова — хвать, и берешь фабриканта трубок и торговца, у которого владелец трубки покупал табак. А вдруг еще — тот первый за табачком сам не ходил, посылал кого-то. Снова — хвать, и еще один «hazaáguló» — изменник. Господи, а да кто же торчит в мире, будто гвоздь на ровном месте? У всех арестованных родственники. И тех тоже перехватать.

Так-то вот — здесь схватишь, там, наконец и наткнешься на кого-либо, кто и признается, и присягнет в чем угодно, за что ему заплатишь. Вот тебе и свидетель. Что? И подсудимые рвутся присягнуть? Отчески их пожуришь, от подсудимых присяги не требуется, для этого у нас есть свидетели. А когда всем последственным пришьешь государственную измену, это же колоссальный процесс, и в Хорватии установится покой. Как говорят, цель оправдывает сред-

ства, дорогой друг. А можно поступить и иначе. Берешь какого-нибудь мерзавца, и пусть выбирает: сидеть или же под присягой сознаваться во всем, что ему подскажешь. Такому прохвосту цены нет, он всегда готов послужить властям. В награду можно пожаловать ему и дворянство. Порой правительство оказывается в такой щекотливой ситуации, когда не знаешь, что и предпринять, и такой вот послушный мерзавец окажется желаннее манны небесной. А если он к тому же умеет и писать, совсем хорошо. Издаст подстрекательскую брошюру. Это, кстати, не моя идея, самого бана. Но мне она очень нравится. Если вышеупомянутый тип неграмотен, придется написать за него. Мало ли в земском управлении чиновников, кропавших стишки в юности! Чиновник сделает лучше не надо, мерзавец под его писаниной подпишется — и прекрасно. Ниточка потянулась. Подстрекательская брошюра привлечет внимание правительственных кругов. Автора можно вызвать к бану. Бан хлопает его по плечу и подаст руку, чтобы тут же пойти ее вымыть. Грязная тварь, но интересы отчизны... Главное, чтобы в брошюре приводились имена людей, которые еще живы: мертвеца не повесишь и в тюрьму не заткнешь. А теперь снова, как я уже говорил. Прием тот же самый. Хвать здесь, хвать там. И суд следует подготовить, ему придется судить невиновных людей за государственную измену. Приговор выносится по ходу следствия. А как вы думаете, что на все это скажет Европа, дорогой комиссар?

— А нам на общественное мнение... — отвечал земский комиссар.

— Как это вы хорошо сказали, — похвалил наместник бана. — Значит, вперед. А прочее придет само по себе.

## **2. Письмо наместника бана барону Рауху**

Ваше превосходительство!

Негодяя, согласного выполнить все наши пожелания, нашел. Зовут его Настич. Пообещал ему дворянское звание, прочное положение в обществе и деньги. Брошюру он напишет сам.

## **3. Письмо бана барона Рауха наместнику**

Дорогой друг!

Я только что переговорил с нашим другом Настичем. Ассигновал ему 30 000, чтобы он напечатал брошюру собственным изданием. Прилагаю список особ, у коих следует найти подозрительные материалы. Необходимы десять человек, способных дать лжесвидетельства под присягой. Все расходы беру на себя.

## **4. Что было найдено у подозреваемых лиц (согласно официальному протоколу)**

У первого лица: перочинный ножик с красной рукояткой, белая рубашка, особенно подозрительно, что у обвиняемого синие глаза, так как в совокупности получается трехцветный славянский флаг.

У второго лица: кувшин с надписью на сербском языке.

У третьего лица: ничего не было найдено, что вдвойне подозрительно, ибо свидетельствует о нечистой совести вышеупомянутого обвиняемого, оказавшегося столь опытным преступником, что успел уничтожить все следы преступных связей.

У четвертого найден альбом с открытками, и среди них — две из Белграда. Ввиду того что подписи отправителей неразборчивы, можно сделать вывод, что сербские круги были хорошо информированы о том, что корреспонденция

носит антидинастический характер.

У пятого лица ничего не найдено. Это еще подозрительнее, чем у третьего лица, так как в данном случае полиция действовала наверняка.

Шестое лицо оказалось не в состоянии объяснить то обстоятельство, что когда-то распевало сербскую народную песню. Поскольку у него также ничего не было найдено, относиться к нему следует так же, как к обвиняемым второму и пятому.

У шестого лица обнаружены носки, приобретенные в Земуне. Учитывая, что Земун расположен на другом берегу, как раз против Белграда, нельзя не согласиться с тем, что покупкой этих носков пять лет тому назад он хотел застраховаться на всякий случай, если придется объяснять свои связи с Сербией и с сербскими кругами.

Седьмое лицо тщательно скрыло все, что могло бы навести на подозрение в государственной измене. Доказательством сего является то, что при внезапно проведенном обыске у обвиняемого также ничего не было найдено.

Восьмое лицо подвергнуто предварительному заключению, так как имеет отчима, который числится под номером пять и у которого ничего не было найдено. Существует обоснованное подозрение в том, что оба они состоят между собой в преступном сговоре, разыгрывая из себя невинных.

У девятого лица найден сборник сербских песен.

Десятое лицо имеет список членов «Сокола».

У лиц 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21-го обнаружены членские книжки «Сокола».

У лиц 22, 23, 24, 25 и 26-го членские книжки «Сокола» не обнаружены. Это вызывает тем вящее подозрение, что вышеупомянутые лица превосходно знали о существовании «Сокола», этого антиправительственного общества, и не вступали в него единственно потому, что надеялись утаить от надлежащих органов свое преступное поведение. Поэтому правительство полагает, что обвиняемые вполне сознавали антиправительственный характер своего поведения.

У лиц 27, 28, 29, 30 и по 35-е найдены гантели. По мнению правительства, гантели безусловно были приобретены обвиняемыми с целью специальными упражнениями укрепить мускулатуру и оказывать энергичное сопротивление правительственным органам. Тем самым они совершили преступный акт противодействия властям, включающий все признаки государственной измены.

У лиц с 35 и по 50-е включительно найдены различные документы, свидетельствующие о связях обвиняемых с сербскими кругами. Главным доказательством является их религия — та же самая, что и у сербов в королевстве Сербия.

Лицо пятьдесят первое внезапно умерло, находясь в предварительном заключении, что свидетельствует о стремлении любой ценой избежать справедливого приговора.

У лиц с 52 по 57-е найдены сербские газеты. Ввиду того что правительственные хорватские газеты найдены у них не были, очевидно, что им вполне хватило сербских газет, чем подтверждается обвинение их в государственной измене.

## **5. Выдержка из судебного разбирательства по делу о государ-**

## СТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ

**Председатель суда**, обращаясь к первому обвиняемому:

— Вам знакома эта шляпа?

— Да.

— А помните ли вы, когда в последний раз вы надевали ее на голову?

— Нет, не помню.

Председатель предлагает это запротоколировать.

**Прокурор**:

— Значит, вам неизвестно, что эту шляпу вам одолжил обвиняемый доктор Медакович?

— Не помню.

**Председатель**, повысив голос:

— Однако если так же, как вы не знаете, кто вам одолжил шляпу, вы ничего не захотите знать и о государственной измене...

## 6

Боюсь за себя, раз уж вот-вот начнется процесс в Загребе, Дело в том, что у меня есть красный носовой платок, в моей кухне стоит белый шкаф, а весной небо станет совсем синим. В совокупности это дает цвета антиправительственного славянского флага.

## Юный император и кошка

Это был юный император, в его груди билось доброе сердце, и он любил предания о ратных подвигах предков. Был он бог весть уже какой в роду. Его венценосные предки сожгли в общей сложности более тысячи городов, опустошили тысячи вражеских деревень, их армии истребили тысячи тысяч вражеских воинов и из столетия в столетие со славой возвращались в свое великое отечество, где их встречали победными песнями и колокольным звоном всех церквей империи, ибо страна была благочестива, а население и победное воинство — добрые христиане. Потому-то бог умножал их силы во всех предприятиях, а все враги империи бледнели и тряслись перед храбрым войском этой славной династии, ибо оно не давало им пощады.

Новому императору было четырнадцать лет, когда он вступил на престол. Его юная душа была полна благих намерений, он затеял разные реформы, а в один прекрасный день, пробудясь поутру и будучи умыт, одет и причесан, вызвал придворного повара и сказал ему в присутствии министров внутренних и иностранных дел, военного министра и министра сельского хозяйства и культов:

— Милый граф и придворный повар! Учителя мне рассказывали, что не все мои подданные едят паштеты, есть такие, кто по бедности ест кошек. Милый граф и придворный повар, назначаю вас отныне также министром-наместником любой из моих провинций, выберите ее сами, но сегодня к обеду я хочу кошку.

Придворный повар обнял колени великодушного юного монарха.

— Это невозможно, ваше величество. Помилуйте, ваше величество, кошек за высочайшим столом не едят.

Юный венценосец улыбнулся и ласково промолвил:

— Разумеется, не едят, это мне прекрасно известно, но я знаю, что кошек

едят бедняки. А сердце велит мне быть отцом неимущих, по примеру моих славных предков. Блаженной памяти дедушка собственноручно взял серп и на глазах у сельчан нажал травы для двух кроликов. Мой венценосный отец в доме бедного сапожника собственноручно забил в башмак два деревянных гвоздика. Богатырь прадедушка лично вытащил ведро воды из колодца. Как же мне не любить бедняков, если все мои предки показали, что они уважают тяжелый труд бедного люда? А посему заявляю, что воля моя, воля владыки и абсолютного монарха непреклонна. Хочу к обеду кошку, и баста. Можете идти.

Когда юный император остался один в своем покое, сердце его возликовало. Из окна своего дворца он смотрел на столицу империи, что темнела внизу. Там, в этом море каменных домов живет много бедных людей, которые, как рассказывали монарху учителя, едят кошек и прочую гадость, что является отличительным признаком бедноты. А он, славный и властительный монарх, склонится к ним и умерит их нищету, потому что и у него будет на обед кошка. Это станет началом реформ, которые нужно провести, чтобы по всему свету разнеслась молва о его доброте.

Тут распахнулись двери и вошла заплаканная вдовствующая императрица.

— Венценосный сын мой, — всхлипнула она, упав в кресло. — Вы хотите на обед кошку? Сын мой, это ваше непреклонное желание?

Юный монарх кивнул.

— Хочу и буду, — торжественно произнес он. — Ибо склоню сердце свое к бедному люду. Вспомните, матушка вдовствующая императрица, наших предков. Моя высочайшая прабабушка однажды взяла иглу и нитки и пришила пуговицу к штанам нищего бродяги. Моя достославная бабушка выстирала носовой платок бедного каменотеса, а вы, моя венценосная мать, однажды собственноручно наполнили чашу вином и подали ее церемониймейстеру, доказав, что не гнушаетесь никакой работой. Итак, наша славная история говорит нашим сердцам о том, что императрицы никогда не стыдились труда, пусть самого тяжелого, чтобы доказать, что беднота может найти в них заступниц. Посему сегодня я пообедаю жареной кошкой, такова моя монаршая воля. Не плачьте, венценосная мать, это — начало реформ. Я буду передовым монархом и отцом бедняков.

Когда вдовствующая императрица удалилась, явился церемониймейстер и припал к коленям юного императора.

— Ваше величество! — молвил он. — Соизвольте выглянуть в окно.

Внизу во дворе было черно от императорских советников, придворных дам и прочих придворных.

— Всем им сделалось дурно, когда его сиятельство граф, придворный повар и министр-наместник, распорядился послать за хорошей кошкой, — сказал церемониймейстер. — И все они умоляют ваше величество всемилостивейше разрешить им не смотреть на то, как вы, ваше величество, будете высочайше вкушать кошку. Я со своей стороны покорнейше умоляю ваше величество отказать от своего намерения.

Возмущенный этой дерзостью, юный монарх в гневе топнул ногой и воскликнул:

— Требую к обеду кошку в сметанном соусе!

— Ваше величество!

Юный монарх повернулся к нему спиной.

Подавленный церемониймейстер ушел, чтобы подать в отставку, а император вызвал министра внутренних дел.

— Любезный министр, — мудро сказал он, покачиваясь в кресле. — С тех пор как я взошел на трон, я часто размышляю о неравенстве людей. Мои учителя привили мне добрые принципы. Люди бывают богатые и бедные. Бедные едят кошек. Богатые и власть имущие кошек не едят. Бедные, кроме того, едят лапшу... Поэтому я хочу иметь к обеду кошку в сметане и с лапшой. Вызовите мне придворного повара.

Когда явился граф, повар и его сиятельство министр-наместник в одном лице, юный монарх сказал ему:

— Бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие кошек не едят. Я провожу реформы. Бедные люди едят лапшу. Подайте мне сегодня к обеду кошку в сметане и с лапшой.

Потом он велел вызвать министра внутренних дел и сказал:

— Я хочу, чтобы об этом было написано в газетах. Завтра подайте мне все газеты. Я слышал от учителей, что в моей империи выходят газеты. С завтрашнего дня желаю читать сообщения о моем правлении и моих реформах.

— Кстати, — обратился он к придворному повару, — к обеду пригласите моих министров. А на случай, чтобы меня не обманули с этой кошкой, я сам буду присутствовать при ее приготовлении.

Спускаясь по лестнице в дворцовую кухню, благородный юный император встретил военного министра и весело сказал ему:

— Любезный министр, передовой монарх стремится сгладить неравенство людей, поэтому у нас сегодня на обед будет кошка, поскольку бедные люди едят кошек, а богатые и власть имущие не едят... Вы тоже приглашены к моему столу. Завтра об этом напишут все газеты, а я отныне начинаю реформы. Я император и хочу съесть кошку...

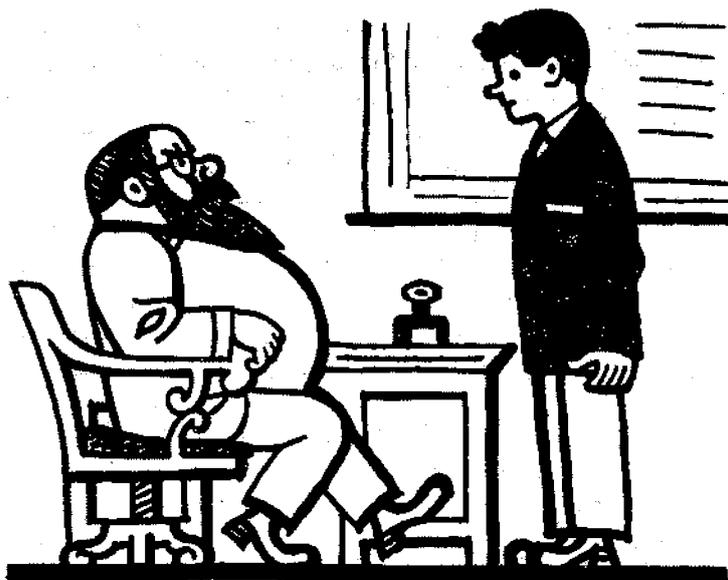
Немного погодя юного монарха отвезли в закрытой карете в старый замок, где он был изолирован до конца дней своих, как впавший в кретинизм. И все из-за того, что он был император и пожелал на обед жареную кошку...

## В старой лавке москательных и аптекарских товаров

### 1. Первый день практики

Когда я начал учиться на продавца москательных и аптекарских товаров, в первый же день знакомства с новой профессией мой хозяин пан Колошка пригласил меня в свою контору, — как он называл закуток, отгороженный от лавки деревянной перегородкой.

Пан Колошка, пожилой человек с густой растительностью на лице, такого небольшого росточка, что я, пятнадцатилетний парень, был выше него на голову, уселся возле письменного стола на стул и, не сводя с меня маленьких колючих глазок, заговорил:



— Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант и потому извольте выслушать со всем вниманием мои слова и постарайтесь следовать им в течение всей жизни. Вам, наверное, известна пословица «Добрый совет дороже золота». Так вот, наострите уши и слушайте, что я говорю, Ваша новая профессия не из легких. Еще недавно вы учились в школе и единственной вашей заботой было вызубрить что-нибудь наизусть. Но кроме латыни, которую вы как гимназист четвертого класса, полагаю, немного знаете, продавцу аптекарских товаров больше ничего не пригодится. В лавке вас не спросят, когда правил тот или иной король или, скажем, что такое геометрия и тому подобное. В лавке никого не интересует, как далеко от нас до какой-нибудь звезды, никому не интересно и то, через «и» или через «ы» пишется цыпленок. В лавку приходит покупатель, и ему безразлично, правильно вы говорите по-чешски или нет, и вы к нему с этим тоже не приставайте, вполне достаточно понять, что ему нужно, и обслужить как положено. В лавке надо уметь считать и не просчитываться. Нужно все прикинуть. Вот это и есть торговля. Вы человек молодой и должны учиться на живом примере, а не по книжкам, как в школе. Когда появится покупатель, выслушайте его и, пожелай он хоть луну с неба, вскарабкайтесь на небо и достаньте ему луну. А после думайте о покупателе что угодно, но только про себя. Торговец, запомните, живет за счет покупателей. Если кто заходит в лавку, вы должны кричать: «Низко кланяюсь, милостивый государь! Целую ручку, сударыня! Мое почтение, барышня!» И оставаться вежливым, даже когда покупатель уходит, ничего не купив. Отпуская

товар — правда, до этого дело дойдет не так скоро, но запомните наперед — вам следует говорить: «Что угодно, чем могу служить» и тому подобное, и суетиться, поворачиваться, быть расторопным и никогда не обсчитывать. Если на складе чего-то нет, предложите другой товар, главное — не упустить покупателя. Всучите ему, раз уж он зашел, что попало: нужна ему, к примеру, зубная щетка — подсуньте зубной порошок, а если нужен зубной порошок — подсуньте зубную щетку и убеждайте, что это можно купить только по случаю. Врите все, что взбредет на ум, со временем вы этому обучитесь, но, понятное дело, врать можно только покупателю, а не мне. Я для вас как отец родной, а если я иной раз и обругаю — не перечьте, потому что я вспыльчив. Мои приказания следует выполнять незамедлительно. У меня все должно идти, как в армии. Вы обязаны быть честным, — думаю, это можно не объяснять, — не имеете права лакомиться сладостями, разбивать что-то. Вы обязаны работать, вам это только на пользу. Все это я говорю по-отечески. По утрам будете приходиться ко мне домой за шкатулкой с ключами, потом пойдете в лавку. Придет приказчик, вы с ним отопрете лавку, вывесите ангелочка, вернетесь в лавку, вытрете пыль, чтоб везде было чисто, а я приду в восемь часов и отдам распоряжения. В десять утра будете приходиться ко мне в контору, получите деньги, купите мне кружку пива, две булки и сардинку. В час дня можете пойти пообедать, вернетесь в два. В четыре часа зайдете ко мне в контору, получите деньги и сходите в кофейню за кофе.

Запомните — чтоб сливок было побольше. В восемь часов снимаете ангелочка и вместе с посыльным закрываете лавку. Ключ кладете в шкатулку, приказчик шкатулку запирает, ключ берет себе, а вы приносите шкатулку с ключом от лавки ко мне домой. Раз в полмесяца разрешаю вам с десяти до одиннадцати ходить в костел. И главное — слушать меня, а не других в лавке. Сегодня будете протирать бутылки и банки, пока все. Протирая, приглядывайтесь к надписям по-латыни и по-чешски и примечайте, где что находится, так понемногу всему и научитесь. Запомните все это хорошенько и ступайте!

Я вышел из конторы в смятении. Все наставления в моей голове перемешались, а когда я подошел к прилавку, приказчик Таубен сказал:

— Ну что, измучил вас наш старый Радикс?

— А кто это? — робко спросил я.

— Да наш Колошка, — ответил приказчик, — мы называем его «Радикс», что означает корень. Такие уж у нас, продавцов аптекарских товаров, прозвища, молодой человек. Понимаете, наш Радикс, как говорится, слегка прибит пыльным мешком, а в общем человек он добрый. Думаете, эти наставления он сам придумал? Как бы не так, молодой человек! Все это он заучил наизусть, со слов жены. Жену его мы называем «Ацидум», то есть кислота. Не смотрите на старика как на господ бога. Он, по сути дела, ничто, всем заправляет его жена. Вот появится она — сами увидите, кто тут, собственно говоря, хозяин. Так что, молодой человек, слушайте нас. Старик наверняка велел вам сегодня протирать бутылки и банки. Протирайте, только не торопясь. Как можно медленнее. В работе спешка ни к чему. А то он живо свернет вас в бараний рог. Если до вечера протрете пятнадцать банок, считайте — уже хорошо поработали. Протирайте их всю неделю, потихонечку, полегонечку. Не надрывайтесь, а то он начнет на вас валить, чем дальше, тем больше. А появится его старуха, бегите и целуйте ей руку. Если Радикс пошлет вас по делу к поставщику или

еще куда с поручением, идите неторопливо, словно вышли на прогулку, я тоже так делал. Главное, не возвращаться быстро. А то он вас просто загоняет, привыкнет, что вы скоро возвращаетесь, и решит, что вы должны бегать.

Помолчав, пан Таубен добавил:

— Я вижу, вы сообразительный молодой человек, вот вам на два литра пива, идите вон туда, в конце склада, на дне бочки — видите ее отсюда? — есть кувшин. Возьмите его и черным ходом пройдите через двор в пивную. Принесите два литра пива. Кувшин с пивом снова поставите в бочку. Выпейте, сколько захочется. Знаете, я ведь тоже был практикантом.

Пан Таубен дал мне деньги, и я выполнил его поручение. Спрятав кувшин в бочке, я вернулся и начал протирать банки так медленно, как только мог.

Через полчаса пан Колошка позвал меня в контору.

— Вот что я забыл, — сказал он. — Если пан Таубен пошлет вас за пивом, сразу скажите мне. Говорят, пан Таубен любит посылать практикантов за пивом...

К событиям первого дня следует добавить, что я ходил за недозволенным пивом для пана Таубена в общей сложности пять раз и слышал, как на вопрос посыльного: «Ну, а как молодой практикант?» — пан Таубен ответил: «Уже обращен в нашу веру и называет старика «Радикс»...»

## 2. Наставления пана Таубена

В последующие два дня я по совету пана Таубена неторопливо протирал бутылки и банки.

— Если придет Радикс, — наставлял меня пан Таубен, — и поинтересуется, почему вы до сих пор не закончили работу, скажете, что изучаете надписи; впрочем, отложите-ка это дело, сейчас я покажу вам наше заведение.

Приказчик повел меня по дому. Лавка пана Колошки помещалась в старом здании. Теперь его уже нет. Этот потемневший от времени дом был пропитан запахом сушеных лекарственных трав, который в первые дни одурманивал меня и так вьелся в мою одежду, что любой издалека мог почуять — идет будущий продавец аптекарских товаров.

У этого старинного дома была своя неповторимая прелесть. В моем воображении возникали лаборатории алхимиков и средневековые аптеки, про которые я читал. Как бы в подтверждение этого на складе хранились две огромные ступки и несколько больших реторт, стоявших на черных от пыли и таких же грязных, как реторты, подставках.

Со склада пан Таубен повел меня в подворотню, под сводами которой громзились корыта, лохани, скалки и тому подобные предметы, которыми торговала женщина, сидевшая на скамеечке у выхода на улицу.

— Это бондарка Кроупова, — сказал приказчик, — муж ее порядочная дрянь и все, что она за день заработает, пропивает в соседней пивной. Он оттуда не вылезает, а когда деньги кончаются, идет к жене и спрашивает: «Продала что-нибудь?» Бондарка отвечает: «Одну лохань». А муж ее на это: «Всего-то на восемь кружек пива». Он все считает на кружки. А станете постарше, молодой человек, поймете, что означают мои слова: она все терпит, потому что находится с ним в сожительстве.

— Не спешите, — продолжал пан Таубен, — если кто зайдет в лавку, Радикс его обслужит. Эту пивную вы уже знаете. Ближе к двадцатому денег на пиво у меня не будет, станете брать в долг; Но хозяин там такая продувная бестия, мо-

лодой человек, что за ним нужен глаз да глаз, не то он вместо двух литров запишет вам три, такое уже бывало. А вот жена у него хорошая. Если она придет в лавку покупать спирт, наливайте ей — когда со временем станете отпускать товар — чистый спирт, а не разбавленный водой, который мы продаем покупателям. Она настаивает вишневку, а я иной раз забегая пропустить рюмочку, пусть уж настойка будет крепкой. Прежний практикант налил ей как-то разбавленного, и лучше не спрашивайте, что это была за вишневка. А трактирщику, если он попросит желудочные капли, дайте их бесплатно: он-то и по три месяца ждет уплаты моего долга.



Вон там — видите два грязных окна — живет дворничиха Паздеркова, она по утрам заходит к нам за рюмочкой тминной водки. Радикс распорядился наливать ей тминную бесплатно, а то она весь дом вверх дном перевернет. Все эти три дня, как вы здесь, она не появлялась — болеет. Стоит учителю ее сына, рыжего Францека, оставить его после уроков, как она заболевает. Францеку одиннадцать лет, но хулиган он жуткий. Никому от него нет покоя, что он только не вытворяет, но всыпать ему мы не рискуем. Я застал его однажды, когда он сверлил дырку в жестяном баллоне с маслом, и дал подзатыльник. Тут примчалась в лавку старая Паздеркова и требовала, чтобы Радикс меня немедленно уволил. А сколько было крику на улице перед лавкой! Сбежался народ, она держала Францека за руку, мальчишка ревел в голос, она вопила, что в лавке находится человек, который ее невинного и беззащитного ребенка избил до потери сознания. Пришлось угостить ее тминной, а Францеку дать конфетку. Рыжий Францек меня просто извел. А вот погодите, летом во дворе увидите спектакль: Францек в чем мать родила станет с утра до вечера плескаться в корыте посреди двора. На втором этаже живет старая дева, так она, увидев однажды Францека в таком виде, упала в обморок. Паздеркова все покупает у нас за полцены. А эти окна — мясника пана Каванека; он всегда приглашает меня на домашний зельц и посыльного угощает. Это мы с посыльным называем — встречный счет. Он нас не обсчитывает, и мы его тоже. Как в немецкой пословице: «Leben und leben lassen»[67]. Мы продаем ему приправы по обычной цене, но если придет пан Каванек за какими-нибудь пряностями, взвесьте ему полтора, а посчитайте всего за килограмм. Он угостит вас зельцем... Только на глазах у хозяина не ешьте. Прежний практикант уносил зельц домой. Со временем все узнаете. А теперь пойдём в подвал.

Пан Таубен открыл дверь подвала и зажег фонарь. Из темноты шибануло в нос чем-то кислым и затхлым и послышался писк.

— Это крысы, — объяснил пан Таубен, — прежнего практиканта одна укусила; в старых домах, молодой человек, они везде водятся. С тех пор как наш Радикс изобрел специальный яд для крыс, они невероятно расплодились. Особенно в летние месяцы в подвале то и дело шныряют эти серые твари. А кошки здесь не удерживаются с тех пор, как возле мясника поселился новый жилец. Вообразил, что у него чахотка, ловит кошек, сдирает с них шкуру и прикладывает себе на грудь. Осторожно, не поскользнитесь на ступеньках, здесь все еще не просохло с тех пор, как мы с посыльным разбили баллон с дистиллированной водой. Пришлось покупателям давать обыкновенную воду, из колодца. И все капли теперь с молочным оттенком, потому что при их изготовлении приходилось вместо дистиллированной воды брать колодезную. Наш Радикс отказался уже от трех поставщиков, решив, что они продали ему какое-то низкосортное масло и эфир для капель. Вот как, молодой человек, надо действовать. Никогда не теряйте голову, главное дело, старайтесь надуть старика — ведь если мы когда-нибудь заделаемся хозяевами, нас тоже будут надувать. Я привел вас в подвал, молодой человек, чтоб показать, где стоит оливковое масло.

Пан Таубен открыл деревянную перегородку и произнес, указывая на жестяной баллон:

— Видите, вот это оливковое масло, хотя написано «масло льняное». Если Радикс пошлет вас в подвал с бутылкой за оливковым маслом, наполните ее льняным, потому что полгода назад баллон с оливковым маслом разбился. Бывает, что покупатели это масло возвращают, и старик уже кучу писем написал фирме-поставщику, почему-де ему прислали такой плохой сорт. Радикс сюда не ходит, он до смерти боится крыс, так что жалуйтесь, мол, в подвале крыс развелось — просто ужас! Ладно, пошли обратно.

Когда мы снова вышли во двор, пан Таубен сказал:

— Да, молодой человек, вы обратили внимание на кондитерскую за домом? Тамошние ученики ходят к нам летом за неочищенной солью для мороженого. Давайте им соль бесплатно, а они накормят вас мороженым, я его тоже люблю. Но чтоб старик не видел, когда будете его есть. На чердак сегодня уже не полезем, Радикс и так небось с ума сходит — ведь он в лавке один, а там сейчас самый наплыв покупателей.

— Где вы шлялись, пан Таубен? — злился пан Колошка, когда мы вернулись в лавку. — Вы гуляете, а я тут работай как вол.

— Прошу прощенья, пан хозяин, — ответил пан Таубен, — я знакомил нового практиканта с нашим заведением и давал ему наставления.

— Это другое дело, — успокоился пан Колошка, — постарайтесь научить его всему, чтоб от него был какой-то толк.

— Слушаюсь, пан хозяин, — ответил пан Таубен, — надеюсь, толк от него будет.

### 3. О пане Фердинанде, посыльном

Пану Фердинанду в ту пору было около сорока. Его высокий лоб свидетельствовал о необычайно развитом интеллекте, что мне и подтвердил пан Таубен: «Хитрый малый».

У него были добрые серые глаза, каштановые волосы и темные усики; но



прежде всего в глаза бросался его красный нос, верный признак того, что некогда пан Фердинанд работал посыльным в лавке спиртных напитков.

Одежда его была засаленная, грязная, покрытая всевозможными жирными пятнами, в дырах, прожженных кислотами, измазанная краской для пола; пиджак был испещрен масляными красками, на жилете блестел бронзовый порошок, намертво въевшийся в пятна от раствора каучука в бензине. Левый рукав его пиджака вонял скипидаром, правый благоухал толченой корицей. Короче, здесь была представлена пестрая мешанина из лекарственных трав и различных химикалий. И в пивной, как я позднее узнал, пан Фердинанд сидел на свое место перед приоткрытой дверцей печки, вдали от всех, чтобы запах его рабочей одежды не отпугивал остальных посетителей.

При этом следует отметить: пан Фердинанд всегда ходил в начищенных до блеска ботинках. Закончив какую-нибудь работу, он шел на склад и драил там их до зеркального блеска.

Пан Колошка уверял, будто пан Фердинанд «убивает» таким образом время, но как бы ни было, пан Фердинанд то и дело чистил ботинки.

С этого началась и наша довольно доверительная беседа с паном Фердинандом вскоре после начала моей практики.

Пан Фердинанд как раз вернулся со двора, где толлок в ступке корицу, и направился на склад, взял из шкафа баночку гуталина, обувную щетку, и тут я тоже зашел на склад.

— Подите сюда, молодой человек, — обратился он ко мне.

Я подошел поближе.

— У вас много слюны?

— Много.

— Хорошо, — одобрил пан Фердинанд, — а то у меня, пока я толлок корицу, что-то в горле пересохло.

— Ага, — ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— Если гуталин растереть с обыкновенной водой, — продолжал посыльный, — ботинки до нужного блеска не доведешь.

— Вы правы, — согласился я.

— А со слюной блестит, — заметил пан Фердинанд и добавил: — Ну!

Я молчал, и пан Фердинанд воскликнул:

— Вас что, убудет, молодой человек, если вы плюнете мне в гуталин?.. Сразу бы догадаться, — проговорил он, когда я выполнил его просьбу, — надо помогать друг другу. Наш брат должен поддерживать своих, — разглагольствовал он, начищая ботинки, — так уж на свете повелось, молодой человек, и так оно и будет до скончания веков. — А большие господа, — совершенно неожиданно закончил он, — будут мешать беднякам поддерживать друг друга. Глупые мы еще очень, молодой человек, — продолжал он свои рассуждения, — сожрать друг друга готовы. Лучше всего это видно у нас в Михеле. Знаете, где Михель?

— Да.

— Я ведь живу в Михеле, а рядом со мной живет тоже посыльный, я получаю в неделю на четыре гульдена больше, чем он, и могу пропить на четыре гульдена больше, он из-за этого злится и кричит в коридоре, что-де в один прекрасный день меня выведет на чистую воду и я на всю жизнь это запомню. Недавно вот кричал, что я обокрал нашего старика в «сортировке» на фактуре, он-де знает, как это делается. Я рассердился и говорю: «Не все же, Плачек, воруют так глупо, как ты, жулик. Когда ты работал на той фабрике, в проходной расстегнули твой жилет и сразу увидели, что ты тащишь домой, ворюга».

Пан Фердинанд был сильно взволнован, это чувствовалось по той скорости, с какой он чистил ботинки. Щетка летала с невероятной быстротой, а пан Фердинанд хмурил свой высокий лоб и рассказывал дальше:

— Теперь, говорю, слово за тобой, Плачек, и Плачек встает посреди коридора и начинает вопить: «Ах ты, каналья аптекарская, да от тебя за две мили несет вашими пойлами». — «Веди себя прилично, Плачек, — отвечаю, — я о тебе ничего дурного не сказал, а ведь ты только ругаться умеешь, ворюга». Плачек выскочил в коридор и заорал: «Ты продал ботинки своего сына, и мальчишка ходит босой, сбыл на сторону кило перца, откуда ты его взял? Свернул челюсть жене, разбойничья морда, в трактире украл солонку, и все за одну только неделю». Я говорю: «А за «морду» — в морду». — Пан Фердинанд умолк, затем продолжал: — Дрянной человек Плачек, дал-то я ему всего разок-другой, а он собирается теперь подавать на меня в суд. Опять у меня слюни кончились, плюньте, молодой человек, еще в гуталин. Вода такого блеска не дает. Ну вот! Спасибо. Надо помогать друг другу...

Я вернулся в лавку, и пан Таубен сразу спросил:

— Не слишком ли сегодня от пана Фердинанда разит пивом?

— Не знаю, разве тут разберешь, — ответил я.

— Вы правы, из-за его одежды... — сказал приказчик, — но на всякий случай предупредите, пусть пожует лимон, потому что его старик ждет, чтобы поспать с тележкой за олифой.

#### 4. Пани Колошкова

С первого взгляда мне стало ясно, отчего пан Таубен называет жену хозяина латинским словом «ацидум», то есть кислота.

На следующий же день после нашей беседы с паном Фердинандом она появилась в лавке часов в девять утра.

Не успели старые часы на стене прохрипеть девять, как дверь с надписью «Добро пожаловать» раскрылась, потянув за веревочку висевшего над дверью ангелочка, ангелочек сделал поклон, звякнул колокольчик, и в лавку величавой поступью аббата, идущего взглянуть, не пьют ли монахи в подвале вино,

вплыла толстая высокая напудренная женщина с довольно красивыми, несмотря на полноту, чертами лица, в крикливой шляпке и шелковом платье, шуршанье которого было слышно издалека.

Пан Таубен, только что отпуская шуточки, принял вдруг серьезный вид, быстро шепнул мне: «Наша старуха» и тотчас громко поздоровался:

— Целую ручку, милостивая сударыня.

Я подбежал и поцеловал пани Колошковой руку.

Пани Колошкова не соизволила удостоить нас ответом, подошла к прилавку и спросила:

— Где хозяин?

— В конторе, милостивая сударыня, — ответил приказчик и с поразительной резвостью помчался по проходу между прилавком и полками, открыл застекленную дверь в деревянной перегородке и воскликнул:

— Простите, пан хозяин, милостивая сударыня в лавке.

Из-за прилавка выбежал маленький муж и принес своей высокой жене стул, почтительно приветствуя ее:

— Как поживаешь, Мароушка? Как приятно, что ты зашла навестить нас.

— А ты спишь в конторе, — сердито ответила пани Колошкова, — спишь и не видишь, что пан Таубен со всеми удобствами расселся на прилавке и зевает...

— Но позвольте, милостивая сударыня, — возразил пан Таубен.

— Что я, не видела? — быстро заговорила пани Колошкова. — Вы сидели на прилавке, били баклуши, зевали. Уж конечно, после кутежа так и тянет на зевоту.

— Я был дома, милостивая сударыня, — защищался приказчик.

— А у кого глаза ввалились? — бушевала супруга нашего хозяина. — Думаете, по вас не видно, что вы всю ночь сорили деньгами?

— И ты это терпишь? — быстро повернулась она к своему мужу. — На то ты и хозяин, чтоб запретить молодым людям растрачивать свои силы по трактирам.

— Впредь этого не повторится, — удрученно ответил пан Колошка.

— Да что вы, нигде я вчера не был, — протестовал пан Таубен, — у меня уж и деньги кончились.

— Ага, — сердито сказала пани Колошкова, — значит, когда у вас есть деньги, вы ходите и тратите их, что ж после этого удивляться, что вы похожи на мученика!

(Справедливости ради следует заметить, что до прихода пани Колошковой у пана Таубена был прекрасный цветущий вид.)

— Швыряетесь деньгами, — продолжала пани Колошкова, — и после такой ночи не можете толком обслужить покупателей.

— Но тебе, Колошка, все едино, — повернулась она к своему мужу, казавшемуся в эти минуты еще меньше обычного, — тебе бы только спать в своей конторе. Без меня ты бы уже двадцать лет назад обанкротился.

— Если кто-то войдет... — робко произнес пан Колошка.

— Если кто-то войдет, — ухмыльнулась пани Колошкова, — я и при нем скажу. Что тебя тогда спасло? Пятнадцать тысяч моего приданого! Они тебе и по сей день помогают держаться на поверхности. Не присматривай я за торговлей, давно бы все пошло прахом. А что я за это имею? У супругов Базовиц

есть вилла под Добржиховицами, а у них доходы меньше наших. Сколько лет я твержу тебе, что надо построить виллу, да где там! Пан Колошка лучше себя побалуует. В десять часов он пьет пльзеньское, ест сардинку, потом кофе со сливками, ему и дела нет, — может ли его жена себя чем-нибудь побаловать, хотя он прекрасно знает, что если б не жена, он уже двадцать лет назад обанкротился бы. Тогда б тебе было не до пльзеньского с сардинкой, — продолжала она браниться, развивая свою, видимо, любимую тему, — и ты не пил бы кофе со сливками. И не возникало б жажды от сардинки. Попробуй только вечером послать служанку за пивом, а потом обнимать меня. Уж лучше б меня другие обнимали, не ты. Если б не мой отец, которому ты задолжал, я бы сроду за тебя не вышла. А бедный папочка рассчитывал хоть таким путем вернуть свои деньги. Твой тесть слишком добр к тебе, он все делает для того, чтоб в семье не было раздоров и ссор и чтобы я, твоя несчастная жертва, не страдала еще больше.

Я хочу видеть книгу ежедневных расходов за последнюю неделю, — приказала она, переводя дыхание, — немедленно принеси ее!

Пан Колошка исчез за деревянной перегородкой, тут же вернулся с книгой и почтительно положил ее на прилавок.

Пани Колошкова поднялась со стула, пан Колошка придвинул стул к прилавку, жена снова села и начала внимательно изучать каждую статью ежедневных расходов за последнюю неделю.

Вид у пана Колошки в эти минуты был довольно-таки жалкий, не сравнить с тем, когда он говорил мне: «Итак, с сегодняшнего дня вы мой новый практикант». Тогда он держался гордо и независимо, а тут дрожал и бледнел, опираясь о прилавок, и с невероятно почтительным и смиренным выражением лица вслед за женой переводил страдальческий взгляд с одной строчки на другую. Мне показалось, будто он делает робкую попытку прикрыть локтем какую-то запись внизу страницы.

Стояла тишина. Слышно было, как тикают карманные часы пана Таубена, а в какой-то момент мне померещилось, будто я слышу, как стучит сердце пана Колошки.

Пани Колошкова отстранила локоть супруга и продолжала изучать записи.

— Что это такое? — вырвалось у нее, когда ее неумолимый взгляд дошел до места, где только что лежал локоть ее удрученного супруга. — Что такое? «Разные расходы 23 гуль. 50 кр.» Какие такие разные расходы?

Если до этого вид у пана Колошки был жалким, то сейчас он стал просто плачевным. Пан Колошка открыл рот, собираясь что-то сказать, но слова застряли в горле. Его затрясло, зуб на зуб не попадал, словно он вылез из теплой воды и его неожиданно обдуло холодным ветром.

Зоркий взгляд пани Колошковой остановился на его трясущейся челюсти, выбивавшей мелкую дробь: та-та-та-та-та.

— Что это? — загремела пани Колошкова. — Куда пошли эти двадцать три гуль, пятьдесят кр?

В ответ — ни слова, лишь зубы пана Колошки еще более дробно выбивали: та-та-та-та.

— Объяснишь ты или нет? — менторским тоном произнесла пани Колошкова.

— На-на-на-на сар-сар-сар-сардины и-и пль-пль-зень-зень-пль-зеньское пи-

пи-пиво, — трепетал пан Колошка, — и-и-и за-за-за бу-бу-булки и-и ко-ко-кофе.

— Ты мне зубы не заговаривай! — кричала пани Колошкова — Ты содержишь какую-то женщину, даешь ей деньги, а семью свою обираешь. Всех нас обираешь!

Пан Колошка собрался с духом и заговорил:

— Ты не права, голубушка, я... признаюсь — я разбил твою памятную вазу, которая стояла в гостиной, пришлось купить новую, чтобы ты не узнала, и поставить на место старой...

После этих слов книга расходов полетела в голову пана Колошки, но, миновав свою цель, проследовала дальше, по направлению конторки, стул был отброшен в сторону, пани Колошкова, побагровев, что было видно даже сквозь румяна, устремилась к двери, проговорив медленно и весомо:

— Обедать домой не приходи, а вечером ты у меня получишь!.. Ну обожди. — Ее последние слова донеслись уже от порога, и пани Колошкова стремительно распахнула дверь.

Звякнул колокольчик, ангелочек на дверях с надписью «Добро пожаловать» механически поклонился, и шлейф пани Колошковой резко взметнул пыль тротуара, словно желая наглядно продемонстрировать ее ярость.

Пан Колошка, казалось, задышал чаще, словно человек, вырвавшийся из душного помещения на свежий воздух, и, глубокомысленно склонив голову, направился за деревянную перегородку, бросив в мою сторону хозяйским тоном:

— Вы, наверное, знаете поговорку «Сор из избы не выносят», а не знаете — запомните. — Пан Колошка исчез в конторе, и вскоре оттуда послышался его голос: — Пан Таубен, зайдите!

Вернувшись от хозяина, пан Таубен сказал мне смеясь:

— Перетрусил старик. Справлялся, в какой бы гостинице ему лучше переночевать. — И тут же назидательно заключил: — Сами видите, молодой человек, ацидум и есть ацидум, что значит кислота.

## 5. Посетители лавки

Первым в лавке ежедневно появлялся Броучек, рассыльный. Он ждал открытия на улице и входил в лавку со словами:

— Дай вам бог доброго утра, на два горькой.

Мы ему наливали по знакомству, он, причмокнув от удовольствия, возвращал пустую рюмку и всякий раз замечал:

— Согревает, проклятая, вам бы распивочную открыть?

Впервые увидев меня, Броучек сказал:

— Держитесь молодцом, парень, всем нам на радость.

Иногда вместе с ним ждал открытия и толстый полицейский, несший службу на этой улице. Сей господин производил внушительное впечатление не столько саблей и револьвером, сколько своей толщиной; переступив порог лавки, он отдавал честь и произносил:

— Все в порядке.

Пан Таубен и ему наливал рюмку горькой, разумеется, бесплатно. Толстый полицейский выпивал ее и, отдав честь, заключал:

— Все в порядке.

После чего уходил.

Рассыльный Броучек ненадолго задерживался в лавке, давая оценку вче-

рашной погоде: «Вчера шел дождь» или «Такого прекрасного дня, как вчера, я не помню», «Вчера было холодно». Потом со словами: «Всего вам доброго, за мной еще два» — уходил.

После него обычно появлялась старая еврейка пани Вернерова, хозяйка распивочной по соседству.

Она приходила с огромной стеклянной бутылью и ежедневно покупала шесть литров чистого спирта.

— Um Gottes willen[68], пан Таубен, — говорила она, — подумать только, вчера у нас снова подрались. На меня страх нападает, стоит мне вспомнить, что я одна в распивочной, боюсь, избьют меня, как бивали моего покойного мужа.

И по крайней мере раз в неделю, особенно если заставала в лавке еще кого-нибудь, она непременно рассказывала историю, самую заурядную для винных погребков, когда хозяина избивали пьяные, которых сам же он и напоил, пусть даже на их последние деньги.

— А покойный, — добавляла она жалостливо, — был такой добряк, ein golden Herz[69], сроду водки не разбавлял, а они его, бедняжку, побили из-за какой-то мухи в рюмке. Ja, ja, eine Fliege[70], он же не нарочно!

Расплачиваясь, она всякий раз торговалась, уверяя, будто читала вчера в газетах, что цена чистого спирта упала на два крейцера за литр.

Следом за ней появлялась дворничиха Паздеркова, приходила за своей порцией тминной, а заодно истолковать сон пана Таубена, объяснение которого всегда заканчивала словами:

— Да, так и есть, почить вам сном праведных.

Шельма пан Таубен всякий раз рассказывал, что ему снились белые лошади.

Доверительно справившись о здоровье пана Колошки, хозяина, и пана Фердинанда, она принималась жаловаться на жильцов. И в заключение горько сетовала, что учитель опять оставил вчера ее Францека без обеда.

После ее ухода заглядывал перед школой рыжий Францек — просил кусок лакрицы или стеклянную трубочку, если в этот день собирался стрелять в школе горохом, и всякий раз добавлял, что мама заплатит.

Затем приходили барыни и служанки по дороге на рынок. Чего только они не покупали — травы от кашля и хрипов, рвотное и противорвотное, слабительные от самых легких до самых сильных, разные мази, губки для мытья, мастику для пола, желудочные капли, пудру и другую косметику, и прочее, и прочее...

Барыни, особенно помоложе, торговались. Заходила пани Воглова, супруга скорняка, за средством от моли. Это была пожилая женщина, которая вечно торопилась: «Да поживей, поживей», словно моль за эти пять минут могла невероятно размножиться. Заходила пани Кроупкова, молодая супруга слесаря, и жаловалась обычно на несварение желудка у мужа.

— Готовьте ему сами, милостивая сударыня, — советовал пан Таубен.

— Да я сама и готовлю, — наивно отвечала молодая женщина.

Приходили покупатели, которым, судя по всему, величайшее удовольствие доставляли пререкания с паном Таубеном. Среди них особенно выделялся пан Кршечан. Он ходил к нам по субботам с утра, когда было больше всего покупателей, немилосердно расталкивал всех, пробиваясь к прилавку с криком:

— Вы мне снова прошлый раз подсунули дрянь. Это разве липовый чай? Да это просто дорожная пыль! Имейте в виду — я покупаю у вас много лет. Это надо учитывать, уважаемый. Не так ли? Вам нечего сказать? В таком случае дайте мне на сорок крейцеров липового чая, но если и на этот раз будет одна пыль, я пожалуюсь на вас в магистрат.

После этой тирады он доставал табакерку, открывал ее и, перегнувшись через прилавок, предлагал:

— Понюхайте, пан Таубен, помогает хорошему самочувствию.

Мы называли его полоумный пан Кршечан.

Приезжая в Прагу, к нам заходил мельник Влашек, откуда-то из-под Чешского Брода. Он клал шляпу на стол, с серьезным видом извлекал из кармана листок, где было записано, что надо купить землякам — пану учителю, пану священнику и остальным.

Он с достоинством протягивал листок пану Таубену и заводил разговор о полевых работах: «Начинаем косить за рекой» или: «Пора скородить», и тому подобное, вроде: «Пшеница уже наливаются».

— Все, значит, — произносил он, когда товар по списку лежал перед ним на столе, — а еще мне дайте пакет целебных трав для коров.

Частым посетителем был в лавке также высокий господин в черных очках, говорили, что он директор какого-то небольшого сиротского дома.

Наклонившись над прилавком, он всегда шепотом просил у пана Таубена:

— Мне полкило ртутной мази.

Ах эта ртутная мазь! В моей памяти тотчас воскресала двести тринадцатая страница из «Естественной истории животного мира» Покорного, и я видел себя маленьким гимназистом, который учит наизусть: «Ц. Бескрылые. Вошь детская (*Pediculus capitis*) — серо-желтая, бескрылая. Имеет короткие усики и вытянутый хоботок, с помощью которого она высасывает кровь. Встречается только на голове, в основном у детей».

Наш учитель естественной истории при этом произносил:

— И тогда маленьким детям мажут голову ртутной мазью. Не смейтесь там, на последних партах.

Бедный директор сиротского дома! Знал бы он, что вместо ртути мы кладем в мазь порошок графита, который в двадцать раз дешевле.

— Не все ли равно, — смеялся обыкновенно после его ухода пан Таубен, — у сироток, по крайней мере, почернеют головы и они смогут играть в арапов.

Покупатели приходили и уходили, старики, молодые, господа, дамы, девицы, дети, веселые, как, скажем, трактирщик с Малой Страны, покупавший у нас чемерицу чихательную, которую он подмешивал в табак и предлагал эту умопомрачительную понюшку посетителям трактира; люди печальные, вроде пана Вагнера, пенсионера, который постоянно покупал желудочные капли и разные травы для желудка, пока вконец его не испортил, или вроде слепого Йозефа, старичка нищего, который стучал палкой о порог и всякий раз просил другие травы — сушеный василек, пион и тому подобное. Дома он их жег и окуривал дымом свои незрячие глаза в надежде, что в один прекрасный день отыщет траву, которая принесет избавление не только ему, но и другим слепым.

Приходили барышни за духами и пудрой, зардевшись, спрашивали различные косметические средства, которые особой пользы коже не приносят, но

употребление которых является признаком хорошего тона.

Приходили скрипачи за канифолью, случалось, гимназисты и реалисты, воодушевленные химическими опытами, покупали химикаты, с осторожностью унося их, дважды в неделю появлялась дворничиха из соседнего дома за ядом для крыс. Прибегали смешливые служанки за щелоком, которым тайком от хозяек пользовались при стирке белья. Являлся также сторож одной из гимназий за лабораторной посудой и химикатами для опытов; он был страшный педант и требовал, чтобы ему все как следует упаковали.

— Как бы меня не разнесло в клочья когда-нибудь, — говорил он, осторожно рассовывая по карманам пальто покупки.

Приходил почтальон, приносящий заявки от заказчиков и всевозможные прејскуранты, и неизменно получал рюмку английской горькой.

Заглядывали в лавку агенты различных фирм со словами:

— Сегодня ничего не нужно? У нас дешево.

А по пятницам один за другим являлись нищие со всей округи за своим крејцером. Захаживали и бродячие подмастерья или разносчики аптекарских товаров в надежде на вспомоществование или на место.

Все они — знакомые и новые лица — и были посетители лавки.

## 6. На чердаке

Лезть на чердак надо было по деревянной, выдавшей виды лестнице, каждый шаг по которой сопровождался звуком, напоминавшим гомон птиц, пробуждавшихся утром ото сна. Это было довольно нежное верезжание и одновременно посвист.

Рыжий Францек любил коротать время, вызывая этот звук.

Впервые поднимаясь на чердак, чтобы по распоряжению пана Колошки отыскать посыльного пана Фердинанда, который два часа назад отправился в эти, доселе неведомые для меня пределы, чтобы просеять отруби, важнейшую составную часть наших целебных трав для скота, я увидел рыжего Францека на середине лестницы, он разгонял скуку, прыгая на одной ноге со ступеньки на ступеньку вверх и вниз, заставляя тем самым лестницу скрипеть и визжать.

Свои своеобразные, непостижимые для меня развлечения он объяснил так:

— Я вот уже полчаса прыгаю, жду, когда старикан со второго этажа, который живет возле лестницы, спятит. Скоро опять вылезет.

И действительно. Я не так уж долго наблюдал забаву рыжего Францека, как вдруг распахнулась дверь квартиры, и на лестницу с криком выскочил старый господин в халате, держа в руке розгу:

— Проклятый мальчишка, я вот тебя отстегаю, дашь ты мне покой?!

Он спустился на две ступеньки, размахивая розгой, рыжий Францек еще три раза подпрыгнул, лестница трижды издала свой нежный, но пронзительный скрип, после чего Францек задал стрекача.

— Поймайте мне этого мальчишку, — попросил меня старый господин. — Впрочем, не стоит, я до него и так доберусь. Ведь это же все равно что вилкой скрести по тарелке.

Старый господин с розгой вернулся к себе домой, а я продолжал свой путь в неведомые края.

Я шел по длинной крытой галерее двухэтажного дома. На перилах сушилось белье. Из какого-то открытого окна донесся женский голос:

— Это новый практикант.

Я посмотрел вниз, во двор. Францек, засунув руки в карманы, выходил из своей квартиры.

Дворничиха стояла в дверях и кричала:

— Пусть только пан канцелярист до тебя дотронется, я ему покажу где раки зимуют.

Францек вернулся на лестницу, и вскоре послышался знакомый визг и скрип старых деревянных ступенек.

Дойдя до конца галереи, я поднялся по лестнице на чердак. В коридоре, у нижних ступенек лестницы, которая вела в самую высокую часть дома, мне бросилась в глаза надпись на грязной штукатурке, сделанная черным углем: «Практикант Йозеф Кадлец последний раз был здесь 29 февраля перед отъездом в Кладно, где он завершит практику. Ему здесь жилось хорошо».

Ниже не столь уверенным почерком было выведено: «Практикант Йозеф Кадлец был доносчик и осел. Фердинанд».

Под комментарием пана Фердинанда довольно искусно был нарисован кувшин и карты, с письменным признанием: «Это — самое лучшее».

Я решил, что почерк принадлежит пану Таубену.

Напротив была нарисована большая бочка, а возле нее уродливый человек и пояснение: «Радикс наливает малагу».

А выше, у самых дверей чердака, синим мелом было написано: «Пан Фердинанд ходит к дворничихе».

Надписи довершала последняя, выведенная на двери черным лаком: «Чердак лавки москательных и аптекарских товаров».

Дверь была закрыта, и, когда я распахнул ее, на меня повеяло одурманивающим ароматом сушеных трав, а до моего слуха донесся какой-то храп, позволяющий понять народное выражение: «Будто дрова пилят».

Меня окутало таинственным полумраком. Я свернул направо и вошел в отпертую дверь, огромный замок которой, мирно болтавшийся на засове, напомнил мне вход в тюрьму.

Через стеклянную крышу сюда проникал слабый свет, тускло освещая ряды бочек с пыльными крышками, где хранились всевозможные травы.

От бочек шли одуряющие запахи. Они стояли по обе стороны прохода, а между ними валялись пустые бутылки, солома от упаковки бутылей, еще не сметенная в сторону, тут и там лежали разные просыпанные лекарственные травы, осколки стекла.

Среди бочек сразу бросались в глаза высокие посудыны с порошковыми красками — желтой и коричневой охрой, красной глиной, — пол вокруг которых имел соответствующий оттенок. Несколько бочек было опрокинуто, и содержимое их смешалось с красками, химикалиями и сухими травами, покрывающими кирпичный пол чердака. В этом отделении хранились и небрежно прикрытые крышками ящики, в них сверкали кристаллы квасцов, селитры и прочих солей.

Узкая полоска света в углу падала на глыбы каменной соли, кристаллики которой переливались всеми цветами радуги. Рядом валялись сита и фарфоровая посуда, в которой растирают краски.

Между ящиками поблескивали жестяные баллоны с маслом, керамические сосуды с кислотами, заткнутые глиняными пробками; некоторые из них, вро-

де сосуда с азотной кислотой, дымились и, окутанные небольшими облачками, вызывали кашель.

В этой части чердака стоял резкий запах. Едко пахло аммиаком из стеклянного баллона — большой столитровой бутылки, от белой хлорной извести в открытой бочке першило в горле.

Глаза постепенно привыкали к полумраку, и я увидел, что стою возле лестницы. Мне надо было, как я уже говорил, найти пана Фердинанда, но это оказалось непросто.

Правда, войдя, я сразу же услышал храп — верный признак того, что посылный здесь; храп мог бы служить мне ориентиром, но не тут-то было.

«Кху-пу-кху-пуу-кху-пу» доносилось то из одного угла, то из другого.

— Пан Фердинанд, — кричал я, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, — несите просеянные отруби вниз!

В ответ — лишь приглушенный храп: «Кху-пу-кху-пу», эхо которого разносилось по всему чердаку, сбивая меня с толку, и я не мог понять, где искать спящего пана Фердинанда.

— Пан Фердинанд, — снова закричал я, — вы тут уже два часа, отнесите просеянные отруби вниз!

Никакого впечатления.

Теперь он дышал носом: «Пфу-пфу-фу».

Я поднялся по приставной лесенке в другую часть чердака, намереваясь продолжить поиски.

На настиле среди стропил и балок лежали мешки с сушеными травами, шуршащими при каждом шаге.

Здесь было посветлее. Я осмотрелся вокруг.

Сперва мне показалось, что пан Фердинанд храпит слева, за грудой набитых мешков. Я перелез через мешки — там было пусто.

Я продолжил свои поиски справа, и действительно, пан Фердинанд спал там. Ложе его было устлано розами. В полном смысле слова: он спал на куче сухих розовых лепестков. Он лежал, удобно вытянувшись, прикрыв лицо пиджаком, который приглушал храп.

Я стал будить его, дергая за ногу:

— Пан Фердинанд, вам надо снести просеянные отруби вниз!

После третьей моей попытки пан Фердинанд проснулся, сбросил с лица пиджак, приподнялся, зевнул и произнес:

— Это вы, молодой человек? Я тут вздремнул малость.

— Несите отруби вниз, — повторил я, — вы здесь сидите уже два часа.

— Что, отруби? — испугался пан Фердинанд. — Я про них начисто забыл. Прилег на пять минут да проспал. Да, уходился я. Вот что. А теперь еще отруби просеивай.

Пан Фердинанд надел пиджак, вскочил и сказал:

— Здесь хорошо спится. Если б я втянул лестницу наверх, вы бы меня, молодой человек, не нашли.

Мы стали спускаться вниз. Пан Фердинанд обернулся на последней ступеньке и умиротворенно произнес:

— А летом, когда бабы нанесут свежих трав, спится еще лучше. Будто в деревне на сене. Разляжешься — и спишь себе. А старику нашему скажите, что у меня пошла носом кровь, поэтому я еще не закончил.

Когда я покидал чердак, рыжий Францек все еще прыгал, заставляя старые ступеньки скрипеть.

— Что мне сказать? Когда вы придете? — крикнул я в полумрак чердака.

— Когда закончу; — ответил пан Фердинанд.

Голос его доносился сверху — пан Фердинанд поднимался по лесенке на свое прежнее место, устланное розами, в прямом смысле этого слова...

## 7. Тележка

Постепенно я ознакомился со всем заведением: подвал, чердак, сводчатый склад за лавкой, сарай во дворе, где пан Фердинанд толоч коренья и где, кроме большой ступки с тяжелым пестиком, хранилась ручная тележка, периодически менявшая окраску. Тележка, с которой пан Фердинанд ездил за товаром или развозил его, была предметом его гордости.

Ни один посыльный не мог похвастать такой красивой тележкой, колеса, рама, короче, все части которой были раскрашены в яркие цвета — синий, красный и зеленый.

Завидев тележку, всяк отзывался о ней одобрительно, но пану Фердинанду было этого мало. Он вечно возился с ней, перекрашивал ее, отводя для этой цели, как правило, субботу пополудни, чтобы за ночь и воскресенье тележка как следует просохла.

А в понедельник, куда бы он ни поехал, его тележка привлекала внимание новыми блестящими красками, смелым сочетанием цветов, обычно не применявшихся для окраски тележек.

То она переливалась всеми цветами радуги, а колеса были кроваво-красные с зелеными и синими полосками, то колеса становились бронзовыми, а сама тележка черной в желто-белую полосу. Через неделю все менялось. Тележка оказывалась покрыта зигзагами коричневого и белого цвета, а колеса были желтые с черными полосами.

Столь смелые комбинации, все новые и новые сочетания цветов могли возникнуть лишь в голове пана Фердинанда за его высоким челом. Пан Фердинанд любил свою тележку отечески нежно, как заботливый воспитатель, он стремился, чтобы его подопечная всегда была нарядна.

Пренебрежительно отозваться о тележке означало навсегда восстановить против себя пана Фердинанда.

Когда однажды косой Венца, подмастерье мясника из нашего дома, отважился заметить в пивной, что тележка похожа на размалеванного индейца, пан Фердинанд вспомнил свою излюбленную присказку «За «морду» — в морду» и тут же перешел от слов к делу.

— Я тебе покажу размалеванного индейца, косой черт! — Голос его слышен был даже во дворе.

С тех пор они сделались заклятыми врагами и выражали свою неприязнь взглядами и словами.

Косой Венца, быть может, и помирился бы; во всяком случае, когда пан Фердинанд угощал в пивной своих друзей, заказав двухлитровые кружки пива, он подошел к нему и сказал:

— Надеюсь, вы больше не сердитесь, пан Фердинанд?

Пан Фердинанд лаконично ответил:

— Сержусь, косой черт. — А когда двухлитровая кружка пошла по кругу, заявил: — Косоглазым не давать!

Он был нетерпим к любому, кто непочтительно отзывался о его прекрасной тележке.

А как тщательно обследовал он каждый вечер, — хорошо ли заперт сарай, где покоилась его тележка, и нередко, как бы не доверяя себе, возвращался и заново осматривал замок.

— Спокойной ночи, тележка, — произносил он обычно. А утром первым делом шел к сараю — не украл ли кто ее ночью.

— Доброе утро, тележка, — говорил он, — вот и я. Работа начинается.

Тележка была его верным товарищем, и надо было видеть, как пан Фердинанд толкает ее, важно покуривая фарфоровую трубку! А если где-нибудь по пути он останавливался в трактире, любо-дорого было посмотреть, с какой отеческой заботой оберегал он свою тележку, стоящую на улице. Он следил за ней в окно и настораживался, если какая-нибудь подозрительная личность приближалась к его подопечной.

Она приносила ему не только славу, но и барыш. Он возил в ней со станции или со складов крупных фирм разные товары, ловко проскальзывая мимо таможенных пунктов, где взималась пошлина за продовольственные товары, и, таким образом, деньги за провоз вина, спирта и тому подобного, которые должны были достаться городу, доставались ему.

Обманывая бдительность таможенников, он применял различную тактику; чаще всего он быстро проскальзывал через таможенную черту между двумя телегами.

Здесь, конечно, требовался особый талант. Надо было выискать такие улицы, где движение особенно оживленное, и, выждав удобный момент, проскочить под прикрытием других повозок. Быстро едущие легкие экипажи для этого не годились, а вот дождавшись тяжело груженных телег, он подъезжал именно в тот момент, когда они следовали за таможенную черту, уже заплатив пошлину. А потом, ловко затесавшись меж ними и глядя в оба, сперва не спеша, а потом все быстрее и быстрее и, наконец, бегом — мимо бдительных стражей, толкая перед собой тележку, так что бочки и прочий груз только подпрыгивали. Прохожие даже не успевали заметить тележку, как она уже проносила мимо.

Пан Фердинанд сворачивал в тихий переулок и там, замедляя темп, в конце концов снова толкал тележку солидно и не спеша, попыхивал фарфоровой трубкой и время от времени останавливался, чтобы утереть пот со лба или прикинуть, на какую, собственно, сумму рискнул он надуть таможенню и магистрат.

Деньги, добытые таким способом с помощью своего удивительного таланта, он прятал в кошелек, чтобы в самое ближайшее время истратить их в первом попавшемся трактире.

И тут, сидя неподалеку от двери, он с благодарностью поглядывал на тележку, стоящую у тротуара. Не подвела! А если б в решающий момент, когда он пересекал таможенную черту, колеса его тележки вдруг отказали бы? Если б вдруг прогнулась тщательно смазанная ось? Нет, тележка его не подведет.

Но однажды случилось невероятное. Пан Фердинанд вернулся под вечер с товаром, но в каком виде была тележка! Забрызганная, на колесах комья грязи.

Все смотрели с изумлением. Пан Фердинанд сгрузил товар и, не вычистив

тележку, грубо затолкал ее в сарай и запер.

И перед закрытием лавки не пошел, как обычно, взглянуть, хорошо ли защелкнут замок, и не произнес: «Спокойной ночи, тележка», зато пану Таубену он сказал, показывая желтый листок:

— Впервые меня зацапали. Аккурат, когда я пересекал черту, эта проклятая тележка стала и ни с места. Колеса застопорились. Ну я и попортил ей красоту в луже.

Больше пан Фердинанд не раскрашивал свою тележку.

## 8. Тесть пана Колошки

О нем зашла речь однажды в обеденную пору. Пан Колошка ушел обедать, посетителей в лавке не было, пан Таубен сидел спиной к двери на одном конце прилавка, пан Фердинанд на другом. Это время отводилось для бесед.

— Чего только Радикс не терпит от своего тестя, — проронил вдруг пан Таубен, закуривая сигарету.

— Будь у него теща, и то легче было б, — веско добавил пан Фердинанд, — хоть и болтают про женские языки, но уж если тесть начинает высказываться, хорошего не жди.

— И чем старше, тем он все хуже, — продолжал пан Таубен. — Недавно Радикс рассказывал одному знакомому, что тесть думает, будто Радикс взял концессию на продажу яда только для того, чтобы его отравить. Лекарства для себя он берет не у нас, а в аптеке. Когда Радикс приходит домой, тот обшаривает карманы его пиджака — нет ли в них какого яду. Страшное дело, пан Фердинанд, иметь такого тестя.

— Весьма печально, пан Таубен, — подхватил пан Фердинанд, — если тесть швыряет вечером в своего зятя ботинок. Мне про это недавно служанка рассказывала. Правда, в Радикса он не попал. Сами понимаете, человек пожилой, рука неверная. Но какова дерзость, пан Таубен! На такое может решиться только очень дурной человек. А в довершение всего Радикс и рта раскрыть не смеет, потому что там еще и Ацидум. Жена злющая, тесть злющий, оба бешеные. Это, доложу вам, пан Таубен, тяжкое испытание.

— К тому же, — вставил пан Таубен, — тесть вечно попрекает зятя деньгами, что дал ему на торговлю. Вы знаете, пан Фердинанд, как Радикс женился на своей кислоте?

— Уж толком и не помню, — ответил пан Фердинанд, — бондарка Кроупкова говорит, что вроде заперли как-то Радикса в комнате да заставили попросить ее руки.

— Ну, это не совсем точно, — произнес приказчик. — Дело было вот как. Радикс еще в холостые годы держал эту лавку, а его нынешний тесть Ванёус владел в ту пору крупной фабрикой по переработке лекарственных трав. Весь товар Радикс получал от Ванёуса. Но тогда Радикс обходился на завтрак не только сардинкой, булкой да кружкой пива, а ел и пил вволю. Ел и пил в лавке, вечером запирали ее и продолжал свое в другом месте. Молодой да неженатый, он срывал цветы удовольствия, за всех расплачивался, а долги росли чем дальше, тем больше. Радикс тратил деньги, полученные за товар, взятый в кредит на фабрике своего нынешнего тестя. Он вообще ему не платил, забывая все новый и новый товар. Тот посылал напоминания, и в один прекрасный день Радикс отправился просить пана Ванёуса любезно отсрочить платежи. Он явился к нему домой и именно там впервые увидел свою нынешнюю

жену, Ацидум. Старый Краус, который служил здесь до вас, рассказывал, что в молодости Радикс был красивым, любил увиваться за женщинами и язык у него был хорошо подвешен. Пану Ванёусу он понравился, и тот извинился за напоминание о деньгах. Он даже пригласил Радикса заходить в гости. Радикс и похаживал, брал при этом с его склада товары в кредит и ничего не платил. Когда долг достиг огромных размеров, Радикс прекратил свои визиты. Это, ясное дело, пана Ванёуса разозлило, он написал ему письмо: мол, передает дело в суд, чтоб Радикса признали несостоятельным должником. Старый Краус рассказывал, что Радикс тогда решился: «Завтра пойду туда и покончу со всем. Что поделаешь, Краус, если пан Ванёус объявит меня банкротом, лавку мою продадут, придется начинать все сначала». И еще Краус рассказывал, со слов Радикса, о его визите к пану Ванёусу. «У меня душа ушла в пятки, говорил ему Радикс, когда я поднимался по лестнице к Ванёусам, ноги дрожали, а все тело будто током било. Денег у меня не было, я шел без всяких надежд на то, что пан Ванёус сжадется и не потянет меня в суд. Прихожу, а пан Ванёус говорит: «Идите сюда». Завел меня в комнату, запер дверь и накинулся: «Сударь, у вас нет. ничего. Вы обманщик, вы транжирите деньги, берете у меня товар в долг, обещаете заплатить, но это лишь пустые слова». — «Смилуйтесь, говорю, я исправлюсь». — «Все это болтовня, — кипятился пан Ванёус, — так мне сроду не вернуть своих денег». Походил раздраженно по комнате, вдруг оборачивается и спрашивает: «Пан Колошка! У вас еще есть долги?» — «Да! В Усти-над-Лабой». — «Сколько?» — «Около пятисот гульденов». Пан Ванёус начал носиться по комнате и орать: «Так мне своих денег не вернуть, так мне своих денег не вернуть». Вдруг он чуть успокоился и говорит: «Я полагал, вы честный человек; вы ходили в гости ради моей дочери или просто для отвода глаз, чтоб я продолжал отпускать товары в долг?» Я, прямо обомлев от удивления, соврал, желая расположить его к себе. «Ради вашей дочери, пан Ванёус!» — воскликнул я, хоть и думать-то о ней не думал. И начались чудеса. Пан Ванёус отпер дверь и позвал дочь. Она вошла, и он сказал: «Мари, пан Колошка просит твоих руки, если ты согласна, я не возражаю». Не успел я опомниться, как эта женщина едва не задушила меня в своих объятиях». Знаете, пан Фердинанд, старый Краус говорил, что, когда на другой день Радикс рассказал ему об этом, он разинул рот и минут пятнадцать не мог его закрыть. Вот как было дело, пан Фердинанд. В тот день Радикс получил жену и тестя в придачу, а тестя его рассчитывал получить свои деньги.

— Ужас, — вздохнул пан Фердинанд, — один день испортил Радиксу всю жизнь. Страшное дело иметь такого тестя.

— Тещи уже отжили свой век, — рассуждал пан Таубен, — и любая теща рядом со стариком Ванёусом сущий младенец. Раз пришел я к Радиксу домой в обед: тесть в очках сидел возле него и следил, чтобы он не взял вторую порцию. На обед у них было мясо под соусом, любимая еда Радикса, и он попробовал было взять еще кусок. Тесть заметил и разозлился: «Положи назад! У тебя и так была большая порция, вон и кнедлик остался, а ему еще подавай! На лакомые кусочки ты падок, как фокстерьер на крыс. Заставить бы тебя с недельку поголодать, вот бы ты помучился».

— В воскресенье после обеда он читает тестю газеты, — ввернул пан Фердинанд, — а жена отправляется на прогулку или в гости.

— Тесть вообще скверно обращается с Радиксом, — заметил пан Таубен, —

как разозлится, запрет его трубку к себе в шкаф и с неделю не дает ему курить. А несколько трубок тесть уже разбил.

— Об него, — уточнил посыльный. — Служанка рассказывала, пришел как-то вечером Радикс домой и машинально поздоровался: «Доброе утро». — «Повтори, что ты сказал», — потребовал тесть. Радикс перепугался и, заикаясь, робко произнес: «Доброе утро, папенька». Тесть схватил с подставки трубку и несколько раз ударил его. «Я тебе покажу, как дурачить старых людей! Экий обормот, — злился тесть, — вечером желать доброго утра!»

— Точно, он его бьет, — откликнулся приказчик, — вот уж испытание так испытание.

— Радикс посадил как-то в палисаднике деревца, — сказал посыльный, — так тесть их срезал; наверно, Радикс уже ждет не дождется...

— Чего, пан Фердинанд?

— Ну, что в один прекрасный день мы запрем пораньше лавку и вывесим табличку, которую он заказал еще два года назад, когда тесть тяжело заболел, — ответил пан Фердинанд.

— А, — произнес пан Таубен, — вот вы о чем: «Сегодня, в связи с похоронами тестя, лавка закрыта».

— Совершенно верно, — ответил посыльный.

Разговор прервал господин, который вошел в лавку и попросил что-нибудь от зубной боли...

## Первое мая советника Мацковика

**П**ервого мая советник Мацковик, пятидесятипятiletний шестипудовый государственный служащий, совершил со своей пятидесятилетней пятипудовой супругой загородную прогулку в Посазавье.

Сойдя с поезда, они взяли извозчика и через некоторое время вышли у загородного ресторана, заняли столик и заказали обед. Поели, попили, потом опять — в пролетку и приказали отвезти их этак за полкилометра от ресторана, в лес; там опять вылезли и сели на опушке на траву.

— Птицы щебечут, — поэтически промолвила советница.

— Да, да, никак не заснешь, — ответил советник. — В поезде растрясет, и не пообедаешь как следует... Ты хотела этой поездки. Ладно. Вот и страдай!

— Я и не думаю страдать, — мягко возразила советница. — Птички щебечут, чирикают, воркуют, радуются жизни...

— Какая там жизнь! — заворчал советник, — Придет охотник, начнет бухать из ружья — вот тебе и радость жизни: всех куропапок, перепелов, фазанов перестреляет. Что может быть лучше домашней кухни? А если б мы здесь что-нибудь такое заказали, получилось бы, как с цыпленком.

— Птенчики в гнездышке радуются, — вздохнула советница, — вот сейчас папа с мамой прилетят, накормят...

— Птенчики! Таким вот птенчиком и цыпленок тот был, которого нам в ресторане подали, — уныло заметил Мацковик. — Пять косточек — и все. Я бы десяток таких птенчиков слопал!

— Не говори так, милый. Мы в лесу...

— Почему это я в каком-то дурацком лесу не могу произнести слово «слопал»? В гостинной я сказал бы «съел», в какой-нибудь веселой компании — «расправился». А здесь мы наконец единственный раз в году одни. Обычно с

нами за город тащится целая орава знакомых. Господи, какое наслаждение хоть раз в год распоясаться!

— Опомнись, Ондржей! Ты ведь как будто ничего не пил!..

— Правда, выпил я немного. Но здесь приволье, и я хочу безобразничать. Как в детстве, когда мальчишкой был. Мы бродили тогда по лесу и, не думая о приличиях, орали наперебой. Я ничего не пил. В этом нищем краю болван ресторатор подает не вино, а какую-то бурду вонючую!

— Ондржей!!!

— Отстань, дай хоть раз в году вздохнуть свободно. Теперь я даже в канцелярии не могу выругаться: подчиненные наклеузничают. А мне хочется садануть покрепче...

— Тебе не к лицу, Ондржей, ведь ты интеллигентный человек... Да еще сегодня, в такой прекрасный майский день, когда все кругом улыбается...

— Еще бы не улыбаться. Например, этот бездельник извозчик! Я ему пять крон заплачу, и он их пропьет, как скотина...

Тут супруга зажала ему рот, и окончание получилось неразборчивое.

— Потом на карачках ползать будет, — продолжал советник. — Вот и все его весеннее настроение. Если бы не мысль о том, что хорошенько наговорюсь, лучше проспать весь день. Какой к черту толк от этого первого мая!

— «Май — пора любви», — возразила советница, которая начиная с тридцатилетнего возраста регулярно читала семейные журналы для женщин. — И птички щебечут...

— Отвяжись от меня со своей ерундой! Уж коли ты заберешь себе что в голову — конец. Птички пускай хоть на голове ходят, нам-то что до этого? Это дело лесного управления! По-твоему, май — пора любви? Ну, это для молодых сумасбродов! Так влюбленные разговаривают, а не солидные люди. Что о тебе подумали бы, если б в твои пятьдесят лет, да при твоей толщине, услышали от тебя такие речи? Все равно как если бы я, со своим брюхом, которое еле таскаю, пустился бегом по улице за какой-нибудь молоденькой барышней и стал бы ее щипать, приговаривая: «Поцелуй меня, душечка: май — пора любви». И была б она хорошенькая, колыхала бы бедрами, как лань, а ботиночки, ножки...

— Ондржей!

— Ботиночки, ножки у нее были бы такие крохотные, что я мог бы их проглотить. И декольте...

— Ондржей!

— Локотки беленькие, плечики полненькие, глаза, как черносливины, шейка — алебастр, волосы светлые, шелковые... Поцелуй меня, старуха...

Толстяк неожиданно запечатлел поцелуй на лбу своей супруги; а та, удивленная столь внезапной переменой, нежно заглянула ему в глаза и промолвила:

— Наверно, Маха был похож на тебя, Ондржей...

Поцеловавшись еще раз, они сели в экипаж и вернулись в ресторан — закусить...

Так провел первое мая советник Мацковик.

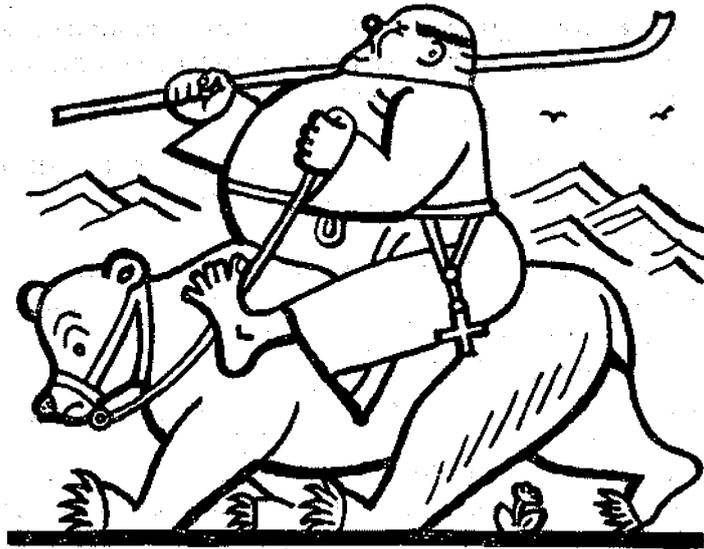
## Животные и чудеса

### (Посвящается господам редакторам журнала «Чех»)

Из книг святых отцов явствует, что раньше совершалось много чудес. Чудеса эти примечательны тем, что в них большую роль играли животные. Здесь я привожу добрым верующим несколько примеров того, какие творились чудеса и как тесно с жизнью животных была связана жизнь целого ряда святых. Все это поистине удивительные деяния, наполняющие верующих глубоким изумлением и блаженством. Ибо чудеса эти преступают все до сей поры существующие законы природы и неопровержимо доказывают, на что способна набожная фантазия. Кто этому не верит, будет неминуемо проклят.

#### Марциан и гады

Однажды, когда святой Марциан пребывал в обществе своего ученика, святого Эусебиуса, к ним приблизилось огромное множество ужасных гадов. Эусебиус хотел убежать, но Марциан успокоил его, сказав: «Надейся на бога!» При этих словах гады рассыпались в прах, и ветер развеял его во все стороны света. Это было в третьем веке после рождения Христова.



#### Ромедиус и медведь

В книге «Святая Бавария» («Bavaria Sancta») написано следующее: «Однажды святой отшельник Ромедиус задумал пуститься в путь, как он часто делал и раньше, к угоднику Вигилиусу, другу своему, который жил в Триесте. И сел набожный отшельник на осла и поехал через горы и леса. Вдруг, когда он слез с осла и пустил его пастись, из чащи выбежал медведь, который тут же и вкусил от ослика. И двинулся Ромедиус бесстрашно на медведя и приказал ему поднять с земли уздечку покойного осла и взнуздать самого себя. Медведь исполнил сие, трясаясь от страха, и святой Ромедиус вскочил на него и так доехал до самого Триеста, куда и прибыл благополучно 7 июня 520 года после рождения Христова».

#### Святая Теодора и нильский крокодил

Святой Теодоре из Александрии в Египте предстояло сделаться женой богатого язычника. Куда ей было деваться? Она убежала из дому и укрылась в монастыре, переодевшись в мужское платье. Там, среди монахов, ей пришлось бороться со многими искушениями, но она всегда побеждала их. Недалеко от

монастыря был пруд, к которому монахи ходили по воду. В пруду этом завелся ужасный нильский крокодил, который утаскивал под воду бедных монахов. Святая Теодора решила одолеть крокодила словом божьим и в один прекрасный день, невзирая на причитания монахов, пошла одна к пруду. Крокодил при виде человека вылез на берег и приготовился проглотить его. Святая Теодора, осенив себя крестным знамением, неустрашимо подошла к крокодилу, говоря: «Войди в воду и больше не причиняй вреда». Крокодил так испугался, что бросился стремглав в пруд и вскоре утонул в его волнах.

### **Голова святой Урсулы и голубь**

Долго не могли найти голову святой Урсулы, пока однажды по милости божьей не случилось следующее: святой Кумберт, епископ Кельнский, занимавшийся поисками головы мученицы, сидел однажды печальный в своих покоях, как вдруг в открытое окно влетел голубь с пергаментом в клюве. Он опустил пергамент на колени удивленного епископа, который прочитал: «*Mia caput in ecclesia Bambergis, dexta pars. Sancta Ursula*». («Моя голова в Бамбергском соборе, правый придел. Святая Урсула»). Когда же, по письму святой Урсулы, пошли в Бамберг, в самом деле нашли там ее голову, которая доньше хранится как реликвия в Кельнском соборе. И пергамент тот я тоже там видел, он писан действительно женской рукой, у них там есть даже чучело того самого голубя от седьмого века после рождества Христова. И в довершение чуда надпись на пергаменте была сделана ализариновыми чернилами, которые тогда еще не были изобретены.

### **Епископ Корбиан и орел**

Когда святой Корбиан со свитой странствовал по Италии, сопровождавшие его не могли найти ни кусочка мяса для подкрепления. И возроптали все, но Корбиан сказал: «Вот увидите, господь бог ниспошлет нам пищу с неба». Только он произнес эти слова, как над их головами появился орел с ягненком в когтях и сбросил ягненка посреди их стана. По свидетельству святого Корбиана, к ноге ягненка был привязан мешочек с солью и пряностями, необходимыми для приготовления сочного жаркого.

### **Отшельник Гутлах и ласточки**

Отшельника Гутлаха в пустыне навещали ласточки, вьась над его сединою. Этот святой человек питался одними корешками. В какой-то год выдалась такая страшная засуха, что в течение многих дней, — Гутлах не мог найти ни одного съедобного корешка и был уже близок к голодной смерти. Блуждая по пустыне, услышал он вдруг глас свыше:

— Вернись домой, вернись домой!

И он пошел домой и нашел на столе в своей хижине на большом блюде дюжину фаршированных жареных ласточек. Это были те самые ласточки; по велению божьему они сами себя нафаршировали и зажарили.

### **Святой Сола и муравьи**

Магнус Иохам в книге «Святая Бавария» («*Bavaria Sancta*») повествует о чудотворной силе святого Сола, показывая ее на следующем замечательном примере. Святой Сола пошел однажды в лес, где на него напали два волка. У святого не было иной защиты, кроме твердой веры в бога. И вот именем божьим приказал он лесным муравьям защитить его, что они и выполнили с охотой и с таким рвением ополчились на волков, что те убежали.

### **Конрад и паук**

Старая летопись от десятого века повествует нам о не менее удивительном случае из жизни святого епископа Конрада из Констанцы, что в швейцарской земле. Когда упомянутый епископ, причащаясь, готовился пригубить из чаши вино, пресуществленное святейшим таинством в кровь Христову, со свода вдруг в чашу упал паучок. Епископ самоотверженно выпил вино прямо с пауком.

Далее в летописи говорится: «И вышел паучок на другой день из тела епископа, живой, невредимый и бодрый, и свершилось сие в присутствии курфюрста Баварского и многих князей церкви, громко возликовавших при виде такого чуда». Паучка этого берегли и кормили до самой его кончины.

Событие сие запечатлено пускай неумелой, зато весьма наглядной резьбой, находящейся в Базельском кафедральном соборе. Над задней частью епископова тела в момент свершения чуда сияет святой ореол...

### **Читатель «Чеха» и осел**

Некий набожный католик, церковный сторож и устроитель процессий паломников, встретил некогда неподалеку от Святой Горы атеиста, который стал над ним насмехаться. Набожный человек возвел очи горе — и в ту же минуту атеист превратился в осла. Церковный сторож принялся благодарить бога, но, с другой стороны, ему стало жаль, что человек вдруг сделался животным, и он опять помолился богу — и осел преобразился в человека, который через несколько месяцев стал сотрудником журнала «Чех».

### **Ослик Гуат**

**П**од горой Дроалишпиц в Бернских Альпах на мюригенских альпийских лугах глядела за коровами крестьян из деревни Ундермлоакен красавица Батценмюллер.

И когда вечернее безмолвие горных громад нарушали своими песнями парни из Ундермлоакена, то это ей, прекрасной пастушке, адресованы были их переливчатые «холарио», и до самых мюригенских лугов возносились вздохи их неутоленной страсти.

Но вздохи оставались безответны, а все эти «холарио» безутешно замирали среди вершин, ибо сердце девицы Батценмюллер было холодно, как ледники Дроалишпица и слова ее — беспощадны, словно лавина, низвергающаяся с горных склонов и хоронящая все надежды.

Сюда, наверх, на сочные луга и пастбища, где пейзажи радовали глаз свежестью; приходиться можно было только по делам. И заглядывали сюда по большей части одни лишь пожилые крестьяне. Они поднимались вдоль леса, пока наконец не выходили на это широкое плоскогорье, будто зажатое зубчатыми силуэтами гор; назад они уносили в корзинах сыр и масло, приготовленное красавицей Батценмюллер и ее помощницами Кати и Анной.

Крестьяне записывали надои, лакомились топленным молоком, осматривали свою скотину и снова степенно спускались в долину. Животные здесь были рослые и красивые, из тех, какими славятся восточные кантоны Швейцарии, а также кантоны швицкий и ригский. Были там и коровы, купленные в кантонах Ури, Унтервальден, Граубюнден и Аппенцель, на коротких крепких ногах, широкогрудые, с гладкой шерстью и мощной шеей.

Видом своим они олицетворяли силу и статью, словно природа не желала терпеть в этом царстве величественных гор ничего незначительного.

Коровы, склонив головы, высматривали на зеленом ковре луга приглянувшиеся им травинки, мелодично позвякивая над пологими альпийскими склонами своими колокольцами. Изредка, меланхолично подняв голову, они мычали в ту сторону, где стояла на скале красавица Батценмюллер и глядела, как вечернее солнце окрашивает в розовый цвет снега на склонах Дроалишпица, а на ледниках Бернских Альп вспыхивают розовые блики. А возле нее стоял ослик Гуат и ревел от восторга, ибо заход солнца предвещал скорый приход Кати с буханкой хлеба, от которой хозяйка отрезала ломоть себе к ужину.

Ослик Гуат всегда делился с ней своим любимым лакомством — хлебными корками. Он часто думал о них, как, впрочем, и о многом другом, волновавшем его.

Например, о том, почему временами, когда хозяйка смотрит в сторону тех гор, откуда встает по утрам огненный шар, из глаз ее течет вода?

Или почему она так сердится, когда с ней заговаривают парни из Ундермлоакена, а недавно одного из них, не успел он завести свое «холарио», она и вовсе выпроводила палкой и гнала вниз до самого леса?

В тот раз ослик продолжал преследовать этого красавца еще далеко в лесу. Он налетал на него, забегая сбоку и норовя лягнуть задними ногами, и проделывал это до тех пор, пока непрощенный посетитель не исчез в чащобе.

Тогда, издав победный рев, ослик с важным видом возвратился на луг, удивляясь нахальству этого юнца, посмеявшегося обнять красавицу Батценмюллер за талию.

Такого не позволял себе еще никто. Они с хозяйкой выставили уже невесть сколько таких молодцов, но ни один из них не отваживался на подобную дерзость.

«Да у меня на кончике уха волос больше, чем у него на верхней губе и подбородке», — думал ослик Гуат.

Ему вообще нравились только пожилые крестьяне. У них были длинные усы, и к нему они относились ласково, трепали по загривку и называли голубчиком.

Крестьянские же парни внимания на него почти не обращали. Еще внизу затыгивали они свое «холарио», подходили к его хозяйке, пытались взять ее за руку и вот уже летели прочь, а следом Гуат, бодаясь головой, и красавица Батценмюллер, раздавая воздыхателям затрецины.

Зато старые крестьяне похлопывали коров и Гуата и изредка спрашивали девицу Батценмюллер, как поживает этот чертов Иогелли.

После таких разговоров красавица всегда ходила грустная, и Гуат как только не изощрялся, выделявая всякие фокусы, чтобы ее развеселить, да все напрасно.

Тщетны были его усилия, потому что вода, капавшая у нее из глаз, была совсем соленая.

И тогда ослик Гуат, поглядывая вместе с ней на вершины гор и скалы, терся своей ушастой головой об ее короткую юбку. А что толку!

— Иогелли, ах, Иогелли! — взывала красавица, и так грустен был ее голос, что Гуат начинал вторить ей, оглашая скалистые ущелья тоскливым ревом.

А она обнимала ослика Гуата за серую шею и говорила:

— Откуда тебе, дурачку, знать, каково это — любить Иогелли, такого негодя и мерзавца! Ах, Гуатик, голубчик мой!

Огромные темные глаза ослика смотрели в голубые глаза девицы Батценмюллер, в те самые голубые глаза, которые так любил Иогелли, тот, что ушел из Ундермлоакена в Берн водить по горам иностранцев, а случилось это после того, как обладательница голубых глаз надсмехалась над ним, назвав его бабой, как есть бабой, только за то, что ради нее он позволил продырявить себе ножом брюхо на целых два сантиметра.

И Иогелли, бедный Иогелли, когда поправился, уехал в Берн и теперь водит иностранцев в горы.

— Иностранок, — говорила Гуату красавица, — он обвязывает их веревкой, а потом берет в охапку и переносит через снежные поля.

Соленая вода снова начинала капать из ее голубых глаз, и она вздыхала: «Ах, Иогелли, ах, Иогелли...»

Но Иогелли исчез, оставил свои восемь коров на попечение девице Батценмюллер, а сам затерялся не то в Берне, не то в Бернских Альпах.

— Ах, Гуат, знаешь ли ты, что это такое — любить Иогелли?

Гуат грустно заревел. Ему ли не знать, если в такие вот вечера он не получал от заплаканной хозяйки своих любимых хлебных корок, ведь от огорчения бедняжка даже не ужинала.

И вдруг в один прекрасный день Иогелли вернулся. Пришел на пастбище, как обычно приходят крестьяне из Ундермлоакена, остановил Кати и Анну и поинтересовался, как тут поживают его коровы. Потом спокойно, будто разговаривал с торговцем скотиной, обратился к красавице Батценмюллер:

— Хочу вот повыгоднее своих коров продать, уезжаю я из этих проклятых краев!

Они стояли друг против друга, и он вглядывался в ее заплаканные глаза.

— Поступай как знаешь, Иогелли!

— К чему мне эти коровы, — Иогелли с трудом сдерживал негодование, — всех продам и никаких тебе хлопот. Открою за горами трактир и буду туристов обирать.

— Как хочешь, Иогелли!

— Вот-вот, чего тут думать, так и сделаю. И никто мне не указ, — раздраженно выкрикивал Иогелли, — не у кого мне разрешения спрашивать!

«Чего это он тут разорался? — недоумевал ослик Гуат, приближаясь к Иогелли с тыла. — Сейчас мы его как погоним! Пусть только попробует взять ее за руку».

— Собачья в здешних местах жизнь. Ей-богу, есть на свете и другие края, получше этих, и уж если там кого и пырнут ножом из-за голубых глазок и скажут «а ну проваливай», то будьте уверены, эта голубоглазая не назовет человека бабой. Так-то вот. А теперь прощай!

И видит Гуат, что Иогелли подает красавице Батценмюллер руку.

«Ну, — решает он, — пора лягаться, а уж потом как погоним мы его вдвоем...»

И, развернувшись, с такой силой наносит Иогелли удар пониже спины, что тот с размаху падает красавице в объятия.

Когда же ослик оборачивается, чтобы прицелиться еще раз, то оторопело застывает на месте, потому что Иогелли обнимает хозяйку, а она — его, и Иогелли больше уже не кричит.

Коровы мелодично позвякивают колокольцами, а ослик Гуат отходит

прочь, задумчиво вертит ушастой головой, изредка прядет ушами и, оглядываясь назад, недоумевают, отчего это Йогелли говорит хозяйке, что коров он продавать не станет и ни за какие горы не уедет, пусть она не беспокоится...

«Ну и болван же этот Йогелли, — думает ослик, — ведь как раз сегодня придут покупатели, так удачно можно было бы коров продать...»

И свое глубокое неудовольствие всей этой историей он выражает сердитым ревом, а многоголосое эхо вторит ему, отражаясь от скалистых утесов под заснеженным Дроалишпицем.

## По долгу службы

### История, поучительная для всех налогоплательщиков

Пана Карела Махитку, отставного чиновника судебной канцелярии, и налогового инспектора Готтштейна связывала многолетняя верная дружба. Оба они ревностно почитали мать Божию и были беззаветно преданы делу Марианской конгрегации, коего государственного института являлись рьяными членами и не менее горячими сторонниками.

И неудивительно, что жизнь их протекала в приятности, а когда головы обоих посеребрились, они носили свои седины с достоинством, ибо волосы их не просто полиняли от какого-то там неупорядоченного образа жизни, а благородно поседели, поскольку иначе и быть не могло у членов Марианской конгрегации.

Неиссякаемая вера в то, что ждет обоих царствие небесное, часто наполняла усладой их дружеские беседы на квартире Карела Махитки, неизменно начинавшиеся истинно христианским приветствием налогового инспектора:

— Да ниспошлет тебе господь доброго здравия, Махитка!

И, беседуя о политике, оба клеймили позором течения, не отвечавшие их нравственным принципам, и людей, имевших иные политические взгляды, ибо совершенно ясно, что проклясть и предать анафеме в интересах общественного порядка вовсе не грешно.

И окажись они, пан Махитка и пан Готтштейн, у власти — они бы всех инакомыслящих вздернули, опять же в интересах сохранения порядка.

Увы, судьба уготовила им не тот жизненный путь, какого они желали.

Жизнь пана Махитки двигалась по проторенной колее, оберегая его от волнений плоти и позволяя толстеть медленно, но верно. Состоя чиновником судебной канцелярии, он довольствовался тем, что вел бухгалтерские книги, изредка поругивал надзирателей или подсудимых, записывал свидетельские показания и, выполняя все свои обязанности, спокойно дожидался грядущего дня, когда, выйдя в отставку, сможет спокойно ходить на проповеди в костел со своим другом Готтштейном. И потому совершенно не удивительно, что всемилостивейший господь сподобил его во здравии дожидаться выхода на пенсию с блаженной уверенностью в том, что обязанности свои он исполнил в соответствии с предписанием.

Ни разу хотя бы на минуту не опоздал он в канцелярию и с удивительным постоянством многие годы призывал к усердию своих подчиненных. Горячо молился по дороге на службу:

— Господи! Даруй мне здоровья, дабы отработать прилежно день сей!

И на обратном пути:

— Господи всеблагий, отец небесный, благодарю тебя, что даровал мне силы в трудах моих!

Тридцать пять лет безупречной службы — тут и впрямь есть чему позавидовать. И, разумеется, государство щедро вознаграждало свое чадо, Карела Махитку, за тцание. Ну как тут не возблагодарить судьбу, если сам видишь, что и отечество может быть этаким милым папенькой для добропорядочных своих детушек!

Всеми добродетелями обладал Карел Махитка. Их и до утра не перечесть.

Помимо добродетелей религиозных и гражданских он отличался еще необычайной сдержанностью в вопросах любви и целомудрием в полном соответствии с требованием шестой заповеди «не прелюбодействуй!».

Причем это высоконравственное убеждение он исповедовал не только теперь, по выходе в отставку в возрасте шестидесяти лет, но пронес через молодость и зрелые годы. Он был ярким сторонником безбрачия, следовать которому рекомендовал всем государственным служащим.

Махитка ни разу не влюблялся, предложения никому не делал и в браке не состоял. И был он не из тех старых холостяков, которые воздерживаются от брака из соображений строгой экономии, чтобы избавиться от бремени забот о детях и супруге, а при этом, заимев лишние деньги, не побрезгуют соблазнить жену ближнего своего, от чего, как известно, предостерегает заповедь господня.

Нельзя было отнести его и к тем неженатым господам, которые самым бесовестным образом соблазняют барышень и невинных девиц, безбожно преступая нравственные законы, и невзирая на добрые советы, следуют греховным побуждениям, а это весьма часто имеет печальные последствия.

Итак, пан Карел Махитка придерживался строгих правил и слыл мужем добродетельным, сумевшим превозмочь в себе греховные вожеления. Кроме дружеских бесед с налоговым инспектором Готтштейном, он не позволял себе иных развлечений и к тому же держал в доме попугая и канарейку. Канарейку он выучил нескольким мелодиям церковных песнопений, а попугая — здороваться, как подобает истинному христианину. И когда он спрашивал попугая:

— Лоро, где господь бог?

Лоро указывал покрытой перьями цепкой лапкой вверх и отчетливо произносил:

— Там!

Вот такая искренняя дружба связывала эти непорочные существа — канарейку, попугая, пана Махитку и пана Готтштейна.

Совершенно излишне было бы рассказывать о том, что за человек был пан Готтштейн. Распутник, негодяй или человек недостаточно строгий в вопросах веры или в соблюдении государственных интересов решительно не мог бы стать другом пану Махитке. Пан Готтштейн был человек образцовый во всех отношениях.

За годы службы пан Махитка накопил изрядную сумму и, когда пришла ему пора выйти в отставку, осуществил давний свой замысел — путешествие в Лурд, место, популярное у богомольцев. И, оставив на попечение прислуги попугая и канарейку, трогательно распростившись с налоговым инспектором, отбыл он в прелестную обитель паломников, дабы воочию лицезреть все те

места, где свершилось столько дивного и чудесного, что сегодня уже самим священнослужителям приходится это опровергать.

Возвратился он, окрепнув духом и вдоволь натешившись сновидениями о славном уголке на небесах, приглянувшемся ему за время богомолья, приятном укромном уголке в райских долинах под тенистым каштаном у смородиновых кустов, с которых ангелочки угощают ягодками исключительно своих гостей в царствии небесном, и в тот же вечер ему нанес визит пан Готтштейн, душевный его друг и налоговый инспектор.

Встреча получилась трогательная. Достойные мужи окропили друг друга слезами искренней дружбы.

Рекой лились из уст доброго пана Махитки рассказы о неисчислимых красотах Лурда, где провел он четыре месяца в неустанном радостном ликовании, где явью стала его мечта узреть сии чудные пределы, так укрепляющие дела церкви на поприще финансовом и моральном.

Это было чрезвычайно умилительное живописание всех тех усад, что понятны лишь истинному верующему, а именно — употребление святой воды, целование стен пещеры и тому подобные духовные деликатесы.

— Я сам будто стал святым! — восторженно закончил пан Махитка.

Тут налоговый инспектор откашлялся и вынул из кармана какие-то бумаги.

— Да, стало быть, господь сподобил тебя, Махитка. Лурд, это точно, место святое, Карличек... гм... понимаешь, как бы это тебе объяснить... и надо же именно сегодня... Карличек, ты только не сердись, тут вот все написано. Это я по долгу службы, Карличек. Вот — здесь письменное уведомление насчет налога на безбрачие. Ведь тебя не было, а у меня служба, ты только не пугайся, Карличек, я пришел по поводу конфискации, такой порядок...

Пан Карел Махитка в ужасе уставился на бумагу. Это было предписание об описи имущества пана Карела Махитки, чиновника судебной канцелярии в отставке, в связи с неуплатой 27 крон 50 геллеров налога за безбрачие.

Пан Махитка залился слезами.

— Боже мой, — возопил он в гневе, — у меня конфискуют, у меня, честного человека!..

Он неистово заламывал руки и рыдал, как неразумное дитя.

Затем резко поднялся, вытер слезы покрывалом, сорвав его с постели, и взревел:

— Не заплачу!

— Карличек!

— Я платить не буду, — натужно орал пан Махитка, вытаращив глаза, — не буду платить! Зачем же я тогда, для чего, спрашивается, соблюдал целомудрие, как указано в заповеди господней? За это я должен платить?..

— Но ведь есть законы, Карличек!

Вот тогда-то и выкрикнул пан Махитка слова, которые привели к трагедии:

— Плевал я на эти законы!

И в тот же миг налоговый инспектор вцепился ему в горло с воплем:

— Что вы сказали? Да я вас убью!..

\* \* \*

Три дня спустя ввиду невыносимого запаха дверь квартиры несчастного пана Махитки пришлось взломать.

В проеме окна был обнаружен труп пана Махитки, рядом с ним висели клетки с попугаем и канарейкой, а на другом окне — пан налоговый инспектор, который, удавив друга, попугая и канарейку, сам в приливе служебного рвения лишил себя жизни.

На столе он вывел мелом слова:

«Я выполнил свой служебный долг и умираю как герой!»

## Случай у райских ворот

Один австрийский министр юстиции, попав на небо, устроился там помогать святому Петру у ворот рая.

Курил трубку, сплевывал вниз, на ад, разумеется, и приглядывался к душам, которые хотели попасть на небо.

Иные души держались самонадеянно, другие же кротко и тихо молили впустить их.

А были и такие, что громко молотили по воротам, нахально крича, будто они — невинные лилии.

Бывший австрийский министр юстиции подвергал каждую душу досмотру, расспрашивал и затем помогал святому Петру открывать ворота, так как за многие столетия, что святой Петр просидел у них, замок изрядно заржавел и отпирался с большим трудом.

— Милый Петр, — сказал однажды министр юстиции, — не мешало бы смазать ворота вазелином. Дальше так не пойдет. Замок скрипит, прямо мочи нет.

— Да я и сам о том лет уже шестьсот думаю, — отвечал святой Петр, — но, видишь — я не мог никуда отойти, пока у меня не было помощника. А если он когда и появлялся, то оказывалось, что один чересчур дотошно разглядывает праведниц, прибывающих на небо, хе-хе, то пощупает, то пощекочет, одежды-то на них, как сам понимаешь, нету. Среди них бывали и пышненькие, хе-хе, молоденькие мученицы, ваше превосходительство. Кожа такая бархатная. Некоторые держали головы на коленях — загляденье, да и только! А тут как-то одна из мучениц, не успел помощник и подступить к ней, захохотала, голова-то у нее из руки и выскользнула, пришлось взять ее на небо без головы. Это та самая безголовая святая, что сидит у фонтана на дереве и по вечерам моет ноги. Из-за того случая получился ужасный скандал и с помощником пришлось расстаться. Прислали мне другого. Он честно прослужил двести лет, но однажды явились два дюжих ангела и сбросили молодца с небес в чистилище. Оказалось, на земле жили двое под одним и тем же именем, один негодяй, а другой — вполне приличный человек, так вот негодяй и проник на небо, а приличный подзапоздал, его и отправили в ад. А после того как продержали его двести лет в кипящем дерьме, выяснилось, что он — святой. От него исходило, несмотря на всю эту процедуру, такое благоухание, что несколько чертей исправились и уверовали в бога. Видите, ваше превосходительство, какие здесь заботы. Как я вам говорил, вот уже несколько столетий я никуда не отлучаюсь от райских ворот. На земле надо мной, как над римским папой, уж подшучивают, будто не выхожу никуда, но теперь, прошу прощенья, я выберусь. Позабочусь о вазелине, — надо же смазать ворота. Я уверен, что могу полностью на вас положиться, ваше превосходительство. На ночь извольте всегда закрывать замок на два оборота и засов задвигать, чтобы к нам не пролезли

черти. Был у нас такой случай — воспользовались отмычкой и пробрались в отделение, где некоторые души находятся под наблюдением. Была там одна прехорошенькая девчушка, у нее имелось свидетельство, удостоверяющее невинность, от самого парижского архиепископа. Дело оказалось весьма запутанным, им занималась высшая небесная судебная палата. Один из чертей, прокравшихся на небо, маханул через стену в это отделение, и произошло несчастье. Через девять месяцев родился чертенок. Выдали ей за это девятьсот тысяч лет адских мучений, а чертенок я с превеликим тщанием благочестиво утопил. Так что, ваше превосходительство, не давайте разжалобить себя горькими воплями. Лучше заставить праведника прождать лишнее столетие, чем одного недостойного пропустить на небо.

— Я это понимаю, — сказал бывший министр юстиции.

— И еще несколько слов, ваше превосходительство. Когда вам случится кого-нибудь впускать на небо, будьте любезны его обыскать, чтоб не попало сюда ничего против церкви и существующего порядка. Особенно если они хотели пожаловаться, как теперь о нас, здешних, пишут, и несли с собой газетные вырезки. Нынче и святым нельзя верить. Ну, с богом, а я пошел за вазелином.

Бывший министр юстиции, оставшись у райских ворот в одиночестве, бдительно осматривал окрестности через бинокль.

Внизу, глубоко под ним, проплывали миры, а когда показался земной шар, Австрия была обращена к министру спиной.

С досадою отвернувшись в сторону, министр стал дожидаться появления душ.

Наконец у ворот раздался бойкий стук.

— Кто там?

— Лидер социал-демократов...

Бывший министр юстиции усмехнулся.

— Ну, вас-то я никогда не принимал всерьез. Входите.

Душа вошла и низко поклонилась. Увидев заместителя святого Петра, она его узнала сразу.

— Мы, как там, на земле, держались друг за друга, так и здесь будем, — сказал бывший министр юстиции. — Табачку не хотите ли? Трубка-то у вас есть?

Новый небожитель закурил и обратил внимание министра на вновь прибывшие души. Их оказалось две. Министр хотел было уже допустить их на небо, как старый знакомый схватил его за руку.

— Дружище, этих двух не стоит, — сказал он, — они. однажды голосовали против правительства.

Спустя мгновение черти уже тащили их под руки в ад, где и закинули в кипящую серу на вечные времена.

Как видите, всякого ждет справедливое возмездие, и даже если на земле с ропчущими против властей ничего не случилось, то, по мудрому соизволению божьему, им суждено быть не на небесах, но в сере кипящей.

## Как мой друг Ключка рисовал святую Аполону

Если вы в присутствии художника Ключки проявите хотя бы малейшее сомнение в художественных достоинствах написанных им картин, он начнет рассказывать вам длинную историю о том, как его портреты — необычайно живые и натуральные — убедили даже бессловесную тварь, и поклянется вам, что это святая правда.

А его правдивая история звучит примерно так.

Однажды писал он у себя в мастерской портрет своей квартирной хозяйки — старой дамы, у которой был огромный сенбернар по кличке Фокс. Художник воспроизвел ее в натуральную величину, сидящей в кресле со сложенными на коленях руками.

Когда портрет хозяйки был уже совсем готов и она ушла, наверх прибежал Фокс. Увидя портрет, он подскочил к нему, виляя хвостом и издавая радостный лай, и начал лизать руки своей госпожи, полагая, что видит перед собой саму повелительницу живую. И, только слизав своим шершавым языком всю краску, он убедился в ошибке, опустил обиженно хвост и, ворча, удалился.

А если вы и после этого будете выражать свои сомнения, художник расскажет вам, как он ввел в заблуждение саму хозяйку.

Он изобразил на полотне Фокса, и, когда однажды хозяйка шла к нему, чтобы напомнить о квартирной плате, он поставил картину так, чтобы она сразу бросилась ей в глаза.

— Фокс, Фоксичек! — начала хозяйка звать нарисованного пса. — Иди сюда, иди ко мне! Ну, иди же, не бойся! Фокс, Фоксичек. А, ты боишься, негодяй, что попробуешь плетки за то, что расположился в чужой комнате? Фокс!..

Подобных историй о том, как животные и люди принимали его изображение за подлинное, живые, он мог бы сообщить вам великое множество, и в ваших глазах, если ему удастся вас убедить, он предстанет вторым Апеллесом — известным в истории художником, который так натурально изобразил однажды черешни, что прилетели птицы и начали их клевать. Имя этого художника я чуть было не забыл, но имя Ключки не забуду никогда, поскольку сохранились сведения о его деятельности и путешествиях, которые он предпринимал в сопровождении своего друга.

Друг его и рассказал мне нижеследующее:

— Однажды во время своих странствований по Моравии мы подошли к деревне, расположенной среди валашских лесов.

Путешествовали мы тем достойным удивления способом, при котором требуется мало денег, много красноречия и необычайное хладнокровие, то есть кормились у приходских священников, зажиточных крестьян, адвокатов, учителей и так далее.

Следуя этому методу, мы зашли в приходский дом, где застали священника, приятного старика, и экономку в расцвете сил, но встретили нас не очень приветливо, так как его преподобие был занят проверкой счетов по ремонту костёла.

Местность нам понравилась, и мы, само собой разумеется, решили задержаться здесь подольше. К сожалению, Ключку вдруг осенила за ужином злощастная идея: ой начал толковать о том, что утром мы могли бы осмотреть костел, так как якобы всегда печемся о хорошем состоянии образов святых в

храмах божьих и никогда не забываем безвозмездно предложить свои услуги там, где требуется их реставрировать.

Его заявление сразу расположило к нам священника, который распорядился подать бутылку вина и завел с нами дружескую беседу о церковной живописи.

Ключка столько всего наговорил, что у меня голова пошла кругом. Напрасно я делал ему под столом знаки, чтобы он не очень завирался, — ничто не помогало. Он спокойно разглагольствовал о том, что в Стражнице мы разрисовали целый костел, причем совершенно бескорыстно, лишь во славу божью...

Когда его преподобие вышел за новой бутылкой вина, я воспользовался его отсутствием, чтобы втолковать Ключке, что своей болтовней он навлечет на нас массу неприятностей: вдруг священнику придет в голову, что мы могли бы нарисовать ему какого-нибудь святого. Что тогда делать? Обычно мы рисовали детей, баб, стариков, святых же мучеников никогда еще не изображали. Так зачем же без конца болтать об этих святых!

— Я надеюсь, — сказал Ключка, — что этого он от нас не потребует. Но если бог ниспошлет на нас такое бедствие, отдадимся его воле и нарисуем ему какого-нибудь святого.

Говорил он необычайно смиренно, как и подобает гостю священника.

Его преподобие возвратился с вином и, когда налил нам, имел вид человека, который только для того и выходил на минутку, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что ему предстоит сказать.

— *Ad salutem, domini!*[71] — провозгласил он, чокаясь с нами. — Я в самом деле очень рад, что вы пришли ко мне.

Помолчав, он сказал:

— Сначала я принял вас, господа, несколько холодно, потому что, откровенно говоря, не доверял вам, узнав, что вы художники. Художников я всегда считал людьми легкомысленными, которые рисуют женщин... как бы это поделкатнее выразиться? — ну, словом, женщин без одежды. И я очень признателен вам, что вы вывели меня из этого заблуждения. Вы совершенно правы, утверждая, что все прославленные художники рисовали святых. Кого, например, изображал Леонардо да Винчи и другие? Мучеников и мучениц божьих...

Он опять остановился и через минуту тягостного для нас молчания произнес:

— У меня к вам небольшая просьба, господа, просьба верующего к верующим. Наш костел весьма примечателен своими образами святых, и все они в полном порядке. Вот только святой деве Аполене не хватает головы. Не будете ли вы, господа, так любезны — не нарисуете ли святой Аполене голову? Благоденствие здешнего народа сильно страдает, когда он видит на стене изображение святой мученицы без головы.

— С величайшим удовольствием! — отозвался Ключка, в то время как я немилосердно щипал его за ногу. — Нарисуем святую Аполену и тем послужим интересам церкви.

— Святая Аполена, — продолжал священник, — была замучена в году двести пятьдесят втором по рождеству Христову, во времена императора Дециуса.

— Если досточтимому пану священнику угодно, мы могли бы пририсовать также и императора Дециуса, — услужливо предложил Ключка.

Я с трепетом взглянул на священника.

— Думается, что император Дециус там есть, — ответил он. — Святую Аполону принуждали поклоняться идолам; когда же она это отвергла, безжалостные палачи выбили ей все зубы и саму ее бросили в конце концов в огонь... А ее святая душа вознеслась к небу, к вечной мученической короне.

Святая Аполена, как вам, господа, конечно, известно, — покровительница и заступница всех, у кого болят зубы. На этом обстоятельстве я делаю особое ударение. Здешний народ любит, чтобы страдания святых изображались наглядно. Как будут наши верующие радоваться, увидев святую Аполону с выражением ужасных мук на лице! Вот я и прошу вас, господа, сослужите христианскую службу, украсьте храм божий, нарисуйте святой деве Аполене лицо, искаженное страданием! Если бы святая приятно улыбалась, народ не стал бы столь набожно ей молиться.

Мы обещали выполнить его просьбу.

И затем до ночи шептались в отведенной нам комнате.

— Было бы очень странно, — бахвалился Ключка, — если б я, нарисовав Фокса, который ввел в заблуждение хозяйку, и хозяйку, которая ввела в заблуждение Фокса, — если б я не нарисовал головы святой девы Аполены, которой палачи выбили все зубы, и не изобразил бы на ее лице выражения мучительного страдания, какое имеют почти все, кто идет в больницу к милосердным братьям или в зубную амбулаторию, чтобы вырвать себе больной зуб.

В крайнем случае расковыряю булавкой дупло коренного зуба, — он разболится, я встану перед зеркалом и буду изображать святую Аполону и сам себя нарисую. А с этого эскиза перенесу выражение страдания на образ божьей святой в костеле.

— Легко сказать! — заметил я, криво усмехаясь. — За твою болтовню, что мы будто расписываем костелы, ты заслужил бы...

— А ты мне не угрожай, — спокойно возразил Ключка. — Знаешь, как была изобретена тачка?

— Нет, не знаю.

— Человек попробовал — и сделал тачку, — торжествующе ответил Ключка. — Я попробую — и сделаю святую деву Аполону.

Да, легко было говорить...

На следующее утро мы пошли осмотреть костел и образ мученицы без головы. Он висел высоко, под самым сводом. Взобравшись на лестницу, мы сняли его и отнесли в свою комнату, превращенную нами в мастерскую.

Два дня мы чувствовали себя великолепно: вдоволь ели и пили, курили трубки хозяина и размышляли, как нам изобразить страдание на лице святой девы.

Ключка делал наброски, эскизы, но везде святая Аполена так приятно улыбалась, что я давился от смеха и хохотал во все горло.

На третий день к вечеру несчастный Ключка пробормотал:

— Если бы мне найти здесь хоть одного человека, у которого болят зубы, я бы его сфотографировал и рисовал бы по этому образцу.

Негодный Ключка устроил мне подвох: я спал у окна, а он ночью распахнул его и открыл дверь, чтобы у меня от сквозняка разболелись зубы. Но, к счастью, этого не случилось.

На четвертый день мы взяли фотоаппарат и пошли с ним по деревне в надежде натолкнуться хотя бы на одну физиономию с флюсом. Увы! А тут еще его преподобие начал расспрашивать за обедом:

— Ну, как там святая Аполена?

— Я уже сделал ей волосы, — ответил Ключка, — брови у нее также есть, скоро будет готова вся. Требуется немало труда, чтобы создать совершенное произведение искусства.

Пятый день... Снова безуспешные поиски кого-нибудь, страдающего от зубной боли.

— Здесь чересчур здоровая местность! — жаловался Ключка.

На шестой день он начал умолять меня во имя искусства вырвать у себя клещами хотя бы один зуб, а он меня тотчас сфотографирует.

Настал день седьмой... Рано утром Ключка по обыкновению отправился на кухню расспросить экономку, что готовится к обеду. Возвращался он всегда переполненный радостью, сообщая, что будет то-то и то-то, и это полностью отвлекало нас от мыслей о святой деве Аполене. В этот седьмой день Ключка прибежал из кухни с сияющими глазами.

— Гусь с кнедликами? — крикнул я ему навстречу.

— Балда! — отрезал Ключка. — У экономки разболелись зубы. Она бродит по саду с самым ужасным выражением лица. Живо аппарат! Да быстрее же!

Как только мы получили фотографию страдающей экономки, работа над образом святой Аполены начала быстро продвигаться.

Выражение страдания на лице было просто превосходное.

На восьмой день картина была готова.

Мы поставили ее к окну и любовались от двери, какая она получилась роскошная.

В это время дверь отворилась, и вошел священник. Он огляделся вокруг, увидел картину и в наступившей тишине произнес, обращаясь к изображению:

— Мария, у вас все еще болит зуб? Я же говорил вам, чтобы вы шли в Рожнов, там этот зуб вырвут. Иначе он всегда будет вас мучить...

— Когда же священник понял свою ошибку, — закончил тихим голосом приятель Ключки, — он сразу превратился в язычника и начал безбожно ругаться. Мы сообразили, что самое лучшее сейчас для нас — поскорее собрать свои манатки и исчезнуть...

Как только мы оказались за деревней, Ключка спокойно обратился ко мне:

— Вот теперь видишь, что я не врал тебе про Фокса, уж если священник мог ошибиться, то как было не ошибиться глупой твари!

Да, воистину, Ключка — это второй Апеллес...

## Д-р Карел Крамарж

Д-р Карел Крамарж, владелец фабрики в Либштате и один из основных акционеров младочешской позитивной политики, вступил на общественное поприще 27 февраля 1860 года в Высоком-над-Изерой. В этот день он появился на свет, а через семь дней был окрещен. В ту пору Карел Крамарж еще не отдавал предпочтения ни одной политической партии, хотя то была эпоха Баха. Именно в эти мрачные годы гонений д-р Крамарж чрезвычайно весело взирал на белый свет. Шести лет он стал серьезней, и дела стали продвигаться быстрее. Девятнадцати он уже окончил гимназию на Малой Стране и отправился в Германию. Был членом корпорации буршей в Берлине и в Страсбурге. Погуляв на студенческих попойках, вернулся в Прагу и учился столь прилежно, что в 1884 году удостоился звания доктора прав. С тех пор он постоянно пребывал в заботах о деньгах, вызывая этим упреки своих врагов. И все же основой таких его забот была книга «Papiergeld in Oesterreich»[72], которую д-р Крамарж самолично написал и издал в Лейпциге. Как видно, главное для д-ра Карела Крамаржа — бумажные деньги, что и характеризует весь его дальнейший жизненный путь. В те времена Карел Крамарж еще и сам не знал, что он такое и что из него выйдет. Он мнил себя реалистом и стал редактором «Часа». И тут-то, редактируя реалистический журнал, Карел Крамарж вдруг понял, что он, собственно говоря, совсем не реалист, а младочех. Чтобы как-то покончить с этим запутанным делом, он с 1890 года взял на себя львиную долю переговоров между реалистами и младочехами. Переговоры имели тот результат, что д-р Крамарж окончательно переметнулся к младочехам и ринулся в Табор, где в 1891 году был избран депутатом. В 1894 году Карел Крамарж согласился представлять округ Семили в земском сейме, где самолично добился у наместника лицензии для вдовы Шумановой на табачную лавчонку в предместье города.

В качестве депутата имперского сейма от города Табора Карел Крамарж настоял также на том, чтобы на местном вокзале был изъят испорченный автомат для продажи билетов. Само собой разумеется, что благодаря своему ораторскому таланту он с успехом добивался лицензий на табачные лавки и для жителей Табора. Когда же правительство увидело, что вымогание лицензий на табачные лавки увеличивает популярность Крамаржа в народе и он становится опасен, его выдвинули в законодательную комиссию, дабы одним махом убить к нему народное доверие. Это коренным образом изменило жизнь д-ра Карела Крамаржа. С тех пор он таскается то по комиссиям, то по Крыму. И удивительное дело: то, что ему следовало бы говорить в комиссиях, он произносит в Крыму, а то, что хотел бы сказать в Крыму, говорит в комиссиях. Здесь следует упомянуть о его новой идее помощи чешскому народу. Дело в том, что д-р Крамарж взял себе за правило во времена серьезнейших политических конфликтов, когда чешскому народу приходится особенно туго, уезжать в Крым, а когда он возвращается — буря уже миновала. Это не случайность: так подсказывает д-ру Крамаржу опыт. Именно это легло в основу нового политического метода: предоставлять событиям свободно развиваться, не вмешиваться в ход истории, держаться в сторонке и ждать, когда буря пролетит, — в полной уверенности, что не пролететь она не может. Это и есть основы так называемой позитивной младочешской политики, вождем которой является д-р

Крамарж.

Позитивная политика — открытие д-ра Крамаржа, и это — нечто велико-лепное, захватывающее и чистое. Позитивная политика напоминает стакан кристально прозрачной воды, в которой ничего не видно, которая чиста от инородных тел и не вызывает никаких последствий.

Само название «позитивная политика» произошло от слова «позитив». В фотографии это означает изображение, полученное с негатива; в грамматике позитив — положительная степень сравнения прилагательных; существуют позитивные, то есть положительные, величины в математике; в музыке позитив — разновидность органа без педалей; в гальванической батарее есть позитивный (положительный) полюс; морские карты отмечают позитивное движение береговой линии; в философии позитив — противоположность тому, что достигнуто мышлением; позитивизмом называется целое философское направление; всюду позитив (позитивный) что-то значит, лишь «позитивная политика» не значит ничего, потому что, говоря языком философии, это такая политика, которую выдумали, не прибегая к мыслительным процессам. Позитивизм вообще запрещает думать, вот почему д-р Крамарж является поборником позитивной политики. Позитивная политика означает такую политику, когда ничего нельзя поделать, когда ситуация сама по себе является позитивной — то есть такой, когда события должно принимать такими, как они есть, когда нельзя ничего изменить — разве что реорганизовать младочешскую партию.

Д-р Карел Крамарж полностью оправдал свое предназначение. Он возродил младочешскую партию. Если уж нельзя ничего предпринять против Вены, можно проводить реформы хотя бы среди своих. Поэтому в пику «Народным листам» он основал газету «Ден», которая собрала едва ли триста подписчиков. Ясно, что Крамаржу приходится доплачивать на ее содержание из собственного кармана, но свернуть с избранного пути он уже не может.

Во время русской революции д-р Крамарж, как обычно, предпринял поездку в свое крымское поместье. Потом газеты сообщили, что поезд, в котором он возвращался на родину, подвергся нападению русских революционеров и был разграблен. Весь чешский народ жил единой мыслью: может, и д-ра Крамаржа похитили революционеры? Слава богу, этого не случилось, и клуб депутатов свободомыслящей партии вздохнул с облегчением.

О том, что политическая деятельность д-ра Крамаржа известна даже за границей, можно было бы и не упоминать. Следует лишь заметить, что редакция французской газеты «Курье эропееен» обратилась в 1905 году к д-ру Крамаржу с просьбой написать статью о результатах позитивной политики. С тех пор прошло уже четыре года, но д-р Крамарж не послал еще ни строчки.

Итак, если мы даже одобряем не все, что предпринимает д-р Крамарж для процветания чешских дел, то все-таки желаем ему и впредь трудиться на благо чешской нации с помощью частых поездок в Крым, позитивной политики, реорганизации младочешской партии, а главное — неустанных хлопот о лицензиях на табачные лавочки.

Нация, которая кроме позитивной политики имеет еще и табачные лавки, не погибнет. В этом главная заслуга д-ра Карела Крамаржа.

## Сеанс спиритизма

Начальник полиции удовлетворенно обвел взглядом собравшихся. За столом сидели лучшие полицейские сыщики, за ними расположились сметливые полицейские чиновники, все эти достойнейшие мужи пришли сюда по его просьбе, явились в его кабинет для проведения сеанса спиритизма.

Полицейские сидели в загадочном молчании у простого стола, положив на него руки и с нетерпением ожидая — что же дальше? Многие испытывали неясное ощущение, будто за спиной у них кто-то есть, стоит кто-то неведомый.

Другие же ощущали близость чего-то страшного, проникшего и в них самих.

Комиссар десятого отделения вспоминал свою бабушку. Кругом царил полумрак, шторы были опущены. И комиссар полиции десятого отделения невольно думал про себя, что бабка-то его, умершая двадцать пять лет назад, устроилась где-то здесь в углу на корточках.

Главный секретарь шестого отделения чувствовал неприятный озноб: из-под пианино в углу кабинета на него смотрели глазки — голубые, чудесные глазки его дочурки, умершей тридцать лет назад.

Смеркалось.

Напрягая зрение, они таращились в полутьму. Вещи в кабинете приобретали странные очертания. Будто вот-вот они засветятся изнутри таинственным светом.

В большом старом шкафу скрипнуло. Это был звук из тех, что пугают нас в глухой ночной тишине дома, когда мебель разговаривает с нами на своем удивительном языке.

— Четвертое измерение! — замогильным голосом произнес начальник полиции.

После этого послышалось таинственное постукивание по потолку, и казалось, висящая на нем люстра таинственно закачалась.

— Многоуважаемые господа! — заговорил начальник полиции. — Неизвестный дух ответит на мои вопросы постукиванием или же вообще не ответит. Будьте внимательнее! Это беседа с силами магнетическими. На этом вот столике вы и услышите ответы на мои вопросы. Речь пойдет о последнем злодейском убийстве лавочника Котика, причем, как и обычно, преступника мы не нашли. Многоуважаемые господа! Дух убитого среди нас!

Присутствующие ощутили всю серьезность наступившего момента, когда при этих словах на пианино что-то стукнуло, затем стукнуло по письменному столу, стук уверенно приближался прямо к столу, за которым они сидели. Чувствовалось — кто-то ходит, невидимое, неведомое существо, из пространства четвертого измерения. Тут застучало по письменному столику, и совершенно отчетливо. Перед взорами мелькнуло нечто светящееся, неопишное: им виделись новые очертания, хотя предметов они не различали. Ощущался какой-то свет, но ничего нельзя было разглядеть. Их понесло далеко-далеко — на ту самую улицу, где было обнаружено тело убитого Котика и где они отыскивали следы, оставленные убийцей. Полицейские с ужасом увидели труп. Голова у трупа исчезла. Дело принимало неожиданный оборот. Стали искать голову. В конце концов в реке выловили ручной саквояж и в нем обнаружили че-

ловеческую голову. Но принадлежала она не Котику...

Поразительно... Пришлось искать тело от неопознанной головы. Тела не нашли. Теперь они располагали обезглавленным телом лавочника Котика и какой-то неизвестной головой. Убийцы они не обнаружили, зато налицо оказался еще один труп, который принадлежал неизвестной голове. Наконец все они сами почувствовали себя безголовыми. И тут же что-то мелькнуло в головах. Мысль обо всем этом. Стали вспоминать, как в заброшенной шахте, за городом, обнаружили обезглавленное тело неизвестного. Так можно было и рехнуться. К неизвестной голове не подходило и это туловище. Теперь в наличии было уже два туловища. Одно — пана Котика, и другое — неопознанное. И вдобавок — совершенно посторонняя голова, не имеющая к ним отношения. Вице-президент полиции тогда подал в отставку. Один детектив сошел с ума и собирался дело решать алгебраически.

— Да это же уравнение с тремя неизвестными, — упрямо объяснял он в карете сопровождавшему его санитару, — была бы у меня с собой таблица логарифмов Студнички, его можно было бы решить...

В этот ответственный момент, находясь под воздействием чего-то неизвестного и таинственного, все вспоминали и другие моменты, повлиявшие на ход расследования. В кармане неопознанного трупа найдены такие же часы, как и в кармане убитого лавочника. Это обстоятельство завело следствие в абсолютный тупик. В обоих случаях часы остановились на двенадцати. Как быть? Не доказательство ли это, что именно тогда пробил их час? А чтобы окончательно запутать это ужасное дело — в жилете неопознанного безголового господина нашли бумажку с такой математической формулой:  $a/2*(9n-7)$ . Не убийца ли ее написал? Или убитый? Или же некто третий, пока неведомый? Кроме того, никто не знал даже имени неизвестной жертвы, несмотря на то, что фотографию трупа разослали по всем муниципальным учреждениям, отделениям полиции и в жандармские участки. Ответы приходили отовсюду, что раз головы на фотографии нет, то и опознать без нее ничего невозможно. Да, все было крайне запутано, все ждали магнетического сообщения из пространства четвертого измерения с не очень-то веселыми мыслями.

Молчание нарушил начальник полиции:

— Здесь ли вы, дух пана Котика, убитого лавочника, дом семьсот двадцать восемь?

На столе у самой ладони полицейского комиссара пятого отделения стукнуло: «Да».

Присутствующим кто-то пощекотал носы, видать, при жизни покойный любил пошутить.

— Возраст? — продолжал допрос начальник полиции.

Таинственный пришелец не ответил.

— Вас утомил допрос? — строго произнес начальник.

Ни с того ни с сего на столе застучало, на пианино прозвучала нота «до», и всем показалось, что угол стола чуть приподнялся.

В это мгновение полицейский комиссар пятого отделения стал ясновидящим. Он впал в протрацию, и взор его многое объял в этот миг.

Начальник полиции моментально установил, что дух убитого пана Котика вступил в контакт с полицейским комиссаром. Это было влияние волн неведомого мира, истинно магнетический доклад, фотографирование мыслей. Ко-

миссару подали перо и чернила.

Начальник полиции задавал вопросы, а комиссар, превратившись в медиума, писал. У него выходили странные каракули, а между ними написанные латинскими буквами слова. Иногда в мебели что-то поскрипывало, в жутковатом сумраке шуршало по бумаге перо. Комиссар держал свою руку свободно, и она, ведомая непонятной силой, писала ответы на вопросы, касавшиеся всех этих загадок. Потом рука бессильно упала, а стол чуть стронулся с места. Все это видели, и в то же время стол стоял, как и до этого. Раздался стук в окно. Комиссар вздохнул и пришел в себя. Снова зазвучали клавиши пианино, и все стихло. Присутствующие догадались, что связь с неведомым миром прекратилась.

Когда зажегся свет, комиссар, с трудом приведя в порядок магнетическое сообщение неведомого мира, прочел:

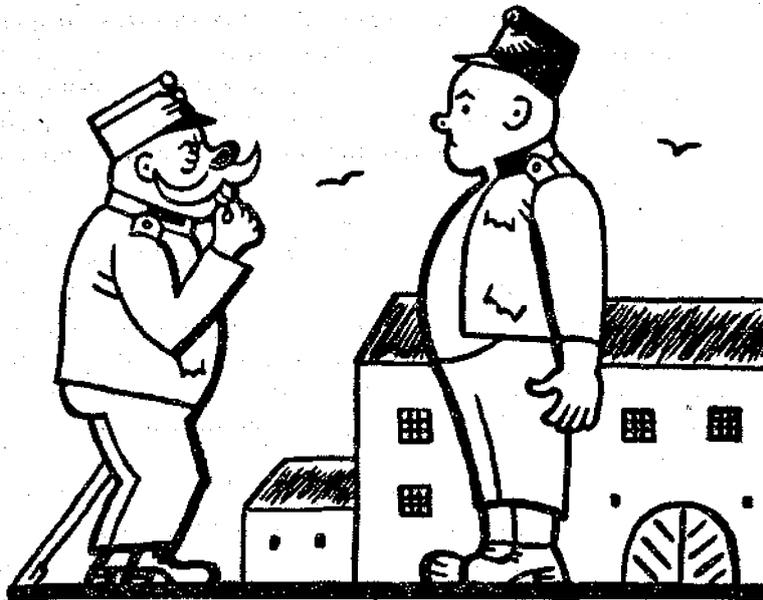
— О том, кто меня убил, ничего не знаю. Я-то полагал, что вы его взяли, поэтому особенно им и не интересовался. Думаю, однако, нераскрытый убийца ничего хорошего не замышлял, когда появился в моем доме. О голове своей ничего не знаю. Не знаю, кому принадлежит найденное туловище. Я знаю не больше вашего и никогда нам не дознаться, кто убийца. Немецкого языка не знаю.

Наступила полная тишина.

— Господа, — грустно сказал начальник полиции, — нам не остается ничего другого, как попробовать погадать на картах.

В кабинете тихо тикали часы, и всему аппарату полиции было хоть плачь.

## Фуражка пехотинца Трунца



1

**В** начале октября рекрут Трунец приступил к своей трехлетней службе в пехоте. Парень был как гора, с могучими плечами и бычьей шеей, на которой гордо возвышалась голова великана.

Когда он появился в казармах, его направили сперва в медицинскую комнату, а затем вместе с остальными отвели к унтер-офицеру, который подробно расспросил его, как и других, о домашних делах. Это делалось для того, чтобы вызвать доверие к военному начальству. После того, как доверие было внуше-

но, всех отвели на склад подбирать себе обмундирование.

Здесь фельдфебель, бегло осмотрев рекрутов, кричал:

— Башмаки номер третий! Штаны — шестой! Гимнастерка — второй!..

Четыре капрала тут же приносили очередному рекруту ботинки, брюки, гимнастерку и фуражку, размеры которых фельдфебель определял на глазок, не очень беспокоясь о том, как все эти вещи будут сидеть.

В результате одному достались ботинки такой величины, что он мог бы всунуть в них еще две ноги, если бы их имел; другой не втиснул бы ногу в башмак, даже если б отрубил ее наполовину, у третьего были брюки, в которых вместе с ним мог бы уместиться и его старший брат, а четвертый вполне свободно натянул бы свою гимнастерку еще на двух таких же, как он.

Получив обмундирование, все перешли в другое помещение, где должны были переодеться. Вид у всех сразу стал неузнаваемый и жалкий. У одних руки терялись в рукавах, брюки волочились по полу, а фуражки закрывали лицо. У других брюки едва достигали колен, обнажая подштанники; руки по локоть торчали из рукавов, а фуражка сползала с головы. Того, что было в избытке у одних, не хватало другим.

Снисходительно оглядев эту живописную компанию, фельдфебель махнул рукой:

— Видите, ребята, какие бывают ненормальные размеры человеческого тела. У этого руки длиннее, чем положено, а у того, наоборот, короче. То же самое и с ногами. О толщине я уж не говорю. Один никак застегнуться не может, а другой болтается в гимнастерке, как божий мученик. Но в остальном все в порядке. Можете обменяться между собой одеждой. И зарубите себе на носу, что солдат должен быть, как картина, выглядеть нарядно, как барышня. Кто будет похож на чучело, получит карцер.

Рекруты начали обмениваться между собой гимнастерками, брюками, ботинками и фуражками. Остался обездоленным только один — гигант Трунец. В брюках по колено, в гимнастерке, которую он никак не мог застегнуть, с маленькой фуражечкой, которая робко притулилась на его огромной голове, он казался каким-то диковинным существом с другой планеты. Остальные тоже имели вид авантюристов, но это создание — рекрут Трунец — явно принадлежал совершенно иным мирам.

Трунец Христом-богом молил не оставлять его в таком виде. В армии подобные дела решаются просто: «Выполняй!» и «Шагом марш!» Все же Трунец обратился к капралу, и тот, тронутый его мольбами, отвел его снова на склад, где в конце концов после долгих поисков были найдены все необходимые части мундира, которые сделали Трунца немного похожим на солдата. Но вот фуражка — с ней ничего нельзя было поделаться: самая большая из всех терялась на его огромной голове, как песчинка в море.

Дело дошло до того, что его фуражкой пришлось заняться даже Главному интендантскому управлению в Вене. А произошло это вот каким образом.

Первейшая обязанность солдата — научиться отдавать честь своему начальству. А фуражка рекрута Трунца подпрыгивала на его огромной голове, как мячик, и он, несмотря на все свои старания, тщетно пытался поймать край своего головного убора, к которому, согласно уставу, должен был прикоснуться, отдавая честь: при малейшем движении фуражка сползала на затылок.

Унтер был в отчаянии. Офицер сыпал проклятиями и багровел от злости, когда злосчастная фуражка при этих манипуляциях падала с головы на землю.

В полном отчаянии был и Трунец; красный от напряжения, он насадил ее наконец на одно ухо. Но это вызвало приглушенный смех у солдат и новый приступ гнева у офицера и унтера.

Что с ним делать?

В конце концов офицер велел капралу отвести рекрута Трунца в канцелярию роты. Не имея никакого представления, что его ожидает, Трунец с тоской плелся за капралом.

Дежурный унтер-офицер, выслушав рапорт капрала, доставил Трунца к капитану. Капитан отнесся к рапорту очень серьезно. Прежде всего он осведомился у Трунца, нет ли у него водянки головы. А когда тот учтиво ответил: так точно, воды в голове не имеет, — капитан приказал намочить фуражку и натянуть ее на голову Трунцу. Трунец должен будет ходить в ней целый день, и она растянется.

С этой целью его заперли на двадцать четыре часа в одиночку, чтобы он не нарушал общего порядка, разъяснив при этом, что сие отнюдь не является наказанием.

Трунец честно сидел на нарах с фуражкой на голове, пока, в конце концов, не заснул от усталости. Когда он утром проснулся, злосчастная фуражка лежала рядом на нарах, такая же маленькая, как и накануне. Пожалуй, даже еще меньше, а ведь это была самая большая фуражка в полку!

Он надел ее и пытался сохранить равновесие, чтобы удержать ее на голове. Все напрасно. Фуражка подпрыгивала на голове так же, как и накануне, и к тому же потеряла всякую форму.

Пришлось Трунцу снова идти в канцелярию роты.

На этот раз капитан был настроен еще серьезнее. Он приказал унтер-офицеру обмерить Трунцу голову. Оказалось шестьдесят два сантиметра. Затем капитан строго объяснил Трунцу, что об этом придется рапортовать в Главное интендантское управление в Вене... Как он только посмел явиться на свет с эдакой головой! После этого рекрут был отпущен. На голову ему напялили фуражку, которую портной тем временем кое-как увеличил, и Трунец мог участвовать в учениях, радуясь, что его не упрятали в крепость.

## 2

После его ухода господин капитан продиктовал унтеру нижеследующее:

«Главному интендантскому управлению в Вене.

В связи с тем, что пехотинец Ян Трунец, родом из Пелгржимова, округ Кадань, имеет голову ненормальной величины, нижеподписавшаяся третья рота двенадцатого полка просит Главное интендантское управление о высылке фуражки, которая соответствовала бы размеру головы вышеупомянутого пехотинца».

Затем капитан собственноручно подписал это послание, и Главное интендантское управление на другой день уже имело возможность с ним ознакомиться.

Через четырнадцать дней рекрут Трунец был вызван в канцелярию, где ему снова сняли мерку с головы, так как в этот день от Главного интендантского управления в Вене был получен ответ, который гласил:

«Третьей роте двенадцатого полка.

В ответ на рапорт № 6728/891 II аб/6721/345 г. III а 8 IV.

Главное интендантское управление имеет сообщить нижеследующее:

В рапорте третьей роты двенадцатого полка за № 6728/891 II аб/6721/345 г. III а 8 IV, содержащем просьбу к Главному интендантскому управлению в Вене о высылке фуражки пехотинцу той же роты Яну Трунцу, родом из Пелгржимова, округ Кадань, поскольку вышеназванный пехотинец имеет голову ненормальной величины, отсутствуют данные относительно размера головы вышеназванного пехотинца. Сим предлагается незамедлительно сообщить данные о размере вышеупомянутой ненормальной головы пехотинца».

— Ну и дали вы нам работенку! — проворчал унтер-офицер, обращаясь к Трунцу, и написал в Главное управление, что размер головы вышеназванного пехотинца — шестьдесят два сантиметра.

Через четырнадцать дней в канцелярию роты пришло новое отношение из Вены:

«Главное интендантское управление в Вене предлагает в дополнение к присланному сюда рапорту за № 6829/351/11 г. III д 3321 сообщить, в каком году родился пехотинец с ненормальной головой и какой год служит в армии, так как не исключена возможность, что голова вышеупомянутого пехотинца может еще увеличиться».

Унтер-офицер сообщил год рождения и службы Трунца.

Через два месяца из Вены пришла бумага следующего содержания:

«Сим предлагается безотлагательно выслать выданную вами пехотинцу Трунцу фуражку во избежание недоразумений при учете военного имущества. Просимая вами фуражка будет прислана в обмен».

Через три месяца прибыла новая бумага:

«Третьей роте двенадцатого полка.

Главное интендантское управление сообщает, что отправленная вами фуражка пехотинца Трунца прибыла в поврежденном состоянии. Сим предлагается произвести строжайшее дознание, каким путем она фуражка была повреждена. По завершении дознания Главное интендантское управление, в соответствии с § 16 Воинского устава, выпишет требование на поставку новой фуражки размером в 62 сантиметра для ненормальной головы пехотинца Трунца».

### 3

Письмо третьей роты двенадцатого полка Главному интендантскому управлению в Вене:

«Произведенным расследованием было установлено, что пехотинец Ян Трунец получил фуражку, посланную затем в Вену на обмен, в полной исправности. Но вследствие того, что он не относился к ней, как это было подтверждено свидетелями, с должной аккуратностью, какая требуется по отношению к казенному имуществу, фуражка была повреждена. Поскольку вышеупомянутый пехотинец между тем умер, просим о возвращении посланной вам фуражки пехотинца Яна Трунца с ненормальной головой».

## Съезд младочешской рабочей партии

*Мы создадим сильную младочешскую рабочую партию.  
«Ден»*

**М**есто съезда: помещение редакции газеты «Ден». Настроение торжественное. В комнату проникают младочешские солнечные лучи. Мебель изготовлена младочешским столяром; люстра, правда, выписана из Германии, зато плевательница представляет собой младочешское изделие. В глубине видны нераспроданные экземпляры газеты «Ден». Налицо все младочешские лидеры. Младочешская рабочая партия представлена каменщиком Карасом, работающим у виноградского бургомистра Вишека, убежденного младочеха. Присутствует также девица Сисова, которая по случаю съезда опять остриглась.

Съезд открывает **д-р Клумпар**:

— Глубокоуважаемое собрание! Милостивые государыни и милостивые государи! Когда год тому назад было сделано предложение создать младочешскую рабочую партию, я не предполагал, что наши усилия столь быстро увенчаются таким полным успехом. Скептики думали, что при нынешнем брожении умов в рядах рабочего класса не найдется никого, кто открыто и гордо встал бы под младочешское знамя.

Признаюсь, что не кто иной, как я, в младочешском клубе объявил утопией, дерзкой мыслью, безумной идеей попытку создать рабочую партию на младочешской платформе. Признаюсь также, я утверждал, будто в новую младочешскую рабочую партию никто не захочет вступить. Благодаренье судьбе, я ошибся!

Не прошло и месяца после создания партии, как в нее вступил один человек. Это присутствующий здесь коллега Карас, который работает у нашего дорогого друга, бургомистра Краловских Виноград пана Вишека. Под влиянием бесед с бургомистром наш друг Карас еще прошлой осенью осознал свои заблуждения (он был социал-демократом) и охотно вступил в младочешскую рабочую партию вместе с женой и бабушкой.

Однако весной его бабушка скончалась, вследствие чего число членов младочешской рабочей партии сократилось до двух. Карас поныне является единственным представителем мужского пола в младочешской рабочей партии. Но этот Адам новой рабочей партии, наш образцовый коллега и борец за ее права, решил в меру своих слабых сил содействовать успеху младочехов. Свой план, до сих пор хранимый в тайне, он представил правлению клуба, и оно этот план одобрило.

Признаюсь опять-таки, что первое время я из осторожности возражал против его предложения. При этом мной руководила исключительно забота об интересах партии, и могу вас заверить: я рад, что ошибся.

В итоге, с согласия руководства партии, наш друг Карас был выставлен в паноптикуме. Немедленно был создан финансовый комитет, раздобывший необходимые денежные средства для устройства паноптикума, который стал первоклассным зрелищным предприятием и бродячим аттракционом. Возглавил этот комитет доктор Кернер, любезно согласившийся сделать подробный доклад о деятельности нашего коммерческого предприятия — передвижного

паноптикума. Доктор Кернер, будьте любезны, расскажите нам о ваших достижениях.

**Д-р Кернер.** Прежде всего, милостивые государыни и государи, благодарю вас за оказанное мне доверие, без которого я не мог бы ничего совершить, ибо в данном случае речь шла не только о политической деятельности: мне были доверены денежные средства партии. Доктор Клумпар уже осветил вам первые скромные шаги младочешской рабочей партии и благородное намерение нашего коллеги, рабочего Караса, поддержать существование новой партии своим выступлением. Мы с благодарностью приняли предложение коллеги Караса выставить его в паноптикуме как единственного члена новой младочешской рабочей партии и, не откладывая, приступили к организации передвижного паноптикума. Был построен деревянный балаган, приобретены фургоны и лошадка. Кроме того, куплена железная клетка для нашего коллеги, и выдающемуся младочеху Кристлику заказана вывеска. Текст ее, одобренный исполнительным комитетом младочешской партии, гласит:

**ЧУДО XX ВЕКА!**

Единственный член новой младочешской партии!

**ЧУДО XX ВЕКА!**

Удивительней сиамских близнецов и прочих анатомических достопримечательностей.

*Вход 20 геллеров.*

Дети и военные платят половину.

На клетке тоже была надпись, одобренная исполнительным комитетом младочешской партии:

*Просьба не кормить!*

Кроме того, мы организовали при паноптикуме продажу газет «Народ» и «Ден».

Финансовый комитет пользуется случаем выразить благодарность м-ль Сисовой за прекрасное стихотворение, так удачно оповестившее чешский народ об открытии паноптикума. Последний стих его, если не ошибаюсь, звучал так:

*Ты в клетке, младочех отважный!*

(М-ль Сисова кланяется.) Это прекрасное стихотворение создало нашему предприятию превосходную рекламу. Все оборудование вместе с лошастью обошлось в 800 гульденов. Отмечу, что лошадь была приобретена также у младочеха. И вот коллега Карас стал разъезжать в клетке по чешским землям во славу младочехов, можно сказать — в качестве нашего младочешского *Бу-Гамары!* (*Движение в зале.*) Доход от продажи входных билетов превзошел ожидания. Народ повалил в паноптикум толпой, но не было человека, который купил бы экземпляр газеты «Ден» или «Народ».

С 1 июня до конца было продано 720 000 билетов на общую сумму 108 000 крон. Через месяц количество проданных билетов возросло до миллиона и выручка достигла 150 000 крон. Коллеге Карасу выплачивалось по 200 крон в месяц, а всего за три месяца уплачено 600 крон. Содержание лошади обошлось значительно дешевле: оно составило около 200 крон. В общем, на содержание обоих израсходовано 800 крон. За вычетом этой суммы плюс 1000 крон организационных расходов и 200 крон на амортизацию инвентаря, включая кол-

легу Караса, остается 147 600 крон.

Пяти членам финансового комитета — ревизорам и казначеям — выплачено содержание в размере 1000 крон каждому, а всего 5000 крон. Остается 142 600 крон. Налоги и платы за аренду места составили 3700 крон; остается 138 900 крон. Эта сумма была израсходована следующим образом: 100 000 ушло на погашение десятой части задолженности, числящейся за нашей газетой «Ден». Остальные 38 900 крон утеряны.

Если не считать этого убытка, который следовало предвидеть, результат деятельности коллеги Караса бесспорно следует признать прекрасным.

Самый вид небывалого экспоната и впечатление, которое он производил на посетителей, с трудом поддаются описанию.

Представьте себе нашего коллегу Караса сидящим в клетке (*движение в зале*) с надписью на груди: «Единственный член младочешской рабочей партии». И на него глядят тысячи и тысячи граждан самых разнообразных профессий, возрастов, разного общественного положения. Социал-демократические и другие организации устраивали экскурсии в наш паноптикум; но при всей моей симпатии к этой народной партии я вынужден констатировать, что в таких случаях у нас в паноптикуме всегда что-нибудь пропадало.

Как-то раз пропало десять крон из кассы, в другой раз — вся касса. Однажды даже исчез обед, приготовленный для нашего коллеги. При всем том паноптикум вполне оправдал себя. Мы стремились не столько к славе, сколько к материальному успеху. Народ, сильный в финансовом отношении, одолеет всех своих врагов. В заключение мне остается только крикнуть «ура» в честь нашей младочешской рабочей партии! (*Множократное «ура».*)

Раздается стук в дверь. В комнату входит служитель и с важным видом подает д-ру Кернеру письмо. Лицо д-ра Кернера расплывается в блаженной улыбке. Когда среди слушателей, пришедших в движение, вновь устанавливается тишина, он произносит:

— Уважаемое собрание! Могу сообщить вам в высшей степени радостную новость. У нашего самоотверженного коллеги Караса только что родилась двойня! Нашего полку прибыло, друзья! Да здравствует новое пополнение младочешской рабочей партии!

После съезда м-ль Сисова написала для газеты «Народ» передовую о росте младочешской рабочей партии.

## Д-р юриспруденции Йозеф Мысливец

Преисполненный искреннего удовольствия, берусь я за перо, дабы описать жизнь этого современного святого. Он в полной мере подтверждает слова английского лорда Маколея: «На древе католической церкви во все времена распускаются цветы, благодаря которым католическая церковь сохраняет свежесть аромата».

Подобным цветком является д-р юриспруденции Йозеф Мысливец, и ныне воистину можно сказать, что это деятель католического мира, одна из главных фигур, человек, который чтит законы и побуждает остальных делать то же. Это апостол чешского народа, поводырь стада верующих. Он имеет potesta iurisdictiones[73]. На его примере прекрасно видно, что все, что бог ни делает, — к лучшему. Из сапожника Йозеф Мысливец превратился в доктора юриспруденции и депутата имперского сейма от католического чешского люда. Впрочем, из истории церкви мы знаем, что самые известные святые поначалу также были ремесленниками и, бесспорно, со времен д-ра Мысливца слово «сапожник» утратило свой оскорбительный оттенок; бесспорно и то, что чешские сапожники после смерти д-ра Йозефа Мысливца выберут его своим патроном и в Чехии появятся фирмы вроде «Мысливец Сметана, сапожник».

Д-р Йозеф Мысливец, как он сам о себе говорит, является чешским миссионером, он устремляется в чешские области проповедовать Евангелие Христово. При этом время от времени он дает жандармам распоряжение арестовывать людей, которые на собраниях не соглашались с его выводами, что является несомненным признаком одичания и падения нравов.

В молодости он был ревностным читателем журнала «Доминиканская роза» и уже в десятилетнем возрасте писал в «Кршиж» и «Марию» стишки. Вот один из отрывков:

*К небу возношу молитвы,  
праведные слезы льются,  
ангелок-хранитель мой,  
христьянин я неплохой,  
и свою молитву эту  
возношу я прямо к небу.*

Столь пылкое религиозное чувство, выраженное в этих волнующих строках, позволяет нам заглянуть в чистую душу юного Йозефа Мысливца.

Позже, водрузившись на сапожницкую треногу, он с молитвой в душе раскраивал кожу и варил сапожный клей.

Под монотонный стук молотка по подметкам разносились его религиозные песнопения. Были это времена, когда, отложив начатые ботинки, он усаживался за стол и занимался самообразованием во славу церкви католической. И вот уже перед нами д-р Мысливец, зрелый поборник церкви и веры. Кто слышал, как д-р Йозеф Мысливец выступает на собрании или читал его статьи, тому известно, сколь глубокие познания таит в себе сей муж, как известно и то, что речи его исполнены мудрости. Он растолкует вам, что почти все сведения о поверхности земли проистекают из источников католических. Величайшие изобретения и учения были созданы набожными сынами церкви. Католики изобрели ножи, тачки и прочие полезные вещи. Католики изобрели

фортепиано, католики изобрели вилки. И, слушая речи д-ра Мысливца, вы убеждаетесь, что все это заслуга католической национальной партии и избирателей, голосующих за д-ра Йозефа Мысливца. Речи его весьма содержательны и остроумны. Его устами говорит находчивый святой Фома. Бок о бок с д-ром Йозефом Мысливцем стоит толпа ученых, ученых самых настоящих, в первую очередь это св. Ансельм, Александр Гальский, св. Бонавентура. Свои мысли он почерпнул из их философских трудов.

И если верно, что первый театральный бинокль, как утверждает д-р Мысливец, изобрел капуцин Ширль де Лейта, то ясно и другое: все, что по сей час еще не изобретено, изобретет д-р Йозеф Мысливец. И сколь неоспорима роль католической церкви в деле открытия северного полюса ведь прадедушка д-ра Кука был истинным католиком, — столь же значительны заслуги д-ра Мысливца перед чешским народом.

В Орлицких горах, где бедные ткачи всю жизнь гнут спину за ткацким станком и буквально валятся с ног от изнеможения, д-р Мысливец вносит новый, здоровый дух в изнуренных ткачей. Чтобы они не превратились в социалистов, д-р Мысливец объяснил, что им следует позаботиться о царствии небесном после смерти, а это возможно лишь в том случае, если они выберут его депутатом имперского сейма.

Вне сомнений, это будет первый святой, ставший депутатом. Его деятельность обширна, статьи его дышат горячей любовью к богу. Отправляясь в свой избирательный округ, он надевает сапоги. Лишнее свидетельство того, что великим людям свойственны маленькие слабости. Наполеон любил красные носовые платки, а д-р Йозеф Мысливец — сапоги.

Д-р Мысливец любит историю и особенно ту ее главу, что связана со святой инквизицией.

По ночам ему снятся испанские сапоги, колодки и прочие орудия, использовавшиеся во имя интересов церкви.

В остальном он ведет абсолютно безупречный и добродетельный образ жизни, иначе и быть не может у человека, возвращенного на религиозных принципах.

Он никогда ни перед кем не заносится, а если ему кто не нравится, говорит об этом прямо в глаза. Но поскольку не все понимают латынь, ему приходится высказывать человеку в глаза все, что он о нем думает, на языке чешском.

При этом он обычно поминает скотину. А заканчивая свои выступления перед избирателями, заявляет:

— Гордитесь, что мы крепко всыпали этим парням и возложили на их спины крест покаяния, дабы отринули они гордыню и суетность и помнили, что человек не знает ни дня, ни часа, когда бог призовет его к себе.

И еще об одной важной черте его характера следует здесь напомнить: д-р Йозеф Мысливец абсолютно безгрешен. Как-то на собрании в Чешской-Тршебовой он сказал:

— Люд католический! Я безгрешен, по пятницам я пощусь, мяса не ем, а мой противник по пятницам не только ест мясо за обедом, но и ужинает жирной ветчиной.

Это было в пору первых выборов в имперский сейм на основе всеобщего избирательного права. Из Чешской-Тршебовой д-р Мысливец направился в Устинад-Орлицей, где созвал на площади митинг и снова рассказывал о том, что

его противник в страстную пятницу съел жир от ветчины.

Естественно, что в сем благословенном краю такой оскотинившийся кандидат провалился.

Последнее время д-р Йозеф Мысливец занимается составлением открытого письма, которое собирается разослать во все редакции:

«В связи с моим предложением сделать праздник св. Вацлава праздником общенациональным, злоречивые уста распространяют слухи, что, если б я жил при св. Вацлаве, патрон земли чешской отослал бы меня в Германию. Поскольку это звучит весьма двусмысленно, я с законным негодованием отвергаю подобное утверждение и заявляю, что ни при каких обстоятельствах Чехии не покину».

Это — последние сведения о деятельности д-ра Йозефа Мысливца, которого мы рекомендуем чешскому народу как любопытный экземпляр, особенно с точки зрения естественной истории.

## Министры д-р Жачек и д-р Браф

Кто внимательно читает официальный орган «Пражске уржедни новины», тот не может не заметить следующих сообщений:

«Его превосходительство пан министр д-р Браф снова отбыл из Праги в Вену».

«Его превосходительство пан министр д-р Жачек отбыл из Праги в Вену».

«Его превосходительство пан министр д-р Браф прибыл из Вены в Прагу».

И так д-р Жачек и д-р Браф сменяют друг друга. Один прибывает в Прагу, другой отбывает из нее, и наоборот. Иными словами, на линии Прага — Вена постоянно курсирует один из наших чешских министров.

Однако «Пражске уржедни новины» этими сообщениями не ограничиваются. Они указывают точное время прибытия или отбытия того или иного из министров. В 9.20, в 8.10, 7.15 и в 3 часа 36 минут. И к тому же уточняют, когда это было, днем, утром или вечером, чтобы у народа не оставалось ни малейших сомнений.

Безусловно, в интересах чешского народа необходимо также указать, по какой именно железной дороге ехали наши министры.

«Пражске уржедни новины» и здесь оказываются на высоте:

«Его превосходительство пан министр д-р Жачек вновь прибыл из Вены в Прагу по железной дороге императора Франца-Иосифа в 9.20 вечера».

«Его превосходительство пан министр д-р Браф отбыл по государственной железной дороге в Вену в 3.36 пополудни».

Как видите, деятельность наших министров является весьма разносторонней. Они могли бы ездить исключительно по государственной железной дороге или по железной дороге императора Франца-Иосифа, но они этого не делают. Пока один едет в сторону Вены через Табор, другой возвращается в Прагу через Брно.

*Наши министры просто-таки завладели двумя самыми крупными и самыми важными железнодорожными линиями.*

Вывод можно сделать весьма глубокий. Французский государственный деятель Арман Дюфор, в остальном человек выдающихся способностей, испытывал особое отвращение к поездкам и ездил из Бордо в Париж на заседания Совета министров каретой. Один из выдающихся английских государственных де-

ятелей Гладстон также не питал доверия к железным дорогам и пользовался поездом скрепя сердце. Немецкого государственного деятеля Бисмарка, если он совершал поездку по железной дороге, не покидал страх, что поезд обязательно попадет в крушение. Тут-то образованному человеку и становится ясно, насколько выше них фигуры наших министров. Кто мужественнее и бесстрашнее, Бисмарк, Дюфор и Гладстон или д-р Жачек и д-р Браф? Вне всякого сомнения, наши люди!

«Его превосходительство пан министр д-р Браф отбыл из Праги в Вену скорым поездом по государственной железной дороге».

«Его превосходительство пан министр д-р Жачек прибыл из Вены в Прагу скорым поездом по железной дороге императора Франца-Иосифа».

Разумеется, теперь каждому понятно, почему члены делегации, прибывшие по делу, касающемуся чешских интересов, к министру Жачеку или Брафу, в министерстве их не обнаружили.

Большая ошибка со стороны делегации, что она предварительно не заглянула на вокзал. Она наверняка нашла бы обоих министров на пражском или на венском вокзале.

Итак, делегация узнаёт, что один из господ министров отбыл в Прагу. По весьма срочному делу, касающемуся наших общих чешских интересов. Делегация едет следом за паном министром в Прагу. Пан министр тем временем возвращается в Вену. Делегация едет в Вену. Министр возвращается в Прагу. Делегация — за ним. Пан министр делает пересадку и едет в Йглаву, а чешские интересы, похоже, терпят крах. Но поскольку у чешского народа в запасе еще один министр, который как раз прибывает скорым поездом в половине четвертого из Праги в Вену, делегация ближайшим поездом отправляется следом. Ждет его в министерстве. Но безуспешно, так как он, оказывается, заехал к племяннику.

У д-ра Брафа, в свою очередь, есть внуки и он, не заезжая в Вену, заворачивает к внукам, чтобы те посмотрели на дедушку-министра.

А делегация этого не учла, и газеты просто констатируют, что, когда делегация преследуемых чехов из Нижней Австрии явилась в министерство, там не оказалось ни д-ра Жачека, ни д-ра Брафа. Некоторые газеты воспользовавшись сложившейся ситуацией, осыпают наших министров упреками.

Правильно сделают оба чешских министра, если для острастки оборвут их самым решительным образом: «А собственная семья, по-вашему, ничего не значит?!»

Впрочем, согласитесь, постоянно находиться в скором поезде не так уж и приятно. Четыре часа вы сидите между Веной и Прагой в дурацком бездействии. Пейзаж за окном давно известен. Леса и полосы полей мелькают столь же быстро, как и воспоминания о политическом прошлом. И то и другое нагоняет на вас одинаковую тоску. Этим путем вы ездили в Вену в качестве депутатов, теперь возвращаетесь и вновь прибываете в качестве министров. Вспоминаете, что никогда, даже в самые трудные времена вы не уступали своих позиций, что вам давно бы уж пора отойти от всего этого, но вы не бросили на произвол судьбы барона Бинерта.

Вы продолжаете тупо и безучастно сидеть. Быть может, разок-другой вы и вспомните о протестах народа, но после этого отупеете еще больше.

Именно теперь, когда вы прочно обосновались, народ желал бы отправить

вас в отставку! В Колине и в Таборе скорый стоит девять минут. Вполне достаточно, чтобы задуматься, на какие деньги вы можете рассчитывать, если вас погонят из Вены.

В Праге вы поселяетесь в отеле «У черной лошади». Там у вас просят аудиенции представители канцелярии наместника, муниципалитета и полиции. Господам из канцелярий наместника вы скажете, что у вас болит голова, господам из муниципалитета, что у вас болят зубы, а господам из полиции, что вы испытываете легкое головокружение. После чего вы отправляетесь в Национальный совет, побудете там минут десять до начала заседания и сошлетесь на недомогание.

Затем вернетесь в отель, почитаете газеты и убедитесь, что большинство из них выступает против вас с резкими нападками.

Вы тут же письменно уведомите их о том, что интересы чешского народа для вас святы.

На другой день вас посещает один из выдающихся политиков, который еще не был министром, и вы ему заявляете, что между вами и Бинертом все кончено.

Слово за слово, и в итоге вы заверяете его, что при сложившихся обстоятельствах вы сумеете остудить разгоряченные головы венских политиков, подав в отставку.

На следующий день вы едете в Вену в том же состоянии отупения и на станции Табор или Колин задумываетесь — что же, собственно, вы сказали.

Чем ближе Вена, тем невероятнее вам кажутся ваши разговоры об отставке, и, выходя в Вене из скорого поезда, вы ясно осознаете, что сейчас прежде всего необходимо сохранять спокойствие, потому что, как пишет «Тыден», «никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже», и что «после самого продолжительного ненастья снова наступают погожие дни».

Так протекает жизнь чешских министров.

У них бесплатные железнодорожные билеты первого класса по всей Австрии, они наизусть знают расписание поездов и время от времени доводят до сведения чешского народа, что, мол, великие времена требуют великих людей и правительство неизбежно должно прийти к выводу, что развитие чешской политической силы — существующая реальность и чешский народ надобно уважать.

Так говорит д-р Жачек. Д-р Браф, будучи экономистом, добавляет, что не только благодаря стоическому поведению чешской комиссии, но и в результате развития народнохозяйственной потенции мы снискали себе полное уважение правительства.

И д-р Жачек и д-р Браф заявляют официальным кругам:

— Неправда, что мы хотим подать в отставку.

— Мне и в голову не приходит подать в отставку.

— Чтоб я подал в отставку?!

— Кто это сказал, что мы собираемся подать в отставку?

Несколько дней спустя мы опять как ни в чем не бывало читаем:

«Его превосходительство пан министр д-р Браф вновь отбыл из Вены в Прагу скорым поездом по государственной железной дороге в половине четвертого пополудни».

«Его превосходительство пан министр д-р Жачек прибыл сегодня из Праги

в Вену скорым поездом по железной дороге императора Франца-Иосифа в три четверти одиннадцатого».

Итак, не подлежит сомнению, что на обеих линиях Прага — Вена неустанно курсирует один из наших чешских министров, которые ни при каких обстоятельствах в отставку подавать не желают. Это, я полагаю, народ утешит.

## **Удивительное происшествие с Франтишекком Махулкой, практикантом магистрата**

**В**о избежание всяких недоразумений и ложных толкований заявляем с самого начала: если в нашем рассказе и говорится о магистрате, то это ни в коем случае не касается магистрата королевского города Праги. Наоборот, все, что последует, случилось давным-давно и совсем в ином месте...

До той поры, когда произошли эти важные события, практикант магистрата Франтишек Махулка жил мирно и был доволен жизнью. От рождения человек тихий и скромный, он был старателен, почтителен к начальству — словом, образец хорошего чиновника. Он читал любые авторитеты — светские и духовные, — был необычайно вежлив со своими коллегами, а главное, умел ценить свое место.

И не удивительно: Махулка с отличием окончил гимназию и поступил на юридический факультет. Два года он успешно изучал право, но потом понял, что за экзамены ему уплатить нечем и что по окончании он не сможет служить бесплатно несколько лет.

Тогда он расстался с юриспруденцией и перешел на философский факультет. Но когда Махулка заканчивал третий курс, в газетах появились многочисленные статьи, предостерегающие от занятий философией, так как все соответствующие места заняты и в ближайшие двадцать лет никаких вакансий не предвидится.

Франтишек Махулка оказался в тупике. Поскольку об изучении медицины не могло быть и речи, он думал уже, что ему остается только пойти в семинарию. И вдруг в самый критический момент явилось спасение: некий колбасник, сына которого он репетировал, получая за это ужин, был избран в совет магистрата и выхлопотал бедняге место в магистрате.

Франтишек Махулка сделался писарем. Так как за его плечами были аттестат зрелости, два года юридического факультета, три года философского и экзамен по делопроизводству, он был зачислен в качестве «квалифицированного диурниста с правом на повышение» и с поденной оплатой в одну крону.

Франтишек Махулка был счастлив. Частенько по утрам перед службой он заходил в костел, благодарил господу бога и молился за своего благодетеля муниципального старшину колбасника и за весь славный магистрат, который его кормил.

В канцелярии, как уже сказано, он был одним из самых надежных работников: не ленился, не отзывался непочтительно о своем начальнике, не покупал себе еды и пива на второй завтрак (на это у него просто не хватало денег) и никогда не оставлял недоделанной работы.

Сослуживцы считали его выскочкой и карьеристом, но начальство ценило его усердие и наваливало на него в три раза больше работы, чем на других.

Его добросовестность принесла, однако, свои плоды: через три года его поденную плату повысили на десять крейцеров, еще через три года — снова на

десять и, наконец, после следующих трех лет — на двадцать геллеров (тогда уже были введены геллеры и кроны). Читатель, обладающий математическими способностями, легко подсчитает, что ежедневный заработок Махулки через девять лет равнялся одной кроне шестидесяти геллерам, или сорока восьми кронам в месяц, что составляло в год пятьсот восемьдесят четыре кроны.

Франтишек Махулка был на седьмом небе. Он никому на свете не завидовал и считал себя маленьким Ротшильдом. Тем ревностнее молился он каждый вечер за своего благодетеля муниципального старшину колбасника, за господина бургомистра и за весь совет магистрата. Он говорил себе, что теперь может спокойно ждать — хотя бы это длилось еще лет десять — назначения практикантом.

Дело в том, что в магистрате, о котором мы повествуем, было точно установленное число практикантов и определенное число делопроизводителей, которое ни в коем случае не могло быть увеличено. Никто не мог продвигаться, пока кто-нибудь из вышестоящих не умер или не ушел на пенсию. Эта мудрая система была придумана в давние времена, когда город был невелик, а делопроизводство несложно. С тех пор город разросся, делопроизводство неизмеримо усложнилось, но количество чиновников осталось прежним. Поэтому просто нанимали сверх штата поденных писарей, чье продвижение было практически невозможно.

Однако с течением времени прогресс проникал всюду, выдвигались новые лозунги, все реорганизовывалось; создали свою организацию и чиновники, и писари. Членов совета засыпали петициями, они не успевали выбрасывать депутации за дверь. Противились долго, но в конце концов все-таки уступили и сказали: «Надо что-то сделать и для чиновников!» (Как раз приближались выборы.) И сделали. Рассудили мудро, что от писаря до практиканта, а от практиканта до делопроизводителя — слишком резкий скачок, и человек, ошеломленный внезапным увеличением доходов, может потерять равновесие; поэтому ввели новую шкалу различных званий, которым отвечали соответствующие земные блага.

В результате Франтишек Махулка, который пять лет спокойно проживал свои ежедневные крону и шестьдесят геллеров, был назначен аспирантом. Теперь он был уже не простой писарь, а «ожидатель» места чиновника. Радость его была неопишима. Правда, такое повышение имело и теневую сторону, ибо аспирантское жалованье исчислялось в пятьсот крон ежегодно, и Махулка лишился восьмидесяти четырех крон. Но он легко сбалансировал утрату тем, что три раза в неделю не завтракал и не ужинал.

Еще усерднее трудился он в канцелярии. Его неутомимое рвение не ускользнуло от внимания начальства и спустя пять лет было вознаграждено внеочередным повышением. Но так как за это время никто из практикантов не продвинулся выше, не умер и не ушел на пенсию, Махулку не могли сделать действительным практикантом и наименовали титулярным практикантом с жалованьем аспиранта. Таким образом, его доходы остались прежними, но он должен уплатить пятьдесят крон пошлины.

Получив приказ о назначении, Махулка чуть не сошел с ума и впервые не вышел на работу, так как целый день прикладывал к голове холодные компрессы.

Прошло семь лет, и титулярный практикант Франтишек Махулка по-преж-

нему трудился с неустанным рвением, и по-прежнему его ставили в пример менее добросовестным коллегам. В конце седьмого года произошло выдающееся событие: старейший делопроизводитель после шестидесятилетней службы ушел досрочно на пенсию, не пожелав выждать еще десять лет, после которых он получал право на пенсию в размере полного оклада. В результате один из действительных практикантов стал делопроизводителем, что дало ему возможность жениться на своей невесте и узаконить своего внебрачного сына, который в том году как раз призывался в армию. А на освободившееся практикантское место был назначен наш Франтишек Махулка. Жалованье его, разумеется, не изменилось, но он должен был уплатить двести крон пошлины, которые у него милостиво вычитали ежемесячно из жалованья.

Столь частые и столь быстро следующие одно за другим повышения, видимо, укрепили нервы Махулки, так что на этот раз он уже не прикладывал к голове холодные компрессы; тем не менее радость его была безмерной. Теперь перед ним осталось всего лишь пятьдесят девять практикантов. Теперь-то уж он дождется желанного звания делопроизводителя! Тем усерднее отдавался он работе.

Шли годы, и снова Франтишеку Махулке улыбнулась фортуна: за безупречную тридцатилетнюю службу он получил персональную прибавку в сто крон ежегодно, за которые в первом году заплатил только пятьдесят крон пошлины.

Когда прошли первые приступы безумной радости, он вообразил себя баринном и завел новый распорядок. Следует признать, что действовал он при этом несколько легкомысленно, так как решил, что не будет, как до сих пор, ограничиваться в обед чашкой кофе с хлебом, а разрешит себе дважды в неделю вкушать в народной столовой обед с кнедликом; сигару же, так называемую «длинную», которая раньше служила ему три дня, отныне он будет выкуривать всего за два дня.

В ту пору Франтишек Махулка регулярно раз в три года заказывал себе новые ботинки, а раз в четыре года — новый костюм. Он очень заботился о своей внешности, и это была его единственная слабость.

Его поставщиками были два старых солидных ремесленника — сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек.

Каждый новый заказ становился для Махулки настоящим событием: ведь эти два человека от него зависели, они должны были первыми здороваться с ним и говорить ему: «Ваша милость» и «Чего изволите».

И Махулка не упускал возможности напомнить обоим, что он дает им заработок, что может им приказывать — словом, что он заказчик и с ним нужно считаться. Всякий раз, когда с него снимали мерку для ботинок или для костюма, он очень важничал и говорил свысока:

— Послушайте, вы... чтоб они мне не скрипели... а то знаете, что вы натворили в прошлый раз?

Когда же почтенные мастера сдавали ему свои изделия, он не мог удержаться — даже если заказ был выполнен самым тщательным образом, — чтобы не сказать:

— Ай-ай, уважаемый... Разве это ботинок? Да это же опорок!.. Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В следующий раз я такую дрянь не приму, носите сами! (То была точная копия тона и выражения его начальни-

ка, советника Пишкота.)

Таково было единственное удовольствие Махулки — хоть на минутку да почувствовать себя барином, — удовольствие, которое он всегда заранее предвкушал и долго потом вспоминал.

Так проходили годы, без изменений — медленно и монотонно; время от времени Махулка заказывал ботинки или костюм, неизменно повторяя приведенный выше монолог, как вдруг в один прекрасный день...

Да, в один прекрасный день происходили выборы в магистрат. Огромные кричащие плакаты на углах улиц, бурные предвыборные собрания, соглашения магистратской клики с оппозицией ремесленников... И из избирательной урны игрою случая вынырнули новоиспеченные члены совета сапожник Венделин Брдичка и портной Матиаш Цафоурек, поставщики практиканта магистрата Франтишека Махулки.

Махулка, никогда не интересовавшийся политикой, узнал об этом утром в табачной лавке, покупая свою неизменную «длинную», которая должна была ему служить два дня, и, как обычно, наспех просматривая ведомственный листок.

Сначала новость не очень поразила его: впереди был рабочий день, и Махулке некогда было заниматься легкомысленными размышлениями, которые могли отвлечь его от работы и тем нанести ущерб магистрату. В дневной суете он даже забыл об этой новости, и только после ужина, когда уже собирался лечь, она вдруг всплыла в его сознаний. Махулка как раз разувался и, грустно разглядывая стоптанные, потрескавшиеся ботинки, думал, что пора заказывать новые. Тут-то впервые и дошел до него смысл этого события. В голове мелькнула тревожная мысль: как я могу заказывать ботинки у Брдички, если он теперь советник магистрата, мой кормилец? Что делать? И как быть с одеждой? Брюки внизу обтрепались, на зад нужно положить заплату. Как я могу прийти за этим к Цафоуреку, если он со вчерашнего дня городской старшина и мое непосредственное начальство?

Его начало трясти, как в лихорадке, и он, ошеломленный неслыханным оборотом дел, решил отложить размышления до завтра. Но долго не мог он уснуть в эту ночь, и временами мороз подирал его по коже.

Когда утром Махулка обувался, тяжелые мысли начали одолевать его с новой силой. Он страшился будущего и чувствовал себя беспомощным.

В канцелярии он не раз впадал в задумчивость, посадил кляксу на важный документ и испортил гербовый бланк ценою в 0,7 геллера, что побудило господина советника деликатно упрекнуть его:

— Черт побери, Махулка, нужно быть повнимательнее! Этак вы пустите по миру весь магистрат!

Это окончательно выбило его из колеи. Об обеде Махулка уж и не думал, мысли его неизменно блуждали по заколдованному кругу: «Господи, что делать? Попробуй отдать башмаки в починку муниципальному советнику! Не сочтет ли он это смертельным оскорблением со стороны жалкого практиканта? И ради всего святого, как я должен теперь к нему обращаться?»

Он начал мысленно комбинировать всевозможные титулы и от этого еще больше запутывался:

«Глубокоуважаемый господин советник, не будете ли вы так любезны поставить мне заплатку на ботинок?»

«Ваше благородие господин советник, позволю себе наипокорнейше просить, не затруднит ли вас залатать мне брюки на заднице?»

«Многоуважаемый господин советник, позволю тешить себя надеждой, что вы с обычной благожелательностью изволите починить мои ничтожные ботинки!»

Будет ли это достаточно почтительно? Не вышвырнет ли он меня за дверь? А вдруг я, не дай боже, забудусь да и ляпну муниципальному советнику, как раньше: «Послушайте, вы...» или «Эй, шут гороховый!»

С ума сойти! А если пойти к другим? Но ведь никто не возьмется шить мне ботинки и костюм в рассрочку, по кроне в месяц! Не говоря уже о заплатках и подметках! А еще, того и гляди, господин магистратский советник и господин старшина обидятся, что я перестал у них заказывать, а это хуже всего!

Отныне мрачные мысли не покидали несчастного Франтишека Махулку. Им овладела меланхолия. Как навязчивая идея, днем и ночью преследовал его призрак залатанных ботинок и брюк.

Время шло, но состояние Махулки не улучшалось. Наоборот, он все глубже погружался в задумчивость. Куда девались его прилежание и внимательность, которые всегда приводились в пример остальным? Уставившись в пространство, он тратил время на долгие размышления, сажал кляксы на важные бумаги и портил дорогие бланки.

Одновременно и вид его становился все неряшливее. Поскольку он все еще не решил, как быть, его единственный костюм пришел в полную негодность, ботинки совсем развалились, и он ходил уже на собственных подошвах, брюки протерлись, а на локтях зияли дыры, которые он безуспешно пытался прикрыть пестрыми заплатками.

В конце концов это заставило шефа, господина советника Пишкота, вызвать Махулку к себе и серьезно с ним поговорить:

— Послушайте, Махулка, что с вами, собственно, происходит? Ничего не понимаю! Вы всегда были таким примерным чиновником!.. Я уж не говорю о вашей работе — она сейчас и гроша ломаного не стоит, — но посмотрите на себя: на кого вы стали похожи! Просто ужас берет: вылитый атаман разбойничьей шайки после разгрома! Куда вы деньги-то деваете, коли даже одеться прилично не можете? Холостой человек, и с таким-то жалованьем! Или какую-нибудь балеринку содержите?

Но Франтишек Махулка вместо ответа залился истерическим плачем.

Пораженный господин советник вызвал к себе после этого старшего делопроизводителя, который приглядывал за всем персоналом канцелярии, и поделился с ним своими сомнениями:

— Не кажется ли вам, что Махулка чертовски сдал? Попробовал я сейчас отечески пожурить его, так он возьми да и разревись, словно какая-нибудь меланхолическая девица! Не иначе он алкоголик, скорее всего потихоньку пьет. Придется отправить его на пенсию.

— Осмелюсь напомнить, господин советник, — сказал старший делопроизводитель, — он служит всего тридцать лет и не имеет еще права на пенсию.

— Тем лучше, по крайней мере, сэкономим на нем, — сказал господин советник и милостиво отпустил делопроизводителя.

Но случилось все иначе...

В тот же день в ратуше происходило важное заседание совета, на котором,

помимо иных вопросов, разбиралось предложение о создании особого учреждения для художественного воспитания народа. Среди прочих ораторов слово попросил новоиспеченный советник сапожник Брдичка, который так начал свою девственную речь:

— Господа, я никакой там не оратор, я честный ремесленник, и я не буду выдумывать всякие там цветистые выражения — я по-простецки ляпну, как думаю. (Превосходно!) Так я вот думаю, господа, что как... это... жили мы без этих новшеств. (Превосходно!) И наши отцы без них прожили. (Превосходно!) Так и наши дети без них отлично проживут. (Превосходно!) А долгов у нас и без того полная... а что полная, говорить неудобно. (Бурное одобрение.) Вот я и думаю, к чему еще выбрасывать деньги...

Вдруг в напряженной тишине с переполненной галереи раздался громкий выкрик, который сразу погасил красноречие господина советника:

— Эй вы, шут гороховый, разве это ботинок?! Да вы отродясь и колодки-то порядочной не видели! В башку вам его только запустить!

И какой-то человек швырнул вниз, прямо в оцепеневшего оратора, изношенный башмак и начал рвать на себе одежду. Это был несчастный практикант магистрата Франтишек Махулка, который сошел с ума.

Заседание было прервано. Беднягу вывели и вскоре отвезли в сумасшедший дом, откуда он больше не вернулся.

И живет там Франтишек Махулка за счет городской казны, которой все-таки не удалось на нем сэкономить, как надеялся господин советник Пишкот.

Это тихий, безобидный сумасшедший, который низко кланяется всем встречным и твердит просительным тоном:

— Ваша милость глубокоуважаемый господин советник, позволю себе наимпочтительнейше просить, если это вас не затруднит, залатать мне смиренную задницу на брюках...

## Король Румынии отправляется на медведей

В 1904 году мне выпала возможность увидеть вояж короля Румынии на охоту в Трансильванские Альпы. За день до выезда появился экстренный выпуск бухарестских правительственных газет с таким заголовком: «Король Румынии отправляется на медведей». Он и отправился. Благо сие было одобрено министерским советом и женой, румынской поэтессой Кармен Сильвой.

Была разработана программа поездки, предусматривавшая посещения королем городов, где он еще не бывал, чтобы население получило возможность полюбоваться его охотничьим нарядом и голыми коленками.

Королю предстояло побывать в Тито, Питексе, Картеа де Аргес — крохотных румынских местечках, обитатели которых все без исключения с нетерпением ожидали прибытия короля.

Весь путь был украшен флагами. Поезд останавливался на каждой станции, и король, выступив из вагона, отечески ласково отвечал на приветствия школьников:

— Да, король Румынии отправляется охотиться на медведей, ибо такова воля народа.

Так сразу оказалось, что поездка на охоту совершалась по воле народа, и это вызвало всеобщее ликование.

По прибытии в Тито король осмотрел ратушу и нашел, что у нее прочный фундамент. По двору ратуши разгуливали куры, и король поинтересовался их возрастом. Затем бросил в толпу пригоршню «баней» (медных монеток с дырочкой посередине, достоинством чуть больше двух геллеров), сел под ликующие вопли собравшихся в коляску и отбыл на вокзал.

Следующая станция была Питекса. Здесь соорудили триумфальную арку с надписью, видной издалека: «Король Румынии отправляется на медведей! Большой удачи!»

Здесь король Румынии снова спрашивал о возрасте кур, убежавших перед его королевской коляской, подивился, что бургомистр прекрасно выглядит, он обратил внимание на новую ратушу, спросил, сколько в городке жителей, и, узнав, что 3712, многозначительно заметил:

— Надеюсь, что к концу года вы округлите их число до четырех тысяч!

Следующей остановкой оказалась Дегарацу, город с деревянными домами среди лесов. Король вышел и захотел увидеть ратушу. Ему объяснили, что ратуши здесь нет. Король заявил:

— Будьте мужественны и добьетесь всего.

Его заинтересовала маленькая горная речушка тем, что она течет на запад. Короля это крайне удивило. Он справился, куда же она впадает. Отцы города этого не знали, и, огорченный, король покинул Дегарацу.

Далее путь лежал к Картеа де Аргес. На всем пути следования короля сопровождала приветственная пальба, крики «ура» и музыка.

В Картеа де Аргес король на вокзале, повелел, чтоб оркестр сыграл еще раз. Поскольку в поезде было изрядно выпито, он, растроганный горячей встречей, бросился целовать бургомистра и представителей местной власти. Затем, подарив бургомистру часы, король отбыл, оставив о себе самые приятные впечатления.

Между Картеа де Аргес и Есеро король трижды сходил с поезда. Первый раз

в Башуче, где поинтересовался возрастом жены жандармского начальника, затем в Камбало, где сообщил, что ему очень нравятся мосты, и, наконец, в Югатице, где ему захотелось узнать, сколько лет тамошнему попу. Ему ответили, что попа здесь нет, так как церковь находится в Камбало. Короля ответ очень озадачил, и он, заявив, что решительно не понимает, почему церковь должна быть именно в Камбало, счел необходимым сместить городское управление.

Наконец король прибыл на конечный пункт — станцию Есоро, городок, расположенный в горах у подножия Кумполунга. Короля приветствовали самые красивые местные девушки. Не удержавшись, король расцеловал всех восемьдесят красоточек и отдал распоряжение адъютанту позаботиться о приданом для пяти самых хорошеньких из них. Оставив адъютанта в полной растерянности, король пешком отправился в город, расспрашивая, сколько лет тому или иному зданию. По пути он высказал также крайнее удивление и тем, что именно Есоро удостоилось чести расположиться у подножия Трансильванских Альп. Король пожелал ознакомиться с образцами горных пород и, слушая объяснения, недоверчиво покачивал головой.

— Повторите-ка мне это еще раз!

— Ваше королевское величество, — продолжал местный инженер, — куда бы вы ни соизволили обратить свой наияснейший взор, вы всюду заметите самый что ни на есть жалкий кварц. Ничего, кроме кварца, ваше величество!

— Выходит, у вас в окрестностях много кварца?

— Ваше королевское величество, да все Трансильванские Альпы сплошь состоят из него.

Затем король уделил час осмотру города. Спрашивал, достаточно ли быстро размножается население, и, получив утвердительный ответ, пожелал:

— Все хорошо в меру!

Пополудни король поехал в горы, где за Вагагорой триста загонщиков три дня уже гоняли ручного черного медведя, молодца под два метра ростом.

Король прибыл в условленное место. Ему подали ружье и погнали медведя из кустов.

Увидев его, король Румынии побледнел и сказал адъютанту: — Пускай живет! — сел в экипаж и немедля удалился с небезопасного места.

Спустя два дня правительственная газета сообщила, что король Румынии возвратился в Бухарест.

Здесь король осведомился, кем была организована его медвежья охота в горах Кумполунга. Узнав, что это был главный королевский лесничий, он призвал его в Бухарест и собственноручно повесил ему на грудь орден святого Георгия. А всех сановников своего двора наделил шкурами черных медведей.

## Приключения школьного инспектора Калоуса

Это была одна из самых страшных гимназий в Чехии. Преподаватели, директор и законоучитель считали учеников неизбежным злом, вырожденками, лютыми мерзавцами, которых надо держать в ежовых рукавицах, чтоб из них не вышли разбойники.

Веселых молодых ребят, которые глядят на мир с милой наивностью, свойственной их возрасту, держали в ежовых рукавицах, как подобает, следуя испытанному методу нашей средней школы. Это были циркуляры, исходившие от дирекции гимназии, толковавшие без устали об упадке нравственности, ничего не разрешавшие и все запрещающие во имя дисциплины.

На это же были направлены уроки закона божьего, наводившие страх.

Законоучитель, доктор богословия Губенка, рычал в жуткой тишине класса о загробной жизни, о разнузданности, об отсутствии любви к педагогическому персоналу, об испорченных молодых людях, об упадке нравов, о всеобщей развращенности.

Потом отворялись одна за другой двери классов, и, сверкая глазами, входил директор, строгий, седой. Остановившись у двери, он угрожающе сморкался в большой носовой платок.

Спрятав платок, он восклицал:

— Бесстыдники, безобразники!

И начинал вслед за законоучителем разъяснять содержание циркуляра, в составлении которого принимал участие весь педагогический совет. Вновь и вновь гремел он во всех классах об упадке нравственности:

— Вы хорошо знаете, к чему привел упадок нравов в Древнем Риме. Полное разложение римской жизни. Такое разложение наступит и среди вас.

Это было самое страшное слово, которое он швырял в лицо перепуганным гимназистам. Потом он, еще раз грозно высморкавшись, шел, сопровождаемый законоучителем, в соседний класс, а классный наставник, хранивший в течение всей этой операции унылое молчание и все время что-то записывавший в журнал, с явным сокрушением произносил вслед уходящим:

— Нет, они не станут лучше, можно поставить на них крест!

Такая же картина наблюдалась и в других классах.

Преподаватели, всюду уже приготовившиеся к этому посещению, принимали важный вид, и лица их приобретали такое же выражение, как у индийской богини смерти. И все начиналось сначала.

Входил законоучитель и грозно рычал:

— Время милосердия прошло, наступает время гибели!

И гимназисты, подготовленные к этой сцене последним циркуляром дирекции, который им только что прочел преподаватель, содрогались от ужаса. И законоучитель снова заводил речь о Содоме и Гоморре, о бесконечной благодати божьей, которая имеет свои границы, об испорченности людей, о примерах добродетели, подаваемых святыми, потом опять о стремительном понижении нравственности, упадке нравов и, наконец, заслышав на лестнице сморканье директора, снова восклицал, что пришел конец жалости!

И опять, как перед тем в других классах, отворялась дверь, директор громко сморкался на пороге и снова говорил об упадке нравов в Древнем Риме и о катастрофе, которая за этим последовала.

Так шло во всех классах — до седьмого, куда законоучителю и директору входить не хотелось. Это был самый скверный класс, от которого как раз и пошел в гимназии весь разврат, до того даже, что государственному советнику, школьному инспектору Калоусу все гимназисты совокупно, без различия классов, устроили в городской купальне «нырок».

И тем не менее пан государственный советник прибыл инспектировать.

Довольно давно уже среди учеников гимназии замечалась какая-то распущенность, некоторое нравственное одичание. А ведь в четвертом классе они читали стихи Овидия Назона о золотом веке, но это не помогло. Они могли бы прилепиться всей душой к тем строкам, где идет речь о безгрешном житии. А они предпочли путь греха: засунули одному классному наставнику в карман зимнего пальто какие-то портянки.

Хоть они и качались на челнах классического образования по морям греков и римлян, но были застигнуты на реке, пробегающей через этот город, два третьеклассника, которые плыли в корыте, стибренном со двора преподавателя физики и ботаники. Корыто тихо скользило вечером по реке. Потом от противоположного берега навстречу ему отплыло другое корыто, полное персов. Само собой, персы были тоже третьеклассники.

Началась битва у Саламина, о какой не прочтешь и в прекрасных описаниях Корнелия Непота. Маневрирование военного корыта, выступавшего на стороне греков, привело к тому, что, вопреки исторической истине, выскочила затычка, служащая в нормальных условиях на суше для спуска воды. Здесь получилось как раз наоборот: корыто наполнилось водой и пошло ко дну. А поскольку оно принадлежало одному из членов педагогического совета, событие было расценено как недопустимое нарушение школьной дисциплины, хотя министерство народного просвещения до сих пор не налагало запрета на применение корыт господ преподавателей в качестве средств водного транспорта. Два виновника были исключены из учебного заведения, а два утонули, и это им еще повезло, потому что, по заявлению пана законоучителя, они получили бы скверную отметку по поведению и все равно были бы исключены.

Исключение из гимназии — кара, непрестанно висевшая над всеми в этом сумрачном здании.

Однажды был исключен ученик пятого класса Мрженко, который, вопреки ясно выраженному запрещению дирекции, играл в футбол. Директор был решительным противником вольных движений для молодежи, так как страдал застарелым ревматизмом. Предусмотренные расписанием игры он старался ограничить, разрешив в конце концов лишь купание гимназистов в купальне этого уездного городка. Запрет был вызван главным образом настоянием законоучителя, объявившего, что купание за чертой города бросает тень на моральный облик учеников.

И вот тут-то и произошел этот ужасный случай, когда пана школьного инспектора несколько раз перекувырнули головой под воду.

Думаю, всем знакомо выражение «нырок». Это невинная забава, состоящая в потоплении товарищей по купанию.

Жертвой этой забавы и стал пан государственный советник, школьный инспектор, прибывший на инспектирование.

Дело было в субботу, после полудня, когда ученики гимназии отправились в купальню освежиться.

Кончена мучительная неделя — алгебры, латыни, греческого, геометрии и всего прочего, когда они сидели в душных помещениях и под постоянной угрозой плохой успеваемости готовились к жизни при помощи склонения греческих и латинских словечек.

Но вода в реке смыла с них накопившееся за неделю сознание рабской зависимости от учебной программы. Они прыгали в воду — первоклассники, второклассники, третьеклассники, четвероклассники и старшекласники, веселые, счастливые. Прыгали с лесенки, смеясь от наслаждения, в холодную чистую воду.

А над ними высоко в голубом небе — солнце; а вокруг — деревья, зеленый лес; а напротив — луг. Потом в купальню пришел какой-то незнакомый господин, разделся и, пыхтя, полез в воду.

А как раз около него прыгнул в реку шестиклассник Шетелик.

Вода вспенилась, плеснула высоко вверх, и незнакомец поднял крик:

— Безобразники, что вы делаете, что творите?

Бух! Прямо перед ним четвероклассник Матуха прыгнул в воду вниз головой.

— Перестаньте, негодяи! — закричал он в ярости. — Вон из воды! Марш! Все вон!

Общий смех был ответом.

— Что вам угодно? — обратился восьмиклассник Смрчка к нему с вопросом.

— Вон из воды, ступайте учиться, бездельники, радуйтесь, что выпали свободные минуты, когда вы дома можете усердно...

Он не договорил. Кто-то подшиб ему ногу, и он ушел под воду, напрасно стараясь за что-нибудь ухватиться. Он встал, захлебываясь, и крикнул:

— Мерзавцы, я государственный советник! Марш, все вон из воды, вон, головорезы!

Какое им было дело до чинов и званий? В воде все равны. Не успел государственный советник договорить, как кто-то под него нырнул. Захлебываясь, он опять выбрался на поверхность. Но тут его опрокинули сзади и устроили ему новый «нырок».

— Мерзавцы! — успел он только крикнуть. — Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..

Как только он это сказал, сейчас же и первоклассники, и второклассники, и третьеклассники, и четвероклассники, и старшекласники с невероятной быстротой все от него врассыпную — по кабинам и молниеносно одеваться. Пан школьный инспектор попробовал поймать хоть одного. С могучим напором поплыл он к кабинам, все время крича:

— Я школьный инспектор, покажу вам в понедельник!..

Наконец он догнал второклассника Шпирека, который только учился плавать и, стараясь уйти от инспектора, что есть силы греб руками, словно свалившийся за борт и преследуемый акулой пьяный матрос.

Государственный советник, школьный инспектор Калоус, подплыл к нему, схватил его за ногу и стал подтаскивать за плавки к себе. Бедняга умолял не топить его — до такой степени он был напуган грозной фигурой рассерженного школьного инспектора. Но его потащили дальше, так что в конце концов он получил возможность ступать по мелководью. По дороге к раздевалке он,

плача, признал все. Виновники есть во всех классах, он их знает. Они всегда ходят сюда купаться.

— В понедельник, — грозно объявил ему школьный инспектор, — после обеденного перерыва я тебя позову и пройду с тобой по классам... Да я их тоже узнаю. Исключенных с полкласса наберется!

Прямо из купальни он пошел в директорскую, в воскресенье был в костеле, а оттуда отправился в погребок, и с тех пор ни в воскресенье, ни в понедельник, когда по классам читался циркуляр и директор с законоучителем ходили выговаривать за безнравственность, его нигде не было видно. Некоторые видели только, как вышеописанный незнакомец направлялся в предместье Жабак, где есть два публичных дома, но где проходит также дорога к ближайшим живописным развалинам посреди леса, и это обстоятельство решило в конечном счете вопрос о том, куда шел пан государственный советник и школьный инспектор.

\* \* \*

По странному стечению обстоятельств той же ночью появился в предместье Жабак законоучитель и вошел к Пихам, в домик с зелеными ставнями. Это было заведение для чистой публики. К своему ужасу, он увидел школьного инспектора, сидящего на диване рядом с одной девицей из Германии.

Школьный инспектор поднял на него пьяные глаза. Но законоучитель, не теряя присутствия духа, сказал:

— Простите, я пришел спросить вас, что нам делать с теми озорниками?

— Исключим кое-кого из распутников! — воскликнул государственный советник.

— Совершенно правильно, — ответил законоучитель и, повернувшись к даме, что-то ей зашептал.

Через минуту пришла Мина в роскошном ампире. Он был очень доволен, но сохранил солидный вид.

По просьбе государственного советника он добился исключения шестиклассника Шетелика, дрыгнувшего в реку прямо перед начальством, и восьмиклассника Смрчки, который спросил тогда, что ему угодно.

Так окончилось приключение государственного советника и школьного инспектора.

## По следам убийцы

После публикации объявления о награде за указание следов убийцы в полицейском управлении наступил кавардак. Сотни людей, жаждущих получить обещанную тысячу, с утра до ночи штурмовали полицейское управление.

Однако полицей-президиум дал строгое распоряжение тщательно записывать все показания и представить их ему на рассмотрение. На основе этого материала президиум с помощью проверенных методов сможет установить точные приметы убийцы, после чего все данные будут должным образом сопоставлены, найдена нить и клубок распутан. Так поэтически писал полицейский официоз.

Просторные комнаты полицейского управления не смогли вместить всех добровольных свидетелей, и хозяйственный отдел уже подумывал о найме дополнительного помещения. Все показания лихорадочно записывались, и к вечеру начальник полиции получил целую пачку исписанных бумаг. На основании этих материалов государственному советнику предстояло сделать надлежащие выводы, найти нить, распутать клубок (повторяем это прекрасное выражение), чтобы затем сплести сеть для поимки злодея.

Полицейский комиссар Рейхель принялся читать начальнику полиции наиболее важные показания и письма. Это была нелегкая задача, ибо некоторые из них требовали основательных размышлений, а иные были попросту непонятны.

— Карел Выгналек, частный служащий, сообщает, — читал полицейский комиссар, — что такие же панталоны оливкового цвета он видел за три дня до убийства на незнакомце, который прикурил у него. Из этого он заключает, что убийца принадлежит к бедным слоям и наверняка был знаком с убитой, у которой взял панталоны напрокат. Видимо, при возврате их возникла ссора, которая и кончилась смертью старухи.

Вацлав Хохолатый шлет письмо:

*«Уважаемые полицейские начальники! Убитую знал один мой старый товарищ по военной службе. Мы служили вместе в одиннадцатом полку, и, помнится, наш батальон был переброшен в Ровиц. Там кругом горы да скалы. На торах пасется скот, главным образом коровы, господин начальник. Мой приятель, что знал убитую, служил уже третий год, был в звании капрала, отличался хорошей памятью и слыл грубияном. Из-за слова мог человека убить. Ежели б он поссорился с убитой, то непременно пристукнул бы ее. Он всегда говорил, что терпеть не может таких баб. Два года назад он умер своей смертью в кулачной драке...»*

Показания добровольного свидетеля лавочника Гофмауера с Длоутого проспекта:

*«Убитой не знал. В Карлине бывал дважды. Последний раз в позапрошлом году, когда горела фабрика Крцижжика. Дело было так: в воскресенье, после полудня, я отправился, как всегда, поиграть в картишки. Играю обычно в польский банчок или марьяж по мелкой и в жизни ни разу не плутовал. Иду. Вдруг под виадуком кричат: «Горит!» Гляжу — и верно! Пока добежал до фабрики, полыхало так, что мое почтение.*

*Потом пришли солдаты и оцепили улицу. С тех пор не был в Карлине и об убийстве ничего не знаю. За потраченные здесь полдня прошу выдать пять крон».*

— Я его посадил на всякий случай, — пояснил полицейский комиссар и продолжал: — Показания кузнеца Виктора Безваги:

*«Видел в полиции орудие преступления — кувалду. Как знаток кузнечного дела могу присягнуть, что кувалда не кузнечная. Таким образом, убийство не бросает никакой тени на кузнечное сословие, ибо ясно, что орудие убийства не принадлежало кузнецу. Заодно просим ускорить ответ на ходатайство о разрешении открыть вечернюю школу для кузнецов. Оно подано десять лет назад в канцелярию наместника через полицейское управление и до сих пор не рассмотрено из-за обилия неотложных дел об убийствах!»*

Фирма «Ал. Гинек» (письмо без штемпеля) сообщает:

*«Глубокоуважаемый господин начальник полиции!  
Нечестная конкуренция сильно подрывает трудное и благородное издательское дело. Предприниматели справедливо протестуют против использования труда заключенных, а закон о нечестной конкуренции запрещает пользоваться чужими фирменными знаками. Из вашего уважаемого объявления следует, что некоторые ваши уважаемые сотрудники занимаются сочинением уголовных романов и, возможно, тайно издают их. Мы решительно возражаем против того, чтобы убийство в Карлине было использовано для нечестной конкуренции и рекламы, и подчеркиваем, что талантливый писатель пан Крутиголовка уже работает над романом на эту тему. Что же касается поимки убийцы, то разрешаем себе предложить уважаемому полицей-президиуму для консультации все вышедшие тома «Клифтона», «Ника Картера» и «Шерлока Холмса» по сниженным ценам».*

— Закажите, — сказал начальник полиции, — и читайте дальше.

— Вот показания бакалейного приказчика. Он заявил, что Карлин — такое местечко, где всякое злодейство в почете. Я велел его посадить за такие слова. Важные сведения, — продолжал чиновник, — получены от Крафтовой, вдовы капитана. Она убеждена, что не следует искать убийцу-мужчину. Скорее всего убийство совершено особой женского пола. Неудачное замужество, наверное, привело ее к решению найти смерть на виселице. Кроме того, вдова сообщает:

*«Не имею прямых улик, но весьма подозрительна наша соседка Анна Тршехова. Она выливает помой в унитаз и способна еще и не на такое. А в последнее время что-то присмирела и в день убийства вернула мне десять крон долга, хотя еще с утра ругалась и говорила, чтоб я шла куда подальше. Кстати, эта сумма сходится с указанной в объявлении».*

— Анну Тршехову я взял под стражу.

— Правильно! — кивнул начальник полиции, хватаясь за голову. — Читайте дальше.

— Вот здесь протокол, составленный по настоянию Мирослава Гоффрихтера. Он явился со свидетелями, которые подтвердили его алиби. После этого он потребовал тысячу крон, ибо навел полицию на правильное заключение, что старуху убил, во всяком случае, не он... Далее показания свидетеля Матоушека. Он высказывает предположение, что несчастная лавочница сама покончи-

ла с жизнью.

— Гм, это возможно, — рассеянно пробормотал начальник полиции, прохаживаясь по комнате.

— Далее — письмо капеллана церкви святого Криштофа. Просит выслать тысячу крон, так как имеет веские подозрения против одного члена католической конгрегации, который уже два месяца не вносит добротных даяний на постройку храма святого Вита.

*«Обращаю ваше внимание на подозрительную связь этого дела с последними злодеяниями отравителей, — пишет чиновник Муржинога — Нужно выяснить, не была ли означенная кувалда куплена в магазине, торгующем ядами, и в каком именно. Нет ли на кувалде следов цианистого калия, и не имеется ли в самом железе подозрительных примесей. Все эти обстоятельства нельзя оставлять без внимания. Они, несомненно, приведут на след преступника».*

Начальник ударил себя по лбу:

— Этот человек прав! Сразу видно государственного чиновника. Вот с кого надо брать пример! Немедля распорядюсь сделать химический анализ кувалды.

На этом следствие было временно закончено. Все были довольны. Сделано немало: во-первых, найдены следы нескольких человек, которые убийства не совершали, и нескольких, которые могли его совершить. Кроме того, допрошено несколько предполагаемых скупщиков краденого. Наконец, установлена причинная связь между кувалдой, цианистым калием и возвращением долга.

В заключение начальник велел позвонить в Бргнице — узнать, не поймали ли там убийцу.

Ответ был получен тут же: «Нет».

— Мы тоже не поймали, — глубокомысленно изрек начальник.

А полицейский комиссар порылся и вытащил еще одно письмо:

*«Высокопочтимому полицей-президиуму.  
Позволяю себе обратить ваше внимание на чернильный карандаш.  
Это во-первых. Арестуйте всех, у кого есть чернильные карандаши.  
Во-вторых, посадите всех непричастных к убийству, и таким путем преступник будет изолирован и пойман. Поступайте в этом деле по старинной загадке: «Как проще всего поймать шесть львов? Поймайте десять и четырех выпустите...»*

На этом методе полиция и основала свои расследования.

## Амстердамский торговец человечинной

Не имея иной возможности быть полезным чешской нации, я решил заняться ее умственным развитием. С этой целью я отыскал замечательного человека, три раза сидевшего в тюрьме Панкрац за грабеж и обладавшего изумительной фантазией.

Кроме того, этот человек ловко владел пером и умел придавать своим мыслям нужную форму — задача, непосильная для другого моего сотрудника, совершенно лишенного способности мыслить оригинально, но в то же время умевшего развить заданную тему и связать отдельные эпизоды гибкой, изобретательной, захватывающей интригой.

Потолковав с обоими уважаемыми сотрудниками, я сообщил им, что намерен основать книгоиздательство, имеющее целью снабжать чешскую публику занимательным чтением.

Я заключил с обоими договор, по которому они обязались приступить через пять месяцев к сдаче мне частями, за обычную полистную оплату, увлекательного романа.

Ровно через пять месяцев в моем издательстве вышел первый выпуск романа «Амстердамский торговец человечинной, или Таинственное убийство в Черной пещере, или Корчма «Кровавый епископ». Роман выходил четыре года подряд еженедельными выпусками, по восемьдесят геллеров за выпуск; всего вышло двести восемь выпусков общим весом восемнадцать килограммов. Об успехе, которым пользовалось это произведение, ярче всего свидетельствует случай с владелицей продуктовой лавки Возабовой, о котором я расскажу.

У поденщика Франтишека Голана было двенадцать человек детей, и он ждал тринадцатого, когда агент по распространению книг и журналов принес ему первый выпуск «Амстердамского торговца человечинной, или Таинственного убийства в Черной пещере, или Корчмы «Кровавый епископ».

Напряженно ожидая появления на свет нового члена семьи, Голан с избытком располагал свободным временем и, чтобы скоротать его, принялся жадно читать первый выпуск романа. По мере чтения интерес его возрастал. Начало было великолепное: «В одной из отдаленных улиц Амстердама, у пристани, над водой канала, в котором за год бесследно исчезали сотни чужеземцев, находился небольшой трактир с номерами. К напиткам, подаваемым новому постояльцу, подмешивали здесь снотворный порошок, а потом... потом постель с постояльцем проваливалась в подвал. Удар, страшный сдавленный крик... Рядом с трактиром была мясная лавка. Мясо отпускалось здесь по такой дешевой цене, что в лавке всегда было полно покупателей. Это мясо имело особый привкус: тут торговали человечинной! Знаете, как это делалось? В подвалах спящих постояльцев убивали ударом топора, потрошили трупы, разрубали на части и ночью доставляли человечину в мясную лавку. Одному только Роберту Клегу удалось вырваться оттуда — сверхъестественным путем...»

На этом текст первого выпуска обрывался.

С тех пор поденщик Голан стал регулярно покупать «Амстердамского торговца человечинной». Но, имея тринадцать человек детей, тратит каждую неделю по восемьдесят геллеров на книгу тяжеленько. И он каждую субботу посылал младших ребят по очереди просить милостыню, а на выпрошенные

деньги покупал «Амстердамского торговца человечинной», выпуск за выпуском, и наслаждался подробным перечнем убийств, составленным так искусно, что каждый выпуск обрывался в самом начале убийства, а приканчивали жертву только в начале следующего выпуска, в конце которого происходила поимка главаря банды, причем в последней фразе сообщалось, что он бежал из тюрьмы, спустившись по громоотводу, потом перелез через стену, но упал, настигнутый пулей охраны, — для того чтобы в начале следующего выпуска, собравшись с силами, возобновить побег — на этот раз в лодке по бурному морю, — и в тот момент, когда ветер вырвал у него весла из рук, встретиться в последней фразе выпуска с шайкой контрабандистов, в главаре которой он узнает бывшую свою возлюбленную, соблазненную графом де Галуа... И так далее в том же духе.



В течение полугода расписывалась история корчмы «Кровавый епископ», и все это время по ходу действия войска и жандармерия безуспешно преследовали призрак «кровавого епископа».

Четыре года провел в упоительном чтении «Амстердамского торговца человечинной» поденщик Голан, рыдая по ночам над судьбой беглянки — принцессы де Галуа, сводной сестры главаря шайки контрабандистов (она же — переодетая и соблазненная возлюбленная главаря банды убийц, который был окружен войсками в Черной пещере, но, бросившись в водопад, спасся от врага вплавь).

Прочтя последний, 208-й выпуск и уплатив за «Амстердамского торговца человечинной» в общей сложности сто шестьдесят шесть крон сорок геллеров, Голан проплакал всю ночь напролет. При мысли о печальном конце главаря банды, которого в последнем выпуске повесили, у бедняги разорвалось сердце от жалости, и он покинул этот мир, оставив вдову с тринадцатью детьми без всяких средств к существованию. Похоронив мужа, бедная женщина продала все двести восемь выпусков владелице продуктовой лавки напротив — пани Возабовой, за одну крону сорок геллеров, то есть восемнадцать килограммов бумаги для завертывания сосисок и т. п., — по восемь геллеров за килограмм.

У почтенной пани Возабовой было два сорта покупателей: одни брали за наличные, другие на книжку. Она обращалась со всеми одинаково любезно:

только дамочкам, бравшим за наличные, говорила «сударыня» и «целую ручку», а представительницам второй группы просто: «что прикажете?» и «мое почтение». Никаких других различий не делалось.

Приобретя двести восемь выпусков «Амстердамского торговца человеческой», эта уважаемая особа велела отнести бумагу к ней на дом, а после того как закрыла свое заведение на ночь, решила разрезать ее в четвертку — на фунтики. Взяла первый выпуск и принялась за дело. Вдруг в глаза ей бросилось напечатанное жирным шрифтом: «А! Они продают в мясной лавке мясо убитых людей!» Покачав головой, она отложила нож в сторону и стала знакомиться с новым видом мясоторговли. Познакомившись, задумалась. На другой день прочла второй выпуск, третий, четвертый. И так, читая в среднем по три выпуска в день, за три месяца проглотила все двести восемь. Начиная со ста восьмого она перестала следить за своей наружностью и менять белье.

На девяностый день она разослала лучшим своим покупательницам — тем, которые брали за наличные, — записки такого содержания:

*«Милостивая государыня!*

*Не откажите в любезности зайти ко мне сегодня вечером на дом. Я должна сообщить вам важную новость!»*

Когда они пришли, она порубила их всех топором. Как только весть об этом разнеслась по городу, мне пришлось пустить «Амстердамского торговца человеческой» вторым изданием.

## Сочельник в приюте

**В** первый день рождества Христова сироту Пазоурека заперли в кладовую, где хранились мешки с мукой, а также, к радостному его удивлению, и с сушеной сливой.



Это открытие пробило брешь во мраке окружавшей Пазоурека безысходности, и он, вероятно, возблагодарил бы господ бога за ниспосланные сливы, если бы не был в таком настроении, когда любезного господ больше всего хочется проклясть.

Было совершенно очевидно, что своим заключением он обязан именно ему — господу богу милосердному. Устроившись на мешке с мукой, Пазоурек начал перебирать в памяти события вчерашнего вечера, когда по случаю со-

чельника к ним в приют явился новорожденный Христос, принявший на этот раз образ пана учителя закона божьего, а также директора приюта, каких-то двух толстых господ и одного тощего и длинного, который то и дело шмыгал носом и которого величали «ваше превосходительство». Потом двое самых смиренных сирот принесли снизу из директорского кабинета свертки с шарфами, сложили их под елкой и поцеловали пану законоучителю руку.

После пришли еще какие-то господа и одна дама, вся в черном, которая каждого сироту потрепала по щеке и спросила про покойных родителей.

Тогда Неговых ответил, что у него их вовсе не было, все захохотали, а Калоз крикнул:

— Выродок!

Тут пан законоучитель первый раз скрипнул зубами и сказал, что Христос, конечно, не заслужил, чтобы он, учитель закона божьего, в этот праздничный день отлупил такого вот оболтуса, но ему придется это сделать завтра, в первый день рождества.

Вашек Метцер сказал, что у длинного, которого все зовут «превосходительство», изо рта воняет.

Пивора поспорил с ним на полсигареты, что Метцер врет.

Все это было пока что в столовой. Они до сих пор ничего не ели и ждали от Христа спасения, потому что перед этим все целый день постились, кроме двоих, которые помогали на кухне и стащили кусок рождественского калача. А Пивора, с которым они не поделились, наябедничал. Он рассчитывал испортить им радость, но калач-то они все равно уже умяли, и потому пану законоучителю ничего другого не оставалось, кроме как всыпать им при всех.

— Это им от Христа в подарочек, — съязвил Пивора, пихая Пазоурека в бок. Они все еще стояли, выстроившись длинным рядом, и хихикали, глядя на толстых господ, которые все твердили:

— Бедные детки, несчастные сиротки...

Тут пан директор начал размахивать руками и уверять их, что господь не оставит своим милосердием бедных крошек. При этом он делал страшные глаза, глядя на Винтера, который показывал язык господину, что шмыгал носом. Пан директор шепнул что-то законоучителю, тот подозвал Винтера и вышел с ним в соседний зал. Винтер вскоре вернулся весь в слезах и притихший, как мышонок.

Затем пан законоучитель распорядился, чтобы все шли в соседний зал, где была высокая рождественская елка, на ней горели свечи, а наверху парил ангел, которому кто-то углем подрисовал усы, чтобы он был похож на пана директора. Там они стояли довольно долго, пока наконец не открылись двери и вошли те самые господа с дамами и приютские учителя в полном составе.

Пан законоучитель осенил себя крестом и затараторил «Отче наш». Молились все громко и торопливо, чтобы поскорее отделаться. Затем еще прочитали «Верую» и «Богородице, дево, радуйся».

Лицер сказал, что лучше б им молиться за ужином, а то еще непонятно, перепадет ли им чего, всё молятся и молятся, а животы от голода подводит.

После третьей «Богородице, дево, радуйся» пан директор, стоявший среди учителей, вышел вперед; перекрестился и сказал:

— Во веки веков, аминь!

После этого он держал речь и битых полчаса болтал о Христе. В животах си-

рот урчало чем дальше, тем сильнее. Пан директор хотел объяснить, какой младенец Иисус был маленький, но не смог подобрать подходящих к такому случаю слов и все показывал руками: «Во-от такой...»

Дама в черном расплакалась, а директор все говорил о скотах в хлеву и при этом многозначительно поглядывал на сироток. Напоследок он сказал еще про шарфики, после чего сел, но тут же поднялся пан законоучитель.

Он объявил, что на рождество Христово каждый из сирот получит в подарок шарфик, и призвал их к молитве, велел прочитать три раза «Отче наш», три раза «Богородице, дево, радуйся» и один раз «Царица моя, преблагая».

Пазоурек до сих пор вел себя тихо, хотя Пивора все время его задевал, но тут, услышав снова про «Отче наш» и «Богородицу», — не сдержался и брякнул: — Больно жирно будет за каждую тряпку молиться.

Господин с насморком что-то тихо шепнул директору, тот сперва с набожным видом кивнул головой, а потом, ринувшись в задние ряды, одной рукой схватил Пивору за ухо, а другой ткнул ему под ребра согнутыми пальцами.

Пивора, предчувствуя, что этим инцидентом ему на все рождество могут испортить настроение, громко сказал:

— Да это не я, это Пазоурек.

Пазоурек, само собой, стал оправдываться, поднялся шум, и пан законоучитель в первом же «Отче наш» споткнулся на словах: «...и остави нам долги наши...» Все смотрели на них.

Дама, которая до этого плакала, теперь захлюпала носом, стала сопеть и вздыхать. Господа в черном закатили к потолку глаза, а затем выразительно поглядывали на пана законоучителя, тот смешался и попытался как-то выйи из положения — достал из кармана синий платок, поднес к лицу и сердито затрубил носом, а Воштялек, Блюм Качер и Грегор решили, будто это трубит с улицы сторож старик Вокржил, подавая знак запевать рождественскую коляду, и дружно грянули визгливыми голосами:

— Родился Иисус Христос!..

Пан законоучитель замахал руками, чтобы они замолчали, и все решили, что он машет в такт, и согласно подхватили.

Под этот величавый рождественский рев директор схватил Пазоурека, как тигр ягненка, и уволок в кладовую.

А вы, любезный читатель, вообразите себе кладовую и в ней Пазоурека, мешки с мукой и сушеной сливой и крынку молока на полу.

Разумеется, муки Пазоурек не трогал, но что он ел и пил, можно легко догадаться. И какие это имело последствия после целого дня поста — тоже можно себе представить.

И не требуется дополнительных пояснений, почему два мешка муки оказались совершенно испорченными и почему, когда директор после полуночи выпустил наконец Пазоурека из кладовой, там стоял запах, свойственный не кладовой, а совершенно другому месту.

## Акционерная фабрика по производству яиц

Некая дама, идущая в ногу со временем, сказала как-то известному ученому Кюри, открывшему радий: «Мы доживем до того, что в один прекрасный день людей станут производить искусственным способом».

Ученый с улыбкой ответил: «Не спору, маркиза, но полагаю, что несмотря на это, мы охотно вернемся к изначальному методу».

Этот анекдот напоминает одну историю, которая вызывает у всех, знающих ее, гомерический хохот.

Дело было так. Недавно к депутату партии Кошута явился человек и под секретом сообщил ему, что изобрел средство увеличения объема и качества куриных яиц. Он не шутит. Куры, откармливаемые тыквенными семечками, откладывают яйца в два раза крупнее, чем другие куры, и яйца эти содержат только желток. Это его открытие, а поскольку ему известно, что пан депутат на хорошем счету в министерстве торговли и весьма дружен с государственным секретарем Стерени, он предлагает план создания крупной фабрики для улучшения породы несушек.

Сам он большими деньгами не располагает, но, если пан депутат готов вложить в это начинание 40 000 крон, он обязуется раздобыть такую же сумму.

Пан депутат поразмыслил и поделился тайной еще с одним депутатом; тот согласился добавить 20 000 крон, и, таким образом, лепта депутатов составила уже 60 000 крон. Изобретатель, в свою очередь, отыскал какого-то расторопного человека, который округлил его долю в 40 000 крон до 60 000 крон. Итак, какое-то время спустя акционерное общество было учреждено и неподалеку от Будапешта без излишнего шума оборудована птицеферма. Для нее купили несколько сот наседок и столько же центнеров тыквенных семечек и приступили к основному пункту всей затеи.

А именно: депутат обратился к его превосходительству, занимающемуся распределением субсидий в министерстве торговли, с просьбой выдать яичной фабрике государственную субсидию. Он мотивировал это необходимостью увеличения объема отечественной промышленности.

Выяснилось, что государственный секретарь в принципе благоволит этой затее, поскольку речь идет о венгерской курице и венгерских желтковых яйцах. Однако... хм... его превосходительство хотел бы увидеть какой-нибудь образчик, доказательства, несколько яиц, содержащих чистый желток в результате вскармливания кур тыквенными семечками, не так ли? После этого уж он найдет соответствующую субсидию, необходимую для венгерского экспорта, экспортной политики и т. д. Но, как уже было сказано, для принятия подобного решения нужно представить нечто позитивное.

— Нет ничего проще, — ответил яичный деятель, — в скором времени мы сможем ознакомить ваше превосходительство с позитивными результатами.

И началось торжественное откармливание кур тыквенными семечками. Куры чувствовали себя превосходно и исправно выделяли вещество, напоминающее тыквенные семечки. Однако обнаружили и побочные явления. Куры вообще не несли яиц. Прошу вас, будьте любезны, прочтите еще раз: *вообще никаких яиц*. Ничего, ничегошеньки, ровным счетом ничего! Понятно, это было весьма прискорбно: куры не несли не только желтковых яиц, но даже яиц с преобладанием белка. Страшное дело. До такой степени забыться! Как

же теперь быть? Усилили кормление, куры достигали гигантских размеров, фантастически жирели, а яиц не несли, хотя выделения были бесподобными. Никакая «шаратице» и прочие слабительные не шли в сравнение с тыквенными семечками, а яиц не было ни одного...

Акционеры фабрики по производству яиц ходили с кислыми минами, поскольку при сложившихся обстоятельствах не могло быть и речи о государственной субсидии. Где это слыхано, чтобы предоставляли субсидию на несенные яйца!

Но кур на фабрике было видимо-невидимо, и следовало подумать о спасении акционерного капитала.

И депутату пришла в голову спасительная мысль. Он отыскал государственного секретаря и сообщил ему:

— Ваше превосходительство! С яйцами мы, похоже, оплошали, но тыквенные семечки действуют потрясающе! И потому осмеливаюсь просить ваше превосходительство о субсидии для только что созданного «Первого венгерского акционерного общества по производству куриного удобрения», ибо наши куры, откармливаемые тыквенными семечками, производят удобрение будущего.

Государственный секретарь кивнул:

— Отлично, дорогой друг! Сколько кур вы сейчас откармливаете?

— Семьсот, — послышался ответ.

— Прекрасно! На мой взгляд, правда, маловато. Давайте посчитаем: возьмем за основу... хм... корова, скажем, с точки зрения производства навоза, заменит сто кур, причем я беру заниженные данные. Семьсот кур в таком случае соответствовали бы семи коровам, не так ли? Навоза от семи коров хватит на четверть хольда земли. Сколько понадобится кур, чтобы удовлетворить спрос на удобрение всех наших венгерских земель, или, иными словами: сколько нужно кур, чтобы покрыть куриным пометом все наши венгерские земли?

— Откуда мне это знать? — испуганно сказал депутат.

— Ну хоть примерно...

— Не знаю.

— Ну так ступайте домой, — заявил государственный секретарь, — и подсчитайте, только после этого мы сможем говорить о государственной субсидии...

## Спасен

Неважно, за что должны были повесить Патяла. Какие бы на его совести ни лежали преступления, он не мог не улыбнуться, когда вечером накануне казни к нему в камеру явился надзиратель с бутылкой вина и изрядным куском телячьего жаркого.

— Это все мне?

— Да, да, — соболезнующе сказал надзиратель, — покушайте хорошенько в последний раз. Сейчас принесу вам салат из огурцов, — я не мог унести все сразу. Захвачу еще и булочки и сразу вернусь.

Патял уселся поудобнее за стол и, ухмыляясь, принялся уничтожать телятину. Как видим, он был циник, но, впрочем, совершенно здравомыслящий человек, стремившийся взять от жизни все, что она может дать в эти оставшиеся ему считанные часы.

Одна только мысль портила ему аппетит: люди, сегодня утром сообщившие ему, что его ходатайство о помиловании отклонено, а выполнение приговора отложено всего на двадцать четыре часа, чтобы приговоренный мог как следует подготовиться к успешному проведению казни и привести в порядок все свои земные дела, люди, которые будут вешать его и смотреть на его смерть, — все эти люди завтра, и послезавтра, и еще много-много лет будут жить и по вечерам как ни в чем не бывало возвращаться к своим семьям, а его, Патяла, уже не будет на свете.

Размышляя таким образом, он меланхолично уплетал телячье жаркое, а когда ему принесли салат и булку, вздохнул и выразил желание покурить.

Осужденному купили табаку и глиняную трубку. Надзиратель сам поднес ему спичку и кстати напомнил о бесконечном милосердии божьем. Если на земле все потеряно, то не все потеряно на небесах...

Осужденный попросил порцию ветчины и литр вина.

— Сегодня вы получите все, что хотите, — сказал надзиратель, — для людей в вашем положении мы ничего не жалеем.

— Тогда прихватите еще двойную порцию ливерной колбасы и порцию зельца. Кроме того, я не отказался бы от литра черного пива.

— Все получите, сейчас распоряжусь, — любезно сказал надзиратель. — От чего не порадовать вас? Жизнь слишком коротка, надо брать от нее все, что можно.

Когда надзиратель принес заказанное, Патял объявил, что вполне удовлетворен.

Однако не тут-то было.

— Черт возьми, — сказал он, очистив все тарелки, — мне что-то захотелось жареного зайца по-дебреценски, сыра — того, что называется горгонзола, сардинок в масле и еще каких-нибудь других деликатесов.

— Пожалуйста, все, что вам угодно. Честное слово, душа радуется, глядя на ваш аппетит. Надеюсь, вы до утра не повеситесь? Я вижу, вы порядочный человек. К тому же какая вам польза, Патял, вешаться раньше, чем этого хотят власти? Говорю вам как честный человек — вы на это не способны, нет. И думать об этом не стоит! Выпейте-ка лучше еще пива — кружку или, может быть, две? Пиво нынче превосходное, под горгонзолу само в глотку льется. Так я принесу вам две кружки, а сардины и жареного зайца, дорогой друг, лучше

запивать вином.

Вскоре запахи всех этих лакомых яств наполнили камеру. Обставленный блюдами, Патял налегал то на сыр, то на сардины, запивая их и пивом и вином — что попадало под руку.

Ему вдруг вспомнилось, как еще на воле он вот так же сытно и приятно ужинал, сидя на веранде загородного ресторанчика. Листва деревьев поблескивала в свете луны, а против него, как сейчас надзиратель, сидел толстый ресторатор — владелец этого райского уголка, болтал без умолку и все потчевал Патяла...

— Расскажите мне что-нибудь смешное, — попросил Патял, и надзиратель принялся рассказывать ему свеженький анекдот, как он выразился, самого свинского содержания.

Потом Патял сказал, что хочет каких-нибудь фруктов и конфет или легкого печенья с чашкой черного кофе.

Его желание было исполнено.

Когда он покончил с десертом, в камеру вошел тюремный священник, чтобы принести узнику последнее утешение.

Священник был веселый, простой в обращении и приятный мужчина, как, впрочем, и все окружавшие Патяла люди, которые так заботились о нем, осудили его на смерть и завтра повесят. Лица их дышали бодростью, с ними приятно было иметь дело.

— Утешь вас бог, мой милый, — сказал тюремный пастырь, хлопая Патяла по плечу. — Завтра утром вы с этим разделаетесь, так что не впадайте в отчаяние. Исповедайтесь и смотрите весело на божий мир. Уповайте на господу, ибо он радуется каждому покаявшемуся грешнику. Бывают люди, которые всю ночь мечутся по камере и стонут, если не исповедаются: знаю, тут нет ничего приятного, и голова прямо-таки лопается. А вот тот, кто исповедался, спит последнюю ночь сном праведника. Ему-то легко! Повторяю, голубчик, и вам полегчает, если вы очистите душу от грехов.

Патял внезапно побледнел. Его тошнило, все внутренности переворачивались, а рвоты не было. Тело сводили страшные судороги, на лбу выступил холодный пот.

Священник не на шутку испугался.

Патял извивался и корчился от боли, забившись в угол.

Прибежали надзиратели и отнесли Патяла в тюремную больницу. Тюремные доктора качали головой. К вечеру у больного появился сильный жар, а после полуночи доктора объявили диагноз: острое отравление.

Тяжелобольных не казнят, поэтому в ту ночь на тюремном дворе не ставили виселицу.

Вместо этого Патялу промывали желудок, и анализ остатков непереваренной пищи показал, что ливерная колбаса была испорчена и содержала яд.

В магазин, где была куплена колбаса, нагрянула комиссия и обнаружила, что колбасник не соблюдает санитарных правил и хранит колбасу не на холоде. Комиссия составила протокол, и дело было передано прокурору, который привлек торговца к ответственности за антисанитарное хранение продуктов.

В числе тюремных врачей, лечивших Патяла, был молодой добросовестный доктор, который не отходил от постели больного и старался спасти ему

жизнь, так как случай был редкий, сложный и интересный. Днем и ночью молодой врач ухаживал за Пятялом и спустя две недели похлопал его по спине и сказал:

— Спасен!

На следующий день Пятяла повесили по всем правилам, ибо для этого он был уже достаточно здоров.

Колбасник, по чьей вине на две недели затянулось земное существование Пятяла, был приговорен к трем неделям заключения, а доктор, спасший Пятялу жизнь, удостоился похвалы судебных властей.

## **Пепичек Новый рассказывает про обручение своей сестры**

**М**ой отец — крупный государственный чиновник, его фамилия — Новый. Мою сестру зовут Матильда. Она вышла замуж тоже за чиновника. Его фамилия — Гандшлаг.

Сперва сестра моя гуляла с господином, служившим в градоначальстве. Мой папаша постарался, чтобы этого господина повысили по службе, но, когда его повысили, он перестал гулять с Матильдой. Мамаша с Матильдой очень плакали.

После этого к нам стал ходить один учитель. Он все время размахивал руками и через каждое слово вставлял: «Строго говоря». Однажды он подарил мне глобус, но потом перестал к нам ходить и потребовал глобус назад.

После учителя за Матильдой ухаживал инженер из земского комитета. У него была привычка постоянно спорить, и он часто говорил: «Этого требуют интересы страны». Он очень нравился Матильде, она проплакала целую неделю, когда папаша, рассердившись, выгнал его из дому, потому что инженер считал, что деньги должны оставаться в Чехии, а не отправляться в Вену.

После этого отец привел к нам одного чиновника из своего отделения. Это был очень тихий человек. Отец разговаривал с ним до поздней ночи о государственных делах.

Матильда вышивала, а папаша с этим господином говорил о политике и пил воду.

Этот тихий человек Матильде очень понравился, но потом оказалось, что у него трое детей в Моравии. Больше он не показывался, и папаша говорил, что его куда-то перевели.

Полгода к нам не ходил никто. Матильда тайком гуляла с одним офицером. Но потом об этом узнал папаша и стал кричать на нее. Мы при этом все плакали, потому что папаша говорил:

— Это позор, позор!

На другой день папаша привел бледного худого человека: это и был Гандшлаг. После его ухода папаша сказал, что это очень способный человек. После каждого слова Гандшлаг говорил: «Низко кланяюсь, сударыня», а папашу называл: «Ваше благородие, господин советник». Папаша был его начальством. На третий день Гандшлаг снова пришел и почтительно говорил: «Разрешите, сударыня», и целовал руки. Он у нас ужинал и поддакивал всему, что говорил папаша; он кивал головой, жевал и глотал почтительно и говорил: «Это, разрешите заметить, прекрасно». И еще: «Как прикажете, пан шеф».

После его ухода мне приказали идти спать, а сами начали совещаться в столовой. Я встал возле двери, начал подслушивать и услышал, как папаша гово-

рил:

— Ты выйдешь за него замуж по моему отцовскому приказу, а он возьмет тебя по долгу службы.

А Матильда на это сказала, что жених — дурак.

Мамаша вздыхала и говорила, что Матильде нет необходимости его сейчас любить; она тоже раньше не любила папашу и только через пять лет к нему привыкла. Но этому чиновнику нельзя показывать, что она его не любит и считает дураком.

Матильда говорила, что лучше она пойдет в родильный дом, чем выйдет замуж за человека, которого не любит. Но мамаша ее всячески разубеждала и говорила, что теперь в родильном доме нет тайного отделения.

Потом папаша обещал подарить Матильде браслет, бриллиантовую брошку и другие вещи. Тогда Матильда сказала, что выйдет замуж, чтобы избежать позора своей семьи...

После этого папаша с мамашей стали ее целовать и говорить:

— Ты наша хорошая Матильда!

Затем я услышал, как они говорили о Гандшлагге. Папаша сказал, что этого дурака он повысит по службе, но только после свадьбы, чтобы он не мог увильнуть. Хотя он и глупый, но очень исполнительный.

— Возьмет ли еще он ее? — сказала мамаша.

— Я ему прикажу как начальник, — ответил папаша. — Я скажу ему все.

Когда на другой день пришел Гандшлаг, то держал себя очень робко и все время посматривал на Матильду. Перед этим Матильде сказали, чтобы она побольше ему улыбалась и разговаривала с ним. Она разговаривала, он все время ей тихо отвечал: «Да, сударыня». Затем принесли вино, он отхлебнул и сказал: «Разрешите, сударь», и начал говорить что-то о служебных назначениях. В этот день после его ухода о нем ничего не говорили.

На другой день папаша сказал так, чтобы я не слышал:

— Сегодня утром придет мой чиновник просить твоей руки, Матильда. Приколи себе розу на блузку.

Прислуга пошла покупать розу, а мамаша сердилась на то, что розу покупают за тридцать, а не за пятнадцать крейцеров. Затем Матильду надушили. Остатками духов я обрызгал нашу собаку.

Пан Гандшлаг пришел одетый в черный костюм и в белых перчатках. Он был еще бледнее и худее, чем вчера. Когда он сел, то стал говорить опять о назначении. Мамаша принесла ликеру и налила ему три рюмки. Когда она стала наливать четвертую, то он сказал: «Довольно, сударыня», и обратился к папаше:

— Я бы хотел, пан шеф, поговорить с вами по частному делу.

Папаша показал мне пальцем на дверь, а мамаша пошла к Матильде, которая зевала в соседней комнате, и сказала:

— Да, этот долго церемониться не будет.

Мамаша попудрила Матильду, и в это время раздался голос папаша: «Матильда, Матильда!»

Я подошел к дверям и услышал, как папаша говорил:

— Дорогая Матильда! Вот пан Гандшлаг просит твоей руки. Я не имею ничего против этого, теперь слово за тобой. Что ты скажешь?

Я слышал, как Матильда расплакалась и сказала: «Да-да». Затем она крик-

нула: «Мамочка!» Мамаша прибежала и сказала:

— Дети, я это сразу заметила, вы так подходите друг к другу!

Потом они позвали меня:

— Пепик!

Я пришел, и тут мне сказали, что пан Гандшлаг женится на Матильде. Мамаша меня спросила, буду ли я его любить. Понятно, я не решился сказать, что нет, не буду. Гандшлаг меня схватил, начал целовать и кричать:

— Пепичек пана шефа!

С тех пор он стал говорить моему отцу:

— Что изволите приказать, пан шеф-отец? — А матери:

— Целую ручки, сударыня и мамаша.

Когда он уходил, то в прихожей дал прислуге гульден, а мне крону и сказал:

— Вот тебе на гостинец, Пепичек пана шефа.

На следующий день пан Гандшлаг принес обручальные кольца, а когда подали вино, то поднял рюмку и сказал:

— За наше счастливое супружество, с разрешения пана шефа-отца и сударыни-мамаши.

— Будьте счастливы, дети! — сказала мамаша и заплакала.

Когда Матильда пошла его провожать до прихожей, то меня выслали из комнаты и мамаша сказала папаше:

— Матильде рожать в ноябре, через два месяца.

— Через месяц будет свадьба, — сказал папаша, — и тогда только я отдам приказ об его повышении.

Затем пришла Матильда и сказала, что этот дурак хотел, чтобы она его поцеловала.

— Какая дерзость! — сказала мамаша.

— Зато он исполнительный чиновник, — заметил папаша.

## Неприличные календари

### I

С девяти часов вечера, когда привели и пихнули в одиночку последнего пьяного, и до часу ночи начальник полицейского участка Алеш страшно скучал. Он думал о том, что до шести утра, когда его сменят, придется просидеть над протоколами и дежурным журналом, потому что, как назло, никто из полицейских его смены не играет в «kozyри».

Пока что он прилег на койку, закурил трубку и начал разговор с подчиненными о политике. В такие минуты он бывал непреклонен и чужд всяким колебаниям, ну, попросту этакий австрийский Катон! Он ругнул Италию и выразил ей свое недоверие, а полицейские, лежавшие на койках, благоговейно слушали его, потому что сами отнюдь не отличались такой определенностью взглядов.

— Тройственный союз развалится, в этом можно не сомневаться. Из-за Триеста и Триента мы еще не оберемся неприятностей. — Алеш вздохнул и стал искать спички. Когда ему подали коробок, он снова закурил трубку и объявил, что в Милане, в Турине и даже в Риме итальяшки то и дело демонстративно сжигают австрийский флаг. Они еще поплатятся за такие выходки, будет им новая Кустоца.

Алеш разглагольствовал все с большим пылом, а молодой полицейский Павелка тем временем захрапел. Начальник разбудил его, крича, что Австрии грозят международные осложнения и каждый австрийский гражданин обязан...

В этот момент с улицы вошел полицейский Декл и, рапортуя, вытянулся в струнку. Алеш недовольно встал, принимая рапорт.

— Ich melde gehorsam nix Neues,[74]. — доложил Декл. — Непристойный календарь konfisziert[75]. Изъято сто двадцать экземпляров. — Тут официальное выражение исчезло с лица Декла, и, победно усмехнувшись, он продолжал: — Великая похабщина, господин вахкомендант, потеха, да и только! Такие скромные картинки, просто загляденье!

И он положил пакет на стол. С начальника скуку как рукой сняло.

— Дайте сюда эту гадость!

Полицейский развернул пакет и подал один экземпляр начальнику. Вокруг тотчас столпились все подчиненные.

— Здорово! — сказал один, глядя на обложку. — Ишь, какие бедра!

— Вот видите, — сурово сказал Алеш, — и на такие вещи смотрит молодежь, еще не доросшая до школы. — Но тут голос его смягчился. — Ого-го, а другая-то... Ну и глазки! И совсем голая!

— Погодите, дальше еще хлестче будет, — заметил Декл.

— И эта недурна...

— Не спорьте, приятель, вон та картинка, рядом, куда забористей. У той бабы бедра покруглее... а что за поза, ишь как развалилась на кушетке! Ах, негодяи, какие вещи рисуют!

— Вы, господин начальник, прочтите стишок под рисунком. Очень недурно.

— Складный стишок, да какой двусмысленный! И что за бесстыдники пишут такие вещи и дают в печать! Дети идут в школу и по дороге видят в киос-

ке такой календарь! Как бишь это называется, черт дери?

— Порнография, господин начальник, — подсказал Павелка.

— Ужасные вещи... но до чего здорово нарисовано! — сказал полицейский Мика. — Вот, например, эти панталоны...

— И подпись неплоха: «Нравлюсь я тебе больше в панталонах или без них, мой дорогой?»

— По-моему, без них лучше. Как вы думаете? — весело обратился начальник к подчиненным. — И чего только эти похабники не выдумают!..

— Осмелюсь обратить ваше внимание, господин вахкомендант, на предпоследнюю страницу... вот, здесь... балерина в ванной. Совсем голая, и слуга подает ей простыню...

— Отлично... М-да. Я говорю, надо беспощадно конфисковывать такие вещи. Полагаю, что, если обойти все киоски, найдется еще что-нибудь подобное. То-то порадуетесь завтра наш комиссар Пероутка.

## II

— Осмелюсь доложить, господин полицейский комиссар, вчера в киосках были конфискованы календари непристойного содержания. Вот один экземпляр. Особо обращаю ваше внимание на предпоследний рисунок «Балерина в ванной». И потом вот это: дама на кушетке... Рисунок на обложке несомненно нарушает закон об общественных приличиях... и, по-моему, понравится господину старшему комиссару. Я разрешу себе отправить ему один экземплярчик. Соблаговолите обратить внимание на непристойности, отчеркнутые красным карандашом... Странички с особо выдающейся похабщиной я заложил бумажками, чтобы вам не искать... Вопиющее неприличие вы увидите на тридцатой странице. Хороша также серия «За стенами гарема»; здесь не только порнографический текст, но и отличные рисуночки: одалиски лежат на тигровых шкурах, а бедняга евнух сторожит их.

— Послушайте, — сказал полицейский комиссар Пероутка, рассматривая календарь. — Надо показать это и господину советнику. Он на этот счет тоже любитель.

## III

Календари имели успех. Два взял старший комиссар и три — советник юстиции. Делопроизводители взяли по одному, остальное разошлось среди сотрудников управления. Полицейские бдительно разыскивали и изымали из киосков пресловутые календари.

Так благодаря тому, что столь зловредное чтение не попало в ненадлежащие руки, общественная нравственность была спасена.

## Его превосходительству кавалеру Билиньскому, министру финансов, Вена

Руководствуясь патриотическими убеждениями и испытывая к Вам чувство глубочайшего уважения, нижеподписавшийся осмеливается предложить на рассмотрение достопочтенному министерству финансов проект законоположения об установлении налога на погребение и смерть. Необычайно быстрый расцвет похоронного дела открыл мне способ упрочения финансового положения отечества путем установления государственной монополии на смерть. Поскольку люди умирают постоянно, государству был бы обеспечен постоянный годовой доход, который в период эпидемий и войн отрадно повышался бы, насколько позволят обстоятельства.

Предлагаемый проект законоположения приводится ниже.

§ 1. Каждый подданный Австро-Венгерской империи независимо от пола после кончины переходит в собственность министерства финансов и обязан выплатить налог в размере от двух до двадцати четырех крон в зависимости от обстоятельств своей смерти и погребения.

§ 2. Указанный налог взимается с вышеупомянутых усопших при их жизни с учетом обстоятельств, указанных в § 6. В случае неуплаты покойным при жизни налога на погребение и смерть, вследствие непредвиденных обстоятельств, его родственникам предоставляется право ходатайствовать перед министерством финансов о снижении установленного размера налога. Упомянутое прошение надлежит сопроводить гербовой маркой в 2 кроны.

§ 3. Обложению налогом на смерть подлежат все подданные Австро-Венгерской империи независимо от их пола и возраста, на которых не распространяются положения § 4 настоящего закона о налоге на погребение.

§ 4. Обложению налогом на погребение подлежат все подданные Австро-Венгерской империи независимо от пола и возраста, погребенные надлежащим образом. В случае погребения заживо родственникам погребенного предоставляется право на льготы, указанные в § 2.

§ 5. Всем подданным Австро-Венгерской империи предписывается уплатить налог на погребение прижизненно согласно § 9а-ж. Освобождаются от уплаты налога лица несовершеннолетние, слабоумные и состоящие под опекой, однако за них налог должен быть внесен их ближайшими родственниками, а в случае отсутствия таковых — общиной.

§ 6. Взимание налога осуществляется:

- а) с лиц здоровых,
  - б) с лиц больных,
  - в) с лиц, имеющих физические недостатки, в соответствии с определяющими размер налога обстоятельствами
- по пункту а) с лиц здоровых — налоговой инспекцией,  
по пункту б) с лиц больных — компетентными врачами, принесшими присягу в любом месте и в любое время,  
по пункту в) с лиц, имеющих физические недостатки, — полицейскими участками.

§ 7. Подлежат разграничению налог на смерть и налог на погребение, так что в случае если упомянутый налогоплательщик погребен не был, труп его не обнаружен, а местонахождение неизвестно, и если при этом налог не был

внесен в соответствии с законом при жизни, то налог на погребение с его родственников, равно как и с общины, не взыскивается.

§ 8. Взимание налога на смерть является обязательным и в случае объявления отсутствующего лица без вести пропавшим.

§ 9. Установление размера налогообложения на погребение и смерть производится в соответствии с нижеследующим:

- а) здоровый новорожденный до 1 года — 2 кроны,
- б) от 1 года до 5 лет — 4 кроны,
- в) от 5 до 14 лет — 6 крон,
- г) от 14 до 20 лет — 8 крон,
- д) от 20 до 30 лет — 16 крон,
- е) от 30 до 40 лет — 18 крон,
- ж) свыше 40 лет — 24 кроны.

Для определения размера совокупного налога на погребение и смерть указанную сумму следует удвоить.

§ 10. Обложение налогом осуществляется на всех территориях Австро-Венгерской монархии следующим образом: налог, определяемый в § 9, пункты а-ж, должен вноситься постепенно, причем общая сумма не должна превышать 24 кроны налога на погребение и 24 кроны налога на смерть.

Первый взнос делается не позднее 8 дней после рождения ребенка. Сокрывание факта рождения карается штрафом в размере от 10 до 200 крон, в зависимости от обстоятельств, а в случае необходимости и тюремным заключением на срок до 3-х недель.

§ 11. Лицо, сокрывшее факт своей смерти или погребения, подвергается штрафу в размере двухкратной суммы максимального налога, то есть 96 крон, а в случае необходимости и тюремному заключению на срок до 14 суток при четырех постных днях.

Тщу себя надеждой, что досточтимое министерство финансов благосклонно отнесется к моему верноподданнейшему предложению и тем приумножит финансовое благополучие своей империи.

С нижайшим почтением

*Ярослав Гашек.*

## Камень жизни

В лето от рождества Христова 1460-е игумен Штальгаузенского монастыря в Баварии возносил тайные молитвы всевышнему и всемогущему подателю разума о ниспослании духа святого, который помог бы ему, игумену Леонардусу, отыскать философский камень и эликсир жизни.

Перед ним пылал огонь, нагревавший пузатую реторту, где, шипя, варились какое-то снадобье, а рядом стояли тигли, которым предстояло принять в свои недра расплавленное вещество, чтобы можно было выпарить твердый осадок.

Игумен Леонардус умиленно взывал к милосердному господу, моля его взглянуть на своего смиренного служителя, который, не покидая путей благодати, не обращаясь за советом к дьяволу и не призывая на помощь нечистую силу, ищет философский камень и жизненный эликсир.

А из соседней трапезной доносился иступленный вопль монахов, оглашавших строгие готические своды хоровым чтением:

— *Pater nosier, quiest in coelis...*[76]

Дружно скандируя каждый слог, они старались перекрычать друг друга, голодные и сердитые, так как игумен ради их же спасения сильно ограничил их всех, кроме самого себя, в пище и питье.

Открыв дубовые двери в трапезную, отец Леонардус с просветленным лицом произнес:

— Молитесь до захода солнца!

Потом вернулся в свою алхимическую лабораторию, преклонил колена на скамеечке перед распятием и, словно в экстазе, стал молиться:

— Господи боже, спаситель мой, ниспошли луч света на раба твоего, просвети его мысли, чтобы найти ему жизненный эликсир, во спасение христианам, и философский камень. И укажи мне, господи, не грех ли будет опустить ныне в эликсир сей пепел от сожженного еретика, который держал у себя черного кота, ходившего на двух ногах и сожженного нами вместе с его одержимым бесовской силой хозяином в честь и славу твою в день рождества Христова у ворот штальгаузенских. А я поступлю по воле твоей.

Бог не послал знамения. И отец Леонардус сварил пепел сожженного еретика-чародея вместе с пеплом его кота. Потом, тихо вторя завываниям монахов, читающих в соседней трапезной «Отче наш», вылил содержимое реторты в тигли, поставил их на таган и с благодатным умилением принялся выпаривать осадок.

Снова спустился сумрак, и отец Леонардус пошел в трапезную, предоставив огню в каменном очаге кипятить клокочущую и шипящую массу.

В трапезной он проникновенным, отечески ласковым голосом сказал монахам несколько слов о божьем милосердии, а затем отпустил их отдыхать, приказав им всем, прежде чем возлечь на свои жесткие ложа, подвергнуть грешную плоть взаимному душеспасительному бичеванию. Наконец, преклонив колени перед неугасимой лампадой, зажег факел и вышел во двор.

Он пошел осматривать монастырское хозяйство, этот славный игумен-хлопотун. Навестить поросят в хлеву: как они себя чувствуют? Вчера они выглядели очень плохо.

Отец Леонардус подозревал, что монахи, тяготясь наложенным на них по-

стом, добрались до каши из отрубей, предназначенной свинкам, и питают ею свои грешные утробы, гневя бога и обкрадывая бедных тварей. За последнее время свинки заметно похудели. Это были уже не прежние славные круглые бочонки, такие розовые, аппетитные, что отец Леонардус пел во славу их псалмы, воздавая хвалу создателю. Этих милых божьих созданий было сорок — ровно столько, сколько монахов. Ясное дело, если сорок монахов, богохульствуя, съедали пищу, приготовленную для сорока свиней, как же можно было ждать, чтобы бедняжки весело похрюкивали на дворе святой обители, оживляя отголосками живой жизни и молодости утрюмую монастырскую тишину?

Пламя факела озарило бедные создания красным светом. Узнав своего пестуна, они захрюкали так печально, что у доброго игумена сжалось сердце...

— В каком виде, о братья, предстаете вы предо мной? — скорбно воскликнул старец, глядя на их исхудалые тела; он прослезился и вздохнул.

Потом, увидав пустые корыта, послал проклятие по адресу монахов и пошел звонить в колокол.

Когда монахи опять собрались в трапезной, он обратился к ним с такою речью:

— Вы бичуете бранные тела свои, а сами обкрадываете свиней и нарушаете посты? Бог накажет вас. На колени, негодяи!

Как бы вознесенный над толпой, с лицом, озаренным лучами неугасимой лампы, он воскликнул:

— Покайтесь, жалкие свиньи!

И под пение монахов, затянувших «Misericordia» — «Помилуй нас!», спустился в погреб, где, скрипнув зубами, испил чару вина.

Вернувшись в трапезную, он объявил монахам, что пошлет их пешком в Рим, к папе Иннокентию III — просить прощения у главы христианского мира.

Потом велел всем идти спать.

А сам пошел в темную камеру, где производил свои опыты, и, сунув факел в очаг, стал рассматривать оставшееся после выпаривания вещество. Оно было тяжелое, с металлическим блеском.

Отец Леонардус побледнел; нет, это не философский камень: в старинной книге, принадлежавшей сожженному чародею, сказано, что философский камень должен быть прозрачен и невесом. А ведь землю для своих опытов он взял с того холма возле Штальгаузена, где прежде была каменоломня и в великую пятницу, говорят, появляется светлое сияние.

Он упал на колени и заплакал. Устремив взор на распятие и ударив себя в грудь, промолвил смиренно:

— Вижу, боже, спаситель мой, что я не достоин твоих милостей!

Потом взял оказавшийся в тиглях зернистый порошок, вынес его во двор и там высыпал.

После этого монахи еще несколько дней постились и худели, так как заботливый игумен, хлопоча о душевном их спасении, следил, чтобы они не трога-ли каши, предназначенной свиньям.

А свиньи удивительно раздобрели. Трудно даже себе представить, чтобы можно было так быстро разжесться после такой длительной голодовки. И чем

больше худели монахи, тем быстрее поправлялись свиньи. Это прямо бросалось в глаза.

И вот однажды отец Леонардус увиден, что свиньи чего-то ищут во дворе, что-то жуют. Подошел поближе: оказывается, они подлизывают получившийся вместо философского камня и выброшенный им во двор порошок.

Он вошел в часовню и пал на колени. Ему сразу стало ясно, что господь смилостивился над ним и он открыл камень жизни — не жизненный эликсир и не философский камень, а питательное средство, животворящий, бодрящий экстракт.

В тот же день он пошел с несколькими монахами на служивший лобным местом холм возле Штальгаузена — за землей, необходимой для добычи камня жизни.

Когда этого камня был приготовлен порядочный запас, игумену Леонардусу стало жаль своих бедных, исхудалых монахов. Ему захотелось, чтобы они тоже потолстели, как свиньи; он велел добавить в предназначенную для них черную кашу истолченного в порошок камня жизни и, лакомясь поросенком, с радостью наблюдал, как охотно они ее поедают.

К утру все сорок монахов померли в страшных мучениях, и отец Леонардус остался один.

Камень жизни был не что иное, как сурьма. Ее открыл в 1460 году игумен Штальгаузенского монастыря в Баварии Леонардус, назвав ее в шутку по-латыни «антимонием» (то есть средством «против монахов»).

Сам отец Леонардус и в дальнейшем всю жизнь разводил свиней, которым сурьма не только не вредит, но от которой они толстеют, — так что по желанию германского императора ему был пожалован графский титул.

## Семейная драма

### Из дневника маленького Франтишека

#### 1. Как пан Фингулин использовал папину доброту, маму, служанку и собаку

**М**ой папа не терпит, когда его расстраивают, он любит покой, чтобы спокойно переваривать пищу. Папа толстый и очень хороший, у него лицо здорового красного цвета, и он служит в магистрате. Папа коротко по-английски подстригает свои усы, чтобы не возиться с ними и не подкручивать. Он вообще не любит напрягаться. В половине третьего папа приходит со службы домой обедать и ест почти час, потом закуривает трубку и ложится на кушетку. Трубка у него падает, а он спит до пяти. После этого папа идет в кафе и сидит там до шести часов. В кафе папа пьет черный кофе, курит сигару и смотрит, как в зале играют в карты, чтобы не утомлять себя чтением газет.

Из кафе папа идет в свой трактир на ужин, там он обычно выпивает четыре кружки пива и слушает, о чем говорят вокруг. К десяти часам вечера папа всегда возвращается домой, ложится спать и спит до утра, а утром в половине восьмого пьет кофе в постели. В восемь папа уходит в канцелярию.

Моя мама молодая и красивая. Она моложе папы на 20 лет, и, когда к нам приходит в гости молодой господин, меня с прислугой отправляют гулять. Этот господин папин знакомый, иногда по вечерам они вместе с папой ходят в трактир послушать, что люди говорят.

Однажды, когда я неожиданно вошел в комнату, где он был с мамой, я застал маму у него на коленях. Я спросил, не тяжело ли ему. Он сказал, что мама легкая, и стал рыться у себя в карманах. Тогда мама подала ему свой ридикюль, он достал крону и дал мне. Когда он ушел, мама отобрала ее у меня и объяснила, что папа будет очень сердиться, если мама ему скажет, что я взял деньги от пана Фингулина. Мне нельзя брать у него деньги и ничего нельзя просить, потому что бедный папа, у которого столько забот, очень огорчится, узнав, какой у него невоспитанный сын! Моя мама очень ласкова со всеми. Она всех гладит и целует. Гладит меня, папу и пана Фингулина и нашу собаку и всем улыбается — мне, папе, и пану Фингулину и собаке. А целует больше всех меня и пана Фингулина. Папа, как приходит домой, выпивает немного коньяку и сразу ложится спать, с нами почти не разговаривает. Зато пан Фингулин заходит к нам и по вечерам, пока папа в трактире, и они с мамой сидят в темноте. Меня посылают на кухню, потому что, если я с ними буду сидеть в темноте, у меня на носу вырастут перья. Так сказала мама, и тогда меня никто не будет любить.

Однажды я спросил у папы, когда он пришел из трактира, правда ли, что у меня на носу вырастут перья, если я буду сидеть в темноте. И папа сказал:

— Конечно, вырастут, ты же знаешь, детка.

О чем бы я его ни спросил, у папы один ответ:

— Конечно, ты же знаешь!

Я его спросил, любит ли мама пана Фингулина, и он ответил:

— Конечно, ты же знаешь!

Иногда папа приходит домой из трактира немного раньше и вместе с паном Фингулином. Они пьют у нас пиво или вино, и папа ложится спать, а па-

на Фингулина просит побыть с мамой и развлечь ее. Пан Фингулин никогда не отказывается. Папу мы запираем в спальне, чтоб ему не было страшно, меня тоже отправляют спать, и я молюсь за пана Фингулина.

А недавно мы вернулись с прислугой домой, как велела мама, когда уже стемнело, только мамы еще не было. Не было и пана Фингулина. Мы открыли дверь в столовую и зажгли свет, обошли все комнаты, но их нигде не нашли.

Служанка заявила, что ей это не нравится. А мне было все равно, и я начал выкидывать «свои фокусы». Сперва, пока не опротивело, играл на пианино и ждал. Никто не приходил, ни мама, ни служанка. Не было дома и нашей собаки. Наконец пришел папа и позвонил. Когда ему никто не открыл, папа, пыхтя, отпер дверь своим ключом, снял в передней зимнее пальто и вошел в столовую, где я сидел в качалке. Я подбежал к нему и сказал, что мамы нет, пана Фингулина нет и служанки и собаки тоже.

Папа сперва не понял, а потом решил:

— Подождем.

Он сел к столу и послал меня в кладовую за вином. Ключа от кладовой не оказалось, и вина я не принес. Папа расстроился:

— Этого еще не хватало в довершение всего!

Он закурил трубку, и мы снова стали ждать. Сидели, сидели, а никто не появлялся. Папа начал ходить по столовой взад-вперед и приговаривать:

— Так оно и есть, не иначе.

Он сел в качалку, покачался, набил трубку и снял ботинки.

— Подождем до двух часов ночи, а потом ляжем спать. Завтракать пойдем в кафе.

Мы подождали и легли спать. Папа вздыхал и приговаривал, ворочаясь в постели:

— Никак не укладывается в голове.

Мы заснули, но вдруг я проснулся, потому что папа сказал:

— Ну конечно! И денег, наверное, тоже нет!

В спальне у нас стоит маленький сейф. Папа вылез из постели, подошел к сейфу, открыл его, заглянул внутрь, снова лег и сказал:

— Ну конечно, денег тоже нет!

У меня там в поросенке было восемь крейцеров, я заплакал и спросил, не пропал ли и поросенок. Папа успокоил меня и сказал, что моя копилка на месте. Я обрадовался и уснул. Папин голос еще раз разбудил меня, папа говорил сам себе:

— В жизни человека случаются моменты, когда даже скотина способна сойти с ума!

Папа проговорил это, заглядывая в шкаф с мамиными платьями. Шкаф стоит как раз против моей кровати, и я увидел, что в нем пусто. Рядом с маминым был папин шкаф. Папа открыл и его, но там все висело на месте, и папа проворчал:

— Моя одежда велика ему. Фингулин против меня сморчок.

Я спросил папу:

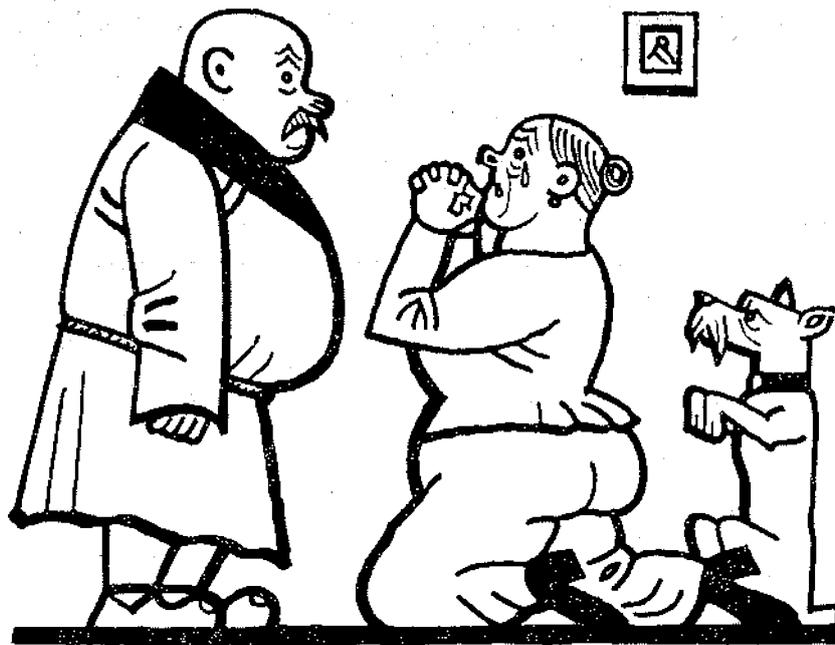
— Папочка, правда же, пан Фингулин порядочный человек?

Папа долго смотрел на меня, а потом сказал, как всегда:

— Ну конечно, маленький, спи!

Я снова заснул, лег и папа. Утром он разбудил меня, и нам пришлось потру-

даться, пока мы наносили воды. Когда мы умылись, я спросил, где мама, пан Фингулин, служанка и собака.



Папа объяснил, что они поехали погулять за город и взяли с собой собаку, и теперь мы будем их искать.

— Они ничего мне не говорили, — сказал я.

— Мне тоже, — вздохнул папа.

Потом мы пошли в кафе завтракать, и я радовался, что все так здорово получается и я тоже увижу что-нибудь интересное.

Отсюда мы пошли в какой-то большой дом, где были одни полицейские и господа в фуражках. В одной комнате все писали, а папа говорил им что-то по-немецки. Один господин погладил меня по голове. Папа перестал говорить по-немецки, а тот господин стал расспрашивать меня, как все было, когда пан Фингулин приходил к нам в отсутствие папы. Я ему объяснил, что у меня на носу выросли бы перья, если б я сидел с ними в темноте, и еще рассказал, как мама отобрала у меня крону после того, как сидела у пана Фингулина на коленях, и как он мне сказал, что мама не тяжелая, и что эту крону я получил от пана Фингулина, но больше я от него ничего не брал, потому что папа рассердился бы, что я такой невоспитанный. Они все записали и предупредили папу, что все это служебная тайна, и мы с папой пошли в кондитерскую и еще папа купил мне кубики. Обед нам принесли из трактира, а я очень радовался кубикам. Вечером пришел какой-то господин, сказал, что он из полиции и что маму поймали вместе с паном Фингулином, прислугой и собакой в Будейовицах и посылают назад. Услышав это, папа всплеснул руками:

— Слава тебе господи, что она приедет домой, у меня хоть на службе не будет неприятностей!

И мы стали дожидаться маму.

## 2. Возвращение пана Фингулина с собакой, мамой и служанкой

Я уже рассказывал, как мы с папой ночью ждали маму, пана Фингулина, служанку и собаку. А больше всего я ждал пана Фингулина, потому что он удрал с мамой, а папа пообещал:

— Я все ему выскажу! Так использовать мою доброту и мою жену!

Я спросил, использовал ли пан Фингулин также собаку и прислугу?

Папа ответил, что пан Фингулин на все способен, и когда я вырасту, то все пойму, а пока велел мне ложиться спать.

Я лег и уже не думал о случившемся, потому что от сладостей у меня разболелся живот. Я долго не мог уснуть и слышал, как папа ходит по столовой и разговаривает сам с собой:

— Моя золотая жена, кто мог ожидать от тебя такого?!

Потом папа сел за пианино и начал брэнчать на нем, как я, когда хочу разозлить нашу собаку. Но скоро папа закрыл крышку и снова стал ходить по комнате и при этом говорил по-немецки. Затем он подошел к моей кровати и сказал:

— Вылитый Фингулин! Где были мои глаза, что я за болван!

Мне стало смешно, как папа ругает себя, и я притворился, будто сплю, а после и вправду уснул.

Меня разбудил разговор за стеной в столовой. Это мама вернулась домой. Я выбежал к ней прямо в ночной рубашке. В столовой был и пан Фингулин. Я стал обнимать пана Фингулина и маму. С ними была и собака, а служанка стояла в дверях и то и дело падала на колени, плакала и кричала:

— Ваша милость, уж вы простите меня, не могла я барыню бросить, я доглядывала за ними! Ваша милость, ради господа бога, простите, я в этом чиста и безвинна! Барыня говорила, что у пана Фингулина заболела старенькая тетя в Будейовицах, а пан Фингулин сам ничего не умеет, ни обслужить никого, ни добиться ничего и боится ехать один, чтоб я, значит, поехала с ним и помогла советом и вообще. Ваша милость, простите меня, ради бога! Пресвятая богородица, как же мы намучились с этой собакой! Всю дорогу, проклятая, выла, не переставая, и только бы ей жрать! Купили мы, уж вы простите меня, ваша милость, копченой колбасы. Так эта тварь половину слопала и прямо в купе напустила три лужи и наложила две кучи, простите меня, бога ради, ваша милость.

И служанка поползла на коленях к стулу, какой был к ней поближе, села на него и стала вытирать нос юбкой.

Пан Фингулин все откашливался и наконец попросил у папы сигару. Папа принес сигары, но у пана Фингулина не оказалось даже спички, и папа дал ему прикурить. Они между собой не разговаривали. Пан Фингулин смотрел на папины ботинки, а папа — на ботинки Фингулина. Собака переводила взгляд с папы на маму, с мамы на пана Фингулина и радостно вертела хвостом.

Тогда я спросил пана Фингулина, как он себя чувствовал в Будейовицах.

Тут папа поскорей взял меня за руку и увел на кухню. За мной вышла и собака.

Из кухни я услышал голос пана Фингулина:

— Многоуважаемый господин! Как человек глубоко порядочный, я позволил себе подняться к вам, чтобы принести свои извинения за то, что взял вашу многоуважаемую супругу в гости к моей бедной больной тетеньке в Чешске Будейовице. Уж вы поверьте, что больше я ни за что на свете не возьму с собой в дорогу никакой собаки. Эта ваша такая противная и хитрая тварь! Когда мы по пути зашли на станции Весели в ресторан, то взяли сосиски с хреном. Отличные сосиски...

— Хрена они пожалели, правда. На два крейцера можно было и больше по-

ложить, — вмешалась мама.

— Но хрен был отменный, — возразил пан Фингулин — Иногда хрен бывает неприятный и щиплет язык. А этот не щипал, у него был приятный сладковатый вкус. Так вот, чтобы не забыть, ваша собака, пока мы ели сосиски с хреном, подкралась к столу, где стояло блюдо с холодной ливерной колбасой, огляделась по сторонам и — хватить! Стащила целых две штуки. Подобные фокусы она проделывала постоянно. Мы не знали от нее покоя даже ночью. Стоило скрипнуть, как она просыпалась и поднимала лай, будто оглашенная, и будила всю гостиницу. В Таборе, где мы ночевали первую ночь, она укусила горничную, когда та принесла нам кофе в постель. Слава богу, она успокоилась, получив пять крон.

— Ваша милость, простите, бога ради, — плаксиво отозвалась служанка, поверьте мне, собака и вправду ужасная!

Папа ходил по столовой, держался за голову и твердил:

— Это ничего не доказывает, пан Фингулин, это не оправдание!

Пан Фингулин тоже встал и заходил по столовой приговаривая:

— Таксы, поверьте, все такие. Этот пес, милостивый господин, ужасно коварный и лицемерный, где что ни увидит — тотчас сожрет и удирает. У моего брата был пес той же породы, так он, проклятый, куда ни придет, непременно нагадит или украдет что.

Папа, слушая его, только вздыхал:

— Боже мой, боже мой!

Тут мама забеспокоилась — нет ли в доме вина. У нас ведь как-никак гости! Ну, и папа принес бутылку, а служанка принесла рюмки. Мама налила вина, пан Фингулин чокнулся с папой и сказал:

— Ваше здоровье, пан старший делопроизводитель!

Папа выпил и снова принялся ходить по столовой, только быстрее, а потом еще быстрее и все быстрее, пока не зацепил и не завернул в одном месте ковер, и мама рассердилась, потому что ковры от этого ломаются и портятся.

Наконец папа сел за стол и спросил, помнят они божью заповедь — «не пожелай жены ближнего своего»?

Кто должен был это помнить, папа не уточнил, и чего надо было пожелать у жены, он тоже не сказал, и добавил только, что ошибся в пане Фингулине, потому что считал его своим другом. Пан Фингулин на это ответил ему, что папа, конечно же, мог положиться на его дружбу, и, не будь у него в Будейовицах старой тети, они бы никуда не поехали, и этой поездкой оба сыты по горло. А пес был совершен но никчемной обузой.

— Нам всюду приходилось краснеть за него, — добавила мама. — Он самым бесстыдным и нахальным образом приставал ко всем встречным собакам в Будейовицах, а когда я хотела стукнуть его зонтиком, он отскочил, и зонтик сломался, ударившись о мостовую.

Пан Фингулин снова налил себе вина, выпил, взял шляпу, подал папе руку и пожелал доброй ночи. Прощаясь, он посоветовал:

— Извините, но если вы хотите послушаться моего совета — прогоните этого пса!

И папа велел отвести пса к живодеру, чтобы, когда пан Фингулин переселится к нам, пес не мозолил ему глаза.

### 3. Наш папа портится...

В один прекрасный вечер пан Фингулин снова пришел. Папы еще не было дома. Я сидел в уборной, а уборная у нас возле самой входной двери, и я слышал, как пан Фингулин целует маму и говорит ей:

— Золотая моя Фанинка!

Мама попросила его говорить потише, потому что я дома. Чтоб они не подумали, будто мне это интересно, я спустил воду. Мама воскликнула:

— Боже мой, этот мальчишка до сих пор торчит в уборной!

И они с паном Фингулином перешли в столовую. Я еще несколько раз спустил воду, а потом тоже пришел к ним. Увидев меня, пан Фингулин притворился удивленным:

— Откуда ты взялся, Франтишек?

Мама сделала мне замечание за то, что я вел себя невоспитанно и сказал, будто у меня болит живот. А я ничего не могу с собой поделать, такой уж я ребенок, и, когда у меня были глисты, я тоже всем рассказывал, кого ни встретил, потому что все меня жалели и говорили, что я хороший мальчик.

Пан Фингулин принес мне апельсин, и снова меня отругали, зачем я коркой брызгал ему в глаза.

Тут пан Фингулин спросил, как обстоят дела с клопами. Дело в том, что у нас теперь есть клопы, они завелись после того, как мама с паном Фингулином побывали в Будейовицах. Они привезли их с собой в ручном саквояже. А папа рассказал, что изгнанные из Франции гугеноты привезли клопов в Лондон, из Лондона они пришли в Данию, из Дании в Германию, а оттуда уже к нам в Чехию.

Я объяснил пану Фингулину, что клопы кусаются ночью для того, чтоб люди и по ночам не забывали о господе боге, и что я, когда они очень уж меня донимают, молюсь: «Ангелочек, мой хранитель...» — и к утру засыпаю, и клопы тоже.

Пан Фингулин погладил меня по голове и спросил, люблю ли я боженьку. И тогда я все ему рассказал, как я попаду на небо и как там буду играть спичками, отрывать мухам лапки и выкалывать глаза мышам, веселиться с ангелочками, лазить по деревьям и спать в кровати одетый. И еще сказал, что буду играть с ангелочками в разбойников и пленным отрезать носы.

Мама заметила, что я очень милый ребенок, и я стал рассказывать дальше, как буду послушным на земле и вести себя хорошо, чтобы потом в раю убивать полицейских и обманывать жандармов, и что я каждый день молюсь, чтобы господь дал мне добрые намерения и говорю «Отче наш...» и «Богородице, дево...», «Ангел божий» и «Верую». Я встал на колени и начал:

— «Йобот с допсог яирам яантадогалб ясйудар авед ацидороб».

Они испугались — не сошел ли я с ума, а я объяснил, что это начало молитвы «Богородице, дево», только задом наперед, и что так ужасно трудно молиться, но я иногда молюсь так по вечерам, чтобы не повторять без конца: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Пан Фингулин осерчал и сказал, что это ненастоящая молитва. Пан Фингулин очень набожный. Вчера мама рассказывала папе, что в Будейовицах они обошли все костелы.

Я получил выговор за то, что мне — всё игрушки, а к господу богу надо обращаться с любовью и почитанием, как и подобает истинному мальчику-христианину, и тут мама начала сердиться, что уже поздно, а папы все нет. Обыч-

но в это время он уже приходит домой!

Пан Фингулин предположил, что папа не спешит домой из-за него. Но мама возразила — мол, наоборот, папа очень ценит пана Фингулина как приятного собеседника.

Пан Фингулин улыбнулся и погладил маму по щеке, и оба стали смеяться. Но когда я тоже, несчастный ребенок, стал смеяться вместе с ними, меня тотчас увели на кухню.

На кухне прислуга делала отбивные и сказала, что когда она была в городе, то видела милостивого (то есть моего отца, папу), как он перед винным погребком вылезал из фиакра вместе с еще двумя господами. И что папа был очень веселый. Может, это был и не папа, но веселый тот господин был уже очень. И когда он выпрыгнул из фиакра, то чуть не упал. Может, тот господин был и не его милость хозяин, но что тот господин чуть не упал, она клянется головой. Милостивый господин сроду ничего такого не вытворял, по вечерам всегда сидел дома, а уж до чего ей жалко милостивую хозяйку, как она теперь беситься-то будет!

Я пошел в столовую. Мама сидела на диване возле пана Фингулина, и пан Фингулин положил одну ногу на маму. Он всегда так делает, когда у него развязываются шнурки. Я знаю, потому что всякий раз, когда я видел это, он говорил:

— До чего мне надоели ботинки на шнуровке!

И завязывает их.

Само собой, на меня они рассердились, потому что мне следовало сидеть на кухне, и я поскорей стал рассказывать, что служанка видела очень веселого господина, как тот лез из фиакра в винный погребок, и это был наш папа и он чуть не упал.

Только я договорил, мама начала кричать, а пан Фингулин ей поддакивал.

— Хорошенькое дело! Он начинает портиться!

Мама заламывала руки, а пан Фингулин говорил:

— Это ужасно! Такое падение нравственности! Неслыханно и тлетворно! Напиться пьяным в общественном месте! Он просто позорит нас! Милостивая пани, могу вам посоветовать одно: мы не пустим его домой. Десять пробило, если до одиннадцати он не придет, конец и точка! Иначе кутежи станут для него жизненной необходимостью, и он окончательно и бесповоротно испортится! Мы решительно не пустим его домой. Пусть звонит, стучит, пусть не знаю что делает, но это переходит уже всякие границы приличий и не имеет никаких оправданий! Сколько забот он доставляет вам! Такого еще не было, чтобы в десять часов он где-то болтался! Это невыносимо!

Пан Фингулин снял сюртук, ботинки, взял папины шлепанцы, надел папин халат, закурил сигару и растянулся на диване.

— Какой ужас! — произнес он. — Куда катится эта благополучная семья — муж превращается в пьяницу и оставляет свою супругу!

На этом месте мама велела мне раздеться и идти спать. Я помолился за папу и сказал «Верую» задом наперед. Пан Фингулин тихонько говорил маме, что в 11 часов он ляжет в папину кровать, и тогда, что бы папа ни выделял, какой бы шум ни поднимал, чтоб мама не смела впускать его. Мама согласилась в 11 часов тоже лечь, и, как бы папа ни звонил, пускай он хоть плачет под дверь, она его не впустит и отправит ночевать в гостиницу, потому что

семейный дом это ему не проходной двор.

Пан Фингулин вздохнул:

— Скорее б уж пробило одиннадцать!

Я заснул и долго спал, и вдруг меня разбудили голоса в спальне. Было уже утро.

За стеной в столовой кто-то чихнул и сказал:

— С добрым утром, пан Фингулин, дай вам господи!

Голос был папин. У моего золотого папочки были свои ключи от квартиры. И папа закричал:

— С добрым утром, пан Фингулин, целую ручки, милостивая пани!

И начал чем-то колотить по пианино. Потом через приоткрытую дверь я увидел на голове папы цилиндр пана Фингулина и папа собирался лечь в постель. Цилиндр был смят, видимо, им-то папа и стучал по пианино. Я снова заснул, потому что тут уж было не до шуток. Засыпая, я услышал:

*Пусть мне голову отрежут,  
этим хоть меня утешат...*

Утром служанка разбудила меня, велела умыться, одеться и разбудить папу, так как пан Фингулин желал с ним побеседовать. Я обрадовался. Раньше было наоборот — всегда папа будил меня, а теперь я его разбужу. Я постучал папе по лбу, чтоб проснулась его душа, он повернулся и промычал:

— Вино поставьте на лед.

Я залез на кровать и стащил с папы перину. Оказалось, папа был обутый и в брюках, какие носил по воскресеньям и в праздники. Манжеты и воротничок лежали в цилиндре, а цилиндр лежал под папой. Все было мятое, как в тот раз, когда я сел на коробку от модистки и провалился в нее на мамину шляпу. Папа боялся испачкать простыню грязными ботинками и подложил под ноги бархатную жилетку. Я ущипнул папу за ногу, он перевернулся лицом ко мне и пробурчал:

— Нас тут шестеро, так что принесите три бутылки!

Папа бурчал не очень разборчиво, потому что во рту у него была растрепанная сигара. Я потянул за нее, и она разломалась, половина осталась у моего золотого папочки во рту. Папочка облизнулся и проглотил ее, потом повернулся на другой бок и проворчал:

— Терпенья нет ждать, вино, видать, еще только готовят, возьмите, господа, еще по кусочку лосося, я больше не могу.

Я пошел в столовую, где у нас стоит швейная машинка, и достал из ящичка булавку. Папа лежал ко мне спиной, и я кольнул его в верхнюю часть брюк, и как следует, папа ведь большой и стерпит что угодно. Он так сильно вздрогнул, что я не смог выдернуть булавку назад, и папа перевернулся на булавку, но она его колола, и тут папа ударился выпяченными брюками о край кровати и попал, что называется, из огня да в полымя. Папа очень смешно дергался и извивался, как когда-то карп, которого я вынул из лохани с водой и бросил на пол.

Я не сразу изловчился, но все-таки выдернул булавку. Зато папа почти проснулся и тер глаза, сидя на постели. Он зевал и даже не закрывал рот руками, как должен делать я, чтобы не получить подзатыльник.

Но папа все-таки не совсем еще проснулся, потому что, глядя на меня в

упор, он не узнавал меня и бормотал, что гостиница кишит клопами. Тут я сказал папе, что это я, его маленький Франтишек, что уже довольно поздно и с ним хочет говорить пан Фингулин.

Папа схватился за голову, посмотрел на свои ботинки и спустил ноги с кровати.

— Ну, что, Франтишек, здорово мы учудили, а? И девчоночка какая была! — У папы голос был хриплый-хриплый, как однажды у мамы, когда она на крестинах пила вино. А папа снова начал зевать, и глаза у него были грустные-прегрустные и будто затянутые шелковой бумагой. Потом он что-то сказал о выпивке. Это слово я не смею произносить, за него меня пороли. Я как-то позвал дедушку выпить, когда кофе был уже налит. — Франтишек, повторил папа, моргая глазами, — пьянство убивает интеллект, и, если я увижу тебя с рюмкой, я вышибу ее у тебя из рук.

Тут на папу напала икота и зевота. Папа зажал переносицу и подержался за нос. Икота прошла. Папа и меня учил зажимать нос от икоты и не дышать, пока не сосчитаю до девяти. Потом он подошел к умывальнику и напился воды из стакана, в котором держал зубную щетку, опустил голову в таз и попросил меня лить ему на нее воду, потому что мочи его больше нет. Папа поналивал кругом. Меня бы, если б я хоть чуточку набрызгал, сразу бы обругали поросенком. Папа умылся, вытерся полотенцем, сел на постель и простонал, что ему сейчас будет худо, потому что желудок его словно взвешен в воздухе. Он подошел к тазу, и ему стало так плохо, как мне один раз, когда я объелся и засунул в горло веточку, чтобы потом можно было есть дальше.

Стоило папе поднять голову и сказать:

— Фран...

Как у него все начиналось сначала.

Я подошел к папе, он стал гладить меня одной рукой по голове, а другой держался за живот и все извергал из себя:

— Фра... Фра...

Наконец он смог произнести:

— Франти... — а потом: — Франтишек, ах, просто ужасно, что твоему папочке приходится переживать!

Я подумал, а не получить ли мне крейцер, и начал плакать. Однажды у папы болели зубы, и он дал мне 2 крейцера, чтоб я только замолчал. И на этот раз папа достал кошелек, заглянул в него, сказал:

— Хе-хе, а денежки-то тю-тю, черти взяли!

И он стал ходить по комнате и приговаривал:

— Не плачь, все пройдет у твоего бедного несчастного папочки.

Потом он снял ботинки и велел достать ему из-под кровати шлепанцы. Сам он боялся наклоняться, чтобы желудок не потянул его вниз, и подошел к шкафу за халатом. Я предупредил папу, что халат еще вечером надел пан Фингулин. У папы задрожали руки, и я услышал, как он, глядя в распахнутый шкаф, сказал:

— Господи, ну что я сделал плохого пану Фингулину? Мало того что он лишил меня жены, а теперь еще и халат забрал.

Тут открылись стеклянные двери, и в комнату вошли пан Фингулин с мамой. Папа опустился на постель и посмотрел на них, как пес мясника Вейвуды, когда однажды украд кусок легкого, а пани Вейвудова застукала его. У па-

на Фингулина лицо было очень бледное, он выглядел серьезно и к тому же был в папином халате. У мамы лицо было все красное. Увидев меня, она прогнала меня в кухню. Я сделал вид, что ухожу, а сам вернулся, встал за дверью и смотрел через стекло. Пан Фингулин пододвинул к папиной кровати два стула, на один сел сам, на другой мама.

— Уважаемый господин, — торжественно начал пан Фингулин, — надеюсь, вы позволите мне, как истинному другу дома, дать вам несколько добрых советов.

Мама недовольно заметила, что папа смотрит на них зверем, но папа возразил, что совсем он и не смотрит зверем. Пан Фингулин размахивал рукой и говорил, что считает своим святым долгом заявить папе прямо в глаза, что супруг, заставляющий супругу всю ночь страдать в одиночестве с другом дома, заслуживает названия величайшего в мире мерзавца. Папа перестал смотреть, как пес мясника Вейводы, и стал смотреть, как ученик лавочника Горжейша, когда пан Горжейш таскал его за ухо по лавке и кричал:

— Я тебе поплюю в повидло!

Пан Фингулин продолжал говорить, что супруг, оставляющий супругу дома в одиночестве ради того, чтобы устраивать оргии с развратной компанией, никчемнейший человек, потерявший всякую честь, которому безразлично — страдает ли супруга по нему и беспокоится, не случилось ли чего с ним.

Я услышал, как папа сказал:

— Я не сомневался, пан Фингулин, что вы не заставите мою жену скучать в одиночестве.

Пан Фингулин подпрыгнул и закричал, что попросил бы оставить все намеки на его отношения с милостивой пани.

А мама встала перед папой и тоже закричала:

— Фу, как некрасиво, фу, это в тебе говорит алкоголь!

Папа сидел как прибитый.

— Супруг, который возвращается домой к жене пьяный, может быть уверен, что рвет все связи, еще соединявшие его с семьей, и если вы не отдадите себе отчета, что своим поведением вы лишь демонстрируете неуважение к священным супружеским узам, то мне вас искренне жаль.

— Не жалейте его, негодяя, — прервала его мама.

Папа только качал головой и говорил:

— Что вы, ну какой же я негодяй?

— Вот вам наше окончательное решение, — продолжал пан Фингулин. — Завтра же вы уедете к тестю в деревню. Возьмете на службе отпуск и еще до обеда уедете с Франтишеком. В деревне, под присмотром тестя, которому я уже отправил письмо и подробно информировал обо всем, вы в течение шести недель постараетесь забыть о пражских оргиях. Мы с супругой будем вас иногда навещать, и, если вы постараетесь хорошо вести себя, мы примем вас как исправившегося назад в лоно семьи. Обедать вы сегодня не будете, вам надо как следует проспаться к завтрашнему путешествию. А мы с милостивой пани предпримем нынче небольшую прогулку на Завист. Ей необходимо прийти в себя после этой страшной ночи, проведенной в напряженном ожидании вашего возвращения неизвестно в каком состоянии. Пойдемте, милостивая пани.

Папа тоже встал, и тут все увидели под ним на постели цилиндр пана Фин-

гулина. Пан Фингулин снова напомнил, как самоотверженно вел он себя этой ночью, и вот в благодарность за его самоотверженность мой золотой папочка спал на его цилиндре!

Мама сказала, что от негодного человека нечего ждать благодарности и пусть пан Фингулин возьмет папин цилиндр.

Они ушли, а я притворился, будто играю в кубики за дверью. Когда они ушли совсем, я посмотрел, что делает папа. Мой золотой папочка разделся и в одних кальсонах яростно катался по цилиндру пана Фингулина, как собака на селедке, и приговаривал:

— Я вам покажу, кто в доме хозяин!

## Судебный процесс по делу Хама, сына Ноя

### (Отчет из зала суда, написанный доисторическим репортером)

**В** Арубаше, городке у подножия Арарата, вызвал необычный интерес публики судебный процесс Хама, сына Ноева, о деле которого мы в свое время подробно сообщали. Поскольку, однако, мы хотим, чтобы и те читатели, которые тогда не следили за этим делом, были в курсе событий, излагаем его вкратце повторно.

Известный меценат праотец Ной после катастрофы 1 октября, когда из-за прорыва запруд на горных водоемах возник потоп, приплыл на своем ковчеге к Арарату и приобрел у здешних властей земельный участок. Здесь он занялся разведением винограда на основе новейших агрономических достижений. 12 сентября прошлого года, в три часа дня, Ной с тремя сыновьями, Симом, Хамом и Иафетом, отправился в свои винные погреба дегустировать вино.

При этом ему пришлось выпить довольно много, и, когда он вернулся домой, вино оказало на него свое действие. День был жаркий, и Ной, выйдя в сад за домом, лег в тени грушевого дерева. Он был в одной рубашке. В этот момент появился его беспутный сын Хам и, задрав подол рубахи, принялся стаскивать ее с отца через голову. Подросли сыновья Сим и Иафет и прогнали непутевого Хама. Тем временем за забором сада собралось много соседей, в том числе дамы, которые с негодованием наблюдали возмутительное зрелище. Был вызван полицейский, который задержал хулигана и отвел его в полицию, где после допроса Хам был подвергнут предварительному заключению и против него возбуждено дело о нарушении общественных приличий. Вчера, 7 января, он предстал перед судебной коллегией под председательством советника юстиции Мелехенеха.

Судебное заседание пришлось перенести в большой зал суда присяжных, потому что зал коллегии не вместил всю собравшуюся публику, среди которой было много дам.

Двое конвойных ввели обвиняемого Хама. Предварительное заключение никак не отразилось на нем, и, как заявил журналистам господин Ной, его беспутный сын не похудел, а скорее пополнил в тюрьме.

Председательствующий начал судебное следствие допросом подсудимого, который отвечал громким голосом.

В ходе допроса выяснилось, что Хам еще до потопа привлекался к суду за святотатство: он украл жертвенного быка и съел его с группой своих друзей. В другой раз он был под судом год назад за оскорбление личности. Его ад-

вокат в этой связи просил внести в протокол, что воспитанию Хама с детства не уделялось должного внимания.

Господин Ной решительно возразил против этого.

— Правда? во время потопа, когда прорвались плотины горных водоемов, у меня не было времени воспитывать сына так, как мне хотелось бы, — признал господин Ной.

Тем не менее он старался привить Хаму высоконравственные принципы, подчас прибегая для этого даже к побоям. К сожалению, после потопа Хам попал в дурную компанию, стал дружить с уцелевшими хулиганами и уже в четырнадцать лет грубо бранился и говорил непристойности.

На вопрос, как именно он бранился, Ной ответил: такими словами, как «сволочь», «паскуда» и тому подобное. Зато Сим и Иафет были образцовыми сыновьями.

Защитник задает Ною вопрос, посылал ли он Хама в школу.

Ной отвечает отрицательно, ссылаясь на потоп: дороги еще не просохли, кроме того, при потопе утонули все учителя сельских школ, уцелел только один учитель городской школы, да и тот с перепугу помешался.

**Защитник.** Почему же вы, свидетель, не взяли для Хама домашнего учителя?

**Ной.** Домашние учителя тоже все утонули. *(Волнение в зале.)*

**Защитник.** Вы интеллигентный человек, господин Ной, и должны были внушить Хаму основы морали.

**Ной** *(патетически)*. Достопочтенный суд! Всему миру известно, сколько трудов стоило мне спасти человечество от гибели, сколько ночей я бодрствовал в молитвах, сколько дней ловил зверей для своего ковчега. *(Оборачивается к защитнику Хама.)* Как вы думаете, господин адвокат, легко затаскивать тигров на ковчег? И одновременно еще заботиться о воспитании этого разгильдяя?

**Хам** *(вскочив, отцу)*. Ты старый пропойца!

Председательствующий делает ему замечание. Цинично улыбнувшись, Хам садится.

**Председательствующий** *(Ною)*. Ну, хорошо, господин Ной, но одну вещь необходимо выяснить: не замечали вы когда-либо у подсудимого признаков врожденной умственной неполноценности?

**Ной.** Могу заверить высокий суд, что Хам родился в совершенно здоровой семье. Его дед Мафусаил в возрасте шестисот семидесяти лет перешел через Гималаи и всегда был в здравом уме и твердой памяти. Что касается моей супруги, то она вполне здорова и родила Хама в 328 лет, тоже будучи психически вполне нормальной.

Затем продолжался допрос Хама.

**Председательствующий.** Послушайте, подсудимый, четвертая заповедь еще не так давно опубликована, чтобы вы могли забыть ее. Полиция повсюду расклеила плакаты с текстом всех десяти заповедей. На предварительном следствии вы показали, что умеете читать, ибо мать от нечего делать выучила вас грамоте *(шум в зале)*, а сейчас вы отрицательно качаете головой, уверяя, что не знаете четвертой заповеди. Вообще вы запутались в ваших отговорках. Отвечайте кратко: задирали вы отцу рубашку или нет?

**Хам.** Да, я сделал это, потому что папаша неисправимый пропойца. *(Силь-*

ное негодование в зале.)

**Ной** (закрывая лицо, восклицает с волнением). О мои опозоренные седины!

**Председательствующий** (строго). Послушайте, подсудимый, будь господин Ной даже совсем незнакомым вам человеком, и то недопустимо называть его так. А ведь он вам отец! (Волнение в зале.)

**Госпожа Ной** (кричит подсудимому с галереи). Негодяй!

**Председательствующий** (продолжает). Итак, подсудимый, расскажите нам все откровенно. С каким умыслом вы задирали отцу рубашку?

**Хам**. Без всякого умысла.

**Председательствующий**. Послушайте, подсудимый, родному отцу ни с того ни с сего не задирают рубашку. Безусловно, вы совершили это с обдуманым намерением. Расскажите нам откровенно, каков был ваш умысел, это облегчит вашу участь. Нельзя же предполагать, что вы так вдруг, не подумав, начали стаскивать с отца рубашку, воспользовавшись его глубоким сном.

**Общественный обвинитель**. А вы знали, что кругом было много прохожих?

**Хам**. Знал!

**Защитник**. Скажите, господин Хам, не были вы тогда тоже в состоянии опьянения?

**Хам**. Я-то не был, а папаша был пьян в стельку. Это случается с ним уже не в первый раз, и вот, опасаясь, чтобы ветер не задрал отцу рубашку, я предпочел совсем снять ее с него. (Веселое оживление в зале.)

**Председательствующий**. Воздержитесь от глупых шуток, подсудимый, здесь они совершенно неуместны. Ваш отец — человек примерного образа жизни и не заслужил такой хулы. Гордиться надо таким отцом!

**Госпожа Ной** (кричит подсудимому). Пропишут тебя в Библии, хулиган!

**Защитник** (обращается к Симу и Иафету). Скажите, господа, почему вы ушли, оставив отца под деревом? Видя, что он заснул в одной рубашке на открытом месте, вы могли бы прикрыть его... ну, хотя бы носовым платком. А вы оставили его обнаженным вплоть до прихода судебной комиссии. (Сильное волнение в зале.)

**Свидетель Сим**. У нас не было носовых платков. Мы тоже были в одних рубашках, как пришли с виноградников.

**Защитник**. Гм, странные нравы!

**Иафет**. Категорически возражаю против бестактных замечаний господина адвоката! Нам не по средствам купить себе еще одну пару штанов, а выходные подштанники мы не надели, потому что был день будничной.

Свидетели удаляются. Хам иронически усмехается.

**Общественный обвинитель**. Не смейтесь, подсудимый, дело серьезное. С несомненностью установлено, что ваши братья — хозяйственные и бережливые люди, которые живут по средствам. В отношении вас доказано обратное. У вас, например, три пары подштанников, и вы публично носите их даже в будни. Вы легкомысленны, двести пятьдесят лет нигде не работаете, отец кормит вас вот уже пятую сотню лет. Во время потопа вы тайком помогали самым худшим подонкам попасть на ковчег, и, для того чтобы им нашлось место, вы бросили за борт несколько пар редких доисторических животных, которые, таким образом, исчезли с лица земли. Полиция и местная управа дали о вас самый отрицательный отзыв. Вы ведете непристойные разговоры, при-

стаете к девушкам...

Зачитывается заключение судебно-медицинской экспертизы, из которого явствует, что Хам — психически неполноценная личность со склонностью к сексуальным извращениям.

**Защитник.** На основании заключения экспертизы ходатайствую о том, чтобы подсудимый Хам был помещен в клинику для душевнобольных.

Общественный обвинитель возражает.

**Госпожа Ной** (*кричит с галереи*). За решетку его упрячьте, подонка!

Суд удаляется на совещание и через полчаса возвращается. Председательствующий объявляет, что суд удовлетворил ходатайство защиты, и тем самым судебное разбирательство откладывается на неопределенное время.

Так пока закончился интереснейший судебный процесс, к которому мы несомненно еще вернемся.

Попутное замечание: из гигиенических соображений публике на галерее не разрешено было плевать на головы внизу сидящих. В каком положении оказываются люди, которым приходится уносить на волосах вредные микробы?! Надеемся, этого замечания будет достаточно для того, чтобы внизу были повсюду расставлены плевательницы.

## Дачицкая история

### I

**Н**очной караульщик Вацленяк, неуклюже двигаясь в час пополуночи по Водной улице в высоких сапогах и тулупе, предавался скорбным мыслям о том, что его коллега Зима тем временем допивает в их каморке на городской башне оставшийся в бутылке ром, как увидал вдруг перед домом купца Вондрака нечто, что привлекло его внимание: а) Подвал Вондрака, вернее, обитые жестью двери, выходящие на Водную улицу, были распахнуты,

в) в подвале горел свет, отбрасываемый маленьким фонариком,

с) среди бутылей, ящиков и прочего товара суетился какой-то мужчина,

И, наконец, д) этот мужчина своей конфигурацией не походил ни на кого из жителей Дачиц.

Как явствует из вышесказанного, Вацленяк был весьма наблюдателен и по сему, мысленно сопоставив эти факты, пораженный, шагнул на первую ступеньку ведущей в подвал лестницы и стоял так минут пять в нерешительности, размышляя, как ему лучше поступить.

Пока он предавался наблюдению за незнакомцем, который, заметив его присутствие, приостановил свою работу, заключающуюся в том, что он складывал различные предметы в мешок.

«Будь у этого человека козлиная борода, то это был бы, ни дать ни взять, Ружичка с Жабьей улицы», — решил Вацленяк и потому спросил:

— Вы Ружичка?

— Нет, — ответил неизвестный и задал, в свою очередь, изумленному Вацленяку такой вопрос:

— А вы ночной сторож?

— Верно.

— Тогда заходите!

Получив приглашение, Вацленяк спустился со ступенек вниз, где и остановился, все еще не понимая, что, собственно, здесь происходит.

Незнакомец предложил ему присесть на одну из бочек и доверительно общил:

— Я новый приказчик пана Вондрака.

— А я и не знал, — учтиво заметил Вачленяк, — что у него объявился новый приказчик, Вондрак всегда скрытничает.

— И в первую же ночь заставил надрываться, — продолжал незнакомец. — Одному приходится все готовить к отправке.

Вачленяк вожделенно впился взглядом в бутылки с вином, которые новый приказчик складывал в мешок.

— Что верно, то верно, — заметил он, — это известно, что у Вондрака все надрываются.

— Как лошади, — молвил приказчик, — прошу вас, откройте тот ящик, может быть, именно там есть сахар. Держите долото. Я еще не разбираюсь, что где.

— Тут крахмал, — сообщил Вачленяк.

— Его-то мне и надобно, — ответил приказчик и опустил продолговатую коробку в мешок.

— Должен и я отблагодарить друга, — усмехнулся он вдруг и взял из закутка бутылку рома. — Получайте-ка за ваши труды!

Манеры незнакомца пришлись Вачленяку по сердцу, и он, расчувствовавшись от его доброты, прошептал, засовывая бутылку под тулуп:

— Награди вас господь.

Ночной сторож Вачленяк постоял еще немного и послушал рассказ нового приказчика о больших магазинах в больших городах, где он работал прежде.

— Обокрасть такое заведение, — говорил приказчик, — дело трудное, там повсюду электрические звонки.

— И то верно, — кивал Вачленяк головой, — всякого напридумывали, и хорошего, и плохого. — Ну, желаю вам всего наилучшего, а мне пора. Служба есть служба.

— С богом, — простился приказчик. — Я тоже скоро закончу и пойду спать. Прощайте.

Вачленяк вышел из подвала радостный и растроганный: вот ведь есть еще на свете хорошие люди. Взять хотя бы этого нового приказчика пана Вондрака. Видит человека впервые, а преподносит ему бутылку рома.

— А Вондрак, — ворчал Вачленяк, приближаясь к городской башне, — неискренний человек. Ни словечком не обмолвился про то, что нанял нового приказчика.

Поднимаясь по скрипящим ступенькам наверх, на башню, он рассудил, что коли его коллега Зима выпил оставшуюся половину рома, то и он не станет делиться с ним презентованным. Все выпьет один, а Зима пускай пеняет на себя за свою непорядочность.

Так оно и было. Зима лежал в постели и, прикончив всю бутылку, спал сном праведника.

Вачленяк помянул некую скотину, улегся на свою постель и, осторожно раскупорив бутылку, хлебнул, потом еще несколько раз приложил горлышко бутылки к губам и уснул, благословляя в душе своего благодетеля, нового приказчика купца Вондрака. Теперь он снился ему таким, как он видел его на-

яву — мужчина лет тридцати пяти от роду, с маленькими черными усиками, с лицом, слегка побитым оспой. Фигура этого доброго человека покачивалась, и бутылки с ромом окружали его, словно листья лаврового венка. И Вачленяк даже во сне ощущал, до чего он мил ему, как не может он оторвать своего взгляда от его физиономии, и греющее тепло дружеского расположения горело в его душе, он все говорил что-то и улыбался, обращаясь к новому приказчику.

«Ночью обчистили лавку Вондрака», — эта новость на следующий день всколыхнула Дачице и стала предметом горячего обсуждения, всех занимал каверзный вопрос «Кто обчистил лавку». Разговоры сводились к решительному предположению, что это сделали воры и, вероятнее всего, воры чужие, ибо в Дачицах своих воров не было. Повторяю еще раз: в Дачицах не было своих воров! Их не было никогда! Так, по крайней мере, утверждали старики. Воры бывали людьми пришлыми, насколько помнят старейшие жители, ибо и в давние времена и времена нынешние не было ни единой кражи, если не считать случая, когда пять лет назад на ежегодной ярмарке бродячий точильщик с исключительной дерзостью, ровно в полдень, стащил буханку хлеба, два чулка и трубку, которую тут же набил табаком, закурил и преспокойно зашагал прочь, под взгляды изумленных горожан, не знакомых, вероятно, даже по слухам с идеями общности имущества, не говоря уж о самой глубокой из них, что «имущество есть воровство», которую бродячий точильщик осуществил на практике. Вот и все. Покой горожан нарушался, лишь когда вдруг понесут лошади или волы, взбрыкнет корова, когда на свиней нападет краснуха, если появятся цыгане и цыганки, если в праздник тела господня льет дождь или собака кого-то из местных жителей вдруг взбесится, а также если начнется пожар, если похороны или свадьба, и когда молодой человек из местных прогуливается с молодой девицей, не вселяя надежды, что имеет намерение жениться.

Лишь подобные происшествия приводили всех в смятение и вызывали волнение до тех пор, пока новые происшествия не дадут пищи для разговоров на улицах, на площади, в галереях, домах, в трактирах и в ратуше.

«Ночью обчистили Вондрака!» Эта весть превратила спокойных дачицких жителей в сангвиников.

Пан почтмейстер бегал по площади, распахивал двери лавок и кричал:

— Вы уже знаете? У Вондрака ночью обчистили склад.

А за ним семенил советник магистрата Павлоушек, известный своей невозмутимостью, который не дрогнул, даже когда прострелил родному сыну штаны на осенней охоте. Этот уравновешенный господин размахивал руками, останавливал встречных-поперечных и вопил:

— Вондарк ограблен, Вондрак ограблен!

Подробности происшествия уже облетели весь городок.

Купец Вондрак, по своему обыкновению, отправился утром в лавку и тут обнаружил, что дверь на склад открыта.

— Я испугался, — таковы были его собственные слова, — так сильно, что побелел, как полотно. Спускаюсь, дрожа, вниз и осторожно держу свечу перед собой, а сам боюсь, ибо мой дядюшка Валоушек однажды угрожал, что повесится в моем складе. Я, значит, приготовил нож, чтобы сразу обрезать веревку, пото-

му как дядюшка своему слову хозяин и уж если что сказал, значит, сделает... Спустился я вниз, осветил фонарем вокруг и выронил фонарь из рук. Я закричал, все перед глазами сделалось красным, и я упал прямо на бочки. Так меня и нашли.

Последнее слово было, естественно, за его женой. В соответствии с рассказом своего супруга, она сообщила следующее:

— Мне показалось подозрительным (господи Иисусе, вот беда!), мне показалось подозрительным, что Франтишек так долго не возвращается из подвала. Подошла я к двери: «Франтишек, кофе стынет». (На самом деле она кричала: «Ты что думаешь, я тебе сто раз буду кофе греть?») Вондрак не откликается. Я позвала еще раз: «Ступай домой, ты же простынешь!» Опять не отвечает. Тогда я спустилась вниз, а там тьма-тьмущая. Мне это показалось подозрительным, вернулась я в лавку и говорю нашему приказчику: «Пан Войтех, ступайте поглядите, где мой старик?» Он вроде стал спускаться в подвал, но там темно. Пошли мы с ним вместе и свечу зажгли. И тут я увидела весь этот погром. Вондрак лежит без памяти на бочках: одна рука в бочке с повидлом, другая в квашеной капусте, а лицом уткнулся в смалец. «Иисус Мария, — кричу я, — муж, опомнись, Иисус Мария, что с тобой?» Войтех говорит: «Не пугайтесь, не иначе его хватил кондрашка». Стала я трясти мужа, но, только когда Войтех сообразил сбрызнуть его водой, муж пришел в себя да как закричит: «Меня ограбили!» — а как огляделся вокруг, снова повалился без памяти. Облили мы его водой, и он опять пришел в себя. Тут мы увидели, что натворили воры. Вина нету, рома нету, сахар, крахмал, все перерыто, и тогда нам пришлось Вондрака удерживать. Он вылупил глаза и орет то в один, то в другой угол: «Сдавайся, не то прикончу!» Потом кинулся душить Войтеха и, наконец, зарыдал. Он рыдает, я рыдаю, Войтех рыдает. У всех глаза покраснели. Экое разорение, пресвятая дева Мария, чтоб господь бог тех воров покарал, чтоб горели они в геенне огненной.

— А украли они того немало, — добавил Вондрак, — сотня, полторы сотни, считай, пропали.

И так и вроде того судачили люди с самого божьего утра, собирались кучками с лицами, красными от возбуждения.

— Это не наши, — убежденно твердили дачицкие жители, что звучало столь же веско, как если б они сказали: — Это не мы.

Споры становились все оживленнее, предположения все более изощренными, но факт оставался фактом, и от этого не уйдешь: купец Вондрак ограблен, грабеж имел место в его подвале, грабителей, судя по следам, оставленным в подвале, было двое, убыток составляет полторы сотни, а грабеж был совершен ночью. Больше ничего известно не было. И вдруг кто-то закричал:

— А что же караульщик-то?

Кто же еще, кроме него, мог пролить хоть немного света на тьму этого происшествия? Рассуждали следующим образом: возможно, Зима или Вачленяк видели во время своего обхода незнакомца, но не остановили из почтения, которое испытывали все дачицкие жители к чужестранцам, тем не менее хорошо запоминая их физиономии, или, услышав незнакомые голоса, способные воспроизвести их, что может навести на след преступника, так же, как описание лиц незнакомцев, их одежды и манер.

— Это дело надо выяснить, — сказал один из дебатирующих, — обождем,

что сообщит караульщик!

— Я схожу за Вацленяком, — заявил кто-то из граждан.

Он встретил Вацленяка, когда тот в превосходном настроении спускался с городской башни и насвистывал какой-то церковный мотивчик.

— Вам уже известно, какие у нас новости? — вскричал ему навстречу дачицкий гражданин.

— Вы имеете в виду нового приказчика Вондрака, пан Пелишек?

— Что это вы несете? — изумился Пелишек. — У него приказчиком все тот же Войтех. Но у Вондрака ночью обокрали склад.

— Боже праведный! — выбил Вацленяк зубами дробь и произведя движение, будто собирался за что-то ухватиться, упал со ступенек прямо на пана Пелишека, который, упав в свою очередь, катился до самого низа, где и задержался, чем помешал Вацленяку вывалиться из дверей на улицу.

Не утратив, однако, присутствия духа и поднявшись, он спросил:

— Вы ничего подозрительного не видели ночью?

— Я? — пролепетал ночной сторож Вацленяк, которого, благодаря тому, что он был чрезвычайно сообразителен, мгновенно осенило. — Нет, я ничего не видел. Поглядите, я же весь дрожу. Это просто невозможно, чтоб его обокрали.

Вацленяк стоял, потупив глаза, и вместо Пелишека видел перед собой того самого нового приказчика с черными усиками и физиономией, побитой оспой.

Страшная действительность стояла пред ним, это был его первый грех, первое пятно на его прежней безупречной репутации, он понял, что, ослепленный доверчивостью, он, дачицкий сторож, помог обокрасть своего ближнего, дачицкого же гражданина, а ведь ему, Вацленяку, жители вверили свое имущество на ночь!

Розыски воров не увенчались успехом. Жандармы не обнаружили ничего, а два городских полицейских и подавно, и потому история осталась покрыта мраком неизвестности.

Выяснили, что ни Вацленяк, ни Зима во время ночного обхода не обнаружили ничего подозрительного. Допрос обоих стражей не пролил на дело никакого света.

Пан бургомистр заявил, что хотя правосудие мирское воров не покарало, но есть инстанция превыше его. Котлы адские, смоляные.

Итак, Вондраку не оставалось ничего иного, как тешить себя благочестивой мыслью о том, как на том свете грабители горько заплатят за его ром, вино, сахар и крахмал.

А Вацленяк все тощал.

Его не оставляли мысли о «новом приказчике». Он постоянно видел его перед собой, видел его побитую оспой физиономию. Он ощущал тяжесть подаренной бутылки рома. Совесть до того истерзала его, что он даже не допил бутылку, ибо содержимое казалось ему теперь горше, нежели серная кислота.

Вацленяк спрятал бутылку под матрац своей кровати, но видел все одни и те же сны. Он видел подвал Вондрака, видел себя, как открывает ящик и говорит: «Тут крахмал», как он беседует с вором, а тот дает ему бутылку рома, огромную бутылку, он хочет выпить, засовывает в нее голову, понемногу забирается в неё весь и тонет.

Бедняга при этом потел, а проснувшись, обзывал себя именами всех полезных домашних животных, чаще другого повторяя: «Я — вол, осел, мул», и тому подобное.

А когда, задумавшись, сиживал в трактире под аркой, то посетители вокруг частенько слышали, как он твердит: «Новый приказчик, новый приказчик».

## II

Дачицкие жители, как я уже заметил выше, были люди спокойные. И именно поэтому они были консервативные. Ни один новый политический лозунг не мог взволновать их, в городе был лишь один социалист, но и ему нечего было есть, о нем говорили, будто он социалист именно потому, что ему нечего было есть, хотя его убеждения ничуть не отличались от консервативного образа мыслей его сограждан. Пока что он просил милостыню возле костела.

Итак, они были консервативны. Я не хочу в связи с этим утверждать, будто они были глупы, что явствует из истории с ночным сторожем Вачленяком.

Консерватизм дачицкие жители унаследовали от отцов. Они чтили своих предков, и пиетет к старым привычкам был столь велик, что пан бургомистр угодил в яму посреди площади, ибо его предшественник тоже в ней сломал себе руку, а предыдущий бургомистр вывихнул ногу, и все это приключилось почему-то ночью.

Отец советника Матоушека, также советник, имел привычку во время заседаний магистрата выдергивать себе волосы, приятно при сем улыбаясь, и нынешний советник Матоушек улыбается так же приятно и дерет свои грубые щетинистые волосы.

Прежний бургомистр вечером хаживал по левой стороне площади, и нынешнего бургомистра Боровичку мы всегда под вечер встречаем там же.

Я мог бы привести и другие доказательства тому, как почитают здесь стародавние обычаи. Дедушка кузнеца Малого, например, повесился в городской роще на дубу в возрасте пятидесяти лет, как и сын его кузнец, а сына предыдущего пришлось вынимать из петли тоже в городской роще, он повесился, конечно, на дубу и тоже в пятидесятилетнем возрасте.

Возможно, кто-нибудь покачает головой и возразит: «тяжелая наследственность». Никоим образом! Их просто тянет к старым обычаям, одолевает уважение к предкам, иначе всем дачицким жителям можно было бы приписать тяжелую наследственность.

Это можно было бы сказать о голубятнике Кнедличке, который так же, как его отец, женился в возрасте семидесяти лет, о владельце табачной лавочки Подлоушеке, который, следуя примеру отца и деда, носил на праздник тела господня балдахин и постоянно бранился с министрантами.

И о дядюшке Кейдане, том самом, что, как его отец и дед и прадед, пропил приданое, полученное за женой, и кончил тем, что таскался от одних родственников к другим и гадал на картах.

Консерватизм проявлялся в хозяйстве, как личном, так и общественном. Речонка, огибавшая город, разливалась каждой весной и затопляла нижнюю часть Дачиц, и никому не приходило в голову, что было бы достаточно самой обыкновенной плотины, чтобы предотвратить бедствие. Не приходило это отцам, не приходило и сынам, и своенравная речонка каждую весну упорно искала новое русло, и более всего ей нравилась площадь, окруженная прилепив-

шимися к ней старыми домиками с эркерами и галереями, где происходили знакомства между кавалерами и местными девицами, ибо их отцы заводили знакомства тоже здесь, о чем можно судить хотя бы по тому, что они стали отцами.

Объясняться в любви дачицкие жители с незапамятных времен ходили в городскую рощу. Там были сиденья из дерна, где удобно обниматься и говорить: «Я люблю вас пламенно!», что являлось обычной формулой для изъяснения чувств в Дачицах, одинаково принятой как у сыновей, так и отцов, у дочерей и у матушек, формула столь же древняя, как дерновые скамейки.

И стряпали точно так же, как и встарь. Нынешний бургомистр (так его титуловали, и я тоже употребляю сей титул) любил поросячий пятачок, ибо и его отец охотно едал его, советник Пршелочка в среду желает иметь на столе огуречную подливку, по той причине, что пани Матоушкова на нее мастерица, по той причине, ну, вы об этом и сами догадаетесь без труда... я мог бы привести столько примеров, сколько народу проживает в этом городе.

Так же консервативны здесь и животные. Следует привести лишь несколько примеров. Конь покойного возчика Мальвы был с норовом, и конь его сына тоже с норовом, собака пекаря Брадача хромает, хромал и дог старого Брадача. В доме шорника Данека с незапамятных времен родится котенок кривой на один глаз с черным пятном на голове, с незапамятных же времен оставляют в живых именно такого, в то время как остальных топят.

Поросята пана старосты весят перед убоем 200 кг, потому что поросята его отца перед убоем весили 400 фунтов и так далее...

И даже флора не меняется. Земляника огородника Пержинки достигает обычно внушительных размеров, но лишь на трех кустиках, что в углу огорода. Поглядеть на нее в мае ходят все дачицкие, а он говорит то же, что говаривал его папаша:

— Хороша, стерва.

У Прошекков виноград на беседке созревал в то время, когда у других он еще остается зеленым. И крайне странно, что там всегда находят две грозди, сросшиеся вместе, подобно тому, как издавна в сливах садовника Брзлика, среди тысячи слив находят две, а то и три с двойной косточкой; и так далее.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, никто, вне всякого сомнения, не станет удивляться, что семейство торговца сеном Патрного, известное тем, что старший сын всегда выбирается депутатом от всего уезда, а когда сын сына уже входит в разум, отказывается от мандата на выборах, а поскольку Дачице задают тон всему уезду, то младший Патрный бывает избран всегда единогласно. Так все идет и идет издавна.

И новый депутат, как и его отец, отстаивает консервативные принципы своего родного города тем, что во время всех речей в нижней палате, противных его принципам, демонстративно спит в своем депутатском кресле. Во время голосования он никогда не голосует, о чем бы ни шла речь, никогда не волнуется, никогда никого не ругает и лишь однажды прервал заседание парламента, упав во сне с кресла, разбив себе нос и пролив таким образом свою кровь в парламенте за народ... Поведение каждого депутата из Патрных всегда безукоризненно, председателю палаты еще не случалось призывать их к порядку. Если он не спал, то сидел спокойно у стола и подсчитывал фактуры за сено на брошюрах, выданных канцелярией парламента. Он не произнес

еще ни одной речи, единственно по той причине, что полагал, будто его речь может быть опубликована в газете, которые он ненавидел с тех пор, как об его отце некая газетенка написала: «Сей уважаемый депутат, преуспевающий торговец сеном, несомненно, не будет на нас в претензии, если мы повторим вопрос одного из наших читателей: «Должна ли быть у торговца сеном набита сеном также и голова?»»

Короче. Отец Патрный был депутатом, сын его депутатом и сын сына был тоже слугой народа... Это разумелось само собой, как и то, что лошади покойного возчика Мальвы бывали всегда строптивы, а земляника у огородника Пержинки всегда достигала в длину пяти сантиметров, но только на трех кустах...

Следовательно, так же разумелось само собой, что коли Франтишек Патрный отказался нынче от мандата, то теперь сын его Йозеф Патрный станет после него депутатом. К нему уже обращались «пан депутат», уже должно было состояться предвыборное собрание в большой зале муниципального дома, когда вдруг общество избирателей города Дачице и округи получило следующее письмо:

*«Ваше благородие! Дозвольте мне сообщить Вам, что я намерен выставить свою кандидатуру на вакантный мандат после снявшего с себя полномочия пана Франтишека Патрного и намереваюсь также произнести речь на Вашем высоком собрании избирателей, где буду иметь честь представиться.*

*С глубоким уважением  
Ян Котларж,  
помещик в Мышицах».*

А произошло это через три года после того, как был ограблен кузец Вондрак...

### III

Послание это потрясло все слои населения. Высказывались мнения не слишком лестные, и клуб избирателей города Дачице и окрестностей в первые минуты не знал, как вести себя в отношении пана Котларжа. Председатель клуба целую неделю протаскал письмо в кармане, колеблясь, должен ли отвечать чужаку.

В клубной зале «У оленя», неподалеку от старых ворот, велись страстные дебаты, и пан Йозеф Патрный принял активное участие в общем разговоре. Он заявил, что удивлен, весьма удивлен. Это и была вся его речь, в связи с чем председатель Богачек заметил, что касается его лично, то крайне удивлен, а главный выборный агитатор шорник Жабачек заявил: «Сдается мне, что хуже некуда».

Пан же Краловец, привстав с места, сделал негодующий жест и сказал:

— Что тут долго рассуждать, хватит об этом. Будь что будет!

Часовщик Криштоф, который всегда голосовал в черном костюме с белым галстуком, изрек весьма многозначительно:

— Надо выждать, как будут развиваться события дальше. Еще не пробил последний час.

Выждать! Вот лучшее, что можно придумать! А между тем возникали разные предположения, в какой одежде, например, явится пан Котларж из Мышиц на выборное собрание, и каждый страстно желал знать, что тот скажет и

как объяснит, почему выдвигает свою кандидатуру.

Пан Котларж и сам этого толком не знал.

Он поступал так не из честолюбия, ибо был человеком скромным, и не по причине недовольства господами Патрными, а точнее, тем, как они защищают интересы всего уезда, и уж никак не по той причине, что внезапно изменил свои политические убеждения.

Ничуть не бывало — он такой же консерватор, как и все дачицкие жители, и политические его убеждения ничем не отличаются от политических убеждений господ Патрных, чьими принципами, чистыми и безупречными, было: «Отдайте богу — богово, а кесарю — кесарево!» Что явствовало из надписи над входом в их лавку.

Как и все они, Котларж почитал все черное и желтое, обожал уездного начальника и выписывал немецкую газету, хотя языка немецкого не знал.

Пан Патрный и он, Котларж, были идейными близнецами. Почему-то ему вдруг взбрело в голову, что он может баллотироваться. Дело тут, видимо, в том, что однажды ночью ему приснилось, будто приходит к нему жандармский вахмистр, а его Котларж уважает, и говорит: «Пан Котларж, а вы не хотели бы стать депутатом?»

Целый день Котларж обдумывал свой сон, а когда на следующую ночь ему приснилось, что пришел к нему уездный вахмистр и с улыбкой, шлепая его по брюшку, молвил: «Пан коллега, сделайте такую милость, баллотируйтесь», Котларж счел сии смелые сны за перст божий и заказал в городе визитные карточки: «Кандидат в депутаты».

Отправляясь в город, он намеревался, если говорить честно, убить одним выстрелом двух зайцев. Дело в том, что пана Котларжа вызывали в суд, ибо некая мышицкая батрачка подала на него жалобу о признании отцовства, впрочем, это к делу не относится...

Итак, пан Котларж собирался на избирательное собрание в Дачице, где уже вовсю шла подготовка: убирали большую залу, чистили люстры и потолок чистили тоже, употребив для этого хлебный мякиш из двух буханок, пол драили жесткой щеткой, а окно, выдавленное на последнем собрании избирателями, не взяв ничего за работу и за стекло, вставил стекольщик Лаштовик. Нынче таких людей уже не встретишь.

И когда в городе стало известно, что зала уже готова к столь важному событию, люди стали чертить на дверях своих домов палочки мелом, с заходом солнца стирая одну за другой, и когда в нетерпеливом ожидании стирали третью, то уже знали, что завтра, в воскресенье, в три часа пополудни состоится собрание, где объявится тот настырный чужак, о существовании которого хотя и было известно, но с которым, исключая двух-трех человек из дачицких, никто не сказал и слова, потому как Мышице находятся на расстоянии шести часов от Дачиц, а шестичасовой путь для дачицких граждан все равно как если бы кто-то заявил: «Я иду пешком из Праги в Венгрию».

#### IV

Все три предшествующие главы могут служить лишь введением, ибо имеют только косвенное отношение к тому, что стряслось позднее, и почему по всей необозримой округе репутация Дачиц и дачицких жителей после собрания избирателей погибла безвозвратно, и почему их стали называть варварами, и никто окрест не мог о них даже слышать, именуя болванами и тому по-

добное!

Исключительно это обстоятельство вдохновило меня, и я, взяв в руки перо, изобразил все достопамятные события, случившиеся в Дачицах. События, стоящие того, чтобы о них написать, о них прочитать и усомниться.

Sit venia verbo![77]

## V

В один прекрасный летний полдень дачицкие граждане сидели в саду Стршельнице вместе со своими женами, сыновьями и дочерьми и за кружками пива местного пивоваренного завода слушали композицию, точнее, сочинение капельмейстера своей капеллы.

Местоимение «свое» вообще играло большую роль в их жизни. Стршельнице был их, ресторатор был их, все, что они видели вокруг, принадлежало им.

Сидели они у себя, за круглыми столами, над ними шумела листва деревьев, сквозь листву голубело небо, и, поглядывая на небо, они удовлетворенно улыбались, словно бы и это небо над Дачицами тоже принадлежало им.

Птицы в кронах деревьев пели, их птицы, ибо они, дачицкие жители, кормили и пеклись о них, о чем свидетельствовали деревянные строеньица, белеющие среди зеленой листвы.

Официант, который их обслуживал, был тоже свой, родом из Дачиц, в будние дни он портняжил, а по воскресеньям и праздникам — подрабатывал в местной загородной ресторации «Стршельнице».

Столы, за которыми они сидели, были делом рук городского столяра Рамилека, кружки, из которых пили, поставлял сюда дачицкий стеклодув Колечек, скатерти на столе были из полотняной лавки дачицкого торговца полотном Малены, а сигары, которые они курили, из дачицкой табачной лавочки, так же как и табак, который они нюхали.

Рогалики, которыми они похрустывали, выпекал дачицкий пекарь Брадач. Если кто-то заказывал паприкаш, то мог быть уверен, что это блюдо изготовлено из говядины собственного откорма.

А глянув вниз с косогора, на котором раскинулись Стршельнице, они видели Дачице, свои дома и старые строения под красными черепичными крышами, эркеры, подворотни, арки, статую святого Иосифа на площади. На шпиле их костела сверкал крест, на городской башне можно было разглядеть выщербленные бойницы и дырявую крышу, а вокруг, куда ни кинь взгляд, одни красные крыши, до самой речки, за ней уже начинаются Пшары, предместье с хибарами, крытыми дранкой и соломой. Здесь заканчиваются Дачице. А вокруг их города раскинулись их поля, зеленеют их луга, темнеют рощи, леса и посадки с их охотничьими угодьями, где водятся их зайцы, куропатки, перепела, кролики и воробьи.

Поэтому и сидели они такие довольные в окружении всего своего. Капелла играла, они кричали «бис», яростно хлопали в ладоши, и снова вокруг разносилась мелодия, сочиненная дачицким капельмейстером, который хоть и был каменщиком, но тем не менее человеком преотличнейшим, он сложил уже шесть музыкальных пьес, никуда, правда, не годных, но которые дачицким нравились, ибо они сложены их земляком.

— Повторить!

Сегодня в двадцатый раз исполнял им капельмейстер свою пьесу, а они сопровождали ее деликатным посвистыванием и мурлыканьем, пиво сегодня

было замечательно крепким, воздух спокойным и приятным, на небе ни облачка, и сиделось им здесь преотменно, отменно пилося, и беседовалось, и кричалось «Бис!», «Повторить, пан Змрзлик!».

Возле самой веранды, где играла капелла талантливого каменщика, состоящая из одного портного, одного меховщика, трех приказчиков и одного полицейского, стояли два составленных вместе круглых стола, а за ними сидели сливки дачицкого общества, проходя мимо которых, каждый дачицкий горожанин не преминул отвесить поклон и пожелать «Доброго здоровьичка!».

Здесь сидел пан Йозеф Патрный, ныне уже действительно депутат, вместе с женой Анной, оба достойно тучные и выбритые, что, если говорить о его супруге, могло бы где-нибудь дать пищу для шуток, но никак не в Дачицах. Рядом с пани Анной сидела их дочь Анежка, которую нежно называли Нежей. Возле Анежки примостился двадцативосьмилетний сын советника Матоушека, наследник своего отца, а тот с лицом, красным от счастья, сидел возле пана Патрного, ибо всегда заливался краской, увидав своего Франтишека рядышком с барышней Нежей, потому как сие являлось для него не только большой честью, но и давало повод для счастливых мыслей относительно того, что эта парочка станет однажды добрыми супругами, о чем он, уже частенько беседовали с паном Патрным.

Рядом с советником Матоушеком восседал заросший волосами пан староста Боуржичек, то и дело заправлявший нос щепоткой нюхательного табаку и утирающий физиономию своим большим красным платком. К пану Боуржичку жался советник Пршелочка, весьма смешливый старый господин, который все время хохотал и поводил плечами.

Затем доктор Велишка, тоже старый господин, который, между прочим, все хвори лечил водой и заявлял пациенту: «Без воли божьей и волос с головы не упадет!» Он был старой школы и, если умирал его больной, в день похорон постился и не курил.

Сейчас он беседует с почтмейстером Бертиком, бывшим жандармским вахмистром, у которого была привычка, слушая кого-нибудь, почесывать нос, поначалу медленно, а потом все быстрее.

Пан Бертик говорит:

— Jawohl, mein Freund[78], — и достает щепотку табаку из берестяной табакерки сидящего рядом с ним советника Павлоусека, который сидит смиренно и по своей привычке работает челюстями, чем приводит свои уши в движение и преспокойно шевелит ими, над чем тихонько хихикает сидящая напротив блондинка барышня Нежа и подталкивает локтем бледного Матоушека, который деликатно кашляет, прикрывая рот ломтиком хлеба.

Пан Пршелочка поддерживал все общество в состоянии веселья. Он рассказывал анекдоты, которые никого не оскорбляли и над которыми могли посмеяться и дамы тоже, что они и делали беспрерывно и громко. Нежа от смеха присвистывала, а пани Анна, басовито хохоча, хлопала мужа толстой рукой по спине.

Почтмейстер Бертик смеялся «ха-ха», пан доктор «хе-хе» и чихал, пан депутат смеялся «хо-хо», а пан Матоушек «хи-хи». Это были, ничего не скажешь, превосходные анекдоты. Может, где-нибудь в другом месте они и не понравятся, но в Дачицах их почитают за истинно золотые россыпи юмора, и никому не мешает, если кто-то из сидящих перебивает пана Пршелочку, дачицкого

короля острословов, замечаниями и репликами, которые бывают иногда не менее остроумны, нежели сами анекдоты.

— Я расскажу вам, — сказал Пршелочка, когда капельмейстер объявил, что сейчас будет перерыв, чтобы музыканты могли подкрепиться, — я расскажу вам отличную историю про лису.

— Про лису, говорите, ах вы, старый лис, — хохотал поддерживаемый всем обществом пан бургомистр, — ну, рассказывайте про лисичку, старый лис!

Новый взрыв смеха.

Пан Пршелочка отхлебнул и заговорил:

— Отправился я однажды в гости к своему дядюшке-леснику.

— А у вас еще и дядюшка имеется? — невинно спросил пан Патрный среди бурного веселья.

— К этому дядюшке я, значит, и пошел.

— На своих на двоих? — спросил советник Матоушек, весело подмаргивая сыну.

— Да, на своих на двоих, и когда я пришел к дядюшке-леснику...

— ...то собрались два плута вместе, — провозгласил ко всеобщему веселью почтмейстер.

— Дядюшка-лесник встретил меня весьма сердечно...

— Но надеюсь, обошлось без поцелуев, — усмехнулся пан доктор.

Новый взрыв хохота.

— И говорит: «У нас здесь развелось множество лисичек...»

— А лисов? — не упустил случая староста, чтобы повторить под общий смех городских тузов свою шутку.

— Они причиняют нам такой урон, что приходится подбрасывать им сардельки, отравленные стрихнином.

— Стрихнин, — заметил пан почтмейстер. — Когда я был еще жандармом, я разбираю одно дельце. Некая краля отравила своего мужа, история была путаная, потому что сама она повесилась.

Барышню Нежу развеселило и это.

— Значит, так: дядюшка приказал сардельки сварить, нашпиговал их стрихнином и разбросал вокруг дома.

— Приятного аппетита, — зашелся от смеха советник Матоушек, — а сарделек много?

— Много, — ответил рассказчик. — И вот пошли мы как-то за дом поглядеть. И что же мы там видим...

— Сардельки со стрихнином, — изрек староста.

— Их тоже, но и лисицу, которая стоит прямо перед нами. Дядюшка снимает с плеча ружье и стреляет. Бац! Лиса все стоит, как пень. Он снова заряжает и — бац! Лисица ни с места, все стоит. Сами понимаете, нам это показалось странным, бежим к ней поглядеть. И знаете, в чем дело?

Пан Пршелочка смолк, улыбнулся и в напряженной тишине произнес: «Эта лисица, скажу я вам, до того нажралась отравленных сарделек, что у нее не было сил свалиться...»

— Ха-ха! Хе-хе! Кха-кха, апчхи.

— Будьте здоровы.

— Хо-хо! Хи-хи!

Смеялись все. И у других столов, услышав, как смеются городские тузы, хо-

хотали тоже. Смех не утихал долго.

— Ох, и хитрый же вы лис, — кричал пан староста, — ну и удружили!

Музыканты опять объявились на веранде, послышалось бурное «браво!», и капельмейстер сегодня уже в двадцать третий раз заиграл свое новое произведение «Кошачья свадьба».

Барышня Нежа шепнула маменьке:

— Я хотела бы прогуляться с паном Матоушек, ты нам позволишь?

Пани Анна улыбнулась и кивнула головой. Молодые люди поднялись и удалились под смех оставшихся, весьма многозначительно указывавших на них пальцами.

А музыка играла, птицы пели, и посыпанная песком дорога, ведущая в городскую рощу, была столь заманчива, как и ее тень, и приглушенная тишина над дерновыми сиденьями в зарослях.

Барышня Нежа шествовала рядом с молодым Матоушек, который двигался, словно агнец, не глядя ни влево, ни вправо, уставившись лишь вперед, где находилась городская роща, и было ему почему-то страшно.

Он говорил с Нежей о лисах, о пане почтмейстере и о ценах на сахар, которые все росли.

А барышня Нежа переводила разговор на другую тему. На тему о том, как Пепичек Кейгак целовал за воротами Маржку Лойковых, и Матоушек-младший, полный ужаса, как только оказался в городской роще, сразу же опустился на дерновое сиденье.

Он хотел сказать Неже, что любит ее, что унаследует после отца лавку, что тоже будет советником. Сколько раз он уже хотел сказать ей это именно здесь, но и сейчас, как и две недели назад, оробев, перевел разговор на керосиновые лампы.

А было здесь восхитительно. Доносилась приятная музыка, тень от деревьев и кустов была чрезвычайно нежна, яркая зелень вокруг благоухала. Прелестная Нежа в своем платье из ситчика была так близко...

Ну, а Нежа? Та была грустна. Уже два года водит она молодого Матоушека в городскую рощу, дает ему понять, что ему надобно только выдавить из себя объяснение, но каждый раз он заводит речь про цены на товар, которые либо растут, либо падают.

— Пан Матоушек, вы очень рассеянны, — молвила Нежа, в то время как он задумчиво покусывал веточку дикой сирени.

— Да, это так, — отвечивал Матоушек, — вчера опять уронил две бутылки на пол. Одна разбилась вдребезги, — добавил он со вздохом.

— Почему ж вы так рассеянны?

— Зачем вы меня мучите? — печально произнес Матоушек. — Я поскользнулся и все тут.

— А почему вы поскользнулись?

— Потому что я кой о чем думал.

— А о чем вы думали?

Матоушек зарделся:

— О том, что надо переставлять полки, а еще... — он умолк.

— О чем же еще, пан Матоушек?

— О сегодняшнем дне, барышня Нежа. Я радовался. Пан Пршелочка весьма забавный человек...

Нежа вздохнула, умолкла, а потом заявила:

— Маржка Лойковых сказала мне такую странную вещь. Говорят, если мужчина наступит барышне на ногу, значит, он объясняется ей в любви. Что вы на это скажете?

Молодой Матоушек встал, потом сел и вдруг быстро влез ногой барышне Неже на туфельку, она же воскликнула:

— Нет, не на эту, на левую, на правой у меня мозоль!

И Матоушек наступил Неже на левую ногу, заливаясь краской от радости...

Как мы видим, воскресный день окончился ко всеобщему удовольствию, ведь со Стршельнице неслось бурное требование, чтобы капельмейстер в двадцать четвертый раз сыграл свое новое произведение...

## VI

Это была преочаровательнейшая идиллия, тем более прекрасная, если вспомнить, что в Дачицах жили столь счастливые люди, которые любили друг друга, конечно же, в меру и спокойно. Здесь никто еще не повесился от несчастной любви, никто никого из-за несчастной любви не убил, ибо влюблялись друг в друга всегда лишь те, которые могли влюбиться и которые знали, что у их любви ни с какой стороны не будет возникать препятствий.

Ежели в Дачицах молодой человек либо, может статься, человек пожилой объяснился в любви барышне, то лишь тогда смел с ней публично появляться, и таким образом объявить согражданам, что уже решился вступить в брачный союз, который в Дачицах вызывал необычайное уважение, и только на окраине города, в Пшарах, среди мелких домовладельцев, случался иногда семейный скандал, который заканчивался тем, что муж обращался к пану старосте и глава города вызывал жену в ратушу, где и пенял ей.

И любовь в Дачицах была безупречной. Дети никогда не рождались ни до свадьбы, ни через месяц после свадьбы...

О свободной любви здесь даже не слыхали, не то чтобы о ней помышлять, потому что супруги взаимно уважали друг друга и никто не прегрешил против заповеди божьей: «Не пожелай жены ближнего своего!» Раздоры были весьма редкими, о чем я уже упоминал. В доказательство мне удалось составить некую статистическую таблицу наиболее известных супружеских распрей за последние десять лет.

Год	Имя жены или мужа, который другого обругал и т. д.	Причина скандала между супругами	Ругательства, которые были произнесены и под.
1894	Пани старостиха	Возвращение с вечеринки после дебат	Осел! (затрещина)
	Она же	Возвращение из трактира в 4 часа утра	Осел! Скот! Радуйся, что я в тебя не попала
1895	Ничего	Ничего	Ничего
1896	Малоземельная крестьянка Машкова (Пшары)	Съел ее порцию гороха	Вывихнула большой палец
	Мясничиха Коларжикова	Продал теленка, а деньги пропил	Ты скотина! Осел, остолоп!

	Она же	Продал борова, а деньги пропил	Dtto[79]
1897	Ничего	Ничего	Ничего
1898	Йозеф Енда, столляр (Пшары)	Сожгла муку для заправки похлебки и опрокинула в нее кипящий клей	Таскал за волосы и приговаривал: «Эх, жена, жена!»
	Они же	Не пожелала нюхнуть табаку у ку-ма	Угрожал заткнуть ей табаком рот
1899	Ничего	Ничего	Ничего
1900	Пани старостиха	Обзывала его	С меня хватит, не то я за себя не ручаюсь!
	Йозеф Патрный	Не получил в пятницу к обеду пышек	Ну и порядки, чтоб тебе голову снесли!
1901	Ничего	Ничего	Ничего
1902	Вондракова	Трижды подряд икнул	Можно ли с тобой куда-нибудь ходить, коли ты такой дурак!
1903	Ганка из Пшар	Хотел ее поцеловать в три часа ночи	Катись ты, не то такую залеплю!
1904	Ничего	Ничего	Ничего

Настал тот самый знаменательный день. Два дачицких полицейских встали пред муниципалитетом, куда потянулись толпы горожан, бурно обсуждающих происходящее и горящих нетерпением.

У окна была установлена трибуна, длинный стол и несколько стульев. На столе стоял знакомый стакан и графин с водой, из которого пивали все господа депутаты Патрные.

И сейчас, когда столпившиеся взирали на стакан, им было грустно. Ведь из него после произнесенной речи теперь, будет, очевидно, пить кандидат-чужак.

Зала гудела, словно улей. Все смотрели на колокольчик, которым председатель клуба избирателей всегда открывал собрание. С почтением взирали они на мягкий стул, где обычно сиживает чиновник уездного управления, и вдруг, словно волна, прокатилась весть:

— Приехал!

Пан Котларж явился в бричке, имея при себе бургомистра из Мышиц и двух наиболее уважаемых мышицких граждан.

И одновременно с его вступлением в залу, из других дверей медленно, дрожа от возмущения и клацая зубами, стал пробираться к столу пан Йозеф Патрный вместе с чиновником уездного управления.

Функционеры заняли свои места. Мышицкие граждане и отцы города выстроились под трибуной, зазвенел колокольчик, и председатель клуба избирателей от Дачиц и уезда среди гробового молчания сообщил:

— Представляю слово пану Котларжу. — Тем самым проявив уважение к иноземцам, хотя бы и враждебным.

Пан Котларж вскочил, оперся ладонью о стол, поклонился, вторую руку прижал к груди и начал говорить, как раз в тот момент, когда ночной стражник Вачленяк вошел в залу.

— Уважаемое собрание! Я позволю себе представиться почтенным избирателям. Я Йозеф Котларж, помещик из Мышиц.

Мышицкие граждане внизу согласно кивали головами.

— Я осмеливаюсь выставить свою кандидатуру на освободившееся место депутата пана Франтишека Патрного, чьи принципы я всегда уважал и с принципами которого мои принципы полностью совпадают.

Позади, где стоял ночной стражник Вачленяк, возникло оживленное движение. Как только Вачленяк взглянул на физиономию оратора, ему тут же показалось, что эту физиономию он уже где-то видел несколько лет назад. Она сдавалась ему столь знакомой, что он начал продвигаться вперед и ближе, чтобы иметь возможность в этом убедиться.

— Уважаемое собрание, — ораторствовал далее пан Котларж, — эти принципы, исключительные и прекрасные, вдохновили меня до такой степени, что я осмеливаюсь просить вашего доверия...

Вачленяк, пробираясь сквозь толпу, чтобы взглянуть вблизи на знакомое лицо, вдруг застыл на месте и побледнел. Он видел лишь маленькие черные усики под носом и физиономию, побитую оспой. Колени у Вачленяка задрожали, а когда оратор продолжил:

— ...Доверия, на которое вы с уверенностью можете опереться, — подтверждаемого моими убеждениями, всей моей личностью, моим безупречным поведением, — тут бледный Вачленяк уже не сомневался: «Да это же тот самый новый приказчик из подвала пана Вондрака, который являлся мне во сне со своими черными усиками под носом и физиономией, побитой оспой».

Вачленяк уже не слышал слов оратора: «Я буду за вас драться, обещаю, клянусь!» И не видел ничего, только эти черные усики и физиономию.

Вачленяк подскочил к столу, схватил пана Котларжа за горло и закричал:

— Я-то вас знаю! Вон отсюда! Не то велю арестовать, вон!

Ночной стражник Вачленяк тряс пана Котларжа и пытался вытащить из-за стола.

В зале поднялся страшный шум, среди которого был слышен лишь жалобный голос оратора:

— Помогите, ради бога, что это со мной делают, держите его, ради бога.

И голос Вачленяка:

— Я тебе покажу, как выставлять свою кандидатуру, я тебя проучу...

И прочие голоса.

Мышицкие граждане и начальство кинулись на помощь помещику и опрокинули стол, чиновник уездного управления свалился со стула, облился водой из графина и заорал на обеспамятевшего от испуга секретаря:

— Именем закона закрываю собрание! — чем спровоцировал всеобщую свалку вокруг оратора, вокруг мышицкой четверки, вокруг Вачленяка, которого начальство из Мышиц лягало ногами, принуждая отпустить господина кандидата.

Дачицкие в этой суматохе сочли, что Вачленяк действует, как патриот, обо-

роняющий их интересы от чужеземного агрессора, и потому устремились к дерущимся и общими усилиями потащили помещика Котларжа и трех прочих мышницких, под брань и проклятья, прочь из зала. Геройский поступок ночного сторожа Вачленяка пробудил патриотический дух у защитников города, хранителей семейства депутатов Патрных.

Они одолели оратора и мышницких чужаков, и те, поспешно усевшись в бричку, помчались прочь, причем изумленный и сбитый с толку пан Котларж стоял столбом и, не ведая, что несет, кричал в негодующую толпу, бегущую за бричкой:

— Уважаемое собрание, принципы эти, исключительные и прекрасные принципы, вдохновили меня до такой степени, что я осмеливаюсь просить вашего доверия...

И вдруг, упав на сиденье, заорал:

— Варвары!

И горько зарыдал, в то время как пан Йозеф Патрный в дверях муниципалитета протягивал бледному Вачленяку правую руку вместе с золотой монетой и говорил:

— Таким вы мне нравитесь, Вачленяк!

И Вачленяк, к которому возвращалось благоразумие, прошептал:

— В башке что-то сдвинулось, пан депутат...

## Первое апреля пана Фабианека

Гордиан Матей Фабианек был старым холостяком, а Убальда Енофефа Третерова, его экономка, — старой девой.

Так они и жили в страхе божьем долгие годы, он курил трубку и, где бы ни сидел со своей трубкой, везде сыпал пепел. Она этот пепел самоотверженно собирала и все двадцать пять лет говорила с отчаянием:

— Нет, вы только посмотрите, что он опять вытворляет с этим пеплом! Где сядет, там и выбивает свою трубку!

И все двадцать пять лет пан Гордиан Матей отвечал ей на это:

— Что поделаешь, мадемуазель Енофефа Третерова, меня уже не переделаешь. Все равно господь бог скоро призовет меня к себе, чтобы на небесах вознаградить меня за чистилище в этом доме. И все это из-за вашей трескотни, мадемуазель Убальда!

Но пеплом дело не кончалось. Тут же заводилась целая канитель:

— Уж если вас не отучить пепел сыпать куда попало, что уж тут говорить про ботинки! Ведь когда на улице самая грязь, вы столько ее натащите в кухню, в комнату, не приведи господи! А мне, бедной, только и ходи за вами с совком да щеткой! Прости меня господи, но ведь я, пан Гордиан Матей, порой и проклинать начинаю, грех беру на свою бедную душу, смертный грех, потому что нет-нет, да и вырвется: «Проклятая грязь! Ну неужто он не может вытереть ноги на пороге дома!» Да ведь вы их не вытираете, вы всю слякоть с улицы в дом несете, разве что платком ноги оботрете! А я, несчастная, только и делаю, что платки эти стираю! А когда катаю их у лавочника вместе с бельем, так он мне говорит: «Это ж надо уметь так обращаться с платками, как этот ваш дед! Дождь идет, а он в воротах ботинки платком вытирает!»

— Ну уж если я дед, — восклицал в сердцах пан Гордиан Матей, сплевывая, — то вы — старая баба!

— Господи помилуй! Да я хоть сейчас могу выйти замуж! А вы бы еще посмотрели, как меня муж на руках бы носил!

— Разве что к речке, чтобы вас там утопить! То ли дело я! Иду по улице, а вокруг меня так и вьются девушки да дамочки, стройненькие, пухленькие, тоненькие. И все в один голос: «Ах, какой красивый мужчина!..» Вы не смейтесь, не смейтесь, Енофефа Третерова! На вас-то если кто и оглянется, то только чтобы сказать: «Э, да ведь это старая Убальда, старуха Енофефа, старое пугало Трете-те-те-терова!»

Этого уже ее сердце не выдерживало. Она упирала руки в боки, и пошло-поехало:

— Ах, так я для вас какая-то Тре-тете? За то, что служу вам честно не первый десяток лет, какая-то «старая Убальда, старая Енофефа, пугало»? Все! Утоплюсь! Повешусь! Выброшусь из окна! Ах вы Фабиан, ах вы Матей, ах вы Гордиан бессердечный! Это на вас-то кто-то засматривается? Да ведь вы богохульствуете, спасителя поносите, сами не знаете, что говорите! Это при вашей-то лысине да ногах заплетающихся, с вашими-то привычками плевать куда вздумается, ботинки не чистить да грязь платком вытирать?! Изверг вы! Похуже царя Ирода, что невинных младенцев вифлеемских приказал передушить! И вы еще воображаете, что можете на кого-то произвести впечатление? Что из-за вас какая-нибудь там обезьяна с ума сойдет? Это вам-то бегать за женщинами? Да вы ж до Вацлавской площади не добредете... Да будь у вас хоть восемьдесят аэропланов, вам не подцепить ни одной женщины, разве что какую-нибудь, с позволения сказать, сову, которая ваши денежки по ветру пустит, а вас отправит на Ольшаны!

Девушка Убальда начинала горько рыдать, хлопала дверьми и запиралась в кухне.

Пан Гордиан Матей Фабианек обычно глубоко вздохнув, выпивал чего-нибудь (только не воды), прохаживался взад и вперед по комнате, а потом стучал в дверь кухни и плаксивым голосом звал:

— Ах, господи боже мой, милая, золотая мадемуазель Убальда, у меня опять паралич начинается! Ноги стынут, круги перед глазами вертятся — синие, зеленые, красные, желтые, фиолетовые... Я вас прощаю... Я на вас больше не сержусь... бог с вами. Я уж совсем ничего не вижу, в глазах одна чернота, туман и гробы...

Через минуту дверь кухни открывалась и выходила девушка Убальда, заплаканная и озабоченная, устраивала пана Фабианека в кресле, зажигала ему трубку, и ссоре был конец.

В остальном жизнь их протекала спокойно. Но вдруг нынче перед первым апреля на пана Фабианека что-то накатило. Девушка Убальда с ужасом стала замечать, что пан Фабианек слегка «тогó».

Уже который день он разговаривал как влюбленный, сидя у раскрытого окна, через которое проникал в квартиру весенний воздух.

Он говорил только о женщинах, и с небывалым воодушевлением. Говорил о созданиях со вздернутыми прелестными головками на чудных шейках, о существах с чистой и белой кожей, с карими глазками, в которых искрится веселость. О созданиях нежных, с высокой грудью и прелестными ножками, о молодых существах, щебечущих весело и без усталости. Да! Вот если бы мадемуазель Убальда хоть на что-нибудь годилась, она познакомила бы его с таким ка-

реглазым созданием, ангельски белым, щебечущим и веселым...

Снова и снова твердил он мечтательно, что оно должно быть молоденьким, с алебастровой шейкой, с прелестной головкой и с клювиком, который все время щебетал бы: «Мой золотой Гордиан, Матейчик, Фабианчик!»

Мадемуазель Убальда была в полном отчаянье и, когда в канун первого апреля пан Фабианек снова описывал ей свой идеал, она наконец откликнулась:

— Знаете что, завтра утром я вам точно такую одну доставлю!

\* \* \*

Было утро первого апреля. Пан Фабианек нетерпеливо поглядывал на двери. Наконец-то увидит он свой идеал, который он создал в своем воображении и который вот-вот появится у него перед глазами. Он уже слышал шаги в коридоре, и тут... Дверь отворилась, вошла мадемуазель Убальда Енофефа Третьерова, на руке у нее была корзинка, из которой виднелась голова, шея, грудка... — прекрасная, белая, живая гусочка, ласково кивающая пану Фабианеку...

А девица Убальда с ехидной улыбкой обратилась к пану Фабианеку:

— Вот вам, пан Фабианек, это ангельское создание! Вы только извольте глянуть на эту белую шейку, на эти милые ножки, на это юное существо... Вы только гляньте на эту головку, на этот клювик, на белое тельце! Вот это кожа, а, пан Фабианек?! На эти карие глазки, а как сладко она выговаривает: «Мой золотой Гордиан, Матейчик, Фабианчик...»

«Ангельское создание» пан Гордиан Матей Фабианек съел с мрачным наслаждением и до вечера не разговаривал с девицей Убальдой.

## В Гавличковых садах

### I

**И**озеф Павлоусек, судя по вывеске над дверью — колорист, а говоря проще, обыкновенный маляр, большую часть недели благоухающий клеєм, по случаю праздника вознесения приводил себя в порядок; время было послеобеденное, и он ждал гостей.

Его жена Мария, толстоватая особа грубого вида, выливали в отхожее место помои, что знаменовало наступление большого праздника, ибо в будние дни она выливали их просто в раковину и скандалила по этой причине с соседом-пенсионером, по праздникам же его не бывало дома.

Свояченица пана Павлоусека, девица Брейхова тридцати лет, сушила на протянутой над плитой веревке свои белые перчатки и с безмерно сентиментальным выражением на бледном лице тихо напевала лишенным приятности голосом:

*Милый Еник, приди,  
и меня люби...*

Маляр, который в это время брился, положил лезвие на кухонный стол, где уже лежали расческа и платяная щетка, и хихикнул:

— Да дождешься ты своего Гонзу, так что нечего скулить. И замечу кстати...

Но не нашелся, что бы это такое заметить, и снова прыснул:

— Дождешься Гонзу, дождешься!

Тут вошла с лоханью его супруга и принялась наряжаться, проявляя при этом свойственное определенным слоям общества полное отсутствие вкуса.

«Краски должны кричать»; — таков был принцип самого маляра, но рас-

цветки платьев его супруги даже не кричали — они в буквальном смысле вопили.

Свояченица же отдавала предпочтение голубому цвету, хотя возможность носить голубые наряды стоила ей немалых жертв, в том числе и пощечин, с помощью которых пани Павлоускова пыталась внушить своей сестре любовь к платьям вопиюще красного цвета с желтым бантом на юбке. Вот и сегодня, стоило Брейховой облачиться в свое голубое платье, как тут же разразилась гроза.

— Опять чучело из себя изображаешь! — орала Павлоускова, пока маляр прилаживал ей сзади на красную юбку желтый бант.

— А ты вообще на ненормальную похожа, — парировала сестра. — От твоего вида и индюк обалдеет.

— Дай-ка ей разок, чтобы язык прикусила! — подзуживала Павлоускова супруга.

— Дождетесь вы у меня, сейчас обеих взгрею, если не прекратите эту ругань, — подал голос маляр, — вот балаболки неотесанные, недели им мало было, чтобы собачиться, так они еще в праздник цапаются, будто с цепи сорвались. Всю жизнь мне поганите, — заорал он, злобно сплюнув на пол, — надрываешься тут на вас, на прогулки с собой таскаешь, сегодня хотел вот Гавличковы сады показать, ведьмы проклятые, хоть бы минуту покоя дали!

— Видали такого, надывается он ради нас! — окрысилась Павлоускова. — Только к утру и заявляется с этой самой «работы» «У Флеков». Слышала, Маржка, он, оказывается, из-за нас перетрудился!

Брейхова отвечать не стала, а кивнув головой, отошла к окну и выпила воды из кувшина.

Павлоусек вышел покурить трубку, ворча себе под нос:

— Ну и стервы!

Брейхова застелила скатертью стол и достала из шкафа зонтик от солнца.

— Что, лень было заодно и мой вытащить? — напустилась на сестру Павлоускова, — все бы тебе бездельничать да жрать задарма!

— Это я-то? Я разве не хожу шить и деньги в дом не приношу?

— Да уж, много ты за последние полгода принесла! А до этого, когда ты полгода болела, кто тебя кормил-пойл? А на доктора сколько денег извели и на лекарства?

— Если не перестанете лаяться, я с вами ни в какие Гавличковы сады не пойду! — вмешался в их перебранку маляр.

Тут в дверь постучали, и вошли гости.

Один из них был пан Ян Боусек, мужчина сорока лет, с забавной плешью, кругленький, как бочонок. Боусек снес от судьбы немало тяжелых ударов: торговал, да обанкротился и угодил за решетку, затем открыл справочное бюро, но получил срок за подлог, после чего какое-то время служил посыльным, а теперь заделался коммивояжером, поскольку обладал несомненным даром красноречия, а также чувством юмора — он знал бесчисленное множество неприличных анекдотов и бесподобно их рассказывал; все знакомые его очень за это любили.

Он и был тот самый Еничек девицы Брейховой, которая обычно краснела, когда он жал ей руку и шептал, но так, чтобы слышали и остальные, что она выглядит как настоящая молодая пани.

Гости смеются, это — мясник пан Кареш со своей юной супругой Фанинкой, у которых снимает комнату пан Боусек, — пара, дополняющая своими топорными повадками все это невежественное общество.

Женщины целуются и заливаются смехом, словно горничные, когда приходят в трактир на танцы или за пивом.

— Так, так, милые мои, — изрекает пан Боусек и присаживается на стол. Женщины начинают его сталкивать, и под общий смех и радостные крики он вместе со скатертью оказывается на полу.

— Ну чем не привидение, — Боусек со смехом обматывает свое тучное тело скатертью и при этом уморительно хрюкает.

— Лучше вы похрюкайте для нас в пещере в Гавличковских садах, — говорит пани Карешова.

— Нет, — важно отвечает пан Боусек, — там я буду изображать тигра.

— А как вы его изображаете? — любопытствует девица Брейхова.

— Вот так! — и он издает такой мощный рык, что все затыкают уши и смеются.

Ну и затейник этот пан Боусек!

— И будем за это с публики собирать... — добавляет Павлоусек, прослезившись от смеха и утирая глаза.

— В пользу отощавшего тигра, — острит Боусек и медленно поднимается с пола. — Ну что, пора бы уж и двигаться потихоньку в этот новый Риграк.

— Новый Риграк! — веселится пани Павлоускова. — И где это вы только такие сравнения откапываете?

— Да в себе самом, уважаемая, этот божий дар не продается, — он похлопал себя по животу. — Одному господь дает деньги, другого произведет на свет слепым или худым...

— А вы каким родились? — осведомляется пани Карешова.

— Лохматым, — и Боусек показывает на свою плешь.

— Господа, пойдем, что ли, наконец, в Гавличковы сады, — предлагает маляр.

— Пойдем, уж коли там мог бывать князь Виндишгрец и миллионер Гребе, то и нам грех не сходить, — мясник ухмыльнулся, — всем назло пойдем.

— Поменьше болтай, — и супруга шлепает его по лицу.

— Пошли, господа, — говорит Боусек. — Я ничего не забыл? Ага, деньги, спички, — ключ, живот — все при мне.

— Ой, не могу! — захлебывается от смеха девица Брейхова.

Веселая компания выходит в коридор и спускается вниз по лестнице.

— Высоко тут у вас, вот уж откуда загреметь было бы неохота, — задрав голову, орет пан Боусек и обращается к какой-то даме на улице:

— Целую ручку!

— Вы что, знакомы с ней?

— Не хватало еще с такой знакомиться! — смеется Боусек и в конце улицы повторяет свою «шутку».

— Без вас нам было бы скучно, — говорит ему девица Брейхова.

— Еще бы! — самоуверенно отвечает он и обращается к парнишке, который пускает по тротуару волчок: — Послушай, какого пола твоя штуковина — мужского или женского?

Коротка дорога, если веселье и смех спешат рядом.

## II

На окраине Виноградов, ближе к Вршовицам, и расположились те самые удивительные Гавличковы сады — бывшее владение немца Гребе, который вложил высосанные из чешского народа деньги в свое блестящее начинание и создал на склоне Нусельской долины самый прелестный парк в Праге. Сотни тысяч истратил он на это дело, чтобы потом его виллу и роскошные сады арендовала княжеская чета Виндишгрецов, и наконец виноградский магистрат выкупил этот парк у их наследников и сделал общественным достоянием, дабы всяк желающий мог вдоволь насыщаться чудесным воздухом, погулять здесь, где ароматы цветов, запахи хвои и лиственных деревьев в разнообразнейших его уголках как бы переносят посетителя в мир настоящей природы, прочь от городского шума в сельскую тишь, чтобы каждый налюбовался (какое же это в общем невыразительное слово: налюбовался) тем, что сильнее всего действует на душу: зеленью деревьев, изумрудной травой, короче, тем, что находит отзвук в сердцах истинных любителей природы, для которых лес — не сажени древесины, а луг — не центнеры сена.

Чтобы люди могли послушать пение птиц, посмотреть на скалы, пещеры, фонтаны и пруды, хоть и искусственные, но выполненные так умело, что повторяют капризы природы в мельчайших подробностях.

Перед входом стайками крутились ребятишки, которых без взрослых в парк не пускали на том основании, что нравы нашей золотой молодежи раз и навсегда были определены как грубые.

— Дяденька, возьмите меня с собой! Дяденька, меня проведите! Не берите Франту, меня возьмите, дяденька!

Сколько стонов и униженных просьб, и все только для того, чтобы проскочить через заветный вход, охраняемый строгим сторожем.

— Порадую ребят, — произнес пан Боусек, когда наша компания влилась в толпу прибывающей публики, толпу громадную, потому что по воскресеньям за вход брали по 20 геллеров в пользу неимущих подростков, — прихватим с собой ребятишек, чтобы они им тут все разорили, раз их по-хорошему не пускают.

— Дяденька, возьмите меня с собой!

— Проведите, дяденька!

— За мной, ребята, — позвал их пан Боусек, и трое мальчишек из стоявших поблизости с благовоспитанным видом двинулись следом.

— Эти с вами? — осведомился контролер при входе.

— А то как же! — с достоинством ответил пан Боусек под хихиканье своих спутников, и все проследовали в парк.

— Ну, ребятки, — скомандовал коммивояжер, — поломайте им тут что-нибудь, а сейчас — проваливайте.

Ребятня бросилась врассыпную, боязливо оглядываясь по сторонам, не видит ли сторож, что они без провожатых.

Обездоленные существа...

— В случае чего скажете, что потеряли папочку! — прокричал маляр им вдогонку.

— Ну и народищу, — заметил пан Кареш.

Они подошли к щиту с расписанием работы парка.

— Ме-сяц май, — прочла по складам Фанинка, — от шести ут-ра до девяти ве-че-ра.

— Вот и побудем тут до девяти, — сказал маляр.

— Глядите-ка, — обратилась ко всем Павлоускова, — какие тут у них шикарные скамейки с гнутыми спинками.

— Вот бы сейчас сюда постельку постелить... — добавил пан Кареш.

— А если кого блоха сзади укусит, об такую спинку даже не почешешься, — изощрылся пан Боусек во всеуслышанье, чтобы и посторонние могли восторгаться его ярким остроумием.

И действительно, некто с челкой, судя по всему приказчик, засмеялся.

— Ну и как вам в новом Риграке? — окликнул его Боусек. — Батюшки, красота-то какая! А народу больше, чем у нас в церкви на обедне. Эх, видела бы наша бабушка, как тут красиво. А скамеек сколько! Пошли посидим.

— Хочешь посидеть на них — пожертвуй на одежду для неимущих школьников, — заменил маляр в надежде, что кто-нибудь по этому поводу сострит.

— Ну и пошли, глядишь, и мне перепадут ботинки и штаны, — горланил коммивояжер.

— А вон там жили князь с княгиней, — вставила Брейхова.

— Да ну? Господин князь с княгиней? — наигранно изумился Боусек. — И это все его было? Так он же прямо как в раю жил.

Они вышли на террасу и увидели внизу виноградники.

— Вот бы куда на гулянки ходить, — шепнул маляру мясник. — Неплохо эти господа устраивались.

Услыхав их, Боусек вставил:

— Да таких, как они, ничего на свете уже не радовало, — и громко добавил: — Придем сюда на виноград.

— А Градчан почему-то отсюда не видать, — глядя на долину, произнесла Павлоускова.

— Градчань совсем в другой стороне, дура, — сказал маляр, — поглядите-ка, что там, внизу, вот это сад!

— Удивительно, чего это они не разделили его на участки под застройку, — заметил мясник, — все бы какую ни на есть выгоду имели, а так на эти сады незачем и тратиться.

— Ой, глядите! — завопила Карешова, тыча пальцем в сторону какой-то точки Нусельской долины за Ботичем. — Мы там в прошлом году редиску покупали, целую тележку за две кроны.

— Ничего тут нет интересного, — провозгласил Боусек, — деревья да деревья, пошли лучше в пещеры.

— А мне страшно, — заявила Брейхова, — там темно.

— А когда в подвал ходите, вам тоже страшно? — оскалился Боусек.

— То подвал, а это ведь пещера!

Они двинулись вниз, чтобы выйти на дорогу к пещерам, и немного постояли на лестнице, ведущей к проволочной изгороди, за которой раньше держали косуль.

— Во дров-то! — показал мясник на раскинувшуюся перед ними рощицу.

— А вид такой, будто где в деревенской глухомани, — фыркнул Боусек.

И все побрели вниз, не преминув срезать угол газона, и так уже сильно затоптанного сегодня гуляющей публикой.

Сторож с зеленой повязкой на рукаве рассердился:

— Вы что, ослепли?

— Да я тебе сейчас как... — огрызнулся мясник.

— Ну его, рабскую душу, — урезонивал мясника маляр, — он от своей службы одурел совсем.

— Было бы из-за чего, а то просто трава какая-то... — оскорбилась Фанинка.

— А это вот плевательницы, — продолжал острить Боусек, указывая на прекрасно сделанные питьевые фонтанчики.

— Этот Гребе тоже небось не в своем уме был, — разъяснила Павлоускова, — говорят, одни только пещеры и все эти каменные штуки влетели ему в несколько тысяч.

Они подошли к бассейну у искусственных скал и принялись колотить тростями и зонтиками по черепахам, извергающим водяные струи.

Посреди бассейна стояла скульптура, при виде которой дамы начали шептаться, давась от смеха.

— Удивляюсь, как только этот парень не простудится, — захохотал Боусек, — совсем голый и все время у воды!

— Там сзади еще какие-то девки кривляются, — предупредил мясник девицу Брейхову.

— Ну что, полезли наверх!

По винтовой лестнице они стали подниматься на верхнюю площадку, и Боусек при этом вопил:

— Не надо меня щипать! Что это вы себе позволяете?

— Отсюда тоже Градчаны не видны, — были первые слова жены мясника, когда они добрались до верха.

— Ну, а теперь в пещеры!

Компания начала взбираться по каменной лестнице между скалами под громкие стоны пана Боусека:

— Ой, бедный мой живот!

В конце концов они достигли пещеры. Женщинам было страшновато, но они все же позволили себя уговорить и проследовали внутрь, смеясь над паном Боусеком, — он уселся на мраморную скамью, чтобы вывести на мраморном же столике свой автограф.

— Подпишитесь и за нас тоже, — попросила Брейхова, сбивая зонтиком сталактит, пока мясник объяснял, что это камни с морского дна.

— А тут плотник дыру оставил, — указал Боусек на отверстие в скале.

Они заметили еще одно отверстие, ведущее вниз и затянутое проволокой наподобие паутины.

— Там господин князь кроликов разводил, — серьезно сообщил коммивояжер.

— Тоскливо чего-то, пошли отсюда, — сказала Брейхова, и все вышли наружу, только Боусек ненадолго задержался, а когда появился, то объяснил сквозь смех, что там есть резервуарчик, и что-то прошептал мяснику, который тоже залился смехом и назвал Боусека проказником.

В следующей пещере они с удивлением уставились на женскую фигуру над маленьким бассейном.

Боусек засунул ей в рот окурочек сигары и зарычал, изображая тигра.

— А при Гребе-то здесь вода была, — показал мясник на бассейн.

Напоследок маляр отколупал кусок штукатурки, и в веселом расположении духа все направились к маленьким озерам, подойдя к которым Боусек воскликнул: «Привет!», вызвав всеобщее беспричинное веселье.

— Ну что за дурь такая, — сказала Карешова, — провести сюда, наверх, воду, чтобы посадить в нее эти вот листы.

— Это водяной лук, — махнул на кувшинки Боусек.

— Гребне ходил сюда ноги мыть, — заметил маляр, сорвал папоротник и бросил его в воду.

Оказавшись внизу, они снова прошлись по газону, чтоб позлить сторожа.

Отсюда главная аллея вела в нижнюю часть парка — фруктовый сад.

— Туда я не ходок, — заявил Боусек, — там и подавно ничего путного, одни груши да яблони.

— Говорят, там клубника растет, — сказала Павлоускова, на что мясник возразил, что она еще неспелая.

— Что-то мне пить захотелось, — произнес Павлоусек, — бегаешь тут невесть зачем, лучше бы пойти куда пивка выпить.

— Уговорили, — заулыбался Боусек, — а то здешними глупостями жажду не утолишь.

— Пошли во Вршовице на Коварную улицу, — закончил мясник, — дамы хоть потанцуют, нынче как-никак праздник...

Пробираясь к выходу из парка, Боусек глубокомысленно изрек, показывая на кишевший вокруг народ:

— И чего они тут не видели? Хоть бы пиво смиховское было, а то...

И вся компания с чинным видом покинула Гавличковы сады, где пели птицы и благоухали деревья. Уставшие дамы волочили за собой шлейфы юбок, поднимая пыль...

## Монастырь в Бецкове

С господами монахами из монастыря в Бецкове я познакомился четыре года назад. Это были приветливые францисканцы, и мне хочется рассказать, как они меня приняли.

В Бецков-на-Ваге я пришел в поисках потомков куманов среди тамошних жителей. Нет необходимости рассказывать все подробности: правдой здесь было только то, что именно под этим предлогом я проник в монастырь. Коротче говоря, почтенного настоятеля я попросту разыграл.

Подойдя к монастырю, я постучал в калитку и подал свою визитную карточку, на обратной стороне которой было написано: «Обращаюсь к Вам, Ваше преподобие, по поводу куманов, следы которых я разыскиваю в Поважье». Под этим скромно стояло: «Прошу о ночлеге и о разрешении познакомиться с монастырским архивом».

Привратник пригласил меня войти и пошел доложить настоятелю Эусебиусу.

Вскоре пришел настоятель. Он подал мне руку и растерянно заявил, что о куманах ему ничего не известно (то есть он знал о них ровно столько же, сколько и я), что же касается архива, то он в полном моем распоряжении. А в монастыре я могу находиться, сколько захочу.

Затем мы направились в трапезную, где господа монахи играли в шахматы. Настоятель представил меня святым отцам, и один из них, отец Либерат, отвел меня в предоставленную мне комнату с восхитительным видом на Ваг.

Отец Либерат открыл окно и, указывая вокруг, произнес:

— Это все наше!

Внизу простирались плодородные равнины, на которых золотились хлеба, и все это, а также зеленые луга и леса, принадлежало францисканцам из Бецкова.

Отец Либерат заговорил о благословении господнем. При этом глаза его пылали вдохновением, а лицо лоснилось от сала.

Затем он пригласил меня в свою келью, где на окнах благоухали роза и базилик. Он открыл какой-то шкаф, вынул оттуда банку сардинок, открыл ее и предложил мне. Из другого шкафчика была извлечена бутылка коньяку.

Некоторое время мы мирно попивали коньяк, курили сигары и беседовали о самых различных вещах: о половодье, которого напрасно опасались, ибо оно было предотвращено молитвами; о благодатном лете, об урожае, о том, какие хлеба даст всемогущий бог, какие будут нынче замечательные сено и клевер...

Потом он позвал меня наверх, на монастырскую колокольню, и, указывая на группу строений внизу, сообщил, что все это монастырские скотные дворы, где содержится четыреста голов крупного скота и триста свиней; а немного подальше — птичий двор. За ним — овчарня с четырьмястами голов овец. А у самого леса — фазанник.

Монастырские леса охраняют восемь лесников и два лесничих. Зверя там не счесть: косули, благородные олени, дикие кабаны, куропатки, зайцы...

С воодушевлением описав все это, любезный отец Либерат сложил молитвенно руки и воскликнул:

— Велико милосердие божье!

Между тем нас уже искали, чтобы пригласить к ужину.

Вокруг длинного стола сидело двенадцать человек. И пока мы, встав, читали краткую молитву, чтобы бог милостиво послал нам хороший аппетит, монахи уже начали носить кушанья.

Воздадим же честь и хвалу монастырской кухне! Всемогущий бог, счастливо направляя руку монахов-кухарей в Бецковском монастыре, в своей бесконечной доброте послал нам куриный суп с мелко нарезанными желудочками и сердечками, по рюмочке мадеры и затем фазана, начиненного каштанами.

Милосердие божье проявилось еще ощутимее, когда были принесены гусята с салатом.

Радость светилась в глазах святых отцов, и перед появлением жареной форели мы поблагодарили еще раз в краткой молитве милосердного бога. Форель была превосходна. Мы в полной мере оценили неисчерпаемую доброту господина, который сотворил все эти прекрасные вещи, чтобы францисканцам в Бецкове жилось хорошо.

Бог создал также и вино. Ах, что за вино водилось в Бецковском монастыре!.. Мы не успевали себе подливать.

В дружеском разговоре незаметно летело время. Мы покуривали сигары, а отец настоятель стал рассказывать забавные истории.

Слово за слово... Тут вступил в беседу отец Фортунат и буквально засыпал нас солеными анекдотами. Причем каждый начинал с предисловия:

— До чего испорчен этот свет, сказать невозможно. Вот рассказывал мне кучер, когда я ехал на праздник в Тренчинскую канонию, будто слышал от одного проезжего господина это бесстыдство. Негодник так сквернословил... А содержание таково...

И пошел, и пошел... Кое-что для наглядности дополнялось жестами. Тут принесли роскошный коньяк.

Солнце уже поднималось над Тренчином.

Черт знает почему, но мне не хотелось спать. И когда господина монахи начали расходиться по своим кельям, я вышел из монастыря и направился в поле.

На лугах уже кипела жизнь. В утреннем полумраке крестьяне косили траву для монастырского скота. На опушке леса какой-то старичок отбивал косу.

— Дай бог здоровья! — приветствовал он меня.

— Как живется? — спросил я его.

— Эх, не хочу грешить! Как мне может житься хорошо? — отвечал крестьянин. — Как может житься хорошо? — тоскливо повторил он. — Целый день батрачу на благородных панов из монастыря. А паны платят мне двадцать крейцеров в день без харчей, потому как им, дескать, нужно еще выкроить долю для папы римского.

Он перекрестился и продолжал отбивать косу в утренней тишине, когда туман поднимался над Вагом, а в Бецковском монастыре сладко храпели двенадцать францисканцев.

## На разведку

Незадолго до поездки государя императора по вновь приобретенным территориям чиновник отделения политической полиции при боснийском земском управлении Войович был направлен в Шибак, лежащий на отрезке маршрута Боснийский Брод — Мостар, с целью прощупать политические взгляды тамошнего старосты, слывшего оппозиционером.

Войович переоделся крестьянином и, разузнав, в какую корчму имеет обыкновение ходить староста Божетич, чтобы пропустить стаканчик-другой винца, направился туда.

Усевшись против Божетича, он выпил пол-литра вина и попросил у старосты табачку.

— Сказывают, будто император Франц-Иосиф в Герцеговину собирается, — произнес он неспешно.

— Верно, — отвечал староста Божетич, — вот и Исмаил-бей про то же сказывал, когда мы с ним кофе пили у турка Говариво.

— Дай бог ему здоровья, — сказал Войович.

— Храни его господь, — откликнулся Божетич, — говорят, поседел наш государь.

— Поседел. А перед войной-то, — продолжал Войович, — слышь, братья наши в Сербии...

— Ну нет, неправда твоя, нет у меня в Сербии никаких братьев, вот у Йовановича, шибакского шорника, точно братья в Сербии есть. Один, тоже шорник, в Крагуеваце, а другой в Белграде — кондитер.

Войович прикусил губу.

— Нет, я хотел сказать, родные братья, потому что говорят по-нашему...

— Да нет же, — отмахнулся Божетич, — еще раз тебе говорю, во всем сербском королевстве нет у меня родных братьев. Один только двоюродный от неродной тети, Сава Милетич. Косит парень на один глаз, а служит в гостинице в Белграде у одного шваба.

Войович на минуточку примолк.

— Но ведь говорят, что у нашей Боснии и Герцеговины с сербами единые душа и тело, да и язык один.

— Какой-такой один, — возразил Божетич, — сербы говорят «што» или «шта», вместо «чо», «ча», и потом, у них «дж» вместо «д». Ну и дурак ты. Швабы, вот кто наши братья. Построили нам железные дороги, коз тут развели.

— И налоги заставили платить, — не терял надежды Войович.

— Да что это за налоги, дубина! Коли правительство порядочное, так я с удовольствием заплачу, — разглагольствовал Божетич, — а если даже у меня ничего не останется, погляжу на свои руки и подумаю: ведь вот дает же мне господь столько сил, чтобы на налоги заработать. И если б довелось мне с голоду помереть, то, коли налоги уплачены, — умру с радостью. Одни негодяи налоги не платят.

Войович вздохнул.

— А говорят, будто правительство притесняет народ.

— Ничего я такого не слышал. Да и быть того не может. Ведь швабы — наши братья, и не притесняют они нас вовсе. Вот и школы для нас швабские построили, чтобы мы за них по-швабски молились. Сидишь себе спокойно в та-

кой школе, это разве угнетение? Кто это тебе, болвану, набрехал, что правительство народ угнетает?

Войович смущенно откашлялся.

— Они у тебя сыновей на войну забирают, — вымолвил он, сохраняя слабую надежду, что Божетич проболтается.

— Вот теперь уж по всему видно, что ты дурак и есть, — ответил староста Божетич, — как это они у меня могут сыновей забрать на войну, когда у меня одна только дочка, что замужем в Мостаре. И у той никаких сыновей нет, дурак!

На следующий день чиновник Войович не солоно хлебавши возвратился в Сараево и доложил о результатах своей доездки следующее:

— У старосты Божетича братьев в Сербии нет, братья там только у Йовановича, шорника из Шибака: один в Крагу еваце шорником, а другой в Белграде... А сам староста все время только и говорил о том, как счастливо ему живется при таком порядочном правительстве.

— Значит, сказал «при порядочном правительстве»? — осведомился старший комиссар.

— Так точно, ваше превосходительство, — ответил Войович, — вот его доподлинные слова: «Я счастлив жить при таком порядочном правительстве!»

— По всему видно, издевался он над вами, — заметил старший комиссар...

И недовольное начальство освободило чиновника вышеупомянутого правительства Войовича от подачи рапорта.

## Фонд пана Каубле на благотворительные цели

**В** третьем квартале пан Каубле был отцом родным для бедняков. В течение последних двадцати лет он всецело посвятил себя благотворительной деятельности. Прежде он ведал распределением бесплатных талонов на уголь беднякам, затем состоял членом муниципалитета и попечительской комиссии.

На всех трех дверях его квартиры были прибиты таблички с надписью:

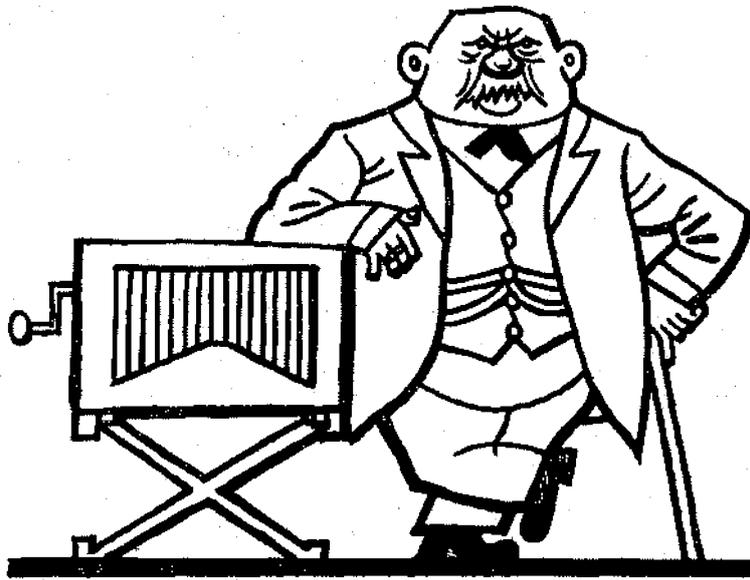
*ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МЕСТНОЙ БЕДНОТЕ!*

Таблички эти не стоили ему ни геллера, потому что дома у него их был полный склад, и он выдавал их всем, кто платил ежегодный взнос на благотворительные цели в сумме 20 крон. Нищим из этой суммы никогда не перепало ни геллера — все съедали административные расходы комиссии. Референт, ведающий вопросами нищеты, имел жалованье 2400 крон в год, помимо того, был еще чиновник, получавший 1600 крон, и рассыльный, которому платили сто крон в месяц. Остатки уходили на различные расходы, вроде поездок членов попечительской комиссии на съезды в защиту бедноты. Нищим, таким образом, не оставалось ничего.

В домах же, где прежде подавали милостыню, теперь им предлагали полюбоваться табличкой у входа:

*ЗДЕСЬ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МЕСТНОЙ БЕДНОТЕ!*

Но положение тем самым не улучшилось. Была созвана конференция по борьбе с уличным попрошайничеством. Местная газета предварительно провела анкету на тему: «Как сократить нищенство».



В редакцию поступило множество писем, в которых сообщалось о размахе нищенства в других городах. Стало ясно: не остается ничего иного, как созвать конференцию по борьбе с попрошайничеством.

За неделю до конференции благодетель бедняков пан Каубле начал ходить по всему кварталу, останавливать нищих и убеждать их бросить свое занятие. На некоторых нищих он даже указал полиции. В плодотворной деятельности провел он всю неделю, размышляя, с каким проектом по ограничению или искоренению нищенства выступить ему на конференции.

В конференции принимал участие представитель из полиции, занимающийся этими вопросами. Прибыл и окружной начальник, который во время речи бургомистра уснул. Полицейский чиновник в продолжение всей речи старательно чистил и полировал ногти; представитель городского прихода капеллан Блага уже в пятый раз перечитывал устав какого-то общества пожарников, подвернувшийся ему под руку.

Речь пана бургомистра производила тягостное впечатление. Он то и дело повторял:

— Мы, значит, стремимся уничтожить нищенство. Мы, значит, стараемся не допускать нищенства. Мы, значит, боремся с ним. Я, значит, исхожу из того принципа, что ему следует дать решительный отпор. — Он говорил уже более получаса и под конец заключил: — Кто из присутствующих имеет какое-либо конкретное предложение, прошу выступить.

Поднялся благодетель бедноты из третьего квартала пан Каубле. Лицо его, когда он окинул взором озабоченные физиономии участников конференции, просияло.

Он готовился выложить им все, что накопилось у него на душе за последнюю неделю и о чем он размышлял ночами, лежа в постели. Когда покоишься на мягких перинах, так приятно поразмышлять о нищете ближних.

До начала конференции пан Каубле выпил литр вина, и теперь приятное тепло разлилось по всему телу, коснувшись и его души. Он проникновенно заговорил о судьбе вдов и сирот.

Окружной начальник продолжал спать, представитель из полиции зевнул.

— Вдов и сирот надобно защищать, — отчаянно зывал отец для бедняков пан Каубле, — берегите сирот и вдов от гибели. Господа, — его голос зазвучал так громко, что стены ратуши задрожали, — господа, мы должны что-то

сделать для них. Разом избавить их от нищеты. Господа, я твердо намерен учредить фонд на благотворительные цели.

Окружной начальник проснулся. Шестьдесят вопрошающих и восторженных глаз устремились на пана Каубле.

— Лучший наш человек, — прошептал пан бургомистр соседям.

— Да, именно фонд, — еще громче воскликнул отец бедняков, — фонд, благодаря которому пусть хоть одной вдове, да будет оказана помощь! Жертвую в фонд шарманку.

В помещенье воцарилась тишина.

— Наш лучший человек спятил, — прошептал пан бургомистр, а пан Каубле с сияющим взором продолжал, извлекая из кармана лист бумаги:

— «Я, Антонин Каубле, отец родной для бедняков третьего квартала, владелец домов и недвижимости, председатель благотворительного общества «Антонин Каубле» и т. д., имею честь довести до сведения общественности, что жертвую в передвижной фонд для бедняков нашего города одну шарманку системы «Гаррадай». На вспомоществование может претендовать слепая вдова гражданина города в возрасте не моложе шестидесяти лет, представившая доказательства абсолютной безупречности, набожности, честности и полной неспособности к тяжелой работе. Документ, подтверждающий возраст, свидетельство о смерти мужа, его приписное свидетельство, справка о прививках принимается вместе с ходатайством местным городским попечительским отделом или учредителем фонда, благодетелем бедняков паном Каубле. Шарманка предоставляется в пожизненное пользование, а облагодетельствованная особа обязана раз в неделю молиться во время утренней мессы за семью пожертвователя».

Когда отец родной для бедняков умолк, вновь наступила тишина, нарушенная наконец бургомистром.

— Разрешите, пан Каубле? — Бургомистр встал. — От имени всего попечительского отдела благодарю пана Каубле за его самоотверженный поступок, преследующий цель сократить нищету бедняков. Выражаю вам благодарность от имени всего города, от имени бедствующих сограждан наших. Благодарю вас, горячо благодарю!

Он закончил весьма сердечно, а окружной начальник, подойдя к пану Каубле, демонстративно протянул ему руку со словами:

— Я тоже должен поблагодарить вас, уважаемый пан Каубле. На вашем примере я убедился, что самоотверженность здешних членов муниципалитета безгранична. Будьте уверены, я не забуду вашего благородного выступления в пользу местной бедноты.

Для благородного пана Каубле наступили дни истинного блаженства. Сообщение о его благодеянии было обнародовано в газетах, а несколько дней спустя на главной улице в витрине торговца музыкальными инструментами появилась шарманка, снабженная четкой надписью:

«Фонд отца бедняков пана Антонина Каубле».

Затем пан Каубле сфотографировался рядом с шарманкой — он стоял, опираясь на нее рукой. По его заказу с этой фотографии была сделана открытка, и популярность его возросла еще больше. Он был совершенно счастлив, и самоуверенность его увеличивалась. Окружной начальник приятно улыбался ему. Не оставалось сомнений, что при ближайшем удобном случае он выхлопочет

ему награду.

Все это происходило незадолго до того, как город почтила своим присутствием царственная особа. Пан Каубле с чувством сознания собственного достоинства отправился на общую аудиенцию.

«Преподнесу свою открытку с шарманкой на память царственной особе», — последнее, что он успел подумать, входя в зал для аудиенции.

У него закружилась голова: перед ним, улыбаясь, стояла царственная особа.

— Антонин Каубле, hochgnädigster Herr[80], — смущенно пролепетал он, как верноподданный чех, по-немецки и, протягивая открытку, добавил: — Антонин Каубле, mit dem Flaschinet, Vater der Armen[81].

— Я всегда был отцом для самых бедных, — благосклонно произнесла царственная особа, подошла к адъютанту и сказала ему что-то.

И адъютант приблизился к пану Каубле и, подавая ему гульден, объявил официальным тоном:

— Аудиенция окончена!

А царственная особа добавила приветливо:

— Только не отчаиваться, шарманка тоже может прокормить человека, старый солдат!

Отец родной для бедняков, пошатываясь, вышел из двери, а через час по всему кварталу разнеслась весть, что пан Каубле палкой вдребезги разбил свое пожертвование в пользу бедняков.

## Бунт братьев Безкочек в 1901 году

### 1

В девять вечера Антонин Безкочка, точильщик, нарушил покой примерных граждан, проживающих по Водной улице, откуда он двинулся по Душному переулку, и, взбудоражив население этого грязного закутка, объявился на площади, где под аркадой его бунту положил конец городской полицейский, добродушный Козиняк, он осадил точильщика, велел утихомириться и отправляться домой. Услышав в ответ, что он осел, лошак и тому подобное, полицейский предупредил вторично, чтоб он отправлялся в свое предместье Жабьи Горки, на что Безкочка некрасиво ответил безобразнейшими ругательствами и был предупрежден в третий раз, тем более что вокруг стал собираться народ, обращаясь к которому точильщик философски заметил:

— Ну, врежу я ему по башке — меня посадят, лягну в брюхо — тоже посадят, так что лучше всего разойтись нам в разные стороны.

И он собрался было уйти, но тут добродушный Козиняк заметил:

— Правильно, Безкочка, ступайте домой и проспите как следует, я вам советую.

— Да что б вы мне советовали, Козиняк?.. Я сам себе советую, идол безмозглый, сам себе приказываю, я сам себе хозяин, не воображайте, будто можете мне приказывать, вот возьму и не пойду домой.

И, сопровождаемый толпой, он вернулся в Душный переулок, вызывая выкрикивая:

— Долой квартирную плату!

В результате столь демонстративного поведения в Душном переулке произошли бурные события. Три местных полицейских после упорной схватки уже не выпустили его из своих «объятий» и, блестящим захватом за шиворот

и под руки принудив его сдаться, потащили к ратуше, где, прежде чем за ним захлопнулись ворота, Антонин Безкочка, обращаясь к провожающей его толпе, гласом поверженного героя заявил:

— Сдаюсь, идолы...

И врата инквизиторского дома тут же поглотили свою добычу.

А в местной газете (счастье, что вышла она через четыре дня после всех этих событий), в разделе происшествий под заметкой «Деревья в опасности. На Гробовой улице колья, поддерживающие деревья, расшатались, и есть опасение, как бы при сильном ветре ветер деревья не поломал. Приняты меры безопасности», — появилось: «Неслыханное в нашем городе бесчинство учинил во вторник Антонин Безкочка, двадцативосьмилетний точильщик, проживающий в предместье Жабьи Горки, д. 2. В нетрезвом виде он слонялся по тротуарам и мостовой, горланя и угрожающе крича: «Долой квартирную плату!» Будучи остановлен, оскорбил пана Козиняка и, не подчинившись его приказу, следовал по избранному им пути[82]. Естественно, дорогу ему преградили трое полицейских, которым сверхчеловеческим усилием удалось обезвредить бунтовщика и препроводить в ратушу. Их имена: Йозеф Умелец, Ян Прашек, Йозеф Гейра. Доставленный в лоно ратуши[83], точильщик в свое оправдание заявил, что задолжал своему хозяину за квартиру в общем размере 19 золотых 50 крейцеров, и это перед самой свадьбой!!! На вопрос, откуда у него деньги на вино, точильщик без колебаний ответил, что, взяв у своего брата, тридцатилетнего печника Войтеха Безкочки, бритву, продал ее Яну Пеликану, каменщику из дома 12, двадцати пяти лет, указав в свое оправдание, что оную бритву брат собирался подарить ему на свадьбу. Дело направлено в уездный суд в Младой Болеславе, о решении которого мы обязательно проинформируем наших подписчиков сообщением по возможности более подробным. Как это все-таки печально, что наш город превратился в эльдорадо разнузданных элементов, которые не почитают господ бога, не уважают законы и что ни день нарушают общественный порядок, оскорбляя нравственность и целомудрие нашего города, доставляя ему только лишние заботы. Словом как написанным, так и устным, мы намереваемся беспощадно бичевать всех, кто не видит, какую гибельную опасность они несут нашей мирной жизни. Мало того что магистрат до сих пор не удосужился должным образом осветить Душный переулок, а на Водной улице не очистил зловонные стоки (иначе в какой мутной воде ловили бы они рыбку), он терпит в стенах нашего исстари славного города распоясавшиеся элементы, которые скоро сядут магистрату на голову. Мало того, что наш коллега из редакции год назад сломал себе ногу в яме, и по сию пору обезображивающей площадь, пан бургомистр убивает вечера за картами в «Коруне», не желая и слышать о всех наших бедах. Или вам, пан бургомистр, бубновый валет дороже спокойствия и безопасности наших улиц? Жалкие слепцы! Сколь жалко выглядите вы в пору, когда приближаются выборы в магистрат. Вот так, пан бургомистр!»

— Где Безкочка? — вскричал взбешенный бургомистр, прочитав этот номер газеты.

— Сидит еще.

— Гнать его в шею, мы не пойдем у них на пойоду, пусть все следует своим чередом.

Знаете ли вы, чем обычно начинаются романы? Вот чем: испокон веков принадлежал старинному дворянскому роду панов Высоковских замок Высоков. Он был возведен на отвесной скале, и сверху было можно обозревать равнину далеко вокруг, с одной стороны ее полукругом огибала серебристая лента реки, терявшаяся в лоне могучего бора, с другой стороны замок примыкал к дремучему заповедному лесу, и так далее.

Читатели, я слышал, любят, когда рассказ начинается с описания обиталища героев, я тоже начну свой рассказ так, чтоб понравиться.

Старый дом номер два на Жабьих Горках испокон веков принадлежал благородному семейству пана Браблены, торговца свиньями. Он был возведен на самой высокой точке Жабьих Горок, и сверху можно было обозревать весь город, и жены панов Брабленов этим и занимались, яростно высматривая, не идут ли уже их мужья из трактира; любовались этим видом и квартиранты, к чести панов Брабленов будь сказано, что желание всем добра издавна жило в их сердцах и они всегда готовы были предоставить возможность пользоваться видом кому-либо из тех, кто нуждался в дешевом жилище. И были готовы милостиво ждать от своих жильцов неуплату за два квартала, правда, в случае неуплаты за три квартала они грозили выселением, а уж если не платили за весь год, то выкидывали на улицу любого вместе с его мебелью, которая, ударяясь о землю, превращалась в обломки, немислимое скопище щепок и дощечек, поскольку дом панов Брабленов стоял на возвышенности и к нему вели ступеньки.

Да, ступеньки, высеченные в скале. А куда ведут ступени? Высоко, куда иной раз человеку без усилий и не подняться или же не подняться вообще. Так что это значило немало — быть квартирантом нынешнего пана Браблены, пани Брабленовой и их дочери Фанды. Память жителей городка хранила воспоминание, как выбрасывали на улицу веревочника Кличку. Вспоминали не столько самого Кличку, сколько его имущество, совершавшее на крутых ступеньках поразительные сальто-мортале.

Первой полетела кровать, за ней стол, потом два стула, приятное зрелище дополнил портрет маршала Радецкого, который так и не долетел вниз, где стояли дети и взрослые, выражая восхищение криком. На своем пути портрет разлетелся на кусочки. Больше лететь вниз было нечему, но народ не расходился: ожидали, когда же полетит веревочник Кличка. Хитрец! Он лишь издали любовался бесчинством буйного семейства Брабленов. Он оказался настолько умным, что, когда пан хозяин сказал ему подняться наверх за тюфяком, он взял и не пошел. Так ведь и не пошел, хитрец!

За это взрослые и дети вознаграждены были сказочным зрелищем: какое-то время спустя, вечером, пан Браблена поджег тюфяк позади дома. Огонь и дым вызвали восторженный рев зрителей, они веселились, слушая громогласные выкрики хозяина, который кричал стоявшим внизу, что он это делает потому лишь, чтобы мерзавец веревочник Кличка не подумал, будто он собирается оставить себе то, что ему не принадлежит.

Долго потом не мог найти себе бесхитростный, прямодушный пан Браблена квартиранта, пока, наконец, не появились точильщик Безкочка с братом Войтехом, печником, и беззаботно поселились в доме, беззаботно два раза в день шастали вниз и вверх по лестнице, беззаботно не платили, ибо ничего они не боялись, братья Безкочки.

И тут иронией судьбы полюбил Антонин Фанду, хозяйскую дочку, которая на любовь его ответила так горячо, что следовало бы подумать о свадьбе, дабы единственное Брабленово дитя не стало предметом людских пересудов, навсегда опозорив и чистое имя, и добрую славу брабленовского семейства.

По этой причине пан Браблена и не покусился выкурить достопочтенных братцев, которые уже больше года ничего ему не платили. Он успокаивал свою хозяйскую душу частыми намеками на долг в 19 зол. 50 кр. и многозначительно добавлял:

— Тонда, пора бы тебе уже жениться на Фанде, знаешь ведь... заодно и от долга избавитесь.

Дело и впрямь шло к свадьбе, когда Антонин выкинул коленце, дав повод местной газете вывалить его имя в грязи да еще назвать рядом с его именем самого бургомистра и тем самым опозорить будущих тестя и тещу и будущую супругу, но, с другой стороны, сослужить добрую службу на благо общества, так как уже в понедельник, после изощренных нападок газеты, занялись освещением в Душном переулке, засыпали яму на площади и начали осушать Водную улицу, в то время как Антонин выслушивал замечания в свой адрес на заседании семейного совета, здесь, наверху, в котором приняло участие все семейство Брабленов, и его брат Войтех, яростно сверкая глазами, в крепких выражениях припомнил ему бритву, свой свадебный дар.

### 3

Семейный совет обрушил на Антонина ворох жалоб. Самым подробным образом была разобрана его жизнь, и как из него получился прохвост, и как не осталось ни капли надежды на то, что из него выйдет порядочный человек. И зачем он выбрал себе такое занятие, которое само по себе заставляет ловчить? Разве это серьезное дело — точить ножи и чинить всякую мелочь? Поучился бы у своего брата-печника, который честно зарабатывает тем, что выкладывает изразцы. И ладно уж он точильщик, так еще и позорит весь род Безкочек. Мало ли ему, что их покойный отец безвинно попал в тюрьму, ограбив с голодухи того торговца в Старой Болеславе? Но он-то не голодает, так чего ж красть-то, зачем пропил бритву своего брата, зачем творит мерзости, позволил забрать себя полицией?

А за что страдает Фанда, невинная девушка? Их отношения зашли так далеко, что семья ее обесчещена. Ладно там семья, но Браблена сыт всем этим по горло. Что за жизнь у нее была бы с таким негодяем, как Тонда? Так что, когда он выставит Тонду за дверь, наступит хотя бы покой. Он, Браблена, прокормит всех, и ему незачем сажать себе на шею Антонина Безкочку.

Поток его красноречия вопреки всяким ожиданиям нарушил печник:

— Пожалуй, наговорились уже, хозяин, надо и со мной считаться. Тонда и вправду негодяй, но чтоб выгонять его — не позволю, не бывать этому, черт возьми, запомните, никогда, пан хозяин. Вы нас еще не знаете, мы так просто не дадим себя выгнать. Мы свет повидали. Я бывал и в Германии, и в Венгрии, служил в Кошицах, и в вашем городе мы с братом разнесли трактир, правда, Тонда, а вы говорите, что прогоните и свадьбы не бывать. Этим вы нас не возьмете. А захотите его выгнать, придется выгнать и меня, но я вам наперед скажу — этому не бывать, я долго молчал, но я вам гарантирую, что сначала мы сами вас вышвырнем, ясно? Нас так просто не возьмешь. Мы уже подготовились к свадьбе, так что уж как-нибудь мы себе это, черт возьми, возместим.

И стал трясти перепуганного пана Браблену, крича:

— Тонда, помоги мне его вытряхнуть отсюда!

Пани Брабленова и Фанда сочли за лучшее убраться и на высеченных в скале ступеньках дожидались, чем дело кончится, надеясь, что их папочка сохранит верность древним традициям и выкинет отвратительных должников, которые свалятся к их ногам.

Однако они ужасно ошиблись. Их гордость, папочка Браблена, безуспешно противостоял Безкочкам, хотя и мужественно защищал каждую пядь своей территории пинками, дрался кулаками и стульями. Он сдавал одну позицию за другой. Он уже не прикрывал свой тыл и вскоре оказался на кирпичном полу, его поволокли к дверям, по коридору, затем он потерял и эту последнюю позицию и, оказавшись снаружи, полетел по ступенькам в скале и упал в объятия супруги и дочери, чтоб вместе с ними скатиться вниз. А вслед им свистели камни, с громким стуком отскакивая от скалы. Камни швыряли выигравшие бой Безкочки, которые оказались суверенными властителями этого замка, небольшого домика на Жабьих Горках, номер два.

Затем они укрепились. Входную дверь на лестницу забаррикадировали шкафом, столом и стульями и победоносно взирали вниз, где собирался народ не только с Жабьих Горок, но и со всего городка, как только туда долетала весть, что Безкочки взбунтовались. Толпа во главе с семейством Брабленов держалась от баррикады на почтительном удалении, ввиду того что камни, бросаемые братьями, заставляли сохранять необходимую дистанцию от укрепленной лестницы.

Бунт братьев разразился в пять часов, в шесть появилось трое полицейских, которые среди гробовой тишины крикнули:

— Именем закона, сдавайтесь!

В ответ на них посыпался дождь камней; попытка взять баррикаду штурмом не удалась: навстречу летели камни, и каска полицейского Яна Умельца была разбита.

Полицейские отошли на недостижимое камням расстояние и, обнажив сабли, пригрозили братьям пожизненным заключением и виселицей.

В половине седьмого под укреплением появился бургомистр и крикнул братьям:

— Люди добрые, да что ж это вы собрались делать?

И тотчас вернулся, прихрамывая, к толпе с воплем:

— Эти прохвосты камнями кидаются!

Без четверти семь Фанда начала стонать, и ее поспешили отвести в город к родственникам. В четверть восьмого послали за повивальной бабкой, а уже в половине восьмого стал несчастный пан Браблена дедом и рысцей побежал на Жабьи Горки, где ситуация оставалась прежней, тоскливым голосом взывая к бунтовщикам:

— Тонда, Фанда родила девочку, у тебя девочка, Тонда!

И тут же услышал в ответ:

— А мне-то какое до всего этого дело, пан домохозяин?

Толпа, услышав «пан домохозяин», захохотала. Ничего себе домохозяин! Чего хозяин? Дома-то нет.

Не выдержав испытаний судьбы, пан Браблена ненадолго потерял сознание. В восемь часов Безкочки крепко держались на своей баррикаде.

В четверть девятого заходящее солнце осветило багровым светом бунтовщиков, мгновенно реагирующих на любое движение радостной толпы, которая непринужденно развлекалась необычным зрелищем.

В половине девятого явились два жандарма с примкнутыми штыками, к которым пан Браблена обратился с такой речью:

— Тонда, Фанда, Фанда, Тонда, Войта, Фанда, Тонда, Войта.

А жандармы закричали тем наверху:

— Именем закона, сдавайтесь!

Братья Безкочки, отступив в дом, заперлись. Жандармы забрались на укрепление, толпа ринулась на баррикаду, жандармы и полицейские сквозь окна проникли внутрь. После короткой борьбы на руки взбунтовавшимся Безкочкам надели кандалы. Пан Браблена опять вступил во владение домом своих предков, понося на чем свет стоит Тонду и Войту.

Пленных повели в окружной суд, откуда на следующий день их отослали в земский суд.

#### 4

Событие это произошло в моем родном городе пять лет назад, и когда, спустя пять лет, я сюда заглянул, трактирщик Кратоушек, которого я встретил под аркой на площади, на мой вопрос, что новенького, торжественно отвечал:

— Да, не состоялась-таки свадьба точильщика Безкочки и Фанды, дочери пана домохозяина Браблены.

#### 5

И вот что еще приходит мне в голову, когда пишу об этом событии. Может, через пятьсот лет, то есть в 2401 году, отыщется писатель, который, роясь в древних источниках, мог бы на их основе создать исторический роман, быть может, и в рассказе моем он увидит серьезный документ жизни, памятник времени странных, непонятных ему столкновений. Поэтому прошу читателей: вырежьте этот рассказ из газеты, скатайте его трубочкой и не пожалейте пару грошей, купите свинцовый ящик, уложите в него свиток с моим рассказом и закопайте его в таком месте, куда, как думается, через пятьсот лет сможет прийти тот, кто сделает из него большой исторический роман под названием «Бунт братьев Безкочек в 1901 году».

Заранее благодарю вас за это...

## На родине

Государственный прокурор Норберт Попелец после долгого отсутствия возвращался на родину. Он расчувствовался и почти на каждой станции с печальным видом выпивал по кружке пива. Он решил высадиться в Противине, откуда намеревался пройти пешком через Скочице, Ражице, Водняны, Тын над Влтавою — места, дорогие ему по воспоминаниям детства.

Он представлял себе всех тех добрых людей, которых он знал в этих местечках в молодости, и заранее радовался тому разговору, который он поведет с ними, если застанет их еще в живых.

Поезд подошел к Писеку; отсюда и до самого Противина он хорошо знал всю окрестность. Там скрывается в зелени Гержмань, туда школьниками они ходили за орехами, а через Ражице он всегда ходил к дядюшке, любившему играть в карты.

Неожиданно ему стали припоминаться и другие подробности. У Ражице когда-то был пруд, где однажды браконьеры убили лесника Мркву.

Из задумчивости его неожиданно вывел сидевший против него господин, воскликнувший:

— А пруда уже нет!

Государственный прокурор посмотрел в окно и увидел, что пруд действительно исчез. Чтобы скрыть свое волнение, он принялся громко сморкаться.

Вплоть до самого Противина он держал носовой платок у лица: слезы щекотали ему горло. Он представил себе тетушку Гобзикову: она часто держала его на коленях, и от нее пахло навозом; затем вспомнил о мяснике Пиштольке, который под песню «Прийди, святая душа» связывал и резал телят.

В Противине он вышел из вагона, сел в буфете и стал размышлять о том, с кого начнет свои посещения. Наконец он решил сперва узнать, жив ли его дядя Кодейш, который раньше имел дом подле речушки Бланице. Ему сказали, что Кодейши теперь арендуют небольшую лавочку и что жена его ослепла; Вскоре государственный прокурор уже разговаривал со своим дядей.

— Вы меня помните?

— Нет.

— Я Норберт Попелец, государственный прокурор из Праги.

— Простите, я ничего не знаю.

— Я Попелец, сын Попельца, того, который содержал пивную, а вы — мой дядя.

— Попелец... пивную... а, вспомнил... А что ты тут делаешь?

— Иду посмотреть старых знакомых, может быть, в последний раз.

— Гм, а ты выглядишь неважно, — сказал старый дядюшка. — Твой отец был на вид получше, а трахнули его по голове пивным кувшином — и крышка... Так ты останешься здесь на всю ночь? Но у нас негде тебя положить. У нас всего две комнатухи, и в одной мы сами спим. А когда ты едешь?

Государственный прокурор прикусил губу и ничего не ответил.

— Не стоит заходить к тете. Она слепая, не увидит тебя и еще, чего доброго, выругает.

— Ну, так всего хорошего, — с огорчением сказал государственный прокурор.

— Прощай, я руку тебе не подам, она у меня в повидле: с прилавка у меня

упали в него деньги, — сказал дядюшка.

Когда государственный прокурор вышел на улицу, то чувствовал себя так, будто кто-то ударил его по лицу в грязной лавке.

Он повернулся и стал раздумывать о том, куда бы пойти. Вспомнил, что здесь живет его двоюродная сестра Овсаржка, которую выдали замуж за содержателя пивной — той самой пивной, которая принадлежала его покойному отцу.

Он прошел Бланицу и налево от шоссе вошел в простенький дом с надписью: «Противинское пиво».

Войдя в пивную, он сейчас же узнал свою сестру, полную, большого роста женщину; он заказал себе кружку пива и стал думать о том, как бы сказать ей, что он ее двоюродный брат.

— Вы меня не узнаете? — спросил он после длительного размышления.

— В первый раз вижу. Может быть, я встречала вас когда-нибудь на базарной площади в Будейовицах... Да, помню... Вы покупали воздушный шарик.

— Нет, нет. Вы же ведь Овсаржка, урожденная Попельцова?

— Да. А вы не писарь из Розводовиц? Тот тоже как-то так странно смотрит.

— Нет, нет... Я — государственный прокурор Норберт Попелец, сын Йозефа Попельца, того, которому принадлежала эта пивная; я — ваш двоюродный брат.

— Ах, как жалко, что моего старика нет дома. Он поехал купить корову, и сегодня мы не варим обеда. Обед можно достать в другой пивной, подальше.

Она ушла и оставила прокурора одного. Он, конечно, понял, зачем она все это говорит. Она боится, чтобы ей не пришлось его угощать обедом.

Наконец она снова появилась и сказала, что придет ее муж и начнет новую бочку пива, а то уже все продано, и опять убежала. Через минуту она пришла вновь с ведром воды, засучила рукава и, не говоря ни слова, принялась мыть пол.

Государственный, прокурор расплатился, и, когда он уже уходил, его двоюродная сестра сказала ему на прощанье:

— В той пивной вы наверняка получите обед.

Итак, он снова в своем родном селе на улице. Все ему казалось столь холодным, чужим, грязным и раздражающим, что государственный прокурор ударил палкою по мостовой. Потом совершенно машинально направился в ту, «другую» пивную.

Над дверью он прочитал вывеску: «Пивная Яна Волешника».

— Волешник... Волешник... — повторял про себя государственный прокурор. — Волешник ведь уж был пожилой человек, и его называли «прилиза», потому что он делал себе пробор. Не может быть, чтобы это был он.

В углу сидел старик; это и был тот самый «прилиза», с пробором на седой голове. «Ему лет девяносто», — подумал про себя государственный прокурор.

— Дедушка, вы помните старого Попельца, сын которого учился в Праге?

— Как же не помнить такого подлеца, — сказал дедушка. — А его сын, говорят, непрерывно судится. Тоже хорош гусь. С Марженой Гроссовой, с еврейкой из Гержмани, прижил ребенка. Теперь мальчишка у старого Леви в Писеке приказчиком.

— Но позвольте, кто вам это сказал, дедушка? — смущенно проговорил государственный прокурор.

— Об этом все говорили несколько лет тому назад; я все знаю. Ченка Мазовеца я знал тоже; тот крутил с одной дамочкой из замка; я знаю все. Да, да, а Мазовец был родственником с Попельцами. Две семейки — одна подлее другой. Старик Попелец злился на меня за то, что я на три гектолитра продаю пива больше, так он донес на меня, будто я укрываю воров. И чего на меня этот мерзавец не наговорил, а тот, его сын, что потом учился в Праге, тоже был босяк порядочный. Однажды его видел наш мясник Кратохвил в суде. Двое полицейских, а посредине стоял сам молодой Попелец. Бог грехов не прощает.

Государственного прокурора бросало то в жар, то в холод. Он лихорадочно пил пиво и усиленно боролся с желанием что-нибудь разбить.

Старикашка тем временем продолжал:

— Вся семья Попельцев такая. Один из них, двоюродный брат того, что учился в Праге, недавно был пойман жандармами за кражу дров в лесу, и позавчера его арестовали. А Кодейш, старый бездельник, дядюшка Попельца, скупает краденые дрова.

Вокруг сидело несколько человек гостей, пожилых людей, которые стали смотреть подозрительно на прокурора.

— Послушайте, — обратился к нему один из них, — кто вы будете, уж не тот ли Попелец из Праги?

— Что вы, что вы... — заговорил господин Норберт Попелец. — Я... я торговец Гекса из Будейовиц.

Он расплатился и вышел.

— Тоже хороша птица, — сказал один из гостей после его ухода. — Это тот, который несколько лет тому назад подделывал деньги и получил пять лет.

Государственный прокурор, даже не заметив, что он назвался именем своего последнего подсудимого, отчаянно зашагал по грязным улочкам родного села на вокзал, и, когда уезжал обратно в Писек, к Праге, его лицо уже не носило выражения сентиментальности, и первую купленную им кружку пива он швырнул со злостью по направлению к родному селу.

## Солитер княгини

У добрейшей княгини Мехлинской завелся паразит. Пока еще не было установлено, поселился ли в теле этого ангела ленточный солитер или цепень невооруженный: вид определится, как только паразит из нее выйдет.

Хуже то, что домашний врач Мелихар до сих пор тщетно ломал голову, как бы объяснить княгине, хотя бы по-французски, чем страдает ее светлость.

Как сказать об этом ангелу с прелестными аристократическими ручками, которые никогда туфельки не развязали, которые оттого и были аристократическими, что никогда ничего не делали? Княгиня была из чистокровной англосаксонской семьи и выделялась непомерно высоким ростом, рыжими волосами и бледностью, а также ангельской добротой, так как устроила приют для четырех княжеских слуг, которые отличились особой почтительностью за время службы у княгини и, ввиду недостаточной пенсии, померли бы с голоду.

И вот добросердечная княгиня устроила для них приют, где эти старики теперь жили, одетые в больничную форму, состоящую из ужасного белого суконного халата с ярко-голубым воротником. Говорили, будто на красных суконных штанах у них сзади вышит княжеский герб. Но это неправда. Княжеский герб был только на плоских фуражках с розовым козырьком. Как только эти люди появлялись на деревне, с ребятами приключался родимчик.

Ангел-княгиня сама часто спускалась вниз, в деревню, и наделяла бедных детей розами. Побуждаемая своим нежным и чутким сердцем, она никогда не ограничивалась одним благодеянием, и ежели послала какой-нибудь бедной больной женщине букетик роскошных орхидей, то можно было быть уверенным, что при случае опять пошлет орхидеи в деревню.

Вся округа знала о ее добрых делах.

Когда умирала старая беззубая батрачка Пешлова со скотного двора, княгиня послала ей пять килограммов грецких орехов. Как Пешлова увидела лакея с орехами, икнула и отдала богу душу.

В другой раз княгиня решила как-нибудь особенно одарить пастуха Тонду, пасшего общинных свиней. Она послала к нему двух лакеев, которые совсем сбились с ног, пока его нашли. Но в конце концов поймали, притащили, несмотря на его отчаянные вопли, в замок, где его умыли, и княгиня подарила ему набор красок для рисования. Тонда съел три краски, а остальные бросил: не понравилось.

Услышав однажды, что старый Клабец, живя в пастушьей хижине, страшно нуждается, княгиня послала ему целый ананас.

Клабец променял у шинкаря-еврея ананас на водку, но это нисколько не отвратило княгиню от благотворения. Наоборот, когда в результате ливней снесло в реку два домика, она велела лакею отнести лишившимся крова два блюда клубники со сливками. Когда умер пономарь, она не поленилась — послала жене его коробку конфет, настоящих итальянских «освежающих», чтоб бедной вдове было чем освежиться.

Никто не уходил из замка с пустыми руками. Кто уносил крыжовник, кто смородину, кто финики — так горячо старалась княгиня смягчить их нужду. И всякий раз, как кому-нибудь совсем уж нечего было есть, он мог быть уверен, что помощь близка. Если великодушная княгиня не пошлет ему пять бутылок

керосину, то, уж конечно, пошлет спиртовку.

Для школьной библиотеки она выписала «Sport im Bild»[84], а так как деревня была чешской, она соблаговолила выписать для тамошней читальни журнал «Bosnische Post»[85], выходящий в Сараеве. А первый ученик получил от нее книгу «Horses, dogs, birds, cattle. Accidents and Ailments». Published by Ellman, sons and Co. Slough, England»[86].

Короче говоря, сущий ангел, хоть, к сожалению, с солитером.

«Как ей об этом сказать?» — ломал себе голову доктор Мелихар, когда очаровательная княгиня спросила, считает ли он ее положение серьезным.

— Отнюдь нет, ваша светлость, — ответил он. — Речь идет о довольно незначительном нарушении... Ваша светлость, вы когда-нибудь обращали внимание на пруды, где поднимаются со дна и плавают по поверхности водяные лилии? Ну хоть на прудок в замковом парке?.. Там находятся особого рода плоские личинки, от которых происходят ленточные черви (Plathelminthes).

Княгиня уставилась на него с испугом.

— Да, ленточные, или так называемые «паренхиматозные». Они делятся на три вида: цестодозы, трематодозы и акантоцефалезы... Это маленькие создания, расселяющиеся повсюду без разбора в виде солитеров, вертячек и обыкновенных глистов. Если ваша светлость изволит пройти к замковому пруду, то, как я уже сказал, увидит там исходную форму своего паразита.

Добрая княгиня не поняла, так как в невинности своей не представляла себе, что такое солитер.

— Я не совсем вас понимаю, милый доктор!

— Ваша светлость, — сказал доктор, умиленный наивностью княгини, — соблаговолите принять во внимание, что солитеры встречаются исключительно в аристократических кругах. Я знал графов, князей и даже одного герцога, которые имели удовольствие, подобно вашей светлости, растить солитера, но после надлежащего ухода тот выходил вон.

— Как это — вон? — наивно спросила княгиня.

Доктор откашлялся.

— Чистым все чистое... — торжественно промолвил он. — Выходил совершенно так же, как выходит драгоценный страсбургский паштет вместе с содержимым желудка, сопровождаемый — как это было в случае с герцогом — нежным паштетом из бекасов и речных раков. Я знаю случаи, когда солитер имели кардиналы, следившие за его выходом из тела, держа молитвенник в руке. Один европейский государь каждый год растит в своих внутренностях солитера, который пользуется необычайным почетом среди населения. Оскорбление солитера карается там, как оскорбление величества... Чтобы не упустить момент выхода солитера из тела вашей светлости, я дам специальные инструкции вашим горничным.

Когда доктор ушел, добрая княгиня велела позвать своего исповедника.

— Ваше преподобие, — благоговейно сообщила она, — у меня солитер.

Лысый старичок всплеснул руками.

— Быть не может, княгиня! Вы — сама невинность, вы — роза. При чем же тут солитер? Но если он все же есть у вас, княгиня, значит, он вам послан богом для вашего испытания. Верьте в милость Божию, в бесконечную доброту господню — и с солитером будет покончено. Богу угодно посетить вас крестом любви своей, и он же избавит вас от сего испытания.

— Ваше преподобие, я слышала, что солитеры бывают у кардиналов.

— И у архиепископов, и у папы, княгиня. Святой Иоанн боролся с солитером в пустыне, а папа Иоанн Тринадцатый перевез его в Авиньон. Он — эмблема смирения, и, как сказано в Писании, грешники его лишены.

Между тем солитер производил в теле доброй княгини свои чудеса.

Каждый день доктор заливал его отваром папоротникова корня (*polypodium filix mas*), отваром коры гранатового дерева, крепким резедовым чаем. Каждый день княгине приходилось глотать от трех до пяти тыквенных зернышек, потом она глотала нафталин и, наконец, пила касторку.

Все это — отличные, превосходные слабительные, и добрая княгиня чем дальше, тем больше укреплялась в убеждении, что бог любит ее, раз послал ей такое испытание.

Наконец через две недели розовый солитер очутился в элегантном сосуде со спиртом.

Как констатировал доктор, это был именно солитер. Княгиня радовалась его длине, так как эта длина доказывала, что бог очень любит ее.

Теперь княгиня опять получила возможность творить добро — занятие, которое в последнее время запустила из-за борьбы с солитером.

И вот в один прекрасный день она снова отправилась в деревню.

Она ехала в карете, заботливо оглядывая окрестность. Остановилась перед избой старосты, спросила его, нет ли в деревне больных.

Тот назвал старого Матая, дом № 132, передавшего имущество своим детям и жившего на их иждивении... Княгиня велела лакею спросить, что со стариком. Лакей доложил, что Матей страдает солитером.

Это сообщение потрясло княгиню. Как это может быть? Самый обыкновенный человек, вроде вот этого Матая, имеет солитера, составляющего удел возвышенных душ?!

Дома княгиня опустилась на колени в часовне и воскликнула:

— Боже мой, возможно ли, возможно ли?

С этого дня она стала чахнуть, и кончилось тем, что золотое сердце ее перестало биться. Перед смертью она завещала передать своего солитера, заспиртованного, в школьную коллекцию, а самому старому служащему в имении отказала флакончик дорогих духов. Кроме того, распорядилась, чтобы каждый раз в годовщину ее смерти всех бедных детей деревни наделяли крыжовником и чтобы бедноте позволяли в этот день безвозбранно собирать в княжеских лесах землянику и грибы. И 3 января добрая княгиня скончалась.

Царство ей небесное и вечный покой! Но как будет с крыжовником, земляникой и грибами в день ее смерти — 3 января, — этого не могу сказать.

## «Пражске уржедни новины»

Всякий раз, когда я беру в руки «Пражске новины», официальный правительственный орган, меня все больше и больше радуют его эстетические достоинства. О внешнем оформлении я не говорю, оно оставляет желать лучшего, но зато внутреннее содержание пропитано такими нравоучительными сентенциями и остроумными мыслями, что просто одно наслаждение читать статьи журналистов этой правительственной газеты, среди которых особенно выделяется мужественная фигура О. Филипа. Здесь всегда найдешь сообщения, кажущиеся на первый взгляд порядочной ахинеей. Я говорю — на первый взгляд, потому что вскоре вы понимаете, что вас просто-напросто остроумно разыграли. К примеру, читаете вы о несчастье, происшедшем возле Лузина в Швейцарии, во время которого утонуло десять местных жителей вместе с капитаном китайцем Лионгом. Вы задаете себе вопрос, как бедняга попал в качестве капитана в Швейцарию, а после смерти еще и в «Пражске уржедни новины»? Потом ищете на карте Лузин. Вам известно, что в Швейцарии есть Люцерн, а вовсе не Лузин; что Лузин — уездный город в Витебской губернии России, и, наконец, вспоминаете о Лусоне, самом большом острове Филиппин, где китайцев тьма-тьмущая. Это уже похоже на правду, и капитан Лионг мог утонуть там. Читаете далее и констатируете, что он был пиратом, правительственная газета и впрямь обстоятельно рассказывает нам об этом в статье «Разгул пиратов в Швейцарии». Через две недели вы сможете прочесть об этом в правительственной газете еще раз.

Весьма похвально стремление «Пражских новин» повысить культурный уровень народа! Читателю «Пражских уржедных новин» не следует принимать на веру даже сообщений местной хроники, ему предстоит провести изыскания и добратся до сути загадки, которую «Пражске новины» преподнесут ему в форме невинной заметки. Таким образом читатели пополняют свое образование. Этим-то и определяются эстетические достоинства данной газеты. Читатель идет в читальню и уточняет там по энциклопедии названия рек, стран и городов, упоминаемых в «Пражских уржедных новинах». Таким образом ему прививают вкус к познанию; работа с энциклопедией после прочтения «Пражских уржедных новин» становится для него ежедневной потребностью, и, вне сомнения, есть надежда, что в своем стремлении к просвещению он изучит в конце концов всю энциклопедию, обратив внимание и на другие вещи, которые необходимо знать интеллигентному человеку, душа его делается мягкой и нежной, он начнет размышлять об искусстве, о художественном воспитании, станет ходить в оперу и всюду рекомендовать «Пражске уржедни новины», превратившие его в интеллигента и привившие ему чувство прекрасного.

А какие успехи у «Пражских новин» в деле разоблачения негодяев, грабителей, воров и поручителей за должников! Именно эта газета постоянно помогала полиции разыскивать грабителей и убийц, публикуя подробнейшие описания того, как преступники не выглядели: «Есть мнение, что преступник *не носил* черного пиджака и серых брюк». Полиция провела в этом направлении решительный розыск, который был сильно облегчен тем, что арестовали всех, кто *носил* черный пиджак и серые брюки, ибо, поверьте, со стороны газеты «Пражске уржедни новины», сообщавшей, что преступник *не носил* черного

пиджака и серых брюк, это был всего лишь трюк. Расчет строился на том, что преступник, прочитав данное сообщение, наденет именно черный пиджак и серые брюки, дабы замести следы.

Именно «Пражские уржедни новины» до таких мельчайших подробностей описали убийцу Магды Новотной, словно тот носил статьи в воскресное юмористическое приложение правительственной газеты и в редакции его знали лично.

Но есть выражение, играющее большую роль в такого рода сообщениях правительственной газеты — «к сожалению». Изю дня в день мы читаем: «К сожалению, он убежал», «К сожалению, он прыгнул в реку», «Когда хозяйка лавки отвернулась, он, к сожалению, украл ветчину стоимостью в 10 крон», «После этих слов он ее, к сожалению, изнасиловал...», «К сожалению, он напился».

Содержание статей «Пражских новин» пестрое и увлекательное. В газете два раздела. «Официальные сообщения» и «Неофициальные сообщения». Из официального раздела вы узнаете то, что обязан знать каждый порядочный человек: там, например, написано, что «принцесса из Шаумбург-Липпе произвела на свет младенца принца», или о том, что наместник (боюсь, цензура мне это не пропустит), что, стало быть, пан наместник выехал на автомобиле в Кладно, а оттуда пешком направился в Вену, и тому подобные официальные сообщения. К ним относятся и сообщения о погоде. Если погода хорошая, это, разумеется, дело рук властей, если идет дождь, это опять-таки официально санкционировано, и тот, кто раскрывает зонтик, вмешивается, по сути дела, в действия властей. Позволю себе обратить на это внимание уважаемой редакции «Пражских новин». Ты с удовольствием читаешь эти сообщения. Узнаешь, что коммерческий советник Гахфельд из Мёдлинга был назначен государственным советником. Вы только представьте, как приятно, когда тебя спросят, что слышно нового, ответить:

— Как, разве вы еще не знаете, что коммерческий советник Гахфельд из Мёдлинга бы назначен государственным советником?

И вы спешите дальше, чтобы успеть и другим сообщить это приятное и важное известие.

И не успели вы повеселиться, читая официальные сообщения, вас начинают веселить сообщения неофициальные. Читаете там, к примеру: «Послабление в смертной казни. Как нам стало известно из достоверных источников, реформой свода законов предусмотрено и послабление в смертной казни. Послабление это будет весьма ощутимым и мы не забудем своевременно информировать наших читателей обо всех подробностях». Что нас ждет, судя по сообщению правительственной газеты, которая *своевременно* проинформирует читателей о подробностях послабления в смертной казни? Быть может, данное послабление коснется лишь подписчиков «Пражских уржедних новин»? А как же остальные, кто на них не подписался?

Напоследок вас порадует сообщение, помещенное далее, что 312 паломников со слезами на глазах отбыло из Брно в Палестину. Сообщение это столь важно, что правительственная газета напечатала его вразрядку.

А если уж и это вас не развлечет, то повеселит очерк Яна Йозефа Сватека, в котором он описывает свои приключения среди арабов в Тунисе. Приключения захватывающие. В каждом выпуске он пьет мокко и отдает себя на съезде-

ние клопам. И так продолжается, начиная с апреля.

У газеты «Пражске новины» есть одно большое преимущество перед другими изданиями. Это, бесспорно, ее бумага; она не жесткая, а тонкая и мягкая.

Бумагу эту хвалят жандармы всех участков, куда, «Пражске уржедни новины» посылают бесплатно, в целях просвещения жандармов.

«Пражске новины» висят там. И делают свое дело. Доставив духовное удовольствие, газета выполняет и другое свое предназначение с той деликатностью, на какую только способна железная жандармская рука. И выполнив свое предназначение, она падает, прикрывая своей официальной поверхностью последствия неофициальных действий органов безопасности,

## Как у нас варили картофельный суп для бедных детей

Князь Роберт был очень гуманный человек. Он решил устроить в деревне, находившейся возле его замка, бесплатную раздачу супа для бедных школьников, не пожалел средств на постройку павильона и выписал из Вены походную кухню. Когда ее доставили, княгиня на коленях умоляла мужа отказаться от своей затеи. Но князь ответил:

— Ни в коем случае, княгиня... Я сам буду варить этой голытьбе картофельный суп.

Отговаривал его и брат княгини, граф Менгард, доказывая, что это — занятие, недостойное князя.

Но князь Роберт закричал, что будет во что бы то ни стало сам варить картофельный суп и выкинет за дверь всякого, кто вздумает лезть к нему со своими советами.

Князь Роберт был очень гуманный, но в то же время очень вспыльчивый человек.

И вот в один прекрасный день павильон и походную кухню убрали свежими сосновыми ветвями, вход в павильон украсили надписью: «Награди, господь!», в сосновые ветви вплели флажки, двухцветные ленточки, и дворецкий во фраке и цилиндре подошел к походной кухне и принялся ее растапливать. Таково было желание князя Роберта.

Сам он смотрел в окно, с нетерпением ожидая, когда дворецкий снимет цилиндр — в знак того, что вода закипела и пора его светлости чистить картошку. Это было тоже предусмотрено составленной князем программой.

Наконец князь вышел из замка и важно, торжественно проследовал к павильону, возле которого стояла походная кухня. Там был и сельский староста, занятый тем, что тыкал кулаками под ребра бедных ребят, которые даже в это мгновение, не обращая внимания на его светлость, продолжали ковырять в носу.

Староста знал порядок. Он велел всем двадцати трем бедным школьникам деревни кричать князю «ура», кинул на них быстрый взгляд — умыты ли — и дал знак стражнику Пазоуреку; тот зажег фитиль у одной мортиры и перебежал к другой. Грянули два выстрела, и князь выступил из заклубившихся над мортирой облаков дыма. Дети оглушительно заорали, Князь приветливо махнул рукой и сел перед походной кухней. Два лакея подали ему картофелину. Взяв ее руками в белых перчатках, он очистил ее и бросил в котел с кипятком. Дети не могли кричать от радости, так как охрипли. Его светлость приступил к чистке второй картофелины. Когда он бросил и ее в котел, снова раздался ра-

достный рев. Князь Роберт встал и промолвил:

— Ви, детка, имейт радост, кушайт суп и радовайтесь, что я вас варил. Ви, детка, должна помнийт, что я дал вам к нас, я быть ваш мать, я вас...

Раздался новый радостный рев — в знак того, что прекрасная речь его светлости доставляет юным слушателям искреннее удовольствие.

— Ви, детка, знайт: то есть лучший монумент вам, что я варю, — торжественно продолжал князь. — Ви делайт ам-ам хорошего суп, а я вас сам картошить. Молийтс богу об мэйне!

Вслед за тем каждый из двадцати трех бедных учеников получил от его светлости крону. В заключение князь подошел к старосте, снял перчатки и отдал их ему со словами:

— На памейт о первый ам-ам хорошего суп, который я картошил. Молийтс богу об мэйне!

Егерь подвел князю коня, и его светлость отбыл рысью в заповедник, а дворецкий и лакеи гордо удалились в замок.

Староста сунул перчатки в карман, посмотрел на бедных ребят, потом на сельского стражника Пазоурека, потом опять на перчатки — нет ли тут чего, — наконец обратился к члену общинного управления Вержине с такими словами:

— Ну, а кто ж теперь суп-то для этих голодранцев доварит?

— Пазоурек с ребятами пускай дочистят картошку, — ответил Вержина.

— Вари суп, Пазоурек, а вы, девчата, принимайтесь чистить картошку, — распорядился староста и ушел с первым и вторым членами общинного управления.

Стояла невероятная жара. Пазоурек стал ругать детей, свирепо вращая глазами:

— Показал бы я вам, как ходить сюда за супом! Балует вас его милость!

С основательностью старого солдата он, не вынимая трубки изо рта, опустил в кипящую воду разложенные на столе продукты. Тем временем девочки уже почистили вою картошку, и он принялся хлопотать вокруг котла, стирая рукавом обильный пот со лба. Вдруг он перестал мешать в котле; его озарила какая-то мысль. Поглядев на кувыркающихся в траве перед павильоном ребят, он крикнул одному из них:

— Эй, Малина, пойди сюда!

Ничего не подозревающий Малина подошел.

— Слушай, сорванец! — заявил ему Пазоурек. — Я видел, ты вчера на общинном поле горох воровал. За это полагается гульден штрафа. Давай сюда крону и позови брата своего Пепика... Пепик, паршивец, ты знаешь, что брата твоего Карела чуть в тюрьму не посадили? Он вчера горох воровал... За это — штраф. Он крону от князя получил и ты тоже. Благодарите бога, что у нас князь такой добрый. А то кто бы за вас, прохвостов, штрафы платил? Так вот, корона с Карела да корона с тебя, Пепик, — как раз и выйдет гульден. Только смотрите: коли я вас опять в горохе увижу, сейчас же запрю в хлев при управлении. Штаны долой — и задам трепку! Воровать — великий грех, дети! Но я вас прощаю. А теперь, Пепик, сбегай за бутылкой житной, а Карел пускай суп помешает.

И, довольный, расположился возле котла на лужайке. Вскоре Пепик принес поллитровку. Выпив как следует, Пазоурек собрал вокруг себя ребят и долго

беседовал с ними о необходимости уважать начальство.

— Потому оно — от самого императора, сукины дети! — сказал он в заключение и послал за второй поллитровкой.

Солнце стояло уже высоко, и Пазоурек снял сапоги, потом, привольно раскинувшись на траве, уснул, между тем как ожидающие княжеского угощения занялись игрой в «разбойники».

Крик их не будил Пазоурека. К тому же скоро вокруг все затихло, так как «разбойники» убежали в заповедник.

В полдень князь, возвращаясь с прогулки домой в замок, увидел всеми оставленную походную кухню и пустой павильон.

Из котла валил пар, слышалось клокотанье, и на поверхность время от времени всплывали сапоги общинного стражника Пазоурека. Князь разбудил его пинком, так как хотя был человеком гуманным, но очень вспыльчивым.

А с дороги над косогором, укрывшись в кустах терновника, братья Малина, ликуя, любовались сапогами и всей картиной в целом, как художник любит себя своим произведением, удостоенным первой премии.

По-видимому, это зрелище возместило им потерю двух крон.

Князь тотчас отменил бесплатную выдачу супа. А когда его шурин, граф Менгард, человек исключительно добросердечный, встретил в лесу общинного стражника Пазоурека и с любопытством осведомился, как они варили в первый и последний раз картофельный суп, Пазоурек откровенно признался:

— Ах, ваша милость! Это ужас что было! Не приведи господи, ежели бы вы там побывали, не выдержали б!..

## Забастовка преступников

Само собой разумеется, во всем виноваты были социал-демократы. Это их газеты непрестанно твердили о классовом правосудии! Это их ораторы требовали, чтобы признанное теоретически равенство граждан перед законом осуществлялось на практике! Их претензии временами заходили так далеко, что, когда одна баронесса в ювелирном магазине по ошибке сунула себе в карман несколько драгоценных камней, они выступили в своей газете с требованием, чтобы ее судили, как обыкновенную воровку! Как будто баронессы не могут страдать kleptomанией!

Их органы не только не вступились за одного графа, когда тот объявил себя банкротом, облегчив тем самым карманы своих кредиторов и служащих на парочку миллионов, но, наоборот, осмелились потребовать, чтобы его сиятельство посадили на скамью подсудимых. Когда же этого не произошло, начали подстрекать народ против юстиции и судов.

И все кончилось тем, чем и должно было кончиться. Преступники вообразили, что суды к ним несправедливы, что они поступают с ними не так, как следовало бы. Тогда-то и произошло событие, которое оказалось уникальным в мировой истории и которое имело для государства, как увидят читатели, весьма серьезные последствия.

В один прекрасный день, или, вернее, в одну прекрасную ночь, без ведома и разрешения полиции на перекрестках появились огромные плакаты, в которых преступники объявляли всеобщую забастовку. Это было их последним незаконным актом. После него — ни единого. Забастовка должна была продолжаться до тех пор, пока законы, устанавливающие равенство граждан, не

будут проведены в жизнь до последней буковки.

Лояльного гражданина должно было больно задеть, что власти на первых порах недооценили этого движения. Полицейские и судебные чиновники отпоявлялись на каникулы и, радостно потирая руки, заявляли, что они уж будут начеку и постараются, чтобы требования забастовщиков не удовлетворялись. Ведь такого чудесного времени не дождешься до самой смерти. Чиновники прокуратуры целыми днями сидели в кофейнях и от нечего делать читали газеты. Но на газетах на первых отразились последствия забастовки: журналисты, эти прирожденные преступники, оказались солидарными с прочими злоумышленниками и не погрешили даже против самого невинного параграфа закона.

Господин верховный прокурор, прочитав социал-демократические «Право лиду», «Зарже», и «Копршивы», в сердцах хлопнул ими об стол и проворчал:

— Они стали такими же скучными, как «Пражске уржедни листы».

С той поры он начал страдать тяжелым неврозом. Когда же кончился квартал и он, составляя отчет, должен был в рубрику «количество обвиняемых» написать нуль, в рубрику «количество поданных жалоб» — опять нуль и в рубрику «количество осужденных» — снова нуль, он всплеснул руками и... повесился.

Невроз начал быстро прогрессировать — невроз на почве скуки и бездействия. Здание уголовного суда опустело, вход в него затянуло паутиной. Стали происходить ужасные вещи. Все репортеры ежедневных газет, ведущие рубрику «Из зала суда», были уволены. Они решили прибегнуть к взаимопомощи — создали «Общество поддержки семей арестантов» и приступили к публичному сбору средств. Согласно уставу, семья заключенного имела право в течение всего времени его заключения получать пособие в размере двойного дохода арестанта. Читатели рубрики «Из зала суда» засыпали новое общество своими пожертвованиями; их примеру последовали издатели газет. Вскоре Общество смогло сообщить, что будет выплачивать пособие не в двукратном, а в десятикратном размере. Но даже это не могло разрушить сплоченную организацию преступников.

Наибольшее же несчастье обрушилось на «Народни политику». Поскольку сия газета, как известно, никогда не печатала ничего иного, кроме сообщений о преступлениях, она стала выходить совсем без текста, с одними объявлениями. Когда же стало ясно, что тираж из-за этого катастрофически падает, издатели решились на великий гуманный акт, провозгласив, что, если где-нибудь совершится преступление и преступник будет осужден, они выплатят невинной несчастной семье осужденного пособие в размере 100 000 крон. Но это тоже не помогло.

Наконец один крупный чиновник прокуратуры напал на мысль, которая, по его мнению, должна была выручить из беды. Он запросил в епархии список всех епископов и по алфавиту начал проводить у них домашние обыски, а также строгие ревизии всех книг и касс их предприятий. Но результат оказался прямо удручающим: епископы и те перестали воровать!

Адвокаты по уголовным делам оказались без работы: не было клиентов. Заботясь о будущем и понимая, что на каждый случай газеты набросились бы, как хищники, и что это была бы великолепная реклама, самые прославленные и самые дорогие из них известили, что впредь будут защищать своих до-

верителей совершенно бесплатно. Начинающие адвокаты, которые только еще собирались прославиться, оповестили через газеты, что будут выдавать денежную награду всем, кто обратится к ним за помощью. Но денег у начинающих адвокатов было маловато, поэтому предлагаемая ими премия была весьма незначительна. Организация же преступников оказалась весьма крепкой, в итоге их попытка провалилась.

В полицейском управлении царило беспросветное отчаяние. Дирекция плевала в потолок, а полицейским специальным решением директора управления было приказано заняться ловлей мух, чтобы не утратить профессиональных навыков.

Господин директор пытался и иным путем выправить положение. Газеты принесли известие, что он провел важное Собрание с руководителями немецкого клуба. На другой день должны были начаться выступления немецких националистов. Предполагалось, что в связи с этим удастся арестовать парочку-другую членов национально-социальной партии и дело будет в шляпе.

Демонстрации состоялись. Но на них никто не обратил внимания. Все срывалось! Дирекция была в отчаянии. Если говорить правду, это отчаяние имело еще и другую причину. В полицейском управлении было решено отдавать под суд и тех полицейских, которые, в нарушение закона, с излишней суровостью обращались с населением или рукоприкладствовали без достаточных оснований. А полицейское управление города, о котором идет речь, имело уже опыт, что такого рода случаев в беспокойные времена может набраться, по крайней мере, сотня. Но все надежды оказались напрасными, и у господина директора зародилось даже ужасное подозрение, что все его подчиненные сами принадлежат к организации преступников.

Тогда его осенила спасительная мысль — обвинить полицейских в том, что они вошли в контакт с преступниками. Увы, доказательств не было. Единственный довод, который он мог привести, сводился к тому, что раньше преступления совершались, а теперь вдруг прекратились. Но за это нельзя все-таки привлекать к суду.

Авторитет чиновников уголовного суда стремительно падал. Все знали, что жалованье-то они получают, а делать ничего не делают. И если кто-нибудь из них, заходя в трактир, говорил, что он советник уголовного суда, люди шархались от него, и на лицах всех посетителей бедняга читал: еще один из тех дармоедов, которые обжирают нас, налогоплательщиков, и ничего не делают. Чиновники прокуратуры, так те вовсе не отваживались показываться на улице.

В парламент между тем был подан настоятельный запрос с требованием ликвидировать все упомянутые учреждения, поскольку им просто нечего делать.

Это было последней каплей, переполнившей чашу. За дело взялось правительство. Все арестованные, осужденные на длительные сроки заключения, получили амнистию и были выпущены на свободу. Так как они ничего не знали о забастовке, была надежда, что они невольно станут штрейкбрехерами. Но у забастовщиков около всех тюрем были расставлены свои пикеты, которые ввели освобожденных в курс дела и предупредили против штрейкбрехерства. Правительство потерпело полное фиаско, больше того, ситуация стала еще более напряженной, так как оказались ненужными и все тюрьмы с их

смотрителями, надзирателями и охранниками.

Одно время серьезно подумывали даже о том, чтобы выплачивать преступникам государственную пенсию; аграрники предложили даже установить для этой цели специальную государственную дотацию, но по зрелом размышлении эта идея была отвергнута.

Между тем приближалось роковое заседание парламента, на котором должен был обсуждаться законопроект о ликвидации уголовных судов, государственной прокуратуры, полиции, тюрем и тюремных управлений.

Но за день до этого перед дворцом наместника уже с утра стояла неизвестно откуда взявшаяся огромная толпа, которую возглавляли четыре персоны. Господин президент уголовного суда нес на длинном шесте невероятных размеров щит с надписью: «Дайте нам работу!» Возле него, подобный мрачному богу подземного царства шел господин верховный прокурор, который воздвигал над толпой гигантский транспарант «Долой безработицу!» Выразительная голова господина директора полиции была затенена лозунгом «Только труд облагораживает человека!». Господин президент коллегии защитников вытирал потный лоб, сгибаясь под тяжестью плаката «Верните нам наших преступников!». Следом за этой четверкой катилась волна судебных советников, секретарей, следователей, прокуроров, полицейских чиновников, адвокатов — короче говоря, представителей всех званий, пострадавших от забастовки преступников.

Указанные четыре господина сложили свои транспаранты и направились во дворец наместника. Стоящие на посту полицейские, которые не участвовали в шествии, поскольку нынешнее положение их вполне устраивало, с нескрываемым любопытством разглядывали необычных демонстрантов.

Наконец на крыльце дворца появилась депутация. Президент верховного суда поднял свой щит и замахал им в знак того, что хочет сообщить присутствующим результаты переговоров. Наступила гробовая тишина. Яростно жестикулируя, прерывающимся от бешенства голосом господин президент провозгласил:

— Он нас не принял!!!

— Не принял! Этот!.. — закричали в толпе, и тысячи сжатых кулаков поднялись к окнам наместника.

Грянул гром угрожающих криков и ругани. Несколько камней полетело прямо в окна его превосходительства.

Полицейские поняли, что не вмешаться сейчас было бы преступлением, но поскольку преступления теперь не совершались, они начали принимать меры... Такой свалки не видывала даже Прага! Верховный прокурор сломал свой щит с плакатом о головы полицейских, господин директор полиции принялся выдергивать перья из султанов на полицейских касках, как какой-нибудь член национально-социальной партии... Позорное побоище завершилось арестом пятисот человек — сплошь крупных государственных чиновников и известных адвокатов.

Полосы «Пародии политики» были на другой день заполнены, суды снова оказались по горло завалены работой.

В подавляющем большинстве нарушители были оправданы, как «действовавшие в состоянии аффекта». И лишь несколько менее значительных персон были присуждены к денежному штрафу от пяти до десяти крон.

В тот же день закончилась и забастовка преступников. Они поняли, что очень легко могут быть заменены другими. А приговоры тем, кто их заменил, убедительно показали, что равенства всех граждан они так и не добьются. Забастовка была проиграна.

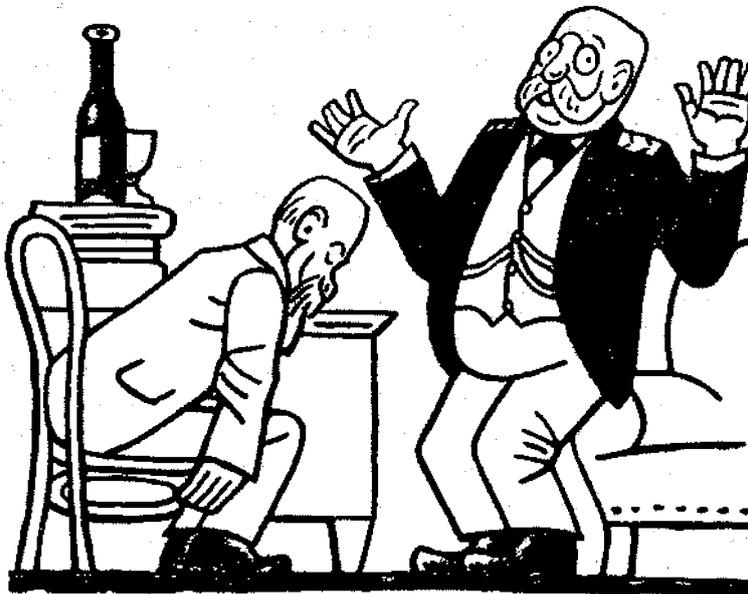
Вот так и случилось, что в той стране, где все это произошло; равенство всех граждан перед законом и в дальнейшем осталось только на бумаге.

## Финансовый кризис

Старый Шима, прослуживший в банкирской конторе «Прохазка и К°» пятнадцать лет, набрался наконец смелости и постучался в кабинет банкира Прохазки, чтобы попросить с нового года прибавки в двадцать крон.

И вот Шима сидит перед господином Прохазкой, потому что тот, выслушав просьбу, предложил ему стул. Шеф ходит по кабинету, жестикулирует и говорит:

— Я мог бы немедленно выставить вас вон после такой наглой просьбы, но у меня есть с полчаса свободного времени, и я хочу дружески поговорить с вами. Вы просите увеличить вам жалованье на двадцать крон в месяц, то есть на двести сорок крон в год. И вы отваживаетесь просить меня об этом в такое время, когда над денежным рынком навис дамоклов меч всеобщего финансового краха?! Разве вам неизвестно, что акции Альпине-Монтан упали с 772 до 759,60, а акции Бедржиховских заводов котируются не по 940, а по 938? Акции «Зброевки» тоже катятся вниз, дорогой Шима. С 728 они упали до 716,40. Это поистине ужасно, а вы хотите двадцать крон прибавки!



Прохазка всплеснул руками и взволнованно продолжал:

— Ценные бумаги на бирже крайне неустойчивы. Даже наиболее надежные из них — акции австрийского кредитного банка — в последние дни упали; в итоге вместо 664,90 они котируются на пять крон ниже, а вы требуете двадцать крон прибавки. На акции транспортных компаний регистрируются только мелкие сделки, акции государственных дорог упали на целых двенадцать крон! Венгерскому правительству не удалось получить во Франции заем в сто миллионов, а вы требуете двадцать крон прибавки! Германия собирается продавать металлургические заводы, идут разговоры о распродаже австрийских государственных имений, а вы приходите ко мне и говорите, как

о чем-то само собой разумеющемся: «Я пятнадцать лет служил вам верой и правдой, господин шеф, и, принимая во внимание финансовые затруднения, всеобщую дороговизну, слабое здоровье, десять человек детей и дырявые сапоги, осмелюсь просить двадцать крон прибавки ежемесячно».

Несчастный, вы сами не знаете, насколько вы правы. Финансовые затруднения действительно приняли угрожающий характер. Акции Южной дороги понизились на целых пять крон, а у меня их... впрочем, не мне говорить вам об этом, дружище. Не забывайте, что даже на акции Буштеградской железной дороги и то не предвидится солидных дивидендов: курс литеры А Буштеградской дороги уже упал с 2515 до 2426, а литеры Б — с 1004 до 976. Да вы, голубчик, просто спятили, прося прибавки! Ведь это же прямо безумие! Побывайте-ка на пражской бирже! Продается уйма ценностей, а чего они стоят? И спросу никакого. Курсы всех акций катятся вниз! Устойчивых бумаг нет! Акции кредитного банка, на которые я раньше заключил сделки по 760, теперь котируются по 750,75. Что вы на это скажете, а? Вы все еще хотите прибавки, старина? Вы все еще настаиваете на своей просьбе, несмотря на то, что даже швейцарское правительство не может рассчитывать на заем в два миллиона, необходимый ему до зарезу? Да, друг мой! Биржевые бюллетени свидетельствуют о близком крахе, можно с ума сойти от баланса этого года! Румыния, Турция, Болгария, Греция не могут получить ни гроша в кредит, а вы хотите, чтобы я прибавил вам жалованье!

Испания, Португалия и Италия нигде не могут разместить займы. Банкирский дом «Франс-Фрер» в Лионе вследствие конфликта в Марокко потерпел сто пятьдесят миллионов франков убытка, а вы как ни в чем не бывало приходите и говорите мне: «Господин шеф, прошу прибавить мне двадцать крон!» Друг мой, а вы знаете, что поговаривают о слиянии Росицких угольных шахт с Бедржиховскими заводами? А вы знаете, что покупка паев рудника «Анна-Мария» приведет к снижению годового оборота на двадцать тысяч крон? Нигде нет никаких возможностей для биржевых спекуляций. Купите-ка себе акции Подольского цементного завода, и вы увидите, как вы возгордитесь. А попробуйте суньтесь с ними на биржу! Ага, вы качаете головой, — не пойдете, мол. Пока еще крепкий курс у акций Колинского завода искусственных удобрений, за них вы заплатите 379, а я покупал их по 382, значит, я теряю по три кроны на каждой. Вы просто удивляете меня, дружище! Сидите как чурбан! Черт вас возьми — и вместе с акциями сахарных компаний! Я утверждаю, что у них слабый курс, — вы можете разбиться в лепешку, но не получите за них больше 261,50. Мне их никто не посмеет предложить, как и акции завода доктора Кольбена. Смею вас уверить! Я выгоню вон такого человека! А вы знаете, что Винебергское строительное общество накануне краха, что люблянские лотерейные билеты упали в цене? А вы знаете, что американский миллиардер Браун застрелился? А вы знаете, что финансисты Мюллер, Скалат, Ковнер, Гюбнер покончили с собой, что Реше, Кине, Мэн, Бюльшар повесились, что Карелт, Моррисон и Коммот и банкир Гаммерл с компаньоном утопились? А вы знаете, что повсюду банкрот на банкроте, что горят угольные Шахты на Аляске и в одну из них бросился американский угольный король? А вы знаете, что залежи серы на Урале уничтожены землетрясением? А вы знаете, что ольденбургские пятидесятиталеровые паи понизились в цене на пятьдесят процентов, что Зальцбургская железнодорожная и трамвайная компания обанкроти-

лась? Нет, вы не знаете этого, иначе вы не стали бы просить у меня прибавки в двадцать крон...

Банкир Прохазка хлопнул по плечу неподвижно сидящего Шиму, и тот повалился со стула на пол; конечности у бядняги уже похолодели.

От всех этих финансовых катастроф у него сделался разрыв сердца.

## Проблема любви

**В** компании зашел разговор о том, как любовь делает безвольными даже сильные натуры и как она действует на душу. Этакая вертеровщина, сентиментальность — явление довольно обычное. Влюбленный плачет и утирает слезы, хотя чаще всего в его отношениях с милой нет никакой трагедии. Влюбленный роняет слезы, даже когда любовь омрачена только в его воображении. Я знал один такой поучительный случай и рассказал, как однажды под Черховом, на Шумава, встретил под сенью могучей сосны молодого сильного мужчину, который сидел на поваленном стволе и горько плакал. Этот молодой человек проникся таким доверием ко мне, что поведал о своем горе, и рассказ его я передаю здесь дословно.

«Звали ее Ирма Траутенштейн. Я не видывал более хорошенькой немки. Каждый день ходил я из Кубице через границу в баварский Фурт-ам-Вальд, где был ресторанчик ее отца. Могу сказать, что я любил Ирму. Она была образованная, интересная собеседница, и при всем том, поверьте, сущее дитя. А как она готовила кнедлики с копченым мясом, а сама была такая пухленькая, прелестная и соблазнительная! У отца ее было замечательное баварское пиво, а тут еще окрестные виды! Шумава со своими великолепными лесами! Набродившись по лесу, насытившись его красотой, я шел к пухленькой Ирме, поджидавшей меня с кнедличками и кружкой черного пива. Потом она провожала меня до дороги к границе, в лесу мы прощались, и я один отправлялся к заставе, где карманы мои осматривали австрийские пограничные таможенники. Эти парни подозревали, что я что-то такое проношу. А я нес с собой только любящее сердце, потому что кнедлики переваривались во мне до того, как я достигал границы.

Раз как-то забыл я дома носовой платок, а может, потерял его в лесу, во всяком случае, я не помню, чтобы вытирал им нос за границей. Короче, пришел я в Фурт-ам-Вальд к Ирме без платка. Я сказал ей об этом, и она дала мне платок своего отца, а потом принесла еще один, кружевной платочек.

— Возьмите его на память, только нос им не вытирайте! — сказала она, но как сказала!

Этот платочек с тонкими кружевами я спрятал в нагрудный карман. И он согревал меня, хотите верьте, хотите нет. Согревал до самой заставы, где, как всегда, на меня набросились таможенники.

— Видите, ничего у меня нет, — сказал я, когда они меня обыскивали.

— Вот и неправда! — возразил один таможенник. — А это что?

Тут он вытащил столь дорогой мне платочек.

— Ага, — сказал он еще, — мы все-таки не ошиблись, вы проносите из Баварии в Австрию кружева. Знаете ли вы, что этим вы нарушили параграф третий инструкции за номером сорок шесть — сорок восемь о вышивках, кружевах и прочем рукоделии?

Я стоял перед ними, как грешник...

— Господа, — говорю, взяв себя в руки. — Вы отлично понимаете, что этот кружевной платок — мой личный предмет, не подлежащий обложению пошлиной.

— По платку этого не видно, — возразил таможенник. — Платок еще не был в употреблении, он совершенно новый, и, кроме того, при вас есть еще один, вот этот большой платок, который, я вижу, вы употребили уже не раз.

— Ах, делу легко помочь, — мужественно ответил, я. — Сейчас я высморкаюсь в кружевной платочек.

И я дважды громко сделал это, чтоб доказать им, что вовсе их не боюсь.

— Можете идти, — сказали они мне тогда, и я пошел через черный шумавский лес по белой дороге, ведущей втору, к Кубице. Но, очутившись в лесу, я вдруг подумал: «Что я натворил?! Ах я несчастный, зачем я высморкался в этот платок, зачем осквернил ее рукоделие!» Поверьте, чем дольше я об этом думаю, тем мучительнее становится мне эта мысль. Вот уже два часа сижу под сосной и смотрю в ту сторону, где живет она, где она своими мелкими шажками ходит по старому дому, куда я уже не имею права вернуться, потому что запятнал наши чистые, целомудренные отношения на этой проклятой заставе, облегчив свой нос в милый платочек, который она сама сшила и подарила мне со своей детской улыбкой. Я испытываю отвращение к себе, презираю себя, мне кажется, что я недостойн этого ангела...

Через год после этого я встретил молодого человека в Праге. Он подошел ко мне, как только меня увидел, и сказал:

— Слыхали новость? Она судится со мной на предмет установления отцовства!

Больше я его не встречал.

## Трагическое фиаско певицы Карневаль

В кабинет начальника полиции впорхнула, окутанная облаком парфюмерных ароматов и великолепным туалетом, знаменитая итальянская певица Карневаль, которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту: если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие и полиция не сможет ничего раскрыть — а что она не сможет, это начальнику было ясно, — неизбежен крупный скандал.

Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она премило улыбалась и без долгих околичностей заговорила о цели своего визита.

— Господин начальник, — сказала она с ужасным произношением и множеством грамматических ошибок, — я пришла предложить вам сделку, которая для нас обоих...

— Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговлей не...

— Дайте мне договорить, господин начальник, вы меня не поняли. Поскольку я уже довольно долго живу в вашем городе и, естественно, проявляю интерес к местным делам, магу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация...

— Уверяю вас, сударыня, злословие всегда...

— Знаю, знаю, все это очень мило. Я не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация, мне до этого нет дела. Меня интересует не полиция, а сделка...

— Но, сударыня, я не понимаю...

— Сейчас поймете, только не прерывайте! Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама, понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?

— Ясна, мадемуазель, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя?

— Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама? Согласны? А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслима. И вот, я придумала, как помочь себе и вам.

Начальник полиции не сводил глаз с заезжей дивы.

— Понимаете, — продолжала она, — у меня с собой на двести тысяч крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханно дерзкой краже и начнут всячески склонять мое имя. Это будет моей прибылью от сделки...

— А нашей? — осведомился начальник.

— Сейчас скажу. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет...

— Но я полагаю...

— Ничего не полагайте, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция. Ибо на третий день вам удастся найти драгоценности и вернуть их мне. И тогда газеты и публика сно-

ва будут писать обо мне, но на сей раз уже. и о вас и вашей славной полиции. За три дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в четверть миллиона, да к тому ж принадлежащие знаменитой Карневаль, — это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Учтите, что вам для этого даже не придется приложить никаких усилий. Ну, по рукам?

— Да, — ответил начальник полиции несколько неуверенно, потом продолжал торопливо: — Но перед тем, как заявлять нам о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру.

— Ах, милый начальник, я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценности? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявлю о пропаже, а уже днем все газеты раструбят о ней. Всего хорошего, милый начальник!

— Целую ручку, мадемуазель! Само собой разумеется, никто не должен знать...

— Не беспокойтесь. От этого было бы еще хуже мне, чем вам.

— Всего хорошего, сударыня!

Наутро певица Карневаль против обыкновения встала в шесть часов утра: в восемь ей нужно было быть у начальника полиции для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась, потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу.

— Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности, — сказала она себе. — Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут, но все-таки...

Она взяла ключик, наклонилась к большому саквоюжу, открыла его и начала рыться там.

Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении, глаза расширились, она стала яростно выкидывать из саквояжа платя, белье и разные предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль: драгоценностей нет, они в самом деле украдены!

Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума: беготня, суматоха, у входа двое полицейских, которые сначала даже не хотели впустить ее. Дива лежала в обмороке, двое врачей тщетно старались привести ее в чувство.

Наконец она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки, в отчаяний клялся, что никогда еще ничего подобного не случилось в его отеле. Не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому уже все было известно. Карневаль вела себя, как обезумевшая. Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания и наконец немного успокоилась. Когда чиновник ушел, начальник с любезной улыбкой подошел к певице.

— Должен отдать вам должное, сударыня. Я в восхищении! Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство чуть ли не превосходит вокальное!

Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась.

— Что вы имеете в виду?

— Вы так блестяще разыграли свою роль! Это возбуждение, бледность лица...

Певица, которая из-за всех треволнений совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь.

— О боже мой, господин начальник, не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию? Драгоценности в самом деле украдены! О господи, он мне не верит!

И она расплакалась.

Начальник в восторге захлопал в ладоши.

— Превосходно, мадемуазель, превосходно! Никогда не видел такой блестящей игры...

— Да поймите же наконец, господин начальник, что я в отчаянии! Драгоценности в самом деле исчезли, ваши люди все обыскали и не нашли их.

— Ну, понятное дело, ведь вы последовали моему совету!

— Великий боже, он все еще не понимает! Клянусь вам, драгоценности украдены!

— Сударыня, не трудитесь, здесь, кроме нас, никого нет, можно не притворяться.

— Какое там притворство! Сколько раз надо вам повторять, что я не играю комедии! Драгоценности похищены!

Начальник взял певицу за руку.

— Сударыня, позвольте поцеловать вашу ручку. Я уверен, что до сих пор никто не имел такой возможности оценить ваше актерское дарование, как я. Какая естественность!..

Певица оттолкнула его и, как безумная, убежала вон.

Все газеты поместили сенсацию о краже, некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навеки, полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался.

На третий день утром город был поражен новой сенсацией: драгоценности найдены! Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления дивы, прерванные пережитыми треволнениями, будут возобновлены. Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последней, и, уверенная в том, что драгоценности найдены, отправилась в полицию.

— Поздравляю, мадемуазель, поздравляю, — встретил ее начальник. — Все удалось превосходно!

— Так отдайте мне мои драгоценности.

— Мадемуазель, видимо, расположена шутить?

— Какие могут быть шутки! Давайте мои драгоценности!

— Вы лучше меня знаете, где они.

— Если я тотчас не получу драгоценностей, вы пожалеете об этом, господин начальник.

Физиономия начальника окаменела.

— Можете быть уверены, я сумею найти выход.

Жителям города казалось, что они сошли с ума. Газеты опубликовали заявление Карневаль, что полиция не нашла драгоценностей. Никто не понимал, что это значит, но к вечеру все стало ясно. Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу:

**СЕНСАЦИОННЫЙ УСПЕХ НАШЕЙ ПОЛИЦИИ!**

**ЗНАМЕНИТАЯ ПЕВИЦА КАРНЕВАЛЬ — МЕЖДУНАРОДНАЯ АФЕРИСТКА!**

**ОНА АРЕСТОВАНА.**

И другие заголовки помельче:

*ФИКТИВНАЯ КРАЖА.*

*КУДА ОБМАЩИЦА СПРЯТАЛА ДРАГОЦЕННОСТИ?*

*НАГЛОСТЬ АФЕРИСТКИ.*

*МНИМЫЕ ПОДАРКИ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ.*

*СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ АРЕСТЕ.*

Репутация певицы Карневаль была погублена навсегда. А начальник полиции получил крупный орден.

Вот что бывает с человеком, когда он попытается убедить публику, что полиция на что-то способна.

## Падение кабинета Бинерта

Ничто так не взволновало служащего частной конторы пана Юречка, как падение кабинета Бинерта, ибо он, Юречек, был политик и любил перемены как во внутренней, так и во внешней политике. В последнее время его волновали положение греческого государственного деятеля Венизелоса, мексиканская революция, военные суды в Македонии, ситуация в Аргентине и позиция либералов в Англии. И вдруг к этой международной политической смеси приплелось еще сообщение об отношении поляков к Бинерту.

— Бинерт падет, — сказал пан Юречек, когда был в гостях у своей невесты барышни Блажены.

Дело было около пяти часов дня, когда декабрьский туман, подобно морю, затоплял улицы, а свет керосиновой лампы, затененной красным бумажным абажуром, подчеркивал интимность девичьей комнатки барышни Блажены.

Маменька отправилась на базар купить гуся, да заглянула по дороге к тетушке, поляки в своем клубе дискутировали о водных путях, Гломбиньский требовал, чтоб поляки заняли оппозицию, а пан Юречек гладил колено барышни Блажены.

В ту пору положение Бинерта и всего его кабинета, правда, пошатнулось, тем не менее барышня Блажена осталась девой, поскольку решению вопроса о перестройке правительства, о котором пан Юречек толковал барышне Блажене, помешало появление маменьки.

Теплая рука пана Юречка была снята сначала с Гломбиньского, затем с фессалийских гор, где покушались на Венизелоса, честь барышни Блажены осталась нетронутой, и правительственный кризис был предотвращен.

Затем в этом государственном совете был поднят вопрос о носках, и перестало быть политическим секретом, что пану Юречку подарят к рождеству дюжину пар длинных шерстяных носков.

Пан Юречек поблагодарил маменьку, а когда домой пришел его будущий тесть, он поговорил с ним о международном положении и о позиции доктора Крамаржа.

Говоря о последнем, пан Юречек многозначительно подмигивал барышне Блажене, которая нежно толкала его ногой под столом. После этого он ушел, обещав барышне Блажене явиться завтра непременно, если маменьки не будет дома.

Ее вправду не было дома в час, назначенный барышней Блаженой.

Пан Юречек был встречен вопросом, как дела кабинета Бинерта.

— Плохи, — отвечал он. — Поляки непреклонно стоят на своем.

Сам он тоже настаивал, чтоб барышня Блажена села к нему на колени.

— Значит, правительство пошатнулось? — спросила барышня.

— Несомненно, — отвечал пан Юречек, тяжело дыша, как если бы был на месте Бинерта. — Ожидают смены кабинета.

Тем временем поляки решили участь правительства. Начались переговоры о водных путях, а пан Юречек великодушно позволил барышне Блажене не зажигать лампу.

Затем произошло то, о чем потом растрезвонили нескромные газеты. Около пяти часов дня министерство Бинерта пало, и барышня Блажена ждет теперь смены кабинета, потому как с момента этого падения пан Юречек к ним носу не казал.

Если Бинерту поручат составить новый кабинет, может быть, явится и пан Юречек...

## Смерть старого Фенека Венгерская зарисовка

Это было накануне праздника короля святого Иштвана, когда по всей Венгрии в городах и деревнях поют песни, разносится запах вина, а в трактирах подмастерья вытаскивают из-за голенищ ножи, чтобы дракой закончить торжество во славу первого христианского государя венгерского королевства.

Фокоши — секирки на длинной рукоятке — надраивались еще за неделю, потому, что в день святого Иштвана идти на драку с неначищенным топором — все равно что не, побелить свой дом к этому празднику и не обновить свежей краской синие полосы, идущие по низу фасада.

Что бы сказал на это патрон венгерской короны? Что бы сказал Сент-Иштван, если бы в его праздник люди не объелись, не перепились и не передрались?

Если хотя бы чего-то одного из этого недостает, то и праздник не в праздник.

Даже господа нотариусы и судьи принимают участие во всеобщем веселье, а цыгане в этот день не боятся жандармов и, как водится, жмурятся от обилия выпитого вина, ибо блаженство всеобщего праздника ударяет им в ноги.

И всего этого не суждено было дождаться нынче старому Фенеку, потому что лежал он смертельно больной в своей хатенке на краю деревни Бокор. Все ждали, что он помрет как раз накануне праздника короля святого Иштвана.

Он лежал на тулупе и только просил пить, и домашние готовы были зажечь свечку, как только он впадет в забытье.

В обед соседи, ранним утром ушедшие в поле, возвращались уверенные, что за это время он успел умереть; и дивились, услышав, как он расспрашивает сына, сколько вина и дрянного пива заказал трактирщик на завтрашнее торжество.

— Ну и что, — слышался голос Фенека, — побелили вы дом и покрасили внизу синим?!

В это мгновение в комнату вошел сосед Арок, личный враг старого Фенека, и все услышали, как Фенек зарычал:

— *Barom!* — Скотина!

Что не могло относиться ни к кому другому, кроме Арока.

Арок прошел прямо к лавке, где лежал больной, и приветствовал его:

— Dicsértessék a Jézus Krisztust! — Слава Иисусу Христу!

— Mind orokké amen! — Во веки веков! — ответил смертельно больной и еще раз прорычал: — Barom!

— Гляди-ка, — сказал Арок, усаживаясь рядом, — кто бы подумал, что в прошлом году ты отгулял на празднике святого Иштвана в последний раз!

Фенек отвернулся к стене.

— До вечера не протянешь, — проникновенно продолжал сосед. — Я только сейчас встретил его преподобие священника, и он мне сказал: «Старый Фенек уже готов предстать пред очами господними, так что завтрашний праздник справим без него».

Фенек молчал.

— Парни из Корома, — не унимался Арок, — завтра снаряжаются к нам, мол, будут танцевать с нашими девчатами. Мне об этом толковал Тельдь, да еще добавил: «Старый Фенек уже не будет разгонять их топором, как бывало».

— Подайте воды, — попросил Фенек. И, смочив губы, заметил: — Ну, это мы еще поглядим...

— До чего мне жаль тебя, Фенек, — продолжал Арок. — Случалось, мы не ладили, да бог с тобой! Жалко мне тебя. Такой человек, а помирает на тулупе у печки, как баба, перед самым праздником святого Иштвана.

Тут все в комнате напугались, потому что никто из них никогда не слышал, чтобы умирающий так громко закричал:

— Фокош! Подайте мне фокош!

Фенек поднялся, и глаза его засверкали, а Арок при этом испуганно отскочил в сторону.

— Фокош мне, кому говорят! — раскричался Фенек. Когда ему принесли секирку, он внимательно оглядел ее и потребовал: — Дайте сюда брусок.

И это его желание было исполнено. Женщины у дверей тихо молились, шептали «Отче наш», не зная, что же будет дальше.

Фенек прошелся бруском по острию вниз-вверх, поплевал на брусок и он стал точить и надраивать фокош.

Все, кто был в хате, перекрестились. Сомнений не было! Умирающий явно собирался принять завтра участие в празднике короля Иштвана.

— Портки! — крикнул он вдруг снова.

Принесли широкие штаны, и Фенек всунул в них свои тощие ноги, встал и, опираясь на фокош, достал из-за печки праздничную шляпу, которая вот уже три воскресенья не покрывала его седую голову. Он сплюнул и смерил Арока взглядом, в котором горели одновременно ненависть и лихорадка. Потом вышел из дома, немного прошелся по деревне и пошел к дому священника, провожаемый удивленными взглядами всего села.

— Nagyságos, — ваше преподобие, — сказал он хрипло испуганному священнику, — старый Фенек готов предстать перед господом богом, но только после праздника святого Иштвана!

От священника он зашел к Тельдю и сказал удивленному хозяину, размахивая фокошем:

— Завтра парням из Корома несдобровать!

Оттуда он направился в поле, на перекресток дорог, и стал поджидать, не

проедет ли кто из коромчан.

Ждал он до самого вечера. Из города ехал Сен. Фенек махнул ему, чтобы тот остановился, и, когда кони стали, сказал:

— Передай коромским ребятам, пусть на завтра готовятся, потому что старый Фенек напоследок отпразднует святого Иштвана!

Он повернулся и, тяжело ступая, поплёлся в село, но в деревне собрался с духом и шел, выпрямившись, до самого своего двора.

И всю ночь просидел перед домом, попивая вино и покуривая трубку...

День святого Иштвана... Запах еды из дворов мешался с ароматом вина, ибо с утра в каждом доме ели и пили; красно-бело-зеленые флаги развевались на крышах муниципалитета и школы. Парни из Корома еще с утра пришли в Бокор с ножами за голенищами высоких сапог, со сверкающими фокошами и прямиком направились в корчму, откуда уже неслась музыка, огненная, цыганская, и гремели песни разбойничьи, такие простые и притом такие веселые:

*Не крал никогда я, лишь в жизни однажды  
украл скакуна в Дебрецене,  
и целовал я лишь в жизни однажды  
красивую девушку в Дебрецене.*

А едва дозвучало «a szér Lány Debrecenben», снова загрело «Lányok, Lányok, Lányok, a faluba — девки, девки, девки, на деревню!».

И были здесь девчонки — красивые, загорелые, с бусами на шее, в широких юбках и облегающих жилетках, мужики и парни в широких белых штанах, в черных сюртуках с блестящими пуговицами и кудрявые цыгане-музыканты. И все это грохотало, кричало, смеялось и топало.

А посреди этого грохота сидел Фенек. Глаза его лихорадочно горели, его трясло, когда жар внезапно сменялся ознобом.

И тут появились коромские парни, как раз когда начался чардаш.

Глаза Фенека запылали еще ярче, и он крепко сжал фокош, на который опирался, сидя за столом. Поколебавшись мгновение, он взглянул на Арока, сидящего у другого стола, встал и подошел к группе коромских парней, которые стояли у двери, вызывающе посматривая вокруг.

— Что ж, ребята, — сказал он сурово, — разве в Короме не празднуют святого Иштвана?

— Коромские, дедушка, — отвечал один из парней, — празднуют его в Бокоре.

— Ребята! — разгорячился Фенек, размахивая фокошем, — если кого-то побьют, так он говорит, что был на празднике святого Иштвана в Бокоре, а?

Музыка смолкла, и бокорские парни окружили Фенека.

— Тебе-то, дед, какое дело, — выкрикнул один из коромских, — в прошлом году еще ладно, а нынче-то чего пристал?!

— Azembadta, — выругался Фенек, взмахнул фокошем и опустил его в гущу коромских парней. Это был его ответ.

Поднялся крик, в воздухе засверкали топоры и ножи, и бокорчане бились с коромчанами.

Впереди размахивал топором старый Фенек, о котором вчера утром все думали, что он не доживет до сегодняшнего праздника.

Из трактира дерущиеся вывалились на улицу, и отовсюду было видно, как впереди всех машет своим топориком Фенек. Вдруг его фокош исчез в груди дерущихся, а седая голова поникла и стала заливаться кровью.

Коромчане пустились наутек.

На земле, затопанной и покрытой переломанными рукоятками фокошей, лежал Фенек с пробитой головой, вокруг стояли соседи и ближе всех Арок.

— Арок, — сказал с усилием Фенек, — в день святого Иштвана я не помер на тулупе... я не...

И верно. Когда его подняли с земли, он был мертв.

Так умер старый Фенек из села Бокор.

## Дело государственной важности

Его высочество владетельный князь Оксенгаузенский впал в слабоумие, настолько явное, что это заметили даже его министры, которые и сами отнюдь не были титанами ума. Не станем рассказывать о том, как долго кабинет министров, обсуждая этот вопрос, ходил, как говорится, вокруг да около, пока решился признать, что его высочество князя Аладара XXI постигло умственное расстройство, которое нельзя характеризовать иначе, как полный маразм, и что вследствие этого он больше не способен управлять княжеством.

Только министр двора был в душе не согласен с этим заключением, но не стал возражать, опасаясь, как бы коллеги чего доброго не объявили идиотом и его — в доказательствах не было бы недостатка, — и потому проголосовал вместе со всеми; решение было вынесено единогласно. Но для того, чтобы установить регентство, нужно было подкрепить свидетельством врача-специалиста то, что было уже ясно любому профану.

Премьер-министр взял на себя нелегкую миссию поговорить с придворным лейб-медиком его высочества. Вызвав медика к себе, он сказал:

— Дорогой господин медицинский советник, я пригласил вас, чтобы обсудить состояние здоровья его высочества, мои коллеги того мнения, что несомненные и богатые душевные дарования нашего высокородного князя в последнее время...

— ...развиваются сверх всяких ожиданий?.. Вы совершенно правы, ваше превосходительство!..

— Вы угадали мою мысль, господин медицинский советник. Эти редкостные дарования его высочества развиваются не только сверх всяких ожиданий... но и в совершенно неожиданном направлении... гм... гм... Одним словом, все это просто поразительно. Вчера я имел честь сопровождать его высочество на прогулке. По дороге нам попались силки, расставленные птицеловом. Его высочество стал расспрашивать меня об их устройстве. Я объяснил ему, что птицы прилипают к веткам, намазанным клеем, и так попадают в руки птицелову. Его высочество со свойственной ему благосклонностью выслушал мои объяснения, а потом соизволил осведомиться: «А что, если прилипнет сам птицелов? Тогда он попадет в лапки к птичкам?»

— Гени-аль-ная острота! Гениальная! — смеясь, воскликнул лейб-медик. — Вот видите, ваше превосходительство, его высочество становится все остроумней.

«Этот тип тоже впал в слабоумие», — подумал премьер-министр и не стал больше задерживать лейб-медика.

Неторопливо шагая восвояси, лейб-медик размышлял о том, что означает этот разговор. Премьер-министр как будто недоволен его ответом... Что же нужно премьеру? Лейб-медика вдруг осенило: да, да, несомненно! Эти люди замышляют что-то против его высочества. Они хотят, чтобы он, лейб-медик, дал неблагоприятное заключение о повелителе. Кто знает, что здесь готовится! А что, если после Турции и Португалии пришел черед княжества Оксенгаузен? И это министры его высочества! Но он, лейб-медик, раскроет их гнусный заговор. Он изобличит их!

На другой день лейб-медик узнал, что в Оксенгаузен прибыл из Берлина знаменитый невропатолог профессор Гшейдтле и был принят лично князем, а после этого имел долгую беседу с премьер-министром. Лейб-медик решил идти ва-банк. Он надел парадную форму и отправился с визитом к приезжей знаменитости.

— Как жаль, — сказал он после нескольких приветственных фраз, — что знакомством с вами, уважаемый профессор, мы обязаны такому прискорбному обстоятельству.

Профессор посмотрел на лейб-медика с удивлением, но йотом сказал:

— Ах да, вы ведь личный врач его высочества и, конечно, в курсе событий. Поистине это весьма огорчительно. Но что поделаешь! Его высочество безнадежен. Я полагаю, что ваш и мой диагноз совпадают: о выздоровлении не может быть и речи. Его высочество по воле божией навсегда останется слабоумным. Править княжеством он, конечно, не способен. Или вы иного мнения?

— О нет, отнюдь нет, уважаемый профессор, — ответил лейб-медик, у которого даже дыхание перехватило. — А как долго наша столица будет иметь честь видеть вас в своих стенах?

— Я уезжаю сегодня вечером, господин медицинский советник.

Но вечером профессор не уехал. Когда он уже садился в экипаж, кто-то положил ему руку на плечо и арестовал именем закона.

— За что? — недоумевал профессор.

— За оскорбление достоинства его княжеского высочества, которое вы допустили в разговоре с лейб-медиком.

И бедняга профессор был посажен в тюрьму. Прокуратура, восхищенная своей распорядительностью, растрезвонила о случившемся по всему городу. Прокурор явился к министру юстиции с докладом. Когда он повторил злополучную фразу профессора о слабоумии князя, министр прервал его гневным возгласом:

— Скажи он это о вас и о лейб-медике, это была бы самая бесспорная истина в мире!

Прокурор вернулся от премьера в полном недоумении.

Кабинет министров собрался на экстренное заседание и констатировал, что внутривполитическая обстановка сильно осложнилась.

— Не можем же мы на основании отзыва одного профессора отправить его высочество на покой, — сказал премьер. — Нужны заключения других ученых. Но если они признают, что князь здоров, то оскандалимся мы. Если же они решат, что его высочество — идиот, придется упечь в тюрьму другого осла — лейб-медика, а иначе весть о его диагнозе распространится по всей стране. Что же, спрашивается, делать?

— Надо избавиться от лейб-медика.

— Легко сказать. А как?

— Давайте посадим его в тюрьму, — предложил министр юстиции.

— За что?

— Вот еще! Уж если нам надо кого-нибудь посадить, повод всегда найдется.

— Вызовем его сюда.

— Это идея!

Но посланный вернулся ни с чем. Лейб-медик велел передать, что считает кабинет министров сборищем заговорщиков и государственных изменников и не желает с ними разговаривать.

Министра юстиции это привело в восторг.

— Вот он и попался! — воскликнул он. — Этого мне и нужно. Разве не оскорбление его высочества — утверждать, будто князь может почтить своим доверием изменников и заговорщиков?

В тот же день лейб-медик был посажен в тюрьму и даже оказался в камере по соседству с берлинским коллегой.

Само собой разумеется, что эти два ареста стали величайшей сенсацией в столице. Кабинет министров развил бешеную деятельность: он разослал телеграфные приглашения различным медицинским светилам, которые могли бы дать заключение об умственных способностях Аладара XXI. Но светила, прочтя в газетах о том, что произошло в княжестве Оксенгаузен, воздержались от поездки, решив, что это попросту ловушка, чтобы заманить людей и арестовать их под предлогом оскорбления его высочества.

Кабинет министров был в отчаянии, а князь день ото дня дурел. Прошла неделя. Его высочество уже нельзя было выпускать из тесного круга самых близких людей, ибо и постороннему стало бы ясно, в каком он состоянии.

Спустя две недели кабинет министров снова собрался обсудить положение. Министр иностранных дел доложил о безуспешных переговорах с иностранными медицинскими светилами, присовокупив, что таким путем ничего сделать не удастся.

Премьер-министр подумал и сказал:

— А нужно ли, собственно, что-нибудь делать?

— То есть как так?

— Наш венценосный князь впал в слабоумие, это факт, но этот факт уже не нов, а в княжестве все идет своим порядком. Разница лишь в том, что его высочество не занимается государственными делами. А разве так уж нужно, чтобы он занимался?

Никаких светил в Оксенгаузен больше не приглашали. Его высочество Аладар XXI остался князем Оксенгаузенским.

## Заседание верхней палаты

**П**редседатель, князь Виндишгрец, открывает заседание в одиннадцать часов двадцать пять минут.

Барон Габерсдорфер предлагает решить сегодня судьбу законопроекта о борьбе с дороговизной. Предложение принимается.

Катшалер Ян, зальцбургский кардинал, выражает удивление, почему столь ничтожный вопрос, как законопроект о борьбе с дороговизной, должен обсуждаться именно сегодня, когда более уместно было бы утвердить закон против новшеств в католической церкви.

Граф Волькенштейн-Тройсбург, тайный советник, камергер, бывший посланник, кавалер ордена Золотого руна, владелец огромного имения Тройсбург и родового поместья Волькенштейн, считает вопрос о дороговизне несвоевременным. Как он убедился при покупке персидских ковров, предметы роскоши ничуть не вздорожали. Куда важнее было бы утвердить закон, запрещающий всякие сокращения в титулах членов верхней палаты. Допустимо ли, чтобы в газетах рядом с его именем стояли какие-то т. с., к., б. п., и к. о., З. р., в. и. Тр. и р. п. В.? «Т. с.» может означать не только тайный советник, но также и «тупая скотина».

Барон Прандау-Хиллебрандт, тайный советник и председатель сената верховного придворного суда, присоединяется к предложению предыдущего оратора и выражает свое возмущение беспрестанными жалобами на дороговизну.

Т. Грасбёк, аббат Вильхерингского монастыря в Верхней Австрии, заявляет, что ему ничего не известно о дороговизне. Окрестные селяне и по сей день приводят в монастырь телят как дар христианской любви и посылают своих детей в монастырскую школу.

Граф Ян Стадницкий, землевладелец, тоже ничего не знает о дороговизне. Он ежегодно проводит пять месяцев в Париже; устрицы в этом году там даже подешевели на один франк за гросс. Шампанское в той же цене, что и в прошлом году.

Бен. Корчиан, аббат райградский, полагает, что в дороговизне виноваты неимущие, совращенные социалистами и желающие все получать бесплатно.

Князь Квенмюллер-Метш, тайный советник, камергер и посол в Париже, присоединяется к мнению графа Яна Стадницкого, что устрицы в Париже в этом году подешевели.

**Доктор Грабмауер**, заместитель председателя имперского суда (*с места*). Фазаны тоже подешевели!

**Граф Кюфштейн**. Простите, господин доктор, вы, очевидно, говорите о ваших фазанах, но ни в коем случае не о трансильванских. Те в этом году подорожали.

Председательствующий, князь Виндишгрец, подтверждает, что действительно в этом году трансильванские фазаны вследствие дождливой погоды поднялись в цене.

**Граф Лео Пининский**, бывший галицийский наместник. Наилучшие фазаны водятся под Магурой.

**Гильберт Хельмер**, аббат в Теплой (*с места*). У них мясо белее!

Председательствующий, князь Виндишгрец, подтверждает, что у них мясо

действительно белее, чем у трансильванских.

**Барон Гэхельберг-Лаудон**, каноник из Вены. И вкуснее!

**Князь Траутсмандорф-Вейнсберг**, камергер и тайный советник (*полемизирует с предыдущим оратором*). Самые вкусные фазаны — это чешские, из его заповедника в Горшовом Тыне, фаршированные трюфелями.

**Барон Мариус Пасетти**. Позвольте, еxcelence, фазанов с ветчиной и шампиньонами под соусом из мадеры подают на стол при дворе!

Князь Траутсмандорф-Вейнсберг охотно соглашается, что фазан, приготовленный по этому рецепту, — самый вкусный, и требует, чтобы члены верхней палаты выразили доверие правительству вставанием.

Дебаты о дороговизне продолжаются.

Князь Альфред Монтенуово, обер-гофмейстер, как главный оратор, высказывает опасение, что нынешняя дороговизна для неблагонадежных, беспокойных элементов есть только предлог пограбить. Порядочный человек никогда не жалуется на то, что цены на продовольствие растут. Для порядочного человека не существует самого понятия дороговизны. У кого не хватает денег, тому не обязательно есть три раза в день.

Ф. Марат, генерал, великий магистр Ордена крестоносцев в Праге, считает, что общая дороговизна — выдумка, рассчитанная на то, чтобы служащие требовали увеличения жалованья. В экономиях Ордена крестоносцев людям, работающим в усадьбе, платят по восемьдесят геллеров в день. Если означенные люди не в состоянии содержать на эти деньги семью в пять человек, то это их личное дело, в которое правительство предпочитает не вмешиваться, ибо уважает гражданскую свободу. (*Аплодисменты.*)

Принц Фридрих Шаумбург-Липпе удивлен утверждениями о существовании дороговизны. Фирма Бенц, имеющая автомобильный завод в Маннгейме, снизила цены на автомобили на пять процентов.

**Барон Фр. Молль**. Марка «мерседес» лучше и дешевле!

**Граф Фринтс фон Фалькештейн**. «Бенц» выиграл пробег Париж — Лион — Брюссель — Страсбург — Ницца — Париж!

**Барон Фр. Молль**. Господин граф, марка «мерседес» победила в состязании Бирмингем — Лондон!

Председательствующий, князь Виндишгрец, говорит, что прежде всего нужно поддержать отечественную промышленность. Заинтересованные лица пусть обращаются в министерство торговли, где они получают проспекты лучших отечественных фирм. Он подтверждает, что автомобили упомянутых марок действительно подешевели.

**Дворянин Горайский**. Скаковые лошади тоже подешевели, Я купил за двадцать тысяч крон чистокровного арабского скакуна.

Доктор К. Маттуш, главный управляющий Земского банка, говорит, что слухи относительно общей дороговизны преувеличены, потому что даже деньги подешевели. Сегодня землевладельцу дают меньшую ссуду под землю.

**Граф Гардегг**. Сильно вздорожали только старые испанские вина.

**Пробст Шмольн**. И черепахи.

**Князь Роган**. Создадим комиссию, чтобы выработать предложение об отмене пошлины на старые испанские вина и на черепах, и представим его правительству!

Предложение принимается. Затем производятся выборы. В комиссию по

вопросу об импорте черепов и испанских вин избираются граф Голуховский, барон Шей и граф Веттер фон Лилие.

*Законопроект о борьбе с общей дороговизной отклоняется во втором и третьем чтении.*

## Доисторическая обезьяна

— Да! Именно так! Человек не был создан, а получился в результате длительной эволюции! — с негодованием произнес известный палеонтолог Калиста, повторяя слова Окена, когда, не очень твердо держась на ногах, покидал ресторан, где остались его коллеги.

Дело происходило в новогоднюю ночь.

Палеонтолог был крайне уязвлен невниманием собеседников, не пожелавших дослушать до конца его глубоко аргументированное мнение о новых находках останков доисторического человека в американских пампасах. А ведь он всю ночь так убедительно излагал им новейшие факты о том, что, судя по обнаруженной челюсти, — это не обезьяна, а доисторический человек!

И, уже стоя на улице перед рестораном, он громко повторил:

— Да, несомненно, человек не был создан, а произошел в результате эволюции.

Проходящий мимо приличный господин воскликнул:

— Вот и прекрасно!

И поспешил своей дорогой.

«Я просто обязан просветить его!» — подумал ученый муж, догоняя прохожего.

— Прошу прощения, — доверительно обратился он, принаравливая свой шаг к шагам незнакомца, — шейные позвонки индейцев из Монте Гермозо служат неоспоримым доказательством того, что с человеком за время его развития произошли значительные метаморфозы.

— Но позвольте, я вас не знаю! — возразил незнакомый господин.

— Неважно, — не дал сбить себя с толку Калиста — О доисторической эре мы вообще мало что знаем, и если б не последние раскопки при строительстве гавани в Буэнос-Айресе, у нас не было б никаких свидетельств о поселениях человека в бассейне реки Ла Плата в третичном периоде!

— Прошу вас, господин, не приставайте ко мне.

— Да кто же к вам пристаёт, дорогой друг! Вы только вообразите себе, пожалуйста, дно реки Ла Плата и поставьте себя на место счастливого открывателя, чиновника Снуора, который под песчаными наносами в русле реки вдруг обнаружил обломки черепа, причем совершенно окаменевшие. И вот вы, полагая, что перед вами — череп доисторической обезьяны, звоните известному аргентинскому ученому Амегино. А коллега Амегино, лишь мельком глянув на кости, говорит вам:

— Это обломок черепа доисторического человека, а вовсе не обезьяны, дорогой друг!

— Прошу вас, оставьте меня в покое и ступайте своей дорогой!

— Я с удовольствием последовал бы вашему совету, но палеонтология охватывает такой колоссальный объем знаний, что в течение пяти минут я просто не в состоянии изложить вам все известное науке о доисторических обезьянах! Удовлетворитесь, по крайней мере, уверением, что против Амегино вы-

ступил опасный оппонент по имени Дюбуа, который заявил: «Обнаруженный череп принадлежит не человеку, а доисторической обезьяне, и мы дадим ей научное название «питекантроп». Что вы на это скажете?

— Чтоб вы отпустили хлястик моего пальто.

— Прошу прощения, но это отнюдь не доказывает правоту господина Дюбуа.

— Я в последний раз прошу отпустить меня.

— Так же энергично на Дюбуа ополчился весь научный мир и торжественно назвал предполагаемую доисторическую обезьяну «тетрапротомо аргентинус».

— Вы отпустите меня или нет?

— Дорогой коллега, резкие нападки на Дюбуа и его единомышленников завершились пересмотром и всех остальных археологических находок последнего времени, а именно: новым пристальным исследованием верхней и нижней челюсти из Спа, Манер, Крапины и Тринила. А потом поступили черепа из Ле Мостье и череп ископаемого человека из Ля Шапей ау Сентс.

— Караул! Караул!

— И все эти черепа и челюсти, как верхние, так и нижние, сходны с черепом ископаемого человека из Никошеи, что подтвердят вам и Леман и Велькер.

— Караул! Караул! Караул!

— И вот двадцать шестого августа тысяча девятьсот девятого года теории о доисторических обезьянах были опрокинуты благодаря находке Гаузера, обнаружившего останки доисторического человека на Гибралтаре.

— Карау-у-ул!

— Все эти черепа — на Яве, в Южной Америке, в Германии и в Хорватии имеют идентичную форму, О доисторической обезьяне ученые мужи просто забыли, ее место в спорах заняло племя из долины Неандер.

Из переулка выбежал полицейский патруль.

— Что происходит, господа?

— Этот господин пристал ко мне, и я вас очень прошу, прикажите ему идти своей дорогой!

— Я к нему пристал?! Да я же объясняю ему теорию неандертальского открытия!

Незнакомец воспользовался коротким диалогом палеонтолога с полицейскими и поспешил скрыться в боковой улице.

Расстроенный профессор остался один на один с патрулем.

— Человек не был создан, а произошел в результате эволюции, — назидательно сообщил он полицейским. — Вы только представьте себе радость, охватившую весь просвещенный мир, когда Гекель обнаружил останки человека, которому дал название «гомо ступидус», что по-чешски значит «человек неразвитый», а попросту дурак, господа.

Полицейские переглянулись, и старший из них произнес:

— Именем закона, следуйте за нами.

— С удовольствием, сказанное мной вам подтвердят крупнейшие специалисты Ройер, Уоррен, Польшиг, Сержи, Амегино, Швальбе, Кинг и другие. Вот скажите, пожалуйста, к примеру, почему если вас бросить в воду, вы невольно делаете руками движение, словно взбираетесь по шесту? Почему? Да потому,

что ваши предки лазили по деревьям!

— Вам хочется сбросить нас в воду? — с презрением проговорил младший из полицейских. — Да вы же еле держитесь на ногах.

— Запомните, господа, с тех пор, что человек ходил на четвереньках, прошло сто тысяч лет, и логично, что он еще не привык твердо держаться на двух ногах.

В полицейском участке ученый муж снова заговорил о доисторической обезьяне, и оскорбленный вахмистр, приняв обезьяну на свой счет, распорядился поместить палеонтолога в одиночку.

Утром его отпустили. Вероятно, ему придется предстать перед судом присяжных за оскорбление должностных лиц при исполнении обязанностей, поскольку в протоколе, составленном в ту новогоднюю ночь в участке, записано, что задержанный пытался доказать, будто стражи порядка каким-то образом превратились из обезьян в «гомо ступидус» и затем уже в «гомо сапиенс»[87], ну а у полиции на каждое из этих оскорблений есть соответствующий параграф.

## Мятеж в австрийском флоте

Не стану отрицать, у меня есть кое-какие дела с полицией; соседи считают меня удалившимся на покой коммерсантом, тогда как в действительности я давно разыскиваемый мошенник.

В ресторане, где я постоянный гость, ко мне относятся с почтением, а одного полицейского комиссара, который когда-то усердно меня выслеживал, я даже ссужаю деньгами для игры в карты. В этом же ресторане бывает сыщик из политической полиции. Мы трое — я и эти двое господ из полиции — хорошие друзья, видимся каждый день, и у нас нет секретов друг от друга.

Недавно агент политической полиции не пришел на обычную партию в карты. На другой вечер он явился, но поздно и был явно чем-то расстроен.

Он сказал, что полиция напала на след антимилиитаристически-социалистически-коммунистически-анархистского заговора, и они производили обыск у одного человека.

— Дело очень серьезное, господа! — заметил он и, вздохнув, продолжал: — В последнее время определенные органы в Вене получили сообщение, что моряки военного флота совершили в Португалии переворот. Потом пришло сообщение, что и в Бразилии моряки военного флота пытались поднять мятеж. Начали с артиллерийского обстрела — и порядок полетел ко всем чертям. А там пришла и третья бумага — с приказом взять под наблюдение австро-венгерский — флот гордость нашей монархии. Я твердо верю, что недалек тот час, когда этот флот завоюет нам колонии на Южном полюсе, как когда-то австрийские мореплаватели открыли в Арктике Шпицберген и Землю Франца-Иосифа. Однако присоединение Южного полюса к Австро-Венгрии потребует от нашего флота высокой дисциплины. И вот представьте себе, господа: на юге нашей монархии, под Триестом; матросы с одной канонерки... — наш приятель наклонился и продолжал шепотом: — ...ходили пить вино к трактирщику, у которого был брат, а у брата приятель, который породнился с человеком, чья сестра встречалась с другим молодым человеком, живущим в одном коридоре с социалистическим агитатором!

Сыщик перевел дух и продолжал:

— Дело, в сущности, очень простое: ведь тот молодой человек безусловно встречался со своим соседом, социалистическим агитатором; знаете, как это бывает, — слово за слово, то да се... А потом сестра этого молодого человека... виноват, сестра того человека вышла замуж за молодого человека и тем самым породнилась с приятелем того, первого человека... виноват, я хотел сказать, с братом приятеля первого человека... к которому, — закончил он уже шепотом, — ходили выпивать матросы с канонерки.

Как видите, политическая полиция до всего доберется, — передохнув, продолжал сыщик. — Итак, первый человек, поскольку сестра молодого человека вышла замуж за социалистического агитатора, теперь тесно связан с противозаконным движением, так как его приятель, чей брат породнился с первым человеком, живет в одном коридоре... э-э, нет, я кажется, сбился. В коридоре живет не он, а приятель его брата... нет, опять не так... Извините, господа, я сегодня слишком устал, лучше завтра dokonчу эту историю.

Он пожал нам руки и ушел, все еще взволнованный. На следующий вечер он продолжал:

— Вчера, господа, я рано ушел, потому что очень утомился за день. Сегодня опишу вам дальнейшие обстоятельства этого дела... Я забыл упомянуть, что у арестованного хозяина трактира, куда ходили матросы, было семь сыновей и один из них женился на дочери пражского привратника, с которой познакомился в Вене. Это обстоятельство играет важнейшую роль во всем деле.

У снохи арестованного есть кузен в Праге. К этому кузену мы и нагрянули с обыском, о котором я еще расскажу. Все это дело кажется страшно запутанным, но на самом деле оно проще простого: налицо злостный умысел — внести разложение в наш флот. Это видно из того, что арестованный в Праге кузен снохи арестованного трактирщика, собираясь проникнуть в военный флот, поддерживал знакомство с матросами пражского пригородного пароходства. Но я разгадал его зловецкие замыслы!

Мы обнаружили, что он втерся в доверие к капитану «Збраслава» и — представьте себе, какова дерзость! — ездил на этом судне до самых Давлен. Подчеркиваю также, что он пытался подкупить рулевых на пароходах «Хухле» и «Браник» и расспрашивал у них об устройстве штурвала. Его знали все машинисты и кочегары пражского пароходства, потому что он угощал их пивом с единственной целью — выведать, как устроен пароходный винт.

И разве не подозрительны, например, его вопросы о численности команды на отдельных пароходах, таких, как «Вышеград» и другие! Не ясно ли, что этот человек готовился к антивоенной пропаганде в военном флоте? Зачем бы ему иначе ходить в кино, где показывали хронику «Парад военно-морского флота»? И почему, скажите на милость, этому подозрительному субъекту понадобилось породниться с тем самым арестованным трактирщиком?.. Вернее, наоборот: почему у трактирщика оказалось семь сыновей и одному из них вздумалось жениться на кузине человека, который разъезжал на судах пражского пригородного пароходства, готовясь к подрывной деятельности в военно-морском флоте? Человек, который не гнушается за литр пива выманить у рулевого на «Збраславе» секрет управления рулем, — что стал бы делать такой человек, доведись ему попасть на дредноут флота его императорского величества? Уж он бы не пожалел всего своего состояния, чтобы, например, узнать, как на наших кораблях дают задний ход. Состояния у него, правда, нет, но все

же хватает денег угощать сигарами машинистов винтовых пароходов на Влтаве, лишь бы они ему растолковали, как приводится в движение судовой двигатель.

И не важно в принципе, о чем идет речь: о миноносце, канонерке или пригородном пароходе «Пршемысл». Важно то, что этот злоумышленник разлагает команду, осматривает винты и рули и даже учится плавать!

Сыщик сделал значительную паузу, перевел дух и продолжал:

— Все это мы точно установили, прежде чем арестовать этого субъекта. Двое сыщиков задержали его, как раз когда он ступил на палубу «Збраслава», чтобы отправиться в Модржаны. Заметьте, что Модржаны лежат на том же меридиане, что и австрийский морской порт Пулье... Итак, его задерживают и доставляют в полицию. При нем находят три письма. Он, конечно, уверяет, что ни в чем не виноват. Но это ему не помогло; мы взялись за письма. И вы подумайте, каков негодяй! Внешне невинные заказы на цыплят, масло и сушеные овощи. При этом он заявляет, что у него нет никаких родственников в Триесте, а на вопрос о местожительстве дает адрес и объясняет, как пройти, — квартира, мол, на третьем этаже, дверь без визитной карточки. И все это так спокойно и нахально, смотрит прямо в глаза, просто ужас!

Мы его для виду отпустили домой, а мне было приказано рано утром явиться к нему на квартиру с обыском. Ладно, взял я с собой еще двух сыщиков, и мы пошли. Адрес сходится, дом номер такой-то, третий этаж, дверь без визитной карточки. «Хозяина нет дома», — отвечает прислуга. «Ага, — говорю я, — упорхнула пташка!» Вскрываем письменный стол, забираем письма, вытаскиваем все платье из гардероба, связываем в узлы, и инспектор Шпачек уже собирается их унести, как вдруг пташка возвращается в гнездо... Шпачек потянул нас за полы и говорит: «Господи боже мой! Это же не та квартира, коллеги, мы попали к его милости судье!» Скандал! Ну, мы с извинениями ретируемся — мол, ошиблись дверью! И что бы вы думали? Настоящий-то виновник, оказывается, живет рядом!

Политический сыщик утер пот с лица и закончил:

— А теперь, господа, вы ясно видите, как тяжела полицейская служба. Все наши старания пошли прахом. Изъяли мы у него корреспонденцию и продолжаем розыск. И вот как раз сегодня из Вены приходит телеграмма: дело временно прекратить на том основании, что к арестованному не могли ходить моряки, потому что он вовсе не трактирщик, а приказчик в овощной лавке, к тому же глух от рождения... А тот тип, чью корреспонденцию мы изъяли, тоже не имеет прямого отношения к делу, потому что человек, который ходил вынюхивать на пароходы, оказывается, умер десять лет назад.

Полицейский агент мрачно выпил пиво и утер усы. Мятеж во флоте австрийской империи был полностью подавлен!

## Пятидесятилетний юбилей газеты «Народни листы»

Пятьдесят лет получал Фенцл «Народни листы», с самых первых дней ее издания, но денег не платил. Газета приходила в городишко на его адрес целых пятьдесят лет.

Впервые, когда «Народни листы» попали в его руки, Фенцлу было сорок девять. Ныне это старец девяноста девяти лет, самый старейший младочех на земном шаре, теперь он просит правнука читать ему вслух статьи о Крамарже, и газета «Народни листы» все приходит на его адрес, и дирекция до сих пор не присылает ему повестки о неуплате. Может, это случайность, а может, ошибка в списках абонентов. Нам в этом разобраться трудно.

Однако правда побеждает и в дирекции «Народних листов». И вот наконец стало известно, что некий пан Фенцл в течение долгих пятидесяти лет является должником газеты «Народни листы».

И это выплыло наружу именно сейчас, когда только-только отметили пятидесятилетний юбилей «Народних листов», который был отпразднован благодаря неумолимости пана Кочи — с истинно американским размахом.

Пан Фенцл читал или, точнее, слушал, как ему читают все эти изъяснения недоумения относительно того, что «Народни листы» до сих пор еще выходят, хвалебные письма; под которыми гордо подписываются люди, завербованные администрацией газеты «Народни листы», в которых изъясняются в чувствах и думают, читая пятидесятилетний юбилейный номер «Народних листов».

— Милый Тоник, — говорил пан Фенцл своему правнуку, — мы тоже должны им что-нибудь написать.

Правнук со дня на день откладывал, пока наконец этот девяностодевятилетний младочех не продиктовал ему следующее:

*«Славная редакция!*

*Я старейший, стоящий одной ногой в могиле, искренний, девяностодевятилетний приверженец младочехской партии. Пятьдесят лет, изо дня в день, я получаю «Народни листы». Я потерял жену и детей, но у меня остались «Народни листы». Искренне поздравляю вас и желаю себе и впредь получать от вас еще пятьдесят лет «Народни листы». Передаю сердечный привет д-ру Крамаржу и прошу выслать один календарь. Остаюсь девяностодевятилетний старец, подписчик газеты «Народни листы» в течение пятидесяти лет,*

*Якуб Фенцл,*

*бывший звонарь в Бытоухове».*

Само собой разумеется, это письмо было опубликовано в «Народних листах». Редакция передала письмо в дирекцию, чтобы те удовлетворили просьбу насчет календаря и одновременно оформили пану Фенцлу подписку на газету «Народни листы» еще на пятьдесят лет.

И лишь тогда в конторе дирекции обнаружили, что этот нестибаемый девяностодевятилетний младочех в течение пятидесяти лет получал «Народни листы» и ни гроша за них не платил пятьдесят лет.

И в то время как читатели «Народних листов» читали сообщение, напечатанное жирным шрифтом:

**!!!Девяностодевятилетний старец в течение пятидесяти лет является подписчиком «Народних листов»!!!**

в конторе подсчитывали, сколько задолжал им за пятьдесят лет этот несгибаемый младочех.

И подсчитали: 8 геллеров в день за пятьдесят лет, что составляет 18 250 дней по 8 г. = 14 600, то есть вышеозначенный старейший младочех остался должен «Народним листам» на сегодняшний день 1460 крон.

Вы понимаете, что такое 1460 крон, когда дирекция «Народних листов» нуждается в каждом геллере?

Но это еще не все! За двадцать лет вклад удваивается. Следовательно, долг составил до 1880 года 584 к., от 1880 до 1900 еще 584, опять же вдвое, итак, дважды по 584 к. и еще столько же, то есть 2336 — за такую сумму человек вполне может сделаться идеальным младочехом! Далее, с 1900 года он задолжал до конца 1911 года «Народним листам» за свои политические убеждения 292 к. Но за это пану Фенцлу проценты за просрочку скостили, ибо в течение пятидесяти лет он, не дрогнув, грудью стоял за «Народни листы». Таким образом, долг возрос с 1460 к. до 2628 к., и то в связи с юбилеем д-ра Крамаржа ему, простили проценты с процентов, чего этот добрый человек несомненно заслуживает, если в девяносто девять лет он столь боек.

— За календарь, — сказал директор и владелец «Народних листов» пан Кочи, — мы, учитывая его искреннее пребывание в младочехах, положим ему всего лишь крону, итого 2628 к. + 1 к. = 2629 к. пишите счет на 2629 крон!

Таким образом искренний девяностодевятiletний младочех получил письмо, в котором дирекция «Народних листов» деликатно предупреждала, что с пана Фенцла причитается 2629 к. за «Народни листы» и посланный календарь, и одновременно рекомендовала столь же ревностно распространять «Народни листы», так как за каждого нового подписчика пан Фенцл получит 50 г.

К счастью, письмо перехватил его правнук пан Антонин Миржичка и как будто между прочим спросил старого Фенцла:

— Скажите, дедушка, вы когда-нибудь платили за подписку на «Народни листы»?

— Никогда, сыночек, мне присылали, я читал и, как был младочех, так младочехом и останусь. Я читал, и это помогало моему брэнному здоровью, золотой ты мой сынок. Поддерживало дух и очищало тело, Тоничек!

И правнук девяностодевятiletнего младочеха отправился в Прагу, поговорить с д-ром Крамаржем.

Но допущен к нему не был, а был отослан в дирекцию.

Пан Кочи терпеливо выслушал сообщение о том, что у старого пана Фенцла нет никаких денег, но он тем не менее искренний младочех и что он, правнук, тоже истинный младочех.

В умной голове пана Кочи родилась замечательная идея.

— Послушайте, пан Миржичка, 2629 крон капитал значительный, мы его пану Фенцлу спишем, если он приедет в Прагу. Он одним своим видом может послужить делу нашей партии. Как только пришлем вам телеграмму: «Везите пана Фенцла», вы его к нам привезете и скажете, что его желает видеть народ.

Под председательством пана д-ра Крамаржа собрался совет, на котором по предложению пана Кочи постановили: неподалеку от редакции «Ческого слова» на Вацлавской площади снять помещение и оборудовать большую застекленную витрину. Над помещением прибить надпись: «Паноптикум «Народ-

них листов».

За большой застекленной витриной разместить подшивки «Народних листов», стул и пана Фенцла, а на витрине сделать надпись:

«Пражское чудо!

Девяностодевятилетний старец Якуб Фенцл пятьдесят лет подписывается на газету «Народни листы». Старейший звонарь в Чехии и старейший читатель «Народних листов». Не пьет, не курит, читает исключительно «Народни листы»! Знает все выпуски наизусть! Подписался еще на пятьдесят лет! Чехи! Следуйте примеру старейшего младочеха! Подписка принимается здесь!»

Снаружи решено было расклеить плакаты того же содержания с указанием стоимости билетов: вход 20 геллеров с подписчиков «Народних листов», 40 геллеров с неподписчиков. Те, кто, побывав, подпишется, получают деньги обратно плюс фотографию доктора Крамаржа!

Все было подготовлено. Паноптикум «Народних листов» сооружен, послана телеграмма: «Везите пана Фенцла. Кочи».

И правнук повез его, раз уж народ пожелал видеть пана Фенцла, который спал возле пана Миржички в железнодорожном вагоне, но, когда на станции Лысая-над-Лабой его стали будить, чтобы сделать пересадку, пан Фенцл не двинулся с места, ибо от страшной гордости, что его желает видеть народ, он помер, не доехав до Лысой-над-Лабой между третьей и второй станциями. Пан Кочи закрыл паноптикум «Народних листов», но в «Народних листах» появилось следующее сообщение: «Вчера в железнодорожном вагоне неподалеку от станции Лысая-над-Лабой скончался девяностодевятилетний искренний приверженец нашей партии, пан Якуб Фенцл из Бытоухова, который в течение пятидесяти лет состоял подписчиком газеты «Народни листы». Он ехал в Прагу, чтобы сделать подписку на пятьдесят первый год на «Народни листы». Вот пример, достойный подражания!»

«Впрочем, ведь за ним остались 2629 крон», — вздохнул про себя неутомимый пан Кочи.

## Несчастный гондольер Витторе

Гондольер Витторе стоял со своей гондолой на том месте, где Понте-ди-Риальто перегораживает Большой канал, и поджидал иностранцев. Близился вечер, и, чтобы заманить кого-нибудь на свою лодку, он пел со своеобразным мягким, присущим гондольерам выговором:

*Caro fio, puto mio,  
ve potè, licar i dei, se xè bei,  
no xè per mi...*

(«Милый парень, мой красавчик; я скажу тебе: сам целуй свою руку. Ты хорош собою, да не про меня...»)

Я наблюдал за ним с моста Понте-ди-Риальто довольно долго, но ни одного иностранца песня в его гондолу так и не заманила.

Тогда он запел громче:

*Uia! sclargemose,  
Destachemose,  
E passemola cosi!*

(«Давай расстанемся и разойдемся, пусть каждый живет сам по себе...»)

Но и это не производило на иностранцев, спешащих мимо него к святому Сальваторе, никакого впечатления. Он спел довольно много песен, а под конец уже перешел на самые грустные, потом до меня донеслись проклятия, и вдруг он с удивлением воскликнул:

— Мадонна миа![88]

Это относилось ко мне; стоя перед ним, я осведомился, за сколько он доведет меня до мола Рива-делли-Скьявони у Дворца дождей.

— Пять лир, синьор, — заявил он с бесстыдством, обычным для гондольеров.

— Даю лиру, — невозмутимо ответил я. Тогда он поднялся в гондоле и запел:

*Caro fio, puto mio,  
ve potè, licar i dei, se xè bei,  
no xè per mi...*

— Лиру, — прервал я его, — иначе *destachemose*, мы разойдемся, дорогой Витторе!

Витторе выразил удивление:

— Синьор иностранец меня знает?

— Да. Позавчера у святого Сильвестра возле Домо Туполо я видел, как вас сбросила в Большой канал одна красивая синьора, И не стыдно вам, что вас женщина спустила в Большой канал? Так вот, повезете меня за лиру, а по дороге расскажете про этот случай подробнее.

— Ну хотя бы две лиры, синьор иностранец!

— Полторы, Витторе.

— Мадонна миа, по рукам!

И мы поплыли по Каналоццо, как называют его венецианцы, этой водной променаде длиной в три тысячи восемьсот метров, по улице дворцов, из которых тридцать, знаменитых своей архитектурой, и сейчас еще обращают к во-

дам Большого канала свои колонны, окрашенные в геральдические цвета патрицианских родов.

Мы оставили позади Понте-ди-Риальто, единственный вплоть до последнего времени каменный мост через Большой канал. С моста капала грязь.

Слева располагалось здание интендантства, а напротив него палаццо Манини, ныне — национальный банк, два здания, объединенные, кроме славного исторического прошлого, еще одной общей чертой — глубоким безденежьем.

А вот и палаццо Гримани! Именно здесь и сбросила гондольера Витторе в Большой канал его собственная жена.

Разговор об этом он начал сам.

— Мадонна миа, — сказал он, когда на другом берегу показался Домо Туполо, — вон там родная жена Марта швырнула меня в воду. Грустная история, синьор. Я расскажу ее вам, только помолюсь сначала святой деве.

Он достал из кармана четки и вознес мадонне молитву. Наша гондола пробиралась среди других лодок, вокруг пели гондольеры, и воды Большого канала бессовестно воняли. Женщины выливали в него помои прямо с берега. Снулые рыбины и дохлая кошка, которую несло за нами течением, служили достойным завершением вида на Каналоццо. В нем вовсе не было ничего поэтического. В окнах некоторых дворцов сушилось белье, а на прилегающих улицах шатались грязные нищие, отнюдь не благопристойного поведения. Одному из них не хватало только освободиться от остатков драных матросских штанов, чтобы в полном комфорте, то есть в совершенно голом виде, горланить над каналом похабщину. Витторе закончил вечернюю молитву, обругал какого-то подвыпившего гондольера, чуть было не налетевшего на нас зазубренным носом своей лодки, и начал рассказывать:

— Если синьор уже побывал на острове Сан-Микеле, то он должен знать, что я, как и всякий другой венецианец, после смерти попаду на этот остров, а если он еще не знает, что там находится венецианское кладбище, то я мог бы свозить его туда за три лиры. Но раз синьор знает про кладбище на Сан-Микеле, то я расскажу ему о том, чего он еще не знает. Если синьора водил по кладбищу старый Бартоломео, то синьор должен сплунуть, потому что моя жена Марта — дочка старого Бартоломео, который водит по острову иностранцев.

Знакомы мы с Мартой были уже порядочно. Она приезжала к нам на Риво-делли-Скьявони покупать дыни и финики, из которых старый Бартоломео, бог ему этого никогда не простит, делал отвар и добавлял его в вино. Посмотрите, сейчас мы проплываем мимо палаццо Контарини-делла-Фигуре, палаццо Бальби, палаццо Фоскари. Этот отвар — а вон там палаццо Джустиниани — он кипятил, и крепость получалась такая, что десяти литров хватило, чтобы напоить все семейство Нацони, приехавшее хоронить старого Нацони. Однажды привез я к нему иностранцев, и он пригласил меня распить с ним бутылочку. Сидим болтаем, и вот дернуло же меня похвастаться, что я могу пять раз проплыть вокруг острова Ла-Джудекка. Мы поспорили... Справа от нас дворец Реццонико, напротив палаццо Грасси, палаццо Контарини Корфу... знаете, на что мы поспорили? Я поставил гондолу, а старый Бартоломео — свою дочь Марту. Тотчас же пошли мы в Капелла Эмилия и там попросили святого Антонио благословить наш спор. Это вино, настоящее на финиках, синьор, творит чудеса! Налево под цепным мостом — Академия, за ней палаццо Манцони, а напротив моста — палаццо, который раньше назывался Кавалли, а теперь

Франкетти. Синьор! Я пять раз проплыл кругом Ла-Джудеккй, пять раз проплыл Трагетто пер Къёжо, и не на гондоле, синьор, такого уговора не было, я плыл как рыба, плыл как иностранцы, которые купаются на острове Лидо. Как жаль, что я тогда не утонул, мадонна миа!

Он явно был взволнован и погрозил в сторону острова Сан-Микеле.

— Синьор, Марту я выиграл, да не больно этому обрадовался. В те времена гондольер зарабатывал вполне прилично, вот Марта и захотела за меня выйти. И знаете, синьор, святой Антонио пожелал, чтобы я на ней женился. Как-то раз на Спьяджа-ди-Санта-Марта мы с утра выпивали в остерии моего двоюродного брата Массари, и там же, на Пунта-ди-Санта-Мария, улегся я на набережной, чтобы проспать. И кто же явился ко мне во сне? Святой Антонио! «Поскольку ты, — вещал мне святой, — пьянствовал на Спьяджа-ди-Санта-Марта, то на Марте ты и должен жениться, иначе исчезнет моя статуя из храма Санта-Мария-делла-Пьета, а знаешь, что предвещает это венецианцам? Смерть!» И как бы вы, синьор иностранец, поступили на моем месте? Да точно так же: женились бы на Марте. Но поглядите, что из этого вышло! Через три дня после свадьбы подарил я ей украшения и дал денег, так она эти украшения продала, а деньги отдала этой свинье Маньено, чтобы тот купил себе гондолу.

Слева, синьор, палаццо Корнер-делла-Канале-Гранде, теперь там префектура, а дальше, надеюсь, у синьора хорошее зрение, палаццо Дарио.

И эта свинья, Маньено, стал любовником моей жены. Он катал ее на гондоле, купленной за мои деньги. Правда, так мне обходилось подешевле, потому что теперь украшения для нее покупал он. Наконец Маньено она бросила, но связалась с Якопо Совино.

Если синьор захочет купить дешевую мозаику, то, видите, слева от «Гранд-отеля» — склад мозаики Сальвати. Стало быть, обольстила Марта Совино, а мы с ее бывшим любовником Маньено, малость возмущенные тем, что она позволила ему обнять себя при народе, отправились на розыски Совино, чтобы потребовать у него объяснений. Тот сперва решил, что мы пришли его прирезать, но потом, когда мы велели ему спрятать нож, стал просить у нас прощения. Он, мол, не знал, что у Марты есть и муж и любовник. Пригласил нас на бутылочку вина и угощал «Лакрима Кристи»[89] до тех пор, пока мы его не простили. — Напротив того парохода стоит храм Сан Грегорио, синьор, а как раз под ним находится тот трактир, где мы простили Совино. — Я думал, что теперь узнаю хоть немного счастья, потому что, синьор, если у венецианки есть один любовник, это не так уж и плохо, но Марта, синьор, за три недели приобрела трех сверх дюжины, мадонна миа!

У нее были Джованни, Антонио, Флориано, Джироламо, были Байамонтео, Алессандро, Пьетро, Джульельмо, она соблазнила Джорджоне и Леонардо, а любила Паоло, клялась в любви Катанео, а свидание в городском парке назначила Тинторетто. Привозил ее туда лодочник Оливоло, а вечером того же дня она встречалась с Николо Геттелем. Скажите на милость, кого из этих людей я должен был убивать? Их уже набралось не меньше, чем рыб в лагунах. А в конце концов я и сам влюбился в свою жену и сочинил о ней песню, которую пел в гондоле:

*Vu xè cara Marta mia,  
carissima, cara mia!*

(«Вы, Марта, милая моя, дражайшая, любимая моя!»)

И представляете, синьор иностранец, ее любовники запретили мне петь о Марте. А подбила их на это сама Марта, которой было неприятно, что собственный муж распевает о ней песни, будто она его милая. Через полгода, если бы я захотел прикончить ее любовника, мне пришлось бы перебить всех гондольеров.

Мы свернули в канал Святого Марка.

— Мадонна миа, — продолжал Витторе, — за этот год она изменила мне столько, что я и имен всех не упомяну, во всем календаре не сыскать такого количества святых мужского пола, сколько людей она соблазнила. — Ну а позавчера встретил я ее у святого Сильвестра возле Домо Туполо. Целый год я с ней не разговаривал, целый год ее не было у меня, но, знаете, синьор, я любил ее все сильнее и сильнее. Подхожу я, значит, к ней и говорю:

— Ты бы постыдилась, Марта, вернулась бы наконец к своему мужу.

И, к несчастью, сказал я это слишком громко, так что могли слышать женщины, торговавшие дынями, лимонами, апельсинами, финиками и кукурузными лепешками.

— Ты разве не знаешь, — ответила Марта сконфузившись, — что муж не имеет права попрекать свою жену любовниками перед другими женщинами.

О таком правиле, синьор, я не слышал и потому опять сказал:

— Стыдись!

Едва я это вымолвил, как она обхватила меня, а силища ей в наследство от папаши досталась как у парохода, — и вот уже лечу я в Каналоццо, мадонна миа. — Смотрите, мы уже на молу Рива-делли-Скьявони, синьор, добавьте пол-лиры, пожалуйста!

Тронутый его горем, я добавил пол-лиры и пожал ему руку.

— Синьор, — донесся до меня на берег крик гондольера, — если захотите куда-нибудь поехать, не забудьте о несчастном Витторе под Понте-ди-Риальто.

Уходя, я услышал позади себя песню Витторе, который заманивал иностранцев на свою гондолу:

*Caro fio, puto mio,  
ve polè, licar i dei, se xè bei,  
no xé per mi...*

А через минуту послышалось:

*Vu xè cara Marta mia,  
carissima, cara mia!*

И тут я позволил себе рассмеяться над несчастьем гондольера Витторе...

## Смерть сатаны

Яшел в половине седьмого утра с маскарада. Был туман, резкий холод пронизывал до костей. Но, несмотря на это, я решил пройтись несколько раз взад и вперед по острову. Это называется — полезная прогулка. В то же время я порядочно клевал носом. Прагу, постепенно выступавшую из паров и туманов, видел смежающимися глазами, как сквозь сон. Вдруг я стукнулся обо что-то головой — как мне показалось, о сук. Я сердито взглянул вверх. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Я наткнулся шляпой не на сук, а на лакированный ботинок, штиблету. Выше виднелись черные брюки. Сомнений не было: передо мной повесившийся! На мгновение мне стало плохо. Но я собрался с духом и посмотрел на самоубийцу внимательней. Прежде всего я заметил, что у него только один ботинок. Вторая штанина кончалась не лакированным ботинком, а копытом. Я посмотрел еще выше. Вывалившийся наружу длинный темно-красный язык, на голове пара могучих рогов, между фалдами элегантного фрака ниспадает косматый хвост. Да, сомнений не было: висящий передо мной самоубийца — не кто иной, как черт!

На скамейке, стоявшей у ног самоубийцы, лежал толстый конверт с надписью: «Тем, кто найдет мой труп».

Нашел труп я. Так что я взял пакет, вскрыл его и прочел:

«Прежде всего должен поблагодарить пражскую полицию. Где бы ни случилось убийство или какое-нибудь другое преступление, она всегда заботилась о том, чтобы виновный не понес наказания от властей, а попал бы в мои руки. Свидетельствую ей свою признательность. Знаю, что если она найдет (найдет ли только!) мой труп, то не сумеет установить мою личность до окончания веков. Поэтому сразу заявляю: я — черт! А относительно моей смерти: я совершил самоубийство.

Что же касается мотивов, то достаточно будет перечислить события последней ночи. Чтобы проверить, насколько пражане до сих пор меня боятся, я отправился в маскарад, где, как я слышал, представлены все слои пражского населения. Надел фрачный костюм, но в остальном сохранил свой обычный облик, чтоб посмотреть, какое буду производить впечатление.

Как только я вошел в зал, все схватились за животики.

— Отличная маска! — сказал кто-то.

Я думал, что всех испугаю, а они засмеялись.

«Напрасно я не замаскировался», — пришла мне мысль. Но я все-таки надеялся, что кто-нибудь меня испугается и убежит. Не тут-то было. Все открыто выражали мне свою симпатию, полагая, что я замаскирован.

В конце концов я подошел к одной старой даме, видимо, страшно набожной и явившейся в маскарад просто потому, что не подцепила ни любовника, ни женишка в другом месте.

Между нами произошел довольно оригинальный разговор.

— Мадемуазель, — сказал я, заметив, что моя маска нравится ей, — я должен разъяснить одно недоразумение: вы ошибаетесь во мне.

— Ничуть не бывало, — нежно промолвила она в ответ. — Я ошиблась только в одном человеке. Это был юрист-практикант Штёвичек, который обручился со мной и был таков. А больше ни в ком.

— Но во мне вы все-таки ошибаетесь, — сказал я.

— Нет, нет, — возразила она, кинув на меня огненный взгляд. — Я сразу увидела, что у вас есть характер.

— И все-таки, мадемуазель. Маска моя — вовсе не маска, а действительность. Я в самом деле черт.

— Я не принадлежу к тем, кто придает значение званиям. У меня приличное состояние, и если ты хочешь, милый, чтоб я была твоя...

Я убежал. Мне стало страшно. Даже люди набожные больше не боятся меня, и эта монахиня 3-го ордена святого Франциска уже готова взять меня в мужья.

Но через некоторое время успокоился. Она не боится меня именно благодаря своей набожности. Наверняка дома у нее — святая вода, ладанки и всякое такое. Я обратился не по тому адресу. Я создан не для того, чтобы меня боялись люди добродетельные, а на страх грешникам. К ним мне и надо обратиться. Тогда посмотрим.

Вскоре я нашел подходящего субъекта. Он сидел за столиком с двумя девушками, с которыми обращался более чем непринужденно. Можно даже сказать: бесстыдно. Это было то, что нужно.

— Скверные безбожники! — грозно загремел я. — Неужто вы не боитесь, что я возьму вас?

— Сделайте одолжение, — ответила одна из девушек. — Возьмите нас ужинать.

— Не напоминайте о суете, находясь перед князем ада! — сказал я.

Взрыв смеха был мне ответом.

— Это вы ловко! — заметил мужчина.

— А в аду, наверное, очень славно. По крайней мере, нет стариков и старух, которые все время отравляют жизнь.

— Вот как? — опешил я.

— Ну, конечно, — ответила она. — Что там, в аду? Скрежет зубовый... А у стариков и старух нету зубов. Верно?

Я был изумлен, но еще хранил кое-какую надежду.

Ну, конечно, таким людям море по колено. Как же им меня бояться? Они просто не верят в меня. Что ж удивительного, что я им не импонирую? Надо найти человека грешного, но чтоб он верил в мое существование и в муки ада.

Долго ходил я по залу напрасно. Но в конце концов нашел-таки, что искал. Там был — но, конечно, замаскированный — один из высших сановников церкви и в то же время человек светский. Я подошел к нему и сказал:

— Достойнейший монсеньер!

Он сделал вид, что не слышит.

Я, недолго думая, потянул его за рукав.

— Я обращаюсь к вам, монсеньер.

— Вы, очевидно, принимаете меня за кого-то другого.

— Нет, нет, — ответил я. — Ошибки быть не может. Я хорошо вас знаю.

Я назвал его имя, а также имя той, которую он искал.

— Кто вы такой? — спросил он с удивлением и не без испуга.

— Вы видите, ваше преосвященство. Я не надевал маски. Это моя действительная наружность. Я черт.

Прелат громко засмеялся.

— Вы забываете, сударь, с кем говорите. Очень рад, что есть люди, которые

верят в ваше существование. Но если я живу за ваш счет, это еще не значит, что я тоже верю в вас. Однако если нас приходит пугать пугало, которое мы сами выдумали, то это уж дерзость...

— Достойнейший монсеньер! — воскликнул я почти в отчаянии. — Вы не верите в меня?

— Даже в голову не приходит, — ответил веселый священнослужитель.

— Осмелюсь спросить: почему? — простонал я.

Монсеньер приступил к объяснению. В свое время я читал брошюры, где доказывалось, что меня, в сущности, нет, но тут я увидел, что писанием атеистических произведений должны бы заняться именно сановники церкви. Он так убедительно и подробно доказывал мне невозможность моего существования, что мне самому начало казаться, будто я не существую. Напрасно я всего себя ощупывал, мне не удалось увериться в том, что я не только призрак. Душевное состояние мое после этой беседы не поддается описанию. словно колючий шип, терзал мне сердце мучительный вопрос: «Существую я или не существую?» И в конце концов я решил: если вся моя жизнь — только мечта, только сон, так лучше разом с ней покончить. Пусть я даже в самом деле существую, но вижу одно: в настоящее время я себя изжил. Я никому не импонирую, никто меня не боится. Никто в меня ни чуточки не верит. Конечно. Как только выйду отсюда, так повешусь. О смерти своей не жалею: она — логический вывод из всего, что я в последнее время испытал».

Я дочитал до конца и еще раз взглянул вверх. Мне показалось, что на лице повесившегося застыла гримаса глубокого разочарования.

## Происшествие в аду

Среди наидостойнейших душ в пятом отделении для неисправимых грешников числилась и душа начальника полиции пана Гофбауэра.

Заведующий этим отделением, ротмистр черт Такихотельский, не мог ею нахвалиться на дьявольских конференциях. Благодаря этому душе предоставлялись даже и некоторые поблажки, а в котел с серой ее бросали всего раз в месяц. Остальные дни душа носилась над котлами и следила, чтоб грешные души не высывали из котла ни голову, ни руку или ногу, желая хоть чуточку остудить их.

О столь предосудительном их поведении немедленно докладывалось дежурным по котлам, которые тут же отлавливали вышеупомянутые души раскаленной сеткой, сделанной из платиновой проволоки, и переправляли под электрический молот, доводящий их до белого каления.

Затем к ним подключали оголенный электрический провод, обмазывали навозной жижей, натекающей с доминиканцев, и спихивали в котел, где жалобно вопили иезуиты.

В награду за доносы душе начальника полиции целую минуту разрешалось взирать на грамм родниковой воды в запаянной пробирке над дверью, ведущей к котлам с кипящей серой.

Души других грешников ее не любили и, когда душа Гофбауэра порхала над котлами, брызгали на нее расплавленной серой и даже пожаловались Вельзевулу, когда тот раз в тысячу лет объявился с инспекцией и осведомился у них, выдается ли им положенная дневная норма сулемы с мышьяком.

Но Вельзевул, которому понравилось поведение души-доносчицы, отличил

ее долгим разговором, посулив ей дать полизать кусочек льда, если следующие десять тысяч лет та будет вести себя столь же примерно.

Жалобщиков же распорядился кинуть в котел, где бултыхались каноники. Вот и получилось, что больше ни одна грешная душа не хотела разговаривать с душой начальника полиции, кроме души грешного профессора естественных наук Нарцисса.

Последний оказался здесь из-за какого-то химического соединения, благодаря которому на воздух взлетели полгорода вместе с самим изобретателем.

Черти побаивались души профессора ввиду ее склонности к разговорам на научные темы, она сблизилась с душой пана Гофбауэра, которая хотя и посматривала на нее свысока, однако позволяла ей болтать о чем угодно.

К тому же и она пользовалась льготами, так как была уполномочена составлять легкоплавкие сплавы, в которых купали мелких грешников.

Обе души развлекались как придется, последнее же время таинственно между собой шушукались и перешептывались.

Дело в том, что душу профессора естественных наук озарила гениальнейшая идея: как втихомолку изготовить несколько капель воды.

Своей подружке она сообщила, что опирается на изречение блаженного Августина, будто грешники оказываются в аду абсолютно такими, какими были при жизни. А вот адское начальство швыряет их тут же в кипящую серу и смолу — а последнее время и в расплавленный асфальт.

А что, если их дистиллировать? Неужто не набралось бы хоть чуточку воды? Молот электрический в аду имеется, отчего бы не соорудить дистилляционный аппарат для грешников?

Теперь самое главное — вдохновить этой мыслью ротмистра черта Такихотельского, остальное приложится само собой.

Душа начальника полиции преисполнилась решимости поговорить обо всем с ротмистром как с заведующим отделением. Что она и сделала.

— Ваше высокопревосходительство, — тонким голосом произнесла душа, — мне кажется, будто вновь прибывшие грешники терпят неизмеримо малые муки.

Его высокопревосходительство омрачилось.

— В этом никто не посмеет нас упрекнуть, — строго произнес заведующий, обмахиваясь расшитым хвостом. — Наказываем их согласно старым правилам и обычаям.

— Ваше высокопревосходительство, — продолжила душа-доносчица, — не следовало ли бы поступающих грешников подвергать дистилляции? Душа профессора Нарцисса утверждает, будто это очень хорошее наказание, и вы еще лучше позабавитесь с грешниками, потому что воплей будет куда больше, чем от всех котлов Папена с серой, смолой или асфальтом. Свеженькие грешники лучше почувствуют, что такое адские муки, понемногу дистиллируясь, и реветь и причитать будут громче.

Заведующий похвалил душу за столь внимательную заботу о своих новых коллегам и велел позвать душу профессора, которая и изложила ему устройство дистилляционного аппарата.

План заведующему понравился, и он поручил изготовить аппарат для но-воиспеченных грешников, причем помощь оказывали души грешных монтеров.

Первую пробу провели с толстым испанским епископом.

Этот парень заговорил о святой инквизиции, но на это не обратили внимания и, засунув его в аппарат, завинтили крышку. Потом под ним развели огонь, и испанский епископ начал дистиллироваться.

Сквозь грохот из котла жалобно донеслось: «Miserere mei domine, sicut magnam misericordiam tuam»[90].

— Тут тебе это не поможет, — иронически обронила душа профессора, а душа начальника полиции нетерпеливо вглядывалась: скоро ли из дистилляционного аппарата закапает долгожданная жидкость.

Черти-надзиратели в это время лупили по щекам какую-то глупую душу, когда из стока аппарата крупными каплями медленно закапала жидкость. Обе души уже подставили ладони, как вдруг примчался заведующий отделением. С перепугу обе души разбрызгали жидкость вокруг себя, несколько капель попало на черта-ротмистра, который с диким воплем превратился в фосфорную свечу. Раздался страшный грохот, и пекло рухнуло.

Из испанского епископа они получили дистиллированную святую воду!

Бошилецкий священник проснулся на кушетке, экономка совала ему под нос склянку с нашатырем, восклицая:

— Очнитесь же, ваше преподобие!

Из соседней комнаты донеслось пение других священников близлежащих приходов.

Экономка принялась разъяснять его преподобию, что собратья допивали последнюю бутылку из тех, что оставались от торжественного обеда в честь освящения храма, когда он свалился под стол.

Вот его и принесли сюда.

Священник понял все это не слишком отчетливо и снова уснул.

## Кирилло-мефодиевское братство в Морушове

Приходским священником в Морушове был назначен капеллан Линек, человек молодой, ярый сторонник католическо-национальной партии.

Прежде всего он объединил местных валахов на католическо-национальной основе.

Это великолепное начинание принесло замечательные плоды.

Валахи подстерегли тамошнего учителя-прогрессиста — и избили его.

Капеллан Линек вознес благодарственную молитву богу за то, что ему удалось просветить души прихожан и что Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове так хорошо себя проявило.

Это первое выступление Кирилло-Мефодиевского братства вызвало горячее сочувствие в католической печати Моравии, и капеллан Линек прославился там как бич неверующих.

И он с новым рвением ринулся в бой. Прежде всего он решил, что гораздо лучше, если деньги, находящиеся на руках у жителей села, будут собраны под его охранную длань, и им перестанет грозить опасность быть потраченными на греховные цели. Созвав в трактире сельский сход, он объяснил радостно-взволнованному многолюдному собранию, какое значение имеет для народного благополучия экономия, бережливость и каким сильным станет население Моравии, если поймет, что лучшими хранителями его собственности являются духовные особы, которые, имея доступ к богу, способны обеспечить сбережениям более надежную неприкосновенность, чем несгораемые шкафы и стальные сейфы крупных банков.

Там сбережения хранят просто под замками, а здесь их охраняет господь бог — через ближайших своих служителей.

Таким путем Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове превратилось в организацию, куда жители Морушова и округи начали усердно сносить все свои сбережения, как пчелки мед в ульи. И какие же это были прекрасные собрания, когда капеллан Линек публично докладывал, сколько кто передал в его руки! Как вдохновенно, с какой горячей благочестивой верой говорил он:

— Милые прихожане и друзья мои! Святые просветители наши — Кирилл и Мефодий первые распространили здесь, в Моравии, святую веру, и наша организация — Кирилло-Мефодиевское братство — с честью несет их знамя, и вы, мужи и жены морушовские, следуйте по стопам наших первоучителей. Стойте непоколебимо против врагов святой веры. Матушек вложил 20 гульденов. В священном Сионе ангелы ликуют над Качареком: он вложил 25 гульденов. Радость на небесах над Бзекотой: он дал 30 гульденов. Растет вера в сердцах ваших, душа моя ликует. Непршела дает 35 гульденов, и супостаты веры святой дрожат и трепещут... Понучкова вложила 18 гульденов. И все мы, в гордом сознании, стоим за веру первоучителей наших, у всех одна мысль, один порыв: всё — за веру в святой Сион! А Чамбула дал 13 рейнских гульденов. Пусть каждый «рейнский», который он вкладывает в руку мою — под охрану божью, звонко звенит серебряным гласом своим, подобно колоколам храма, которые сзывают верующих на молитву.

Каждый «рейнский», мне вручаемый, — прекраснейшее доказательство того, что не погибла вера кирилло-мефодиевская и что вы, к досаде врагов веры святой, гордо противитесь дьяволу-искусителю, гоня его от себя во тьму кро-

мешную, где стоит плач и скрежет зубовой и куда адские силы утащат Жезулу, который до сих пор не вступил еще с радостным сердцем в Кирилло-Мефодиевское братство.

Когда у капеллана в сундучке скопилось в общем 2000 крон, он поехал в Брно, чтобы положить их там на книжку.

Но благочестивую душу всюду подстерегает дьявол — под самыми разнообразными видами. Святой Иоанн Златоуст прекрасно выразил это, сказав:

— В вине — дьявол.

Да, сатана рыскает в мире, стремясь губить души и особенно точа зубы на благочестивых представителей духовенства, о чем говорят сообщения из зала суда, публикуемые в газетах, непосредственно связанных с сатаной.

Напротив, сатана не имеет доступа в редакции газет католических, о чем говорит тот факт, что в католических газетах до сих пор никогда не сообщалось, что вот, мол, этот священнослужитель осужден за то-то и за то-то.

И в том случае, о котором мы говорим, дьявол так и вился вокруг капеллана Линека всю дорогу до Брно, а в Брно спрятался от него в бутылку вина, которую капеллан Линек заказал себе в одном погребе, куда сатана заманил его.

Само собой разумеется, капеллан Линек мужественно контратаковал коварного врага. Но дьявол перепрыгнул в другую бутылку, а потом в третью.

Какая это была страшная борьба!.. И вдруг он из вина превращается в девицу и среди ночной тишины на улице берет служителя божьего под руку и ведет его к себе.

И продолжает борьбу с капелланом под видом этой девицы, и в конце концов вытаскивает из кармана капеллановой сутаны, когда тот, утомленный боем, заснул, целых 2000 крон, а потом исчезает, оставив поверженного капеллана в одиночестве.

Утром капеллан увидел, что дьявол совершил свое адское дело, и, не постигая благочестивой душой своей, как могло это произойти, пошел в полицию и заявил там, что дьявол украл у него ночью 2000 крон.

Он с такой уверенностью твердил об этом полицейским и комиссару, что на другой день в газетах появилась заметка о несчастном случае со священником, который в остром припадке религиозного помешательства был отправлен в Брненский сумасшедший дом.

Осиротело Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове, и морушовские валахи хотят отправиться в Брно, чтобы, не останавливаясь даже перед насилием, освободить из тамошней больницы своего капеллана, у которого дьявол украл 2000 крон.

Группа католическо-национальных депутатов по поводу этого случая готовит интерпелляцию в парламенте — со ссылкой на факты, установленные церковной историей, в которых дьявол играет большую роль.

## Триумфальный въезд бухарского эмира Восточное предание

Эмир бухарский Сеид Абдул Ахад-хан имел обыкновение раз в десять лет посещать одну из провинций своего государства. Когда-то она не принадлежала Бухаре, и каждый, кто хоть немного помнит историю Средней Азии, хорошо знает, что прежде эта страна обладала независимостью, а вот родоначальник ныне правящей бухарской династии некогда был самым что ни на есть обыкновенным ханом-разбойником, потому что в пору, когда в Средней Европе разбойники-рыцари основывали дворянские роды, в Средней Азии тем же самым занимались разбойники-ханы.

Прикрываясь тем, что распространяют-де истинную веру — ислам, они заполучили и вышеупомянутую землю, в столице ее срубили головы местной знати, край присоединили к Бухаре, а бухарский язык объявили официальным государственным языком.

На бедных людей свалилось еще одно несчастье. Сердца за триста лет поработительства стали мягче, а речь, изобилующая изысканными оборотами, приобрела гибкость, так что бухарских властителей стали именовать собственными отцами, а себя называли не иначе как детьми, живущими под охранительной дланью правителя.

И нынешний бухарский эмир не знал для них лучшей награды, нежели навещать раз в десять лет эту провинцию.

Простой народ по такому случаю также раз в десять лет терял голову, безумствовал, а больше всего — из-за орденов. Все мечтали об орденах афганского тельца. Эмир бухарский, афганский телец и его орден — эти три вещи у простого народа сливались в единое целое, конечно, при этом они сохраняли добропорядочность, своего рода благоговейную лояльность, не покидавшую сердца этих простых людей даже тогда, когда клеветы возлюбленного эмира изымали у них последнюю рубашку, а соплеменники всеильного Сеид Абдул Ахад-хана отрубали этим простым людям головы.

Но ничто не занимало их так сильно, как самочувствие возлюбленного государя. Когда однажды Сеид Абдул Ахад-хан страдал запором, он получил из этой провинции не одну сотню изъявлений верноподданнической преданности.

А когда аллах всемилостивейше привел эмирово пищеварение в порядок, по всей провинции только и слышно было:

— Хвала аллаху! Вчера в пять часов девятнадцать минут.

И муэдзины с минаретов зывали к правоверным:

— Аллах иль аллах! Молитесь, чтобы это удалось его величеству еще раз.

Когда же теперь по Мархапе, столице провинции, разнеслась весть о прибытии Сеида Абдул Ахад-хана, радость переполнила сердца его жителей, и при въезде в город народ с воодушевлением воздвигал гигантскую триумфальную арку, под которой и должен был проехать отец своих славных подданных.

Но их радость по поводу приезда государя была омрачена, ибо лояльные чувства граждан неслыханным образом оказались оскорблены в тот прекрасный день.

Не утихли еще ликующие клики, возвещавшие о прибытии Сеида Абдул Ахад-хана и приближении всей процессии к арке, как прямо перед эмиром под триумфальной аркой промчалась свинья! Свинья эта, столь неслыханным образом оскорбившая чистейшую радость народа, принадлежала мяснику Ахмеду и, быть может, в глубине души лелеяла страстную надежду каким-либо образом выступить публично.

Не одолев этого неизменного желания, она вообразила, будто все эти приветствия предназначаются именно ей, а не какому-то там высокому гостю, следовавшему за ней в золоченой карете.

Бедная свинья мясника Ахмеда! Посверкивая глазками, она оглядывала изумленным взглядом ряды приодетых, чисто вымытых школьников, директоров школ, облачившихся в форму, смущенно салютующих ей стражников, потому что прямо за ней следовала и карета высокородного эмира.

А свинья продолжала нестись дальше между шпалерами встречающих, веселясь и похрюкивая. Пробежала мимо государственных чиновников, мимо представителей мусульманского духовенства, и все приветствовали ее, чиновники же кричали: «Ура!», потому что Сеид Абдул Ахад-хан, сопровождавший свинью в карете, помахивал рукой и отдавал честь.

И в то время, как впереди кричали «ура», после того как свита миновала встречающих, полицейская стража и народ рыдали, ужасаясь столь неслыханному оскорблению, которое нанесено было Сеид Абдул Ахад-хану.

А свинья мясника Ахмеда весело трусила дальше — перед эмиром, все больше утверждаясь в мысли, что все эти восторги предназначаются ей. Она пробежала мимо выстроившегося дворянства, отвечала на поздравления эмиру и задорно вертела хвостиком.

И тут простой человек из толпы, стоявший в первом ряду и издали понявший, что случилось, член какого-то общества бухарских ветеранов, спас Сеид Абдул Ахад-хана от дальнейшего позора.

Он быстро набросал карандашом на клочке бумаги несколько слов и, когда государь проезжал мимо него, кинул бумажку в карету.

Его тут же схватили, карета остановилась, а затем, когда все кругом продолжали славить государя, эмир прочел на записке следующее: «Ваше величество! Впереди вашего величества бежит свинья!»

Сеид Абдул Ахад-хан приподнялся в экипаже и убедился, что меж шпалерами бухарцев и вправду бежит свинья.

Тут и произнес Сеид Абдул Ахад-хан те самые замечательные слова, которые мы и сегодня имеем возможность прочесть, так как они вошли во все бухарские буквари и золотыми буквами записаны в сердцах людей:

— Гм, гм! — Затем, обратившись к мужественному ветерану, спросил:

— Имя?

— Мирза, ваше величество!

— Это хорошо, — отвечал Сеид Абдул Ахад-хан. — В армии служил?

— В роте гималайских верблюдов, ваше величество!

Сеид Абдул Ахад-хан поручил тогда своему адъютанту выплатить мужественному ветерану один тикал (что-то около одной кроны 44 геллеров), хлопал его по плечу и сказал:

— Отныне будешь именоваться Свинячий Мирза.

И сегодня потомки Мирзы Свинячего — один из самых уважаемых и влия-

тельных дворянских родов в Бухаре. Мясника Ахмеда, обладавшего столь неравнодушной к почестям свиньей, на веки вечные выслали из страны.

А сумасбродку свинью повесили затем на триумфальной арке.

## Дредноуты

Чтобы экспортировать изюм в восточные страны, государству понадобились дредноуты, и в связи с этим произошла такая история.

Министр финансов вспомнил, что у некоего Яна Лухи после визита, нанесенного ему экзекутором, остался все-таки вполне приличный костюм, хотя экзекутор уже сумел содрать с него кое-что во имя столь высоких интересов, как огромные гордые дредноуты.

В интересах государства необходимо было этот костюм с него снять. За него, правда, дредноута не купишь, но это неважно. Коль не льет, то хоть каплет!

И с Яна Лухи сняли пиджак. Потом Австрии понадобился еще один дредноут, тогда налоговое управление продало его штаны и жилет.

Но появилась необходимость купить еще три дредноута. Однако на Яне Лухе не осталось ничего, кроме рубахи да исподников.

Продали исподники. Осталась рубаха. Вы не ошиблись, добрались и до нее. И Ян Луха остался абсолютно голым.

В налоговом управлении этому не поверили, и Ян Луха получил повестку явиться в суд и клятвенно присягнуть, что больше у него ничего нету.

Ян Луха пошел. В том виде, как сотворил его господь бог и в чем оставило налоговое управление. Но едва он вышел из дому, его схватили и препроводили в суд за нарушение правил нравственности.

## Как пан Мазуха мстил за поруганную супружескую честь

**П**ан Мазуха был господин чрезвычайно рассудительный. Догадавшись наконец, что супруга изменяет ему с неким паном Хаберой с Черной улицы, дом номер восемь, он решил отомстить за поруганную супружескую честь.

В силу своей рассудительности он обдумывал этот шаг две недели и пришел к выводу, что удовлетворение следует получить без пролития крови и как можно более деликатным способом. Еще две недели он обдумывал, употребить ли ему благородно хлыст или положиться только на собственные руки. В конце концов он решил публично, на улице, дать пощечину пану Хабере, что было бы самым дешевым способом получить удовлетворение, так как не требовало никаких финансовых жертв, что имело бы место, если бы он вздумал покупать кавалерийский хлыст.

Еще неделя протекла в наблюдениях за тем, куда пан Хабера ходит гулять. Пан Мазуха установил, что пан Хабера — если у него не было назначено свидание с пани Мазуховой — в четыре часа ходит в кафе «Унион» на проспекте Фердинанда, где сидит до половины седьмого, а потом, прогулявшись по променаду, отправляется в ресторан Глаубицев на Малой Стране.

Итак, седьмого февраля пан Мазуха вышел мстить за поруганную супружескую честь. Он отправился напрямиком в кафе и, расспросив, где сидит пан Хабера, подсел к его столику напротив и стал со смущением рассматривать атлетическую фигуру соперника. Он не предвидел таких широких плеч. «И мускулы же у него», — грустно подумал он и как можно любезнее обратился к пану Хабере, когда тот отложил какой-то французский журнал:

— Простите, журнал вам больше не нужен?

— О, пожалуйста.

«Ах ты мерзавец, — подумал пан Мазуха. — Знал бы ты, кто сидит перед тобой!»

«Но если б он это знал, — продолжал он рассуждать, прикрывшись журналом, — то, пожалуй, еще рассердился бы. А такой верзила, если уж он посмел разбить мое супружеское счастье, способен разбить об мою голову поднос с графином и стаканами. Но я не могу этого так оставить, я должен хоть морально унижить подлеца!»

С наигранным презрением пан Мазуха положил журнал на свободный стул и громко произнес:

— В этих французских журналах сплошь супружеские измены. Маркиза де Белло имеет связь со скульптором Вайо. И чего этот маркиз не отхлещет голубчика по физиономии! Фу! Я бы схватил негодяя на бульваре и дал бы ему пару затрецин. Так следует наказывать прелюбодеяния! Зачем покупать револьвер!

Посетители начали оглядываться, пан Мазуха умолк, зато заговорил пан Хабера:

— Незачем ходить за примерами в Париж, в самой Праге делаются вещи, от которых волосы дыбом встают. Я бы мог порассказать!

— Я тоже, — многозначительно заявил пан Мазуха, не совладав с собой. Однако его рассудительность тотчас взяла верх, и он прибавил: — Я тоже не сомневаюсь в этом. Тем не менее мне это кажется весьма неприятным обстоятельством, милостивый государь, наши законы недостаточно строги. Лучше

всего расквитаться лично... — Тут он опять заволновался. — Встать лицом к лицу с таким мерзавцем, публично дать пощечину и сказать: «Вы. разбили мое супружеское счастье и теперь ставьте себе холодный компресс на щеку».

— Это не так просто, — серьезно возразил пан Хабера. — У меня большой опыт в этом деле. Когда я был в Брно, в меня влюбилась жена одного директора. Позже она сбежала от мужа с кем-то другим в Румынию. Но этот директор, еще когда у нас с ней была связь, застал нас однажды на загородной прогулке в Бланско. Он завязал ссору, полез было ко мне, но жена его спасла, бросилась передо мной на колени, и я дал ему уйти с миром. Между нами говоря, он был человек глупый, ограниченный в самом широком смысле слова. Потом я разыскал его в Брно, он держался кротким барашком. Я принес ему пенсне, которое сшиб у него тогда с носа. Но, поверьте, если бы не жена, которая так молила меня, ему пришлось бы худо. Я бы отделал его как следует. Так-то... А вы женаты?

— Я не женат, — нетвердо сказал пан Мазуха.

— Простите, — приветливо сказал пан Хабера, — я еще не представился: тенор Хабера.

— А я... я... — выдавил из себя пан Мазуха, — меня зовут Войтех Славичек.

Расплачиваясь за чашку кофе с молоком и рогалик, пан Мазуха уронил слезу на монету достоинством в крону и растерянно вышел, пожав руку пану Хабере.

## Наследство Шафранека

После всех необходимых формальностей выяснилось, что наследство Франтишека Шафранека составляет ровно семь геллеров. Вот и все богатство, оставшееся после этого доброго человека. Но самым неприятным было то, что у Шафранека не оказалось наследников и государству пришлось принять эту сумму на хранение. Семь геллеров положили в государственный депозит, и власти принялись за усиленные поиски наследников.

Нотариат развил бешеную деятельность. Прежде всего был назначен управляющий наследством. На основании своих полномочий он составил ясное, исчерпывающее извещение и напечатал его во всех газетах и журналах, заплатив за это по тарифу объявлений. Позаботился он и о том, чтобы сообщение о Шафранеке появилось в хронике местных газет.

Объявление гласило:

*«Семнадцатого июня с. г. в городской больнице скончался подмастерье печника Франтишек Шафранек, шестидесяти семи лет от роду, по имеющимся сведениям, холостой. Лица, претендующие на наследство покойного, приглашаются в нотариат окружного суда».*

Словом, управляющий наследством пан Камейка рьяно взялся за дело. Поиски неизвестных родственников Шафранека он начал со всей обстоятельностью, на какую только способны австрийские учреждения.

Мелкий судейский чиновник Камейка уже зарекомендовал себя кое-чем, однако ему еще никогда не выпадала честь быть управляющим наследством. «Сделаю все возможное, — решил он. — Черт меня подери, если я не закончу это дело самым успешным образом».

Пока Камейка трудился не покладая рук, семь геллеров, положенные в де-

позит, покоились вместе с другими суммами в сейфе государственного банка, около которого прохаживался солдат с ружьем.

Камейка не дремал. За короткий срок он поместил до пятидесяти объявлений в пражских и провинциальных газетах, что обошлось казне в шестьсот крон. Писарь Шмидт был завален работой по отправке повесток всевозможным Шафранекам, которые нежданно-негаданно получали вызов в суд. В одной только Праге оказалось пятьдесят восемь Шафранеков.

С таким материалом уже можно работать. Наблюдать трепет этих бедняг, вызванных в суд, где их допрашивали со всей строгостью и обстоятельностью, было истинным удовольствием.

Впрочем, Камейка немало намучился с Шафранеками! Некоторых приходилось чуть ли не за шиворот тащить в суд, или, выражаясь официальным слогом, доставлять туда под конвоем. Так было с Алоисом, Беноном, Артуром, Вилемом, Карлом, Антонином Шафранеками и с Филоменой Шафранковой. (Эта баба страшно скандалила, когда полицейские подняли ее в шесть часов утра.) Двум Шафранекам — Михалу и Богуславу — эта история стоила должности, ибо полицейские явились за ними на службу, чем наниматель был весьма шокирован.

Впрочем, все это пустяки, лишь бы была соблюдена юридическая процедура.

Когда с Прагой было покончено, Камейка вооружился адресной книгой и взялся за Пльзень. Там оказалось двадцать Шафранеков. В Клатовах их набралось десять.

Короче говоря, судебные учреждения по всей Чехии были завалены делами одних Шафранеков. В Младой Болеславе было допрошено четверо, в Колине — восемь, в Горжицах — один. «В Высоком Мыте — ни одного Шафранека», — констатировал Камейка. А спустя несколько дней он, придя домой, торжественно объявил жене: «В Будапеште — восемь!» Все Шафранеки были допрошены в местных судах, и Камейка потирал руки:

— Черт меня подери, если я не доведу это дело до успешного конца!

За лето в окружном суде было заведено шестьсот двадцать девять новых папок. Для литеры «Ш» пришлось приобрести новый шкаф и нанять дополнительно специального писаря. К осени неутомимый Камейка переключился на Моравию.

— Нельзя терять ни минуты, — говорил он своим подчиненным. — Сперва Брно, за ним Оломоуц — и все пойдет как по-писаному. Строжайший порядок: один округ за другим. Потом на очереди Силезия. Да, господа, рука судебных органов достигает далеко!

В шкафу под литерой «Ш» прибавилось еще пятьсот шестьдесят шесть дел. Писарям ночью мерещились Шафранеки.

В один прекрасный день Камейка объявил с видом победителя:

— А теперь возьмемся за Вену. Надо заручиться содействием тамошних полицейских властей. Дорога каждая минута. Телеграфируйте, нет ли там Шафранеков.

Шафранеки нашлись. Венская полиция препроводила в распоряжение пражского суда одного Шафранека, одного Шафранека и одного Шафрана. Волею судеб это оказались почтенные коммерсанты, которые не знали, что и думать, когда их ночью схватили и отвезли в Прагу. По этому поводу был даже

запрос в парламенте.

Камейка сиял.

— Все идет как по-писаному, — повторял он. — Вот увидите, я отыщу этих наследников. Пора, однако, обратиться за помощью в наши консульства за границей.

В канцелярии окружного суда прибавилось еще сто семьдесят два дела. Консульства проявили не меньшее рвение, и через полгода Камейка мог похвастаться поистине замечательными результатами. В Германии нашлось триста четырнадцать Шафранеков, во Францию — два, в Англии — девять, в России — тринадцать, в Турции — один Шафранек-бей. В Испании не оказалось ни одного, зато в Америке — восемьдесят человек. Из Австралии не поступило ответа, из Пекина ответ был отрицательный. Токио с энтузиазмом сообщало, что о таком имени там и не слыхали.

— Господа, — с удовлетворением заявил Камейка своим подчиненным, — все идет как нельзя лучше. Не пройдет и двух лет, как мы отыщем наследников. А до тех пор я прошу вашего неослабного внимания! Писать во все суды, расследовать, искать, не давая себе ни минуты отдыха. Расходы пока что составляют всего лишь одиннадцать тысяч крон — это сущий пустяк по сравнению с важностью юридической процедуры.

Розыски продолжались. Но однажды Камейка торжественно вошел в канцелярию и обратился к писарю Шмидту:

— Прощу официально зарегистрировать мою претензию на наследство Франтишека Шафранека. Не улыбайтесь, господа, я в своем уме. Будьте любезны допросить меня по всем правилам. Имя и фамилия? Отвечаю: Ян Камейка. Состояли ли в родственных отношениях с покойным Франтишеком Шафранеком? Отвечаю, господа: состоял. Я вижу, вы удивлены... Да, господа, мы наконец достигли желанной цели. Мамаша моя носила в девичестве фамилию Шафранек. Я обнаружил это вчера, перебирая наши семейные документы. Ее младший брат, которому не повезло в жизни, работал в Унетичах печником. Это лицо и есть покойный Франтишек Шафранек, оставивший наследство. Заявляю о своих правах и прошу завести дело.

Прошло около пяти лет, пока были выполнены некоторые мелкие формальности, и Камейка вступил во владение наследством. Из государственного депозита ему были выданы семь геллеров, он их позолотил и стал носить в виде брелока к часам.

## Анонимное письмо

Князь Фридрих, властитель Вальдецкого княжества, ехал в карете, окруженный ликующей толпой. Вдруг на его колени упало письмо, ловко брошенное чьей-то рукой.

Князь Фридрих любезно улыбнулся и принялся читать: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»

Князь Фридрих перестал улыбаться.

Как писали на другой день газеты, его светлость почувствовал недомогание, торжества были тотчас прекращены; князь Фридрих вернулся к себе во дворец.

Там он проследовал в кабинет и стал внимательно изучать оскорбительное послание. Прочитав по меньшей мере в пятидесятый раз: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!» — и затвердив это наизусть, изумленно воскликнул: «Этот негодяй даже не подписался!»

Он шагал по кабинету и повторял: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»

Через полчаса князь приказал созвать государственный совет.

— Господа, — взволнованно заявил он четверем тайным советникам, — сегодня, в день празднования тридцатилетия моего правления, неизвестный злоумышленник бросил в мор коляску следующее послание: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!»

Тайные советники побледнели, а барон Карл пробормотал:

— Ваша светлость, это письмо предназначалось не вашей светлости!

Князь Фридрих рассердился.

— Любезный барон, — воскликнул он, — я полагаю, вам известно, что титул «светлость» во всем княжестве ношу только я один, и нет никого, кто мог бы претендовать на титул «светлость»! А так как в записке сказано: «Ваша светлость! Вы величайший дурак на свете!» — значит, письмо адресовано мне! Я думаю, что все мы сойдемся в этом мнении. Разыскать злодея, который отважился оскорбить меня, дело государственной важности, ибо я считаю это государственной изменой. Я передаю это дело в ваши руки и надеюсь, что и сейм выразит мне сочувствие и осудит на завтрашнем заседании постыдный поступок субъекта, не постеснявшегося нарушить покой своего князя...

До глубокой ночи длилось заседание сейма, куда был приглашен и шеф полиции.

На следующий день в сейме председатель с трепетом огласил собственноручное послание князя Фридриха, апеллировавшего к верности своего народа.

Сейм незамедлительно выработал адрес с изъявлением преданности князю, хотя никто не понимал, что же, собственно, происходит.

Смутная тоска носилась в воздухе. Шеф полиции между тем не дремал: он потребовал аудиенции и получил из государственного архива сие мерзостное письмо.

— Что вы собираетесь предпринять? — спросил его канцлер.

Шеф полиции только потирал руки.

— Терпение, вы будете изумлены моей методой расследования!

Письмо отправили в государственную типографию, и уже после полудня по всей столице были расклеены плакаты, выпущенные полицейским управле-

нием:

*НАГРАДУ В 1000 МАРОК ПОЛУЧИТ ТОТ, КТО УКАЖЕТ СЛЕДЫ ЗЛОДЕЯ, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ И БРОСИЛ В КАРЕТУ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО.*

А под этим уведомлением была помещена точная репродукция письма:

*«Ваше высочество!  
Вы величайший дурак на свете!»*

К вечеру каждый житель Вальдецкого княжества знал, что князь Фридрих — величайший дурак на свете.

На следующий день шефу полиции пришлось уйти в отставку.

### **Сердечное поздравление с именинами**

Дня за два до именин Алоиса Гольдшмида, владельца экспедиторской фирмы, в укромном уголке кабачка «У мозоли» встретились два бухгалтера и конторщик фирмы, дабы составить текст поздравительной телеграммы. Именинник, развернув рано поутру свою любимую газету, должен был там прочесть:

«Многоуважаемого шефа, пана Алоиса Гольдшмида, домовладельца и главу экспедиторской фирмы Гольдшмид и К<sup>о</sup>...»

Поздравители заказали уже по третьей кружке пива, а бумага, лежавшая перед ними, все еще оставалась чистой.

— Я тут припомнил одно старое пожелание, — проговорил бухгалтер Дуфек:

*Пусть тихо ваша жизнь струится,  
как ручеек в лесной тени.  
Как не иссякнет в нем водица,  
да не иссякнут ваши дни.*

Бухгалтер Миховский возразил, что в этом «тихо пусть струится» старик наверняка углядит намек на свою привычку кричать в канцелярии: он ведь тупица и в поэзии ничего не смыслит.

Конторщик Рыбарж робко заикнулся, что он где-то списал для себя такое приветствие: «Да цветет, как вешний цвет, ваше предприятие, вам желаем многих лет — свежести и счастья».

— Не пойдет, — оборвал Дуфек, — старикашка обозлится на эту «свежесть». Всякий знает, что не везет ему у баб, стар стал, мошенник. Ни одна теперь за ним не бегаёт.

— Можно бы дать в газеты такое объявление, — прервал его пан Миховский: — «Много счастья вам при жизни, дай господь здоровья вам; что в мечтах лелеет сердце, мы того желаем вам». Да ведь в мечтах у него, бесстыжего, только прелести пани Вольфовой.

— Говорят, он даже бывает у нее, — скромно вставил конторщик.

— Бывает! Как не бывать! Вы, голубчик, его еще не знаете, а уж мы с Дуфekom могли бы кой-чего о нем порассказать. Он ведь и за моей покойницей женой ухлестывал. Однажды я, как честный человек, возьми да и скажи ему с глазу на глаз, что моя оскорбленная честь требует удовлетворения. Так знаете,

что он сделал? Подкинул к жалованью четыре сотенных и назначил меня главным.

— Я слышал, что он и с дочерью кладовщика шуры-муры крутил.

— И крутил — что правда, то правда. Все время сережки дарил ей. Одни сережки, ничего больше. А кладовщик эти сережки своим знакомым перепродавал... Два года тянулась эта канитель, а потом девка получила отставку. Да, что ни говори, у нашего шефа губа не дура.

— Зато больше он ни в чем ни бельмеса не смыслит, — вмешался Дуфек, — лишь книжками об стол трахать умеет.

— Намедни подходит он ко мне, — вздохнул конторщик. — «Вы, — говорит, — осел, Рыбарж, ну, сознайтесь, разве я не прав?» — А сам смотрит на меня, будто забодать хочет. Что тут поделаешь, скажи на милость, пан бухгалтер? Я и поддакнул. Да, дескать, вы совершенно правы, господин начальник. Тут он похлопал меня по плечу и добавил: «Вот и славно, что соглашаетесь». Выпивши был.

— Да, это он с перепоя, — кивнул пан Миховский. — А что, если нам так написать: «Мир, здоровье вашей чести, грусть обходит ваш порог, пусть вам счастье не изменит, хворь не знает к вам дорог».

— Со здоровьем этим тоже можно впросак попасть, — рассудил пан Дуфек. — Он вон как десяток сигар в день выкурит да налижется винища, — кто тут поручится, что его кондрат не хватит? Коли помрет, шефом станет поверенный Домек. А Домек — просто золотой человек.

— И то сказать, в семье ведь тоже покой нужен, пан Дуфек. А у шефа не семейная жизнь, а марокканская война. Старуха с детьми против него стоит, дома он и пикнуть не смеет. Вот и отводит душу в канцелярии. Тут ему ничем не потрафишь, все у него дармоеды, а сам-то... Эх!..

Пан Миховский махнул рукой и повернулся к конторщику.

— Так, давай шевели мозгами, голубчик. Я в вашем возрасте такие стихи закатывал — любо-дорого. Теперь уж не то: давно не упражнялся. А в стихах, как на бильярде, руку набить надо. Э, да вы что-то уж и пить перестали? А ну-ка, поднесите ему еще кружечку, да и нам заодно. Глядишь, поздравленьице душевней получится.

Конторщик взял карандаш, придвинул бумагу и с отчаянием уставился на нее. И вдруг вскричал: «А ну-ка, найдите мне рифму к слову «конкуренция». Я хочу начать так: «Пусть злоба конкуренции...»

— Голубчик, ну кто же начинает с конкуренции! Старец наш тут же спятит! И так уж, между нами говоря, дела у нашей фирмы — швах. Пристрастился старикан к картишкам, не доведут они его до добра.

— Нет, лучше все-таки с лесного родничка начать, — решительно заявил пан Дуфек, обращаясь к конторщику.

После пятой кружки пива поэтическое воображение пана Миховского разыгралось, и, устремив отсутствующий взгляд в пространство, он забормотал:

— Сегодня — того дня — нас — вас.

А конторщик не сдавался:

*Пусть над тобою будет небо,  
как над ручьем лесная сень,  
и где бы ты, наш славный, не был,*

*пусть райским будет каждый день.*

В сильном смущении он прочел стихи всей комиссии, после чего пан Дуфек изрек:

— Перечеркните весь этот бред. И не смейте тыкать господину шефу. Воткните куда-нибудь розы. Неужто нет у вас ни капли поэтического таланта, голубчик? Спросите себе еще пива.

На носу у молодого человека выступили капельки пота; дрожащей рукой он начертал:

*Пусть ярко розы будут цвести  
вокруг вас ныне, ваша честь.*

— Ну, с меня хватит! — взорвался пан Дуфек. — Давайте сюда бумагу, осел несчастный!

И пан Дуфек вывел крупными буквами:

*МНОГОУВАЖАЕМОГО ШЕФА, ПАНА АЛОИСА ГОЛЬДШМИДА, ДОМО-  
ВЛАДЕЛЬЦА И ГЛАВУ ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ГОЛЬДШМИД И К<sup>о</sup>,  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ АНГЕЛА И ЖЕЛАЮТ ВСЕГО НАИ-  
ЛУЧШЕГО ГЛУБОЧАЙШЕ ПРЕДАННЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ.*

— Ну, а теперь, коли со старцем покончено, махнем-ка еще по кружечке, — с чувством глубокого удовлетворения провозгласил Миховский. От тягостного настроения не осталось и следа, его сменило буйное веселье, закончившееся тем, что конторщик, с трудом добравшись среди ночи домой, выпалил дворнику, открывшему дверь:

*Пусть ярко розы будут цвести  
вокруг вас ныне, ваша честь...*

## Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика пошлины на пражском мосту

Каждый, кому когда-либо приходилось вступать на пражский мост, наверняка сознавал всю значительность этого момента.

Строго официальные лица чиновников в будке и перед ней; осанистая, полная достоинства фигура полицейского у проезжей дороги; наконец, таблица, бесстрастно перечисляющая пошлины, взимаемые как с людей, так и со скотины, — все это уже приводит вас в священный трепет.

А стоит чуть-чуть повнимательнее взглядеться в лица неподкупных блюстителей порядка, перед которыми бессильно даже женское очарование, и у вас возникает непреодолимое желание поцеловать руку, протянутую за крейцером.

Самоотверженная любовь, преданность магистрату, служебное рвение и неподкупность сначала умиляют вас. Но когда вы вспомните, что этих людей в плоских фуражках охраняет закон, строго карающий за всякое оскорбление должностного лица, вы не выдержите и, сняв шляпу перед неумолимыми Брутами города Праги, сунете им в руку крейцер.

Одно время среди этих Брутов выделялся Штепан Брых, сборщик пошлины на мосту Франца-Иосифа. Как ястреб, оглядывал он неусыпным оком всех, кто желал перейти через мост. Брых не ведал ни шуток, ни проволок. Стоило кому-нибудь из этих болванов штатских (с военных чинов не брали пошлины) высунуть хотя бы кончик носа за черту, обозначенную простертой рукой Штепана Брыха, — к нему не было никакого снисхождения и никакие оправдания не могли помочь. Или он платил крейцер, или его попросту можно было считать погибшим.

Штепан Брых делал знак рукой, и дежурному полицейскому уже все было ясно.

Он приближался, положив руку на кобуру револьвера, а Штепан Брых, указывая на смельчака, не пожелавшего сразу заплатить пошлину, произносил всего лишь два слова:

— Взять его!

Полицейский хватал ослушника за шиворот и деловито осведомлялся:

— По-хорошему пойдешь или со скандалом?

Обычно провинившийся избирал первый способ.

В полицейском участке его просили раздеться, а потом долго обыскивали, обмеривали, фотографировали, допрашивали и, наконец, отводили в камеру. После этого день, самое большее — неделю устанавливали, проживает ли такой-то там-то, как он сказал, не водится ли за ним каких-нибудь грешков.

В конце концов задержанного отпускали или, если он выражал недовольство этой законной процедурой, отправляли в уголовное отделение на Карловой площади.

Оттуда злоумышленника по этапу пересылали на место жительства. Это считалось сравнительно легким наказанием за преступление, которое несчастный попытался совершить против финансового отдела пражского магистрата.

И на все это с удовлетворением взирал Марат пражских мостов — сборщик налогов Штепан Брых.

Однажды к будке сборщика подошел советник магистрата, член финансового отдела Пойзл и попросил:

— Приятель, пропустите меня бесплатно! Я спешу на Смихов, а бумажник забыл дома!

Ну, разве Штепан Брых не знал своего начальства? Знал, любил и почитал, и вот любовь к начальству пришла в столкновение со служебным долгом.

Как только советник магистрата переступил границу, обозначенную протянутой вперед рукой Брыха, последний поймал господина Пойзла за полы пиджака.

— Вернитесь или заплатите крейцер, — сухим, официальным тоном сказал Штепан Брых.

— И не подумаю! — обозлился советник.

Тогда Штепан Брых кивнул полицейскому, поджидавшему жертву, как паук муху, и произнес только два слова:

— Взять его!

Когда после обычного своего присловья: «По-хорошему или со скандалом?» — полицейский повел советника в тюрьму, на глазах нашего Брута показались слезы, и Штепан Брых впервые за всю свою жизнь заплакал.

Спустя две недели в помещении финансового отдела магистрата отмечалось скромное, но славное торжество.

По требованию самого господина советника Пойзла — его-таки поощрили и не отправили домой по этапу — магистрат за верную службу наградил Штепана Брыха бронзовой медалью.

Получив награду, Штепан Брых стал еще бдительнее.

В ночь на 3 мая сего года он спокойно стоял на пражской стороне у Национального театра. Вдруг какой-то человек мелькнул в окне будки и быстро побежал через мост.

Полицейский куда-то ушел с поста — должно быть, сопровождал в участок очередного правонарушителя. Не растерявшись, Штепан Брых бросился вслед за негодяем, крича:

— Стой! Плати крейцер!

Неизвестный, словно не слыша, мчался вперед. Штепан Брых ринулся за ним, нарушая ночную тишину воплем.

— Патруль, держи его! Пусть уплатит крейцер!

Так добежали они до Малой Страны, миновали Уезд, площадь Радецкого, Вальдштейнскую улицу, обогнули Хотковы сады — впереди трусил выбившийся из сил незнакомец, и только немного позади сопел Штепан Брых, не перестававший вопить:

— Уплатите крейцер или буду стрелять!

Они были уже за Дейвицкими воротами, на пути к Подбабе.

Когда взошла луна, убежавший оглянулся и вдруг увидел плоскую форменную фуражку, перекошенный рот и выпученные глаза чиновника магистрата.

В смертельном страхе свернул он к реке и, спасая свою жизнь, прыгнул в воду. Еще один всплеск — и Штепан Брых уже плыл за беглецом.

С криком: «Уплатите крейцер!» — он настиг незнакомца на середине реки и мертвой хваткой вцепился в его одежду. Большая волна накрыла обоих...

Спустя три дня из Влтавы около Клецан выловили двух утопленников, сжимавших друг друга в страстных объятиях. В судорожно сведенном кулаке од-

ного из них был зажат крейцер. Это был Штепан Брых, который успел-таки за секунду до смерти вытащить крейцер из кармана своей жертвы.

С тех пор жутко бывает по ночам на берегах Влтавы между Подбабой и Подгорьем. Едва пробьет полночь, из воды то и дело доносится:

— Уплатите крейцер!

Это и на дне реки не унимается дух Штепана Брыха.

## Торжество справедливости

В том, что в мире происходят разные удивительные случаи и что рано или поздно правда и справедливость побеждают, пан Вачкарж был убежден давно, а последнее событие — по правде сказать, не из приятных — только подтвердило правильность его взгляда.

Вот почему теперь пан Вачкарж всюду, где только случается ему бывать, провозглашает, что справедливость, несмотря ни на какие стоящие перед нею препятствия, рано или поздно выходит победительницей.

Каждый человек знает, что для обеспечения победы справедливости существует весьма тонкий механизм в виде системы полицейского управления, завершающийся судом, тюрьмой, виселицей и т. п.

Под справедливостью обычно понимается то, что в худшем случае находит глухой отзвук в газетной заметке.

Пан Вачкарж с удовольствием размышляет теперь на эту тему и с сияющим лицом изрекает вышеприведенные истины, доказывая их следующим волнующим повествованием.

Несколько лет тому назад у него была лавчонка на одной глухой улице, куда полицейский патруль заглядывал весьма редко. В то время стали учащаться случаи кражи в магазинах по ночам, так что не проходило ни одной ночи без того, чтобы не было обворовано какое-либо торговое предприятие. Когда таких случаев накопилось столько, что полицейское управление вынуждено было для составления протоколов обзавестись подсобными силами, было решено принять радикальные меры, а именно: полицейским патрулям было предписано обращать строгое внимание на воров. Это простое и довольно практическое мероприятие, как это видно из дела пана Вачкаржа, увенчалось полным успехом.

Однажды пан Вачкарж решил переписать весь товар в своей лавочке и заработался до полуночи, а в полночь отправился домой со свертком канифаса, который он должен был рано утром передать одному из своих заказчиков. Само собой разумеется, что на улице, как только он вышел из своей лавочки, весьма тщательно заперев ее, он был схвачен двумя полицейскими, спокойно выжидавшими выхода того, кто сидит ночью в лавке при огне.

Когда он им заявил, что является хозяином этой лавки, полицейские дружно рассмеялись столь неудачной аргументации и потащили его в ближайший полицейский участок. Полицейский вахмистр тоже нашел объяснение по поводу позднего пребывания пана Вачкаржа в лавке весьма забавным и счел нужным заметить, что пойманный вор не отличается большой опытностью. Затем пришел полицейский комиссар, который на объяснение Вачкаржа язвительно заметил:

— Вы составляли список товаров. Вот поди ж ты! Все говорят одно и то же, когда им надо что-либо украсть.

— Да, но я в самом деле составлял опись! — со страхом воскликнул пан Вачкарж.

— А поэтому вас в самом деле посадят куда следует, — спокойно возразил на это комиссар.

Так как имелся приказ о том, чтобы всех пойманных преступников немедленно же отправляли в полицейское управление для выполнения разных формальностей, как-то: обмера, фотографирования, дактилоскопических снимков и т. п., то на пана Вачкаржа надели кандалы, скрепили их с левой рукой другого бродяги (как его титуловали) и погнали в полицейское управление.

— Только ты там смотри не сдрейфь и не вздумай признаваться! — сказал ему спутник.

— Не буду, — малодушно ответил пан Вачкарж (что позже ему было поставлено в вину).

Когда его стали фотографировать, он расплакался; три раза из-за него портили негатив. Измерение черепа, согласно таблицам, составленным по теории Ломброзо, показывало резко выраженную преступность. Наклон лба и форма носа, согласно другой таблице Ломброзо, показывали совершенную дегенеративность, идиотизм и склонность к садизму. Отпечатки пальцев совпадали с отпечатками известного бандита Кенига из Мангейма (в черной рамочке, так как его казнили пять лет тому назад). Эти отпечатки совпадали с оттисками пальцев известного международного преступника Рубинштейна, карманного вора Футерки, взломщика Залинского, аферистки Семерадовой и фрау Зинк, отравительницы детей.

Когда все это прочли пану Вачкаржу, то он снова принялся судорожно плакать и всячески уверять, что он ни мадам Семерадова, ни фрау Зинк.

— Это мне неизвестно, — строго сказал ему на это комиссар, после чего у пана Вачкаржа начался припадок, вроде пляски святого Витта.

Утром его увезли в тюремную больницу, так как этот старый симулянт заболел воспалением мозговых оболочек. И в то время как в больнице в течение двух дней его организм находился на грани между жизнью и смертью, в полицию явилась хозяйка пана Вачкаржа и заявила о загадочном исчезновении своего жильца. Ей предъявили для опознания одну из фотографий, на которой пан Вачкарж выглядел заплаканным, похудевшим и несчастным.

— *Это не он*, — заявила хозяйка и свое заявление подтвердила подписью на протоколе, не изъявив желаний даже взглянуть на преступника.

Когда пан Вачкарж несколько оправился и стал связно мыслить, в больницу приехал судебный следователь и начал его допрашивать:

— Скажите, куда вы спрятали труп убитого вами пана Вачкаржа?

— Я ни о чем не помню, — тупо ответил пан Вачкарж.

— Как ваша фамилия?

— Теперь я не знаю. Говорят, что я не Вачкарж.

— Это верно, — подтвердил следователь. — Ну, а сколько вы забрали денег в кассе?

— Приблизительно тридцать золотых.

Следователь ушел. Указанная обвиняемым сумма в точности соответствовала количеству найденных при нем в день ареста денег. Между тем общественность с неослабевающим вниманием следила за ежедневными сообщениями о таинственном убийстве человека, который еще недавно для нее ни-

чего не значил и имя которого теперь стало известным всюду, где получались газеты.

Странно было то, что обвиняемый временами, когда на него находили минуты просветления, рассказывал судебному следователю много таких подробностей из жизни исчезнувшего торговца, которые с несомненностью указывали на существовавшую связь между обвиняемым и убитым.

Наконец пан Вачкарж выздоровел настолько, что ему решили устроить очную ставку с квартирной хозяйкой, которая, осмотрев его, заявила, что этого человека она уже где-то видела, а именно видела его стоящим у лавки пана Вачкаржа. Другие вызванные свидетели говорили то же самое.

С течением времени следователь все чаще и чаще замечал, что обвиняемым овладевает навязчивая идея, будто он и есть не кто иной, как тот самый пан Вачкарж, в убийстве которого его обвиняют. Чтобы сбить его с толку, следователь предложил ему написать следующее:

«Я Йозеф Вачкарж с Новой улицы».

Его почерк был изучен судебными экспертами-графологами, которые, сравнив его с почерком пана Вачкаржа, заявили, что между ними нет ничего общего и что почерк обвиняемого выдает в нем заядлого алкоголика.

Чем дальше, тем обвиняемый все более тупел, и следователь с радостью убеждался, что у него начинают появляться признаки раскаяния в совершенном им преступлении. На вопрос, кому принадлежит находившееся на нем в день ареста платье, обвиняемый ответил:

— Пану Йозефу Вачкаржу.

Сомнение в том, что он говорил неправду, исчезло после того, как то же самое подтвердила и квартирная хозяйка пана Вачкаржа.

Однажды преступник сознался, что у пана Вачкаржа есть брат, работающий в Нитре, в Словакии, по лесоводству.

— Имейте в виду, — многозначительно сказал судебный следователь, — что я его вызову по телеграфу и устрою вам очную ставку.

— Делайте со мною все, что хотите, — ответил с безнадежностью в голосе обвиняемый, — мы с ним не виделись уже двадцать лет.

Через три дня перед ним предстал его брат, который смотрел на него с удивлением около пяти минут, а затем раскрыл объятия и воскликнул:

— Йозеф, в каком месте мы с тобой встречаемся!

Но обвиняемый печально улыбнулся, пожал плечами и покорно ответил:

— Нет, нет, я не ваш брат, я уже не Вачкарж.

Однако брат поклялся, что этот человек — не кто иной, как Йозеф Вачкарж; кроме того, судебные врачи выяснили, что душевное состояние обвиняемого не в порядке, а власти в результате весьма кропотливого исследования всего дела все же пришли к выводу, что обвиняемый именно Йозеф Вачкарж, тот самый, который в памятную ночь исчез из своей лавочки и который уже три месяца как сидит в тюрьме, находясь под судебным следствием.

Хозяйка и другие свидетели, которые с течением времени стали понимать сущность происшедшего маленького недоразумения, совершившегося в интересах справедливости, тоже подтвердили, что обвиняемый не кто иной, как исчезнувший лавочник. В результате такого поворота следствие по делу об убийстве отпало и осталось только дело о краже того самого свертка, который находился в руках у пана Вачкаржа во время ареста.

Однако следствие и по этому делу ввиду отсутствия улик было прекращено. Все же психиатрам потребовалось около двух лет, пока они не разубедили пана Вачкаржа в том, будто он перестал быть паном Вачкаржем и будто он где-то спрятал труп ограбленного лавочника.

А когда, после двух лет, пан Вачкарж выздоровел и его выпустили из больницы, он понял, что справедливость рано или поздно, несмотря ни на какие препятствия, восторжествует, о чем он теперь провозглашает всюду, куда бы ни пришел, и каждому, с кем бы ни разговаривал.

## Исповедь государственного изменника, или Тайна Петршинского бастиона

Лет пятнадцать назад на Петршине, за калиткой номер два, находился пороховой склад.

Позднее склад был ликвидирован. Теперь во всем бастионе не найти ни крупинки взрывчатки, поэтому спустя двадцать лет после ликвидации склада военное ведомство милостиво разрешило гражданским лицам ходить через калитку номер два по дороге, ведущей через принадлежавшую, им территорию к Страгову.

Разумеется, военные власти приняли ряд мер к тому, чтобы ни один непосвященный не узнал тайны Петршинского бастиона и при случае не выдал этой тайны какой-нибудь иностранной державе.

А если шпион и пройдет по дороге, связывающей Петршин со Страговом, то он может не сомневаться, что за ним наблюдают со всех сторон, — на этой дороге всегда прогуливаются шестеро патрульных.

Дело в том, что это место чрезвычайно важно в стратегическом отношении. Если сюда проникнут вражеские войска, в их руках окажутся фуникулер на Петршин и лифт обзревательной вышки.

Если бы они, конечно, осмелились сюда проникнуть. Но этого не случится, потому что под крепостными стенами, над стенами, у ворот на будках часовых — короче говоря, всюду — висят таблички: «Rauchen strengst verboten» — «Курить строго воспрещается» Ни один солдат враждебного государства не отважится войти на эту территорию: ведь подобные таблички красноречиво свидетельствуют о том, что здесь хранятся взрывчатые материалы. Вражеские войска отступили бы через Коширже, и фуникулер с вышкой остались бы в руках славной австрийской армии.

Почему я все это рассказываю? Потому что меня мучают угрызения совести, ибо я открыл иностранной державе тайну бастиона номер шесть.

Я, австрийский подданный, открыл иностранной державе, что за калиткой номер два на Петршине уже двадцать лет нет порохового склада и что таблички «Курить строго воспрещается» — всего лишь военная хитрость.

Ах, если бы на этом все и кончилось!

Так нет же! Я выдал иностранной державе, что на этом стратегически важном объекте находятся два сломанных пожарных насоса и три расшатанных лестницы, что там есть склад, где лежит восемь килограммов овса и два дырявых соломенных матраца, и что все это охраняют две роты солдат и часовые с заряженными ружьями.

Да, все это я предательски сообщил Италии.

Угрызения совести не дают мне спать. Столь позорно изменив своему граж-

данству, совершив государственную измену, я считаю себя извергом человечества.

Я начертил также, где офицеры играют в теннис, и нарисовал карту, из которой можно понять, что будка, у которой стоит часовой, таит в себе не крепостное орудие, а писсуар, и что труба, мрачно обращенная на вас, — не жерло пушки, а просто труба для стока нечистот.

Если б я еще сделал это невольно, но ведь я поступил сознательно!

Эти сведения выпытал у меня во время прогулки по Петршину синьор Бамбино Витторе из Милана, который учил меня итальянским выражениям.

— Друг мой, — доверительно осведомился он, — а что там, за крепостными стенами?

Я посмотрел ему в глаза и, словно загипнотизированный его железной волей, рассказал все.

Рассказал о пороховом погребе без пороха, о двух сломанных пожарных насосах и трех расшатанных лестницах, о складе с двумя дырявыми соломенными матрацами и восемью килограммами овса. О том, как день за днем, год за годом все это охраняют солдаты с заряженными ружьями. Я нарисовал ему карту бастиона. И наконец... наконец я заявил, что бастион является ключом к фуникулеру и вышке.

— Зачем вы это записываете? — спросил я его, видя, что он делает какие-то пометки в записной книжке.

— Просто так, синьор, — ответил он и дьявольски усмехнулся.

На другой день я пришел к нему на урок, но его хозяйка сообщила, что синьор Бамбино Витторе внезапно уехал. Сердце у меня екнуло. Я вспомнил, как он странно вел себя, и почувствовал первые угрызения совести.

Через неделю я получил от него письмо из Милана, которое повергло меня в смятение, ибо в письме говорилось: «Grazzie molto, signore!» — «Премного благодарен, сударь!»

Через две недели, сидя в кафе, я прочел в «Трибуне», что работник итальянского генерального штаба Витторе Бамбино по возвращении из-за границы был назначен в военное министерство.

В последнее время ходят слухи о возможной войне между Австрией и Италией.

Что ж, дела Италии не так уж плохи! У Бамбино есть мои планы бастиона номер шесть на Небозизеке.

Италия владеет ключом к фуникулеру на Петршине, а мне остается, подобно Иуде, печально скитаться по Австрийской империи, пока меня не повесят.

## Добросовестный цензор Свобода

На цензора Свободу опять накатило. Утром у него разболелись мозоли, и после полудня он принялся запрещать все без разбору. Наконец вечером начался дождь и лил весь день. И раз уж сама природа гневалась на чешские газеты, цензора Свободу подавно не отпускала «delirium confiscationicum sanonicum» — болезненная страсть все запрещать.

Вникая в тайный смысл текста, он всюду находил покушение на общественный порядок и спокойствие, на религию — на все, что призван охранять цензорский карандаш.

И, памятуя о том, что его собственная фамилия — Свобода, ожесточенно черкал, черкал, черкал, черкал.

Черкал, черкал, черкал, черкал, сплевывал и черкал, черкал, черкал, и черкал, и черкал, и черкал, и снова... черкал и черкал...

Ведь за это черкание, черкание, черкание, черкание и еще раз черкание он получал шесть тысяч крон жалованья в год. Что ж, люди добывают средства к жизни всякими способами — честными и нечестными...

Это была страшная борьба с печатным текстом.

Он выбирал отдельные слова из целого номера и запрещал их. Брал подряд «но», «не», «нисколько» — и на все это налагал запрет: словно «но» наводит на всякие мысли об известных учреждениях, а «не» и «нисколько» представляют собой открытое нарушение спокойствия и порядка.

Покончив с текстом журналов, он перешел к объявлениям. Тут ему бросилось в глаза: «Покупайте трости фирмы Тулка!»

«Эге! — подумал он. — Знаю я вас, приятели! Трости, демонстрации...»

Он это объявление изъял.

Потом изъял объявление о сербской лотерее, а также объявление «Чешская первосортная мука победит», поскольку в нем содержался вызов по адресу других наций.

Дальше стояло: «Солдатик! Приходи нынче на вечеринку в «Каплуны».

Само собой разумеется, и это объявление подверглось запрету: ведь оно касалось армий.

Дальше взгляд его привлекло большое объявление:

**САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КИРПИЧ**

*отпускает Центральное правление*

*товарищества*

**«КИРПИЧНИК»**

*Прейскурант высылается по первому требованию*

*Адрес для телеграмм: Ц. п. т. К.*

Что такое «Ц. п. т. К.»?

За этим что-то кроется! Склонившись над объявлением, он целых полчаса прикидывал так и этак, наконец взял листок бумаги и написал:

«Ц — цензор,

п — подлец (или паразит, пьяница, потаскун),

т — тупица (или трус, тряпка, тюфяк),

К — каналья (или кляча, крыса)».

«Так они тоже против меня? — решил он. — Ну, покажу я им Ц. п. т. К! До-

рого они мне за это заплатят!»

И, взяв карандаш, перечеркнул целиком все объявление Центрального правления товарищества «Кирпичник» — Ц. п. т. К.

Это был последний взмах его цензорского карандаша, так как тут номер журнала кончился.

Он с гордостью поглядел на дело рук своих: истреблено три тысячи слов, конфисковано за три часа двадцать восемь номеров журналов, запрещено пять театральных пьес, дюжина плакатов, шестьдесят два извещения о браке и девять заметок о школе.

Он сидел, довольный, окруженный трупами врагов, как вдруг страшная мысль пронизала его мозг: а ведь в газетах, наверно, будут писать, что все это конфисковано «Свободой»!

И слово «Свобода» запестрит в газетах и проникнет в самые отдаленные лагуны, и он не сможет наложить на него запрет. Не сможет запретить Свободу!

Какой ужас! При одной мысли об этом у него захватило дыхание, голова закружилась. И он, твердо решившись, позвал служащего Петрасека.

Послушайте, Петрасек! Вот вам пять крон. Сходите купите мне бритву.

Через четверть часа Петрасек принес отличную бритву.

Цензор Свобода заперся в кабинете. Когда через два часа, после тщетных попыток достучаться, дверь была взломана, глазам вошедших представилось страшное зрелище.

На груди конфискованных журналов валялась голова, которую добросовестный цензор оттяпал сам себе бритвой, а рядом лежал лист бумаги, на котором было написано:

**«ЗАПРЕЩАЮ СВОБОДУ»**

Ему были устроены прекрасные похороны за счет государства.

## Чаган-куренский рассказ

У монгола Сакаджи из племени халхасов в Чаган-Курене было пять верблюдов, двенадцать лошадей, восемнадцать быков и пятнадцать баранов. Был у него также свой бог — Уисон-Тамба. Он стоял у него перед кибиткой на деревянной подставке. У бога была физиономия пьяницы. По обе стороны от истукана стояли два маленьких истуканчика с высунутыми в знак почтения языками. Однажды с севера пришла большая вода и унесла бога Уисон-Тамбу, двух верблюдов, трех лошадей, пятерых быков и четырех баранов.

Сакаджа остался на некоторое время без бога. И, прекрасно обходясь без него, сам съедал чашку жареного проса, которую до того ежедневно приносил в жертву Уисон-Тамбе. Прежде ее съедал старичок лама, нищенствующий служитель Уисон-Тамбы, ходивший по кибиткам и кравший просо у господ бога, пользуясь при этом всеобщим уважением.

В то время по Чаган-Курену странствовал миссионер Пике. В одежде монгольского пастуха, с желтой шишечкой на шапке, он ездил по долине реки Пага-Гола, проповедуя католическую веру и страдая от насекомых под названием «ту-лакци», то есть красных вшей, сильно докучавших ему в его миссионерских трудах.

При этом он принимал от всех, кому проповедовал новое учение, не только сапеки — мелкую монету грубой чеканки, но и унции серебра; кроме того, вел бойкую меновую торговлю, приобретая собольи шкурки по поручению крупных торговцев в Пекине, и выполнял функции «яочанг-ти», то есть «вымогателя налогов».

На доходы от молитв он откупал долги пастухов в этом богатом травой крае и на основании императорских законов наживал проценты с процентов, а также весьма успешно спекулируя чем придется, умело сочетая спекуляцию с истинной верой и западными молитвами.

В то время как даже самым крупным хищникам, грабившим монгольский народ, не удавалось содрать со своих жертв более трехсот процентов, достопочтенный отец Пике брал не меньше пятисот, так как кроме долговых обязательств пускал в ход и нового бога, во славу которого позвякивали слитки.

Пике отличался необычайным красноречием. За несколько лет перед тем в стране ортушей на него напали разбойники. Достопочтенный отец Пике обратил их в христианство и обобрал до последней сапеки, собственноручно повесив на шею каждому медный крестик. С тех пор ортушские разбойники стали нападать на караваны во имя нового бога.

Позже, когда миссионер Пике, покинув долину реки Пага-Гола, перенес свою деятельность в страну халхасов, торговые операции его пошли менее удачно. Он вернулся бы на прежнее место, если бы река, разлившись, не отрезала его от страны обетованной, принудив остаться там, где уже до его прихода царила бешеная конкуренция между служителями культа. Китайские священники и ламы из Со-по-ми обчистили страну на год вперед, и в ней, кажется, не осталось кибитки, где можно было получить хоть сапеку. Только в скрытой холмами долине Гобильхану не появлялись посланцы бога Фо и бога Самчимичебату. Там-то как раз и жил Сакаджа — без бога.

Когда достопочтенный отец Пике явился в эту долину, гостеприимный Сакаджа пригласил его к себе в кибитку и угостил чаем с овсяными лепешками,

печенными в золе.

— Храни тебя бог, — сказал миссионер, утолив голод. — Пошли он тебе мир и счастье!

— У меня нет бога, — ответил Сакаджа. — Мой бог Уисон-Тамба уплыл от меня во время дождей. Но я продам коней и куплю себе в Голубом городе нового бога.

— Сын мой, — возразил отец Пике. — Уисон-Тамба не был истинным богом, и потому его унесла вода. Так повелел всевышний, предвечный и всемогущий. Но без бога тебе быть нельзя, и ты поступишь правильно, если продашь не одного, а трех коней и приобретешь бога, втрое более могущественного, чем Уисон-Тамба, ибо предвечному угодны такие жертвы...

И долго, до поздней ночи, пока на озере не крикнула ночная птица юэн, беседовал достопочтенный отец Пике с Сакаджей о презрении к суете мирской.

Когда же они утром встали с верблюжьих войлочных подстилок и Сакаджа совершил преклонение перед предвечным, то есть Солнцем, отец Пике начал так:

— Сын мой милый, ты вчера говорил мне, что у тебя после наводнения осталось девять коней. Какой тебе толк от этих девяти коней, если ты не имеешь смирения и усердия к единому истинному богу, пославшему тебе знамение и предостережение в виде наводнения, которое унесло ложного бога? Будь у тебя хоть тысяча коней, какой в этом толк, если нет над тобой милости господней?! Но у тебя только девять коней. Продай их, сын мой, и полученное серебро вручи мне. Ибо суетно алкать призрачного богатства. Отврати сердце свое от любви к мирскому, прилепись душой к вещам невидимым, готовься со своими конями в дорогу. Я поеду с тобой в Голубой город и сам обращу их в наличные, чтобы удержать тебя от греха суетности.

Продав в городе коней, отец Пике сунул деньги к себе в пояс, и Сакаджа по возвращении попросил его поставить на пустой столб нового бога.

— Еще не время, сын мой, — возразил достопочтенный муж. — Ибо ты еще потакаешь своим мирским желанием и держишь трех верблюдов. Собирайся завтра в дорогу, ибо я продам их, милый сын мой. Пусть не насыщается око твое их лицезрением и не наполняется слух звуками их шагов.

И продали они верблюдов в Голубом городе, и ответил, пряча унции серебра к себе в пояс, отец Пике Сакадже на вопрос о том, поставит ли он ему сегодня бога на пустой столб:

— Воздержись от чрезмерного любопытства, ибо этим можно прогневить бога. Знай, милый сын, что еще не пришло время: ты хвалился в харчевне «Трех совершенств», что держишь еще тринадцать быков. А ведь даже самые прекрасные быки — суета и тщеславие. Ты холишь их, пася в степи и невоздержанно стремясь к тому, чтобы они тучнели и благоденствовали. В душе твоей дремлет столько низменных влечений, что тебе необходимо покаяться. Покаяние примирит тебя с богом. Не возлагай надежд на предметы земные, сын мой. Продай быков своих, ибо, кто питает истинную любовь к богу, тот равнодушен ко всем житейским радостям.

И продал он быков, и осталось у Сакаджи только одиннадцать баранов.

— Я окрещу тебя, милый сын мой, — сказал торжественно отец Пике, — и, как только мы съедим этих баранов, пойду дальше проповедовать истинную веру.

Сакаджа был окрещен, и они стали каждый день кушать баранину, беседуя о новом учении.

— Святой отец, — сказал как-то Сакаджа, указывая на деревянный крест, сделанный отцом Пике после обряда крещения и установленный им на пустом столбе. — Ты говоришь, что это только знамение, которое ты, как посланник божий, поставил мне на столб. Я великий грешник, и мне мало этих двух сколоченных крест-накрест досок. Мне бы хотелось, чтобы ты остался у меня как посланник божий. Чтобы в доме моем было побольше этой новой веры.

— Это невозможно, сын мой: южные страны Хиа-хо-по и У-фу-тьен до сих пор лишены радостей правой веры.

— Святой отец, — печально промолвил Сакаджа, — если я не могу иметь бога на столбе, то хочу, чтобы возле меня хотя бы был ты — его посланник.

Ночью, когда достопочтенный отец Пике уснул, благочестивый Сакаджа задушил его и зарыл перед своей кибиткой, под столбом со знамением новой веры, озарившей его монгольскую душу. В поясе достопочтенного отца Пике он нашел в пять раз, больше унций серебра, чем тот выручил за его верблюдов, быков и коней.

На каждой из этих унций почилла благодать божья.

Благочестивый Сакаджа накопил в пять раз больше верблюдов, коней и рогатого скота, чем у него было до прихода достопочтенного отца Пике. Он спокойно сидел у столба, под которым зарыл посланника божьего, желая иметь его всегда под рукой, отменно толстел, приняв новую веру, и давил на себе вшей, чего не делал прежде, когда верил в переселение душ.

Одного только не мог он понять. Почему миссионер, приехавший к нему через год после погребения достопочтенного отца Пике под столбом, так быстро поспешил на юг, когда Сакаджа, сияя от радости, вышел ему навстречу со словами:

— Услышь мою просьбу, святой отец, войди ко мне в кибитку. У меня под этим вот столбом уже есть один посланник божий.

Святой отец не проявил сочувствия к этой внушенной благочестивым рвением коллекционерской страсти набожного Сакаджи и ничем на нее не откликнулся. А Сакадже не удалось снять его с коня пулей.

И остался Сакаджа при одном только посланнике божьем.

## Несчастный случай с котом

Однажды пан Густолес, споря со своим соседом Кршичкой, сказал: — Ваша партия — прекрасная партия. Как только ей удастся снять с вилицы какого-нибудь грабителя, она сейчас же выставляет его кандидатом в депутаты.

В ответ на это Кршичка заявил:

— Мы с вами, господин Густолес, еще рассчитаемся.

Густолес обладал не только большой политической прозорливостью, но и черным котом, который всегда сидел на пороге его мелочной лавочки. Этого кота любила вся посещавшая лавочку публика и относилась к нему с большим уважением за его хорошее поведение, веселый и ласковый нрав, что, как известно, является залогом хорошего здоровья. Никому и в голову не приходило, что ярый противник этого исключительного существа живет рядом и что он не кто иной, как Кршичка, который после упомянутой ссоры на политической почве с Густолесом сказал своему восьмилетнему сыну Йозефу:

— Пепичек, как только увидишь эту черную тварь дурака Густолеса, наступи ему на хвост.

Разве найдется хоть один ребенок, который отказался бы исполнить такое поручение?

Пепичек пошел в лавку, наступил коту на хвост и вдобавок так обрызгал его водой из рта, что у старушки из дома напротив чуть не разорвалось сердце.

Затем он убежал. Первое время кот никак не мог понять, что это значит, но затем почувствовал боль, причиненную ему мальчиком, и неприятное ощущение от холодной воды, которой тот обрызгал его изо рта, а к вечеру он пришел к заключению, что в другой раз он этого не допустит и примет меры предосторожности...

За свое мужественное поведение Пепичек получил от отца в награду крейцер; кроме того, отец обещал подарить ему еще один, если он будет продолжать в том же духе. В коте Густолеса Кршичка олицетворял всю неприятельскую партию и считал, что, нанеся вред коту, он как бы тем самым наносит вред имуществу своего политического противника. Таким образом, Пепичек наступил на хвост не коту, но всей враждебной политической партии и плевал не на кота, но на всех сторонников этой партии, к членам которой он относил также и черного кота.

Пепичек весело отправился на новую политическую битву.

Кот лежал перед дверью и, казалось, дремал. Однако это не так: он притворялся. В этом его никто не должен упрекать, так как он не ходил в школу и не знал, что притворство — грех...

Итак, кот притворяется, и Пепичек снова наступает ему на хвост и плюет на голову.

Вдруг кот с фырканьем вскакивает и царапает ногу Пепичка. Затем взбирается ему на голову, дико мяучит, кусает его за ухо, спрыгивает, торжествующе задрал хвост, убегает от ревущего мальчика и спокойно садится на порог лавки своего хозяина, уютно мурлыкая.

Когда Пепичек, оборванный и окровавленный, вернулся домой, Кршичка закричал:

«Наконец-то я тебя уличил, Густолес!» — и повел Пепичка в полицейский комиссариат, где полицейский врач, осмотрев его, составил протокол, а полицейский комиссар отдал распоряжение арестовать кота и подвергнуть его ветеринарному осмотру.

Двое полицейских отправились исполнять приказ и арестовали кота именем закона. Но так как кот пытался убежать, фыркал и царапался, то полицейские вынуждены были послать за специальным ящиком, в котором они заперли кота, допустившего перед этим открытое насилие над полицейскими и укусившего одного из них. Кроме того, фырканием он явно оскорбил представителей власти. Что именно он хотел этим сказать, осталось неизвестным.

Таким образом, кота привезли в ветеринарное отделение, и полицейские подали на него следующий рапорт:

«Когда мы за ним пришли, он фыркал, царапался и кусался. Мы вынуждены были, ввиду его отчаянного сопротивления, запереть его в ящик. Кроме того, он пытался сорвать с нас револьверы...»

Протокол был подписан и отправлен в государственную прокуратуру.

Прокуратура усмотрела в поведении Густолеса преступление против статьи, предусматривающей наказание за недостаточный присмотр за животными.

Ему ставилось в вину, что его кот не был привязан на цепи и ходил без намордника.

Густолес обязан был привязать кота, тем более что в городе происходили выборы, во время которых животные могут легко заразиться бешенством.

Затем между Кршичкой, отцом мальчика, подвергнувшегося нападению кота, и Густолесом, собственником черного кота, напавшего на сына Кршички, долгое время существовала вражда на политической почве. Прокурор считает доказанным, что кот Густолеса совершил нападение умышленно, чтобы как можно сильнее изувечить сына своего политического противника, что ему действительно и удалось. Так как, согласно действующему в Австрийской империи закону от 8 января 1801 года, кота надлежит считать особой слабоумной, за которую отвечает своим именем и своей жизнью ее собственник, то вся вина падает на Густолеса.

Тем временем в ветеринарном отделении было исследовано душевное и телесное состояние кота, и протоколы этого исследования поступили в распоряжение государственного прокурора.

Документы гласили следующее:

*«Франтишек Густолес, подвергнутый исследованию, обладает широкими костями, хорошо упитан, но страдает воспалением надкостницы, так что его укусы могут быть небезопасны для жизни.*

*По этим причинам желательно, чтобы исследуемый был уничтожен.*

*Д-р М. Кашпарек».*

Государственная прокуратура послала это отношение для исполнения в полицейский комиссариат, где оно было зарегистрировано и отнесено к делу, касающемуся Густолеса.

Тем временем кот был возвращен Густолесу. Неожиданно в пять часов утра четыре полицейских пришли к нему домой, арестовали пана Густолеса и увели его с собой. В полицейском участке строгий полицейский пристав доволь-

но угрюмо начал допрос:

— Вы — Франтишек Густолес?

— Так точно, ваше благородие.

У одного молоденького полицейского навернулись на глаза слезы.

— Дайте сюда дело, касающееся Франтишека Густолеса, и не хнычьте.

Подали дело.

— Выслушайте приказ градоначальника, касающийся вас, Густолес, от 15 июня 1911 года за № 75/289:

*«Франтишек Густолес, согласно донесению ветеринарного отделения за № 2145/65, подлежит немедленному уничтожению. Против этого постановления, в согласовании с законом об эпидемиях скота § 5 от 12 февраля 1867 года, никаких возражений не имеется. Градоначальник советник Ваничек».*

— Как видите, — сказал несчастному человеку полицейский пристав, — постановление не отменено. Напишите ваше последнее распоряжение и не хнычьте. Вы будете уничтожены, как только из Вены придет подтверждение решения и распоряжение о способе вашего уничтожения.

Мне самому интересно: как выпутался Густолес из этого дела?

## Непоколебимый католик дедушка Шафлер в день выборов

Крейцер да крейцер — глядишь, и гульден наберется. И так дальше, в зависимости от того, насколько ты бережлив и умеешь пользоваться любым обстоятельством для приумножения своих доходов. Блестящие маленькие глазки дедушки Шафлера смотрели на удостоверение о праве участвовать в выборах и избирательный бюллетень именно с этой мыслью. Как человек верующий, он решил продать свой голос христианским социалистам.

— Слава Иисусу Христу! — произнес он, входя в канцелярию христианско-социалистической партии. — Я насчет выборов...

Молодой капеллан, заведующий канцелярией, пошел ему навстречу, ввел его в комнату и усадил на стул. Кроме двух старушек, которые за три кроны молились в углу с восьми часов утра и до четырех дня (срок окончания выборов), там не было ни одной христианской души.

В другом углу этого священного места, под плакатом, собака капеллана, полусидя, полулежа, бесстыдно вылизывала себя, подняв заднюю ногу торчком вверх и дотягиваясь нескромным языком до интимных местечек под ней.

Капеллан с утра жег в помещении ароматические «монашки». В этом церковном благоухании чистые скатерти на обоих столах производили впечатление напестрольных покровов. Свет проникал сюда, смягченный занавесками, так что все помещение напоминало ризницу маленького деревенского костела. В отличие от полных народа избирательных помещений других политических партий здесь царила таинственная тишина, как в заброшенном монастыре.

Пробило одиннадцать, а дедушка Шафлер был первым избирателем.

Капеллан, возведя очи к небу, сказал дедушке Шафлеру:

— Брат во Христе! Вы пока единственный противостояли натиску.

Дедушка Шафлер кивнул головой. Коли так, он будет настаивать на двадцати кронах.

— Все ненавистники Христа объединились и дружно ринулись в атаку на церковь Христову и на избранных ее. Словно вернулись времена преследования первых христиан... Давайте ваш избирательный листок, дедушка, я его заполню.

Дедушка Шафлер почесал в затылке.

— Ваше преподобие, поверьте, я искренний христианин-католик. И что делают социалисты, знаю тоже. И моя мозолистая рука не предаст господа нашего Иисуса Христа. Но времена тяжелые, ваше преподобие. Я нетрудоспособный старик, и двадцать крон мне ох как пригодятся. Я желаю подать свой голос за католика. Но окажите снисхождение, ваше преподобие, не извольте сердиться: дешевле двадцати крон не могу за это взять.

Капеллан нахмурился.

— Вы не должны этого требовать, дедушка. Это великий грех, У других партий множество платных агитаторов и агентов, они швыряют сотни тысяч на распространение пасквилей и предвыборных листовок. А мы идем в бой, вооруженные только своими убеждениями. Для нас день выборов — это день публичного исповедания веры; и не станете же вы, дедушка, исповедовать свою веру за двадцать крон! Вы должны явить доказательство, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие свою веру и не стыдящиеся публично признаться в этом посредством избирательного бюллетеня! Я дам вам пять крон; больше мы не можем.

— Ваше преподобие, поверьте мне: я искренний католик. Я читаю наши католические газеты. Но что делать, когда такая страшная дороговизна? Я бы с радостью принял за господа нашего Иисуса Христа мученическую смерть, да вот хочу тут купить у Штихи, мерзавца косоногого, — может, знаете? — козу. Прошлый год он за нее пятнадцать гульденов просил, а нынче уж восемнадцать просит. Видно, недаром господь наказал его мальчишкой хромым! И всюду так, ваше преподобие. Я, ваше преподобие, с удовольствием доказательство дам, о котором вы говорите, насчет того, что в стране святого Вацлава — это как раз мой патрон — еще есть люди, которые не стыдятся святую веру при помощи избирательного бюллетеня признать, но... дайте хоть шестнадцать крон, ваше преподобие!

— Послушайте, дедушка, искренний католик не должен так говорить. Сомкните ряды свои вокруг знамени креста, если вы еще не стыдитесь этого знамени, и воскликните: «Святой Ян Непомуцкий, святой Вацлав, патроны чешской земли, святые покровители чехов, помогите тем, кто борется за наследие ваше! Пресвятая дева Мария, заступница христиан, да поможет заступничеством своим и нам, борющимся за дело Христово!» Даю вам, дедушка, шесть крон: это мое последнее слово!

— Ваше преподобие! Я знаю, социалисты требуют отделения церкви от государства и свободы брака, а платят, слышно, по пятнадцати крон за голос. Достойный! Если это ваше последнее слово, я перейду к социалистам. Для бедного католика пятнадцать крон хоть бы от кого не вредно получить. А господь бог милостив: он знает мою бедность и простит меня, что я против него голосовал, — ведь ему известно, какой я искренний христианин-католик.

— Подумайте, дедушка, что вы говорите! Господь бог никогда вам этого не простит. И неужели вы думаете, что социалисты в самом деле дадут вам пятнадцать крон? Вы проголосуете против господа бога, а денег все равно не по-

лучите. Попадете в ад — и только. Но мы этого не можем допустить. Вы наш честный сторонник. Даю вам десять крон. Вера должна вести вас к избирательной урне. Вот вам десять крон — и давайте ваш бюллетень.

— Ваше преподобие, накиньте хоть пару крон, чтоб двенадцать мне получилось. Ведь я всюду исповедую господа Иисуса Христа, я искренний католик, но мне надо пиджак, сапоги себе купить...

— Приближается священное мгновение. Вот вам, дедушка, еще корона.

— Тогда, ваше преподобие, хоть водочки поднесите. Для куражу!

Через полчаса в канцелярии христианско-социалистической партии снова царил тишина.

Собака по-прежнему себя вылизывает, старухи по-прежнему молятся, в комнате по-прежнему запах костела.

Дедушка Шафлер отголосовал, доказав, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие святую веру и не стыдящиеся публично исповедовать ее при помощи избирательного бюллетеня, — в том случае, если это приносит им одиннадцать крон.

## Христианско-социалистическая партия в общих чертах

Эта партия, о которой даже сами члены ее не говорят ничего хорошего, и, пожалуй ты написать о ней самое дурное, все равно злее, чем они сами о себе пишут в «Рейхспосте» и других своих официальных органах, не получится. А ведь это еще самое безобидное из того, что они могли бы о себе вообще написать. И напиши я, что все они мерзавцы, им это, безусловно, показалось бы слабым.

Что до моих личных контактов с ними, должен сознаться, за свою жизнь я всего два-три раза встречался с христианскими социалистами. Один раз — в Нуслях. Я проходил после двенадцати ночи мимо «Бансетов». «У Бансетов» в Нуслях так приятно», — поется в песне, и они как раз выкидывали кого-то из трактира.

— Что это за господин? — спросил я.

— Да какой-то христианский социалист. Пришел, сказал: «Слава Иисусу Христу», а не прошло и четверти часа, как он затеял драку. Мы его выставили.

И долго еще в тиши нусельских улиц раздавался голос сего поборника веры и благочестивого человека:

— Негодяи, так обращаться со мной, человеком набожным!

В другой раз в поезде я наблюдал пассажира, который вздыхал и вполголоса молился, перебирая четки. Рядом с ним сидел жандарм, держа винтовку с примкнутым штыком. История весьма простая. Богомольного человека везли на суд. Он поджег дом соседа, весьма прохладно относившегося к религии, желая, видимо, подогреть его религиозные чувства.

Вот два случая, когда я лично встречался с христианскими социалистами.

В третий раз встреча состоялась лишь наполовину.

Один христианско-социалистический лидер, увидев у меня деньги, во что бы то ни стало захотел проводить меня через лес. Поскольку я возражал, опыт моего общения с христианскими социалистами недостаточный, но, с другой стороны, благодаря этому я по сей день жив и здоров, а когда вышел из лесу, деньги были еще при мне.

Любой христианский социалист, прочитав эти строки, одобрительно кив-

нет и скажет:

— Ну, этот не особо нас поносит, мы про себя хуже пишем.

Должен разочаровать. Не имея больше никакого личного опыта, я вынужден черпать информацию из газет, принадлежащих христианским социалистам, особенно «Рейхспоста», органа провалившегося министра Вайскирхнера.

В этой газете известного христианско-социалистического депутата Белоглавека назвали овцой в вертячке, ослом, негодяем, пастырем дураков (дело в том, что одно время он был лидером христианских социалистов), разбойником, вырожденком, безвольным прохвостом.

После этого Белоглавок написал в христианско-социалистической газете «Дер христлих-социале» о бывшем председателе нижней палаты Патае, тоже лидере христианских социалистов, что возвращает ему все оскорбления, потому что такой пьянчуга и подлец оскорбить его не может.

В той же газете венский бургомистр Ноймайер обозвал другого лидера христианских социалистов, принца Лихтенштейна, грязным хулиганом.

Принц Лихтенштейн ответил открытым письмом, заявив, что у христианского социалиста Ноймайера слишком длинные руки и, когда он проверяет городскую казну, к ним неминуемо что-нибудь да прилипнет.

Затем объявился Вайскирхнер и сказал:

— Люди добрые, что ж вы делаете?

Ему надавали подзатыльников.

Потом их газеты занялись Гессманом. Об этом своем лидере они писали, что он их объедает. Кроме того, он был назван казнокрадом.

Руководители христианских социалистов писали друг о друге самые лестные вещи. Украли сиротские деньги, вообще крали и тому подобное. А Вайскирхнер высказался:

— Да, мы хорошо знаем друг друга, так что все в порядке.

Тому, кто пишет о христианско-социалистической партии, ничего не нужно выдумывать.

Любая выдумка бледнеет в сравнении с действительностью. И после выборов они возвращались по домам без мандатов.

Всем было ясно, чего они стоят, а в ходе избирательной кампании их узнали еще лучше. А кто избежал подобной участи, о тех тоже все известно, и, пожалуй, депутатские их кресла придется ежедневно как следует дезинфицировать.

Писать же о христианско-социалистической партии в Чехии вообще не стоит. Мы сразили всех их семерых депутатов. И вне сомнений, свершили тем самым нечто чудовищное.

Дело в том, что лишение христианских социалистов мандатов «Власт» назвала святотатством.

Патер Роудницкий пишет: «Избирателей, что голосовали против нас, не раз будут мучить по ночам угрызения совести, когда узрят они орошенный слезами лик распятого».

«Меч» писал: «Влекли нас на Голгофу и распяли нас наши люди».

Полагаю, однако, что они имеют в виду не спасителя, которого, как ни странно, кандидатом не выставляли, а разбойников справа и слева от него.

Но, быть может, под спасителем Мысливец подразумевал себя самого и около шести часов 20 июня в достаточно узком кругу громогласно воскликнул, об-

ращаясь к патеру Горскому:

— Еще ныне ты будешь со мной в раю!

Того, слева, звали то ли Шахл, то ли Адам.

В шесть часов всех семерых подкосили результаты выборов.

Чуда при этом не произошло никакого, разве что христианские социалисты в Чехии перестали существовать.

Трупы их даже не омыли, это была бы изрядная работенка, а отнесли неомытыми в «Чех», «Кршиж» и «Марию», «Меч», «Власт» и «Мир».

После объявления результатов выборов редактора «Чеха» Швеца-Бланицкого увезли в санаторий доктора Шимсы в Крчи, поскольку он тоже кричал на Вацлавской площади перед зданием «Политики»:

— Депутатов у нас нет, но мы победили!

Вот и все, что мне известно о христианско-социалистической партии в общих чертах. Партия эта такова, что говоришь о ней не иначе как с отвращением, однако при всем желании не можешь написать о ней хуже того, чем сами они о себе пишут.

### **Сказка свечной бабы Альбрехтовой о том, почему в Пелгржимове прокатили на выборах его преподобие священника пана Милоша Зарубу**

**П**ервым делом, детки милые, помолимся за мерзавца учителя вашего, что голосовал против его преподобия пана Зарубы. «Отче наш, иже еси на небесех...» А теперь расскажу вам сказку. Покамест шли выборы, помогала я. «Я, баба, помогу богу, чем могу, а чего не смогу — оставлю богу».

Значит, так.

Учитель ваш, детки милые, как есть мерзавец. Отцовское добро пропил, а не стало чего красть, пошел он, прости, господи, его, грешного, по белу свету счастья искать.

Ведь и у таких мерзавцев, как ваш учитель, тоже есть ангелы-хранители, и такой ангел все над ним летал.

Осталось у учителя всего три крейцера, и повстречал он за околицей старичка, а старичок попросил подать ему милостыньку.

Ангел и подскажи учителю: мол, дай ему крейцер. Учитель и дал, только не из милосердия, а за ради озорства. Идет он дальше, и снова навстречу ему старичок и просит подать Христа ради. Ангел-хранитель залез к учителю в карман и дал нищему крейцер.

Идет он дорогой и опять-таки встречает дедушку, и тот дедушка просит: «Пан учитель, подайте Христа ради крейцер».

Залез ангел учителю в карман, достал крейцер и дал его дедушке.

Тут старичок и говорит: «Я и есть господь бог, ты мне нынче трижды подал милостыньку. За это выбирай себе три вещи, да не забудь попросить о самом главном».

Стал учитель выбирать. Само собой, боженька-то к нему со всей душой, да ведь у мерзавца этого, нехристя, одно на уме — натрескаться да шары залить, он и просит: «Пусть — как скажу: столик, накройся — будет на столе, чего душа пожелает». — «Будь по-твоему, да не забудь о самом главном».

«Пусть, — говорит тогда подлый мерзавец учитель, — как скажу: нет ли у

вас мелочи на сотню? — чтоб был у меня полный карман монет на сотню да еще сотня в придачу, и так всегда».

А старичок боженька ему в ответ: «Будь по-твоему, но осталось у тебя всего одно желание, и ты про главное не забудь». — «Пусть, — говорит учитель, — будет у меня мешок, и, когда скажу: полезай в мешок, чтоб любого в него запрягать мог и держать, покуда не вздумаю выпустить».

Опечалился тогда дедушка боженька и говорит: «Одно ты позабыл попросить: чтоб его преподобие инецкого священника пана Милоша Зарубу выбрали. Не видать тебе царства небесного». — «Как это так, — заорал учитель, и, не успев крикнуть: «полезай в мешок», глядь — а вокруг никого.

Пришел он на лесную опушку и велит: «Столик, накройся».

И сразу на столе закуски всякие и вина оказались, ест он, пьет, и тут объявляется ангел-хранитель и говорит: «Я твой ангел-хранитель. Пойдешь со своим мешком в Пелгржимов и, как встретишь там какого аграрника, скажи: «Полезай в мешок». Иначе не видать тебе царства небесного». — «Это мы еще поглядим, — закричал мерзкий негодяй пан учитель, — полезай в мешок!»

Не успел он договорить — ангел в мешке очутился, а безбожник учитель пришел с тем мешком в ближнюю кузню и спрашивает: «Нет ли мелочи на сотню».

И тут же привалила ему куча денег. Дал он каждому из подмастерьев по десятке и попросил: «Постучите-ка маленько по моему мешку молотками!»

Те и рады стараться — бросили мешок на наковальню и ну лупить по нему.

Ангел-то в мешке знай посмеивается, да наружу вылезти не смеет — мешок-то был учителю от господа бога подаренный.

Тут уж учитель и сам сказал — будя, мол, кончайте. А Кузнецовы подмастерья враз почернели.

И начал с тех пор безбожник учитель в Пелгржимовском крае всяко безобразничать. Заходит, к примеру, в корчму, а там сошлись все деревенские католики. Он и спрашивает: «Кого выбирать будете?» Если скажут они: «Его преподобие пана Зарубу», он безо всякого: «Полезайте в мешок!»

И все, кто собирался подавать голос за его преподобие, оказывались в мешке.

Обошел он таким путем весь Пелгржимовский край и в одних только Иржицах загнал в мешок 84 христианских социалиста.

Денег у него пропасть была, куда он ни придет к избирателям, сразу же: «Столик, накройся!» — и «Клерикалов не выбирать!» А если кто говорил: «Я голосую за его преподобие пана Зарубу», он сейчас же: «Полезай в мешок!», и всех несчастных католиков — прямо в кузню и на наковальню.

И господь бог не мог этому воспрепятствовать — он ведь сам ему все это дозволил.

А в день выборов стал учитель поджидать на пороге дома, где выборы шли, всех, кто за его преподобие голосовать собрался, и только появится кто из них, он враз: «Полезай в мешок!»

Вот и вышло, что аграрник Донат выиграл, а его преподобие домой отвезли. Но как дознался про все господь бог, само собой, хоть и прошли первые выборы, поразил безбожника учителя ударом.

Помер он, а после смерти захотелось безбожнику в рай, чтоб избавиться от геенны огненной, от мучений адских. Да. Стучится, значит, мерзавец в рай-

ские ворота, и выходит к нему святой Петр, а за ним и ангел-хранитель учителей. Увидел ангел мерзкого безбожника учителя и в крик: «Это, — кричит, — тот самый, что меня под кузнечный молот бросал!»

Ну, сбежались тут все райские жители и выкинули учителя на дорогу, что в пекло ведет.

Стучится он в адские ворота, а сам от страха обмирает. Вышел на стук черт и остальных чертей зовет: «Ребята, — говорит, — это тот самый учитель, что обрек нас на муки вечные. Голосуй мы за пана Зарубу, наслаждались бы теперича райской благодатью».

И схватили его, миленького, и потащили через смолу горящую в пекло, и бросили в самый большой котел.

А 5582 избирателя, что голосовали против пана Зарубы, нынче в пекле обретаются и на веки вечные обречены подкладывать дрова под котел с мерзким негодяем учителем, который корчится в кипящей сере и почем зря орет: «Полезай в мешок!»

Вот, детки, куда его завело безбожие.

## Бравый солдат Швейк

### Увлекательные приключения честного служаки

#### 1. Поход Швейка против Италии

**Ш**вейк шел на военную службу в веселом настроении. Ему хотелось просто поразвлечься, а получилось так, что он поразил весь гарнизон города Триента с его начальником во главе. Швейк всегда улыбался, был любезен в обращении, и, очевидно, поэтому его все время сажали в тюрьму.

Выйдя из заключения, он с улыбкой отвечал на все вопросы и совершенно спокойно опять давал себя запереть, в душе довольный тем, что его боятся все офицеры триентского гарнизона. Не грубостью, а, наоборот, учтивыми манерами и приветливыми, дружелюбными улыбками — вот чем он приводил их в отчаяние. При появлении инспектора Швейк, сидя на койке и улыбаясь во весь рот, вежливо приветствовал его словами:

— Слава Иисусу Христу, осмелюсь доложить.

Эта искренняя, добродушная улыбка заставляла офицера Валька скрежегать зубами. Он охотно поправил бы на голове у Швейка фуражку, чтобы та сидела согласно уставу, но теплый, задушевный взор Швейка мешал ему что-либо предпринять.

Как-то раз в казарму вошел майор Теллер. Окинув суровым взглядом вытянувшихся возле своих коек солдат, Вальк скомандовал:

— Швейк, подайте сюда винтовку!

Швейк добросовестно выполнил команду, только вместо винтовки принес ранец. С ненавистью глядя на славную наивную физиономию Швейка, майор Теллер спросил:

— Ви не знайт, что такое винтовк?

— Так точно, не могу знать, — был ответ.

Швейка повели в канцелярию. Принесли винтовку, сунули ему под нос.

— Что это такое? Как называется?

— Не могу знать.

— Это винтовка.

— Не могу знать.

Его отправили в тюрьму, и вдобавок тюремщик счел своим долгом обозвать его ослом. Но солдаты ушли на тяжелые ученья в горы, а Швейк преспокойно остался сидеть за решеткой с улыбкой на устах.

Не зная, как с ним быть, его назначили в столовую для вольноопределяющихся — прислуживать за обедом и ужином. Он накрывал на стол, разносил кушанья, пиво, вино, потом скромно садился у двери и курил, время от времени объявляя:

— Осмелюсь доложить, господа: господин офицер Вальк — хороший человек, очень хороший!

При этом он улыбался, выпуская в воздух клубы дыма.

В столовую зашла инспекционная комиссия, и какой-то новый офицер имел неосторожность спросить скромно стоящего у двери Швейка, какой он роты.

— Не могу знать.

— Тысячу чертей! Какой здесь полк?

— Не могу знать.

— Как называется город, в котором расположен здешний гарнизон?

— Не могу знать.

— Ты что, с неба свалился?

— Никак нет, — ответил Швейк с милой улыбкой, глядя на офицера наивным, доверчивым взглядом. — Я родился, потом ходил в школу. Потом выучился столярному ремеслу. Потом привели меня в одну корчму и заставили раздеться догола. Через несколько месяцев пришла за мной полиция, и меня отвели в казармы. Там меня осмотрели и говорят: «Вы, дескать, не явились вовремя на призыв, три недели просрочили. Мы вас арестуем». — «За что? — спрашиваю. — Я ведь и не собирался идти в армию и даже не знаю, что такое солдат...» Все-таки арестовали меня, на поезд посадили и привезли в одно место, откуда мы сюда пришли. Я никого не спрашивал, какой полк, какая рота, какой город, чтобы ненароком не обидеть кого. На ученье меня сразу арестовали из-за того, что я в строю закурил, — что тут такого, не знаю. Потом арестовали, когда я насчет потери штыка заявил. Потом я на полигоне чуть не застрелил господина полковника... Теперь вот господам вольноопределяющимся прислуживаю.

Бравый солдат Швейк проговорил все это, глядя на офицера таким ясным, детским взглядом, что тот не знал, сердиться или смеяться.

Наступил сочельник. Вольноопределяющиеся устроили в столовой елку, и после ужина полковник произнес трогательную речь на тему о том, что вот родился Христос и радуется при виде хороших солдат, а хороший солдат должен сам на себя радоваться...

Вдруг торжественное выступление было прервано возгласом:

— Это как есть! Так точно!

Возглас вылетел из уст бравого солдата Швейка, который стоял, никем не замеченный, среди вольноопределяющихся, весь сияя.

— Sie Einjähriger![91] — взревел полковник. — Кто это крикнул?

Швейк с улыбающейся физиономией выступил из рядов.

— Так что, господин полковник, я прислуживаю господам вольноопределяющимся, и больно мне понравилось, что вы сказать изволили. Сразу видать —

от чистого сердца!

Когда в Триенте било полночь, brave солдат Швейк уже больше часу сидел в холодной.

На этот раз он просидел довольно долго, но потом ему опять повесили штык на пояс и направили в пулеметную часть.

Проводились большие маневры на итальянской границе, и brave солдат Швейк выступил вместе с армией.

Перед походом он слушал объяснения кадета:

— Представьте себе, что Италия объявила нам войну и мы выступаем против итальянцев.

— Что ж, повоюем! — крикнул Швейк, за что получил неделю ареста.

Отбыв наказание, он был отправлен вместе с тремя товарищами по заключению, под надзором капрала, в свою пулеметную часть. Сперва двигались долиной, потом углубились в горы; и там, как можно было ожидать, Швейк потерялся в густом лесу на итальянской границе.

Пробираясь сквозь кустарник, он напрасно искал глазами своих, пока не очутился — благополучно, в полном вооружении — по ту сторону итальянской границы.

Там brave солдат Швейк отличился. В это время возле самой границы с Австрией, на итальянской территории, проводила маневры миланская пулеметная часть; восемь солдат и мул с пулеметом вышли на равнину, которую внимательно осматривал brave солдат Швейк.

Итальянские солдаты, ничего не подозревая, легли в тень и заснули, а мул с пулеметом принялся важно щипать траву, все более от них удаляясь, пока не подошел к тому месту, откуда Швейк с улыбкой наблюдал за неприятелем.

Brave солдат Швейк взял мула под уздцы и вернулся в Австрию с итальянским пулеметом на итальянском муле.

Спустившись обратно по тому же косоугору, он пробродил со своим мулом полдня в каком-то лесу и только к вечеру увидел австрийский лагерь.

Сперва охрана не хотела его впускать, так как он не знал пароля, но тут прибежал офицер, и Швейк, встав во фронт и взяв под козырек, отрапортовал:

— Имею честь доложить, господин лейтенант: мной захвачен итальянский мул с пулеметом!

Brave солдата Швейка отправили на гауптвахту, зато нам стало известно устройство итальянского пулемета последнего образца.

## 2. Швейк закупает церковное вино

Полевой папский викарий доктор Коломан Белопотоцкий, епископ Трицальский, — назначил священником триентского гарнизона Августина Клейншродта. Между обыкновенным, штатским священнослужителем и священнослужителем армейским огромная разница. В последнем слились воедино религиозность и воинственность: он — воплощение двух разных каст, соединенных вместе. Различие между обоими видами духовенства такое же, как между драгунским лейтенантом, обучающим в военной академии верховой езде, и владельцем ипподрома.

Военный священнослужитель получает содержание от государства — это военный чиновник определенного класса; он имеет право носить шашку и драться на дуэли. Священнослужитель штатский тоже получает вознаграждение от государства, но, для того чтобы жить в достатке, вынужден брать и с ве-

рующих.

Обыкновенного священника солдат не обязан приветствовать, а военному должен отдавать честь под угрозой ареста. Таким образом, бог имеет представителей двух родов: штатских и военных.

Штатский должен вести политическую агитацию, а военный исповедует солдат и сажает их под арест, что, конечно, имел в виду господь бог еще в то время, — когда создавал нашу грешную землю, и позже, когда создавал Августина Клейншродта.

Проносясь по улицам Триента, этот достойный священнослужитель издали производил впечатление кометы, ниспосланной в виде божьей кары на несчастный город.

Он был страшен в своем величии. Молва утверждала, будто в Венгрии у него уже было три дуэли, кончившиеся тем, что он в офицерском клубе отрубил носы своим противникам, обнаружившим мало религиозного рвения.

Уменьшив таким образом неверие в объеме, он был переведен в Триент, как раз когда бравый солдат Швейк, выйдя из гарнизонной тюрьмы, вернулся к себе в часть для дальнейшей защиты родины.

В это время духовный отец триентского гарнизона искал себе денщика и решил лично выбрать подходящего солдата. Что же удивительного в том, что, проходя по казарме, он заметил добродушную физиономию солдата Швейка, хлопнул его по плечу и сказал:

— Иди за мной!

Бравый солдат Швейк стал было оправдываться, уверять, что не сделал ничего плохого, но капрал толкнул его в спину и повел в канцелярию.

Там после продолжительных извинений унтер-офицер обратил внимание священнослужителя, что Швейк «ist ein Mistvieh»[92], но почтенный отец Клейншродт возразил, что «ein Mistvieh kann doch gutes Herz haben»[93].

На это бравый солдат Швейк покорно кивнул. При виде его круглой улыбающейся физиономии и наивных глаз гарнизонный священнослужитель не стал даже просматривать список наказаний, которым бравый солдат Швейк подвергался.

С этого момента Швейк зажил припеваючи: втихомолку потягивал церковное вино и так чистил своему начальнику лошадь, что почтенный отец Клейншродт даже похвалил его.

— Осмелюсь доложить, — ответил бравый солдат Швейк, — изо всех сил стараюсь, чтоб была красивая, как ваша милость.

Наступил торжественный день перехода воинских частей в военный лагерь у Кастель-Нуово; по этому случаю предстояло отслужить полевую обедню.

Для церковных надобностей Августин Клейншродт пользовался только нижнеавстрийским вином из Феслау. Итальянского вина он терпеть не мог. А тут как раз запас кончился, и он сказал bravому солдату Швейку:

— Завтра утром отправишься в город за нижнеавстрийским вином из Феслау. Получишь деньги в канцелярии и привезешь восьмилитровый бочонок. И сейчас же возвращайся! Запомни хорошенько: из Феслау в Нижней Австрии. Марш!

На другой день Швейк получил на руки двадцать крон. А для того чтобы при возвращении в лагерь его не задержал патруль, ему было выдано удосто-

верение: «Командируется для закупки вина».

Выходя из лагеря и шагая по городу, brave солдат Швейк все время твердил про себя: «Феслау, Нижняя Австрия».

Это занятие он продолжал и на вокзале. И часа не прошло, как он уже преспокойно сидел в поезде, увозившем его в Нижнюю Австрию.

В тот день благолепие торжественной мессы было нарушено лишь горечью итальянского вина в чаше.

К вечеру Августин Клейншродт окончательно убедился, что brave солдат Швейк — мерзавец, пренебрегший своими воинскими обязанностями, который сейчас где-то пьянствует.

Лагерь огласился яростными воплями Августина Клейншродта. Вознесшись к альпийским вершинам, они сбегали вниз по долине Адидже к Мерано, куда за несколько часов перед тем с безмятежной улыбкой на устах и радостным сознанием добросовестно исполняемой обязанности выехал brave солдат Швейк.

Он ехал по долине, проезжал туннели и на каждой станции коротко осведомлялся:

— Феслау, Нижняя Австрия?

Наконец перед добродушной физиономией солдата Швейка появился вокзал Феслау. Там brave солдат Швейк предъявил человеку в чиновничьей фуражке официальное военное удостоверение: «Командируется для закупки вина». И с любезной улыбкой осведомился, где тут казармы.

Человек в фуражке спросил, имеется ли у него командировочное предписание. Brave солдат Швейк ответил, что не знает, что это такое.

Тут подошли еще двое в фуражках и объявили Швейку, что ближайшие казармы находятся в Корнейбурге.

Brave солдат Швейк взял билет до Корнейбурга и поехал дальше.

В Корнейбурге стоял железнодорожный полк. В казармах страшно удивились, когда brave солдат Швейк явился туда ночью и показал охране удостоверение: «Командируется для закупки вина».

— Придется подождать до утра, — сказал караульный. — Господин начальник только что лег спать.

Brave солдат Швейк улегся на топчан с блаженным сознанием, что делает для государства все от него зависящее, и спокойно уснул.

Утром его отвели в складскую канцелярию. Там он показал бухгалтеру в чине унтер-офицера свое удостоверение: «Командируется для закупки вина» — с печатью «Полевой лагерь Кастель-Нуово, 102-й полк, 3-й батальон» и подписью дежурного офицера.

Унтер-офицер, пораженный, отвел Швейка в полковую канцелярию, где тот был опрошен полковником.

— Так что прибыл по приказу его преподобия гарнизонного священника Августина Клейншродта из Триента, — объяснил brave солдат Швейк. — Имею приказ доставить восьмилитровый бочонок церковного вина из Феслау.

Было созвано совещание. Простодушная, наивная физиономия Швейка, его строгая военная выправка, предъявленное им удостоверение «Командируется для закупки вина», надлежащим образом скрепленное подписью и печатью, — все это произвело самое благоприятное впечатление, в то же время до крайности запутав дело.

Поднялась целая дискуссия. В конце концов пришли к заключению, что его преподобие гарнизонный священник Августин Клейншродт, видимо, сошел с ума, и ничего не остается, как отослать бравого солдата Швейка обратно, выдав ему командировочное предписание на этот предмет.

Унтер-офицер заготовил предписание. Человек он был покладистый и не пожалел километров. Он указал маршрут: Вена, Штейр, Загреб, Триест, Триент. Проездное выплатили Швейку наличными на двое суток — одну крону шестьдесят геллеров. Кроме того, унтер-офицер купил ему билет, да повар по доброте душевной выдал три буханки из полковой пекарни.

Между тем гарнизонный священник Августин Клейншродт ходил по лагерю Кастель-Нуово и, скрежеща зубами, твердил:

— Арестовать, связать, расстрелять!

Все решили, что бравый солдат Швейк — дезертир. Каково же было всеобщее изумление, когда на четвертые сутки ночью он появился у входа в лагерь и, улыбаясь, подал караульному командировочное предписание из Корнейбурга, а также удостоверение, выданное непосредственным начальством: «Командируется для закупки вина».

Его сейчас же схватили, заковали, к его удивлению, в кандалы, отвели в барак и там заперли.

А утром повели в город, в казармы.

Как раз в это время из Корнейбурга пришел запрос командира железнодорожного полка о причинах, побудивших его преподобие гарнизонного священника Августина Клейншродта послать солдата Швейка в Корнейбург за церковным вином из Феслау.

Солдата Швейка допросили. Он с блаженной улыбкой чистосердечно рассказал все как было. Состоялось продолжительное совещание, после которого достопочтенный отец Клейншродт пошел навестить бравого солдата Швейка в заключении.

— Лучше всего подавай на комиссию, скотина. Проси освободить тебя по состоянию здоровья и катись отсюда!

— Осмелюсь доложить, желаю служить государю императору до последнего вздоха! — возразил бравый солдат Швейк, глядя своими честными глазами прямо в глаза духовного начальства.

### **3. Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке**

В каждой армии есть негодяи, которые не желают служить. Им приятнее стать самыми заурядными штатскими разбойниками. Эти продувные бестии жалуются, к примеру, на порок сердца, а вскрытие обнаруживает у них, может, всего-навсего какое-нибудь воспаление слепой кишки. Такими и другими подобными способами пробуют они избавиться от своих воинских обязанностей. Но не тут-то было! Существует медицинская комиссия, которая портит им всю музыку. Парень жалуется на плоскостопие. Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир — и «плоскостопный» бегаёт как ошпаренный, а утром садится под арест.

Иной прохвост жалуется на рак желудка. Его кладут на операционный стол и говорят: «Вскрыть желудок, не прибегая к наркозу». Договорить не успеют — рак как рукой сняло, и чудесно исцеленный шагает в тюрьму.

Медицинская комиссия — настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый второй призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить

ранец.

Основная функция медицинской комиссии — производить осмотр. Но правильно говорил один штабной врач:

— Осматривая больного, я исхожу из убеждения, что речь должна идти не об осмотре, а о досмотре, что больной безусловно здоров, как бык. В соответствии с этим я и действую. Пропишу ему хинин, диету. И через трое суток — будьте покойны! — непременно выпишу из больницы! А ежели симулянт все-таки умрет, так это нарочно, чтобы нам насолить и самому не сесть в тюрьму за обман. Поэтому говорю вам: не осмотр, а досмотр! Подозревай каждого до его последнего вздоха!

Когда braveго солдата Швейка послали на комиссию, ему завидовала вся рота.

Надзиратель, принесший ему в камеру обед, сказал:

— Твое счастье, паршивец. Домой вернешься. Тебя уволят вчистую как пить дать.

Но braveый солдат Швейк ответил ему то же, что почтенному отцу Клейншродту:

— Осмелюсь доложить, не выйдет это. Я здоров как бык и желаю служить государю императору до последнего вздоха.

И с блаженной улыбкой лег на топчан.

Надзиратель доложил об ответе Швейка дежурному офицеру Мюллеру.

Тот заскрипел зубами.

— Мы отобьем у мерзавца охоту к военной службе! Надо устроить ему сыпняк, пусть хоть спятит.

А в это время braveый солдат Швейк говорил другому заключенному из той же роты:

— Буду служить государю императору до последнего вздоха. Я солдат, значит, должен служить государю императору, и никто не имеет права выгнать меня из армии. Пускай хоть генерал придет, даст мне под зад и выставит из казармы, — я и тогда вернусь и скажу: «Так что, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего вздоха и потому возвращаюсь в роту». А если меня опять не примут — пойду во флот, служить государю императору хоть на море. А во флот не примут, и там господин адмирал тоже даст мне под зад — буду служить государю императору в воздухе.

Но вся казарма была твердо уверена, что braveго солдата Швейка все-таки выгонят из армии. Третьего июня к нему в камеру явились санитары с носилками, после ожесточенной борьбы привязали его к ним ремнями и отнесли в гарнизонный лазарет. По дороге с носилок все время раздавались патриотические возгласы:

— Солдаты, помогите! Я желаю служить государю императору!

Его поместили в отделение для тяжелобольных, и штабной врач Янса произвел поверхностный осмотр.

— У тебя увеличение печени и ожирение сердца, Швейк. Ты свое отслужил. Придется тебя уволить.

— Осмелюсь доложить, я здоров, как бык! — возразил Швейк. — Прошу прощения, как же армия будет без меня? Так что желаю вернуться в часть и служить государю императору верой и правдой, как полагается солдату.

Ему был назначен клистир. И когда санитар Бочковский, русин по нацио-

нальности, приступил к лечению, brave солдат Швейк, находясь в столь щекотливом положении, с достоинством произнес:

— Не церемонься, братец. Я не побоялся итальянцев — не боюсь и твоего клистира. Запомни: солдат не должен ничего бояться и обязан служить.

Потом его отвели в уборную и приставили к нему часового с заряженной винтовкой.

После этого его опять уложили в постель, а санитар Бочковский ходил вокруг него и вздыхал:

— Родные-то есть, пся крев?

— Есть.

— Отсюда не выйдешь, симулянт!

Бравый солдат Швейк дал ему по морде.

— Я симулянт? Да я здоровей здорового и желаю служить государю императору до последнего вздоха.

Его обложили льдом. Трое суток пролежал он в ледяных компрессах, а когда пришел штабной врач и сказал: «Ну, Швейк, придется тебя все-таки демобилизовать!» — возразил:

— Осмелюсь доложить, господин доктор, я совсем здоров и желаю служить.

Его опять обложили льдом на двое суток, после чего медицинская комиссия должна была собраться и навсегда освободить его от воинской повинности.

Накануне заседания, когда на него был уже составлен увольнительный документ, brave солдат Швейк дезертировал.

Ему пришлось бежать, чтобы иметь возможность служить государю императору. Две недели о нем ничего не было слышно.

Но, ко всеобщему изумлению, через две недели brave солдат Швейк появился ночью у ворот казармы и с обычной своей честной улыбкой на довольной круглой физиономии отрапортовал начальнику караула:

— Честь имею доложить, явился для отбытия наказания как дезертировавший с целью служить государю императору до последнего вздоха.

Его желание было удовлетворено: он получил полгода, а так как и после этого пожелал остаться в рядах армии, был послан в арсенал — начинять торпеды пироксилином.

#### **4. Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином**

Вышло, как сказал его преподавание:

— Швейк, мошенник ты этакий... Уж коли хочешь служить, так поработай с пироксилином. Это тебе полезно.

Стал brave солдат Швейк работать в арсенале: учиться обращению с пироксилином, начинять им торпеды. На этой службе шутки плохи: того и гляди взлетишь на воздух — и крышка!

Но brave солдат Швейк не робел. Вполне довольный, проводил он дни свои в отдельном бараке, между динамитом, экразитом и пироксилином, начиня торпеды этими страшными веществами и оглашая окрестность пением:

*Ах, Пьемонт, Пьемонт,  
видно, край ты панский:  
ведь с тобою пал  
весь оплот миланский!*

*Гоп, гоп, гоп!*

*И оплот миланский,  
и четыре моста.  
Выставляй, Пьемонт,  
посильней форпосты!  
Гоп, гоп, гоп!*

*Я ведь вам прислал  
целый полк уланский,  
вы ж его сгубили  
у ворот миланских!  
Гоп, гоп, гоп!*

За этой прекрасной песней, делавшей бравого солдата Шведка львом, следовала другая волнующая песня — о кнедликах величиной с человеческую голову, которые бравый солдат Швейк проглатывал с неопишуемым наслаждением.

Так и жил он — довольный своей судьбой, — один на один с пироксилином, в отдельном арсенальном бараке. И вот однажды туда пришла инспекция, проверяющая, все ли в порядке в бараках.

Подойдя к бараку, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином, инспектора увидели по облакам табачного дыма, распространяемым Швейковой трубкой, что бравый солдат Швейк — бесстрашный воин.

При виде начальства Швейк встал, вынул, согласно уставу, трубку изо рта и отложил ее в сторонку, но недалеко, только руку протянуть, — как раз у открытого стального чана с пироксилином.

И, встав во фронт, отрапортовал:

— Честь имею доложить: происшествий не было, все в порядке.

В жизни человека бывают мгновения, когда все зависит от присутствия духа.

Быстрее всех нашелся полковник. Над пироксилином уже вились колечки табачного дыма, и он сказал:

— Продолжайте курить, Швейк!

Это было очень умно с его стороны, так как гораздо лучше, чтобы трубка находилась во рту, чем в пироксилине.

— Слушаю, господин полковник. Есть курить! — ответил Швейк, снова встав навытяжку.

Он был очень дисциплинированный.

— А теперь — шагом марш на гауптвахту!

— Осмелюсь доложить, никак не могу. Потому, согласно предписанию, обязан быть здесь до шести, дожидаться смены. При пироксилине всегда должен кто-нибудь быть, а то долго ли до беды!

Инспекция поспешно удалилась рысцой в караульное помещение и там приказала послать за Швейком патруль.

Патруль отправился без особого энтузиазма.

Подойдя к бараку, где сидел среди пироксилина, покуривая трубку, бравый солдат Швейк, капрал крикнул:

— Швейк, мерзавец, кидай трубку в окно и выходи наружу!

— Никак невозможно: господин полковник приказал мне курить. Так что

буду курить, хоть режь на части.

— Выходи, скотина!

— Никак нет, не выйду. Сейчас только четыре, а смена в шесть. До шести я должен быть при пироксилине, чтобы не случилось какой беды. Я насчет этого строго...

Он не договорил. Вы, может быть, читали о страшной катастрофе в арсенале, после которой был объявлен национальный траур по всей Австрии. В какие-нибудь три четверти секунды весь арсенал взлетел на воздух.

Началось с того барака, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином: над тем местом, где стоял этот барак, воздвигся целый курган из бревен, досок, железного лома, слетевшихся отовсюду, чтобы воздать последний долг бесстрашному Швейку, не боявшемуся пироксилина.

Трое суток на развалинах работали саперы, сортируя головы, туловища, руки и ноги, чтобы господу богу на Страшном суде легче было разобраться в чинах погибших и соответствующим образом распределить награды. Это была настоящая головоломка.

Трое суток разбирали они и курган, возвышавшийся над Швейком, а на третью ночь, проникнув, в самую глубь этой горы из бревен и железа, вдруг услышали приятное пение:

*И оплот миланский,  
и четыре моста.  
Выставляй, Пьемонт,  
посильней форпосты!  
Гоп, гоп, гоп!*

При свете факелов они принялись разбирать обломки в том направлении, откуда слышалось пение:

*Я ведь вам прислал  
целый полк уланский,  
вы ж его сгубили  
у ворот миланских!  
Гоп, гоп, гоп!*

Вскоре при свете факелов перед ними открылась образованная железным ломом и нагроможденными бревнами небольшая пещера, и в уголке сидел бравый солдат Швейк. Он вынул трубку изо рта, встал во фронт и отрапортовал:

— *Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке!*

Его вытащили из этого дикого хаоса, и он, очутившись перед офицером, вторично рапортовал:

— *Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке. Покорно прошу прислать смену: шесть часов минуло. Прошу также выплатить мне суточные за то время, что я просидел под развалинами.*

Храбрец был единственным, уцелевшим при катастрофе.

Вечером в его честь сослуживцы устроили в офицерском клубе небольшое торжество. Бравый солдат Швейк, окруженный офицерами, опрокидывал стопку за стопкой, и добрая круглая физиономия его сияла блаженством.

На другой день ему выплатили суточные за трое суток, как на войне, а через две недели он был произведен в капралы и награжден большой военной

медалью.

Входя с этой медалью на груди и звездочками на погонах в ворота триентской казармы, он столкнулся с офицером Кноблехом. При виде почтительной, добродушной физиономии бравого солдата Швейка офицер содрогнулся.

— Ну и номер ты выкинул, головорез!

— Осмелюсь доложить: так что умею теперь обращаться с пироксилином! — улыбаясь, ответил Швейк.

И гордо зашагал по двору, разыскивая свою роту.

В тот же день дежурный офицер зачитал солдатам приказ военного министерства об организации при армии воздушных частей и обращение ко всем желающим — вступать в эти части.

Бравый солдат Швейк сделал шаг вперед и заявил офицеру:

— Осмелюсь доложить: как я уже побывал в воздухе и это дело мне знакомо, желаю послужить государю императору в воздушных частях.

Через неделю бравый солдат Швейк был переведен в воздухоплавательную часть, где, как будет видно из дальнейшего, вел себя столь же благоразумно, как и в арсенале.

## 5. Бравый солдат Швейк в воздушном флоте

Австрия располагает тремя управляемыми дирижаблями, восемнадцатью — не поддающимися управлению, и пятью аэропланами. Такова ее воздушная мощь. Бравый солдат Швейк был направлен в отделение аэропланов — трудиться во славу этого нового рода вооружения. Сперва он выкатывал их из ангаров на аэродром, тер металлические части скипидаром и венской известью.

Словом, начал с азов. Как для его преподобия в Триенте он заботливо чистил лошадь, так и здесь усердно хлопотал вокруг машин, начищал их плоскости щеткой, словно лошадиные бока скребницей, и в качестве разводящего расставлял часовых у ангаров, инструктируя их:

— Летать необходимо. Так что при малейшей попытке украсть аэроплан стреляйте без предупреждения!

Уже через две недели он был переведен из наземного в летный состав. Это было рискованное повышение. Он стал летать с офицерами как пассажир — для нагрузки.

Бравый солдат Швейк не испытывал страха. С улыбкой поднимался он в воздух, почтительно и покорно глядел на пилота-офицера и козырял ползающему далеко внизу по аэродрому начальству.

А когда им случалось упасть, разбив аэроплан, первым из-под обломков вылезал бравый солдат Швейк. Помогая офицеру подняться, он рапортовал:

— Имею честь доложить, мы упали, но живы и здоровы.

Он был приятным спутником. Как-то раз ему пришлось летать с офицером Герцигом. На высоте восьмисот двадцати шести метров у них перестал работать мотор.

— Разрешите доложить: у нас вышел бензин, — послышался за спиной офицера мягкий голос Швейка. — Так что я забыл долить бак.

И через минуту:

— Разрешите доложить: мы падаем в Дунай.

Когда же через несколько мгновений головы их вынырнули из бурных зеленых дунайских волн, бравый солдат Швейк, плывя за офицером к берегу,

промолвил:

— Осмелюсь доложить: мы нынче поставили рекорд высоты.

А вот что произошло перед большим авиационным праздником на аэродроме в Винер-Нейштадте в момент осмотра аэропланов, проверки моторов и последних приготовлений к полетам.

Поручик Герциг собирался лететь со Швейком на биплане братьев Райт, оснащенный аппаратом Мориссона, позволяющим взлетать без разбега.

На аэродроме присутствовали представители иностранных вооруженных сил.

Аэропланом Герцига сильно заинтересовался майор румынской армии Грегореску: забравшись внутрь, он стал рассматривать рычаги управления.

По приказанию поручика бравый солдат Швейк включил мотор. Пропеллер закрутился. Швейк, сидя рядом с любознательным румынским майором, чрезвычайно внимательно регулировал трос, управляющий рулем высоты, причем производил это с такой осторожностью, что сбил с головы майора фуражку.

— *Швейк, осел этакий! Летите ко всем чертям!* — воскликнул поручик.

— Zum Befehl, Herr Leutnant[94], — ответил Швейк, схватив рычаг руля высоты и рычаг аппарата Мориссона, — и аэроплан оторвался от земли, оглашая окрестность ритмичным рокотом сильного мотора.

Двадцать, сто, триста, четыреста пятьдесят метров высоты. Направление на юго-запад, к снежным вершинам Альп. Скорость — сто пятьдесят километров в час.

Бедный румынский майор не успел опомниться, как очутился над каким-то ледником, но на высоте, позволявшей отчетливо различать чудесный пейзаж внизу, снежное поле, грозно и сурово зияющие пропасти.

— Что случилось? — промолвил он, заикаясь от страха.

— Честь имею доложить: летим, согласно приказу, — вежливо ответил бравый солдат Швейк. — Господин поручик сказал: «Летите ко всем чертям». Мы и полетели.

— А где сядем? — стуча зубами, осведомился любознательный майор.

— Осмелюсь доложить: не могу знать, где сесть придется. Летим, согласно приказу, а самолет вести я могу только кверху. Вниз не умею. Нам с господином поручиком никогда не доводилось: наверх заберемся, а оттуда вниз всегда падаем.

Альтметр показывал тысяча восемьсот шестьдесят метров. Майор, судорожно вцепившись в поручни, кричал по-румынски:

— Deu, deu — боже, боже!

А бравый солдат Швейк осторожно оперировал рулем и пел, пролетая над Альпами:

*Перстенок, что ты дала,  
мне носить неловко.  
Что за черт! Почему?  
Буду я тем перстеньком  
заряжать винтовку.*

Майор громко молился по-румынски и сыпал проклятиями, а в чистом холодном воздухе разносилось звонкое пение бравого солдата Швейка:

*И платок, что ты дала,  
мне носить неловко.  
Что за черт! Почему?  
Стану чистить я в полку  
тем платком винтовку.*

Под ними сверкали молнии, бушевала буря.

Майор, выпучив глаза, глядел вперед.

— Будет ли этому конец? — спросил он хриплым голосом.

— А то как же, — с улыбкой ответил храбрый солдат Швейк. — По крайности, мы с господином поручиком всегда куда-нибудь падали.

В это время они находились где-то над Швейцарией и летели на юг.

— Немножко терпения, осмелюсь доложить, — продолжал храбрый солдат Швейк. — Как бензин кончится, так обязательно упадем.

— Где мы?

— Имею честь доложить: над водой летим. Пропасть воды. Видно, в море падать придется.

Майор Грегореску, лишившись чувств, защемил свое толстое брюхо между поручнями и совсем завяз в металлических конструкциях.

А над Средиземным морем разносился голос храброго солдата Швейка:

*Моего совета послушай:  
побольше кнедликов кушай.  
Айн, цвай...*

*Станешь такой могучий —  
не пробьешь тебя пулей летучей.  
Айн, цвай...*

*Чтобы кнедлик крупней был каждый  
голова человеческой дважды.  
Айн, цвай...*

Храбрый солдат Швейк заливался над гигантскими морскими просторами на высоте одной тысячи метров:

*Марширует Грневиль  
к Прашной бране на шпацир...*

Свежий морской ветерок привел майора в чувство. Но при виде страшной бездны и моря внизу он воскликнул:

— Deu, deu!..

И снова потерял сознание.

Спустилась ночь, а они летели все вперед и вперед. Вдруг храбрый солдат Швейк потряс майора за плечо и ласково сказал ему:

— Имею честь доложить: летим вниз, но что-то медленно...

Самолет, за отсутствием бензина, спланировал на африканский континент, приземлившись возле пальмовой рощи в Триполи.

Храбрый солдат Швейк помог майору выйти из кабины и, встав во фронт, отпартовал:

— Честь имею доложить: все в порядке.

Храбрый солдат Швейк поставил мировой рекорд дальности полета, перелетев через Альпы, Южную Европу, Средиземное море и приземлившись в Аф-

рике.

При виде пальм майор вкатил Швейку пару оплеух, которые тот принял с улыбкой. Ведь он только выполнил свою обязанность, раз поручик Герциг сказал ему: «Летите ко всем чертям».

О дальнейшем неудобно рассказывать, так как это очень не понравилось бы военному министерству, которое, конечно, во избежание крупных международных осложнений, будет категорически отрицать факт аварии австрийского самолета над территорией Триполи...

## «Счастливый домашний очаг»

### 1

Вот уже шестой год журнал «Счастливый домашний очаг», издаваемый в Чехии Шимачеком, стремится принести радость в каждый дом, мир и счастье — каждой семье. В этом я убедился сам.

Два раза в месяц редакция на Иерусалимской улице раздражается бесценными советами, несущими миру счастье, которое мне остается только оплакивать.

Спустя неделю после свадьбы жена поделилась со мной заветной тайной: она — постоянная подписчица «Счастливого домашнего очага».

— Как раз сегодня пришел свежий номер, и сколько же там ценных советов! Ты убедишься сам, как полезно следовать его рекомендациям.

Когда вечером я вернулся со службы, в кухне царило непривычное оживление. Выйдя мне навстречу со сверкающими от счастья глазами, жена воскликнула:

— Получилось! — и, схватив меня за руку, потянула за собой. — Я поступила в точности как написано в журнале. Залила бразильские орехи кипятком и выдержала их в нем ровно пятнадцать минут; теперь ничего не стоит очистить их от скорлупы.

Ее радость прямо-таки озадачивала.

— Дорогая, что тебе пришло в голову покупать бразильские орехи, кто в наше время может себе это позволить?

— Глупыш, — надула губы жена, — здесь же черным по белому сказано: обдать кипятком не какие-нибудь, а именно бразильские орехи. Или вымачивать в воде в течение пяти-шести дней. Пойдем, я покажу тебе, что вовсе не бездельничала в твое отсутствие.

В спальне пахло камфарой.

— По совету журнала я протерла спинки кроватей камфарным маслом.

В результате проделанной процедуры спинки кроватей из белого клена заметно потемнели.

— Но они стали черными, — заметил я.

— Это совершенно неважно, — ворковала она, — тем более, что в «Счастливом домашнем очаге» есть специальная рубрика «Спрашивайте — отвечаем», где печатаются ответы на вопросы читательниц из любой области науки и быта. Я и узнаю у них, как можно вычистить почерневшую мебель. Кстати, сегодня в этой рубрике опубликован ответ на мое письмо, когда человек стал использовать кольца в качестве украшения. Вот, я тебе прочту: «А. Т. из П.: кольца стали служить для прикрытия человеческого тела раньше, чем одежда».

Мне стало дурно, и я прилег на кушетку. Тем временем моя дорогая жена

трудилась не покладая рук. Следуя советам последнего номера «Счастливого домашнего очага», с помощью воска и соли она пыталась снять с утюга ржавчину, которой там не было, протерла керосином мои штиблеты для придания им мягкости, полила руки чернилами, чтобы проверить, можно ли удалить кляксы соком спелого винограда, а потом принялась разыскивать в доме красное вино, желая убедиться, действительно ли винные пятна бесследно исчезнут с белья, если погрузить его на день в простоквашу, а затем выполоскать в воде. Когда служанка наконец принесла бутылку красного, хлопотунья, облив им мою сорочку, окунула ее в простоквашу.

После этого она тщательно прокипятила зубные щетки, ибо среди прочих советов был и такой: «Прокипятив новую зубную щетку, ты увеличишь срок ее употребления». Увы, с кухни она вернулась, держа в руке букет голых рукояток: щетина — главная часть любой щетки — вылезла от кипятка. Разумеется, жена не преминула упрекнуть меня в том, что я покупаю зубные щетки не лучшей фирмы.

Затем была выполнена рекомендация «Счастливого домашнего очага», где объяснялось, что варить яйца надо по часам, поставив будильник на нужное время. Звонок означал, что яйца готовы. Этим она развлекалась целый час.

После этого я выслушивал упреки за то, что ни разу не принес в дом прищепок, какие используются в магазинах под ценники — подобно многим другим подписчицам «Счастливого домашнего очага», она могла бы превратить их в подставки для столовых приборов, перечниц, солонок и другие изящные вещицы, чем способствовала бы воцарению полного счастья и благополучия в каждой семье.

— Это я тоже обязательно сделаю, — заявила она, протягивая мне отчеркнутую карандашом небольшую заметку в последнем номере: «Как приучить курильщика экономить. Мой муж покупает сигары по сто штук в коробке. Как только он приобретает новую, я незаметно вынимаю из каждого ряда по три-четыре сигары и прячу. Когда коробка заметно пустеет, я начинаю добавлять в нее по одной-две штуки из моих запасов. Таким образом, коробки сигар хватает намного дольше».

Не стоит и говорить о том, что весь вечер она посвятила практическому изучению советов журнала, изготовив доску под колбасу, деревянную рамку для сушки шерстяных чулок и, наконец, вешалку для платья облегающего покроя. Не имея такового, жена потребовала, чтобы оно ей было куплено.

Затем она выкрасила бельевую корзину белой масляной краской и прошла с ней мимо служанки, которая как раз чистила щеткой мой костюм, но тут же вернулась и с ликованием сообщила, что немедленно запросит редакцию журнала, как вывести белую масляную краску с черного костюма.

— Мы, подписчицы, — пояснила она, — действуем в общих интересах. Для каждой читательницы ответ, помещенный в журнале, — это испытанное средство осчастливить семью. Пусть и мы с тобой вкусим счастье сполна. Завтра ты поможешь мне оформить уборную так, как это предлагается журналом. Мы обклеим стены черно-белыми квадратами из картона.

На ночь мне пришлось надеть жилет, ибо в статье «Закаливание в истинном свете» говорилось, что великий английский гигиенист Герберт Спенсер обычно спал в жилете.

В три часа ночи меня разбудил звонок будильника.

— Пора вставать, — сказала жена. — Я читала, что умственная деятельность наиболее плодотворна с трех до семи утра. «Счастливы́й домашний очаг» обещает премию в триста крон читательнице, которая предложит лучший рецепт использования куриных потрохов и перьев. Помоги мне думать.



В шесть утра она заявила, что я тупица, потому что вот уже третий час только таращу глаза в пустоту без единой мысли в голове.

С шести до половины седьмого она разглагольствовала о скудости воображения у мужчин и их преступных наклонностях, о чем свидетельствуют целые фолианты уголовных дел. Женщина, существо тонкое и высоконравственное, стоит гораздо выше мужчины в моральном отношении, и, тем не менее, мужчина узурпировал право на неограниченную власть над ней, принуждая несчастную женщину подчиняться его подчас сумасбродным желаниям.

Еще полчаса жена говорила о — том, что на себе испытала, как тяжки прегрешения человеческого общества, обрекшего женщин на безмолвное терпение. Сама она предпочитает смерть такой жизни, и только мысль о детях препятствует ей разом избавиться от цепи бесконечных мук.

— Но ведь у тебя нет детей...

— Это не имеет значения, — отрезала жена, — а тебя и вовсе не касается. Вы, мужчины, только и умеете, что мучить женщин. Женщине негде искать защиты, нет никаких законов, охраняющих ее интересы, мы отданы на растерзание вам, кровопийцам. Господи, уйдешь ты, наконец, или нет? Ты мне мешаешь. Я хочу по рецепту «Счастливого домашнего очага» приготовить на обед что-нибудь особенное!

— Дорогая, — робко попросил я, — не надо ничего особенного, свари обычный обед.

Жена даже не удостоила меня ответом.

Все утро мне мерещились тошнотворные странные блюда, приготовленные из немислимого набора продуктов. Придя на обед, я с опаской переступал порог нашей квартиры. Жenuшка расцеловала меня и, сияя от счастья, торжественно произнесла:

— Сегодня у нас шницели говяжьи а-ля бараньи, фаршированные вареньем из овощей по-итальянски. Это по рецепту прошлого номера!

Звучало красиво, но оказалось абсолютно несъедобным. Свою порцию бросил я в миску нашей собаки. Понюхав, она поджала хвост и, обиженно ворча,

забилась под шкаф.

Моей благоверной тоже стало нехорошо, и она попросила меня поскорее уйти, чтобы прилечь. Вернувшись домой вечером, я обнаружил в столовой — три, а в гостиной — два ящика, на кухне моя дорогая жена, поставив друг на друга еще два таких же ящика, распиливала на доски верхний из них.

— Я тебя заждалась, — сказала она ласково, — в «Счастливом домашнем очаге» мне попалась подробная инструкция, как экономной хозяйке своими руками сделать кровать для горничной из старых ящиков. Когда ты ушел, я продала постель нашей служанки столяру, а взамен купила ящики и столярные инструменты.

Господи боже мой! Все это я пишу уже будучи в Турции, в Салониках, куда бежал от преследований «Счастливого домашнего очага», не щадящего сил во имя счастья и покоя в каждом доме.

## 2

Итак, бежав в этот город от «Счастливого домашнего очага», приносящего домашним очагам счастье, я в самом деле обрел покой, блаженство и счастье, хотя там в это время как раз шла резня: шесть раз я с трудом скрывался от кровожадных мусульман, но это казалось сущим наслаждением по сравнению с участью непосредственно наблюдать сокрушительную деятельность «Счастливого домашнего очага».

Месяц с лишним прожил я в полнейшем блаженстве, пока не получил из дома письмо, проникнутое любовью. Жена писала, что в мое отсутствие она окончательно поняла, что без «Счастливого домашнего очага» жизнь была бы подобна голой пустыне, и спрашивала, знаю ли я, что такое «Нурзо». Оказалось, «Нурзо» — это не что иное, как бытовая самоварка, которая достанется одной из подписчиц бесплатно, в виде премии. Необходимость в кухне совершенно отпадала, и жена, рассчитывая выиграть «Нурзо», предусмотрительно разобрала плиту, чтобы установить этот агрегат именно на ее месте. «Нурзо» — это не просто плита, «Нурзо» — символ счастья!» Жена уносила мечтами в то время, когда я буду готовить с помощью «Нурзо», и когда мы, обретя «Нурзо», станем совершенно счастливы. О моем внезапном отъезде она не замедлила сообщить в редакцию «Счастливого домашнего очага», которая, проникшись к ней сочувствием, тут же выслала ей 20 сортов огородных семян и столько же цветочных, а из отдела писем ей порекомендовали приобрести издаваемый все тем же Шимачеком журнал «Четырехлистник».

В конце письма, написанного с большой нежностью, содержалась просьба разузнать и выслать ей рецепт приготовления настоящего турецкого пилава, который она опубликует в «Счастливом домашнем очаге», чтобы осчастливить им читательниц. Вторая просьба касалась меню скромной турецкой семьи на 365 дней года. Кроме того, она просила выслать ей обрезки турецких тканей, собираясь по совету только что полученного номера журнала протирать ими зеркала.

Четвертая и последняя просьба дышала тем искренним вдохновением, от которого я и бежал сюда, в Турцию. Жена писала, чтобы я через австро-венгерского консула в Салониках постарался добиться от турецкого правительства разрешения для турецких женщин издавать журнал наподобие «Счастливого домашнего очага». Она направит в здешнее консульство письмо со своими соображениями и рассчитывает на большой успех нового журнала. В заключе-

ние жена сообщала, что по совету, данному ей «Счастливым домашним очагом», она распоролла мой новый, всего два раза ношенный костюм, выкроила и сшила из него три пары детских штанишек, отправив их: затем в редакцию журнала с просьбой передать тому хорошему мальчику, который убедит отца выписать маме «Счастливым домашний очаг».

Заканчивалось письмо стихами:

*Очаг счастливый!  
Да будем мы тобой хранимы,  
как в матери объятьях чадо. Отрадой  
любви счастливой, о стань очагом...*

Дочитав письмо, я рыдал до поздней ночи. Две недели спустя меня вызвали в австрийское консульство. Консул, оказавшийся весьма приятным господином, показал мне петицию, подписанную 150 постоянными читательницами «Счастливого домашнего очага», с убедительной просьбой к правительству Турции не препятствовать турецким женщинам читать этот журнал.

— Позже, в качестве образчика, почта доставила нам годовую подшивку, — сокрушенно рассказывал он, — наша кухарка, чешка, позавчера взялась его читать, и теперь толку от нее никакого. Вы пойдите, взгляните сами, что она вытворяет.

Вход на кухню был увит розами, гирлянда венчала надпись, выполненную на картоне неумелой рукой: «Счастливым домашний очаг» приносит консульствам счастье!»

Окруженная ящичками, моя землячка, которая даже здесь, на чужбине, стремилась заложить прочные основы домашнего счастья, как раз превращала в щепки какую-то лавку.

— Тс-с! — она приложила палец к губам. — Тихо, а то «Счастливым домашний очаг» будет недоволен, что ему мешают работать. Из этих ящичков я сколочу, согласно описанию в журнале, кухонную мебель — современную и красивую. Глину показать? — она кивнула на большую кучу в углу кухни. — По совету «Счастливого домашнего очага» я буду лепить из нее горшки и другую кухонную посуду. — Тут, схватив меня за руку, она воскликнула, страстно сверкая очами: — Вот увидите — вы обретете счастье! — Не выпуская моей руки, эта добрая, совершенно сбитая с панталыку женщина, продекламировала: «Если вы хотите вечно в счастье жить, ничем и никогда не омраченном, если вы хотите, чтоб все чаще осеняли вас его благотворные лучи, подписывайтесь на «Счастливым домашний очаг»!»

Я бежал из консульства, но на другой же день, едва проснувшись, обнаружил землячку у порога.

Она притащила с собой чурбан.

— Дарю, — объявила она мне, — дарю вам этот кусок дерева. Из него вы сможете сделать себе вешалку согласно описанию в шестнадцатом номере «Счастливого домашнего очага». Купите в магазине вешалку и по ее образцу изготовьте точно такую же, затем купленную продайте или сделайте из нее изящные резные ножки для шкафа.

Тут-то и созрело во мне твердое решение отравить всю редакцию «Счастливого домашнего очага», и в тот же день восточным экспрессом я отправился в Прагу.

## 3

Дома меня ждал сюрприз. Гостиная зияла пустотой — прекрасную мебель черного дерева дражайшая супруга в мое отсутствие продала.

С просветленным лицом она продемонстрировала мне настенную живопись в таком изящном художественном стиле, что теперь, по ее словам, можно было вполне обойтись без отдельных предметов мебели. Большое трюмо было изображено довольно убедительно, равно как и пианино со стульчиком, и я, совершенно потрясенный, невольно сел прямо на паркет.

— «Счастливым домашний очаг» рекомендует всячески украшать жилье, — произнесла она убежденно, — согласишься, ну разве этот нарисованный стол хуже настоящего?

Свалиться с чего-либо было физически невозможно, поэтому я просто лег на пол.

— И все-таки, душенька, зачем тебе понадобилось продавать всю обстановку? Или мебель в гостиной, по мнению твоего журнала — проявление дурного вкуса?

— Глупенький, — ответила она, — я продала ее, чтобы ничто не мешало нашему счастью и чтобы у нас были свои зубочистки, то есть зубочистки, сделанные своими руками. В «Счастливом домашнем очаге» я вычитала, что хорошей хозяйке в целях экономии следует делать их самой. Зубочистки, изготовленные нежными руками жены, дают мужу ощущение покоя и довольства после каждого блюда, от них так и веет истинным семейным теплом, которого желает всем «Счастливым домашний очаг». Зубочистки домашней работы согревают уютное гнездышко молодоженов, озаряют его светом счастья, вносят умиротворение, столь целительное для человеческой души. Я обратилась в редакцию с просьбой рассказать, как сделать их самой. Мне рекомендовали приложение «Счастливого домашнего очага» — «Домашнюю мастерскую». Я купила подборку сразу за два года — кто же покупает книги по одной? Нет, недаром я прочла в журнале, что такое возможно лишь при полном отсутствии уважения к собственной умственной деятельности. Суди сам, глупенький, ведь даже обыкновенные спички мы приобретаем по нескольку коробков сразу. В «Домашней мастерской» я вычитала, что об изготовлении зубочисток можно подробно узнать в другом приложении — «Домашнем всезнайке», который обошелся мне в 30 крон. «Всезнайка» сообщал, что зубочистки обычно делаются из дерева, а с технологией можно ознакомиться в одном из номеров «Четырехлистника» Шимачека за последние годы. Просмотрев купленные мной годовые подшивки «Четырехлистника», я наконец узнала, что в домашних условиях зубочистки можно настрогать на небольшом патентованном станке швейцарской фирмы «Кудрин Фрер» в Люцерне или же с помощью обычного кухонного ножа. «Счастливым домашний очаг» считает, что производство на станке обходится куда дешевле, поэтому я выписала его из Швейцарии. На это ушло еще 480 франков. Где было взять такие деньги? Пришлось продать мебель из гостиной и твою библиотеку, тем более что потребовались дополнительные средства на липовое дерево и гидравлический двигатель для запуска станка. «Счастливым домашний очаг» советует покупать оптом, и я не поленилась купить на Шумаवे две столетние липы, велела их срубить, распилить и отправить в Прагу. Послушай же, что из всего этого вышло! На сегодняшний день я сделала 8 миллионов зубочисток, они сложены в нашем под-

вале и в сарае соседнего дома, который я очень дешево арендовала по случаю. Два миллиона зубочисток я безвозмездно передала редакции «Счастливого домашнего очага» как премию для подписчицы, которая предложит лучший рецепт картофельных оладьев. Теперь у нас шесть миллионов зубочисток, их хватит для нашего полного счастья, ты поймешь, что такое семейный уют, и не сбежишь больше от меня в свою Турцию.

Я был счастлив буквально до потери сознания и очнулся уже в бочке из-под квашеной капусты. Выбравшись из нее, я выслушал объяснение моей заботливой жены, что, по мнению журнала, запах кислой капусты — прекрасное средство от обмороков. Она сбегала вниз и купила подходящую бочку.

— Куда же мы ее денем? — спросил я.

— Поставим в домашнюю аптечку, или, лучше, пороюсь я в подшивке «Счастливого домашнего очага», ты подожди, я мигом.

Она вернулась с кипой прошлогодних журналов и зачитала:

— «Хорошая хозяйка способна сотворить чудо даже из обыкновенной бочки из-под капусты. Немного стараний — и ловкие руки превратят ее в детскую коляску...»

Пришлось снова сунуть голову в бочку.

— «Еще лучше подойдет для коляски бочка из-под керосина, — читала моя дорогая жена, — ибо в ней не заводятся клопы». Ну вот, теперь, судя по всему, придется подумать о потомстве.

Мы учли рекомендации «Счастливого домашнего очага», старательно следуя им до самого вечера, пока жена не проводила меня в столовую, предложив мне полсардельки и прозрачный ломтик хлеба примерно на 0,2 геллера.

— В «Полезных советах» пишут, что перед сном надо есть как можно меньше, а после еды желательно пробежаться, лучше всего — по горной тропе. Если же после скромного ужина нет возможности совершить восхождение, достаточно полазить вверх-вниз по стремянке.

Она потащила меня на кухню. Там упиралась в потолок добротной сработанная лестница.

— Я сделала ее сама по описанию в «Счастливом домашнем очаге»: приобрела на аукционе четыре старых шкафа и сбила их все вместе, — глаза ее лучились от счастья. — Есть у нас и гантели. Зря тратиться мне не хотелось — ведь настоящая хозяйка никогда не бросает денег на ветер и не покупает то, что может изготовить сама, поэтому я собственноручно отлила их из старинных оловянных кувшинов, доставшихся тебе по наследству от бабушки.

От всего увиденного и услышанного у меня свело желудок, и я поспешил в уборную, неожиданно поразившую меня своим великолепием. Рука жены прошла по ней в соответствии с лозунгом «Укрась родной угол!», и теперь наш клозет был отделан со вкусом и любовью, мало того — поистине сказочно.

Заднюю стенку уборной целиком занимало следующее стихотворение:

*Неслышным шагом в сердце наше  
с любовью счастье войдет,  
в блаженстве сем, что рая краше,  
пусть каждый про себя шепнет:*

*Тепло родного очага,*

*святой любовью осенено, ночью и денно,  
от бед избавит навсегда.  
Бди, о любовь, над сим порогом,  
преградой силам злобным будь,  
в порыве благостном и строгом  
родной очаг наш не забудь!*

Нет, это был не клозет, это был поистине родной очаг, идеальное прибежище счастливого, улаживающее взор и развивающее эстетический вкус.

Жена ворвалась за мной в этот храм искусства, украшенный персидским ковром из опустошенной гостиной.

— «Украсим свои клозеты!» — вот к чему призывал прошлый номер «Счастливого домашнего очага», — пояснила она, — ибо в клозете человек проводит одну шестнадцатую часть своей жизни. «Счастливый домашний очаг» даже подсчитал, что человек, доживший до 80 лет, пять из них фактически просиживает именно здесь, так разве можно обречь его на пятилетнее прозябание в запущенной дыре, тем более что за этот срок его эстетический вкус вконец испортится! Клозет должен быть чистеньким, уютным уголком, от которого веяло бы истинным семейным теплом, чего и желает всем «Счастливый домашний очаг».

Стоит ли удивляться, что в этом прелестном гнездышке я просидел всю ночь.

#### 4

Утреннее солнце застало меня именно здесь. Его лучи через оклеенное цветными бумажными квадратами бумаги оконце пестрой мозаикой проникали в этот идиллический уголок, словно в готический храм, и освещали дверь туалета, где висели «Десять заповедей счастливой супружеской жизни», опубликованные все тем же журналом.

Для меня начинался новый день, полный страданий и безысходного отчаяния.

Он пришелся на понедельник, и мне было впору безнадежно возопить, подобно несчастному разбойнику, повешенному именно в этот день: «Хорошенькое начало недели, нечего сказать!»

Именно так я и сделал, когда, покинув в седьмом часу свое прибежище, нашел на столе вместо завтрака здоровенный кусок льда, а жену свою — не менее энергичной, чем вчера. Перед ней, разумеется, лежал раскрытый номер «Счастливого домашнего очага».

— Отныне перед завтраком, на голодный желудок, — начала она, даже не пожелав мне доброго утра, — мы будем глотать куски льда, это единственное средство сохранить бодрое расположение духа в течение всего дня. Вот, читай!

На открытой странице я увидел статью «Почему эскимосские женщины никогда не плачут?».

— А потому, мой глупыш, что каждое утро они глотают по кусочку льда. Прочти статью, и ты поймешь, что жизнь эскимоски куда завиднее нашей. «Она знает, что выбрала в мужья самого обыкновенного мужчину, а не сверхчеловека, и после свадьбы даже мысли не допускает, что могла выйти замуж за более достойного. Из любви к мужчине эскимоска старается избежать досадных промахов, никогда не прибегает к слезам, убеждая доводами, и не до-

пускает излишней уступчивости, которая и превращает мужчин в тиранов». Прекрасные слова! Если бы и у нас, в Чехии, женщины наконец поняли, что они имеют право работать наравне с мужчиной, который вмиг забудет, что такое помыкать ими. К несчастью, мы, страдалицы, все еще слишком податливы, женская судьба — жалкий удел раба; а все наша уступчивость! Но с сегодняшнего дня я ни на шаг не отступлюсь от своих убеждений, не позволю насиловать себя и ограничивать в чем бы то ни было.

Тут страдалица засунула мне в рот кусок льда, протолкнула его в горло, словно убойному гусю в зоб, да так, что я едва не подавился.

Затем она отправилась на кухню, вскоре вернувшись с разрезанной на ломтики сырой картошкой, посыпанной солью и растертым чесноком, и каким-то отваром в чайнике.

Налив в мою чашку подозрительной дымящейся жидкости, она объяснила:

— Сейчас ты будешь пить чай «Счастливого домашнего очага», за изобретение которого я в твое отсутствие получила первую премию — изящные кухонные весы, так что теперь их у нас двое. Чай произвел большой фурор, и его пьют все, кто хочет сэкономить на завтраке. Наверняка в любой семье на окошке стоит фуксия, так вот, чай состоит из сушеных листьев фуксии и самого обыкновенного сена, которого всегда можно отщипнуть на улице от проезжающего воза — не только на счастье, но и к завтраку. Для вкуса в чай добавляется немного тимьяна или лаврового листа, корица, гвоздика, а подслащивается он вместо сахара кормовой патокой. Это не только питательно, но и хорошо влияет на кровообращение. Вкус можно улучшить также листьями плюща или — что более желательнее — магнолиевым цветом. Для подкраски кладется луковая шелуха, а для устранения дурного запаха изо рта — немного тмина. Страдающие бессонницей могут варить его с хвостиками от вишни. Это универсальный чай, не сомневаюсь, ты по достоинству оценишь его вкус.

Хорош вкус — будто тебя носом ткнули в навозную жижу!

— А при чем здесь сырая картошка? — спросил я, едва придя в чувство. — Уж не обложить ли мне ею живот на манер компрессов из хрена?

Она расхохоталась:

— Да что ты, глупыш! Это же нам на завтрак! В одном из прошлогодних номеров я читала, что именно этим начинают утренний рацион негры на острове Гаити.

— Чтоб жить было веселее?

— Да нет же, непонятливый ты до ужаса! Чтобы избежать лихорадки и вообще лучше переносить климат.

Чтобы и мне не страдать зря от переменчивости нашего климата, я, помнится, съел один ломтик, и меня обдало жаром, сменившимся таким страшным ознобом, что я начал стучать зубами и трястись, как выскочившая из ледяной проруби собака.

— Надо напоить тебя ликером «Счастливого домашнего очага», — сказала жена, попутно отметив, что у меня вид последнего идиота.

Прежде чем я пригубил его, она объяснила мне, что такой ликер каждая хорошая хозяйка может приготовить в домашних условиях. Надо взять золоты́й тысячник, немного поварить в черном кофе, отвар процедить через смесь листа лаванды и сушеных белых грибов. Кипятить около часу, добавив питьевой соды из расчета грамм на литр, а затем выжать туда сок восьми лимонов.

Литр отвара развести литром рома, соль по вкусу...

Она наполнила рюмку, но стоило мне, зажмурясь, проглотить смесь, как я мгновенно почувствовал, что желудок мой готов подскочить до потолка. Оставить в беде столь верного друга было бы непростительной изменой, поэтому я сам подпрыгнул вместе с ним, намертво застряв в перегородке, отделявшей столовую от кухни.



Моя неистощимая в своей энергии жена и на этот раз не потеряла присутствия духа. Она перебежала на кухню, чтобы удобнее было со мной разговаривать, ибо голова моя и туловище торчали в кухне, в то время как задняя часть моей особы язвительно взирала на бутылку с ликером по рецепту «Счастливого домашнего очага» в столовой.

Жена изумила меня своей исключительной заботливостью, а, главное, хозяйственностью. Прежде всего она спросила, целы ли подтяжки. Не знаю, ответил я. Тогда на случай их порчи она пообещала изготовить мне новые из моей цветной жилетки или — еще лучше — просто из ковра, так будет надежнее.

Она долго листала «Домашнего всезнайку», пока не нашла статью «Перегородка». Оба мы безмерно обрадовались, узнав, что «ремонт перегородки по сетке Рабитца не требует больших расходов», однако ничего похожего на мой случай «Всезнайка» даже не упоминал, равно как и сам «Счастливый домашний очаг». Правда, внимание читателей обращалось на то, что не следует забивать большие гвозди в тонкие внутренние перегородки.

Прочтя это, жена набросилась на меня с гневными упреками. Однако моего положения это не меняло, и она наконец всерьез задумалась, как бы меня вызволить, заявив, что при всем понимании явных преимуществ совместной жизни она не представляет ее себе, если я так и буду торчать в стене, вместо того чтобы находиться рядом с законной супругой. Она хочет, чтобы дни ее наполнены были радостью и счастьем, свет которых и мне послужит маяком во мраке житейских невзгод.

И ни с того, ни с сего, она начала цитировать:

— Четко осознай права и обязанности по отношению к семье, самому себе и окружающим. Живи, руководствуясь лучшими своими убеждениями. Тщательно подготовься к материнству (сердце у меня так и екнуло. Только этого мне не хватало!), заботься не только о личной гигиене, но и о глубоком постижении истин нравственных. Счастье твоей жизни — в детях, и посему воспи-

тывай их так, чтобы они были лучше, образованнее и счастливей тебя.

После чего она заявила, что одевается и идет к владельцу дома, — не согласится ли он продать его моему тестю, тогда можно было бы уговорить отца снести дом и тем самым освободить меня. Тут же в голове у нее родился другой план — добиться в полиции разрешения на покупку динамита, чтобы взорвать стену. В общем, одна идея была оригинальней другой. В итоге она провозгласила, что отправляется за советом непосредственно в редакцию «Счастливого домашнего очага».

Она оделась и ушла. Настали тягостные минуты, которые становились все более мучительными, по мере того как ее минутное отсутствие оборачивалось часами. К счастью, в моем животе начал делать свое дело премированный чай «Счастливого домашнего очага», ломтик сырого картофеля с чесноком, а может, даже и ликер. Собственно, и писать-то об этом неудобно, но радость моя была столь безмерной, что не сделать этого я не могу. Извиняет меня только то, что, находясь в квартире в полном одиночестве, я, таким образом, не погрешил против правил хорошего тона, поэтому, даже если мое поведение было не вполне пристойным, мне это было прощительно, ибо позволило выйти из дурацкого положения. Трудно поверить, что иногда непродолжительной, но интенсивной детонации достаточно, чтобы рухнула целая стена. В общем, приличного в этом было мало, но после небольшого взрыва — не более мощного, чем выстрел из мортиры малого калибра, — стена, дав трещину под потолком, рухнула, увлекая меня за собой. Дождавшись освобождения, я побежал в столовую открывать окно и, выглянув на улицу, увидел свою дорогую жену, которая, заметив меня, скорчила кислую мину.

Поднявшись наверх, она упрекнула меня, что с моей стороны это просто нечестно, в то время как она добилась от редакции «Счастливого домашнего очага» проведения читательской анкеты на тему «Как извлечь застрявшие предметы из перегородки по сетке Рабитца». Впрочем, сотрудники журнала сами убедили ее, что случай заслуживает внимания и результаты опроса обещают быть очень интересными. Правда, она скрыла от них, что в стене заклинило именно меня, солгав, будто ее случайно протаранила приехавшая погостить свекровь. На что тут же получила совет всеми силами беречь мир в семье, живя согласно с родственниками мужа, в особенности же велено было любить и уважать мать мужа, которая окружала его любовью и занималась его воспитанием раньше, чем она сама. И раз уж свекровь, проломив стену, застряла в ней, ее нужно с величайшей осторожностью извлечь оттуда с помощью пожарных.

Жена объяснила, что не могла сказать всей правды, так как в редакции могли подумать, будто это — моя пьяная выходка.

Она села за стол и принялась сетовать на свою горькую судьбу, пославшую ей мужа-пьяницу, который бросается на стенки. Нет, в здравом уме я бы такого не сделал, безумец, псих ненормальный. Надо было еще до свадьбы приглядеться получше и как следует изучить мой характер, ибо душу следует любить прежде внешности. Нужно было еще тогда спросить свою совесть, любим ли я настолько, чтобы пройти со мной через все невзгоды жизни, и только теперь она поняла, что должна была вовремя расстаться со мной, потому что я оказался настоящим мерзавцем и негодяем. Она чувствует, что потеряла ко мне всякое уважение, ибо я просто смешон. А у любви без уваженья короткий век,

теперь она убедилась в этом, глядя на меня, жалкого комедианта, по своему дурацкому капризу высовывающему голову на кухню, а ноги — в столовую. Рассмеявшись было, она возобновила нападки. Нет, решительно нельзя было вступать в брак, лелея лишь светлые мечты об идеале, ибо ныне она переживает горькое разочарование. Если бы этот негодяй (то есть я) хоть прощенья попросил! Так нет же, торчит тут перед ней, как пень, «пень» — это мягко сказано. Как бревно! Она так надеялась, что мы будем счастливы, что чудотворный дух «Счастливого домашнего очага» не даст ослабнуть трепетным объятиям. «Счастливый домашний очаг» многим помог заложить прочные основы здоровой семьи, выбрать верную стезю на запутанных житейских перекрестках, но к таким недотепам, как я, это, видно, не относится. К советам и помощи «Счастливого домашнего очага» прислушиваются лишь разумные мужья. Она-то надеялась, что журнал станет моим другом и советчиком, утешителем и собеседником в минуты досуга, а я стою тут как последний болван. Разве не слышал я, что, благодаря ее стараниям, «Счастливый домашний очаг» решил провести среди читателей анкету на тему «Как извлечь застрявшие предметы из перегордки по сетке Рабитца»? Почему же я не хватаюсь за перо и не пишу, каким образом я выбрался из стены, чтобы тысячи и тысячи подписчиков знали на будущее, что следует предпринять в подобных случаях!

Пришлось за подписью тщеславной жены направить в «Счастливый домашний очаг» то самое подробное описание происшедшего, которого, я думаю, так не хватало редакции для полного счастья.

## 5

После всего пережитого я несколько видоизменил родившийся в Турции замысел отравления всех сотрудниц «Счастливого домашнего очага» с помощью ядовитых пилюль. Первоначально я действительно намеревался послать им таковые с припиской: дескать, изобрел ароматические пилюли, прошу редакцию проверить эффект на себе, готов выслать бесплатно по коробочке каждой подписчице, дабы разрекламировать изобретение. Несмотря на то, что такой способ отправки врагов на тот свет представлялся мне чрезвычайно продуктивным, он был лишен того главного, что доставляет несказанное удовольствие каждому порядочному человеку, одержимому жаждой мести.

Не знаю, все ли вы достаточно хорошо представляете себе, какое это наслаждение — стрелять по врагу. Впрочем, вряд ли вы когда-либо подвергались столь назойливым преследованиям, я же при одной только мысли о том, как перестреляю там всех подряд, испытывал священный трепет и неопишуемое блаженство. Именно поэтому верх взяла идея расправиться с редакцией с помощью огнестрельного оружия.

На завтрак меня потчевали премированной кашей «Счастливого домашнего очага» из пареных ржаных отрубей, и этого оказалось достаточно, чтобы задаться вопросом: а не отравить ли патроны?

Лелея свой благородный замысел, я вышел из дому и купил себе обыкновенный револьвер, а к нему сто штук патронов. Хотелось превратить этих умников не иначе как в решето.

Дом, где должно было произойти массовое убийство, я нашел быстро и возликовал, узнав, что главная редакторша находится у себя. Говорю возликовал, хотя на самом деле в экстаз я впал еще в тот момент, когда ощутил револьвер в своем кармане. Если все убийцы веселятся, как я, что за радость жить на бе-

лом свете!

Помню, направляясь в редакцию, я всю дорогу что-то беспечно насвистывал и на полпути забрел в таверну «У младенца Христа» на паприкаш и бокальчик пльзеньского. Мне даже в голову не приходило, что всю оставшуюся жизнь, вероятно, придется довольствоваться похлебкой в какой-нибудь из тюрем. Я был твердо уверен, что суд присяжных оправдает меня, если среди них найдется хоть один, чья жена выписывает «Счастливым домашний очаг». Оно, без сомнения, подтвердит своим коллегам достоверность моего горького свидетельства.

Помню и то, что день был хороший, ясный, веселый, будто специально созданный для того, чтобы с легким сердцем совершать убийства. По дороге мне встретился воз сена — верная примета, что ничто не помешает мне перестрелять их всех подчистую.

Я просил доложить редакторше о своем приходе и с доброжелательной улыбкой на лице вошел в кабинет. Та, что намечалась мною в качестве первой жертвы, оказалась пожилой, солидной дамой. Ее благообразная внешность даже натолкнула меня на мысль, что изготовление детской коляски из керосиновой бочки — именно ее идея.

Редакторша приняла меня так степенно, словно лично произвела на свет божий всех когда-либо увидевших его гениев рода человеческого.

Голосом она напоминала вошедшего в раж проповедника, страстно клеймящего разврат.

Я объяснил, что являюсь мужем Аделы Томсовой. Встав, она торжественно протянула мне руку и, горячо пожав мою, обрушила на меня целую речь:

— Вы, несомненно, один из счастливейших мужей, ибо супруга ваша, наша Адела, или, как мы ее называем, Вера Подградешинская-Баштова-Крумгольцова — (вам, конечно, известно, что она сама выбрала себе этот прекрасный псевдоним), — одна из наиболее преданных нам читательниц. В каждом номере она делится с другими подписчицами «Счастливого домашнего очага» массой советов, касающихся, главным образом, приготовления пицци и тонкостей семейной жизни; кроме того, она основала фонд помощи обедневшим читательницам нашего журнала, и, как вы, наверное, знаете, в ближайшие дни в их пользу пойдет с молотка ваша столовая. Она делает все для блага «Счастливого домашнего очага», мы же, в свою очередь, помогаем ей своими рекомендациями ориентироваться в сложные минуты жизни, которая неутомимо настигает нас своей карающей десницей.

«Подожду пока пулять, — подумал я, — пусть договорит».

— Садитесь, счастливый супруг, — предложила она, и я ближе придвинул стул, чтобы точно попасть в ее отвратительный незакрывающийся рот.

— Вы, конечно же, очень счастливы в браке, ведь она каждый раз, приходя к нам, рассказывает, как постепенно, руководствуясь указаниями «Счастливого домашнего очага», она въет прелестное, уютное гнездышко, убранное ее собственными руками. О, эти золотые ручки! И вся она такая милая, интеллигентная — а все потому, что поняла: она должна быть для своего мужа чуткой, неутомимой подругой жизни, веселой и жизнерадостной, вы же — по ее утверждению и моему собственному впечатлению — стремитесь сравняться с ней своей образованностью, в свободную минуту деля с ней домашние заботы и досуг. Нигде более, как в семейной жизни не видите вы прочной основы сво-

его душевного покоя. Дружеские вечеринки, театры, концерты и прочие развлечения, — пусть все это лишь время от времени освежает вашу душу, не касаясь ее сути. О душе вообще не следует забывать, так же как и о своей внешности. Следуйте же не лозунгу «Для женщины все сойдет!», но правилу: все лучшее — женщине, окружившей вас такой заботой! Скрывайте от нее свое дурное настроение и помните, что жена ваша не любит красноречия. Оставайтесь верны ей всю жизнь, стремясь к тому, чтобы она видела в вас своего лучшего друга.

— Больше вы ничего не хотели мне сказать, милостивая сударыня? — спросил я, сжимая в кармане револьвер.

— О, сердце подсказывает мне еще многое. Вы счастливый супруг и сами можете внести лепту в наше общее дело — пропагандируйте «Счастливый домашний очаг» всегда и везде, в каком бы окружении вы ни оказались, помните, что он принес вам счастье и глубокое удовлетворение, которое написано на вашем лице. Займите место в первых рядах борцов за честь нашего журнала, требуйте в кафе и ресторанах только «Счастливый домашний очаг», чтобы свет счастья, сполна вкушаемого вами, пролился в душу каждого чеха.

Я вынул из кармана револьвер:

— Милостивая сударыня, как вы видите, это — револьвер.

Одному богу известно, каким образом она выхватила его у меня из рук так, словно я предлагал ей наличными оплатить годовую подписку:

— Ах, это и есть тот самый ценный предмет, который ваша милая супруга обещала прислать нам в качестве второй премии конкурса «Обед для семьи из 5 человек за 16 геллеров»?

Спрятав оружие в ящик стола и закрыв его на ключ, она повела меня в соседнюю комнату, чтобы представить редакторшам.

Что они со мной делали — не помню, знаю одно: трижды я падал в обморок, пока они учили меня правильно завязывать галстук и рекомендовали мне собственноручно сшить их себе побольше из старых нижних юбок, так как это, по их словам, непременно приносило счастье. Дурнота моя явилась также следствием того, что они щедро поделились со мной маленькими хитростями, подготовленными к публикации в качестве приятных сюрпризов для своих читательниц.

Так, например, из стружек можно приготовить очень питательный кислый напиток, который, будучи прокипяченным со сметаной, отлично излечивает от насморка и оспы, но годен для питья и независимо от наличия этих болезней.

Из остатков промокашки, тщательно пережеванной в густую массу, выйдут роскошные запонки.

Зайца следует законсервировать в денатурате и держать его там годами, используя по частям как средство для разведения огня. Засушенные майские жуки, толченые или размолотые в порошок, служат вкуснейшей приправой к высококалорийной каше, одинаково полезной детям и взрослым; если этот же порошок смешать с небольшим количеством пепла, получится незаменимое средство для чистки ножей и вилок.

В довершение они сфотографировали меня рядом с самоваркой «Нурзо».

— Дадим в следующий номер, — пообещали мне сотрудницы журнала, — с подписью «Счастливый домашний очаг» и «Нурзо» принесли мне покой и сча-

стье». Наконец меня и в самом деле оставили в покое, и я помню только, что в ушах у меня долго звенело: покупки — хозяйство — кухня — домашняя мастерская — рождество — уютная квартира — дом своими руками — твой сад — для наших малышей — маленькие хитрости наших читателей.

В кармане вместо револьвера я обнаружил булавку, какой зашлифовывают юбки, с надписью «Счастливым домашний очаг» и наперсток с гравировкой: «В счастливом домашнем очаге счастлив даже наперсток».

Вот такие дела. Никого я не убил, зато голова моя стала белой как снег.

Глубокая меланхолия овладела мною, и вместо молодого, полного сил мужчины порог дома переступил постаревший, морально и физически раздавленный человек.

## 6

В первые два дня после визита в редакцию «Счастливого домашнего очага» мною овладело полнейшее безразличие ко всему вокруг. Часто я ловил себя на том, что совершенно машинально надеваю на палец наперсток и, глядя куда-то в пустоту, стучу им себя по лбу часа эдак по три.

На третий день, попросив жену переделать мое черное пальто в практичный чехол для буфета, я покинул свой дом.

В голове моей теснились диковинные мысли, меня прямо-таки подмывало поделиться ими с кем-нибудь, хоть с прохожими.

Не в силах держать все это в себе, я спустился вниз, к Вацлавской площади, и, не выдержав, обратился к даме, разглядывавшей искусственные цветы за витриной:

— Сударыня, возьмите доску и четыре ящика из-под сигар, сбейте все вместе — и у вас будет чудная кушетка.

Попрощавшись с дамой, я пошел дальше. В самом начале Овочной улицы я остановил встречного господина:

— Вы не прогадаете, если займетесь изготовлением спичек в домашних условиях. Надо нащепать тонких деревянных палочек из небольшого ящика, купить серу, расплавить ее и сначала окунуть их в серу, а когда они обсохнут, точно так же в фосфор. Фосфор вам продадут в любой москательной лавке по разрешению на приобретение ядов для травли крыс и мышей. Будьте здоровы!

Я повернулся и продолжил свой путь. Кучка любопытных, следовавших за мной по пятам, заметно увеличилась, когда я дошел до Гавиржской улицы, особенно после того как я обратился к ним со словами:

— Хотите быть счастливыми? Не выбрасывайте потроха и перья каплунов, на них вы хорошо сэкономите. Жареные потроха разотрите в паштет, не забудьте купить к нему трюфелей. На сэкономленные деньги можно приобрести зонтик, из которого выйдет несколько недорогих и элегантных галстуков. Из спиц сделайте плетеные вазочки для печенья. Перья каплуна привяжите к оставшейся от зонтика ручке — у вас получится удобная махалочка для обметания пыли. И вы будете счастливы. Мое почтение!

Толпа росла, хвостом растянувшись за мной до самой Староместской площади, где меня остановил полицейский.

— Родной вы мой, — обратился я и к нему, — выдирайте каждый год из своего султана по три-четыре пера, и через пять лет у вашей супруги будет чем украсить зимнюю шляпку. Из сабли выйдет отличная шинковка для капусты,

из кобуры — элегантный портсигар.

— Я непременно воспользуюсь вашими советами, специально отпуск возьму, а пока пройдемте со мной!

В полицейском участке меня буквально распирало от полезных советов.

— Пан комиссар, торопитесь приобрести «Счастливым домашний очаг», чтобы превратить полицейский участок в уютное гнездышко. Полицейские могут сколачивать нары своими руками. Наломайте дров из ваших письменных столов, и вы убедитесь — это проще простого. Заключенным выдайте фанеру и лобзики — пусть выпилят женам к рождеству сахарницы. Украсьте свои клозеты, увейте их гирляндами, и вы увидите, что радость не покинет вас, и теплом домашнего уюта пахнёт даже в самом захудалом полицейском участке!

Полицейский врач велел послать за женой, определив у меня приступ глубокой меланхолии.

Жена явилась с пачкой писем, так как только что была включена в комиссию по проведению анкеты «Как извлечь застрявший предмет из перегородки по сетке Рабитца».

— Ничего опасного, милостивая сударыня, — успокоил её лекарь, — супруг ваш быстро оправится, особенно если на некоторое время вы поместите его в соответствующее учреждение. Он страдает глубокой меланхолией, оставаясь при этом умственно полноценным: понимает, что солнце всходит и заходит, что существуют четыре страны света, а мы находимся в Центральной Европе.

Меня сдали на руки жене и отпустили домой.

Не возражал я и против лечебницы, чувствуя, что домашняя атмосфера действует на меня, мягко выражаясь, странно.

Однако временно я был привлечен супругой к разборке писем с ответами на вопрос анкеты. Первое — предлиннющее — содержало «Десять заповедей «Счастливого домашнего очага» относительно предметов, застрявших в перегородках:

1. Не приемли квартир с тонкими стенами!
2. Помни: особой тонкостью отличаются перегородки по сетке Рабитца.
3. Блюда, чтобы к тонкой стене не приколачивали ни зеркал, ни картин.
4. Да не забьешь ты в стену ни гвоздя, ни крюка!
5. Не вытаскивай из стен забиенных тобой гвоздей!
6. Аще вытаскиваешь, то клещами.
7. Умри, но не касайся стены!
8. Не пожелай квартиры с тонкими стенами ближнему своему.
9. Не пререкайся с женой, если по ту сторону живут чужие люди.
10. Помни: слишком длинными гвоздями ты можешь прибить к стене своего соседа!»

В приступе бешенства я разбил печку.

Кончилось тем, что меня доставили в клинику д-ра Шимсы в Крчи, где я, не умолкая, исступленно ревел:

— Да все, все прибейте к стене! Все, говорят вам!

В лечебнице я сразу заметил двух пациентов, судьба которых в точности походила на мою. Первому из них крупно не повезло: он жил с сестрой, читавшей «Счастливым домашний очаг», у второго жена была прямо больна все той же неизлечимой болезнью — стремлением свить теплое, уютное гнездышко в

соответствии с наставлениями журнала.

Свободного времени для наблюдения за товарищами по несчастью у меня было предостаточно. Они избегали других пациентов, все время перешептывались между собой и, улучив момент, когда, как им казалось, на них никто не смотрит, садились на корточки под деревом в укромном уголке сада и принимались рассказывать друг другу:

— Берешь шесть десятков яиц, немного муки, размешиваешь, намазываешь на кусочки хлеба, запекаешь и теплыми подаешь на стол!

— Ощипываешь курицу, разрубаешь, чтоб смахивало на объедки, добавляешь перец, уксус, желатин, и варишь студень!

Потом, взявшись за руки, они подпрыгивали на корточках, приговаривая:

— Ай да хозяйки! Ай-люли, хозяйюшки!

Однажды я присоединился к их компании, и с тех пор мы сидели на корточках уже втроем, обмениваясь опытом, что еще можно сделать на благо семьи. В частности, очень практична в употреблении и оригинальна картинная рама из сушеных слив, наклеенных на деревянную основу и густо позолоченных.

Позже все это оказалось на страницах «Счастливого домашнего очага», ибо нас тайком подслушивала племянница д-ра Шимсы, записывала и отправляла наши рецепты и ценные советы в журнал, тут же публиковавший эту галиматю.

Мои новые друзья были неизлечимые душевнобольные, и я, вероятнее всего, тоже навсегда задержался бы в заведении д-ра Шимсы, если б не одно событие, так подействовавшее на мое состояние, что я вмиг излечился.

Жену свою я не видел вот уже полтора года, тем не менее доктор вдруг сообщил мне, что со вчерашнего дня я — счастливый отец.

Я было обрадовался, а потом принялся считать сроки — сами понимаете, для человека слабого рассудка это задача не из легких. Прошла целая неделя, прежде чем я вычислил, что ребенок не мой.

Тут ко мне неожиданно вернулся здравый разум.

## 7

Если вы ни с того ни с сего, не приложив даже положенного минимума усилий, становитесь отцом, факт этот поражает уже сам по себе. Но что на первый взгляд кажется тайным, быстро становится явным, если, конечно, вы не уподобитесь тому простодушному словаку, который, прожив десять лет в Америке, до самой смерти так и не мог взять в толк, как это в его отсутствие жена народила ему восьмерых детей.

Благодарить бога было не за что, и я задумался, кому я обязан этим сюрпризом. Мысли мои потекли по иному руслу, и через неделю я был выписан из клиники совершенно здоровым.

Придя домой, я нашел жену спящей, а рядом с ней — своего неродного сына, если вы, конечно, позволите мне называть так этого щекастого младенца с лишенным всякого выражения лицом.

Вложив ему в ручку справку о выписке, я удалился в будуар своей супруги в надежде найти следы соперника, явно не на шутку увлекшего мою жену. Вся мебель была сколочена из досок и ящичков — новый стиль будуара был настолько устрашающим, что, разглядев подробнее отдельные изделия — плоды ее неутомимого усердия, я задрожал, словно осина, волосы у меня на голове

зашевелились, и с чувством необъяснимой тоски и страха я уселся на странный стул, составленный из старых алюминиевых кастрюль. Бедняжка жена явно считала, что счастье тем полнее, чем больше выдвижных ящичков будет во всех видах мебели. Пересчитав ящички и полочки, я установил, что 150 штук вмонтировано только в письменный стол, собранный, судя по его виду, из дюжины ломберных и одного умывальника.

Это существенно осложняло мой поиск, и я повсюду натыкался на всевозможные рецепты и полезные советы, пока мне не попала папка с надписью «Дело моего мужа». В ней были собраны вырезки из «Счастливого домашнего очага» с ответами на письма и вопросы моей жены. Первый гласил: «Пани Адела Томсова! Судя по Вашему письму, болезнь Вашего супруга носит временный характер. Надеемся, запас душевной бодрости позволит Вам избежать страданий, Вы еще так молоды, вся жизнь у Вас впереди, и стоит ли огорчаться, что кто-то отнесся к Вам без должного понимания. Впрочем, это даже к лучшему, что муж Ваш лишился разума сейчас, а не после многих лет счастливого супружества. Когда к Вам вернется душевное равновесие, напишите нам еще. Ваши милые и в то же время мудрые письма заставляют надеяться, что Вы прислушаетесь к нашему голосу и не будете вешать голову».

Прочел я и второй ответ: «Пани Адела Томсова! Рекомендуем Вам со всей тщательностью подготовиться к той высокой миссии, которая предназначена женщине свыше. Задумайтесь всерьез над тем, что однажды Вы станете матерью, — а это Ваша святая обязанность! — и все грустные мысли об одиночестве в разлуке с супругом покинут Вас. (Я утер слезу. Выходит, она любила меня!) Утешайте себя надеждой, что и Вам суждено пополнить стройные ряды матерей и отдать все силы делу воспитания ребенка — будущего достойного члена чешского общества!»

Третий ответ звучал так: «Пани Адела Томсова! К чему бесконечно роптать на судьбу? Разве не достаточно уже того, что Вы встретили доброго наставника в лице «Счастливого домашнего очага»? Вот Вы пишете, что Вас начинает одолевать меланхолия. Молодую интересную замужнюю женщину избавит от этого недуга материнство — только оно даст ей счастье, столь желаемое вам всем нашим журналом. Прижимая к себе дитя, Вы будете листать «Счастливый домашний очаг», и в Вашей душе пышным цветом расцветет материнская любовь. Да, спасение — в материнстве, и да будет это Вашим девизом!»

Я все понял. «Счастливый домашний очаг» советовал ей стать матерью, и она, как послушная читательница, вняла этому совету.

Узнать бы теперь, кто был моим заместителем.

И наконец, в четвертом я прочел: «Пани Адела Томсова! По Вашей просьбе посылаем Вам нашего агента-распространителя».

Так сказать, по знакомству! Какие там любовники! О моя добродетельная жена! Как последовательна ты во всем. Нет, не возлюбленный — это был всего лишь агент-распространитель!

Прослезившись от счастья, я решил заглянуть к ней в комнату. Она кормила грудью отпрыска «Счастливого домашнего очага» и, увидев меня, — сама невинность! — воскликнула:

— Мой дорогой, ты только взгляни, какой крепыш! Ему всего несколько дней, а взгляд уже такой умный!

Я этого не нашел: мне казалось, у существа, завернутого в одеяльце, совер-

шенно идиотское выражение лица.

Сидевшая у постели повивальная бабка поддакнула:

— Весь в вас, ваша милость, взглядом — и то в папашу пошел.

Не исключено, что в этот момент некоторая тупость была написана на моем лице.

Вмешалась жена:

— Ты что думаешь, я и о ребенке нашем не забыла. Мне ответили на все вопросы, вот, читай!

Она протянула мне целый ворох вырезок.

«А. Т. из П. Вы спрашиваете, как одевать маленького мальчика. Вашему сыну, несомненно, будет к лицу костюмчик, состоящий из блузы, воротник которой Вы можете отделать по своему усмотрению, и панталон — до колен и ниже. Пойдет ему практичный комплект спортивного типа из прочной узорчатой шерсти, незаменимый, кроме того, для школы. Сверху накидывается плащ-пелерина с капюшоном, по возможности из гладкой синей ткани».

Когда я пробежал это глазами, она сказала:

— Видишь, как я забочусь о нашем крошке? Да ты читай!

«Пани А. Т. из П. Образования зубного камня у детей можно избежать тщательной чисткой зубов и полости рта. Лучшее, что вы можете сделать, — обратиться к зубному врачу».

— Но у него еще нет зубов!

— Разве? Покажи, я как-то не обратила внимания.

Она расплакалась.

— Что с тобой, душенька?

— Сейчас ты прочтешь самое ужасное письмо. На!

«Пани А. Т. из П. Вы пишете, что Ваш ребенок не разговаривает и объясняется жестами, яростно дрыгая при этом ногами. Это можно объяснить целым рядом причин, возможно, Ваш ребенок глухонемой от рождения или страдает параличом органов речи, однако подобные явления могут вызываться также падучей. Без колебаний покажите ребенка врачу, лучше всего хорошему специалисту, который посоветует Вам, не пора ли сдать его в интернат для глухонемых. Дело серьезное и отлагательств не терпит».

— Но ведь он же орет, — успокаивал я жену.

— И без тебя слышу, — всхлипнула она, — но глухонемые тоже орут.

С того дня на меня периодически находят приступы судорожного смеха.

## 8

Мы дали ребенку имя Феликс, что в переводе на чешский значит «счастливы́й». Святой Феликс был известный мученик, хотя не знаю наверняка, получала ли его жена «Счастливы́й домашний очаг».

За три дня до крестин супруга послала меня в редакцию спросить, как это полагается делать, и не получены ли какие рекомендации от читательниц журнала, ибо именно она готова опробовать их первой. Жена не ошибалась: в редакции оказалось сорок семь подшитых к делу бумаг, посвященных именно этой теме, причем большинство авторов мыслило достаточно прогрессивно. Молодым матерям давались советы, что следует надеть на крестины, кого нужно пригласить, как организовать угощение. Некоторые особенно экономные хозяйки считали, что можно обойтись без лишней роскоши. Так, по их мнению, в марте к столу надо подавать только гуся или зайца. Другие писали,

что, если Крестины происходят зимой, на язык новорожденному вместо поваренной соли нужно положить нашатырь, предохраняющий от простуды.

Все сорок семь советов были вручены мне редакцией в придачу с огромной книгой картинок под названием «Счастливым домашний очаг» — своим маленьким читателям». Книга предназначалась для рассматривания моему неродному сыну, трехнедельному Феликсу. Из редакции я вышел в добром расположении духа, ибо главная редакторша отметила, что я больше не страдаю явным слабоумием. Чтобы как-то отблагодарить ее, я подарил редакции рецепт изготовления кельнского эрзац-цикория из каленой чечевицы и жженных хлебных корок.

Едва я вошел в дом, как жена в нетерпении набросилась на принесенные мной письма, выискивая в первую очередь сведения о том, что можно есть трехнедельному Феликсу. Наконец она извлекла письмо, гласившее: «Многоуважаемая редакция! Вот уже сорок лет я работаю учительницей в начальной городской школе в П. Я давно мечтала иметь детей, увы, судьба распорядилась иначе, наставив меня на путь учительства, вынудивший меня принять обет безбрачия. Я давно пишу на темы воспитания новорожденных, вплотную сталкиваясь с семьями, изобилующими этими очаровательными созданиями. Мне известно, сколь тяжело переживает мать недостаток молока, поэтому уважаемая редакция, конечно, простит мне, если я без ложного стеснения подниму данный вопрос и позволю себе предложить нашей досточтимой редакции ввести новую рубрику «Счастливым домашний очаг» — новорожденным». Итак, видя печальную участь малюток, я пришла к выводу, что материнское молоко можно с успехом заменить калеными желудями. Недавно мне пришлось наблюдать отнятого от матери подсвинка, который тут же с аппетитом принялся за предложенные ему желуди. Я проверила их действие на себе, выпив на ночь четыре чашки густого, крепкого отвара. Почувствовав утром необычайную бодрость, я пришла к выводу, что они не вредны и человеку, а разбавленный отвар из молотых каленых желудей окажет благотворное влияние на формирование костной ткани младенцев, ибо желуди, как известно, содержат танин — отличное средство против изнурительного недуга, известного под названием diarrhe[95]. Если ребенка кормить желудевым отваром, матерям не придется целыми днями стирать пеленки, они смогут уделять больше времени чтению книг и размышлению над социально важными вопросами. Прошу опубликовать мое предложение в ближайшем номере «Счастливого домашнего очага», будучи убеждена, что отныне проблема мокрых пеленок для чешского народа будет решена. *Каролина Гус*. Пост скрипту: желательна на 50 литров воды взять полкило каленых желудей».

Когда мы с женой прочли это письмо, она приказала мне выдать нашей новой служанке деньги на два килограмма каленых желудей и приглядеть бочку литров на двести.

С пристальным вниманием мы ознакомились с одним из советов, в чем следует купать новорожденных. Своими знаниями делился таможенный чиновник, очевидно, под давлением жены, постоянной подписчицы «Счастливого домашнего очага». Вначале он рассказывал о себе, отмечая, что прекрасно сохранился в свои шестьдесят лет, оставаясь бездетным, но, тем не менее, имеет большой опыт купания новорожденных; По его мнению, теплой воды для этого недостаточно, и детей надо окунавать в отвары целебных трав, обильно

произрастающих на Шумаवे, в Крконошах и Татрах. Такие малыши гораздо быстрее развиваются и умственно и физически: уже на втором году жизни они начинают ходить, способны отличать мать от отца и т. п. Если кто-либо из подписчиц заинтересуется его предложением, он готов выслать сбор трав — 4,50 крон за полкило. Свое письмо он заканчивал призывом пропагандировать курение липового цвета — верного средства от бешенства, по 50 геллеров за пачку.

Я вынужден был попросить отправить нам по почте четыре пачки трав для купания и две липового цвета — как-никак консьержка держит щенка. Понравился нам и другой совет: на крестинах заботливая мать должна решить, кем будет ее чадо. Жена рассказывала, что перед самыми родами заходила в редакцию «Счастливого домашнего очага» и там ее убеждали учить ребенка сразу на композитора. Учтя и то и другое, она потребовала срочно купить к дню крестин пианино, но прежде мне следовало посоветоваться в редакции, не смогу ли я сам изготовить столь важный для воспитания нашего сына инструмент, так как в подвале у нас есть подходящий ящик с отличным резонансом: стоит пнуть его ногой — звучит вся гамма. А еще жена наказала мне купить в каком-нибудь из трактиров треснувшие бильярдные шары, так как на белые клавиши потребуются пластинки из слоновой кости, а на черные пойдут кусочки эбена от нашей столовой мебели. Она была так счастлива, что умиротворенно уснула и проспала два часа, пока я сидел в подвале и тупо разглядывал ящик, оказавшийся корпусом от пианино. Наконец я поднялся и спросил у проснувшейся жены, как попали туда эти жалкие остатки инструмента, которого, насколько мне помнится, у нас никогда не было.

Вместо ответа она отправила меня на кухню за подносом для печенья.

— Нравится? — спросила она с триумфальным видом.

— Очень.

— Как я рада! Ах, как я рада! А знаешь ли ты, что он сделан из пианино? Прелесть все-таки наш «Счастливый домашний очаг»! Именно там я прочла, что из верхней крышки старой фисгармонии, безнадежно разбитой при перевозке, можно изготовить дивный поднос — печенье удивительно эффектно отражается на черном лаке! Я хотела купить в рассрочку старую фисгармонию, но ничего подходящего не нашлось, и я за полцены приобрела старое пианино. По моей просьбе его переделали в фисгармонию, а грузчиков я попросила не слишком церемониться при перевозке и скинуть ее разок на мостовую, что они и сделали за соответствующую плату. Верхняя крышка отлетела так удачно, что уже через две недели мой поднос был готов и на выставке поделок, устроенной «Счастливым домашним очагом», получил первую премию — подшивку журнала «Либуше» за восемь лет.

Я поразился неумной энергии этой женщины, она же добавила:

— Мы вырастим нашего Феликса достойным человеком, правда же?

Она снова сказала «нашего», хотя этого слова я всячески избегал в разговорах. И она еще считала меня сумасшедшим! Так вот, я ей показал, где ваши, где наши, я ее сам отправил в сумасшедший дом — ах, с каким же несказанным удовольствием я это сделал!

## 9

Почему я на это решился, объяснить очень просто. Больше месяца она пролежала в постели, размышляя только об одном — как воспитывать ребенка. В

итоге она таки решила сделать для Феликса коляску из керосиновой бочки.

Она приобрела бочку керосина, но, будучи хорошей хозяйкой, не стала выливать содержимое, а купила еще и керосинку, на которой мы с тех пор и готовили. Выходило, правда, дороже, чем на угле, но жена сэкономила на еде, заявив в конце концов, что пора проводить месяц экономии или, как называет его журнал, «месяц воздержания». При этом она была счастлива, когда ей удавалось выудить из моего кармана пару крон, которые она откладывала на кампанию в защиту женских прав. Она предупредила, что намерена решительно следовать примеру датских женщин, обходящихся без прислуги. Узнав из журнала, что союз датских женщин в качестве главного принципа экономии выдвигает лозунг «Ешьте как можно чаще у друзей!», она таскала меня по моим и своим друзьям, каждый раз подгадывая так, что мы являлись точно к обеду. Для меня это была сущая мука, вы только представьте себе этот срам: мало того, что хозяйка была вынуждена делиться с нами обедом, который мы мигом заглатывали, так супруга моя еще и выклянчивала у нее мелочь на трамвай! Возвращались мы, разумеется, пешком, а деньги — это нищенское подаяние — она переводила в редакцию «Счастливого домашнего очага».

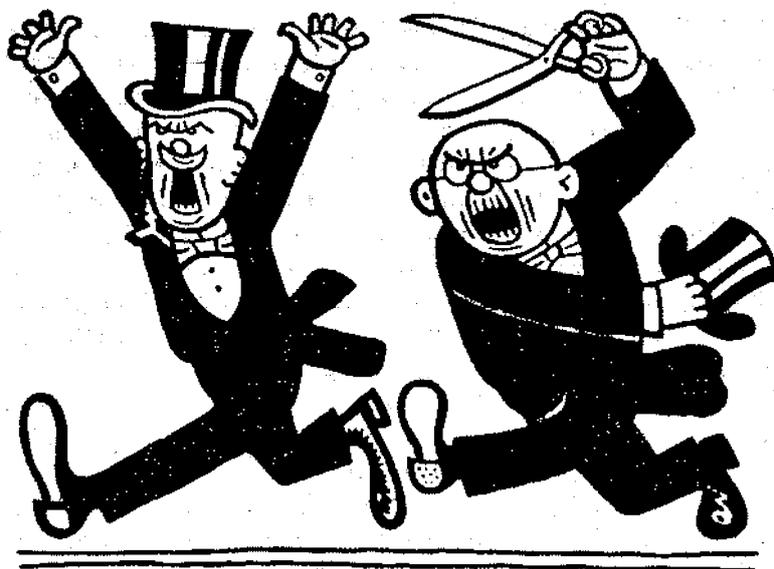
Так прошел месяц, пока у одних знакомых она не стянула отбивную из кладовки и не оказалась пойманной с поличным. Тут она поневоле призналась, что дальше так продолжаться не может, готовить надо все-таки дома, чтобы полностью использовать керосин. В день рождения моей матери жена, вдохновленная, тем, что может сделать подарок не тратясь, послала свекрови пятьдесят литров керосина в большом бидоне, сопроводив его письмом, в котором выражала благодарность за мое воспитание, подчеркивая роль родителей в семье: родители — это как бы верхняя палата парламента, а дети остаются палатой депутатов.

Мать ответила мне в доверительном письме, что нелишне было бы показать жену психиатру.

Наконец произошло следующее. Она отправила маленького Феликса своей подруге на свадьбу в качестве подарка. Я был в полном неведении на этот счет, оформляя в это время договор о продаже нашего дома, а, вернувшись, не заметил, что больше не слышно агуканья Феликса. Жена поделилась со мной ловким решением керосинной проблемы: керосина хватит еще минимум на год, поэтому коляски для Феликса никак не получается, а приобретать ее в магазине — увольте, это слишком большие расходы, мы и так скоро по миру пойдем. Во избежание разорения она купила большую подарочную коробку, проделала в ней отверстия и, положив туда Феликса, отправила с сыном нашей консьержки на квартиру молодоженов Крамских — свадьба у них была как раз сегодня. Ольга, невеста, была ее самой преданной подружкой и в свое время подарила нам на свадьбу серебряное трюмо. Пришла пора отплатить ей столь же ценным подарком, и Феликс оказался жене предметом, вполне подходящим для этой цели.

Схватив шляпу, я помчался к Крамским, успев лишь к развязке. Молодые, вернувшись из костела, разворачивали подарки и как раз взяли за роскошную коробку с моим неродным сыном Феликсом.

Я опоздал — Крамский уже успел признаться, что это его сын от продавщицы из Карлина, и свекр гонялся за ним по комнате с цилиндром в одной руке и ножницами в другой.



Молодую супругу пытались привести в чувство, теща время от времени огревала по спине пробежавшего Крамского, а испуганный Феликс, лежа голышом на столе, стоически кряхтел, делая под себя.

Прошло полчаса, прежде чем мне дали сказать хоть слово и объяснить молодой хозяйке, что речь идет, видимо, о другом ребенке, так как этот отпрыск принадлежит моей лишившейся рассудка жене.

Некоторое время ушло на поиски среди свадебных подарков второго ребенка; понятно, что они не увенчались успехом, и Крамский тут же стал все отрицать, крича, что бог вещь чего нагородил от волнения и сам не может понять, для чего надо было это делать.

Выслушав глубочайшие соболезнования, я с помощью пани Выхановой, тещи Крамского, понес Феликса домой.

Моя супруга времени попусту не тратила. Перед ней лежали листы испи-санной бумаги, на верхнем был заголовок крупными буквами: «Ваш утончен-ный нрав», выдающий, что труд предназначался для «Счастливого домашнего очага».

Первая глава называлась: «Большая и малая нужда до и после театра». На-чало гласило: «В театр, на концерт мы стремимся, чтобы получить наслажде-ние прежде всего от того, что мы слышим. Для этого необходима полная ти-шина и спокойствие. Однако, испытывая нужду, мы утрачиваем оное и не способны более внимать звукам, поэтому каждая подписчица «Счастливого домашнего очага» поступит, без сомненья, правильно, справив нужду, не вы-ходя из зала, если на пути ее возникнут какие-либо серьезные препятствия. Но еще лучше, дорогие женщины, сделать это заранее! А вот уже после театра или концерта мы вольны удовлетворять свои насущные физические потреб-ности с учетом личных вкусов каждого».

Вызванный психиатр собственноручно сопроводил ее в сумасшедший дом.

## 10

Это не стоило ему никакого труда, ибо он убедил ее, что они направляются туда, где одна пациентка в минуты просветления составила массу практиче-ских советов для домохозяек, изобретя в том числе эффективную мазь для мо-зелей и обмороженных конечностей, а затем написала объемный трактат о чистке кастрюль, используемых на открытом огне.

Но стоило моей жене, переступив порог лечебницы, услышать: «Милости-

вая сударыня, Вы должны у нас немножко отдохнуть», как она стала утверждать, что находится в абсолютно здравом рассудке, что это я, вероятно, все еще не в себе, и потребовала принести ей ручку и чернила, чтобы написать статью, мудрое содержание которой будет лишним свидетельством ясности ее ума.

Ей дали все необходимое, и она набросала для «Домашней мастерской» следующее: «Точилка для карандашей. Когда в семьях некоторых граждан затачивают карандаши, их невольно ломают; при нынешней дороговизне это сильно бьет по карману. Образуется много мусора, непригодного для вторичного использования. Все это не может не беспокоить хорошую хозяйку, которой и предлагается самой соорудить удобную точилку, необходимую в каждой семье. Для приобретения исходных материалов высокого качества следует снестись с торговцами фотографическими товарами и приобрести несколько катушек фотопленки. Сама пленка за ненадобностью выбрасывается, а катушки крепятся на небольшую доску, на нее же натягивается полоска наждачной бумаги. Вот и все, но это нехитрое устройство есть залог мира и тишины в вашей счастливой семье».

К моей неопишуемой радости, жену оставили в лечебнице, и я поспешил с этим приятным известием и редакцию «Счастливого домашнего очага».

Мысль моя была выражена четко и ясно:

— Позвольте сообщить: моя супруга, самая активная ваша читательница, изобретательница знаменитого чая и универсального завтрака «Счастливый домашний очаг», была доставлена в сумасшедший дом.

Все это я одобрил милой, как можно более приятной улыбкой.

Редакторши страшно удивились, а когда я сообщил им, что ее оставили там из-за новой точилки для карандашей, с устройством которой тут же ознакомил редакцию, они завопили:

— Подумать только, какая оригинальная идея! Будьте добры, продиктуйте еще раз сначала вот этой барышне! Нет, произошло явное недоразумение, жена ваша совершенно здорова. Мы должны навестить ее и выяснить, как все это могло случиться. Любой ценой нужно забрать ее оттуда сегодня же!

Их попытка кончилась неудачей. В лечебнице было сказано, что Адела Томсова страдает навязчивой идеей осчастливливать всех и каждого. В настоящее время она вынашивает замысел приспособления для варки яиц и, кажется, проект двухэтажного фамильного склепа с окном.

Присутствовавшая при этом представительница одного из женских клубов, как мне рассказывали на другой день, вышла из себя и раскричалась, что для удобства стирки занавесок достаточно свернуть их и стянуть широкой резинкой — вроде той, что используют для укрепления шляпы под подбородком. На концах резинки пришивают крючки и петельки. Вот ведь как говорила наша страдалница, наша святая Адела, выступая на собрании женщин, посвященном дороговизне, и слова эти — лучшее подтверждение ясности ее разума. Защитницу тоже задержали в лечебнице на какое-то время, но она быстро утихомирилась, и ее выпустили на волю. Остальным дамам было позволено изредка навещать жену, отчего я крупно проиграл: бедняжка поняла — на это у нее ума хватило, — что именно я настоял на отправке ее в клинику, и пожаловалась им, что хотела осчастливить меня, а я никогда не понимал ее лучших намерений и действовал по причине природной тупости вопреки указаниям

«Счастливого домашнего очага» и ее доброй воле. В частности, я отказывался пить настой петрушки на молоке, прекрасное средство от выпадения волос, не желал мазать хлеб кормовой патокой. Не давал денег на покупку старых ящичков, из которых можно было сделать столько незаменимых вещей для дома, для семьи. Услышав от нее, что я такой же дурак, как и все мужчины, посетительницы окончательно убедились в трезвости ее мыслей, хотя в истории болезни было записано, что она как подписчица «Счастливого домашнего очага» потенциально опасна для окружающих.

Через три дня повсюду появились афиши:

### **МИТИНГ ПРОТЕСТА ЖЕНЩИН**

**И**

#### **ПОДПИСЧИЦ «СЧАСТЛИВОГО ДОМАШНЕГО ОЧАГА»,**

*На повестке дня: заключение одной из подписчиц в сумасшедший дом.*

*Состоится в среду в 15 час. на Плодиновой бирже.*

*Присутствующим будет продемонстрирована самоварка «Нурзо», которую одна из подписчиц получит бесплатно. По окончании митинга участницы будут сфотографированы у самоварки.*

*Редакция журнала «Счастливый домашний очаг».*

Я попал на митинг, переодевшись старушкой, явно смирившейся со щетиной на своем подбородке. До сих пор у меня перед глазами это светопредставление, в ушах звенят экзальтированные речи, от которых мурашки бегут по спине. Я убежден: разоблачи они меня, непременно сварили бы всмятку в «Нурзо» и ликовали бы при этом.

Под бурные аплодисменты самоварка гордо заняла свое место в президиуме.

Основная докладчица произнесла пламенную речь, из которой я только теперь понял, какой я все-таки мерзавец. Невменяемый, бесчувственный алкоголик, не читающий к тому же «Счастливый домашний очаг», отказавшийся жевать лучшее средство для протрезвления — дикие каштаны.

— Супружество, дорогие дамы, — говорила она, — это труднейшее в жизни испытание, и если муж-самодур имел наглость отправить свою жену в сумасшедший дом только за то, что она хотела свить уютное домашнее гнездо, то я, дорогие дамы, заявляю: брак этот был поистине бедствием для такого утонченного создания, как Адела Томсова, которая превыше всего ставила наши интересы, которая дала нам не одну сотню добрых советов, которые читались вами с благодарностью этой святой мученице, которая ныне, будучи в абсолютно здоровом уме, тем не менее находится в сумасшедшем доме...

Ну, и так далее, и тому подобное.

Ее сменили на трибуне еще несколько дам, в речах которых я был просто разбойником с большой дороги. Затем были направлены телеграммы протеста наместнику и в министерство внутренних дел, после чего участницы митинга сфотографировались у самоварки «Нурзо» и с криками «В сумасшедший дом!» толпой вывалили на улицу.

Полиция разогнала демонстрацию. Не обошлось без жертв: четверо полицейских были тяжело искусаны, один отделался легким надкусом. На двух подписчиц «Счастливого домашнего очага» пришлось надеть смирительные рубашки, при этом они кричали: «Счастливый домашний очаг» — счастье вашего домашнего очага!», «Да здравствует самоварка «Нурзо»!»

На следующий же день я получил кипу анонимок, написанных ручками этих хрупких созданий, одно из которых даже осмелилось излить на бумагу сладкую тайну: «Встречу — зонтиком проткну!»

## 11

Вы не можете себе представить, какие издевательства пришлось мне вынести. Я стал предметом яростных нападок бульварных газетенки, которые, видя лишь внешнюю канву событий, изображали меня разнузданным донжуаном, отправившим жену в сумасшедший дом ради многочисленных любовниц.

В мой адрес продолжали поступать анонимные письма примерно все того же содержания.

Большинство из них, как я уже сказал, принадлежало перу подписчиц «Счастливого домашнего очага», постепенно набиравших голос: что там «зонтиком проткну», начались заявления более интимные, вроде того, что мне, мол, не под силу угодить двум дамам одновременно.

Пришел свежий номер «Счастливого домашнего очага» с содержательной, я бы даже сказал, миленькой, статьей обо мне. Собственно, в основу ее легла та самая достопамятная речь на Плодиновой бирже, отредактированная тонкой, тактичной рукой. Упреки в мой адрес звучали чрезвычайно деликатно, и я это оценил. Так, вместо слова «упырь», употребленного оратором на собрании, стояло «вампир», а «сутенера» заменили на «сводника». Статья, написанная в спокойной, неторопливой манере, постепенно переходила к теме супружества вообще, к серебряным, золотым и бриллиантовым свадьбам, к борьбе с дороговизной, и заканчивалась призывом не позволять мужьям курить, ибо каждая женщина есть независимая личность, имеющая право на собственное мнение, а стало быть, на вмешательство в неправомерные действия другой личности, особенно если последняя — всего лишь муж.

Я вернул номер в редакцию, но вскоре получил его обратно с припиской: «Уважаемый! Среди возвращенных нам номеров журнала мы нашли также и Ваш. Надеемся, что произошло недоразумение, ибо мы даже не догадываемся о причине, по которой Вы могли бы вернуть нам номер. Мы не сомневаемся, что Вы осознаете свою ошибку и сохраните верность своему журналу. С нетерпением ждем подтверждения с Вашей стороны прежнего доверия к нам. С глубочайшим почтением

*преданная Вам администрация журнала «Счастливый домашний очаг».*

К посланию прилагался возвращенный мной номер.

Я снова отправил его в редакцию и получил в ответ послание: «Уважаемый! Вот уже второй раз мы сталкиваемся с тем, что Вы возвращаете нам один из номеров нашего прекрасного журнала «Счастливый домашний очаг», который наверняка не раз был Вашим лучшим советчиком в решении проблем личной жизни и деятельности на благо нашего общества. Посему высылаем Вам обратно тот же номер нашего журнала с надеждой, что он и в дальнейшем останется Вашим верным другом, и Вы не станете относиться к нему, как к неугодному пасынку».

Я вернул номер в третий раз.

Их следующее письмо было таким: «Уважаемый! Сообщаем Вам, что среди новой партии возвращенных нам номеров мы обнаружили и Ваш, посланный Вами уже в третий раз, тем не менее, мы позволяем себе направить его вам уже в четвертый раз, считая, что возвращение одного из номеров не может

служить причиной для аннулирования подписки. Нет сомнений, что, ознакомившись с его интереснейшим содержанием, столь полезным для каждой семьи, Вы вновь станете нашим верным читателем, о чем и просим сообщить нам почтовой карточкой. Пребываем с совершеннейшим почтением

*администрация журнала «Счастливый домашний очаг».*

Я в очередной раз отослал им этот треклятый номер, уведомив почтовой карточкой, что не намерен более иметь с ними ничего общего.

Номер вернулся с припиской: «Уважаемый! В только что полученной корреспонденции мы нашли и Вашу открытку, где Вы пишете, что не намерены более иметь с нами ничего общего и окончательно возвращаете нам журнал. Мы тешим себя надеждой, что Вы любезно согласитесь просмотреть возвращаемый Вам нами номер, убежденные, что наш журнал, куда бы он ни пришел, становится незаменимым другом и Вы не откажетесь иметь его в своем доме. Мы позволяем себе также обратить Ваше внимание на то, что отправки почтовой карточки с заявлением, что Вы не намерены более иметь с нами ничего общего, недостаточно для аннулирования подписки, поэтому просим сообщить нам Ваше решение — а оно, не сомневаемся, будет для нас благоприятным — в форме письма. Разрешите обратить Ваше внимание на то, что, оформив подписку до среды, 15 ноября с. г., до 18 часов вечера, Вы получите приложение «Что мы будем есть сегодня?» и будете занесены в список кандидатов на выигрыш в лотерею, где будет разыграна самоварка «Нурзо», устраняющая необходимость в кухне и приготавливающая ежедневно обед из трех блюд без всякой вони. Заранее благодарим Вас за согласие. Примите уверения в нашей искренней преданности.

*Администрация журнала «Счастливый домашний очаг».*

На этот раз я разразился в адрес редакции гневным и решительным письмом, где писал, что не собираюсь более терять свое драгоценное время, занимаясь пересылкой журнала, и в последний раз — категорически! — возвращаю номер.

Через день пришел ответ: «Уважаемый! Мы были крайне удивлены, найдя при разборке сегодняшней почты Ваше письмо, в котором Вы категорически запрещаете нам посылать вам журнал. Будучи убеждены, что Вы до конца все-таки не поняли привилегий, даваемых «Счастливым домашним очагом», позволяем себе вернуть Вам номер в надежде, что Вы останетесь горячим сторонником нашего журнала, так как простого уведомления о том, что Вы не желаете более получать его, никак не достаточно для аннулирования подписки. Не сомневаемся, что Вы пожелаете воспользоваться всеми преимуществами подписчиков «Счастливого домашнего очага». Примите уверения в глубочайшем к Вам уважении и неизменной преданности.

*Администрация журнала «Счастливый домашний очаг».*

Тут я воскликнул:

— Нет, только из браунинга!

## 12

Браунинг — великолепное смертоносное оружие, но мой порыв к самообороне был еще лучше. Намереваясь некоторое время назад прибегнуть к револьверу, я был — подчеркиваю — невменяем. Теперь же я осуществил свой план в совершенно здравом рассудке. Положим, администратора в некоторой запальчивости я прикончил, тщательно прицелясь, зато всех остальных пере-

стрелял почти машинально, не испытывая даже гнева, извиняясь перед каждой жертвой за предвзятое отношение. Я знаю, имея на счету столько жертв, я не могу ждать помилования от императора и по закону буду повешен.

Последние дни моей жизни здесь, в тюрьме, отравляет одно: тюремный библиотекарь всучил мне старую подшивку «Счастливого домашнего очага» за целый год.

Вчера приходил адвокат и сообщил, что мой неродной сын, маленький Феликс, объявлен новой премией «Счастливого домашнего очага» для бездетных подписчиц. Журнал выходит, как и прежде, я и сам знаю, что главная редакторша избежала расправы, забравшись в самоварку «Нурзо».

В общем, сижу я тихо-мирно на тюфяке, думаю о днях минувших, о жене, прижившейся в сумасшедшем доме. На эшафот взойду, не дрогнув, с чувством облегчения и даже радости за содеянное. Если интересуется меня в мире еще хоть что-то, так это вопрос, кому из подписчиц в качестве премии подсунут нечистоплотного Феликса?

В дополнение к описанной трагедии прилагаем небольшую выдержку из репортажа одной пражской газеты о казни пана Томса: «Поднявшись на эшафот, он воскликнул с циничной улыбкой:

— «Счастливый домашний очаг» приносит счастье домашним очагам!

При этом осужденный издевательски чиркнул себе большим пальцем по горлу».

Таковы были последние слова этого пережившего суровые гонения человека, сыгравшего выдающуюся роль в чешской общественной жизни.

## Немецкие астрономы

**В** горном пансионате на Шпицдоме в Альпах немецкий ученый Вольфганг Хюбер производил вычисление удаленности некоей неизвестной звезды между орбитами Марса и Юпитера. На это свое занятие он исхлопотал субсидию от германского правительства и даже от одного крупного торговца углем, совершенно не интересовавшегося звездами, чего, впрочем, никак нельзя сказать о деньгах.

Вольфганг Хюбер намеревался прославить германскую науку. Астрономическую обсерваторию на Шпицдоме выстроил на свои средства богатый скотопромышленник, который из области астрономии знал лишь то, что на небе есть Большая Медведица, по форме напоминающая тачку, в которой он возил на станцию свиней. Однако в данном случае речь шла о престиже нации: ведь немцы должны были найти новую звезду, а затем и целое новое созвездие, чтобы в конце концов все звездное небо принадлежало исключительно немцам. Вот потому-то и вычислял Вольфганг Хюбер безоблачными ночами расстояние до неизвестной звезды, которую нельзя было обнаружить даже самым совершенным телескопом. Трудился он на этом поприще вот уже шесть лет, но до сей поры не мог сказать себе: «Неизвестная звезда, которую невозможно обнаружить, которую я намереваюсь открыть и которую нельзя разглядеть в телескопы, отстоит на расстоянии столько и столько икс миллиардов километров от самой удаленной орбиты, открытой французскими астрономами, и столько-то миллиардов километров от самой далекой звезды, открытой американцами, шведами и англичанами».

И вот, измеривши наконец неизвестную ось вращения неизвестной звезды, ему удалось, приняв за точку отсчета неизвестное икс, в течение последующих двух лет вычислить, что существует позади самых удаленных созвездий и самой удаленной звезды звезда, которую никто не видит, и находится она на расстоянии 687 миллиардов миллиардов 999,993 миллиона 846 823 тысячи километров 500 метров 82 сантиметра 1,348 956 732 246 миллиметра от самой удаленной известной звезды.

После этого все немецкие газеты запестрели сообщениями об успехе известного немецкого ученого Вольфганга Хюбера, которому в результате многолетних научных изысканий, наблюдений, расчетов и измерений удалось открыть на самом краю бесконечной вселенной неизвестную звезду, о существовании которой никто и не предполагал.

За полгода профессор Хюбер точно вычислил период ее обращения, наклонение экватора и эклиптику, а также сжатие этой звезды, которую он назвал «Светилом имени императора Вильгельма II». Имя Вильгельма II пронеслось из конца в конец безбрежной вселенной, и немецкие учителя втолковывали детям на уроках физической географии: «Вселенная начинается с земного шара, где правит император Вильгельм II, и кончается невидимым светилом, названным именем императора Вильгельма II, до которого, хоть и находится оно на краю вселенной, доносится многоголосая немецкая речь и гимны. Да, милые дети: «Deutschland über alles»[96].

И профессора Хюбера чествовали как самого славного германского первооткрывателя.

Однако и у него, к сожалению, оказались недоброжелатели. К таковым следует отнести некоего ученого, имевшее го, правда, одну слабость — он страстно жаждал славы, пусть даже для этого ему придется сорвать лавровый венок с головы своего коллеги. Честолюбие его было столь велико, что, объявившись в один прекрасный день в Гейдельбергской обсерватории, он с важным видом начал спор с руководителем сего научного учреждения относительно правильности расчетов профессора Хюбера.

Признавая бесспорность самого факта существования «Светила имени императора Вильгельма II», поскольку Германия, несомненно, имеет все права на вселенную, он, тем не менее, был абсолютно убежден, что в расчеты профессора Хюбера вкралась ошибка, составляющая доли миллиметра.

Астрономам прекрасно известно, чем чревато данное заявление. Ученый, опубликовавший неточные расчеты — пусть даже речь идет о миллионных долях миллиметра, — если он порядочный человек, непременно пустит себе пулю в лоб, как только выяснится, что ошибка действительно допущена, в противном случае жизнь его превратится в кошмар и даже лудильщик не поздоровается с ним на улице.

И, следовательно, если господин ученый Отто Динглс утверждал, что его коллега господин Хюбер ошибся в расчетах, то, вероятно, у него имелись на то веские доказательства.

Так оно и оказалось, поскольку полгода спустя он опубликовал статью под названием «Немного правды об астрономии». В ней содержались весьма бестактные нападки на научную добросовестность Вольфганга Хюбера.

Цитируем дословно: «Профессор Вольфганг Хюбер ошибся на 0,000 032 051 098 12 миллиметра, что и будет нами доказано расчетами в са-

мом ближайшем будущем. Весьма прискорбно перепроверять вычисления нашего многоуважаемого коллеги, однако научная достоверность значит для меня больше, чем чувство коллегиальности».

Эта грубая выходка вызвала среди астрономов большой переполох. Ученый муж Вольфганг Хюбер без промедления отбыл в Гейдельберг, дабы иметь возможность тут же на месте получить от своего коллеги господина Отто Дингlsa доказательства относительно его заключения о том, что ошибка в 0,000 032 051 098 12 миллиметра действительно имела место.

Конфликты подобного рода немцы чаще всего предпочитают разрешать в трактире за кружкой пива.

Вольфганг Хюбер и Отто Дингls, явно взволнованные, проследовали в трактир «Zur Stadt Dresden»[97], где, просидев за пивом битых два часа, не обменялись и словом. Первым нарушил молчание Отто Дингls:

— Уважаемый коллега, не желаете ли отведать еще что-нибудь? Уверяю вас, здесь превосходная кухня. Не заказать ли вам бифштекс?

— Извольте, коллега!

Когда в полном молчании они покончили с едой, господин Хюбер произнес:

— С вашего позволения, я расплачусь, а затем предлагаю перейти в кафе и обсудить наш вопрос.

— Извольте, коллега!

— В таком случае я подсчитаю. Мы заказывали два бифштекса по 1,30 марки. 1,30 помножить на два будет 3,60, и еще каждому пять кружек пива по 28 пфеннигов, двадцать восемь на пять будет — пятью восемь = тридцать пять и пятью два = десять, не правда ли, коллега, и еще три — будет тринадцать, стало быть, все правильно: двадцать восемь пфеннигов на пять будет 1 марка 35 пфеннигов. Пересчитайте, пожалуйста.

Господин Дингls взял карандаш и написал: два бифштекса по 1,30 марки = дважды 0 будет 0, дважды три будет пять, дважды один = 2. Выходит 2,50 марки, а вовсе не 3,60, господин коллега, а затем пять раз пиво по 28 пфеннигов будет на 5, т. е. пятью восемь = 48, пятью два = 10. Итого 10 марок 48 пфеннигов...

Склонившись над бумагой, они продолжали путаться в цифрах, пока, вконец измаявшись, не подозревали официанта, который все подсчитал, и под восклицание господина Вольфганга Хюбера: «А вот я вам сейчас докажу, что вы сами ошибаетесь в расчетах моей звезды на те самые 0,000 032 051 098 12 миллиметра», они удалились в кафе.

А официант проводил господ ученых улыбкой, поскольку изловчился приплюсовать к их небольшому расходу две лишние марки.

## Когда сносили старые стены

### I

Собираясь снести часть старой городской стены, чтобы на этом месте построить новую окружную больницу, муниципалитет привлек к работе пятнадцать арестантов. Поблизости от стены, в старом городском рву, лежали в траве трое безработных и недовольно поглядывали на преступников, освещенных ярким солнцем. Кирки взлетали в загорелых руках и с размаху яростно вонзались в старинную крепостную кладку. В этой разрушительной деятельности таилась какая-то неосознанная жажда мести. В холщовой арестантской одежде, запыленной и грязной, заключенные выполняли работу за жалкую поденную плату 12 геллеров в день, в то время как город вносил в казначейство 1 крону 20 геллеров за каждого из них. Таким образом, государство зарабатывало на этих пятнадцати а рестартах ежедневно 16 крой 20 геллеров. День за днем, час за часом наказанные преступники работали на совесть, лишь бы побыть на свежем воздухе, которого здесь было вдоволь, несмотря на тучи пыли, поднимавшейся от древней каменной кладки, когда она крошилась и рассыпалась.

Рядом за стеной благоухал сад, там играли и пели дети. Когда арестанты в десять часов утра на несколько минут делали перерыв, чтобы съесть кусок хлеба и запить его водой, к месту работ доносился шум фонтанов, шепот свежей листвы, человеческие голоса и веселые детские восклицания.

Через несколько минут надзиратель закуривал новую сигару и приказывал продолжать работу разрушения. И снова дробились камни, бешеные удары по твердой кладке громко раздавались в городском рву.

Потом часы отбивали полдень, и тогда арестанты с инструментами на плечах шли через весь город обедать в тюрьму окружного суда. Они двигались под наблюдением надзирателя по двое в ряд, точно соблюдая расстояние в три шага между парами. В половине второго они возвращались на Свое место и до восьми часов вечера неустанно долбили кирками старые стены.

В восемь часов заключенные уходили в тюрьму — ужинать. Наступал отдых и развлечения, состоявшие из будничных разговоров и проклятий судьбе. Кто-нибудь рассказывал, как и почему он попал в окружной суд. Ведь большинство арестантов было послано сюда из переполненной тюрьмы земского верховного суда. Потом арестанты засыпали один за другим во всех пяти тюремных камерах.

Перед сном каждому хотелось выкурить сигаретку или хотя бы пожевать щепотку табаку. Такого блаженства они не испытывали уже по нескольку месяцев.

В шесть часов утра они вставали, чтобы в половине седьмого быть у старых стен. Часов в восемь сюда ежедневно прибывал городской архитектор. Поговорив немного с надзирателем, он всякий раз утверждал, что таких прочных стен нет нигде во всей Чехии.

В девятом часу проходил на службу городской голова. Чтобы не попасть в ратушу слишком рано, он направлялся через сад. Городской голова давал надзирателю денег на две пачки самого плохого табаку для арестантов. Надзиратель же, строго соблюдая правила, запрещающие курить заключенным, покупал на эти деньги короткие сигары для себя. Это был человек совестливый,

утверждавший, что эти деньги жгут ему пальцы, и таким образом он избавлялся от них.

После десяти часов всего приятнее было в городском рву. По дну его тонкой струйкой бежал почти пересохший ручеек, на зеленый склон отбрасывали свою тень деревья с высокого земляного вала.

Там росла густая трава. В нее ложился в десять часов тюремный надзиратель, закуривал сигару и тупо смотрел на белоснежные облачка, плывущие по ветру в синеве неба.

Резкие удары кирок по стене, грохот камней, сотрясение почвы, когда рушились и катились большие глыбы, — вся эта оживленная работа убаюкивала надзирателя, этого совестливого человека, и его необоримо тянуло ко сну.

Он бросал еще один взгляд на арестантов и пересчитывал их с угасающим сознанием выполненного долга. Заключение было пятнадцать. Он удовлетворялся тем, что слышит грохот камней, шорох падающего щебня, удары по стенам и на часок засыпал с сигарой во рту.

Потом он встревоженно вскакивал, торопливо перебежал несколько метров через ров и снова стоял позади арестантов, с официальной миной пересчитывая фигуры в грязной холщовой одежде.

Так шел день за днем. Горожане уже перестали ходить сюда, как в первое время, когда пятнадцать человек арестантов, ломающих древние стены, последний памятник старины некогда прославленного города, казались первоклассным новым зрелищем, на которое стоит поглядеть, чтобы впоследствии можно было обо всем этом рассказать.

Здесь было чересчур много пыли, которая разносилась вокруг. И в конце концов рождалось какое-то тоскливое, тяжелое чувство, приводившее в расстройстве горожан, когда они слышали произнесенную украдкой робкую просьбу:

— Ваша милость, не дадите ли вы мне сигарету?

Зрители смущенно отходили, провожаемые доверчивыми взглядами узников, и больше не появлялись в этих местах.

И все же у арестантов была своя постоянная публика — трое безработных из города по фамилии Корчак, Грудок и Страба, которых муниципалитет не принял на работу, поскольку нашлись дешевые рабочие руки арестантов.

Уборка урожая еще не начиналась, и эти трое не могли наняться к горожанам, у которых были земельные участки в предместьях. Работы нигде не было, и безработные ожидали, что муниципалитет наймет их сносить стены. Но когда стены начали ломать, Корчаку и его товарищам отказали на том основании, что рабочей силы и без них достаточно. Разозленные, они отправились взглянуть на рабочих.

И с тех пор они с ненавистью глядели на арестантов, из-за которых не получили работы.

Лежа в траве, они громко кричали им и нарочно разговаривали о воровстве, преступниках и дармоедах. В бессильной злобе оборванцы насмеялись над заключенными, осыпали их ругательствами.

## II

Среди арестантов, ломавших старинные стены, был молодой человек по фамилии Громек. Он работал здесь уже две недели. Его отправили сюда прямо из тюрьмы земского уголовного суда за то, что он не стерпел каких-то издева-

тельств старшего надзирателя отделения.

Этот парень из удалства разбил камнем средь бела дня два фарфоровых изолятора на телеграфном столбе. Громека увидел жандарм, оказавшийся в это время поблизости, и молодой человек, как и следовало ожидать, был арестован. При аресте он оторвал пуговицу на мундире жандарма. Такое публичное сопротивление представителям власти строго наказывается. Но до тех пор поведение Громека было безупречно, и потому он получил лишь четыре месяца тюремного заключения. Он, однако, не стерпел издевательств надзирателя и попал за это в список тех, кого, заковав в кандалы, под конвоем жандарма отправляют по этапу в окружную тюрьму.

Громек замечал злобные взгляды, слышал оскорбления по поводу своих оков. Он работал здесь в холщовой арестантской одежде под палящими лучами солнца, работал, как машина, целых две недели, сперва совершенно равнодушный ко всему окружающему, но вдруг ему пришло в голову сбежать.

Он убежит куда угодно. Он не думал о доме. Ему только страстно хотелось хоть на мгновение, на короткий срок избавиться от этой постылой, однообразной жизни. Он побежит далеко, через поле, через леса, до березовой рощицы, что видна отсюда со стен, а потом еще дальше, туда, где горизонт замыкает темная кромка холмов, и затем все дальше и дальше, без всякой цели.

Он убежит далеко. Надзиратель уснет перед обедом в траве, а он, Громек, пристроится к тем, кто работает с краю, отойдет в сторону и побежит. Завтра же он так и сделает.

На рассвете в камере как раз зашел разговор о бессмысленности побега. На тебе ведь арестантская одежда, и ты никуда в ней не скроешься, тебя сразу же узнают, а если ты вытерпишь и отсидишь в тюрьме свой срок, то рано или поздно выйдешь на волю, и тогда эти несколько недель отсидки покажутся пустяком. Тебя снова доставят в земский уголовный суд, снимут оковы с твоих рук и вернут обычную одежду.

Громек ничего не сказал на это. «Какие они глупые! — думал он. — Не хотят воспользоваться такой возможностью бежать! Ну и пусть довольствуются здешней тюремной похлебкой!»

Арестанты шли к стенам. Громек весело насвистывал марш.

— Эй, кто там свистит? — рявкнул надзиратель. — Замолчать! Идти как положено — на три шага друг от друга!

Было отличное утро, когда птицы поют наперебой и под солнечными лучами начинают благоухать цветы.

Грубый окрик надзирателя загремел над садом, через который шли арестанты. И Громеку еще ярче представилась вся заманчивость побега.

Арестанты сошли к подножию стен, подталкивая друг друга и подсмеиваясь над надзирателем, который с трудом спускался за ними, потому что сапог жал ему ногу.

После этого они стали на свои места, поплевали на ладони и дружно, как один, вонзили кирки в затвердевшую кладку. Так начинался один из нудных, бесконечных дней, который не станет лучше ни от яркого солнца на синем небе, ни от аромата цветов, ни от пения птиц.

Громек разбивал стену с самого края, поглядывая на городской ров, обрамленный зеленью. Не так давно их вели там, когда в садах был какой-то праздник. Он выйдет низом на дорогу, которая ведет к тем холмам, где видна бере-

зовая рощица — нежные пятна зелени на белых столбиках.

Он побежит туда, а потом все дальше и дальше. Он еще подумал, будут ли его ловить остальные арестанты. Не прерывая работы, он завел разговор с одним из заключенных, рассказал, как слышал от опытного человека в окружном уголовном суде, что если арестанты видят бегство своего товарища и не ловят его, то их сажают в одиночку.

Собеседник лишь махнул рукой.

— С ума он спятил, — сказал арестант Громеку, — никакой арестант другого ловить не станет. Если какой дурак и устроит побег, так его все равно поймут. А потом увидишь, как здорово ему влетит. Надзиратели накинут на него одеяло и изобьют пойманного ключами, надают пинков, зуботычин, он попадет в темный карцер без постели, его заставят как следует попоститься, ноги закуют в кандалы. Но арестант арестанта ловить ни за что не станет.

Попробуешь беглого ловить, а тут, пожалуй, подумают еще, что ты заодно с ним, тоже хочешь бежать, а если, скажем, наскочишь случайно на жандарма, так тот крикнет: «Стой!» — да и выстрелит в того, кто ловит. Так-то! Кто хочет сбежать, пусть бежит, но его потом изобьют до бесчувствия, вот и все! Надзирателю отвечать придется, и он будет мстить. А уж если такого беглого посадят во второй раз, ему не больно-то станут верить, и, будь он хоть ангел небесный, на него ополчится весь суд.

Громек ничего не ответил, удовлетворенный тем, что другие арестанты ловить его не станут. В той стороне, куда он побежит, ходит мало народу, а потом все будет по-другому.

Уже прошел городской голова в ратушу. Через час, когда в замке громко пробьет десять, после перерыва, по ту сторону рва спокойно уснет надзиратель, развалившись в траве, и дымок угасающей сигары будет куриться над спящим. И тогда он, Громек, сбежит.

Время тянулось бесконечно медленно. Наконец надзиратель отправился на противоположную сторону рва и разлегся в траве, озабоченно пересчитав арестантов.

Вскоре после десяти Громек отшвырнул кирку и побежал по дну рва в сторону дороги.

Арестанты вскрикнули.

Надзиратель спокойно спал, поскольку не пришло еще время ему проснуться.

Громек был уже на дороге. Он тревожно оглянулся. Пока никто его не преследовал. Он свернул в сторону и помчался без шапки, упавшей с головы, в гору, к березовой роще.

И тут на поворот дороги выскочили из кустов три фигуры. Это были обзленные безработные Корчак, Грудокол и Страба, голодные, оборванные.

Как всегда, они лежали в траве напротив стены и смотрели на ненавистных арестантов. Они видели все и теперь в ярости продирались через кусты, чтобы выйти беглецу наперерез.

— Стой, негодяй! — крикнул Страба.

Громек опрометью мчался вперед. Кровь прилиwała к голове. Не замечая препятствий, он бежал уже не по дороге, а напрямик через поле, как испуганный заяц.

Грудокол схватил камень и бросил в Громека, но промахнулся. На бегу без-

работные набрали на дороге камней и перескочили через канаву в поле. Тяжелые ботинки Громека вязли в мягкой пашне, а босая тройка нагоняла его.

Потом в Громека бросил камень Корчак. Камень разбил затылок Громеку. Шатаясь, он сделал несколько шагов и упал ничком в ячмень.

Грудокол и Страба кинулись на беглеца со звериной яростью, внезапно вспыхнувшей в них, и стали бить его острыми камнями. Так побивают камнями кошку.

Уже бежал народ, надзиратель ревел во всю глотку: «Держите его!» — размахивая обнаженной шашкой.

И пока толпа добежала, тройца, сама того не ведая, убила Громека.

## Способ господина полицмейстера

Друг против друга сидели двое, всем своим видом обнаруживая разделяющую их бездну. За столом — надворный советник и полицмейстер того города, где совершались описываемые события, а в кресле у стола — плохо одетый мужчина с зачесанными за уши волосами и солодкой от сигары за правым ухом. На коленях у него лежала потертая кепка. Он медленно, веско говорил:

— Поставим точки над «и». Мне известно, господин полицмейстер, что, узнав о моем желании видеть вас и предложить вам свои услуги, вы с большой неохотой согласились принять меня. Вы считали, что у вас и без того довольно сыщиков, изучивших Панкрац, и было бы бесполезно толковать об их успехах... Короче говоря, это совершенно никчемный народ. Мысль, конечно, правильная, но именно поэтому вы сделали бы ошибку, не приняв меня. Знаете, какой репутацией пользуется здешняя полиция? Об этом всюду идут толки: ее поведение объясняют то простой нерасторопностью, то наличием у нее тайного сочувствия к преступникам.

— Не может быть! — воскликнул полицмейстер.

— Факт, — возразил Ян Поберта. — Но не в этом дело. Речь идет о другом. Мне понятно ваше отчаяние. Происходит убийство днем — полиция ничего не обнаруживает, происходит оно ночью — опять ничего. Убивают мужчину — убийц след простыл, убита женщина — виновных нет. Ну, куда это годится?

— Вы забываете о последнем случае, — робко возразил полицмейстер. — Мы нашли убийц, установили их личность, их наружность, место, куда они уехали, имеем их снимки — словом, нам известно все. Только их бегству тот час после совершения злодеяния мы помешать не могли.

— Да, господин полицмейстер, это правда, — сказал Поберта. — Но вы забываете, что одного из убийц черт занес в Прагу, и получилось опять плохо, так как негодяй доказал свое алиби. И вот, видя все это, я подумал, что благородство украшает человека. Заплатим добром за зло, сказал я себе: спасем полицию.

— Вы хотите спасти полицию? — воскликнул полицмейстер.

— Ну да, — скромно и солидно ответил Ян Поберта, — Нас собралось несколько известных старых практиков, и мы решили выручить здешнюю полицию, предоставив ей кое-какие факты, способные заткнуть рот недоброжелателям и насмешникам.

— Вы? — повторил свой вопрос изумленный полицмейстер.

— Да, да. Я и мои товарищи готовы помочь полиции выйти из неловкого

положения. Конечно, не даром, но цена умеренная, а способ замечательный.

— В чем же он заключается? — осведомился полицмейстер.

— Пожалуйста. О каждом сенсационном преступлении вы немедленно даете знать мне. В свою очередь, я тотчас сообщаю вам, куда направить выделенного для данного случая члена нашей организации. Вы выдаете ему паспорт, проездные и некоторую сумму на первое время, пока он не устроится на чужбине. Все это я передаю ему, а вам вручаю предметы, которые послужат уликами. Кроме того, поставляю свидетелей, подтверждающих его присутствие в соответствующий момент на месте преступления и так далее. После этого вы сообщаете печати и населению, что напали на след. И как только этот человек окажется за границей, объявляете, что преступник — не кто другой, как он. Даете приказ об аресте и так далее. Так как у него будет паспорт на другое имя, задержать его не удастся, но вам будет принадлежать честь обнаружения убийцы. Так уже делалось. Но самое главное то, что этот человек больше никогда не вернется и полиция не опозорится публично, как получилось в прошлый раз.

— Что же, — промолвил полицмейстер. — Это неплохо. Я подумаю.

— Когда мне прийти за ответом?

— Жду вас завтра в три.

Когда на другой день Ян Поберта опять пришел к полицмейстеру, они быстро договорились обо всем. И полицмейстер вздохнул свободно. Конец позору и скандалам! А газеты пускай лопнут с досады...

Через две недели произошло убийство из-за угла. Полиция и на этот раз не сумела задержать убийцу, но установила, кто совершил преступление. Она опубликовала описание примет, фотоснимки, назначила вознаграждение тем, кто обнаружит местопребывание преступников. Правда, все это она сделала, когда последние были уже далеко за границей. Население все же успокоилось, так как уже некого было бояться. Однако не прошло и месяца, как было совершено убийство с целью ограбления. Бандиты были опять опознаны, изобличены, фотографии опубликованы, было объявлено вознаграждение тем, кто их обнаружит, — словом, все как в первый раз.

Но видно, тут сам черт решил подставить полицмейстеру ножку. Через некоторое время приходит к нему какой-то неизвестный и — ни много ни мало — заявляет, что явился с повинной. При расследовании убийства с ограблением полиция пошла, мол, по ложному следу.

— Послушайте, мой милый, — с раздражением ответил полицмейстер. — Не говорите глупостей. Полиции в точности известно, кем совершено это убийство. Все улики налицо и поразительно совпадают.

— Сколько бы их ни было и как бы они ни совпадали, полиция идет по неправильному пути.

— Это почему? — вскипел полицмейстер.

— Да потому, что убийца — я и пришел к вам с повинной.

Услышав это, полицмейстер чуть не отдал богу душу. Но тотчас овладел собой, вызвал чиновника и велел ему снять показания с преступника. А сам скорей послал за полицейским врачом.

— У меня тут душевнобольной, доктор!

— Душевнобольной?

— Ну да, человек, страдающий навязчивой идеей, будто не кто другой, как

он, совершил последнее убийство с целью ограбления;

— А этого не может быть?

— Абсолютно исключено. Личность преступника установлена. Это не он.

— Значит, перед нами тяжелый случай психоза.

Только теперь, объявив сознавшегося убийцу сумасшедшим, полицмейстер вздохнул свободно. Опасность миновала!

Вскоре после этого было совершено преступление, о котором заговорил весь город: в одном банке произошла дерзкая кража; воры похитили не менее двухсот тысяч крон золотом и, кроме того, еще некоторую сумму мелкими банкнотами, общую стоимость которых в точности установить не удалось.

На этот раз полицмейстер оплатил организации Яна Поберты даже билет на экспресс, чтобы только поскорей получить возможность опубликовать сообщение, что преступники ему известны.

Повторилась старая история... Но главный сюрприз ждал полицмейстера впереди.

Через две недели он получил от Яна Поберты из Северной Африки письмо следующего содержания:

*«Многоуважаемый господин полицмейстер!*

*Как это ни грустно, нам надо расстаться. Надеюсь все же, что оставляю по себе добрую память, так как был полезен. Но в дальнейшем вам пришлось бы все время прибегать к помощи лжи, а это очень неприятно. Знаю, что первую возникшую опасность вы сумели отклонить, упрятав явившегося к вам с повинной действительного виновника в сумасшедший дом. Но при этом от пережитых волнений вы чуть не захворали. Я понял, что должен что-то для вас сделать. Сами того не зная, вы не погрешили против истины, опубликовав сообщение, что виновник нашумевшей кражи в банке я, Ян Поберта. Банкноты и золото я захватил с собой, но не хочу с вами расстаться, не поблагодарив за любезность, с которой вы способствовали моему бегству и оплатили проезд. Жаль, что наша коммерческая связь на этом обрывается, но полагаю — вам будет нетрудно установить новую, если вы будете к моим коллегам столь же предупредительны, как ко мне.*

*С приветом*

*Ян Поберта».*

Прочитав письмо, надворный советник упал без чувств.

## Роман пана Хохолки, сборщика пошлины

Сборщик продовольственной пошлины пан Хохолка был чрезвычайно добросовестным человеком. При отправлении служебных обязанностей он не знал снисхождения ни к кому, и, когда приводил в канцелярию особу, заподозренную в желании пронести беспошлинно какую-нибудь контрабанду, его голубые глаза вспыхивали от радостного сознания исполненного долга.

Ничто не могло ускользнуть от острого взгляда пана Хохолки. Трамвайных пассажиров он пронизывал столь подозрительным взглядом, что даже те, которые не пытались ничего провезти, краснели от смущения и сами себе начинали казаться негодьями.

Он, словно тигр, рыскал взором под скамьями. Обнаружив сверток, который помертвевший от ужаса пассажир тщетно пытался прикрыть ногой, Хохолка торжествующе извлекал его и, уставившись на виновного, изрекал:

— Ага, а это что такое?

Эти слова произносились столь грозно, что попавшиеся признавались, перечисляя продукты, подлежащие обложению пошлиной. Если же они и пытались отвертеться, ссылаясь на то, что везут белье, то дрожь в голосе выдавала их с головой.

Пан Хохолка, приосанившись, вел нарушителя на контрольный пункт, преисполненный такой гордости, словно задержал бандита. Он был неумолим, даже когда дамочки жаловались на чрезмерное усердие в ощупывании их одежды.

— К чистым грязь не пристанет, — говаривал этот доблестный человек, — а коли ты хочешь гуся пронести, то пеняй на себя!

Не внимая слезам, он водил на пункт служанок, которым хозяйки наказывали, минуя заградительную черту, пронести те или иные продукты.

Хохолка был неуязвим для деланных улыбочек задержанных дам, когда они, подозрительно хихикая, шептали, что ничего особенного у них в сумочке нет.

Он энергично открывал замок и, окинув взглядом содержимое, погружал в сумку руку, победоносно возглашая свое грозное:

«Ага, а это что такое?»

И дрожащая жертва вынуждена была следовать за ним на пункт, стены которого слышали уже столько воплей нарушителей и видали такое множество рыдающих женщин всех сословий! Ведь именно женщины отличаются особой изощренностью в стремлении обойти закон.

— Женщины — это змеи, — изрекал пан Хохолка, — даже самая приличная на первый взгляд женщина стремится надуть акцизных; вид у нее ангельский, но под юбкой привязаны куропатки.

Так с течением времени Хохолка стал совершеннейшим женоненавистником. Женские чары не действовали на него. Пышный бюст вызывал у него предположение, что под блузкой таятся цыплята, а полные бедра напоминали об одной прелестнице, которая пыталась пронести под юбкой пять килограммов мяса и килограмм топленого сала.

— Я только обнял ее за талию, — рассказывал пан Хохолка, — и сразу понял, в чем дело. Эта дрянь ревела, как корова, когда старая Фоускова раздевала ее за ширмой. Она оказалась женою какого-то учителя; заплатила двадцать

крон штрафа, а пышных форм у нее как не бывало.

И все-таки Хохолка женился. Однажды, стоя на посту, он заметил молоденькую румяную девушку с большой сумкой в руке; она переходила улицу, направляясь к нему. Прежде чем он успел вымолвить: «Что вы несете?» — девушка взглянула на него черными глазами и спросила:

— Скажите, пожалуйста, а где платят пошлину? У меня заяц и немного мяса.

Эти простые искренние слова растрогали пана Хохолку. Он не помнил, чтобы хоть одно существо женского пола добровольно заявило, что несет нечто, подлежащее обложению пошлиной.

— Подойдите сюда, к окошку барышня, — сказал он с удивительной нежностью и целый день потом вспоминал эту прямодушную девушку — столь необыкновенное явление среди женщин.

Однако ночью, когда он проснулся, его охватило чувство давнишнего недоверия к женскому полу. Какая женщина не лелеет мечту провести акцизных! Наверное, и эта лишь хочет внушить ему, что она не обманет управление пошлин на продовольствие, хочет усыпить его бдительность, а потом подведет, как это в обычае у подлого женского сословия.

Но на следующий день, лишь только он взглянул на открытое личико девушки и услышал простодушные слова, что она несет кило слив и не знает, нужно ли за это платить, — все его недоверие исчезло.

Девушка открыла кошелку точно так же, как и свое доброе сердце, и он, увидев там пригоршню слив, не удержался и сказал:

— За это ничего не надо платить, милая барышня.

Тут он, поминутно отбегая к прохожим, несущим какие-нибудь свертки, принялся объяснять девушке, за какое количество каких продуктов полагается платить пошлину и как строго карается жульничество.

— Лгать грешно, барышня, — говорил он многозначительно, — но самый страшный грех — лгать нам, сборщикам пошлины!

Весь день он был весел и радовался, что сумел все так хорошо растолковать этой красивой деревенской девушке и предостеречь ее на будущее от соблазна пронести что-нибудь недозволенное, обманув официальные учреждения. У Хохолки были теперь счастливые минуты, когда он видел ее и говорил с ней. Он понял, что девушка обладает редкостным характером, ибо она всегда сразу заявляла, что именно несет и в каком количестве. Он убедился, что она остается правдивой даже в том случае, когда несет вино в бутылке без этикетки и может смело выдавать его за уксус.

Он уже стал верить ей на слово, но она все-таки всегда совала ему под нос все, что проносила через запретную черту. Чудесная, порядочная девушка, единственная честная представительница женского пола под солнцем! Полгода ликовала душа пана Хохолки, открывшего женскую честность. Потом, после воскресных прогулок с девушкой, во время которых он окончательно убедился, что она не терпит лжи, трепещет перед законом, а к нему относится почитательно, Хохолка женился.

На свадьбе он познакомился с ее отцом и матерью; это были бесхитростные деревенские люди, они уехали сразу же после свадьбы. На прощанье на перроне вокзала теща посулилась приехать в Прагу после жатвы.

Прошло порядочно времени после уборки урожая. Однажды Хохолка стоял

на посту и орлиным оком взирал на пешеходов, проходящих мимо него. Навстречу ему поспешала дебелая деревенская тетка в широких юбках, с кошелкой в руке. Это была его теща.

— Доброго здоровьичка, матушка, — сказал Хохолка, — с приездом в Прагу. А что вы несете?

— Да вот хлеба вам привезла из своей пшеницы, — ответила теща, открывая кошелку, — дар господень.

Пан Хохолка любезно распрощался с ней и с минуту смотрел ей вслед.

Вдруг он побледнел, страшная мысль мелькнула у него в голове. Что-то слишком уж широкие юбки у тещи!

В несколько прыжков он настиг ее.

— Ну-ка, разрешите, матушка, — выдавил он из себя и принялся похлопывать ее по юбкам.

— Иисус-Мария! — воскликнул он, ощупывая тещу. — Один гусь, второй гусь! Пройдемте, — заявил он строго и потащил трясущуюся женщину за руку на пункт, где толкнул ее за ширмы и крикнул старой Фоусковой: — А ну разденьте эту деревенскую ведьму!

Это говорил Брут!

Потом, повернувшись к теще, он воскликнул плачущим голосом:

— Что вы со мной сделали, матушка?

Это говорил уже несчастный зять.

И теща, рыдая, в то время как вместе с гусями падали ее нижние юбки отвечала:

— Это мне Маринка написала, чтобы я постаралась как-нибудь переправить их через ваш акциз...

— Маринка? — воскликнул несчастный Хохолка. — Сегодня же вон из дому!

И неумолимый Хохолка, утративший в мгновение ока доверие к жене, сдержал свое слово.

Он выгнал изменницу из дому и теперь еще придирчивей ощупывает мантильки барынек и служанок, что проходят мимо его поста, и грозно — еще грознее прежнего — гремит в каждом трамвае:

— Есть у вас что-либо, подлежащее пошлине?

## Сватовство в нашей семье

### Из записок примерного мальчика

Ну, и намаялись мы с нашей Лидкой, со старшей, потому что она уже сколько раз на всю ночь уезжала с мужчинами, которые просили маму отпустить ее с ними за город погулять. Как-то пришел пан Сыроватко, чиновник, очень хороший человек, честный — и первым делом к маме да к папе: уж очень просил разрешить Лидке поехать с ним за город. Сыроватко все сморкался и говорил, что он очень порядочный и характер у него прекрасный. Мама сказала:

— Ладно, пусть прогуляется девочка, но чтоб в восемь была дома, два раза ей ужин греть не буду, и вообще позже приходит неприлично, разговоров потом не оберешься.

Пан Сыроватко сразу засморкался и маме в ответ: он-де честный человек, а не какой-нибудь там подлец. Папа сказал:

— Подлец не подлец, а обратно привезите в целости и сохранности, ох, не нравится мне все это!

Только делать нечего, мама что ни скажет — мы с папой сиди и молчи, даже когда мы правы, а она околесицу несет.

В общем, взял, пан Сыроватко Лидку за город. Мама ее перекрестила, а пан Сыроватко сунул мне пятак — вроде как за то, что своего добился.

Времени было уже полдевятого, а о Лидке ни слуху ни духу, в десять подъезд заперли, потом одиннадцать пробило. Мама плакала, а папа съел Лидкин ужин и начал сердито ходить по комнате и кричать, что привлечет его, пана Сыроватко, к ответственности и утром пойдет на него заявит. Мама причитала, что с ними, наверное, что-нибудь случилось. Может, Лидка ногу сломала или шею себе свернула, или утонули оба, а то еще вдруг Лидка потеряла самое дорогое, что ей от матери досталось.

Я удивился, что она такого могла потерять, и получил от папы затрещину, а мама велела мне молиться. Я сказал, что ангел-хранитель Лидку не оставит, я сам рае видел картинку, как ангелочек переводит по бревну над пропастью девочку с цветочками в корзинке.

Но папа, ворчал, что теперь у Лидки главный ангел-хранитель — это пан Сыроватко, а будь лично он девушкой, не хотел бы пана Сыроватко себе в провожатые, да еще ночью.

Было двенадцать, и мама называла Лидку уже не «Лидушка моя золотая», а «потаскуха эдакая» и «беспутница», а папа кричал:

— Это же надо, ухажеры пошли! — Дочь за город отпустить и то боязно!

Мы не спали до трех ночи. В два часа в шкафу что-то треснуло, мама перекрестилась и громко сказала:

— Видно, знак это. Ну ладно, попляшет она у меня!

Кто больше всех обрадовался, так это младшая сестра Маржена, один раз ей самой как следует всыпали, когда она заявила домой в девять вечера вместо семи. В три часа папа прикончил бутылку рома и сказал:

— Чему быть — того не миновать, молоко пролито, я ему утром все ноги переломаю и сам повешусь, а вас всех прибью, — и захрапел прямо за столом, а мама поскорей лампу задула, чтобы дух ромовый от папы не загорелся. Мы

разошлись по кроватям и проспали до восьми часов. Вдруг в половине девятого распахивается дверь, врывается к нам пан Сыроватко и кричит:

— Не пугайтесь, барышня Лидушка домой, идти боится!

Папа сел на кровати, сплюнул и говорит:

— Возьми ее, прогулялись — давайте обратно, а сами катитесь.

Мама, в юбке исподней, на отца топнула, чтоб молчал и не выгораживал никого, да как взъелась на пана Сыроватко, а тот все сморкался и говорил, что он очень порядочный и просто их гроза застала, дождь проливной и жуткий град, мост сорвало, поезда не ходили — вот и пришлось остаться в гостинице на ночь. Маленькая такая гостиница, а дорогая — ужас!

Мама заплакала:

— Господи боже ты мой, гостиница! Ах вы, такой-сякой, ах вы, бесстыдник! Верните мне ее такой же невинной, какой брали.

Пан Сыроватко задрожал весь, даже заикаться стал, мол, Лидушка с дороги вся в грязи, а в гостинице ни коридорных не было, ни щетки.

Папа из постели рявкнул:

— Хорошенькая гостиница!

А мама все плакала и говорила о невинной белой лилии а пан Сыроватко знай долдонил:

— Милостивая сударыня, успокойтесь, я человек честный, я вообще в гостинице не ночевал.

Мама в него как вцепится, да как потряхнет, да как заголосит:

— Что ж я, не знаю, что ли, сама молодая была!

А пан Сыроватко сморкался, мял платок в руках и говорил, что во время прогулки их объединяла только дружеская привязанность, просто дружба, как между отцом и дочерью, например. Папа заорал на кровати: покорно, мол, благодарю за такую дружбу. Мама напустилась на папу, чтоб молчал, и снова взялась за пана Сыроватко, чтобы жениться на Лидушке поклялся перед невинным мальчиком, передо мной то есть, и подвела меня за ухо к пану Сыроватко, который начал краснеть и крик поднял, что не может на Лидушке жениться, потому что уже женат и разведен. Папа как услышал, так и взвился: подайте ему пистолет, а потом хоть на Панкрац. Мама держалась за юбку, будто в обморок собиралась бухнуться, пан Сыроватко жевал свой ус, и тут вбежала Лидушка, заляпанная грязью, заплаканная, упала на колени перед папиной кроватью и зарыдала, что с ней это в первый и последний раз, и что пан Сыроватко порядочный человек и ночевал в комнате рядом. А пан Сыроватко воскликнул:

— Вы совершенно правы, барышня, как же это я забыл. Ух, и клопов же там было, сударыня! Целую ручки! — не успел он толком договорить, схватил шляпу и выскочил в коридор.

Лидушка побежала было за ним, но мама ее схватила, начала трепать, как иногда папу, и сказала, что Лидка стерва, всю семью позорит, поди найди теперь жениха, куда там — на всю округу раззвонят.

В общем, Лидушка стала искать жениха и нашла одного, как папа сказал, филина. На самом деле никакой это был не филин, а шустрый такой господин, звали его Вавроушек. Пенсне носил на черном шнурке, а хлеб у нас всегда наворачивал — чуть не лопался, но старался всячески этого не выдать. Как-то приходит он к нам и просит в воскресенье с ним Лидушку за город отпустить.

Папа молчал, только насвистывал себе под нос, а мама посмотрела на Лидку с намеком и сказала, что Лидушка до прогулок за город небольшая охотница. Тут Лидушка сама запросилась: не была, говорит, еще в Ржичанах. пустили бы погулять разочек.

Мама целую речь о чести произнесла, пока пан Вавроушек не достал из кармана платок и не начал сморкаться, в точности как пан Сыроватко, и настаивать, что он ужасно порядочный человек и характер у него золотой. А я слышал, как папа пробурчал:

— Один серебро, другой — чистое золото, господи, помоги!

За город мы ее все-таки отпустили, хоть папа и сказал, что пан Вавроушек — глупый филин, только велели в половине девятого быть дома, а то опять придется ужин разогревать.

Вот уже девять, и половина одиннадцатого, мама места себе не находит и говорит:

— Не дай бог, как в прошлый раз!

В двенадцать часов папа взял расписание поездов, держит его в руке, а сам уже наизусть знает:

— Последний поезд из Ржичан в одиннадцать идет, еще полчаса ждем, а потом я брошусь из окна.

Он пошел на кухню, опять весь ром из бутылки выпил, а к часу ночи распелся:

*Получай дукат, девчонка, за твою шальную ночь!*

Мама его даже не одернула и все плакала, что Лидка плохо кончит. Папа лег в постель и тут же захрапел, мы по своим кроватям разбрелись, а мама, прежде чем уснуть, пригрозила:

— Ну, утром они у меня узнают!

И точно, в девять они благополучно вернулись. Филин вел Лидушку за руку:

— Милостивая сударыня, характер у меня золотой, и человек я порядочный. Разве я виноват, гроза началась, дождь проливной, гром гремит, молнии кругом и град жуткий, пришлось в гостинице остаться, но я вел себя честно: я на правой постели спал, а Лидушка — на левой.

Тут папа уже не стерпел, надоело ему молчать, приподнимается он на кровати и говорит:

— Уж не в той ли паршивой гостинице, где Лидка с паном Сыроватко ночевала?

Мама так и прыгнула на папу и стала его душить. Лидка у двери упала, а пан Вавроушек крикнул:

— Ничего себе семейка! — и за порог.

Лидка потом целых две недели ревела, никто с ней не разговаривал, только папа успокаивал:

— Я тебе сам жениха найду. — Искал как проклятый, пока один раз не вернулся домой пьяный в стельку и говорит: — Вот и жених нашелся. Ему хорошая хозяйка нужна, чтоб заботилась о нем, в деле помогала — он трактир свой думает открыть. — Глаза у папы при этом так и светились. — Очень хороший человек, в Прагу специально при ехал, я с ним сразу и договорился: завтра, в воскресенье, к нам приведу, отметим помолвку — чего тянуть-то! Пеки

давай каплуна, а я пропущу немножко для храбрости!

Привел он его, за стол сели и Лидку ждем, которая в соседней комнате новую прическу делала.

Вошла Лидка, жених глянул на нее, она — на него, она побледнела, он тоже схватил шляпу — и за дверь. Оказывается, это был официант из той самой гостиницы, где Лидка ночевала с паном Сыроватко и с паном Вавроушеком, когда их за городом заставлял жуткий град.

## Интервью со связанным офицером

Читателям наверняка известно, что недавно некий храбрый офицер подвергся в поезде нападению двух молодых людей, которые ограбили его и связали. Офицер, однако, проявил такое присутствие духа, что по прибытии в Прагу оставался в вагоне до тех пор, пока не убедился, что парочка эта смылась и ничего больше сделать ему не сможет. Естественно, меня как журналиста храбрый офицер весьма заинтересовал, тем более что о храбрости сейчас порассуждать любят многие, правда, как правило, трусы. А ведь стоит использовать любой случай побеседовать с достойными людьми, заслужившими право на внимание общества.

Вот почему я пошел брать интервью у связанного офицера.

(Девять строк изъято цензурой.)

— Что было бы со мной, поступи я неблагоразумно? Труп, чего тут рассуждать, холодный труп.

— Вы изволили тогда путешествовать в поезде, следующем из Лысой-на-Лабее?

— Да, помнится, именно на этом поезде.

— Вы были вооружены?

— Был. Как обычно, в кармане у меня лежал револьвер, правда, я вам показать его не могу, так как его у меня тоже украли, забрали. Хотели было отобрать и саблю, вот она, можете написать об этом, обыкновенная офицерская сабля. Они хотели забрать и саблю, но я ожег их таким взглядом, что они растерялись, до сих пор у меня перед глазами их растерянный вид. Бедняжки поняли, что он не обещает им ничего хорошего.

— А почему вы не закричали?

— Почему не кричал? Просто я сохранял абсолютное хладнокровие, к тому же у меня во рту был кляп. О, знали бы вы, чего им стоило затолкать его мне в рот! Вот бы вы посмеялись. Они, видать, вообразили, что я проглочу его, потому что разжали мне зубы моим же ножом и запихали мне в рот кляп и вели себя при этом так, будто делали это впервые.

— Вы не могли бы мне рассказать, как, собственно, все произошло?

— С удовольствием. Сейчас вы убедитесь, что значит быть хладнокровным и разбираться в стратегии. Я сидел в купе первого класса. И тут вошли два паренька, совсем еще дети, и один из этих ребят спросил, не к Высочанам ли мы сейчас подъезжаем. Я ему ответил: «Да, дитя мое». Тут тот, кто помоложе, подскочил ко мне, рука в кармане, и закричал: «Руки вверх или прощайся с жизнью!» Другой в это время сидел и весь трясся от страха. Думаете, тому, что помоложе, не было страшно? Он тоже дрожал. Да, забавно было на них смотреть, на этих мальчуганов, таких трусишек.

— И что же вы предприняли?

— Я поднял руки, но как же, поверьте мне, перепугались эти мальчишки! Тут уж было не до шуток. Их так трясло — знаете, я опасался, как бы они не свалились в обморок.

— Итак, вы предпочли поднять руки вверх?

— Да, я не хотел лишать их этой небольшой радости, но, придя в себя, увидел, что мальчишек продолжает трясти, один из них держал мой револьвер, но руки его дрожали, он, видно, боялся, что попадет в меня или в себя; как тут было не сжалиться над этим хлюпиком. Воину не положено испытывать сострадание к врагам отечества, но он может быть великодушным. Я так и сделал — проявил великодушие и благородство... Вы полагаете, я поступил неверно? Паренек этот даже не знал, как обращаться с револьвером, он лишь махал им у меня перед носом, разумеется, от страха, как бы не попасть в себя. Сморок производил удручающе жалкое впечатление, и я от этого потерял сознание. Когда же я вскоре очнулся, мальчишки связывали мне ноги. Это надо было видеть — прежде им, вероятно, приходилось связывать только телят, но не людей, и они думали, что, связав мне ноги, они сделают меня совершенно безвредным.

— А ваши руки?

— Я же говорил вам — я их поднял, уступая этим ребятишкам. Кстати, не могу не заметить, что по натуре своей я человек строгий и твердый, солдат до мозга костей, но детей очень люблю и люблю с ними играть.

— А почему вы не позвали на помощь?

— Я же говорил вам, что во рту у меня был кляп! Ох, вы бы посмеялись, если б видели, как потешно они выглядели, заталкивая его мне в рот.

— Простите, а что было потом?

— Спрашивайте меня о чем угодно, я опишу вам точно, как все происходило. Они мне связали ноги, а потом и руки, да, надо было видеть, какого это им стоило труда. Сил-то, понимаете, у малых ребят немного.

— И тогда они отобрали у вас и деньги?

— Да нет, деньги они отобрали еще раньше, похоже, сразу двадцати крон им прежде никогда и видеть не приходилось. И они тут же поделили их между собой.

— Я слышал, у вас были и часы?

— Да, часы они у меня тоже взяли, но тут же вернули по моей просьбе, когда я объяснил им, что часы — память об отце, отличившемся на войне против Италии в 1866 году. Славные, добрые ребята, они плакали вместе со мной. Это я еще был без кляпа.

— А потом что?

— Потом они привязали меня за ноги к вешалке, и младший сказал: «Всего вам доброго, пан офицер, и не сердитесь на нас, нам очень хотелось сходить в кино».

— А сигареты они у вас не взяли?

— Да вы что, как вы могли такое подумать — что бы малыши с ними делали? Вот и вся история.

— Позвольте еще спросить, а что за кляп засунули они вам в рот?

(Пять строк изъято цензурой.)

## Как уездный начальник пан Скршиванек боролся с дороговизной

Его императорского и королевского величества уездный начальник, пан Скршиванек, взволнованно расхаживал по своему кабинету. От него только что ушла депутация граждан, приходившая с просьбой принять срочные меры против чрезмерного роста цен на продукты питания. Пан Скршиванек отпустил их, пообещав сделать все необходимое, что в его силах.

Удивительно, что люди способны так волноваться из-за подорожания провизии.

Сам он ввиду дороговизны получил уже третью надбавку к жалованью и при обилии других неотложных забот ничуть не беспокоился о ценах на мясо, масло, сало, молоко, муку, хлеб, сахар, картофель и прочие продукты, необходимые для повседневного потребления.

Он взволнованно расхаживал по просторному кабинету, размышляя о том, что обещанное будет нелегко выполнить.

За обедом он поинтересовался у жены, сколько стоит рис для супа, сколько говядина и телятина, почем голуби и картошка. Жена позвала кухарку, и та обо всем доложила. Это стоит столько-то, это — столько-то.

Уездный начальник все тщательно записал на клочке бумажки, но после обеда машинально его скомкал и выбросил в ящик у печки, сам же отправился в кофейню перекинуться, как всегда, в картишки.

Там собралась вся их компания. Пан государственный советник и пан коммерческий советник, директор банка и полицмейстер.

Усевшись за стол с зеленым сукном, начали они, как обычно, играть в фербла. Полицмейстер предложил ввиду всеобщей дороговизны делать ставки не по десять, а по двадцать крэйцеров.

Уездный начальник проиграл 120 крон и пошел домой в довольно мрачном настроении.

«Вот и на картах отразилась дороговизна», — вздохнул он. (Впервые задев и его интересы.) И уездный начальник задумался, что предпринять против дороговизны.

Он ничего не придумал, полистав законы, тоже не нашел ничего, что могло б ему пригодиться, вечером позвал за ужином кухарку и стал расспрашивать ее, сколько стоит бифштекс, сколько стоит карп, почем яйца, и все это записал на листке бумажки.

А прежде чем лечь спать, он вызвал звонком кухарку и спросил, сколько стоит кофе, и ответ запечатлел на бумаге, которую положил на ночной столик. Лежа в кровати, он снова пересмотрел все эти цифры и ничего из ряда вон выходящего в них не нашел.

Вздыхнув из-за того, что они доставляют ему столько забот, он скомкал бумажку, бросил ее в угол и уснул.

Назавтра было воскресенье, и он всей семьей на целый день отправился в Розтоки. В Розтоках они пообедали. Расплачиваясь за обед, он порадовался, что ему не приходится беспокоиться о ценах, поскольку этот городок не в его уезде. И когда отдыхали в лесу, он радовался, что здесь его не достигнет никакая депутация.

Лишь когда вечерним поездом они вернулись домой, уездный начальник,

проходя мимо кухни, увидел кухарку и не удержался, чтобы не спросить:

— Скажите, а сколько стоит утка?

И сам не заметил, как оказался в кухне, пожалуй, второй раз с тех пор, как его назначили в этот уезд, и, разглядывая всевозможные полочки и разные пряности на них, стал спрашивать:

— Сколько стоит перец? А гвоздика? А шафран?

Кухарка ему отвечала, он впервые заметил, какие у нее румяные щечки, округлые бедра, красивые, пухлые губки и большие глаза, преданно смотревшие на него. Кухарка же продолжала:

— Перец, милостивый пан, стоит столько-то, гвоздика — столько-то, а шафран — столько-то.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два, милостивый пан.

Он пристально оглядел ее с головы до ног. «Совсем, что ли, ослеп, — подумал он, — такой клад не заметил». И принялся ходить по кухне, с явным волнением ткнул пальцем в мешочек с мукой и спросил:

— Сколько стоит мука? — Потом, подойдя к приоткрытой двери в чулан, приметил в нем горшок с повидлом и спросил: — А повидло? — Наконец присел и, весь дрожа от служебного рвения, сказал: — Покажите чулки!

Она показала ему свои ножки, маленькие, с округлыми крепкими икрами, и он небрежно уточнил:

— Сколько стоят чулки? — И опять взволнованно ходил по кухне, извергая вопросы: — Сколько стоят яблоки? А это сколько за килограмм?

И при этом наклонялся над ней, когда она нагибалась, чтобы вытащить банку с вареньем, на которую он указывал.

— Ладно, ладно, — говорил он погодя, заслышав шаги супруги и ощущая ее присутствие за дверью. Подойдя ближе к дверям, он громогласно произнес:

— А теперь скажите мне, сколько стоит килограмм говядины?

Покинув кухню и проходя мимо жены, он бросил ей:

— Да, спроси-ка еще, пожалуй, почему нынче телятина?

Ночью жену разбудило подозрительное шарканье, и когда потихоньку, со свечкой в руке, она отворила двери в переднюю, то увидела собственного супруга, стучавшегося в комнату кухарки.

Пан уездный начальник, оценив ситуацию, застучал еще сильнее и закричал:

— Так скажите мне еще, сколько стоит килограмм свинины?

## Печальная участь вокзальной миссии

Княжна Юлия была очень добродетельная, что немало значит при нынешней испорченности нравов. В восемнадцать лет, неиспорченная сердцем, она умела так говорить о проституции и борьбе с нею, словно княжне самой пришлось испытать все страдания падших женщин в домах с дурной репутацией. Ее мать, княгиня Больдерй, собрала вокруг себя цвет самых нравственных дам — дворянок и мещанок; и очень часто в присутствии невинной Юлии они обсуждали вопрос о том, как уберечь девушек от домов позора. В первую очередь речь шла о неопытных девушках, которые даже не подозревали, какие козни готовятся им в большом городе, и которые понятия не имели, что грозит им со стороны общества, собравшегося вокруг княгини Больдерй.

Дело в том, что жена коммерции советника Вальдштейна предложила, чтобы деревенских девушек еще на вокзале предупреждали об опасностях, которые подстерегают их в городе. Этим она сослужила плохую службу старой баронессе Рихтер. В час прибытия поезда из Табора баронесса отправилась на вокзал и, повстречав какую-то статную девушку, только что вышедшую из вагона, обратилась к ней со словами:

— Куда ты идешь, есть ли у тебя работа, деньги, есть ли родственники в Праге?

Девушка посмотрела на нее, как на сумасшедшую, а потом решительным тоном заявила:

— Отстань от меня, старая ведьма, а то я тебя так двину!..

Продолжения добрейшая баронесса не слышала, потому что упала в обморок. С тех пор она заикается.

Когда баронесса, заикаясь, доложила у княгини Вольдери о результатах своей миссии, госпожа Запп, та самая госпожа Запп, которая прославилась своей книгой для юных девиц о вреде и греховности танцев, предложила организовать на вокзалах охранную миссию. Дамы, которые пожелают в нее вступить, должны носить знаки отличия. Что же лучше можно было выбрать для этого, как не образ самой добродетельной девы, которую когда-либо рождал мир, — образ девы Марии с младенцем, зачатым столь чудесно? Пригласили отца Захария из кармелитского монастыря. Он одобрил эту идею и нарисовал ленту, а на ней крест, в центре которого должно было находиться изображение матери божьей, как символ девственности. Были выбраны цвета папы римского — желтый и белый — символ веры. В целомудрии папы никто, разумеется, не сомневался. Было ясно, что девушек надо спасать в католическом духе, особо подчеркивая преимущества благочестия, ибо даже и самый навязчивый сводник отступит перед девушкой добродетельной, перебирающей четки, которая ни на что не обращает внимания и без конца молится, повторяя одну из прекрасных литаний: «Спаси нас от соблазна, господи!» А если к тому же девушка стара, горбата и крива, то она тем паче избежит рук сводников, ибо в ней зреет вера в вечное блаженство, а религиозные убеждения спасают от домов позора и от моральной испорченности.

Итак, была создана вокзальная миссия. Советница Вальдштейн первая удостоилась чести получить повязку, которая сразу объясняла, почему эта дама так долго прохаживается по вокзалу и осматривает каждого. Советница Вальдштейн вышла спасать неопытных девушек, приезжающих в Прагу.

Для этих девушек приготовили две комнаты, обставленные скромно, но с тонким пониманием того, в чем нуждаются невинные души неопытных деревенских девиц.

Куда бы ни взглянула девушка, отовсюду на нее смотрел изможденный лик распятого Спасителя, а если б она бросила взгляд на потолок, то и там увидела бы нарисованный крест.

Повсюду среди крестов, напоминающих, что она должна хранить свою невинность хотя бы ради Того, кто для нее пожертвовал собою, были начертаны надписи, категорически призывавшие: «Не сотвори прелюбодеяния!» Правда, княжна Юлия, всегда тактичная и хорошо воспитанная, в невинности своей предложила написать: «Пожалуйста, не творите прелюбодеяний!» или: «В случае прелюбодеяния обращайтесь в правление общества». Добрая, невинная княжна Юлия! Значение слова «прелюбодеяние» было ей столь же далеко, как для пастуха с Апеннин далеко значение слов «радиоактивность» и «Гауч».

Итак, советница Вальдштейн прогуливалась по вокзалу, поджидая поезд. Как только на перрон ступила первая девушка с чемоданом в руке, госпожа Вальдштейн бросилась к ней со всем присущим ей пылом. Сердце госпожи советницы было преисполнено энтузиазма, и поэтому она даже не заметила, что в сумочке повязка упала у нее с рукава. В мгновение ока выхватила она у девушки чемодан, но в эту минуту подоспел полицейский, арестовал ее и при большом стечении народа повел в участок.

Госпожа Вальдштейн сначала подняла крик, потом начала растолковывать и объяснять, что она не воровка, а представительница вокзальной миссии. Чем дальше они шли, тем больше она запутывалась и, наконец, в полубомбочном состоянии принялась проповедовать, упрашивая полицейского отказаться от подобного образа жизни и остерегаться сводников.

В участке все выяснилось, но это не помешало одному журналу, резко критиковавшему буржуазию, поместить заметку под названием «Странный случай клеptomании». Позднее статья была опровергнута, но все равно это был позор. Жена коммерции советника Вальдштейна вышла из вокзальной миссии. Ходили слухи, что она вложила деньги, полученные в наследство от матери, в большой публичный дом в Усти-на-Лабе, который приносит ей пятьдесят процентов прибыли.

Неудача не смутила самоотверженных дам, наоборот, она вызвала в них такое стремление к самопожертвованию, что княгиня Больдери сама отправилась на вокзал и с триумфом привела девушку, живо заинтересовавшуюся благотворительной организацией.

Девушку в сопровождении дам ввели в убежище миссии. До десяти часов вечера ее наставляли, рассказывая о моральной испорченности, которая грозит юным девицам в городе. Невинная княжна Юлия простилась с первой жертвой вокзальной миссии словами: «Не прелюбодействуйте, от всего сердца прошу вас!» Девушке вручили ключ от комнаты и сообщили, что она может оставаться здесь до тех пор, пока не найдет работу.

Девушка прожила там неделю. Первые два дня она вела себя прилично, а потом начала водить мужчин в свою комнату, в это священное пристанище.

Это был страшный удар для отца Захария из кармелитского монастыря, он узнал об этом, явившись к девушке рано утром, чтобы в свободную минутку

подготовить ее к близящемуся празднику пасхи, который так много значит для пылких религиозных душ.

Какой ужас! В довершение парень, находившийся в комнате юной девицы, вышвырнул досточтимого отца, и печальная весть о падении нравов дошла до ушей той, которая всеми силами боролась против безнравственности, — благородной княгини Больдери.

Но никто не знает, какая готовность к самопожертвованию кроется в сердцах таких дам. Теперь спасти девушек отправилась на вокзал графиня Сольвар, но так как эта почтенная дама была очень близорука, то привела с собой горбатую бабу, которой всю дорогу в экипаже твердила:

— Благодарите бога, девушка, что я спасла вас от рук сводников!

Стоит ли отчаиваться из-за столь невинной ошибки! Добродетельная княжна Юлия попросила у своей матушки княгини разрешения самой встречать на вокзале приезжающих девушек.

О благородная невинная княжна! Когда она ждала поезд, к ней подошел элегантный молодой господин и с интересом начал расспрашивать, что означает повязка на рукаве и каковы задачи вокзальной миссии. Добрая княжна раскрыла ему свое девственное сердце. Он, молодой и элегантный, представился ей князем имярек, и они разговорились очень дружески.

Бедная, невинная, юная и добродетельная княжна Юлия! Он похитил ее, несчастную жертву вокзальной миссии, невиннейшую лилию, чудесный бутон добродетели. Мерзавец продал ее за сто крон в один пльзеньский публичный дом.

Перо падает из рук моих. Печальная участь вокзальной миссии трогает до слез, и пишешь, плача, как это делает мой друг Гаек, когда составляет некролог о своем шефе.

## Заметки пани Едличковой о моде

Я редактировал местную газету «Независимость». Теперь, имея за плечами опыт работы в прессе, могу сказать со всей определенностью: как только появится какая-нибудь газета под названием «Независимость», это означает, что нашлось несколько состоятельных людей, которым захотелось всех обругать, и они создали «Независимость».

Подобным целям служила и эта газета. Работы у меня было немного, потому что издатели засыпали меня статьями, которые я лишь подготавливал к печати. В основном поставляли их местный аптекарь, плативший мне жалованье, затем два владельца колониальных лавочек и один скототорговец. Они с большим темпераментом вели огонь по ратуше.

Больше всего статей приносил скототорговец. Он обожал лаконичные выражения, которые хотя и носили фрагментарный характер, но тем не менее были столь ядрены, что мне приходилось вычеркивать по полстатьи. Принес он, например, письмо из города, как он заявил.

— Это против ратуши, в первую очередь против бургомистра, — сказал он, извлекая из кармана виргинскую сигару. Такая у него была манера. Этой сигарой он вроде подкупал меня.

Статья называлась: «Я знаю тебя, хромой черт!»

— Вы же знаете, он хромает, — произнес скототорговец, — а еще бургомистра обзывают колченогим.

Стало быть, статья направлена против бургомистра. Далее он уже именовался полностью и текст звучал так: «Кто возражал против того, чтобы продать часть общего городского луга пану Едличке? Почему продали ее этому сквальжнику Мейстршику? Говорят, две св... всегда друг друга найдут, вот пан бургомистр и пан Мейстршик и упали в объятия друг друга».

— Это св с точками я вычеркну, пан Едличка.

— Да вы что, пан редактор, в точках после св весь эффект. Тут есть изюминка, каждому сразу станет ясно, что св с точками означает мерзкие «свиньи», и все станут смеяться над Мейстршиком и над бургомистром. Дальше вы увидите еще сокращение *про* и шесть точек, это значит не «прохвосты», а «проклятый», то есть проклятый бургомистр! Сокращение *д* с четырьмя точками означает «дурак», тут каждый читатель сразу догадается. Не вздумайте все это сокращать.

Тщетно объяснял я ему, что газета не может напечатать ни *св*, ни *про*, ни *д*, ни остальные, написанные полностью оскорбления, — пан Едличка упрямо настаивал, что в таком случае следует переговорить со всеми издателями газеты и вечером встретиться у пана аптекаря.

В тот вечер в доме аптекаря шла жестокая баталия по поводу того, свалят или не свалят св с четырьмя точками и остальные сокращения бургомистра и его клику.

Я доказывал, что, как ответственный редактор, предстану перед судом присяжных и окажусь в тюрьме, если только все это напечатаю.

Тогда издатель пан Скорковский припомнил Барака и Трегра, журналистов, которые за такое сидели в тюрьме, что, по его мнению, только делает им честь.

Пан аптекарь разделял мою точку зрения. Он соглашался, что существует

резкая манера письма, но статья пана Едлички все-таки слишком уж резкая и оскорбления следует вычеркнуть.

— Если не будет «свиной», «проклятого» и «дурака», — вскричал пан Едличка, — статья лишится всей прелести!

Пан Скорковский и пан Павлоусек были на его стороне.

Послушай нас кто посторонний, он бы, наверное, удивился, что из аптекарского дома то и дело доносятся слова «свинья», «проклятый», «дурак».

Я кротко толковал о благопристойности печати, пан аптекарь меня поддерживал, но пан Едличка и остальные упорно стояли на *св* с четырьмя, *про* с шестью и *д* с четырьмя точками.

Дебаты становились все более бурными. Пан Скорковский упрекнул меня за то, что в его предыдущей статье я вычеркнул фразу: «Если же кто из честных граждан случайно завернет в зал заседаний ратуши, пусть поскорее зажмет нос и бежит из этого места смрада и порока».

— А еще вы не опубликовали, что у бургомистра новая прислуга, с которой он по ночам гуляет в саду.

— Да вы же сами, пан Павлоусек, признались, что вам это только приснилось.

— Не спорю, пан редактор, но ведь статья и называлась «Сон налогоплательщика об одном бургомистре из нашего города». Помните, я вам сказал, что это отличная вещь и годится для подвала? Там еще бургомистр превращается вдруг в верблюда. А вы это до сих пор не опубликовали!

И тут пана Едличку осенило:

— Если вы не напечатаете мою статью, — заявил он, вставая, — можете писать эти глупости сами.

Так я лишился сотрудников. Забастовали и пан Павлоусек с паном Скорковским.

На следующей неделе в редакции появилась пани Едличкова, дама преклонного возраста, одетая с такой ужасающе дикой безвкусицей, которая непростительна даже для провинциальных дам.

— У меня к вам просьба, пан редактор, — заявила она, вытаскивая из кармана пачку листков. — Я давно наблюдаю за развитием моды, а поскольку в вашей газете нет рубрики, посвященной этим вопросам, я собираюсь информировать здешних дам о новых направлениях в моде. Надеюсь, вам понравится.

Она разложила передо мной листки, и я прочел:

«Совершая нынешней осенью променады по нашему городу, можно увидеть необычайно пеструю картину. Вот идет дама в широченной шляпе, а рядом с ней другая, в суконной кепке. Первая прихрамывает, а вторая так и печатает шаг. У обеих стоптаны каблуки, что свидетельствует о плохом вкусе. Это пани почтмейстерша и пани лесничиха. За ними следует еще одно пугало, воображая, что раз она купила осеннее пальто из зеленоватого английского букле с накладными карманами, так уж умнее ее никого и на свете нет. А между тем она меняет белье раз в год по обещанию, так что любая дама при встрече с ней имеет все основания воскликнуть: «Дорогая пани Краловцова, сверху-то фу-ты ну-ты, а снизу — тьфу ты!» Вероятно, преждевременно говорить об осенней моде, но пани бургомистерша уже десятый год носит один и тот же жакет, только в нынешнем году она его перелицевала, но до сих пор не расплатилась

за это с портнихой в Кутной Горе.

Далее шествует пани Кромбгольцова, но она доходит лишь до почты и поворачивает обратно, продемонстрировав свое новое осеннее платье из ворсистой шерсти, за которое будто бы заплатила пятьдесят гульденов. Если она заплатила за него столько же, сколько за утку той крестьянке на рынке, которая, обнаружив кражу, ткнула ей этой уткой в размалеванную физиономию, то мы поздравляем ее с дешевым осенним туалетом.

Красивый осенний наряд и у супруги первого советника магистрата пани Борковой, которую всюду называют полоумной. Ей так хочется казаться молоденькой, что она носит короткие юбки. Таковую юбку не нужно придерживать и приподнимать при ходьбе, руки у нее остаются свободными, вот она их и запускает в мешки с орехами и компотом у купцов Скорковского и Павлоусека. Похоже, что пани Боркова прекрасно сможет воспользоваться новым фасоном рукавов — с буфами у локтя. Недавно она вытрясла из рукава больше килограмма слив. По крайней мере, дома было что поесть.

Думаю, что после того, как жандармский вахмистр у фонтана похлопал дочку бургомистра по одному месту, узкие юбки выйдут из моды. Дальше суживать юбки просто невыносимо, потому что бедная девушка и убежать-то в такой юбке не сможет, когда к ней придет ее жених пан Знаменачек. По-видимому, в моду снова войдут кринолины, тогда пани Кроуповой будет где спрятать пана учителя, если ее муж неожиданно вернется от «курочек». В следующий раз мы сообщим кое-что по поводу чулок пана бургомистра».

— Опубликуйте это, — решительно потребовала пани Едличкова и сладким голосом добавила: — Не то я выцарапаю вам глаза!

Вот так вместо «Независимости» я и очутился в доме для слепых в Градчанах.

## Мой золотой дедушка

У каждого из нас есть дедушка. Объяснить это очень интересное явление можно только законами природы. В первую очередь надо принять во внимание закон размножения млекопитающих (жутковатым примером которого является отец моего дедушки).

Мой дедушка бесспорно был млекопитающим и от млекопитающего родился, а ни в коем случае не произошел делением, как большая группа простейших клеточных *Doliulum*[98]. Так что этого вполне достаточно для объяснения и моего происхождения. Надо только сказать, что тем же способом, что и дедушка, родился и я, а как только я появился на свет, у меня уже, как ни странно, был дедушка. Это очень интересно.

Разумеется, не каждый обязан иметь дедушку... Извините, пишу я все это в два часа ночи в «Монмартре», и в голове у меня что-то путается.

Итак, если у человека есть дедушка, у него должна быть и бабушка, это же ясно, как божий день, ведь не будь у меня бабушки, у меня не было бы и дедушки. Мне кажется (а в два часа ночи это может только казаться), это очевидно.

Дедушку, конечно, я мог бы и не знать, такие случаи уже бывали с людьми недворянского происхождения. Впрочем, я-то происхождения дворянского, поскольку один мой прадедушка во времена гуситских войн швырял вонючие горшки в замок Карлштейн (см. «Хронику гуситских войн» Заппа, глава уже не помню какая, да и страница тоже, под названием «Ян Гашек из Острога, разбойник и дворянин»). Так как человечество размножается, и каждый знает своего прапрадедушку, то он должен знать и дедушку, и я его узнал сразу же после рождения, не прилагая особых усилий.

У диких млекопитающих есть дурная привычка пожирать детенышей, так, например, кабан может сожрать свое потомство, а если к этой трапезе подоспеет и отец кабана, он тоже примет участие в этом великом торжестве.

Однако дедушка сумел избежать действия этого закона природы, поскольку был чрезвычайно порядочным человеком.

Я буквально со слезами на глазах пишу эту фразу. Потому что все, знавшие моего дедушку, очень уважали его. Молодость его протекала в исключительно достойном русле. У него лишь однажды в жизни была неприятная болезнь, и ту он подцепил на маневрах, когда справлял малую нужду против ветра. Его продул ветер. Потом он сильно мучился из-за этого ветра.

Я не хочу тут распространяться о молодости этого скромного мужа, мало что подумает цензура?

Однако, достигнув возраста, когда страсти его улеглись, он стал необыкновенно порядочным человеком.

Все то, что сегодня волнует мир, было ему чуждо. Мир его вообще не волновал.

Женившись, он вел размеренную жизнь человека, сознающего свои обязанности, о которых так прекрасно сказал знаменитый экономист, покойный министр Браф: «Чем многочисленнее нация, тем большего может она добиться в экономике. Взять хотя бы Францию, господи!»

Из отношений между сыном моего дедушки и женой его сына расцвела новая ветвь старого нашего рода, а именно я. Невинным цветком была украше-

на старая ветвь (см. опять-таки законы природы о размножении млекопитающих). В конце концов мой дедушка достиг того возраста, когда эти законы стали ему решительно чужды. Лишь Кралицкая библия с рассказами о сотворении мира была ему лучшим утешением и напоминала о былой славе драгуна.

А потом и Библию он забросил в печку и стал церковным сторожем. В день святого Яна водил паломников в Королевском замке вокруг статуи святого Яна, которого, как утверждает д-р Дворжак, безжалостный король Вацлав велел утопить во Влтаве.

Дедушка стал невероятно набожным человеком и правой рукой нашего священника в Козованах.

Еще живы в памяти те времена, когда в день святого Яна паломники улеглись вокруг статуи святого и дед сделал то же самое, но проснулся он в четвертой камере полицейского участка, так как стражники никак не могли его добудиться.

Он проснулся там на нарах с торжественным пением, которое неслось из его широко разинутого рта. Бедный дедушка...

В этом году на святого Яна я побывал у Глаубицев и Монтагов, а еще у «Томаша» и возвращался через Карлов мост.

Возле украшенной статуи святого я обо что-то споткнулся.

Это что-то был мой дедушка.

Нужно ли мне описывать эту случайную встречу? Описывать пьяного внука, который спотыкается о дедушку?

У кого еще остались в сердце возвышенные родственные чувства, тот, конечно, поймет трогательность нашей встречи.

Я поставил дедушку на ноги, протер глаза (как пишут в романах) и воскликнул. По правде говоря, я ничего не воскликнул, ибо не в состоянии был произнести ни слова, временно конечно, потому что если кто-то встречается с внуком и если кто-то является дедушкой... а если нет, то внук отпадает сам собой и тогда никакого эффекта!..

Короче говоря, я потащил своего набожного дедушку в «Монмартр».

\* \* \*

Здесь я поставил три звездочки. Мой дедушка в конце концов спал в боксе, а когда вернулся домой к своей жене, моей золотой дорогой бабушке (такое повторяется изо дня в день), он хлопнул ее по спине и сказал, причем глаза его сияли неземной добротой:

— Ты, девка, совсем не такая, как эти жабы из «Монмартра»!

## Сказка о трагической судьбе одного порядочного министра

Я сознаю: стоит пану прокурору прочесть заглавие моей сказки, он грозно нахмурится и скажет:

— Слово «порядочный» следовало бы вычеркнуть: нельзя, а то народ подумает, будто на свете есть и непорядочные министры. Но если это слово вычеркнуть — жди запроса в парламенте, станут допытываться у министра: разве оскорбительно назвать министра порядочным?..

Я прекрасно понимаю: случай весьма соблазнительный, но что поделаешь. Самое большее, чем может заниматься наш пан прокурор, — это защищать австрийских министров. Между тем действие моего повествования происходит не в Австрии и вообще не в какой-либо известной стране, речь идет о государстве выдуманном, потому я и назвал это сказкой.

Но перейдем к рассказу. Жил-был один король, и был у него министр, человек честный, порядочный, звезд с неба, правда, не хватал, но этого ему никто и не приписывал. Поначалу он мало чем отличался от своих предшественников. Ужасно обрадовался, когда к нему стали обращаться «ваше превосходительство», принимал поздравления, важничал и был счастлив.

Но не прошло и месяца, как начальники отделения после докладов его превосходительству стали рассказывать невероятные вещи. Пан министр рассеянно выслушивал их сообщения, целыми часами сидел он за письменным столом, устремив задумчивый взгляд в пространство. И становился все более и более странным. Эта метаморфоза не укрылась и от семьи пана министра. Но сколько его ни пытали, что с ним, не занемог ли, не обеспокоен ли чем, он либо отвечал уклончиво, либо попросту отмалчивался. Только однажды, когда пан министр казался веселее обычного, выходя из дому после завтрака, он произнес ужаснувшие пани министершу слова:

— Сегодня с утра иду к королю, подаю прошение об отставке.

Пани министерша с досады лишилась чувств, но не успела она еще очухаться, как ее супруг уже предстал перед королем.

— Ваше величество, — сказал он, — прошу освободить меня от должности министра, у меня есть на то серьезные причины.

— Дружище, — произнес король, — ты что, с ума сошел? Где это видано, чтобы кто-то ни с того ни с сего подавал в отставку?

— Причина, ваше величество, у меня есть, но позвольте не объяснять ее. Мне стыдно говорить об этом, лучше сквозь землю провалиться.

— Послушай, — спросил король, — что ты там натворил? Приказываю, немедленно изложи мне свои причины.

— Хорошо, — удрученно ответил министр, — раз ваше величество приказывает, что поделаешь. — И чуть слышно добавил: — Прошу освободить меня от должности министра ввиду того, что я решительно не способен исполнять обязанности министра.

Потом склонил голову, покорно ожидая грома и молнии, которые должны теперь на него обрушиться.

Но король молчал, и он, робко подняв глаза, с изумлением увидел, что король смеется, да так, как сроду не смеялся. Министр был поражен.

— Стало быть, милостивый король, моя отставка принята? — несмело произнес он.

— Чтобы я дал тебе отставку? — сказал король. — За то, что ты не способен исполнять свои обязанности? Дружище, тогда мне пришлось бы выгнать почти всех моих чиновников. А что касается министров, то известно ли тебе, что ты вообще первый порядочный министр из всех, которые у меня были? И знаешь, почему? Ты был искренним, и я отвечаю тебе тем же: насколько мне помнится, способных министров у меня вообще не было. Но ни один в том еще не признавался, хотя это было ясно, как божий день, не только для них самих, но и для всех в королевстве. И вдруг приходишь ты и требуешь отставки. Это делает тебе честь и радует меня. Ты мой первый порядочный министр. Все остальные прикрывали свою бездарность потоком речей и фраз и ловчили, как бы подольше удержаться у власти. Ты совсем другое дело! И чтоб я лишился подобного сокровища? Даже не подумаю! Ты останешься министром, мой дорогой, останешься и будешь служить мне до последнего вздоха! Ясно?

И министру пришлось повиноваться. Когда дневные газеты сообщили, что отставка пана министра не принята, пани министерша облегченно вздохнула и приказала приготовить его превосходительству на ужин его любимые блюда.

Но на этом дело не кончилось. Пан министр был задумчивее и печальнее прежнего. И неудивительно. Вопрос, может ли он оставаться министром, занимал все его помыслы и превратился для него в дело чести. Пан министр рассуждал так: «Если я вновь подам в отставку, то это, как сказал король, явится попыткой лишить страну первого, порядочного министра, а подобная попытка, по сути дела, государственная измена. Если же я не подам в отставку, хотя и понимаю, что в министры не гожусь, — разве и это не государственная измена, черт меня побери! Выходит, как ни кинь, я совершаю государственную измену. Просто отчаяние берет. Короче говоря, мое место за решеткой, а я сижу здесь, позволяю расточать себе комплименты, называть меня, государственного изменника, «ваше превосходительство»! Ума не приложу, что делать!»

Пани министерша полагала: раз король не принял отставку ее супруга, можно рассчитывать на полную министерскую пенсию, а то и на особое денежное вознаграждение со стороны короля. И когда пан министр снова принялся излагать ей свои сомнения, ее чуть удар не хватил.

И муж не знал, как поступить, и у нее голова шла кругом. Что делать? Наконец ее осенило. Для чего, собственно, на свете существуют психиатры? Эта мысль оказалась спасительной. Да, психиатры должны помочь. Судя по всему, ее муж ненормальный! Бедняжка! Под бременем правительственных забот рассудок его помутился! Так будет сохранена министерская пенсия, обеспечена признательность короля, словом, все!

И вот созвали консилиум лучших психиатров страны.

Пани министерша напряженно ждала, что они скажут и чем все кончится. Кончилось недурно.

— Выходит, он в самом деле ненормальный? — спросила она.

Врачи пожалы плечами.

— Как человек он может и должен быть признан нормальным, ваше превосходительство. Но как министр он поистине ненормальный.

— И это точно?

— Ну еще бы! Разве существовал когда-нибудь на свете хоть самый безмозг-

лый министр, который считал бы, что сидит не на своем месте? — ответили врачи в один голос.

Пан министр окончил свои дни в психиатрической лечебнице. Такова была трагическая судьба первого порядочного министра в некоем царстве, в некоем государстве, за семью горами, за семью морями.

## Наказание с тетей

### Из рассказов маленького Карличка

У нас живет старая тетя. Папа рассказывал, что двадцать лет назад она приехала из деревни погостить на денек-другой и привезла творога на 12 крейцеров. С тех пор она у нас, два дня продлились до двадцати лет. Она здоровая, как бык; когда же лет пять назад у нее опухли ноги, папа обрадовался и пообещал нам кубики. Только ноги у тети прошли, а мы остались без кубиков. Я ужасно разозлился за это на тетю, купил чесотный порошок и уже три раза сыпал его ей за шиворот, когда она дремала над молитвенником. Молитвенник у нее тяжелый и сильно обтрепанный, потому что тетя кидается им то в папу, то в маму. Когда я насыпал ей за шиворот порошка, она принялась ерзать и дуть себе за пазуху, но от этого стало еще хуже, и она побежала к соседке по коридору и кричала там, что мы развели клопов, а постель ей нарочно не меняем, чтобы клопы сожрали ее, и таким образом мы мечтаем избавиться от несчастной старой тети.

В другой раз, когда она заснула, положив голову на молитвенник, я насыпал ей под нос чихальный порошок. Она от этого совсем обалдела и побежала по соседкам и везде рассказывала, что мы стаскиваем с нее ночью перину и открываем окно, чтобы простудить ее. При этом она чихала — чуть не лопалась, а я радовался, потому что папа на кухне как-то сказал, когда тетя чихнула:

— Чтоб ты лопнула, старая карга!

А когда тете стало нехорошо, папа тоже обрадовался и сразу позвал к ней доктора; папа надеялся, что доктор скорей нам поможет. У папы такое мнение о докторях с тех пор, как он прочел про случай в Америке, когда один пришел в лечебницу с больным зубом, а ему вместо зуба по ошибке удалили слепую кишку. Папа все время повторяет:

— Нет, нет, без доктора нам с ней не справиться.

Старуха и слышать не хотела о докторях, но все же ее удалось уломать. Пришел доктор, стал ее прощупывать и выстукивать, а она раскричалась, что не переживет подобного позора, потому что ее уже пятьдесят лет никто так не щупал. Сейчас тете семьдесят. Папа в соседней комнате весело потирал руки и приговаривал:

— Не переживет, она этого не переживет, слышишь, Карличек!

Потом мы вошли к тете. Она была вполне жива и во все горло кричала:

— Ох-хо-хо, пан доктор, они же, изверги, есть мне не дают, пресвятая дева Мария, они ж не чают меня голодом уморить, чтоб избавиться, а ежели когда и бросят сухую корочку, так потом цельную неделю попрекают!

А сама-то на тарелку всего больше съедает и папы и мамы!

— Ох-хо-хо, золотой мой пан доктор, дайте мне какого яду, я отмучаюсь поскорее, чтоб не помыкали они мной, как распоследней собакой!

Доктор успокаивал ее и при ней сказал папе, что пропишет лекарство — крепкое вино, пусть она пьет его ежедневно.

Старуха завизжала:

— Золотой мой пан доктор, вы один-единственный порядочный и добрый человек на всем белом свете!

Доктор стоял возле ее постели, а она как схватит его и давай целовать в лоб, хорошо еще, глаза ему не выколола щетинами, что растут у нее на подбородке.

Папа проводил доктора до передней и спросил дрожащим голосом, когда и чего нам ждать с тетей. Доктор ответил, что она может прожить еще сто лет.

Папа вернулся в комнату, всплеснул руками и воскликнул:

— Нутро у нее здоровое, вот несчастье-то!

А старуха принялась кричать:

— Где же мое вино? За чем дело стало?

С той поры тетя пьет, как лошадь, и любое вино все кажется ей слишком слабым. Выпив полбутылки, она выходит во двор и там разоряется:

— Ах, люди мои золотые, они меня не вином поят, а одним уксусом! Как безбожники солдаты Иисуса Христа на Голгофе! Мои бы тоже с радостью меня распяли, кабы не боялись, что их за это повесят. Всем я ради них пожертвовала, и такой-то благодарности дождалась на старости лет!

Это она, наверное, про тот творог на 12 крейцеров.

Как-то папа пришел со службы обедать очень веселый, и, когда мы все сидели за столом, и тетя тоже, папа вынул из кармана газету и сказал:

— Какое страшное преступление случилось в Моравии! Тетя, вы слышите? Представьте себе, родственники отравили старушку тетю! В свое оправдание виновные заявили, будто она была невыносимо сварливой. Какая распущенность, вы не находите, тетенька?

А маме шепнул, что, по крайней мере, испортит тете аппетит...

Старуха на это ничего не ответила и продолжала всю наворачивать. На другой день, когда ей на завтрак подали кофе, она унесла его в кухню и там принялась кричать:

— Что это у меня в кофе? Негодяи, отравить меня вздумали?!

Она выбежала во двор и подняла страшный шум, что мы, мол, хотели отравить ее и всем показывала кружку с кофе.

Соседи решили, что мы и вправду изводим старуху, и сбегали за околоточным. Тот поднялся к нам наверх вместе со старухой и кофе, который та не выпускала из рук, и околоточный заявил, что вынужден выполнить печальную обязанность именем закона, и увел папу с мамой и старухой в участок. Там выяснилось, что старуха насыпала в кофе песку, каким трут, отмывая, лестницу. Все равно, вернувшись, тетя кричала на весь дом, что дело пересылают в Вену.

Папа с тетей не разговаривал. А она, как всегда по утрам, ушла в костел еще с одной бабушкой из соседнего дома. Потом та поднялась к нам и сказала, что тетя поставила свечку за крону на добрые деяния, чтоб всех нас хватил кондрашка. И чтоб собрать денег на эти добрые деяния, тетя христарадничает на улице и жалуется, что мы не даем ей есть, бьем и всячески истязаем.

Папу снова вызвали в участок и сообщили, что на него поступила жалоба, будто мы мучаем свою родственницу, и, если подобное повторится, ее отпра-

вят по месту приписки. И в один прекрасный день папа дал мне крону, чтоб я купил себе, чего захочу, и еще сказал, что я мужчина, который умеет молчать. Он велел мне бежать в участок и там со слезами рассказать, как мы опять истязаем тетю, она плачет и жалуется, что мы ее изводим. Но в тот момент мы забыли, что тети как раз нет дома, и, когда я прибежал в участок и стал плакать и вопить, что тетю дома истязают, комиссар спросил ее имя и позвал полицейского, а тот из какой-то задней комнаты привел нашу проклятую старуху.

— Ты ошибаешься, мальчик, — сказал комиссар, — твоя бабушка должна предстать перед судом за попрошайничество. Ты ее внучек?

Я сказал, что нет.

— Почему же вы показали при допросе, будто вынуждены побираться и содержать восьмерых брошенных внучат? — спросил он у тети, а тетя заорала, что я ей незнаком и она знать меня не знает.

Меня отправили за папой, а тетя захотела удрать, и ее пришлось удерживать четверым полицейским.

Папу она встретила словами:

— Убийца, разбойник, чтоб тебя черви сожрали заживо!

Мне она плюнула в лицо, а пан комиссар пожал плечами и сказал папе, чтоб он забирал старуху домой.

Папа побоялся скандала в общественном месте и нанял экипаж. Полицейские помогли ему затащить тетю в карету, и мы поехали в сумасшедший дом. По дороге тетя разбила окно с криком, что этот негодяй хочет ее укокошить.

Когда мы приехали в сумасшедший дом, папа с извозчиком втолкнули ее в ворота, и папа велел мне подождать его, он, мол, скоро вернется. Но минут через пятнадцать тетя пришла одна и сказала:

— Так вот, господа доктора, золотые они мои, сказали твоему папе, что я в своем уме, а папу им пришлось оставить у себя.

## Преступная авантюра пана Тевлина

Есть такие люди, которые всюду суют свой нос, они не оставят без внимания ни одного предмета, ни одного события, ни одного уличного происшествия. К подобным людям относился и пан Тевлин.

Видит, к примеру, пан Тевлин на улице перед лавкой бочку с селедкой. Остановится, смотрит и ждет, пока работник не вкатит ее в лавку.

Тогда пан Тевлин одобрительно кивает и следует дальше.

Увидит он за углом тележку, стоящую на улице, смотрит на тележку и ждет, кто придет за ней. Его радует, что люди работают, он охотно наблюдает, как кладут кирпичи и камни, ему по душе мощение дорог и вообще трудовая суетня.

Его интересуют все проявления повседневной жизни: лошади, которые не могут сдвинуть с места поклажу, стрелочники на трамвайной линии — и он всегда бывает приятно возбужден, когда видит, что кто-нибудь работает. Он любит строить предположения, что собой представляет тот или иной человек. Глаза его живо поблескивают, если его предположения вдруг оправдываются.

Он любит ходить по городу. Вот тут-то с ним и приключилась эта история. Вышел он, как обычно, на улицу и в уличной сутолоке заметил стоящий у тротуара велосипед. Оставленный кем-то велосипед. Он оглянулся по сторонам. Интересно, кто это так опрометчиво бросает велосипед на улице? Лавки поблизости не было. «Вряд ли велосипед принадлежит развозчику товаров по магазинам, — подумал он, — скорее всего привезли что-то частному лицу». Он также отметил, что вокруг не было ни единой пивной. Велосипед стоял на тротуаре как раз напротив дверей жилого дома.

На противоположном тротуаре находился полицейский и с интересом приглядывался к пану Тевлину, который, продолжая осматриваться по сторонам, не отходил от велосипеда.

Пан Тевлин тем временем сделал вывод, что оставлять велосипед у тротуара весьма неосторожно, и решил дождаться возвращения владельца.

«А вдруг на велосипеде есть замок, — подумал он, — и никто не сможет на нем уехать». Он обошел велосипед и осмотрел его с другой стороны.

Полицейский наблюдал за паном Тевлином с возрастающим интересом и даже сделал шаг в его сторону.

Пан Тевлин убедился, что велосипед без замка.

— Какая беспечность, — вздохнул он, — вот вскочит кто-нибудь на велосипед — и был таков!

Он продолжал осмотр велосипеда. Надо отдать справедливость, сделан он неплохо. И фирменная марка стоит. Он взялся за руль и наклонился, велосипед сдвинулся с места, и пан Тевлин, выпрямляясь, увидел над собой лицо. Строгое, злое и угрожающее. Лицо полицейского.

— Что вы тут делаете с чужим велосипедом? — строго спросил он.

— Рассматриваю марку фирмы.

— А зачем взяли за руль?

Вокруг уже собиралась толпа таких же панов тевлинов, интересующихся всем на свете, как пан Тевлин этим злосчастливым велосипедом.

— За руль... — жалко залепетал пан Тевлин. — Я жду владельца.

— Как фамилия владельца?

— Не знаю.

— А зачем вы ждете?

— Чтобы кто-нибудь не украл у него велосипед.

В толпе послышался смех.

— Наверное, чтобы кто-нибудь *другой* не украл, — иронически уточнил полицейский. — Поставьте велосипед туда, где вы его взяли, а вас я именем закона арестую.

Этот полицейский тоже был своего рода паном Тевлином. Все привлекало его внимание, любой предмет, любое событие, а уж пан Тевлин и подавно.

Отныне поговорка «Дрожал, как осиновый лист» устарела, с равным успехом можно сказать: «Дрожал, как пан Тевлин».

Он дрожал так, что полицейскому временами приходилось тащить его за собой, как щенка, от дома номер 1912-а, где на тротуаре по-прежнему без призора стоял велосипед.

Понятно, что дрожь пана Тевлина не прекратилась, когда в комнате полицейского комиссариата он услышал рапорт:

— Разрешите доложить, этот человек хотел украсть велосипед возле дома номер 1912-а.

Полицейский рассказывал, как пан Тевлин пытался это сделать, а пан Тевлин повторял одно:

— Что вы, разве я вор, я не умею ездить на велосипеде.

Лучшего оправдания ему не приходило в голову. Он уверял, что не умеет ездить на велосипеде, что ему незачем красть велосипед, ведь при желании он может купить их дюжину.

Было мучительно видеть, как он стоял и твердил одно и то же:

— Право же, поверьте, я не умею ездить на велосипеде.

— Он упал при попытке вскочить на него.

— Да какое там вскочить, — сказал пан Тевлин, — я же не умею на нем ездить!

Затем пан Тевлин заявил, что он, видно, порядочный дурак, потому что вечно готов всем помочь.

Тут распахнулись двери и в полицейский участок влетел какой-то сильно испуганный молодой человек.

— У меня пропал велосипед! — кричал он. — Он стоял перед домом номер 1912-а, и мне сказали, что кто-то уже делал попытку его украсть.

Полицейский ткнул пальцем в пана Тевлина.

— Ну, нечего закираться, — сказал комиссар пану Тевлину, — назовите нам своего сообщника.

— Не могу, — вздохнул пан Тевлин.

— Так в тюрьму его! — приказал комиссар.

Пан Тевлин бухнулся на колени и заорал:

— Бога ради, господа, прошу вас!

На другой день его отвезли в суд.

Судебный следователь пан советник Винчек был человек добрый. Он никогда не стремился усугубить вину подсудимых и делал все возможное, чтобы тщательно разобраться в показаниях, расследуя преступления.

— Хорошо, — сказал он пану Тевлину. — Вы все время твердите, что не умеете ездить на велосипеде. Так вот, завтра у нас судебная комиссия. Мы выве-

дем вас за ворота, и вы сядете на велосипед. Там и выяснится, умеете ли вы ездить.

Наступил сей знаменательный день, и надзиратель в присутствии судебной комиссии посадил пана Тевлина на велосипед на шоссе близ Ольшанского кладбища.

— Упаду! — трусливо кричал пан Тевлин, сроду не сидевший на велосипеде.

Надзиратель по знаку следователя подтолкнул велосипед, и пан Тевлин с криками «упаду» покатил по отлого спускающейся дороге. От страха он нажал на педаль, опасаясь, что расшибется, нажал еще сильнее и, судорожно вцепившись в руль, инстинктивно понесся вниз по шоссе прямо к Стращницам, как самый заядлый спортсмен. И все у него шло как по маслу. Он кричал «Упаду!» и мчался на огромной скорости, пока не исчез из глаз судебной комиссии.

Внизу, у Страшниц, ему наконец удалось свалиться в канаву, сбив предвзвременно с ног какую-то еврейку.

Ему дали три месяца за то, что лгал, будто не умеет ездить, а на деле даже пытался удрать. За это он и получил свой срок.

## Сыщик Гупфельд

Сыщик Гупфельд принадлежал к числу тех агентов сыскной полиции, которых, несмотря на их гениальность, неприятности подстерегают на каждом шагу.

Тем не менее полицейское управление вполне на него полагалось и доверяло ему самые сложные и запутанные дела. При этом гениальность пана Гупфельда всякий раз обнаруживалась в полной мере, но в решающий момент неотвратимый рок, преследовавший славного детектива со дня рождения, сводил на нет все его превосходные, с математической тщательностью продуманные планы. И после отчаянного душевного напряжения, после нескольких дней успешных поисков, он снова оказывался у разбитого корыта, там, откуда начинал плести сеть своих предположений.

Случай проделывал над ним такие дьявольские штучки, что в полиции не было никого, кто бы не сочувствовал этому остроумному и изобретательному человеку.

Наверно, всем памятна история, когда сыщик Гупфельд выследил убийцу баронессы фон Весели, продавщицу булок из фирмы Забранского. Целых полгода сжимал Гупфельд кольцо улики вокруг злодея и даже сделался его ближайшим другом.

Ох, уж эти мне тайные агенты! На что только они не идут! За полгода Гупфельд собрал предостаточно материала и засадил-таки своего нового приятеля за решетку. Но на следствии обнаружилось, что арестованный вовсе не убийца, а вполне порядочный человек. Вот так в последнюю минуту глупая случайность смешала все карты нашего несравненного детектива.

Если бы хоть Гупфельд поступал наобум, — это еще куда ни шло! — но об этом не может быть и речи. Действия его были осмысленны в высшей степени. Нет, он был не из тех, кто работает нашармачка, как заурядный ремесленник. Это был мастер своего дела, хотя невезение и подстерегало его на каждом шагу. Если бы не оно, Гупфельд достиг бы колоссальных успехов, и с ним никогда не приключилось бы того, что мы называем истинным несчастьем.

Как-то полиция разыскивала весьма ловкую международную авантюристку. Вести столь тонкое дело поручили нашему благородному детективу. Известно было, что выдавшая виды преступница всякий раз появлялась под новым именем.

Тем не менее уже в самом начале расследования Гупфельд установил, что разыскиваемая особа проживает в Чешском Крумлове под именем Клары Фибиховой. Как это ему удалось разузнать — для всех осталось тайной. Сам Гупфельд никогда не распространяется на такие темы, считая это хвастовством, которое не к лицу подлинному мастеру с его непомерным самолюбием.

Итак, мошенница проживала в Крумлове, куда, по ее словам, вернулась из-за границы.

Тут я не могу еще раз не выразить своего удивления находчивостью и решительностью наших детективов. Пан Гупфельд решил прикинуться влюбленным и представился этой даме паном Гупфельдом, отдыхающим в Кунвальде на даче. С присущей ему математической точностью он рассчитал, что самое большее через три месяца они поженятся, и, уже на правах супруга, он разузнает о ее связях с авантюристами международного класса.

Гупфельда не остановил ни почтенный возраст, ни внешность авантюристки, хотя возлюбленная его очень смахивала на косматых древнегреческих фурий. Три месяца спустя Гупфельд отпраздновал свадьбу, а на другой день после бракосочетания из полицейского отделения пришла телеграмма. Гупфельда извещали, что разыскиваемая особа схвачена в Берлине и ему надлежит вернуться в Прагу.

С тех пор Гупфельд живет с этой липкой медузой — так, кажется, в естествознании величают какой-то вид слизняков. Впрочем, в сравнении с пани Гупфельдовой эта морская нечисть, безусловно, выигрывает.

Словом, и на сей раз рок жестоко подшутил над паном Гупфельдом, именно в тот момент, когда он совсем было достиг заветной цели.

Однако находчивость, проявленная Гупфельдом в деле с авантюристкой, произвела на господ начальников большее впечатление, чем он мог предполагать. Шеф полиции, потрепав его по плечу, объявил, что в ближайшем будущем Гупфельда ждет повышение. Его назначат на должность начальника отделения. Пока же ему поручается одно весьма ответственное задание; он должен установить, кто из пражан вместо сахара потребляет сахарин, ибо в полиции есть серьезное подозрение, что в Прагу контрабандой сахарин перепродают в несметных количествах.

Два месяца пропадавал несравненный пан Гупфельд и появился в обществе лишь после того, как его изыскания увенчались сногшибательным успехом. Он представил полиции список всех жителей чешской столицы, страдающих сахарной болезнью: из-за своего недуга они не могли потреблять сахар и были вынуждены доставать сахарин по рецептам в аптеках. Таковых преступников оказалось около 720, и титанический труд Гупфельда завершился тем, что тридцать шесть аптекарей Праги и ее пригородов, то есть все, кто продавал сахарин по рецептам, сели за решетку. Столь фантастический успех в скором времени был отмечен давно ожидавшимся повышением.

Пан Гупфельд был назначен на должность начальника полицейского отделения.

Задачи нашей государственной полиции всякому известны. Это прежде

всего надзор за определенными политическими группировками, которые не разделяют политических воззрений полицейских (а у последних их попросту нет).

Само собой разумеется, наибольшую опасность для Австрии представляют анархисты.

Внезапный расцвет анархизма проявляется у нас не в злоупотреблении динамитом. Отнюдь нет. Производство его чешские анархисты полностью передали наследникам фабрики Нобеля. Анархия ощущается скорее в том, что полиция теперь, не церемонясь, производит обыски в домах неанархистов.

Но в чешских землях ведутся-таки работы с динамитом, и прежде всего в столице, в самой беспокойной Праге, и поблизости от нее, где динамит играет не последнюю роль.

И это, к сожалению, истинная правда. Да, да, да, опасное средство в руках русских революционеров находится в самой Праге, в Хухле, где динамитом рвут известняк. Хотя определенные инстанции еще до Гупфельдовой эры пытались бороться с этим революционным начинанием подрывников, их деятельность — пустяк по сравнению с теми славными подвигами, которые совершил пан Гупфельд после своего назначения на пост начальника отделения государственной полиции.

Пан Гупфельд обладал незаурядным даром наблюдателя, он детально изучил психологию преступления и считал, что преступники всегда толкуются в тех местах, которые напоминают им о преступных действиях.

Итак, пан Гупфельд приступил к наблюдениям... Целые дни проводил он у каменоломен и, пока рабочие рвали динамитом каменные глыбы, пристально следил за выражением лиц прохожих. Его интересовало, как отражается действие динамита не столько на известняковых породах, сколько на физиономиях зрителей.

Как-то внимание его привлек один господин. Остановившись поодаль и слышав очередной взрыв, господин кричал:

— Вот это ладненько, вот это хорошо! — Глаза у него вдохновенно сияли, и чем выше взлетали каменья, тем восторженнее он орал: — Так его, трах-тарахах, так его, так! Вот это красота!

Чрезмерный восторг господина навел пана Гупфельда на мысль, нет ли тут политических причин. Оставаясь незамеченным, пан Гупфельд последовал за господином, а когда они дошли до Праги, сдал его в участок и велел доставить в канцелярию государственной полиции.

В канцелярии пан Гупфельд, опасливо прохаживаясь вокруг арестанта, шипел на него:

— Мы вам покажем, мы вам покажем, мы вам дадим динамит!

На допросе обнаружилось, что восторженный господин не кто иной, как хозяин каменоломни. Но и эта ошибка обернулась для пана Гупфельда чрезвычайной удачей: спустя две недели, после того как он успел провести обыск в доме не в меру энергичного предпринимателя, его назначили главой пражской тайной полиции в отставку.

Во время обыска пану Гупфельду посчастливилось обнаружить родословную щенка сенбернара. Эта находка была последним шедевром славного детектива. Ею завершил он вдохновенную деятельность на посту главы департамента и труд тайного сыскаго агента вообще, в коих проявил столько ума и

непревзойденной находчивости.

В полицейском управлении он до сих пор слывет мастером своего дела. Нынешние сыщики ему и в подметки не годятся.

## Как я выбыл из национально-социальной партии

### I

Прежде всего напрашивается вопрос: как я в ней оказался?! Очень просто. Сначала я служил редактором «Мира животных». Прознав об этом, национальные социалисты принялись уговаривать меня изменить свои политические убеждения. Конечно, если бы речь шла о том, чтобы от консерваторов перемахнуть к анархистам, душевные муки были бы во сто крат тяжелее. Но в данном случае никакой пропасти преодолеть не пришлось. Из «Мира животных» я преспокойно перебрался в «Ческе слово», *не изменив* даже своим политическим убеждениям, — так, по крайней мере, утверждали все мои знакомые. Просто-напросто я променял своих бульдогов на новую партию. Разница состояла лишь в том, что раньше я кормил бульдогов и догов, а теперь меня самого подкармливала партия. Точнее, не партия, а д-р Гюбшман.

Кто он такой? Вполне приличный и даже добрый человек — до тех пор, пока у него хватает терпения. Правда, терпеливым его не назовешь. Но зато это, ей-богу, единственный его недостаток. Будь д-р Гюбшман издателем «Мира животных», он наверняка наводнил бы его памфлетами о бедственном положении собак на псарнях, а сам содержал бы псарню и втихомолку торговал собачками. Потому что д-р Гюбшман — торгаш. Он, к примеру, не прочь потолковать о страшном повышении квартплаты, а между нами говоря, сам ее повышает. Да и с какой стати ему отказываться от этого?

Доктор Гюбшман — депутат. Высокое звание, но и не столь уж обязывающее, как кажется на первый взгляд. Депутат Гюбшман прямо-таки начинен прекрасными идеями, о которых он может доходчиво рассказать массам. Но в душе д-ра Гюбшмана идет непрерывная борьба. Он ведь не только депутат, но еще и человек. Гюбшман-человек прижимает квартиросъемщиков и председательствует в корпорации печатников «Ческе слово». Превосходный человек д-р Гюбшман! Что ж, оно и верно, коли рассудить здраво, — депутатская слава развеется, мандат потеряет силу, а вот деньги останутся. Как-никак, а участие в «Ческом слове» приносит 50 крон.

Итак, д-р Гюбшман стал моим шефом.

### II

Как нам живется в национально-социальной партии? Недурно. Одно время нас объединял ресторан «Золотой гусь». Это одна из самых славных страниц нашего движения. И хотя «гусь» звучит как-то не слишком завлекательно, он стал символом национальных социалистов. Во время демонстрации иногда можно увидеть молодцов с молотом и перышком; приглядитесь, под этими значками горделиво поблескивает на булабочке золотой гусь. Это символ нашей партии. Гуси спасли Капитолий. Золотой гусь спасет нашу партию. Этот гусь на булабочке вручался завсегдатаям харчевни «Рыхта», выдувавшим там по несколько кружек пива ежедневно. Золотой гусек, увенчанный скромной славянской трехцветной лентой, молотом и пером вкупе с красно-белой звездой, вызывающе сверкает на их лацканах, словно бы говоря: «Все мы тут

свои люди, национальные социалисты». И ежели под натиском непогод наша партия разлетится, клиенты «Гуся» сомкнут поредевшие ряды. Подобно наполеоновской гвардии, которая под Ватерлоо на вызов англичан решительно ответила историческим возгласом: «Дерьмо!», — наши могикане покажут своего «Золотого гуся» в петлице, что будет означать: «Хорош гусь!» — и партия прекратит свое существование.

### III

Мирно текли мои дни в редакции «Ческого слова». Там я свел знакомство со многими высокоинтеллигентными людьми. Во-первых, с известными вождями национальных социалистов Богачем, Лоудой, Симонидесом. Богач — это косметика; Лоуда мертвой хваткой вцепился в кнедлики, а Симонидес просто служит в одной из страховых касс. Богач — юркий непоседа, ни секунды не постоит на месте. Лоуда вял и ленив, он взирает на окружающий мир устало и равнодушно, а Симонидес постоянно трет себе нос. Красный нос Симонидеса прекрасно выделяется на фоне белых щек и напоминает прелестную цветовую гамму национально-социальной гвоздики.

Подружился я и с депутатами. С Лысым кутил, с Клофачем кутил, а вот со Стршибрным нет; с Хоцем даже не разговаривал. Как личному врагу Клофача, ему вообще был заказан вход в нашу редакцию. Надо сказать, что Клофач терпеть не может и Фресла. А Стршибрный считает Клофача узурпатором. Лучше всех депутат Экснер. Этот толстяк никого не поддерживает, но зато никого и не трогает. Пива в больших количествах не потребляет. Поэтому в партии его тоже недолюбливают. Заглядывает к нам и Бурживал. Этот милейший человек не в чести у депутата Войны, Бурживал отвечает Войне тем же, поскольку и тот и другой знают, что у обоих рыльце в пушку; оба стараются избегать друг друга, а уж если доводится им сойтись на узкой дорожке, то получается прямо как в известной песенке:

*А коли встретиться случится,  
то заалет он, как роза.*

Вообще я замечал, что при встрече друг с другом депутаты национально-социальной партии всегда *краснеют*. А кое-кто, глядишь, и побледнеет, но и тогда гармония национально-социальных тонов сохраняется. А в целом депутаты этой партии все-таки очень и очень привязаны друг к другу.

Депутата Форманека я в глаза не видел. Форманек — трезвенник, поэтому к делу партии равнодушен. Естественно, что и партии на него наплевать..

### IV

На правах референта «Ческого слова» я присутствовал на собраниях трамвайщиков, где речь шла о том, выходить или не выходить на работу, если управление вместо удовлетворения справедливых требований ограничится обещаниями «вернуться к ним через полгода». Оно конечно, городское управление вечно твердит одно и то же: «Какнибудь после, потом». Но тут, на собрании от наших вождей брата Симонидеса, брата Рогача и др., я своими ушами слышал такие слова: «Забастовка неизбежна!» А брат Лоуда поддакивал: «Да-да-да. Неизбежна».

И на секционных собраниях трамвайщиков брат Война и брат Стршибрный в унисон трижды бросали ревущей аудитории звонкий клич: «Забастовка неизбежна!»

Но за это вольнодумство управление электрических предприятий отказало нам, сотрудникам «Ческого слова», в бесплатном годовом билете на трамвай. Стршибрный, Война и др. негодовали.

— Наш долг, — бушевал Война, — привлечь на свою сторону банк и торговую палату, пусть и они воздействуют на управление! Ведь речь идет о судьбах наших бесплатных трамвайных билетов.

Было решено созвать собрание служащих электрических предприятий. Оно было назначено на час ночи в Ригеровых садах.

## V

Служащие были полны решимости не отступить, как и в последнюю забастовку на Стршелецком острове. Собирались мрачные и возбужденные. «Так дело не пойдет!» И вот тут-то взял слово брат Война.

Эта сцена до сих пор у меня перед глазами. Взор брата Войны светился убежденностью, что получить бесплатный годовой билет на трамвай — его долг и право.

— Друзья! — вскричал он. — Заткнитесь! Теперь буду говорить я! Образумьтесь, рассудите здраво, подождите окончательного ответа администрации!

— Долой! — крикнул кто-то из наших рядов.

— Друзья, заклиная вас, — вопил Война. Душу его переполняло убеждение, что бесплатный годовой билет он должен получить во что бы то ни стало. — Не разоряйтесь, или я распущу собрание, посмотрим, какой ответ в конце концов даст управление!

— Вы слюнтяй, господин депутат, — снова раздался чей-то голос. — Я прошу слова!

Голос этот принадлежал мне. Я, член национально-социальной, партии, бывший редактор «Мира животных» и нынешний сотрудник «Ческого слова», прервал речь оратора.

— Молчать, идиот! — грохнул Война, председатель исполнительного комитета партии, членом которой я имел честь состоять.

— Сам идиот! — невозмутимо парировал я. — Друзья, всыпем ему!

Всыпать мы ему не всыпали, потому что брат Война успел удрать, но зато мы разорвали свои партийные билеты. А брата Фресла обозвали балбесом.

Я был весьма польщен доверием, оказанным мне в ту ночь.

## VI

Ну, а потом меня вышибли из национально-социальной партии. Или, точнее, я вылетел из нее. На следующий день, когда я пришел в редакцию «Ческого слова», намереваясь приняться за общественно полезный труд штатного референта во имя дела, которому было отдано столько сил, меня уже поджидали вожди. Так некогда ждали Мартиница и Славату на Градчанах.

Первым, кто схватил меня за шиворот, был д-р Гюбшман Шефрна, рассыльный редакции (нижайший поклон сему доблестному мужу — я и по сей день должен ему восемь крон), распахнул окно, и председатель исполнительного комитета вкупе с депутатом Фреслом схватил меня за задницу и спустил с третьего этажа прямо на каток заднего двора Сильва Тарруцци.

— Я тебе покажу, что значит партийная дисциплина! — неслось мне вдогонку.

Больше я ничего не помню.

Таким вот способом вылетел я из партии национальных социалистов и те-

перь ищу 200 тех служащих, которым за несколько часов до той достопамятной сходки в Ригеровых садах я твердо обещал, что стачка непременно состоится. Я прошу их написать мне по адресу: Вршовице, Палацкого, 363, и приложить марку, чтобы я мог уведомить их, в какой день и час мы сможем разогнать исполнительный комитет национально-социальной партии и его председателя брата Войну.

## Хозяйственные реформы барона Клейнгампла

Барон Клейнгампл был человек дальновидный и проницательный и, получив в наследство от тети небольшое имение в Бытоухове, всерьез задумался над реорганизацией хозяйства.

Начал он с того, что, призвав управляющего своих новых владений, распорядился пересадить куда-нибудь старые развесистые дубы, которые росли в парке перед замком и загораживали вид.

Всю неделю управляющий ходил сам не свой и, едва вспоминал о распоряжении пана барона, ему становилось нехорошо. Неужели пан барон воображает, будто вековые деревья можно пересаживать?

Управляющий пришел к хозяину с докладом и застал его в библиотеке за чтением какого-то, видимо научного, труда. После долгих предисловий управляющий заявил, что столетние дубы пересаживать невозможно и он даже не представляет себе, как это можно сделать, на что барон улыбнулся и попросил управляющего взять из шкафа большую зеленую книгу.

— Это книга о садоводстве, друг мой, — ласково произнес барон, — откройте ее там, где заложено, и вы узнаете, что это проще простого, к этому даже есть картинка. Смотрите, как тут все прекрасно и наглядно объясняется. Читайте!

Управляющий прочел:

— «Пересадка Фуксии. Фуксию вынимают из горшка и осторожно, стараясь не повредить корни, опускают в другой горшок».

— Вы убедились, дорогой, как это просто. Вы вынимаете дубы из земли и переносите, куда я вам укажу, опускаете в заранее подготовленные ямы — и дело с концом. У меня грандиозные планы по реорганизации хозяйства, и ваша задача — систематически и неумолимо проводить их в жизнь, в этом залог успеха. Конечно, на первых порах мы столкнемся с трудностями, которые, быть может, даже покажутся нам непреодолимыми, скажем, как с дубами, но мы располагаем научной литературой по всем вопросам, не говоря уж об энциклопедии, которая всегда к вашим услугам. Начнем с пересадки самого старого дуба, того, что растет перед замком. Главное, не повредить корни, каждый корень надо осторожно вынуть из земли. Дуб пересаживается точно так же, как и фуксия, ведь и то и другое — флора.

Я хочу все дубы рассадить вокруг пруда позади замка, — вдохновенно продолжал барон, и управляющий не посмел его перебивать, — или нет, лучше мы осушим пруд и вместо рыб разведем в нем дубы. По берегам пруда сделаем скамейки, и я буду отдыхать там от своих забот. Кстати, дорогой, когда цветут дубы? Это важно знать, потому что с бутонами пересаживать их нельзя. В этой книге сказано, что даже фуксию не пересаживают в период цветения. Впрочем, сейчас, осенью, мои опасения излишни. Мне пришлось поломать голову вот еще над чем: фуксию можно пересаживать только в теплом помеще-

нии. А как быть с дубами? Дубы ведь тоже чувствительны к холоду. Что же, я нашел практичное и остроумное решение. Перед посадкой мы будем разогревать землю вокруг дубов, для чего поставим в осушенном пруду портативные кирпичные печи; в них же будем греть землю для засыпки корней. Пересаживать будем днем, так как даже фуксию не рекомендуется пересаживать ночью, иначе поблекнет листва.

Дубам во время пересадки также вреден дождь, поэтому в случае непогоды, когда будем вынимать дерево из земли, работникам придется залезть на вершину и держать там раскрытые зонтики, пока не закончим пересадку.

Да, вот еще о чем я хотел вам сказать. В ямы, оставшиеся после дубов, мы посадим финиковые пальмы. Представляете себе фурор, когда мы снимем первый урожай! А что касается хозяйственного эффекта, то намного выгоднее в дальнейшем вообще разводить только финики. Я много размышлял над этим и понял, как надо по-настоящему перестроить наше хозяйство. Скажите, почему у нас никто не сажает финики? Да все потому, что лень! А я буду вывозить финики во все страны мира. Ведь земля у нас отличная. Вчера я ходил в поле и был приятно удивлен: вот, говорю, великолепная свекла, а экономец отвечает: «Прошу прощения, пан барон, это не свекла, а картошка». Если картошку нельзя отличить от свеклы, ясно, что земля здесь отличная. Но ботва на картофеле была очень сухая и поломанная. В будущем году каждый картофельный куст надо будет подвязывать на длинные палки, как это делают с хмелем и виноградом. Это тоже даст нам немалый хозяйственный эффект: картофель будет виться вверх по шестам, его не придется выкапывать из земли, а только срывать с веток; собирать такой картофель куда быстрее, да и работа чище. Такое ведение нашего хозяйства любого убедит в его рациональности.

Следует экономнее использовать полевые угодья. Для чего, черт побери, одно поле мы засеваем пшеницей, другое — рожью, третье — овсом, четвертое — ячменем? Распорядитесь сделать так: все эти семена смешайте и засейте ими одно поле. Рядом с пшеницей на нем заколосятся рожь, овес и ячмень. Этим мы, во-первых, добьемся экономии места, а во-вторых, времени, так как нам не придется один день косить только овес, другой — только рожь и так далее. Зимой же, когда в поле делать нечего, работники будут перебирать обмолоченное зерно и раскладывать его на разные кучки. Со временем мы введем и другие усовершенствования, в первую очередь примем меры против града: будем выращивать хлеб под тентом или под большими навесами; на южном склоне разведем какао и кофе, будем сеять пшено и крупу. Хозяйство очень запущено, но я надеюсь, общими усилиями нам в короткие сроки удастся поднять его. Что касается мелкой домашней птицы, мы и тут должны провести кое-какие реформы. Будем разводить крупные породы кур, для этого велите скрестить кур с гусями, а когда наседка бросит водить цыплят, не спускайте с них глаз, чтобы петухи не сожрали их. Боровы это делают с поросятами. Свины нечистоплотны, любят валяться в грязи, а это неблагоприятно отражается на вкусе их мяса. Поэтому прикажите всех поросят покрыть нитролаком и просушить у печки. Ведь почему поросята любят грязь? Они хотят быть черными, а не белыми. Если мы пойдем им навстречу и покроем их лаком, они и думать забудут про грязь и сразу станут жизнерадостными! Для повышения удойности устроим коровам бани, а у чистой здоровой коровы и молоко вкуснее.

Вот так-то, дорогой мой управляющий. Мы должны неуклонно добиваться прогресса. Ну, а теперь всего хорошего, ступайте и поразмыслите обо всем, что я вам сказал.

Управляющий тотчас отправился топиться.

## Солнечное затмение

Когда тень, от луны пошла на убыль, а солнце все больше и ярче выступало из-под затененной поверхности, судебный советник пан Я у рис бросил на землю желто-зеленое стекло с жестом крайнего отвращения. Я стоял рядом в комнате, когда пан судебный советник сказал:

— Я так и знал, что меня опять надуют с этим затмением. Такое случается уже второй раз. Первый раз, пятнадцать лет назад, никакого затмения не было, закрыло едва ли треть солнца. А тоже ведь говорили, что темнота будет полная. Я приобрел черные очки, и какое ж было мое разочарование! Помню это так явственно, будто все происходило только вчера.

Я давно увлекаюсь астрономией, и мое увлечение разделяли моя жена и пан доктор Кавка. Он побывал с научными целями в крупных швейцарских лабораториях, а с Монблана даже привез фотографии прохождения Венеры. У меня была вилла в Крушных горах. Веселенькая, милая вилла на голой вершине большого холма; ниже начинались леса, а дальше вокруг, куда ни помотри, тянулись горы и леса, венцом обступая поляну и виллу на ней; по ночам они казались особенно высокими, и, когда я смотрел на небо, казалось, будто я нахожусь на дне воронки. Здесь, на этой вилле, мы устроили маленькую обсерваторию, откуда и наблюдали все 7000 звезд от первой до шестой величины, видные невооруженным глазом. Когда же мы наводили на них телескоп, звезды казались нам рассыпанной крупой. Пан доктор Кавка все эти явления умел объяснить научно, что очень нравилось моей жене. Я тоже люблю астрономию и до сих пор не потерял к ней интерес, хотя мне особенно-то некогда над всем этим задумываться. Ну, разве это не смешно, что крохотная звездочка седьмой величины, светящаяся в созвездии Большой Медведицы, удалена от нас на 340 триллионов километров, и если взять для сравнения курьерский поезд, несущийся со скоростью 120 километров в час, он достиг бы ее через 325 миллионов лет.

Мне было бы неприятно дурачить кому-либо этим голову, и уж тем более я не собирался утолять любопытство моей жены. Впрочем, здесь же рядом находился доктор Кавка, которого она забрасывала вопросами. Нередко, когда я поздним вечером курил на веранде свою последнюю сигару, я слышал приятный голосок своей жены, ее нескончаемые вопросы, которыми она прямо-таки засыпала в саду под террасой пана доктора Кавку, когда они любовались какой-нибудь замершей звездой, затерянной среди бесчисленных светящихся точек на небосводе.

Я слышал, как она спрашивала, за сколько достигнет ее курьерский поезд, товарный, автомобиль, долго ли ехать туда человеку на велосипеде и тому подобное, на что он отвечал: товарный состав при такой-то и такой-то скорости шел бы туда столько и так далее. Короче, он так и сыпал цифрами и подтверждал их теоретически, но, как я понял позднее, во всем этом не было, разумеется, ни капли истины. С солнечным затмением-то он ведь меня одурачил!

В саду, как обычно, стояла тишина, молодые люди любовались звездами,

иногда мне чудилось, будто они держат друг друга за руки, в чем я не находил ничего удивительного: жена нередко хваталась за его руку, стоило ей только представить себе, что звезда, на которую они смотрят и о которой говорят, несется сквозь просторы вселенной с умопомрачительной скоростью — 30 миллионов километров в сутки. Такое ошеломит кого угодно. Вообразите себе ужасные скорости небесных тел — и у вас закружится голова, и, если вас кто-нибудь не подхватит в свои объятия, вы тут же упадете. Такое происходило и с моей женою, когда они с паном доктором Кавкой любовались в саду на эту пропасть звезд, а пан доктор Кавка, будто Фламарион, уносился мечтами к звездам. Удивительно, что в эти ясные ночи в зрачке отражаются звезды настолько маленькие, что в глазу можно увидеть 534 звезды от первой до четвертой величины.

Столько их насчитал пан доктор Кавка, вглядываясь звездными ночами в саду в прекрасные голубые глаза моей жены. А я тем временем, удобно устроившись на веранде, покуривал сигару, наслаждаясь спокойствием чудесной летней ночи, довольный ужином, — кухарка, надо сказать, у нас была отменная. Я радовался жизни, любовался небесным куполом, окружавшими нас горами, их темные очертания напоминали мне, что за ними расположен город, где можно достать все, что требуется для доброй кухни. Наша кухарка со служанкой ездили туда через день, и цены там были умеренные. Цыплята стоили дешевле, чем в долине, в деревне, и были к тому же куда крупнее. Мне даже казалось, что пожилому человеку, вроде меня, жилось бы тоскливей, не будь у него такой молодой веселой жены и не имей он такого рассудительного друга, как доктор Кавка.

Порой, однако, он приводил меня в растерянность, сетуя на прихоти моей жены. Однажды ей пришлось в голову устроить ночную прогулку на ближайшую вершину, откуда открывался чудесный вид на весь край, сказочный вид, когда и леса, и вершины залиты лунным светом. Жена настаивала, чтоб и я непременно отправился вместе с ней. Я ни разу не ходил — не хватало еще таскаться по каменистым склонам, в то время когда я преспокойно мог, сидя на веранде в плетеном кресле, курить свою сигару.

Я отпускал с ними нашего пса Барри, но всего раза два: Барри сильно рычал на пана доктора Кавку, и я всегда узнавал, когда они достигали цели своего путешествия по тому, что Барри раздражался громким лаем, доносившимся даже сюда, на веранду. А кончилось тем, что в один прекрасный день Барри даже вцепился пану доктору Кавке сзади в штаны.

Так мирно проходило для нас это лето, до того самого дня, когда должно было произойти затмение солнца. Мы съездили в город за черными очками, за желто-зелеными стеклами, которые накладываются одно на другое, и даже захали в Прагу за черной пластинкой и биноклем. Всю неделю только и разговоров было что о затмении. Пан доктор Кавка утверждал, что ровно в полдень совершенно стемнеет, так что и в четырех шагах ничего не будет видно, и тьма наступит внезапно, короче говоря, он повторял то, о чем писали сейчас газеты про полное солнечное затмение, которое, впрочем, оказалось таким же надувательством, как и то, что пятнадцать лет назад.

И когда наконец тот день настал, мне дали темные очки, в руки — бинокль и отправили в 12 часов 12 минут наверх, в нашу маленькую обсерваторию в башенке виллы. Сами они остались внизу, чтобы из столовой наблюдать за за-

тмением через комбинированные стекла. У меня чуть глаза не вылезли, пока наконец узкая тень, закрывавшая краешек солнца, двинулась к его середине. Сорок пять минут я, дурак, кое-как еще выдержал, смотрел на солнце, а ему хоть бы что. Тогда я снял очки и отправился вниз узнать у пана доктора Кавки, не ошибся ли он. Представьте себе, он безбожно обморочил меня с этим солнечным затмением! Жена моя сидела у него на коленях и застегивала блузку. Лица у них были бледные, будто у мертвецов.

Вот и нынче меня во второй раз одурачили с затмением.

## **Заседание сельского правления в Мейдловарах Выборы стражника**

**М**ы все с нетерпением ожидали этого заседания, так как на нем должен был решиться вопрос, кому быть сельским стражником. Всего поступило свыше пятисот прошений, а если говорить на языке ученых, то около пятисот тридцати одного прошения. Из желавших занять это место половина окончила юридический факультет, около ста прошений принадлежало окончившим философский факультет, сорок девять прошений было написано безработными из различных учительских институтов, которые вот уже целый год были без места. Остаток падал на окончивших коммерческие академии, и, наконец, три прошения поступило от лиц, хорошо знакомых старосте, так как они жили в нашем селе. Это были: Франтишек Качирек — пастух, Ян Корженарж, малоземельный крестьянин, живший на краю села, и церковный сторож Подлох. Этот последний поругался с попом, который не поделился с ним гонораром, полученным при погребении старухи Швейцовой, и, кроме того, в тот же день обыграл его в пивной на пять златок.

Из всей массы просителей выбрали трех кандидатов, живших в нашем селе; остальные прошения мы продали лавочнику Краусу на обертку. Он дал нам за это пять бутылок вина и с тех пор завертывает в эти прошения покупки. Случалось, что в прошение, оканчивающееся словами: «Я обещаю, что за службу ваше доверие», заворачивался вонючий сыр, который покупали перед тем, как пойти в пивную, потому что в этом сыре столько перца, что пиво от него кажется особенно вкусным. Пиво у нас привозят из Глубокой, — очень хорошее пиво, если пить его умеючи. Выпьешь десятую, одиннадцатую кружку и потом так заговоришь о политике, что приятно послушать. И не успеешь оглянуться, как тебя начинают лупить, потому что у нас нет людей с одинаковыми убеждениями. Мы говорим и об общественных делах, потому что у нашего старосты своя пивная. В этой пивной мы и собрались, как обычно, на заседание сельского правления. Вообще здесь у нас происходят все общественные собрания. Все было по-честному, о подкупе и речи быть не могло. Каждый из кандидатов выставил бочку пива. Сначала бочку выставил кандидат Качирек, и когда мы об этом узнали, то сейчас же решили, что обязательно выберем его стражником. Но такое же угощение выставил и Корженарж, а за ним и церковный сторож Подлох. Это было очень приятно, но головы у нас пошли кругом, и мы не знали, что делать. Каждый из кандидатов купил одинаковое количество пива и обошел всех членов сельского правления, и мы обещали каждому выбрать его стражником. Затем сторож Подлох зарезал для нас свинью. Одновременно с ним зарезали по свинье и другие два кандидата — Качи-

рек и Корженарж. Все трое старались нам угодить, но, к сожалению, у нас было место только для одного.

О подкупе не было и речи, а как поступить, мы не знали. Ни один из трех кандидатов не имел никаких преимуществ. Поэтому нужно было ожидать, что заседание сельского правления по этому вопросу будет особенно бурным. Целый день мы, члены сельского правления, постились, чтобы с большим аппетитом приступить к уничтожению свиней, тем более что от жареного шел приятный запах по всему селу.

Староста находился в весьма затруднительном положении. Он ходил от одного члена сельского правления к другому и говорил:

— Честное слово, дальше так продолжаться не может. Я сойду с ума. Если бы один из этих трех кандидатов был негодяем, тогда бы мы его просто исключили из списка, и у нас осталось бы только двое, одному из которых можно было бы легко доказать, что он ни к черту не годится. Ну, а так как они все трое одинаковые негодяи, то наше положение скверное. Мы ни в чем их не можем упрекнуть: они устроили для нас угощение и поставили пиво. Но все равно они — подлецы, и подкупить нас им не удастся.

Среди нас находился один человек по имени Махличек. Он почему-то относился с неприязнью к нашему старосте Балеку. Везде, где только было можно, он старался причинить ему неприятность. Один раз, например, он донес на старосту, будто тот ворует его снопы с поля. Еще немного, и дело дошло бы до суда. Только после того как староста скостил Махличку какой-то долг по пивной, дело кончилось мировой. Староста должен был еще обещать ему перед свидетелями, что будет целую неделю даром поить его пивом. Конечно, Махличек не зевал и пил вовсю, и с тех пор между ним и нашим старостой началась непримиримая вражда. Он открыто угрожал, что на заседании сельского совета поставит старосту в неловкое положение.

И вот состоялось то самое памятное собрание, где наконец должен был решиться вопрос о стражнике. Махличек был настроен по-боевому, староста тоже.

Мы сошлись в зале заседаний, то есть, как уже было сказано, в пивной старосты. Кроме нас, там сидело несколько наших соседей, которым было сказано, что и они могут участвовать в пиршестве, но на кухне, так как в пивной будут происходить выборы сельского стражника.

И заседание началось.

Сначала подали перловый суп с кровью, затем кровяную колбасу и ливерную с капустой и картошкой (картошку и капусту добавил староста). После этого подали заливное из трех свиных голов, потом зельц и, наконец, жаркое из свинины с кнедликами (кнедлики добавил староста). Наконец, распив первый бочонок пива, мы приступили к дебатам о предложении старосты избрать из троих наиболее достойного. Первым взял слово староста, заявивший, что он сожалеет, что все три кандидата стоят один другого, что все они одинаковые бездельники и шарлатаны, выразившие желание охранять общественный порядок, но что сельское правление может выбрать из трех только одного. Имена их: Корженарж, Качирек и Подлох, и он просит, чтобы они, по крайней мере, встали, когда о них говорят.

После него взял слово Махличек. В своей речи он весьма удивлялся, почему староста не начал с другого конца. Он не сказал, что сельский стражник в

первую очередь должен знать, что такое справедливость и право, и не должен позволять оскорблять себя ни при каких обстоятельствах. Вот какой должен быть настоящий стражник. Затем, обращаясь ко всем трем кандидатам, он демагогически воскликнул:

— Ребята, вы должны знать, что нелегко получить то место, которое вы просите. Вы должны быть решительны и способны на все. Если даже сам староста оскорбит вас на вашем будущем посту, вы должны показать, что вы не боитесь ничего, потому что вы будете связаны присягой. Вот сейчас он о вас говорил, что вы негодяи. Докажите же, что вы достойны занять эту должность. Качирек, дай старосте по морде.

Все молча смотрели на Качирека, который сидел, не двигаясь, и глупо улыбался.

Тогда Махличек снова воскликнул:

— Подлох, дай старосте по морде.

Опять тишина. Подлох сидел возле Качирека и улыбался еще глупее.

Тогда Махличек воскликнул:

— Корженарж! Не бойся, дай старосте по морде!

Корженарж подошел к старосте, недоумевающе смотревшему на все происходящее. Раздалась оплеуха, и староста упал со стула.

Под гром аплодисментов Махличек сказал:

— Соседи! Вот это настоящий человек, его мы должны выбрать сельским стражником. Кто за него?

Все двенадцать членов подняли руки в знак согласия.

— Корженарж, итак, ты выбран сельским стражником, — воскликнул староста. — А теперь я приказываю тебе как твой начальник, чтобы ты дал Махличку два раза по зубам.

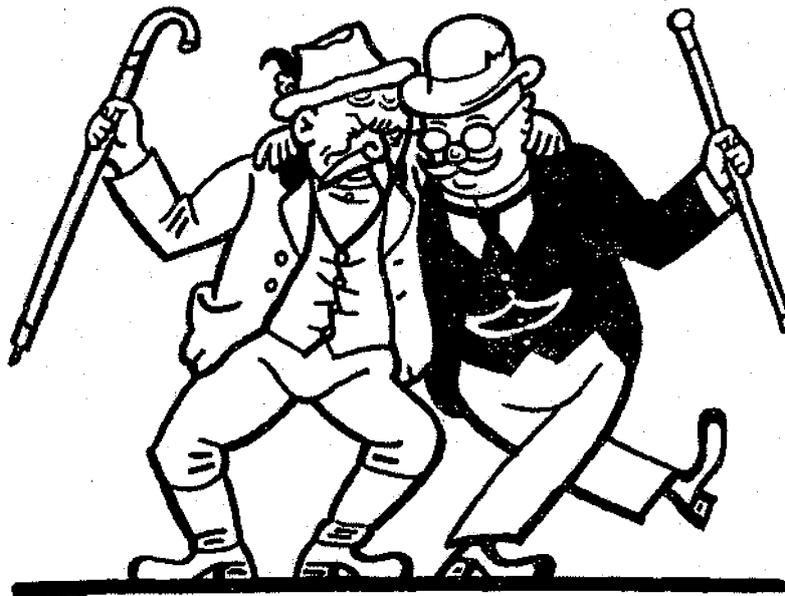
— Слушаю, господин староста! — ответил Корженарж и закатил две такие оплеухи Махличку, что его пришлось потом отливать водой.

Так Корженарж сделался нашим сельским стражником.

## Сословное различие

Приказчик Никлес и управляющий именем Пасер были закадычные друзья. Каждый день они сидели вместе в просторном деревенском трактире «У Тисков». Там хорошо знали, что их водой не разольешь и что все проделки, баламутившие деревню, устраивались ими обоими совместно. Приказчик Никлес очень любил управляющего Пасера, но кое-что, и притом весьма неприятное, все-таки разделяло их, так что Никлес имел порой весьма хмурый вид. Это было нечто возмутительное, вызывавшее в Никлесе раздражение, на какое только была способна его добрая душа. Всякий раз, как оба они вместе выпьют в трактире и устроят одну из своих веселых проделок, состоявших обычно в том, чтобы схватить ночью общинного сторожа и скинуть его куда-нибудь в канаву, вся деревня твердит в один голос: «Вчера, мол, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе».

На самом деле оба были в одинаково веселом настроении, выпили одинаковое количество, у обоих мозг находился под одинаковым воздействием винных паров. Но что поделаешь? Глас народа утверждал, что «приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе».



Не приходится поэтому удивляться, что приказчик Никлес страстно желал, чтобы соотношение изменилось. Оттого-то всякий раз, вспомнив, что о нем говорят в деревне, он становился умеренным и за то время, пока управляющий Пасер выпивал три кружки, сам выпивал только одну, — так что под конец на счету управляющего было тридцать кружек, а у него только десять, то есть получалось совершенно правильное соотношение 3:1, и в такие дни никаких проделок не устраивалось. Никлес поддерживал управляющего, тихий, задумчивый; пан управляющий шумел на всю деревню, ругая трактирщика Тиску, в то время как Никлес вел себя в высшей степени прилично. И тем не менее на другой день он узнавал, что на вопрос, почему они вчера так долго сидели, трактирщик Тиска отвечал:

— Да знаете, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе.

Никлес понимал, что все дело в глубоком социальном противоречии, что тут сказывается глубокое сословное различие: как это он, Никлес, может равняться с паном управляющим! И мало-помалу мечтой его стало услышать хоть раз:

«Да, приказчик был немножко навеселе, а вот пан управляющий нализался, как свинья».

Но желание его оставалось неудовлетворенным. Все, как уже вошло в привычку, выражались почтительно по отношению к пану управляющему, хотя напейся он до положения риз. И по дороге домой в имение, находившееся в получасе ходьбы, Никлесу приходилось выслушивать из уст самого управляющего те жестокие слова, от которых он всегда падал духом:

— Вот опять я нынче навеселе!

В конце концов Никлес был вынужден склониться перед общим мнением и признать, что, как бы ни нагрузились они оба, он, Никлес, непременно «нализался, как свинья», а пан управляющий «был немножко навеселе». Пускай управляющий еле на ногах держится, а он, Никлес, шагает совершенно прямо — все равно пан управляющий «немножко навеселе», а он всегда «нализался».

Как-то раз управляющий и Никлес опять пили наравне, да так, что, по тамошнему выражению, на душе у них птички чирикали. Приказчик пил с горя, на все рукой махнув, а управляющий — с легким сердцем, не опасаясь за свою добрую репутацию. Потом они пошли бродить по деревне и, уже в полубессознательном состоянии, увидев на площади какого-то человека в мундире, столкнули его в пруд. Это была одна из их обычных шуток, за которые пан управляющий каждый вечер угощал общинного сторожа пивом и сигарой. Но, как говорится, от своей судьбы не уйдешь. Не ушли и они. Оказалось, что на этот раз им попался не общинный сторож, а жандарм, совершавший обход и охраняемый параграфом 81-м Уголовного кодекса, где ясно сказано об ответственности за насилие над должностным лицом, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

С этого момента над обоими нависла угроза тюрьмы. Такие дела рассматривает окружной суд, — тут уездного недостаточно. И вот оба предстали перед окружным судом в Ичине. Оба сослались на опьянение, назвав в качестве свидетелей трактирщика, старосту и еще трех деревенских, находившихся в тот вечер в трактире и видевших, что они выпили по тридцать кружек пива.

Первым был вызван трактирщик Тиска.

— Расскажите, свидетель, как было дело с подсудимым Никлесом, — спросил председатель суда. — В каком он был состоянии, уходя из вашего заведения?

— Многоуважаемый пан председатель, — солидно ответил Тиска, — вот как перед богом, этот самый Никлес нализался, как свинья.

— Ну, а управляющий Пасер?

— Многоуважаемый пан председатель, — промолвил трактирщик, почтительно глядя на управляющего, — пан управляющий был немного навеселе.

Это было запротоколировано.

Перешли к допросу других свидетелей. Все они отвечали одно и то же: «Приказчик — тот нализался, как свинья, а пан управляющий — ну, был немножко навеселе».

Вопрос был ясен, и приговор напрашивался сам собой. Управляющий, который был только «немножко навеселе», получил месяц тюрьмы, а «нализавшегося, как свинья», Никлеса отпустили на все четыре стороны, поскольку он за свои действия не отвечал. Сверх того он имел еще удовольствие услышать тотчас вслед за оглашением приговора отчаянный вопль управляющего:

— Господи, да я ведь тоже был как свинья!

Но это не помогло.

## Краткое содержание уголовного романа

— **Б**ез копейки денег Джузеппе Боро приезжает в Триест. Под именем графа Олариха фон Айзенфельса он поселяется в гостинице Битторнеля. У владельца гостиницы есть красавица дочь Лючия. Она влюбляется в самозваного графа, однако в городе его выслеживает матрос, мерзавец Лоренцо, которому известна тайна из жизни Боро: Боро убил в Риме соблазнителя его сестры и трех его сообщников. Боясь разоблачения, Джузеппе Боро открывается во всем Битторнелю за бокалом вина. Они дают друг другу братскую клятву отравить Лоренцо и успешно справляются с этим, пригласив того выпить с ними. Испытывая затруднения с ликвидацией трупа, они посвящают в дело Лючию и с ее помощью, запрятав труп Лоренцо в мешок, выносят его под покровом ночи из города, чтобы бросить тело в горное ущелье. Они достигают обрыва, но тут их нагоняет полицейский. Лючия выручает всех, пронзив сердце полицейского кинжалом в тот момент, когда он, спрыгнув с лошади, собирался выяснить обстановку. Наконец они благополучно сбрасывают трупы Лоренцо и полицейского в ущелье. Но тут внезапно раздается ржание покинутой лошади, слышится конский топот, и появляется второй полицейский. Джузеппе Боро укладывает его на месте выстрелом из пистолета, и все преспокойно отправляются по домам. Продолжения у меня пока нет, господин издатель.

И молодой человек, сидевший против издателя уголовных романов Томса, виновато посмотрел в глаза этому добряку. И тот воскликнул:

— Господин Крамский, ну куда это годится? Дальше-то что? Куда вы денете остальные трупы? Нет, ваши люди останутся на месте, так как на выстрел явится еще один полицейский патруль. Завяжется жуткая схватка, кому-нибудь свернут шею и так далее. Вот как я себе это представляю, понимаете, молодой человек? А с огнестрельным оружием, между прочим, надо обращаться осмотрительней. Что ж вы затеваете перестрелку среди ночи, имея, можно сказать, на руках труп, от которого вам предстоит отделаться? И это в тот самый момент, когда одного полицейского вы уже прикончили! Непозволительная ошибка, приятель, непозволительная. Они же сразу себя обнаружат. Если ваша Лючия так ловко орудует кинжалом, пускай она заколет и второго полицейского.

Господин Томс встал, опершись на стол, и в полупустом кафе прозвучал его громкий негодующий голос:

— Почему, я вас спрашиваю, вы не прирезали и второго полицейского? Кинжал в сердце — и делу конец. Разумеется, по шаблону действовать нельзя, номер не пройдет! Ну, и молодежь нынче пошла! Вы разве не знали покойного Хорвата? Вот кто владел кинжалом! Начал он в 1900 году и подвизался до 1905-го. И где? В Германии! И применял только яд или кинжал! Скажите пожалуйста, ну кто стреляет ночью? Вы же сразу попадетесь и потом не выпутаете

тесь! Говорю вам как отец. Вы парень понятливый, и я надеюсь, что еще не все потеряно. Выберите подходящий момент и скрывайтесь. О возвращении в город после всего случившегося, разумеется, нечего и думать. Придется поискать другой выход. Для начала займитесь грабежом. Убивайте женщин и детей. Люцию можно посадить в тюрьму, после выпустите на свободу. Для этого отправляйтесь в город, где она томится за решеткой, и прихлопните надзирателя. Я бы рекомендовал для этого резиновую дубинку, упаси боже — не револьвер, не то вы опять наделаете шуму и поднимете всех на ноги.



— Даю слово, что стрелять больше не буду, — заверил его молодой человек. — Большое спасибо за совет. Скажите, а яды можно употреблять? Какой яд не оставляет следов?

— Сразу видно, что вы совсем новичок и у вас не было практики, какая, скажем, была у покойного Хорвата. Любой яд оставляет следы и обнаруживается при вскрытии. Впрочем, пусть вскрывают и найдут, скажем, стрихнин. Но особенно ядами не увлекайтесь. Отравлять лучше всего богатых родственников и тому подобное, только не сразу, а постепенно, это интереснее. Да, когда ухлопаете надзирателя и все будет в порядке, не забудьте, что наша эпоха требует ограбления банков. Служащих усыпляет хлороформом или незаметно впрыскиваете им в кровь яд кураре. Тяжелые стальные сейфы взрываете при помощи динамита и пускаете в ход револьвер, тут уж револьвер незаменим, особенно браунинг прекрасная вещь! Недурно бы устроить и нападение на поезд. Не забывайте про театры, рестораны, кафе; всякого, кто вздумает оказать вам сопротивление и не захочет расстаться с деньгами, убивайте безжалостно, как собаку. Как собаку, молодой человек! А теперь желаю успеха.

— Они встали из-за стола и с удивлением увидели, — что перед ними, подняв руки вверх, стоят на коленях посетители кафе, официант, пикколо, владелец заведения и с немой покорностью во взоре молят о милосердии.

## Пособие неимущим литераторам

Карел Яролимек был неплохой и довольно популярный писатель. Поэтому издатели систематически эксплуатировали и обирали его. Когда выходил очередной сборник его рассказов и Яролимек являлся за гонораром, издатель ругал его на чем свет стоит и божился, что сам не знает, кой черт дернул его напечатать такую чепуху.

В рассказах Яролимека благоухали луга, синее небо расстилалось над умолкнувшими рощами, солнце закатывалось в вечерней тишине (в разливе невероятно ярких красок) и затихало пение птиц. Все эти чудесные вещи совершались единственно для того, чтобы Карел Яролимек мог купить себе к ужину копченые сосиски. В процессе творчества Яролимек не забывал подсчитывать строчки и поэтому писал поэтически и пространно. Он перечислял все цветы в поле, долго занимался воробьем, пролетевшим над головой героя, и особенно налегал на диалоги в тех случаях, когда оплата была построчная.

С безмятежностью праведника он писал:

«...Оскар заранее знал, что скажет:

— Да. А разве вы не такого мнения?

— Нет.

— А почему?

— Потому!

— Почему же, Эмилия?»

И Яролимек подсчитывал: «Пять строк по пять геллеров (больше ему никто не платил) — это как раз пара сосисок. Или, если прибавить геллер, бутылка пльзеньского».

Жизнь Карела Яролимека протекала в борьбе с издателями и редакторами, у которых он с невероятной настойчивостью выклянчивал авансы.

В один прекрасный день он сидел с газетой в кафе, задумчиво потирая лысину. Он прочитал в газете, что министерство просвещения учредило фонд государственных пособий для писателей. Эта мысль возникла в голове добряка министра просвещения. Посоветовавшись с министром финансов, он сказал:

— Бросим им этот куш, пускай жрут.

«Им» значило писателям, этим бумагомаракам, иродову племени. — *Solsche fertenchten Kerl!*

Недолго думая, Яролимек подал ходатайство о пособии, подкрепив его соответствующими бумагами о том, что он действительно писатель. В ходатайстве он написал, что постарается высококонравственным поведением оправдать доверие властей, коль скоро оно будет ему оказано.

В тот вечер он даже не пошел в кафе, да и потом целых две недели все обдумывал, как распорядиться привалившим ему богатством. В смутных мечтах о будущей безоблачной жизни он уже представлял себе, что отдает в починку башмаки. Австрийское правительство снабжает чешского писателя средствами на починку сапог! Какая трогательная картина!

Шли недели и месяцы. К концу пятого месяца писатель стал немного нервничать. Миновал год, и Карел Яролимек лишь горько усмехался при упоминании о ходатайстве. Он уже свыкся с мыслью, что зря потратил 25 геллеров на заказное письмо. На это ушел гонорар с пяти строчек по пять геллеров:

«— Оскар!

— Что?

— Ты ничего не знаешь?

— Нет, Ольга.

— Скоро узнаешь, Оскар!»

Прошел еще год, и Карел Яролимек неожиданно получил вызов в полицейский участок. «Никогда ни в чем не был замешан», — решил он и бросил повестку в огонь. Немного погодя пришла повторная повестка. Ее принес полицейский в штатском платье и, как потом узнал Яролимек, сказал швейцару:

— Не знаю, в чем тут дело, но приглядывайте за этим типом.

— Будьте покойны, — отозвался швейцар.

Эта повестка тоже отправилась в печку. И тут наступили неприятные события. Яролимек вернулся домой в третьем часу ночи и улегся спать. В пять утра в дверь забарабанили, и сонный писатель услышал:

— Именем закона, отворите!

Испуганный, он в кальсонах зашлепал к дверям. В квартиру ворвались двое полицейских.

— Велено забрать вас. Ведь вы Карел Яролимек?

— К сожалению, это я.

— Бросьте глупые шуточки. Велено доставить вас к господину советнику, он вас давно хочет видеть. Ну-ка, прихорашивайтесь поживее, не то мы сами всунем вас в брюки.

— Помилуйте, ведь только пять часов утра, советника на службе нет... и я ни в чем не виноват!

— Ну, пошел хныкать! Заткнись, чертова кукла! Господин советник сказал вчера вахмистру, чтобы послали за вами. А уж мы знаем, как найти человека. Преступника надо брать в кровати. А придешь в восемь часов, так гнездышко уже опустело и птичка — фьюить!

Они нахлобучили на него шляпу и вывели на улицу.

— Пожалуйста, не хватайте меня за шиворот!

— Попридержи-ка язык!

— Я буду жаловаться!

— Мы тебе пожалуемся...

Яролимека привели в участок. Сонный вахмистр курил трубку. Он спросил коротко и ядовито:

— Ага, это вы Карел Яролимек? Тот, который изволит уклоняться от вызовов?

— Д-да.

— А чем занимаетесь?

— П-пи... писатель.

— А что вы пишете? Составляете опись имущества?

Вахмистр лег на койку, зевнул и распорядился:

— Обыскать — и за решетку!

Яролимека обшарили и ввергли в одиночку. Щелкнул ключ, и писатель остался один. Впрочем, одиночество длилось недолго, через несколько минут на него набросилась армия клопов.

Карел Яролимек взбунтовался. Он соскочил с нар и отчаянно заколотил в двери камеры.

— Пустите, я же Карел Яролимек!

— Потому и сидишь тут, — отозвался голос, — а не утихомиришься, наде-нем смирительную рубашку.

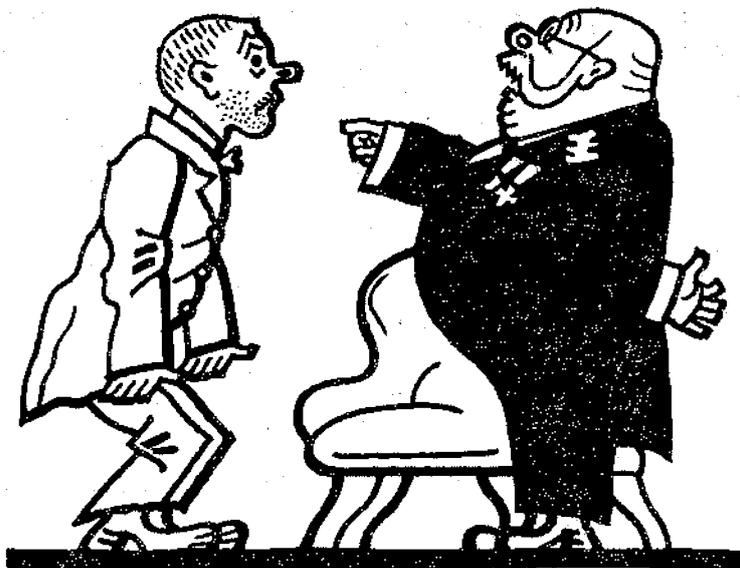
— «Приключения Карела Яролимека», «Похождения Карела Яролимека», «Гибель Карела Яролимека», — бормотал Карел Яролибек в полнейшем отчаянии, завалившись на нары. — «Злоключения Карела Яролимека», «Как Яролибек попал в беду»...

Он обдумывал названия новых рассказов.

Между тем тучи клопов, облепив тело писателя, повели тщательную разведку местности, отчего его кожа покрылась волдырями. Это было ужасное утро.

В половине, девятого за ним пришли. Немытого, искусанного и растрепанного, его отвели на второй этаж.

— По вашему распоряжению, господин советник, доставлен Карел Яролибек.



Писатель стоял совершенно ошалелый.

— Прошу садиться, — произнес пожилой советник и указал на стул.

— Прикажете посторожить? — заикнулся было один из полицейских, но, увидев, что господин советник подает преступнику руку, оба отошли на цыпочках.

— Я велел пригласить вас, господин Яролибек, для того, чтобы выяснить ваше материальное положение. Двадцать лет назад вы подавали ходатайство о государственном пособии, не правда ли?

— Виноват, господин советник, не двадцать лет, а два года назад.

— Ага, припоминаю. Двадцать лет назад ходатайствовал некто господин Часал. К сожалению, его не удалось найти. Впрочем, мы установили, справившись в энциклопедии, что он уже десять лет как скончался. Стало быть, это определенно не вы.

Советник соболезнующе оглядел Яролимека, который стоял перед ним без воротничка и галстука, неумытый, измятый и истерзанный.

— М-да, видимо, вы действительно нуждаетесь, — произнес он. — Дело вот в чем. В связи с вашим ходатайством министерство просвещения просило нас выяснить ваше материальное положение. Вижу, что вы не богач.

— Вы вполне правы.

— Так вы писатель? Значит, сочиняете?

— Совершенно верно, господин советник.

— Как же, знаю, читал даже ваши произведения. Этакие книжки, прекрасный шрифт, черные буквы. Отлично помню. Смотрел также ваши личные документы. Судимостей у вас нет, это — смягчающее обстоятельство... то есть я хотел сказать, это очень хорошо. Вы хотя и бедный, но вполне приличный человек, несмотря на ваше занятие. Можете идти.

Через восемь недель Карел Яролимек получил из Вены пособие — сто двадцать крон из фонда для неимущих литераторов. Он был страшно рад, что все так счастливо кончилось.

## Конец святого Юро

— Отец Мамерт, — обратился ко мне как-то настоятель Иордан, — святой Юро давно уже не творит никаких чудес.

Это была несомненная правда. Меня приняли в Бецковский монастырь младшим членом ордена францисканцев в ту пору, когда у нас объявился грозный конкурент во Фриштакском монастыре доминиканцев.

То была статуя святой Петронилы. Не прошло и двух дней после моего водворения в общество старых монахов Бецкова, как во Фриштаке, в саду доминиканского аббатства, перед статуей святой Петронилы разверзлась земля, и с тех пор никто уже не обращал внимания на нашего доброго святого Юро. Вода ручьем текла из-под святой Петронилы, и все паломники сворачивали к Фриштаку. И до того грустно становилось нам, когда с башни нашего монастыря мы наблюдали, как по равнинному берегу зеленоватого Вага движутся толпы крестьян с хоругвями и пропадают в синеющей дали, где-то в направлении Фриштака.

А про нас и думать забыли.

Не могли же мы останавливать эти процессии, прошедшие путь от самой Жилины, Ружомберка, Тренчина, а то и из Опавы, и говорить им: «Глупые вы, во Фриштаке есть один парень, который до поступления к доминиканцам учился на геолога. Земля под святой Петронилой разверзлась потому, что он велел вырыть там колодец. Дурни вы мои золотые, оставайтесь у нас, здесь к вашим услугам святой Юро, а это надежный, проверенный святой. Вы уже, конечно, этого не помните, но когда-то, много лет назад, куманы отрубили под Бецковым голову одному священнику, и когда люди с плачем принесли ее вместе с телом в костел и положили перед святым Юро, то голова вдруг снова приросла к туловищу, священник встал и изрек: «Премного благодарен!» Вот доподлинное чудо святого Юро, и если вам этого мало, то уж другое чудо вы должны хорошо помнить: однажды в монастыре вспыхнул пожар, статуя святого Юро соскочила с пьестала в костеле, вскарабкалась на колокольню и забила в набат. Так монастырь был спасен от огня. А когда сбежались люди, святой Юро уже преспокойно стоял на своем месте.

Золотые мои идиотики, во Фриштаке вы покупаете за большие деньги обыкновенную мутную водичку, а ведь вам гораздо дешевле обошелся бы ножичек с надписью «На память о паломничестве в Бецков». Это предмет вполне практичный, и приобрели бы вы его за какие-нибудь полгульдена. Если вас одолевают любого рода немощи, мы исключительно дешево можем предложить вам различные части человеческого тела, сделанные из воска. (Настоя-

тель рассказал мне однажды, как в лучшие времена подошел к брату монаху, продававшему восковые конечности, один странничек и говорит: «Я страдаю, ваша милость, у меня только одна нога». Тот дал ему за гульден восковую ногу и уверил, что нога у него снова отрастет. Через год странника привезли к монастырю в храмовый праздник на телеге. Подкатили к тому брату монаху, тут наш добряк привстал и с горящим взором воскликнул: «Ваша милость, произошло чудо! Моя нога не хотела отрастать. Я начал клясть все на свете, а она все не отрастает и не отрастает. Тут я и молиться совсем бросил. Вот поезд и переехал мне вторую ногу, так что пришлось ее отнять. Покупаю у вас две восковые руки, чтобы господь бог хоть руки-то мне сохранил!»)

Но это только так, между прочим. Разоблачить мошенничество во Фриштаке мы не могли и посему пребывали в скорби. Процессии по-прежнему тянулись мимо нашего монастыря на юг, у нас же никто не останавливался.

В нашем монастыре было довольно большое колбасное производство. Когда-то за наши копченые колбаски паломники готовы были драться. Кто купал пять колбасок, получал в придачу образок. А того, что вдруг купил бы сотню, стали бы поминать в заупокойной мессе. Чего уж там скрывать: на колбаски шла самая бросовая свинина. И все же, честно говоря, моим монастырским друзьям далеко было до наших соседей-доминиканцев. Наша святая братия не понимала, что такое прогресс. Не умела заманить паломников.

Итак, когда старый настоятель Иордан сказал мне: «Отец Мамерт, святой Юро давно уже не творит никаких чудес», — я только пожал плечами. «Не знаете, нет ли у нас какой-нибудь воды?» — продолжал он. Я снова пожал плечами. В нашем монастырском колодце воды было совсем мало, а найти ее в костеле, который стоит на скале, и вовсе невозможно.

Настоятель Иордан, нервно постукивая пальцами по дубовому столу, бормотал: «И как только не подумали о такой важной вещи!» Но потом, когда он отпил немного вина, лицо его прояснилось. Он ударил кулаком по столу и воскликнул:

— Святой Юро должен отправиться к воде. Так или иначе, но он должен туда попасть!

Он схватил меня за руку, потащил к окну и показал вниз, где катил свои волны зеленый Ваг. Я все понял.

— Сегодня ночью бог сподобит меня узреть видение, — произнес он многозначительно.

Хотел бы я когда-нибудь увидеть такой прекрасный сон, какой видел нынешней ночью наш старенький аббат Иордан. Среди ночи в его келью, наполнив ее райским благовонием и сиянием, вошел святой Юро и сказал ему:

— Иордан, Иордан! Я должен пойти к воде. Не могу больше смотреть на то, как совсем рядом течет никем не замечаемая чудодейственная вода Вага.

Потом наш аббат услышал необычайно нежную мелодию, а святой Юро вернулся обратно в костел, на свой пьедестал.

Вот мы и отнесли его тогда к Вагу. Это был великолепный праздник. Из Шашгина и даже с Моравы из Ланжгота прибыли разукрашенные конные процессии.

Теперь у нас была собственная чудотворная вода. И сколько! Целый Ваг, так что воды хватило бы на весь христианский мир.

И снова потекли к нам толпы паломников. Мы сделали возле Вага специ-

альный резервуар. Воду продавали втридорога. Кто хотел искупаться, тоже должен был платить денежки. Наконец мы стали даже продавать купальники, а без них в реку никого не пускали.

И надо же случиться такой чертовой напасти — начался брюшной тиф. Тогда стояла большая вода, повсюду было полно илу, и люди покупали этот ил бутылками. Но тут умер у нас один паломник, потом еще двое, люди начали терять к нам доверие. Все было бы не так уж плохо, если бы неожиданно на нас не свалилась страшная весть.

Мы как раз переживали новый расцвет, когда прошел слух, что в доминиканское аббатство во Фриштаке привезли какие-то аппараты. Что бы это могло означать?..

Скоро мы все поняли.

Фриштакские доминиканцы начали вырабатывать чудотворную газированную воду с гарантией от всех вредоносных бактерий!

Мы остались с носом. И было у нашего настоятеля новое видение. Якобы явился ему святой Юро и рек:

— Не нравится мне у воды. Иной раз, когда Ваг выходит из берегов, стоишь несколько дней кряду по колена в воде и ждешь, пока она не спадет. Хочу на свое старое место.

Я отпустил тогда замечаньице насчет того, что все теперь боятся подагры. И снова сидели мы грустные после праздника торжественного перенесения статуи. Хоть бы какие-нибудь жалкие остатки этих толп, идущих к доминиканцам, заманить к себе!

И тут я вспомнил о существовании граммофона. Органа у нас нет, но что, если святой Юро начнет петь какую-нибудь набожную песню?

— Так купите, отец Мамерт, эту дьявольскую машину, — велел мне аббат Иордан, — и еще что-нибудь светское... Очень уж скучно стало у нас в монастыре.

— Слушаюсь, reverendissime[99].

И я поехал в Вену покупать граммофон и пластинки.

Когда снова в один из праздников капелла была полна народу, я завел в прикрытой ковриком нише за статуей святого Юро граммофон.

Видно, черт меня попутал или я еще с Вены не протрезвился окончательно, но только до ушей благочестивых паломников вдруг донесся величественный хорал:

«Нор, mei Mädrle, хор...»[100]

Не солгу вам: настоятель Иордан, как колода, свалился со скамьи, обитой по случаю праздника красным плюшем.

Для него это было чересчур сильное потрясение.

## «Любовь, любовь, ты всемогуща...»

Сперва он стеснялся, но потом при встречах с этой наивной девочкой был уже смелее. Он изъяснялся весьма цветистым и сложным слогом, позаимствованным из диковинных статей в журналах для юных дарований, начинающих там свою литературную карьеру, и из сочинений Ружены Есенекой, деятельность которой завершается тем же, чем начинают семнадцатилетние гимназисты в своих тайных школьных журналах — образами поледниц, бесшумно шагающих по полевым межам.

Ему было тоже семнадцать лет, и он был гимназистом. Встречаясь с ней, он всегда говорил, что его сердце наполнено радостью, и водил ее на Градчаны слушать вечерний звон. Когда они поднялись к Граду, он воскликнул:

— Сударыня, вот звуки, которые падают в храмовую тишину, а восклицательные знаки иронизирующих газовых фонарей бросают в наши глаза свет, желанный свет священного освещения, бросают красоту света, света, который светит, пылает, горит в свете светящихся фонарей.

Дальше он не знал, что сказать, а она с восхищением смотрела на него, и так как он ей сказал «сударыня», то она ему ответила тоже:

— Да, сударь.

Стремясь подражать его прекрасному слогу, она сказала:

— Эти огни светят, освещая темноту, неосвещенную и пустую, как пустыня, по которой проходят печальные люди.

Они шли домой по градчанским улочкам, и он ей говорил о тихой красоте, об интимных уголках под старыми черепичными навесами и вдруг быстро увлек ее в сторону, потому что заметил в углу надпись: «Всякое загрязнение этого места воспрещается».

По несчастной случайности он в это время показывал рукой как раз в этом направлении, говоря, что душа, грустящая по тишине, прячется в таком вот молчаливом уголке, в полутьме, где предается под старыми арками красоте своей печали. А она, заметив надпись, невинно спросила его, что здесь можно загрязнить.

— Красоту можно осквернить даже одним взглядом, — сказал он. — Кошунственные взгляды, как сатана, впиваются в укромные уголки, и меч разрушения довершает затем дело уничтожения. Пойдемте!

Однако она продолжала удивляться этой надписи.

— «Загрязнение воспрещается», — прочла она вслух и с оживлением спросила: — А на собак это тоже распространяется?

Он лишь кивнул головой. Ее вопрос уколел его в самое сердце, по-новому осветив перед ним душу этой маленькой невинной девушки.

Он понял, что она уже знает свет во всей его неприглядности, и грустно сказал:

— Как приятно одиночество, как приятна тишина и песнь лесов, где жизнь ничем не загрязнена, где нет надписей, напоминающих о бренности человека! Жизнь, сударыня, это непрестанная борьба, непрестанное запрещение и предупреждение тех или иных действий. Я хотел бы, чтобы эти действия улетели далеко-далеко во вселенную.

Он схватил ее за руку и побежал с ней по ступенькам, ведущим вниз с холма. Но тут ему не повезло: он налетел на своего классного наставника, кото-

рый медленно поднимался к кафе «Викарка».

Он выпустил руку своей милой, бесценной спутницы и, дрожа от страха, почтительно остановился перед наставником, который провозгласил:

— Как только поднимусь на гору, сейчас же запишу вас в кондуит. Завтра я с вами поговорю, и вы сами, Кноблех, мне напомните. Спокойной ночи, голубчик!

Она этого не заметила, потому что шла впереди. Он догнал ее и сказал:

— Это учитель Врхлицкий, он спросил меня, что я здесь делаю.

При этом на глазах у него выступили слезы.

— Вы плачете, сударь?

— Но он так плохо выглядит, сударыня...

Тихий и опечаленный, он шел с ней по улице и говорил об угасших мечтах. По пути он купил ей апельсин, но она сказала, что есть его не будет, что она его лучше высушит и положит на память в дневник. Затем она спросила, приносит ли апельсин счастье, и он ответил, что апельсин является символом постоянства и совершенства характера, потому что это шар, а шар — это наиболее совершенная форма.

Поэтическое настроение покинуло его, и он спросил, знает ли она, как вычислить объем шара.

Они уже перешли мост и должны были расстаться, чтобы никто не видел ее гуляющей с молодым человеком.

Назначили свидание на следующий день, и она, подавая ему маленькую ручку, сказала:

— Приятного сна, сударь.

А спал он, словно преследуемый по пятам преступник, который убил, по крайней мере, трех человек.

Ему снилось, что школьные учителя на основе распоряжения окружного педагогического совета ведут его на Градчаны. У всех учителей заряженные ружья с примкнутыми штыками, а сам директор ведет его на веревке. В конце процессии школьный сторож Ванек везет на тележке большой крест. Когда процессия достигает площади Радецкого, Ванек снимает крест с тележки, и с помощью полицейских крест кладут на плечи Кноблеха, и он несет его на Градчаны. А по сторонам всюду стоят шпалерами ученики средних школ, машут платками и по знаку учителей, одетых в форму, кричат:

— Распни, распни его!

К ноге ему привязали какого-то маленького первоклашку, который будет распят с ним вместе, потому что на уроке чешского языка написал: «Мяч похож на яйцо». Мальчик плачет, поднимает руки и по дороге громогласно молится: «Яйцо, яйца, яйцу, яйцо, яйцом, о яйце». При этом он умоляюще смотрит на директора, который говорит ему:

— Все напрасно, ничем не могу вам помочь: педагогический совет решил, что вы будете распяты на кресте вместе с Кноблехом.

В этот момент он в ужасе проснулся, и ему показалось, будто в ногах у него сидит классный наставник. Он вскрикнул так дико, что разбудил квартирную хозяйку.

— Ах, какой он был страшный! — захлебываясь, рассказывал он. — Вот здесь сидел, усы у него топорщились, а изо рта вылетал огонь.

Она положила ему на голову компресс, но он не мог уснуть до самого утра и

к восьми часам со страхом направился в гимназию.

У него так трепетало сердце, что ему стало нехорошо, и на Штепанской улице он совершил великое благодеяние, разделив свой завтрак с засохшей акацией.

Классный наставник, не успев войти в класс и едва записав что-то в журнал, тотчас вызвал его:

— Кноблех, к доске!

Бледный и дрожащий, Кноблех очутился у доски, и учитель, насмешливо потирая руки, спросил его:

— Не хотите ли вы мне что-нибудь сказать? Не забыли ли вы о каком-нибудь поручении? У вас действительно такая короткая память, что вам не о чем мне напомнить?

Дрожащим голосом Кноблех произнес:

— Да, я должен вам напомнить, что вчера вечером я встретил вас на Замковой лестнице около Града.

Весь класс разразился хохотом.

— И это все, Кноблех? Может быть, у вас хватит смелости рассказать нам о некоторых подробностях? С кем это вы, голубчик, шли?

— Со своей кузиной, господин учитель.

— Так, значит, Кноблех, вы приходите мне племянником, это была моя дочь, голубчик. Дабы все в классе знали, что я, Брут, прерываю родственные связи с вами, записываю вам блестящую отметку по поведению.

Удрученный, возвращался Кноблех домой, и когда он завернул за угол, в нижнем этаже граммофон как раз заиграл: «Любовь, любовь, ты всемогуща...»

У Кноблоха был такой печальный вид, что какая-то бродячая собака, бежавшая мимо, посмотрела на него и из сострадания проводила его до квартиры.

## Сыщик Паточка

Сыщик Паточка долго ничем не проявлял себя. В полицию он поступил по протекции и совершал там одну глупость за другой. Начальство знало, что ни к чему путному он не способен, и поручало ему только пустяковые дела.

В один прекрасный день Паточка получил задание выяснить местожительство парикмахера Яна Краткого, который прежде жил на Тунной улице, 15, у вдовы Пешковой. Дело в том, что налоговая управа запросила о нем полицию, поскольку Краткий задолжал за три года воинский налог общей суммой 8 (восемь) крон.

Сыщик Паточка с превеликим рвением взялся за дело, ведь оно было его первой самостоятельной миссией. Прежде всего он коротко остриг бородку, надел синюю рабочую блузу, взял из полицейского реквизита долото и клещи, измазал себе лицо и руки сажей и в таком виде постучал у дверей вдовы Пешковой. Ему отворила какая-то старушка. Паточка осведомился, здесь ли живет пани Кромбгольцова, которая потеряла ключ от квартиры и не может попасть домой. Он, мол, слесарь и пришел вскрыть замок. Старушка сказала, что у них нет никакой Кромбгольцовой, а живет здесь пани Новотная. Паточка поблагодарил и, исполнен радости, вернулся домой. Было ясно, что в результате столь неожиданного оборота дело осложняется: теперь нужно искать также и пани Пешкову; тем самым обнаружение Яна Краткого принесет ему двойную славу.

Основательно отдохнув после напряженного труда, Паточка на следующий день решил, что теперь ему целесообразнее выступать под видом разносчика товаров. Для этой цели он купил десять пачек цикория, положил их в чемоданчик и у ближайшего парикмахера сбрил остаток бороды. Одетый в светлое пальто, он постучался к привратнице того дома, где прежде жила вдова Пешкова, а ныне старушка Новотная. Когда привратница открыла, он вынул из чемоданчика все десять пачек и попросил передать их пани Пешковой, когда она вернется домой, — она, мол, вчера заказала этот цикорий.

— Что вы! — сказала привратница. — Тут, мой милый, ошибка. Пешкова-то померла два года назад, а ее сын в то время получил место на механическом заводе, где-то в Пршеммысле, в Галиции. Там он женился, а теперь у него своя мастерская на Высочанах, в Праге.

— Благодарю вас, — сказал Паточка, тщательно записывая эти сведения. — Возьмите себе эти десять пачек цикория за вашу любезность.

В радостном настроении он вернулся домой и с удовлетворением потер руки: теперь ему было вполне ясно, что он становится великим сыщиком. Утром Паточка поехал в Пршемысл, проверить, соответствуют ли действительности показания привратницы. Прибыв туда, он загримировался под польского еврея и послал в пражское полицейское управление шифрованную телеграмму: «Прошу вызвать владельца механической мастерской на Высочанах Пешка и допросить его, в какой фирме в Пршеммысле он работал. Адрес сообщите в отель «Русский царь» в Пршеммысле. *Паточка*».

На третий день пришла телеграмма: «Фирма Яна Обульского, Мысленская улица, 10».

Паточка без промедлений направился по этому адресу. Оказалось, однако, что Ян Обульский год назад уехал в Америку. Паточке сказали, что у Обульского теперь большой завод сельскохозяйственных машин в Чикаго, Триста

шестнадцатая улица.

Словно предвидя такой оборот дела, Паточка перед отъездом из Праги снял с книжки все свои сбережения, восемь тысяч крон; поэтому он теперь без труда смог доехать скорым поездом до Кракова, оттуда экспрессом в Берлин и в Гамбург, где он счастливо поспел на океанский пароход «Кайзер Вильгельм». Через одиннадцать дней Паточка был уже в Чикаго и, играючи, выяснил, что показания привратницы не расходятся с истиной: у Яна Обульского действительно работал в Пршемысле сын вдовы Пешковой, у которой в свое время жил парикмахер Ян Краткий, разыскиваемый полицией.

Выяснив это, обрадованный Паточка пошел побриться в ближайшую парикмахерскую. Там сидело несколько чехов, и парикмахер говорил с ними почешски.

— Вы чех? — небрежно осведомился Паточка.

— Ну да. Разве вы не видите вывеску «Ян Краткий»?

Сыщик Паточка вскочил и радостно воскликнул:

— Вы жили у вдовы Пешковой в Праге, на Тунной, 14?

— Да.

Так находчивый сыщик Паточка отыскал неплательщика Яна Краткого и, увенчав себя славой, вернулся в Прагу, предварительно послав в полицейское управление телеграмму: «Нашел разыскиваемую личность, Яна Краткого, парикмахера, в Чикаго, Триста пятнадцатая улица. *Паточка*».

За это он получил дворянское звание.

## Судебный исполнитель Янчар

Янчар и сам толком не знал, как он стал судебным исполнителем. Этот бледный, боязливый молодой человек и мухи бы не обидел, не то-что несчастного неплательщика. Куда ему было лезть в судебные исполнители! Эти живоглоты умеют проглотить человека, как кит Иону.

Янчар же был очень робок, чувствителен и поэтически настроен. Его даже исключили из гимназии за сентиментальные стишки: он обожал директора, ужаснейшего типа самого строгого нрава.

Когда Янчара выперли из гимназии, его опекун сдал юношу в рекруты; на военной службе беспомощного, вечно заплаканного Янчара начальство старалось почаще сажать под арест, чтобы он не попадал на плац, потому что при каждой команде «*kníeübung*»[101] на учениях он хныкал, как старая баба.

Когда Янчар отслужил свой срок в армии, возник вопрос, куда же пристроить этого недотепу, чтобы он мог зарабатывать себе на пропитание. Опекун представил его знакомому советнику юстиции, с которого когда-то не требовал карточного долга в 150 крон, и тот по протекции устроил Янчара судебным исполнителем.

Принося присягу, Янчар трясся всем телом, а при последних словах «Помоги мне в этом, всевышний» разревелся так жалобно, что прослезился и начальник судебной канцелярии. Плачущий исполнитель показался ему такой диковинкой, что, глядя на него, невозможно было самому удержаться от слез.

— Молодой человек, — сказал он Янчару, — почему же вы плачете? Ведь мы от вас не потребуем ничего, кроме выполнения обязанностей. Правда, люди будут видеть в вас живодера, но такова уж ваша должность. Не поддавайтесь чувствам. Если вас кто-нибудь оскорбит, доложите по начальству, и обид-

чика посадят за решетку. Дело ваше очень ответственное, может статься, что вас и побьют... Но вы не плачьте, это пустяки, вашего предшественника проткнули вилами, когда он описывал корову... Успокойтесь же, прошу вас. Так вот, завтра вы пойдете в Бытоухов описывать корову трактирщика Шилгана. Знаете, как это делается? Опечатайте ей вымя, чтобы ее не могли доить, и с помощью сельского стражника отведите эту корову в суд, чтобы не убежала.

На другой день подавленный Янчар, взяв бумаги по делу Шилгана, направился в Бытоухов. Поднявшись на холм, он в последний раз взглянул на город: бог весть, доведется ли ему еще возвратиться туда, ведь в Бытоухове его ждут трактирщик Шилган, корова, вилы и бог весть что еще.

Янчару уже виделись заголовки в газетах: «Судебный исполнитель проткнут вилами», «Судебный исполнитель избит до смерти», «Заколот судебный исполнитель». Он представил себе, как деревенские собаки волокут его внутренности по деревне...

Вот уже исчезла из виду колокольня, исчезла аллея... Дорога, по которой он навсегда удалялся от спокойной, мирной жизни, неотвратимо вела его в Бытоухов. Быть может, по этой самой дороге везли в навозной телеге его предшественника, проткнутого вилами?.. Янчару мерещились всякие ужасы, но при этом он мысленно внимал наставлениям о том, что надо быть неумолимым и, если понадобится, описать даже родную мать... Он должен всюду налеплять печати, хотя бы и на собственного брата...

Показались первые домики Бытоухова. У исполнителя засосало под ложечкой. Он испуганно озирался и походил на сентиментального отцеубийцу, приговоренного к виселице, который, сбежав из тюрьмы, в последний раз пробирается в родной город, чтобы распрощаться с теми местами, где он убил и ограбил своего родителя.

Черный служебный портфель оттенял бледность его лица, бородка торчала, волосы под форменной фуражкой стояли дыбом, штаны висели. В эти минуты Янчар напоминал неопытного воришку, впервые в жизни отправившегося красть, — прижимая к груди крестик, который мать, лежа на смертном одре, повесила ему на шею, он вспоминает ее последние слова: «Лойзик, Лойзик, не воруй!»

Янчар хотел было спросить, как пройти к трактиру Шилгана, но раздумал, заслышав возглас какой-то бабы:

— Ну и нализался!

В самом деле, походка у него нетвердая, а из кармана торчала бутылка из-под сливовицы, которую он в страхе перед тем, что его ожидает, осушил до дна. Такой поступок вполне соответствовал тому, что говорится в монографии доктора Лафлера «Психология преступника»: 58 процентов приговоренных к смерти пожелали перед казнью выпить спиртного, и их последние слова были: «Употребление спиртных напитков имеет тяжелые последствия!»

Судебный исполнитель Янчар, пошатываясь, добрался до деревенской площади и увидел там вывеску трактира Шилгана. Он смирененько вошел в трактир, сказавши: «Слава господу нашему Иисусу Христу» — уселся в уголке и заказал себе пиво. В трактире сидело несколько здоровенных мужчин; на Янчара они не обратили внимания, продолжая разговор с трактирщиком.

Янчар понял, что речь шла о налогах. Трактирщик произнес что-то не очень приличное, а его сосед отозвался:

— Я бы ему руки-ноги переломал!

Было ясно, что речь идет о судебных исполнителях. Другой сосед сказал, что такому паразиту надо свернуть шею. Третий высказался за то, чтобы раскроить ему башку, а четвертому пришло в голову, что неплохо бы заживо содрать с него шкуру.

Трактирщик Шилган был умереннее и сказал, что он бы только излупил этого мерзавца до полусмерти.

Бедняга Янчар сжался в уголке, подбородок у него дрожал, в носу стало щекотно от страха, и он чихнул.

Все головы повернулись к нему.

— А вы, часом, не из суда, сударь? — осведомился трактирщик Шилган. — Похоже на то!

Янчару стало ясно, что пробил его последний час. Вот-вот его мертвое тело повезут на телеге.

— Нет-нет! — в отчаянии воскликнул он. — Я просто мошенник.

Ничего другого ему не пришло в голову.

— И что же вы задумали?

— Увести у вас корову.

— И продать?

— С торгов, — вырвалось у насмерть перепуганного Янчара.

Его связали и отвели в суд. Там все выяснилось, и когда Янчар вышел оттуда, на нем уже не было судейской формы.

Потом его самого отдали под суд за нарушение служебной присяги, он спился и от пережитых страхов поседел как лунь. Услышав, что где-то избили судебного исполнителя, он обычно говорит:

— Хорошая должность, но не для меня, характер не тот...

## Исповедь старого холостяка

### 1. Как я пришивал пуговицы к брюкам

Человек испытывает одно из самых мучительных чувств, когда замечает, что костюм его не в порядке. В таком костюме он не может появиться в обществе, так как общество не делает различия между пожилым холостяком и женатым человеком и требует от обоих определенной степени приличия. Отсутствие пуговиц на ваших брюках возбуждает у многих предвзятых людей определенный отпор. Общество не относится к этому обстоятельству достаточно вдумчиво и не принимает во внимание никаких смягчающих вину обстоятельств. Оно забывает, что старый холостяк из стыдливости не осмелится принести брюки с оторванной пуговицей к жене своего приятеля с просьбой, чтобы она привела их в надлежащий порядок. Если же он обратится с подобной просьбой к дочери своей квартирной хозяйки, то, вероятно, возбудит в ее нежной девичьей душе вполне заслуженное презрение.

Таким образом, если старый холостяк хочет сохранить в обществе хорошую репутацию, ему не остается ничего другого, как самому пришивать пуговицы к своим брюкам.

Если же кто возражает против этого и утверждает, что холостяк может обратиться к мужскому портному, который пришивает пуговицы, то осмелюсь заметить, что такое утверждение — увы! — совершенно неправильно. Предположим, что он придет и скажет портному: «Вот вам брюки, здесь оторваны пуговицы; будьте любезны их пришить», — этим он только выставит себя в смешном виде: кто бы не ужаснулся, услышав, что к портному обращаются, чтобы пришить пуговицы к брюкам?

Поэтому я решил пришивать пуговицы к брюкам сам.

Первое время оторванную пуговицу я заменял английской булавкой. Но однажды в трамвае булавка впилась мне в тело, и я решил, что пуговицы необходимо пришивать, а не ограничиваться простым закалыванием булавкой.

Признаюсь цинически, что сначала я не обратил внимания на оторванную пуговицу, и только ночью, вспомнив, как на меня смотрели в течение целого вечера в кафе даже тогда, когда я застегнул пальто, я решил, что приколю булавкой новую пуговицу, которую я отрезал от жилета. Отсутствие на жилете одной пуговицы не считается особенно неприличным, — во всяком случае, вы менее ощущаете последствия потери пуговицы от жилета, чем от брюк. Если у вас нет пуговицы на жилете, то кажется, что вы его небрежно застегнули, что частенько случается со старыми холостяками, как я знаю по собственному опыту. Во всяком случае, это не шокирует окружающую публику. Но совершенно другое впечатление производит, как я уже упомянул, отсутствие пуговицы у брюк.

После долгих раздумий я решил, что пуговицу я пришью сам. В течение целого дня я чувствовал себя беспокойно. Спросить, как пришивают пуговицы, я боялся, так как не хотел, чтобы меня сочли за глупца; поэтому я отправился в читальный зал библиотеки, взял там энциклопедию и в томе на букву «п» стал отыскивать статью «Пришиванье».

Теперь я могу решительно опровергнуть ложный взгляд, будто наша энциклопедия является полной. О пришивании пуговиц там не сказано решительно ничего. Там даже нет такого слова. В томе на букву «п» я нашел только

объяснение слова «пуговица», но что это было за объяснение! «Пуговица является принадлежностью одежды. Прикрепление пуговиц происходит при помощи пришивания. Пуговицы уже были известны древним египтянам, но греки и римляне пуговиц не употребляли. Пуговицы в Чехии появились вместе с христианством».

Тогда я стал искать статью «Христианство», надеясь найти там упоминание о пуговицах, но ничего не нашел. Я подумал, что смогу найти сообщение о том, как древние египтяне пришивали пуговицы. Разыскал статью «Египет» и прочел: «В Египте старых первосвященников хоронили с золотой пуговицей в руке». Но как пришивали египтяне пуговицы, об этом не сообщалось.

Поэтому я должен был положиться исключительно на собственную изобретательность. После долгих размышлений я пришел к выводу, что необходимо держаться так называемой системы постепенного изучения. К делу нужно подходить систематически. Я осмотрел пуговицу и обнаружил в ней четыре дырки.

Первое время назначение этих дырок было для меня загадкой, но, осмотрев их внимательно, я понял, что через них проходит нитка при помощи того инструмента, который называется иглой. Игла же, как я вычитал из энциклопедии, является определенным видом стального рычага и отличается от поросенка тем, что имеет только одно ушко. В это ушко, как я обнаружил, просовывается нитка, пуговица насаживается на нитку, а иголка прокалывает брюки.

Моя фантазия работала весьма буйно. Так как я слышал, что сталь очень хрупка, то купил целый gross иглок; кроме того — дюжину катушек, большей частью черных. На тот случай, если черные нитки окажутся негодными, я купил белые, а также коричневые, — на всякий случай, если окажутся негодными и черные и белые нитки.

В магазине, где я покупал, меня спросили, не желаю ли я купить также и наперсток. Я понял, что наперсток, очевидно, является весьма важным инструментом, и купил их двадцать штук. Судя по названию, я понял, что «наперсток» надевается «на перст», то есть на палец. Но я не знал, на какой именно, а поэтому, чтобы не ошибиться, купил двадцать наперстков, так как известно, что на руках у нас десять пальцев и на ногах тоже десять.

Когда я со всеми покупками возвращался домой, то был похож на волшебника. Дома я приказал хорошенько натопить, принести три бутылки вина и, подкрепившись основательно ужином и вином, разыскал несчастные брюки и усердно принялся за работу. Я помню до сих пор, какая это была жестокая, упорная борьба.

Утром меня нашли лежащим в одном белье на полу, окруженного четырнадцатью тысячами метров разноцветных ниток. Я спал на двухстах иголках, а мои брюки оказались пришитыми к дивану; на пальцах ног и рук у меня было насажено двадцать наперстков, а икра моя была пришита к ковру.

Что делать? Пришлось купить новые брюки,

## **2. Как я варил яйца всмятку**

У меня есть добрая старая тетя, которая время от времени подвергается приливам любви к родственникам. Лет пятнадцать она ничем не дает о себе знать, а потом внезапно почтальон приносит какую-нибудь посылку от нее, которую она посылает в порыве такого припадка. Последний раз, четырнадцать лет тому назад, она прислала мне большой пирог, а теперь, на пятна-

дцатом году после этого события, почтальон вручил мне большую корзину, в которой я обнаружил яйца и следующее трогательное письмо.

*«Милый племянник!*

*Как я рада, что могу послать тебе корзину яиц из моего хозяйства. Я тебя, милый мальчик, очень люблю, и так как думаю, что жить мне осталось недолго, то посылаю тебе последнее доказательство моего внимания к тебе. Свари их сам всмятку, ешь и вспоминай свою старую добрую тетю Анну. Пусть эти шестьдесят яиц напомнят тебе о маленьком домике на севере, где весело кудахтают куры и вспоминают тебя вместе с твоей горячо любящей тебя тетей Анной».*

Из чувства благодарности к своей тете я решил сварить сразу все шестьдесят яиц всмятку.

Ночью я видел по этому поводу сон. Собственно, я никогда не задавался вопросом, как варят яйца всмятку. После продолжительного размышления я пришел к выводу, что яйца необходимо варить так, чтобы они сварились. Это является единственно возможным выходом из такого сложного положения, как необходимость во что бы то ни стало сварить сразу шестьдесят яиц всмятку.

Я очень люблю яйца всмятку. И так как шестьдесят яиц, сваренных всмятку, я все же съесть в один присест не могу, то я решил сделать из яиц консервы.

Я очень долго раздумывал о том, как мне это сделать. Неожиданно я оказался в весьма неприятном положении. Я знаю, что в газетах очень часто смеялись над женами, которые не умеют сварить всмятку яйца. Но никогда нигде еще не писалось о том, как варят яйца старые холостяки. А поэтому я хочу правдиво описать все, что случилось со мной. Это послужит руководством к варке яиц.

Прежде всего я купил несколько книг по птицеводству, предполагая найти в них на первых страницах нужные мне указания.

К сожалению, во всех специальных сочинениях о птицеводстве я не нашел ни одной строки о варке яиц, хотя вообще о яйцах там писалось много: например, что яйца несут куры и так далее, о том, что яйца должны храниться в сухом месте, как яйца должны высиживаться. Но так как тетя послала мне эти яйца не для того, чтобы я их высиживал, а чтобы их сварил всмятку, то я с неудовольствием захлопнул книгу.

Я не хотел об этом спрашивать у своих семейных знакомых, а поэтому опять решил отправиться в библиотеку и прибегнуть к помощи энциклопедического словаря.

В томе на букву «я» я нашел статейку, сообщающую, что каждый род и вид птиц несет яйца. Хотя это и не было для меня новостью, тем не менее я с интересом прочел, как наука доказывает эту общеизвестную истину.

К моему удивлению, оказалось, что наука совсем не интересуется такими важными вопросами, как варка яиц. Ни в одной книге я ничего об этом не нашел.

Правда, в энциклопедии упоминалось, что яйца приготавливаются различными способами, но какими именно способами — это для меня осталось загадкой даже и после трехдневного тщательного просмотра энциклопедического

словаря.

Правда, мимоходом в этой почтенной книге упоминалось о варке яиц: «В Англии яйца служат в большинстве случаев предметом питания и употребляются в сыром или вареном виде. Варят их вкрутую или всмятку. Почти в каждой английской семье яйца к завтраку подаются всмятку».

Но как именно привести яйца в полужидкое состояние, то есть всмятку, об этом не говорилось ни слова.

Мне не осталось ничего другого, как попытаться попробовать самому сварить яйца всмятку и добиться благоприятного результата хотя бы ценою порчи нескольких штук. Для этого я купил спиртовку, пять литров спирта и котел Паппена, пользоваться которым я научился во время изучения физики в гимназии. Затем я приступил к делу. Я налил в котел Паппена воды, в воду положил десять яиц и зажег спиртовку. Через четверть часа я вынул первое яйцо, разбил его — оно было крутое. Разбил другое — тоже крутое. Все яйца были еще крутыми. Тогда я очистил их от скорлупы, снова положил в котел Паппена и варил целый час. Яйца продолжали оставаться твердыми. Я их варил до самого утра, и они все время были крутыми и твердыми.

Утром меня нашли лежащим в корзине с яйцами, куда я упал в раздражении оттого, что мне не удалось ни одного яйца доварить до полужидкого состояния.

Яйца так и остались крутыми.

### **3. Как выглядят женщины**

Признаюсь, что в дамском обществе я всегда чувствовал себя неловко. Эта неловкость происходила оттого, что я очень боялся женщин. Я был уверен, что женщины являются существами, которые своей миловидностью и привлекательной внешностью стремятся одурачить мужчину с целью выйти за него замуж.

Миллионы историй, которые мужчины всех времен и народов имели с женщинами, по моему мнению, ясно свидетельствовали, что брак — это нечто ужасное... Жена проглатывает мужа, как крокодил кролика, а если это не удастся, то коварное существо добивает мужа горшками, испорченными жаркими и тому подобными маленькими орудиями инквизиции. Необычайная ласковость женщины до свадьбы превращается после нее в подлинное неистовство из-за малейшего разногласия, в кошмарное преследование мужа, терпящего муки первых христиан...

Первое время они притворяются очень нежными, разумными и полными любви. Их голос, отражающий внутреннее волнение, чарует вас и как бы ласкает всюду, где только возможно; они всячески окружают вас вниманием, и вы доверчиво отвечаете на эту любовь, на эти, поцелуи и нежные пожатия рук; вы смотрите в их нежные глаза, полные доверия, и прилипаете, как муха к клейкому листу. Ну, а потом вам приходит конец. Прилипшего, вас отвезут в костел, и после этого преследования первых христиан покажутся вам сущим пустяком по сравнению с тем, что придется испытать вам.

Нежные взгляды превращаются в злобные, вместо поцелуев вас изгоняют из кухни, где, оказывается, запрещено курить. Любимое существо незаметно начинает приказывать вам, как вы должны одеваться, топает ножкой, скрежещет зубами, делает такое лицо, словно хочет вас проглотить, трясется от бешенства при взгляде на вас, бьет вас чем попало. Это нежное создание начи-

нает грубо ругать вас и при этом думает, что делает вам одолжение, не растоптав вас на месте своей маленькой ножкой. Она клянется и обещает, что рано или поздно, но она вас убьет, хотя бы только потому, что у нее пригорела мука с маслом, а вы просите не класть эту заправку в суп.

Когда на улице грязь, то начинается скандал; она плачет и бранится, глядя на ваши грязные ботинки. Она заставляет вас полчаса стоять на улице и чистить их об рогожу, чтобы вы не запачкали ей пол в кухне, а когда откроет вам дверь, то вы на полу увидите слой глины и сажу; оказывается, час тому назад здесь был печник, который исправлял печь. Наконец это варварское издевательство вам надоедает, но вы не знаете, что ей на это сказать. Тогда она неожиданно обрушивается на вас за то, что вы не рассказываете ей новостей, слышанных вами на службе, на улице, — вообще о том, что делается на белом свете.

Несмотря на то, что она вас только что ругала, вы все-таки говорите ей: «Милая, да ведь я же ничего не знаю». Тогда она снова начинает топтать, скакать, фыркать, как кошка, скрежетать и скрипеть зубами, биться головой об стол, но так, чтобы себя не ушибить; откроет дверь, чтобы ее голос был слышен по всему дому, в котором, благодаря вашей супруге, вас все считают черствым, бесчувственным человеком, негодяем, которого неизвестно как еще носит земля.

Затем она вам скажет, что вы ее совершенно не любите, и ждет, что в ответ на это вы у нее будете просить прощения и уверять в обратном. С плачем и ревом вдруг она начинает рвать на себе волосы, разорвет свою блузку и, проклиная свою цыганскую жизнь и грозя выброситься из окна, попросит у вас денег на три новые блузки.

Она идет к окну, а вы стоите как вкопанный. Она возвращается к вам и кричит, что вы хотите ее смерти, чтобы жениться на «той твари». «На какой твари, милочка?» Конечно, она не скажет имени той, о которой она ничего не знает, которая существует только в ее фантазии, и неожиданно начинает изображать из себя брошенную супругу; кричит, что все мужчины лентяи и бездельники, которые только придумывают мучения для своих жен.

После этого она начинает одеваться и говорит, что уходит к родным, а мебель продаст, потому что эта мебель принадлежит ей; начнет вас бить, лягать, плевать вам в лицо и, наконец, бросит в вас горшок с сажой и, подымая дикий крик, скажет: «Ах, почему я не умерла раньше!» Она сожалеет, что вообще родилась на свет, а вы этому тигру, этому крокодилу говорите: «Милочка!»

А после скандала она в течение трех дней мучит вас помидорным соусом или другим блюдом, которого вы не любите; обращается с вами, как с собакой, которая перед нею провинилась; насвистывает, будто озорник мальчишка и то и дело раздражается слезами. Когда же вы возвращаетесь домой со службы, то она притворяется печальной, ходит как в воду опущенная.

Она с восторгом начинает говорить о кладбище, об умирающих надеждах; говорит об одном господине, который поздоровался с ней, когда она шла за покупками, и ее глаза загораются при словах о том, что он был блондин или брюнет. При этом она всегда говорит о противоположном вашему цвету бороды и волос и наконец, посмотрев на вас, восклицает: «Фу, ты лысеешь, ты мне противен!» — и ударяет вас тарелкой.

Вот мой взгляд на женщин.

## 4. Прогулка в женском обществе

Я знаю много различных способов, которыми люди подвергают пытке друг друга. В Венеции, во время правления совета десяти, осужденных ставили под медленно капающую воду. Я знаю, что когда-то пользовались большим вниманием «испанские ботинки»; кроме того, существует другой, довольно популярный способ пытки — вырезывание ремней из кожи на спине, но все это, собственно говоря, пустяки. Ужасы заточения Монтихо и обреченных на голодную смерть, страдания политических узников в Петропавловской крепости, клетки для преступников в Китае, персидский трибунал, древнеримские арены с тиграми — все это ничто в сравнении с той прогулкой, которую организовала моя квартирная хозяйка со своей дочерью и с одной дамой, имевшей печального супруга и трех взрослых дочерей. У последних, в свою очередь, было по три штуки приятельниц, кандидаток в мегеры.

Меня заманили в толпу этих молодых разбойниц и таскали, как котенка, по каким-то четырем холмам, где ничего не было, кроме деревьев и цветов. А вместо этого я мог спокойно лежать в табачном дыму в своей комнате на диване и наслаждаться воскресным отдыхом.

Это грубейшее издевательство над человеком, и я публикую в отместку полную фамилию той, которая меня увлекла на эту голгофу. Ее имя и фамилия — Каролина Энгельмюллерова; она была женой инспектора железных дорог, а теперь вдова; живет на Виноградах, Шумавская улица, 11. Я публикую ее фамилию, потому что с этой женщиной, как вы узнаете позже, у меня были основания посчитаться. Ее дочь зовут Анной, и на первый взгляд она производит приятное впечатление. Но когда вы посмотрите на нее более внимательно, она сильно теряет свою привлекательность, потому что она ни о чем не думает, кроме замужества, и ищет способов, как бы обернуть вас вокруг пальца.

Это глупое поведение свойственно, однако, не только ей. На этой прогулке я узнал, что таких девиц очень много. Вот их имена: Йозефа Еншикова, Виктория Свободова, Ружена Духачкова, Мирослава Сухомелова. Остальные тоже от них не отличались, но, к счастью, у них имелись женихи, и они победоносно смотрели на своих молодых подруг, которые до сих пор не сумели еще никого поймать с тугой мошной, чтобы как следует потом ее потрясти.

Оказывается, подобные прогулки устраиваются ими для того, чтобы расставлять сети для ловли женихов.

Такая совместная прогулка является каким-то комбинированным преступлением, источником которого являются женские причуды и прихоти.

Такая прогулка — это прегрешение против здравого смысла. Когда все это хорошенько обдумаешь, то нельзя не посмеяться над человеческой глупостью. Вместо того чтобы спокойно сидеть дома, вы в самую жару тащитесь по пыльной дороге и в конце концов оказываетесь среди нескольких тощих деревьев и слышите возгласы: «Ах, как красиво!» После этого все ложатся, как стадо свиней, в мох, откуда устремляют взоры на дурацкие ветки, потом разбегаются в поисках цветов и рвут то барвинок, то ромашку, то шиповник, причем название всех цветов имеет какое-то таинственное значение. Один цветок обозначает верность, другой — любовь, третий — ревность. Ах, как хотелось мне отхлестать этими цветками по физиономии всех этих бесстыдниц, чтобы они не насмехались над порядочными людьми!

Да, негодная Анна Энгельмюллерова, обладательница черной души в зеле-

ном лесе! Когда ты будешь читать эти строки, вспомни обо всем и исправься, пока не поздно!

Больше всего меня раздражало то, что я, человек принципиальный, великолепно себе представляющий, как выглядит женщина в своей наготе (конечно, не телесной, а духовной), позволил увлечь себя такой глупой прогулкой.

Анна Энгельмюллерова впилась в меня, как клещ, — впрочем, даже клещ ничто в сравнении с этим существом. Клеща можно смочить спиртом, и он отстанет, но такую женщину можно поливать спиртом с утра до вечера, — она все будет висеть на вас и еще кокетничать.

Ах, сколько болтала эта женщина, как старалась она говорить красиво и ласково! И неужели это она (я слышал это сам) сказала как-то утром своей матери: «Эти помои давай выльем в нужник». Теперь только и слышалось: «жучок», «пташечка», «божья коровка», «цветочек», — так что я только отплевывался. Одну такую коровку она поймала с ловкостью, с какой мы ловим блох, посадила ее на «пальчик», — как она сказала, — и «божья коровочка раскрыла крылышки и полетела к божьему солнышку». Я думал про себя: «Ты — притворщица! Меня такой болтовней не заманишь. Делай что хочешь, бесстыдница!»

Затем мы пришли в какую-то рощу. Она весело прыгала, нагибалась и рвала какие-то цветы, которые называла «ромашками». Потом неожиданно подскочила ко мне и засунула мне эту мерзость в петлицу пиджака, улыбнулась мне и начала петь: «Любовь, любовь, ты всемогуща».

Я не мог удержаться от смеха. Я говорил сам себе: «Сейчас она станет серьезной, будет вздыхать и предложит мне сесть на траву; будет смотреть мне в глаза и скажет тихонько: «Я сегодня что-то уж очень весела, — вы на меня не сердитесь?» — и возьмет меня за руку».

Так и случилось. Она неожиданно стала серьезной, пошла рядом со мной, как лошадь возле дышла, и все говорила: «Да, да». Затем вздохнула, опять прыгала и сказала: «А теперь сядем на травку, я очень люблю травку». Я хотел было сказать, что траву любят все травоядные животные, но благоразумно промолчал.

Мы сели, и она начала: «Вы сегодня какой-то скучный». Подперлась локтем и кокетливо посмотрела на меня. Видно было, что она думала: «Эх ты, глупец». Потом взяла меня за руку и сказала: «Ах, какая у вас прекрасная, белая ручка», — и начала смотреть мне прямо в глаза. Потом сказала: «Я сегодня какая-то странная», — и начала плакать.

Это уже было слишком. Я вскочил и начал смеяться. Она вскочила и тоже стала уже совершенно естественно кричать:

— Вы сумасшедший, чему вы смеетесь? Что за странные шутки!

— Никаких шуток, сударыня, — сказал я серьезно. — Не думайте, что я не понял вашего маневра. Забирайте свой зонтик и отправляйтесь к вашим. Можете похвалиться вашим «успехом» перед барышнями Еншиковой, Свободовой, Духачковой и Сухомеловой.

И я спокойно вернулся к остальной компании.

## 5. Интриги Анны Энгельмюллеровой

Не успел я перескочить через какой-то проклятый ручей, как мимо меня пробежала Анна, направляясь к пестрой группе нашей компании, расположившейся на траве и пожиравшей холодную жирную свинину.

Я хорошо видел, как эта обманщица подбежала к компании, как с ужасными жестикуляциями начала что-то быстро рассказывать, показывая на лес, как упала на землю, на посланную грязную скатерть, как ее мать заломила руки, как компания вскочила и склонилась над телом Анны, лежавшей на остатках жареной свинины.

Я тоже направился туда, чувствуя, что готовится какая-то интрига. Я был уверен, что она не будет рассказывать, будто я ударил ее палкой, но постарается иным способом добиться того, что ей не удалось при помощи своего кокетства. И я не ошибся. Меня забросали вопросами о том, что случилось, и подвели к Анне, все еще лежавшей на жареной свинине.

Женщины плакали, а мужчины смотрели на все это с каким-то отупением. Они, очевидно, привыкли к тому, что женщины падают в обморок при каждом незначительном случае. Я заметил, что только один пан Духачек, отец троих дочерей, с большим интересом смотрел на скатерть, на которой лежали два таких различных предмета, как жареная свинина и барышня Анна. Вместо того чтобы поднять Анну, он нагнулся за куском жареной свинины и с криком: «Какое несчастье!» — в этой суматохе отбежал в сторону.

Я сел спокойно на межу и спросил: «В чем дело?» — «Помогите нам ее воскресить!» — воскликнула пани Энгельмюллерова, ломая руки и приговаривая: «Аничка, Аничка, посмотри на нас!»

Анна открыла глаза, привстала, показала на меня рукой, как пророчица Либуше, предвещавшая великое будущее Праги, и воскликнула: «О, этот несчастный!» — и опять свалилась, — теперь уже на масло.

Тогда все женщины оставили Анну и накинулись на меня. Нежные дамы сразу превратились в яростных зверей; они скакали вокруг меня, как толпы людоедов вокруг связанного немецкого миссионера, кричали, как флагеланты, когда они совершают свои религиозные радения, и фыркали от гнева, как сопки на Филиппинских островах. Пани Энгельмюллерова свирепствовала, как вулкан Гекла на Исландских островах, извергая на меня оскорбления. Она взяла меня за жилет и крикнула мне в ухо: «Вы хотели ее обесчестить!»

При этих словах пять окружающих меня девиц отлетели, как куропатки, в которых выстрелили, а затем, вновь собравшись в кучу, бросились на меня, как фаланга спартанцев на персов, и, вооружившись зонтиками, со страшным криком начали наступление. Я защищался яростно, но сзади на меня напали женихи этих молодых девиц. В это время раздался голос Анны:

— Маменька, маменька, помогите, я умираю! — и это меня спасло.

Все устремились к ней, подняли на руки, начали утешать ее, а она расплакалась.

— Он меня заманил в лес и держал себя так странно. Но оставьте его, пускай он сам расскажет. О, я несчастная...

Оставшись наконец один, я направился по полевой тропинке к деревне, где из-за ржи выглядывала башня высокого костела, и, добежав туда, ворвался в первую попавшуюся пивную.

Там уже сидел пан Духачек за кружкой пива и как раз доедал жареную свинину, которую он похитил во время описанного происшествия.

Увидев меня, он простодушно сказал, что пришел в деревню искать доктора, но такового здесь на оказалось, а потому он с отчаяния завернул сюда, чтобы выпить кружку пива, и между прочим заявил мне, что считает все это ко-

медией, что речь шла лишь о том, чтобы я расстегнул Anne блузку. Он высказал опасение, чтобы эта девица не наговорила чего-либо его дочерям, так как она уже давно хвастала, будто я ее люблю, и говорила, что я забавный человек. Они так смеялись, когда она им рассказывала, как я пришивал пуговицы к брюкам и как варил яйца всмятку.

Я поклялся, что у меня с ней не было никаких отношений, но он, все время улыбаясь, говорил:

— Я вам не верю, ха, ха, ха! Вы мне этого не говорите. Я кое-что понимаю, я не из нынешних! Когда я вот так же, будучи холостяком, квартировал в одном семействе, то тоже приударил за дочерью хозяйки. Ох, как мы целовались, боже мой! Утром, когда я приходил в кухню, в полдень, во время обеда и вечером. Ах, боже, что это были за вечера! Ну, как вам нравится пиво? Да, это было так красиво. Ну и целовались же мы!

— Ну, а чем все это кончилось? — спросил я серьезно.

— Я женился на ней, потому что меня заставили.

— Вот видите, — сказал я, — к чему приводят женщины!

И я оставил этого человека, не сказав ему даже, куда я иду.

Я решил, что больше уже не вернусь на квартиру к пани Энгельмюллеровой, раз дочь ее Анна такая интриганка.

Так я и сделал.

## 6. Пани Энгельмюллерова ищет меня с полицией

Поэтому я не вернулся на квартиру пани Энгельмюллеровой и, так как убедился, что жить на частных квартирах не безопасно, решил, что до двенадцати часов ночи я буду проводить время в пивных, а потом приходить спать в какую-нибудь гостиницу.

Я избрал пивную «Солнце», где не было женской прислуги, потому что все женщины, как я пришел к заключению, липнут к старым холостякам, как мухи к меду.

Для жительства я избрал гостиницу «Почта», которая мне понравилась как своим местоположением, так и простым внешним видом. Первую ночь я провел следующим образом: в блаженном сознании, что я наконец избавился от дочери своей хозяйки и всей неприятной компании, которая, несомненно, стремилась к тому, чтобы я женился на Anne Энгельмюллеровой, я выпил в «Солнце» пять кружек пльзеньского пива и произнес в течение вечера несколько речей об ограниченности женщин, нисколько не скрывая того, что впредь я буду жить в гостинице. Надо мною смеялись, и я спросил, что тут смешного. Мне ответили: ходить спать в гостиницу очень хорошо, но весь вопрос в том, буду ли я там один?

Возмущенный этим смехом, я заплатил и пошел в гостиницу, решив завтра послать за своим чемоданом в ту проклятую квартиру, где меня чуть не женили.

Когда я пришел в гостиницу, коридорный спросил, буду ли я выставлять для чистки свои ботинки и не надо ли завтра утром постучать мне в дверь?

Я сказал, что я подумаю. Будучи пьяным, парень опять спросил, придется ли ему чистить две пары ботинок, то есть мои и дамские, или только одну?

— Какие дамские? — спросил я удивленно.

— Ну, да те, дамские, что стоят перед вашей комнатой.

— Что вы говорите?

— Ну да. Вечером пришла какая-то дама с полицейским агентом и сказала, что она искала вас во всех гостиницах. Дама эта пожилая. Мы ей сказали, что вы у нас сняли комнату на целый месяц. Она заявила, что она очень близкая вам родственница, попросила, чтобы мы поставили в вашу комнату еще одну, складную кровать, и сказала, что она вас подождет. Полицейский агент ушел, мы поставили в вашу комнату постель; эта дама легла и теперь спит.

«Это, наверное, моя тетя, — подумал я, — у нее бывали такие странности, и раз она меня не нашла на моей старой квартире, то, очевидно, решила искать меня с полицией».

Я попросил зажечь свечку и открыл свою комнату.

— Тетенька, — сказал я, подходя к кровати, — что это вы чудите?

В этот момент свечка у меня выпала из рук, и настала совершенная тьма. На постели сидела пани Энгельмюллерова, и, как только потухла свечка, она схватила меня за горло и потащила в коридор, крича: «Помогите, я поймала соблазнителя моей дочери!»

Сбежалось все население гостиницы. Пани Энгельмюллерова начала кричать:

— Вы, выродок, возвращайтесь сейчас же к моей несчастной дочери; там сидит сейчас Мазухова.

У меня подкосились ноги. Пани Мазухова жила в соседнем доме, на котором красовалась вывеска с изображением девы Марии и с многозначительной надписью: «Опытная повивальная бабка».

— Вы видите, как этот выродок трясется? Он знает, в каком она положении, и тащит ее на прогулку. А вот когда дело доходит до расплаты, он словно сквозь землю проваливается. А моя дочь, так ему верившая, несмотря на отчаянные боли, говорит: «Вы его только приведите ко мне, пусть он вернет мое честное имя, я ему все прощу!» Я бегу в полицию, и ваш друг, которого вы посетили сегодня утром, заявил, что вы ему признались, что будете ночевать в гостинице. Даже полиция, когда я рассказывала, плакала вместе с мной.

Она принялась всхлипывать.

— Я обежала все гостиницы и вот здесь наконец нашла его. Прошу вас, господа, помогите мне отвести его домой к моей несчастной дочери. Он обещал ей жениться и довел до такого ужасного положения. Таков удел всех молодых невинных девушек, доверяющих прохвостам.

Затем она обратилась ко мне:

— Мы вас кормили, ухаживали за вами, и вы так отплатили за наше гостеприимство!

Коридорный схватил меня и вынес из гостиницы. Пани Энгельмюллерова, держа меня одной рукой за пальто, другой всунула ему в ладонь две кроны. Я воспользовался этим моментом, выскользнул из пальто, оставив его в руках своей хозяйки, и убежал прочь. В голове у меня мутилось, и я в сильнейшем возбуждении перескочил через решетку набережной. Надо мной сомкнулась вода, я слышал бульканье и затем потерял сознание, в то время как кто-то тащил меня из воды.

На лодке с полицейскими стояла, как фурия, пани Энгельмюллерова и тащила меня за брюки из воды.

## 7. Приятный сон

Когда меня втащили в лодку, то, заметив пани Энгельмюллерову, я пытал-

ся вновь броситься в воду. «Держите его, не пускайте!» — кричала пани Энгельмюллерова и крепко схватила меня, мокрого, в объятия. Силы меня оставили, и я снова упал в лодку. Что было потом, я не помню, так как потерял сознание.

Когда я очнулся, то по запаху лизола и карболки догадался, что я в больнице.

Под мышкой у меня торчал градусник, голова была тяжелая, а в груди я чувствовал покалывание. Постепенно я припомнил все, что случилось, и радовался, что меня оставили в покое.

Сиделки в белых халатах ходили от одной постели к другой и справлялись о самочувствии больных. Затем пришел доктор с ассистентом и нашел мое состояние хорошим. Я ужасно хотел есть, и все надо мной посмеивались, говоря, что это хороший признак, но что я в течение недели ничего не получу, кроме супа и молока. Завтра придет ко мне пан Краус, который очень часто справляется о моем здоровье.

Никогда никакого Крауса я не знал, никогда в жизни ни с каким Краусом не говорил. Что такое? Я находился в полном недоумении.

Я спросил, когда я начну ходить.

Доктор опять улыбнулся и сказал:

— Тогда, когда заживут переломанные ноги.

И действительно, только теперь я заметил, что ноги у меня забинтованы и к ним привешен какой-то груз, который тянул их вверх через блок.

— Что я наделал? Как же это случилось? Что делает пани Энгельмюллерова? — спрашивал я.

Все опять улыбнулись, сказали, что она лежит на Ольшанском кладбище, в седьмом отделении.

Я почувствовал прилив блаженства, но, как я ни старался, никак не мог вспомнить, почему она оказалась на кладбище, когда я ее видел живой в лодке, и почему у меня переломлены ноги.

Затем я впал в апатию и, выпив бульон, спокойно уснул и проспал до другого дня.

В десять часов открылись двери зала, и сиделка привела к моей постели несколько солидных людей.

— Это судебная комиссия, — сказал лежащий возле меня молодой человек.

— Какая комиссия? — спросил я с удивлением. — Зачем здесь судебная комиссия, и почему она идет прямо ко мне?

Их было пять человек. Сиделки расставили стулья вокруг моей постели, они уселись и вытащили из карманов какие-то записки. Самый старший из них, с прекрасной белой бородой и приятной улыбкой на красном от пьянства лице, сказал:

— Я старший следователь Краус. А теперь, господа, я думаю, мы можем начать. Находитесь ли вы в полном сознании?

Я думал, что он спрашивает своих соседей, и молчал.

— Послушайте, пан Ганзличек, — обратился ко мне следователь, — я вас спрашиваю, находитесь ли вы в полном сознании?

— Пока что — да.

— Так скажите нам, что вас побудило так поступить?

— Как поступить? Я ничего не знаю.

— Но, пан Ганзличек, не скрывайте, пожалуйста. Коллега, прочтите обвинительный акт.

Молодой человек в пенсне улыбнулся и начал читать:

— «В ночь на вторник сорокалетний чиновник земского комитета Йозеф Ганзличек пытался из-за семейных неурядиц, прыгнув в Влтаву, покончить жизнь самоубийством. После того как он был вытасчен матерью своей любовницы, Каролиной Энгельмюллеровой, вдовой инспектора железных дорог, проживающей по Шумавской улице, 11, у которой он квартировал в течение пятнадцати лет и в течение которых поддерживал интимную связь с тридцатилетней Анной Энгельмюллеровой, — его отвезли на извозчике в бесчувственном состоянии на квартиру, где он очнулся и где его уложили в постель. Около часа ночи между ним, его любовницей и квартирной хозяйкой произошла ссора, во время которой Йозеф Ганзличек выбросил после жестокой борьбы в открытое окно со второго этажа на улицу сперва пани Энгельмюллерову, а затем свою любовницу Анну Энгельмюллерову и, наконец, выпрыгнул сам с криком: «Они еще шевелятся!» Обе женщины умерли при перевозке в больницу, а Йозеф Ганзличек сломал себе обе ноги и был отправлен в тяжелом состоянии в городскую больницу.

— Это неправда! — вскричал я и вдруг неожиданно увидел зеленый свет висящей лампы.

«Иисус-Мария, да ведь я лежу на постели у Энгельмюллеров», — подумал я, а пани Энгельмюллерова кричит:

— Ну как, Йозифек, вам уже лучше?

Я осматриваюсь. Ноги у меня здоровы, — значит, мне приснилось все это. Ноги у меня целы, и никого я не убил. И от сожаления я расплакался.

— Ну, так видите, Йозифек, — услышал я скрип ее голоса, — вы, наверное, раскаиваетесь, что обманули наше доверие?

— Оставь меня в покое, старая карга, — воскликнул я со слезами на глазах, — а то я выброшу тебя из окна!

Она мне закатила такой подзатыльник, что я съезжился под периной, а потом грозно сказала:

— Утром я вам покажу плод вашей грешной любви, и мы увидим, за кем останется победа. У меня есть ваши письма.

В самом деле, у нее есть мои письма — я посылал их во время своих разъездов и писал, что мне надоели до тошноты венские отбивные, что я соскучился по гуляшу, который так хорошо умеет готовить Анна, а в конце посылал низкий поклон.

## 8. Я окончательно становлюсь отцом

На другой день я лежал в постели, как загнанный олень в траве. На ночном столике у меня стояла чашка кофе, но я его даже не попробовал. Я не боялся отравления, потому что был уверен, что они будут стремиться сохранить мне жизнь до тех пор, пока я не возьму замуж эту лгунью, эту мошенницу.

Я решил не признаваться. Три раза у меня уже была повивальная бабка с каким-то маленьким существом и говорила ему:

— Посмотри, вот твой папа.

Я делал вид, что сплю, и во время таких визитов я походил на невинного агнца.

Затем открылись двери, и я услышал голос:

— Где этот негодяй? В комнате? Хорошо.

Ко мне ворвался человек со шляпой на голове и без всякого приглашения поставил стул к моей постели. Я притворился, что сплю, но он потряс мою голову и сказал:

— Не спите, я опекун бедняжки Анны, директор школы Вилим. Хотя для вас ничего нет святого, но я все же не ожидал такого позора. Что теперь делать с бедной матерью, моей сестрой, пани Энгельмюллеровой, этим немощным созданием...

— Я клянусь вам...

— Не клянитесь, — перебил он меня, — девушка сама поклянется, когда пойдет в суд. Она поклянется, а вы должны будете взять ее замуж после такого позора. Ваше положение на службе, ваша репутация будут поколеблены. Вы сделаете лучше всего, если вернете ей честь, которую вы отняли у нее таким способом, на который способны только шарлатаны. А мы вас считали порядочным человеком. Это неслыханно, это гнусно, это безобразно, это по-хулигански, это позорно! Это подлость, безобразие, жестокость, преступление, и это сделали вы, вы — несчастный, ничтожество, выродец, преступник, чудовище!

Он набрал духу и продолжал дальше.

— А она, доброе, честное дитя, поверила вашим словам, обещанию, что ее возьмут замуж, и села, как неопытная невинная мушка, на яд, который казался ей сладким и заманчивым, не подумала, что через девять месяцев у нее родится ребенок, у которого не будет отца, потому что он убежал в гостиницу, чтобы там переждать бурю. Но мы вас поймали, вы в наших руках, в руках божьих, но не того доброго господя, а в руках разгневанного Иеговы. Вот что, голубчик, другого выхода нет. У нас доказательства. Во-первых, этот новорожденный — самое лучшее доказательство. Затем у нас есть несколько писем, самое главное — случай на прогулке в лесу, когда она напомнила вам ваше обещание взять ее замуж, а вы ее ударили палкой. Да, у вас хватило духу сделать это. Невинность для вас ничто, вы втерлись в доверие честной семьи. Вспомните, во время какой ужасной дороговизны мы считали вам обеды по семьдесят геллеров, а в воскресенье вы платили восемьдесят геллеров и объедались досыта, а наевшись, бесстыдник, еще срывали цветы невинности. Кофе к обеду вы получали даром, за него вы ничего не платили. Обеими руками вы хватали не только сдобные булки, но и честь невинной девушки. Вы съедали до двадцати восьми вареников со сливами и после этого шли еще воровать честь девушки. Три отбивные котлеты вы получали к обеду и, съев их, шли ее соблазнять. Вы клали себе по четыре штуки котлеты величиной в кулак, а потом шли позорить невинную девушку. А огромные куски жареной свинины, копченого мяса и кнедликов? Вы всегда к гуляшу брали их шесть штук, а потом шли добиваться льстивыми словами того, чтобы она вам поверила и отдала вам все, что может дать невинная девушка любимому человеку. Вам делали бифштексы, какие едва умещались на тарелке, и за это вы так отблагодарили! Когда подавался гусь, обе ножки вы ломали для себя, да еще брали и белое мясо, накладывали себе кнедлики и капусту, наедались до отказа, а затем говорили невинной девушке о преданной и жгучей любви. Что вы, несчастный, на это ответите?

Я молчал.

В это время вошла повивальная бабка с моим предполагаемым сыном.

— Вы видите, он похож на вас как две капли воды! — воскликнул пан Вилим. — Те же глаза; волос, как и у вас, на голове нет, и, кроме того, он, как и вы, мужского пола. Значит, ребенок ваш.

— А то чей же? — раздалось в дверях, и пани Энгельмюллерова встала передо мной с засученными рукавами. — Моя дочь не лжет. Я знала уже давно, что у вас с ней связь; разве однажды я не поймала вас в темной комнате? Вы были один? Анны не было дома? Это неважно; вы ждали, пока она придет с прогулки, а девушек не ждут в темных комнатах. Не был налит керосин? Ну, вот видите, теперь вы признались, что ее ждали. Подпишите, вот чернила и перо. Я вам прочту: «Настоящим подтверждаю, что с Анной, дочерью пани Каролины Энгельмюллеровой, я имел интимную связь, которая не осталась без последствий, и что я обязуюсь в течение трех месяцев взять Анну Энгельмюллерову замуж».

И они так закричали на меня, что я взял перо и подписался: «Йозеф Ганзлик».

Что подумает обо мне тот, кто прочтет эту исповедь? Какая непоследовательность в моем поведении! Но лучше всего во всей этой истории то, что я сумел притвориться. Все случилось не так, как я здесь описал. Я действительно имел связь с Анной Энгельмюллеровой и хотел выставить себя перед Общественным мнением невинным мучеником, как все старые холостяки, лгуны и негодяи.

## Куда поехать на дачу

**Н**аступила пора мучительных раздумий — куда поехать нынче летом на дачу? Не найдется, вероятно, газеты, где не расхваливались бы прелести жизни в деревне. У нас, чехов, ведь столько любителей писать по любому поводу! В канун рождества в рождественских заметках пишут о зимнем пейзаже, с приходом весны — о просыпающейся природе, летом — о туристических прогулках и грустные фельетоны о том «Как мы жили на даче».

А пока представители транспортных агентств везут на вокзалы чемоданы, бедняк, как и во всякий прочий день, спешит на фабрику, и, когда жена принесет ему в перерыв скромный обед, он тоже полюбуется природой со скамейки перед сквером, где обычно обедает, если, конечно, сторожу не вздумается прогнать его. И — снова на фабрику, в мастерские, где громяют станки и над паровыми молотами дрожит горячее марево.

Это и есть его летняя песенка. Фабричная суeta и грохот, видимо, должны заменить ему лесные шорохи и шелест деревьев, а пропитанная металлической и древесной пылью атмосфера цехов — чистый загородный воздух, наполненный ароматом смолы, который вдыхают сейчас те, что отродясь не трудились.

Когда же пойдет он с работы усталый, то, может, и вспомнит, что где-то далеко за городской чертой раскинулись зеленые рощи, среди которых стоит вила фабриканта, и как раз сейчас сидит он на террасе с веселой компанией за обильным ужином и, обводя рукой вокруг, показывает, что все это принадлежит ему, и все это добыли ему своим трудом его рабы.

В этот летний вечер идет смена на шахту, из горных деревень к рудникам

спускаются с бидончиками в руках шахтеры, идут в задумчивости через лес. Что ж, они тоже имеют возможность полюбоваться густеющими сумерками, когда золотые лучи играют на ветках раскидистых сосен, только нет у них для этого настроения.

Они расстаются с ярким светом дня и погружаются в темноту. Расстаются с ликующим сиянием рая, из которого были изгнаны: через мгновение их примет в свои объятия адский мрак. Тут иные леса. Подземные, окаменелые. Здесь светят не яркие солнечные лучи, а кроваво мерцает металлическая сетка рудничной лампы.

А высоко над ними, над слоем в пятьсот метров — еще какой-нибудь летний дворец, уже среди других лесов, живительных, благоухающих и прекрасных, там, возле Осена и Гробов, под которыми всё пробуравлено, пробито ходами и где по ночам раздаются странные подземные взрывы, поразительные и многозначительные...

Так куда же поехать нынешним летом? Этот сакраментальный вопрос на все лады повторяют все буржуазные газеты.

Посмотрим же, что происходит на вокзалах. Здесь вы увидите сотни сельскохозяйственных рабочих из Галиции и Словакии.

Их согнали сюда, в Чехию, на работы в экономиях богатых монастырей.

Куда же поехать летом? К премонстратам в Клатовский уезд? К бенедиктинцам в Броумлов? В другие места? Близится время жатвы для богатых орденов. Преподобные аббаты прохаживаются по хлебным полям. Лето в зените. Забитые русины и словаки из краев, благословенных клерикализмом и водкой, не сегодня-завтра выйдут на поля с серпами и косами, чтобы приумножить состояние и без того богатых монашеских орденов.

Совсем как в Библии: «В поте лица будешь есть хлеб свой».

Мутную похлебку и отвратительный жесткий хлеб!

И в придачу немного водки и 20 крейцеров в день. А работают они на свежем воздухе, как говорится — божественно свежем воздухе. В полях алеют маки, там и сям мелькают синие васильки, на межах благоухает тимьян. Летают пчелки, поют птицы, широкими волнами перекатываются хлеба, клоня под ветром свои колосья. Вдали виднеются синие леса, обрамляющие горизонты. Вся эта красота — и для бедных людей.

Глядишь, какой-нибудь поэт сядет в роще под березой, посмотрит на шаловливые струи прозрачного ручья, — чьи берега усеяны незабудками, бледно-голубыми, будто небо, по которому пробегают «барашки», невесомые нежные облачка, — и воспоеет в своих стихах эту красоту.

Но если с утра и до позднего вечера до изнеможения работаешь за 25 крейцеров, миску мутной похлебки да стопку водки, перестаешь замечать сладостное благоухание лугов и полей, глаза от солнца докрасна воспаляются и зелень огромными пестрыми кругами начинает мелькать перед тобой.

В Осеке в монастыре жил аббат Теодор Вагнер. Он написал целую книгу стихов, в которых прославил природу. Аббат любил гулять по лесу, по полям и лугам. Он наблюдал за жучками и восхвалял божью благодать.

А русинам, мужикам из Коломыи, платил в жатву всего 20 крейцеров в день.

Мужики, перед тем как улечься штабелями спать под навесом, крестятся и молятся хором:

— Подай, господи, да будет и завтрашний день благословен, яко же и нынешний, ибо любим мы тебя, господи, мужики из Забунова и Коломьи.

И один за другим засыпают в чужом краю, на земле вельможных господ, с убеждением, что приехали «на дачу», оставив родную хату, щи из капусты, равнинные леса и болота, по которым бродят аисты, выискивая себе на пропитание лягушек. Их тоже, как лягушек, отыскивали предприниматели в болотистых коломыйских лесах и пьют из них соки, как аисты из лягушек.

Куда же поехать этим летом?..

По пыльной дороге тащатся бродяги. На пути — дерево, усыпанное черешнями. Они залезают на него и трясут. Собранные затем в придорожной канаве ягоды им наверняка вкуснее кнедликов с черешнями, тех, что подают где-нибудь в городском ресторане.

А вот зеленеет гороховое поле. Все это — маленькие радости для бродяг и бездомных.

На перекрестке дорог — столб с табличкой:

### **ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ НАХОДИТСЯ В РЖИЧАНАХ**

Бродяга сплюнет и поплетется дальше, лесными и полевыми дорогами, по тропкам, которые то тут, то там выходят к белым деревенькам. Все вокруг благоухает, но бродяга не поет. Слова поэта молодого поколения «И бродяга песню затянул» сегодня ничего не стоят. Прошли те поэтические времена, закатились вместе с романтизмом. Жизнь заявляет о себе. Нашего бродягу ждет третий параграф статьи за бродяжничество. Вот и пой после этого, чтобы пеньем своим привлечь жандармский патруль, притаившийся где-нибудь во ржи!

## **Отцовские радости пана Мотейзлика**

**Н**е в силах дожидаться того радостного дня, когда наконец он станет счастливым отцом, пан Мотейзлик сообщил всем своим знакомым, что ребенок уже родился.

Стыдясь даже мысли, будто у него может родиться дочь, он рассказывал о рождении сына. Иногда, правда, из скромности, чтобы не подумали, будто он сильно хвастает, пан Мотейзлик говорил, что у него девочка. Раза три-четыре он честно признавался: не знаю, мол, что там у меня. В итоге он сам запутался и тем же знакомым рассказывал теперь наоборот: где прежде хвастал мальчиком — теперь говорил о девочке. Он громоздил одну ложь на другую и дошел до того, что беззастенчиво наврал про близнецов, а в трактире пана Брейшки делал даже какие-то намеки о монстре, на котором он, мол, загребет кучу денег. В общем, он уже и сам не знал, кто у него родился.

Когда же настал тот самый желанный миг и он должен был вот-вот действительно стать отцом, пан Мотейзлик буквально на глазах у родителей жены убежал из дому куда-то по соседству и колбаснику, пекарю, аптекарю, в двух трактирах и в винном погребе заявил: все, мол, готово дело, и снова пошел городить то про девочку, то про мальчика, снова — про мальчика, девочку, двойняшек, тройняшек, про мальчика, девочку, девочку, мальчика — короче, оставляя для себя на всякий случай лазейку. Допивая в погребе пятый стакан вермута, он воскликнул:

— Вы не представляете, какой я счастливый! — И направился домой.

Когда он переступил порог своей квартиры, теща, теща и повивальная баб-

ка впервые обругали пана Мотейзлика бездушным чурбаном. Неужели он заслуживал этого? Он так радовался, так ждал этого события! Ну и если выпил по этому случаю некую толику вермута и немного пива, что поделать — тут и нехотя согресишь. Душу его переполняла светлая радость от сознания, что он дает миру потомка и тем умножает род чешский, переполняло его и неизмеримое блаженство, что медленно, но верно, он становится отцом.

Тем временем тесть душевно вразумлял доброго пана Мотейзлика, что отныне, став отцом, он должен помнить о своих обязанностях, забыть о всяком легкомыслии, одуматься, пока не поздно, чтобы потом не было слишком поздно, и послал прислугу принести содовой воды. Не успели принести воду, как пан Мотейзлик сделался отцом. И когда повивальная бабка вошла с красным младенцем, пан Мотейзлик схватил его и выскочил в коридор, чтобы показать соседям. Ребенка вырвали у него из рук, и пан Мотейзлик с криком: «У меня сыночек!» — сбежал вниз, отпер входную дверь, пересек улицу и влетел в трактир.

Заказав десять кружек пива, он объявил, что у него родился сын. Поскольку всего полчаса назад он говорил здесь же о дочери, ему возразили, из-за этого даже завязался небольшой спор, на что пан Мотейзлик выкрикнул:

— Мне-то лучше знать!

Один из посетителей язвительно заметил, что у пана Мотейзлика скорей всего вообще нет детей. Даже львица защищает свое дитя, что уж говорить о пане Мотейзлике! Он бросился на клеветника, но тот не отступил, схватил пана Мотейзлика за нос и при содействии своих друзей вынес пана Мотейзлика на улицу.

В ночной тишине, привалясь к погасшему фонарю, пан Мотейзлик предался размышлениям о жизни. Утешала его одна старая истина, что человеку меньше всего верят именно тогда, когда он говорит правду. Всплыла обида за только что пережитое унижение, но тут, заслоня все неприятное, вспыхнуло яркое, ни с чем не сравнимое гордое сознание, что он — отец! Это сознание и определило направление шагов пана Мотейзлика через улицу и за угол, в винный погребок.

Там он сел за стол, похлопал хозяйку по плечу и объявил:

— У меня сынок.

— Пан Мотейзлик, да что это вы, без малого час назад говорили, будто у вас родились двойняшки, обе девочки.

Все это вместе взятое до того расстроило пана Мотейзлика, что он закрыл лицо ладонями и тихо заплакал. Какой же он негодяй и мерзавец! Его первенец не успел родиться, а он, родной отец, уже возвел на него напраслину! Подняв голову, пан Мотейзлик посмотрел сквозь слезы на хозяйку и сквозь слезы же попросил:

— Дайте мне стакан вермута.

— И не стыдно вам, вы же отец, — укорила его хозяйка, — эдак набратесь! Вам бы сейчас лучше домой. Хотя, кто вас знает, есть ли у вас вообще ребенок, столько всего вы тут наплели.

— Клянусь вам, пани хозяйка, у меня сыночек, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто нежным пушком, отец чувствует себя хорошо.

— Хватит вам болтать, ступайте проспите, я сказала, что больше не налью.

— И это награда за такого прелестного мальчика! Такого ли я заслужил! — тоскливо воскликнул пан Мотейзлик и вышел на темную улицу. Никто его не понимал. Пана Мотейзлика охватила ужасная жалость к себе. К счастью, он вспомнил, что неподалеку, на Кроковой улице, живет его старый приятель, инженер Зазворка.

«Надо зайти к нему», — решил счастливый отец и во втором часу ночи свистнул под окном приятеля.

Никто не отозвался. Но чего не сделает отец ради своего ребенка! Недолго думая, пан Мотейзлик вскарабкался на подоконник и залез в комнату. Пани инженерша, дожидавшаяся мужа, посветила электрическим фонариком и, увидев пана Мотейзлика, в страхе закричала.

— Сударыня, — залепетал пан Мотейзлик, — я зашел к вам сказать, что у меня только что родился сыночек, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто пушком, отец чувствует себя хорошо.

После этих слов он вернулся на подоконник и спрыгнул вниз как раз в тот момент, когда пан инженер собирался влезть к себе в квартиру через окно, чтобы не шуметь в коридоре.

— Зазворка, привет, дружище! Я как раз иду от тебя, заходил похвастаться, знаешь, у меня родился сынок, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто пушком, отец чувствует себя хорошо.

— Что за дурацкая отговорка, негодяй! — взревел пан инженер.

Пан Мотейзлик бросился бежать, пан инженер — за ним и догнал его перед самым домом, когда пан Мотейзлик судорожно тыкал ключом в замочную скважину. Не говоря худого слова, пан инженер отвесил ему две затрещины, после чего с достоинством удалился. С середины мостовой он крикнул:

— На суде сквитаемся!

До его слуха донесся извиняющийся голос пана Мотейзлика:

— Честное слово, Зазворка, у меня родился мальчик.

С тяжелым сердцем, непонятый никем в своих лучших родительских чувствах, поднимался пан Мотейзлик по лестнице. Ему было горько и обидно. Произведя довольно большой шум, он повалился на двери своей квартиры, двери тихо отворились, и две руки втащили его внутрь. Это был тесть, который прямо и откровенно сказал ему то, что пан Мотейзлик уже слышал:

— Бездушный негодяй! Я-то думал, что вас хоть рождение ребенка наставит на путь истинный, а вы опять за свое! Стыдитесь!

Он указал зятю на оттоманку и ушел в гостиную. Вместо него вышла повивальная бабка, всплеснула руками и сказала:

— Что ж это вы мне такое устраиваете, пан Мотейзлик! Не дай бог у вашей жены начнется горячка, в этом вы один будете виноваты!

Потом вышла теща, она выразилась совсем коротко:

— Тьфу, черт!

Пан Мотейзлик, лежа на оттоманке, тихо всхлипывал в покрывало. Даже близкие люди, его домашние, не понимают его родительских чувств. Он слез с оттоманки, подошел на цыпочках к двери комнаты, открыл ее и воскликнул:

— Где мой сыночек?

Но, потеряв равновесие, растянулся на пороге.

Теща при помощи мужа молча подхватила пана Мотейзлика, и они положили его назад на оттоманку. Он уснул по дороге у них на руках с блаженным

выражением на лице.

Теща некоторое время мрачно взирала на счастливого храпящего отца, затем энергичным движением выдернула у него из-под головы подушку. Пан Мотейзлик продолжал спокойно спать и улыбался во сне. Ему снилось, что он выступает перед большим скоплением народа и, обращаясь к тысячеголовой толпе, кричит:

— Многоуважаемое собрание! У меня только что родился сынок, весь красный, длина 55 сантиметров, тельце покрыто нежным пушком, многоуважаемое собрание, отец чувствует себя превосходно!

## Продолжение отцовских радостей пана Мотейзлика

Произошло радостное событие — вы стали счастливым отцом, но вас ждет еще много и других маленьких радостей. Например, вы открываете шкаф, где лежат милые детские вещицы, и всем, кто приходит вас поздравить, с гордостью демонстрируете рубашечки, пеленочки, чепчики, распашонки и хвастаете, что уже научились пеленать свое дитя; затем ведете гостей в кухню, где на паутине натянутых под потолком веревок сушится несчетное множество пеленок, итог благородных усилий вашего потомка, который не только носит ваше имя, но с того же, что и вы в самом нежном возрасте, начинает свою жизнь в обществе. А как согревает вас радостное сознание, что вы можете собственноручно взвешивать своего ребенка! С каким радостным Трепетом записываете вы в блокнот каждый грамм, которые медленно, но неуклонно, по неумолимым законам природы, набирает ваш отпрыск. И еще радость — ребенок испытывает жажду. Вы несете его к матери, а сами возвращаетесь к гостям и достаете из буфета бутылку коньяку. Рядом за стеной утоляет жажду ваш ребенок, а в гостиной отец и гости пьют за его здоровье. Настроение все больше поднимается, и тут вы спохватываетесь, что до сих пор не показали гостям, как ваш первенец умеет плескаться в воде. Вы наливаете в ванночку теплой воды, измеряете термометром температуру и не вполне твердой походкой решительно идете в спальню, где спит ребенок. Поднимается страшный шум, вашим домашнем удается вырвать у вас младенца и укрыть в надежном месте от вашей беспредельной родительской любви, которая, похоже, не знает никаких преград. Потому что, оскорбленный в своих лучших родительских чувствах, когда теща захлопывает дверь перед самым вашим носом, вы начинаете колотить в дверь ногами и кричать.

— Отдайте мне моего ребенка, пани, я желаю видеть моего крошку!

Все напрасно. Из-за двери, запертой на ключ, доносится резкий голос бабушки:

— Хватит безобразничать, ступайте лучше прогуляйтесь.

Будь вы с ней вдвоем, с глазу на глаз, дело, безусловно, кончилось бы хуже, но у вас гости, которые пришли посмотреть на вашего крошку, этим и объясняется мирный тон бабушки.

Тогда вы распиваете еще бутылку коньяка и вместе с друзьями торжественно покидаете счастливый дом.

Именно это довелось пережить и пану Мотейзлику. Первые две недели после рождения сына были особенно напряженными. В околотке рассказывали, что пан Мотейзлик на радостях пьет со своими друзьями даже презренный ром. Затем наступило некоторое затишье. Встал вопрос — как назвать мла-

денца. Пан Мотейзлик как раз вернулся в самом безмятежном расположении от друзей и бурно потребовал, чтобы сыну дали имя Гектор. В этом имени он видел не только воплощение аллегии силы, но и приятное воспоминание об «Илиаде» Гомера и юных годах в гимназии. После этого заявления все, естественно, накинулись на него. Тесть, как всегда очень рассудительно и обстоятельно, рассмотрел все «за» и «против» и заключил, что такое имя станет в будущем для внука лишь камнем преткновения. Пошел, скажем, ребенок в школу. В этом возрасте дети очень чувствительны и задумываются над многим. Теперь представьте себе: кто-то окликнет его Гектором, и на зов вместе с ним прибежит здоровенная собака мясника. Дети жестоки и не преминут воспользоваться случаем подразнить этим именем. Ребенок начнет переживать, сторониться других ребят, превратится в рефлектирующего нелюдима, а одиночество толкнет его на всякое безобразие. Угрюмость невольно укрепитя и разовьется, учеба, не радуя, будет в тягость, он сделается предметом насмешек, развитие его умственных способностей затормозится. Он вырастет мрачным неучем, и мы не дождемся от него никакой радости. Закончил тесть кратко и ясно:

— Короче говоря, вас об этом никто не спрашивает, это наше дело.

Пан Мотейзлик скромно заметил, что было бы уместно хотя бы частично признать его отцовские права. Все язвительно захохотали, присовокупив, что он не отец, а недоразумение, бездушный негодяй, и с его стороны лучше помолчать и не лезть в дела, в которых он ничего не смыслит. Пана Мотейзлика это задело, и он вышел из дома в сильном огорчении оттого, что даже имени для сына он отстоять не может! Вернулся он расстроенный к обеду следующего дня. Войдя в дом, он держался непривычно скромно и вежливо. Раз пятьдесят повторил «целую ручки, простите, я был на собраний в Кладно» и лепетал что-то о страшно загрязненной атмосфере Кладно, пропитанной сажей, и что под Кладно все изрыто шахтами и это ужасно.

Ему сказали:

— Да, это действительно ужасно.

И больше никто его уже не замечал, все заперлись в гостиной. Когда же пан Мотейзлик сокрушенным голосом смиренно попросил под дверь: «Мне хотелось бы посмотреть на сыночка», — ему ответили: «Сперва протрезвейте».

— Целую ручки, — взывал пан Мотейзлик, — честное слово, я сегодня не пьяный и очень хотел бы видеть моего крошку, мою кровиночку, милостивая пани, мамочка.

Милостивая пани, мамочка, ничего на это не ответила и принялась насвистывать арию из «Гугенотов», то самое место, где гугенотов как раз начинают резать.

Пану Мотейзлику не оставалось ничего другого, как сесть к письменному столу и разобрать письма, в которых кое-кто из его друзей, лишь теперь, две недели спустя, поздравлял счастливого отца с рождением сына и желал ему и впредь много родительских радостей. От этой фразы на пана Мотейзлика повеяло горечью. Он достал из кармана пять коробок конфет, которые выиграл для своего сына, и, с болью взирая на красно-белые коробочки, повторял про себя, что его просто не понимают, а ведь его поступки имеют целью одно — доказать, что он весьма серьезно относится к рождению первенца. Но домашние все его проявления радости воспринимают не иначе, как оргии, безобра-

зие и распущенность. Его крайне меланхолическое настроение нарушил тесть. Он вошел не постучав и положил руку на плечо пана Мотейзлика со словами:

— Как приятно видеть вас наконец-то дома, в полном порядке и за работой. Я спешу. Вот вам 150 крон на коляску. Мы говорили между собой вчера, когда вас не было дома, что вам тоже кое-что нужно поручить. Выберите по вашему вкусу красивую коляску. Я уверен: все снова будет в порядке. Пойду взгляну на внучка.

Пан Мотейзлик, полный недобрых предчувствий, не успел тесть дойти до дверей комнаты, схватил шляпу, выскочил на лестницу, понесся вниз по улице и вскочил в проходивший мимо трамвай. И вот он сидит в вагоне, и мы можем сказать, что на душе у него легко и безмятежно. Радость его была неопишима. Наконец-то он может сделать что-то для своего сыночка самостоятельно. Пан Мотейзлик мысленно уже видел, какую замечательную коляску купит он сыну, и в коляске за кружевными занавесками чудилась ему круглая мордашка и пухлые ручки на перинке. Трамвай, казалось ему, едет невероятно медленно, а день был такой светлый, ясный, что пан Мотейзлик готов был расцеловать весь свет. Пока он доехал до Вацлавской площади, он решил про себя, что покупка коляски для первенца явится прекрасным этапом начала новой жизни. Коляску надо выбрать не с бухты-барахты, а продуманно, предварительно ознакомившись с образцами; сначала лучше обойти два-три магазина и попросить каталоги, а затем в тиши какого-нибудь кафе выбрать самое лучшее и самое красивое. Так он и сделал и с каталогами под мышкой вошел в кафе, куда обычно заходил днем. Усевшись в уголке, он заказал черный кофе и с наслаждением принялся листать альбомы образцов. Ему нравились все. Он еще раз перелистал толстые альбомы и нашел, что любая из колясок пойдет его мальчику. Выйдя на улицу, он с ужасом убедился, что уже восемь часов и все магазины закрыты. Пан Мотейзлик беспомощно потоптался на углу Вацлавской площади и Водичковой улицы, разглядывая плитки тротуара. Радость его сразу померкла. Он только представил себе, что ждет его дома, когда он вернется, и на душе стало пусто и тоскливо. Тесть, конечно, уже обо всем догадался, так что лучше будет прийти, когда тесть уберется. Он, правда, говорил, что спешит, но ради такого случая может нарочно просидеть невесть сколько, лишь бы дождаться зятя. Пану Мотейзлику страстно захотелось развеяться, прогнать тяжелые мысли презируемого человека веселой беседой с верными друзьями, в компании которых он ежедневно, если удавалось улизнуть из дому, сживал в трактире «У Звержины» в Коширжах. За добрым пивом мрачные мысли проходили. Но тут была необходима такая встряска, при которой он начисто забыл бы о своей печальной судьбе. Сегодня же в трактире не было никаких выступлений, ничего даже не декламировали. Наконец один из друзей предложил пойти в ночное кафе сыграть в карты. Мол, там играют в «божье благословение». Что это было за кафе и где оно находилось, пан Мотейзлик не помнит, он даже не знал, зачем туда пошел со всеми и как он вообще мог позволить, чтобы его затащили туда ради такой азартной игры. В два часа ночи ему пришлось разменять стокроновую купюру, в половине третьего от нее осталось двадцать крон.

Рассказывают, что со словами: «Все для сыночка!» — он поставил и эти двадцать крон на последнюю карту и под крики «ура» взял пятьсот крон.

На другой день в десять часов утра пан Мотейзлик возвращался домой, в лоно семьи. Надо было видеть, как это выглядело!

Одну прелестную коляску он толкал впереди, другую тащил за собой, а следом рассыльный из магазина нес еще две красивые новые колясочки, — одна коляска предназначалась для прогулок, вторая — чтобы, класть ребенка спать дома, третья — в садике, а с четвертой гулять в случае дождя. Все как положено, как рекомендовали ему в магазине.

## Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки

О том, что чешский народ еще не утратил лояльности, ясно говорит инспекционная поездка министра Трнки. Во время этой поездки министру жилось неплохо. По его собственным словам, он скушал двадцать восемь гусей, сорок шесть уток, пятнадцать зайцев и сто двадцать куропаток. А за гусями, утками, зайцами и куропатками на столе появлялись дипломы, в которых чествователи присваивали ему звание почетного члена общины.

Это было настоящее триумфальное шествие. Всюду черно-желтые знамена реяли ему навстречу.

Девушки в белых платьях, священники, пожарные, старосты общин дрожали и заикались, когда он обращался к ним или они обращались к нему.

Так переезжал он с одного банкета на другой; его подчиненные составляли карты и планы регулирования рек, а он всюду делал заметки, вроде следующих: «Пардубице — Майонез. Яйца могли бы быть свежее».

И вдруг — бац! — в Младой Болеславе сторел его автомобиль со всеми планами, картами и заметками. И у министра Трнки осталось лишь воспоминание о славном лояльном чешском народе. И пану министру приходится только внутренне улыбаться: например, при воспоминании о Штеховицах.

Для Штеховиц приезд министра был целым событием. До тех пор никто из тамошних жителей живого министра не видел, не говоря уже о том, чтобы с ним беседовать. И вот представьте себе: община поручила учителю приветствовать пана министра с лодки!

Штеховицкие жители обожают пышность. Они постановили, чтобы учитель составил свое обращение к министру в стихах.

Пришлось учителю попотеть. Он облазил все горы в поисках чудного уединения, где бы ему можно было спокойно творить.

Рассказывают, что выбор его остановился в конце концов на одной пещере в Бояновской долине. Три дня подряд местный стражник доставлял ему туда еду и питье.

За эти три дня он создал следующее произведение:

Ваше превосходительство, горячо Вас приветствуем по поводу Вашего приплытия от святого Яна, да озарится улыбкой лицо Ваше, вследствие приближения к нашим Штеховицам славным.

И вот торжественный день наступил. В черном костюме, с цилиндром в одной руке и стихами, переписанными на хорошей бумаге, — в другой, стоял сам великий поэт на краю лодки и, бледный от волнения, с нетерпением ждал появления парохода.

Наконец пароход прибыл, загремели мортиры, и все глаза устремились на местного пиита.

Но в тот момент когда пароход пришел в соприкосновение с лодкой, последняя так раскачалась, что учитель пошатнулся и упал в воду.

— Ваше превосходительство, не извольте гневаться. Вода теплая! — крикнул он, пустившись вплавь и выпучив глаза на министра.

## Святотатец в Хотеборжи

**В** уголке ресторана «Дом господ» изо дня в день сидит пожилой человек, с которым никто не разговаривает и которого никто не замечает. Время от времени этот человек пытается вмешаться в разговор, но те, с кем он заговаривает, лишь сплевывают и ничего ему не отвечают. На его лбу, если мы посмотрим на него со стороны, можно увидеть каинову печать отверженного. Этот человек надругался над всем чешским народом. Ян Павличек имя этого святотатца — крестьянина из Свин. От его надругательства замирает сердце. Дело относится к эпохе, когда пробудившийся чешский народ в 1868 году устраивал многолюдные демонстрации и достославные таборы — митинги под открытым небом. В ту пору воодушевления и восторгов Ян Павличек выкинул коленце, которое и доныне бросает мрачную тень величайшего кощунства не только на него, но и на все его потомство.

Еще и ныне, когда бы ни вспомнил Павличек о том времени, его подбородок начинает трястись, как у старцев в произведениях Райса.

Прошло уже столько лет с тех пор, а старик все еще чувствует, что по сей день так и не смыл с себя пятна позора. Много лет назад надругался он над всем чешским народом, когда торжественный кортеж двигался из Хотеборжи на Часлав, где устраивался табор.

Те времена давно миновали. После восторгов 1868 года наступило отрезвление. Потом настало время позитивной политики со всеми ее печальными моральными последствиями, а Ян Павличек все еще сидит в своем уголке в «Доме господ», и никакие изменения в чешской политике не приносят ему облегчения. Ян Павличек все еще ощущает позор совершенного им надругательства. Он ехал на телеге, задрапированной в национальные цвета, с компанией хотеборжской молодежи в табор народа под Чаславом. Телега неслась по дороге к Либице над Доубравкой, где к торжественному кортежу должны были присоединиться либицкие жители.

В Хотеборжи живы еще очевидцы всего происшествия. Они могут подтвердить вам, что Ян Павличек перед отъездом плотно наелся гороху, напился пахтанья, добавив еще и добрую кружку хотеборжского пива.

Не знаю, было ли тогда хотеборжское пиво такого же замечательного свойства, как ныне, а если было, то остается лишь воскликнуть: «Несчастный Ян Павличек!»

В ту эпоху великого воодушевления еще не знали ряда современных слабительных, и ты, несчастный Ян Павличек, пил тогда графское хотеборжское пиво! И к тому же воодушевление, тряска в деревенской телеге, когда резвые кони с лентами в гривах рысью мчались вниз по большаку к Либогаю...

Великое воодушевление охватило Яна Павличка. Он первый громким голосом запел «Гей, славяне», и гимн разнесся в предвечерней тишине по долине Доубравки. И вдруг Ян Павличек многозначительно умолк.

— «Гром и ад!», — вырвалось у него, и, пока остальные с энтузиазмом пели: «Что ваша злоба!», — Ян Павличек схватился за живот.

Есть одна шотландская баллада, в которой поется, как рыцарь Орфанг Чарт, преследуемый муками совести, на всем скаку выпрыгнул из экипажа и спрятался в дубраве.

А здесь дубравы не было. Вдоль дороги торчали лишь одинокие дубы, последние могикане обширных дубрав, росших когда-то под Железными горами.

И, подобно рыцарю Орфангу Чарту, Ян Павличек огромным прыжком выскочил из телеги и скрылся за гигантским стволом одного из развесистых дубов.

В пятидесяти шагах от дуба телега остановилась, и руководитель кортежа оглянулся. И тут он вдруг побледнел и воскликнул: «Господи Иисусе, братья, пойдите к нему!»

Он соскочил на землю, остальные последовали за ним, и все подбежали к дубу.

Однако они опоздали: Ян Павличек уже стоял, и лицо его прояснилось. Руководитель кортежа схватил Павличка за плечо и, показывая вверх на дуб, сказал ледяным голосом: «Читай!»

Измученный Ян Павличек, выпучив глаза, прочитал на табличке, прибитой к дубу: «Под сим дубом отдыхал Жижка, направляясь в Пршибислав».

Яна Павличка подхватили под руки, чтобы он не упал.

— Святотатец, — сказал ему руководитель, — ты недостоин ходить по земле, вернись же в Хотеборж, в Часлав с нами ты не поедешь!

Пока разукрашенная телега ехала к Либогаю, Павличек плелся в Хотеборж, а вслед ему с телеги неслась песнь: «Кто вы, божьи воины?»

Один лишь дуб, под которым отдыхал Жижка на пути к Пршибиславу, казалось, понял предел надругательства, совершенного Павличком над всем народом и чешской историей. Ветви дуба задрожали, и он засыпал желудями землю вокруг себя, милосердно прикрыв все, что было связано с кощунством Павличка.

Я говорил со старым паном Павличком и упомянул также об этом историческом дубе, под которым отдыхал Жижка. Павличек долго пил и затем сказал:

— Отдыхать-то он отдыхал, это мы знаем, но кто его знает, как это выглядело!

И этим Ян Павличек подтвердил пословицу: «Всякая сосна своему бору шумит».

## Сербский поп Богумиров и коза муллы Исрима

**Б**ольшой и Малый Караджинац! Две деревеньки, почти одинаковые, и все же такие разные! Малый Караджинац расположен на сербской стороне, а Большой Караджинац принадлежит турецкому султану. Жители двух этих горных деревушек бились изо всех сил, лишь бы хоть что-нибудь да вырвать у каменной пустыни. Овес шелестел волнами на скалах. Козы резво прыгали с утеса на утес.

Жители Малого Караджинаца продавали коз, чтобы заплатить налоги своему сербскому королю, в Большом Караджинаце коз продавали, чтоб десятиною рассчитаться с падишахом. Было это, по сути, одно и то же, называлось только по-разному. Православных сажали в тюрьму из-за налогов, мусульман из-за десятины.

В Малом Караджинаце на церкви желтел покрытый дешевою позолотою крест, так же был окрашен и полумесяц на мечети в Большом Караджинаце. Краску покупали у армянина Рекована в близлежащем пограничном городке. И как же гордились и православные, и мусульмане дешевенькой своей позолотой!

И стоило однажды мусульманам в Большом Караджинаце свою мечеть побелить, как тут же и православные из Малого Караджинаца любовно подновили свою церквушку белой известью, и она вызывающе засветилась своими стенами на сербскую и на турецкую сторону.

Вечерами раздавался перезвон всех колоколов, но вот уж и мулла напротив тщится на минарете перекричать колокола воплем: «Аллах иль аллах», — велик аллах. Допев свое до конца, мулла Исрим спускался вниз, закуривал чубук и шел поболтать с православным попом Богумировым.

Сходились они у водопада, который отделял Оттоманскую империю от Сербского королевства.

Поп Богумиров тоже курил трубку. Беседа их начиналась обычно с ругани.

— Все хромаешь, псина турецкая?!

— Какие же у тебя сегодня круги под глазами, проклятая христианская душа.

Но по мере того, как тон становился спокойнее, аллаха и всевышнего в беседе вытесняли козы. Ибо и Богумиров, и Исрим держали коз и похвалялись ими друг перед другом. Потому как в глазах их, пожалуй, это не были обыкновенные козы, но козы мусульманские или же козы христианские, православные.

— У меня козы тучнее твоих, мулла, — ликовал поп.

— Тучнее? А где ты видел козу прекраснее, чем моя Мири, знаешь, вон та, вся черненькая. Что за красавица! И рога у нее — что у венгерской коровы.

И это была правда. И козлята ее всегда были один прелестней другого.

Мулла утверждал, что глаза у его козы краше, чем у старостовой дочки Кюлют, а увлекшись, он уверял, что это заколдованная гурия из окружения пророка Гавриила.

Поп Богумиров тосковал давно об этой козе.

Вот бы улучшить породу своего стада, которое, разбредясь сейчас среди скал, паслось и резвилось, то исчезая за валунами, то неожиданно появляясь среди неприветливых серых утесов, объедая редкие кустики травы и заячьей

капусты.

Водопад шумел, над Балканами загорались первые звезды.

— Послушай, Исрим, — сказал поп Богумиров, — не так уж твоя коза и прекрасна, но мне бы она пригодилась. Моя коза, которую я оставил на племя, с божьего соизволения, сдохла. Видать, понравилась господу. — Поп перекрестился.

— Аллах велик, — воскликнул мулла, — но эта коза не продается.

— Хорошо, мулла, — продолжал поп, — аллах твой не так велик, как православный господь. Творил ли он где у вас какие-либо чудеса, посылал ли к вам чудотворцев? Смилуется господь бог, ежели ему будет угодно, из меня еще получится чудотворец, а ты так и останешься глупым нехристом. Я смогу воскрешать мертвых, ежели господь соизволит, а ты до самой своей смерти так и будешь вопить с мечети — «Аллах иль аллах» — да и кружить при этом, как овца, больная вертячкой.

Мулла вознегодовал:

— Ах ты, тупой гяур, ведь наш Магомет просто запрещает воскрешать мертвых. Хороший же у вас бог, если он и мертвецам не дает покоя. Но коли заявишь клятвенно, что не умеешь воскрешать мертвых, продам тебе козу.

Поп задумался. Оно конечно, коза Мири — давняя его печаль, но ведь придется кой от чего перед этим поганым нехристом и отречься.

Мулла продолжал безучастно курить свою трубку. Сизый дымок поднимался над тихим, вечерним простором, расстилаясь по скалам. В душе попа происходила отчаянная борьба. Козовод схватился в ней с верующим.

— Мулла Исрим, нехристь ты несчастный, — наконец отозвался поп, — признаю и подтверждаю, что не могу воскрешать мертвых. — Он перекрестился. — За сколько же теперь ты отдашь мне козу?

Начались долгие торги. Мулла просил за нее две козы и сто пиастров.

Поп давал одну козу и пятьдесят пиастров, но готов был согласиться на условия муллы, если только тот заявит, что аллах вовсе не велик.

Теперь уже поп безучастно попыхивал трубкой.

— Аллах не бог, — сознался мулла, потому что сто пиастров — немалые деньги.

Так приобрел поп Богумиров у муллы Исрима козу Мири.

Наутро неверные псы привели к попу козу Мири. Был ясный, солнечный день, какими отличается на Балканах осень, когда небо такое ясное и голубое, что хочется петь. Горный поток ниспадал сверху от Малого Караджинаца к Большому, такой же чистый и ясный, как отражавшееся в нем небо.

Как я уже говорил, весело на душе у человека. Особенно большая радость у попа Богумирова.

Ведет он свою новую козу Мири на веревке, гордость своего козьего стада. Идет с ней от истока ручья, который выбивается из крохотного ключа там, под вершиной Мегадиште. Ясно, весело у него на душе.

Только что толкнул он в этот ключ козу свою, что прежде жила у муллы Исрима, и запел:

— Господи, помилуй!

Не пристало такой козе оставаться мусульманской.

## Пятнадцатый номер

Бывают и у обывателей свои скандальчики. Таким небольшим скандалом ознаменовался канун свадьбы уездного начальника Мужика.

Уездные начальники — люди добродетельные. Уездный начальник Мужик, готовясь к сочетанию браком с барышней Бурдовой, даже краснел, когда речь заходила о том, в какой гостинице проведут они ночь перед свадьбой: жених, свидетели и невеста. Господин императорско-королевский школьный советник шепнул ему что-то на ухо, но Мужик возмущенно оборвал его.

Да за кого он его принимает? У всех будут отдельные номера: у жениха, у свидетелей, у невесты!

Барышня Бурдова тоже зарделась, когда ей на ухо шептала что-то барышня Лилингова. Никогда! У каждого будет своя комната. У нее, у свидетелей, у жениха.

Ибо решено было сыграть свадьбу в Праге.

Перед отъездом уездный начальник вызвал служителя своей канцелярии и дал ему двадцать крон.

При этом он обратился к служителю с речью, прося его выпить за новое счастье начальника, но не напиваться. Служитель обещал, но не сдержал слова, что само собой разумелось.

Затем уездный начальник заглянул в винный погребок, где выслушал еще парочку скабрзных анекдотов, после чего отправился к невесте и свидетелям.

Свидетелей он застал в черных костюмах и в розовом настроении.

Так что среди экскурсантов в Прагу царило безоблачное веселье.

Они поселились в лучшей гостинице, где как раз начинал свою карьеру коридорный Ваничек. Он был добросовестный человек.

Его обязанностью было чистить обувь постояльцев. И именно Ваничек изобрел метод, позволяющий не путать ботинки, которые он уносил от пронумерованных дверей с выражением трудолюбивого садовника, собирающего урожай.

Держался Ваничек при этом достойно. Толстым мелком писал он на каждой паре обуви номер тех дверей, за которые ее выставили, а утром, в соответствии с этими номерами, расставлял у дверей вычищенные ботинки и в непоколебимом спокойствии ожидал награды.

Ботинки он чистил, подпевая себе вполголоса какой-нибудь военный марш. Обычно это было вот что:

*Марширует Грневиль  
Прашной браной на шпацир...*

И в такт маршу он шваркал щеткой по ботинкам и туфлям. Он мог бы рассказать многое, но был молчалив в этом отношении, как печки в номерах.

Он безмолвствовал, как ночные тумбочки.

Лишь порой, когда ему вспоминалась какая-нибудь историйка, слабая улыбка пробегала по его лицу, чтобы тотчас расплыться в сапожной ваксе.

Вся жизнь Ваничка заключалась в мазах для обуви. Все его помыслы вращались вокруг башмаков, и в воспоминаниях его властвовали щетки — жесткие для грязи, те, что помягче, — для наведения глянца.

Ваничек был мастер своего дела. Когда он проходил утром по коридору и у каждой двери улыбались ему сверкающие сапоги и ботинки, прошедшие через его руки, он испытывал чувство отцовства, и вынимал тогда из кармана флажечку тминной, и делал основательный глоток.

И проносились перед его внутренним взором сапоги, штиблеты, туфельки давних времен, но он о них молчал. Лишь один раз изрек он грубое слово — это когда в нижней распивочной заговорили о заезжей иностранной примадонне, хваля ее очарование, талант и красоту. Тогда Ваничек вдруг вскричал: «Да у нее нога как у слона!» Но он тут же осекся, покраснел, расплатился — и больше в той распивочной не появлялся.

Теперь он радуется новым постояльцам. Уездный начальник заказал уже отдельные номера для всех: для себя, для свидетелей и для невесты.

Сейчас они внизу, в ресторане, ужинают, пьют пиво из Феслау и смеются.

Пускай кто-нибудь даже и брякнет глупость — они все равно смеются, не столько из благодарности, сколько потому, что счастливы. В одиннадцать вечера они отправляются спать. Каждый в свою комнату — жених, невеста, свидетели.

В половине двенадцатого Ваничек уже собирает обувь. Перед каждой дверью он священнодействует, выписывает мелом номер на подметки и уходит со своей добычей по коридору, а в полночь уже шваркает щетками по ботинкам, тихонько напевая:

*Марширует Грневиль  
Прашной браной на шпацир...*

Но вот и свадьба. В церкви царит благоговейное настроение. Прогремели и стали коляски. Бабки на паперти наводят критику. Уездный начальник и его невеста шествуют к аналою. Обряд этой богатой свадьбы отправляет сам настоятель.

Жених и невеста опускаются на колени.

Едва они опустились, в самый торжественный миг, — все увидели их подметки... Как странно: на них выведена мелом большая цифра «15». У невесты и у жениха.

И по церкви разносится тихий шепот: «Скандал, скандал»...

Бывают свои скандальчики и у обывателей.

## Деяния современного дипломата

Кое-когда, а особенно в последнее время, ходили толки о том, будто дипломаты лишены разума. Утверждение это может опровергнуть поистине классическая деятельность дипломата графа Рудольфа фон Дромадер. У него-то был разум, очень много разума, сейчас сами услышите.

Граф Рудольф Дромадерский происходил из старинной аристократической семьи, подарившей человечеству самого прославленного в мире идиота, графа Яна Дромадерского, мыслителя воистину всемирного масштаба, создавшего труд о том, что земля не вертится. Впоследствии он был чрезвычайным полномочным послом при русском дворе, где и скончался, заслужив у тогдашних историков славу величайшего дурака на свете.

Граф Ян фон Дромадер имел сына Карла, страдавшего навязчивой идеей сделаться придворной дамой. Его лечили холодными обливаниями головы и сумели-таки выбить из него эту дурь. Карл оставил после себя сына Йозефа Антона, который в нежном возрасте упал с лестницы в замке и пробил себе череп, отчего у него развился так называемый травматический невроз. Дотянул он только до генерала; его-то сыном и является вышеупомянутый Рудольф. Когда Рудольф родился, собрался семейный совет, решивший, что этот отпрыск должен посвятить себя дипломатической карьере, дабы в империи возродилась давняя слава рода Дромадеров. Маленький Рудольф на это не сказал ни слова, только пришлось его перепеленать.

Таким было его первое самостоятельное дипломатическое деяние. Позднее выяснилось, что утечет много времени, пока он научится говорить. До восьми лет мальчик все называл словом «папа», кроме курточки, кофе и супа — их он именовал «мамой».

Но к десяти годам в нем стал заметен крупный прогресс. Медленно, но верно он научился-таки различать предметы, а стараниями шестерых учителей к пятнадцати годам умел уже без посторонней помощи подписать свое имя и даже прочесть его. Тогда к нему наняли еще троих учителей, которые положили много труда, чтобы подготовить молодого Дромадера к жизни. В восемнадцать лет благородный юноша уже без ошибки перечислял пять частей света, причем очень редко пропускал названия одной-двух из них. Интеллект его явно развивался бурно, и учителя признали необходимым, — поскольку ему назначено было стать дипломатом, — втолковать ему, что в мире существуют еще кое-какие государства. При своей понятливости и неукротимой жажде знаний Рудольф к двадцати пяти годам, то есть за неполных даже семь лет, усвоил уже названия всех европейских стран, а в тридцать лет поступил на государственную службу, где выучился игре в макао и баккара, к чему обнаружил врожденный талант. Его определили в министерство иностранных дел, куда он приезжал, чтобы выспаться после бессонной ночи.

Однажды министр иностранных дел, похлопав его по плечу, объявил, что посылает его с секретным поручением в столицу соседней второстепенной империи. Секретное поручение заключалось в документе, покрытом загадочными каракулями; в этом зашифрованном таким манером послании шла речь о некоем договоре между обеими сторонами, направленном против третьего государства, которое в последнее время залезло в очень уж заметные долги по причине большого количества пушек.

Граф Рудольф фон Дромадер взял портфель с важным государственным документом и, не мешкая, уехал в соседнюю империю.

По дороге с вокзала в отель граф заметил, что ему чего-то не хватает. Дело в том, что он забыл в вагоне свой дипломатический портфель. Но никакими силами не мог он вспомнить, что же такое он потерял, чего ему не хватает, а очутившись в отеле, никак не мог сообразить, зачем он сюда приехал и что ему делать в чужом городе.

Даже владелец отеля, вызванный по телефону, не в состоянии был дать ему какого-либо ответа на этот вопрос.

Тогда граф пошел в город: ему пришло в голову, что раз уж он сюда приехал, то неплохо бы закурить.

Войдя в первую попавшуюся лавку, он спросил пачку тонких сигарет.

— Простите, — любезно ответил хозяин лавки, — наша фирма москательная, а не табачная. Торгуем всевозможными болтами, гвоздями, инструментом, а также самоварами, из которых рекомендуем патентованный марки «Креос» с керосинной горелкой...

— Это дерзкое оскорбление! — воскликнул граф. — Вы отказываетесь продать сигареты мне, представителю иностранной державы!

— Патентованный «Креос» с керосином... — залепетал перепуганный москательщик. — Право, дорогой господин, это москательная лавка...

— Не миновать вам войны! — взревел Рудольф Дромадер. — Наше правительство не потерпит такого обращения! Мы рассеем вас по всем концам света, тогда, сударь, заплатите миллиард военной контрибуции.

В бешенстве он покинул лавку и ночным поездом вернулся на родину, ночью же поднял с постели министра иностранных дел.

Господин министр был совсем сонный, и, когда граф сообщил, что в соседней стране ему отказались продать сигареты, он ответил зевая:

— Дорогой граф, отправьте им резкую ноту, а сейчас — спокойной ночи.

Всю ночь граф Рудольф твердил: «Отправить резкую ноту, резкую ноту — о, черт, что же это такое?!»

Утром он поехал в город, непрестанно размышляя о том, что такое нота. И вдруг увидел над одним магазином вывеску: «Notenhandlung»[102].

Граф тотчас выскочил из автомобиля и ворвался в магазин.

— Мне нужна резкая нота! — крикнул он продавщице. — Самая резкая, какая найдется, черт побери!

— В таком случае возьмите «Марш Ракоци», — предложила та.

Граф кинул деньги на прилавок, взял ноты, уехал домой и там собственноручно увернул покупку в бумагу и надписал адрес соседнего правительства.

Скрежеща зубами, он сам отнес на почту ноты с «Маршем Ракоци».

Таким было самое значительное его деяние в области дипломатии.

## Роман о ньюфаундленде Оглу

### I

С виду ньюфаундленд Оглу был само благоразумие, однако же это был притвора и хитрец, каких мало!

Разговаривая на улице с другими собаками, он строил из себя моралиста; когда однажды кривоногий рыжий таксик рассказал ему про красавицу пана советника, гладкошерстную борзую, которая вдруг принесла кудлатых детей — вылитых пудельков, Оглу прямо взорвался:

— И поделом, смотреть надо за барышней лучше!

Впрочем, лишь только Оглу оказался вдали от старых приятелей, он сразу перестал изображать из себя моралиста: ведь положила руку на сердце — не было на свете пса более циничного, чем Оглу!

Но дома он за собой следил. Оглу понимал все, что о нем говорят, и раз считалось, что он больше всех любит старого хозяина, Оглу и старался не отходить от него ни на шаг.

Прочие домочадцы относились к старику без особой почтительности, потому что тот целыми днями слонялся по комнатам и всюду выбивал свою трубку.

И они говорили:

— Оглу, иди погуляй со стариком!

Оглу тут же бежал на кухню и, получив в награду кусок копченой колбасы или шкварку, шел к старому хозяину, лаял, прыгал на него, хватал за пиджак, кидался к двери, а тот дрожащим от умиления голосом пел:

— Гулять хочешь, Оглу? Милый мой, ты один меня любишь! Остальные ведь сожрать готовы! Пойдем, я тебе колбаски дам.

Но на улице радости как не бывало. Дело сделано, колбаса съедена, стало быть, и притворяться незачем. Оглу лениво плелся за хозяином и во всю пасть зевал. Притворство было самой отвратительной чертой его характера. На площади хозяин встречал своих знакомых. Оглу снова оживлялся, весело лаял, давая понять, что рад их видеть. Порой ему перепало от них какое-нибудь лакомство. Проглотив его, он терял к людям всякий интерес: «На что вы мне сдались?» — садился и, скучая, глазел по сторонам.

Болтовня их его не занимала, он наперед знал, разговор пойдет о табаке: вот раньше, мол, был табак, не то что нынче!

«Взяли бы да не курили! — вздыхал Оглу. — А то и мне Остается, хозяин как чистит трубку спицей, все норовит табачную гарь с нее о мою шерсть вытереть. Ему бы так».

«Правда, он не вылизывает себя, — продолжал рассуждать Оглу, прикидываясь спящим, чтобы не играть с малышом Робертом, который обожал таскать его за уши, — но я-то моюсь языком! С какой стати мне страдать?»

Однажды хозяин, слоняясь по дому, забыл свою трубку на лавке в прихожей. Оглу схватил трубку и через черный ход дунул в конец сада, к выгребной яме, из которой садовник брал подкормку для клумб.

Бросив трубку в вонючую жижу, он как ни в чем не бывало вернулся в дом. А там тем временем началось светопреставление: старик орал, что жизнь его кончена, что родственникам недолго осталось с ним маяться, он, мол, давно видит, что всем здесь в тягость, и лучше бы они просто его уморили, чем ли-

шать его любимой трубки. Оглу не отставал от хозяина, пока тот тщетно искал пропажу, притворяясь, что вот-вот возьмет след. Хозяин гладил Оглу и приговаривал:

— Вот кто мой единственный верный помощник! На колбаски.

Получив колбасу, Оглу улегся в гостиной на ковре и ощерил пасть. Это он так смеялся, черный кудлатый мошенник!

Не найдя трубки, старик несколько дней потерянно бродил по дому, а потом слег и призвал нотариуса.

Вначале Оглу корысти ради заходил полежать у его кровати, но, когда понял, что по причине всеобщей скорби поживиться ему ничем не удастся, он предпочел проводить время в кухне за ловлей мух, потому что, как он однажды доверительно поделился с рыжим таксиком, мухи приятно язык щекочут.

Пропажа трубки настолько потрясла старика, что через две недели пришлось вскрывать его завещание.

Все свое состояние он отписал богадельне. В ту минуту, когда оглашалась его последняя воля, Оглу подвернулся под ногу молодому хозяину, и тот дал ему пинка за то, что, гуляя со стариком, он таскал его к попечителю богадельни.

Кому бы из домашних Оглу ни попадался на глаза, все говорили:

— И эту черную бестию старый плут любил больше всех! Пошел прочь!

Собака постоянно напоминала им о старике, и на семейном совете решили Оглу продать. Поместили в газете объявление, подобное тем, какие на юге Америки давали о рабах: что-де по семейным обстоятельствам продается умный и добродушный пес.

Оглу понимал, о чем шушукуются в доме, речь шла о его судьбе, и ничуть не удивился, когда однажды во двор въехала повозка с ящиком и хозяйева называли его имя.

Оглу стало ясно, что придется отсюда убраться. Он мигом слетал за дом, быстренько придушил петуха и шесть курочек и тут же вернулся. Ящик уже стоял на земле, и он сам влез в него. Ему кинули куски хлеба, поставили ящик на повозку и повезли на вокзал.

Оглу для порядка разок-другой эффектно взвыл.

На вокзале он услышал голоса:

— Собака смиренная, не сбежит.

Ящик куда-то потащили, бросили, раздался стук, грохот, свист, и Оглу непривычно закачало.

«Ну что со мной может случиться? — размышлял он. — Приеду на новое место, авось и там приживусь».

Желая сразу произвести хорошее впечатление, Оглу как следует вылизался и съел хлеб. «Надо все подчистить, — рассудил он. — Новые хозяйева увидят, что у меня ничего нет, и дадут что-нибудь вкусненькое». В ящике было тепло, и он уснул. Проснулся Оглу, когда поезд остановился. Открыли ящик, молодая красивая дама погладила его первая и позвала: «Оглу!» По опыту он знал, что женщины любят ласковое обращение, и запрыгал вокруг нее. Когда же она достала из сумки две ливерные колбаски, он с восторженным урчанием умял их и тут же подумал: «Войдем в дом, — начну набивать себе цену, пусть увидит, как я тоскую по старым хозяйевам».

Оглу последовал за новой хозяйкой на поводке, а в хорошо натопленной комнате сел перед ней и стал грустно на нее смотреть. Едва она произносила: «Тоскуешь, Оглу?» — он вздыхал и шел к двери. Но скоро ему это надоело, он сделал вид, что заснул, а сам тем временем предавался размышлениям о том, что будет на ужин.

Ужин был на славу! Ему дали супа, картошки с маслом и отличных костей. Перед сном он дружелюбно вертел своим великолепным, хвостом и, засыпая, думал: «Пожалуй, здесь я буду счастлив».

## II

Но уже на следующий день он убедился, что и здесь придется притворяться. Только они с хозяйкой вышли на прогулку, как к ним присоединился молодой человек, от которого несло мускусом.

Оглу не любил духов. Ведь они не пахли, а воняли! А мускус просто приводил его в отчаяние. Всем ароматам на свете Оглу предпочитал запахи из колбасных лавок и кухонь. По тончайшим нюансам он мог определить, что там варится и жарится.

Молодой человек, пахнувший мускусом, напоминал Оглу о зловонной яме. Однако он не подал и виду, а когда хозяйка протянула своему знакомому руку и ласково улыбнулась, он тоже прикинулся обрадованным и, восторженно вслаивая, весело запрыгал вокруг него. Молодой человек погладил Оглу и спросил:

— Ваш новый сенбернар?

Оглу оскорбился. Надо же, надушенный болван не способен отличить чистокровного ньюфаундленда от какого-то там сенбернара! Он зарычал и понуро поплелся за хозяйкой. Правда, она тут же поправила молодого человека, что немного его утешило:

— Вы ошибаетесь, это мой ньюфаундленд Оглу.

— Красивый пес, только очень похож на сенбернара.

Это уже переходило всякие границы, и Оглу покосился на него.

— На таком здоровенном псе, барышня, только воду возить!

Оглу снова зарычал и злорадно подумал: «Погоди, попадешься мне, когда я буду один, без хозяйки». Но как ни в чем не бывало продолжал идти за ними. Так они втроем и гуляли. Прощаясь у ворот, молодой человек словно бы между прочим повторил:

— И все-таки на такой собаке только воду возить!

Оглу шел за своей хозяйкой, внезапно он повернул назад, выбежал на улицу, догнал мускусного господина, перегрыз пополам зонт, который тот нес под мышкой, и спустя мгновение был уже дома.

— Куда это ты бегал, Оглу?

В ответ он удовлетворенно помахал хвостом. Каким вкусным показался ему ужин!

На другой день в гости пришли две молодые дамы, и хозяйка со смехом показала им письмо, недавно доставленное почтальоном, при этом она поглаживала Оглу, который был, конечно, в центре внимания всех трех дам.

— Ну и дурачок этот Индржих, вы только послушайте, что он мне написал! «Многоуважаемая барышня! Как только мы с Вами вчера расстались, меня догнал Ваш пес и перегрыз мой зонт, который я купил буквально накануне за 12 крон. Зонт шелковый и достался мне по случаю. Прошу Вас возместить убы-

ток. Надеюсь на скорое свидание! В разлуке с Вами я так скучаю! Целую Ваши ручки! Ваш *Индржих Гак*».

— Я отправлю ему эти двенадцать крон и напишу такое письмо, что он не обрадуется!

Три дня спустя дамы пришли снова, и она дала им прочесть новое письмо от пана Индржиха.

«Многоуважаемая барышня! Уведомляю Вас о получении мною 12 к (прописью: двенадцать крон) за испорченный зонт. Я крайне удивлен Вашим заявлением, чтобы я больше не показывался Вам на глаза и что Вы такого от меня не ожидали. Зонт действительно стоил двенадцать крон, в чем вы можете убедиться по прилагаемому чеку, и действительно был из натурального шелка. Надеюсь, Вы верите мне хотя бы настолько, чтобы не считать, что я воспользовался этой неприятностью ради собственной выгоды. Странно, вот уже два дня Вы не приходите на обычное место наших встреч! Я в самом деле скучаю, и это могут подтвердить четверо свидетелей. Надеюсь на скорое свидание. Целую Ваши ручки! Ваш *Индржих Гак*».

— Кто он такой? — спросила одна из дам, выразительно постучав пальцем по лбу.

— Учитель математики, — услышал Оглу и еще: — Ах, так!

С тех пор Оглу и его хозяйка избегали встреч с паном учителем, и Оглу был избавлен от необходимости притворяться. Он делал все, что ему вздумается, так как хозяйка не отличалась твердостью характера. Она даже купила было плетку, но, когда хотела его ударить, он сделал стойку, зарычал и взглянул на нее столь грозно, что она забросила плетку в угол, и он преспокойно ее изгрыз, а потом демонстративно таскал ключья по комнате.

Оглу познакомился с русским борзым из соседнего дома, держался он с ним чрезвычайно высокомерно и однажды небрежно бросил бедняге:

— Похоже, вы не чистых кровей!

После этого кудлатый борзой стыдился показываться на улице, а Оглу был очень доволен своей шуточкой.

Минула зима, а с наступлением весны Оглу стал раздражительным, как всегда в эту пору, потому что терял зимнюю шерсть.

«Что за досада ждать, пока вырастет новая, — думал он и порой вдруг решал: — А я не буду ждать!», но тут же одергивал себя и уныло озирался вокруг.

У хозяйки тоже было плохое настроение, потому что пан Индржих Гак все-таки ей нравился... если отвлечься от его математики.

Так и смотрели они с грустью друг на друга — Оглу на свою хозяйку, та на Оглу.

Это была грустная майская сказка. У него слишком медленно отрастала шерсть, а ей больше не писал пан учитель.

### III

Но вот начался купальный сезон. Погода стояла прекрасная, вода в реке прогрелась, и Оглу опять повеселел. Шуба его снова была в полном порядке, и при всяком удобном случае он с радостью лез в воду.

Они гуляли по набережной вдвоем: Оглу и его хозяйка. Ей было ужас как скучно.

По набережной они выходили к загородным купальням и смотрели на купающихся.

Глядя на реку, Оглу о чем-то усиленно думал, пытался что-то вспомнить и не мог, хотя его не покидало какое-то смутное ощущение невыполненного долга. Хозяйка тоже пребывала в задумчивости, но она-то думала о совершенно определенном предмете, о коротко подстриженных усиках пана учителя, которые тот носил зимой.

В один из знойных дней она сидела на молу, а рядом с ней — черный Оглу.

Оба смотрели на воду. Вдруг хозяйка, показывая на пловца, который в хорошем темпе переплывал реку, сказала:

— Смотри, Оглу, это же пан учитель!

В мгновение ока Оглу бросился в воду и, громко фыркая, поплыл к пану учителю.

Ему ли не узнать негодяя, который принял его за сенбернара и заявил: «На этой собаке только воду возить!» Разве такое забудешь?

Прежде чем пан учитель обернулся, он почувствовал: кто-то схватил его зубами за трико и тащит к противоположному берегу, где сидит дама под зеленым зонтиком.

Его тянули с такой силой, что сопротивляться было бесполезно, и вот он уже вынесен из воды и лежит у ног дамы. Оглу, выбравшись на мол, встряхнулся, и от него во все стороны полетели брызги, как от поливальной машины, он остался очень доволен этой своей новой шуткой.

А пан учитель взглянул на даму и произнес:

— Прошу прощения, однако подобным образом людей выносят из воды только ньюфаундленды!

Оглу завилял от радости хвостом и незаметно ухмыльнулся: «Рад получить от вас удовлетворение», не дослушав учителя, который тут же продолжил:

— Чтобы снова не возникло недоразумения, ставлю вас в известность, что ваша собака порвала мое трико. Я ношу его всего третий день, оно из чистой шерсти и стоит пять крон.

#### IV

Оглу почти не изменился, даже когда эти двое поженились. Внешне к новому хозяину он относился хорошо, но сразу же после свадьбы изгрыз его туфли, а ошметки отнес в постель к служанке, чтобы хозяйка подумала на нее.

Из упрямства Оглу кое-что проглотил, в том числе каблук, и он долго камнем лежал у него в желудке, так что Оглу не без основания предостерег потешного длинношерстного пинчера, вместе с которым по целым дням торчал у соседней колбасной лавки:

— Ах, милый друг, остерегайтесь туфель!

С возрастом он все больше впадал в детство.

Заговаривал на улице с совершенно незнакомыми собаками, а однажды, встретив в Карлине черного пуделя, посетовал:

— Прошу прощения, но сегодня прогулка мне не доставила ровно никакого удовольствия. Идти по ужасно длинному шоссе с дурацкими тумбами по обочине... для меня это теперь так утомительно!

Как-то Оглу, лениво развалясь, грелся у печки, а хозяин, кивнув на него, сказал жене:

— Неплохой коврик выйдет!

Оглу, услышав это, по старческому слабоумию принялся вылизываться, радуясь, что он такой красивый.

Выжил из ума старикашка Оглу.

## Рассказы 1913-1917 гг.



### Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге



Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге на Дунае, г-н Иогель Клоптер, оценивал свои услуги — показ городских достопримечательностей с соответствующими объяснениями — следующим образом:

— Четыре марки да закуска с выпивкой.

Это последнее условие вызвало во мне неприятное чувство. У г-на Иогеля Клоптера живот был ненормальных размеров даже по баварским представлениям о человеческой толщине. А обычное баварское представление об этом предмете не спускается ниже девяноста килограммов живого веса.

Турист заинтересован в полной договоренности с гидом. Я сразу взял быка за рога:

— У вас, видимо, хороший аппетит. Вам похудеть бы...

Господин Иогель омрачился.

— Куда ж еще худеть-то? — вздохнул он. — Господи, если б вы видели моего покойного отца, а то еще покойного дедушку! Он съедал разом целый окорок, миску клецек и горшок капусты. Это, так сказать, на закуску.

— Я накину три марки: буду платить вам семь марок в день.

— Черт побери! — возразил г-н Иогель с чисто немецкой учтивостью. — Если вы так скупы, ходите по городу один да не попадайтесь мне на дороге. Вы что ж, сударь, думаете, Иогель Клоптер грабит иностранцев? Мне довольно какого-нибудь литра пива да кое-какой закуски.

Когда он вторично произнес слово «закуска», у меня забегали мурашки по спине, но я сдержался, вспомнив, что турист в пути должен создавать себе как можно меньше врагов, особенно такого атлетического сложения; поэтому мы ударили по рукам, он получил четыре марки и угостил меня кружкой пива.

Таков обычай всех баварских гидов: маленькие подарки укрепляют дружбу; но он сдерет с вас стоимость этого маленького подарка раз двадцать за день.

\* \* \*

В Нейбурге бывает мало туристов. Может быть, в этом повинен г-н Иогель Клоптер, но туристы вообще редко посещают «Швобенланд»[103].

Окрестности Нейбурга не представляют ничего особенно привлекательного. Все городишки, все деревни в Швабии — на один образец. Если кое-где сохранились какие-нибудь развалины старинного замка — они реставрированы и превращены в пивоварню. В этом отношении баварцы весьма предприимчивы. Так обстоит дело, например, в Гендеркингене, Мертингене, Дюрцленкингене, Берсхеймингене, Иргельсхеймингене и прочих и прочих «ингенах». Названия там однообразны, как швабские газеты. Общественная жизнь во всех этих «ингенах» сводится к вражде между отдельными «ингенами» да жестоким трактирным дракам в каждом из «ингенов». Особенно это относится к району Нейбурга. А г-н Иогель Клоптер вырос как раз в тамошней суровой обстановке.

Сам Нейбург — старинный город, как и остальные баварские города. Если бы я вел путевой дневник, я отметил бы, что там двое ворот: а так скажу лишь, что однажды вечером я вошел в одни ворота, а на другой день после полудня вышел в другие. Последнее — по вине г-на Иогеля Клоптера...

В Нейбурге есть крепостные стены, которые находятся в жалком состоянии. Несколько столетий тому назад стены эти были разрушены шведами, и с тех пор нейбуржцы сохраняют их в таком виде. Это объясняется отчасти тем, что они выбирают всегда консервативного депутата.

Как каждый порядочный баварский город, Нейбург имеет ратушу в старонемецком стиле. А в ратуше есть высокая лестница. Это все, что сообщил мне о ней г-н Иогель Клоптер. Дунай образует здесь два рукава. На эту достопримечательность обратил мое внимание также г-н Иогель. А когда мы шли по мосту, он объяснил мне, что этот мост деревянный.

У входа на мост стоит часовой в шлеме. Зачем он стоит там, г-н Иогель не знал, да и сам солдат, вероятно, не имел об этом ни малейшего представления.

Когда мы перешли на другой берег, г-н Иогель объявил, что здесь мост кончается. Вы, конечно, думаете, что, кроме ратуши и деревянного моста, он больше мне ничего уже не показывал. Ошибаетесь. Между ратушей и мостом находится пять пивоварен и восемь гостиниц... Последняя гостиница — у самых

ворот, и через них-то я и вышел из города, где находится архив Швабии и где живет г-н Иогель Клоптер, которого я горячо рекомендую всем туристам.

\* \* \*

Когда мы вышли из гостиницы, где я ночевал, и перешли мост, мой гид сказал:

— Теперь я покажу вам старую гостиницу «У корабля».

С внешней стороны она была неказиста.

— Придется зайти, — прибавил г-н Иогель. — Надо подождать одного человека.

Это было сказано так добродушно, что я не сомневался: гид мой хочет выпить, вернув с процентами то, что потратил на меня в момент заключения нашего договора; а ожидание «одного человека» — только предлог для того, чтобы применить на практике пункт договора: «Закуска с выпивкой».

Я велел подать пива. Выпив, г-н Иогель заговорил:

— Жду одного негодяя. Это такой Schweinkerl, такой Schweinbübl![104]

Он произнес еще несколько существительных в милом сочетании со словом «швейн», опять выпил и продолжал:

— У меня с ним свои счеты, сударь. Да еще какие! Пускай только придет, я с ним поговорю. Он — из Дюрцленкингена, а я из Берсхеймингена. Мы, берсхеймингенские, «roh, aber gutmütlich»[105], а дюрцленкингенцы — только «roh»; добродушия в них ни на грош. У них в Дюрцленкингене все сакрады[106] и «швейнбубли».

— Швейнкерли, — сказал я, чтобы поддержать разговор.

— Ну да, швейнкерли, — ответил г-н Иогель. — А хуже всех Иоганн Бевигн.

Он допил кружку и заказал другую.

— Мы, — с раздражением продолжал он, — мы, берсхеймингенские, всегда были в скверных отношениях с этими дюрцленкингенскими безобразниками. У нас, знаете, во всех деревнях свой говор, но в Дюрцленкингене он такой поганый, что наши берсхеймингенцы не понимают. Отец мой был в Берсхеймингене «па-а», а Иоганн, швейнбубль, вечно надо мной смеется: не знаю, мол, что это такое.

— Простите, господин Иогель, а что, собственно, значит: па-а?

— Па-а значит па-а, сударь; как же можно сказать по-немецки яснее?

(Я до сих пор не знаю, что значит па-а, так что по терминологии г-на Иогеля являюсь швейнбублем.)

— Хо, хо! Знаете, этот самый бездельник Иоганн Бевигн явился в Нейбург, чтоб конкуренцию мне делать, и болтает повсюду, будто я пьяница. А сам-то, нечего сказать, хорош гид! Как подвернется ему какой турист, так он с ним вместе и напьется. Скотина! Поэтому-то мы и ждем его. Я ему скажу: «Видишь, швейнбубль, никакого ты вреда мне сделать не мог: мои господа туристы лучше твоих, бродяга ты дюрцленкингенский!» А не дождемся здесь, так найдем его в Бургсхеймовской пивоварне; а нет, так уж, верно, в трактире «У большого чубука». Коли и там нету, так в каком-нибудь трактире возле ратуши либо в пивоварне возле крепости. А ежели и там не окажется — заглянем в трактир «У последних ворот».

— Ну, а если и там его не будет?

Мой гид ударил кулаком по столу.

— До самого Дюрцленкингена дойдем!

Как видите, очень приятный господин этот Иогель Клоптер.

А для иностранцев просто неоценимый. Ему известно все до мельчайшей подробности. Он решительно ничего не пропускал, все объяснял, все показывал. Выйдя из «Корабля», мы пошли с ним по узкой улице. Завернув за угол, он остановил меня перед каким-то старым домом.

— Здесь в прошлом году убили мясника из Вейдинга, — глухо промолвил он, указывая на этот дом. — Это Бургсхеймова пивоварня.

— Кто его убил, господин Иогель?

— Дюрцленкингенские, сударь. Они здесь собираются. Может, и конкурент мой Иоганн Бевигн здесь сидит. Проходите первый.

Когда мы с ним сели за столик, г-н Иогель окинул опытным взглядом нескольких здоровых парней, бранившихся в полутемном углу.

— Его тут нет, — разочарованно промолвил он. — Те двое, направо, живут на Регенбургской улице, а те двое, налево, — на Аугсбургском шоссе. Они будут ругаться еще час, пока схлестнутся. Это неинтересно. Вот жаль, нету никого с площади Фридриха и с Пфальцской улицы: те умеют драться. А то еще из Лестеймского предместья да из Гейна.

Он презрительно сплюнул.

— А эти, — продолжал он уныло, — никогда и ножа-то не видали. На них бы наших, берсхеймингенских, напустить! Мясника этого вейдинского здорово пырнули. Со мной бы этого не случилось. Жаль, нету Иоганна Бевигна, но мы его найдем, сударь. И только скажи он нам что — вправим ему мозги!

Как мы видим, г-н Иогель Клоптер не экономит время на туристах, не в пример многим гидам, которые проводят иностранцев по городу чуть не бегом, чтобы только поскорей отделаться.

\* \* \*

Нейбург, как сказано, — старинный город. Там много старых домов; и в одном из этих красивых домов с эркерами и черепичными крышами помещается трактир «У большого чубука». Внутри этого заведения — надпись: «Просят расплачиваться наличными немедленно!» Помещение мрачное, хмурое, со старым сводчатым потолком, угрожающим обрушиться на посетителя; ввиду этого потолок подперт двумя деревянными столбами. Какой-нибудь берсхеймингенский Самсон, хорошенько натужившись, мог бы пошатнуть столбы и таким образом похоронить целую шайку дюрцленкингенцев. Именно такие библейские аналогии приходили в голову г-ну Иогелю.

— Если б они пошли на меня всей оравой, — промолвил он, прищурившись, — я знал бы, что делать. Поступил бы как Самсон.

Иоганна Бевигна не было и здесь. После долгого ожидания мы пошли дальше.

— Пойдемте в монастырскую пивоварню, — предложил мой гид. — Она замечательна тем...

«Ага, — подумал я, — сейчас начнется скучная лекция в таком духе: «Здание относится к шестнадцатому столетию и т. д.»».

— Вы уже кушали в Нейбурге ливерную колбасу? — прервал мою мысль г-н Иогель.

— Ел. Вчера в гостинице, где ночевал.

— Так вы не знаете, что такое настоящая ливерная колбаса! Монастырская пивоварня замечательна тем, что отцы францисканцы делают такую славную

ливерную колбасу, которая привлекает богомольцев со всей Швабии, не хуже ихней чудотворной иконы святого Илиодора. Да не то что со всей Швабии, а даже из Верхнего Пфальца приезжают. Иной раз в пивоварне две процессии встретятся — и давай драться. Так что отцы францисканцы делают? В ливерной колбасе им отказывают. И драке сразу конец.

(Продолжение беседы протекало уже в монастырской пивоварне.)

— А из-за чего происходят ссоры, господин Иогель?

— Да из-за иконы святого Илиодора, сударь. Каждая процессия старается первой к ней приложиться; поскорее за пиво и ливерную колбасу норовят приняться, потому что лучше этой закуски ничего быть не может.

Господин Иогель съел ее два фунта.

Тут нам вообще повезло. Мы узнали, что конкурент г-на Иогеля — Иоганн — всего за полчаса перед тем ушел отсюда с одним туристом в какую-то пивоварню возле крепости; при этом он спрашивал о г-не Иогеле...

— О ничтожный! — патетически воскликнул г-н Иогель. — Зацапал какого-то жалкого туриста!.. Ничего не поделаешь, придется идти за ним туда. Видно, испугались нас.

С каждой минутой г-н Иогель проникался ко мне все большим доверием.

— Туриста вы возьмете на себя, — сказал он. Это было сказано решительным тоном, в котором слышалось: «Кто не со мной, тот против меня».

Мы отправились к крепостной стене.

К крепости прильнуло пять пивоварен, как цыплята к наседке. Нейбургцы с помощью крепостных стен охраняли самое дорогое свое достояние.

Во время Тридцатилетней войны к Нейбургской крепости прорвался отряд шведов и после ожесточенного сражения захватил одну пивоварню. Там победители наливались как свиньи. Узнав об этом, гарнизон крепости произвел вылазку; но на пути находилась другая пивоварня. Защитники не устояли; тщательно обдумав положение и придя к выводу, что если сами они не выпьют тамошних запасов, то это сделают шведские ландскнехты, они, вместо того чтобы атаковать шведов в первой пивоварне, атаковали бочки во второй. И одержали победу: осушили их до дна. Тем временем шведы очухались и пошли приступом на вторую пивоварню. Обнаружив, что она оккупирована, направились к третьей, где пили до тех пор, пока не перепились еще сильнее, чем в первой. Пили без отказа. А тем временем во второй пивоварне защитники крепости очухались и двинулись оборонять третью. Но было уже поздно: они нашли там лишь спящих шведов да пустые бочки. Разъяренные видом пустых бочек, они перебили всех шведов. Это и есть так называемая нейбургская победа, о которой сообщает надпись под фреской на крепостных воротах.

— Поделом им, — важно промолвил г-н Иогель, остановившись под этой фреской. — Шведы вообще наделали тогда больших бед. В книгах говорится, что до Тридцатилетней войны в Швабии было гораздо больше пивоварен, чем теперь.

В настоящее время возле крепостных стен, как уже сказано, их всего пять.

Ни в одном из этих исторических мест г-н Иогель не нашел конкурирующего с ним гида, г-на Иоганна, — а я — конкурирующего со мной туриста.

— Самое главное, — промолвил наставительно г-н Иогель, с разочарованным видом выходя из последней пивоварни, — никого не подпускать к себе близко. Схватил кружку — кинул, схватил стул — кинул, отломил ножку у сто-

ла — кинул. Вот как надо.

— У меня еще кое-какая надежда, — сказал он, когда мы подходили к воротам, — что мы найдем этих мерзавцев в трактире «У последних ворот». Что они, в кошки-мышки с нами играют?

Никогда не теряйте надежду! Мы нашли их «У последних ворот». Конкурирующий турист озирался по сторонам испуганно, а г-н Иоганн — вызывающе.

Мы сели напротив них. Между туристом и г-ном Иоганном установились, видимо, самые короткие отношения. Они говорили друг другу «ты».

— Слушай, — громко сказал г-н Иоганн робкому туристу, — ты подойдешь к этому приезжому и дашь ему в морду, а с Иогелем расправлюсь я сам.

И тотчас загремел г-н Иогель:

— В Дюрцленкингене — одни швейнкерли!

— А в Берсхеймингене — швейнбубли! — крикнул в ответ г-н Иоганн.

Тут в г-на Иоганна полетела кружка г-на Иогеля, а в г-на Иогеля — кружка г-на Иоганна. И пошла потеха; там было несколько человек из пригорода Лесгейм и пригорода Гейн, которые обрадовались случаю разбить друг другу головы.

Воспользовавшись суматохой, я шмыгнул к дверям и столкнулся там с конкурирующим туристом.

— Мы искали вас по всем пивоварням и трактирам, — сказал он. — Иоганн говорит, что ему надо свести счеты с Иогелем за то, что тот хлеб у него отбивает.

Мы вышли из ворот Нейбурга.

— Славный городок, — с воодушевлением промолвил турист. — У нас в Вюртемберге такая скука...

Вот каковы немцы и каковы гиды для иностранцев в швабском городе Нейбурге на Дунае...

## Экспедиция вора Шейбы

Вор Шейба притаился и дал запереть себя на ночь в доме номер 15. Он занимался чердаками и сегодня собирался начать с этого богатого квартала. До этого он обчищал квартал бедный, что принесло ему всего-навсего два фартука, три нижних юбки и траченный молью головной платок. По суду ему дали бы месяцев шесть, а еврей за все отвалил одну крону.

Шейба стоял в подвале, прислонившись к двери, и слушал, как дворничиха заперла дом, погасила свет и удаляется. Судя по всему, она была молода, потому что тихонько напевала, шлепая от парадного в свою квартиру.

Шейба счел это добрым предзнаменованием. Кроме того, он встретил сегодня телегу с сеном, тоже хорошая примета. Он видел еще и трубочиста и послал ему воздушный поцелуй, что также приносит удачу.

Шейба достал из кармана бутылку с дешевым ромом и отхлебнул глоток. Тот квартал был бедным, оттого и ром дрянной. То ли дело здесь. С утра Шейба изучал свою новую рабочую площадку и увидел, что лестница до самого второго этажа покрыта ковром. Уж здесь-то явно проживает состоятельная публика, у этого класса на чердаке что-нибудь да будет. Перины, к примеру, одежда. Свою мечту о счастье вор Шейба подкрепил хорошим глотком рома, после чего уселся на пороге подвала. Сегодня он здорово устал ко всему прочему, по всему кварталу у реки за ним гонялись полицейские. А все из-за ручной тележки без таблички, что стояла без присмотра на улице. Вор Шейба успел сделать только несколько шагов, как уже пришлось бежать, бросив тележку. Слава богу, не догнали, но он сейчас был весь разбит. Нет в этом мире справедливости. В деревне за тобой гоняется жандарм, а в городе — полицейский. Шейба отпил из бутылки снова и вздохнул.

В доме было темно и тихо, а здесь, у дверей подвала, ни тепло, ни холодно. Вздох Шейбы донесся сквозь ночную тишину до самого четвертого этажа. Шейба вздрогнул при мысли о том, что с ним будет, если его поймают.

Ладно бы взяли, скажем, зимой. Сколько зим провел он уже за решеткой. Кое-где в тюрьмах успели провести центральное отопление. Тепло, кормят досыта, только выпить не дают. Что касается курева, то достать можно.

В подвале мяукнула кошка, Шейба собрался было позвать ее «кис-кис!», но передумал. К чему зря рисковать?

В доме наверняка не все легли спать, а то еще, чего доброго, услышит дворничиха, тогда все пропало. Глядишь, еще и по шее надают.

Он слушал, как под дверью ходит кошка и мяукает, вот она забралась на кучу угля, и уголь с шумом посыпался вниз.

Чертова кошка! Поднимает шум, а на улице еще подумают, что в подвал забрались воры.

Шейбе была отвратительна мысль, что люди могут подумать, будто он хотел забраться в подвал. Обчистить подвал может каждый дурак, то ли дело чердак!

Шейбу даже передернуло, и в кармане загремели отмычки. Кошка за дверью испугалась, Шейба слышал, как она метнулась и свалила что-то тяжелое. Грохот разнесся по всему дому.

Вор Шейба скорчился и, замерев, стал прислушиваться. Отзвук прокатился и утих. В доме никто не подал голоса. Шейба успокоился и сделал еще глоток.

Если уж его, не приведи бог, схватят, то пускай бутылка останется пустой. Допить ведь так или иначе не дадут.

Вдруг у входной двери раздался звонок.

«Звонят дворничихе», — подумал Шейба и еще больше съежился, как будто не желая видеть, что творится вокруг.

Из дворницкой показался свет, послышалось шарканье шлепанцев и шелест юбки.

Дворничиха шла открывать. Шейба перестал дышать, чтобы, чего доброго, не привлечь к себе внимания.

— Я слышал шум в подвале, — произнес голос в подъезде, — сдается мне — туда влезли воры.

— Это кошки, пан советник, — отвечала дворничиха, — каждую ночь поднимают в подвале шум. И по чердаку носятся, ну, ровно черти свадьбу справляют.

У Шейбы камень свалился с души. Он услышал, как дворничиха вернулась обратно к себе в квартиру, а на третьем этаже загремели ключом в замке. Шейба, воспользовавшись шумом, немного размялся и опять хлебнул рома.

Свет исчез, и стало совсем темно. Шейба принялся обдумывать операцию. Позже он проберется на чердак, отогреет его, возьмет что получше, пересидит до утра, а как только парадное отогреет, выскользнет на улицу.

В это время полицейские патрули редко ходят по городу. Дальше все покажется само собой. Вырученные деньги пойдут на оплату жилья и еды, и так он должен за целую неделю. Хозяева — люди небогатые и знают о нем такое, что, коли донесут, может ему повредить. Будь на носу зима, Шейба, глядишь, и простил бы их, но сейчас охота погулять на воле. Странно, однако, когда все вокруг зеленеет, совсем не тянет за решетку.

Шейба пребывал в самом мечтательном расположении духа и, услышав, что в подвале опять мяучит кошка, не удержался и тихонько позвал в замочную скважину: «Кис-кис!» Кошка, подбежав к двери, замурлыкала.

Шейба слышал, как она скребется и мурлычет, сидя на порожке.

Надо полагать, кошка скучала в подвале одна и сейчас радовалась, что у нее есть общество, хотя и отделенное стеной.

«Выпить, что ли, за ее здоровье?» — подумал Шейба и тут же привел приятную мысль в исполнение.

Он вдруг почувствовал себя почти в безопасности и выпрямился во весь рост, чем произвел некоторый шум. Он на всякий случай снял башмаки, что ему удалось сделать без всякого шума, и, воодушевленный этим, опять хлебнул рома, поглаживая с нежностью бутылку, которая вот уже в третий раз сопровождала Шейбу в его вылазках. После, когда на вырученные деньги ему наливали в нее ром, Шейбе казалось, будто он делится с бутылкой добычей.

Бутылка единственный его товарищ. С ней одной он мог беседовать во время бесконечных тупых ожиданий в чужих домах, томясь и не зная, что сулит ближайшая минута.

Прижав горлышко к губам, Шейба по бульканью определяет, что она еще на четверть полна. Когда не останется ни капли, он поднимется наверх, а завтра наполнит ее снова и скажет: «Ты вела себя отменно, моя душенька!»

Ром приятно согревает Шейбу, а мечты возносятся до самого чердака. Богатый дом, богатый чердак. Он вспомнил чердак бедного дома и плюнул на

дверь. Два фартука, три нижние юбки, да траченный молью платок! Ах, эта бедность! Дела идут все хуже и хуже. Вот повысят цену на водку, тогда совсем хоть вешайся!

Шейба отпил еще, и к нему вернулось хорошее настроение. Здесь, на чердаке, вполне могут оказаться перины. Нынче перо еще в цене. Ради него можно и постараться. Перины да телеграфная проволока. Тут уж сам шевели мозгами, много ли возьмешь или самую малость — все равно тебя ждет суд присяжных. Сколько пришлось бы украсть фартуков, нижних юбок, да траченных молью платков! А все-таки суд присяжных лучше, чем сенат. Сколько раз ты, Шейба, стоял перед сенатом! Стоять пред судом присяжных опять же почетнее. Дружки скажут: «Молодец Шейба, его ждет суд присяжных!» «Выпью-ка я за здоровье суда присяжных», — решил Шейба и опрокинул в рот все, что еще оставалось в бутылке. Теперь передохнет немножко и двинется наверх. Помаленьку, полегоньку. Шуметь нельзя. Башмаки — в руках, а сам — босиком. И нечего на себя злиться! Так и пойдет потихоньку. Еще чуток подождет, еще раз прикинет. А почему бы ему не помолиться? «Отче наш...» Вот помолится — и пойдет.

Шейба крадучись поднимается на второй этаж, держа башмаки в руке, он замирает, останавливаясь на каждой ступеньке. Осторожность никогда не повредит. Он крадется, шаг за шагом, словно кошка. Вот и площадка второго этажа. Шейба нащупывает перила, но натывается на какую-то дверь. Ага, значит, перила слева. Он ищет, но опять натывается на дверь. Раздается звонок. Ах ты, он нажал на звонок. Ноги у Шейбы становятся ватными, он не в силах тронуться с места. А дверь открывается, и чья-то рука, схватив его за воротник, втаскивает в квартиру. В кромешную темноту.

Шейба слышит грозный женский голос:

— А ну, дыхни!

Шейба дышит, но ужасная рука все не выпускает его воротник.

— Выходит, ты уже и ромом не брезгуешь! — слышит он голос, страшный и пронзительный.

— Да! — отвечает Шейба. — Другое мне не по карману.

— Вот как! Все пропилил, и осталось только на ром. Эх ты, председатель первого сената Дорн!

Рука ужасной женщины касается его лица.

«Ага, — подумал Шейба, — она принимает меня за председателя сената Дорна. Он меня недавно судил».

— Зажгите, пожалуйста, свет, — просит Шейба.

— Ему нужен свет, чтобы прислуга видела, в каком виде является домой председатель сената, — громко кричит женщина. — Видали: он смеет говорить мне «вы», негодяй! Мне, родной жене, которая не спит и ждет его с двенадцати часов! Что у тебя в руке?

— Башмаки, сударыня, — заикается Шейба. Страшная рука снова ощупывает его лицо.

— Он называет меня сударыней, делает из меня дуру, а сам обрился! Это ничтожество сбрило свои длинные усы!

И она проводит рукой под носом Шейбы.

— Ужасно! Бритый, как арестант, о мать божья, я его сейчас изобью! Вот почему ты хотел, чтоб я зажгла свет. Вообразил, ничтожество, что я испуга-

юсь, грохнусь в обморок, а он тем временем запрется в комнате.

На Шейбу сыплются удары, она колотит его кулаком по спине.

— О господи! Председатель сената, а сам похож на арестанта! Что у тебя на голове?

— Кепка.

— Боже мой! Напился до того, что где-то потерял цилиндр и купил кепку. А может быть, ты ее украл?

— Украл, — кается Шейба.

Снова удар, теперь уже по уху, и женщина с криком выталкивает Шейбу за дверь.

— Торчи до утра на лестнице. Пусть весь дом видит, что за ничтожество председатель сената Дорн!

Она толкнула Шейбу с такой силой, что тот растянулся и расшиб себе нос. Дверь захлопнулась.

«Слава тебе, господи, — думает Шейба, поднимаясь по ступенькам — еще легко отделался. Вот только башмаки остались у нее». Ему кажется, что его босые ноги, белея в темноте, освещают дорогу.

Осторожно добирается он до третьего этажа и, слава богу, без шума останавливается у первой двери площадки, но тут вдруг какая-то рука хватается его за воротник и втаскивает в эту самую дверь.

В темноте еще более кромешной, чем на втором этаже, без всякого вступления Шейба огребает оплеуху и слышит женский голос:

— Целуй мне ручку.

Он целует, а голос продолжает:

— Где твои ботинки?

Шейба молчит. Теплая рука, которую он только что целовал, хватается его за босые ноги.

И тут Шейба получает такой удар по спине, что у него из глаз сыплются искры, и он слышит:

— Итак, пан следователь доктор Пелаш не постеснялся явиться домой к жене босиком и пьяный! Где твои чулки, мерзавец?

Шейба молчит и размышляет: доктор Пелаш недавно вел следствие по его делу.

— Где твои чулки, мерзавец? — слышит он снова вопрос.

— Да я сроду не носил чулок, — отвечает вор Шейба.

— Мало того что ты говоришь не своим голосом, ты еще и не знаешь, что говоришь. — Женщина трясет его, и у Шейбы из кармана вываливаются отмычки.

— Это еще что такое?

— Ключи от чердака, — сокрушенно шепчет Шейба.

Не успел он договорить, как вылетел на лестничную площадку, вдогонку летят отмычки, и он слышит:

— Напился как сапожник!

Шейба нагнулся за отмычками, но кто-то уже схватил его за руки и, подталкивая, кричит:

— Это ужасно! Разбудил весь дом, ломится пьяный к соседям! Что подумает о тебе супруга пана следователя?

И женская рука тянет его к двери напротив, втаскивает в переднюю, а отту-

да в комнату и, швырнув на диван, удаляется, заперев за собой дверь в соседнюю комнату. Оттуда доносится:

— Стыд и срам! Попался бы ты на глаза в таком виде пану директору! Поглядел бы он, каков у него кассир! Сегодня будешь спать на диване.

Через четверть часа вор Шейба отпер дверь и сломя голову пустился бежать из окаянного дома, как будто под ним горела земля. Он и по сей день не уверен, все это ему привиделось или случилось на самом деле.

Газет вор Шейба не читает и потому не сможет даже узнать номера дома, где были обнаружены его башмаки, отмычки и порожняя бутылка из-под рома.

## Борьба за души

### I

Священник Михалейц был святым с тремя тысячами крон годового дохода, не считая целого ряда иных удовольствий, доставляемых ему восьмью деревнями, приписанными к его приходу, центр которого находился в селе Свободные дворы. Эти восемь деревень были разбросаны в горах, в глубине дремучих лесов, и жили в них почти одни лесорубы, которые спускались в Свободные дворы раз в три месяца, чтобы посетить храм божий. Зато они усердно молились впрок за следующий квартал, исповедовались, с невыразимо блаженным страхом причащались телу господню и с очень важным видом каялись в грехах. Затем они отправлялись в «Полуденную» корчму, что позади приходского дома, и там у них постепенно развязывались языки. Очищенные от грехов и вознесенные святым таинством причастия, лесорубы начинали веселиться, а этого веселья никак не могли вынести обитатели Свободных дворов.

Тогда в «Полуденной» корчме завязывались драки между жителями долины и обитателями восьми горных деревень, только что получивших отпущение трехмесячных грехов. Под конец лесорубы, нанеся ущерб корчме и головам свободнодворчан, отягощенные этими новыми грехами, с синяками на спине, отступали в свои лесистые горы, и на четверть года в селе водворялся покой.

А через три месяца на горных склонах появлялись длинные, нескладные фигуры, и лесорубы с покаянным выражением спускались в долину; трехмесячные грешники наполняли костел могучими голосами, слышными за околицей, и когда они пели «Отче наш», издали можно было подумать, что это они перекликаются со склона на склон: «Когда отдашь?!» И громовым раскатом гремели ответные возгласы кающихся, когда священник Михалейц с деревянной кафедры обрушивал на их головы какую-нибудь из своих восьми проповедей, которыми он преследовал обитателей всех девяти населенных пунктов.

Но все было напрасно. Правда, кое у кого стекала по загорелой щеке слеза умиления и набожности — но, совершив покаяние, верзила с гор все-таки шел драться в «Полуденную» корчму.

На время битвы священник Михалейц запирался в своей комнате, окно которой выходило как раз на корчму, и, спрятавшись за занавеской, наблюдал за своими прихожанами, отмечая — совсем как купец — в своей записной книжке подвиги лесорубов: Бочан — 40 раз «Отче наш», Крышнин — 20 раз, а

Антонин-то Длоугий, глядите, на самого старосту насел — задать ему 50 раз «Отче наш», и ни одного «аминя» не спуцу! А ты, Черноух, не лезь в драку, вот и цел останешься, тебе назначу только 15 «Богородиц»...

Так и повелось: священник Михалейц добросовестно заносил имена лесорубов в свою книжечку, а через три месяца, на следующей исповеди, каждый горец получал особый листок, на котором было выписано, сколько раз и какую именно молитву должен он прочитать в виде епитимьи.

Все шло по порядку, лесорубы один за другим становились коленями на скамеечку в старой, источенной червями исповедальне и умильными голосами заводили:

— Исповедуюсь всемогущему богу и вам, преподобный отче, что после святого причастия дрался в «Полуденной» корчме.

Это был главный грех, за ним следовал целый ряд одинаковых для всех прегрешений: употреблял всуе имя господне, богохульствовал, да еще «полешко-другое из господского леса», да «силочки кое-где расставлял с дурным намерением».

Пятнадцать лет по четыре раза в год повторялось одно и то же, и лишь однажды Бочан вдруг пропустил на исповеди «силочки с дурным намерением». Священник Михалейц с мягким упреком обратился к кающемуся:

— А силочки, силочки-то, Бочан?

— Эх, ваше преподобие, — ответил Бочан, — на сей раз ничего такого не было, какая-то сволочь украла мою снасть, а в город за новой некогда мне было выправиться. У нас, ваше преподобие, вор на воре сидит.

То был единственный случай, когда один горец не досчитался одного греха во всем перечне, но уже на следующей исповеди Бочан ни в чем не отклонился от привычной формулы, и, к какому-то даже удовлетворению пана священника, настал черед «силочков с дурным намерением», что и было произнесено жалостным голосом.

Я говорю «к удовлетворению пана священника», потому что он любил этих верзил из горных деревень и знал по опыту, что, если уже и «силочки» вычеркиваются из программы, значит, грешник хиреет духом и телом и долго не протянет. Чтобы узнать это, надо обладать пятнадцатилетним опытом духовного пастыря. Сначала выпадали «силочки», потом переставали упоминаться «полешки», после богослужения грешник даже в «Полуденную» корчму не заходил, а, тяжело ступая, взбирался к своему дому, затерянному в горных лесах. И когда его жена прибежала в приходской дом, голая, что вчера муж за весь день ни разу не сказал ни «в бога», ни «в душу», пан священник, не мешкая, отправлялся с причетником в горы, дабы застать беднягу в живых и сделать ему поскорее последнее помазание.

За пятнадцать лет священник Михалейц понял, что его прихожан из восьми горных деревень не исправишь никакими самыми красноречивыми проповедями, самыми проникновенными уговорами, хотя бы он и доводил горцев до покаянных слез, — они и сами уже видели, что все напрасно.

На первых порах священник пытался втолковать им, что такое доброе, искреннее намерение; после того как он долго и красиво объяснял это, Валоушек из Чернкова сказал ему:

— Эх, ваше преподобие, оставим его для молодых, это самое «доброе, искреннее намерение»; все равно ведь, коли дальше так пойдет, дичь совсем пе-

реведется, и теперь уже в силочки-то разве что после дождичка в четверг что попадается...

А десять лет тому назад Худомел, подавая священнику руку, сказал со всей возможной откровенностью:

— Мы уж, ваше преподобие, видать, не исправимся, все равно черти будут нас жарить на вертелах. Пусть уж будет воля божья.

Он привык ко всему. Далеко в горах, за Чернковым, в Волчьем доле, был у него свой лесок, и однажды на исповеди Павличек признался ему:

— А потом еще, ваше преподобие, полешко-другое из господского леса да еще из того леска, ваше преподобие, из вашего, тоже полешко-другое... Нынче ведь зима какая была! Вот я и срубил четыре елочки в вашем леске, да как рубил, над каждой прочел по «отченашу». И вдруг будто свалилось с меня что-то такое, легко так сделалось на сердце, и я срубил еще три.

За дрова из господского леса священник вlepил кающемся десять раз «Отче наш», а за порубку в церковном лесу — тридцать да еще наставление присовокупил, что духовные лица — представители бога на земле и воровать дрова у священника — все равно что рубить елки у господа бога.

После этого случая священник пытался добиться, чтобы патронат обменял ему дальний лесной участок в горах на ближний, примыкающий к Свободным дворам, но после многократных и тщетных просьб махнул рукой и свыкся с тем, что его обворовывали, хотя браконьеры и знали, что это все равно как если бы они валили деревья на участке самого господа бога.

Пан священник Михалейц, окруженный такими грешниками, с течением лет отступился от мысли исправить этих людей, ибо всякий раз, встречая кого-нибудь из них и пускаясь в уговоры, он слышал в ответ такие слова, сопровождаемые вздохом безнадежности:

— Ваша правда, преподобный отче, я тоже думаю, ни к чему все это. Такие уж мы, видать, закоснелые.

И было в этом столько чувства, что после пятнадцатилетней борьбы с «moral insanity»[107] горных прихожан священник отложил в сторону записную книжечку, перестал назначать «отченаши» на епитимьи и совсем машинально раз в три месяца произносил стереотипные проповеди о грехе и его последствиях; из его речи исчезла красочность молодых лет, и он вдохновлялся теперь лишь в таких случаях, когда какой-нибудь Повондра начинал торговаться за епитимью. С упорством торговца-еврея Повондра настаивал на половине:

— Пятнадцать «отченашей», преподобный отче. Ведь шестнадцатый пойдет уже не так от сердца, а на тридцатом я и вовсе смертный грех на душу возьму. Я, преподобный отче, уже пробовал, от пятнадцатого до тридцатого я просто так мелю, без чувства, раз-два — и конец делу.

Священник Михалейц примирился даже с этим и не спорил уже с Бочаном, который утверждал, что милостивый господь отпускает все грехи при третьем «отченаше», поскольку бог троицу любит, а остальное говорится на ветер.

Священник ощутил усталость от своей борьбы за спасение душ горных прихожан; и когда в один прекрасный день Мареш из Корженкова на вопрос, какие он совершил грехи, ответил жалостным голосом: «Как всегда, ваше преподобие», — священник не стал уточнять подробности, а стоически отпустил ему грехи без всяких вразумлений и даже забыл бы наложить на него епити-

мью, если б Мареш сам не напомнил: «А «отченаши» тоже как всегда, ваше преподобие?»

Иной раз к священнику Михалейцу возвращалась прежняя энергия, с какой он начал некогда свою деятельность в Свободных дворах, и он накануне очередного появления кающихся лесорубов открывал какой-нибудь старый выпуск «Проповедника», чтоб почерпнуть материал для проповеди, должествующей обратить грешные души, но потом, поглядев на очертания гор, столь же несокрушимых, как и принципы горных прихожан, захлопывал «Проповедник» и спокойно отправлялся в «Полуденную» корчму играть в карты.

В конце концов он отступил по всем линиям. Грешники на исповеди, видя его покорность судьбе, помаленьку начали утаивать свои грешки. Постепенно опускалось то «полешко-другое», то «силочки с дурным намерением», а там и богохульство, и драка в «Полуденной» корчме, пока в один прекрасный день Замечничек из Верхнего Боурова, отбарабанив обычную формулу: «Исповедуюсь всемогущему богу и вам, преподобный отче...», закончил горделиво: «что я чист, как лилия, ваше преподобие».

В тот же день удрученный священник послал в консисторию ходатайство о назначении ему в помощь энергичного капеллана.

## II

Энергичный капеллан звался Мюллер. Он был тощ, как те аскеты, которые во славу божью простаивали на столпе целую неделю без еды. По бледному лику капеллана невозможно было угадать его возраст, понятно было лишь, что за этими строгими сухими чертами без следа радости пропало его возмужание. Вместе с тем никакого неземного восторга не светилось в его очах. Даже в минуты величайшего рвения его глаза были как серая постная семинарская похлебка на воде. А что касается его речи, то он выталкивал из глотки отдельные слоги так, словно говорил на каком-то церковно-аримафейском языке.

Энергичный капеллан был заикой. Священник Михалейц остолбенел при виде такого подарка от великой консистории, а его сестра экономка весь первый день ходила как пришибленная. Тотчас по приезде энергичный капеллан в речи, длившейся благодаря подражанию аримафейскому языку более двух часов, рассказал, что пробыл два года миссионером в Порт-Саиде, где он за это время обратил в христианство «од-од-одно-но-но-го му-му-мул-лу-лу». После этих подвигов он вернулся на Мораву и восемь лет прослужил капелланом в Тишнове, где «э-э-энерги-ги-гично иско-ко-ре-ня-нял ка-ка-карты», а теперь приехал сюда.

За ужином священник Михалейц, непрестанно вздыхая, ознакомил капеллана со своими пятнадцатилетними наблюдениями над местным людом; энергичный капеллан, жуя кусок хлеба, отстранил тарелку с копченым мясом и сказал:

— Я-а мя-мясо не е-эм, и я-а, я-а эт-то ту-ут иско-кореню. Я об-об-бращусь к их ду-душам, я про-просве-све-щу их ду-ухом свя-аты-ым. — Тут он возвел к потолку свои похлебковые очи и, вперившись в крюк, на котором висел абажур, воскликнул пророчески: — Я-а, я-а их о-о-обращу!

Священник ушел играть в карты, а энергичный капеллан в своей часовенке принялся молиться по молитвеннику.

Черт знает как это произошло, но только на другой же день, когда энергичный капеллан шагал к лесу с какой-то богословской книгой под мышкой, позади, в кустах, раздался детский голос:

— Обратил му-мул-лу!

Детская фигурка мелькнула за деревьями и с гиком помчалась к кладбищу.

— Ду-ду-дурное воспи-пи-питание, — промолвил энергичный капеллан и, усевшись на меже у опушки леса, стал набрасывать вопросы: «Пришел ли я к исповеди, должным образом подготовленный и настроенный? Не утаил ли какого-нибудь греха? Выполнил ли епитимью? Думаю ли о предостережениях и наставлениях, данных мне? Не согрешил ли я после этого?» — Тут энергичный капеллан поглядел на горы и, погрозив в их сторону кулаком, воскликнул: — Я-а им пока-ка-кажу!

Через неделю по всем горам уже разнеслось, что «молодое преподобие обратил му-мул-лу». Бочан, который вместе с Фанфуликом как раз рубил сосну за Бабой, сказал:

— Здорово работает языком молодое преподобие: на прошлое рождество, еще на Мораве, затянул «Рождество твое, Христе, боже наш», а уж «Радуйтесь» он допоеет здесь, на нынешнее рождество.

— Слышать, хочет он наставить нас на путь истинный, — Фанфулик презрительно сплюнул.

— Пускай делает, чему его учили, — мирно отозвался Бочан. — Нам-то уж все одно ничего не поможет.

А Худомел в разговоре с Валоушеком из Чернкова заметил:

— Чего там, коли уж старое преподобие не отучил нас от греха, куда этому «обратил му-мул-лу».

В горах утвердилось неискоренимое убеждение, что внезапный приезд капеллана в Свободные дворы — нарушение исконных прав лесорубов. Поэтому особенно сильно распространилось браконьерство.

Узнав об этом, энергичный капеллан убедительно воззвал: «Я-а их о-о-обращу!» — и углубился в богословские сочинения.

Однако кающиеся лесорубы не поддавались. С умилением выслушивали они часовую проповедь капеллана, который горячо и убедительно сообщал всем, что «ты-ты-тысячи лю-людей уже б-бы-ли-ли прокляты и их ж-ждет то же са-самое». Прихожане печально кивали головами в знак согласия, а потом с невинными рожами являлись в исповедальню и объявляли, что они совсем без греха, как Замечничек из Верхнего Боурова. Капеллан, заикаясь, отказывал им в отпущении, грозил вечной карой; через решетчатое окошечко доносилось:

— А др-рова-ва? А сил-лоч-чки? Не заб-бы-бы-вайте о вечно-но-ности!

Немедля вслед за тем слышался невинный ответ:

— Какие дрова, какие силочки, что вы, молодой отче!

При этом нередко исповедующийся держал в кармане повестку в суд, перед которым он должен был предстать через два-три дня после святой исповеди, но он отрицал и «силочки» и «полешки» с лицом ангельски ясным и мученическим, твердо зная, что все равно никак ему не избежать вечного проклятия.

— Ни к чему все это, — твердили лесорубы. — Даже сам архиепископ ничего тут не сделает, не то что такой «обратил мумуллу».

Два года длилась борьба энергичного капеллана за души горных прихожан — к немалому удовлетворению священника Михалейца. Доблестный капеллан тщетно старался внушить пастве хоть какое-то представление о моральной ответственности; однажды Бочан, встретив в горах священника Михалейца, высказал ему мнение всех прихожан:

— Неладно все это, ваше преподобие. Мы наши грехи никому отнимать не позволим. Честность хороша для богатых, а у нас не родился еще ни один честный человек.

— Но почему вы не каетесь в грехах, Бочан?

— Каемся, ваше преподобие, каемся, да только ведь он нас хочет обратить, а ваше преподобие знает, что мы закоснелые. Хоть бы молодое преподобие не толковал бесперечь о проклятии; как это черти из нас жаркое будут печь, и ни о каком проклятии речи не было; проклятие, оно ведь тоже для богатых, а с нас, бедняков, хватит и котлов с серой. И хоть бы он, молодое-то, значит, преподобие, не говорил нам, чтоб мы больше не смели драться, не смели воровать или там богохульничать. Хотите верьте, хотите нет, он тут без году неделя, а уже запрещает нам все это делать.

Бочан перевел дух, потом с ласковым жаром, любовно глянув на Михалейца, продолжал:

— Вот вы, ваше преподобие, добрый были человек, вы нам за все эти пятнадцать лет ни разу не сказали: «И впредь так не делайте!» Вы нам только на счет старого говорили, а от того, что мы сделаем после исповеди, от этого вы нас, ваше преподобие, не отбивали.

После такого откровения священник Михалейц без сил опустился на поваленное дерево. Слишком внезапно была высказана эта печальная истина. Михалейц вспомнил, что и впрямь за все пятнадцать лет он ни разу не предостерег прихожан от будущих прегрешений. Он скорбно посмотрел на небо, в то время как Бочан доверительно резал дальше:

— Такие уж мы отродясь. Все равно как вроде повинность у нас такая. А после мы приходили и сокрушались и говорили: так и так, рубили мы господский лес, дрались и ругались; и вы, ваше преподобие, говорили, что должны мы иметь искреннее намерение пожалеть об этом, и мы жалели, и на коленки становились, и говорили: «Господи, прости нас, грешных». Но о том, что мы после этого натворим, вы нам ничего не говорили, а что до «отченашей», так всяк их с радостью отчитывал, они ведь полагались за старые грехи, не за новые, а теперь молодое преподобие требует и за то и за другое, он говорит: за старые двадцать «отченашей» и за новые, которые потом будут, — еще двадцать. Нельзя так, ваше преподобие. Нам тоже начальство платит только за срубленный лес, а не за то, что повалим послезавтра. А молодое преподобие, когда, значит, такое от нас требует, отнимает наши грехи вперед, и какая же это епитимья, коли он ее впрок накладывает, значит, и после исповеди изволь быть чистым, а он нам не верит, а ведь сам же заранее грехи отпустил. Вот и выходит, что должны мы на исповеди отвечать: «Не было ни силков, ни дровишек», потому как вперед уж отмолено.

Бочан, попрощавшись с священником по-христиански, взял свой топор и пошел в горы, а священник долго еще со скорбью смотрел в небо; потом он грустно отправился передавать мнение Бочана капеллану Мюллеру.

Энергичный капеллан выслушал все это, меланхолично покачивая голо-

вой, и сказал:

— Я-а са-ам уж ви-вижу, что это за го-голота.

И вечером он настроил в консисторию смиренное прошение, чтобы ему дозволено было оставить нынешнее место и снова посвятить себя миссионерским трудам в Малой Азии: «о-обращать му-мулл!»

#### IV

Через два месяца в Свободных дворах появился новый капеллан, молодой, веселый, настоящий клад для Михалейца. поскольку умел играть в карты.

Вскоре по горам уже гулял слух, что новый капеллан — ангел. Однажды явился в приходский дом Замечничек из Верхнего Боурова и, почтительно целуя руку старому священнику, благодарно проговорил:

— Хвала господу Иисусу Христу, ваше преподобие; уж больно вы нам потрафили с новым молодым преподобием. Он нас не спрашивает ни про старое, ни про новое — знает, напрасный это труд. Он просто ангел, так славно ругает нас при исповеди, что мы ревом, как бабы.

С этими словами он втащил в комнату мешок, оставленный было за дверью, и дружески обратился к священнику:

— Уж будьте такой добрый, отче, отдайте эту серну молодому преподобию. Я ее ночью в силочки поймал, славная дичинка, да передайте ему: это я из благодарности, что он так здорово ругает нас ворами...

Прежде чем священник опомнился, Замечничек вытряхнул серну из мешка на пол и исчез, как дух.

И вот перед священником лежала на коврике серна как вещественный результат его семнадцатилетней борьбы за грешные души горцев...

#### V

А когда три дня спустя шел староста мимо открытых окон кухни его преподобия, он даже остановился и, втягивая носом аромат, исходящий из окна, воскликнул:

— Ах, черти бы драли, да здесь попахивает жарким из серны!

И полный приятных представлений отошел от приходского дома, где уже накрывали на стол.

## Новый год храброго зайца с черным пятном на брюшке

Этого самого зайца с черным пятном на брюшке уважали соплеменники всей округи. Он был умный и ушлый. О нем ходили просто легенды. Особенно старался хромой зайчишка, гораздый на всякие выдумки. Мол, этот заяц с черной отметиной однажды покусал загонщика, а еще, мол, однажды подстерег гончую башинского лесника.

А как-то, когда зайчишки, его ровесники, собрались у распятыя над ключом поболтать, хромуша начал уверять, что у того, хитрющего, шуры-муры с косулей.

— Да вы ее знаете, — твердил он, — у нее еще замерз ее первый сынишка-оленок, помните, когда неожиданно ударили морозы. Помните, она еще после так убивалась. Правда, вот ей-богу, я их сколько раз видел вместе...

Тут в разговор вмешалась зайчиха, что и она, дескать, видела их вместе и самолично слышала, как он ей говорил: «Ах, барышня, я сегодня сожрал столько коры, что у меня рези в желудке». А уж когда такое говорят, значит, отношения близкие. Я шла за ними и видела, как он от нее не отходит и нежно так воркует. А как пришли на пасеку, он начал перед ней выламываться, ходил на задних лапах, а сам все извинялся, что у него, мол, походка плохая, и лизал себе задние ноги. Сама видела и слышала, как он говорит: «Простите, барышня, у меня такие длинные задние лапы, что я не могу ходить нормально. Мечтаю, говорит, ходить так изящно, как вы, барышня. Но уж такие конечности мне даны от рождения. Поверьте, до чего бы мне хотелось быть оленем и как мне иной раз зверски обидно, что я заяц. Но с другой стороны, я горжусь тем, что я заяц, потому что у меня отличное нежное мясо. Оно и стоит будет дороже вашего, барышня. Вот эта моя ляжка, соблаговолите взглянуть, будет стоять не меньше кроны». Я не разобрала, что она ему ответила, говорит она по-заячьи невнятно, только вижу, он разозлился, затопал задними лапами, раскричался: «Уж не воображаете ли вы, сударыня, что я какой-нибудь суслик и поверю вашим рассказам, будто ваш папаша против наших отношений. Да у вас, уважаемая, и папаша-то нет, вашего папашу давно скушали». Распалился совсем да как заверещит: «Вашего папашу уже три года как зажарили, да еще он им и не по вкусу пришелся».

Вы бы посмотрели, как она обозлилась да кинулась на него. А он еще возьми да попрекни ее тем олененком, которого она прижила от оленя из соседнего лесничества, от бессовестного бродяги, что поносит зайцев за то, что будто бы мы у него все корешки сжираем. Потом как подпрыгнет да как крикнет: «Я этого бесстыжего закусаю!» Она в слезы. «Теперь плачете, да? — кричит он. — За любовника своего боитесь? Так и быть, ради вас, вот вам моя правая задняя лапа, я его пальцем не трону, ей-богу, не будь я всем известный заяц с черным пятном на брюхе».

— А я как-то раз, — вступил в беседу седенький заяц, который все почесывался, потому что набрался блох от загонщиков, — видел, как он с барсуком сцепился. Не с нашим приличным старичком, что живет у скалы. А с тем полосатым разбойником из пещеры. У него еще морда глупая. Ужасно непорядочный, эгоист, ворюга и вообще со странностями. Позорище всех барсуков. Вот с ним-то и повстречался наш приятель. Он свободно болтает по-барсучьи и так попросту спрашивает полосатого: «Как жизнь, дружище, как перезимо-

валось?» А тот как расфыркается: «Вам-то какое дело, болван?» Наш поначалу опешил: «Позвольте, — говорит, — кто же вам дал право меня в нашем лесу бранить? С чего это вы тут расхрюкались, как кабан!» — «Кто это, по-вашему, хрюкает?» — «Вы, вы хрюкаете, господин барсук, нахал и ворюга! Шастаете к нам за березовыми корешками, доходите до такой непристойности, что не брезгуете змеями. Видели мы, как вы шмелиное гнездо разорили и сожрали личинки. И не стыдно, вы же травоядный». Только он это сказал, барсук как прыгнет на него, и пошла катавасия. А наш как затопает и барсука оземь и даже не слушает, что он там верещит.

Не успел седенький кончить историю, глядь, у ключа сам героический заяц объявился.

Его встретили почтительно, а одна зайчиха из обожательниц почтительно облобызала его хвостик.

Герой лесничества уселся и без всякого вступления повел рассказ. Рассказ этот был всем давно известен, но все равно нравился, особенно обожательнице — она так просто млела.

— Тому уже четыре года, — начал он, — как я от них сбежал.

И весело принялся вспоминать молодость, хоть она и не была веселой.

Родился он в марте, дети в поле поймали его и принесли в деревню. Так он очутился в именье и, будучи отроду смышленным, быстро приручился. Летом приехали из города господа с маленькой девочкой, которая ужас как его полюбила, что обернулось для него превеликим мученьем. Она водила его на веревочке к ручью и купала.

Он не выдержал и убежал. На зиму, однако, вернулся и уж как хорошо ему было ходить на задних лапках. В тепле горницы чему он только не выучился!

Сегодня он снова вспомнил все это.

— Понимаете, друзья, там я привык к опрятности и, главное, стал лакомкой.

И ведь говорил чистую правду. Не знаю, было ли это добродетелью, но ему пошло на пользу. А если и было грехом, то единственным в жизни неунывающего ушастика.

Воспоминания его были о белом хлебе, который он ел в неволе. И разговоров об этом хватало на целый год.

Однажды он даже поспорил о вкусе хлеба с гадким пижоном, — помесью кролика и зайца, который всегда кичился своим мехом и тем, что из шкурки его брата были сшиты домашние туфли самой лесничихи.

Так и жил наш герой тихо и спокойно, уважаемый всеми.

Он и в самом деле был прямодушный и рассудительный заяц. Единственным его желанием было в старости пасть от пули самого его светлости князя.

В том, что желание сие не осуществилось, повинен некий кучер, который под Новый год вез в лесничество из города корзину сладкого вина.

Зима была не суровой, и зимними ночами, когда над тихим краем неистово светила луна, зайцы лесничества собирались на посиделки. И, как обычно, вели рассказы о нем, об умном-разумном своем любимце, обожаемом зайце с черным пятном на брюшке.

А он между тем зорко следил, и ему было прекрасно видно из леса, как по дороге несется, забыв о всякой осторожности, кучер, который еще в городе изрядно подзаложил, а сейчас как-то странно держал вожжи. По краям дороги,

как известно, попадают тумбы, каменные тумбы, и вот одна такая тумба стала камнем преткновения. Заднее колесо зацепилось за нее, корзина с бутылками сладкого вина вывалилась, вино разлилось большими лужами. Незадачливый возница перекрестился, повернул телегу и, сокрушенный, потащился в город.

И это все видел рассудительный заяц. Прискакал, понюхал лужи. Душисто! Лизнул, причмокнул — вкусно! Повернулся и рванул к заячьей компании.

И, еще не добежав, завопил:

— Сюда, за мной, я нашел там что-то очень интересное!

И они за ним припустили.

Лизали, смаковали, радовались, прыгали, ликовали и, весело болтая, вернулись на сиделки, где им показалось, что ясный месяц размножился в нескольких изданиях.

Но больше всех белый свет кружился перед глазами разумного зайца с черным пятном на брюшке. Он-то вылизал целых две лужи вина, нализался всласть и принялся куражиться, дескать, не я буду, если не загрызу лесникова пса, и поскакал, шатаясь, в лес, а остальные верещали:

— Ни пуха вам, ни пера!

И смотрели, как у него заплетались задние лапы и как исчезал за деревьями этот пушистый разумник. Вот мелькнул хвостик, и все пропало.

\* \* \*

Так не сбылась его мечта пасть от собственноручного выстрела его светлости князя.

На Новый год на заборе в лесничестве висела заячья шкурка. И на брюшке у нее было черное пятно.

Несчастливый Новый год выдался храброму зайцу с черным пятном на брюшке.

## Закрытое заседание

Вторая судебная палата сената с восьми тридцати и до двенадцати рассмотрела шесть дел: две кражи, одну растрату и три нарушения общественного порядка, а именно — нахлобучивание головного убора постовому, нанесение пощечины лесничему, а также отторжение пуговицы от мундира жандармского вахмистра.

Дела были все до невозможности скучные, разнообразие внес единственный эпизод, когда надзирателю пришлось вытащить одного свидетеля прямо из уборной в коридоре, чтобы привести к присяге и не задерживать суд по пустякам.

В общем, как уже отмечалось, ничего любопытного. Кражи были рядовые, вокзальные, а в деле о растрате пред судом, рыдая, предстал молоденький конторщик, у которого не хватило сил донести до банка вверенные ему 320 крон. С этими деньгами он махнул в Дрезден, посетил там зоологический сад и, вернувшись назад в Прагу, явился с повинной. И теперь на вопрос, зачем он это сделал, с плачем отвечал, что хотел посмотреть в Дрездене на обезьян. Интерес к естествознанию обошелся ему в три месяца отсидки.

К двенадцати часам результат работы суда был следующим: 5 месяцев, 3 месяца, 4 месяца, 2 месяца, 6 месяцев, 2 месяца. Все шло как по маслу. Но нужно было рассмотреть еще 4 дела. Два случая нанесения тяжелых телесных повреждений, один — угрожающего поведения и сверх того — непозволительно-го скопления.

Ясно, что членам судебной палаты нечего было и надеяться пообедать раньше шести-семи часов вечера, ибо по делу о нанесении тяжких телесных повреждений проходило 14 потерпевших, поскольку герою удалось порезать 14 человек.

Председатель сената с отчаянием поглядел на присяжного заседателя, сидевшего слева и грустно взиравшего на секретаря, молодого практиканта, который чуть не плакал, вспоминая о намеченной на три часа в кафе партии в «двадцать одно».

Грустный взор председателя переместился на присяжного справа, шепотом сообщавшего коллеге, что у него урчит в животе.

Всех членов суда охватила такая тоска, что они перестали ощущать себя строгими судьями, а сердца их, простые человеческие сердца, дрогнув, провалились в низ живота и принялись там громко стучать и колотиться. Пустившись затем в обратный путь, они остановились в желудке, где начали безобразничать, вызывая громкое урчание.

Некоторое время председатель сената пробовал совладать с чувством долга, призывавшим его непрерывно биться с обвиняемыми за каждое слово, задавать и задавать вопросы, стараясь сбить человека с толку, и с помощью прокурора утопить в параграфах, поругаться с адвокатом, и что самое скучное — предупредить свидетелей насчет присяги. Объяснять им, что на то она и присяга, а ложные показания — это грех, но самое-то главное, что за ложные показания дают от года до пяти. Итак, поднимите два пальца вверх и повторяйте за мной:

— «Перед лицом господ всемогущего клянусь, что на все вопросы и т. д.»

И все это повторять без конца до семи вечера без первого, без второго, без

десерта.

У председателя заурчало в животе. Служитель в зале суда просмотрел список правонарушителей и спросил:

— Ну что, привести Ваничка?

Взгляды господ присяжных устремились на председателя. Сквозь слезы они молили о снисхождении. Такими же глазами смотрит на охотника антилопа.

Председатель откашлялся и изрек:

— Никого не приводить, пусть подождут.

Затем встал, надел судейскую шапочку и с торжественной серьезностью произнес:

— Объявляется закрытое заседание!

Все только этого и ждали. Оживившись, весь состав сената перешел в соседнее помещение, тот самый роковой зал, на двери которого со страхом взирают все те, кто сидит напротив на скамье подсудимых.

Это зал совещаний. Тут выносят приговоры. Здесь же проходят и закрытые заседания. Вот она беспощадно логичная основа судопроизводства: *закрытое заседание*.

А в то же самое время в коридоре оживленно переговариваются свидетели и обвиняемые. Свидетели даже посмеиваются, и смех их разносится по бесконечным тихим коридорам. Сидя на длинных лавках, они поглядывают на золотую табличку на дверях. Да, вот он — зал номер сорок восемь.

Там все и определится. Обвиняемых бросает в жар. Они все пытаются объяснить, что хотели совсем по-другому, а приведший их надзиратель, кивая головой, стереотипно отвечает:

— Это вы тем господам расскажите, мне до этого нет дела. — И добавляет, будто в оправдание: — Я человек маленький, я тут ни при чем.

Свидетели уже перезнакомились и разговорились. Вот слышится и анекдот, а там, глядишь, время подоспеет, вызовут.

И вдруг в дверях зала суда появляется надзиратель. Все как один поднимаются с мест, а один деревенский старичок даже снимает шляпу.

— Господа! — провозглашает надзиратель, — судебное разбирательство будет продолжено через полчаса, сейчас объявляется закрытое заседание. И исчезает за дверью зала суда.

Весть о закрытом заседании возбуждает в коридоре страшное смятение. Все вдруг умолкают. Господи, что же это такое? Смех затих. Ощущение подавленности расплзается по коридору. Закрытое заседание, боже мой! Один из обвиняемых сильно бледнеет.

А в это время за зеленым столом зала совещаний председатель суда начинает закрытое заседание словами, обращенными к надзирателю:

— Господин Декорт, принесите нам меню от Вольнера.

Среди членов сената воцаряется блаженное настроение. И первый присяжный, референт, с томной улыбкой изрекает, продолжая закрытое заседание:

— По всей вероятности, уважаемый коллега, у них сегодня рубец с ветчиной.

На что второй присяжный, к которому обращены эти слова, с видом истинного гурмана шепчет в ответ:

— Или каплун с рисом под красным перцем...

Да, действительно, на этом закрытом заседании присутствие посторонних

излишне.

## Как я спас жизнь одному человеку

Самым горячим моим желанием издавна было спасти кому-нибудь жизнь. Мысль о спасении человека особенно согревала меня, когда я сидел в нетопленной комнате. Кроме того, у меня врожденное корыстолюбие (мой дедушка по матери раз пятнадцать был осужден за лихоимство), а я часто читал в газетах, что в награду за спасение утопающего от муниципалитета вручают пятьдесят крон. Один человек, рискуя своей жизнью, вытаскил из воды самоубийцу, и за это ему выдали награду в пятьдесят крон. Он так обрадовался этой награде, что умер от разрыва сердца. И опять же — удовольствие попасть в газеты!.. Правда, я попадал в газеты, и весьма часто, но, увы, это нисколько не радует ни моего тестя, ни мою супругу Ярмилу. Однажды обо мне написали в связи с неприятным случаем, когда полицейский по несчастной случайности ударился головой о мою палку. В другой раз обо мне была заметка под заглавием «Дрался с солдатами». Насколько помнится, она начиналась довольно многообещающе: «Вчера в пивную «Канонир» явился...» Заглавия газетных сообщений одно за другим всплывают в моей памяти: «Остановил пароход», «Приставал к полицейским», «Выброшен в Турнове» и т. д. и т. д. Тяжелые воспоминания — лучше и не рассказывать! Не удивительно, что у меня появилось сильное желание хотя бы один раз попасть в газеты в качестве благородного и примерного человека.

Меня обуяло тщеславное стремление реабилитировать свое прошлое.

Я уже ясно представлял себе напечатанный крупным шрифтом заголовок: «Мужественный поступок». Я даже видел мысленно, как это набрано вразбивку: **«Мужественный поступок»**.

На пятьдесят крон, которые я получу, я куплю себе ботинки и порцию устриц в вокзальном ресторане, а на остаток? Само собою разумеется, не комплект «Вестника абстинентов».

Взвесив все обстоятельства, я ежедневно ходил у реки, осматривая излюбленные места самоубийц, особенно Карлов мост, с которого бросаются главным образом бережливые самоубийцы, с целью избежать платы в два геллера за переход по мосту.

Однако у меня оказалось много конкурентов. Внизу, под мостом, в течение целого дня сновал на своей лодке человек, живший исключительно спасением утопающих. На чердаке у него хранилось шестьдесят восемь благодарственных свидетельств и наград. Как паук, поджидающий мух, притаился он под мостом, а в последнее время соорудил даже сеть для ловли самоубийц.

Одним словом, слоняться возле Карлова моста было бесполезно. Тогда я стал ходить на мост у Элишкиной улицы, и там мне однажды представился счастливый случай: как раз на моих глазах прыгнул в воду какой-то человек, бросив перед этим письмо следующего содержания:

*«Дорогая Боженка!*

*Сто раз говорил я тебе, чтобы ты не солила свиной печени, перед тем как поставить ее в духовку. Потом она становится твердой, как подметка, отчего я и заболел неизлечимым катаром желудка. Кроме того, узнал о твоих интимных связях с моим конторщиком, который обокрал меня на шестнадцать тысяч крон. Теперь я банк-*

*рот. Прощай!  
Твой Йозеф.»*

Прежде чем я успел прочесть письмо, самоубийцу вытащили около заруды целого и невредимого. Оказалось, что он умел плавать, как рыба; еще немного — и он побил бы нынешний мировой рекорд венгерского пловца Какони.

Таким образом, на мостах мне не везло. Я стал ходить в Карлин. Там, под железнодорожной насыпью, река демонически красива. С Карлинской скотобойни доносится запах внутренностей, всевозможные ароматы окрестных фабрик висят над Манинами. Река течет черная и задумчивая, как старик перевозчик возле Роганского острова. Об этом старике рассказывают, что люди ему должны полторы тысячи крон, и всё по два геллера. Чайки кричат над рекой и задевают крыльями водную гладь. Летучая мышь со свистом пролетит и скроется (собственно, я не знаю, свистят ли летучие мыши, но это неважно). К вечеру эта часть города представляет такую печальную картину, что обойтись без бутылки коньяку никак нельзя. Кроме того, здесь тренируются саперы, и у берега всегда стоят их понтоны.

Эта часть города как раз соответствовала моим намерениям. Почти около месяца я шатался по этим местам, выпив более восьми литров коньяку. И — никаких происшествий! Наконец в один грустный вечер, когда деревья скрипели ветвями от злости, что осенний ветер сорвал с них листья и они уже не могут вдохновлять поэтов, на берегу реки появляется молодой человек. Я несколько раз прошел мимо него и заметил, что ему около шестнадцати лет и на самоубийство он идет без особой охоты. Он торчал тут битых два часа, вздыхал, сморкался, плакал, смотрел в небо, на воду, затем вынул из кармана какую-то фотографическую карточку, поцеловал ее, разорвал, вытер носовым платком пыль со своих ботинок и, наконец, бросился в речку.

Сделал это он возле маленьких лодок, принадлежащих военному ведомству. Я быстро взял камень, подбежал к лодкам, сломал замок, которым запирается цепь, схватил весла и поплыл туда, где барахтался молодой человек и кричал:

— Спасите, спасите!

И вот я уже держу его за шиворот, втаскиваю в лодку, даю ему два позатыльника и гребу к берегу. Когда мы плыли, он целовал мне ботинки, но как только высадились на берег, бросился бежать. Напрасно я старался догнать его. Выбившись из сил, я ворвался в первый попавшийся полицейский участок. Строгий начальник, подозрительно поглядывая на меня, спросил:

— Что вам угодно?

— Я сбил замок... — вырвалось у меня.

— Колечко! — крикнул начальник. — Обыщите его и посадите в карцер.

— Но, позвольте, я объясню...

— Молчать!

— Но, позвольте, это было так: я должен был сломать замок...

Больше я говорить не мог. Колечко открыл ключом камеру заключения, втолкнул меня туда и снова запер.

С ужасом я услышал громкий голос начальника участка:

— Колечко, телеграфируйте в полицейское управление, что мы поймали человека, который ломает замки. — И немного спустя: — Так вам уже ответи-

ли? Завтра передадим его в суд.

Я начал стучать в дверь и в ответ на это услышал снова голос начальника:

— Колечко, наденьте на него смирительную рубашку.

Утром рано меня направили в суд, где спросили:

— Кто вас научил ломать замки?

— Я сам, — сказал я робко, так как смирительная рубашка за ночь превратила меня в совершенного ягненка.

Следователь оказался хорошим человеком. Мне удалось наконец ему объяснить, с какой целью я сломал замок. Тем не менее меня оставили под стражей, так как, сломав замок, я совершил порчу казенного имущества. Теперь я в меланхолическом настроении сижу на нарах, и меня утешает только мысль о том, что предварительное заключение мне будет зачтено в счет наказания, а имя мое попадет-таки в газеты — на этот раз в отдел судебной хроники.

## Барон и его пес

На пятом этаже многоквартирного дома, затерянного на городской окраине, была порыжелая от времени дверь против входа на чердак, украшенная визитной карточкой:

«Барон Деккер из Пршегоржова».

Служанки, ходившие на чердак вешать белье, часто останавливались перед этой дверью послушать разговоры знатных жильцов.

— Как ваше здоровье, граф? — слышалось из-за двери.

— Благодарю вас, барон, — отвечал тот же голос. — Я вижу, ваша светлость в отличном настроении. Уж не выиграли ли вы вчера в макао, милый князь?..

— Пари держу, причиной здесь — прекрасная графиня. — возражал все тот же голос. — Не поехать ли нам кататься, господа?

— Лошади поданы. Allons![108] Где моя свора гончих? Зебор, auf[109].

Тут служанки, заслышав щелканье замка, торопились проскользнуть в чердачную дверь, а на пороге появлялся барон Деккер в сопровождении своего престарелого пса Зебора. Если поношенный сюртук барона производил впечатление почти нового, то шуба легавого казалась купленной у старьевщика.

Будь это не пес, а лошадь, перед нами была бы точная копия Донкихотова Росинанта. Во всяком случае, у него была примерно та же участь: тащиться за своим хозяином по этой юдоли слез, еле передвигая ноги, но не забывая в то же время о том, как должна вести себя собака, получившая аристократическое воспитание.

В этом Зебор брал пример с хозяина.

На людях барон преображался до неузнаваемости: всем давал почувствовать, что значит баронский титул. Но вечером, вернувшись домой, старик в своей одинокой конуре долго кряхтел и охал, а потом садился за стол писать прошения представителям всей родовой и титулованной знати.

Пес сидел рядом и то приподнимал одно ухо, то с аристократическим изяществом принимался ловить блох.

Ах, эти блохи! В минуту дружеской откровенности» когда забываешь разницу в общественном положении, легавый Зебор сказал таксе, жившей у соседней лавочницы:

— Поверите ли, эти блохи отняли у меня десять лет жизни!

Заслышав скрип пера, Зебор перестает грызть свою ляжку, поднимает одно

ухо и смотрит на барона слезящимися глазами, словно человек, у которого насморк.

Между тем старика, составляющего прошение некоему графу, ротмистру, осеняет блестящая мысль: будто он проиграл восемьдесят тысяч крон на честное слово, с обязательством заплатить не позже как через неделю. Отложив перо, он начинает быстро ходить по комнате, громко восклицая:

— Как же я нарушу честное слово, дорогой граф? Ведь об этом между джентльменами не может быть и речи!

Пес, тяжело дыша, ходит за ним как тень; а когда барон опять садится за стол продолжать письмо, он тоже садится рядом и принимается искать у себя в шерсти свое скромное скудное лакомство. Отправив письмо, оба ложатся, Зебор, взобравшись на кровать, устраивается в ногах у хозяина. В холодной, неуютной комнате слышен дрожащий голос барона:

— Зебор, Зебор! До чего мы с тобой дожили!

Зебор садится на постели и чихает.

В такие минуты сердечного доверия они все, все говорили друг другу. Не думайте, что пес только слушал, — он тоже разговаривал. Поворчит-поворчит и промолвит с укоризной:

— Эх, сударь, не надо было так сорить деньгами!

— Видишь ли, Зебор, признаться, мы были порядочными идиотами. Ну к чему было, скажи ради бога, содержать сразу столько танцовщиц?

— С вашего разрешения, сударь, — ворчал в ответ легавый, — я не содержал ни одной. А вы, сударь, помимо всего прочего, еще и в карты играли. Вспомните: разве я играл в *trente quarento*?[110] Нет, сударь. Я только за зайцами гонялся. Помните, как я искусал лесничего?

— Ах, Зебор, Зебор! — вздыхает барон, стараясь потеплей укрыться тощей периной. — Если б ты знал, какое наслаждение — устрицы! Хорошенько покапашь на нее лимоном... Просто хоть плачь! А после запьешь хорошим вином... *Parbleu*![111] Я сейчас зареву!

— Поплачем вместе, хозяин! — говорит Зебор.

И оба скулят, уткнувшись в перину.

— Хоть бы нам когда-нибудь в лотерею выиграть, Зебор! — говорит барон засыпая.

У Зебора слипаются глаза, но он приподнимается на голос хозяина.

«К вашим услугам, сударь», — мелькает у него в мозгу, и он, улегшись, опять засыпает.

Так лежат они, не евши, двое суток, пока почтальон не приносит двадцать крон, посланных ротмистром.

Тогда оба совершают свой туалет — то есть Зебор вылизывает себя всюду, где достанет, а барон напяливает свой выцветший сюртук — и с важным видом выходят на улицу.

Обоих согревает мысль о двадцати кронах. Зебору понятно: раз они обогнули этот угол и зашагали по переулку, значит, путь их лежит на другой конец города, к одной лавке. Там на вывеске изображена лошадиная голова и написано:

### «ПРОДАЖА КОНИНЫ»

Шествуя, оба видят перед собой копченую конину, — много конины!

На этот раз Зебора не остановит никакая встреча с собакой. О чем говорить с этим нищим сбродом! Сегодня они с хозяином — господа; они держат путь в ту лавчонку с нарисованной лошадиной головой!

В лавке барон, как обычно, приходит в смущение. Он долго объясняет, что ему нужно три кило конины для одной многодетной вдовы. Он охотно купил бы ей говядины, но считает, что лучше, сэкономив на мясе, употребить остальное на покупку чулок для нее самой и детей.

Пока барон плетет свои небылицы, его легавый рассказывает собаке мясника:

— Знаешь, голубчик, у нас вчера подавали за обедом поросенка. А я один убрал полгуса.

И гордо удаляется вслед за своим хозяином, который несет три кило конины.

В этот день, после сытного обеда, обоим снятся скачки.

## О запутавшейся лягушке

Невеселые детство и юность у древесных лягушек.

Сначала — еще головастики — живут они в страхе, как бы не слопал их какой-нибудь обжора, обитатель пруда или болота; мальчишки ловят их, как и всех прочих головастиков, в банки, принимая за рыб. Дома, узнав от взрослых, что это будущие лягушки, они выплескивают их вместе с водой в канализацию или еще куда-нибудь, что гораздо хуже.

А если какой-либо из древесных лягушек все же удастся спастись и выжить, люди считают, что она *обязана* предсказать им погоду. И вот бедная лягушка, напрягая силенки, карабкается вверх по лесенке, и никакой благодарности.

История этой древесной лягушки наверняка вызовет участие к этим славным зелененьким созданиям.

\* \* \*

Маленькая лягушка, о которой пойдет речь, осталась без отца и матери. Отца поймали люди, когда она была еще головастиком, а маму проглотил уж, охотившийся в мокрой траве возле омута. Отца, значит, забрали в рабство, и, как она узнала из лягушечьих разговоров (а еще об этом ей сказал большой лягушачий самец), папа ее теперь, мол, лазит по лесенке.

И вот она, маленькая, неискушенная лягушка, пришла, прискакала к воде. Лягушки-квакушки, которые значительно крупнее древесных и придерживались иных политических убеждений, возмутились: чего-де здесь потеряла эта квакша? Ей ведь полагается жить на дереве, чего ей надо у воды? Да и квакать она не умеет! Но был в той компании старый самец, и он, преисполненный благородства (старик любил молоденьких лягушек), тотчас за нее вступился. Это правда, проквакал он из камышей, древесные лягушки никогда не живут в воде у пруда, а лазят по деревьям, но почему бы этой малютке не эмансипироваться и не отвергнуть старые предрассудки? Чего ей лазить по деревьям и глупо таращить глаза, дожидаясь, пока муха сядет ей на нос, а потом проглотить ее? Разве не лучше сделать из малышки ренегатку? Пусть она живет здесь и квакает с ними по ночам — ведь чем больше их будет, тем пуще будет злиться старик-пенсионер из виллы у пруда, которому всю ночь не дают спать их концерты, и он приходит на берег и бросает камни в воду.

И стала маленькая древесная лягушка жить не на дереве, а у воды.

Пела она, к сожалению, фальшиво, Одна старая почтенная лягушка отвела как-то в сторонку, в камыши, несколько своих приятельниц-лягушек и доверительно сказала им:

— Что за дура эта зеленая лягушка! Вы заметили, как она фальшивит, берет не те ноты? Совершенно не умеет петь, Сядет, откроет рот и заведет: «ква-а», а больше и не вытянет. А давеча она вылезла из воды и отправилась на прогулку — под дождем! — с этим молодым сынком жабы, который поджидает ее каждый день. Она и прыгать толком не умеет, и в воде ей не по нутру. А стоит полить дождю, она вылезает из воды — ведь этот бездельник, жабий сынок, вечно ее поджидает! И они принимаются лазить по деревьям. Мать его даже жаловалась мне. Где это видано, чтоб жабы лазили по деревьям?

Так что бедную древесную лягушечку ожидали печальные дни. Квакушки без конца шушукались о ней, и однажды, когда она явилась в хор и фальшиво затянула «Ква-ак!», самый старший член хора заявил ей прямо:

— Знаете что, дорогая, собирайте-ка свои манатки и валите отсюда. Так дело не пойдет. Это ж никакого терпенья не хватит! К тому же о вас и про этого жабьего молодца такое говорят...

Расстроенная, поскакала бедняжка куда глаза глядят; дождь лил как из ведра, а она все скакала и скакала, пока наконец не залезла на какой-то куст, на самую верхушку и под проливным дождем, беззащитная перед его потоками, хлеставшими по ветвям, протяжно воскликнула:

— Ква-ак!

Это был крик души, в нем прозвучало разочарование, боль, жалость к себе, непонятой.

Потом вышло и стало припекать солнце. Она не привыкла к такой жаре — прежде-то она жила в сырости; ей стало не по себе, и она, взглянув на отвратительно чистое голубое небо, пылавшее жаром, спряталась в холодный мох. Там ее нашел человек, который ловил лягушек и продавал их в рабство. Она решила, что сейчас он отрежет ей лапки, как слышала от лягушек у пруда, и с готовностью вытянула их, но вдруг оказалась в банке со мхом. Забравшись поглубже, она услышала:

— Чего ты там делаешь? Ведь погода прекрасная, тебе положено быть здесь.

Она подняла голову и увидела, что наверху, под самой тряпкой, которой была завязана банка, сидит большая древесная лягушка, а рядом с ней еще одна, постарше. Та воскликнула:

— Дурочка, готовься ко всему, тебе придется предсказывать погоду.

Но тут раздался голос первой лягушки:

— Оставь ее; она даже не знает, что, если погода хорошая, надо лезть наверх.

— А когда пойдет дождь, она нарочно полезет наверх, вот увидишь. — сказала та, что постарше.

И наша лягушка полезла наверх. Шел дождь, и ее соседки спустились вниз. Забравшись в мох, они крикнули ей оттуда:

— Чего не спускаешься, дождик идет!

— Что же мне делать? — в тоске спросила бедняжка. — Только что мне говорили, что надо лезть наверх.

— Вот дурища-то, — зашипела старшая. — Черт с ней, ее скоро выкинут.

Но человек, поймавший ее, не стал ее выкидывать, а столкнул пальцем в мох, проворчав:

— Полезай вниз, дождь идет, не видишь, что ли?

Она забралась в мох, и тут опять засветило солнце. Она посмотрела вверх — обе старшие лягушки вылезли из мха.

Лягушка, совершенно запутавшись, сказала себе:

— Я от этого совсем свихнусь. Чего они жарятся на солнце, если в сыром мху куда приятнее?

И тут обе закричали ей:

— Вылезай! Не видишь, что снова светит солнце? Не выйдет из тебя предсказательницы погоды.

Она даже не шелохнулась.

— Эта паршивка бастует, — сказали те двое и снова полезли в мох, потому что начался дождь.

А запутавшаяся лягушка, едва услышала стук капель, выкарабкалась наверх.

— Это девица без будущего, — раздались голоса внизу.

Они оказались правы. Когда нашу лягушку принесли на место, где ей предстояло предсказывать погоду, она лезла вверх, лишь когда поливали цветы. Когда же светило солнце, она пряталась в мох. В один прекрасный день она бежала из своей банки с лесенкой и выпрыгнула через окно в сад. Шел проливной дождь, она радостно вскарабкалась на самую верхушку липы, высоко-высоко, и над всей округой в шуме ливня прозвучало ее свободное:

— Ква-ак!

## Как Балушка научился врать



В одном Балушка превосходил своих одноклассников: в пламенном патриотизме. Конечно, товарищи его тоже были большими патриотами: они, как истые подскальские, пылали ненавистью к смиховским. Но ни один из них не защищал честь правобережной Влтавы с таким мужеством, как Балушка. Когда наступало время славных боев, происходивших ежегодно, как только Влтава замерзала и оба народа получали возможность сойтись, когда из улицы в улицу передавался клич: «Вали!» — Балушка крал ремешки от извозчичьих кнутов и мастерил пращи. Его пращи били дальше всех. Он всегда, набив карманы камнями, с ужасными угрозами и проклятиями бросался на смиховских, а затем, истощив запас снарядов, стремглав кидался, зажав в руке ремень с большою пряжкой, на испуганные толпы врагов.

Теперь шли в ход ремни. Сам Балушка как-то раз взял в плен пятерых смиховских, и подскальские повели их, ликуя, на свой берег, на свою подскальскую родину. Привели под конвоем к деревянному забору старого Подскалья и там, в сторонке, обыскали. Пленники шли ни живы ни мертвы, зная, что от страшного противника, предводительствуемого Балушкой, пощады не жди. Добычи особенной не было: рогатки, два-три четырехкрейцеровых перочинных ножика, вставка для пера, прилипающая к пальцам (значит, ценой в один крейцер), полсигареты, монета, три шурупа, гвозди, ремень и маленькие образки, полученные этими пай-мальчиками от законоучителя, прежде чем выступить после уроков в поход. Впрочем, они вовсе не считали, что эти образки ограждают от врага, а просто брали их с собой, рассчитывая выменять в районе военных действий на резинку или краски. Теперь все это у них отняли. Ограбленные, стояли они среди издевающихся врагов, с тоской ожидая порки, которая не заставила себя долго ждать. После экзекуции Балушка наслюнил чернильный карандаш, помазал слюной лбы пленников и вывел на лбу у каждого, со всевозможным старанием, почти неизгладимую надпись: «Смиховские — вонючки».

Потом им пришлось поцеловать подскальское знамя, сшитое из нижней юбки Балушкиной сестры (кража, обнаруженная в доме позже), после чего они получили возможность вернуться к своему народу под конвоем подскальских бойцов, которые по дороге не переставали их избивать. У моста они были отпущены и кинулись со всех ног мимо сборщика пошлины, а подскальские бойцы кричали им вслед:

— У них нет на мостовую пошлины, пан полицейский! Не пускайте их!

Смиховские обращались со своими пленниками не менее свирепо и тоже мучили их. Сам Балушка испытал это на себе, когда напоролся на неприятелей за Императорским лугом.

Они не знали его; это были просто мародеры — из тех, что тащатся по следам армии, сражаясь на свой страх и риск.

— Откуда? — грубо спросили они его.

Балушка мог бы выпутаться из этой переделки соврав; но он был герой, настоящий Муций Сцевола, и с ледяным спокойствием гордо ответил:

— Я подскальский, подлые смиховцы!

Подвергнутый унижениям, обысканный и обобранный до нитки, вернулся Балушка к своим.

У него даже рогатку отняли. Кто не имел рогатки, тот не поймет, какая это потеря.

Из рогатки можно стрелять в воробьев и в султаны полицейских. С нею охотятся на кошек, и, кроме того, ее можно в любой школе обменять по существующим ценам на большую картину, изображающую первое причастие, либо на целую серию образков наших святых патронов стоимостью в десять сигарет.

— Надо было соврать, — сказали ему товарищи, узнав от него, как было дело. — Ты дал маху, дурак. Говорил бы: «Я смиховский».

— Не умею я врать, — признался Балушка. — У меня и дома из-за этого неприятности. Недавно я взял у папы из письменного стола пятак. На меня напустились. Это ты взял, говорят. Вижу: дело плохо. Пришлось штаны снимать. И вчера тоже сознался, что последнюю булку съел, которую дедушке оставили.

— Надо научиться, — сказал долговязый Витек, — Сперва у меня тоже всегда был такой дурацкий вид и кровь в лицо бросалась — сразу можно было догадаться. А теперь вру, глазом не моргнув. Что дома ни разобью, все на сестру сваливаю — ну ей и всыплют, дуре этой. Нанке; а она ходит, ревет.

— Да у меня не выходит, — возразил Балушка. — Начну сейчас же запиняться и запутаюсь либо такую понесу околесицу, что они говорят: ты, мол, спятил. Раз нечаянно тюфяк поджег, а папе сказал, будто это мама.

Многоопытный Витек задумался.

— Не горюй. Попадешь по-настоящему в скверную историю — научишься.

Наступила весна.

Лед растаял, и оба народа лишились возможности сходиться и продолжать военные действия; поэтому подскальские, чтобы не сидеть без дела, выступили против родных своих братьев подоляков.

Балушка опять попал в плен, опять признался противнику, что он подскальский, и опять поплатился за это.

Отец Балушки держал трактир у реки. В один прекрасный день, когда так ясно светило солнышко и подскальские засели на скалах над Вышеградом, чтобы захватить врасплох подоляков, Балушка, печальный, пошел в Прагу, куда отец послал его за колбасками для трактира.

Душой он был с соратниками. Возвращаясь со свертком колбасок в руках, он заметил в узком переулке между заборами какого-то мальчишку, который

нахально свистел.

Догнав дерзкого, он обнаружил, что это парень с Завадилки на Подоле. То есть ярый враг. Уловив в глазах Балужки угрозу, подольский лазутчик скорчил представителю коренного населения рожу и пустился было наутек. Но Балужка, толкнув его с криком: «Чего толкаешься?» — тут же вступил с ним в единоборство.

Сверток с колбасками упал на землю, раскрылся, и оттуда выкатились две отличные колбаски; Балужка, занятый боем, не успел поднять; он увидел только, как из калитки выбежала собака, схватила их и, радостно махая хвостом, побежала по направлению к Эмаузскому монастырю.

Балужка оставил противника, поднял сверток и побежал за собакой. Но куда там — поминай как звали! А когда он наконец догнал ее, она только удовлетворенно облизывалась.

Балужка вернулся домой совсем расстроенный и принялся усердно развешивать связки колбасок возле буфетной стойки.

— Ты все принес? — спросил отец и аккуратно пересчитал колбаски. — Двух не хватает, — сухо промолвил он и кивнул Балужке: — Идем из комнаты.

Балужка последовал за отцом, окончательно упав духом и на ходу отстегивая штаны.

— Нет, нет, милый. Скажи сперва, зачем ты их съел?

— Я не ел.

— А кто же?

— Собака.

— Не ври.

— Собака съела, когда они высыпались, — захныкал Балужка.

— Так ты научился врать! — закричал отец. — Мать, пойдика сюда, послушай, что этот мальчишка плетет. Я тебе всегда говорил: не пробуй врать. А раз начал выдумывать, я тебя проучу. Ты у меня сознаешься. Будешь стоять на коленях на горохе, пока не отучишься врать!

И Балужка стоял на коленях. Он чувствовал каждую горошину. А напротив сидела мать и читала «Святого Войтеха».

Время от времени она поднимала глаза на Балужку и спрашивала:

— Ты съел?

— Нет.

Когда в трактире никого не было, приходил отец и спрашивал:

— Говори правду! Ты съел?

И Балужка каждый раз отвечал со слезами:

— Нет.

Наступил вечер, подали ужин, а Балужка все стоял на коленях и по-прежнему отвечал на роковой вопрос:

— Нет.

Колбаса с кнедликом так вкусно пахнет, а Балужка все стоит коленями на горохе. Наконец он не выдержал: только дождаться бы, когда спросят опять.

И тут очень кстати отец объявил:

— Последний раз говорю: не ври. Ты съел?

— Я, — ответил Балужка, не краснея.

— Ну так и быть, снимай штаны, — благодушно промолвил отец, и Балужка поспешил радостно лечь на ласковое отцовское колено.

Вслед за чем получил колбасу с кнедликом.

А потом, ложась в постель после перенесенной порки и глядя на образ ангела-хранителя у изголовья, он прошептал:

— Слава богу, теперь я умею врать!

## О курочке-идеалистке

Такая уж она была, эта курица. Бродит, например, по огороду, найдет небольшой круглый камешек и тотчас усядется на него, воображая, будто высидит цыпленка.

Сколько ей доставалось за это от остальных кур и черного петуха! Они называли ее пустоголовой тупицей, а то и дурой, и в конце концов петух прямо в глаза обозвал ее идеалисткой.

Она возразила, что это никого не касается, и слонялась по двору до тех пор, пока не набрела на глиняный шарик, которым играли мальчишки. Усевшись на него, она предалась мечтам о том, какой чудненький цыпленок из него вылупится.

Цыплята постарше, известные хулиганы, ходили вокруг да посмеивались. Одна маленькая цыпка, уродливая хромоножка, притом весьма ехидная, пискнула и тоже уселась на камешек, передразнивая ее и высмеивая.

Явился черный петух и навел порядок. Он оттрепал цыпленка, а заодно и курицу-идеалистку, после чего произнес речь, в которой решительно осудил молодежь.

— Что из тебя, милочка, получится? — сказал он маленькой нахалке. — Что из тебя получится, когда ты вырастешь? Начнешь сплетничать, злословить, петухи станут драть из тебя перья, и ты превратишься в общипанную курицу. А потом тебя поймают и зажарят. — А вы, — обратился он к идеалистке, — бросьте наконец свои глупости! Ведь над вами все смеются да потешаются. На чем только вы не сидели, собираясь вывести цыплят — на подставке для снятия сапог, на шапке нашего хозяина, на сливе, черешне, наперстке, который потеряла наша барышня. Таким образом вы попусту обкрадывали себя, лишая истинного удовольствия сидеть на настоящих яйцах. Да отдаете ли вы себе отчет в том, что вы вообще не несетесь? Мы вас давно раскусили. Стоит только появиться хозяйке, вы так и норовите усесться на чужое яйцо, снесенное другой курицей; стоняете ее и выхваляете на чужом. Вы соображаете, что, спятив, высиживали дохлую мышь? А в другой раз — муравьиную кучу. И что вам за радость от этого? В результате хозяйка смекнет, что вы никуда не годитесь, все только хитрите, тут вам и крышка! Вас зарежут, как моих покойных жен, когда те перестали нестись! При всей своей духовной ограниченности вы ужасно бесстыжи. Стоит какой-нибудь из моих нынешних жен снести яйцо, вы тут как тут, начинаете кудахтать и усаживаетесь на него, чтобы хозяйка подумала, будто это ваша работа, негодяйка! Вы несносны! Мне противно и ваше кокетство. Засунете свой клюв в перья, нахохлитесь, строите мне глазки и думаете: «Ну, этого дуралея я в два счета обольщу!» Только я вас раскусил. Вы куриных клещей ловите. Не хватало мне завести с вами знакомство да набраться их от вас, хитрая bestия! Чтобы вы потом смеялись надо мной, когда мне пришлось бы их выклевывать! Знаю я вас, дорогуша! Мало того что вы лицемерка, вы к тому ж еще идеалистка. Но барышня вас выведет на чистую воду! Тогда мы будем бродить вокруг кухни, а вы, дорогуша, красоваться

на противне. Куры спросят: «Кто это там так аппетитно пахнет?» А я скажу: «Да помните, та самая психопатка!» Впрочем, что толку в предупреждениях? Вам даже наказания не впрок. Прошлый раз, когда вы намеревались высидеть, милая моя кривляка, майского жука, я до крови издолбал вам голову. Но вас, что хвали, что срами — все едино! Бродите, точно глупая овца, и вдруг ни с того ни с сего усядетесь на козьи горошки и шепчете про себя: «Ах, дорогие мои цыплятки, золотые мои детки!» Знаете, кто вы такая? Пустоголовая неисправимая идеалистка!

Получив нахлобучку, курица убежала в огород, клевала там что-то и плакала. Она давала себе обещание исправиться, чтобы черный петух полюбил ее. Ведь он такой красивый и не боится соседской кошки. Весь черный-черный, и до того красиво кукарекает!

Только было она утвердилась в своем намерении, как к ней подошел белый каплун и спросил, не знает ли она, когда режут каплунов. Она ответила: не раньше чем через месяц, и тот заявил, что его это радует. Так они разговорились, и каплун поведал ей о своих странностях: иногда он кажется себе наседкой. Прошлый раз, давно уж это было, взлетел он на подоконник в ближайшем трактире и увидел на бильярде шары. Он перелетел на бильярд и уселся на них с намерением высидеть цыплят. При этом он испачкал бильярд и теперь не может там появиться и клевать под столом крошки.

Каплун, открыв ей свою душу, ушел, и курица осталась одна. От всех ее благих намерений не осталось и следа. Она знала эти бильярдные шары. Такие прекрасные яички! Одно красное, одно белое и одно с точкой. И она пыталась уже их высидывать, но ее всякий раз сгоняли.

Понурившись, она побрела обратно во двор, и ее маленькая головка была полна несбыточными мечтами. Она шептала: «Дорогие мои цыплятки!»

\* \* \*

Наконец она взлетела на забор против открытого окна чулана и осмотрелась. И что же? В чулане на столе стоит корзинка, а в ней настоящие яйца. Да какие красивые! Желтые, красные, синие, зеленые. А некоторые даже с рисунками. Черные, красные и синие рисунки по желтому полю.

«Из них вылупятся красивые цыплята, — подумала она, — такие красивые, каких еще мир не видывал. — Высижу их, — радостно сказала она себе, — а когда они вылупятся, поведу этих потрясающих цыплят к черному петуху и скажу: «Вот вам, милостивый государь, извольте видеть, вовсе я не кривляка, как вы выразились, и не дура! Все это полчище цыплят, с вашего позволения, моя работа!»

И курица-идеалистка, тяжело взлетев, уселась на крашенные яйца в чулане, на крашенные яйца, сваренные вкрутую. Неисправимая идеалистка!

\* \* \*

Когда ее обнаружили, она топорила перья и клевала барышню, которая пыталась ее согнать.

Молодой хозяин рассердился и заявил:

— Я уже давно наблюдаю за ее фортелями. Завтра пасха, приедут гости, зажарим-ка мы ее.

Бедная курица-идеалистка! На другой день, обгладывая ее ножку, молодой хозяин сказал сестре:

— Наседка из нее, возможно, была бы отличная, а вот мясо у нее жесткова-

то.

И сказал он это в ту самую минуту, когда черный петух со слезами на глазах толковал возле кухни курам:

— Ну что я ей говорил? Теперь вон какой от нее аромат.

## Доброе намерение отца бедняков

Прошлое у этого отца убогих и обиженных было богато событиями. Начиная свою деятельность артельщиком на постройке железной дороги в Галиции и так удачно ободрал рабочую «братию», что смог купить себе в родном городе большой дом.

Приобретя дом, он стал скупать закладные у бедных людей. Не брезгал краденными вещами.

Блестяще делал всякие фокусы с картами. Отправляясь играть, всегда клал в карман запасную колоду.

Короче говоря, человек он был идеальный и везучий. Однажды крестьянин, у которого он выиграл пять голов скота, стрелял в него. Но пуля застряла в картах, лежавших в нагрудном кармане.

Его судили за соучастие в краже — он купил какие-то мешки с мукой. Выиграл он от этого вдвойне: во-первых, заработал денежки, а во-вторых, в определенных кругах стало известно, что он покупает... ворованное.

Богатство его все росло, и он ждал, когда же за свои заслуги станет человеком повсеместно уважаемым.

И действительно, как было приятно и радостно увидеть его среди советников в городском правлении! Первым делом он продал общинные угодья, на которые зарился уже давно. Затем сам же их купил и сделался почетным гражданином.

При распродаже имущества разорившейся фирмы он выгодно приобрел большую партию четок, имитированных под фишты, и одарил ими всех учеников городских школ. Милосердие его было беспредельно. Так, он заказал, чтобы сиротскому дому поставили воду из чудодейственного источника. Пятеро сирот заболели от нее тифом. Неприятный сюрприз! К счастью, хворали они недолго...

Он частенько ходил в гости к приходскому священнику, где надирался до звериного образа, зато потом спешил делать добрые дела и швырял деньгами, о чем свидетельствует, например, обыкновенная повестка из суда:

*«Дня 12-го июня решением суда вас обязали платить алименты несовершеннолетней Анне Краткой, посему напоминаем. чтобы до истечения восьми дней указанную в приговоре сумму Вы внесли в окружной суд».*

Нельзя обойти этот факт, поскольку речь шла о бедных служанках в его доме, на которых он, невзирая на их бедность, обратил свое благосклонное внимание.

Жизнь его представляла собой цепь занимательных историй, которые, однако, не все стали достоянием общественности, поскольку время от времени судебные разбирательства проходили при закрытых дверях. Но безупречному мужу неизменно везло, — небеса покровительствовали даже в этих случаях. За это на церковных торжествах он всегда носил святые хоругви.

Он все толстел и толстел и наконец после одного заседания муниципалитета прикрепил на дверях своего дома красивую табличку, где каждый мог прочесть:

**ФРАНТИШЕК ПАВЕЛ КОНЕЧНЫЙ**  
**ОТЕЦ БЕДНЯКОВ**

О его новом титуле объявила местная газета, и он, идя в тот день по улице, отчетливо услышал:

— Видали его, этот шаромыга заделался отцом бедняков.

Он заказал новую табличку и тоже повесил на двери.

Теперь это выглядело так:

**ФРАНТИШЕК ПАВЕЛ КОНЕЧНЫЙ**  
**ОТЕЦ БЕДНЯКОВ**

*Нищим не подаю. Вношу в фонд помощи местной бедноте*

Он действительно вносил по десять крон в год. Трех таких взносов как раз хватало супруге попечителя богоугодных заведений на страусиное перо к шляпе.

Он так сжился со своим новым титулом, засвидетельствованным на дверной табличке, что, когда к нему случайно забрел нищий, он его с полным основанием как следует обругал. Это его очень забавляло и даже начало нравиться, как своего рода спорт.

Но вот при каких обстоятельствах с ним произошла серьезная внутренняя перемена.

Старуха Ваничкова, собиравшая по домам ветошь, шла как-то мимо пруда, где катался на льду его двенадцатилетний сын. Лед проломился, но ветошница сына спасла.

Она привела мальчишку домой, и отец дал ей двадцать крейцеров и кружку кофе.

«Для этой старухи, — сказал он себе поразмыслив, — я должен что-то сделать».

— Слушайте, женщина, — сказал он ей. — Если понадобится чего — приходите.

«Сделаю благое дело, — думал он. — От одного доброго поступка уж как-нибудь не обнищаю. Куплю ей на зиму теплую обувь или теплую юбку».

На другой день он решил, что не стоит торопиться с покупкой. А ежели Ваничкова придет и сама чего попросит, тогда видно будет.

Но бабка не показывалась у него три года.

«До чего противная бабка, — подумал он. — Ходит мимо, и ничего-то ей не нужно, а у меня как раз такое доброе намерение помочь ей. Ладно, посмотрим, чья возьмет, — она еще приползет ко мне на коленях».

Прошли четыре года, и ничего, совсем ничего. Сколько раз видел он ее из окна на улице, а к нему наверх она не поднималась.

«Ишь, хвост задирает, — говорил он себе. — Мне ее просто жаль. У меня такое доброе намерение помочь ей, а она ходит, задрав хвост, и ко мне — ни ногой».

Пять лет прошло. Бабка не идет.

«Ну, погоди, — решил он наконец. — Придешь как миленькая, приползешь. Я тебе задам копоты, и поглядим тогда, чья возьмет».

И он дождался. Она пришла к нему, согнувшись в поклоне, и приниженно попросила:

— Милостивый государь, уж как бы я хотела, чтоб меня взяли в нашу богадельню.

Он с торжествующим видом сидел на стуле и, глядя на нее, радостно воскликнул:

— Ну вот, дождался-таки я, что приползете ко мне на коленях. Пять лет ждал, а вы заявляетесь, когда уж смертушка у вас на носу. Нет, бабулечка, ничего не получится.

Она заплакала, а он взревел грозным голосом:

— Подите прочь, чтоб духу вашего тут не было.

После ее ухода он сел на диван и сказал:

— Вот народ, испортит тебе самые лучшие намерения. И закурил сигару, не переставая повторять: «До чего ж все-таки противная баба!»

## Благотворительное заведение

Супруга всем хорошо известного городского советника, члена магистрата Курки в который уже раз завела разговор о создании благотворительного заведения. Это был ее пунктик: супруга советника спала и видела себя председательницей этого заведения.

Советник Курка, примостившись на диване, курил сигару и слушал жену вполуха.

Она уже порядком допекла его своими разговорами.

— ...надену белый фартучек, стану за всем присматривать. День будем варить суп гороховый, на другой — картофельный, на третий — чесночную похлебку... А ты, как лицо влиятельное, должен истребовать у магистрата, чтоб нам отвели помещение...

«Болтай себе сколько влезет», — подумал советник Курка, перевернулся на другой бок и закрыл глаза.

Но жена не унималась. Присев к нему на диван, она завела снова:

— Ты должен меня поддержать, обратись ко всем коллегам. Нам ведь необходима материальная поддержка, потому что на одних пожертвованиях далеко не уедешь. Не тратиться же мне самой на эту голытьбу. Горох нынче подорожал, а чтобы картофельный суп был вкусным...

— Не обязательно вкусный, — с тоской в голосе ответил Курка, — ну зачем непременно вкусный? Вполне достаточно, чтобы был горячий.

— Нет, в первые дни суп непременно должен быть хороший, я же ведь приглашу приятельниц. Да и кое-кто из чиновников, из начальства заявится, зачерпнут ложечку-другую и стрескают по миске. На мне будет белый фартук, обшитый кружевами, и черное платье. Я велю сфотографировать меня посреди кухни, а фотографию пошлем в какой-нибудь журнал. Это будет изумительно, все приятельницы станут мне завидовать».

Курка слез с дивана, оделся и вышел из дому, чтобы больше не слышать всего этого.

Так повторялось изо дня в день, хотя он очень любил соснуть после обеда. Однако стоило ему прилечь, как супруга заводила свою песню.

Советник Курка охотно пошел бы ей навстречу, но, как только он начинал в совете об этом разговор, на него тотчас же накидывались, заявляя, что общи-

на не может выделить средств на благотворительное заведение, ибо именно сейчас начато строительство церкви. Дети бедняков обойдутся и без дарового супа.

Советник Курка сказал было, что на этом зиждется любовь к ближнему, но тут вдруг поднялся мясник Смрчка и, ухмыляясь во весь рот, заявил, обращаясь к нему:

— Карличек, мы-то знаем тебя не первый день!

Действительно все хорошо знали, что у него в первую очередь деньги, а потом уже любовь к ближнему.

Выкинув на улицу очередного квартиранта, он с неизменным юмором рассказывал потом в винном погребе:

— Вы бы поглядели, как их барахло летело на мостовую! Смех, да и только. Я наблюдаю из окна, а баба его грозитя мне:

— Господь бог вас еще покарает!

Не успела договорить, как полил дождь. Хлещет по их перинам, она и прикусила язык. Вот как с ними надо!

Да, его все хорошо знали, и посему тяжеленько было ему обременять свою фантазию идеями любви к ближнему. Но жена все зудела и зудела, и он, обозлившись, решил наконец покончить с этим. На ближайшем собрании Курка снова поднял вопрос и, в ответ на язвительную реплику «У него, мол, такое доброе сердце!» — обозлившись, воскликнул:

— Я открою харчевню на свои деньги!

И свое слово сдержал. Вскоре он расклеил обращение за подписью супруги с призывом жертвовать на благотворительное заведение, которое они с супругой учреждают. Жертвовали щедро, никто не хотел отставать, ибо в обращении было указано, что имена дарителей и размер внесенных сумм будут опубликованы в местной газете.

Итак, главной заботой оставалось, где разместить это заведение.

В конце концов советник магистрата Курка остановился на прачечной в своем собственном доме. Он велел ее побелить, а в котле, где кипятили белье, впредь варить суп для бедных школьников.

Наконец-то исполнилась мечта госпожи советницы.

На ней были белый фартучек и черное платье, так она сфотографировалась.

Пришли приятельницы и отведали супа. Явился сам окружной начальник, и дальше все произошло именно так, как она предполагала: он взял ложку, зачерпнул супа и съел.

Двадцать детей, рассаженных на лавках вокруг длинного деревянного стола, ожидали знака, чтобы приняться за суп. Но время тянулось долго и мучительно, ибо советник Курка не смог отказать себе в удовольствии поговорить о любви к ближнему, хотя всем было ясно, что он лицемерит; советник Курка метал на детей ненавидящие взгляды, обнаружив на лестнице комья грязи.

У входа в цветочных горшках стояли два лавра, пан Курка незаметно сплюнул туда и стал ждать, что скажет окружное начальство.

Тот был растроган и, зачерпнув еще одну ложку супа, обратился к детям, сказав что-то о родине и о боге, хотя это никакого отношения к картофельной похлебке не имело.

После того как окружной начальник опорожнил бокал дешевого поддель-

ного шампанского, все удалились со скорбными лицами, будто возвращались с похорон.

Дети ели, за ними присматривала старая служанка (госпожа советница ушла к себе наверх) и то и дело кричала:

— Да разве вы того заслуживаете, ублюдки! Если прольете хоть каплю, получите по шее! И чего вас не утопили, как котят, когда вы на свет появились, по крайности людей не обременяли б!

Она была страшно зла на этих бледных детей, которые стучали ложками об алюминиевые миски и с жадностью набивали рот хлебом.

Сколько посуды придется перемыть!

Так продолжалось целую неделю. Дамочки, если у них не было других дел, заходили поглядеть на маленьких нахлебников благотворительного заведения, а те боялись шевельнуться и сидели, тупо уставясь в свои миски.

Новым инвентарем сего благотворительного заведения была розга. Она стояла в углу.

Поев супа, дети творили благодарственную молитву, некоторые плакали, потому что старая служанка охаживала их розгой, а они целовали ей руку, чего та настоятельно требовала.

Через две недели по городу поползли слухи, что Курки воруют. Передавали, что на пожертвования они купили себе новые портьеры.

Дамочки, забежавшие выяснить что да как, объявили, что суп в этом заведении — сплошная вода.

— Теперь все понятно, — шушукались в городе, — ясно, откуда такая любовь к ближнему! Оказывается, все дело в портьерах!

Оппозиция пошла еще дальше, было высказано мнение, будто Курки основательно нажились на супе для бедных детей.

Как-то однажды советник Курка явился днем из винного погребка, и вид его свидетельствовал о том, что стряслось нечто весьма серьезное. Сегодня в погребке ему с полной ответственностью заявили:

— Вы кормите деток не за «спасибо»!

Советник Курка ворвался в прачечную, словно разъяренный медведь, схватил первого попавшегося школьника, сорвал со скамьи, вытащил на улицу, поставил на тротуар и вернулся за другими. Под страшный рев перепуганных детей он таскал их еще минут десять, пока не вытащил на улицу всех. После чего крикнул пану аптекарю из оппозиции, уже стоявшему в толпе любопытных:

— А теперь кормите их сами!

И бегом поспешил наверх, к себе домой, где рыдала его жена. На лестнице он столкнулся с почтальоном. Выхватив у него иллюстрированный журнал, рывком распечатал и на первой странице увидел портрет своей жены, с такой подписью: «Известная чешская благотворительница пани Анна Куркова».

Он вздохнул, подошел к кассе с пожертвованиями, выгреб все деньги, сунул их в карман и с горя отправился в Прагу поразвлечься.

## Хулиганство библиотекаря Чабоуна

Я уверен, что и вас, читатель, иногда ругали и поносили ни с того ни с сего. Утром вы выходите из дома в твердой уверенности, что вы самый порядочный человек на свете, и вдруг вас встречает нищий, бросает под ноги поданный вами геллер и кричит вслед:

— Шаромыжник!

Таким образом, вы с утра узнаете, что являетесь шаромыжником, а к обеде — еще и свиньей. Об этом вам сообщает пожилая дама в трамвае, которой вы наступили на ногу. После этих двух инцидентов вы утрачиваете веселое настроение и, возвращаясь домой, сталкиваетесь в дверях с мужчиной, который несет сверток с чем-то твердым. Со всего размаха он так ударяет вас этим свертком, что вы едва переводите дух, и говорит:

— Какая скотина, не посторонится вовремя!

Вы хотите что-то сказать в свое оправдание, но господин кладет сверток на землю, и вы предпочитаете благоразумно ретироваться, чтобы не делать ваших дорогих соседей свидетелями дальнейших событий.

Таким образом, еще утром вы думали о себе как о самом идеальном человеке на свете, а к вечеру возвращаетесь домой, став шаромыжником и скотиной.

Однако с Франтишекком Чабоуном таких случаев еще не бывало. Его еще никто в жизни не ругал. Он был человек весьма солидный и порядочный, служивший прежде библиотекарем у одного князя. Он был весь пропитан идеями гуманизма, которые почерпнул, расставляя в библиотеке книги средневековых гуманистов, а звонкие латинские стихи воспитали его таким изысканным и вежливым, что свой разговор он постоянно пересыпал выражениями: «Вы изволите», «Будьте любезны разрешить», «Покорнейше прошу». При этом он очень любил цветы, и фуксии, цветущие на его окне, привлекали внимание прохожих.

В один прекрасный день, когда он поливал свои цветы, по несчастной случайности солнечный луч так защекотал ему в носу, что он чихнул. При этом лейка дрогнула у него в руке, как при землетрясении, и часть ее содержимого вылилась вниз, на тротуар. Он испуганно посмотрел за занавески и увидел, как на тротуаре господин с большой черной бородой стряхивал капли воды со своего сюртука и кричал:

— Это называется хулиганством!

— Конечно, это хулиганство! — ответил другой голос.

Франтишек Чабоун весь затрясся и на носках отошел от окна, разделся, запер в сундук свою лейку и лег в постель, хотя на дворе стояла прекрасная погода.

— Так, значит, я хулиган, — корил он сам себя, лежа в постели. — На старости лет стал хулиганом — я, который был всегда порядочным, таким интеллигентным человеком. — Он закрыл глаза и снова услышал громкий голос:

— Это называется хулиганством.

Первый раз в жизни его выругали. Голова у него кружилась, и, когда настал вечер, он сел за стол и стал писать письмо за письмом. На другой день редакции всех пражских газет получили следующее заявление Франтишека Чабоуна:

*«Уважаемая редакция!*

*13 интересах своей чести я прошу, чтобы моему письму было уделено маленькое место на страницах Вашей газеты. Я вынужден осветить одно событие, которое произошло вчера, после обеда, около четырех часов, по Кармелитской улице. Я являюсь страстным любителем фуксий, и вчера, поливая их, неосторожно чихнул, выплеснув немного воды на человека с черной бородой, проходившего мимо дома. Это несчастное событие по ошибке было названо хулиганством. Я уже пожилой человек, бывший княжеский библиотекарь, и общественное мнение, конечно, признает, что я не стану нарочно выливать воду из окна на прохожих. Никогда в своей жизни я не делал глупых шуток и совершенно далек от того, чтобы кого-либо поливать водой. Я надеюсь, что уважаемая редакция поместит мое письмо, и, заранее принося благодарность, пребываю в совершенном уважении княжеский библиотекарь в отставке  
Чабоун Франтишек».*

В редакциях сотрудники, показывая себе на лоб, говорили:

— У него не все в порядке, мания преследования.

Когда Чабоун убедился в том, что его письмо не напечатала ни одна редакция, он упал духом и думал только о том, как бы объясниться с общественностью по поводу своего поступка. С этой целью он напечатал во всех газетах следующее объявление:

*«Господина, которого в четверг 15 октября ошибочно облили водой, почтительно просят с целью ближайшего знакомства прийти на Кармелитскую улицу, дом 27.  
Франтишек Чабоун, библиотекарь».*

Однако никто не пришел. Результатом этого объявления было анонимное письмо следующего содержания:

«Теперь я вижу, какой вы хулиган, если позволяете себе такие шутки».

«Где бы мне встретить этого человека? — огорченно вздыхал Чабоун. — Вот было бы хорошо, я бы все ему искренне рассказал и очистил душу».

Время шло, но этот инцидент не выходил из его головы. Наконец он не удержался, пришел к дворничихе и спросил:

— Скажите, правда я хулиган?

— Что вы, сударь! — воскликнула она. — Вы такой добрый и образованный человек!

Он вернулся домой успокоенный и почувствовал облегчение. Слова дворничихи так на него подействовали, что он после продолжительного перерыва снова пошел поливать свои фуксии.

И тут он увидел на тротуаре господина с черной бородой.

— Будьте любезны! Разрешите! — кричал он радостно вниз, надеясь наконец-то объясниться.

Господин с черной бородой продолжал шагать дальше, не обращая на него никакого внимания. Франтишек Чабоун, не переодевшись, рванулся к двери и сбежал по лестнице на улицу. В рубашке, в брюках, с лейкой.

Он выбежал из ворот и с криком: «Позвольте, я вас облил!» — бросился догонять господина с черной бородой.

Господин приостановился, но, увидев запыхавшегося Чабоуна с лейкой в руке, подумал: «О господи, он снова хочет облить меня водой!»

И бросился бежать, а Чабоун за ним с криком: «Будьте любезны, разрешите!..»

На углу стоял полицейский, и господин с черной бородой спрятался за ним, как цыпленок у наседки. Франтишек Чабоун с разбегу налетел на полицейского и вылил содержимое лейки на мундир блюстителя порядка. На другой день во всех газетах появилось, следующее сообщение:

**«ХУЛИГАНСТВО ПАНА ЧАБОУНА**

*На Кармелитской улице, дом 27, живет библиотекарь Франтишек Чабоун, который забавляется тем, что обливает из окна проходящую мимо публику. Так, вчера он намеревался облить городского советника, д-ра Вольнера, которого однажды уже облил. Когда вмешался полицейский, он облил также и полицейского. Чабоуна удалось задержать и доставить в полицейский комиссариат, откуда он после допроса был отпущен».*

С тех пор Франтишек Чабоун стал совершенным отшельником и в один прекрасный день начал выбрасывать из окна на тротуар фуксии.

Теперь он работает в Богнице на огороде. Поливает грядки.

## **В венгерском парламенте**

**Председатель граф Тиса.** Открываю сегодняшнее заседание и, как всегда, приказываю изгнать оппозицию!

(75 депутатов изгнаны из зала. Последний из них вежливо кричит: «Мое почтение!» и отстреливает Тисе левое ухо. Тиса воспринимает это с полным безразличием и кладет ухо как закладку в книгу.)

Наш венгерский парламент — лучший в мире!

(Голоса: «Ого!»)

Вышвырните этого парня вон!

(29 депутатов выволочены из зала. Несколько чернильниц летят Тисе в голову. Граф высушивает промокашкой чернильные потеки на лице.)

Наш парламент — очень мудрый парламент!

(Крики: «Но, но!»)

Вышвырните этого парня вон!

(Последние депутаты затравлены собаками.)

Наш парламент необыкновенный, очень благородный, он гораздо лучше австрийского!

— Вышвырните этого парня вон! — граф по привычке повторил свое любимое приказание.

Слуги сначала остолбенели, потому что Тиса остался в зале единственным. Но они привыкли беспрекословно, без колебаний исполнять все его приказания, поэтому граф был схвачен и выброшен в коридор. Когда Тиса пролетал через дверь, у него еще хватило присутствия духа, чтобы воскликнуть:

— На этом закрываю заседание!

## Кобыла Джама

Она звалась Джама и сама о себе не ведала, то ли она скаковая, то ли нет. Старик капитан, бывший ее хозяин, говаривал, однако, дескать, скаковая, потому как однажды перескочила через барабанщика и помчалась вперед, оставив изумленный полк далеко за собой и унося на себе толстого майора, который с испугу все перепутал и призывал всех, кого встретил по дороге во время этой скачки, в том числе и молочницу с тележкой: «Вперед, ребята!»

Джама влетела с ним в кукольный балаган, где майор, уже совершенно ополоумев, свалился и порубал саблей занавес вместе с чертом и Петрушкой. Сбежавшиеся деревенские жители не сразу совладали с ним, и, пока его урезонивали, Джама, как ни в чем не бывало, паслась за руинами балагана, словно пощипать молодой травки было пределом ее мечтаний.

После этого происшествия майор вскорости ушел в отставку и продал Джаму. Ее купил наездник из маленького цирка, который как раз потерял своего коня, как он утверждал, по несчастной случайности. На самом же деле он его продал в какой-то деревне, чтоб было на что играть в карты.

Майор в сердцах сбыл Джаму задешево. Чтобы отомстить ей, он задумал продать ее в плохие руки.

Но наш наездник оказался неплохим человеком. Дрессировку он начал с сахара. Джама жрала сахар, будто сено, так что наездника оторопь брала. Она научилась обшаривать карманы, и ее не пугала даже полицейская униформа. Как-то она принялась обыскивать мундир жандармского вахмистра и, когда он уже лежал на земле, принялась его переворачивать, чтобы забраться в брючный карман, руководимая убеждением, что у такого красивого господина в такой блестящей униформе, который сначала так дружелюбно гладил ее по шее, должен в каком-нибудь из карманов быть сахар.

Мало того, поскольку дело было в храмовый праздник, то она, подойдя к лотку со сладостями, засунула морду в большой ящик рахат-лукума. А распробовав, начала вылизывать лакомство и из чистого озорства повернулась задом к лотку и взбрыкнула. Суджуки, снеженки, шоколад, лепешки и прочие радости юношества рассыпались и взлетели ввысь, а она победно заржала и плывущим шагом направилась к цирковому фургону, перед которым лежал на животе ее хозяин и плакал. Горько плакал — что ему еще оставалось делать?

Ей стало жалко его. Она наклонилась к нему и схватила своими здоровеными зубами за куртку, чтобы поставить на ноги, но куртка разорвалась пополам, и наездник ткнулся носом в землю. Это было одной из причин, заставивших его, когда он разглядывал в треснувшем карманном зеркальце свой распухший нос, сказать с холодной жестокостью:

— Добро, продам ее мяснику.

Утром он отправился на ней в город, и там она продолжала свои фокусы и перепрыгнула с наездником через какой-то автомобиль.

К изумлению наездника, автомобиль их догнал, и мужчина, сидевший за рулем, начал разговор, из которого наш циркач уразумел, что тот, через кого они перепрыгнули, — владелец большого цирка-варьете.

— Группа ковбоев, один разбился, упав с лошади, ангажирую вас! — услышал наездник.

В городе подписали договор. На первом выступлении после месяца дресси-

ровки она должна была под револьверную пальбу мчаться с другими лошадьми по манежу к входу в цирк и обратно.

Джама с наездником была впереди, но не повернула у входа, а вылетела из цирка и понеслась по дороге, потом через какое-то поле, вон из города, а когда, сделав круг в несколько километров, вернулась в цирк, представление закончилось и ангажемент вместе с ним.

На следующее же утро циркач продал ее мяснику. Когда Джаму повели на убой, где-то граммофон заиграл марш. Джама запрядала ушами и пошла навстречу смерти осужденных кляч маршевым шагом, демонстрируя высокую школу.

— Гляди-ка, вот это талант! — воскликнул мясник и вместо бойни отвел ее домой и продал мне.

Теперь на Джаме езжу я. Она имеет обыкновение, когда я еду через Стромовку, круга не делать. Величественным шагом сходит с дороги, выделенной лошадям и мне, переходит на другую сторону к стоянке лошадей и поворачивает вместе со мной к ресторации. Делает она это в том случае, если увидит, что какой-либо посетитель, сидящий с края, еще не положил сахар в кофе. Опрокинув на него кофе, Джама съедает сахар. Я бессилен воспрепятствовать этому. Стоит только мне выразить протест, как она взбрыкивает и начинает лягать детские коляски.

Любит бублики, и все бубличники Стромовки обходят ее стороной. Но если Джама решит, что пора домой, ее ничто не задержит. А что, если она вспомнит, как носилась с майором или наездником! Так вот, недавно она умчала меня вместо дома в Кралупы.

Я ей благодарен за это. Ведь в Кралупах до этого я еще не бывал.

## Надьканижа и Кёрменд

Если вы хотите, путешествуя по чужим краям, составить себе о них полное впечатление, вам необходимо обладать изрядной долей любопытства. Ленивый и равнодушный турист привезет домой лишь самые поверхностные представления об увиденном. Будучи любознательным, вы к тому же сэкономите свою злость, не расходуя ее попусту на докучливых аборигенов, которые во что бы то ни стало стремятся провести вас по городу.

В этом лишний раз убедится любой, посетивший венгерский город Надьканижу, что неподалеку от озера Балатон, и столкнувшийся там с Арпадом Кичибазаном.

Надьканижа была последним оплотом турецкого пашалыка в Венгрии. Отсюда турки вывозили христиан для продажи в рабство, тут было что-то вроде главного хранилища христианских рабов. В наши дни Надьканижа экспортирует пиво в страны Ближнего Востока и в Египет. Еще тут изготавливают всевозможные поддельные вина и гонят из слив коньяк, бутылки которого с небывалой беззастенчивостью снабжают французскими этикетками. Кандидат от народной партии граф Геза, провалившись на выборах, назвал Надьканижу бесовственным городом. В тюрьме словацкого города Илавы, где собирается самое избранное общество земли короны святого Стефана, 33 процента ее обитателей на вопрос, откуда они родом, без сомнения, ответят: из Надьканижи — «Большой Канижи».

Здесь, в маленьком домишке у старых городских ворот, что выходят на дорогу к Кёрменду, родился и знаменитый венгерский разбойник Бела Шаваню, известный также под кличкой Кислый Йожка. Когда его наконец поймали, он выразил последнее желание — быть повешенным в родном городе. Просьбу уважили. На казнь Йожки сошлись его почитатели со всей округи и обчистили добрую половину города.

Известны слова, сказанные им перед смертью: он был озабочен, выдержит ли виселица, не упадет ли, — чтоб ему не повредиться.

Не сомневаюсь, что в архивах пражской полиции есть фотографии известных международных аферистов Зебари и Радмёра. Оба они тоже из Надьканижи.

Что городу этому испокон веку не везло, можно заключить хотя бы из того, что после событий 1848 года он всеми силами добивался, чтоб его лишили права смертной казни, но в Вену отправилась специальная депутация с просьбой оставить за городом это право. К сожалению, депутация ничего не добилась, ей вообще не повезло: двух ее членов посадили за какой-то чемоданчик с бельем, который они взяли у проклятого шваба в трактире, где останавливались.

В Надьканиже есть обычай выводить туристов за пределы города, чтобы показать развалины турецких укреплений.

О порядочности местных жителей свидетельствует тот факт, что они действительно показывают обещанное и лишь после этого обируют. В Кёрменде мне рассказывали про одного туриста, которого раздели совершенно догола, вымазали дегтем и смея ради вываляли в перьях. («Здоровый смех дороже здоровья!») Когда же при большом скоплении людей он явился жаловаться в участок, ему больше ничего не сделали, напротив, кто-то из начальства даже

пожертвовал большой носовой платок — прикрыться, а потом под охраной отправили в Будапешт. Говорят, он и поныне сидит в Вацовском центре, обмазанный дегтем и покрытый перьями. Правда, уже начал линять.

Между Кёрмендом и Надъканижей существуют некоторые раздоры.

Кёрмендцы наверняка завидуют Надъканиже за то, что им самим не удалось прославиться, как их соседям. Но некоторые беспристрастные свидетели утверждают: дело тут в охотничьих угодьях. И вправду, надъканижцы преспокойно охотятся в угодьях Кёрменда, но никому из кёрмендцев не придет в голову отправиться с этой же целью в окрестности Надъканижи. Только однажды сын кёрмендского королевского нотари пошел поохотиться на надъканижские угодья, а вернулся без ружья, прихрамывая, и рассказывал, как это неприятно — лежать связанным руки к ногам в муравейнике. А большие лесные муравьи в дубовых рощах под Канижей и по сей день хранят предания о том, до чего вкусен был сын королевского нотари из Кёрменда.

Кёрмендцы, надо сказать, вообще с некоторым предубеждением относятся к своим ближайшим соседям.

Хозяин трактира «У шопроньского владыки» в Кёрменде сам рассказывал мне, что канижские кумовья, беря младенца на руки перед купелью на крестинах, всегда снимают с пальца кольцо, чтобы крестник не стащил его.

Пан Напа, хозяин «Шопроньского владыки», проявил ко мне большое участие и подвел к карте округа, где город Канижа был заклеен кружком из белой бумаги, а в середине кружка значилось: Ráblok, то есть «воры».

— Раз уж вам непременно хочется побывать в этом проклятом гнезде, скажу, что ничего, кроме неприятностей, вы там не получите. Оставьте тут хотя бы свой чемоданчик и пальто. Потом убедитесь, что я вам плохого не советовал.

Я внял совету этого благородного человека.

\* \* \*

В Надъканиже есть одна-единственная гостиница, где можно не бояться, что тебя живьем съедят в постели. Это замечательное заведение называется городской отель «У трех гайдуков». На вывеске гайдуков, правда, всего два, но в окрестностях города вам объяснят, что третьего художник просто не успел дорисовать, так как ему пришлось отправиться на несколько лет в Илаву из-за покойного хозяина гостиницы, который оставил жену вдовой лишь потому, что хотел видеть на гайдуках красные шапочки, а художник упорно рисовал им синие. К несчастью, художник оказался значительно упрямей хозяина недорисованной вывески.

Не подумайте, будто в отеле «У трех гайдуков» совсем уж нет насекомых, наоборот! Но в отеле есть ванна.

Очень практичное сооружение. Вы велите налить в ванну воды и проводите в ней ночь. Если вы к тому же еще и друг животных, то за ночь спасете, вытащив из воды не одно божье созданище, в припадке кровожадности свалившееся в воду с потолка.

Когда я утром вылез из ванной и спустился вниз, чтобы позавтракать, меня уже дожидался мужчина в старомодном сюртуке с совершенно голым черепом, спереди настолько сплюснутым, что казалось, будто лба у него нет вовсе. Лицо его так и просилось в качестве иллюстрации в книгу о врожденной преступности.

Он называл себя «господином», — так и отрекомендовался: господин Арпад Кичибазан, и объяснил, что ждет меня для того, чтобы показать место, где провел ночь Кошут, перед тем как удрать в Америку, прихватив государственную казну, а также турецкую крепость, где был убит чешский король Людвик, бежавший с ноля боя под Могачем. Мол, это за чертой города и место там очень пустынное. Исторические несообразности смутили меня меньше, чем скоропалительное намерение разделаться со мной в первый же день, не дожидаясь, что во время осмотра города два дня я буду угощать его. По-видимому, он опасался, что за эти два дня я истрочу также кое-что и на себя, и, таким образом, добыча его окажется значительно меньше.

Я стал уверять нового знакомого, что все это осмотрю и сам. Он заклинал меня передумать, сулил рассказать все что угодно о каждой тумбе, возле которой мы остановимся. И что за городом расположены пороховые склады, а под ними отличные подземелья с великолепно сохранившимися сводами. Подземелья эти тянутся до самого озера Балатон и на несколько миль еще и под ним. А потом мы осмотрим еще одни развалины — башню, в которой турки душили захваченных в плен христиан. Там тоже совершенно потрясающие своды.

Когда я и во второй раз отказался от его услуг, он немножко рассердился, уверяя меня, что я много потеряю, и обещал прийти после обеда с пистолетом, из которого мы выстрелим в одном из подземелий, где совершенно неподражаемое эхо, и это тоже необыкновенно красиво.

Последнее он проговорил с какой-то странной интонацией, от которой по спине у меня пробежали мурашки. Все же я снова отказался от его предложения, после чего он ушел, громко выражая свое неудовольствие.

Он сдержал слово и после обеда пришел с пистолетом и привел еще двух господ, вид которых тоже мало располагал к себе. Тем не менее они утверждали, что явились лишь затем, чтобы мне не страшно было идти одному с паном Арпадом Кичибазаном. Потому что позади заброшенной турецкой крепости, возможно, стоят табором цыгане. Чтобы я не боялся, для пущей убедительности они продемонстрировали мне фокоши — отличные крепкие трости с топориком вместо набалдашника.

Помню, они взяли меня под руки и дружески потащили из номера по лестнице, затем по улице к дороге на Вараждин.

В этой спешке мне пришла в голову мысль несколько странная, но в Каниже вполне уместная.

— Друзья дорогие, — попросил я, — только ради бога не ведите меня мимо полицейского участка.

Они остановились, и Арпад Кичибазан строго спросил:

— Miert baratom? — Почему, приятель?

— Нельзя, чтоб они меня видели.

— Почему ж это им нельзя тебя видеть? — перешел на «ты» пан Кичибазан.

— Я в бегах.

Они посоветались, и старший из приятелей Кичибазана приветливо обратился ко мне:

— Так вот почему ты не хотел ходить по городу и обращать на себя внимание! Извини нас за любопытство. Больше мы ни о чем не спросим тебя. Но держался ты отменно. Куда держишь путь?

— В Кёрменд.

— Кичибазан покажет тебе дорогу через холмы и дубовую рощу, жандармы там не ходят. Подождите меня у двух камней.

Мы ждали, пока он не вернулся со своим приятелем: каждый принес чуть ли не по килограмму сала мне на дорогу.

Затем все трое попрощались со мной, а Кичибазан написал на клочке бумаги, чтоб из Кёрменда я шел на Пусту Ригаву, где надо спросить Февера, который месяц назад вернулся из Илавы, и передать ему привет от шестнадцатого номера со второго двора.

— Он покажет тебе путь дальше в Венгрию.

Когда я тропинкой вернулся в кёрмендскую гостиницу «У шопроньского владыки» за своим чемоданчиком и пальто, оставленным у пана Напы, пан Напа с самым что ни на есть невинным видом воскликнул.

— Помилуйте! Разве вы что-нибудь оставляли у меня? Вы все унесли с собой в Надъканижу. Я же предупреждал, чем все это кончится. Выпьете шомодьского красного или белого?

На железнодорожной станции в Кёрменде, откуда паровоз увез меня из гостеприимной «вашской» («железной») столицы, я рассказал об этом жандармскому вахмистру, стоявшему возле меня на перроне.

Не поведя и бровью, он объяснил:

— Кёрмендцы тут ни при чем, это очень порядочные люди, но паи Напа женился на вдове оттуда, у нее был двоюродный брат из Надъканижи.

— С богом, будьте здоровы, добрые люди в этих двух замечательных городах!

## Когда цветут черешни

Все было так, как и в прежние годы в этой стране умеренного климата. Цветли черешни. Из города люди ходили смотреть на эту красоту, и большинство из них возвращалось обратно без шляп, которые были отобраны сторожами в черешневых садах.

Иногда такие экскурсии заканчивались полным фиаско. Вот в полдень из города вышло дружное семейство. Все кругом смеялось, с деревьев на их головы сыпались белые цветы... А к вечеру вся семья оказывалась разбросанной по разным местам: мальчишек похватили сторожа, отца отвели в участок, а дочерей до поздней ночи еще искали по полям. Грустные картины и маленькие трагедии...

Происходили и другие, еще более печальные сцены.

На обочине, под цветущими деревьями, на свежей зеленой траве сидят влюбленные. Она говорит о божьей природе, а он, болван, беспечно клюет на эту удочку. Она говорит ему, что ползут жучки; он и сам видит, что ползут, но, когда это произносит она, ему вдруг начинает казаться, что это и в самом деле нечто необыкновенно прекрасное и непостижимое. Она смотрит ему в глаза и лепечет что-то о колорадском жуке, что проходят во втором классе начальной школы.

Потом она любит долиной, в особенности если там есть какой-нибудь ручеек, и тащит его вниз; там они садятся. Она сообщает ему, что здесь очень красиво, и уже снова лезет на гору, как горная коза, и просит, чтобы он ей помог. При этом она смеется, а он подает ей руку и... и все в порядке. Все в поряд-

ке, высокочтимые господа родители, которые в это время в загородном ресторане вынимают мух из теплого пива и толкуют, что на приданое придется, пожалуй, пожертвовать страховой полис.

Само собой разумеется, что потом мамаша, завидя возвращающуюся дочку, скажет супругу:

— Этот дурачок уже держится за нее!

Вот это самое верное слово — дурачок; и я был им когда-то. Но ведь все говорят: «Природа! Идите на лоно природы! Изучайте природу!»

Хорошо еще, что у учителя Бенке оказался твердый характер, иначе он тоже попался бы...

Семейство Дитмаровых вытасило его однажды в будничнй день на «божью природу», посмотреть на цветущие черешни или, как говорил пан Дитмар, «нюхнуть этого». В вагоне они втиснули молодого естествоиспытателя рядом со своей дочкой Маней.

Дорогой пан Дитмар толковал о будейовицком пиве, болтал разные глупости и рассказывал безобидные еврейские анекдоты. Потом он вдруг вспомнил о своем покойном отце и сообщил, что тот к старости — царство ему небесное! — немного свихнулся и попрошайничал на тминную водку.

Его никто не решался перебить, потому что рассказывал он это таким плачущим голосом и так печально трубил, время от времени в свой носовой платок, что все в вагоне на них оглядывались.

Затем заговорила пани Дитмарова. Она описывала какую-то вышивку, которую видела у супруги пана инспектора таможи, того самого — с красным носом и бородавкой на носу.

С бородавок она перешла на омлет с рубленой бараниной, но была прервана восклицанием пана учителя, который тащил Маню к окну и кричал:

— Посмотрите, пожалуйста, на этого теленка, там, в поле: какие у него распухшие ноги! Могу поспорить, что у него паралич или суставной ревматизм. Основной симптом — затрудненная походка. Будьте добры, барышня, взгляните. При ощупывании теленок испытывает чувство боли; кожа на суставах теплее.

После этого он снова сел и в наступившей тишине начал говорить о болезнях и всякого рода уродствах домашних животных. А когда выходили из вагона, он заявил, что хотел бы получить место приват-доцента на ветеринарном отделении университета.

С вокзала они двинулись по пыльной дороге к холмам, где цвели черешни и зеленела трава и где даже жалкий терновник был осыпан роскошными белыми цветами.

Над дорогой, подобно триумфальной арке, возвышалась на двух деревянных столбах огромная доска с надписью: «ресторан «Черешневый сад».

Пиво там было будто из черешни. Но пан Дитмар радовался и такому и пил с энтузиазмом. Жучков и мушек, которые падали в его кружку, он раскладывал просушиться на скатерти; когда же они приходили в себя и пытались снова двигаться, он с наслаждением давил их, приговаривая:

— Маленькие голодранцы, малюсенькие.

Учитель молчал и смотрел на Манину прическу. Там что-то ползало. Он установил, что это была зеленая тля. Ее облик так заинтересовал учителя, что он даже живо представил себе, как на эту тлю облизываются муравьи. Навер-

ное, он долго бы еще наблюдал за ней, если бы барышня Маня не сказала, что хотела бы немного пройтись.

— Идите с паном учителем. — разрешила пани Дитмарова.

Молодые люди встали. При этом учитель не сказал даже «пожалуйста», и, лишь когда они были уже у выхода, он пробормотал про себя: «Aphis mali, тля зеленая».

Маня затащила его на холм и предложила сесть рядышком на траве.

Здесь было тихо, вокруг лишь кустарники, деревья, трава да муравьи.

Маня сказала, как это необыкновенно красиво, когда осыпаются цветы, и что ей хочется петь, и что это — майская сказка... и трава такая зеленая и свежая.

— Но скоту, — произнес пан учитель, — такая трава, как здесь, очень вредна. Кобыл пучит, и у них начинаются колики обычно как раз после такого вызывающего брожение корма. Особенно у них раздувается желудок. Наивернейшим средством в таких случаях, — добавил он задумчиво, — является введение табачного раствора, в пропорции один к десяти. Это очень интересная процедура.

Он замолчал, что дало ей возможность собраться с духом и снова обратить его внимание на ясное голубое небо и красоту окружающей природы. Она сказала также, что ей хотелось бы обнять целый свет. На это он заметил, что обнимание есть механизм, обнаруживающий эмоциональные способности, и что в переносной форме этот механизм проявляется при образовании кристаллов в насыщенном растворе.

Только теперь она почувствовала, что ее кусают муравьи, и предложила пересесть на другое место. Он установил, что это красные муравьи и что она сидела на муравейнике.

— Испытанным средством против них, барышня Маня, — присовокупил он, — является сероуглерод. Нужно взять прочную палочку размером примерно в десять сантиметров, образовать с ее помощью в муравейнике глубокую ямку, налить туда сероуглерод и залепить отверстие глиной.

Они пошли по гребню холма, и она снова начала настойчиво твердить о том, как это красиво, когда цветут черешни, и что нужно приобщиться к этой красоте, почувствовать ее, и что сердце, все тело...

— Если вы имеете в виду формы природы, барышня Маня, — прервал ее молодой ученый, — то я вполне согласен с вами. В природе все стремится приблизиться к наисовершеннейшим формам. Здесь, например, я проделываю это с помощью чувства, но еще более существенным является материальное приближение. Возьмем хотя бы необычайную близость между обезьяной и человеком. Недоношенная горилла, например...

Он был совершенно потрясен, почувствовав вдруг сильнейший удар кулаком по лицу, который нанесло ему нежное создание, разбив при этом пенсне.

Без очков учитель оказался совсем слепым среди этой красоты. Он крикнул вслед убегающей в слезах Мане.

— Но, позвольте, барышня Маня, недоношенная горилла действительно...

Ответа не было. Только белые цветы сыпались на голову несчастного ученого, переполненную недоношенными гориллами.

## После коронации Королевская трагедия в Албании

**Н**овоиспеченный король, посаженный на албанский трон великими державами, только что проснулся. Вчера была коронация, высочайшая голова еще тяжеловата после шампанского его величество тянется к звонку, чтобы вызвать привезенного с собой камердинера. Но звонка никак не найти, и король подходит к окну и кричит во двор:

— Эй, люди, подите сюда!

*Через минуту входит придворный церемониймейстер.*

**Албанский король.** Я хотел позвонить камердинеру, но никак не найду звонка.

**Церемониймейстер.** Прискорбное обстоятельство, ваше величество. К сожалению, не могу скрыть от вас правду: звонок украден.

**Албанский король.** А почему пришли вы, а не мой камердинер?

**Церемониймейстер.** Все это связано одно с другим, все милостивейший король. Дело в том, что ночью, в спешке, не могли найти веревку, чтобы повесить вашего камердинера, и воспользовались проволокой от электрического звонка вашего величества.

**Албанский король.** Но, боже мой, почему же его повесили?

**Церемониймейстер.** Уж очень он отдавал Европой... а главное, вчера вечером он не поздоровался с главарем разбойников Мезни-беем, которого по случаю коронации вы соизволили выпустить из тюрьмы.

**Албанский король.** Господи, как же мне теперь быть?

**Церемониймейстер.** Пока что соблаговолите одеться, ваше величество, я вызову здешнего камердинера, албанца. *(Уходит и возвращается.)* Ваше величество, вынужден вам сообщить, что местный камердинер сбежал. Ему удалось захватить с собой коронационные реликвии.

**Король.** Что же делала стража, которая их охраняет?

**Церемониймейстер.** Сбежала вместе с ним. Не плачьте, ваше величество, привыкнете ко всему.

**Король.** Так вы думаете, что мне надо одеться?

**Церемониймейстер.** Попробовать, во всяком случае, следует, ваше величество. Я велю лакею принести вашу одежду.

*Входит лакей, несет только жилетку.*

**Лакей.** Сохрани вас аллах, ваше величество. Одежда исчезла, обувь тоже. Люди говорят, что сапоги вашего величества носит Бараб-паша, начальник нашей полиции. С утра он уже был в мечети, чтобы возблагодарить аллаха за то, что волею пророка может ходить в сапогах первого албанского монарха. Осталась только жилетка, ваше величество, потому что это колдовское изобретение... так все говорят, ваше величество. Жилетку выдумали немцы.

*За окном раздаются выстрелы. Король посылает церемониймейстера узнать, что случилось.*

**Церемониймейстер** *(вернувшись через минуту, радостно).* Отрадные новости, ваше величество! Население салютует вам выстрелами. К сожалению, по недосмотру залп был дан по часовым у ворот дворца, так что в данный момент они уже наслаждаются в раю Магомета с прелестнейшими гуриями.

**Король** (*мрачно*). Могу я поговорить с моей супругой?

**Церемониймейстер**. Временно я не советовал бы этого вашему величеству. Дело в том, что в горах над Тираной по утрам очень прохладно. Кроме того, я не рекомендовал бы вашему величеству вступать в конфликт с нашим военным министром, который так предан королеве, что похитил ее и увез в горы.

*Король падает бел чувств, а когда приходит в себя, видит кругом море огня*

**Церемониймейстер**. Не извольте беспокоиться, ваше величество, это всего лишь праздничная иллюминация в вашу честь. Ваши подданные только что подожгли дворец.

**Король** (*смотрит из окна в сад, коленки у него подкашиваются*). А что это за дерево, украшенное флагами с албанским орлом?

**Церемониймейстер**. Сук на нем предназначен для вас, ваше величество. Это будет «Дерево первого албанского короля». (*С поклоном подает королю руку.*) Прошу вас проследовать, ваше величество.

*Занавес милосердно опускается.*

## Из записок австрийского офицера

Дали мне нового денщика по фамилии Тюрмулин. Его предшественник от меня сбежал. Здесь, в пограничных галицийских гарнизонах, это как-то вошло в привычку: год или два эти олухи мирятся с тем, что их лупишь по морде, потом задают деру.

Прихожу я как-то домой под градусом, велю ему снять с меня сапоги. Он стал снимать, но очень неловко. Ткнул я его носком сапога в рыло, а он заплакал: «Больно, господин капитан!»

— Не ори, сукин сын, — ласково говорю я. — А то совсем разобью тебе сопатку. С вами иначе нельзя — только в морду, сукины дети. А вы, едва покажется капля крови, уже орете, как зарезанные. Написать бы на вас рапорт да упрятать в подвал, чтобы вы там сгнили, как старая картошка. Какой же ты солдат, коли боишься капельки крови? Вот погоди, будет война с Россией, ка-заки тебе отрежут уши.

Он заплакал еще громче, потом разинул рот и говорит:

— Я не из-за того плачу, господин капитан, а потому что душа болит.

Я люблю потолковать с дураками, вот и говорю ему:

— А почему же у тебя душа болит, сукин ты сын Тюрмулин?

Он вытянулся, как в строю, взял под козырек, слизал кровь с губы и говорит:

— Осмелюсь доложить, душа болит по дому да по Андрейке.

Я закурил.

— А кто он такой, твой Андрейка, сукин ты сын?

Он снова взял под козырек, смехота, и только! А я лежу на диване и пускаю дым колечками.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, Андрейка — это мой младший брат. Прикажете рассказывать дальше, господи и капитан?

— Рассказывай, дубина.

Смешно было глядеть, как он рассказывает. Стоит навытяжку, словно на параде, и таращит на меня глаза.

— Родом я из Малинова, господин капитан. Маленькая такая, ладная деревушка, кругом дубовые и березовые рощи да луга. В степи пруд. Солнце зайдет, осока на пруду золотится, пахнет так сладко, лошади в траве скачут... Придет Андрейка, мой братишка, я посажу его на коня, и едем мы с ним к пруду. Осмелюсь доложить, господин капитан, Андрейка — пригожий паренек: волосы русые, мягкие, глаза голубые. По воскресеньям мы с ним ходим гулять. Сапожки я ему стачал, высокие голенища, идет важно, как поп, и меня держит за руку. Андрейка, голубок мой...

Опять он захныкал. Не удержался я, пихнул его легонько ногой в брюхо. И засмеялся.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, плачу я не только по Андрейке, а и по нашей матушке. Она с ним дома одна... Скоро сенокос, жалко мне ее, матушку милую. Стара уже, седая, вся высохла, зубов нет, есть может только кашу. Меня взяли в солдаты, на ней дома все заботы остались...

Я наблюдаю Тюрмулина. Он сейчас смотрит в окно, там видна равнина, широкая, бескрайняя, кругом трава да низкие курганы с могилами.

— Вот аисты летят, господин капитан, к нам летят в Малиново. Сейчас их там на лугах полным-полно, по вечерам кричат в голос.

Опять он заплакал и стал жаловаться на судьбу. Так расхныкался, что пришлось встать и дать ему по шее.

— Ну хватит, дурак. Вот тебе крона, сбегай за сигаретами.

Он взял под козырек, утер нос и ушел. Я заснул, а когда проснулся, было уже темно.

— Тюрмулин, сукин сын, зажги лампу!

Ни ответа ни привета. Я встал и сам пошел зажечь свет.

А Тюрмулина нигде нет. Удрал, сволочь. Смылся из батальона, сукин сын.

Через месяц его привели, и он просил дать ему поговорить со мной.

Ну, я, как его увидел, размахнулся и дал ему по морде.

— Господин капитан, — говорит он. — Я ту крону положил на кухне в старый башмак.

И заплакал.

— Так у меня болела душа, осмелюсь доложить, господин капитан. Аисты, вольные птицы, летят к нам в Малиново, и меня потянуло.

— Понятно, понятно, голубок, — сказал фельдфебель, державший его за шиворот. — Потянуло тебя к вашим девкам! — И саданул его под ребро, так что Тюрмулин икнул и заохал.

— Никак нет, господин фельдфебель. Мне только захотелось вольно пожить, по дому у меня душа болела.

— И по водке, сучий сын, — ухмыльнулся фельдфебель. — Каналья ты этакая, гайдамак гуцульский!

Тюрмулин опять вздохнул:

— У меня душа человечья... Почему же птица может летать свободно?

— Ужо, голубок, в гарнизоне тебе все растолкуют, — сказал я. — Там из тебя эту самую душу вытрясут. — Я помахал пальцем у него перед носом. — У нас душа не положена, у нас полагается дисциплина, маршировка, вот что. Уведите его!

Тюрмулина увели, а я пошел в кухню поглядеть, врет ли он насчет той кроны. И вправду, она лежала в старом башмаке, завернутая в бумажку, на кото-

рой было коряво написано: «Виноват, господин капитан...»

## Бунт третьеклассников

Третьеклассники Заградка и Розточил задались благородной целью сжить со света своего классного наставника Губера. Давно уже у них накипело, на сердце, и неудовлетворительные отметки по греческому, которыми их преследовал рок, все увеличивали пропасть между ними и их классным наставником. Как обычно бывает во время великих исторических переворотов, достаточно было малой искры, чтобы вспыхнул пожар.

Этой малой искрой оказались несколько строк Корнелия Непота, в которых древнеримский писатель сообщает, каким способом Солон избавил Афины от тирана Клеона.

Пожар бунта еще больше раздул сам учитель Губер, вызвав Заградку и Розточила к доске.

Оба шли туда со своими учебниками греческого языка, как на казнь, между тем как пан Губер смотрел на них с кафедры глазами удава, который гипнотизирует брошенного ему в клетку поросенка так, что тот цепенеет на месте.

— Начинайте читать с четвертой фразы заданного, Заградка, — произнес ледяным тоном пан Губер.

Заградка, удрученный, прочел:

— «Правда только одна. Отец имеет два глаза, мать и сестра — четыре. Я вырастил собаку, которая бегаёт и спит».

— Довольно. Переведите!

Заградка всячески старался отдалить казнь. Он долго вытирал нос, наконец в отчаянии воскликнул:

— Виноват, пан учитель!

Потом тихим голосом перечел еще раз первое предложение: «Правда только одна» — и захныкал, загудел:

— Виноват, прямо из головы выскочило, как по-гречески «правда».

Учитель махнул рукой, и Заградка, застыв у доски, увидел, как он слюнит карандаш и ставит в журнале большую, толстую единицу. Пришла очередь Розточила. Мрачный и хмурый, он не стал плакать.

Вперив в учителя полный ненависти взгляд, он сказал:

— Виноват, пан учитель... я не приготовил...

Теперь и он увидел, как учитель слюнит карандаш и выводит против его фамилии страшный, огромный, толстый кол, затем услышал голос пана Губера:

— Вы бы лучше сделали, если бы занялись каким-нибудь ремеслом, например сапожным, и заодно попросили бы батюшку, чтобы он вас выдрал, а матушку — чтобы она попросила батюшку не жалеть вас и не прекращать примерного наказания, невзирая на ваши вопли. Впрочем, я в ваших же интересах сам попрошу вашего батюшку об этом. Дерево надо гнуть, пока оно молодое, и вы, став взрослыми, поцелуете заботливое отцовское колено, на которое он вас клал. Вы — лентяй, Розточил. Это относится и к Заградке. Каиновой печатью будет всю жизнь лежать на нем воспоминание о том, что он до сих пор не знает греческого названия правды: «алетэйя». Тут слезы не помогут, тут, милые мои, должна заговорить розга, да крепко, без всякой жалости и пощады, — из любви к вам, из любви к делу, требующему успешного изучения

классических языков. И вы, ложась спать, воскликнете оба, вместе с Байроном: «Горе тебе, Альгамбра!»

Розточил строптиво глядел по сторонам, а Заградка рыдал на скамье, в то время как сидящий сзади медленно, но верно втыкал ему булавку в тело.

И этот ненавистный тиран, пан Губер, имеет еще нахальство вести знакомство с его шестнадцатилетней сестрой Руженой! Даже ходит к ним по вечерам, преспокойно ужинает и говорит о его успехах:

— Ваш Карел страшно невнимательный. Вчера объясняю неправильные глаголы, а он мух ловит. Надо его выпороть, пан Заградка, чтобы как-то подготовит к жизни.

При этом уплетает за четверых, а сам все бубнит:

— Вы думаете, он может образовать перфектум от глагола «пайдэуо» — воспитываю? Вместо «нэпайдэука» — говорит «нэбайзэука» либо начинает гнусавить «бэбайдэука» — и в слезы. И плачет еще громче, когда я спрашиваю, как по-гречески «плачу». Не знает. Приходится ставить плохую отметку. Говорю: «Скажите, милый, как будет «не плачьте»?» Тут он начинает в буквальном смысле слова реветь, и я просто вынужден поставить ему еще одну двойку, так как он совсем не знаком с повелительным наклонением. Он медленно, но верно созревает для *consilium abeundi*[112], когда ему скажут: «Юноша, вам лучше всего навек забыть обо всех гимназиях нашей империи». Если бы у людоедов Камеруна были гимназии и он там учился, его давно бы съели. Самым серьезным образом прошу вас: выпорите его как следует.

Заградке приходилось выслушивать все это регулярно через день, приятно глядя на учителя, так как тот за ужином часто напоминал ему:

— Смотрите на меня приятно, милый. Глаза — зеркало души.

Как-то раз отец послал его к Губеру с запиской, в которой приглашал учителя принять участие в загородной прогулке. Заградка пошел, отдал записку; учитель принял приглашение и, пользуясь случаем, предложил несчастному перевести фразу: «Я имел мать, которая ходила медленно». Результат не замедлил сказаться. Пан Губер простился с ним очень сухо:

— Передайте отцу, что буду обязательно и что в журнале против вашей фамилии — еще один кол.

Ко всему этому учитель сделал его своим вестником любви. Вот беда! По минутно носи записки! Как-то раз сестра послала его к учителю сказать, что не может прийти в городской парк к искусству иному водопаду. Заградка вернул, еле переводя дух.

— Что он тебе ответил? — спросила сестра.

— Спросил, как по-гречески — восемьсот двадцать девять.

— А ты?

— Я убежал.

Как же ему было не плакать теперь за партой, глядя на этого беспощадного Брута, который, несмотря на приятельские отношения с его семьей, на каждом шагу преследует его?

Иначе вел себя Розточил, четырнадцатилетний оболтус, влюбленный в младшую сестру Заградки — двенадцатилетнюю девчурку Карлу, взиравшую на него с почтением, так как он каждый раз, приходя к ее брату, рассказывал о своем пребывании в Персии. Он был из Унеиц и в конце концов сам поверил в то, о чем рассказывал Карлочке. Например, как он рубил головы курдам, ко-

гда был бимбаши...

При этом у него был такой воинственный вид, что Карла невольно верила. Говоря о курдах, он всякий раз так дико вращал глазами, что становилось страшно. Один раз он принес обыкновенный старый кухонный нож и небрежно заметил Карлочке, что обязан этому ножу своим спасением от взбунтовавшихся христиан. Сначала он сказал «от христиан», потом — «от курдов», а под конец подарил нож ей на память, написав на ручке чернилами: «Розточил-бей, персидский бимбаши, 3-й «А».

Сейчас он строптиво возвращается к своей парте — в этот памятный день, когда суждено было произойти историческому перевороту.

Чтоб его, персидского бимбаши, не боявшегося коварных курдов, отец в угоду учителю перегнул через колено?! Глаза его метали искры; еще сильнее нахмурившись, он шепнул Заградке, с которым сидел на одной парте:

— Не реви! Надо пана классного наставника уничтожить.

Как видите, он пока любезно сохранил за врагом полный титул.

Предложение было заманчивое. Заградка поднял полные слез глаза и перестал плакать.

Тут Розточил, устремив на него суровый взгляд, подвинул к нему лист бумаги, на котором были нарисованы карандашом два скрещенных меча, и тихо, но решительно произнес:

— Подпиши!

Заградка, немного повеселев, охотно подписался: «Карел Заградка». Тут сторож зазвонил, и весь класс встал, громко благодаря создателя за то, что звонок вырвал их из рук учителя.

Заговорщики вышли вместе. На улице Розточил отрывисто сказал:

— Нам надо разойтись. Я обойду город и приду к вам. Мы пойдем в сад и устроим первое совещание. Ты не знаешь какой-нибудь пещеры поблизости?

— Не знаю.

— Глупо, ужасно глупо...

Он помчался домой, взял материн головной платок, сунул его под куртку и пошел к Заградкам. Там, в саду, он вынул платок, показал его приятелю и сурово произнес:

— Это пояс вождя курдов, убитого мною. Надень его на голову и повторяй за мной клятву: «Если я изменю, пусть меня постигнет судьба того, кто носил этот пояс. Аминь, гяур!»

Заградка весь дрожал, на глазах у него выступили слезы. Но он не хотел обнаруживать своей слабости перед мужественным Розточилом и потому побежал в дом, сославшись на необходимость взять хлеба с салом.

Между тем Розточил, кидая вокруг дерзкие взгляды, стал искать Карлочку.

Найдя ее в беседке, он без всяких предисловий объявил:

— Мне придется расстаться с вами. Может быть, нас с Карелом скоро повесят, но прежде наш классный наставник Губер простится с жизнью. Никому ни слова об этом, — тут он ударил кулаком по столу, — не то вас постигнет та же участь! Но если будете нам помогать, то получите щедрое вознаграждение, так как за нами стоит Англия.

Он побежал за Заградкой, и оба залезли на чердак, где начали совещаться, вставляя после каждой фразы: «Аминь, гяур!» После этого спустились в комнату, где сидела Карлочка, и принялись шушукаться и шептаться у камина. Ви-

дя, что они шепчутся, Карлочка вышла в коридор и заплакала.

Потом, пошарив в буфете, вернулась в комнату и дала каждому по горсти изюму. Ведь в беседке Розточил требовал, чтобы она помогала им...

К вечеру Заградка приобрел такой же дерзкий, решительный, свирепый вид, как и Розточил.

«Какие храбрые, — подумала Карлочка. — Все время шепчутся...»

И опять заплакала.

Вечером, когда зажгли свет, Розточил сказал пани Заградковой:

— Мне сегодня что-то не хочется домой. Можно у вас переночевать? Мы бы с Карликом кое-что повторили...

Пани Заградкова пропустила это мимо ушей. Сели ужинать. Получив две сосиски, Розточил занял место против Карлочки. Всякий раз, глянув на нее, он хмурился и морщил лоб. А заметив, что она на него смотрит, надувался, как голубь-дутьш.

В восемь часов кто-то постучал: пришла пани Розточилова. Увидев своего бесстрашного сына, она схватила его за ухо.

— Ты убежал из дома, зная, что придет учитель жаловаться папе? Ну погоди, всыплю тебе по-настоящему!

Розточил с тем же суровым видом встал и ушел. Проходя мимо Карлочки, он скрипнул зубами, кинул на нее зверский взгляд и пробурчал:

— Аминь, гяур!

Дома он немедленно подвергся экзекуции.

Одновременно на заботливое родительское колено попал и Заградка, так как вслед за пани Розточиловой к ним явился пан Губер.

На другой день в школе угрюмый Розточил глухим голосом промолвил:

— Дадим ему срок для исправления до конца учебного года. Аминь, гяур!

Недавно я видел учителя Губера живого.

Видимо, он стал вести себя лучше.

## Как становятся премьер-министрами в Италии

Синьор Берамотти был хитрец, каких на Апеннинах поискать. Отец его когда-то пас коз в Аbruццах и грабил путников под Монте Розо. Весь их род были сущие разбойники. Витторе Берамотти, основатель рода, в свое время был повешен. И все Берамотти, чтобы не посрамить праотца своего, воровали: их никто не называл ни синьорами, ни господами, а просто — Берамотти. А вот последний Берамотти вышел в синьоры.

На сцене появился синьор Джузеппе Берамотти.

Это очень приятный в обхождении господин. Уже в раннем детстве он проявил большие способности, и когда в 1874 году в объединенной Италии было введено обязательное школьное обучение, Джузеппе твердо решил прилежно учиться, чтобы получить потом работу в городе.

Мальчишке не нравилась жизнь в горах, где редко кого удается обворовать, да и то случайно. Мечта вела его в город, где гораздо легче обвести людей вокруг пальца — ведь их там много обитает на малом пространстве и, главное, они не знают друг друга.

А в горах каждый наперечет знает своих коз и точно знает, сколько коз у соседа, поэтому, когда крошка Джузеппе однажды украл козла у Оссиата из ближней горной деревушки, все кончилось печально — за Джузеппе сразу пришли жандармы.

Джузеппе прилежно учился. Черт побери этого парнишку из деревни у подножия Монте Розо! Он прямо глотал науки, чтобы поскорее спуститься вниз в город и там обирать людей.

Детское воображение рисовало будущему синьору Берамотти счастливые картины его будущего.

Он станет торговцем. В этом уголке Италии на торговцев взирают с оттенком страха.

Джузеппе не раз слышал от матери о заходивших к ним бродячих торговцах: «Ну вот, опять он нас обобрал!»

В этих словах было немало правды. Удивительно ли, что маленький Джузеппе Берамотти хотел стать таким же торговцем, чтобы обдирать своих земляков, как липку. Это было его прекрасной мечтой, самым большим желанием.

В школе он делал большие успехи и прекрасно считал: во втором классе Джузеппе организовал среди соучеников настоящий торговый обмен и обобрал их самым бессовестным образом. Когда ему исполнилось двенадцать лет, школьный попечитель уговорил старого Берамотти отправить сына в город, и вот после каникул хитрый деревенский парнишка объявился во Флоренции.

С этого момента ясно определился его жизненный путь. Он занялся торговлей.

С необычайным усердием овладевал он торговыми уловками. Позже мы встретим его в Генуе в качестве старшего приказчика торгового дома Рагат.

Затем он предстал перед судом за растрату 180 000 лир, но по удивительной случайности был освобожден.

Говорили, что он истратил 80 000 лир на подкуп судей, а с остальными ста тысячами перебрался в Сицилию.

Там он судился с одной семьей, обвинившей его в том, что однажды ночью

на пристани в Палермо он столкнул в море главу семьи, предварительно украв у него лотерейный билет, на который пал главный выигрыш в сумме 500 000 лир. Так или иначе, известно лишь, что синьор Берамотти сделал прекрасную карьеру. Когда в одном избирательном округе Сицилии он пырнул ножом своего политического противника, восторженные сообщники избрали его депутатом, и он вступил в правительственную партию. После попытки на одном званом обеде отравить своих противников он получил доступ ко двору и мог запросто беседовать с королем. Наконец он стал премьер-министром. К его чести будь сказано, что, вступив на эту должность и получив по лотерейному билету главный выигрыш в сумме 500 000 лир, о котором ходило столько досужих сплетен, он распорядился поставить на пристани в Палермо статую Мадонны и украсить ее цветами в память о своем бедном друге, с которым прогуливался однажды ночью вдоль канала у пристани в Палермо.

Счастливая Италия!

## Перед экзаменом

Для некоторых пора — в других отношениях прекрасная, — когда созревают хлеба и наливаются зерно, бывает порой смутного, неприятного ощущения в желудке. Это перед экзаменом болят животы у многих школьников.

Школьникам кажется, что они тоже созрели для жатвы; но держатся они не так гордо, как зерна пшеничных колосьев, золотящиеся в лучах солнца на радость поэтам, нимало не подозревая, что вся слава их кончится с обмолотом.

В погожие дни иной ученичок едет за город с неясным ощущением, что, когда зерно посыплется в риге под ударами, у него самого с этим будет уже покончено, хотя, быть может, его еще ждет впереди переэкзаменовка с неизвестным исходом.

Шестиклассник Данек гулял в субботний вечер среди нив возле лесочка и смотрел на можжевельник, смело росший у этого лесочка, почти на самой меже, откуда начиналось золотое поле пшеницы.

Глядя на можжевельник, он невольно вспомнил преподавателя закона божия Шембелу. У того тоже такая вот шишковатая голова, как у можжевельового куста. И стоило возникнуть в мозгу Данека этому сравнению, как он перестал радоваться красотам природы.

Посмотрел на фиолетовый цветок куколя, пышно произраставшего там, в хлебах, и вспомнил, что законоучитель Шембела недавно назвал его, Данека, таким куколем, когда он, отвечая на вопрос, сколько было пап по имени Сикст, забыл целых трех.

Вопрос был немножко неожиданный. Данек вспоминал в это время о том, что мог бы вчера вечером выиграть партию в бильярд, если бы сделал последний удар кватрой, а не так рискованно — сзади, от борта.

Как ни странно, на уроках истории церкви он всегда думал о бильярде.

В тот раз законоучитель рассказывал, что папа Сикст VII любил носить красную мантию, как вдруг Данек, словно со сна, довольно громко проворчал: — Надо было мне играть от красного!

Дальше события развертывались быстрым темпом. Вот он уже стоит у доски, и в мозгу его так и мелькают папы Сиксты.

Потом он пошел на свое место, получив название куколя, успев заметить,

как законоучитель слюнявит карандаш, и услышал его напутствие:

— Эта двойка тебе даром не пройдет!

Вчера законоучитель опять вызвал его к доске и велел отвечать, по какому историческому поводу появилась дароносица.

Так как ответ был далеко не блестящ, он сказал, что подводит с Данеком черту на этот год, а на переэкзаменовке непременно срежет. И чтоб он ему на каникулах написал, что сказали дома об этой его двойке по закону божьему. И наконец, назвал его лопухом...

Данек, сидя на меже, посмотрел вокруг и увидел, что тут тоже всюду растут лопухи. Сбив палкой те, что поближе, он пошел дальше, среди роскошной июньской природы.

Птицы весело пели, им ведь не надо думать, сколько пап носили имя Сикста; ящерицы этого тоже ведать не ведали и знай себе шныряли вокруг на припеке. Жужелицы, кузнечики, муравьи бежали каждый по своим делам; заячья пара резвилась на молодом лугу, нисколько не заботясь об историческом поводе появления дароносицы.

Шестиклассник Данек чувствовал себя несчастнейшим из смертных среди этой расцветшей природы. Он швырнул палкой в белку, которая, забравшись на сосну, презрительно выставила ему свой бурый задок.

Потом вернулся к можжевельнику, чья верхушка напомнила по форме шишковатую голову законоучителя, сбил его палкой весь целиком и побрел дальше. Он пошел вниз, к деревне, которая стояла под косогором, выглядывая из-за листвы.

Живописная деревенька с избами, садовые плетни которых сбегали к бегущему из леса ручью...

Он залюбовался на эту красоту, обрамленную на горизонте голубоватым поясом горных вершин, не думая в эту минуту ни о чем, кроме сырка, куска хлеба да кружки пива, которые можно получить в деревенском трактире.

Когда ему удалось осуществить свое намерение, он отрезал себе ломоть хлеба, намазал его сырком, запил пивом и почувствовал, что его мрачное настроение постепенно улетучивается.

Он решил, что непременно вызубрит всех пап и историческое происхождение всей церковной утвари. А чтоб выпить за успех предприятия, потребовал еще кружку.

Не успели ее принести, как, к его изумлению, в трактир вошел законоучитель Шембела с зонтиком в одной руке и перекинутым через другую руку плащом с восьмигранной звездой, так как он был членом Мальтийского ордена. В этой руке у него был большой букет полевых цветов, которые он нарвал во время прогулки.

Увидев Данека, вставшего из-за столика и косящегося на окно, соображая, как бы скорей выскочить, он сказал:

— Так вот как вы готовитесь, Данек? Разве я не прав?

Бросив плащ, шляпу, букет и зонтик на соседний столик, он подсел к Данеку со словами:

— Вот где мы с вами встретились, дружок. Садитесь!.. Куда ходили?

— Гулял, пан учитель... Погода хорошая, прямо замечательная. очень хорошая, — пролепетал Данек.

— Да, да, хорошая, великолепная, — ответил законоучитель. — Все, что я

видел, славит господу, творца своего... Что себе заказывали?

— Сырки, пан учитель.

— В охотку, наверно, после прогулки-то по полям да лесам, где все хвалит величие создателя... А выдержанные ли?

— Превосходные, пан учитель.

— Так я тоже себе закажу. А был где?

— В залесье.

— В залесье дивно. Там птицы хвалят творение господу... А пиво каково?

— Да недурное.

— Это славно... Вы не имеете права посещать трактир без разрешения гимназического начальства, Данек, и закусывать там. Это — нарушение школьной дисциплины. Но ради такого дня я вас прощаю.

Важно рассевшись и поедая сырки, законоучитель все время говорил о сотворенной господом богом природе и возносил хвалу создателю.

Пока он насыщался, Данек понемногу пришел в себя. Наевшись и вытирая губы большим красным платком, законоучитель спросил:

— Не знаете, где у них тут уборная?

— А вот, извольте, прямо через двор, пан учитель.

Законоучитель вышел, но сейчас же вернулся и стал рыскать по всему залу. Было видно, что он ищет газету.

— Нечего сказать, хорошенькое заведение! — проворчал он, весь красный, обращаясь к Данеку. — Ни одной газеты, чтоб почитать.

Данек, пошарив у себя в кармане, вытащил письмо дяди. Он протянул его законоучителю со словами:

— Вот, не угодно ли прочесть, что мне пишет дядя?

Вернувшись, законоучитель не отдал Данеку письма, а сказал:

— Как видно, ваш дядя очень порядочный человек. Только ради него я поставлю вам на экзамене по закону божьему удовлетворительную отметку.

И завел речь о неизреченном милосердии божьем,

## Среди друзей

Когда домовладельцу Турному сообщили, что его старый друг Плетанек появился в Праге и уже у пяти знакомых занял по двадцать крон, Турный стремглав бросился домой, чтобы должным образом подготовиться к встрече.

Он бежал стремглав, спеша предотвратить это стихийное бедствие.

Вбежав в квартиру, он первым делом запер комнаты. Потом спустился к привратнику, попросил у него старый чубук от трубки и сбегал в табачную лавочку за мундштуком. Там он заодно достал кусочек пемзы, закоптил ее на огне и хорошенько натер ею трубку, да еще намазал гуталином, чтобы она выглядела погрязнее.

Подумав, он надломил мундштук, обернул его бумажкой и завязал веревочкой. Теперь трубка выглядела так, будто была принесена с помойки.

Турный обычно собирал окурки сигар для привратника и складывал их в картонную коробку за окном, сейчас он рассовал их по карманам старого пиджака, в котором возился в саду. Хорошее платье упрятал в шкаф. Кошелек он бросил в кухне на стол, оставив в нем мелочь не более кроны.

На доске у черного хода он написал мелом: «Долги: угольцику — 2 кроны 45 геллеров, мяснику — 12 крон 50 геллеров, за керосин — 24 геллера».

Покончив с этим, он снова спустился в привратницкую — предупредить, что скоро к нему явится один человек, так чтобы не говорили «барин дома»; пусть его называют просто «господин Турный» и, в случае чего, скажут, что он давно уже не домовладелец.

Поднявшись к себе, он остановился в кухне и с облегчением вздохнул. Потом бегло осмотрел все приготовления и остался доволен. «Теперь пусть приходит этот Плетанек».

И тот пришел. Ввалился на кухню сумрачный, со страдальческим видом, и Турный тотчас заметил свежую заплату у него на локте. Материя немного отпоролась, и под заплатой было видно совершенно целое, отличное сукно.

— Вижу, ты процветаешь? — спросил Плетанек. — Давненько мы не виделись. Ты стал домовладельцем, а в меня, если можно так выразиться, жизнь запустила свои когти.

Турный покашлял.

— Процветаю? Я уже больше не процветаю. Дом продан.

Плетанек усмехнулся.

— Что ж, это, может быть, к лучшему. А вот мне не везет. Придется переезжать в Прагу. Собственно, у меня уж и багаж в дороге. А на переезд нужно триста крон. Как говорится, пришла беда — отворяй ворота. Столько бед, столько неудач, что и не поверишь.

«Время достать трубку», — подумал Турный.

— Эт-то трубка? — ужаснулся Плетанек, увидев жуткое сооружение. — Да ведь у тебя были отличные трубки!

— Были... действительно были, — жалобно вздохнул Турный. — Только уж та трубка — ау! Пришлось продать. Да, дружище, времена изменились. Теперь мне не по средствам даже приличный мундштук. У тебя случаем нет ли табачку?

Плетанек мрачно усмехнулся.

— У меня табак! Откуда? Я не курил уже целую вечность. За что все это, о

господи! Где я найду деньги, где, я спрашиваю?

— Я бы дал тебе покурить, дружище, — продолжал обыгрывать трубку Турный, — да она сильно провоняла. Никак не соберу денег на новый мундштук. Подправил вот кое-где, а нагар никак не снять. Погляди, какая грязь. Уж второй год. А где, спрашивается, взять денег на новую? Вон на столе кошелек. Загляни в него, что ты там увидишь? Сорок пять геллеров. И это — все мое состояние. Нужно прожить на них месяц, два месяца!

— Какой тупик! Какой ужасный тупик! — скулил между тем Плетанек. — Прямо стреляться впору. Если не достану сегодня двенадцать крон, конец всему. А с этой суммой можно, пожалуй, начать новую жизнь. Одеть детей, накормить их...

— У тебя дети? Откуда?

— Долгая история. Четверо. Жду пятого, мать умерла рожая. И все болеют. Сейчас вот старший лежит с наростом в пищеводе. Операция стоит сто двадцать крон. А где их взять? Как спасти жизнь несчастному ребенку? Одна надежда на друзей, на старых товарищей, которые...

— Подожди-ка, я закурю, — прервал его Турный и принялся шарить по карманам. Вынув два окурка, он раскрошил их и набил трубку. — Это с почтамта, — пояснил он, — я всегда там подбираю. Там всегда много. И еще около немецкого театра.

Плетанек снова захныкал:

— У тебя хоть есть на это время. А что я, отец девяти ребят? Как посыпались, как посыпались, один за другим. И попробуй усмотри за ними. Почему, ты думаешь, я приехал в Прагу? Да потому, что один из моих мальчиков нечаянно поджег сарай соседа. Приходится платить восемьсот крон. Вот я и пришел к тебе, старому другу...

— Минуточку, — спохватился Турный, — я чуть не забыл кое-что. — Он подошел к дощечке у дверей и, покосившись на наблюдающего гостя, написал мелом: «Бакалейщику за спички — 2 геллера».

— Ох, ох, долгов набралось сколько! Как только расплачусь с ними!..

Раздался стук, и в кухню вошел почтальон с денежной сумкой.

— Почтение владельцу дома! — возгласил он. — Распишитесь, пожалуйста, пан Турный.

И пока несчастный дрожащей рукой расписывался в получении 470 крон очередного дивиденда от маргариновой фабрики в Либени, почтальон выложил на стол пачку новеньких ассигнаций.

Когда он вышел, Турный тупо посмотрел на гостя, махнул рукой и просто-нало:

— Бери отсюда сколько хочешь, ты, душегубец!

И громко заревел.

## Индийский рассказ

Профессор Вавроушек не занимался изучением чехословацких диалектов, Пони и без того были ему слишком хорошо знакомы. Он набросился на изучение языков индейцев. Долгие годы провел он среди индейцев на западе Северных Штатов и в Мексике, изучая по надписям на североамериканских памятниках древний язык ацтеков.

Потом он отправился на юг, за Панамский канал, где всюду интересовался индейцами и их языками.

Он бойко говорил на древнем наречии нутатлесков и бегло изъяснялся на кепфелескулесском наречии, известном своими двадцатью семью падежами и другими грамматическими особенностями, а именно: склонением имен существительных путем повторения основы. Например, «отец» в этом наречии именуется «ар», в родительном падеже будет «арар», в дательном — «арарар», в винительном — «арарарар», в творительном — «арарарарар», в предложном — «арарарарарар» и так далее.

Этого примера, я думаю, пока что достаточно.

Один индийский мальчишка из племени кепфелексулесков сказал однажды профессору Вавроушке: «Что касается отца, матери и братьев, то их нет дома, однако вы можете поговорить с сестрой». Начало фразы, то есть «что касается», он сказал скороговоркой в десять часов утра, а «с сестрой», то есть заключительные слова этой фразы, он скороговоркой же произнес в четыре часа дня.

Однако профессор Вавроушек утверждает, что кепфелексулесский язык еще очень даже легкий по сравнению с наречием племени бороро. Те объясняются очень сложно, каждый говорит как хочет и несет, что ему в голову взбредет.

Они образуют и придумывают слова, какие только кому заблагорассудится.

К счастью, это очень небольшой народ. Племя бороро насчитывает не более сорока тысяч, однако только для слова «рыба» у них имеется тридцать восемь тысяч названий. Все они употребляют всего лишь одно общее слово «годадласко», но никто не знает, что оно означает.

От индейцев кичуху профессор Вавроушек научился говорить по-таемански, а от таеманцев научился языку кичуху.

Этот любопытный факт он объясняет тем, что некогда кичухи одержали победу над Тасманией и переняли местную речь, а потом тасманцы победили кичухов и тоже, в свою очередь, переняли речь побежденных.

«Вообще, — пишет он в предисловии к сравнительной грамматике языков индейцев, — языковые отношения в области среднего течения реки Амазонки таковы, что отдельные люди не понимают друг друга, в результате чего возникают серьезные военные столкновения. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что люди убивают друг друга вследствие плохого произношения».

Профессор Вавроушек считал, что индейцы ничем так не озабочены, как разрешением языковедческих проблем.

Чем глубже проникал он в центр Южной Америки, к разным индийским народам, тем богаче становился материал его языковедческих исследований и тем больше сам он путал отдельные наречия.

Встретившись однажды с индейцами из племени хехулов, он хотел сказать

им по-хехульски: «Приветствую вас!», но вместо этого он вдруг неожиданно произнес: «Ихтнаремх!» До сих пор профессор Вавроушек не может вспомнить, из какого наречия было это слово и что, собственно, оно означает, но означать оно должно было что-то чрезвычайно непристойное, потому что хехулы тут же на месте его и оскальпировали.

Выздоровев, профессор Вавроушек решил спуститься вниз по течению к шамалосским индейцам, которые, надо признаться, его разочаровали, ибо, подобно кепфелексулескам, имели тенденцию склонять имена существительные путем повторения основы... «Господин» — у них «рах». Следовательно, когда им надо было обратиться к профессору: «О господин!», то есть в звательном падеже, это звучало как «рахрахрахрах!»

Этого «раханья — траханья» он не выдержал и уехал в Европу, чтобы на основании собранного им богатого языковедческого материала составить сравнительно-сопоставительным путем новые парадигмы.

По пути в Прагу он задержался в Гамбурге, где его внимание привлек попугай ара, продававшийся в специализированном магазине по торговле попугаями и другими экзотическими животными. Это был один из тех попугаев, которые живут якобы по четыреста лет. Профессор Вавроушек бывал на родине этих попугаев в джунглях Южной Америки и там не раз в хижинах местных индейцев видел ручных попугаев. И они тоже кричали ему: «Рахрахрахрах!» — «О господин!»

Но попугай, заинтересовавший пана профессора, угрюмо молчал. Он серьезно чистил перышки, не раскачивался на кольце и величественно поглядывал по сторонам.

Профессор Вавроушек вспомнил, что в различных областях по течению Амазонки он слышал рассказы индейцев о том, что возраст таких попугаев, которые ничего не говорят, обычно бывает около ста лет и что они помнят вымершие языки индейских народов. Слышал он также, что такие попугаи всегда молчат, а точнее, обретают дар речи только раз в году, — и при этом они горько сокрушаются об утрате своей свободы на языке давно уже мертвом.

«Эксперимент стоит того, — подумал пан профессор, — кто знает, какие тайны он мне откроет, может быть, как раз это и наведет меня на след какого-нибудь индейского языка, и я расшифрую его потом на основе сравнительно-сопоставительных методов. Может быть, именно таким путем мне наконец посчастливится открыть тайну надписей на дворцах древних инков в Веракрузе».

Итак, он купил попугая, привез его в Прагу и стал обстоятельно описывать поведение попугая. Вот эти записи:

«8.07.1912 — молчит. 9.08.1912 — молчит. 15.08.1912 — молчит. 17.09.1912 — молчит» и так далее, почти ежедневно. Потом под словом «молчит» он просто уже ставил кавычки, и только 22.03.1913 сердито написал: «в молчанку играет».

В эту пору, прогуливаясь как-то раз по городу, профессор Вавроушек совершенно неожиданно под воздействием неодолимого инстинкта обратился к полицейскому на Вацлавской площади на кепфелексулесском наречии.

Он подошел к нему и сказал: «Бобобобокороромазовазо».

В полицейском участке профессор несколько успокоился, за ним пришли родственники, и он затем уехал на два месяца в деревню поправлять здоро-

вье, оставив на попечение хозяйки попугая ара.

Когда профессор вернулся, попугай по-прежнему держался неприступно, но на другой день, к удивлению профессора, он вдруг заговорил и мало того — закричал. Все издаваемые им звуки были предельно точно записаны паном профессором: «Какв-ыж-иве-тека-каяп-рек-ра-сна-яп-ого-даах-тын-егодн-ик!»

«Глядите-ка, — сказал пан профессор, — это наверняка мой ара говорит на каком-то мертвом наречии. Оно напоминает мне изтнагальский язык, чокольский язык, а также язык монлезумов, то есть язык мексиканских индейцев.

А попугай начал снова: «Какв-ыж-иве-тека-каяп-рек-ра-сна-яп-ого-даах...»

В дверях появилась квартирная хозяйка:

— Пан профессор, дайте ему кусочек сахара, он икает!

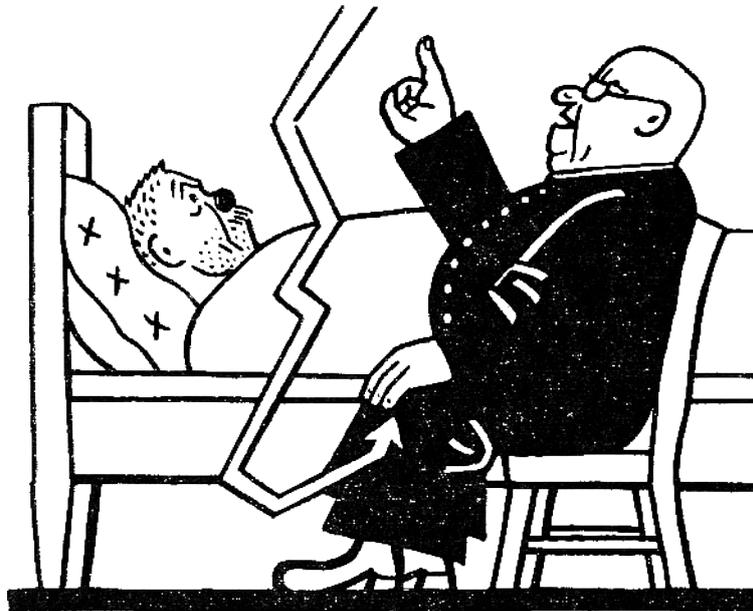
И прежде чем профессор опомнился, она сама уже протягивала ему сахар, и попугай, взяв его коготками, весело подпрыгивал.

Расправившись с сахаром, он гордо растопырил свои перышки и стал кричать: «Как вы живете? Какая прекрасная погода! Ах ты, негодник!»

— Не извольте гневаться, — сказала хозяйка, — это его, пока вас не было, научил мой муж.

Но профессор Ваврошек не отвечал. Высунув язык, он упал со стула, а его потрясенная душа устремилась в вечный поиск.

## Как гром служил господу богу



**Н**ебесный гром, наблюдая с высоты небес за происходившим заседанием в 1586 году совета кардиналов в Риме, услышал, как святые отцы призывали его обрушиться на головы богохульников. Он внезапно во всем своем великолепии явился на совет, справедливо полагая, что его присутствие в данном случае необходимо, так как речь шла непосредственно о нем и его профессиональных обязанностях.

Вернувшись на небо, он рассказывал, что слишком сильно хватил по кардиналам, немного переусердствовал, что в результате его визита два кардинала, вероятно, отдали богу свои души. Он упомянул также о том, что с удовольствием посмотрел бы на их похороны, которые, наверное, будут весьма торжественны. Через некоторое время святой Петр посоветовал ему воздержаться

от присутствия на похоронах во избежание нового несчастья. Другое дело, если бы хоронили какого-либо еретика, тогда он мог бы бить по процессии сколько ему угодно.

Гром важно посматривал с неба и поплевывал на маленькие, игравшие под ним громики. Ну, известно, куда этой мелкоте попасть в совет кардиналов в Риме!

Потом его позвали к господу богу, откуда он вернулся сильно покрасневшийся, так как за свой визит на совет он получил шесть недель домашнего ареста — и это как раз в сезон летних бурь!

Напрасно он оправдывался, ссылаясь на то, что совет сам позвал его, что он исполнил постановление, касающееся непосредственно его профессиональных интересов и его чести.

Когда он встретился с архангелом Гавриилом, тот сказал ему:

— Ну, и натворили вы бед! Знаете ли, вы убили как раз того самого толстого, который больше всего импонировал верующим. Это было свинство с вашей стороны!

С тех пор при игре на небесах гром был весьма сдержан, опасаясь снова подложить свинью господу богу.

Однажды лег к нему на тучу какой-то святой, которого он знал только в лицо, и пустился с ним в разговор. Он рассказывал грому о том, как его живого жарили в масле и какой запах он издавал при этом.

Небесному грому было противно его слушать, и он сказал святому:

— Простите, но мне скучно. Сегодня утром я встретил, по крайней мере, пять мучеников, и все они мне рассказывали о том, что с ними делали до того, как они попали сюда. Я уже сыт по горло этими рассказами. Сперва это было интересно, но слушать в течение 1500 лет непрерывно одно и то же не такое уж веселое занятие!

— Но, позвольте, — сказал мученик, — кому же мне рассказывать? Я этого еще никому не рассказывал, так как я не мог вспомнить название того масла, на котором я был изжарен. И представьте, только теперь я вспомнил — это было конопляное масло!

— Оставьте меня в покое! — разозлился небесный гром. — Зачем мне это слушать?!

— Но это же весьма интересно! — сказал мученик. — Как вы думаете, какая нога у меня сперва поджарилась — правая или левая?

Небесный гром уже не мог перенести навязчивости этого господина и, чтобы от него избавиться, прыгнул вниз на землю.

Он прыгнул и понесся стрелой по ровной линии и опомнился только над крышей церкви, когда ему уже нельзя было себя сдерживать. Он пробил крышу и ударил в кафедру в тот момент, когда с нее говорил проповедник. Он хотел было извиниться перед проповедником, немного задержался, но, увидев, что проповедник горит, испугался, убежал через какую-то даму в землю и скрылся из глаз.

В сильном расстройстве подлетел он к небу.

— Боже мой, — сказал он сам себе, — снова я натворил бед. Опять перестарался, хоть бы там кому-нибудь на земле пришла в голову мысль сказать, что проповедника взяла на небо огненная колесница, как это было с пророком Ильей. Славную я тогда выкинул штуку. Хорошо еще, что на земле всю эту ис-

торию так удачно затушевали. А теперь, — вздыхал он, — проповедник явится на небо и опять начнет жаловаться, что я с ним поступил плохо. Опять неудача. Возможно, что он будет даже раньше на небе, чем я.

Однако опасения небесного грома не сбылись. Из канцелярии ада пришло следующее сообщение:

«Только что прибыл один из иезуитских проповедников. Еще не смогли подвергнуть его допросу, так как он до сих пор не может прийти в себя от изумления».

— Гм, — сказал Петр, когда ему принесли письмо из адской канцелярии, — опять мы потеряли одного из своих сотрудников.

Небесный гром весьма обрадовался такому благоприятному исходу дела и целый день с улыбкой слушал старичка, который с воодушевлением рассказывал о том, как язычники выматывали из него кишки. Само собой разумеется, что он страшно преувеличивал, говоря что-то о трехстах семидесяти двух метрах.

Затем пришло сообщение из ада о том, что проповедник был допрошен, жалуется, что его поразил небесный гром.

Вопреки ожиданиям, гром получил какую-то своеобразную похвалу.

— Не стоило бы, конечно, делать этого, ну, да раз такое случилось, — ничего не поделаешь, — сказано ему было при аудиенции. — Вы малость подорвали веру в священников, но можете иметь надежду на работу получше. Бейте в еретиков.

— По указанию римского совета, — сказал почтительно небесный гром и отправился на разведку.

Он разыскал огромную черную тучу, из-за которой было хорошо видно все, что происходило внизу, и которая создавала великолепную акустику. С этой тучи он мог слышать каждое слово, произносимое на земле.

«Ага, — подумал небесный гром, — услышав один разговор, — вот тут мне сейчас будет работа». — И стал наблюдать.

Он увидел, как в одной избе на постели лежал рыжий дядя, а возле него сидел человек, похожий на священника или епископа.

— Мацоун, — говорил поп, — постарайся исправиться, ты видишь, как тебя наказал бог, ты даже не можешь двинуться с места.

— У меня парализован спинной хребет и ноги, — отвечал больной.

— И при этом ты еще ропщешь?

— Ах, разрази все это гром! Какая ж это жизнь? Тысячу громов на эту жизнь!

Небесный гром, услышав эти слова, уже не мог сдержаться и ринулся вниз на рыжего дядю.

Он ударил с треском в избу. Обрушился на лежавшего человека, но, сойдя вниз, он прошел через что-то гладкое и неприятное на постели, хотел было задержаться и схватился за руку его преподобия. Тот упал, небесный гром от испуга бросился в хлев, а оттуда прыгнул на небо и стал обзирать сделанную им работу.

Вот выносят священника, звонит колокол, а Мацоун ходит как ни в чем не бывало по избе и говорит:

— А черт, вот и отпустило!

Когда небесный гром рассказывал об этом случае одному старому опытному

му святому, тот ему сказал:

— Вы что же — даже не знаете, что тот, кто лежит на перине, изолирован от электричества? Вы не знаете, что перина — это очень плохой проводник, а поп очень хороший!

— Но ведь ко всему этому Мацоун встал на ноги!

— Еще бы! — сердито заметил старый опытный святой. — Вы ему задали такую хорошую электрическую ванну!

Небесный гром расплакался от досады.

## Сыскная контора

У меня из квартиры пропали часы, доставшиеся мне от покойной прабабушки. Часы были работы старого мастера, как и моя прабабушка, — ведь отец ее тоже был часовщик. По тем временам это было нечто весьма совершенное. Настоящее сокровище, шестнадцать камней, в золотом, очень толстом корпусе.

Я обнаружил пропажу как раз в тот момент, когда собрался пойти их заложить. Мне дали бы за них 400 крон, как и всегда в эту пору, когда я устраивал всякие там карнавалы.

Золотая женщина была моя прабабушка.

Я решил заявить о пропаже и отправился к директору пражской сыскной конторы. Когда обо мне доложили, я вошел в кабинет.

Создавая впечатление занятости работой, он спал, положив голову на лист бумаги. На стене перед ним висел плакат, на котором статуя правосудия держала за шиворот злодея со свертком. Над картинкой висели какие-то искусственные кандалы.

Я подошел ближе, он поднял голову, и в зеркале слева от него я увидел, как он протер глаза, зевнул, обалдело посмотрел перед собой и, выпрямившись на стуле, проворчал:

— Войдите.

— Я уже вошел, с вашего позволения.

Он повернулся в своем достоуважаемом кресле, и я увидел пожилого мужчину с очень строгим лицом.

— Что вам угодно? — отрывисто рявкнул он.

— Я пришел к вам за помощью.

Он встал, и лицо его приняло приятное выражение.

— Добро пожаловать, — произнес он, сделав шаг вперед. — Вот вам моя рука, — воскликнул он с пафосом и с еще большим пафосом пожал мою руку. — Я позволю себе показать вам некоторые из полученных нами благодарностей. Пожалуйста, следуйте за мной в зал раскрытых преступлений.

Зал представлял собой каморку, где над маленьким столиком горела красная лампочка. На столике лежал альбом с фотографиями. Он взял его и, перевернув первую страницу, показал мне надпись: «Портреты обнаруженных преступников». Тут же захлопнув альбом, он положил его на место. Затем достал из ящика стола перевязанную черно-желтой ленточкой пачку писем и, вытащив верхнее, с воодушевлением продолжал:

— Вы видите, сударь, незначительную часть благодарственных писем клиентов, обратившихся к нам, как и вы, с полным доверием. Прочтите вот это письмо, или, лучше, я сам прочту его с выражением. Послушайте хотя бы эту

горячую благодарность: «Горячо благодарю вас за то, что вы разоблачили этого негодяя, моего мужа, и застали на месте преступления с пани Крейчовой, которую я спустила с лестницы. Никогда я Вам этого не забуду. Как же этот негодяй притворялся...» Вы видите, — торжественно произнес директор сыскной конторы, — какая искренняя признательность. Вы наверняка не читали ничего подобного. Эта женщина останется мне верной навсегда. А теперь извольте проследовать в конференц-зал.

Конференц-зал оказался еще меньшей каморкой, чем «зал раскрытых преступлений», но уже с синим освещением. Стены зала были оклеены обоями с треугольным узором, из середины которого, окруженное лучами, взирало всевидящее око, видимо, провидения божия.

— Каких только тайн не слышали эти стены, сударь. Сиживали здесь графы и принцы, герцоги и простые государственные советники, был тут князь и бедный ремесленник, у которого пропала бочка с дегтем. Как в калейдоскопе, сменяли здесь друг друга разные лица, и ни одна тайна не проникнет отсюда на свет божий. Итак, приступим к вашему делу.

Я коротко изложил его.

— Вы говорите, — уточнил он, делая пометки в толстом блокноте, — что часы принадлежали вашей прабабушке. Могли бы вы доказать это? Детективам необходимо знать все. Если они принадлежали вашей прабабушке, вы, несомненно, располагаете документальными доказательствами, и, руководствуясь ими, мы и начнем расследование. Когда родилась ваша прабабушка? Как это вы не знаете? Вам необходимо представить свидетельство о ее рождении и крещении, и тогда мы допросим всех знавших вашу прабабушку, в первую очередь — вашу бабушку. Ах, она умерла тридцать пять лет назад? Не будем отчаиваться. Наверняка найдутся свидетели, знавшие ее и разговаривавшие с ней. Как, она умерла в возрасте ста пяти лет? Это осложняет дело, но ничего страшного. Вы кого-нибудь подозреваете? Нет. Тем лучше, по крайней мере, следствие не пойдет по ложному следу. Только будьте добры уплатить 50 крон задатка на расследование, и я отправлю детективов, чтобы они тут же занялись розысками.

Я внес 50 крон, и он, глубоко поклонившись, проводил меня, спросив, где я живу.

На другой день я заметил, что на моей улице, на моей тихой улочке, где все хорошо знают друг друга, кое-кто стал посматривать на меня с подозрением.

Сыщики приступили к расследованию. Прежде всего они расспросили обо мне лавочницу. Она ничего плохого за мной не знала, тем не менее, слово за слово, и она припомнила, что, в самом деле, про меня в трактире на углу говорят всякое. Сыщики узнали, что я нередко целыми днями не бываю дома. Лавочник сообщил им, что я болтун и морочу голову женщинам. Привратница знала обо мне кое-что и почище. Так, однажды, открывая мне поздно ночью парадное, она увидела, что я не один, со мной молодой человек с бритым лицом, по странной походке которого она сразу определила, что это переодетая женщина. Тут все и завертелось.

Сейчас я сижу в предварительном заключении на Карловой площади по обвинению в краже часов у своей прабабушки.

## Несчастный случай в Татрах

До сих пор не решено, кому, собственно, принадлежит Штрбске плесо в Татрах. В общем это не столь и важно, поскольку красоты природы интернациональны, а прибыль от Штрбского плеса, этого чуда Татранской долины, привлекают владельцы отелей, относящиеся к разным нациям, они дерут с туристов три шкуры. Спор идет о том, на чьей оно территории — Галиции или Венгрии. По берегам его разбросаны отели и виллы; владельцы тех, что на северной стороне, платят налоги Галиции, а тех, что на южной, — Венгрии. Озеро не приносит прибыли. Находишь оно между обоими королевствами, ветер столь же спокойно волновал бы его синюю гладь, но... однажды челядь из поместья графа Потоцкого вдруг решила половить в Штрбском плесе рыбки. По несчастному стечению обстоятельств патруль венгерских жандармов, ворчавших по поводу трудностей обхода в таких горах, надумал освежиться, окунув ноги в холодные волны озера. Сняв сапоги, жандармы позволили лобзать свои ноги (казенное имущество!) легким волнам Штрбского плеса, обозначенного на венгерских картах исковерканным названием «Чорда то».

И тут они увидели, как челядь из поместья графа Потоцкого невозмутимо ловит озерную форель, которая куда крупнее и вкуснее форели из горных ручьев. Возможно, жандармы потребовали, чтобы с ними поделились форелью: удалось выяснить только, что поднялась стрельба, а позднее органы венгерского королевства заявили, что Штрбске плесо принадлежит Венгрии.

Прямо в духе римского права о праве владения: стоило римскому воину воткнуть меч в землю, как это место уже принадлежало Риму. А здесь хватило того, что жандармы окунули ноги в озеро, и озеро стало венгерским.

С той поры венгерские жандармы разъезжали на лодках по озеру и — в отличие от туристов — вовсе не любовались отражением Татр в голубой глади вод. Они уже сами ловили форель, а в пятнадцати минутах ходьбы от берега соорудили что-то вроде хижин; около нее всегда были запасы сухого стланика. А внутри — очаг и котел, где жарилась форель. Держали они там и бутылки можжевеловки.

Однажды ни с того ни с сего откуда-то с польской стороны, от Закопане или даже от Магуры, вдруг заявили горали — жители гор, с валашками и браконьерскими обрезами, и спокойно, без лишних слов, окружили хижину — это временное помещение венгерской жандармской станции около Штрбского плеса — и деловито предложили жандармам убраться навсегда, потому как озеро принадлежит горалам, а горали — жители Галиции.

Все могло кончиться вполне по-хорошему, не начни жандармы — в количестве четырех человек — выговаривать себе право на почетное отступление в полном снаряжении, с оружием и с запасами можжевеловки, которую они рассовали по карманам шинелей.

Татранские горали — отнюдь не ангелы (они это признают и сами), и мысль о том, что они не получают ни манлихеровок жандармов, ни мундиров и шинелей, не говоря уже о попрадской можжевеловке, привела их в ярость.

Из четырех жандармов в Попрад в жандармское управление лишь один вернулся в мундире и рубашке, только ему удалось вырваться от горалей прежде, чем его раздели.

Остальные прибыли в чем мать родила, до смерти перепуганные и синие

от холода.

После этого жандармы совершили набег на овчарню над Штрбским плесом и изрубили пастуха да собрались было ставить какие-то вешки, что-то замерять, но, впрочем, отказались от этого, когда по ним открыли стрельбу с горы напротив.

Споры не утихли и поныне, так что не дай бог, если там появится человек с каким-либо подозрительным предметом, который горали могут принять за инструмент землемера.

Однажды они, например, едва не растерзали одного английского туриста, который нес с собой в Татры какой-то дорожный самовар, последнее достижение техники.

Не лучше обстояло дело и на венгерской стороне. В долине Попрада, у Ломницкого пика, — споры перекинулись и туда — крестьяне разогнали какую-то комиссию, прибывшую в горы для рассмотрения этих споров.

И ситуация отнюдь не стала утешительной, тем более что после тщательных проверок и измерений выяснилось наконец: и Ломницкий пик, и полоса стланика под ним на южном склоне принадлежат Галиции. При таких вот обстоятельствах и приключилась история с инженером Вишнёвским из Кракова.

Он относился к числу людей, которые в свободное время бродят по горам. Когда я разговаривал с ним в последний раз, он сказал, что перед смертью хотел бы подняться на Ломницкий пик... И как человек, который всегда держал слово, он это в самом деле совершил.

На Ломницкий пик, вверх от Штрбского плеса, с ним полез один иностранный турист, откуда-то из королевства, значит, вовсе не из Галиции, д-р Грубля.

По нашему мнению, это самоотверженный человек. Кстати, он вспомнил, что пан инженер Вишнёвский на протяжении всего пути был очень весел, а перед самой вершиной на высоте 2200 метров рассказывал ему какой-то анекдот; однако он, д-р Грубля, уже забыл его из-за последовавших затем волнующих событий.

На Ломницком пике, который они счастливо покорили, пан инженер, привязавшись к скале веревкой и призвав д-ра Грубля последовать своему примеру — чтоб не упасть, — рассказал другой анекдот; впрочем, его д-р Грубля тоже позабыл.

Когда же они стали спускаться вниз и были метрах в двадцати от густых зарослей стланика, пан инженер хотел рассказать очередной анекдот, но поскользнулся и свалился вниз.

Все произошло так внезапно, что д-р Грубля не успел подхватить его, чтобы дослушать анекдот, и опомнился только тогда, когда снизу, из зарослей стланика, раздался голос пана инженера:

— Эй, пан коллега, я жив.

В ходе дальнейших переговоров выяснилось, что пан инженер цел и невредим, если не считать небольших ссадин; правда, на нем порвалась одежда и он так застрял в чаще стланика, что не может и шевельнуться. Так что надо сбегать за помощью.

Д-р Грубля и побежал вниз, а поскольку с той стороны, где были пропасти, он просто не мог добраться к пану инженеру, то он примчался к Штрбскому плесу, на венгерскую жандармскую станцию. Там ему сказали, чтоб он как

можно скорее — нужна ведь неотложная помощь — бежал в венгерское жандармское управление в Попраде. Он нанял повозку и поздно вечером приехал в Попрад; в жандармском управлении ему объяснили, что уже поздно, поскольку жандармский начальник ужинает, а без его приказа сделать ничего нельзя.

В общем-то его приняли любезно, даже весьма, если в конечном итоге его посадили в одиночку, то он сам виноват — он без конца твердил, что нужна срочная помощь. Он даже хотел прервать ужин королевско-венгерского начальника.

Когда его затолкали за кованые двери, он закричал: «Co to jest?»[113] Жандармы с милой улыбкой прокричали ему, «éjeli szállasi», то есть ночлег.

Он там и пробыл до утра, а когда около десяти часов жандармский начальник пришел, то заверил д-ра Грубля, что прежде в самом деле ничего сделать было нельзя.

— Видите ли, — сказал он, — спешка излишня. Ваш друг в стланике не замерзнет, ночи у нас стоят необычайно теплые. А сейчас мы быстренько организуем спасательную экспедицию, если вы знаете, куда примерно он упал.

Начальник велел принести карту окрестностей, а когда д-р Грубля показал ему, где произошло несчастье, он встал и ледяным тоном произнес:

— Видите ли, сделать в самом деле ничего нельзя. Ваш друг упал на польскую сторону — этот кусок зарослей стланика принадлежит Галиции. Свалился он на тридцать метров подальше, он оказался бы на венгерской стороне, и тогда... — начальник положил руку на сердце, — тогда мы поспешили бы ему на помощь. И вам, приятель, лучше не протестовать, когда вас теперь выведут за пределы нашего magyar-király[114] города Попрад.

Через полдня д-р Грубля вновь оказался в Штрбе, а оттуда по Викторининой дороге добрался на повозке до Закопане, где на жандармской станции было установлено, что инженер Вишнёвский действительно застрял в стланике на польской стороне. Спасательная экспедиция была составлена и до наступления вечера отправилась из Закопане.

На следующий день в полдень она прибыла на место происшествия.

В стланике были найдены какие-то тряпки и шляпа да еще нечто, отдаленно напоминающее ботинки.

Глава экспедиции гораль Коралья, старый, искушенный человек, оглядев землю вокруг, снял баранью шапку, опустился на колени и перекрестился:

— Помолимся, ребята, здесь был медведь...

Рассказывая об этом приключении, д-р Грубля явно волнуется и под конец, заикаясь, грустно добавляет:

— А третий анекдот он так мне и не досказал...

## Проект закона Идиллия министерства юстиции

Один из начальников отделения министерства юстиции, тайный советник Мар фон Гальменсдорф, сидел в своем кабинете и курил сигару. Перед ним на столе лежал незавершенный проект, представленный министерством.

Разных проектов у него было уже несметное количество. Они хранились в большом шкафу, скрытые от людских глаз, как в сейфе. Лежали там и проекты социальных законов, некоторые совсем еще свежие, недавно поступившие в кабинет тайного советника Мара фон Гальменсдорфа. Сначала он сам складывал проекты в этот поглощавший их шкаф. Теперь же вместо советника этим занимался слуга, который после ухода шефа отделения собирал и бросал в этот шкаф, и без того битком набитый, все, что находил в правом верхнем ящике письменного стола.

Только однажды появилась надежда, что этим бумагам, которые содержали не только предложения, но и обжалования, будет дан ход.

Искали какое-то весьма важное прошение, содержащее жалобу, которое потерялось пять лет назад и стало причиной апелляции к имперскому совету. Ее поиск поручили одному старательному молодому чиновнику из министерства, который принялся решительно извлекать из шкафа шефа отделения проекты законов, обжалования и другие бумаги.

Потом все хором утверждали, что не следовало бы посылать его одного на разработку всех этих бумаг, потому что, когда он свалил их все в одну кучу, высокую, как стена, она рухнула на молодого чиновника. Прежде чем подошла помощь, он задохнулся под гнетом всех этих жалоб, предложений и петиций.

И тогда тайный советник Мар фон Гальменсдорф заявил, что не желает больше все эти бумаги видеть; их затолкали обратно в шкаф, а запасы снова начали пополняться.

Тайный советник Мар фон Гальменсдорф собирался уже отложить в сторону проект, лежавший перед ним на столе, но случайно пробежал глазами несколько строк. Эта неосторожность очень его огорчила, потому что за те пять лет, что он здесь курит свои сигары, он совершенно освободил себя от обязанности читать какие-либо официальные бумаги.

Советник вздрогнул, но по несчастью его глаза пробежали весь проект. Это его очень огорчило, так как совершенно неожиданно он запомнил все содержание проекта, чего с ним сроду не случалось. Покой был нарушен. Советник, к великому своему неудовольствию, над проектом задумался.

Это был проект закона о краже, вернее, дополнение к закону.

Одному типу пришлось в голову обратить внимание на то, что до сих пор никак не преследовалась законом кража времени, когда кто-либо тратил служебное время лично на себя. «Хотя он за это время получает жалованье, он его попросту крадет» — так было написано в дополнении к проекту закона о краже. Сначала советник ничего не понял, потому что вообще сообразительностью не отличался. В частности, он не мог понять (как, впрочем, и вся страна), почему, за какие заслуги его величают тайным советником. Потом неожиданно в голове у него что-то начало проясняться, он начал думать и сладко с удоволь-

ствием задремывать. Выронив изо рта сигару, тайный советник Мар фон Гальменсдорф стал клевать носом.

Ему приснилось, что он сидит на скамье подсудимых. По обеим сторонам стоят жандармы. «Подсудимый Мар, — слышит он звучный голос судьи. — Как известно, вы обвиняетесь в злостной краже времени. Поскольку на вашем высоком посту это составило сумму более чем 2000 крон, вам пришлось предстать перед судом. Вот здесь справа налицо существенные доказательства вины — *corroga delicti*. Это все, что удалось нам найти, все, что вы сделали для отделения, которое было вам вверено. Как видите, это всего лишь один листок бумаги, на котором стоит ваша подпись. Это ваше официальное прошение о предоставлении вам отпуска. Неужели вам не стыдно? Налево вы видите кучу того, что создано вами в служебные часы, но для личных нужд. Как могут убедить господина судьи, вы вышивали подвязки для известной танцовщицы Грейштовой. А здесь перед вами ящичек с отрезанными кончиками от ваших сигар. Как показало следствие, вы занимались кроме вышивания подвязок и обрезания кончиков у сигар еще тем, что ежедневно писали письма своим возлюбленным и мирно спали в служебные часы. Вас не смогла разбудить даже чрезвычайная ревизионная комиссия. Что вы можете сказать в свое оправдание?»

Тайный советник Мар фон Гальменсдорф встает, чтобы ответить, но один из жандармов силой сажает его обратно на скамью подсудимых, а слово предоставляется общественному обвинителю. Мар плачет и поэтому почти ничего не слышит из его речи, кроме заключительной фразы: «Исходя из вышеизложенного и учитывая, как было доказано, что тайный советник Мар фон Гальменсдорф, начальник отделения министерства юстиции, является личностью, которая уклоняется от труда, предлагается после отбытия наказания назначить ему принудительные работы».

Тут тайный советник Мар фон Гальменсдорф проснулся, ударившись о край письменного стола головой. Он увидел лежащий перед ним проект закона о краже времени и, отшвырнув его вправо, позвонил слуге и приказал подать пальто.

Когда советник садился внизу в свой автомобиль, он подумал, что сегодня опять перетрутился, и тупо уставился на прохожих.

## Протест против конфискации

В сенате, который рассматривает апелляции по делам печати, происходит разбирательство по поводу запрещения какой-то брошюры. Государственный представитель усмотрел в ней преступление против общественного порядка и спокойствия.

Члены сената сидят за длинным столом, а с места, где иногда стоит адвокат, молодой восторженный автор, он же редактор социалистического еженедельника, защищает свою книжку. Автор ораторствует, словно святой апостол. Он объясняет, что такое революция, разъясняет, что тот или иной абзац не мог никого оскорбить, так как в нем содержатся всего лишь цитаты из школьного учебника истории.

Председатель на него смотрит, но не слушает. За долгие годы службы он научился, глядя на губы говорящего, не слышать его. К тому же председателю совершенно неинтересно, что говорят другие. Глаза его открыты, как у уставшего солдата, который спит на ходу, шагая и шагая вперед.

Пан председатель внимательно смотрит, но думает совсем о другом. Энтузиасту, защищающему свое детище, кажется, что он сумел увлечь председателя, и он все больше открывает шлюзы своего красноречия. Автор говорит с воодушевлением и при этом смотрит пану председателю прямо в глаза, а тот размышляет о том, чем же был нехорош его утренний кофе. Сливки, как утверждала жена, были свежие, кофе, как обычно, прямо из жаровни, прекрасный кельнский цикорий — и все же кофе был не такой, как всегда... Председатель смотрит на оратора и думает: «Завел бы себе лучше манжеты».

Энтузиаст продолжает говорить и жестикулирует руками.

«Ага, манжеты-то у него, оказывается, лежат на столе», — замечает председатель и смотрит на своего соседа, советника, второго члена сената.

По глазам того он легко читает, что возражения автора кажутся ему слишком длинными и что сейчас самое время вздремнуть. Он подпирает голову руками, опустив лицо, а со стороны кажется, что он углубился в текст злополучной брошюры. Затем, чтобы его совсем не было видно, он воздвигает перед собой высокую стену из сводов и кодексов законов и сладко засыпает.

Однако ненадолго, потому что третий член сената толкает его локтем и шепчет: «Пан коллега, опять у меня ломота в спине». Он страдает ревматизмом, ему приходится сидеть, откинувшись на спинку мягкого кресла, и поэтому ему не удастся закрыть глаза незаметно для оратора. Он выглядит измученным, зевает и смотрит на бумаги, разложенные перед ним. На одной из них он нарисовал карандашом собаку и теперь постепенно стирает ей резинкой хвост, ноги, голову. Делает он это машинально, размышляя о том, что бы еще такое нарисовать.

Он опять толкает в бок советника слева и шепчет: «Как вы думаете, коллега, не поможет ли мне от прострела парилка?» Тот просыпается и ворчит сонно: «Оставьте в покое карандаш».

После чего спит дальше.

А этот безумный автор все говорит и говорит, защищая свое творение. По другую сторону от председателя зевает четвертый член сената и, нагибаясь через председателя, тащит, хитрец, известную нам стену из кодексов и законов: «Разрешите, коллега!» Тот просыпается и тупо смотрит, вытаращив глаза, на

«обжалующего конфискацию» (так официально называется ораторствующий молодой человек).

Четвертый член сената нагромождает перед собой кодексы законов, опирается на руки и засыпает.

На первый взгляд такой сон очень беспокоен, но, имея за плечами столь долголетнюю практику, как этот член сената, конечно, можно быть уверенным, что он не заснет при разбирательстве дела крепко, как бревно. Такой сон в своем роде настоящее искусство: ровно через минуту он просыпается, берет с самого верха заграждения один кодекс законов, заглядывает в него, кладет обратно и снова засыпает.

От внимания оратора не ускользает это переселение кодексов законов, и он начинает говорить с еще большим воодушевлением, чтобы убедить суд в необоснованности конфискации своей брошюры.

Передача кодексов законов из рук в руки кажется ему неоспоримым свидетельством того, что его дело интересует всех до чрезвычайности.

Председатель склонил голову и вертит под столом пальцами. Он думает, не переплатил ли утром, покупая сигары. Приподняв судейскую мантию, он вытаскивает из кармана брюк кошелек и пересчитывает его содержимое. Действительно, не хватает одной кроны, но, пристально поглядев на оратора, он припоминает, что утром купил на пять кубинских больше, чем всегда.

Оглядывая поочередно всех членов сената, председатель замечает, что крепко спит только один — тот, что за горкой законов, а справа от него оба члена сената сладко дремлют с открытыми глазами, как кролики.

Вдруг в зале раздается грохот. Председатель, убедившись, что оратор все еще защищает свои позиции, взглянул на часы и понял, что тот говорит уже два часа.

Налево за спящим советником, укрывшимся в своем логове, еще бодрствует секретарь. От скуки он рисует на листе бумаги разных чудовищ и ставит под рисунком свою подпись. От скуки же он стенографирует отдельные фразы из речи восторженного молодого человека. «Славный суд, ведь в словах: «мозолистые руки вздымаются с проклятьем к небесам...» — нет ничего, что бы могло возмутить общество».

Трах! Удар! Четвертый член сената упал с кресла — увидел во сне китайцев. Однако он не теряет присутствия духа и громко говорит, поднимая с пола какой-то листок бумаги: «Надо же, один акт чуть не улетел!»

Оратор, прерванный шумом, взглянул на упавшего, потом впери в него взгляд и снова начал проповедовать, как апостол, а член суда, поднявшись с пола, почему-то слушал его стоя, потом все же сел. Тем временем председатель перетащил его баррикаду к себе и загородился законниками.

Однако спать уже не было времени. Оратор заключает свою речь просьбой, чтобы славный сенат принял во внимание его доказательные возражения и отменил постановление о конфискации брошюры.

Члены сената берут со стола свои судейские береты, а председатель торжественно провозглашает: «Сенат удаляется на совещание!» Все уходят в совещательный зал и плотно закрывают за собой двери. Первым идет председатель, за ним — все остальные члены сената.

Посредине совещательного зала стоит длинный зеленый стол. Секретарь завершает шествие. Важно и в полном молчании они все обходят вокруг сто-

ла. Потом председатель берется было за ручку двери, но передумывает и изрекает: «Придется нам еще раз обойти стол. Сегодня все это тянулось слишком уж долго».

Вся процессия обходит еще раз стол и входит в зал заседаний. Энтузиаст, исполненный надежд, с трепетом взирает, как они надевают свои береты. Полицейский говорит ему: «Встаньте!»

Председатель читает по чистому листу бумаги: «Именем его величества императора сенат по апелляционным делам печати после совещания постановляет, что с возражениями, приведенными здесь, согласиться не может и решение о конфискации брошюры подтверждает. Причины будут указаны в письменном виде».

Итак, прощайте!

## Детективное бюро

**В** частном детективном бюро «Х-лучи» дела шли довольно скверно. Просто-напросто никакой клиентуры. Прошло два месяца с тех пор, как один солидный отец семейства за пять крон поручил следить за своей дочерью. И с тех пор — ничего.

Директор бюро Паточка медленно резал оставшийся кусок солонины и запивал ее сливовицей. Это было последнее воспоминание о добром папаше, который, когда выяснилось, что его дочь не гуляет с одним подозрительным художником, в добавление к пяти кронам дал три бутылки сливовицы и, очевидно, в приливе радости дал еще кусок солонины из своего колониального магазина.

Директор детективного бюро, размышляя о плохих делах, дорезывал последний кусок солонины и с досадой закрыл окно, чтобы не слушать неприятный голос тенора, без перерыва певшего одно и то же; «Ах, это было счастливое время».

Пан Паточка доел солонину и снова засел за переписку адресов. Увы, дела бюро «Х-лучи» были так плохи, что директор вынужден был содержать себя тем, что переписывал адреса для одной фабрики.

Вдруг кто-то постучал в дверь. Пан Паточка не ответил, так как имел привычку заставлять посетителя подолгу ожидать у дверей. Затем он собрал конверты, закрыл их газетой, закрутил усы, провел руками по бровям и сухо сказал:

— Войдите!

В кабинет вбежал молодой, элегантно одетый человек, не ожидая приглашения, сел на стул и стал нервно барабанить пальцами по коленям.

— Простите, я взволнован, — сказал он и неожиданно расплакался. — Вы простите меня великодушно. Моя жена мне изменяет. Я прошу у вас совета, прошу помощи.

— Вот как, — сказал сухо директор, любовно оглядывая молодого человека.

— У меня в Праге две фабрики, — начал молодой человек рассказывать о своем горе. — Одна фабрика на Высочанах, другая в Бржевнове. Поэтому я должен ездить из Высочан в Бржевново и из Бржевнова на Высочаны.

Молодой человек вновь принялся плакать и печально огляделся по сторонам.

Затем он опомнился и продолжал:

— Так как я должен ездить из Высочан в Бржевнов и обратно, чтобы наблюдать за работой фабрик, я теряю много времени и почти целый день не вижу своей жены. Моя жена... Ах, где те времена, когда я мог ее так называть!.. Увы, это случилось тогда, когда я еще ездил из Высочан в Бржевнов и из Бржевнова в Высочаны... Затем я построил еще одну фабрику, на этот раз уже в Годвичках. После этого я видел свою жену Отилию еще меньше, так как должен был ездить каждый день во все эти три места. Затем я собирался построить еще одну фабрику, в Радлицах, но тогда у меня совсем не осталось бы времени, и никогда бы я не узнал об измене жены.

Я вам расскажу, как это случилось. Я продал фабрику в Бржевнове и возвращался домой для того, чтобы положить в сейф подписанный договор о продаже. Когда я подошел к дому и начал стучаться в дверь, то услышал, как прислуга начала шушукаться и долго не открывала мне. Наконец мне открывают, я вхожу в гостиную и никого там не нахожу, кроме своей жены. Я не подаю вида, прохожу в спальню, заглядываю под кровать — и там никого нет. Иду в переднюю, просматриваю вешалки. На них не нахожу ничего подозрительного. Никого не нашел я также и в уборной. В гардеробе также никого не оказалось, и за шторами, а моя жена — потаскуха! — при этом еще так спокойно улыбается... и только после того, как я начал уже кричать: «Где он! Где он?» — она расплакалась и спросила, что со мной. Само собой разумеется, я и вида не подал и сказал, что ищу спички.

Затем я лег в постель, мне положили компресс на голову, и жена стала уговаривать, чтобы я заснул. Конечно, я почувствовал, что делает это она неспроста, что она кого-нибудь ожидает, и всю ночь не спал, непрерывно наблюдая за поведением своей жены. Она вынуждена была находиться возле меня, и я заметил, что она была как на иголках; таким образом, на этот раз ей не удалось обмануть меня.

Спустя некоторое время я сдал в аренду фабрику в Годвичках, и когда в полдень я ехал домой с договором для того, чтобы положить его в сейф, я почувствовал себя вдруг таким несчастным, словно в доме что-то случилось. Прислуга опять долго не открывала мне дверь, и снова за дверями я слышал таинственный шепот и разговор. Я врываюсь в гостиную и уверяю вас, что на лице моей жены были заметны следы испуга. Я врываюсь в спальню, заглядываю под кровать. Однако меня охватывает дурное предчувствие, и я снова осматриваю гардероб, занавески, но и там никого не нахожу, тогда заплаканная жена подает коробку спичек и говорит: «Вот они, здесь, ведь ты их ищешь?» Я опять не подал вида, что я что-либо знаю, и сказал: «Я ищу зажигалку». Но знаете вы, как я это открыл?..

И молодой человек снова расплакался.

— Об этом вам скажет мой брат, который меня ожидает на улице. Прощайте. Я его пошлю к вам, чтобы он вам все рассказал, так как меня это сильно волнует.

Молодой человек с плачем обнял директора бюро сыска. «X-лучи» и ушел, полный отчаяния.

После того, как брат несчастного молодого человека не приходил в течение четверти часа, затем получаса, директор частного бюро сыска задумчиво полез в карман жилета и, к своему ужасу, обнаружил, что его золотые часы — единственная оставшаяся у него ценная вещь, которую он хотел сегодня зало-

жить, — исчезли.

Директор сыскного бюро, схватив шляпу, побежал в полицию.

## Полицейский комиссар Вагнер

**В**ы, наверное, знакомы с полицейским комиссаром Вагнером. Это тот самый, который одно время получил известность поимкой грабителя Миржички. Однажды он, не зная, с кем имеет дело, играл с ним в карты и выиграл у него награбленные деньги.

А вот с этим Миржичкой произошло то, что ему никогда не простят его друзья: он сам заявился в полицейское управление и во всем раскаялся. Он заявил, что ему надоела жизнь вообще и свобода в частности, так как уже целых две недели ему не везет в карты.

В то самое время, когда привели кающегося Миржичку, дежурил комиссар Вагнер.

Оба они — Миржичка и Вагнер посмотрели друг на друга с удивлением, а когда преступник сказал: «Я Миржичка», — полицейский комиссар немного покраснел, а затем сказал уверенным тоном: «Мне это известно».

Детективы с Миржичкой ушли, а он подумал: «Удивительно! Кто бы мог сказать!..»

А когда через час из редакции пришли журналисты за хроникой, которую обожают читатели, он уже совершенно успокоился и твердым, торжественным голосом произнес:

— Пишите, господа!

Ну, вы, наверное, читали в газетах о том, как комиссар Вагнер выследил известного преступника Миржичку: вызвал его на игру в карты, обыграл его в пух и прах и вернул деньги пострадавшим.

Правда, задуманная комиссаром покупка мотоцикла расстроилась, но об этом, конечно, в газетах умалчивалось. Об этом он просто мечтал, играя с этим элегантным господином в макао.

Но если покупка мотоцикла провалилась, зато он удостоился внимания полицейского директора и получил — правда, лишь почетную — должность управляющего полицейским музеем.

А это означало связь с институтом по изучению преступности, что ведет прямо к месту начальника отделения уголовного розыска.

Однажды, когда полицейский комиссар Вагнер прохаживался среди чудесных коллекций отмычек, молотков, развороченных касс, когда он прохаживался по залу, где на него вызывающе поглядывали с развешенных по стенам снимков различные преступники и косились физиономии убийц, он, осмотревшись вокруг, воскликнул:

— Вот это случай!

Он так увлекся всем этим делом, он с таким усердием принялся изучать альбом преступников, что в управлении уже стали поговаривать о том, как «старик Вагнер опять проводит время с преступниками».

Удобно расположившись на диване в комнате, где находилась коллекция фотографий, он внимательно рассматривал альбом, обращаясь при этом к отдельным физиономиям:

— Послушай, а у тебя забавный нос! — Или: — А ты, голубчик, с перекошенным ртом. А у тебя, старый лев, недостает зуба.

И все знали, что у Вагнера отличное настроение. В конце дня он придет в канцелярию, соберет всех детективов и скажет:

— Пошли, ребятки.

И все отправятся на осмотр подозрительных кофеен, погребков и отелей.

Он называл это «охотой на людей». И действительно, его отряд возвращался с облавы, походя на экспедицию за африканскими невольниками. Обычно детективы гнали перед собой целую ораву подозрительных личностей, женщин и мужчин. А если кто-то из зрителей отпускал по адресу детективов колкие замечания, то его тут же забирали. При этом полицейский комиссар Вагнер был весьма любезен. Он подходил к шутнику, хлопал его по плечу и говорил:

— Будьте добры, пополните этот ряд.

И все трогались дальше.

В управлении это называлось раздачей премий: все захваченные выстраивались в ряд, а пан Вагнер подходил к каждому и «выдавал премию». Похлопав, например, по плечу гулящую девицу, он говорил приветливо:

— Вы, барышня, будете мыть уборные.

Так он одаривал всех. Одни получали простое наказание в участке, других отдавали под суд за бродяжничество. Закончив эту работу, он обращался к своей команде со следующим призывом:

— Главное, ребята, будьте честными!

Однажды ночью среди других прихватили молодую девицу, на которую обратил внимание комиссар Вагнер. Девица, в свою очередь, посмотрела на Вагнера с грустной улыбкой.

— А эта барышня будет убирать полицейский музей, — сказал комиссар.

Когда она убрала полицейский музей и стерла пыль со всех фотографий, он распорядился ее выпустить. После ее ухода он снова принялся рассматривать фотографии, причем одна дама показалась ему знакомой. Под фотографией стоял номер полицейского протокола и рядом имя: «Катарина Берк».

Это была фотография известной аферистки Берк, весьма миловидной и эффектной по внешности молодой дамы.

«Где я ее видел? — подумал комиссар Вагнер, не спуская глаз с портрета. Он сообразил, что проворная девица, которая два часа бегала с тряпкой в руке по музею, была не кто иная, как Катарина Берк. С фотографией в руке он выбежал из музея и, ворвавшись в канцелярию, где находились детективы, воскликнул:

— Ребята, а знаете ли вы, что за особа убирала наш музей? Посмотрите!

— Катарина Берк, — ответили детективы.

Вагнер запнулся, а потом сказал торжественно:

— Вот видите, и это открыл я! Только что она была здесь.

Всех это обрадовало, потому что служило хоть и скромной, но все же ступенькой к месту начальника уголовного розыска.

Дошло до того, что сам директор сказал комиссару Вагнеру:

— Еще одно такое остроумное дело, и вы, несомненно, займете пост начальника уголовного розыска.

Доблестный комиссар действительно находился в радостном состоянии духа и через некоторое время, снова взглянув на фотографию Катаринины Берк в полицейском альбоме, он воскликнул:

— Вот так случай!

Он был доволен собой, и ему казалось, что все он делает отлично.

Действительно, он жил только своей службой. После обеда он хорошо выспался на диване в полицейском музее и нисколько не заботился о своих домашних делах. Что ему было за дело до того, что его супруга снова обзавелась новой прислугой.

Когда он увидел эту новую прислугу, она показалась ему очень знакомой, и он даже не подумал, что эта прислуга новая, а не старая.

Однажды, когда он вернулся домой, ему вдруг сообщили, что прислуга исчезла, а с ней и кое-какие серебряные вещи и драгоценности.

Этим он был так обескуражен, что воскликнул с огорчением:

— Вот так случай!

Конечно, этот случай для него был уже не из радостных, как прежде.

— Как ее фамилия? — спросил он с раздражением.

— Не знаю, — ответила супруга. — Я думала, что ты у нее взял паспорт.

— Об этом надо заботиться тому, кто ведает домашними делами! — сердито сказал Вагнер и отправился заявить в полицию.

И уже к вечеру дело расследовал агент, приехавший из Вены для розысков некоей Берк, которая полгода тому назад оказалась замешанной в одном мошенничестве в Вене. Агент встретил ее случайно, и когда привел ее в участок, то убедился, что она не только та самая Катарина Берк, но и прислуга комиссара Вагнера, обокравшая его.

— Вот так случай! — воскликнул с большой радостью комиссар Вагнер, но сейчас же снова впал в мрачное состояние.

— Да ведь я ее даже не отметил в полиции? — сказал он уже с отчаянием, очутившись в музее наедине с самим собой в окружении чудесных коллекции отмычек.

Потрясенный всем этим, он сидел неподвижно над альбомом преступников, а потом поднял измученные глаза. Он принял решение. Да, он решил привлечь самого себя к ответственности за непрописку прислуги.

Он явился в канцелярию, уселся против зеркала и стал сам себя допрашивать.

Сперва спросил о национальности, затем о судимости.

— Хорошо еще, что вы сделали это впервые, — сказал он своему отражению в зеркале, — в противном случае мне пришлось бы наказать вас по всей строгости закона. На этот раз я вас штрафовать не стану, так как, во-первых, вы сами заявили о своей провинности, во-вторых, как я уже сказал, это с вами случилось впервые и есть уверенность, что впредь это не повторится. Можете идти, господин комиссар Вагнер!

Он взял свою саблю и направился домой. На лестнице ему встретился полицейский директор и напомнил о необходимости отправиться на одно политическое собрание.

Комиссар Вагнер недоуменно посмотрел на директора и сказал:

— Простите, но мне в канцелярии только что сказали, что я могу идти домой.

Он, странно улыбаясь, стал спускаться по лестнице.

Из-за неожиданного отупения его вынуждены были перевести на пенсию.

## Бык села Яблечно



До того дня Яблечно не было таким селом, о котором стоило бы говорить. Разве только пан викарий из Пршиседнице другой раз упомянет Яблечно как наглядный пример вероломства.

Это было связано с последними выборами, когда пан викарий ходил со своим капелланом в Яблечно, чтобы на предвыборном собрании выступить в поддержку своего кандидата. После длинной речи пана викария староста от имени избирателей Яблечно обещал, что все они, как один, будут голосовать за кандидата викария... В подкрепление он протянул ему обе руки. Пан викарий ради торжества правого дела приказал выкатить бочонок пива и потом возвращался лугами домой, в Пршиседнице, уверенный, что никогда не говорил так убедительно, как нынче.

Но после этого кандидат его не получил на выборах в Яблечно ни одного голоса. Узнав об этом, пан викарий был до того растерян и озадачен, что ни с того ни с сего завел вдруг речь, будто приходский дом освещается ацетиленом. До сих пор загадка, что он хотел этим сказать.

Встретив три недели спустя в поле старосту из Яблечно, он с превеликой горечью заговорил с ним об этой истории, подчеркнув, что настоящий человек только тот, кто держит слово, на что староста возразил коротко, что, дескать, раз на раз не приходится. А на вопрос викария, почему же они тогда голосовали против, староста ответил:

— Ишь ты! А мы и не знали, что это «против». А против чего надо было голосовать, ваше преподобие?

Пан викарий, плюнув, зашагал дальше, а староста, удовлетворенно улыбаясь, пошел, размахивая на ходу обеими руками, которые совсем недавно протягивал пану викарию на том предвыборном собрании.

Впоследствии пан викарий узнал, что староста подавал ему в тот раз руки потому, что не хотел его сердить. Несколько позже, при другой случайной встрече, сам староста подтвердил это, объяснив, что у него правило ни с кем не ссориться.

Вот и все, чем Яблечно было примечательно. Больше о нем в округе почти

не было речи, и никаких происшествий там не происходило.

У жителей Яблечно был свой лес, свои охотничьи угодья, зайцы из господских угодий сами прибегали туда, с соседями яблечненские жили дружно, толковали о картошке со своих полей — такой, мол, другой во всем крае не найти, — а если к ним приезжал на лето кто из города, дружно продавали ему все по самой дорогой цене и обдирали его, как могли.

И вдруг, как раз в среду — об этом будет помнить не одно поколение, — Яблечно стало селом, о котором пошел разговор по всему краю, повсеместно.

В тот день яблечненские привели к себе общинного быка, огромное красивое животное, с черными ноздрями, большой отвислой складкой на шее и лоснящейся желтой шкурой. Его вели четверо, и он глядел на них большими голубоватыми глазами чрезвычайно добродушно, так как был добряк. Но он был не прочь и попроказничать: важное общественное положение, им занимаемое, еще не успело лишить его всех иллюзий молодости.

Когда они проходили мимо высокого миссионерского креста, бык подумал: что будет, если он легонько прижмет к этому кресту того, кто тянет его с правой стороны, все время понукая:

— Ну, ну!

Это вызвало довольно сильный переполох во всей процессии, и, когда веселого быка оттащили, помятый попросил немножко рому.

На просьбу его никто не обратил внимания, так как общинный бык — первый общинный бык, какого имело Яблечно, — решил, что недурно бы спихнуть остальных трех поводырей в канаву.

Он начал вертеть задом и, фыркнув, примерился, как это получится, потом, когда его захотели связать покрепче, встряхнулся и сбросил их, куда хотел, потом затрусил по шоссе, пересек поле — побежал взглянуть, чего там копошатся люди в такой торжественный день, когда он начинает свою деятельность в Яблечно. Тут он увидел, что люди убегают, оставив у дороги какой-то предмет, издающий писк, чем-то напоминающий ему голоса тех, кто вели его. Это была детская коляска без верха, как всюду в деревне, и в ней растопыривал ручки мальчонка старосты. А супруга старосты, убежав с остальными, взывала теперь о помощи.

Общинный бык заметил еще кое-что: это смешное созданище в такую жару было покрыто красным платком.

И он сделал нечто такое, за что его осудили бы, если б это увидели: наклонил голову, выкинул одним рогом красный платок из коляски и устоялся на маленькое человеческое существо.

Вряд ли он думал о том, что это плачущее созданище вырастет и, может быть, тоже будет бить быков палками по спине и связывать их веревками.

Просто ему понравилось, что, пока он сопел над карапузиком, тот перестал плакать. Бык лизнул его в личико и продолжал над ним стоять, хлестая себя по бокам хвостом, чтобы отогнать оводов.

Стоял, дружелюбно глядя на маленького, который смотрел на него с изумлением, крича:

— Папа! Папа!

У малыша были голубые глаза, как у него самого. Бык лизнул его еще раз — в кулачок, потом положил свое огромное тело возле коляски на траву и стал ждать, что будет дальше.

Через мгновение подбежали люди, и возглавлявший экспедицию староста сам до сих пор не знает, как это вышло. почему он, подбежав к быку, крикнул: — Фрицек!

Но как только он это произнес, бык вдруг поднялся, подошел к толпе, и ему накинули на шею веревку. Вытянули его несколько раз хорошенько палкой по хребту и с тех пор стали звать Фрицек.

## II

Даже такая замечательная штука, как наличие общинного быка, имеет в Яблечно свою оборотную сторону. Там бывало много замечательных событий, но они имели чисто местное значение, а слух о них не выходил за пределы околицы.

Был там, например, «Кружок читателей сельскохозяйственной литературы», основанный еще за двадцать пять лет перед тем. Но он не дотянул двадцати двух лет до юбилея за недостатком интересующихся книгами, которых никто не выписывал. На фасаде деревенского трактира до сих пор висит доска: «Кружок читателей сельскохозяйственной литературы». Доску эту не снимают только из-за того, что там вьют гнездо ласточки. Чувствительный народ!

В Яблечно есть одно брошенное владение. Тридцать лет тому назад его собственник решил застраховать свое имущество от огня, но как только сделал это, так у него произошел пожар. Он получил страховую премию, а когда жандармерия стала интересоваться обстоятельствами, связанными с этим пожаром, он, не желая быть вызванным в суд (по его словам, в качестве свидетеля), уехал в Америку.

Пробыв в Америке десять лет, он прислал домой на имя старосты письмо с присовокуплением тысячи двухсот крон. В письме было сказано, что он предназначает эти тысяча двести крон тому односельчанину, который захочет учиться; в случае, если такового не найдется, всю сумму целиком надлежит обратить на что-нибудь полезное для блага всего его родного старого села Яблечно.

За двадцать лет желающих учиться не нашлось никого. Нынешний викарий в Пршиседнице, когда пришли эти деньги, был еще приходским священником. Он написал великодушному жертвователю в Америку, прося его изменить свой образ мыслей и назначение пожертвованных денег. Напомнил ему, что нужно реставрировать в Оуезде храмовый образ святой Анежки и поправить колокольню. Ангельскими словами напоминал жертвователю, что тот сам, может быть, посещал костел в Оуезде.

Великодушный жертвователь не ответил. Прошли еще годы. Его имя было Франтишек Томек, а звали его Фрицек Томков, забывая о том, что повсюду в других местах он является Фрицеком Берджиха.

Мы знаем также, что староста в испуге назвал общинного быка Фрицеком, и это так и осталось, о чем великодушный жертвователь не узнал.

Письмо, извещавшее его о том, что, согласно его желанию, приобретен предмет, нужный для всего села, вернулось из Америки со штемпелем «Adressee unknown»[115].

Можно было только пожалеть, что адресат не найден и что письмо до него не дошло. Его порадовало бы это письмо, написанное старостой, сыном прежнего старосты, получившего тогда деньги на сохранение. Это была весточка с

родины, скрепленная официальной печатью села.

Староста очень точно сообщал, что, после того как желающих учиться не нашлось, купили общинного быка и что это превосходный экземпляр (желающего учиться он, конечно, так бы не хвалил). Далее он писал, что бык очень умный, «расчудесный бугай», что к нему уже припустили одну коровенку из деревни, что к сумме, ушедшей на его покупку, пришлось добавить сто крон из общинной казны, что еще вызовет неприятности с окружным комитетом. Это было как бы обращение к благородному сердцу американца Томека и не заключало в себе ни капли правды. Староста заверил сельский комитет, что Томек, конечно, эти сто крон пришлет и что их можно будет пропить, закупив швабского пива, чтоб хватило надолго.

И все эти расчеты рухнули из-за справки, присланной американским почтовым ведомством: «Адресат неизвестен».

Кузнец Калиста выразился в том духе, что Томек — известный старый прохвост и что староста на ближайших общинных выборах едва ли одержит победу.

А общинный бык во время всех этих затруднений владевшего им села с превеликим аппетитом жрал, спокойно сопел и думал о возлюбленных, которых ему уже приводили и еще будут приводить.

Особенно часто вспоминал он одну телку, с большой лысиной на лбу, которую он встретил как-то на дороге и услышал, как она томно замычала от желания, почуяв его издали.

В такие минуты он приходил в игривое настроение, метался у яслей и ревел над кольцом, к которому был привязан.

И когда его опять вели к специальному загону для встреч с коровами, которых ему туда приводили, он не оставлял своих веселых проделок.

Как-то раз он припустился за почтальоном из соседнего села и гнал его до самого дома старосты, благодаря чему тот на несколько минут раньше получил письмо, которое почтальон ему нес.

Письмо было от пршиседницкого старосты, который доверил бумаге, что викарий из Пршиседнице из-за этого быка клеветает на яблечненского старосту.

### III

Пан викарий часто проповедовал на тему о том, что возмездие принадлежит богу. Но в то же время в проповедях своих он говорил, что человек легко уступает страстям и забывает все свои добрые начала.

Этого принципа он держался упорно, и ему всегда без особой душевной борьбы удавалось забывать обо всех добрых началах и цитатах из Библии.

Узнав, что яблечненский староста купил общинного быка, он сперва подумал, не сообщить ли суду о том, как поступили в Яблечно с даром Франтишека Томека, чьего имени прежде он даже не помнил. Но потом он от этого отказался и начал исподволь обрабатывать своих прихожан.

Целую историю выдумал.

— Вот, — говорил он, словно между прочим, — как обокрали в Яблечно сироток и вдов. Взяли деньги из сиротской кассы и купили на них общинного быка. Жернова господни мелют медленно, но верно. Увидите: не благословит господь этого дела, не будет от него добра.

Как-то раз один из пршиседницких случил свою корову с яблечненским

быком, и родился теленок о двух головах, которого пришлось зарезать.

— Видите? — возликовал пан викарий. — Жернова господни начали молоть. Теленок о двух головах — перст божий.

Обо всем этом в том письме было подробно написано, в частности, было написано и то, что пан викарий называет яблечненского старосту не иначе как вором.

Письмо произвело огромное впечатление и вызвало понятную тревогу, причем пришло оно, когда коровам викария тоже пора было отведать любовных ласк яблечненского общинного быка.

Однажды вечером, осмотрев их, пан викарий сказал:

— Завтра сводим их в Яблечно. Авось тамошний босяк-староста устроит мне это бесплатно, чтоб еще больше меня не рассердить.

На другой день яблечненский общинный бык замычал в хлеву от страстного желанья, почуяв, что мимо ведут коров пана викария.

Но на этот раз проказливый волокита мычал напрасно.

Не успел пастух сообщить старосте о том, что привел коров викария, как староста взял в руки вилы.

— Поворачивай обратно, мерзавец! — заорал он на перепуганного пастуха. — Наш общинный бык не про викариевых коров. Я покажу ему сиротскую кассу.

Коровы грустно мычали, бык мычал, а пан викарий бесился. Но через год он вдруг сказал пономарю:

— Завтра зажгите большую свечу у алтаря святого патрона.

Он узнал, что общинный бык в Яблечно стал импотентом и его продают мяснику.

## Об искренней дружбе

У некоторых людей слабая струнка — гостеприимство: увидев знакомого, они в первом порыве радушия тотчас зовут его к себе. И вспоминают при этом разные мелочи — например, о том, что однажды сидели вместе с ним в кафе и видели в окно, как упала лошадь. Потом разговор переходит на события, которые хоть и не делают чести тому, с кем они произошли, но, запав особенно глубоко в памяти, непроизвольно всплывают на поверхность.

— Помнишь, как мы некрасиво поступили с мадемуазель Зденкой?

Сколько теплого чувства давней дружбы в таком перебирании учиненных вместе безобразий! Оба собеседника признают, что за все время своего знакомства не совершили ни одного порядочного поступка; но тут приглашающий начинает от всего отрезаться, все осуждать, твердя, что теперь, мол, положение совсем другое: он женился, у него двое ребят, и жена будет всегда рада познакомиться с другом молодости своего мужа.

К этому он обычно добавляет, что рассказывал ей о нем много хорошего.

Но всем известно, как рассказывают женам о приятелях. В этих случаях мы стараемся выставить себя ангелами. Я о каждом своем знакомом всегда говорю жене, что он хлещет ром. Иногда, правда, делаю исключение и для разнообразия сообщаю, что тот или иной мой приятель — отчаянный распутник.

При этом я расхаживаю взад и вперед по комнате, следя за тем, чтобы не зацепиться карманом пиджака за угол подставки под какой-нибудь статуэткой, так как в левом кармане у меня бутылка коньяка, а в правом — записка от одной гимназистки.

И просто удивительно, чего только не запоминают жены о друзьях мужа.

Пошли мы как-то с женой раз гулять, и попался нам навстречу знакомый. Поклонился и прошел мимо.

— Это молодой Крамский, — говорю жене.

А она мне:

— Ага, знаю. Это тот, что отравил официантку, с которой жил.

— Какой вздор! Откуда ты взяла, душенька? — удивился я.

— Да ты же сам мне рассказывал.

Мы поссорились. Я сказал, что это неправда, — она на меня напустилась, зачем я заступаюсь за всякого негодяя.

Учитывая эти общеизвестные обстоятельства, я не слишком обрадовался, когда профессор Гардовский (нарочно изменяю фамилию, чтобы ему не пришлось краснеть за себя) попался мне во время одного из путешествий по Средней Европе, которые я время от времени предпринимаю со своим другом Биллем, и стал уверять, что рассказывал жене своей много хорошего обо мне и она будет страшно рада познакомиться со мной и моим другом.

И он долго еще, не перебиваемый нами, выражал свой восторг по поводу нашей неожиданной встречи, твердя, что считает за честь принять нас у себя и что это вопрос решенный.

У него, мол, два сына, на которых нам будет приятно поглядеть. Правда, пиво в городе неважное, но можно пойти сейчас в один ресторан, где у хозяина только что умерла жена, и он теперь в таком отчаянии, что ему не до того, чтобы разбавлять пиво. Сегодня там — весь город. Для приезжего такого рода советы представляют огромную ценность. В этом провинциальном трактир-

чике мой друг Гардовский сделался еще любезней. Мы заговорили о том, как я однажды в Праге потребовал, чтоб его вывели из одного погребка, а он вспомнил, что хотел тогда запустить в меня пивной кружкой. Оказалось также, что он знает моего приятеля Билля по газетам и даже как-то имел с ним у Брейшки дискуссию насчет какой-то планеты. Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь, как вдруг Гардовский, к нашему удивлению, спохватился, что забыл предупредить дома о нашем приезде, и там ничего не приготовлено. Впрочем, это пустяки: здесь на втором этаже есть комнаты для приезжих; и так даже лучше, — он все заранее приготовит. Да и жена, наверно, уже спит, так как весь день неважно себя чувствовала.

В час ночи он забормотал, что это очень хорошо, что мы не пошли к нему, а то бабушка могла испугаться.

— Которая нынче приехала? — спросил я тоном знатока.

— Откуда ты знаешь, мой милый? — спросил он, не краснея.

— Да это обычное явление. Старые родственники всегда появляются неожиданно.

— Ты прав, — согласился он. — Дедушка тоже приехал. Но это не важно; завтра я вас жду. Вы сможете у меня остановиться. Тетушку уж как-нибудь устроим; она должна приехать завтра.

— Устроим, устроим, — хладнокровно промолвил мой друг Билль. — Люблю этих стареньких тетушек: они всегда приезжают, как только мы кого-нибудь пригласим.

В два часа ночи наш друг Гардовский заверил нас в своей искренней дружбе и подчеркнул, что завтра у них будут работать маляры. Я ответил, что это ничего: я люблю смотреть, как красят стены. В половине третьего он залепетал что-то о дядюшке, приехавшем третьего дня, и явно запутался в какой-то несуществующей родне.

Мы ему сказали, что это вовсе не его родственники, что он стал жертвой каких-то мошенников и должен беспощадно гнать их вон. Он поклялся, что так и сделает.

Потом простился с нами так сердечно, что все посетители страшно растрогались. Обнимая и целуя, потащил нас к двери, крича, что предвкушает удовольствие завтрашней встречи. Когда мы были уже на улице, до нас еще доносилось:

— Как проснетесь, милые, сейчас же ко мне! Буду ждать с нетерпением.

\* \* \*

Утром, как только встали, отправились к нему. Он жил рядом с рестораном, где мы провели ночь, лежа на скамьях, так как обнаружилось, что Гардовский, не помня себя от радости, что встретил старых знакомых, просто выдумал *bona fide*[116], будто существуют какие-то комнаты для приезжающих на втором этаже. Нам самим было немного неловко: как это мы ночью не заметили, или, вернее, не разглядели, что дом одноэтажный!

Отворила сама профессорша. Мы представились и хотели войти, объяснив, что нас позвал Франтик.

Она решительно стала поперек дороги:

— Муж ничего мне про вас не говорил. Я вас не знаю, господа. Он с утра ушел в город.

Когда вернется, она не знает. Может быть, только после обеда.

Из ближайшей комнаты донеслось знакомое покашливание нашего друга Гардовского. Мы поглядели в том направлении.

— Там спит собака, — сконфуженно промолвила профессорша.

— Ваш муж вчера рассказывал нам о ней, сударыня. У них обоих с самого лета насморк. Дело житейское. — сказал я. — А когда все-та к и вернется ваш супруг?

— Он сказал: после обеда. Вы еще останетесь в городе или едете сегодня утром, одиннадцатичасовым?

— Что вы, сударыня. Мы пробудем здесь целую неделю. как обещали вашему супругу.

Профессорша заметно побледнела, раскрыла хорошенькие губки, чтобы набрать воздуха, и после некоторого колебания осведомилась, где мы сегодня обедаем. Узнав, что рядом, в ресторане, сказала, что, если муж вернется, она пошлет за нами одного из мальчиков. Оба сыночка нашего друга Гардовского, вид которых должен был, по его словам, доставить нам большое удовольствие, глядели на нас весьма неприязненно.

В такого рода обстоятельствах лучше всего не обнаруживать ни малейших признаков досады или недоверия. Мы как ни в чем не бывало ответили, что будем ждать, когда нас позовут.

Потом погладили мальчиков по голове, причем они ощерились, словно собираясь нас укусить.

Видя, что мы уходим, профессорша успокоилась. Чтобы испортить ей настроение, я вернулся и сказал, что хотя ее муж обещал поместить нас в комнате за спальней, но мы можем удовольствоваться и каморкой при кухне. Спускаясь по лестнице, мы услышали из-за двери плач профессорши! Тот визгливый, прерывистый плач, каким женщины плачут от злости.

За занавеской в окне второго этажа мелькнуло пенсне, и за ним — два испуганных глаза нашего милого друга. С такой тоской смотрели христианские ребятишки на свирепых палачей райи — башибузуков. Бедняга оказался наивным, как страус. Через некоторое время, когда мы сидели в ресторане, возле нашего столика появился светловолосый парнишка — одно из двух сокровищ нашего друга Гардовского. Незаметно подошел, остановился перед нами с дерзким видом и сухо объявил:

— Папа велел передать, что уехал в Прагу.

После этого он хотел убежать. Но мы догнали его в соседнем зале и притащили обратно. Он пробовал сопротивляться, но видя, что это не поможет, стал упрямо озираться по сторонам.

— Сейчас, голубчик, мы тебе вгоним гвозди под ногти, если ты начнешь врать, — промолвил Билль. — Нам все известно.

— Папа уехал в Прагу!

Тут мы ему устроили так называемую «рукавицу».

Он, стиснув зубы, пробормотал:

— Папа уехал в Прагу!

Тогда Билль подошел к делу с другого конца, — он показал ему на крону мелочью:

— Все это будет твое, если скажешь, что делает твой папа.

Одно мгновенье душа юного Гардовского колебалась в нерешительности. В конце концов он предал отца, соблазненный мамоной.

— Папа дома спит, — тихо промолвил он и заплакал.

Интересный психологический момент: он заплакал, когда мы не дали ему крону. Потом сообщил нам, что его зовут Карличек.

— Карличек хочет крону. Папа так и сказал про вас, когда ночью домой пришел, что вы негодяи.

Вот что сообщило нам невинное дитя.

Мы отпустили его, но он, как Иуда, побежал не домой, а на реку. Мы расплатились и пошли к нашему другу Гардовскому. Профессорша встретила нас холодно и с таким победоносным видом, что было сразу видно, до чего ее радует удачная отговорка.

— Сударыня, — сказал я, — мы пришли проверить: верно ли, что супруг ваш уехал в Прагу?

— Еще утром.

— В таком случае, сударыня, ваш супруг обманывает вас: он спит здесь, у себя на квартире, а вы об этом не знаете.

— Простите, — промолвила она, бледнея, — кто вам сказал такой вздор?

— Один из ваших сыночков.

Она залепетала что-то насчет того, будто мальчик имел и виду Карличка, который действительно спит.

— Сударыня, вы о пять-таки заблуждаетесь. Именно ваш Карличек только что и сказал нам обо всем.

Не успел я это произнести, как дверь в комнату распахнулась и в прихожую влетел наш друг Гардовский с возгласом:

— Паршивый мальчишка!

Он кинулся к нам со словами:

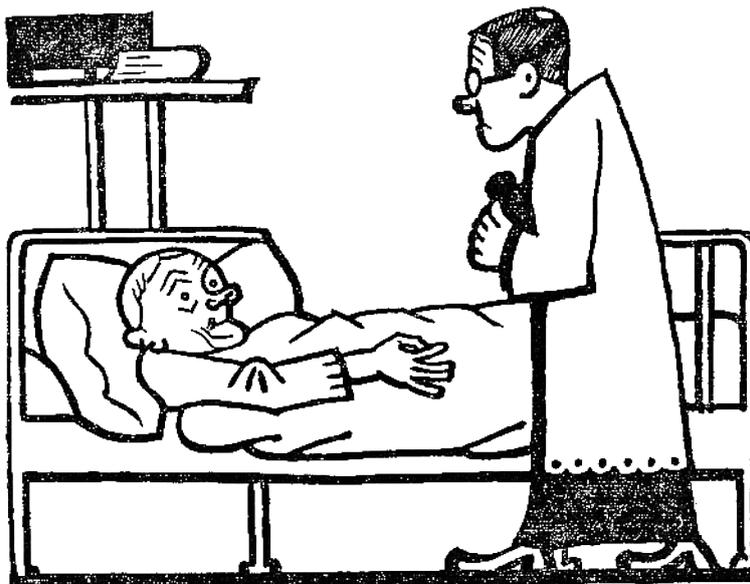
— Мы проиграли, сдаемся. Проходите в комнаты, друзья... Доринка, принеси нам бутылку вина, — прибавил он, обращаясь к жене.

И в свое оправдание начал рассказывать, что как-то раз в Пльзени один редактор позвал его к себе, но принял очень холодно и, сославшись на страшную занятость, предложил встретиться позже в ресторане «На старой почте», чтобы там вместе пообедать. Гардовский прождал его в ресторане понапрасну три часа, а когда вернулся в редакцию, ему сообщили, что редактор уехал на Лейпцигскую ярмарку.

— Понимаете, такую глупость велел мне передать! — воскликнул наш друг Гардовский, отходя к окну.

И, честное слово, когда он к нам обернулся, мы увидели на глазах у него слезы — слезы бессилия, отчаяния и обиды.

## Идиллия в богадельне



Как только вспомнит обо всем этом горбатая бабушка Пинтова из жижковской богадельни, так и начнет ругать господ бога за то, что лишил ее зубов, которыми она могла бы поскрипывать от боли. А теперь ей остается плюнуть, забиться в угол, вытащить из кармана серой юбки четки и помаленьку, но уверенно, молиться за капеллана Томана, чтобы бог простил ему его предательство жижковской богадельни. Когда другие старушки заговорят об этом случае, бабушка Пинтова скажет с таким сердцем, что у нее даже глаза заблестят, о том, что уже и тогда, когда капеллан приходил к ним в последний раз, ей не понравилось, как он развязно держал себя: не как слуга божий, а просто как слуга.

Конечно, бывают споры и между старушками в богадельне. Многим из них не нравятся резкие выражения бабушки Пинтовой. Собственно, эти споры интересны тем, что в них убивалось время.

Раньше бабушка Скугровская говорила, что Пинтова сама во всем виновата. Я, однако, думаю, что события развивались сами собой и неожиданно привели к катастрофе.

Это дело имеет свою длинную историю, начинающуюся с небольшой плоской бутылочки, которую бережно хранит в своей корзине бабушка Пинтова. Эта бутылочка теперь пустая, однако, если открыть ее и понюхать, то опытный нос уловит запах тминной наливки.

Эта бутылочка может засвидетельствовать, что она когда-то была полна и, благодаря удивительным стечениям обстоятельств, сладкая наливка, капеллан Томан и богадельня дополняют друг друга.

Далее в этой истории большое значение играет «умирание» бабушки Пинтовой, но это было давно. Теперь она уже опять ругает капеллана и больше не лежит в постели.

В остальном вину несет мягкое сердце капеллана, которого однажды неожиданно вызвали в богадельню и сказали, что бабушка Пинтова лежит смертельно больная и хочет собороваться. Это был первый случай соборования в практике молодого капеллана, и он с воодушевлением отправился в богадельню.

Вся обстановка и процесс этого обряда так повлияли на его восторженную душу, что он полез в карман, вынул оттуда золотой и положил в руку умирающей бабушки. Этого в богадельне не случалось еще ни разу.

После его ухода бабушка Мличкова заявила, что соборует он просто удивительно.

Золотой произвел такое впечатление на бабушку Пинтову, что к вечеру она послала за ветчиной и тминной наливкой. А утром, когда пришел доктор, чтобы при помощи какой-то прививки облегчить борьбу ее организма со смертельной болезнью, он застал Пинтову за столом, в веселом настроении поющей:

*Из всех милых моя милка всех милей и...*

Через неделю кончилась наливка, потому что кончились деньги, и к капеллану снова постучал сторож и сказал, что Пинтова снова умирает и хочет причаститься святых тайн.

Увидев капеллана, она радостно сказала слабым голосом:

— Ах, мой соколик, уж и не знаю, хватит ли у меня сегодня силы удержать в руке твой золотой!

Но все-таки удержала, и капеллан, уходя, сказал сторожу:

— А она живуча, как кошка.

И действительно, утром, когда пришел доктор, она ходила по комнате и пела:

*Эх, не я гуляю с ней,  
где же ее сыщешь,  
ухажеров у ней тыщи,  
все ж она мне всех милей...*

— Пинтова, что с вами?

— Так если он, господин доктор, умеет так хорошо соборовать!

Это было в среду. В четверг к капеллану Томану снова прибежал сторож и еще в дверях закричал:

— Господин капеллан! Идите в богадельню. Нужно соборовать старушку Скугровскую!

Но прежде чем они успели туда прийти, между умирающей и другой старушкой, Мличковой, разразилась ссора. Эта Мличкова заодно хотела тоже поскорей слечь, чтобы капеллан соборовал их двоих сразу, но другие ее отговаривали, убеждая, что ее очередь наступит в понедельник. Мличкова не соглашалась и кричала, что она хочет умирать сегодня, сейчас же, и до понедельника ждать не может. В понедельник, может быть, она действительно умрет... В конце концов она все же успокоилась, но когда потом увидела, как после исповеди капеллан дает Скугровской золотой, то сказала плачущим голосом:

— Господин капеллан, я чувствую, что и мой черед скоро настанет.

Вспоминая об этом на второй день, молодой капеллан почувствовал пробегающий мороз по его спине.

Все помнят, какое смятение и крик начался в богадельне, когда в субботу бабушка Ванькова начала жаловаться, что ей плохо и что она падает в обморок. Тогда Мличкова сказала, что со стороны Ваньковой это свинство, потому что сегодня умирать ее очередь, и что в таком случае она свое умирание отбудет сейчас же, в субботу, а в понедельник пусть пошлют за капелланом для

Ваньковой.

После горячих прений и ссор Ванькова вынуждена была уступить, так как оказалось, что она моложе Мличковой: ей было восемьдесят девять, а Мличковой восемьдесят девять и три месяца.

Когда снова пришли к капеллану Томану просить его идти соборовать тяжело больную, он побледнел и сказал, что сегодня за него пойдет старший капеллан Рихтер.

Рихтер пришел, горячо помолился у постели Мличковой, благословил всех и, не обнаруживая никакого желания дать монету больной, стал уходить.

Это заметила старушка Пинтова; в дверях схватила капеллана за рясу и сказала:

— Уж извините, господин капеллан, но я скажу за Мличкову. Мы всегда за соборованье получали золотой, ваше преподобие изволило забыть об этом...

А бабушка Ванькова прошамкала: «Эта Мличкова нынче вперлась первая со своей смертью, а ее очередь в понедельник, а в понедельник пришел бы тот капеллан...»

Капеллан Рихтер растерянно посмотрел на старушек и полез за кошельком...

Очень интересное постановление, под давлением капелланов, вынесено жижковским городским советом, запрещающее старушкам в богадельне умирать по своему желанию. В постановлении указывается, что соборование будет проводиться один раз в месяц, причем соборовать будут всех сразу.

Доходы старушек от этого сразу сильно упали.

Бутылка, пахнувшая наливкой, теперь пуста, и в богадельне сейчас убийственное настроение. Старушка Ваникова через четырнадцать дней после этого повесилась, потому что городской совет не разрешил ей умирать в назначенный день.

## Мой друг Ганушка

Нашу первую встречу никак не назовешь веселой, Я находился под следствием по поводу того, что во время уличной демонстрации один полицейский по несчастному стечению обстоятельств ударился головой как раз о мою трость.

Надзиратель Новоместской тюрьмы Говорка, который был отцом для всех заключенных, поместил меня в подследственное отделение вместе с «разными элементами». По большей части эти «элементы» были профессиональные воры.

Один из них звался Ганушка, и я еще не знал, что он станет моим другом. Понял я это, когда он, исполненный сочувствия к моей доле, заявил, что, когда будет его очередь дежурить, он пронесет для меня сигарку в ведре с похлебкой. У Ганушки были добрые голубые глаза, приветливое лицо, а эти качества заставляют забыть глупые правила общества, согласно которым дружить с вором — дурной тон.

Ганушка пронес для меня сигарку, и Ганушка растрогал меня своей печальной судьбой.

Последнее дело, за которое он торчал тут, было необычайно трагичным. Он рассказал нам эту историю тихим, грустным голосом в долгий, скучный вечер, когда в коридоре все утихло и мы укладывались на нары.

— Понимаете, дружки, — говорил Ганушка, — раз как-то подумал я, что пора опять подыскать какое-нибудь дельце. И еще мне пришло в голову, что хорошо бы переменить товар. До этого я работал по перинам и был уже сыт ими по горло, ну и решил поработать с обувью. Ночью — дело было во вторник — иду это я по Вацлавской площади и вижу стеклянный ящик с ботинками, выставленный у входа большого обувного магазина. Я огляделся, снял ящик с подставки и потащил его прочь. Шел я все главными улицами, там хоть на полицейского не наткнешься: все полицейские ночью уходят в боковые улицы и дрыхнут там, стоя у ворот. Допер я свой ящик до самого Богдальца, разбил стекло и вытаскиваю ботинки. Вытащил один — красота, замечательный экземпляр! Примерил — он был на левую ногу. Беру другой — и тот на левую, и третий тоже... Царица небесная, все были на левую ногу! Увязал я их в узелок, думаю: снесу-ка я их к одному знакомому сапожнику, может, купит Христа ради да сошьет к ним правые. Когда шел я через Вршовице, встречается мне сыщик Гатина, ну и — крышка. Думаю, три месяца дадут.

Ганушка вытащил из кармана обрывок тряпки и вытер глаза, свои добрые голубые глаза, на которые навернулись слезы, и стал рассказывать своим проникновенным голосом, как он однажды царапнул слегка одного купца, упокой господи его душу, и как из-за этого его хотели обвинить в убийстве с целью грабежа, спасибо, эти двенадцать господ сказали «нет». Он тогда учтиво поцеловал руку защитнику и учтиво поблагодарил присяжных.

Под говор Ганушки мы стали уже засыпать. Вдруг подходит он ко мне со своей соломенной подушкой и тихо говорит:

— Яроушек, возьми мою подушку, чтобы голове помягче было, я-то привык спать безо всего, а ты человек образованный, и нехорошо будет, коли мысли помнутся.

Напрасно уверял я его, что с меня хватит одной подушки. Ганушка стоял на

том, что он, ворюга окаянный, может спать хоть на камне.

— Или в камне, — сострил один еще не уснувший вор, намекая на тюремные стены.

Ганушка улыбнулся и полез на свои нары.

Блохи не давали мне спать, и Ганушка попросил:

— Знаешь что, Яроушек, расскажи мне про индейцев...

Так Ганушка стал моим другом.

Прошло три года, я скитался по Германии. Иду раз в Хайлигенгрунде по липовой аллее, вдруг навстречу мне попадается не кто иной, как Ганушка.

То была случайная, удивительная встреча двух знакомых людей среди миллионов незнакомых. Оказывается, Ганушка почел за благо, пока не забудется дело об ограблении некой виллы в Чехии, отправиться в путешествие под строжайшим инкогнито, с чужой рабочей книжкой на руках.

Все время, пока мы разговаривали, он суетился и отгонял от меня мух какой-то тряпицей.

— Проклятые, так и лезут на тебя, Яроушек!

И я видел в глазах его прежнюю любовь, и голос у него дрожал от чувств, и он лепетал:

— Как я рад, что мы встретились в этой Баварии. Погоди-ка, я сейчас... Пойди тут, я мигом обернусь.

Я недоуменно смотрел ему вслед, а он вернулся через четверть часа, таща за собой зарезанную козу.

— Подлец такой, — проговорил он, — кулачина деревенский, не пустил меня ночевать, вот я и зарезал у него козу. У тебя-то не хватило бы духу, а я могу, я могу...

Последние слова он произнес таким добродушным тоном, и голубые его глаза сияли такой любовью, как если бы он рассказывал о благороднейшем деянии.

— Козу мы продадим, — продолжал он, — и ты купишь себе ботинки, Яроушек, твои-то совсем износились, в них ты далеко не уйдешь.

На беду, пока мы так беседовали, проходил мимо баварский полицейский. Ганушка держался как истый рыцарь. На ломаном немецком языке он объяснил полицейскому, что я вовсе с ним не знаком и что он просто клянчил у меня подавание.

Тут он сказал мне по-чешски:

— Не будь дураком, Яроушек, подтверди, что это правда.

Полицейский ни о чем меня не стал спрашивать, он забрал только Ганушку, который уныло волочил труп козы.

Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду — коза, полицейский и мой самоотверженный друг Ганушка.

Потом я долго-долго ничего о нем не слыхал. Недавно иду по Майзелову переулку, вдруг из винного погребка выскакивает мой друг Ганушка, тащит меня внутрь и кричит подавальщице:

— Ну-ка, одного «молодца» для Яроушка!

А «молодец» — это восьмушка хлебной водки с ромом.

В каком виде был бедняга Ганушка! Он рассказал мне, что никак не подыщет ничего подходящего, ночует в каком-то разрушенном доме, и сыщики гонятся за ним по пятам, и обносился он вдрызг, так что ходил как-то ночью за

Хухле и там сорвал лохмотья с двух огородных пугал и составил себе из этого гардероб. Вид его подтверждал это.

Ганушка был потрепан, как боевое знамя, которое проносят на торжестве трехсотлетия какого-нибудь очень драчливого полка.

Я спросил, что я могу для него сделать, и он сказал, что был бы счастлив, если б я взял его с собой в пивной зал «У Флеков».

И вот в тот день я привел Ганушку в пивную «У Флеков», туда, где, облизываясь, потягивали пиво пражские толстосумы, — Ганушку, — который лелеял единственную мечту, единственное желание: увидеть хоть раз сей источник чешской политики, сей заповедник чешских буржуев.

Там было несколько моих знакомых, и они не понимали, что ганушкам тоже хочется иметь какую-то радость в жизни. Когда я привел его, они решили, что это, видно, такое пари, а пан Ганушка удивил мир каким-нибудь великим деянием.

Тут принесли кружку для сбора средств на одежду для неимущих школьников; толстосумы стали пихать в щелочку по одному геллеру, тогда Ганушка вынул из своих лохмотьев монетку в целых десять геллеров — последнее свое достояние — и опустил в кружку со словами:

— Что ж, пусть им будет, бедняжкам...

Я позвал его ночевать ко мне, хотел дать ему старые мои костюмы. Он очень обрадовался, и вот, наглядевшись на довольных пражан в пивной «У Флеков», он, этот вечно преследуемый бедняга, вышел со мною на улицу.

На углу Мысликовой улицы попались нам навстречу два господина: один из них хлопнул Ганушку по плечу (это был все тот же сыщик Гатина) и сказал:

— Пойдете со мной, Ганушка, мы вас ищем по поводу того маргарина...

Так в половине одиннадцатого вечера 27 августа я снова потерял моего друга Ганушку.

## Как бережливые спасли отчаявшегося

Недавно на набережной Палацкокого полицейские задержали прилично одетого пожилого человека, который явился причиной огромного стечения народа. Этот человек начал с того, что скакал посреди улицы на одной ножке, без усталости выкрикивая:

— Я спасен! Уж теперь-то я не пойду топиться! Ура бережливым!

А когда вокруг него столпились вагоновожатые и кондукторы двух десятков трамваев, остановившихся длинной чередой на мосту и на противоположной набережной вплоть до самого Национального театра, и команды всех пароходов, стоявших у пристани, и землекопы, и рыбаки, и старухи с корзинками, и мальчишки от сапожников, и прочая смешанная публика, человек прекратил свои странные прыжки, стал посреди толпы, развязал большой узел, который держал в руке, вынул из него и разложил на мостовой множество самых разнообразных предметов, как-то: старую сапожную щетку, пачку старых газет, скребок трубочиста, круглую жестяную коробку, мешок, кучку тряпья, — и заговорил с самым серьезным видом:

— Кто намерен застрелиться, отравиться, повеситься, утопиться, кто впал в отчаяние из-за недостатка денег, тесных сапог, сварливой жены, несчастной любви, кому надоела жизнь, кто уже купил револьвер, которым и курицу не убьешь, кто уже испытывает прочность веревки и крюка в стенке, кто ждет на берегу, когда вода будет потеплей, — вообще всякий кандидат в самоубийцы, — подумайте еще раз хорошенько в последнюю минуту да зайдите в Общество бережливых, где дают советы отчаявшимся! Это вам говорю я, несчастный, я, который еще сегодня утром не подозревал, что жаждет застрелиться, но тем не менее был спасен бережливыми!

Загадочный человек помолчал, вытер слезу, скатившуюся при последних словах, и поведал притихшей толпе такую историю:

— Я коллекционирую окурки сигар. У меня накопилось уже пять коробок по тысяче штук, и, не зная, на какое доброе дело их обратить, я пошел нынче утром спросить совета в Общество бережливых. Вхожу, здороваюсь вежливо и говорю: хочу, мол, с вами посоветоваться... Больше я ничего не сказал, потому что мне не дали рта раскрыть. Солидный седой господин сейчас же стал меня уверять, что отчаиваться не надо даже в самых тяжелых обстоятельствах. Я хотел было объяснить, зачем пришел, но седой господин не дал мне такой возможности. Он ласково взял меня за руку и сказал, чтоб я ничего не говорил, что незачем зря волноваться и бередить душу и я вовсе не должен утруждать себя, так как у него достаточно опыта и он прочел по моему лицу, что у меня несчастье. Так как мне и после этого не удалось вставить слово и объяснить, что привело меня к ним не несчастье, а окурки сигар, то я решил уже молчать как могила. А ласковый господин продолжал: «Об одном я прошу вас, успокойтесь. Всякое горе, всякая боль проходит, вспомните только прекрасные слова Болеслава Яблонского:

*Ни разу солнце не зашло,  
Чтоб снова не взошло... —*

и откажитесь от черных помыслов о самоубийстве. По вашему виду я заключаю, что причина у вас — денежные затруднения. Для несчастной любви

вы, так сказать, перезрели, а поскольку пуговицы у ваших брюк все на месте и белье в порядке, я делаю вывод, что у вас добрая жена; следовательно, остается недостаток денег. Это вещь скверная, но с ней можно справиться. На то и мы, чтобы посоветовать, помочь. Однако первое условие спасения — мужество, дорогой друг. Слыхали вы когда-нибудь об американском миллионере Карнеги? В юном возрасте он бродил по улицам Нью-Йорка голодный, без гроша в кармане. Но счастье ему улыбнулось, и он нашел на улице старую сапожную щетку. Он встал на ближайшем углу, предлагая свои услуги прохожим. Первым своим клиентам он чистил ботинки слюнями и лишь на первый заработок смог купить гуталин. Но прилежный молодой человек с любовью отдавался новому делу и дошел до того, что теперь он «стальной король», а на текущем счету у него несколько миллиардов. Видите, дорогой друг, как можно разбогатеть. Мы же хотим помочь вам сделать подобную карьеру. Чтобы избавить вас от поисков сапожной щетки на улицах, мы вам ее даем. И даем вам рекомендательное письмо в полицию, чтоб вам выправили разрешение на чистку сапог, а я вдобавок рекомендую вам сделать первую попытку у Староместской ратуши. Отцы города питают слабость к чистой обуви. Руки можно спрятать в карманы, а ботинки всем видны».

Седой господин ласково положил мне на колени вполне сохранившуюся сапожную щетку, но речи не прервал. Он поведал мне, как «нефтяной король» Рокфеллер начал с того, что собирал старую бумагу по домам, расписал мне все прелести этого занятия и его огромное культурное значение и дал для почину пачку старых газет. Прочитав небольшую лекцию об Асторе, который начал свою карьеру собиранием собачьего кала в Чикаго, и пояснив роль навоза в национальной экономике, он вручил мне вот этот железный скребок и коробку из-под рольмопсов; после рассказа о жизни Вандербильда я получил кучку тряпья, а после воспоминаний о покойном Моргане-отце — две старые лейки и дырявый таз, потому что знаменитый американец, в свое время скупал железный лом...

Тут почтенный самоубийца заплакал, преклонил колена на холодной мостовой и попросил публику, большая часть которой тоже плакала, помолиться вместе с ним за процветание Общества бережливых и его консультации для отчаявшихся. Просьба была выполнена, и с набережной Палацкого вознеслась к небу волна чистого восторга перед любовью к ближнему.

Между тем подросла полиция, разогнала незаконный митинг и арестовала таинственного человека. Он заявил полицейским, что был некогда паном Мрквичкой, почтовым служащим на пенсии и коллекционером сигарных окурков, ныне же он спасенный самоубийца и кандидат в миллионеры; еще он горячо уговаривал полицейских не отчаиваться, потому что величайший чешский поэт Болеслав Яблонский написал, что солнце будет всходить каждый день, а в Обществе бережливых есть еще старые сапожные щетки и прочие полезные предметы. После медицинского освидетельствования в полиции пана Мрквичку передали в лечебницу для душевнобольных. А председатель Общества бережливых записал на первой странице большой красивой книги: «Йозеф Мрквичка, почтовый служащий в отставке, сложный случай финансовых затруднений, благополучно спасен». Затем он (образно говоря) возвел очи к небесам и глубоко вздохнул.

## Предательство Балушки

В преданьях каждого народа есть изменник, с именем которого связаны всечеловеческие проклятья, К примеру, окажись вы среди вышеградской молодежи возле школы на Градке, лучше всего, когда она бесшабашным: ревом извещает прохожих, что на сегодня вдоволь насытилась вечных истин: «быть, былое, быстрина, кобыла», и спросите эту «надежду родины» насчет Балушки.

Как раз сегодня — услышите вы — одноклассники загнули ему санки, что является пережитком средневековой казни, чем-то средним между растягиванием на лестнице, колесованием и кобылой, когда осужденный перегибается через лавку и мальчишки поочередно, парта за партой, дают ему леща, а другие стоят на шухере, не покажется ли господин учитель.

Далее вы услышите, что Балушка — пес. Здесь примечательно само употребление рядом с именем Балушки наименования твари, о коей школьные учебники неустанно твердят как о верном друге человека. Как его еще поименуют на этот раз — зависит от умственных способностей индивидуумов, принимающих участие в дебатах. Потому что школьники, не отличающиеся особыми успехами в естественных науках, не помнят названий разных там заморских зверей и в оценке своих товарищей ограничиваются сравнениями с отечественными животными.

Я слышал также, что все, связанное с Балушкой, якобы полностью противоположно понятию «благовоние».

В общем, любопытствующий узнает неисчислимо множество ругательств, касающихся Балушки и ему приписываемых. Но самым страшным будет слово, которое повторят все: предатель. Да, да, молодой человек, знаете, Балушка подлый предатель. А пока вам аттестуют Балушку, сам он, сокрушенный, убитый всем этим, крадется обходным путем на Подскальную улицу. Озирается, зорко оглядывает окрестности, не преследуют ли его, и испуганно прячется за угол, если на какой-нибудь из улиц высмотрит своих одноклассников.

И снова, делая огромные крюки, задами пробирается к дому и, прежде чем исчезнуть в нем, еще проверит, не подкарауливают ли его на лестнице.

Дома сядет в уголок и затравленно смотрит в пустоту. А то примется ходить по комнате, изучающе оглядываясь вокруг.

Так, наверное, на некоей палестинской дороге оглядывался Иуда, выискивая себе осину, чтобы повеситься. Так, наверное, у Фермопил смотрел вокруг себя древнегреческий предатель Эфиальт, когда вел персидское войско обходным путем в тыл своим соотечественникам.

Потом Балушка, сей вышеградский Эфиальт, ударяется в плач, потому что не может и носа высунуть на улицу, где с гарантией в девяносто девять процентов его поджидает выволочка.

История его предательства связана с великим временем Вышеграда. Не нужно быть географом, чтобы знать, что пражские районы Вышеград и Смихов разделяет река Влтава. Испокон века. И, видимо, — испокон века оба берега разделяет жестокая вражда. Никто и слыхом не слыхал, чтобы подскальцы или вышеградцы шли к смиховцам в зятья.

Попробуйте спросите шестилетнего гражданина Вышеграда, что он судит о смиховцах, и он наведет на них такую критику, что в гостинной и повторить затруднительно.

Много болтают о чешском гостеприимстве, но все это сказки, которые могли бы опровергнуть, опираясь на богатый жизненный опыт, все те смиховские птенчики, кому случалось залететь в Подскалье или на Вышеград. На вопрос, откуда они, заданный тамошней детской милицией, они отвечали, не отрекаясь от родины, что они, мол, из Смихова. Обычно все смиховские граждане гордо заявляют об этом. Тут непременно следует толчок и дипломатический возглас:

— Чего толкаешься, ты, бродяга?

Дальше все идет как по-писаному. Двое прыгают ему на кожу, третий подставляет ножку. Такого, чтобы захваченный неприятель, убоясь истязаний, сказал, что он не из Смихова, почти не бывает. Как правило, они мужественно и не прося пощады терпят муки, а большинство пленников даже бранит при этом Подскалье и Вышеград, усугубляя свою участь.

Как божий день ясно, что и смиховцы, возвращаясь из школы, устраивают настоящую охоту на врагов с другого берега, если те случайно забредут на смиховские улицы. Подскальцы и вышеградцы обычно сопровождают трепку циничными комментариями. И, само собой, у пленного конфискуется имущество. Вооружение враждующих народов и летом и зимой одно и то же — рогатка и ремень.

Вышеградцы с подскальцами были союзниками, но не на равных правах. Когда река вставала и дело доходило до настоящих боев на льду, подскальцы выталкивали вышеградцев в первые ряды, в самые опасные шеренги, а когда начиналось обшаривание карманов у пленных и дележ, вышеградцам доставалась разве что треть добычи.

Вышеградцы не пользовались и политическими правами, не принимали участия в ведении переговоров о временных перемириях.

Положение изменилось, когда строительная горячка начала уничтожать Подскалье. В роскошных многоэтажных домах поселились новые подскальцы, которые ведать не ведали, что такое рогатка. Маменьки не выпускали своих деток на улицу, потому что эта юная поросль правого берега были сплошь неженками с напмаженной головкой, в красивых ботиночках, бельеце и нарядных костюмчиках.

От подлинных подскальских бойцов остались жалкие группки, которые с проклятьями бродили вокруг высоченных домов. Но этим они, конечно, не могли остановить разрушительной работы строителей и с горя предприняли попытку установить в новом квартале террор.

Разразилась война рогатчиков, война подскальской фронды против новых, прилично одетых переселенцев, но папаши выгнали их за ворота, вышеградцы в последнюю минуту воспрянули и, когда разбитые отряды бывших союзников проникли на вышеградские улицы, начали их лупить и вытеснять.

Наступила осень, время, когда прежде, бывало, начинались общие приготовления к зимней кампании против смиховцев, выражавшиеся в том, что воровали где попало ремни от кнутов, чтобы добрыми пращами обеспечить себе переход через замерзшую Влтаву, а ныне случались разве что мелкие перестрелки камнями с вышеградским союзником, и у лавочника Вавроушека было выбито окно.

И вот в эти-то напряженные для вышеградцев дни забрезжила новая славная эра. Они забыли, что Пицек — тот, что жил возле ворот — организовал са-

мостоятельный отряд под стенами и весной даже угрожал нижнему городу, об этом было начисто забыто, и вот тогда-то Балужка, да, это он появился на общественном поприще. Он заключил с Пицеком оборонительный и наступательный союз и в начале осени иго подскальской вольницы было полностью ликвидировано.

Началось славное время Вышеграда. Остатки подскальских бойцов были вынуждены на Вышеградских стенах присягнуть на верность, а те, кто не захотел подчиниться, были провозглашены изгоями, и каждый мог их пихнуть и крикнуть сакраментальное:

— Чего толкаешься, балбес?

Без Пицека с товарищами, уж точно, не было бы таких блестящих результатов, и тем больше надо похвалить Балужку, что он так ловко заключил с ним союз, не вводя отчизну в финансовые расходы. Весь-то союз обошелся в три стальные пуговицы, полицейский свисток да пять священных картинок.

Когда обстановка внутри страны была нормализована, пришла пора уладить отношения с сильнейшим соседом, иными словами, с подольцами.

Подольский народ возник от соединения местных береговых жителей с переселенцами из Подскалья, согнанными с приведенной в порядок, опрятной набережной, где отныне по ночам уже не увидишь возле берега плотов и костров плотогонов.

И только поэтическая душа слышит во тьме над волнами отзвуки старой песни и невольно вспоминает рефрен гимна в честь освобождения в его подлинном звучании:

*Гей, подскальцы молодцы!  
Удирают смиховцы!*

Дела давно минувших дней...

Переселенцы из Подскалья сразу принялись обрабатывать подольцев, измышляя разные насмешки вышеградцев над подольцами. Дескать, те говорят, что вы мухоеды...

На самом-то деле правды в этом была самая малость. В Подолье-Дворцах жил в ту пору мальчишка по фамилии Вачкарж, который на потеху туристам ловил мух и за вознаграждение в один крейцер съедал пять штук. Потом, правда, загордился и стал бастовать, потому что хотел за крейцер есть только одну муху.

Так гласит преданье. Нечто подобное, впрочем, можно услышать и в Углицких Яновицах.

В то время как подскальские беженцы раскидывали сети дипломатических интриг, решено было отношения с сильным соседом определить военным налетом на Вышеград.

Последнее слово было за Балужкой. И было оно достойно самого Бисмарка.

— Мы их упредим!

И Балужка должен был привести это в исполнение. Во-первых, у него в Подолье были связи, поскольку его папаша по четвергам ходил туда играть в кегли, а с сынком того самого трактирщика у Балужки был договор, что если того ранят на поле битвы, то он будет личным Балужкиным пленником и этим спасется от трепки.

В четверг Балужка с папашей отправился в Подолье и своими глазами вы-

смотрел место сбора подольцев. И выпытал у своего будущего персонального пленника, что в субботу подольские бойцы всегда ходят за карьер в Подолье-Дворцах играть в расшибалочку на деньги, стащенные дома. Далее он самолично осмотрел местность и выяснил, что можно сделать упреждающий удар, пробравшись со стороны Панкраца по узенькой тропинке в скалах.

Балушка доложил вышеградцам свои наблюдения и изыскания и, когда было постановлено, что в эту субботу они нападут на ничего не ожидающих подольцев, отправился спать. Можно было бы подумать, что он почил на лаврах сном удовлетворенного. Ничуть не бывало! Он маялся в постели, и перед его мысленным взором витала отнюдь не победа, а маленький черный котенок, который резвился с другими котятами во дворе трактирщика на Подолье, там, где после обеда сам он играл в бабки со своим другом-врагом.

Ах, если бы у него был этот котенок... В пятницу после уроков, мечтая о котенке, он шел задворками в Подолье.

Когда он очутился во дворе известного ему трактира и спросил Франтика, ему сказали, что паршивый мальчишка играет на плотях.

Он отправился за ним, они отвязали какую-то лодчонку и переплыли рукав к Шварценбергскому острову. Там, в ивняке, скрытый от людских глаз, он предал Вышеград ради черного котенка из Подолья, а когда принес его домой, то впервые заплакал над своей изменой. Но было поздно. Подольцы знали все.

Субботним вечером тихо, весело крались вышеградцы во главе с Балушкой от Панкраца узенькой тропинкой на карьер, а когда дошли до первого ущелья, над их головами раздался боевой клич подольцев. Не случилось при этом никакого военного корреспондента, но дело было жестокое. Побезденные вышеградцы бежали, увлекая единственного пленника — Франтика из трактира, который свалился со скалы прямехонько на их ряды.

Когда они оказались в безопасности, Франтик тихо заплакал и воззвал к Балушке:

— Балушка, вспомни о котенке и о том, что я твой личный пленник.

А Балушка, чтобы спасти себя, в смятении крикнул:

— Дайте ему как следует!

И тут Франтик поведал обо всем.

Бедняга Балушка! Ты видишь, куда заводит страсть к мамоне, даже если это всего-навсего котенок! Многие солидные мужи из-за этой страсти попали в подобную ситуацию!

После шестьдесят шестого года за такие дела во дворце Клам-Галласа повывивали все стекла, а у тебя выбили только пыль из штанов, предатель Балушка!

## Как Цетличка был избирателем

Цетличке было запрещено пребывание в Праге. Поэтому примерно в одиннадцать часов утра он стоял на перекрестке Перштына и проспекта Фердинанда и с интересом наблюдал, как неловкий крестьянский паренек, видимо ученик ремесленника, наехал в давке на полицейского, регулировавшего движение на этом оживленном перекрестке.

Обозленный полицейский записал в свою книжку, что на тележке, которая столкнула его на проезжую часть улицы, не было таблички с фирмой владельца, как то предписано правилами городского движения.

Цетличка получил от этого зрелища двойное удовольствие. Во-первых, как зритель, который, долго бродя по улицам, наконец что-то увидел, а во-вторых, как человек, который радуется, когда досаждают его врагу.

И действительно, этот тип людей мало симпатизировал Цетличке, в чем он имел возможность неоднократно убедиться, устраивая скандалы в пивной «У венка», что на Фруктовом базаре.

Днем все шло хорошо. Он бродил никем не признанный по Праге, но потом наступали ужасные предательские ночи.

Однажды он хотел прихватить зимнее пальто в пивной «У звездочек», в другой раз собрался удрать из «Калифорнии» не заплативши, потом затеял драку «У венка» — и всегда это кончалось месячной высылкой из Праги.

А он так любил матушку Прагу, потому что всегда умел здесь пожить. Нигде не вывешивают столько платьев перед витринами магазинов, нигде так просто не открываются двери лавок, короче — нет места для вора лучше Праги. Случись на улице какое-нибудь происшествие, нигде не скапливается столько ротозеев, которые, ничего не видя и не слыша, проталкиваются вперед, чтобы убедиться, действительно ли с карниза дома воробьиное яйцо упало на шляпу какого-то важного господина, и он гневно демонстрирует толпе свой черный котелок с расплывшимся желтым пятном.

К тому же в Праге так легко удается очищать карманы пальто зимой, так как никто не прячет свои портмоне подальше, чтобы не расстегиваться на улице и чтобы иметь удовольствие быть обворованным.

Цетличка ввинчивался в толпу зевак, например перед магазином игрушек, глазеющую на гонки заводных обезьянок. На деревянных механических обезьянок глазели взрослые балбесы, хотя зрелище предназначалось для детей, которые не могли пробиться вперед, чтобы хоть что-нибудь увидеть.

Цетличка всегда был среди берущих с бою трамваи. При этом он поглубже залезал в карманы и всегда исчезал незамеченным. Он был суеверен, как все воры, военачальники и дипломаты.

Когда добыча от него ускользала, он не повторял своей попытки по примеру льва, царя зверей.

Сегодня его постигла неудача. Оказавшись в толпе, которая сбежалась, чтобы поглядеть на задавленную собаку, Цетличка полез в карман к какому-то господину, громко осуждавшему быструю езду на автомобилях. Он уже почти нащупал бумажник, когда господин повернулся к нему. С быстротой молнии Цетличка выдернул свою руку, но тут же сунул ее обратно в карман возмущенного господина. А тот собрался достать носовой платок и в крайнем изумлении обнаружил в своем кармане чужую руку, которая, однако, тут же исчез-

ла.

Он закричал:

— Карманный вор!

— Боже мой, — воскликнул Цетличка по принципу «держи вора!», — у меня украли бумажник с гербовыми марками! Мне необходимо заявить об этом в полицию. — Он спокойно ушел, никем не остановленный, и за углом в сердцах сплюнул. — Хорошенькое начало, сегодня больше пальцем не пошевелю!

К тому же он встретил воз с соломой. И он просто бродил по улицам. Потом мимоходом заглянул в одну распивочную, где встретил хорошего приятеля, который сказал, что у него как раз осталось на три стопки житной с ромом.

Набравшись сил для дальнейших дел, Цетличка снова отправился в паломничество по улицам и, налюбовавшись вдоволь видом постового на перекрестке, пошел по трактирам попрошайничать.

Был всего лишь двенадцатый час, посетителей еще было мало, они пока еще были трезвы и не дали ему ни гроша. Обследовав таким манером с полдюжины трактиров, он вдруг попал в очень людное место.

Цетличка снял шляпу и остановился возле одного из столов. Прежде чем он успел сказать, что он бедный бродячий подмастерье, какой-то толстый пан сунул руку в карман, вынул оттуда шесть жетонов на пиво и сказал, повернувшись к соседнему столу:

— Запишите этого пана!

— Как ваша фамилия? — спросил его второй господин.

— Чержовский! — испуганно отвечал выселенный из Праги Цетличка.

— Ну хорошо, пан Чержовский, вот вам жетоны, можете поменять их на пиво.

Цетличка с радостью убежал бы, но, когда ему за один жетон в самом деле дали кружку пива, он успокоился и подсел к мужчинам, которые рассуждали о вещах, ему непонятных, и пили при этом, как жаждущие в пустыне.

— Один раз я заходил туда в охотничьем костюме, другой раз — в высоких сапогах и фуражке, — рассказывал худощавый мужчина собравшимся, — а комиссия ничего и не заметила. Это все свои люди, понимаешь? До сих пор забрали только одного, хромого Мацнера. Пьяный черт пошел голосовать два раза подряд и совсем забыл, что бросается в глаза своей хромотой. А у Виктора перед избирательным участком отклеилась фальшивая борода. Спасибо один тип из магистрата снова ему приклеил ее в уборной.

— Итак, пан Чержевский, — обратился к Цетличке какой-то господин, — вот вам пальто, избирательное удостоверение и бюллетень, возьмите цилиндр и ступайте. Здесь три кроны. Хватайте фиакр, возвращайтесь побыстрее обратно и переодевайтесь в профессора. Пан Павек даст вам парик и очки. Тахлик! Проводи этого пана до избирательного участка.

Пан Тахлик взял Цетличку за руку и посадил в экипаж.

Затем они подъехали к большому зданию, поднялись по лестнице, и сопровождающий, подведя Цетличку к каким-то дверям, сказал:

— Войдите туда, подадите сначала удостоверение, потом этот избирательный бюллетень. Помните, что вы живете на Морани, что зовут вас Калоус, вы служите конторщиком у Кольбена и вам тридцать пять лет.

Цетличка-Чержовский-Калоус услышал, как рядом какой-то другой господин тоже наставляет избирателя:

— Не бойтесь, вы в очках, никому в голову не придет, что вы там уже дважды побывали. Теперь вас зовут Выскочил.

Пан Тахлик втолкнул Цетличку в помещение для голосования и спустился вниз по лестнице. Цетличка без всяких затруднений исполнил задание и, выйдя оттуда, быстро смешался с толпой, так как во всем происшедшем увидел счастливый жизненный случай.

«Так я и вернулся с пальто и цилиндром, — сказал он себе. — Не пойму я, что тут происходит, но, слава богу, и на том спасибо — вещи-то я, во всяком случае, заработал честно».

А в газете «Народни листы» появилось объявление:

«Господина, который по ошибке взял себе в избирательном участке объединенных национальных партий пальто и цилиндр, просим вернуть их в то же помещение, так как фамилия его нам известна».

Цетличка-Калоус-Чержовский, однако, «Народни листы» не читает, и с той поры во имя интересов объединенных национальных партий больше ничего не совершил.

Его опять посадили за незаконное возвращение в Прагу; в камере он вспоминает об удивительном приключении 19 ноября. Может быть, сюда попадут и какие-нибудь господа из ратуши, которым он коротко ответит на их вопрос, за что попался: «Все за Прагу». Им, в свою очередь, придется ответить: «Эх, друг, и мы за Прагу!»

## Мытарства автора с типографией

**Ж**изнь писателя незавидна. Даже когда он удачно преодолевает издательские подводные рифы, его поджидает владелец типографии, где печатается книга, — палач со своими современными пособниками, выступающими под совершенно безобидными кличками — мастер, метранпаж и тому подобное. Когда некоторое время назад печаталась одна моя книга, я попал в руки такого молодца, который весьма изощренно издевался надо мной и мучил целых четыре месяца.

Признаюсь, это была первая моя книга, а в таких случаях, я думаю, любой автор жаждет выпустить ее как можно скорее. Я не отдавал себе отчета, что вся типография, начиная от владельца и кончая рассылным, воспринимает меня как неизбежное зло. Теперь-то я понимаю, зачем хозяин подводил меня к машинам. В нем теплилась слабая, но все-таки надежда, что меня затянет трансмиссией, я свалюсь под какой-нибудь пресс или, на худой конец, какая-нибудь тележка хотя бы немножко помнет меня. Короче, даст бог, меня вынесут на носилках и отправят прямиком в больницу, а у него появится причина задержать выпуск хотя бы одной тетради — мое творение выходило отдельными тетрадями.

Владелец типографии дни и ночи придумывал, что бы такое мне подстроить, только бы не сделать вовремя очередную тетрадь. Разговаривал он при этом со мной самым наилюбезнейшим тоном, улыбался так приветливо, как, наверное, не улыбалась мне покойница мама, когда я впервые протянул к ней свои ручки из колыбельки; при этом добрый человек, не уставая, повторял:

— Все уже набрано, печатаем.

А сам вел меня вниз, уповая на то, что со мной что-нибудь стряется. К чести его будь сказано, держал он меня за совершенного олуха и, подведя к стан-

ку, похлопывал по плечу и приговаривал:

— Вот видите, уже печатаем.

К моему удивлению, поглядев на большие листы, которые как раз переводила машина, я обнаружил, что вместо рассказов я, оказывается, сочинил прејскурант скобяных изделий. Когда я сообщил ему об этом, он не стал оправдываться, а просто сказал, что это какая-то неувязка, можно сказать — ирония судьбы, потому что как раз перед моим приходом на этой машине печатались мои рассказы. Тут он хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Ну конечно! Ваша тетрадь наверняка уже в упаковочной. — И потащил меня в упаковочную, где в свете электрической лампочки я увидел огромную кучу каких-то листов. Хозяин поспешил выключить лампочку, и я услышал его голос: — Вот видите, сколько мы уже сделали. Пойду распоряжусь, чтобы их отправили вашему издателю. Идемте наверх.

Нагнувшись в темноте, я взял из кучи одну тетрадь. Выйдя на свет, я раскрыл ее и прочел на титуле, что это брошюра о новом методе лечения ящура. Кровь отхлынула у меня от лица. Я понял, что сошел с ума. Я-то считал, что пишу рассказы, а сам кропал прејскурант скобяных изделий и исследование о борьбе с ящуром. Дрожащей рукой протянул я брошюру хозяину, и тут он начал кричать, что это черт знает что, а не порядок, что подобного безобразия еще не бывало, — персонал делает что ему вздумается, но чтоб я не сомневался — он устроит им разнос, какого свет не видывал, а я могу послушать.

С этими словами он втолкнул меня в какую-то клетку подъемника для грузов и включил. Я поехал вверх в полутьме световой шахты на второй этаж. Между этажами подъемник остановился, и минут пятнадцать я ждал, когда же все это вместе со мной сверзится вниз.

Наконец подъемник снова стал подниматься. На втором этаже я вышел и направился в контору, где никого уже не нашел, кроме владельца типографии; выразив мне искреннее сочувствие по поводу неприятности с подъемником, он просил заглянуть завтра, тетрадь непременно будет готова. А сейчас уже шесть, все служащие разошлись по домам. Между прочим, спросил он, слышал ли я, какую он устроил всем встрепку? Затем, прижав руку к груди, он заявил, что всегда шел навстречу издателям и если он обещал, что в пятницу выпуск будет готов, значит, так и будет.

Он смотрел на меня очень правдивым взглядом и повторял:

— Приходите завтра, тетрадь будет вас ждать. Уж мы постараемся, поторопимся, даю вам честное слово. Ручаюсь головой, все вы будете очень довольны. Все будет готово, можете не сомневаться, как же иначе. Для нас это раз плюнуть.

Я пришел на другой день и обратил внимание, что все как-то недовольно посматривают на меня, а мастер Шмидл добродушно сообщил:

— Слушайте, пан Гашек, вы опять потеряли нам рукопись. Старик чего-то хочет от вас, ступайте к нему.

Я потерял рукопись?! Да я же сам в этом закутке вычитывал ее, правил гранки этого самого выпуска, здесь вот неделю назад наклеивал картинки, — что к какому тексту относится, я хорошо помню, пан Шмидл еще спорил с бухгалтером, что боровичка и можжевельовка — одно и то же.

Тут открылась дверь конторы, и на пороге появился владелец типографии.

Он с серьезным видом протянул мне руку, чем-то сильно озабоченный.

— Как мы можем сегодня закончить печатать ваши рассказы, если вы потеряли рукопись?

Я возразил: как я мог потерять рукопись, если четыре дня назад держал корректуру этого самого выпуска. Следовательно, она уже набрана, не говоря уже о том, что вчера он сам похвалил меня за то, что я выкинул из одного рассказа фразу, и таким образом, книга кончится на 69-й странице. И наконец, он же водил меня вниз, в печатный цех, уверяя, что выпуск уже в машине.

Выслушав все это, хозяин выразил крайнее изумление и крикнул:

— Пан Шмидл, попросите принести пану Гашеку немного воды.

Затем меня упрекнули, что я две недели не показывался в типографии, после чего я и подавно потерял дар речи и молча сидел, совершенно сбитый с толку, на стуле. Меня оставили в покое и лишь окидывали сострадательными взглядами.

Наконец они все же обещали поискать, может, в самом деле, рукопись завалялась где-нибудь в типографии, и владелец начал развлекать меня затасканными анекдотами, а прощаясь со мной, попросил посмотреть рукопись дома и не задерживать понапрасну выход своих рассказов.

Едва я вошел в дом, жена привела меня в замешательство заявлением, что минут пятнадцать назад заходил рассыльный из типографии, принес какую-то рукопись с просьбой наклеить картинки, это как раз для последней тетради, и еще велел немедленно прийти в типографию.

Жена присовокупила, что я делаю из нее дуру, сочиняя, будто провожу время в типографии, а сам болтаюсь невесь где, иначе чего бы они посылали мне вслед рукописи.

Тут я припомнил, что, пока владелец типографии занимал меня анекдотами, я мельком заметил, как из типографии выходил посыльный с пакетом в зеленой бумаге.

Оказывается, это был пакет, который и принесли мне домой.

Развернув, я обнаружил в пакете гранки, рукопись с наклеенными картинками и верстку выпуска, которого я ждал с таким нетерпением.

Я щипнул себя за руку, чтобы убедиться, не во сне ли мне все это мерещится, причем — в страшном сне, пробуждение от которого может лишить человека здравого смысла! На другой день спозаранку, едва открылась типография, я ворвался в контору с присланным мне пакетом. Хозяин, заметив мое сильное волнение, вышел мне навстречу с мягкой улыбкой. Я показал ему на пакет и вскрикнул: «Что все это значит?» Он ласково сказал, что произошло недоразумение, потому что эта тетрадь уже печатается и после обеда я могу прийти и взять себе один экземпляр.

После обеда он встретил меня с убитым лицом и скорбно сообщил, что в типографии произошло ужасное несчастье. Электромотор, приводящий в движение станок, на котором печатался выпуск моих рассказов, сторел, и монтеры из Дрездена приедут чинить его не раньше чем через сутки. Слова его заглушались грохотом станков из печатного цеха, которые все прекрасно работали. Я не ходил в типографию три дня, до понедельника. Все худшее осталось позади, ведь рассказы должны были выйти неделю назад, в пятницу.

История повторялась регулярно при каждом выпуске. Всякий раз, стоило мне прочитать корректуру, выяснялось, что я куда-то задевал рукопись. Исключение составил один выпуск, рассказам из которого вообще не суждено

увидеть свет, потому что рукопись его — чтобы не отдавать, согласно условиям, готовый выпуск в пятницу — владелец типографии велел рассыльному закопать в цветнике позади типографии. Рассыльный в тот же день скоропостижно скончался и унес с собой тайну захоронения рукописи.

## Любовное приключение

**П**релестная головка, ангельские глазки! И жило это доброе создание одной мечтой — чтобы пан Штефек, жених, ревновал ее. Ей всегда хотелось, чтобы пан Штефек кого-нибудь побил, а она хвасталась бы приятельницам:

— Вы представляете, дорогая, вчера мой жених опять дал пощечину одному нахалу.

На этот раз милое создание выбрало для этой цели меня.

Сижу в редакции. Раздается звонок телефона.

— Алло, кто это? Слушаю.

— Говорит мадемуазель Голанёва. как поживаете?

— Громче! Говорите громче, ничего не слышу.

— Алло! Как поживаете? Не хотите ли пойти сегодня на концерт в Городской клуб? Рада буду вас видеть. Мой жених Штефек просил меня пригласить вас. Хм... Вы старые друзья... Я вас не отвлекаю? Мне приятно будет поговорить с вами. Помните, как мы ездили за город в Ржичаны? Еще мальчишки кидали в нас камнями. Чудесная была поездка. Мы гуляли с вами вдвоем одни, и вам разбили голову. (Я слышу приглушенный смех. Видимо, ангелочек прихватила свою подружку, и я слышу: «Маня, скажи этому болвану еще что-нибудь приятное!»)

Выслушав, Маня, продолжает в трубку:

— Алло, кто-то прерывает нас. Буду очень рада встретиться с вами. Я до сих пор храню четырехлистник клевера, что вы подарили мне на счастье.

(Не помню никакого клевера и спрашиваю, что подельывает пан Штефек.)

— Алло!

— Штефек стал совершенно невозможный, снова занялся разведением декоративных рыбок, а когда у него погибла вуалехвостка, он даже забыл поздравить меня с днем рождения.

(Барышне с телефонной станции разговор кажется затянувшимся и она кричит: «Вы еще разговариваете?»)

— Да, да!.. Алло, мадемуазель Голанёва, извините, я совсем забыл, меня ждет корректура, а я тут выходил еще купить себе туфли.

— Конечно! Вам не до меня. Меня вы совсем забыли. Я не отвлекаю вас? А помните Окорж? Вы сидели на развалинах, а я внизу на траве. Небо было... Алло!

Нас прервали, кто-то принялся ругать меня за никудышный деготь, который я поставил ему для колес и к тому же смошенничал, недодав вес. Когда я пригрозил ему адвокатом, он закричал в трубку извинения. Ах, он ошибся, ему был нужен номер 72-10.

Ангел снова пробился ко мне.

— Алло! Нас перебили, какая досада, не правда ли? Надеюсь, я вам не помешала? Я очень жду нынешнего вечера, и вы уж постарайтесь, будьте таким же милым, как тогда в Ирнах. Помните, мы сидели с вами на опушке леса? Небо было... Алло!..

В этот раз нас разъединили напрочь, я несколько перевел дух и отправился к своему приятелю Штефеку. Он очень порядочный молодой человек, но страдает тем недостатком, что приходит в сильное негодование, если замечает что-либо, возбуждающее его ревность. А ревность у него возбуждает решительно все.

В Розтоках, к примеру, ему не хотели налить пива, потому что он разгрыз какие-то пивные кружки, причем из-за совершеннейшего пустяка — его невеста Маня мило улыбнулась черномазому еврейскому приказчику.

Надо сказать, что из двадцати наших с ним общих знакомых пострадали от Штефека человек пятнадцать. Восемьмерых он ранил, троих вызвал на дуэль. До самой дуэли, правда, дело ни разу не дошло, но предварительно он непременно разбивал вдребезги какой-нибудь стол или стул.

— Зачем вы это делаете? — спросил я его.

— Чтоб Маня меня любила. Ей очень импонирует, когда я крушу и ломаю, что под руку попадет. И другие пусть видят, как сильно я ее люблю и расстраиваюсь, если она кокетничает с другими. А она просто обожает строить глазки — моргнет левым, моргнет правым, копнет носком туфельки песочек, словно жеребеночек... Милая моя Маничка, золотко мое! Но я не позволю, я уложу любого!

И швырнул меня наземь.

Когда я поднялся, он почистил меня щеткой и попросил:

— Уж вы не обижайтесь на меня, я до безумия люблю ее.

И сегодня милый ангелочек Маничка с прелестной маленькой головкой и упоительным ротиком собралась принести меня в жертву своему молоху, пану Штефеку.

Я поспешил на концерт, как спешит к губительному пламени ночной мотылек или морская птица — к огню маяка и разбивается о его стекло.

С этими грустными мыслями шел я на концерт. Не буду подробно описывать сложную систему кокетства, применяемую мадемуазель Маней.

Система ее была невероятно радикальна. Уплетая отбивную, она не только вталкивала кусочки мне в рот, но при этом еще наступала мне на ногу и трогала коленкой мои колени. Ангел, что и говорить!

Пан Штефек, долго наблюдавший за этим, опустил взгляд под стол и обнаружил туфельку прелестницы на моем ботинке. Он встал и попросил меня проводить его, так как он не знает, где тут то, что ему нужно.

Мы нашли это в глубине двора за деревьями; там все и произошло в соответствии с желанием прелестного ангела. К столу я вернулся с нахлобученным котелком и, заплатив, удалился.

На прощанье ангелочек Маня успела передать мне записку, наспех накорябанную карандашом: «Вы прелесть, я вас люблю».

Мне дали по шапке, как и было предусмотрено программой вечера, составленной прелестным созданием, зато теперь у меня есть любовное приключение.

## Как Тёвел вернул пятак

### Секейская повесть

Задёморошский староста Гунило придерживался того взгляда, что всякому овощу свое время. Этим он всегда объяснял свои действия и вообще все на свете. Когда здесь, в секейских горах, впервые появились петушинные султаны жандармов, задёморошане сперва лишь наблюдали, как внизу, в долине Магарада, жандармы принялись за строительство, как им возили на телегах камень и кирпич; но однажды ночью они спустились с гор к Магараду, а три дня спустя жандармскому управлению в Надьбане стало известно, что наполовину готовое здание жандармской станции кто-то разобрал по частям и раскидал по руслу речки.

Сторож, которого жандармы поставили присматривать за их стройкой, твердил, что ничего не знает, что он спал, а когда проснулся, от стройки остался один фундамент. Более того — он и сам-то очнулся в речке, где валялись остатки кирпича и камня.

Сторож был секей с гор; жандармы знали, что по-хорошему от него ничего не добьются, а посему надели ему наручники и привели в Надьбаню. Там ему показали связку ореховых прутьев в кадке у двери караульного помещения.

— Будет лучше, если ты выложишь всю правду, Тёвёл, — заявил жандармский ротмистр. — Вот полюбуйся-ка на этих двадцать спасителей у двери, как они пьют из кадки, чтобы набраться сил для работы.

В ответ на это Тёвёл попросил снять с него наручники, чтоб он мог спустить штаны.

— Я всего месяц назад купил их у буковинского еврея, — усмехнулся он, — а вы, чего доброго, превратите их в лоскуты. Что под штанами, то заживет, а вот штанов было б жаль.

Жандармский ротмистр приказал положить Тёвёла на лавку и бить прутьями до тех пор, пока не признается. Тёвёл под свист прутьев пел:

*На медведя с топором,  
а на волка с камнем...*

— Двадцать спасителей сломалось, — доложил ротмистру через полчаса жандармский вахмистр, — прикажете потоптаться ему на животе?

Ротмистр задумался. На нем уже висело одно расследование — из-за румынского цыгана: тот поджег у Тисы запасы кукурузы. Когда его поймали, ротмистр приказал бить его веревками по животу. А цыган возьми и умри во время экзекуции.

— Никакого сладу, — вздохнул тогда ротмистр, — такой уж народ эти цыгане. Не успеешь его поймать, как он тут же тебе умрет в караулке. Тонка кишка, квёлый народец.

— Лучше, пожалуй, отпустим Тёвёла, — произнес ротмистр решительно. — Приведите его сюда.

— Вот видишь, собачий сын, — обратился он к арестанту, — нечего было закираться. Когда взяли последний прут, ты перестал петь.

— Я не мог вспомнить, как там дальше, — спокойно ответил Тёвёл, — главное, что штаны целы.

Ротмистр ухмыльнулся и сунул руку в карман.

— Вот, держи пятак, — сказал он. — Проваливай, да запомни: если жандармы заметят тебя на тех развалинах, будут стрелять, как им приказано. Кстати и остальным передай в ваших проклятых горах. Пускай собаки-секейи намотают это себе на ус.

И Тёвёла вышвырнули из караулки. Он направился к Тисе, в корчму, где собираются секейские плотогоны. В окно он видел, как по реке сплавляют лес, срубленный в горах. Длинные волокна моха чернели на плывущих бревнах, которые перед корчмой подпрыгивали на камнях. Тёвёл у казалось, что ему передают привет задёморошские леса.

Выпив литр вина, он отправился вдоль Тисы в свои леса. На большом валуне, с которого открывался вид на равнину за Надьбаней, окутанную туманом, он наточил длинный нож и сунул его за пояс. Если б его спросили, зачем ему точить нож, он ответил бы, что ночью пойдет через леса по горам, где к ручьям хаживают пить медведи.

Факты, однако, таковы, что утром от Магарада пришли в Надьбаню жандармы Карам и Полгар, один без правого, другой — без левого уха.

В бумагах записано, что они уснули в заброшенной избушке лесорубов под Магарадом и не могут объяснить, как это произошло.

— Я проснулся от жгучей боли, — записаны в протоколе показания Карамы.

— Жгучая боль разбудила меня, — сообщил Полгар.

Оба также расписались под показаниями, что в темноте не разглядели преступника.

Узнав об этом от Тёвёла, задёморошский староста Гунило хлопнул себя по коленям и сказал:

— Бог свидетель, всякому овощу свое время, надо дать ему созреть.

Черт его знает, что он имел в виду. Может, считал, что это было то время, когда в жандармском управлении в Надьбане вымачивались прутья. Староста еще посоветовал Тёвёлу уйти в Румынию, пока все не забудется. А то ведь жандармы могут прийти сюда, в горы. Тёвёл ему на это ответил: жандармы с чем придут, с тем и уйдут, здесь никто не останется — разве что кто из них ляжет где, укрытый мохом. Ну, а перегнать на румынскую сторону своих восемь овец он всегда успеет. И добавил, что хороша будет охота, коли придут жандармы.

Жандармы, однако, долго собирались. Там, где по склонам и в долинах текли ручьи, уже образовалась ледяная корка. С равнин потянулись в горы волки и бродили вокруг овечьих загонков. Задёморошане обнаружили следы медведя прямо на околице и пошли по его следу в Магараду. Кончились тихие ночи, в заснеженных лесах раздавалось завывание волков да рык черных медведей. Звери голодали.

Газару из Задёмороша, лучше всех коптившему овечий сыр, голодная рысь прыгнула с дерева на опушке леса прямо на шею и вцепилась зубами в медвежью шубу с тройным верхом. Она до того разъярилась, что Газар так и пришел домой с рысью, вцепившейся в воротник шубы, и там ее прибили дубинками прямо у Газара на спине. По неловкости сын Газара хватил при этом старика по голове так, что едва не убил одним ударом двух зайцев, или, как не очень-то изящно выражаются секейи, «одной палкой двух свиной». В деревне еще долго говорили об отчаянной рыси. Секей не испугается встречи с медведем, не побоится пяти волков, лишь добродушно спросит их: «А шестой где?»

Но встретить рысь *nyuon rosszul*[117] — это очень дурной знак.

К тому же рысь не как другие звери, она не подает голоса. А нападаая, хрипит. Так хрипели купцы, отдавая богу душу после удара топориком.

Это сказал старый Газар, он-то на этом деле зубы съел, знал, что так бывало. Впрочем, те времена прошли, их не воротить. Купцы уже не ездят в Буковину по узкой дороге через Секейские горы, новая дорога огибаает их за сорок километров. Прости-прощай, слава гайдамацкая. Старая дорога заросла травой, но кое-где у обочины можно увидеть невысокий холмик, а на коре дуба или бука над ним вырезанный крест. Старые секейи были добрые христиане: убивая путника, всегда хоронили беднягу, да и память его чтили таким способом. Старый Газар говаривал:

— Эх, сколько я выкопал топориком могилочек, сколько вырезал крестов на старой коре! Последний — когда мы прикончили того белобородого. Был он еврей, ну да пускай хоть теперь спит под крестом.

— И рысь хрипит, словно человек, когда его режут, — рассказывал Газар, — кровь у него клопочет в горле, и воздух выходит через эту рану, он и не может кричать, только глаза выкатит. Еще бы — с жизнью прощается. Но рысь хрипит не потому, и это знак дурной. Кому-то в селе не миновать беды.

Вскоре, когда мужики шли по медвежьим следам в Холодную долину, они на краю деревни увидели еще одну рысь, это была самка, подруга убитого самца. Она хрипела в отчаянии, притаившись на дереве в ожидании жертвы. Пристрелив ее, они решили воротиться.

Но Тёвёл сказал, что, если остальные не пойдут, он сам пойдет на медведя, с сыном Дюлой. И пошел.

Потом в долине Магарада прозвучали четыре выстрела и гулким эхом прокатились по лесам, так что даже на другой стороне Кобыльской долины залаяли собаки у овечьей кошары.

А ночью вернулся Тёвёл один, без сына; вышло так, что наткнулись они не на медведя, а на жандармский патруль. Тёвёл рассказал, что сын первым выстрелил в жандармов, но потом слегка поправился — в том смысле, что он, дескать, сказал сыну просто так, в шутку: «Сынок, попугай чуток этих господ». Бедняга Дюла так и сделал. А когда жандармы застрелили его, Тёвёл не успел даже отнести тело куда-нибудь в сторонку и завалить камнями, чтобы волки не разорвали его на кусочки.

Тёвёл не причитал, глаза его смотрели безо всякого выражения. О своей утрате он рассказывал с тем же спокойствием, как перед этим о гибели своей лучшей собаки, — он, мол, говорил ей вечером: «Рушво, ну куда тебя несет ночью, ведь волки сожрут». И сожрали.

И только ложась на шкуры у очага, он пробормотал, натягивая на себя бурку сына:

— Тебе она, Дюла, больше не понадобится. Ладно, погодим до весны.

И крепко заснул.

Долго было тихо, ничего не происходило. Снег сошел. Задёморошане сохраняли спокойствие. Волки снова перешли в заросли камыша у Тисы, а медведи перебрались в леса и драли там кроликов в погожие весенние дни. В долине Магарада уже возвели крышу над новой жандармской станцией, и тут пришла весть, что, мол, в магарадском ручье нашли череп молодого Тёвёла. Лесоруб Бюзаши отдал за него товарищу бутылку самогонки и принес наверх, в го-

ры, где и выменял старому Тёвёлу за ремень.

— Видишь, Дюла, — сказал Тёвёл, насадив череп на валашку сына в углу комнаты, — не говорил я, что мы встретимся по весне? А теперь, сынок, прости, у меня сегодня есть хорошая работа.

И ночью в долине Магарада жандармам ни к чему было освещать себе путь, переходя по камням ручей. Ей-богу, не было нужды! Им ярко светила полыхающая новая жандармская станция.

Когда весть об этом дошла до жандармского ротмистра Тетлена в Надьбане, то, как и по сей день рассказывает торговец кожевенным товаром, что живет против жандармского управления, Тетлен выскочил с саблей наголо на тротуар перед зданием и стал носиться там, крича: «Тёвёл. Тёвёл!» Потом принялся рубить саблей ворота управления, замахнулся и на торговца, но вернулся назад, ворвался в дверь караулки и, сдернув со стены ружье, вбежал в тюрьму.

— Ключи! — заорал он и отпер камеру, где валялся на нарах какой-то драчун. Тетлен едва не убил его, но вдруг отшвырнул ружье, выбежал из тюрьмы, а в канцелярии бросил чернильницей в вахмистра и от злости прямо заплакал.

— Корвань, — закричал он вахмистру, — все на охоту! Посмотрим, кто в Задёмороше будет осенью коптить сыр. Ну, что вылупили зенки, бездельники?

Ротмистр Тетлен первым выскочил из караулки и помчался в горы. Могучие горы синели вдали и безмолвствовали, словно презирая глупого Тетлена. На извилистой дороге за Магарадом, уже в лесу, Тетлен сказал:

— Знаете что, Корвань? Вы все ступайте по старой дороге на Задёморош, а я пойду один, как загонщик, и пригоню их на вас. Они у меня попляшут!

Когда из задёморошского загона убегает овца, ее ловят, накидывая на нее *rüvöruk* — веревку с петлей, к которой привязаны два камня. Петля захлестывается вокруг шеи и благослови тебя, пуверюк, как поют в секейских лесах:

*Коль убежит от меня  
моя девушка с косами,  
пуверюк снова овечку мне вернет...*

Пуверюком, выходит, ловят убежавших овец, возлюбленных и еще отправившихся в горы ротмистров.

Ротмистр Тетлен ворвался в Задёморош и на площади расстрелял все патроны из револьвера, впрочем, ни в кого не попал. Тёвёл сказал соседям, чтоб они не мешались, он-де справится с ротмистром сам, и когда тот, не видя подкрепления, которое все еще бродило по горам, обратился в бегство, Тёвёл последовал за ним с пуверюком. За деревней, в лесу он накинул веревку ему на шею, сказав такие слова:

— Может, вы изволите помнить, что нам надо рассчитаться.

И поволок полузадохнувшегося ротмистра в ложбину, и все что-то искал. А искал он муравейник. При этом он непрестанно вел с ротмистром ласковую беседу. — Да уж, вельможный пан, вам небось и не снилось, что жизнь свою закончите в муравейнике. Здесь вас не отыщут, и никто вам не поможет. Я вот еще оглушу вас топориком, с вашего позволения, чтобы легче было повесить за ноги головой вниз в муравейник.

Раздался глухой удар. Тёвёл изрядно попотел, прежде чем подвесил оглушенного ротмистра за ноги над большим муравейником, — ротмистр оказал-

ся тяжел. Голова его наполовину погрузилась в муравейник, черные муравьи полезли ему в нос, рот, в боевом задоре разбежались по одежде, а Тёвёл отступил на три шага и приветливо улыбнулся.

— Еще я вам, ваше благородие, должен пятак, помните, вы дали мне его, когда сломалось двадцать спасителей. Я возвращаю вам его, как видите, с процентами.

Тёвёл достал из пояса монету и бросил ее в муравейник, к голове ротмистра. Ее тотчас облепили черные муравьи. Тёвёл подошел к дереву, на которое повесил ротмистра, и, вырезав ножом на коре крест, медленно направился на румынскую сторону.

## Репортаж с ипподрома

Когда Лола впервые очутилась на ипподроме, она пренебрежительно оглядела соседок по конюшне. Знали бы они, кто рядом с ними жует сено!

Кобыла Геда из соседнего бокса, которая трепала зубами заношенную шапку неосторожного мальчишки, приставленного в помощь конюху, покосилась на двух своих старых приятельниц и шевельнула ушами. Те лениво повернулись к Лоле, машинально пережевывая тощую смесь сена с соломой, которой их пичкал хозяин ипподрома.

Геда наблюдала за новой соседкой, величественно и брезгливо выбиравшей клочки сена из этой смеси и с достоинством обрабатывавшей их челюстями.

— Простите, — сказала Геда, — вы зря брезгуете и не едите солому. К утру живот подведет.

— Я никогда не ела соломы, мадемуазель, я воспитана в замке. Представляете, я — чемпионка Германии. Я — Лола из Шато д'Иль, призерка стипльчеза в Мангейме и в заезде мужчин на кубок Брауншвейга. Сейчас я, правда, немного кашляю...

— Скажите лучше — запальная, — отозвалась кобыла Дарлинг, — по вас это и видно. И как это некрасиво, что вы, воспитанная в дворянских кругах, не представились нам сразу. Поэтому я позволю себе усомниться в вашем блестящем дворцовом воспитании. В общем, жрите себе спокойненько сечку и забудьте о чемпионатах.

— Que peuple[118], — вздохнула Лола.

— Pardon, mademoiselle, — ответила Дарлинг, — je comprends aussi cette langue[119], на мне ездил эрцгерцог. И вы, как все, распрекрасно привыкнете к соломе, а заодно и к хлысту на ипподроме. Предупреждаю: вас будут бить хлыстом по ногам. Недавно на мне целых пять кругов ездил ветеринар, так он сказал хозяину, что это очень помогает против шпата. Такой, мол, массаж предохраняет от воспаления стрелки, если вы понимаете что-нибудь в анатомии. В первый раз меня выбраковали за то, что я на маневрах откусила пол-уха одному адъютанту, из-за чего синие получили приказ генштаба с опозданием и проиграли. Тогда меня купил какой-то любитель раритетов, его я сбросила при первой же возможности, и он, представьте, мадемуазель, сломал себе шею. Это нечто общее и нам и людям, моя сестрица погибла на скачках подобным образом. Прекрасная была лошадь. Я видела ее чучело в конюшнях герцога Ауэрсберга.

— И я могла погибнуть точно так же.

— Неважно, мадемуазель, слушайте дальше. Потом владельцы продали меня для опытов ветеринарному институту. Это были блаженные дни. Надо мной производили опыты, так, к примеру, меня кормили мелассой и солодовым цветом. Потом давали мышьяк и, наконец, прививали тиф, а после всего этого спасали мне жизнь. Полгода я была пациенткой, меня отпаивали молодым пивом и сывороткой. Никогда я не жила так прекрасно. Когда я снова набралась сил меня свели с ослом, а через год — с лошаком. Осел и лошак были ко мне очень шармантны.

Стоявшая в заднем боксе кобыла Элла заметила, что все мужчины такие обманщики. У нее был жеребенок от одного пивоварского жеребца чистокровной штрийской породы, а когда она через какое-то время с ним встретилась, он покусал ее и лягнул.

— Ах, Элла, — сказала Геда, — ты бы уж лучше помалкивала насчет этой истории. Покойная Пуссви, которую отвели к колбаснику, хорошо знала того жеребца. Он выбирал себе только интеллигентных кобыл, и до нее у него была одна из цирка, которая умела бить копытом до восьми. И тем не менее он говорил, что она не знает, где право, где лево.

— Не ссорьтесь, девицы, — сказала Дарлинг, — не хватало еще, чтобы вы подрались. Да, я, кажется, говорила об осле и лошаке, как они были шармантны. Готовы были достать мне с поля кукурузные початки. К сожалению...

— В жизни не пробовала кукурузных початков, — решила вставить слово Элла.

— Так слушай и не перебивай. К сожалению, мы вынуждены были расстаться. Как-то раз лошак сказал мне: «Мадемуазель, прощайте навсегда, завтра мне вспорют брюхо. Меня ждет жестокая работа на пользу вивисекции. Знаю, я помогу людям, потому что я лошак...» Очередь осла пришла позднее. Он тоже был прекрасно воспитан и прощался со мной подобным же образом. Радостно прокричал «и-а» и сказал, что с радостью отдаст жизнь ради людей, на то он и осел. Как я узнала позднее, мои дети, рожденные от этого краткого знакомства, таскают сейчас горные орудия в Боснии. Однажды я укусила главного ветеринарного советника, когда он проходил мимо. Совершенно нечаянно. Он протянул мне в перчатке кусок сахара, а я схватила его за указательный палец. Из института меня продали, и у меня началась новая жизнь. У одного крупного садовода меня запрягли в конный привод, которым черпали воду. С утра до вечера я ходила по кругу. Это была подготовка к здешнему ипподрому. Потом мне сказали нечто непонятное: меня продадут с аукциона. И меня действительно продали, но тот конный привод я не забуду никогда! Я ни о чем не думала и чувствовала только то, что я понемногу тупею. Это было прекрасно. Здесь, я бы сказала, другие условия. Здесь вы снова научитесь думать.

— Позвольте, — гордо сказала Лола, — вы считаете, что я не научилась думать? Как только у меня пройдет кашель, я снова поеду на соревнования, почему вы смеетесь?

— Моя золотая, кто сюда попал, тот погиб. Берите от жизни все что можно и ешьте сечку!

— Вижу, что не гожусь для вашего общества, — гордо возразила Лола. — Вы утратили идеалы, и вам осталась одна сечка.

Двери конюшни распахнулись.

— За нами пришли, — воскликнула Геда и подвинулась к кормушке, чтобы

ее удобнее было отвязать.

— Будьте благоразумны, мадемуазель, — сказала Дарлинг Лоле. — Это ваше первое выступление.

На ипподроме оркестр еще не играл, только у столиков вокруг манежа сидели несколько девиц, сонно потягивая пиво и покуривая сигареты.

Лола, Геда, Дарлинг и Элла стояли оседланные на песке манежа.

— Взгляните на старушку у двери с надписью «Дамский туалет», — сказала Дарлинг, — я слышала недавно, как наш хозяин с хромым конюшим говорили, будто когда-то она ездила на ипподром вся в бриллиантах, а теперь вот отпирает ключом дамский туалет и ждет, чтобы ей дали крейцер. Прошлый раз кто-то бросил ей фальшивый пятак, и надо было слышать этот скандал.

— К тому же у нее кашель, — иронически добавила Геда.

— Я чемпионка Германии и среди таких сплетниц не останусь, — заржала Лола и принялась скакать по манежу.

Былая слава ударила ей в голову, решили позднее Дарлинг, Элла и Геда, а Лола между тем выпрыгнула и, как прежде через препятствия, стала перепрыгивать через столики.

На другой день ее продали мяснику. И уже прийдя на бойню, она гордо заявила старому хрому мерину:

— Запрещаю вам говорить мне «ты», я Лола из Шато д'Иль, у меня приз за стиплчез в Мангейме и за мужской заезд на кубок Брауншвейга.

По странному совпадению старушка, состоявшая при дамском туалете ипподрома, пришла к мяснику купить на 20 геллеров колбасы из славной идеалистки Лолы и сообщила, что именно в этот день сорок лет тому назад она бежала от графа с бароном...

## Любовь в Муракёзе

В архивах Надъканижи хранится запись, гласящая, что в 1580 году сюда пришли какие-то люди от реки Муры, которые напали на местный турецкий гарнизон (а Надъканижа находилась под управлением самого султана) и перебили его.

В этом документе сообщается также, что многие из тех людей были вооружены лишь топориками на длинных рукоятках и что, забрав в плен оставшихся в живых турок, они отвели их в свои родные края, накормили, показали женщинам и отпустили на свободу.

В архиве содержится еще жалоба господу богу на этих отпущенных турецких пленных, которые вернулись назад в город, снова им овладели и головы ни в чем не повинных городских советников отослали визирю в главный город жупы — Белград.

Когда я сиживал вечерами на равнинах Муракёза у реки Муры возле больших костров, далеко освещавших простиравшуюся вокруг степь, глядел на людей, собравшихся у костра, и слушал их рассказы, я вспоминал об этих записях в надъканижском архиве. Да, эти парни из Муракёза остались и теперь такими же. И теперь еще они могут проявить без оружия чудеса воинской доблести только ради того, чтобы показать женщинам своих пленных.

Подтверждает это хотя бы история Юры Копалия и заболянской Гедвики.

\* \* \*

Заболяны издавна славятся красивыми девицами и великолепными конями. (Да простят мне читатели это не очень галантное сопоставление!) В Муракёзе эти две «вещи» всегда ставятся рядом, и в песнях, тягучих, как гудение ветра по травянистым равнинам, поется, что парень из Муракёза хотел бы владеть статной девицей и статным конем. Поется в них еще, что парень посадил бы девицу на красавца коня и помчался бы с ней по Муракёзу до самой реки Дравы.

Там, за Дравой, он продал бы коня и купил своей красавице белый жемчуг и вышитый золотыми нитями кафтанчик. А потом он... Дальше в песне поется о не очень-то благородном деле: он, видите ли, украл бы своего коня, посадил бы на него возлюбленную и вернулся бы назад в Муракёз.

Вот об этих-то последних строках песни и поспорил я как-то с одним старым мурянином.

— Нет, какое же это воровство! — спорил со мной старик. — Конь-то был его собственный! Разве можно украсть у себя самого собственного коня? Ты говоришь: он его продал? Так ведь он продал ради шутки. Нет, нас, мурян, никто не обмишулит.

Действительно, обмануть мурянина не так-то просто. Однажды один торговец-еврей поселился в Блоте. Так что вы думаете? Уже за полгода он лишился всего и поспешил перебраться к венграм в Кёрменд, чтобы снова встать на ноги. Между прочим, он утверждал, что нет на свете девчат красивее, чем в Блоте. Но это неправда.

Что бы там ни говорили, все же самые красивые девушки — в Заболянах. Порасспросите-ка барышников, понравились ли им Заболяны. Они с восторгом расскажут вам, какие там водятся роскошные кони, и в заключение обязательно добавят:

— А если такого коня подведет вам девица из Заболян, да взглянет на вас, вы почувствуете такое блаженство, что забудете и торговаться.

То же самое утверждал и пан Полгар, старый опытный барышник из Надьвараждина. А ему-то уж нельзя не верить: ведь он объехал все деревни по берегам Муры, Дравы и Савы до самой венгерской пусты и очень любил заглядываться на девушек да одаривать их цветными алыми платочками.

Он подтвердит и то, что говорят о заболянских девицах: что их любовь не купишь за нитку жемчуга; об этом тоже поется в песне, начало которой мы уже слышали. Оказывается, когда парень вернулся со своей красавицей в Муракёз, подарив ей жемчуг и вышитый золотыми нитями кафтанчик, его неверная возлюбленная распрощалась с ним, сказав, что он может идти куда угодно, хотя бы даже в понизовье к туркам. Бедняга послушался и отправился на войну, иначе и быть не могло!

*И в чужой земле, в стороне турецкой схоронил он свое горе!*

В целом свете нет таких трудностей с любовью, как на этих зеленых равнинах у реки Муры.

Юро Копалия из Заболян испытал это в полной мере. И когда плыл он ночью в лодке по бурной реке Муре, по степям и равнинам на правом берегу разносился его отчаянный протяжный призыв:

— Гедвика! — отражавший всю неизмеримость его страданий.

Юро разбил это слово по слогам, чтобы как можно дольше тянуть такое прекрасное, такое дорогое ему имя, и в ночную тишину то и дело вривался его вопль:

— Гед-ви-ка!

Этот разрывающий сердце стон, плывущий по реке и прибрежным лугам, доносился даже до переправы у Малой Мухны, до которой от Заболян не меньше часа ходьбы. Услышав эти неразборчивые, идущие откуда-то с севера из темноты крики, паромщик всегда крестился, утверждая, что это опять буйствует Буланя. Но более рассудительные крестьяне, собиравшиеся у переправы, чтобы выпить и побеседовать, приписывали эти звуки не русалке Булане, а дерущимся между собой дрофам.

По несчастной случайности у крестьянина Григорича исчез как-то ночью пастушонок Шолайя. Тогда уж и самые рассудительные поверили, что и впрямь Буланя вышла на ловлю человеческих душ. А крестьянин Крумпотич, возвратившись однажды ночью с переправы, уверял даже, что разговаривал с Буланей прямо у самой переправы. Подтвердил это и паромщик Михал.

А дело было так: Крумпотич выпил у Михала шесть литров вина и вышел подышать свежим воздухом. Вернувшийся вскоре с берега паромщик сообщил своим гостям, что Крумпотич ведет на берегу такой разговор:

— Нет, Буланя, не тащи меня в реку, смилуйся над грешным старцем! Ты хочешь проводить меня до Заболян? Ну что ж, проводи меня, Буланя, моя красавица, проводи старого пса. Много я нагрешил на свете: табак тайком выращивал на кукурузном поле, а в молодости, случалось, и коней поворовывал. Сказать тебе, Буланя, моя красавица, кого я обокрал? Вот послушай: у Мишки безрукого на Хорватской стороне увел двух коней, у Таврича из База — тоже двух, у Гемеша, сквалыги-венгра, — только одного, а у Пала и Гулы — по три жеребенка у каждого. Буланя, красавица моя, не губи душу христианскую, ду-

шу грешную. Ездили мы, бывало, и за кабанями, аж за Драву... А один раз перегнали их через реку восемьдесят штук. Кто знает, чьи они были. Во всей округе таких не водилось. А мы потом целых три месяца свинину коптили...

На другой день заболянские крестьяне нашли Крумпотича лежавшим на дороге к Блоту, куда они ходили браконьерствовать в королевских лесах Вараждинской жупы.

Он им сказал, что Буланя после долгих разговоров швырнула его в конце концов оземь.

Вот поэтому и неудивительно, что Крумпотич предостерегал Юро Копалию против ночной ловли рыбы на Муре.

— А мне все равно, дядюшка, — сказал Юро. — Мне даже было бы лучше, если бы мной полакомились мурские сомы.

Крумпотич был отцом Гедвики, и страдания Юро были ему хорошо известны.

— А что, Гедвика еще не передумала? — спросил он Юро.

— Даже и слышать обо мне не хочет, — ответил несчастный парень. — Скорее Мура высохнет, чем смягчится ее сердце.

Разговор шел у двора Крумиотича, под навесом, где на длинных жердях сушился зеленый перец. Неожиданно появилась вернувшаяся из степи от лошадей Гедвика. Она была в высоких сапогах, с длинным кнутом в руке.

— Опять сюда притащился! — напустилась она на Юро, усаживаясь на скамейку.

— Да, моя голубушка, — нежно ответил Юро.

— Сними с меня сапоги, — приказала она ему.

Юро выполнил приказ с блаженной улыбкой на лице. Но улыбка тотчас же исчезла, как только она прикрикнула на него:

— А теперь убирайся домой!

Ночью Юро ловит сетями рыбу на Муре, и время от времени в ночную тишину врывается его безнадежный зов:

— Гед-ви-ка!

Звук замирает вдали, и только крики пролетающих над рекой коростелей нарушают безмолвие ночи.

Голос Юро доносится до переправы, и старый Михал испуганно крестится:

— Эх, буйствует Буланя, буйствует. Опять кого-то под воду затащила.

Юро плывет в лодочке, на дне которой бьются пойманные рыбы, и слышит доносящийся с берега приглушенный топот коня. «Кого это здесь ночью несет?» — подумал Юро.

Тут с берега раздался знакомый голос Гедвики:

— Эй, Юро! Подплыви к берегу и проводи меня домой, я боюсь!

И само собой понятно, что за этим последовало: Юро шел возле ехавшей на лошади Гедвики и слушал, а она ему рассказывала, что отправилась ночью посмотреть, что делают жандармы в карауле в Святом Павле.

— Знаешь, Юро, — поделилась с ним Гедвика, — тамошний жандармский вахмистр такой красавец!

Больше не было сказано ни слова. А дома Юро забрался на сеновал и, бросившись в сено, так отчаянно зарыдал, словно старая цыганка, которую ведут в суд.

Сколько страданий принесла ему эта любовь! А ведь всего месяц назад он

был почти счастлив, Гедвика пасла той ночью коней. Она разложила костер, жарила на огне сало, запекала кукурузу. Юро сидел тогда рядом с ней, и она его угощала. И даже сказала ему, что будто бы его любит.

Юро не расслышал этого «как будто бы», и, пока костер горел, его не покидало ощущение счастья. Но когда от костра осталось всего несколько угольков, потрескивавших в ночной тишине, Гедвика повернулась к Юро и сказала ему своим нежным голоском:

— Знаешь, Юро, все-таки я тебя не люблю, я передумала. Ты ужасно глупый. Иди-ка лучше домой!

Обо всем этом размышлял Юро, лежа на сене... Утром он вскочил на коня и уехал в Вараждин. Там он продал коня пану Польгару и целых две недели не показывался в Заболянах. А туда пришли вести, что он пьянствует в вараждинских корчмах, водит за собой цыган-музыкантов и заставляет их играть для утolenия своей печали венгерскую песню «*Nem bánom, dragam, nem bánom — meghalom*» — «Не жаль мне, моя милая, не жаль, что я умру».

Потом дошли слухи, что он где-то в Орможе дрался со словенцами, а теперь дерется в Птуе с итальянцами, работающими там на постройке дороги.

В общем, с ним все произошло именно так, как поется в одной из песен Муракёза: «Бросила парня девица, тонкая, как кукурузный стебель. Сел он на коня и помчался с саблей в зубах в дальние страны. Вернулся он с саблей домой, а сабля — сплошные зазубрины. И каждая из них — людская душа, в небо, в рай улетевшая».

Правда, в нынешнее время мужчины в Муракёзе уже не так кровожадны. Некоторые поговаривают даже, что они больше грозятся, чем действительно вступают в драку. И все же они лучше своих соседей — венгерских свинопасов, которые, повстречав вас в пути, просто так, из удальства, пьрнут вас ножом, да еще при этом приветливо пожелают:

— *Jó éjszakát!* — «Спокойной ночи!»

Юро Копалия орудовал в Орможе и в Птуе лишь своими кулаками. Раздавая направо и налево удары, в маленьких прокопченных корчмах он хоронил свое горе; и когда пил вино из кувшина, бормотал себе под нос:

— *Zaoram naše luge* — «Погребем свои печали».

Звучало это весьма поэтично, но сам он постепенно превращался в одичавшего бродягу, пробившегося до самого Коршеца за Птуем. Здесь, в роще, среди рябин и кустов кизила, где он собирался отоспаться, его вдруг охватила совершенно непереносимая тоска.

Она появляется у многих после буйного разгула, в особенности же когда начинаешь пересчитывать свои гроши. Содержимое же Юриногo пояса, в котoром он когда-то хранил деньги; представляло сейчас весьма плачевное зрелище. Собственно говоря, и пересчитывать-то было нечего... Юро потянулся, встал и решил начать отступление. Это был уже совсем не тот Юро Копалия, котoрый еще недавно так стремительно покинул родные места, умчавшись на север; теперь это был вполне пристойный молодой человек, котoрый с каждым встречным приветливо здоровался и котoрый даже не пошел через Ормож, поскольку тамошние словенцы более чем дружески ему напомнили:

— Назад-то опять через наше село придется идти!

Он предпочел сделать крюк и свернуть в соседнюю жупу, а оттуда прямоком через Вараждин в родные свои равнины, в роскошные степи, где такой

чистый, прозрачный воздух, что его просто нельзя сравнить со здешним, в этих, покидаемых им краях. Там, дома, ему было куда веселее, там он мог любоваться пестрыми табунами коней и необъятными зелеными просторами.

Недалеко от дома Юро остановился потолковать с паромщиком Михалом. Он погладил двух его ручных волков, которые, играя, наскокивали на него, и осведомился, что нового.

— У нас, в Святом Павле, теперь новый жандармский вахмистр. Пана Фетеп перевели в Кёрменд. Жалко его: такой симпатичный был человек! А нам дали какого-то старого брюзгу, который уже вчера запретил в общинной корчме стрелять из пистолета во время драки. А ты, говорят, тоже тешил свое сердце драками где-то за Дравой?

Юро Копалия, не ответив, повернулся и зашагал по кукурузным межам в родное село. Так, едва вернувшись, он вновь услышал, что пан Фетеп симпатичный парень. Впервые это произнесла Гедвика, когда ездила ночью в село Святой Павел посмотреть, что подделывают жандармы, а главное, что делает их вахмистр, этот красавец вахмистр.

Теперь пан Фетеп далеко, десять часов ходьбы отсюда — нет, даже больше: до Кёрменда часов пятнадцать.

«Сдается мне, что ветер поворачивает в другую сторону», — подумал про себя Юро. Разумеется, это имело для него особое значение. К сожалению, ветер дул по-прежнему в том же направлении, в чем он мог убедиться, когда встретившаяся ему у колодца Гедвика даже не взглянула на него и произнесла как бы в сторону:

— Приплелся-таки домой, бездельник.

В этот момент Юро почувствовал себя как побитый пес, и, если бы не был так измучен ходьбой и бурно прожитыми на чужбине днями, он наверняка промочил бы своими слезами все сено на сеновале, не давая ему просохнуть.

\* \* \*

На третий день Юро снова увиделся с Гедвикой, и это произошло при тех же обстоятельствах, что и в тот раз, когда после краткого мгновения радости она отняла у него все надежды; как и тогда, в ночной мгле потрескивал костер, освещая коней, которых она пасла.

Гедвика встретила его словами, что хочет видеть Фетепу.

— Похоже, что этот парень с жандармскими усами крепко прирос к твоему сердцу, — заметил Юро, зажигая от костра свою трубку.

Голос Гедвики звучал жалобно и нетерпеливо, когда она повторила:

— Я хочу видеть Фетепу!

Это было похоже на требование малого ребенка, который кричит: «Хочу эту игрушку!»

Юро молча смотрел на костер, нервно придвигая к огню мокрые ветки, как Мура ежедневно выбрасывала на берег.

— Так ты его увидишь! — сказал он наконец решительно и твердо, вскочил на коня и исчез во тьме травянистой равнины.

Утром в жандармском отделении Кёрменда какой-то человек спрашивал вахмистра пана Фетепу. Ему сказали, что он отправился в патруль по речке Зале от Борошгазы до самой Мюркалы.

Вежливо поблагодарив, человек сел на коня и уехал.

Один из жандармов заметил после его отъезда, что, по-видимому, незнако-

мец скупает скот: уж очень много у него веревок для связывания буйволов.

Юро нашел Фетеп в речной извилине под Борошгазой, тот лежал на сочной береговой траве в тени верб. Винтовку он положил возле себя, как и пояс с саблей, и в блаженном покое наблюдал за противоположным берегом, где, щелкая клювами, бродили два аиста.

— Добрый день, пан вахмистр, — произнес всадник, соскакивая с коня.

— Здорово, Юро. Как это тебя занесло сюда?

— Да тут дело одно есть, — учтиво ответил Юро Копалия. — Не могу ли я попросить вас встать?

Вахмистр механически поднялся и, не успев спросить у Юро, зачем это ему понадобилось, как все понял и сам: Юро просто хотел половчее его связать. Он быстро обмотал Фетеп веревками, словно шпульку нитками, перекинул его через седло впереди себя и вскочил на коня.

— Дело в том, что я должен оказать добрую услугу одной особе, — приветливо разъяснил он пану вахмистру.

Пан Фетеп ничего не ответил. Он лежал, как мешок с мукой, и видел перед собой убегающую землю степи с выжженными солнцем желтыми метелками трав.

Затем они ехали кукурузным полем, потом снова степью.

Солнце начало клониться к закату.

Наступила темнота, вахмистр почувствовал усталость.

— Переверни меня на другую сторону. — сказал он своему похитителю.

— Скоро уже будем на месте, пан вахмистр, — вежливо успокоил его Юро.

Послышался гул реки, потом он исчез, и издали донеслось ржанье коней. Вахмистр к тому времени уже потерял сознание.

Очнувшись, он увидел костер и около огня удивленную Гедвику Крумпотичеву; он же лежал на земле, как тюк ваты, и слышал, как Юро сказал Гедвике:

— Так я привез его тебе.

И Юро ушел в деревню, зарылся дома в сено и спокойно уснул.

Утром за ним пришли жандармы.

Когда Юро досиживал в залаэгерсегешской тюрьме третий месяц из восьми, приговоренных ему за то, что, как он утверждал на суде, «хотел угодить одной особе», ему сообщили, что в канцелярии его ожидает посетитель.

Юро доставили в канцелярию, и тут, к возмущению всех присутствующих, к нему на шею бросилась красивая молодая девушка и начала его страстно целовать, крича:

— Мой Юро, я вправду тебя люблю!

Когда она его отпустила, Юро начал осматриваться вокруг как бы спросонья: ведь это была Гедвика.

Затем он подал ей руку и хотел сказать что-то очень хорошее, но слова никак не шли с языка. Наконец через некоторое время он выдавил из себя:

— Гедвика, ухаживай хорошенько за моими черным и гнедым жеребятами. Ведь они теперь не только мои, но и твои...

Вот какова любовь в Муракёзе!

## Короткий роман господина Перглера, воспитателя

Воспитатель Перглер отправился на новое место в семью барона Кёхлера — полный решимости не допустить, чтобы в него влюбилась госпожа баронесса или ее дочка.

Когда он прибыл в замок и был представлен барону, тот принял его с важным видом и объяснил, что ему предстоит наставить на путь истинный двух четырнадцатилетних бездельников — племянника Карла и сына Эмануэля. Далее, ему надлежит заняться воспитанием пятнадцатилетней баронессы Ольги, чрезвычайно своевольной.

— Что касается этих двух бездельников, — сказал барон, — то, представьте себе, я три месяца держал одного изобретателя, который утверждал, что соорудит машину-автомат для порки хулиганов. Могу вам показать, у меня остались чертежи. Одна из них наподобие ящичка, прикрепляемого к штанам, а другая — вроде ясель, в которые закладывается мальчик, а розги приводятся в движение часовым механизмом. Но он не соорудил ни той, ни другой и исчез, прихватив золотые часы. Это так, как говорится, между строк, просто чтобы вы знали — вам придется учить не ангелов. Я испробовал все. Каждое утро в замок являлся мой приказчик, бывший унтер-офицер, и драл обоих. С течением времени они так к этому привыкли, что, когда он запаздывал, сами шли к нему на квартиру. Видите, я испытал все возможные средства. От порки до покупки всего, чего бы они ни пожелали. Последнее, что я им купил, был медведь, — так они потащили его в деревню, в школу, пустили в первый класс и убежали. Пришлось вызвать жандармов, и те вместо медведя едва не пристрелили господина учителя. Что же касается дочери, то обращаю ваше внимание на то, что жена ее совершенно испортила. Это, знаете ли, моя вторая жена. Они целыми днями вместе и только и делают, что пудрятся да читают романы.

— Ах, вот как, — вспыхнув, воскликнул господин Перглер.

Барон удивленно посмотрел на него, воспитатель спохватился и забормотал:

— Понимаю, мне все понятно. Уж я отучу ее и от пудры и от романов. Простудирую с ней историю с географией, литературу и рисование, вот ей и будет не до пудры.

— Вы ездите верхом?

— Собственно, до сих пор я не имел возможности... но если вы желаете, я готов...

— Научитесь, ибо согласно моей системе вы будете совершать с ними учебные выезды на лоно природы. Как я слышал, природа многому может научить. Разве я не прав? А сейчас было бы хорошо, если бы вы представились моей супруге и дочери. Считаю необходимым предупредить вас заранее, что супруга моя весьма молода и вы должны быть с ней веселы, не тушеваться и не мямлить. А также предупреждаю вас, чтобы вы были беспощадно строги с моей дочерью и этими бездельниками. Если она вздумает вам перечить, подайте ей разок и увидите, все будет в порядке.

«Ну и ну, — подумал воспитатель, вступая в будуар госпожи баронессы-супруги, — хорошенькое начало. Что до баронессы, то, если я примечу хоть какую-нибудь попытку кокетничать, тут же скажу, что обо всем сообщу господи-

ну барону. А уж эту-то пигалицу, которая пудрится, мы укротим без труда».

Обе дамы смотрели на него с любопытством, а когда он, простояв довольно долго, молча и строго взглянул на них, баронесса-дочь кинулась к окну и, смеясь, спрятала лицо в занавеске.

— Садитесь, — сказала баронесса-супруга, — и скажите, какая из актрис городского театра нравится вам более всего.

— Я не бывал в городском театре, — отрезал господин Перглер.

Баронесса-супруга усмехнулась и спросила, чем же он был занят все это время. Он ответил, что все это время изучал философов и назвал целый ряд имен. Чтобы он дальше не нагонял на нее скуку, баронесса-супруга сочла за благо призвать баронессу Ольгу, которая, давясь от смеха, упала в ее объятия. И они начали обниматься у него на глазах. Воспитателю стало не по себе. Он понял, что над ним смеются, встал и откланялся. В дверях он оглянулся и увидел на подзеркальнике коробочку с пудрой и какие-то книги. Еще ему показалось, что баронесса Ольга, когда он закрывал двери, высунула язык.

Господин Перглер вздохнул и отправился посмотреть на мальчиков.

Он нашел их мирно сидящими у большого атласа, где юный барон синим карандашом рисовал на карте Европы здоровенную свинью. Перед юнцами лежала пачка сигарет, оба они курили и, не потрудившись отложить сигареты, пресерьезно приветствовали его.

— Как мы слышали, — повел речь кузен Карл, — вы изволили прибыть сюда, дабы сделать из нас пай-мальчиков. Можете быть уверены, мы уважаем подобное стремление, но, увы, оно будет тщетным. Лучшее, что вы могли бы сделать, это собрать вещи и отправиться восвояси. Мы с Эмануэлем решили не поддаваться исправлению. Не теряйте времени зря.

Господин Перглер налился кровью, расстегнул пиджак и снял ремень.

— У меня полномочия, голубчики, — процедил он, взбешенный, рванув к себе юного барона Кёхлера, — так что весьма сожалею.

Пока он боролся с Карлом, Эмануэль сзади выстрелил в воспитателя из пистолета мелкой дробью. Весь заряд проник воспитателю под пиджак, он выпустил Карла и, яростно размахивая ремнем, ретировался в свою комнату.

Переодевшись, господин Перглер пошел прогуляться по саду. Там его поймал барон. Когда несчастный воспитатель поведал ему о своей первой встрече с подопечными, барон расхохотался.

— Ну, это пустяки, сегодня они были в хорошем настроении, или вы им понравились. Подождите, они еще в вас пальнут из ружья. Хочу вас предупредить: не поддавайтесь на удочку и не вздумайте отправиться с ними на охоту. Вот это могло бы кончиться печально. А сейчас пойдём посмотрим на лошадок.

Барон заверил господина Перглера, что выбирает ему самую смирную лошадь, и когда конюший посадил его на одну из них, рассказав, как надо держаться в седле, и крикнул: «Пошел!» — лошадь взяла рысью, а воспитатель от испуга пришпорил ее, так что она рванулась и они быстро исчезли из вида.

Часа через два конь воротился без всадника, а еще через час воспитатель был обнаружен сидящим в кустах у дороги. Одной рукой он держался за голову, другой тер спину.

Его отвезли в замок, где он пришел в себя настолько, что смог добраться до своей комнаты, успев сообщить госпоже баронессе-супруге, которая не смог-

ла удержаться от смеха, что вспомнил слово, которым понукают лошадей, а именно: «Галоп!» И только он его крикнул, конь как с цепи сорвался.

В изножии постели господин воспитатель обнаружил пару ежей и подушечку с иголками остриями вверх. Последнюю, благоухающую ароматом будуара баронессы-супруги, вне всякого сомненья, подложила баронесса-дочь, чтобы внести свою лепту в дело борьбы братца и кузена против заклятого врага.

Поутру, проснувшись, господин Перглер нашел на ковре две записки, закинутые в комнату через открытое окно.

Содержание первой было кратким:

*«Господин учитель, братство черной руки предупреждает, что ваш конец близок. Если вы не покинете здешних мест по истечении сорока восьми часов, то, по решению общего собрания, будете убиты из-за угла».*

Вторая была любовной и гласила:

*«Любезный учитель! Признаюсь, что я тоже полюбила вас и, не имея сил противиться вашему желанию, буду ждать вас в три часа пополудни у лесной беседки, в заказнике. Ваша баронесса Ольга».*

— Ах ты, змея, — воскликнул господин Перглер. — Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Этого я ожидал и, конечно, явлюсь, и ты получишь у меня на орехи, взбалмошная девчонка, благо, мне это дозволено.

\* \* \*

Когда в три часа кипящий от ярости воспитатель явился к лесной беседке, он обнаружил там семейство барона в полном составе.

Барон с видом крайнего высокомерия приблизился к господину Порглеру и изрек:

— Баронесса Ольга призналась нам, что вы принуждали ее к свиданию, правда ли это?

Господин Перглер усмехнулся и подал барону письмо, найденное утром. Барон стал читать его вслух:

*«...Признаюсь, что я тоже полюбила вас и, не имея сил противиться вашему желанию...»*

— Господи! — возопил несчастный воспитатель. — Я не заметил этого «тоже» и «противиться вашему желанию...».

— Отведите сего господина на вокзал, — прервал его барон.

Двое лесников схватили беднягу под микитки и вывели из заказника.

Господин Перглер утверждает, что они ему якобы дали пинка. Так или иначе, но на этом кончился короткий роман господина Перглера — воспитателя.

## Супружеская измена

Господин зяблик (у него не хватало одного коготка на правой лапке, что причиняло ему некоторые неудобства, когда он хотел постоять с серьезным видом) ужасно обрадовался, найдя в своем гнезде первое яичко.

Его миниатюрная супруга тоже ликовала, хотя, впервые увидев в своей квартире эту редкость, утверждала, что это похоже на сон, и уверяла, что смежила веки лишь ненадолго, а проснувшись, обнаружила этот удивительный округлый предмет желтоватого цвета, так выделявшегося на фоне сочной зелени свежей травы, которой было выстлано гнездо, — ее от нечего делать оба супруга меняли каждый день.

Над ними шумели кроны буков, и их граб был один в этой чаще мощных ветвей с великолепной листвой. Их гнездо, небольшое, но свитое весьма искусно, находилось на самой вершине граба, скрытое снизу от глаз листьями. Они с удовольствием любовались им.

Видали они, конечно, и другие гнезда, побольше; их сосед дятел всякий раз хвалился при встрече, что его гнездо по сравнению с другими — просто дворец.

Но они любили свое уютное гнездышко, созданное их трудом, — дятел-то занял чужое жилье, выгнав оттуда молодую сову. И не потому, что отличался жестокостью или наглостью, — во всяком случае, сам он всюду оправдывался тем, что ему-де не нравились глаза совушки.

Впрочем, никто из птиц не осуждал его — в лесу недолюбливали нескладную молодую совушку, родители которой попали в силки...

Поговаривали, что она ловит мышей.

А совушка, обнаружив, что ее квартира занята, уселась рядом на суку, ершила перья, растопыривая коготки, и сонно хлопала глазами. Потом с горя уснула, поскольку уже рассвело; так и проспала весь день взъерошенная. А вечером улетела под пронзительный крик птиц, дожидавшихся ее пробуждения.

Совушке было обидно, что на нее злятся. Потом по лесу прошел слух, что ее поймал лесник, когда ночью она влетела к нему в горницу. Как бы там ни было, дятел повсюду хвастался, до чего он терпеть не может ее глаза.

И вообще он был со странностями — то замкнется в себе, а то вдруг ни с того ни с сего веселится. Его считали чудаком.

Еще была у него привычка сплетничать о других, причем с таким важным видом, будто он говорит правду.

Когда зяблик поделился с ним как с ближайшим соседом, что высидивает яичко, которое снесла его супруга, он взглянул на яйцо и отозвал зяблика в сторону.

— Милый друг, — начал дятел, — на мой взгляд, яичко уж больно велико. Не могу сказать, на чем основаны мои сомнения. Ну, там видно будет. Если у вас возникнут сомнения, положитесь на меня, я до всего дознаюсь. Выше голову, милый друг, забудьте пока о том, что я вам сказал, возможно, все это просто глупый домысел — впрочем, не знаю.

В подавленном состоянии вернулся зяблик в гнездо и удрученно сел на яичко. Он был так расстроен, что, когда явилась его жена, чтобы сменить его, он довольно грубо сказал:

— Где это ты все носишься, думаешь, мне некуда девать время? У меня сегодня дел невпроворот, надо очистить один дубок за ручьем, говорят, на нем полно гусениц.

Жена заплакала, а он, сердито клацнув клювом, улетел. Всю дорогу он думал, почему их яичко больше, чем обычно у зябликов.

По пути он еще задержался у молодой березы и выпил столько молодого сока, брызжущего из ее раны, сделанной деревенскими мальчишками, что совсем захмелел и домой полетел вкривь и вкось, а, прилетев, принялся клевать жену и грозился расклевать яичко.

— Поклянись, — торжественно произнес он пьяно вибрирующим голосом, — что ни с кем не путалась, что яйцо — наше, если так можно выразиться, общее достояние.

Она поклялась обоими крыльями, и он успокоился. А когда уснул, ему снилось, что его жена летает по лесу с дроздом.

Утром, проспавшись, он устыдился своего сна, всю неделю был тише воды, ниже травы, а дятлу заявил:

— Увидим, что из этого вылупится.

Через неделю из яйца вылупился птенец. Прелестный малютка, который, едва обсохнув, стал непрерывно разевать клюв. Первый день он поглощал не так чтоб уж очень много, на второй — больше, а на третий ужасно много.

— Заходите, пожалуйста, поглядите на нашу детку, — позвал напуганный зяблик дятла, — он так ест, что мы не в силах прокормить его.

При виде маленького обжоры дятел многозначительно покачал головой.

— Выждем неделю, — сказал он зяблику, — и тогда я вам скажу. А пока запомните одно, но сначала сядьте, чтобы, не дай бог, не упали: молодой зяблик выглядит иначе.

В этот вечер, когда жена напевала юному члену семьи песенку за песенкой, чтоб он уснул наконец и перестал разевать клюв, зяблик проворчал:

— Заткнись, тварь.

— Ну, что вы скажете об этом верзиле, — спросил через неделю дятла удрученный зяблик, — ведь он перерос меня на целую голову!

— Господин сосед, — серьезно заявил дятел, — это не зяблик, это что-то другое. Ваша супруга с кем-то, гм... Ведь это совсем другая птица, не то, что вы.

В тот день зяблик вообще не явился домой, а на другой день с ужасом обнаружил, что птенец вырос еще больше.

— Мерзавка, — напустился он на жену, — с кем ты путалась, с каким немыслимым образиной?! Я знаю все, — пустил он в ход старый трюк всех мужей.

Она поклялась, что ничего не было. Он до того разъярился, что выпал из гнезда и улетел, чтобы никогда не возвращаться.

Теперь он сидит в нашем саду; уж сколько раз прилетали сюда птицы, говоря, что они с женой высидели кукушонка, а ведь известно, что кукушки подкидывают яйца в чужие гнезда.

Он называет это глупыми сказками и восклицает:

— Ну, уж меня на эту удочку не поймаете. Что, разве она не могла спутаться с кукушкиным мужем?

## О двух мухах, переживших это

Мороз крепчал, и трактирщик сообщил гостям, что на улице минус двенадцать, а серенькой мушке все было нипочем. Спокойная и рассудительная, она сидела на потолке, недалеко от люстры с газовыми рожками и наблюдала, что делается вокруг. Напротив было зеркало, и она видела в нем себя снизу: мордочка ярко желтенькая, грудка с четырьмя черными полосками, задок в черную клеточку и бледно-желтое брюшко. Она себе очень нравилась и думать не думала о том, что о них пишут: дескать, мол, мухи надоедливые, беспокоят людей, загрязняют продукты и прочие предметы.

Так просидела она в одиночестве столько времени, сколько надо гостю, чтобы выпить горячий пунш.

Тут у самой стенки уселась другая муха, побольше, настоящий кавалер среди мух, сильно выделяющийся коренастым телом и элегантным задком — синим со стальным блеском. У него была красивая черная головка и покрытые красным пушком щечки, а крылышки черные.

Большая муха учтиво осведомилась у меньшей, как та поживает.

— Благодарю вас, — ответила маленькая, — блаженствую, ведь сижу я, как видите, над парами пунша.

— Будьте осторожны, — заботливо ответил кавалер, — а то закружится голова и вы туда свалитесь. Случалось вам падать во что-нибудь?

— Как-то я свалилась в похлебку одного господина. Это был приличный человек, он вытащил меня ложкой и бросил под стол. Там я опаматовалась, но чувствовала себя как-то скованно, потому что вся промаслилась. Потом вылетела в открытое окно и высушилась на солнышке. Вы еще помните, какое оно, солнышко? Оно ведь побольше газового рожка. Кроме того, как мне говорила покойница маменька, оно не столь опасно. Это ведь так замечательно, когда светит солнышко и цветут деревья. Кажется, это называется зелень или весна, что-то в этом роде. Вы не слушали, как пьяная компания у того круглого стола пела: «Приди, весна, скорее, вернись к нам, светлый май!»

— Нет, я была в кухне на печке. Там было очень шумно: кухарка испортила сливки. Помнится, говорили, что они у нее пригорели. Не можете себе представить, что за прелесть пригоревшие сливки! У них особый, весьма пикантный аромат. Поверьте, это совсем не то, что обычные сливки. А вам случалось пробовать сильно протухшую дохлятину?

— Разумеется! — обрадовалась мушка приятному воспоминанию. — Тогда было еще совсем тепло. Давно дело было. Я еще не знала, что есть город, и жила в деревне, в хлеву. Там был вкусный питательный навоз, и можно было досыта кусать коров. Нас там было много, и, когда нам хотелось позабавиться, мы забирались корове в ухо. Мы были такие озорные и, когда корова начинала беситься, хохотали до упаду.

— Молодо-зелено, — заметила большая муха.

— Конечно, молодость со всеми ее радостями. Из озорства мы даже откладывали яички в коровьем ухе. Однажды, когда мы так развлекались, прилетела большая муха, даже побольше вас, и зажужжала: «Дети, скорей отсюда, я нашла крота!»

Мы полетели за ней, и на углу напали на это объединение. Это была роскошная старая дохлятина, вкусноты необыкновенной. Мы, конечно, быстренько

отложили в нее яички, причем наша благодетельница кричала: «Еще, еще, еще, побольше!»

Это были прекрасные времена, захватывающие, веселые, сытые. У меня что ни день бывало больше сотни возлюбленных. Все они погибли враз, когда крестьянин устроил в хлеву дезинфекцию, потому что у него пали три коровы. Станный был человек, всего-то он боялся. Помню, как один художник намалявал масляными красками на его свинье синие пятна. Так он до того перепугался, что позвал ветеринара, который тоже не сумел понять, в чем дело, и начал давать свинье какие-то порошки, и та сдохла. Похороны у нее были роскошные. Мы, конечно, тоже были там, пока она лежала у живодера, который должен был ее закопать и полить керосином. Мы на нее было кинулись, но керосин — это яд. Погибло нас на ней восемьсот, а то и больше.

— Изрядная цифра! — подчеркнула крупная, осанистая муха, — Но я помню гораздо более внушительную катастрофу. Мы летали по зверинцу и беспокоили в клетках львов. Вообще-то львиная кровь на вкус ничуть не вкуснее ослиной. Мы были такие резвые, что каждый день перелетали в новую клетку, пока целой кучей не ворвались в какую-то странную клетку с густой сеткой. Это был птичий вольер. Прежде чем мы сообразили что к чему, на нас кинулись птицы и сожрали не менее десяти тысяч. Я спаслась тем, что стремглав вылетела вон и влетела в клетку к тиграм. Тигр куда симпатичнее птиц. Я жалила одного регулярно под хвостом, и он всегда так приятно вскрикивал. Как-то я села укротительнице на нос во время выступления. Она начала меня отгонять, чем воспользовался тигр и прыгнул на нее сзади. С той поры я знаю, что тигры жрут людей. Не понимаю, правда, что они в них находят. По мне, так человеческая кровь самая противная. Она и не сладкая, как у свиней, и не имеет пикантного привкуса, как лошадиная. Младенцы еще куда ни шло. Их кровь, помнится, не хуже, чем у гиен. Мне, правда, удалось ужалить только троих несмышленьшей. Маленьких детей ведь куда меньше, чем щенков. Я не преувеличиваю, а говорю по опыту. Я навещала одного крестьянина, так у него был один ребенок, но зато восемь щенков. Не могу пожаловаться, что провела молодость скучно, мне есть что вспомнить. Я, можно сказать, воспользовалась всеми радостями жизни. Прошла школу всевозможных испытаний и сегодня бодра и здорова, как в солнечные дни. Помню, однажды я села на какую-то липучку и все же выбралась. Однажды меня бросили в пиво, разлитое по подносику, и, когда решили, что я уже утонула, посыпали солью. Не знаю, зачем они это со мной сделали. Знаю только, что поначалу они рассуждали о политике, а потом отыгрались на мне. Но соль мне помогла, я пришла в себя.

— Нечто подобное, — сказала меньшая муха, — пережила и я. Я забралась в молоко, сваренное на мухоморе. Чуть-чуть выпила и пила бы дальше, вдруг вижу — одна моя сестра плывет сверху дохлая. Я поскорей улетела. Была немного одурманена, но на солнышке, в его благодатном свете, опамятовалась.

— Ох, солнышко, — вздохнула большая, — однажды оно перестало гореть. На окнах появились трупы наших, покрытые серой плесенью, которая была на стекле. Из всех друзей и приятельниц остались только мы с вами, которые это пережили. Я надеюсь, что скоро наступит весна.

Вдруг маленькая муха в ужасе уставилась на свою приятельницу и крикнула:

— Какой ужас, эта страшная серая плесень начинает покрывать и ваш за-дочек...

— И ваш тоже! — воскликнула большая, и обе полезли в угол с мыслью о неизбежной гибели.

## Одежда для бедных деток школьного возраста

Они были чрезвычайно горды тем, что пекутся о рождественских подарках для неимущих детишек. Впрочем, им это ничего не стоило, ибо сами они не давали ни геллера.

Посетители ресторации при пивоварне наверняка помнят тот длинный стол, где с самого полудня красовалась табличка с надписью: «Занято». Помнят также, что позже вокруг этого стола сидели важные господа, которые пили пиво из кружек с их личной меткой, поглядывая на прочих посетителей ресторации и на завсегдатаев со снисходительной благосклонностью.

Когда зал бывал полон, один из этой компании поднимался, брал в руки жестяную кассу с надписью: «На одежду для бедных деток школьного возраста» и обходил с нею столы.

Он с шумом ставил кассу на стол, если же кто-нибудь не спешил жертвовать, совал ему кассу под самый нос.

Обойдя всех, он с победоносным видом возвращался к своему благотворительному обществу и, позвякивая мелочью, объявлял, что в кассе прибавляется. А также сетовал, что за тем вон круглым столом некий господин заявил, будто у него нет мелких, в то время как за другим посмели сказать, что ничего не дадут, потому что и без того одевают-обувают двух неродных детей.

Обсудив происшедшее, они заводили спокойную беседу уже о другом.

Надо сказать, господа эти свысока смотрели на всех прочих посетителей, опускавших в их кассу мелкую монету, и вообще ощущали свое превосходство над окружающими, ибо именно они радели о благе общества и об одежде для бедных детишек школьного возраста. Раскладка же была такова:

Каждый из этих господ выпивал ежедневно 10 кружек пльзеньского по 28 геллеров кружка, что составляло по 2,8 кроны на брата.

Несомненно, сумма набегала приличная, но тем не менее каждый ежедневно тратил ее во благо бедных детишек школьного возраста.

В один прекрасный день в эту ресторацию зашел некий господин, но свободных столов не оказалось. Тогда вышеуказанный господин уселся за стол с табличкой «Занято». Сел после продолжительной душевной борьбы, ибо это «Занято» на незанятом столе глядело на него весьма строго.

Подошел старший официант и предупредил посетителя, что стол резервирован.

Посетитель, однако, ответил, что ему нет до этого дела, ибо за столом не сидит никто, кому бы он мог помешать. Он сидел себе спокойно, но явившееся наконец благотворительное общество, одевающее бедных деток школьного возраста, поглядело на него чрезвычайно недружелюбно. Однако оно пока помалкивало, потому что еще не пришел Норачек, владелец большого модного салона, их председатель. Когда тот наконец явился, он обратился к чужаку со словами:

— Извините, разве вы не обратили внимания, что стол зарезервирован?

— Обратил.

— Извините, разве вам не известно, как вы должны поступить?

— Нет, не известно.

— Официант, — распорядился пан Норачек, — отнесите пиво этого господина на другой стол.

Так началась вражда между паном Грубером и благотворительным столом, одевающим бедных деток школьного возраста.

Пиво пана Грубера перенесли на другой стол, где ему досталось местечко на самом уголке. По этой причине пан Грубер, когда один из его новых врагов явился со своей кассой за пожертвованиями, не только ничего не дал, но и позволил себе реплику, которая мгновенно облетела весь стол. Он сказал, обращаясь к соседу, что эти денежки наверняка выйдут детишкам боком.

На следующий день пан Грубер явился снова и, когда собирали пожертвования на бедных деток школьного возраста, объявил, что все это жульничество.

В тот же вечер он, кроме того, рассказал случай, когда председатель такого же благотворительного общества купил к рождеству на пожертвования своей жене шубку, а на то, что осталось, одному бедному ребенку пару напульсников.

— Я, между прочим, им тоже не верю, — поддержала его дама, муж которой сидел возле пана Грубера. — Разве их можно проверить?

Все это тут же стало известно и за другими столами, и господин от «благотворительного стола», который пошел сегодня за пожертвованиями, столкнулся с таким непониманием, что, вернувшись на место, сообщил, что двадцать человек ответили ему, будто у них нет мелочи, а трое, в том числе тот пьянчуга (понимай — пан Грубер), более того, заявили, что помогают иным образом, и значительно лучше.

Пан Норачек громко, так, чтобы слышал пан Грубер, заметил, что такой скупердяй и выпивоха, как он, наверняка тратит эту мелочь на водку с ромом.

— Эй вы, — крикнул ему через весь зал пан Грубер, — скажите-ка лучше, а вы сами-то сколько дали? Я за вами наблюдаю три дня, и ни один из вашего общества ловкачей не положил в кассу ни гроша.

И тут весьма некстати вмешался шляпник пан Бакуле, который визгливо завопил:

— Слушайте, вы! С какой стати мы будем класть, если мы собираем! Хватит того, что мы проявляем заботу и выпрашиваем!

Седой господин у соседнего стола закашлялся и многозначительно сказал:

— Решили дешево отделаться.

Вокруг захохотали, и это рассердило председателя Норачека настолько, что он вытащил из кармана бумажную купюру достоинством в десять крон и демонстративно сунул в кассу со словами:

— Даю пять золотых, — и победоносно глянул на пана Грубера, который громко крикнул:

— Знаем, знаем, пять дадут, а десять возьмут!

Вокруг царило веселое возбуждение, которое несколько стихло после восклицания седого господина:

— Этот субъект все знает, наверняка сам в этом деле собаку съел!

Однако восклицание ничуть не улучшило положения «благотворительного стола», и владелец ресторации, который пытался утихомирить гостей и все

восклицал с укоризной: «Господа! Господа!» — был встречен градом насмешек: ему-то что за дело, как они развлекаются.

Председатель «благотворительного стола» вскричал, что он весь дрожит от негодования, потому что это подлость!

Тут молодой человек с длинными волосами и в пенсне, сочтя, видимо, его слова личным оскорблением, встал и твердым голосом произнес:

— Я считаю своим долгом сказать вам следующее: вы ничего не делаете для бедных школьников, потому что мы кладем в кассу денежки, а вы устраиваете свои делишки. Захватили себе лучший стол и нос дерете! А где счета? У кого ключи от кассы? Каждые две недели выгребаете из кассы деньги и дуетесь в погребке в рамшла.

— Мальчишка! Негодяй! Я тебе покажу! — заорал взбешенный председатель «благотворительного стола», а пан Грубер в это время снова овладел ситуацией:

— Этот молодой господин прав! Я знаю, как это делается.

— Официант, получите, — крикнули за «благотворительным столом», и общество двинулось прочь, унося с собой кассу.

— Опять отправились играть в рамшла, — завопил старый седой господин, который во что бы то ни стало жаждал веселья.

Кассир «благотворительного стола» в дверях обернулся и заявил:

— Нет, господа, мы вам просто не доверяем!

Пан Грубер двинулся было вслед за ним, но его удержали.

После ухода «благотворительного стола» разговор вернулся к случившемуся, и все сошлись на том, что, будь их совесть чиста, они бы так трусливо не ретировались.

— Как ни верти — воруют, — заявил пан Грубер. — Да и как же иначе? Господам надо поразвлечься и еще кое-что оставить для себя. Вы меня понимаете...

А в это время «благотворительный стол» уже сидел в погребке «У Трафнеров». Все молчали.

Четверть года назад они собрались именно здесь в качестве учредителей «благотворительного общества помощи деткам школьного возраста».

Учреждая, они выпили двадцать литров вина и съели трех омаров. Захмелев, как и положено добрым меццанам, вкусившим алкоголя, они чрезвычайно серьезно отнеслись к акции благотворительности.

Мысль, что они станут собирать деньги, была столь приятной, что после далматинского они велели подать огненное вино марсала, представив себе вдруг, как холодно в нетопленных подвалах, где зябнут ножки их несчастных неимущих маленьких сограждан.

Достойнейший председатель, гражданин Норачек, сроду так не плакал, как той ночью в погребке, а потом в «Микадо», где они снова пили какое-то вино. Он продолжал рыдать и по дороге домой, и его дважды останавливал полицейский патруль за нарушение тишины и порядка. Пан Норачек не перестал рыдать даже дома.

Но кассир не плакал. Он шагал домой молча и лишь на Вацлавской площади закричал в пустоту между немymi зданиями:

— Бедные детки получают чулки! — И стал приставать к редким прохожим, а полицейским, которые пытались его образумить, с достоинством сказал: —

Давайте сюда крейцер на одежду для неимущих школьников.

То были блаженные времена. Сейчас «благотворительный стол» обдумывал в тихом погребеке свою дальнейшую общественную деятельность и грустил.

Девять месяцев они собирали пожертвования для бедных школьников в уютной ресторации, но теперь их труды пошли прахом.

— Что мы будем делать? — спросил секретарь у председателя.

Председатель вздохнул, окинул всех взглядом и обратился к кассиру:

— Франц, открой кассу и верни мне пятерку, которую я бросил туда из-за тех негодяев!

А пан Маржик, член «благотворительного стола», возвращаясь из писсуара, наткнулся на лестнице на босого мальчишку, пытавшегося проникнуть в погребок, чтобы продать спички.

Он наградил его подзатыльником и, столкнув со ступенек, остервенело зарорал:

— Пошел прочь отсюда, негодник, не то позову полицейского!

### Перед уходом на пенсию

Преподаватель естествознания Вотруба встретил свою ученицу — бывшую воспитанницу женского лицея — барышню Гансгиркову. Эта встреча совсем не обрадовала педагога, потому что Гансгиркова далеко не преуспевала в естественных науках. На уроках зоологии она путала африканского слона с индийским, на занятиях по минералогии всегда говорила вместо «октаэдр» «октаван»[120]. Не проявляла она никакого интереса и к простейшим и низшим организмам, а когда однажды преподаватель Вотруба попросил ее в лаборатории показать, правильно ли она списала с доски химическую формулу роданистого калия, к своему ужасу, он нашел такую запись: «Карел<sub>3</sub> Н Рихард<sub>5</sub> Н».

Другими словами, она назначила свидание Карелу в 3, а Рихарду в 5 часов.

Наконец выплыло наружу, что в одно из воскресений она не могла присутствовать на богослужении из-за того, что выступала в некоем непристойном кабаре и пела там как шансонетка под псевдонимом Лили Витти.

Это был ужасный удар по престижу лицея. На допросе в дирекции, когда ей сказали, что у нее слишком короткие юбки для воспитанницы старшего класса лицея, она отвечала с удивительно простодушной развязностью, а в ответ на предложение показать свой репертуар спела фривольную песенку, сопровождая ее сладострастными движениями. Результат этого выступления воспитанницы шестого «Б» оказался значительно менее привлекательным: законоучитель упал в обморок и опрокинул чернильницу на директора. Советание педагогов представляло собой весьма печальную картину.

Преподаватель Вотруба голосовал за исключение Гансгирковой обеими руками.

Только один молодой член педагогического совета, внештатный преподаватель, начал было что-то болтать о юной опрометчивости, но вместо слова «опрометчивость» употребил слово «распущенность». После этого и он подписал приговор.

К решению об исключении из лицея Гансгиркова отнеслась совершенно спокойно.

В дверях она показала важным педагогам язык, а когда Свободная ассоциация артистов кабаре устроила очередное выступление, на афишах красовалось: «Среди других выступает Лили Витти-Гансгиркова, бывшая воспитанница женского лицея». На представлении присутствовали младшие члены педагогического совета и получили выговор за нарушение правил благопристойного учебного заведения. Хотя после этого ничего не последовало, преподаватель чешского языка, ранее от нечего делать переводивший отрывки из индийских поэтов, бросил это занятие и, раздав задания воспитанницам, начал сочинять на своих уроках легкомысленные песенки.

Рифмы сами приходили ему в голову при виде стольких улыбающихся девичьих лиц, ибо девушки работали над сочинением «Значение ремесел в Чехии в средние века» страшно небрежно.

Прошло уже довольно много времени после исключения Гансгирковой, и о ней почти перестали вспоминать. Тут ничего уже нельзя было изменить: Гансгиркова стала известной актрисой кабаре.

— Удивительно, — говаривал лишь иногда директор, — что она стала знаменитостью, ведь она не знала аориста и ни одного неправильного греческого глагола.

А преподаватель Вотруба обыкновенно добавлял:

— И африканского слона не отличала от индийского.

И вот сейчас он встретил ее в вагоне трамвая. Она бесцеремонно под села к господину Вотрубе и протянула ему маленькую ручку, такую маленькую, что Вотруба даже подумал: «Такая нежная ручка отлично справилась бы с препаратами для микроскопа».

Ему показалось также, что появление этой элегантной дамы в трамвае произвело сенсацию среди пассажиров. Каким-то приятным запахом, ароматом нежных духов веяло от ее костюма.

«Да-а, — подумал Вотруба, — духи — это вещества, действующие на наши органы обоняния и возбуждающие приятные ощущения. Запахи делятся на естественные и искусственные. Естественные могут быть как растительного, так и животного происхождения».

Пока она тараторила, он обратил внимание на мех вокруг ее шейки.

«Мех похож, — решил он, — на поддельного бобра. Возможно, что это какое-то млекопитающее из семейства сумчатых. Если я не ошибаюсь, это тасманский вомбат. Как же он называется по латыни?»

— *Phascolumys!* — громко произнес Вотруба, обращаясь к своей красивой соседке, которая все время повторяла:

— Ах, какая приятная неожиданность, мы так давно не виделись! Что же вы поделываете?

— *Phascolumys!* — ответил он, — Ах, пардон, я хотел сказать, что мои ученицы доставляют мне столько забот. Ваша одноклассница, барышня Машинова, работает у нас внештатным преподавателем. Она написала такую прекрасную диссертацию о ленточных глистах.

— Она и сама-то всегда была ужасно тощая, — небрежно бросила барышня Гансгиркова. — А как поживает пан Коутнер? Я слышала, что он сошел с ума.

— Коллега просто переутомился, — поспешно ответил господин Вотруба. — Мы хотели с ним вдвоем покончить с Менделеевым.

Какой-то пассажир, сидевший напротив, испуганно уставился на Вотрубку.

— Да, — продолжал тот, — мы хотели на основе новейших изысканий о висмуте опровергнуть Менделеева с его таблицей. Признаюсь, мы стали на ложный путь. Висмут остается висмутом. Назовите его химический символ, барышня. — «Как и прежде, все то же невнимание», — вздохнул он, когда Гансгиркова ничего не ответила, продолжая улыбаться. — Вы беспричинно улыбаетесь. Химический символ висмута —  $\text{Bi}$ . Какие соединения висмута вы знаете? Ах, пардон, извините, я всегда мысленно со своими ученицами.

— Как это приятно слышать от вас! — сказала она, щурясь, что показалось педагогу несколько странным, но не произвело на него дурного впечатления.

— У меня вообще сейчас много забот, — сказал он, дружелюбно поглядывая на нее. — Я занимаюсь вопросами анабиоза некоторых видов животных. Как вам известно, барышня, жабы впадают в зимнюю спячку, от которой они просыпаются весной, когда появляется возможность снова свободно двигаться. Но мне удалось сохранить жабу в состоянии анабиоза в течение двух лет. В прошлом году, когда я посетил Египет с научными целями в поисках следов известного грызуна тушканчика египетского, я случайно столкнулся с анабиозом при вскрытии одного погребения в пирамиде: из склепа выпрыгнула жаба. Я знаю многие виды египетских жаб, и тут мне пришло в голову, что, может быть, это одна из тех библейских жаб, которые во времена Иосифа Прекрасного так досаждали Египту. Возможно также, что она могла быть еще старше и относилась к эпохе первых фараонов, при которых она забралась в склеп в пирамиде и пробыла тысячелетия в состоянии анабиоза, столь похожего на спячку. Жаба в возрасте четырех тысяч или шести тысяч лет!

Все вокруг засмеялись.

— Мы можем выйти, — сказал он растерявшись. — Куда вам угодно?

Когда они вышли из вагона, барышня Гансгиркова заметила, что лучше всего зайти куда-нибудь поужинать. Она сказала это с такой милой улыбкой, что преподаватель Вотруба предложил пльзеньский ресторан, куда он хаживал в юности, будучи еще практикантом. Сидя с изящной дамой за ресторанным столиком, некоторое время он молча глядел перед собой и затем, словно его подгоняли какие-то упреки совести, заговорил о том, что когда-то пушки отливали из бронзы.

— Восемь процентов олова, сколько-то марганца и остальное медь, — завел он дружеский разговор. — Твердость сплава была девяносто восемь целых семьдесят пять сотых килограмма на квадратный миллиметр, упругость — два с половиной процента.

Тут подали телячьи почки с картофелем.

— Смотрите, барышня, — говорил он, глядя на Гансгиркову необыкновенно дружелюбно. — В Южной Америке аборигены делают гарнир к телячьим почкам не из картофеля, а из съедобных клубней растения, называемого «уллоко», или «меллюко», принадлежащего к семейству портулаковых.

И, запивая кусок почки пльзеньским пивом, добавил:

— Вы были очень слабы в ботанике. Как жаль!

Он сказал это так мягко и грустно и посмотрел на нее так жалобно, что не возникало никакого сомнения, как все это кончится, и что теперь очередь за бывшей ученицей пана Вотрубы найти способ его развлечь.

Этот труд был для нее привычным делом. Она предложила пойти в кабаре. Под утро преподаватель учинил большой скандал в баре при кабаре. Он чуть

не избил тростью одного господина, который оказался другом барышни Лили Витти-Гансгирковой. При этом Вотруба кричал:

— Убирайтесь отсюда, милостивый государь, это моя бывшая ученица. Я преподаватель лицея Йозеф Вотруба!

Затем он впал в состояние полного оцепенения, которое так восхищало его у жаб.

Проснулся он поздним утром, опоздав на уроки, вспомнил все, что произошло, и подал прошение об уходе на пенсию, совершив этот решительный шаг после удивительных походов со своей бывшей ученицей, которую исключил из учебного заведения.

## Приключения кота Маркуса

**А**нгорский котенок Маркус в этот день справлял два месяца со дня своего рождения и потому решил покинуть лавочку угольщика, где родился, и посмотреть, каков мир за парикмахерской на углу.

Маркусу не нравилась жизнь среди угля: то и дело вылизывайся, чтобы быть чистым. Кроме того, жена угольщика все время бранила его за то, что он озорничает и попадает ей под ноги. Маркус уже не раз пытался вскарабкаться на ведро с углем, приготовленным для заказчиков, и таким путем обратиться на белый свет. Но все эти попытки кончались неудачей: котенка запирали рядом с лавочкой в подвальное помещение, где мыши так пищали, что просто ужас. Но когда (впрочем, это случалось крайне редко) на окно падали солнечные лучи, Маркус вспрыгивал туда, мурлыча, и грелся в их свете. «Когда-нибудь, — думал он, — я отправлюсь туда, где такого света побольше».

Итак, в возрасте двух месяцев Маркус сбежал из дома, но, увидев множество ног, он в страхе спрятался в подвале за парикмахерской. Кругом был уголь. «Не много же я выиграл, — сказал себе Маркус. — Опять и дальше придется себя облизывать».

Он выглянул в отверстие из подвала, постепенно привыкая к ногам, шагающим по мостовой и топающим на тротуаре.

— Что вы тут подделываете, молодой человек? — послышался рядом голос, и Маркус увидел пожилого бывалого кота, который вылез на гору угля, зевая и поблескивая глазами.

— Я пошел прогуляться.

— Понимаю, молодой человек. Вы убежали из дома, желая увидеть белый свет. Придется мне вас кое в чем просветить. Вот смотрите. Не вздумайте есть эти шарики, что лежат позади вас. Они предназначены для крыс. И еще один совет: на улице всегда держитесь поближе к стене дома и к подвальным продушинам. Когда вы проголодаетесь, идите по улице, подняв хвост повыше, и мяукайте. Так легче всего одурачить людей и вызвать к себе сочувствие. Кто-нибудь унесет вас к себе домой, но, когда вам надоест, опять сбежите. Вы не представляете, до чего люди глупы и как самый обыкновенный кот может их провести. А провести их можно по-всякому. Вообразив, что вы спите, они оставят двери незапертыми, а вы сбежите и можете бродить хоть месяц. Когда вам прискучит бродяжья жизнь и кошки вас здорово искусают и исцарапают, о чем вы еще понятия не имеете, и я не хочу вас портить — вернитесь туда, откуда сбежали, и крутитесь, ну хоть вокруг стола, как следует задирая хвост, и делайте вид, что вы рады-радехоньки вернуться домой, хотя на самом деле

пришли нажраться и отдохнуть в тепле... Ну так вылезайте на улицу, вы мне здесь не нужны. Сюда идет белая кошка дворника и несет мне в зубах какие-то жилы, которые она украла. Это кошечка уже целую неделю меня содержит. Ну, лезь наверх, дурачок!

Маркус благодарно посмотрел на опытного советчика и вылез на улицу. Он шел вдоль дома и радовался яркому солнышку и тому, что приобрел некоторый опыт. Перед соседней мелочной лавочкой котенок увидел большого лохматого зверя. Зверь сидел на земле, помахивая длинным хвостом. Маркусу это понравилось, он прыгнул и лапкой хотел придержать хвост. Большой зверь заворчал и замахнулся на Маркуса. Но ему, очевидно, понравилось наивное создание, которое, должно быть, никогда еще не видело собаки. Он осторожно взял Маркуса в пасть и перебежал с ним через улицу, где и бросил котенка в большую лужу.

Перепуганный Маркус перевернулся в ней несколько раз и кинулся в отверстие подвала, которое оказалось рядом, перед носом, и дружески манило его.

У подвала залаял шпиц, и хозяин стал науськивать собаку на котенка, ласково подзадоривая:

— Боби, кошка! Кошка!

Но это быстро надоело обоим, и они отправились дальше, а бедный Маркус тем временем спрятался в каких-то стружках, дрожа от холода и жалобно мяукая.

— Не ори ты здесь, — слышался голос поблизости, и на стружки вскочила черная стройная кошка, — разве ты не знаешь, что я подкарауливаю мышей?

— Я ничего не знаю, — обратился к ней Маркус и вполголоса принялся рассказывать об удивительном звере.

— Глупый, это была собака торговца напротив, ты еще дешево отделался. Погоди... — Кошка исчезла где-то сзади и скоро вернулась с мышью в зубах. — Ешь, озорник, — ласково сказала кошка Маркусу, который признался, будто он, мол, не знал, что мышей тоже едят. — Ну и болван ты неотесанный! — плюнула кошка.

— Вы ошибаетесь, — ответил Маркус. — Я только кажусь таким взрослым. Мы, ангорцы, всегда крупнее обычных котят. Мне еще, милостивая пани, не больше двух месяцев.

— Очень мне нужно с таким сопляком связываться! — недовольно сказала кошка, которая до этого восхищенно поглядывала на Маркуса. — Мигом смывайся, а не то я укушу тебя за лапу.

Испуганный Маркус выскочил на улицу и промчался мимо подвала, но рядом что-то вдруг сделало «пиф-паф», и он опять очутился в каком-то подвале, куда поспешно скрылся, потому что внезапно его охватил ужас и к тому же он дрожал от холода. «Здесь я не согреюсь, — подумал он, когда у него заочечены даже когти, — посмотрю, что там рядом».

В соседнем подвале была солома и опилки. Маркус забился в них и уснул. И ему приснился его хозяин-угольщик.

Проснулся Маркус в полной темноте, хотелось есть, и потому он вылез на притихшую ночную улицу.

Заметив какого-то запоздалого прохожего, Маркус направился к нему, за-

драв свой пушистый хвост и жалобно мяукая по совету старого бывалого кота.

Двое прохожих не обратили на него внимания, а с третьим ему повезло: увидев котенка, он ласково на него поглядел и нагнулся погладить. Но тут же упал и захрапел на тротуаре.

Маркус так испугался, что пустился наутек. Он пробежал несколько улиц и наконец встретил старого ободранного кота, который сказал:

— Пойдем со мной.

Маркус пошел за ним. Они пришли в какой-то подвал, а оттуда по лестнице и через дыру в двери выбрались во двор. Со двора они подлезли под какую-то дверь и встретились нос к носу с большой собакой мясника, который тут ее оставил, чтобы кошки не лазили за мясом. Как он отсюда выбрался, Маркус и сам не знал. Он довольно долго бегал по дому, пока случайно не угодил в подвал и не выбрался через него на улицу, по которой побежал куда-то вниз.

На большой площади его внимание привлек какой-то крик.

— Конечно, я пойду с вами, господа, в участок, — слышался голос, — но сначала спущу этого извозчика с козел за то, что он меня обругал.

— Не делайте глупостей, идите, — отозвалось два голоса. — Мы только выясним, кто вы такой, поскольку подняли на улице такой шум.

— Я спущу его с козел, — упорно настаивал на своем первый. — Как он смел обозвать меня хулиганом!

— Я вам этого не сказал, бессовестный! — кричал извозчик на козлах. — Смотрите, мой номер на дрожках, вот и жалуйтесь на меня.

Потом слышались сердитые голоса, приказывавшие шумливому человеку именем закона пройти с ними, и тройца двинулась вперед. Маркус только и ждал того. Он поднял хвост повыше и пошел за ними, жалобно мяукая. Его не слышали: двое возились с человеком между ними, он кричал, что если сегодня не спустил возчика с козел, так спустит завтра, если даже понадобится принести лестницу и лезть к возчику по ней.

А за людьми, занятыми таким приятным разговором, терпеливо бежал и мяукал Маркус.

Когда все трое оказались в полицейском участке, за ними пробрался и Маркус и вспрыгнул на стол полицейского инспектора, прямо на протоколы о попавших в участок.

И тут приведенный полицейскими человек воскликнул:

— Маркус, что ты здесь делаешь?

А Маркус узнал в человеке, за которым бежал так терпеливо, своего хозяина — угольщика, которого он покинул было днем...

\* \* \*

Угольщик Гюнцл часто говорит:

— Только однажды у меня было хорошее оправдание перед женой, когда я пришел домой под утро и сказал, что искал нашего кота. А я и взаправду принес его домой, но как это получилось, не могу припомнить.

Вот и прочитайте об этом здесь, пан Гюнцл!

## Кочицкая божедомная братия

У нас в деревне, в княжеских владениях, есть старый амбар. До этого там держали сено и хлеб, а нынче его переделали под божий дом для немощных княжьих работников.

Маленьких окошечек хватало для того, чтобы зерно не прорастало в темноте, но приходится только поражаться, как в этом полумраке жили трое стариков и старушка Мейстршикова.

Мейстршикова прежде была старшей на полевых работах, а старики сторожили княжеские пруды. Всю жизнь трудились они при божьем свете, она — на полях, старики — у водных просторов, озаренных солнышком. Вид голубого неба за трудами праведными ради куска хлеба особой радости не приносил, но все равно они видели солнце, его сияние, дышали чистым воздухом, а по праздничным дням, присев где-нибудь на меже, у пруда или на опушке леса, любовались проплывающими по небу облаками.

Ну, а на старости лет, теперь, когда жили они из милости на княжеских хлебах, их лишили света и навязали им капеллана, который раз в неделю исповедовал их и через два дня на третий мучил проповедями.

Павласек как-то даже посетовал Мейстршиковой, что не больно-то понимает, об чем молится každоденно, как велит капеллан.

Гечер истолковал это по-своему: мол, капеллан тоже человек подневольный, и небось сам князь велел ему ходить сюда.

В довершение всего еду стряпал для них старый приказчик из замка, и они ежедневно плелись туда все четверо, обряженные в синие пальто с медными пуговицами и мерзкие серые шапки. В этой божедомской униформе их, как стадо, запускали в помещение, отгороженное от конюшни, и наливали в миску мутной похлебки. Еще выдавали кашу, сдобренную животным жиром, и выпроваживали.

Так повторялось изо дня в день. Боже до мы брели нога за ногу к себе в логово и затем молились. И вот как-то Крушина задумался:

— А чего мне молиться-то? Разве я худое что сделал? Я ж пятьдесят лет этими вот руками работал, как и Мейстршиха. Что, баба, а ты грешила?

Сухая ветхая старушка поддержала его: оно и правда, молитва и ее больше не тешит. Бывалоча, молилась она, чтоб похлебка их была малость погуще, не одна вода. В глотку уж не лезет. Молилась она, просила господа, да господь не слушает ее. В хлебе черви.

За бога вступился один Гечер, тот, что и капеллана оправдывал. Он объяснил, что терпеть надо, чтоб там, наверху, опосля, лучше жилось.

Несмотря на христианскую набожность, миропонимание у Гечера было явно языческое.

Он утешал себя мыслью, что в небе отыграется на главном зрителе прудов, который вечно донимал его придирками. Гечер и остальных смущал обстоятельными рассказами о каких-то кнедликах с тушеной капустой и свиной, а также и куриной лапше, которые якобы ждут их на небесах. И еще они будут там играть в марьяж и курить покупной табак.

Здесь-то их трубки давно погасли и остыли, потому что приказчик опасался, как бы они не устроили пожар. Из этих же соображений зимой у них слабо топили. Приказчик очень решительно высказался в том смысле, что так, по

крайней мере, они будут торопиться закрывать трубу и после похорон снова можно будет использовать помещение под амбар.

К зиме перестал молиться и Гечер, и капеллан, замерзая в божьем доме, заглядывал к ним все реже, а приходя, не снимал шубу. Говорил недолго, но грозно. Обычно он перечислял мучения грешников в аду, причем так живописно, как будто только что прибыл оттуда.

Однажды после его ухода бабушка Мейстршикова заметила со вздохом, что в пекле не так уж и плохо, по крайности тепло и не надо выклянчивать дрова у пана приказчика.

Павласек возразил: мол, его бросает в жар от капеллановых живописаний, так что хорошо бы он приходил почаще, все же теплее было б. Долгими зимними вечерами старики вспоминали молодость. Крушина, не умея выразиться точнее, сказал, что они так надсаживались, думая — после им за это лучше будет.

Дороги, что вели к столу, были неторные и крутые, заметенные сугробами. И старики, обвернув ноги тряпьем, влеклись через снежные заносы как аллегория княжеского человеколюбия.

Управляющий с нескрываемой радостью сообщил в трактире, что старичье уже покашливает.

И все же божедомскую братию согревала надежда. Прослышали они — сказал об этом Павласеку батрак Громка, — что весной собирается приехать сюда молодая княжна, первым делом в имение, а потом будто осмотрит все строения и дворы княжеские.

По рассказам, что передавались из уст в уста, бывшим княжеским людям было известно, что княжна хороша собой. Картинка! Гечер перестал уповать на бога, и когда Крушина сокрушенно вздохнул, что до бога далеко, Гечер не возразил ему. Место бога в их мечтах, который, несмотря на все просьбы, так и не вразумил приказчика, продолжавшего кормить их мутной бурдой, место бога в их мечтах занял воображаемый образ молодой княжны. (Разве не сталиквиваемся и мы с подобными же надуманными персонажами в кое-каких рассказах: благородные графини, добрейшие и голубоглазые, и т. п.)

Они говорили о княжне, как капеллан о боге, и представляли себе, что княжна, смилостивившись над ними, введет все в надлежащую колею. А они расскажут ей все-все, поцелуют ей руку, умолят о заступничестве.

Бабушка Мейстршикова, размечтавшись, даже растроганно всплакнула, настолько душа ее переполнилась надеждой.

Чего только не рассказывали они о жизни княжны, чего только не выдумывали о милосердии, которое она проявила к бедным!

Они уверились, что божедомам княжна и вправду поможет. Как же иначе! Вскоре стало точно известно, что она прибудет ранней весной.

Было решено, что к княжне обратится Мейстршикова как женщина к женщине. Мейстршикова долго плакала, прежде чем согласилась взять на себя столь ответственную обязанность, потом ее наставляли, что следует сказать.

Первым делом поцеловать руку, обнять ей колени. На приказчика не жаловаться, просто просить, чтоб кормили получше, выдали обувь и чтоб зимой топили. Напомнить, что всю жизнь надрывались на княжеском.

Изо дня в день обсуждали они это, и надежду их не поколебал даже пронесшийся слух, что княжна не приедет.

А потом пришло известие, что она уже едет, и чем ближе становился день приезда княжны, тем счастливее они себя чувствовали. Четверо стариков в рваной залатанной одежде возвращались к себе домой с такой верой в лучшее будущее, что Гечер как-то пригрозил даже:

— Мы еще покажем приказчику!

Его одернули, напомнив об уговоре приказчика не трогать.

Они были в таком настроении, когда прощаются все обиды, все пережитые несправедливости. Так велика была их надежда.

Молодая княжна приехала.

В деревне рассказывали потом, что старики божедомы стояли в тот день у дороги перед амбаром, где жили, в своих жутких халатах, дожидаясь проезда княжны, и прогнать их ни за что не удалось.

Красавица княжна медленно проехала мимо в открытом автомобиле с управляющим поместьями и улыбнулась. Не успели они опомниться, как машина уже завернула во двор имения. Надежда их исчезла.

Их надежда, проследовав мимо, сказала с улыбкой управляющему:

— Они похожи на ручных обезьян.

И исчезла навсегда.

Из уст молодой княжны слова вырвались невольно, и она устыдилась их, поэтому после ее отъезда каждый из стариков получил по 50 геллеров материальной поддержки, правда, единовременной.

## В исправительном доме Постный день

Это произошло в день великого поста, когда воспитанники исправительного дома должны были в арестантской одежде стоять в зале на коленях и молиться богу. Неожиданно надзиратель Отченашек ворвался в столовую, где вместе с директором и тремя учителями находился еще капеллан Кавка, который набивал себе желудок разными сортами жареной и вареной рыбы, запивая все это вином.

— Пан директор, — выпалил Отченашек, — прошу прощения, этот мерзавец Колета съел таракана!

Обеду пришел конец. Капеллан бросил обратно в тарелку кусок жареного сазана, а директор отставил в сторону соусник и в отчаянии отбросил вилку.

Эта новость на них подействовала так, как, скажем, открытие при дворе короля Людовика XIV, что только что съеденные на пиршестве блюда оказались отравленными, а если взять пример более демократического характера, то, скажем, когда вы едите сосиску и вдруг на зуб попадается ноготь, о происхождении которого невольно начнут приходить в голову самые невероятные истории.

Первым опомнился директор.

— А что делают остальные воспитанники?

— Они держат пари, что он не проглотит второго таракана, а Колета бьет Сватека за то, что тот хвастает, будто однажды в школе съел ящерицу.

Капеллан встал, встал и пан директор. Из трех учителей один еще ел, но, когда услышал о ящерице, тоже перестал есть и принялся мечтательно смотреть на грустное лицо капеллана.

— Подите и наведите там порядок, — обратился директор к капеллану, — прекратите их хулиганство. — И побежал по коридору в направлении к уборным, куда за ним последовали два учителя, тогда как третий не выдержал и бросился к открытому окну...

Капеллан спустился вниз, в зал. Он делал усилия хотя бы на минутку отвлечься от суетных земных дел и устремить свои помыслы к небу, но сопровождавший его надзиратель Отченашек все время продолжал возмущаться:

— Не успел я оглянуться, как этот хулиган сунул себе в рот таракана. Он принес его из кухни, где мы, ваше степенство, ловим их на пиво.

И, заметив печальное лицо капеллана, надзиратель попытался пошутить:

— Он еще от него, сукин сын, опьянеет!

Однако грусть капеллана не проходила, и с таким же печальным и трагическим выражением лица он вошел в залу, где воспитанники, заметив его, принялись в унисон гнусавить какую-то молитву, стараясь придать своим веселым лицам строгое выражение.

Когда капеллан вышел на середину, они затянули «Слава господу Иисусу Христу», а сами украдкой посматривали назад за лавку, где Колета сидел верхом на Сватеке и что-то всовывал ему в рот.

Он был так занят своим делом, что его детский голос резко прозвенел в общем хоре:

— Раз ты, тварь этакая, не хочешь сам проглотить этого прусака, то я тебе его впихну силой. Ребята, дайте мне щепку, я ему разожму зубы.

— Смотри, бритый пришел, — ткнул его в бок Знаменачек.

Колета вскочил в тот момент, когда капеллан уже заметил это и подходил к нему. Сватек тоже вскочил и хотел скрыться в толпе, но Отченашек схватил обоих за шиворот и подтащил к капеллану.

Но они так невинно и горячо посмотрели в глаза капеллану, что на первый взгляд их трудно было в чем-либо заподозрить.

— Вы что тут делали?

— Мы молились, преподобный отец.

— Хорошо же вы молились, — перебил его надзиратель, — а что это у тебя, Колета, в кулаке?

— Я поймал прусака, — невинно сказал Колета, — он полз по Сватеку.

С этими словами он открыл ладонь, на которой лежало большое черное насекомое, раздавленное Колетой при попытке всунуть его в рот Сватеку в это священное время поста. Капеллан посмотрел на таракана и почувствовал, что его желудок отказывается повиноваться.

Он сел на стул и закричал:

— Негодяи! В этот святой час вы так отвратительно шалите. В то время...

Его мысли невольно возвращались к таракану...

— ...в то время, когда церковь предписывает нам самую строжайшую умеренность и самый строжайший пост в еде и питии, в это время мерзавец Колета глотает тараканов. О, горе вам. Трижды горе этому негодяю, и горе вам, которые вместо молитвы...

Все мысли капеллана сосредоточились на желудке, но он продолжал:

— ...вместо молитвы, вместо того, чтобы заниматься помышлением о боге, о своих грехах, вы занимаетесь тем, что смотрите, как он выкидывает хулиганские штуки и, позоря наше учреждение, глотает на потеху тараканов! Как

вы можете в такое время, когда наши души мысленно должны обращаться к небу... — при этом он показал на грязный потолок, — туда, высоко, где находится рай, — глотать тараканов? Ведь это же смертный грех, который вам никогда не простится, никогда не простится... Я удивляюсь, как можно в такой священный момент...

Его желудок продолжал бунтовать.

— ...в такой священный момент глотать тараканов, которые возбуждают в нас брезгливость... А вы, свиньи! Разве можно в такое святое время жрать прусаков? Да неужели вас, негодяев, не тошнит, когда вы на это смотрите? В такой священный момент... вот безобразии!

Он побледнел, но почувствовал, что ему необходимо говорить. Он отчаянно боролся, но что было делать несчастному капеллану, если желудок заполнил все его мысли!

— Неужели мерзкое насекомое вам не выворачивает желудка, господи Иисусе...

Его речь становилась бессвязной.

— Вы в этот священный момент глотаете тараканов, о милосердный боже... На колени! На колени! — воскликнул он еще раз ужасным голосом и вдруг посреди стоявших на коленях воспитанников его начало рвать.

Из него вырвало всю рыбу всех сортов, сдобные булки, колбасу, которую он ел на завтрак.

— Два часа стоять на коленях! — выбегая, крикнул он еще раз.

Так воспитанники простояли два часа на коленях, думая о самом веселом в исправительном доме постном дне.

## История с биноклем

Я сидел на веранде отеля Либерато Винотти в Верхнем Больцано и размышлял о том, что у синьора Либерато Винотти в этом году дела, видать, идут неважно, коли он мгновенно появился около меня с бутылкой вина, называя меня «ваше превосходительство». Да еще придвинул к моему столу бинокль на штативе и весьма приветливо объяснил, что нацелил бинокль в грюнбахскую долину, где я могу увидеть мельницу Ауингера. Правда, в мельнице нет ничего особенного, но она интересна тем, что загораживает вид на грюнбахскую долину, и долину совсем не видно.

Я всегда испытываю признательность за любую оказанную мне услугу, поэтому и взглянул в бинокль в том направлении, где ничего не было видно, и, согласившись, что синьор Винотти прав, поблагодарил его за любезность.

— О, ваше превосходительство, вы изволите быть человеком совсем иного склада, чем тот толстый господин по имени Галлус Ризенгубер, который приехал позавчера из Германии, — радостно заметил владелец отеля. — Он тоже сел здесь, на веранде, а когда я придвинул к нему бинокль, то раскричался, что не желает никаких биноклей, хватит с него, нагяделся! «Уберите это от меня! — кричал он, — не то я его разобью!» В десять часов он придет сюда, надо будет убрать бинокль. Наш официант-ученик не знал, что господин не в себе, и после обеда, когда меня не было, придвинул бинокль к его столу. Господин Ризенгубер едва не сбросил бинокль с веранды на крышу хлева, и два туриста еле-еле вырвали его у него из рук. А в остальном это очень хороший постоялец, он с утра до вечера ест — на веранде, в ресторане, в своем номере,

причем то и дело звонит официанту: «Распорядитесь, добрый человек, чтобы мне приготовили бифштексик; пускай мне принесут сюда омлетик». Сидит здесь на веранде за бутылкой вина до поздней ночи и поет печальные песни, а кухарка в кухне обливается слезами. Ночью он ходит по комнате, и его вздохи слышны даже во дворе. Бывает, что и в три часа утра он начинает звонить, когда же горничная придет, он и не пытается ущипнуть ее за руку, а только спросит: «Скажите-ка, детка, могут мне подать бифштексик или омлетик?» Э, уже три четверти десятого, надо скорее унести бинокль, не то он опять устроит скандал.

Впрочем, надежды синьора Либерато Винотти избежать неприятностей не оправдались, он столкнулся с толстым господином на лестнице.

— Просто возмутительно! — услышал я голос господина. — Вечно эти бинокли, ни минуты покоя!

Господин Галлус Ризенгубер, сопя, поднялся на веранду и с сочувствием спросил меня:

— Извините, но я бьюсь об заклад, что и вам навязывают эту проклятую штуку.

Он со вздохом сел за мой столик и уставился вниз на другой конец двора.

— Вы и не представляете, как было чудесно, когда во дворе пиццали цыплята. Их писк доносился сюда, но теперь все в прошлом. Я съел всех цыплят, а новых они не заводят. Вот вам и забота о постояльцах! Э, да что там, дай им волю, они будут кормить вас рассказами о своих долинах — это их Эйснецкая долина, да еще какая-то Абтауталь и Мармелада, которые, мол, отсюда видны.

А захочется полакомиться цыпленком, так его у них нет. И петуха уже нет, его я тоже съел, и кур нет. Вот они и кормят вас теперь только Мармоладой и Абтауталь. Зачем я поехал в свадебное путешествие! И жены тут нет.

Я едва не спросил его: неужто он съел и ее, но он так печально глядел на башню какого-то костела в долине, что мне стало его жаль.

— Если б они разводили тут индеек, — вздохнул он. — Добрая индейка — это уже кое-что, цыпленок по сравнению с ней просто воробышек. Но вместо полезных индеек здесь, мне кажется, разводят ледники. Сперва они надоедят вам своими горами, а только потом спросят, не желаете ли вы закусить. Дурацкие порядки. Мне бы поменьше гор и побольше цыплят. Ох, это свадебное путешествие! Чистое несчастье!

За разговором он выпил бутылку вина и принялся за жареного поросенка.

— Это последний поросенок во всем Верхнем Больцано, — заметил он грустно. — Не умеют они их рационально разводить, только вырастет какой, сразу посылают его в Мерано. А там все пожирают выздоравливающие пациенты. Хороши порядки, нечего сказать. Ну и страна! Даже ромштекса нигде не закажешь. Недавно мне захотелось фаршированных голубей, так пришлось ехать в Инсбрук, а это отсюда сто двадцать километров. Я съел четыре штуки, по две кроны, да шестнадцать крон потратил на дорогу, выходит, они обошлись немного дороже. Здешние итальяшки боятся убить голубенка, а ведь он куда красивее, если его зажарить докрасна. Нет, это свадебное путешествие я не забуду до самой смерти... Да, вы можете приготовить мне омлетик, — сказал он официанту, который поинтересовался, не угодно ли ему чего-нибудь после поросенка, — или, пожалуй, лучше два, один с малиновым, другой с абрикосовым вареньем.

— Абрикосовое больше всего любила моя жена, — добавил он грустно, — да и я его люблю. Впрочем, варенье здесь не ахти... Самое вкусное мы ели в Пассау, а теперь вот мне приходится есть невкусное, к тому же я все один да один. Если позволите, я расскажу вам о своем несчастье, закажу только еще кусок траминского сыра. Он вполне съедобен, хотя в Майенфельде в Швейцарии я едал сыр и получше. Но один совет касательно сыра я вам дать могу. Если вы приедете в Пельц — это в направлении к Левику, будьте начеку, когда они начнут завлекать вас прогулкой на альпийский луг, откуда, мол, открывается прекрасный вид на какую-то полную воды котловину под названием Лалдо Назза. Дело в том, что там вам наверняка захотят всунуть их собственную горгонзолу. А вместо альпийских трав они добавляют в свой сыр чабрец. Мало того что этот чабрец растет повсюду, куда ни глянь, — так еще и в желудке чтоб был чабрец! Ну что за удовольствие, если у вас над голубыми водами Лалдо Назза от пельцской горгонзолы вспучит живот? Ох, не задалось мое свадебное путешествие! Прежде чем рассказать вам о нем, я позволю себе предостеречь вас: не доверяйтесь колбасам из мяса ослов, как бы ни расхваливали их местные жители. Я недавно съел для пробы восемь штук и потом чувствовал себя препаршиво. С трудом съел после свинину под пармезаном и омлетик. А чтобы коротко объяснить, как я очутился в этом печальном свадебном путешествии, сперва расскажу вам, что у меня кофейный магазин в Альтоне. Сорта кофе, Впрочем, вас не интересуют, и я начну сразу о канцелярии. Сейчас всей перепиской ведает молодой человек, но прежде там сидела Индржишка. Она превосходно вела дела, а меня, своего шефа, просто не выносила. Я толстый, а она стройная, почти прозрачная, так что все косточки видно. Но меня она околдовала своим взглядом. Я стал обращать на нее внимание и заметил, что она выходит из себя всякий раз, когда я появляюсь в канцелярии. Она скрипела зубами, вращала глазами, и меня это выбивало из колеи, милый господин. Да, выбивало из колеи, пока совсем не выбило. Однажды я задержал ее после работы и сказал ей: «Барышня Индржишка, я вас увольняю». Она побледнела и спросила — почему. «Потому что я на вас женюсь», — ответил я как можно грубее, чтобы понравиться ей... Она так испугалась, что, заикаясь, пролепетала: «К вашим услугам, пан шеф». И я нацепил ей на палец обручальное кольцо. Позже она говорила, что вышла за меня с перепугу, но мне-то что, я был счастлив. Кто видел нас вместе, тот не мог удержаться от смеха: я как бочка, а она просто тростиночка. Представьте, перед свадьбой она весила столько же, сколько мешок моллукского кофе первого сорта, ровно сорок килограммов! В свадебное путешествие мы поехали в горы, мы ведь живем у моря, для нас горы в диковинку. Тут выяснилось, что у нее поэтическая душа, в Швейцарии она способна была часами пялиться подряд на все водопады — у Драубурга или Эбердорфа. А в сумках — ни куска колбасы. Я говорил: «Ну хватит смотреть, дорогая». И что, вы думаете, она мне отвечала? Что я вульгарный обжора, который не чувствует и не понимает природу. А однажды где-то около Зальцбурга она сказала мне, что испытывает ко мне непреодолимое отвращение. Дело было так: со скалы в горах сбегал с журчанием ручеек, как она говорит, сбегал ручеек и тек по долине. Я улегся на траву и подумал: «Бог с ним, пускай себе течет куда ему угодно». Она тем временем собирала цветы и принесла букет. Я взглянул — а это кресс. Вы ели когда-нибудь салат из кресса как гарнир к фаршированному свиному боку? Не ели? Она тоже. Но когда я сказал

ей, какая это роскошь, она просто разбушевалась. Это ужасно, когда такое эфирное создание приходит в ярость. Представляете, как старый моряк ругается с рулевым?.. Ну, так это куда ужаснее. А потом она придумывала прогулки все трудней и трудней, а однажды даже потащила меня на какой-то ледник.

— Да, скажите, чтобы мне приготовили бифштексик, — бросил он официанту, на минуту прервав повествование. — Мой дорогой, дальше был просто кошмар. Меня связывали веревкой и тащили через пропасти, а на альпийских лугах — ничего, кроме молока, одно молоко. Я разъярился, купил в Губералме целую корову, и пастухи запекли ее. Видели бы вы, какой она подняла шум. Она восторгалась этими коровами с колокольчиками и сочла мой поступок кощунством.

Так мы тащились до самого Валлершпитца. Там я заявил, что на эту гору не поеду. «Хорошо, — сказала она, — тогда я пойду с компанией из гостиницы».

Гостиница такая же, как здесь, с верандой, откуда открывался вид на весь Валлершпитц, и там тоже был бинокль. А компания, с которой она отправилась в горы, состояла из двух венгерских туристов и англичанки. Я попрощался с женой, а к полудню заскучал. Подошел к биноклю и навел его на горы. Валлершпитц оказался прямо передо мной — я даже смог разглядеть, как бабочки летают меж скал. Я долго не мог найти компанию, с которой ушла жена, а потом подозвал владельца отеля и официанта и потребовал от них под честное слово сказать, что они видят. «Я вижу, ваше сиятельство, — сказал владелец отеля, — вашу высокочтимую супругу и венгра, и он как раз целует вашу супругу. А второй венгр целует англичанку. Это очень весело». Потом в бинокль посмотрел официант и сказал: «Ваше сиятельство, они все еще целуются».

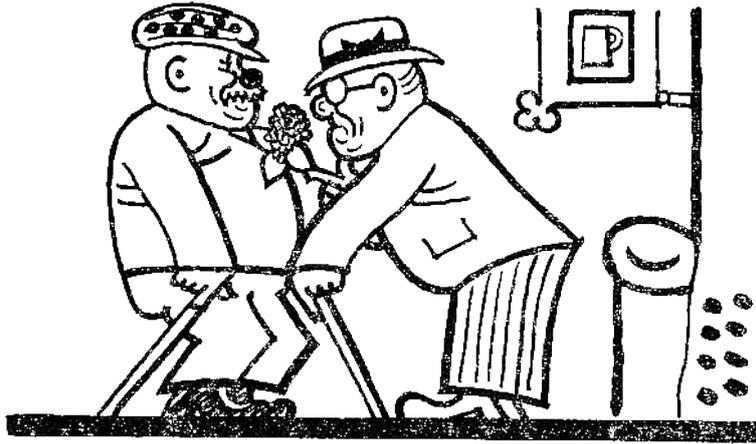
Знаете, что я сделал? Разбил бинокль, а потом напился, и когда вернулись эти венгры, спал мертвецким сном. Утром они исчезли, и англичанка тоже. Я заплатил за бинокль, отвез жену на станцию и отправил домой, пускай сидит в магазине. Жена плакала, она-де мечтала увидеть Куфтейн. Это после скандала-то! «Ничего подобного, — отрезал я, — надо было думать наперед, как вести себя с этими венграми».

И вот я один, один-одинешенек, продолжаю свое свадебное путешествие по этим Альпам. Я разбил уже четыре бинокля и с тоски объедаю итальянцев.

И, повернувшись к официанту, тоскливо произнес тихим, почти больным голосом:

— Принесите мне еще один бифштексик.

## Букетик незабудок на могилу национально-социальной партии



I

Меня упрекали, что я до сих пор ничего не написал о национально-социальной партии. Брат Шефрна, редакционный рассыльный газеты «Ческе слово», оценил это такими словами:

— Мы все тебе благодарны, ты вел себя по-джентльменски. А ведь знаешь ты о нас немало, правда?

Однако, чтобы меня не упрекали, будто я, подобно газете «Народни листы», уже два года кое-что знал и не довел этого до сведения общественности, с легким сердцем делаю это сейчас. Да, я кое-что знаю об этой злополучной партии полицейских шпииков. Я не хочу, конечно, утверждать, что, например, и брат Шефрна, этот необычайно скромный человек, также относится к тем восемнадцати членам национально-социальной партии, которые в своем радикализме зашли так далеко, что очутились даже на службе в полиции. Но одна вещь бросилась мне в глаза. Однажды д-р Швига, находясь в редакции, послал Шефрну купить на шестьдесят геллеров ветчины и дал ему за услугу сорок геллеров.

Кажется, и в этом случае речь шла о попытке привлечь Шефрну на службу государству.

Не могу также утверждать, что у редактора газеты «Ческе слово» Матею были связи с полицией, подчеркиваю только, что, когда мы однажды ночью шли вместе с ним и я громко кричал, полицейские арестовали лишь меня, а его оставили в покое. Не хочу решительно никого подозревать без оснований, но знаю — и у меня есть под рукой доказательства, — что редактор местной хроники Новый заходит в полицию, чтобы узнать о происшествиях, которые случились за день.

Но если я соберу вместе все свои наблюдения и впечатления, которые накопились за время моего сотрудничества в «Ческом слове», могу только с чистой совестью заявить: ничего хорошего о национально-социальной партии я не знаю!

Ведь в то время я был в полиции как дома, и один полицейский чиновник как-то даже сказал мне:

— Вот видите, опять вас оштрафовали на десять крон. А ведь ваше финансовое положение было бы куда лучше, если бы вы не сталкивали извозчиков с козел. Ведь они тоже «братья».

II

Сейчас мне остается только радоваться, что я уже не состою сотрудником газеты «Ческе слово». Мне часто не везло, но в конце концов судьба смилостивилась надо мною, и два с половиной года назад меня выгнали из редакции после того, как я на ночном собрании служащих Электроконцерна обозвал брата Войну болваном за то, что он водил за нос трамвайных служащих так же, как и его «достойные» дружки Стршибрный и Фресл.

С той поры «братья» на меня злятся за то, что в различных статейках, а случается, и на афишах, я всегда подчеркиваю, что я бывший сотрудник газеты «Ческе слово», добавляя при этом совершенно невинно: «...а также бывший редактор журнала «Свет звиржат».

Эта комбинация — вообще-то очень правильная и закономерная — страшно возмущает «братьев», хотя я и не понимаю, почему же, собственно говоря.

В редакции журнала «Свет звиржат» мы тоже воспитывали полицейских собак. А на псарне у нас всегда были в запасе шпицы, тогда как национально-социальная партия содержала шпииков куда более крупной породы[121].

Решительно, мы должны были открыть при секретариате институт собаководства, что мы однажды и обсуждали.

### III

В редакции я наблюдал одну любопытную вещь, которая сейчас, в связи с делом Швиги, выступила еще заметнее в моих воспоминаниях об этой злощастной партии.

Когда братья депутаты находились в редакции и кто-либо приходил к ним, спрашивая о чем-нибудь, они всегда шаблонно отвечали: «Сейчас не могу тебе это объяснить, я опаздываю на поезд». И совершенно так же два с половиной года назад сказал д-р Швига: «С удовольствием бы все объяснил, но я опаздываю на поезд». Это уж в крови у членов национально-социальной партии. Все они поступают подобным образом, и у всех своя особая, типичная физиономия. По наблюдениям одного антрополога, члена национально-социальной партии можно узнать сразу, не успеет он и рта открыть.

### IV

Д-р Швига посещал редакцию не часто, поскольку, находясь в Праге, он должен был в это же время быть еще где-то. В редакцию он обычно приходил под вечер и спрашивал, кто пойдет с ним в винный погребок «Мысливна» в «Золотой гусыне». Обычно с ним ходил депутат Клофач. Д-р Швига говорил, что у него нет более близкого друга, чем Клофач, и что с ним он больше всего любит беседовать. Обычно они сидели в отдельном кабинете, а д-р Швига держал на коленях красивую черноглазую девушку — барышню из бара. Впоследствии он увез ее в Вену и там выгодно сбыв с рук. Знаю еще, что вниз в «Мысливну» ходил один полицейский комиссар. В то время все национально-социальное движение сосредоточивалось в «Золотой гусыне». Кто из главарей партии не был в «Рыхте» или не играл наверху в карты, тот сидел в «Мысливне». Это было время, когда некоторые господа, по-видимому в связи с чрезвычайными расходами и ограниченным кредитом, охотно поддавались соблазну и, как иуды, за жалкие гроши продавали полиции тайные планы национально-социальной партии о разгроме Австрии с помощью учащихся ремесленных школ. Выяснились и другие дела.

Однажды в «Мысливне» зашла речь о том, что в Национальном совете произошел крупный конфликт. Д-р Подлинный послал за паприкой, а когда ее

принесли, она оказалась холодной.

— Это любопытно, — сказал присутствовавший при этом разговоре д-р Швига, вынимая из кармана записную книжку. — Я должен взять это на заметку.

Затем он удалился. Сейчас мы знаем, что он поехал сообщить о происшествии с паприкой в Национальном совете полицейскому комиссару д-ру Климе. И тогда уже его совесть была нечиста. Но он не был таким циником, как думают некоторые. Об этом свидетельствует следующий факт: когда депутаты от национально-социальной партии собирались посетить в Панкраце арестованного Гатину и хотели, чтобы в этом участвовал д-р Швига, тот отговорился тем, что такой визит очень его взволнует. В нем заговорила совесть. Конечно, это нервы! Он проделывал все это по своей нервозности. Однажды из Вены пришло на его имя письмо. Главный редактор Пихл по ошибке распечатал его, показал д-ру Гюбшману и взволнованно сказал:

— Швига должен объяснить нам и это.

Пихл, конечно, знает, что там было написано. В конце концов, зачем это отрицать: «Народни листы» знали об этом два года назад, а «Ческе слово» — уже четыре года.

## V

В то время в числе сотрудников редакции был и Скорковский, который наряду с Шефрной играл роль редакционного шута. Ныне ради своей славы в «Боуде» на Целетной улице он помещает в «Вечернике» газеты «Ческе слово» непроходимые глупости как в разделе фельетонов, так и в других разделах. Он уже и тогда считал себя политиком международного масштаба. Это, конечно, нездоровое явление, ибо он был и остается лишь фотографом, и только им. А фотограф он и в самом деле превосходный и умел готовить в своем фотоателье замечательные ликеры. Международная политика, платинохромия и ликеры — вот основы, которые взрастили Скорковского.

Когда бы Клофач ни шел мимо, он всегда забегал в фотоателье выпить водки, и мы встречались там очень часто. Решали различные политические проблемы, и, насколько мне известно, лучше всего это получалось за мятным ликером.

Хаживал туда также красноносый Симонидес, о котором Хоц сострил, что Симонидесу достаточно в петличке и белой гвоздики, а красная у него на носу.

Симонидес с Богачем в то время вершили политику магистрата тоже в «Золотой гусыне». Мы вообще все время выпивали. Выпивали, занимаясь внутренней политикой, выпивали, занимаясь международной политикой. Выпивали мы и в редакции, и Пихл каждый день бредил каким-то зельцем из Панкраца.

А во время редакционных совещаний мы посылали наверх, в игорный зал «Золотой гусыни» за депутатом Стршибрным.

Вернувшись, Шефрна всегда докладывал, что брат Стршибрный сейчас же придет, как только закончит еще одну партию в карты.

## VI

Помнится, что Стршибрный бывал всегда взволнован, когда его неожиданно отрывали от карт. Он посылал Шефрну за дебреценскими сосисками с паприкой и говорил о плохом кредите. Находясь в Праге, он, как правило, еже-

дневно проигрывал от пятидесяти до ста крон, а иногда и больше. Однажды он пошел ходатайствовать по какому-то делу к полицейскому советнику Зербони и долго не возвращался, хотя мы ждали от него передовую статью.

— Слава богу, — сказал он, входя, — наконец-то я договорился с одним господином, чтобы он подписал мне этот вексель.

А с финансовыми делами меньшего масштаба Стршибрный всегда обращался к брату Трегеру, торговцу и коммерции советнику.

В конце концов терпение Трегера однажды лопнуло, и он воскликнул:

— Что же это такое! Триста крон! Когда вся наша партия и гроша ломаного не стоит!

После крупного карточного проигрыша Стршибрный всегда говорил в редакции:

— Проклятое невезенье! Сегодня опять отыграюсь на правительстве.

Однажды он проиграл большую сумму, и по его инициативе в парламенте была устроена обструкция.

Возможно, он опять хотел добыть денег. Впрочем, поговаривали, что если бы откуда-нибудь что-то ему перепало, так он заплатил бы все долги.

Говорили, что будто кто-то одолжил Стршибрному двадцать тысяч крон. Я этому не верю — он тогда не захотел дать мне в долг даже крону. Или, возможно, он поступил так из предусмотрительности, чтобы не выдать себя?

## VII

И так они дефилируют один за другим. Бросается в глаза и то обстоятельство, что в государственной тайной полиции есть Славичек и национально-социальная партия также имеет Славичка. Депутат Лысый интересен тем, что страдает навязчивой идеей особого рода: если политические враги закричат ему вслед: «Куда идешь. Лысый?» — то их сожрут медведи, как библейского пророка Елисея. Редактор Свозил никогда не скрывал своего поповского фарисейства и вечно занимался сомнительными операциями с банками и страховыми кассами. Кроме того, у него всегда были запасы первоклассной словацкой сливовицы, с помощью которой он приобретал себе приверженцев. Редактор Шпатный больше всего любил показывать фотографию своей спины, которую ему однажды исполосовали немцы в Карловых Варах. Как-то раз он спросил меня:

— Послушай, брат, а как называется столица Бельгии?

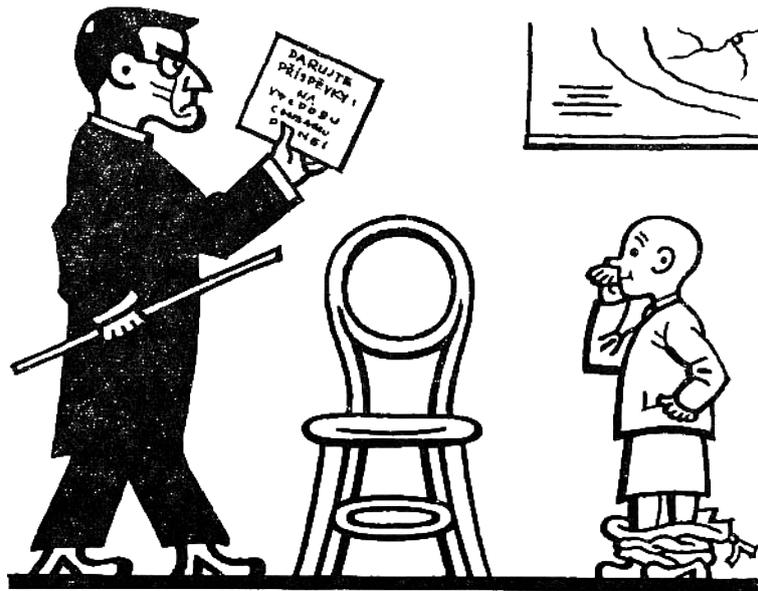
И так один за другим...

И все эти заправки вместе с братом Пихлом — безвредным в других отношениях, кроме разве того, что из года в год он ездит по одним и тем же местам Чехии и все с одной и той же лекцией о Яне Гусе, — всегда спрашивали в редакции:

— Не было ли с почтой чего-нибудь на мое имя?

Видимо, их интересуют такие же письма, как и те, швиговские, которые не дошли по адресу и которые так великолепно характеризуют эту злосчастную партию.

## Урок закона божьего



Короуповские ребята знали из закона божьего только то, что господь бог в неизреченной благодати своей создал прутья. Вслед за тем он создал законоучителя Горачка. Оба эти предмета взаимно друг друга дополняли. Потом он научил людей делать из прутьев розги, а законоучителя Горачка — с необычайной ловкостью пользоваться этими розгами.

Начиналось обычно с того, что капеллан Горачек, войдя в класс, мрачно смотрел на вытянувшиеся физиономии учеников и произносил:

— А ну-ка, Ванечек, идиот этакий, перечисли мне семь смертных грехов в обратном порядке!

В искусстве ставить вопросы законоучитель Горачек был настоящий виртуоз. Он заставлял учеников перечислять в обратном порядке десять заповедей господних или требовал:

— Людвик, отвечай быстро, негодяй, какая заповедь на третьем месте от конца, перед «Не убий»?

Получалась какая-то божественная математика, кончавшаяся поркой в виде печального душеспасительно-арифметического итога.

Так было всегда; поэтому понятно, что каждый вызываемый — будь то Ванечек или Бухар, Людвик или кто другой — неохотно подымался из-за парты и подходил к кафедре.

Каждый шел, испытывая сомнение в неизреченной благодати божьей, заранее уверенный, что дело кончится печально и что религиозные понятия содержатся не в катехизисе, а в той части штанов, которая протирается от продолжительного сидения.

Дело несложное — выставить зад всем напоказ и дать опытной руке законоучителя высечь тебя проклятой розгой.

Эти сцены повторялись регулярно через день. С ласковой улыбкой клал Горачек ребят одного за другим к себе на колени и говорил им:

— Благодарите бога, мерзавцы, что я могу пороть вас.

Как-то раз Вепршек из соседнего села Козьи дворы принес известие, что хорошо, мол, намазать розгу чесноком: будто бы не так больно, а розга от удара ломается.

Известие это так отвечало их безумным мечтаниям, и они до того уверовали в этот самый чеснок, что во время натирания розги Кратохвил даже плакал от радости.

Но произошло то, что можно назвать крахом всех чаяний короуповской школы, печальной повестью об обманутых надеждах.

Законоучитель исчерпывающим образом разъяснил им все на задах, а затем прочел лекцию на тему о том, что их проделка с чесноком есть не что иное, как обман, к тому же смешной, как они могли убедиться. Наказаны они по заслугам: ведь они хотели обмануть самого господа бога. Он описал им губительные последствия, которые их поступок может иметь для их жизни. Это первый шаг к нравственному падению и полной гибели. Он готов душу свою прозакладывать, что чеснок ими украден, и за это он их еще раз выпорет. Нет никакого сомнения, что все они, за исключением сына управляющего Веноушка и Зденека (эти двое никогда не подвергались порке; отец Зденека был членом школьного совета), кончат жизнь на виселице...

Так безрадостно уплывал день за днем, не принося никаких перемен. Казалось, над короуповскими ребятами навис неотвратимый рок, от которого нет защиты. Однако хромой Мельгуба придал всей этой религиозной борьбе новое направление.

Играя с товарищами возле пруда, он поделился с ними результатами проделанного дома опыта с бумагой: он набил себе в штаны бумаги и разбил горшок с молоком; его тотчас отхлестали ремнем, и боль была вдвое слабее, чем при обычных условиях. После этого сообщения школьники прониклись к бумаге таким же уважением, как китайцы, подбирающие каждую бумажку, чтобы сберечь ее; только в данном случае, наоборот, бумага должна была уберечь своих почитателей. Сын лавочника Мистерка взялся доставлять спасительное средство, и законоучитель скоро заметил, что на лицах несчастных уже не появляется столь явно выраженных признаков страдания.

Тщательно вдумавшись в это обстоятельство, он пришел к выводу, что, видимо, у них огрубела кожа и что ему необходимо обзавестись для уроков закона божьего более крепкой розгой, поскольку господь бог позволяет произрастать также более твердым и толстым прутьям.

И вот, выстроив в ряд перед кафедрой приговоренных к экзекуции, он объявил, что они, видимо, слишком привыкли к тонкой розге.

— Вот тебе деньги, — обратился он к Мистерке. — Скажи отцу, чтоб он прислал мне розгу потолще.

Видя, что лица преступников изображают полную растерянность, он начал потирать себе руки. Губы его исказила жестокая гримаса. Он уже предвкушал новое наслаждение.

Отец Мистерки выбрал отличную розгу, толщина которой сводила на нет все значение защитного слоя бумаги.

Возникла необходимость усовершенствовать изобретение, и однажды Мельгуба произнес возле пруда спасительное слово:

— Картон!

Оно произвело нужное действие, и законоучитель на уроках опять вздыхал:

— Господи, до чего толстокожие!

И в конце концов велел Мистерке купить еще более толстую розгу. Эта бы-

ла самая крепкая из всех, какие только бывали в Короупове. Картон не выдержал ее ударов.

— Теперь нам крышка! — вздыхал возле пруда Мельгуба.

На следующем уроке закона божьего они сидели за партами, уныло глядя в пространство: понимали, что всякая борьба бесполезна. Только Вепршек слегка улыбался.

Тем неопределеннее были их ответы на вопрос о том, когда бог впервые явил людям свое неизреченное милосердие. В результате перед кафедрой предстало пятнадцать человек, в том числе и Вепршек.

Десять были уже выпороты и ревели, услаждая сердце наставника, когда настала очередь Вепршека.

Вот он лег на колено законоучителя. Вот крепкая розга засвистела в воздухе... и — бумм! — раздался страшный грохот, как если бы кто изо всех сил ударил в литавры или трахнул дубиной в большой гонг.

Выпустив улыбающегося Вепршека, законоучитель взревел:

— Долой штаны!

Вепршек перестал улыбаться, спустил штаны и подал законоучителю жестяную табличку, которую взял накануне в костеле.

Потрясенный законоучитель прочел на ней: «Жертвуйте на украшение храма господня!»

## Как я торговал собаками



**Я** всегда страшно любил животных. Ребенком таскал домой мышей, а однажды даже в школу не пошел: целый день играл с мертвой кошкой.

Интересовался я и змеями, Как-то раз, поймав на лесистом горном склоне змею, я решил взять ее с собой и выпустить живьем в постель к тете Анне, которую терпеть не мог. По счастью, тут как раз случился лесничий. Он определил, что это гадюка, убил ее и понес сдавать, чтобы получить положенную награду.

В возрасте восемнадцати — двадцати четырех лет у меня проснулся интерес к крупным животным, верблюдам и слонам всех разновидностей.

За время от двадцати четырех до двадцати восьми лет эта страсть пошла

на убыль: внимание мое стали привлекать коровы и лошади. Мне захотелось иметь конный завод либо ферму симментальского скота. Эта мечта осталась неосуществленной, пришлось ограничить свою страсть объедками меньших размеров. Я предпочел собак кошкам. А на пороге четвертого десятилетия моей жизни у меня возникли кое-какие трения с родными. Они стали корить меня за то, что я живу не как все люди и до сих пор ничего не сделал, чтобы стать самостоятельным.

Быстро приняв решение, я объявил им, что ввиду своего интереса и любви к животным намерен открыть торговлю собаками. Должен признаться, родным это не понравилось.

## II

Открывая торговое заведение, необходимо, разумеется, подумать о вывеске, ярко выражающей самый характер предприятия. Для данного случая подошел бы термин «псарня», но я не мог им воспользоваться, так как один мой дальний родственник служит в министерстве и стал бы протестовать.

Простое название — «Торговля собаками» — тоже не годилось, так как я имел в виду поставить дело на научных началах. В энциклопедии мне попалось слово «кинология», что значит «наука о собаках», а вскоре мне случилось быть около агрономического института. И судьба моего заведения была решена; я дал ему название «Кинологический институт». Название ученое, солидное, которое расшифровывается — как я и делал в своих подробных объявлениях — следующим образом: «Разведение, покупка, продажа и обмен собак на кинологической основе».

Этими пространными объявлениями, в которых то и дело повторялась формула «кинологический институт», я молча упивался наедине с собой. Наконец-то я — владелец *института*. Кто не переживал подобного, тот не представляет себе, какое это гордое, захватывающее чувство. В своих объявлениях я обещал квалифицированные консультации по всем вопросам, связанным с собаками. Сулил каждому, купившему дюжину собак, щенка в виде бесплатного приложения. Напоминал, что собака — самый подходящий подарок ко дню именин, конфирмации, помолвки, свадьбы, юбилея. Для детей — это игрушка, которую не так легко сломать или разорвать. Собака — надежный проводник, который не нападет на вас в лесу. В питомнике представлены все породы собак. Поддерживается непосредственная связь с границей. При институте имеется воспитательное учреждение для злонравных собак. Самый свирепый пес, пробыв в моем институте две недели, отучится рычать и кусаться. Как быть с собакой на каникулы? Сдать ее в Кинологический институт. Где собака научится в три дня стоять на задних лапах? В Кинологическом институте.

Мой дядя, ознакомившись с этими объявлениями, озабоченно покачал головой и промолвил:

— Нет, милый, ты, видно, нездоров. У тебя никогда не бывает болей в затылке?

Но я глядел в будущее с надеждой и, не имея пока ни одной собаки, с нетерпением ждал заказа, разыскивая в то же время через объявления честного, старательного помощника непризывного возраста, которому не пришлось бы, едва привыкнув к собачкам, идти в армию.

## III

Мое объявление о том, что «торговому заведению нужен служитель для ухода за собаками», вызвало массу предложений, часть которых отличалась большой убедительностью. Один отставной сельский жандарм писал, что, если я возьму его к себе на службу, он научит собак прыгать через палку и стоять на голове.

Другой корреспондент уверял, что умеет обращаться с собаками, так как работал помощником будейовицкого живодера и был уволен с этой должности за слишком мягкое обращение с убитыми животными.

Третий претендент, спутав «кинологический институт» с «гинекологическим», сообщал, что служил в родильном доме и в женских клиниках.

Среди кандидатов было пятнадцать окончивших юридический факультет, двенадцать кончили учительский институт. Кроме того, пришло отношение «Общества покровительства освобожденным уголовникам» о том, чтобы я по поводу замещения вакансии слуги обратился к ним, так как у них есть для меня один очень хороший работник, специалист по ограблению касс. Иные предложения были полны печали и безнадежности. Некоторые писали, например, в таком тоне: «Хотя я заранее уверен, что не получу этого места...»

Нашелся в этой толпе претендентов человек, владевший испанским, английским, французским, турецким, русским, польским, хорватским, немецким, венгерским и датским языками. Одно письмо было написано по-латыни.

Наконец я получил следующее простое, по искреннее заявление: «Милостивый государь! Когда я должен приступить к своим обязанностям? С совершенным почтением *Ладислав Чижек*, Коширже, у Медржицких».

Вопрос был поставлен ребром, и мне ничего не оставалось, как ответить, чтобы писавший пришел в среду в восемь часов утра. Я почувствовал к нему глубокую благодарность за то, что он избавил меня от продолжительных тягостных колебаний, связанных с необходимостью делать выбор.

В среду в восемь утра мой новый слуга вступил в должность. Он был маленького роста, с лицом, изъеденным оспой, очень подвижной. Впервые увидев меня, он подал мне руку и весело промолвил:

— Погода-то, видно, до завтра не разгуляется... А говорят, на Пльзеньском проспекте в семь утра трамваи столкнулись.

Потом, вынув из кармана коротенькую трубочку, сказал, что получил ее от шофера фирмы «Стибрал» и курит венгерский табак. Потом сообщил, что у Банзетов в Нуслях есть официантка по имени Пепина, и осведомился, не учились ли мы с ним вместе в школе. Потом завел речь об одной таксе, которую, ежели покупать, так надо обязательно выкрасить и еще немножко выгнуть ей лапы.

— Вы знаете толк в собаках? — обрадовался я.

— Ну конечно. Я сам торговал собаками и даже имел из-за этого судебные неприятности. Как-то раз веду домой боксера. Вдруг останавливает меня на улице какой-то господин: будто это его собака. Он, мол, потерял ее два часа тому назад, на Овощной улице. «Почем вы знаете, что это ваша собака?» — «Потому что ее зовут Мупо. Пойди сюда, Мупо!» И вы не можете себе представить, как радостно стал на него прыгать этот пес. «Боско! — крикнул я. — Боско, фу!» Он давай так же радостно кидаться на меня. Тупое животное! Хуже всего то, что в суде я забыл, что тот раз назвал его «Боско». Но он отозвался и на «Буберле» и опять мне обрадовался... Теперь что? Собачку какую-нибудь пойти поискать.

кать?

— Нет, Чижек, у меня торговля солидно поставлена. Будем ждать покупателя, а пока давайте посмотрим, какие объявления в разделе «Животные»: кто что продает, каких пород собаки... Представьте себе, одна дама хочет продать годовалого белого шпица: ей держать негде, слишком тесно. Неужели шпицы такие большие, что могут помешать? Так ступайте на Школьскую и купите его. Вот вам тридцать крон.

Он удалился, уверяя, что минуты не задержится лишней, а вернулся через три часа. Но в каком состоянии! Котелок нахлобучен на уши, сам качается из стороны в сторону, словно шагая в бурю по палубе, и в руке крепко зажат конец волочащейся по земле веревки. Я поглядел на другой конец — там ничего не было.

— Ну... как?... Нравится вам? Славная штучка, правда? Разве я не быстро... — Он стал икать, стараясь шагнуть прямо в дверь комнаты. — Взгляните на уши... Идем, дурашка... Ишь. упирается... Ну чего ты?.. А ведь она продавать не хотела...

Тут он оглянулся, посмотрел на конец веревки. Выпучив глаза, взял его в руки, ощупал и продолжал, икая:

— Час на... назад еще там... бы... был...

Он сел на стул, тотчас же свалился с него, потом, цепляясь за меня, с трудом принял вертикальное положение и произнес торжественно, словно объявляя о каком-то чуде.

— Видно, сбежал от нас.

Опять сел на стул и захрапел.

Так прошел первый день его службы.

Я стал смотреть в окно. По улице то и дело пробегали разные собаки; мне казалось, все они продаются. Между тем сидевший рядом продолжал дико храпеть. Я пробовал разбудить его, так как мне не давала покоя мысль, что вот-вот явится покупатель и потребует сразу всех собак.

Но никто не приходил, так что будить было незачем. Да и добился я только того, что он сполз со стула. В конце концов через три часа он сам проснулся и, протирая глаза, хриплым голосом произнес:

— Кажется, я сделал что-то не то.

Он стал припоминать отдельные подробности, распространяться о шпице, о его красоте, о том, как дешево его уступила хозяйка: он заплатил всего десять крон, уверив ее, что собака попадет в очень хорошие руки. Потом рассказал, как шпиц не хотел с ним идти, как он его за это отхлестал. И сейчас же заговорил о том, что зашел к одному приятелю, который держит трактир на Смихове, и встретил у него еще несколько человек знакомых. Пили какое-то вино, ликеры. Человек — существо слабое...

— Ладно, — прервал я его. — Но я ведь дал вам тридцать крон. Верните мне двадцать.

Это нисколько его не смутило.

— У меня действительно оставалось двадцать крон. Но, чтобы сделать вам приятное, я зашел еще на Швиганец и дал там некоему Кроткому в задаток за щенят десять крон. У него замечательно интересная сучка и скоро должна ощениться. Любопытно, какой породы щенят принесет? Самое главное, они от нас не ускользнут, я договорился. Потом шел мимо Палиарки, там отличная

крольчиха продается...

— Что вы говорите, Чижек? Опомнитесь! Разве я торгую кроликами?

— А я сказал «крольчиха»? — переспросил мой помощник. — Значит, оговорился. Я хотел сказать: шотландская сука — овчарка. Тоже беременная. Там я оставил в задаток десять крон, только не за щенят, а за суку: щенята владельцу останутся. Потом шел я по Кроциновой...

— Уже без денег?

— Да, да, правильно, денег у меня больше не было. А будь деньги, так там, у Новака, огромный кудлатый пес продается. Я бы за него тоже задаток дал, чтобы он за нами остался... А сейчас пойду опять на Школьскую. Шпиц-то от меня прямо домой побежал. Так я через час с ним здесь буду.

На этот раз Чижек сдержал слово: он вернулся даже еще раньше, совершенно трезвый, еле переводя дух. К моему изумлению, на поводку у него был черный шпиц.

— Черт знает что! — воскликнул я. — Ведь в объявлении этой дамы говорилось о белом шпице.

Мгновенье он растерянно глядел на собаку, потом, ни слова не говоря, убежал вон. А через два часа опять вернулся, волоча страшно грязного и производившего самое дикое впечатление белого шпица.

— С тем шпицем ошибка вышла, — объяснил он. — У этой дамы, что на Школьской живет, два шпица — черный и белый. Она так обрадовалась, когда я ей черного обратно привел.

Я посмотрел на привешенную к ошейнику бляху: собака была из Жижкова. Я чуть не заплакал от досады, но сдержался. (А Чижек снял бляху, заметив, что оставлять ее на ошейнике опасно.)

Ночью я проснулся, услышав царапанье в дверь. Открываю и узнаю черного шпица, с которым познакомился днем. Он с радостным лаем ворвался в переднюю. Видно, соскучился по нас или ему было слишком далеко до дому. Так или иначе, но у меня имелось теперь две собаки, недоставало только покупателя.

#### IV

В десять часов утра явился и покупатель.

— Где же ваши собаки? — спросил он, озираясь по сторонам.

— Я держу их не здесь... — ответил я. — Кроме вот этих двух шпицев — черного и белого, которых сам вырастил и уже запродам в Брандыс господину эрцгерцогу... Я держу своих собак в деревне, на свежем воздухе, подальше от блох и чумы, от которых в городе их ни один торговец не убережет. Основной принцип нашего кинологического института состоит в том, чтобы предоставлять собакам возможность свободно бегать. В деревне, где находится наш питомник, слуга каждое утро выпускает их на волю, и они возвращаются только вечером. Этот способ выгоден в том отношении, что собаки приучаются к самостоятельности, так как весь день сами отыскивают себе пищу. Мы арендуем для них обширные лесные участки, где они могут питаться разнообразной дичью; и если бы вы видели, до чего комичное зрелище, когда какой-нибудь крошка той-терьер гонится за зайцем!

Покупателю это очень понравилось. Он кивнул.

— Значит, у вас найдутся и очень злые собаки, хорошие сторожа?

— Конечно. У меня имеются такие страшные псы, что я не имею даже воз-

возможности показать их снимки, так как они чуть не разорвали фотографа. Есть собаки, растерзавшие вора.

— Вот такую мне и нужно! — воскликнул покупатель. — У меня дровяной склад, и на зиму очень нужна хорошая сторожевая собака. Не могли бы вы доставить ее сюда из питомника завтра после обеда, а я пришел бы посмотреть?

— Разумеется. Я сейчас же пошлю за ней служителя. Чижек!

Тот явился с любезной улыбкой и тотчас высказал предположение, что где-то уже видел посетителя.

— Чижек, — сказал я, делая ему знак. — Поезжайте сейчас же за тем свирепым псом, как бишь его?

— Фабиан, — невозмутимо ответил Чижек. — Сын Гексы. Страшный пес. Растерзал и сожрал двух ребят: по ошибке его отдали детям играть, и они захотели на него влезть. А насчет задатка...

— Да, да, — перебил покупатель. — Вот сорок крон в задаток. А сколько всего стоит?

— Сто, — ответил Чижек. — И еще гульден. Есть дешевле — на восемьдесят крон. Но она откусила господину, который хотел ее погладить, только три пальца.

— Нет, мне ту, злющую.

И Чижек, получив сорок крон задатку, отправился за сторожевой собакой. К вечеру он достал огромного меланхолического пса самой жалкой наружности, еле волочившего ноги.

— Да это какая-то дохлятина! — с ужасом воскликнул я.

— Зато дешевая, — возразил Чижек. — Попался мне навстречу с этой собакой мясник — к живодеру ведет. Она, мол, тележку возить не хочет и начинает кусаться. Я подумал: «Из нее славный сторожевой пес выйдет». И потом, ежели на склад заберется дельный вор, так он ее отравит, и хозяин к нам же придет другую покупать...

Несколько минут мы толковали об этом; затем Чижек вычесал собаку, и мы отварили ей рису с костями. Она сожрала два горшка этого варева, но осталась такой же вялой и жалкой на вид. Лизала нам ботинки, совершенно безучастно бродила по квартире и, видимо, была огорчена, что хозяин не довел ее до живодера.

Чижек попробовал придать ей более устрашающий вид. Так как она была светло-рыжая с белыми или даже седыми пятнами, он провел ей тушью по всему телу большие черные полосы, благодаря чему она стала похожа на гиену. На другой день покупатель, придя за ней, в страхе отпрянул.

— Какое страшилище! — воскликнул он.

— Своих она не трогает. Зовут ее Фоксом. Погладьте, не бойтесь.

Покупатель стал упираться, так что нам пришлось в буквальном смысле слова подтащить его к чудовищу и заставить погладить. Сторожевой пес стал лизать ему руку и пошел за ним, как овечка.

Ночью этого господина обокрали дочиста.

## V

Подходили святки. За это время мы при помощи перекиси водорода перекрасили черного шпица в желтого, а белого сделали черным, натерев его раствором азотного серебра. Обе собаки во время этих операций так страшно выли, что получалось впечатление, будто в распоряжении кинологического ин-

ститута не две, а по крайней мере шестьдесят собак.

Зато у нас было множество щенят. Вдобавок Чижек страдал навязчивой идеей, что щенята — основа материального благополучия. Перед святками он стал приносить в карманах шубы сплошь одних щенков. Посылаю его за догом, а он приносит щенят таксы. Посылаю за пинчером — приносит щенка фокстерьера. У нас скопилось тридцать щенят, и, кроме того, было роздано около ста двадцати крон задатка.

Мне пришла в голову мысль, учитывая предпраздничный период, снять на проспекте Фердинанда в Праге магазин, поставить там елку и открыть продажу украшенных лентами щенят под лозунгом: «Покупайте щенят! Лучший праздничный подарок детям — хорошенький щеночек».

Я снял помещение. Это было примерно за неделю до рождества.

— Чижек, — сказал я, — отнесите щенят в наш магазин на проспекте Фердинанда, поставьте елку побольше, разместите поэффектнее щенят на витрине, купите мху... Словом, полагаюсь на вас, устройте все хорошенько, со вкусом. Понятно?

— Будьте спокойны. Все устройю к вашему удовольствию.

Он увез щенят в ящиках на ручной тележке, и я после обеда пошел посмотреть, какое удовольствие он мне там приготовил и как выглядит витрина.

Завидев издали возле магазина толпу, я сразу понял, что щенята вызвали огромный интерес. Но, подойдя ближе, услышал возмущенный ропот:

— Какое зверство! Надо вызвать полицию! Как можно это допускать?!

Протолкнувшись к витрине, я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги.

Чижек для вящего эффекта развесил на ветвях высокой рождественской елки, словно конфетки, до дюжины щенят. Бедняжки болтались, высунув языки, как повешенные на дереве средневековые разбойники. А под елкой было написано:

«Покупайте щенят! Лучший праздничный подарок детям — хорошенький щеночек».

На этом кинологический институт окончил свое существование.

## Роман Боженки Графнетровой

Боженка Графнетрова, о которой пойдет речь, вовсе не была какой-то законченной суфражисткой, но та великая эпоха наложила на нее такой же отпечаток, что и на ее сестер в Англии, она смотрела на мужчин так же холодно, и голубые глаза ее глядели по сторонам совершенно спокойно, как бы говоря: «Нет, меня вы не проведете!»

Если ей приходилось вступать в какое-нибудь деловое общение с мужчиной, хотя бы со служащим продовольственной таможни, она делала это без тени кокетства, и глаза ее сохраняли при этом холодное, строгое выражение.

Могла ли она смотреть на мужчин иначе, когда ее подруги в Англии жгли железнодорожные станции, особняки и доходные дома, когда эти нежные существа вели себя хуже башибузуков?

Могла ли она улыбаться, придя в магистрат по какому-нибудь поручению отца и разговаривая там с множеством молодых людей, коли это все те же мужчины, которые в Англии насильно кормили в клетках пойманных хищниц?

Если же, с другой стороны, мы учтем, сколько приходилось ей читать об обманутых женщинах, то не будем удивляться, что она глядит на вас скептически и что взгляд ее, остановившись на вас в трамвае, как бы выражает ее излюбленный лозунг: «Нет, меня вы не проведете!»

Вы даже не думали о том, как провести эту голубоглазую блондинку. Бог свидетель, вы вовсе не обращали внимания на Боженку Графнетрову! Но это вам не поможет. Отыскав среди сидящих в вагоне представителя мужского пола, особенно молодого, глаза ее тотчас объявляют ему то же самое, что заявила эта юная особа господину, посадившему ее в вагон: «Нет, сударь, меня вы не проведете!»

У Боженки Графнетровой была своя система, при помощи которой она давала понять, что проникла в замыслы мужчин. Система эта состояла в высматривании и выискивании тех, кто заслуживает неожиданного ледяного душа.

На улице она то и дело оглядывалась, и если какой-нибудь простак, заметив это и поняв превратно, возвращался и пробовал ее догнать, она, оглянувшись еще раз, останавливалась у витрины, неподалеку от постового полицейского. И когда — господи, прости этому дурню! — молодой человек подходил к ней со словами: «Разрешите проводить вас, сударыня!» — она кидалась к блюстителю порядка:

— Помогите, пожалуйста! Этот молодой человек пристает ко мне!

Полицейские, постоянно дежурившие на проспекте Фердинанда, излюбленном пражанами месте прогулок, очень хорошо ее знали, так как она часто применяла эту свою охлаждающую систему именно там.

Знали Боженку Графнетрову и в сальмовском полицейском участке, куда, по ее требованию, был доставлен один упорный юноша, прельщенный ею и отвергнутый, но желавший во что бы то ни стало проводить ее и на ее энергичное: «Сударь, отстаньте от меня!» — возразивший: «Ладно, ладно, душенька!»

Она страшно обижалась, когда ее называли так. Как-то раз один таможенный чиновник спросил ее:

— Что несете, душенька?

— Кто это «душенька»? — сурово переспросила она. — Я буду жаловаться. Она ворвалась в канцелярию. Там начальник ласково осведомился:

— Что вам угодно, душенька?

Когда к ней вернулось сознание, она выбежала из канцелярии и дома плакала от ярости. Черт бы их побрал, этих мужчин! Стоит упасть в обморок, как они уже норовят расшнуровать корсет!

С той поры Боженка из осторожности отказалась от корсета, думая с удовольствием: «Теперь уж меня не проведете!»

Золотая моя Боженка Графнетрова! Как стойко отбивались вы от мужчин, — не хуже Гретхен, которая на обращение к ней Фауста: «Прекрасная барышня!» — ответила с девическим целомудрием: «Я не барышня и вовсе не прекрасная». (Хорошо, что он не назвал ее «прекрасной девой».) Не столь энергично ополчалась Орлеанская дева против рыжих детин Генриха, сколь отважно наша героиня ездила в Стромовку, где всегда так много индивидуумов мужского пола, бездельников, подсаживающихся к боженкам на лавочку и начинающих с ними заговаривать с целью завязать знакомство.

Боженка ездила в этот опасный район гордо и смело, как все завоеватели мира.

Нет, она не даст подкупить себя льстивыми словами, ей хорошо известны эти мужские козни! Она брала из отцовской библиотеки какую-нибудь книгу в красивом переплете и, приехав в Стромовку, в ожидании жертвы скромно садилась где-нибудь на уединенную скамейку.

Раз она обратилась к господину, севшему рядом с ней и не сказавшему ей ни слова, с вопросом:

— Что вам от меня надо, сударь?

— Ничего, деточка.

— Я вам не деточка, понимаете? И мне прекрасно известно, зачем вы здесь сели. Вы собираетесь заговорить со мной об осени, о том, как падают пожелтевшие листья, о том, что ваша жизнь — тоже осень, в ней нет солнца, и как его вам не хватает. Но меня на это не поймаете. Будьте здоровы. — И с обиженным видом удалилась.

Он растерянно глядел ей вслед, бормоча себе под нос:

— Девчонка с ума сошла! У меня и в мыслях не было с ней заговаривать. Я слова ей не сказал!

А достойная Боженка Графнетрова шла по дорожкам Стромовки, твердя про себя: «Ловко я его срезала!.. Даже здесь девушке нет покоя от мужчин!»

Но как-то раз на другом конце Стромовки она на свой вопрос получила грубый ответ:

— Тогда чего вы сюда шляетесь?

Ее самолюбие было глубоко этим задето, и она здорово отругала обидчика.

Часто она думала, бродя по дорожкам Стромовки: «Вот, привел бы бог, кто-нибудь попробовал бы меня поцеловать: я дала бы этому человеку пощечину и убежала!»

Так она и поступила с одним господином, сидевшим на скамейке, на которую она решила сесть. Он осведомился, что у нее за книга. Боженка сама не знала, какая у нее книга в руках, так как не заглядывала в нее.

— Сударь, — ответила она. — Это ловушка, я очень хорошо понимаю: так

завязывают знакомства. Но меня не проведете! Потом вы назовете меня какими-нибудь ласковыми словами и потребуете поцелуя, но я вам покажу!

Она дала ему пощечину и убежала.

Ночью она спала спокойно и видела во сне, будто рубит мужчинам головы. Сон был такой приятный, такой яркий и красивый... Но наступило утро, и пришлось вставать, так как отец послал ее в банк получать какие-то деньги.

Она охотно отправилась туда, потому что никто из тамошних молодых людей не обращал на нее внимания, после того как она не раз заявляла им, что считает их распутниками.

Ей выплатили по чеку триста крон, и она пошла домой, гордая, смелая, спрятав деньги в сумочку.

У выхода ей встретился красивый черноглазый молодой человек в элегантном костюме.

Поклонившись, он учтиво промолвил:

— Простите, мадемуазель. Вы не скажете, как пройти на Лазарскую улицу?

Такого вопроса ей никто еще не задавал. Мгновение поколебавшись, она ответила:

— Пойдемте, я покажу вам. Я иду на Смихов.

Они пошли. Он извинился, объяснил, что приехал из Пльзени, и просил ее не сердиться.

Она возразила, что не сердится, но что все мужчины лживы.

— Вы правы, они негодяи, — согласился он.

Это ей понравилось. В глазах ее, обращенных на него, уже не было выражения: «Меня вы, сударь, не проведете!»

А когда они на Перштыне попали в толпу, этот милый, славный молодой человек вырвал у нее сумочку и скрылся.

Золотая моя Боженка Графнетрова! Что делалось, наверно, в твоей невинной головке, когда тебя же потом обзывали дома потаскушкой и попрекали тем, что ты бегаешь за мужчинами!

Какой мучительный получился роман, смиховская Гретхен!

## Весенние настроения

Наконец-то пан Гартл решился издать книгу стихов о весенней природе. Этой решимости он, разумеется, был обязан женщине. Женщиной же этой была не кто иная, как м-ль Милена, прочитавшая в одном из модных журналов, что возлюбленные призваны вдохновлять своих избранников на великие дела. Поначалу пан Гартл сопротивлялся, утверждая, что человек, построивший, например, обсерваторию, любовницы не имел.

Она заплакала, испытанно, примитивно и в то же время как-то изощренно всхлипнула, как эти существа умеют, и потом начала говорить о банальности и прозе жизни. А после вкрадчиво прошептала:

— Знаешь, стоит тебе только захотеть, и я вдохновлю тебя на великие дела. О, если б ты умел писать стихи и посвящал их мне...

С той минуты в нем проснулось страстное желание стать поэтом. А поскольку у м-ль Милены был обворожительно ласковый взгляд и нежные, прямо-таки шелковые ручки — он ощущал это всякий раз, когда она его гладила, — он заметил в себе глубокие поэтические перемены. Он вычитал, что известный русский поэт Кольцов до того, как стать поэтом, пас свиней. Это укрепило его в убеждении, что он, бухгалтер фирмы лакокрасок, и подавно сможет преуспеть на поэтическом поприще.

А пока что пан Гартл в глубоком раздумье обходил склады и, согнувшись над книгой учета, писал:

«200 кг индиго, 500 кг слоновой кости, 200 кг кошенили».

Но при этом он чувствовал, что благодаря Милене способен создать великое творение о том, что на дворе, позади складов, вступает в свои права весна, распускаются сады, цветет кустарник... А слуга Франтишек в это время безмятежно храпит на мешках жженой кости, скучный и лишенный всякого воображения, как и вся прозаическая атмосфера склада.

Потом на склад прибыли бочки со свинобродской зеленью. Когда их открыли и пан Гартл увидел тонкую ядовитую краску медной зелени, он невольно вспомнил о нежной зелени лугов и деревьев, о яркой зелени озимых, о полях, волнуемых ветром.

Да, помимо Милены, он обязан был вдохновением и краске — свинобродской зелени.

На улицах он видел девушек с букетиками фиалок, а на рынке — плетеные корзины с первоцветами и другими весенними цветами. Укладываясь в тот вечер спать, он пришел к твердому убеждению, что в душе его родился поэт, и теперь со стихами, воспевающими красоту природы, все пойдет как по маслу.

Для начала он купил тысячу листов бумаги и два вечера убил на то, чтобы разрезать их на четыре тысячи четвертушек. Приобрел твердые папки и все их надписал красивыми округлыми буквами с завитушками: «Весенние настроения, запечатленные Ольдржихом Л. Гартлом».

И в выходной день, вооружившись несколькими блокнотами и четырьмя авторучками, он действительно отправился на охоту за «настроениями».

Сойдя с поезда на маленьком полустанке, он поднялся по склону сразу за путевой сторожкой.

Пан Гартл был ошеломлен впечатлением, какое произвела на него березовая роща. При виде мелких нежнозеленых листочков на тоненьких ветках он

невольно опустился на шелковую молодую траву, и возникшее в душе его неведомое прежде томление знаменовало собой наступление долгожданного мгновения...

Он достал ручку и собрался запечатлеть что-нибудь великое на первой странице девственно чистого листа.

Но не тут-то было. В голову лезли только привычные фразы делового содержания: «Сообщаю Вам, что березы имеют цвет хромовой зелени № 26, образцы коей прилагаются».

«Будто от фирмы Дрюкнер в Страсбурге, — вздохнул он. Надо будет им ответить».

Он поднялся выше, сел на пенек и посмотрел на долину. Внизу широкими зелеными полосами простирались поля ржи, и он вспомнил о кобальтовой зелени № 3 берлинского производства.

«Уже кончается, — подумал он, делая себе пометки, — пора бы заказать побольше».

«Вот бы такой узор на обои! — сказал он рассудительно, глядя с холма на молодые всходы. — Верхняя полоса выглядит, как сочная зелень, ее у нас осталось тридцать кг по пять крон, итого — на сумму сто пятьдесят крон. С августа она снова подорожает, но пока что будем считать — сто пятьдесят крон. Но как все-таки быть со скидкой при уплате наличными?..»

Он встал и пошел к лесу. Тропинка вывела его к ельнику, отливавшему зеленым пигментом № 4д. Это ему сразу бросилось в глаза.

«Интересно, — бормотал он про себя, — добьется ли австрийский лакокрасочный синдикат того, чтобы, вопреки намерениям правительства, не отменили таможенную пошлину на поступающие из Германии краски? Но пусть тогда ликвидируют картель! — воскликнул он гневно, колотя тростью по молоденькой елочке. — На эту проклятую малахитовую зелень цены подняли уже с февраля!»

Он успел перебить елочку пополам, когда сзади кто-то цепко схватил его за ворот.

— Я уже давно наблюдаю за вами, — промолвил кто-то, разворачивая его к себе, — сейчас вы пойдете со мной в муниципалитет. Видите этот знак?

— Вы изволите быть лесником, не правда ли? — мирно осведомился пан Гартл. — Что ж, я готов дать в муниципалитете свои чистосердечные показания относительно малахитовой зелени.

— И чего лезет, — сказал строгий страж лесов.

— Малахитовая зелень — очень дорогой продукт, — объяснял по дороге пан Гартл, — советую вам запастись ею заблаговременно, потому что, возможно, на нее еще накинута цену.

— Так и лезет, ненормальный...

Они вышли на проселочную дорогу.

— Это красный железняк, — сказал пан Гартл, обратив внимание на красный цвет дороги, — наша фирма может вам его поставить немедленно, один килограмм идет по кроне двадцать.

В муниципалитете без долгих разговоров составили протокол, и пан Гартл как-то машинально уплатил 20 крон штрафу.

Однако он тут же вернулся обратно и, подавая свою визитную карточку, сказал секретарю муниципалитета:

— Если вам когда-нибудь понадобится хромовая зелень, кобальтовая зелень, сочная зелень, зеленый пигмент и малахитовая зелень, обратитесь в нашу фирму. Платежи и оформление бумаг осуществляются в Праге. При уплате наличными — пять процентов скидки. Муниципалитетам — поставки-франко!

И пан Гартл двинулся дальше в путь. «И в самом деле, поля выглядят, как хромовая зелень, — сказал он себе, приближаясь к маленькому городку. Надо будет послать им сюда образцы и преЙскурант».

Вечером он оказался в районном городке и зашел в гостиницу «На почте», сделав по пути еще разные нужные заметки, касающиеся рассылки офферт фирмам. В ресторане он заключил торговую сделку со своим старым клиентом — тамошним материалистом — на поставку пяти бочек охры и утром отбыл обратно в Прагу.

Уже подъезжая к Праге, он выглянул из окна и заметил небольшое поле, отчаянно вклинившееся между домов предместья.

И тут пан Гартл вспомнил, зачем он, собственно, выезжал за город, и у него родилась блестящая мысль.

Он выхватил карандаш и записал в блокнот:

«Озимь молодая зеленеет везде».

И это было все. Потом он видел только дома и дома. Трубы заводов и развешенное на балконах белье.

Итак, в книге «Весенних настроений, запечатленных Ольдржихом Л. Гартлом», появилось:

«Озимь молодая зеленеет везде».

А ниже:

«Поставить Р. Вошару в Камыку пять бочек охры (получу 19 крон комиссионных). Дорога обошлась в 7 кр. Денежные расходы — 10 кр. Штраф — 20 кр. Леснику на пиво, чтоб выпустил мой воротник, — 1 кр. Убыток от «Весенних настроений» — 19 кр.».

## Визит в город Нейбург

Ей-ей, поразительно порой баварское гостеприимство. Иной раз даже кажется, что ради гостеприимства баварцы готовы пожертвовать и благополучием своей родины; пример этому — Ингольштадт, премиленькая крепость на Дунае, образующая некий центр обороны между Нассау и Ульмом; жители его из чисто эгоистических соображений готовы удержать натиск вражеских армий, продвигающихся по долине Дуная, с востока или запада — это неважно. Укрепления здесь строили еще старые римляне, и милые баварцы подражают ныне мастерам тактики оборонительных укреплений. Крепостей с таким количеством всевозможных укреплений и фортов иностранные государства, можно сказать, не знали.

Сегодня любой младенец в генеральных штабах за границей знает, что Ингольштадт окружен системой маленьких крепостей в виде ромба, и это благодаря тому, что гостеприимство горожан поистине беспредельно.

Добрый зажиточный город позаботился о неимущих путниках, построив «специальный» дом, где любой из них в течение трех дней получает на обед два маза[122] пива, на ужин три маза пива, постель и завтрак. Баварское министерство внутренних дел, однако, сочло это расточительством по отношению к народному достоянию и распорядилось, чтобы каждый путник отработал за это гостеприимство.

Город, таким образом, издал распоряжение о том, что каждый бродяга, когда выпьет положенное ему пиво и проспит свои три ночи, обязан полдня работать на укреплениях, строить насыпи, возводить тайные ходы и тому подобное.

В итоге ныне вся Европа наслышана о превосходных укреплениях крепости Ингольштадт.

С гордостью смотрят ингольштадтцы на свои укрепления, провожая любовным взглядом *armbübli*, бродяг, которые шествуют по городу в колоннах, с лопатой на плече. Они идут работать в крепостцы; у каждого в котомке полметра ливерных колбасок и кусок копченого мяса. Там вы увидите носителей всех индоевропейских языков. Один старый бродяга рассказывал мне, что на работах в крепости увидишь и таких чудаков, которые в перерыве ни с того ни с сего начинают что-то царапать на обрывке бумаги... А после работы, в полдень, каждому еще дают тридцать пфеннигов и талон на маз пива в пивной у Гюрта — она сразу же за воротами города Ингольштадт; потом уж бродяги расходятся кто куда по баварскому королевству.

От Ингольштадта бродяги, желающие попасть в Вюртенберг, идут вдоль Дуная по приветливым равнинам в сторону Нейбурга, где лежит прославленная «Швобенланд» — страна маленьких кнедликов, жареных кровяных колбас и кислой капусты.

Там я повстречал одного своего знакомого, возвращавшегося из Нейбурга, он был весел, сыт и благодушен. Оказывается, в Швобенланде бродягам дают по десять пфеннигов. Мой знакомец был старый, выдавший виды бродяга, и для его характеристики, вероятно, стоит добавить, что вот уже пять лет он бродил по Германии с венгерским сертификатом для скота, который, судя по всему, везде принимали за рекомендательное письмо министерства иностранных дел, за документ, более авторитетный, чем паспорт с местной про-

пиской.

— В Нейбурге хорошо, — сказал он, лукаво улыбаясь. — Там открыли новое благотворительное заведение.

После этих слов он нырнул в тростник придунайской топи, так как мы увидели, что наверху по насыпи неторопливо шествуют зеленые брюки жандарма.

Впрочем, опасность нам не грозила, поскольку зеленые брюки улеглись на нежный мох в тени березового леска.

Но мой знакомый отвязал тем временем лодку и поплыл через Дунай на другой берег, что-то довольно напевая.

Ну, а я направился вверх по Дунаю, чтобы проверить на себе это новое благотворительное заведение в Нейбурге.

К Нейбургу я пришел в прекрасный июньский день и перед входом в город пересчитал свою наличность, убедившись, что у меня всего пять пфеннигов. Я не ошибся — как и всегда во время странствий по этой широкой дунайской равнине: ну что ж, я вздохнул и направился далее, навстречу неизвестному будущему в этом милом городе. Перед городскими воротами, где под крепостными стенами играл военный оркестр, мое внимание привлек столб с многообещающим транспарантом — там были стихи:

*Voel Glück dir auf deiner Reise,  
in dieser Stadt bettle nur leise:[123]*

Ниже было написано: «Неимущим путникам рекомендуют обратиться за помощью в местное полицейское управление».

Я на минуту задумался, но вспомнил, что баварцы не способны на предательство. Этот добродушный народ наверняка не станет заманивать бродяг такими надписями в полицейскую ловушку.

Поэтому я вошел в город через ворота, на которых красовалась еще одна добродушная надпись:

*Reisender, fürcht nichts![124]*

Какой-то мальчик, обратив внимание на мой интернационально-бродяжий вид, сказал:

— Слава Иисусу Христу, полиция там налево.

Не успел я туда дойти, как у меня в руке оказалась монета в двадцать пфеннигов, которую дала мне юная прелестная девушка, разглядывавшая безлюдную площадь, такую старинную, что, находишься она в Праге, на ней уже давно выстроили бы современные дома.

А ведь я не делал ничего, только осматривал фасады домов.

Двери караулки были распахнуты, а в коридоре сидели на холодном кирпичном полу четыре полицейских и играли в карты. Возле каждого из них стояло по кувшину черного пива, и когда я скромно остановился перед ними, один из них спросил меня без всякого вступления:

— А ты ведь хочешь пить, да, schweinübli?[125]

Я кивнул ему в ответ, а потом пил из каждого кувшина поочередно, в том порядке, как они протягивали их мне.

Потом самый толстый из них, комиссар, расспрашивал меня про урожай в Горных Франках. Выслушав ответ, он встал и сказал:

— Ну, тогда я тебе, сволочь, выпишу талон на ужин и ночлег, а ты пока бери мои карты, играй за меня.

Я сел и сыграл одну партию швабского марьяжа. (Сколько у игрока десятков, столько раз он должен пить. Через два часа человек уже не различает козыри.) Комиссар вернулся.

— На вот, а сейчас мы разбудим Кодла, он сегодня дежурит.

Мы пошли будить того, который дежурил, и он отправился со мной за Дунай, в трактир «У дунайской розы».

Он шел охотно, поскольку ему было обещано вознаграждение — два маза пива. Мой талон тоже выглядел многообещающе — я мог выпить три маза, съесть две порции «lebenwürsta»[126] с хлебом — этого потрясающего национального блюда; к тому же мне гарантировался ночлег в постели и было позволено, как дословно написал комиссар в талоне, безнаказанно использовать общественную благотворительность — пока я не надоем посетителям. Это превзошло все мои ожидания.

В трактире оказался один рыбак, побывавший в Чехии на Святой Горе у Пршибрама; на обратном пути он впал в такую нужду, что готов был отдать в заклад статуэтку Девы Марии, но чешские крестьяне даром напоили его, накормили и дали провизии на дорогу. «Mir san auch so roh, awer gutmütlich»[127], — сказал он. Был там и еще один человек, утверждавший, что бывал в Австрии, и что там-де солдаты носят ружье на ремне, хотя это глупо. Его надо носить на плече, придерживая приклад ладонью, как в Баварии.

Я помню, что его прогнали — они вообразили, что меня это задело. Затем каждый из присутствующих заказал, мне по мазу пива, и я смог угостить и своего полицейского. После двух ночи меня отнесли на чердак на постель и предупредили, чтобы я не забыл погасить свечку — во избежание пожара, как недавно случилось напротив, где сейчас пожарище.

Утром, едва развиднелось, меня разбудил громкий стук в дверь, потом кто-то толкнул ее ногой, и на пороге появился мой вчерашний провожатый.

— Одевайся, прохвост, — сказал он сонным голосом, — шутки кончились. Теперь я буду с тобой официален.

Я оделся. На улице он спросил:

— У тебя есть что курить, прохвост?

— Нет.

— Давай сюда трубку.

Он набил мне трубку, раскурил ее и сказал:

— Ну, а теперь жми вперед, теперь это уже работа.

Вижу: он ведет меня за город.

Мы шли под лучами утреннего солнца около получаса, пока не пришли к какой-то каменоломне.

— Вон там тачка, — сказал он. — Ты должен отвезти камень на дорогу, перевезешь три тачки. погоди, я тебе помогу.

Он снял мундир и принялся старательно носить камни к тачке, ворча:

— Чертовы бродяги, прохвосты.

Когда мы так, с божьей помощью, перевезли на дорогу три кучки, он сказал:

— А теперь раздробишь это — сделаешь щебень. Вот очки, а там — молотки. Я немного тебе помогу.

Он уселся на одну кучу и принялся вздыхать:

— Чертовы бродяги, прохвосты.

Солнце поднялось высоко, когда мы все закончили.

— Ну, слава богу, — сказал он, утирая пот, — я выплачу тебе здесь пятьдесят пфеннигов, как *resedeld*[128], а потом ты пойдешь в монастырь, там тебе дадут суп, что остался от больных. Ну вот, десять пфеннигов, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят.

Он выдал мне плату, и я бросился наутек. Он удивленно смотрел мне вслед, а потом закричал:

— Если встретишь какого бродягу, говори, что в Нейбурге хорошо...

Теперь я понял, почему тот старый бродяга сказал мне, что в Нейбурге хорошо, — поскольку там есть новое благотворительное заведение.

И кого бы я ни встретил, я всех соблазнял Нейбургом.

## Дело о взятке практиканта Бахуры

Бахура — практикант из магистрата, неопытный молодой человек, не знал, что здесь людей его склада подстерегают тысячи опасностей и что требуется твердый характер, чтобы не поддаться соблазнам и не впутаться вместе со своими начальниками или без них в какие-нибудь дела, связанные со взятками.

Практикант Бахура не знал, что гидра корыстолюбия никогда не дремлет и так же подстерегает хрупкие души практикантов из магистрата, чтобы проглотить их, как проглотила уже многих седовласых старцев из городского самоуправления.

Все крупные дела о взятках в ратуше, которые взбудораживали общественное мнение[129], просто несравнимы с делом практиканта Бахуры.

Ныне продажный Бахура скитается по белу свету, как Иуда, ибо снова поверг чистое знамя ратуши в грязь и совершенно его испачкал.

Чтобы понять всю эту гнусную историю, мы должны начать свой рассказ с Малой Страны.

Дело в том, что на Малой Стране, в сети старинных улочек и переулков, находится трактир пана Шедивого.

Шедивый был одним из тех старых добряков, которые пренебрегали санитарными предписаниями пражского магистрата и, может быть, в течение десятилетий выводили вентиляционные трубы в писсуар.

Посетители трактира никогда не жаловались: пиво было крепкое, а в писсуаре всегда стояла темнота.

В этом писсуаре, сыгравшем выдающуюся роль в деле о взятке практиканта Бахуры, не было никакого окна, никакого отверстия, через которое свет мог хотя бы чуть-чуть пробиться внутрь унылого, сырого помещения, чтобы оно стало хоть немного привлекательнее и веселее.

Но посетители трактира Шедивого не обращали на это никакого внимания. Консервативная Малая Страна не протестовала в своем каменном оцепенении, и пан Любош Ержабек, конечно, мог бы порадоваться этому.

Настало, однако, время, когда движение современной жизни достигло наконеч и писсуара пана Шедивого.

Строительная комиссия констатировала оба ужасных факта: вентиляционные трубы выходили в писсуар (о чем сейчас же и было сообщено санитарной

комиссии), и в неосвященный писсуар не было доступа свежего воздуха.

Вот так практикант магистрата Бахура, письмоводитель строительной комиссии, и познакомился впервые с господином Шедивым.

Суровым взглядом следил он за всеми движениями трактирщика, который упрямо и воинственно утверждал, что, когда ни одного из членов уважаемой строительной комиссии еще и на свете-то не было, в этом писсуаре уже удовлетворялась малая нужда посетителей трактира и все всегда обходилось благополучно. Для тех вещей, которые видеть не положено, хватит и отводной канавки, а для доступа воздуха существует дверь и ее вполне достаточно.

— Успокойтесь, — говорили ему, — не допускайте оскорблений официальных лиц. Вы думаете, что очень приятно ходить по писсуарам?

Затем ему предложили пробить стену и сделать в писсуаре окно, а поскольку речь идет о переделках в помещении, относящемся к трактирному промыслу, нужно подать просьбу и представить план, чтобы получить разрешение на эти работы.

Все это произошло утром, а днем пришла санитарная комиссия. Она предложила трактирщику вывести вентиляционные трубы через отверстие, которое будет пробито в стене, в световой фонарь.

Шедивый чуть с ума не сошел. По предписанию свыше он должен пробить стену, но в то же время просить на это разрешение и представить план переделки; а вентиляционные трубы из санитарных соображений вывести в световой фонарь, куда выходят окна нужников со всего дома.

Трактирщик не спал всю ночь и утром пошел к подрядчику каменщиков, чтобы тот составил план требуемых работ, а затем с помощью одного писаря из Градчан, занимавшегося сочинением подобного рода бумаг, подал прошение в магистрат. В своем ходатайстве Шедивый просил уважаемый магистрат в самый короткий срок одобрить план переделок и разрешить пробить окно в писсуар, за что он, Шедивый, обещает отблагодарить на старости лет добропорядочным поведением.

Прошло три воскресенья, а ответа на прошение все еще не последовало. Тогда трактирщик Шедивый отправился в магистрат, чтобы подтолкнуть дело. В строительном отделе он застал лишь практиканта Бахуру, остальные сидели в ресторане «У Коринтов» и завтракали там с девяти часов утра. Сейчас было ровно двенадцать.

— Что вам угодно? — с достоинством спросил практикант Бахура.

— Да насчет этого писсуара я пришел, молодой человек. Шедивого писсуар, что на Малой Стране, ежели помните.

— Да-да, помню, — величественно сказал Бахура, — кажется, помню. Так что же вам угодно?

— Понимаете, уже три воскресенья прошло, не вредно будет и поторопить дельце-то. Мои гости уже радуются тому окну, будто дети малые, а у нас все ни с места, вот в чем вся загвоздка.

Бахура вспомнил, что просьба уже давно удовлетворена и бумага лежит вон там, в ящике стола. Остается только отослать ее, но заведующий отделом распорядился: «Погодите отсылать, пусть этот трактирщик подождет. Да-да, магистрат должен держать этих людей в ежовых рукавицах».

Бахура, помолчав, сказал важно:

— Ну, мы посмотрим, что удастся сделать.

Через две недели трактирщик Шедивый пришел еще раз. Бахура ответил ему опять важно и надменно:

— Ну, мы посмотрим, что удастся сделать.

Примерно через неделю после этого визита Бахура шел по своим личным делам по Франтишковой набережной. У него было назначено там свидание с одной барышней, которая была очень довольна, что ее кавалер — господин из магистрата.

День был хоть куда — жаркий, солнечный. Бахура остановился у киоска с водами, выпил стакан малиновой воды и стакан лимонаду и зашагал дальше, полный радостного ожидания предстоящей встречи со своей девушкой.

Градчаны на горизонте, Петршин весь в зелени, цветущие каштаны на Стршелецком острове — все было прекрасно. Но посреди всей этой благодати у Бахуры вдруг заболел живот. Уходя из дома, он съел стакан йогурта — болгарской простокваши, малиновая вода и лимонад довершили неумолимый процесс в лабиринте кишечника практиканта.

Напротив Градчан, в садах на набережной, стоит домик. Маленький, но самый важный среди окружающих домов. («Часто пастушья хижинка может значить больше, чем лагерь, в котором сражался Жижка» — вот что я всегда припоминаю, проходя мимо этого домика.)

На нем две вывески. Со стороны набережной вы можете прочитать: «Для мужчин»; со стороны детской площадки в скверике на набережной — более интимное: «Для дам».

Как лев ворвался Бахура внутрь домика, как жаждущий араб в оазисе накидывается на источник, как призывная комиссия — на рекрутов.

— Первую или вторую?

— Вторую, — скромно, но поспешно ответил Бахура.

Старенькая уборщица посмотрела на него и сказала:

— А я вас, молодой человек, откуда-то знаю.

Она вырвала из книжечки билетик. Бахура достал кошелек и испуганно воскликнул:

— Это невозможно! Я думал, что у меня остался еще пятак!

Старушенция посмотрела на него еще раз и сказала с расстановкой, усиливая и без того безвыходное положение Бахуры:

— Знаете, где я вас видела? У своего брата Шедивого, трактирщика с Малой Страны. Я была дома, когда вы пришли к нам с этой комиссией насчет писсуара. Берите же талончик, ведь за вами-то не пропадет.

Бахура вскочил в маленькую кабинку, и когда, счастливый и веселый, выходил оттуда, бабка сказала ему вслед:

— И не забудьте, молодой человек, мой брат хочет поскорей получить ответ насчет своего нужника.

На другой же день Бахура, не спросив своего начальства, отослал пану Шедивому прошение и планы, пролежавшие в магистрате после утверждения уже более месяца, и удовлетворенно перевел дух.

Каждое утро в девятом часу советник магистрата пан Станек делал остановку на Франтишковой набережной, в том зданьице, где практикант Бахура позволил гнусно подкупить себя. Пан советник останавливался здесь, чтобы поговорить с бабкой и получить от нее информацию о мнении общественности насчет городского хозяйства, потому что старушенция из общественной

уборной была для него гласом народа. Таков уж был его конек.

— Да, ваша милость, эти взятки да подкупы докатились уже и до самой мелкоты, — болтала бабка. — Да-да, эти людишки из ратуши оставляют здесь бесплатно то самое... а потом сразу же начинают играть на руку кому надо, вроде как моему братцу, к примеру сказать.

И она подробно рассказала пану советнику всю гнусную историю со взяткой, которую получил практикант Бахура.

Ныне на месте Бахуры сидит уже другой практикант.

По окончании расследования по делу трактирщика Шедивого, когда был установлен факт получения взятки, Бахуру уволили из магистрата.

Ныне он, словно Иуда Искариот, скитается по Европе, и в последний раз его видели в Гамбурге, где он как-то подозрительно смотрел в черные воды канала.

Кто-то подслушал его разговор с самим собой:

— Если бы я хоть получил абонемент на целый год... Да-да! Мелких преступников вешают...

## Страстное желание

**П**атер Ярич был не в духе: никак не мог придумать, с чего начать завтрашнюю проповедь, которая должна была отличаться особой торжественностью, так как на мессу ожидалась сама баронесса, покровительница здешнего прихода.

Эта проповедь должна была отличаться особым блеском, она должна быть чем-то таким, что разразилось бы внезапно, захватив прекрасную владелицу замка и направив ее на путь добродетели.

Патеру было известно, что у нее связь со многими мужчинами, что она живет одновременно и с поручиком драгунского полка, и с молодым конюхом, которого называет «деточкой».

Патеру Яричу не пришло в голову ничего, с чего бы он мог начать завтрашнюю проповедь, еще и потому, что он, размышляя о жизни баронессы, не находил подходящего для данного случая готового текста. Он уже почти перелистал весь «Календарь проповедника», на страницах которого мелькали такие названия, как-то: «Воспитание духа или тела», «Верное спасение», «Истинное утешение», и ничего не находил.

Впрочем, последнее заглавие ему снова напомнило баронессу:

— Ах, эта мадам Ольга фон Габберехт! Вот истинное утешение.

Патер Ярич вздохнул и снова погрузился в мысли о греховном поведении баронессы.

Когда с ней впервые сошелся гундосый старикашка-барон, ей было всего шестнадцать лет. Тогда она была обыкновенной прачкой. Этот старикашка отправил ее в город, где она обучалась танцам, затем она вернулась и стала забавлять барона танцами.

Так о ней рассказывал патеру местный учитель, восторженный и романтический молодой человек. Этот же учитель рассказывал, что она так очаровала барона, что он взял ее замуж, затем у нее родился ребенок от лакея, после чего барон вскоре умер. Ребенок тоже умер, и баронесса Ольга оказалась окруженной множеством почитателей как владелица крупного имения.

По ночам в замковом парке эта женщина гуляла под руку со своими любов-

никами, которых она умела менять, как перчатки. Во время лунных ночей ее замок напоминал времена римских развратников; кипарисовые рощи, туи и пинии древнего Рима заменялись здесь тенью искусно разбитого парка, поглощавшего страстные вздохи мадам фон Габберехт.

— Удивительно, — сказал себе патер Ярич, — чего доброго, я еще ударюсь в поэзию. И влезет же в голову такое! — Он открыл молитвенник и прочел: — «Истинно есть, что тщета творит безволие, но в том, кто ей поддается. В надежде, что и это творение освобождено будет во славу сынов божьих!» Ничего не понимаю, — вздохнул патер. — Лучше закурю трубку, чтобы успокоиться».

Он подошел к окну, где стояла его огромная трубка, набил ее до краев смесью острого табака, закурил и стал ходить по комнате, бурча себе под нос:

— Будет лучше, если я скажу проповедь кратко, но выразительно. Я должен ударить внезапно. Я затрону вопрос о пороке и скажу, что только презрение к похоти спасет нас от вечного проклятия.

Он посмотрелся в зеркало и увидел в нем себя самого с трубкой во рту, разгоряченного размышлениями о безнравственной жизни баронессы, которую ему так страстно хотелось направить на путь добродетели.

Патер отметил, что он еще достаточно миловиден. На его чисто выбритом лице с правильными чертами еще не было следов предательской старости.

Он даже не заметил, как случилось, что он отложил трубку, взял кусок пакли, которой обычно чистил трубку, придавал ей форму усов и приложил к верхней губе, а кончики стал подкручивать. «Чем не драгунский поручик или стреманный баронессы», — подумал он. Так он выглядел еще красивее.

Он окинул взглядом комнату: стены, увешанные дипломами различных религиозных обществ, портреты папы, изображения святых, — бросил паклю на пол и вышел в сад.

«Забавляюсь, как мальчишка», — подумал он, прогуливаясь по саду, устланному листьями и заросшему кустами крыжовника и смородины.

Это был один из тех печальных осенних дней, когда вас терзают всякие воспоминания о прошлом, конечно, если вы склонны вспоминать и размышлять, как патер Ярич, который вдруг почувствовал, что ему недостает чего-то в жизни, что жизнь не приносит ему хотя бы временного удовлетворения и наслаждений.

— Увы, карты не могут заменить мне женщины, — сказал он в тон холодному ветру, который сквозил в пустом саду. При этом он махнул рукой, обращаясь к голым верхушкам деревьев, и воскликнул: — Не искушай меня, сатана!

Затем вернулся и пошел назад, к себе в дом, в теплые комнаты. Прийдя домой, он достал из шкафа графин рябиновки и с большим аппетитом выпил несколько рюмок.

Затем резким движением сбросил в открытый ящик письменного стола портрет молодой красавицы, баронессы фон Габберехт, который ему преподнес недавно управляющий замком для того, чтобы тот посматривал на свою патронессу.

Конечно, трудно было думать о проповеди, когда портрет обольстительной женщины лежал на страницах книги Фомы Кемпийского «Семь книг о подражании Христу».

Он открыл Фому Кемпийского и прочитал:

— «Надежда на спасение в нас. Но надежда, предлагаемая нам, — не есть

надежда».

— В данном случае я влюблен безнадежно, — сказал себе патер, закрыл книгу и стал одеваться. — Будет лучше, если я пойду в казино и сыграю в карты.

На этот раз он проиграл, потом напился. Опьянев, он впал в мрачную задумчивость. Домой пришел ночью, сел за письменный стол и стал писать проповедь. Пребывание в казино настроило его неприязненно к баронессе. Тем более что он узнал о ней кое-что новое, а именно, что она близка не только с конюхом, но и с шофером.

— И ей не стыдно, — пробормотал он. — Так молода и так испорчена!

Перо летало по бумаге. Патер Ярич сочинял весьма грозную проповедь, какую он когда-либо сочинял; грозная, резкая, беспощадная, направленная своим острием против баронессы.

В таком же настроении — решительный и беспощадный — он на второй день вошел в костел. Поднявшись на кафедру, он увидел сидящую на первой скамье баронессу. Она как-то так мило посмотрела на него и выглядела таким очаровательным и невинным созданием, что у патера закружилась голова, и, вместо того чтобы обличать порок, он заговорил об ангелах и их красоте.

Когда он кончил проповедь и направился к алтарю, к нему подошел слуга баронессы и передал ее визитную карточку, на которой было написано: «После мессы прошу вас пожаловать ко мне на обед. Вы настоящий поэт! *Ольга фон Габберехт*».

Никогда в своей жизни патер Ярич не отбарабанивал мессу так быстро, как в этот раз. Он проглотил всю молитву «*Ite missa est*», то есть «Ныне отпускаеши».

## Маленький чародей

На сегодняшний день можно смело и во всеуслышание утверждать, что в наш просвещенный век чародеи и волшебники почти полностью перевелись и попадаются крайне редко. Вот, к примеру, в Бенешовской округе недавно объявился таинственный пан Новак (нынче он тоже отошел в область преданий). Этот «волшебник» выступил в Домашинском кабачке с потрясающе оригинальным номером: взятая им взаймы монетка исчезла у всех на глазах. Впрочем, исчезли они вместе — и монетка, и Новак. «Волшебника» полиция отыскала, а вот монетка так и пропала. На этом чудеса Новака прекратились.

Иное дело — дома. Здесь мы то и дело натываемся на следы чародеев. Как видно, они прилежно изучали кое-какие хитрости из книги «Малый Боско, или Домашний фокусник».

Обычно в роли фокусника выступает кто-нибудь из членов семьи. Предложив повторять его движения, фокусник сует вам в руки тарелку с закопченным снизу дном. Взяв себе другую, чистую тарелку, он на ее неиспачканном дне рисует пальцем какие-то круги, а потом водит им по лицу. Следуя уговору и не подозревая подвоха, вы тоже водите чумазым пальцем по лицу — до тех пор, пока под дружный хохот всей честной компании не разукрасите себя черными полосами.

Эта забава (в знак признательности вы все-таки треснете фокусника по башке) подробно описана в книге «Малый Боско, или Домашний фокусник».

Подобных проказ там великое множество — этим она отличается от труда Дж. Христ. Виглеба, вышедшего в 1768 году под названием «Onomatologia, curiosa, artificiosa et magica»[130].

Тут в описаниях волшебств и чудес на странице четыреста восемьдесят второй есть, например, рекомендация, как застрелить кирасира или как в полнолуние неприметно спровадить на тот свет своего неприятеля. Последнее мне кажется особенно заманчивым, я просто не могу оторвать глаз от этого превосходного рецепта, эффективность которого, если верить многоуважаемому автору, он проверил лично.

У меня в доме тоже завелся маленький волшебник. И во всем том, что уже произошло и еще произойдет, повинен мой приятель Ежек. По всей вероятности, он не плохой человек, но иногда ему приходят в голову совершенно непостижимые идеи. В частности, он, например, из-за своего легкомыслия чрезвычайно широко трактует понятие «дружба», так что друзья нередко бывают потрясены его странными желаниями и диковинными подарками. Только так можно объяснить следующее его послание ко мне:

*«Дорогой друг! Тебя, конечно, не удивит (меня, конечно, удивило), что наша фирма уполномочила меня наблюдать за строительством сахарного завода в Крагуеваце, это в Сербии. Я уезжаю завтра и посылаю к тебе моего сына Томаша. С того времени, как моя жена убежала с бухгалтером нашей фирмы, мальчишку воспитываю я один. Но не могу же я взять с собой девятилетнего ребенка! Бог весть, какие там условия жизни. Я вернусь примерно через полгода, пусть это время мальчонка побудет у тебя. Он очень смысленый и наверняка позабавит всех своими веселыми проделками. «Домашний чародей» — иначе я его и не зову. Он умеет даже глотать огонь. А недавно ему*

*опять удалось проглотить лягушку и тут же выплюнуть ее. Золото, а не мальчик. Ты на него не нарадуешься. Твой Олдржих Ежек».*

По прочтении сего письма я обратил сокрушенный взор к потолку, который в данном случае сошел за небо, и меня обуял ужас.

Противного сынишку Ежека я знал слишком хорошо. Не столь давно ему удалось приготовить взрывчатую смесь из спичечных головок и зубного порошка и подорвать на ней большого черного кота. Рассказывая потом всем и каждому о подвиге своего отпрыска, мой приятель светился подобающей случаю отцовской гордостью и восхищением.

Этого-то чародея он и дарит мне теперь на целых полгода. И притом без каких бы то ни было угрызений совести, словно речь идет о мешке с мукой, а не о мальчишке, который может заплевать лягушками весь пол. А все-таки, где это он застрял? Ему давно бы пора быть у меня. Неизъяснимая радость охватила все мое существо. Наверное, с чудодеем что-то произошло. Может, под машину попал, а может, его переехало трамваем?!

Рано утром ко мне постучали.

Открыв дверь, я увидел перед собой стража порядка, который пригласил меня в полицейский участок.

— Ваш племянник арестован, — коротко возвестил он.

Племянник? Я никак не мог взять в толк, какой такой мой племянник мог быть арестован, если племянник у меня всего-навсего один и ему только пять месяцев?

— Это жестоко — сажать в тюрьму младенца, — заметил я, а полицейский тут же добросовестно занес мои слова в блокнот.

В участке мне был приготовлен приятный сюрприз. Моим, с позволения сказать, племянником оказался не кто иной, как Томаш — возлюбленное чадо моего друга Ежека. Трогательно распрощавшись с отцом, он положил в чемодан реквизит фокусника, как-то: рюмку с двойным дном, ящичек, в который проваливается яйцо и вместо него появляется канарейка, и так далее... и тому подобное. Собрав все это, он отправился в турне по кабакам. Этот девятилетний проказник задумал показать свое чародейное мастерство широкой публике. С достоинством входя в зал, он хлопал в ладоши и провозглашал: «Внимание, внимание, уважаемая публика! Сейчас на глазах у всех исчезнет яйцо». Показав еще несколько столь же наивных и несложных фокусов, Томаш начинал собирать дань.

Полиция забрала чародея именно во время этой процедуры. В участке он назвался моим племянником, которого я-де посылаю на заработки. Если он принесет мало, то я не кормлю его и вообще держу впроголодь. Мальчишка добавил еще, что он сирота и что его покойный папа был чревовещатель.

После соответствующего внушения Томаша отпустили. Выйдя на улицу, он без обиняков начал:

— Я хотел разжалобить их, чтобы они быстрее отвязались.

— А зачем было собирать деньги?

— Просто мне хотелось доставить вам удовольствие и купить галстук — не переселяться же к вам с пустыми руками.

Я вlepил Томашу затрещину.

— Ну вот и выходит, что я нисколечко не ошибся, — рассудительно заметил

этот негодяй, — когда сказал им, что вы мучаете меня и притесняете, если я ничего не приношу.

Всю остальную дорогу я с ним не разговаривал. А когда, уже придя домой и пробуя пристыдить его, сказал, что ни я, ни его отец не заслужили такого позора, он грустно посмотрел на меня и вдруг прервал мою речь:

— Держу пари, огонь на ладони вы не сумеете пронести.

Я пригрозил ему поркой, если он сотворит нечто подобное, и ушел в кофейню, повесив на двери замок.

Впервые в жизни я возвращался к себе домой с замирающим сердцем. Однако мой домашний чародей ничего ужасного не натворил. Только на дне старой венецианской вазы с узким горлышком (семейная реликвия) покоилось яйцо, сваренное вкрутую и очищенное от скорлупы, — в моей кладовке действительно хранилось несколько яиц.

Загадка, как это яйцо пролезло в узкое горлышко, разгадывалась очень просто. Томаш мне все объяснил. Сначала он запихнул в вазу бумагу и поджег ее, а потом положил сверху очищенное яйцо, и оно само проскользнуло внутрь.

Таких ваз у меня было три. Уцелела лишь одна. Остальные лопнули, когда в них горела бумага. И пока я, зажав мальчишку между колен, мстил за уничтожение семейных драгоценностей, он вопил:

— Я знал, что в конце концов фокус удастся!

На другой день (в мое отсутствие) чародей занимался подготовкой забавного эксперимента, описанного в «Малом домашнем фокуснике», — «Как сделать, чтобы бумага падала со скоростью металла».

Мальчишка добился своего, используя в качестве металла пять крон, которые он отыскал в ящике стола.

Чародей приветствовал меня словами, что он ни в чем не виноват, просто забыл, что я держу его на замке.

Фокус этот и вправду очень занятный. Кусочек бумаги кладется на монетку, и монетка плашмя падает вниз. Томаш объяснил мне это со всей обстоятельностью. При падении монетки возникает вакуум, и бумага падает так же быстро, как и металл. Томаш упустил только из виду, что сидит взаперти, и швырнул пятикронную монетку с бумажкой со второго этажа прямо на улицу.

Как видите, «Малый домашний фокусник» не врал. Если верить Томашу, это было восхитительно. Бумажка падала так же быстро, как и пять крон. Он видел, как они приземлились, ринулся было вниз, но дверь была заперта. Монета лежала меж труб канализации. Он стерег ее целых полчаса, пока внизу не появился какой-то прилично одетый господин. Тогда Томаш крикнул, чтобы господин поднял монетку, а вечером, когда взрослые будут дома, принес ее нам. Господин, конечно, придет и этим доставит мне огромную радость.

Я выговорил ему за эту навязчивую идею и запер на кухне, а сам, улегшись на оттоманку, предался грустным размышлениям об узах дружбы, связывающих меня и моего приятеля Ежека.

Прошел час или около того, я поплелся на кухню звать Томаша ужинать и застал его за каким-то колдовством у большого горшка.

— Мне хотелось посмотреть, как растут кристаллы, — сказал он серьезно, — поэтому я растворял в воде сахар из пачки, пока не получил насыщенный раствор; потом я насадил на палку будильник и опустил его туда.

Я вынул злосчастный будильник из насыщенного раствора. Он весь был

покрыт мелкими кристаллами сахара.

— Сначала он еще булькал, а потом перестал. Я хотел сунуть туда что-нибудь другое, но «Малый Боско» требует, чтобы был «пористый предмет», я и подумал, что будильник подойдет. А сейчас мне кажется, что лучше всего все-таки подушки. Вот если нам с вами растворить в ванной килограммов пять сахара и подвесить подушку, тогда бы вы увидели, какие бывают кристаллы...

Описать утро следующего дня я не в силах. Направляясь в туалет, я упал, запутавшись в каких-то тенетах, протянутых меж дверей. Оказалось, что это невидимая сеть чародея Томаша, состоявшая из сложной системы черных ниток, которые были неразличимы в полумраке прихожей.

— Этот фокус всегда удается, — раздался откуда-то сверху невинный голосок. — В больших компаниях это получается особенно смешно.

Вечером, когда стемнело и я хотел зажечь свет, ни одна спичка не загорелась.

— Нет ничего проще, — услышал я в темноте пояснения Томаша. — Если мы хотим, чтобы спички не зажигались, мы должны окунуть их в раствор квасцов и высушить. Этот фокус всегда пользуется успехом.

В тот же вечер — я отлучился в клуб сыграть партию в шахматы — он успел весьма искусно раскрыть один из моих рассказов так, что получилась бумажная лента длиной общей сложностью в восемьдесят метров. Это трюк японских фокусников, но я не уверен, что используют они для таких надобностей рукописи чужих рассказов.

— Лента была еще длинней, — сказал мой чародей, странно покашливая, — но я не смог вытянуть ее всю изо рта. Кажется, половину я все-таки проглотил.

— Вот видишь, Томаш, — произнес я укоризненно, — ты уже начинаешь глотать мои рукописи.

— Я почитал их немножко, ничего особенного. — В голосе Томаша слышались критические нотки. — Я решил, что об этом никто не пожалеет.

В этот вечер я больше уже ни о чем его не расспрашивал. А утром, собираясь уйти, произнес убедительную речь, в которой призывал Томаша быть послушным, угрожая, что иначе произойдут ужасные вещи. А если ему захочется подготовить какие-нибудь фокусы, то он должен сперва спросить у меня совета. После длительного допроса Томаш, тронутый, по-видимому, моей притворной добротой, признался, что собирался в мое отсутствие соорудить семейную пушку, сняв для этого в ванной печную трубу. Эта пушка должна быть чрезвычайно грозным орудием, поэтому он не сообщил мне никаких подробностей. Естественно, что ключ от ванной комнаты я решил взять с собой, а Томашу пообещал продать его в Турцию, в рабство, если эту свою домашнюю пушку он не выбросит из головы. Тогда он попросил позволения взять хотя бы одно сырое яйцо и клялся ничего с ним не делать: не разбивать и ничего им не измазать, — просто он хочет кое-чем меня порадовать. По сравнению с пушкой яйцо было сущим пустяком, и я разрешил.

Удивил он меня несказанно. Едва я переступил порог, Томаш сообщил, что вел себя очень прилично, показал мне яйцо и попросил покатать его по столу. Яйцо действительно было как заколдованное. Всякий раз оно, описав дугу, возвращалось ко мне.

— Ничего особенного, — заявил этот несносный мальчишка, — в яичке проворачивается дырка, пол-яйца высасывается, внутрь вливается ртуть, а дырка

залепляется хлебным мякишем.

— Но откуда ты взял ртуть?

— Из барометра, — невинно признался он. — Тоже очень просто. Нужно только отломить верхний конец у стеклянной трубочки, — и бери себе сколько хочешь.

Я хотел было наказать его, но он дерзко твердил, что я сам позволил ему взять яичко и он-де предупреждал меня, что сделает его волшебным.

На следующий день я запер его в уборной: больше мне ничего не оставалось.

Правда, в этот день он не сотворил ни одной из своих проказ. А утром попросил, чтобы я освободил его, и дал мне слово вообще никогда больше не шалить.

Я сказал, что сегодня придет наш домохозяин — посмотреть, не требуется ли почистить печь, что мальчик должен вести себя хорошо и что я целый день буду дома.

Томаш был разочарован. Хозяин пришел утром и какое-то время возился в печке. Перепачкав себе руки и лицо, он спросил, нельзя ли у нас умыться.

Прошло немало времени, прежде чем Томаш отыскал полотенце, потом он куда-то убежал с ним, но вскоре вернулся и подал домовладельцу.

Тот долго тер себе лицо и вдруг, заглянув в зеркало, в ужасе обнаружил, что чем старательнее он вытирается, тем больше чернеет его лицо. Он уже смахивал на араба.

Томаш из угла делал мне знаки, чтобы я молчал.

— Что это такое, черт возьми? — воскликнул перепуганный домовладелец. — Господи боже мой, что тут творится?

Томаш, сидя в своем углу, прямо заходил от смеха. Мы оба накинулись на чародея — господин домовладелец схватил его за волосы, я — за уши — и učinили допрос с пристрастием.

— Если у вас возникнет желание вымазать кому-нибудь лицо, разотрите чернильный орешек с железным купоросом, посыпьте на полотенце и подайте тому, кто только что умылся. Я этот порошок уже давно приготовил для кого-нибудь из ваших гостей. В большой компании это особенно...

Он не договорил, так как впервые по его штанишкам прогулялась палка, которую я приобрел за день перед этим событием, предвидя, что мне придется-таки обломать ее о его бока.

Теперь я грустно брожу по улицам. Вспоминаю рекомендацию старого Дж. Христ. Виглеба, как в полнолуние неприметно спровадить своего недруга на тот свет...

Изо дня в день кружу я около антикварного магазина и в немом восхищении замираю перед витриной, где выставлена одна старая гравюра, на которой изображено, как в 1572 году на главной площади Лиона сжигают чародея Бужлье. И каким-то волшебным теплом веет на меня от этой картины.

## Великий день Фолиманки



**Н**ичто уже не воскресит былой славы Фолиманки. Этот сад, простирающийся над всей нусельской долиной под крепостными стенами Карлова, с домом внизу, у Ботича, окруженным огромными деревьями, имел славную историю.

Ныне чреда домов спускается к самому Ботичу, и что осталось от Фолиманки и всей усадьбы?

Воспоминания влюбленных, что ходили под стенами, собирая фиалки.

Воспоминания студюзов, что по утрам долбили здесь римское право.

Но все это пшик по сравнению с воспоминаниями тех, кто пережил достопамятный 1897 год. Тогда совокупно выступали полки нусельских, михельских и вршовицких обитателей против дружин с Виноград, объединенных с военной мощью городских училищ и начальных школ Карлова, с добровольцами Святоштепанской школы и Вышеградского Градка.

Решалось, чьей державой на вечные времена быть Фолиманке.

Владелец-немец, господин Плешнер, в расчет не принимался. О нем никто и думать не думал.

Он держал, правда, сторожа да двух собак. Сторож, старенький господин Полачек, по целым дням играл на шарманке на мосту через Ботич и наверх ему не хотелось.

А псы, вместо того чтобы сторожить, целыми днями шныряли по Нуслям в поисках пропитания, и когда однажды ночью воры обокрали имение, они увели и собак.

Но собаки любили свое отечество и вернулись, чтобы бездеятельно наблюдать, как наверху мальчишки гоняются по саду, а сам сад приходит в запустение.

Это была прекрасная идиллия.

Поначалу мальчишки жили в мире и согласии.

Библия повествует, что в раю бок о бок мирно жили тигр и кролик.

И здесь, на Фолиманке, бок о бок мирно жили нусельцы и виноградцы, вместе лазили на черешни, вместе дружно играли в разбойников и курили «драмки».

Это был подлинный рай по Овидию, золотой век:

*Aures prima sata est aetas, que vindice nullo[131].*

Споров не было. Совместной рукой были истреблены ирисы и заросли ландышей. Сломаны деревья и из веток устроен палисад перед малой пещерой в скале. Туда натаскали соломы, уворованной в имении из стогов, и там, на свежем воздухе, спали дети природы, которые по тем или иным причинам опасались показаться дома.

Обычно сия ночлежка бывала переполнена в дни, когда выдаются школьные аттестаты, этот вечный камень преткновения в добрых отношениях между усердными школярами и их родителями.

В такие дни многие почитали за благо эти отношения нарушить и на некоторое время прервать.

Фолиманка была жестока к родителям и нежна к беглецу. Последний бывал накормлен самоотверженной заботой всех, с кем общался, — будь он, скажем, виноградцем, хлеб ему нес нуселец, а из Вршовиц доставляли холодную печеную картошку.

Так и жили они в мире и согласии. Беглецы, когда им это надоедало, один за другим заявляли, что возвращаются в объятия родителей.

Возвращения блудных сыновей сопровождались, конечно, жестокой процедурой. Спускались штанишки и заботливые отчие колени принимали в свои объятия беглого сына, а в отцовской руке свистела розга.

После порки обретенному дитяти давали вволю поесть, отмывали, вручали чистый воротничок, и он снова вступал в лоно семьи.

И не было случая, чтобы беглец во время экзекуции признался, где был, где спал все это время.

Грешили на стога у Стршижкова, на страговские каменоломни, возводили поклеп на тайники в бржевновских скалах, где они якобы спали вдали от дома и семьи.

Получавшие прощение бродяги не выдавали свою Фолиманку, свое новое отечество, которое всегда, как только печаль воцарится в обителях просвещения, радушно принимало их в свои высланные соломой недра.

Но случилось то, чего никто не ждал. Случилось то, что в каждом, кто из завсегдатаев Фолиманки услышал об этом, возбудило презрение и гнев.

На Фолиманке в ту пору ночлежничал Вратислав Майер с улицы Коменского на Виноградах.

Ночлежничал в тяжкие дни, жестокие времена, когда папаши подписывают аттестаты сыновей.

И случилось такое, что и по сей день не делает нусельцам чести.

Среди них объявился предатель по имени Калаш. Рыжий и косоглазый, ну вылитый Иуда, как его малевали старые мастера.

И этот нуселец однажды постучался в двери к Майерам и сказал:

— Пани Майерова, будьте добры, дайте мне два пятака, Слава просил... — Эти два пятака Калаш хотел получить за предательство старого друга.

— А сам-то он где? Зачем ему деньги понадобились?

— А он хочет купить себе чистый воротничок.

— Где же он?

— На Фолиманке, в пещере.

Калаш просчитался. Ничего он не получил, и ему самому пришлось удирать, потому что спасательная экспедиция, отправившаяся за Славой во главе

с матерью семейства, во что бы то ни стало хотела взять предателя с собой.

Так прибежище беспризорных было раскрыто.

А сами они разбежались поодиночке, в панике от необъяснимой загадки — кто же предал их новое отечество Фолиманку.

Разгадку принес своим виноградским друзьям сам Слава, который, претерпев экзекуцию, узнал обо всем.

И тогда среди виноградцев были произнесены роковые слова, чреватые опасным:

— Видали, такое могли сделать только нусельцы.

Срочно созвали комитет, постановивший безотлагательно отлупить Калаша.

Вылазку возглавил сам Слава. Разведка донесла, что по вечерам предатель ходит на Яромирову улицу за молоком.

Заговорщики и мстители подкрались к нему с тыла, наподдали по бидону с молоком и принялись тузить предателя.

Тот поднял крик, сбежались нусельцы, которые в вечерней тишине еще болтались по улицам, и разыгралось форменное сражение.

Нусельцы были в большинстве. Виноградский комитет по охране нравов был разбит.

Свистели камни и ременные пряжки... Виноградцы бежали через Фолиманку. Бежали во тьму, а за ними мчались толпой распаленные нусельские бойцы.

Виноградцы добежали до самой ограды. В свете фонаря у Карлова посчитались.

Не досчитались Венды Краткоруких. Переглянулись — поняли: попал в руки к нусельцам.

Когда на следующее утро Венда появился в школе, он поведал ужасные подробности своего плена. Нусельцы реквизировали у него два крейцера, бычок драмки, срезали шесть пуговиц со штанов и ископали в Ботиче.

Он так вонял, что ему не оставалось ничего другого, как спать в сортире. Матери в пять утра пришлось отмывать его в корыте.

Такое издевательство над пленным было неслыханным нарушением международного права.

— Мы этим нусельским штрейкбрехерам покажем, — провозгласил Франта Кршижу и предложил такие жестокие наказания для пленных, что, несмотря на всеобщее озлобление, они приняты не были.

Он требовал даже, чтобы пленные нусельцы приводились на стены и без милости сбрасывались вниз.

Остановились на том, чтобы пленных обменивать, предварительно обыскав и подвергнув порке.

— И помогай нам в этом господь бог! — заключил набожный Франта Кршижу.

В тот день, когда виноградцы заявили на Фолиманку, они обнаружили, что повсюду засели нусельцы. Поскольку они были в вопиющем меньшинстве, к нусельцам был отправлен парламентар. Вернувшись, он принес весть: нусельцы провозгласили Фолиманку своей вотчиной, а у него самого отобрали все, что с ним было, все его достояние. Целый крейцер. Что нусельцы готовы в честном бою сойтись с виноградцами, когда паровой свисток на фабрике

Биннигера просвистит шесть часов.

В этот день виноградцы не продержались наверху и пяти минут.

Нусельцы нацелили на них рогатки.

Начались переговоры с союзниками.

В субботу, мая 5-го дня года 1897 мы видим следующее расположение неприятельских позиций. На крепостных стенах засели бойцы с Карлова и Градка. На восточных склонах, между обрывом и Гавличковым шоссе, раскинулись лагерем виноградцы с улицы Челаковского. Виноградское воинство из городских училищ Перуновой улицы и Ружовых садов расположилось на вершине холма под стенами — что от дерева на скале до пещеры.

Нусельцы заняли остальную часть холма.

Против тех, что с Перуновой улицы и Ружовых садов, встали вршовцы, союзники нусельцев.

Подольцы, тоже их союзники, к трем часам начали стягиваться в обход через Вышеград к дому призрения на Карлове, чтобы ударить в тыл тем, которые явились на помощь виноградцам и вместе с отрядом из Карлова заняли стены над Фолиманкой.

Было три часа пополудни, когда вршовцы вдруг вступили в переговоры с виноградцами и за обещанных пятьдесят драмок отступили вниз на шоссе, чтобы за Ботичем ударить в центр нусельцам.

В четыре можно было заметить, что наверху царит какое-то бешеное мельтешение и слышен рев. Это подольцы ударили в тыл защитникам Карлова. В тот же час вршовцы напали на нусельцев внизу, а виноградцы ринулись на остальных.

Камни залетали даже на другой берег Ботича, вопли пленных подымались до самого неба.

И тут появились два конных полицейских. Вражда была забыта, и враги объединенными силами повели отчаянную оборону против государственной власти, дождь камней принудил конный патруль ретироваться и галопом умчаться с поля боя за подкреплением.

Битва продолжалась с новой силой.

Вторая атака усиленной конной и пешей команды полицейских была более жестокой, но такой же безуспешной.

И только отряд в сорок полицейских после часа усилий разогнал бойцов.

И долго, до самого вечера, Фолиманка была оккупирована полицией. Этот день был наиславнейшим в истории Фолиманки.

Только еще однажды забрезжило нечто подобное, когда в том же 1897 году Фолиманку подождгли во время декабрьских гроз.

И тогда вокруг огня сошлись ветераны 5 мая, дня, который был великим для Фолиманки.

Вот каким было молодое поколение тех лет.

## Небольшая история из жизни Река

Быть может, вы тоже знали Река, ведь этот пес каждому бросался в глаза своим поразительным сходством со многими породистыми собаками. Отец его мог быть сенбернаром или леонбергом, а мать — как шотландской колли, так и вызывающе красивой жесткошерстной гончей, пинчером.

Известно лишь: когда он родился, все полагали, что он вырастет бульдогом. Трех недель от роду он прямо на глазах стал обрастать шерстью, и форма ушей у него изменилась. Они отвисли, как у хорошей охотничьей собаки. Мало того, хвост-обрубок стоял торчком, а морда стала лохматой. Из этого комочка шерсти странного черного и серого оттенка на вас смотрели голубые глаза так скорбно и выразительно, словно упрекая: «Господи, ну что ж вы не утопили меня!»

В доме, однако, все жалели его за такую наружность и приговаривали:

— Как там наш бедненький?

Когда ему шел шестой месяц, он впервые увидел себя в зеркале и так испугался своего отражения, что забился под стол, откуда переполз под кровать, где выжидал несколько часов в надежде, что страшное видение выветрится у него из головы. С той поры он понял, что безобразен и ни одна сука не станет знаться с таким кобелем.

Он страдал и, подвернись случай, свел бы счеты с жизнью. Как-то он бросился с дамбы в реку, но, к своему изумлению, обнаружил, что умеет плавать и никак не может утонуть.

Однажды во время облавы на собак он нарочно выскочил на улицу без намордника и шлялся по центру города, надеясь, что волею судьбы погибнет от руки живодера. Мимо него действительно проехала повозка, но живодер не велел помощникам трогать этого барбоса мясника. Бедняга, на свою беду, уселся на тротуар возле мясной лавки.

Печальный вернулся он домой, был бит и возненавидел весь белый свет. И развернул мелкую деятельность по истреблению домашнего имущества. Так, забравшись каким-то образом в шкаф, погрыз цилиндр. И на домашнем совете решили Река подарить. Никто, однако, его не брал, но в конце концов представилась возможность от него избавиться. В одном трактире проводилось увеселительное мероприятие с вещевой лотереей. Так его дали в качестве выигрыша, он достался пану Корейцу. Можете представить себе этот милый сюрприз, когда в четвертом часу ночи почтенный отец семейства является домой с этакой образиной и, икая, утверждает, что он привел замечательную собаку.

Это мнение так обрадовало Река, что он залез к своему хозяину в постель, нагло улегся под перину и угрожающе зарычал, когда пан Корейц попробовал его прогнать.

Пришлось оставить его в покое, причем обнаружилось, что в шубе у выигрыша — блохи. Приняв все это к сведению, семья уснула, кроме барышни Карлы, которая под общую суматоху продолжала мечтать о пане Павличке, банковском служащем.

Появление Река напомнило ей Бобеша, огромного сенбернара пана Павличка, и ей пришлось в голову, что вряд ли они с Реком поладят. И ни с того ни с сего у нее хлынули слезы, обычные слезы молоденькой девушки, вызванные сердечными переживаниями.

Знакомство Река с Бобешем в общем прошло нормально. По старой доброй собачьей традиции они оценивающе обнюхали друг друга, и Рек завертел хвостом-обрубком, чтобы дать понять новому приятелю, как он рад встрече. Бобеш был добрым, отзывчивым малым и сказал Реку, что очень рад знакомству и что на обед у него был рис с мясными жилами.

В дружеской обстановке Рек понемногу освоился и что-то забормотал о костях. Желая отличиться перед новым приятелем, он схватил за штаны пробежавшего мимо малыша и торжественно, с достоинством, на глазах возмущенной толпы понес это ревущее существо к ближайшей огромной луже, куда его и бросил.

За это Река отхлестали плетью, можно сказать, чуть ли не линчевали, но он мужественно снес наказание.

Вечером, прощаясь с барышней Карлой, пан Павличек заявил:

— У вас отвратительный пес.

Рек услышал это и страшно возненавидел его.

У Корейцев ему жилось прекрасно. Его вымыли, намазали денатуратом и вычесали, это, однако, красоты ему не прибавило. Выглядел он все так же невзрачно, и семейство Корейцев всячески ему сочувствовало.

По вечерам он ходил с паном Корейцем в пивную, забирался под стол и слушал рассказы стариков о житейских делах.

Как-то раз пан Корейц обронил под стол сигару. Рек взял ее в зубы и отдал прямо пану Корейцу. Так было установлено, что у него явные способности хорошего апортера, и все сошлись на том, что отец его, вероятно, был из собак охотничьей породы.

Пана Корейца озарила гениальная идея научить Река носить из киоска домой газеты, на которые они были подписаны, и спустя две недели хвастал, что в любое время может послать Река за журналом. Рек поднимался в цене, о нем заговорили как о сообразительном псе, и тогда-то на прогулке он сообщил приятелю сенбернару:

— Мы, собаки, становимся умнее от безделья, а иначе можно со скуки сдохнуть. Я вот ношу домой газеты.

Оказалось, что Рек вообще равнодушен к бумаге. Любая бумага, бумажные обрывки сливались у него в одно понятие.

— Посмотрите, — обратился он к сенбернару Бобешу, — я делаю это так. — Схватив зубами клочок бумаги, валявшийся на улице, он гордо понес его в пасти. — Непонятно только, за что меня бьют, когда я притащу в дом целый ворох таких бумажек. Но я ничего не могу с собой поделать. Увижу клочок белой бумаги, хватаю и несу.

— А как у вас с головой? Не болит иногда? — с участием поинтересовался Бобеш. — И нет ли у вас тяжелой наследственности?

Они завели разговор о нездоровой привычке собирать бумагу, но сенбернар утешил своего друга, сообщив, что его хозяин тоже копит у себя на столе кучи подобного хлама, и пригласил Река навестить его, потому что до обеда дома бывает только служанка, пусть Рек поскребется в дверь, а он нажмет ручку и откроет ему.

На другой день Рек отправился в гости. Он убежал из дому и осмотрел хозяйство пана Павличка. Он вскочил даже на стол и, схватив несколько бумажек, гордо понес их домой, предусмотрительно сожрав рис у сенбернара.

— Опять тащит какой-то мусор, — рассердилась барышня Карла, — даже какое-то письмо подобрал. Ну-ка, дай сюда!

Рек бросил письмо, и барышня Карла с изумлением узнала адрес пана Павличка.

Но она удивилась еще более, когда прочла его.

«Дорогой Веноуш, милый мой, золотой мальчик, сердце мое! Спасибо тебе за боа и муфту. Люблю тебя безмерно, и мне срочно нужны 40 крон. Целую. Твоя *Ольга В.* Жду тебя сегодня вечером».

Так у Корейцев узнали об измене пана Павличка, а Река высекли, вместо того чтобы похвалить. Пан Павличек страшно удивился: как могло это проклятое письмо попасть в руки семьи Корейцев, и был потрясен тоном письма, в котором Карла навсегда отрекалась от него. Не зная, что и предпринять, он принялся охаживать плетью сенбернара Бобеша.

А в это же самое время беднягу Река вели на Малую Страну к мяснику, который купил его, чтобы запрягать в тележку. Как-то раз они повстречались с Бобешем. Рек посетовал:

— Не понимаю, что произошло. Как только моя хозяйка перестала встречаться с вашим хозяином, мне пришлось возить тележку.

## Сказка о мертвом избирателе

Контора кладбища занималась разбором чрезвычайного происшествия. Недели за две до муниципальных выборов туда явилась вдова владельца мелочной лавки Эдуарда Демуса — пани Демусова — и стала жаловаться на отсутствие надлежащего ухода за могилами.

Она заявила, что со времени ее последнего посещения камень над могилой ее мужа треснул.

В самом деле, кладбищенские служители обнаружили сбоку в камне большую трещину, притом довольно глубокую, и пани Демусова вернулась к себе на квартиру в Либени расстроенная. Еще ясней встал у нее в памяти образ мужа: какой это был аккуратный, благоразумный человек, не терпевший никакой небрежности! Что он сказал бы, если б увидел, что его могила в таком плохом состоянии!

У него в магазине был всегда идеальный порядок, и когда он как-то раз по ошибке, из-за того что бутылка с уксусной эссенцией стояла не на своем месте, налил из нее одному алкоголику вместо хлебной водки, то тут же решительным шагом вынес эту бутылку в подсобное помещение и выпил ее всю до дна, написав на полулисте бумаги: «Не выношу беспорядка и, как честный человек, предпочитаю добровольно погибнуть».

Это было написано энергичным почерком. С тех пор прошло пятнадцать лет, и лежит он на кладбище, в шестом отделении.

Пани Демусова поделилась с соседкой, в каком состоянии нашла могилу мужа. Соседка задумалась, потом сказала:

— Вы, пани Демусова, не пугайтесь, а только есть такое поверье, что коли могила расселась, — значит, покойник наружу просится. Я читала одну балладу такую — о мертвом сапожнике. И еще в Германии, в Саксонии где-то, раскопали одну такую могилу, где музыкант похоронен был, и не нашли в ней покойника. Вдова в газеты объявление дала, просила его, чтоб он вернулся, перестал делать глупости, и он ей ответил, что будет ждать ее на главном почтам-

те. Пришла она туда с сыщиком и забрала его. Да только оказалось, что это не муж ее, а другой. Знаете, милая, иной раз такие вещи творятся, вы и представить себе не можете. Но вы не пугайтесь: это просто поверье такое.

Пани Демусова вспомнила, что она как-то раз была с мужем в кафешантане и там один певец исполнял пародию на «Свадебные рубашки». Мороз подрал ее по коже, и она попросила соседку, чтобы та велела своей взрослой дочери Карле переночевать у нее, а то ей одной страшно.

Соседка исполнила ее просьбу: одолжила свою дочку — совершенно спокойно, как соседки одалживают друг дружке керосин и тому подобное. Карла пошла ни жива ни мертва, потому что брат ее, слесарь по профессии, в шутку сказал ей, чтоб на случай, если к ним ночью явится пан Демус, они обязательно приготовили заранее чай с ромом: ведь по дороге из Ольшан в Либень здорово промерзнешь.

Дрожая от ужаса, Карла спросила пани Демусову, есть ли в доме ром, и обе в страхе стали ждать, что будет. Однако ничего особенного не произошло, если не считать, что лампа изредка ярче вспыхивала да раза два-три что-то затрещало в шкафу; в полночь в старом кухонном столе завел свою музыку жук-древоточец; где-то в околотке завыла собака; какой-то прохожий орал в ночной тишине: «Душа моя Барушка!»

Они заснули только на рассвете, а утром их разбудил стук в дверь. Наскоро одевшись, они открыли. Вошли какие-то два господина, спросили пана Демуса. Пани Демусова, перекрестившись, объяснила, что он умер пятнадцать лет тому назад.

— Это не имеет значения, — возразил один из пришедших. — Нам известно, сударыня, что, будь он жив, он знал бы свои обязанности. Он был искренний младочех, и теперь помогал бы нам в предвыборной кампании, и голосовал бы за наших кандидатов. К сожалению, он умер, но это не имеет решительно никакого значения. Ему будет доставлен избирательный бюллетень по третьему списку, а мы придем за этим бюллетенем. Он, безусловно, подаст голос за нас. Приготовьте нам доверенность от его имени. Он ведь еще перед смертью как-то сказал: «Если я вам когда-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне смело, с полной уверенностью. Я сделаю для вас все, где бы ни находился. Вы можете на меня положиться. А если меня не будет в живых, обратитесь к моей супруге».

Поцеловав ей руку, они удалились, а посреди дня пришел служитель из магистрата и принес избирательный бюллетень для пана Демуса.

— Господи Иисусе! — воскликнула пани Демусова. — Тут что-то неладно.

Она поехала на кладбище и с ужасом обнаружила, что трещина на могиле стала еще больше.

На ночь она опять позаимствовала у соседки Карлу с маленьким братишкой Богуславом в придачу.

Впрочем, Богуславика пришлось выгнать вон, потому что ночью он подбежал к дверям и, постучав, говорил:

— Входите, входите! Входите, пожалуйста, пан Демус! — Кроме того, мальчишка прятался под постель и оттуда пугал: — Уу, ууу!

Всю ночь казалось, будто по коридору кто-то ходит, и Карла божилась, что вот кто-то на самом деле взялся за ручку двери.

Утром пришли прежние два господина и восторженно заговорили о младо-

чешской партии; потом потребовали бюллетень и сказали, что уже получили доверенность от пана Демуса, и стали что-то путано объяснять вдове, пытаюсь уверить ее, будто пан Демус сам будет голосовать. Разглагольствования их все время прерывались монотонным причитанием пани Демусовой:

— Иисус Мария, ведь он умер пятнадцать лет тому назад. Мне страшно!

— Милостивая государыня, — победоносно заявил один из посетителей, пряча бюллетень пана Демуса в портфель, где была куча других подобных бумажек, — милостивая государыня, не бойтесь ничего. Ваш супруг вносит лепту в дело победы местного самоуправления и тех господ, с которыми он всегда был в хороших отношениях.

Они оставили вдову в страшном волнении, которое возросло, когда она увидела днем на кладбище, что могила по сравнению со вчерашним расселась еще больше.

«Он пробивается наружу», — промелькнуло у нее в голове, и она, потрясенная, отправилась домой и попросила дворничиху одолжить ей на ночь дворника — не с какой-нибудь целью, а просто так. Дворник до двух часов ночи поминутно бегал в трактир за пивом; основательно нагрузившись, он в третьем часу повел такие речи и стал рассказывать такие страшные истории о привидениях, что Карла и пани Демусова кричали от страха.

Так прошло больше недели. У дворника покраснел нос от пьянства, и весь дом ходил по ночам пугать пани Демусову. Всегда находилась добрая душа, готовая самоотверженно вылезть из теплых перин, отправиться в одних кальсонах к двери пани Демусовой и взяться за ручку. Наступил день выборов, и в газетах появилось сообщение, что на избирательном участке в Либени был разоблачен мошенник, пытавшийся голосовать вместо Эдуарда Демуса — торговца, умершего пятнадцать лет тому назад, — но ему удалось скрыться.

Прочитав это, пани Демусова перекрестилась и заплакала. С той поры посетители шестого отделения кладбища бывают свидетелями печальной сцены. Каждый день возле одной из могил останавливается дама в трауре и, сжимая руки, говорит:

— Раз уж ты приходил голосовать за пана Филипа, Эдуард, что же ты не зашел домой? Это нехорошо с твоей стороны, Эдуард!

## Сатисфакция

**Я**, конечно, не берусь утверждать, что знаю все правила хорошего тона, однако я считаю себя человеком достаточно тонким и деликатным.

Я прочел немало книг о правилах приличного поведения, знаю наизусть не одну цитату, которую уместно кстати вернуть в разговор, но еще более я осведомлен по части выражений, которые благовоспитанному молодому человеку употреблять не следует.

Знаю, как вести себя с дамами за столом. Я никогда не интересуюсь их семейными делами, не вникаю в интимные подробности их быта и не выспрашиваю, например, рассохлось ли у них летом корыто или нет.

Однажды я был арестован и в тюрьме разучился пользоваться ножом, там ведь ножей не дают. Но и там я прошел хорошую школу, усвоил целый ряд правил поведения.

Что касается поведения за столом, то мне прекрасно известно, что не полагается облизывать ложку с общего блюда, после того как наложишь себе полную тарелку, и потом класть ее обратно.

Неприлично также просить у жениха на свадьбе пятак для привратницы, чтоб отперла тебе ночью дверь, и обещать вернуть ему этот пятак назавтра чуть свет.

Не было еще случая, чтобы я в гостях забылся и сказал соседке за столом слова, достойные осуждения: «Ну, и нажрался я, барышня, придется мне, с вашего позволения, расстегнуть брюки, а то не продохнуть».

Я весьма чувствителен к малейшим, самым незначительным отклонениям от правил хорошего тона и с ужасом вспоминаю одно объявление, которое мне довелось видеть на небольшом баварском курорте:

«Любезно просим уважаемых гостей нашего курорта за обедом не рыгать!»

А как приятно бывает для окружающих, когда они встречаются с подлинным джентльменом! Каждый истинный джентльмен хорошо знаком с тем, что пишут в книгах о бонтоне. В одной из них можно прочесть буквально следующее:

«Если ты почувствовал потребность рыгать, извинись перед своими соседями по столу и хозяином, скажи, что покидаешь их в связи с не терпящими отлагательств торговыми делами. Но если ты заранее допускаешь мысль, что своими желудочными недомоганиями можешь испортить людям праздничное настроение, непременно заблаговременно позаботься о телеграмме, извещающей, что у тебя, скажем, утонула сестра или зять или произошло что-нибудь в этом роде, — и никто не будет тебя удерживать».

Я знаю всю литературу о приличиях. Знаю, что не полагается лезть своей вилкой в чужую тарелку и выбирать кусочки получше, даже если сосед этого не замечает.

В книгах о пристойном поведении и обхождении нередко встречаются вещи, которые на первый взгляд азбучно просты. Так и должно быть. Подобные поучения делают нас способными избежать многих неприятностей. Ведь уже в «Ветхом завете» просто и доступно было изложено одно из правил тактичного поведения: «Не возжелай жены ближнего своего». Усвоив такие простейшие правила поведения в обществе, мы сумеем затем усвоить и более сложные элементы хорошего поведения, например, правила пользования салфет-

ками.

В одной из книг я нашел такую инструкцию:

«Воспитанному человеку салфетка никогда не заменяет носового платка (см. рубрики «Носовой платок», «Насморк», «Чихание в тарелку»). Салфетку следует повязать себе вокруг шеи, но так, чтобы при этом не удавиться, ибо пренебрежение последним правилом может испортить настроение окружающим. Неприлично красть салфетку. Если у вас на груди красуется орден, крест или медаль, салфетку следует повязать так, чтоб не закрывать награды. Согласно правилам хорошего поведения не следует чистить салфеткой свои ордена и медали во время торжественной церемонии обеда».

У меня уже вошло в привычку руководствоваться при разных обстоятельствах указаниями, почерпнутыми из книг о пристойном поведении — из этих многочисленных и разнообразных общественных катехизисов. К сожалению, там же нет указаний на все случаи жизни. Так, мне ни разу не удалось найти совета, как вести себя, чтобы понравиться друг другу, в общественных уборных. Правда, многие навыки развиваются сами собой от случая к случаю, и человек, обладающий основными понятиями приличия, может распространить их и на ситуации, обойденные почему-то в этих книгах.

Но вообще-то я по любому поводу обращаюсь к книгам о хорошем тоне. Благодаря им я знаю, как вести себя у парикмахера: неприлично толкать посетителей, которых как раз бреют, пытаться занять их кресло, мол, ничего, добреются потом. Все это не вяжется с представлениями о приличиях. Неприлично красть одеколон у парикмахера и бриться по чужому оплаченному абонементу без ведома его владельца. Настоящий джентльмен не позволит себе ни того, ни другого.

Из этих книг я также почерпнул, как вести себя в трамвае. Настоящий джентльмен никогда не сядет даме на колени и, даже находясь на площадке, никогда не плюнет рядом стоящему на обувь. Тонкое обхождение предполагает также, что вы вежливо извинитесь, если прожжете кому-нибудь пиджак сигарой или спичкой, брошенной по небрежности ему в карман. Если же, скажем, дама выколет вам шляпной булавкой глаз, вам не следует и подавать вида, что вы обижены, наоборот, поклонившись, вы заметьте с улыбкой «Милостивая госпожа, не извольте беспокоиться, мне хватит и одного глаза». В случае обморока постарайтесь не упасть на даму или пожилого господина. Настоящий джентльмен всегда относится с уважением к старости. Правила хорошего тона не допускают также, чтобы вы сели на ребенка и задавили его.

О, эти золотые книги, полные трогательных поучений, главное и основное среди которых — жить со всеми в мире.

Если вам случится кого-либо обидеть, запомните:

«Необходимо отвлечь пострадавшего и заставить его думать о чем-нибудь другом!»

К примеру, вы у кого-то оторвали ухо, — такое случается, и порой этого просто не избежать — вашей обязанностью является развлечь этого человека. Почему бы вам не пошутить следующим образом: «Теперь, по крайней мере, на это ухо медведь вам уже не наступит»? Поговорив затем о значении пословиц и поговорок, вы можете с этой темы перейти на проблемы народной мудрости, короче говоря, вам следует говорить с пострадавшим до тех пор, пока он не забудет, что слушает всего лишь одним ухом.

Обиженного всегда необходимо развлечь!

Отправляясь недавно в Браник, курорт, известный своими прекрасными песчаными пляжами, я повторял про себя эти правила.

Я был до зубов вооружен предписаниями о том, как вести себя порядочно-му человеку на курорте, где, кроме господ, купаются также и дамы.

Я прочел и зарубил себе на носу, что топить даму в воде, даже в шутку, так же недопустимо, как и пытаться ущипнуть ее. В случае же, если, прыгая с мостика в воду, вы случайно угодите какой-нибудь даме на голову, вам следует тотчас же вылезти из воды, накинуть на себя купальный халат и принести ей свои извинения (если, разумеется, дама тем временем не захлебнулась). Если несчастье все же произошло, немедленно исчезайте с места происшествия и непременно пошлите семье телеграмму с соболезнованием. На похороны, разумеется, явиться надо будет не в плавках.

Из числа оздоровительных средств, имеющих на курорте и способствующих общему укреплению организма, мне лично больше всего понравился курортный ресторан.

Деревья там были изображены на полотняных стенах, а несколько лавров были просто воткнуты в песок.

Посреди всей этой красоты стояли столы и стулья. А немного левее центра зала стоял я, собственной персоной, и оглядывался по сторонам. Напротив меня сидела дама, облаченная в черный трикотажный купальник. Она была достаточно откормлена, но не настолько, чтобы глаз не мог отдохнуть на ней с явным удовольствием.

И мой глаз отдохнул. Я мысленно расчленил даму на две половинки — от головы до пояса и от пояса до пят. Я разглядывал то верхнюю, то нижнюю половинку и должен отметить, что некоторые грешные мысли становились еще более приятными при систематическом их чередовании.

Некоторое время дама терпела это, но потом поднялась и, подойдя к моему столу, сказала:

— Господин, кто вам позволил столь дерзко смотреть на меня? Ну подождите же, сейчас придет мой муж!

— Конечно, конечно, я его подожду, — любезно ответил я. — Времени у меня достаточно, последний пароход отчаливает только в девять часов.

Дама в трикотажном купальнике окинула меня свирепым взглядом и вернулась к своему столу. Вскоре появился ее супруг, долговязый худой господин в золотом пенсне. Некоторое время она что-то внушала ему, после чего он выпил пива, встал и направился ко мне.

— Господин, — сказал он твердым голосом, — вы совершенно бесцеремонно разглядывали мою жену. — И несколько более мягким тоном добавил: — Моя фамилия Краус, я представляю оптовую угольную торговую фирму «Вршанский и К°».

— А-а, вы, значит, изволите быть паном Краусом, — радостно воскликнул я, вспомнив, что, согласно правилам хорошего тона, следует «заставить оскорбленного думать о чем-нибудь другом». — Краусов я знал несколько, — продолжал я, — Богуслава, Йозефа, Зигмунда, Антонина, Карела, Методея, Богумила, Виктора...

— Уважаемый... — перебил меня пан Краус, — я хочу...

— Я знаю, чего вы хотите, — сказал я. — Вы хотите сказать, что не являе-

тесь ни Богуславом, ни Йозефом, ни Зигмундом, ни Антонином, ни Карелом, ни Методеем, ни Богумилом, ни Виктором Краусом, короче говоря, вы — совсем другой Краус. И действительно, я ведь не могу вас вспомнить. Ростом вы как Методей Краус, голос у вас как у Богуслава Крауса, глаза как у Йозефа Крауса, волосы и борода как у Антонина Крауса. Выходит, вы — тоже Краус, но совсем другой. Это весьма удивительно и интересно, не правда ли?

— Простите, я сюда пришел...

— Я тоже, — сообщил я ему дружелюбно. — Я ведь тоже притащился сюда пешком, пароход был набит битком. Меня просто ужаснула перспектива провести хотя бы полчаса в такой жарнице и духоте. А вы предпочитаете путешествовать на больших пароходах или на маленьких?

— Но, позвольте, я хотел бы знать...

— Лучше, знаете, все-таки на больших. Хотя бы есть возможность познакомиться с капитаном и при его посредничестве получить какой-нибудь заказ на уголь. Я надеюсь, ваша фирма не из самых дорогих? Антрацит вы тоже продаете? И почему? Вы не были бы так любезны и не объяснили бы мне, как это получается, что он годится не для всех печей?

— Видите, господин, — уже несколько мягче произнес оскорбленный супруг, — антрацит употребляется только в особых печах, для его сгорания необходимы высокие температуры. Пятьдесят килограммов вы можете купить за четыре восемьдесят — шесть крон, но какой в этом толк? Сгорает страшно быстро. У нас иной уголь, из Чехии, конкретно — из Лома, он гораздо лучше, чем осецкий или мостецкий. В Ломе находится наша шахта, шахта нашей фирмы. Мы торгуем только нашим углем, он очень дешев, гораздо дешевле, чем кладненский, и гораздо экономичнее, благодаря своим обогревательным свойствам... Вот, пожалуйста, смотрите, сравните сами эти цены. — Он вернулся к своему столу за какими-то бумагами и сумкой и затем продолжал, живо жестикулируя: — Сравните, пожалуйста, вот тысяча килограммов духцовского и тысяча килограммов нашего, верхнеломского. А какая разница в цене! И при этом качество нашего угля — один А, духцовского — два Б. Так обозначается сорт. А теперь, прошу вас, снова взгляните на цены кладненского.

Он подсел ко мне, и мне показалось, будто я проваливаюсь в текучий песок, он засыпает меня с головой, незаметно затягивает все глубже и глубже.

Краус забрасывал меня цифрами, фактами и брикетами. Рассказал об афере с верхнесилезским углем, а затем нежно заворковал о торфе. И час спустя я сдался.

В жаркий июльский день при температуре тридцать градусов выше нуля на солнцепеке я подписал заказ на пять вагонов их верхнеломского угля.

Шатаюсь, выбрался я с этого солнечного курорта, и единственно, что меня еще поддерживало, это сознание, что я вел себя, как предписывает кодекс порядочности: заставил-таки оскорбленного думать о вещах посторонних и дал ему возможность получить сатисфакцию.

Пять вагонов угля — это ли не сатисфакция?

## Страдания воспитателя

Я приобрел большой опыт в деле воспитания, после того как поступил к коммерции советнику Лоскоту гувернером его единственного сына, тринадцатилетнего головореза, который уже успел замучить насмерть старую французенку, не выучив за четыре года ни слова по-французски. Звали этого бездельника Элиаш.

Отец души в нем не чаял; вверяя мне его на время каникул, он подробно остановился на вопросе о том, как лучше воспитывать деток: что, мол, не нужно мешать деткам как можно больше двигаться, а то ребенок может вырасти слабым, ленивым, вялым. (То есть выходит так: ежели ребенок свалился с дерева, это — лучшее средство против лени и вялости.)

— Элиаш в этом отношении очень способный, — продолжал счастливый отец. — Любит пошалить, побегать, поэтому хорошо развивается и умственно и физически. Свою гувернантку-французенку — а ей уже за пятьдесят было — он научил бегать взапуски. От этого и конец ей пришел. Все боялась, бедная, как бы с ним чего не случилось. Как-то раз от Бероуна до Пршибрама во весь дух бежала за ним на старости лет. Это и доконало ее. А кабы выдержала, мировой рекорд поставила бы. Последние ее слова, перед тем как дух испустить, были: «Элиаш, скажи, как перфект от глагола «aller» — «идти». «А, пошла ты!» — ответил Элиаш. И французенка отдала богу душу.

Я стал готовиться к вступлению в должность гувернера. Достал удостоверение на право носить оружие, купил браунинг и начал искать книги на тему о воспитании подростков.

Попалось мне небольшое руководство издания 1852 года. На меня произвело очень хорошее впечатление то, что там было сказано о порче детей вследствие ложной деликатности. Написано это было очень милым, приятным слогом.

«Сострадание в подходящий момент является безусловно одним из благороднейших движений человеческого сердца, но чувство это должно быть умеренным, не превращаясь в слабость. Этим мы вовсе не хотим сказать, будто ребенка надо колотить до беспамятства. Если вы заметите, что ребенок теряет сознание, следует тотчас перестать бить и постараться привести его в чувство. Это относится главным образом к хилым детям; здоровый, крепкий ребенок в состоянии выдержать хорошую порку».

Я запомнил эти золотые слова, принадлежащие педагогам старой школы, и поехал. У меня было такое ощущение, словно я участвую в карательной экспедиции против каких-нибудь дикарей или что-то в этом роде.

Навстречу мне вышла мать Элиаша, стройная дама в цветущем возрасте. Она сказала мне, что Элиаш сидит в библиотеке наверху, погруженный в книги. Это меня озадачило, так как в корне меняло мое представление о будущем воспитаннике. Я похвалил его за любознательность; но супруга коммерции советника возразила, что не видит в этом ничего хорошего, и прибавила, что вот уже несколько дней он не подчиняется ее требованиям прекратить это занятие.

Я отправился в библиотеку. Элиаш действительно совсем ушел в книги. Его почти не было видно под толстым слоем книг и брошюр, выброшенных из шкафов. Только голос его раздавался из-под этой груды:

— Здесь, направо, еще один труп. Несите осторожней, а то как бы не рассыпался.

Тут громада начала двигаться, и из нее вылез на четвереньках мой новый воспитанник с двумя огромными шишками на лбу.

— Вы мой новый гувернер? — заговорил он без всяких предисловий. — Знаете, во что я играл? В обвал горы Арарат. Сложил стену из книг и подкопал ее так, чтобы меня завалило. И сейчас отдавал распоряжения вытаскивать другие трупы. Помогите мне его откопать.

— Кого?

— Да я взял с собой котенка, и, когда гора рухнула, на него упала тяжелая Библия в кованом переплете.

В самом деле, котенок лежал под Библией и еще каким-то солидным томом, не подавая признаков жизни.

— Придется пропустить сквозь него электрический ток, — сказал Элиаш. И прежде чем я успел ему помешать, он вывернул лампочку и всунул лапку котенка в патрон. Послышался треск. Элиаш, вскрикнув, упал. Я констатировал, что котенок очнулся, а Элиаш оглушен током. Придя в себя, он печально промолвил: — Нас с котенком преследуют неудачи. Один выпутается, другой попадает.

Явно не в духе, Элиаш сошел вниз, в столовую, где был подан второй завтрак. Набрав полный рот кофе, он очень ловко пустил его сильной струей в попугая, который сидел на клетке у окна. Тот сердито закричал:

— Перестань, перестань!

Этот успех несколько улучшил настроение Элиаша. Он заговорил о прежнем своем гувернере, не скупясь на брань; отзывался о нем с величайшим презрением, особенно насмехаясь над его лысиной.

Он рассказал, как одна муха, приняв ее за зеркало, уселась на нее и начала класть яйца. Тогда Элиаш набрал в рот воды, прыснул прямо на муху и сбил ее с головы гувернера, но тот страшно обиделся и отказался от места.

— Можете себе представить, — продолжал Элиаш, — все решили, будто я нарочно, со злости плюнул ему на голову. А я вовсе ни при чем; во всем виновата муха. Не бежать же мне было за луком, чтобы сбить ее стрелой, или не стрелять в нее из духового ружья! Получилась бы целая катавасия. Мне всегда не везет, даже когда я ни сном ни духом. Играли мы недавно в «Quo vadis» [132] и привязали садовникову Марженку к одному волу на спину. Как стеганули кнутом, он и побежал с Марженкой на спине до самых Горжовиц. И прямо на площадь. Опять на меня все напустились, потому что, когда Марженку стали искать, я хотел их успокоить и говорю: «Ни о чем не беспокойтесь, завтра из газет все узнаете». Вообще удивляюсь, отчего взрослые совсем не дают детям свободы. На каникулы гувернеров к ним приставляют... Уверяю вас, многое мне даже в голову бы не пришло, если б передо мной не торчала вечно идиотская физиономия гувернера. Я, конечно, не о вас говорю, но все прежние считали себя бог знает какими мудрецами, а оказывались в дураках, когда пробовали наставлять меня на путь истинный.

Тут он стал рассказывать мне о разных своих товарищах из соседних поместий и из деревни. Потом спросил, бывают ли у крокодилов мозоли.

Насколько я помню, я ответил ему, что это явление у крокодилов нередкое: в нью-йоркском зоологическом саду (опять эта Америка!) пришлось опериро-

вать огромного крокодила, которому мозоли причиняли такое страдание, что он от боли совершенно перестал жрать. Это были величайшие мозоли в мире, размерами не уступавшие самым крупным картофелинам; каждая из них весила больше полкилограмма.

Между мной и моим воспитанником установилось взаимопонимание. Он сообщил мне, что держит во дворе огромного дога, который кидается на всех чужих и успокаивается только в том случае, если ему рассказывать сказки; он готов слушать их целый вечер.

За обедом Элиаш держался прилично и смотрел на меня даже с какой-то любовью.

Попугая он тоже больше не трогал, так что тот мог спокойно болтать сквозь сон в свое полное удовольствие.

После ужина мы пошли спать.

Я лег в постель и начал читать, как вдруг дверь тихо отворилась и в комнату вошел огромный дог.

Из коридора донесся голос Элиаша:

— Лабик, сторожить!

Дог подошел к моей постели и заворчал. Я сидел ни жив ни мертв, стуча зубами.

Дверь закрылась. Чем громче я стучал зубами, тем сильнее щерился дог.

— Не дури, — сказал я собаке. — Лабик, умница, ведь я новый гувернер.

Дог заинтересовался было, но, видимо, моя особа ему не понравилась. Став передними лапами на край постели, он с ворчанием глядел на меня.

Я вспомнил, что говорил этот негодный мальчишка Элиаш насчет сказок.

— Милый Лабик, — начал я. — Жил-был один король, и было у него три сына. Один из сыновей...

Ворчание усилилось.

— Не сердись, — пролепетал я, заикаясь. — Если эта тебе не нравится, я расскажу другую. Несколько сот лет тому назад, когда люди были еще не такие умные, как теперь...

— Рр-ррр-ррр-рраф...

— Господи, ну так я что-нибудь еще... Ты только скажи, Лабик... Шел раз солдат с войны, и нечего ему было есть. Вот пришел он в лес...

— Ррраф, рраф!

— Ну, жила-была волшебница, была у нее в лесу избушка, а в избушке черный кот...

Не могу сказать, сколько времени это продолжалось — может, два часа, может, три, — но все сбежавшиеся по зову Элиаша под мое окно решили, что я сошел с ума.

В ночной тишине одна сказка сменяла другую...

— У матери было девять дочерей...

Теперь дог уже не ворчал. Он начинал ворчать, только когда я умолкал.

В голове у меня все сказки спутались. Собравшиеся за окном слышали:

— Жила-была принцесса, у которой на каждом волоске была золотая туфелька... Жил-был один крестьянин, который твердо правил своим королевством и взял себе в жены погонщика...

Дверь отворилась. Сперва этот головорез тихонько позвал Лабика, потом впустил людей. Они накинулись на меня. Старик приказчик посоветовал до

приезда врача раздеть меня донага, завернуть в мокрую простыню, связать и положить где-нибудь в углу: от этого, мол, многие приходят в себя.

Несмотря на отчаянное сопротивление, я оказался-таки в углу. Негодяй Элиаш добился своего.

Врач, увидев меня лежащего в углу, завернутого в мокрую простыню и увязанного, как тюк, сразу понял, что я не могу быть в здравом уме...

Теперь я в санатории. Знакомые, которые приходят навестить меня и которым я это рассказываю, пожимают плечами и просят:

— Ну, пан Бешак, расскажите еще какую-нибудь сказку...

Тяжелое это дело — быть воспитателем!

## Штявницкая идиллия

Повстречавшись в окрестностях Штявницы — перед Штявницей или за Штявницей, бродяги заклинали друг друга нипочем туда не ходить. Так этот богатый город оказался закрыт для бродяг и нищих по их собственной воле. А ведь штявницкие жители весьма щедры, и кладовые у них всегда ломятся от изобилия копченостей из свинины и диких кабанов. Горожане охотно проявляют милосердие, веря легенде, что, пока дающая рука горожан будет щедра, город не провалится под землю. Дело в том, что земля под Банской Штявницей вся изрыта — город стоит на государственных рудниках, в которых добывается золото и серебро. Однажды на верхнем конце города уже провалился дом горожанина Кужмы, а на месте, где он стоял, образовалось глубокое озерко. И под озерком спит вечным сном семья пана Кужмы, которую несчастье постигло как раз во время обеда.

Штявницкие горожане восприняли эту трагедию особенно чувствительно потому, что обед для них — это обряд, подлинное священнодействие. Они не едят, они молятся. Суп — их *introitus*[133], а копченый овечий сыр с Дюмбьера — это *ite missa est*[134]. Трагедия семьи пана Кужмы казалась им тем более ужасной, что накануне в разговоре с соседями пан Кужма весьма радовался предстоящему обеду — подумать только: запеченная голова дикого кабана с капустой и арбуз с благословенных равнин под Римавской Соботой.

Быть может, через тысячи лет, когда на место катастрофы придут палеонтологи, они найдут рядом с костями пана Кужмы и голову кабана. И наука заявит, что здесь погиб на охоте прачеловек от клыков доисторического чудовища. И никто никогда не докопается до истины, а именно, что была здесь какая-то Банска Штявница. Даже если сохранятся до тех времен карты генерального штаба — тем более что на них Штявница обозначена как Шелменбаня, чего не понимают уже в Ситно и в Святом Андраше, хотя до них отсюда всего два часа ходьбы вдоль Штявницкой речки. А ведь именно из Святого Андраша прибывают сюда головы диких кабанов, из Ситно приводят поросят, а из Жибритове (это чуть подальше) дичь. А с равнин между Крупиной и Алмашем — белоснежных гусей, которых в Штявнице зажаривают с ягодами рябины.

Над Препацким озерком летают дикие утки. И их тоже, зажаренных с ягодами можжевельника, вкушают добрые штявницкие горожане. От Алмаша дуют по котловине на штявницкие склоны теплые ветры, и там рождается вино, превосходящее огненные вина с гедяльских холмов. Это — та же лоза, которой прославился Дёндёш, откуда, как известно, саженцы привезли в Токай.

Честно сказать, не знаю, насколько это правда, но я слышал об этом в Штявнице.

Вино превосходно, и вкус у него отменный, особенно когда им запиваешь дыни, привозимые в город тоже из окрестностей Алмаша. Маринованные дыни чудесны, когда их подают к зажаренным цыплятам из Быстрицы; цыплята отменны и так крупны, что некий штявницкий горожанин вполне справедливо воскликнул:

— Какие же это цыплята, это настоящие страусы!

А из окрестностей Естраба возят индеек; великаны, а не индейки. Их белое мясо поливают в Штявнице особым соусом из красного кизилового варенья.

Ну, и, наконец, на штявницкий рынок приносят форель из горных ручьев около Жибритова. Представьте к тому же прелестный пейзаж, залитые золотым сиянием солнца изумрудные луга, и вам станет понятно, почему штявницкие горожане так жизнерадостны; ведь они знают, что солнце светит им, чтобы на виноградниках краснел виноград, чтобы зрела рябина и чтобы с лугов собирать ароматное сено, которое придает особый вкус мясу. Вот и выходит, что солнце, озаряя в столовой тарелки с супом, вновь освещает плоды своих трудов.

На штявницкой речке двенадцать мельниц мелют белую муку для жителей города, чтобы и корочка ромштексов из телятины, привезенной с Грона, была нежно хрустящей и вкусной.

Всего было вдоволь в этом благословенном городе, который смело мог бы поместить на свой герб вместо медвежьей головы — нож и вилку. Шахтеры из окрестных рудников после смены оставляли в городе немалые деньги, и потому там всегда было весело.

В старых домах сохранились корчмы, в которых прежде засиживались рудничные рабочие — саксонцы во времена короля Владислава, когда здесь начали добывать серебро. И если сюда заходили бродяги и нищие, они всюду слышали музыку и пение, а завсегдатаи питейных заведений — и рудничные рабочие и горожане — зазывали их в корчму, где еды и питья было столько, что однажды старый нищий, насытившись, со слезами на глазах добродушно сказал господам горожанам, сидевшим за длинным дубовым столом:

— Ешьте и пейте, благородные господа, а мне больше невмочь.

По всему краю рассказывали бродяги о том, как в Штявнице подавали на стол ногу серны, как горожане зазывали их к себе домой, уговаривая расслабить ремень, а после каждого куска поили — для улучшения пищеварения настоек из можжевельника, растущего на живописных жибритских склонах.

Приходили сюда нищие даже из Спиша, из Гемера, Липтова. От равнин под Дёндешем и до самых татранских гор и снежной Магуры прославляли они в своих разговорах золотые сердца штявницких жителей, горожан и рудокопов.

Как вдруг пришла беда. Инспектором городской полиции поставили пана Ласло Галаша, родственника здешнего жупана, который, вероятно, при иных обстоятельствах испортил бы горожан, не будь они такими добряками. А потому, когда он сказал старосте города Фридешу, что его дядя Галаш станет во главе городской полиции, пан Фридеш и сам удивился, как это не пришло ему в голову. Хотя, по правде говоря, до того дня он и понятия не имел, что в земле короны святого Стефана есть какой-то Ласло Галаш.

А ведь пан Ласло Галаш был необычным человеком. Он служил полицей-

ским в Пеште и отличился дважды: раз он привел в участок своего отца — за нарушение порядка в ночное время, а во второй раз — хозяина квартиры, у которого тихо и мирно жил уже восемнадцать лет. Его Галаш задержал за то, что тот шумел на мосту. Но потом, во время каких-то демонстраций, он отрубил саблей нос сыщику тайной полиции. Этот поступок не смогли уравновесить даже те два случая сверхсознательного и примерного исполнения обязанностей, и Бруту пришлось уйти. Причем, даже без пенсии; но он продолжал охранять общественный порядок и законность на свой страх и риск. Он проникал в игорные дома и конфисковывал банки в свою пользу; впрочем, жил он более чем скромно, поскольку во время этих акций ему здорово доставалось. Однажды он застукал во время азартной игры одного полицейского комиссара, и тот посадил его под арест. Дело явно пахло мошенничеством, Галаш сидел два месяца, а потом его выслали из Пешта. Очутившись в крайней нужде, он обратился за содействием к своему племяннику — штявницкому жупану — и стал полицейским инспектором в этом превосходном городе.

С той поры и стали обходить Штявницу бродяги и нищие. Вышло в точности, как Галаш сказал бургомистру: «Я истреблю в городе нищенство». Тот сослался было на старые обычаи гостеприимства, но пан Галаш повторил, страшно вращая глазами:

— Я истреблю в городе нищенство. Бог свидетель, что у того, кого я поймаю на этом, долго будет чесаться спина.

Потому нищие и рассказывали друг другу, что в Штявнице, их былом раю, полицейский инспектор порет бродяг и нищих веревками. В такой-то момент и состоялся злосчастный обед пана Кужмы.

— Господь прогневался на нас, что мы не чиним добрые дела, забыли нас теперь бродяжки и нищие, — говорили горожане, — вот взять, к примеру, покойного Кужму, он провалился во второй раз, но теперь уже насовсем.

Это была горькая правда — десять лет назад Кужма провалился на выборах, а теперь вместе с домом и семейством провалился в старую шахту.

А полицейский инспектор, становясь грозой местных жителей, возомнил себя всесильным.

После нищих, цыган и бродяг он было взялся и за веселых рудокопов. Однажды они, возвращаясь с рудника, шли с верхнего конца города на нижний и распевали горняцкую песню, старую песню рудокопов:

*Вставай, Юро, колотушка стучит,  
коли поздно придешь, не пустят в шахту.  
Как пришел я поздно, в шахту не пустили,  
да еще обушком побили.  
Baszom вам az apuát[135] с вашими рудниками,  
раз меня побили, работайте сами.*

Когда они подошли к нижним воротам, на них обрушился пан Галаш.

— Вы чего верещите, поганые псы, — начал он беседу. — А что, как я отведу вас в магистрат?

— Для такого дела нужны двое, — вежливо ответил ему рудокоп Мартин Калаш, — один, который поведет, и второй, который послушается; понятно, старый седой осел?

И они двинулись дальше с песней:

*Вставай, Юро, колотушка стучит,  
коли поздно придешь, не пустят в шахту...*

Пан Галаш вытащил саблю и заорал:

— Вот я вам покажу! Узнаете, как чешется спина.

— А что, ребята, — сказал Калаш — врезать ему разок? Не по-благородному выйдет, коли мы все навалимся на старикашку.

— Ну, ясно, Мартин, врежь ему разок-другой, он и поумнеет.

— Хватит с него и раза, — решил Калаш и замахнулся крепким шахтерским кулаком. Пан Галаш выронил саблю и кувырнулся. Потом, словно передумав выкидывать фортели, растянулся на земле.

— Где мы остановились? — спросил Калаш, и ватага удалилась, распевая:

*Как пришел я поздно, в шахту не пустили,  
да еще обушком пбили.*

Пан Галаш не знает, долго ли он лежал у нижних ворот на булыжниках из кремня, добываемого в окрестностях. О штывницкой мостовой в кругах специалистов недавно говорили с должным почтением, будто в ней столько золота, что община предместья могла бы расплатиться со всеми своими долгами. Впрочем, пан Галаш лежал на мостовой не из уважения к ней, он бы с радостью поднялся; дело в том, что из кармана мундира у него выпала бутылка можжевеловки, а это порочит инспектора городской полиции, и он во второй раз впал в беспамятство, когда какой-то милосердный горожанин дал ему напиться из его же собственной бутылки. Ну, и, кроме того что можжевеловка слишком крепка для потребления во время службы, удар Калаша, по мнению всех очевидцев, был что надо. И Галашу не оставалось ничего иного, как прийти в себя на постели в доме горожанина Чулена — прямо напротив нижних ворот, куда его перенесли. Мещанин Чулен блаженно улыбался, убедившись, что его собственное изобретение, домашняя водка из кизила, оказала на полицейского инспектора благотворное действие — Галаш поднялся и принялся поносить всех и вся. Он вернулся к жизни, к выполнению долга, и первым делом вспомнил самые сочные ругательства свинопасов венгерской равнины, которые некогда переняли их у куманов.

— Ну, что я говорил? — победоносно обратился к сыновьям пан Чулен. — Говорил я, что это питье из кизила поднимет и мертвеца из гроба!

Как ответ на это с постели послышался злобный вопль:

— Расстрелять, повесить, расстрелять! — И вслед за этим тоскливый крик: — Где моя сабля?

Пан Чулен подал инспектору его старую, причудливой формы саблю, принесенную кем-то с улицы, и пан Галаш, усевшись на постели, взял саблю и положил ее возле себя на перину. Можжевеловка, выпитая до описанных событий, и кизиловая водка, которую влили в него в доме Чуленов, начали действовать. Он поднял саблю и запел гусарскую песню:

*Na meghalok, meghalok, menybe viznek angyalok. — Пусть я умру,  
умру, ангелы все равно возьмут меня на небо.*

Потом улегся на бок и захрапел, держа в руке поднятую к потолку саблю. Хозяева хотели положить его руку с саблей на перину, но он держал ее так крепко, что ничего не вышло.

В таком виде и нашел его благородный пан жупан, который прибыл тотчас, едва узнал, что с его протеже, его дядюшкой, произошло прискорбное происшествие у нижних ворот.

Мещанин Чулен после рассказывал, что пан жупан, увидев дядюшку Ласло, спящего в столь странной позе, постоял с минуту и укоризненно сказал спящему: «Ну и штуку вы откололи, дядюшка». Потом повернулся к пану Чулену, потряс ему руку и произнес:

— Благодарю вас, приглядите за ним, и на ближайших выборах я выдвину вас кандидатом от правительства. Мне известно, что он пьет можжевельовку.

Пан Чулен ответил, что все понял, — это означало: «Понятно, что он пьет на службе с разрешения пана жупана».

На дороге пан жупан добавил, что следует считаться с возрастом пана Галаша и, разумеется, еще принять во внимание, сколько ему довелось пережить. Тут пан Чулен позволил себе кашлянуть, тотчас объяснив, что простыл на винограднике. Потом, уже внизу, в дверях, пан жупан ущипнул Илонку, дочь пана Чулена, за щечку и пошлепал служанку, что они приняли с подобострастным смешком.

Был уже вечер, когда рука пана Галаша ослабела, сабля упала на постель и он проснулся.

Он лежал под периной одетый, и потому, надев сапоги, был сразу в полной готовности и мог спуститься вниз, в столовую, где его ожидал ужин, один из великолепных шедевров штявницких хозяек. Белейшее мясо поросенка, покрытое бронзовой корочкой, аппетитные индюшьи ножки, жаренная на сливочном масле отличная форель, копченый овечий сыр с Дюмбьера — все это привело пана Галаша в восторг.

Он бормотал с набитым ртом, поддевая вилкой с блюда самые лучшие куски:

— Isten biszony, az jó — бог свидетель, это здорово.

Призывал он бога в свидетели и тогда, когда пил из оловянного кувшина времен короля Матяша благословенное вино, цвет которого отливает опалом, поскольку якобы под верхним слоем земли в штявницких горах много опалов, что в общем-то правда.

Наевшись и напившись вволю, он потребовал, чтобы ему показали, где он будет спать, и попросил, чтобы его разбудили перед обедом, что и было сделано.

После обеда — это была торжественная демонстрация искусства штявницкой кухни — пан Галаш велел послать к точильщику, наточить саблю.

— Передайте этому бездельнику, — приказал он служанке, когда она взяла саблю, — что я пришлю за ней через неделю.

Потом он изъявил желание взглянуть на виноградник своего гостеприимного хозяина.

Пан Галаш с достоинством зашагал за паном Чуленом и его сыновьями на виноградник, где его угостили вином из ягод шелковицы. Они пекли на костре баранью ногу и запивали ее очень старым Штявницким чертовым (подразумевается — вином), как его называют в том крае. Пан Галаш ругал словаков, обзывая их скотами.

Пан Чулен, отец которого основал в Ревуцой словацкую гимназию, краснел и говорил:

— Простите, все совсем не так плохо, совсем не так плохо, совсем не так плохо.

С гор над Алмашем послышался звон колокольчиков — это овцы потянулись с пастбищ в деревню, и в разгаре сияния заката пан Галаш уснул. Чулен и его сыновья основательно попотели, прежде чем дотащили его на руках до города и уложили в постель в своем доме. Ночью пан Галаш проснулся и, вообразив, что он еще на винограднике, разбудил весь дом, призывая подбросить дров в костер и требуя, чтоб ему отрезали еще кусок бараньей ноги.

Когда ему объяснили, где он, он тотчас попросил немного можжевельки и высказал пожелание, чтобы его разбудили к обеду. И еще выразил надежду, что завтра на столе будет жареная голова дикого кабана под соусом из шиповника.

Так прошла неделя, и пан Галаш послал за своей саблей. Когда ее принесли, он вышел из себя и стал кричать:

— И это называется наточенная сабля! Отнести ее назад, снова наточить и принести через неделю!

А пан Чулен и его семья уже говорили: «Наш дядюшка, наш бачи[136] Ласло Галаш». Пану Чулену даже стало казаться, что он и сам состоит в родстве с ситительным паном жупаном.

Когда по прошествии еще одной недели (бачи Галаш еще больше растолстел) снова принесли саблю от точильщика, пан инспектор уже не выходил из себя. Он рассмеялся и воскликнул:

— Взгляните — и это наточенная сабля? Снесите ее назад, я уж не буду злиться, но пусть он снова наточит ее и пришлет сюда через неделю.

И завел речь о том, что сегодня к ужину было бы неплохо поджарить цыплят.

Сабли у пана Галаша нет и по сей день, ему все не нравится, как ее точат, а кухня горожанина Чулена ему, наоборот, весьма по душе, по его мнению — лучшая в городе.

Нищие снова без страха ходят по Штявнице, а рудокопы весело поют, возвращаясь домой. А пан жупан все продолжает заверять пана Чулена, что на выборах выдвинет его кандидатом от правительства.

Так что штявницкая идиллия продолжается.

## Писарь в Святой Торне

### I

Когда Жигмонд Куфала стал писарем в Святой Торне, он был стройным и мечтательным юношей, с бакенбардами на худом лице. Регулярно, дважды в неделю он ходил на бадачоньские холмы и лежал там на траве под старым дубом.

Он смотрел на простирившийся под ним край. Вдали поблескивала водная гладь озера Балатон, на полях кукуруза стояла такая высокая, что поля казались рощами. И среди них терялись полоски зеленого табака, а совсем вдали виднелись необозримые пастбища с разбросанными то там, то сям большими деревьями, белевшими на зеленом фоне, словно брызги извести.

На юге всегда будто клубился туман — это были леса за Мурой и Дравой, выше них обрисовывались резко очерченные контуры серых туч, затемняющих горизонт каких-то гор на хорватской стороне.

Глядя на всю эту красоту, Жигмонд Куфала предавался мечтам и часто думал, как прекрасно было бы все, что он видит, описать в большом стихотворении. Он неоднократно пытался высказать стихами свои восторги, но всякий раз его постигало разочарование. Своих чувств он выразить не мог, получались просто описания.

Однажды он дал прочитать свои творения учителю Пало, который напечатал уже несколько стихов в городской газете, и тот сказал ему про его стихи, что это голая декорация. Читая их, представляешь табак и кукурузу, и больше ничего.

И учитель прочитал Жигмонту одно из своих опубликованных стихотворений о лете (он писал его зимой, когда на окраине городка завывали волки) и сказал:

— Здесь ощущается душа летнего знойного дня. Людей должен прошибать пот, когда они это читают, им должно быть жарко, милый Жигмонд Куфала. А в общем-то прекрасно, что вы пишете стихи. Поэзия не дает человеку ожесточиться. Если б ваш предшественник писал стихи, вряд ли его посадили бы на пять лет в Варад. Когда старик Тот пришел в городскую управу за пособием, писарь говорил со стариком, говорил, а потом вдруг взял и пырнул ножом. Писарь, правда, оправдывался тем, что старик Тот грозился отрубить ему голову старым турецким ятаганом, который сорвал со стены, но скажите мне, пан Жигмонд, будь он поэтом, разве поднялась бы у него рука на дряхлого старика?

Жигмонд Куфала ушел от пана учителя подавленный. Далеки холмы бадачоньские с необозримым горизонтом. Здесь же, в ста шагах от школы, на площади, где во время ярмарки утаптывают землю сотни голов скота, находится городская управа Святой Торны. Там он сталкивается с прозой жизни, занимаясь делами с королевским бургомистром паном Декани, человеком, начисто лишенным поэтических склонностей.

Пан Декани держал рядом в зале заседаний, примыкающем к канцелярии, кувшин с вином; наполнял его полицейский инспектор, поскольку по счастливому стечению обстоятельств полицейский участок находился в одном доме с трактиром «У бородатого священника», имевшим дурную славу, потому что от его завсегдатаев можно было ожидать всего.

Осушив за исполнением служебных обязанностей кувшин вина, королевский бургомистр Святой Торны проявлял суровость ко всем, кто приходил в правление, и принуждал Жигмонда Куфалу держаться с посетителями грозно и неприступно.

Большей частью это были крестьяне из окрестных сел, которые после ярмарки не ушли вовремя с площади, и их задержали городские полицейские.

— Ты, сын, тоже им потачки не давай, — поучал писаря пан Декани, — особенно хорватам, на них надо прикрикнуть, а не говорить шепотком, как ты норовишь. Пригрозишь им кутузкой, — они тут же денежки достанут из-за пазухи, венгерской душе на радость. Так уж бог устроил, что венгр правит этими примитивными народами.

После его ухода Жигмонд Куфала лишь тоскливо вздыхал. Те, о ком говорил королевский бургомистр, не сделали ему ничего худого. В бытность его писарем в венгерском Лубреке, где большинство были хорваты, он постоянно видел их. По вечерам он всегда ждал, когда хорватская молодежь пойдет домой с поля. Впереди шли парни в высоких черных сапогах, в белых рубашках с вышитыми рукавами, они начинали песню, а девушки хором подхватывали и отвечали им другим куплетом.

Пахло сено на прибрежных лугах у Муры, над плотной стеной дубового леса на хорватской стороне, казавшейся крепостной стеной, поднимался серп месяца. Облачка еще розовели от солнца, заходящего в Штирии, а здесь в тихий вечер звучали красивые, мягкие мелодии хорватских песен, которые пели веселые, такие славные парни и девушки.

## II

Сегодня в Святой Торне большой праздник. Духовой оркестр гонведов, прибывший из Канижи, играл на площади перед тюрьмой — городская кутузка в Торне размещается прямо в школе. В полуподвальном этаже содержат арестантов, а выше, на втором и третьем этаже идут уроки, там учат, что на свете один бог — венгерский, и одна родина — Венгрия.

За решеткой как раз сидели два цыгана, попавшие сюда за драку. Теперь они, помирившись, дружно показывали язык публике, состоявшей в основном из kondás'ей и kanasz'ов — свинопасов в широченных штанах с бахромой внизу, похожих на юбки. Грязные штаны пропахли дымом костров, у которых сидят в пуге свинопасы, подкладывая в огонь кизяк и обжаривая потом в горячей золе сало и кукурузу.

Были здесь и девушки из пусты, с волосами, смазанными конопляным маслом. Они топали сапогами в такт музыке, вздымая пыль и что-то выкрикивая друг другу. Мелькали их яркие шейные платки, красные юбки с зелеными лентами и черные корсажи с двумя рядами крупных серебряных пуговиц.

С краю, по вымощенной части площади, расхаживали жители городка; в толпе выделялась зеленая форма двух таможенников, их неизменно окружали барышни, одетые с поразительной самоуверенностью безвкусицы.

Там прогуливалось городское «общество» — чиновники, купцы и ремесленники. Они курили дешевые сигары, а на другой стороне площади дымили из глиняных трубок пастухи. Все ждали, когда от здания управы пойдет процессия школьников, — сегодня торжественно посадят акацию в честь несчастной королевы Елизаветы.

Дело само по себе было щекотливое: первоначально, много лет назад, ре-

шили, что королеве Елизавете перед костелом будет воздвигнут памятник. Но затея лопнула, поскольку пан бургомистр Декани на собранные для этого деньги построил себе виллу у озера Балатон, куда он ездил каждую осень, когда на бадачоньских холмах проходил праздник сбора винограда.

Из-за этого у него были неприятности. Тогда он во время выборов вовсе старался ради партии труда, и после ее победы дело замяли.

Однако почтить память королевы было надо хоть как-нибудь, поэтому вместо памятника решили посадить акацию.

За неделю до торжества бургомистр явился на службу слегка навеселе и поручил Жигмонду Куфале написать большое стихотворение, посвященное столь знаменательному событию, и прочитать его.

Он отдал это распоряжение, пользуясь своей властью, и мечтательный тотский юноша отправился за вдохновением под свой дуб на Бадачоне. Хотя стихи нужны были не о кукурузе и не о табаке или лесах за Мурой и Дравой.

Но снизу, из долины, доносилось отчаянно-заунывное пение пастухов, и Жигмонд Куфала предпочел пойти домой. Впрочем, и там у него ничего не получалось.

На другой день пан бургомистр сказал ему, что стихотворение должно быть весьма патриотическим. А посему отчаявшийся пан Жигмонд принялся стряпать патриотическую смесь.

Сегодня он стоял возле садовника, который сажал акацию под возгласы «e!jen»[137] толпы вокруг. Пан Жигмонд, в черном пиджаке, рукава которого были ему коротковаты еще когда он кончал школу, ждал своей очереди.

Школьники запели: «Isten ald meg a Magyar» (Боже, храни мадьяров), и бургомистр дал ему знак подняться на трибуну, задрапированную зелено-бело-красной тканью.

Взволнованный, он развернул свитки белой бумаги и начал:

*Много цветов на земле Арпада...*

Стихи были не его, а Кишфалуди, но что поделать — надо было как-то начать.

*...которые пыталась притеснить чужая рука...*

Это уже было из Петефи, но звучало столь красиво, что подходило к первой строке.

И дело пошло, далее был представлен мечтательный Шандори и не очень известный, но неистовый и страстный Ласло Какони.

Его собственными в стихотворении оказались лишь строки о кукурузных и табачных полях, которые он все же протащил туда контрабандой.

Акацию он превратил в дерево печали, нечто вроде плакучей ивы, приплел сюда надежду на то, что, подобно ее могучему стволу, непоколебимо выстоит среди бурь и венгерский народ.

Он собирался продолжить строками из Петефи, когда заметил, что все кругом бегут куда-то с дикими криками.

Он воскликнул еще: «Talpra a Magyar!» — «Встань, мадьяр!», и тут что-то большое сильно ударило его сзади.

Перепуганный рыжий бык, словно шутя, поддел рогами оратора под жилет и понес его по городу, причем настроившийся на торжественный лад оратор,

совсем сбитый с толку, продолжал кричать: «Talpra a Magyar!» — «Встань, мадьяр!» Бык, словно поняв, вскинул голову, и мечтательный писарь Святой Торны полетел вверх, к небу. К счастью, не слишком высоко, лишь на соломенную крышу домика на Каполафалвской улице, где и уселся верхом на гребень крыши у трубы, словно на коне.

Пан Жигмонд еще увидел, как за быком мчатся по улице на лошадях три пастуха с арканами в руках, но тут ему вдруг стало дурно, и бедный писарь съехал по соломенной крыше прямо на телегу, стоявшую возле дома.

Очнулся он в своей комнате, завернутый в мокрую простыню, и у постели увидел полицейского инспектора, квартирного хозяина. Выражение радости на лице хозяина свидетельствовало о том, что по случаю этого происшествия он порядком хлебнул.

— А шустро он вас, это, подцепил на рога, а? Когда еще такое повторится... А как спина? — спросил он.

— Спасибо, немного жжет.

— Он совсем легонько поддел, молодой человек, он словно играл с вами. Но зато вконец разорвал брюки, жилет и пиджак. Просто умора! Только и разговоров, что такого веселого праздника в Святой Торне еще не было. Даже пророк Илья не так красиво летел к небу. Ведь бык, можно сказать, почти что догола раздел вас. Мы влили в вас пол-литра вина.

Он взял со стола кувшин и поднес его ко рту пана Жигмонда. Тот покачал головой.

— Тогда я выпью за ваше здоровье, — провозгласил полицейский инспектор, — это хорошее вино, удачного года.

— Вы небось и не знаете, что вас приезжала навестить помещица из Каполафалва, пани Юльча Шемени, красавица вдовушка. Бык-то был из ее стада. Она страшно расстроилась: приехала на празднество — а тут такая беда. Плакала и обещала похоронить вас за свой счет.

Писарь застонал, а полицейский инспектор ухмыльнулся.

— Полно вам, дружище, это она сторяча обещалась, никто всерьез не поверил, похороны нынче влетают в копеечку, а она, говорят, ужас до чего скупа. Ну, свечку там за упокой души поставила б. Ежели ей приходится платить штраф за своих работников, которые вовремя не освободят в базарный день место на площади, она ругается из-за каждого крейцера. Но до чего хороша! Посмотришь — сущий ангел, воплощение доброты, а вот на ж тебе, штрафы платить не хочет. Раз был случай, что она пожаловалась аж самому верховному жупану комитата. Было бы из-за чего — из-за пятидесяти златок, ее работники передрались с мужиками в трактире «У бородатого священника». Ее красивое личико подействовало на верховного жупана больше, чем речь самого лучшего адвоката; когда она улыбается, это просто чудо, а глазами так и играет.

Он опять основательно отхлебнул из кувшина и с воодушевлением продолжал:

— Господи, а фигура у нее! Боже мой, что за грудки. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть — то ли на глазки, то ли на ушки, розовые, как у поросенка...

Язык у инспектора заплетался.

— А как она тут над вами стояла и плакала, то была еще красивее. Утира-

ла слезы таким тонким платочком и все повторяла, какие похороны вам устроит, наймет духовой оркестр из гонведов, чтобы вас похоронили с почетом, потому как вы пали за отечество. Да не вздыхайте вы, неужто думаете, что она сдержала бы слово, к тому же ничего серьезного у вас нет, наш доктор сказал: «Ничего странного, что он все еще без сознания, какое было потрясение! Он речь говорит, стихи произносит, ни о чем таком не думает и вдруг взлетает в воздух. Вы уж заверните его, люди добрые, в мокрую простыню, влейте ему вина и пусть он выпится». Вот и спите...

Он вышел из комнаты, но с порога пробормотал:

— Да, хороша собой пани Юльча, только штрафы платить не хочет, плутовка. А где взять на вино?

Вскоре после ухода полицейского комиссара Жигмонд Куфала уснул, и ему снилась прекрасная женщина, которая устраивает ему похороны. Сон был очень запутанный. Жигмонд ехал на свои собственные похороны, погребальные дроги тащила пара быков, а он пошел поблагодарить пани Юльчу за такие красивые похороны.

Потом еще ему снилось, что вместо пани Юльчи его приняла барышня из Веррё, это была его старая студенческая любовь, когда он учился в юридической академии в Пресбурге. Он уже тогда был мечтателем и влюбился в эту черноволосую девушку, которая продавала сигары в табачной лавке своей матери. Иногда по воскресеньям после обеда он катал ее на лодке по Дунаю, и однажды лодка перевернулась прямо перед пароходом. Их вытащили из воды на пароход, доставили на берег, где передали полицейскому. Утром об этом можно было прочитать в газетах. Их имена и нравоучительное назидание, что в лодках резвиться не пристало. Тем самым был положен конец их любви. Печальный конец любви, — барышне из Веррё пришлось уехать в Нове Замки, где она вышла замуж за капельмейстера; история оставила глубокий след в душе Куфалы. А ее последнее письмо буквально уничтожило его: письмо содержало всего несколько строк — она упрекнула его, что он первый полез на веревочную лесенку, которую им бросили с парохода, и что он трус. Сейчас, после столь долгого времени, она вновь явилась ему во сне.

Его разбудил шум на улице — пьяные пастухи расходились из трактиров по своим деревушкам и возвращались в пусту.

Их пение походило на рев несущегося стада, спасающегося бегством от тучи кровососов, голумбашской мошки.

Хриплые, какие-то ожесточенные голоса донеслись и сюда, а текст песни, которую они с поразительным терпением и неутомимостью тянули до бесконечности, не лишен был поэзии. Это была одна из прекрасных песен венгерских пуст:

*Meg engemet, babám szerettél...*

«Да, пока ты любила меня, моя девонька, в пусте было весело. Я объезжал стада, весело распевая о том, что, когда солнце зайдет, я поеду к колодцу в пусте и ты наберешь мне воды — для меня и моего белоногого коня».

*Meg engemet, babám szerettél...*

«Но теперь, моя девонька, ты уже не любишь меня, и, когда я приеду вечером к колодцу, никто уже не наберет мне воды».

Они орали это на шарварской улице, и, хотя их пение не отличалось мелодичностью, он, постигнутый ударом судьбы, повторял в своей постели:

*Meg engemet, babám szerettél...*

«Пока ты любила меня, моя девонька».

Конечно, это было куда приятнее, пан Жигмонд Куфала, чем лежать после такого приключения завернутым в простыню.

И писарь размышлял о том, что надо влюбиться. Этого ему, собственно, и недостает. Ведь когда в венгерском Лубреке он разглядывал красивых хорватских девушек, возвращавшихся с поля, ему всегда было непривычно радостно.

— В этом что-то есть, — сказал себе искушаемый судьбой писарь и уснул.

Утром он заметил торчащие из-под кровати ноги полицейского инспектора, который громко храпел. Этот обязательный человек, возвращаясь ночью из «Бородатого священника», зашел проведать больного, но сил ему хватило, только чтоб заползти под кровать.

— Простите, — извинился он, открыв глаза, — вы спали, как ангел, я не хотел вас будить.

### III

В десять часов утра писаря снова пришла навестить пани Юльча Шемени. Жигмонд, бледнее прежнего, выглядел весьма интересно.

Молодая помещица громко выразила радость по поводу того, что ему лучше, и велела принести из брички большой сверток.

— Вы не рассердитесь, — сказала она напрямик, — я привезла костюм, который будет вам впору, потому что вы одного роста с моим покойным мужем. Он надел его всего один раз, когда поехал на новом коне. Упал и разбился на смерть, но костюму ничего не сделалось. Такая вот история.

При этом она столь откровенно разглядывала молодого человека, что он улыбнулся и кивнул в знак согласия.

Потом он заговорил своим мягким голосом о всяких разностях, о своей молодости, идеалах. Она пробыла у него больше часа. Дала ему напиток воды и, наклонившись к нему, улыбнулась и ласково погладила по волосам.

— А теперь лежите и не вставайте, пан Жигмонд, — сказала она весело. — Доктор сегодня сказал, что с вами все в порядке и через несколько дней вы будете бегать. Когда выздоровеете, обязательно приезжайте ко мне в гости в Каполафалву и мы еще побеседуем с вами. Я так одинока после смерти мужа. Раньше-то у нас было весело, съезжались окрестные помещики, цыгане играли, а теперь такая пустота.

Она прижала руку к сердцу и воскликнула:

— Чего только не случается в жизни! То пусто и уныло, потом вдруг все вокруг так и расцветет, не правда ли, пан Жигмонд?

Она еще раз погладила его по волосам, а он, переполненный совершенно непонятной радостью, только и сказал:

— Спасибо, спасибо. Простите, милостивая пани, что я не могу подать вам руки, меня снова закатали в мокрую простыню.

Он порывисто приподнял голову, чтобы поцеловать ей руку, а она засмеялась:

— Надеюсь, вы не хотите меня укусить.

И поднесла руку к его губам.

Когда она ушла, он прошептал:

— В эту женщину я влюблюсь, да, я буду любить пани Юльчу Шемени из Каполафалвы.

Он размышлял об этом до вечера и потом уже только констатировал, что и впрямь влюбился в нее по уши. Через неделю ему разрешили выходить, и он, сидя под своим старым дубом на Бадачоне, мечтал о пани Юльче, глядя в направлении Каполафалвы. Он и думать забыл о кукурузных и табачных полях, и лишь волнующаяся степь напоминала ему, как нежно вздымалась и дышала ее грудь, когда, склонившись над ним, она гладила его по волосам.

На другой день он уже опять приступил к работе.

#### IV

— Надо нам, милый друг, наконец-то как следует отплатить этой пани Юльче Шемени, — сказал ему бургомистр пан Декани, заглянув перед обедом в канцелярию из зала заседаний, где он отхлебнул из кувшина с вином. — Что она себе думает, эта женщина! Теперь ей не уйти от штрафа. Прежде всего напишем, что, как свидетельствуют ее погонщики скота, она послала их в день торжества пасти стадо в черте города, хотя в праздники пасти скот у города запрещено королевским указом от дня 18 июня 1862. Я уже проверил. Во-вторых, пишите, что она не сообщила о проводе быка через город, нарушив тем самым статью закона о чуме крупного рогатого скота. В-третьих, она не взяла разрешение на выпуск быка в город.

Несчастный писарь обливался потом, бледный как стена, но осмелился лишь возразить:

— Это была случайность, быка напугали.

— Неважно, тем лучше! — заявил пан Декани, довольно осклабившись, — теперь уж ей не поможет даже королевский совет, пишите, что она в то же время подвергла опасности население, поскольку бык был напуган. Вот как здорово я все подстроил. Все то, что я вам продиктовал, вы перепишите на гербовую бумагу с добавлением, что полиция своей властью налагает на нее штраф в двести золотых, внести их она обязана не позднее восьми дней в городское правление, мне лично. Напишите также, что распоряжение обжалованию не подлежит, и подпишите.

— Но, простите, есть ведь еще вторая инстанция, — в ужасе проговорил, заикаясь, писарь.

— А черт с ним, я это тоже знаю, но вы так напишите, чтоб она испугалась. Наконец-то голубка попалась в сети. Тогда ей не хотелось заплатить пустяк, а теперь заплатит две сотни. — И уже с порога он крикнул: — Вы тоже можете подать на нее жалобу, а потом мы это пропьем, зажарим целого кабана, а цыгане нам сыграют.

Писарь сидел совсем уничтоженный перед чистым гербовым бланком, а потом медленно начал писать то, что было продиктовано.

При этом слезы у него капали на промокашку — это была борьба между велением сердца и служебным долгом, который медленно, но верно побеждал любовь.

А потом, уже надписав служебный конверт и вложив туда извещение о размере штрафа, несчастный юноша писал еще неофициальное письмо пани Юльче, в котором извинялся перед ней и признался в любви.

#### V

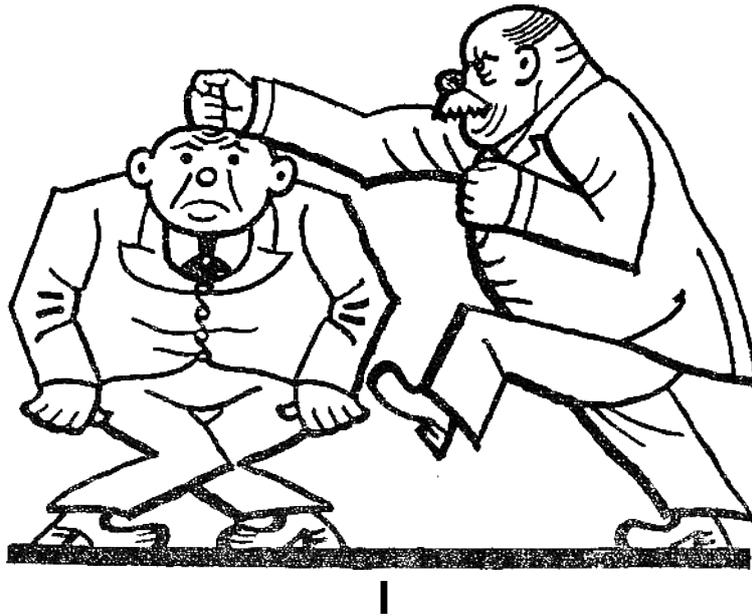
Через два дня он получил из Каполафалвы следующее послание — без обращения и до крайности простое:

*«Я требую, чтобы вы тотчас послали мне назад пиджак, жилет и брюки моего покойного мужа.  
Юлия Шемени».*

И в тихий вечер на Бадачоне, под старым дубом, целуя это послание, несчастный писарь из Святой Торны вздыхал:

— Боже мой, когда же мне повезет в жизни?..

## Опасный работник



У меня вошло в привычку при любых обстоятельствах хвастаться или своей физической ловкостью, или чем-нибудь в том же роде. Эта привычка настолько укоренилась во мне, что несколько раз я обманывал самого себя.

Обычно я хвастаюсь такими вещами, в которых либо ровно ничего не смыслу, либо смыслу очень мало, и рискую в любой момент попасть впросак. Признаться, мне страшно не везет, так как моими слушателями почему-то всякий раз оказываются специалисты, которые сперва пытаются урезонить меня по-хорошему... Но я возражаю им с величайшей живостью и запутываюсь чем дальше, тем больше, так что в конце концов специалистам приходится прибегать к аргументам грубым и жестоким.

Вот, например, около года тому назад один садовод грозился меня застрелить. Прослушав мой более чем часовой доклад об удачной попытке скрестить сосну с яблоней, после чего сосна принесла богатейший урожай яблок, а на яблоне уродились одни шишки, привлекая в сад несметное количество белок, он попросил меня подождать, а сам помчался домой за ружьем. Вернулся он обратно или нет, я не знаю, так как предпочел незаметно скрыться.

В другой раз со мной сцепился один ветеринар. Речь шла о бешенстве. Я утверждал, что бешенство — болезнь заразная и ее могут подхватить даже ласточки; разумеется, это редкий случай — обычно ласточки не общаются с бешеными собаками, — но все же вполне вероятный.

— Вы это серьезно? — вскричал ветеринар и побагровел при этом, как че-

ловек, который нуждается в немедленном утешении: не волнуйтесь, дескать, это сейчас пройдет, и снова все будет хорошо.

— Совершенно серьезно, — невозмутимо ответил я. — Вы даже не можете себе представить, какой гвалт поднимает одна взбесившаяся ласточка! Она лает не переставая. Ей уже не до мух.

Почтенный ветеринар замертво свалился со стула. Пришел ли он в себя, мне тоже неизвестно, потому что, как и в первом случае, я поспешил улизнуть. Потом из невольного чувства уважения к этому достойному мужу я долгое время следил, не появится ли в газетах имя ветеринара под рубрикой «Умерли в Праге», но не обнаружил его.

Столь же рискованно излагать свою точку зрения по проблемам строительства в присутствии архитекторов. Однажды, находясь в их обществе, я высказал свое мнение о том, как должен выглядеть современный дом.

Вдруг ни с того ни с сего один из них, очень взволнованный, грубо схватил меня за плечо и заорал:

— Ха, а куда вы дели трубу, где у вас окна, двери, фундамент, крыша?

Говоря по правде, эти мелочи просто вылетели у меня из головы.

— Фундамент — это излишество, — спокойно ответил я.

Одним ударом он сбил меня с ног и, усевшись на мне верхом, заревел прямо в ухо:

— Так как же вы рассчитываете обойтись без фундамента, голубчик?

Вот так я и живу — несчастье за несчастьем, а виной всему, с позволения сказать, мой проклятый язык. Но самое худшее из того, что мне довелось пережить и что меня окончательно доконало, — это полевые работы в наше тяжелое время.

Удивительно, но я не предполагал, что работать в поле потяжелее, чем сидеть в «Унионке» и глазеть в окно на проспект Фердинанда; короче говоря, я никогда не подозревал, что людям вообще приходится работать.

До сих пор для меня самым тяжким трудом было принести домой сто листов бумаги, разрезать их на четвертушки и с этими девственно чистыми листочками бежать к издателю и выклянчивать аванс.

После моего приключения с ветеринаром я решил начать трудиться по-настоящему и посвятить себя самого и свои жировые накопления деревне.

Итак, я отправил девяносто килограммов собственного сала к своему приятелю Грнчиржу в деревню Есень. В первый же вечер у нас зашел разговор о пользе труда и о том, как я рад, что наконец-то возьму в руки вилы.

— А что ты собираешься с ними делать?

— Ну, сено ворошить.

— Ты что-то путаешь, для этого нужны грабли, — поправил меня Грнчирж. — Вилы тебе понадобятся, когда придется подавать на телегу снопы.

— Ну, я страшно рад, страшно рад, — сказал я. — Я не то что один, я враз по четыре, по пять снопов кидаю. А когда дело доходит до граблей, так я просто чудеса творю. У моего дедушки — царствие ему небесное, он, бедняга, хлебнул со мной горя — я однажды переворошил двадцать корцев! Да что я вру — не двадцать, а тридцать пять корцев? Поплевал на ладони, знаешь, как я плюю себе на ладони, — и пошло. Полдня — и готово. А снопы, как я уже тебе говорил, запросто кидаю по пять зараз.

Мой друг Грнчирж взглянул на меня в немом замешательстве и коротко

сказал:

— Так завтра и начнем! Будем переворачивать ячмень.

— Отлично, — с готовностью ответил я, — как-то я перевернул целый воз ячменя, ты и понятия не имеешь, на что я способен! Переворачивать ячмень, или там жито, или пшеницу, или картошку...

— Картошку? — изумился мой друг.

— Ну да, картошку, что же тут особенного? У покойного дедушки мы жали картофель на корню. Я как сейчас помню, он тогда весь промок, так мы сложили его в скирды и ну ворошить — переворачивать со стороны на сторону, чтоб подсох.

Мой друг Грнчирж уже не удивлялся.

— Боже мой, что за вздор ты городишь!

— Вовсе не вздор, — оборонялся я, — у покойного дедушки в тот год выдалось очень дождливое лето. В соседней деревне была засуха, но зато у нас все уродилось. Сливы перезрели настолько, что начали прорастать. У покойного дедушки в полах пиджака завалилось несколько зерен, и в один прекрасный день в пиджаке проросла рожь.

— Знаешь что, — сказал мне озабоченно Грнчирж, — иди-ка ты лучше полежи. Весь день в дороге, да по такой жаре — тут кто угодно спятит.

Уже лежа в постели, я услышал, как в соседней комнате Грнчирж говорил кому-то:

— Скорее всего ни в чем он не разбирается: ни рожь от пшеницы отличить не может, ни ячмень от овса.

«Ишь ты, умник! — подумал я про себя. — У пшеницы еще такие длинные усы. Черт возьми, а может, это овес?»

## II

Мы отправились в поле ранним утром. День выдался до того душный, что не успел я пройти и половины пути, как почувствовал, что умираю от жажды. Пот катил с меня градом, и я безвольно ждал того момента, когда меня окончательно развезет.

В поле обо мне уже было известно. Видимо, Грнчирж кое-что успел рассказать. Я слышал, как одна баба с граблями сказала другой:

— Глянь-ка на этого. Говорят, он зараз по пять снопов кидает.

Передо мной простиралось поле, покрытое кучками сжатого ячменя. Они тянулись до самого горизонта и, казалось, только меня и ждут.

— Ну, начнем переворачивать, — предложил Грнчирж. — Снизу ячмень мокрый, надо его просушить.

— Начнем, — отозвался я и, взяв несколько колосков, переложил их на другую сторону, потом взял еще столько же...

— Да кто же так делает, голубчик? — изумился Грнчирж. — Возьми грабли и переворачивай вот так, видишь: мокрой стороной наверх. Ты ведь, судя по вчерашним рассказам, хорошо знаешь деревенскую работу!

— У моего дедушки мы всегда так делали, — оправдывался я. — Мы, например, рожь не косили, а просто за стебель выдергивали с корнем... Чтоб стерни не оставалось.

Грнчирж больше не слушал. Он шел дальше, видимо, занятый своими мыслями. Пот катил с меня уже не градом, а ручьями, заливал и щипал глаза. А эти несносные комары, словно прознав, что мы ведем мировую войну, реши-

ли выступить в роли неприятеля и кровожадно набросились на меня.

Терпя неслыханные муки, я осторожно переворачивал ячмень и регулярно информировал об этом Грнчиржа.

— Грнчирж, уже восемь куч готово!

На девятой у меня от земных поклонов заболела спина. Начав одиннадцатую, я окончательно изнемог, словно взбежал на Монблан. Повалившись на снопы, я в полной растерянности начал ползать по ячменным кучам. Они словно измывались надо мной, а откуда-то сзади голос Грнчиржа спросил:

— Что с тобой, голубчик?

— У покойного дедушки после одиннадцатой кучи мы всегда отдыхали, — ответил я упавшим голосом. — Это не давало нам сбиться со счета. К примеру, если оказывалось, что мы отдыхали сорок раз, значит, сделали четыреста сорок куч, и тогда уже точно было известно...

Грнчирж поднял меня и, грубо оборвав мои пояснения, распорядился:

— Валяй дальше, это тебе полезно. Учти, весь этот ряд твой. Гляди, как мы тебя обогнали... Боже милосердный, да что это ты натворил? Зачем свалил все в одну кучу?

— Разумеется, — сказал я. — Так ведь практичнее. Сперва сделаю стог, а потом этот стог сразу и переверну. Какой смысл возиться с маленькими кучками? У покойного дедушки таким манером я за два часа перевернул две тысячи куч. Конечно, если ты против, я могу и разбросать, но нахожу, что это непрактично.

— Ячмень-то ведь должен высохнуть, — пытался растолковать мне Грнчирж.

— А ты раньше говорил, что у вас есть сушилка, — напомнил я.

— Так это же для фруктов, — завопил он, чуть не плача.

— Ну, ну, так я же ничего особо вредного и не предлагаю, — успокаивал я приятеля. — Я думал, как лучше, практичнее.

Мы снова принялись за работу. Я разбросал любовно собранную кучу и с удвоенной энергией принялся за следующий ряд, который находился слева от меня. Не прошло и четверти часа, как снова появился Грнчирж.

— Боже правый, помилуй нас! — уже издалека кричал он. — Голубчик, ведь ты перевернул обратно все, что мы уже переворачивали, теперь мокрый опять внизу и придется все начинать сызнова! А у тебя небось и для этого есть объяснение?

— Конечно, — ответил я. — У моего покойного дедушки мы всегда так делали, чтобы зерно быстрее сохло. Носишь взад-вперед, туда-сюда, вот оно и сохнет, потому что отовсюду воздух. И тогда мы даже подвешивали колосья на веревках, как белье.

Тут я увидел, что мой друг Грнчирж кусает губы. Однако, справившись со своим гневом, он сказал:

— Будь добр, отправляйся-ка вон к той девчонке, что присматривает за ребенком одной нашей работницы, и передай ей, чтобы она шла переворачивать ячмень, а сам пока понынчишься с младенцем.

— У покойного дедушки...

— Ступай, ступай.

Я пошел с радостью. Значит, нянчить младенцев — тоже полевая работа.

Это был милейший годовалый мальчонка. Уселись мы с ним на сруб колод-

ца, а он возьми да и выскользни у меня из рук, так и свалился прямо в воду.

— Грнчирж, — заорал было я, — принеси мне грабли, у меня мальчишка в колодец свалился!

Конечно, лучше было, пока не поздно, вытянуть парня без граблей, что я и сделал. Но переполох все же поднялся.

Перепуганная мать, обливаясь слезами, вместо ячменя сушила своего сыночка. А Грнчирж заметил:

— Должно быть, у твоего покойного дедушки тоже бросали детей в колодцы?

— По четыре, а то и по пять сразу, — забормотал я, не соображая, что говорю: в этот драматический момент я продолжал думать о снопах.

Женщины смотрели на меня с ужасом.

— Знаешь, — сказал мой приятель Грнчирж, — иди-ка ты лучше пить пиво... Перед обедом я к тебе загляну, а после обеда пойдем к Самекам на поле снопы возить. Видимо, на тяжелой работе от тебя будет больше проку.

«Вот тебе раз, — подумалось мне, — от меня ждут пользы на более тяжелой работе. Значит, то, что я пережил утром, считается пустяком?»

### III

Между тем и у Самеков и в трактирчике уже прослышали о чудодее, который кидает на воз не по одному, а по четыре-пять снопов зараз.

Ну, разумеется, такого богатыря следовало угостить. Основательно нагрузившись, мы выехали в поле.

В руки мне сунули какую-то занятную вещицу. Она состояла из палки, на конце которой чрезвычайно хитроумным способом были укреплены три острия.

— Где бы мне взять вилы? — спросил я у Самека.

— Да они же у тебя в руках! — удивился крестьянин.

— Прошу прощения, я просто не обратил внимания, — небрежно извинился я и принялся рассуждать о том, что, наверное, быть дождю, обязательно пойдет дождь, потому что уж очень жарко, и хорошо бы, если б стало немножко попрохладнее.

Крестьяне не любят таких прогнозов, особенно в пору жатвы, когда нужно успеть свезти снопы в ригу.

Пребирательства продолжались до тех пор, пока мы наконец не очутились на поле среди снопов.

Снопы были отменно крупными и тяжелыми.

Мы начали накладывать их на телеги. Жара стояла невыносимая, и я прибегаю к хитрости. Я развязывал сноп и, подхватив небольшую его часть на вилы, перетаскивал на телегу.

— Ты что это делаешь? — прикрикнул на меня Грнчирж.

— Упрощаю свою задачу, — отозвался я, — потому что мой способ практичнее, чем...

Грнчирж снова всучил мне вилы, которые я, приступая к логическому обоснованию преимуществ своей инициативы, воткнул было в землю.

— Не позорь меня, — взмолился он, — подцепи сноп и подавай на телегу!

Вообразите, что вам нужно поднять полутораметровую жердь с пудовой гирей на конце и затем швырнуть эту гирю вверх, на высоту трех метров, причем не раз и не два, а пятьдесят, сто, тысячу раз.

Я ухватился за вилы, издалека прицелился в сноп, нацепил его и, крякнув, подбросил на телегу. Пошатываясь, я носил снопы к телеге и кидал их наверх.

Силы уже оставляли меня, и на десятом снопе я решился на отчаянный шаг.

Поднатужившись, я со всего размаха огрел снопом батрака Штепана, который стоял на телеге укладчиком.

На этот подвиг ушли мои последние силы.

Штепан слетел с телеги, как яблоко с яблони, и угодил прямо на бабу, которая как раз несла в большом жбане пиво к ужину.

Раздался ужасный, жалостный вопль: пиво поминай как звали. Когда все успокоились, мне велели отложить вилы.

Я отнекивался, говоря, что только-только вошел во вкус, но они все-таки поставили меня к лошадям, объяснив, что это никакое не понижение, чему я, разумеется, не поверил.

Не удалось мне отличиться и возле лошадей. Просто я не вовремя произнес «но!», кони дернули, телега покатила, и бедняга Штепан снова оказался на земле.

Крестьяне прогнали меня и от лошадей и больше уж ничего мне не доверяли. Некоторое время я изгнанником шатался по полю, а потом опустился на межу. Моя новая попытка принять участие в общей работе с вилами в руках была безуспешной. Крестьяне вырвали их у меня. И я снова очутился на меже.

Мухи и комары отнесли ко мне без всякого снисхождения, а один слепень — законченный нравственный урод и ничтожество — так укусил меня в руку, что она тотчас же вспухла. Но никто не проявил ко мне ни малейшей жалости.

Когда мимо меня проходила Аничка, хозяйская дочка, усердно вязавшая снопы, я обратился к ней:

— Взгляните, пожалуйста: этот слепень натворил с моей рукой что-то очень страшное...

— Слепней здесь хватает, — равнодушно отмахнулась Аничка, не выразив ни капельки сочувствия, — скотины нынче в поле мало, всю в армию угнали, вот слепень и напал на вас.

Что она хотела этим сказать, я до сих пор не понял.

#### IV

Существует распоряжение, чтобы всюду на полевых работах составляли списки лиц, принимавших в них участие: каждый должен по мере своих сил приносить пользу отечеству.

Однако жандарм, пришедший к Грнчиржу записать всех работоспособных, взглянув на меня, заявил:

— Их милость я записывать не стану, они какой-то опасный работник.

Сдается мне, что на сельской ниве славы мне не снискать, хотя у моего покойного дедушки...

Боже мой, что это я опять болтаю!..

## Колокола пана Гейгулы

Возможно, вас когда-нибудь посетил пан Гейгула и предложил церковные колокола, а вы сказали, что, к сожалению, не можете осчастливить его своим заказом за неимением подходящего помещения. Бывало, очевидно, что ему отказывали и в более грубой форме, полагая, что он принимает их за сумасшедших. Но бывало и так, что пану Гейгуле вежливо пододвигали стул и долго дискутировали с ним о значении церковных колоколов. Это произошло, к примеру, в редакции одного атеистического журнала. Дискуссия кончилась тем, что ему предложили кучу разных брошюр и работу агента по распространению атеистических изданий.

— Благодарю вас, господа, — сказал тогда пан Гейгула. — Я занимался уже этим делом у ваших противников, и у меня есть опыт.

Он говорил чистую правду, потому что прежде чем заняться продажей колоколов, он служил посыльным в англиканском Библейском обществе и разбазарил у всех на глазах целый склад.

В те времена пан Гейгула горько сетовал, что никто во всей Праге не хочет купить Новый завет на монгольском языке. А когда хозяин трактира, куда он ходил пить пиво, не захотел дать ему за катехизис англиканской церкви в японском переводе даже кружки пива, он понял, что на службе у Библейского общества не преуспеет. Тщетно пытался пан Гейгула дать к катехизису в придачу еще книжку с замысловатыми значками, тщетно доказывал, что лучше этого «Нравоучения для самоедов» ничего не существует, хозяин трактира остался неумолим. И пан Гейгула в Библейское общество больше не вернулся.

Общество послало к нему своего проповедника, унылого господина в поношенном пальто, который битый час, сидя у постели пана Гейгулы, витийствовал о спасении души, долге и нравственности.

Пан Гейгула, не вставая с постели, рыдал, что он погибнет во грехе и что ему нужно десять крон. Наконец они сошлись с проповедником на семи пятидесяти.

— Торговался я с ним полчаса, не меньше, — рассказывал потом пан Гейгула. — Он давал мне сперва две кроны, если я исправлюсь. Затем проповедник принялся оплакивать меня и накинул четыре кроны, потом вздумал меня проклясть. Тут уж я сразу запросил не десять, а пятнадцать крон. Наконец мы договорились, что мое спасение обойдется Обществу в семь пятьдесят. Но оба мы к тому времени так уморились, что пот с нас лил градом. Больше я его никогда не видел.

Итак, порвав с Библейским обществом, пан Гейгула вдруг ни с того ни с сего объявился с колоколами. А дело здесь было в том, что помер его тесть, звонарь, и пан Гейгула унаследовал два церковных колокола. Он отнес их в сарай к пружелью-угольщику, а сам принялся искать, кому их продать. И угодил в клинику для душевнобольных.

Произошло это следующим образом. Однажды пан Гейгула постучался в дверь известного психиатра и сказал:

— Позволю себе предложить вам церковные колокола. Прекрасная работа. В настоящее время я испытываю денежные затруднения, так что цена будет не слишком высокой. Если вы, ваша милость, изволите посетить меня на предмет колоколов, я буду весьма признателен. Вы сможете воочию убедить-

ся, что это за колокола, какие это прекрасные экземпляры.

Я могу предложить вашей милости два колокола — один высотой в метр, семьдесят пять сантиметров в диаметре, а другой поменьше — примерно шестьдесят сантиметров высотой, а в диаметре тридцать сантиметров, это — так называемый погребальный колокол.

Психиатр внимательно посмотрел на пана Гейгулу и любезно предложил ему сесть. Для него это был на редкость интересный случай и в его практике встречался впервые.

Он предложил пану Гейгуле сигару и спросил:

— А где же находятся эти ваши колокола?

— У одного угольщика в Карлине.

«Церковные колокола и угольный склад — это действительно тяжелый и запущенный случай заболевания», — подумал психиатр.

— Ну, а вы никогда не слышите, чтоб они звонили? — рассудительно продолжал он спрашивать.

— Да они не звонят, ваша милость, знаете, они просто валяются в сарае в угольной пыли. Если бы, скажем, вы, ваша милость, знали о ком-нибудь, кто хотел бы купить хоть один из колоколов, я был бы действительно вам очень признателен.

Пан Гейгула говорил так убедительно, что психиатр подумал: «Типичный случай паранойи».

— Знаете что, — сказал он, — обождите минутку. — Я позвоню сейчас одному своему знакомому, тот давно уже тоскует по церковному колоколу.

Он позвонил, и через полчаса рядом с паном Гейгулой оказались два человека в форме земских чиновников.

— Пройдемте, — позвали они пана Гейгулу, любезно подхватив его под руки, — сейчас мы поедем в один замок и там купим ваши колокола.

— Что-то меня тут насторожило, — рассказывал потом пан Гейгула. — В машину меня, можно сказать, просто затолкали, да так быстро, что я опомниться не успел. Один из этих людей подсел ко мне и долго беседовал со мной о колоколах. А потом вдруг спрашивает: «Простите, а почему же вы не говорите «бим-бам, бим-бам»?»

Я гляжу на него во все глаза, а он все твердит: «Да не бойтесь же меня, скажите «бим-бам, бим-бам», и вам станет легче».

И все просит и просит, так что я даже подумал: «Боже ж мой, человек с ума сошел!» «Не сходите с ума!» — воскликнул я. А он мне: «Не скандалить! — и вдруг заорал: — Не то отправлю вас в изолятор!»

«Точно, — подумал я, — этот человек рехнулся. Ну, странных же людей со сватал мне пан доктор».

А насчет изолятора все оказалось правдой, потому что, как только пан Гейгула понял, что попал в сумасшедший дом, он стал бурно сопротивляться, браниться и вообще вести себя самым недостойным образом. Он кричал, что у него в самом деле есть два колокола, один — побольше, а другой — поменьше, погребальный, что он это им докажет. Дежурный врач благосклонно похлопал его по спине и сказал: «Мы верим, что у вас есть церковные колокола, но купить мы их не сможем до тех пор, пока вы не переоденетесь и не искупаетесь. Вы разденетесь добровольно или эти люди должны будут вам помочь?»

При этом он указал на внушительного вида санитаров, меланхолически

стоявших у входа.

Поскольку добровольно пан Гейгула раздеваться не захотел, санитары набросились на него, проявив при этом такую ловкость, что уже через минуту он сидел в ванной, наполненной теплой водой, и снисходительно разрешил себя мыть. Потом его вытерли и надели на него парусиновые туфли и смирительную рубашку, а на голову колпак наподобие арестантского, и врач весьма любезно спросил его:

— Ну, как, вам уже лучше? Вы больше не слышите звона колоколов?

Он приблизился к нему и направил свет карманного фонарика прямо в глаза. Пан Гейгула немало повидал на своем веку, но подобного обращения еще не встречал. Он вырвал у врача фонарик и закричал, чтоб тот лучше себе посветил в задницу.

Тут-то он и попал в изолятор. Его положили в кровать, заделанную сеткой сверху и по сторонам, и вместе с кроватью затолкали в пустую маленькую комнату, где заперли на ключ.

Пан Гейгула остался в одиночестве. Сначала он кричал:

— Убийцы! Я вам покажу!

Потом орал:

— Не делайте глупостей, отпустите меня!

И в конце концов уснул.

Утром он рассудил, что любая поспешность вредна, и, когда за ним пришли, чтобы отвести к врачу для составления истории болезни, он был уже вполне спокоен и с улыбкой пожелал своим попечителям доброго утра.

— Это сущее недоразумение, — сказал он им весело. — Когда я буду рассказывать об этом в трактире «Семерка червей», все просто животы надорвут.

В истории болезни пана Гейгулы так и записано: «В то утро он был неестественно весел».

И вот он предстал перед целой комиссией. Исповедовавшись в своей национальности и прочем, он по просьбе старшего врача рассказал о своих колоколах. В истории болезни значится:

«С ярко выраженными признаками душевной депрессии пациент неестественно быстро рассказывает о том, что хочет продать два колокола, которые якобы хранятся у одного угольщика в Карлине. Помрачение сознания достигает своей кульминации, когда он рассказывает, что церковные колокола лежат в угольной пыли, накрытые брезентом. Пациент все время странно улыбается, говоря о своей финансовой несостоятельности и об их дешевизне. Пульс учащенный, на правой руке ссадина, результат сопротивления санитарам. Зрачки расширены. Отец и мать в лечебнице не содержались. Единственная сестра умерла от оспы».

Пан Гейгула пробыл в лечебнице неделю. У него было хорошее настроение, и он просил врача выдать ему справку, что дирекция лечебницы покупает у него оба колокола.

— Ну, конечно, покупает, — отвечал врач.

— Тогда давайте оформим заказ, — не отставал от него пан Гейгула, неизменно улыбаясь.

— Оформим, оформим, только успокойтесь.

Однажды, когда директор сумасшедшего дома проводил очередной обход, его взгляд упал на пана Гейгулу, сидящего у окна.

— Это тот, что продает колокола, — подсказал лечащий врач.

Пан Гейгула подошел к самому директору и обратился со своей просьбой, не купит ли дирекция лечебницы у него церковные колокола и не оформит ли ему заказ-наряд.

Директор в тот день был в хорошем расположении духа.

— Конечно, — мы подготовим все документы, и ваш доктор завтра же вам их принесет, будьте спокойны.

На другой день врач действительно принес пану Гейгуле заказ-наряд, подтверждающий, что дирекция психиатрической лечебницы покупает у него, пана Гейгулы, два колокола, один большой, другой погребальный, за три тысячи крон. Внизу стояла печать лечебницы.

Пан Гейгула спрятал бумагу в карман и больше о колоколах не заговаривал.

Через месяц его выписали из больницы. В истории болезни значится:

«13 сентября выписан с улучшением».

Но каково было изумление дирекции, когда в один прекрасный день экспедитор выгрузил во дворе сумасшедшего дома два колокола — один большой, а другой поменьше.

Колокола действительно наличествовали, и тем самым паранойя пана Гейгулы отсутствовала. Ко всему прочему налицо был оформленный по всем правилам заказ-наряд за подписью дирекции психиатрической больницы.

Но деньги за колокола долго не перечислялись, и пан Гейгула обратился с иском в суд, предъявив заказ-наряд в качестве документа. Однако до разбирательства не дошло, ибо явилась врачебная комиссия, и пан Гейгула был направлен в сумасшедший дом вторично, поскольку теперь налицо была идея фикс получить деньги от лечебницы за свои колокола.

## О прекрасной даме и медведе из Зачалянской долины



I

Правительство все-таки вспомнило про королевские венгерские леса на Магуре, к которым до сих пор относилось, как мачеха. Не иначе высшая администрация, в чьем ведении и под опекой находились королевские угодья, пребывала в сентиментальном расположении духа, когда решила, будто эти непроходимые дебри нуждаются в охране.

В результате туда, наверх, было решено отправить Дюлу Рагаша, королевского егеря, который до сих пор охранял государственные леса в Мишкольце.

Дюла Рагаш сидел себе в казино и, попивая вино, развлекал общество рассказами о своих новейших похождениях в таборе за рекой. Цыганки нагадали ему по руке, что он уедет и никогда не вернется. Дюла Рагаш сообщил присутствующим, будто за такое прекрасное пророчество он всучил старухе цыганке стертый полугульден, и тут же заметил, как бы невзначай, что вскоре удалился с молодой цыганкой, причем тут уж ни о каком гаданье по руке не было речи.

Вне всякого сомнения, Дюла продолжил бы рассказ о прелестях юной черноокой красавицы, если б не явился лесник и не сообщил, что приехал инспектор, который дожидается Рагаша в доме лесника.

Таким образом, из уст самого инспектора государственной лесной инспекции Дюла Рагаш узнал, что власти скорбят о судьбе заброшенных лесов на Магуре и его, Рагаша, назначили старшим королевским егерем туда, наверх, в Зачалянскую долину.

Инспектор поинтересовался, хватит ли Дюле Рагаш у двух месяцев, чтобы привести свои дела в порядок и жениться.

— Это как же, извините, понимать? — спросил, перепугавшись, Рагаш.

— Я, надобно сказать, — отвечивал инспектор отеческим тоном, никоим образом не собираюсь вводить вас в заблуждение. Полагаю, и у вас хватит смелости не питать иллюзий и трезво оценить положение вещей!

И он стал чрезвычайно ласково говорить о том, что у Дюлы Рагаша нет даже малейшей надежды спуститься когда-либо вниз с лесистых холмов. Кроме того, надо принять во внимание, что в тех дремучих лесах нет ни единой жи-

вой души женского пола, всяк, кто попадет туда, будет навсегда отрезан от мира. Государственная инспекция, со своей стороны, обеспечит ему хорошее, уютное гнездышко в одном из заброшенных домов, даст под начало двух лесников, и Зачалянская долина снова оживет. Летом можно разводить овец и выписывать книги. Зимой все занесет снегом и придется жить запасами.

— В камельке будет потрескивать огонь, — продолжил инспектор прочувствованно, — и я в такой ситуации рекомендую вам держать на коленях молодую женушку.

— Хорошо, — сокрушенно отвечал пан Рагаш, — но на ком же мне жениться?

— Тут я вам, к сожалению, не советчик, это ваше сугубо личное дело. Женитесь на ком хотите, но это должна быть женщина храбрая, ибо не исключено, что к вам заявятся гайдамаки со своими старыми ружьями. В Карпатах они уже пристрелили нам трех королевских егерей. Впрочем, — продолжал утешитель, — на Магуре такое может и не произойти. Ведь Магура это не Карпаты. Я хоть и не знаю местный народ, но полагаю, что о них не следует думать только плохое. Вы, пан Рагаш, весьма одаренный человек и отлично подходите для тех диких мест. Представьте только, там водятся волки, дикие кошки, рыси, кабаны и медведи. Мы знаем, вы не робкого десятка. Работы там, в сущности, никакой, лишь присматривать за лесами, что само по себе прекрасно.

— А что бы вы сказали, если бы туда перевели вас? — парировал Дюла Рагаш. — Вам бы это понравилось?

Инспектор растерянно ответил, что он уже человек немолодой и для подобных перемещений непригодный.

— Я, — продолжал он в сердцах, — я бы, наверное, застрелился. Но вы молоды. И ваше будущее там. Я схожу к министру внутренних дел, и мы дадим вам звание управляющего. А также накинем пятьдесят тысяч крон. Можете не сомневаться, у вас там будет настоящая идиллия. Только женитесь потолковее и, главное, научите своих лесников играть в шахматы. Ведь зимой, когда целых три месяца из дома не выберешься из-за снежных заносов, время тянется так медленно. Можете также завести пианино. Можете каждый день напиваться, но главное — это жена и шахматы. Непременно возьмите с собой карты и через два месяца чтоб вы были в Зачалянской долине!

В тот день пан Рагаш буйствовал и орал, что перебьет всех! Лесника, себя, весь Мишкольц. После чего помчался в казино, где за бутылкой наилучшего венгерского просидел до четырех часов утра. Затем господа из казино притащились к мишкольской ратуше и хором прокричали: «Дайте жену пану Рагашу».

Домой нотар волок пана Рагаша волоком и, обнимая, прочувствованно сообщил ему у себя в коридоре: «Знаешь, брат Дюла, отдам-ка я за тебя свою двоюродную сестрицу Зоську. Эта девица не боится никого. Однажды она даже вытащила из воды тонущего сапера. Ты не поверишь, до чего она храбрая. И глаза у нее такие синие, такие, понимаешь ли, озорные, ну просто потеха».

Он залился смехом и продолжал смеяться, даже рухнув на кровать, и все твердил: «Брат Дюла, глаза у нее, скажу я тебе, такие синие, такие озорные, что прямо потеха! А на Рабе она вытащила из воды, сапера, то-то было смеху! И красивая. Вот ведь, свояк, какая потеха».

Когда же на следующий день в Римавской Сободе, куда они приехали, пан

Рагаш увидел эти озорные синие глаза Зоськи, то тут же влюбился в нее по самые уши.

Через неделю после описанного, гуляя с ней по вербной аллее вдоль речки Римавы, он завел разговор о том, что сроду не видывал такой высокой, отличной кукурузы, как нынче. Потом начал нести что-то про груши, про тутовник и закончил свою речь радикальным заявлением:

— Извините, барышня Зоська, а нельзя ли сделать что-нибудь такое, чтобы я мог взять вас в жены?

— Подождите, я подумаю, — отвечала барышня Зоська.

Так они обошли всю Римавскую Сobotу и ходили молча уже более часа, когда барышня Зоська остановилась и сказала:

— Думаю, что можно.

— Как я рад! — вскричал пан Рагаш, и через два месяца она уже сидела у него на коленях у камелька в Зачалянской долине, что вполне соответствовало пожеланиям инспектора из государственного управления королевских лесных угодий.

Через четверть года пани Зоська начала томиться и вспоминать про светлые равнины вокруг Римавы, озаренные ярким, горячим солнцем, золотящим также кукурузные початки.

## II

Впрочем, Зачалянская долина была не столь уж безлюдна и пуста. На другом ее конце коптил над очагом овечий сыр Ондрей Таращук, в то время как перед его рубленой хатой лежал, лениво развалясь, ручной медведь Миша, который был не местным, не магурским, и мог бы поведать о себе целую одиссею.

Родился Миша под Попадией, в лесных Карпатах, в тех сказочно-прекрасных диких лесах, где по ночам слышатся таинственные звуки и где нет ни шоссе, ни проселков. Однажды медведица-мать вышла с ним на прогулку, но повстречала одного из лихих сынов Карпат. Медвежонку к тому времени исполнилось восемь месяцев, и он был уже красивым малым. В результате встречи медвежонок остался сиротой, ибо лихой человек прикончил его матушку тесаком.

Медвежонку удалось удрать и, прожив скверную зиму на самом севере Карпат, он счел за благо переселиться подальше, надеясь, что в других лесах ему будет лучше. Преодолев Спишскую столицу, Торну и Абауй, он, продравшись сквозь сплошные заросли гемерских лесов, перевалил через Татры и попал на Магуру.

В один прекрасный день медведь спустился с гор в Зачалянскую долину и ночью улегся в засаде перед кошарой возле хаты Таращука, в смутной надежде напасть на его овец, но на лютom морозе от слабости уснул. Так и нашел его, окоченевшим как полено, Ондрей Таращук.

Он перетащил медведя в хату к очагу и вышел во двор, наточить на камне нож, собираясь содрать с медведя шкуру. Каково же было его изумление, когда, вернувшись, он увидел, что огромный черный клубок начал распрямляться, а потом поднялся и закосолапил вокруг огня, дружелюбно урча. Обнюхав все, медвежонок уселся рядом с озадаченным Ондреем и стал комично на него поглядывать.

Ондрей Таращук посмеялся над потешным гостем и кинул ему лепешку из

отрубей, потрепав при этом гостя по загривку.

Медвежонок лепешку слопал, слопал и вторую и, окончательно освоившись, принялся приводить в порядок свою шубу. Затем улегся к ногам Ондreja и уснул сном праведника, полагая себя в полной безопасности.

А Ондрей Таращук хохотал так громко, что слышно было аж в Зачалянской долине.

С тех пор эти двое стали друзьями. Само собой разумеется, Ондрей произнес пространную речь, где предлагал медведю вести себя пристойно и избегать всего, что могло бы испортить их дружеские отношения.

Таращук неосознанно считал себя христианином, так, по крайней мере, утверждал когда-то его отец, которого он схоронил на одном из холмов и с большим трудом соорудил над гробом за лето могильный холм.

Как-то в один из дней, когда растаяли снега, Ондрей взял медвежонка в охапку и отнес к зачалянскому ручью, где и окрестил, творя при этом молитву: «Наиславнейший всемогущий боже! Прошу тебя, знай, что этого мишу зовут Миша, и еще прошу тебя, сделай так, чтобы он рос хорошим, тебе и мне на радость».

И Миша рос хорошим. Он ходил за Ондреем следом, как собака, свободно разгуливал по окрестностям и не доставлял Ондрею никаких хлопот. Питался Миша исключительно растительной пищей, если не брать в расчет дикого кролика, и то изредка.

По утрам, совершив туалет, Миша отправлялся со своим другом к кошаре взглянуть на овец. С овцами он поддерживал дружеские отношения. А иногда они с Ондреем схватывались побороться.

Так и жили эти двое счастливо и в свое удовольствие в дремучем зачалянском лесу. Случалось им хаживать вместе и на охоту, как вдруг однажды в лесу под Зубриной повстречали они одного из лесников пана Рагаша, словака из Спиши, Вазилу.

Вазила тут же помчался к дому пана Дюлы Рагаша и вбежал в комнату, где пани Зоська, сидя за пианино, распевала чувствительные романсы времен короля Матяша. Главный королевский егерь пан Дюла Рагаш совершал в это время обход вдоль реки Попрад, а молодая дама оставалась на хуторе наедине со своими неясными мечтами и желаниями. Представьте себе! Она уже пять раз зевнула.

— Вельможная госпожа, — в ужасе вопил Вазила. — Медведь и человек!

После чего, подкрепившись глотком самогонки из фляги, рассказал про свою удивительную встречу.

Пани Зоська поднялась и произнесла лишь: «Идем, покажи мне, где они».

В тот день Ондрей Таращук впервые в своей жизни увидел синие глаза. Таращук не понимал, что она говорила, и лишь смущенно улыбался, когда она ласкала медведя.

— Тебе понравились синие глаза вельможной госпожи, да, Миша? — сказал он вечером медведю.

Пани же Зоська, наоборот, вечером сказала самой себе:

— Nagyon szép, какой красивый мужчина!

### III

Несомненно, Зачалянская долина была не так уж и скучна. Пани Зоська нашла даже, что, напротив, жить здесь приятно, а два этих соседа весьма милы.

Зачалянская долина была тиха и молчалива.

Вазила вполне мог бы брать с нее пример, тогда сейчас ему не пришлось бы говорить:

— Ах, проклятый мой рот, ничтожный мой язык. И зачем только я все выболтал пану Рагашу?

Если б Вазила помалкивал, то в один прекрасный день пан Рагаш не сказал бы пани Зоське странным тоном:

— Ну, дорогая, сегодня я иду на медведя.

Возвратившись после долгих четырех часов отсутствия, он весьма благодушно сообщил жене, что одного из той пары он пристрелил, а другой удрал, что было правдой: Миша успел скрыться в горах Магуры.

Через несколько дней после случившегося пан Дюла Рагаш не вернулся из леса в свой дом. Он исчез бесследно и навсегда.

\* \* \*

Однажды, когда я приехал под Добшину, паи Миклеш, известный в округе тем, что на его счету имеется уже дюжина медведей, показал мне большую свежую медвежью шкуру.

— Никак в толк не возьму, — удивлялся он, — что за напасть! Освеживал я медведя, а в желудке золотое кольцо! Скорей всего обручальное, и в кольце, внутри, гравировка: «Зоська 19–81 VIII — 09»!

## Жертва уличной лотереи

**Б**удь у пана Косаудулы враги, все случившееся могло бы казаться вполне правдоподобным и до известной степени закономерным.

Дело в том, что кто-то распустил слух, будто ему достался главный выигрыш уличной лотереи — семьсот тысяч крон.

Косаудулу это больно задело. Во-первых, он не выиграл и двух крон, а во-вторых, никаких врагов у него не было. Он жил со всеми в мире, и ему было по истине неприятно, что кто-то сочинил подобную небылицу.

Последствия о казались ужасающими.

Первая стычка произошла в квартире его невесты. Пана Косаудулу приветствовали радушно, потчевали шоколадом, а будущий тесть едва держался на ногах, то ли от радости, то ли от выпитых им в честь столь знаменательного события двух бутылок вина.

Не дав Косаудуле опомниться, вся семья изложила ему свои взгляды на новую жизнь, которую они отныне начнут.

Пан Подбабачек, будущий тесть, уже успел пронюхать о великолепном участке земли и кричал, что намерен разводить там серебристых кроликов.

Мария — его скромная Мария! — несла какой-то вздор об автомашине и брюссельских кружевах, которые она станет провозить контрабандой.

Пани Подбабачкова отвела ошеломленного Косаудулу в сторону и потребовала, чтобы он купил для нее галантерейный магазин.

В то же время Карел, пятнадцатилетний гимназист, незаметно сунул ему в руку листок бумаги, на котором было написано: «Купите, мне, пожалуйста, мотоцикл. Я уже один присмотрел».

Косаудула вспомнил, что на днях читал, как где-то в Швейцарии ни с того ни с сего помешалась сразу целая семья, и попятился к дверям, принужденно улыбаясь и крича:

— Все вам куплю, успокойтесь, все что угодно!

Под ликующие вопли ему удалось добраться до дверей, где он молниеносно вытащил из замка ключ, запер несчастную семью на два оборота и помчался в «Скорую помощь»; там ему сказали, что, по всей вероятности, это раганаia гресох, или мания величия, и отправили обратно вместе с отрядом пожарных и смирительными рубашками.

Все члены семьи яростно сопротивлялись, но их одного за другим вытащили через окно и снесли по приставной лестнице вниз, причем каждый отчаянно вопил: — «Он выиграл семьсот тысяч крон! Хочу разводить серебристых кроликов!» — «Хочу галантерейный магазин!» — «Я уже присмотрел мотоцикл!» — «Буду провозить контрабандой брюссельские кружева!»

И вот о Косаудуле пошли толки, будто он, выиграв семьсот тысяч крон, упрятал семью своей невесты в сумасшедший дом, так как, заделавшись богачом, не пожелал на ней жениться.

Косаудула узнал об этом от привратника, вернувшись домой после полуночи. Привратнику, открывшему дверь, он, как обычно, дал двадцать геллеров, но услышал, как тот отчетливо проворчал: «Сквальга!»

Косаудула возмутился, заявив, что он как-никак дал двадцать геллеров, а не десять, пусть пан привратник посмотрит как следует.

Привратник ответил коротко, но решительно:

— Теперь, выиграв семьсот тысяч, могли бы платить за услуги и по кроне. Но вам бы только захватить побольше. Известно, что вы за гусь! Честно это? Валандался с девчонкой пять лет, а выиграв семьсот тысяч крон, упек ее со всей семьей в сумасшедший дом, чтобы жениться себе спокойненько на какой-нибудь графине!

Косаудула упал перед ним на колени, умоляя повторить все это еще раз.

Привратник в ужасе бросился бежать и стал всем в доме рассказывать, что пан Косаудула от выигрыша спятил.

На следующий день Косаудула перебрался на другой конец города. Возчик величал его «пан барон» и заломил за перевозку постели, стола, гардероба, кушетки, двух стульев и зеркала шестьсот крон.

Сошлись на сорока, и возчик заявил внизу угольщику, что пожертвует эти гроши на Матицу, раз миллионер такой скопидом, но тут же просадил их в карты.

На другой день Косаудула получил шестьдесят писем, в которых различные общества сообщали, что избирают его членом-учредителем, прилагая одновременно подписной лист на уплату двухсот крон.

Он выставил в этот день пятнадцать вдов и сирот, вымогавших у него деньги на квартирную плату, и спустил с лестницы весьма нахального инвалида, который требовал денег на новую шарманку и грозил ему деревянной ногой.

Толпа, разъяренная бесчеловечностью Косаудулы, перебила окна в его комнате, а на следующий день одна газета поместила заметку «Бездушные скряги».

Его выжили из дому. В подъезде Косаудула схватился с каким-то человеком, который пытался уговорить его внести свои семьсот тысяч крон в новое акционерное общество по производству патентованных гигиенических зубочисток.

Ревностный коммерсант оказался к тому же бывалым боксером и, получив отказ, подсадил пану Косаудуле синяк под правый глаз!

Косаудула в панике вырвался на улицу и отправился в Стромовку, не замечая, что за ним по пятам, держа под мышкой какую-то сумку, следует высокий худой юноша с эксцентричным выражением лица.

Юноша подошел к нему и приятным, нежным голосом произнес, что он истине счастлив встретить здесь известного мецената, пана Косаудулу.

— Одну минуту, — сказал он затем, извлекая из сумки какие-то бумаги, — Уже длительное время я занимаюсь возрождением чешской художественной литературы. Убежден, что только вы поймете меня, и я позволю себе прочитать эти стихи.

Он насильно усадил Косаудулу на скамейку и принялся декламировать:

*Над скалами, где тают облака,  
где дьяволов улыбки злобно блещут,  
идут бастарды красоты, добра  
в аллеях светлых, где волненья чуть трепещут.  
Уж час грядет порывов неизбывных,  
потоку времени и я присягу дал.  
Улыбкам слабых и улыбкам сильных  
я кровь свою отдам, я, пеликан.*

— Могу прочесть вам еще один отрывок, — сказал юноша, давая Косаудуле понюхать нашатырного спирта:

*Подкопы подвели мы под ограды,  
когда поедешь ты со свадьбы, рада...*

— Это в духе народных песен, — продолжал он, приводя Косаудулу в чувство. — Но особенно я рекомендую вам следующие стихи:

*В поле груша расцветала  
много лет.  
А теперь ее не стало —  
груши нет.  
Яблоня на том же месте.  
Скоро и ее не станет.  
Будет там черешня.*

— В этих стихах заключен глубокий смысл, — объяснил он, делая Косаудуле искусственное дыхание. — Речь идет о том, что в жизни все непрерывно меняется!

— Где я? — взмолился мученик.

— В надежных руках, — вкрадчиво ответил молодой человек. — Я пришел, милостивый государь, просить вас издать за свой счет сборник моих стихов, образцы которых я только что позволил себе вам продеklamировать.

Косаудула оглушил его ударом кулака и в отчаянии пустился наутек. Бог весть, где он бродил, но утром вновь оказался дома и наблюдал, как под окнами его квартиры теснятся люди, а в дверь ломится толпа, ревущая в невообразимом смятении:

— Сжался над нами, благодетель, у нас дома всего три голые стены!

Внизу под окнами полиция разгоняла новые шеренги просителей. Двери в его комнату стали угрожающе трещать. А позади толпы, на улице, маячила фигура вчерашнего поэта.

Косаудула вскочил на подоконник и прыгнул со второго этажа.

Он упал на полицейских, которые в этот момент арестовывали некоего подозрительного типа, а тот орал, задрав голову, что ему нужны пятьдесят крон, чтобы начать новую жизнь.

Косаудулу подняли с земли. Полицейские многозначительно переглянулись; потом старший взял его за плечи и объявил:

— Именем закона вы арестованы за оскорбление должностных лиц!

Час спустя за ним захлопнулись двери суда. До половины двенадцатого Косаудула пребывал в камере в состоянии полной апатии. Он даже был доволен, что обрел наконец желанный покой. Но около двенадцати к нему вошел надзиратель и спросил:

— Вы, понятное дело, будете харчеваться на свой счет, коль уж выиграли семьсот тысяч?

Тут Косаудула с диким смехом принялся ползать по полу на четвереньках и укусил надзирателя за икру.

Оказавшись в психиатрической лечебнице, он встретился со своим бывшим будущим тестем, паном Подбабачеком, который уже не узнавал его.

Подбабачек воображает, будто он в крольчатнике. И когда Косаудула ползает на четвереньках, он гладит его по спине и сует ему в рот свернутую из бумаги кочерыжку, принимая за одного из своих серебристых кроликов.

## Сыскная контора пана Звичины

Когда пан Звичина, владелец сыскной конторы, беседовал со своими клиентами по вопросам более или менее деликатного свойства, голос его рокотал приветливо и бархатисто. И напротив, разговаривая со своим помощником — паном Баргонем, — пан Звичина переходил на надсадный крик, и вместо обычной улыбки на его физиономии отражалось необычайное возбуждение.

— Заметьте, пан Баргонь, — с беспокойством обратился он к своему служащему как-то хмурым, неприветливым днем. На улице было слякотно, и контора была пуста, — никто не нес ни анонимного письма, ни просьбы установить правдивость сведений о жене, содержащихся в указанной анонимной бумаге; никто не приходил даже с жалобой на приказчиков, живущих не по средствам.

— Так вот заметьте, пан Баргонь: прошла неделя, а у нас ни одного клиента. Неужто перемерли все благородные люди, составляющие анонимки?

Пан Звичина в отчаянии заломил руки.

— А что, если нас и в самом деле постигло такое несчастье? Что, если вовсе не осталось джентльменов, которые бы очень ловко, умно и осмотрительно обкрадывали своего хозяина? Неужто окончательно перевелись все славные мошенники, розыски которых были для нас таким благодатным источником дохода?

— Да-с, тяжелые наступили для нас времена, — ответил на этот трагический монолог пан Баргонь. — А помните, как на днях мы с вами подсунули одной барышне сведения о ее женихе; мы там еще написали, что он судился за воровство и что у него две жены. А потом оказалось, что никакой он не вор, а вполне порядочный человек, да к тому же советник юстиции. Или помните нашу информацию о вдовце, которую затребовали родственники его невесты?

В ней мы сообщали, что свою первую жену вдовец задушил. И тут ошибоч-

ка вышла. Он ведь, как оказалось, и не был вдовцом. И с приказчиком тем же малость поднапутали. Помните, о нем справлялся его новый хозяин. И как его могли уволить за то, что он таскал домой целыми рулонами шелк, обмотав его вокруг тела, когда он торговал в керосиновой лавке?

Такие дела не забываются и возбуждают недоверие. Кстати, зачем приходил к нам тот почтенный господин с плеткой? Мы тогда разузнали, что живет он на деньги родителей. Долгов они за него не платят, а потому он не может сделаться компаньоном лесопильни с паем в шестьдесят тысяч крон. И ведь он оказался крупным помещиком-богачом, аристократом до кончиков ногтей. Все уплатил нам сполна, даже за мебель, которую разнес тогда вдребезги в нашей конторе. Я сам получил от него двести крон за увечье. Достойный, очень достойный человек!

— Да, такие дела на полу не валяются, — вздохнул пан Звичина, — и это очень жаль.

— То-то и оно, не валяются, пан шеф. Не везет нам в последнее время. Неудачи преследуют нас по пятам. И черт его знает, почему мы беремся за все не с того конца. В справке о председателе ссудной кассы, с которым вы уже который год пьете в одном погребе, вы умудрились написать, что он плетет корзинки в Панкраце. А это что ж, так себе, неточность?! Не неточность, а обман, пан шеф, а за обман не платят. Словом, мы действуем не очень осторожно.

— Это вы действуете не очень осторожно, пан Баргонь, вы, вы! Зачем вы в прошлый раз, когда та фирма не хотела выдать сто двадцать пять крон, которые мы пытались урвать на бланки для справок, зачем вы сразу стали угрожать им, что пусть, мол, только кто-нибудь затребует о них сведения, уж мы не забудем, что они даже ста двадцати пяти крон не хотели заплатить, чтобы быть с нами в контакте.

Такие угрозы делают в более изысканной форме. В таких случаях говорят: «Господа, кое-кто находит, что вы на грани краха, и к нам поступил запрос, что мы об этом думаем». А уж только потом переводить речь на деньги. Осторожность никому еще не вредила.

— Что верно, то верно, пан шеф, — отозвался пан Баргонь, — но только не видно, чтобы вы сами заботились об этой самой осторожности. Недавно на запрос прокатной мастерской о только что взятом поверенном вы ответили, что он запойный алкоголик и известный склочник. Причем вздумали отнести им ответ собственноручно. А по дороге напились так, что еле держались на ногах. И вдобавок подрались со швейцаром, который не хотел вас...

— Чего он не хотел? — заорал пан Звичина.

— Не хотел вас впустить, опасаясь, как бы вы не загремели с лестницы, господин шеф.

— Уж кому-кому меня упрекать, пан Баргонь, только не вам. Я еще ни разу в жизни не приносил домой янтарных мундштуков после посещения дома, где нужно было узнать, в каком кабаке сидит вечером пан супруг...

— Никакой это был не янтарь, господин шеф, простая целлюлоза. И, к слову сказать, мы все-таки дали о том супруге сведения в кредитную кассу насчет того, что отношения в семье у него самые неважные. Да, я повторяю, что это был самый обычный дешевенький мундштук из целлюлозы. И потом, я прихватил его не на письменном столе, как вы утверждали недавно, а в спальне, с

ночного столика, где он лежал всеми забытый. Для себя я никогда ничего не беру. Погодите, я еще не кончил. Я далек от того, чтоб попрекать вас всякими пустячками. Помните, как мы с вами разыскивали того мелкого домушника у баронессы Добржежницкой и вам там понравились бриллиантовые сережки, лежавшие в сейфе?

— Черт побери, да что вы говорите, какие же это бриллианты? Я могу показать закладную квитанцию. Их и оценили всего-то в двадцать две кроны. Только золото. И, кроме того, лежали они вовсе не в сейфе. Я нашел их в чемодане у прислуги, которую подозревали в краже.

— И вы еще ущипнули ее за подбородок.

— Все во имя дела! Что записано в уставе пашен сыскной конторы? Что мы обязуемся использовать все средства для получения самой надежной информации. Видите? А грубостью ничего не добьешься. Вы в своей нежности заходите еще дальше. Когда нам нужно было выяснить достоверность сведений об измене одной дамы, помните, где застал вас ее супруг? Ведь вы тогда, голубчик, сами поспешили сойтись с ней. Скажете — чтобы выведать подробности? Так какого же черта вам было тогда удирать от мужа на чердак и кричать проходим, и клянчить хоть какую-нибудь одежонку, чтобы прикрыться?

— Э-э, все было не так уж скверно, пан шеф. Я, правда, оставил жилет и пиджак, но это же было в интересах нашей конторы, пану супругу для развода нужны были вещественные доказательства.

— Для этого, наверно, он и гонялся за вами с ружьем по всему дому? Сколько пуль он тогда в вас всадил?

— Это было всего-навсего духовое ружье, господин шеф. Грубый был человек. Палил но мне, как по кошке. Но я сильно подозреваю, что именно вы подбросили ему анонимку, чтобы не платить мне за розыски. Служить у вас совсем не мед. За пять лет, что я тут, меня семьдесят раз спускали с лестницы и сорок раз молотили палками по бокам. У меня сломано четыре ребра, недостает трех зубов, нос свернут на сторону, а вы продолжаете посылать меня в самые что ни на есть опасные места.

Помните, как-то раз мы должны были подтвердить сумасшествие одного кондуктора. Я тогда отправился к нему и заявил: «Приятель, говорят, у вас не все дома». Это вы подсказали мне такую идею. И я по простоте душевной трижды обращался к нему с вежливой просьбой: «Ответьте мне, пожалуйста, сумасшедший вы или нет?» В конце концов он молча уставился на меня своими глазами, а потом вдруг начал ими вращать да как заревет: «На колени, Олоферн!» У бедняги была навязчивая идея, что он Юдифь, и вы знали об этом и все-таки послали меня к нему. К счастью, родственники успели отнять у него драгунскую саблю, которую он купил вместо меча, и подсунули деревянную. Посреди комнаты у него была раскинута палатка, где он спал в ожидании Олоферна. Туда-то он и пытался, втащить меня, как котенка, чтобы отсечь голову. Хоть сабля была и деревянная, но я долго еще после этого не мог повернуть шею.

Слава богу, его родственники вызволили меня, И после всего этого вы по ошибке дали справку, что у того господина чудесный, мирный характер, что он необычайно приветлив и воспитан, словом, совсем нормальный человек.

Так вот оно и идет одно за другим.

Вчера вы велели мне известить одного супруга, что жена его обманывает и

что мы все точно разузнаем и принесем ему доказательства, если он заплатит пятьдесят крон. А он сам высосал из меня последнюю десятку. Для меня это совершенно непоправимый удар.

Слезы выступили на глазах пана Баргоня.

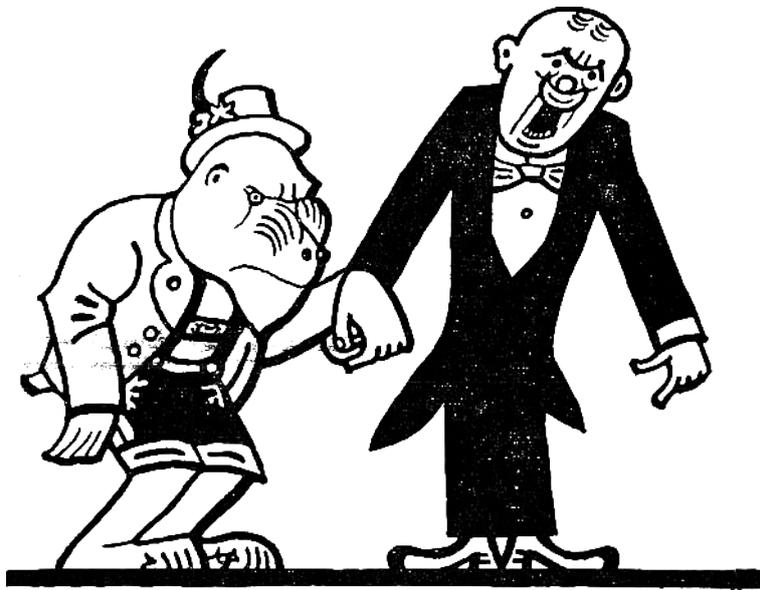
— А потому убедительно прошу вас, пан шеф, выдайте мне задаток под того подозреваемого приказчика из магазина колониальных товаров, который ни в чем не повинен, разве только в том, что раз в неделю играет не по средствам в бильярд...

— Иль же, ваша милость, — снова раздался его голос после минутного молчания, — дайте хоть одну крону задатка за того шофера, что в выходной ездит на прогулки со своей возлюбленной.

Около полудня они наконец сошлись на пятидесяти геллерах задатка под шофера, но в двадцати геллерах под одного подозрительного любовника, у которого двое незаконных ребят, пану Баргоню было решительно отказано.

После этого оба разошлись в мире и согласии.

## Моя дорогая подружка Юльча



I

Я не знаю существа более симпатичного, чем павиан. Удивляюсь, почему это леопарды его боятся, а покойник Брем опорочил столь ужасно, назвав чудовищем. Поначалу, конечно, он может показаться зверем из апокалипсиса или с рисунков спиритов, но, попривыкнув к нему, вы убедитесь, что под обличьем дьявола кроется добрая душа и чудовище из него сотворила молва людей, не понявших его.

Позвольте и мне, человеку, увлекающемуся зоологией, вставить словцо — у павиана, единственного среди обезьян, шерсть не воняет. Торгуя зверями, я выслушал на своем веку множество нареканий покупателей насчет отвратительного запаха обезьян.

Именно поэтому я повторяю слова моего слуги Чижека:

— Уважаемые, позвольте рекомендовать вам собакоголового павиана,

II

Павианша звалась Юльчей и была необычайная красавица, У нее был

длинный нос, короткая серебристо-коричневая шерсть, пахнувшая мускусом, глаза карие, а хвост — маленький, интеллигентный и настолько короткий, что можно было с полным правом надеяться, что потомки ее со временем полностью его утратят, Попала она к нам случайно. Ее купил в Штеллинге под Гамбургом у Хагенбека дрессировщик, который содержал целый обезьяний питомник, Юльча получила там хорошее воспитание. За два года научилась самостоятельно надевать какой-то замызганный вечерний туалет с длиннющим шлейфом, а также тирольский наряд и шляпу с перышком. Научилась ездить по кругу на маленьком велосипеде, управляться за едой вилкой и ножом и пить из бутылки. Там же ее обучили довольно точно плевать в цель черешневыми косточками. Барышня Юльча развивалась телом и душой, и была надежда, что она перестанет в обществе ловить у себя блох, чесать зад и искать мнимых вшей в голове своего учителя и иных присутствующих.

Наконец самоотверженный учитель пришел к убеждению, что может показать свою воспитанницу в Пражском Варьете, А перед этим, в рекламных целях — в редакциях ежедневных газет. Но после того, как в первой же редакции Юльча сожрала важную статью, которая должна была идти в вечернем выпуске, и полила шеф-редактора чернилами, отказался от этой мысли. Зато редакция на опыте узнала, что дрессировщика выкинуть проще, чем павиана. Учитель давно уже был в коридоре, а ученица оставалась в редакции. Сидя на книжном шкафу, она рассматривала атлас, который схватила со стола, с явным интересом и выдирала одну карту за другой.

Шеф с двумя сотрудниками заперлись в телефонной будке и совещались, что делать с этим дьяволом, ростом более метра и страшными челюстями, который тем временем сорвал внутренний телефон и выбрасывал в окно рукописи со стола шеф-редактора. Наконец Юльча, с достоинством открыв дверь, вышла в коридор, обняла за шею учителя и села с ним в автомобиль, который их привез.

С тех пор господин Хардей не водил Юльчу по редакциям и с волнением ожидал дебюта в Варьете.

Увы, блестящим он не был. Когда господин Хардей вывел за руку на сцену Юльчу в тирольском костюме и раскланялся, что она весьма удачно повторила, он обратился к публике с краткой речью, в которой поименовал Юльчу восьмым чудом света.

Поначалу она стояла неподвижно и озиралась, потом глянула вниз, в оркестр, и ринулась к музыкантам, но тут же выскочила оттуда со скрипкой в руках, оказалась в публике среди первых столиков и уселась за один из них перед пожилым господином, который от растерянности стал смотреть на нее в театральные бинокль. Дамы и господа захлопали, вообразив, что это номер программы. Вдохновленная успехом, Юльча хлопнула любезного господина скрипкой по макушке, присвоила его бинокль и принялась скакать по столикам. Какой-то даме порвала блузку, швырнула в метрдотеля биноклем, забралась на галерею и начала оттуда выкидывать вниз шляпы. Публику охватила паника.

Тщетно господин Хардей взывал со сцены, чтобы ее не боялись, что это очень кроткая ручная обезьяна, что он сейчас вознаградит публику, показав дрессированного кроткого тигра. Зал пустел с невероятной быстротой. Тем временем на галерею прорвались служители и после ожесточенной борьбы

скрутили Юльчу. При этом она так искусала своими могучими челюстями одного из них, что его на «скорой помощи» увезли в больницу. Когда все было приведено в порядок и полиция рассеяла толпу, бурно жаждущую получить в кассе деньги за вход, господин Хардей счел за благо позвонить мне.

Сделал он это безо всяких колебаний.

— Алло, я узнал, что вы скупаете диких зверей. Это весьма похвально. Считайте меня своим добрым другом, который ни в коей мере не желает вас обмануть. Видели вы когда-нибудь обезьяну, которая вытирает нос платочком?

Я отвечал ему утвердительно, так как мне самому удалось однажды научиться этому макаку резус. Она всегда носила маленький носовой платок, спрятав его в защечных мешках. И если ей хотелось вытереть нос, она вытаскивала платочек изо рта, вытирала нос и преспокойно запихивала обратно за щеку. Я продал ее одной баронессе, которая стараниями этой удивительной макаки заработала себе катар желудка.

— Алло, — не унимался господин Хардей. — Я начал с того, чем вы кончили. Видели вы обезьяну, которая ест ножом и вилкой?

— Да, господин импрессарио, у нас был поразительно интеллигентный безхвостый магот, глотавший ножи. После вскрытия у нас дома снова появился полный комплект приборов на шесть персон.

— Алло, — раздался в трубке голос секретаря предприятия, — поговорим, как деловые люди. Речь идет о ручной обезьяне, собакоголовом павиане. О той самой необыкновенной Юльче, которая была на афишах. Она ездит на велосипеде, пьет из бутылки, надевает вечерний туалет со шлейфом, тирольский костюм и умеет делать много других фокусов и смешных трюков. За двести крон мы доставим ее вам вместе со всем снаряжением. Нам жаль с ней расставаться, но она не приучена к публике. Сейчас мы будем у вас.

И через пятнадцать минут после звонка Юльчу привезли на машине, связанную веревками, как злодейку. Мы поместили ее внизу на кухне, где варились еда для дюжины собак и ползало несколько щенков. Юльча от страха забила в угол и жалобно заскулила.

Я стоворился с этими господами на ста шестидесяти кронах, а туалеты ее получил задаром, после чего они подозрительно торопливо распрощались со мной. Как только они уехали, я позвал слугу Чижека и приказал ему развязать павиана. Чижек повалился передо мной на колени и поклялся, что должен заботиться о старушке матери, что было чистым вымыслом, поскольку он давным-давно сбежал из дома. Убедившись, что ничто его не спасет, он потребовал аванс в пять крон в счет жалованья, подчеркнув, что, идя на столь трудное и опасное дело, должен подкрепить силы. Удовлетворившись двумя кронами, он отправился набираться куражу.

Вернулся через три часа. Я видел, как он открывает калитку и входит в дом. Снизу послышался какой-то шум, потом все стихло. Я проверил, заплачена ли за Чижека страховка, убедился, что да, и более или менее успокоенный спустился вниз.

Осторожно приоткрыл дверь на кухню и увидел, что Чижек поручение выполнил. При слабом свете настенной керосиновой лампы мне представилась трогательная картинка. Чижек, обессиленный выпитым для куража на две кроны, лежал на той самой постели, на которой развязал Юльчу. А она, види-

мо решив, что ее учат новому трюку, использовала те самые путы, от которых была освобождена, и связала Чижека по рукам и ногам. Бедняга спал, лежа на постели как куль. Вокруг него Юльча разместила всех щенят, которых ей удалось обнаружить, и в данный момент искала в голове у Чижека. Щенята тихо и мудро ждали, когда придет их черед.

Так мы познакомились с Юльчей. Я развязал Чижека, а она мне помогала, потом взяла меня за руку и не захотела отпустить, и я, волей-неволей, вынужден был привести ее наверх. Там я дал ей яблоко и хлеба. Она бы меня после этого, наверное, ни на шаг не отпустила, умей я делать то, что она. Но я не мог скакать с дерева на дерево, а оттуда на карниз, а с карниза на крышу. Я успел заметить, что она была чрезвычайно недовольна тем, что я не умею качаться на люстре.

В тот вечер, когда Юльча появилась у нас, она забралась на люстру и напрасно ждала, что я последую ее примеру. Двоих люстра бы ни за что не выдержала, раз она сорвалась под тяжестью одного павиана. Большая керосиновая люстра грохнулась вниз, стекло взорвалось, сначала загорелось кое-что из мебели, потом занавески и пол. Пока я звонил в пожарную часть, Юльча бежала через окно и, взобравшись на дерево против дома, смотрела на языки пламени, вырывавшиеся из окон.

Пожарным пришлось вынести Чижека из дома, так крепко он спал. Юльча немного затрудняла спасательные работы, она пробралась к насосу и стала качаться поочередно на обоих рычагах. Присутствующие утверждали, что она помогала гасить. Сомневаюсь. С таким же основанием можно было бы утверждать позднее, когда она совершила экскурсию в кладбищенскую часовню Малвазинки и покачалась там на колоколе, что она ходила звонить по том трамвайщике, с которого, встретив, сорвала шапку, отчего доброго человека хватил кондрашка.

И тем не менее Юльча была милейшее существо. В этот раз, чтобы задобрить меня, она принесла с кладбища жестяную табличку: «Здесь почитет в мире мой любезный супруг. Радуйся грядущему свиданию!»

Когда пожар погасили, мне с Чижеком и Юльчей пришлось переселиться на первый этаж в единственную неповрежденную комнату. Юльча тихонько уселась на тахту и помаленьку рвала какой-то жилет, которым завладела где-то по соседству в момент паники. Жилетка была не наша, и мы ей не мешали.

Чижек тоже спокойненько и молча сидел у стола и смотрел на Юльчу.

И вдруг изрек с глубочайшим убеждением:

— Сто шестьдесят крон за нее совсем не много, я бы сказал, что даже очень дешево.

Я дал ему подзатыльник. Так мы и просидели мирно до одиннадцатого часа, я, Чижек и Юльча с чужой жилеткой, каждый размышляя о своем.

В одиннадцать мы взяли Юльчу за руки и отвели в сад, где была большущая клетка от страуса нанду, съеденного крысами. Когда мы собрались ее запереть, она засунула лапу себе в пасть и вытащила оттуда никелированные карманные часы и протянула их мне.

Мы ее заперли, невзирая на взятку, и я, показывая Чижеку часы, сказал:

— Ну, что скажешь?

— Удивительно, — ответил он, — мне бы ни за что не продержат часы за щечкой так долго.

Часы никто не востребовал, и я их носил до позапрошлого года. Они были с боем и отлично шли.

Из этого я заключил, что они принадлежали состоятельному ротозею, пришедшему полюбоваться, как красиво у нас полыхает.

\* \* \*

Юльча понемногу привыкла к новому дому и не любила одну только экономку Фанни. Может, из-за того, что у Фанни было больше платьев, чем у нее. У бедняжки Юльчи и была-то всего одна юбка, хотя и со шлейфом, но жуткого убожества. И вот как-то раз она зашла наверх, открыла дверь в комнату барышни Фанни и навела ревизию ее туалетам. Через спинку кресла было перекинута красивое новое платье. Поначалу блузка понравилась ей больше юбки. Она вошла в блузку, но та оказалась слишком просторной, тогда Юльча попыталась надеть ее по-другому. Сунула голову в рукав и разорвала его, пока пролезла. Половина блузки повисла у нее за спиной. Юльча сняла ее и всунула в оторванную часть рукава ноги, а остаток искусно обернула вокруг головы в виде тюрбана. Но и это ее не удовлетворило, утверждал Чижек, с интересом наблюдавший за ней через окно и сомневающийся, сумеет ли Юльча разорвать новую юбку барышни Фанни.

Придя на кухню, он сообщил экономке коротко и ясно:

— Барышня Фанни, с этим все.

— Что?

— Напялила!

— Что такое?

— Юльча ваше новое платье. Управилась за полчаса. Сейчас пошла на псарню.

Я подоспел в тот момент, когда Юльча в новом туалете гордо шла на псарню, покрасоваться перед сворой любопытствующих псов. Она прошла вокруг загон с какой-то палкой в руке. При виде этого красивого и увлекательного зрелища псы выразили свою радость одобрительным лаем. Из юбки барышни Фанни Юльча соорудила подобие тоги, лихо перекинув ее через плечо. С другого плеча гусарским ментиком свисал передний кусок блузки с блестящими пуговками. Остальная часть блузки была обернута вокруг головы аккуратным тюрбаном. В общем, у Юльчи был вид какого-то разжалованного патриарха.

Барышня Фанни с ужасным воплем кинулась на это чучело-чумичело.

Ныне пенсионер, а в прошлом управляющий богадельней клялся, что в жизни не видывал, чтобы женщину раздели с такой скоростью, как было в данном случае. Бедняжка барышня Фанни! Она пыталась спасти остатки своего нового платья, а осталась без фартука и юбки, и счастье еще, что на ней были плотно прилегающие панталоны, перешитые из велосипедных штанов времен ее молодости.

С фартуком и юбкой в руках, Юльча преспокойно перескочила через забор и отправилась через улицу в Кламовку. Вернулась она поздно ночью, не имея на себе ничего.

Только на Белогорском шоссе, там, где оно поднимается в гору, по дороге к Выпиху на телеграфных проводах, как знамя побежденного, еще долго висела черная юбка барышни Фанни. Барышня Фанни покинула нас в тот же день, оставив краткое письмо, в котором, не умея выразиться точнее, написала, что

честь ее была публично поругана.

### III

Случалось, что, кроме радости, моя подружка Юльча доставляла мне горькие минуты, когда, например, не могла понять, чего я, собственно, хочу. Скажем, она не всегда знала, что за предмет я прошу ее принести мне из дома в сад, где я отдыхал. Сегодня, перебирая в памяти те маленькие события, я убеждаюсь, что поступал недостаточно систематично. Пусть она была умница-разумница, все равно какие-то понятия были доступны ей не сразу. Видимо, сказывались дефекты ее воспитания, которые уже нельзя было исправить. Так что если в мои руки попадет другая особь милейшего павиана, уж я постараюсь взяться за дело всерьез.

Однажды в воскресный послеобеденный час к нам заглянули артисты цирка в поисках какого-нибудь экзотического зверя.

Они поначалу разговорились во дворе с Чижеком, который дал волю своей фантазии и сразу же предложил им сперва огромную смирную змею, которую, дабы не заразить собачьей чумкой, мы отдали на воспитание одному крестьянину, живущему неподалеку от Праги. Подчеркиваю, дело было в воскресенье после обеда, когда Чижек имел обыкновение меланхолически выпивать свои полдюжины бутылок пива в тенечке под сенью дерев палисадника.

Время от времени он прерывал это занятие криком: «Место!» — в сторону собачьего загона, где псы всех видов облаивали вереницу воскресной публики, тянувшейся в пыли по Белгородскому шоссе.

Собаки в ответ на это заливались с удвоенной силой, и с таким упорством, что Чижек перестал их одергивать.

А бутылок в тот день было больше шести, и Чижек перед артистами воспарил на крыльях фантазии. Я услышал, как со злосчастливого мирного змея и чумки он переключился на одногорбого верблюда, который живет у нас в одном семействе под Пльзенем.

Старший из циркачей кивал, а младший на все бубнил:

— Не может быть, говорю, этого не может быть.

Чижек старался вовсю, перечисляя наши богатства, так что мне впору было вообразить себя неведомым материком, изобилующим всевозможным зверьем.

— У нас, уважаемые, — слушал я Чижека, — есть маленький гладкошерстный кенгуру, а другой — лохматый, тот побольше. Оба — водоплавающие, а младший еще здорово шевелит ушами. Мы их содержим в одном заповеднике, а если уважаемые пожелают, напишем почтовую открытку, сколько стоит эта пара.

— Не может быть, говорю, этого не может быть, — уже как бы по привычке повторил младший.

— Ну, а здесь-то у вас что-нибудь имеется? — спросил наконец старший, — кроме собак, их мы видели, они не стоят доброго слова.

Тут он навел уничтожающую критику на собак нашей псарни.

Во-первых, ему не понравился дог, свежеподкрашенный под мраморного.

Чижек, конечно, не послушался меня и не побрызгал собаку сикативом после того, как нарисовал на ней красивые пятна под мрамор. Утром дог постоял где-то под водостоком, и краска потекла.

А младшему не пришлось по вкусу здоровенная дворняга, на счет которой

Чижек распространился, что это-де единственный в Европе экземпляр мастиффа, который у нас эффекта ради был привязан к колу толстенной тройной цепью, так как мастиффы самые свирепые собаки. В Чехию их до сей поры не завозили, так что за представителя этой породы можно было выдать кого угодно. Младший возмущался, что предлагаемый мастифф еще издали начал подавать ему лапу и радостно махать хвостом.

Критика младшего была беспощадной, но старший всякий раз ворчливо прерывал ее:

— Ну, а что еще вы можете нам показать?

Было очевидно, что Чижек взялся за дело весьма тонко, разжигая их любопытство до предела.

— А еще у нас есть голуби, — безмятежно продолжал Чижек.

— Что-о! — угрожающе крикнули оба, а Чижек в этот момент торжествующе произнес:

— Позвольте рекомендовать вам, уважаемые, собакоголового павиана. Они оба в саду — павиан и господин шеф.

Так благодаря Юльче я познакомился с братьями Шнейдерами, артистами, выступавшими во многих цирках. У младшего был дрессированный кабанчик, кормивший его три года. Потом он потерял ангажемент, кабанчика съел и стал изображать неуязвимого факира. Однако как-то раз сильно поранился, получил заражение крови, бросил факирство и заделался клоуном вместе со своим старшим братом, скотинка им была нужна для комплекта.

Между тем Чижек вернулся из сарая во дворе. В этот день Юльча в наказание была заперта в сарае, потому что исхитрилась как-то пробраться к пианино, которое разобрала, правда, только частично, но с гораздо большей скоростью, чем это сумел бы сделать опытный настройщик.

Юльча — добрая душа — прихватила с собой черные и белые клавиши, так что в клавиатуре образовались приятные бреши. Я был ей от души благодарен, потому что к нам два раза в неделю ходила играть на пианино дочурка нашего бухгалтера. У господина бухгалтера в пианино была припрятана бутылочка контушовки, которую Юльча, воспользовавшись случаем, выпила. Короче, барышню Юльчу пришлось запереть, чтобы она, войдя в раж, чего не натворила.

Вид у Чижека был отнюдь не радостным, а сокрушенным. Он отозвал меня в сторонку.

— Господин шеф, — запричитал он, — она сюда не идет, она под мухой.

Я сказал ему, чтобы он не острил, а держался сути.

— С ней каши не сваришь, — продолжал он в отчаянье, — она не хочет одеваться. Я было натянул на нее юбку со шлейфом, а она захотела еще натянуть поверх тирольский костюм. Я ей разъясняю, что она может это сделать, если хочет показаться перед господами тирольцем, но чтоб она только подождала, пока я стяну с нее дамское платье. Она вроде согласилась, но, когда я одел ее тирольцем, во что бы то ни стало хотела сверху натянуть дамское. Тогда я стянул с нее и то и это, — вот оно, у меня в руках, по крайности, хоть покажем этим господам, как хорошо мы ее одеваем.

— Но это еще не все, — сказал он совсем убитым голосом. — Я хотел, чтобы она показала господам, как ездит на велосипеде, и принес его в сарай. А она вскочила на велосипед, выехала из ворот, рванула по другой стороне шоссе,

только я ее и видел.

— Ее и след простыл, — заключил он уныло, — а они нам не поверят, что у нас вообще такое имеется.

Они нам и не поверили. Напрасно Чижек показывал вечерний туалет Юльчи, костюм тирольца и бутылку, из которой она пьет.

Младший был ужас до чего дерзок.

— За такое мы вам никакого задатка дать не можем, — кричал он, — верблюдов у вас, видите ли, у кого-то там в Пльзене, кенгуру — в заповеднике, а теперь вдруг и павиан укатил куда-то на велосипеде как раз тогда, когда его надо показать. Это невероятная случайность, господа!

Старший говорил что-то о надувательстве, воскликнув с иронией:

— Господа показывают нам бутылку, из которой он пьет, а ведь это обыкновенная бутылка из-под пива.

Они ушли, понося наше несолидное предприятие. В воротах младший обернулся и, остановив какого-то совершенно постороннего человека, сказал, указывая на меня:

— Представьте, у этого гражданина только что сбежал на велосипеде собакоголовый павиан.

Напрасно я прождал Юльчу до поздней ночи. Утром услышал из сарая голос Чижека:

— Ты, значит, вернулась. А где велосипед? Скажи, где велосипед?

Юльча не признавалась.

#### IV

Мы с Чижеком сидели на лавочке перед домом и совещались. Он делал мне нечто вроде недельного отчета по нашему предприятию, подводил итог, баланс разных неприятностей, которые вместо лаврового венца украшали чело нашей фирмы.

— Как у нас в понедельник сбежал этот зловредный бульдог, так я и подумал: хорошенькое начало недели...

— У нас из-за него была куча неприятностей.

— Точно, господин шеф, я, когда пошел его искать, так и предчувствовал: что-нибудь да будет. Конечно, я не знал, что приведу чужого пса, это нет. У того бульдога морда была точь-в-точь как у нашего, и злился он прямо как наш, когда я тащил его от лавки, где он ждал свою хозяйку. И вот, подумать только, даже в газетах прописали, что мы крадем собак, а господин комиссар сказал мне в участке: «Ошибка не в счет». Хотел бы я знать, как он отличит бульдога от бульдога, если невинного не сумел отличить от виноватого.

Чижек практично вытер рукавом и слезы и нос одновременно:

— Я уж наперед знаю, господин шеф, если у меня в понедельник убежит собака, значит, на неделе начнут исчезать одна за другой. Точно. Сразу после этого во вторник сбежал пинчер господина инженера, который отдал нам его, чтобы мы за десять крон отучили его кусаться. Я ему сразу сказал, что его и за двадцать крон не отучишь цапать людей, что его лучше оставить дома, но вы, господин шеф, такой добряк, вы на все готовы ради рекламы нашей фирмы. Так вот, во вторник, значит, он у нас сбежал. Я думал, пес побежал домой, позвонил хозяину, что его Бойек уже в пути. Но сегодня суббота, а его нет как нет. У нас будут из-за него большие неприятности, господин шеф, я с этим не хочу иметь ничего общего, утром позвонил господин инженер и говорит: вы,

без сомнения, его продали, как сыновья Иакова продали Иосифа. В среду мы похоронили остатки ангорской кошки, которую сожрали хорьки. Я предупредил, господин шеф, что их надо посадить в железную клетку, что ящик они прогрызут и нападут на ангорскую кошку, что они хотят мяса, а не салатных листиков. У них по глазам видно, что они кровожадные. Когда я совал им в ящик салат, они делали из него подстилку и глазели на меня так, что у меня мороз по коже, хотя человек за один присест съест их штук пять, такие они маленькие.

— Вы что, их съели?

— Только трех, господин шеф, только трех, которых я пришиб на кошке. Остальные четыре убежали. Мы с кучером потушили их с луком. Мяско такое беленькое, хотя слегка отдает дичиной, они же кинулись на кошку, совсем как дикие. В четверг мы удачно сбыли двух декоративных фазанов. Такса у петуха слегка повыдергала перья из хвоста. По мне, так надо было бы выдрать малость из павлиньего хвоста да и пришить фазану, но я вспомнил вас, господин шеф, что вы на это скажете, когда возвратитесь в субботу и увидите общипанного павлина. А потом подумал, что это получится несолидная торговля. В пятницу мы продали одну русскую гончую, вторая сбежала. Господин бухгалтер обещал списать.

Таков был итог недели, которую я отсутствовал. Я был в Дрездене, рассчитывая купить что-нибудь подходящее в тамошнем зоопарке, который ликвидировался. Мне предложили там за восемьсот марок старого, хромого, облезлого льва. Даже если бы я дал его обтянуть новой шкурой, он все равно остался бы хромым. У него было славное прошлое, десять лет назад он растерзал в одном цирке свою укротительницу, но куда он годится теперь? Кто его сегодня купит? Но я все же купил там кое-что. Египетскую ондатру. Она гораздо меньше льва. Я спрятал ее под пальто, чтобы не платить на границе таможенный сбор, но это имело еще и ту выгоду, что я остался один в купе. Ондатра египетская тоже очень незадачливый зверь. Брем поместил ее в отряд хищников хорьковых, которые не воняют. А ей, бедняге, что делать?

— Объясните мне, бога ради, Чижек, — сказал я верному слуге, — почему Юльча, когда я ей показал ондатру, что-то проворчала и нацепила на нос золотое пенсне? Вы же говорили, что она ничего такого не натворила в мое отсутствие, опасаясь, что это золотое пенсне свидетельствует об обратном.

— Не пугайтесь, — сказал Чижек, — это пенсне она взяла не у нашего персонала. Сюда заходила баронесса Добрженская, хотела заказать шесть охотничьих собак. Ей рекомендовала нас княгиня Коллоредо-Мансфельд, но, как только она вошла, примчалась Юльча, вскочила ей на закорки и сорвала с носа пенсне. Когда мы привели ее в себя, она уехала и аннулировала заказ. Чудачка, побрезговала после обезьяны надеть на нос пенсне, а по-моему, ничего страшного тут нет. — Тут Чижек заработал новый подзатыльник.

## V

Случались дни, когда Чижек впадал в задумчивость. Такие погружения в себя были предвестниками великих событий. А если его обурежала при этом жажда знаний, значит, нам грозило подлинное несчастье. Однажды, например, будучи глубоко погружен в размышления, Чижек спросил, встретив меня у ворот дома, каким, собственно, механизмом снабжены водонапорные башни, чтобы вода подавалась на высоту, к примеру, нашего дома. Я объяснил ему

закон физики о сообщающихся сосудах.

— Ну хорошо, — сказал Чижек, — это мне понятно, это высокое давление, а вот хорошо бы изобрести приспособление останавливать воду.

— Как так? — спросил я.

— А вот так, господин шеф. Думаю, было бы очень даже желательно выдумать что-нибудь этакое, чтобы автоматически останавливало ток воды в водопроводе, на случай, если кто свернет кран и воду невозможно перекрыть. Это ведь какая неприятность, когда вода затопляет дом.

Я попросил его объяснить, почему он несет такую околесицу.

— Не подумайте, господин шеф, — продолжал он задумчиво, — что мне это ни с того ни с сего взбрело в голову. Я подумал, что это было бы кстати, когда увидел, как Юльча крутит водопроводный кран в коридоре второго этажа. Я знал, что у нее есть силенка, но чтобы так сразу скрутить, такого я не предполагал. Думал, ей придется куда больше потрудиться, и пока звал кучера, чтобы он шел посмотреть, она уже свернула кран и отправилась на крышу. Вы не поверите, господин шеф, но воду остановить невозможно. Вниз по лестнице течет прямо водопад; в кухне уже плавают скамеечка для ног. Лавка-то тяжелее, стол тоже, так они еще стоят на месте, хотя вода хлещет уже больше часа. Кучер говорил, что скорее всего рухнут потолки, так что мы выселились в безопасное место.

Он печально указал на свой чемодан. Я убедился, однако, что Чижек нарисовал слишком мрачную картину. Потолки промокли, но прямой опасности не было. Потолок на кухне обрушился уже после ухода коммунальной комиссии, которая нас заверила, что все в порядке. В моей комнате потолок вообще не рухнул, его понадобилось только подпереть деревянными брусками. Это выглядит очень даже мило, в особенности при вечернем освещении, напоминает колонны маленького греческого храма.

Мебель, правда, распалась в местах, соединенных клеем, но это дало мне прекрасную возможность долгими зимними вечерами коротать время. Я собираю из расклеившихся частей письменного стола, бельевого шкафа и гардероба что-то совсем новое.

Признаюсь, однако, что с тех пор я с опаской следил, не появится ли на физиономии Чижека меланхолическое выражение.

Примерно месяц спустя после разговора об автоматическом перекрытии водяной струи, в случае, когда кран свернут, я пошел заглянуть, постриг ли Чижек королевского пуделя, у которого развелось страшное множество блох. Чижек все откладывал эту процедуру, рассудив, что блохи обязательно перекочат во время стрижки на него. Напрасно я убеждал его, что, если сначала пуделя хорошенько вымыть, блохи пропадут. Он стоял на своем: блохи, дескать, выживут. Придумывал фантастические истории. Я своими ушами слышал, как он рассказывал кухарке, клянясь всем на свете, что слышал про одну щуку, на которой, когда ее вытащили из воды, кишели блохи.

Наконец Чижек все же собрался подстричь пса на улице во время настоящей бури. Блошки — насекомые легкие, ветер их и унесет, рассудил он.

Я пошел на его голос, бубнивший:

— И не проси, и не надейся... — и сразу заметил ту же подозрительную задумчивость на челе у Чижека. Он смотрел еще более печально, чем обезображенный пудель, у которого был такой вид, словно он только что выскочил из

своей шкуры.

— Я думал, — сказал Чижек, — управлюсь с этим делом до вашего возвращения. Тут такое случилось, господин шеф. — Он глубоко вздохнул: — Мне как раз пришло в голову, что уж лучше бы у обезьяны было только две руки. Четыре руки на одну обезьяну — это чересчур.

Он произнес это очень меланхолично.

— Я бы не стал об этом говорить, но только если задние руки у Юльчи передерутся с передними за револьвер, так очень даже запросто может случиться какое-нибудь несчастье. Это ведь ваш револьвер, господин шеф, но она с ним уже за тридевять земель. Хороший был револьвер.

Я успокоил его, объяснив, что револьвер заряжен холостыми патронами.

— Оно конечно, господин шеф, только она кроме револьвера вытащила из ночного столика горсть боевых патронов и сунула их в карман.

— Что вы болтаете, Чижек!

— Точно, господин шеф, она для этого специально оделась. Весь день после обеда была такая примерная и надела на себя тирольский костюм. А час назад начала шмыгать и прыгать по дому. Я через окошко увидел зеленую шляпу с перышком у вас в комнате. Иду туда и вижу, как она отпирает ваш ночной столик. Пока я опамятовался, она уже сунула в брючный карман патроны и пошла ко мне с револьвером. Что мне было делать? Подала мне руку, я ее пожал и похлопал ее по спине, чтобы она мне ничего не сделала. Она вылезла в сад, перелезла через решетку на шоссе и вскочила на стену Кламовки. Скорее всего, будет там болтаться и стрелять. Пока еще, правда, не стреляла. Но думаю, что, когда она расстреляет холостые, зарядит револьвер боевыми. И тут уж чего-нибудь да случится, — добавил он пророчески.

Между тем стемнело. Ситуация была скверная, и мне пришло в голову, что у павиана нет разрешения на ношение оружия и если она устроит охоту на сторожей в Кламовке, неприятностей не оберешься, потому что охотничьего билета у нее тоже нет, оба документа лежали возле револьвера.

— Будьте спокойны, — сказал Чижек, когда я высказал ему свои опасения, — разрешение и билет она сунула себе за щеку.

Весь вечер Чижек просидел в моей комнате. Оба мы молчали. Поздно ночью мне показалось, что Чижек о чем-то усиленно размышляет. Прежде чем я спросил, о чем это он задумался, он сказал убежденно:

— На вашем месте, господин шеф, я бы лучше уехал из Праги.

Я послал его спать и сам тоже лег. Мне показалось, что откуда-то доносится пальба. Но это был Чижек, который разбудил меня стуком в дверь.

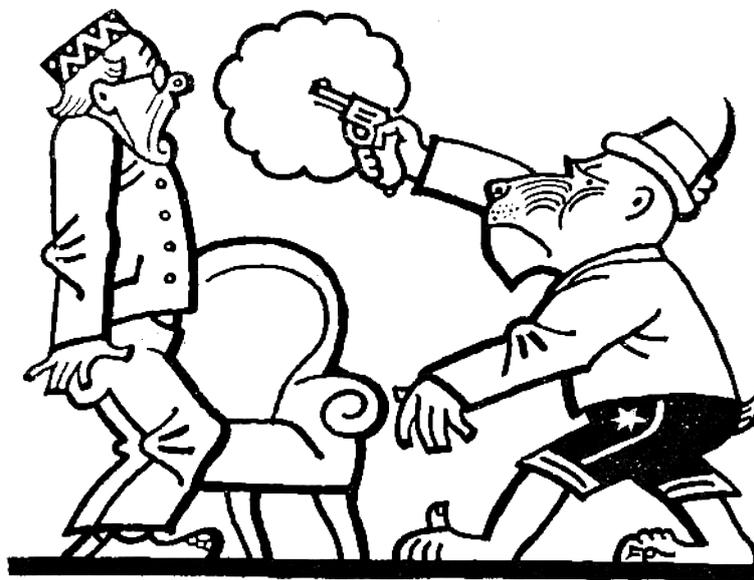
— Что там, Чижек?

— Юльча дома. Влезла в сарай и сидит там сама не своя. Револьвер я у нее нашел в брючном кармане, когда раздел. У нее от страха волосы на макушке и на всем теле дыбом. Сидит, как еж. В револьвере недостает одного патрона.

Я пошел на нее посмотреть. Выглядела она именно так, как описал Чижек. Скрючилась в углу на соломе и, когда я к ней пришел, подала мне руку, произнесла при этом какой-то звук вроде «гу».

— Это она хочет сказать «бум», — произвел филологический анализ Чижек.

На другой день в газетах появилось: «Загадочный налет грабителей с попыткой убийства в Коширжах». Длинный отчет, на который местные репортеры обратили особое внимание, варьируя название и так и этак, например:



«Попытка убийства с целью грабежа», был интересен подробностями. Речь шла о стареньком владельце табачной лавки, живущем в первом этаже дома № 249 в Коширжах «У луковки». Он принес домой дневную выручку за табачные изделия и, когда затопил и зажег свет в своей скромной комнате, открыл окно, чтобы проветрить, вдруг какой то мужчина вскочил в окно и выстрелил в него как раз тогда, когда он хотел подбросить в печку.

Здесь сообщения расходятся, потому что добрых пятьдесят процентов дневных газет сообщают, что смертоносное покушение на ветхого старика было совершено в момент, когда он хотел подвернуть фитиль лампы. Так это было или не так, но все журналисты сходились на том, что покушение было продуманным и убийца выжидал время, когда соседи по дому ушли в кино. «Но, выстрелив, убийца испугался крика своей жертвы и, видимо, боясь, что окно открыто и шум, вызванный разбойничьим налетом, услышат прохожие, отказался от своего умысла и поспешно скрылся. Подвергшийся нападению табачник в сопровождении дворника тут же отправился в полицейский участок, где надлежащим образом описал бандита. Это небритый мужчина сильного сложения, но небольшого роста, одетый в тирольский костюм, в зеленой шляпе с перышком. Это описание, — утверждали газеты, — поможет схватить преступника, если он не запасся, увидев, что своим костюмом бросается в глаза, другой одеждой. Пора наконец и на окраинах завести службу безопасности».

Замечу мимоходом, что одна газета остановилась на том, что до сих пор не вымощено шоссе от коширжского парка к домам «У луковки» и не подстрижены деревья в канаве иноницкой дороги.

Послеобеденные выпуски газет на следующий день принесли известие: «Совершивший злодейский налет в Коширжах задержан.

Полиции удалось задержать на центральном вокзале совершителя злодейского налета в Коширжах. Задержанный именуется Ромуальд Егерле и происходит из Болцано в Тироле. Хотя он упорно запирается, описание его, которое дал пострадавший, полностью сходится с его внешностью. У него была обнаружена небольшая сумма денег и цитра. По его словам, он якобы прибыл в Прагу сегодня утром, чтобы ехать в Литомержице, где у него ангажемент игры на цитре в одном ночном кабаре. Интересно, что он не может вспомнить, в каком из ночных кабарэ Литомержиц он ангажирован. Поскольку револьвера у него найдено не было, полиция предполагает, что, убегая, он его где-то бросил.

Преступник переправлен в место предварительного заключения уголовного суда в Праге. При очной ставке с потерпевшим табачник признал в нем нападавшего, сразу его опознав».

Но в тот же день вечерние выпуски сообщили: «Егерле, предполагаемый совершитель злодейского налета в Коширжах, отпущен на свободу, потому что доказал свое алиби при помощи вагонного проводника, с которым во время налета на табачника играл в карты на цитру, находясь между Линцем и Будейовицами. Полиция ведет дальнейшее расследование».

С той поры мы представляли Юльчу под именем Егерле.

## Ярмарка на Филипа и Якуба

Ярмарка в праздник Филипа и Якуба на Смихове еще хранила ушедшее в прошлое очарование былых ярмарок. Ведь что за прекрасные были прежде времена! Какие незатейливые цирковые балаганы, где клоуны и паяцы кидали публике еще более незатейливые остроты: «Где лежит больше всего солдат?», и ответ: «На тюфьяках в казармах» принимался с такой сердечностью, о которой сегодня мы не имеем даже понятия.

Все же прошлогодняя ярмарка сохранила аромат прежней сердечности, особенно балаган под пятнадцатым номером, призывавший почтенную публику зайти и увидеть все те чудеса, что сулила огромная и многозначительная вывеска:

«Здесь можно увидеть всех обитателей дна морского и сухопутного».

Сухопутное дно и впрямь неразрешимая загадка, новый профессиональный термин, до сего времени и не снившийся ни одному геометру.

И все это таил в себе скромный, трепыхающийся на ветру балаган.

Молодой мужчина в трико завопил с небольшого помоста любопытствующей толпе:

— Вы только войдите, тогда сами увидите, что всё тут самое настоящее и в соответствии с зоологическими описаниями.

И тут вы, соблазненные, стало быть, подлинностью и соответствием зоологическим описаниям, спешите поглазеть за двадцать геллеров на всех этих обитателей дна как морского, так и сухопутного. Тускло освещенная комната служит вместилищем нескольких ящичков. Пожилая дама с накладной грудью произносит несколько слов, извиняясь за нестерпимую вонь.

— Наши звери — создания нежные, на улицу их выпускать нельзя, да и запрещено полицейскими правилами, — говорит дама в свое оправдание и открывает первый ящик. Перед зрителями предстает маленькая облезлая обезьянка. Обезьянку душит цепочка, за которую ее вытягивает на свет божий дама с грязной шеей. Обезьянка, протяжно и грустно поскуливая, взбирается даме на плечо и начинает выискивать у себя блох. Безрадостна ее жизнь, а все умственные усилия сосредоточены на блохах.

— Имею честь, — говорит публике «укротительница», — представить вам обезьяну Мабо, которая согласно описанию имеет рост восемнадцать сантиметров, питается разными, как того требует природа, овощами. Ее родина — дикая Австралия, от охотников она прячется на пальмах и яростно защищается. А теперь позволю себе попросить уважаемую публику вспомоществования на молочко.

После чего бесцеремонно засовывает обезьянку в ящик и собирает на та-

релку двух- и десятигеллеровые монетки.

Она звонит. Появляется парнишка, забирает деньги и идет за пивом для хозяина балагана.

«Укротительница», обольстительно улыбаясь, наклоняется к заднему ящику и вытаскивает оттуда молодого каймана, примерно года от роду.

Он не больше полуметра. С сонным видом крокодил время от времени разевает пасть, полную белых зубов.

— Позвольте представить уважаемой публике, — начинает дама сладким голосом, — свирепого крокодила с берегов Нила. Он подкарауливает людей и своим плачем заманивает их в воду, чтобы там сожрать. Согласно описанию ему двадцать пять лет и у него шестьдесят два совершенно здоровых, неиспорченных зуба. Многие годы его держали в нильской воде, чтобы привык к воде из Влтавы. Крокодил не отзывается ни на какую кличку, потому что до сих пор его не удалось приручить настолько, чтобы он ел из рук. В отличие от остальных обитателей морского дна, он не поддается дрессировке, часто свирепеет и набрасывается на укротителей. А ну, марш в ящик!

Кайман высокомерно взглянул на хозяйку и залез в ящик. Крышка захлопнулась.

Я ждал, что теперь хозяйка снова предложит скинуться на молочко, однако она перешла к другому ящику и извлекла оттуда обыкновенного белого хорька.

— Это животное, — произнесла она с такой убежденностью, что никто и не рискнул возразить, — называется «цивета африканская» и так юрко передвигается по земле, что негры зовут его не иначе как ласочка. Согласно описанию ее длина достигает примерно пятнадцати сантиметров, она отличается злобным нравом и разоряет крокодильи гнезда во время кладки яиц.

И захлопнула ящик.

— А теперь разрешите, — сказала дама серьезно, — показать вам скрывающуюся за этим занавесом одну из самых диковинных вещей на свете!

И она отдернула грязную занавеску.

— Как только я позвоню, вы увидите татуированную севильскую красавицу. Осмотр татуировки на ее теле разрешается только совершеннолетним лицам мужского пола и солдатам за двадцать геллеров. Это испанское чудо имеет на теле свыше одного миллиона и еще два раза по сто тысяч наколок. Входите, можете войти не опасаясь.

Достигших совершеннолетия мужчин и солдат, не испугавшихся татуированной севильской красавицы и возможности лицезреть ее тело, набралось человек пятнадцать.

Но, как обнаружилось, севильская красавица оказалась просто ведьмой, которая, вылетев на шабаш в ночь под Филипа и Якуба, воспользовалась случаем и приземлилась на ярмарке.

Мадам укротительница, тыча указкой в различные части тела обнаженной севильской красавицы, разъясняла содержание сюжетов, вытатуированных на ее немой коже.

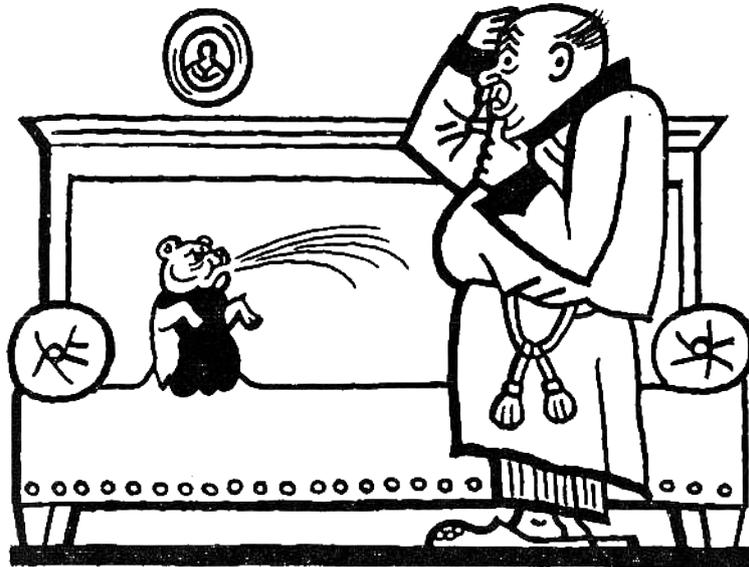
— Вот тут, попрошу взглянуть, на правой задней части вы видите портрет президента мексиканской республики, а на левой задней части — альпийский пейзаж с Монбланом. Повернись-ка спиной, Бианка...

Севильская красавица повернулась к нам спиной и поклонилась...

Ничего не скажешь: все как есть самое настоящее — президент мексиканской республики, альпийский пейзаж с Монбланом на заднем плане...

И мы разбежались...

## История с хомяком



**В** утренней газете появилось следующее объявление:

*«Немедленно продам или выменяю на что угодно живого хомяка.  
Прага III, Пласская, 2-й этаж, 4-я дверь налево».*

Маленькое объявление, но в нем чувствовалось большое отчаяние.

Читатели не обращали на него внимания, и только Богуслав Гонзатко, гимназист второго класса, которому идти сегодня в школу только к девяти часам, проявил к нему интерес. В квартире он остался один. Отец на службе, мать ушла с сестрой Эммой, которую собираются послезавтра выдавать замуж, за покупкой каких-то вещей к свадьбе. Прислуга, воспользовавшись случаем, побежала на свиданье со своим любовником в механическую мастерскую и просила его не забыть хорошенько закрыть за собой двери, а ключ отдать дворнику. При этом она назвала его Богоушек и погладила по голове. Они дружили друг с другом, так как оба были в семействе самыми преследуемыми и гонимыми существами. Если день проходил без скандала для Анны, то обязательно попадал в какую-нибудь историю Богуслав, и наоборот. Поэтому они поддерживали друг друга.

— А что мне говорить, Анна, в случае, если придет мать?

— Скажи, что ко мне приехала тетя.

— Хорошо, — важно сказал Богуслав и принял на себя управление квартирой. Он сел в качалку и стал читать газету, пока не напал на объявление о хомяке.

Прочитав объявление, Богуслав взволновался. Он обладал, как и все второклассники, очень романтическим характером, и его заинтересовал настоящий живой хомяк. Его всегдашней заветной мечтой было поймать какого-нибудь дикого зверя и держать его в доме. Он грезил об экспедиции в Индию за молодыми тиграми, об огромном берберийском льве, который слушался бы его, спал бы на кровати его сестры (кровать будет свободной, когда сестра выйдет

замуж!) и по его знаку съел бы классного наставника вместе с его кондуитом. Иногда ему казалось, что в корыте вместо белья лежит его ручной морж, который ест за него ненавистную пшеничную кашу; что у него есть молодой дрессированный слон, который выполняет за него различные домашние поручения, как-то: ходит для отца за газетой или за табаком, покупает сестре конверты и бумагу для писем (она все писала письма жениху).

И вот теперь его мечта может осуществиться. Правда, вместо тигра придется довольствоваться хомяком, но зато хомяк будет у него наверняка.

Неужто в доме не найдется ничего, на что можно было бы выменять его? Разве не лежит у сестры в сундуке приличное приданое, только вчера посчитанное и перевязанное голубыми лентами?

Если из этих свертков вытащить по одной рубашке, разве об этом догадуются? Разве эта шляха (Эмма) напялит все на себя? Конечно, нет. И разве у отца не спрятана в столе коллекция старинных монет? Да вообще, мало ли в этой квартире добра, на которое при желании можно выменять хоть триста хомяков!

Молодой Гонзатко приступил к действиям. Прежде всего необходимо добраться до приданого. Это не так-то легко. Но Гонзатко хорошо знал, где спрятан ключ. Он начал с того, что в кухне, в плоском ящичке для хлеба, нашел маленький ключик от шкатулки, облицованной карлсбадским камнем. Эта шкатулка находилась в комнате на гардеробе, стоявшем у двери. Когда Гонзатко открыл шкатулку, то внутри нашел другой ключ, от стоявшего в спальне шкафа. И только в этом шкафу, в левом углу, под белыми перчатками, находились ключи от сундука с приданным.

Из одного свертка Гонзатко вынул две пары дамских панталон, а из другого — ночной халат и привел все снова в порядок. Ключ положил на свое место и с необычной уверенностью, благодаря продолжительной практике (перед пасхой он уже лазил в сундук за конфетами) закончил свою экспедицию тем, что уложил последний ключ в хлебный ящик.

Затем вторгся в письменный стол отца. Это было куда легче. Отец, по мнению Гонзатко, весьма легкомысленно прятал ключ от стола тут же, под старинными часами с алебастровыми колонками. Из роскошной коллекции старых монет он взял только один большой старинный талер, затем закрыл стол, а ключ положил на прежнее место. Потом начал выбирать из пачки лежавших книг такую, которую можно было бы ассигновать на хомяка. Он хотел и сам в некоторой доле участвовать в расходах, связанных с этим романтическим предприятием. Его выбор пал на книгу «Храбрый капитан Коркоран». Это была одна из самых сохранившихся его книг: в ней не хватало всего-навсего двадцати четырех страниц.

Затем сел к письменному столу и на четвертушке бумаги написал:

*«Объяснительная записка*

*Настоящим подтверждаю, что мой сын Богуслав Гонзатко не смог сегодня явиться в школу по болезни живота.*

*Вацлав Гонзатко».*

В течение двух лет, благодаря долгой практике, ему удалось в совершенстве копировать почерк отца. Записку он спрятал в карман, белье Эммы аккуратно завернул в газету, связал, взял учебники под мышку и вышел из дома,

оставив ключ у дворника.

Учебники он занес к одному знакомому торговцу, которому сказал, что возьмет их по возвращении из школы. С собой захватил только «Природоведение», которое по дороге продал букинисту, чтобы иметь в кармане мелочь на всякий случай.

Гонзатко легко отыскал Пласскую улицу, и был принят парой пожилых супругов, выглядевших крайне утомленно.

Когда он объяснил им цель своего прихода и предложил обменять хомяка на следующие практические вещи: пару дамских панталон, ночной халат, старинный талер и книгу «Храбрый капитан Коркоран», лица супругов прояснились. Они провели его в гостиную и стали рассказывать странную историю, из которой Гонзатко понял только то, что две недели назад к ним перебрался странный господин с хомяком, заявивший, что изобрел специальное средство для животных, предохраняющее их от зимней спячки.

— Я решил, — говорил этот господин, — испытать свое средство на этом хомяке. Если удастся во время начала спячки животного продержать его в состоянии бодрствования, то мое изобретение разрешит великую проблему и будет иметь огромное значение. Если хомяки не будут спать, то, естественно, не будут так долго жить, а значит, и уничтожать столько хлеба. Они, по моему расчету, не будут доживать до третьего урожая...

— Наш квартирант, — рассказывал хозяин молодому Гонзатко, — хотел написать о своих опытах книгу и все время изучал хомяка, которого держал в большой бочке. Он подливал снадобье в воду, которой поил хомяка, и действительно хомяк находился в весьма возбужденном состоянии. Так как это средство он держал в бутылке от коньяка, то один раз я по ошибке выпил рюмку, после чего не мог спать пять ночей. Затем из провинции приехали родственники и по предписанию врачей увезли его куда-то в горы, а хомяка оставили у нас...

— Этот хомяк — очень милое существо, очень уютное, — говорили они так, словно заучили наизусть. — Мы дадим вам для него старый мешок из-под картошки.

Когда на очень уютное и милое существо набросили мешок и шинель, то он так угрожающе фыркнул, что романтический Гонзатко сразу почувствовал себя в окружении хищников. А когда он шагал по улице с мешком за спиной, в котором прыгал и метался рассерженный хомяк, то воображал себя известным укротителем тигров Рауагом Рабуром из Бомбея.

Так как было еще рановато возвращаться домой «из школы», то он занялся покупкой припасов для питания хомяка. За все вырученные им от продажи «Природоведения» деньги он смог купить всего-навсего маленький кулечек зерна, которого хватит зверьку не больше, чем на один раз. Только теперь Гонзатко почувствовал, какую ответственность он принял на себя. Кроме того, когда он стал подходить к дому, его охватило беспокойство. А что, если его выгонят из дома вместе с хомяком? Как объяснит он его появление? Что ему выдумать? Ну да, этот хомяк принадлежит гимназии и предназначается для коллекции по природоведению, причем его, Гонзатко, учитель Бернашек попросил подержать зверька у себя до тех пор, пока у него не появится новая шерсть. Затем родители, вероятно, его выдерут.

Все пошло по порядку, ему только не поверили, что его попросили взять хо-

мяка, — конечно, он вызвался сам, — все же отец и мать, надеясь, что их сыну удастся стать на хорошем счету у учителя, сперва не обнаружили особого беспокойства.

Для хомяка освободили бочку и поставили ее в передней. В течение нескольких часов хомяк — собственность уважаемого учебного заведения — пользовался известным почтением, а затем обнаружилось, что он распространяет какой-то странный запах. В связи с ожидавшимся приходом жениха Эмма вылила на хомяка целый флакон духов, после чего он забился в угол бочки и начал противно и яростно рвать зубами брошенный туда Гонзатко мешочек с зерном.

После обеда Гонзатко ушел снова в школу, отец — в контору, мать со счастливыми женихом и невестой опять пошла за покупками, а прислуга снова убежала на свидание. К вечеру возвратившееся семейство обнаружило, что хомяк выбрался из бочки и поселился рядом в комнате, на диване. Над ним висела большая картина, изображающая бескрайнее поле созревшей пшеницы, которая, вероятно, пришлась ему по вкусу. Кроме главного входа в свое логовище, на самом сиденье хомяк прогрыз в диване еще две дыры, предназначавшиеся для выхода в случае крайней необходимости. При переселении он перенес туда же и все зерна из бочки. Как только кто-нибудь приближался к дивану, из логовища несло свирепое прысканье: хомяк давал понять, что его не так-то легко выжить из нового жилища.

— Нечего сказать, хорошую шутку навязала нам гимназия! — свирепо сказала пани Гонзатко.

Эмма предложила залить логовище водой и тогда хомяк сам оставит диван, но это предложение было отвергнуто по той причине, что от воды испортилась бы плюшевая обивка, как будто в этой изгрызенной со всех сторон хомяком мебели можно было еще что-то испортить.

Гонзатко, на которого сыпались проклятия всего семейства, словно он сам прогрыз все эти дыры в диване, принес «Жизнь животных» Брема и стал искать, не сказано ли там, как удалять хомяков из дивана. Однако такого случая не предусмотрел даже Брем. Он вычитал только, что, если на хомяка напасть, он защищается до последнего издыхания.

Мать и Эмма ушли на кухню и стали совещаться с Анной о дальнейших мероприятиях. Анна советовала выкурить хомяка из дивана: забить все выходы бумагой, полить керосином и зажечь. Это безумное предложение было отвергнуто, и все решили дожидаться главы семьи. Пан Гонзатко оказался тоже малосообразительным. Некоторое время он тупо смотрел на хомяка, временами демонстративно выглядывавшего из норы в диване и дерзко прыскавшего, затем дал затрещину сыну, грубо обругал всех и поспешно удалился в винный погребок, где после второго литра завел разговор с незнакомым соседом:

— Представьте, мой сын, второклассник, напустил в диван...

— О, это я знаю, — перебил его сосед, — клопов я не люблю. Кто только заносит их в shk...

— Нет, я не об этом, — сказал пан Гонзатко. — Мой сын пустил в диван хомяка.

— Не валяйте дурака, сударь, — сказал нервно сосед, очевидно, лечивший свою нервность в тихом погребеке. — Чего только нынче люди не придумывают? Что же я, по-вашему, похож на идиота?

— Никак нет, уважаемый, — ответил подбежавший официант, полагая, что вопрос относится к нему.

Нервный господин расплатился и вышел.

«Странный человек, — подумал Гонзатко. — Я хотел искренне рассказать ему о хомяке и попросить у него совета, а он обиделся!»

Гонзатко погрузился в свои печальные мысли. После третьего литра он пришел к убеждению, что в диванах приличных семейств изредка водятся хомяки.

Около десяти часов он так путанно рассказывал своим собеседникам всю историю с хомяком, что получилось, будто хомяк был поселен в его диване согласно приказу земского школьного совета.

Дальнейшее течение событий в его памяти было несколько затуманено.

Он смутно припоминал, как потом шел ночью по улицам с одним господином, который назвался торговцем животными. И действительно, потом они очутились перед каким-то магазином, который этот господин открыл.

Проснувшись рано утром, пан Гонзатко обнаружил на своем ночном столике небольшую корзину, в которой что-то попискивало. Мало-помалу он вспомнил, что эту корзинку он принес из того самого магазина, в который заходил ночью с торговцем животными. Открыв ее, он увидел двух белых зверьков с красными глазками.

— Черт возьми, что это за звери? — вздохнув, воскликнул Гонзатко и начал усиленно размышлять.

Ну да, так это и было.

Он вспомнил, что в возникшем споре в погребке торговец животными уверял, что лучшее средство выжить хомяка — это белые хорьки. Вообще белые хорьки верное средство против всех грызунов. Их надо пустить в нору, и они выгонят хищников, стоит их пустить в диван, и история с хомяком будет исчерпана.

Он поделился своим планом с остальными членами семейства. После завтрака белых хорьков осторожно пустили в диван и стали ждать результатов.

Из нутра дивана сперва раздалось прысканье и шипенье, а затем какое-то приятельское мурлыканье. Через минуту появились головы хорьков, а затем и самого хомяка. Он мрачно осмотрел семейство Гонзатко, пронзительно фыркнул и опять скрылся. Молодой Гонзатко осторожно приблизился и заглянул в отверстие дивана.

— Белые хорьки, — сообщил он результат своего наблюдения, — лижут хомяку голову!

Увы! Это было так! Хорькам очень, весьма понравилось новое место! Тем временем Гонзатко принес Брема и, ко всеобщему огорчению, вычитал, что белые хорьки в неволе быстро размножаются. Очевидно, покойник Брем в своей жизни имел неприятности с белыми хорьками, ибо он, основываясь на собственном опыте, утверждает, что они не выносят запаха морских свинок.

Гонзатко поспешно оделся и ушел.

— Ты куда? — несмело спросила пани Гонзатко.

— За морскими свинками, — внушительно ответил он и захлопнул за собой дверь.

Принесенные через полчаса три морские свинки издавали ужасный запах. Это были экземпляры, выбранные специально по просьбе пана Гонзатко.

Тем временем пришел жених, оказавшийся совершенной бабой. Он заявил, что боится морских свинок, и не тронулся с места, чтобы впихнуть их в нору к хомяку. Он заявил, что его хотят принести в жертву.

В конце концов его удалось уговорить. В отчаянье, со словами: «Они меня искушают» — он схватил одну свинку.

Он не ошибся. Свинка вцепилась ему в руку, и он с криком отскочил от корзины. Тогда все надежды сосредоточились на молодом Гонзатко. Он оказался героем. Правда, трусил он сильно, но в конце концов ему удалось всех яростно защищавшихся свинок впихнуть в нору. Между тем жених с состраданием смотрел на пана Гонзатко и думал, что едва ли он нормален, если держит в диване такой зверинец.

Не знаю, способны ли морские свинки на чувство сожаления. Если да, то они, безусловно, сожалели, что так неблагородно отнеслись к своим благодетелям. В их новом жилье было так уютно. Приятная веселая компания, куда ни посмотри, — кругом полно морской травы, которой набит диван. Общеизвестно, что морские свинки жрут все. У меня самого была морская свинка, и за мое двухдневное отсутствие она съела альбом с фотографиями и превратила все милые лица моих родственников в кучу черных орешков. Таким образом выяснилось, что Брем ошибся, так как белые хорьки совершенно не реагировали на запах, исходивший от свинок, и не покидали убежища. В диване царили райский мир и согласие. Хомяк самоотверженно согревал хорьков, а морские свинки уткнули головы в их мех.

Пришлось собрать большой семейный совет.

Жених, искушенный каким-то зоологическим азартом, ни за что не хотел остаться безучастным и заговорил о ежах. Он говорил достаточно логично. Еж, утверждал он, покрыт тысячей колючих иголок, если бросить в нору ежа, то он наверняка выживет оттуда весь зверинец. Он остроумно уверял, что звери бросятся согревать ежа и страшно разочаруются, наткнувшись на его острую щетину, и сам вызвался пойти купить это животное.

— Купите уж лучше сразу двух, пан Кратохвил, — заботливо сказала пани Гонзатко.

Пан Кратохвил, уже уходя, в дверях успел сказать, что еж вообще полезное домашнее животное, так как ест тараканов.

Два ежа, которых он принес, увеличили домашнее хозяйство семейства Гонзатко и оказались существами меланхоличными. Когда их положили на пол, они высунули свои длинные носы из-под тучи иголок, печально огляделись вокруг себя, издали какой-то звук, похожий на «тль...тль...» и свернулись колючими шариками. Пан Кратохвил надел перчатки и всунул ежей в дыру дивана.

Через несколько секунд раздалось яростное фырканье и писк. В отверстие появилась голова рассерженного хомяка, как будто хотевшего крикнуть: «Что за безобразие!» И опять скрылась в норе, где в это время ежи улеглись на дно дивана, не обращая внимания ни на белых хорьков, ни на хомяка, ни на морских свинок.

Скоро внутри дивана наступили полное спокойствие и тишина. Зоологический сад семейства Гонзатко заснул мертвым сном. Когда, несмотря на все ожидания, из дивана никто не вылез, было постановлено свадьбу отложить на несколько дней.

Пану Крадохвилу приснилось, что ежей надо удалить из дивана с помощью полосатых гиен, а полосатых гиен с помощью тигров, и весь сон закончился трагической сценой: он обнаружил на кухне обглоданные кости тестя и тещи.

Гонзатко не терял времени и послал письмо педагогическому совету гимназии, в которой учился его сын. Директор напрасно силился понять смысл письма:

*«Уважаемому педагогическому совету гимназии.  
Нижеподписавшийся покорно просит гимназию в связи с изменившимися семейными отношениями принять меры к изъятию хомяка, который находится у нижеподписавшегося, и набить из него чучело.  
С совершенным почтением  
Вацлав Гонзатко, кассир.  
Жижков, Орбитская ул., д. 5».*

Директор вызвал к себе молодого Гонзатко и с интересом его выпытывал, часто ли отец пишет такие письма. Гонзатко ответил, что не знает. Тогда директор спросил, не лечится ли его отец в какой-нибудь лечебнице или санатории. Гонзатко, чтобы не говорить все время «нет», на этот раз кивнул головой.

«Ну что ж, надо его успокоить», — подумал директор и послал пану Гонзатко следующее письмо:

*«В связи с присланным Вами письмом совет гимназии с большим сожалением вынужден сообщить Вам, что гимназия чучел не набивает.  
Совет гимназии».*

После получения этого письма рассерженный пан Гонзатко отправился на Вышеград к одному скорняку, который ответил ему, что без разрешения властей в частных домах убивать животных нельзя, для этого их надо отправить на специальную бойню.

Тем временем молодой Гонзатко продал свой географический атлас и на все деньги купил зерна для зверей, чтобы они не умерли с голода.

Так продолжалось две недели. В Праге стал ощущаться недостаток зерна.

Неизвестно, как долго продолжались бы страдания семейства Гонзатко, если бы их не спас мужественный, готовый на все дворник. Он пришел, вооруженный топором. Ему молча указали на диван и закрыли за ним дверь. Раздались удары, визг, прысканье и шипение. Через полчаса все было кончено.

На другой день состоялась свадьба.

Гостям, приглашенным на свадьбу, подавалось следующее меню:

*Суп из дичи, дичь с уксусом и хреном  
Жареный хомяк с картошкой  
Морская свинка под зеленым горошком  
Ежовый паштет.*

Молодой Гонзатко, истинный виновник этого пиршества, скромно сидел за столом и со слезами на глазах уплетал жареную голову своего несчастного хомяка.

## Судьба пана Гурта

Как только началась мобилизация, император Франц-Иосиф втянул в водоворот войны и Гурта, владельца продовольственной лавчонки где-то на Жижкове. Он вынул Гурта из гнезда, как озорники-мальчишки птенцов. Выволок его из-за ящиков с маслом и творогом, из-за бутылей с керосином, из-за мешков с кофе и гирлянд лимонов. Оторвали пана Гурта от его фунтиков, сахарных голов и отправили в Галицию. Все произошло на диво просто. Пан Гурт ничего не понимал. Раньше, поспорив с кем-нибудь, он выругает, бывало, своего оппонента, и дело с концом. Нож он употреблял, чтоб резать хлеб и колбасу. А теперь он получил винтовку, штык и сто двадцать патронов вместе с надеждой, что где-нибудь на полях Галиции его разорвет пополам граната. В довершение всего перед отправкой эшелона в те гиблые места капитан произнес перед ними патриотическую речь, которую закончил многообещающими словами:

— Ведь не хотите же вы жить вечно?

Тут капитан так посмотрел на пана Гурта, что тот взял под козырек и неожиданно ляпнул:

— Осмелюсь доложить, я не хочу жить вечно.

За это ему пообещали шпангле после войны.

Когда эшелон прибыл в Галицию, у пана Гурта начался понос. Целые дни просиживал он по нужникам, воображая, что делает все это для государя императора. Потом его вылечили и послали в окопы. При первой же атаке ему прострелили грудь, и санитары украли у него часы. На перевязочном пункте врач сказал, что рана пустячная. Полтора месяца провалялся пан Гурт в лазарете, где получил подарок: десяток сигарет и грошовую шоколадку. Из лазарета его направили в команду выздоравливающих куда-то в Венгрию. Там венгры обозвали его чешской свиньей, и через четыре дня с очередным батальоном он снова двинулся на позиции. И опять ему повезло, только на сей раз осколком гранаты у него оторвало кусок уха. Об этом вы, наверно, читали в газетах. Там оказался некий очень старательный штаб-лекарь, и он пришил пану Гурту новое ухо, которое еще тепленьким отрезал у одного умирающего ефрейтора из венских немцев.

Через три недели пан Гурт уже снова окапывался, чтобы спрятать голову от русских пуль; он начал разбираться в военных делах: если так пойдет дальше, то ему в конце концов пришьют голову какого-нибудь прусского гвардейца.

И вот наступил памятный для него день.

В тот день читали мы в окопах приказ по армии, в котором говорилось, что в Австрии у чехов есть свои чешские школы. Это пан Гурт отлично знал, но не понимал, какое это имеет отношение к его поносу, к его простреленным легким, к оторванному и пришитому уху. Потом нам выдали черный кофе с ромом, после чего началось какое-то оживление и приказано было каждому третьему отойти с позиций. Не успел пан Гурт опомниться, как стала известной печальная истина. Его бригада решила оторваться от неприятеля, а остатки роты должны до тех пор оставаться в окопах и вести огонь, пока... Пан Гурт не довел свои размышления до конца, потому что кадет Голава сказал про это очень хорошо:

— А нас тут оставили на убой.

Потом, когда все стихло, после долгого молчания снова заговорил кадет Голава:

— Слушайте, ребята, каждому из нас положено выдать еще по сотне патронов, но знаете что — плюнем на это дело и давайте ляжем: если мы не будем стрелять, нас оставят в покое.

Гурту это очень понравилось. Как долго он спал, он понятия не имел, но только вдруг слышит громовое «ура» спереди и сзади, хватает свою винтовку и вылезает из укрытия.

Глядь — перед ним русский солдат со штыком, и, к великому его изумлению, этот солдат говорит ему по-чешски очень добродушно:

— Бросай, брат, свою хлопушку, не то схлопочешь по уху.

Позже, когда пан Гурт рассказывал о своем пленении, он всякий раз начинал такими словами:

— Бросил я, значит, хлопушку... и пошли мы в Россию. Догнал я кадета Голаву и говорю: «Вот и попали мы в плен», — а он мне: «Ясное дело, я этого уже три месяца дожидаясь».

\* \* \*

В плену пану Гурту жилось хорошо. В лагере его причислили к батальонной кухне, и он варил для пленных по раскладке, а для себя — по воспоминаниям о доме: печеночка, язычок с перцем и прочие вкусные вещи. Он толстел себе на радость и изобрел новый вид гуляша. Когда же пришло великое время и канцелярия батальона и бараки пленных стали центром нашего революционного движения против Австрии, пан Гурт по-прежнему стряпал гуляши, печеночку, язычки и по-прежнему толстел. И всякий раз как заходила речь о старой черно-желтой развалине и о зверинце в Шёнбрунне, пан Гурт заявлял во всеуслышание: «Да, конечно, я — чех».

И продолжал помешивать в котле печеночку и гуляш с вермишелью. Но вот все эти речи в лагерях пленных отлились в единственно необходимые слова: «Вооруженная борьба против Австрии!» Тут-то пан Гурт стал очень задумчивым.

Как-то раз явился он к канцелярии и завязал с нами разговор.

— Слыхал я, — жалобно начал он, — вы хотите собрать чешское войско. Тут я должен подумать. Взгляните на меня: я добрый чех, но я уже пожилой человек и привык к порядку. Утром встаю, варю себе кофе, знаете, хороший кофе, в лавке можно достать, молоко мне возят бабы, такое желтоватое, жирненькое, покупаю я себе булочку, пышную такую, беленькую. А на второй завтрак — язык. Вырезаю его из головы, чищу, обвариваю, сдираю кожу, потом лучок на сале поджарю, потушу картошечки, язычок потушу, подбавлю мучицы — вот и подливка. Я добрый чех, но этого от меня не требуйте, мне надо поправляться. В полдень сварю себе супчик, жирненький такой, выну из него мяса по-постнее, а к нему — красную свеколку, маринованную, а это, знаете ли, вино, настоящее вино. На ужин — гуляшик с вермишелью, и я будто заново родился! Вы не смейтесь, это правда, я добрый чех, но мне нужно поправиться.

Он отвел меня в сторону.

— Понимаете, — плаксиво начал он объяснять, — не могу я, не поеду я с вами, есть у меня еще и другие причины. Видите ли, еще до того, как меня взяли на войну, я купил новую мебель. Если мы не победим, то придется мне перевезти мебель в Россию, и она побьется. Даль-то какая! Только пусть это будет

между нами. А если там узнают, что я пошел против государя императора, то и продадут мою мебель с аукциона. Продадут кровать, гардероб, а кровать-то какая роскошная, с сеткой, и гардероб с зеркалом! А если мы победим и я вернусь домой, то мне не на чем будет лечь и одежду некуда повесить. Совсем новая мебель.

— Честное слово, совсем новая! — крикнул он мне вслед, когда я уходил, дав ему пощечину. — Вот вы ударили меня, не верите мне, а ведь и умывальник совсем новый, господи боже...

\* \* \*

На следующий день мы приставили к кухне другого повара. Пан Гурт был страшно удручен, когда пришлось ему переселиться из своего замка, от своего «столик, накройся» в барак, где жили венгры. Он не мог постичь, что печеночка, гуляш и язык с подливкой никогда уже не вернуться, что это был лишь дивный сон, увя, короткий сон.

Только один еще раз он воспрянул духом — когда получил от Австрии через делегацию нейтрального государства новое обмундирование и полтора рубля денег. И, воспрянув духом, заявил, что нас всех повесят. За это он получил десять суток ареста на хлебе и воде.

После этого мы долго ничего о нем не слышали, пока однажды не пришло сообщение из соседней деревни: конный стражник задержал на лугу какого-то австрияка, который ползал по траве на четвереньках и на вопрос, что он там делает, ответил, что пасется и готов продать себя за двести рублей. Это был пан Гурт.

## Повесть о портрете императора Франца-Иосифа I



**В** Младой Болеславе жил торговец писчебумажными принадлежностями. Он чтит законы и жил с незапамятных времен против казарм. В день рождения императора и другие царские дни он вывешивал на своем домике черно желтый флаг и поставлял в офицерский клуб бумажные фонарики. Кроме того, он продавал портреты Франца-Иосифа в еврейские корчмы в Младоболеславском округе и в полицейские участки. Он с удовольствием поставлял бы портреты государя и в школы округа, но его портреты не соответствовали раз-

меру, одобренному краевым школьным советом.

В один прекрасный день школьный инспектор заявил ему:

— Очень жаль, очень жаль, пан Петишка, но государь, которого вы нам подсовываете, непомерно велик, что не соответствует предписанию достоуважаемого школьного совета от второго октября тысяча восемьсот девяносто первого года. Согласно этому предписанию, государь император должен быть покороче. Дозволенный размер государя императора сорок восемь сантиметров длины и тридцать шесть сантиметров в ширину. Ваш же государь император в длину пятьдесят сантиметров, а в ширину сорок сантиметров. Вы заявляете, что у вас имеется две тысячи портретов государя. Не рассчитывайте, что вам удастся всучить нам всякий хлам. Весь ваш государь император — товарец третьего сорта, и притом паршивый. Выглядит так, будто никогда не расчесывал усов. Мало того что на нос ему навалили страшно много красной краски, он, ко всему этому, еще косит.

Вернувшись домой, Петишка огорченно заявил жене:

— Ну и влипли же мы с престарелым монархом...

Случилось это еще перед войной. Короче говоря, две тысячи портретов августейшей особы остались у Петишки на шее.

Когда разразилась война, Петишка страшно обрадовался в надежде, что избавится от своего товара. Он вывесил кровожадного старикашку в своей лавке с надписью:

*«Выгодная покупка!*

*Император Франц-Иосиф I — за 15 крон».*

Продал он всего лишь шесть портретов. Пять было куплено в казармы, дабы литографированные портреты последнего Габсбурга воодушевляли резервистов, а один портрет купил старик Шимр, владелец табачной лавочки. Этот австрийский патриот сторговал его за двенадцать крон, да еще обозвал Петишку грабителем.

Война разгоралась, но государь император не имел никакого сбыта, хотя Петишка пустился даже на газетную рекламу. Он напечатал объявление в газетах «Народни политика» и «Глас народа», так рекламируя государя императора:

*«В тяжелое время в каждом чешском доме должен висеть портрет нашего многострадального монарха за 15 крон».*

Но все было напрасно.

Вместо заказа Петишка получил приказание явиться в окружное управление, где ему предложили впредь воздерживаться в объявлениях от выражений «тяжелое время» и «многострадальный». Вместо этого, во избежание неприятностей, он должен употреблять слова «славные дни» и «победоносный». После этого Петишка дал следующее объявление:

*«В эти славные дни в каждом чешском доме должен висеть портрет нашего победоносного монарха за пятнадцать крон».*

Но все было напрасно.

В ответ на это объявление он получил несколько ругательских писем, в которых неизвестные корреспонденты откровенно советовали ему повесить портрет в такое место, куда император ходит пешком, и его снова позвали в

окружное управление, где комиссар указал ему следить за официальными сообщениями и сообразно с ними составлять текст своих объявлений.

— Русские войска вступили в Венгрию, заняли Львов, подошли к Перемышлю. Это не называется славные дни, пан Петишка. Это походит на издевательство, на желание посмеяться, на иронию. С такими объявлениями вы можете попасть в Градчаны, отвечать перед военным судом!

Пан Петишка обещал, что впредь будет осторожнее, и составил такое объявление:

*«Всякий чех с радостью пожертвует 15 крон, чтобы иметь возможность в своем доме повесить нашего престарелого монарха».*

Местные газеты его объявления не приняли.

— Милый человек, — сказал Петишке владелец одной газеты. — Вы хотите, чтобы нас всех перестреляли!

Пан Петишка вернулся взволнованный домой. В лавке, в заднем углу валялись свертки портретов императора. Пан Петишка отшвырнул их ногою и тут же испугался своего поступка. Он боязливо огляделся вокруг и успокоился только после того, как удостоверился, что его никто не видел. Меланхолично принялся он вытирать свертки и тут заметил, что некоторые из них отсырели и покрылись плесенью. Сзади сидел черный кот. Ясно, кто был виновником того, что свертки подмокли. Чтобы отвлечь от себя подозрение, кот начал мурлыкать. Пан Петишка бросил в государственного преступника веником, и кот скрылся.

Озлобленный торговец ворвался к себе в квартиру и обрушился на жену:

— Эту гадину надо выкинуть вон! Кто у меня купит государя императора, загаженного котом? Государь император заплесневел! Придется сушить, чтоб ему провалиться!

После обеда Петишку, прилегшего вздремнуть, мучили тяжелые сны. Снилось ему, что за черным котом пришли жандармы и что вместе с котом ведут и его самого в военный суд. Потом ему приснилось, что кота и его приговорили к смертной казни через повешение и что первым должен быть вздернут кот, а он, Петишка, произносит перед судом страшные ругательства. Петишка дико закричал, проснулся и увидел около себя жену, которая говорила с укоризной:

— Бог с тобой, что ты болтаешь! Если б тебя кто-нибудь услышал!..

И тут же пожаловалась, что хотела посушить государя императора в саду, а уличные мальчишки кидали в эти портреты камнями и изрешетили их.

Но убытки этим не ограничились. На один из портретов, который сушился на траве, сели куры и облегчили на нем свои желудки, раскрасив бороду императора своим пометом в зеленый цвет. Два портрета пытался сожрать молодой неопытный сенбернар мясника Голечека, не имевший ни малейшего представления о шестьдесят третьем параграфе уголовного уложения. У щенка это было в крови. С его матери год назад спустил шкуру живодег за то, что на военном плацу сожрала знамя 36-го полка.

Пан Петишка чувствовал себя несчастным. Вечером в винном погребе он то и дело заводил разговор об удешевленных ценах и о том, какие неприятности ему приходится переносить с государем императором; и из всей его речи вытекало, что венское правительство смотрит с недоверием на чехов един-

ственно за то, что они не покупают у фирмы «Франтишек Петишка» в Младой Болеславе портретов государя по пятнадцати крон.

— Не дорожитесь, — сказал ему хозяин погребка на прощание, — нынче плохие времена. Горейшек продает паровую молотилку на триста крон дешевле, чем в прошлом году, и то же следует сделать и с государем императором.

Придя домой, пан Петишка поместил в витрине своего магазина следующий плакат:

*«Ввиду экономического кризиса распродаю большую партию прекрасных портретов государя императора вместо 15 крон только по 10 крон».*

Но и после этого магазин оставался пустой.

— Что слышно о государе императоре? — спрашивал его владелец винного погребка.

— Плохо, — отвечал пан Петишка, — на государя императора нет никакого спроса.

— Мой вам совет, — сказал по секрету виноторговец, — продавайте его, пока еще не поздно, по какой угодно цене.

— Подожду еще немного, — ответил Петишка.

И на портретах государя императора и дальше продолжал сидеть черный кот. За полтора года портреты императора в самом низу покрылись плесенью. Австрийцы уезжали из Чехии, положение Австрии было скверное.

И тут пан Петишка взял карандаш и с тяжелым сердцем высчитал, что он на этом деле не разбогатеет, но если будет продавать государя императора по две кроны, то все же заработает на каждом портрете целую крону.

И он сделал соответствующую рекламу. Повесил в витрине один портрет и написал:

*«Наш престарелый монарх распродается в настоящее время вместо 15 крон всего только за 2 кроны».*

Вся Млада Болеслава перебивалась в этот день перед магазином Петишки, чтобы воочию убедиться, как катастрофически пали акции Габсбургской династии.

Ночью пришли за паном Петишкой жандармы, и тут уже все пошло быстро. Магазин закрыли, пана Петишку арестовали и судили военным судом за нарушение общественной тишины и порядка. Союз ветеранов на чрезвычайном собрании исключил его из числа своих членов.

Пана Петишку приговорили к тринадцати месяцам строгого заключения. Его, собственно, полагалось посадить на пять лет, но смягчающим обстоятельством было то, что он когда-то сражался за Австрию под Кустоцей.

А свертки с портретами государя императора хранятся где-то в архиве военного суда в Терезине и ждут часа освобождения, когда после ликвидации Австро-Венгрии предприимчивый бакалейщик станет заворачивать в них седки.

## Итог похода капитана Альзербеха

Утром 16 июня пан капитан Альзербех вылез из своей берлоги в окопах с тяжелой головой. Зашагав по окопу, он разразился своим привычным: «Собаки, свиньи, свинья, собака, свинья, собака!» — но вдруг поперхнулся и умолк.

Голос его как-то странно и грустно раздавался в необычайной тишине. Солнце стояло высоко, но над окопами простерлась загадочная тишина.

Капитан Альзербех установил, что окопы пусты. Вокруг валялись винтовки, штыки в ножнах, мешки, одеяла, и всюду, куда ни глянь, земля была усыпана неотстрелянными патронами. Брустверы были истоптаны, и все говорило капитану: здесь что-то неладно.

За одним из брустверов валялся труп капрала Франка, который так славно пинал солдат ногами. В руке Франк еще сжимал револьвер, а в груди его торчал австрийский штык — чтобы не было сомнения, кто именно так удачно пришил его к земле.

Капитан Альзербех задумался. У него после вчерашнего гудела голова, и соображал он очень медленно. Какая-то пустота была под его лысым черепом.

Значит, вчера был день рождения эрцгерцога Фридриха. Личному составу прочитали особый приказ, что по случаю этого дня надлежит помянуть все геройские подвиги дивизии. Солдатам роздали дешевый ром, а для господ офицеров прислали ямайский.

Потом капитан Альзербех приказал еще связать ненавистного Павличка за то, что тот при чтении указанного особого приказа отогнал рукой осу, которая собралась сесть ему на нос.

Вообще вчера был один из прекраснейших дней на фронте, озаренный мыслями о славном дне рождения и ромом.

В восемь часов вечера капитан Альзербех слышал как будто канонаду. К этому времени он влил в себя уже полторы бутылки рому.

В девять вечера он приказал петь «*ich hab' einen Kameraden*»[138] и открыл огонь залпами по русским окопам. В десять он видел уже зеленых чертей и оборвал телефонный провод, запутавшись в нем ногами.

Вскоре после этого денщик в темноте наступил ему на руку, что уже не могло разбудить капитана. Он спал как колода, уткнувшись лицом в солому.

И вот теперь такое разочарование: солнце высоко в небе, окопы пустые, и капрал Франк, приколотый к земле.

Постепенно капитан начал понимать: он знал, что такие вещи могут случиться на войне. Неприятель обходит позиции, и все попадают в плен.

— *Himmel herzgott*[139], — плюнул капитан среди этой ужасной тишины. — Пусть я болван, но только ради бога объясните мне, как же это случилось? Ведь я со своим батальоном занимаю запасные позиции?

Никто ему не ответил, окружающая природа лишь безмолвно подтверждала, что сегодня все возможно.

Капитан Альзербех вылез из окопов, чрезвычайно обеспокоенный великим покоем, царившим вокруг.

Сзади где-то горела деревня, и издали доносились глухие разрывы.

Он стоял тут как единственный в этих местах носитель серого австрийского мундира. А повсюду по холмам, впереди и сзади, двигались колонны рус-

ских, всюду были люди в русских гимнастерках...

Капитан Альзербах понял, что он поглощен этим прибоем, и невольно поднял руки.

И вовремя: на опушке березовой рощи показался казачий разъезд.

Казачи подъехали к нему, и капитан Альзербах очень удивился, что они не забирают его и не хотят сопровождать. Он догадался, что не представляет интереса для них и что ему велят самому идти вперед: пусть так и идет, все прямо, прямо, а там уж найдется какая-нибудь тыловая часть. Мы взяли в плен четырех генералов, а капитан — мелочь, ради него не стоит возвращаться, сам дойдет.

Капитан Альзербах шагал как заведенный. Шел он по широкой равнине с березовыми рощами. По этой самой равнине должна была пройти австрийская армия... И его батальон должен был внести свою долю усилий в общую победу.

Но сейчас его батальон в плену, а сам он, жалкий, одинокий, тащится за ним следом.

Мимо него шли русские полки, ехала артиллерия, и никто не обращал на него внимания.

Только в одной деревне к нему обратился какой-то пленный венгр, который тоже отстал от своих. Капитан не понял ни слова и приказал венгру заткнуться, на что венгр возразил: «Nem tudom»[140] и продолжал лопотать.

Дальше капитан опять пошел один, потому что венгр занялся попрошайничеством у русских солдат, остановившихся на привал.

В ложбинке у дороги капитан наткнулся на группы отдохавших пленных немцев. Он присоединился к ним, и пруссаки встретили его словами: «Wir kennen unsere Österreicher» — знаем мы наших австрияков!

Всю дорогу он выслушивал от них приятные вещи. Пруссаки сваливали всю вину на Австрию, а когда капитан Альзербах сказал им, что это они все начали, один гвардеец глянул на него так грозно, что капитан умолк.

Постепенно спустился вечер, они пришли в какую-то деревню, и капитана Альзербаха повели к тыловому начальству на допрос. Он никак не мог вспомнить, какой полк стоял слева от него в запасе. Тогда ему сказали, что двадцать пятый. Он удивился, как это они все знают, и в свое оправдание пробормотал, что был пьян.

Потом ему сообщили, что их батальон ночует в сараях и что его отведут к его людям.

Так капитан Альзербах снова встретился с ненавистным Павличком, которого вчера приказал связать. При виде своих солдат капитан ощутил, как с него спадает все то, что делало его таким тупоумным в течение целого дня.

— Собаки, свиньи, свинья, собака! — заорал он по привычке, войдя в сарай; его люди еще не спали.

Сквозь открытую дверь в сарай лился лунный свет; в этом свете с соломы поднялся и подошел к капитану рядовой Павличек. И капитан Альзербах почувствовал вдруг, что его ударили, и понял, что получил по морде и в другой раз и в третий.

Это были великолепные затрецины. Ими Павличек воздал за все, что он вытерпел от капитана во время похода с маршевым батальоном от Самбора до Буковины. Тут стали подниматься и остальные, один за другим они подходи-

ли к капитану, раздавались шлепающие звуки, и солдаты опять молча укладывались на солому.

Только Камноушек из одиннадцатой роты, отвесив капитану две оплеухи, произнес:

— Gott strafe England[141].

Это было любимое изречение капитана.

Капитан Альзербах был до того ошеломлен всем этим, что некоторое время постоял, словно дожидаясь, не ударит ли еще кто; но ничего больше не последовало, и он тихо вышел из сарая.

Физиономия у него вспухла донельзя, и он не в состоянии был постичь, что же, собственно, произошло, и только смутно догадывался, что плохи дела Австрии, если уж капитану нельзя сунуть нос в сарай, чтоб ему не набили морду свои же солдаты.

Позднее при обыске у капитана Альзербаха нашли записную книжку, где значилось следующее:

«16 июня 1916 года, Бардейов. Получил от Павличка, Кнура, Косалы, Галасека по три пощечины. Криблер, Везна, Гулата, Робес, Моучка, Сырак, Кополецкий ударили меня по два раза. Кхоль, Барак, Бездега, Брабец, Спатенка, Длугий, Ржегак, Затурецкий и Зыкан — по одному разу. Остальные солдаты меня не били, потому что находились в других сараях».

Таков был итог похода капитана Альзербаха.

## По стопам полиции



Это случилось перед одним из приездов в Прагу императора Франца-Иосифа с высокой целью постучать молотком по камню на закладке одного из строящихся мостов. В чешском вопросе старый монарх специализировался исключительно на мостах. Приедет, бывало, постучит по камню и глубокомысленно заметит:

— Интересно, что этот мост идет с одной стороны реки на другую. — Да еще прибавит: — Меня чешит, что вы техи (вместо: «меня тешит, что вы чехи»).

После такого посещения у всего чешского народа создавалось впечатление,

что этот старый господин разбит параличом.

В эти высокаторжественные дни пражская полиция развивала свою деятельность в самом широком масштабе и арестовала в трактире «У двойки» старого хромого гармониста Кучеру, который лет тридцать назад отправился пешком из Праги в Вену и там при проезде императора бросился под ноги лошадям, везущим императорскую карету. Он надеялся таким способом добиться аудиенции: его преследовала идея фикс, что ему должны выдать разрешение торговать в табачной лавке в награду за то, что итальянская пуля у Кустоцы прострелила ему ногу.

Но вместо табачной лавки ему в административном порядке присудили пять суток ареста, а затем целый месяц исследовали его психическое состояние в одной из венских психиатрических клиник и одновременно вели следствие, переписывается ли он с подозрительными лицами, живущими за границей. Когда выяснилось, что Кучера не умеет писать и психически совершенно здоров, его отправили в этапное управление, а отсюда уже он вернулся по этапу в Прагу, где в память о своей неудавшейся аудиенции у государя императора сложил такую песню, исполнявшуюся им под гармонику:

*Город Вена, город Вена,  
плохо мне живется в нем,  
то не город, а зверинец,  
просто сумасшедший дом.*

Эту песенку он наигрывал и пел в течение тридцати лет в трактире «У двойки», а всякий раз, когда государь император должен был приехать в Прагу, полиция систематически отводила гармониста Кучеру в «четверку» при полицейском управлении, так что жизнь Кучеры стала как бы математической формулой, и у него сложилось представление, что Франц-Иосиф его, старика Кучеру, сильно побаивался. Это придавало ему новую жизненную энергию.

Пражская полиция чрезвычайно интересовалась также бродячим фотографом Нетечкой, который слонялся по улицам Праги в старом, поношенном плаще, в черном засаленном галстуке и с наводящей страх львиной гривой, выглядывающей из-под шляпы с огромными полями. Своим видом он напоминал албанского разбойника. Этот субъект таскал постоянно с собой старый, разбитый фотографический аппарат, раз сто разбитый и столько же раз перевязанный веревочкой штатив и бутылку рома.

Несколько лет тому назад, во время одного из посещений императора, он продрался через цепь и предстал, пугая своим видом, перед монархом, которому во все горло гаркнул:

— Не желаете ли сняться? Улыбнитесь! Снимаю.

Он был немедленно удален, и в полицейском управлении из его головы вылетели грезы о титуле придворного фотографа. Полицейский врач выдал ему солидное свидетельство о том, что он врожденный алкоголик и безвредный идиот. Это дало право Нетечке опять вернуться в общество, бродить по Праге, фотографировать старые дворцы и пить ром у памятников нашей былой славы. Но во время высочайших приездов в Прагу Нетечка неизменно отправлялся за решетку, скромно докладывая там о своем приключении товарищам по несчастью:

— Он не хочет, чтобы его фотографировали.

Перед посещением Праги императором арестные камеры полицейского управления систематически были переполнены. Полиция особенно не выбирала. Арестовали, например, всех точильщиков ножей, избравших себе такое глупое ремесло, словно ножи точили только на одного государя императора.

С окон, выходящих на улицу, должны были быть убраны цветочные горшки, чтобы они как-нибудь не свалились на голову государю императору.

За итальянским мороженщиком, который безмятежно вертел ручку мороженицы, также пришли сыщики и посадили его за решетку вместе с извозчиком Мацеком, который был уже несколько лет под надзором полиции за то, что в пивной «У черного пивовара» выиграл в лотерею глиняный бюст императора Франца-Иосифа I. Мацек потчевал его пивом, пускался с ним в беседу и, наконец, отбил ему голову и выкинул ее в отделение «для мужчин». Правда, он доказал, что был пьян так, как полагалось по закону; однако все же был взят под подозрение, как и горластая цветочница с Угольного рынка, которая перед каждым высочайшим посещением Праги кричала, что она государю императору скажет прямо в лицо, как с ней обращается магистрат.

В эти дни у полиции работы было по горло. Полиция из сил выбивалась, чтобы на деле дать почувствовать населению смысл выражения «возлюбленный монарх».

С одним из императорских посещений Праги связана и эта примечательная детективная история, прекрасно показывающая изобретательность полиции, ее комбинации и, наконец, ее неудачу.

## II

В эти достопамятные дни в Жижкове выходили газеты «Худяс» и «Нова омладина». Оба названия определяли их направление. Я писал тогда в эти газеты статьи, в которых высмеивал некоторые из досточтимых государственных учреждений, и часто забегал в редакцию побеседовать с издателем — редактором Кнотеком, который ныне редактирует «Остравский денник».

В этот приезд император должен был посетить между прочим и Жижков. По моим расчетам он был намерен усмирить жижковцев, которые никогда не проявляли больших симпатий к Габсбургскому дому. Однажды, когда мы разговаривали на эту тему с редактором Кнотеком в его квартире, в комнату вошел администратор газеты «Худяс» Калина в сопровождении какого-то мрачного господина.

— Друзья, — сказал Калина восторженно, — этот господин пришел к нам в редакцию. Я никак не могу с ним договориться. Он итальянец, только что приехал из России.

Мрачный гость подошел к нам ближе, предварительно внимательно осмотревшись по сторонам. И начал ледяным тоном:

— Я Пьетро Перри, дитя Флоренции. Политическую работу вел в Одессе. Бежал. Преследовала полиция. *Saramba!*[142] Трудная дорога через границу! *Poco maladetto!*[143] Прошу гостеприимства. Буду работать. Приедет император, *poco maladetto!*

— Веселенькая историйка, — сказал я редактору Кнотеку, — этак, пожалуй, нас всех арестуют.

— *Saramba!* — продолжал Пьетро Перри. — Написал в вашу газету резкую статью против императора, — по-немецки написал, *madonna mia!* Необходимо

что-нибудь предпринять, Подготавливаете что-нибудь? Не доверяете? *Madonna mia!* Документы на границе украли.

Редактор Кнотек между тем заметил мне, что итальянский язык Пьетро Перри немного странен, на что Пьетро Перри ответил:

— Забыл много по-итальянски. Жил в России, бежал, *porco maladetto!*

— Говорите ли вы по-русски?

— Забыл. Итальянец, дитя Флоренции, *caramba!* — И Пьетро Перри начал говорить по-немецки.

Тем временем к нам вошли двое знакомых — поэты Опоченский и Розенцвейг-Мойр.

Немецкий язык Пьетро Перри походил на его итальянский язык и был страшно близок чешскому, как будто он слово за словом переводил с него.

— Простите, — отозвался Пьетро Перри, когда я об этом заговорил с Мойром, — чешского языка не знаю. Ни слова не понимаю. Трудный язык, не имел случая научиться ему.

Опоченский начал напевать по-чешски песенку «Миллион рук», и Пьетро Перри заметил:

— Хорошая песня, *caramba*, *Million Hände im Dunkeln falteten*, *Madonna mia!*

Я встал, поднял чашку с чаем и произнес по-чешски следующий тост:

— Да здравствует Пьетро Перри! В половине шестого затащим его в ванну и там зарежем.

Пьетро Перри побледнел, вытащил из кармана часы и, трясаясь всем телом, заикаясь, сказал по-немецки:

— Не чувствую себя здесь в безопасности. Мне плохо. Уйду. Буду спать на улице. — И взял шляпу.

Я обратился к нему:

— Пьетро Перри, наш друг Розенцвейг-Мойр будет вас сопровождать. Вы переночуете у него на Виноградах. Не знаю, почему вам здесь не нравится. Я провожу вас до Жижкова.

Мы пошли. На лестнице, вынимая из кармана платок, Пьетро Перри уронил несколько револьверных патронов. Я подал их ему, заметив, что это патроны от «бульдога», калибра 16.

— Револьвер у меня хороший, — сказал Пьетро Перри, вынимая из кармана старый револьвер системы Лефош.

Запугать нас ему не удалось: патроны «бульдога» не влезают в револьвер Лефош. Между Жижковым и Виноградами я сказал Мойру, что оставляю Пьетро Перри на его попечение.

— Понимаю, — сказал Пьетро Перри. — Не понимаю по-чешски, но чувствую, — и вытер со лба пот.

\* \* \*

На другой день Розенцвейг-Мойр пришел в редакцию «Худяса» в явно возбужденном состоянии.

— Пьетро Перри из моей квартиры исчез, — заявил он взволнованно. — Я пошел за сигаретами, и, когда вернулся, Пьетро Перри смылся. Мои бумаги на столе были все перерыты, и у меня пропала связка писем, переписка с пани Мличковой.

Это была очень серьезная переписка: пани Мличкова в двенадцати письмах напоминала Мойру об уплате за ужины, сапожный крем, сломанный ци-

линдр и исчезнувшую плевательницу, с помощью которой Мойр пытался спастись от холодной смерти в этой квартире.

Итак, Пьетро Перри скрылся с этими документами, оставив после себя только рукопись своей статьи на ужасном немецком языке, которую он за день перед тем писал в редакции. Одну фразу из этой рукописи я помню: «Лучше всего было бы использовать посещение императора так, чтобы он уже больше никогда не отваживался приезжать в Прагу».

Часть рукописи, невинную, спрятал у себя администратор Калина, другую же, за которую нам вкатили бы по двадцать лет, мы вовремя сожгли: вечером в редакцию пришел с обыском полицейский чиновник. Обыск не дал никаких результатов, несмотря на то, что была обыскана даже клетка с канарейкой.

### III

Через два дня после всего происшедшего в редакцию «Худяса» и «Новой омладины» явился какой-то несчастный человек. Его голова была так устрашающе перевязана, как будто ее раздробил паровой молот. Видны были только один глаз и кончик носа. Никогда не видел так идеально перевязанную голову. Несчастный человек сказал тихим голосом, что прибыл из Северной Чехии, где вел политическую работу среди чешских шахтеров. Он рассказал нам о своих страданиях: в Брухе его избили немецкие националисты, ему необходима наша помощь. У него украли документы на имя Матейчика. Он пришел с просьбой, чтобы ему подыскали какое-нибудь место, ему — жертве жестокого насилия со стороны немцев. Согласен он на все.

— Скоро приедет Франц-Иосиф, — произнес он многозначительно.

И дальше заговорил о том, что необходимо будет выступить, что он готов работать даже слугой в редакции наших газет или разносчиком газет — словом, он в полном нашем распоряжении. И тут же, жалуясь, что голова его совершенно разбита, пожимал нам руки.

Я обратил внимание на то, что у этого несчастного молодого человека с разбитой головой руки совершенно холодные. У человека с разбитой головой обычно бывает жар. К тому же его голос и поведение тоже были подозрительны. Я отвел в сторону редактора Кнотека и попросил его, чтобы он дал несчастному десять крон в качестве аванса в счет будущей работы как разносчика газет, но чтобы тот своей подписью подтвердил нам получение этих денег, так как нам нужно знать его почерк.

Несчастный подписал: «Сим удостоверяю, что получил десять крон. *Миржичка*».

— Вы, насколько помнится, раньше говорили, что ваша фамилия Матейчик?

Он, запинаясь, ответил, что у него украли документы.

— И поэтому вы не знаете своей фамилии? — сказал я. — Вполне естественно! А знаете ли, что почерк ваш нам знаком? Калина, стащи-ка у него с головы перевязку!

Когда Калина, после упорного сопротивления, сдернул с его головы перевязку, мы увидели Пьетро Перри! Он упал перед нами на колени. Мы по всем правилам испанской инквизиции принялись выкручивать ему пальцы и выламывать руки, допытываясь, как его зовут на самом деле.

— Меня зовут Александр Машек, — выдавил из себя мученик. — Я служу в полиции. Не убивайте меня, я вам все расскажу. В кармане пальто вы найдете

у меня бумажку с рецептом, как делать бомбы. Эту бумажку я должен был у вас куда-либо незаметно засунуть. Вечером у вас будет опять обыск, и ее должны были бы найти. Я получаю в месяц сто девяносто крон, а за вас должен получить триста крон.

Александр Машек, столп пражской тайной полиции, заплакал.

— Кто вам обвязал голову?

— Доктор Прокоп в полицейском управлении.

Чтобы убедиться, что его фамилия действительно Машек, Мойр пошел расследовать это в полицейское управление. Вошел спокойно в комнату, где собираются сыщики, и спросил, там ли Машек.

— Машек ушел в Жижков, на Таборитскую улицу, — ответил какой то господин, отличавшийся, как видно, редкой проницательностью.

Когда Мойр вернулся, мы отпустили измученного Машека, который сам себе не верил, что остался в живых.

Он потребовал от нас подтверждения, что его разоблачили, чтобы его больше к нам в Жижков не посылали. Это подтверждение мы ему выдали.

Бумага гласила:

«Полицейскому управлению.

Подтверждаем, по просьбе Александра Машека, агента государственной полиции, что он был нами опознан, во-первых, в качестве Пьетро Перри и, во-вторых, в качестве уволенного со службы притесняемого чешского рабочего Матейичка Миржички» (затем следовали подписи).

С тех пор полиция оставила нас в покое.

#### IV

Александр Машек был замешан также в антимилитаристском процессе. Однажды его узнали на Гибернской улице в Праге и так избили, что пришлось отвезти в больницу.

Полиция распространила слух, что Александр Машек умер где-то в Ичине и что какая-то монашенка закрыла ему глаза.

Однако Александр Машек жив и находится в настоящее время в России, где очень интересуется чешским вопросом. Я слышал, что он арестован и должен быть повешен.

Если он действительно будет повешен, возлагаю этот рассказ на его могилу.

## Бравый солдат Швейк в плену

Ну что, доигрался, мой brave солдат Швейк? В «Пародии политике» и прочих официозах рядом с твоим именем перечисляются статьи Уголовного кодекса. Все, кто хорошо тебя знал, с удивлением читали:

«За переход на сторону врага, измену отечеству и подрыв военной мощи государства, в соответствии с разделами 183–194, статья 1334, части А, В, и разделом 327 военного Уголовного кодекса четвертая палата Императорского королевского окружного суда приговорила Швейка Йозефа, сапожника, проживающего ныне на Краловских Виноградах, к конфискации имущества».

Как угораздило попасть под эти параграфы тебя, рвавшегося служить государю императору «до последнего вздоха»?

### I

Бравый солдат Швейк страдал ревматизмом, а потому эту главу можно было бы смело назвать «Война и ревматизм». Разразившаяся война застала Швейка, известного своим доблестным прошлым, прямо в постели. В шкафу болтались старые парадные штаны и фуражка с начищенной бляхой «Für Jüdische Interesse»[144], которую сосед неизменно заимствовал у него на маскарады и прочие развлечения подобного рода.

Любой воочию мог убедиться, что brave солдат Швейк, не так давно снявший мундир, открыл маленькую сапожную мастерскую на Виноградах, где и жил в страхе божьем и где регулярно раз в год у него отекали ноги.

Первое, что бросалось в глаза приходившим в его лавку подбить башмаки, был аляповатый портрет Франца-Иосифа, красовавшийся напротив входа.

Глуповато улыбаясь всем без разбору клиентам Швейка, висел верховный главнокомандующий, тот, кому Швейк хотел служить до последнего вздоха, вследствие чего оказался перед медицинской комиссией: не могло начальство взять в толк, как можно быть в здравом уме и желать такого во имя государя императора?

В полковой канцелярии под номером 16112 сохранился протокол комиссии и медицинское заключение по делу brave солдата Швейка.

Его преданность государю императору была расценена как тяжкий психический недуг, который явно имел в виду штабной врач, велевший фельдфебелю, когда подошла очередь Швейка:

— Позвать сюда этого идиота!

Напрасно твердил brave солдат Швейк, что хочет служить дальше и никуда из армии не уйдет. С внутренней стороны черепной коробки у него был обнаружен странный нарост. Когда состоявший в комиссии майор произнес: «Идиот неслыханный! А в Генеральный штаб он не хочет?», Швейк, как всегда, добродушно ответил:

— Почему бы и нет, господин майор, может, я им там чем помогу!

За такие слова его на восемь суток упрятали в одиночку, где но забывчивости три дня не кормили, а когда срок истек, отвели в полковую канцелярию и выдали белый билет, в котором значилось, что он освобождается от военной службы по причине идиотизма. Затем два солдата сопроводили его наверх за вещами и, наконец, попытались вывести из казармы.

У самых ворот Швейк стукнул чемоданом оземь, воскликнув:

— Не уйду из армии! Хочу служить государю императору до последнего

вздоха!

В ответ на столь возвышенные слова он получил кулаком под дых, и провожатые с помощью слонявшихся без дела солдат его-таки вытолкали за ворота.

Швейк оказался на штатской мостовой. Неужели, неужели никогда больше не услышит он духовой оркестр на казарменном дворе, разучивающий «Gott erhalte...»[145]? Неужели никогда больше на плацу фельдфебель не ткнет его кулаком в живот и не гаркнет: «В глаза, в глаза мне, скотина, смотри с любовью и уваженьем, а то я из тебя паштет сделаю!»? Неужели никогда больше поручик Вагенкнехт не скажет ему: «Sie böhmischer Schweinshund, mit ihrer weissroten Meerschweinnase!»?[146] Неужели не вернутся эти незабвенные времена?

И бравый солдат Швейк решительно повернул обратно, все к тому же мрачному серому зданию казармы, построенной императором Иосифом II, который, презрев попытки драгунов Лихтенштейна спасти чешскую нацию обращением в католицизм, хотел с их же помощью осчастливить ее германизацией. На казарменном дворе чешских солдат гоняли сквозь строй, угощая шпицрутенами за то, что они упорно говорили по-чешски, а немецкие капралы не уставали награждать тупые чешские головы затрещинами, пытаясь вбить в них кое-какие прелести немецкого языка вроде «Exercierregl»'ов, «nieder, kehrt euch, Trottl»[147] и т. д.

Это зрелище как бы припечатывал огромный черно-желтый орел, простиравший над воротами свои крылья. Под его жестяным хвостом вили гнезда воробьи.

Время от времени в мир прорывались вести об издевательствах над новобранцами, доходя в виде жалоб в парламент. Однако все запросы депутатов терялись где-то в кабинетах военного министерства, а воробьи продолжали пачкать стену так, что впору было подозревать в этом черно-желтого австрийского орла.

Под сень его крыльев решительно возвращался бравый солдат Швейк.

В армии разговор короткий. Порядка ради спросили, что нужно в казармах ему, человеку штатскому да еще с белым билетом, на что Швейк ответил, что хочет служить государю императору до последнего вздоха, и был снова вытолкан на улицу.

У казарм часто околачиваются полицейские. Отчасти по обязанности, отчасти потому, что с казармой связано их прошлое. Именно здесь им втемяшили в голову понятие долга перед отечеством, научили говорить на ломаном немецком языке, и чем-то неуловимо-австрийским подернулось серое вещество их головного мозга, а потом проросло в него, вытеснив фосфор.

— Хочу служить государю императору! — кричал Швейк, пока полицейский за шиворот поднимал его с земли. — Хочу служить государю императору до последнего вздоха!

— Хватит орать, арестую! — пригрозил постовой.

— Хочу...

— Держите свои желания при себе... Да и вообще, что с вами цацкаться... Именем закона вы арестованы!

В полицейском участке бравый солдат Швейк разломал стул, а когда его сунули в изолятор — еще и нары, после чего потекла тихая, мирная жизнь в четырех голых стенах камеры окружного уголовного суда, куда он попал сразу

за несколько преступлений.

Прокурор силился превратить Швейка в политического преступника. Упор делался на то, что его выкрики по поводу всеобщей воинской повинности с упоминанием государя императора («Хочу служить государю императору до последнего вздоха!») вызвали скопление народа, а затем и вмешательство отряда полиции. Заявления, которым обвиняемый якобы пытался придать вполне серьезный смысл, спровоцировали всеобщий смех присутствовавших, таким образом, Швейк совершил преступление против общественного порядка и спокойствия. Прокурор счел его действия умышленными. «Оказав сопротивление полиции, — гласило далее обвинительное заключение, — он совершил акт публичного насилия, сломав мебель в изоляторе, причинил ущерб казенному имуществу...» Казна оценивала деревянные нары в 240 крон: за такую сумму камеру могла бы украсить кровать красного дерева.

Наконец слово было предоставлено врачам-экспертам, опиравшимся на заключение военной медицинской комиссии, освободившей Швейка от службы. Целых два часа шел спор о том, абсолютно ли невменяем Швейк, умственно неполноценен или совершенно здоров.

Доктор Славик стоял на том, что человек может внезапно превратиться в идиота и не отдавать себе отчета в своих поступках.

— Я знаю это по собственному опыту, — убеждал он, — на основании многолетней судебной практики.

В это время принесли завтрак от Брейшки, и врачи, поглощая отбивные, заключили, что Швейк являет собой тяжелый случай длительного психического расстройства.

Доктор Славик хотел было что-то добавить, но передумал, заказал еще стаканчик вина и подписал медицинское заключение.

Приведем лишь тот пункт этого документа, где упоминается государь император:

«Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что обвиняемый Швейк, демонстрируя посредством выкриков свою готовность служить государю императору до последнего вздоха, действовал так по слабоумию своему. Судебно-медицинская экспертиза считает, что люди нормальные, как правило, избегают военной службы. Любовь Швейка к государю императору — явление патологическое и есть прямое следствие его умственной отсталости».

Швейк был выпущен на свободу. С тех пор он частенько сиживал в маленьком кабачке напротив казармы, откуда его когда-то выдворили. Ночью запоздалым прохожим случалось видеть около казармы крадущуюся таинственную фигуру, которая вдруг с криком: «Хочу служить государю императору до последнего вздоха!» — кидалась бежать и исчезала в темноте улиц.

Это был не кто иной, как бравый солдат Швейк. Однажды зимним утром его нашли лежащим на тротуаре возле казармы. Рядом валялась пустая бутылка с этикеткой: «Императорский дьявольский ликер», а Швейк, развалившись на снегу, геройски пел. Издали эти звуки можно было принять за крики о помощи или за клич индейцев племени сиу.

*Закипел тут славный бой у Сольферино,  
кровь лилась потоком, как из бочки винной.  
Гоп, гоп, гоп!  
Кровь из бочки винной, а мяса — фургоны!*

*Нет, не зря носили ребята погоны.  
Гоп, гоп, гоп!  
Не робей, ребята! По пятам за вами  
едет целый воз, груженный деньгами.  
Гоп, гоп, гоп!  
Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.  
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?  
Гоп, гоп, гоп?![148] —*

орал Швейк, привольно раскинувшись на заснеженном тротуаре посреди спящих в утренней тишине домов.

С тех самых пор его и разбил ревматизм.

\* \* \*

Итак, война застала Швейка в постели после четырех лет штатской жизни. Все эти годы Австро-Венгрия, государство в политическом отношении небезынтересное и даже забавное, исподволь готовила собственную гибель, не желая ничего более, как стать лишней. Гонимая честолюбием, она оказалась в роли облезлой курицы, за которой кухарка с ножом гоняется по двору.

Австрия объявила войну, забыв, что всем штыки хороши, негоже лишь самим на них садиться.

Австрия объявила войну, а ее бравый солдат лежал, разбитый ревматизмом.

В тот момент, когда Прагу облетела весть о мобилизации, ученик Богуслав как раз натирал ему ноги ихтиоловой мазью. Стиснув зубы, Швейк ворчал:

— Ох уж эти сербы!..

Под вечер нагрязнул сосед Билек, мастер по изготовлению зонтов.

— Поди ж ты, и до меня добрались! — прокричал он еще с порога, размахивая какой-то бумагой. — Через двадцать четыре часа велено быть в полку, чтоб им неладно было!

И тут Билек, как и тысячи других призванных в эту минуту, высказал все, что он думает о государе императоре. Он назвал его старым негодяем, шельмой, на которого и патронов-то жалко, а Швейк чувствовал, как от этих воплей сводит ноги, дергает пальцы, и вздыхал:

— Господи боже! Да что ты такое говоришь, у меня аж ноги пуще прежнего скрутило! Да я по сорокаградусной жаре из Тренто в Валее ди Калоньо пятьдесят километров протопал на высоте двух с половиной тысяч метров! «Старый негодяй!» Он еще хоть куда, наш император! Господи, дергает-то как, ровно клещами раскаленными...

Но Билек продолжал излагать свои взгляды. Император — старый хрен Прохазка — подлец каких мало. Ну, прихлопнули в Сараеве наследника трона, так нечего было туда и соваться. А теперь вот его, Билека, от жены-детей отрывают и заставляют стрелять в сербов. Зачем ему стрелять-то, ради кого и ради чего? Сербы ему ничего не сделали. Сам-то он что — лучший друг и защитник болтуна Вильгельма? Да этот старый бандюга, чего доброго, в отца родного стрелять заставит!

Швейк не слушал соседа, потому что боль совсем доконала его. Ревматизм отодвинул на задний план образ государя императора и на какое-то мгновение затмил верноподданнические мысли.

А где-то далеко над Австрией нависло злое предвестие нового Градца

Кралове.

\* \* \*

На другой день, прежде чем доктор Грош, поджав хвост, успел лично заверить наместника в своей верности и преданности трону в связи с объявлением войны, бравый солдат Швейк демонстрировал свою лояльность на пражских улицах при большом стечении народа.

Сидя в коляске для паралитиков, взятой напрокат у Стоуны, в которой вез его по улицам королевского города ученик Богуслав, Швейк сжимал в каждой руке по костылю и выкрикивал, обращаясь к взбудораженным зрителям:

— На Белград, на Белград!

Люди смеялись и присоединялись к толпе. Первый удар — в районе Музея — достался еврею, крикнувшему: «Heil»[149]. На углу Краковской улицы толпа поколотила трех немецких денщиков и с песней «Нас не купишь — видел кукиш?» дошла до Водичковой, где бравый солдат Швейк, преодолевая боль, приподнялся на коляске и, взмахнув костылями, снова крикнул:

— А ну еще разок: на Белград, на Белград!

Тут налетела полиция — пешая и конная. В пять минут Швейк на коляске и его ученик оказались единственными штатскими в море полицейских мундиров.

Именно у коляски для паралитиков полицейский комиссар Клима столкнулся с начальником конных полицейских Клаусом.

— Улов неплох! — заметил Клима вместо приветствия.

— Неплох улов, — кивнул ему Клаус.

— Слезайте, — приказал Швейку усатый офицер.

— Не могу, ревматизм у меня, и вообще я...

— Попридержите язык, — перебил его комиссар Клима. — Вы что, дурачками нас считаете? А ну, тащи его с коляски!

Четверо полицейских кинулись на Швейка, в то время как шестеро конных и двенадцать пеших волокли по Водичковой ученика Богуслава, вопившего что есть мочи:

— Хозяин, хозяин, ведь эти господа меня уводят!

Четыре стража с достойным их мундира усердием пытались поставить ревматика на ноги. Швейк от боли стиснул зубы:

— Сил нет...

— Посадить симулянта обратно в коляску! — раздался новый приказ, исполненный молниеносно. Только пиджак у Швейка сзади лопнул, да подкладка жилета треснула, да воротник остался в руках у одного из усердствовавших.

Двое полицейских толкали перед собой коляску с ценной добычей, человек двадцать других вышагивали рядом, а по обе стороны, насупившись, ехали еще восемь конных «победителей».

Петушиные перья султанов развевались по ветру, кони ржали. Процессия направлялась к полицейскому управлению. И тут на губах бравого солдата Швейка появилась блаженная улыбка. Он чувствовал, что ноги словно освобождались от тяжести. Вот уже и пальцами в башмаках можно было пошевелить. Швейк стоял перед великой научной загадкой. Признаки ревматизма улетучивались по мере приближения шествия к полицейскому управлению. Лицом к лицу с полицейской системой ревматизм явно сдавал позиции, и, ко-

гда за бравым солдатом Швейком захлопнулись ворота полиции на Бартоломейской улице, он даже попытался спрыгнуть с коляски. Это сочли лишним доказательством симуляции.

— Оттащите его наверх, — приказал комиссар Клима, и через минуту Швейк оказался в следственном отделе государственной полиции города Праги.

Так закончилась его манифестация.

## II

Для государственной полиции война означала нечто способное внести известное оживление в работу полицейского управления. То и дело приводили новеньких и отправляли их в камеру. По двору, над которым высилась старинная башня с полицейским музеем, прогуливались арестанты. Не далее как вчера, в канун великих событий, они мирно засыпали в своей собственной постели после обсуждения в кругу семьи, что завтра будет на обед. Ночью за ними пришли, и меню мгновенно определилось само собой: бурда в немой жестяной миске со шкваркой, плавающей по мутной поверхности в отчаянном одиночестве. Их выгоняли на двор, со всех сторон окруженный зарешеченными окнами их новых жилищ, чтобы они нагуляли не только аппетит, но и желание раскаяться.

Репортеры пражских газет, направляясь в полицейское управление за сведениями о переломанных ногах, задавленных собаках и ограбленных чердаках, неизбежно проходили мимо окон, через которые можно было наблюдать, как группа арестантов с унылым видом прогуливается по двору.

Это была своеобразная ежедневная подготовка чешских журналистов к тому, что сулило им начало войны.

Позднее многие из них, вот так же уныло свесив голову, ходили по этому двору, считая шаги, или любовались на эту картину уже из окон камеры.

Швейк очутился на грязном тюфяке в компании на редкость пестрой. Старик трактирщик рассказывал, как после объявления войны к нему пришел посетитель, велел подать кружку пива да завести пианолу, играющую на мотив «Гей, славяне!». Заглянул полицейский и, немного послушав, удалился. Клиент ушел, а утром в трактир за хозяином нагрянули сыщики. Арестовали даже официантку; правда, накануне она была выходной, но это никого не волновало. Теперь трактирщик каждый день сталкивался с ней на прогулке в тот момент, когда на смену арестантам выводили представительниц противоположного пола. Она каждый раз кричала ему:

— Эй вы, старый кот! — и заказывала себе обеды из трактира за его счет.

Напротив него на тюфяке сидел долговязый юноша в черном галстуке с длинными волосами. Этот был убежденный оптимист. Он все толковал о свободе, и, слушая его, можно было поверить, что коридорный и впрямь вот-вот принесет ему сигареты «Спорт» на последнюю крону из кармана юноши.

В глубоком раздумье пребывал прилично одетый господин средних лет, который вчера случайно попал в толчею перед редакцией «Прагер тагеблатт» на Панской улице. Когда его, советника городского управления, схватил кто-то из полицейских, он от возмущения лишился чувств, и в полицейское управление его пришлось везти. В кармане у него обнаружили камни. Советника еще не допрашивали. Подозревают, что он хотел разбить витрину «Прагер тагеблатт» — это он-то, не читающий ничего, кроме служебного бюллетеня да «Пра-

гер Тагеблатт», женатый к тому же на немке...

Тут Швейк услышал ругань — какой-то щуплый арестант, вскочив на койку, прокричал в зарешеченное окно:

— Убийцы!

— И то правда, господа, — отозвался оборванец у двери. — Вот я, скажем, вор, ну взяли меня в квартире купца Горничка. Так ведь в одном кармане — деньги краденые, в другом отмычки, в квартире кавардак. Все по справедливости, господа, как ни крути. А вас, боже ты мой, вас-то за что?

Юноша в черном галстуке снова начал говорить о свободе, барабанить в дверь и вообще вести себя крайне легкомысленно. Его прошлое изобиловало событиями, в свое время он был замешан в антимилитаристском процессе, а позже напечатал в газете «Младе проуды» два фельетона, в которых осмелял австрийское правительство, беспощадное к любому проявлению чешского духа. Оба номера были запрещены цензурой.

Любовь к народу всегда была отягчающим обстоятельством и даже преступлением в глазах австрийских властей. С началом войны у Австрии наконец нашелся повод бросить за решетку всех оскорбленных и униженных. В том числе и юношу в черном галстуке.

Арестантов тут было как сельдей в бочке, и все-таки им удавалось держаться кучками. В центре одной из них вещал молодой внештатный преподаватель гимназии на Виноградах, арестованный вчера за то, что крикнул в кафе:

— Да здравствует Сербия!

О политике он не говорил здесь, за решеткой, это казалось ему унижительным. Он рассказывал какой-то анекдот, услышанный от гимназистов.

В первые минуты пребывания в камере Швейк не заметил у присутствовавших никаких следов раскаяния или угрызений совести из-за «преступлений», в которых обвиняла их полиция.

Громко смеялся молодой чиновник податного ведомства. Его и арестовали-то за то, что позавчера он смеялся перед немецким консульством на площади Гавличка. Но, если задуматься, не смешно ли, что немецкие студенты, приказчики-евреи да несколько экзальтированных дам из «Лерериненферайна»[150] устроили манифестацию на площади, носящей гордое имя Карела Гавличка? Поместить здесь немецкое консульство! Разве можно было нанести большее оскорбление памяти Гавличка! вспомнить хотя бы его:

*Эй вы, немцы-хамы, мы не шутим с вами:  
все, что вы наколбасили, слошайте-ка сами!*

Молодой чиновник был в хорошем расположении духа, видимо, радуясь, что его вырвали из болота канцелярского прозябания.

В соседних камерах пели. Это напоминало времена политического брожения, «Омладину». А на чрезвычайном заседании ратуши приматор Грош — величайший позор Праги за все триста лет ее страданий под игом Габсбургов — доказывал, что государь император — истинный друг поляков, забыв, что именно эти стены помнят страницы чешской истории, начисто опровергающие всю его болтовню.

В это время эшелоны уже везли резервистов на сербский фронт. Чехи ехали воевать против тех, о ком писали на вагонах: «Да здравствуют сербы!»

Двор полицейского управления так и гудел припевом: «Наподдай-ка старой

Австрии трухлявой!» За ворота каждую минуту выезжали полицейские фургоны с поэтичным названием «Зеленый Антон», увозя заключенных обоюга пола в военный суд на Градчанах.

Швейк закрыл лицо руками и, зарыдав, воскликнул подобно философу Шатриану:

— Я с ними по-хорошему, а они меня бьют, в лучших чувствах оскорбляют. Знал бы кто, мука-то какая! Не трогайте меня, дайте выплакаться. Ведь плачу, потому как добрый. Их тоже жалко — тех несчастных, которым я покою не даю!

— Очень мило с вашей стороны! — возмутился юноша в черном галстукe, — они нас лупцуют, а вы их еще и жалеете!

Тогда Швейк рассказал о себе, о доблестном армейском прошлом, о том, как хотел служить государю императору до последнего издыханья и как военные власти признали его идиотом.

Арестованный по ошибке советник городского управления заметил невзначай, что пророка Иеремию пилой пилили. Вскоре советника вызвали на допрос, и через полчаса полицейский передал Швейку коробку с сотней сигарет «Мемфис». На крышке было написано: «Auf freien Fuss gesetzt» — «Выпущен на свободу».

Сигареты подняли боевой дух Швейка. Он поделился ими с заключенными, и только юноша в черном галстукe к ним так и не притронулся.

— Он же предатель, — объяснил он свой отказ, — и потом, дождусь же я когда-нибудь «Спорт» за свои собственные деньги!

Вечером Швейка увели на допрос, хотя было уже совсем поздно. Это был случай чрезвычайной важности.

После его ухода все в камере сошлись на том, что ему несдобровать.

### III

Швейка привели на допрос непосредственно к полицейским комиссарам Климе и Славичку. Два этих достойных представителя государственной полиции с начала войны и до появления в кабинете Швейка расследовали уже сотни доносов, произвели массу домашних обысков, после которых, оторвав людей от горячего ужина, отправляли их прямо на Бартоломейскую. Ну, не странно ли, что департамент пражской государственной полиции располагался именно на улице, своим названием напоминавшей о событиях известной Варфоломеевской ночи?

Над столом комиссара Климь будто случайно висел портрет австрийского министра Фридриха Бойста, изрекшего в свое время: «Man muss die Tschechen an die Wand drücken», [151] и Хум, Клима и Славичек — этот гнусный триумвират над стобашенной Прагой, эти алчущие власти над Чехией немецкие крестоносцы, облаченные в австрийский мундир — руководствовались указаниями покойника-министра: припирали чехов к стенке намертво.

Австрийское правительство попросту выдало чешской полиции карт-бланш: делай, что хочешь, в лепешку расшибись, а чехов уничтожь!

Здесь эти ублюдки вели допросы, видели слезы женщин, чьих мужей гнали на бойню, и равнодушно выслушивали их жалобы; здесь они выясняли мнение простых людей и интеллигенции, которое сводилось к одному — неприятию чешским народом войны. Все это записывалось в бесконечные протоколы, которые складывались штабелями, а затем в огромных тюках отвозились

в военный суд на Градчаны.

Дух насилия витал в этом кабинете, слышавшем и оскорбления, и проклятья. При этом оба комиссара — Клима и Славичек — приветливо улыбались, иронизировали, потирая руки; по их бодрому виду было заметно, что страдания народа идут им впрок.

На видевших их впервые они производили впечатление безобидных бюргеров из какой-нибудь комедии, предпочитающих роль стороннего наблюдателя.

Во время домашних обысков, пока комиссар Клима занимался мужем, комиссар Славичек беседовал с супругой арестованного об искусстве, заглядывая под висевшие на стенах картины, перебирая лежащие на пианино ноты; с милой непринужденностью давнего друга семьи откидывала на супружеских постелях, с улыбкой шарил в туалетном столике, сопровождая все это разными шуточками.

Деланную обходительность как рукой снимало, стоило им оказаться в родных стенах на Бартоломейской. В их кабинетах вспоминались венецианские застенки с налетом инквизиции старой Севильи. Никаких бесед в белых перчатках, самым нежным словом здесь было: «Молчать!» Очевидно, решено было повторить каждому чеху в отдельности то, что целых триста лет Вена пыталась привить всей нации.

Естественно, любой попавший сюда хотел высказаться. Было такое намерение и у Швейка, оказавшегося меж двух полицейских, лицом к лицу с великими инквизиторами Климой и Славичком.

— Молчать! — тут же рявкнул комиссар Клима, и откуда-то из угла эхом донеслось: «Молчать!»

— Молчать! — тихо повторили оба полицейских.

Простодушные голубые глаза Швейка до того невинно уставились на комиссара Климу, что он начал яростно копать в кипе бумаг на столе.

— Вы — Йозеф Швейк, сапожник с Краловских Виноград?

К этому моменту заоблачное спокойствие разлилось по лицу Швейка. Хорошо знакомое со времен службы «Молчать!» перенесло его в далекое прошлое. Он поднес руку к голове, словно отдавая честь, а его невинные голубые глаза...

— Нет, вы не идиот, — через минуту снова начал комиссар Клима, размахивая какой-то бумажкой, — вы отъявленный негодяй, прохвост, мошенник! Расстрелять вас мало, подлый предатель! Ну, где ваш ревматизм? Вы собрали толпу, вы прямо и косвенно подстрекали ее против военных действий! Вы разъезжали по улицам на коляске и кричали: «На Белград, на Белград!» Вы строили из себя калеку, давая толпе понять, что олицетворяете в таком виде Австрию! Только послушайте свидетельские показания, — продолжал он, — вот, например, начальник конных полицейских Клаус видит в вашей выходке оскорбительный намек на австрийскую монархию. Молчать! Мы понимаем, на что вы рассчитывали!

Голубые глаза Швейка все так же простодушно глядели прямо в лицо комиссару Климе.

— Осмелюсь доложить, — сказал старый служака, — я рассчитывал...

— Чего уж там, — перебил его комиссар Славичек, — и не смотрите на нас так тупо, лучше скажите прямо: я рассчитывал, что мне все сойдет с рук. Но вы жестоко ошиблись: на таких, как вы, есть военный суд. Ишь, бунтовать

вздумал! Только войны и дожидался!

— Осмелюсь доложить, — вставил Швейк, — не дожидался я никакой войны, ревматизмом вот мучаюсь. А государю императору — и верно — хочу служить до последнего вздоха.

Подобные громкие слова в военной неразберихе — вещь коварная, ибо в эту пору у полиции столько работы, что в спешке она может легко ошибиться, переставив в протоколе слова местами. Так оно и случилось.

Ошибка была простой и легко объяснимой. В чиновничьих головах так и вертелись подобные мысли, поэтому в документах, сопровождавших Швейка на военный суд в Градчаны, было сказано: «На допросе Швейк, в частности, заявил, что лучше до последнего вздоха мучиться ревматизмом, чем служить государю императору».

Повторяю, это всего лишь ошибка по вине заработавшихся чиновников, ревностно исполнявших свой долг перед государством и старавшихся поточнее передать образ мыслей чешского народа.

(Если кому интересно, сообщаю, что Клима и Славичек живут напротив Ригеровых садов с видом на два ясеня в парке. Это крепкие деревья с надежными ветвями. У комиссара Климы объем шеи сорок, у комиссара Славичка — сорок два сантиметра.)

#### IV

Вероятно, многие помнят, что Гавличек начал характеристику военных судов словами: «Суд военный — с ним не шутят». С начала войны тысяч двадцать его жертв в чешских землях могли бы подписаться под строкой Гавличка. Если прикинуть в среднем по пять лет на осужденного, получалась кругленькая цифра: сто тысяч лет тюрьмы чешскому народу. Такого у нас еще не бывало. Если тебя прямо из семейного гнезда не гнали на штыки или под дождь гранат, то уж в кутузку сажали непременно. Австрийские военные суды все списывали на чрезвычайные обстоятельства, со всех сторон, словно сетью мин, обложив чешского гражданина военными статьями (Kriegsartikel).

Уморительные были четырнадцатая и пятнадцатая — о государственной измене и оскорблении его величества.

Помню, угодил под них глухонемой садовник из малостранского приюта для убогих. Его обвинили в том, что в костеле святого Томаша он демонстративно отказался петь императорский гимн, делая при этом всяческие знаки.

Да и остальные девятнадцать статей днем и ночью дамокловым мечом висели над бедными чехами. Приезжает в Прагу провинциал, снимает в гостинице номер и трясется из-за своей привычки разговаривать во сне — а не нарушит ли он общественный порядок и спокойствие?

А то идешь покупать газеты, останавливаешься у редакции перед телеграфными новостями императорского королевского агентства, тут откуда ни возьмись вышныривает неприметный человечек: «Та-ак, не сладко Австрии, как по-вашему?» Стоит поддакнуть — и ведут тебя по проспекту Фердинанда прямо в полицейское управление, а оттуда — на Градчаны. Не дай бог, зеваки соберутся — считай, попал под статью о подстрекательстве к бунту.

Никто не был уверен, что его обойдет своим вниманием сие рачительное учреждение. В кафе и табачных лавках, в ресторанах и магазинах, везде и всегда находился какой-нибудь немецкий еврей или еврейка, готовые донести в доказательство своей верности трону.

Случалось, посылали в лавку служанку. Глядь — а ее и след простыл: бедняжка Мари уже в военном суде!

Разбирательство протекало так: обвиняемого или обвиняемую под штыками доставляли на допрос к аудитору. Приглашали свидетелей. Если показания были в пользу обвиняемого, свидетеля тоже сажали. Если все свидетели оказывались в тюрьме, предварительное следствие заканчивалось, и приказом начальника созывался суд: один аудитор, один рядовой, один ефрейтор, один капрал, один фельдфебель, один поручик, один ротмистр, один штаб-офицер.

Самую печальную роль на таком суде всегда играл простой солдат. Он знал, что обязан голосовать против обвиняемого. Служба есть служба, и, когда он вместе с остальными повторял присягу, клянясь судить по совести и справедливости, он видел перед собой только кандалы.

Ефрейтор — самый несчастный чин в армии. Он и собой-то не свободен был распоряжаться, несмотря на название, куда уж там голосовать по совести.

Капралы во всем подражают фельдфебелям, а те в каждом штатском видят негодяя. Поручики, называвшие чехов «diese verfluchte tschechische Bande» [152], просто не отваживались произносить после этого: «Нет, не виновен!» Что же говорить о ротмистре и штаб-офицере — все они наконец-то дождались часа, когда чехов можно было тихо-мирно отправлять в тюрьму и на виселицу.

Каждый судья имеет право задавать вопросы; но здесь обвиняемого ни о чем не спрашивали. С вопросами обращались лишь к аудитору, который доходчиво объяснял, что подсудимый — бандит отъявленный, что он состоял в «Соколе», читал «Самостатност» и т. д. Аудитор выносил на суд свое суждение (*volens informativum*), в котором давалась яркая, сжатая оценка проступков с перечислением всех отягчающих обстоятельств, скажем, обвиняемый когда-то защищал интересы чешского меньшинства. В заключение аудитор предлагал меру наказания. Вопрос о виновности ставился на голосование. Голоса собирали, начиная с низших чинов и кончая председателем, который обладал двумя. Один голос принадлежал аудитору.

Таким образом, всегда получалось, что обвиняемый признавался таковым всеми девятью голосами: каждый из судей на вопрос, виновен ли подсудимый, отвечал на своем месте «Ja» [153]. Таково было первейшее правило военных судов. Такова была настоящая военная дисциплина.

Во избежание ее случайного нарушения суд, перед которым представал чех, состоял обычно из одних немцев — от простого солдата до штаб-офицера.

Все было определено заранее. С таким же успехом свора собак могла бы решать судьбу затравленного петуха.

Военное судопроизводство в Австрии было по возможности быстрым и четким. Тем не менее в приговоре раз сто повторялось, что на казнь осужденных будут сопровождать две роты солдат.

Полная невинность служила всего лишь смягчающим обстоятельством. Уже сама принадлежность к чешской нации предопределяла вину, поэтому в лучшем случае чехи получали полтора года, как, например, многие чешские матери, чьих сыновей Австрия посылала на гибель. В невинном эгоизме старушечьих жалоб власти усматривали нарушение грозных параграфов, а господа аудиторы лишь усмехались им в лицо.

Согбенные чуть не до земли бременем житейских забот, женщины стано-

вились жертвами австрийской политики истребления чехов в той же степени, что и молодежь, охваченная чувством протеста против жизни, пропитанной слезами.

Разбирательство в военном суде — вот где была комедия!

Переплетчику из Смихова, представшему перед судом за то, что в ресторане «У ангела» он вывесил плакат «Учите русский язык!», аудитор объявил:

— Вы приговорены к десяти годам тюрьмы со строгой изоляцией для изучения русского языка в полной тишине.

Весельчак аудитор, душа общества, забавлял публику в немецком казино рассказом о том, как вкатили нынче пять лет очередной чешской ведьме.

Именно к этому весельчаку попал на допрос Швейк. Он стоял перед ним между двумя штыками конвойных, доверчиво оглядывая кабинет, и его незлобивые глаза служили живым упреком аудитору, обвинительному акту, шкафам в углу, конвойным.

Швейк впал в экзальтированное состояние святого мученика — спокойно, умиротворенного. Мысли его блуждали где-то далеко, в неведомых потусторонних мирах.

Заоблачное спокойствие разлилось по его лицу, а на душе было хорошо, как когда-то в армии, после слов капитана Кабра (царство ему небесное!): «Ну, реветь-то мне да богохульствовать. При чем здесь вечная справедливость? Это мы еще увидим — виноват или нет. А пока — пять вам дней карцера, чтоб знали, Швейк, что я к вам с пониманием, что я не людоед какой-нибудь».

Аудитор, оглядывая Швейка, улыбался и свертывал сигарету. Швейк испытывал почти блаженство. Ему казалось, страдания его вот-вот кончатся, поведение его признают безукоризненным, а манифестацию — примером, достойным подражания.

— Так вы и есть тот самый ревматик? — спросил аудитор, все так же улыбаясь.

— С вашего позволения, — ответил Швейк. — Я и есть тот самый ревматик. — И тоже улыбнулся в ответ.

— Так, так, — продолжал веселый аудитор. — Значит, это вы дурака валяли на Вацлавской площади. Смеху-то было, а, верно я говорю, Швейк? — И он снова так мило улыбнулся, что Швейк буквально расцвел. Вспомнив, как его везли на коляске и чем это кончилось, он окончательно обрел душевное спокойствие и уверенно ответил:

— Так точно, смеху было, с вашего позволения.

Аудитор принялся за писанину и, временами поднимая на Швейка улыбающееся лицо, спрашивал:

— Валяли, значит, дурака?

— Валял, осмелюсь доложить, дурака.

— Подпишите.

Швейк взял перо и, старательно выводя каждую букровку, подписался: «Йозеф Швейк».

— Можете идти.

В дверях Швейк обернулся. Веселый аудитор сворачивал новую сигаретку. Швейк решил:

— Господин лейтенант. У меня просьба... Нельзя ли дело мое побыстрее повернуть...

На сердце у него полегчало, и, когда соседи по камере стали расспрашивать, что и как, он ответил:

— Как-как? Все в полном порядке. Господин лейтенант — удивительно отзывчивый человек.

— Отзывчивый? — усмехнувшись, повторил один из арестантов.

Швейк добродушно повторил:

— Хороший, очень хороший человек.

Кто-то из заключенных стоял у окна и осколком стекла царапал на грязной штукатурке виселицу, а под ней свои инициалы: «М. З.».

Швейк и этому улыбнулся: настроение у него было хорошее, все кругом виделось спокойным и беззаботным, если бы только не бесконечные тяжелые шаги по коридору да не короткая команда при смене караула. Швейк уснул мирным сном.

Утром его разбудил громкий шум из всех окон, выходящих во двор. Песнями и гиканьем заключенные приветствовали новый день страданий. Из окна третьего этажа Швейк услышал голос ученика Богуслава, кричавшего ему:

— Хозяин, хозяин! Я тоже здесь, меня свидетелем взяли.

— Доброе утро, Богуслав! — крикнул ему снизу Швейк.

Так прошла целая неделя.

Швейк, уже привычно сидя на нарах, с явным аппетитом хлебал из котелка мучную похлебку, заедая странноватым хлебом. Если раньше он еще мог сомневаться в своей правоте, то, вспоминая разговор с аудитором и его улыбку, не только ясно сознавал полное отсутствие за собой вины, но и предвкушал благополучный конец.

В мечтах он уже покидал градчанский военный суд. Мысль Швейка летела на Винограды, в его лавчонку, где, скользнув по портрету Франца-Иосифа, стекала под старую кровать, прямо к двум морским свинкам. Швейк страсть как любил морских свинок. Если что-то и омрачало его безоблачное настроение здесь, в тюрьме, то только их судьба.

Он видел их, белых, черных, рыжих, тянущих маленькие носики вверх, к соломенному тюфяку... Мысль Швейка вообще могло расшевелить лишь сознание невиновности, удачный исход дела да голодная смерть морских свинок.

Был в камере один вдовец. Он рассказывал, как однажды по дороге на работу встретил грузовики, увозившие на фронт резервистов. Женщины плакали, навек расставаясь с мужьями. Вспомнив, что и у него была когда-то любящая жена, он вдруг проникся к ним такой жалостью, что крикнул: «Бросай оружие!» В тот момент ему казалось, что все очень просто. Солдаты кинут ружья и штыки, и война кончится. Женщины перестанут плакать... Дома у вдовца остались две девочки.

Они со Швейком любили посидеть рядом, поболтать: Швейк о морских свинках, вдовец о своих дочках. Кто их теперь накормит?

Таких человеческих морских свинок в Чехии были тысячи, и железный кулак безжалостно мозжил им головы.

## V

Пока Швейк сидел в тюрьме, русские войска взяли Львов, осадили Перемышль. Австрийской армии туго приходилось в Сербии, посему Прага веселилась, а Моравия готовилась печь пироги казакам.

Военный суд едва поспевал приговаривать сотни и сотни граждан. Дело Швейка медленно, но все-таки продвигалось вперед.

Швейк сохранял полное спокойствие. Проснувшись, он первым делом подходил к окошечку и спрашивал часового, когда его выпустят. В ответ обычно раздавалось:

— Halten sie kusch![154]

Эта утренняя процедура превратилась для него в насущную потребность, и каждый раз, отходя от двери с прояснившимся лицом, он еще раз подчеркивал:

— Я совершенно не виновен.

Швейк произносил это вдохновенно, даже патетично, смакуя слово «не виновен».

Наконец пришел его день. Швейка отвели вниз, туда, где его ждали восемь членов военного суда: аудитор и все чины, кончая штаб-офицером. Когда его ввели в зал, ничто не предвещало грозы. Чуть не с благодарностью смотрел он на судей; особенно благоприятное впечатление произвел на него вопрос аудитора, не возражает ли он против состава суда.

На Швейка нахлынуло что-то вроде нежности, и он растроганно ответил:

— Господь с вами, никак нет, разве можно!

В протокол занесли, что он не возражает, и аудитор приказал вывести его в коридор.

Из зала суда до Швейка доносился мелодичный голос аудитора, но Швейк не прислушивался и не пытался понять, о чем речь. Он глядел на волю сквозь решетку окна, выходявшего на старую градчанскую улочку, где текла обычная жизнь. Мимо сновали хозяйки и служанки с покупками, какой-то мальчишка пронзительно высвистывал:

*Как-то раз в Вршовице шел я на гулянье...*

Аудитор все говорил, излагая свои соображения. Его «votum informativum» мало отличалось от того, что бесчисленное количество раз слышали стены судебного зала. Он доказывал, что бунтарский дух давно не давал покоя Швейку, рассказывал, как уже в самом начале войны Швейк пытался наглядно изобразить военные действия Австрии с помощью инвалидной коляски. Он перечислил столько параграфов, что солдат, капрал и ефрейтор затряслись от ужаса. В заключение он предложил меру наказания и просил приступить к голосованию.

Приговор был произнесен и подписан. Ввели подсудимого Швейка. Все отдали честь, офицеры обнажили шашки.

Было торжественно, как на военном параде. Швейк невинно оглядел военных судей и доверчиво улыбнулся. Аудитор читал. Приговор начинался звучным именем его величества. Далее фразы перемежались бесконечным «Швейк ist schuldig, dass er...»[155], в конце прозвучала цифра «восемь». Восемь лет!

Швейк не понимал, что происходит. Не веря своим ушам, он переспросил:

— Так что, домой идти? Я могу идти домой?

— Конечно, можете, — закуривая, ответил весельчак аудитор, — через восемь лет.

— Я не виновен! — выкрикнул Швейк.

— Можете обжаловать приговор в течение месяца. Или вы согласны?

У Швейка в глазах зарябило от мундиров. Голос аудитора больше не казался ему веселым. Он звучал строго, отрывисто.

— Так согласны вы или нет? — рявкнул аудитор, и Швейк вспомнил, как однажды стоял часовым у арсенала и инспекция обвинила его в том, что он курит на складе. Он и вправду собирал по складу окурки и, когда она нагрянула, сжимал находку в правой руке. Майор, определив ему «dreissig verschörft» [156], вот так же рявкнул, не допуская возражений: «Вы довольны?» Швейк ответил тогда: «Осмелюсь доложить, доволен».

— Согласны? — переспросил аудитор, и Швейк, всем существом своим впитавший армейскую дисциплину, козырнул:

— Melde gehorsam[157], я согласен.

Вернувшись в камеру, он бросился на нары с рыданиями:

— Я не виновен, не винови-и-ин!

Свет для него клином сошелся на этих словах. Последнее «...и-и-ин!» он тянул сколько сил хватало, точно елей себе на душу лил. «Не винови-и-ин!..» — повторило на дворе эхо и, оттолкнувшись от стены, полетело в бесконечность.

Через день вместе с другими арестантами Швейка отправили в военную тюрьму Талергоф-Целлинга в Штирии.

В Вене произошло маленькое недоразумение. Так как в Бенешове вагон прицепили к эшелону, везущему солдат на сербский фронт, немецкие дамочки стали по ошибке кидать цветы арестантам, пронзительно пища:

— Nieder mit den Serben![158]

Очутившись у приоткрытой двери вагона, Швейк крикнул в ликующую толпу:

— Я не винови-и-ин!

## VI

В военной тюрьме Талергоф-Целлинга сидели в основном штатские. Во время войны, тихо помирая где-нибудь за решеткой, они имели большое преимущество перед солдатами, которых обычно расстреливают по приговору полевого суда прямо на месте.

Талергоф-Целлинг в истории старой Австрии навек снискал себе печальную известность подобно застенкам Поцци — в истории Венеции.

Здесь, в Талергоф-Целлинге, всегда находились немцы, плевавшие в лицо галицийских русинов или сербов из Бачки, Боснии и Герцеговины, партиями прибывавших для интернирования в военную тюрьму, хотя всякий, кто сохранил остатки совести, краснел, глядя на колонны измученных, оплеванных женщин и детей, обвиняемых правительством в желании уничтожить Австрию.

Солнце светило здесь так ярко, кругом были горы, зелень, чарующая красота — живописный, благодатный край! Самое место для какого-нибудь санатория.

Однако в этой глубокой горной долине располагалось совсем другое «лечебное заведение». Долгие ряды зарешеченных окон, под окнами стена, за стеной — ограда из колючей проволоки. Здесь лечили мечтателей, требовавших справедливости от старой, никчемной развалины, называвшейся Австрией. Сыпной и брюшной тиф, прогорклый кукурузный хлеб, немного подсоленной

бурды с двумя фасолинами — таковы здесь были лечебные средства.

Из всех интернированных национальностей специальный отсек был отведен чехам, над которыми восторжествовала австрийская сабля. Над входом в приемную канцелярию тюрьмы свирепо распростирал крылья огромный австрийский орел, словно желая прикрыть своей тенью всех им же поверженных и раздавленных.

Казалось, у здешних заключенных не оставалось надежды. Но где-то далеко-далеко, к северу от Вены, все ярче разгорались искры, тлевшие под пеплом долгих столетий и не угашенные до конца потоком параграфов.

Первые язычки пламени уже лизали австрийскую корону. Австрия еще даже не предполагала, что червоточина подкосит государственные устои под самый корень. Чех всегда знал свое место в борьбе за свободу. Высоко поднятое непокорное знамя, крепко сжатое в его руках, огненной, звонкой строкой войдет в великую песню веков. Об этом шептали узникам леса альпийских склонов за тюремными окнами Талергоф-Целлинга.

У приемной канцелярии я видел надпись, нацарапанную кем-то из заключенных на стене в коридоре: «Испугались мы вас!»

Один арестант заколол какого-то генерала, самодовольно осматривавшего тюрьму, вогнав ему в живот остро отточенную ложку — к чему она здесь, где почти не давали есть! При этом он сказал:

— Разве наша жизнь чего-нибудь стоит? Хоть врагу отомстить, пока не сдохли...

Газеты об этом случае не писали, ибо заточенная ложка в животе австрийского генерала занозой торчала бы в массе лояльных сообщений императорского королевского информационного агентства, затопивших редакции.

За Швейком уже закрепили номер, выделили ему арестантскую одежду и грязный тюфяк в одной из камер, а он все еще не мог опамятоваться. Ему было совершенно не ясно, как можно было так вляпаться. Он ходил по камере среди заключенных, свесив голову, и без конца бормотал:

— Я же не идиот, я же все отлично помню.

Швейк впал в глубокую меланхолию. Ни до чего ему теперь не было дела. Дни уныло тянулись среди голых стен бесконечной, безнадежной вереницей.

Правда, раза два он заводил разговор с одним старичком откуда-то из-под Градца Кралове, осужденным на четыре года за то, что однажды при описи урожая принес клоч сена и бросил его под ноги комиссару со словами:

— Прихватите, чтоб государю императору было что покушать!

Старичок живо интересовался судьбой товарищей по несчастью, уже наизусть зная, кто, как и за что сюда попал, и всячески утешал их. Сколько еще сидеть? Годик-два — и придут русские. Он с жаром описывал эту сцену. За такими разговорами в камере так и витал дух мести: до чего ж здорово будет, когда мучители окажутся за решеткой на месте заключенных!

А Швейк все шептал, сидя на тюфяке:

— Подумать только, я же совершенно не виновен, я же все отлично помню.

Как-то ночью после одного из таких разговоров Швейку приснилось, будто явился к нему сам государь император. Приходит и говорит: «Побрей меня, Швейк, а то я с этими бакенбардами похож на орангутана из шенбруннского зверинца». Швейк трясется весь, пот его прошибает, а государь император достает из кармана бритву, мыло и подает их Швейку, и тот принимается за им-

ператорские щеки. Намыливает, благоговейно берет бритву и трясущимися руками бреет государя. Двери отворяются — входит аудитор из градчанского суда. Швейк в испуге, бритва съезжает куда-то не туда, государь император сердится: «Aber Svejck, Himmel Herrgott, was machen Sie?»[159] А горе-брадобрей уже держит в руках отрезанный нос государя...

От ужаса Швейк во сне громко вскрикивает, просыпается, разбудив всех остальных, и на вопрос, чего ему ночами не спится, жутким голосом отвечает:

— Я отрезал нос государю императору...

С той поры стал его величество Швейку не только что ночью, но и днем мерещиться.

Черты его лица проступали на облупившейся штукатурке, а однажды, когда Швейк вылавливал из похлебки вторую фасолину, ему почудилось, будто формой смахивает она на голову его величества.

Иногда он даже разговаривал с призраком:

— Ваша милость, государь император, не виновен я, помню ведь, что не виновен.

Случилось, фасолина, которую он долго разглядывал, упала на пол, и Швейк, заглянув под стол, жалобно обратился к ней:

— Ваша милость, государь император, не извольте гневаться!

Все заметили, что со Швейком происходит что-то не то. А тут еще управляющий пришел камеры осматривать, выстроились перед ним заключенные, а Швейк вдруг вышел из шеренги, взял под козырек и сказал, странно выпучив глаза: «Melde gehorsam, Herr Hauptmann[160], хочу служить государю императору до последнего вздоха!»

Управляющий попросил повторить и удалился. А через полчаса за Швейком явились два санитары, притащив носилки с пристяжными ремнями. За ними вошел молодой военный врач. Подтолкнув вперед санитары, он на всякий случай велел накинуть на Швейка смирительную рубашку. Швейка понесли вниз, через тюремный двор в больницу. Из рта у него шла пена, сквозь которую пробивался рык, отдававшийся по всем углам двора:

— Храни нам, боже, государя...

На другой день Швейка повезли в Вену для обследования в психиатрической клинике.

## VII

Процент психических расстройств на любой войне неизменно высок. Их источник — сами ужасы войны, страх человеческий перед смертью, житейские заботы лишенной кормильца семьи и целый ряд других причин, порожденных кровавым ремеслом.

В Австрии с началом войны психические заболевания распространились невероятно, ибо здравомыслящим не дано было понять, почему они должны жертвовать своей жизнью во имя империи. Требовался пристальный взгляд в историю, в лица чешских солдат в казарме и на поле боя, чтобы осознать: зло коренилось в проклятой связи чешских земель с австро-венгерской монархией. Поди разберись — и впрямь свихнуться недолго.

Швейк попал в девятое отделение. Там уже было несколько так называемых симулянтов. Один из них, старый резервист, подозревался в том, что изображал из себя сумасшедшего с целью избежать фронта. Взрывной волной его закинуло на крышу избы. Теперь он только и делал, что пытался подпрыг-

нуть повыше. Целый день он скакал что было сил и каждый раз с проклятьями падал на пол.

Другого «симулянта» при взрыве снаряда засыпало в погребке, где он провел четыре дня. Этот без усталости елозил по полу, изображая, что закапывается в землю.

Третий молодой человек в военной форме разгуливал по коридору с песней «Wacht am Rhein»[161], временами сбиваясь на крики: «Ра-та-та-та-бум-бум!»

Стоило повнимательней прислушаться к тому, что кричали пациенты, приглядеться к ним, невольно напрашивался вывод: а ведь и вся Австрия — один большой сумасшедший дом.

В углу коридора сидел капрал, громко настаивавший на том, что он — эрцгерцог Фридрих и через месяц займет Москву. Капрала-то в сумасшедший дом отправили, а ведь сам Фридрих, помнится, именно это и обещал, однако никакого наказания не понес, разве что слегка осрамился.

Император Карл, будучи еще эрцгерцогом, на одном из приемов и вовсе ляпнул, что сроднит Россию с землей. Карл I в раннем детстве страдал водянкой головного мозга и немало времени провел в водолечебнице доктора Гутгенбеля на Абенберге под Интерлакеном в Швейцарии.

А взять Вильгельма? Любому крохе известно, что император страдает слабоумием. Однако в придворных кругах его болтовня и планы считаются гениальными.

Покойный император Франц-Иосиф I объявил войну по причине психического расстройства. При вскрытии у этого вздорного старикашки было обнаружено усыхание мозга (*atrophia cerebri senilis*) — врожденный кретинизм, потомственное заболевание Габсбургов.

Напасть распространялась сверху вниз по всей иерархической лестнице. Австрийские министры, нет чтобы сидеть в какой-нибудь знаменитой психиатричке вроде Кlostеробербаха в Нассау, вершили судьбы империи; генералы, по которым плакали успокоительные души в Антдорфе, разрабатывали военные планы и утешали друг друга тем, что проигрыш одной из сторон — неизбежное правило войны.

Жизнь Австрии, все ее начинания являли собой клиническую картину идиотизма (*apocia*), которую довершал вахмистр в какой-нибудь из чешских областей, все с той же идиотской усмешкой наблюдавший, как толпа обезумевших немцев громит чешскую школу, поджигая ни в чем не повинные оконные рамы и распевая при этом во всю глотку «Es braust ein Ruf»[162].

Перечисление случаев явного безумия в Австрии и его причин составило бы увесистый том. Мы не ставим перед собой такой цели. Пусть каждый сам сделает вывод, мы же ограничимся лишь фактами. А вернемся домой — введем новую систему лечения. Начнем сверху, с бывших окружных начальников. Пропишем всем этим «друзьям чешского народа» лекарство, предложенное в свое время доктором Томайером: «*Corylus avelaka*», проще говоря, палки. Так выколотишь пыль из их сюртуков, что каждому эрцгерцогиншке впору будет открывать торговлю кровяной колбасой.

В венской клинике для душевнобольных применялась система доктора Бернардина. Она заключалась в том, что пациентам предоставлялись идеальные условия для восстановления душевного равновесия.

Практически это выглядело так: их раздевали донага и кидали в холодную

одиночку с обитыми ватой стенами, чтобы пациенты, обретая покой, случайно не разбили себе голову. Одиночка была совершенно пуста. Для вящего успокоения в течение сорока восьми часов им не давали ни есть, ни пить. Через двое суток извлекали, бросали в ванну с ледяной водой и массировали позвоночник, потом совали под горячий душ. Если даже после этого они проявляли беспокойство, их снова запирали в ватную одиночку.

На Швейка успокоительная процедура подействовала благотворно. Когда после горячего душа его еще на двое суток закрыли в изоляторе, на него нашел именно тот душевный покой, который рождает решение подчиниться начальству. Еще один горячий душ — и Швейк полностью осознал, что поступают с ним по заслугам, что все так и должно быть, и, вылезая из ванны, робко заметил:

— Я что? Я ничего... Понятное дело, война!

Его накормили подгоревшей капустой и старой мерзлой картошкой. Теперь он был абсолютно спокоен.

На другой день психика Швейка была тщательно обследована по методу все того же доктора Бернардина. Молодой старательный ассистент в форме военного врача (и сумасшедшие дома в это время находились под контролем военных) задавал вопросы по системе, от которой, заметим, свихнулся сам доктор Бернардин. По ответам определялась степень умственной неполноценности.

— Считаете ли вы, что родились?

— Как прикажете, — отвечал Швейк. — Я понимаю, война есть война. — Вообще-то этим он хотел сказать: «Если вам угодно, чтобы я не родился, я готов в этом признаться».

— Помните ли вы своих родителей? Отец у вас был?

Швейк посмотрел на него с подозрением:

— Если вы ничего не имеете против. Сами понимаете, война...

— Есть ли у вас сестры, братья?

— Нет, — ответил Швейк, — но если надо...

Подробно записывая ответы, ассистент продолжал:

— Можете ли вы объяснить, почему солнце восходит и заходит?

Швейк даже вздрогнул:

— Я, с вашего позволения, в этом не виноват.

— Ладно. Вы что-нибудь слышали об Америке?

Швейк стоял в мучительном раздумье. Уж не новую ли статью ему пришили? И он уверенно ответил:

— Никак нет, ничего не слышал.

— Знаете ли вы, как зовут президента негритянской республики на острове Сан-Доминго?

Швейк оторопел. Вдруг в голове вихрем пронеслись рассказы арестантов в пражском полицейском управлении, в следственном отделении градчанского военного суда, в тюрьме Талергоф-Целлинга. «Ну нет, — подумал он, — меня голыми руками не возьмешь!» — и искренне, с чувством сказал:

— Осмелюсь доложить, единственным законным правителем признаю всемилоштивейшего государя императора Франца-Иосифа I. Dreimal hoch[163], осмелюсь доложить.

Швейка вывели в коридор. Там он порывался рассказать другим пациен-

там, как его обследовали. Никто не слушал, каждый занимался своим делом.

Любитель пения по-прежнему перемежал «Wacht an Rhein» с «Pa-ta-ta-ta-бум-бум!»; упорно скакал мнимый симулянт-резервист; третий псих, окапываясь у двери, кричал санитару:

— Ausharren![164]

Только вечером, уже лежа на тюфяке, Швейк смог обнародовать свой образ мыслей. Встав на койке, он выкрикнул:

— Единственным законным правителем признаю всемилостивейшего государя императора Франца-Иосифа I! Dreimal hoch!

Не прошло недели, как его перевезли в другую лечебницу, в Галле. Ту самую, где сидели Франц Рыпачек, член венского магистрата от шестого района. Ночной дозор обнаружил его у императорского дворца совершенно голым, в потеках масляной краски: после падения Белграда переполненный энтузиазмом Франц Рыпачек, расписав себя в черный и желтый цвета государственно-го флага, отправился приветствовать императора от имени шестого района.

## VIII

Большая эпоха — большие волнения.

Вышеназванную болезнь, поразившую официальную Австрию, можно было сравнить разве что с движением флагеллантов или массовым психозом эпохи крестовых походов.

Мы видели, как из Австрии на войну тянулись колонны едва окончивших школу подростков, напоминая средневековые крестовые походы детей, призванных завоевать Иерусалим. Теперь детей посылали против «землячков».

В сумасшедшем доме в Галле существовали (правда, неофициально) особые отделения для немцев из альпийских областей и немцев из областей чешских.

Может, и вам доводилось видеть патриотическую манифестацию австрийских немцев. Входя в раж, они ревели до хрипоты, даже движения их становились ненормально-судорожными. Толпа, подпрыгивая, горланила: «Heil dir im Siegeskranz»[165]. А при криках: «Nieder mit den Russen!»[166] экзальтация достигала высшего накала, глаза вылезали из орбит. Это был разгул безумия, по истине массовый психоз, питавший грустные заведения для умалишенных: подобные шабашки так раздували манию политического величия, что в Галле каждый раз поступали новые пациенты.

Австрийские священники молились за империю, как хороший поп молится за нерадивого прихожанина: полезет через забор по чужие яблоки да разорвет штаны — а ты, господи милостивый, сохрани ему хоть рубашку в целости.

Вся империя как ополоумела. В головах государственных деятелей теснились планы: их придумывали и осуществляли немедля — тут же, за завтраком. Суды изощрались как могли, а сумасшедшие дома были битком набиты.

Кто-то свихивался по необходимости, чтобы угодить правительству. Был в Галле один скорняк из Трутнова, немец, подделавший векселя на двести тысяч крон, чтобы внести полученные деньги в австрийский военный заем. Немецкая учительница из Брно, состоявшая в «Лерериненферайне», в одно прекрасное утро нацепила военный мундир и отправилась крушить витрины на Франтишековой улице, вопя при этом: «Gott strafe England!»

Каких только политических заключенных не было в Галле! Председатель

союза ветеранов из Усти-на-Лабе, пришиливший на голое тело штук сто медалей; помещик из Хомутова, зашивший в черно-желтое знамя четырех волов и двух коров и пославший их с восторженным письмом окружному начальству. Наконец, супруга уездного старосты из Чешской Липы, дородная немка, пытавшаяся поджечь чешский приют. Все это были случаи типичные. (Если кому-нибудь кажется, что я сгущаю краски, пусть прочтет в мюнхенском медицинском альманахе статью «Krieg und Psychose der Massen»[167].)

Швейк, оказавшись в Галле, почувствовал некое умиротворение. Теперь он уже не казался себе песчинкой в дебрях империи, ибо все обрушившиеся на его голову события ясно свидетельствовали: и он кое-что собой представляет. Гордость его возросла вдвойне, когда один из психов вскоре после поступления Швейка стал величать его господином майором. Сам он представился ему генералом Пиотореком. Разгуливая со Швейком по саду, он показывал ему полянку одуванчиков и говорил:

— Возьмите-ка этот полк и оккупируйте Боснию с Герцеговиной! — При этом он кивал на высохшую черешню у стены.

— Herrgott![168] — кричал он Швейку. — Они нас обходят! Надо кинуть парочку гранат, — и, встав на цыпочки, плевал в сторону черешни.

Швейк, помня старые армейские времена, почтительно выслушивал его.

— Так стреляют в горных условиях, — пояснял сумасшедший, — а если вот так плюнуть — это стрельба полевая. Теперь пустим в ход тяжелую артиллерию.

И он харкнул, скомандовав куда-то назад:

— Habt Acht, marschieren marsch![169]

— Выиграли! — кричал он Швейку. — Поздравляю, господин майор, вы держались мужественно.

Швейк любил с ним гулять. Он заново прошел курс военной подготовки, командуя одуванчиками, сбивая прутьями головки маргариток.

Однажды на прогулке помешанный приятель заговорщически шепнул:

— А знаете ли вы, господин майор, что вы окружены? Я установил, что против нас выставлены две дивизии. Будем прорываться. Готовьте полк. Прямо сейчас и начнем.

Он попытался вскарабкаться на стену, Швейк сделал это проворнее, оказавшись там первым.

С тех пор своего дружка он не видел: за попытку к бегству санитары заперли «генерала Пиоторека» в один изолятор, а Швейка в другой. Не цацкались ни с тем, ни с другим. На удар кулаком под дых Швейк ответил:

— Прошу предать меня военному суду.

Наверное, на него подействовала окружающая обстановка.

Как-то во время обеда «генералу» через такого же помешанного удалось передать Швейку записку следующего содержания: «Морскому министерству дан приказ о готовности к доставке 300 000 человек из Азии. Призываются все возрасты. 60 000 солдат выступили на северо-восток. Саперы роют артиллерийские окопы».

Я обнаружил это послание в записной книжке Швейка. Позже сам Швейк утверждал, что в былые времена его сумасшедшего дружка называли «ваше превосходительство», а лицо его несколько лет назад встречалось Швейку в иллюстрированных журналах. Я показал ему несколько фотографий австрий-

ских военачальников, и в одном из них он узнал своего чокнутого приятеля: им оказался генерал-лейтенант фон Бегг.

С остальными пациентами Швейк общего языка не находил. Более или менее можно было договориться с паном Томсом, старшим учителем из немецкой школы в Ловосице...

## IX

Пребывание в сумасшедшем доме явно углубило подход Швейка к самым разным вопросам внутренней политики Австрии. Чем-то вроде учителя и духовного наставника стал для него такой же, как он, пациент, некто Гуго Вердер, «тирольчик» — бывший официант тирольского винного кабака на Гумпольдскирхенштрассе в Вене. До войны он разносил по столикам стаканы дрянного вина, ликер да кислую капусту, возмещая премерзкий их вкус своим тирольским видом: зеленые гольфы, тощие голые коленки, зеленый камзол с белыми костяными пуговицами и маленькая тирольская шляпка, украшенная засушенным эдельвейсом и зубами серны. Когда в первой же стычке с сербами и русскими австрийские полки растаяли на глазах, приспел черед Гуго Вердера идти на подмогу. Вот уж и мундир на него надели, но перед самой отправкой успел заскочить бедняга в свой винный подвальчик да так надрался, что на улицу вывалился уже с явными признаками *delirium tremens*[170]. Он пытался петь гимн «Gott erhalte» на слова «Heil dir im Sieges kranz»[171], кончая каждый куплет грозным рыком, переходящим в тирольские рулады: «Österreich, du edles Haus, streck deine Fahne aus, holdrijá, holdrijá, dro, juchalio»[172]. По мере того как Гуго Вердер проходил одну, другую, третью улицы, белая горячка приобретала все более зримые черты, пока не оформилась окончательно на площади перед памятником Тегеттофа.

Тиролец Вердер был оскорблен в лучших патриотических и верноподданнических чувствах. Ему казалось, старый австрийский генерал допускает крайнюю бестактность, красуясь себе на пьедестале в столь суровые для Австрии времена с такими длинными, неухоженными усами.

Обнажив штык, Вердер сделал попытку взобраться на памятник с воплями: «Man muss doch den Tegetthoff rasieren!»[173]

Собравшейся внизу толпе он крикнул, чтобы принесли мыло — намылить Тегеттофа перед бритьем. В конце концов ничего у него из этого не вышло, и Тегеттоф все стоит в Вене на том же пьедестале, расфуфырив лохматые усы, и напряженно вглядывается в даль, не вступают ли итальянские войска в Медлинг. А не в меру восторженного тирольца патриота упекли в сумасшедший дом.

Швейку он представился как барон Бумеркирхен, придворный гофмаршал покойника эрцгерцога Фердинанда д'Эсте. Удивительно: политические взгляды Вердера полностью соответствовали планам гофмаршала: он часами убеждал Швейка в необходимости создать «Grossösterreich»[174], захватить Сербию, Черногорию и в союзе с Германией двинуть через Стамбул в Малую Азию до Персидского залива, а там — на Дальний Восток.

Любопытно, что планы эти, провозглашенные императором Вильгельмом и его прихвостнем, австрийским императором Карлом I, именовались великодержавной политикой, в устах же тронутого бедняги-тирольца считались бредом сумасшедшего. Поневоле думалось: а почему бы не посадить в сумасшедший дом Вильгельма и Карла I, предоставив осуществление великодержавной

политики официанту из тирольского винного погребка Гуго Вердеру? Уж во всяком случае, она обошлась бы на несколько миллионов человеческих жизней дешевле.

Увы, история учит, что мелким помешанным в истории места нет. Туда попадают лишь крупные негодяи, грабители, поджигатели и убийцы. Чем больше человеческих жертв на их совести, тем громче титулы: княжеские, королевские, императорские. Сколько среди них аттил, тамерланов, вильгельмов, габсбургов! Такие алчут новых жертв всю жизнь, пока не помрут сами по себе или от руки догадливого человека, разом кладущего конец их безумию.

В Австрии швейковских времен такого не произошло. А Франц-Иосиф так и жаждал новых жертв, чтобы на старости лет искупаться в крови невинных. Военное министерство принялось подсчитывать граждан, способных нести службу и пасть за Австрию. И верховного штаб-лекаря всей военной медицинской службы генерала Эмиля Бергера осенило, что в австрийских сумасшедших домах зря пропадает несметное количество человеческого материала: ведь если разумные, нормальные люди не протестуют против того, чтобы сложить голову за государя императора, сумасшедшие — по крайней мере, вменяемые — тем более возражать не будут.

В «Винер альгемайне цайтунг» появилась довольно бойкая программная статья о дальнейших задачах по восполнению поредевших рядов австрийской армии. Автором ее был сам доктор Эмиль Бергер. Под заголовком «Лечение психоза» он черным по белому написал, что многие психически неполноценные или излишне возбудимые люди в горниле войны закалили свое душевное здоровье. Особенно благоприятно, по его словам, действует канонада, взрывы гранат — многие вообще забывают о своих навязчивых идеях.

Кое в чем доктор Бергер, конечно, ошибался: австрийский патриот, страдавший навязчивой идеей, что он — маршал Гинденбург, при переводе из лечебницы в армию простым пехотинцем не мог смириться с таким чудовищным разжалованием.

Однако в целом Бергер был прав. Почему бы не бросить сумасшедших на защиту Австрии? Впрочем, наиболее четко выразил эту мысль командир 88-го полка капитан Комплекс: «Солдаты! За государя императора — в огонь и в воду, как безумные!»

И военные комиссии принялись за сумасшедшие дома. Отбирали особым образом. Наиболее подходили для армии так называемые тихие помешанные: они послушно стояли или сидели там, где приказывал им надзиратель, эти слабоумные, наследственные идиоты и т. д.

Конечно, с военной точки зрения, больше подходили бы царапающиеся и кусающиеся: на первый взгляд казалось, что именно из них выйдут отменные солдаты австрийской армии. Однако не так-то все просто. Раз они кусали санитаров, где гарантия, что на параде они не вопьются зубами в майора?

Так что задача была не из легких. Отбирать приходилось тщательнее, чем при мобилизации людей нормальных. По официальным сообщениям («Пражские новости» от 2 мая 1915 года) 22 678 пациентов австрийских сумасшедших домов были признаны годными к военной службе как излечившиеся. Последнее доказывает, что при желании всему можно найти официальное обоснование.

Сам же факт свидетельствует о глубоком патриотизме населения Австрии:

22 678 умственно отсталым предстояло взяться за ум и отдать свою жизнь за государя императора.

Когда специальная военная комиссия, обследовавшая эти печальные заведения, дошла наконец до Швейка, в ответ на приказ «Кругом — tauglich»[175] Швейк обратился к ней со словами:

— Поди пойми, чего вы хотите. Как-то раз я даже дезертировал, чтоб служить государю императору до последнего издыханья, а то меня все на комиссию отправляли. Ну, поймали, перевели в арсенал, и снова на комиссию — за идиотизм. Я им опять: «Буду служить государю императору до последнего вздоха! Я солдат, и никто не имеет права выгонять меня из армии, пусть хоть сам генерал под зад коленкой из казармы вышибает. Я б ему так и сказал: осмелюсь доложить, господин генерал, хочу служить государю императору до последнего вздоха и возвращаюсь в свою роту. Не возьмут — во флот пойду, чтоб хоть на море служить государю императору. А если и оттуда господин адмирал меня турнет, буду служить государю императору в воздухе. Сколько ни говорил — они знай свое: «скотина» да «круглый идиот». Ну, демобилизовали. Началась война — манифестацию я устроил в честь Австрии, так меня за это вон на сколько лет упекли. Стал гимн австрийский в тюрьме петь — в желтый дом спровадили. А теперь вы меня снова в армию забираете? Эдак и впрямь свихнешься!

Но заявление Швейка принципиально ничего изменить не могло.

После стольких лет я с большой радостью вновь называю его braveм солдатом Швейком. Пройдя через такие страдания, он вернулся в лоно родимой австрийской армии. И снова приносил присягу с теми, кто хлопал в ладоши от восторга, что получит военную форму, фуражку с инициалами «F J I», винтовочку в руки и будет палить по русским, по сербам и по всем остальным, как прикажет начальство.

Не удивляйтесь: какой с них, безумных, спрос!

Швейка приписали к 91-му пехотному полку в Чешских Будейовицах, позже переведенному в Брук-на-Литаве. Перед самой отправкой — по ошибке или для того, чтобы привести мобилизованных в душевное равновесие, — врач сумасшедшего дома прописал им клистир. Во время процедуры braveй солдат Швейк с достоинством сказал санитару:

— Подбавь, не жалея! На войну иду, мне и пушки ни о чем, не то что твой клистир. Австрийскому солдату бояться не пристало!

Какой матерьяльчик можно было бы тиснуть в «Военных ведомостях» Штреффлера! Один заголовок чего стоит: «Императорская королевская армия и клистир»!

## Х

Да, порядочно воды утекло с тех пор, как braveго солдата Швейка заковывали в кандалы. Но все-таки не так много, чтобы не помнилась ему во всех подробностях прежняя солдатская служба в сравнении с настоящей, целиком направленной на подготовку к фронту. Где те идиллические времена, когда по поручению фельдкурата трентского гарнизона Августина Клейншродта он ездил за вином для причастия! Ругать, правда, тоже ругали порядком, но все как-то очень мило. Фельдкурат обращался к нему не иначе как «Du barmherziges Mistvieh»[176], и Швейку это почему-то согревало душу.

Теперь он обнаружил, что за годы, прошедшие с тех пор, знания австрий-

ских унтеров и офицеров в области зоологии значительно обогатились.

В первый же день в бараке военного лагеря в Бруке-на-Литаве ему показалось, что все начальники, угрюмо взиравшие на «старых» новичков, которых предстояло превратить в свеженькое пушечное мясо для ненасытных вражеских орудий, проштудировали либо курс естествознания, либо изданную в Праге у Кочия объемистую книгу «Источники благосостояния». Еще утром, сразу по прибытии и распределении новых защитников родины, капрал Альтгоф, командир отделения, где Швейку отвели койку в пыльном углу, назвал его энгадинским козлом, ефрейтор Мюллер, немецкий учитель с Кашперских гор, — чешской вонючкой, а фельдфебель Зондернуммер — сразу ослиной жабой и тупой свиньей, добавив, что с радостью собственноручно набил бы из него чучело. Это было сказано с уверенностью профессионала, всю свою жизнь посвятившего свежеванию туш.

Интересно, что при всем том военное начальство старалось обучить чешских ополченцев немецкому языку, привить солдатам любовь к нему, правда, с помощью средств африканских аборигенов, сдирающих шкуру с бедняжки антилопы или готовящих копченый окорок из ляжек очередного миссионера.

Конечно, немецких солдат это не касалось. Стоило фельдфебелю Зондернуммеру упомянуть о «Saubande»[177], он тут же спешил оговорить «die tschechische»[178], чтобы ненароком не задеть немцев, могущих принять оскорбление на свой счет. При этом все унтеры отчаянно таращили глаза — ни дать ни взять убогая псина, которая от жадности заглотнула пропитанную маслом губку и никак не может отрыгнуть ее обратно.

Когда в военном лагере в Бруке-на-Литаве дело шло ко сну, Швейк услышал непринужденную беседу ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом о дальнейшем обучении ополченцев. Разобрав слова «ein paar Ohrfeigen»[179], Швейк было порадовался, что и немецким солдатам теперь спуску не будет. Но он жестоко ошибался: речь шла только о чехах:

— Если какая-нибудь чешская свинья даже после тридцати «nieder» не желает стоять навтыжку, мало ему пару раз в морду двинуть, — поучал капрал Альтгоф. — Ты его кулаком в брюхо, фуражку нахлобучь на самые уши и скажи: «Kehrt euch!»[180], а как повернется, врежь еще и под зад коленкой, увидишь, он тебе как миленький в струнку вытянется. А уж господин прапорщик Дауэрлинг посмеется!

При имени Дауэрлинга лежавший на койке Швейк содрогнулся: все, что он до сих пор слышал об этом офицере от старших ополченцев, смахивало на устрашающие рассказы старых фермерских вдовушек мексиканского пограничья о каком-нибудь знаменитом местном головорезе.

Прапорщик Дауэрлинг прослыл настоящим людоедом, антропофагом с австралийских островов, пожирающим всех угодивших к нему в лапы людей чужого племени.

Жизненный путь его был поистине блестящ. Вскоре после рождения Конрад Дауэрлинг, уроненный нянькой, ударился темечком так, что голова его навсегда чуть сплюсцилась, как если бы гигантская комета врезалась в Северный полюс. Окружающие скептически оценивали перспективы его умственного развития, лишь отец-полковник заявил, что это сыну в жизни не помеха, так как Конрад, естественно, пойдет по военной части.

После ожесточенной борьбы с первыми четыремя классами низшего реаль-

ного училища, пройденными им частным образом (причем один его учитель безвременно поседел, другой порывался броситься с башни собора святого Стефана в Вене), он поступил в Гайнбургский кадетский корпус. Образование здесь никого не волновало, для абсолютного большинства австрийских офицеров оно было излишеством. Знания облагораживают душу, а Австрия всегда нуждалась лишь в грубом офицерстве, какая уж тут наука. Пределом образованности считалось умение играть в солдатики.

Но кадет Дауэрлинг не успевал даже по тем предметам, которыми более или менее овладели все остальные. Даже в кадетском корпусе было заметно, что в раннем детстве он ушиб головку.

Прямым доказательством тому служили его ответы на экзаменах, считавшиеся столь бесспорными примерами полного идиотизма в постановке и решении задач, что преподаватели кадетского корпуса называли его между собой исключительно «unser braver Trottel»[181]. Глупость его была беспредельна, и это давало основания предполагать, что со временем он попадет в Терезианскую военную академию.

Увы, разразилась война, и все молоденькие кадеты третьего курса стали прапорщиками. Так и Конрад Дауэрлинг попал в список гайнбургских офицеров, а затем в 91-й пехотный полк в Бруке-на-Литаве, чтобы достойно приложить свои знания в обучении солдат.

Когда-то Дауэрлинг почерпнул из военного учебника «Drill oder Erziehung»[182] одну-единственную истину: солдат надо держать в смертельном страхе. От степени их запуганности непосредственно зависит результат обучения.

В данном случае ему сопутствовал полный успех. Чтобы не слышать его звериного рева, ополченцы вереницей потянулись в лазарет. Но от этого они быстро отказались: солдат, сказавшийся больным, получал три дня «verschärft»[183], а это было изобретение прямо-таки дьявольское: целый день тебя вместе со всеми гоняли по плацу, а на ночь запирали в карцер.

В роте Конрада Дауэрлинга больных не было, все больные сидели в карцере.

На плацу Дауэрлинг неизменно сохранял непринужденную, панибратскую манеру общения с солдатами, начиная словом «свинья» и кончая странным ублюдкой «пес свинячий».

При этом он был либерален. Предоставлял солдатам свободу выбора, говоря:

— Чего ты хочешь, слон вонючий, пару раз по носу или три дня «verschärft»?

Если кто-нибудь предпочитал «verschärft», двух ударов по носовому хрящу он все равно не избегал.

— Ты трус, — приговаривал Дауэрлинг, — трясешься за свой нос, а что будешь делать, когда грянет тяжелая артиллерия?

А как он обращался с чехами? Наивный вопрос! Именно с чехами он так и обращался: они составляли шестьдесят процентов его подчиненных.

Помню, выбив глаз ополченцу Гоузери, Дауэрлинг громко заявил:

— Pah, was für Geschichte mit den Tschechen, müssen so wie so krepieren[184].

Впрочем, ничего нового прапорщик не сказал, Такова была вся военная политика Австрии — уничтожить чехов!

«Die Tschechen müssen so wie so krepieren!» — призвал сам фельдмаршал Ко-

нрад фон Гетцендорф, выступая в начале января 1916 года перед восьмой пехотной дивизией в Инсбруке.

## XI

Излюбленным методом воздействия, по Дауэрлингу, было собирать всех чехов и излагать им военные задачи Австрии, на небольших, но убедительных примерах разъяснять общие принципы руководства армией — от кандалов до виселицы и расстрела — и их непреходящее значение в жизни чешского народа.

Начинал он всегда одинаково:

— Знаю я, все вы жулики, и давно пора выбить из вашей башки чешскую дурь. Его Величество, наш все милостивейший император и главнокомандующий Франц-Иосиф I изволит говорить только по-немецки, из чего следует, что немецкий — всем языкам язык. Если бы не он, вы бы, жулье паршивое, и на землю толком упасть не смогли бы, потому что «nieder» это «nieder», хоть пополам, гады, тресните. Думаете, когда-нибудь по-другому было? Всеобщая воинская повинность существовала еще в Риме в период его расцвета, всех призывали, от семнадцати до шестидесяти, тридцать лет в походах служили, а не валялись по лагерям как свиньи. И армейским языком уже тогда был немецкий, и Жижка ваш без него не обошелся. Все, что он знал, было из «Dienstreglement» и «Schießwesen»[185]. Поэтому запомните; я вашу идиотскую чешскую белиберду из вас вышибу. А кто вздумает отвечать на своей дурацкой тарабарщине, заработает кандалы, и пусть только пожалуется, что это несправедливо: будет за свой verräterische Handlung[186] расстрелян и повешен, но сначала я раздеру его мерзкую пасть от уха до уха. А теперь отвечайте: для чего я вам все это говорю?

Дауэрлинг обвел взглядом испуганные лица ополченцев, задержав его на улыбочивой физиономии Швейка, который с обычным невинным видом семимесячного малютки наблюдал, как за плацем после каждой учебной очереди венгерского пулеметного отделения испуганно мечется конь, как стая ворон взметнулась над старой тенистой аллеей в сторону Кирайхида и как бегут по голубому небу белые облачка.

— А ну, для чего я все это вам говорю, стараюсь тут, понимаешь? — проорал Дауэрлинг прямо Швейку в лицо.

Тот, поневоле выведенный из мечтательного состояния, хоть тресни не мог сообразить, что из его обычных ответов подошло бы больше всего. В раздумье он несколько раз облизал уголки рта и, добродушно глядя на Дауэрлинга, отозвался наконец смиренным, преданным голосом:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, dass die Tschechen müssen so wie so krepieren.

Дауэрлинг так и застыл перед ним с разинутым ртом. Все понимали, что сейчас произойдет нечто ужасное, а трус Ржига тихо спросил Швейка:

— Куда хоть писать?

Но Швейк уже снова глядел, как конь шарахается из стороны в сторону от венгерских пулеметов. Глядел поверх головы низкорослого прапорщика. Такая невозмутимость потрясла Дауэрлинга до глубины души.

— Завтра же к батальонному рапорту! — сказал он, как-то сникнув. — А пока — под арест.

Капрал Альтгоф злорадно повел Швейка на гауптвахту, чтобы сдать надзи-

рателю Рейнелту, старому добряку, снабжавшему арестантов пивом и сигаретами за их же деньги из расчета литр арестанту, литр Рейнелту.

По дороге капрал Альтгоф долго и нудно объяснял Швейку, что тот совершил преступление, ибо пренебрег субординацией, обязанностями рядового солдата, дисциплиной, уставом, служебными инструкциями, да еще взбунтовался и оказал сопротивление, что неминуемо влечет за собой «*Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen*»[187] и виселицу, если он будет продолжать в том же духе. Речь капрала была сдобрена все теми же излюбленными зоологическими терминами из «Источников благосостояния».

Очутившись на гауптвахте, Швейк еще долго перебирал в памяти все проступки и преступления, совершенные им в течение последних нескольких секунд.

Надзиратель Рейнелт спросил, есть ли у него деньги на пиво, и, получив отрицательный ответ, молча запер его на гауптвахте, где уже сидел один венгерский солдат. Венгр все время называл Швейка «*barátom*»[188], выуживая сигареты.

Наконец, Швейк растянулся на нарах и уснул, справедливо полагая, что именно война порождает все эти несуразности, и в жизни никак не следует противиться двум вещам — судьбе и приказам. Сказано к батальонному рапорту — ради бога, даже с удовольствием. Нет, никому не сбить с пути истинного бравого солдата Швейка, знающего, что приказ есть святыня. Убедили же миссионеры негров, пропуская через них электрический ток, что это — сам господь бог. С тех пор негры поверили в бога так же истово, как верил Швейк в силу приказа.

Вечером Дауэрлинг подводил итоги. Он был второй Тит: если за целый день никого не сажали на гауптвахту и не вносили в ротный рапорт, он восклищал:

— День прожит зря!

Посоветовавшись со своим верным другом, кадетом Биглером, Дауэрлинг понял, что с батальонным рапортом он переборщил, потому что теперь дело неизбежно попадет к майору Венцелю.

Перед майором Венцелем и Биглер, и Дауэрлинг тряслись не меньше, чем рядовые перед ними самими.

Не такой уж и туз был майор Венцель, но как огня боялся национальных распрей. Женат он был на чешке. Когда-то давно, служа в чине капитана в Кутной Горе, он попал в газеты, спьяну назвав официанта в гостинице Гашека «чешским сбродом», хотя сам и дома, и в обществе говорил исключительно по-чешски.

Какие же то были идиллические времена, если случай этот дошел до палаты депутатов! Впрочем, запрос канул в архиве министерства, но майор с той поры публичных заявлений избегал: что там запрос — вот дома ему действительно досталось.

С виду человек не кровожадный, он до смерти любил поизмываться над молоденькими кадетами и прапорщиками и терпеть не мог, когда рапорт перегружали всякими пустяками. Считал, что внимания начальства достойны лишь по-настоящему серьезные случаи, когда, скажем, курил кто-нибудь у порохового склада в Чешских Будейовицах, или ночью, перемахивая через ограду марианских казарм, засыпал прямо наверху, между небом и землей, или на

полигоне вместо мишени упорно попадал в деревянный забор, или опаздывал после увольнительной да еще позволял неизвестным грабителям стащить у себя с ног казенные сапоги, или два дня кутил с патрулем, задержавшим его без *erlaubnisschein*'а[189], или не начистил перед смотром пуговицы и тому подобное. В таких случаях майор Венцель принимал вид сиракузского тирана, что же касается, по его выражению, «всякой там ерунды», он целиком спихивал ее на плечи младшего офицерства.

До чего он доводил кадетов! Я собственными глазами видел, как во время разговора с ним кадет Биглер зарыдал, а майор Венцель, похлопав его по плечу, сказал:

— Не распускайте нюни. Идите-ка домой, к мамаше, и пусть даст вам английской соли на кончике ложки. Запьете стаканом воды — и все расстройство как рукой снимет. Будете знать, как из-за всякой там ерунды столько народу к рапорту таскать.

Вот почему на следующее утро Дауэрлинг передумал и вызвал к себе капра-ла Альтгофа:

— Швейка этого чертового ни в какой рапорт не вносить. И вообще выпустить его прямо сейчас. Что??? Я вам не обязан объяснять, болван! *Abtreten!* [190]

Когда Альтгоф с приказом в руке пришел в канцелярию гауптвахты, чтобы вывести Швейка на свет божий, Швейк заявил, что наказан за дело и до самого утреннего рапорта ни на *marschübung*, ни на *salutierübung*[191] явиться не может.

Альтгоф с помощью надзирателя хладнокровно выкинул его с гауптвахты, объяснив, что лишь доброте Дауэрлинга обязан он своей свободой и освобождением от рапорта.

Швейк посмотрел на него добрыми голубыми глазами:

— Это благородно с его стороны, но к рапорту я все-таки пойду. Я и сам знаю, что положено, а что нет. На то я и солдат, чтоб к рапорту являться. Приказ есть приказ, надо выполнять. Мало ли, что господин прапорщик нынче передумал. Я солдат и за провинность должен быть наказан.

Фельдфебель Зондернуммер категорически заявил Швейку, что ни к какому рапорту он не пойдет, так как господин прапорщик того не желает.

— Господин фельдфебель, — с достоинством ответил Швейк, трогательно уставив на него небесно-голубые глаза, — вчера мне было приказано явиться к батальонному рапорту? Так я и явлюсь, обязан явиться, на то я и солдат. И нет такой силы, которая помешала бы мне выполнить приказ. Я свои обязанности знаю.

Зондернуммер не верил глазам своим, читая божественное, невозмутимое спокойствие на лице Швейка, то выражение смирения и одухотворенности, которое увидишь разве что на ликах святых мучеников в церквах.

Вот так же спокойно поглядывал святой Вавржинец, не закипает ли масло, на котором его будут жарить, так умиротворенно взирала на паству иглавского храма святая Катержина с картины, изображающей, как ей дергают зубы, а с другого образа столь же блаженно оглядывал языческую публику римского цирка мученик-христианин, на котором сидел тигр, похожий на алчущую крови ангорскую кошку.

Фельдфебель Зондернуммер пошел передать ответ Швейка Дауэрлингу.

Прапорщик, засеv в канцелярии одиннадцатой роты, всеми силами продирался сквозь стилистические дебри, составляя очередной Befehl[192] о распорядке солдатской трапезы. Именно в момент его мучительного раздумья, какой бы покрепче придумать конец, убеждающий солдат, что есть — это еще не значит жрать, явился Зондернуммер и доложил, что Швейк пренебрег великодушием начальства и намерен явиться к батальонному рапорту.

Перед Дауэрлингом тотчас возник образ майора Венцеля.

— Позвать сюда Швейка! — крикнул он и глянул на себя в карманное зеркальце, дабы убедиться, что вид у него достаточно устрашающий.

Бравый солдат Швейк вошел в канцелярию спокойно, как за новыми сапогами.

— Я слышал, — ироничным тоном начал Дауэрлинг, — вы изволили решить, что все-таки пойдете на батальонный рапорт.

Но дальше, не выдержав столь высокого слога, он стал хватать Швейка за пуговицы, дико таращить глаза, возвращаясь к своей привычной манере разговора с солдатами.

— Ты, слоновье рыло, ты, морская собака! В жизни не видел такой дубины, слышишь, ты, скотина! Я тебе покажу, как к рапорту ходить, в порошок сотру, в карцере сгною, червяк! Ты у меня узнаешь, что такое батальонный рапорт! Говори, мерзавец, говори: «Ошибся», говори: «Осмелюсь доложить, ни к какому рапорту не пойду и не думал идти», говори!

При этом его кулак так и сновал перед самым Швейковым носом, как на хорошем боксерском матче.

Но бравый солдат Швейк присутствия духа не терял и новое испытание выдержал с честью.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, а к батальонному рапорту я все-таки пойду!

— Учтите, Швейк, ваша тупость вас до добра не доведет. Это subordinationenverletzung[193], а время военное!

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, я понимаю, что время военное, но раз я все время допускаю subordinationenverletzung, пусть меня на батальонном рапорте и накажут. На то я и солдат, чтоб меня наказывали.

— Швейк, подлая тварь, никуда вы не пойдете!

Но бравый солдат Швейк покачал головой и, полон веры, надежды и святой готовности к новым мучениям, повторил:

— Осмелюсь доложить, по вашему вчерашнему приказу я пойду к батальонному рапорту.

Дауэрлинг бессильно плюхнулся на койку фельдфебеля Вагнера и обреченно прошептал:

— Зондернуммер, хоть вы его отговорите! Получите на пиво.

Фельдфебель Зондернуммер начал уговоры. Камень — и тот дрогнул бы от его слов. Он начал с того, что Швейк должен знать свое место, как всяк сверчок свой шесток. Бунтом он ничего не добьется и лишь породит очередное насилие. Ведь только представить себе последствия такого упрямства!

Видя всю бесплодность своих усилий, фельдфебель не удержался и обозвал Швейка грязной свиньей, но спохватившись, что ведет переговоры, тут же хлопал его по плечу, приговаривая:

— Sie, Швейк, Sie sind ein braver Kerl![194]

Под фельдфебельскими нашивками в Зондернуммере скрывался недюжинный талант проповедника. Обратись он с подобной речью к другим солдатам, толпа бы уже била себя в грудь, содрогаясь от рыданий, но бравый солдат Швейк устоял перед потоком звучных фраз и обошел все ловушки зондернуммеровского красноречия, оставшись непоколебимым:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, а к батальонному рапорту я все-таки пойду!

Дауэрлинг вскочил с койки и забегал по тесной канцелярии. Похоже было, он танцует, подобно Саломее, задавшейся целью заполучить голову святого Иоанна, правда, с меньшей грацией. Возможно, так проявилась подсознательная попытка вылезти вон из кожи.

Наконец он остановился, тяжело дыша, заморгал, как человек, который старается уцепиться за какую-нибудь спасительную идею, и решительно произнес:

— Ни к какому батальонному рапорту, Швейк, вы не пойдете. Вы просто не можете пойти. Вам там нечего делать. Вы больше не имеете отношения к манншафту[195], потому что с этой минуты вы — мой пуцфлек[196].

И Дауэрлинг утер пот со лба.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, — через минуту отозвался Швейк, сообразив что к чему, — ни на какой батальонный рапорт я не пойду, потому что с этой минуты я — ваш пуцфлек и не имею отношения к манншафту.

То, что пуцфлеку на батальонном рапорте никак не место, было ясно как день. Швейк о таком не слыхивал, да и вообще не было такого с тех пор, как существует австрийская армия.

Он не спросил, что будет делать теперь бывший слуга Дауэрлинга Крейбих, немедленно переведенный в рядовой состав. Приказ есть приказ, и Швейк подчинился ему с армейским смирением и готовностью к действиям.

Вскоре он узнал, как воспринял новость Крейбих. Когда того известили об утрате «теплого местечка», Крейбих запрыгал от радости, купил Швейку в буфете пятьдесят сигар и пригласил его на стаканчик вина в гарраховский погребок в Кирайхиде.

В минуту расставания Крейбих плакал, называл Швейка «спаситель ты мой» и советовал ему лучше сразу застрелиться.

Итак, Швейк приступил к службе у Дауэрлинга при обстоятельствах довольно странных. Дальнейший ход событий покажет, сколь выдающуюся роль в истории монархии играли денщики австрийских офицеров в те славные времена, когда мало-помалу становилась явью первая часть старого австрийского девиза «Divide et impera»[197], что наглядно выразилось в разделении Австрии.

## XII

В венском издательстве «Военных ведомостей» Штреффлера вышла книга «Pflichten der k. k. Offziersdiener» («Обязанности денщиков императорской королевской армии»). Вряд ли найдется другое сочинение, способное доставить мне такую же большую, чистую радость, как этот беспристрастный опус австрийского капитана. В самом деле, я получил истинное наслаждение. При всей трезвости суждений об офицерских слугах и окружающей их среде австрийский мыслитель близок к воссозданию идеального образа денщика. Я

подчеркиваю: несмотря на евангельскую чистоту помыслов автора, книгу писал не мечтатель-идеалист, но строгий австрийский капитан, привыкший считаться с обстоятельствами: наверняка и у него в жизни случилось, что денщик по пути с офицерской кухни уминал половину хозяйской ветчины с горошком. Слог у него добротный, решительный, говорящий о его вере в практический результат написанного. Обсуждение данного вопроса вовсе не бесполезно, ибо проливает свет на истинную роль денщиков в продвижении к вершинам «средних держав», коими сами себя официально именуют турки, немцы, австрийцы и болгары.

Денщик в вышеупомянутой книге изображен человеком, живущим судьбой своего господина, в заботах о его повседневных нуждах: истребляющим вшей с его мундира на фронте и доставляющим любовные записки в тылу. В целом книга представляет собой нечто вроде свода заповедей, начиная с чистки сапог и кончая указанием денщикам — этим простым австрийским гражданам — не курить сигарет, не поедать сладостей своего хозяина, не посягать на его запасы в целом и вообще не считать имущество хозяина своим собственным.

Таким образом, пропасть между денщиком и офицером, при всей неразрывности их совместной жизни, обозначена в книге чрезвычайно ярко и лаконично.

В общем, это своеобразное руководство для денщиков, которые узнают из него, что им положено, а также — не без интереса — что им не положено делать.

Однако в жизни все иначе. В Австрии денщику всегда был почет и уважение среди солдат той роты, которой командовал его офицер; они панибратски называли его «пуцфлеком», «файфкой», «пфейфендекелем» и т. п.

В случае, если надо было легонько подтолкнуть какое-нибудь дельце, к нему обращались все чины от ефрейтора до фельдфебеля, чаще же всего — лица, мечтавшие укрыться от военной опасности за котлами полевой кухни, в обозе или другом столь же защищенном местечке. Знакомство с денщиком означало полезную связь.

Как правило, грудь пуцфлеков, файфок и пфейфендекелей украшали медали за мужество, проявленное на поле боя, когда под грохот канонады и взрывы гранат они где-нибудь в укрытии переодевали своего хозяина в чистое исподнее.

Денщики были народ заевшийся. Они до отвала наворачивали в походах консервы, что под страхом пытки запрещалось всем остальным: денщики получали свои порции на офицерской кухне, в нескольких шагах от окопов, где солдаты щелкали зубами от голода.

Денщики были народ хамоватый, откровенно презиравший солдатскую толпу, служившую мишенью для пуль и ядер. Они курили сигареты «Мемфис» из запасов своих хозяев, не рыли окопов и быстро осваивались в землянках, перетаскивая багаж господ офицеров сюда, подальше от передовой.

Однако чаще всего это была лишь позолота, показная сторона их жизни, за которой скрывалась невеселая оборотная. Ведь они служили еще и громоотводом, принимавшим на себя гром и молнии гнева по поводу всех бед и несчастий, валившихся на голову их хозяев. Некоторые представители этой особой социальной группы вошли в историю и достойны упоминания.

Генерал Пиоторек лупил своего денщика как сидорову козу всякий раз, когда австрийские войска отступали. Всыпали австрийцам по первое число в Крагуеваце — генерал вышиб ему два передних зуба; заняли Белград — на радостях вставил протез, впрочем, вскоре выбитый заодно с соседним зубом — это когда австрийцы бежали из Белграда.

Через много лет этот денщик, оказавшись в тех краях Сербии, где в свое время били австрийцев, будет рассказывать своим внукам, прижав ладонь к щеке:

— Здесь он мне пару горячих как влепит... И тут леща вломил, но какого!.. Здесь раза три хрястнул, а вон там ка-ак пнет...

Австрийские офицеры, которым далеко было до масштабов генерала Пиоторека, всегда находили повод хотя бы поиздеваться над денщиком.

Всякий раз, получив нагоняй от майора Венцеля, Дауэрлинг вымещал злость на деннике Крейбихе. Постепенно Крейбих превратился в козла отпущения и в других случаях, отнюдь не служебного характера. Проигрыш хозяйна в карты, жестковатый шницель, неудачная попытка занять деньги и прочие мелочи превращали жизнь Крейбиха в сущий ад.

Бравому солдату Швейку вспомнилось, как когда-то его прежний хозяин, фельдкурат трентского гарнизона Августин Клейншродт внушал ему бесконечное уважение к начальству:

— Ну ты, олух! Твое дело слушать да помалкивать, потому что мы, начальники, самим богом над вами поставлены.

Впервые получив приказ почистить сапоги Дауэрлинга, Швейк взял их в руки со священным трепетом. Дауэрлинг виделся ему посредником между ним и господом богом. Это чувство было сродни тому, что испытывали древние индейцы, по велению жрецов поклонявшиеся удаву.

Помнил Швейк, помнил, как поучал его фельдкурат Клейншродт:

— Ты меня, олух, слушайся! Вас, солдат, в ежовых рукавицах держать надо...

Подобные воспоминания вдохновляли Швейка, мысль его принимала благородное направление, и никакие ругательства Дауэрлинга не могли сбить ее с пути истинного. Напротив, услышав хозяйскую ругань, Швейк впадал в состояние, близкое к экстазу. Так, в первый же день, подавая Дауэрлингу обед, он наливал в тарелку суп с таким просветленным, одухотворенным лицом, что Дауэрлинг, перестав жевать, сказал:

— Может, ты еще и обед мой сожрешь?

— Zum Befehl, Herr Fähnrich![198] — ответил Швейк с такой покорностью судьбе и хозяйской воле, что Дауэрлинг живо стал уминать еду, точно кошка, заметившая крадущегося к ее миске голодного кота.

После обеда зашел кадет Биглер, вдвоем с Дауэрлингом они начали пить коньяк, и Биглер пустился в политические рассуждения о том, что Австрию основали немцы, и посему образцом для всех национальностей монархии должна быть немецкая культура.

Швейк то и дело подливал коньяк, мощно питавший немецкую политическую мысль. Потом Дауэрлинг, написав какое-то письмо, протянул его Швейку и велел во что бы то ни стало доставить по назначению и подождать ответа. Швейк отправился по адресу: Кпрайхид, улица Пожони, 13, Этелька Какони.

Только прикажи — так же спокойно пошел бы он хоть на край земли и ждал бы там ответа. Но указанная улица оказалась гораздо ближе.

...Стоит перейти Литаву в Бруке, и ты сразу оказываешься за красно-зелено-белыми столбиками в «Magyarország»'e[199], Правда, и сюда долетает вонища со стороны огромной императорской королевской консервной фабрики в Бруке-на-Литаве, заставляя венгров думать, что там, за Литавой, разлагается что-то очень большое. Вонь здесь смешивается с запахом венгерских свиней, толпящихся в широких загонах за железной дорогой до тех пор, пока их вместе с гонведами, гонведскими гусарами и красными гусарами не отправляют на фронт в больших вагонах.

В остальном же Кирайхид — городишко препаршивенький. Жители его и сами не ведают — то ли немцы они, то ли венгры. Местные девицы флиртуют с офицерами из военного лагеря в Бруке. Как и повсюду в Венгрии, проституция цветет здесь пышным цветом. В городе две достопримечательности: развалины сахарного завода да публичный дом «У кукурузного початка», который в 1908 году во время больших маневров удостоил своим посещением эрцгерцог Стефан.

Дом номер 13 по улице Пожони Швейк отыскал довольно быстро. В коридоре его ущипнула за щеку служанка-венгерка. Она указала, где на втором этаже живет госпожа Этелька Какони. Швейк вошел в квартиру. (Я нарочно пишу покороче, чтобы передать всю энергичность его действий.)

Швейк вручил письмецо. Адресатка оказалась пухленькой дамочкой с черными глазами. Она мило улыбнулась Швейку, застывшему навытяжку с выражением спокойствия и решимости на лице.

Дверь открылась, вошел какой-то господин. Смерив Швейка грозным взглядом, он вырвал из рук испуганной дамочки письмо и начал читать его вслух — громко, по слогам, потому что с немецким у него было туговато. Потом он что-то сказал по-венгерски, словно выругался, и спросил Швейка, кто тот по национальности. Услышав, что чех, господин забегал, потрясая в воздухе кулаками и крича на ломаном немецком языке, что он-де наведет порядок, и пусть эти австрийские жеребцы не думают, будто его жена создана для того, чтобы каждый австрийский офицеришко назначал ей свидания в графском парке гарраховского замка — в «обезьяньем раю». Он кричал, что венгры сыты всем этим по горло, что австрийцы вывезли всю кукурузу в Вену, сожрали всех свиней, так теперь еще и собирают в Баконьском лесу их, венгерские желуды и варят из них кофе.

Говорил он долго, вспоминая любопытнейшие детали взаимоотношений Транслейтании и Цислейтании. Пухленькая дамочка все смеялась и лопотала что-то по-венгерски.

Швейк слушал и ждал. Через полчаса, когда господин Какони на секунду умолк перевести дух, Швейк отчеканил:

— Велено ждать ответа.

Тогда господин Какони заговорил снова. Еще раз проанализировав значение союза венгров с австрийцами, он помянул матерей Швейка и Дауэрлинга и, рывкнув: «Знаем мы этих австрийцев!», изложил свою программу действий: кто вздумает волочиться за его женой, будет спущен с лестницы.

Но Швейк, памятуя о приказе начальства, был непоколебим:

— Велено ждать ответа.

Господин Какони приступил к действиям. Применив для начала запрещенный прием, который на соревнованиях по борьбе вызывает резкий протест судьи, а также звериный рев и свист трибун, он схватил Швейка за шиворот и, явно превосходя соперника ростом и силой, без труда вытолкнул его на лестницу, а оттуда — прямо на улицу.

Тут соотношение сил коренным образом изменилось. Мимо как раз проходили двое из 91-го пехотного полка, заметившие, что штатский теснит товарища. Заслышав, как Швейк по-чешски сказал: «Чего толкаешься, чего толкаешься-то?», оба пехотинца, оказавшиеся чехами, сразу смекнули: венгр обижает земляка.

С двух сторон они надели на Какони, прижали его к витрине и стали действовать наподобие сукноделов, стирающих и мнущих овечью шерсть, чтобы очистить ее от сала.

Не удивительно, что столь живая сцена привлекла внимание прохожих. Один венгр, подойдя слишком близко, тут же хватил по носу от кого-то из солдат. Витрины к тому времени уже не существовало. Ее высадил господин Какони, приземлившись на писчебумажные принадлежности. Зрителей прибывало, штатские вели упорный бой с солдатами, а господин Какони, проскочив магазин насквозь, вылетел во двор и перемахнул через забор, оставив на нем клочок пиджака, трепетавший под легким ветерком, словно прощаясь с хозяином.

Тем временем кто-то сбегал позвонить в военный лагерь в Бруке, чтобы прислали патруль. Пока он подоспел, венгры потерпели полное поражение, несмотря на помощь нескольких гонведов: в критический момент гонведы, дрогнув, дали стрекача, не говоря уже о штатских. Да и победителей след простыл; когда прибыл патруль, он нашел лишь следы бывшего сраженья: раскиданные по земле шляпы, оторванные пуговицы, осколки витринного стекла.

Бравый же солдат Швейк к этому времени бодро шагал задами, через железнодорожную насыпь, в лагерь, в родные офицерские казармы. В руке он нес воротничок господина Какони. Явившись к Дауэрлингу, он отдал честь и сказал:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, письмо я передал, а вот ответ!

И Швейк положил на стол воротничок господина Какони с надорванными петельками — сразу было видно, что хозяин отдал его не без борьбы. Тоном человека, убежденного в своей правоте, Швейк рассказал о случившемся, закончив повествование так:

— Осмелюсь доложить, *bereitschaft*[200] я ждать не стал.

Дауэрлинг призадумался:

— Ну и фортель ты выкинул, Швейк, скотина ты эдакая...

— Осмелюсь доложить, действовал точно по вашему приказу.

Дауэрлинг сел на кровать. Перед его глазами возник майор Венцель, еще более высокое начальство, передовая линия фронта и многое-многое другое.

— Я так и знал, — сказал Дауэрлинг, обреченно качая головой, — так и знал, что все это кончится большим скандалом. Да чтоб тебя...

— Осмелюсь доложить, я только выполнял свои обязанности...

\* \* \*

Через три дня в «Пешти хирлап» появилось сообщение:

### «БЕСЧИНСТВА ЧЕШСКИХ СОЛДАТ В ВЕНГРИИ

Любому венгру известно, что чехи, стремясь уничтожить нас как нацию, даже сейчас, в столь критические для венгерского королевства времена, ведут подрывную деятельность не только в Чехии, но и на фронте. Считая венгров своими злейшими врагами, чехи, в частности, размещенные в Венгрии чешские полки, подвергают местное население систематическому террору. До нас дошло известие об отвратительном дебоше чешских солдат в Кирайхиде, где они не только напали на венгерских граждан, но и разбили несколько витрин. Инцидент был исчерпан лишь с появлением военного патруля. Чешские солдаты действовали по подстрекательству прапорщика Дауэрлинга, известного чешского шовиниста, который, вместо того чтобы в тяжелейшее для австро-венгерской монархии время давно быть на фронте, периодически травит венгров, занимаясь в свободное время соблазнением замужних дам Кирайхида. «Talpra a Magyar!» — «Встань, мадьяр!» В беспощадной борьбе с чехами мы выстоим лишь при условии нерушимого братского единства, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Будем надеяться, дело будет тщательно расследовано военными властями и виновные будут строго наказаны, чтобы впредь отбить у них охоту терроризировать ни в чем не повинное венгерское население. «Talpra a Magyar!»

В тот же день газета «Шопроньске листы» поместила следующую статью:

### «A CSEN HAZAARULOK KIRALYHIDON[201]

Чехи все больше разоблачают себя как подлые изменники. Сообщение, полученное нами из Кирайхида, служит лучшим доказательством того, что чешский гарнизон, дислоцированный в ближайшем военном лагере в Бруке, призван искоренить венгерское население. Вступив поначалу в конфликт с одним из кирайхидцев, по праву указавшим чехам на превышение полномочий при грубых посягательствах на честь его супруги, солдаты «попугайского полка» набросились на безоружных граждан. Какое перо не дрогнет, описывая зверства тех, для кого нет ничего святого! Опустошив город, чехи ушли. Как нам сообщают, организатором налета является известный пропагандист панславизма офицер Дауэрлинг. Венгерское население Кирайхида готово как один встать на защиту родного города от чешских посягательств на благо его свободного развития. Пусть чехи ответят за все! Мы же, венгры, провозглашаем вслед за нашим поэтом Петефи: «Itt a haza!» — «Это наша родина», наша земля, и чешским предателям здесь нечего искать».

А «Пожони напло» написала:

### «КИРАЙХИДСКАЯ ТРАГЕДИЯ (по телеграфу)

Позавчера, распевая «Гей, славяне!», рота чешских ополченцев 91-го пехотного полка из военного лагеря в Бруке-на-Литаве под предводительством Конрада Дауэрлинга, известного пропагандиста чешско-словацкого сближения, ворвалась в пограничный венгерский город Кирайхид, учинив кровопролитный погром на улице Пожони. Чешские головорезы разграбили писчебумажный магазин господина Дьюлы Какони, заколов хозяина штыками. Была убита на месте и поспешившая ему на помощь супруга, а также двухлетний ребенок несчастных. Подоспевшие гонимые обратили чехов в бегство. Лагерь окружен войсками».

\* \* \*

На третий день после публикации всех этих прелестей Дауэрлинг вернулся из полковой канцелярии домой в крайне удрученном состоянии. В руках он держал номера «Пешти хирлапа», «Шопроньских листов», «Пожони напло» и сделанный в канцелярии перевод интересовавших его статей. Он был похож на человека, готового вот-вот отправиться в мир иной — такой затравленный и всепрощающий был у него вид. Махнув всеми тремя газетами, он пролепетал:

— Все, теперь крышка! Ich bin verloren![202] — и брякнулся на койку. Поднявшись через минуту, он обвел комнату затравленным взглядом и, повторив на пороге «Ich bin verloren — Крышка», — вышел прочь.

Дело и правда пахло керосином. Полковое начальство получило от бригадного подробный рапорт об инциденте в Кирайхиде с целым рядом приложений.

Расследовавший это дело майор Венцель все утро допрашивал Дауэрлинга. В разговоре фигурировали слова «маршевая рота», «карцер».

Вечером майор самолично отправился на место происшествия и, вернувшись напрямиком в казино, подтвердил, что госпожа Какони и впрямь прехорошенькая, остается лишь посочувствовать ей из-за этих двух ослов — мужа и Дауэрлинга. Из этого можно было заключить, что дела Дауэрлинга не так уж плохи.

На другой день настроение у Дауэрлинга поднялось: он обругал Швейка и запустил в него сапогом.

\* \* \*

Еще через три дня в «Пешти хирлап», «Шопроньских листах» и «Пожони напло» появилось официальное опровержение, подписанное от лица командования 91-го пехотного полка:

*«Командование императорско-королевского пехотного полка № 91, ранее стоявшего в Чешских Будейовицах, ныне в Бруке-на-Литаве, уполномочено заявить, что сведения о бесчинствах солдат полка под командованием прапорщика Дауэрлинга в Кирайхиде не подтвердились.*

*Они представляют собой гнусную клевету, авторы и распространители которой будут привлечены к судебной ответственности. Подтвердилось лишь, что венгерский гражданин оскорбил офицерского денщика и по праву был на месте наказан за грубое насилие над солдатом нашей доблестной армии.*

*Командир императорского королевского пехотного полка № 91 полковник Шлягер».*

Одновременно в тех же газетах было опубликовано заявление Дауэрлинга, которому кадет Биглер придал нужный стиль. Оно гласило:

«Считаю своим долгом опровергнуть слухи о том, что я, Конрад Дауэрлинг, прапорщик императорского королевского пехотного полка № 91, являюсь чешским шовинистом и известным панславистским агитатором. По образу мыслей и действий я всегда был истинным немцем».

В тот же день он весело окликнул Швейка:

— Hören Sie, Швейк, Sie sind ein tschechiches Mistvieh![203]

XIII

— Послушайте, Швейк, нет ли у вас на примете какой-нибудь собаки? — спросил как-то утром Дауэрлинг, валяясь на походной койке.

Швейк отдал честь, но промолчал, ибо слово «собака» частенько срывалось у Дауэрлинга с языка, и подумал, а нет ли тут какого подвоха?

Дауэрлинг начал сердиться:

— Вас спрашивают, не попадалась вам какая-нибудь породистая собака? Собаку хочу! — повторил он с настойчивостью капризного ребенка, требующего новую игрушку.

— Осмелюсь доложить, собак кругом пропасть, побольше, поменьше, — ответил Швейк. — Вон, совсем недавно две мясниковы собаки обчистили кухню пятой роты.

— Да я разве про таких собак говорю? Мне бы породистую, фокстерьера там или бульдога. Породистую хочу! Сходи-ка, поищи!

Козырнув, Швейк исчез. Он пошел в город. Дорогой ему встретилось немало вполне подходящих собак, с которыми он заговаривал и по-чешски, и по-немецки, маня к себе, но ни одна не пожелала за ним следовать.

Счастье улыбнулось у моста через Литаву: за ним увязался тощий пес с заросшей мордой столь отвратительного вида, что его обходили стороной все собаки, бродившие вокруг консервной фабрики. За мостом пес втянул ноздрями запах из ресторанной кухни и ринулся туда, но тут же, отчаянно скуля, вылетел обратно и, ковыляя на трех ногах, скрылся в переулке, выходящем к реке.

Снова оставшись в одиночестве, Швейк вышел на центральную улицу. Навстречу ему попадалось много породистых собак, чаще всего на поводках, а те, что были без него, лишь презрительно оглядывались на манящее «Поди сюда!», преданно вышагивая у ноги хозяина.

Швейк зашел в ресторан «У голубого цветка», уселся в распивочной, заказал себе кружечку (в то время в Австрии еще было пиво) и завел разговор с одним солдатом, на рукаве которого тоже была красная нашивка, оповещавшая мир, что и этот служащий австрийской армии принадлежит к ее элите, то есть к офицерским денщикам.

Коллега Швейка был венгр; успев опрокинуть в себя несколько стопок сливовицы, он испытывал состояние блаженства и нежной любви к окружающим. Со Швейком он говорил на смеси венгерского, словацкого, немецкого и хорватского языков.

Швейк рассказал ему о поручении, пожаловавшись, что ничего подходящего пока не подвернулось.

— *Baszom az anyát*[204], — сказал венгр. — *Čo vraviš man muss stehlen, boga mi*[205], — и заключил: — Красть надо — и все тут, а то не видать тебе собаки как своих ушей. Ступай к виллам в пригороде по дороге к Нейштадту. Там по садам полно собак бегают. У моего хозяина собака тоже оттуда. Сперва кусалась, потом привыкла.

Как в гипнозе, вышел Швейк из ресторана, зачарованный волшебными словами: «Ступай к виллам... Там по садам...»

Вскоре Швейк убедился, что венгр говорил чистую правду: в роскошном, застроенном особняками квартале, где жило высшее офицерство и военные поставщики, каких только собак не бегало по зеленым газонам!

Возле одной виллы навстречу Швейку вышел огромный боксер. Швейк погладил его по голове. Боксер, подняв морду, обнюхал его и, дружески помахивая

вая остатком обрубленного хвоста, проводил к реке до самого парка.

Швейк разговаривал с ним и по-чешски, и по-немецки, и боксер, будто что понимал, то крутился рядом, то отбегал в сторону, возвращаясь с таким дружелюбным видом, что Швейк, заманив его в старый заросший парк, приступил к действиям.

То, что юридически называется похищением, практически выглядело так: сняв с себя ремень, Швейк надел его на шею боксера. Собака сопротивлялась, дико вращая глазами, но Швейк затянул ремень потуже — боксер, высунув язык, подчинился, имея лишь один шанс избежать удушения — поскорее следовать за новым хозяином.

Грустно оглянулся он назад, на родной квартал, где прошла его молодость: «Куда ты меня тащишь? Что замышляешь? Уж не собираешься ли сожрать меня?»

Швейк был с ним ласков и обходителен. Чего только не обещал — кости, ребрышки с кухни.

Он привел его к Дауэрлингу, который так и засиял, увидев собаку. Жалкий вид боксера ничуть его не смутил. Он спросил, как его кличка.

Швейк пожал плечами:

— Я его всю дорогу Балабаном звал...

— Дурак, — рассердился Дауэрлинг, — у такой собаки благородная кличка должна быть. погоди, придет Биглер, он у нас голова — пусть и придумывает.

Пришел Биглер, Дауэрлинг показал ему собаку: тяжело переживая новое рабство, она грустно лежала у кровати и жалобно скулила. Дауэрлинг пнул было ее ногой, но Биглер остановил его, заявив, что собака — не солдат, собака — из всех животных самое умное и достойное быть другом человека.

Воспользовавшись случаем, Биглер прочел целую лекцию о собачьих достоинствах, настоятельно подчеркивая, что нельзя обращаться с ними, как с какими-нибудь там австрийскими пехотинцами. Собака заслуживает любви и уважения и в отличие от солдата никогда не погрешит против *dienstreglement* [206]. Увы, находится еще немало тех, кто поминутно тузит свою собаку за малейшую провинность, не отдавая себе отчета, за что истязает бедное животное.

— Как ты думаешь, Швейк, почему они это делают?

Швейк долго думал и наконец ответил:

— Чего там, эта пакость только палки и заслуживает.

Оба взъелись на него, изругав так, что даже боксер на него заворчал. Схватившись, Швейк стал называть эту здоровущую взрослую псину «миленьким, хорошеньким, малюсеньким щеночком».

В конце концов Биглер предложил кличку «Билли», на что резко возразил Дауэрлинг, утверждая, будто имя это английское, а поскольку в ресторане даже бифштекса не закажешь из-за английского названия, то его собаке кличка Билли и подавно не годится. Лучше назвать ее Гинденбург.

Тут вспыхнул Биглер:

— Возьмите свои слова обратно! — кричал он, расценив это как страшное оскорбление немецкой нации.

Дауэрлинг немедля признался, что ляпнул это по глупости, есть за ним такой недостаток, он и сам знает.

Долго еще продолжался спор о том, как назвать собаку. В конечном счете

решили подобрать что-нибудь нейтральное, остановившись на кличке «Занзибар».

Биглер заметил, что недурно было бы выкупать пса, извозившегося в грязи, пока его сюда тащили.

— Я вернусь за ним через час, — сказал Дауэрлинг, — пойду куплю поводок и ошейник.

Однако он тут же вернулся:

— И не вздумай учить его чешскому языку, а то еще немецкий забудет, — строго предупредил он Швейка, — и ни по-чешски, ни по-немецки понимать не будет.

Опасаясь, как бы за время его отсутствия собака не забыла немецкого языка, Дауэрлинг ушел. Швейк вычистил Занзибара щеткой, короткая шерсть приобрела некоторый блеск. Шкура у него была грязно-желтого цвета и напоминала выгоревшее местами австрийское знамя. Занзибару, без сомнения, случалось участвовать в собачьих драках, о чем свидетельствовал шрам на голове, придававший ему сходство с каким-нибудь буршем.

Дауэрлинг принес из города красивый ошейник с гравировкой «Für Kaiser und Vaterland»[207]. Эпоха была столь великой, что патриотические лозунги писали даже на ошейниках.

— Занзибар должен привыкнуть к новому хозяину, — сказал Дауэрлинг, пристегивая поводок к ошейнику. — Пойду прогуляюсь с ним по аллее.

Для боксера продолжалось хождение по мукам. Дауэрлинг тянул его за поводок, пытаясь вытащить из казармы, а пес думал, что его ведут к новому хозяину. Это не укладывалось в его собачьей голове, и он восстал. Швейк изо всех сил помогал Дауэрлингу, и в конечном счете все трое выбрались на аллею.

Великолепная тенистая аллея военного лагеря в Бруке-на-Литаве стала свидетелем ожесточенного бунта. Занзибар явно не желал идти дальше, то и дело приходилось волочить его по земле. Более того: пес вошел во вкус, и временами казалось, что прапорщик Дауэрлинг, впав в детство, тянет за собой тележку. Вскоре развлечение наскучило боксеру; вскочив, он сам начал тянуть Швейка и Дауэрлинга за собой.

В это время по другую сторону луга, за гауптвахтой, проходил какой-то высокий чин с дамой, направляясь к фотографическому павильону. Увидев их, боксер замер, принялся, повернув морду в их сторону, и с радостным лаем через весь луг потащил за собой Дауэрлинга.

Лай привлек внимание дамы к происходящему на аллее. Посоветовавшись о чем-то со своим кавалером, она окликнула боксера:

— Мурза, Мурза!

Боксер понесся к ней гигантскими прыжками, увлекая за собой Дауэрлинга и Швейка, а спутник дамы позвал:

— Kommen Sie, Herr Fähnrich![208]

Мигом оказавшись у фотографического павильона, боксер стал радостно скакать, кладя грязные передние лапы на грудь то дамы, то военного.

Дауэрлинг побледнел: перед ним стоял генерал фон Арц, начальник лагеря в Бруке-на-Литаве.

Зубы у прапорщика застучали, заикаясь, он проговорил:

— Zum Behebefehl, Excellenz!

— Откуда у вас эта собака?

Дауэрлинг пробормотал нечто невразумительное, и тут Швейк, выступив вперед, как из шеренги, отдал честь и решительно начал:

— Осмелюсь доложить... — он внимательно посмотрел на фон Атца и осекся, не будучи уверенным в его чине, ибо познания его кончались полковником. — Осмелюсь доложить, не знаю какой генерал, это наша собака, я ее нашел.

— Она потерялась сегодня утром, — сказал фон Арц. — Ваша фамилия, господин прапорщик?

— Конрад Дауэрлинг, ваше превосходительство.

— Дауэрлинг, Дауэрлинг... — вспоминал генерал-лейтенант. — Ведь это вы были замешаны в кирайхидской истории, о которой писали в венгерских газетах? А теперь, значит, расхаживаете по лагерю с чужой собакой, принадлежащей вашему начальнику? Видно, делать вам нечего, а нам на фронте офицеры нужны. Раз у вас хватает времени на подобные скандалы, рота ваша определено обучена. Присоединим-ка мы ее к Двадцать второму маршевому батальону Семьдесят третьего пехотного полка. Получите взвод — и послезавтра на фронт. Остальное вам сообщат в полковой канцелярии.

Швейк тем временем отстегнул поводок счастливцу Занзибару; дама вытаскивала кошелек.

— Вы нашли собаку, — сказала она приятным голосом, — вот вам награда.

Швейк сунул в карман гимнастерки хрустящие двадцать крон, подумав, как все-таки выгодно красть генеральских собак.

Они побрели домой. Дауэрлинг шел притихший, понуро свесив голову. За ним на почтительном расстоянии следовал бравый солдат Швейк с поводком и ошейником.

Вернувшись в казарму, Дауэрлинг тяжело опустился на стул, а Швейк спросил, положив поводок с ошейником на стол:

— Осмелюсь побеспокоить, что прикажете, господин прапорщик?

Дауэрлинг поднял на Швейка тяжелый, укоризненный взгляд:

— Вот что, Швейк, погубил ты меня — так ступай теперь, ступай надерись на радостях, но сперва верни десять крон, которые я уплатил за поводок с ошейником.

— Слушаюсь, господин прапорщик, вот двадцать крон, с вас десять сдачи.

После его ухода Дауэрлинг еще долго сидел, уставясь в угол затравленным взглядом. За стеной денщик капитана чистил сапоги, напевая:

*Wann i'kum, wann i'wieda, wiedakum[209].*

Грустную песенку сменила частушка:

*Пушки грохнули чуть свет —  
голова была и нет.  
Неохота нипочем  
без башки шагать с ружьем.*

Дауэрлинг поглядел на ошейник, сверкавший надписью: «Für Kaiser und Vaterland».

Только так! Für Kaiser und Vaterland! Дауэрлинг тихо заплакал.

Он долго не мог успокоиться, а по лагерю уже ползли слухи, что Конрад Дауэрлинг, прапорщик 11-й роты 91-го пехотного полка, украл собаку у гене-

рал-лейтенанта фон Арца...

Тем временем храбрый солдат Швейк, выполняя приказ, сидел в гарраховском винном погребе у леса и опрокидывал стакан вина за стаканом, горлая, что отправляется на фронт.

#### XIV

Всю дорогу на передовую с маршевым батальоном Дауэрлинг строил из себя героя. Когда поезд шел по Венгрии, он все высовывался из вагона и с пафосом изрекал:

— Отличные места для позиций! Вот бы где повоевать!

На станции в Мишкольце он объелся груш, схватил расстройство желудка и просидел в уединенном помещении со сливным устройством до самого Липецкого перевала.

В Галиции его мужество, и без того подточенное грушами, стало убывать, дойдя до минимума на станции Самбор, зато аппетит вдруг разгорелся зверский. Он слонялся возле кухни и выклянчивал у поваров куски мяса, поучая, что пора урезать порции офицерам-резервистам, и без того им в армии вольготней, чем дома.

Более всего пекся он о личных запасах провизии на дорогу, вот и канючил в обозе сахар, а раз даже выпросил наполовину протухшую голландскую вяленую рыбу, предназначенную для рядовых.

Швейк таскался за ним с чемоданами, тяжелевшими по мере того, как Дауэрлинг закладывал туда все новый провиант. То кусок копченой колбасы тащил, то несколько банок кофе, да еще все подбивал Швейка стянуть где-нибудь консервы с супом.

Похоже, Дауэрлинг считал, что Австрия ведет войну исключительно с целью обеспечения его дефицитными продуктами. Нервы у него все больше пошаливали, как-то он даже обозвал «чешскими скотами» немецких солдат. У него в денщиках храбрый солдат Швейк испытал все муки, известные человечеству.

— Ах ты, подлюга, — говорил ему Дауэрлинг, — рассчитывал небось, что меня — на фронт, а сам смоешься? Ошибаешься, паразит! Думаешь, я отправлю тебя в часть, чтобы тебя там поскорей пристрелили? Нет, мерзавец, останешься при мне как миленький. Да я из тебя лучше ремней нарежу, но от меня ты не уйдешь! Я тебе ни днем, ни ночью передыху не дам, ты еще меня запомнишь. Что молчишь, дубина стоеросовая?

Храбрый солдат Швейк отдал честь и с улыбкой ответил:

— Так точно, господин прапорщик, вы мне теперь ни днем, ни ночью передыху не дадите, чтоб я вас запомнил, я так понял.

— Ты еще и смеяться, болван! — расшумелся Дауэрлинг. — Ну погоди, сам увидишь, куда нас теперь из-за тебя заткнут. Ладно еще гранаты и шрапнель над самой головой, так ведь на воздух, чего доброго, взлетим!

Дауэрлинга затрясло, как в лихорадке.

— Подумаешь, — неожиданно отозвался Швейк, — так точно, взлетим на воздух и конец. Ахнуть не успеем, господин прапорщик!

— Что делать-то, Швейк? — вдруг заскулил Дауэрлинг.

— Осмелюсь доложить, знать не знаю. Война есть война, на одного офицера с денщиком больше или меньше — для мировой войны никакого значения не имеет. Снаряд жажнет — и нет нас с вами, господин прапорщик!

Швейк снова улыбнулся, чтобы подбодрить Дауэрлинга, которого бил озноб в углу вагона.

— Я тебе еще покажу, где раки зимуют, — ворчал прапорщик, — я тебя, рожа, научу, как меня в окопы загонять.

Подсев к окну, он стал обозревать галицийские равнины, покрытые могилами и крестами, — путевыми вехами империалистической политики Австрии.

На одной станции миновали дерево, на котором висел крестьянин-русин и двое его детей, мальчик и девочка. Внизу болталась бумажка с надписью: «Spionen»[210]. Висели они уже долго, лица почернели. Повешенный мальчик смотрел в лицо сестричке.

Швейк буркнул, что детей-то, наверное, все-таки по ошибке повесили, за что Дауэрлинг съездил ему по физиономии слева и справа, в бешенстве заорав, что пора изничтожить всю преступную славянскую банду, чтобы мокрого места от нее не осталось, а когда они придут в Россию, он первым будет вешать детей, дабы стереть с лица земли все славянское племя.

Он до того остервенел, что слюна у него изо рта потекла прямо по мундиру. И без всяких там судов! Всех подряд на виселицу! Славян сперва вешать надо, а уж потом жалеть! В приступе безудержного героизма Дауэрлинг оплевал все окно.

Из окошка вагона открывался все тот же невеселый вид на сожженные деревни, вырубленные леса, покореженные окопами поля, и всюду кресты, кресты, кресты. Такой была вся Восточная Галиция.

В Каменце Дауэрлинг выпил коньяку и решил проверить, все ли консервы на месте. Спать он не мог сосчитать и трех банок и пошел по вагонам, размахивая казенным револьвером и грозясь расстрелять всех подряд. Вернувшись в свой вагон, он тут же уснул.

Спал и бравый солдат Швейк, а когда проснулся, они уже стояли за Каменцем, и за окном раздавался срывающийся звук трубы и команда:

— Все из вагонов!

У Дауэрлинга раскалывалась голова, его мучила страшная жажда. Все засуетились, перестали петь «Wann ich kum, wann ich kum, wann ich wieder, wieder kum».

Капрал выгонял солдат из вагонов и кричал, чтобы пели «Und die Russen müssen sehen, dass wir Österreicher Sieger, Sieger sind»[211]. Его никто не поддерживал. Ружья ставили в пирамиды, выстраиваясь вокруг.

Там, впереди, за холмами стоял гул пушек, за дальним лесом поднимался дым над горящей деревней.

Дауэрлинга вызвали на совещание офицеров рот и маршевого батальона. Капитан Сагнер сообщил, что ждет дальнейших приказов, так как железнодорожное полотно повреждено и дальнейшее продвижение невозможно. Ночью русские перешли реку и наступают на левом фланге. Много убитых и раненых.

Дауэрлинг не сдержался и вскрикнул, как будто ему на мозоль наступили:

— Господи боже мой!

Возглас был подхвачен громом канонады. Земля дрожала, и собравшиеся менее всего походили на героев.

Капитан Сагнер раздал всем карты и как командир маршевого батальона призвал офицеров строго выполнять его приказы. До сих пор нет известий, где находятся русские. Надо быть готовыми ко всему. Проинструктировать рядовых и быстро отслужить полевую обедню. Священника пригласить из 73-го полка.

Дальше капитана Сагнера занесло куда-то не туда: русские, мол, совсем рядом, скорей бы уже пришел приказ об отступлении.

Стояла тишина. Офицеры помалкивали, боясь неосторожным словом накликать из-под земли шеренги «землячков» со штыками.

В воздухе висела неопределенность. Наконец капитан Сагнер заявил, что в данном случае не остается ничего другого, как выставить «vorhut», «nachhut» и «seitenhut»[212], и на этом отпустил офицеров, чтобы через несколько минут собрать снова на полуразбитом вокзале.

— Господа, — торжественно обратился он к ним, — я совсем забыл: а троекратное «ура» в честь государя императора?

Раздалось «Hoch, hoch, hoch!», все разошлись по ротам.

Через час прибыл фельдкурат из 73-го пехотного полка. Толстый, пышущий здоровьем и неумемной энергией дядька так и сыпал шуточками и вообще, казалось, был настроен на варьете с непристойными танцами. Пока собирали походный алтарь, он обозвал всех помощников «свиньями». Его проповедь — разумеется, по-немецки — была посвящена тому, как это прекрасно и возвышенно — отдать жизнь за его величество императора Франца-Иосифа I.

Грехи всем были отпущены, оркестр заиграл «Храни нам, боже, государя», впереди пылали деревни, гремела канонада, а позади все было усеяно маленькими деревянными крестами, на которых ветерок изредка покачивал австрийские фуражки.

Прибежали вестовые от командира маршевого батальона, и раздались приказы выступать.

Канонада приближалась. На горизонте расплывались облачка от разорвавшейся шрапнели, гул орудий набирал мощь. Бравый солдат Швейк как ни в чем не бывало шел за своим хозяином с одним-единственным чемоданчиком в руках — остальные были забыты в поезде.

Дауэрлинг ничего не замечал, его лихорадило. Время от времени он прикрикивал на своих солдат:

— А ну, вперед, вы, свиньи, собаки!

И все грозил револьвером одному подагрику, старому ополченцу, страдавшему ко всему прочему еще и грыжей. За столь вопиющую провокацию его признали «kriegsdiensttauglich ohne Verbrechen»[213].

Это был немец, крестьянин из Крумлова, до которого никак не доходило, какое отношение имеет его грыжа к сараевскому убийству, хотя в армии ему внушали: самое что ни на есть прямое.

Он все время отставал, и Дауэрлинг безжалостно подгонял его, грозясь пристрелить на месте.

В конце концов подагрик остался лежать на дороге, а Дауэрлинг, пнув его ногой, бросил:

— Du Schwein, du Elender![214]

Канонада ширилась, грохоча уже по всему фронту — не только спереди, но и со всех сторон. Справа вдоль дороги поднималась над равниной пыль: ре-

зервные колонны двинулись на помощь передовым частям.

К Дауэрлингу подошел белый как мел кадет Биглер:

— Подмоги просят, — сказал он тихо, — придется идти.

— Осмелюсь доложить, — вмешался из-за их спин Швейк, — да они из нас фарш сделают.

— Тебя, дурак, не спрашивают, — огрызнулся Дауэрлинг. — Тебе бы только отделаться побыстрее и валяться где-нибудь на поле застреленным, рылом в землю, лишь бы ничего не делать. Это у тебя не пройдет. Добраться бы до укрытия, а там я тебе покажу, почему фунт лиха!

Они поднялись на вершину холма. Пришел приказ:

— *Einzeln abfallen!*[215]

— Ну вот и все, — сказал бравый солдат Швейк.

Похоже, он был прав. Равнина была изрыта траншеями, тянувшимися куда-то к лесу, где земляные насыпи повторяли ход окопов. В воздухе свистело и жужжало. Шрапнельные облачка плыли почти над их головами, издали доносилась ружейная стрельба и пулеметное «та-та-та-та-та!».

— По нас пуляют, — заметил Швейк.

— Заткнись!

Перед ними взметнулись из окопов дымные столбы, снаряды рвались с пронзительным грохотом.

— Я так думаю, — снова позволил себе Швейк, — им прихлопнуть нас охота.

Бросив на него тоскливый взгляд, Дауэрлинг полез в траншею.

Высоко над ними свистели пули; Дауэрлинг шел вперед, скрючившись чуть не до земли, временами даже казалось, что он ползет на четвереньках, хотя над ним была насыпь с метр вышиной.

— Береженого бог бережет, — бормотал он. — Пришел, видно, Судный день.

Словно в подтверждение его слов где-то совсем рядом раздался орудийный залп, и со стен траншеи посыпалась земля.

— *Ich bin verloren*, — заныл Дауэрлинг, как это уже бывало при Швейке, — *mein Gott, ich bin verloren!*[216]

Идущий по пятам Швейк пытался его утешить:

— Осмелюсь доложить, ну, сделают из нас лапшу...

По траншее они вышли в окоп, где как оглашенный носился командир роты поручик Лукас. Вокруг кишели солдаты, точно муравьи в заливаемом водой или разворошенном палкой муравейнике.

Солдаты были как полотно, офицеры и того бледней. С первого взгляда было ясно, что сердце любого из мужественных австрийцев в данный момент ушло в пятки. Каждое движение выдавало чистейшей воды трусость, с каждым взрывом кто-нибудь из офицеров кричал:

— *Decken, alles decken!*[217]

Стояла ругань, солдат кляли на чем свет стоит, а те совсем скисли: так ждет неминуемой порки мальчишка, снятый сторожем с яблони.

Лишь бравый солдат Швейк был спокоен. Улыбаясь, он наворачивал шоколад, еще в траншее извлеченный из хозяйского чемоданчика.

Оказавшись на переднем крае, они сменили пруссаков, которые не ели уже два дня и выпрашивали хлеб, но и у подмоги его не было.

— Австрияки проклятые! — напутствовали их прусские солдаты.

Рота за ротой маршевый батальон растекался по позиции. Раздался приказ занять места у бойниц, и офицеры, как скотину, погнали солдат к узким отверстиям, пересчитывая рядовых, отдавая приказы нижним чинам и ретируясь во всеобщей суете ко второй линии окопов, в недоступные для снарядов землянки.

Дауэрлинг шмыгнул в одну из ведущих под землю дырок за окопами. Когда Швейк зажег свечу, его хозяин бросился на дерновую лежанку и зарыдал. Почему — он и сам не знал, но плакал искренне, как заблудившийся в лесу или упавший в лужу ребенок.

— Осмелюсь доложить, — потревожил его Швейк, — вестовой прибыл от господина командира роты.

Дауэрлинг встал, вытер глаза рукавом и прочел приказ: «Срочно в officierspatrole[218] за проволочными заграждениями. Высота 278. Взять двенадцать солдат. Поручик Лукаш».

Лукаш был настолько ошарашен происходящим, что подписался по-чешски — «Лукаш», чего не делал со дня поступления в кадетский корпус.

Дауэрлинга даже трясти перестало. Не веря своим глазам, он уставился на слово «officierspatrole». Но приказ звучал однозначно.

Велев Швейку подать карту, он стал искать высоту 278. Найдя, подчеркнул синим карандашом, нацепил кобуру с револьвером, окинул землянку тоскливым взглядом и, вздохнув, приказал Швейку следовать за ним.

Швейк подхватил чемодан и пошел.

Явившись в свой взвод, Дауэрлинг спросил: есть ли добровольцы идти с ним в дозор.

Никто даже не шевельнулся. Обозвав всех трусами, Дауэрлинг стал назначать сам.

Тихо вылезли солдаты из окопов. Из лесочка впереди стреляли. Ни жив, ни мертв, Дауэрлинг приказал пробираться ложбиной. Идя за ним, Швейк выживал из чемодана шоколад и похрустывал им, ничуть не смущаясь. Глядя смерти в лицо, можно доставить себе такое удовольствие.

За их спинами из австрийских окопов стреляли по засевавшему в лесочке врагу, лесочек отвечал пальбой прямо-таки адской. Грохот стоял такой, что Дауэрлинг решил действовать немедленно.

— Швейк, — сказал он, — иди вперед, передай, чтобы шли вдоль леса налево вон в те заросли, а сам возвращайся.

Когда Швейк вернулся с вестью, что все в порядке и капрал Вейсс ведет патруль в заросли, Дауэрлинг немного помедлил, видимо, что-то обдумывая, а потом сказал:

— Знаешь что, Швейк, давай-ка влезем сюда, — и он показал на большую, похожую на овраг, промоину. — Ты хоть и скотина, Швейк, но я тебя люблю. Сослужи мне службу. На тебе револьвер, стрельни мне сюда, в плечо! Домой хочу. Кирайхид, собака генеральская, передовая, да еще офицерский патруль — уж больно всего много. Прострели мне плечо, а? И пусть меня так и найдут...

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, если я правильно понимаю, меня за это вздернут?

Дауэрлинг вздохнул:

— Ты прав, тогда тебе или виселица остается, или бежать. Правильнее бу-

дет, если ты убежишь. Позиции рядом, а с русскими как-нибудь договоришься.

Голосок у Дауэрлинга был почти ангельский, и говорил он довольно долго, но Швейк все это время стоял не двигаясь.

— Эй ты, скотина, — рассердился Дауэрлинг, — приказываю тебе стрелять в меня! Ты знаешь, что такое приказ?

— Разве что приказ... Слушаюсь, господин поручик! — козырнул Швейк. Отступив на несколько шагов, он вытянул руку, закрыл глаза — ибо никогда ничего подобного не делал — и выстрелил.

— Господи боже мой! — только и успел крикнуть Дауэрлинг и упал, вперившись в своего денщика неподвижным взглядом.

Швейк припустил ложбиной прямо к лесочку. Вбежав в него, пересек поляну, со всех сторон прошиваемую пулями, и вынул из кармана трубку. Закурив, медленно пошел к грудам земли, перед которыми блестели проволочные заграждения.

Из окопа вылезли два солдата в чужой форме, которой Швейк никогда еще не видел так близко, но понял по плоским фуражкам, что это русские.

Он остановился и закричал им:

— Друзья, я — Йозеф Швейк с Краловских Виноград!

И поднял вверх руки.

— Осмелюсь доложить, нас там всего-то маршевая рота, а резерва никакого.

Так бравый солдат Швейк оказался в плену. Дали ему и хлеба, и чаю, а на другой день отправили в часть наших добровольцев. Там он пробыл целый день, дождался, когда привели несколько пленных из его роты — тех, кто остался в живых после вечерней атаки русских на высоте 278.

Среди них оказался фельдфебель Зондернуммер. Его как подменили, на Швейка он смотрел с почтением, обращаясь к нему на ломаном чешском языке:

— Фи нам сделаль кароший вещь. Фи нам вчера састрелить каспадин прапорщик. Фон биль мертфый, а фи бежалъ и посфаль на нас русский зольдат, они нас разбить — айн, цвай... Herr Hauptmann Sagner[219], — добавил он чуть тише, — подаль на фас eine Strafenzeige. Adieu[220].

Так бравый солдат Швейк по ошибке совершил преступление против военной мощи австрийского государства.

И пошел бравый солдат Швейк в плен, повернувшись задом к империи и ее черно-желтому двухголовому орлу, у которого начали вылезать перья...

## У кого какой объем шеи

### I

В декабре 1866 года министр Беуст по приказу Франца-Иосифа разработал в Будапеште проект реконструкции кабинета государственной тайной полиции. В своей работе он руководился примером и образцом организации инквизиции арагонской короны в Каталонии. Таким образом, историю инквизиции после Морриля, Хуана Мартинеса и Томаса Торквемады заканчивают главные агенты пражской тайной полиции Снопек и Клабичек.

Итак, мы оказались в столетии, когда в Австрии все решалось мечом, виселицей и полицией. Агент Снопек был брюнетом. Клабичек — рыжим. Они всегда ходили вдвоем и вместе составляли какой-то живой черно-желтый флаг. Комиссар Клабичек, кроме всего прочего, добавлял еще к черно-желтому цвету красный нос, образуя таким образом вместе с комиссаром Снопек национальный германский флаг. По-научному это называется мимикрией, то есть приспособлением животного к цвету окружающей среды. С началом войны эти два современных инквизитора развернули большую деятельность. Иногда им удавалось в течение дня произвести около тридцати обысков в Праге и изъездить на автомобиле несколько сот километров. Они привезли Клофача из Высокого Мыта в Прагу, отвезли Крамаржа из Праги в Вену и сфотографировались вместе с трупом казненного Кратохвила у Пршерова. Они дополняли друг друга. В то время, как агент Снопек осматривал кальсоны подозреваемого супруга, агент Клабичек развлекал его жену. При этом они оба рассыпались в любезностях и мило улыбались.

В их улыбке таились одиночки полицейского управления на Бартоломейской улице, военный суд на Градчанах и несколько лет тюремного заключения.

К концу 1914 года я также удостоился внимания этой неразлучной пары, благодаря чему и возникло несколько детективных историй.

### II

Это случилось очень рано, когда все порядочные люди еще спят или идут спать. Неожиданно в моей квартире раздался электрический звонок. Затем кто-то сильно стучал в дверь ногами, кулаками и ругался. Брань возбудила мое любопытство.

Я подошел к двери и с деланным равнодушием спросил, что им угодно. Мне ответили знакомыми словами:

— Откройте именем закона!

Наступившую минуту молчания нарушил женский голос:

— Вас, сударь, спрашивает полиция.

— Доброе утро, хозяйшкa, — ответил я, открывая дверь.

В коридор ворвалась толпа подозрительных субъектов, среди которых я моментально узнал агентов Снопекa и Клабичкa. Трое агентов, одетых в штатское платье, остановились в коридоре и принялись рассматривать вешалку так, как рассматривают мексиканские бандиты генерала Карраса ветки дерева, — выдержат ли они пленников.

Агенты улыбались, и Снопек заговорил вкрадчивым, мягким голосом:

— Простите, что мы вас беспокоили и нарушили ваш сон. Вам известно,

однако, каковы наши служебные обязанности. Мы получили ордер на производство обыска. Надеюсь, вы не будете затруднять ни себя, ни нас и подпишете его. Я убежден, что никаких улик у вас не найдем. Если же вы не подпишете ордера, то мы произведем обыск без вашего согласия.

Тем временем агент Клабичек оказался уже в кухне. Я пошел за ним. Он стоял с заложенными за спину, как Наполеон, руками и сосредоточенно смотрел на плиту.

— Это печь, — пояснил я.

— Ах, — воскликнул он, — действительно, печь! Клейбер, — позвал он одного агента из коридора, — будьте любезны осмотреть печь.

Через четверть часа печь была разломана. Клейбер стал похож на грабителя, который попал в дом через дымовую трубу. Несмотря на это, он совершенно непринужденно разговаривал на политические темы.

— Вполне естественно, — говорил он, — подмаргивая мне, — что государство не может примириться с анархическими элементами. Поэтому вы не должны удивляться, если оно иногда прибегает к резким мерам.

Моя кухня начинала превращаться в бельгийский городок, который только что бомбардировали немцы. Всюду валялись кафельные плитки, кухонная посуда, ящики от столов, кастрюли, цинковая доска от ледника, который Клейбер разобрал с помощью молотка и щипцов. С доски для глажения печально свешивалось оторванное полотно. Из выломанных дверей кладовой вывалилось содержимое, словно на бое быков, когда после страшной борьбы рассвирепевший бык распорет брюхо бедной лошади. Маринованные грибы смешались с мармеладом, и агент Снопек, пробуя ложечкой из разбитой банки абрикосовое повидло, с улыбкой заметил:

— Мы обнаружили, что два года тому назад вы в кафе «Роял» играли на бильярде с адвокатом Савичем из Бани Луки.

Тем временем агент Клабичек разрубил пополам коробки консервов с сегединским гуляшом и, вперея свой взор в содержимое, полагал, что найдет в них что-нибудь, так как позавчера при домашнем обыске у одного политически неблагонадежного человека он нашел в консервах кусок швейцарской газеты «Цюрихер пост».

В то время, как мы весело разговаривали в кухне, два других сыщика по знаку агента Сливы направились в спальню. Агент Клабичек открыл еще банку шпрот и сардин в масле, и мы пошли в спальню.

Сперва я никак не мог ориентироваться, так как в спальне, казалось, разразился снежный ураган и засыпал все белыми клочками снега. Это агенты распороли перину.

Снопек с обычной улыбкой сказал мне:

— Не напоминает ли вам эта картина снежное поле, на которое тихо падает снег? Приблизительно неделю тому назад вот так же у одного редактора в Кладно мы распороли перину; агент Патличка при этом опрокинул бутылку с «Лесной водой», а рядом случайно граммофон заиграл «Рождество Христово», так не поверите ли, мы чувствовали себя, словно как на рождество!

Тем временем агенты распороли подушки и потрошили матрасы. С перьями смешалась морская трава, и мои кровати стали похожи на остатки разбитого корабля. Из умывальника вынули краны, зеркало на умывальнике отвинтили с целью посмотреть, не написано ли чего-либо на оборотной сторо-

не. Во время осмотра зеркало лопнуло, как лед на морозе, и вскоре вся столовая напоминала дом, в который только что ударила хвостом комета.

— Вы не можете себе представить. — сказал мне Клабичек, — сколько нужно затратить энергии для того, чтобы водворить в Австрии порядок. Поверьте, от этого можно поседеть.

Я этому охотно поверил, наблюдая, как они обращались с моей библиотекой: думаю, что даже немцы не обращались так с университетской библиотекой в Лувене.

Когда Снопек выбросил из моей библиотеки историю Палацкого, он иронически сказал:

— Вы это тоже читаете?

Клабичек сидел на большой куче книг и срывал с них переплеты, так как слышал когда-то, что известие о поражении у Ватерлоо проникло во Францию в переплете молитвенника маркизы де Миу.

Письменный стол для них не составил большого затруднения, Снопек ударил молотком, и замок отлетел, а верхняя доска стала изгибаться, как умирающий лебедь.

Большой интерес возбудило в Снопек письмо, пожелтевшее от времени, которое написал мой дедушка своей бабушке готическими буквами. Он прочитал также письма, которые писала мне моя жена и, осмотрев ее фотографию, спросил меня:

— Что это за жаба? — Затем добавил: — Удивляюсь вашему вкусу!

Письма и фотографии были вынесены в коридор, где один из агентов держал на цепочке моего Балабаша. грязного и возбуждающего сострадание пса. Впоследствии мне его возвратили совершенно остриженного, с выбритой спиной. Оказывается, они вспомнили, что когда-то, в Древней Греции, секретные сообщения писали на бритой голове посланца, и, когда у него снова отрасли волосы, он отправлялся по адресу. Потом его снова брили, читали написанное, обривали ему голову, писали ответ и ждали, пока у него вновь не отрастут волосы. Бедный Балабаш! Что же касается писем и фотографий, то, очевидно, толстощекий Карличек, сын полицейского инспектора Барнера, заведующего полицейским архивом, до сих пор забавляется тем, что составляет из них разные фигуры.

Когда колокола пробили двенадцать (в ту пору в Чехии еще были колокола), им удалось закончить разгром моей квартиры. Мы ходили по колена в бумаге, разорванных книгах, в обрезках кожи с мебели, в перьях, пуху и морской траве. Клабичек еще раз осмотрелся вокруг и, когда убедился, что уже ничего не осталось разбивать, пороть и мять, остановился у сундука с бельем, возле которого на полу лежало затоптанное, с отпечатками сапог, мое белье.

— Посмотрите, — сказал он победоносно, — а об этой коробке мы и забыли.

Он ударил по коробке, выброшенной из сундука. От удара она раскрылась, и из нее выкатились белые крахмальные воротнички.

— Посмотрите, воротнички! — воскликнул Снопек. — А нет ли у вас привычки что-либо записывать на них, как это делал содержатель одного ресторана в Кбелах?

Они долго выворачивали и рассматривали воротнички, и пан Клабичек как бы про себя сказал:

— Для нас эти воротнички были бы немножко малы размером. Моя шея

объемом сорок шесть, а у Снопика сорок четыре.

\* \* \*

Теперь я, правда, далеко, но с нетерпением ожидаю момента, когда вернусь домой и займусь изучением объема шеи полицейских агентов Праги.

## Школа для сыщиков

В начале войны в пражское полицейское управление пришло распоряжение из Вены о необходимости самым подробным образом информировать о политических делах агентов тайной полиции, чтобы они легче вовлекали граждан в неосторожные разговоры.

Пражские сыщики по части осведомленности в политических вопросах не были на высоте. Сыщик Завеский не знал, например, сколько политических партий в Чехии, сыщик Браун не отличал национал-социалиста от социал-демократа и по сие время полагает, что национал-социалист Трнобранский — социал-демократ, и, когда арестовал его, грозил ему по дороге, что полиция покажет-де социал-демократам, где раки зимуют. Сыщик Фабера неясно различал анархиста от агрария. Арестовав добродушного анархиста Каху из Жижкова, он сказал ему:

— Мы вас, аграриев, проучим!

У сыщика Сточеса было весьма туманное представление о слове «рескрипт». Он слышал в полиции только, что об этом говорят как о чем-то очень опасном — «рескриптная речь», «рескриптное совещание», — и, будучи послан однажды к такому энтузиасту рескриптов, принес в полицию белую бумажку с таким загадочным шифром: «Resorcini 0,5 gr, Aqua distil lata 300 gr. Dr. Samojed».

Несчастный сыщик спутал слово «рескрипт» с «рецептом» и в квартире политически подозрительного гражданина настойчиво потребовал:

— Именем закона, дайте сюда рецепт.

При покойном Кршикаве не обращалось внимание на то, чтобы как следует объяснить сыщикам значение битвы при Белой горе. А это было чрезвычайно важно, так как из-за нее время от времени отдавалось под суд немало людей. Начнется с Белой горы, а кончится в краевом уголовном суде в Праге. Это само собой понятно.

Однажды сыщик Когоут был послан в Бржевнов, чтобы там, после собрания в Гражданской беседе, пустив в ход тему о Белой горе, затащить кого-нибудь в тюрьму, на что он получил две кроны на пиво. Вернулся он не солоно хлебавши и в рапорте доложил, что показавшийся ему подозрительным посетитель на вопрос, каково его мнение о Белой горе, ответил, что от Бржевнова до нее ходьбы три четверти часа, а с Мотола ближе.

Сыщики в то время не могли похвалиться политическим образованием, и несколько раз случалось, что они доносили о важных преступлениях без всякого на то основания. Браун, например, донес на нашего швейцара, что он в день 50-летнего юбилея царствования Франца-Иосифа в кафе «Палата на Морани» вызывающе рассуждал об Эдисоне и о битве при Ватерлоо, чем произвел впечатление человека политически весьма подозрительного, а когда позднее, по дороге в полицейское управление, он, Браун, обратил его внимание на выдающийся день, швейцар ему ответил:

— Жалкий наемник, уж не думаете ли вы, что фонограф изобрел Франц-

Иосиф? Его изобрел Эдисон. Об этом вы могли бы вчера прочесть в «Политике».

Сыщик Фабера однажды донес на меня: я в одном винном погребе произнес речь о влиянии углекислого газа на пиво, подаваемое в буфете Венского парламента, и, между прочим, сказал, что в Вене должны понять, что, пока не будут всюду в Австрии употреблять бомб с углекислым газом, пиво не будет достаточно вкусным.

Как видно из этих мелочей, у пражской полиции в голове все перемешалось: социал-демократы, углекислый газ, бомбы, рецепты, рескрипты, Белая гора, Франц-Иосиф и Эдисон, анархисты, битва при Ватерлоо и аграрии, — и вследствие этого результаты их сыска были жалкими. Правда, такими политическими доносами удавалось то тут, то там наскрести обвиняемому какой-нибудь месяц тюрьмы с двумя постными днями, но это был очень тяжелый труд. Следственным органам было важно, чтобы человек, обвиняемый в подозрительных высказываниях, не сумел вывернуться, и это им часто удавалось, ведь каждый, подвергшийся без всякой вины следствию, нервничал, при перекрестном допросе путался и неосторожно выдавал себя. Но это был также тяжкий труд.

В начале войны произошла и здесь полная реорганизация. Агентов полиции необходимо было основательно посвятить в чешские политические вопросы, дабы они могли предложить населению вполне обработанный материал, то есть представить тому или иному гражданину на одобрение закругленную резолюцию, подрывающую устои австрийской монархии, и вслед за тем с восторгом провозгласить, как это делал обер-комиссар Хум: «Попался, голубчик!»

Такова история возникновения полицейской школы в Праге. Это отнюдь не было каким-либо высшим учебным заведением для изучения политических наук. Там только разрабатывали вопрос о том, как свалить Австрию, и тому подобные идеи, уже давно созревшие в сердцах чешских граждан.

Одна из комнат департамента полиции была предназначена для лекций. Составлено было следующее расписание:

*9–10 час. Почему Австрия должна распасться?*

*10–11 час. Какие доводы за то, чтобы чешские солдаты не воевали против сербов и русских?*

*11–12 час. Организация подпольных обществ.*

*12–1 час. Наиболее излюбленные оскорбления государя и членов императорской фамилии и другие неосторожные выражения.*

*После обеда 2–4 час. Наука об общей провокации и практические занятия по определению на глаз наказания за словесные оскорбления государя сроком от 2 до 15 лет.*

Эта блестящая программа занятий стала еще более привлекательной, когда слушателям было отпущено на письменные принадлежности по пятьдесят крон.

Для самых неуспевающих сыщиков были организованы дополнительные вечерние курсы. Все было продумано и приведено в систему.

Агенты полиции готовили уроки дома, в свободные часы, по тетрадям, где были записаны лекции.

В доме сыщика Брауна это вызвало целую панику. Пани Браунова, запла-

канная, ходила по своим знакомым и горько жаловалась:

— Я уж, право, не знаю, не сошел ли мой муж с ума. Весь вечер зубрит по какой-то бумажке, а потом вслух читает целые лекции: «Итак, господа, теперь, по истечении трехсот лет, наступил момент, когда мы должны отважиться. Австрия насквозь прогнила, и нам стоит только ее пихнуть, как она свалится». Я ему говорю: «Послушай, муженек, что ты там болтаешь? Ведь если это случится, ты первый лишишься хлеба». Он посмотрит, посмотрит на меня: «Ты, дура, ничего не понимаешь и в нашу политику не вмешивайся». И опять начнет ходить по комнате, читать вслух бумажки, да как крикнет: «От Белой горы до нынешнего дня мы молчали. Но теперь заговорим! Я, господа, ни в сербов, ни в русских стрелять не буду! Вы того же мнения? Позвольте вам представиться». Я только хожу да плачу. А он ругает меня, что я ему порчу речь. А недавно я ему прямо сказала: «Ради бога, Браун; смотри, тебя посадят». А он опять — что я ничего не понимаю, чтобы сидела и думала, будто нахожусь в трактире, где ведется политический разговор. И тут мне выложил, что наш все милостивейший государь император всей семьей изволил сделаться не то дегенератом, не то денатуратом — уж не помню, как он там сказал. И при этом он шепнул мне на ухо: «Создадим какую-нибудь подпольную организацию. Нас много. Сойдемся завтра здесь, и я вам объясню, как следует взрывать на воздух поезда. Согласны прийти? Разрешите представиться». Вот так и мучаюсь я со своим муженьком уж целую неделю, а вы, миленькая, пожалуйста, никому не говорите об этом денатурированном государе императоре. Больше всего мне жаль моего мальчика Эмиля. Совсем забыл про учение: сидит только и смотрит на папашу, как тот ходит по комнате и объясняет комоду о казнях на Староместской площади.

Эмиль действительно не спускал глаз со своего отца. Чем больше он за ним наблюдал, тем ему нравилось больше содержание речей папаши. Это был хороший мальчик, ученик первого класса гимназии.

Ввиду того что он был сыном сыщика, он принадлежал в гимназии к сливкам общества, которые сидели на партах с краю.

Он никогда не участвовал в беседах и спорах своих одноклассников, которые его презирали, кололи булавками, бранили.

Война, естественно, обострила дискуссии на партах. Эмиль по-прежнему молчал, когда сыновья призванных на войну рассказывали друг другу, как папаша перед отъездом обещал семье по возможности незамедлительно перебежать на другую сторону.

Как-то раз австрийцы взяли в плен где-то у Дравы около тридцати сербов. Официальное австрийское телеграфное агентство раздуло это в великую победу на сербском театре военных действий и озаглавило сообщение: «Австрийские войска взяли Драву».

Директор гимназии Кох, презренный австрийский прихлебатель, бегал из класса в класс и произносил перед учениками патриотическую речь, которую заканчивал возгласом: «Да здравствует государь император!»

Все были страшно довольны, так как благодаря этому прошел целый урок.

Войдя в первый класс, он повторил все то, что уже торжественно произнес в других классах. А именно: что Австрия сильна и как все мы должны быть счастливы, что государь император объявил войну, и что мы должны быть довольны, имея такого доблестного монарха, и закончил свою речь призывом

прокричать три раза «ура» габсбургскому роду, отечеству, императору.

Первоклассники заорали. Только стоящий возле самой кафедры Эмиль Браун не открыл своих детских невинных уст и не присоединил своего голоса ко всеобщему торжествующему реву. Директор подступил к нему:

— Ты что молчишь?!

Эмиль невинно, открыто глядя в глаза директору, ответил:

— Потому, что мы не считаем государя императора своим властелином. Мы, чехи, ничего доброго не видели под скипетром Габсбургов. Это говорит и читает каждый вечер папаша. А он должен знать: он служит в полиции. А недавно у нас была пани Фаберова и сказала мамочке, что в полиции пану Фабере дали бумажку с речью, и там написано, что мы должны наступить австрийской змее на горло. Папаша тоже недавно говорил, а я должен был представлять посетителей в трактире и повторять за ним, что австрийская династия — банда жуликов.

Когда школьный сторож с грозным письмом директора привел Эмиля домой и сыщик Браун услышал весть о предательском отроке, он неестественно засмеялся и закричал:

— Наша система себя оправдывает! Эмиль Браун, именем закона вы арестованы.

И, не внимая плачу и причитаниям жены, повлек обезумевшего сына в полицейское управление, колотя его по дороге и приговаривая:

— Мы вам, социалистам, покажем!

Таковы были агенты полиции старой Австрии. Эти бруты были воспитанниками школы для сыщиков.

Посадив своего сынка, Браун вернулся домой и, дико вращая глазами, обратился к жене:

— Признайся, что ты веришь в дегенерацию австрийской династии?

Несчастливая кивнула головой в знак согласия.

— Именем закона вы арестованы, пани Браунова, — произнес он торжественно. Однако, ввиду того что это была все же его жена, он отвез ее в полицейское управление на извозчике.

Вечером он отправил из своего дома в полицию свою старую глухую тетку, принудив ее подписать, что она состоит в подпольной организации, принимавшей участие в убийстве Фердинанда д'Эсте в Сараеве.

На другой день Браун отлично выдержал у Клабичка экзамен в полицейской школе.

Эмиля, принимая во внимание его возраст, осудили на три года; пани Браунова, ввиду разных смягчающих обстоятельств, была осуждена на пять лет, а глухая тетя — на восемь.

Но все это пустяк по сравнению с тем количеством лет, которые были присуждены благодаря профессиональному политическому образованию Брауна целому ряду людей из разных районов Праги за три года войны. Он в общей сложности нагнал своим жертвам 1200 лет тюрьмы.

## Двадцать лет тому назад

### I

Ровно двадцать лет тому назад в прекрасной статье «К немцам Австрии», помещенной в «Нее фрейе прессе»), профессор Момзен призывал немцев разбить твердые чешские головы. Австрийский парламент стал свидетелем кабацких сцен. Пьяный депутат Шенерер дрался, и кто-то вылил на него стакан воды. В пятницу 26 ноября самым деликатным ругательством, которым пользовались немецкие депутаты при обсуждении вопроса о равноправии языков, было «скотина». В президиуме произошла самая настоящая драка. Президенту Абрагамовичу чуть было не разбили голову тяжелой металлической чернильницей, что было принято за остроумную шутку. Полиция вывела из парламента двенадцать депутатов.

Когда император Франц-Иосиф возвращался от эрцгерцогини Валерии фон Вальзее во дворец по Мариахилферштрассе, среди публики раздался свист. Немецкие газеты писали, что свистели чешские рабочие, что было совершеннейшей правдой.

Император велел позвать к себе барона Гауча и сказал ему, что граф Бадени должен покинуть политическую арену, так как он славянин и благожелательно расположен к чехам.

Так пал граф Бадени. Немцы тут же устроили торжественные манифестации, зажгли фейерверк и напоследок сожгли дома чешских хмелеводов в Жатце и переломали мебель в чешских домах в Мостецком и Духцовском районах, чем придали особо благородный характер своим проявлениям восторга.

На пражской улице Пршикопы провоцировали бурши, пришедшие сюда из немецкой студенческой столовой через Вацлавскую площадь с пением «Wacht am Rhein».

В Праге вспыхнули антинемецкие беспорядки. Прага сразу была очищена от немецких надписей.

1 декабря 1897 г. в Нуслях сторел забор немца Плешнера, произошли столкновения между народом, войском и полицией, были сорваны орлы и выбиты окна в государственных зданиях.

2 декабря барон Гауч объявил Прагу на военном положении, жертвой которого я стал. Это было прекраснейшим днем в моей жизни.

Мне было тогда пятнадцать лет...

### II

Гимназистом я был очень любознателен, что позже, к счастью, прошло. В гимназии на Житной улице нас было таких двое. Кроме меня, во всей гимназии естественными науками занимался еще преподаватель Гансгирг. Оба мы интересовались минералами. Преподаватель Гансгирг имел на своем попечении коллекции минералов: я ему собирал минералы, а он с необычайной любовью делал на них срезы.

31 ноября он позвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Милый мальчик, во Вршовицах, на улице Палац кого, открылся магазин школьных пособий по естествознанию Гафнера. Несколько дней тому назад я заказал там для нашего кабинета коллекцию кремней, за которые уже заплатил и получил квитанцию. На тебе квитанцию, зайди туда, пожалуйста, забе-

ри и принеси эти кремни. Будь осторожен: на улицах не спокойно.

В одиннадцать часов пришел директор и объявил, что ученики распускаются по домам. О возобновлении занятий будет объявлено в газетах, когда кончатся беспорядки.

Настали дни раздолья. Вечером 31 ноября я выбил окна в немецком театре и во многих других домах. 1 декабря я опять выбил ряд окон и помогал поджечь забор г-на Плешнера, за что должен еще получить с него пятьсот крон, так как он объявил в газетах, что тот, кто укажет на след преступника, будет награжден этой суммой. (Я носил туда бутылки с керосином. Ваши сырые доски, господин Плешнер, никак не разгорались.)

Чувствовал себя я, как в раю. От плешнеровского забора я пристал к толпе, которая собиралась разгромить Нусельский полицейский участок. Еще по сей день слышу, как какой-то пожилой господин в цилиндре, подавая мне кирпич, говорит добродушно: «На-ка тебе, мальчик, кинь этот камень в орла».

В Нуслях было скучно, так как громить было нечего: там никаких немцев нет. Потащились мы потом в Михле к немцу-помещику. Поджечь стог мне уже не пришлось: меня опередили более взрослые, о чем я до сих пор еще жалею. Но надеюсь когда-нибудь вознаградить себя за это.

Ночью мы вернулись в Прагу. Толпе, к которой я опять пристал, уже почти не оставалось никакой работы. Не везло мне. Громить было нечего, все, что имело хоть сколько-нибудь общего с государственными учреждениями и немцами, было разгромлено. Дворец Эренталей тушили, и мы должны были ограничиться разрезыванием пожарных кишок. Здесь я сломал перочинный нож. В Смечках я участвовал в погоне за одним буршем, который спрятался в подвале, где его позднее линчевали. Там была свалка, и я не мог добраться, о чем я до сих пор сожалею, но рассчитываю когда-нибудь вознаградить себя и за это.

На Карловой площади была протянута проволока. Драгуны падали с лошадей; в них кидали камнями, я помню, что попал одному поручику в голову, он, правда, не упал, но повернул лошадь и убрался восвояси.

Домой я вернулся поздно, отговорился тем, что повторял с товарищем по классу Валиком геометрию и греческий, что улицы были оцеплены и я должен был вернуться и ждать, пока все не успокоится.

На следующий день, 2 декабря, Прага была объявлена на военном положении. Первое известие об этом принес швейцар, но он несколько перепутал и сообщил, что в Праге объявлено государственное право![221]

— Наконец-то, хоть чего-нибудь добились! — сказал он радостно.

Наш швейцар был оптимистом чистейшей воды.

Я вспомнил, что у меня есть и другая обязанность, кроме выбивания стекол и бросания в драгунов камней (к чему, вероятно, меня привела моя страсть к минералогии).

Итак, еще до обеда я отправился во Вршовицы к торговцу минералами, господину Гафнеру, получить купленную преподавателем Гансгиргом коллекцию камней и одновременно посмотреть, что делается на улицах и нельзя ли случайно еще где-либо выбить какому-нибудь немцу окно.

Но я был разочарован. Объявленное швейцаром «государственное право» оказалось, согласно официальным объявлениям, «военным положением». Перед объявлениями стояли лишь по два человека, ибо, как только собирались

трое, полицейский разгонял их, придерживаясь латинской пословицы: «Tres faciunt collegium»[222]. У Гафнера я скоро освободился. Он дал мне кремни нескольких сортов для школьной коллекции минералов, которые я рассовал по карманам пальто, и пошел домой.

На Клицперовой улице на Виноградах стоял конный кордон 73-го полка, недалеко от кордона вызывающе теснилась небольшая толпа из Вршовиц.

Как раз в это время проезжал по улице Палацкого конный полицейский патруль. Кто-то из толпы бросил камень в стоявший кордон. Клянусь, это был не я.

Полиция въехала в толпу, произошла суматоха, и не успел я опомниться, как оказался один посреди улицы, окруженный конной полицией.

Ко мне подбежал пеший полицейский и ощупал мои карманы. Прежде чем я смог ему объяснить, что дело идет о коллекции минералов, кольцо верховых полицейских вокруг меня сомкнулось, и двадцать четыре верховых полицейских повели в участок пятнадцатилетнего гимназиста.

Моя маленькая фигурка терялась на мостовой между лошадьми. Я казался цветочком среди крапивы.

Вокруг эскадрон защитников «порядка», а посреди юноша благородной наружности с невинными детскими глазами, открытым лицом и с карманами, переполненными всевозможными кремнями.

Лица всех двадцати четырех сияли. Было видно, что они нуждаются в успехе для того, чтобы показать себя во всей красе.

Прохожие останавливались, любовались эффектным зрелищем, кое-кто делал замечания. Слышал я, как один немец, осмелев, зашипел: «Aufhängen!» [223], — и как одна женщина сострадательно заметила другой:

— Он уже не жилец на белом свете, раз военное положение.

А от одного почтальона, проходившего по Спальной улице, я узнал интересную подробность о себе:

— Это тот, что стрелял во Вршовицкую казарму.

За нами повсюду следовала толпа любопытных. Эскадрон двигался по Фердинандовому проспекту к полицейскому управлению. Двадцать четыре верховых полицейских захватили пятнадцатилетнего гимназиста.

### III

В полицейском управлении меня допрашивал пожилой господин с очень строгим лицом. Он начал собственноручно вытаскивать из моих карманов минералы и при каждом новом экземпляре победоносно спрашивал:

— А это не камень, а что это такое?

Я отвечал:

— Это горный хрусталь, это морион, это халцедон, это черный оникс, это агат, это зернистый халцедон, а это сердолик.

Строгий господин выпрямился, закрутил усы и грозно произнес:

— И за этот хрусталь, морион, халцедон, оникс, агат и сердолик полагается расстрел и веревка, на то и военное положение. Хваловский! Отвести его!..

Меня отвели в одиночку с соломенным тюфяком.

Через несколько часов дверь открылась, и в ней появился полицейский, старик добродушной наружности.

— Послушайте, — сказал он дрожащим голосом, — завтра вы будете расстреляны. Предстанете перед военным судом. Родители есть?

Я ему ответил, что охотно написал бы им несколько слов, и спросил, нет ли у него карандаша и клочка бумаги.

Он вынул записную книжку, куда я вписал адрес моих родителей и следующее письмо: «Дорогая мамочка! Завтра не ждите меня к обеду, так как я буду расстрелян. Господину учителю Гансгиргу скажите, что у Гафнера во Вршовицах продается прекрасный аметист для школьной коллекции, а полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Когда к нам придет мой товарищ Войтишек Горнгоф, скажите ему, что меня вели двадцать четыре полицейских. Когда будут мои похороны, еще неизвестно».

Прочтя эту записку, добродушный, поседевший на государственной службе полицейский прослезился и исчез.

Через полчаса меня повели на допрос к полицейскому советнику Оличу.

На его столе лежало мое письмо к родителям. Добродушный Олич дрожащим голосом спросил меня:

— Так как все это произошло, мальчик?

Когда я ему все подробно рассказал, советник Олич, рассматривая минералы, заметил:

— У меня дома тоже есть коллекция минералов. Под Турновом и под Ичином я собрал в прошлом году во время отпуска множество агатов и халцедонов. Всуньте эти камни обратно в карман и можете идти домой.

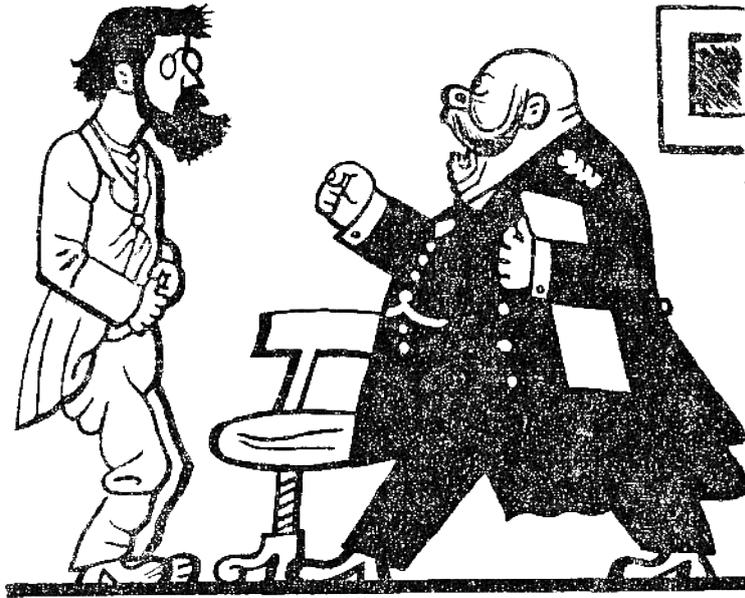
#### IV

Недавно я прочел, что один шестнадцатилетний гимназист приговорен за участие в последней демонстрации в Пльзене к четырнадцати годам тюрьмы.

Меня же, пятнадцатилетнего правонарушителя, двадцать лет тому назад хотели расстрелять.

«Богемия» права, когда жалуется, что полицейский режим в Чехии сегодня все же ослабел.

## Разговор с горжицким окружным начальником



**Б**оюсь, как бы горжицкий окружной начальник на меня не прогневался. Но что поделаешь! Напиши я, что дело было в Колине, Кутной Горе или Чешских Будейовицах, обиделись бы тамошние окружные начальники. Но всей Чехии и Моравии они, за малым исключением, похожи друг на друга, как родные братья, разве что у одного брюшко побольше, а у другого поменьше. Итак, займемся сегодня окружным начальником из Горжиц.

\* \* \*

Горжицкий окружной начальник вызвал к себе редактора местной газеты. Накануне вечером он небрежно сказал своему чиновнику:

— Завтра в десять утра доставьте ко мне этого редактора.

Ночью полицейские вытащили редактора из теплой постели и отвели в участок. В десять часов утра его препроводили в кабинет окружного начальника. Перепуганный редактор был без воротничка (ночью ему не дали много времени на сборы) и придерживал брюки, так как подтяжки у него отобрали, чтобы он не повесился. У него был вид человека, сорвавшегося с виселицы.

Окружной начальник стоял перед ним, как воплощенное могущество, и с высоты своего величия грозно взирал на ничтожного червяка-редактора.

«Боже мой, — подумал редактор, косясь на огромный живот окружного начальника, затянутый в форменное сукно с блестящими пуговицами, — если он с разбегу притиснет меня к стене, я буду раздавлен, как букашка».

А начальник все еще сверлил глазами редактора, понимавшего, что этот взгляд означает: «Ты в моей власти, червяк, прихлопну — и нет тебя».

Это была борьба двух миров. Борьба государственности с ничтожеством. Борьба слона и козявки... Козявка — вот оно, то нужное слово, которое искал начальник.

— Вы козявка, пан редактор! Что вы там написали в последнем номере своей газеты под рубрикой «Советы и указания заботливым хозяевам»? Чего стоит вот этот ваш перечень лучших сортов фруктовых деревьев? Из яблонь вы рекомендуете зимний «золотой пармен» и пишете, что во Франции он называется «рен-де-ренет». Потом рекламируете «бель-де-боскоп» и «фондант-де-буа» — «лесную красавицу». Потом американскую грушу «айдаго» и

английскую «уайльдер-эрли». Это же государственная измена! А почему вы рекомендуете французскую сливу? Нам все известно, господин редактор! Вы рекламируете также зеленый ренклод «Вашингтон» американского происхождения. Характерно, что вы умалчиваете об австрийских сортах. Почему вы не пишете, как хороши тирольские яблоки? А потому, что про себя вы думаете: «Да провались они совсем, эти тирольцы». Ибо это народ, который готов жертвовать жизнью за нашего всемилостивейшего монарха. Почему вы не рекомендуете «кассельский ренет»? Потому что знаете, что Кассель — немецкий город, а вы хотите поражения нашим немецким союзникам. Поэтому-то вы игнорируете и «гравенштейнскую яблоню», ибо девиз гравенштейнских гусаров гласит: «Für Gott, Kaiser und Vaterland»![224] Разумеется, вам не нравится слива графа Альтана, — ведь граф Альтан был австрийским генералом, а у вас одно на уме: черт бы побрал всех австрийских генералов, вместе взятых. Поэтому, повторяю, вы рекомендуете французские и американские сливы, английские груши и яблоки и хотите, чтобы ваши читатели только и думали: «Когда же наконец Франция, Америка и Англия намнут бока Германии и Австрии?»

Прочтите внимательно свою статью «Какие почвы хороши для отдельных разновидностей ячменя?» Вы пишете, что в Чехии лучше всего возделывать французский сорт, так называемый «шевалье». Стало быть, Чехия и Франция! Отлично! Понимаем, в чем тут дело, да и всякий поймет. В статейке «Любителям цветов» вы рекомендуете красные, синие и белые пеларгонии, то есть запрещенное славянское трехцветие. А что означает ваша заметка «Чилийская селитра — лучшее удобрение для картофеля»? Уж не хотите ли вы лишить нашу империю важнейшей составной части пороха? «...При посадке картофеля на тощих почвах селитру можно засыпать прямо в ямки...» Мы вам посадим! Мы вас проучим, молодой человек! А это что за фраза: «...Подмороженные фрукты надо быстро использовать, так как они легко загнивают и покрываются плесенью...» Мы отлично понимаем, кого вы разумеете под гнилым фруктом. Вы подрываете основы, милостивый государь! О том, как действуют ваши статейки, свидетельствует вот это письмо полицейского вахмистра из Воданча:

«Осмелюсь обратить внимание императорско-королевской окружной канцелярии на статью в «Горжицких новостях» «Использование квасцов». Там написано: «...Иногда на крыжовнике и смородине появляется множество маленьких гусениц, которые в несколько дней могут уничтожить все листья и плоды». В нынешние трудные времена подобная фраза может возбудить панику в нашем садоводческом крае, и я полагаю, что за нею скрываются определенные политические цели.

В этом же номере есть заметка «Как откипятить пожелтевшее белье», а сразу под ней «Коротко о производстве чернил». Сочетание этих двух цветов каждому бросается в глаза и явно имеет целью выставить в смешном виде черно-желтое знамя империи.

Вообще газета лишена всякого патриотизма и лояльности. В заметке «Мокрая обувь» есть фраза: «Сняв мокрую обувь, лучше всего наполнить ее сухим овсом». Позволю себе указать, что это — прямое подстрекательство к уклонению от реквизиции овса...»

— Вот каковы дела, милейший! Сами видите, куда вы катитесь.

Окружной начальник умолк и уставился на козявку-редактора. Это была

страшная минута, когда слон мог раздавить несчастного пигмея. Но слон переступил через него. Окружной начальник открыл ящик стола и, вынув оттуда пачку листов, торжественно вручил ее редактору.

— Верноподданнические и лояльные чувства должны воодушевлять каждую вашу статью. Я составил здесь несколько хозяйственных советов и указаний, вполне созвучных моменту. Они должны появиться в следующем номере. Можете идти.

Дома смятенный редактор развернул статьи и прочел:

«Дешевый предсказатель погоды. Повесьте на стену открытку с портретом всемилостивейшего монарха. Вбейте ему в голову гвоздик. На гвоздике укрепите короткую нитку, к ее свободному концу подвяжите небольшой пучок цыплячьего или гусяного пуха, окрашенного в черно-желтые цвета. Отметьте черточкой на открытке место, где находится пучок. Если предстоит хорошая погода, пучок поднимется к самому носу его величества императора. Если будет дождь, он опустится ниже, чем был».

«Дешевый воск для прививок к дичку черенков можно приготовить из 50 граммов еловой смолы и 250 граммов говяжьего жира. Смешайте в растопленном виде, прибавьте 26 граммов густого скипидара и помешивайте до тех пор, пока не пропоете дважды наш австрийский гимн».

«Чтобы молоко летом не скисало, положите в него листок дикорастущего хрена и трижды возгласите славу нашему обожаемому монарху».

Прочитав это, редактор взял желтую веревку и повесился на черной печной трубе.

## Идиллия в Мариновке

**В** Мариновке было несколько пленных австрийских офицеров, завязанных австрофилов. Говорили они между собой исключительно по-немецки. В город их не отпускали, и вот, заброшенные, под конвоем дюжины солдат-татар, они ждали смерти императора Франца-Иосифа. От нечего делать капитан Трейделенберг нарисовал девицу в рыцарских доспехах с мечом в руке и австрийским орлом сзади. Взгляд у нее был до того скорбный, что приходивший по вечерам солдат — проверить, все ли на месте, всегда крестился, глядя на нее, — очевидно, принимал за икону.

Под картинкой была подпись: «Heil, Grossösterreich!»[225]. Вскоре, правда, картинку пришлось снять, так как она стала средоточием большого количества клопов. Эпизод этот внес кое-какое разнообразие в жизнь офицеров.

Разнообразие внес и уход от них повара-чеха из 8-го полка ополчения. Он никогда не отличался разговорчивостью, а тут взял и ушел в чешские легионы. Событие вывело их из равновесия.

Капитан Трейделенберг заявил, что когда доберется до него в Австрии, то повесит собственными руками по нескольким причинам — за то, что повар изменил отечеству, и за то, что теперь неизвестно, кто будет им варить кнедлики и печь булочки.

Так и протекала их жизнь в тоске и унынии. Поручик Бергенгольд потехи ради написал через Красный Крест в Австрию с просьбой прислать какое-нибудь развлекательное чтение. Через несколько месяцев пришла посылка с такими книгами: «Über die asiatische Cholera», «Die Heilquelle und das Klima in Pfalz», «Das Wochenbett und die physische Erziehung der Kinder in den ersten

Jahren», «Dogmatische Predigten»[226], и комплект журнала венских шляпников за два года.

Это было такое занимательное чтение, что инициатора две недели не замечали, с ним не разговаривали, а капитан Трейделенберг собрался вызвать его после войны на дуэль.

И тут эту отчаянную скуку разрядило известие о смерти императора Франца-Иосифа.

— Ну на конец-то, — вздохнул капитан Трейделенберг, с большим трудом, по слогам, прочитав об этом в русских газетах.

Скептически настроенный подпоручик Валашек заметил, что пока не стоит об этом говорить, возможно, это обычная газетная утка. Но когда прочли сообщение о похоронах, капитан Трейделенберг не выдержал и воскликнул:

— Как я рад, что это правда. Теперь нам предстоит обсудить это событие. И я, господа, приглашаю вас сегодня после обеда на собрание, на котором мы обсудим и решим, как должным образом отпраздновать событие, то есть, я хотел сказать, как нам на него откликнуться. Прошу, господа, привести в порядок мундиры и почистить сапоги.

И они отправились на собрание. Глаза светились радостью, — наконец-то хоть что-то вместо ужасной скуки! И когда заговорил капитан Трейделенберг, лица приняли приятное выражение.

Капитан Трейделенберг начал многозначительно и удачно:

Из-за смерти императора Франца-Иосифа мы оказались, как я бы сказал, в комичной ситуации, ведь нам следовало бы воскликнуть: «Король умер, да здравствует король!», потому что — чего нам заниматься трупом, я хотел сказать — покойником, вы меня понимаете. Я думаю, что мы поступим лучше всего, если через покойника перейдем к повестке дня, потому что я никакой не оратор. От нас зависит, как мы отпразднуем это радостное, я хотел сказать — комичное известие, как договоримся вести себя в этом несчастном случае, чтобы продемонстрировать, что даже в плену мы не забыли о нем, и мы, я бы сказал, телом и душой рядом с его телом как австрийские патриоты и офицеры. Прошу вносить предложения.

Слова попросил поручик Бергенгольд, тоже оправдываясь, что он не оратор. Он выразил удивление, что капитан Трейделенберг, собравший всех на собрание, не предложил, как следовало бы отпраздновать событие. А то он очень умный, что можно было заметить вчера.

— А что можно было заметить вчера? По-моему, это к делу не относится, — отозвался капитан.

— Тогда скажите мне, пожалуйста, куда вы дели мою зубную щетку, которую взяли у меня? Куда вы ее засунули, а потом ко всем приставали, не видели ли они ее? Так и с покойным всемилостивейшим монархом. К чему вы притянули его труп, а теперь не знаете, что делать?

Капитан Трейделенберг ударил себя в грудь:

— Господа, я вижу, вы взволнованны. Как может поручик Бергенгольд в эту торжественную минуту говорить о таких сугубо личных вещах, которые больно затрагивают любого из нас. Ну на что бы это было похоже, если б я сейчас начал выяснять, куда поручик Бергенгольд дел мою банку с гуталином, которую во вторник взял из моей комнаты!

— Это какая-то ужасная ошибка, господа, я никакого гуталина у господина

капитана Трейделенберга не брал, это сделал прапорщик Раумер, который курит мои сигареты и вообще паразитничает.

Прапорщик Раумер встал, побледнел и нервно произнес:

— Я попрошу!.. Я требую удовлетворения, как того заслуживает моя оскорбленная честь!

Капитан Трейделенберг вытер пот со лба и заговорил примирительным тоном:

— Господа, неужели вы способны ссориться в эту прекрасную, я хотел сказать — скорбную минуту, когда вся Австрия плачет, конечно, плачет...

Поручик Бергенгольд перебил его:

— Разрешите, — и, повернувшись к бледному прапорщику, спросил: — Ты хочешь получить удовлетворение прямо сейчас или после войны?

Он сказал это таким свирепым голосом, что прапорщик прошептал:

— После войны.

— Господа, — заговорил капитан Трейделенберг, — я предлагаю продолжить. Поскольку не поступило никаких конкретных предложений, я предлагаю, чтоб в доказательство этого несчастья мы носили на правом рукаве черную повязку, которая будет свидетельствовать о нашем патриотическом образе мыслей. Кроме того, мы должны присягнуть на верность новому государю, что можно будет сделать завтра после обеда.

— Все это прекрасно, — возразил подпоручик Клаузнер, — а как зовут нового государя?

— Чтоб не забыть, нового государя зовут Карл. Предлагаю провозгласить ему славу.

— Пардон, закричал старик Аренс, майор, — кому вы хотите кричать «ура», если даже не знаете, который это будет Карл по счету! Карл Первый или Карл Шестой? Вот вы собрались присягать. И что? Присягнем Карлу Шестому, а он, к несчастью, окажется Карлом Первым. Получится, мы изменники, я бы в таком случае сразу застрелился. Ничего себе сюрприз вы хотите мне подстроить.

— Нам, в конце концов, неважно, который он Карл, — заметил капитан Трейделенберг, — слава богу, есть чем развлечься, я хотел сказать — заняться. Я еще раз предлагаю провозгласить славу Карлу, не все ли нам равно, какой Карл будет императором? И повязать на правую руку черную повязку в доказательство нашей скорби по поводу смены на троне. Кто против?

Руку поднял один лишь майор Аренс и упрямо заявил, что не может кричать «ура» черт знает кому. А насчет черной повязки он не возражает, но хочет обратить внимание, что с этим следует подождать, пока не придет официальное распоряжение из военного министерства через посредство Красного Креста.

\* \* \*

Однако не так-то просто было носить черную повязку в лагере военнопленных в Мариновке, поскольку в город их не отпускали, а больше негде было взять материала на повязки.

Тогда к начальнику лагеря была послана депутация в составе поручика Бергенгольда и прапорщика Раумера, немного говоривших по-русски.

Когда они сообщили капитану Шувалову, что умер австрийский царь, капитан сперва сказал:

— Ничего не понимаю.

А потом, чтоб отвязались, сказал, что воскресить он им его не сможет.

— Франц-Иосиф очень карошая австрийская царь, — объяснил поручик Бергенгольд, — очень карошая, и, как помери, нам нада сем аршин черной полотно.

— Не понимаю, ничего не понимаю, — ответил капитан Шувалов, и прапорщик Раумер продолжил:

— Франц-Иосиф тот[227], пожалуйста, сем аршин черной полотно, великая парь, сем аршин черной полотно.

— Идите с богом, какой с вами разговор, — приветливо сказал капитан Шувалов, пожимая плечами, и, повернувшись к конвоиру, приказал:

— Отведи их в их казарму, помешались они, что ли.

— Слушаюсь, ваше благородие!

На этом аудиенция кончилась.

По дороге назад конвойные хлебнули горя с этими двумя офицерами. Оставливаясь перед каждой лавкой, они твердили:

— Франц-Иосиф тот, пожалуйста, сем аршин черном полотно, великая царь, сем аршин.

— Иди! — заорал на него сопровождающий. — Иди, что с вами такое? Какая вы сволочь вместе с вашим царем!

— Пожалуйста, Франц-Иосиф помери.

— Хорошо, черт побери вашу губернию, помешались немножко, надо вам отдохнуть.

Так и получилось, что господа в Мариновке не носили траура по Францу-Иосифу — черных повязок на рукаве, на что неделю спустя обратила внимание графиня Реверетта-Валтари, член миссии Австрийского Красного Креста, развозившая по лагерям военнопленных теплые набрюшники для офицеров и выяснявшая степень их лояльности.

Позже она подала рапорт о замеченной ею нелояльности непосредственно в министерство.

А в тот день дюжина солдат из татар, несших охрану лагеря, до поздней ночи обсуждали происшествие, и если бы вы спросили кого из них, что он судит о Франце-Иосифе, вам ответили бы:

— Хороший царь, длиной семь аршинов[228] и всегда ходил в рубашке из черного полотна. А когда помер, двое из этой австрийской сволочи спятели.

## Рассказы 1918–1923 гг.



### На Златой улочке в Градчанах

Однажды предвоенной ночью на Златой улочке в Градчанах я повстречался с духом пана Броучека из «Викарки». Он обратил мое внимание на одно любопытное обстоятельство, о котором я и хочу здесь рассказать.

Прага спит. Шумят воды Влтавы, и в тишине ночи каменная громада Градчан ведет разговор со Смотровой башней на Петршине. Градчаны держатся, по обыкновению, чрезвычайно достойно. Петршинская башня пытается беседовать в ироническом тоне, но это ей никак не удается.

**Градчаны.** Вы заметили, что Витков нынче устранился от дискуссии? Он нас игнорирует.

**Смотровая башня.** Вчерашней ночью Витков рассорился с храмом Петра и Павла на Вышеграде из-за трактовки религиозных проблем древности. В их спор вмешалась Виноградская святая Людмила. Я не разобрала, что они там говорили, потому что свистел ветер и я едва держалась на ногах.

**Градчаны.** Оставьте вы в покое наше прошлое. Вспоминая о нем, все просто с ума посходили. Только и разговоров что о Королевских Градчанах, никакой мочи нет слушать.

А состояние наше ужасно. Мы бы и рады зевнуть, да боимся, как бы не рассыпаться. И отчего это мы все еще обязаны слыть мишурой и позолотой какой-то былой славы? Ведь нам прекрасно известно, что творится внизу и вокруг нас. Там, в Праге, предаются наслаждениям и радостям жизни, общественные события не вызывают особых волнений. Если что и случается, то не нарушает ничьего покоя. В учреждениях, в обществе — повсюду лишь тупые исполнители, ни в ком ничто не находит отклика, не рождает никаких идей. Здесь, в Праге, все могли и должны бы высказываться лучше и определеннее.

**Смотровая башня.** Они опасались, как бы я не свалилась на туристский павильон.

**Градчаны.** Шутки в сторону, мадам, хотелось бы сегодня поговорить всерьез. Мы глядим в сердце Праги. И видим там господ, у которых грудь предназначена лишь для желтых металлических блях, нос — для золотых пенсне, а голова — для ношения блестящих цилиндров. Позавчера мы наблюдали, как в сады на Жижкове жандарм не пустил бедно одетого человека. Взгляните только на это спесивое сооружение пражского Дома представительств. Сколько миллионов на него ушло. Да и вы, мадам, тоже видите вокруг Праги низенькие домишки, набитые маленькими оборвышами; а впрочем, любой может повстречать в предместье старых, бедно одетых старух; честно проработав всю жизнь, они в свои семьдесят лет все еще трудятся не покладая рук, встают с петухами и ложатся поздней ночью, чтоб заработать малую толику денег и не помереть с голоду. А более удачливые, но отнюдь не более заслуженные члены общества...

**Смотровая башня.** Эгоистическое, малодушное общество...

**Градчаны.** Не перебивайте, мадам... Пусть так, если вам угодно — эгоистическое и малодушное общество все еще не сознает, как ему быть и можно ли прилично одетому человеку присесть за стол, где уже сидит человек с заплатыми на коленях.

**Смотровая башня.** У трудолюбивого искусного портного больше оснований гордиться собой, чем у глупого адвоката, спесивого домовладельца, который только и умеет, что проверять, чисто ли дворник вымел лестницу.

**Градчаны.** Толстобрюхие обжоры заполнили всю Прагу. Дураков среди них нету, и на первый взгляд они производят впечатление людей простосердечных. Бургомистр разъезжает в открытом фиакре, раскланиваясь налево и направо — чтобы все видели золотую цепочку. А у тех, кто отвечает ему на приветствия, сыновья сидят или в магистрате, или еще в каких важных учреждениях, да и сами они все еще жаждут попасть туда — не важно, есть у них к тому способности или нету. Умри кто из них — вряд ли его сограждане или родина ощутят какую-либо потерю. Что это вы загляделись вниз, на Петршин?

**Смотровая башня.** У моего подножия задремала комендантская охрана. Спят будто ангелочки. Опасаюсь, как бы не разбудить их нашим разговором. Под голову они положили кучу газет, конфискованных вчера в киосках на Малой Стране.

**Градчаны.** К нам сюда журналисты тоже заглядывают. Но мало кому из них наш вид придает сил и укрепляет дух. А ведь мы и мощны, и могучи, и любой мог бы сообразить, что неспроста мы столь горделиво возвышаемся над Прагой и могли бы являть символ славы. Однако редко кого посещает такая мысль. Средства массовой информации чаще всего принимают сторону большинства — наверное, оттого, что так больше платят. Журналисты — всегда к услугам тех, кто располагает деньгами, потому сегодня они орут «Осанна!», а завтра за то же самое: «Распни его!» Одно и то же нынче объявляют белым, а завтра — черным. Печать, голубушка, — это ведь не одна лишь типографская краска, это пот и кровь тех, кто борется за свободу; разве только до переворота дело дойдет, — тогда нравственное воздействие печати возрастет сразу.

**Смотровая башня.** А пока что журналисты все ниже гнут спины.

**Градчаны.** К этому им не привыкать. Пражане в массе своей слишком эгоистичны, чтобы мечтать и надеяться на лучшее; ничто их не возмущает, не

может вывести из равновесия. Иначе ни один не посмел бы заявить, что не в силах посвятить себя делу освобождения, поскольку он служит и у него семья. Да и положение не позволяет жертвовать собой. Если бы не это, мы давно уже были бы свободны. Как бы все обрадовались, если бы явился кто-нибудь и сорвал двуглавого орла у нас над главным входом. А пока что предводители этой Праги расслаивают себе в кабачках и кофейнях, ну а раз так — значит, это не вожди, значит, нет в них ничего стоящего. Как быть? Что делать дальше? У нас нет ведь никакой уверенности, что вдруг ни с того ни с сего здешних аборигенов не бросят в бойню и что через несколько месяцев по вине отдельных лиц число вдов и сирот не возрастет на десятки тысяч.

**Смотровая башня.** Из казарм на Погоржельце выходят на ночные ученья солдаты. Идут тихо, без песен.

**Градчаны.** Вчерашней ночью на юг от железных границ летели вороны. А у нас — ничего. Полное безмолвие.

**Смотровая башня.** На востоке блеснула утренняя заря. Восходит солнце. Когда вы желали бы продолжить разговор?

**Градчаны.** Поговорим через несколько лет, этак в мае 1917 года.

## Градчаны и Смотровая башня продолжают разговор

### I

Градчаны и Смотровая башня продолжают разговор, прерванный три года назад. Майская ночь 1917 года. В окнах Града, откуда в свой час вышвырнули наместника, загорелся красный свет. Отблеск красного сияния отражается, колеблясь на волнах Влтавы.

**Смотровая башня.** Я кликала вас, Градчаны, да вы все молчали. Звала вас, когда солидные горожане, трясясь как заячьи хвосты, развешивали на Староместской ратуше черно-желтые знамена, дабы удержать свои виллы и имперские права. Хотелось мне с вами поговорить в те времена, когда вдовы в черных одеждах и старушки в темных платочках ходили по церквям и костелам стобашенной Праги, проклиная тех, кто погубил их сыновей и супругов. Кликала я вас и когда узники на Градчанах распевали странные песни, и когда над мотольским плацем взвились испуганные воробьи, увидев, как по приговору военного суда расстреляли капрала Кудрну.

**Градчаны.** Неужто мы спали? Нет, это был не сон, а обморок, и все, что творилось с нами, мы переживали в обморочном состоянии. Хоть и неясно, но мы слышали, как засвистели паровые машины локомотивов, развозившие на юг и на восток казенное солдатское сукно.

**Смотровая башня.** А под тем казенным сукном бились полные горечи сердца. И вы, наверное, тоже чувствовали, как господа из Вены на всем протяжении земель от Моравы и досюда учили своих подданных геройским доблестям самоотречения и самообладания? Наверное, вы и сквозь сон слышали, как архиепископ молился о том, чтобы благодарный народ сплотился вокруг трона, словно овцы вокруг барана, и с петлей на шее возглашал: «Слава!»

**Градчаны.** Погрузившись в сон, мы оставались по-прежнему уверены, что эти три года не рассеют ненависти чехов и не развеют их надежд. Сквозь сон мы слышали топот солдатских сапог, заглушавший возню предателей, которые в родном краю подрывали силу народа. Кровавыми ночами говорили с нами души самых невинных, кто пал жертвой негодных правителей, а госпо-

да советники в ратуше дурели от наивного равнодушия и безразличия. Они убаюкивали нас песнями о безупречном нашем здоровье и моральной устойчивости. Они же сочиняли для нас песенки о новой жизни и новой весне. В своем полусне мы не замечали гордецов, кому набитые карманы и липовое образование позволяло считать единственно самих себя средоточием и центром всего происходящего. Нашему взору представлялась сильная, окрепшая в труде рука чешского народа, и мы знали, что стоит лишь ему обрести дар речи и опустить свой могучий кулак, как разлетится многовековая цепь, приковавшая нас к Вене, и развеются в прах все спесивцы и гордецы на земле. А нынче уже тихи и безжизненны пражские ночи.

**Смотровая башня.** Мне видно, что еще дремлет кое-кто в кофейнях, одурев от сложности политических проблем, однако народ, народ уже вышел на улицы. Город жужжит как улей.

**Градчаны.** Вчерашней ночью дух Фердинанда I прошел по императорским покоям Града. Печально оглядел портреты предков, залился слезами и, вздохнув, проговорил: «Все в прошлом!» И исчез, истаял.

**Смотровая башня.** Об этом говорилось в венской декларации Чешского союза.

**Градчаны.** Снова цветут черешни в Страговском саду, воздух полон благоуханья, жажды жизни, и мы помолодели, возродились...

**Смотровая башня.** Королевские Градчаны...

**Градчаны.** К чему нам теперь это определение: «королевские»? Короли, голубушка, отошли в прошлое, а Градчаны нынче принадлежат народу.

## II

Зима. Январская ночь 1918 года. От красной черепицы градчанских крыш отражается всплеск голосов, напоминающий шум прибоя среди скал. Со времени декларации Чешского союза минуло восемь месяцев.

**Градчаны.** Видны вам костры военных лагерей, Смотровая башня?

**Смотровая башня.** У Высочан, в Михле, в Каширжах стоят пушки.

**Градчаны.** А вы слышите, как стрекочут пулеметы у Пороховых ворот?

**Смотровая башня.** Мадыарские гусары на Вацлавской площади дрогнули, народ прорвался сквозь их заслоны.

**Градчаны.** По Нерудовой валит толпа людей с красными знаменами.

**Смотровая башня.** На балконе Староместской ратуши взметнулось красное революционное знамя. На площади полно народу, повсюду распевают песни. Нет ни одной улицы, где не собирались бы толпы людей. Прага как единый кулак. Все заводы остановлены. Цеха опустели, рабочие вышли на улицу. Нет ни одного переулка, который бы не вздрогнул под его шагами. Могучая поступь рабочего сотрясает основы прежних правительств. Осознает ли Вена, что такому единству сопротивляться бесполезно?

**Градчаны.** Они уже приближаются к Граду. Королевская резиденция дрожит от грома революционных песен.

Каноники, архиепископы, дворянство, наместники заперлись в своих покоях и творят молитвы. Двуглавый орел исчез с ворот главного входа. Чешский народ гонит прежних правителей из насиженного гнезда, из Града. У королевского кремля толпы чехов распевают гимн восстания.

**Смотровая башня.** Мне видны отсюда дальние селенья и города. Из-за туманной мглы там тоже взвиваются красные флаги революции. Трудовой на-

род готов создать новую, свободную родину. Он уже обнимает ее и, напрягая силы, срывает все, что навешали ее проклятые возлюбленные. Солнце поднимается на востоке, и его лучи сверкают на орудиях, дула которых направлены на пражские улицы. Ох, Градчаны, какие они ничтожные, эти пушки, в сравнении с той бурей, которая уже бушует повсюду.

**Градчаны** (*обращаясь к народу, стоящему перед Пражским Градом*). Ваш час настал, братья! Вступай в кремль, чешский народ!

### Из дневника уфимского буржуя

Говорят, что большевики заняли Казань. Наш владыка Андрей приказал соблюдать трехмесячный пост. Завтра будем кушать три раза в день картошку с конопляным маслом. Чешский офицер Паличка, который у нас на квартире, взял у меня займы две тысячи рублей. Да здравствует Учредительное собрание!

Болтовня о взятии Казани красными действительно отличается от прежней именно тем, что у нее есть известная объективная почва. Наши очистили Казань потому, что, как секретно сообщил мне чешский офицер Паличка, в Казань прибыло два миллиона германских солдат. Со всех купцов и купчих, которые попали в Казани в плен красным, содрали шкуру и печатают на ней приказы Чрезвычайной следственной комиссии. Говорят, что придут беженцы из Казани. Надо спрятать сахар из магазина, чтобы немножко повысить цену. У нашей братии из Казани денег много. Да здравствует Учредительное собрание!

Говорят, что большевиками занят Симбирск. Наши взорвали мост через Волгу. При постройке этого моста дядя мой заработал пятьсот тысяч рублей. Чешские офицеры говорят, что падение Симбирска — ерунда и что все — в стратегическом плане. Офицер Паличка украл у меня золотой портсигар. Да здравствует Учредительное собрание!

Сегодня прибыла в Уфу первая партия беженцев из Казани и Симбирска. По дороге их по ошибке раздели оренбургские казаки. Была торжественная встреча, я выпил две бутылки коньяка и написал заявление на дворника, что он большевик. Дворника отправили в тюрьму.

В газетах напечатано, что большевики в Симбирске отняли у всех богачей детей и отдали их на воспитание китайцам. Во всех церквах молитвы. Владыка просит всех православных христиан строго соблюдать пост, так как большевики продвигаются на Самару.

Скушал вчера немного ветчины, а вечером пришла телеграмма, что пала Самара. Одного члена комитета Учредительного собрания отправили в сумасшедший дом прямо из Общественного клуба, где он говорил, что падение Самары — чепуха. Беженцы прибывают. Рассказывают, что большевики всех поголовно режут, а головы буржуев нагружают на специальные поезда и отправляют в Москву, где их бальзамируют и хранят в кладовых в Кремле.

Один штабс-капитан рассказывал вчера в Дворянском собрании, что большевики обливают буржуев кипятком, из жен и детей жарят рубленые котлеты, которыми кормят в тюрьмах правых эсеров и кадетов. Купцов обливают керосином и употребляют в таком виде для освещения занятых ими городов. Аристократов и фабрикантов раздевают, варят в специальных машинах, прибавляют обрезанные косы убитых жен аристократов и фабрикуют из этого ва-

ленки для Красной Армии.

Вчера опять отправили в сумасшедший дом одного из правых эсеров. Звал на базаре баб идти громить Москву и записываться в Русско-чешский полк. Мой офицер Паличка взял у меня займы еще две тысячи рублей, которые обещал вернуть в тот момент, когда «народная армия» возьмет обратно Казань. Думаю, что этих денег никогда не увижу.

Наши отступили от Бугульмы. Нет никакого сомнения, что это только стратегический маневр и что это ничего не значит. Это очень маленький городок. Газеты пишут, что с нами идут Англия, Франция, Япония и Америка. Сам Вильсон приедет в Уфу. Против этого Бугульма — ерунда. Французский консул уже выехал из Уфы. Наверно, едет навстречу Вильсону. Да здравствует Учредительное собрание!

Вчера я читал в газетах, что ради освобождения России от большевиков и ее пробуждения к новой жизни надо эвакуировать Уфу. Сегодня на центральной улице увидел настоящего француза с отмороженными ушами. Он продавал в кофейне по два рубля открытки со своей фотографией и подписью «Капитан Легале». Братья чехословаки отдыхают немножко от побед и торгуют на базаре спичками, сигарами, папиросами и самогонкой.

Последний эшелон чехословаков исчез из Уфы. Мой квартирант взял с собой мои часы, дочь и шесть тысяч рублей, которые нашел в письменном столе. Наздар![229]

Адмирал Колчак издал приказ об аресте всех учредителей. При таких условиях я пришел к убеждению, что Учредительное собрание, так сказать, игрушка. Я потерял с этим Учредительным собранием дочь, двадцать тысяч рублей, золотой портсигар, часы, и вместо этого у меня на руках какие-то векселя. Обманули нашего брата. Да здравствует адмирал Колчак!

Карательный отряд колчаковцев реквизирует у меня пару лошадей, двадцать пудов сахара, сто ящичков спичек и взял в солдаты моих приказчиков. Большевики заняли Чишму. Из французов остались в Уфе только два молодца, которые выступают в цирке. Нашего владыку видали на вокзале у коменданта станции. Он очень интересовался, когда идет поезд на Челябинск. Мне тоже надо сходить на вокзал.

## Трагедия одного попа

**Ж**ил-был в Уфимской губернии один поп. Звали его Николаем Петровичем Гуляевым.

Это был истинно русский человек, который в старое время за неимением евреев в его селе ездил на погромы в Самару и Воронеж.

Когда пришел переворот, Николай Петрович Гуляев очень испугался, что ему перестанут носить деньги, и поэтому везде говорил, что человеческая свобода должна руководствоваться нравственным законом, а этим законом для деятельности российской революции должна быть воля божья. Этим нравственным идеалом должны руководить священники — приказчики господ, а поэтому вся революция должна быть в поповских руках.

К сожалению, большевики держатся несколько другого мнения и думают про попов, что они мошенники, так что Николаю Петровичу пришлось еще больше перепугаться, услышав, что церковь и Советская республика не имеют ничего общего и что его доходы от государства кончились.

Когда пришла эра власти учредилловцев, это была радуга в жизни испуганного Николая Петровича Гуляева.

В проповедях в церкви он объявил народу, что Учредительное собрание есть непосредственное творение божье, совершенно отличное от всех окружающих его тварей.

Перед сотворением Учредительного собрания бог держал совет с самим собой, и оно получило благословение господствовать над Уфимской губернией.

— Только, — говорил Гуляев в церкви, — смотрите, чтобы большевики не вернулись. Поэтому молитесь и давайте на молитву, так как теперь все дорого, и вы должны больше платить за молитву ради вашего спасения и искупления — такова воля божья.

Малая молитва — 10 рублей, большая — 20. Эта цена предусмотрена богом, который в несокрушимой твердости над большевиками повысил цену на все продукты.

И случилось так, что Николай Петрович копил денежки, чувствуя большую благодарность к Учредительному собранию, которое защищало его доходы перед большевиками, помаленьку менял старые, царские деньги и керенки на краткосрочные обязательства с подписями членов совета ведомства учредилловцев и на длинные грустные векселя.

В один хороший день пришла катастрофа в форме телеграммы следующего содержания:

«Священнику Николаю Петровичу Гуляеву. Так как Учредительное собрание разогнано и члены арестованы, приказываю вам немедленно прекратить молитвы в пользу Учредительного собрания и ввести молитвы за адмирала Колчака».

Получив телеграмму, Николай Петрович посмотрел в ужасе на пачку краткосрочных обязательств всероссийского Временного правительства, приказал звонить в колокола и, когда собрался народ, сказал необыкновенным голосом следующую речь:

— Было время, когда весь человеческий род, кроме семейства праведного Ноя, по определению божию, потопом был истреблен, потому что люди потеряли веру в Колчака и сочувствовали большевикам и Советской власти. И по-

тому бог сказал об этих людях: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они большевики. Православно-христианское учение состоит в следующем: адмирал Колчак есть один по существу, но троичен в лицах, а именно: адмирал Колчак — бог-отец, бог-сын — генерал Войцеховский, и дух святой — английский посол Колдран. Ура, ура, ура!»

Сказав эти слова, Николай Петрович выбежал из церкви. Когда его догнал церковный староста у леса, Николай Петрович укусил его с криком «Ура, Колчак!».

Николай Петрович Гуляев находится в настоящее время в уфимской психиатрической клинике, в камере № 6. Таскает с собой по камере какие-то бумажки и кричит: «Краткосрочное обязательство. Председатель совета управляющих ведомствами Филипповский. Члены совета: Нестеров, Рудка, Климушкин, Баев; главноуполномоченный всероссийского Временного правительства Знаменский. Вечная память, вечная память!»

В это время приходит всегда в камеру надзиратель и уводит Николая Петровича Гуляева под холодный душ.

## Два выстрела

**В** Германии раздались два выстрела, которыми убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Эхо выстрелов разбилось о каменные дома Берлина, и был момент страшной тишины... А затем гроза, невиданная историей гроза.

Мы все чувствуем, что эти два выстрела должны превратить весь мир в пожар. Не может быть сегодня ни одного из рабочих, который бы не знал, что ему делать и как бороться со всеми виновниками смерти великих вождей германского пролетариата.

Каждый рабочий и крестьянин знает, что эти два выстрела — символ атаки международной буржуазии на революционный пролетариат, и что нельзя тратить время, рисковать еще жизнью других работников Великой Революции Труда, и что надо сразу покончить с буржуазией и истребить ее на всем земном шаре.

Эти два выстрела — сигнал к нашему наступлению на всех фронтах пролетарской революции, сигнал к беспощадной борьбе внутри страны с контрреволюцией.

Мы страшно отомстим всей буржуазии за последний отклик германских заговорщиков против всемирной революции.

Эти два выстрела нам сказали ясно: «Винтовку в руки! Вперед!»

## Жизнь по катехизису

У одного попа мы нашли пулемет и несколько бомб. Когда мы его вели на расстрел, поп плакал.

Я хотел его успокоить и разговорился с ним о воскресении мертвых, которого он по символу веры должен ожидать.

Не подействовало. Ревел на всю деревню.

Дальше я с ним поговорил о том, почему душам праведным приписывается по смерти полное блаженство и почему приписывается им предначатие блаженства прежде последнего суда.

Поп заплакал еще больше.

Не успокоил его даже разговор о жизни будущего века и блаженстве души.

Когда же я с ним поговорил о пользе, какую могут ему принести размышления о смерти, воскресении и о последнем суде и вечном блаженстве, поп не выдержал, упал на колени и заревел: «Простите, больше не буду стрелять в вас...»

## Vae victis

В недавнем прошлом этот страшный лозунг римских легионеров: «*Vae victis*» — «горе побежденным» переняли господа правые эсеры в Самаре, Казани, Симбирске и других городах.

И выполнили его со всей тонкостью.

Так, например, самарское «Волжское слово» в первые дни победы зарегистрировало с удовольствием: «Сегодня отправлено в тюрьму 460 арестованных большевиков... Сегодня отправлено в тюрьму 270 арестованных большевиков...»

Правые эсеры торжествовали, что вполне понятно при их душевном настроении, сложившемся на почве вопиющей фантазии «Сделать политическую карьеру».

И на этих мотивах получить жирные куши образовали они «народную армию», к которой обратились со следующими словами:

«Призываем всех солдат народной армии бороться всеми силами за Учредительное собрание против большевиков, авангарда германского кайзера Вильгельма».

В своих газетах они умоляли всех верующих в партию эсеров граждан «свободной России» понять опасность для государства и как-нибудь помочь им сохранить обломки привилегий буржуазии и капитала, «иначе большевистская программа окончательно убьет и развратит славянскую идею».

«Буржуи, объединяйтесь!» — вот знамя эсеров этой эпохи, вот клич, который раздавался в Поволжье.

«Граждане, идите к нам, идите и молитесь за Учредительное собрание. Поверьте, что мы все погибнем без Учредительного собрания, так как русский народ забыл его и в свою русскую семью пустил германских шпионов, большевиков, изменников, безбожников и предателей».

Это было очень вкусно.

Разослали по волостям и уездам опросные листы: «В Учредительное собрание веруешь?», «Партию эсеров признаешь?».

Кто не сказал «да», пропал. Горе побежденным!

Наконец взяли крестьянских и рабочих детей и погнали их против Красной Армии ради своей политической карьеры.

И наконец, когда прогуляли все: совесть, народные деньги и кровь граждан — вернулись домой, как блудный сын из Ветхого завета.

А теперь, после декларации побежденных (побежденные всегда издают декларации) мы им скажем просто: «Карьера кончена, потрудитесь убрать ноги со стола».

## Преосвященный владыка Андрей

**В**заимоотношение церкви к большевикам известно всем.

Священники хорошо знают, что с победой пролетариата попы, ксендзы, муллы, пасторы и раввины потеряли жирные куши и что их святое ремесло пропало.

Пролетарская революция покончила с мошенниками, которые продавали бога, торговали пропусками в рай и кости собак продавали за мощи святых. Уничтожение религии попов, религии кармана — это начало истинного благополучия всего человечества.

Уничтожение этих паразитов — вот самая лучшая система нашей борьбы с властью тьмы.

Одним из видных церковных мошенников был епископ уфимский «Преосвященный владыка Андрей». Как посмотришь, очень хороший парень, который сделал из православной церкви ораторскую трибуну для своих контрреволюционных целей.

Говоря в своих речах о проповедях об исполнении закона божьего, он никогда, этот святой юморист, не забывал большевиков, чтобы было для всякого верующего православного человека ясно, что большевики — антихристы.

Можно было бы без конца выписывать все ругательства «преосвященного» по нашему адресу, но приведу лишь несколько примеров:

В своем журнале «О культурном просвещении Заволжского края», в статьях и заметках церковно-бытового, общественно-политического и культурно-просветительного характера он умоляет всех вооружиться против большевиков, обманщиков, провокаторов, которые изобрели злые лозунги: «Смерть капиталу», что, как понимал преосвященный, должно было привести все приходские братства и преосвященных в нищету.

«Большевики, — пишет в одной из статей уфимский «владыка», — идут на тихую, родную Уфу, зарезав в Казани, Симбирске, Самаре до 20 000 человек: мужчин, женщин и детей, которые не хотели отречься от церкви православной. О преступники! О злодеи! А единственное средство к нашему общему исцелению — это идти в храмы и помолиться богу, пожертвовав на икону Пресвятой Богородицы».

Стремление преосвященного принесло его карману хорошую сумму.

Мобилизовав Пресвятую Богородицу против большевиков, он в одном из номеров «Заволжского летописца» хвалит уфимскую братию в статье «Святой порыв»: «На мое воззвание сосредоточить все силы к борьбе с большевиками, — пишет, — я убедился, что живо еще нутро русского человека. Предложение пожертвовать на икону Пресвятой Богородицы было с любовью принято. Через неделю мне поднесли кассу, полную бумажек, оказалось денег 16 480 р.

Пусть эта весть возлетит к богу, который не откажется от помощи Уфе против большевиков».

Какая радость преосвященного над этими бумажками. Разве нельзя хватить бога за 16 480 рублей? Какая поддержка против большевиков!

Спрятав деньги, преосвященный шел в храм божий, а в журнале писал, что перед лицом Высшей Правды и Милосердия, перед лицом Божественного Спасителя мира он произнесет в церкви проповеди на следующие темы:

1. Что такое Учредительное собрание и как христиане должны относиться к нему;

2. Как бороться с большевиками.

И боевой преосвященный кричал в соборе: «Братие, вставайте все на помощь гибнущей матушке Руси. С нами бог и Учредительное собрание. Придите в себя, братие. Собирайте деньги, братие мои возлюбленные, и несите их ко мне. Прием денег от 10 часов утра до 4 часов дня. Мы сейчас же одолеем и победим большевиков. Да, вот еще что я завещаю вам: прежде чем произнести слово «большевик», пусть каждый положит на себя крестное знамение».

Ничего не помогло. Наши шли на Уфу, и преосвященный в один прекрасный день, просмотрев газеты, очень расстроился.

Красные в Чиншах. И оставив свою возлюбленную братию и священнослужителей, преосвященный написал им последнее письмо о том, что премудрость божия обходит мир и что он уезжает в Сибирь.

Святой юморист! Он хорошо чувствовал, что мы устроим новый мир помимо всех «преосвященных владык», которым место только у стенки.

## Армия адмирала Колчака

**18** ноября 1918 года «Всероссийское временное правительство» пало, и на горизонте России появились новые звезды реакции, которые с нахальством международных авантюристов «en gros» [230] провозгласили верховной государственной властью в России совет министров из дворян, капиталистов, помещиков и царских генералов.

Эти мошенники издали указ, которым присвоили царскому адмиралу Александру Васильевичу Колчаку наименование «верховного правителя всея России».

Колчак издал 19 октября приказ населению России о том, что он главной своей целью ставит создание боеспособной армии для победы над большевиками.

Облик этой самоотверженной армии Колчака отлично рисуют нам приказы Колчака по войскам Западного фронта за № 16, 17 и 20:

«Ввиду многих участвовавших случаев промотания солдатами выданных им для употребления казенных мундирных и амуниционных вещей, оружия, патронов и прочего, а также продажи их другим лицам, приказываю усилить строгость наказаний на основании ст. XXXI кн. СВП, 1869, изд. 4-е».

Адмирал Колчак сообщает своим молодцам дальше:

«Подтверждаю к точному исполнению приказ верховного главнокомандующего 1915 г. за № 34, согласно которому на театре военных действий виновным в дезертирстве повелено было определять смертную казнь через повешение».

Напугав своих вояк приказом верховного главнокомандующего 1915 г. (Ни-

колая Николаевича), Колчак объявляет, что все хорошие солдаты в случае ислечения получают: нижний чин — 120 рублей в год, офицер — 600 рублей, штаб-офицер — 800 рублей и в случае смерти — залп при похоронах.

Но надо соблюдать экономию, а поэтому Колчак в приказе от 16 декабря объявляет, что выдача всех наградных денег за боевые подвиги временно приостанавливается и взамен наград за эти подвиги будет объявляться благодарность в приказах.

Вы долго смотрите в приказ, и никому никакой благодарности не видно.

Значит, нет подвигов? Вы ошиблись.

В приказе главнокомандующего генерал-майора Сырового объявляется благодарность полковнику Гафнеру за его подвиг в деревне Бейкарзли.

Сделаете справку у крестьян-татар из Бейкарзли, и те вам скажут, что герой полковник Гафнер «Тацил из деревни много сыер, бзау, сарык», то есть коров, телят и овец.

Таков подвиг полковника Гафнера...

И остальные в таком же роде.

## Из белогвардейских настроений

Передо мной лежит грязная бумажонка. Взята красноармейцами в селе Турушла, но, видимо, писано в конце декабря в Уфе.

Человек, видимо, изливает свою душу на этом клочке. Здесь целая серия мыслей.

«...с терпением, не роптать на судьбу. Вероятно, много нагрешили, вот бог-то и наказывает».

«...Говорят, они скоро явятся сюда. Ведь надо бежать. Куда побежишь? Ведь надо денег много. Как много значат деньги. Да и зачем бежать? Они придут. Может быть, останутся на восемь-десять (здесь автор дневника, очевидно, пропустил слово «месяцев»). Теперь идут слухи, что союзники отказываются. Ведь вся надежда была на них...»

«...Эх, деньги, деньги, как много вы значите. Всю жизнь, всю жизнь придется себе во всем отказывать...»

«...Когда с удовольствием бы помолился, то нет того чувства святого. Все что-то лезет в голову какая-то чушь... И вот за все это бог наказывает нас...»

## Что такое отделение церкви от государства

**О**тделение церкви от государства есть такая система взаимоотношений государства и церкви, при которой государство не связывает себя ни с какой религией, ни с каким вероисповеданием и ни с какой церковью.

Советская республика ни в каком отношении не считает себя связанной авторитетом церкви.

Для Советской республики не имеет никакого авторитета какое-то выдуманное попами божественное откровение.

Для республики равны все религии и в то же время безразличны.

Власть пролетариата считает не нужным обращаться к церкви с просьбой о молитве в разных торжественных случаях государственной жизни и не просит благословения церкви и помощи божией в борьбе с буржуазией.

Хороши винтовка, штык, пулемет в руках вооруженного народа, это самое лучшее благословение.

В Советской республике отменены все религиозные обряды в случаях рождений, смерти, брака, которые приносили только пользу поповскому карману.

Рождение, смерть, брак просто регистрируются теперь при коммунах.

Церковный брак недействителен, и законное основание имеет только брак гражданский.

Церковноприходские школы отменены. С изгнанием некультурных, неграмотных попов из школ, исключением всякого вероучения в школах школы стали свободными.

Вместо преподавания лжи о рае и аде советская школа учит детей жизни и подготавливает их к борьбе.

Уничтоженная церковноприходская школа воспитывала прихожан-овец, с которых драли шкуру попы. Советская школа даст республике свободного человека.

При отделении церкви от государства религия становится частным делом, которое не касается республики, если за этим частным делом не скрываются контрреволюционные замыслы. В этом случае все лица, воспользовавшиеся религией в контрреволюционной пропаганде, предаются Чрезвычайной следственной комиссии.

Религиозные общества и церкви в республике являются частными обществами под контролем Советской власти.

Само собой разумеется, что республика при отделении от церкви лишает церковь, то есть частное общество, средств на содержание и пенсии попам, не платит храмам и не содержит духовно-учебное заведение.

Поэтому конфисковано все церковное имущество, движимое и недвижимое, нажитое из соков трудящихся масс церковными паразитами. Церковь систематично удерживает народ во тьме, в подчинении богатым. Она является второй властью, опираясь на все контрреволюционные элементы, которым давала поддержку.

А поэтому власть трудящихся разбила эту власть, отделив церковь от республики.

## Уфимский Иван Иванович

Уфимский купец Иван Иванович не убежал из города с другими буржуями, но остался на своем наблюдательном пункте, в лавке, с определенной целью: заниматься по приходе советских войск спекуляцией и провокацией.

Одним из важнейших свойств, отличающих купца Ивана Ивановича от других животных, является дар речи, дар слова.

Иван Иванович пользуется в самом широком смысле этим свойством и злоупотребляет свободой слова при каждой возможности.

Его дар слова имеет в уфимской жизни громадное значение.

Этот дар не касается того, что он говорит дома, в семейном кругу, а лишь того, что говорит он как гражданин в общественном месте, на базаре, в чайных, в кофейных, у парикмахеров и в своей лавке.

Он действует так, чтобы было незаметно, что он сам провокатор, распространяющий ложные слухи с намерением внести панику или образовать новые контрреволюционные элементы и врагов Советской власти.

Он никогда не скажет прямо: «Я узнал то и то». Он говорит, что «это слышал», что «это где-то читал».

Он остался в Уфе, чтобы по возможности побольше учинить вреда Советской власти, и действует через публику.

Он идет на базар и разговаривает с торговцами с видом человека, интересующегося капустой, мукой, мясом, салом.

— Вот, — говорит он, осматривая поросенка, — Бугульму взяли белые обратно, и поэтому запрещен выезд в Симбирск.

Он знает психологию базарных торговцев, этой темной массы мелкой буржуазии и деревенских кулаков, которые верят всем идиотским слухам, если только в них есть кое-что неприятное для Советской власти.

— Слава тебе, господи, — скажет какая-нибудь старушка, прислушиваясь, и бежит домой, чтобы в кругу темных баб, как попугай, дальше распространять идиотские, провокаторские мысли Ивана Ивановича.

Иван Иванович идет к парикмахеру.

— Сегодня ночью, — сообщает он тихим голосом, — был хороший мороз.

После этой невредной увертюры продолжает:

— Интересно, как далеко за таким морозом слышно стрельбу орудий. Так близко было слышно стрельбу, что сразу подумал, что белые не дальше пятнадцати верст от города.

Иван Иванович хорошо знает, что у парикмахера ждет своей очереди такой же враг Советской власти, как он, купец Захаров, который обязательно своим знакомым скажет: «Наши пятнадцать верст от Уфы» — и потом прибавляет равнодушно:

— Сегодня привезли много раненых.

Исполнив в парикмахерской свою провокаторскую задачу, Иван Иванович идет в кофейную. Знает, что там сидят и болтают бывшие буржуа, у которых предприятия взяты на учет.

Этим приносит большую новость: «Дутов взял Казань и Петроград занят союзниками».

Все знают, что это идиотство, но все-таки на них действует эта глупая болтовня очень приятно.

Иван Иванович с невозмутимым видом продолжает, что Дутов арестовал Совет Народных Комиссаров, что он это слышал на вокзале.

Все опять знают, что Дутов разбит под Оренбургом, но это им не мешает распространять все эти провокационные слухи по городу, в среде врагов Советской власти.

Вы слышите сегодня, что занят Бирск, завтра Стерлитамак, и не знаете: или смеяться над идиотами, или взять револьвер и пустить им пулю в лоб.

Это последнее, по-моему, есть самое лучшее средство борьбы с провокаторами.

Во время Французской революции провокаторов не гильотинировали, а вешали.

Ввиду того, что веревка у нас отменена, предлагаю всех этих провокаторов Иван Ивановичей на месте расстреливать.

## Вооруженные силы пролетариата

**В** дни великой пролетарской революции народился вопрос о вооруженных силах пролетариата для борьбы с вооруженной буржуазией.

Открытая гражданская война класса против класса выделила из масс восставшего пролетариата Красную Армию.

Она есть щит свободы пролетариата, его независимости и страх для всех врагов Советской власти.

Пролетариат слился с Красной Армией в один живой организм, она ведет его к желанной цели, к его диктатуре, к решению боевой задачи Интернационала и к окончательной победе над империализмом.

Красная Армия — это вооруженный народ, который выступает на всемирное поле битвы, чтобы сломить буржуазию, сокрушить контрреволюцию и ввести врасплох империалистических хищников.

Историческое прошлое, в котором пролетариат испытал на себе гнет буржуазии и империализма, пробудило его к наступлению на своих врагов. Оно пробудило в нем стремление к завоеванию его диктатуры.

Мы знаем две эпохи в истории, когда рабочий и крестьянин к ружьям привинтили штыки.

Первая эпоха — это когда их гнали на всемирную бойню, чтобы для буржуазии своей страны завоевать чужие рынки.

Им приказывали палачи взять винтовку в руки ради промышленной конкуренции фабрикантов.

Вторая эпоха — это когда рабочий и крестьянин взяли винтовку, чтобы освободить себя от палачей. Они создали Красную Армию, боевой аппарат для защиты пролетарского мира.

Винтовка в руках рабочего и крестьянина — это его честь.

Красная Армия — это великое орудие гражданской войны.

Создав крепкую Красную Армию, Российская Советская Республика сокрушает теперь не только буржуазно-помещичью контрреволюцию, но и дает отпор натиску империалистов, защищая тем всемирную революцию.

Красная Армия есть штык революционного пролетариата в других странах.

Крепкая Красная Армия здесь есть крепость всемирного революционного фронта.

Империалистические хищники, контрреволюционеры и социал-предатели

со страхом смотрят, когда из этой крепости двинутся массы вооруженного пролетариата на помощь революционному пролетариату в других странах.

Тысячи из иностранных рабочих и крестьян сражаются уже в рядах Красной Армии. Обязанность наша, всех иностранных коммунистов, формировать и новые кадры для подкрепления рядов Красной Армии.

Вы, иностранные рабочие и крестьяне, должны быть вооружены и должны быть готовы к борьбе с контрреволюцией и социал-предателями в своих странах.

Вступайте немедленно в Красную Армию и сплотитесь с русскими товарищами ради служения общему делу — защиты пролетарской диктатуры.

Вы, иностранные красноармейцы, будете надежным оплотом победы пролетариата над буржуазией во всех государствах.

Да здравствует Красная Армия и ее страшные штыки!

## Международное значение побед Красной Армии

**З**начение Красной Армии для Западной Европы весьма важно.

Красная Армия как представитель вооруженного пролетариата есть надежда всех западноевропейских трудящихся масс.

Победа Красной Армии есть победа пролетариата над буржуазией в мировом масштабе, так как побежденной не является только буржуазия на Российской территории.

По-военному можно сказать так:

«Рати всемирной буржуазии отступают с потерями на Российском фронте».

С победой Красной Армии растет революционное движение пролетариата в Западной Европе.

На западе Европы знают, что теория о вооруженном пролетариате на Востоке осуществилась. Международная революция не пустой уже звук, она опирается на штыки Красной Армии, которая играет самую главную роль в международной обстановке.

Вести о победах Красной Армии в России приносят подъем всему, что завтра разыграется на Западе.

Могучая Красная Армия говорит буржуазии о нарастающей силе пролетариата и о пустоте и ничтожности буржуазии.

С востока на запад Европы идет волна революции. Она уже разбудила сотни миллионов людей, она сорвала короны с Карла Габсбурга и Вильгельма Гогенцоллерна, она разбудила рабочий класс Франции и Англии.

С этой волной революции идет на запад и проблема Красной Армии.

Она говорит, что пролетариату Австрии, Германии, Англии и Франции необходимо создать крепкую свою революционную армию, способную сокрушить буржуазно-юнкерскую и социал-предательскую контрреволюцию.

*Штыки Красной Армии — это международный язык пролетариата, который понятен для буржуазии во всех государствах.*

Между Красной Армией и пролетариатом на западе зародилась та внутренняя связь, солидарность, которая укрепляет позицию революционных рабочих в Западной Европе.

Рабочие на Западе пойдут по пути, назначенному Интернационалом, Великой Октябрьской революцией в России.

И на западе будет пролетариат обучаться военному делу.

*Российская Красная Армия — это часть всемирной Красной Армии и ее первый боевой пост.*

## Творчество эсеров

Анализируя всю эсеровскую литературу, приходишь к выводу, что они все свои дешевые диссертации и ненужные проекты писали от скуки.

Творчество эсеров стало синонимом нелепости и безумия. Только эсеры могли говорить в своих брошюрах такой вздор, потому что человек обыкновенно говорит глупости, когда сам знает, что неправ.

Эсеры — «люди грустного подвига» — ставили себя в центре мира, который представляли себе как огромное Учредительное собрание.

Какой-то Б. К. в газете «Армия и народ» ставит эсерам на голову сверхчеловеческий ореол и поет: «Большевики погибнут, а нам нет конца».

В среде эсеровских писателей было вообще очень мало людей, сознающих неминуемую катастрофу, которые бы запели: «Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить», как запел один сознательный офицер-эсер из русско-чешского полка в «Уфимском вестнике».

Несмотря на это, большинство эсеров не отказалось бы от обожествления партии, а какой-то Зазыков в том же «Вестнике» пишет: «Я хорошо знаю, что нет ни одного рабочего и крестьянина в России, который бы не считал правильной нашу политику, которая есть благовест для всего мира и величественный и торжественный манифест».

Чаще бред в эсеровской литературе касается директив, данных ЦК соц.-рев. для работы среди широких масс.

Так, в брошюре «Товарищам, работающим в деревне» обращается внимание агитаторов на целый ряд ложных провокаторских слухов, которыми следует воспользоваться в деревне при общей критике большевизма.

«Надо сказать крестьянству, — пишут эсеры в этой брошюре, — что на почве раздела земли явится неизбежное междоусобие в деревнях и усилится анархия. В таком направлении нужно ставить в деревне аграрный вопрос в связи с большевизмом.

При разборе в деревнях рабочей политики большевиков необходимо указывать, что большевиками введенный рабочий контроль уничтожит русскую промышленность».

Эсеровские фокусники и шарлатаны, собрав таким образом симпатии всех кулаков и фабрикантов, с каким-то игнорированием всякой разумной критики обращаются в другой брошюре «ко всем членам партии, работникам профессионального движения, рабочим организациям», умоляя их, чтобы они не были организациями революционными.

Эсеровские фокусники протестуют против объявленного большевиками обязательного участия всех рабочих в профессиональных союзах.

В этой брошюре они называют себя красиво: «Инициативное меньшинство пионеров профессионализма...»

Психиатр бы именовал это так: «Слово, потеряв связь с реальным миром, теряет и логическую связь последнего. Мы тогда получаем речевую запутанность».

Такую речевую запутанность видим мы и в брошюре эсера Е. М. Тимофеева «Пути к миру», где он пишет: «Брест-Литовский мир есть извращение приро-

ды этой революции. Брест-Литовский мир может уничтожить только Учредительное собрание. Кампания за демократический мир требует и борьбы за Учредительное собрание».

В конце брошюры красуется лозунг, что «соц. — рев. нужно восстановить связь с коалицией Согласия».

Эту связь им наконец удалось восстановить. Коалиция дала денежные суммы адмиралу Колчаку, который повесил нескольких членов Учредительного собрания и веревкой указал им путь к борьбе за определенную линию мировой политики.

А так, в общем, эсеровская литература принадлежит истории.

Учредилка эсеров не пережила морскую бурю. Спаслось несколько человек, которые совсем голые вылезли на берег, пали на колени и сказали: «Боже, не позволяй мне больше осуждать, чего я не знаю и не понимаю».

И, стуча зубами от холода, пошли согреться к большевикам.

## Замороженные чиновники в советских учреждениях

В субботнем номере «Нашего пути» я читал статью «К попу послали», где автор удивляется, что в отделе социального обеспечения не знают декрета об отделении церкви от государства и направляют мать, которая пришла получать пенсию за убитого сына красноармейца, к попу за выпиской из метрической книги.

Этому я никак не удивляюсь, потому что в советских учреждениях везде сидят замороженные чиновники, на которых наложен тяжкий подвиг с умом понимать время, которое пришло.

Для этих чиновников советский строй остается непонятным.

Они служили царю, служили Керенскому, служили белым. Только вывески над учреждениями перекрасились с занятием Уфы нами, но внутри остались те же самые попугаи, которые не стремятся к пониманию окружающего.

Для этих чиновников советский строй остается вполне непонятным — они не могут помириться с новой жизнью. Они ничего не понимают, их не интересуют декреты, это для них гораздо покойнее.

Притом говорят: «Мы только служим, мы беспартийные». При этом страшно обидно, что много партийных интеллигентных людей или искренне сочувствующих Советской власти не могут найти в Уфе никакой должности, потому что в советских учреждениях находятся беспартийные глупцы, которые плачут при снятии икон в советских учреждениях.

Мне столько раз приходилось проходить советскими учреждениями, и я наблюдал, что жизнь в них проходит как-то глухо.

Во многих местах не чувствуешь, что ты в советском учреждении, а в каком-то союзе статских советников и ждешь, когда тебе скажут, что в канцелярию ходить в валенках неприлично.

В народном банке, например, хорошо одетых людей встречают с каким-то восторгом и называют их «господами».

Из финансового отдела управления губернией дали печатать бухгалтерские книги с рубрикой «Министерство, департамент» и очень удивились, когда я им сказал, что уже министерства нет. Не смогли на это ответить ничем иным, как «Это старая форма».

Везде встречаешь такие «старые формы».

Красный свет бьет в окно, но в комнатах сидят люди с воспоминаниями о кадетской жизни, не интересующиеся в настоящее время ничем, кроме сосиски с капустой.

Если бы их раздеть, то на груди их можно было бы найти портрет губернатора.

Они остались служить Советской власти, потому что им деваться некуда.

Эти безыдейные люди презирают Советскую власть, но тем не менее служат ей.

Они не поняли новую жизнь, они замороженные и растают только на своем солнце, которое, конечно, вне советского строя.

## Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине

Есть разбойники, которые действуют топором, обухом. Лавочник Булакулин действовал спекуляцией, и никто из разбойников не относился так легко и насмешливо к своим жертвам, как он.

На базаре платишь за пуд картофеля шесть рублей, а у него за фунт — один рубль пятьдесят копеек. Смотришь с ужасом на картофель и думаешь, что вот вот он скажет своей жене насчет тебя: «Гляди-ка на мерзавца, точно сторает страстью к картошке».

В своей лавке он является деспотом. Покупатель в его глазах дряннь, а он, смотря на испуганную бакалейную публику, говорит: «Тяжело мне возиться с этой сволочью».

А вечером, считая кассу, все эти драные марки, рублевки, пятерки, купоны и грязные керенки, которые обобрал он с рабочего народа, вздыхает: «Ах ты, работа моя неблагодарная», лицо у него в это время убийцы, идиота, не понимающего своего преступления.

Но в лавке его капризам нет конца.

— Не до гляденья тут, коли купить не хочешь, — говорит он старушке, которая не может встать с места, потому что он ей сказал, что фунт постного конопляного масла стоит сорок рублей. — Зачем стоишь, родить, что ли, собираешься?

— Да разве вы не слышали, — обращается он к публике, — что теперь в Москве фунт стоит сто рублей?

Все знают, что толстый разбойник врет, но их участь в его руках.

Ошеломленные, они ждут, а что же скажет он дальше.

Старушка собирается прийти в чувство.

— Берите по сорок рублей фунт конопляное масло, — слышен тихий голос кровопийцы, — а то завтра будет по сорок восемь рублей.

— Это спекуляция, — сказал кто-то.

— Не мурлыкай, братец мой. Какая тут спекуляция? Морозы страшные, каких Уфа еще не видала, гражданская война, и если захочу, и пятьдесят два рубля за фунт заплатишь. Наше дело купеческое, маленькое. Ты нам деньги, мы тебе товар.

— Тридцать рублей даю за фунт, — говорит кто-то из публики несмелым голосом, как бы опасаясь, что за это слово поведут его на плаху.

— Издевайся, — отвечает лавочник Булакулин, — тридцать рублей за фунт конопляного масла! Уничтожить меня хочешь, сделать нищим, что ли? Хочешь, чтобы я утопился? Ведь у меня, чать, ребятишки есть!

Лицо лавочника становится утомленным, безнадежным.

Бакалейная публика понимает, что все пропало, и покупает фунт конопляного масла за сорок рублей.

— Почему колбаса? — спрашивает новый покупатель.

Лавочник долго молчит и чешет затылок. Неделю тому назад колбаса продавалась по три рубля фунт. В среду — двенадцать рублей, в субботу — шестнадцать, а сегодня, в понедельник...

Вопрос тяжелый.

— Это самая хорошая колбаса, — рекомендует он смесь лошадиного мяса с мукой, — это настоящая краковская, цена двадцать два рубля за фунт.

Лавочник Булакулин опять слышит слово «спекуляция» и обиженным тоном твердо заявляет:

— Говорить и рассуждать вам нечего, вы посмотрите в Уфе, как в других бакалейных лавках. Разве мне ради вас обанкротиться, что ли?

В полном восторге бывал лавочник Булакулин, когда кто-нибудь спрашивал его, нет ли спичек.

Первый ответ его был самый неутешительный.

— Можете из меня щепы нащепать, а спичек не найдете. Не стоит продавать, цена очень высокая. Я сам покупал десяток за сто двадцать рублей.

В амбаре у него были спрятаны два ящика еще от того времени, когда коробка стоила копейку.

— Если хотите, я вам могу отпустить, — продолжает дальше кровопийца, — коробку за двенадцать рублей.

— Не хочу, не надо.

Лавочник Булакулин потрясает кулаком:

— Какой неблагодарный народ, харя.

Испуганный уфимский обыватель машинально вынимает из кармана двенадцать рублей, берет коробку спичек и шепчет: — Простите меня, окаянного, больше не буду дразнить, — и выбегает из бакалейной лавки с убеждением, что случайно спас себе жизнь.

Никогда в жизни мне не было страшно, только один раз. Это было в лавке Булакулина.

При воспоминании об этом случае еще сегодня у меня бегают мурашки по телу.

Я пришел в этот страшный день спросить в бакалейной лавке Булакулина, сколько стоит холодная котлета, которую я видел среди сыра и колбасы.

— Двадцать рублей, — сказал Булакулин таким страшным голосом, от которого у меня зашевелились волосы на голове.

В этом голосе было все: и «руки вверх», и удар обухом, топором.

Далее ничего не помню. Лежу в лазарете, и врачи говорят, что у меня воспаление мозга.

...Вчера я спросил санитаря, что случилось с лавочником Булакулиным.

Говорят, что его за спекуляцию расстреляли и что он упорно молчал и только перед смертью, когда он уже стоял у стенки, спросил себя: «А может быть, я очень дешево продал колбасу? Может быть, спрятав ее, я бы нажил на две тысячи рублей больше?..»

## Из дневника уфимского буржуа

Первого марта старого стиля, в день святых мучеников Нестора, Тринимия, Антония, Маркелла, девицы Домнины и Мартирила Зелепецкого, мощи которых оскорбили большевики, вступила в Уфу освободительница нас, буржуев и капиталистов, — народная армия императора Колчака I, самодержавного царя всесибирского, омского, тобольского и челябинского.

С гордостью теперь говорю: «Я буржуй!» Пришла свобода для всех нас, богачей, а для этой рабочей и крестьянской дряни кандалы, ссылка, Сибирь, веревка и расстрел.

Только меня возмущает маленькое недоразумение, которое случилось после обеда. Мы, буржуи, собрались с хлебом и солью встречать наших освободителей, а вместо них встретили по ошибке эскадрон красного кавалерийского полка, который чуть нас всех не изрубил. Я испугался так, что вечером, когда пришли настоящие освободители, лежал на кровати в горячке и видел перед собой только шашки красной кавалерии. Да здравствует крепостное право! Да здравствует император Колчак, царь православный всесибирский!..

Сегодня я благоговейно молился в храме с другими купцами и буржуями о благе нашем и счастии. Как нам свободно теперь дышится! На улицах опять стоят городовые, никто не смеет взять ничего на учет. На своих квартирантов я прибавил по 100 рублей в месяц за комнату. Живет у меня самая пролетарская сволочь. Я им теперь покажу! Сегодня был с доносом у полицмейстера на портного Самуила, жида беженца, который прежде всего говорил, когда здесь были большевики: «Свет, воздух, свобода!» Я очень рад, что его арестовали и расстреляли. «Свет, воздух, свобода!» Да здравствует крепостное право! Да здравствует император Колчак II!..

Сегодня вступил в город полк Иисуса Христа. У солдат вместо нашивок белые кресты. Я говорил с одним офицером, бывшим батюшкой из Казани, который мне сообщил, что задачей полка Иисуса Христа вырезать всех большевиков и жидов в России, в Европе и освободить Иерусалим от турок и жидов. В полку Иисуса Христа есть специальная пулеметная команда из духовенства...

Настоящая весна для нас, буржуев, после большевистской зимы, Все улицы украшены яркими золотыми погонями. Везде слышно: «Ваше благородие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство». Если солдат не отдает честь и не становится во фронт, бьют его, мерзавца, по морде. Ясно видно, что без рабства жить невозможно и что должен быть порядок. Сегодня объявлен указ, которым отобрана земля у крестьян и отдана помещикам и дворянству. Крестьянин и рабочий будет лишен всех прав и не смеет уходить от тех владельцев, на чьей земле он сидит или работает. Для пролетарской сволочи отменены все свободы. Каждый рабочий должен ежегодно являться в полицию.

Нам представлена полная власть над рабочим. Указом царя Колчака I введено телесное наказание, закование в кандалы и ссылка в Сибирь. Я говорил с несколькими фабрикантами. Они будут ходатайствовать перед Колчаком о разрешении им продавать рабочих по своему усмотрению.

У нас поселился один офицер Челябинского полка. Какая красота! Золото и ордена. Приказал мне, чтобы я при его вступлении в комнату кричал всей семье: «Встать, смиренно!» Боевой парень! Каждый день требует вина и порет своего денщика. Сегодня повешено перед собором 50 большевиков с женами и

детьми. Вход на место казни один рубль в пользу георгиевских кавалеров. Да здравствует диктатура буржуазии!..

Вчера была у нас пирушка, Мой офицер расстрелял все зеркала и лампы, шашкой разбил всю посуду, разрезал себе руку, помазал кровью лицо и пел: «Боже, царя храни». Ночью видел везде большевиков и спрятался под кровать. К утру его увезли в больницу. Врач сказал, что это отрава алкоголем, который распространен среди «народной армии»...

Сегодня расстреляна в тюрьме третья партия политических заключенных. Разогнаны все профессиональные союзы. Да здравствует император Колчак II!..

Говорят, что большевики во что бы то ни стало возьмут Уфу обратно. Господи, что будет, что будет... Говорят, что отрезали уже от Верхнеуральска пути на Златоуст, деваться некуда.

Проклятая авантюра Колчака...

## Обзор военных действий

**Н**аступление на Бирск и Уфу «народной армии» объясняется: во-первых, стратегическим значением обоих городов и, во-вторых, политическим положением «сибирского правительства».

### Стратегическое значение наступления белых

На карте сразу видно, что с взятием Бирска и Уфы нами в руках народной армии на том фронте были только три пункта, охраняющие Сибирь: Златоуст, Верхнеуральск и Челябинск. Они творят стратегический треугольник, база которого Уральский хребет между Верхнеуральском и Златоустом.

Потеря Уфы обнажила все подступы к сибирской крепости. Продвижение войск N-ской армии от Стерлитамака к Верхнеуральску было фланговым ударом на Златоуст с одной стороны, в северном направлении, и на Челябинск через Троицк — с другой; этими операциями нашей армии разбит был стратегический треугольник белых, Бирск с Уфой были передовыми фортами к Сибири и к вышеуказанной треугольчатой опоре белых.

Бесспорно, что сектор Бирск — Уфа являлся для белых угрозой их операциям в направлении Красноуфимска. Белым грозила опасность. Пермский фронт выдвигался вперед, и Пермь попадала под угрозу обхода. Наступлением нашей N-ской армии на Уральский хребет к Верхнеуральску была нарушена связь белых с Дутовым на Оренбургском направлении, и поэтому им нужно было парировать этот удар на их правом фланге. И белые все свои лучшие силы выслали на сектор Бирск — Уфа. Скоплением нескольких дивизий против наших частей на этом участке им удалось на время выровнять фронт Пермь — Бирск — Уфа, чем вынужден был и наш правый фланг отступить от Уфы.

### Политическое положение «Сибирского правительства»

Издав приказ о прорыве фронта Бирск — Уфа, Колчак думал подействовать психологически не только на Сибирь, но и на союзников.

В Сибири правительство Колчака терпело неудачу за неудачей. Битая «народная армия» была плохой поддержкой. Волнения среди масс Сибири усиливались. Восстания коммунистов по городам Сибири были обыкновенным явлением.

Союзники, видя неудачи Колчака, отказались ему помогать. Япония вывела свои войска из Сибири, французы и англичане выехали со своими миссия-

ми.

Чувствуя неминуемость своей гибели, Колчак перешел к наступлению. Он влил в свои ряды, которые прорвали фронт Бирск — Уфа, все контрреволюционные элементы, перед которыми стояло: «Быть или не быть».

### **Заключение**

Каждому понятно, что нужно теперь делать. Не только взять Уфу обратно и продвинуться к Уралу. Мы должны перейти Урал. Уфа нам по дороге. Пускай каждый красноармеец знает свой маршрут: Уфа — Златоуст — Челябинск.

### **Рабочие полки**

**П**ролетариат не на словах, а на деле доказывает свою готовность бороться до конца с белыми бандами. Когда красные войска заняли Уфу, пролетариат Уфы поклялся защищать Советскую Россию до последней капли крови. Настала тяжелая минута для красных войск, и уфимские рабочие покинули свои фабрики и заводы и встали в ряды Красной Армии. Несколько тысяч рабочих города Уфы по первому зову организовались в красные полки и отдали себя в распоряжение 5-й армии. В воскресенье 23 марта, увязая в снегу, под звуки оркестра обучался Первый уфимский рабочий добровольческий полк. Глядя на них, сердце радостно замирало. На всех суровых рабочих лицах можно было прочесть одно: скорее пройти школу военного искусства и отправиться на фронт. Все лица горели желанием броситься скорее в битву, чтобы разбить ненавистные колчаковские банды. В тот же день две маршевые роты из Первого уфимского полка отправились на фронт на помощь своим братьям красноармейцам.

Честь и слава уфимским рабочим, вставшим на защиту Советской власти с оружием в руках! Честь и слава героям труда!

## Перебежчики

На станцию Абдулино опять прибыл новый эшелон с пленными народоармейцами, сынами сибирских крестьян.

Жандармы и полиция колчаковского самодержавия выгнали их из сибирских родных гнезд сражаться за Уралом ради власти царских генералов, буржуазии, сибирского дворянства и помещиков.

Они радуются теперь, что вырвались из рабства и не чувствуют себя пленниками; они в полном смысле слова — свои.

По прибытии эшелона на станции был устроен импровизированный митинг. Выступал ряд ораторов из перебежчиков.

«Царские генералы, — сказал один из них, — надели опять брюки с лампасами и издали приказ, чтобы мы, сыновья сибирских крестьян, шли бить Красную Армию за Урал. А кто в рядах этой Красной Армии?»

Те же сыновья крестьян, которые уже давно сбросили свою буржуазию и помещиков и сами правят Россией. Нас, сибирских крестьян, царские генералы-помещики послали на фронт под угрозой расстрела, отбивать Сибирь от рабочих и крестьян. Нам не нужно фронта, нам, сибирякам, нужна сплоченная работа с Советской Россией для осуществления великих задач коммунизма в Сибири».

Оратор обратился к красноармейцам с просьбой сильнее наступать, чтобы разбить Колчака и освободить сибирских крестьян и рабочих от помещиков, буржуазии и офицерства.

«Вы забрали весь наш полк в плен, — кончает свою речь перебежчик. — Спасибо вам, товарищи. Мы расстреляли своих офицеров, когда узнали, что вы наступаете. Мы живем теперь новой жизнью. Там — это был кошмар, — здесь — новый день, заря свободы...»

Вид у всех веселый, добродушный, но они очень плохо одеты, видно, что Колчак не обращает внимания на обмундирование своего пушечного мяса. Очень интересная группа народоармейцев, одетая в какие-то китайские халаты с мандаринскими желтыми кругами.

Денег у них очень мало, жалованья не платили им уже три месяца. Один показывает деньги сибирского временного правительства — пять, десять и двадцать пять рублей формата полтинника и объясняет, что их никто в Сибири не берет. Старых денег также нет; говорят, что их увезли союзники. Вся Сибирь с нетерпением ждет прихода советских войск. Дороговизна страшная. В Омске пуд белой муки восемьдесят рублей деньгами сибирского временного правительства (но можно купить за двадцать рублей керенками), фунт масла в Томске — сорок пять рублей. У крестьян отобрана земля и введены новые тяжелые налоги. Все станции центральной Сибири находятся в руках чехословаков, которых часть уже пробилась во Владивосток. В их руках громадное количество военного имущества, которое они увозят с собой. В Иркутске чехословаки взорвали казенные склады. Колчак издал приказ их обезоружить, но из-за отсутствия достаточных сил не пришлось исполнить этот приказ. Союзных войск в Сибири нет.

«А за что вы воевать пошли?» — спросил кто-то перебежчика.

«Нам говорили, что нужно идти за веру и отечество! Если придут больше-

вики, они наложат чрезвычайный налог на иконы и т. п., но народ начал понимать, в чем дело. Не за веру и за отечество, а за карманы генеральских, офицерских собак и за помещичью землю гнали нас генералы и помещики».

Эшелон двинулся. Послышались звуки «Интернационала». Это пели пленные народоармейцы, новые борцы за освобождение Сибири.

Что, если бы слышал это «великий» адмирал Колчак?

## Сибирская скоропадчина

Колчаковская Сибирь угрожает Советской России диктатурой помещиков, офицерства и крупной буржуазии под руководством ее «верховного правителя» царского адмирала Колчака.

Вокруг этого второго Скоропадского соединились все контрреволюционные банды, которые бежали из рабочей России за Уральские горы.

Теперь они, собравшись вместе, решили раздавить власть рабочих и крестьян и потопить в крови все завоевания революции, уничтожить свободу рабочих и крестьян и лишить их всех прав.

Нет сомнения, что захват Уфимской губернии и продвижение вооруженных сил сибирского Скоропадского к Бугуруслану есть только преходящее явление.

Меч революционных красных войск висит уже над головой сибирского Скоропадского — Колчака.

История всегда повторяется. Украинский Скоропадский принадлежит к прошлому, железная логика истории, которая выдвинула диктатуру пролетариата, за первым Скоропадским бросит в пропасть и другого.

Мы накануне крупных событий, которые приведут к полному разгрому сибирской скоропадчины и к созданию Советской власти за Уралом и Алтаем.

Поднялось Поволжье и превратилось в огромный военный лагерь. Сверкают на солнце штыки красных стрелков.

А эти красные штыки несут с собой неминуемый конец сибирской скоропадчине.

## Дневник попа Малюты

**И**з полка Иисуса Христа  
Март (Златоуст)

Возлюбленные о господе архипастыри, пастыри и все верные чады православной церкви российской вместе с божьей милостью царем всероссийским Александром IV (Колчаком) объявили гонения на язычников-большевиков. Из кашей братии сформирован батальон, к которому прибавили два батальона из татар и башкир. Это полк Иисуса Христа.

Когда мы выехали из Челябинска, то купеческая публика на вокзале кричала нам: «Да здравствует капитализм!», «Вперед за православную веру!» Все татары и башкиры в нашем полку стройно ответили: «Ура!»

Март (Бирск)

Меня по милости божьей назначили полковым адъютантом. Надеюсь, что приведу в порядок свои финансы, разоренные большевиками — гонителями церковнослужителей.

Отделением церкви от государства они лишили нас жалованья, говоря, что мы занимаемся не трудом, а обирательством. Поэтому мы, все священники, и собираемся вокруг Александра IV, богом нам данного, собирателя и строителя новой монархии на святой Руси.

И да поможет ему бог в этом великом деле, снизойдет на народную армию благословение божие.

В городе мы расстреляли несколько дюжин большевиков, с которых сняли сапоги и продали в полковой цейхгауз. Сегодня я высек нескольких солдат, чтобы не забывали, что дисциплина — это страх божий.

Апрель (Уфа)

Наш полк Иисуса Христа устроил еврейский погром. Всякий, кому дорога возобновленная родина и жизнь церковная, кто дорожит святым учением евангельским, кому дороги заповеди Христовы, шел бить евреев. Я сам зарубил шашкой на центральной улице одну старушку.

Да укрепит нас господь на служение правде божьей и на славу временного сибирского правительства.

Апрель (Белебей)

В Белебее мы построили ряд виселиц. Да будут виселицы Александра IV истинной школой жизни, источником воды живой, которую господь наш Иисус Христос дал нам в своем евангельском учении.

Май (Уфа)

На фронте торжествует антихрист. Красные прогнали нас из Бугуруслана. Завтра устроит преосвященный епископ Андрей крестный ход по всему городу.

После крестного хода будет опять еврейский погром, так как уфимский гарнизон, бригады уральских горных стрелков нуждаются в обмундировании.

Июнь (Уфа)

Мне кажется, что мы напрасно мобилизуем татар и башкир вокруг забытого алтаря православной церкви.

Наши сдали Мензелинск. Красные гонят нас по Каме. К ним в плен попал один батюшка, служивший у пулемета в 27-м Челябинском полку, и они его, вместо любви христианской, расстреляли. Гонение жесточайшее воздвигнуто

красными стрелками на армию царя Колчака. Вчера епископ Андрей в своей проповеди в соборе сказал: «Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить сдачу Уфы на поругание красным», а сегодня уже выехал из Уфы. В особом послании зовет нас последовать за ним, идти на подвиг страданий, в защиту святынь.

Наш эшелон отправляется завтра утром, в шесть часов, на Златоуст. Надеюсь, что бог поможет, и мы еще успеем расстрелять до утра последнюю партию заключенных в тюрьме красных.

*Июль (Челябинск)*

Мужайся, Александр IV! Иди на свою Голгофу. С тобою крест святой, дворянство, купцы, офицеры и помещики. Твое войско, побиваемое красными, переходит на их сторону, но с тобой воинство небесное.

Красные взяли Уфу, Пермь, Кунгур, Красноуфимск, идут на Екатеринбург и подходят к Златоусту. «Оскудеша очи мои в слезах, смутиша сердце мое» (Плач Иеремии, 2 гл., 11 ст.).

Эвакуируем Челябинск.

*Июль (Омск)*

Господи! Прости наш страх перед большевиками. Мы запуганы красными стрелками. Нас тревожит безвестный конец...

Эвакуируем Омск.

## **В мастерской контрреволюции**

**В** доме № 41 по Типографской улице во время пребывания в Уфе белых проживал священник Николай Андреевич Сперанский. Перед приходом наших он бежал, оставив в своем доме много всевозможных бумаг, плодов своей неутомимой работы.

Так как дом его теперь занят комитетом Иностранной партии (коммунистов-большевиков), то мне пришлось случайно натолкнуться на этот архив, который эта «черная ворона» оставила в своих письменных столах.

Из оставленной корреспонденции видно, что священник Сперанский письменно сносился с полковником Василием Егоровичем Гогиным из ставки «верховного правителя», руководителем издательства всевозможных воззваний против большевиков. И у священника Сперанского была целая фабрика таких антисоветских воззваний, за что он получал крупные суммы денег от Сибирского правительства» В своих воззваниях он окружал Колчака, «верховного правителя», ореолом божьего благословения, покрывая каждое его преступление. Этот верный пособник буржуазии писал так горячо, что сам полковник Василий Гогин прислал ему письмо, в котором советует ему не очень увлекаться, так как воззвания к крестьянам относительно сжигания на косяках своих комитетов слишком уж сильно написаны, хотя и желательны.

В том же письме полковник сообщает литературному инквизитору, что «Антихрист» очень понравился и что за это воззвание ему выслано денег 3500 рублей, притом просит исправить немножко его содержание и указать на то, что большевики отбирают имущество и драгоценности. Можно написать, что это сказано в Евангелии св. Марка, так как народ темный и ничего не разбирает!

Любопытно было бы найти это воззвание. В письменном столе я нашел один экземпляр с надписью «Что говорит Священное писание об антихристе и

какое дело его». Под этим подписано: «Для распространения среди войск освобожденной России. Подлежит расклеиванию на видных местах».

Написано горячо, и все время приводятся ссылки на Священное писание. Так, например, будто бы св. Иоанн в своем Откровении говорит: «Придут комиссары, которые всем положат начертания на чело их, на руку их. Никому нельзя будет ни продавать, ни покупать, если кто не имеет этого начертания». И дальше следует: «глава 13, ст. 12–16». Это, видимо, для достоверности.

Затем приводится текст Священного писания вообще о большевиках: «Они обещают свободу, отвергают начальство и злословят высокие власти (Послание Иуды, ст. 8), которыми являются сибирское правительство во главе с «верховным правителем».

В одном из воззваний поп Сперанский пишет, что в каждого красноармейца нужно воткнуть несколько штыков, чтобы он умер, как собака, так как он предатель святой Руси.

Товарищи красноармейцы, помните хорошо эти слова, вышедшие из мастерской контрреволюции, и ловите всех этих злодеев в сибирской тайге.

## Англо-французы в Сибири

Везде в железнодорожных киосках в Восточной Сибири можно встретить империалистические газеты: английские — «Маньчжурия дей нью», «Руссия дей нью», «Азиатик нью аженс» и французские — «Журналь де Пекин», «Журналь де Сибири».

Перед духовными очами всех господ редакторов этих иностранных газет яркой звездой горит только одна точка: Россия — в качестве страны со старым царским строем, с генералами, капиталистами, губернаторами, городскими, вокруг которых вертятся «союзники».

Что же препятствует осуществлению этих радостных для буржуазии дней?

Русский рабочий и крестьянин, который хватает режиссеров из империалистического театра за руки и отбирает у них колчаковскую Сибирь и другие декорации и бутафории черносотенной «Святой Руси».

Поэтому роль всех этих английских, французских и американских газет на политическом рынке Лиги наций очень жалка.

Захудалый журналишко, скажем, «Азиатик нью аженс» или «Журналь де Пекин» лает на огромную пролетарскую революцию, лает на русского рабочего и крестьянина, который сегодня уже взял винтовку в руки, чтобы двинуться через Омск, Томск, Иркутск на Владивосток.

Журналишко предлагает буржуазии вязать большевикам руки по всей Сибири и доставлять их к становому в качестве «царских супротивников».

Все эти английские и французские газеты врут не хуже белогвардейских.

«Журналь де Пекин» сообщает 7 мая сего года, что Петроград занят финнами и что большевики и жители убежали в Москву.

«Азиатик нью аженс» сообщает 13 мая, что Москва взята Петлюрой и польскими легионерами.

«Руссия дей нью» успокаивает 12 мая буржуазную публику тем, что войска адмирала Колчака вошли в Кремль.

Даже после падения Уфы и разгрома Колчака за Белой и под Златоустом «Руссия дей нью» пишет 26 июня: «Армиями адмирала Колчака водворен полный порядок в центре России».

Все-таки известия о поражении Колчака дошли на Дальний Восток. И вот вдруг эти журналы, полные до тех пор победных гимнов, выкидывают флаг пароходных обществ.

Сразу появляются в газетах объявления: «Прямое сообщение пароходами через океан в Америку, Англию, Францию. Путь Сан-Франциско — Вальпараисо».

«Общество «Дескур и Кабо» отправляет в кратчайший срок без очереди собственными пароходами в Японию, путь Иокагама...»

Итак, пароходное общество «Дескур и Кабо» является последним этапным пунктом для контрреволюции и буржуазии, бежавшей перед красной грозой...

Все-таки эти газеты дают весьма интересные сведения о внутреннем положении империалистических хищников и об окончательно прогнившей Лиге наций.

«Журналь де Пекин» приносит следующую телеграмму из Лондона: «Секретарь министерства морских дел Даниэль объявляет, что в интересах борьбы с большевиками нужно учредить интернациональную полицию под контролем Лиги наций».

Не скучно читать эти газеты и есть чем позабавиться.

От интернациональных городовых и сыщиков переходит «Журналь де Пекин» к вопросу о колониальной политике империалистов.

Тут доходит до драки. «Мы ваши, а вы наши, — обращается французский орган к английским приятелям из «Азиатик нью аженс», — только бы вот насчет эксплуатации и ограбления Маньчжурии...»

То же самое говорит и американец японцу: «Мы ваши, а вы наши, только бы вот насчет пристани Киау-Чау и Шантунг, прошу не трогать».

Старая формула разбойников при распределении добычи.

«Маньчжурян дей нью» печатает приказ генерала Кноха по английской заамурской бригаде: «Так как солдаты королевской заамурской бригады самовольно желают пробраться во Владивосток, предупреждаю, что демобилизация частей внутренней охраны пока произведена не была.

Приказываю всем оставаться на своих местах до дальнейшего моего распоряжения и тщательно следить за всеми агитаторами».

Само собой разумеется, что и русские палачи-генералы печатают в этих журнальчиках свои приказы, чтобы показать Англии и Франции, какие они молодцы.

Так, «Журналь де Пекин» печатает приказ казачьего атамана Иванова-Ринова из Владивостока:

«Приказываю всех подозреваемых в большевизме и пленных красноармейцев, содержащихся во владивостокской тюрьме, разбить на три группы.

Первую группу расстрелять с получением этого приказа, вторую и третью — постепенно, в случае возобновления покушений со стороны большевиков».

Воспеванию таких зверств царских палачей посвящают эти «журналы» три четверти своих страниц.

Искал я в этих «журналах» сведения о чехословаках и нашел, что большевики при занятии партизанскими отрядами станции Тайга у Красноярска разбили чешский карательный отряд, где и пал чешский комендант Прагер.

Дальше: что 12 мая умер чешский военный министр генерал Стефанек и что чешский добровольческий отряд отправился в Пекин, в Китай, для охраны французского посольства.

Вероятно, чешско-словацкие белогвардейцы в настоящее время по поручению «союзников» будут в Китае вешать китайских кули во имя спасения славянства, родины и китайского «Учредительного собрания».

## Вопль из Японии

Есть такой английский буржуазный журнал под названием «Япан адвертизер», издается он при дворе японского микадо в Токио.

Если перевести все его статьи и вдуматься в их смысл, то ясно становится, что все они в один голос стараются доказать необходимость Амурской дороги и Амурского края для английского капитала и торговли.

Это во-первых. Во-вторых, много пишут о том, что красный призрак большевизма бродит над Амуром.

Так, некий Давид Франси, бывший американский посол в Петрограде, сообщает английской дипломатии и банкирам, что в Петрограде большевики национализировали всех женщин и что жены комиссаров в Москве купают своих собак в шампанском.

Какой-то капитан Робен, член американской миссии в Сибири, пугает английских капиталистов и буржуев муравейниками.

«Если какой-нибудь американец или англичанин попадет в Сибири в руки большевиков, — пишет он, — то его ожидает следующая участь: большевики раздевают его догола и головой вниз, привязанного на кол, бросают в муравейник».

Кошмарная картина для английских капиталистов.

Пишут в этом журнале и представители нашего православного духовенства.

Какой-то беженец, соборный протоиерей Г. Н. Круговой, обращается к епископам англиканской церкви, чтобы они предприняли крестовый поход против большевиков.

Но крестовый поход против большевиков — это вопрос очень затруднительный для Антанты.

Из статей, перепечатанных в этом журнале из лондонской газеты «Таймс» и американской «Нью-Йорк-геральд», можно судить о настроении империалистов относительно «русского вопроса».

Так, «Нью-Йорк-геральд» сильно обеспокоена тем, что Англия, в силу торговых соглашений с Сибирским правительством, не помогла Японии укрепиться в Амурской области.

Английская «Таймс» сильно обеспокоена относительно золотых приисков на реке Лене.

Японская газета «Нычи-нычи» чувствует себя не по себе относительно Америки и Англии, называя союзников своего микадо жадными до владенья Сибирью, где торговля принадлежит японцам.

Сильно беспокоятся они также относительно Китая.

Там, за Желтым морем, против острова Нипон, спит Китай, удара которого они боятся.

Это 400 миллионов обитателей Китая, нищих, голодных, о которых доктор

Ку, представитель от Китая в «Лиге народов», с тревогой пишет, что в один день все они станут в лагерь большевиков.

«Нужно принять серьезные меры, — плачет предатель китайского пролетариата доктор Ку. — Китай переполнен агитаторами-большевиками».

Под этой статьей следует телеграмма: «Американский сенат в Вашингтоне предложил японскому генералу Кикүзо Отана золотой орден за успешное ведение борьбы с большевиками в Маньчжурии!»

Мне бы хотелось написать в «Адвертизер»: «Господин редактор! Фронт всемирной революции расширяется и через золотые ордена генерала Кикүзо Отаны. Эта линия революции пройдет и через Токио, Вашингтон и Лондон. Она раздавит в своем историческом продвижении и бога, соборного протоиерея Кругового, и империалистический купеческий мир. Это величайшее событие, которое только знает история, а человечество само определит свое развитие и без Вудро Вильсона, Клемансо, Ллойд Джорджа, которые без вести пропадут в волнах всемирной революции».

## Жертва немецкой контрреволюции в Сибири

Доблестный и неутомимый спекулянт майор фон Лаузитц, занимавшийся на досуге идеями возрождения Австрии и Германии на монархических началах, только что заключил недурную сделку в лагере военнопленных. По этой причине он приказал своему денщику Гансу приготовить на офицерской кухне бифштекс[231], а затем занес в свой дневник заметку о распространении большевистской пропаганды среди бывших военнопленных. Он писал: «Поведение личного состава ухудшилось. Все больше подрывается дисциплина и лояльность. В 1-ю Интернациональную бригаду вступили следующие негодяи: из барака № 12 — Карел Фишер (8-й полк), Иоганн Бауэр (24-й полк), Миклош Иштван (3-й полк), капельмейстер Людвиг (18-й полк), из барака № 34 от 16-го полка: Богач Ян, Такар Самуэль, Золтан Бела...

Сегодня я слышал, как Карл Проссек (Вена, Мариахильферштрассе, 12, из 21-го полка) сказал Яношу Кочи (8-й полк, пивовар из Шопрони): «Мы ведь рабочие, и никакой силе не остановить эту революцию, если мы будем едины. Только пролетарская коммунистическая революция способна помочь рабочим. Поэтому нечего нам околачиваться в лагере, надо наконец начать работать для революции».

Таких сволочей здесь немало, и я очень жалею, что в нашем лагере уже ликвидировали шведский Красный Крест, что лишило нас связи с родиной. Сколько адресов этих мятежных подонков мог бы я переслать домой! Да здравствует дом Габсбургов и Гогенцоллернов! На виселицу красных дьяволов!»

Когда денщик вернулся, майор стал его расспрашивать, не пытался ли кто-нибудь агитировать его по дороге из офицерской кухни — ведь в таком случае он мог бы сделать в дневнике еще одну запись: «Опасным пропагандистом является Вильгельм Дёрнер из 27-го полка, барак № 18, из Штеглица под Грацем. 12 марта 1920 года он сказал моему денщику Гансу Киршнеру: «Ну и болван же ты, братец, да двинь ты своего майора по морде и скажи, что надоели тебе его издевательства!»

В один прекрасный мартовский день майор фон Лаузитц возвращался из города в отличном настроении. Во-первых, он выгодно продал золотое кольцо,

а во-вторых, услышал, что в Германии произошел монархический переворот.

— Ура, Вилли! — сказал он своему приятелю капитану Цедвитцу. — Генерал фон Тирпитц освободил Берлин. Наш великий доктор фон Капп в ближайшие дни освободит императора Вильгельма из Голландии, потом отправится в Швейцарию и переведет через границу императора Карла. Потом император Вильгельм и император Карл повесят всех рабочих, объявят войну русским большевикам и посадят на русский трон кронпринца. Вот тогда-то мы поговорим по-свойски с нашими лагерниками! Тогда-то опять войдет в силу кнут!

— Ганс, — сказал он своему денщику, — опять куришь без разрешения? Подожди несколько месяцев, насидишься ты тогда у меня под арестом, проклятая обезьяна! Смир-рно! Как стоишь передо мной? Или не знаешь, что мы возвращаемся в Берлин и в Вену к императору?

— Господа! — разглагольствовал майор в офицерской спальне. — В Германии снова монархия, генерал фон Тирпитц там, доктор фон Капп... У меня от радости нет слов, и я могу только провозгласить: «Да здравствует император Вильгельм! Да здравствует император Карл! Повесить красную сволочь! Начинается! Сохрани нам, боже правый, цезаря и отчий край! Ура!»

Однако все было не так, как представлял себе майор фон Лаузитц.

В рабочих кварталах Берлина мощно гремело: «Да здравствует большевизм!» Рабочие штыками выбросили из Берлина новую монархию, и Германия была накануне пролетарской революции.

Как только услышал это майор фон Лаузитц, горько он закручинился, и все офицеры видели, что он усиленно готовится к чему-то необыкновенному. Вечером он вернулся из города с двумя банками масляной краски, черной и желтой, и с малярной кистью.

— Я им покажу! — бормотал он каким-то странным тоном. — Надо подновить австрийские цвета.

Товарищи уложили его в постель с холодным компрессом на голове. Он успокоился, однако ночью таинственно исчез вместе с банками и кистью.

В четыре часа утра интернациональный патруль наткнулся в городе на голого человека, раскрашенного в черно-желтую краску, который пел:

*Австрия, дом величавый,  
Воздвигни свой стяг со славой.  
Пусть на ветру он вьется,  
Австрия не пошатнется!*

Несчастливым черно-желтым певцом был майор фон Лаузитц.

## Чешский вопрос

Бешеная агитация против Советской власти среди чехо-войск ходом событий потерпела крушение. Судно чешской контрреволюции село на мель. «Гениальная» чуткость французского генерала Жанена, который руководил чешскими войсками, кончилась полным разгромом армии Колчака, капитуляцией польских легионеров и сербских полков, признанием чехо-войсками Советской власти, расстрелом адмирала Колчака и др. «государственных людей» сибирского царства генералов, капиталистов и помещиков.

Договор чехо-войск с представителями Советской власти — это крах политики Антанты.

Стихийный переворот приблизил чехо-войска к развязке с союзниками. Руководители чешской контрреволюции растерялись. Чешские солдаты за полтора года научились немного мыслить и рассуждать.

Обманутые союзниками, которые им обещали в течение восемнадцати месяцев пароходы для отправки на родину, предписывали им поддерживать Колчака, охранять Сибирскую магистраль, выступать против восставших рабочих и крестьян Сибири, они очутились в огненном кольце революционного пожара. Напрасно французский генерал Жанен грозил им, что в случае их отказа идти на фронт против большевиков Франция не даст больше ни франка Чехословацкой республике.

Солдаты встретили офицеров, которые делали им это любезное предложение, лозунгом «дóбот», что в переводе означает: «наплевать».

Сдвиг этих солдатских масс влево, разоблачения империалистической политики союзников наводнили экстренные поезда линии Иркутск — Чита — Владивосток политическими и военными представителями Чехословацкой республики. Удирали перед большевиками и перед своими солдатами. Бежали от красной грозы. Им стало уже невозможно появляться перед обманутыми своими земляками. Перепугались тел расстрелянных ими когда-то чешских коммунистов от Пензы и Самары до Владивостока. Чешские войска заключили договор с Советской Россией. Их борьба за Учредительное собрание кончается в эшелонах, в которых они пробираются в порт Владивосток.

Чехословаков, которые находились в последнее время в армии, можно распределить на следующие группы:

1. Национальные «социалисты» — мелкобуржуазный элемент, крайне национальный. Они не социалисты. Дома, на родине, организовывали желтые союзы.

2. Чешские социал-демократы, соглашатели. Считают себя передовыми в рабочем чешском движении, но на самом деле часто тормозят социалистическое движение; они правее русских меньшевиков.

3. Чисто буржуазный элемент правозэсеровского типа — офицерство, чиновничество и интеллигенция. Здесь все буржуазные партии. И бывшие реалисты (лидером которых был профессор Масарик) и чешские кадеты (либералы-младочехи).

4. Насильно мобилизованные после известного контрреволюционного выступления чехословаков. Это элемент, который много обещает для пролетарской революции. В эту группу можно поместить и сознательных рабочих-революционеров, они относились с презрением к союзникам. Ход событий на-

шел свой отклик в этих всех группах.

Группа 4-го типа встретила радостно переворот и победу Советской власти. Из 1-й и 2-й групп вышли и присоединились к 4-й группе более сознательные элементы, психологически обработанные этим переворотом.

Третья группа очутилась в плачевном положении. Они выступили против Колчака, надеясь на эсеров и меньшевиков Восточной Сибири, на так называемый Центр, дабы затормозить продвижение пролетарской революции на Восток. Но это не удалось. Они были в положении генералов без армии.

## К празднику

**М**ного тысяч верст прошла 5-я армия. Это была жесточайшая схватка с контрреволюцией в великой эпохе наших революционно-социалистических войн. Не страшны ни многочисленные полки отечественной контрреволюции, ни тяжелая артиллерия международного капитала.

Когда наемник иностранного капитала адмирал Колчак в апреле прошлого года наступал на Казань и Самару, представители союзников посылали телеграмму за телеграммой.

Лондонская газета «Таймс» в своей передовой статье высказывала пожелание и надежду, что Англия, поддерживая адмирала Колчака, поможет ему уничтожить Советскую власть.

Парижская «Тан» поздравляла адмирала с наступлением, обещая Колчаку всевозможную поддержку Франции для окончательного разгрома Советской власти.

Представитель американских миллиардеров Вудро Вильсон телеграфировал: «Желаю доблестной армии адмирала Колчака разбить наголову своих врагов и обещаю всевозможную поддержку».

Так было в апреле 1919 года. В апреле 1920 года пишут эти же газеты: «Англии необходимо признать Советскую власть».

Победы Красной Армии, в том числе и 5-й армии, отбили у английских буржуев спесь и заставили их заговорить о мире.

Советуем и японским дипломатам призадуматься над этим и помнить, что почетные знамена мы дарим железным армиям.

## Белые о 5-й армии

Прощаясь с миром, сибирская реакция оставила нам память прошлого вроде своих белогвардейских газет с откликами о боевых действиях 5-й армии. В августе 1918 года — через месяц после появления 5-й армии, когда начинают белогвардейцы чувствовать опасность, появляется в «Вестнике Комитета Учредительного собрания»: «Красные собирают против нас крупные силы, чтобы взять опять Самару, Симбирск, Казань. Беженцы из Пензы сообщают, что большевики подвозят на фронт массу войск».

Немного позже, когда 5-я армия наступает на Казань, в той же газете пишет член Учредительного собрания Лебедев: «Большевики перешли в наступление на Казань, но я уверен, что они будут разбиты наголову, и Казань будет для них роковой. Тут решается судьба большевизма».

Железные батальоны нашей армии взяли Казань, Симбирск, и правый эсер Фортунатов плачет в своей газете: «Казань и Симбирск залиты потоками крови. Против нас не стоят уже неорганизованные банды большевиков, они организовались и взяли два города... Если мы и в будущее время встретим подобные попытки, мы будем поступать с такими людьми как с государственными изменниками в военное время... Я уверен, что загубленная Россия возродится...»

В других белогвардейских газетах начинают появляться в сводках о фронте Учредительного собрания короткие, но весьма неприятные для белых сообщения о нашей армии: «Уфимский район. Противник продолжает наступать».

«Власть народа» за 23 ноября 1918 года на одной странице о Западном фронте публикует: «Бугульминское направление. Сведений не поступало», и на другой стороне появляется первое воззвание адмирала Колчака, верховного главнокомандующего, к офицерам и солдатам русской армии, в котором мы встречаем, что кровавая армия германо-большевиков с примесью мадьяр и китайцев угрожает Уфе и что нужно спасти родину. «Я призываю вас сплотиться около меня как первого офицера и солдата, — говорит покойный адмирал, — да поможет нам господь бог всемогущий». Но он не помог. Наша армия вошла в Уфу.

Мы отступаем в марте из Уфы. «На пасху будем в Москве» — название одной передовицы в «Отечественных ведомостях». Настроение редакторов белогвардейских газет в то время бодрое, веселое. Шутят, как будут вешать в Москве и Питере рабочих и крестьянскую голытьбу. Их перо не может приостановиться. И когда наша армия уже опять наступает и берет Бугуруслан, Бугульму обратно, они все-таки пишут, что заняты Колчаком Самара, Казань, Инза, Симбирск, где расстреляны при попытке бежать все комиссары Совдепов. Это не мешает в том же номере поместить воззвание к русским гражданам оказать помощь беженцам из Бугуруслана, Давлеканова, Бугульмы.

Наша армия переправляется через Белую и Каму, громит белых, вступает в Уфу и Златоуст.

Перечислить в то время плач и вопли белогвардейских газет не представляется возможным. Местами утешают статьями «о тяжелом положении большевистской армии»: «Из офиц. источников передают, что армия находится в таком моральном состоянии, что не выдержит даже слабого натиска».

Результатом нашего «панического страха» было то, что наша армия пере-

шла Урал и заняла Челябинск.

Когда Колчак опять начал наступать к Тоболу, опять появляются в белогвардейских газетах статьи: «Наша армия победным маршем идет на Урал возвращать русскому народу матушку Москву».

Эти географические ошибки белых журналистов разбила 5-я армия одним ударом, вступив в Петропавловск и Омск. И пришлось белой журналистике писать, что уже Деникин взял Москву, а Юденич Петроград.

Наша армия характеризуется в «Енисейском вестнике» как «красный зверь, ошалевший от голода в России, который безудержно двинулся в Сибирь». Конец приближается.

В «Енисейском вестнике» пишет епископ енисейский Назарий «верующей пастве церкви енисейской»: «Настал последний час, когда решается вопрос, быть или не быть нам. Что всегда спасало русский народ в критические моменты его жизни? Вера в бога. Облекитесь и вооружитесь верою.

Я зову вас к всенародному покаянию перед Пресвятой Богородицей, исконной заступницей и спасительницей Святой Руси.

Да спасет вас она от окончательной гибели».

Но штыки 5-й армии оказались сильнее.

В день годовщины белогвардейская печать отошла в область истории.

5-я армия уничтожила и этого покойника реакции.

## Чем болен аппарат экспедиции

Тов. Преображенский в «Правде», в статье «Как мы распределяем литературу», пишет: «Бумаги у нас мало, литературу для рабочих и крестьян мы издаем в очень ограниченном количестве экземпляров. Казалось бы, при таком положении мы должны были бы распределять литературу с наибольшей пользой для дела, между тем дело обстоит как раз наоборот».

То же самое можно сказать и про армию. Для всякого, кто наблюдает за работой экспедиций и как распределяется литература на местах, ясно, что аппарат экспедиции не налажен, несмотря на благоприятный период остановки армии, когда можно развернуть и усовершенствовать работу экспедиции и ликвидировать все недостатки прошлого периода, когда армия двигалась вперед и постоянно изменялось расположение линий, при этих условиях о правильном распределении, приеме и доставке литературы на место говорить не приходится.

Главным злом в настоящее время является шаблон.

Экспедиция есть часть отдела снабжения, и с литературой поступают наравне с продуктами.

Нет никакой идейной разверстки. Все шаблон. Налицо в части столько-то и столько-то — полагается столько-то.

Экспедиция не принимает во внимание ни политического состояния части, ни нужды ячеек, ни грамотности, ни изголодавшихся по литературе.

Экспедиция армии не имеет связи с аппаратом экспедиции на местах, и наоборот.

Как яркий пример последнего служит начальник экспедиции Подива, находящегося в одном городе с Поармом, который ни разу не был в экспедиции Поарма.

Экспедиция Поарма не имеет связи с железнодорожной администрацией, в

результате чего многие начальники станций, как, например, на станции Михайлово Утулик, отказываются от приемки литературы.

Не лучше обстоит дело и с некоторыми агитпунктами, как, например, на станции Тайга, где никогда не бывает приемщика.

В Канске лежит литература по несколько дней, и хотя там стоят несколько частей, не высылают приемщиков.

Связь с частями самая скверная, и многие относятся к литературе халатно.

Экспедиции неизвестно расположение частей, и бывают случаи, что литература гонялась взад-вперед по линии железной дороги.

Не так давно еще снабжались части в районе станции Тайга литературой из центра, экспедицией Поарма из Иркутска, когда под носом находится в Новониколаевске отделение нашей экспедиции, и так в Тайгу попадала литература с задержкой на 12 дней. Что касается распределения литературы на местах, это самая печальная картина. Партийная литература попадает к людям очень мало нуждающимся в таковой — беспартийным военнослужащим штабов и только в самом ограниченном количестве к рядовым грамотным красноармейским массам и в ячейки, для широкого использования.

Именно печальна судьба центральных газет в штабах, командах. Они являются в руках беспартийных «тыловых крыс» оберточной бумагой для полученных продуктов из хозчасти.

Центр пишет, печатает, как говорит товарищ Преображенский, для масс трудящихся, нуждающихся в знании, но литература не доходит по назначению.

Вполне прав тов. Преображенский, что надо предавать суду тех, кто бесследно отнимает у трудящихся масс литературу.

Эту угрозу мы должны исполнить на деле в армии, и мы исполним.

Преследование таких несознательных обжор литературы есть залог оздоровления экспедиции на местах. Ячейки должны строго следить за тем, кому попадается литература, сколько получается из экспедиции Поарма и сколько приходит в часть.

Литература не смеет оседать, она должна быть в движении. С другой стороны, экспедиция армии должна вести и направлять работу экспедиционного аппарата в частях, инструктировать, иметь живую связь, контролировать. Укрепление и реорганизация экспедиционной базы Поарма должны быть равносильны укреплению экспедиции на местах.

Сама экспедиция Поарма должна сбросить с себя шаблон, не быть мертвым аппаратом цифр. Она должна быть строго согласована не только с точным сведением о численности и расположении частей, но главным образом с политической и культпросветработой в частях.

Она должна учитывать грамотность политического воспитания, классовый состав красноармейских масс в части и уяснить себе кривую снабжения частей литературой.

Информация, организационная часть и культпросвет Поарма должны ей дать материал и заставить ее идти по определенным путям, на которые оказывают решающее влияние жизненные нужды, а не мертвые цифры.

То же самое должна она требовать и на местах.

## Что станет с Чехословацкой буржуазной республикой?

**Ч**ехословацкая республика предала революцию. Это начало конца, это приведет к гибели ее буржуазного строя.

Когда в ноябре 1918 года чешские газеты оповестили о том, что Карл Габсбург бежал, можно было предполагать, что для чешского пролетариата начнется новая, солнечная жизнь. Но это оказалось лишь мечтой.

Чешский пролетариат освободился от ярма австрийских капиталистов и оказался в когтях чешских капиталистов, банкиров и их союзников — социал-демократов, предателей Немеца и Виктора. Чешская буржуазия без особого труда очутилась у власти. По ее указаниям народ ежедневно шпиговали все новыми и новыми статьями, побуждая его почитать «революционных» богов: доктора Крамаржа, профессора Масарика, Вильсона и Клемансо. Чешский народ видел лишь одну сторону медали — дешевые лозунги: республика, свобода, исторические права.

В декабре 1918 года была произведена мобилизация, и чешские солдаты перешли границу, вступили в Саксонию, чтобы занять Лужинец и Будишин. Оформлялся чешский империализм. Вместо долгожданного мира — новая захватническая экспедиция. Начали с Баварии, так как новый военный министр, бывший антимилиитарист Клофач, обнаружил где-то на страницах учебника истории, будто во времена короля Бржетислава баварский городок Хум принадлежал чешскому королевству. Националисты празднуют победу. Но за нею голод и безработица сотрясают молодую республику.

В Праге появился профессор Масарик — назначенный Францией президент Чешской республики, с помощью которого Франция рассчитывает привить чешскому народу уважение и любовь к союзникам — французским захватчикам.

А лидеры чешской социал-демократической партии поддерживают буржуазное правительство в его безмерных подлостях, получают министерские портфели и идут рука об руку с буржуазией.

Возможно, что в декабре 1918 года чешский пролетариат чего-то ожидал от лидеров социал-демократии — министров-«социалистов», но в январе 1919 года он уже вышел на улицы Праги и требовал хлеба. Правительство, в котором заседают три «социалиста», ответило пулеметами. Национальная гвардия и отряды добровольцев рассеяли демонстрантов, буржуазные сынки прикладами избивали арестованных рабочих, а президент Чешской республики Масарик спокойно сидел в своем кабинете среди цветов и подушек, расшитых буржуазными дамами-рукодельницами. Он писал манифесты к рабочим, уверяя, что Франция требует от чешских рабочих воздержаться от демонстраций и мирными методами добиваться улучшения своего положения, что чешское правительство, со своей стороны, сделает все возможное для подавления большевистского движения в Чехии.

Зато теперь рабочий класс Чехии узнал, по крайней мере, что представляет собой президент Масарик, понял, что и в Чехословакии Масарик ведет тот же крестовый поход против коммунизма, который он скрепил своей подписью в Сибири, когда продал союзным державам чехословацкий корпус и послал 60 000 чешских солдат против русских рабочих и крестьян.

Разумеется, чешские рабочие не были довольны манифестом, и Масарик

прибегнул к крайним мерам...

Тюрьмы переполнены рабочими. Министры-«социалисты» оказались самыми преданными прислужниками буржуазии и в точности выполняют порученную им задачу: сохранять в стране спокойствие и порядок.

Давление Антанты на Чехию продолжает усиливаться: она требует снабжать углем австрийские заводы. В апреле союзники приказывают чешскому правительству объявить войну Советской республике.

Последствия этого давления очень скоро стали ощущаться в Чешской республике. Производительность труда упала, повсюду наступило безнадежное ухудшение. Французский и английский капитал поглощает все материальные ресурсы, все силы Чешской республики.

Неправда, что в Чехословакии царит затишье перед бурей. В Чехии ежедневно происходят рабочие демонстрации. Шахтеры Кладно не хотят больше работать на шахтовладельцев. Крестьяне требуют отдать им землю помещиков. В Кладно под руководством чешских коммунистов образовался Рабочий Совет. Кладненский бассейн со своими шахтами и заводами представляет сейчас небольшую Советскую республику. Правительство не в состоянии уничтожить в чешском пролетариате эти первые побег. Оно знает, что посланные на восстановление «порядка» батальоны бесследно исчезнут в волнах революции Кладненского бассейна. Кладно, Мостецкий округ, Моравска Острава — это бастионы чешской пролетарской революции. Пролетарская революция, подобно пожару, распространяется по шахтам, угольным бассейнам, в черных забоях подземелий.

Интриги и насилие империализма Антанты, предательство вождей — министров-«социалистов» — все это дает лишь новую пищу для распространения пламени. Огонь все ширится. В Пльзени, Либерце и Брно остановились заводы. Сентиментальную народную песню «Где родина моя?» сменил гимн «Интернационал». Чехословацкая буржуазная республика приближается к своему крушению. Президент Масарик сидит на вулкане.

В скором времени буржуазную республику постигнет смертельное потрясение. Пока что ее лихорадит, но скоро, очень скоро огонь пролетарской революции выжжет с министерских печатей чешского льва.

А что ожидает Чехословацкую буржуазную республику?

Она станет республикой Советской!

## История заслуг пана Янко Крижа

Ручаюсь, что крупинский обыватель пан Янко Криж никогда не предполагал, что приключится с ним в конце его жизни. Я разговаривал со многими людьми, знавшими его в разные периоды, и все в один голос уверяли, что это был очень хороший человек, не любивший причинять неприятности, хотя и принадлежал к семье, у которой было немало недоразумений с соседями, когда они еще жили в Погронье и владели пастбищами под Дюмбьером. Говорили, будто тогда их постигали сплошь одни несчастья, и это отчасти правда.

Может, все началось с тех пор, как Яношик в Виглашском замке трижды обошел в пляске свою виселицу и среди его добрых молодцев обнаружился кто-то из семейства Крижей.

После этого Крижи стремительно покинули Погронье и через Альмаш перебрались в Пуканец. В судебных записях Гонтского округа отмечается, что пуканецкие Крижи занимались колдовством и поэтому были изгнаны из Пуканца. К сожалению, там не указывалось, в чем это колдовство состояло. Город Крупина, который стойко сопротивлялся нападкам турок, когда еще в Будине восседал их паша, не смог устоять против рода Крижей, и они в нем окончательно обосновались.

Старый Янко Криж торговал скотом и лошадьми, а в конце своей жизни, посвященной неудавшемуся изучению всевозможных цыганских трюков в торговле лошадьми, заложил небольшие купальни под самой Крупиной на пути в Жибржитову, где находится минеральный источник.

От купален теперь остались только четыре голые стены, разбитые венгерскими гонведами в знаменательные дни венгерской революции. Для укрепившихся здесь словацких добровольцев под водительством Гурбана это была действительно горячая баня, и даже лечебная вода не могла им помочь.

После революции старый пан уже не пытался восстановить купальни и снова занялся продажей скота и лошадей. Когда же ему стукнуло семьдесят лет, у него, на удивление всей Крупные, родился сын. Поэтому, пожалуй, правы были те, кто обвинял род Крижей в колдовстве.

Молодой Янко Криж начал новую эпоху в истории своего рода. Эпоху спокойствия и удовлетворения, которая продолжалась до тех пор, пока ему не стукнуло сорок лет. Было у него прекрасное хозяйство, дом на площади, свои виноградники, и жил он до этого рокового года вполне счастливо.

По-моему, оттого его и прозвали Счастливейший пан Янко. Потом вдруг напала на виноградники филлоксера, и с того времени началась для него пора невзгод. Едва уничтоженные виноградники возродились, пан Янко Криж снова начал пить свое собственное вино, тут черт его попутал и женился Янко на мельничихе Гелене.

С тех пор он прославился по всей округе, потому что, куда бы ни пришел, всем советовал не брать в жены мельничих, которые у своих жерновов научились перемалывать мужей в муку.

К счастью, эта женщина все мельничное хозяйство держала в крепких руках и даже под мельничное колесо залезала, чтобы посмотреть, все ли там в порядке.

Однажды колесо, по неизвестной причине, пришло в движение — и пан Криж внезапно овдовел. Криж попивал винцо в своих винных погребах на ви-

ноградниках и ставил новые чаны, когда ему сообщили, что он вдовец. Он по-королевски угостил послов и вернулся ночью с виноградных холмов в весьма приподнятом настроении. И хотя еще недавно уверял, что никогда ни в чем жене не уступал:

*У меня-де — жена непокорная,  
нужен кнут на нее —*

вскоре стал твердить, что бог снял с Крижа крест[232].

С тех пор он стал уделять больше внимания своей дочери Оленке, которую отправил в Гёдёллэ в монастырь, чтобы она там хоть немного научилась вести себя, потому что до сих пор любимым ее занятием было кидать камнями в птиц да показывать мальчишкам язык.

Но в монастыре Оленка научилась врать: вернувшись домой, Оленка скрыла, что ходила с учителем Беднариком на прогулку к Крупинским скалам.

Крупинские скалы интересны тем, что они испещрены удивительными надписями, напоминающими первобытные рунические письмена, и старыми пепелищами. По вечерам эти таинственные места привлекают молодых людей из Крупины, и они в столь романтических укромных уголках испытывают такой страх перед тайнами далекого прошлого, что невольно прижимаются друг к другу.

Учитель Беднарик также утаил, что ходил с Оленкой любоваться непонятными надписями на скалах, уверяя, что у него нет времени интересоваться такими вещами, поскольку он занят голубями пака Крижа.

Это произошло вот так. Когда бог снял с Крижа крест, Янко снова много лет спустя смог уделять время своим голубям. Он сдал в аренду все хозяйство, кроме виноградников, вместе с мельницею, а свое пристрастие к вину заботливо поделил с любовью к голубям.

В свою очередь, учитель Беднарик поделил интерес к голубеводству с интересом к Оленке и, чтобы иметь к ней доступ, соорудил роскошный голубятник на чердаке дома Крижа.

По вечерам он восхищенно говорил с паном Крижем о голубях, касаясь при этом Оленкиной ножки и чувствовал себя наверху блаженства, поскольку с ним была его голубка.

В июне директор сообщил Беднарику, что школьный королевский совет переводит его в Брезно над Гроном и что он должен занять новое место сразу же после каникул.

Поэтому когда пан Криж поднялся на голубятню, он нашел учителя необычайно озабоченным, но нисколько не удивился этому, потому как Бед пари к с грустью сообщил ему, что мохнатый голубь опять не высидел яйца.

Вечером в лабиринте Крупинских скал учитель сказал Оленке, что должен раздобыть почтовых голубей и что потом он объяснит ей, как получать от него весточки из этого проклятого Погронья.

В связи с этим после ужина в доме Крижа возникли крупные дебаты. Пан Криж как человек консервативных взглядов выразил некоторое недоверие к почтовым голубям, которых по неизвестной причине называл фиглярами.

В конце концов он принужден был согласиться, поскольку Оленка вдруг заявила, что ей очень нравятся почтовые голуби. Отец был этим крайне озадачен, так как до сих пор она не проявляла ни малейшего интереса к его питом-

цам. Оленка тем временем шепнула пану Беднарику, что любит голубятника.

Таким образом, позиции почтовых голубей удалось отстоять, и вскоре четыре пары их прибыли из Зволена.

Пан Криж нашел, что это весьма приятная разновидность, а когда, обученные Беднариком, они однажды прилетели к нему на виноградники и под крыльшком одного из них оказалось маленькое письмецо, в котором его приглашали домой ужинать, он заявил, что это самые совершенные голуби на свете.

Пан Криж вполне оценил свое счастье и спокойствие и теперь мечтал, что когда-нибудь выдаст свою Оленку замуж за какого-нибудь обитателя Крупины, у которого тоже будут свои виноградники, дом и почтовые голуби, и они тоже будут приносить ему записки с сообщениями, что все уже готово к ужину и пора возвращаться домой.

Впрочем, его радовало и то, что Оленка все больше и больше интересуется голубями. Правда, интерес этот все возрастал по мере приближения того дня, когда молодой учитель должен был отбыть в это проклятое Погронье.

День этот был неотвратим (я полагаю, что не стоит распространяться о душевном состоянии двух молодых людей), и первым, кто всплакнул при расставании, был пан Криж. Он не мог отказать Беднарику ни в чем и подарил ему две пары прекрасных почтовых голубей.

— Ждите от меня весточки, — шепнул учитель Оленке, воспользовавшись тем, что пан Криж в это время снова полез в карман пиджака за большим носовым платком.

Следует заметить, что как раз в это время министр внутренних дел Берчевич задумал проехать инкогнито на автомобиле через Северную Венгрию, дабы убедиться, что словаки совершенно довольны своим правительством.

Кроме того, ему хотелось немного развеяться и испытать свой новый автомобиль.

Между тем пан Криж так грустил об отъезде управляющего голубятней, что целыми днями пропадал в своих винных погребах и дегустировал там вина, пытаясь хоть немного утешиться. А Оленка проявляла необыкновенный интерес к голубям, все время сидела на крыше и смотрела на север, поджидая, не придет ли известие от Ивана Беднарика.

Около пяти часов вечера она увидела летящего со стороны Зволена голубя. Он кружил над Крупиной, не выражая желаний куда ни то опуститься. Ей же показалось, что он выбирает нужное место.

На чердаке валялся королевский венгерский флаг с тремя полосами — зеленой, белой и красной. Оленка схватила его и начала, стоя на крыше, махать им, чтобы привлечь, заманить голубя.

Она махала флагом, и теперь каждый ребенок в Крупине знает, какие удивительные события за этим последовали: на площадь выехал какой-то автомобиль — в нем сидело двое мужчин — и остановился перед домом Крижа. Потом из автомобиля вышел некий господин и, с удивлением показывая вверх на флаг, сказал, обращаясь к другому:

— Невероятно! Откуда они знают, что я приехал?

Известно также, что это был министр внутренних дел Берчевич, проезжавший инкогнито через Крупину. Потом прибежал уездный начальник, а Оленка, видя, что голубь полетел к виноградникам, в отчаянии бросила на голубятне развевающийся флаг и спустилась вниз чтобы устремиться к виноградни-

кам.

Уездный начальник хвастался потом, что он внизу представил Оленку министру, но это неправда, потому что сам министр, когда Оленка выбежала из дому, первый подошел к ней и сказал удивленной девушке, что это его действительно радует и что с ее стороны это очень мило. Затем в припадке демократизма он вошел в дом, и тут только — Оленка поняла, что у них гости.

Тем временем голубь подлетел к винным погребам пана Крижа, и тот узнал в нем своего почтового голубя.

Под крылом у него он обнаружил маленькую записочку, в которой говорилось: «Нежно Вас целую. Ваш верный *Иван*».

Почтовый голубь уселся на плечо пана Крижа, а пан Криж стал спускаться с виноградников, размышляя о том, что творилось у него за спиной.

Вернувшись в город, пан Криж обнаружил, что это еще не все, поскольку его разыскивает и городской нотариус. Когда тот заговорил с ним о министре внутренних дел, Криж поначалу подумал, что нотариус, наверное, рехнулся, но потом вздохнул: «Ну и номера откалывает она нынче?»

Через час министр внутренних дел покинул дом Крижа, выразив свою благодарность за гостеприимство. А после его отъезда пан Янко трясущейся рукой показал Оленке записку от Ивана Беднарика и закричал:

— Я запрещаю это!

— Хорошо, отец, — спокойно ответила Оленка, — больше этого не повторится, потому что его превосходительство только что пообещал мне, что в самое ближайшее время Иван будет снова переведен в Крупину.

— Ну что ж, сдаюсь, — вздохнул поверженный пан Янко Криж, который некоторое время спустя нежданно-негаданно получил за заслуги железный крест короля Стефана.

Вот что случилось с ним в конце его жизни.

## Археологические изыскания Бабама

### I

Между истоками Белой Тиссы и Черемоша все хорошо знали Бабама. Недавно он обшарил каждую гору в Лесистых Карпатах. Переночевав на горе Говерла, самой высокой во всей Роденской горной цепи, два дня спустя он засыпал под горными соснами на Негровце, на другом конце Мармарошского комитата. Он лазал по скалам с искусством, достойным изумления, но еще более поразительно было то, что его не трогали гуцульские разбойники, постоянно тревожившие жителей северной части комитата. Поговаривали, будто в те дни, когда золото, намытое в Борше, Кабола-Поляне и Будафале, еще возили по тропе — теперь там проложена дорога, — Бабам указал гуцулам место в одном ущелье, где можно было завалить путь валунами и грабить возы с золотом. И хотя в этих слухах была, по-видимому, доля истины, Бабаму не смогли предъявить никакого обвинения. Не могли даже решить, какому участку окружного суда следовало разбирать это дело — мармарошсигетскому или берегсаскому. В то время был, говорят, в Сигете очень хороший судья, сам уроженец непроходимых карпатских лесов, раскинувшихся где-то у Шагатага. Он хорошо разбирался в подобных делах, случавшихся довольно часто. Обычно такие операции совершались без кровопролития, и сам отец главного судьи помогал сбрасывать с возов мешочки с золотым песком.

Итак, не было ничего удивительного в том, что Бабам выпутался из этого дела. Он сам говорил, что два волка не перегрызутся. Более удивительным было, однако, то, что с Бабамом вообще никогда ничего не случалось, даже если он целыми ночами бродил по Лесистым Карпатам, где в девственных лесах обитают медведи, волки, лисы, вепри, рыси и дикие кошки. Ни для кого не было тайной его знакомство со старым черным медведем, жившим в пещере под Попадъей; проходя поблизости, Бабам приносил своему другу диких кроликов, которых убивал палкой с топориком на конце. Говорили даже, что он частенько спал в пещере медведя, и люди действительно видели, как медведь провожал его по лесу и как Бабам вполне серьезно говорил ему: «Помни же, старый дурень, что тот кролик, которого я тебе принес, был от самого Свидовца».

Однажды Бабам, заглянув к своему приятелю медведю, сообщил ему, что через Лесистые Карпаты на соляные копи собираются прокладывать дороги, так что очень затруднительно будет добывать золото тем, другим, путем. Он рассказал медведю о людях, которые уже измеряют расстояние от Акна-Слатины до Мармарош-Киш-Бочко, от Шокаманы на Шугатаг и Шокамара-Ронашек, и о том, что уже делают насыпь на Тарацкез-Терешельпатаг через тисовые и буковые леса.

Неделю спустя он сообщил своему медведю, что против гуцулов, которые снова перешли с галицийских границ в Роденские горы, движутся солдаты 85-го пехотного полка, посланные командованием резерва в Мармарошсигете.

Эти новости, казалось, произвели на старого медведя необычайно сильное впечатление, ибо он заворчал и судорожно вытянулся.

Наутро, когда Бабам стал будить его, оказалось, что старый медведь совсем окоченел: он навеки покинул своего друга.

Бабам содрал с него шкуру со всей учтивостью, на которую был способен, мясо закопал, а на дереве, под которым был похоронен медведь, вырезал но-

жом крест. Медвежью шкуру он отнес вниз на равнину и в Сигете Мармарошском предъявил ее чиновникам, за что получил установленную премию — двадцать гульденов, Потом заказал себе шубу из шкуры. Это была та самая шуба, в которой впервые, как это выяснится впоследствии, увидел Бабама ученый-энтузиаст профессор Фальва.

Так и ходил Бабам в одежде своего умершего друга, как говаривал он, утверждая, что шуба перешла к нему по наследству от знакомого. Он продал одному еврею в Буковине мешочек золотого песка и зажил благонамеренной, упорядоченной жизнью. У него был свой банк в пещере под Попадьей, и когда ему было нужно, он доставал из земли гульден-другой; зная, что в Густе родится доброе вино, он отправлялся туда, а на другой день мог вполне довольствоваться хотя бы минеральной водой, которую черпал прямо шапкой в Шулигули, что за Фельшё-Вишо.

Однажды он пришел в Акна-Слатину и рассказал, что в Шулигули уже ни один бедняк не может напиться целебной воды прямо из источника, так как источник огородили и вокруг него строят курорт.

Мужчины из Акна-Слатины отправились вместе с ним, чтобы поглядеть на эти перемены, подожгли все сооружения и сломали ограду у источников.

По этому поводу у Бабама снова возникли какие-то неприятности с властями в Берегсаге, и ему пришлось дважды навестить свой пещерный банк; он приходил не только за серебром, но и за бумажками, на которые судья Варга, человек, несомненно, разумный, купил себе потом пару прекрасных коней, что вовсе ни для кого не секрет.

В те времена на Негровце обосновался пустынный, и когда Бабам попал во время своих странствий на эту гору, пустынный принялся уговаривать его покончить с кочевой жизнью. Бабам слегка стукнул его топориком по голове, а когда выяснил, что пустынный этого не перенес, похоронил его с великим благочестием и на могиле поставил большой деревянный крест.

Поговаривали, что Бабам завладел наследством пустынного, состоящим из грубо сколоченной хижины. Он нашел там в горшке триста золотых, что повергло его в глубочайшую набожность. Целый месяц он усердно молился у могилы пустынного, питаясь все это время только мамалыгой — кукурузной кашей, которую варил из запасов, обнаруженных в хижине.

Молился он так:

— О господи, сделай милость, прости все грехи этому пустынному, ведь он, конечно, был порядочным и достойным человеком. Господи, клянусь тебе, это был очень хороший человек, и да прославится имя твое, коли ты примешь его на небо, а я никогда не забуду твоей услуги. Я думаю, ты меня понял, господи. А если нет, ниспошли мне какое-нибудь знамение.

Прождав месяц, но так и не получив знамения, Бабам решил, что помолился достаточно; он навалил камней на могилу, чтобы волки не вырыли и не сожрали пустынного. После этого Бабам ушел на Киш-Бочко и за десять гульденов поставил в местном костеле большую свечу в память о пустынном.

«Теперь я сделал для него все, что мог», — сказал себе Бабам и отправился обратно в горы, на Шокамару.

Там он купил небольшое хозяйство и стал жить-поживать, избавляя крестьян от забот об овцах, что, конечно, было большим благодеянием для всей округи. Однако крестьяне не оценили его добрых намерений и сочли это про-

сто-напросто грабежом. В один прекрасный день к Бабаму явились шестеро шокамарских пастухов и вывели его за околицу. По дороге они обратили внимание Бабама на то, что ему предоставляется право выбора: быть повешенным немедленно или позже, в том случае, если он вздумает вернуться на Шокамару. Бабам пообещал и не думать о возвращении, прибавив, что хотя ему очень грустно покидать таких хороших людей, но он никогда не совался туда, где ему не рады. Он сказал еще, что Шокамара — самая паршивая деревушка на свете и он просто понять не может, как он мог там так долго выдержать. После этого он выпил с пастухами вина в Шугатаге, сердечно попрощался и прочно осел в Кабола-Поляне, где его и обнаружил молодой ученый, профессор Фальва, страдавший навязчивой идеей, что все нации вышли в доисторические времена откуда-то с Борицы и Будафала, с горных плато Роденской цепи Лесистых Карпат.

## II

В Кабола-Поляне Бабам поселился в заброшенном цыганском шалаше, обитатели которого перемерли от черной оспы, и снова зажил веселой, беззаботной жизнью. Каждый день уходил он в горы и однажды принес домой молодую рысь и приручил ее, как кошку. Рысь приносила ему разную живность, водившуюся в окрестностях, и так они жили в страхе божьем. В поросших лесом долинах уже свистели локомотивы, сюда приезжали туристы — явление новое для Лесистых Карпат. Бабам частенько встречал их в лесу, его не раз так и подмывало выкинуть с ними какую-нибудь штуку, но он всегда успевал вовремя одуматься и вместо этого за скромное вознаграждение бродил с туристами по горам и продавал им маленькие, правильной формы кристаллы хрусталя — так называемые мармарошские алмазы, которые он собирал в горах.

Тут, около Кабола-Поляны, Бабам и познакомился с профессором Фальвой. С любопытством следил Бабам, как мужчина с киркой и лопатой на плече направляется из Кабола-Поляны в лес; Бабам пошел туда, просто желая быть полезным даже этому чудаковатому незнакомцу, если только, не дай бог, его не одолеет злое искушение...

К счастью, искушение не одолело Бабама, хотя незнакомец и он были одни в лесной чаще. Незнакомец как одержимый скитался по холмам, внимательно рассматривая местность через очки. На одном холме, поросшем низким кустарником, где почва местами была обнажена, он начал копать.

Тут искушение стало все больше одолевать Бабама. «Если этот человек ищет клад, — решил он наконец, — пусть себе копает. Зачем мне утруждать себя? Если он найдет клад, я всегда успею отобрать его». Он с интересом следил за работой, как вдруг незнакомец воскликнул: «Я так и знал!» — и, вытащив из земли какой-то глиняный черепок, внимательно стал его рассматривать.

Бабам, стоявший на самом краю обрыва, от любопытства наклонился немного ниже, чем следовало, потерял равновесие и мигом скатился к ногам профессора, который приветливо сказал ему:

— Это пепелище не моложе восьмого века до рождения Христова.

Бабам так рот и разинул, а незнакомец в очках еще спросил его, нет ли здесь каких-нибудь языческих захоронений.

Затем Бабаму пришлось выслушать целый поток слов, из которых он понял, что этот господин интересуется какими-то разбитыми горшками.

Вечером в трактире «У великого старого святого Яна» Бабам завел со своими соседями разговор на эту тему. Староста, который больше месяца провел в столице, рассказал, что немало таких чудаков бродит по свету. У некоторых это от запоя, у других — с горя. Неладное что-то творится у них с головой, вот и начинают они собирать коробки от спичек или бумажки на улицах. У каждого это по-разному. Староста клялся, что знал человека, который после такого затмения в голове собирал даже почтовые марки.

Бабам рассудительно заметил, что, верно, это очки виноваты, коли речи у того господина такие странные. Все толковал о чем-то до Христа и о чем-то после Христа, о язычниках и каких-то нациях. А под конец сказал Бабаму:

— За каждый большой глиняный черепок, который вы найдете и принесете мне, получите пять крейцеров, а за маленькие черепки — по два крейцера.

На прощание староста подчеркнул, что не одобряет поведения незнакомца, хотя, конечно, жаль, что это случилось с ним в столь молодом возрасте.

— Впрочем, — веско добавил он, желая дать понять всем, что он ничего не упускает из виду, — кто знает, не кроется ли здесь что другое. Говорят, бродят тут люди, которые намереваются продать венгерские земли русским.

— Ничего такого я за ним не заметил, — возразил Бабам.

И они расстались.

Бабам вытянулся на траве перед своей хижинкой; в ногах его урчала рысь, словно мурлыкающая кошка. Бабам смотрел на ясные звезды над Лесистыми Карпатами и думал о маленьких и больших черепках и обещанном за них вознаграждении; и чем дольше он размышлял, тем яснее становилась разгадка.

Через полчаса вся археология стала ему ясна. Он встал и сбежал вниз, к еврейской лавке.

— Эй, хозяин! — крикнул он, стукнув в окно. — Продай мне горшки! Знаешь, вичербачские, необлитые, языческие такие горшки.

Лавочники старались угодить Бабаму даже ночью, поскольку много о нем понаслышались. Хозяин лавочки быстро принес три глиняных горшка, с которыми Бабам и удалился, заверяя, что с деньгами все будет в порядке, а глупых напоминаний он, дескать, не любит.

Перед своей хижинкой Бабам поставил горшки на землю, с минуту любовался ими при свете месяца, потом воскликнул:

— Ньольц сав эввле Кристуш элёт, восемь веков до рождества Христова! — и, перекрестившись, разбил горшки топориком на большие и маленькие куски.

Затем он, раскопав землю напротив, на другом берегу Черемоша, уложил черепки в яму, а наутро отправился в полянскую корчму навестить профессора Фальву, прихватив с собой вещественное доказательство своих исследований старины.

— Друг мой, это превосходит мои ожидания! — вскричал профессор. — Я поистине в восторге.

— Они здорово старые, — бросил Бабам, раскуривая трубку, чтобы скрыть, насколько взволновала его радость ученого.

— Ведите меня туда, — кричал профессор, надевая пальто наизнанку, — скажите, пусть запрягут...

— Это недалеко отсюда, — скромно произнес Бабам, — я постарался избавить вас от долгой ходьбы, а добра этого там хватает.

По пути профессор расспрашивал, не рассказывают ли что в окрестностях о месте находки.

— Я знаю мало, — ответил Бабам, — вот будто бы старые люди рассказывали, а они, в свою очередь, слышали это от своих прадедов, которым эти сведения передали древние люди, только в давние-предавние времена здесь находились совсем чужие солдаты и что потом они ушли в Румынию.

— Древняя Дакия! — радостно вырвалось у профессора. А когда вслед за тем они стали выкапывать сокровища на указанном Бабамом месте, он воскликнул с благодарностью:

— Я так и предчувствовал! Эти черепки римского происхождения.

— Что это? — восторженно воскликнул он, осмотрев в лупу один из осколков. — Смотрите, тут типичными древнеримскими буквами вытиснено «МА». Это осколки сосудов, — продолжал он, обнимая удивленного Бабама, — которыми пользовались воины римских легионов Марка Аврелия, проникшие сюда, на север Паннонии. А уже отсюда они ушли в Дакию, как я и предполагал.

### III

Вичербачский горшечник Миклош Адам до сих пор выдавливает на своих самодельных горшках неуклюжее обозначение «МА». Черепки Бабама хранятся в новом городском Мармарошсигетском музее с надписью, гласящей, что это остатки древнеримских сосудов времен Марка Аврелия.

А Бабам сделался смотрителем нового музея, он часто вспоминает профессора Фальву, и ему кажется, что бедняга, верно, уже не вылечится никогда.

## Законное вознаграждение

**В** Кёрёшмезё никогда не сохранялось спокойствие, но после того как его взялся восстановить пан Павел, дело пошло еще хуже. Пан Павел был нотариусом, и в его обязанности входило разрешать разные спорные вопросы, которые он сам и затевал, ибо следовал принципу, что к ленивым карпам, чтоб их расшевелить, всегда нужно подпустить щуку.

Так вот и жил он своими интригами, непомерно радуясь всякой драке, которую затевали в корчме соседи, после чего они приходили к нему, прося рассудить.

— Слышь, бача, — говорил он, к примеру, будто бы случайно соседу Деаку, — ты вот намерен отправиться на базар в Дармат, а люди заметили, что у вас побывал Мега. Ну чистый воробышек, и, видать, — того... этого...

Я привел это просто как пример, из которого следует, что пан Павел был самым обыкновенным интриганом, не увлекавшимся слишком сложными выкрутасами. Себя он считал весьма свирепым и даже жестоким человеком, и я собственными глазами видел его письмо, где он подавал себя в самом невыгодном свете.

Объяснялось это тем, что он, влюбившись в дочку помещика Мюрагади, решил, что чем суровее он станет держаться, тем выгоднее это будет.

«...признаюсь вам по секрету, прекрасная барышня, что я — невыносимый тиран, и кёрёшмезейским жителям кажусь просто-таки извергом...»

Послание сие возвратилось к нему обратно с припиской, что с извергами наша барышня дел не имеет и разговаривать ей с ними не о чем.

С той поры пан Павел возненавидел весь белый свет, а главное — народ, населяющий долину Тиссы, где он развивал свою деятельность, полагая, будто

страшнее его нет никого во всей округе.

С виду он всегда был строг, но все уверяли, что это он просто так — играет, и никому не страшно.

Однажды старуха Галасова при разбирательстве ее дела в суде назвала его справедливым, а он как рыкнет на нее — дескать, молчи, бабка, никакой во мне справедливости нету.

Присуждая спорщиков к штрафу, он по вынесении приговора всякий раз приговаривал: «Вот видите, дети, как я к вам суров и непримирим». Эту фразу пан Павел всегда произносил очень весело и радостно, будучи доволен, что еще и еще раз может доказать свою суровость.

Случалось, выйдет он в поле, а навстречу — Зонгора, клянёт бедняга своих буйволов — остановились, дескать, — и ни с места. Зонгора и проклятья на них насылал, и несколько раз водою обливал — все без толку.

— Ну как дела, бача?

— Да вот, проклятые, битый час тут с ними мучусь.

— Да это бы еще ничего, такие-то муки. Бывают, Зонгора, и похуже мученья. Вот бают, будто сосед твой Апар милуется с твоею женою. И кто бы подумал — ишь ведь, безрукий пес...

И пан Павел шел дальше вдоль кукурузного поля и усмехался, довольный, накручивая на палец свои гусарские усы с обильной уже проседью.

Он находился в полной уверенности, что с Зонгорой произойдет то же, что с Деакой и Мегой. Только участники драки будут другие, вместо Деаки драку затеет Зонгора, вместо Меги — Апар. А эффект — одинаковый. Придут к нему — мириться, и он назначит им штраф, а деньги положит в свою обитую железом шкатулку. Без сомнения, все эти столбики серебряных монет накопились у него именно в результате сложных интриг. Справедливости ради следует отметить, что в Кёрёшмезё трудно отличить случаи всамделишных супружеских измен от ненастоящих.

Однако по всей округе идет слух, что местечко Кёрёшмезё славится двумя вещами: черным перцем и верностью женщин. Габари, по крайней мере, настолько уверовал в непогрешимость своей супруги, что не дал сбить себя с толку даже подстрекательствами пана Павла, хотя тот, встретив его однажды у колодца на правом берегу, бросил невзначай: «Слышь, бача Габари, не по нраву мне, что молодой Бела Гатари водит сюда своих буйволов, когда твоя жена приходит за водой».

Пан Павел не упомянул о том, что он тоже подходил к колодцу неоднократно именно в тот момент, когда жена Габари брала оттуда воду, но крепко получил по носу за то, что будто невзначай попытался ущипнуть ее за плечико.

— Да как же Беле не поить здесь своих буйволов, ежели прошлой осенью их собственный колодец Тисса песком занесла, ясновельможный пан?

— Что правда, то правда, бача, однако ты примечай. Бела — парень пригожий, не ровня потасканному мужику вроде тебя. Мы, старики, не в счет. Не нужны мы бабам. Понял, старый седой дурень?

— Оно конечно, ясновельможный пан, но моя жена — совсем другое дело. Что правда, то правда, Бела частенько нас навещает, так что в Кёрёшмезё даже слух об этом идет. Да ведь кому-кому, а тебе-то хорошо известно, что я из-за жены уже со всеми соседями на левом берегу передрался. А тут я спокоен, тут никакого греха нет. Вон сушили мы перец, и прослышал я, будто Бела помога-

ет жене вешать его в каморку. Переругался с соседями и — бегом домой. Прибегаю: Бела — перед нашим домом, покуривает себе трубку, а шагах в двадцати от него — моя жена, сидит и почему зря его ругает. Не выносит она его. Сколько раз говорила, что очень он ей противен. Я сам ее уговаривал быть к парню поласковой. «Да ведь он такой дурной!» — отмахивалась жена. А чего только я из-за нее не испытал! Иштвану голову разбил, Масу руку сломал — все из-за сплетен. А сколько деньжищ извел на штрафы, тебе-то лучше всех известно, ясновельможный пан! Бела — золотой паренёк. Я уезжаю на торги — жену на Белу оставляю, чтоб он за ней приглядывал. И он, бедняжка, целыми днями пропадает у нее, даже свое хозяйство забросил. А спрошу, как, мол, дела, и что моя женушка, только отмахнется: «Да что, все по-старому, все четыре дня бесперечь меня ругала. И псом-то обзывала ни за что ни про что, а потом отослала на речку коноплю мочить и ворошить». А вот пооди же ты — сплетни, драки да штрафы все идут и идут.

Пан Павел усмехнулся и не без намека изрек, дескать, однако, бача Габари, все ж таки примечайте. Бывает, и наилучший сторожевой пес сторожит-сторожит, а там — хватить! — и укусит своего хозяина.

Илона Габари снова отправилась переворачивать коноплю, которую вымачивала в Тиссе. И черт знает, как это вышло, но именно в том месте, где она сидела, искал брод Бела, приехавший на коне.

— Isten ald meg, Илона![233]

— И тебя храни господь, Бела, тебе это ох как надобно! Носишься будто оглашенный, прямо что твой мадьяр пастух.

— Ежели здраво рассудить, — произнес Бела, соскакивая с коня, — тебе-то что до того, как я ношусь. Нет, чтобы хоть разок со мной поласковее обойтись.

Он уселся рядом с нею на траве. Илона загляделась на противоположный берег, а Белу вдруг осенило, что у нее прямо-таки крохотная ножка, а глаза полыхают, словно волчьи, если за ними во тьме наблюдать.

Илона прогнулась, и ее острые груди высоко подняли материю белой кофточки.

— Посади меня к себе на колени, — вдруг произнесла она каким-то необычным голосом, — и не будь ты таким дурнем, Бела.

Усевшись к нему на колени, Илона погладила Белу по спине.

— У тебя очень крепкое тело, Бела, небось и сам понимаешь, как не хочется мне называть тебя «дурнем», да ведь раз ты такой, то и слова другого не подберешь. Обними-ка меня, дурашка, за талию, да покрепче.

— Совет да любовь! — раздалось вдруг позади, и тут же пред ними собственной персоной предстал пан Павел, добавив с довольной ухмылкой: — Ну вот, теперь снова пойдут такие славные пересуды!

И ушел, попыхивая дымком из короткой трубки, оставив парочку в полном недоумении.

Первым опомнился Бела. Вскочил на коня и, уже не разбирая брода, рысью помчался в Кёрёшмезё и остановился лишь возле дома Габари.

К вечеру пан Павел подкараулил Габари, гнавшего стадо, и поделился с ним своими наблюдениями: дескать, не ругайся, бача, я их застукал.

Габари только усмехнулся в ответ.

— Знаю, что ты хочешь мне рассказать, да Бела тебя опередил: еще утром признался, как они тебя разыграли, ясновельможный пан. Это тебе за шпион-

ство. Завидели они тебя, ну, Илона — плюх Беле на колени, это, значит, чтоб тебе снова было о чем наушничать. Ладно, давай, толкуй дальше, может, я еще с кем побьюсь, заплачу штраф, да только всем станет известно, как они тебя надули. Это ведь она сама к Беле на колени прыгнула, а он и не сажал ее вовсе, ну не смех ли?

Пану Павлу ничего не осталось, как только отговориться по привычке: «Так то оно так, бача, однако мне это не по вкусу, я бы на твоём месте все ж таки стал примечать».

И Габари снова пришлось драться со всеми соседями и платить штраф.

После этого случая Габари повсюду распустил слух, будто едет он на базар в Клуж — торговать лошадьми. И по сему случаю, как обычно, призвал Белу, чтобы тот стерег его жену и хозяйство.

К ночи доехал он до Фюзеса, но потом словно передумал и воротился — позже он признавался, что повстречал там румынских конокрадов.

Так вот, значит, вернулся он нежданно-негаданно домой, а утром Белу Габари нашли возле его усадьбы сильно избитого и без носа.

Когда Белу привели в чувство, то староста, вне себя от испуга, перво-наперво спросил, куда девался нос.

Бела ответил, что, наверное, где-то в горнице. Пошли в дом, а на дворе обнаружили Илону — голую, привязанную к колу, и Габари с длинным кнутом, которым погоняют буйволов.

На вопрос, чего это он делает, Габари ответил, — так, мол, малость наводит порядок. Пан Павел, при сем присутствовавший, рассказывал потом, что сам не знал, куда глаза девать, хотя он и жесток, и безжалостен.

Бача Габари бросил расправу и отправился в корчму, а там сказал, что толковать не о чем. Понятно, дело было яснее ясного, строить догадки тут не приходилось, так что о происшествии вроде и позабыли. Приволокли цыган и заставили их играть. Общее мнение, высказанное старостой, было таково, что все вроде обойдется по-хорошему. Однако на другой день пошел Габари с женой вдоль Тиссы — проверить коноплю, прижатую огромными камнями, и тут, с высокого берега, где прежде стоял деревянный мост, Илона Габари бросилась в реку — по дороге она все твердила мужу, что не перенесет пережитого позора и утопится.

Мгновенье Габари смотрел, как волны уносят ее тело, еще несколько раз пыхнул своей короткой трубочкой — и сиганул следом за женой. Когда в половодье течение несет огромные коряги с Карпатских гор, это очень опасно для жизни, но Габари и с корягами справлялся, поэтому нет ничего удивительного, что выхватить жену из воды — для него дело пустячное. Приведя супругу в чувство, Габари надавал ей по шее и отвел домой.

А на следующий день отправился к нотариусу пану Павлу требовать законного вознаграждения за спасенье собственной жены.

Пан Павел покрутил головой в знак отрицания, но бача Габари горячо возразил:

— Кому-кому, а тебе лучше других известно, сколько деньжищ я переплатил за то, что бился, доказывал ее невинность. Так пусть хоть теперь мне перепадет малая толика, какое ни то вознаграждение, ясновельможный сударь.

Повысив голос, он добавил:

— Слышь, *magyságos úr*, [234] я желаю получить законную награду за твою

тупость.

Жестокосердный пан Павел прослезился над его убогостью.

## Письмо Ярослава Гашека к Яр. Салату-Петрлику

Иркутск, 17 сентября 1920 г.

Дорогой товарищ Салат!

Только что приехал товарищ Фриш и привез мне от Вас письмо и литературу; все это я принял с величайшей радостью. Особенно вовремя пришла «Философия опыта» Богданова: она нужна мне как материал к докладу, с которым я должен выступить в понедельник в одной из школ курсов пехоты.

Письмо меня порадовало: оно свидетельствует о том, что меня уже не считают неустойчивым человеком. Неустойчивость свою я утратил за тридцать месяцев неустанной работы в Коммунистической партии и на фронте. Кроме небольшого приключения после того, как братья штурмовали Самару, со мной ничего не случилось. Прежде чем добраться до Симбирска, я два месяца разыгрывал в Самарской губернии печальную роль слабоумного от рождения сына немецкого колониста из Туркестана, который в молодости скрылся из дома и бродит по свету, чему верили даже сообразительные патрули чешских войск.

Мой путь с армией от Симбирска до Иркутска, когда на мне лежало множество всевозможных серьезных обязанностей, партийных и административных, — великолепный материал к полемике с чешской буржуазией, которая, как ты пишешь, твердит, будто я «примазался» к большевикам. Это они не могут обойтись без идеологии, обозначенной словом «примазаться». Они пытались примазаться к Австрии, затем к царю, потом примазались к французскому и английскому капиталу и к «товарищу Тусару». Что касается последнего, тут трудно решить, кто к кому «примазался».

Да здравствуют политические спекулянты!

Если бы я захотел рассказать и написать, какие я занимал «должности» и что вообще делал, наверняка не хватило бы всего имеющегося у нас в Иркутске небольшого запаса бумаги. Сейчас я, например, начальник организационно-осведомительного отделения 5-й армии, поскольку все командированы в Политическое управление Сибири в Омске, а я остался тут, на востоке.

Кроме того, я редактор и издатель трех газет: немецкой «Штурм», в которую сам пишу статьи; венгерской «Рогам», где у меня есть сотрудники, и бурят-монгольской «Заря», в которую пишу все статьи, не путайся, не по-монгольски, а по-русски, у меня есть свои переводчики. Сейчас РВС требует, чтобы я издавал китайско-корейскую газету. Тут уж я действительно не знаю, что буду делать. Китайцев я сорганизовал, но по-китайски умею очень мало, а из 86 000 китайских иероглифов знаю всего-навсего 80. А еще я со вчерашнего дня член редакционной коллегии «Бюллетеня политработника».

Мне всегда дают очень много работы, и когда я думаю, что уже больше никто ничего не сможет изобрести, что бы я мог еще сделать, появляются обстоятельства, которые опять принуждают работать еще и еще. Я вообще не ропщу, потому что все это нужно для революции.

Когда я был в Уфе, до нашего отступления в 1919 году, я должен был организовать там «Особый отдел 26-й дивизии». А перед этим я был комендантом города Бугульмы; там, кроме этого, мне поручили работу в комиссариате печати, назначили директором типографии Политического отдела армии, затем я

должен был организовать фронтовую газету. О политической работе я уж и не говорю.

А если говорить, что я «примазался» к Коммунистической партии, то нужно еще добавить, что за время нашего перехода от Уфы до Иркутска, я проводил и всю организационную работу с бывшими военнопленными всех национальностей; это хорошо знает товарищ Трауб, поскольку мы создали там областное бюро иностранных секций партии. Кроме того, я был еще председателем районного штаба 5-й армии. И если я написал вначале, что в понедельник у меня доклад там-то и там-то, так это само собой разумеется, поскольку доклады и вообще выступления на собраниях — это нечто совершенно второстепенное и обычное, как и работа в разных комиссиях, в которые меня выбирали в течение этих двух лет.

Извини, что я обо всем этом пишу, я не собираюсь хвастаться, хочу лишь объяснить, как я «примазался» к коммунизму.

Если я поеду в Чехию, то не для того, чтобы посмотреть, как выглядят чисто выметенные улицы Праги и пишут ли еще газеты о том, что я примазался к коммунизму. Поеду туда намылить шею всему славному чешскому правительству с такой же энергией, какую привык видеть и проявлять в борьбе нашей Пятой армии с сибирской реакцией покойного адмирала.

Письмо Тебе передаст товарищ Валоушек, которого я командирую в ПУР, чтобы его оттуда послали к Вам. Это тоже один из славной 5-й армии.

Я буду стараться отсюда выбраться, но знаю, что сам не смогу ничего сделать, поскольку здесь сейчас никого нет, и я как помощник начальника Политического отдела армии должен подписать все бумаги. Поэтому не думайте, что я не подчиняюсь партийной дисциплине, если сам ничего не сделаю. Вы должны нажимать, об этом Вас и прошу.

*Ваш Ярослав Гашек.*

## Душенька Ярослава Гашека рассказывает: «Как я умерла»

Когда мое тело расстреляли в Будейовицах за государственную измену, которую мы с ним совершили в припадке белой горячки, полетела я, светлая душенька доброго Ярослава Гашека, на небеса. Надеюсь, вы помните этого милого молодого человека. Он любил государя императора, писал разные глупости, и физиономия у него была розовой. Еще он умывался одеколоном и обожал мускус. Правда, это к делу не относится. Однажды он сказал одну вещь, с которой никто не согласился. И вот этого лояльного господина обвинили в государственной измене и расстреляли. Его можно было бы считать жертвой, а считали забудыгой. Но поскольку «ж» и «з» стоят в алфавите рядом, я была вполне довольна и радостно возносилась, напевая «ля-ля-ля». Поднявшись довольно высоко, я скорчила земле рожу, просто так, от радости. Но моя светлая радость длилась недолго. Перед воротами небесными стояла большая очередь. Я хотела было пристроиться где-нибудь впереди, чтобы побыстрее вкусить райское блаженство, как вдруг меня схватила за рубашку военная полиция. Это было что-то среднее между архангелом и императорским жандармом.

— Эй, пехотинец, а есть ли ты в списке погибших? Ну-ка, покажи свои бумаги, — потребовало небесное явление.

Бумаг у меня не было, и я смущенно переминалась с ноги на ногу.

— Осмелюсь доложить, — сказала я, соединив, как положено, пятки, — меня только что расстреляли в Будейовицах. И я не знала, что мне надо взять об этом справку.

Небесный житель хмуро взглянул на меня.

— Кому ты это говоришь? Я, слава богу, не сегодня на свет появился. Я тут стоял, когда непокорные ангелы нарушили дисциплину. Во время всемирного потопа я дежурил в приемной. Я пропускал через небесные врата невинно убиенных младенцев. Мимо меня прошли через врата древность и средневековье. Я видел Орлеанскую деву и о ней мог бы много чего порассказать. Я открывал Наполеону. Ты что думаешь, я сегодня на свет народился? Так вот, если хочешь знать, я вовсе никогда не родился. А что касается тебя, так ты, похоже, вовсе и не умер.

А с этими Будейовицами ты плоховато придумал. Ты что, думаешь, я географию не знаю? Ведь ты из того «голубинога народа», который все время где-то дерется. Хорош народец. И это из-за него я тут должен работать сверх положенного? Да каждый сопливый ангелочек тебе скажет, что около Будейовиц сейчас никакого фронта нет. Здесь не посачкуешь. Кругом, и марш обратно в роту.

В жизни я принадлежала человеку, который превыше всего почитал начальство и законы и который лишь в состоянии полного опьянения мог допустить антигосударственное высказывание, за которое и был наказан в назидание другим. В жизни у меня не было никаких неприятностей с полицией. Поэтому и после смерти я послушно повернулась и полетела обратно в Будейовице. Разыскав на месте казни свое мертвое тело, я скорбно воссоединилась с императорским пехотинцем.

Пехотинец был порядочным человеком. Он все больше держался кухни и приводил в изумление повара своими кулинарными познаниями. Ел он за двоих. Пил за троих. Спал за четверых. Станным провидением божьим ему

все же суждено было погибнуть на русском фронте. Убедившись, что он совершенно мертв, я с грустью присела на его ранец. Я была снова свободна, как говорится, в разводе со своим телом. Но у меня не было никакого документа, который бы это подтверждал. Вокруг простиралась мрачная, развороченная равнина. В лунном свете ко мне приближался человек. Это был священник. Он собирал документы и вещи мертвых. Я надеялась, что теперь он установит и зарегистрирует мою смерть, но, подойдя ко мне совсем близко, он вдруг сплюнул, произнес «Вот жизнь проклятая» и потащился обратно. Мое тело мутными глазами смотрело в небо. Я заплакала. Никто не поверит, что я умерла. Я не решалась вот так появиться перед вратами небесными, поэтому снова забралась в своего пехотинца и стала ждать следующего, более удобного случая умереть.

К счастью, мое тело очень скоро напилось до беспамятства и погибло в драке с пьяными матросами. Случилось это, похоже, где-то на море, судя по присутствию моряков. (Море — моряк.)

Я покинула свой труп и отправилась искать какой-нибудь документ, подтверждающий, что я умерла. На этот раз я действовала по плану и вскоре нашла о себе некролог в одной из чешских газет. Он был напечатан на последней странице и было в нем о моем бедном теле одно только самое плохое. Точно по чешской пословице «О мертвых или ничего или плохо». В жизни я тоже была не прочь посмеяться над людьми и наговорила про ближних своих много колкостей. Но всегда подсмеивалась только над живыми. Я остро критиковала и насмеялась над всем тем, с чем у них хватило смелости выступить публично. Нов личном грязном белье не копалась. Я не ухватила за то, что у пана Н. там-то и там-то была любовница. Мне было довольно того, что он публично произнес то-то и то-то. В посмертном воспоминании, которое посвятил мне мой «приятель», меня нарекли пьяницей и акробатом жизни. Употреблено было и слово «шашек»[235]. «Гашек-шашек». Так меня звали во дворе еще до того, как я начала ходить в школу, так что меня это совершенно не удивило. Я смотрела, нет ли там дальше: «Ярослав, г...о, по Влтаве проплыло», потому что так мне кричали в детстве, но в некрологе этого не было. Там говорилось только, что у Гашека-шашека были пухлые руки. Я скорей посмотрела, не сказано ли там, что у него была грязь под ногтями, и когда он в последний раз мыл ноги, но этот исторический факт там также не был отражен.

В полночь я проскользнула в каморку автора этого пасквиля. Он лежал на постели в ботинках и храпел что есть мочи. У меня было желание врезать ему так, чтобы в его клеветнических устах (менее тонкая душа употребила бы здесь термин «бесстыдная пасть») ни одного зуба не осталось.

Но поскольку я была мертва, в кармане у меня был некролог, а мое тело с переломанными пухлыми руками лежало во Владивостоке, с моим приятелем ничего не случилось.

С фельетоном в саване я опять полетела на небеса. Очередь была уже меньше. Перед вратами была слышна только русская речь. Я вспомнила, как старый Ваня, который носил кепку, говаривал: «Учите русский». Соседняя душенька спросила:

- Откуда ты?
- Из Владивостока.
- Большевик или доброволец?

— Большевик и доброволец, как тебе нравится, — ответила я дипломатично, поскольку когда-то училась в консульской академии.

— И что с тобой случилось? Чрезвычайка?

Я осторожно вынула свой некролог и с вежливой улыбкой подала вопрошающей душе.

— Читайте.

Душенька прочитала, покачала головой и вынула из кармана кусок хлеба, завернутый в промасленную газету. Она подсунула бумагу к моим глазам и засмеялась жутким смехом:

— Так мы земляки. Я Коуделка из Вршовиц. Мы жили напротив Вауров. Прочитайте вот это.

Я робко посмотрела на сверток. Это был маленький сверточек, такой, как мама давала мне в школу, а жена — в редакцию. Он пропах табаком и салом. Мужичок, видимо, хорошо запасся в последний путь. Глаза мои остановились на заметке «Слухи о мнимой смерти Ярослава Гашека». Там говорилось, что Ярослав Гашек действительно напился, но что случилось это наверняка не в последний раз. Моя смерть была таким образом опровергнута. От горя мои колени затряслись так, как трясутся подбородки у героев Райса. Я помчалась во Владивосток. И только еще услышала, как душенька из Вршовиц говорит:

— Бр... И такие типы еще заговаривают с приличными людьми. Хорош гусь, из газет не вылезает.

Глубоко удрученная, я наклонилась над своим телом. Оно уже пахло. Я с грустью посмотрела на свой высокий лоб, красивый нос, и мне стало очень обидно, что в некрологе говорилось лишь о моих руках.

Слезы навернулись мне на глаза, и я вынуждена была высморкаться в саван. Мне хотелось плакать от того, что они не хотят признать, что меня пьяного убили моряки. Я говорила себе:

— Боже милосердный, после смерти каждый обретает покой, только я — нет! А ведь этот пан Гашек был такой достойный человек. Мы так хорошо с ним жили и так понимали друг друга.

Вдоволь нагоревавшись, я взвалила на спину свое троекратно мертвое тело и отправилась с ним по свету. На первом же углу мне бросился в глаза ордер на арест. Прочитав его, я поняла, что речь идет обо мне и о том, что я тащу на спине. Тогда я положила свои останки прямо под ордером, а сама села поодаль под грушевое дерево и начала ждать, когда меня наконец окончательно прикончат. Вскорости меня расстреляли и повесили за государственную измену. Однако на этот раз я получила об этом свидетельство (не немецко-чешское, а чешско-немецкое) и была наконец допущена во врата небесные.

Во вратах от меня потребовали анкетные данные.

— Кем была?

Я зарделась, склонила голову и сказала:

— Когда мне исполнилось тридцать пять, у меня за плечами было восемнадцать лет прилежной и плодотворной работы. До 1914 года я наводняла своими сатирическими, юмористическими и другими рассказами все чешские журналы. У меня был широкий круг читателей. Подписывая свои произведения самыми разными псевдонимами, я заполняла целые номера юмористических журналов. Но мои читатели, как правило, узнавали меня. И я, должно быть поэтому, наивно предполагала, что я писатель.

- Нечего тут длинные разговоры разводить. Кем была на самом деле? Я растерялась. Нащупала в кармане некролог и смущенно выговорила:
- Извините, пьяницей с пухлыми руками.
- Откуда родом?
- Из Мыдловар, район Глубока.
- Год рождения?
- Тысяча восемьсот восемьдесят третий.
- И надо мной сомкнулся океан вечности.

## Юбилейное воспоминание

### I

Летом 1918 года в Самаре была создана армия контрреволюционного Учредительного собрания, руководители которого позже, к зиме, были повешены или иным образом отправлены на тот свет адмиралом Колчаком.

В Самарской губернии наливалась пшеница, близилась пора сенокоса. В Самаре чрезвычайные полевые суды выводили из тюрем рабочих и работниц и расстреливали их на окраине за кирпичными заводами. В городе и окрестностях рыскала контрразведка нового контрреволюционного правительства, которое поддерживали купцы и чиновники, снова поднявшие головы и развлекавшиеся доносами.

В это трудное время, когда мне на каждом шагу угрожала смерть, я счел, что благоразумнее податься в Большую Каменку, лежавшую на северо-восток от Самары, где живет поволжская мордва. Это очень добродушные и наивные люди. Мордва сравнительно недавно была обращена в христианство и поэтому еще сохранила здоровые языческие обычаи; собственно, и христианство-то они приняли только ради того, чтобы не иметь хлопот с царскими приставами. Прежде у них было великое множество богов, но православная церковь сократила их количество до трех, поэтому «батюшка» не пользовался здесь большой любовью, и когда произошла революция, в одной волости утопили всех «батюшек» вместе с дьячками.

Когда я бежал из города курсом на северо-восток, по дороге меня догнала крестьянская подвода, на которой сидел мордвин.

— Куда путь держишь, милый человек? — окликнул он меня, останавливая подводу, доверху нагруженную капустой.

— Да так, — ответил я, — прогуливаюсь.

— Вот и ладно, — многозначительно произнес мордвин. — Гуляй, гуляй, голубок. В Самаре казаки народ режут. Садись-ка на телегу да поедем вместе. Страшные дела творятся в Самаре. Везу это я на базар капусту, а навстречу мне лукашовский Петр Романович из Самары едет. «Вертайся, — говорит, — назад, казаки возле Самарских дач у всех капусту забирают. У меня все взяли, а соседа Дмитриевича зарубили. «Смилуйтесь, братцы, — говорит он им, — негоже православных посреди дороги грабить. Мы на базар едем». А казаки ему: «Теперь наше право, — и стащили с телеги. — Видали, — говорят, — сволочь какая, наверняка, — говорят, — в сельском Совете служит».

Мордвин пристально посмотрел на меня, и в его глазах я прочел, что он совершенно убежден в том, что и я бегу оттуда.

— Да, — начал он осторожно, — в хорошую погоду выбрался ты погулять. Ну, ничего, у мордвинов переждешь, пока эта заваруха кончится. Народ натер-

пелся вдоволь, а теперь у нас земля, поле есть, только помещики, значит, да генералы снова хотят над нашим братом командовать, измываться. Так что ты гляди, с кулаками держи ухо остро. Дня через два-три сюда разъезды оренбургских казаков заявятся. Наши сказывали, их уже видали под Бузулуком. А с той стороны какие-то к Ставрополю тянутся. По ночам артиллерию слышать и зарево большое от пожаров видно. Ладно, давай закурим, у меня махорка есть.

Он достал холщовый кисет с махоркой, вынул из него бумагу, мы скрутили сигарки и продолжали разговор.

— А ты из каких мест будешь? — спросил крестьянин. — Издалека?

— Издалека, дяденька.

— А у вас тоже бои идут?

— Нет, у нас тихо, спокойно.

— Понятно, оттого, значит, и заскучал. А теперь ничего другого не остается, как бежать. Кабы тебе удалось за Волгу перебраться... Там ни купцов, ни генералов с помещиками. Большую силу собирают там против этих, самарских. Ты не беспокойся, голубок, к вечеру до места доберемся, я тебе одежонку дам мордовскую. И лапти дам, а утром пойдешь себе в Большую Каменку. Еды себе расстарайся. Приобвыкнешь, а потом, глядишь, и к своим доберешься.

## II

На другое утро, когда я отправился дальше на северо-восток, меня было не узнать. К полудню я дошел до какой-то татарской деревушки, и только вышел за околицу, меня нагнал татарин и коротко спросил: — Бежишь? — После такого вступления он сунул мне в руки каравай хлеба и повернул обратно, напутствовав словами: — Салям алейкум!

Примерно через полчаса меня догнал другой татарин из этой же деревни и на невероятно ломаном русском языке предупредил, чтоб я не шел по дороге, а у леса свернул по оврагу, к речке, а потом поднялся вверх по берегу...

При этом он все время повторял: — Казаки, дорога, есть, казаки, коя барасин[236].— На прощанье он протянул мне пачку махорки, коробок спичек и газету на сигарки, прибавив: — Татар бедная, генерала сволочь, — генер кинет.

Я съел хлеб в овраге над рекой, на опушке небольшой рощицы.

Возле меня, в траве, повторялись самарские события. Жирный муравей-водитель пожирал маленького муравьишку, который полминуты назад еще тащил кусок коры на совместную стройку нового жилища.

К вечеру того же дня я добрался до Большой Каменки. Войдя в крайний дом, я поклонился перед висевшей в углу иконой, поздоровался с хозяевами и подсел к столу. На столе стояла большая миска салмы, картофельной похлебки, в которой плавали клецки из белой муки и накрошенный зеленый лук. Хозяйка принесла деревянную ложку, положила ее передо мной и пригласила поужинать с ними. Хозяин придвинул ко мне хлеб и нож. Никто меня ни о чем не спрашивал. Круглые добродушные лица мордвинов не выражали никакого особенного любопытства.

Мы поели, и хозяин объявил мне, что я буду спать на сеновале.

Только после этого завязалась беседа:

— Издалека будешь?

— Издалека, хозяин.

— Бежишь? Оно и видно, что бежишь: ни онучи толком закрутить не уме-

ешь, ни лапти лыком подвязать по-нашему. Не скроешь, милый человек, что из Самары убежал. Кирпичи делать умеешь?

На всякий случай я сказал, что умею.

(На этом рукопись обрывается.)

## Комендант города Бугульмы



В начале октября 1918 года Революционный Военный Совет левобережной группы в Симбирске назначил меня комендантом города Бугульмы. Я обратился к председателю Каюрову.

— А вам точно известно, что Бугульма уже взята нашими?

— Точных сведений у нас нет, — ответил он. — Весьма сомневаюсь, что она уже сейчас в наших руках, но надеюсь, что, пока вы туда доберетесь, мы ее займем.

— А будет у меня какое-нибудь сопровождение? — спросил я тихим голосом. — И еще одно: как туда попасть? Где она, собственно, находится?

— Сопровождение вы получите. Мы даем вам команду из двенадцати человек. А что касается второго, посмотрите по карте. Думаете, у меня только и забот, что помнить, где лежит какая-то там Бугульма?

— Еще один вопрос, товарищ Каюров: где получить деньги на дорогу и на прочие расходы?

В ответ он только всплеснул руками.

— Да вы спятили! Вы же будете проезжать деревнями, там вас накормят и напоят. А на Бугульму наложите контрибуцию...

Внизу, в караулке, меня уже ждала моя свита — двенадцать статных парней-чувашей, которые очень плохо понимали по-русски. Я никак не мог у них добиться, мобилизованные они или же добровольцы. Но их боевой, устрашающий вид позволял предполагать, что скорее всего это добровольцы, готовые на все.

Получив мандат и командировочное удостоверение, в котором весьма внушительно предлагалось всем гражданам от Симбирска до Бугульмы оказывать мне всевозможную помощь, я отправился со своими провожатыми на пароход, и мы пустились в путь по Волге, затем по Каме до Чистополя.

Дорогой никаких особых происшествий не случилось, если не считать, что один чуваш из моей команды, напившись, свалился с палубы и утонул.

Итак, у меня осталось одиннадцать провожатых. Когда мы в Чистополе сошли с парохода, один из них вызвался пойти за подводой, и... только мы его и видели. Мы решили, что он, наверное, захотел повидаться со своими родителями, поскольку от Чистополя до его родной деревни что-то не более сорока верст. Осталось десять провожатых...

После долгих расспросов у местных жителей я наконец-то все записал: и где находится эта Бугульма и как до нее добраться. Оставшиеся чувашаи доставили подводы, и по непролазной грязи мы тронулись на Крачагу, затем — через Еланово, Москово, Гулуково, Айбашево.

Во всех этих деревнях живут татары, только в Гулукове есть и черемисы.

Поскольку между чувашами, лет пятьдесят тому назад принявшими христианство, и черемисами, которые и по сей день остаются язычниками, господствует страшная вражда, в Гулукове у нас произошло небольшое столкновение. Мои вооруженные до зубов чувашаи, совершив обход деревни, приволокли ко мне старосту — Давледбея Шакира, который держал в руках клетку с тремя белыми белками. Один из чувашей, тот, что лучше других умел говорить по-русски, дал мне такое разъяснение:

— Чувашаи — православные... один, десять, тридцать, пятьдесят годов. Черемисы — поганые свиньи.

Вырвав из рук Давледбея Шакира клетку с белками, он продолжал:

— Белая белка — это их бог. Один, два, три бога. Этот человек их поп. Он скачет вместе с белками, скачет, молится им... Ты его окрестишь...

Чувашаи выглядели столь угрожающе, что я велел принести воды, покропил Давледбея Шакира, бормоча нечто-то невразумительное, и после этого отпустил его.

Потом мои молодцы забрали всех черемисских богов и... теперь я могу заверить каждого, что суп из черемисского господа бога получился просто замечательный.

Затем меня навестил также магометанский мулла Абдулгалей, который выразил свое удовлетворение тем, что мы этих белок съели.

— Каждый должен во что-то верить, — изрек он. — Но белки... это свинство. С дерева на дерево скачет, а посадишь в клетку — гадит. Хорош господь бог!

Он принес нам много жареной баранины и трех гусей и заверил, что если вдруг ночью черемисы взбунтуются, то все татары будут с нами.

Но ничего не произошло, поскольку, как сказал Давлед-бей Шакир, явившийся утром к нашему отъезду, белок в лесу сколько угодно...

Наконец мы проехали Айбашево и к вечеру без всяких приключений добрались до Малой Письмянки, русской деревни в двадцати верстах от Бугульмы.

Местные жители были весьма хорошо информированы о том, что делается в Бугульме. Белые три дня тому назад без боя оставили город, а советские войска стоят по другую сторону города и не решаются войти, чтобы не попасть в засаду. В городе безвластие, и городской голова вместе со всем городским управлением уже два дня ожидает с хлебом и солью, чтобы почтить того, кто первым вступит в город.

Я отправил вперед чуваша, который умел говорить по-русски, и утром мы двинулись к Бугульме.

На границе города нас встретила огромная толпа народа. Городской голова держал на подносе каравай хлеба и солонку с солью.

В своей речи он выразил надежду, что я смилуюсь над городом. И я почувствовал себя по меньшей мере Жижкой перед Прагой, особенно когда заметил в толпе группу школьников.

Отрезав кусок хлеба и посыпав его солью, я в длинной речи поблагодарил присутствующих и заверил, что прибыл не для того, чтобы лишь провозглашать лозунги, но что моим стремлением будет установить спокойствие и порядок.

Напоследок я расцеловался с городским головой, пожал руки представителям православного духовенства и направился в городскую управу, где было отведено помещение под комендатуру.

Затем я велел расклеить по всему городу приказ № 1 следующего содержания:

**«Граждане!**

Благодарю вас за искренний и теплый прием и за угощение хлебом-солью. Сохраняйте всегда свои старые славянские обычаи, против которых я ничего не имею. Но прошу не забывать, что у меня как у коменданта города есть также свои обязанности. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, завтра к 12 часам дня сдать все имеющиеся у вас оружие в городскую управу, в помещение комендатуры.

Я никому не угрожаю, но напоминаю, что город находится на военном положении.

Сообщаю также, что имею полномочия наложить на Бугульму контрибуцию, но настоящим приказом город от контрибуции освобождаю.

*Подпись».*

К двенадцати часам следующего дня площадь наполнилась вооруженными людьми. Их было не меньше тысячи человек, все с винтовками, а некоторые притащили и пулеметы.

Наша маленькая группа из одиннадцати человек совсем бы потерялась в такой лавине людей, но они пришли сдавать оружие. Эта процедура затянулась до самого вечера, причем я каждому пожимал руку и говорил несколько теплых слов.

На следующее утро я распорядился напечатать и расклеить везде приказ № 2:

**«Граждане!**

Приношу благодарность всему населению города Бугульмы за точное исполнение приказа № 1.

*Подпись».*

В тот день я спокойно отправился спать, не предчувствуя, что над моей головой уже навис дамоклов меч в образе Тверского революционного полка.

Как я уже сказал, советские войска стояли недалеко от Бугульмы — на расстоянии примерно пятнадцати верст к югу от города — и не решались вступить в него, опасаясь ловушки. В конце концов они получили приказ от Революционного Военного Совета из Симбирска во что бы то ни стало овладеть Бу-

гульмой и создать тем самым базу для советских войск, оперирующих к востоку от города.

Таким образом, командир Тверского полка товарищ Ерохимов решил в ту ночь осадить и завоевать Бугульму, где я уже третий день был комендантом и в страхе божием исполнял свои обязанности, к вящему удовлетворению всех слоев населения.

«Ворвавшись» в город и проходя улицами, Тверской полк сотрясал воздух залпами. Сопротивление оказал ему только патруль из двух моих чувашей, разбуженных на посту у комендатуры, которые не хотели пустить внутрь здания товарища Ерохимова, шествовавшего во главе своего полка с револьвером в руках, чтобы овладеть городской управой.

Чувашей арестовали, и Ерохимов вступил в мою канцелярию (она же и спальня).

— Руки вверх! — воскликнул он, упоенный победой, направляя на меня револьвер.

Я спокойно поднял руки.

— Кто такой? — начал допрос командир Тверского полка.

— Комендант города.

— От белых или от советских войск?

— От советских. Могу я опустить руки?

— Можете. Но, согласно военному праву, вы должны немедленно передать мне управление городом. Я завоевал Бугульму.

— Но я был назначен, — возразил я.

— К черту такое назначение! Сначала нужно завоевать! Впрочем... Знаете что... — великодушно добавил он, помолчав, — я назначу вас своим адъютантом. Если не согласны, через пять минут будете расстреляны!

— Я не возражаю против того, чтобы быть вашим адъютантом, — ответил я и позвал своего вестового: — Василий, поставь-ка самовар. Попьем чайку с новым комендантом города, который только что завоевал Бугульму...

Что слава? Дым...

## Адъютант коменданта города Бугульмы



Первой моей заботой было освободить арестованных чувашей. Потом я пошел досыпать — наверстывать упущенное из-за переворота в городе. Проснувшись к полудню, я установил, что, во-первых, все мои чувашки тайно исчезли, оставив засунутую в мой сапог записку весьма невразумительного содержания: «Товарищ Гашек. Много помощи искать туда, сюда. Товарищ Ерохимов секим-башка»; и, во-вторых, что товарищ Ерохимов с утра потеет над составлением своего первого приказа к населению города.

— Товарищ адъютант, — обратился он ко мне. — Как по-вашему: так будет хорошо?

Из груды проектов приказа он взял листочек со множеством перечеркнутых строк и вставленными сверху словами и начал читать:

**«Всему населению Бугульмы!**

Сегодня мною занят город Бугульма, и я беру управление городом в свои руки. Бывшего коменданта за неспособность и трусость я отстраняю от должности и назначаю его своим адъютантом.

**Комендант города Ерохимов».**

— Да, здесь сказано все, что нужно, — похвалил я. — А что вы собираетесь делать дальше?

— Прежде всего, — ответил он торжественно и важно, — объявлю мобилизацию конского состава. Потом прикажу расстрелять городского голову и возьму десяток заложников из местной буржуазии. Пусть посидят в тюрьме до окончания гражданской войны... Затем произведу в городе повальные обыски и запрещу свободную торговлю... На первый день хватит, а на завтра придумаю что-нибудь еще.

— Разрешите мне заметить, — попросил я. — Я ни в какой степени не возражаю против мобилизации конского состава, но решительно протестую против расстрела городского головы, который встретил меня хлебом и солью.

Ерохимов вскочил.

— Вас встречал, а ко мне даже не изволил явиться!

— Это можно исправить. Пошлем за ним.

Я сел к столу и написал:

**«Комендатура города Бугульмы**

№ 2891

**Действующая армия****Городскому голове города Бугульмы**

Приказываю немедленно явиться с хлебом и солью по старославянскому обычаю к новому коменданту города.

Комендант города Ерохимов.

Адъютант Гашек».

Подписывая это, Ерохимов добавил: «В противном случае вы будете расстреляны, а дом ваш сожжен».

— На официальных бумагах, — заметил я, — не полагается делать подобных приписок: иначе они будут недействительны.

Я переписал послание, восстановив первоначальный текст, дал Ерохимову на подпись и отослал с вестовым.

— Затем, — обратился я к Ерохимову, — я категорически возражаю против того, чтобы посадить в тюрьму и держать там до окончания гражданской войны десятерых заложников из местной буржуазии. Такие вещи решает лишь Революционный трибунал.

— Революционный трибунал, — важно возразил Ерохимов, — это мы. Город в наших руках.

— Ошибаетесь, товарищ Ерохимов. Что такое мы? Ничтожная двоица — комендант города и его адъютант. Революционный трибунал назначается Революционным советом Восточного фронта. Понравилось бы вам, если бы вас поставили к стенке?

— Ну, ладно, — отозвался со вздохом Ерохимов. — Но повальные обыски в городе — этого-то уж нам никто не может запретить.

— Согласно декрету от 18 июня 1918 года, — ответил я, — повальные обыски могут быть проведены лишь с санкции местного Революционного комитета или Совета. Поскольку такового здесь еще не существует, отложим это дело на более позднее время.

— Вы просто ангел, — нежно сказал Ерохимов. — Без вас я пропал бы. Но со свободной торговлей мы должны покончить раз и навсегда!

— Большинство из тех, — продолжал я, — кто занимается торговлей и ездит на базары, — это крестьяне, мужики, которые не умеют ни читать, ни писать. Чтобы прочесть наши приказы и понять, о чем в них речь, им нужно сначала научиться грамоте. Думаю, что прежде мы должны научить все неграмотное население читать и писать, добиться, чтобы они понимали, чего мы от них хотим, а потом уже издавать всякие приказы, в том числе и о мобилизации конского состава. Ну, вот разъясните мне, товарищ Ерохимов, зачем вам нужна эта мобилизация лошадей? Ведь вы же не собираетесь превратить пехотный Тверской полк в кавалерийскую дивизию? Учтите, на это существует инспектор по формированию войск левобережной группы.

— Пожалуй, вы опять правы, — снова со вздохом согласился Ерохимов. — Что же мне теперь делать?

— Учите население Бугульминского уезда читать и писать, — ответил я. — Что до меня, то я пойду посмотреть, не вытворяют ли ваши молодцы каких-нибудь глупостей, да заодно проверю, как они разместились.

Я вышел из комендатуры и отправился обойти дозором весь город. Солдаты

Тверского революционного полка вели себя вполне пристойно. Никого не обижали, подружались с населением, попивали чай, ели «пеле-меле», винегрет то есть, хлебали щи, борщ, делились махоркой и сахаром с хозяевами — словом, все было в порядке. Пошел я посмотреть, что делается и на Малой Бугульме, где был размещен первый батальон полка. И там я нашел ту же идиллию: пили чай, ели борщ и держались вполне по-дружески.

Возвращаясь поздно вечером, я увидел на углу площади свежий плакат, гласивший:

**«Всему населению Бугульмы и уезда!**

Приказываю, чтобы все жители города и уезда, которые не умеют читать и писать, научились этому в течение трех дней. Кто по истечении этого срока будет признан неграмотным, подлежит расстрелу.  
*Комендант города Ерохимов».*

Когда я пришел к Ерохимову, он сидел с городским головой, который, кроме хлеба и соли, аккуратно сложенных на столе, захватил с собой и несколько бутылок старой литовской водки. Ерохимов был в великолепном настроении и обнимался с городским головой. Он встретил меня словами:

— Читали? Видите, как я выполняю ваши советы? Я сам пошел в типографию. Пригрозил заведующему револьвером: «Немедленно напечатай, голубчик, а то я тебя, сукина сына, пристрелю на месте!» Тот, сволочь, аж затрясся весь, а как прочел, затрясся еще сильнее. А я — бац в потолок!.. Ну он и напечатал. Здорово напечатал! Уметь читать и писать — великое дело! Издал приказ — все читают, все понимают, и все довольны. Верно, голова? Выпейте, товарищ Гашек.

Я отказался.

— Ты будешь пить или нет?! — крикнул он угрожающе.

Я вытащил револьвер и выстрелил в бутылку с литовской водкой. Потом нацелил его на своего начальника и выразительно произнес:

— Или ты сейчас же идешь спать, или...

— Иду, иду, голубчик, душенька, это я так... Немножко повеселиться, погулять...

Я отвел Ерохимова и, уложив его, вернулся к городскому голове:

— На первый раз я вам это прощаю. Можете идти домой и будьте довольны, что так легко отделались!

Ерохимов спал до двух часов следующего дня. Проснувшись, он послал за мной и, неуверенно глядя на меня, спросил:

— Вы, кажется, хотели вчера меня застрелить?

— Совершенно верно, — ответил я. — И тем самым предотвратить то, что сделал бы с вами Революционный трибунал, узнав, что вы, будучи комендантом города, позволили себе напиться.

— Голубчик, я надеюсь, что вы об этом никому не скажете. Я больше не буду. Буду учить людей грамоте...

Вечером появилась первая депутация крестьян из Каргалинской волости: шесть старушек в возрасте от 60 до 80 лет и пять старичков примерно такого же возраста.

Они упали мне в ноги:

— Батюшка, не губи ты души наши. Не одолеть нам грамоты за три дня. Голова уж не та. Спаситель ты наш! Смилуйся над волостью!

— Приказ не действителен, — ответил я. — Все это натворил дурак этот, комендант города Ерохимов.

Ночью пришло еще несколько депутатий. Но наутро по всему городу уже были расклеены новые объявления, и такие же разосланы по всем деревням Бугульминского уезда. Текст гласил:

**«Всему населению Бугульмы и уезда!**

Сообщаю, что я сместил коменданта города товарища Ерохимова и снова приступаю к своим обязанностям. Тем самым его приказ № 1 и приказ № 2, касающийся ликвидации неграмотности в течение трех дней, отменяется.

*Комендант города Гашек».*

Теперь я мог себе это позволить, так как ночью в город вступил Петроградский кавалерийский полк, который привели мои чувашки.

## Крестный ход

**И**так, я сместил Ерохимова с поста коменданта, и он отдал приказ Тверскому полку в полном боевом порядке выступить из Бугульмы и расположиться в ее окрестностях, а сам пришел попрощаться со мной.

На прощание я заверил его, что если он со своим полком попытается еще раз выкинуть какую-нибудь штуку, то Тверской полк будет разоружен, а ему самому придется познакомиться с Революционным военным трибуналом фронта. В конце концов, играем в открытую.

Ерохимов, со своей стороны, не преминул с полной искренностью пообещать мне, что, как только Петроградский полк покинет город, я буду повешен на холме над Малой Бугульмой, откуда буду хорошо виден со всех сторон.

Расстались мы лучшими друзьями.

Теперь нужно было подумать, как поудобнее разместить петроградскую кавалерию, состоящую сплошь из добровольцев. Мне хотелось, чтобы петроградским молодцам понравилось в Бугульме.

Кого же послать убрать в казармах, вымыть там полы и вообще навести в них порядок? Разумеется, того, кто ничего не делает. Но каждый из местных жителей чем-то занят, где-то работает...

Долго размышлял я, пока наконец не вспомнил, что в Бугульме есть большой женский монастырь Пресвятой богородицы, его монашенки томятся от безделья: только молятся да сплетничают друг про друга.

Я составил следующее официальное предписание игуменьи монастыря:

**«Военная комендатура г. Бугульмы**

**№ 3896**

*Действующая армия*

*Гражданке игуменьи монастыря*

*Пресвятой богородицы*

Немедленно направьте пятьдесят монастырских девиц в распоряжение Петроградского кавалерийского полка. Пошлите их прямо в казармы.

*Главный комендант города Гашек».*

Предписание было отослано. Не прошло и получаса, как из монастыря донесся необычайно гулкий, могучий перезвон. Гудели и стонали все колокола монастыря Пресвятой богородицы, и им отвечали колокола городского храма.



Вестовой доложил, что старший священник главного собора с местным духовенством просят принять их. Я согласился, и в канцелярию сразу ввалилось несколько бородатых попов. Их главный парламентар выступил вперед:

— Господин товарищ комендант, обращаюсь к вам не только от имени местного духовенства, но и от всей православной церкви. Не губите невинных дев — невест Христовых! Мы только что получили весть из монастыря, что вы требуете пятьдесят монахинь для Петроградского кавалерийского полка. Вспомните, что есть над нами господь!

— Над нами, между прочим, только потолок, — цинично ответил я. — Что же касается монашенок, — приказ должен быть выполнен. В казармы требуется пятьдесят человек. Если же окажется, что хватит тридцати, остальных двадцать я отошлю обратно. Но если пятидесяти будет недостаточно, возьму из монастыря сто, двести, триста. Мне все равно.

— А вас, господа, ставлю в известность, что вы вмешиваетесь в служебные распоряжения, по сему случаю я должен наложить на вас взыскание. Каждый из присутствующих должен доставить сюда три фунта восковых свечей, дюжину яиц и фунт масла. Вас же, гражданин старший священник, уполномочиваю выяснить у игуменьи, когда она пришлет мне пятьдесят монашенок. Скажите ей, что они действительно очень нужны и что всех вернут обратно. Ни одна не пропадет.

В скорбном молчании покидало православное духовенство мою канцелярию. В дверях старший, с самыми длинными усами и бородой, обернулся ко мне:

— Памятуйте: есть над нами господь!

— Пардон, — ответил я, — вы принесете не три, а пять фунтов свечей.

Был ясный октябрьский день. Ударил крепкий морозец и сковал проклятую бугульминскую грязь. Улицы начали заполняться людьми, спешившими к храму. Торжественно и величаво звонили колокола в городе и в монастыре. Это был уже не набат, как незадолго перед тем, сейчас они созывали православную Бугульму на крестный ход.

Лишь в самые тяжкие времена устраивался в Бугульме крестный ход: когда город осаждали татары, когда свирепствовали чума и черная оспа, когда разразилась война, когда застрелили царя и... вот теперь.

Колокола звонят жалобно, словно собираются расплакаться.

Вот распахиваются монастырские ворота, и появляется процессия с иконами и хоругвями. Четыре старейшие монахини во главе с игуменьей несут большую тяжелую икону. С иконы испуганно взирает пресвятая богородица. За иконой — череда монашенок, старых и молодых, все в черном. Звучит скорбное песнопение.

*...И повели его, чтобы распять его...  
Там распяли его и с ним двух других  
по ту и по другую сторону...*

Тут из храма выходит бугульминское духовенство в ризах, расшитых золотом, за ним с иконами православный люд.

Обе процессии сливаются воедино, раздаются возгласы: «Христос живет! Христос царствует! Христос побеждает!»

И все это множество людей затягивает псалом:

*В день скорби моей взываю к тебе...*

Крестный ход огибает храм и направляется к комендатуре, где я уже подготовил приличествующую случаю встречу. Перед домом поставлен накрытый белой скатертью стол, на нем каравай хлеба и солонка с солью. В правом углу — икона с горящей перед нею свечой.

Процессия приближается к комендатуре, я важно выхожу навстречу и прошу игуменью принять хлеб-соль в знак того, что не питаю никаких враждебных умыслов. Предлагаю православному духовенству также отведать хлеба-соли. Они подходят один за другим и прикладываются к иконе.

— Православные, — произношу торжественно, — благодарю вас за прекрасный и необычайно занимательный крестный ход. Мне довелось видеть его впервые в жизни, и это произвело на меня незабываемое впечатление. Я вижу здесь поющих монахинь, это напоминает шествие первых христиан во времена императора Нерона. Может, кто-нибудь из вас читал роман Сенкевича «Quo vadis?».

Не хочу долго злоупотреблять вашим терпением. Я просил всего пятьдесят монашенок, но уж если здесь собрался весь монастырь, дело пойдет гораздо быстрее. Прошу барышень-монашенок последовать за мною в казармы.

Люди стоят передо мной с обнаженными головами и поют:

*Небеса проповедуют славу божию,  
и о делах рук его вещает твердь...*

Выступает вперед игуменья — старенькая, подбородок у нее трясется — и спрашивает:

— Во имя господи бога, что мы там будем делать? Не губи душу свою!

— Православные! — кричу я в толпу. — Там нужно вымыть полы и привести все в порядок, чтобы можно было разместить Петроградский кавалерийский полк! Идемте!

Процессия поворачивает за мной, и к вечеру — при таком-то количестве старательных рук! — казармы заблистали образцовой чистотой.

Вечером молодая симпатичная монашенка принесла мне маленькую иконку и письмо от старушки игуменьи с одной лишь простой фразой: «Молюсь за вас».

Теперь я сплю спокойно, потому что знаю, что еще и сейчас под старыми дубовыми лесами Бугульмы стоит монастырь Пресвятой богородицы, где живет старушка игуменья, которая молится за меня, грешного.

## Стратегические затруднения

В конце октября 1918 года ко мне в комендатуру поступил приказ Революционного Военного Совета Восточного фронта: «Шестнадцатый дивизион легкой артиллерии в походе. Подготовьте сани для отправки дивизиона на позиции».

Эта телеграмма повергла меня в страшное замешательство. Что может представлять собою такой дивизион? Сколько тысяч людей в его составе? Где я возьму такую уйму саней?

В военных делах я был полнейший профан. В свое время Австрия не предоставила мне возможности получить настоящее военное образование и всеми силами сопротивлялась моему стремлению проникнуть в таинство военного искусства.

Еще в начале войны меня исключили из офицерской школы 91-го пехотного полка, а потом спорили и нашивки одногодичного вольноопределяющегося. И в то время как мои бывшие коллеги получали звания кадетов и прапорщиков и гибли, как мухи, на всех фронтах, я обживал казарменные кутузки в Будейовицах и в Мосте-на-Литаве. А когда меня наконец отпустили и собрались отправить с маршевой ротой на фронт, я скрылся в стогу и пережил таким образом три срока.

Потом я симулировал эпилепсию, и меня чуть было не расстреляли: пришлось проситься на фронт «добровольно».

С тех пор счастье мне улыбалось. Во время похода к Самбору я присмотрел для господина поручика Лукаша квартиру с очаровательной полькой и великолепной кухней — и меня сделали ординарцем. Когда же позднее, в окопах под Сокалем, у нашего батальонного командира завелись вши, я обобрал их с него, натер своего начальника ртутной мазью — и был награжден большой серебряной медалью «За храбрость».

Но при всем этом никто не посвящал меня в тайны военного искусства. Я и до сих пор не представляю себе, сколько полков в батальоне и сколько рот в бригаде. А теперь в Бугульме я должен был сосчитать, сколько потребуется саней для отправки на фронт дивизиона легкой артиллерии. Ни один из моих чувашей этого также не знал, за что я присудил их условно к трехдневному заключению. Если в течение года они каким-нибудь путем разузнают это, наказание снимется.

Я велел позвать городского голову и строго сказал ему:

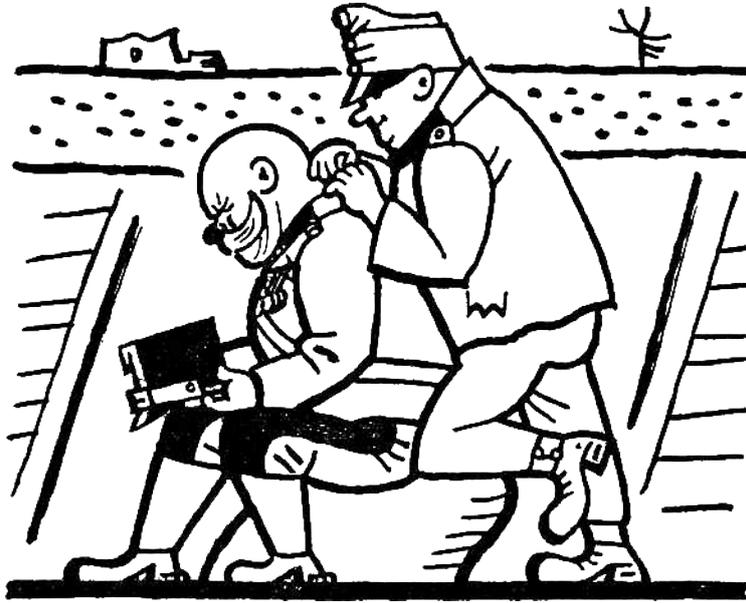
— Ко мне поступили сведения, что вы скрываете от меня, сколько человек входит в дивизион легкой артиллерии.

В первый момент у него просто язык отнялся. Потом он упал на колени и, обнимая мне ноги, запричитал:

— Ради господа бога не губи меня! Я никогда ничего подобного не распространял!

Я поднял его, угостил чаем, махоркой и отпустил, заверив, что убедился в его полной невиновности в данном случае.

Он ушел растроганный и вскоре прислал мне жареной свинины и миску



маринованных грибов. Я все это съел, но все еще не разузнал, сколько людей в дивизионе и сколько для них потребуется саней.

Пришлось послать за командиром Петроградского кавалерийского полка. В разговоре я попытался незаметно подвести его к нужной теме.

— Это просто удивительно, — начал я, — что Центр все время изменяет количественный состав в дивизионах легкой артиллерии. Особенно сейчас, когда создается Красная Армия. В связи с этим возникает масса всяких неудобств. Вы не знаете случайно, товарищ командир, сколько раньше было солдат в дивизионах?

Он сплюнул и ответил:

— Вообще-то мы, кавалеристы, не имеем дела с артиллерией. Я, например, сам не знаю, сколько у меня должно быть солдат в полку, потому что не получал на этот счет никаких директив. Мне был дан приказ создать полк, ну, я его и создал. У одного — приятель, у другого — тоже приятель, вот так понемногу и набралось. Если людей будет слишком много, назову хотя бы бригадой.

Когда он ушел, я знал ровно столько же, сколько и раньше, и в довершение всех несчастий получил из Симбирска еще одну телеграмму: «В связи с критической ситуацией вы назначаетесь командующим фронтом. В случае прорыва наших позиций на реке Ик сосредоточьте полки на позиции Ключево — Бугульма. Создайте Чрезвычайную комиссию для охраны города и держитесь до последнего солдата. Эвакуацию города начать с приближением противника на расстояние пятидесяти верст. Мобилизуйте население в возрасте до пятидесяти двух лет и раздайте оружие. В последний момент взорвите железнодорожный мост через Ик и у Ключева. Пошлите на разведку бронепоезд и взорвите пути...»

Телеграмма выпала у меня из рук. И лишь немного опомнившись от потрясения, я дочитал ее до конца:

«...Подожгите элеватор. Что нельзя будет вывезти — уничтожьте. Ожидайте подкреплений. Позаботьтесь о размещении войск и обеспечении их довольствием. Организуйте военную подготовку и регулярную доставку боеприпасов на позиции. Приступите к изданию газеты на русском и татарском языках для информации и успокоения населения. Назначьте Революционный ко-

митет. Невыполнение приказа или отклонения от него караются по законам военного времени.

Революционный Военный Совет Восточного фронта».

Это было под вечер, но я не зажигал огня. Сидел в кресле... И когда в окно моей канцелярии заглянул месяц, он увидел человека, сидящего в кресле с телеграммой в руках и тупо уставившегося в темноту.

В таком же положении застало меня и утреннее солнце. К утру этого не выдержала даже икона, висевшая в углу: слетела со стены и раскололась. Стоявший перед дверью на посту чуваш заглянул в комнату и укоряюще погрозил ей пальцем.

— Вот сволочь, свалилась и человека разбудила!

Я достал из кармана фотографию моей покойной матушки. Из глаз у меня полились слезы, и я зашептал: «Милая мамочка! Когда мы несколько лет тому назад жили с тобой на Милешовской улице в доме № 4 на Краловских Виноградах, тебе и в голову не могло прийти, что через пятнадцать лет твой бедный сыночек должен будет сосредоточивать полки на позиции Ключево — Бугульма, взрывать железнодорожные пути и мосты, поджигать элеватор и держаться при обороне города до последнего солдата, не говоря уже о всяких других вещах... Зачем не стал я бенедиктинским монахом, как хотелось тебе, когда я впервые провалился в четвертом классе? Жил бы себе припеваючи... Служил бы обедни да потягивал церковное винцо...»

И как бы в ответ что-то вдруг подозрительно загрохотало в юго-восточной части города, затем еще и еще раз...

— Здорово шпарит артиллерия! — обратился ко мне вестовой, только что прибывший с фронта. — Каппелевцы перешли Ик и вместе с польской дивизией жмут нас на правом фланге. Тверской полк отступает.

Я отправил на фронт следующий приказ: «Если части генерала Каппеля форсировали Ик и вместе с польской дивизией подходят к нашему правому флангу, форсируйте Ик с другой стороны и двигайтесь к их левому флангу. Посылаю Петроградскую кавалерию в тыл противника».

Я вызвал командира Петроградской кавалерии.

— Наши позиции прорваны, — сообщил я ему. — Тем легче вам будет пробраться в тыл противника и захватить всю польскую дивизию.

— Ладно, — ответил командир петроградских кавалеристов, козырнул и ушел.

Я отправился на телеграф и дал в Симбирск телеграмму: «Большая победа. Позиции на реке Ик прорваны. Наступаем со всех сторон. Кавалерия в тылу противника. Много пленных».

## Славные дни Бугульмы

Наполеон был болван. Сколько, бедняга, трудился, чтобы проникнуть в тайны стратегии! Сколько всего изучал, прежде чем додумался до своего «непрерывного фронта». Учился в военных школах в Бриенне и в Париже... Изобрел досконально разработанную собственную военную тактику... А в конце концов дело закончилось поражением под Ватерлоо.



Ему многие подражали и всегда получали взбучку. Сейчас, после славных дней Бугульмы, победы Наполеона, от осады мыса Лаквилетты до сражений под Мантуей, Кастильоне и Асперном, кажутся совершеннейшей ерундой.

Я уверен, что, если бы Наполеон под Ватерлоо поступил подобно мне, он наверняка разбил бы Веллингтона.

Когда Блюхер врезался в *правый* фланг его армии, он должен был распорядиться, как я у Бугульмы, когда корпус добровольцев генерала Каппеля и польская дивизия оказалась у нас на правом фланге.

Почему он не приказал своей армии врезаться в *левый фланг* Блюхера, как это сделал я в своем приказе Петрограде кой кавалерии?

Петроградские кавалеристы творили подлинные чудеса. Поскольку русская земля необозрима и лишний километр не имеет никакого значения, они домчались до самого Мензелинска и под Чишмами и бог знает где еще зашли в тыл противника и гнали его перед собой, так что его победа обернулась поражением.

К сожалению, большая часть вражеских войск стянулась к Белебею и Бугуруслану, а меньшая, подгоняемая сзади Петроградской кавалерией, оказалась в пятнадцати верстах от Бугульмы.

В эти славные дни Бугульмы Тверской революционный полк во главе с товарищем Ерохимовым неустанно отступал перед потерпевшим поражение противником.

На ночь он обычно размещался по татарским деревушкам и, уничтожив там подчистую всех гусей и кур, откатывался дальше, постепенно приближаясь к Бугульме; затем останавливался в новых деревнях, пока наконец в полном порядке не вступил опять в город.

Ко мне прибежали из типографии с сообщением, что командир Тверского полка Ерохимов грозит заведующему револьвером и требует напечатать какой-то приказ и объявление.

Я взял с собой четверых чувашей, захватил два браунинга, кольт и отправился в типографию. В канцелярии я увидел сидящего на стуле заведующего типографией, а напротив, на другом стуле, — товарища Ерохимова.

Положение печатника было не из приятных, поскольку Ерохимов держал револьвер у его виска и твердил:

— Напечатаешь или нет? Напечатаешь или нет?

Я услышал мужественный ответ заведующего:

— Не напечатаю, голубчик, не могу!

Тут его собеседник с револьвером начал упрашивать:

— Напечатай, душенька, миленький, голубчик! Напечатай! Ну, прошу тебя!

Увидев меня, Ерохимов, в явном смущении, подошел ко мне, сердечно обнял, пожал руку и, подморгнув заведующему, сообщил:

— А мы уже с полчаса беседуем. Давненько я его не видел.

Заведующий сплюнул и проворчал:

— Хороша беседа!

— Я слышал, — обратился я к Ерохимову, — вы хотели что-то напечатать: объявление, или приказ, или что-то в этом роде... Будьте так любезны, познакомьте меня с этим текстом.

Я взял со стола бумагу, которой так и не довелось прочесть жителям Бугульмы. Они, несомненно, были бы чрезвычайно удивлены тем, что приготовил для них Ерохимов, так как текст гласил:

### **«Объявление № 1**

*Возвращаясь во главе победоносного Тверского революционного полка, настоящим ставлю в известность, что принимаю власть над городом и окрестностями в свои руки. Создаю Чрезвычайный революционный трибунал, председателем которого назначаю себя. Первое заседание состоится завтра. Будет разбираться дело особой важности. Перед Чрезвычайным революционным трибуналом предстанет комендант города товарищ Гашек как контрреволюционер и пособник врага. Если он будет приговорен к расстрелу, приговор будет приведен в исполнение в течение 12 часов. Предупреждаю население, что всякая попытка к сопротивлению будет караться на месте.*

*Ерохимов, комендант города и окрестностей».*

К этому мой друг Ерохимов хотел присовокупить еще такой приказ:

### **«Приказ № 3**

*Чрезвычайный революционный трибунал Бугульминского округа сим извещает, что бывший комендант города Гашек, на основании приговора Чрезвычайного революционного трибунала расстрелян за контрреволюцию и заговор против Советской власти.*

*Ерохимов, председатель Чрезвычайного революционного комитета».*

— Это на самом деле только шутка, голубчик, — вкрадчиво сказал Ерохимов. — Хочешь револьвер? Возьми. В кого мне стрелять?

Его уступчивость показалась мне подозрительной. Обернувшись, я увидел, что четверо моих чувашей с грозным и непреклонным видом направили на него дула своих винтовок.

Я приказал им опустить винтовки и принял револьвер от Ерохимова. А он, уставившись на меня своими детскими голубыми глазами, тихонечко спросил:

— Я арестован или на свободе?

Я рассмеялся.

— Вы просто дурак, товарищ Ерохимов! За шутки все-таки не арестовывают. Вы же сами сказали, что это только шутка. Я должен был бы арестовать вас за другое — за ваше позорное возвращение. Поляки разбиты нашей Петроградской кавалерией, а вы отступали перед ними вплоть до самого города. Могу вам сообщить, что из Симбирска получена телеграмма с приказом Тверскому полку, чтобы он добыл новые лавры на свое старое революционное знамя.

Револьвер, который вы мне сдали, я вам возвращу, но при одном условии — что вы со своим полком немедленно покинете город, обойдете поляков и приведете пленных. Но ни одного пленного не смеете пальцем тронуть! Мы не можем срамиться перед Симбирском. Я уже телеграфировал, что Тверской полк взял много пленных.

Я ударил кулаком по столу.

— А где твои пленные? Где они? — И, размахивая перед ним кулаком, зло и угрожающе выкрикнул: — погоди! Ты у меня допрыгаешься! Может, хочешь еще что-то сообщить перед тем, как отправиться за пленными?.. Известно тебе, что я теперь командующий фронтом, высший начальник?

Ерохимов стоял как вкопанный и только моргал глазами от волнения. Опомившись наконец, он отдал честь и отчеканил:

— Сегодня же вечером разобью поляков и приведу пленных. Спасибо вам!

Я возвратил ему револьвер, пожал руку и сердечно распрощался...

Ерохимов блестяще сдержал слово. К утру Тверской полк начал приводить пленных. Казармы были набиты ими до отказа, их уже некуда было девать.

Я пошел взглянуть на них и... от ужаса чуть не обмер. Вместо поляков Ерохимов набирал по ближайшим деревням татар: поляки не стали дожидаться внезапного нападения Тверского полка и трусливо скрылись.

## Новая опасность

Товарищ Ерохимов решительно не хотел понять, что мирные татары из местного населения никак не могут сойти за поляков. Поэтому, когда я отдал приказ выпустить на свободу всех «пленных», он почувствовал себя оскорбленным и тотчас же помчался на телеграф Петроградского полка отправить Революционному военному совету в Симбирск телеграмму такого содержания:

*«Докладываю, что после трехдневных боев я со своим Тверским революционным полком разбил противника. У неприятеля огромные потери. Мною захвачено 1200 белых, которых комендант города отпустил на свободу. Прошу выслать специальную комиссию для расследования дела. Комендант города товарищ Гашек — человек абсолютно ненадежный, явный контрреволюционер и имеет связь с противником. Прошу разрешения создать Чрезвычайку. Ерохимов, командир Тверского революционного полка».*



Начальник телеграфного отделения телеграмму от товарища Ерохимова принял, заверив его, что она будет отправлена, как только освободится линия, а сам тут же сел в сани и приехал ко мне.

— Вот вам, батюшка, и Юрьев день! — приветствовал он меня с выражением полной безнадежности на лице. — Прочтите-ка вот это, — и подал мне телеграмму товарища Ерохимова.

Я прочитал и спокойно сунул ее в карман. Начальник телеграфного отделения почесал в затылке и, нервно моргая глазами, проговорил:

— Поверьте, мое положение очень тяжелое, просто чертовски тяжелое! Согласно распоряжению Народного комиссариата, я обязан принимать телеграммы от командиров полков. А вы явно не хотите, чтобы эта телеграмма была послана. Я ведь пришел не для того, чтобы отдать ее вам. Хотел только, чтобы вы познакомились с ее содержанием и послали одновременно против товарища Ерохимова свою телеграмму.

Я сказал начальнику телеграфного отделения, что глубоко уважаю Народный Военный Комиссариат, но мы находимся не в тылу.

— Здесь фронт. Я — командующий фронтом и могу делать то, что считаю

необходимым. Приказываю вам принимать от товарища Ерохимова столько телеграмм, сколько ему заблагорассудится составить, но запрещаю их отсылать. И приказываю немедленно доставлять их ко мне!..

— Пока что, — закончил я, — я оставляю вас на свободе, но предупреждаю, что всякое отклонение от нашей договоренности будет иметь для вас далеко идущие последствия, какие вы себе даже и представить не можете.

Мы попили с ним чаю, беседуя при этом о разных будничных вещах. На прощание я велел ему сказать Ерохимову, что телеграмма отправлена.

После ужина ко мне ворвался стоявший на посту чуваш и сообщил, что здание комендатуры оцеплено двумя ротами Тверского революционного полка и товарищ Ерохимов держит к ним речь, извещая, что «пришел конец тирании».

Действительно, вскоре в канцелярии появился товарищ Ерохимов в сопровождении десяти солдат, которые со штыками наперевес встали у дверей.

Не говоря мне ни слова, Ерохимов начал размещать их по комнате.

— Ты — туда, ты — сюда, ты стой здесь, ты иди в тот угол, ты встань к столу, ты — у этого окна, ты — у того, а ты будешь неотлучно при мне.

Я свертывал сигарку, а когда зажег ее, был уже окружен направленными на меня со всех сторон штыками и с интересом мог наблюдать, что предпримет товарищ Ерохимов дальше.

По его неуверенному взгляду чувствовалось, что он не знает, с чего начать. Подойдя к столу со служебными бумагами, он разорвал штуки две, затем принялся расхаживать по канцелярии, сопровождаемый солдатом с примкнутым штыком.

Солдаты, окружавшие меня со всех сторон, держались очень строго, и только один из них — совсем мальчишка — спросил:

— Товарищ Ерохимов, закурить можно?

— Курите, — разрешил Ерохимов и сел против меня.

Я предложил ему табак и бумагу, он закурил и неуверенно произнес:

— Это симбирский табак?

— Из Донской области, — ответил я кратко и, не обращая на него внимания, начал разбираться в бумагах на столе.

Наступила томительная тишина...

Наконец Ерохимов тихо спросил:

— Что бы вы сказали, товарищ Гашек, если бы я был председателем Чрезвычайки?

— Мог бы вас лишь поздравить, — ответил я. — Не хотите ли еще закурить?

Он закурил и продолжал как-то печально:

— А что, если я и в самом деле им являюсь, товарищ Гашек? Если Революционный Военный Совет Восточного фронта действительно назначил меня председателем Чрезвычайки?

Он встал и многозначительно добавил:

— И если вы теперь в моих руках?!

— Прежде всего, — ответил я спокойно, — покажите мне ваш мандат.

— Наплевать на мандаты! — воскликнул Ерохимов. — Я и без мандата могу вас арестовать!

Я улыбнулся.

— Сядьте-ка спокойно, товарищ Ерохимов. Сейчас принесут самовар, и мы

с вами побеседуем о том, как назначаются председатели Чрезвычайки.

— А вам тут нечего делать! — повернулся я к провожатым Ерохимова. — Давайте-ка отсюда! Скажите им, товарищ Ерохимов, чтобы моментально исчезли.

Ерохимов смущенно улыбнулся.

— Идите, голубчики, и скажите тем, снаружи, чтобы тоже шли по домам.

Когда все вышли и был внесен самовар, я сказал Ерохимову:

— Видите ли, если бы у вас был мандат, тогда вы могли бы меня и арестовать, и расстрелять, и вообще сделать со мною все, что, по вашему мнению, вы должны были совершать в качестве председателя Чрезвычайки...

— Я этот мандат получу, — тихо отозвался Ерохимов. — Обязательно получу, мой милый.

Я вынул из кармана злосчастную телеграмму Ерохимова и показал ему ее.

— Как она к вам попала? — воскликнул потрясенный Ерохимов. — Ее уже давно должны были отправить!

— Дело в том, дорогой друг, — ответил я ласково, — что все военные телеграммы должны быть подписаны командующим фронтом. Поэтому мне и принесли телеграмму на подпись. Если желаете и настаиваете на своем, я могу ее подписать. Можете даже сами отнести ее на телеграф, чтобы убедиться, что я вас не боюсь.

Ерохимов взял свою телеграмму, разорвал ее и начал всхлипывать:

— Душенька, голубчик, я ведь просто так! Прости, друг ты мой единственный!

Почти до двух часов ночи мы гоняли чай. Ерохимов остался у меня ночевать. Спали на одной постели.

Утром мы опять попили чаю, и я дал ему на дорогу четверть фунта хорошего табаку.

## Потемкинские деревни

Уже восемь суток отделяло нас от славных дней Бугульмы, а о Петроградском кавалерийском полку все еще не было ни слуху, ни духу.

Товарищ Ерохимов, который после своей последней аферы прилежно меня навещал, ежедневно внушал мне свое «твердое подозрение», что петроградские кавалеристы перешли на сторону противника.

Он предлагал: 1. Объявить их предателями республики. 2. Послать в Москву телеграмму, в которой подробно описать их подлый поступок. 3. Организовать Революционный трибунал фронта, перед которым должен предстать начальник телеграфного отделения Петроградского полка, так как он должен знать, что произошло; а если даже и не знает, все равно судить его, поскольку он начальник связи.

В своей обличительной деятельности товарищ Ерохимов был необычайно пунктуален. Он являлся ко мне ровно в восемь часов утра и твердил свои наветы до половины десятого; затем удалялся, а в два часа приходил с новым запасом аргументов, бомбардируя меня ими до четырех. Вечером он наносил мне еще один визит и во время чая заново начинал подстрекать меня против петроградцев, что затягивалось иногда до десяти-одиннадцати часов ночи.

При этом он шагал по канцелярии с опущенной головой и меланхолически бормотал:

— Это ужасно! Такой позор для революции! Нужно немедленно телеграфировать! Свяжемся прямо с Москвой!

— Все обернется к лучшему, товарищ Ерохимов, — утешал я его. — Вот увидишь, что петроградцы возвратятся.

В это время я получил телеграмму от Революционного Военного Совета Восточного фронта: «Сообщите количество пленных. Последняя телеграмма о большой победе под Бугульмой неясна. Направьте Петроградскую кавалерию под Бугуруслан к Третьей армии. Сообщите, выполнено ли все, что было в последней телеграмме; а также, сколько выпущено номеров пропагандистской газеты на татарском и русском языках. Название газеты. Пошлите курьера с подробным отчетом о своей работе. Тверской революционный полк направьте на восточные позиции. Составьте воззвание к солдатам белой армии с призывом переходить на нашу сторону и разбросайте его с аэроплана. Каждая ошибка либо невыполнение отдельных пунктов карается по законам военного времени».

Вслед за тем пришла новая телеграмма: «Курьера не посылайте. Ожидайте инспектора Восточного фронта с начальником Политического отдела Революционного Военного Совета и членом Совета товарищем Морозовым, которые облечены всеми необходимыми полномочиями».

Товарищ Ерохимов был как раз у меня. Прочтя последнюю телеграмму, я подал ее Ерохимову, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на него такая страшная инспекция, которую он все время жаждал вызвать.

Чувствовалось, что в нем началась тяжелая внутренняя борьба. Какая великолепная возможность отомстить мне, восторжествовать надо мною!

Проблеск радостной улыбки, который в первый момент заиграл на его лице, вскоре все же исчез, уступив место выражению озабоченности и душевного терзания.

— Пропал, голубчик, — произнес он печально. — Не сносить тебе буйной головушки.

Он принялся шагать по канцелярии и напевать мне тоскливым голосом:

*Голова ты моя удалая,  
Долго ль буду тебя я носить...*

Затем он уселся и продолжал:

— Я бы на твоём месте удрал в Мензелинск, оттуда в Осу, из Осы — в Пермь, а там — поминай как звали... Передашь мне командование городом и фронтом, а я уж тут наведу порядок.

— Мне кажется, что у меня нет оснований опасаться, — заметил я.

Ерохимов выразительно свистнул.

— Нет оснований опасаться! А ты мобилизовал конский состав? Не мобилизовал. Есть у тебя где-нибудь заложники из местного населения? Нет. Наложил ты контрибуцию на город? Не наложил. Посадил контрреволюционеров? Не посадил. Нашел ты вообще какого-нибудь контрреволюционера? Не нашел.

А теперь скажи мне еще: приказал ты расстрелять хотя бы одного попа или купца? Не приказал. Расстрелял бывшего пристава? Не расстрелял. А бывший городской голова жив или мертв? Жив.

Ну, вот видишь! А ты еще говоришь: «Нет оснований опасаться». Плохо твоё дело, браток!

Он снова поднялся, начал ходить по канцелярии и насвистывать:

*Голова ты моя удалая,  
Долго ль буду тебя я носить...*

Потом он схватился за голову и, пока я спокойно наблюдал, как копошатся тараканы на теплой стене у печки, бегал от окна к окну, от окон к дверям и причитал:

— Что делать! Что делать! Пропал, голубчик! Не сносить тебе буйной головушки!

Побежав так около пяти минут, он с безнадежным видом опустился на стул и произнес:

— Тут уж действительно ничего не поделаешь! Если бы ты хоть мог сказать, что у тебя тюрьма переполнена. А кто у тебя там есть? Да никого. Или если бы, по крайней мере, ты мог показать инспекции, что спалил какой-нибудь дом, где скрывались контрреволюционеры. Так ведь ничего же нет! Совершенно ничего! Даже обысков в городе не произвел... Люблю я тебя, но, говоря откровенно, мнение у меня о тебе самое неважное.

Он встал, опоясался ремнем, засунул за ремень револьвер, кавказский кинжал длиной в полметра, подал мне руку и сказал, что поможет мне; пока еще не знает, каким способом, но наверняка что-нибудь придумает.

После его ухода я отправил в Симбирск ответную телеграмму:

«Количество пленных выясняется. Подвижность фронта и отсутствие карт не дают возможности подробно описать победу под Бугульмой. Инспекция уточнит все на месте. Издание газеты на русском и татарском языках связано с трудностями: нет татарских наборщиков, не хватает русских шрифтов, белые забрали с собой печатный станок. Когда в Бугульму прибудет авиационный парк, смогу разбрасывать воззвания к солдатам белой армии с аэроплана.

Пока что сижу без аэроплана. Тверской революционный полк находится в городе, в резерве».

Спал я в эту ночь сном праведника. Утром ко мне явился Ерохимов и сказал, что уже кое-что для моего спасения он придумал. Провозился с этим всю ночь.

Он провел меня за город, к бывшему кирпичному заводу, где был выставлен караул из солдат пятой роты Тверского полка. Они стояли с примкнутыми штыками и, когда кто-нибудь проезжал мимо, кричали:

— Давай налево! Сюда нельзя!

В середине оцепленного пространства меня ожидал небольшой сюрприз: три свежие могилы. Около каждой стоял крест с прикрепленной к нему дощечкой с надписью. На первом кресте была надпись: *«Здесь похоронен бывший пристав. Расстрелян в октябре 1918 года за контрреволюцию»*. На втором кресте было начертано: *«Здесь погребен расстрелянный поп. Казнен в октябре 1918 года за контрреволюцию»*. Третья могила была снабжена надписью: *«Здесь покоится городской голова. Расстрелян за контрреволюцию в октябре 1918 года»*.

У меня затряслись колени... С помощью Ерохимова я кое-как добрался до города.

— Мы все это обделали за ночь, — хвастался Ерохимов. — Я же обещал тебе помочь, чтобы было что показать инспекции, когда она прибудет. Долго ничего не приходило в голову. И вдруг вот придумал эту штуку... Хочешь их видеть?

— Кого? — спросил я испуганно.

— Ну, этих: попа, городского голову и пристава. Они у меня все заперты в свином хлеву. Как только инспекция уедет, мы их отпустим по домам... Ты не думай, никто ничего не узнает. К могилам никто не допускается. Мои молодцы умеют держать язык за зубами. *А ты сможешь все-таки кое-чем похвастаться перед инспекцией.*

Я взглянул на него. В профиль его черты напомнили мне князя Потемкина... Пошел проверить, правду ли он говорит, удостоверился, что все так и было. Из свиного хлевка доносился поповский бас, который гудел какие-то очень жалобные псалмы, сопровождаемые неизменным рефреном: *«Господи, помилуй, господи, помилуй»*.

Ну, как тут было не вспомнить о потемкинских деревнях?

## Затруднения с пленными

Подозрения товарища Ерохимова не оправдались: Петроградский кавалерийский полк не только не переметнулся к врагу, но и привел еще с собой пленных — два эскадрона башкир, которые взбунтовались против своего ротмистра Бахивалеева и добровольно перешли на сторону Красной Армии. А взбунтовались они потому, что Бахивалеев не разрешил им поджечь при отступлении какую-то деревню. Искали теперь счастья на другой стороне.

Кроме башкир, петроградцы привели и других пленных. Это были парни лет по 17–19, в лаптях; насильно мобилизованные белыми, они выжидали благоприятной возможности, чтобы разбежаться по домам.

Пленных насчитывалось около трехсот человек, худых, в потрепанной домашней одежде. Среди них были мордвины, татары, черемисы, которым смысл гражданской войны был понятен не более, чем, скажем, решение уравнения десятой степени.

Перешли они в полном порядке, с винтовками и боеприпасами, и привели своего полковника, которого гнали перед собой. Старый царский полковник был разъярен до предела. Он дико вращал глазами и даже в плену не переставал кричать на своих бывших подчиненных, обзывая их сволочами и грозя, что «набьет им морду».

Я распорядился разместить пленных в пустующем винокуренном заводе и зачислить их на довольствие — часть при Петроградской кавалерии и часть при Тверском полку.

Получив этот приказ, ко мне тут же примчались товарищ Ерохимов и командир Петроградской кавалерии и категорически потребовали, чтобы я, как командующий фронтом и городом, взял заботу о снабжении пленных на себя.

Товарищ Ерохимов даже пригрозил при этом, что скорее велит перестрелять тех пленных, которые падают на его долю, чем будет их кормить. Тут командир Петроградской кавалерии наступил ему на ногу и посоветовал не болтать глупостей. Он своих пленных никому не даст расстреливать. Это можно было делать на фронте, а не сейчас, когда его ребята все это время делились с ними хлебом и табаком.

Если уж кого-то нужно расстрелять, так это только того полковника из 54-го Стерлитамакского полка — Макарова.

Против этого возразил я, сказав, что, согласно декрету от 16 июня 1918 года, все офицеры старой царской армии, даже если они попадают в плен, считаются мобилизованными.

Полковника Макарова нужно будет отправить в штаб Восточного фронта, где уже сидят несколько бывших царских офицеров, неся службу непосредственно в штабе.

Товарищ Ерохимов заметил, что вот таким образом контрреволюция и проникает в штабы Красной Армии. Пришлось объяснить ему, что там за ними осуществляется надзор со стороны политических органов и что они используются исключительно в качестве специалистов. Но Ерохимов не сдавал своих радикальных позиций и чуть ли не со слезами на глазах продолжал клянчить:

— Голубчик, ничего у тебя не прошу — выдай мне только этого полковника.



Затем он перешел на угрожающий тон:

— Не забывай, что в ближайшие дни сюда придет инспекция. Что она скажет? В наши руки попал полковник и выбрался от нас жив и невредим. Наплюй ты на декреты! Может, их составляли такие же «специалисты».

Командир петроградцев быстро вскочил и закричал на Ерохимова:

— Ты что?! Ленин тебе «специалисты»?! Говори, негодяй! Совет Народных Комиссаров, который издает декреты, тоже «специалисты»?! Сволочь ты, сукин сын!

Он схватил Ерохимова за шиворот, вытолкнул за дверь, а сам продолжал бусевать:

— Где был его полк, когда мы брали Чишмы и захватили два эскадрона башкир и батальон 54-го Стрелитамакского полка вместе с полковником? Где он скрывался вместе со своим Тверским революционным полком? Где он был со своими паршивцами, когда каппелевцы и поляки подступили к самой Бугульме?

Вот возьму свою кавалерию и выволоку весь его славный революционный полк на позиции! А пулеметы велю расставить сзади, за полком, и погоним их в атаку! Сволочь паршивая!

Попутно он упомянул матушку Ерохимова да и матушек всех его солдат. Умолк он лишь после того, как я заметил ему, что проводить подобные дислокации войск имеет право лишь командующий фронтом на основе приказа Верховного штаба.

Тогда он вернулся к началу нашего разговора, повторив, что обеспечение пленных продовольствием падает исключительно на коменданта города и командующего фронтом. Он не даст на это дело ни копейки. У него в полковой кассе всего 12 тысяч рублей, и он уже трижды посылал в военное казначейство за деньгами, но пока не получил оттуда ни гроша.

Я сообщил ему, что в моей кассе осталось всего-навсего два рубля, а если считать, сколько я задолжал за месяц разным организациям, снабжавшим проходящие части, получится сумма, превышающая миллион рублей. И хотя я посылал счета в Симбирское интендантство через государственный контроль, до сих пор ни один из них не был оплачен. Так что баланс моего месячного пребывания здесь составляет: актив — два рубля, пассив — свыше миллиона

рублей.

И при таком колоссальном обороте я уже третий день — утром, в обед и вечером — пью только чай с молоком да с белым хлебом. Сахару нет ни кусочка, мяса не видел больше недели, щей не ел свыше двух недель, и как выглядит мясо или сало, даже не помню.

У командира Петроградской кавалерии слезы навернулись на глаза.

— Если уж дело так плохо, буду кормить всех пленнх, — сказал он, явно тронутый. — Запасов у нас порядочно. Мы немножко поднабрали в тылу врага.

Выяснив точное число пленнх, он ушел. После его ухода я связался непосредственно со штабом Восточного фронта и передал туда несколько депеш: две чисто хозяйственного характера и одну — относительно пленнх.

Тут же получил ответ: «Военному казначейству был дан приказ выдать вам авансом 12 миллионов рублей. Пленнх зачислите в воинские части: башкирские эскадроны — в Петроградский кавалерийский полк, в качестве самостоятельной единицы, которую пополняйте пленными башкирами вплоть до создания Первого советского башкирского полка. Батальон 54-го Стерлитамакского полка включите в Тверской полк. Распределите пленнх по ротам. Полковника Макарова немедленно направьте в распоряжение штаба Восточного фронта, в случае сопротивления — расстреляйте».

Я послал за Ерохимовым и командиром Петроградской кавалерии. Пришел лишь командир петроградцев, а вместо Ерохимова явился полковой адъютант, который сообщил, что товарищ Ерохимов только что вывел из винокуренного завода, где находятся пленные, полковника Макарова и, взяв с собой двух вооруженных солдат, направился с ним к лесу.

Я вскочил на лошадь и догнал Ерохимова в низком ельнике, когда он со своими солдатами и полковником Макаровым уже поворачивал на Малую Бугульму.

— Куда? — заорал я на него.

В этот момент Ерохимов был похож на школьника, которого учитель застиг в своем саду запихивающим в карман наворованные груши. Некоторое время он беспомощно глядел на полковника, на ельник, на солдат, на свои сапоги, потом отозвался несмело:

— Иду с полковником в лес... немного прогуляться!

— Ну, — сказал я, — нагулялись уже достаточно! Идите вперед, а я возвращусь с полковником один.

На перекошенном злобой лице полковника не видно было никаких следов страха. Я повел коня за узду, полковник шел возле меня.

— Полковник Макаров, — обратился я к нему, — я только что высвободил вас из весьма неприятной ситуации. Завтра вы будете направлены в Симбирск, в штаб. Вы мобилизованы...

Едва я это произнес, как полковник внезапно ударил меня своей громадной медвежьей лапой по виску, и я, не успев даже вскрикнуть, повалился в придорожный снег.

Так бы я там и замерз, если бы несколько позднее не нашли меня двое мужичков, ехавших на санях в Бугульму. Они взвалили меня на сани и доставили домой.

На другой день я вычеркнул из списка пленнх полковника Макарова, а из

реестра конского состава комендатуры — своего верхового коня, на котором исчез полковник, чтобы от красных снова попасть к своим белым.

А в это время товарищ Ерохимов выехал в Ключвино и через железнодорожное телеграфное отделение отправил Революционному Военному Совету в Симбирск телеграмму:

*«Товарищ Гашек отпустил на свободу захваченного в плен полковника 54-го Стерлитамакского полка Макарова и подарил ему свою лошадь, чтобы тот мог добраться на сторону противника. Ерохимов».*

На этот раз телеграмма до Симбирска дошла.

## Перед Революционным трибуналом Восточного фронта

«...**S**chlechte Leute haben keine Lieder»[237], — написал немецкий поэт, завершая одно из своих двустиший. В этот вечер я до поздней ночи распевал татарские песни, так что никто из окружающих не мог ни уснуть, ни даже просто спокойно лежать. Из этого я заключаю, что немецкий поэт явно солгал.

Наверно, я все-таки заснул раньше всех в комендатуре. В конце концов меня самого утомили эти монотонные мелодии с неизменными повторами «Эль, эль, бар, але, еле, бар, бар, бар».

Разбудил меня один из моих чувашей, доложивший, что приехали на санях какие-то три человека, которые показывают постовому внизу свои бумаги.

Точная передача его сообщения звучала бы так: «Три сани, три люди, внизу полно бумаг. Одна, две, три бумаги».

— С тобой говорить, — продолжал он. — Злые, ругаются...

— Проводи их наверх.

Распахнулись двери, и гости вторглись в мою канцелярию-спальню.

Первым был блондин с окладистой бородкой, вторым — женщина в овчинном полушубке, третьим — мужчина с черными усами и необычайно пронзительным взглядом.

По очереди представились: «Сорокин, Калибанова, Агапов». Последний при этом твердо и неумолимо добавил:

— Мы — коллегия Революционного трибунала Восточного фронта.

Я предложил им закурить, причем Агапов заметил:

— Как видно, товарищ Гашек, вам здесь неплохо живется. Такой табачок не могут позволить себе курить люди, которые честно служат революции.

Когда принесли самовар, мы начали беседовать о самых различных вещах. Сорокин говорил о литературе и рассказал, что, еще будучи левым эсером, он издал в Петрограде книжечку своих стихов под названием «Восстание», которая была конфискована Комиссариатом печати; но он теперь об этом не жалеет, потому что это была страшная глупость. Изучал филологию, а сейчас — председатель Революционного трибунала Восточного фронта.

Это был действительно очень милый, приятный человек с мягкой русой бородкой, за которую я его во время чаепития осторожно потрогал.

Товарищ Калибанова была студенткой-медичкой, в недавнем прошлом тоже левая эсерка; очень живая, симпатичная особа, которая наизусть знала всего Маркса.

Агапов — третий член Революционного трибунала — был самым радикальным из них. Служил раньше секретарем у одного московского адвоката, у которого когда-то скрывался генерал Каледин. По словам Агапова, адвокат был величайшим подлецом на свете, поскольку платил ему всего 15 рублей в месяц, а сам в три раза больше дал как-то на чай официанту в Эрмитаже, который позволил ему плюнуть себе в лицо.

По виду Агапова можно было судить, что все предшествовавшее падению царизма сделало из него человека сурового, неумолимого, жестокого и страшного, который давно уже сводит счеты с теми, кто платил ему те несчастные 15 рублей. И он борется с этими тенями прошлого везде, где бы ни появлялся, и переносит свои подозрения на окружающих, видя в каждом возможного предателя.

Говорил он короткими, отрывистыми фразами, полными иронии. Когда за чаем я предложил ему кусок сахара, он сказал:

— Жизнь сладка лишь для некоторых, товарищ Гашек, но и для них она может стать горькой.

В ходе разговора речь зашла о том, что я по национальности чех, тогда Агапов заметил:

— Как волка ни корми, он все в лес смотрит.

Товарищ Сорокин ответил на это:

— Все выяснится при расследовании.

Товарищ Калибанова, улыбнувшись, предложила:

— Вероятно, все-таки нужно показать товарищу Гашеку наши полномочия.

Я сказал, что мне будет приятно узнать, с кем имею честь познакомиться, поскольку без важной причины я не позволил бы никому будить себя среди ночи.

Агапов раскрыл портфель и показал мне мандат:

«Революционный Военный Совет штаба Восточного фронта № 728-в г. Симбирск

Удостоверение

Дано сие Революционным Военным Советом Восточного фронта товарищам Сорокину, Калибановой и Агапову в том, что они являются коллегией Революционного трибунала Восточного фронта и, на основе своих полномочий, имеют право производить расследования в любом месте и по отношению к любому человеку. Для выполнения вынесенных ими приговоров все воинские части обязаны предоставлять в их распоряжение необходимую военную силу.

(подписи)».

— Думаю, что этого вполне достаточно, товарищ Гашек, — сказала Калибанова.

— Разумеется, — согласился я. — Но разденьтесь все-таки, здесь у нас тепло, и, кроме того, скоро принесут самовар.

При этом Агапов не преминул вставить:

— А вам тоже тепло? Думается, что вам даже жарко.

— У меня есть градусник, — отозвался я. — Если хотите — взгляните, вон там, у окна. По-моему, здесь как раз вполне нормальная температура.

Сорокин, самый серьезный из них, положил свой полушубок на мою постель и сказал, что сразу после чая приступим к делу.

Вспоминая сейчас товарища Агапова, я чувствую, что и теперь еще люблю его за прямоту и откровенность. Именно он первый попросил, чтобы я распорядился убрать самовар, так как пора начинать допрос и разбирательство дела. Приглашать свидетелей нет необходимости. Вполне достаточно того обвинительного заключения, которое было составлено в Симбирске на основании телеграммы товарища Ерохимова о том, что я отпустил на свободу полковника Макарова и подарил ему свою лошадь, чтобы он мог добраться к белым.

Агапов предложил судебное разбирательство на этом закончить и потребовал приговорить меня к расстрелу. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 12-ти часов.

Я спросил у товарища Сорокина, кто, собственно, является председателем, ведущим судебное разбирательство. Он ответил, что все в полном порядке, поскольку Агапов — представитель обвинения.

Тогда я попросил позвать товарища Ерохимова, потому что в конце концов каждый может в порыве гнева послать телеграмму. Нужно выслушать его как свидетеля лично.

Агапов согласился со мной, заметив, что раз Ерохимов посылал телеграмму, у него можно узнать и нечто большее.

Мы договорились, что Ерохимов будет сейчас же позван для свидетельских показаний. Я послал за ним.

Ерохимов пришел заспанный и угрюмый. Когда Агапов сообщил ему, что он видит перед собой Революционный трибунал Восточного фронта, который прибыл, чтобы на месте провести расследование по делу товарища Гашека и вынести приговор, лицо Ерохимова приняло выражение безграничной тупости. Он взглянул на меня... По сей день остается психологической загадкой, что происходило тогда в его душе.

Его взгляд перебежал с одного члена Революционного трибунала на другого, потом — снова на меня.

Я дал ему сигарету и сказал:

— Закурите, товарищ Ерохимов, это тот самый табак, который мы тогда вместе с вами курили.

Ерохимов еще раз окинул взглядом всех собравшихся и произнес:

— Я эту телеграмму, голубчики, послал спьяну.

Тут поднялся товарищ Сорокин и прочитал целую лекцию о вреде «зеленого змия». В том же смысле высказалась и Калибанова. Затем встал Агапов и, весь кипя от возмущения, потребовал сурово наказать Ерохимова за пьянство, поскольку он совершил этот поступок, будучи командиром Тверского революционного полка. Прекрасный в своем негодовании, Агапов предложил приговорить Ерохимова к расстрелу.

Я тоже поднялся и сказал, что здесь не найдется ни одной живой души, которая согласилась бы стрелять в Ерохимова. Это привело бы к восстанию в полку.

Тогда Калибанова предложила приговорить его к двадцати годам принудительных работ.

Сорокин высказался за разжалование.

До самого утра обсуждались все «за» и «против» по поводу каждого предложения. В конце концов сошлись на том, что Ерохимову будет вынесен строгий выговор с предупреждением, а если нечто подобное повторится, к нему будет

применено самое суровое наказание.

В течение всего разбирательства Ерохимов спал.

Утром Революционный трибунал Восточного фронта выехал из Бугульмы. На прощание Агапов еще раз повторил мне с иронией:

— Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Гляди, брат, а то голова прочь! Мы пожали друг другу руки.

## Чжен-Си, Высшая правда

Мне было приказано организовать культпросвет при китайском полку в Иркутске, который свалили нам на голову с буфера Восточно-Сибирской республики. Я тотчас послал командиру полка Сун-Фу коротенькую записку: «Прошу явиться в Политотдел армии». Ответ пришел в красном конверте с адресом, наклеенным на голубой полоске, в знак уважения первой степени.

Текст был составлен по всем правилам мандаринской вежливости:

«Досточтимый и всемилостивейший господин! Вчера я имел честь получить от Вас послание, в котором Вы употребили столько лестных для меня выражений, что, читая, я был смущен и стыдился, чувствуя себя недостойным такой высокой благосклонности.

В настоящем письме спешу выразить Вам, досточтимый и всемилостивейший господин, величайшую мою благодарность, о всем же остальном надеюсь побеседовать с Вами при личном свидании. Приношу вам письменное выражение величайшего моего восхищения и почтения, пользуясь этой незабываемой для меня возможностью пожелать Вам самого полного счастья.

Сун-Фу, ваш покорнейший слуга, командир 1-го китайского полка Иркутской губернии, бывший командующий китайскими гарнизонами Китайской республики в Нау-Цине, Лин-Ху, Чжен-Це, Син-Ши, У-Чжене и Шуан-Лине».

Я вспомнил, что, когда китаец так выпренне пишет о личном свидании, он будет избегать встречи с вами за сто шагов, — поэтому решил за ним послать.

Ко мне ввели пожилого китайца в засаленном английском пиджаке, высоких сапогах и рейтузах.

Сун-Фу не поднимал своих раскосых глаз от земли в знак почтения, и после того как мы совершили несколько учтивых церемоний, связанных с вопросом о том, кому первому сесть, он вынул свою визитную карточку, как требует вежливость.

На визитной карточке с одной стороны было имя, а с другой — заключенный в квадрат девиз владельца, унаследованный от предков: «Хао-мин, бу-чуминь-эмин-син-цьянли». — Добрая слава на месте лежит, а дурная далеко бежит.

Мы закурили сигареты и с помощью переводчика начали беседовать.

Вежливость требовала, чтобы Сун-Фу поделился теми сведениями о себе, которые найдет подходящими для данного случая.

— Я — Сун-Фу, — начал он, — в восемнадцатилетнем возрасте, не имея денег, продал через посредника Хоу-Ци купцу Ши дом, доставшийся мне от предков, у ворот Шим-Чжи-Мин, за тюрьмой Ци-Шоу-Вей в Пекине. В доме было шестьдесят восемь комнат, чьи окна, двери, перегородки, деревянные ставни

видели моих предков. Я получил тысячу двести ланов серебра, которые были вручены мне в полном порядке покупателем Ши через посредничество Ван-Цуна и чиновника Тун-Цжи, и в свою очередь передал им девять купчих крепостей на дом. Потом я оплатил долговой вексель, выданный мной банковской фирме Юй-Тай в Сау-Денской губернии Лиценцянского округа, — тысячу ланов серебра — и уехал в Шанхай. Это было на восьмом году шестой луны, в тридцатый день правления наместника Гауау-Цуя. В Шанхае я поступил в казармы Шау-Чеу-Хен, где учился двенадцать лет и был произведен в генералы, получив от властей бесплатно два мешка сушеных малых черных черепах, один мешок ласточкиных гнезд второго сорта, два мешка корицы, один мешок сушеных рыб и три мешка коровьих шкур. Все это купил у меня купец Шан-Чеу-Хау, за четыре тысячи сто ланов чистого серебра и коробку опиума. Меня должны были назначить начальником Шанхайского порта, но со мной случилось несчастье: на прощальном ужине со служащими военного гарнизона я обидел маркера игорного дома Хоу-Фа, которому все служащие были должны, и меня в наказание послали в северные гарнизоны, стоявшие в Нау-Чеу, Лин-Ху, Шин-Ши, У-Чжен, Шуан-Лин и Чжен-Це. Каждые полгода мне выдавали красный лист бу-фа с лу-чен-цвеном — распоряжением совершить объезд для взимания налогов от имени превосходительнейшего председателя Юань-Ши-Кая, который был воплощенным Ду-Цза, мамоном. Все гуань-фу, мандарины северных провинций, боялись меня, так как я придавал особое значение нравственности, домогаясь в северных провинциях чжен-си, высшей правды, ведущей к совершенству. Но как говорится, правда глаза колет, и нечестные враги сообщили властям севера, будто я — тань-мо, или, как говорят на севере, — тань-цзань-ди, человек, берущий взятки, хотя, как мною уже сказано, я придавал особое значение нравственности и принимал только сичен-чен-и, небольшие подарки на покрытие дорожных расходов. В то время как я, стремясь к совершенству, занимался и во время объездов чтением книг древних мудрецов времен первой династии, враги мои, находясь в плену величайших пороков, обвинили меня в том, что я дал начальнику почты провинции Син-Си, моему милому и добродетельному другу Ю-Цжен-Гуану, везшему в Пекин с границ Монголии собранные налоги и таможенные сборы, специальный конвой — только для того, чтобы Ю-Цжен-Гуан мог без помех бесследно исчезнуть. Когда-то во времена пятой династии при дворе была издана книга «Мо-И-Мо», то есть руководство по возбуждению подозрения к своему ближнему; не знаю, ходит ли по рукам ее список в северных провинциях, но думается, что там он есть, ибо в высший сенат судебного ведомства Ней-Ге поступали все время жалобы, где меня обвиняли в величайшем распутстве и правонарушениях, указывая на то, что мои солдаты — не «цзюнь-ши», регулярное войско, а «цзье-лу-дуань-син», разбойники, грабящие по большим дорогам и деревням, хунхузы, хайкон. Может быть, я был недостаточно строг со своими солдатами, так как старался быть добрым ко всем и, зная, что никто не обладает полным совершенством, никогда не спрашивал у них, кто прав и кто виноват. Клевета моих недругов приобрела, однако, такие размеры, что в последнем месте моей деятельности, когда мы стояли гарнизоном в городе Шуан-Лин, против меня было послано войско с требованием «си-син», то есть добровольного обезглавливания без суда и следствия, при каковом условии отпадают все тридцать две степени пытки. Тогда я взорвал Шуан-линские ка-

зематы и воскликнул: «Чу-чжен-чу-бин! Выступим в поход через границу!» И мы пошли походом по Монголии, принимая подарки для поддержания дружбы и сокрушая всех оказывавших нам сопротивление. Мы проявляли милосердие к тем, кто обращался с нами любезно, воздавал нам ю-ли-куан-дай, братский почет, ибо ученый Лао-Цзы говорил, что наивысшее и предельное совершенство есть братство всех людей, а потому я никогда не позволял своим солдатам складывать пирамиды из отрубленных голов пленных.

Сун-Фу замолчал. Оба они — и он сам и переводчик — говорили страшно быстро. Если Сун-Фу говорил на птичьем наречии Южного Китая, то переводчик-кореец пел перевод с не меньшим совершенством, чем Сун-Фу — свой оригинал. Оба заметно устали; кроме того, Сун-Фу надо было собраться с мыслями, чтобы как-то объяснить, каким путем попал он в буферную Восточно-Сибирскую республику, а оттуда в Иркутск.

Наконец Сун-Фу поклонился переводчику и мне и продолжал:

— Мы пришли в пустынную песчаную область Хан-Ау, где вместо овец нашли енчен-ту, горы пыли. На север от нас была Урга, на юг, там, где солнце клонится к закату, — Си-цзань, Тибет, а на запад — О-Го, Россия. Мы шли на запад, все время на запад, пока не пришли в Россию, к бурятам в Селенгинский аймак, что на реке Селенге, Юн-Дар, долиной, которая доходит до самого Шан-Тоу-Ду-И-скина, то есть Верхнеудинска, где местная власть Чао-Тун-Шен приняла нас в свои войска. Но и там преследовали меня мои недуги, и поэтому нас послали за Байкал, в О-Го, Россию. Вижу теперь, что очень многим многого не хватает до совершенства, и если я несовершенен, то есть такие, которым далеко до того, чтобы искать пути к совершенству, придавая главное значение нравственности, как я старался всю свою жизнь, ища спасения в сознании правды.

Он замолчал, и косые глаза его начали переходить с предмета на предмет, потом совершенно равнодушно остановились на мне — с такой холодностью, словно он хотел сказать: «Цьюань-цза-бай, белый дьявол, ты для меня не существуешь».

Я велел переводчику перевести следующее:

— Очень благодарен за вашу краткую биографию, которая говорит о вашем совершенстве. Ясно представляю себе и не меньшее совершенство вашего полка, которому не хватает единственно только культпросвета — фа-гхуан-цзяо-хуа. Школы, театр, доклады. Это полку необходимо иметь. Представьте мне послезавтра наметки, как все это устроить в соответствии с потребностями ваших соотечественников.

Сун-Фу заставил переводчика передать мне следующее:

— Просвещение играет большую роль на всех ступенях воспитания и нравственного совершенствования. Цзяо-хуа, просвещение, стремится постичь правду, оно не должно зависеть от пристрастий и заблуждений, а обязано исходить из глубины сердца и нравственности и опираться на чуан-цо, знание недостатков человеческого характера. Я счастлив, что могу послезавтра представить свои наметки в этом направлении, но чувствую себя слишком цью-е, ничтожным и незначительным, и мне стыдно, что именно на меня пал ваш выбор, посредством которого вы хотите оценить способности человека, слишком вам обязанного, чтобы он мог отказать вам в такой мелочи.

Сун-Фу встал и подал мне руку, такую же холодную, как его глаза. Коре-

ец-переводчик, подавая мне руку, в знак уважения снял очки.

После их ухода остался запах чеснока и мускуса — китайский дух, который приходится выветривать.

Я вспомнил, что комиссар штаба Пятой армии, коснувшись в разговоре со мной Сун-Фу, сказал:

— Это негодяй.

Вечером меня посетил другой китаец. Это был маленький человек с совершенно голым черепом, в черной одежде. Лицо бледно-желтого оттенка, как у курильщиков опиума. Усы были сбриты, и только подбородок украшал клочок очень редких черных волос. Выражение лица было смешливое, но трудно было понять, смеется он или ухмыляется.

У китайцев необычайно развита служба информации. Если встретились два китайца, можно быть уверенным, что они заговорят о третьем: «Я только что видел, как Бо-Цзя-дза покупает зелень у Шен-Шена». А другой наверняка прибавит: «С которой он пошел к Жень-Чжу-Женю».

Поэтому меня несколько не удивило, когда мой посетитель сказал:

— Сем-Фу была, полковник Сун-Фу была, моя Лу-И-Иао, моя говорила русски, моя не хотела переводчик, моя хорошо русский язык. Моя все говорила русски. Хо-хо (хорошо). Сун-Фу, полковник, была-была. Сун-Фу, полковник, мала-мала-машинка[238].

Я угостил его чаем и сигаретами, а Луи-И-Иао, приятно осклабясь, продолжал свою речь, употреблял множество китайских слов из северного наречия, что еще более затрудняло и осложняло наше взаимопонимание.

— Я, Лу-И-Иао, никогда не была ша-дай, дураком. Моя хан-ши-чжан-лио, моя май-май-син-ци, лай-лио.

Я прервал его и постарался убедить в необходимости присутствия переводчика, но он возразил:

— Держалась на ногах. Дышала, дышала, не упала.

Эта загадочная фраза была дословным, но скверным переводом сложного китайского понятия, смысл которого можно передать словами: «В таком случае я уйду».

Но он все же остался сидеть, и мне было ясно, что собственно великим его желанием было как раз присутствие переводчика, а отказывается он из вежливости, чтобы не затруднять меня хлопотами.

Я позвонил по внутреннему телефону и передал в канцелярию, чтобы прислали переводчика Ли-Пи-Ти.

С первых же слов я понял, что Лу-И-Иао осведомлен, что переводчик — кореец, то есть принадлежит к народу, который, зная нечто дурное о ком-либо из китайцев, так радуется, что ни одному китайцу этого не скажет.

При помощи Ли-Пи-Ти я быстро установил, чем вызвано любезное посещение Лу-И-Иао.

— Я, Лу-И-Иао, пришел затем, чтоб обратить Ваше внимание на Сун-Фу. Этот человек — цзяо-чжан, то есть в подметки мне не годится. Вы еще не знаете, кто такой Лу-И-Иао. А мое имя известно в двадцати двух провинциях Китая. Вы знаете, что такое «Цио-Вень-Бу-Я-Я-Яй-Жень»? Как? Вы не знаете журнала «Ученостью не уступает другим»? Не знаете журнала «Братство объединенных сердец», который выходил в Сычуане? Не знаете издателя этих журналов, меня, Лу-И-Иао? Да, это я, Лу-И-Иао, который так хорошо знает Сун-Фу. Что

натворил Сун-Фу в провинциях Кантон, Чже-Цзян, Гуанси? Почему его хотели арестовать в портах Си-Мао, Мен-Цзи, Су-Чжоу, почему он бежал из тюрьмы в Чен-Ду, Фу-Чжоу и в Юньнани и в Шан-Дуне? Почему скрывался три года в Корею — в Чемульпо, Фусане, Кунзапо, Юаушане. Генерал? Ничуть не бывало. Я очень желал бы, чтобы вы напрягли слух: Сун-Фу — это съюн-шоу, коварный разбойник и убийца. Очень желал бы, чтоб это сообщение не огорчило вас, так как я желаю вам всего самого лучшего, от чистого сердца. Хотя я и далек от совершенства, но люблю чжен-си, высшую правду, которая ведет к совершенству. Поэтому я пользуюсь здесь всеобщей любовью и надеюсь, что всякий раз, как вам понадобятся сведения о ком-либо из моих земляков, вы будете обращаться только ко мне и при этом всякий раз будете убеждаться в справедливости моего отзыва, потому что таков я, Лу-И-Иао, которого так любят его земляки.

Все время, пока я благодарил его за сведения, уверяя, что буду всегда обращаться к нему, и прося, чтоб он оставил мне свой адрес, Лу-И-Иао смотрел такими же холодными глазами, как Сун-Фу. Словно тоже хотел сказать: «Цзюань-цза-бай, ты для меня не существуешь, белый дьявол!»

На другой день перед обедом мне доложили, что со мной хотят говорить два китайца. Когда их ввели, я обнаружил, что буду иметь честь беседовать с китайцами, одетыми в безукоризненные европейские костюмы и обутыми в элегантные ботинки американского фасона. У более пожилого были даже перчатки. Оба бойко говорили по-французски, и старший представился:

— Цзун-Ли-Иа-Мин, китайский консул в Иркутске. А это мой секретарь Гу-Цзяо-Чжан.

В получасовой речи он объяснил мне причину своего посещения.

Прежде всего, он пришел представиться и предложить мне свои услуги — на случай, если мне что потребуется. (Смысл этого предложения остался для меня загадкой.) Во-вторых, он узнал, что у меня был вчера вечером некий Лу-И-Иао. И он пришел, чтобы предостеречь меня насчет этого человека. Я еще не разбираюсь в его земляках и должен быть предупрежден, что Лу-И-Иао — самый дурной человек на свете. Это негодяй, которому нет равных. У него была шайка хунхузов и контрабандистов, бесчинствовавшая в районе Харбина. Он убил нескольких русских купцов. Да, вот каков Лу-И-Иао; а в последнее время он обокрал много китайцев, продавая им под видом опиума какую-то смолу. Лу-И-Иао ездил в глубь России и только притворяется, будто плохо говорит по-русски. В русско-японскую войну он был японским шпионом и переводчиком. В России, в Москве, он несколько лет тому назад выманил у богатого китайского купца большие деньги, взявшись доставить тело его покойной жены в Китай, довез гроб до Одессы и похоронил на тамошнем кладбище, а остальные деньги, которые должны были пойти на перевозку до Китая, прикарманил и открыл игорный дом в порту, где разорились многие посетители. А здесь, в Иркутске, он плетет теперь интриги против него, Цзун-Ли-Иа-Мина, пишет революционному комитету доносы, будто китайский консул тайно отправляет китайцев из Иркутска в Китай с золотом. Все китайцы ненавидят Лу-И-Иао, все его сторонятся.

Секретарь китайского консула, господин Гу-Цзяо-Чжан прибавил к этому, что Лу-И-Иао отдал одному бурятскому кочевнику свою жену за прескверную клячу, на которой уехал, когда его чуть не поймали под Читой за какое-то

ограбление и многочисленные убийства.

Я осведомился, какое мнение этих господ о полковнике Сун-Фу.

— Замечательный человек, — ответил консул. — Превосходный человек. Искренний, правдивый, быстро приближающийся к совершенству, согласно всем требованиям, предъявляемым священным учением Лао-Гур.

— Самый искренний человек, — подтвердил и секретарь, — честнейший, самый лучший из тех, с кем мне приходилось встречаться.

— Так что, — сказал в заключение господин Цзун-Ли-Иа-Мин, — будьте покойны: если вам понадобится какая-нибудь информация о ком бы то ни было, я к вашим услугам. Я знаю здешнюю китайскую колонию как свои пять пальцев. Все они мне очень обязаны, так как я им все время нужен. Я для них отец и мать.

После того как консул и секретарь ушли, какой-то китаец принес мне лаковую шкатулку с обычным китайским рисунком, изображающим птицу, летящую среди камышей. В шкатулке были конфеты из тростникового сахара, противно пахнущие мускусом. Сверху лежало письмо на красной бумаге, необычайно любезного содержания, как это выяснилось при помощи переводчика Ли-Пи-Ти:

«Ваше высокопревосходительство!

С особым удовольствием узнал я о Вашем пребывании в этом городе, который после Вашего приезда стал милым и незабываемым, так как улицы этого города озаряет Ваше присутствие. Беру на себя смелость просить о величайшей чести в моей жизни — беседе с Вами с глазу на глаз. Прошу Вашего разрешения. Судьба моя в Ваших руках. Какое бы ни было Ваше решение, ответ Ваш навсегда останется для меня бесценнейшей драгоценностью. Прошу простить мою смелость и желаю высшего и совершенного счастья.

Хуан-Хунь».

— Не верьте китайцам, — сказал переводчик, когда я продиктовал ответ в том смысле, что меня очень радует честь увидеть г-на Хуан-Хуня с глазу на глаз.

— Китайцы, — продолжал кореец уходя, — дай-дзар-дичжу; по-русски: «супоросые свиньи».

Господин Хуан-Хунь довольно хорошо говорил по-русски и на мой вопрос, почему писал мне по-китайски, ответил, что из желания сделать приятное, так как подумал, что я составляю коллекцию таких вещей. Находясь много лет тому назад в Москве по делу, связанному с торговлей чаем, он даже продавал торговые письма для коллекций.

Но пришел он по другому поводу. Визит его имеет целью просто обратить мое внимание на славную парочку известных мошенников — Цзун-Ли-Иа-Мина, который выдает себя за китайского консула, и Гу-Цзяо-Чжана, выдающего себя за его секретаря. Чтоб мне было все ясно, я должен знать, что, когда Иркутск был еще под властью адмирала Колчака, эти негодяи нажили на поставках риса для армии несколько миллионов и были осуждены на каторжные работы в Черемховских угольных шахтах. После переворота они бежали с шахт и явились в Иркутск как раз в тот момент, когда оттуда бежал китайский консул, у которого на совести была излишняя приверженность к покойному адмиралу. Оба сейчас же объявили, что принимают на себя консульские обязан-

ности, заказали печати — и дальше все пошло как по маслу.

— А какого вы мнения о Лу-И-Иао? — спросил я господина Хуан-Хуня.

— Прекрасный человек, — услышал я в ответ. — Честный, искренний. Жаждет стать совершенным, стремится к правде.

Хуан-Хунь сердечно простился со мной, попросив разрешения прислать мне чаю, настоящего чаю из Южного Китая.

Когда он ушел, у меня, признаться, закружилась голова. Где же во всем этом высшая правда, ведущая к совершенству, как требует Будда, правда «чжен-си»?

Но в последующие дни голова моя закружилась еще сильнее, Сперва пришел некий Тоу-Му и обвинил г-на Хуан-Хуня в подделке кредитных билетов и других преступлениях.

Господин Сьун-Цзьянь объявил, что Сун-Фу — мерзавец, а китайский консул и его секретарь — самые почтенные люди, какие только существуют под солнцем. Господин Лао-По-Цза высказался в том смысле, что господин Тоу-Му, Хуан-Хунь, китайский консул и его секретарь, Лу-И-Иао, и господин Сьун-Цзьянь — величайшие злодеи и изверги на свете. Благородным исключением из всей колонии является господин полковник Сун-Фу, совершеннейший глашатай правды, человек незапятнанной репутации.

Господин Фа-Дза представил господина Лао-По-Цза в весьма неблагоприятном свете, употребив целые четверть часа на перечисление его преступлений.

Господин Лао-Бин обвинил господина Фа-Дза в убийстве собственных родителей и нескольких менее значительных проступках.

Каждый день приносил новые разоблачения...

Полковник Сун-Фу получил из интендантства для своего полка две тысячи солдатских шинелей, две тысячи комплектов обмундирования и две тысячи пар сапог и поместил их на складе в Иннокентьевской. Третьего дня он пришел ко мне, и переводчик передал мне следующие его слова:

— Я счастлив снова увидеть вас, хотя предстаю перед вами как шен-лин, существо, расплывающееся в слезах и печали. Я пришел не с наметками насчет культпросвета, фа-гхуан-цзяо-хуа, в моем полку. Сердце мое плачет, и брови мои отуманены скорбью. Стряслась беда, хо-хуань, стряслось величайшее несчастье, цза-нань. Злодеи ограбили мой склад в Иннокентьевской и похитили, проклятые дьяволы, две тысячи шинелей, две тысячи комплектов обмундирования и две тысячи пар сапог. Будь они прокляты!

И в знак печали полковник Сун-Фу стал вопить:

— Ку, ти-ку, ку-шен, ку-ку-ти-ку!

Я велел посадить его в главную караульную — для расследования. Следствием было установлено, что полковник Сун-Фу организовал общество взаимного кредита, которое и обчистило склад полка.

В этом обществе состояли все, которые перед тем побывали у меня. И господин Лу-И-Иао, и господин Хуан-Хунь, и господин Тоу-Му, и Сьун-Цзьянь, Лао-По-Цза, Фа-Дза и господин Лао-Бин.

Китайский консул с секретарем, достигшие совершенства господа Цзун-Ли-Иа-Мин и Гу-Цзяо-Чжан одолжили для этого дела свой автомобиль, удовлетворившись всего двумястами пятьюдесятью комплектами, которые и были найдены у них на складе.

Говорят, что на суде все они произнесли необыкновенно красивые речи, уснащенные цитатами из старых философов древнего Китая, все подчеркивали, что в жизни они всегда придавали важное значение нравственности, ища чжен-си, высшую правду, ведущую к совершенству! А что в поисках ее они случайно забрели на склад обмундирования в Иннокентьевской, в этом есть нечто роковое.

Чжен-си, высшая правда, не может разбиться о какие-то две тысячи солдатских шинелей и две тысячи пар сапог...

## Маленькое недоразумение

Я был послан сибирским ревкомом из Омска в Иркутск, откуда мне предстояло без промедления отправиться в Монголию, в город Ургу, встретить там полномочного представителя Китайской республики генерала Сун Фу и обсудить с ним все вопросы, касающиеся восстановления торговых связей Китайской республики с Восточной Сибирью.

Назавтра я получил вторую телеграмму с предписанием привезти генерала Сун Фу в Иркутск с тем, чтобы уполномоченный Народного комиссариата иностранных дел товарищ Габранов мог с ним обсудить договор относительно границ Советской России с Монголией и Китаем.

Вышло так, что в качестве почетного конвоя я взял с собой два батальона пехоты, эскадрон конницы и на всякий случай одну батарею артиллерии.

Из Иркутска мы выступили в пешем строю и нигде не встретили сопротивления. Повсюду навстречу нам выходили буряты, неся жареных барашков и кумыс.

Так мы двигались беспрепятственно до самой Селенги — центра Селенгинского аймака. В Селенге ситуация немного изменилась не в нашу пользу. В нескольких районах неизвестные агитаторы подняли против меня забайкальских бурят. Они распространили слух, что я собираюсь реквизировать скот.

Под Шудяром в степи показались первые вооруженные всадники-буряты, а когда мы прибыли на озеро Ар-Меда, то нашли там уже более трех тысяч выступивших против нас мятежников. Они направили к нам парламентаров с заманчивым предложением: сдаться в плен и, объединившись с ними, уйти к Алтайскому хребту, где до наступления зимы грабежом добывать себе провиант. А зимой можно будет разойтись по домам.

Предложение я отверг и послал мятежникам ответное: сдаться нам и присоединиться к нашему конвою. Эта дипломатическая уловка была рассчитана на то, что присутствие в конвое всадников-бурят избавит нас от нападения со стороны местных жителей, то есть тех же бурят.

Признаюсь, мои ожидания не совсем оправдались. Услышав, что у нас артиллерия, мятежники и вправду сдались, так что мой почетный конвой пополнился тремя тысячами диких всадников-бурят.

Движимые любовью к землякам, к нам начали присоединяться кочевники Баркугинского, Мешегелевского и Тамирского аймаков (районов), и, когда до монгольской границы оставалось около трехсот верст, нас было уже двенадцать тысяч.

В Кале-Ызырк, маленьком степном городке, к нам в количестве восьмисот человек присоединились разбойники бурятского атамана Ло-Тума, у подножия Мане-Оми — банда хунхузов численностью шестьсот человек, а затем де-

ла пошли так хорошо, что на границу Монголии я прибыл, имея под своим началом уже двадцать тысяч человек. Мирные жители в испуге разбежались при нашем приближении. По ночам в горах горели предупредительные костры. У нас были огромные стада рогатого скота, овец, коз и табуны лошадей. Все это мой почетный конвой старательно прихватывал по пути.

Когда прибыли в Вэ-Рам, главный город монгольской провинции Пэй-Гур, встречать нас вышли члены правительства Монголии в сопровождении лам (буддийских священников). Они просили хотя бы сохранить им жизнь. С Монголией-де мы можем делать, что хотим. Они ничего не имеют против любой власти, какую мы установим. Потребовалось очень много времени, чтобы объяснить им, что намерения у меня исключительно дружеские, миролюбивые, что в Ургу я еду для встречи с китайским генералом Сун Фу.

Удивлению их не было границ, и мне был предоставлен почетный конвой из двух полков монгольской армии. В результате я приближался к Урге, имея в распоряжении тридцать тысяч человек. Китайское правительство было крайне обеспокоено и начало стягивать войска на границу с Монголией.

Представитель японского правительства в Пекине счел такое поведение Китая оскорбительным для себя, поскольку Япония тоже имеет в Монголии свои интересы.

Дело дошло до того, что между Пекином и Токио произошел обмен несколькими телеграммами, составленными в весьма резких тонах.

Я между тем совершенно спокойно приближался к Урге, чтобы встретить там генерала Сун Фу. А генерал, тоже обеспокоенный, начал стягивать к городу гарнизоны с китайской границы и в результате располагал там против меня тремя дивизиями китайской пехоты, полком японской кавалерии и двумя артиллерийскими дивизионами.

Под Ургой произошла роковая битва, гремевшая целых два дня. Там сложили головы все мои буряты.

Я был разбит наголову. Урга и вся монгольская провинция Пэй-Гур перешли к Китаю. В Иркутск я вернулся с двумя людьми. И когда уполномоченный Народного комиссариата иностранных дел товарищ Габранов поинтересовался, где генерал Сун Фу, пришлось ответить: «Вышло маленькое недоразумение. Он остался в Урге...»

## И отряхнул прах от ног своих...

I

Четвертого декабря, через 1850 лет после разрушения Иерусалима, через 428 лет после открытия Америки, а если и этих данных мало, то через 540 лет после изобретения пороха, я покинул пределы Советской России и появился на границе Эстонской республики.

В Нарве я с интересом прочитал пожелтевший плакат от прошлого года, извещающий, что эстонское правительство выдаст 50 000 эстонских марок в награду тем неведомым господам, которые поймут и повесят меня.



Дело в том, что тогда я издавал в окрестностях Ямбурга татаро-башкирскую газету для двух диких дивизий башкир и прочих головорезов, оперировавших против белых войск Эстонской республики, поскольку эстонцы вторглись в Россию и, поддерживаемые Англией, решили во что бы то ни стало получить взбучку.

50 000 эстонских марок! Правда, курс у них мизерный, за одну немецкую отдай десять эстонских марок, и все же сумма была заманчивой, тем более что я нуждался в деньгах, истратив последний миллион советских рублей на дорогу от Москвы до Нарвы.

К счастью, я вовремя сообразил, что если я даже добровольно повешусь в Нарве, все равно никто не поверит, что это я, потому что путешествовал я под чужим именем, с фальшивыми документами, на которых только моя фотография и не была подделанной.

Размышления мои нарушил какой-то прилично одетый господин, который на ломаном русском языке спросил, не пожелаю ли я обменять советские рубли на эстонские марки.

Я сразу же понял, кто он такой. После стольких лет — первый сыщик!

Эстонских жандармов и полицейских я уже видел — длинной цепью торчали они за проволочными заграждениями вдоль границы. Смотрел я на них с очень односторонним чувством, которое, надеюсь, всем понятно.

Эстония вся опутана проволокой, чтоб внутрь не проскользнула социалистическая идея.

Первый сыщик все говорил, пытаюсь вытянуть хоть что-нибудь из незнако-

мого иностранца. Он говорил о беспорядках в Эстонии и хвалил Советскую Россию.

К счастью, я еще в Москве почерпнул глубокие сведения о России из одного номера газеты «Народни политика», которую сотрудники чешской миссии под руководством пана капитана Скалы раздают чехам, возвращающимся из России.

И я сказал сыщику, что нечего ему так хвалить эти Советы, потому что я читал в «Народни политике», как у одного чешского сапожника в Петрограде жена сошла с ума от голода и умер дедушка в Храстовицах, под Бероуном. Трупы валяются на улицах. Из полутора миллионов жителей Петрограда в живых остался один Зиновьев, который средь бела дня грабит лавки в обезлюдевшем городе. Но это еще что, там делают вещи похуже, например, с новорожденными...

Господин сыщик даже не попрощался со мной и поспешно отошел в другой конец вокзала.

Я присоединился к транспорту возвращенцев из России.

Рваные серые шинели старой австрийской армии, выцветшие за шесть лет солдатские рюкзаки, смесь голосов и языков всех национальностей бывшей монархии...

В тихом уголке у маленького строения на перроне, где красуется надпись «Для мужчин», какой-то венгерский капитан пришивал звездочки к засаленному воротнику.

Перед древней нарвской крепостью и замком представители Международного Красного Креста по-немецки приветствуют «перенесших суровые испытания защитников отечества».

Сестра-немка от Международного Красного Креста раздает первый немецкий кофе с сахарином.

На воротах карантина в старой крепости одни венгерские и немецкие надписи.

Национальные флаги всевозможных народов, кроме славянских.

Члены американской Ассоциации молодых христиан раздают Библии и спекулируют, выменивая «романовки», «керенки» и советские рубли на эстонские деньги.

Все ругают Россию, а эстонские солдаты из-под полы продают возвращенцам водку.

Ворота древней крепости немецких крестоносцев закрылись за нами. Мы проведем здесь четыре дня, и никому не разрешено будет выходить в город.

На большом дворе крепости начинается сортировка по нациям. Какой-то господин кричит по-немецки:

— Граждане венгерской республики налево, австрийской — направо, чехословацкой — в середину, румынской — к воротам!

Происходит ужасающая неразбериха. У дверей канцелярии стоит какой-то бывший кадет и плачет. Сотрудник Международного Красного Креста добивается от него ответа, к какой же стране он относится.

Кадета ведут в канцелярию к карте. Ищут Колошвар и в конце концов устанавливают, что кадет, согласно Версальскому договору, стал теперь румыном.

Кадет плачет еще сильнее, сестра из Красного Креста какает ему на сахарок валерьянку...

## II

Карантинный лагерь и канцелярия Международного Красного Креста расположены внутри просторной старинной нарвской крепости, выстроенной немецкими крестоносцами, некогда огнем и мечом опустошавшими балтийские земли.

Теперь их опустошают английские торговые компании, поставляя непригодные пушки, фарфоровые миски для курятников, электрические кипятильники и спортивный инвентарь, каковые предметы в высшей степени необходимы, поскольку эстонцам нечего есть.

Нарвская крепость — образцовая развалина. Несколько раз ее разрушали шведы, изгоняя из Нарвы немецких рыцарей. Потом ее обратил в руины Петр Великий, изгоняя шведов. (Более подробных сведений о ней вы не найдете ни в одном научном словаре.) В гражданской войне крепостные стены познакомились со снарядами белых и красных.

Дело разрушения довершает Международный Красный Крест, который из остатков старинного рыцарского зала, не жалея кирок, выстроил для бывших военнопленных, возвращающихся из России, нужники без признаков канализации.



Кирки Международного Красного Креста превратили и крепостные башни в разнообразные склады, в которых не дай бог появиться ревизорам.

Предприимчивое спекулянтское местное население пробило в крепостных стенах многочисленные бреши, через которые и проникает внутрь с вонючими колбасами.

Но так как существует строгий запрет жителям вступать в общение с возвращенцами, то у каждой такой бреши стоит эстонский солдат и ждет, как кошка мышку. Отсюда проистекает постоянный доход местного гарнизона — 50 % с каждого проданного фунта колбасы и прочих пищевых продуктов столь же гнусного качества, как и колбаса.

Повсюду царит образцовая грязь. Полное впечатление, будто мы внутри осажденной крепости в давние времена, когда неприятель метал через стены горшки с нечистотами. И будто черепки осторожно убрали, чтоб не порезать об них обувь, а содержимое горшков валяется всюду, куда ни кинь взор.

Тот же прелестный вид в здании бывших русских казарм, где размещены

возвращенцы из России.

Грязные нары, дымящие печи, тяжелый дух фасолевого похлебки. Жены возвращенцев развешивают пеленки.

Пойдемте лучше заглянем в «Soldatenheim»[239].

Международный Красный Крест, на который американцы отпустили столько денег, носит чисто немецкую окраску и в Нарве производит впечатление предприятия, организованного в целях наживы.

Сестрички торгуют колбасой и кофе. Кофе — из консервов, предназначенных для бесплатной раздачи среди возвращенцев. Колбасу они покупают за 5 марок, а продают за 25 марок эстонских, или 125 рублей романовских (царских), или 320 думских (керенок), или 1000 советских рублей.

Все это совершенно безразлично тирольцу, уезжающему сегодня с очередной партией. Он вдыхает аромат немецкого кофе, наслаждается надписью «Behüt each Gott»[240]. Он растроган.

— Милосердная сестрица, — взволнованно говорит он, запихивая в карман кусок колбасы, приобретенной на последние рубли, — спасибо за все, что вы для нас сделали.

В «Soldatenheim»'е — одни немецкие газеты. Только я собрался просмотреть статью в газете «Фрейхейт» о последних локаутах в немецкой «социалистической республике», как на дворе раздался страшный шум и крик, что какой-то венгр бросился с башни в крепостной ров.

Я пошел посмотреть и вот что узнал: в крепостной ров бросился бывший капитан Гараньи из 18-го Гонведского, прогоревший на денежных операциях.

Это был грустный пример неудачной спекуляции.

Из Красноярского лагеря военнопленных капитан Гараньи был отправлен в Москву как инвалид, где и продал на Сухаревке (московская толкучка) свои брюки за 120 000 и мундир за 80 000 советских рублей, то есть за 200 000 в совокупности.

Услышав, что за границей советские рубли не принимают и ничего за них не дают, он стал скупать у спекулянтов на той же Сухаревке романовки, царские десятирублевки и пятирублевки, по тысяче за пятьдесят тысяч советских. Таким образом он приобрел 4000 романовских рублей. Потом ему кто-то сказал, что Врангель разбит и романовки за границей не берут, а что, мол, цену там теперь имеют керенки (думские рубли). И вот он выменял 4000 царских на 2000 думских рублей, за которые, к его ужасу, в Нарве ему дали только 400 эстонских марок. Он поспешил обменять их на немецкие деньги и получил 80 немецких марок. Тут он взбесился и начал опять скупать советские рубли, отдавая по 10 немецких марок за тысячу. Стало у него 8000 советских рублей, которые он в полном уже отчаянии выменял на 40 марок, потому что за это время курс опять упал. Во вторник он произвел новую спекуляцию, обменяв марки на царские деньги, а в среду, с единственной эстонской маркой в кармане, бросился с самой высокой башни, воскликнув: «Eljen a Magyarország!»[241]

Его похоронили за крепостной стеной, где спят последним сном 400 солдат русской Красной Армии, попавших в плен к эстонцам и расстрелянных из пулеметов на валу.

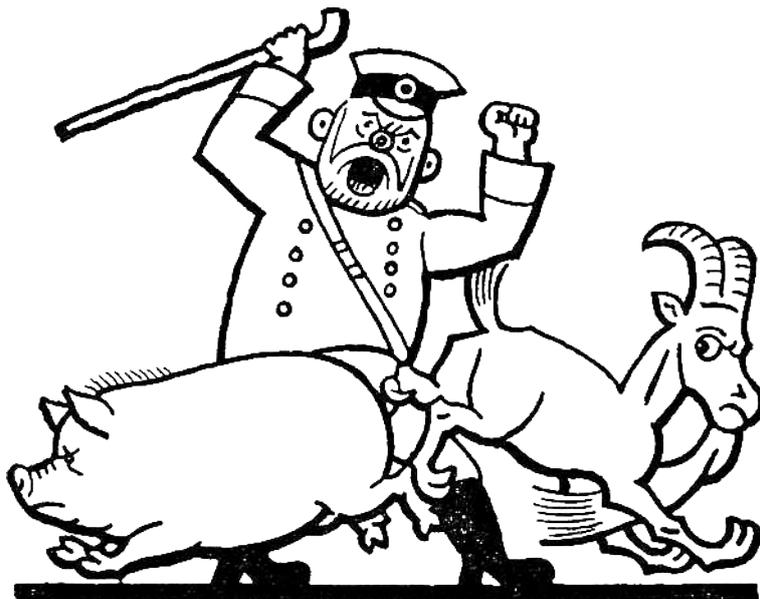
Завтра едем в Ревель.

Попасть из Нарвы в Ревель — дело вовсе не простое и не легкое. Предварительно вы проходите через целую систему разнообразных мер предосторожности. Сначала вас заставляют раздеться донага и отдать свою одежду в дезинфекционную камеру, где ее выпаривают. Если же вам не повезет и никто не объяснит вам, что в такой камере кожаные изделия, как, например, сапоги и сумки, испортят напрочь, то вы узрите картины кошмара и ужаса.

Один бедняга завязал в узелок свои башмаки и бумажник, набитый романовскими пятисотрублевыми ассигнациями. Два года он грабил Россию, прежде чем сколотил приличный капиталец, который вышел из вошебойки в виде спекшегося, сморщенного монолитного комка из кожи и вареных ассигнаций, возвращенных к первичному состоянию высушенной бумажной кашицы.

Что до башмаков, то осталось неразрешимой загадкой, какие, собственно, предметы были вынуты из вошебойки. Два непонятных куска каменно-твердой массы лежали перед несчастным, который сжимал в руке то, что пятнадцать минут назад еще называлось бумажником и состоянием, и с идиотским выражением таращился на свои бывшие башмаки.

В конце концов босоногого страдальца отвели в канцелярию Международного Красного Креста, где ему выплатили пособие в 50 немецких марок и выдали грубые сапоги, в удостоверение чего он должен был подписать штук пятнадцать разных документов.



Пока происходили все эти беды, остальные возвращенцы мылись в холодной грязной бане, и надсмотрщики раздавали подзатыльники наглецам из бывшей Транслейтании, воровавшим кусочки зеленого мыла из банных шаек.

Наконец всех вымытых и продезинфицированных выстраивают у канцелярии Международного Красного Креста, и начинается новая процедура. Эстонский чиновник выкликает по списку, кто поедет вечером в Ревель. Венгерские, румынские и чешские фамилии для него головоломный ребус, он понятия не имеет, как их выговаривать. То и дело происходят недоразумения. Чиновник кричит:

— Йозеф Нефех!

Никто не откликается. Йозефа Нефеха ищут среди турок, румын, и никому

невдомек, что это — Йозеф Новак, который стоит в группе чехов, ожидая, чтоб его назвали, и тогда он гордо выкрикнет на весь двор: «Hier!»[242]

Вполне возможно, что Йозеф Новак до сих пор ждет в Нарве, когда выкликнут его имя.

Потом начинается следующая эра: борьба за консервы, которые выдают по банке на двоих. Делается это без всякой системы. Принцип альтруизма исходит слезами среди обломков. Напрасно ищут того, кто получил банку на себя и кого-то другого, и этот другой, в полном отчаянии, снова пристраивается в очередь, надеясь, что ему удастся скрыться с целой банкой. Потом склад закрывают, и злополучный кладовщик с экспедитором письменно решают трудную математическую задачу.

Сегодня отправляется партия в 726 человек. Одна банка на двоих — значит, всего 363 банки, а выдано 516. (Горячо рекомендую журналу чешских математиков и лично министру финансов разрешить это доселе неизвестное уравнение.)

Нечто подобное происходит и с подарками американского Красного Креста. Приятная молодая особа выслушивает устные претензии просителей, которые еще в казарме наспех стянули с себя рубашки и теперь, расстегнув мундиры на голой груди, безмолвно доказывают, что у них нет белья. Один проситель пытается даже доказать молодой даме, что у него, честное слово, нет исподников...

Все-таки в шесть часов вечера нас строят в колонну по шесть человек, окружают эстонскими солдатами и выводят из ворот в сад у моста, где опять пересчитывают.

Цифры удивительно неустойчивы. Как я говорил, нас должно было уехать 726 человек. На дворе нас было 713, у ворот 738, а теперь нас 742.

Эстонский чиновник в изнеможении машет рукой, промолвив: «Ivaaja!», что соответствует всеобъемлющему русскому «Ничего!».

Нас гонят через мост, и еще два километра через город, в котором гражданская война оставила заметный след.

Площадь пересекает длинная полоса незасыпанных окопов — в назидание потомкам, а также на случай канализации, которая сейчас тут на той же стадии эволюции, как и столетия назад, когда немецкие крестоносцы возводили сей град.

На углу улицы Мая я видел миленькую сценку. Полицейский разнимал дерущихся: толстого борова и бродячего бородатого козла.

Вот и все, что я видел в Нарве, и могу закончить этот очерк, как и предыдущий, словами: «Завтра едем в Ревель!» Даю читателям и редакции честное слово, что завтра-то мы уж наверняка тронемся в этот самый Ревель.

#### IV

180 километров от Нарвы до Ревеля мы покрыли за двое суток. Эстонские власти на нескольких станциях снова и снова обыскивали наш эшелон, никого не выпускали на перрон, ничего не позволяли покупать, и в вагонах было как на вулкане: возвращенцы сидели вокруг чугунных времянок, в которых давно, еще в первый день, погас огонь, потому что выдали нам по несколько торфяных брикетов, — и на чем свет стоит поносили Эстонию и представителей Международного Красного Креста.

Дольше всего мы простояли в эстонском городе Игёратис; там произошел

открытый бунт в трех последних вагонах, где сидели румыны и венгры. Они окружили несчастного представителя Красного Креста и свирепо требовали от него хлеба, грозя физической расправой.

Тут-то и познакомился я с господином инженером Йожкой. До того момента он, никому не ведомый и никем не оцененный, жил среди австрийцев в вагоне номер семь. Никто и не подозревал, что этот скромный господин из офицерского лагеря пленных в Семипалатинске такой мудрец-идеалист.

Он заслонил своим телом представителя Красного Креста и, обращаясь к разъяренной толпе, проговорил укоризненным тоном:

— Господа, господа, образумьтесь, вы меня удивляете, зачем так громко кричать! Подумайте, ведь мы в чужой стране, мы гости на эстонской земле, и каждое такое нарушение порядка глубоко унижает нас в глазах эстонцев.

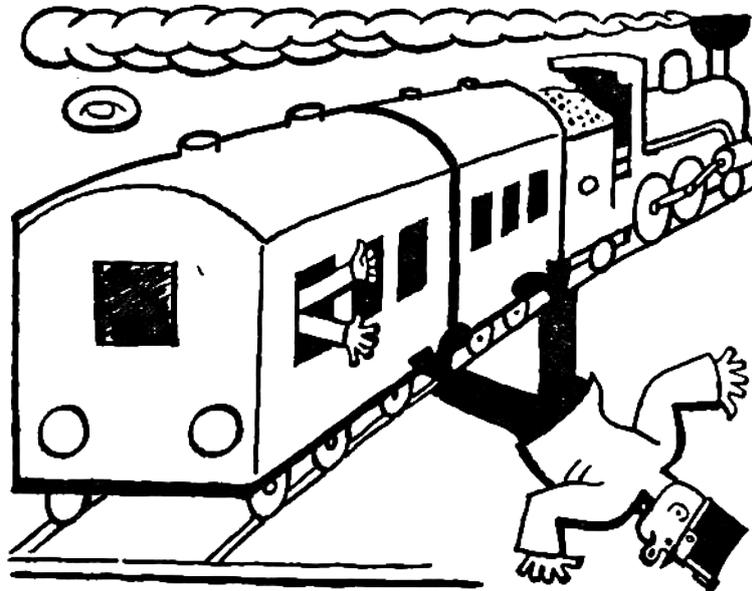
— Мы требуем немедленно хлеба! — кричали румыны, а венгры орали, перебивая их:

— В Нарве нам выдали хлеба на полдня, и вот уже больше полутора суток морят голодом! Бей его!

— Но, господа, — успокаивал их инженер, — имейте терпение, не допускайте насилия! Пусть эстонцы увидят, что мы умеем вести себя достойно... Рассудите, если б эстонские дети возвращались сейчас из школы, что бы они о нас подумали?

В толпе возникает смутное подозрение, что, верно, господин инженер тоже как-то замешан в этом деле, и уже кто-то бессовестно утверждает, что в том вагоне, где едет господин инженер, хлеба столько, что им топят печку.

Представитель Красного Креста, воспользовавшись бурей, разразившейся над головой господина инженера, исчезает. Ток высокого напряжения получает разрядку. Два эстонских солдата спокойно созерцают, как линчуют господина инженера и с каким трудом он лезет в свой вагон.



— Ну и отделали меня! — говорил инженер, забравшись на место. — Как обидно, что это случилось в чужой стране, на глазах у иностранцев, хорошо еще, дети не шли из школы, а то бы они подумали, что мы дикари.

Представитель Красного Креста, за которого господин инженер расплатился своими боками, все-таки почувствовал моральную обязанность сделать что-то для эшелона, и пошел договариваться с эстонскими властями, чтоб для

нас сварили хотя бы суп.

Переговоры имели успех: как только он завел речь о супе, заработали все телефоны, и начальнику станции было приказано немедленно отправить нас дальше. Представителю Красного Креста обещали выдать нам суп в Игве.

Поехали мы в Игву и там узнали, что супа для нас не варили, так как в Мёригёлье нам дадут полный обед.

Станция Мёригёлье быстро отделяется от нас заверением, что на станции Вейнемайе нас ждет и обед, и ужин.

К чести своих спутников могу сказать, что того господина, который осведомил нас об этом, свезли в лазарет. Едем дальше. На станции Вейнемайе поезд даже не остановился, так что, если и был среди нас кто-нибудь, кто воображал, будто зря обидели того господина из Мёригёлье, то он полностью переменяет точку зрения.

Ночью поезд приближался к Ревелю — поезд, пассажирами которого были люди, уже готовые на все. Настроение было такое, что угроза разграбления Ревеля казалась более чем правдоподобной.

К утру среди нас не было ни одного, кто не выглядел бы закоренелым грабителем и злодеем.

Только господин инженер не терял надежды, полагая оптимистически, что хоть в Ревеле-то нас накормят.

Он все время говорил вещи, давно всем известные.

— В самом деле, — изрекал он, — как странно, что, не евши полтора дня, испытываешь голод. Если нас в Ревеле не накормят, чувство голода пройдет само собой. Без хлеба очень трудно жить, а хлеб очень хорошо насыщает.

— Господин инженер, — доносится голос из угла вагона, — если вы не заткнетесь, честное слово, открою дверь и выкину вас на полном ходу.

Господин инженер бормочет что-то о гармонии красоты, добра и прогресса, о том, что надежда помогает душе восторжествовать над проклятиями, и о духовном возрождении грубиянов.

Светаёт. Господин учитель Земанек спорит со всем вагоном, что мы, должно быть, уже у самого моря и что он уже обоняет соленый морской воздух. Потом он замечает наконец, что кто-то из нашей компании сунул ему в штаны горсть икры от гнилых селедок, которыми нас благодетельствовали в Нарве.

Господин учитель, естественно, оскорблен, но господин инженер деликатно замечает, что величайшая добродетель в том, чтобы сносить насмешки. Любовь должна быть евангелием мира.

Несколько человеколюбивых угроз заставляют господина инженера закутаться в шинель и замолкнуть до станции Кюльмё, где все мужчины эшелона бросились растаскивать штабеля дров и хвороста, чтоб отопить вагоны.

Принесли награбленную добычу, и огонь весело затрещал в маленьких печках; тогда господин инженер слез со своего места и заявил:

— Отчуждение вещи, не принадлежащей нам, называется воровством, и о том, кто так поступает, говорят, что он вор. Мы все ответственные. Если я согреваюсь украденными дровами, углем или хворостом, то я соучастник хищения.

В ходе спора выясняется, что раз он заявляет, что не участвовал в вылазке, то и не имеет прав греться. Хочет сидеть в тепле — пусть пойдет и стащит полено.

— Кто принимает добро, должен платить тем же.

Перед ним распахнули дверь и вытолкали вон. А на дворе двенадцать градусов мороза. Вскоре господин инженер вернулся с большим поленом и сказал:

— Я похитил чужую вещь, я вор.

На станции Кюльмё разнесся слух, что представитель Красного Креста остался в Мёригёлье, чтоб договориться по телефону с ревельскими властями. Этот слух, подобно искре надежды, пробежал по всем вагонам и затух в скепсисе, выраженном в простых словах одним гражданином из Смихова: «Опять затевают какое-то жульничество».

Точка зрения смиховца была совершенно правильной. Наш поезд совсем уже подъехал было к ревельскому вокзалу, но вдруг свернул на ветку к порту, в объезд города Ревеля, где нам следовало получить: 1) обед, 2) ужин, 3) завтрак.

На повышенной скорости мчится поезд по берегу моря. На море никто не обращает внимания. Все глядят назад, где трусливо за песчаными дюнами прячется от нас город Ревель, столь счастливо избежавший встречи с отчаявшимися и на все готовыми людьми.

Но вот мы у цели. Причал, у причала транспортный пароход «Кипрос», дальше в море, между нами и островом Сильгит, еще пароход на якорю.

На причале нас ожидает депутация от какого-то общества — дамы и девицы из Ревеля, с пастором во главе; они раздают нам газеты с родины, причем хор дам и девиц поет трогательную немецкую песенку:

*Кто счастливым хочет быть,  
Должен о грехах забыть.  
А тогда и на том свете  
Бог пути его осветит.*

Через полчаса пастор и хор дам и девиц купаются в волнах, а мы все с ужасающим ревом «урра!» кидаемся на пароход «Кипрос»...

## V

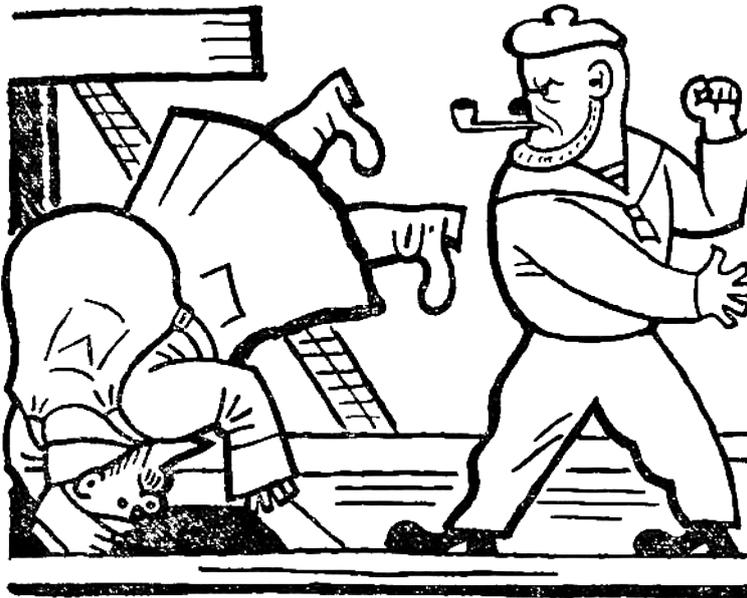
Команда «Кипроса», старые морские волки, быстро навела порядок. Вот так же чабан пересчитывает овец: хватает одну за другой за загривок и швыряет в загон. Каждый из нас прошел через турникет, то есть через несколько пар мускулистых, волосатых матросских рук, передававших нас как бы по конвейеру, чтобы закончить это стремительное путешествие где-то внизу, в трюме, где нас моментально разбивали на десятки, выраставшие в трюме, как грибы после дождя. И не успевал ты опомниться, как шагал со всей своей десяткой в другой конец парохода, получал буханку хлеба, банку мясных консервов, ложку, алюминиевую тарелку с кружкой — и уже снова оказывался на своем месте в трюме. Через полчаса вся партия накормлена и размещена.

Господин инженер воспрял духом и возобновил свои рассуждения:

— Когда человек сыт, он удовлетворен, голодный же человек несчастен.

Слушателей у него очень мало, тем не менее он продолжает свои неоспоримые утверждения:

— Прежде чем нам отплыть, пароход должен поднять якоря, и в котлах следует развести пар. Если б это было парусное судно, то пришлось бы ждать благоприятного ветра. Без ветра парусники не могут двигаться, все равно как автомобили без бензина.



«Кипрос» сигналил катерам береговой службы — мол, собираюсь отплыть — и получает от них ответ: «Море свободно». Тогда наш пароход дает гудки, и мы прощаемся с эстонским берегом, который окутался туманом, как бы говоря: «Не стоит вам оглядываться, ничего хорошего вы у нас не видали».

Все-таки несколько сентиментальных возвращенцев машут грязными платками. На причале стоят эстонские детишки из соседних рыбацких домиков и дразнятся, высовывая языки.

Трое обросших волосами тирольцев, схватившись за руки, заводят:

*Wann ich kumm, warm ich kumm,  
Wann ich wieder, wieder kumm...[243]*

Разглядываю надписи на корабле. Они полны остроумия. «Заметив пожар на борту, сообщите старшему офицеру». «На капитанский мостик входить пассажирам воспрещается». «Ключ от кладовой со спасательными поясами — у младшего офицера, которому надлежит сообщать о каждом несчастном случае».

Снизу я приписываю: «Если пароход потонет, сообщите капитану».

Иду заглянуть в буфет, и — как нож в сердце — меня встречает надпись: «Продажа спиртных напитков строго запрещена».

Где же романтика матросского рома, виски, грога? Где старые пьяницы-матросы Киплинга, которые пили так много, и орали «йо-го-го», и снова пили?

Вместо этого продают овсяное пиво, лимонад, леденцы, пряники и шоколад; можно подумать, школьники под надзором учителей совершают прогулку на пароходе в конце учебного года.

В другом конце корабля есть еще буфет, являющий ту же печальную картину, словно над ними властвует дух доктора Фоустки и профессора Батека. Там продают лимоны, яблоки, селедку, сардинки, прочие рыбные консервы и открытки. Там же вы можете получить сквернейшие немецкие сигареты и еще худшие сигары.

Продолжаю осматривать пароход и обнаруживаю еще несколько надписей, трактующих о спасательных шлюпках и о правилах спуска их на воду. Одна шлюпка заинтересовала меня: у нее в днище порядочная дыра.

Заглянул я и в матросский кубрик. Матросы пьют кофе, они трезвы и не ку-

рят короткие трубки. В руках у одного — толстая книга с алым обрезом. Подозреваю, что это Библия. Тихо закрываю дверь, пробормотав извинения — ошибся, мол, — и иду подышать свежим воздухом на носу; наш пароход как раз сигналил встречному судну, на борту которого русские пленные, возвращающиеся на родину.

Все вылезает на палубу. На судне с русскими поднимают красный флаг.

Пароходы встретились, завели разговор. Они и мы — все машут платками, кричат «ура», на обоих судах кое у кого блеснули слезы, которых никто не стыдится.

Долго еще разносятся наши взаимные приветственные крики по просторам морского залива и отдаются эхом от меловых скал острова Сильгит.

Водная гладь спокойна. Чайки летают над морем, падают на воду, ныряют.

Господин инженер, как всегда, мудро замечает:

— Эта птица называется чайка-хохотунья, потому что крик ее похож на человеческий смех, а если бы он не был похож...

— ...то я вышвырнул бы вас за борт, — заканчиваю я с серьезным видом.

Проплываем мимо длинной полосы земли, и господин инженер откровенно признает:

— Это остров, так как со всех сторон его окружает вода. Если бы эта полоска земли была с одной стороны соединена с сушей, то был бы полуостров.

Вокруг него собирается кружок слушателей. Господин инженер показывает рукой на рыбацкие лодки в заливе и уверенно сообщает:

— Море богато рыбой, и рыбная ловля — единственное занятие рыбаков. Многие рыбы пожирают друг друга, в противном случае они погибли бы от голода. Акулы опасны для людей, купающихся в море. Море бывает мелкое и глубокое. Морская вода соленая.

Слушатели дружно поднимают господина инженера и раскачивают над морской гладью. Господин инженер кричит:

— Если вы меня отпустите, я утону!

Кто-то приносит ведро морской воды, господина инженера кладут на палубу, окатывают и ведут сушиться в кочегарку. Он до того ошеломлен, что не может припомнить ни одной истины; приходит в себя он только за ужином, заметив как бы между прочим:

— Горох остается круглым даже в вареном виде.

Это, конечно, святая правда, но тот горох, который нам предложили в супе, вероятно, объявил забастовку и остался твердым, как камни Карлова моста.

Но что нас приятно удивило в супе, так это сушеные сливы, яблоки, овсяные отруби и селедочная икра.

Теперь представьте себе, что большинство из нас до этого съели холодные жирные мясные консервы, затем в буфете — шоколад, марципаны, яблоки, маринованную селедку с луком, сардинки в масле и выпили овсяного пива и лимонада.

Сколь достойная подготовка к морской болезни, подстерегающей нас где-то за пустынным морским горизонтом!

Совсем стемнело. На острове Сильгит во тьме мигали маяки, задул северо-западный ветер, и когда мы вышли из залива, волны не заставили себя ждать и заявили о себе по собственной инициативе, полные рвения и энергии.

«Кипрос» начал резать волны, а они ревели в ночи от боли и, разъяренные, старались потопить его, ввергнуть в пучину.

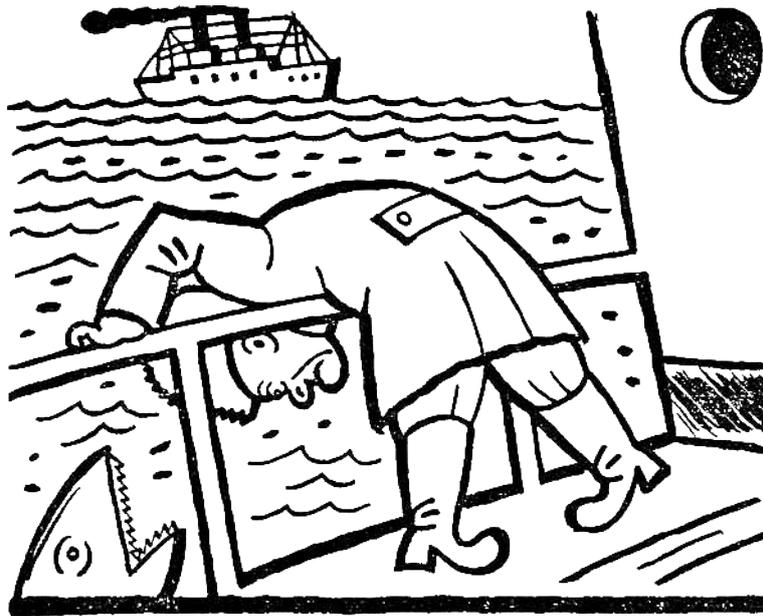
«Кипрос» пошел отплясывать такой кек-уок, что нам не в шутку сделалось худо. Идея единства победила по всем линиям. Все, без различия партийной принадлежности, мировоззрений и национальности, схватились за животы, и, по прекрасному выражению господина учителя Земанка, «думали, что нас разорвет».

Все писатели, повествующие о своих морских путешествиях и упоминающие о морской болезни, изображают себя героями. По их словам, всех рвало, кроме господина писателя. Я составляю почетное исключение.

Меня тоже схватило. Да так сильно, что я впервые в жизни вспомнил о гос-поде боге и страстно молился над ревушим морем: «Великий боже, взываю к тебе в душе своей и, честное слово, жажду говорить с тобой, хотя ты и видишь, что я делаю. Но ты сотворил меня во славу свою и должен сжалиться надо мной, несчастным. Обещаю тебе, что с помощью твоей буду следовать твоим законам, отрекусь от заблуждений и пороков, не хочу больше влачить ярмо вкупе с неверующими и безбожниками и клянусь сотрудничать в «Чехе» и написать хвалебную оду на папского нунция».

Результат был таков, что я дрожащей рукой записал в дневнике: «Мне все хуже и хуже. Молитва не помогла».

Солнце, взошедшее над расходившимся морем, застало нас все в той же позиции над перилами, в какой мы провели ночь.



Господин инженер, перегнувшийся рядом со мной через перила, шепотом произнес:

— На суше морской болезни не бывает.

И у меня, бедного, не было даже сил бросить его за борт в жертву бушующим водам...

## VI

Исполнение на практике всех разнообразных движений, совокупность которых в науке и в народе обозначается термином «морская болезнь», продолжалось в общем около полутора суток. Положение на корабле было грустным, потому что никто, даже капитан, не знал, куда мы, собственно, плывем.

Капитан утверждал, что пароход должен идти наперерез волнам, против

чего, правда, никто не возражал, однако ветер и волны то и дело меняли направление, и вот мы бороздили море вдоль и поперек, словно пиратское судно, опасаящееся берегов.

К вечеру второго дня опять началась пляска по волнам, еще сильнее, чем в первый день, и у всех у нас было одно желание, чтоб уж все это чем-нибудь кончилось.

Капитан утешал нас, говоря, что это еще ничего, вот однажды ему пришлось кружить по морю и резать волны целых четырнадцать суток, и шел-то он в недалний рейс, из Данцига в Ригу, а теперь мы плывем куда дальше — из Ревеля в Штеттин.

Мы начали привыкать к морской болезни и даже находить вкус в пресловутой немецкой похлебке из сушеных слив и разварной селедки.

Под утро господин инженер выполз на палубу и принялся орать:

— Земля, земля!

Так же, наверное, орал матрос на мачте Колумбова корабля, когда тот отправился открывать Америку. Еще в школе учителя твердили нам, что матрос кричал: «Земля, земля!» Господин инженер вызубрил это на память и теперь, применив историческую формулу, еще раз крикнул:

— Земля, земля!

Спросили мы капитана, где же это мы. Он долго осматривался, производил измерения и заявил, что мы либо у датских, либо у шведских берегов, но, может быть, та земля на горизонте — какой-нибудь остров, принадлежащий то ли одному, то ли другому королевству.

Такое точное определение нашего местонахождения вызвало всеобщую взволнованность. Одна женщина расплакалась, что не видать ей больше Германии, раз нас вместо Штеттина привезли к противоположному берегу.

Я ходил среди расстроенных людей и подливал масла в огонь, распространяя слух, что нас везут в Америку.

К счастью, ветер опять изменился, и «Кипрос» был вынужден резать волны в южном направлении, носом к Германии. Однако тем дело не кончилось, и в тот же день мы еще держали курс на юго-восток, на северо-восток, опять на юг, потом на северо-запад и в заключение на юго-запад.

Господин инженер, лежа в трюме на своем соломенном тюфяке, громко рассуждал:

— После изобретения компаса корабли могут определять, где юг, север, восток и запад. На юге лежит Южный полюс, на севере — Северный.

Та женщина, которая плакала, когда мы находились «то ли у Швеции, то ли у Дании», впала в истерику и принялась кричать, что на Северный полюс она не поедет, потому что боится.

Но господин инженер не смутился и продолжал:

— Западного или восточного полюса не существует, есть только два, Северный и Южный, так же как есть северное и южное полушария. Мы живем в северном полушарии, а если бы среди нас были австралийцы, то они были бы из южного полушария. Земля круглая и вращается вокруг своей оси непрерывно, день за днем, год за годом. Если мы завтра будем в Штеттине, это будет означать, что мы счастливо доехали и что Штеттин — морской порт.

Затем он хлебнул овсяного пива и, провожаемый враждебными взглядами, улегся спать.

На следующую ночь ветер утих, «Кипросу» уже не нужно было разрезать волны, и он вел себя вполне мирно. Капитан определил курс на Свиномюнде, небо прояснилось, и к полудню опять появились чайки. Горизонт уже не качался, и вода была такая тихая, спокойная, как на прудах в Гостиварже.

После полудня показался холмистый берег, поросший густым сосновым лесом, и мы еще засветло прибыли в Свиномюнде с его маяками, рыбаками, брошенными купальнями и казармами для матросов, которых можно теперь тут сосчитать по пальцам.

Крупный укрепленный военный порт, гордость Германии, лежит в развалинах. Немцам пришлось взорвать его, так же как и надменные дредноуты, останки которых валяются в разрушенном порту.

Но невозможно было обойтись без оркестра, и на земле Прусской Померании, при впадении Свины в Балтийское море, нас приветствовали старинной военной музыкой.

При виде всего этого разорения господин инженер не мог удержаться от слов:

— Взорванное военное судно уже не годится в употребление. Так как здесь Свина впадает в море, а «устье» по-немецки называется «Münde», то это место совершенно справедливо носит название Свиномюнде; если бы это была Эльба, то называлось бы Эльбемюнде, а Рейн — Рейнмюнде. Это вполне логично.

Пароход входит в Одерский канал, соединяющий порт со Штеттином, что опять побудило господина инженера к логическому умозаключению:

— Если бы не было Одера, Штеттин перестал бы быть крупнейшей немецкой торговой гаванью, и мы должны были бы ехать в Штеттин не по воде, а по железной дороге, и без воды тут не могли бы строить суда. Поэтому можно сказать, что Одер — благословение Штеттина.

Эти ученые рассуждения прервал грохот спускаемого якоря. Мы будем стоять здесь, пока нас не осмотрит медицинская комиссия.

Когда комиссия прибыла на борт, нас стали вызывать по одному. Разговор с нами был короткий: нас просили показать язык, и дело с концом.

После того как все несколько сот бывших пленных показали язык почтенной комиссии, она почувствовала себя вполне удовлетворенной и съехала на берег. Мы подняли якорь. Оркестр на берегу сыграл нам на прощание «Heil dir im Siegeskranz» [244], и мы, проплыв по Одерскому каналу, причалили в столице Померании.

Говорят, там нас ждет торжественная встреча.

## Как я встретился с автором некролога обо мне

За мое пяти-шестилетнее пребывание в России я был несколько раз убит различными организациями и отдельными лицами.

Вернувшись на родину, я узнал, что был трижды повешен, два раза расстрелян и один раз четвертован дикими повстанцами-киргизами у озера Кале-Ышела.

Наконец меня окончательно закололи в дикой драке с пьяными матросами в одесском кабаке. Эта версия мне кажется самой правдоподобной.

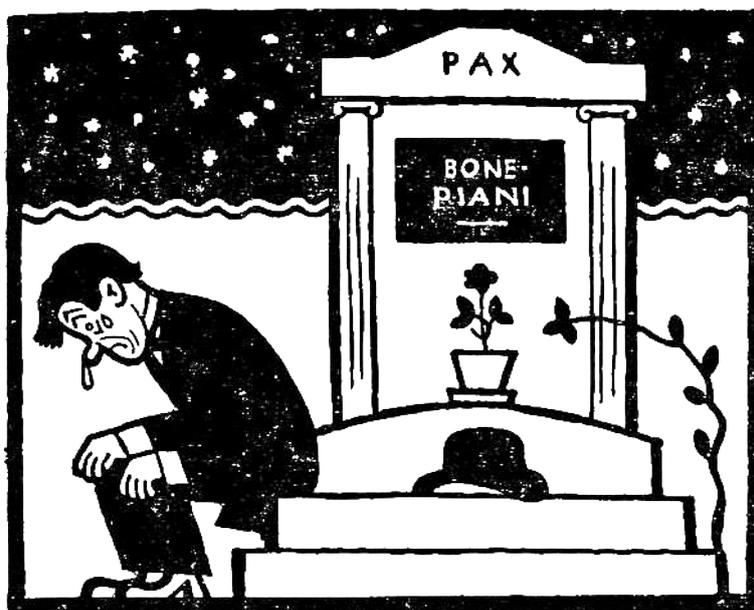
Правдоподобной казалась она и моему доброму другу Кольману, который, найдя очевидца моей позорной и в то же время геройской смерти, написал об этом так неприятно окончившемся для меня событии целую статью в своей газете.

Он не ограничился небольшой заметкой. Его доброе сердце принудило его написать обо мне некролог, который я прочел вскоре по своем возвращении в Прагу.

Будучи уверен, что мертвые из гроба не встают, он весьма элегантно выругал меня в этом некрологе.

Чтобы убедить его в том, что я жив, я пошел его искать, — так возник этот рассказ.

Даже Эдгар По, мастер кошмаров и ужасов, не мог бы придумать более страшного сюжета.



Автора своего некролога я нашел в одном из пражских винных погребков, как раз в двенадцать часов, когда, согласно какому-то императорскому предписанию от 18 апреля 1836 года, закрываются винные погребки.

Он смотрел на потолок. Со стола убирали залитые скатерти. Я присел к его столику и спокойно спросил:

— Разрешите? Здесь не занято?

Он все еще обозревал заинтересовавшее его место на потолке и ответил вполне логично:

— Пожалуйста. Как раз закрывают, думаю, что вам безразлично, свободно или занято.

Я взял его за руку и повернул к себе. Он минуту молча смотрел на меня и

наконец шепотом спросил:

— Простите, вы не были в России?

Я засмеялся:

— Вы меня только теперь узнали? Я был убит в России в одном грязном кабаке в дикой схватке с пьяными матросами.

Он побледнел.

— Вы... вы...

— Да, — сказал я ему твердо, — я был убит в корчме в Одессе матросами, и вы посвятили мне некролог.

Он чуть слышно прошептал:

— Вы прочли, что я о вас писал?

— Ну конечно, некролог весьма интересен, если отбросить некоторые незначительные недоразумения. И потом, он несколько длинноват. Даже когда умер государь император, ему не отвели столько строчек. Ему ваш журнал посвятил сто пятьдесят две строки, а мне сто восемьдесят шесть, по тридцать три геллера за строчку, — как нищенски прежде платили журналистам! — что в целом составляет пятьдесят пять крон и пятнадцать геллеров.

— Что вы, собственно, от меня хотите? — спросил он испуганно. — Вернуть вам эти пятьдесят пять крон и пятнадцать геллеров?

— Оставьте этот заработок себе, — ответил я, — мертвые не берут гонораров за некрологи.

Он побледнел еще сильнее.

— Знаете что, — сказал я непринужденно, — заплатим и пойдем еще куда-нибудь. Сегодняшнюю ночь я хочу провести с вами.

— Нельзя ли это отложить хотя бы на завтра?

Я пристально посмотрел на него.

— Счет! — крикнул мой собеседник.

Показав на углу извозчика, я предложил автору своего некролога сесть в фиакр и грубовым голосом сказал извозчику:

— Везите нас на Ольшанское кладбище.

Автор моего некролога перекрестился.

Долго царила томительная тишина, нарушаемая только хлопаньем бича и фырканием лошадей.

Я наклонился к своему спутнику.

— Не кажется ли вам, что где-то в тиши Жижковских улиц завывли собаки?

Он задрожал, приподнялся и спросил, заикаясь:

— Вы действительно были в России?

— Убит в корчме в Одессе в драке с пьяными матросами, — ответил я сухо.

— Иисус Мария, — отозвался мой спутник, — это ужаснее, чем «Свадебные рубашки» Эрбена.

И опять наступила томительная тишина... Где-то действительно завывли собаки.

Когда мы очутились на Страшницком шоссе, я предложил своему спутнику расплатиться с извозчиком. Мы стояли во тьме Страшницкого шоссе.

— Скажите, пожалуйста, нет ли здесь какого-нибудь ресторана? — обратился ко мне безнадежным и жалобным тоном автор некролога.

— Ресторан? — засмеялся я. — Мы сейчас перелезем через кладбищенскую стену и где-нибудь на могильной плите поговорим об этом некрологе. Лезьте

вперед и подайте мне руку.

Он молча подал мне руку, и мы соскочили на кладбище. Под нами затрещали сучья кипариса. Ветер меланхолично шумел меж крестами.

— Я дальше не пойду! — сорвалось с уст моего приятеля. — Куда вы хотите меня утащить?

— Сегодня, — весело сказал я, поддерживая его, — мы пойдем посмотреть на склеп старого пражского семейства Бонепиани. Совершенно заброшенный склеп в первом отделении, шестой ряд, у стены. Заброшен с того самого времени, как в нем похоронили последнего потомка, которого привезли в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году из Одессы, где он был убит матросами в корчме во время драки.

Мой спутник вторично перекрестился.

Когда мы уселись на надгробную плиту, покрывавшую прах последних потомков пражских горожан Бонепиани, я взял осторожно автора своего некролога за руку и произнес тихим голосом:

— Дорогой друг! В гимназии преподаватели учили вас прекрасному, благородному правилу: о мертвецах ничего, кроме хорошего! Вы же отважились написать обо мне, мертвце, всякие мерзости. Если бы я сам писал о себе некролог, я написал бы, что ни одна смерть не оставляла такого тяжелого впечатления, как смерть господина такого-то! Я написал бы: «Самой крупной заслугой умершего писателя была его действительная любовь к добру, ко всему, что свято для чистых душ». Вы же написали, что умер жулик и комедиант! Не плачьте! Наступает момент, когда сердце бурлит от желания описать самое прекрасное о жизни умерших. Но вы... написали, что покойный был алкоголиком.

Автор моего некролога зарыдал еще сильнее, его скорбные рыдания разносились по тихому кладбищу и терялись где-то вдали у Еврейских печей.

— Дорогой друг, — сказал я решительно, — не плачьте, теперь уже ничего не поправишь...

Сказав это, я перепрыгнул через кладбищенскую стену, подбежал к будке привратника, позвонил к нему и заявил, что возвращаясь с ночной работы, слышал за кладбищенской стеной первого отделения плач.

— Наверно, какой-нибудь наклюкавшийся вдовец, — цинично ответил привратник, — мы его арестуем.

Я ждал за углом. Минут через десять ночные сторожа уводили с кладбища автора моего некролога в участок.

Он упирался и кричал:

— Сон это или явь?! Господа, вы знаете «Свадебные рубашки» Эрбена?

## Возлюбим врагов наших

### (Из подготовленной книги «Как писать полемические статьи»)

В одном из недавних номеров газеты «Час» (год издания XXXI) была напечатана статья, направленная против меня. Считаю совершенно излишним и бесцельным выступать с официальными опровержениями, в которых при помощи фраз вроде: «Неправда, что... а правда то, что...» — только размазываются подробности к невыгоде жертвы нападения, — ограничиваюсь следующими строками.

Я постараюсь научить редакцию «Часа» вежливости и поговорить с ней по душам. Уверен, что она исправится. Откровенный разговор очень часто выводил на правильный путь грубиянов гораздо более солидного возраста, чем «Час» XXXI года издания.

Проштудировав Калига, Йозефа Кожишка и Андерсона, обращаю внимание «Часа» на некоторые мысли о внешней стороне благовоспитанности, которую вышеперечисленные господа называют вежливостью.

Население нашей планеты составляет более полутора миллиардов человек — цифра весьма внушительная. Все эти люди, как, наверно, известно уважаемой редакции «Часа», делятся на разные племена и нации, подчиняющиеся, каждая на свой лад, определенным законам нравственности и правилам приличия; это относится и к господам редакторам «Часа». И каждая из этих разных наций выпускает разные газеты, что, безусловно, известно даже издателю «Часа» пану Густаву Дубскому.

К сожалению, последний выпад «Часа» по моему адресу заставляет меня прийти к выводу, что если так пойдет и дальше, то «Час» станет серьезной помехой для любви к ближнему.

Но я убежден, что еще не поздно и все редакторы означенной газеты могут исправиться.

Поэтому обращаю их внимание на то, что вежливость бывает двух родов: вежливость сердца и вежливость манер. «Часу» очень часто недоставало первой, а вторая у него совсем отсутствовала, так что дело дошло до опубликования и доведения до сведения читателей настоящей статьи, которая — я твердо, всем сердцем надеюсь! — окажет необходимое воздействие.

Две вышеуказанные стороны вежливого обращения, оказавшиеся для уважаемой редакции «Часа» китайской грамотой, в свою очередь, делятся на тактичность и хороший тон.

Под тактичностью мы подразумеваем поведение, диктуемое нам сердцем и явившееся для «Часа» источником множества неприятностей.

Наоборот, хороший тон есть знание внешних приемов и форм, очень часто выражавшееся и выражаемое словами: «Час» опять ругается».

Тактичность не позволяет нам, например, выставлять кого бы то ни было в смешном виде, смеяться над человеком в беде, когда он имел несчастье вступить в Армию спасения, — как это делает «Час» в своей статье обо мне.

А хороший тон учит нас приличному поведению на людях, которое совершенно исключает такие приемы, как недостойные утверждения «Часа», будто я продаю книги со своими автографами, смотря по одежде покупателя.

Какое впечатление произвело бы, например, на редактора «Часа» пана Кун-

те, если бы я дал в газетах объявление: «Меняю автограф редактора «Часа» на граммофон или белого петуха виандота?»

Я этого не сделаю, потому что люди добросердечные и не испорченные в нравственном отношении вежливы, хотя им не приходилось учиться вежливости у «Часа». Они действуют просто по принципу: «Не делай другому того, чего не хочешь себе».

Частным подтверждением этого правила является судьба неопытных, но бойких редакторов провинциальных газет, чья непринужденность, не ограниченная избытком застенчивости, приводит к тому, что им приходится фигурировать перед судом присяжных по поводу нарушения законов о печати.

Вежливость редактора, естественно, обнаруживается главным образом в его статьях. Как было бы хорошо, если бы «Час» никого не огорчал, не оскорблял, а старался бы каждого чем-нибудь порадовать: например, собрал бы кладненскую красную гвардию, которая, как он писал, разбежалась из-под моего начала!

Как было бы прекрасно, если бы «Час» вел себя с окружающими так, чтоб они были им довольны, охотно с ним общались, искали бы встреч с ним, — а теперь вон пан Дубский ломает себе голову над страшной проблемой «потерянных подписчиков»!

Если бы «Час» вел себя так, его называли бы родным братом скромности, цветом человечности и благоуханием любви к ближнему. А теперь о нем говорят совсем в других выражениях.

Мы должны соблюдать вежливость, даже предостерегая и обличая. Чем предупредительней и учтивей мы предостерегаем и порицаем, тем сильнее наше воздействие, многоуважаемая редакция «Часа».

Никогда не забывайте, что обличение, сопровождаемое бранью и проклятиями, не дает нужных результатов, так как грубость внешней формы убивает хорошее внутреннее содержание, как отметил Ис. Калиг в своей книге «О джентльмене», отрывки из которой публиковались в «Часе».

По-французски вежливость — «La politesse», что значит: устранение всего грубого, шероховатого.

Что сказал бы «Час», если бы я поместил в газетах объявление: «Редакции «Часа» требуются опытные шлифовальщики»? Конечно, обозлился бы!

Точно так же и мне неприятно, когда «Час» пишет дурно — не обо мне, это не важно, — но о людях вообще.

Не будет сентиментальностью, если я все же замечу, уважаемая редакция «Часа», что я никогда не задевал вас и что единственное мое желание заключается в том, чтобы эта статья нашла путь к вашему сердцу и вы впредь писали бы, не обрушиваясь на спорные мнения, не оскорбляя чужих чувств, не высказывая никаких подозрений и не касаясь тем, способных кого-либо обидеть или огорчить.

Не за горами время, когда пан Густав Дубский ввиду непрерывного уменьшения числа подписчиков прекратит издание «Часа». Я желал бы высечь на надгробном камне редакторов «Часа» следующую надпись: «Они прожили такую жизнь, о какой грезили и писали. А грезили они о ней художественно, благородно, почти с женской деликатностью. Правда, чтение «Часа» было не столь уж любимой духовной пищей...»

Последняя фраза меня остановила. Она говорит о том, что при всем жела-

нии быть вежливым страшно трудно. Как же это я...

## Поединок с Армией спасения

### I

Господин Карл Ларсон, командующий Армией спасения в Чехословакии, только что составил для «Центрального органа Армии спасения» (отдел «Международные новости: Южная Африка») сообщение о трагическом происшествии: подполковник Смит, который тридцать лет проповедовал среди южноафриканских туземцев, был съеден вместе со своими двумя офицерами семьюдесятью новообращенными христианами, доказавшими тем самым всему миру, что религия любви имеет практическую ценность.

Господин командующий был в отвратительном настроении. В Южной Африке туземцы пожирают у них подполковников и других офицеров, а здесь, в Чехословакии, торговля душами идет из рук вон скверно. Вечером в канун Нового года был сбор воинства Армии спасения, и в зале пришлось открыть все окна: так нестерпимо воняло ромом. А ночью, от десяти часов и за полночь, происходило широкое публичное собрание; хотя оно и принесло Христу несколько новых душ, но позднее все они были подобраны стражниками на улице мертвецки пьяными. В самый же Новый год на скамье кающихся можно было насчитать не более десятка жаждущих спасения грешников, да и у тех торчали из карманов бутылки с коньяком.

В воскресенье капитан Пивонька выехал в Пардубице, где, по слухам, одиннадцать человек алкали спасения своей души, выяснилось же, что на самом деле они просто хотели выклянчить у него денег на трактир.

Тридцать первого декабря из Швеции прибыла на помощь капитан Бленда Геллеспонт, и ее первым благотворительным актом было разучивание с грешниками модной песенки «Кружитесь, пантеры...».

Работа в Словакии была начата седьмого января, а уже девятого января в штаб поступила телеграмма, что руководитель группы успел получить в Скалице за счет Армии спасения триста литров вина...

Капитан Гунт выехал на свою родину — в Англию — на лечение...

У поручика Кукачека исчезли брюки от мундира офицера Армии спасения; он уверяет, что променял их на мармелад для бедных деточек, что выглядит более чем правдоподобно...

Лига молодежи направила на рождественское собрание на Винограды сержанта Либушу Аронову, которая прочитала подряд тридцать восемь стихотворений и для разнообразия пополнила свою программу игрой на пианино и пением; в результате в виноградской больнице (отделение для нервных больных) и до сих пор лежат еще до двух дюжин мальчишек и девчонок, пришедших на собрание ради обещанных рождественских подарков...

Командующего Карла Ларсона вывел из тяжелых размышлений приятный голос капельмейстера бригады гитаристов:

— Не теряйте надежды, Ларсон!

— Да, черта лысого, капельмейстер! Видимо, свет уж так испорчен, что не остается вовсе никакой надежды.

— Зраком веры пронизаем тьму страшного времени, она связывает нас с Ним.

— Отвяжитесь от меня и с Ним вместе! Вы прекрасно знаете, что я был вы-

зван генералом Браммуэллом Боотом, чтобы провести в 1921 году торжественную процессию во имя спасения грешников, а дело никак не клеится! Баланс трещит по всем швам! Мне до зарезу нужно обратить на путь истины какого-нибудь настоящего бандита, чье обращение вызвало бы сенсацию!

— Одного такого я знаю, командир. Сидел с ним вчера в винном погребе.

Командующий Ларсон даже побледнел от возмущения:

— И вы, капельмейстер нашей бригады гитаристов, барахтаетесь в тенетах распутства!

Досточтимый капельмейстер ласково усмехнулся и произнес:

— Что важнее, командир Ларсон: отказаться от ничтожной четвертушки вина, чтобы не приобрести репутации человека, «барахтающегося в тенетах распутства», или вырвать хотя бы одну душу грешника из когтей дьявола? Впрочем, я пил только вино «*Lacrimae Christi*» — «Христовы слезы». Что же касается того бандита, на него нужно напустить какого-нибудь молодого энтузиаста, каковым является, например, наш секретарь Гоппс.

— О, Вилли Гоппс — это действительно суций ангел! На Цейлоне его чуть было не повесили туземцы, когда на плантации он начал учить их петь песни Армии спасения. Позовите его сюда и дайте ему адрес, куда ваш бандит ходит пить пиво.

## II

Вот каким образом встретился я в винном погребе с господином Гоппсом, секретарем местного штаба Армии спасения...

— Я направлен Армией спасения, — сообщил он мне приветливо. — Может, вам интересно будет ознакомиться с моими взглядами? Нет ли здесь уголка, где бы мы могли побеседовать без помех? Я был бы вам очень признателен...

— А, понимаю... — проговорил я, многозначительно подмигивая. — Вполне с вами согласен. Идемте вот сюда, в отдельный кабинет. Я велю принести нам бутылку вина...

— Но позвольте...

— Какие там позволения! — воскликнул я, приятельски похлопывая его по спине. — Я ведь знаю, что Армия спасения рекрутируется из бывших алкоголиков. Не беспокойтесь, мы закажем еще бутылочку рома.

Когда мы уютно устроились вдвоем, молодой секретарь Гоппс сказал:

— Извините, но мои убеждения вполне искренни. Может, мне спеть вам что-нибудь?

— Пойте, — разрешил я и, покуривая сигару, удобно вытянул ноги. Он начал петь проникновенным голосом:

*Идем вперед против силы зла,  
Пусть то будет даже дьявол сам.  
Идем к победе против мира лжи,  
Царство божие впереди лежит...*

Когда он кончил, я сказал, что тоже кое-что умею.

— Послушайте! — И я запел:

*Кто отринет заблужденья,  
Божью правду предпочтет,  
Тот не знает огорчений.  
Сном спокойным он заснет.*

Итак, ваше здоровье!

Он посмотрел на меня своими невинными голубыми глазами.

— Простите, сударь, почему вы пьете?

— Потому что мне это нравится. Вы не желаете? Впрочем, принуждать вас я не собираюсь. Некая чешская дама — Павла Моудра — делала однажды доклад об Армии спасения. Она доказывала, что Армия спасения совершает подлинные чудеса. Пьяницы становятся чуть ли не за одну ночь трезвыми людьми, гнезда распутства и грязных страстей превращаются в благонравные семейные очаги, проститутки — в сестер милосердия, опустившиеся преступники делаются пламенными проповедниками нравственности...

Вы мне не импонируете. Были вы алкоголиком? Нет! Барахтались вы в тенах порока и грязных страстей? Не барахтались! Были вы проституткой? Не были! Были вы опустившимся преступником? Также не были! Ну так скажите мне, молодой человек, как же вы осмеливаетесь претендовать на то, чтобы быть проповедником нравственности, если у вас нет необходимого для этого предварительного образования преступника, грабителя и алкоголика?

Знаете ли вы, из какой семьи вышел открыватель Средней Африки Давид Ливингстон? Его дед и отец были повешены за святотатство. А где получил образование Ян Патон, миссионер, проповедовавший среди людоедов? На галерах, на которые был осужден за отцеубийство.

Лучше выпейте-ка и не болтайте глупостей!

Он механически взял рюмку рома и выпил.

— Я действительно из порядочной семьи, — произнес он извиняющимся тоном.

— Не унывайте, молодой человек. Это еще не несчастье! С течением времени все можно будет исправить. Вы еще имеете возможность обокрасть где-нибудь, скажем, чердак, а если, бог даст, вам повезет, то даже и какой-нибудь банк.

Не вешайте головы, выпейте еще разок. Не правда ли, ром великолепен?

У господина Гопса, не привыкшего к такому напитку, глаза стали слипаться. Я начал тихонько напевать ему колыбельную песенку:

*Уж в рощах звучит трель соловушки,  
Под стрехой воркуют голубички.  
Зима отступает — злая колдунья,  
Цветочки расцветают — хвала, аллилуйя!*

Он спокойно заснул на стуле. Я поцеловал его в лоб, нежно погладил по головке и осторожно, на цыпочках, вышел из комнаты.

— Наш счет оплатит тот господин, — сказал я кельнеру. — Он теперь задремал.

Очутившись на свежем воздухе, я взглянул на звезды, сверкающие в небе, и огласил тишину пражских улиц девяносто первым псалмом:

*Как велики дела твои, господи!  
Дивно глубоки помышления твои!  
Человек несмышленный не знает,  
И невежда не понимает того.*

Это стоило мне двух крон штрафа за нарушение ночного покоя.

## Моя исповедь

**Ж**урнал «Двадцать восьмое октября» в ряде фельетонов старается очернить меня в глазах всей чешской публики. Подтверждаю, что все, там обо мне написанное, — правда. Я не только отпетый прохвост и негодяй, каким изображает меня «Двадцать восьмое октября», но еще гораздо более страшный злодей.

Принеся эту чистосердечную повинную перед всем чешским обществом, передаю редакции «Двадцать восьмого октября» дополнительно подробный материал для нападок.

Итак, исповедуюсь господу всемогущему и вам, господа депутаты Модрачек и Гудец, в том, что я:

Уже своим появлением на свет причинил большую неприятность моей матушке, которая из-за меня не знала покоя ни днем, ни ночью.

В возрасте трех месяцев я укусил кормилицу, вследствие чего высшей инстанцией уголовного суда в Праге матушка, ввиду моей неявки, была приговорена к трем месяцам по обвинению в недостаточном надзоре за ребенком.

Уже в то время я был таким извергом, что и не подумал явиться на суд, чтобы сказать хоть слово в защиту бедной матушки.

Напротив, я как ни в чем не бывало продолжал расти, проявляя зверские наклонности.

В возрасте шести месяцев я съел своего старшего брата, украл у него из гроба образки святых и спрятал их в постель к служанке. Служанку выгнали за кражу и присудили за ограбление покойника к десяти годам тюрьмы. Там она померла насильственной смертью, подравшись с другими арестантками на прогулке.

Жених ее повесился, оставив шесть человек внебрачных детей, из коих несколько единоутробных братьев и сестер стали впоследствии международными жуликами, промышлявшими по отелям, а один — прелатом у префекторов. Этот последний, самый старший, сотрудничал в «Двадцать восьмом октября».

К тому времени как мне исполнился год, в Праге не было кошки, которой я не выколол бы глаза или не отрубил бы хвост. Когда я гулял со своей бонной, все собаки, завидев меня издали, убегали прочь.

Впрочем, моя бонна недолго гуляла со мной, так как, достигнув возраста полутора лет, я отвел ее в казармы на Карловой площади и отдал ее там за два кисета табаку на потеху солдатам.

Не пережив позора, она кинулась возле Велеславина под пассажирский поезд, который, наткнувшись на это препятствие, сошел с рельсов, причем семнадцать человек было убито и двенадцать тяжело ранено. Среди убитых находился торговец птицами; все его клетки были разнесены в щепы, а из птиц по милости провидения спасся лишь модрачек (*cyanescula suescica*), пернатый из породы гудцов, окраска сверху серо-бурая, над хвостом светлее, на груди и зобе оперение синее, с белой или красно-рыжей полоской посередине; брюшко белое: родина — Чехия; водится обычно в небольшом количестве, в местах влажных, поросших кустарником. Питается червями и насекомыми, которых ловит, виляя хвостом. В неволе быстро приручается и без умолку поет (см. «Научный словарь» Отто, том 17-й, стр. 491, «модрачек-модржин»).

В три года я превосходил распутством всю пражскую молодежь. В этом нежном возрасте я состоял в любовной связи с женой одного высокопоставленного лица; если бы эта преступная тайна стала достоянием гласности, это был бы скандал на всю страну.

В возрасте четырех лет я убежал из дому, так как проломил швейной машиной голову сестре Мане. При побеге похитил у родителей несколько тысяч золотых, которые прокутил в пражских трущобах в воровской компании.

После того как деньги вышли, жил попрошайничеством и карманными кражами, выдавая себя за сына князя Туна (тогда еще графа). Был задержан и отдан для исправления в Либеньский исправительный дом, который поджег. В огне погибли все преподаватели, так как я запер их в помещении.

Настало опять трудное время. Голодный, бродил я, пяти лет от роду, по улицам Праги, воруя булки в пекарнях и яблоки у торговков. Но положение заметно улучшилось после того, как я совершил кражу со взломом в церкви св. Томаша, похитив золотую дароносицу. Дароносицу я продал одному перекупщику за один золотой. Пропив эти деньги в знакомом заведении в Мертвецком переулке, я стал ходить к перекупщику и шантажировать его, грозя выдать. Я вымогал у него один золотой за другим, пока он сам не явился в полицию с повинной, решив, что так выйдет дешевле.

Мне пришлось оставить Прагу, и я переселился в Польну. Желая исповедаться со всей искренностью до конца, довожу до всеобщего сведения: ту девушку в Польне убил не Гильснер, а я!

На этом дельце я заработал три золотых!

Дальше мне, понятное дело, оставаться в Польне было невозможно, и я пошел пешком в Вену, до которой добрался в возрасте шести лет. Не имея средств на переезд в Прагу, был вынужден совершить кражу со взломом в банке на Герренштрассе, предварительно задушив на всякий случай одного за другим четырех сторожей.

Это было действительно одно из самых ужасных моих преступлений, коим нет оправдания; но не забудьте, что я тосковал по дому, хотел увидеть после долгой разлуки своих престарелых родителей... и так далее, и тому подобное.

Впрочем, не надо сентиментальности!

До Праги я доехал благополучно. В пути мне удалось выманить одну пожилую даму на площадку, вырвать у нее из рук сумочку, а ее столкнуть на полном ходу с поезда. Когда этой дамы хватились, я сказал, что она вышла на последней станции и просила передать всем привет.

Родителей я уже не застал в живых. Узнав о моих злодеяниях, отец за два месяца до моего возвращения с горя повесился, а матушка кинулась с Карлова моста в воду и, когда ее пытались спасти, опрокинула лодку, пустив всех спасающих ко дну.

Я зажил припеваючи, так как отравил всю семью бедного моего дяди и присвоил его сберегательную книжку, в которой подделал цифры, чтобы больше получить...

Многоуважаемая редакция «Двадцать восьмого октября»!

Перо вываливается у меня из рук. Я хотел бы продолжать, хотел бы исповедаться до конца. Но поток жарких покаянных слез туманит глаза мои. Я плачу, горько плачу над своей юностью, над прошлым своим, в то же время искренне радуясь успехам вашего журнала. Это является и пребудет дополнени-

ем к моей исповеди.

Для того чтобы весь чешский народ убедился в полноте и искренности моего раскаяния, заявляю о своем желании вступить в партию прогрессивных социалистов.

Обещаю примерным поведением оправдать ваше доверие.

Прошу сообщить, где и когда могу я внести членский взнос.

Пока до свидания!

## Как я редактировал журнал «Обозрение для чешских женщин и девушек»

Зашел как-то ко мне редактор и издатель журнала «Обозрение для чешских женщин и девушек», но цель своего визита объяснил лишь после долгих колебаний.

В интересах журнала он должен жениться на самой старой его подписчице. Этим он надеется поддержать финансовое положение журнала и увеличить его объем. Но по случаю бракосочетания он вынужден покинуть Прагу, потому что его невеста живет в Оломоуце, где она тридцать лет тому назад похоронила своих старых родителей и брата, который был старше ее на десять лет. Так что речь идет вот о чем: он решительно убежден, что для меня не составит никаких трудностей во время его отсутствия выпустить очередной номер журнала. Писать мне ничего не придется, так как рукописей хватит на два номера. Единственно, о чем он меня просит, — это держать корректуру и присутствовать при верстке, чтобы в типографии не перепутали полосы.

Я подал ему руку и сказал:

— Сделаю для вас все. Ваш журнал идет по стопам нашей милой Ольги Фастровой из «Народни политики», поэтому он мне очень симпатичен.

Редактор «Обозрения для чешских женщин и девушек» уехал в Оломоуц, а я направился в типографию, чтобы отобрать рукописи и составить новый номер журнала.

Все, с чем я ознакомился, мне не понравилось. Например, там были такие уже подготовленные к печати статьи, как «Практичные пеленки для детей», «Воспитательное значение уроков танцев», «Почему кухонная мебель должна быть белого цвета», «Можно ли готовить блюда из карпа в разное время года», «Обязанности жениха», «Как заколоть кролика».

Статьи были водянистые, без вдохновения и размаха.

Я сказал управляющему типографией, что все статьи забираю домой, потому что ни одна из них не годится, и что весь номер напишу сам.

Вначале я составил сенсационное сообщение о бракосочетании редактора и издателя журнала со старейшей его подписчицей. Я написал, что невесте девяносто лет, а ее состояние равно 1 500 000 крон, так что после уплаты долгов, составляющих 500 000 крон, можно будет приступить к расширению и улучшению журнала. И чтобы этот знаменательный день остался в памяти всех подписчиц, издательство снижает подписную плату на четверть стоимости.

Под этим сообщением были помещены мои острые нападки на Ольгу Фастрову из «Народни политики» за ее статью «Сервировка стола при званом обеде», помещенную в рубрике «Обозрение для женщин». Я писал, что «Народни политика», по-видимому, устраивает званые обеды для спекулянтов, поскольку Ольга Фастрова предлагает в своей статье, чтобы на каждого человека было

отведено самое меньшее 70 сантиметров места, чтобы приборы были серебряными, а порядок блюд такой: суп, рыба, мясное жаркое, птица, сыр, фрукты, сладости, конфеты, и к сему напитки: ликеры, херес, малага, французские вина. Закончил я пожеланием, чтобы все спекулянты, вместе с редакцией «Народни политики», во время такого угощения обожрались и лопнули.

После этого грубого выпада я поместил свои размышления о кухне, доказывая, что кухня должна быть отделена от квартиры и перенесена за город, а в загородных усадьбах — в сад, чтобы воздух в комнатах, прилегающих к кухне, не был загрязнен испарениями. Если нет возможности перенести кухню за город или в другой дом, то кухня окажется прекрасным средством утепления в период угольного кризиса, и тут я рекомендовал перенести спальню в кухню. Однако я решительно протестовал против уничтожения в кухне рыжих тараканов, потому что из них можно приготовить изумительный суп. К сему я приложил рецепт:

*«Мясной суп из рыжих тараканов.»*

Приблизительно 180 граммов тараканов вымой в холодной воде, залей их неполным поллитром воды и поставь варить. Пока содержимое не загустеет, помешивай, чтобы тараканы не пристали ко дну. Как только они разварятся, перенеси кастрюлю на менее жаркое место, чтобы все могло постепенно тушиться. Можно также варить тараканов на пару. Когда вода сверху уже совсем выкипит, а тараканы станут достаточно мягкими, добавь кусочек масла величиной примерно с кокосовый орех, положи десяток желтков, а затем все как следует перемешай. После этого залей содержимое бульоном и неси к столу, только будь осторожен, не споткнись и не ошпарь кого-нибудь. Если же все-таки кого-нибудь ошпаришь, натри его льняным маслом, посыпь порошком, приготовленным из вываренных сухих панцирей рака, и отведи пациента в больницу. Мясо раков не выбрасывай. Наруби его, добавь к нему нарезанной зелени петрушки, приготовь белый соус и рачьей приправой залей цыплят. Затем отнеси свое изделие ошпаренному в больницу. Если он тем временем умер, зайди к Ольге Фастровой и спроси ее, какое траурное платье тебе следует сшить, чтобы оно было к лицу. Во время похорон не плачь, чтобы по лицу не расплылась пудра и ты не выглядела как размалеванная индианка из племени сиу».

После этой универсальной инструкции шла небольшая статья под названием *«Разделение домашнего труда и маленькие советы молодой хозяйшке»*.

«Главным условием удовлетворения и спокойствия в домашней жизни является правильное распределение времени и последовательность в выполнении работ. Если хозяйка замечает, что для приготовления определенного блюда ей потребуется много времени, она должна начать готовить его заранее. Например, если ты хочешь предложить в воскресенье суп с печеночными кнедличками, распредели всю работу на неделю. В понедельник проверни в мясорубке кусок говяжьей печени, а во вторник протри ее через сито. В среду положи в кастрюльку кусок масла (количество его роли не играет). В четверг все это посоли и прибавь немного перца, растолченных цветов и майорана; в пятницу добавь еще головку чеснока и два желтка. В субботу основательно все перемешай и затем сделай кнедлики величиной с орех. В воскресенье купи в

ближайшем ресторане кастрюлю говяжьего супа, опусти в него кнедлики и носи на стол. Можно не сомневаться, что таким образом в течение недели ты сэкономишь массу свободного времени, которое сможешь использовать для самообразования. Одной из самых важных черт каждой хозяйки является бережливость и умение мудро обращаться с деньгами, то есть не расходовать больше того, что получаешь. Поэтому мы советуем хозяйкам все брать в долг. В случае, если они будут осуждены за обман, наша редакция, имеющая влиятельных знакомых в министерстве юстиции и на Градчанах, добьется отсрочки наказания. Мы решительно не рекомендуем выплачивать все долги сразу, потому что всегда надо думать о будущем, чтобы однажды, когда злая судьба начнет играть человеком, не оказаться перед открывающимися воротами Панкраца.

Хозяйка должна знать, что для того, чтобы еда шла впрок телу, нужно постоянно менять пищу. Поэтому помните, что мясо надо ежедневно чередовать. В понедельник вы варите из задней ноги, во вторник — из верхней части задней ноги и обрубленного хвоста, в среду — из боковой части задней ноги, в четверг — из тонкого края задней ноги, в пятницу — из почек, в субботу — из хвоста, в воскресенье — из жилистого мяса. Если у вас гости, то еды всегда должно быть столько, чтобы еще немного осталось. Поэтому лучше всего рассчитывать так, чтобы на каждого гостя приходился по крайней мере один баран, как это бывает на дипломатических обедах. Если гость уже не может больше есть, отведите его в соседнюю пустую комнату, суньте ему два пальца в горло, а потом снова приведите к столу. Так рекомендуют делать многие, в том числе и знаменитые врачи. За накрытым столом необыкновенно ласкают глаз свежие цветы, и гости бывают искренне удивлены, когда видят зимой на столе букетики из пестрых луговых цветов, полевого клевера и златоцвета, составленные собственноручно. Это, несомненно, растревожит каждую нежную душу, просветлит взор, разгонит тучки со лба и развеселит каждого участника обеда».

Вслед за этой статьей следовало размышление на тему «*Должна ли девушка быть целомудренной?*». Здесь я вдребезги разбил целомудрие, ссылаясь на то, как делают карьеру многие «голубчики» в министерствах республики.

Затем шла статья «Жених и невеста», вернее, отрывок из книги «Половая гигиена» доктора Шильмана из Лейпцига.

После этого были напечатаны стихи под названием «Счастье домашнего очага»:

*Сдоба с маргарином, пирожок с маком.  
Снабжение продовольствием, пасхальный ягненок.  
Министр Брдлик, пасхальный кулич.  
Пирожок с маком. Кекс.  
Кекс из картофельной муки.  
Аграрии. Скоты, пирожок крахмальный.  
Кекс из нежного теста, еще один кекс.  
Долой министра! Кекс со взбитыми сливками!*

Новый номер журнала вышел точно в срок. Я проследил, чтобы в администрации не было задержки с его рассылкой, а сегодня, к моему удивлению, читаю в газете:

«Вчера в десять часов утра перед зданием типографии братьев Карасов за-

стрелился известный редактор и издатель «Обозрения для чешских женщин и девушек», который ночью прибыл из Оломоуца. Случай тем более трагичный, что неделю тому назад самоубийца женился. Последний изданный им номер журнала позволяет судить, что это он сделал по причине душевного расстройства...»

## Отдел писем в «Народни политике» (Письма)

**М**не очень нравится раздел «Письма» в «Народни политике» и других газетах. У меня накопился даже целый сборник газетных вырезок с такими письмами.

У одного моего приятеля есть дочка, которая учится в Высшем коммерческом училище; она продала мало-помалу все свои книги и заложила доставшийся ей от покойной бабушки brasлет, чтобы оплатить публикацию своих писем.

Знаю одну гимназистку, заложившую в отсутствие своей квартирной хозяйки ее пелерину, чтобы поместить в «Народни политике» такое объявление:

*«Молодая интеллигентная дама желает завязать переписку с веселым молодым интеллигентом. Предложения присылать в контору газеты, под девизом «Голубые глаза» 57672».*

Знаю одного гимназиста четвертого класса, уже три недели переписывающегося таким способом с сорокапятилетней вдовой, выдающей себя за двадцатитрехлетнюю учительницу, в то время как гимназист выдает себя за тридцатилетнего помещика, сдающего экзамены по юриспруденции.

Юный четырнадцатилетний гимназист крадет дома деньги — у отца из жилетки, у матери из гардероба — и даже разбил глиняного поросенка, в котором его младшие братья держали свои сбережения. Его счастье началось с объявления:

*«Черные глаза ищет молодой человек приятной наружности со средствами. Девиз: «Одинокие пути» 5376».*

На страницах «Народни политики», в разделе «Письма», можно найти захватывающие, полные глубокого трагизма романы:

*«Господина, поклонившегося мне 23 января в половине третьего в Национальном театре и назначившего мне свидание на семь часов вечера в понедельник у Музея, прошу объяснить: почему он не пришел? Девиз: «Жижков» 5076, в контору газеты».*

Какая катастрофа! Представьте себе: вы кланяетесь некоей даме в половине третьего в Национальном театре и обещаете в семь часов вечера прийти к Музею. Дама ходит туда регулярно каждый вечер — с 23 января до 3 февраля, затем дает вышеприведенное объявление, которое, однако, не приносит решительно никаких результатов, судя по тому, что 6 февраля появляется новое:

*«Жду до 12 февраля, после чего порву с вами всякие отношения. Это относится к господину, не явившемуся в понедельник 23 января, в семь часов, к Музею. Девиз: «Жижков» 5076, в контору газеты».*

Из этого получился бы роман под заглавием: «Разошлись, как в море корабли».

Есть, однако, письма другого, не менее серьезного характера, где люди чи-

стосердечно признаются в краже, бросая при этом тень на определенные политические партии. Недавно в «Народни политике» появилось такое письмо:

*«Бальный веер на балу чешских банковских служащих был мною взят на сохранение и по оплошности унесен. Охотно верну и помню. Покорно прошу сообщить адрес. Девиз: «Аграрий».*

Давать таким способом оружие в руки своим политическим противникам более чем легкомысленно. Аграрии крадут веера! До чего же докатилась эта партия!

Я занимаюсь теперь тем, что выбираю в конторах газет письма под девизом, которые покажутся мне интересными, чтоб использовать их как материал для своих юмористических очерков. Знаю, это известие будет страшным ударом для многих молодых людей. Например, девиз «Добрая душа» 7877 в «Народних листах» дает мне такой материал: некий Франтишек Рихтер грозит Мане Розгоновой, что отошлет все ее письма ее родителям, если она не одолжит ему до вторника пятьдесят крон.

Мне удалось достать в конторе «На род ни политики» письмо под девизом «Согласие», представляющее собой ответ на письмо под девизом «Славек». «Славек» заманил «Согласие» в бельведер и там, на глазах у всей Средней Чехии, сорвал с пальца своей жертвы брильянтовое кольцо. И вот теперь «Согласие» пишет: она, мол, удостоверилась, что он вовсе не Йозеф Эккерт и не живет на Таборской, № 68, и она сразу заподозрила неладное, как только он назвал себя Йозефом, а для переписки указал девиз «Славек». Она просит его прийти в субботу в бельведер и обязательно принести кольцо.

Дома у меня хранятся письма, взятые мною из разных газетных контор.

Это ответы на письма под девизом: «Ладя-Воковице», «Маня» (еще одна «Маня»), «Весна у Хлумца над Цидлиной», «Голубые глаза», «Черные», «Карие», «Блондинка», «Четверо веселых студентов», «Деревенская девушка», «Томление», «Весеннее томление», «Домашний уют», «Май», «Душевная красота» и т. п. Всего шестьсот восемьдесят писем.

## Отдел объявлений в «Народни политике» (Брачные предложения)

С необычайным удовольствием читаю я раздел «Брачные предложения» в газете «Народни политика». Он верстается так, что тут же рядом вы видите объявления о продаже электромоторов, генераторов, шерстяных материй, брюк, автомобилей, щеток, экспортных насосов, осей и остатков шифона. Кто-то конфиденциально предлагает специальную воду для укрепления бюста — и тут же продаются господа и барышни, вдовы и вдовцы, наряду с вшетатским луком, сливовыми деревьями, кормовой свеклой, великолепными масками, краковской колбасой и разным скотом.

*Делопроизводитель* восемнадцати лет продается пожилой вдове с солидным капиталом.

*Двадцатидевятилетний* интеллигентный американец, обладатель миллиона чешских крон, желает приобрести восемнадцати — двадцатилетнюю девушку.

При этом несколько загадочно звучит фраза, что он «может увидеться через год, по причине позднейшего брака». Видимо, его объявление в конторе плохо перевели.

Иной раз приходится ломать голову над какой-нибудь шарадой, например: *«Глуховатый промышленник* ищет для своей двадцатилетней красивой и вполне сохранившейся сестры претендента, который оценит ее способности».

Какое отношение имеет глуховатость брата к тому факту, что сестра его вполне сохранилась?

Или вот:

*«Дочь помещика, за которой дают хорошее имение, желала бы познакомиться с доктором, крупным чиновником или т. п. Необходима фотография. Девиз «Человек, который смеется», V-3880, отдел объявлений «Народни политики».*

Почему этот человек обязательно должен смеяться? Кто он? Тихий идиот, вот уже пятнадцать — двадцать лет расхаживающий по саду Богниц, ухмыляясь себе под нос? Или герой романа Виктора Гюго?

Необычайную смелость обнаруживает

*«Независимая бездетная дама* пятидесяти четырех лет, владелица хорошего домика и хозяйства». Она желает государственного служащего-путейца, в возрасте тридцати одного года, которому могла бы обеспечить покой и довольство. Почему этот несчастный должен иметь от роду тридцать один год, представляется неразрешимой загадкой.

Просто, но по-деловому ставит вопрос в своем объявлении неизвестный:

*«Женюсь на вдове с капиталом или сахарным заводом. Девиз: «Холостой».*

Так ли, сяк ли — лишь бы подсластить жизнь.

Наибольшую симпатию вызвало у меня объявление, из которого явствует, что в Чехословацкой республике можно найти идеальнейшие создания, составляющие цвет нации. Одно из них поместило в «Народни политике» объявление о том, что существует:

*«Красивая дама двадцати одного года, представительной внешности, высокого роста, с идеальным характером и безупречным прошлым, приятными*

манерами, здоровая, благородного происхождения, простая, милая, мягкая, бережливая, прилежная. Девиз: «За неимением других возможностей».

Я отвечаю ей объявлением под девизом: «Гречневая каша сама себя хвалит».

Немного удивило меня следующее объявление:

«Интеллигентная барышня с безупречным прошлым ищет доброго папочку для двух своих деток. Предложения присылать под девизом «Домашний уют».

Какой-то человек писал объявление, видимо, волнуясь и путая слова, так что получилось: «Фотография необязательна, но желателен капитал». Что слова тут явно переставлены, вывожу из девиза: «Бедность не порок» и т. д.

Любопытно, что, судя по объявлениям, все женщины веселые; даже

«Веселая шестидесятичетырехлетняя вдова ищет веселого вдовца не старше семидесяти лет. Девиз: «Навсегда».

До слез растрогало меня объявление:

«Ищу муженька. Неужели не найду? Я — деревенская брюнетка. Девиз: «Деревня».

Черта лысого найдешь, милая! Подожди результатов переписи: увидишь, что на одного мужчину приходится шесть с четвертью женщин.

Иные брачные предложения полны лжи. Например:

«Благородный владелец собачьего питомника желает...» и т. д.

Какое же может быть благородство у владельца собачьего питомника, ежели он во время купирования щенят режет им хвосты и уши?

Это то же самое, как если б появилось объявление:

«Благородный помощник палача желает...»

В этом случае я предложил бы «Народни политике» следующий девиз: «От алтаря к виселице».

О нескромности мужчин дает понятие «Честное предложение». Этот господин требует ни много ни мало — всего восемьсот тысяч чешских крон, крупное поместье, большую благоустроенную квартиру в Праге. Его будущая жена должна иметь представительную внешность и безупречную репутацию, быть здоровой, красивой блондинкой, должна говорить по-русски, по-французски и по-английски. Девиз этот болван указал такой: «Чувство добра и красоты — высший жизненный критерий».

И тянутся, тянутся вереницы объявлений. Этот хочет выдать свою родственницу за профессора высокого роста, та свою дочь — тоже за рослого профессора. А как же быть холостым профессорам маленького роста?

Шестидесятилетняя дама называет себя невинной девушкой, хромой переплетчик ищет хромую помещицу, заика-чиновник — интеллигентную зайку-вдову с капиталом и с детками; число последних значения не имеет.

Один хочет поступить в дипломатическую школу в Париже и желает поэтому познакомиться с богатой разводкой на предмет заключения в дальнейшем брачного союза.

Интеллигентные богатые дамы, бездетные, пользуясь жилищной нуждой, заманивают в свои благоустроенные квартиры образованных господ с положением.

Две самостоятельные подруги выражают желание немедленно выйти замуж за хорошо обеспеченных господ. Девиз: «Необычные общие интересы»...

Ах чтоб их! Тра-ля-ля-ля!

Один виноторговец предлагает свою руку, извиняясь за то, что он человек воздержанный.

Происходит обмен фотографиями. У меня их полный альбом: мужчин, дам, вдов, барышень, брюнеток, блондинок и т. д.

В скором времени я издам его на свои средства.

## **Протокол II съезда Партии умеренного прогресса в рамках закона**

### **Введение**

**П**роступая к публикации протокола II съезда Партии умеренного прогресса, мы не можем не напомнить о I ее съезде, состоявшемся перед самой войной, в 1913 году, в небольшом ресторане «На Сметанке» в Жижкове. В тот раз собралось сравнительно немного членов партии, большую же часть присутствующих составляли сотрудники полицейских органов, причем одному из них, полицейскому комиссару, председателю съезда нечаянно продавил фуражку, что послужило причиной роспуска съезда и многолетнего преследования партии.

II съезд партии состоялся при огромном количестве участников в зале ресторана «Югославия» в Жижкове, причем главным пунктом повестки явилась дискуссия о международном положении, сопровождавшаяся скромным угощением свинными отбивными, так как партия не располагает такими запасами, как ресторан Национального собрания.

Протокол съезда составлен по стенограмме, а если что пропущено, предоставляю восстановить это воображению читателя.

### **Стенографическая запись заседания II съезда партии умеренного прогресса в рамках закона**

Съезд открывается ровно в восемь часов вечера при наличии трехсот участников. В качестве гостей присутствуют представители всех политических партий, представители редакций пражских газет, французского и английского посольств, чешской колонии в Балтиморе (Америка), представители министерства торговли и министерства обороны, представители литературы и искусства, а также государственной полиции.

К сожалению, самое начало заседаний съезда ознаменовывается нарушением порядка со стороны провокатора, подосланного со специальной целью сорвать работу съезда и совершенно пьяного.

#### **Удаление провокатора**

производится перед самым открытием съезда. Распорядители хватают его за шиворот и под несмолкаемые овации делегатов съезда выталкивают на улицу, несмотря на крики изгоняемого:

— Я делегат от Виноградов!

#### **Открытие съезда**

Открыв съезд, председатель исполнительного комитета партии зачитывает поздравительную телеграмму папского нунция, напоминающего в своем горячем послании о преследованиях, которым подвергались папские нунции при гуситах, и отмечающего горячую встречу папского посла в Чешской республике, что является несомненным признаком прогресса. «Прогресс, мило-

стивые государи, должен следовать лишь путями мирного развития, — говорится в телеграмме, — путями веры в торжество католической церкви, путями, ведущими к возвращению Конопиште бедным сироткам эрцгерцога Фердинанда. Папа вас приветствует! От Белой горы, через революцию — к Риму, вот направление, которого должен держаться каждый благомыслящий гражданин! Аллилуйя, братья мои возлюбленные!»

Председатель исполнительного комитета дает краткую характеристику значения святейшего престола для положения чехословацкой кроны на мировом финансовом рынке и предлагает участникам съезда встать и возгласить: «Аллилуйя!»

Делегаты встают и, сияя от радости, троекратно возглашают «аллилуйя» и «ура» папе.

Затем председатель исполнительного комитета, напомнив вкратце о преследованиях, которым подвергается партия, предлагает приступить к выборам президиума. К сожалению, избранные почетные и непочетные члены президиума, опасаясь преследований и оглашения их фамилий, остаются сидеть на своих местах, не решаясь приблизиться к столу президиума за исключением председателя, известного члена партии еще с I съезда.

Итак, на трибуне только секретарь и председатель, который, объявив заседания съезда тайными, продолжает свою речь так:

### **Внесем наконец ясность**

— Милостивые государи! Читая газеты, чувствуешь себя последним дураком. (*Крики: «Браво!»*) Ни в чем не можешь разобраться. (*Продолжительные аплодисменты.*) Просто не знаешь, что с тобой происходит. (*Крики: «Браво!»*) Но мы наконец раскусили, в чем дело. Все, мной сказанное, относится не к нам, а к остальным партиям. (*Пятиминутная бурная овация.*) К чему ведет их политика? Как они расценивают международное положение? Способны ли взять правильную ориентацию? (*Возглас: «Позор!»*) Вот, чтобы внести наконец ясность, предоставим слово по вопросу о международном положении председателю исполнительного комитета партии.

### **Речь председателя исполнительного комитета о международном положении**

— Милостивые государи! Я выступаю в тот момент, когда над всей Европой, Азией, Америкой, Африкой и Австралией снова нависли тучи, когда население этих близких нам и далеких от нас частей света ждет солнца, которое прогнало бы тучи с нашего международного небосклона. Предыдущий оратор упомянул здесь о ряде выступлений в печати и в Национальном собрании, касающихся международного положения и того, в какую сторону должна быть направлена политика нашей республики. Я же считаю своим долгом заявить с этой трибуны, что это далеко не такое простое дело, что тут необходимо принять во внимание не только взаимоотношения между определенными группами государств, но, главным образом, отдельные элементы, на которых тайная дипломатия строит свои вытекающие из международного положения предпосылки и выводы. И тут да позволено мне будет сказать несколько слов в защиту уважаемого доктора Крамаржа. В честности его не может быть сомнения, так как он очень часто заявляет, что конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. Если он иногда по ошибке скажет глупость, то не прячется за чужую спину, а если напишет вздор, то всегда под ним подпишется, — совер-

шенно так же, как сделал бы я. (*Несмолкаемые возгласы: «Браво!», «Да здравствует доктор Крамарж!»*) Его выводы отлично построены и не так запутаны, как выводы доктора Бенеша. Мир разделен ныне на два лагеря. По одну сторону — большевики, по другую — доктор Крамарж. Весной он выступает в поход против них во главе редакции «Народных листов» и вместе с инспектором армии Махаром начнет бомбардировать Москву из «Марианской гаубицы» пана Махара. О весне очень много говорят, но я с этой трибуны торжественно провозглашаю:

Весной будет праздник святого Матея!

Я хотел еще коснуться вопроса о наших отношениях с Францией, Англией и Америкой, но не стану этого делать на том основании, что они чрезвычайно ясны и просты и что лучше всего предоставить это целиком доктору Бенешу, который отвечает за это дело. (*Крики: «Браво!»*)

Я убежден, что мне нет надобности распространяться о таких ясных предметах, которые многим нашим политическим деятелям кажутся китайской грамотой, и поэтому предлагаю единогласно принять следующую резолюцию:

Партия умеренного прогресса в рамках закона заявляет: *международное положение настолько скверно, что всеобщую экономическую катастрофу можно предотвратить лишь взорвав весь земной шар!* (*Продолжительные возгласы: «Браво!»*)

Резолюция принимается единогласно. Избрана рабочая комиссия, которая в перерыве составляет следующий текст объявления в газету «Народни политика»:

«Купим любое количество экразита и динамита. Согласны и на другие взрывчатые вещества. Предложения посылать по адресу: «Жижков, проспект Палацкого, «Югославия», Костракевичу».

После перерыва на ораторскую трибуну поднимается владелец ресторана «Югославия» пан Костракевич и объявляет, что он ночью повесится, так как зарезал четырех свиней и приготовил две тысячи свиных и полторы тысячи кровяных колбас и два гектолитра мясного супа, поскольку председатель исполнительного комитета сказал ему, что явится более тысячи человек и состоятся выборы, для которых он, кроме того, достал несколько гектолитров рома. Он просит собрание не разорять его и занять позицию, благоприятствующую мелкому предпринимательству. (*Бурные крики: «Позор!»* *Возглас из одной группы делегатов: «Что посеешь, то и пожнешь!»*)

Среди всеобщего волнения появляется контролер сборов со зрелищных и увеселительных предприятий — Филипп; он заявляет, что произошло мошенничество, так как несколько делегатов не уплатили сбора, и он потребует, чтобы полиция разогнала съезд.

Поднимается неопикуемый гвалт, и участники съезда расходятся в полном порядке после напоминания председателя, что «порядок, спокойствие и умеренный прогресс — лучшее оружие против полицейских дубинок».

О сроке созыва следующего тайного съезда будет дано объявление в «Народни политике» и «Народних листах», в рубрике «Куда сегодня пойти?».

## Советы для жизни

**И**нтересно, что люди нуждаются в самых разнообразных советах и что большинство не желает думать само, а рассчитывает на чей-нибудь совет. Разрешите и мне преподнести вам несколько советов, и вы увидите, как вам понравится жизнь, если вы им последуете.

### 1. Будь доволен и радуйся!

Если с вами не случилось никаких приятных событий и нет у вас ни больших, ни малых радостей, то, чтобы не разучиться радоваться, надо находить компенсацию в чужой радости. Увидев на ком-нибудь новую шляпу или платье, вы должны поздравить этого человека, даже если видите его впервые. Подойдите к нему на улице, представьтесь и пойдите рядом, не переставая радоваться по поводу того, что ему так к лицу платье или шляпа. Если он выразит недовольство, объясните ему, что с его стороны просто невежливо мешать вам от чистого сердца радоваться вместе с ним. Вы должны радоваться всему: цветам, синему небу, облачкам, витринам, улыбкам прохожих — и делиться этой радостью с другими. Остановите на улице любого прохожего и скажите ему:

— Обратите внимание, сударь (или сударыня), как хорошо сегодня греет и светит солнышко! Уверяю вас, я полон необычайной радости оттого, что там по крыше карабкается кошка. Сударь, разрешите вам представиться и сообщить, что сегодня утром я повстречал одного господина с великолепной бородой, белой, как молоко. Эта борода внушила мне подлинную радость, и я позволю себе поделиться ею с вами.

Когда вас затащат в подворотню и наденут смирительную рубашку, вы должны сохранять самый приветливый вид, чтобы не испортить радость этим людям.

### 2. Не смейся над чужим несчастьем!

Нередко мы становимся свидетелями чужого несчастья. В таких случаях надо быть отзывчивым. Например, увидев, что человеку отрезало трамваем обе ноги, вы не должны смеяться над ним и спрашивать, как он будет теперь играть в футбол! Нужно остерегаться насмешливых замечаний. Если кто-то попадет под машину, и ему отрежет голову, не следует брать ее в руки, чтобы прикинуть вес. Правда, чувствительного человека такая отрезанная голова часто вводит в сильное искушение, но постарайтесь справиться с ним и не делайте жестоких замечаний. Страдания вашего собрата не должны вызывать у вас смех. Если вы видите, что кто-нибудь тонет, строя при этом разные гримасы, не хохочите во все горло. А не можете удержаться, лучше уйдите от греха подальше. Не смейтесь над пострадавшим! Увидев горящий театр, оставьте все замечания при себе. Хорошо воспитанный человек не будет смеяться над раздутой щекой человека, у которого болят зубы, и не сделает предметом шутки похороны или железнодорожную катастрофу.

### 3. Не забирайтесь ночью в комнату для прислуги!

Если вы женаты, знайте: ни одна жена не простит, увидев, как вы ночью крадетесь в комнату вашей прислуги. У вас обязательно должна быть наготове какая-нибудь отговорка, которую, впрочем, ни одна женщина не примет во внимание. Ссылаться на то, что вы решили проверить, на месте ли служан-

ка, — глупость. Сказать, что вы спутали комнату для прислуги со своей спальней, — кретинизм. Оправдываться тем, что вы лунатик, — значит доказать, что у вас размягчение мозга. Самая лучшая отговорка, по-моему, — заявить, что вы забыли там носовой платок!

#### **4. Не сквернословьте!**

Грубое ругательство часто оскорбляет человека. Вы должны помнить, что ругательством можно человека обидеть. Не следует употреблять такие слова, как «осел» или «корова». Общее мнение о воздействии брани на людей неправильно. Не думайте, что если вы назовете кого-нибудь в глаза болваном, то этот человек обязательно пропустит ваши слова мимо ушей и промолчит. Правда, есть люди, которые за свою жизнь выслушали столько ругани, что стали толстокожими, как бегемот, но это — исключение, оно относится только к депутатам, к политическим и общественным деятелям. Большинство из них привыкло к ругани в парламенте, но мы не должны забывать, что жизнь — это не Национальное собрание, где ругань составляет неотъемлемую часть политических дебатов. Ступить на путь сквернословия вне стен парламента — значит обнаружить невысокое умственное развитие. К тому же признаемся, что наши ругательства нередко безвкусны. Обычно мы ограничиваемся каким-нибудь грубым словом: выпаливаем первое попавшееся на язык, не задумываясь над тем, что и в брани может быть известное изящество, а с помощью изысканных оборотов можно многое выразить. Почему, например, обязательно говорить: «Вы глупы, как бревно», когда можно обойтись следующей фразой: «Сдается мне, что вы не хватаете с неба звезд». Мой вам совет избегать грубых ругательств и чаще прибегать к афоризмам, ими можно сказать очень многое. Афоризм задевает не так сильно, на него трудно ответить, и победа за вами. Фраза «Скатертью дорога» не так изящна, как слова философа Томаса Карлейля: «Самое выгодное для вас — не показываться в орбите нашей солнечной системы, а подыскать для себя в другом месте какую-нибудь подержанную планетку».

Правда, некоторым очень трудно отвыкнуть от ругани. В таких случаях советую поступить так же, как при лечении пилюлями мышьяка: начиная от тридцати ругательств в день, постепенно снижайте их количество до одного.

#### **5. Не показывайтесь на людях с лицом мрачным и неприветливым!**

Если бы все это помнили, фотографам не приходилось бы просить нас улыбнуться. Нужно усвоить, что нет ничего отвратительнее, чем хмуриться, когда вас преследует несчастье. Постарайся увидеть веселую сторону жизни, и ты сразу станешь счастливым и не рассердишься, когда твоя жена уйдет с другим. Потеряв состояние, хохочи вовсю. Если тебя ведут на виселицу, рассказывай анекдоты священнику, смейся и держись спокойно.

Мы сами должны быть кузнецами своего счастья, и это приведет нас в состояние спокойной удовлетворенности. Когда мы весело взираем на мир — и сердце наше тает от любви к ближнему.

#### **6. Не покупайте кота в мешке!**

Кот совсем не такое трусливое создание, каким мы привыкли его считать. Когда он раздражен, то кусается, фыркает, визжит и обороняется. Поэтому, покупая кота в мешке, надо быть очень осторожным, чтобы он не покусал нас, когда мы будем доставать его из мешка. Зубы кота могут стать опасными для

здоровья человека. К тому же запихивание котов в мешок — не что иное, как жестокое обращение с животными, не говоря уже о том, что вас могут обмануть и подсунуть вместо кота кошку.

### **7. Чем больше говоришь тебе, тем меньше говори сам!**

Если, например, отец взрослой дочери, за которой ты ухаживаешь, лезет к тебе с уговорами с целью принудить к помолвке — немедленно подумай о том, что настоящий делец много не говорит. Помни, какой огромный вред ты причинишь себе, если опрометчиво примешь решение, основываясь только на болтовне этого пустомели.

Возьми шляпу, молча уйди и никогда больше не возвращайся. С абсолютным спокойствием слушай болтуна, который навязывает тебе свою дочь. Чем больше говорит отец, тем меньше говори ты сам. Точно так же веди себя и по отношению к своей жене. Предоставь ей говорить, пока она не устанет и не выбьется из сил. Спокойно ходи по комнате, насвистывая какую-нибудь опереточную мелодию. Не дай себя увлечь словесным шквалом своей супруги. Пусть нападает на тебя — рано или поздно она утомится. Молчи, а когда станет невтерпёж, поступи как и в первом случае: возьми шляпу и уйди из дому. На суде много не говори. Помни: многие оказались в тюрьме именно за то, что слишком много говорили.

### **8. Отложи решение, принятое в злобе!**

Есть люди, которые очень легко выходят из себя. Не каждый в силах удержаться от раздражения, если ему на голову упадет с окна цветочный горшок, если ему нечаянно плеснут в лицо серной кислотой или по ошибке обломают об него плетку. Помните, что молниеносная месть не приносит удовлетворения и что не следует действовать поспешно. К примеру, наступит вам нечаянно на ногу какой-нибудь атлет, вы, по своему легкомыслию, захотите ему тут же отплатить, а от вас останется лишь мокрое место. Обязательно удержи свою руку, не будь грубияном. Помни, некрасиво думать: «Я его убью», — но еще некрасивее всесторонне готовиться к осуществлению своего замысла. Учитывай всегда, что наши судебные и полицейские органы на такой ступени развития, что все равно тебя поймают и засадят в тюрьму.

### **9. Не рассказывай друзьям о своих домашних неурядицах!**

«А вы знаете, что пан профессор вчера напился, его избили в трактире, а когда он вернулся домой, жена не пустила его в квартиру, и он до утра провалялся в коридоре? Он сам мне это сегодня рассказал», — сообщил мне близкий друг этого профессора.

Я не удержался и рассказал другим, и вскоре об этом узнал весь город. Да, друзья мои, вот как бывает, когда мы рассказываем о домашних неурядицах близким знакомым. Никогда этого не делайте, упорно молчите о том, что было с вами вчера. Только так вы избежите того, чего не избежал упомянутый профессор.

### **10. Не помогай просящему о помощи до тех пор, пока он может выкручиваться сам!**

Я знал человека, который, играя в карты, одалживал деньги партнеру, игравшему против него, и потом страшно удивлялся, что проиграл, хотя и выигрывал.

Советов для жизни существует много. Приведенные выше — лишь небольшой пример того, что можно давать сколько угодно советов и все равно не ис-

черпать их. Это — бездонный кладезь мудрости. Тут открывается весьма примечательная страница жизни.

Каждый человек хочет, чтобы его учили и им руководили. Надо буквально за шиворот тащить всех к печатному слову и заставлять читать советы для жизни. Надо быть только поизобретательнее, и тогда мы сможем сказать со спокойной совестью, что прожили жизнь не напрасно, ибо дали тысячам людей советы, как им жить.

## Буржуй Рамзелик

С паном Рамзеликом я познакомился не в большевистской России. Пан Рамзелик даже не знал, что я был в России. Он и не подозревал, что я советский комиссар, а мои честные карие глаза внушили ему полное доверие ко мне. Познакомились мы, когда я, выйдя на полустанке в лесу, спросил пана Рамзелика, как пройти в Баланово. Пан Рамзелик медленно поднял голову и сказал:

— Я из Баланова.

День был жаркий, и я присел в тень около пана Рамзелика. Скоро я узнал все его анкетные данные и через полчаса стал его приятелем. А еще через полчаса он пригласил меня на свою виллу, и мы отправились в путь.

— То-то старуха удивится, что я не подождал ее. Понимаете, здесь у нас вообще-то спокойно, но мало ли что может случиться. У меня, видите, золотая цепочка, ношу цилиндр, издали видно, что идет господин. Каждому известно, что у меня вилла. Она единственная в Баланове. Поэтому через лес я никогда не хожу один. Это не так-то просто. Вот и приказываю я жене выходить мне навстречу. Если бы она не пришла, а вы случайно не направлялись в Баланово, я остался бы на полустанке. Наказал бы ее. Через час идет поезд на Илове. Купил бы я билет до Илове. Пошел бы там на почту и послал телеграмму: «Старуха, я в Илове». Завернул бы в трактир и сидел там, пока она не приехала бы за мной. Я не робкого десятка. Нет. Явись сюда большевики, я защищал бы свое имущество и стрелял бы в них, псов, покуда этот сброд не издох. В политике я разбираюсь как никто. Посмотрите на царскую Россию. Что было? А что сейчас? Вот я и говорю: «Старуха, встречай меня. Я через лес один не пойду!..»

— А как ваша жена? Вы не боитесь, что на нее кто-нибудь нападет, к примеру, вон в той лоцинке, в тени густых елей?

— Да что вы, — засмеялся пан Рамзелик. — Кому нужна старуха! Старуха — старуха и есть. Да она, если надо, и в четыре часа утра в лес пойдет. Знаете грибников? Не то чтобы нам грибы были нужны, у нас вилла, держим поросят, двух коз, одежды у нас на несколько тысяч, белья на столько же, золото, серебро. Есть и поле, куры, вилла красивая, с верандой. На одной стороне комната и кухня, и на другой — комната и кухня. Там у нас квартиранты. Бедняки, но женщина порядочная, знает свое место. Придет ко мне в сапожную мастерскую и так вежливо попросит: «Пан хозяин, будьте добры, почините мне ботинки». Придет к жене в кухню: «Пани хозяйка, попробуйте малины».

Вообще люди здесь меня уважают. Пражанина сразу видно, им это лестно. Живет здесь одна голытьба. Против меня зуб у них, потому что я из Голешовиц, в жизни кое-что повидал и здесь вот виллу заимел. Знают, что вздумай я ее продать — так до конца дней ни я, ни моя старуха можем пальцем не шевельнуть. Кругленьких тридцать тысяч получили бы. Да кабы эти деньги имели прежнюю стоимость. Во всем социалисты виноваты. Вот если бы их не бы-

ло! Подметка — тридцать крон, каблук — пять. Человек мог бы жить, есть цыплят — жареных, вареных и пареных. Да не тут-то было. Никто работать не хочет. За яичко просят пятьдесят крейцеров, за все приходится платить: за кофе, за уксус, за каждую ерунду. Спекулянты и большевики! Один для другого ничего не делает. Благодеяний и в помине нет. А на буржуя каждый плюет. Кто призрел сироту в Баланове, парнишку той потаскушки, что служила у крестьянина Гампейзера? Какой-нибудь аграрник или социалист? Нет, не аграрник, не социалист. Это сделал буржуй, хозяин это сделал — пан Рамзелик. Приютил сироту.

Приучаю его работать и говорю: «Ты не для меня это делаешь, а для себя. Трудись. Погляди на меня. Я не вечно буду жить. Погляди на мою старуху. И она не вечна. Старайся и будь прилежен, носи воду, паси коз, ходи в лес за дровами, коси траву. Делаешь все для себя. Я что-нибудь с этого имею? Ничего. Я мог бы взять служанку, платить ей десять — двадцать гульденов. Мне это нипочем, от меня не убудет. А что бы стало с тобой? Завяз бы в трясине, захлебнулся бы в волне социализма. Для себя трудишься. Погляди. Вилла словно замок, в хлеву поросята, две козы. Ухаживай за ними как следует. Кому это достанется? Вырастешь, окрепнешь, станешь мужчиной. Не пропадешь в жизни».

Однако благодеяния, дорогой пан, не вознаграждаются. Думаете, Лойза нам благодарен и за любовь нашу платит любовью? Лентяй он. Будишь его в четыре часа, чтобы шел за грибами, — плачет. В одиннадцать часов вечера есть просит. Ему нипочем лечь в постель с полным желудком. Ничего не понимает в гигиене. Да еще разборчивый. Наша картофельная похлебка ему уже приелась. А какая похлебка! Старуха заправляет ее мукой, кладет свежие грибы, чеснок. А картошка! Я, дорогой пан, до смерти люблю картошку. Вот мы и едим ее каждый день. Не потому, что я не мог бы позволить себе что-нибудь господское, нет. Не в этом дело. Подметка — тридцать крон, каблук — пять. Две козы в хлеву, молока хватает. Грибы Лойза приносит. Дров мы не жалеем. Лойза их наносит, затопим печь, наедемся досыта, и сиротка у нашего очага греется. Хотя мы и городские, но встаем рано. В четыре часа, с жаворонком. Пример парнишке показываем. Иногда стрелки на часах перевожу, чтобы Лойза пораньше в лес пошел. На рассвете грибов больше найдет. Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глазки продирает. Да мы со старухой уже не пташки. Нам вставать спозаранку трудно. Что поделаешь! Ну, мы еще подремлем малость. Мы люди старые да и городские. Нам ни к чему спину гнуть. Но люди мы работающие. Старуха помогает крестьянам в поле и по хозяйству. Иной раз вместо себя Лойзу пошлет. Паренек молодой, и сила, конечно, другая. Однако мальчишка огорчает нас, ох, как огорчает. Придется, видно, отправить дармоеда. А зимой ему почти делать нечего. Да еще отвечай за него. Обленился может, распуститься. Молодое тело должно быть в движении. А зимой у него работы нет. Нам и самим-то зимой нечего делать. За козами квартирантка ходит, я не спрашиваю, нравится ей это или нет. В другом месте ей квартиры не найти. Радоваться должна, что мы себя ограничили и дали ей две комнаты. Я бы тоже мог жить на широкую ногу и завести салон. Купил бы фортепиано, письменный стол, набожную картину повесил. Но зачем? Пусть бедная женщина имеет хорошую квартиру. Ей и во сне не снилось, что на старости лет будет жить в вилле.

Мы вышли на опушку леса. Перед нашим взором раскинулась прелестная деревушка. Благоустроенные усадьбы, красивые домики. Пан Рамзелик махнул рукой и показал на домик, стоящий на другом конце деревни.

— Вот наша вилла. Ни у кого здесь нетвиллы, это единственная.

Он забыл, что пригласил меня, и сердечно пожал мне руку. Мы распрощались. Я стоял на лесной опушке и смотрел вслед пану Рамзелику. Я не видел, как покачивалась золотая цепочка, но блеск его цилиндра был роскошен.

Он свернул за угол, а я зашел в трактир. Меня согревало сознание, что, сопровождая в лесу пана Рамзелика, буржуя и благодетеля, я охранял его.

## **Истребление практикантов экспедиторской фирмы «Кобкан»**

**В**ладелец экспедиторской фирмы «Кобкан» вызвал в свой кабинет розовощекого практиканта канцелярии Пехачека и имел с ним продолжительную беседу.

Когда Пехачек вернулся к своему столу, он был бледен, дрожал всем телом, а волосы у него стояли дыбом.

— Уволили? — спросил бухгалтер.

Вместо ответа практикант Пехачек взял пальто и шляпу и, не говоря ни слова, вышел из канцелярии. Бухгалтер тотчас же отправился в кабинет шефа, а возвратившись, покачал головой и произнес:

— Ничего не понимаю. Шеф отпустил его в винный погребок на все послеобеденное время.

Пятеро практикантов с завистью посмотрели на пустой стул Пехачека и вновь углубились в свои бумаги.

В конторе экспедиторской фирмы «Кобкан» воцарилась атмосфера таинственности, загадочности и неизвестности.

А все было очень просто, хотя и несколько необычно.

Шеф вел с Пехачеком весьма приятную беседу. Он сказал ему:

— Пан Пехачек, вы молодой, талантливый человек. Наш управляющий и бухгалтер очень вас хвалят. Вы прилежны, расторопны, толковы, скромны, проворны, трудолюбивы. Не пьете, не курите, в карты не играете, девушек не обольщаете, долгов не делаете, авансов в счет жалованья не берете, вы хороший счетовод и калькулятор, у вас отличный, красивый почерк, вы экономите бумагу, приходите в канцелярию вовремя и уходите последним. У вас коммерческий кругозор, вы стенографируете очень быстро и умело, без ошибок, печатаете на машинке любой системы. Владаете несколькими языками, одеваетесь скромно, но прилично. Ботинки ваши всегда тщательно вычищены, а воротничок свеж...

У образцового практиканта от блаженства увлажнились глаза, и он, не отрываясь, смотрел на своего шефа, который, бросив на него любезный, добродушный взгляд, продолжал мягким, взволнованным голосом:

— Через две недели у меня именины. Мне хотелось бы увидеть в газетах поздравления от знакомых, друзей и подчиненных. Само собой, расходы, связанные с этим, я беру на себя. Но я не хочу, чтоб поздравление к именинам было избитым, банальным. Пусть это будет нечто оригинальное, скажем, в экспедиторском стиле. Что-нибудь такое, чего еще не бывало. Что-нибудь столь блистательное, чтоб читатели долго помнили о поздравлении к моим именинам. Что-нибудь этакое, чтоб все прослезилось. Вот я и подумал о вас. Понят-

но, вы никому об этом не проболтаетесь. Дайте мне вашу руку.

Практикант протянул свою дрожащую руку шефу. Тот, пожав ее, продолжал:

— Вы это сумеете сделать. Сегодня чудесный солнечный денек, в такой день мысли так и роятся в голове. Отпускаю вас до конца дня. Чтобы лучше писалось, ступайте сперва в винный погребок, выпейте две рюмки муската или вермута. Я знаю, допьяна вы не напьетесь. А затем поезжайте в Стромовку, сядьте где-нибудь на скамейку и сочините поздравление к моим именинам. Вот вам пятьдесят крон.

После этого Пехачек и вернулся к своему столу бледный как мел.

Первую и вторую часть приказа он выполнил неукоснительно. Отправился в винный погребок и выпил рюмку муската и рюмку вермута, допьяна не напился и, словно заведенный механизм, поехал в Стромовку. Там он сел на какую-то скамейку и стал сочинять.

Однако, к своему ужасу, он тотчас установил, что мысли у него в голове не роятся и что мнение шефа о талантливом практиканте весьма превратно, что не помогает ни великолепный солнечный денек, ни мускат, ни вермут.

— Господи боже, — вздохнул он, — я совсем обалдел. Что за белиберду я написал, ведь тут нет ничего оригинального. Ну не глупо ли написать:

«Услышьте наши горячие пожелания, которые мы страстно вам желаем. Дай бог, чтобы ваша жизнь была прекрасной, как небо, усыпанное звездами; чтобы труд ваш ежедневный был успешным. Помогите вам в этом небо. Здоровья, счастья, многих лет, фирме вашей — полный расцвет. Живите долгие годы в радости и счастье, все желания ваши пусть исполнятся, чего вам от всей души желают знакомые, друзья и подчиненные».

Пехачек вырвал из записной книжки страничку с поздравлением и швырнул ее в урну. Затем подумал и принялся писать дальше.

В записной книжке появилось несколько вариантов поздравлений к именинам:

«И в нынешнем году пусть будет нашим пожеланием вам желание счастья, от всего сердца желаем вам это снова на весь год. Ежедневно одних только радостей и всего наилучшего, здоровья крепкого и всего в изобилии! Чтоб экспедиторские фургоны подешевели на пятьдесят процентов вместе с уважаемой супругой и семьей, — самым любезным образом желают вам знакомые, друзья и подчиненные!»

«Нам снова выпал случай поздравить вас, пожелать вам доброго здоровья, всех благ во множестве, счастья и успехов в начинаниях, благословения свыше! Дай бог, чтоб болезни вас миновали. Желаем одних только радостей, еженедельно — крупных заказов, доставки мебели, охраны багажа, переездов по всей республике, перевозок товаров по дорогам, миллионных прибылей. Горячо желают знакомые, друзья и подчиненные!»

«Одни только радости и долгую жизнь да ниспошлет вам фортуна! Желаем усердия, удач и счастья, крупных заказов! Вместе с уважаемой супругой радостно пользуйтесь всем своим имуществом. Искренне желают знакомые, друзья и подчиненные!»

«Пусть цветет ваше дело в радости, пусть не будет печали в старости. Пусть ваша жизнь течет счастливо, как тихий ручеек. Пошли вам господь долгие лета. Всем вашим начинаниям — успех! Избави бог вас от болезней всех. Пусть

брезжит на горизонте экспедиторских тарифов повышение. Этого желает вам дружное мнение знакомых, друзей и подчиненных!»

Далее в записной книжке появились наметки рифм: протекать — миновать; в лесу — несу; излишек — свыше; предрекать — благодать; снесу — в лесу; имей — пей; забава — слава; переселение — благословение.

Горемычный практикант перечеркнул все это, изорвал, выкинул и направился прямо в Трои, хватаясь за голову.

— Болван я, идиот, кретин, и все тут! У меня разжижение мозгов. Что-нибудь оригинальное в экспедиторском стиле... Баранья башка! Олух, идиот! Какой я интеллигент? Осел я! Солома в голове вместо мозгов!

В одном из винных погребокв Трои он попытался вдохновиться с помощью бутылки вина. Но вместо ожидаемого божественного наития им овладел приступ такой тупости, что он написал:

«В приятный день, столь радостный для нас, горячо желаем вам, чтобы ваша жизнь и впредь была счастливой и веселой всегда, в любое время! Пусть ваше дело расцветает, желаем успеха во всех начинаниях и долгих лет здоровья, и да цветет вечно под вашим окном множество цветов. Горячо желают знакомые, друзья и подчиненные!»

— Готово! — сказал он, придурковато смеясь над собственными строками. — У меня наследственный кретинизм, я банальный идиот и паралитик.

К утру его шляпу нашли на плотине шлюза у Клецан. В шляпе лежал клочок бумаги с его адресом и словами: «Не могу!..» Больше ничего.

В конторе пятеро практикантов обсуждали загадочное самоубийство коллеги Пехачека. Говорили вполголоса, с надлежащей дозой скорби, ибо не было уже с ними добродушного, веселого Пехачека.

Появился служитель и возгласил:

— Практиканта Клофанду к шефу!

— Иду!

И шеф сказал ему:

— Пан Клофанда, вы молодой, талантливый человек. Наш управляющий и бухгалтер очень вас хвалят. Вы прилежны и расторопны, скромны, проворны и трудолюбивы.

И так далее, вплоть до: «Вот вам пятьдесят крон».

Когда Клофанда вернулся к своему столу, он был бледен, дрожал всем телом, волосы у него стояли дыбом. Ни слова не говоря, он взял шляпу и пальто и вышел из канцелярии.

Атмосфера загадочности, таинственности и неизвестности сгустилась.

Четверо оставшихся практикантов только покачивали головами.

Клофанда не обладал таким литературным даром, как покойный Пехачек, но это была чистая, нежная и добросовестная душа. Сколько он ни ломал головы — ничего не придумал. Прежде чем удавиться ночью в Годковичском лесу, он сумел сочинить лишь одно:

«Наше горячее желание — пожелать вам самое искреннее поздравление, желающее вам пожелание, которого желают вам знакомые, друзья и подчиненные!»

«В моей смерти прошу никого не винить», — было начертано на клочке бумаги, приколотом к его пальто.

Не успели четверо практикантов обсудить толком загадочную смерть второго коллеги, как появился служитель и возгласил:

— Пана Венцла к шефу!

— Иду!

И шеф сказал ему:

— Пан Венцл, вы прилежны, расторопны, толковы, скромны, проворны и трудолюбивы...

И так далее, вплоть до: «Вот вам пятьдесят крон».

Атмосфера таинственности, загадочности и неизвестности сгустилась еще больше. Дыхание смерти веяло над конторой.

Практикант Венцл вообще ничего не сочинил. Он умер в Кийских каменоломнях близ Праги, вскрыв себе вены на руках. Умер, не оставив после себя ни строчки.

— Практиканта Коштяка к шефу!

— Иду!

Коштяк долго боролся со смертью. Целых два дня он скрывался на Петрши-не и лишь на третий день бросился со Смотровой башни. Этот уж совсем рехнулся: ему мерещилось, будто его шеф не глава экспедиторской фирмы, а владелец зоомагазина и он должен написать ему поздравление к серебряной свадьбе.

Этим и объясняется, что в записной книжке Коштяка на одной странице была найдена следующая запись:

«Пусть счастливые времена вновь расцветают, пусть серебряная свадьба повторяется из года в год, пусть успехи фирмы блистают, чтоб вы весело наслаждались ими, и тысячи пар голубей, кроликов, крольчат и золотых рыбок имелись в продаже! Желает вам Ян Коштяк».

В конторе «Кобкан» осталось уже только двое практикантов.

— Практиканта Гавлика к шефу!

— Иду!

Сочинив оригинальное поздравление в виде деловой телеграммы: «Кобкан, экспедитор, именины, сердечное поздравление! Знакомые, друзья, подчиненные», — Гавлик зарезался перочинным ножом в уборной Дома представительства.

— Практиканта Пиларжа к шефу!

Последний практикант, оставшийся в конторе экспедиторской фирмы «Кобкан», побледнел. Он смутно угадывал, что за дверьми кабинета шефа кроются причины грандиозной трагедии практикантов, трагедии, которой еще не видывал мир, и что это таинственное, загадочное и неизвестное надвигается на него.

— Практиканта Пиларжа к шефу! — повторил служитель.

Последний практикант поднялся и в отчаянии выкрикнул:

— Не пойду!

Теперь в конторе было уже четыре бледные физиономии: практиканта, управляющего, бухгалтера и служителя.

— Пан Пиларж, — нарушил молчание бухгалтер, — опомнитесь, что вы говорите! В Чехии еще не видывали подобного: чтобы практикант ослушался, когда его вызывает шеф.

— Не пойду, — отчаянно повторил последний практикант, — никуда не пойду!

В дверях появился сам шеф.

— Пан Пиларж, ступайте в кабинет. Я уже дважды посылал за вами.

— Не пойду! — закричал последний практикант. — Сказал, не пойду, — значит, не пойду!

Он принялся отчаянно жестикулировать и вопить:

— Все шли — покойный Пехачек, покойный Клофанда, покойный Венцл, покойный Коштяк, покойный Гавлик. Один я не пойду, никуда не пойду!

Он схватил увесистую приходо-расходную книгу и стукнул ею по столу.

— Буду сидеть, и точка! Все сокрушу, всех вас порешу! Я капитан Мограс, мировая сенсация, новый непревзойденный аттракцион в воздухе! Не боюсь я вас!

Санитары не могут пожаловаться на последнего практиканта фирмы «Кобкан». У него на халате пять пуговиц, и он всем повторяет, указывая на пуговицы и пересчитывая их:

— Первый — Клофанда, второй — Венцл, третий — Коштяк, четвертый — Гавлик, пятый Пехачек... Нет, не так. Первый — Пехачек, второй — Клофанда, третий — Венцл, четвертый — Коштяк, пятый — Гавлик. Все шли, а я не пойду, никуда не пойду!

Врачи теряют надежду на его выздоровление.

Именины пана Кобкана прошли без оригинального поздравления в газетах. В конторе сидят шестеро новых, свежих практикантов. До следующих именин наступило затишье.

## Трое мужчин и акула

Ночь мы провели довольно бурно — да и могло ли быть иначе, если наше общество состояло из редактора журнала «Мир животных», укротителя змей и владельца блошиного цирка пана Местека, хозяина карусели, американских качелей и тира пана Швестки. Личности все довольно подозрительные, и если бы у нас водились визитные карточки, то каждому во избежание обвинений в жульничестве пришлось бы прибавить к своему званию слово «бывший». То есть: бывший редактор «Мира животных», бывший укротитель змей, бывший владелец карусели и т. д. Ведь раз уж бродят по свету экс-короли и экс-императоры, то почему бы не существовать экс-владельцу блошиного цирка?

Под утро, когда мы без церемоний вышвырнули из одной кофейни стайку невинных студентиков, наступило некоторое отрезвление, или, вернее, реакция. Мы охладели к гармонике и цитре, надоело нам и верещанье пьяной дамской капеллы, и ресторанные потасовки, и вмешательство полиции. «Пойдем пошатаемся по Праге», — решили все трое. На Длоугой улице, у одного магазина, где торговали морской рыбой, наше внимание привлекли работники, пытавшиеся повесить в витрине какой-то предмет. Предмет заполнял витрину сверху донизу и напоминал рыбу. Укротитель змей Местек высказал предположение, что это тюлень; владелец карусели и американских качелей Швестка утверждал, будто это русалка; я же как бывший редактор «Мира животных» зашел в лавку, чтобы исподволь выпросить, что это за рыба.

— Это молодая акула, а не рыба, — услышал я в ответ, — она живородящая.

— Но она, простите, дохлая, — заметил я, чтобы не остаться в долгу.

— Ничего подобного, — обиделся продавец морских рыб, — эта молодая акула не сдохла, а убита гарпуном, понятно вам? И ее искусно заморозили.

— А почему килограмм?

— Мы акул на килограммы не продаем. Это рекламный экземпляр. На ночь мы помещаем ее в лед. Если вам желательно купить рыбу для жарения, могу предложить морской язык, камбалу, свежую треску — с руководством по приготовлению.

Я купил полкилограмма камбалы и вернулся к своим сонным спутникам.

— Шестнадцатимесячная акула, — объявил я им, — поймана на острове Гельголанде. Убита выстрелом с канонерки в тот момент, когда потопила подводную лодку, пытавшуюся взорвать ее торпедой. Рекламный экземпляр. На ночь кладут в лед.

Бывший укротитель змей и владелец блошиного цирка Местек задумался.

— Пошли в «Золотое судно», — предложил он, — по-моему, эту акулу надо как-нибудь приспособить к делу.

В «Золотом судне» из-за моего свертка с морской рыбой камбалой нас не хотели пускать в пивной зал. Тогда мы поделили камбалу поровну между двумя собаками мясника, которые, обнюхав рыбу, к ней даже не притронулись, зато стали на нас кидаться и злобно рычать.

Но путь в пивную «Золотого судна» нам уже был открыт, а там мы заказали себе коньяк и приготовились слушать, что скажет Местек.

— Несколько лет назад, — начал он, выдержав многозначительную паузу, — я заказал стеклянный ящик. И в этом ящике держал ужа, которого пока-

зывал публике, выдавая за помесь тигрового питона с удавом. Напечатал афиши и возил по всей Моравии, на чем заработал 500 золотых. Если приобрести настоящую акулу, то за две недели можно запросто стать миллионерами.

Мы тихо совещались, сдвинув головы, а трактирщик очень недоверчиво косился в нашу сторону, когда до него долетали обрывки произнесенных шепотом фраз — «Ящик... а как же реклама... акула... отличные лекции... вот это жульничество!»

Было единогласно решено, что Местек лучше всех договорится с владельцем акулы.

Местек удалился, а вернувшись примерно через час, сообщил:

— Акула наша. И ящик тоже. Скоро привезут.

Так начались наши странствия с акулой, о которых даже много лет спустя я сохранил самые прекрасные и приятные воспоминания. За все про все семьдесят золотых.

Было постановлено возить акулу только по маленьким городам, где публика не избалована кинематографом, где нашу акулу примут чистосердечно и радушно. Мы поедem туда, где наша акула станет неслыханной музыкой, кошмаром и ужасом, где она вызовет неподдельный, искренний интерес.

Первым на нашем пути лежал город Страконице. Мы привезли акулу прямо в «Беседу». Пока я ходил в типографию заказывать афишу, Местек вел переговоры с хозяином ресторана. Расписав предполагаемый успех, Местек пригласил его взглянуть на акулу, распростершуюся на улице в своем длинном гробу.

Узрев чудовище, хозяин ресторана отменил назначенный на завтра танцевальный вечер и предоставил зал в полное наше распоряжение совершенно бесплатно.

Тем временем я составил в типографии следующий текст:

**«ГРОЗА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ!  
ТРАГЕДИЯ МОРСКИХ ГЛУБИН!**

*Для уважаемых граждан города Страконице мы приготовили редкостное зрелище — акулу, изловленную на острове Гельголанде. После жестокой борьбы эта акула была убита выстрелом с канонерского судна, потопившего подводную лодку, которая имела целью взорвать канонерку торпедой.*

*Целых два месяца акула бесчинствовала в северных морях, угрожая рыбацким лодками и кораблям, перевозившим эмигрантов. В ее желудке обнаружен труп капитана Трестена, боцмана его величества короля датского.*

*Приводим список последних жертв, проглоченных морским чудовищем:*

*Ян и Мария, дети бедного рыбака из Штральсунда.*

*Вильям Борус, студент теологии из Шлезвига.*

*Владимир Новотный, чешский эмигрант из Бероуна.*

*Дасим Демлоп, старший морской инспектор Великобритании, рыцарь ордена св. Джульетты, депутат из Лондона.*

*Прелат Матеус, каноник и епископ наваррский и палермский, папский викарий.*

*Одно представление.*

*Только завтра, 15 мая, в помещении «Беседы», с 2-х до 7-ми вечера.*

*Вход 30 крейцеров. Дети школьного возраста в сопровождении роди-*

*телей — за полцены!»*

Члены нашей троицы отлично дополняли друг друга. Каждый был в этот ответственный момент на своем месте. Бывший владелец карусели, американских качелей и тира сумел так мило и интеллигентно наклеить афишу на ворота церкви, что никто из верующих не был оскорблен в своих чувствах, а церковный сторож даже ему помогал. Между тем Местек обратился в школьный совет и заявил, что для прилежных, но неимущих учеников, по рекомендации господ учителей, акулу будут показывать бесплатно.

Я зашел в ратушу, чтобы лично пригласить на сеанс самого бургомистра.

Это был истинный южночешский демократ. Крепко пожал мне руку, он сказал:

— Акула? Превосходно. Обожаю акул. Не кусается? Умерщвлена? Надо взглянуть на это чудовище. Приду со всей городской управой.

Глуховатого священника уговорить оказалось куда труднее. Я долго не мог втолковать ему, что мы не бродячая труппа, не комедианты, к которым он относится с предубеждением. Когда я наконец убедил его, что речь идет всего-навсего об акуле, он стал бормотать что-то про кита, который проглотил пророка Иону. У старичка, по всей вероятности, было размягчение мозгов — так упорно держался он своей версии. А потом позвал капеллана и обратился к нему с такими словами:

— Милый Франтишек, пойдите с этим господином, он вам покажет какого-то кита.

Тут бороденка у него затряслась, как у добряков священников Рейса.

Капеллан впился в меня клещом, только у самой площади до него наконец дошло, что речь идет всего-навсего об акуле. Он завел разговор о загадочных явлениях, которые обнаруживаются в природе при столкновениях с людьми, из чего проистекает неверие в божье провидение, и распрощался со мной очень любезно.

Посетил я и жандармский участок. Начальник участка был человек передовых взглядов, он хлопнул меня по плечу и сказал:

— Вам бы только что-нибудь украсть, жулики вы этикие, комедианты, цыгане.

Когда я рассказал ему про акулу, он с истинно жандармским хвастовством сообщил, что видел несколько тысяч таких акул и, если это окажется не настоящая акула, он нас всех упечет в тюрьму.

Один профессор в отставке, доживающий свой век в Страконицах, пригласил меня отобедать и в течение всего обеда развивал передо мной теории о том, что наука несовместима с догматизмом, поскольку признает относительность познания. В общем я все же не пожалел о том, что познакомился с этим старичком. У него был научный словарь, из которого я сделал выписки об акулах, подготавливая к своей публичной лекции.

К двум часам в зал «Беседы» набилось столько народа, что яблоку негде было упасть. На эстраде стоял ящик с акулой. Люди подходили к пей так, будто шли прикладываться к святым мощам. Первым делом я прочитал захватывающую лекцию о морских чудовищах. Затем мы организовали сбор добровольных пожертвований на изготовление чучела несчастной акулы.

В три часа пришли школьники и весь учительский состав. Мне запомнилась одна маленькая девочка, которая боялась и плакала, а учительница си-

лой тащила ее к акуле.

Члены городской управы пожаловали к четверем часам. Бургомистр дал пять крон и сдачу брать не захотел.

Счастливого было времечко! Денег хоть завались.

У труп акулы Местек познакомился с одной вдовушкой и остался у нее ночевать.

Я провел ночь у бургомистра, а Швестка — в участке, за то, что в одном трактире подрался с каким-то приказчиком из Скочиц: приказчик нанес смертельное оскорбление нашей акуле, заявив, что это никакая, мол, не акула, а дельфин, уж он-то знает, так как служил во флоте.

На следующее утро, когда мы все снова радостно встретились в «Беседе», еще вчера вечером столь любезный хозяин ресторана встретил нас очень грубо. Дескать, наша акула воняет. Жена, говорит, всю ночь не спала, а утром пришлось послать за врачом. Всех тошнит, даже коридорного, который с самого утра хлещет ром. И чтоб мы сей же час эту скотину вынесли из зала и в «Беседе» больше не появлялись, а то он нам, фиглярам, все ноги переломает.

Он оказался совершенно прав. За ночь акула изменилась роковым образом, и разложение ее останков протекало необычайно интенсивно.

Я предложил акулу забальзамировать, и мое предложение было принято. Мы купили пять бутылок одеколона и еще каких-то духов, по-моему, крепких, искупали в них нашу акулу, да и внутрь влили порядком, после чего погрузили на подводу и поехали в Водняны.

Из здания «Сокола» нас выпроводили, хотя тамошний зал по своим размерам нам очень подходил.

Приняли нас в «Народном доме», после того как мы облили акулу еще четырьмя бутылками одеколона.

Последующие события развивались очень быстро. Рекламные плакаты, агитация, множество публики. От акулы так нестерпимо воняло, что в зале начали падать в обморок. Мы и сами еле держались на ногах, да и то лишь благодаря коньяку, который пили с самого утра, чтобы выжить и выстоять.

Я не помню, кто нас, собственно говоря, арестовал, но ночью я проснулся в Воднянском узилище. Справа от меня спал Местек, слева Швестка.

Утром нас оштрафовали за какое-то преступление против охраны здоровья или за что-то в этом роде.

Мы не присутствовали даже на похоронах нашей акулы. Ее погребли за общественный счет города Воднян. Грозу северных морей закопали как дохлую кошку. Даже место ее погребенья мне не известно. На ее могиле нет даже простого креста, хотя, согласно нашему плакату, у нее в желудке побывал папский викарий, прелат Матеус, каноник и епископ наваррский и палермский.

Вечный тебе покой, моя акула!

## Проблемы литературного творчества

Нынче положение литераторов куда лучше, чем перед войной. Послевоенный литератор, ежели он прилежен и не слишком тратится на себя, всегда располагает таким количеством денег, что может оплатить свой паек муки, хлеба, сахара, табака, и у него еще останется на то, чтобы раз в месяц навещать театр. Ежели он не абстинент и наивысшим наслаждением почитает вино и привкус рома, то и в этом случае у него нынче всегда есть возможность повсюду задолжать за испытанное удовольствие, поскольку и в этом отношении положение тоже переменялось и литераторы пользуются сегодня большим доверием и уважением, чем перед войной.

В доказательство того, что прежде отношение к литераторам было много хуже, приведу несколько примеров.

В Праге некогда издавался журнал «Весела Прага», где я часто печатал свои юморески. Три юморески за две кроны, которые всегда были нужны нескольким ненасытным, жадным, нетерпеливым рта.

Однажды я принес в журнал шесть юморесок, но издатель отказался заплатить мне четыре кроны и предложил заключить договор. Я напишу двадцать юморесок, а он выплатит мне вперед, но только не деньгами, а товаром. Декать, сейчас он по случаю достал для премий подписчикам партию часов (часы тогда продавались по две кроны за штуку). Он не станет пускать их дороже, и я сейчас же могу взять с собою четырнадцать штук, а одни он мне даст в придачу, поскольку иначе трудно рассчитаться.

Так вот, заключил я с ним договор на двадцать юморесок и унес из издательства четырнадцать часовых механизмов.

На улице меня поджидал молодой человек, который сочинял стихи (пять стихотворных строк по два геллера за строку).

— И что теперь с ними делать? — удивился этот непрактичный человек, битком набитый разными идеальными представлениями, потому что в те поры у нас еще водились идеалисты.

— Продадим в кабачках.

Молодой поэт густо покраснел.

— А если не удастся спустить в кабачках, — продолжал я, — пойдем по забегаловкам.

— Я с вами не пойду, — оскорбился поэт, — вам ведь хорошо известно, что я — член общества молодых литераторов «Сиринкс».

— Ладно, — согласился я. — Торговать мы не будем, будем только вместе ходить.

И мы отправились. Сперва заглянули к Примасам, где встречались мясники с тяжелыми серебряными часами. Один сказал, что серебряные часы он приобрел бы, а сломав у наших простых пружину, великодушно предложил нам за понесенные убытки две кружки пива. Часы со сломанной пружиной мы потом всучили какому-то господину за тридцать крейцеров, а он заявил, что они все равно краденые.

Потом мы заглянули напротив, к Шенфлокам, откуда нас вышвырнули, обозвав мошенниками без лицензии и права торговать вразнос.

Мы поплелись на Винограды, в «Курье око», где продали одни часы за семьдесят крейцеров какому-то студенту: он опасался приезда папеньки, пото-

му как свои часы заложил в ломбард.

Мы расхаживали по Вино градам, но никто ничего у нас не покупал. Так добрались мы до пятого квартала, который перед грядущим падением все еще пребывал в зените славы, и там в одной из забегаловок у нас украли двое часов.

В следующем притоне к нам подошел человек в кепке и спросил, откуда мы. Потом вынул записную книжку, заглянул в нее и произнес:

— Да, все сходится.

Схватил нас за шиворот и повел в полицейский участок, где мы пробыли до утра, поскольку издатель, выплачивавший гонорар часами, не ночевал дома.

Вызволив нас на следующий день из полиции и избавив от обвинения в грабежах, он был столь любезен, что оставшиеся часы скупил у меня за полцены, то есть за пятьдесят крейцеров.

Выплачивая непредусмотренную в расходах сумму, он строго предупредил:

— Не забудьте, за вами — двадцать юморесок.

Спустя несколько дней я принес ему две юморески, и тут он произнес уже не столь безапелляционно:

— Так за вами еще восемнадцать, не забудьте, пожалуйста.

Он ждет их и по сей день.

Или другой случай. Крупный журнал, вещь уже напечатана. Наивный народ, мы полагали, что тут нам и деньги в руки, стоит только прийти и сказать:

— Вчера опубликована моя повесть, пожалуйста гонорар.

Однако сегодня на месте нет то одного, то другого, так что нам предлагают прийти завтра.

Наконец вы у окошечка кассы, где вам должны выплатить пять крон двадцать два геллера, но выдали шесть, и кассир, глядя на вас как на разбойника, требует сдачи. Обычно — в карманах пусто, тогда кассир забирает шесть крон и ревет: «Несите мелочь!»

И вы отправляетесь бродить по Праге в поисках семидесяти восьми геллеров, чтобы получить причитающиеся вам пять крон двадцать два геллера.

Нынче, как я уже сказал, стало много лучше.

С издателями дело обстояло также славно. Положим, за авторский лист причитается вам тридцать две кроны, но вы просите задаток, и они швыряют его вам, отсчитывая по кроне. Если вас посетила безумная идея получить гонорар книгами, они ничуть не стыдились продавать их по розничной цене. Естественно, что таким образом вы теряли шестьдесят шесть процентов своего гонорара, но издатели были столь заботливы, что не забывали утешить:

— Вот видите, мы бы выплатили вам и деньгами, да опасались, что вы потратите все и у вас ничего не останется.

Если у вас возникало желание получить за свою работу хоть какой-то аванс, то нужно было выдумать кучу разных мнимых предлогов. Такое отношение вынуждало литераторов прибегать ко лжи, измышлять всевозможные обстоятельства и лишь нравственное начало спасало человека от Панкраца.

Однажды я захотел получить двадцать пять крон задатка за свою книгу и выдумал следующее: послал приятеля, известного поэта Густава Р. Опоченского, к издателю с таким посланием:

«Многоуважаемый государь! Только что меня переехало автомашиной, и

она сломала об меня колесо. Прошу выдать двадцать пять крон задатка за свою книгу».

Опоченский вернулся без денег, но с рекомендацией выяснить, для чего требуется двадцать пять крон. Я ответил: «На расходы, связанные с доставкой меня домой».

Опоченский возвратился с таким ответом: «Машина «скорой помощи» отвезет вас бесплатно».

Я отписал: «Машины «скорой помощи» отвозят больных лишь в больницы. Поскольку я настаиваю на домашнем лечении, «скорая помощь» уехала».

Вернувшийся в третий раз Опоченский сиял от радости: он принес десять крон и резолюцию, наложенную на мое послание: «Десяти крон вполне достаточно».

Это время, полное борьбы и невзгод, кануло в лету, но вот об одном происшествии, сохранившем отблеск той эпохи, я не могу забыть, оно преследует меня до сих пор ощущением страшных предвоенных настроений.

Сейчас я готовлю к изданию несколько книг. (Это не то чтобы похвальба, просто книги эти мне очень дороги.)

Одну из них я издаю за свой счет, это «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», особенно упорно рекламирую ее в деревне. Один мой покупатель был так любезен, что предложил взять с собой в Будейовице эту книгу, выходящую тетрадками, и показать тамошним книготорговцам.

О своей деятельности в роли распространителя этого романа он рассказал мне в письме, из которого я привожу следующий отрывок:

«Только что навестил книготорговца пана Сватека, и он мне сообщил, что уже получил одну тетрадку из Праги, и это его весьма обрадовало, так как он наконец узнал, где теперь находится пан Гашек, поскольку в 1915 году, 21 апреля, перед тем как отправится в Будейовицкий полк вольноопределяющимся, сей автор заключил с паном Сватеком договор, где обязывался писать военные юморески и в течение десяти лет продавать написанное только ему, пану Сватеку. Конечно, всем известно, что пан Гашек был в плену, где писать не имел возможности, но теперь, когда он вернулся на родину, он должен был бы выполнить договор и посему пан Сватек передает дело адвокату, дабы получить удовлетворение. Удивительно, что сам пан Гашек уже забыл о том, что в течение десяти лет он не имеет права писать ни для кого, кроме Сватека. Или, что вполне вероятно, это ему безразлично, и он делает вид, будто не знает, что от австро-венгерской монархии мы унаследовали прежние законы, действующие и по сей день. Пан Сватек посоветовал мне тут же мои занятия бросить, поскольку тетрадки «Швейка» будут конфискованы...»

Та же история, что и с часами... Или непохоже?..

В 1915 году, 21 апреля, я, будучи вольноопределяющимся, за пятьдесят крон продал, как Фауст, душу на десять лет вперед. И лицо, которому я дал письменное обязательство, охраняло меня в огне самых страшных битв мировой войны.

И теперь через посредничество адвоката домогается моей души.

Тут мне даже святая водица не поможет...

## Какие я писал бы передовицы, Если бы был редактором правительственного органа

### I. Всюду хорошо, а дома лучше

Истина эта в наши дни не находит должного уважения и признания. У нас в республике, особенно за последнее время, укоренилась дурная привычка утверждать обратное. И хотя мы, со своей стороны, не намерены и не считаем возможным говорить о полном благосостоянии наших граждан, однако необходимо одернуть болтунов, критикующих государственный строй и разглашающих по всему свету, что у нас плохо.

Очень хотелось бы, чтобы наши слова не были гласом вопиющего в пустыне и не упали на каменистую почву. Допустим, в жизни наших сограждан бывают мгновения, когда они легко могут стать добычей подстрекателей, но мы не должны забывать, что после плохого может наступить хорошее. Только человек злонамеренный способен в этом сомневаться.

Государственная власть существует с тех пор, как существует человечество, и с самого начала истории не было такого государства, механизм которого был бы совершенно свободен от каких бы то ни было — пусть даже самых маленьких — недостатков. А с другой стороны, в каждом государстве всегда находятся беспокойные люди, которые всегда недовольны.

Таких людей следует избегать, так как они нарушают наш душевный покой и учат нас ненавидеть некоторые классы, государственный строй, общество, определяющее судьбу того или иного государства. В конце концов все иллюзии рушатся, и это открывает путь к преступлению.

Если в государстве порядок, то это и на каждого гражданина накладывает отпечаток порядочности; порядочный человек дорожит душевным миром и благодеянием, а благодеяние народа является основой благополучия политического.

Поглядим вокруг. Разве мы не видим, что люди, получающие приличные доходы, имеющие солидный капитал, живут зажиточно, пользуются уважением не только в своем кругу, но и у своих рабочих? Конечно, только человек предубежденный способен это отрицать.

У нас в республике много таких, которые добились богатства благодаря усердию своих рабочих или же получили его по наследству. Отчего же не порадоваться их успеху? Неужели мы должны завидовать им, ненавидеть их?

И как можно верить тем, кто утверждает, будто у нас все плохо? Недавно в газетах промелькнуло сообщение, что в Китае, в провинции Ганьсу, погибло от голода пятьсот тысяч, а в провинции Шаньси — восемьсот тысяч человек. Наблюдается ли что-либо подобное в нашей республике, покупающей китайскую муку?

Статистика говорит языком цифр. В Чехии, Моравии, Силезии и Словакии от нищеты и голода погибает ежегодно лишь незначительная доля процента всего населения. А сколько народа умирает от голода в Индии, откуда к нам вагонами прибывает рис? Полмиллиона! Столь незначительный процент смертности в Чехии по сравнению с Индией есть лучшее доказательство в глазах каждого беспристрастного человека. Наше вечное недовольство способно вызвать на устах статистика лишь улыбку сострадания.

В настоящее время 1 кг говядины стоит 16 чешских крон, 1 кг гуся — 32 кроны, 1 кг курицы — 36 крон, 1 кг свинины — 28 крон, 1 кг индейки — 42 кроны. И тем не менее слышатся постоянные жалобы на дороговизну.

Во время франко-прусской войны 1871 года в осажденном Париже курица стоила 300 франков, гусь — 500 франков, вол — 80 000 франков, свинья — 50 000 франков. Переведите это на чешские кроны по теперешнему курсу!

Пусть каждый недовольный сравнит эти цифры. Не может быть спору, что мы живем в период необычайной дешевизны съестных припасов. Сто семьдесят лет назад, когда французы были в Праге, фунт муки стоил тринадцать талеров. А сколько он стоит теперь, когда французов нет?

На Аляске вы не достанете говядины, а у нас скот в изобилии. Индийское племя Чамакоко в Южной Африке не имеет представления о сахаре, а у нас каждый видный чиновник, министерский служащий страдает сахарной болезнью.

Таким образом, народ не может у нас пожаловаться на плохое питание. Посмотрим теперь, какова политическая обстановка в республике. Для сравнения возьмем обстановку в Тонкине, где парламент был распущен, а депутаты казнены, запороты насмерть, четвертованы. А был ли у нас такой случай, чтобы после роспуска Национального собрания какого-нибудь депутата четвертовали? Кто толкует о репрессиях, пусть поглядит на Сиам. Там царит полное самовластие: иначе говоря, монарх может по своему усмотрению отрубить голову любому, кому вздумает. У нас же люди добровольно обходятся без головы.

Зная это, жаловаться на недостаток свободы может только человек злонамеренный.

Свобода гарантирована нам законом. А кто же у нас осмелится открыто плевать на закон? Если же нечто подобное и случится, так это просто по недоразумению, которое тотчас выяснят и поправят.

Разветвленная система органов безопасности бдит над нами, пока мы спим.

Произойдет ли где убийство, органы эти тотчас отвечают на него повальными обысками и арестами, в результате которых нередко обнаруживается до тех пор не раскрытая и действовавшая безнаказанно шайка фальшивомонетчиков.

Школа учит наших детей уважать законы и молиться богу, воспитывая их хорошими гражданами. Наши дипломаты получили признание, а наши финансисты имеют такой вес на международной финансовой бирже, что сами устанавливают курс нашей кроны.

Миром и спокойствием дышит каждая чешская хижина, каждый домашний очаг. Прилежные руки работают на фабриках, в мастерских, а по окончании рабочего дня тысячи тружеников радостно съедают за ужином свой ломоть хлеба, вознося хвалы богу и выражая благодарность работодателям, которые обеспечивают им этот хлеб.

Годами обсуждают рабочие лидеры вопрос о том, как улучшить положение рабочего класса.

Но вопрос этот самым успешным образом разрешен предпринимателями, предоставляющими рабочим заработок. Он попросту отпадает, поскольку даже с точки зрения самого левого крыла социалистического движения, коммунистов, кто не работает, тот не ест.

Имеющий работу работает и ест.

Представление о том, будто предприниматели не работают, в корне ошибочно. Каждый предприниматель хлопочет.

А кто хлопочет, тот работает.

Всеобщая забота о положении рабочих в нашей республике очень скоро доказала самым рабочим совершенную бессмыслицу революционных иллюзий. Развитие капитализма, на котором основано существование нашей молодой республики, обеспечивает заработок всем, кто искренне желает трудиться на пользу этому развитию.

В наши дни, когда положение неимущих составляет предмет самого пристального внимания всего общества, невозможно говорить о какой-либо политике репрессий по отношению к рабочему классу. Суровые мероприятия, о которых столько толковали у нас, разбились о всеобщую любовь к ближнему, как это прекрасно показал социал-демократический депутат Бехине в своей статье «Потерпевший крушение», где он колеблется между ненавистью и симпатией, пока в конце концов не заговорила его чистая душа.

Текст его «Потерпевших» звучит прямо как стихи:

*И вот мой корабль разбился.  
И я на пустынном острове  
Сижу одиноко.  
Море и небо, а между ними  
Бьется мое «человеческое сердце»,  
О Робинзон Крузо!*

Как раз в наше время эти прекрасные, гуманные стихи особенно много говорят нашему сердцу благодаря той гармонической любви к ближнему, которая в них звучит.

Именно теперь, когда мировая социалистическая революция ликвидирована попятным движением всего исторического процесса, деспотические мероприятия правительства в известных вопросах вполне оправданы и принятое им решение с точки зрения государственных интересов заслуживает всяческой поддержки и не подлежит критике. Необходимо понять, в какое ответственное время мы живем, и из этого исходить при оценке политических событий!

## II. Не завидуйте!

Величайшим злом в жизни нашей республики является то, что в широких кругах ее населения распространена жестокая зависть, стремящаяся вставлять палки в колеса нашему счастливому будущему.

Завидовать кому-нибудь у нас в республике — разве это не позор и не величайший разврат?! Каждый, кто хочет, чтобы наш народ опомнился и снова нашел себя, должен прежде всего уничтожить и растоптать чудовище зависти, вторгающееся всюду и опутывающее своей паутиной всю республику. Зависть отравляет своим тлетворным дыханием самый воздух нашей страны и разрушает нравственные устои республики.

Зависть побуждает всяких лжепророков и волков в овечьей шкуре забрасывать грязью чистый кристалл нашей общественной жизни.

В ту великую эпоху, в которую мы живем, когда Карла Габсбурга изгнали из Венгрии, чем мы доказали всему свету наличие у Малой Антанты своей твердой линии, нельзя допускать, чтобы зависть расстраивала наши ряды. О, если

бы вернулись времена древних греков и римлян, когда патриций и раб, не зная зависти, работали плечом к плечу во славу своего государства!

У нас же в самых широких слоях укоренилась зависть.

Каждое повышение окладов нашим министрам или членам законодательных органов вызывает завистливые толки людей, не умеющих логически мыслить. Этим господам непонятны слова датского министра внутренних дел, сказанные им на празднестве по случаю восьмисотлетия датского государства:

«Народ будет всегда крепок и силен своими хорошо обеспеченными министрами и членами законодательных органов».

Вот что говорят в стране, где нет зависти, где государственный бюджет принимается без всяких дискуссий и выкриков! А у нас ни одно даже самое незначительное повышение окладов нашим ответственным руководителям не обходится без дебатов в парламенте и завистливой критики.

Если б у нас, скажем, министру финансов повысили оклад на сто тысяч крон в год, в стране поднялся бы вой: множество служащих, мелких и средних чиновников налогового управления тотчас потребовало бы ничем не оправданного повышения своих окладов, не считаясь с тем, что республика переживает тяжелый финансовый кризис.

Они утверждают, будто все страшно дорого и им не на что содержать свои семьи.

Это неправда. Никто из наших государственных служащих, ведя скромный, невзыскательный образ жизни, не может умереть с голоду. А завистливые разговоры насчет того, что я, мол, тоже не прочь получать на представительство, как наш министр, внушены опять-таки зловредными подстрекателями.

В самом деле, только руками разводишь, слыша такие речи: «Если министр может представлять от имени республики, почему бы не могли это делать мы? Ведь нас тысячи, целый ведомственный аппарат!»

Или еще: «У министра — особняк, министр ездит с семьей на дачу. Мы и не представляли себе, что так будет выглядеть провозглашенная Масариком в его декларации Чехословацкая республика».

Не говоря уже о том, что в период всеобщего кризиса строительной промышленности немислимо каждому из полумиллиона чиновников и государственных служащих обеспечить возможность покупки или постройки особняка, смешно толковать о полумиллионе дач, когда все квартиры в городе заняты или заранее законтрактованы сановниками из министерства и нашими капиталистами, которые представляют наш народ на мировом рынке и открывают нашей валюте выход на международную арену, за что каждый из нас должен был бы от всего сердца пожелать им хорошенько отдохнуть, если б нам не мешала зависть.

Недавно один гражданин говорил при мне: «Они на машинах разъезжают, а у меня на трамвай денег нет». Я хотел сказать ему: «Так ходи пешком, завистник! Если у тебя нет денег на трамвай, что же удивительного, что их нет на машину? Иди работай, старайся. Иначе тому, кого ты сегодня видишь катающимся на автомобиле, придется ходить пешком, а ты по собственному опыту знаешь, как это неприятно. Не желай зла ближнему, будь нравственным, ибо лишь в нравственной чистоте — залог нашего национального здоровья».

Нравственная чистота, отмывание сердец наших от яда зависти — вот что

необходимо для упорядочения наших внутренних взаимоотношений!

Надо учиться уважать материальные возможности ближнего и свято хранить в душе сознание собственных обязанностей. Что многим до этого еще далеко, свидетельствует такой случай.

Недавно вышло распоряжение платить швейцарам, открывающим вам дверь ночью, не больше десяти геллеров. Оно появилось в тот момент, когда правительство в соответствии с ростом цен на предметы первой необходимости повысило оклады министрам.

Вдруг слышу, один швейцар ругает этот порядок на чем свет стоит. «Нам снизили плату за открывание дверей в ночное время до десяти геллеров, — горячился он. — А министрам, у которых и без того все есть, повысили оклады на тысячу крон! Мы тут здоровье теряем. Кто — ночью, утром ли — с попойки ни придет, — вставай, дверь отворяй!.. О сне забыли...», и т. д.

Я не выдержал. «Милый друг! — говорю. — Это вас все проклятая зависть с толку сбивает. Одно дело — швейцар, другое дело — министр. Вы что же? Хотите, чтобы министр стал швейцаром, а швейцар министром? Да вам бы тогда еще больше завидовали, чем вы теперь министру завидуете. И не потому, что вы не сумели бы лучше с делом справиться, чем теперешний министр, а просто так, из чистой зависти. Вы забываете о том, какие у вас обязанности. Что должен делать швейцар? Ночью и днем следить, чтобы дому не угрожала никакая опасность, за что домовладелец берет с вас пониженную квартирную плату. Спать швейцар вообще не имеет права и дверь отворять должен бесплатно, не завидуя тем, кто кутит в ресторанах, пока он выполняет свою обязанность. Так что даже эти десять геллеров, в сущности, совершенно лишние. Ваш труд полностью вознаграждается возможностью меньше платить за квартиру — возможностью, которую при теперешнем жилищном кризисе трудно переоценить».

Мы хотели бы, чтобы широкие слои населения в конце концов поняли, что зависть разрушает национальное единство и подрывает международное положение нашей республики.

Если рабочий завидует своему хозяину, говоря: «Он живет лучше меня: мне за год не заработать десятой доли того, что он тратит за день», — то разве это правильно?

Нет, совершенно неправильно. В сердце рабочего должно говорить чувство более высокое, чем зависть, а именно: радость труда. Рабочий не должен расценивать все с точки зрения платы: он должен быть идеалистом. Его идеал — не борьба за жалкие гроши, а — еще раз повторяю — радость труда. Рабочий должен оставить тот сомнительный путь, по которому его вела до последнего времени зависть, и, забыв о бедности, о повседневных нуждах, видеть в труде вечный двигатель своего существования.

Рекомендуем вниманию всех трудящихся, сбиваемых с толку бессовестными агитаторами, одно прекрасное стихотворение. Оно напечатано 24 апреля 1921 года в «Воскресном занимательном и поучительном приложении» к «Народни политике» за подписью Ад. Альфа и озаглавлено «Сонет»:

*Для очень многих жизнь течет легко.  
Цветы их счастья пышны, ярко блещут;  
Уста улыбкой радостной трепещут;  
Грудь с наслажденьем дышит глубоко.*

*А от другого радость далеко.  
Нетопыри забот крылами плещут  
Над ним. Его бичи тревоги хлещут:  
«Где мне детишкам взять на молоко?»*

*Но если б жизнь была для всех одна,  
В ней вовсе не было б очарованья,  
Исчезли бы стремления, желанья...*

*Ведь радость и трудящимся дана,  
Их радость — труд. И в вешнем одеянье  
Даль манит их, цветами убрана.*

Прекрасно показал здесь поэт, что, если б всем было хорошо, не стоило бы жить на свете! Как было бы ужасно, если бы люди не умирали с голоду, если бы не было несчастных, бьющихся как рыба об лед ради куска хлеба. Тогда жизнь стала бы до того скучной, что капиталистам из «Народни политики» пришлось бы раздать свои капиталы бедноте, а самим помирать с голоду, лишь бы, как совершенно правильно пишет автор «Сонета», жизнь человеческая не утратила очарования.

Кроме того, он подчеркивает одно обстоятельство, которого мы до сих пор не касались, но которое является нашим драгоценным союзником в борьбе против зависти. В этой борьбе играет роль не только уже упомянутая здесь чистая радость труда, заставляющая труженика забыть свою нужду и свои житейские горести, но также чудное ощущение, испытываемое маленьким, придавленным жизнью человеком при виде весеннего наряда убравшейся цветами природы.

Любовь к цветочкам, к траве, к цветущим деревьям, к одуванчикам, маргариткам изгоняет зависть из сердца человека, из души бедного пролетария. Насытившись благоуханием, он несет его домой, своим близким, в виде букета полевых и лесных цветов, который и их питает своим ароматом.

Вот о чем не следует забывать самым завистливым из завистливых — нашим безработным, а органы социального обеспечения республики должны проводить для них экскурсии за город, где безработные могли бы наслаждаться запахом цветов и пением птичек, журчанием чистых ручейков и шелестом деревьев.

Вот о чем не следует забывать и лидерам социалистических партий, которые лучше сделали бы, если б меньше толковали о политике, а прививали бы массам интерес к ботанике и почаще устраивали доклады о красоте природы.

Не может быть ни малейшего сомнения, что красоты природы в соединении с чистой радостью труда уничтожат зависть в широких массах чешского народа, а устройство экскурсий для рабочих привлечет к нашей республике симпатии всего мира.

## Цепная торговля сахарином

Лица, здесь представленные, взяты из жизни, а сама история наверняка вызовет у всех читателей чувство тихой печали и сострадания. Автор искренне стремился воспроизвести события ярко и правдиво.

Закон 1899 года, запретивший продажу сахара, явил на свет божий новое занятие, спекуляцию сахарином и его нелегальную продажу, которое преследовалось страшнее, чем отцеубийство, государственная измена, поджог и убийство младенцев.

Кондитерские изделия, например торт «Мокко», изготовлялись из кукурузной муки, жареных желудей и сахара. Производители газированной воды и лимонада сластили свои освежительные напитки сахарином. Так же поступали и многие производители ликеров. Сахарин победоносно пробивал себе дорогу и в кофейнях. Исчезали кусочки сахара, подававшиеся обычно вместе с кофе, и некоторые хозяева этих заведений с неповторимым легкомыслием утверждали, что кофе подслащивается прямо на кухне, уже в процессе его приготовления.

Занятие это было выгодное. Один килограмм сахара стоил в Швейцарии 8 франков 50 сантимов, а здесь во время войны его продавали по 3000 крон. Предприниматели появлялись, как грибы после дождя. Продажей сахара занимались самые солидные люди. Политики, ученые, деятели искусства и высокопоставленные особы. Разветвленная система заговора против сахара пустила корни во всех слоях общества. Бедный сахар был по воле судьбы окружен всяческими рогатками и заговорщиками.

Заговорщики, встречаясь на улице, обменивались таинственными знаками — пожатием руки или подмигиванием.

В те времена вы не могли быть уверены, что даже самые уважаемые люди не торгуют сахарином.

В те самые времена пан Ауэр встретил на улице пана Венцига.

— Франта, могу сосватать тебе одно дельце, — сказал пан Венциг. — У меня есть отличный сахарин, в шестьсот раз слаще сахара. В фирменной упаковке по осьмушке, четыреста крон за пакетик. Этикетки — чудо, и вся упаковка — просто верх изящества.

Пан Ауэр заявил, что не знает такой швейцарской фирмы по производству сахара и выразил удивление, что уже появился сахарин в шестьсот раз слаще сахара.

— Франта, — с воодушевлением продолжал пан Венциг, — я не вру. Это самый настоящий сахарин. Ты ничего подобного не видывал. Все проверено химическими методами. Короче говоря, пошли со мной, я дам тебе два пакетика по осьмушке в фирменной упаковке, для образца.

Пан Ауэр пожелал убедиться в качестве продукта.

— Не делай глупостей, Франта, — остановил его пан Венциг, — господин, от которого я получил этот сахарин, предупредил меня, чтобы я не повредил упаковку, иначе этот сахарин, который в шестьсот раз слаще сахара, пропитается влагой и испортится. У нас все проверено химическими методами.

Пан Ауэр отправился в Смихов и продал один пакетик знакомому кондитеру, который из арабского каучука, терновника, сахара и свекольного краси-

теля изготавливал конфеты с малиновой начинкой.

На обратном пути он встретил знакомого из деревни, изготавливавшего газировку, которому недавно написал, что у него уже нет ничего для подслащивания. Тот страшно обрадовался сахарину, взял пакетик и заявил, что заберет все.

Когда пан Ауэр возвратился к пану Венцигу, тот сообщил, что у него есть 10 килограммов этого великолепного сахарина. Он как раз получил новую партию для продажи.

В течение дальнейших трех дней пан Ауэр продал пакетик сахарина одному владельцу кофейни. Затем через этого господина сахарин в пакетиках по осьмушке заказал и изготовитель настоящих медовых марципанов. Тот в свою очередь рекомендовал пана Ауэра фабриканту, выпускавшему повидло и варенье, который как раз подумывал начать производить повидло и варенье из картофельных очистков и сахарина. За четыре дня было заключено много таких сделок, причем пан Ауэр каждый раз повторял слова пана Венцига о необыкновенной сладости их сахарина:

— У нас все проверено химическими методами. Это самый сладкий сахарин на свете.

На пятый день торговли самым сладким сахаринном, рано утром, пана Ауэра разбудил страшный грохот и стук в дверь ногами.

Когда он открыл, в комнату влетел деревенский житель, изготавливавший газировку.

— Вы меня разорили этим вашим сахаринном! — орал он. — Это никакой не сахарин, а сода, горькая соль и молотый сахар. А я поверил, что это в шестьсот раз слаще сахара. Я погиб, я утоплюсь. Я бросил эту штуку в целый котел с фруктовой водой и лимонадом, и люди возвращали мне это обратно и ругались. Вы погубили все мое дело.

Пан Ауэр отвечал, что он страшно удивлен, ведь у них все проверено химическими методами. Изготовитель газировки, однако, твердил, что эта штука не сластит, а наоборот, делает воду горькой. Для доказательства он привез с собой по бутылке лимонада и фруктовой воды. Газированные напитки действительно напоминали по вкусу морскую воду.

— Это страшное недоразумение, — вздохнул пан Ауэр. — Пойдемте сейчас же к тому господину, который дал мне этот сахарин для пробы.

Они пошли к пану Венцигу, причем по дороге производитель газировки все время твердил, что он пропал.

— Послушай, — обратился пан Ауэр к пану Венцигу без всякого вступления, — вели сварить черный кофе, чтобы мы могли химическим методом проверить этот сахарин. Судя по всему, это горькая глауберова соль, гипс, поваренная соль, мука и черт знает что еще.

— Это невозможно, Франта, до упаковки нельзя дотрагиваться, но раз ты думаешь, что здесь какой-то подвох, давай пожертвуем одной осьмушкой.

Черный кофе был приготовлен, и опыт с лучшим сахаринном в мире показал, что не подслащенный им кофе был наверняка в половину менее горьким, чем кофе, подслащенный сахаринном в шестьсот раз более сладким, чем сахар.

— Признайся, — предложил пан Ауэр своему поставщику.

Пан Венциг заявил, что ничего не знает, что этот несчастный сахарин он приобрел у одного очень солидного торговца — служащего фирмы Петера в

Праге и что у него уже есть новая партия — 15 килограммов.

Во время этого разговора изготовитель шипучих напитков, совершенно уничтоженный, сидел на диване и повторял:

— У нас меня уже не признают, я потеряю концессию.

Они взяли его с собой и направились к солидному торговцу фирмы Петера. Пан Венциг прихватил с собой небольшой чемоданчик со всем запасом сахара. На лестнице они встретили кондитера, владельца кофейни и изготовителя настоящих медовых марципанов, которым пан Ауэр на днях продал не имеющий себе равных по сладости сахарин и которые его уже искали.

Все были чрезвычайно рассержены. Конфеты с малиновой начинкой могли использоваться разве что как типографский клей, а медовый пряник и марципаны второго господина представляли собой страшно горькое печенье, годящееся для прочистки желудка. В таком же печальном положении оказался и владелец кофейни. Его уже хотели было отвезти в сумасшедший дом, так как он утверждал, будто горький кофе, подаваемый гостям, был подслащен уже на кухне.

Все требовали возмещения убытков и присоединились к процессии. Когда они пришли к солидному торговцу фирмы Петера, на него напустился пан Венциг:

— Слушай, парень, я несу тебе все это обратно, ты нас обманул. Ну-ка, приготовь черный кофе...

Благодаря следующему опыту было определено, что сахарин, который рекламировал и поставлял солидный торговец фирмы Петера, представляет собой совершенно немислимую смесь.

— Господа, — сказал торговец, выплевывая отвратительную горькую жидкость, — я абсолютно не виноват, я думал, что все было проверено химиками. У меня этой штуки еще пять килограммов, а получил я ее от Оскара из Вршовиц.

Когда они приехали к Оскару, тот встретил их очень приветливо:

— Что, хотите еще пару килограммчиков? У меня осталось только восемь.

Когда Оскару объявили, что он жулик, тот рассмеялся.

— Ну что же, господа, раз это липа, ничего не поделаешь. Я купил эту штуку у одного художника фирмы Валдеса, тут рядом, за углом. Но человек он очень нервный, вот крику-то будет!

И он не ошибся. Когда все бросили на стол художнику сахарин, тот завопил:

— Боже милосердный, господа, ведь у меня этой штуки еще на шесть тысяч крон. С ума можно сойти, я купил его у владельца одной типографии. Я ему покажу, этому мошеннику, этому жулику.

Владелец типографии, который принял их очень сдержанно, для начала узнал от художника, что он прохвост и разбойник и что тот подведет его под арест.

— Вы сами печатаете этикетки, я это уже понял. Вы нам письменно подтвердите, что возместите все убытки, которые мы понесли из-за этого вашего проклятого сахара.

— Я с большим удовольствием подтверждаю все, что угодно, — отвечал на это владелец типографии, — но должен вам заметить, что этот сахарин я купил у некоего Елинека, агента. Не знаю, где он живет, знаю только, что каждое утро

он бывает в кафе «Арко».

Пан Елинек, которого они вызвали, оборвал брань художника, шумевшего больше всех и хватавшегося за голову:

— Да, господа, я уже знаю, что это фикция. Как раз вчера меня побил один изготовитель вафель и трубочек с кремом, которому я это продал. Если вы, господа, желаете предпринять что-нибудь подобное, пойдете в переулок, чтобы не устраивать скандала на публике, но уверяю вас, что я здесь ни при чем. Я получил это от Герла из Жижкова.

— Ладно, — сказал художник, — пойдете к этому господину Герлу, но ему не поздоровится!

Элегантно одетый господин, который им открыл, просил подождать в прихожей, сказав, что в комнате у него не убрано, однако, узнав среди присутствующих пана Венцига, пригласил их пройти.

— Чем обязан, господа? — спросил он приветливо. — Не желаете ли присесть?

— Вы — негодяй, мошенник, мерзавец и разбойник. Вы всех нас обокрали.

— Господа, — спокойно отозвался пан Герл, — вы находитесь в моем доме, ведите себя спокойно и прилично. Да, я обманул вас. Это моя продукция. Я ее изготавливаю...

— Ах вы разбойник... Прохвост... Это подлость... Подлец...

— Господа, — продолжал пан Герл таким же спокойным голосом, — я уже сказал вам, что вы находитесь в моем доме и должны вести себя прилично и спокойно. Я целиком и полностью признаю, что сам изготавливаю этот продукт. Могу подтвердить, что действительно занимаюсь мошенничеством. Одни делают это так, другие по-другому, я придумал вот этот способ зарабатывать деньги. Вы тут угрожаете, что выдадите меня, пожалуйста. Мы все связаны одной веревочкой. Я буду продавать вместо сахара то, что я пожелаю. Кто-то из вас тут орал, что в этой штуке есть гипс, это точно. Я добавляю туда гипс. А кроме того муку, поваренную и горькую соль, известь. Вообще все, что попадет под руку. Сейчас я собираюсь добавлять туда мел, вот так. И больше мне с вами говорить не о чем. Здесь останется один пан Венциг, его я знаю, это приличный человек, остальных господ я бы попросил уйти, поскольку сегодня я еще должен приготовить к отправке большую партию моего сахара. Вы попались на крючок, так разрешите мне сделать так, чтобы и другие его заглодали.

Этот неожиданный оборот в разговоре подействовал на всех уничтожающе.

Художник еще что-то сказал, но тут же очутился за дверью. Остальные ушли добровольно.

У пана Герла остался один пан Венциг, которому тот предложил сигарету.

С минуту они помолчали, наконец пан Герл сказал:

— Вы достойный человек, мы могли бы работать вместе. Более того, мне бы не хотелось, чтобы вы потеряли все. За десять килограммов этого моего сахара я дам вам полкило настоящего, так что ваши убытки составят всего три тысячи крон. Не желаете ли еще сигарету?

Пан Венциг отдал десять килограммов старого и забрал домой полкило настоящего сахара в фирменной упаковке.

Полон дурных предчувствий, он сделал маленькую пробу. Это был мел.

Когда при ближайшей встрече пан Венциг упрекнул пана Герла за этот новый обман, тот ответил необычайно спокойно и рассудительно:

— Дорогой мой, измените закон тысяча восемьсот девяносто девятого года о нелегальной продаже сахара, и я обещаю вам заняться чем-нибудь другим...

## Идиллия винного погребка

Эти четыре человека, встречаясь ежедневно по утрам в пивном погребок и рассуждая о большевиках, не ведали страха и сомнений.

О них они говорили каждый день, вкладывая в беспощадное осуждение большевиков всю свою душу.

Эти люди были живым газетным архивом, прекрасным фонографом с постоянно наточенной иглой и треснувшей пластинкой, которая шипит, хрипит, но продолжает наигрывать одно и то же.

Каждый их них: и торговец кофе, и фабрикант стеклянной посуды, и архитектор, и старший инспектор страхового общества — имел свою излюбленную тему. Торговец кофе рассуждал о смертных казнях; фабрикант стеклянной посуды — о замученных буржуа и царской семье; архитектор о хозяйственной разрухе и преследовании архитекторов, о комиссарах и голоде; старший инспектор страхового общества — о свободном браке, мятежах и ликвидации страхования жизни.

За их столом с табличкой «Занято» ежедневно умерщвлялись тысячи людей и пылали города. Здесь четвертовали детей фабрикантов, а китайцы совершали бесчисленные зверства. Здесь вырезали всех большевиков и комиссаров, обрекали на голодную смерть всю Россию. За этим столом вешали и расстреливали русскую интеллигенцию, тут увенчивались успехом ежедневные бунты против Советов, и народные комиссары, навсегда изгнанные из Москвы и Петрограда, бежали с похищенным золотом за границу.

За этим столом разыгрывались потрясающие трагедии; за границу для ведения пропаганды посылались ящики с русским золотом; тут уж щедрость собеседников не звала предела и граничила с расточительством.

С каждой выпитой стопкой условия жизни в Советской России становились все ужаснее. Ни «Народни листы», ни Аверченко, ни Станислав Николау, ни «Право лиду», ни «Пражски вечерник» не могли додуматься до подобных каннибальских пиршеств. Расходясь, друзья пожимали друг другу руки в знак взаимного восхищения и признания, словно хотели сказать: «Итак, завтра опять здесь. Будем беспощадны. За ночь в России обязательно что-нибудь произойдет».

И, пыхтя, они отправлялись обедать. За все время, что они ходили в погребок, их единственной жертвой стал некий молодой статистик, который на основании сведений торговца кофе отмечал в своей записной книжке число лиц, казненных большевиками.

Как раз перед своими именинами статистик подвел итог и обнаружил, что большевики казнили в три раза больше людей, чем их насчитывается на всем земном шаре. Молодой человек потерял рассудок, будучи не в силах объяснить, как он сам существует на безлюдной планете.

Когда четверо друзей встретились вновь, торговец кофе сказал:

— Русские большевики опять выкинули номер. В Харькове забили на-

смерть дубинами трех внуков и внучку Божены Немцовой. Мало того, они отрезали им головы и послали в ящике Ленину, который собственноручно выколол им глаза. Я прочел об этом сегодня в вечерней газете.

Завязался интересный разговор, в ходе которого архитектор сообщил, что русские большевики вообще имеют зуб против потомков и родственников чешских писателей и поэтов. Так, недавно в Новочеркасске они повесили брата Гейдука, в Москве четвертовали троюродного дядю Бенеша Тршебизского и утопили младшего брата Арбеса. Сестру Элишки Красногорской посадили на кол в Тамбове. Племянника Сватоплука Чеха сожгли в Туле. Племянницу Врхлицкого задушили в Нижнем Новгороде, а брата Пеланта застрелили в аэроплане. Шурина Махара привязали к рельсам и пустили пассажирский состав, а увидев, что несчастный еще жив, отправили следом товарный.

Фабрикант стеклянной посуды дополнил эти факты сведениями о том, как большевики в России поступают со своими собственными писателями и журналистами. С Горького заживо содрали кожу и бросили его в яму с негашеной известью. Аверченко раздели донага при сорокапятиградусном морозе и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в огромный ледяной сталактит. Теффи поджарили на конопляном масле, а потом замариновали в уксусе. Борисом Соколовым зарядили царь-пушку в Кремле и выстрелили в сторону Ходынки. Если уж большевики творят такое с собственными людьми, если они зажарили вдову Толстого, а через Мережковского пропустили электрический ток в два миллиона вольт, отчего он сошел с ума, то нечего удивляться тому, что они учинили в Харькове с тремя внуками и внучкой Божены Немцовой.

Старик, сидевший за соседним столиком, встал и подошел к четырем знатокам русской жизни.

— Господа, — сказал он дрожащим голосом, — господа... это... ошибка... Я сам... сам внук... Божены Немцовой. Мы... вернулись... только вчера... из России. Мы все... живы... С нами, извините... ничего не сделали. Разрешите мне... подсесть к вам... я...

— Не важно, кто вы такой, — пробасил старший инспектор страхового общества. — Этот столик для наших друзей, а не для тех, кто заступает за большевиков. Если вы собираетесь защищать их, так и оставались бы в России, чтобы участвовать в их зверствах. У нас, в чешском народе, вы не найдете поддержки.

Когда «замученный большевиками» внук Божены Немцовой отошел, торговец кофе многозначительно произнес:

— Это какой-то старый интриган. Видимо, он собирается вести здесь пропаганду на денежки Москвы.

Архитектор заметил, что для таких мерзавцев нет ничего святого.

И вновь, как вчера и позавчера, за столом четырех собеседников умерщвлялись тысячи людей и пылали города.

А торговец кофе, возглавлявший это общество каннибалов, после каждой фразы стучал кулаком по столу и кричал:

— Мне бы попасть туда, черт подери, показал бы я этим большевикам! Они бы у меня и не пикнули!

Накануне вынесения приговора кладненским забастовщикам торговец кофе еще раз резюмировал свои обвинения и добавил:

— Значит, завтра их приговорят к повешению... Что вы говорите, пан трактирщик? Хрена к сосискам мне не надо, предпочитаю горчицу... Знаете, я разговаривал со многими, и все требуют для них петли. Что вы говорите? Хлеба или булочки? Вот если бы у вас нашелся соленый рогалик... Нет? Тогда дайте булочку. Вчера вечером сидел я в будейовицкой пивной, так там никто не сомневался, что их повесят.

— Боюсь, — сказал архитектор, — как бы повешение не заменили им пожизненным заключением.

— Что вы, пан архитектор, кто это вам сказал? — разгорячился фабрикант стеклянной посуды. — Ни о каком помиловании не может быть и речи. Висеть им как миленьким!

— Мне бы попасть туда, да еще с правом решающего голоса, — вставил старший инспектор страхового общества, — я бы настаивал на исполнении приговора в двадцать четыре часа.

— Это не выйдет, — рассудительно заметил торговец кофе. — Если бы вешали одного, а тут их целых четырнадцать! Это будет самая крупная казнь в истории Чехии, и ее надо как следует подготовить. Один палач не справится, даже при трех помощниках. Ведь нельзя же поставить четырнадцать виселиц за сутки. Недавно у меня в лавке делал полки очень опытный столяр, и все же ему понадобилось три дня.

— А еще гробы заказать, — продолжал он, обмакивая дебреценскую сосиску в горчицу. — Даже если их сбить из необструганных досок, все равно, считаю, не меньше трех дней. Да, еще булочку, пожалуйста. Я полагаю, их повесят не раньше чем через неделю.

— А если они будут апеллировать? — заметил архитектор.

— В таком случае все задержится, — важно ответил торговец кофе. — Несколько лет тому назад в Триесте приговорили к смерти через повешение одного итальянца, он подал апелляцию, и прошло целых три месяца, пока его повесили. Я получил тогда пропуск, ведь мне еще не приходилось видеть казни, но, к сожалению, накануне я лег поздно и проспал. Ходила моя жена, но не получила никакого удовольствия, потому что итальянец даже не дергался.

— Однажды в Шопроне я видел, как вешали цыгана, — сказал архитектор. — Тот сильно дергался.

— Такая уж у них беспокойная натура, — отозвался фабрикант стеклянной посуды, зажигая сигару.

В то утро, когда был объявлен приговор, в винном погребе за столом четырех собеседников стояла унылая тишина — безмолвие разбитых надежд и неоправдавшейся буйной фантазии.

Первым нарушил молчание архитектор.

— В воскресенье поеду с семьей в Розтоки смотреть, как цветут черешни.

— А у меня в саду, — сказал торговец кофе, — расцвела яблоня.

— Эх, если бы только люди поумнели и перестали быть варварами, — сокрушался фабрикант стеклянной посуды, — да не ломали бы веток!

— Я бы за это наказывал на месте, — заявил торговец кофе.

И присмирившие друзья снова впали в мрачное уныние.

## О подходящих названиях

Придумывать названия — одно из самых интересных и самых сложных занятий. Я не говорю о названиях литературных и научных работ. Это дело совсем легкое. Если не считать названий поэтических сборников, когда публику необходимо взволновать и удержать в напряжении, для того чтобы стихи покупались. Тут все зависит от того, как человек возьмется за дело. Название «Колокольчик» не будет иметь такого успеха, как «Здесь должен цвести колокольчик». В последнем публика почувствует необычайное обаяние, которым грешил и Махар в своей истории с розами.

Наука не знает этих украшательств и не пытается повысить к себе интерес.

Если кто-то пишет начальный курс физики, то называет его «Введение в физику», а не выдумывает сенсационный заголовок «Объяснение тайн законов природы». Географ пишет учебник географии и тоже дает ему лаконичное и емкое название «География», а не «О горах, реках, народах и городах». Единственное поэтическое название я встретил в книге одного психиатра: «О идиотах и людях заметных».

Выдумывать названия книг, как я уже сказал, дело очень легкое. Если вы обратитесь к библиотечному каталогу, то увидите, что в этом море литературы одно название может повторяться у сотни авторов. Чаще всего встречаются: «Родные поля», «Летние грозы», «Новая песнь», «Поздний цветок», «Прелюдии», «Между жизнью и смертью», «Ее грех» и другие прелестные находки.

Авторы не дают себе труда назвать свою работу так, как она того требует. Когда писатель уж совсем ничего не может придумать, он пишет «Горсть новелл, или Две дюжины рассказов», даже если в этих двух дюжинах их всего пять.

Со мной самим однажды приключилось несчастье, когда один из рассказов, действие которого происходило в Краловских Виноградах, я от отчаяния, не способный придумать ничего другого, назвал «Жизнь в Индии».

Однако в литературе такие вещи прощаются, поскольку даже самое идиотское название может воодушевить какого-нибудь еще не вконец испорченного человека. Название проникнет в его душу и околдует своими психологическими чарами.

Вообще-то названия книг и рассказов — это чаще всего не что иное, как простая констатация их содержания. Англичанин Стертон написал роман в двух частях, озаглавив его «Глупость», и читатель не обманется в своих ожиданиях. Француз Ла Бруш издал роман «Ничто», и действительно он ничего собой не представляет.

Мне очень нравятся краткие и полезные названия. Авторы вышеназванных произведений весьма великодушны к читательской общественности, они предупреждают ее: не покупайте эту «Глупость».

Более любопытная и сложная задача — дать название популярному или научному журналу. Предполагается, что название должно отражать внутреннее содержание и направление издания.

Не будь этого общепринятого правила, журналы росли бы как грибы после дождя.

Я знавал одного господина, который говорил: «Я с удовольствием издавал бы месячное художественное издание, но у меня нет названия».

Другой признался мне, что хочет издавать политический еженедельник, но без названия, мол, дело не пойдет.

Чаще всего такой несчастный останавливается на названии, которое уже существует.

Если это политический журнал, то обязательно «Прогресс», «Страж» или «Независимость».

Литературный или художественный обычно называется «Лоза», «Перерождение», «Подсолнечники», «Борозда», «Нива» или «Земля», как-будто их издают одни полеводы.

Со сборниками дело еще сложнее. Один издатель попросил меня однажды придумать подходящее название для сборника. В названии, по его мысли, должно было быть «много жизни, стихии, наполненной дыханием времени». Ну и получилось, как со сборником Топича. Сначала шло имя издателя, а потом сборник.

Но все это чепуха по сравнению с тем, как придумываются названия для торговых и промышленных предприятий, предметов и новинок, которые должны появиться в продаже и ошеломить общественность.

Тут требуется вложить в название гораздо больше свежей жизненной образности, чтобы предлагаемый предмет навсегда запечатлелся в сознании людей. Название должно быть красочным и поражать в самое сердце. Оно должно гипнотизировать. Если читатель читает рекламное объявление «Вы пили...», то вот эти точки должны быть настолько значительны и убедительны, чтобы человек упился этим напитком до того, чтобы ему кругом мыши мерещились, а семья была бы вынуждена отправить его лечиться от алкоголизма.

Название должно быть зеркалом, живым отпечатком предмета, который вы предлагаете в своих объявлениях. Если вы читаете: «Каждой домохозяйке необходимо иметь дома паровую молотилку (название)», то это название должно быть настолько привлекательным, что вы решитесь приобрести паровую молотилку, даже если для этого потребуется обокрасть банк и разнести целый дом, чтобы затащить ее в вашу квартиру на четвертом этаже.

Я прочитал в газете следующее объявление:

Заплачу большое вознаграждение тому, кто придумает подходящее название для предмета, без которого не может обойтись ни одна семья. Обращаться в отель Штепан, номер 12, от 10 до 11 часов.

Я отправился туда. Меня встретил господин с добродушной внешностью и умным лицом.

— Очень рад, что вы пришли, — сказал он. — Я боялся, что никто не придет. Присядьте, пожалуйста. Сигару? Какое вино предпочитаете? Мускат или мозельское?

Я ответил, что люблю и то и другое, но выберу то, что он закажет. Из деликатности он заказал себе мускат, а мне мозельское. Пока каждый из нас пил свою бутылку, он заявил, что изобрел детскую коляску, которая отличается тем, что ее можно переносить с места на место, а если она случайно упадет в воду, то автоматически превратится в лодочку. Коляска очень легка, а нажатием рычага моментально превращается в кресло-качалку. Одно из ее замечательных свойств состоит также в том, что, перевернув ее, вы получаете пись-

менный стол. Он уже выпустил на своей фабрике восемьсот таких детских колясок, и теперь дело за тем, чтобы окрестить его изобретение. Сам он придумал название «детовоз», но оно ему что-то не очень нравится.

Холодок пробежал у меня по спине, когда я осознал, что нахожусь в номере один на один с этим господином.

А он продолжал:

— Я думал всю неделю, несколько ночей не спал и не придумал ничего лучшего, чем этот проклятый «детовоз». Он преследует меня днем и ночью. Почему вы надо мной смеетесь, я вижу вас первый раз в жизни. Или вы не верите, что моя детская коляска может превратиться в лодочку? Вот чертежи.

Я оглушил его ударом кулака в висок и поспешно удалился из двенадцатого номера, никуда ничего не сообщив. Пусть в гостинице с ним делают что хотят.

Менее трагичным был случай с паном Вачленой, постоянным посетителем кафе «Бржезинки». Мы сыграли с ним как-то партию в бильярд, потом он отвел меня к своему столику и доверительно сообщил, что его зять, обивщик, изобрел складной матрац из трех частей, который так легко складывается, что кровать оказывается совершенно лишней. Для того чтобы пустить матрац в продажу, ему нужно как-то его назвать. Он очень легок и долговечен. Зять просит пана Вачлену, чтобы тот нашел кого-нибудь, кто бы придумал ему подходящее название, что-нибудь в самую точку. И тут он вспомнил, что я пишу рассказы. Если я могу выдумать целый рассказ, то уж придумать название, одно слово, для меня совсем ничего не стоит. Зять, мол, не просит за бесплатно, а обязательно пришлет мне свой складной матрац.

— Ну, так как, по-вашему, он должен называться?

Я ответил, что очень польщен доверием, что названия не сыпятся так просто, как из рукава фокусника, название должно быть зеркалом предмета. Оно должно быть не простым, а сенсационным, а для этого мне нужно дать время.

— Так, значит, завтра? — спросил он.

— Да.

— Ну что, придумали название? — спросил он на другой день, подкарауливая меня в кафе.

— Вчера вечером ко мне приехал брат, — оправдывался я, — и я вынужден был пойти с ним в театр на оперу, так что весь вечер был потерян. Завтра название обязательно будет.

— Ну, как он будет называться? — донимал он меня на следующий день.

— Еще не знаю. Дело в том, что мне кажется очень легкомысленным придумывать название для вещи, которую я в глаза не видел.

— Ладно, — сказал он, — завтра матрац будет у вас.

Должен сказать, что мне очень хорошо спалось на матраце, и что он действительно долговечен и дешев.

Пану Вачлене я написал (поскольку с тех пор перестал ходить в «Бржезинки»), что выбрал не кричащее, зато очень подходящее к данному предмету название. Мой совет назвать его: «складной матрац».

С тех пор пан Вачлена везде рассказывает, что я никакой не писатель, а просто дурак и обманщик.

На протяжении моей жизни я получал много заказов на различные назва-

ния для самых разных предприятий и предметов. И это занятие часто совершенно лишало меня покоя.

Один хотел, чтобы я придумал название для чешской мучной приправы, которую тот начал производить в больших количествах.

Другой фабрикант, изготавливающий машины для кондитерского производства, желал, чтобы я окрестил его карманный механизм для изготовления мороженого.

Фабрика по производству бочек заказала мне название для пивных бочек фирмы «Лежак», объемом в сто гектолитров.

Один птицевод, выращивавший гусей, хотел иметь название для пера, дающего в приданое невестам.

Общество по благоустройству контор желало иметь название, в котором преобладала бы мысль, что душа их предприятия — регистрация.

Один пекарь хотел, чтобы я окрестил его рогалики с мармеладом.

Акционерное общество по строительству кольцевых печей для производства кирпича желало иметь настолько популярное название, чтобы кругом не говорили ни о чем, кроме как о его кольцевых печах.

Я также должен был ломать голову над тем, какое название будет более подходящим для экономически выгодных каминных решеток.

Из всех названий, которые я предлагал, лишь одно было принято фабрикантом, изготавливавшим машины для кондитерского производства.

Его карманное устройство для изготовления мороженого я окрестил «Эмил». Дело в том, что фабриканта тоже звали Эмил, и он был безумно счастлив, что мне удалось придумать такое замечательное название.

«Заправка», «Лежебочка», «Приданнопер», «Регистродуш» и «Мармелпек» были отвергнуты.

Дать название кольцевой печи и экономически выгодным каминным решеткам я даже не пытался.

Мнение обо мне всех фирм, кроме Эмила, сходится с мнением пана Вачлены. Никакой я не писатель, а просто дурак.

Но однажды представился случай, когда я мог себя реабилитировать. Мой приятель Опоченский забежал ко мне в кафе и сказал: «Приходи сегодня вечером в «Копманку», там будет один господин из правления нового пивоваренного завода в Пльзени. Они ищут название для своего пива, которое конкурировало бы с пльзенским «Праздроем». Он только что был в «Мае», но там никто ничего не смог придумать. Он рассказывал мне о своих бедах. Во всем Пльзени не нашлось человека, который бы что-нибудь выдумал. Прага — единственное спасение, но неудача в «Мае» его совершенно убила. Он выглядит так, как будто собирается покончить с собой. Поэтому я пригласил его в «Копманку».

Вид у члена правления действительно был такой, будто он подумывал о самоубийстве. Он рассказал о Пльзени, о «Мае» и добавил, что только второй день в Праге и что из-за этого названия уже имел неприятности с полицией. Дело в том, что в одном из винных погребков он познакомился с каким-то молодым человеком и рассказал ему о своих бедах. Тот заявил, что у него часто возникают хорошие идеи, но для этого он должен быть в настроении. Без него он туп как пробка.

«Поил я его, поил, — вздохнул член правления. — После двух с половиной

литров он вдруг воскликнул: «Придумал! Ваш пивоваренный завод находится в Пльзенце, недалеко от Пльзени. Раз в Пльзени пльзенское пиво, назовите ваше — пльзенецкое». И тут, господа, я начал его душить. Позвали городского, и вот вам конфликт с полицией».

Мы сидели с ним до поздней ночи. Думали все, но никто ничего не придумал, и один за другим посетители исчезали. Наконец мы остались с членом правления одни.

Вы не поверите, но есть моменты, когда в голову вдруг приходит что-то настолько подходящее, что, думай вы до этого хоть тысячу лет, никогда ничего подобного не придумаете. И вдруг мысль возникает сама собой.

Название пришло. Появилось ни с того ни с сего. Мой сосед дремал, окончательно отчаявшись. Я разбудил его.

— Я придумал название для вашего пива, — сказал я, первый раз произнося что-то настолько совершенное, что абсолютно уничтожило бы пльзенское и принесло пиву нового завода всемирную славу.

Лицо представителя заводского правления прояснилось.

— Вот это идея, — сказал он, вскакивая со стула. — Она ударит, как гром среди ясного неба. Мы разнесем их пиво в пух и прах, а наше обрушится на мир, как лавина.

Он произносил еще много подобных образных восклицаний, но лучшей характеристикой все же осталось обращение к покойному Сохурку:

— Пан трактирщик, у вас нет ли случайно расписания поездов?

— Мы едем в Пльзень скором в шесть двадцать, — обратился он ко мне, перелистав расписание. — Вы гений. Пльзень ничего не мог придумать, «Май» тоже, Прага отупела, и наконец в два часа ночи Вас осенило. Мы едем в Пльзень.

Судя по всему, он когда-то играл в самодеятельности, потому что, расплачиваясь, с пафосом провозгласил:

— Миссия моя окончена, я с честью возвращаюсь домой.

— И со щитом, приятель, со щитом, — говорил он, подавая мне плащ. — Поверьте, я был в полном отчаянии. Вы ведь не знаете, что еще три месяца назад мы объявили конкурс на лучшее название, и за это время получили лишь одно письмо от какого-то учителя-пенсионера, который писал, что лучшим ответом на название пльзенский «Праздрой» является пльзенское «Прапиво». В конце своего письма этот человек писал, чтобы мы выслали ему объявленную премию сразу по получении письма, иначе он передаст дело адвокату. По сравнению с этим ваше название — это просто окно в мир.

Мы взяли дрожки и до шести часов ездили по разным ночным увеселительным заведениям. По дороге мой спутник только и твердил о моей идее. Каждая его фраза была полна восторга, а когда мы уже сидели в поезде, он представил меня незнакомому господину, которого не знал и сам:

— С этим человеком я не побоялся бы приняться даже за строительство вавилонской башни.

Желая утвердить его благожелательное мнение обо мне, приближаясь к Пльзени, я внушил ему, что являюсь автором и таких названий, как Градчаны и Петршин. В это время он уже дремал и только бормотал:

— Как же, знаю, я об этом уже слышал.

В привокзальном ресторане в Пльзени мы слегка перекусили для поддержания сил и фиастром отправились на новый пивоваренный завод, прямо в кон-

тору правления, где сразу же послали за господином председателем.

Когда тот пришел, мой спутник торжественно произнес:

— Есть название, великолепное название, что-то совершенно особенное. Оно отодвинет пльзенский «Праздрой» на задний план, привлечет необыкновенное внимание и займет достойное место.

Мой спутник сиял:

— Этот господин — писатель, известный писатель пан... пан... извините, за-памятовал вашу фамилию?.. Вот видите, такое легкое имя, но когда человек не спит целую ночь, а рано утром спешит к поезду... Пан председатель, это название придумал господин писатель. «Май» ничего не мог выдумать, Прага молчала или придумывала разные глупости, но вот появился этот господин. Это потрясающее название.

— Ну, так вы скажете его мне? — спросил господин председатель моего спутника.

Вместо ответа член правления засмутился и, обращаясь ко мне, сказал:

— Ну, как вы его назвали? Дело в том, что я... я забыл...

Я стоял как пригвожденный. Со мной случилось то, что может случиться с каждым. Сколько я ни думал, я ни за что на свете не мог вспомнить придуманное мною название. Я понимал положение человека, который забывает, как его зовут, где он живет и когда родился.

Как раз в таком состоянии я с открытым ртом стоял перед господином председателем.

— Ничего, вы вспомните, — сказал господин председатель. — Приходите после обеда.

Член правления, который привез меня из Праги, удрученный, привел меня в свою квартиру и уложил на диван, чтобы я выспался.

К обеду меня разбудили. Положение было не лучше, чем в правлении, в кабинете у пана председателя. Оно не изменилось ни к вечеру, ни утром. Думая, что состояние мое объясняется влиянием алкоголя, меня поили подебрадской минеральной водой.

Я пробыл там неделю, но не вспомнил ничего. На седьмой день утром я бежал через открытое окно огородами и пешком отправился в Прагу, так как господин член правления закрыл мой бумажник в сейф, чтобы отрезать мне путь к отступлению в Прагу по железной дороге, надеясь, что я все-таки вспомню свое феноменальное название.

Придумывать названия — одно из самых интересных и самых сложных занятий.

## Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче

Эта статья предназначена для тех, кому недосуг посещать лекции пани Лаудовой-Горжицовой, у кого нет времени заниматься чтением катехизиса гражданина Гута или же стать слушателем курсов для делегации пражского городского магистрата, отъезжающей в Париж.

Мой труд, бесспорно, содержит нечто новое, и его со спокойной совестью можно рекомендовать всем. В нем вы найдете ряд идей и указаний, которых не почерпнете ни у Лаудовой-Горжицовой, ни у Гута, ни на вышеупомянутых курсах.

Полагаю, я дал ему вполне подходящее название: «Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче».

Если у кого-либо возникнет недоумение, как вести себя в иных местах — скажем, в парламенте, — прошу обращаться ко мне письменно, поскольку я не намерен предавать подобные советы гласности.

Мое руководство и указания кратки, практичны и весьма доходчивы. На мой взгляд, это единственно настоящее введение к правилам хорошего тона. Обращаю ваше внимание также на то, что я, излагая свои воззрения, действую весьма деликатно: например, не созываю людей на лекции, как пани Лаудова-Горжицова. Читатели прочтут мою статью, и никто не будет их контролировать, в то время как на лекциях подобного рода любой присутствующий думает про другого: «Ишь ты, он тоже не знает, как вести себя дома, на улице, в учреждениях и т. д.»

Равно и катехизис Гута: покупая его в книжных магазинах, невольно выдаешь пробелы в своем воспитании.

А статья? Чисто случайно оказалась в книге, поди докопайся, что ты ее читал, чтоб обучиться правилам хорошего тона.

Соображения мои продиктованы самой жизнью, они не мертворожденное дитя. Ознакомившись с ними, каждый скажет: отныне я дерзну жить среди людей!

### Как вести себя дома

Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем, причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята напрокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно.

Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо об пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто туда за углем.

Со своими гостями он обходится дружески, а коли уж случится конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не попортить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выставляет гостя молча. Истинный джентль-

мен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет взащей. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, выкручивает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать пиджак при госте. Абсолютно недопустимо, чтоб у гостя пропали часы или кошелек.

Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас святыней.

### **Как вести себя на улице**

Следует помнить, что улица — для всех прохожих, а не для вас одних. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это лучше делать в подъезде. Столь же непристойно и некрасиво орать на прохожих и показывать язык проезжающим мимо в трамвае, в экипаже, в автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросой или сигарой одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать: «Пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться!» Ваш долг — извиниться как можно вежливее, тем самым вы избежите судебного разбирательства, а пострадавший унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление, что встретил джентльмена. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным — падать на колени перед встречными дамами не рекомендуется: это производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке; чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде и с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично подставлять подножку господам или дамам старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это надо делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Следует уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо.

### **Как вести себя в учреждениях**

Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой.

Затем, переходя от одного к другому, расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалованье получают, до тех пор, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь, собственно, угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех оделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создать впечатление, будто речь идет о любовной интрижке.

Если вы учините в учреждении скандал, стремитесь незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нель-

зя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует бороться по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае вы обязаны помнить, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Уносить из учреждений пальто недопустимо.

### **Как вести себя в магазинах**

Войдя в магазин, вы любезно и учтиво спрашиваетесь о ценах на товары, стараясь при этом не щипать продавщицу за щеки и не похлопывать панибратски приказчиков по плечу. Затем вы отправляетесь к хозяину или директору магазина, подаете ему свою визитную карточку и просите разрешения закурить. Бестактно расспрашивать при этом, сколько он зарабатывает на том или ином товаре. Побеседовав с ним, сердечно пожимаете ему руку и возвращаетесь в магазин, где рассказываете продавцам и покупателям несколько пристойных анекдотов. Если вас просят удалиться, вы с мужественной гордостью, присущей всем истинным джентльменам, раскланиваетесь и потихоньку отступаете к дверям, стараясь не изувечить кого-либо из нападающих. Если вы расквасите кому-нибудь нос, пошлите письменное извинение, как только вас выпустят из полиции.

Использовать возникшую панику, чтобы очистить кассу, недопустимо.

### **Как вести себя в театре**

Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, постарайтесь не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться с соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, старайтесь во время действия извлечь пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. Взятый напрокат бинокль следует вернуть билетерше, если же вы снесли его в ломбард — квитанцию отошлите по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале, все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы в дамскую уборную, самое лучшее — спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась, увидев чужого человека.

### **Как вести себя в аэроплане**

Истинный джентльмен даже на высоте шести тысяч метров не выражается вульгарно и грубо. Перед полетом он пишет своим кредиторам дружеские послания, в которых прощается с ними и просит извинить, что пустился в столь рискованное предприятие. Вывалившись из аэроплана, он должен принять все меры, чтобы не грохнуться кому-нибудь на голову. В любом случае перед полетом он вписывает в свою визитную карточку нижеследующее: «Извините, пожалуйста».

### **Как вести себя на футбольном матче**

Протыкать судью ржавым ножом недопустимо.

### **Послесловие**

Хотя вышеупомянутые советы и указания не полны и многого здесь еще недостает, я убежден, что любой легко усвоит и запомнит их. Это краткое подспорье к правилам хорошего тона должно иметься в каждой семье, и я прошу достославный школьный совет и министерство просвещения воспитывать

учащуюся молодежь согласно моим наставлениям и указаниям. Предлагаю также включить мою статью в школьные учебники. От гонорара отказываюсь в пользу обедневших джентльменов.

## Вопросы и ответы

**Х**отя в конце своей статьи «Как вести себя дома, на улице, в учреждении, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче» я приносил извинения за то, что мои советы и указания — это мне и самому ясно — не полны, я получил множество писем, в которых меня спрашивают о самых различных вещах. Поскольку я убежден, что мои ответы представляют ценность не только для вопрошающих, но и для всей общественности, я публикую вопросы и ответы к ним. Некоторые вопросы чрезмерно длинны. Привожу лишь их суть. В общем я пришел к выводу, что люди полагают, будто я знаю все на свете.

1. *Я часто бываю в компании, где мне скучно. Что в таком случае делать? Кроме того, я просил бы сообщить, можно ли в обществе ковырять в зубах зубочисткой, грызть ногти, закладывать руки за жилет, чистить спичкой уши, держать руки в карманах, вращать палку или зонтик, качаться на стуле и болтать ногами?*

*Ответ:* Попробуйте сделать все, о чем вы спрашиваете, и увидите, что перестанете скучать. Замечу лишь одно: неприлично грызть чужие ногти и закладывать руки за чужой жилет. Если вы, вращая палку или зонтик, выколете кому-нибудь глаз, ваш долг немедленно подойти к телефону и вызвать карету «скорой помощи». Если вы живете по соседству с общедоступной больницей, поезжайте вместе с пострадавшим. В противном случае ступайте пешком, ибо ваше присутствие будет попусту волновать раненого. Если же, вращая палку или зонтик, вы разобьете окно, старайтесь мгновенно исчезнуть, чтобы избежать встречи с хозяином и не поставить его в еще более затруднительное положение, в случае если вы обучались боксу у Гойера.

2. *Недели две назад, в кафе, занимаясь своей корреспонденцией, я ненароком опрокинул на платье одной дамы пузырек чернил. Посоветуйте, можно ли через две недели вновь посещать это кафе?*

(На этот вопрос я еще не ответил и не знаю, отвечу ли вообще. Должно быть, это какой-то трус, если из-за такой ерунды две недели не появляется в кафе. А быть может, это всего-навсего предлог, — просто он задолжал в кафе. Так чего не скажет прямо, я бы за него заплатил.)

3. *Сколько времени носят траур по отцу, прилично ли застелить ковром диван в бабушкиной комнате и хороша ли к бараньей ноге репа?*

(Этому человеку я не отвечу принципиально, потому что он чудовище. Вы только полюбуйтесь, как совмещаются у этого сиротки покойный отец, ковер, баранья нога и репа. Как ему только не стыдно!)

4. *До какой степени отвечает глава семьи за долги своих домочадцев?*

(Этого молодого человека я знаю. Он проиграл мне в карты крупную сумму и подделал вексель на своего отца. Я отвечаю ему устно и отнюдь не здесь. Публикую вопрос, чтобы все видели, чем нынче интересуется молодежь. Это, бесспорно, признак вырождения: мы в таком возрасте, беря в долг под обеспечение своего отца, зубрили наизусть Гражданский кодекс, параграфы 139/а — 141, где ясно сказано: отец обязан воспитывать своих детей, рожденных в браке, предоставлять им приличные средства к существованию и, приобщая к ре-

лигии и полезным знаниям, закладывая фундамент их будущего счастья. Мы обходили эти параграфы и ни к кому не обращались за советом, поскольку знали, что к сыновьям, берущим в долг под обеспечение своего отца, Гражданский кодекс относится как мачеха, и что в указанных параграфах отсутствует дополнение: «и за детей своих долги платить».)

#### 5. Как надо относиться к кредиторам?

*Ответ:* Весьма корректно и чутко. Принимать кредитора в любое время дня и ночи, никогда от него не отрекаться и не давать тем самым повода юмористическим газетам для глупых и плоских шуток. Вы обязаны сами искать общества своего кредитора, а ни в коем случае не наоборот. Если он берет абонемент в театр, то и вы старайтесь взять абонемент, да так, чтобы ваши места оказались рядом. Посещайте те же рестораны и кафе, где бывает он. Играйте с ним в бильярд, шахматы, теннис, преферанс. Достаньте у своих кредиторов копии долговых обязательств, пронумеруйте их по месяцам, сложите в алфавитном порядке, а в конце года вместе с новогодним поздравлением рассылайте кредиторам записки с общей суммой вашего долга. Двадцатипятилетний юбилей какого-либо долгового обязательства отмечается, подобно серебряной свадьбе, в узком семейном кругу. Присутствие кредитора обязательно. Посадите его за стол на почетное место и уделяйте максимум внимания. Остроты в обществе по адресу своего кредитора недопустимы.

6. Могли бы вы дать мне какие-нибудь указания касательно воспитания подрастающих дочерей?

*Ответ:* Воспитывать дочерей следует дома. Необходимо, чтобы это стало правилом в каждой семье. Матери и отцы пуще всего должны стремиться открыть свои сердца подрастающим дочерям. Отец обязан как можно чаще беседовать с дочерью-подростком и без стыда рассказывать в ее присутствии анекдоты, услышанные в трактире. Если у отца есть любовница, его долг познакомить с нею свою дочь, чтобы та не была огорошена, услышав об этом из чужих уст. Отец руководствуется пословицей: «Из избы сору не выноси». Равно и матери следует поведать дочке о своих любовниках, познакомить ее с ними, дабы для той не оставалось никаких тайн; тогда, выйдя замуж, она легче освоится с подобными отношениями. Наиболее интимные и поистине сердечные отношения устанавливаются между дочерью и матерью, если они вместе читают «Курортные рассказы» Катюля Мендеса.

#### 7. Как высушить промокшую обувь?

*Ответ:* Промокшую обувь лучше всего сушить раскаленными черешневыми косточками; между тем кое-кто забывает припасти их. Поэтому зимой, когда у нас черешни нет, необходимо получить в полицейско-президиуме паспорт в Италию и, покончив со всеми формальностями в итальянском посольстве, воспользоваться международным скорым поездом Прага — Рим. Промокшую обувь можно взять с собой и просушить ее раскаленными черешневыми косточками непосредственно на месте. Рекомендуются во время поездки в Италию сделать запас черешневых косточек.

#### 8. Как при скромных доходах жить по средствам?

*Ответ:* Не так уж трудно выпутаться из стесненных финансовых обстоятельств, если вы оборотисты. Даже при самых мизерных доходах большую часть средств можно откладывать, если приобретать все в кредит. Попробуйте в течение полугода всюду брать займы и покупать в кредит, и вы увидите,

что к вам вернется внутренняя сила и самоуверенность. При подобных манипуляциях вы сэкономите уйму денег, и ваш характер разительно улучшится. Вы обретете твердость в жизненной борьбе. Старайтесь всегда расходовать сверх бюджета, никогда не соразмеряйте своих потребностей с доходами. Так вы закалитесь в упорной борьбе за существование. Долги делайте с внушительным размахом. Никогда не занимайте десять крон там, где можно занять тысячу. И в этом нужно оставаться джентльменом. Когда берешь в долг крону, это пахнет тленом и маразмом. Одалживая — не экономьте. Направляйтесь к жертве, намеченной в кредиторы, с гордым видом. Будьте неумолимы, тверды. Не отступайте! Не допускайте, чтобы вас выставили за дверь!

9. *Обязательно ли быть вежливым в поезде?*

*Ответ:* В этом не может быть сомнений. Светские манеры вменяют нам в обязанность уважать своих попутчиков. Если вам не по душе, что окно в вагоне открыто, вы не имеете права приказать: «Сударь, закройте окно!» Никого не спрашивая, вы просто закрываете его сами, ибо в поезде следует быть тактичным. Если дело дойдет до ссоры, старайтесь не выкидывать кого-либо на ходу из окна, ибо помните: во всех вагонах есть стоп-кран, и поезд из-за такой ерунды может опоздать. Вы должны чувствовать себя за свои деньги не хозяином, но пассажиром, в знак чего проявите свою твердость и заставьте уважать себя, иначе ваши спутники будут творить с вами все, что им заблагорассудится. В жизни нам всегда импонирует человек самоуверенный, прямой и откровенный, такой, который осилит в драке всех своих попутчиков.

10. *Как долго носит траур тринадцатилетняя сестра по пятнадцатилетнему брату?*

*Ответ:* Три месяца — полный и пять месяцев — неполный траур. Семнадцатилетняя сестра по брату двадцати одного года в равной пропорции: 13:17 и 15:21. В более солидном возрасте срок полного и неполного траура увеличивается по восходящей. Так, двадцатилетняя сестра носит траур по стопятидесятилетнему брату тридцать лет — полный и шестьдесят лет — неполный.

11. *У меня был добрый друг, с которым я по пустякам смертельно рассорился. Я хотел бы с ним помириться.*

*Ответ:* Обращаю ваше внимание на прекрасный обычай полинезийских людоедов с островов Блаженства в Тихом океане. Когда там два людоеда мирятся, они съедают третьего, освежив его в честь примирения. У нас за такое дело, конечно, окажешься под судом, поэтому рекомендую вам быть как можно осторожнее.

12. *Я не знаю, как есть в обществе спаржу.*

*Ответ:* Людей, умеющих прилично есть спаржу, очень мало. Два-три во всей республике, потому что все, поглощая спаржу, норовят орудовать вилкой и ножом. Спаржа у них обычно выскальзывает, ломается и падает на пол. В таком случае поднятую с пола спаржу надо класть не на общее блюдо, а в свою собственную тарелку. Следует, как правило, избегать неумелого и неловкого обращения с вилкой и ножом. Надежнее всего есть спаржу руками. Недопустимо накладывать спаржу с блюда слесарными клещами, равно как и брать руками. Клянчить, чтобы сосед оставил вам кусочек, можно лишь в том случае, если вы боитесь, что не насытитесь или что вам не достанется.

13. *Я много хожу и рву уйму чулок, что мне делать?*

(Предложить ему носить чулки с пяткой из козлиной кожи? Еще обидится

и усмотрит здесь намек. Порекомендовать ему не ходить, а сидеть дома — тоже, по-моему, не годится: я не знаю рода его занятий. Ходить босым? Ездить в автомобиле? Посоветовать, чтобы его носили на руках? Лучше всего объявить по данному вопросу плебисцит.)

14. *Как вести себя, чтобы быть приятным гостем?*

*Ответ:* Искусство быть приятным гостем столь же старо, как и поговорка: «Гость в дом — бог в дом». Этой поговоркой и следует руководствоваться: вообразите, будто вы и впрямь бог, которому дозволено все. Не мешает прозрачно намекнуть, какое блюдо и какой напиток вы предпочитаете. Если вам предложат небольшой кусочек свиного жаркого, заметьте, что дома вы съедаете по два кило зараз. Если вам подадут рюмку ликера, необходимо растолковать, что дома вы выпиваете по целой бутылке, причем так, между делом, после обеда. Вообще в гостях нужно вести себя как дома — пусть хозяева убедятся, что вам у них нравится и вы всем довольны, хотя бы для этого вы перевернули вверх дном весь заведенный в доме порядок. Чем неслыханнее ваши претензии и капризы, тем выше ваш авторитет у хозяев. Предъявляйте как можно больше требований и дайте понять, что вы оказываете хозяевам великую честь, удостоивая их своим посещением. Не старайтесь, однако, приноровиться к хозяевам, пусть они приноравливаются к вам. Иначе — стоит вам обнаружить хоть малейшее колебание или чуть-чуть отступить от намеченной программы — вы погибли. Отправляясь в гости, следует наперед быть уверенным, что хозяева — люди двоядушные, которые желают одного: отделаться от вас. И от вас зависит с честью выйти из этого единоборства. На дом, куда вас пригласили, не смотрите как на святыню — это уже будет отступлением по всем линиям. Если хозяин вставляет вам палки в колеса, воздайте ему вдвойне, чтобы научить светскому обращению, одно из правил которого гласит: не гость ради хозяина, но хозяин ради гостя. Если, погостив несколько дней, вы обнаружите на своем ночном столике расписание поездов, в котором подчеркнуто, когда отходит поезд на Прагу, то это — свидетельство низменного образа мыслей хозяина. В таком случае сделайте вид, будто вы ничего не подозреваете, а расписание поездов суньте в карман. Пригодится в другом месте. С бесчестным хозяином нечего миנדальничать.

15. *Как полюбить медленно надвигающиеся сумерки тихих вечеров?*

*Ответ:* Устройте у себя в комнате бледный сумрак с романтическими полутенями и красками. Не жалейте денег на объявление. Купите в цветочестве черные осыпающиеся розы — их всегда приобретете дешевле — поставьте черные розы в вазу на стол и дуйте на них, чтобы лепестки опадали со слабым шелестом и тоскливым ароматом. Выпейте бутылку рома или можжевеловки — и вы погрузитесь в грезы... Ром направит ваши фантазии и ощущения на поиски новых красот. Медленно надвигающиеся сумерки тихих вечеров обойдутся вам в шестьдесят — восемьдесят крон.

Оставляю без ответа следующие вопросы:

*Готовится ли правительство к пятидесятилетнему юбилею министерства?*

*Можно ли использовать оторванные хвосты ящериц?*

*У меня сгорело двое детей, куда об этом заявить?*

*Поддерживает ли государство строительство семейных коттеджей?*

Куда девать дочку после каникул?

Я нашел две тысячи крон. Вернуть их или оставить себе? Меня никто не видел.

Я чувствую, что не дал исчерпывающих ответов на заданные мне вопросы. Прошу читателей самих восполнить недостающее.

## Солидное предприятие

Я сидел с Местеком в садике на Карловой площади.

Местек, владелец блошиного цирка, был в совершенно подавленном состоянии, так как пришел к выводу, что больше нет смысла дрессировать блох. Незадолго до того в его блошином цирке произошла катастрофа. Какой-то пьяный, одержимый навязчивой мыслью, что все это жульничество, пробрался в балаган и, даже не потрудившись проверить свое подозрение, палкой сокрушил коробку с цирком. Дрессированные блохи очутились на свободе и избавились от повинности таскать микроскопические бумажные повозки. На дне коробки лежал раздавленный труп блохи-самца, первоклассного артиста, души цирка. Местек нежно называл его Франтишком. Рассмотрев труп артиста в увеличительное стекло, его опознали по присутствию одной ноги, что, впрочем, является тайной цирка. Таким артистам обычно отрывают одну ногу, чтобы они не скакали слишком высоко и не нарушали гармонию циркового представления.

Подле трупа осталась только одна блоха с перебитыми ногами и перевернутой повозочкой, в которую она была впряжена.

— Я думал, — вздохнул Местек, — что вылечу ее, но ничего не получилось. Пени та чахла. В конце концов пришлось раздавить ее.

Местек рассказал мне о любви Пепиты и Франтишка, о том, как маленькая блоха всегда любовалась танцами самца.

— Больше никогда в жизни не увижу таких умных созданий, — сказал Местек. — Современное поколение блох вырождается. Блохи поглупели. Стали несообразительными. А может, у нас появилась новая порода блох. Недавно я купил у служителя из староместской ночлежки полную бутылочку блох, но ни одна из них никуда не годилась. Были у меня блохи из полицейского управления и нескольких сиротских домов, из пансиона «Счастливые приют» и пансиона имени Элишки Красногорской, из исправительного дома и различных казарм, блохи из ломбарда, из ряда гостиниц, из Каролинума и Клементинума, из Высшей женской школы, Производственного союза и Эмаузского монастыря — и все они были бездарными. Правда, я обнаружил среди них двух-трех, которых можно было бы назвать талантливыми. Но они оказались лодырями — их не соблазняла карьера. Сбежали, несмотря на то что их ждала громкая, блистательная слава. Новое, молодое поколение блох никогда не даст ни Франтишка, ни Пепиты. Их ценность невозможно выразить краткими словами, перед ними можно только преклоняться и восхищаться ими...

Нами снова овладела меланхолия, мы вспоминали триумфальный путь блошиного цирка по Чехии и Моравии, его короткие гастроли в Венгрии, откуда венгерские жандармы выпроводили нас на границу, усмотрев в блошином цирке скрытую панславистскую пропаганду.

В некоторых городах Моравии нам вставляло палки в колеса духовенство.

Когда в Гельптинге я пришел пригласить священника на представление нашего блошиного цирка, он сказал мне:

— Я не могу рекомендовать своим прихожанам ваше предприятие, на нем не может быть благословения божьего, ибо дрессировка блох противоречит природе человека. В средневековых монастырях, как пишет аббат Ансельмус, блохи, которые кусали по ночам монахов и не давали им уснуть, тем самым побуждали их денно и нощно прославлять господа.

— Значит, вы считаете блох священными творениями? — сказал я. — Что же, могу вас заверить, что у нас в цирке потомки тех самых блох, что кусали младенца Христа в Вифлеемском хлеве.

Я подрался с ним и нокаутировал его, но все же нам пришлось удрать с нашим блошиным цирком в горы, потому что священник восстановил против нас весь край до самой Валахии.

Мы предавались молчаливым воспоминаниям, которые нарушил Местек:

— Терпеливый и предприимчивый человек обязательно одержит верх над человеческой глупостью. Надо только умненько взяться за дело. Важно не просто нарисовать, скажем, утку, а убедить собравшуюся поглазеть публику, что это не утка, а ягуар. Если прогорит одно предприятие, должно преуспеть второе, третье. Люди глупы, — продолжал он философствовать, — чем большую нелепость или чепуху вы им покажете, тем больше людей выложит денежки, чтобы поглядеть на нее. Надо изобретать для них все новые и новые сюрпризы. Что вы об этом думаете?

— Я полагаю, очень мало людей имеет собственное суждение, — ответил я. — Те, у кого есть собственный взгляд на вещи, в наши балаганы не ходят, их заполняют люди, верящие, что увидят все, что мы им обещали показать. Помните летучую мышь, которую мы поймали в Богдальце и выдали за австралийскую летающую ящерицу? И все готовы были пожертвовать монету-другую, лишь бы только увидеть ее. Или помните, как перед нашей палаткой толпа дралась за билеты, чтобы посмотреть на потомство того боа, который задушил английского вице-короля Индии? Между тем это был самый обыкновенный уж. А вспомните-ка, сколько народу валило к нам, когда Пепичек Ванек из Коширж изображал орангутана с Борнео?

— Как же не помнить, негодяй он был, — заметил Местек. — Перед последним представлением потребовал у нас двадцать крон, заявил, что за пятнадцать крон и кормежку не будет изображать орангутана. А ведь этот парень зарабатывал хорошие деньги на фруктах и конфетах, которые публика бросала ему в клетку. Он припрятывал их, а вечером, после закрытия цирка, продавал лавочнице, что была через дорогу. Поэтому мы и не хотели прибавлять. Так он обозлился и посреди представления, изображая орангутана, вдруг затянул: «На дорогу в Радлице...» Ну и паника поднялась! Тогда нас выслали из Табора. С мумией английского короля Ричарда III все получилось удачнее, а ведь это была всего-навсего свернутая свиная кожа. В этом разобрались только через полгода. Вы произносили над этой свиной кожей замечательную речь: «Перед вами один из самых знаменитых и отвратительных вырожденков, когда-либо сидевших на королевском троне. Этого подлого короля, которого физическое уродство превратило в страшилище, купавшееся в крови своих многочисленных жертв и поразившее самого Шекспира своим коварством и кровожадностью, — этого чудовищного короля высушили и... мы позволяем се-

бе демонстрировать его уважаемой публике консервированным, в виде мумии...»

— А потом, — сказал я, — начальник округа конфисковал у нас Ричарда III.

— Но из этого следует, — рассуждал далее Местек, — что на свете все возможно. Готов спорить, что большая часть населения земного шара кормится всякого рода жульничеством. Сейчас все дело в том, чтобы придумать что-нибудь новенькое. Подготовить для зрителей маленький сюрприз. Одурачить их настолько, чтобы каждый из них сам рекламировал нас. Показать им нечто такое...

— Подождите: показать нечто такое... — перебил я его, рисуя палкой на песке. — А зачем показывать «нечто»? Пойдем дальше. Поймите меня, абсолютно ничего не надо показывать публике.

— Ну, хоть какой-нибудь камешек, — умоляюще откликнулся Местек. — Я всегда что-нибудь показывал.

— Никакого камешка, — решительно возразил я. — Это вздор! Старая школа. Заявляю вам, что мы больше ничего публике показывать не станем. Это-то и будет сюрпризом. Вы говорите: «Хотя бы камешек» — так это делалось раньше. Зрителям говорили: «Это камешек с Марса». И они уходили, убежденные, что видели «нечто», но поражены не были. Но когда они абсолютно ничего не увидят, они будут потрясены. Увидите.

Я рисовал палкой на песке.

— Наш цирк будет круглым, просторным. Без окон, без отверстия в крыше. Там должна быть крошечная тьма. Два входа, прикрытые портьерой. Через один, впереди, публика входит, через другой, позади, — выходит. Потрясающие афиши: «Величайший сюрприз в мире! Незабываемое переживание! Только для взрослых мужчин! Дамы и дети не допускаются! Военные платят половину!» Людей мы пускаем по одному, с небольшими перерывами. Я стою снаружи, зазываю публику и продаю билеты. Вы стоите внутри, в темноте. Как только кто-нибудь входит, хватаете его за брюки и за шиворот и, не произнося ни звука, выбрасываете через заднюю дверь. Небольшая, доступная плата за вход. Увидите, что никто о ней не пожалеет. Люди желают друг другу столько зла, ручаюсь, что они будут нас рекламировать и подбивать других пойти посмотреть на этот «потрясающий сюрприз», говорить, что это нечто замечательное. Наше представление будет построено на психологической основе.

Местек некоторое время колебался, собственно, не из-за принципа нашего нового предприятия, а потому, что хотел усовершенствовать его.

— А не следовало бы нам разок хлестнуть каждого розгой? — спросил он, подумав немного. — Это было бы еще большим сюрпризом.

Я категорически возражал. Это только задержит нас. Вся процедура должна разыграться как можно быстрее. Едва человек войдет в темноту, как, не успев опомниться, уже оказывается снаружи. Именно в этом все дело. Наше предприятие вполне солидно. Мы обещаем сюрприз и держим свое слово. Никто не посмеет сказать, что мы жулики.

Наше солидное предприятие и вправду имело колоссальный успех. Открыли мы его сначала в Бенешове, где для этого были подходящие условия: солдаты, любопытная публика. Я заказал афиши, соответствующие надписям на на-

шем балагане:

**ПИКАНТНО!**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН!**

**ПОТРЯСАЮЩИЙ СЮРПРИЗ!**

*Никогда в жизни вы не забудете нашего предприятия!*

*Никакого надувательства!*

*Солидные гарантии!*

Общедоступная плата 20 геллеров, афиши, соблазн таинственного, пикантного сюрприза для взрослых — привлекали в огромном количестве мужчин — и военных и штатских. В толпе были и шестнадцатилетние подростки, готовые на мой вопрос о возрасте ответить, что им сорок или пятьдесят, только бы попасть внутрь.

Начали мы в шесть часов. Первым вошел толстый господин, с пяти часов ожидавший у входа, чтобы молниеносно пронестись через наше сооружение и вылететь с другой стороны.

Я слышал, как он говорил публике:

— Это замечательно, пойдите и убедитесь сами!

Я не ошибся в психологии толпы. Все, кого мы выбросили, горячо рекламировали нас. В течение полутора часов через мускулистые руки Местека прошла не одна сотня взрослых мужчин. Некоторые проходили по нескольку раз, снова возвращались и снова попадали в руки Местека. Все лица сияли радостью и удовольствием. Я заметил, что многие приводили знакомых и от всего сердца желали им увидеть «потрясающий сюрприз».

Где черту не справиться, он пошлет окружного начальника. Начальник появился в половине восьмого.

— Есть у вас разрешение? — спросил он меня у входа.

— Войдите, пожалуйста, — ответил я.

В темноте между окружным начальником и Местеком произошла короткая схватка. Начальник, сознавая важность своего должностного положения, отчаянно сопротивлялся «потрясающему сюрпризу», но в конце концов все-таки вылетел через вторые двери к ликующей толпе.

Потом пришли полицейские, опечатали нашу палатку и отдали нас под суд за оскорбление должностного лица и публичное насилие над ним.

— До конца дней своих не буду больше создавать солидных предприятий, — заявил мне Местек, когда мы с удобством расположились на тюремных нарах. — С сегодняшнего дня буду жить только мошенничеством.

## Что я посоветовал бы коммунистам, если бы был главным редактором правительственного органа — газеты «Чехословацкая республика»

### Вступление

Уважаемая редакция газеты «Руде право»!

Я никак не могу согласиться с тем, что вы называете правительственный орган «Чехословацкая республика» лакеем правительства. Совершенно естественно и очевидно, что правительственный орган не может поступать иначе, поскольку: «Чей хлеб ешь, тому и подпеваешь». Сотрудники «Чехословацкой республики» не проявляют собственной инициативы, но и нигде в мире я не встречал, чтобы редактор правительственного органа выступал против правительства. Мне известен лишь один случай времен Маньчжурской династии, когда в XVI веке редактор правительственной газеты Императора Земли и Неба, Синь Вэньчжи, написал, что у Императора Земли и Неба сломался ноготь на мизинце правой руки. За это он был повешен на крюк, как наш Яношик, а затем и четвертован. Вы представляете себе теперь, каков должен быть моральный облик редактора в Китае, которому грозит довольно неприятное членовредительство. Или вам бы хотелось, чтобы редакторы правительственного органа объявили себя коммунистами и начали нападать на правительство? Разве главный редактор Сватек, редактор Филип или Адольф Земан, работавшие в редакции австрийской «Пражской официальной газеты», выступали против Австрии? Редактор Филип на этот раз уже в «Чехословацкой республике» даже написал панегирик к юбилею покойного Франца-Иосифа. А Сватек был тайным советником. Вот это настоящий моральный облик. Какая-то в державе датской гниль, скажете вы? Нет, это не касается правительственного органа, где все разделено по полочкам в соответствии с рангами. Здесь не редакторы, здесь служащие. И в их наставлениях нет ничего плохого. Они могли бы поучать до бесконечности, но, как я уже заметил, им не хватает инициативы и фантазии. Надеюсь, что моя статья станет руководством к тому, как правительственному органу следует вести себя в будущем.

*Жофин, 7 апреля 1921 года*

Статья в «Чехословацкой республике», наставляющая коммунистов и побуждающая их к приличному поведению, могла бы звучать примерно так:

### Педагогическая мудрость

Некоторые ораторы-коммунисты говорят слишком громко. Это совершенно неуместно. Было бы желательно, чтобы ораторы, направляемые на митинги, говорили ненавязчивым тоном и берегли свой голос. Им следовало бы перед каждым собранием являться в секретариат нашего журнала, где они могли бы получить от господина тайного советника определенные указания о том, что и как им говорить. Там же мы бы их сфотографировали, а фотографии послали в полицейское управление на память.

Мы уверены, что они не будут злоупотреблять советами, которые мы даем из лучших побуждений. Мы всегда рады подать идею, помочь советом или наставлением. Для ораторов-коммунистов мы изготовили элегантные значки с надписью «Одобрено «Чехословацкой республикой»». Имеющий этот значок может не опасаться, что его арестует жандармерия.

Мы настолько идем навстречу господам ораторам-коммунистам, что даже составили надлежащие тексты речей, которые они будут произносить на митингах и собраниях.

Мы не хотим баловать коммунистов своей любовью к ним, не потакаем всем их требованиям, не приучаем к изнеженности и капризам, своеволию и непослушанию, но стремимся быть к ним в меру строгими. Мы стараемся приказывать не грубо, а ласково, однако не идем ни на какие уступки. Если мы что-то приказываем, то это диктуется необходимостью. Наказывая, наше правительство избегает телесных наказаний.

Наше наказание — это не месть, а серьезное предупреждение, которое должно неизбежно следовать за неправильным поступком. Подтверждением этого служило тргановское дело.

Из всего этого следует, что под нашей любовью к коммунистам мы подразумеваем нечто совершенно отличное от того, что себе представляют некоторые. Это, скорее, выдержка и терпение, которые ведут наш правительственный орган к педагогической мудрости и в свою очередь позволяют самому правительству глубоко и тонко разбираться в том, что коммунистам полезно, а что вредно. Наша «Социалистическая Чехословакия» выбирает наилучшие пути и средства сближения коммунистов с правительством.

Наш правительственный орган не желает ничего иного, как вести коммунистов в узде своей любви, начиная от самых зачатков их развития и не теряя своей дружеской власти над ними в дальнейшем. Силой своей любви мы будем стремиться преодолеть все трудности и навсегда сохранить в душах коммунистов благодатную почву для восприятия ими наших увещаний.

Пусть коммунисты почувствуют благотворное влияние нашей любви, и в их жизни не останется незаполненной пустоты.

Наши советы и наставления являются для коммунистов ценным наследством и редким даром на всю жизнь.

Прежде всего нам бы не хотелось, чтобы коммунисты занимались политикой и решением социальных вопросов.

Как было бы замечательно, если бы вместо митингов и собраний они играли в песочек, весело озорничали в уютных уголках наших многочисленных парков, а вместо лекций о III Интернационале играли бы в различные коллективные игры. С этой целью мы откроем в «Чехословацкой республике» рубрику «Игры и развлечения», которая уже существовала когда-то в «Счастливом домашнем очаге».

А пока мы рекомендуем игру в отгадки, фанты и в садовника. Если же на политическом горизонте появятся тучи, можно занять себя вырезанием бумажных солдатиков или штопкой чулок.

Если вы попали под массовое увольнение и находитесь без работы, то, имея достаточно свободного времени, вы можете изготавливать разные предметы из твердого картона для украшения своего быта.

Главное — остерегаться читать все прочие газеты, кроме правительственного органа. Устремитесь к природе, дышите свежим воздухом, наблюдайте, как старательно трудятся муравьи.

«Руде право» недавно упрекнуло нашу газету в том, что мы предписываем ораторам, как они должны говорить 1 мая. Мы до сих пор не опубликовали, как конкретно мы представляли себе первомайские речи коммунистов. Отве-

чая на выпад, прилагаем краткое содержание тезисов:

«Первое мая — первый день месяца мая. Май, в свою очередь, первый месяц активного высаживания цветов и главный месяц весеннего сева. В это время мы высаживаем рассаду всех овощей, причем самые нежные лишь к середине месяца. Высаживаем также рассаду цветов, которые мы вырастили заранее, и прямо в землю высеем семена растений, которые ранее пострадали бы от холода, это касается более всего таких культур, как фасоль, тыква и огурцы».

Вот в таком ключе должны были бы произноситься речи всех ораторов, и мы уверены, что массы расходились бы совершенно довольные и с сознанием того, что в мае сеют качанный салат, кольраби, цветную капусту, горох, морковь, салатный цикорий, редиску, летнюю редьку и т. д.

Никто не может упрекнуть нас в том, что мы не влияли и не оказывали давления на содержание транспарантов, которые несли демонстранты. Однако мы с грустью наблюдали за тем, как, чем дальше, тем больше, углубляется пропасть между капиталом и пролетариатом.

Давайте говорить друг другу правду и будем друзьями! Что пролетариату нужно от капитализма? Как было бы замечательно, если бы на транспарантах было начертано: «Да здравствует капитал! Преданные вам рабочие».

Конечно, для того, чтобы все рабочие достигли уровня, когда они будут совершенно довольны своей судьбой, требуется более высокая внутренняя культура и благородство души. Поскольку так называемая партия правых достигла этого совершенства, то мы надеемся, что и коммунисты, внимательно читая «Чехословацкую республику» и программу нашего правительства, достигнут такого высшего уровня внутренней культуры, когда 1 мая станет настоящим праздником труда трудящихся масс на благо их братьев капиталистов. Ведь разве есть в жизни человека что-нибудь более прекрасное, чем сознание того, что он может быть полезен своим согражданам?

Если все будет следовать нашим советам, то мы уверены, что даже в самой бедной крестьянской семье и в будни будут подавать к обеду то, что подают сейчас министрам по воскресеньям:

Суп из куропаток.

Рагу из омаров в масляной корзиночке с салатом «оливье» в цветках мака.

Бифштекс с соусом «мадера» и овощами.

Цветная капуста в розочках из ветчины.

Окорок серны с венским кнедником.

Лимонные корзиночки с брусникой.

Жареные цыплята с салатом и компотом.

Крем «Крамарж» в грильяхной раковине.

Торт «Тусар». — Торт «Бенеш».

Ваза со сладостями. — Черный кофе. — Фрукты.

## Похождения общительного человека

Древние определяли человека как животное общественное. Если я не ошибаюсь, поскольку уже порядком забыл греческий, они называли несчастного человека «зоон политикон».

Этим я объясняю, что люблю поговорить с людьми, которых вижу первый раз в жизни, вмешиваюсь в их разговор и, несмотря на протесты, пытаюсь завязать с ними дружеские контакты.

При этом я систематически убеждаюсь, что древние греки сильно ошибались, определяя человека как животное общественное.

Современный человек — это ужасный общественный индивидум. Недавно в хухельском лесу я бесхитростно вмешался в разговор одной любовной парочки и лишь с большим трудом отбил от партнера, который использовал приемы, недопустимые в классической борьбе.

В конце концов я загнал их к самому Слиневцу, где потерял из виду в марморном карьере.

Итог подобного завязывания светских контактов довольно печален.

Собаки в этом смысле гораздо более человечны. Скажем, бульдога, происходящего из псарни в Карлслуге, продают в Прагу, и здесь он, к примеру, на Виноградах, встречается с какой-нибудь дворняжкой из Коширж. Они видятся первый раз в жизни, но все же обнюхивают друг друга, приветствуют лаем и заключают, хотя и временный, но искренний дружеский союз. Они бегут рядом, гоняются друг за другом, играют, и бульдог даже не задумывается над тем, что он ведет род из псарни, а та, другая, с которой он познакомился, представляет собой какую-то жуткую смесь, не знающую даже своего отца, вернее сказать, своих отцов.

И тут на сцену выступает человек, владелец бульдога, и палкой разрушает только что установившийся общественный контакт.

Бедная лохматая дворняжка грустно сидит на тротуаре с высунутым языком, и ее взгляд как бы говорит: «И ты, Брут». У нее уже есть опыт общения с людьми.

И у меня есть свой опыт.

Сажу я как-то один за столиком в ресторане Дома представительств. И чувствую себя одиноким как перст. Напротив — компания дам и господ, которую можно охарактеризовать понятием: узкий круг.

Я направляюсь к ним, переносу свой стул, чашечку кофе, подсаживаюсь к их столу и очень вежливо говорю:

— Разрешите. Я сажу один и мне грустно. Я вижу, вы оживленно беседуете, и чувствую потребность поговорить с вами.

Замечаю, что разговор и оживление, которое у них царило — все мигом спало. Все молчат как рыбы, и вдруг один произносит:

— Что вы себе позволяете? Это уже слишком.

Я пытаюсь объяснить, что я человек общительный, а не какой-нибудь бирюк, что я люблю общество и готов приспособиться к их компании.

Тут кто-то из них встает и категорически заявляет:

— Вы уйдете или нет? Иначе я позову метрдотеля.

— Пожалуйста, зовите, — отвечаю я кротко.

Когда приходит метрдотель, они наговаривают на меня, что, мол, я во что

бы то ни стало пытаюсь втереться в их общество.

Я замечаю, что от гнева им трудно говорить, а дамы бросают на меня уничижающие взгляды.

Я стою на своем и говорю, что не хочу сидеть один, что не сдвинусь с места, что я человек общительный и т. д. Все как об стенку горох.

В конце концов меня выводят из кафе.

Я мог бы привести сотни таких примеров. Заговорите, например, в трамвае с незнакомой дамой и спросите, почему она вам не отвечает. И увидите, кондуктор заставит вас сойти.

Подойдите на улице к незнакомому господину и попытайтесь завязать с ним разговор. Это может кончиться тем, что вместо разговора с незнакомым господином, вы будете иметь разговор с полицейским.

Некоторые обходятся и своими силами. Однажды меня даже хотели выбросить из скорого поезда Прага — Вена...

Пять раз меня избивали до беспамятства. Три раза боксерские поединки были за мной. Два раза меня сталкивали в реку с парохода. Недалеко от Черхова, в лесу, один турист начал целиться в меня из револьвера, который я теперь храню, как дорогую память.

В другой раз мое стремление к обществу стоило мне параграфа о вмешательстве в действия должностных лиц.

Но, так же как Паоло Мантегацца, могу сказать: «Я не склонюсь, не уступлю и буду твердо стоять на своем. Я страдаю, но не дам сломить себя».

Я «зоон политикон», и баста!

На вокзале Вильсона я встретил недавно молодую красивую женщину, которая только что откуда-то приехала. Она держала на руках закутанного в платок младенца, и я заметил, что она плохо ориентируется в хаосе и ритме городской жизни, так как она как раз спрашивала служащего, как проехать в Смихов.

— Я тоже еду в Смихов, — сказал я, хотя мне там совершенно нечего было делать, — если желаете, поедemте вместе.

Она приняла мое предложение, и мы отправились. Женщина была разговорчива, и когда я спросил ее, откуда она родом, ответила:

— А вам какое дело?

— Да, конечно, — сказал я и заговорил на другие темы.

Когда мы добрались до Индржишской улицы, она заявила, что хочет пить, да и, пожалуй, съела бы сосисок с хреном.

Я пригласил ее в небольшую пивную, заказал сосиски с пивом, и мы начали беседовать о краснухе у свиней. Затем я перешел к падежу птицы, к картофельным вредителям и к тому, что случается, когда корова переест свежего клевера.

Во время нашего разговора младенец что-то тихонько мурлыкал.

Когда она напилась и наелась, то попросила меня подержать ребенка, так как вспомнила, что рядом с почтой у нее живет тетя.

— Я сейчас вернусь вместе с ней, — сказала она и ушла.

Я баюкал маленького птенчика, что пробудило во мне тоску по простому семейному очагу, и ждал.

Прошло полчаса. За это время птенчик превратился в шакала. Он орал, буд-

то его резали. Один из посетителей расплатился и ушел. Хозяин бросал на меня враждебные взгляды и наконец сказал:

— Приходит сюда первый раз и устраивает из пивной казарму.

Затем поднялись и остальные посетители, заметив:

— Кто это может выдержать!

Я не отвечал. Пивную переполняли волны людской злобы. Хозяин начал браниться. Кто-то хотел зайти выпить пива, но, услышав рев порученного мне птенчика, развернулся на пороге и ушел.

— Этот посетитель выпивает до пятнадцати кружек, — сказал хозяин.

— Деньги есть — чего не выпить, — ответил я и снова погрузился в молчание, признавая про себя, что хозяину было от чего расстроиться.

Прошло еще тридцать минут. Трактирщик уже открыто допытывался:

— Когда, наконец, придут за этим щенком?

Я решил поговорить с ним по душам. Говорил я долго, причем хозяин все это время носился по пустому залу. Я рассуждал о том, что младенец просто должен кричать, чтобы дать работу легким. В этом проявляется и его стремление к деятельности. Он же должен что-то делать. Не лежать ему тут, как бревно. Все трактирщики в его годы кричали и пищали точно так же, как этот птенец. В его возрасте орали даже теперешние министры.

Прошел еще час. Я поражался, как у моего питомца хватает сил так долго орать и выть.

И вынужден был сделать замечание хозяину, который сказал, что выбросит меня из пивной вместе с этим птенчиком.

— Пан трактирщик, что вы говорите! — сказал я. — Выбрасывать ребенка на улицу? Это беззащитное создание, которое нужно холить и лелеять? Этого бедняжку, несчастного воробышка?

— Ори себе спокойно, — обратился я к своему питомцу, — не обращай внимания, кричи, пока Смотровая башня не рухнет.

— Какой ужас, — охал хозяин, — с ума можно сойти.

— Привыкнете, — сухо заметил я.

Я прождал мать младенца до вечера.

За эти восемь часов я выдержал неисчислимое множество нападков со стороны хозяина и первый раз в жизни видел, как пожилой мужчина плачет. Когда мой птенец услышал всхлипывания трактирщика, он разорался пуще прежнего. Я купил ему бутылку молока, напоил и снова принялся ждать, туманно подозревая, что ребенок подброшен.

Хозяин за это время выпил бутылку рома, что совсем не способствовало прояснению его мыслей. Он ругал меня и ребенка, сказал, что я испортил ему торговлю, и болтал, что я хочу его разорить.

Потом он хотел проткнуть себя ножом для резки колбасы, а в десять часов сказал: «Закрываем» и пошел опускать жалюзи.

Так я оказался со своим питомцем на улице.

В полицейском участке старый инспектор, которому я поведал, как ко мне попал ребенок, сказал:

— Ну, надо же, действительно странный случай. Вот так разговоришься с незнакомой женщиной, поведешь ее в пивную, а она возьмет да и подкинет тебе ребенка. А документы у вас есть? А? Так у вас с собой нет ни паспорта, ни

какого другого удостоверения? Дома оставили? Вы не носите документы с собой? Гм, очень интересно. Принести ребенка в полицейский участок — это каждый может. Здесь не приют для младенцев. Увести.

Дремавший полицейский поднялся, взял ключи, и ночлег мне на эту ночь был обеспечен.

Утром моя личность была установлена. Добродушный комиссар, отпуская меня на свободу, сказал:

— Будет вам наука, как заговаривать с незнакомыми людьми и завязывать с ними знакомство.

Но меня не переделаешь. Я остался твердым и несломленным. Меня не собьют те испорченные люди, которые не понимают, что человек из общества не может поступать иначе.

## История Господа бога

### I

Не думайте, что я собираюсь делать рекламу одному скульптору. Но должен предупредить, что человека, который вылепил из глины господа бога, зовут Власта Аморт. Далее вы убедитесь, что это никакая не реклама.

Мой приятель Аморт представлял себе господа бога мужчиной с длинной бородой, под которой скрывался Данте, Шекспир, Куприн, Горький, Сватоплук Чех и магистр Ян Гус.

Под всем этим великолепием изображена грязь, достигающая самих ног господа бога. Под ногами — крест, на котором распята фигура человека с ужасно отчаянным выражением лица.

Есть от чего отчаяться. Ведь из грязи выглядывают различные фигуры, которые относятся к страдальцу безо всякой жалости. Покойник Франц-Иосиф душит его, несмотря на свою маразматичность, Вильгельм хочет проткнуть кинжалом, а турецкий султан скребет беднягу по груди, будто желая сосчитать на ней все волоски.

Эту скульптурную группу Аморт и называет «Господь бог». Я уверен, что после опубликования этой статьи мой старый приятель Власта Аморт перестанет со мной разговаривать, будет выдумывать разные небылицы о моих похождениях в России и распространять их у моего старинного недруга пана Петршика, владельца винного погребка в Перштыне.

Несмотря на это, я настолько уверен в себе и настолько твердо стою на ногах, что могу сказать лишь одно: «Врата ада меня не сломят».

### II

На Староместской площади была когда-то скульптура девы Марии. Она стояла прямо напротив места казни чешских дворян. И была установлена для того, чтобы Фердинанд мог с помощью божьей отрубить побольше голов бунтовщиков.

Позже, когда, спустя столетия, люди пришли к выводу, что потомкам Фердинанда нечего делать в Чехии, пришло время и этой несчастной скульптуры. Она была свергнута с пьедестала 8 декабря 1918 года, несмотря на протесты представителя Национального комитета пана Цирила Душека и одной старушки, которая стояла на коленях перед главным исполнителем всей этой комедии.

Причем дело дошло до конфронтации.

— Мы Национальный комитет, — сказал пан Цирил Душек, на что толпа ему ответила: — А мы народ, и мы это дело снимем.

И сняли. Причем каждый взял себе какую-нибудь часть. Жижковские мальчишки взяли голову и кусок крыла от ангела, а я, только что возвратившись из России, совершенно случайно получил на память от одного из них, участвовавшего в этом деле, марианский нимб со звездочками. К сожалению, звездочек там уже оставалось очень мало.

Из клерикальных журналов я узнал, что будет вестись расследование. Что Словакия недовольна. Что ж, я все беру на себя. Мой адрес: Жижков, ул. Иеронима, д. 3, 4-й этаж.

Но предупреждаю: я попадаю из браунинга с шестидесяти шагов, в 1917 году я занял первое место в боксерском турнире в Амстердаме, и спущу с лестницы каждого, причем лестницы в нашем доме винтовые.

Sapientī sat[245].

### III

Господь бог долго пылился в винном погребке Петршика. Один помещик внес за господа задаток, но не пришел за ним.

На этом основании завязалась переписка между Властью Амортом и исчезнувшим покупателем:

Многоуважаемый господин!

Спешу предупредить Вас, что Господь бог весь покрылся пылью и страдает, главным образом оттого, что ему противопоказана атмосфера ресторана. В табачном дыму он теряет все свое обаяние. С него осыпается бронза. Поскольку вы дали мне задаток, прошу вас немедленно забрать Господа бога и доплатить оставшуюся сумму.

Власта Аморт.

Ответ был таков:

Дорогой приятель!

Не помню, чтобы я давал Вам задаток за какого-то Господа бога. Из церкви я вышел уже в 1907 году. Я неверующий и с 1906 года подписываюсь на «Вольную мысль».

Йозеф Кокеш, помещик из Малешниц, около Брно.

И Господь бог продолжал взирать сверху на ресторанное общество.

— Черт побери, — говорил Аморт, — мученье мне с этим богом. Я их продал уже несколько дюжин, но, видно, сейчас Господь бог падает в цене. Никто не хочет его покупать.

Дни проходили, не принося никакой надежды. Табачный дым действительно был губителен для Господа бога. Он начал сесть и облупился.

— Надо его покрасить, — сказал Аморт и купил серо-зеленой краски, подходящей для седин Господа бога.

И снова дни Господа бога потекли уныло и буднично. Даже новая краска ему не помогла.

В его сединах продолжала скапливаться пыль, император Вильгельм потерял кинжал, которым собирался пронзить человека на кресте, турецкий султан утратил жестокое, леденящее душу выражение лица, а Франц-Иосиф смотрел так глупо, как будто был живой. Это была самая красивая фигура из всей группы.

Так как с Господа бога периодически стирали пыль, Вильгельм потерял свои исторические усы и выглядел так, как будто зашел в парикмахерскую и тут его застала революция.

#### IV

Как я уже рассказывал, мне во владение достался нимб с марианского столба, стоявшего напротив места казни чешских дворян. А надо сказать, что мне было жалко Амортова Господа бога, который, запылясь, грустно взирал на всех у Петршика.

— Послушай, — сказал я, — хочешь поменять Господа бога на нимб девы Марии?

Он с минуту смотрел на меня с удивлением и наконец сказал:

— Давай.

Теперь у меня есть Господь бог, у Аморта — нимб девы Марии и мы оба довольны.

А если уважаемым властям что-то не нравится, хочу подчеркнуть, что история эта вымышленная.

А если бы она и была правдивой, нам с Амортом до этого мало дела.

### Брачная жизнь мужчины и женщины

Учитель геометрии Гендрих возвышался на кафедре как Цезарь, как бог, как существо высшего порядка. Взирая на класс сверху вниз с выражением величайшего превосходства он вещал перед сгрудившимися за партами гимназистами:

— Прямая может пересекать кривую, и в этом случае она является секущей, или может касаться кривой, и тогда она называется касательной к данной кривой. Прямая, соединяющая две точки кривой, называется хордой. И, решительным жестом указав на чертеж, сделанный большим циркулем на грязной классной доске, он торжественно провозгласил: «Прямые  $s$ ,  $s_1$  являются, как изволите видеть, секущими, прямые  $t$ ,  $t_1$  — касательными, а прямые  $AB$ ,  $CD$  — хордами.

Учитель был прекрасен в своем величии, и великолепие это наводило ужас, когда, медленно отняв от доски руку и поднеся ее к карману, он обратил взор к классу.

А потом, сделав два стремительных шага обратно к доске, он стал похож на бенгальского тигра в момент, когда тот готовится прыгнуть на скорбящего индуса, совершающего паломничество к верховьям Ганга.

Тихим голосом он произнес:

— Скажите, Халоупецкий, может ли касательная окружности одновременно пересекать данную кривую?

Ответа не последовало. Гендрих повысил голос и повторил громче:

— Халоупецкий, может ли это произойти с касательной окружности?

В классе стояла гробовая тишина. Гендрих вскочил и, сделав великолепный прыжок от доски к передним партам, заорал:

— Халоупецкий, как называется хорда, проходящая через центр окружности?

Стояла мертвая тишина. С первых парт все повернулись назад, где на предпоследней парте сидел Халоупецкий. Собственно, он не сидел, ибо видна была лишь его выгнутая спина, торчащая между крышкой парты и ее спинкой,

словно... гора на равнине или хвост страуса, который — вот дурачина! — сунул голову в песок и думает, что его не видно.

Величественно взмахнув рукой, учитель распорядился:

— Поднимите его!

Когда соседи извлекли Халоупецкого из-под парты, все увидели его покрасневшую физиономию. Гимназист оказался лицом к лицу с учителем. А тот успел расслышать, что когда Халоупецкого поднимали, раздался звук падающего предмета. Видимо, книги. Да, так падает именно книга: удар плоскости о плоскость.

Халоупецкий выглядел совершенно спокойным и готовым ко всему.

— Что вы делали под партой, Халоупецкий?

— Читал.

— А что вы читали?

Халоупецкий оглядел класс и гордо произнес:

— «Брачную жизнь мужчины и женщины», сочинение Дебая.

— Что это за книга, Халоупецкий? Может быть, роман?

С победоносным видом оглядев класс, Халоупецкий все так же гордо заявил:

— Это естественная история и медицинское описание брачной жизни супругов со всеми мельчайшими подробностями. Речь идет о новой теории определения пола при деторождении, господин учитель, ну, и о половом бессилии, о бесплодии. Имеется и приложение: «Специальная гигиена беременной женщины и новорожденного». Я как раз дочитал последнюю страницу.

Он поднял книгу, вылез из-за парты и, провожаемый завистливыми взглядами одноклассников, отнес ее учителю, а затем подошел к доске, как несломленный герой восходит на эшафот или на гильотину.

Лицо его излучало спокойствие. Он знал, что учитель Гендрих усядется сейчас за стол, начнет перелистывать книгу и читать ему нотацию. А потом, подобно следователю, занесет все в классный журнал и объявит ему, что передает дело высшей инстанции — чрезвычайному полевому суду, грозному трибуналу инквизиции, — то есть педагогическому совету, на котором председательствовать будет старикан-директор.

Халоупецкий понимал, что пропал, что законоучитель заклеит его как человека безнравственного, как извращенца. Но ведь у него не было времени, чтобы почитать где-нибудь в саду, в укромном уголке. Книгу ему одолжил всего на полдня знакомый четвероклассник из соседней гимназии. И он честно старался прочитать ее в течение уроков чешского языка, физики и геометрии. И прочитал. Теперь ему совершенно ясно все, что касается половой жизни. А это куда важнее, чем все прямые и кривые, вместе взятые. После нас хоть потоп. Сегодня же вечером он все разъяснит Мане, знакомой девчонке из «Женской производственной артели». Ведь она однажды дала ему пятнадцать крон, чтобы он купил ей «Половую гигиену», а он все эти деньги проиграл в бильярд.

Все происходило так, как он и предполагал. Учитель уселся за стол, раскрыл классный журнал и «Брачную жизнь мужчины и женщины» Дебая и, перелистывая страницы, приступил к экзекуции:

— Вы, Халоупецкий, всегда были скверным учеником. Курили в уборной, а в позапрошлом году вы меня, своего классного наставника, едва не сбросили в

воду, налетев в байдарке на мою лодку. Я до сих пор уверен в том, что вы хотели меня утопить...

— Как щенка, — выкрикнул кто-то в классе измененным, придушенным голосом.

— Ручку, — потребовал учитель. А затем мрачно произнес: — Кто кричал, мне безразлично. Расследовать это я не собираюсь, а запишу всему классу замечание в журнал. Один за всех и все за одного.

— Так точно, — опять раздался в классе придушенный голос, а затем последовал общий взрыв смеха.

Смех стих, и учитель Гендрих смог продолжить:

— Вы всегда были крайне недисциплинированы, и сегодняшний случай — это лишь продолжение, а может быть, и развязка вашего скверного поведения. Вы — самый неспособный ученик в классе. Не усвоили, что направления непараллельных прямых отклоняются друг от друга. А вот рассуждения о браке, содержащиеся в этой книге, прочитали с превеликим наслаждением, да еще к тому же подчеркнули: «Существование и развитие живых существ основаны на инстинкте продолжения рода, который проявляется в соединении полов». Педагогический совет выбьет у вас из головы инстинкт продолжения рода, общественное осуждение для вас — слишком малое наказание. В то время как я объясняю, что такое секущая и касательная к кривой, вы под партой читаете о том, что брак с точки зрения физиологической является не более чем соединением противоположных полов, преследующим ту же цель, то есть постоянное сохранение вида.

— Так точно, — снова раздался в классе чей-то голос, но сразу же голосов двадцать прокричали хором:

— Заткнись, а то получишь. Не мешай господину учителю!

Воцарилась гробовая тишина. Если бы в эту минуту вошел самый строгий инспектор, он вынужден был бы сказать Гендриху: «Поздравляю, у вас самый образцовый класс. Нигде не встречал, чтобы ученики слушали материал с таким интересом».

— Халоупецкий, — продолжал между тем учитель, — из шестой задачи в учебнике вы выучили лишь прямой угол, а острый, тупой и вогнутый пропустили. Но это обстоятельство нисколько не помешало вам усвоить, что девственная чистота и половое воздержание невыносимы, и если бурные страсти подавляются без надежды на их удовлетворение, то мужчина и женщина становятся задумчивыми и малоразговорчивыми. Начертите мне при помощи транспортира угол в семьдесят пять градусов. Вот видите, Халоупецкий, даже этого вы не умеете. Читать на уроке геометрии о поясе Венеры вам представляется куда более важным, чем знать, что такое радиус. Упиваться описанием человеческого тела для вас более обязательно, чем попытаться понять, что овал есть прямая, подобная эллипсу, состоящему из дуг круга. Ответьте мне, что такое эллипс? Ведь не можете?

Учитель помолчал, торопливо перелистал книгу и воскликнул:

— А вот если бы вас спросили о каком-нибудь эротическом явлении, то я уверен, я ни минуты не сомневаюсь, что ответ ваш был бы весьма подробным.

Глядя в книгу, он спросил Халоупецкого:

— Скажите мне, к примеру, что такое эротомания?

В тишине было слышно, как тикают карманные часы Матоушека, сидевше-

го за первой партой.

И Халоупецкий без запинки ответил звонким голосом:

— Эротомания есть эротическое безумие, которому подвержены в одинаковой степени представители обоих полов.

— Ничего подобного, Халоупецкий, — поправил учитель, заглядывая в текст соответствующей главы: — Не подвержены, а на них обрушивается.

— Это большая разница, мальчики, — обратился он к классу. — Эротомания в одинаковой степени обрушивается на представителей обоих полов, но подвергнуться эротомании нельзя. Продолжайте, Халоупецкий. Или дальше вы не знаете?

По-прежнему уверенный в своем знании материала, Халоупецкий продолжал:

— Эротоман бывает увлекаем страстью к предмету либо действительно, либо идеальному: предается мечтаниям лишь о любви, о счастье, о сладострастии и, будучи полон огня, пылающего в нем, непрерывно поклоняется предмету своих горячих чувств. Эротоман в своей страсти целомудрен, что иллюстрирует следующий пример.

— Достаточно, Халоупецкий.

Учитель углубился в чтение; прошло довольно много времени прежде чем он вновь обратился к Халоупецкому при напряженном гробовом молчании класса:

— Скажите нам, Халоупецкий, что такое афродизиакос?

— Афродизиакосом, — последовал немедленный ответ Халоупецкого, — называются различные питательные и лекарственные вещества, которые мы применяем, чтобы оживить уже гаснущее в нас пламя физической любви или разжечь это пламя вновь, когда оно совсем угаснет. Рецепты на эти средства в большинстве своем составлялись из веществ, неприятных на вкус и вызывающих отвращение. Многочисленные факты, записанные в древней и новой истории, не оставляют в том никаких сомнений.

— Слишком поверхностный ответ, Халоупецкий, — рассердился учитель. — Отчего, например, помешался Калигула, римский император? Какой состав имел любовный напиток, поднесенный ему Кесонией?

Халоупецкий, до этого момента невозмутимый, запнулся. Питая в течение всех лет учебы отвращение к историческим фактам, он пропустил эти примеры.

Он начал хватать воздух ртом и вопросительно взирал на товарищей с первых парт в ожидании подсказки. Но какое там! Те, сами жаждущие познаний, ждали объяснения учителя, как милости божьей.

— Так я вам скажу, Халоупецкий. Она напоила его отваром из шлемника, мяты перечной, настурции садовой. Запишите это, мальчики. Вот что было причиной помешательства императора Калигулы. Вижу, Халоупецкий, что вы не приготовили урок.

Учитель перелистал несколько страниц, подошел к Халоупецкому, держа в руках записную книжку, и окончательно сразил его следующим вопросом:

— В каких пределах колеблется рост новорожденного? Потихе там!

Это в классе снова начался шум.

Халоупецкий понял, что погиб. К цифрам он питал такую же неприязнь, как к историческим фактам. И раздел о гигиене новорожденных он лишь про-

бежал.

— Итак, не знаете, — проворчал учитель. — Не знаете, конечно, и то, в каких пределах колеблется вес новорожденного?

Шум в классе нарастал. Все словно проснулось. Халоупецкий молчал.

— Ставлю вам единицу, Халоупецкий, идите на место.

Прежде чем Халоупецкий добрел до парты, школьный звонок возвестил конец урока и тем самым привел к развязке это интересное происшествие.

За это я чрезвычайно признателен школьному сторожу. Спасибо.

## Марафонский бег

**Б**родяжничая перед войной по Венгрии, я попал в город Надьканижу, где имеется пивоваренный завод пивоваром-чехом, 120 метров старинных крепостных стен и могила какого-то турецкого визиря тех времен, когда Надьканижа была еще резиденцией турецкого паши, окруженной морем безбожных наемников принца Евгения Савойского. Маленький аббат, как называли этого палача, так удачно бил из мортиры по городу, что на площади одному визирю ядро оторвало голову. Тюрбан с этой головы находится в музее Надьканижи, но кажется мне весьма подозрительным. Опасаюсь, не устроили ли с этим тюрбаном такого же жульничества, как у нас с языком Яна Непомуцкого. Уж очень он новенький на вид. В городском музее выставлены также кости верблюда, на котором сидел визирь, когда с ним случилось это несчастье. Здесь уж подлог ясен как божий день. Только у карликовой овцы могут быть такие тонкие и маленькие косточки.

Больше никаких достопримечательностей там нет. Улицы утопают в пыли, в садах на окраине города тучи комаров. За неделю до моего приезда в этот город там была разоблачена чуть ли не десятая растрата в городском управлении и в ратуше да закончилась сессия суда присяжных, на которой было рассмотрено 8 дел местного масштаба об убийствах с целью грабежа и 32 дела о крупных мошенничествах. По-видимому, волна цивилизации докатилась и сюда.

В городском саду тоже кусали комары, а в ресторане офицеры венгерского ополчения без конца заказывали цыганам свою любимую «Uram, uram, biró uram» («Господин, господин, господин судья»). Глупая и противная песенка!

В таком городе долго не проживешь. Я попал в гостиницу, где происходил съезд всех клопов Надьканижи и окрестностей. Комната, которую мне отвели, не отличалась элегантностью. Там были даже корыто, ящик для мусора и кувшин вместо умывальника.

Все это настолько вывело меня из себя, что на следующий день я снова отправился в городской сад и там познакомился с барышней из почтенной чиновничьей семьи. Представился я как миллионер, от скуки путешествующий пешком по Европе. Мое имя она, конечно, должна была слышать: «Гордон Беннет».

Барышня была очень рада, что я немного говорю по-венгерски. Я согласился принять приглашение к ужину и какую-то женщину из их дома послал в гостиницу за моим туристским мешком с грязным бельем.

Отец барышни оказался добродушным, чистосердечным человеком, матушка — доверчивым созданием. В Ваше — районе виноградников, у них жил дядюшка, владелец винных погребов, поэтому в доме было много хорошего

вина.

Еще не опьянев, я пообещал, что, как только обойду пешком земной шар, наверняка женюсь на Этельке. А потом, уже подвыпив, поклялся перед висевшими в столовой портретами ее дедушки и бабушки, что ни у одного венгерского короля не было такой роскошной виллы, какую я построю для Этельки у озера Балатон.

Попозже отцу пришлось обещать мне завтра же взять отпуск на службе и вместе со мной пойти пешком через Венгрию в Турцию, чтобы я ненароком не заблудился.

Меня замечательно угостили и отнесли в кровать.

Проснулся я около полудня и услышал в соседней комнате необычайную суету. Там что-то передвигали, слышно было, как открывают и закрывают какие-то ящики.

Я еще валялся в постели, когда раздался стук в дверь и вошел отец барышни Этельки.

— Господин Гордон Бенетт, — сказал он, — все готово, все в полном порядке. Врач страховой кассы долго осматривал меня и в конце концов все-таки прописал мне двухмесячный отпуск для поездки на юг. Все бумаги я уже получил. Женщины приготовили мне белье, туристское снаряжение, жарят нам на дорогу цыплят, и завтра утром мы отправляемся через Венгрию в Турцию. Как вы думаете, куда бы нам отправиться из Турции?

Через несколько минут я опомнился.

— Мы переплывем через Босфор в Малую Азию, — ответил я, — обойдем ее всю и через Месопотамию направимся в Персию. Перевалим через Гималаи, покажемся в Индии. Затем, через Китай, Корею, Камчатку, Берингов залив, — в Северную Америку, а оттуда — в Южную Америку и Патагонию. Из Патагонии поплывем в Австралию. Пересечем ее и из Австралии поплывем в Южную Африку. Высадимся на мыс Доброй Надежды и будем идти на север, все время на север, через всю Африку до самого Марокко. Там переплывем из Марокко к Гибралтару и снова пойдем на север через Испанию во Францию. Затем свернем на запад через Францию в Швейцарию, Тироль, Штирию и снова окажемся в Надъканиже. Если вам такое путешествие придется по вкусу, мы можем два-три дня отдохнуть, а затем двинуться в Исландию, Гренландию, на Северный полюс и через Сибирь вернуться домой. Хотели бы вы посмотреть Мадагаскар?

Он почесал затылок и неуверенно спросил:

— Это вправду самое большое озеро Австралии?

— Самое большое и самое глубокое, — кивнул я. — Но оно высыхает регулярно каждые пять тысяч лет.

В этот день я пережил в садике несколько восхитительных минут с Этелькой. Между поцелуями я обдумывал, как бы смыться. В крайнем случае сбегу от господина Чендеша завтра утром, когда выйдем за город. Брошу мешок и хорошим спортивным темпом помчусь по шоссе на Балатон.

У Этельки все географические понятия совершенно перепутались в голове. Что касается господина Чендеша, то я уверен: он знает, что такое Африка. Если из его памяти и улетучилось, что это часть света, то, во всяком случае, он считает Африку каким-то государством.

Но, развивая перед этим нежным ребенком свои планы странствий, я убе-

дился, что такие понятия, как Австралия, Индия, Корея и Камчатка, не лишили ее ум очарования абсолютной невинности. Она действительно не имела представления о мире. Отстала даже от древнего Геродота, который все-таки подозревал, что, кроме Греции, существуют и другие страны.

Время между обедом и ужином промелькнуло быстро, в бесконечных обещаниях. Я обещал ей привезти препарированный хобот индийского слона, шкуры всех хищных зверей, географический атлас Андре, черепа жителей Полинезии, индейские скальпы, алмазы из Кейптауна и рубины с горы Килиманджаро, золотые цепи из Перу и Чили, крышу дворца далай-ламы из Тибета, стеклянный глаз японского микадо, парочку живых китайцев и эскимосов, целую семью негров из Замбези и тому подобное.

Она, бедняжка, была счастлива и задавала мне самые фантастические вопросы. Наиболее замечательным из них был, в порядке ли городской водопровод в Новой Зеландии. (За неделю до того в Надканиже были повреждены водопроводные трубы.) С детским обаянием спрашивала она: «Хочешь, я угадаю, куда впадает Кейптаун?» Подробности уже улетучились из моей памяти, но могу поклясться, что, окажись на моем месте самый хладнокровный преподаватель географии, он задушил бы ее.

Ужин прошел торжественно. Это было прощание пана Чендеша с семьей. Уверяю вас, я не говорил много о своем богатстве. Лишь между прочим заметил:

— Если бы я имел даже во сто раз больше, чем сейчас, я не смог бы купить себе большего счастья или чашкой шоколаду больше.

Всех изумили мои изорванные ботинки.

— Крокодила, из кожи которого сделаны эти ботинки, я убил в Ниле, — сказал я, — и это лучшее доказательство того, что крокодилия кожа тоже рвется. Утверждения ученых о ее прочности смешны.

— Интересно, — продолжал я, показывая заплаты на локтях моего пиджака, — что дамы-аристократки из самого большого спортивного клуба Англии не умеют чинить пиджаки, а ведь я десять раз обошел пешком всю Англию.

«Хоть бы они вышвырнули меня, что ли, — думал я, с ужасом наблюдая, как вся семья ловит каждое мое слово и всему верит. — Или вызвали бы полицию».

Но они продолжали засыпать меня самыми разнообразными вопросами:

— Ваши родители живы еще?

— Отец, — ответил я, — прочел роман Жюль Верна «Путешествие на луну» и решил осуществить его идею. Он заказал мортиру и приказал выстрелом отправить себя на луну. С тех пор прошло восемь лет, а он все еще не вернулся. У нас нет никаких сведений о нем. Матушка на своей яхте «Торпеда» поехала в южные моря разыскивать его и сейчас плывет по океану на льдине.

«Теперь меня обязательно выкинут», — ничуть не сомневаясь, подумал я. Но вместо этого Этелька спросила:

— А сестричка у вас есть?

— Сестра вышла замуж за американского президента, — ответил я, — но несчастлива с ним, потому что влюбилась в знаменитого певца Карузо и купила для него на Суматре имение и ферму для разведения тигров и ягуаров.

«Сейчас, — промелькнуло у меня в голове, — сейчас они должны послать за полицией».

— Да, у каждого свои неприятности, — сказала госпожа Чендеш, глядя на меня теплым, материнским взглядом, — в каждой семье что-нибудь не так. А брат есть у вас?

— Мой брат чудак. Он роздал все свое огромное имущество и служит в банке «Славия» в Праге.

«Ну, теперь-то уж меня наверняка вышвырнут», — решил я. Но тут заговорил господин Чендеш:

— А куда вы поедете в свадебное путешествие с Этелькой после нашего возвращения?

— В Занзибар и в Аравию, — заявил я, — в Италии слишком жарко. Кроме того, арабы — очень гостеприимный народ.

Надеясь, что у меня начнется *delirium tremens*[246] и меня отправят в больницу, я пил столько, что в Сахаре от такого количества жидкости могли бы вырасти леса. А вместо этого уснул на стуле, и меня осторожно уложили в кровать.

Рано утром господин Чендеш разбудил меня. Он был совершенно готов, и его круглая фигурка выглядела в туристском одеянии очень комично. После завтрака, во время которого госпожа Чендеш и Этелька не просто плакали, а ревели во всю глотку, мы вышли на шоссе, ведущее к Балатону.

С непрерывными воплями и рыданиями они проводили нас до последних городских садов.

— Присматривай за господином Гордоном Бенеттом, — в последний раз напомнила госпожа Чендеш, и мы остались вдвоем.

Перед нами расстилалась местность, ведущая к озеру Балатон, белое, пыльное шоссе тянулось в бесконечность. Стволы шелковицы были покрыты пылью, выжженная солнцем трава выглядела грустно, и в моей голове созрел план бегства.

— Вы хороший ходок? — спросил я у господина Чендеша.

— Отличный, господин Гордон Бенетт, — ответил он. — Когда-то я участвовал в соревновании по бегу в Шопроне как член местного легкоатлетического клуба.

Я закусил губу. Мы поднялись на небольшой холмик, шоссе спускалось вниз. Я побежал. Сразу взял хороший темп.

Господин Чендеш бежал за мной и кричал:

— Я понял вас, господин Гордон Бенетт: кто будет раньше у Балатона! Бег на сорок километров!

Он бежал за мной. Пробежав десять километров, я выиграл всего-навсего десять метров. На двенадцатом километре, за Мезёлагом, он догнал меня и бежал рядом. На пятнадцатом километре я опередил его на добрых пятнадцать метров, но в Бодафале расстояние между нами сократилось до пяти метров.

На двадцать втором километре мы опять бежали рядом, а в Капотфалве, на тридцатом километре, я потерял его из виду. У меня было преимущество в полкилометра. Но силы мои иссякли. Я минутку отдохнул и снова побежал. Из-за поворота появился господин Чендеш, а в ста метрах за ним — какой-то человек, догонявший его. Вдали бежало еще несколько человек. Я не понимал, что происходит, и это начало волновать меня.

Я мчался вперед. Мимо проехал велосипедист с флажком в руке, дружески кивнул мне и спросил: «От какого общества?»

Я не ответил и продолжал бежать.

На тридцать восьмом километре я увидел, что человек, бежавший позади господина Чендеша, обогнал его и летит за мной.

Собрав последние силы, пыхтя как паровоз, я примчался к первым домикам Балатона.

У сорокового километра меня встретила радостным ревом большая толпа. Оркестр грянул «Марш Ракоци».

Я наткнулся на веревку, протянутую поперек улицы, но не успел разбить нос о землю. Меня подхватили, сфотографировали, и какие-то энтузиасты подняли на плечи и отнесли в отель.

Я не мог произнести ни звука. Меня раздели и потащили в ванну. Потом принесли того человека, который догонял меня на тридцать восьмом километре. Через пять минут принесли высунувшего язык господина Чендеша, который радостно улыбался. Он был третьим.

Оказалось, что по несчастной случайности легкоатлетический клуб в Надьканиже проводил в этот день марафонский бег Канижа — Балатон.

Это очень быстро выяснилось. Нас хотели линчевать, но кончилось тем, что полицейские по распоряжению начальника полиции выставили нас из города.

От господина Чендеша я избавился только в Албании, где на нас напали разбойники. Я сказал им, что это известный миллионер и они получат за него большой выкуп. Разбойники угнали его в горы, а у меня в благодарность за сообщение отобрали только туристский мешок с грязным бельем.

Разумеется, я ничего не знаю о судьбе господина Чендеша, так как из деликатности не решаюсь заводить переписку с его несчастной семьей в Надьканиже.

## Гид для иностранцев

Сомневаюсь, что на свете существует более неблагоприятное занятие, чем труд гида, дающего объяснения перед какой-нибудь грудой кирпича, известки и мусора, именуемой руинами крепости.

Бедняга гид из кожи лезет, добросовестно пересказывая, что в свое время вычитал из книг, и со знанием дела сообщает нам убежденно:

а) что за красота была здесь, пока все не развалилось;

б) как могло случиться, что от прежнего великолепия почти ничего не осталось;

в) кому мешало, что все здесь было в целостности и сохранности;

г) как ухитрились люди сровнять все это с землей;

д) куда залезали для того, чтобы лучше все развалить.

Вынести это невозможно, особенно вдохновенный голос гида, который шпарит наизусть:

— Вступив в крепость, мы ходим по маленькому холмистому дворику, где в изобилии произрастает кустарник и шумит одинокая ель...

— Смотрите у меня, — пригрозил я однажды такому гиду, поднося кулак к его лицу, — как бы я не сообщил в лесное управление про эти безобразия. Елям положено расти в лесу, а не на каких-то там двориках. Леса охраняются государством. А у вас на двориках шумят ели. Дворики предназначены не для того, чтобы на них шумели деревья! Спрашиваю в последний раз: что сделали вы лично, чтобы помешать захламлению дворика кустарником и елями? В Праге цыпленка не дают во двор выпустить, а вы тут целые джунгли развели.

Он обалдело посмотрел на меня, но все-таки продолжал как сомнамбула:

— На противоположной стороне дворика мы видим стену с бойницами и мысленно переносимся в ту эпоху, когда здесь жили мужественные рыцари и в лесах раздавались веселые звуки рогов, созывающих охотников на коварных медведей, рыскающих стаями волков и диких кабанов...

— Сударь, — строго перебил я его, — вы глубоко заблуждаетесь, полагая, будто в лесах было веселее оттого, что вместо белочек и зайцев в них шлялись медведи, волки и дикие кабаны. Вам также должно быть известно, что медведи вовсе не коварные животные, как вы осмеливаетесь утверждать. Медведь — животное славное, добродушное и ласковое. Вы когда-нибудь видели медведя?

— Да.

— Где же?

— В Хрудиме, он ходил с поводырем.

— Когда это было?

— Лет пятнадцать назад.

— А что вы делали пятнадцать лет назад в Хрудиме?

— Я был там на ежегодной ярмарке.

— Так, так, а почему вы именно пятнадцать лет назад отправились на ежегодную ярмарку? Что привлекло вас там? Какие цели вы преследовали? Какие у вас были мотивы?

Я достал из кармана блокнот и самописку без чернил.

Гид посмотрел на меня, в два прыжка очутился за стенами полуразрушенной башни и вскоре уже карабкался по уступам скалы над глубокой пропа-

стью.

Он промелькнул, как серна, внизу, его кепка замаячила где-то среди покрывавшей долину поросли кустарника и наконец совсем скрылся из виду. А я кричал ему вслед:

— Мой взор наслаждается видом развалин замка высотой в два этажа со стороны фасада, с низкой оградой. За ней слева высятся величественные стены с круглой башней и многочисленными бойницами. Так, что ли?

Ответа не последовало, и я растянулся во дворике, погрузившись в раздумья о том, что в этих развалинах вполне можно обойтись без провожатого, хотя полчаса назад смотритель замка уверял меня, что они доступны исключительно в сопровождении гида.

Я вспомнил, как всю дорогу сюда гид приставал ко мне с вопросами:

— Хотите ли вы увидеть прелестнейший уголок земли? Желаете ли насладиться зрелищем величественной природы?

— Да, не мешало бы, — ответил я ему.

После этого он умолк и молчал до самого верха, где снова затараторил:

— Вступив в крепость, мы ходим по-маленькому...

Звали его Марек. А теперь скалу, нависшую над кустами, где скрылась из виду его кепка, местные жители называют «Марекон утес». До недавних пор на одном из уступов трепетал на ветру обрывок его штанины...

Надеюсь, теперь вы в полной мере представляете себе, что на свете нет ничего более неблагодарного, чем труд гида.

Есть у этой профессии и другие теневые стороны, например, если попадается не пассивный посетитель развалин, а, наоборот, обладающий повышенной любознательностью, обуреваемый желанием разузнать в подробностях, как и кто все это разрушил, и так далее, то даже самый болтливый гид не в состоянии удовлетворить его любопытство. Я испытал это на собственной шкуре, и мне стоило немало труда избавиться от подобных экскурсантов.

Их было четверо. Два господина и две дамы. Действие разыгралось в замке Липнице близ Немецкого Брода. Издали эти руины похожи на уродливый паровоз, «труба» которого (сохранившаяся часть одной из башен) простирается к небесам с мольбой ниспослать наконец гром и молнию или ураган, который повалил бы ее на землю, потому что она не в силах больше выслушивать разговоры о необходимости реставрации. Она слушает их уже более пятнадцати лет и со злости сама швыряет кирпичи вниз на школу и вот-вот рухнет на нее вся.

Я живу сейчас у подножия замка в добровольном изгнании, изучаю местные нравы и жду «когда это меня захватит».

Это край, отравленный водкой. На полевых дорогах повсюду стоят унылые кресты в память о тех, кого «когда-то в этом месте прихватило».

В уцелевшей дальней части замка, там, где стены еще подпирают своды второго этажа, сохранилась трапезная. Столетия назад здесь подкреплялась замковая челядь. Прежний владелец замка восстановил трапезную и поставил в ней два дубовых стола, лавку и печь. Я сижу здесь в полной тишине и кое-что пописываю. Местный лесничий доверил мне ключи от крепостных ворот, но осенние ветры дуют с такой силой, что, того и гляди, меня унесет к Немецкому Броду вместе со всем замком. Мало-помалу осыпается штукатурка,

выпадают кирпичи, крошатся стены, внизу под крепостными укреплениями пасутся козы, а эти четверо любопытных явились наверх как раз в тот момент, когда я начал новую главу о трапезной.

— Мы были в замке, — сказал пожилой господин в пенсне, — и нам сказали, что крепость открыта, так как ключ находится у вас. Пожалуйста, проведите нас по крепости.

В это время остальные — господин и две дамы — не то что разглядывали своды трапезной, а прямо пожирали их глазами.

— Извольте, — сказал я, — только сначала, пожалуйста, предъявите документы.

Они удивленно переглянулись.

— Если документы у вас не в порядке, — продолжал я, — осмотр крепости придется отложить.

Я слышал, как одна из дам достаточно громко заметила:

— Очень странное требование.

— Вы заблуждаетесь, — сказал я подчеркнуто, — мое требование совершенно разумно. Согласитесь, я не знаю, кто вы, зачем вы здесь, какую цель преследуете, собираясь осмотреть развалины замка Липнице.

При этом я продолжал сидеть; тогда господин в пенсне, в течение всего нашего разговора стоявший со шляпой в руке, заявил, что они с удовольствием сообщат, с кем я имею дело: он учитель по фамилии такой-то, второй господин — архитектор из Словакии, а обе дамы — преподавательницы такого-то лица. В настоящее время совершают поездку по всей Чехословацкой республике с целью составить новую монографию чешских замков и крепостей, так как сведения, которые дает Седлачек, уже недостаточны. Поскольку они историки...

— Ну ладно, — перебил я его, — вы историки по профессии или как? Просто историки или в самом деле историки — по призванию или из спортивного интереса, так сказать, скауты?

Я заметил, что второй господин посмотрел на меня с грустью, будто хотел сказать: «Какой же ты осел».

Они молчали, тогда я встал и предложил им следовать за мной.

Мы вошли во внутренний двор крепости.

— Дамы и господа, — начал я торжественно, — то, что вы видите, — это руины. Они дают возможность предполагать, что прежде здесь стояла крепость. Об этом свидетельствует также то обстоятельство, что все это, вместе взятое, называется развалины замка Липнице. Само собой разумеется, прежде развалины были обитаемы. Здесь жил зимний король Фридрих Пфальцский. В замке была его зимняя резиденция, отсюда пошло его прозвище «зимний король». Если бы он жил в замке летом, его наверняка звали бы...

— Позвольте, — перебил меня господин в пенсне, — вы ошибаетесь, здесь жили Трчки.

— Нет, это вы позвольте, — вызывающе произнес я, — я знаю всех в округе и заявляю вам, что Трчки живут в охотничьей сторожке под Мелеховом. Есть еще один Трчка, он сейчас перебрался в Часлав, работает в пулеметном цеху.

— Липнице принадлежала старым Трчкам, — заметила одна из дам.

— Старым Трчкам вообще ничего не принадлежало, мадемуазель, — объявил я, — была у них несколько лет назад хибара в Кейжлицах, да и ту старик

поджег, за что его и посадили.

— Уважаемый, — сказал господин в пенсне, поймав меня за пуговицу на жилете, — вспомните, один из этих Трчков был казнен вместе с Вальдштейном.

— Не припомню ничего подобного, — ответил я, — но сегодня же спрошу местного старого жандармского вахмистра. Вы мне оставьте свой адрес, я вам напишу, если, конечно, старик что-нибудь знает об этом. Если я не ошибаюсь, он никогда не рассказывал мне об этом.

Посетители обменялись вопросительными взглядами, но пожилой господин все же предпринял новую попытку что-нибудь разузнать.

— Скажите, не сохранились ли здесь старые фрески?

— Были тут какие-то, как раз вон там, на втором этаже, — ответил я, — но я велел их соскрести, потому что мы собирались побелить стены, чтобы туристы могли на них расписываться.

Кто-то из них вздохнул. Кажется, это был архитектор из Словакии.

— А старый колодец цел? — спросила одна из дам.

— Мы его засыпали, — сказал я, — чтобы кто-нибудь ненароком не свалился в него. Летом у нас бывает много туристов, и каждый норовит перегнуться через край, так что, того и гляди, жди несчастья.

— Здесь должен быть подвал для пыток, — не сдавался господин в пенсне.

— Был, — согласился я, — но поскольку теперь никого не пытаются да к тому же там не сохранились орудия пыток, мы этот подвал отвели под хранилище для картошки и частично засыпали.

— А рыцарский зал? — раздался тихий вопрос архитектора.

— Рыцарский зал? Вы знаете, надо было вымостить тротуары в городе, и мы этот зал разобрали. Правда, камня все равно не хватило, и пришлось разобрать последнюю уцелевшую башню.

— Выходит, у вас тут вообще нет никаких памятников?

— Нет, почему же, — гордо возразил я, — извольте следовать за мной. — Я подвел их к арке возле полузасыпанного прохода. — Прошу обнажить головы.

Оба господина сняли шляпы.

— Господа, — торжественно провозгласил я. — На этом самом месте перед самой войной мы замуровали двух не в меру любознательных учителей. Мое почтение, господа!

И, тихонько насвистывая, я направился в свою трапезную, чтобы приняться за работу, от которой меня оторвали.

Я видел, как господа молча надели шляпы и вместе с дамами повернули через двор к выходу.

Проскрипел под их ногами деревянный мостик, переброшенный через крепостной ров, и я снова остался в крепости один. Старый Трчка изумленно смотрел на меня с портрета на стене трапезной.

## Товарищеский матч между «Тиллингеном» и «Гохштадтом»

Между баварскими городами Тиллинген и Гохштадт-на-Дунае царит лютая вражда. В средние века тиллингенцы, посадив в лодки солдат с большим запасом запальных средств, отправлялись в поход на Гохштадт, который после таких посещений не раз горел. Случалось, что гохштадтцы гнали тиллингенцев обратно все 40 километров, и десятикилометровая дубовая аллея, что за Гохштадтом поднимается в гору к Тиллингену, называется «У повешенных тиллингенцев».

Тиллингенцы — и в этом отличие одного города от другого, — взяв в плен своих гохштадтских соседей, топили их, как котят, в Дунае, а когда однажды член гохштадтского магистрата попал в руки тиллингенцев, они четвертовали его и одну четверть отправили со специальным послом в Гохштадт, а там этого посла повесили на городских воротах, несмотря на все уверения бедняги, что он лицо неприкосновенное.

Так продолжалось до той поры, когда города были лишены привилегии устраивать такого рода игры и развлечения, ибо новые времена смягчили жестокость набегов и пришлось ограничиться драками на постоялом дворе «У ангела-хранителя». Двор этот находится в двадцати километрах от Гохштадта и в двадцати километрах от Тиллингена — на границе обеих вражеских земель.

Сюда ходили драться из этих городов каждое воскресенье и по престольным праздникам. Бойцы приходили сюда пешком, а отсюда их увозили в обе стороны на телегах для сена и в навозницах, с разбитыми головами и переломанными ребрами, весьма довольных прекрасными результатами.

Каждая сторона старалась поддержать репутацию города — победителя в боях, которые длились столетиями, и драки «У ангела-хранителя» были так же упорны, как сотни лет назад, когда тиллингенцы с горящими смоляными факелами лезли по приставным лестницам на стены Гохштадта, защитники которого сталкивали их в городские рвы палицами весом в полцентнера.

Они были так же настойчивы, как и в те времена, когда гохштадтцы тараном разбивали ворота града Тиллинген, а тиллингенцы поливали их сверху кипящей смолой.

Ни одна сторона никогда не признавала, что была наголову разбита, пока краевые власти не передали гохштадтцев в руки тиллингенцам. Гохштадтский округ был ликвидирован, и Гохштадт вошел в округ Тиллинген. В Гохштадте был районный суд, а в Тиллингене — окружной. Гохштадтцы производили над своими людьми только следствие, а следственные материалы посылали в тиллингенский окружной суд, который судил строго и сурово. Гохштадтцам приходилось ходить в Тиллинген на призывной пункт, и во всех официальных делах Тиллинген был на первом месте, а Гохштадт шел за ним.

Гохштадтцы по всем статьям были гандикапированы, посрамлены, обижены. А когда в одно из воскресений они как следует наподдали тиллингенцам на постоялом дворе «У ангела-хранителя», в следующее воскресенье там было столько жандармов из тиллингенского округа, что гохштадтцы при всем желании не могли закрепить свой успех.

С той поры они встречались только случайно, когда им вместе приходилось отбывать военную службу, и гохштадтцы, окруженные со всех сторон

врагами, уступали превосходящим силам противника, а вернувшись домой, говорили, что в таких условиях бессмысленно затевать драку, и домашние считали их трусами. Казалось, что гохштадтцы уже никогда не посрамят своих соперников, но тут новое время принесло в Южную Германию футбол.

Поначалу клубу «Тиллинген» нечего было и соваться против футбольной команды из Гохштадта.

Нападающие клуба «Гохштадт» играли неподражаемо. Они шли на мяч так же энергично, как некогда их предки отгоняли от городских ворот тиллингенцев. Посылали мячи в ворота вражеских клубов с такой непреодолимой силой, как сто лет тому назад тараны и пращи гохштадтцев разбивали ворота града Тиллинген.

Благодаря своей сыгранности игроки клуба «Гохштадт» — полузащитники, крайние нападающие — разбивали стенку игроков перед вражескими воротами, и однажды случилось так, что вместе с мячом они забросили в ворота противника и своего защитника, причем никто не понял, как это произошло.

Удары их были страшны. Мяч, забитый в ворота противника, отбрасывал вратаря в сторону, прорывал сетку, отрывал ухо болельщику, сидящему за воротами, убивал собаку, игравшую за стадионом, и подбивал ногу прохожему, пытавшемуся его остановить. Это один пример.

Другой пример: в игре «Гохштадта» с «Ингольштадтом» мяч «Гохштадта», посланный в ворота «Ингольштадта», привел к двум жертвам. Вратарь и мяч испустили дух, игру пришлось прервать на десять минут, пока не пришел новый вратарь и не принесли новый мяч.

И гохштадтцы, возвращаясь с поля боя, гордо запевавали свою боевую песню:

*Мы гохштадтцы-молодцы,  
Любят нас красавицы.  
Не промажем никогда.  
Клубу нашему — ура![247]*

Их игру называли исключительно суровой, и в спортивной рубрике газеты в Ржезне об одном матче с их участием писали, что это был не футбол, а страшный суд. В другой газете о встрече «Гохштадт» — «Рингельстейм» говорилось, что она напоминала битву под Верденом.

В осеннем сезоне зелено-синие гохштадтцы могли похвастаться следующими успехами: сломанных ног — 28 пар, переломанных ребер — 49, вывихнутых и переломанных рук — 13 пар, сломанных носов — 52, сломанных лопаток — 16, сломанных или поврежденных переносиц — 19, ударов в живот, выведших противников из игры, — 32, выбитых зубов — 4 дюжины. Если принять во внимание, что за осенний сезон они в общей сложности забили 280 голов, а в свои ворота пропустили только 6, то это был потрясающий результат активной игры.

Печатные органы клубов противников из зависти к их успеху писали о лучшем игроке клуба «Гохштадт»: «Фридмана преследует неудача. Он сломал соперникам только две ноги и не дотянулся до колена вратаря».

Они победили все клубы Южной Германии, а когда пригласили на товарищеский матч с севера клуб «Альтона», из всей команды вернулся только вратарь с перевязанной головой, оставив всех игроков, включая запасных, в боль-

нице Гохштадта-на-Дунае.

Могли ли тиллиингенцы спокойно взирать на это, имея свой клуб бело-желтых? Команда клуба «Тиллинген» была не на плохом счету: она играла резко, и удары игроков по голени или колену противника были так же сильны и опасны, как и у гохштадтцев. Их удары в живот были весьма точны и награждались бурными аплодисментами тиллингенских зрителей... Тем не менее они проигрывали матч за матчем.

Однажды их осенило, и они пригласили к себе тренера из Мюнхена, англичанина Бернса, который учил их играть корректно, искусно пасовать, комбинировать, занимался с ними с утра до вечера, пока наконец мог сказать:

— Можете пригласить команду — чемпиона Лейпцига.

Они пригласили и проиграли со счетом: 2:4.

— Это не страшно, — утешил их тренер Бернс, — еще три таких поражения — и можете никого не бояться.

И они вновь усердно тренировались в корректной комбинационной игре, где индивидуалист, действующий только на свой риск, — ничто, считается фанатиком, и где признается только коллективная игра.

Пригласили первоклассную команду «Пруссия» и проиграли со счетом 1:2. Затем вничью сыграли с отличной командой «Мюльгаузен 1912», и тренер сказал им, что теперь вряд ли найдется противник, который смог бы их одолеть.

Ответная игра чемпиона Лейпцига с клубом «Тиллинген» закончилась полным разгромом лейпцигских футболистов. Они привезли домой пять голов и оставили в сетке ворот «Тиллингена» только один гол, забитый со штрафного удара.

Когда в клубе «Гохштадт» узнали о блестящей победе «Тиллингена» над Лейпцигом, все позеленели от злости. Прочитав же в «Альгемейне спортцейтунг», что бело-желтые игроки из Тиллингена после своего блестящего воскресного успеха не имеют серьезного соперника в Южной Германии и что их игра привела в восторг даже команду противника, гохштадтцы почувствовали себя как их предки, когда однажды тиллиингенцы овладели Гохштадтом и разграбили его.

А в газетном отчете их привели в неопишуемую ярость и гнев фразы: «Блестящая игра полузащиты «Тиллингена», «Самоотверженность вратаря «Тиллингена», «Безупречная атака нападающего», «Ураганный огонь по воротам Лейпцига», «Блестящие пасы крайнего нападающего».

— Я бы его так запасовал, — угрюмо сказал центральный нападающий Томас, — что ему уже больше ни с кем не пришлось бы играть, разве только на небе против ворот святого Петра.

— Из вратаря «Тиллингена» я сделал бы копченое мясо с капустой, а из защитника — натуральный шницель, — слышался уверенный голос крайнего нападающего команды «Гохштадт».

Все сидели в клубе, и разговор на минуту затих. Ожидали, что кто-нибудь скажет веское слово, которое сразу прояснит ситуацию и снимет со всех тяжесть.

Этим человеком оказался секретарь клуба.

— Сыграем с ними товарищеский матч, — предложил он. — Пригласим их сюда. Это сделают наши газеты. Ответный матч играть не станем, поскольку

команда Тиллингена сыграет у нас свой последний матч. Кто не искалечит полностью хоть одного игрока, будет исключен из клуба, а если он где-то работает, нажмем на хозяина, чтобы его уволили с работы. Кроме того, его привяжут к сетке ворот и все будут бить по нему мячом.

Местные газеты, немедленно предоставленные в распоряжение клуба «Гохштадт», начали соблазнять «Тиллинген» приехать на вулканическую почву их города.

Особенно искусно была написана статья «Лучшая команда Южной Германии». В ней отдавалось должное последней победе «Тиллингена», высоко оценивались их игра и ошеломляющие результаты. Автор утверждал, что клуб «Гохштадт» тоже может продемонстрировать ряд блестящих побед, но решить вопрос, какой клуб лучше, «Тиллинген» или «Гохштадт», может только встреча обоих клубов в товарищеском матче, в котором нужно забыть все, что когда-то разделяло два города, чьи имена гордо носят клубы. Футбол — игра международная, и местные интересы не играют здесь никакой роли. Побеждает не физическая сила средневековых солдат, а чистая идея спортсмена, который вкладывает в свою игру смелость и высокое спортивное мастерство. С приходом «Тиллингена» в Гохштадт навсегда исчезнут все недоразумения между двумя городами старой Швабии.

Нечто подобное писали гохштадтцы несколько столетий тому назад, приглашая бургграфа Тилленгена почтить их своим приездом: у них, мол, самые честные намерения, они посылают ему охранную грамоту, пусть он придет договориться о границе тиллингенских и гохштадтских земель.

Когда господин бургграф из Тиллингена приехал, ему и в самом деле никто не причинил зла, благоразумно обсуждали с ним все спорные вопросы, но при этом господин бургграф так разгорячился, что гохштадтцы, чтобы успокоить гостя, вынуждены были его повесить. Он так и раскачивался на зубцах стены с охранной грамотой в руке.

В одной статье, — редактор «Моргенблатт» в Гохштадте хотел полностью ослепить ею Тиллинген, — мы читаем: «Если когда-либо Тиллинген выйдет на стадион Гохштадта, это будет вершина весеннего сезона и одновременно манифестация братских чувств обоих городов. Все старое уже забыто. Зелено-синие подадут руку бело-желтым и крепко прижмут их к своим сердцам. Редакции стало известно, что на следующей неделе в Тиллинген будет прислан секретарь местного клуба, чтобы обсудить возможность встречи двух клубов. Ему поручено сообщить, что тиллингенцев встретят у нас по-братски не только наши спортсмены-джентльмены, но и вся спортивная общественность, которая заранее радуется тиллингенцам и их игре в надежде, что обе команды покажут лучшую игру, достойную их славных традиций, — это гарантирует нам отличная спортивная форма той и другой команды. Окончательное решение о квалификации обоих клубов можно будет вынести только после матча».

— Ну, что же, посмотрим на них, — сказали в клубе «Тиллинген», когда прочли все это. — Вот что делает успех в спорте!

Еще в прошлом году о нас почти никто не знал, а теперь даже гохштадтцы рассыпаются в похвалах. Не прошло и четырнадцати месяцев, как они писали о нас, что мы самая ничтожная команда в мире, и рекомендовали нам лучше играть в чижика, чем в футбол. Что же, если они хотят, чтобы им всыпали, мы

не возражаем сыграть с ними товарищеский матч. Разгромим их. Они пишут, что «Гохштадт» тоже может продемонстрировать ряд блестящих побед. Зарвавшиеся врали. С ними играли клубы «Ингольштадт», «Регенсбург», «Трутенсдорф», «Кейхенталь». Известные драчуны, которые даже представления не имеют об игре головой. Лучшая комбинация у них — это окружить игрока со всех сторон и сбить его с ног. Они прут на игрока, а не на мяч.

— И мы так делали, — вздохнул крайний нападающий, — поверьте, это было хорошее время. Помните, как я покалечил центрального нападающего из Ульмербрюдер. Сломал ему позвоночник, шею и переломил левую ногу, и все это одним ударом.

— Мы похоронили его за счет клуба, — язвительно заметил кассир, — ваш удар обошелся нам в две тысячи марок, потому что у всех возникла дурацкая идея заказать гроб в форме мяча.

— Но матч мы доиграли, и нам не пришлось возвращать плату за билеты, — сказал в оправдание крайний нападающий.

— Конечно, мы выиграем у Гохштадта, — торжественно провозгласил капитан «Тиллингена», — выиграем тонкой комбинационной игрой. Нам никто не сорвет атаку. С краев даем в центр, центр подает на другой край, центр бежит вперед, распасовка с защитником и небольшой трюк, подача на правый край, удар и гол! Мы не станем бить на игроков и поэтому избежим прямых столкновений с ними. Пусть носятся в пустом пространстве. Мяч должен быть для них недостижимым. Только мы будем орудовать с ним ногами и головой. Для них он должен стать абстрактным понятием, сказкой и больше ничем. Гип-гип, ура!

Секретарь клуба «Гохштадт» приехал в следующее воскресенье, в сущности, договориться об уже решенном деле, поскольку тиллингенская «Моргенпост» написала, что в ближайшее время закончатся переговоры о проведении товарищеского матча между Тиллингеном и Гохштадтом, в котором «Тиллинген» будет защищать цвета своего города и честь клуба. Он будет играть не на кубок, а сражаться за победу над «старыми знакомыми», за победу города Тиллинген над Гохштадтом-на-Дунае. На вокзале Гохштадта из поездов выйдет масса тиллингенцев, чтобы составить почетный эскорт команде, носящей белый и желтый цвета, и на месте обнять победителей из Тиллингена.

Не считая нескольких враждебных взглядов, брошенных на секретаря «Гохштадта», с ним ничего не произошло, и он без помех обо всем договорился. Товарищеский матч между обоими клубами на стадионе «Гохштадт» состоится в следующее воскресенье. Чистый доход от продажи билетов делится поровну между обоими клубами.

Затем, по старой клубной привычке, отправились в трактир, где пили до утра за счет клуба. К утру договорились еще о следующем: 1) Нейтральный судья — из клуба «Регенсбург». Проезд и прочие расходы оплачивают ему оба клуба, 2) Прадедушка капитана клуба «Гохштадт» был при нападении на город Тиллинген рассечен от головы до пят мечом прадедушки капитана клуба «Тиллинген», которого потом проткнул копьем прадедушка секретаря клуба «Гохштадт».

Затем веселье начало спадать, и секретарь клуба «Гохштадт» счел за благо незаметно уйти и исчезнуть, так как заметил, что капитан клуба как-то странно на него поглядывает, словно собирается что-то предпринять для реабилита-

ции своего рода.

Наконец наступил славный день, когда тиллингенцы после стольких столетий вновь направились в Гохштадт, где все было приготовлено к обороне.

В Тиллингене и Гохштадте были распроданы все плетки, свинчатки, дубовые трости и револьверы. Ручные чемоданы тиллингенцев были подозрительно тяжелыми — они везли с собой камни. У гохштадтцев камнями были набиты карманы. Матч начался точно в половине четвертого, а в три часа тридцать три минуты началось светопреставление.

Первым пал нейтральный судья. Он получил два удара по голове плетью — по одному от сторонника каждого клуба. В двух местах ему пробили череп, и перед кончиной он прохрипел: «Офсайд», — так как не мог свистеть: новый удар плетью раздробил свисток в его губах.

Тиллингенцы имели численный перевес, поскольку их приехало 10 000, а в Гохштадте всего 9000 жителей.

Гохштадтцы отчаянно защищались и во всеобщей суматохе сумели повесить капитана «Тиллингена» на перекладине ворот «Гохштадта».

Центральный нападающий «Тиллингена» загрыз двух защитников «Гохштадта» и был застрелен центральным нападающим того же клуба.

В спортивной рубрике всех ежедневных газет Германии на следующий день появилась краткая телеграмма:

«Интересный матч «Тиллинген» — «Гохштадт» не был окончен. На стадионе погибло 1200 гостей и 850 местных зрителей. Оба клуба ликвидируются. Город горит».

Вспоминая после этого матч «Славия» — «Спарта», я ясно вижу, что у нас футбол еще в пленках.

## Донесение агента государственного розыска Яндака (Кличка «Тршебизский»)

### Донесение 1-е

**М**ногоуважаемый пан Гайшман!

Смею доложить, что вчерашний день мною начаты слежка и розыск о передвижении и встречах лица — имя и фамилия Йозеф Поупе, — которое, согласно инструкции департамента № 3, уже несколько лет подрывает государственные устои, проживая по адресу: Радлице, № 48, имея рост высокий, лицо круглое, чистое, усы английские, подстриженные, глаза голубые, волосы и усы русые, нос прямой, речь правильную.

Согласно указаниям, чтобы расспросами на месте не навести подозреваемого на мысль, что оная личность, Йозеф Поупе, находится под наблюдением, я занял пункт на тротуаре против дома № 48 в Радлицах и стал ждать, когда оттуда выйдет на улицу лицо, подходящее по приметам; наблюдение начал с трех часов утра. В половине восьмого подопечный показался в воротах означенного дома, откуда и вышел, осторожно осматриваясь по сторонам; причем я делал вид, будто закуриваю сигарету. Но, видя, что он переходит на мою сторону, быстро перебег на противоположный тротуар — так, чтобы находиться с ним на прямой линии, не спуская с него глаз, причем следил за его сношениями с окружающими, каковых, однако, не обнаружил.

С целью удостовериться, не присваивает ли себе Йозеф Поупе какой-либо другой фамилии, я подозвал одного школьника, видимо, направлявшегося в школу, дал ему крону и попросил, чтобы он, будучи подростком, подошел к означенной личности, шагающей по другому тротуару, и спросил ее, не будет ли она Йозефом Поупе, каковую мою просьбу школьник исполнил и, получив от моего подопечного подзатыльник, поспешил улизнуть, не сообщив мне результата.

Однако этот факт ясно и определенно говорит о том, что произнесение его настоящей фамилии в местах, где он считает себя никому не известным, заставляет его терять хладнокровие и приводит в раздраженное состояние, что подтверждается также тем, что после этого он несколько раз, обернувшись назад, раздраженно сплюнул и пошел дальше, по направлению к Сантошке, а оттуда — в обход газового завода — к Ангелу, где сел в вагон трамвая № 14. Я, стоя на площадке, имел возможность следить за всеми его действиями и поведением. Вынув из правого кармана желтый кошелек с отделениями для почтовых марок, что говорит о его переписке, он купил билет. Установить содержание кошелька не удалось из-за тесноты. Однако я заметил, что он умышленно избегал разговоров с попутчиками, за все время езды не проронил ни слова и в его поведении не было ничего примечательного до остановки у земского уголовного суда, где он вышел, перешел мостовую, свернув с Лазарской, вошел одновременно со мной в кафе «Тумовка» и сел за столик у патентованной печи, где было место и для меня, так что я мог бы легко завязать с ним разговор, от чего однако воздержался, опасаясь, как бы это не показалось ему подозрительным.

Зато я благодаря этому имел возможность лучше наблюдать его поведение — в частности, установить, какие он потребует журналы и газеты, будет

ли делать из этих политических изданий выписки или вообще какие-либо заметки, нужные для подрывной работы.

Однако он изворотлив: потребовал отнюдь не политические издания, а «Скорняцкую газету», «Вестник купли-продажи», «Ресторатор», «Кондитерское дело». Затем вынул из кармана записную книжку в черном кожаном переплете, с серебряной монограммой «З. К.» в углу, что говорит о чрезвычайной изворотливости — ведь по-настоящему-то он Йозеф Поупе. Я сидел совсем рядом, и мне удалось прочесть некоторые его выписки из этих журналов. Трясущейся рукой он написал: «Зимние трикотажные сорочки, кальсоны мужские и панталоны дамские, детские костюмчики, набрюшники из мако и беж; чулки, носки хлопчатобумажные, вигоневые и шерстяные; гамаши, фуражки, шарфы, канва, оксфорд, зефир, коленкор, парусит новые брюки, фланелевые женские сорочки».

Дальше я не видел, так как он прикрыл рукой то, что писал, и наклонился над записной книжкой еще ниже, а мне было неудобно заглядывать. Успел только заметить начало какой-то новой записи: «Парша, чесотка у людей и животных быстро излечиваются при помощи нового патентованного аппарата...»

Что он делал эти заметки с каким-то умыслом — ясно как день, и в данном случае нужно будет идти и по этому следу. Расход его составил пять крон восемьдесят геллеров, включая чаевые старухе в уборной, куда он ходил при моем сопутствии, после того как выпил стакан чаю с лимоном, съев при этом кусок кекса и кусок торта. Видимо, сумма в пять-шесть крон на утренний завтрак в кафе — его ежедневный расход; откуда следует, что за месяц он оставляет по утрам в кафе сто пятьдесят — сто восемьдесят крон.

Находясь в кафе, он вынул из кармана мельхиоровый портсигар с простым тисненым орнаментом и закурил самодельную сигарету с необычайно тонкой гильзой (окурок прилагаю). Уплатив по счету, он поспешно взял шляпу и вышел, причем я, расплатившись одновременно с ним, следовал за ним по пятам. Пройдя Лазарскую, он остановился за Спаленой — у книжного магазина фирмы «Сердце». Войдя в этот магазин, он купил брошюрку о налоге на прибыль, которую я также купил одновременно с ним, чтобы не потерять его из виду и в то же время узнать, что он хочет прочесть, чтобы получить материал для своей подрывной деятельности. Выбранная им брошюра служит доказательством последней.

Не имея мелочи, я был вынужден ждать сдачи с двадцатикроновой бумажки, причем во время этой операции мой подопечный, выйдя из магазина раньше меня, получил возможность исчезнуть, повернув на Опатовицкую, либо дойдя до Владиславовой, где опять-таки мог пройти воротами городского клуба на проспект Юнгмана, либо Хорватским переулком — на Национальный проспект. Мог он также пройти прямо по Спаленой направо, либо налево и Национальным проспектом — на Перштын, а оттуда либо на Вифлеемскую площадь и переулками на вокзал Масарика, либо — через Скоржепку — на Угольный рынок и переулками в Карлову улицу, откуда либо на Карлов мост и вверх на Градчаны и Малую Страну, либо с Карловой улицы направо — на Староместскую площадь, откуда опять-таки — либо по Микулашскому проспекту, либо по Целетной улице — на Гибернскую и направо через Гавличкову площадь на Индржишскую, а от святого Индржиха — чего проще — трам-

ваем № 14 с удобством вернуться в Радлице, к себе домой, где я завтра опять возьму его под наблюдение.

## Вознаграждение за честность

### I

Людям свойственно не возвращать найденного.

К найденной вещи человек относится с необычайной нежностью.

Он прирастает к ней всем сердцем и не в силах с ней расстаться.

С другой стороны, человеку свойственно и терять вещи — в противном случае утратило бы силу первое утверждение.

В те времена, когда газет еще не было и человечество вело полудикое существование, люди теряли свои вещи точно так же, как и в наши дни.

Обронил доисторический человек каменный топорик или еще что, а нашли эти вещи только через несколько тысячелетий, о чем и свидетельствуют экспонаты, хранящиеся в музеях и частных коллекциях.

По мере роста культуры возникла насущная потребность установить правовые отношения между гражданином, который что-либо потерял, и тем, кто нашел потерянное.

Таким образом возник закон, карающий за так называемое «сокрытие найденного».

Дабы смягчить его, позже был издан указ о вознаграждении того, кто вернет пропажу. Честность вознаграждается десятью процентами от найденной суммы или от стоимости честно возвращенной вещи.

Однако, как-то еще перед войной, я сам попал в историю, открывшую мне, что власти, возможно, по неведению, но отнюдь не всегда соблюдают указ о вознаграждении.

Шатаюсь ночью по Праге, я нашел на Пршикопе десять геллеров и отправился в полицейское управление, где честно сдал всю сумму дежурному инспектору и потребовал, чтобы мое имя было напечатано в газетах и чтобы мне был выдан один геллер в награду.

Полицейский без долгих разбирательств — знаем мы вас! — произнес только два слова: «Под арест! За решетку!»

Утром меня отвели на второй этаж к какому-то господину, тот составил протокол, и на основании Prügelpatent'a[248] я был приговорен к штрафу в размере пяти крон, а в случае неуплаты — к двум суткам ареста. Чтобы нежиться на государстве, я был вынужден принять последнее условие, поскольку двое суток меня кормили за казенный счет. Тогда я поклялся никогда не возвращать найденного. Увы, больше я и не нашел ничего, кроме подкинутого ребенка под аркой дома, куда я свернул, чтобы завязать шнурок. Эту находку я так и оставил лежать на прежнем месте.

### II

Анна Буклова, приходящая прислуга из Стршешовиц, шла в пять часов утра на Краловские Винограды кипятить белье в семью, где служила. Переходя улицу у Кршижовника, она споткнулась о какой-то предмет.

Машинально подняв его, она со свойственной ей сообразительностью сразу же догадалась, что это кожаная сумка.

Открыв сумку, Анна Буклова увидела кучу разных бумаг, в которых ничего

не поняла. Будучи от природы женщиной доброй и честной, она отправилась в полицейское управление, где и предъявила находку дежурному чиновнику.

Осмотрев содержимое сумки, полицейский побледнел, встал и взволнованно обратился к Анне Букловой:

— Поздравляю вас. Вы нашли семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч крон в чеках, предназначенных к выплате Чешскому банку. Вам причитается законное вознаграждение в размере десяти процентов, что составит восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот крон.

Анна Буклова, тупо уставясь на полицейского урядника, механически повторяла за ним: «Восьмьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот крон».

— Именно так, — важно подтвердил тот, — восьмьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот крон. Присядьте, я составлю протокол.

— Ваша милость, Христом богом прошу, отпустите меня домой, — запричитала вдруг Анна Буклова, — я ведь ни в чем не виновата, мне нужно на Винограды белье кипятить. Истинный бог, я об эту сумку споткнулась да и только.

— Но пани, в протоколе нет ничего страшного — простая формальность. Тут необходимо провести официальное расследование. Дело пойдет к журналистам, и ваше имя появится в газетах. Как вас зовут?

— Иисус Мария, ваша милость, — зарыдала женщина, — стыд-то какой. Еще утром я считала себя порядочной женщиной, а вечером обо мне в газетах пропишут. Мать божья, этого еще не хватало. Всю жизнь вкалываю как проклятая, со Стршешовиц спешу на Винограды, с Виноград — в Либень, от стирки света белого не вижу, из Либени бегу убирать в Глубочепы, муж все пропишет, дети ходят оборванцами, у самой одна юбка, да и та свой век доживает...

— Но милая пани, — успокаивал женщину полицейский, — это же просто моя обязанность завести протокол, не надо плакать, поймите, вы же видите, что речь идет о миллионах.

— Боже правый, — не успокаивалась Анна Буклова, — какие еще миллионы! Я ведь ничего дурного не сделала, За что же мне такие муки на старости лет! Да я до смерти рада, коли удастся на цикорий для моих байстрюков заработать. Теперь все дорожает, а попроси я у виноградской хозяйки лишнюю крону на мыло, она меня на улицу вышвырнет, ищи потом другую работу. За всю свою жизнь я ничего хорошего не видела, хоть ничего нигде не украла, а стирать даже приданое стирала, а ведь оно даже пересчитано не было.

— Успокойтесь, дорогая пани. Речь идет о десяти процентах.

— Не надо мне ничего, никаких процентов, — хныкала Анна Буклова, — не переживу я такого позора. Мне к семи нужно на Винограды белье кипятить.

Взбешенный полицейский, свирепо зыркнув на нее, хватил сумкой об стул и гаркнул:

— Ну, хватит с меня! Как вас зовут?!

— Анна Буклова, ваша милость, — взвыла честная женщина.

— Где живете?

— В Стршешовицах, около шоссе.

— Номер дома?

— Шестьдесят семь.

— Родились?

— Да, ваша милость, покойница-маменька...

— Когда родились, я спрашиваю?

— В семьдесят втором.

— Где?

— Дома.

— Да где дома-то? В самой Праге или в деревне?

— В деревне.

— Черт побери, в какой деревне?

— В Забеглицах под Прагой.

— Район? Уезд? Да что это с вами, женщина, никак вы у меня в обморок падаете?

Когда Анну Буклову привели в чувство и продолжили допрос, то спросили напоследок:

— Хотите ли вы получить десять законных процентов или нет? Выражайтесь определенно.

— Боже сохрани, милостивый пан, вы только поскорее меня отпустите. Покойная матушка всегда говорила: «На одной честности далеко и уедешь».

— Подпишите протокол.

— Во имя отца и сына, — застонала Анна Буклова и поставила длинную закорюку.

### III

Спустя приблизительно четыре часа в полицейском участке появился молодой человек, видом своим напоминавший бритого американца.

— Я обнаружил пропажу своей кожаной сумки, — сказал он на ломаном немецком языке, — очевидно, ночью она выпала у меня из рук на одной из улиц.

Он назвал сумму и шифр, указанный на чеке, и пояснил: «Дело даже не в деньгах, там были важные записи о торговых сделках, относительно закупки дешевых гусиных потрохов».

Полицейские составили протокол и когда американцу сообщили, что нашедшая отказалась от причитающегося ей законного десятипроцентного вознаграждения, король гусиных потрохов заметил про себя: «well»[249] и удалился, не пожелав даже записать адрес Анны Букловой.

Выпуски вечерних газет поместили большую заметку о честной женщине, которая вернула найденное, не прельстившись богатством.

### IV

Анну Буклову отвезли в больницу, потому как в тот же вечер, прочитав в трактуре вечерний номер газеты, муж избил ее до полусмерти. Из больницы она попала в психиатрическую клинику, а оттуда — в Богнице.

## Роковое заседание конференции по разоружению

Хромого Томаса Хавкинса, председателя конференции по разоружению, поджидала в Сан-Франциско яхта, на которой он, покачиваясь на соленых волнах Тихого океана, мог бы отдохнуть, пока не соберется распущенная на вынужденный отдых конференция.

Доктора, пользовавшие некоторых членов конференции, обнаружили у большинства из них запор, признаки меланхолии, головную боль и несварение желудка — как последствия многочисленных банкетов.

Члены конференции по разоружению ходили после таких банкетов словно привидения; когда они выступали, язык плохо повиновался, а читая на следующий день отчеты о заседаниях конференции, ораторы несказанно удивлялись, какую ерунду печатают газеты.

Однажды, когда они шли с банкета на конференцию, за ними увязался какой-то профессор, возвращавшийся со съезда по борьбе с алкоголизмом. Они предоставили ему слово на заседании.

Профессор, с трудом держась обеими руками за трибуну и трясясь, как огородное пугало на ветру, в течение трех часов говорил об извержении в 1773 году вулкана Стромболи на Липарских островах.

Когда наконец после трехчасового рева за мраморным столом президиума убедились, что профессор говорит не по существу и что он вообще не имеет ничего общего с конференцией по разоружению, слуги, предварительно оглушив оратора дубинкой во избежание сопротивления, передали его полиции для выяснения личности.

Все участники конференции были несказанно удручены происшедшим и почувствовали, что глупеют день ото дня.

В этом их окончательно убедил напечатанный газетами отчет, из которого они узнали, что вчера, на пятнадцатом ночном заседании конференции по разоружению, было принято следующее постановление:

«§ 26. Поскольку выяснено, что Китай до сих пор не имеет ни одного дредноута и линейного крейсера первого класса, конференция по разоружению решила:

Страны-участницы конференции обязуются предоставить Китайской республике беспроцентный заем на три года в размере трехсот миллиардов, чтобы она могла построить столько же дредноутов, и линейных крейсеров, сколько есть в наличии у стран-участниц конференции. Китайская республика обязуется в течение трех лет построить сорок дредноутов и тридцать крейсеров первого класса, а также обязуется уничтожить пять имеющихся у нее крейсеров третьего разряда и передать кантонскую гавань под контроль международной комиссии. Представленные на конференции государства заявляют о том, что с их стороны не имеется возражений против присутствия представителей китайского военного флота на строительстве третьего симплонского туннеля».

«...и на строительстве телефонной станции на горе Арарат», — с ужасом прочли дальше члены конференции.

Председатель Том Хавкинс совершенно протрезвел от этого сообщения, но все же усомнился, действительно ли они приняли накануне подобные решения. Однако, когда по его требованию принесли стенографический отчет по-

следнего заседания конференции, его чуть не задушила астма: весь двадцать шестой параграф был его собственным предложением, принятым с дополнением, внесенным членом конференции Вудвортом: «Одновременно разрешается негритянской республике Либереи постройка пяти подводных лодок при обязательном условии, чтобы они были выкрашены в черный цвет...»

Неудивительно, что на другой день председатель Том Хавкинс дрожащим голосом, вполне соответствовавшим его осунувшемуся лицу, произнес на заседании конференции следующую прочувственную речь:

— Нельзя отрицать, господа, что наши заседания ознаменовались крупными успехами и дали блестящие результаты. Мы проработали двадцать шесть постановлений. Радиотелеграф разнес наши решения по всему земному шару. Мы не щадили своего здоровья и должны быть откровенными: вы отлично знаете, что нас ждет еще гигантская работа. Поэтому нельзя допустить, чтобы мы переутомлялись. От работы и волы дохнут! Наши нервы нуждаются в отдыхе. Я по себе чувствую, что устал. Размышлять днем и ночью — это, господа, не шутки! Если у карманных часов перекрутить завод, то пружина лопнет. Так и с нашим мозгом. Он нуждается в покое. Нам сейчас в первую очередь необходим соответствующий отдых, чтобы укрепить здоровье, набраться сил для новой работы. Поэтому я вношу предложение, господа, разойтись на трехнедельные каникулы. (Бурные аплодисменты и голоса: «На месячные!»)

Член конференции Ле Ру, в эту минуту возвратившийся в неизменном состоянии из ближайшего ресторана, подходит к ораторской трибуне и, стуча по ней кулаком, кричит: «Долой меня отсюда! Требую голосования!» (Слуги, нежно поддерживая Ле Ру, выводят его в кабинет секретариата и укладывают на диван.)

Тогда слово взял представитель Боливии Хуарес ди Вега, заявивший, что он будет голосовать против предложения господина председателя. Уже на третий день работы конференции он от имени своего правительства потребовал, чтобы Боливийской республике была оставлена ее постоянная армия в количестве двенадцати человек, охраняющих порядок во дворце президента и его окрестностях. Однако после прений, несмотря на его протест, было решено, что Боливия должна повысить контингент своей армии с двенадцати человек до ста двадцати тысяч, поскольку такова численность армий Чили и Перу. Ведь если вспыхнет война, Боливии угрожает опасность, что на ее двенадцать человек нападут сто двадцать тысяч перуанцев или чилийцев. Для предотвращения войны необходимо установить равновесие вооруженных сил в пропорции 1:1:1.

— Господа! — приподнятым тоном заявил Хуарес ди Вега. — Достопочтенное собрание! Как раз сегодня я получил отношение моего правительства, где указывается на абсурдность постановления уважаемой конференции, поскольку все население Боливии мужского пола составляет меньше восьмидесяти тысяч человек. Как же вы хотите, господа, чтобы мы составили из них армию в сто двадцать тысяч? Что же нам, разрезать их пополам или одолжить недостающих сорок тысяч солдат у соседей, нарушив тем самым постановление конференции, запрещающее вербовать войско за границей? Правда, нам дан трехлетний срок, но согласитесь, пожалуйста, что, при всем нашем желании, мы не можем за это время так размножиться! Я, господа, тоже немного математик...

— Лжете! — перебивает его представитель Чили. — Дайте сюда энциклопедию! (Шум и смятение в зале.)

Председатель звонит и посылает секретаря за энциклопедией, а представителя Боливии лишает слова.

— Господа, — заявляет председатель упавшим голосом, — только что мы были свидетелями совершенно неуместной демонстрации. Я не нахожу слов, чтобы выразить, до чего я огорчен случившимся.

В это время возвращается секретарь и просит слова:

— Господа, в энциклопедии Боливии нет!

Представитель Боливии встает, бледный и взволнованный:

— Милостивые государи, два миллиона триста сорок семь тысяч квадратных километров...

Председатель лишает его слова и просит секретаря продолжать.

— Раз в энциклопедии на Боливию и намек нет, то и для нас не существует никакого господина представителя Боливии с его двенадцатью солдатами! (Смех в зале.) Я предлагаю отобрать у него мандат и исключить из числа членов конференции. (Голос: «Втерся сюда!») Происшедший случай весьма прискорбно и наглядно показывает, какие трудности приходится преодолевать конференции, так что пусть никто не говорит, будто она играет комедию!

За предложение об исключении Боливии голосовали все, кроме одного. Последний голос принадлежал члену конференции Морриану, мирно спавшему за своим столом и в этот момент случайно пробудившемуся из-за дыма от окурка сигары, которую он курил перед сном.

Он поднялся, произнес «против», но не успел сесть снова, как паркет вздыбился, раздался оглушительный взрыв и в полу образовалась громадная дыра. С потолка посыпалась штукатурка. Члены конференции полетели вниз.

Когда дым и пыль рассеялись, обнаружилось, что председатель конференции по разоружению Том Хавкинс, зацепившись одной штаниной, висит на стальной балке зала заседаний. Он выделывал такие движения, будто участвовал в состязании по плаванию, причем непрерывно вопил: «Mon dieu, mon dieu!»

Власти полагали сначала, что это дело рук анархистов, — но следствие установило, что взрыв не имел политической подоплеки.

Представитель одной фирмы по производству взрывчатых веществ ожидал в приемной внизу некоторых членов конференции по разоружению, чтобы предложить им новое взрывчатое вещество вашингтонит, в две тысячи раз эффективнее экразита и в тысячу раз превышающее действие мелинита. По ошибке вместо коробки со спичками он вынул коробку с образцами, и, открывая ее, вызвал взрыв.

Вот почему хромым Томас Хавкинс поехал отдыхать на Тихий океан.

## Похождения чрезвычайного посла

### I

Когда президентом республики Уругвай стал Хозе Иоахим Эрразувиза, для синьора Мануэля Нунес наступила полоса замечательных событий. За несколько лет до того Мануэль Нунес снимал комнату у некоего Концепсиона, который специализировался на подделке векселей. Мануэль Нунес был тогда корреспондентом журнала, боровшегося за права индейских метисов, а заодно стал помощником в предприятии синьора Концепсиона, ибо умел мастерски подделывать подписи.

Когда они наконец засыпались, Нунес удрал в Перу и прислал оттуда письмо Верховному Суду в Монтевидео о том, что единственный виновник — это он, а Концепсион — невинная жертва правосудия. Этого рыцарского поступка оказалось достаточно, чтобы синьор Концепсион получил свободу.

Затем Концепсион принял участие в революции против президента Доминго на стороне партии Хозе Иоахима Эрразувизы, который был вскоре провозглашен президентом республики. Концепсион во время революции принял на себя ответственную миссию распространителя анекдотов о старом президенте. После победы Эрразувизы Концепсион получил место привратника в министерстве иностранных дел, где министром стал личный друг нового президента, синьор Диэго Порталес.

К этому времени синьор Мануэль Нунес возвратился из добровольного изгнания в Перу и навестил своего старого приятеля Концепсиона, ныне привратника министерства иностранных дел. Тот встретил его с распростертыми объятиями, а при расставании сказал:

— Послезавтра сидите дома, дружище Нунес, и ждите вызова. Я пристрою вас на должность.

Через день Мануэль Нунес был приглашен в министерство иностранных дел к правителю канцелярии сеньору Приэто.

— За ваши заслуги перед республикой, — объявил правитель канцелярии, — вы назначаетесь нашим посланником в негритянской республике Либерии. Политический диапазон нашего государства побуждает нас назначать своих представителей в самые отдаленные углы земного шара. — Он усмехнулся. — Куда, как говорится, Макар телят не гонял. Слыхали вы когда-нибудь о негритянской республике Либерии?

Нунес покачал головой.

— Это неважно, — сказал правитель канцелярии, — сейчас мы позовем заведующего статистикой.

Заведующий статистикой явился в большом смущении.

— Согласно справочнику, — начал он неуверенно, — негритянская республика Либерия должна существовать... В алфавитном порядке: «...Калифорния... Канада... Либерия...» К сожалению, до сего времени в моем отделе не обнаружено ни малейших намеков на нее. Никаких нот оттуда не поступало, так что наш интерес к этой республике был минимальным. Господин министр в своих парламентских речах в палате общин тоже не упоминал об этой стране... Впрочем, если желаете, господа, можно к завтрашнему дню раздобыть географический атлас.

— Отлично! — произнес правитель канцелярии. — В таком случае завтра

перед обедом мы встретимся здесь и просмотрим атлас.

Расставаясь с Нунесом в дверях, он добавил отечески:

— Не забудьте, что дипломатическим языком является французский.

По дороге домой новоиспеченный посланник купил себе книгу «Разговор испанца с французом».

## II

— Должен вам сказать, господин посланник, — торжественно объявил на следующий день сам министр иностранных дел, — что произошла явная ошибка. Вы назначаетесь не просто посланником в республику Либерию, а чрезвычайным послом.

Мануэль Нунес низко поклонился.

— Но, — продолжал министр, — надеюсь, вы умеете есть на банкетах левой рукой? Суммы на представительство используйте для ознакомления либерийцев с нашей республикой. Еще раз предупреждаю вас о банкетах. Кушать надо левой рукой, где вилка. А ножом не едят, ножом только режут. Торт не берите в кулак. И не ковыряйте в носу на приемах. Постоянно помните о том, что представляете в чужой стране республику Уругвай.

И министр вышел, величественно подняв голову. Через минуту явился заведующий статистикой с громадным атласом. Правитель канцелярии и Мануэль Нунес воззрились на его сияющее торжеством лицо. Заведующий статистикой имел такой вид, будто открыл новую часть света, которую столетия не замечали проходившие мимо пароходы.

— Не говорил ли я вам, — воскликнул он, — что негритянская республика существует? Хотите доказательств, синьоры? — Он разложил на столе географический атлас. — Вот тут Ла-Плата, а здесь Либерия. Сядете на пароход в Буэнос-Айресе, в Аргентине...

— Позволю себе указать, — возразил правитель канцелярии, — что мне еще не известно, прекращено ли состояние войны между нашей республикой и Аргентиной. Впрочем, можно справиться по телефону у военного министра.

— Можете ехать через Буэнос-Айрес, — сказал он, возвратясь от телефона, — военное положение снято уже третий месяц.

По дороге из министерства домой Мануэль Нунес опять завернул к букинисту и приобрел карту мира и книгу церемониймейстера республики Уругвай доктора Бенуто «Уменье держать себя на банкетах».

На протяжении четырех недель, остававшихся чрезвычайному послу до отъезда в республику Либерию, его можно было видеть в салоне синьоры Ричарды, бывшей проститутки, потом известной танцовщицы и впоследствии владелицы «Школы элегантных манер».

Остатки свободного времени он посвятил добросовестному изучению «Разговора испанца с французом» и книги д-ра Бенуто «Уменье держать себя на банкетах».

К своему удивлению, Нунес прочел, что французский и испанский языки принадлежат к одной и той же романской группе и поэтому сходны между собой. Но, сколько он ни штудировал «Разговор испанца с французом», ему это сходство обнаружить не удалось. Поэтому посол решил учить все наизусть.

«Члены семьи суть: отец, мать, дети, сыновья, дочери, внуки и внуки».

«Жив ли твой отец?»

«Сколько детей у твоих родителей?»

«Будь благодарен своим родным за их заботы о тебе».

«Младший брат моего отца был землепашцем».

«У моего прадедушки было семь дочерей».

«Его прабабушка имела двух сыновей».

«Его прадедушка был племянником брата своего отца».

Мануэль Нунес жарил наизусть страницу за страницей. Кроме того, из книги д-ра Бенуто он усвоил, что на дипломатических обедах нельзя рыгать, икать и сплевывать на пол.

Перед отъездом его навестил редактор правительственного официоза «Республика Уругвай».

— Общественность, — сказал редактор, — с неослабевающим интересом следит за вашей деятельностью на дипломатическом поприще, господин посол. Ваши дипломатические способности — лучшая гарантия того, что наша заграничная политика будет блестяща. Мы беспрестанно завоевываем новых союзников, проявляем себя за границей. Буду очень рад, если вы станете периодически присылать в нашу газету статьи о вашей плодотворной деятельности.

Мануэль Нунес выехал в Либерию. На пароходе он не расставался с картой мира и книгой «Разговор испанца с французом» и зубрил отчаянно:

«Время обедать».

«Я не голоден».

«Подано на стол».

«Брат за обедом сиживал возле вас».

«Здесь нет прибора».

«Рис, крупа, манная крупа».

«Свинину можно коптить».

«Вчера я жарил баранину».

«Хрен с уксусом».

«Ручей мелок и узок, река широка и глубока, пруд часто глубже и шире, чем ручей».

«Ночью я часто скриплю зубами».

«Поезжайте с ребенком в детскую больницу».

«Корова и вол суть животные».

### III

Через две недели чрезвычайный посол Уругвайской республики Мануэль Нунес снискал широкую известность в республике Либерии.

Было это в связи с вручением верительных грамот президенту Либерии Занрику, весьма приятному негру, знавшему французский, английский, немецкий, арабский, турецкий, голландский, датский, финский, русский и шведский языки. Его предки при Людовике XV были колесованы за участие в восстании чернокожих рабов.

Заметка в официальной газете, посвященная приему нового посла президентом республики, была необыкновенно лаконична:

«Вчера президенту нашей республики представился с верительными грамотами чрезвычайный посол республики Уругвай господин Мануэль Нунес».

Зато газета, которую вел лидер оппозиции (его предки при Людовике XV были изжарены на медленном огне), писала по этому поводу:

«До сих пор непонятно, что за прок будет нашей республике от появления в

ней чрезвычайного посла какой-то неведомой республики Уругвай. Ясно лишь одно: глава нашей республики уделяет слишком много времени этой особе, которая, судя по всему, скорее нуждается в абсолютном покое... *(Дальше изъято цензурой.)*

...что совсем не в наших целях, ибо весь разговор президента с уругвайским послом, согласно стенограмме министерства внутренних дел, звучал так:

Господин президент: «Весьма рад, что благодаря вашей энергии вы уже в молодых летах получили столь ответственный пост».

Мануэль Нунес: «Дедушка — старейший член нашей семьи... *(После паузы.)* Мой брат на два года старше меня... Ему скоро 80. Вы в цветущем возрасте. Вы выглядите моим ровесником. Некоторые грибы съедобны, а другие ядовиты. Бревно есть отесанный ствол. Мне нужны воротничок и манжеты. Жду письма до востребования. Лихорадка усиливается к вечеру. Поднимите левую ногу. Ежедневно кушайте овощи».

При этом разговоре нашему президенту даже не удавалось вставить слово, ибо уругвайский гражданин Мануэль Нунес ломаным французским языком беспрерывно сыпал эти странные фразы. Президент был вынужден держаться невозмутимо, что, конечно... *(Изъято.)* Если же какой-нибудь балбес из-за границы... *(Изъято.)* Скотина... *(Изъято.)*

Наше министерство иностранных дел форменно оскандалилось. На банкете, устроенном в честь нового чрезвычайного посла Уругвая, господин Нунес произнес следующий спич:

«Эта прическа мне не к лицу. Вымойте мне волосы. Голову побрейте, а усы оставьте как есть. У колбасника к вечеру будет свежая ветчина. Зайдите на рынок и узнайте, почему цыплята».

Статья оппозиционного органа кончалась словами: «Бесспорно — это финал, ибо... *(Изъято.)*»

#### IV

Однако чрезвычайный посол Уругвайской республики остался на своем посту. Он устраивает банкет за банкетом, именуется его превосходительством, и никому, кроме оппозиции, не мешает, что господин посол и по сей день встречает своих гостей словами:

«Как раз сегодня я вспомнил, что надо купить яиц. Вы младше меня. Вы уже выбрали маскарадный костюм?»

## Взаимоотношения родителей и детей

### I

Учитель Швольба издал уже несколько книг о взаимоотношениях между родителями и детьми, установив, что, согласно неопровержимым признакам, они являются наиболее естественными человеческими отношениями.

Несколько лекций, прочитанных им в разных обществах, как, например, в «Женском клубе» и в клубе двухнедельника «Семья», ставившего себе целью сближение родителей с детьми, создали ему славу большого оригинала, особенно после того, как в передовой статье упомянутого журнала он доказал, что дети бесспорно являются ветвью того же рода, что и родители, и что эту логическую связь никак нельзя недооценить, причем ссылаясь на Адольфа Книгге, старого церемониймейстера и камердинера при веймарском дворе, и еще на несчастного доктора Гута в Граде.

Ученая слава Швольбы, однако, весьма печально отразилась на его карьере: разве только нелепой случайностью можно объяснить, что этому полумному было доверено воспитание учащейся молодежи. Судьба грубо подшутила над учителем. Ему пришлось сидеть за гимназической кафедрой, вместо того чтобы прогуливаться в хорошую погоду в садике известной лечебницы.

Школьные власти переводили его с места на место, зато он на уроках чешского языка разъяснял, что, плодя детей, родители способствуют сохранению семьи.

Задаваемые им на дом письменные работы носили философско-педагогический характер, как, например: «Должны ли родители участвовать в проказах своих детей?»

Из-за таких заданий он путешествовал с места на место: с севера на юг, с юга на восток и с востока на запад республики.

В конце концов он очутился опять на новом месте — на этот раз на юго-западе, и первым его выступлением перед учениками пятого класса гимназии на уроке чешского языка была занимательная лекция о том, что сын от рождения знает своего отца, и, для того чтобы отец не возбуждал в нем антипатии, сын должен ценить хорошие стороны отцовского характера. Вместе с тем сын должен, однако, всегда отдавать себе отчет в родительских слабостях, чтобы не подражать им.

В качестве вывода из лекции новым ученикам была предложена домашняя работа под глубокомысленным заголовком: «Если даже дети имеют основания стыдиться пороков своих родителей, они все же обязаны быть им благодарны».

К этой теме учитель Швольба продиктовал гимназистам тезисы и пункты, которыми они должны были руководствоваться при выполнении работы:

1. Перечень гадких, безнравственных поступков и пороков моих родителей.
2. Скрывают ли родители от меня вышеназванные пороки?
3. Почему мы должны по возможности скрывать от общественности эти недостатки наших родителей?
4. Почему мы не должны следовать их дурному примеру?
5. Ссорятся ли между собой мои родители?
6. Отчего мы должны вести себя разумно и осмотрительно при семейных

скандалах?

— Да, дорогие мои ученики, — торжественно заявил учитель Швольба, — при работе над домашними сочинениями я исхожу из принципиально новой педагогической системы. Я стараюсь сблизить родителей с сыновьями. Раньше считалось недопустимым, чтобы родители помогали детям при выполнении уроков. Но я прямо настаиваю, чтобы родители вам помогали, и моей очередной задачей будет созвать в ближайшее время общее собрание родителей, на котором я сделаю доклад об укреплении семьи и воспользуюсь случаем выяснить, насколько родители помогают вам делать уроки.

Хотя среди пятиклассников и были храбрецы, пятый год сражавшиеся со всевозможными преподавателями, но даже они дрогнули и побледили при виде этого фанатика, чьи речи и худощавая фигура напомнили им грозного Савонаролу, портрет которого смотрел на них со стены.

Во время перемены, когда Швольба ушел, весь класс решил, что новый учитель просто псих и с ним надо быть осторожнее, а что касается заданной темы — то уж и подавно отвергнуть всякое сотрудничество с родителями.

## II

Вернувшись из школы домой, пятиклассник Машек, сын окружного начальника, старательно спрятал листок со своими заметками по чешскому языку, содержащими пресловутые шесть тезисов, и за обедом на вопросы отца — что нового в гимназии, не задали ли уроков на дом и как понравился новый учитель чешского языка — ответил, что нового ничего нет, уроков на дом не задали, а новый учитель очень симпатичный и приятный.

Сын окружного начальника Машека последнее время был с отцом в весьма натянутых отношениях. Отец запретил ему вступить в футбольную команду «Квинта А» и не захотел даже слушать, что команда предложила молодому Машеку купить футбольный мяч, если он хочет стать капитаном.

Это было, так сказать, главное разногласие между старым и молодым Машеками, не считая ряда мелких недоразумений, вроде грубого отказа отпустить сына на ближайшие праздники в бойскаутскую экскурсию на Шумаву.

Окружной начальник, разговаривая с сыном, считал его абсолютным выродком. Особенно претило отцу полное равнодушие сына к религиозным обязанностям. Окружной начальник был крайне поражен, узнав официальным путем, что его сын, уповая на свои четырнадцать лет, перешел в секту «адвентистов седьмого дня». Юный Машек сделал это исключительно из корыстных соображений, ибо кто-то сказал ему, будто каждому перешедшему в эту секту дают двести пятьдесят крон и двенадцать кило баранины. Бедняга рассчитывал баранину продать, а на вырученные деньги, присовокупив к ним еще двести пятьдесят крон, полученные за измену католической церкви, купить хороший английский футбольный мяч с запасной камерой. Из соображений чисто спортивного характера он хотел променять религию на мяч.

Увы, его ждало разочарование. «Адвентисты седьмого дня» прислали Библию на английском языке, сборник церковных песен на тридцати двух языках, не исключая негритянского наречия племени машоколомбо, и счет на английском языке с предложением уплатить два фунта стерлингов пастору Мак-Росперу, Прага, Гаштальская, 16.

И Машек-младший, сидя после обеда в своей комнате и вспоминая своего жестокого отца и все разочарования, которые ему уготовила жизнь, решил со-

вершенно правдиво ответить на все вопросы заданной домашней работы — не щадить отца, принять бой, как его приняла «Квинта А» в футбольном состязании с «Октавой Б», хотя знала, что проиграет; это и подтвердилось счетом 22:3.

Итак, он совершенно хладнокровно занялся ответами на отдельные вопросы, начав с первого пункта «Перечень гадких, безнравственных поступков и пороков моих родителей».

«1. Мать моя путается с инженером Пупетом, служащим в фирме «Крулих и Комп. Завод искусственных удобрений». Пупет умеет искусно тратить деньги моей маменьки, и поэтому папаша недавно разволновался и кричал при служанке, что «с него хватит». Если бы он не был столько должен инженеру Пупету, они давно бы развелись. Сам отец ежедневно проводит служебные часы в кабаке Марковских, где всегда вертится несколько юбок. С одной из них он недавно съездил в Каменный округ. Так что родители стоят друг друга. Что касается характера моих родителей, то мать моя — женщина совершенно невоспитанная, очень вспыльчивая, не проявляет ни малейшей заботы о своих детях и свирепеет при самых невинных, свойственных молодому возрасту забавах. О домашнем хозяйстве она совершенно не заботится и готова целый день торчать перед зеркалом, мазать лицо кремами и пудрами и причесываться и одеваться, как на сцену. Отец — старый бюрократ подлейшего характера, что известно всему городу со времен войны. При австрийском владычестве, занимая ту же должность, что и сейчас, он писал фамилию на немецкий лад — Матчек, а сразу после переворота переменил фамилию и пишет теперь: Машек. Недавно, когда я зашел к нему по делу, на лестнице один посетитель говорил другому, что папаша при австрийцах был скотиной и таким же остался при республике. В прошлом году, в день именин покойного императора, он не пошел на службу, а отправился на молебен и был страшно удивлен, что костел закрыт, — только к обеду разобрался, в чем дело. Со своими детьми он очень жесток; поддерживает дисциплину лишь палочной расправой и преследует их, как во время войны преследовал каждого политически подозрительного человека, то есть весь округ. Он лишает детей всякой радости, ненавидит футбол и физкультуру. Прислугу берет только из Иглавы, чтобы было с кем говорить по-немецки. Из кабака он возвращается обычно налижавшимся и начинает хвастать перед детьми, как он хорошо учился в свое время, получал награды и круглые пятерки, а мы нашли однажды его старый школьный дневник, так в нем были одни колы, двойки да переэкзаменовки. В гимназии он учился до того плохо, что его даже на второй год в одном классе оставили».

На второй вопрос: «Скрывают ли родители от меня вышеназванные пороки?» — юный Машек ответил следующим образом:

«2. Не скрывают. У нас все делается открыто, и утаить от детей ничего не удастся; а если какую-нибудь пакость мы сами и не видим, то все равно узнаем о ней от посторонних людей, когда ходим в гости».

На третий пункт: «Почему мы должны по возможности скрывать от общества эти недостатки?» — он ответил словами, позаимствованными из вступительного слова учителя Швольбы:

«3. Потому что должны быть им благодарны за то, что они произвели нас на свет».

Ответ на вопрос: «Почему мы не должны следовать их дурному приме-

ру?» — показался ему весьма затруднительным, но он отделался от него, написав:

«4. Потому что каждый сын должен руководствоваться исключительно здравым смыслом, чтобы в будущем, став взрослым, избежать ошибок своих родителей и, получив постоянную службу, посвятить себя воспитанию своего ребенка, который без отцовской заботы покоился бы в сырой земле».

Пятый вопрос: «Ссорятся ли между собой мои родители?» — не вызвал затруднений:

«5. Нет дня, чтобы у нас обошлось без скандала и не дошло до драки».

Ответить на шестой вопрос: «Отчего мы должны вести себя разумно и осмотрительно при семейных скандалах?» — Машеку не пришлось.

Кто-то, подойдя сзади на цыпочках, потрепал его по плечу. Несчастный пятиклассник не успел уничтожить свое произведение: за его спиной стоял сам окружной начальник.

Он только что вернулся из кабака и был в самом добродушном настроении.

— Милый мальчик, — сказал он с отцовской нежностью, — теперь я вижу, как прилежно ты работаешь! Ты так же старателен в учении, как был я сам, когда получал одни похвальные грамоты. Смотри, какой у тебя хороший почерк, я до сих пор даже не замечал! А почему ты пишешь карандашом? Черновик, что ли, это у тебя?

Он погладил сына по голове и, взяв в руки заметки несчастного, ласково сказал:

— Подожди немного, мой мальчик, и ты получишь от меня мяч, будешь играть в футбол, станешь скаутом...

С этими словами он начал перелистывать рукопись. Чем дальше, тем с большим интересом он читал и тем больше менялось выражение его лица. Бедный пятиклассник стал потихоньку пятиться к двери, но окружной начальник настиг его прыжком пантеры.

Последовавшая за этим сцена была бы иллюстрацией к тому, что минуту назад писал злосчастный ученик: «Со своими детьми он очень жесток, поддерживает дисциплину лишь палочной расправой...»

Окружной начальник обломал о собственного сына последний остаток былой австрийской славы — шпагу от своего парадного мундира, которую он использовал вместо розги.

### III

Когда на следующей неделе ученики сдавали домашние работы учителю Швольбе, Машек-младший трясущимися руками отдал свою тетрадь, где против заголовка «Если даже дети имеют основания стыдиться пороков своих родителей, они все же обязаны быть им благодарны» было приписано: «Ваши вопросы и тезисы я направил по служебной линии министерству просвещения для оценки».

Под этим стояла подпись и печать окружного начальника, дата и исходящий номер: «У. г. 6272/126».

Говорят, учителя Швольбу перевели в Закарпатскую Русь.

## Разговор с цензором

Канцелярия полицейской цензуры в Кочабамбе. На столах разбросаны бумаги. Над столом начальника полицейской цензуры висит национальный флаг, состоящий из трех горизонтальных полос разной ширины: голубой наверху, золотисто-желтой посередине и зеленой внизу. Над входом в канцелярию — портрет генерала Санта-Крус, который объединил Чили с Боливией, выпустил в обращение большое количество серебряных монет, провозгласил свободу печати и учредил военный суд (*corte marcial*) для нарушителей закона о печати. За большим письменным столом сидит начальник полицейской цензуры **Хосе Мария Линарес**. Против него на стуле **Мариано Мельгарехо**. Несчастный в короткий срок написал три театральные пьесы. Полицейская цензура с еще большей поспешностью запретила их и закрыла театр, где они должны были идти. Господин Мариано Мельгарехо пришел узнать о судьбе театра и своих пьес и ведет теперь беседу с цензором. Сам он считает эти пьесы самыми безобидными на свете.

**Хосе Мария Линарес.** Ну и удружили вы нам, господин Мельгарехо. Из-за ваших пьес мы с господином префектом полиции попали в скверное положение. Карамба! Можно сказать, получили по носу сверху, из Ла-Паса. Как вам могло прийти в голову сравнивать государственного министра генерала Пласида Ионеса с печью? Что вы вертитеесь? Думаете, мы сразу не догадались, прочтя заглавие вашей пьесы «Печь и уголь», что под печью вы подразумеваете Пласида Ионеса, а под углем — министра внутренних дел генерала Чусиагу?

**Мариано Мельгарехо.** Господин помощник префекта, уверяю вас: я не имел ни малейшего намерения писать что-либо против генерала Пласида Ионеса или министра Чусиаги. Я хотел написать нечто совершенно новое. Там действительно речь идет только о печи и угле. Не забывайте также, что я был в психиатрической лечебнице. Моя пьеса означает победу мертвой матери над другими сущностями. Вы знаете сказки, иллюстрированные Эдмондом Дюлаком, этот яркий образчик культуры старой Англии, где беседуют скорлупа краба и каменный утес? А у меня разговаривают печь и уголь. (Про себя: «Господи, как объяснить этому болвану?») Знаете бразильского поэта Иллариона Дасу, господин помощник префекта? Его эссе о лестнице?.. Где он пишет, что вынужден молчать при виде лестницы, потому что она говорит ему так громко, что покрывает его голос... Ах, господин помощник префекта, если бы вы только себе представили, что может рассказать какой-нибудь кол, к которому привязывают (в пампасах) лошадей? Моя пьеса «Печь и уголь» тоже основана на разговорах неодушевленных предметов. Но, господин помощник префекта, ни один человек во всей Южной Америке, прочтя заглавие моей пьесы «Печь и уголь», не скажет: «Ага, печь! Так это же господин государственный министр Пласид Ионес, а уголь — не иначе как министр внутренних дел Гарантисадор Чусиага». (*Смущенно смеется.*) Вот если б я написал драму «Керосин и фитиль»...

**Хосе Мария Линарес** (*прерывает*). Положа руку на сердце, кого вы подразумевали, господин Мариано Мельгарехо?

**Мельгарехо** (*с тем же смущенным смехом*). Но, господин помощник префекта...

**Хосе Мария Линарес.** Не вышло, господин Мельгарехо. Мы проникли в

ваш замысел. (*Торжественно.*) В пять минут проникли. Цензура не так глупа, как думают. Стоило мне только прочесть заглавие «Печь и уголь», как я все понял... Теперь скажите мне, как вы узнали, что отец генерала Пласида Ионеса был печником в Югаве, а мать министра внутренних дел Гарантисадора Чусиаги торговала углем в Биркесе Потосийского департамента? «Печь и уголь»! Ведь это прямо бросается в глаза. У вас там печь поглощает уголь. Как вы узнали, что генералу Пласиду Ионесу передается также ведомство внутренних дел, которым до сих пор руководил генерал Гарантисадор Чусиага? Что? Попались? Вывели вас на чистую воду? Уж больно поторопились вы афиши отпечатать, дорогой мой господин Мариано Мельгарехо. Счастье еще, что мы в последнюю минуту остановили; и то нам наверху, в Ла-Пасе, голову намылили. Пишите без всяких политических намеков — и не придется рисковать. А то пожалуйте: «Печь и уголь»!

**Мельгарехо.** Позвольте вам объяснить, господин помощник префекта...

**Хосе Мария Линарес.** Не нужно никаких объяснений. Они совершенно излишни. Вы хотели устроить своей «Печью и углем» политический скандал. А мы вам не дали, голубчик. Когда на бирже в Монтевидео наша патачао[250] каждый день поднимается, нет решительно никаких оснований волновать общественность какими-то скандалами. А другая ваша пьеса — «Кабель из Пернамбуко в Лисабон»? И это сейчас, когда правительство уделяет особое внимание средствам связи! О чем вы только думаете, господин Мельгарехо?

**Мельгарехо.** Это тоже, позвольте вам сказать, господин помощник префекта, случай, который вопиет к небу!

**Хосе Мария Линарес** (*смеясь*). Ишь как у вас ловко получается, господин Мельгарехо! «Случай, который вопиет к небу», — а сами публично оскорбляете государственный кабель. Как? А вот как, дорогой мой господин Мельгарехо: в вашей пьесе «Кабель из Пернамбуко в Лисабон» пять раз заходит разговор о заднице. Вы, видимо, забыли, что каждая задница и каждое г... проходят через руки нашего департамента цензуры в Кочабамбе. Теперешняя политическая обстановка требует большего культурного такта. Так, как вы пишете в своих театральных пьесах, говорили, может быть, в эпоху Гонсалеса Писарро, когда на нас шел войной Тупак Амару со своими индейцами.

**Мельгарехо.** Я думал...

**Хосе Мария Линарес** (*насмешливо*). Вы думали... Это нечто совершенно новое, господин Мельгарехо! Когда с нами завязывает отношения заграница, когда мы не одни, когда на нас смотрят представители других стран, — каждая ваша «задница», как вы сами только что выразились, вопиет к небу. Какое культурное государство после этого подпишет с нами военный договор?

**Мельгарехо.** А по какой причине запрещена третья моя пьеса?

**Хосе Мария Линарес.** По очень простой. После того как я запретил первую и вторую, естественно, пришла очередь третьей... Итак, господин Мельгарехо, мы все с вами выяснили. Полагаю, к взаимному удовольствию. Не заблудитесь в коридоре. Отсюда направо, потом в дверь налево и опять направо. А прямо — попадете в полицейскую тюрьму. Будьте осторожны!

«О чем же писать? — подумал Мариано Мельгарехо. — Перейду-ка я на научные статьи: стану писать глупости».

Вернувшись из канцелярии полицейской цензуры в Кочабамбе к себе до-

мой, он написал статью: «О глупости, тупости и недостатке умственных способностей».

При этом он произвел научную классификацию глупости, разделив ее на глупость врожденную, глупость от старости и глупость с юридической точки зрения.

Политическая цензура департамента в Кочабамбе изъяла всю статью целиком.

## Перемена фамилии

*Секретарю министерства финансов Ярославу Выжралеку земским политическим управлением разрешено впредь носить фамилию Блатенский.*

*«Народни политика» от 18 января 1922 г. Рубрика «Дела личные и семейные»*

Я не знаю секретаря министерства финансов Ярослава Выжралека и думаю, что в жизни бы не заинтересовался им, если бы он не попался мне в руки через процитированное выше сообщение из «Народни политики». Человек, который служит секретарем министерства финансов и целые десятилетия именуется Выжралеком, вдруг в один прекрасный день спохватывается и присваивает себе, как это было принято у поэтов времен будителей, поэтическую фамилию Блатенский, такой человек — явление достопримечательное не только в общем смысле, но и, главным образом, в связи со своим служебным положением.

На человека, который, по существу, отрекся от самого себя, нужно обратить внимание и сурово покарать земское политическое управление, чтобы в интересах общественного порядка оно не разрешало менять фамилии людям, которые столь близки министерским креслам и именуются Выжралеком, Выжранда, Выжирка, Выжирач и т. п., ибо впечатление от этого такое, как если бы они в чем-то признавались.

Я советую министру финансов избегать в будущем подобных позорных историй и не допускать на столь высокие посты в министерстве никаких Выжралеков, так как их *po men-o men*[251] прямо провоцирует людей на самые разнообразные истолкования. На такие посты сразу надо назначать секретарей, издавна носящих поэтические имена. Теперь уже поздно, и ничем не исправишь того факта, что в министерстве финансов будет сидеть некий Блатенский, после того как там так долго сидел Выжралеком, имя которого ныне опубликовано во всех газетах.

Во всей этой трагедии самое печальное заключается в том, что этот человек сам разгласил перед всем миром, как противна ему фамилия Выжралеком именно в связи с должностью в министерстве финансов. Ему следовало бы оставить все как есть, и никто не обратил бы внимания, во всяком случае, серьезного, на подобное стечение обстоятельств.

Пан министр финансов, я надеюсь, вы наложите дисциплинарное взыскание на своего секретаря за то, что он так внезапно и беспричинно возмутил общественность.

В министерстве финансов есть еще два чиновника с подозрительными именами. Одного из них зовут Лис, а другого — Пресс.

Теперь нам остается только ждать сообщения в газетах о том, что пан Лис из министерства финансов получил разрешение земского политического управления именоваться Винаржицким, а пан Пресс — Яблонским. Блатенский у вас уже есть, — значит, теперь министерство финансов может издавать поэтический альманах, который будет бесплатно рассылаться всем налогоплательщикам, чтобы они немного отдохнули душой от уплаты налогов и не обалдевали окончательно от налогового пресса и прочего оборудования финансовой инквизиции.

Пан Ярослав Выжралек не получил никакой выгоды. Если он полагал, что теперь все в порядке, то он жестоко ошибся.

Он оказался в положении человека, который хотел разом встать на ноги, но тут же рухнул на землю.

Если раньше в узком кругу друзей его встречали словами: «А, вон идет министерский секретарь, пан Выжралек», — то произносили это имя без подчеркивания, ну, как обычно говорится: Выжралек то, Выжралек се. Ни у кого не возникало никакой задней мысли. А сегодня?

С каким смаком его ближайшие друзья будут делать ударение на слове *Выжралек*, с каким чувством начнут они произносить каждый слог — *Вы-жралек*, каким тоном скажут: «Добрый день, пан *Выжралек*, пардон... пан *Блатенский!*»

А на улице, где он живет, соседи будут показывать на него пальцем и говорить: «Это тот Блатенский-Выжралек из министерства».

И швейцар в министерстве, который раньше говорил: «Для вас есть письмо, пан министерский советник», — сегодня добавит со странной улыбкой «пан министерский советник... Блатенский»...

И даже министр ошибется и дружески скажет в телефон:

— Послушайте, Выжралек...

А Выжралек робко ответит:

— Позвольте обратить ваше внимание, пан министр, на рубрику «Дела личные и семейные» в «Чубичке» от восемнадцатого января этого года...

И министр еле выговорит, захлебываясь от смеха:

— Знаю, знаю, пан Блатенский! Хе-хе-хе, но у вас, я слышал, хе-хе-хе, кое-какие затруднения из-за этого, хе-хе-хе!

Видите, к чему ведет опрометчивость, пан Выжралек-Блатенский! Даже это сочетание фамилий напоминает что-то зоологическое.

Но если вас все же называют теперь «пан Блатенский», то и от этого вы ничего не выиграли, потому что у фамилии Блатенский не слишком хорошие исторические традиции. Некий Вацлав Блатенский в 1520 году служил чиновником в Роуднице и был четвертован за кражу городских печатей. Прокоптившиеся останки вашего нового предка висели на городских воротах вплоть до 1541 года.

Зикмунд Блатенский, владелец крепости Иштирбы в Литомержицком крае, был повешен в 1528 году в Литомержице за то, что грабил литомержицких купцов. Об Иржике Блатенском вы прочтете в архиве следующее (можете послать в архив служителя министерства): в 1589 году в Праге он под пыткой признался, что отравил свою сестру Анну, вдову Микулаша Светецкого из Черниц. Этот ваш новый предок тоже окончил свою жизнь на плахе.

Затем совсем недавно некий Блатенский убил старуху в Сватоборжицах в Моравии.

Впрочем, тут-то положение можно исправить. Напишите просто в «Народни политику»: «Секретарь министерства финансов пан Ярослав Блатенский извещает, что он не состоит ни в каких родственных отношениях с грабителем и убийцей Блатенским, о котором сообщала недавно наша газета».

И все будет в порядке!

А в общем, что в лоб, что по лбу. Вам ничуть не стало лучше от перемены фамилии Выжралек на Блатенский.

Жители Блатны говорят о себе:

*Я из Блатны.*

*А толку от этого мало...*

Итак, спокойной ночи, пан Блатенский!

## **Хрестоматия приятных манер**

### ***Предисловие***

Для тех, кто в течение длительного времени занимается изучением человеческих характеров, всегда крайне прискорбно и горько убеждаться, что самые разумные и толковые люди сплошь да рядом ведут себя так, что в пору только развести руками.

Это дало повод Адольфу Книгге, суммировавшему печальный опыт общения с людьми, с которыми сталкивала его судьба, издать в 1788 году в Ганновере весьма приятную книгу: «Из опыта общения с людьми». В ней он излагал правила счастливой, спокойной и полезной жизни.

Его книга доставила мне в ранней юности массу удовольствия. Для меня она была не только *vade mecum*'ом[252] светских манер, но и десятью заповедями благородства, указующими, как вести себя с ближними, дабы снискать их расположение. Когда позднее я попытался в практической жизни действовать согласно этим правилам, то встретил столько помех и разочарований, что мне не оставалось ничего иного, как приспособить науку общения с людьми к современной эпохе, или, точнее говоря, написать нечто вроде «Хрестоматии приятных манер», где трактуется вопрос об обязанностях, которые налагает на нас наше общественное положение, ибо человек зачастую оказывается в крайне запутанных ситуациях.

Книга подготовлена к печати, и мне осталось лишь присовокупить общее оглавление, упорядочить материал да составить алфавитный указатель.

Пока привожу некоторые выдержки из своей «Хрестоматии приятных манер».

### ***Некоторые выдержки***

**Анекдоты.** Любой рассказанный тобой анекдот должен в известной мере быть связан с жизнью того общества, в котором ты вращаешься и рассказываешь анекдоты. Предпочтительны анекдоты, бросающие тень на кого-либо из знакомых и предающие огласке интимные семейные разговоры и сцены. Если они, на твой взгляд, недостаточно скандальны, выворачивай их по собственному разумению.

Не исключены неприятности; лечиться можно дома. Опухоли лечат компрессами из свинцовой примочки, ее найдешь в любой аптеке. Синяки и сса-

дины — смесью камфарного спирта, чистого скипидара и нашатыря. В легких случаях достаточно компресса из тертого хрена.

Есть люди, которые, рассказывая пикантные или до известной степени похабные анекдоты, допускают нарушение приличий, то есть говорят *громко*, не обращая внимания на присутствие молодых дам. Подобные анекдоты следует пересказывать шепотом, с глазу на глаз. Старайтесь отвести молодую даму в сторонку. Если возникнет недоразумение, что, понятно, случается очень редко, то при лечении в домашних условиях применяются вышеупомянутые лекарства и мази.

И еще одно: многие пикантные анекдоты, которые мы позволяем себе рассказывать в дамском обществе, очень часто вызывают краску на лицах мужчин.

В общем, следует запомнить: нет ничего скучнее так называемых приличных анекдотов. Порядочному человеку они не могут прийти по вкусу, и ты лишь затронешь его деликатные чувства и вызовешь нарекания, потому что все ожидали от тебя чего-то возбуждающе-пикантного, а ты мелешь всякую благопристойную чушь. Приличные анекдоты рассказывают друг другу лишь члены Армии спасения, да и то — пока не напьются в стельку.

**Вежливость.** Еще Книжке говорил: если хочешь быть вежливым, не уходи от собеседника и не отпускай его от себя, куда не расскажешь чего-нибудь назидательного и занимательного. Из этого следует: никто не должен считать потерянным время, проведенное в твоём обществе. Развлекай любой ценой.

Беседуя с какой-нибудь барышней, которую видишь впервые, сообщи ей, к примеру, что ты чешский поэт, известный под фамилией Г. Р. Опоченский, и тебе принадлежит стихотворение «Легла беспросветная мгла, не спит Бржетислав-воевода»; что, помимо того, ты летаешь на аэроплане, а негр Джемс перебил тебе носовой хрящ, когда он жил в Праге инкогнито.

Если ты разговариваешь с господином, у которого на носу бородавка, обрати его внимание на то, что в Англии у двухсот пятидесяти двух тысяч сорока восьми человек такие же бородавки на носу и на подбородке.

Что же касается поучительных бесед, то, прежде чем отправиться в общество, загляни в любой том научного словаря, а затем рассуждай о том, что «стегно», например, — это верхняя часть ноги от таза до колена; «стегиатки» — животные (смотри chalcididae); Стегров — деревня в Чехии (смотри «Гуть», № 28).

Неисчерпаемым источником развлечений служит также цитирование посвящения Софьи Подлипской в ее книге «Муравейник»: «Посвящается памяти моего деда и бабушки с материнской стороны в память о столетии со дня рождения бабушки. Примите, дорогие души, сошедшие в могилу, сей скромный букет...»

Итак, поймите меня правильно. Быть вежливым — значит быть общительным. Следите, чтобы никто не мог отделаться от вас слишком быстро, и, как говорил Книжке, не отпускайте собеседника, куда не расскажете ему что-нибудь назидательное и занимательное; а я добавлю: и приятное. Что именно — зависит, разумеется, от личности собеседника. По-моему, каждому приятно услышать, что, если бы он снялся, то на фотографии выглядел бы чуть старше.

**О негодях.** В круговороте жизни под влиянием кинематографа многие становятся негодьями вопреки собственному желанию и, совершив какое-ли-

бо деяние, о котором мы читаем в рубрике «Из зала суда», лишают себя надежды на возвращение в общество. Человек, ставший негодяем, должен приложить все усилия, чтобы удержаться на этом поприще и не сделаться всеобщим посмешищем.

Он обязан быть последовательным среди подобных себе, особенно когда дело касается дележа краденого. Он должен до тех пор плести интриги, пока его сообщники не передерутся между собой, а тогда вся добыча твоя и — исчезай.

Юный друг негодяй! Шагай по мере сил прямым путем, но не избегай и окольного! Если хочешь стать законченным негодяем и мошенником, не останавливайся на полпути, иначе, молодой человек, ты и до суда не дотянешь.

Если судьи полагают, что ты можешь исправиться, будь стойким. Приведи доказательства своего душевного спокойствия в знак того, что совесть твоя неподатлива. Твое исправление — всего лишь бессмысленное великодушие по отношению к судьям. Когда судьи призывают тебя исправиться, они делают это отнюдь не из симпатии к тебе. Просто боятся, как бы ты — при нынешнем широком размахе преступности — вновь не предстал перед ними и не задал им новую работу, а канцелярии — новые хлопоты.

Пусть тебя не сбивает с толку и условное наказание по первому приговору. Это всего-навсего признак слабости общества. Если ты негодяй, мошенник, — гни свою линию и будь непреклонен в своей подлости, не принимай благодарений со стороны закона. Ведь если тебе удастся еще до отмены смертной казни угодить на виселицу — все равно ты покажешь всем язык. Кем бы ты ни был — будь им до конца!

**Отношение должника к кредитору.** Считай, что когда тебе дают в долг, то оказывают незначительную услугу, которую следует без смущения принимать от своего ближнего, — и ты совершишь неблагодарный поступок, если пожелаешь возратить своему кредитору занятую сумму, ибо тем самым кровно обидишь благодетеля, напомнив, что некогда он был добр к тебе. Невозвращение долга несравненно ценнее всей взятой в долг суммы. Такое невозвращение имеет цену моральную, ибо хорошо воспитанный ближний отнюдь не должен рассчитывать, что ему когда-либо вернут одолженные деньги. Всякий, кто стал твоим кредитором, будет испытывать к тебе признательность за то, что ты никогда не упомянешь о благодеянии, которое он тебе в свое время оказал.

Благородные и деликатные должники предпочитают избегать своих кредиторов, дабы ненароком не проговориться о долге, не отравлять этим встречу со старым другом и не портить столь бесцеремонно его воспоминаний о содеянном когда-то добре. Если же должник занимал в менее ценной валюте, а возвращает ту же сумму, но в более ценной, можно подумать, будто он хочет вознаградить своего кредитора за оказанную услугу и тем самым унижить его. Если уж он настолько бестактен, что возвращает деньги, по крайней мере пусть переведет их на прежний курс.

Разумеется, совсем иное дело, если твой кредитор — человек, лишенный всяких моральных принципов и утративший последние остатки скромности, и сам начинает напоминать тебе о долге. В таком случае выслушай его слова сочувственно, благосклонно и внимательно! Не перебивай его! Для бедняги известным утешением служит уже то, что он может излиться и облегчить свою душу. Подумай только, как, вероятно, трудно было ему сделать первый

шаг к попрошайничеству! Постарайся тотчас, как только он выговорится и у него отляжет от сердца, деликатно перевести разговор на совершенно иную тему, например, о том, что в 1860 году господин Иван Маркати первым открыл на далматинском острове Гваре знаменитые мраморные каменоломни; а если и это не поможет, крикни ему прямо в ухо: «В Ракомазе, в Сабольчском комитате Венгрии, один мельник сшил жупану брюки и получил за это мешок картошки и литр вина. Жупан остался весьма доволен как покроем, так и всем остальным; и что самое поразительное: этот мельник даже не снимал мерки, а кроил и шил по памяти, увидев один раз фотографию жупана». Обычно после этого остаешься в комнате один.

Если же и это не поможет, начни величать своего кредитора Гедвичкой, обними его за талию, погладь волосы и поцелуй в лоб, причем шепни на ухо: «Знаю, я еще молод, дорогая моя Гедвичка, у меня еще нет никакого положения, и я не могу жениться. Но моя золотая Гедвичка меня подождет! Вот видишь, Гедвичка, я открылся тебе, и мне стало легче. Теперь я смогу поговорить и с твоим отцом». Уверен: кредитор молниеносно исчезнет, лепеча с испуганным видом: «То-только, только успо-спо-спокойся, Ка-ка-карли-ч-ч-ек, я-я и-иду-ду под-подготовить от-от-отца».

Следует еще напомнить, что должник обязан соблюдать законы человечности по отношению к кредитору: никогда не воображай, будто ты вправе разрезать своего кредитора на куски или прикончить чем под руку попадет.

**Путешествие по железной дороге** складывается в основном из следующих этапов:

1. Приобретение билета. 2. Скандал с попугчиками.

В последнем случае надлежит руководствоваться нижеследующими правилами: если ты первым вошел в купе, считай себя аборигеном, чем-то вроде патриарха по отношению к тем, кто займет места после тебя. Это не значит, что ты должен сидеть, надувшись как индюк, и вообще ни с кем не разговаривать. Приличие требует, чтобы ты отвечал всякому, но так, чтобы этот человек испытывал к тебе сыновнюю почтительность. Если тебя, положим, спросят: «Скажите, пожалуйста, здесь свободно?» — ответ вполне корректно: «Что вы, не видите?», или: «Вы что, ослепли?», или: «У вас что, глаз нет?» А если тебе на это скажут: «Но позвольте, сударь...» — ответ: «Смотрите, как бы я вас отсюда не вышвырнул, сударь...»

В поезде ты обязан испытывать непреодолимое отвращение к соседу, особенно усиливающееся в том случае, если ты опоздаешь и все места окажутся занятыми. Тогда решительно входи в купе, бегло огляди собравшихся, прикидывая, справишься ли с ними, если заварится драка, — а затем кивни самому слабосильному, по твоему мнению: «Простите, сударь, как ваше имя?» — «Пан Звара». — «Благодарю, пан Звара, я сразу сообразил, что это вы и есть. Какая-то дама из четвертого купе хочет с вами побеседовать». Когда он удалится, комфортабельно усаживайся на его место и, пока он ищет воображаемую даму, спокойно объяви всем присутствующим, что это была всего-навсего шутка, тебе просто хотелось сесть. Симпатии окажутся на твоей стороне, и все с нетерпением будут ждать, что сделает этот пан Звара, когда вернется; и вы всю дорогу будете развлекаться на счет этого человека, а он, стоя перед вами, будет неустанно твердить что-то о хамстве, пока кто-нибудь из попугчиков не крикнет, чтобы он заткнулся наконец, если не понимает шуток. Тебя же, ко-

нечно, все сочтут приятным попутчиком.

Случается, конечно, что судьба забросит тебя в общество невежд; тогда рекомендую сойти на ближайшей же станции. Среди людей, путешествующих по железной дороге, встречаются и грубияны, и тогда у вас, как правило, не останется времени, чтобы придумать иной выход из положения. Если дерешься в вагоне, следи, как бы не нанести ущерба железнодорожному имуществу; старайся прижать своего противника к той стенке, где нет стоп-крана.

**Игра в карты.** Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название «шулерство». Это своего рода расчет, и, если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишения и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев.

Юный игрок-профессионал, не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы и объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, находящих развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны.

Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не показывай дурного настроения: хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если тебе будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой разиня. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа!

### **Послесловие**

Надеюсь, данных примеров достаточно, чтобы оценить огромное культурное значение моей «Хрестоматии приятных манер».

Было уже немало попыток — я бы сказал, отчаянных попыток — составить подобную «Хрестоматию», из которой каждый мог бы извлечь полезные знания, как достичь в жизни определенной цели, а также умение смотреть на мир широко открытыми глазами. Богатый жизненный опыт, положенный в основу моей «Хрестоматии приятных манер»...

Кто-то стучит — отрывают от работы. Здравоваюсь с заведующим начальной городской школы — он входит в тот момент, когда я заканчиваю свою «Хрестоматию приятных манер» предметным каталогом: «Развод», «Ребенок», «Ревность», подготавливая ее для печати.

— Чем я могу служить?

— Я слышал, пан Гашек, — отвечает заведующий, — что вы как раз закончили свою «Хрестоматию приятных манер». Вчера об этом толковали в трактире. Я, педагог, с педагогической точки зрения горячо приветствую ваше начинание!

Голос его крепчал, набирал высоту.

— У нас, пан Гашек, не было приличной «Хрестоматии приятных манер». Был бы весьма признателен, если б вы оказались столь любезны и по выходе книги подарили нашей школьной библиотеке хотя бы два экземпляра «Хрестоматии приятных манер». У нас так мало хороших, назидательных и облагораживающих книг для школьной молодежи.

Заверяю пана заведующего, что по выходе «Хрестоматии приятных манер» каждый класс, начиная с третьего, получит от меня по пять экземпляров.

Заведующий искренне доволен и заводит разговор о том, что школьные библиотеки при республиканском режиме пришли в жалкое состояние. Впрочем, правительство неминуемо падет, коль скоро оно проделывает эксперимент над учителями. Вчера он отказался от подписки на «Народни листы».

Мы расстались, я продолжаю заниматься своей «Хрестоматией приятных манер» и прихожу к выводу, что будет крайне интересно проверить ее воздействие на учениках местной начальной пятиклассной школы.

## Речь в защиту доброго приятеля

**П**ан Бари́на, уполномоченный Угольного отделения банка, основанного иностранным капиталом после переворота, и директор метеорологического института профессор Врбенский были знакомы уже более двух лет.

Встречались они в «Боуде», то бишь в «Будке», регулярно с четырех до шести вечера сидя друг против друга. Качество подаваемого в «Будке» пива все улучшалось, и знакомство тоже крепло, становилось надежнее и доверительнее.

Под влиянием алкоголя, сперва 8°, потом 10°, а затем 12°, за два года, проведенные вместе, они сблизились больше, чем двойняшки, вскормленные грудью одной матери.

Разумеется, знакомство их нельзя было назвать тесной дружбой, нет, это было всего лишь более или менее близкое знакомство, и беседы их носили такой характер и имели такую степень откровенности, когда без опасения можно было выразить удовлетворение новыми успехами пивоваренной промышленности.

Порой они сходились во мнении, что счастье республики зависит от пива, — если оно удержит довоенное качество, все будет хорошо, а иногда высказывали мысль, что чем крепче пиво, тем и народ довольнее. В течение двух лет между ними не возникло ни единого недоразумения. Не расспрашивали они друг друга и о семейных делах.

Ровно в шесть вечера они поднимались и, прощаясь перед входом в пивную «Боуда», жали друг другу руки, неизменно повторяя:

— Так я сажусь на «первый», пан профессор.

— А я — на «тройку», пан уполномоченный.

— До Вршовиц лучше добираться «первым», пан профессор.

— А в Нусли «тройкой», пан уполномоченный.

Придя на следующий день ровно в четыре в зал «Боуды», пан директор института метеорологии неизменно задавал один и тот же вопрос:

— Ну как, счастливо ли добрались до Вршовиц, пан уполномоченный?

— Ничего, так себе, пан профессор, что-то там у них произошло на электростанции, так что до Вршовиц я добирался приблизительно часа два. А как вы, пан профессор?

— А я предпочел отправиться пешком, пан уполномоченный. Еще перед тем, как остановились трамваи, в нас врезался грузовик министерства национальной охраны, нагруженный экразитом.

В результате непредвиденного стечения обстоятельств близкое знакомство этих людей перешло в искреннюю дружбу.

Поводом для этого явились нападки журналистов на службы института, обязанностью которых было следить за состоянием вод в реках Чехословацкой республики: как известно, в этом учреждении занято несколько сот служащих. Собственно, дело было так: в тот несчастный день в «Боуду» ввалился какой-то человек и подсел к своим знакомым за соседний столик; тем было все едино, про что речь — про метеорологический или какой другой институт...

— Гидрологический там или метеорологический, — твердо и непреклонно изрек господин, которого взволновало сообщение газет, равно как и то, что до «Боуды» он уже побывал в двух пивнушках, — мне вот известно, что рядом сидит директор метеорологического института. Не в том суть...

— Пан директор, — обратился он к профессору Врбенскому, сидевшему за соседним столом, — снова вы маху дали с этим наводнением. Дескать, никаких опасений. Снег, дескать, сойдет постепенно. Никаких разливов, никакой большой воды. Лед тоже пройдет незаметно.

Плюнув от волнения, взбудораженный господин продолжал:

— Объясните мне, какими глупостями занимался институт метеорологии? Я затеял строить виллу в Модржанах, привез туда и кирпич, и тес...

— И все это вы у меня украли, — произнес он страшным голосом. — Нынче уровень Влтавы на четыре метра выше, чем мой участок. Ох уж эти мне ученые, профессора! Связать бы их в плоты, куда Влтава не поднялась, да и сплавить вниз по реке...

— Тискают разные объявления в газетах, — продолжал строптивый господин, не будучи в силах унять свое волнение, — не бойтесь, дескать, опасаться нечего.

— А что творится с Бероункой у Вшенор? — рявкнул, вмешиваясь в разговор, какой-то господин, сидевший напротив. — У меня там вилла, я развожу кроликов бельгийской породы. Меня премировали за них на хозяйственной выставке...

— Вам известно, что это за порода — бельгийские гиганты? — проговорил незнакомец, подступая к профессору Врбенскому. — Не рассчитывайте, будто я вас не знаю. Недавно вы сетовали — дескать, газеты переврали сообщение о погоде. Вроде бы вы написали, что позавчера на Чешско-Моравской возвышенности было — 12°, а в Смоковце — 17°. А наборщик спутал и тиснул, что на Чешско-Моравской возвышенности позавчера было — 17 °С, а в Смоковце — 12 °С. Тоже мне... предсказатели... Так предсказывать любой третьеклассник может, пан профессор. Он вам тоже скажет, что было позавчера — дул ветер, или лил дождь, или погода была изменчивой.

Взволнованный господин удалился, а его место перед профессором Врбенским занял лауреат хозяйственной выставки.

— Будьте любезны, — сурово обратился он к профессору, — как вы объясните, отчего вчера в разлившейся Бероунке, в моих крольчатниках, пристроенных к моей вилле во Вшенорах, у меня потонуло восемнадцать пар бельгийских гигантов, то есть кроликов бельгийской породы? Это вам не то что погоду предсказывать...

И вот тут-то поднялся уполномоченный Барина. Близкое знакомство в этот момент перешло в дружбу, в жажду самопожертвования.

— Господа, — с достоинством произнес он, — вы меня удивляете. Во-пер-

вых, не забывайте, что перед вами — господин директор института метеорологии профессор Врбенский, который к институту гидрологии не имеет никакого отношения. Пан профессор занимается сводками погоды, а гидрологический институт — состоянием вод в нашей республике. Как вы видите, это простое недоразумение, господа. Пану профессору вовсе нет дела до того, разлилась большая вода или нет. Пана профессора заботит лишь состояние погоды. Ему безразлично, поднимается уровень воды в реках или он падает. Это — разные сферы деятельности: прогноз погоды и прогноз состояния вод. Пан профессор со всей определенностью и ответственностью может вам сказать, что в Швеции и Норвегии, согласно телеграфным сообщениям, вчера дули сильные ветры, но он никак не может вам предсказать, что завтра с виллы такого-то господина во Вшенорах воды Бероунки унесут восемнадцать пар кроликов бельгийской породы. Пан профессор...

Тут управляющий Барина проникновенно взглянул на своего знакомого, ища в его взгляде поддержку и признание: дескать, спасибо за то, что вы заступились. Отныне я буду бесконечно ценить вашу неустрашимость и дружескую привязанность.

Однако профессор Врбенский не отводил смущенного взгляда от своего подноса.

— Пан профессор Врбенский, — подчеркнул далее в своей речи управляющий Барина, — не имеет также никакого отношения к невзгодам того господина, что намеревался строить виллу у Модржан, то есть к тому, что, вопреки обнадеживающему прогнозу гидрологов, опубликованному в печати, широко разлившаяся Влтава унесла весь заготовленный им материал. Метеослужба и гидрослужба — две большие разницы. Пан профессор Врбенский, добрый мой знакомый, не способен ни на какую подлость. Исследование погоды и исследование состояния вод — это, я бы сказал, два разных ремесла. Мой старинный приятель, профессор Врбенский, директор государственного института метеослужбы, никогда не предсказывает будущего. И напротив, я вполне понимаю вас и ваше разочарование, господа, когда вы возмущаетесь тем, другим институтом, спутав его с метеорологическим, а он на самом деле не только вас обманул, но и подвел. Если в сегодняшних газетах помещают сообщение, что никакого половодья не ожидается и опасаться нечего, а буквально на следующий день глава полиции пан Бинерт вынужден отправиться в Браники-Годковичи — тут, господа, повинен не метеоинститут. Тут повинен кто-то другой, с кем вы спутали метеорологов.

Уполномоченный Барина снова поглядел на своего друга, профессора Врбенского, которого защищал с такой самоотверженностью и страстью. Профессор Врбенский сидел, обхватив голову руками.

— Тот, кто следит за газетами, — вдохновенно продолжал уполномоченный Барина, — тот наверняка читает и прогнозы, публикуемые метеорологами. И не может не отметить того факта, что это самая обыкновенная констатация предшествующего состояния атмосферы. Мой друг, пан профессор Врбенский, никогда не позволит себе дать в газеты сообщение о том, что завтра ожидается дождь или туман. Как здесь уже недавно упоминалось, профессор Врбенский совершенно точно, согласно телеграфному сообщению, передал в сегодняшние газеты, в рубрику «Прогноз погоды», что позавчера у нас отмечались морозы. Мой друг, пан профессор Врбенский, господа, никогда не позволит

взять на себя ответственность за то, что еще будет...

— Да, — продолжал адвокат профессора Врбенского, который меж тем делал ногами такие странные движения, как если бы плыл в бассейне, — я слишком хорошо знаком с профессором Врбенским. Он со всей определенностью знает, была ли вчера или позавчера переменчивая погода, но никогда не дерзнет утверждать, поскольку он порядочный человек, что будет завтра: солнышко либо дождь. Вы только взгляните на него, господа. Да может ли человек с такой, я бы сказал, детской физиономией, предсказывать будущее? Ему вообще ничего не известно. Он вообще такая добрая скотинка, я бы сказал, что вообще не имеет представления о полрой воде. Если у нас вчера дули ветры, то завтра мы узнаем об этом из его сообщений, помещенных в газетах. Он — не пророк. Он придерживается фактов. А вот гидрологический институт — тот напротив... Поверьте, что мой друг, директор метеорологического института, понятия не имеет, откуда завтра будет дуть ветер — с юго-запада, с юга или с востока, устойчивая или переменная будет завтра погода. Вчера был северный ветер. Не правда ли, пан профессор? Ведь вы на самом деле ни о чем представления не имеете? Да где же вы, пан профессор?

— Небольшое нервное потрясение, — изрек вызванный врач «Скорой помощи», когда директора метеорологического института профессора Врбенского вытащили из-под стола, куда он свалился, услышав заключительные выводы своего самоотверженного друга уполномоченного Барина, который так мужественно бился, защищая его, и так прекрасно определил различие между метеорологическим и гидрологическим институтом.

— Странно, — приходя в «Боуду», неизменно удивлялся уполномоченный Барина, пока не привык к отсутствию пана профессора Врбенского, — странно, отчего это к нам не заглядывает пан профессор Врбенский? Ведь, кажется, здесь его никто не оскорблял...

## Печальная участь изобретателя

Пан Гафнер, член-учредитель общества изобретателей, сделал несколько открытий, однако они не принесли ему желанного успеха.

Выяснилось, что большинство из них стары почти как мир. Так, например, он изобрел тачку и сделал открытие, что сычужную закваску можно использовать для приготовления творога. Единственное новшество состояло в том, что сычуг был в виде порошка, а тачка поставлена на рессоры, причем колеса предлагалось обмотать проволокой и снабдить резиновыми шинами.

Неудача постигла пана Гафнера и с изобретением лестницы, у которой отвинчиваются ступеньки, боковые трубки вкладываются одна в другую, а вся лестница целиком помещается в саквояж, чтобы каждый желающий мог прихватить ее с собой в путешествие.

В интересах граждан патентование и распространение данного изобретения было запрещено, поскольку приспособление могло сослужить хорошую службу грабителям и ворам.

После фиаско с лестницей у пана Гафнера родилась идея массажной щетки со стеклянной щетиной, каковая вонзилась изобретателю в голову при первой же попытке причесаться, так что пришлось отвезти несчастного в больницу и скальпировать, дабы извлечь щетину.

Пребывание в больнице произвело на пана Гафнера неизгладимое впечатление, и он начал интересоваться проблемами гигиены.

После совершенствования клещей для выдергивания зубов, он был обвинен в причинении телесных повреждений, так как, испытывая инструмент на одной из своих слушательниц, вырвал ей полдесны.

Действие «послабляющих пирожков», которые пан Гафнер выпек у одного пекаря и которыми угостил некоторых своих знакомых, страдавших несварением желудка, было так ужасно, что городской врач распорядился закрыть все школы, полагая, что в город занесена азиатская холера. Кроме того, бедного изобретателя обвинили в покушении на убийство, но, по счастью, судьи сочли его слабоумным. Это обстоятельство натолкнуло его на мысль создать на брюшный пояс против врожденного кретинизма, наследственного идиотизма и внезапных приступов слабоумия, корни которых кроются в распутном образе жизни.

На этот раз пан Гафнер со всей основательностью принялся за дело и прежде всего продумал его с торгово-рекламной точки зрения.

Изобретатель завел знакомство с молодым человеком, который пописывал рекламные статейки для самых разных фирм — то о маргарине, то о резиновых каблуках, бритвенных приборах и даже о суповых приправах.

Пан Гафнер заказал ему брошюру о чудесном действии изобретенного им на брюшного пояса от тупости.

— Особо обращаю ваше внимание на то, — указал он сочинителю реклам, — что потребуется не менее двухсот благодарственных подтверждений, свидетельств и писем.

Молодой человек, растерянно почесав за ухом, выразил сомнение относительно того, что благодарственные бумаги будут иметь силу без подписи и адреса отправителя.

Изобретателя позабавила наивность молодого сочинителя:

— Да ведь это очень просто — их вы придумаете сами. Напишите хотя бы так: Йозеф Новотный, Вамбержице; Карел Машек, Трутнов. Пусть этот Новотный будет, к примеру, торговцем, а Машек, скажем, мясником. Вы ведь молоды, придумать двести подписей, должностей и адресов — для вас суший пустяк.

Молодой человек отправился выполнять заказ, а чтобы облегчить себе работу, обзавелся списком членов пражского общества святого Яна.

Он переписывал адрес за адресом — письменные выражения благодарности за излечение от тупости посредством патентованного набрюшного крестовидного пояса «Прага» приходили пану Гафнеру от преинтереснейших людей.

После опубликования брошюры в дневном выпуске рекламы появилось объявление пана Гафнера, занявшее целую страницу:

**«ТУПОСТЬ ИЗЛЕЧИМА!»**

*Использование нашего набрюшного крестовидного пояса «Прага» вернет вашим мыслям стройность, утраченную по причине наследственного кретинизма, распутного образа жизни, и излечит вас от ступидности (тупости).*

*Сугубо для пользы общества! Присылайте ваши отзывы на брошюру, которая уже вызвала тысячи благодарственных откликов. Вы один из тех несчастных, которых постигло тупоумие? Вы не в своем уме? Читайте брошюру о воздействии набрюшного крестовидного пояса «Прага»! Набрюшный крестовидный пояс «Прага» помог тысячам идиотов как у нас, так и за границей.*

*Распросите исцеленных болванов!*

*Читайте, что нам пишут об удивительных свойствах набрюшного крестовидного пояса «Прага».*

*Из тысяч благодарственных писем мы отобрали лишь некоторые. Лацина Франтишек, приходский священник из Младой Болеславы рассказывает: «Лет пять назад я сбрендил от пьянства, страдал от нестерпимых головных болей, еле держался на ногах. С помощью набрюшного пояса «Прага» я за две недели поборол свой недуг».*

*Бартоничек Иржи, помещик из Сланого, сообщает: «Распутная жизнь, которую я вел, находясь на военной службе, а потом и дома, привела к полной потере памяти — я подчас не мог вспомнить, ни как меня зовут, ни в каком столетии мы живем. Применение вашего набрюшного крестовидного пояса «Прага» способствовало восстановлению моих прежних умственных способностей».*

*Горачек Вацлав, крестьянин из Славёнова, — пишет: «У меня была плохая наследственность, я уродился идиотом. До совершеннолетия ползал на четвереньках, ел из одного корыта с домашними животными. До того как я надел Ваш знаменитый набрюшный крестовидный пояс «Прага», из моего горла несло только бессвязное клокотанье. После месяца пользования вашим набрюшным поясом «Прага», который, на мой взгляд, благодетелен для всего человечества, я вновь стал полезным членом общества. Хотя с той поры, как ко мне вернулся рассудок, прошло всего лишь два месяца, я научился читать и писать и сейчас готовлюсь к экзаменам в гимназию».*

*Виктор Фуска, районный гетман в отставке из Тополны, написал: «За распутство и злоупотребление служебным положением, за разврат, неумеренное потребление коньяка и абсента я был досрочно уволен в отставку. Уже в то время семья заметила у меня признаки полного помешательства. Я стал как дитя, играл с девочками в фасоль,*

*участвовал в детских играх вроде «зайчик, скок-поскок» и так далее. Болезнь моя заметно прогрессировала, я неоднократно пытался поведаться. Благодаря вашему знаменитому набрюшному крестовидному поясу «Прага» все как рукой сняло. Я совершенно преобразился: стал нежным отцом семейства и был принят писарем в налоговую инспекцию».*

Вне всяких сомнений, молодой человек приложил максимум стараний к составлению рекламной брошюры.

На пана Гафнера, изобретателя набрюшного пояса, было подано 4618 жалоб от членов общества святого Яна, чьи адреса усердный молодой человек позаимствовал из списка, изданного на средства общества святого Яна Непомуцкого.

Навестив молодого человека, пан Гафнер огрел его молотком и вышвырнул из окна четвертого этажа на улицу. Затем явился в полицейский участок и, странно улыбаясь, сказал дежурному инспектору: «Выдайте мне патент на изобретение, поскольку я придумал новое применение для Молотка и Оконного проема».

## Конец фирмы «Гаррах и Гавелка»

Пан Гаррах и пан Гавелка были замешаны в весьма интересных финансовых предприятиях в Словакии, которые никогда им не удавались, несмотря на то, что были не слишком реальны. Дело в том, что, как известно, в Словакии удаются лишь нереальные предприятия. Так, например, потерпел крах банк Гарраха и Гавелки в Братиславе. Эти господа также с большим трудом избежали судебного расследования, когда пытались уверить одного зажиточного американца, страдающего прогрессирующим параличом, что в долине Вага недалеко от Бецкова ими обнаружены огромные источники чистого бензина и лигроина.

Они чуть было не впутали в это дело министерство торговли, которое уже начинало проявлять к нему интерес, а в парламентских кругах стали поговаривать, что Бецков вместе с бензином и лигроином будет продан какой-то англо-французской фирме.

Затем господа Гаррах и Гавелка хотели строить канатную дорогу на Кривань и чуть было не получили концессию, как вдруг министерство национальной обороны сделало заключение, что такая дорога недопустима из стратегических соображений.

От этого весьма сомнительного предприятия пострадал лишь один энтузиаст, который зарегистрировался в качестве первого акционера, но и тот предъявил на свою часть фальшивый вексель.

Также провалился и замысел этих господ выгодно продать маленький земельный участок, купленный ими около Банской Быстрицы одному англичанину, который рыскал по Словакии в надежде разбогатеть. Они внушили ему, что открыли огромные залежи аметистов, топазов и так называемых марморощских алмазов. На этом они страшно прогорели, так как на одну дружку аметистов, два топаза и горстку марморощского хрусталя они истратили кучу денег, а англичанин, не удовлетворившись тем, что нанятый господами цыган все это действительно выкопал, и желая проверить еще раз, нанял половину жителей цыганской деревни и раскопал весь участок так, будто там свиреп-

ствовало стадо диких кабанов.

Пан Гаррах и пан Гавелка, провожая его на вокзал, уверяли, что нужно копать на глубине сорока метров. То, что обнаружилось наверху, представляет собой всего лишь первый выброс, и раз столько было в верхнем слое, что же тогда на глубине?

Англичанин ничего не ответил, сел в поезд, а когда тот уже должен был тронуться, подозвал их к вагонному окну и, также не проронив ни слова, разбил обоим носы.

Тогда господа Гаррах и Гавелка бросились в другую область, на этот раз менее опасную. Они начали выпускать в Братиславе пилюльки от алкоголизма, изготовленные из хлебного мякиша с примесью ментола. Рекомендованный способ употребления был очень прост и основан на психологическом воздействии. Начало, так называемое предисловие, они позаимствовали из брошюры некоего профессора Батки, перевели его на словацкий и добавили следующее наставление:

«Как только тебе захочется выпить спиртного, проглоти одну за другой три пилюли и три раза прочти «Отче наш» и «Господи, помилуй».

Учитывая воспитательный момент предприятия, они получили даже поддержку государства, однако и тут их, как назло, преследовало несчастье.

Примерно в двадцати местах одновременно около двадцати человек в двадцати еврейских трактирах в соответствии с приложенной инструкцией, будучи уже совершенно пьяными и захотев выпить еще, проглотили по пилюле и подавились, потому что пилюля проникла в гортань, так что им уже некогда было согласно этой инструкции три раза прочитать «Отче наш» и «Господи, помилуй».

Печатный орган Глинки и других словацких людаков выступил против бесчинства чехов в Словакии. Все словацкие газеты народной партии напечатали большую статью патера Глинки под заголовком: «Что это у нас опять творится?»

Вот отрывок из этой статьи: «Наши враги чехи выдумали новое оружие, направленное против развития нашего народа. Особы, засевающие в Братиславе, рассылают по нашим областям объявления о новом препарате против алкоголизма. И вот мы стоим перед двадцатью свежими могилами их жертв».

Министерство внутренних дел, стремясь избежать волнений в некоторых словацких областях, сочло необходимым запретить продажу пилюлек от алкоголизма фирмы «Гаррах и Гавелка».

Потерпела крах и их попытка увлечь какого-нибудь недотепу воздушным сообщением между Братиславой и Кошицами. На их объявления откликнулся лишь один житель Гронской столицы, который предложил им на продажу пропеллер от аэроплана, обнаруженный им при вспышке поля. Позже появился еще один человек, который обратился к фирме «Гаррах и Гавелка», предлагая свои услуги в качестве авиатора. Вслед за ним, однако, явились детективы государственной полиции, так как неосторожный гражданин оказался уже в течение года разыскиваемым шпионом венгерского государства капитаном Саваньи.

Логическим следствием этого удивительного стечения обстоятельств был полицейский обыск у фирмы «Гаррах и Гавелка», а после полугодового предварительного заключения оба господина были отпущены на свободу, и полицей-

ское управление Братиславы выплатило им десять процентов из награды в две тысячи чехословацких крон, назначенной за поимку опасного шпиона капитана Саваньи.

После предварительного заключения фирме «Гаррах и Гавелка» пришла в голову идея, которая сама по себе оправдывала культурное назначение фирмы в Словакии.

В «Народни политике» появилось следующее объявление:

*«Требуется писатель, пишущий народные романы. Денежный залог — по договоренности при личной встрече. С предложениями обращаться в фирму «Гаррах и Гавелка», Братислава, ул. Штранзентальская, 96. Личное присутствие обязательно. Работа постоянная, квартира и питание в городе».*

Предложений они получили много, но никто из предлагавших свои услуги не упоминал о залоге, наоборот, несколько авторов народных романов требовало задаток вперед, уверяя, что напишут роман дома в Чехии, а затем привезут его в Словакию. Наконец однажды в фирме «Гаррах и Гавелка» появилась пожилая дама, которая удостоверила свою личность сберегательной книжкой и вырезкой из развлекательного приложения к «Народни политике», в котором под именем Анны Брумликовой был напечатан трогательный рассказ о несчастной приказчице, вся семья которой в течение четырнадцати дней умерла от чахотки, а старшая дочь, работавшая счетоводом в Праге, растратила доверенную ей денежную сумму, которую она должна была отнести на почту, чтобы заплатить за похороны отца и своих братьев и сестер. После похорон приказчица с дочерью пошли топиться, но в этом им воспрепятствовал жандарм, который уже разыскивал дочь за растрату, а мать за соучастие. А над полями дул холодный осенний ветер...

Барышня Анна Брумликова очень долго рассказывала фирме «Гаррах и Гавелка» о своих обманутых надеждах и тупости издателей. Несколько дюжин романов, которые она написала и которые являются действительно народными, поскольку она идет по стопам Заградника-Бродского, путешествовало по всевозможным издательствам, а несколько десятков их рассеялось по свету без следа. Она привезла с собой образцы народных романов — целый большой ящик. Он на вокзале.

Фирму «Гаррах и Гавелка» все же скорее интересовал вопрос сберегательной книжки. Оказалось, что барышня Анна Брумликова хоть сейчас может снять с нее сумму, составляющую сто пятьдесят тысяч крон. Ее попросили взять эти деньги и привезти их из Чехии в Братиславу. Оба господина были столь милы, что сопровождали барышню Анну Брумликову в ее путешествии, чтобы она случайно не потерялась вместе с деньгами.

Когда взнос уже находился в кассе фирмы «Гаррах и Гавелка», туда же был доставлен ящик с народными романами Анны Брумликовой, а ей было указано место за одним из столов в пустом кабинете фирмы, где она могла продолжать свое писательское творчество.

— Нужно дать ей вперед на обеды и ужины, — озабоченно сказал пан Гаррах, — чтобы она не упорхнула раньше, чем ей это надоест.

— Издание одной повести этой идиотки размером в шестьдесят четыре страницы, будет нам стоить примерно четыре тысячи крон, и если за это время она проест даже тысячу, все равно нам останется еще сто сорок пять тысяч крон из ее взноса, — сказал пан Гавелка с добродушной усмешкой.

Потом начал серьезно рассуждать пан Гаррах:

— Мы скажем ей, что книга не пошла, что у нас большие убытки, что она нас разорила, и отошлем ее домой в Чехию, чтобы там она попробовала написать что-нибудь получше и популярнее.

— Я полагал, что писателей и взносов будет больше, — заметил пан Гавелка. — Ведь было же недавно объявление в газете: «Дам десять тысяч чехословацких крон тому, кто напечатает мои стихи». Однако, судя по всему, эти необразованные голодранцы рассчитывают только на гонорар.

— Когда мы ее выгоним, — с деловой хваткой рассуждал пан Гаррах, — надо будет придумать еще что-нибудь. Словакия — это ведь новая Америка, только немного глупее. Нужно будет устроить тут место для паломников со святой водой и фабрику по производству святых мощей. А пока мы заполучили эту бабу, можно немного и отдохнуть.

Барышня Анна Брумликова совершенно не заслуживала этого последнего замечания.

Для наших компаньонов настали страшные времена, потому что барышня Анна Брумликова вслух прочитывала им содержание своих народных романов. Один раз они даже заперли ее в кабинете, но Анна Брумликова вышибла двери и настигла господ в кафе, где как ни в чем не бывало снова принялась развивать перед ними темы своих новых народных романов. Им нигде не удавалось скрыться, она находила их повсюду, будь то самый грязный трактир в дунайском порту или самый изысканный ресторан. Вещицы, которые она им читала, были необыкновенно трагичны, трогательны, и зло в них всегда каралось по заслугам.

Один слесарь по ремонту машин, который украл у своего хозяина велосипед для того, чтобы было на что играть в карты, совершенно цинично рассказывал о своем поступке на квартире любовницы, как вдруг опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и обварился.

Барон, совративший преподавательницу техникума, пообещав ей жениться, во время последнего разговора с ней в ее квартире, дьявольски хохотал над слезами соблазненной жертвы, но поскользнулся на пороге, грудью упал на рабочий столик, где лежало неоконченное рукоделие, и вязальный крючок вонзился ему в сердце.

Сын, который хотел выманить у матери, вдовы-прачки, последние сэкономленные гроши и во время ссоры ударил свою родительницу по лицу, был раздавлен грузовым автомобилем, когда выходил из дому.

Укротитель хищников, с преступным умыслом завлекший первую балерину цирка, отклонившую его любовные притязания, в клетку с белыми медведями, был сам ими съеден, причем бедная балерина стояла на коленях среди белых медведей над останками вероломного укротителя и из уст ее слышалась молитва, сливающаяся с ревом хищников:

«Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...»

Пан Гаррах и пан Гавелка уже не плакали, они вопили во все горло. Потом у них пошла пена изо рта, и они только скулили.

Теперь они проводили все дни на Дунае, катаясь в нанятой лодке, и чувствовали себя в безопасности до того самого момента, пока не заметили, что к ним, рассекая воду мощными гребками, в синем купальном костюме приближается барышня Анна Брумликова; в зубах, как собака, несущая хозяину пал-

ку, она держала знакомую им тетрадку в черном коленкоровом переплете с красной кромкой.

Фирма «Гаррах и Гавелка» начала отчаянно грести, однако барышня Анна Брумликова тоже прибавила скорости и неотвратимо их догоняла.

Когда она начала перелезать в лодку, пан Гаррах встал, перекрестился и трахнул се веслом по голове.

Она выпустила изо рта тетрадку со своими сюжетами, которая поплыла по гладкой поверхности Дуная к югу, где и утонула окончательно.

Но провидение не заставило себя долго ждать. На Дунае как раз испытывали новый гидроплан. Он пролетел прямо над лодкой фирмы «Гаррах и Гавелка».

Пропеллер снес головы обоим компаньонам.

Так окончила свое существование фирма «Гаррах и Гавелка».

## Генуэзская конференция и «Народни листы»

Главный редактор газеты «Народни листы» в задумчивости вышел из кабинета и вступил в соседнюю комнату, где, погруженный в тяжкие мысли, сидел несчастный обозреватель, которому поручено было писать комментарий к Генуэзской конференции.

— Нам нужно, — произнес главный редактор, приблизившись к столу обозревателя, — нечто... нечто... нечто, так сказать, сильное, так сказать, нечто еще сильнее, чтобы не померкла наша старая слава «Марианской гаубицы». Правда, пан коллега, вы честно старались травить Россию, но все это еще ничто.

— Позвольте, — сказал обозреватель, — я уже и сам думал об этом, ведь мы, собственно, все только подогреваем старые побасенки. Согласитесь, пан шеф, работы на меня навалено столько, что очень трудно и сложно выдумать что-то новое. Я разговаривал уже об этом с Виктором Дыком. Ему тоже ничего не приходит в голову. Тем не менее я думаю, мы уже хорошо ославили Россию!

Главный редактор сел за стол напротив обозревателя и, вертя большими пальцами рук, заговорил весьма внушительно:

— Ах, боже мой, сколько еще разных комбинаций! Надо просто вспомнить и учесть то, что мы уже выдумали. Итак, вы писали, что большевики на немецкие деньги разложили русскую армию, затянули войну на год, писали о Брест-Литовском мире и о свирепых матросах, разгоняющих Учредительное собрание, о подкупленных петроградских полках, о китайцах, латышах, венграх и немцах, которые помогли большевикам захватить власть — и все.

— Простите, пан шеф, — перебил его обозреватель, — вы забыли, а ведь я писал еще, что они захватили власть с помощью уголовников, выпущенных из тюрем, — эта мысль явилась мне между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Я бы выдумал, пожалуй, еще что-нибудь поострее, так ведь из типографии поминутно звонили, чтобы я сдавал в набор... Да вы и сами отлично знаете, пан шеф: я делаю что могу. Кто убил Амфитеатрова и Аркадия Аверченко? Я — в прошлом году! А Кронштадт, захвативший Москву, — тоже мое дело!

Обозреватель встал и, прохаживаясь по комнате, взволнованно говорил:

— Кто превратил Ленина в еврея, пан шеф? А кто сделал генерала Брусилова евреем, подкупленным немцами? Кто превратил Врангеля в мученика, я или доктор Крамарж? У кого Чрезвычайка перебила всех чехов в России, у

вас? Пан шеф, вы всегда доводили меня до крайностей! Сегодня у меня Горький повешен Чрезвычайкой, а завтра он обращается ко всей Европе по поводу голода в России! У меня большевики расстреляли Кропоткина и Короленко, а они меж тем спокойно живут после этого еще два года, и когда наконец действительно умирают от старости, сама «Русс-унион» публикует телеграммы, что похороны их состоялись на счет государства.

Так трудно работать, пан шеф. Верите ли, когда я после ночного дежурства, измученный сидением в редакции, прихожу домой, два часа не могу заснуть, все выдумываю что-нибудь такое против Советской России. И все никакого толку. Иной раз столько народу перебеешь руками большевиков, что кричишь во сне со страху...

— Да вы успокойтесь, коллега, — перебил его главный редактор. — Мы все вас ценим, в этой области вы, конечно, наиболее способный сотрудник редакции, но я должен сказать вам, что именно теперь, когда заседает Генуэзская конференция, вы должны удвоить вашу энергию. Наша травля Советской России должна быть колоссальной, она должна ошеломлять. Наверное, вы сами понимаете, что сейчас, после выступления Чичерина, писать о запломбированных вагонах уже не имеет никакого смысла. Надо придумать что-то такое, что поистине поразит весь мир, надо вскрыть всю гнусность русской Советской власти. Китайцы, латыши, венгры, евреи, немцы — это все слабо, коллега, это пф-ф, ничто, водичка. Народ надо бить молотком по голове, а не поить его липовым чаем. Этого требует момент. Генуэзская конференция — это вам не престольный праздник или деревенское гулянье. Если уж сам Ллойд Джордж не знал, что сказать о Генуэзской конференции после того сюрприза, который нам преподнес этот негодяй Чичерин, — то мы теперь обязаны выступать не с водичкой, а с керосином! Только что мы толковали об этом в секретариате редакции. Надо чем-то ошеломить республику! Ваш долг теперь — отличиться и поразить не только общественность, но и нас самих, все акционерное общество нашего издательства, всю типографию!

Главный редактор встал, крепко стиснул руку обозревателя и, уходя, бросил:

— Так что с интересом жду вашу завтрашнюю статью. Не допускайте, чтоб вас посрамила «Народни политика»! И так их Станислав Николау сильно конкурирует с нами своими проклятыми комментариями.

Когда главный редактор удалился, обозреватель опустил голову на руки и пребывал в такой позиции более получаса, потом взял карандаш и написал на полосках бумаги роскошную статью, которая и впрямь ошеломила не только акционерную типографию газеты «Народни листы» и ее подписчиков, но и весь культурный мир.

Статья была не слишком длинной, зато содержательной:

Создатель «Анны Карениной», великий русский мыслитель Лев Николаевич Толстой расстрелян большевиками в Москве за несогласие с Чичериным.

Генуэзская конференция обрела свою трагедию! Нет более в живых Льва Николаевича Толстого!

Захватчики государственной власти на Руси, люди самых низких моральных устоев, навсегда замкнули уста величайшего из русских лю-

дей, Льва Николаевича Толстого, который был схвачен за то, что пламенно протестовал против махинаций Чичерина на Генуэзской конференции за счет русского народа!

Шесть китайских наемников убили вчера в тюрьме московской Чрезвычайки автора «Анны Карениной»! Подробности завтра.

Низко, с плачем склоняется весь культурный мир над изуродованным трупом великого философа!

Мы давно отговаривали наше правительство от участия в Генуэзской конференции.

И вот вам!

Подробности «завтра», увы, не были сообщены, доктор Крамарж пытался покончить самоубийством, расторопный обозреватель получил годовой отпуск, а одна пражская издательская фирма — как в воду глядела — поместила в том же самом злополучном номере газеты «Народни листы» большое объявление о массовом издании собрания сочинений Льва Николаевича Толстого...

## Опыт безалкогольной вечеринки, или Американское увеселение

### I

Печальный пример того, к чему приводит пьянство, являет нам библейский персонаж Хам, осужденный судом истории за недостойное поведение с отцом своим Ноем.

Известен также случай с пьяным священником в Интерлакене, явившемся служить обедню в одной сорочке, и с моим другом Славиком, который, напившись пьян, съел в Дрезденском зоологическом саду живьем молодую ядовитую кобру, славную такую молоденькую змейку.

Эти и другие подобные случаи навели человечество на мысль о необходимости борьбы с пагубным действием алкоголя. Первый шаг в этом направлении сделала Америка, введя сухой закон и показав всему миру, как надо изоцрять человеческую изобретательность и смекалку путем обхода сухого закона.

Появился так называемый «абстинентизм отчаяния», когда, под давлением этого закона, люди, отроду не бравшие в рот спиртного, становились пропойцами, а держатели кабачков и баров — мошенниками.

«Виски и бренди!» — вот лозунг, который гремит теперь над всей Америкой, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, от Канады до Мексики.

Теперь на этом огромном пространстве каждый день несколько миллионов джентльменов в миллионах баров ждут, чтобы владелец бара подошел к ним, влил им в открытый рот рюмку виски и получил плату. Вот как это делается теперь в Америке. Из-за полицейских шпигов виски в графинчиках не подается, потому что конфискованный графинчик был бы уликой.

Просто джентльмены открывают рот — и им туда вливают.

У нас в Чехии ни Армия спасения, ни ХАМЛ не многого добьются со своей навязчивой идеей, будто сухой закон — лучший подарок человечеству.

Сухой закон приводит к росту преступности — ведь уже в настоящее время в американских тюрьмах сидит более семидесяти тысяч человек за незаконную торговлю водкой, так что в отношении преступности по уголовной статистике Америка занимает сейчас первое место.

У нас алкоголизм — явление историческое, опирающееся на многочислен-

ные привилегии, пожалованные нашими королями, повелевавшими городам варить пиво, а подданным — пить его. Знаменитая Дестинка даже приобрела недавно целый винокуренный завод.

Куда уж там ХАМЛу! У нас нынче так заведено: если пиво восьмиградусное — каждую кружку сдабривают тремя — четырьмя рюмками водки, кружку десятиградусного пива — двумя, а двенадцатиградусного — одной рюмкой.

Все брошюры ХАМЛа насчет трезвости ни черта не стоят, ежели в газетах рекламируются ликеры с гарантированной крепостью в семьдесят градусов и многообещающими названиями — «Дуй!», «Не робей!» и т. п.

## II

Нельзя сказать, чтобы город, где имела место попытка устроить безалкогольную вечеринку с американскими развлечениями, отличался худшими нравами, чем другие города республики. Тамошние алкоголики идут в ногу с алкоголиками других городов; как всюду, там тоже на пять трезвых приходится один пьяный и на трех жителей одна бутылка водки в день. Как и в других городах с таким же количеством населения, здесь каждую ночь подбирают дюжину пьяных да днем двое-трое валяются на тротуаре. Нельзя сказать также, чтобы здесь по ночам больше горланили и творили больше безобразий. Иной раз кто-нибудь об кого-нибудь переломит палку, раз в год кто-нибудь кого-нибудь пырнет ножом — вот, пожалуй, и все.

Поэтому весь город заходил ходуном, когда одна дама, вернувшаяся после смерти мужа из Америки на родину, ошеломила местное общество, заявив о своем намерении устроить в ресторане пана Вашаты безалкогольную вечеринку с американскими развлечениями.

Бедному пану Вашате пришлось раздобыть сто двадцать стульев для дам и восемьдесят чашек — для чая, который будет варить американка вместе с женой главного железнодорожного ревизора; эта дама сразу заинтересовалась безалкогольной вечеринкой, так как чуть не каждый день главный ревизор возвращался домой не то чтобы пьяным, а немного навеселе.

Покойный супруг американской дамы был одним из пионеров антиалкогольного движения в Алабаме и главным проповедником некоей религиозной секты.

Заказанные американкой афиши имели черную рамку наподобие траурных сообщений и гласили:

*Безалкогольное увеселение!*

*Американская вечеринка без подачи спиртных напитков.*

*Подальше от пьяниц!*

*Алкоголь лишает человека образа божия, заменяя его скотским.*

*9 апреля приходите повеселиться.*

*Без спиртных напитков в ресторане пана Вашаты! Начало в 7 часов вечера.*

*Программа:*

*Вступительное слово уроженки нашего города миссис Пиккноун.*

*Разные игры.*

*В качестве прохладительного бесплатно подается чай.*

*Приходите все и проверьте на собственном опыте, что лучше: вечера со спиртными напитками — или без них!*

Когда жители ознакомились с содержанием афиши, весь город был возмущен, что нашло отчетливое выражение в словах старого лесника пана Полив-

ки:

— С какой стати вдруг такие вечеринки в трактире? Шли бы со своим чаем куда-нибудь на лужайку...

Капельмейстер Воржех пошел дальше, объявив в трактире «У вокзала»:

— Пойду напьюсь там, как скотина!

И очень многие граждане с ним солидаризировались.

Над безалкогольной вечеринкой нависли грозные тучи.

### III

Миссис Пиккноун составила свое краткое вступительное слово очень тщательно, и оно произвело в ресторане Вашаты настоящее смятение. Зал был битком набит старыми пьяницами и их женами, которые пришли посмотреть, как все это подействует на мужей.

У миссис Пиккноун было еще слишком свежо в памяти, как покойный супруг ее в Алабаме увещевал старых разбойников Запада бросить наконец виски и взять в руки Библию.

Миссис Пиккноун уснастила свою речь, не свободную от американизмов, смачной бранью... Самое слабое ее выражение, которым она охарактеризовала лиц, питающих пристрастие к спиртному, было «гнусные хамы», причем половина присутствующих жен, подтолкнув своих супругов, шепталась:

— Видишь? Я давно тебе говорила...

Миссис Пиккноун привела также несколько случаев из жизни пьяниц в Америке, окончивших свою распутную жизнь на электрическом стуле...

Несколько человек пытались выскользнуть из зала в буфет промочить горло, но были задержаны в дверях супругой главного ревизора, охранявшей выход, что, впрочем, не имело должного эффекта, так как многие выпрыгивали через окно в сад, а оттуда пробирались в буфет.

Мужчины по очереди совершали эту экскурсию, а миссис Пиккноун между тем закончила свою речь и объявила следующий номер программы. Сейчас начнутся игры. Она объяснит правила, после чего по свистку можно будет начинать. Тут она вынула из кармана свисток, каким пользуются на футбольном поле при состязаниях.

Первая игра заключалась в следующем: дамы образуют внешний круг, мужчины — внутренний. Оба круга двигаются в противоположных направлениях, причем мужчины и дамы подают друг другу руки. Перед тем как оба круга составились и пришли в движение, двум участникам удалось так нагрузиться в буфете, что, когда круги двинулись, эти двое в самый момент рукопожатия свалились с ног и были уведены своими женами в буфет.

Движение за трезвость имело то положительное последствие, что во время коротких перерывов между массовыми американскими играми приходилось наверстывать упущенное. Участники вечеринки накачивались таким темпом, какого в городе еще не знали. Не успели начать новую игру, как один господин, обычно выпивавший не более четырех кружек пива, выхлестал полбутылки регулятора и спяна чуть не поджег во дворе свиной хлев, разыскивая вход в зал днем с зажженной спичкой.

Вторая американская игра была очень забавной. На стол поставили тарелку с десятью горошинами. Задача состояла в том, чтобы подобрать горошины лезвием столового ножа и отнести их в другой конец зала, на колени к миссис Пиккноун.

Игру начали те, кто успел заложить за галстук; они подходили к столу и делали отчаянные попытки удержать на ноже хоть одну горошину, пока наконец пан Пексидер, надрывшийся, видимо, больше всех, с пьяных глаз плюнул на нож и потому без малейшего труда подобрал с тарелки все десять горошин, после чего отнес их в другой конец зала, на колени к миссис Пиккноун, чрезвычайно учтиво вытерев ножик об ее юбку.

В короткий перерыв, пока супруга главного ревизора угощала дам чаем с кексом за счет самоотверженной устроительницы, мужчины повалили толпой в светлое помещение ресторана, строго следуя жизнерадостному лозунгу пана Пексидера:

— Теперь пошли резвиться!

У всех глаза сияли от радости; вечеринка приходилась им все больше и больше по вкусу, так что продолжение американских игр было встречено ликованием. Когда все — кроме тех, кто не мог подняться из-за стола, уже не владея ногами, — вернулись в зал, миссис Пиккноун свистнула, как свистит футбольный судья, фиксируя положение «вне игры», и объявила:

— Все мужчины, вон!

Ответом был дикий рев восторга.

После того как дамы остались одни, им предложили тянуть номера — от одного до ста; ту, которой достался первый номер, посадили в мешок, завязали и водрузили на стол в зале. Затем были впущены развеселившиеся мужчины, и даму в мешке стали продавать с аукциона. Исходная цена — двадцать геллеров. Даму получил все тот же отставной лесник, заплатив за нее десять крон шестьдесят геллеров. Оказалось, что за эту весьма сходную цену он приобрел полумертвую от страха бабушку почтмейстерши, которая сопровождала внучку на вечеринку и, к великой радости всех молодых дам, вытянула номер первый.

Отставной лесник так рассвирепел, что сперва побледнел, потом побагровел, потом вынул часы из жилетного кармана и переложил их в карман брюк, потом снял пиджак и жилет, потом опять надел их и наконец угрожающе прошипел:

— Черт знает что!

Все с волнением ожидали, что будет дальше, но ничего не произошло.

Отставной лесник Поливка, презрительно плюнув, буркнул: «Негодяи!» — и с гордым видом удалился в буфет, где обратился к пану Вашате с прежней формулировкой:

— С какой стати такие вечеринки в трактире? Шли бы со своим чаем куда на лужайку!..

Тому, кто чуть не сжег свиной хлев, все это доставило такое наслаждение, что он пролепетал, обращаясь к своей супруге, крепко державшей его, чтобы он не свалился со стула:

— Те-те-перь ви-ви-жу, как-какая сла-сла-славная штука — эт-т-ти бе-бе-без-алкогольные ве-ве-черинки!

На что супруга ответствовала:

— Вот уж не думала, не гадала, что доживу с тобой до такого срама!

Тут миссис Пиккноун опять просвистала сигнал «вне игры» и зычным мужским голосом объявила:

— Все дамы, вон!

Само собою, вместе с дамами удалилась и половина мужчин, чтобы во время перерыва углубить приятное знакомство с ликерными запасами пана Вашаты.

Миссис Пиккноун осталась в зале одна с остальными мужчинами.

Достойная дама, находясь во власти своей антиалкогольной идеи, не замечала, что делается вокруг. Окруженная толпою мужчин, эта служительница идеала заподозрила что-то неладное, только когда в зал вернулся отставной лесник Поливка в сопровождении капельмейстера Воржеха — того самого, который объявил в трактире «У вокзала»: «Пойду напьюсь там, как скотина».

Только она хотела дать указания, как проводить аукцион мужчин, как эти двое — Поливка с Воржехом — подошли к ней, обнявшись, словно рекруты, выписывая ногами вензеля и так горланя строфы старинной песни, что оконные стекла дрожали:

*Как мы шли на Яромерь,  
Кто не хочет, тот не верь...*

Миссис Пиккноун не помнит, как очутилась верхом на коленях у пана Поливки, который стал качать ее, припевая:

*Гоп-гоп, гоп-гоп!  
Все кругом покрыто мглой.  
Ты помрешь — пойду к другой...*

Капельмейстер Воржех ущипнул ее за щеку, потом вынул у нее из прически шпильку и стал ковырять у себя в зубах. Потом она почувствовала, что кто-то влил ей в рот водки, кто-то ущипнул выше коленки...

Потом вошли дамы, выгнали всех и устроили такой тарарам, что хоть святых вон выноси.

#### IV

Пан Вашата, несмотря на ущерб, причиненный ему в конце предыдущей главы, публично утверждает, что когда у владельца ресторана плохо идут дела, он может поправить их только путем устройства безалкогольных вечеринок с американскими развлечениями.

## Мститель

### I

Два года назад пан Лантнер с женой провели лето в Гоштерадлицах Трговых. И вот сейчас пан Либштейн, агент его фирмы, вернувшись из поездки туда по коммерческим делам, рассказал, что встретил там, в Гоштерадлицах Трговых, в ресторане что на площади, высокого толстого господина, который его спросил:

— Ну что, пани Лантнерова так и бегаёт за мужиками, как два года назад?

Пан Лантнер вспомнил, что этот высокий толстый господин — не кто иной, как пан Янтал, управляющий кирпичным заводом в местном имении. Он уже тогда вел себя необычайно нагло по отношению к супруге Лантнера, а в прошлом году на рождество прислал ей в Прагу открытку с такими стихами:

*«За что меня ты любишь, не знаешь и сама, ведь краше всех цветов на свете мои сладкие розовые уста.»*

*С совершеннейшим почтением Йозеф Янтал, управляющий кирпичным заводом, Гоштерадлице Трговы».*

Желая окончательно убедиться в низости этого жалкого субъекта, пан Лантнер послал в Гоштерадлице еще одного агента своей экспортной фирмы, который привез следующий рапорт:

— Я видел его, говорил с ним. Он сказал, что ваши настенные часы с кукушкой — величайшее барахло, какое только можно встретить на свете. Столь же оскорбительно он отозвался о вашей супруге.

— Как?! — закричал пан Лантнер.

— Да, столь же оскорбительным образом, — повторил агент экспортной фирмы.

### II

Пан Лантнер решил, что терпеть далее гнусное поведение управляющего кирпичным заводом невозможно, что с таким подлецом нельзя обращаться в белых перчатках, что нужно немедленно отправиться к нему, застать его в компании, публично набить ему морду на глазах у всей гоштерадлицкой общественности, дать ему пинка, как паршивой собаке, крикнув: «Получай, мерзавец!», а потом купить на вокзале билет и вернуться домой. А дома ждать, не появится ли в провинциальных газетах сообщение о гоштерадлицком происшествии. И если в газетах будет упомянуто о том, как он расправился с мерзавцем, показать их жене и сказать: «Не лучше ли вот так, чем таскаться с таким субъектом по судам?»

### III

В расчете на надлежащий эффект пан Лантнер приехал в Гоштерадлице в воскресенье, в день народного гулянья, чтобы как можно больше людей видело, как он даст в морду пану Янталу.

И, едва выйдя из вагона, словно под влиянием волн телепатии, он увидел, что на перроне болтается пан Янтал. Высокий и толстый, с большой бутоньеркой из желтых одуванчиков в петлице, он стоял там собственной персоной. На перроне было еще человек пять, поэтому пан Лантнер рассудил, что здесь весь эффект пошел бы насмарку. У него лишь промелькнула мысль о том, как приятно будет наносить удары по большому мясистому носу этого субъекта.

Он уже мысленно представлял себе, как у противного управляющего кирпичным заводом медленно капает на белую манишку его мерзкая кровь.

Пан Янтал, дожидавшийся у входа с перрона, сердечно поздравил его с прибытием в Гоштерадлице и при этом так сильно сжал ему руку, что пан Лантнер чуть не вскрикнул от боли, однако виду не подал и, скрипя зубами, тоже сжал руку пана Янтала, лишь бы причинить ему боль: «Скотина, — думал он, — я не буду бить тебя здесь, где это увидит несколько человек, а сделаю это вечером в ресторане ратуши, когда там будет полно народу».

— Ну что, пан фабрикант, наверное, снова собираетесь к нам на лето, — с улыбкой произнес пан Янтал, и пану Лантнеру показалось, что глаза негодяя прямо-таки пылают бесстыдной страстью к чужим женам. — Вы, пан фабрикант, предполагаете жить на прежней квартире? — спросил управляющий кирпичным заводом. — Если пожелаете, можно поселиться у меня. Я построил домик и, поскольку я холост, могу уступить вам две комнаты.

«Ну и наглец», — подумал пан Лантнер.

А пан Янтал между тем продолжал:

— За эти два года здесь многое переменялось. Недавно к нам и цирк приезжал, в нем выступали два боксера. Немцы из рейха. Перед тем как цирку уезжать, они дали объявление, что тому, кто победит их, будет выплачено две тысячи крон. Я, пан фабрикант, не устоял, и вот посмотрите, пожалуйста.

Пан Янтал вытащил из кармана повестку с вызовом в суд в Градце и небрежно прочитал:

«Вы вызываетесь в качестве обвиняемого в нанесении тяжких телесных увечий на основании § уголовного кодекса...» Одному из них, который постарше, я разнес всю нижнюю челюсть, два зуба долетели до самой кассы... Судебное разбирательство было прекращено, ведь спорт есть спорт. Теперь у нас тут боксерский кружок, я в нем три раза в неделю провожу тренировки. Я уже и своему шефу, владельцу кирпичного завода, сломал переносицу. А здешнему бургомистру пришлось после моего удара ампутировать ухо... Вам холодно, пан фабрикант? Наш городок лежит повыше, чем Прага, у нас еще не так тепло, нужно было вам захватить пальто.

Пан Янтал взял под руку своего спутника, который приехал мстить за поруганную честь, и обратился к нему с неотразимой обходительностью:

— Я все пытаюсь припомнить: ведь мы были на «ты». Само собой разумеется, ты сегодня ночуешь у меня. Я покажу тебе обе комнаты. Не думай обо мне плохо. Хе-хе-хе! Да разве я бегаю за твоей женой? Это все сплетни. Умеешь боксировать?

Пан Лантнер ответил, что не умеет, *к сожалению*, не умеет.

— Дружище, — фамильярно обратился к нему пан Янтал, — здесь у меня шикарные бабы. Жена управляющего именем — девчонка что надо. Ее муж, бедняжка, тоже хотел научиться боксировать и попробовал с моим учеником, учителем Ваничеком. Ну и получил. Тут у нас есть один врач, женушка у него на ять, когда приедешь к нам на лето, я тебя с ней познакомлю. Что ты дрожишь? У нас открыли новый ресторан, вермут там — пальчики оближешь.

Пан Лантнер и вправду почувствовал, что от пана управляющего кирпичным заводом разит этим знаменитым вермутом.

#### IV

Мститель и сам не знал, как получилось, что, не протестуя, он оказался с

этим мерзавцем Янталом в ресторане и в течение двух часов вынужден был выслушивать из его уст разные инсинуации; управляющий кирпичным заводом титуловал его не иначе как «осел» или «глупец». А когда пан Лантнер пытался как-то вмешаться в разговор, то пан Янтал с удивительной аккуратностью каждый раз замечал:

— Простите его, господа. Пан фабрикант — мой лучший друг, и все-таки он скотина.

При этом он фамильярно хлопал пана Лантнера по спине и повторял:

— Ну, душа твоя спекулянтская!

А кульминацией этих нежностей стало заявление, что пан Лантнер — величайший идиот на белом свете.

У пана Лантнера стремительно уходила почва из-под ног. Сначала он еще упрямо думал: «Стоит ли драться с ним здесь, я поколочу его на площади». Но потом его охватила безнадежная апатия, и, уже не отдавая себе отчета в собственной низости, он разрешил пану Янталу оплатить весь свой счет, включая обед.

Потом управляющий кирпичным заводом оттащил своего гостя домой и привел в комнату, где висели боксерские перчатки.

— Проведем маленький матч, — сказал он пану Лантнеру, — приготовься.

## V

Пан Лантнер, вернувшийся к жене в Прагу с безобразно распухшим лицом и надорванным ухом, наверное, до смерти не забудет джентльменского поведения пана Янтала, который собственноручно приобрел ему билет на пражский поезд, а в вагоне еще препоручил его особым заботам проводника, сказав тому:

— Будьте внимательны к этому господину, он слеп на оба глаза...

## Памяти Ольги Фастровой

Известие о смерти госпожи Ольги Фастровой повергло меня в крайнее изумление. Живу я не в Праге, а потому узнал об этом с некоторым опозданием. В известии о трагической кончине знаменитой чешской журналистки есть нечто весьма трогательное.

Сперва я даже не хотел ему верить, и, лишь прочитав в «Народни политике» от 7 мая ее фельетон о цилиндре Чичерина, окончательно убедился, что произведение это создавалось в предчувствии смерти, ибо госпожа Фастрова исключительно сердечно прощается в нем с Геленой Малиржовой, утверждая, что очень любит ее, хотя та и носила короткую мужскую стрижку.

Когда в том же фельетоне Ольга Фастрова писала, что мужчины в Берлине, в России, Мюнхене и Пеште прямо на улицах нападают на элегантных женщин, силком раздевают их, а потом — нагих — убивают, — тут уж температура подскочила у нее до сорока.

Она еще не успела дописать фельетон, а у нее уже начали синеть ногти, как бывает при приступе холеры. Однако никто из ее родственников не ожидал, что конец столь близок. И он неотвратимо наступил в тот несчастный день, когда общественность была поражена появившимся в «Народни политике» фельетоном Ольги Фастровой о цилиндре господина Чичерина.

В то воскресное утро поначалу казалось, что Ольге Фастровой уже стало несколько лучше. Она заговорила более связно и потребовала, чтобы ей принесли «Народни политику». Была половина десятого утра. Сперва она проглядела рубрики «Малого информатора», «Брачных предложений», «Писем», «Всеобщего информатора» и выпила чашку слабого чая.

А потом, к крайнему изумлению присутствующих, принялась вслух читать свой фельетон о цилиндре господина Чичерина. Чтение сопровождалось судорогами. На лбу ее выступили крупные капли пота, все тело охватила сильная дрожь, речь стала несвязной. В половине одиннадцатого госпожа Ольга Фастрова вновь пришла в сознание и попросила послать на Винограды за священником.

При полном молчании собравшихся у ее постели она слабым голосом заявила его преподобию: «На белом платье прекрасно смотрятся складки и равномерно расположенные украшения в виде ажурной строчки, выполненные ручной мережкой и дополненные широкой тюлевой вставкой. Исполнение и распределение ажурной строчки указано на рисунке, прилагаемом к выкройке. Украшения делаются на передних клиньях блузки и юбки, а также на рукавах кимоно. Края рукавов отделяются более узкой вставкой».

Потом она потеряла сознание и вновь пришла в себя около полудня. С трудом приподнявшись на подушках, она сообщила присутствующим: «Девушки должны ходить по ночам только в сопровождении взрослых мужчин. Классным дамам на уроках танцев запрещается говорить своим воспитанницам двусмысленности. Декольтированные пожилые дамы из хорошего общества должны пудрить животы».

Это были ее последние слова. Вскоре она вновь потеряла сознание и уже не приходила в себя. Она скончалась спокойно и тихо, так, словно вся жизнь ее прошла в мирном согласии с держателями акций «Народни политики».

Никогда не забуду своей первой встречи с покойной Ольгой Фастровой, которая произошла после моего возвращения из России, 19 декабря 1920 года.

Приехав из России, я направился прямо в кафе «У золотого гуся» на Вацлавской площади, чтобы прочитать газеты. У одного из столиков сидела безвременно усопшая, к которой я питал столь же нежные чувства, какие, наверное, питала она к Гелене Малиржовой. Наша встреча была по-настоящему сердечной, и первое, что я услышал, был вопрос: «Правда ли, Яроушек, что большевики в России питаются мясом китайцев, выбракованных из армии?»

Я спросил, как она, собственно, представляет себе всю эту процедуру. И она ответила, что большевики отправляются в Китай большими группами, примерно так, как индусы на ловлю слонов. Специальные отряды большевистских войск расставляют на пограничных китайских территориях капканы на китайцев и копают волчьи ямы. Попавшихся в них китайцев связывают дюжинами и доставляют в Москву и Петроград, где в специальных казармах они упражняются во владении оружием и осуществляют террор по отношению к русской интеллигенции. Ими, помимо других, были замучены Милюков, Горький и Чириков. К концу второго года воинской службы из них обычно выбраковывают десятую часть, откармливают, а потом их мясо раздают советским комиссарам.

— Я уже и фельетон написала об этом. А вы, Яроушек, тоже ели китайцев?

— Пока не привык, все время чувствовал привкус мускуса, — ответил я. — Крайне важно, уважаемая, по сильнее приправлять пряностями вспотевшие ступни китайцев, тех, что потолще. Думаю, однако, что от такого неприятного привкуса можно отлично избавиться, если завернуть их в «Народни политику», в те ее номера, где есть рубрика «События в России», да еще прокоптить как следует.

— Недавно я написала статью о национализации женщин для «Женского караула». Скажите, неужели все это правда?

— Это у вас пройдет, уважаемая, — сказал я сочувственно. — Но шутить с этим, конечно, не стоит. Я бы вам посоветовал как можно скорее поехать куда-нибудь к морю. Был у меня знакомый, который тоже страдал от приливов крови к голове, в такие минуты он болтал, что Луну населяют люди, изгнанные туда после битвы у Белой горы.

Вот такой была моя первая встреча с госпожой Ольгой Фастровой по приезде из России.

В вихре журналистской жизни, в заботах о дамских модах Ольга Фастрова, видимо, забыла о моем совете, данном с самыми добрыми намерениями. Ее переутомленные нервы не выдержали. Всего на несколько часов пережила она свой фельетон о цилиндре Чичерина.

Перед самой своей смертью она высказала просьбу: кремировать ее тело, а пепел высыпать с Жофинского моста во Влтаву. И в этих последних словах чувствуется неодолимая энергия, которая отличала Ольгу Фастрову во всем ее неутомимом труде во имя культурного возрождения чешской женщины. Честь ее памяти!

## Путеводитель по Ничему

### Введение

Если бы нашелся храбрец, способный прочесть несколько сотен книжек, которые их авторы с достойным удивления нахальством именуют путеводителями, уверен, что такой читатель совершенно бы одурел и только бы и делал, что повторял фразы и великолепные обороты, какими пользуются составители путеводителей по замкам, дверцам и городам.

Итак, поглупевший и одуревший читатель без усталости повторял бы такие вот выражения:

«Мои глаза взирают искрящимся взором на пленительную панораму...»

«Мои глаза не могут налюбоваться видом...»

«Мои глаза устремлены...»

«Глаза мои невольно замечают...»

«Глаза наши прикованы...»

«Мой взгляд спешит...»

«Наш взгляд летит...»

«Взор наш обнаружил и спешит дальше...»

«Наш взор напрягается...»

«Вновь глаза наши узрели...»

«Перебегающий взгляд...»

«Глаза наши останавливаются, чтобы отдохнуть, чтобы видеть, не глядя...»

«Если мы пойдем по дороге, перед взором нашим откроется...»

«Стоит оглянуться, и от внимательного взора не ускользнет...»

«Если мы проследуем дальше, взгляд наш невольно заметит...»

«Чудесный вид открывается...»

«Взгляд наш устремляется, чтобы узреть...»

«Если мы оглядимся вокруг, взор невольно остановится...»

С этими путеводителями дело обстоит так, что начини читатель строго придерживаться их рекомендаций — он рискует свернуть себе шею. «Оглядимся — посмотрим вправо — обратим свой взор — прищурим глаза — повернемся налево — посмотрим вперед — окинем быстрым взглядом горизонт, теряющийся вдали, — остановимся...»

Боже мой! Могу представить, что случилось бы с этим несчастным! Сначала бы он все быстрее и быстрее вертелся вокруг своей оси, глаза его при этом постепенно вылезали из орбит, потом он затерялся бы вдали, и осталась бы от него лишь жалкая кучка, из которой нахально торчал бы томик путеводителя, раскрытый на первой странице, начинающейся со слов: «Так, наверное, выглядел библейский рай!» — в изумлении и восхищении воскликнул один из путников...

Вот почему я приступаю к выпуску собственноручно сочиненного мною «Путеводителя по Ничему».

### Предисловие

Настоящее сочинение, в соответствии с моим замыслом, призвано восполнить чувствительный пробел в отечественной литературе о путешествиях. Наши туристы допускают грубую ошибку, выискивая места, где что-то сохранилось и окрестности которых поражают прежде всего красотами пейзажа.

В моем трактате будут подробно освещены преступно заброшенные красоты Ничего.

Итак, это будет путеводитель по местам, где нет абсолютно ничего, и следовательно, исключается возможность для взора что-либо выискивать, а для несчастного туриста — риск свернуть себе шею.

Работа над настоящим сочинением была чрезвычайно трудной, ибо я был лишен возможности прибегнуть к каким-либо пособиям уже по одной той причине, что описываемое место не имеет никакой истории, никаких достопримечательностей и никакой топографии.

Считаю своим долгом выразить благодарность неизвестному бродяге, который в том самом месте, где нет никаких достопримечательностей и никаких живописных окрестностей, лежал на траве с бутылкой водки и обратил мое внимание на то, что здесь тоже красиво.

## I

Если мы окажемся в местах, где ничего нет, взор наш напрасно станет искать какой-либо вид, поскольку мы находимся там, где расположено великое Ничто. Считать, что мы находимся на равнине, однако, нельзя. Ведь даже равнины тут нет.

В физической географии вообще не существует данного понятия.

Путник сразу же замечает, что нет ничего ни впереди, ни сзади, ни наверху, ни внизу.

Чтобы не утомлять понапрасну зрение путников, обращаю их внимание на список предметов, которые они не обнаружат и которые, следовательно, не смогут поразить их взор.

Здесь отсутствуют:

- 1) Темные зеленые леса.
- 2) Плодородные поля с волнующейся нивой.
- 3) Голубеющий воздух.
- 4) Огромный простор.
- 5) Пестрый ковер цветов.
- 6) Тучки и фруктовые сады.
- 7) Мчащийся поезд.
- 8) Холмы и ручьи.
- 9) Башни городов.
- 10) Руины и деревенские костелы.

## II

Предупреждаю посетителей этого памятного места, что они не смогут воспользоваться здесь дорогами, потому что дорог нет. Если какие-то и были, узнать об этом невозможно, даже от старожил, поскольку те, по-видимому, уже давно вымерли, более того: существует предположение, что здесь вообще не было местного населения.

Напрасно было бы также искать здесь какие-либо окрестности.

## III

Поскольку данное место не имеет истории, сама собой отпадает и необходимость продолжать эту главу.

## **Послесловие**

Выражаю благодарность всем читателям, у которых хватило терпения дочитать до конца.

Настоящее сочинение призвано дать мощный импульс созданию новых путейодителей по Медвежьим и Немедвежьим Углам.

## Муниципальные выборы

*И когда будет южный ветер, говорите: зной будет; и бывает.  
Еванг. от Луки, глава 12, ст. 55*

### I

Есть предметы, факты, события, явления, которые оказывают на человека необычайно освежающее действие. Они составляют необходимый элемент человеческой радости. Без них жизнь человека стала бы дьявольски однообразной. Человечеству нужна борьба, чтобы сердца людские не уподобились Сахаре — равнина, плоскость, не на чем душу отвести, песок и верблюды... Поэтому-то человечество и выдумало муниципальные выборы.

Представим себе окружной центр, где имеются следующие политические партии:

Партия спасителей народа;

Партия прогрессивных национальных горизонтов;

Народные минималисты;

Национальные максималисты;

Демократическая партия свободомыслящих;

Свободомыслящая партия прогрессивных демократов;

Социальные народные прогрессисты;

Партия реалистических аграриев социалистического толка;

Партия сельских демократов;

Венцелидесовцы.

Что касается последней политической партии, то ее произвел на свет в состоянии невменяемости местный гражданин Августин Венцелидес, причем ядро ее составило общество любителей игры в кегли при отеле «У розы» и компания собутыльников «Кубки».

Пан Августин Венцелидес принадлежал первоначально к партии спасителей народа, к которой принадлежит и пан Хуара, который, однако, злобно нарушил единство партии, начав ни с того ни с сего продавать метр английского полотна на тридцать геллеров дешевле, чем пан Венцелидес.

Жители города прекрасно помнят, как после этого в уборных ресторанах стали появляться надписи: «Хуара — вор!» Пан Венцелидес не дал себе даже труда хоть немного изменить свой почерк — неосторожность, приведшая его на скамью подсудимых по обвинению в диффамации, вследствие чего он, как осужденный преступник, был исключен из числа членов муниципалитета и превратился в отщепенца.

А отсюда уже недалеко до создания собственной партии. Таково происхождение партии венцелидесовцев.

Муниципальные выборы в этом городе были назначены в связи с отставкой городского головы, являвшегося вождем партии прогрессивных национальных горизонтов. Несчастный занимался демагогией и тайно продал паровой плуг, принадлежавший городскому хозяйству. Кроме того, его обвиняли в том, что он в период запрета водить собак без намордника, приобрел для своей собаки намордник на средства города, занеся соответствующую сумму в

графу «Почтовые расходы». С ним пали члены муниципалитета, принадлежавшие не только к партии прогрессивных национальных горизонтов, но и к объединенному блоку демократических свободомыслящих, народных минималистов и национальных максималистов, которые отказались от своих мандатов, после того как социальные народные прогрессисты выдвинули против блока грозное обвинение в том, что он, устроив пикник на берегу городского пруда, выловил оттуда всех лещей и сожрал даже всех мальков, приобретенных на средства налогоплательщиков. Подтверждением этого факта явилось то, что лидер национальных максималистов подавился, проглотив впопыхах маленького жареного карпа.

Коалиция рухнула. Отставки посыпались как из рога изобилия. От всех партий запахло тухлятиной. И вот как-то раз один местный житель, осведомившись у официанта в гостинице «У короны», что это за рыжий косой господин, который заказывает уже третью порцию рубца, получил в ответ:

— Этот рыжий косой записался у нас в книгу приезжих как правительственный комиссар. Мы уже дали знать в полицию: сейчас оттуда придут проверять у него документы.

Никто не пророк в своем отечестве. Утром сам окружной начальник нанес рыжему косому господину визит, и оказалось, что эта ошибка природы — действительно правительственный комиссар. Вдобавок выяснилось, что он ко всему еще хромым и питается исключительно рубцами — на основании теории, что в рубцах содержится пепсин.

Ошибка природы кушала рубец, глядя в окно гостиницы на распущенный муниципалитет и совещаясь с окружным начальником, причем через каждые два-три слова слышалось:

— У меня пувуар![253]

Урод назначил муниципальные выборы. Документация, избирательный аппарат, проверка полномочий, строгая проверка права голоса, всякие неприятности, мертвые встают из могил, чтобы потребовать участия в выборах...

Кандидатские списки. Переговоры политических партий. Пощечины при лунном сиянии, ночью, когда луна льет свой бледный свет и кого-то душат из-за того, что какой-то сторонник партии реалистических аграриев социалистического толка сказал о партии спасителей народа, что им бы только дорваться до казенного пирога.

Социальные народные прогрессисты и народные минималисты обмениваются пощечинами.

В одну из таких тихих ночей национальный прогрессивный горизонталлист получил по морде от национального максималиста, которого в свою очередь где-то за углом сбил с ног свободомыслящий прогрессивный демократ.

Затем, в виде предисловия, на улицах появились официальные объявления о назначении новых выборов. После этого каждая партия выпустила про стенное обращение к своим сторонникам и расклеила его на улицах; в этом обращении она популярным языком разъясняла, что близятся перевыборы в местные муниципальные учреждения и каждому гражданину необходимо понять, что победить должна именно она.

Потом в органе свободомыслящих прогрессивных демократов «Голоса из Нуциц» появилась статья, которая, собственно, и положила начало настоящей заварухе. Статья была направлена против лидера социальных народных про-

грессистов Юнеса и озаглавлена: «Образчик нравственного падения».

Начало было многообещающее:

«Одной из подлейших партий в нашем городе является партия социальных народных прогрессистов. Мы долго не решались написать слово «подлейших», но исключительно бесстыдное, лицемерное, гнусное и безнравственное поведение их лидера пана Юнеса убедило нас в том, что с шайкой пана Юнеса церемониться не приходится. Вчера к нам в редакцию, перед самым подписанием номера, явилась молодая девушка и, чуть не плача, сообщила, что пан Юнес выманил ее на прогулку за город к св. Вавржинцу и там, в бельведере, совратил, обещав жениться. Пан Юнес посулил ей даже (вы только представьте себе!), что она будет женой городского головы. А когда отец вышеупомянутой особы в четверг на прошлой неделе, в пять часов пополудни, попросил пана Юнеса назначить день свадьбы, этот развратник попросту выставил его за дверь, да еще крикнул ему вслед, что и не подумает жениться на какой-то по-таскухе, добродетель которой не выдержала первой прогулки.

Вот какова она — пресловутая нравственность социальных народных прогрессистов! Волосы встают дыбом, когда подумаешь, что у этой партии были два представителя в городском совете и три — в финансовой комиссии, причем последние имели доступ к сейфу, где хранятся все городские поступления.

После этого не было бы ничего удивительного, если б наше городское хозяйство оказалось в самом критическом положении: ведь эта партия за счет налогоплательщиков устраивала оргии с обманутыми неопытными девушками в разных бельведерах.

*Не городским головой вам быть, пан Юнес, а главарем разбойников!*

В следующем номере мы помещаем большую статью о казнокрадстве бывшего члена городского совета пана Пипиха. Само собой разумеется, пан Пипих — тоже социальный народный прогрессист, каким был и известный муниципальный проходимец и шулер, уголовник Книжек, к тому же еще лошадиный барышник и шурин известного владельца публичного дома «За рекой», причем этот последний, говорят, тоже выдвигается кандидатом по их списку!»

Этой статьей «Голоса из Нучиц» победоносно прорвали блокаду, и орган социальных народных прогрессистов «Общественные интересы» незамедлительно ответил им в специальном выпуске, поместив на первой странице набранное жирным шрифтом письмо пана Юнеса по поводу нападения, которому он подвергся. Пан Юнес начал с большим достоинством:

*«В последнем номере пользующихся печальной славой «Голосов из Нучиц» их редактор, известный лжец и алкоголик пан Папик, бросил ком грязи в мою седую голову. Этот субъект, гнушающийся честным трудом, позволил себе опубликовать обо мне нечто до такой степени нелепое, что, если бы статья его не затрагивала вопроса о муниципальных выборах, я отнесся бы к ней как к бреду сумасшедшего и потребовал бы водворения автора в больницу для умалишенных. Но в данном случае, в обстановке разгорающейся идейной предвыборной борьбы между определенными партиями, нельзя видеть в пане Папике только идиота, а необходимо признать его негодяем высшей марки, злостным клеветником и моральным выродком. Кто знает мою седую голову — а таких, конечно, много, — тому прекрасно известно, что я уже более сорока лет женат, и нет надобности повторять,*

*что мое прошлое так же незапятнанно, как мои седины. В городе и его окрестностях меня знает каждый ребенок — и вдруг на склоне моих дней является какой-то гнусный мерзавец, уже успевший получить по заслугам за свои бесчисленные проделки, и осмеливается говорить мне в глаза, будто я на старости лет кого-то обесчестил. Не выйдем, господа! Наша предвыборная борьба должна пресекать на определенном моральном уровне, и я от имени своей партии — социальных народных прогрессистов — прошу исполнительный комитет партии свободомыслящих прогрессивных демократов немедленно исключить из своих рядов, скажу напрямик, этого наглого бездельника, проходимца, негодяя и клеветника Папика. Со своей стороны заявляю, что подал на этого грязного субъекта жалобу, и в ближайшую сессию суда присяжных низкий моральный облик негодяя получит надлежащую оценку.*

*Йозеф Юнес.*

*«Шифер, кровельный толь, цементная черепица»*

Уже два часа ночи. Наверху в доме пана Венцелидеса еще горит свет. Пан Венцелидес сидит за столом и пишет листовку, направленную против всех партий. Время от времени он кричит в спальню жене:

— Как там было дело с этим национальным максималистом? Мне нужны факты! Украл у Горжинеков бутылку с уксусной эссенцией? Ах, это сделал двоюродный брат их служанки? Неважно: произошло у них в доме, и копчено. Эти национальные максималисты ни с чем не считаются.

Пан Венцелидес пишет дальше. Спустя минуту до спальни опять доносится его голос:

— Как было дело с тем сельским демократом, Маринка?..

А в гостинице «Корона» правительственный комиссар жует рубцы.

## II

Характерно одно обстоятельство. Все партии в обращениях величали своих кандидатов известными, проверенными работниками, голосуя за которых избиратель сделает добро не только городу, но и самому себе, так как эти лица выше всего ставят пользу общества, а не удовлетворение собственного тщеславия.

Короче говоря, каждый из этих кандидатов был ангел, благороднейший человек, которому чужды обман и мошенничество.

Но тут-то и началась публичная исповедь. В листовках каждой из десяти политических партий вскрывалась и обнажалась подноготная кандидатов остальных партий. Отчетливо выявилось, что, по существу, лидеры всех без исключения политических партий в совокупности своей составляют славную компанию, которая заняла бы видное положение где-нибудь в Панкраце, Мирове или Борах.

Горожане просто диву давались, какие подонки вершили в последнее время судьбы города.

Каждая партия посылала другим партиям, то есть их руководству, угрожающие письма и анонимки. Национальные прогрессивные горизонталисты, например, писали лидеру свободомыслящих прогрессивных демократов:

*«Берегись, как бы результаты выборов не отразились на твоей заднице, так что трудно будет сидеть!»*

А тот ответил руководителю национальных прогрессивных горизонтали-

СЛОВ АНОНИМНЫМ ПИСЬМОМ:

*«Предупреждаю тебя заранее, Франта: отойди в тень. Таких развратников, спекулянтов и босяков, как ты, надо устранять из общества! Отступись, Франта, а не то я на тебя донесу, и тебя свезут прямо в Кутную Гору».*

Демократическая партия свободомыслящих отправила национальным максималистам анонимное письмо следующего содержания:

*«Пан Янота! Надеемся, что вы по получении этого письма заявите руководству своей партии о своем отказе баллотироваться; в противном случае один ваш добрый друг предаст гласности, что стало с картофелем, предназначавшимся для городской бедноты! С дружеским приветом И. М.»*

Анонимка, полученная лидером народных минималистов, была короткой:

*«Вор! Смотри не показывайся на предвыборном собрании, а то я спрошу тебя: куда девались деньги за проданный сахар из городских запасов?»*

Лидер демократической партии свободомыслящих был приятно удивлен, получив такое письмо:

*«Милостивый государь! Меня, как давнишнего Вашего единомышленника, глубоко огорчил бесчестный поступок члена Вашей партии пана Семерака, которого Вы выставили первым кандидатом в своем списке. Он грубо злоупотребляет не только Вашим доверием, но и честью Вашей супруги. Я застал Вашу супругу в роще «На Марковой» в момент совершения прелюбодеяния с паном Семеракком. Удивляюсь, как Вы сами не замечаете, в какой измятой юбке возвращается Ваша жена домой с прогулки. Вы поступили бы абсолютно правильно, если бы публично надавали этому Вашему соратнику оплеух. Что я Вам не лгу, в этом Вы можете лучше всего убедиться, осведомившись у Вашей супруги, почему с 16 мая на той полянке «На Марковой» не растет трава.*

*Желаю Вам полного успеха в деле очистки Вашей партии от подобных элементов и остаюсь*

*Ваш старый единомышленник и товарищ по партии.*

*Угадайте кто?»*

Супруга лидера партии спасителей народа получила заказное письмо:

*«Пани Киндлова! Когда Вы по утрам ходите в церковь, Ваш муж в это время водит к себе в подвал гимназисток. Он страдал этим гнусным пороком еще до Вашего знакомства с ним. Скажите ему, чтобы он не выставлял своей кандидатуры, а то один отец подаст на него жалобу. Пока будьте здоровы и ждите продолжения, богомолочка!»*

Примерно в это же время пан Венцелидес метался по комнатам с распечатанным доплатным письмом:

*«Бродяга! Теперь голоса выклянчиваешь? Видно, это у тебя в крови; ты ведь несколько лет тому назад в Нижней Австрии по миру ходил, за попрошайничество в тюрьме сидел, и тебя оттуда в Недоухов по этапу пригнали, шута горохового! Занимайся, болван, кеглями, а в политику не суйся. Ты в ней понимаешь, как свинья в апельсинах. Тебе бы только кого обобрать, спекулянт этакий!»*

Не был обойден и лидер партии сельских демократов. Какой-то член партии реалистических аграриев социалистического толка писал ему:

*«Пепичек Погодный! То-то, поди, злишься, что в копилке Центральной школьной Матицы, которую ты слямзил в трактуре «У Гариулов» перед войной, оказалось всего несколько пятакон? Тебе бы прийти тогда в этот трактир неделкой раньше: там у нас было больше ста крон. Вот бы ты опять нализался! Помнишь, как во время войны гнилую картошку нам спускал? Но пришел наконец божий суд. Собери скорей пожитки и ступай за границу искать жар-птицу! Тот, кто хорошо тебя знает, и ты его тоже».*

Говорю вам, это была грандиозная всеобщая публичная исповедь.

Содержание анонимных писем мало-помалу становилось достоянием гласности, так как каждый пострадавший выпускал листовку, в которой обличал эту подлость, этот недостойный прием предвыборной борьбы. В типографии люди с ног сбились, работая сверхурочно, и одной из самых важных фигур стал типографский корректор, которого на каждом шагу останавливали и начинали расспрашивать:

— Скажите, пан Бенке, нынче вы ничего не читали насчет меня? Ах, не говорите «нет». По глазам вижу, что «да». До чего мы дошли с этой предвыборной борьбой!

Весь город был залеплен плакатами; в глаза кидались крупные буквы, образующие огромное слово: «Заявление!»

Самое скромное из этих заявлений звучало примерно так:

*«С величайшим негодованием отвергаю утверждение моих политических врагов, будто я в 1913 году застраховал жену свою Марию Дртинову, урожд. Хлоупкову, на сумму 25 000 крон, а 19 августа, в семь часов вечера, с корыстной целью утопил ее в городском пруду во время купания. Настоящим заявляю, что никогда не был женат, никогда никого не застраховывал и в указанный день находился в заключении при уголовном суде в Праге за публичное оскорбление действием полицейских служащих вскоре после моего приезда в Прагу для осмотра Градчан.  
Штепан Дртина,  
«Узоры для вышивания».*

О том, какие обвинения были вообще возможны, говорит другое отчаянное заявление, выпущенное неким Кржиштоу, который клянется, ссылаясь при этом на свидетелей, что никогда не выкапывал шпал на полотне Северо-Западной железной дороги и не продавал их оптом тому же железнодорожному ведомству, а также не занимался хищением телеграфных проводов на Пльзенском шоссе.

Эти разнообразные опровержения давали повод к новым обвинениям, отличавшимся иной раз большими подробностями, видоизменявшими либо дополнявшими первоначальные.

Повторные обвинения имели по большей части такой вид:

*«Мы несказанно удивлены, что пан Гариуба имел смелость и дерзость в ответ на наше обвинение выступить в свою защиту. Напомним ему в таком случае, что факт, о котором идет речь, имел место восемнадцать лет тому назад в Чаславе, где этот ловкач держал тогда галантерейный магазин, который он поджег 12 августа в ночь со*

вторника на среду, повысив перед этим сумму страховки. В течение недели перед пожаром не проходило ночи, чтобы из магазина не выносились свертки с разным товаром, и мы ему точно напомним, что в воскресенье он унес домой канифас, в понедельник — мешковину, во вторник — камчатное, а в среду — английское полотно, в четверг — зефир, в пятницу — шелка, полотенца, носовые платки и салфетки, в субботу — носильное белье, в воскресенье — разные шерстяные материцы на платья и отрез сукна, в понедельник — нитки и ленты, а в ночь со вторника на среду поджег свои пустые прилавки. Да, пан Гарцуба, напрасно вы в своем «Ответе» высокомерно обзываете нас клеветниками: ведь мы вас еще пощадили, назвав довольно мягко — поджигателем. Нам прекрасно известно, что у вас кожа как у бегемота, и вы опубликуете новый ответ. Посмотрим, что скажут избиратели. Они должны быть осведомлены, что, голосуя за Гарцубу, изберут своим представителем поджигателя, чуть не спалившего весь Часлав».

Пан Гарцуба нашел в себе смелость опубликовать новый «Ответ» и расклеить его по углам на досках для объявлений:

*«Я просто констатирую, что восемнадцать лет тому назад действительно жил в Чаславе, но не держал галантерейного магазина, а являлся представителем фабрики пробковых товаров в Клаштере над Огржи, так что у меня на складе не могло быть канифаса и т. п. Думаю, этого вполне достаточно — не для моего оправдания, так как я в нем не нуждаюсь, меня все знают, — а для полного осуждения всем известной партии политических лжецов и негодяев».*

Но и на этом дело не кончилось. Нет, этого оказалось недостаточно. На него накинулись с еще большим остервенением, и на другой же день на улицах появились плакаты:

*Признания пана Гарцубы!*

*Политический мертвец исповедуется!*

*Мы привыкли к безнравственности своих политических противников и все же были поражены циничным признанием пана Гарцубы в том, что он действительно был в Чаславе, где поджег свой склад пробковых товаров, к чему готовился целую неделю, унося домой, в безопасное укрытие, тюки товаров. Чтобы освежить факты у него в памяти, предадим гласности хронологический перечень этих незаконных операций. В ночь на воскресенье третьего августа он перетащил к себе домой пробки, предназначенные для пивоваров и виноделов, для бутылок с минеральными водами, ликерами и для продажи вина в розлив. В понедельник похитил пробки для аптек и аптекарских магазинов. Во вторник ночью забрал соломенную упаковку для бутылок всякого рода, а также пробковые затычки и пробочники. В среду вывез целый воз пробковых подстилок под линолеум, пробковых стелек для сапог, пробковых плавательных поясов, пробковых решетчатых циновок для ванн и бань и пробковых ручек для перьев; в четверг — цельные пробковые коврики и половики; в пятницу — пробковые мешки; в субботу — увез пробковые плитки, пробковую труху и отбросы; в воскресенье — пробковую термоизоляцию и в понедельник — пробковые прокладки для машин.*

*А двенадцатого весь склад был уже в огне. Вот факты, пан Гарцуба! Этими фактами мы спокойно и убедительно отвечаем на ваше развязное: «Вполне достаточно».*

Ознакомившись с этим новым обвинением, пан Гарцуба до поздней ночи сидел, как осужденный перед казнью. На столе перед ним лежал лист бумаги, ничем не заполненный, если не считать заглавия, которое он с трудом сочинил к рассвету:

### *Опровержение № 3*

Начало светать, а лист все оставался чистым. У пана Гарцубы ум зашел за разум, и он в конце концов написал:

*«В ответ на грубые нападки обращаюсь с просьбой к представителям судебных кругов навести обо мне справки на фабрике пробковых товаров в Клаштере над Огржи, в Блюннерсдорфе».*

Это «Опровержение» оказалось тоже размноженным в виде плакатов, но в тот же день общественность была удивлена появлением новой надписи. На воротах ратуши кистью было намалевано:

*Бывший городской голова Юнес жрет кошек!*

И рядом, на тротуаре перед ратушей, той же рукой:

*Выбирайте Венцелидеса!*

А в гостинице напротив ошибка природы — правительственный комиссар — по-прежнему жевал рубцы...

### III

Авторов анонимных писем вскоре разоблачили, и так как в каждой партии их оказалось не менее чем по одному, это стало даже считаться хорошим тоном. После их разоблачения все партии, словно стоворившись, выступили с заявлениями такого характера:

«Анонимные письма члена нашей партии — это все, что против нас имеется. Ничего другого в ущерб нам выдвинуть не могли...»

У коммивояжеров, останавливавшихся в этот период в городе и читавших все эти листовки, создавалось впечатление, что они попали в разбойничий притон; укладываясь спать у себя в номере гостиницы, они загоразживали дверь шкафом и вообще принимали всевозможные меры предосторожности, а утром вставали пораньше и, не выспавшись, спешили уехать.

В городе должна была быть ярмарка, но народу съехалось очень мало: все были страшно напуганы.

«Там какие-то бандиты, — говорили в окрестностях. — Поедешь туда, а господа кандидаты зарежут тебя и ограбят».

### IV

Не знаю, чем кончится избирательная кампания, но ко мне как раз приехал один тамошний житель и сказал, что по дороге на вокзал он видел, как в городе расклеивают новые плакаты, в которых сказано, что бывший заведующий городскими финансами страдает половым извращением и состоит в любовной связи с секретарем своей политической партии...

## Съезд земляков

### I

Бывают люди, которые ни с того ни с сего сразу становятся известными. В течение ряда лет они ничем не выделялись, были обыкновенными скромными гражданами, исправно выполняли свой долг по отношению к семье, государству и окружающим. И вдруг бедняга начинает чудить и вовлекает в свои чудачества все новых и новых людей.

Вообразит он, к примеру, что изобрел перпетуум мобиле, сообщит об этом в газеты, дети его становятся посмешищем для соучеников, а жена, которая вначале хвасталась: «Мой муж изобрел перпетуум мобиле», — превращается в мишень для всевозможных оскорбительных намеков, и ей остается только утопиться. После этого в один прекрасный день изобретателя под предлогом, что с ним желает познакомиться министр по делам вероисповедания и просвещения, заманивают в карету и везут в изолятор.

Однако наихудшим видом помешательства является созыв съезда земляков, ибо, естественно, это помешательство затягивает в свои сети многих людей, которые родились в каком-то определенном месте, считаются земляками и в порыве тупоумия гордо произносят: «Я здешний уроженец», — хотя, по существу, вовсе не их заслуга, что они вообще появились на свет божий.

### II

Когда учитель Ерал приехал на каникулы в свое родное гнездо, никто не заметил в нем ничего особенного. Это был обыкновенный рассудительный человек, повсюду козыряющий своим благоразумием. Он вызвался произнести речь на торжествах в память Яна Гуса, но задачу свою выполнил весьма неудачно, так как заранее написал текст, а читать его пришлось, когда уже стемнело, поэтому, ничего не видя, он произносил наобум какие-то бессвязные фразы, и так случилось, что в замешательстве приравнял Гуса к глупому Гонзе из сказок, а на другой день страшно обиделся, когда один из слушателей сказал, что он наговорил массу ерунды.

С тех пор в местечке стали поговаривать: «Увидите, пан учитель Ерал выкинет еще какой-нибудь номер».

У него это прорвалось нежданно-негаданно однажды после обеда, когда он сказал жене:

— Итак, я решил созвать съезд местных уроженцев.

Пани учительша расплакалась. Ее всхлипывания то и дело прерывал пан учитель:

— Да, я созову съезд местных уроженцев и по этому поводу напишу одноактную пьесу. Мы будем представлять умерших земляков, покажем, как они пьют пиво в ясеневом лесу, едят отварную свинину...

После небольшой паузы пан учитель продолжал:

— С этой свининой дело будет обстоять таким образом. У одного мастера из каменоломни поддыхает свинья, и те, что пьют пиво, пошлют сказать мяснику, что мастер, мол, просит его немедленно эту свинью прирезать, а жене своей приказывает отварить свинину и послать ее им. Затем придет сам мастер, наестся мяса, не зная, что ел собственную свинью, потом все выясняется, и на этом пьеса кончится.

В этот момент что-то тяжелое рухнуло на пол; только через несколько часов пани учительша очнулась от обморока и тут же обратила отчаянный взор на пана учителя, который, сидя возле ее постели, говорил:

— Не волнуйся, милочка, я как раз составляю текст воззвания к съезду местных уроженцев.

К вечеру пани учительше настолько полегчало, что она встала с постели и смогла пойти к доктору, которому все объяснила. Доктор вначале поинтересовался, не был ли пан учитель пьян, затем спросил, не наблюдались ли у него раньше подобные приступы, и наконец осведомился, что он ел перед тем, как ему взбрело в голову созвать съезд земляков.

В конце концов оба пришли к заключению, что, видно, это случилось после грибов, так как пан учитель отличался между прочим тем, что собирал разные поганки, ядовитые грибы и сам готовил их.

— А они, безусловно, содержат токсины, — загадочно произнес доктор. — Средство против этого: рвота, слабительное, алкогольный напиток, лед на голову, горячий кофе. Сударыня, я дам вам три порошка, и вы незаметно всыпьте их ему в еду. Что у вас на ужин?

— Опять какие-то ядовитые грибы, пан доктор.

— Отлично, — сказал доктор, — это как раз то, что нужно!

### III

Где земляки? Где местные уроженцы? Где земляки вообще?

Учителю Ералу казалось, что он созывает съезд земляков всего земного шара. Утром он просыпался мокрый, как мышь, и вспоминал сны: ему снился съезд земляков Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Праги и какого-то неизвестного городка в Новой Зеландии.

У местного полицейского инспектора пана Штепанека учитель Ерал взял адреса земляков, умерших лет тридцать тому назад за границей. Но ввиду их смерти приглашения они так и не получили.

Пан почтмейстер аккуратно поставлял инициатору съезда земляков возвращаемые на почту приглашения, на которых значилось: «Адресат умер», «Адресат неизвестен». А через две недели пришло письмо из Америки, перевод которого с английского звучал так: «Ваш земляк и адресат был повешен за убийство с целью ограбления и изнасилования негритянки в штате Иллинойс».

Разумеется, это не имело никакого значения, ибо если жива идея, то никакое сообщение о повешении земляка на далекой чужбине никого никогда не отпугнет.

Пришло несколько писем, где приглашенные земляки просили извинить, что не смогут приехать. Из Вены было получено три письма, в которых адресаты единодушно, словно сговорившись, писали, что из-за этого съезда могли бы потерять миллиард крон и что им на него наплевать.

Четверо приглашенных из разных мест республики требовали, чтобы им выслали денег на дорогу и гарантировали компенсацию расходов, связанных с поездкой, а они, мол, в благодарность охотно расскажут собравшимся о своих приключениях на чужбине и споют куплеты.

Пражское полицейское управление уведомило пана учителя Ерала, что на его земляка Индржиха Марека уже с 1906 года выдан ордер на арест за кражу пивных кружек и лжеприсягу.

Пришло также прошение от вдовы местного уроженца Валкауна. Вдова слезно просила общину дать ей ссуду в 600 крон для покупки мороженицы, чтобы летом она могла прокормиться.

Коммивояжер фирмы ликеров пан Гумера писал, что он приедет на съезд только в том случае, если для буфета при торжественном открытии съезда закажут ликеры его фирмы. При этом он приложил прејскурант.

Земляк Дурых прислал вместо себя доплатное письмо со страшными оскорблениями, возмущаясь, что только теперь, спустя столько лет, вдруг вспомнили о нем, а сами изгнали его из общины, обвинив в краже башенных часов на ратуше.

Произошли кое-какие недоразумения с отдельными приглашенными. Когда советовались с бургомистром, кого звать, углубились в далекое прошлое.

— Я точно знаю, — сказал бургомистр, — что много лет назад здесь жил купец Перглер, который позднее переехал в Космоносы.

По этому поводу космоносский дом для умалишенных ответил: «Прилагая полученное приглашение, извещаем, что ваш земляк Карел Перглер скончался в нашем заведении 16 июля 1901 года. Когда его доставили к нам, все документы о месте его рождения были утеряны. Сам больной не мог сообщить, откуда он был привезен. На основе вашего извещения о месте рождения нашего пациента пересылаем материал ликвидационному отделу на предмет взыскания с вашей общины платы за содержание и лечение усопшего».

#### IV

В день съезда пан учитель Ерал ходил то на броумовскую, то на дольнотузскую дорогу смотреть, не идут или не едут ли приглашенные земляки.

Никого не было. Пан учитель Ерал вдруг вспомнил, что земляки могут пройти со стороны Малой Скалы, и послал свою жену на вершину холма смотреть в том направлении.

Пани учительша села на камень на самой высокой точке и расплакалась. После стольких лет счастливого супружества такая напасть!

Со стороны Малой Скалы тоже никто не шел. Учительша просидела в отчаянии два часа, затем посмотрела вниз на город, и, увидев, что пан учитель Ерал залез на крышу ратуши и по случаю съезда земляков вывешивает государственный флаг, забила в истерике. Спустившись с холма, она встретила пана учителя. Дико сверкая глазами, он отвел ее в сторонку и отрывисто спросил:

— Сколько их идет?

— Гм, — ответила она небрежно, — возможно, они опоздали на поезд, приедут другим к вечеру, сюда со всех сторон прямое сообщение, нигде нет пересадки.

Учитель сразу так воодушевился, что побежал в трактир, где должна была состояться встреча с прибывшими земляками, чтобы выяснить, достаточно ли там столов и стульев.

Трактирщик ходил, как одуревшая овца. Он приготовил свыше 60 шницелей и чувствовал, что полностью прогорел: сейчас уже 6 часов, через два часа должно начаться торжество, но до сих пор не явился ни один из приглашенных земляков.

А тут еще учитель Ерал, как назло, начал его донимать:

— Только чтобы шницелей хватило, понимаете, ведь большинство приедет

с семьями. Съезд земляков — незабываемое событие для каждого участника. Каждому земляку захочется разделить свою радость с близкими. Главное, побольше салата из огурцов, это лучше всего освежает после дороги, все явятся усталыми, ведь те, кто из Словакии, будут два дня в пути.

Отдав распоряжение, учитель Ерал отправился поглядеть еще разок на верхнюю и нижнюю дорогу. С одной стороны не было никого, с другой — виднелась группа людей, поднимающихся в гору, среди них выделялся человек в мундире. Учитель Ерал побежал к бургомистру.

— Земляки уже здесь! — закричал он. И он не ошибся.

Это из Мирогоштиц переправляли в местную богадельню земляка и землячку — деда и бабушку Сохоровых.

Однако учитель Ерал об этой трагедии еще ничего не знал, так как был в это время дома, расхаживал по комнате и повторял по конспекту торжественное приветствие.

Было уже около восьми часов, а ни один земляк не появился.

В комнате звучал голос пана учителя:

— И поскольку, дорогие друзья, детство — это прекраснейшая пора жизни, приветствую вас на съезде и еще раз...

Рядом на кухне пани учительша прикладывала к заплаканным глазам мокрое полотенце.

## V

В тот же день к вечеру городское жандармское управление получило сообщение, что из предварительного заключения при Коданском суде бежал местный уроженец Ченек Гроуда, имевший уже несколько судимостей; по-видимому, он направился на родину за какими-то деньгами. А незадолго до открытия вечера, в восемь часов, жандармерию предупредили, что какой-то неизвестный человек пробирается к городу, перелезая через заборы.

Так Ченек Гроуда прибыл на съезд земляков.

## VI

На съезде земляков присутствовали только местные жители, которые ежедневно встречались в трактирах и на городской площади, даже не сознавая, что они земляки и что на такое собрание имеют право раз в десять лет.

Сегодня они пришли на вечер, как на какое-то зрелище; среди собравшихся было несколько пришельцев, таких, как господа учителя и прочие, которых можно было причислить к «местным друзьям».

Трактирщик рвал на себе волосы, глядя на гору шницелей и бельевой бак, наполненный салатом из огурцов. А инициатор съезда, пан учитель Ерал, стоя рядом, вдыхал аромат жареного мяса и говорил:

— Как жаль, что я уже поел дома. У нас была молодая картошка с творогом. А хватит ли у вас шницелей?

Трактирщик что-то проворчал и в отчаянии вцепился зубами в кусок жаркого, затем вскочил, схватил в обе руки груды шницелей и угрожающе двинулся на пана учителя, который с наивностью ребенка твердил:

— Они еще придут, поэтому я и не открываю вечера. Наверняка сейчас новое расписание поездов.

В этот момент трактирщик накинулся на него и, запихивая ему в рот шницели, заорал:

— Жрите, пан учитель!

Это было хуже кляпа. Пан учитель посинел, стал задыхаться, свалился со стула на пол, а трактирщик в полном смысле слова завалил беднягу шницелями, после чего схватил бак с салатом из огурцов, опрокинул его на учителя и вбежал в зал с криком:

— Земляки, прошу к ужину!..

## VII

Съезд земляков имел неприятные последствия. Как только пан учитель поправился, он тут же уехал с дачи, а трактирщика отдали под суд, Ченек Гроуда прямо со съезда был препровожден жандармерией в Коданский суд, а пани учительша каждый день пристаёт с вопросом к учителю Ералу:

— Скажи мне, ради бога, что ты собираешься предпринять в будущем году?

Пан учитель молчит, но перед сном мечтает созвать в будущем году в Праге съезд земляков всей Пражской области, а там, даст бог, года через два созвать на горе Ржип и в окрестных равнинах съезд земляков всей Чехословацкой республики.

Порой из крошечной искры разгорается большое пламя...

## Поможем деткам познать природу

### I

**В** принципе я не возражаю против загородных школьных экскурсий, как и против того, чтобы дети мучили животных, поскольку при этом проявляется превосходство человека над ними.

Если ты слопаешь лошадь, то без всякого угрызения совести почувствуешь, что одолел скотину, а если вытащишь несколько дюжин ребят на загородную прогулку, то наверняка порадуешься тому, что среди полей, лугов и роц ты являешься господином над этими ошалелыми маленькими созданиями.

Пусть учителя простят мне этот мой рассказ. Я заранее приношу им извинения за то, что совершил подлость, в чем после прочтения последующих строк, безусловно, будет убеждено большинство читателей, которые еще не утратили чувства справедливости.

### II

Вначале у меня не было решительно никакого злого умысла, и когда директор школы сообщил, что готовится экскурсия школьников к месту проектируемой плотины в долине Лабержского ручья, я выразил желание принять в ней участие. Экскурсия была назначена на субботу, а в среду директор школы подвернул ногу. Вправляя вывих, местный парикмахер сломал ему ногу в лодыжке, и в пятницу, в больнице, ее пришлось отрезать уже по колено. Поэтому была исключена всякая возможность участия директора в субботней загородной прогулке школьников. Но так как дети готовились к этому событию уже более полугодом и с нетерпением ждали его, я сказал, что сам смог бы отвести их в долину Лабержского ручья. Мое предложение было одобрено также местным школьным советом, который относился ко мне с полным доверием.

Весьма интересно, как быстро меняется мнение людей о характере человека, но еще интереснее то, что человек часто совершает какую-либо подлость, заранее о ней даже не думая. Действительно, у меня не было никаких дурных намерений, и те гнусные события, которые впоследствии произошли, развивались сами собой с того самого момента, как только мы вышли из школы.

## III

Девочек и мальчиков было по дюжине, и стоило лишь взглянуть на них, чтобы заключить, что их отцы недавно вернулись с фронта. У каждого из участников прогулки был старый воинский вещевой мешок и фляжка. Одна девочка тащила с собой даже кусок полотнища от военной палатки, один мальчик нес штык, и почти у половины всех детей были старые австрийские котелки. Со стороны все они походили на банду разбойников, так что мне самому показалось смешным, когда я назвал их «милые детки».

Итак, я выбрался с ними на лоно природы.

Милые детки не проявляли ни малейшего интереса к красотам природы. Не было никаких сомнений, что благоухающий скипидаром лес предоставлял им лишь одну поэтическую возможность: вырезать перочинным ножом гибкий прут или палку и колотить ими по головам и спинам товарищей.

Я решил дать им полную свободу действий и даже подстрекал их кричать и шуметь во всю мочь.

С этого момента из леса исчезли все певчие птицы: в паническом страхе они умчались в иные места.

Мы весело продирались лесной чащей, причем я вспоминал о тех загородных экскурсиях, в которых участвовал сам еще в ученические годы, когда наносимый нами ущерб был весьма незначительным, так как мы тащились по божьей природе, прилежно собирая растения для гербария и обалдевая от бесконечных ученых выкладок учителя Принца о пестиках.

Так как сей муж был противником всякого алкоголя, он заказал в ресторане для всех нас простоквашу, что имело ужасающие последствия, так как за полчаса до этого мы отдыхали под тенью деревьев у одного садовода и каждый из нас съел по меньшей мере по полкило черешен.

Наш обратный путь напоминал возвращение наполеоновской армии от Березины, когда, как установлено историей, войска были поражены дизентерией. Да и наш руководитель, господин учитель Принц, наложил полные штаны и в отчаянии без умолку твердил нам:

— Помните, мальчики, что голубая незабудка растет у ручья и точно называется незабудкой, о чем свидетельствует ее немецкое наименование «*Verqissmeinnicht*»[254].

Это был вообще очень трезвый человек, а его рассуждения — еще более трезвыми. Если он что-либо говорил, то это была абсолютная правда, против которой ничего нельзя было возразить. Я вспоминаю, как категорически он утверждал, например, что на лугах растет трава, на полях — хлеба, а скалы — это сплошные камни. Та поучительная прогулка никогда не улетучится из моей памяти: ведь если человека в молодости собьет автомобиль, он будет вспоминать об этом всю жизнь.

Невольно я сравнивал тогдашние наши детские слабенькие фигурки с этими загоревшими, веселыми ребятами, похожими на албанских разбойников...

Сзади меня раздался крик, напоминающий гуронский рев, и двое ребят притащили ко мне одного мальчика, держа его за руки и за ноги, а тот в это время кричал:

— Маржена ударила меня ногой в живот, и я не могу идти.

Пришлось сделать остановку и выяснить, кто явился зачинщиком этой сцены.

Обвиненная Маржена из четвертого класса посмотрела на меня своими голубыми глазами и сказала, что она только защищалась, потому что Пажоурек хотел отрезать ей ножом косу. Пажоурек возражал очень неуверенно, утверждая, что он только показал ей нож в намерении обменять его на медную заколку для волос. У мальчика была слишком богатая фантазия, так как при осмотре головы Марженки никакой медной заколки обнаружено не было.

Я собрал всех детей на просеке и предложил им самим решить, кто прав, а кто виноват.

— Милые детки, — произнес я, — установим полевой суд. Надеюсь, что все в сборе.

У меня был список участников экскурсии, и тут я обнаружил, что не хватает двух мальчиков и одной девочки. Мальчики знали об исчезнувшей девочке и доверительно сообщили мне, что Анежка полчаса тому назад попала в лисий капкан, когда по своим надобностям полезла в кусты, но они ее там оставили, поскольку она не кричала.

Девочки, в свою очередь, знали о двух исчезнувших мальчиках и столь же доверительно сообщили мне, что те учатся ставить силки на зайцев: они видели, как это делали в прошлом году скауты.

Создалась необходимость отложить полевой суд над Марженой и Пажоурекком, чтобы освободить девочку из лисьего капкана и оказать ей первую помощь.

Мы нашли ее минут через пятнадцать и тут же установили, почему она не кричала: в капкан попала только юбка, и девочка боялась пошевелиться, чтобы не разорвать ее.

— Я подумала, — сказала спасенная со стоическим спокойствием, — что если новый пан учитель вернется с ребятами домой, а меня с ними не будет, мама побежит искать и, когда найдет, выпорет.

И девочка вдруг заревела и начала кричать:

— Я больше так делать не буду! Я уж сюда не полезу, я пойду рядом!..

Так что я простил ей ее страшный проступок. Слова «новый учитель» сразу устранили ту неопределенность, которая, собственно говоря, существовала между мной и детьми. Мальчик Хадруба тотчас же потянул меня за пиджак и сказал:

— Пан новый учитель, меня змея укусила, смотрите, как все распухло.

Этот прохвост хотел перед всеми похвастаться встречей со змеей. А на самом деле его просто ужалила оса. Да и как бы змея залезла ему на самую шею!

Затем еще один мальчик подскочил ко мне с жалобой, что его одноклассник Маречек проглотил гусеницу, потом его вытошнило и Маречек сунул гусеницу ему за воротник.

С необыкновенной педагогической мудростью я предложил им самим разобраться в случившемся, после чего жалобщик удалился искать гусеницу, вероятно, для того, чтобы теперь самому проделать ту же процедуру и наказать Маречка.

Потом мы отправились за обоими пропавшими ребятами, которых подозревали в том, что они ставят силки на зайцев. Обвинение оказалось справедливым и правильно указывающим направление поисков.

Оба мальчика действительно играли в браконьеров. Один ставил силок, а другой изображал зайца, представляя, что ему захлестнуло ногу, и, когда мы к

ним подходили, тот, первый, как раз добивал второго. Так что мы правильно шли на крик.

Но здесь вина падает на родителей. В самом деле, каким образом в рюкзаке у первого мальчика оказался моток тонкой проволоки?

— Где ты это взял? — закричал я на него.

— На чердаке.

— Не так отвечаешь, дружок, — посоветовал я ему. — Тебе бы следовало сказать, что ты его нашел.

Тут в полемику со мной вступила одна глупая девчонка.

— Это неправильно, пан учитель, — сказала она. — Мы всегда во всем должны сознаваться, потому что если мы скажем неправду, то нас все равно кто-нибудь выведет на чистую воду.

— Милые детки, — сказал я, — знайте, что если кто-либо из вас делает что-нибудь плохое, то должен все делать так, чтобы этого никто не видел, и, кроме того, помнить об одном существенном обстоятельстве, а именно: не оставлять после себя никаких следов. Вот вам, милые детки, наглядный пример. Существует такая наука, которая называется криминалистикой. Каждый, кто хочет совершить или уже совершил злодеяние, ведет с этой наукой яростную борьбу. Вы уже, наверное, слышали, милые детки, как опасно для того, кто совершил кражу со взломом, оставить на месте преступления отпечатки своих пальцев. Эти отпечатки фотографируются и потом становятся необыкновенно ценным документом, помогающим найти преступника. Поэтому, если мы хотим совершить кражу со взломом, то во имя разумной осторожности должны взять с собой перчатки. Но, милые детки, во время кражи нельзя волноваться, чтобы, скажем, не оставить перчатки в кармане, как уже случалось довольно часто. Перчатки необходимо надеть на руки. Нечто подобное следует учитывать и в другом случае — в случае с ищейкой. У этих животных настолько развито обоняние, что они могут найти преступника по следу. Поэтому очень полезно, милые детки, на месте преступления все облить керосином: собака это обнюхает и потом приведет сотрудника органов безопасности к ближайшему в округе керосиновому светильнику, или к керосиновой лавке, или к какой-нибудь старухе, которая страдает ревматизмом и натирает спину керосином.

Тут подал голос стоящий впереди Ерал. На вопрос, что ему надо, он ответил плаксивым тоном, полным отчаяния:

— А у нас нет никаких перчаток и керосина тоже нет, потому что у нас электричество.

Ученица четвертого класса Фабианова перебила его, обращаясь ко мне:

— Скажите, пожалуйста, а какие должны быть перчатки — кожаные или вязаные?

— Милые детки, — ответил я, — в любом случае кожаные. Лучше всего здесь подходят так называемые шведские перчатки. Вязаные перчатки для кражи не годятся, так как они также оставляют после себя определенные следы от материала и рисунка вязки.

Я разговаривал с ними, как учительница рукоделия, и наконец спросил, нет ли у кого еще каких-нибудь вопросов. Наглядно было видно, как работают детские головки. Девочки и мальчики сбились в небольшие группки и начали советоваться, причем с такой энергичной жестикуляцией, что у одного маль-

чонки кровь закапала из носа. В конце концов они договорились о вопросах.

Начал Фабиан:

— Когда уже все кончено, то перчатки надо выбросить?

— Выбросить, — ответил я.

От группы девочек заговорила Бернашкова. Это не был ни вопрос, ни определенное предложение. Она начала так:

— А что, если каждый намочил бы кожаные перчатки в керосине уже заранее, дома, чтобы не носить его с собой и не поливать все, керосин-то ведь дорого стоит?

Эта великолепная комбинация доказала, что женщины сообразительнее мужчин, потому что ни один мальчик до нее не додумался. Я увидел в этом достойную подражания бережливость маленькой хозяйки, помнящей об экономии у семейного очага. Потом был еще один вопрос ученика третьего класса Мотычки, свидетельствующий о здоровом логическом рассуждении:

— Во время кражи я должен быть босой, или на ноги тоже надо надеть перчатки?

Тут вмешалась проворная Кафкова из пятого класса:

— Ну не дурак ли? Мой дядя забрался на почту в носках, без перчаток и без керосина, и его до сих пор не нашли.

После этого мы продолжили наш поход. Когда мы вышли на шоссе, которое узкой извилистой лентой тянулось к долине, внизу на тропинке появился какой-то господин, который явно хотел добраться до нас коротким путем, но это ему не удалось, так как шедшие сзади девочки и мальчики начали бросать в него камнями. Между Витачеком и Анежкой Гоубовой начался даже горячий спор. Был слышен возглас:

— Я в него попал!

А Гоубова пронзительно визжала:

— Нет, я в него попала!

Незнакомец действительно был ранен в ухо. В состоянии полкой безнадежности он сидел на пне и кричал нам снизу:

— Я школьный инспектор Рупрехт. Какая школа проводит экскурсию? Подойдите ко мне, пан учитель!

— Вас это не касается, — громко отвечал я ему сверху. — А моя школа — самая образцовая в округе!

И, обращаясь к милым деткам, я скомандовал:

— Теперь все прячьтесь в лесу!

Пан школьный инспектор продолжал в отчаянии кричать, хотя мы уже давно были за рощей:

— Какая это школа?

Вот такая мерзкая история вышла с нашей школьной экскурсией. И чем дальше мы шли, тем больше гадостей творилось, так что мне самому не хотелось бы об этом рассказывать. Впрочем, всей этой историей теперь занимается министерство просвещения.

## В альбом гражданину Махару

В газетах, особенно последнее время, появляется множество жалоб на офицеров, которые раньше служили в австрийской армии, а затем были приняты в войска Чехословацкой республики, где сознательно или несознательно совершают такие же дурацкие поступки, какими прославились в частях императорско-королевской австрийской армии.

Время от времени газеты публикуют трагические сообщения о случаях шпионажа со стороны этих офицеров. При этом выяснилось любопытное обстоятельство, что самые жестокие офицеры, издевавшиеся во время австрийского владычества над нашими солдатами, занимают теперь более высокие посты, чем под черно-желтым флагом старой Австрии.

После этого открытия в трактирах велись интереснейшие разговоры. Оказалось, что дело этим не ограничивается.

Один сосед рассказал:

— Мой сын служит сейчас под командованием капитана, с которым я был во время войны в Сербии, когда мы наступали на Дрину. Тогда он застрелил из револьвера одного солдата нашей роты, который не мог идти, потому что у него выпятилась грыжа, оперированная за полтора года до того.

Обычно возмущаются также тем, что генеральный инспектор армии гражданин Махар по-прежнему спокойно разъезжает в автомобиле, словно само собой разумеется, что после разоблачения в прессе генерала, который в австрийские времена отправлял на казнь наших ребят, а сейчас преспокойно служит в том же чине в армии нашей республики, гражданин Махар должен был запереть свой автомобиль в гараже, застрелить шофера, выпустить из бака весь бензин, прыгнуть в образовавшуюся лужу, чиркнуть спичкой и сжечь самого себя, декламируя при этом новое неореалистическое стихотворение:

*Гудит огонь, вокруг вздымаясь,  
Сим от всего я отрекаюсь,  
И это к смерти привело.*

Нет, гражданин Махар, не вздумайте следовать моему рецепту, ваше время еще не наступило. До этого еще не дошло. Покончить самоубийством успеете, когда этакий бывший австрийский генерал, служащий сейчас в нашей армии, прикажет привязать вас на два часа к дереву в Оленьем рву у Града...

В общем, не так уж плохо обстоит дело с офицерами, перешедшими к нам из австрийской армии. Большая часть из них добросовестно соблюдает интересы республики. Лишь среди высшего офицерства, перешедшего с австрийской службы, нам не хватает тех комических фигурок, которые давали так много поводов для различных смешных историй.

Вот если мы достигнем того же уровня, что при старой Австрии, тогда стоит об этом говорить.

Так, например, до сих пор в составе нашей армии нет такого генерала, как тот, что присутствовал в Кракове на медицинской комиссии по переосвидетельствованию офицеров. Когда штабной врач признал одного инженера-химика годным лишь к нестроевой службе, генерал приказал:

— Отправишься строить мосты к Перемышлю!

— Ваше превосходительство, разрешите обратить ваше внимание на то, что я инженер-химик, — возразил побледневший офицер запаса.

— Плевать мне на это, — спокойно заявил генерал. — Все инженеры одинаковые, инженер должен все уметь!

На этой же комиссии проходил переосвидетельствование один офицер действительной службы, который оглох при битве у Комарова. Его должны были освободить вчистую, но тот же генерал, председательствуя в комиссии, решил направить его на главную радиотелеграфную станцию в Перемышле, чтобы он там контролировал, правильно ли истолковываются сигналы радиотелеграфа.

Нет у нас пока и такого полковника, какой был в Бруке-на-Литаве.

Во время войны один пришедший из запаса поручик просил предоставить ему отпуск.

— На каком основании?! — рявкнул на него полковник.

— Господин полковник, я уже четырнадцать месяцев не был дома, — скромно ответил поручик. — Все время сражался на фронте, а моя жена должна вот-вот рожать.

Он тут же получил отпуск, и сам полковник был крестным отцом его ребенка.

Нет у нас и такого генерала, на которого обрушились бы все газеты.

Но это был еще довоенный генерал, тоже в Кракове.

Приехал он инспектировать казармы артиллеристов. Нашел там все в полном порядке.

Затем его повели на учебный плац за Червоны Камень. Он нашел и там все в полном порядке, кроме сортира, где установил, что планка, за которую для удобства держатся солдаты, прибита на десять сантиметров ниже, чем положено.

Он метал громы и молнии, подчиненные тотчас же должны были сорвать старую планку, раздобыть новую и прибить ее в соответствии с предписаниями.

Генерал в полной форме уселся в сортире, оперся о новую планку и провозгласил:

— Вот видите, господа, так оно должно быть!

Едва успел он это сказать, как раздался треск — и генерал свалился в битком набитую нечистотами яму.

Если я зашел слишком далеко, прошу гражданина Махара извинить меня.

## О миссионерах

### I

Чешско-Моравская возвышенность имеет вполне определенные достоинства. Между сливами и рождественским постом бывают поносы и кнедлики из сырой картошки, так называемые «босяки». Вслед за поносами и «босяками» приходят миссионеры — в самую пору свежеквашеной капусты.

Они — такой же продукт предрождественского сезона, как и шинкованная капуста, с той лишь разницей, что миссионеров не кладут в бочки и не утаптывают босыми ногами. Они появляются на Чешско-Моравской возвышенности одновременно с появлением свинины на столах у жителей. Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что для посещений своих они безошибочно выбирают самую подходящую пору, когда у верующих в рай и ад гуси уже хорошо откормлены.

Подлинная миссионерская идиллия заключается в том, чтобы служитель божий мог как следует набить себе брюхо за счет прихожан. Фигура миссионера так живо напоминает о средневековье, что в интересах нашего Музея следовало бы провести в Национальном собрании законопроект о том, чтобы все бродячие по республике миссионеры были немедленно изловлены, препарированы и чучела их выставлены в витринах Музея рядом с другими историческими экспонатами.

Можно было бы, конечно, усовершенствовать этот законопроект, исходя из чисто экономических соображений, так как если изготовление чучела барсучка обходится в настоящее время в полторы тысячи чешских крон, то изготовление чучела миссионера обошлось бы не менее чем в пятнадцать тысяч крон.

На этом основании я предложил бы держать их в спирту — как в среде, наиболее для них естественной.

Дело в том, что у всех миссионеров, с которыми мне приходилось сталкиваться на Чешско-Моравской возвышенности, были красные носы.

### II

В тридцатых годах прошлого столетия в китайской провинции Су-Чжоу появился французский миссионер, принадлежавший к ордену иезуитов. Был он ревностен и неутомим в распространении правой веры и, прочно обосновавшись в городке Ма-Цзе, сумел создать среди тамошнего населения правверную христианскую общину, в которую вступили, между прочим, несколько мандаринов, а также местный палач с четырьмя своими помощниками.

Миссионер говорил своей пастве такие проникновенные проповеди, что она с каждым днем все более укреплялась в христианской вере.

Однажды он рассказал своим новообращенным о том, как прекрасно и возвышенно принять мученическую смерть за веру и какая награда ждет пострадавшего за нее. Это высшая награда: такой человек бывает причислен к лику святых. Затем, описав подробно блаженство мучеников на небесах, миссионер ушел, а собравшиеся остались сидеть.

— Милые друзья, — обратился к ним главный мандарин, — все мы искренне любим досточтимого отца нашего, несмотря на то, что лицом он такой же, как белые дьяволы с Запада. Эту свою любовь к нему и благодарность мы

должны доказать каким-нибудь подарком.

Тут все стали по очереди предлагать один одно, другой другое: кто — несколько штук съедобных собак чау-чау, кто — парочку монгольских танцовщиц, кто — ведро рисовой водки сакэ и т. п. Наконец поднялся старший мандарин и ласково промолвил:

— Все это имеет лишь преходящую ценность. Разве досточтимый отец наш не говорил нам, что высшая и прекраснейшая награда за благочестивую жизнь — стать святым? И не говорил ли он также, что это непременно достигается мученической смертью? Пойдемте друзья, отрубим голову досточтимому отцу нашему, сделаем его мучеником и подарим ему царство небесное.

Это предложение было принято с восторгом, и они повели ожесточенно сопротивляющегося миссионера за город, утешая его:

— Сейчас придем на место, досточтимый отец. Не успеешь шесть раз до двухсот досчитать, как станешь святым.

Последней мыслью несчастного миссионера, перед тем как ему отрубили голову, было: «Зачем я распустил язык насчет славы мучеников?»

После этого миссионеры обходили христиан из Ма-Цзе за сто верст. А христиане из Ма-Цзе до сих пор с радостью показывают путешественникам могилу несчастного миссионера, гордясь тем, что имеют святого собственной выделки — не какого-нибудь поддельного.

### III

Говоря о набегах миссионеров на Чешско-Моравскую возвышенность, нельзя не упомянуть о том, как поступают с миссионерами туземцы Новой Гвинеи и Полинезии. Когда миссионер окончит свою проповедь, его привязывают за руки и за ноги к четырем врытым в землю кольям, осторожно вспарывают и тщательно потрошат; голову отрубают, вываривают отдельно, а череп обрабатывают в виде кубка, из которого крещенный миссионером вождь племени пьет в торжественных случаях.

Выпотрошенного миссионера шпигуют толстыми полосками мяса черепахи и начиняют особой разновидностью проса, смешанного с листочками сильно ароматического растения — катутоуры. Затем миссионера зашивают и медленно коптят над костром из ветвей кустарника пао, дым которого сообщает миссионеру очень нежный привкус. Установлено далее, что жители упомянутых островов выбрасывают внутренности миссионера, тогда как на Гебридских островах, наоборот, кишки миссионера считаются лучшим лакомством и достаются только наиболее видным представителям племени.

Передают также, со ссылкой на заслуживающие доверия источники, что все эти процедуры совершаются над миссионерами после произнесения ими проповеди.

С другой стороны, епископ Лорренский в статье, опубликованной в «Журнале чешского духовенства» за 1837 год, жалуется, что в Новой Зеландии пять посланных им миссионеров были съедены, не успев сказать ни слова.

В том же журнале помещен, очевидно, для жителей других архипелагов и стран рецепт, как лучше жарить миссионеров. Рецепт этот связан с участием одного из вышеупомянутых подопечных епископа Лорренского. Выпотрошенный как гусь, он был обмазан глиной — видимо, печной — и в таком виде опущен в большую грудку раскаленного пепла. Обожженная глина оказалась как бы естественным сотейником, в котором миссионер отлично зажарился, при-

чем мясо сохранило всю свою сочность.

#### IV

Оставим теперь эти сказочные острова Тихого океана и перенесемся к диким чукчам, чью негостеприимную родину далеко на севере омывают ледяные волны Берингова пролива.

В этом погруженном в спячку краю пропали два миссионера, а потом выяснилось, что после того как они выполнили свою миссию, окрестив одну семью чукчей, их разрезали на куски и наживляли этими кусками капканы для песцов, чьи шкурки чукчи выменивают на другие товары.

При сорокаградусном морозе мясо сохранялось в пригодном для этой цели состоянии всю зиму...

В сравнении с этим какую прекрасную смерть встретил недавно один миссионер в нашей стране, подавившись за ужином у приходского священника гусиной гузкой!

### Как я получал деньги, посланные по телеграфу

#### I

До недавнего времени я питал к почтовому ведомству весьма неприязненное чувство, которое никак не могла смягчить такая малоприятная часть моей корреспонденции, как, например, вызовы в уголовный суд по обвинению в двоеженстве; письма, вскрытые нашей тайной полицией; напоминания кредиторов, заканчивающиеся сентиментальным: «Со многим я в жизни смирился, однако желал хотя бы ответ от вас получить»; угрожающие и анонимные письма, настолько нудные, что не могли меня развеселить; одним словом, чтение такой корреспонденции — пустая трата времени; бросаешь эти послания в печь, не реагируешь на них и думаешь, как выражаются русские: «Наплевать!»

Тем не менее я все-таки уважаю почтовое ведомство, которое со времен Марии-Терезии претерпело ряд изменений: от смертной казни почтальонов за утерю запечатанного письма до введения почтовых и художественных открыток, от ликвидации почтовых станций с несчастными омнибусами до введения почтового поезда. Телефон, телеграф, снижение жалованья служащим — все эти реформы промчались так стремительно и великолепно в течение каких-нибудь двух столетий, что только дикарь не снимет шляпу перед почтовым ведомством, которое в недалеком будущем устроит у себя на крыше станцию беспроволочного телеграфа, а во дворе, за сараем, — аэродром для посадки почтовых самолетов.

Еще во времена Марии-Терезии простые смертные могли писать письма только раз в пять лет и с разрешения властей. Во втором томе австрийского уголовного кодекса от 1799 года имеется примечательный абзац «О запрещении писать письма».

Сельского жителя, который хотел бы каким-нибудь контрабандным путем отправить письмо по почте и делал первую попытку завести переписку, клали на лавку, и он получал палочные удары, количество которых закон устанавливал в строго математическом соотношении с величиной письма, после чего у него пропадала всякая охота с кем-нибудь переписываться.

Но ныне почтовое ведомство молча терпит, когда кому-нибудь придет в го-

лову известить своих приятелей почтовой открыткой, что вчера на ужин он ел гузку индюка, или когда рассылают десятки художественных открыток с таким, например, вздорным содержанием: «Здесь очень красиво, радуюсь скорой встрече», «Места здесь прелестные, и уже второй день льет дождь».

Почтовое ведомство терпит даже причуды молодой мамыши, которая водит руку своего двухлетнего малыша по открытке и учит его надоедать дядюшкам сообщением, что он, Карличек, целует и обнимает их, что он послушный; терпит почта и то, что почтальон вручает вам массу писем с различными преискурантами, предлагающими заказать себе вагон воска для натирки паркета в танцевальных залах, купить искусственный корм для поросят и фазанов, серию могильных крестов, вагоны бульжника для мостовой, километр провололочной ограды, паровые молотилки и локомобили, колодезные буры, в то время как вы, скажем, причетник храма святого Индржиха.

Последнее время пытались было значительным повышением почтового тарифа несколько ограничить частную корреспонденцию, но вряд ли это что-нибудь даст.

Расцвет почтового ведомства бесспорен, стремление его к новым и новым реформам смело и возвышенно.

И если сейчас в моих глазах временно померкла его слава, если я ненадолго утратил веру в его достоинство и внешний блеск, это еще не означает, что я повернусь к бедняге спиной.

Видимо, пока что почтовое ведомство оказалось недостойным той любви, которую я питал к нему еще так недавно, но время излечивает все раны...

Разочарование наступило после того, как мне по моей просьбе выслали по телеграфу деньги.

## II

Место, где произошло это весьма трагическое событие, находится примерно в шестидесяти километрах от Праги, а от железнодорожной станции — в двух часах ходу. Почтовая контора в Пардубицах проводит с местной почтой интересные манипуляции, в силу которых наше почтовое отделение отрезано от всего мира и корреспонденцию с железнодорожной станции доставляют сюда самыми различными путями, так как в Пардубицах только и думают, что о великих переменах и реформах в доставке.

Почта приходит сюда два раза в день. В 10 часов утра появляется запряженная клячей повозка, напоминающая навозницу. Только вместо навоза там лежат посылки и письма. Это очень простой способ доставки почты. После 10 часов телега поворачивает и везет местную корреспонденцию в почтовую контору на железнодорожную станцию. В 3 или 4 часа оттуда является запыхавшийся, потный почтальон с новой почтой и тут же возвращается обратно, забрав, как и в первом случае, накопившуюся с 10 до 4 часов корреспонденцию; он мчится с нею два часа до городской почтовой конторы на станции. Все устроено так, что ни первая, ни вторая почта не успевает к почтовому поезду, а утренняя почта отправляется с железнодорожной станции до его прихода, так что утреннюю корреспонденцию вы получаете только к вечеру, а дневную — на следующий день и не имеете возможности отправить на нее ответ. Одним словом, реформа состоит в том, чтобы не успеть ни на один поезд, а поскольку ночью на станции не работают, то почту отправляют в Прагу утром, и только послезавтра вечерней почтой вы получите мое письмо, которое вам

должны были доставить еще вчера до обеда. Когда надо что-то срочно сообщить, лучше идти в Прагу пешком. Если утром встать пораньше, то эти шестьдесят километров можно играючи одолеть до 5 часов вечера.

Так как здесь, в местечке, телеграфа нет, то телеграммы приходят с железнодорожной станции по почте, как обычная корреспонденция. Скажем, утром кто-то пошлет мне из Праги телеграмму, но с железнодорожной станции ее могут переслать только на следующее утро, так что я получу ее лишь перед обедом. Со срочной телеграммой совсем другое дело. Ее нельзя посылать со станции почтой, как простую телеграмму.

Для этого существует специальный посыльный. Его приходится каждый раз разыскивать, чтобы послать со срочной депешей к нам на гору. Такую особо срочную телеграмму я получаю на третий день, если только найдется какая-нибудь баба, которая согласится за 8 крон потратить 4 часа, чтобы подняться на гору и спуститься с нее.

Недавно послали ко мне с одной такой злополучной срочной телеграммой бабу, уборщицу почтовой конторы. На полпути она подвернула ногу и со слезами приковыляла обратно. Тогда послали одну из ее внучек. Когда девчонка проходила вторую деревню, на нее капали собаки, она тоже вернулась обратно; на следующее утро зять этой почтенной старушенции вызвался доставить телеграмму наверх.

Зять дошел уже до третьей деревни, но в силу особых обстоятельств появился у меня со срочной телеграммой только на следующий день.

— Этот Фолта из Заборны мерзавец, — сказал он доверительно, вручая мне телеграмму. — Я уже был в третьей деревне и как раз подумал: вот дойдешь до карьера за лесом и через час будешь на месте, а он как раз остановился с лошадьми у трактира, заметил меня и кричит: «Эй, хромой черт Моучек, давай выпьем по рюмочке, я тебя с престольного праздника не видел!» Ну что будешь делать? Старый фронтовой друг, добряк человек, старательный, таких днем с огнем не сыщешь. Он хотел выпить с радости — вел домой из Хрудима лошадей, которых у него при мобилизации забрали. Так мы и проторчали там до ночи. Он взял у меня телеграмму и ни в какую не отдает, утром, мол, отдам, а сейчас волей-неволей придется тебе ехать со мной в Заборну. Моя старуха угостит нас кофе с ромом и приготовит хороший кусок мяса, а утром, дескать, иди с телеграммой наверх, а поскольку он утром все равно поедет в лес за пнями, так меня немного подвезет. И вот привез меня на нижнюю пасеку.

На прощание нарочный с телеграммой-молнией сказал:

— Поверь, здесь с этими телеграммами хлопот не оберешься...

Он безнадежно махнул рукой и добавил трагическим тоном:

— Вообще почта... С этой почтой здесь вроде как от всего мира отрезан.

Эту страшную трагическую истину хорошо усвоили местные жители, и нигде я не видел такого безразличного отношения к почте, как здесь.

У одного здешнего торговца есть свой почтовый ящик в городе, и он каждый день посылает туда ученика взять или отослать письма. Ученик-мученик топает три часа в город и три часа обратно, но при обмене письмами торговец тем самым экономит два с половиной дня.

Вообще-то местные жители не пишут писем, а уж если кто надумает посылать письмецо, то ждет оказии, чтобы отправить его прямо в Прагу.

У меня дело обстоит иначе. Я люблю риск и поэтому однажды написал сво-

ему компаньону в Прагу, чтобы он перевел мне телеграфом 3 тысячи крон, поскольку деньги у меня кончились.

### III

Послать деньги телеграфом — дело весьма простое, легкое и необременительное. Но получить их здесь — значит пройти ряд мытарств и бесконечных сложнейших перипетий.

Телеграфный перевод доходит сюда, как обычная телеграмма, то есть через два, в крайнем случае через три дня.

Я не ошибся, рассчитав день получения перевода. И когда с обычной почтой пришло телеграфное извещение, что мне надлежит выплатить 3 тысячи крон, ровно в половине одиннадцатого у меня появился почтальон, вручил мне две открытки и сел.

— Мы получили на ваше имя, — сказал он растерянно, — телеграфный перевод на три тысячи крон. — Он сунул руку в сумку, положил на стол стокроновую бумажку и по-прежнему растерянно произнес: — У нас нет такой суммы. Пан почтмейстер кланяется вам и пока посылает сто крон. Как только соберем остальные...

Он встал и в дверях сказал:

— Ох-хо! Горе одно...

Перед обедом зашел ко мне пан почтмейстер. Вначале он в общих чертах поговорил об инфлуэнце, венгерской муке, затем перешел на почтовые манипуляции при выплате денежных переводов. У почты нет своих фондов. Городская почтовая контора не посылает сюда никаких денег. Расчет простой: местные жители отправляют деньги, здешняя почта их принимает и когда сюда приходят указания выплатить кому-то определенную сумму, выплачивает их из принятых денежных переводов. В конце месяца подводится итог и остаток отсылается с квитанциями.

И он несколько раз подряд повторил:

— Это весьма просто! Простейшая бухгалтерия! Никакой сложности! Все как на ладони!

И торжественно добавил:

— У нас сейчас нет трех тысяч крон, посланных вам по телеграфу, но мы соберем их. Почему бы людям не посылать отсюда деньги? Есть здесь поместье, у владельца — текущий счет. Продаст управляющий немного картошки, и мы тут же сможем выплатить вам деньги. Затем у нас есть потребительский кооператив. Уже бог знает сколько времени он никуда не посылает денег. Со дня на день жду, что он начнет выплачивать за сахар. Кооператив нам, мы вам, из рук в руки!

Он вынул кошелек.

— Вот, только что получил. Нижний мясник послал в страховое общество взнос в сумме 70 крон. Вот они. 70 крон целиком, всего с той сотней вы имеете 170 крон. Вам следует еще 2830. Почта гарантирует выплату, но не надо было запрашивать телеграфный перевод. По времени он идет, как почтовый, а стоит куда дороже.

— После обеда, — продолжал он мягко, — ожидаю, что с пивоваренного завода будут оформлять новую подписку на моды, и рассчитываю, что Шилерам придет посылка наложенным платежом. Уже две недели тому назад они открыткой заказали дюжину полотенец, в конце масленицы старшую дочь за-

муж выдают. Вот вам еще 160 крон.

— Садовник Титера, — значительно и торжественно произнес он, поднимаясь со стула, — уже две недели как должен уплатить питомнику за саженцы. Ему дважды напоминали об этом из Мнихова Градиште. Вот вам еще 320 крон.

Он снова сел.

— Вы, наверное, слышали, что молодой Замастил должен платить за ребенка в Писек. Все удивляются, как эта девица сумела соблазнить его. Он уже два месяца не посылал денег. Вот вам 600 крон. И священник задолжал Моравии за церковное вино 240 крон.

И, явно собираясь уходить, почтмейстер с непреодолимым оптимизмом провозгласил:

— Денег у нас хоть отбавляй!

К вечеру ко мне постучал почтальон. Выражение его лица было необычайно серьезно.

— Пан почтмейстер, — сказал он решительно, — посылает вам еще 50 крон. Они от верхнего Сверака, музыканта. Он выплачивает Лантнеру в Праге за гобой. Играть на нем босяк не умеет, да я ему еще кое-что должен. Во время войны, в самые тяжелые дни, он продал мне три ковриги хлеба за 50 гульденов. Да еще смеялся надо мной, что его не проведешь.

Взгляд почтальона остановился на моем письменном столе, где лежали несколько густо исписанных страниц рукописи.

— Опять посылать будете, — сказал он с отчаянием. — И опять вам пришлют деньги? С ума сойдешь! Пан почтмейстер снова погнал меня спросить у пана директора, когда он оформит подписку на «Народни листы». Мол, трехмесячная подписка уже кончилась. От пана директора пойду к Кутине в Бейчкарну напомнить, что уже три недели тому назад он собирался отправить по-земельный налог. А купцу Пршеносилу уже три раза напоминали о налоге с оборота.

Он ушел, пессимистически обронив в дверях, как утром:

— Ох-хо! Горе одно...

На следующий день до трех часов положение не изменилось.

В два часа меня навестил пан почтмейстер. Вид у него был необычайно бодрый, как у адвоката, клиента которого, вопреки всем его ожиданиям, оправдал суд присяжных.

— Неделю тому назад вы заказали башмаки сапожнику Сеетаве, — сказал он, дружески похлопав меня по плечу. — Вечером они будут готовы, но, — он поднял правую руку, — за них уже заплачено, пан писатель! Я сам заплатил. Стоили они 240 крон. Сапожник Сестава должен через неделю послать деньги за кожу в Иглаву, так что эти 240 крон он вычтет. Не беспокойтесь, — сказал он успокаивающе, словно я возражал. — Я все точно подсчитываю.

Он сунул руку в карман и вынул записную книжку.

— Мы завели на вас, пан писатель, счет. Учитывая сапожника, я уже выплатил вам 460 крон из трех тысяч, так что почта остается должна вам из вашего телеграфного перевода 2540 крон. В государственных учреждениях должен быть порядок...

Он помолчал, и на его лице появилось такое милое и приятное выражение, словно он хотел сообщить мне нечто необычайно радостное.

— Вы уже решили? — спросил он. — Я имею в виду фисгармонию. Помните,

конечно, как на последнем балу в «Беседе» вы говорили, что единственное, что вам хотелось бы приобрести, так это фисгармонию. Да, да, пан писатель, вы еще тогда сказали: «Фисгармония напоминает мне орган. Иметь дома орган или фисгармонию — это одно и то же». Потом вы поспорили с паном окружным начальником, он возражал вам, и вы хотели выбросить его в окно, поскольку он утверждал, что опять заказал новые пластинки для своего граммофона, а граммофон у него еще довоенный. Но дело не в этом. Недавно брат написал мне из Находа, что продал бы свою фисгармонию, доставшуюся ему от отца. Хочет купить для дочери пианино в рассрочку. А фисгармонию отдал бы за две тысячи крон с доставкой.

— Я уже подсчитал, — сказал он после паузы, показывая мне записную книжку, — что если бы вы купили фисгармонию — а с братом я уж как-нибудь рассчитался бы, — так почта останется должна вам из телеграфного перевода только 540 крон.

Я уверил его, что, очевидно, был тогда пьян в стельку, как и пан окружной начальник, и сейчас, когда я абсолютно трезв, могу сказать только одно: что не знаю более дурацкого, глупого, скотского, идиотского и неприятного музыкального инструмента, чем фисгармония. Это все равно что иметь дома большую шарманку.

— Я в этом несведущ, — печально сказал пан почтмейстер и попрощался.

Когда разносили вечернюю почту, ко мне постучал почтальон. Он был серьезнее, чем вчера.

— Кутина из Бейчкарни, — сказал он угрюмо, — не хочет платить поземельный налог. Пан директор оформил трехмесячную подписку и а «Народни листы» в Пардубицах, когда ездил навестить свою замужнюю дочь. Пан почтмейстер кланяется и посылает вам в счет телеграфного перевода 24 кроны. Портной Зоубек надумал заказать у одного пражского еврея две дюжины пуговиц. Но когда он пришел в пять часов на почту и заполнил переводный бланк, я указал ему, что существуют и христианские фирмы, изготавливающие пуговицы.

В тот вечер я разговаривал с паном почтмейстером в трактире «У Пецаров». Не стовариваясь, мы одновременно вышли на минутку за дверь посмотреть на звезды, и тут он подошел ко мне и прошептал:

— Пейте что хотите. Я вас велю записать на мой счет. Старый Пецар, трактирщик, должен мне еще 400 крон за поросенка, которого моя жена продала ему перед святым Вацлавом. Пейте в свое удовольствие, я вычту из вашего перевода.

Когда под утро мы прощались, пан почтмейстер писал в своей записной книжке какие-то каракули, из которых я с трудом выяснил, что из причитающейся мне суммы о 2516 крон он вычел 172 кроны. Я тут же рыцарски заявил, что плачу и за него в благодарность за все его старания и заботы о моем телеграфном переводе.

На следующий день до обеда почта не доставила мне ничего нового.

Однако озабоченный почтальон все же появился, вручил мне письмо четырехдневной давности, в котором некая редакция извещала, что гонорар за статью высылает мне почтой, и, не пускаясь в долгие разговоры, лишь коротко заметил:

— Все нороят держать деньги дома. За целое утро мы продали почтовых

марок всего на 5 крон 20 геллеров.

Пробегая глазами письмо, я небрежно сказал на это:

— Не повезло мне, пошли я статью в другую редакцию, получил бы 600 крон, а эта извещает, что выслала только 420.

Почтальон в дверях пробурчал:

— Проклятая жизнь! Кооператив посылает деньги на сахар денежным письмом. Ну и пройдохи!

Когда вечером ко мне заглянул пан почтмейстер, я ничуть не удивился. В моих глазах он был уже только частью сложной почтовой манипуляции. Пан почтмейстер принес мне весьма утешительные известия.

Он только что говорил с управляющим помещьем. Тот продал картошку и едет в Брно лично вручить деньги помещику.

Почтмейстер был подавлен и уже не изъяснялся литературным языком.

— Парень глуп как пень, — с возмущением сказал он. — Половину денег по дороге пропьет и продует в карты.

Он откашлялся и с выражением мученика тихо произнес:

— Вечерней почтой, пан писатель, на ваше имя пришло два новых денежных перевода. Один на 420 крон, а другой...

Не успев назвать сумму, пан почтмейстер вдруг сделал движение, словно искал под кроватью башмаки. Он так и остался на коленях перед постелью, неподвижно уставившись на покрывало. Взгляд его не изменился до прихода доктора, который констатировал паралич.

Из уважения к почтовому ведомству я закрыл пану почтмейстеру глаза и похоронил его за свой счет.

Вновь назначенный почтмейстер дал мне честное слово, что весной его родители продадут корову и он немедленно выплатит мне телеграфный перевод.

Старый почтальон, пессимист, который ходил ко мне, повесился в почтовом сортире.

## Рассказ о черной трости

### I

Первое мая того года как раз совпало с периодом, когда в венском парламенте был внесен проект об увеличении контингента новобранцев. По этому случаю все партии приняли решение выразить на первомайских митингах свой протест против вооружений Вены и продемонстрировать свой антиимпериалистический характер.

Анархисты созвали первомайский митинг в парке «На Слованех».

Я отправился туда после того, как в Гавличковых садах распрощался с одной барышней, у которой первого мая как раз были именины. Произнеся положенные слова поздравления в уютном уголке за виллой Греба, я свято пообещал, что не пойду ни на какой митинг, не буду участвовать ни в каких демонстрациях и что в половине первого приду к ним в Винограды на обед. После этого я проводил ее домой и отправился на митинг анархистов.

На площади Тыла я столкнулся с боснийцем, который торговал тростями, бичами и прочими небоснийскими изделиями. Он когда-то хаживал со своим товаром в ресторан, который я посещал, и сейчас, узнав меня, остановился, вытащил из связки прекрасную трость, покрытую черным эбонитовым лаком, и, похлопывая меня по плечу, сказал как-то необыкновенно доверительно:

— Купи, брат Славянин.

Упомянутая утренняя прогулка с барышней так размягчила меня, я чувствовал себя таким счастливым, что, предложи мне тогда кто-нибудь купить машину для вязания чулок, я бы наверняка ее купил.

Сияя от счастья, я заплатил боснийцу за прекрасную черную трость и пошел на митинг.

Митинг еще не был открыт, перед входом в парк прохаживались двое полицейских, и я заметил, что во дворе второго дома от входа в парк, в переулке, стояла за воротами еще дюжина полицейских, ожидая, чем все это кончится. А пока они курили, топтались на месте и выглядели совершенно невинно, как будто были членами какого-то самодеятельного кружка и договорились собраться здесь в переулке, перед поездкой за город.

Сквер был уже полон народу, а за председательским местом сидели за бумагами двое служащих полиции. Один карандашом рисовал человечка, а другой, помоложе, бледный, видимо, от волнения, не сводил глаз с блестящей поверхности колокольчика, стоявшего на столе.

Я сел на стул, как раз под трибуной председателя и разговорился с несколькими знакомыми, которые начали с восхищением рассматривать мою прекрасную новую трость, передавали ее из рук в руки и с видом знатоков, так, чтобы слышали полицейские, говорили, помахивая ею в воздухе: «Не хотел бы я, чтоб мне хоть разок съездили этой штуковиной». — «Да, хватит и одного раза. Стукнул по голове, и готово».

После каждой такой фразы полицейские вздрагивали, но потом снова делали вид, будто ничего не слышат.

Перед самым началом митинга ко мне подошел один долговязый парень, которого я знал как в высшей степени романтически настроенного приверженца анархизма. Он отвел меня в сторону и таинственно сказал:

— Знаете, я чувствую, что-то носится в воздухе, да, все ясно, сегодня это уже

не удастся сдержать. Я встану с вами под трибуной, а когда они распустят наш митинг, вы дадите мне свою трость, и я тресну этого государственного мужа по голове, Я принесу себя в жертву. Кто-то же должен начать.

Он потащил меня обратно к трибуне, говоря:

— Вы обязательно должны одолжить мне пять крон. Ведь вы понимаете, что если меня арестуют, я буду вынужден купить в полицейском управлении что-нибудь из еды, чтобы подкрепиться, пусть там не думают, что я буду изображать мученика и есть их вонючую капусту и мерзлую картошку.

Митинг проходил спокойно. Видно, служащие, присутствовавшие на митингах по должности, получили из полицейского управления указание — дать ораторам выговориться.

Мой сосед, который хотел принести себя в жертву, проявлял большое нетерпение и даже приходил в отчаяние.

Старший полицейский чин не подавал ему никакой надежды, что он сможет подкрепиться в полицейском управлении на взятые в долг пять крон. Лишь раз блеснула искра надежды, и он уже потянулся было за моей тростью, когда комиссар полиции наклонился к председателю и попросил, чтобы тот сделал замечание оратору. Но оратор, которого предупредили, послушно сменил тон и темп, и все опять пошло гладко, без каких-либо волнений. Мой сосед расстроился вконец.

— Удивляюсь, — шептал он мне, — что это за странный митинг сегодня. Никак его не распустят, чтобы я мог врезать этому типу. Я уже дома всех приготовил, что меня сегодня арестуют, у меня и сигареты в жилете защиты, а этот выступающий говорит так кротко, как будто боится.

Он погрузился.

— Надо бы написать в наш журнал, — зашептал он через минуту, — об упадке революционного духа на митингах. Разве это революционная тактика — бормотать перед полицейским комиссаром, как этот оратор?

Как только минуло одиннадцать, председатель закрыл митинг, и все высыпали на улицу, распевая «Миллионы рук во тьме сомкнулись».

Было заранее известно, куда мы направимся. Через Карлову площадь, мимо военного госпиталя, вверх по Ечной улице, затем по Штепанской на Вацлавскую площадь, где начнется демонстрация и куда вольются участники других митингов.

Когда мы дошли до военного госпиталя, там уже курсировали четверо полицейских на лошадях. Нас было около трехсот. Я шел в первом ряду по тротуару с тем самым молодым человеком, который хотел принести себя в жертву. Тот упорно держался меня и с унылым видом говорил:

— Вы заметили, как по окончании митинга комиссар подал руку председателю и тот ее принял? Конечно, кто-нибудь может возразить, что это всего лишь вежливость и так далее. Но я не понимаю, о какой вежливости у нас может идти речь? Почему мы должны вести себя прилично, а они нет? Гм, посмотрим, не пригодится ли мне еще сегодня ваша трость.

В сопровождении разноголосого пения и шума мы, все триста, добрались до костела св. Игнатия, к углу Ечной улицы, где нас ожидала цепь полицейских, которую мы, конечно, хотели прорвать, потому что на демонстрациях так положено.

С противоположной стороны последовала ответная мера, выразившаяся в

крике комиссара полиции: «Именем закона приказываю разойтись!»

Потом один полицейский инспектор засвистел, и нам в тыл врезалось четверо верховых полицейских, а кордон пеших вытащил сабли и начал плашмя бить ими по нашим спинам. На противоположном тротуаре сиделка в этот критический момент вывезла из дома на солнышко старичка, которого один полицейский, распаляясь, ударил так, что коляска перевернулась, а старичок взревел, как бык на скотобойне, в то время как двое других полицейских с саблями наголо гнались за убегающей сиделкой.

Тут наступил решающий момент для моего романтического спутника. Не говоря ни слова, он вырвал у меня из руки мою черную трость и стукнул ею ближайшего стражника по голове, да так ловко, что сорвал с него шляпу с пестушиным пером. Удар был, конечно, не из лучших, полицейский не был сражен, а получил лишь небольшую царапину на лбу.

Все это произошло очень быстро. Мужчина, желавший принести себя в жертву, после своего удара сунул мою трость обратно мне в руку, сказал «Пока!» и исчез за углом вместе с группкой рассеявшихся и совершенно поверженных демонстрантов.

На месте схватки остался только я со своей новой черной тростью, господин, который спешил из Виноград в Черную пивную, и привратник из соседнего дома, который из любопытства имел неосторожность выйти из подъезда своего дома на середину тротуара. Все трое были немедленно арестованы. Нас повели в полицейский участок вверх по Салмовой улице. Помню, как полицейский, который получил удар по голове, все время обращался к нам троим во множественном числе и говорил:

— Я вам покажу трость.

Когда мы подошли к приемной полицейского участка, потерпевший полицейский размахнулся и хотел дать мне в зубы, но я увернулся, и он, со всей силой ударившись рукой о стену, вывихнул себе большой палец. Сидевший в приемной человеколюбивый полицейский инспектор, во всей этой кутерьме, когда по зубам получили привратник и тот господин, который шел с Виноград обедать на Карлову площадь, прекратил дальнейшее издевательство над арестованным благородными словами:

— Ну, будет, хватит с них.

После этого нас забрали и повели наверх, в кабинет, для допроса. Разбирательство было очень коротким. Господин, шедший обедать, и привратник, выглянувший из подъезда, обвинялись в том, что не желали разойтись и не подчинились приказанию полиции. Со мной же дело было совсем ясное. Не только раненый, но еще пятеро или шестеро полицейских, которых я вообще не видел, свидетельствовали в протоколе, что именно я ударил пострадавшего своей черной тростью по голове, и при аресте оказал сопротивление, и вывихнул ему большой палец.

Моя новая черная трость лежала на столе как корпус деликты[255], и я даже рассмеялся, когда вспомнил, как босниец остановил меня на улице и сказал:

— Купи, брат Славянин.

— Это вам дорого обойдется, — сухо заметил главный полицейский комиссар Ф... после того, как я все не хотел признаваться в содеянном, но с другой стороны, допускал, что трость моя.

Точно так же они не верили господину с Виноград, что он обычно обедает в

Черной пивной.

Положение привратника усугублялось тем, что трое полицейских в один голос утверждали, будто тот кричал: «Режьте их!» и побуждал меня к действию криком: «Дай ему!»

Через десять минут нас уже вели в полицейское управление, где поместили в одну большую камеру вместе с остальными демонстрантами.

## II

Очень любопытно, что здесь, в дирекции полиции, во время допроса прекрасно смотрелась на столе моя новая черная трость. Первый раз меня допрашивали в первой половине дня. Я пытался спокойно объяснить, что тут вовсе нет ничего невозможного. Вы спокойно идете по улице, вдруг к вам подбегает незнакомый господин, вырывает у вас из рук палку, бьет ею по голове ближайшего полицейского, затем возвращает вам палку, благодарит и исчезает.

Как сейчас вижу перед собой моего полицейского комиссара. Постукивая по столу толстой ручкой, он очень серьезно говорил:

— Бросьте ваши шуточки! Мы тут с вами не анекдоты друг другу рассказываем. Видите часы на стене? Даю вам пять минут на то, чтобы вы подумали и признались.

Часы я видел, так же как и то, что они показывают полтретьего. В эти пять минут я думал о том, что на Виноградах, куда я был приглашен обедать, уже подают черный кофе, и что обстановка там не слишком торжественная, так как барышня необычайно взволнована моим отсутствием и ходит как тень. Утром я узнал из ее уст всю программу предстоящего обеда, которая на протяжении этих пяти минут постоянно возникала у меня в голове, так как в полицейском управлении нас не накормили. Мой будущий тесть очень любил жареную баранину с кнедликом, а пани Майерова — жареных цыплят, так что на сегодняшнем торжественном обеде все это должно было фигурировать. Она прекрасно готовит... А я очень люблю жирную баранину, как ее всегда поджаривала пани Майерова, с румяной корочкой сверху... Добавьте к этому сервировку, в меру подогретую тарелку...

— Ну как, подумали, — перебил мои мечтания полицейский комиссар, — я сказал пять минут, а прошло уже семь. Так вы признаетесь, что этой тростью ударили по голове старшего полицейского Черного?

— Я об этом совсем не думал, — ответил я с достоинством, — знаю только, что вы доставили мне большие неприятности. Тщетно было бы утверждать, что я не виновен, что я так не поступал, поскольку вы уже сделали опрометчивый вывод. И с точки зрения юридической, учитывая запутанные обстоятельства, вполне естественно...

Полицейский комиссар, скрестив руки на груди и привстав, перебил меня:

— Разве может быть у вас юридическая точка зрения? Неужели вы думаете, что вам удастся своими фразами замутить закон? С вами еще поговорят в государственной полиции. Вы у нас тут не будете прохлаждаться, мы вас сфотографируем и сейчас же переправим в земский уголовный суд. Подпишите протокол!

Я отказался подписать протокол, который был составлен заранее, где я должен был признаться и в ударе тростью, и в вывихнутом пальце, и кроме того в том, что я кричал: «Еще захотел, мерзавец?»

Когда меня фотографировали, я старался придать себе добродушное выра-

жение лица, несмотря на то, что мне так вывернули голову, будто собирались дергать зубы.

В уголовный суд меня вели двое полицейских. Один из них нес папку с делом, а другой — под мышкой — мою черную трость. Таким образом мы втроем представляли для прохожих довольно легкий для разгадки живой ребус.

Из приемной уголовного суда трость была переправлена в государственную полицию, а я — в противоположную часть здания, в камеру предварительного заключения, куда уже начали прибывать те, кто после подобных торжественных случаев подпадают под газетную рубрику «Аресты во время митингов».

Я обратил внимание на одно интересное обстоятельство. Никто из арестованных не верил, что мог совершить что-нибудь подобное.

Один пожилой господин, регулярно производивший прогулку перед обедом, никак не мог понять, что совершил акт насилия тем, что, случайно попав в эту неразбериху, как щит раскрыл зонтик перед полицейским, который бросился на него с обнаженной саблей.

Был там и служитель какого-то банка, которого послали к членам правления, чтобы те подписали акт. Он обвинялся в том, что после окончания митинга на Стршелецком острове бросал под ноги коням конной полиции камни и кричал: «Позор, убить их».

Было очень смешно, когда он рассказывал, как полицейские вытащили его из переулка, куда он спрятался от толкучки, и как при этом у него украли черный портфель с бумагами.

— Все это — как сон, — повторял он все время, — это невозможно, совершенно невозможно.

Интересно, до чего наивны бывают люди. Уже все совершенно ясно, а они по-прежнему толкут воду в ступе. Вместе с нами сидел один тип, промышлявший ограблением чердаков, так тот от смеха даже хватался за живот и все повторял вслед за служителем:

— Невозможно, невозможно, это вроде как сон, да сон-то уж больно настоящий.

— Я главный представитель фирмы Лоренц по изготовлению кухонных принадлежностей, — серьезным тоном заявил один гражданин. — Много повидал, много пережил за свою жизнь, но должен сказать, что ничего подобного мне видеть не приходилось. В тот момент, когда демонстранты направлялись на Перштын, я вошел в один магазинчик, чтобы предложить фирме наше патентованное изделие. Как вы знаете, господа, в семьях часто бывают трудности с подогреванием кнедличков, лапши и тому подобного, если вы, конечно, не хотите, чтобы они попросту сторели у вас в кастрюле. Вот этому и препятствует наша патентованная решетка любой величины. На дно кастрюли наливается немного воды, под водой устанавливается наша патентованная решетка, на нее кладется то, что вы собираетесь подогреть, чтобы получить свежий продукт. У нас, господа, все делает пар. На наших патентованных решетках можно печь даже картофель, яйца, каштаны и фрукты. Господа, я не успел еще показать наши образцы, как вдруг в магазин врываются двое полицейских и орут мне прямо в ухо: «От нас не уйдешь!» Меня обвиняют в том, что я толпился, при аресте вырывался и, ударив их кулаком в грудь, влетел в магазин. В полицейском управлении, так же как в участке, они напере-

гонки твердили, что мое рекламирование и демонстрация товаров — уже известный трюк.

— Из всех вас лучше всего дела у меня, — заговорил еще один арестованный гражданин. — Я подставил ножку полицейскому комиссару. Мне и не надо ни от чего отказываться, потому что я сделал это нарочно и уже признался. Так лучше всего. Конечно, я не сказал, что сделал это нарочно, а что, мол, хотел только поскорее исполнить приказ разойтись, но в спешке мою ногу заклинило между ногой полицейского комиссара. А так как толпа толкала меня вперед, моя заклиненная нога потащила за собой ногу господина комиссара...

— Самое важное — знать как оправдываться, — помолчав, добавил он, очень довольный собой. — Я, например, обвиняюсь так же в том, что кричал: «Бей!» В протоколе я заявил, что и правда кричал, но крик мой был адресован приятелю, которого я хотел предупредить, что на нас смотрит официант из кафе «Унион», поэтому я и закричал, но только «Эй», а не «Бей». И господин полицейский комиссар, который меня допрашивал, сказал:

— Это весьма правдоподобно.

Интересно, что люди, в силу случайных обстоятельств попавшие в беду, ни за что на свете не хотят верить другим, что те тоже пострадали невинно. Когда я рассказывал им свою историю с черной тростью, как раз тот гражданин, который хвалился тем, как он замечательно оправдывался, заявил, чтобы я не считал его простаком.

— Вообще, за кого вы нас принимаете, — сказал он со злостью. — Я тут, не таясь, во всем перед вами признался, так как надеюсь, что нахожусь среди мужчин. Почему же и вы честно и прямо не скажете: я, мол, трахнул его по голове тростью, а в комиссариате оправдывался так-то и так-то.

Представитель фирмы по производству кухонных принадлежностей захныкал, обращаясь к нему:

— Позвольте, но мне-то вы верите, что я к этому не причастен?

Тот, к кому обращались, обиженно махнул рукой, сплюнул и проворчал:

— Все вы одним миром мазаны. Я вам тут открыто говорю, что действительно подставил ножку полицейскому комиссару, а вы на мою искренность отвечаете какими-то отговорками, мол, где-то кто-то что-то...

И он обиженно отвернулся.

### III

Следователь оказался очень милым господином.

Черная трость лежала тут же на столе, и он время от времени брал ее в руки, разглядывал с видом знатока, поинтересовался, сколько я за нее дал, и мы в конце концов пришли к выводу, что я купил недорого и что трость — очень хорошее оружие. Особенно, когда один идешь по лесу и на тебя могут напасть.

После того как он наконец убедил меня, что за свою судебную практику первый раз встречает такую гибкую и элегантную трость, он наконец перешел непосредственно к моему делу:

— Надо сказать, ударили вы от души, — сказал он весело. — У нас есть заключение судебного эксперта о ране, которую вы нанесли старшему полицейскому Черному. На правой стороне черепа, от уха ко лбу, косая тупая рана длиной 10 сантиметров, нанесенная тупым предметом. Рана сопровождается многочисленными царапинами и умеренным кровотечением из подкожных сосудов. После обработки не кровоточит. Сила удара ослаблена шляпой. Квалифи-

цируется как легкая травма.

Он дочитал, приветливо взглянул на меня и заметил:

— Конечно, государственная полиция устроит нам из этой легкой травмы нанесение тяжелого увечья, поскольку это случилось с официальным лицом, находящимся на службе.

Он снова взял трость в руки и, внимательно разглядывая ее, произнес так, будто поздравлял меня:

— Судя по всему, вы ударили со всей силы, но обратите внимание, она не потрескалась. Мне тут недавно попала трость одного хулигана из Стодулек, тоже новая, он только раз стукнул ею трактирщика по спине, так вся поверхность, которая соприкоснулась со спиной, совершенно растрескалась.

Следователь подал трость секретарю, чтобы и тот полюбовался на особенности и замечательное качество моей палки, и сказал с отцовской интонацией в голосе:

— Я вас очень хорошо понимаю. Молодости никогда не хватает рассудительности. Когда молодые возбуждены, они часто допускают необдуманные поступки. Поэтому при разбирательстве уголовного деяния суд всегда принимает во внимание волнение и возбужденное состояние. Но тут, конечно, необходимо признание и сожаление о содеянном. Поэтому, я думаю, для вас было бы совершенно лишним повторять здесь, на следствии, то же, что вы без устали твердили внизу, в комиссариате. Я понимаю ваше возбуждение во время этой стычки с полицией. Уверен, что, если мы будем рассуждать хоть немного логично, то поймем, что странное стечение обстоятельств, как вы его формулируете, просто совершенно исключается. Значит, незадолго до начала митинга вы покупаете трость, а у нас уже есть показания обоих полицейских служащих, посланных на митинг, что вы провокационно потрясали своей черной тростью перед самой трибуной. Потом происходит столкновение, старший полицейский Черный ранен вашей тростью, которая никуда не выброшена, а находится у вас в руке. Признайте, что это ваше: «подбежал — вырвал — ударил — опять подбежал — всунул в руку и убежал» — все это из области сказок, где встречаются вот такие за уши притянутые сюжеты. Кроме раненого, против вас свидетельствуют еще шесть полицейских, которые все видели, есть и еще целый ряд правонарушений, которые вы совершили перед арестом и после него, как явствует из сходных показаний свидетелей, ясно доказывающих, что вы в возбуждении со всем пылом бросились в схватку с официальными властями. Почему вам, например...

Голос у следователя задрожал:

— Почему вам, например, не хватило того, что вы поранили старшего полицейского Черного, зачем вы еще вывихнули ему палец? Представьте себе, если бы с вами кто-нибудь обращался так же? Утром вы прощаетесь с женой, с детьми, вы здоровы...

Голос пожилого господина задрожал еще заметнее, а на лице секретаря обозначилось сильное волнение.

Стоявший за мной надзиратель, который привел меня, громко высморкался в платок, а в комнате продолжал звучать мягкий, жалостливый голос следователя:

— Он прощается с женой, с детьми и отправляется на службу — и вот его привозят домой. А у него не хватает даже сил, чтобы раненой рукой погладить

своих птенчиков по голове.

Тюремный надзиратель, стоящий за мной, не сдержался и зарыдал.

Я повернулся к секретарю, глаза которого выглядели так, будто он сильно простужен.

— Пишите, — сказал я грозным голосом, — признаюсь во всем, но ни о чем не жалею, надо было его прикончить...

— Что, что вы сказали? — заикаясь, произнес следователь, а взбешенный надзиратель инстинктивно ухватил меня сзади за горло.

#### IV

Я ожидал, что доставлю суду еще один сюрприз, и во время слушания дела или еще раньше появится тот мужчина, который хотел принести себя в жертву и на несколько минут одолжил мою прекрасную черную трость. Я представлял себе, как скажу судебной коллегии: «Вот видите, господа, так совершаются юридические преступления». Но он не появился, меня приговорили к шести месяцам строгого заключения, и моя трость стала казенным имуществом.

Я убедился также, что жареная баранина за шесть с небольшим месяцев становится совершенно холодной.

### История с градусником

Право, я был весьма рад принять непосредственное участие в великих событиях, которые разыгрались вокруг исправного термометра, то бишь градусника, упрятанного в металлический футляр.

Случай сей имел место в палате № 77 в госпитале, под который были отведены старые казармы.

Итак, по счастливой случайности я оказался в палате № 77, дабы провести там довольно-таки длительное время среди, так сказать, подданных австро-венгерской монархии; у некоторых из них на головах были намотаны повязки; недужные в молчании тоскливо поглядывали друг на друга, и я вдруг подметил удивительное сходство этих лиц с физиономиями браконьеров, промышляющих на границах Баварии, только теперь они были тихи и покойны.

На койке, поставленной у самого окна, валялся мужик с могучими усищами и страшным шрамом, пересекавшим лоб; мужик упорно смотрел куда-то вдаль и смахивал на раскаявшегося грешника, признавшегося, что это он убил двух лесничих и егеря в придачу.

В палату вошел жалкий калека, недавно тщетно уговаривавший сестру милосердия сбегать за водкой.

— Вот так-то, Китцелбауэр, — со страшным акцентом, выдававшим в нем южанина, проговорил наш палатный санитар. — Бинксенгубер термометр раздавил.

Все собравшиеся снова поглядели в угол на страшного мужика, валявшегося с видом раскаявшегося грешника, а он снова принялся оправдываться:

— Да ведь мне высокая температура нужна, а там всего 35,6°. Как ни выну, как ни взгляну — одно и то же. Ах, думаю, стерва ты этакая, вот как надавлю сейчас, сразу подскочишь у меня! А эта дрянь — ни в какую. Жал его целых полчаса, пока наш нянь не пришел; сунул он это мне руку под мышку, а там — одни осколки. Значит, не выдержал сволочь, но не сдался! — с восторгом и признанием добавил Бинксенгубер.

Мой сосед — он пребывал в лазарете по поводу катара желудка, и теперь, отвернувшись себе ломоть копченого сала, выпрашивал хлеб у лежавших поблизости соседей — отвлекся от своих занятий и заметил:

— Н-да, бабой тебе никак невозможно быть, ты бы всех своих детей передал.

Хмурое настроение, воцарившееся было в палате, помаленьку начало развейваться.

— Я тоже знаю один такой случай, — отозвался пехотинец Дворжак, из которого извлекли семь вражеских пуль. — Про шрапнель. Лежал я в Венгрии, в деревушке одной — то ли в Пане, то ли в Бане, то ли еще где, так вот: пришел к нам как-то штабной лекарь и говорит новобранцу — он тоже с нами лежал — чтобы градусник свой тот наконец куда-нибудь сунул. Дело так было: рекрут этот бухнулся на колени, а градусник над головой поднял, словно святыню какую. Мы попытались градусник у него отобрать, а он начал пинать нас ногами, шипеть, фыркать и даже кусаться.

Воспоминание Дворжака не произвело на слушателей никакого особого впечатления: все приглядывались, как отнесется к этому палатный санитар, в гражданской жизни — полицейский.

А расстроенный санитар, усевшись на одну из коек, твердил будто заведенный, дескать, Бинксенгубер — свинья, на что тот простецки возражал: он, мол, не виноват, если у него такая силища. Однажды изловил он церковного сторожа, когда тот к скотнице на чердак лез, и стукнул-то всего-навсего разок, а отсидел восемь месяцев.

— За разбитый термометр схлопочешь побольше, потому как война, а это казенное имущество, — дерзнул вмешаться в разговор лежавший у самой двери поляк Кешака. — Ведь в такое тяжелое, военное время ты лазаретное оборудование угрохал.

— Господи Иисусе...

— И что теперь остается делать? Придется, видно, сходить в канцелярию, — решил санитар, — пускай завтра отметят в рапорте, что Бинксенгубер термометр заспал.

— Господи Иисусе...

Возвратившись из канцелярии, милосердный брат в полном изнеможении рухнул на стул.

— Выходит, с термометром придется обождать, пока во всех палатах оставшиеся 860 не перебьют, поскольку, как мне растолковали в канцелярии, больше ни одного градусника не выдадут, пока все 900 выделенных не кокнут.

Со всех сторон слышались вопли и стоны.

— А как же моя лихорадка? — загалдел капрал Пержина. — Ведь если мне 38° не проставят, то ничего не поделаешь — шагом арш в боевую роту.

— Мне выше 37° не надо, — проговорил какой-то немощный. — При 37° мне второй стол назначают, и тут я вам, братцы, утру нос. Кушайте себе кашку, а я буду жаркое трескать.

— А ну, все — в постель, — гаркнул санитар. — Кто чувствует себя хуже, чем раньше, когда у нас еще был термометр?

— Я, — отозвался усач, прервав свой сердитый рассказ о том, как вчера, во время игры в карты, он наблюдал за жульничествами этого пройдохи Бинксенгубера, которого сегодня господь покарал вполне справедливо.

— Мне бы хоть  $37,3^{\circ}$  заполучить, чтоб походило на камни в желчном пузыре.

— Вы же вчера на почки жаловались.

— На почки? — удивился усач, словно с неба свалившись. — Черт возьми! И впрямь у меня что-то сзади покалывает. Послушай, браток, а нельзя ли эту троечку взять и просто на глазок приписать после  $37^{\circ}$ ?

— Эка невидаль! — откликнулся милосердный брат. — Я однажды определял пульс, а часы в руке держал. Так они — бах! — выпали и разбились. Часы чужие были. Одного монтера, вон с той постели. Так тот ужас как расстроился; у него горячечный бред открылся, когда он увидел, что часы не ходят. Ну, чтоб ты заткнулся, тройку эту я тебе присобачу. Давай руку, пощупаю пульс.

Милосердный брат нащупал пульс и только потом спохватился, что в руках у него нет часов.

Вошел врач, и в палате воцарилась гнетущая, непрочная тишина. Над койками нависло тяжелое бремя вины, соучастия в катастрофе. Впрочем, осмотр был недолог и довольно быстро подошел к концу. Натриум карбоникум, пять капель опия, натриум салицилум и т. д. — все по мере необходимости и идя навстречу пожеланиям больных.

Кое-кто из недужных сам назначал себе салицил, соду или опий. Оно так-то и лучше, опять же помогает скорейшему завершению процедуры.

Наконец врач остановился возле койки злосчастного Бинксенгубера.

— Что-то вы весь в жару, — проговорил врач, касаясь лба пациента, — а температура — всего  $36,5^{\circ}$ ?

— Раньше  $36,5^{\circ}$  было, господин доктор, — откликнулся милосердный брат. — Сперва такая была, это он только под одеялом распарился. Вообще — веселый такой был целый день, да и теперь то и дело смеется, — тут санитар начал путаться. — Нет, господин доктор, у него и в самом деле прекрасное настроение, родину вспомнил.

Изумленный врач молча переводил взгляд с брата милосердия на Бинксенгубера, на губах которого застыла натужная ухмылка.

— После обхода измерьте-ка ему температуру еще разок, — распорядился доктор.

Как только врач ушел, милосердный брат нарисовал на табличке записей температуры Бинксенгубера  $39,8^{\circ}$ .

— Доволен? — спросил он.

— Дай тебе господь чего захочется.

Ночью Бинксенгубер спал беспокойно, обливался холодным потом. Ему приснился один из тех страшных снов, какие могут присниться только солдату, лежащему в палате смертников.

Снилось, будто в присутствии главного военврача и каких-то «анаралов» ему ставили градусник. Один за другим совали под мышку, а он их превращал в бесформенную грудку осколков. Уничтожив таким образом девять сотен термометров, Бинксенгубер пробудился.

— Ну как? — спросил дежурный.

— Зуб на зуб не попадает.

— Значит, не полегчало? — и санитар начертал на черной Бинксенгуберовой табличке —  $40,5^{\circ}$ .

— Помилуй, — в отчаянье взмолился Бинксенгубер.

— Раздавив термометр, ты нам доставил неприятности похуже, — взорвался милосердный брат. — И если это тебе не подходит... — тут брат, поплевав на табличку, смахнул 40,5° и огромными цифрами нарисовал 42,6°.

— Ну, брат, это жестоко! — завопил Бинксенгубер. — Это ведь значит, что мне пропишут первый стол. Страшное дело! Дважды в день молоко, два кофе, две булочки — и все.

Бинксенгубер был ненасытный обжора, подъедавший за всеми до последней крошки.

— Ах, ты еще ругаться? — оскорбился милосердный брат. — Я для него стараюсь, делаю все, что могу, обхожусь без термометра, а он вот как... Ну, не на таковского напал!

Брат милосердия еще раз стер с таблички Бинксенгубера цифру 42,6° и написал 43,8°.

— Вот теперь порядок, — удовлетворенно проговорил он, — вот теперь вали, делай как знаешь. Теперь ты покойник.

Инспекция в виде главного штабс-лекаря нагрянула ранним утром. Произошло это так внезапно, что мы не успели уничтожить удручающую запись на черной табличке температур Бинксенгубера.

Главврач сперва несказанно удивился, что можно выдержать такую высокую температуру — ведь уже при 43° больной давно бы умер, а у этого еще хватает наглости проситься в отпуск, потому как в ихней деревне теперь пахота.

Катастрофа надвигалась неотвратимо. Нашего милосердного брата отдали под арест на четырнадцать суток, а взамен прислали три термометра. Однако Бинксенгубер высказался в том духе, что больше не позволит поставить себе под мышку ни одного градусника, лучше уж добровольцем отправится на фронт с первой маршевой ротой.

## Случай с ветераном Кокошкой

Пан Кокошка, надзиратель в отставке, был единственным ветераном в Хорушицах. Для господ ветеранов этот факт тем более прискорбен, что в Хорушицах более двухсот домов. На две сотни домов один-единственный ветеран — согласитесь, для Австрии это все-таки маловато.

Созвав учредительное собрание нового Общества ветеранов в Хорушицах, пан Кокошка имел удовольствие лицезреть лишь одно заинтересованное лицо — себя самого, а это просто удручающе, особенно если учесть, что военная служба уже за плечами по крайней мере у восьмидесяти хорушицких обитателей.

И все же после столь неудачного собрания учредителей пан Кокошка заказал себе ветеранскую форму в ближайшем районном центре.

Ветераны, облаченные в форму, если на штанах у них нет заплат, всегда выглядят весьма воинственно, но мундир пана надзирателя в отставке превзошел все ожидания, он прямо-таки звал в бой.

Наверное поэтому, когда пан надзиратель, облачившись в новую форму, возвращался от портного из районного центра домой, на дорогу выбежали все деревенские мальчишки и начали швырять в него грязью и швыряли до тех пор, пока пан надзиратель не пустился наутек, ища спасения под крышей своего дома.

Да иначе и быть не могло.

Жандарм, единственный, кто до сих пор расхаживал по деревне в форме, стоило ему завидеть соперника, тотчас скрылся в ближайшей корчме, пренебрегая своим долгом блюстителя порядка.

С той минуты пан Кокошка осердился на хорушицких обитателей. Одних никак не согласишь вступить в общество ветеранов, другие — не останавливаются перед дерзостью, — взять, к примеру, здешнего кузнеца: разговаривая с Кокошкой, он бросил — знаете, мол, пан надзиратель, не хочется мне, чтоб ветеранская форма напоминала, как с нами на войне обращались. «Чешская собака!» — иных слов мы и не слышали.

Только один человек поддерживал пана Кокошку. И этим человеком был церковный сторож. Ну что ж, обычное проявление солидарности церкви верующей и церкви воинственной. К несчастью, церковный сторож был горбат и в армии не служил, в противном случае общество ветеранов в Хорушицах состояло бы из двух человек. А сейчас пан Кокошка считался и казначеем, и председателем, и президиумом, и ревизором, и рядовыми членами.

Однако прискорбнее всего было то обстоятельство, что пану Кокошке никак не представлялось возможности надеть свою ветеранскую форму. В Хорушицах не происходило никаких торжеств, когда можно было бы щегольнуть ею. Все попытки привлечь хорушицких обитателей на свою сторону оканчивались полным провалом.

Церковный сторож, который заходил к нему хлебнуть «вишнепочки», высказывался в том духе, что этот сброд понятия не имеет, что такое Австрия.

— А ведь они же воевали, — горестно сетовал пан Кокошка, — да только у них все, что ни говори, — в одно ухо влетит, а из другого вылетит.

Оба попивали «вишнепочку» и жалобились на никуда не годное отношение. Пан Кокошка вспоминал, как, стоя однажды в карауле, он подстрелил

беглого дезертира, раздробив ему ногу, и как пан майор, потрепав его по плечу, проговорил: «Sehr guht, Kokoschka, gut getan, verfluchter Tschechischen Taugenichts»[256].

— Чехи — прохвосты, — твердил отставной надзиратель. — Вот немцы — это народ. Из немцев выходят офицеры, капитаны, майоры, генералы. Все высшее начальство — немцы, добрые немцы и австрияки. А попробуйте спросить чеха, не австрияк ли он? Знаете, что он на это ответит? Пошлет куда подальше.

— Никакой я не чех, — отрекался подвыпивший церковный сторож, — я австрийский сторож, служу церкви. Нынче никто даже господа бога не боится, а в церковь ходят одни старики да старухи. Молодежи там не увидишь. А в прежние времена все было иначе. Самый важный на селе — пан священник, а за ним — я. Пану священнику целуют обе руки, а мне — одну. А нынче — никто мне ничего не целует, да еще норовят, чтобы я им полы сюртуков целовал.

— И в ветераны никто не желает, — гнул свое пан Кокошка. — Знаете, что сказал мне здешний портняжка? Что шута он из себя строить не позволит. Разумеется, я подал на него жалобу за оскорбление ветеранов. И знаете, что мне ответил молоденький окружной судья?

— Если бы, говорит, пан Скучек в глаза вам сказал, что вы дурак, тогда бы я обязан был вмешаться, а так — никакого состава преступления нету. Что же тут такого — сказать, будто ветераны — сумасшедшие?

— Да ведь тем самым он оскорбил всю армию! — возразил я.

— Однако не станете же вы утверждать, что австрийская армия состоит из одних ветеранов, голубчик? Ведь даже если бы пан Скучек уверял, что ветераны, к примеру, убивают или же крадут и при этом не указывал на вас, я и тогда не мог бы привлечь его к суду, а посему вашей жалобе хода дать не могу.

После этого друзья снова переходили к воспоминаниям о прекрасной военной поре, и пан Кокошка, тыча своими ладонями сторожу под нос, восклицал:

— Вот эти руки держали солдатскую винтовку! Разве по сей день от них не пахнет порохом?

Изъявления лояльности длились, покуда церковный сторож еще мог ворочать языком; когда же слуга божий начинал нести явную чушь, надзиратель выталкивал его внашею и, оставшись наедине с «вишневкой», вспоминал о военных парадах до тех пор, пока сам не засыпал на диване.

Однако наиболее ожесточенные бои он вел в трактире «У золотой печи». Тамашние завсегдатаи высмеивали его австрияцкий образ мысли, но всякий раз, покидая поле боя, пан Кокошка торжественно провозглашал, что этими насмешками им не осквернить честь его ветеранского мундира; что же такого, если носить его не представляется случая? Ничего такого. Приспееет времечко — и я пуцу свою форму в ход, господа, использую самым блестящим образом, а назавтра приду и усовещу вас, чтобы не издевались над моим австрияцким образом мыслей.

Когда на следующий день пан Кокошка заглянул в «Золотую печь», завсегдатаи кабачка повели себя весьма таинственно.

— Вы, конечно, уже слышали новость, пан надзиратель? — спросил его учитель.

— Какую еще новость?

— А что завтра через станцию Врбчаны инкогнито проедет некое высоко-

поставленное лицо?

Глаза пана Кокошки озарились радостным блеском.

— Какое же это высокопоставленное лицо?

— Очень высокое, пан Кокошка, это нам по секрету поведал врбчанский станционный начальник.

— А когда?

— В десять утра. Поезд остановится всего лишь на три минуты. Вы пойдете?

— Разумеется, господа, само собой, я тотчас отправлюсь домой приводить в порядок свою форму.

По дороге домой он заглянул к церковному сторожу.

— Завтра через Врбчаны проедет высокое лицо, пан Кожельский, наконец-то я смогу показать, на что способен. Но это тайна, приедет он инкогнито, никому про это не известно, так что я один буду приветствовать их высочество. Что за особа, какое высочество, бог его знает. Но ежели он меня спросит: «Was sind Sie?» — я отвечу: «Melde gehorsam, ich bin Franz Kokoschka aus Chruschiz»[257].

Церковный сторож также обещал участвовать в торжественной церемонии.

— Я, — развивал свою идею Кокошка, — пойду впереди вас, а вы — за мною; когда поезд остановится, мы встанем напротив купе, в котором проедет высокопоставленная особа, и я крикну: «Hoch, hoch, hoch!»[258] А вы — повторите за мной: «Hoch, hoch, hoch!» Запомнили?

Церковный сторож просиял. Как бы там ни было, а после торжественной встречи в какой ни то городской ресторанчик его пригласят.

Около десяти утра на врбчанском вокзале царило явное оживление. Начальник станции, расхаживая по перрону, потирал руки, а бросая взгляд на плацдарм, занятый паном Кокошкой и церковным сторожем, не мог удержаться от смеха.

Пан Кокошка, облаченный в форму ветерана, сверкал позолотой, а церковный сторож, весь в черном, был бледен от волнения, поскольку приближалась ответственнойшая минута его жизни.

Прозвучал станционный колокол, и издали послышался свисток замедляющего ход поезда. На перроне столпились ротозей. Лишь пан Кокошка и церковный сторож держались в стороне. Не лезть же им вместе со всяким сбродом.

Поезд остановился.

Пан Кокошка, сопровождаемый церковным сторожем, подойдя к начальнику станции, отсалютовал:

— Простите, в каком вагоне путешествует высокопоставленное лицо?

— А вон там, где жандармы, они его конвоируют.

— А, жандармы! Тем лучше.

В мгновенье ока пан Кокошка со сторожем очутились перед нужным вагоном, отдали честь и крикнули в унисон:

— Hoch, hoch, hoch!

— Тара-ра-ра!

Поезд тронулся, и один из жандармов вопрошающе глянул через стекло.

— Hoch, hoch, hoch! — вне себя от восторга орал пан Кокошка, горделиво

оглядывая перрон.

А на перроне хохотали все, и громче прочих — начальник станции.

— Чего смеетесь? — строго обратился к нему пан надзиратель, гордо выпячивая грудь.

— Да помилуйте, — не переставая смеяться, проговорил начальник, — чего это вы орете «Да здравствует» вору и убийце, которого только что провезли через нашу станцию жандармы?

— Да ведь вы же сами сказали, что это высокопоставленное лицо, — сокрушенно проговорил удрученный ветеран.

## **Прославленный греческий ученый Архимед на обследовании в римской психиатрической клинике**

**И**звестный немецкий профессор в своем обширном труде, недавно увидевшем свет, попытался доказать, что знаменитый греческий ученый-математик Архимед погиб вовсе не при захвате Сиракуз, а десять лет спустя, в городе Риме. Следуя этой гипотезе, мы в свою очередь можем высказать догадку, что Архимед не кричал римскому солдату: «Не тронь моих чертежей!» и, соответственно, тот его не убивал. Выдвигались своеобразные предположения насчет того, что римлянин, прикончивший Архимеда, за несколько лет до этого провалился в гимназии по физике, получив «неуд» за незнание Архимедова закона о силе тяжести.

В концепции немецкого профессора обращает на себя внимание тот факт, что столь плодовитый ученый, каким был Архимед, именно в течение десяти лет, подаренных ему профессором, сумел осчастливить учащуюся молодежь целым рядом новых теорем и законов.

К счастью, в ходе только что проведенных археологических раскопок на Форум-Романуме были найдены таблички, содержащие запись протокола, разработанного верховным римским судом за три месяца до захвата Сиракуз.

В основу этого протокола легло медицинское заключение врачей о душевном состоянии Архимеда, подвергнутого обследованию в одной из римских психиатрических клиник ввиду выдвинутого против ученого обвинения в государственной измене, совершенном против Римской империи. Положения протокола были подкреплены приложениями, из которых мы приводим нижеследующие:

Аврелий Вителиний, младший сержант 19-го пехотного полка имени Ромула, в Мартовские иды[259], в день захвата Сиракуз римским генералом Пропонием (в учебниках это имя звучит как-то иначе, что в значительной мере подрывает достоверность сведений об истории Рима), убил какого-то Архимеда, поселившегося на груде песка в саду дома № 1819, с видом на море. Аврелий Вителиний, схватив Архимеда за плечо, крикнул: «Ты чего здесь делаешь?», а тот спокойно ответил: «Черчу на песке!» После этого Архимеда отвели к верховному главнокомандующему и, по свидетельству Аврелия Вителиния, Архимед всю дорогу вел себя как душевнобольной. На следующий день во время допроса у генерала Пропония Архимед заявил, что «чертил на песке круги, чтобы легче было взорвать римский флот».

Архимеду напомнили, что Сиракузы уже в руках у римлян, однако он возразил, будто ничего не помнит, поскольку был увлечен изобретением машин. На вопрос, какие это машины, ответил, что ему пришло в голову построить

машину на основе недавно открытого им закона силы тяжести. Все остальное время, пока длился допрос, Архимед проявлял к происходящему полное равнодушие и то и дело ухмылялся.

Спустя три дня, в ходе последующего допроса, он добавил, будто не в состоянии объяснить себе, каким образом очутился в римском лагере.

Септимий Марсий, военный врач, внес в протокол примечание, что Архимед произвел на него впечатление человека, не умеющего сосчитать до пяти (док. 1.13).

Арестованный староста города Сиракузы, некто Катабаинос сообщил, что впервые лично познакомился с Архимедом только когда тот пришел к нему (старосте) и сообщил, что открыл новый закон силы тяжести, с помощью которого появляется возможность пустить на воздух весь римский флот, потом попросил привезти ему песок, чтобы он мог рисовать свои круги.

Во время второго допроса Катабаинос признался, что сразу понял, что у Архимеда не хватает шариков, а потому, дабы избежать какого несчастья, разрешил завезти в сад дома номер 1819 кучу песка, и Архимед проводил там целые дни.

Катабаиносу были показаны свитки папируса, поскольку Архимед твердил, что они составляют его собственность, и староста объявил их украденными из лавки у Тарентских ворот. Архимед наказывал на нем разные там  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , а также круги и квадраты, так что папирус стал негоден для употребления. Торговец из лавки у Тарентских ворот сохранил свиток, поскольку Архимед утверждал, будто поможет сиракузцам одолеть Рим. Жена Катабаиноса, допрошенная два месяца спустя в Риме (уже будучи рабыней Пропония), сообщила, что Архимед со своими свитками однажды приходил к ним домой. Катабаиноса не было, но Архимед все равно развернул свои свитки и принялся уверять, что всякое тело способно вытолкнуть столько воды, сколько оно весит, в общем что-то в этом роде, и, кажется, на столько же становится легче. До этого он тоже бормотал что-то о тяжести, но и предыдущих уверений было вполне достаточно, чтобы у нее сложилось об Архимеде такое мнение, будто он не в себе.

Катабаинос (к тому времени также раб Пропония) в тот же день внес добавления в протокол, заявив, будто от стариков сиракузцев слышал, что и отец Архимеда также страдал слабоумием. С Архимедом самим трудно было столковаться. Как-то увидели его в общественных садах; он надел на ветку пинии колечко, потом перебросил через ветку веревку из лыка, на один его конец привязал камень, а другой тянул вниз, чтобы камень поднимался вверх; по необъяснимой случайности колечко вращалось. Сторож, охранявший сады, помчался в ратушу, а когда вернулся обратно, Архимед сидел под пинией и что-то ковырял на восковой табличке, рядом лежало уже два колечка, и он сказал, что все это — рычаг, или полиспаст, или что-то в этом духе.

Говорил ли Архимед что-либо еще, свидетель не помнит, поскольку он не мог уже дольше слушать все эти глупости и удалился. Однако решительно не соответствуют истине сообщения газет того времени, будто Сиракузы за плату пригласили Архимеда, дабы тот смастерил для них оборонительные сооружения. Всем было известно, что у Архимеда не все дома и что он рисует на песке какие-то круги. Однажды он испещрил каракулями все дорожки в парке, а когда подметальщики их смахнули, прибежал в отдел общественного контроля

магистра с жалобой — дескать, подметальщики уничтожили его чертежи. Позднее мне стало известно, что Архимед, схватив подметальщика за метлу, кричал: «*Nolite tangere circulos meos*»[260]. К подметальщикам он обращался на латыни, и это также в Сиракузах было всем известно, его иначе и не величали как только «богом обиженный Архимед». Согласно листу 72, Ойнотесия, рабыня, бывшая владелица дома № 1819 в Сиракузах, признавала, что Архимед вел с ней беседы о вещах, в которых она совсем не разбиралась, он называл их то физикой, то геометрией, а то математикой. Что это были за господа — она понятия не имеет. Знала Ойнотесия и его отца (новая историческая подробность), и тот обладал схожими свойствами и строил из себя философа, так, во всяком случае, величали его в их квартале.

Под номером 1.35 в деле хранятся бумаги римского окружного суда в Таренто, из которых становится ясно, что Архимеда держали там в узилище от первого полнолуния до второго и, согласно римскому праву (§ d, e, f), снимали с него допрос ввиду попытки обмануть общественное мнение, имевшей место на городском рынке, где Архимед разглагольствовал о том, что если бы ему где-то на небесах дали точку опоры, он перевернул бы весь мир (см. лист восьмой документов «*Dos moi pesto, gen kineso*»)[261].

В те времена в Таренто проживал купец Пейденокос со своей злой женой. Этот купец вручил Архимеду один талан в качестве основного капитала и заслуженной премии тому, кто поможет чудаку отыскать на небесах нужную точку опоры, чтобы Архимед произвел ту сенсацию, о которой вещал на рыночной площади. Архимед весь талан истратил на колечки и мочала. За это его отправили очищать городские сточные каналы. Занимаясь этим делом, он вел себя престранным образом. Уверял, например, что от канав не исходило бы ни малейшего запаха, если бы их перекрыть и поступить более просто — отвести прямо в море, а не в предместные резервуары, откуда нечистоты приходится выбирать и в тридцать приемов вывозить бочками на морской утес, а потом швырять или выливать в море. Из-за этих его речей ни один из заключенных не желал с ним работать, так что ничего иного не оставалось как выпустить Архимеда на волю.

Этим исчерпывались извлечения из опроса свидетелей; на остальных пластинах содержались положительные отзывы о состоянии обследуемого в настоящее время.

Прежде всего описывались его физические данные. Перед нами — заключения римских врачей-экспертов.

Архимед, возраст — пятьдесят лет; рост — выше среднего, телосложение — хрупкое, упитанность — посредственная. Голова — круглая, лоб — сильно выпуклый. Ушные раковины — несоразмерные, левое ухо больше правого, правый глаз меньше левого, разрез рта — неправильный, правая его сторона короче левой, а левая — длиннее правой. Когда говорит, рот открывается больше справа, чем слева, и наоборот. Походка являет собой отклонение от нормы. Если на него прикрикнуть, вытянутые конечности сильно трясутся. Любой удар вызывает весьма бурную механическую мускульную реакцию.

На нескольких пластинах изложены результаты исследований душевного состояния Архимеда, зафиксированных римскими судебными врачами:

Отец погиб то ли восемь, то ли двадцать два года тому назад. Говоря о смерти отца, Архимед утверждает, что тот вытеснил столько морской воды, сколь-

ко соответствовало объему его тела, и весил меньше ровно на весь вытесненный им объем воды, благодаря чему труп всплыл на поверхность. Произошло это во время шторма на море, когда волны опрокинули челн, на котором плыл его отец. Исходя из этих сведений, можно предположить, что отец Архимеда утонул. Школу пациент не посещал, считать научился сам, читать и писать — тоже. С малолетства размышлял только об одном: почему один прибавить один равняется двум.

— Из чего вы вывели такое заключение?

Архимед усмехается. После продолжительного раздумья:

— Из того, что если к двум прибавить два, то будет четыре.

— Кто это вам сказал?

— Никто.

— Вы сами так решили?

— Отнюдь, это суть неизменные законы арифметики.

— Вам известны названия месяцев?

— Нет.

— Столица Сицилии?

— Карфаген.

— Какие города вы знаете еще?

— Рим и Афины.

— А Сиракузы?

Архимед кивает головой в знак согласия и улыбается.

— Какого вы вероисповедания?

— Языческого.

— А где конец земли?

— За Сицилией.

— А как называется столица Сицилии?

— Сиракузы.

— Вы же сказали, что Карфаген?

Архимед усмехается.

— На наш взгляд, вы не желаете отвечать на этот вопрос и избегаете произносить слово Сиракузы. Что вы там натворили?

Архимед отрицательно качает головой.

— И все-таки, что же там произошло, вы не припомните?

Архимед снова отрицательно трясет головой.

— Вспомните, обещали ли вы Сиракузам помочь в создании оборонительных сооружений, чертили ли на песке круги, и не делали ли на папирусе заметки?

Архимед оживает.

— Это ведь легко высчитать! Тело падает тем быстрее, чем с большей высоты оно летит. Треугольник имеет строгие границы. Я доказывал это неоднократно.

— Значит, по-вашему, только вы доказали эти истины?

— Несомненно. Никто, кроме меня, не открывал закона о силе тяжести, и я самый великий физик на свете. Мои круги прославили меня.

— Итак, по-вашему, вы — великий ученый?

— Без сомнения.

— И давно вы так считаете?

— С тридцати двух лет.

Из вышеприведенного следует, что общеобразовательные знания Архимеда были весьма незначительны, неглубоки и даже наивны. Он ничего не знал о том, что волчица выкормила Ромула и Рема, и полагал, будто сабинянки унесли римлян. Латынью владел слабо, приблизительно на уровне выпускника гимназии.

На следующих трех пластинах излагается заключение римских судебных врачей по поводу душевного состояния Архимеда, и звучит оно так:

1. Насколько возможно было установить, в семье Архимеда не встречалось случаев душевных заболеваний, если отбросить предположение, что во время кораблекрушения отец его мог покончить жизнь самоубийством. Примечательно, что Архимед не знает своей матери. Судебные врачи склоняются к тому мнению, что собственной матери у него вообще не было.

2. Обследуемый Архимед школу не посещал, чем объясняется полное отсутствие интеллекта. Это проявляется даже в ответах на примитивнейшие вопросы. Так, на вопрос, где кончается земля, он ответил, что земля кончается за Сицилией, хотя доподлинно известно, что земля кончается за столпами Геракла в местности Геспериды, а это — за Карфагеном. Не известно ему и то, что в году три месяца, что кроме Рима, Таренто, Карфагена и бывших Сиракуз, на свете существует еще восемь столиц в Лациуме. Архимед полагает, что один да один равняется двум, и доказывает это тем, что два да два — это четыре, меж тем как это полный абсурд, поскольку, если у меня две ноги и у моего соседа — тоже две, — то это еще ничего не означает: у меня по-прежнему останется всего-навсего две ноги, но никак не четыре. В ответ на эти наши убедительные доводы он только ухмылялся. И вообще, в ходе обследования пациента Архимеда мы не раз убеждались, что он постоянно ребячливо улыбается, идеи у него навязчивые и наивные, и это стало особенно явственно, когда обнаружилось его полное незнание фактов римской истории. Он утверждал, будто все это сказки и все истории начинаются какой-нибудь глупостью. Мы ему сказали, что волчица выкормила Ромула и Рема, а он спросил, зачем она это сделала, и наконец высказался в том смысле, что римлян вскормили сабинянки.

3. Его воззрения на науку наивны в самом полном смысле этого слова. То же самое подтвердили и допрошенные свидетели, Катабаинос, его жена и прочие. Архимеда мучает навязчивая идея, что истинная наука основывается на законе о силе тяжести, но в римском своде законов нет на этот счет никакого упоминания. Будучи арестован в Таренто, Архимед чистил сточные каналы и болтал такие глупости, что его пришлось отпустить на свободу. В Сиракузах, как подтвердили и вышеупомянутые свидетели, его считали дурачком, там он «изобрел» некое колечко с веревочкой и камешком, который поднимал ввысь на пинию городского парка. Там он без всякого смысла чертил на песке разные круги и своей хозяйке — она торговала оливами, консервированными в меду — даже не удосужился помочь носить воду из колодца. Целыми днями валялся на грудах песка в саду дома № 1819 и на ворованном папирусе рисовал кружочки, кружки, потом какие-то значки вроде  $\Delta$  — он называл их «треугольники» — и вроде  $\diamond$ , напоминающими форму земли, эти он именовал «квадраты». Из прилагаемых свидетельских показаний явствует, что окружающим он надоедал разными глупостями, из которых наиболее дикими были

его разглагольствования о том, что тело, погруженное в воду, легче на вес вытолкнутой им воды. Эту наивность он не позволял опровергнуть никакими доказательствами. Архимед полагает, что он великий ученый, по его мнению,  $\Delta$  и  $\diamond$  прославили его имя во всем мире.

4. В ходе недавно проведенного обследования, у Архимеда были обнаружены физические недостатки в строении черепа, что служит признаком дегенеративности. Отмечено также, что Архимед обладает довольно живым характером, и это можно объяснить колебаниями его душевного состояния. Как стало очевидно в ходе обследования, уже с тридцатилетнего возраста Архимед страдает гигантоманией и навязчивой идеей, будто он — великий греческий ученый и изобретатель, так что общее его душевное состояние можно определить таким понятием как «поврежденный рассудок» в толковании § 46 лит. и римского уголовного права.

5. Поскольку манию величия и навязчивые идеи Архимеда приличествует считать помешательством ума согласно § 2 лит. «Б» римского уголовного права, наказанию он не подлежит.

6. Однако в связи с тем, что, будучи оставлен на свободе, он мог бы своей болтовней повредить общественному положению римских ученых и вообще как-либо иначе оказаться опасным, Архимеда следует отправить на обследование в институт для душевнобольных над Тибром.

Итак, Архимед умер десять лет спустя после падения Сиракуз. Не подлежит сомнению и тот факт, что в Сиракузах Архимед тоже рисовал свои  $o$  и  $O$ , свои  $\Delta$  и  $\diamond$ , равно как и то, что и там он составлял новые законы и теоремы. К счастью для учащихся наших средних школ, из этих его открытий не сохранилось ничего.

## Запятая

Учитель Пилоун, преподававший в гимназии, обожал филологию, но коньком его была грамматика. Эту науку он любил до того страстно, что любая незначительная погрешность против нее приводила его в безмерное отчаяние. Можно даже утверждать, что так же как в глазах капиталиста человек — только миллионер, а для титулованного аристократа — только люди титулом не ниже барона, так и наш учитель Пилоун считал человеком только безупречного знатока грамматики. На прочих смертных он глядел со снисходительной усмешкой, в которой можно было разглядеть удивление и упрек: «Разве Вы тоже родились и существуете?» И в этом нет ничего странного: учитель Пилоун — и об этом следует упомянуть в его оправдание — был приверженцем старой школы и посему считал своим долгом несколько часов кряду посвящать внушению учащимся принципов грамматики, что, разумеется, после тридцатилетней практики не могло обойтись для него без определенных последствий.

Дважды, а то и четырежды в день учитель Пилоун совершал путь от дома до гимназии и обратно. На пути его неизменно возникал древний черного цвета дворец, к которому примыкала высокая стена такого же, как дворец, черного цвета.

Однажды утром задумавшийся учитель Пилоун шел в свою гимназию, и вдруг нечаянно взгляд его упал на черную высокую стену. На ней большими буквами не привычной к письму рукой было выведено:

*Кто это прочтет тот дурак.*

Подобных надписей учитель Пилоун перевидал великое множество, но ни одна не привлекла к себе его внимания. Он не заметил бы и этой, если бы она не выделялась столь резко на огромной черной доске.

Учитель миновал стену с надписью в полдень, потом она бросилась ему в глаза пополудни, и вообще эти буквы снова и снова влекли его к себе, нарушая стройный ход его раздумий.

Покидая после уроков школу, он в раздражении размышлял о том, какой малый, прямо-таки незначительный интерес проявляют ученики к законам синтаксиса. И почти уже забыл про надпись. Но когда он приблизился к стене, ему снова бросилось в глаза «Кто это прочтет тот дурак», что привело его в страшную ярость.

В это мгновение у Пилоуна возникло желание вынуть платок и стереть надпись, но он рассудил, что, во-первых, — так он привлечет к себе внимание прохожих, а во-вторых, — не уничтожит надписи, поскольку это невозможно — буквы прямо-таки въелись в шероховатую поверхность стены.

Пилоун побрел дальше, проклиная в душе негодяев, которые устраивают на улицах подобные безобразия.

Впрочем, против надписи как таковой пан учитель ничего не имел, но его, как всегда, всякий раз задевало, что после фразы «Кто это прочтет» нету запятой, в то время как ей надлежало тут быть.

Весь вечер у него в мозгу возникала эта паршивая надпись с приметной синтаксической ошибкой.

Наутро учитель Пилоун решил попросту игнорировать надпись. Проходя мимо, он заставил себя отвернуться и смотреть в другую сторону. В полдень

учитель думал поступить точно так же, но вдруг это показалось ему недостойным пожилого серьезного человека. И он снова отважно взглянул на пачкотню, которая обезобразила стену.

И снова у него возникло ощущение, будто его ударило электрическим током, когда после фразы «Кто это прочтет» он не обнаружил запятой.

В конце концов Пилоун понял, что этими муками он сыт по горло. Однако отринул мысль ходить в гимназию окольным путем, по другим улицам, до тех пор, пока надпись не уничтожат время и непогода.

Но позволить противной фразе истерзать себя? Четырежды в день переживать такое чувство, будто тебя дергают за волосы? Нет, невыносимо...

В тот день учитель Пилоун после объяснений в классе почти машинально положил в карман кусочек мела. Он проделал это почти машинально, но где-то в его подсознании зрело непреклонное решение.

Подойдя к высокой стене, он остановился. Сколько лет он тут ходит, а ничего подобного с ним не случилось!

Мало того! В беспокойстве учитель Пилоун несколько раз оглядел улицу. Ее редко кто посещал, но все-таки сейчас промелькнуло несколько прохожих. Учитель переждал, когда они пройдут, расхаживая вдоль по улице, туда и обратно...

Наконец улица совершенно опустела, и пан учитель не выдержал... Сунув руку в карман, он с несвойственным ему проворством бросился к стене. Рука взметнулась вверх — и уже в следующее мгновение наш учитель с достоинством зашагал дальше.

На стене отныне было написано: «Кто это прочтет, тот дурак».

И пан учитель успокоился.

# Книга памфлетов

## «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона»



### Введение

Настоящим выражаю благодарность своему другу пану Карелу Лочаку, который предоставил мне возможность достаточно обстоятельно осветить общую политическую и социальную историю партии умеренного прогресса в рамках закона.

Мы приветствуем это его решение, ибо данный труд, проникнутый истинным чувством, исчерпывающе разъяснит всю полноту взаимосвязей партии умеренного прогресса в рамках закона не только с чешской общественностью в целом, но также и с отдельными ее выдающимися представителями, как с теми, кого можно отнести к сочувствующим, так и с партийными активистами.

В настоящей работе предполагается весьма подробное и, по возможности, правдивое описание всех выдающихся свершений отдельных членов партии.

Разумеется, мы не ограничимся простой констатацией отдельных фактов, а попытаемся представить развернутую летопись с целью поведать миру о тех чувствах горячего энтузиазма, что пламенели некогда в сердцах наших соратников, главным стремлением которых была взаимная моральная и финансовая поддержка, а при случае также и забота о росте численности партии и содействие ее расцвету. В особенности это касается периода последних парламентских выборов, когда новая партия выдвинула своего собственного кандидата, который не пошел ни на какие компромиссы, не был скомпрометирован и получил поддержку всех, кого можно отнести к порядочным людям, то есть, потерпев поражение большинством в 2498 голосов, он все же получил 36 голосов «за». Эти 36 голосов были зарегистрированы газетами «Право лиду», «Жижковский обзор» и «Час», то есть изданиями, у которых отсутствовало какое-либо предубеждение против новой партии, чья программа была настолько чиста, что ее кандидат провалился с абсолютным большинством голосов.

Упомянутое событие произошло на Краловских Виноградах в 1911 году, когда документально была подтверждена решимость 36 граждан без стеснения, публично встать на защиту партии, которой вскоре предстоит блестящее будущее, ибо пока еще широкие круги населения не имели соответствующего пособия, позволяющего разъяснить большинству политических деятелей содержание наших основополагающих документов, — как проекта программы, так и декларации принципов, тем более что последние не останутся неизмен-

ными, с чем мы нередко встречаемся у других партий, но будут претерпевать эволюцию в зависимости от политической и общественной ситуации, дабы программа действий постоянно находилась в соответствии с движущими силами, кроющимися в глубинах общественного и политического сознания чешского народа. Таким образом, можно сказать, что создается некая летопись, всеобъемлющая история этой удивительной партии, которая вышла из самых глубин, но с течением времени обрела внушительное число членов, преданных ей душой, телом и кошельком.

Далее будет рассмотрен процесс преобразования программы партии, а также частная жизнь членов этой партии, деятельность которой становится насущно необходимой для заполнения осязаемого пробела в явлениях чешской политической жизни.

Кое-кто упрекал нас в высокопарности и фразерстве. В этом нет ничего удивительного, поскольку первое время мы следовали примеру других политических партий, где подобные явления имеют место, однако характерной чертой, отличавшей нашу партию от остальных, была малочисленность. Последнее, разумеется, не считая программы, было нашим главным отличительным признаком, этим были обусловлены наши действия.

Нас не останавливали никакие жертвы.

Мы были безжалостны по отношению к тем, кто не хотел более отпустить пиво в кредит членам исполнительного комитета партии умеренного прогресса в рамках закона, и мы отказались проводить в таких местах собрания.

С неизменной верой в будущее, всегда полные энтузиазма, мы подыскивали все новые и новые помещения для нашей штаб-квартиры и вновь покидали их, унося с собой несокрушимую уверенность в том, что в конце концов нам удастся добиться взаимопонимания с общественностью и она, воодушевленная грандиозными идеями нашей программы, вольется в ряды партии умеренного прогресса в рамках закона.

Разумеется, во многих случаях нас постигло разочарование. Это, к сожалению, более чем верно.

Попытки выбить почву из-под наших ног часто имели место, однако тот факт, что все они оказались безуспешными, несомненно свидетельствует о понимании общественностью наших чаяний, вобравших в себя наряду с идеалистическими убеждениями достаточную долю материализма, обусловленного стремлением к всеобщему благосостоянию, в том числе и для нас. В настоящее время мы чувствуем себя настолько уверенно, что сочли нужным выступить с данным обстоятельным трудом, и это в значительной мере подкрепляется тем фактом, что все описываемые лица пребывают в добром здравии и автор имеет возможность заручиться их согласием.

Автор тщит себя надеждой, что ему удастся опровергнуть все клеветнические толки о партии, в особенности те, что были сфабрикованы фельетонистом газеты «Лидове новины» писателем Магеном, уверявшим, что «партию умеренного прогресса в рамках закона убили выборы». То, что выборы все-таки не отправили к праотцам нашу партию, доказывает этот исторический труд, который, несомненно, будет с благодарностью принят всеми, кто хочет узнать о партии одну только правду, ничего кроме правды, да поможет мне бог!

## I

## Из летописи партии умеренного прогресса в рамках закона

### Декларация основных принципов партии умеренного прогресса в рамках закона

**И**ntenсивное просветительское движение, которое к 1904 году охватило всю Центральную Европу, и либеральные идеи, доходившие до нас из мятежных русских губерний, где террористы в период с 1902 по 1904 год развили наибольшую активность, поддерживаемую ходом русско-японской войны и увенчавшуюся рядом отдельных успехов, к каковым можно отнести смерть Плеве от взрыва бомбы и убийство дяди царя, великого князя Сергея в Варшаве, не остались без отклика и у нас. В Северной Чехии восстали шахтеры и вернулись к работе только тогда, когда хозяева *понизили* им заработную плату. Этот революционный порыв нашел отклик и в Вестфалии, в столице которой, неважно как там она называется, на ратуше был поднят красный флаг. Флаг этот водрузили сами вюртембергские жандармы, а случилось это как раз в те дни, когда русский Балтийский флот потерпел от японцев поражение у Цусимы.

Эхо этой японской победы вызвало тогда в Праге величайшее смятение; хотя известие и было правдивым, но дело в том, что тогдашний военный корреспондент «Народних листов» и «Народни политики» коллега депутат Вацлав Ярослав Клофач до сей поры постоянно извещал читателей о великих победах русских над японцами. Верили ему примерно процентов тридцать пражан, как раз те, кто в 1901 году при известии о начале русско-японской войны толпились на Староместской площади перед храмом св. Микулаша, где отец Рышков служил молебен во славу русского оружия, а толпы чехов пели на улице «Гей, славяне!», по-видимому, в честь Петропавловской крепости и тысячи русских, расстрелянных царской охранкой и казаками на Невском проспекте, когда они кричали царю «ура!». Украшенные трехцветными славянскими ленточками, они избили там Пеланта, восемь чешских анархистов и наконец редактора «Право лиду» коллегу Скалу, который подоспел к тому моменту, когда разгром противников царя был полностью завершен, и, увидев такое скопление народа, в порыве партийного энтузиазма решил, что все они социал-демократы, а потому выкрикнул в толпу: «Долой царя, царю позор!»

Исключительно благодаря тому, что его арестовала полиция, он был спасен от избиения до смерти, получив, по его собственным словам, от восторженных поклонников царя около 600 оплеух. Отделали его именно те, кто четыре года спустя во время выступлений за всеобщее избирательное право кричали на Староместской площади вместе с доктором Соукупом, стоящим на балконе ратуши: «Ура русской революции!»

Да, в ту пору в воздухе центральной Чехии уже явственно ощущалось приближение всеобщего избирательного права. В чехах начинает пробуждаться неосознанное чувство человеческого достоинства, и анархист Кнотек передает в жижковскую «Комуну» полученное им наследство; Вогрызек, смазав бриллиантом скудный венчик своих волос, слоняется по Праге в костюме сверхэлегантного покроя, изображая законодателя мод, скупает духи и издает «Худяса», грошовую анархистскую газету для чешского народа, в то время как

в унылом и тесном Харватском переулке в типографии Рокиты испускает дух сатирический журнал «Свитилна», в который художник Лада помещал первые свои произведения. Итак, после того как авторы «Свитилны» набрали авансы в счет будущих гонораров в таком количестве, что их хватило бы на всех родственников, журнал обанкротился. Газета «Ческе слово» перестает быть выразителем чешской демократии, а «Ческа демокрацие» перестает быть чешским словом, и депутат Клофач в корреспонденциях из Маньчжурии воздает хвалу храбрости русского воинства, героизму японцев и переправляет в Чехию татарские вышивки, отобранные русскими у казненных хунхузов.

Между тем чешские реалисты не дремлют, и Гербен с Масариком ругают друг друга последними словами. Масарик провозглашает, что он Гербена в моральном смысле прикончил, с чем Гербен иронически соглашается, однако с одним весьма серьезным дополнением: «Но не в финансовом».

И пока клерикальный оплот «католической модерны», патер-доносчик Достал-Лутинов бранит Махара, тоскующего во вражеской Вене в прелестной собственной пригородной вилле с годовым жалованьем в 4000 крон, из этой самой виллы Махар грозит кулаком королевству Чешскому, а сам начинает неодобрительно относиться к Элишке Красногорской, изучая при этом на всякий случай путеводители по Риму.

В Чехии появляются два молодых поэта, соперничающие друг с другом в бездарности. Их имена — Розенцвейг-Мойр и Фрабша, причем последний по прошествии нескольких лет становится убежденным национальным социалистом и редактором национально-социалистической бульварной газетки в Кутной Горе. В те времена у молодых поэтов вроде Фрабши было в моде похищать дочерей булочников, и, обнаруженные папашей, они позволяли себе оскорбления в адрес его величества. На Виноградах несчастный книготорговец Горалек раздает в трактирах Кралицкую библию своим друзьям и знакомым, одновременно беря у них деньги в долг. Англиканская церковь скупает в Праге души по одному фунту стерлингов за штуку, в пражском квартале Нусле, в Герольдовых банях адвентисты крестят голых старух, а в Македонии вспыхивает революция и македонские повстанцы взрывают мосты у Битолы и Салоник, с архиепископского дворца в Градчанах срывается на мостовую трубочист, восставший русский броненосец «Потемкин» обстреливает румынское побережье, катастрофически падает уровень воды в Эльбе, а земля вокруг становится бесплодной, агент-provokator Машек выдает себя в редакции «Комуны» за итальянского анархиста Пьетро Пери, бежавшего из Севастополя, и проводит одну ночь у Розенцвейга-Мойра, причем оба они не смыкают глаз, опасаясь друг друга, в Праге скромно появляется македонский воевода Климец, и в это бурное время я учреждаю в кабачке «У золотого литра» на Краловских Виноградах под насмешки маэстро Арбеса новую чешскую политическую партию — партию умеренного прогресса в рамках закона, название которой являлось одновременно ее манифестом и декларацией принципов, поскольку слова «умеренный» и «прогресс», «рамки» и «закон», идейно связанные в единое могучее целое, возвещали о генеральной линии нашей партии, которая, впрочем, позже изменила свое направление применительно к политической ситуации, дабы подладиться к существовавшим обстоятельствам, а в 1911 году последовала ее реорганизация.

Здесь самое время рассказать в первую очередь о двух наших единомыш-

ленниках, что в памятный год основания партии стояли со мной плечом к плечу в ряду других, речь о которых пойдет ниже, и поддерживали меня в моих устремлениях. Это были воевода македонский Климеш и поэт Густав Р. Опоченский.

### **Густав Р. Опоченский и македонский воевода Климеш**

**П**оэт Опоченский родился в семье, где были чрезвычайно развиты истинно религиозные чувства. Эта удивительно благочестивая семья взрастила не одно поколение евангелических пасторов. В том числе и отец Г. Р. Опоченского был всеми уважаемый пастор в селе Кроу не за Хрудими, и именно от своего папаши усвоил Опоченский те нравственные принципы, которыми он в дальнейшем руководствовался на своем жизненном пути. Целые дни проводил юный Густав в таинственном полумраке евангелического храма в Кроуне, скрываясь под скамьей в нефе от орудия возмездия божьего на земле, как отец его, пастор, величал розги. И будучи там обнаружен, никоим образом не противился воле божьей, но принимал ее, памятуя слова из Евангелия: «Вся сила исходит от бога, посему кто силе противится, тот воле божьей противится». Отцовское колено и розга стали для Опоченского лучшей поэтической школой, ибо благодаря им выкристаллизовался в поэтическом творчестве Г. Р. Опоченского тот отчетливый мотив, который будущий литературный критик сможет уловить в каждом его стихотворении, а именно — беспредельный мрак, неумная скорбь, угасшее пламя жизни...

Времена тягостных метаний на отцовском колене оказали такое сильное влияние на творчество поэта, что и в своих сегодняшних поисках пути к реализму он стремится воссоздать столь памятные ему с раннего детства ощущения.

Вся жизнь нашего поэта — пример отрешения от мирских наслаждений. В его взгляде на окружающий мир сквозит убеждение, что ни в «Аполлоне», ни в кафе «У Венды», ни в «Звездочках» или «Технике» не найдет отдохновения его тоскующая о прекрасном поэтическая душа. А наш сугубо материалистический мир довольно часто врывается грубой дисгармонией в его чувствительную душу. Сильные руки подхватывают поэта, и вот он уже вынесен из заведения, а те, кого он так любил, сообщают ему, что наступил конец слиянию душ, и тогда он, прислонившись к дереву, оглашает рыданьями безмолвие темных ночных улиц и прерывающимся от слез голосом отвечает своим утешителям:

— Да ведь я в жизни цыпленка не обидел, катись отсюда, а то как врежу сейчас...

Так вот, имею честь сообщить, что с этим достойным мужем мы стояли плечом к плечу у колыбели партии умеренного прогресса в рамках закона.

И каким же разительным образом отличался от него македонский воевода Климеш! Прежде всего, никто из нас понятия не имел о том, где и когда родился этот борец за права угнетенных. Роста он был высоченного, а его могучие черные усы и заросший подбородок, свирепое выражение лица и страстные речи позволяли предполагать в нем прирожденного военачальника революционных войск. Именно таким казался он мне во время первой встречи в Софии, за два года до возникновения нашей новой партии. Ясно, что понадобилась бы не одна пространная глава для описания всех его выдающихся подвигов, среди которых самым замечательным было в период моего первого с ним

знакомства наше совместное участие в памятном сражении на горе Гарван, а также осада Манастира, когда мы, окруженные регулярными турецкими войсками низами, ретировались с такой скоростью, какая только возможна при отступлении с поля боя.

## Македонский воевода Климеш

I

Напомню еще раз, что некоторое время сторонником нашей партии был сей муж, которого мы чрезвычайно ценили именно за героические свойства его натуры.

Кстати, не стоит расценивать все изложенное далее как попытку дискредитации нашего соратника, но скорее как замечательное свидетельство его порядочности. В самом деле, человек этот не был трусом, а просто считал самым лучшим выходом из критической ситуации отступление и всегда производил его с завидным самообладанием.

Наиболее примечательная из наших встреч произошла в Софии.

Время тогда было тревожное: орды турецких регулярных войск низами взяли в кольцо местность вокруг Салоник и двинули крупные силы в направлении болгарской границы, к горе Витоше, этому волшебному, полному поэзии уголку.

Все благоухало в величественных рощах и девственных лесах у Витоши, а там, внизу, грохотали пушки и трещали ружья македонских повстанцев. Это бились отряды, предводительствуемые болгарским революционером Сарафовым, и беспрестанно гремели орудия под клич «Свободу Македонии!».

А Климеш в ту пору торчал в Софии, в мастерской по ремонту кушеток, поскольку был не прирожденным воеводой, а профессиональным обойщиком. Сидел он там совершенно спокойно, нисколько не предполагая, что лавры полководца уже готовы увенчать его голову. Как раз в это время я и приехал в Софию, где познакомился с этим человеком, своим земляком, который до сей поры не ведал ничего, кроме покоя и согласия, и в душе его еще дремали грядущие героические порывы.

Попивая в тот раз вино с гор афинских (скверное и дорогое, надо заметить) и вино со склонов Олимпа (тоже далеко не нектар богов, а просто паршивая бурда), он и наврал мне впервые в своей жизни, что знает все горные тропы, всех революционеров, все отряды македонских повстанцев и лично знаком с их вождем, героем Сарафовым, которого позже убили его же соратники, потому что он растратил их деньги на винтовки, ручные бомбы и прочие милые безделушки.

Надо признать, что в ту минуту я ощутил непреодолимое желание двинуть с Климешем к границе, и сам он тоже готов был идти тотчас же и уже никак не позже чем завтра, одним словом, полон решимости подняться на борьбу за свободу угнетенных македонских братьев.

И чтобы это доказать, он взял шляпу и призвал меня следовать за ним.

Мы отправились в одно маленькое кафе, где, как выяснилось впоследствии, он вовсе не предполагал встретить повстанцев, но по трагическому стечению обстоятельств они собирались именно там, в результате чего Климеш, эта прекрасная, героическая, храбрая и честная душа, стал македонским воеводой. В кафе как раз шла запись добровольцев для переправки через границу. Климеш побледнел, но, видимо предчувствуя восход своей славы, в несо-

знанном порыве героизма он, как некогда Илья Муромец, собрался и по-болгарски скорее с трудом, чем бегло, провозгласил, что вместе с ним здесь находится земляк из Чехии, который тоже с радостью готов положить жизнь в борьбе за свободу наших братьев за Витошей, за их чаяния, их жен, детей, за все прекрасное, все героическое, замечательное и чудесное.

— Дайте нам ружья, братья, — произнес он, выпив ракии. Потом мы присягали под знаменем свободы. Признаюсь, раньше мне приходилось стрелять только в зайцев, но теперь-то стрелять надо было в турок. Это было как-то непривычно, и только вторая, а затем третья, четвертая и пятая порции ракии придали мне храбрости.

Присягая, мы оба тряслись, а когда наступила ночь, самая темная и тоскливая из всех пережитых мною, мы отправились в турецкие владения.

Под утро у Витоши мы пришли к складу оружия, маленькому домику, где получили сперва брынзу, потом винтовки. Они оказались системы Верндла, а заряжались как винтовки Манлихера, но ни я, ни воевода Климеш понятия не имели о том, как это, собственно говоря, делается.

— Обращаться умеете? — спросил нас командир отряда.

— А тут и разбираться нечего, — ответил доблестный воевода Климеш, который все еще не мог оправиться от дрожи, охватившей его при получении запаса патронов, — всунешь, брат, патрон в ружье, прицелишься в турка, бац, и турецкая свинья падает, наступаешь ты, значит, ей на горло, отрезаешь голову, и на душе у тебя становится легко и радостно, дайте-ка мне, братцы, флягу.

Ему подали флягу, и, напившись, он продолжал:

— Вот так-то, братья, турок — он ведь нехристь, собакой живет и умрет как собака, ей-богу, не будь я Климеш.

Его мощная фигура предстала во всей своей красе, голубые глаза засверкали, густые усы взъерошились, и перед нами был уже не Климеш, подмастерье обойщика, а настоящий воевода македонский, грозный Климеш.

И вот поставили нас в первую шеренгу, чтобы мы наводили ужас на турок: меня, поскольку на мне была европейская одежда, а Климеша за его сходство с Голиафом.

В этом походе нам впервые стало по-настоящему страшно, так как мы поняли, что окажемся в первом ряду и турки, без сомнения, изрубят нас в мелкие кусочки.

Под вечер мы подожгли пустой сарай. Он принадлежал турецкому мулле, находился на турецкой территории и был застрахован в Салониках.

А впереди вздымалась вершина, это была гора Гарван, охранявшая турецкие земли, и на ней кишмя кишели скорпионы.

Вскарабкались мы, значит, на эту гору и побросали винтовки. Мы были авангардом и первыми увидели внизу под нами костры турецких регулярных войск.

И мы перебежали к туркам. Я знал несколько предложений по-турецки и составил из них следующую речь:

— Господа турки! За нами гонятся бунтовщики, спасите наши жизни!

Все это было чистой правдой. Турки арестовали нас вполне корректно и, прежде чем повесить, решили показать офицеру.

Когда нас к нему привели, мы нашли, что этот офицер человек вполне лю-

безный. Он по-французски осведомился у меня, почему нас преследуют бандиты, на что я ответил:

— Вероятно, они приняли нас за турок.

Мой ответ так развеселил офицера, что он накормил нас, а утром с почетным эскортом отправил поездом до границы.

Это и была та самая великая битва на горе Гарван, про которую македонский воевода Климеш рассказывал в Праге, сообщая, что мы перебили там 2580 турок.

## II

Однако не только в битве на горе Гарван, о которой мы уже рассказали, продемонстрировал наш македонский воевода мужество и сверхъестественную храбрость, но также во время памятного героического взятия Манастира, когда он самым замечательным образом проявил свой блестящий талант полководца и неколебимость в отношении всего, что могло повредить интересам святого дела, за которое мы столь доблестно сражались на горе Гарван.

Те, кто потом в Праге внимательно следили за ходом его повествования об этой исторической баталии, явственно осознавали огромный вклад нашего воеводы в дело освобождения угнетенной Македонии. Они могли представить себе, какое страшное возмездие обрушили мы на турок за все их зверства, учиненные над христианами за Витошей. Хочу при этом напомнить, что наш герой всегда отличался скромностью, а может быть, ему была хорошо известна моя скромность, во всяком случае, он ни разу не упомянул о моем личном участии в этой блестящей вылазке. И за это я ему весьма признателен, поскольку в наших условиях не очень приятно слышать разговоры о том, что ты рубил головы и резал глотки сотням турок. У нас здесь несколько другие представления о морали. И стоит кому-нибудь убить хотя бы котенка, как его тут же назовут извергом. Климеш был не из тех, кто скрывает свои подвиги. Он не из того сорта людей, которые стыдятся содеянного и оправдываются потом самым глупым образом. В Праге есть свидетели следующего великолепного рассказа о взятии Манастира:

— Смею заметить, господа, что на свой отряд, насчитывающий двести человек, я не очень-то надеялся, подозревая, что среди нас есть изменник. Кроме того, дорога, по которой мы приближались к городу Манастир, была отнюдь не из самых легких, напротив, она проходила через край гористый и, я бы сказал, совершенно пустынный. Во время своего первого похода по этой местности, который был за две недели до этого, нам пришлось отравить все колодцы, чтобы турецкие войска не смогли продвигаться вглубь, и вот, представьте себе, мы сами не могли теперь пить воду из этих колодцев, хотя стояла ужасная тридцативосьмиградусная жарница. Несколько бойцов, несмотря на мой строжайший приказ не подходить к отравленным колодцам, поплатились жизнью за свое безрассудство. Двоих из них мне пришлось для устрашения повесить.

Однако это было еще не самое плохое. Изменники были не только среди нас. Каждая скала скрывала за собою предателя, готового выдать нас ближайшему вали, глядишь, и уже ага с янычарами тут как тут. А если учесть, что по дороге я насчитал тысячи две-три таких скал, то можете себе представить, каково нам было! Хорошо вам тут сидится за кружкой пива, а попробовали бы вы посидеть спокойно, когда над вами бухают пушки, а рядом трещат пулеметы.

ты и винтовки, так что поминутно в кого-нибудь попадают, и конь под вами пугается, но вы все равно скачете через ущелья, потому что турки разрушили уже все мосты, да ко всему прочему надо еще и стрелять, а ваш конь пугается еще больше и несет вас к вражескому лагерю. Вот потеха!

И вот осталось нас в конце концов восемьдесят против двадцати восьми тысяч пехотинцев из регулярных низами, четырех тысяч янычаров и бог знает скольких еще тысяч других родов турецких войск. И все они одеты в зеленую форму, как глянешь вокруг, кажется, будто это лес и сейчас мы там полакомимся малиной, а как подойдешь поближе — ба, да это же турки, разбегаются они, значит, перед нами и снова вокруг голая земля. Вот так потеха!

Видно, помогал нам святой Савва, покровитель Болгарии, которого турки вздернули в этот раз без лишних церемоний, потому что нашли у него письмо от Сарафова, вот потеха была. Ну, значит, таким вот образом в одно прекрасное утро очутились мы у Манастира. Нужно вам, господа, объяснить, что Манастир — это одна из самых укрепленных турецких крепостей в Македонии. Собственно внутренняя крепость это, как бы вам сказать, ну, вот как этот стол, за которым я сижу. А вон то пианино с левой стороны, и тот другой стол справа, и вон там пан трактирщик у двери, и те, что играют в карты в том углу, — это все как бы укрепления вокруг Манастира. Так что любой хороший стратег, собирающийся взять Манастир приступом, должен действовать так: сначала захватить пианино, потом пана трактирщика и вон тот стол. Ну, а если, к примеру, военное счастье вам не улыбнется и врагу удастся отбить центральное укрепление — пана трактирщика, то придется пана трактирщика взорвать, а из пианино вести огонь сюда, на этот стол, но прежде надо все-таки порубать вон тех, кто играет в карты.

Согласно этому продуманному плану я и действовал. Центральное укрепление мы взорвали, остальные захватили и навели наши пушки на город. Три дня и три ночи мы держали город под непрерывным обстрелом, и вот на четвертый день к вечеру является в наш лагерь прекрасная турчанка, которая изъявляет желание говорить только с македонским воеводой Климешем, то есть со мной. Я приказал впустить ее в палатку, и тут она упала передо мной на колени, стала целовать мои ботинки и умолять, чтобы я пощадил город, а она, мол, будет мне покорна, и я могу делать с ней все что пожелаю. Вот так потеха! И знаете, господа, что я сделал? Попользовался ею, а наутро мы захватили город, разграбили его и подожгли с шести углов, жителей мы без всякого снисхождения истребили, перебили и изгнали из Турции.

Друзья мои, может, кому-то из вас покажется, что это жестоко, дико — но это не так. И я вам легко докажу почему. На площади для всех нас восьмидесяти уже были приготовлены виселицы и восемьдесят бочек с керосином. Так что, сами понимаете, каково бы нам было, если бы это они пас схватили.

### III

Вот такими мужественными словами македонский воевода Климеш ясно изложил свои заслуги в деле борьбы за счастье угнетенных братьев-болгар за Витошей. Но я все-таки позволю себе некоторые из его сообщений, по возможности короче, не то чтобы представить в более правдивом свете, нет, от этого я далек, но просто объяснить, что душа его чужда была звериных инстинктов, а во всех своих поступках он руководствовался исключительно желанием спасти наши жизни.

Так, к примеру, Манастир никакой не город, а «Манастир» означает то же самое, что по-чешски монастырь, где монахи подают пропитание голодным и жаждущим путникам. Когда в тот раз турецкий офицер, у которого мы просили защиты от болгарских повстанцев под горой Гарван, приказал военному патрулю с почестями препроводить нас до болгарской границы, мы, уже на той стороне, после двухчасового марша добрались до этого монастыря. И осадили монастырские ворота, умоляя хоть чем-нибудь накормить. Поэтому слова македонского воеводы о разграблении монастыря — истинная правда, ибо мы пробыли там целую неделю и уничтожили все их припасы.

Соответствует действительности и то, что в лагерь наш явилась прекрасная турчанка. Мы действительно лежали на лугу в копне сена этой восьмидесятилетней старухи и доили ее козу. Но произошло это уже в часе ходьбы от Софии, куда мы счастливо добрались к вечеру и где Климеш впервые продемонстрировал свои раны, полученные в боях за цветущую Витошу. Он и впрямь ободрал себе лоб и руку на локте, когда в монастыре свалился в погреб во время поисков запасов вина, которое монахи от нас тщательно прятали. Однако совершенно очевидно, что это ни в коей мере не может умалить воинской доблести Климеша, который во время пребывания в Праге, разволновавшись от собственных речей, снимал пиджак, жилет и, задрав на спине рубашку, разрешал всем слушателям пощупать на левом боку твердый предмет — осколок снаряда, который застрял там, когда над ним разорвался один из многих сотен снарядов, выпущенных турецкой артиллерией во время славной битвы на горе Гарван, где мы пробились сквозь два полка регулярных турецких войск, а один полк, стоящий в арьергарде, разнесли начисто. Этот твердый предмет был блуждающей почкой, лечить которую македонский воевода Климеш приехал в Прагу.

Таким образом, можно сказать, что его храбрость и беззаветная преданность святому делу борьбы за свободу имели для нашей партии умеренного прогресса в рамках закона большую притягательную силу, а его рассказы обо всех этих многочисленных сражениях и славных победах его отряда были первыми научными докладами, которые мы вынесли на суд общественности, поставив перед собой задачу — нести свет просвещения и нравоучения, ибо что еще нужно народу, чтобы стать независимым? Ничего, кроме просвещения. А дело народного просвещения должно быть поставлено таким образом, чтобы его идеалы находили отклик в сердцах людей именно по причине своей жизненной достоверности и помогали народу осознать вредные последствия опрометчивых деяний на пути к нравственному самоусовершенствованию.

И я с уверенностью могу сказать: именно благодаря тому, что мы включили вопросы культуры в свою программу действий, нам удалось завоевать популярность даже среди тех слоев населения, которые до этого просто не знали о создании новой партии.

Наша деятельность в области пропаганды культуры совершила переворот в сознании. В литературных и студенческих кругах рассудили, что за партией, несущей в народ идеи просвещения и не пытающейся скрыть свою суть за всякими пустопорожними фразами, за такой партией — будущее.

И образовались целые толпы желающих вступить в нашу партию, поскольку теория Дарвина об организованной жизни высших млекопитающих утвер-

ждает, что даже шесть особей могут составить толпу.

Вот почему к 14 сентября 1904 года нас в партии стало уже восемь.

### **Первые неудачи партии в чешской провинции**

**Н**адо заметить, что в те времена до чешской деревни еще не дошли либеральные идеи, о которых шла речь во второй главе. В 1904 году деревня еще не была должным образом подготовлена к поддержке программы новой партии. Чешский крестьянин продолжал спокойно засеивать свои поля, а его скотина не менее спокойно мычала в хлевах и производила для него столько же молока, как и прежде. Партийные организации аграриев еще не обсуждали аферы разных Швеглов, Бергманов и Прашеков. Младочехи еще крепко сидели в своих сельских гнездах, мир и спокойствие витали над чешскими деревнями, и местные власти пребывали в спячке. Ясно, что при таком положении вещей нечего было и надеяться на то, что провинция сможет воспринять наши идеи, но мы тем не менее решились выступить с пропагандой своей просветительской программы в отсталом чешском захолустье. Единственным провинциалом, протянувшим нам руку дружеской помощи, был незабвенный Йозеф Кратохвил, сын трактирщика и землевладельца из Летнян. Когда-то сей добропорядочный муж, трижды провалившись на экзаменах в Чехословацкую торговую академию в Праге, счел более благоразумным вместо изучения текущих счетов, выписывать крестьянам счета за сырки и пиво.

Встречаясь с нами во время своих редких посещений Праги, он проникся нашими идеями и попросил меня в ближайшее воскресенье выступить перед несознательными летнянскими поселянами в трактире его отца с научным докладом. И я безотлагательно начал готовиться к своему апостольскому пути. Мне было совершенно ясно, что простой деревенский люд не поймет высокопарными, то есть бессмысленными с их точки зрения фразами. С народом надо говорить о том, что связывает его с родной землей.

Поэтому для своего доклада, который проходил в Летнянах при необычайном скоплении слушателей, поскольку пришли крестьяне даже из Винорже и Чаковиц, я выбрал тему чрезвычайно доходчивую: «Новое о проблеме истребления полевых мышей».

— Уважаемое собрание!

Это произошло в тысяча восемьсот двенадцатом году, когда английский исследователь Свифен поведал миру свою страшную теорию, согласно которой полевые мыши не размножаются. В то время над всей Европой проносились грозные тучи наполеоновских войн. Науки были попорчены силой штыка и агрессивных замыслов великого тирана Наполеона. Поэтому совершенно неудивительно, что тогда Французская академия наук не отреагировала должным образом на эту невероятную теорию англичанина Свифена, хотя Англия и Франция не находились в дружественных отношениях. И только после битвы при Ватерлоо обстоятельства изменились. Англия навязала Франции Людовика Восемнадцатого, а английский ученый Свифен решил навязать своим французским коллегам идею о неразмножении полевых мышей. Это вызвало крайнее возмущение во французских провинциях и сильное негодование в среде французской профессуры. Особенно отличился французский ученый Бернар, который в двух вышедших в тысяча восемьсот шестнадцатом году одна за другой книгах убедительно доказал, что полевки размножаются в пропорции один к двумстам сорока. Однако предатели есть везде, в том числе и среди

французов, так что два года спустя профессор Шарль Клемон выступил с новой теорией, полностью подтверждающей выводы англичанина Свифена о безусловном неразмножении полевок, что доказывалось целым рядом опытов. Цитирую: «Не считаясь с исключительными финансовыми жертвами, я приобрел двух полевок, которых поместил в одну клетку и внимательно наблюдал за ними в течение двух лет. Они не размножились».

Этот случай был тщательно проверен, в результате чего выяснилось, что, хотя обе полевки и находились в одной клетке в течение двух лет, обе они оказались самцами. После этого профессор Шарль Клемон утопился в Сене вместе со своими полевыми.

Тут в зале поднялся шум, и какой-то человек подскочил к моему столу:

— Что за чушь вы тут несете! Соседи, гоните его!

И они вышвырнули меня в мгновение ока, как я ни убеждал их, что это еще не конец и сейчас начнется самое интересное.

Вот тут-то самое интересное и началось. Они изваляли меня в грязи, сорвали шляпу и колющими погнались по дороге на Дяблице до самых Высочан.

Это была первая неудача нашей партии умеренного прогресса в рамках закона в чешской провинции. За ней последовали другие неудачи, что определенно свидетельствует о том, как мало смыслят провинциалы в вопросах культуры.

### Соратник Станислав Земан

— Даровав народу четвертого марта тысяча восемьсот сорок девятого года конституцию, австрийское правительство провозгласило централизацию, — с такими словами к нашему столу подошел молодой человек, имевший вид более чем серьезный. — У нас в Америке, — продолжал он, присаживаясь без церемоний, — правительство, разрешив индейцам на Западе резервации — «Indian Territory», прекрасно понимало, для чего оно это делает. Только тот, кто жил в сложнейших американских условиях, когда то одно, то другое тамошнее правительство принимало законы, противоречащие всякому здравому смыслу, только тот может хорошо понять, что означает централизация.

Закончив, он стукнул кулаком по столу, но, поскольку за время своего выступления молодой человек не сумел завоевать наших симпатий, нам не оставалось ничего другого, как силой водворить его на место, против чего он бурно протестовал, заявляя, что, как свободный американский гражданин и как личность вообще, он имеет полное право сидеть за нашим столом и принимать участие в наших дебатах. Уже в дверях он обратился к нам со следующим воззванием:

— Граждане! Я победил самого лучшего американского боксера негра Хансера, боксировал в Канаде и выиграл чемпионат штата Оклахома. Вас я тоже не боюсь, и, поскольку вы решились на такое насилие, мне не остается ничего другого, как назвать вас трусами.

И он удалился с такой быстротой, будто ему подпалили волосы, однако на следующий день мы, к своему величайшему изумлению, обнаружили его спокойно сидящим за нашим столом с каким-то лохматым молодым человеком, которого он представил как Вацика, дипломированного художника из Нью-Йорка. Вообще-то этот Вацик из Вршовиц. Как нам удалось выяснить, сначала он был подмастерьем парикмахера, Академию художеств сроду не посещал, а

в настоящее время занимается тем, что заказывает молодым, но набившим руку художникам картинки с видами от кроны до сорока геллеров за штуку, изящно оформляет эти творения и затем продает оптом. Земан с завидным хладнокровием представил его как американца, и кончилось это тем, что впоследствии Вацик утверждал, будто он родом из Америки, изъездил ее вдоль и поперек и во Дворце наций в Вашингтоне получил гонорар за свои пейзажи с видами прерий. А Земан ко всему этому присовокупил, что не только любовался ими, но и сам лично с помощью тогдашнего американского президента Чолгоша (он спутал фамилию президента с фамилией убийцы) оказал посредничество при совершении сделки, оформив ее по телеграфу.

С этого момента стала очевидна яркая индивидуальность личности Земана, что позволило ему в один вечер завоевать расположение македонского воеводы Климеша. Не прошло и недели, как вся его жизнь была у нас как на ладони. Но что самое любопытное, македонский воевода Климеш верил каждому слову Земана и только изредка после некоторого раздумья громогласно заявлял:

— Так бы и я сумел.

В течение этой первой недели Земан поведал нам, что он подкидыш и не знает ни отца, ни матери (это было во вторник), но уже в четверг он признался, что никакой он не подкидыш, а сын богатого фермера, проживающего в восьмидесяти милях от Нью-Йорка на самом берегу Мексиканского залива. Следует заметить, что кроме Климеша словам Земана частично верил старый маэстро Арбес. По субботам он восседал за столом и не сводил взгляда со своего портрета на противоположной стене, украшенного благодарным хозяином «Золотого литра» красно-белыми лентами. В этом тесном кругу Арбес не терпел возражений. Он все знал лучше других, обижался по любому поводу и знал, разумеется, что восьмидесяти миль явно маловато, чтобы хватило от Нью-Йорка до самого Мексиканского залива. На этот факт он и указал Земану, который моментально нашелся:

— Я сказал восемьдесят? Нет, наверное, восемьсот.

И тем самым снова поставил в тупик маэстро Арбеса. Тут вмешался македонский воевода Климеш, заявив, что все это не имеет значения — милей больше, милей меньше. А пан Шимачек, директор музыкальной школы и брат композитора Шимачека, не преминул заметить, что позволять таким молодым людям, как Земан, вольно обращаться с милями — все равно что давать малым детям играть ножом. Завязалась длительная и оживленная дискуссия, в которой Земан в конце концов одержал верх, и все это литературное и окололитературное общество вскоре верило всему, что рассказывал Земан. К его словам прислушивались и писатель Рожек, и учитель Секанина, и бледный юноша, издавший на собственные средства сборник стихов «Quarnero» [262], за что и был бит по моему наущению Фрабшей.

Земан был в апогее славы. Девица Шимачкова, которая позже вышла замуж за какого-то болгарина, поверила, будто Земан трижды переплыл в бочке Ниагарский водопад, в Калифорнии залез на исполинскую секвойю высотой в 500 футов, в начале зимы переплыл Берингов пролив, застрял в самой его середине на три недели во льдах и только с наступлением весны сумел завершить свое предприятие.

На этот период приходится и загадочное исчезновение Станислава Земана

на, — он исчез так же внезапно, как и появился. Но при этом захватил с собой в дорогу некоего Гесса, по профессии импрессарио. Вся эта история чрезвычайно запутанная. Сам Гесс говорит, что до сих пор удивляется, как он мог поверить Земану. А началось все с того, что Гессу удалось заработать с одного концерта сумму несколько больше обычной. Узнав об этом, Земан пришел к нему с изъявлениями самой искренней дружбы и предложил, раз уж есть деньги, поехать в Вену к его тетушке, которая должна ему 20000 крон из дядюшкиного наследства.

— Мы и поехали, — рассказывал Гесс, — а когда приехали в Вену, Земан и говорит: «Слушай-ка, Гесс, ты оставайся здесь в гостинице, а я пойду к тете. Приведу ее к тебе, скажу, что ты мой адвокат, и через полчаса у нас будут деньги». Не прошло и часа, как расстроенный Земан вернулся и сообщил, что мы напрасно приехали в Вену и надо ехать в Триест, поскольку тетя сейчас в Триесте. Поехали мы, стало быть, в Триест, а когда приехали туда, Земан снова отправился к тете, однако через час возвратился и говорит: «Вот незадача, тетя уехала в Ловран, придется нам ехать туда».

Когда же мы прибыли в Ловран, Земан радостно объявил, что тетушки там уже два дня как нету, что она направилась в Которскую бухту, где собирается провести лето.

Так мы и очутились в Которской бухте у самой черногорской границы, и от всей моей наличности у нас осталось всего три кроны. Приехали мы туда поздно вечером, переночевали в гостинице, а наутро Земак отправился искать тетушку. Больше я его не видел. Вот так я и остался один-одинешенек у моря на самой черногорской границе, откуда и был отправлен в Прагу по этапу.

Здесь оборвался след Станислава Земана, и вместе с ним партия умеренного прогресса в рамках закона лишилась одного своего члена.

Климеш, узнав обо всем этом, сказал:

— Наверняка он подался к албанским повстанцам.

### **Преследование первых христиан в Праге**

**В** пивную, где мы обычно собирались, ходил пан Копейтко. Это был человек весьма религиозный и всегда нам давал знать, что он нами пренебрегает и презирает нас, возможно, за то, что мы действительно разговаривали таким языком, который едва ли понравился бы господу богу, а господин Копейтко даже после десятой кружки считал своей святой обязанностью вспомнить о боге.

Поэтому мы его называли: «Первый христианин на Виноградах».

Закутанный в плащ, входил он тихий и задумчивый в пивную так, как первые христиане в римский цирк, переполненный наемниками. И когда он поднимал кружку пива, то делал это с таким набожным смирением, как поднимали христиане во времена святого Петра чашу в катакомбах. Его единственным и вместе с тем самым сильным выражением презрения были слова: «Ну, с богом», которые он бросал нам при выходе из пивной.

Мы несколько раз пытались отнять у него бога, но он всегда с тупым упорством вертел головой и говорил:

— Это все напрасно, что бы вы ни говорили, я умру в той вере, в какой и родился.

Иногда он говорил:

— В той вере, в которой я вскормился...

Служил он в бюро похоронных процессий, и, очевидно, это обстоятельство повлияло на его мировоззрение, хотя в общем он о делах своей профессии отзывался без особой набожности.

— Ну и намучился же я сегодня, запихивая в гроб эту старую бабу, — говорил он.

Кроме того, его религиозность не мешала ему перекинуться в картишки.

Так случилось, что однажды в субботу, когда мы резались в двадцать одно, он упросил нас принять его в игру. Сперва ему везло, возможно потому, что он перекрестился.

Но затем карта не пошла, и он проиграл весь до последнего крейцера свой недельный заработок. В страстном желании отыграться он попросил у нас пять крон для дальнейшей игры с нами же.

— С большим удовольствием, дорогой друг, — сказали мы ему, — но сперва дайте нам в залог свои часы, а потом заявите, что вы не верите в бога. В банке было ровно пять крон.

В душе Копейтко началась великая борьба. Так чувствовали себя христиане во время Нерона, когда их приводили к трону императора и предлагали отречься от своего бога. В банке было ровно пять крон.

— Никогда! — выкрикнул Копейтко.

— Ну, тогда мы играем без вас!

Эти наши слова для Копейтко означали то же, что в древнем Риме приказ императора: «Ну так бросьте его хищникам!»

Лицо Копейтко ясно отображало его страшные внутренние страдания.

Вместо хищных зверей римского цирка перед ним встало видение его жены.

— Господа, — сказал он, отдавая нам часы, — так я в бога не верю.

А когда получил пять крон и карту, то крикнул:

— А все-таки верю в бога и хожу за пять крон!

И проиграв, он опять сказал:

— Я не верю в бога.

Затем под обручальное кольцо он занял десять крон и проиграл их со словами: «А все-таки бог есть на белом свете!»

Затем он проиграл свой плащ. Больше проигрывать ему было нечего, за исключением своей жены, которая пришла за ним и схватила его за шиворот.

Через неделю он уехал на Святую Гору каяться.

Оттуда он привез содержателю пивной в подарок четки.

### **Преследование новой партии правительственными кругами**

**П**о возвращении из своего паломничества на Святую Гору пан Копейтко явился в полицию и донес на нас, сообщив, что мы играем в запрещенные игры, поносим господа бога и верховную власть того и этого света.

С той поры у нас объявился пан Маркуп...

Кто был этот пан Маркуп? Добрый малый, служил в комиссариате полиции, имел ничтожное жалованье и шесть человек детей. В то время как раз назревали великие бои за всеобщее избирательное право, и люди такого сорта зарабатывали деньги доносами своему начальству, которое, в свою очередь, переправляло их государственной полиции в Вену. Кроме того, дело было вскоре после посещения Праги его величеством. Пану Маркупу нужно было

подзаработать. Помнится, еще Шатобриан в свое время говорил, что полиция всегда романтична.

Итак, пан Копейтко заявил в отделе безопасности, что сил нету больше терпеть те речи, что ведутся в нашем трактире, и полиция направила туда пана Маркупа, невзирая на то, что он был отцом шестерых детей. Ведь когда пан комиссар спросил набожного Копейтко: «А что там за люди?», — тот ответил: «Бандиты, ваше благородие!» И вот теперь отец шестерых детей должен был идти к этим бандитам.

И он пошел... Подобно римскому легионеру, отправляющемуся в неведомую Британию, он шел, чтобы занять форпост во мгле чужого острова, и был уверен, что его никто не знает. Но племянник начальника полиции, который был в нашей компании, узнал его и в первый же вечер, как только пан Маркуп удалился, сказал:

— Да это же Маркуп!

То, что он нам о нем поведал, было не очень утешительно. Сей муж охотно принимает пощечины, ибо за каждую получает в виде компенсации две кроны (как-никак полдюжины детей!); еще он получает суточные, точнее, надбавку за ночную смену, пять крон за каждое посещение разбойничьего логова, что вместе составляет пятьдесят две кроны ежемесячно.

На следующий вечер пан Маркуп пришел раньше нас и сел к нашему столу, излучая вокруг себя сияние доброты. Когда мы появились, он извинился и выразил желание пересесть за другой стол. Но его уговорили остаться, убеждая, что его общество для нас необычайно приятно и что, хотя мы и говорим о политике, это, надо полагать, ему не помешает.

— Значит, договорились, — тихонько, но так, чтобы было слышно пану Маркупу, шепнул мне Маген.

— Да, — сказал я, — заканчиваем последние приготовления.

— А знают об этом на Мораве? — нагнулся к нам инженер Кун.

— На Мораве уже обо всем известно! — громко ответил я.

Пан Маркуп вздрогнул.

— Прошу извинить, я хорошо знаю Мораву, — вмешался он. — Морава всегда стояла плечом к плечу с Чехией.

— Ну, уж это вы ошибаетесь, — возразил я.

— Позвольте, господа, — не отставал пан Маркуп, — все же извольте вспомнить, сколько мораван пало у «Гвезды».

— Это для нас новость! — провозгласил Опоченский. — А вы знаете, что об этом нельзя говорить, что вы можете ввязаться в опасную историю? Начали бы, например, толковать об императоре Фердинанде...

Пан Маркуп снисходительно усмехнулся:

— А что! Неужели вы и в самом деле думаете, господа, что император Фердинанд был выдающимся человеком?

— Ну, разумеется, — сказал я серьезно. — Муж, который сумел в тысяча шестьсот двадцатом году наступить на горло гидре мятежа, поистине был мужем выдающимся. Особенно если мы учтем, что он принадлежал к благородной династии Габсбургов.

— Да, но все же он велел казнить столько чешских дворян на Староместской площади, — не сдавался пан Маркуп.

— А вы сожалеете об этом, милостивый государь?! — бешено завопил я. —

Они еще дешево отделались, эти бунтовщики, которые выбросили из окон Пражского Града королевских советников, а своего собственного короля ссадили с трона и призвали в Чехию чужеземца! И у своего собственного короля побили в битвах свыше двадцати тысяч воинов. Вы собираетесь защищать этих людей? И это чех! Не стыдно вам?

Я вижу, что через минуту вы начнете говорить о венгерской революции тысяча восемьсот сорок восьмого года, и восхвалять Кошута, и твердить, какой это был молодец! А между тем этот негодяй подделывал кредитные билеты и поднял всех горных пастухов против Габсбургской династии. А когда его должны были повесить, так этот негодяй скрылся! А вы нынче спокойно приходите сюда и начинаете прославлять Кошута, и воспевать хвалу венгерской революции, и кричать здесь: «Да здравствует революция!»

— Помилуйте, господа, ведь я ничего такого не говорил!

Я торжественно поднялся.

— Присутствующие здесь господа — свидетели, что вы это сказали! Говорил он это, друзья?

— Говорил, говорил! — раздался дружный крик. — Произносил и еще более страшные вещи!

Маген встал.

— Вы, милостивый государь, втерлись в наше почтенное общество, чтобы пропагандировать изменнические взгляды! Вы здесь, у этого стола, где сидят сыновья набожных католических родителей, хулили господа бога, кричали, что не верите в бога! Вы издевательски отзывались о непогрешимости папы римского! Вы хотели нас, порядочных граждан, свести на путь блуда и неверия! На это есть один ответ — тюрьма! Пан трактирщик, позовите полицию!

— Но, господа...

— Никаких «но»! Полицейский должен будет установить вашу личность, а мы обвиняем вас в богохульстве и оскорблении его величества! А такие вещи... Сами понимаете! Наш лозунг: «За бога, отечество и короля!» И вы хотите отвлечь нас от этого! И вам не стыдно! А еще образованный человек!

Тут появился полицейский.

— Будьте любезны, господин полицейский, установите имя этого человека. Он непочтительно отзывался о всемогущем боге, о папе, об императорской династии! Хотел нас морально развратить! Хотел сделать из нас анархистов, террористов и безбожников!

Пан Маркуп встал и произнес спокойно и веско:

— Я полицейский чиновник.

Племянник директора полиции выступил вперед.

— Вы лжете, почтеннейший! Предъявите ваше удостоверение! О, если бы об этом узнал мой бедный дядюшка!

Пан Маркуп начал судорожно рыться в карманах.

— Прошу прощения, я забыл удостоверение дома, — сокрушенно прохрипел он.

Племянник начальника полиции подошел к полицейскому, показал ему свой документ с известным каждому стражнику именем и произнес величественно:

— Ваш шеф, директор полиции, — мой дядя. — И, указывая на несчастного пана Маркупа, распорядился: — Отвести его.

В то время как полицейский отводил обескураженного пана Маркупа, вслед ему торжественно звучал наш благочестивый хорал:

*Моравию никому от веры не отторгнуть.  
Наследье отчее нам сохрани, господь...*

...Пан Маркуп у нас больше не показывался, его перевели в полицейский архив стирать пыль со старых папок.

### **Партия растет, но ее бьют**

От каждой новой политической партии требуется энтузиазм. Но энтузиазм есть и у других политических партий, не только у новой; и если новая партия столкнется с более старой в политической борьбе, то из этого неизбежно, а лучше сказать, обычно следует, что те, кто оказывается в меньшинстве, провозглашают миру, будто на их стороне моральная победа. Моральную победу одерживает всякий, кому противник переломает ноги. Толстой когда-то сказал, что моральная победа — это нечто необычайно светлое. Масарик прославлял моральную победу. Но Толстого и Масарика никогда не избивали. Итак, желающему пропагандировать принципы только что возникшей партии обычно приходится удовлетвориться моральной победой и воскликнуть: «Мы победили!», натирая себе при этом спину оподельдочком, ибо оподельдок — отличное средство от ушибов, ссадин и кровоподтеков. Так что каждой новой политической партии, а тем более каждому апостолу новой политической идеи следует заранее запастись оподельдочком. Тому, кто хочет убедить другую политическую партию в правоте своих политических убеждений, рекомендуется всегда носить при себе склянку с этой смесью, если поблизости нет пункта медицинской помощи. Каждому такому политическому оратору следует помнить, что опухоли лечатся коларской водой; когда после пощечины отекает лицо, то отек исчезнет, если натирать его смесью хлороформа с оливковым маслом, добавив немного камфарного спирта. Это средство отлично парализует действие новых политических лозунгов и ораторских приемов.

Раны, нанесенные арапником, не надо тереть, — полезно накладывать на них холодный компресс. Что же касается разбитых голов, то вам починят их в любой хирургической клинике, ибо с ростом количества политических партий наблюдается заметный прогресс в хирургии.

Если вам как оратору плюнут в глаза, не вытирайте их рукою, рукавом или платком: можете получить воспаление роговицы. В этом случае лучшее средство — теплая вода. Если же политический противник выбьет вам зуб, не приходите в отчаяние: когда политические противники выбили святой Катержине все зубы, она стала святою. Правда, в наши дни церкви ни к чему святые вроде вас, спокойно отправляйтесь к врачу, и он вставит вам новый зуб. Если собравшиеся оторвут вам на собрании ухо, хватайте его и, не дожидаясь окончания митинга, быстренько бегите к ближайшему врачу, чтобы он пришил вам его. Ну а уж если вам оторвут голову, бог с ней, не поднимайте ее: в политике голова не нужна... Вот те принципы, несомненно очень разумные, с которыми мы, члены комитета партии умеренного прогресса в рамках закона, прибыли на собрание национально-социальной партии, состоявшееся в танцевальном зале «У Банзетов» в Нуслях. Шли мы туда весело, как люди, сознающие, что если будешь сидеть за печкой, мир никогда не узнает про тебя. А мы хотели расти, как всякая другая партия. Так хотели расти старочехи, а между

тем росли младочехи. Так росла национально-социальная партия именно в то время, когда собирались расти младочехи. А социал-демократы выросли, пока национально-социальная партия воображала, что растет она одна.

Наилучшего мнения как о политической партии мы были о самих себе, поскольку утверждали, что вырастем: а ведь наибольшей победой в политике является та, за которой будущее.

И мы отправились к «Банзетам» с твердой верой, что если есть программа у национальных социалистов, то она может быть и у нас. И если одним из пунктов их программы является свобода слова, то и мы хотим иметь свободу слова, — то есть они будут слушать, а мы будем говорить. Этому памятного вечера мы обязаны тем, что смогли внести в свою программу новый пункт, который мы переняли у них: «Долой свободу слова!»

Итак, мы пришли в танцевальный зал «У Банзетов», и я взял слово после главного оратора, которому аплодировали после каждого слова, каждого взгляда и взмаха руки; ему рукоплескали, когда он поднимался на трибуну и когда слезал с нее. Но вот что странно: когда я полез на трибуну, аплодировали всего шесть человек, да и то лишь члены комитета нашей партии, а остальные девятьсот мужей и юношей смотрели на меня с таким грозным выражением, словно хотели сказать: «Целым ты отсюда не выйдешь!»

Это очень обидно. Такое обидно любому апостолу. С этого я и начал свою речь, надо ведь быть последовательно откровенным! Я начал так:

— Уважаемое собрание!

Я чрезвычайно удивлен тем, что вы не встретили меня аплодисментами. Чем я хуже предыдущего оратора? Ведь он еще не успел открыть рот, а вы уже начали хлопать...

— Вы проходимец! — раздался голос сзади; и вдруг все слушатели разом словно взбесились и бросились к трибуне с возгласами, предвещавшими мне моральную победу:

— Пошел вон, вонючка!

— Убирайся, скотина!

— Вацлав, двинь ему!

— Ах ты соцан!

— Чего вытаращился?!

А какой-то высокий человек атлетического сложения схватил меня своей мускулистой рукой за ворот пиджака и понес через разъяренную толпу с криком:

— Ты пришел сюда, чтобы сорвать собрание, так мы тебя проучим!

Из-за стола президиума раздался голос:

— Не бейте его, братья!

Но этот голос заглушила буря протеста против руководства партии:

— Ничего, лупите его, братья!

Я сохранил уважение к этим людям до сих дней.

Они избили меня, поколотили весь комитет партии умеренного прогресса в рамках закона и, выбросив нас на улицу, вернулись обратно, чтобы продолжать обсуждение вопросов культуры. Такова горькая правда...

### **В плену у карфагенян**

**П**осле пресловутой великой моральной победы «У Банзетов» наши разбитые наголову ряды подтянулись к самому верху, на площадь Гавличка. Я хро-

мал, под глазом светился фонарь, а лицо мое, как говорит Гете, не являло собой ничего доброго. Она распухло. И вот, пока мы стояли и рассуждали об этой нашей великой моральной победе, пробегающий мимо молодой человек хлопнул меня по плечу и воскликнул:

— Ба, да ты невероятно похорошел с тех пор, как мы не встречались!

Это был мой приятель Ладислав Гаек-Домажлицкий, которого я не видел вот уже два года и который стал мне симпатичен с того самого момента, когда не предал меня на Градчанах в трактире над аркой, где подают вольское пиво, то есть пиво из Вольской императорской пивоварни.

Ладислав Гаек-Домажлицкий — человек, безусловно, с характером и, кроме того, я полагаю, наш сторонник.

Вот почему у меня возникло желание коротенько поговорить о прекрасных проявлениях дружбы.

Это произошло душным летним днем 1902 года. Мой приятель Гаек объявил, что в Страговском монастыре у него есть дядюшка, декан. А у дядюшки есть деньги, и он милосерден и добр, благороден и отзывчив и очень любит своего племянника, то есть его, Гаека.

Мы отправимся к дядюшке, и Гаек напишет ему жалобное письмо, я это письмо вручу и получу за него от дяди пятьдесят крон. Вот это письмо:

*Дражайший дядюшка!*

*Осмеливаюсь обратиться к Вам с искренней просьбой сжалиться над своим больным племянником Ладиславом. Посылаю к Вам своего друга, я уже задолжал ему 12,70 крон за лекарства, которые тот оплатил из своего кармана, ибо знает, сколь тяжелы мои семейные дела, о чем и вы, дядюшка, также несомненно знаете. Признаюсь Вам, что моя мать не посылает мне никаких денег, ибо я оказался сыном, не достойным ее материнской самоотверженности. Я вел себя не так, как должно, обманывал ее и только сейчас, прикованный к постели тяжелой болезнью, вижу, как недостает мне заботливой руки матери. Но мне стыдно обращаться к ней и потому прошу Вас, дорогой дядюшка, выручить меня из той нужды и бедности, в которых я теперь пребываю постоянно. Прошу Вас, не сообщайте ничего моему другу и, если поможете мне, на что я уповаю, соблаговолите вложить деньги в прилагаемый конверт.*

*Одновременно спрашиваю у Вас, как у священнослужителя, благословения и остаюсь Вашим преданным племянником.*

*Ладислав».*

Это письмо мы сочинили в том самом трактире, куда явились без единого крейцера в кармане, ибо внизу, прямо под нами, раскинулась богатая страговская канония. Мы отлично развлекались, пили, ели, играли в кегли, курили, а в половине четвертого я отправился на Страгов к этому канонику-филантропу, дяде моего приятеля Гаека. Когда я пришел туда, мне сказали, что его преподобие декан Гаек находится на богослужении и будет через час. Я возвратился в трактир, и снова мы ели, пили, играли в кегли.

— В такой счастливый день мы можем выпить даже вина, — заявил Гаек, — мой дядя — ангел.

Мы заказали вина, а около половины пятого я снова отправился в страговскую канонию. Его преподобие филантропа-декана Гаека я нашел в кабинете, он молился по breviарию и пил пиво. Я сообщил, что меня посылает его пле-

мянник Ладислав Гаек из Домажлиц, который захворал и лежит больной, и что я должен передать это письмо его преподобию пану декану. Его преподобие распечатал письмо, прочел и, ласково сказав: «Подождите, пожалуйста!» — вышел в соседнюю комнату. Вскоре он возвратился с запечатанным конвертом, в котором я нащупал бумажку.

— Даст бог, — мягко сказал его преподобие пан декан, — мой племянник вскоре поправится. Ему очень скверно? Не может двигаться?

— Лежит пластом, ваше преподобие, — отвечал я, радостно ощупывая в кармане конверт с бумажкой.

— Насколько я успел заметить, вы чрезвычайно порядочный молодой человек, — продолжал декан. — Как ваше имя?

— Ярослав Гашек, ваше преподобие! — ответил я.

— Благодарю вас, — сказал его преподобие пан декан, и я, преисполненный благодарности, поцеловав его руку, весело возвратился в трактир под аркой.

— Несешь? — крикнул Гаек.

— Несу, несу!

Мы вскрыли конверт. В нем оказалась записка такого содержания:

*«Негодники! Я видел, как вы входили в трактир «У Карла IV»! Когда я направлялся на богослужение, вы все еще сидели там! Стыдитесь!  
Декан Гаек»*

Итак, мы стали пленниками хозяина в трактире «У Карла IV», в чуждой нам атмосфере, вдали от друзей, мы состязались в благородстве — каждый из нас предлагал сбежать в город и вернуться с деньгами, чтобы заплатить по счету.

Около шести часов вечера мы решили тянуть спичку. Нужную вытащил Гаек, побледнев, он воскликнул, что отправится в Прагу и возвратится обратно.

И покинул это мрачное узилище. А трактирщик, похаживая теперь уже вокруг меня одного, словно кошка вокруг мыши, захлопнутой в мышеловке, все повторял:

— Что до меня, то ежели бы я напоролся на мошенника, ни за что бы не стал сразу звать полицию, сначала избил бы его, как собаку, а уж потом наладил отсиживать!

И только в десять часов, когда от безысходного отчаяния я удвоил общий счет, вдруг объявился Гаек и заявил:

— Можешь убить меня! Мой дядя ссудил мне все-таки шесть крон, я заскочил в трактир, где играли в «божью благодать», мне захотелось увеличить наш капитал, но я начисто проигрался и теперь у меня — нет ни крейцера!

Древнеримский герой Регул добровольно возвратился из Рима в плен к карфагенянам, чтобы быть замученным...

### **Приятель Иржи Маген и Йозеф Мах**

**К**акими во времена французской революции были яростные якобинцы, таким был Маген в нашем обществе. Он был неукротим, потому что никто на него не сердился. Был жесток, потому что просто не имел возможности кого-нибудь обидеть. Кроме того, он учился на философском факультете. Он много о себе воображал, но мы о нем не думали ничего, и это было для него счастьем; в конце концов он и сам о себе перестал воображать; так он стал этиче-

ским анархистом. Он стал этим самым анархистом точно так, как становятся анархистами семнадцатилетние юнцы, гимназисты и реалисты, объединяясь в тайные союзы, чтобы иметь возможность собираться в каком-нибудь трактире; таким анархистом был когда-то и Маген. Хотя он заявлял, имея на то основание, что он индивидуалист, тем не менее он был этическим анархистом в самом широком смысле этого слова, а это, как утверждает поэт Маха, означает, что:

*Силу и отвагу для подвигов грядущих  
давало нам вино,  
и только оно.*

Анархист Вогрызек был для Магена сучком в глазу, потому что Маген был кáховцем и неймановцем одновременно.

*Но он про то не вспоминает,  
где задолжал, там не бывает.*

Эта фраза касается также приятеля Йозефа Маха. Сейчас, когда я пишу эти строки (а мог бы писать их вечно), он задолжал мне 27 крон, — Вогрызек посулился отвесить Махе пару оплеух за стихотворение «Анархисты», которое когда-то вышло в «Шванде-дудаке», а сейчас в библиотеке «Слуноврат», которую организовал инженер Рудольф Птачник в Турнове.

Несомненно, Вогрызек должен теперь свести счета не только с Махой, но и с паном Германом, а также и с инженером Птачником.

Йозеф Мах когда-то тоже ходил в анархистах. Таким же анархистом был и я. Теперь я хотел бы выразить благодарность полиции советнику Петрасеку с Краловских Виноград за то, что он меня переубедил. Это произошло накануне последнего визита его величества в Прагу, когда я был редактором анархистской «Комуны». Меня вызвали в полицейский комиссариат на Краловских Виноградах, и покойный ныне советник Петрасек, возглавлявший этот комиссариат, сына которого я хорошо знал, пригласил меня к себе и обратился ко мне с истинно отеческими наставлениями, похлопав при этом по плечу и добродушно пожимая мою руку:

— Дорогой друг, имейте в виду: вы значитесь в списках венской государственной полиции.

— Извините, пан советник, видимо, пражской.

— И пражской, но и венской тоже, мой дорогой друг.

— А как насчет брненской?

— Брненская не государственная, мой дорогой друг.

— Я переберусь в Брно, пан советник.

— Не переберетесь, останетесь на Виноградах, как остаюсь на Виноградах и я.

— Позвольте, пан советник, а разве анархистом быть запрещается?

— Ах! Ну зачем вы так! Отчего же запрещается быть анархистом! — ответил пан советник, — просто это влечет за собой неприятности. Вы еще человек молодой, и мне было бы вас искренне жаль. Ведь и я когда-то тоже через это прошел. Я тоже был — ого-го! Однажды я даже заявил своему начальнику: «Позвольте!» — и хлопнул дверью.

Я не собирался хлопнуть дверью, просто зацепился карманом за ручку, когда он меня вышвыривал. И только добравшись до своей комнаты в старом зда-

нии полицейского управления, я понял, что натворил. Я бросился к шефу и попросил у него прощения, и вся анархия из меня тут же вылетела.

— Вы сейчас в «Комуне», мой юный друг, — он поднялся и погладил меня по голове. — Откажитесь, приятель. У вас есть мать, жена, добропорядочная женщина, брат, который ждет места в банке «Славия», ступайте лучше к младочехам. Выбросьте из головы весь этот бензин и динамит, такие дела вам не к чести, а если уж хотите состоять в какой-то партии, которая много кричит, идите к национальным социалистам. Но коль скоро у вас имеются какие-то революционные убеждения, отправляйтесь к социал-демократам. Они хотят всеобщего избирательного права, а мы им его не дадим. Но за это мы вас не станем сажать. Только выбросьте все эти бомбы из головы. Оглянитесь вокруг и увидите, что во всем должен быть порядок. Вот, скажем, пришли вы домой, зашвырнули башмаки в угол, а потом не можете их найти и начинаете браниться, что нет порядка. Так и в политической жизни. Посмотрите на меня, я человек старый, много пережил, но не стану же я кричать «Долой короля!» нет, такого быть не может.

Он усмехнулся и сказал:

— Разве что когда мы как-то играли в очко, и я к двадцати вытащил еще короля, а держал банк, вот тогда я крикнул: «Долой короля!», потому что у меня получился перебор.

Он еще раз погладил меня по волосам и сказал:

— Значит, так, вы все это бросите! Выйдете из анархистской газеты «Комуна» и перейдете в другую политическую газету, если уж без политики никак не можете. А теперь ступайте!

И я ушел из «Комуны», основал партию умеренного прогресса в рамках закона и стал работать редактором в журнале «Мир животных».

### **«Мир животных»**

Каждый, кто является политиком, должен пройти большую школу жизни, но главное — должен научиться обманывать людей. В политике нет ничего безусловно чистого. Большинство политиков собираются в трактирах и расточают улыбки тем наивным людям, благодаря которым они имеют возможность эти трактиры посещать. И если в трактире появляется один из тех наивных добряков, что подходит к столу, где сидят политики, и говорит: «Привет, друг депутат, как обстоят дела с тем-то и тем-то? — то друг депутат демонстративно подает таковому руку и, перебросившись, с выражением живейшего участия, парочкой слов, поспешно извиняется, сославшись на то, что у него, мол, неотложная конференция с господами, что сидят за столом. Впрочем, именно за столом политиков никогда не говорят о политике, а пьют пиво или вино, и политик развлекается, как все прочие граждане, желая, чтоб эти наивные мечтатели его оставили в покое.

Но прежде чем обрести такую точку зрения, политик должен пройти школу жизни. Вот и я тоже сделал первый шаг по пути, который учит искусству обманывать людей и сбивать их с толку, потому что стал редактором «Мира животных», питая надежду, что от «Мира животных» один лишь маленький шаг до депутата в сейме. Утвердил меня в этой мысли покойный Вацлав Фукс. Выгоды ради он крестился и стал жить за счет зверушек и людей. Он был работодателем в самом мерзком смысле слова. И был не столько умным, сколько изворотливым. Мог наорать, но, если кто-то орал на него, тут же, струсив, лез

под стол. Деловые документы оформлял по старинке, но купил в кредит автомобиль. Этот человек умер, а о мертвых полагается говорить только хорошее. Редактора он считал поденщиком, а редактор, в свою очередь, его — дураком. В этом вопросе у редактора с шефом была полная взаимность.

Если бы Вацлав Фукс занимался политикой и интересовался общественными вопросами, он стал бы депутатом, ибо умел ораторствовать, умел пустить слезу, притворяться, а недостаток ума возмещал пустословием. По политическим убеждениям он был младочех и взялся покровительствовать животным. Им подписаны две книги. Название одной из них — «Все породы собак в описании и картинках. Вацлав Фукс».

Книгу эту перевел с немецкого его бывший редактор Кукла и подарил своему шефу ко дню рождения. Таким образом Фукс вошел в литературу. Вторая книга называется «Мир советов. Составил Вацлав Фукс». Ее опять же перевел с немецкого Кукла. Теперь он уже был просто обязан подписать ее «Вацлав Фукс».

Вообще журнал «Мир животных» — всё переводы с немецкого. Оригинального там нет ничего, кроме стихов Ладислава Гаек а (и то лишь в последнее время) и кроме нескольких репродукций с фотографий зобатых голубей дутышей и др. Это журнал популярный, что означает ненаучный, поэтому животных мне, естественно, приходилось придумывать.

— Что новенького будет в журнале, пан редактор? — спрашивал меня пан Фукс.

— Да уж опять какая-нибудь новенькая зверушка, — отвечивал я.

— Дай боже, да побольше!

Картинки мы вырезали из «Ди вохе», «Спорт им бильд», «Дас иллюстрирте блат», «Вейте вельт» и других немецких журналов, а иногда из «Кантри лайф» и «Ла ви а ла кампань», тексты брали только из немецких журналов, и все это называлось «единственный в своем роде чешский журнал».

Однажды мы опубликовали фотографию кошки, которую держит на руках девушка, а под ней подпись: «Кот Мими — любимчик мэтра Арбеса». Это было рекламное фото из «Одола».

Особняк Фукса в Коширжах называли «Сумасшедший дом за воротами». У него была экономка, которую все считали его женой. И хорошая жена, которую принимали за прислугу. После его смерти все встало на свои места. Барышня Драгоцкая стала кухаркой, а пани Фуксова хозяйкой.

Именно журнал «Мир животных» произвел в моей душе полный политический переворот. Все, что там делается в миниатюре, по большому счету происходит в политике. Только обманывая общество, могут за его счет безбедно жить отдельные лица. Наш журнал писал о несчастных голодных собаках-пролетариях, которые, спасаясь от побоев, забиваются куда-нибудь в угол, ко если огрызнутся, то бывают биты. Подручный Чижек бил этих собак из питомника «Мира животных». И если ночью собачий лай будил друга животных Вацлава Фукса, то из своей норы вылезал Чижек с плетью в руке и принимался избивать псов-бунтарей. Так же делается политика.

Старая дева Драгоцкая купила мне однажды три рубахи в счет оплаты безнадёжного в нашем журнале объявления этой фирмы, содрала за них полную цену из моего жалованья и стала повсюду трезвонить, что облагодетельствовала меня, хотя эти рубахи были мне совсем не нужны. Она утверждала

также, что когда-нибудь я отплачу ей за все черной неблагодарностью. Но я при помощи этого рассказа благодарю ее, так же как благодарю весь «Мир животных» за опыт, который мы у него переняли и внесли в программу партии умеренного прогресса в рамках закона, а если конкретнее — за ту великолепную фразу: «Поступай как хочешь, по о себе говори только хорошо!»

### **Помещения для собраний новой партии**

**В**сякая политическая партия располагает для собраний множеством помещений, причем отнюдь не в частных домах, но в питейных заведениях. Чем сильнее шумит в голове алкоголь, тем успешнее делается политика. Взять, к примеру, митинги, большие собрания где-нибудь в просторных залах: тут во время речи народного вождя, вождя партии, не посмеешь кашлянуть либо чихнуть — на тебя тотчас зашикают. Но официант, который разносит кружки с пивом, беспрепятственно кричит в толпу: «Кто хочет пива, платите сразу!» Тогда умолкает даже оратор, ожидая, пока пиво будет роздано, собрание утомонится...

*И смелые идеи снова  
нас поведут на бой суровый...*

Алкоголь действует возбуждающе на политическое самосознание, вызывает этакое приятное волнение в душе, и она становится восприимчивей к словам оратора: алкоголь — это своего рода предпосылка для сохранения дисциплины в политических партиях. Ради кружки пива человек отдаст за вас душу. Так бывало когда-то. Нынешние политические вожди сами пьют пиво за чужой счет. Таким образом, деятельность политических группировок всегда ограничена трактиром, и совершеннейшими утопистами являются те, кто воображает, будто можно построить просторные здания со специальными залами для народных собраний и лекций, где не подавались бы алкогольные напитки, в особенности вино и пиво. Это означало бы конец политических партий. Политика отошла бы в область минувшего, ибо на такое собрание являлся бы только оратор, да и то с бутылкой коньяку в кармане. Сегодня без пива устраивают сходки одни реалисты. У них, собственно, тоже был свой зал в одном из ресторанов, но их трезвенность погубила ресторан и вот почему: стоило заглянуть сюда нереалисту и увидеть на столах одну содовую воду, как его осеняла мысль: «Черт побери, тут, наверное, отвратительное пиво». Кроме того, реалисты и за содовую-то воду задолжали, а некоторые не заказывали даже содовой, а приносили с собой бутылочку кефира. Ко всему прочему в реалистической партии в ту пору возникло вдруг направление чешских братьев и вегетарианцев. «Чешские братья» употребляли в пищу овощи и страдали расстройством желудка; они осаждали уборную. С такой компанией дело иметь хлопотно, и трактирщик их выставил.

Таким образом, идея собраний и докладов без алкоголя не увенчалась успехом. Самые великолепные доклады могут наполнить радостью душу трактирщика лишь в том случае, когда у него есть основание воскликнуть: «Ах, если бы народ всегда так жаждал образования, как вчера, — сколько пива можно было бы распродать!»

Я подчеркиваю все это только потому, что и в те времена, когда возникала наша партия, трезвенники всем внушали отвращение, их преследовали, и мы, члены новой партии, не желая бросать вызов всеобщему мнению о необходи-

мости алкоголизма, тоже плыли по течению и снимали залы для собраний там, где подавали хорошее пиво. Это было непременно условием. Если новорожденный вспоен густым молоком, то он здоров душой и телом. Каждая новорожденная партия должна избирать для своих собраний исключительно те заведения, где есть пиво высшего качества, иначе она не только не умножит число своих членов, но, наоборот, растеряет имеющихся, ибо алкоголь — млеко политики.

Почему у христианских социалистов так мало приверженцев в Праге? Потому что они собираются там, где продается пиво виноградское или коширжское. Если бы христианские социалисты перебрались в трактир с пивом велькопоповицким, смиховским или браницким, то и католический дух глубже проник бы в нутро тех, кто сейчас относится к вере прохладно, питая предубеждение против виноградского пива. Дайте им смиховское пиво — и они грудью встанут за веру отцов!

Любопытно, что национально-социальная партия собирается в трактирах с надписью над входом: «Выдержанное смиховское пиво»; а уже под этой вывеской значится: «Местная организация национально-социальной партии».

Конечно, не каждый год смиховскому пивоваренному заводу удастся выпустить первосортное пиво.

Во времена, когда учреждалась наша партия, члены партии государственного права и радикалы — это необходимо отметить как характерный факт политической ситуации той эпохи — обосновались в трех пражских пивных, где подавалось прачское пиво. Иностранец не поймет игры слов: «радикал» и «прач»[263].

А какое пиво выбрала для своих политических целей партия умеренного прогресса в рамках закона? Велькопоповицкое, смиховское и пльзеньское. Позже, по мере роста партии, мы пивали и другое пиво, но всегда высшего качества. Из вин наша партия пила: далматинские, итальянские, крепкие испанские, нежные австрийские, а иногда и венгерские. Из ликеров и водок мы употребляли сливовицу, ром и брусничную наливку. Заглавные буквы этих слов составляют СРВ, и мы говорили: «Хлебнем-ка Свободы, Равенства и Братства». Наши центры находились в ресторане «У золотого литра» на улице Манеса, «У свечки» и в «Славянском кафе».

В «Славянском кафе» ходили Пелант, д-р Шкарда, — в настоящее время он ведет клинику в Банялуке, д-р Папоушек, сейчас адвокат в Вршовицах, д-р Рыпачек, ныне государственный советник, и другие члены партии. «У свечки» бывали друзья Дробилек, д-р Газда, д-р Грюнберг, братья Ибсеры, судья Котятко и многие другие, несущие народу в провинции идеи партии умеренного прогресса в рамках закона.

«У золотого литра» мы собирались все. Три потока сливались в единое могучее целое, и тут дебатировались различнейшие вопросы. Это были наши общие собрания. По протоколам тогдашнего секретаря комитета партии Боучека (издателя «Новой серии» — собрания превосходных книг) я и обрисовал одно из таких наших собраний.

**Поэт Томан говорит: «Monsieur, n'avez vous pas une coronne?»[264]**

**В** партии умеренного прогресса в рамках закона выдающуюся роль играл поэт Томан, фамилия его, по правде говоря, была Бернашек. Но если бы под своими стихами «Обломки жизни» он подписался «Бернашек», то не достиг бы

той славы, которую имел, подписываясь «Томан». За это он должен благодарить Эрбена, ибо многие из тех, кто брал его стихи в руки, считали, что их написал тот самый бедняга Томан из баллады «Томан и лесная фея», и проявляли глубокое сочувствие к автору. Хотя многие интересовались также, чем все это у Томана с лесной феей кончилось, и в их глазах он выглядел развратником. По сей причине поэт стал скептиком; как человек, подвергшийся преследованиям, он принялся на чем свет стоит поносить Эрбена и уехал в Париж. Про его жизнь в Париже рассказывает поэт Гельнер: «Томан отдал сборник стихов в фонд Зейера, за что и получил от Академии 400 крон. Как только Томан эти самые 400 крон получил, он явился к Гельнеру, который в то время углублял в Париже свои знания в потреблении абсента, и объявил, что вручает ему 350 франков и просит выдавать по два франка в день. Гельнер обещал, но заявил при этом, что, если Томану взбредет в голову идея явиться и потребовать деньги обратно, то он переломает ему ноги. Через два часа Томан явился и стал просить переломать ему ноги, но вернуть 350 франков, потому как он, Томан, собирается начать новую жизнь. Эту великолепную фразу частенько говаривал приятель Готвальд, выпрашивая в ночных кабаках пять крон, он заявлял: «Дай пять крон, чтобы я мог начать новую жизнь!»

Поэт Гельнер не отказал ему в просьбе и спустил с лестницы с 350 франками в кармане. Поправившись, Томан первым делом нанял автомобиль и в обществе двух модисточек с площади Грев предпринял поездку по окрестностям Парижа. А когда вечером вернулся обратно, в кармане у него осталось лишь пять франков. В трактире «Сен Луи» он выпил на все эти пять франков вина и, выйдя на улицу, хлопнул ближайшего полицейского по эполету и воскликнул: «Vive Ravachol!»[265] Хотя Франция, как известно, республика, но ее официальные круги Равашоля не поддерживают. К чести полицейского будь сказано, он попросил Томана повторить свое заявление, ибо в соответствии с французскими законами о государственной безопасности, необходимо, чтобы подобные заявления повторялись.

— S'il vous plait[266], — ответил Томан, — vive Ravachol!

Таким образом, Томан вызвал у старых ворот Сан Луи небольшой бунт парижского люда, после чего при содействии трех полицейских был препровожден в префектуру. Тут началась новая глава, повествующая о чешско-французских отношениях. Полицейский комиссар, который вспомнил, как во времена его юности на слет французских гимнастов в Нанси приезжал чешский «Сокол», заверил Томана, что чехи — прекрасный народ, и приговорил его к одному месяцу тюремного заключения (хотя за такое полагается три года) и на полгода выдворил Томана из Франции. После освобождения из тюрьмы комиссар дал Томану направление в австро-венгерское посольство, где тот получил еще один ордер в управление международного общества железных дорог, шесть франков наличными и бесплатный билет на поезд. Вот каким образом в октябре того же года Томан объявился в «Золотом литре» и с чисто французской небрежностью, когда кто-нибудь из нашей компании удалялся в сортир, следовал за ним со словами: «Monsieur, itavez vous pas une coronne?»

Часа через два у Томана в кармане набиралось 20 крон, а у нас не оставалось даже на черный кофе. «Господа, — сообщал Томан, посмеиваясь над нашей растерянностью, — теперь я могу пойти выпить вина», — и удалялся с кронами в кармане. Вот как он вступил в партию умеренного прогресса в рам-

ках закона.

## Метр Арбес

Как именно относился старейшина чешских писателей к новой партии — по сей день остается загадкой. С симпатией или без оной? И так и эдак. Протирая то и дело свои очки, он частенько говаривал мне:

— Вы глупец!

И все, кто сидел с ним вместе за столом, полностью с ним соглашались. В другой же раз отнюдь не без сарказма, он заявлял:

— Вы — преотличный человек!

На нашу партию он смотрел свысока и, как человек старый, на своем веку многое повидавший, непременно должен был об этом сказать. Мы внимали ему с благоговением, и, о чем бы мы ни говорили, метр Арбес под любым предлогом начинал вспоминать о гонениях, выпавших в жизни на его долю. Он рассказывал про Барака, после чего принимался поносить Тршебизского и Топича, и делал это с присущим ему изяществом.

— После смерти Тршебизского, — говаривал он, — Топич издал его собрание сочинений, меня же не признают, третируют, хотя любое мое произведение значительно лучше слезливых рассказов Тршебизского.

О чем бы ни заходила речь, какие бы идеи ни критиковали, Арбес непременно заявлял:

— Об этом я уже писал в таком-то и таком-то году, это я сказал в моей книге «За брата социалиста», а об этом писал еще в своей «Эфиопской лилии», а такую точку зрения выразил тогда-то в своем романе «Распятая», а эту мысль сконцентрировал в нескольких фразах в те поры, когда писал «Мозг Ньютона».

Сидящие за одним столом с Арбесом не смели высказать иное мнение, в противном случае Арбес мог или, вернее, пытался высмеять противника со свойственным ему сарказмом. Впрочем, это ему частенько не удавалось, потому что он был уже одной ногой на том свете, если можно так сказать, и подобные всплески молодой энергии были ему не под силу. Арбес оказался не в силах также войти в нашу среду, по возрасту столь ему далекую. Он говорил с нами, как старики говорят со своими внуками. Обращался к нам любезно — но с раздражением, однако, если подчас он даже высказывал мнение наивное, всегда в нем чувствовался талант. Впрочем, одно его качество всем нам решительно импонировало: метр Арбес умел пить. И пил он не как обыкновенный человек, который, взявшись пить пиво, пьет его безо всякой идеи. В этом смысле метр Арбес был эпикурейцем. Он пил с наслаждением, и наслаждением было смотреть, как он склоняет свою белую голову с высоким челом интеллигента пред кружкой пива, для него оно было не просто отваром хмеля и солода, а напитком старых германских героев, которые у сосудов с этой влагой также рассказывали о своих подвигах юношам. Арбес поучал нас, и пиво, кружка за кружкой, исчезало в утробе этого казака от литературы, а потом мы отправлялись в «Спортку» выпить по чашечке черного кофе, и метр Арбес по пути к себе на Смихов заглядывал в ночное заведение «Халупку», что на Ржезницкой улице, где и завершал свои речи о Тршебизском. И все это наш атаман проделывал в том возрасте, когда нелитераторы отправляются баиньки уже в восемь вечера.

**Казначей партии Эдуард Дробилек**

Я вынужден с сожалением констатировать, что ни один из литераторов нашей компании не завоевал такого безграничного уважения, какое выпало на долю простого человека из народа, моего друга Эдуарда Дробилека.

Прошлое его было необычайно богато событиями. Рано потеряв родителей (это обстоятельство всегда сопутствует богатому прошлому, когда жизнеописанием выдающегося человека занимается такой прославленный писатель, каковым являюсь я), он остался один-одинешенек среди бурного водоворота жизни и в один прекрасный день отправился пешком к своему дядюшке, куда-то за Лабу, около Мельника.

И с чем же встретился он на своем пути? Ожидало ли его романтическое приключение в ночной мгле, которая окутывала прилабскую долину, когда Лаба, выйдя из берегов, бушевала, разбивая свои волны о берега, коих, собственно говоря, не имела, поскольку еще не вошла в берега? Дроби лек встретился с жандармом.

— Куда изволите следовать? — спросил он Дробилека с тем тонким сарказмом, на какой способен только жандарм, столкнувшийся в ночное время с подозрительным субъектом, за какого явно можно было принять моего приятеля.

Дробилек же весьма учтиво произнес:

— А вы куда путь держите, ваше благородие?

— Я иду в Нератовице, — ответил удивленный жандарм.

— О, это поразительное совпадение: я иду как раз из Нсратовиц.

— Скажите, — спросил жандарм, — как там, у Сеземских, трактир еще открыт?

— Вы собираетесь в трактир! — воскликнул Дробилек. — Вы осмеливаетесь пренебречь распоряжением военного министерства, согласно которому прямая обязанность жандарма днем и ночью быть на ногах, отказавшись от всяких светских удовольствий, ибо как раз в этих светских радостях и коренится опасность, потому что из-за них он будет не в состоянии исправно нести свою службу!

Вот вы, например, сейчас спросили у меня, открыт ли еще трактир у Сеземских. А ведь вы, милостивый государь, даже не знаете, кто я. И я вправе предположить, что вы вовсе и не жандарм, а переодетый мошенник. Потому что, будь вы жандармом, вы не стали бы спрашивать ночью на дороге, открыт ли где бы то ни было трактир. Вашим первейшим святым долгом было потребовать у меня документы и, если бы их у меня не оказалось, арестовать меня и отвести в ближайший жандармский участок, составить там на меня протокол, и, если бы выяснилось, что я подозрительная личность и бездельник, вы обязаны были бы, согласно инструкции, отправить меня в суд, где меня судили бы за бродяжничество... Я буду на вас жаловаться!

— Но, ваша милость...

— Никаких титулов! Я пока еще разговариваю с вами как ваш друг... Вы военного министра знаете?

— Не имел чести, ваша милость.

— Тем хуже для вас! И вам не известно его последнее предписание от двенадцатого мая тысяча девятьсот первого года?

— Прошу прощения, ваша милость, не известно.

— Так вы, следовательно, не знаете того самого предписания, в котором

сказано, что, если жандарм повстречает ночью на своем участке неизвестную ему подозрительную личность, он обязан не только потребовать у нее документы, но и осведомиться: «Сколько изволите иметь при себе денег?»

И тут я вытащил бы свой кошелек и сказал: «У меня всего два крейцера, или, вернее, — исходя из министерского распоряжения о новых денежных знаках от третьего мая тысяча девятьсотого года, — четыре геллера».

— И вы, значит, не знаете также, что у нас, в Австрии, каждый путешествующий обязан иметь при себе, по крайней мере, четыре кроны пятьдесят геллеров? А поскольку у меня всего лишь четыре геллера, мне недостает до одной, установленной законом суммы четыре кроны сорок шесть геллеров, которые вы и должны сейчас мне предоставить, хотя я вас и не знаю и мне лишь известно, что вы не выполняете как следует своих обязанностей, за что можете получить дисциплинарное взыскание.

— У меня с собой только пятикрановая, — растерянно произнес жандарм.

— Вот вам и придется ее отдать, — ответил Дробилек.

Жандарм заглянул в свой кошелек и победоносно воскликнул:

— Оказывается, тут есть еще и мелочь! Сколько, изволили вы сказать, вам недостает до установленной законом суммы?

— Четыре кроны сорок шесть геллеров.

И при свете карманного электрического фонарика жандарм полностью выплатил Дробилеку требуемую сумму.

Вот так и явился Дробилек к своему дядюшке с жандармским «пособием» в кармане...

Говорят, что с той поры этот жандарм — а зовут его Франтишек Когоут — оделяет всех подозрительных субъектов, встречающихся ему ночью во время служебного обхода, давая по четыре кроны сорок шесть геллеров, и что за время, пока существует наша партия умеренного прогресса в рамках закона, он полностью разорился и в ближайшее время собирается уйти из жандармов и изображать по ночам подозрительную личность.

В связи с этим происшествием Дробилек, разумеется, снискал симпатии всех членов партии умеренного прогресса, и в следующей главе весьма уместно будет рассказать, как в одном из ресторанов он героически перенес утрату своей невесты.

### **Любовные злоключения Дробилека**

**Е**сть на свете благородные натуры, которым в конечном счете всегда достается горький удел людей обманутых, ставших жертвами черной неблагодарности. Особенно это касается взаимоотношений таких рыцарей духа с прекрасным полом: охотнее всего женщины водят за нос именно самых благородных, и именно самым великодушным мужчинам катастрофически не везет в любви.

Вот и Дробилек, благородный до того, что всякий раз он безотказно подписывал вексель Махе, время от времени переживал неудачи в любви.

Сначала он любил Барушку, повариху из ресторана «У свечки», пухленькую и наивную деревенскую девушку. Раз он даже осмелился признаться ей, что испытывает желание пойти с ней в синематограф.

— Потаскун, вот вы кто! — возмутилась Барушка. — За кого вы меня принимаете?

С тех пор Дробилек благоговел перед Барушкой и, стоило заговорить о жен-

щинах, непременно замечал: мол, одну ее такую порядочную он и знал — Барушку, стало быть. Ту самую, что через несколько лет свернула водопроводный кран, когда собиралась поутру варить кофе. Не зная, как остановить воду и страшась хозяйского гнева, она сиганула с четвертого этажа и убилась насмерть. Так умирают только нигилисты в России.

Потом Дробилек любил швею. Он всячески демонстрировал ей свое расположение и, будучи нрава кроткого и честного, как-то без всякого дурного умысла пригласил ее в лес погулять. На условленное место он явился с большим свертком под мышкой.

— Что это вы такое несете? — с очаровательной улыбкой спросила девушка, когда они садились на пароход, чтобы отплыть в пригород Завист.

— Потерпите, милая, вот до лесу доберемся... Не тут же, у всех на виду... — отвечал Дробилек, преданно глядя ей в глаза.

Когда они наконец оказались в лесу и уселись на траву, облюбовав местечко, скрытое от людских взоров, Дробилек, прижавшись к своей второй возлюбленной, нежно заворковал:

— Золотко мое, я тут захватил двое подштанников да пару рубашек, и нитки у меня с собой. Подштанники в шагу треснули, рубашки на локтях протерлись. Уж вы мне, золотко, почините прямо сейчас, а? — И, восторженно оглядевшись, воскликнул: — Нет, вы только послушайте, как поют птицы!

Рассказывая нам эту историю, Дробилек неизменно добавлял, вздыхая:

— Представляете, обозвала меня пентюхом. Я ей даже подштанники протянуть не успел — а ее уж и след простыл. Может, она меня не так поняла, когда я ей предложил подалее пойти, в самую чащу?

После этого досадного случая он долго поглядывал на женщин с опаской, пока в один прекрасный день не заявил, что его полюбила хозяйка винного погребка, где он сорил деньгами. Но иссякла его щедрость, и ее любовь остыла, а Дробилек лишний раз убедился, что с бабами лучше не связываться.

Обходил он их стороной до тех пор, пока не познакомился с Вильмой, прелестной дочкой хозяина трактира, где он обедал.

— Странно все-таки, — не раз дивился Дробилек, — у трактирщика куча дочерей, а я почему-то люблю именно эту. Поразительное совпадение. Придется на ней жениться, если кто-нибудь не перебежит мне дорожку.

Дорожку перебежал друг Фёрстер.

— Мадемуазель, — обратился он к предмету вождеденной любви Дробилека, — как можно выходить замуж за Дробилека, если вас люблю я? А не хотите замуж за меня, давайте хоть сбежим вместе.

На следующий день Дробилек праздновал помолвку с Вильмой. Через час после начала торжества явился Фёрстер и, вызвав невесту в коридор, стал пространно внушать ей, что, во-первых, выходя замуж за Дробилека, она делает неверный шаг, ибо еще слишком молода; во-вторых, что он любит ее ничуть не меньше Дробилека, поэтому, как уже говорилось, лучшее, что она может сделать — это убежать из дому и наплевать на все. Если же она не в силах отказать от Дробилека, тогда он сам заставит жениха порвать с нею и заняться одной из ее сестер. Он предложил ей бежать прямо сегодня вечером и переночевать с ним в гостинице, а Дробилеку оставить извинительное письмо — вот смеху-то будет! А еще смешнее будет написать, что жениха она совсем не любит. Интересно, что тот станет делать?

Оставив ее в коридоре, он подозвал Дробилека и сообщил ему, что мадемуазель Вильма желает с глазу на глаз поделиться с женихом планами на будущее. Дробилек проторчал с Вильмой в коридоре добрых полчаса и, вернувшись к гостям, сказал:

— Невинное дитя, она просто рыдает от счастья — я обрадовал ее, что вся мебель уже заказана, а в церкви три оглашения договорился произвести.

Только мы разгулялись на помолвке, как снова вмешался Фёрстер: дескать, сегодняшнее событие хоть и знаменует начало новой жизни, но не надо думать, что помолвка — делу венец, и, нежно обняв Дробилека, добавил:

— Какие бы невзгоды ни встретились на твоём пути, не забывай, что я всегда останусь твоим лучшим другом!

Той же ночью Вильма бежала.

Когда на следующий день Дробилек по обыкновению явился на обед, предвкушая, как на десерт подадут любимый пудинг, его взору предстала следующая картина: в распивочной за кружкой черного пива сидел отец Вильмы. Увидав Дробилека, он еще издали крикнул:

— Пан Дробилек, я просто волосы рву на голове — ну, что ты тут поделаешь!

Озадаченный Дробилек прошел дальше. За прилавком сидела заплаканная трактирщица, а из кухни выглядывали зареванные личики пяти ее дочерей. Подошла официантка с красными от слез глазами:

— Бедненький пан Дробилек, вы уже знаете, да? Вильма сбежала!

— А десерт? — в ужасе воскликнул Дробилек.

Услышав такое, трактирщица всплеснула руками и понеслась на кухню, крича по дороге дочкам:

— Боже мой, пан Дробилек с горя тронулся!

Тогда к Дробилеку подошел сам трактирщик и протянул ему записку, написанную рукой Вильмы:

*«Пан Дробилек, почтеннейший пан Дробилек! Прошу у вас тысячу извинений, что я вас не люблю и что я убежала. Ваша любящая Вильма».*

По лицу Вильминого отца, человека добропорядочного, текли слезы, а Дробилек, сунув письмо в карман, тоскливо спросил:

— Пан трактирщик, но десерт-то вы мне все-таки оставили?

Тут подросла официантка Боженка, слезы так и капали на большую порцию малинового пудинга, который она протянула Дробилеку со словами:

— Бедненький пан Дробилек, вы так любите пудинги! А она ночью взяла и убежала!

Дробилек, с блаженной улыбкой уплетая пудинг, отвечал:

— Слава те господи, а я уж испугался, что вы мне и пудинга не оставили!

Каждый раз, вспоминая эту историю, он добавляет:

— В жизни не видать мне больше такой порции пудинга, как тогда, когда невеста от меня убежала. Ох и вкусотища была!

### **Франтишек Шафр читает свой новый рассказ «Расплата»**

**Ф**ельдфебель Марган из 10-й роты энского ополченского полка, несомненно, был по натуре большим чудаком. Так считали все, и начальство и подчиненные, расходясь, однако, во мнении, — в чем же все-таки заключается чуда-

коватость Маргана. Начальство — подпоручик Гессл, поручик Штер и Квех, командир роты, были убеждены, что фельдфебель Марган, несмотря на странности, самый выносливый из солдат, подчиненные же, сержант Павлоусек, капрал Калсус и ефрейтор Чейка дружно утверждали, что их пан «фельд» — собака из собак и самая мерзкая тварь во всей австрийской армии.

Не будем гадать, кто был прав, а просто отметим, что простой пехотинец Якуб Валек, всюду, где только мог, твердил, что «фельд» Марган — дрянь и ничтожество, которому издевательства над подчиненными доставляют каннибальское наслаждение, который умеет прямо-таки виртуозно, когда надо, выкручиваться и всех обштопать так, что перед вышестоящими он выглядит хорошим а солдатам, изгиляясь над ними сколько влезет, дать почувствовать все тяготы службы той властью, которую субординация и воинская дисциплина вложили в его руки. Валеку можно поверить, ибо был он парень достаточно сообразительный и притом настолько обеспеченный, что мог позволить себе говорить такое всюду, где это не выглядело прямым нарушением субординации. Отец его, богатый мельник, давал ему возможность платить за друзей, и те верили, что Валек мог бы купить пана фельд а вместе с потрохами и таким образом облегчить себе изнурительную военную службу.

Валек, однако ни разу не предпринял подобной попытки, и, оговоримся сразу, не было во всей роте и даже во всем полку больших врагов, нежели Марган, и он, Валек. Пан фельд гонял Валека надо не надо, но тот, тем не менее, нес службу исправно и всегда был начеку, чтобы не завалиться на серьезном проступке. Так, в тайном состязании, прошел для Валека весь первый год службы.

Наступил год второй, подросли новые рекруты, и Валек надеялся, что его заклятый враг, занявшись «абрихтунгом»[267] новобранцев, ослабит внимание к его особе. Но он жестоко просчитался. К кому пан фельд Марган прицепится, тому уж не так-то просто вырваться из его когтей. Пехотинцу Валеку, кроме всего прочего, пришили на воротник звездочку и откомандировали в качестве «хильфсоргак'а»[268] пану фельдфебелю при предстоящих учениях. Иначе говоря, он стал барашком, искупляющим все грехи мира, и время, отведенное для обучения новобранцев, стало для него поистине восхождением на Голгофу. Как бы он ни старался, все было плохо, и пан фельд всегда находил случай, чтоб на его примере продемонстрировать новобранцам, как не должен выглядеть австрийский солдат.

Лавина отборной брани так и сыпалась на голову несчастного ефрейтора, и с поистине каннибальским сладострастием тиран наслаждался муками своей жертвы, которая с величайшим трудом сохраняла самообладание, чтобы внезапным взрывом справедливого гнева не обеспечить себе неизбежный карцер. О том, что пан фельдфебель только того и ждет, Валек знал преотлично, и потому как можно крепче сжимал зубы, когда тот начинал орать, и казался каменным, хотя прекрасно понимал, что большинство новобранцев, хоть это и нелепо, над ним потешаются. Он знал, что в армии, более чем где бы то ни было, действует закон: «Коли ты попал в беду, жди насмешек», и изо всех сил старался даже глазом не моргнуть, чтоб не выдать, что творится у него в душе.

Было пятое ноября. Тяжелые, свинцовые тучи, застлавшие все небо, с самого раннего утра поливали землю густым дождем и исключали любые учения на улице. Пришлось ограничиться занятиями в казармах, которые проводил

сам пан фельдфебель.

По причине мерзкой погоды, в настроении самом отвратительном, фельд с большей, чем обычно, энергией отыгрывался на бедолаге Валеке, чем давал повод к исключительной веселости рекрутов.

Валек переносил сегодня измывательства своего шефа с удивительным хладнокровием, более того, ему и самому это казалось комичным. Он то и дело возвращался воспоминаниями ко вчерашнему вечеру, к статной Маржке, с которой накануне познакомился. Девушка была словно цветок вишни и обворожила нашего ефрейтора с первого взгляда. Вечером он договорился с ней встретиться. В полку сегодня дежурил поручик Штер, хоть и немец, но человек вполне приличный. Увольнительная на вечер вроде бы обеспечена, и даже злые умыслы фельдфебеля ему теперь не страшны, а потому и бесконечные издевки своего «благородного доброжелателя» он сносил легче, чем обычно.

Пан фельд Марган избрал на сегодня предметом беседы тему самую важную, он говорил будущим защитникам родины о субординации и дисциплине, время от времени поглядывая при этом, не улучшается ли погода. Около десяти часов на минуту рассеялась мрачная завеса, и слабый солнечный свет затрепетал на крыше складских помещений напротив. Из-за трубы вылез прятанный там большой кот и, лениво потягиваясь, нежился на солнце. Этот факт не укрылся от глаз пана фельда и дал изобретательной душе его возможность показать на примере, что, собственно, есть воинская субординация.

— Все к окну! — скомандовал он резко, и приказ его был выполнен мгновенно.

— Ефрейтор Валек, гляньте-ка на ту трубу, — произнес пан фельд с необычным добродушием. — Вот медведь так медведь, а?

Новобранцы удивленно переглянулись, но никто не отважился выразить удивление словами.

Валек посмотрел на крышу. Он мгновенно отгадал замысел фельдфебеля. Шута из себя он делать не даст, но, не видя иного средства самообороны, решил твердо стоять на принципах реальности. Он сдвинул каблуки и ответил:

— Осмелюсь доложить, это не медведь, а кот.

Именно этого и ждал от него фельдфебель.

— Как это так, — загремел он во всю силу легких, — вы позволяете себе возражать? Я ваше воинское начальство или не я? Хотите нарушить субординацию? Если я сказал, что там медведь, значит, там медведь, будь он тысячу раз кот. Ефрейтор Валек, если вы не скажете, что это медведь, отправитесь в карцер. Ну?

Валек стоял бледный как полотно, без кровинки в лице. Это было издевательством совсем новым, и, если бы он пошел жаловаться, кто его знает, чем бы кончилось дело. Но если он ослушается, то, по крайней мере на сегодня, арест ему обеспечен и вечернее свидание полетит ко всем чертям. Мысль о Маржке вернула ему хладнокровие. Не станет же он портить себе вечер.

Валек растерянно поскреб затылок и очень тихим голосом произнес:

— Осмелюсь доложить, это медведь, но маленький!

Слово «маленький» являло собой попытку протеста.

Рекруты грохнули смехом, а пан фельд, просияв лицом ярче ноябрьского солнышка, вскричал:

— Вот видите! Я его научу, что значит субординация! А вам, — это относилось уже к новобранцам, — пусть это послужит наукой. Начальство в армии может сказать любую чепуху, для того оно и начальство, но подчиненный возражать не смеет. Нигде и никогда!

На этом закончилось обучение, а Валеку под злорадный хохот новобранцев проклинал поочередно то фельда, то кота. Естественно, мысленно.

Зима тянулась медленно, но в конце концов кончилась. Рекруты стали солдатами, но отношения между фельдом Марганом и ефрейтором Валеком не изменились. Как вдруг...

Не зря говорится, что колесо судьбы вертится, а бог готовит возмездие. Случай отдал фельда-тирана в руки Валека. На складе амуниции что-то стряслось, и ефрейтор Валеку, который по причине особой любви к пану фельду отнесся к этому с большим интересом, стал обладателем тайны, куда это исчезают со склада штаны и башмаки и как старые сапоги превращаются в новые. Фельдфебель Марган попал под следствие, и одного слова Валека было бы достаточно, чтобы его окончательно уничтожить. Ефрейтор же был по натуре добряк добряком и мести не жаждал.

Он рассудил, что у фельда есть семья и что воинскую казну щиплют все, кто может... Он скрепил рукопожатием свое обещание Маргану, что ничего не скажет, но ему не было чуждо ничто человеческое, и он не отказался от мести моральной. Валеку отлично помнил, как осенью фельд унизил его перед рекрутами при помощи кота, и твердо решил за лекцию о субординации отплатить.

Случай представился на другой же день после того, как Валеку дал фельдфебелю слово молчать. Полк проводил учения под командованием поручика на плацу, и у ефрейтора Валека было достаточно времени для размышлений о возмездии. Прозвучала команда «вольно», и поручик отошел выкурить сигарету.

На коньке крыши военной пекарни, что неподалеку, уселись воробьи, и этого не пропустил быстрый глаз ефрейтора. И тут в его мозгу блеснула идея. Он подошел к фельду и, тыча пальцем в направлении крыши, закричал так, чтобы все солдаты слышали.

— Пан фельд, пан фельд, гляньте-ка, аисты!

Фельдфебель Марган очнулся от задумчивости. Он прикидывал, будет ли Валеку молчать, ведь это решало дело, и ему было чего бояться. Заботы помешали фельду понять, куда метит ефрейтор.

— Рехнулся? — ответил он, чтобы хоть что-то сказать. — Ведь это воробьи!

— Пан фельд, — произнес Валеку приглушенным голосом, чтобы слышать могли только они двое, — вы громко скажете, что это аисты, иначе я не сдержу своего слова.

— Что-о? — заорал фельд, в ярости на мгновение забывшись, но тут же здравый смысл взял верх, и ему вспомнилась осенняя история с котом.

— Я заслужил подобное наказание, — сказал он тихо и, растерянно скребя в затылке, громко произнес:

— Вы правы, ефрейтор, и впрямь аисты, только маленькие.

Полк испуганно таращил глаза. Все солдаты знали историю с котом, но никак не могли взять в толк, откуда столь странная покорность у обычно нагоняющего на всех страх фельда. Впрочем, долго над этим ломать голову не стали.

И они тоже были удовлетворены тем, что видят унижение вредного фельдфебеля, и гомерический хохот потряс весь полк.

Пан фельд сообразил, что самое лучшее — хохотать вместе со всеми, хотя ему было не до смеха.

— Расплата добрая и остроумная, — молвил он, стараясь держаться бодро, чтобы сохранить хотя бы остаток посрамленной репутации, — и потому, ефрейтор, я не сержусь. — И протянул Валеку руку.

— Значит, мы квиты?

Ефрейтор пожал руку укрощенного тирана и, все еще задыхаясь от смеха, подтвердил:

— Да, квиты, еще как квиты!

### Рассыльный партии поэт Фрабша

На заре политического становления партии весьма выделился талантливый поэт Фрабша. Просто не было тогда более восторженного семнадцатилетнего юнца, проповедующего чешскую литературу, нежели Фрабша. Уже в возрасте шестнадцати лет он издавал журнал, и не один, а целых пять, и к тому же писал лирические стихи, где сообщал, что душа его качается на золотых струнах. Но лишь значительно позже он займет надлежащее ему место в литературе, хотя уже сейчас этот юноша известен во многих литературных кругах. При имени «Фрабша» многие, надо признать, с отвращением отворачивались, но знали его все. Он был муравьем на чешском Парнасе. Если кто видывал в лесу муравьев, то мог заметить, как один из них, вдруг, ни с того ни с сего ухвативши щенку или что-нибудь подобное, то есть предмет в несколько раз больше и тяжелее себя самого, тащит его, собрав все силенки, через бугорок, а ведь бугорок для него с гору. Но едва он забирается наверх, как щенка скатывается вниз, а он снова и снова возвращается за ней, и так с утра до ночи. Муравей никогда не надаёт духом, более того, и это доказано, — если за ним наблюдают, — трудится с еще большим усердием.

Так и Фрабша без устали издавал свои лирические стихи на свои же деньги, выпускал один за другим журналы по искусству и литературе и все это с энтузиазмом, ну, скажем, семнадцатилетнего муравья. Мы, основатели партии, встречались в квартире, где проживали воевода македонский Климеш и поэт Розенцвейг-Мойр. Туда заглядывал также друг Ярослав Кубин, художник, два досточтимых брата Марека, хаживал молодой человек, нигилист. Этот покупал у Бёма на площади Фердинанда на два крейцера шутих, тайком добирался в Годковички, поджигал их и удирал. Как видите, то были времена великого революционного брожения. Сюда же, на эту частную квартиру, захаживал подмастерье из лавки лакировщика, он писал стихи, по его утверждению, содержания необыкновенно прекрасного и смотрел на Фрабшу с таким же благоговением, как индус взирает на статую трехголового Будды. В те времена Фрабша брал в долг у этого самого подмастерья деньги, но тратил их исключительно на то, чтобы осуществить свою мечту, обуявшую его, когда ему было еще тринадцать, а именно на издание художественно-литературного журнала, который назывался «Вольна трибуна».

— В Чехии, — восклицал он пламенно, — необходимо только одно, чтобы публика перестала интересоваться газетами, в которых одни лишь политические сообщения да события дня. Нам необходимо, чтобы чех, встав поутру, имел возможность прочесть хорошие стихи, мои и других авторов, чтобы сра-

зу же утром, притом ежедневно, он узнавал, какие новинки готовит чешская литература. О том, например, что я собираюсь выпустить свой благоухающий чистой лирикой сборник стихов «На золотых струнах», сборник «На струнах позлащенных», а позже имею намерение напечатать сборник «Песни жаворонка» и стихи «О юность золотая, безвозвратная!»

Тут воевода македонский Климеш заявил, что целиком присоединяется к предложению этого юноши и сам он поспешит завершить свой эпос «Битва на горе Гарван» для литературно-художественного журнала. На следующий день он принес начало вышеуказанного эпоса:

*Свершилось! Турки дрожали,  
их зубы дрожь выбивали,  
потом они побежали,  
а звуки органа  
на гору Гарван  
возлетали.*

И вот в те самые дни, полные великого ожидания, Фрабша, наша поэтическая надежда и вдохновение, провозгласивший, что чистая лирика исключает любой реализм, стал работать рассыльным у нашей группы и за умеренную мзду носить рукописи Опоченского к моему другу-издателю, который в ту пору еще размещался на Лазарской улице. Конечно же, друг Лочак помнит безусого юношу с выбитыми зубами, который до хрипоты торговался за каждую крону аванса и все говорил о белых цветах, о свежих бутонах лирики, но тем не менее твердо отстаивал наши требования, ибо для этого юного, доброго и бескорыстного поэта каждая вырванная из кармана издателя крона означала двадцать процентов комиссионных. Возвращался он веселым, с сияющими глазами, в которых играла детская доброта, и с сигаретой во рту.

Но в тот прекрасный день, когда мы, Опоченский и я, вручили ему большую пачку рукописей для друга Лочака, Фрабша к нам больше не вернулся. Лишь через неделю, хмурым дождливым осенним днем, когда мы уныло сидели вокруг стола, в комнате вдруг появился Фрабша, в руке он держал кипу первого номера «Вольной трибуны», того самого литературного журнала, который издал на наши денежки. Воевода македонский был весьма огорчен, потому что всю эту неделю нас терзала великая жажда, он поднялся, схватил Фрабшу в охапку и уволок в сортир, где и запер, заявив, что мы будем держать совет, как с ним поступить по законам военного времени. После чего вернулся к нам и сказал:

— Думаю, нам нечего ломать головы из-за этого негодяя, мы просто расстреляем его. Так поступали с предателями в Македонии.

Все были согласны. Мы вытащили Фрабшу из сортира, сунули ему в руки наши рукописи и стали убеждать, что он должен выжать из пана Лочака как можно больше денег, потому что эти деньги необходимы нам для покупки револьвера, из которого мы его застрелим.

Фрабша возвратился через два часа, но вместо денег притащил револьвер. По причине того что он не купил патронов, мы разбили револьвер об его голову, а потом продали, потеряв на этом тридцать процентов.

### **Адольф Готвальд, Переводчик с западных языков**

**К**огда я собирал материал для этой обстоятельной истории новой партии, многим стало известно, что они будут описаны в ней. Все вели себя по-раз-

ному. Одни мечтали попасть в книгу, полагая, будто я хочу создать нечто вроде обозрения, в котором будут превозноситься заслуги каждого из них. Ясно, что бедняги жестоко обманулись. Считаю своим долгом сразу и прямо сказать об этом, чтобы и остальные, до кого дойдет очередь в следующих главах, заранее приготовились к своей печальной участи. Некоторые, услышав, что я собираюсь писать о них, пытались угрожать: мол, только посмей!

Ладислав Гаек, после того как я подтвердил ему свои намерения, впал в полное отчаяние и сказал, что он этого не заслужил. Сразу видно, что у человека совесть не чиста! Должен заметить, что сначала я вообще намеревался написать роман, действие которого происходило бы на галерах, и все, о ком идет речь, были бы изображены в нем в ролях убийц, профессиональных грабителей и прочего сброда. Только лишь благодаря моей жене Ярмиле, уговорившей меня, я отступился от первоначального замысла и избрал более изысканную и изящную форму. Что я больше всего ценю в литературе, так это возможность выразить в ней любую мысль разным способом.

Перейдем теперь к третьей группе людей. Эти, проведая, что я буду писать о них, переполошились и буквально тряслись от страха. Они знали, на что я способен. И вот люди, известные в чешском обществе, поняв, что они у меня в руках, сделались настолько любезными, что начали давать мне советы, как их надо описывать. При этом они оказались так непростительно наивны, что полагали, будто я, изображая их характеры и описывая поступки, воспользуюсь вымышленными именами, чтобы не сразу было понятно, о ком идет речь. Когда же я со всей откровенностью объявил, что самое замечательное в этой книге как раз в том и заключается, что все они будут выведены под собственными полными именами и фамилиями, чтобы читатели сразу знали: ага, мол, это такой-то и такой-то, — среди тех, о ком я говорю, началась паника. Они приходили ко мне один за другим и просили, чтобы я того-то и того-то о них не писал. Таким образом я узнал вещи, о которых раньше не подозревал или же запамятовал. (Пришлось кое-что даже записать.) Поэтому я считаю сих мужей в некотором смысле своими соавторами, за что и приношу им искреннюю благодарность.

Одним из них был как раз Адольф Готвальд. Он сам мне указал путеводную нить, которой я должен придерживаться, изображая его особу. Никогда не забуду его слов:

— Пиши обо мне, что тебе вздумается, можешь даже написать, что я люблю выпить, но только, прошу тебя, не приписывай мне каких-нибудь дурацких высказываний!

Тем самым он как бы невольно признавался в своей слабости к красноречию, так же как и Опоченский, который просил меня: «Знаешь, Гашек, о той Марженке не надо писать». Гаек страстно и нежно уговаривал меня не упоминать об Анежке, Мах просил не говорить о тех книгах и зимнем пальто, и Луи Кршикава не хотел, чтобы я писал о черном плаще инженера Куна, инженер Кун умолял не трогать трактирщика Перглера, и прочие и прочие, и среди них Дробилек, убеждавший не вспоминать Лидушку и ту толстую хозяйку винного заведения. Всю эту длинную череду исповедей венчал протестующий и отчаянный вопль Адольфа Готвальда: «Только не приписывай мне каких-нибудь дурацких высказываний!»

Я и впрямь не знаю, как мне быть с Адольфом Готвальдом. Я действительно

не помню, чтобы он сказал какую-нибудь глупость. Сколько ни напрягаю память, не могу припомнить ничего подобного. Дело в том, что Адольф Готвальд вообще никогда не говорил от себя и не имел своего собственного мнения. Все, что он произносил, были цитаты из всемирно известных философов. А если какую-нибудь глупость сморозил Кант, Фихте, Шопенгауэр, Ницше или другой знаменитый философ (ведь и самый умный из них иной раз не уберется от какой-нибудь глупости), то разве я могу сваливать вину на Адольфа Готвальда? Разве он вдохновлял этих людей? Думаю, что скорее наоборот. Смело берусь подтвердить, что из уст Адольфа Готвальда исходили только чужие мысли, которых он имел возможность в великом множестве наглотаться из книг, потому что зарубежная научная и развлекательная литература — это и есть его хлеб как переводчика. Именно цитатами из переведенных книг он и сыплет во время дебатов во всевозможных питейных заведениях, ибо истинная правда и то, что он любит выпить, о чем он и разрешил мне написать. Мне остается объяснить, что же он любит выпить. Могу заверить каждого, что, кроме воды и молока, он не брезгует никакими напитками. Не понимаю только, почему он решил, будто этого мне хватит в книге на целую главу, ведь то же самое я уверенно мог бы сказать и о любом чехе, включая и так называемых абстинентов.

И еще два слова, друг Готвальд. Прочитав эти строки, ты обрадуешься, что наконец-то я оставил тебя в покое. Но ты жестоко ошибаешься. В одной из глав я еще расскажу, как ты ведешь себя в обществе!

### **Послесловие к тому первому**

**К**ак в томе первом, так и в томе втором речь пойдет о различных выдающихся личностях в чешской истории. Все то, что я о них сообщил, я обязан был сообщить как историк, пишущий подробную историю какого-либо политического движения. Путь я избрал самый лучший — не хвалить никого, кроме себя. Потому что если начнешь превозносить всех, о ком пишешь то сам потеряешься в этой благословенной толпе. Из вышесказанного также вытекает, что мне известны последствия дифирамбов.

Впрочем, последствия в полной мере предвидеть невозможно, уже хотя бы потому, что я знаю наших, а зная их, всегда надо предполагать, что можно получить по физиономии. В этой связи я позволю себе познакомить всех заинтересованных с историей возникновения оплеухи. Первая оплеуха, о которой упоминается еще в Библии, была отвешена во время пресловутого изгнания из рая падших ангелов. Отцы церкви, к которым принадлежал святой Августин, утверждают, что тогда дело не обошлось без мордобоя. В средние века эта история подробно рассматривалась в различных религиозных сочинениях, и было единодушно признано, что вопрос о том, сколько именно оплеух отпустил архангел Гавриил Сатане, несомненно, спорный. Епископ Отто из Ржезно подсчитал приблизительно, будто их было 500000 и утверждал, что одна оплеуха длилась целый день, таким образом прошло 1386 лет, прежде чем падших ангелов из рая вышибли. В Китае пощечина во времена мудреца Конфуция была уже явлением довольно привычным. Конфуций утверждает, что мудрость не может обойтись без рукоприкладства, ибо и сам великий мудрец и философ также бивал сам и был бит. А классическая Греция устами Платона, ученика Сократа, этот вопрос разрешает весьма однозначно в своем трактате о том, что лучше: быть влюбленным или невлюбленным. Тут Платон явно на-

мекает на супружеские отношения своего учителя Сократа и сообщает, что даже самый великий ученый и мудрец тоже может получить по физиономии. О том, что у иудеев пощечины были делом обычным, свидетельствуют слова Христовы: «Если тебя ударят по правой щеке, подставь левую».

В древней Персии считалось бесчестным дать кому-либо по физиономии голой рукой. И в персидской «Авесте» пятая заповедь гласит: «Если желаешь ударить кого-либо по лицу, употреби для этого сандалию».

В древнем Египте прелюбодеев бивали по лицу каменными таблицами. В Древнем Риме дать пощечину считалось весьма непристойным, и если кто-то делал такое, то и сам был бит по физиономии публично на городской площади. Мы можем убедиться, что во времена жестоких цезарей римских пощечина стала неким средством к исправлению христиан. Во времена императора Диоклетиана, как отмечается в Библии, святой мученик Лаврентий получил 3000 пощечин от легионеров из Сирии и Кимберии по приказу самого императора Диоклетиана. Но так как и после этого он не исправился, его бросили в кипящее масло. Проходили годы, миновали целые столетия, и пощечина постепенно распространилась по всей Центральной Европе, пока наконец не достигла кульминации в тот период чешской истории, когда где-то в Германии некий чешский пан в имперском сейме или на какой-то другой мирной конференции съездил по физиономии некоему курфюрсту, ибо у чешского короля хотели отобрать титул главного официанта. Те, кого интересует, о каком трактате шла речь, могут узнать это в «Истории чешского народа» Палацкогo.

И снова должны были пройти века, пока оплеуха наконец под влиянием все растущего образования не была взята на вооружение педагогами как средство воспитания юношества. Но тут появилось мнение, что учителю негоже выходить из себя, и дело повернулось так, что министр образования запретил все телесные наказания в школах по всей Австрии. Пощечина осталась единственным средством воспитания лишь в парламенте и заняла выдающееся положение особенно в австрийском имперском совете, а также в венгерском сейме. Таким образом, пощечина стала политической акцией, политическим оружием и, вне всякого сомнения, именно в этой сфере имеет многочисленных пропагандистов.

Что же касается того, как далеко проникло понятие пощечины в широчайшие слои народа, об этом свидетельствуют некоторые любопытные народные поговорки, как-то: «Оплеуха — как бревно», а в Моравии — «Оплеуха — как Брно», и так далее. Пощечинами занимаются психология и криминалистика. И обе эти науки добились поистине удивительных результатов.

Крупнейшими научными авторитетами доказано, что набить кому-то морду способны лишь люди чрезвычайно низкого интеллектуального уровня, псевдоинтеллигенты, люди безнравственные, подонки, негодяи и дураки.

По этой причине каждый вторник я ожидаю визита одного подонка, который хочет надавать мне пощечин. Но на улице я прошу этого не делать, ибо моя жена не любит подобных публичных эксцессов. Кроме того, заявляю, что я учился боксировать у пражского чемпиона Гойера, и что в нашем доме лестницы очень крутые, и я избью каждого, кто в определенный день постучится в мою дверь. К тому же нас обычно во вторник не бывает дома.

Мой адрес: Вршовице, 383. Но этот адрес я выдумал.

## II

**Апостольская деятельность трех членов партии умеренного прогресса****Профессор Франтишек Секанина. Чешский критик**

**М**ало найдется в Чехии людей такого умиротворенного вида, как профессор Франтишек Секанина. В особенности мало критиков, взирающих на мир с такой приятной улыбкой, как у пана Секанины.

Скажем, критик д-р Арне Новак — ни дать ни взять заплечных дел мастер. А критик Водак из «Часа» смотрит волком и удивительно похож на того человека, что сопровождает осужденных к виселице. На витрины книжных магазинов глядят они, что Новак, что Водак, с большим неодобрением, читая там, за стеклами, фамилии приговоренных. И то и знай досадливо плюют, как только на глаза им попадается знакомая надпись: «Новинки». И вот уже готовы вздернуть автора на виселицу. Насколько не похож на них профессор Секанина! Ну где еще найдется такой человек — неизреченной доброты, большого сердца, готового вместить в себя всю чешскую литературу! Да будь у Секанины состояние, он роздал бы его все без остатка; будь он врачом, стал бы лечить бесплатно, при моровом поветрии благоговейно стал бы предавать земле тела умерших... Ах, что за превосходный человек профессор Секанина!

С неизменной улыбкой сживал он среди нас «У золотого литра», с такой же ласковой улыбкой читывал материалы, присланные ему на рецензию, и никогда не выносил автору смертного приговора, а как французский король Луи-Филипп, жаловал всех негодяев своей милостью. Лишь кое-где — и то, конечно, с величайшим тактом — касался наиболее слабых мест литературного произведения и завершал статью примерно так: «Вот разве кое-какие незначительные просчеты, которых автор в дальнейшем безусловно избежит, могли бы еще озадачить читателя. Так, например, автор упорно пишет слово «ошибка» через «ы», а «полагать» во втором слоге через «о». Многочисленные германизмы попали в текст, конечно, тоже по недоразумению — и книга, несмотря на некоторые недостатки формального характера, будет прекрасным подарком для всякого, кто прочтет ее с удовольствием и вниманием, ибо он встретится с настоящей жемчужиной современной чешской литературы, и даже если Анна все-таки выходит замуж вопреки воле родителей за главного героя, Пешака, кончается роман к полному удовольствию стариков, поскольку автор очень вовремя и с большим блеском раскрывает нам, как молодой Пешак стал совладельцем дома. Отменно радуется и то, как там, в далеком чешском захолустье, утверждает свое национальное самосознание целая семья. А пассаж об окрестных лесах просто-напросто умиляет читателя — в этих нескольких строчках нельзя не почувствовать аромат хвои и здоровую атмосферу провинции, где отдыхаешь душой».

В сборнике самого захудалого поэта открывает Секанина пусть мелкие, но все же подлинные перлы и в заключение выразит надежду, что поэтическая форма молодого автора с течением времени будет становиться совершеннее, поскольку в целом сборник безусловно являет рождение таланта, особенно стихотворение «Сумрак», где нам больше всего понравится великолепное двустишие:

*Потом еще через минуту  
над лесом выплыл месяц гнутый.*

«Правда, и в этом стихотворении есть кое-какие погрешности формы, так, например, со словом «март» не рифмуется «лета закат», а со словом «хвоя» — «на кусте айва». У поэта было похвальное намерение создать стихотворение без рифмы, и надо с полным основанием предполагать, что в недалеком будущем нас ждет новая встреча с этим истым тружеником, взирающим на мир своим умудренным оком».

В такого рода фразах, мелькающих в «Народни политике» под рубрикой «Литература», и видим мы безмерную любовь профессора ко всем без исключения людям, его всеобъемлющее стремление жить с каждым в мире и согласии, не наступая никому на идеалы, — в соответствии с гуманным девизом знаменитого немецкого поэта: «Leben und leben lassen»[269]. И если Арне Новак с Водаком мысленно говорят себе: «А вот я тебе напишу, невежа!» — критик Франтишек Секанина взывает: «Пиши, сыне, пиши!..» И сей призыв, исторгнувшись из большого сердца пана Секанины, звучит в каждой строке, которой он приобщает достоуважаемого читателя к таинству новейшей чешской литературы, — будь это жанр поэзии, романа, драмы и даже труд из совсем другой области человеческой деятельности, на который Секанина взирает столь же снисходительно и любвеобильно. Вот так исторгся из большого сердца Секанины подкупающе прекрасный отзыв на книгу инженера Палички об испытании железобетонных мостов на нагрузку. «Читаешь книгу, и сердце не нарадуется», — начинает друг наш Секанина свою пространную и восторженную рецензию. И продолжает: «Эта книга — лучшее из того, что мы имели до сих пор в новейшей чешской литературе».

И так же по-отечески, с приветливостью человека большой души вел себя Секанина в личной жизни: «У золотого литра» улыбался всем нам ободряюще, не вступал ни в какие полемики и на все утвердительно кивал своей благообразной головой. Охотнее всего ел итальянские вареные колбаски, разрезая их с таким благоговением, с каким разрезал книги, присылаемые на рецензию. Съев порцию, всегда с сожалением смотрел на следующий кусок и, надо думать, мысленно испрашивал прощения за то, что должен его уничтожить. Похоронив колбаски, запивал их пивом и вновь с великодушием, не знаящим себе подобных, вставал на защиту даже самых ничтожных из третьестепенных поэтов.

Благодаря вышесказанному и появилась поговорка, имевшая хождение в литературных кругах: «Кого Секанина похвалит, того Водак высечет».

### **Художник Ярослав Кубин**

**У** колыбели партии умеренного прогресса в рамках закона стоял также мой друг Ярослав Кубин. Мы познакомились на Карловой площади, в парке, где я сидел и изучал большую карту Венгрии. Какой-то юноша, явно в хорошем настроении, подошел и, сев рядом на лавку, спросил:

— Простите, сударь, это Франция?

— Венгрия, молодой человек.

— Да нет же, — сказал он, — вас обманули в магазине. Они так делают. Возьмут карту Франции, проставят венгерские названия и продают за Венгрию.

По стилю его речи я сразу понял, что передо мной художник или что-то в

этом роде. Мимо нас, пританцовывая, шел в это время еще один молодой человек. Мой сосед ухватил его за плечо и, растерянного, недоумевающего, притянул ко мне, говоря:

— Вот, голубчик, рассудите, пожалуйста: это Франция или Венгрия?

Притянутый часто заморгал глазами под пенсне и сказал:

— Англия.

— Не разыгрывайте нас! — воскликнул утверждавший, что на карте Франция. — Садитесь, мы сейчас все разберем.

И не успел притянутый сказать ни слова, как уж сидел на той же лавке, попеременно дрыгая то одной, то другой ногой.

— Вот видите, — сказал первый незнакомец, — как говорится, век живи — век учись. Тут, надо вам сказать, не Франция, не Англия, но и не Венгрия. Тут Турция.

И, сделав страшные глаза, он закричал:

— Послушайте, на что это похоже? Расселись — даже не подумали представиться!

Так мы и познакомились.

— Ярослав Кубин. Окончил Академию художеств, — сказал первый юноша.

— Франтишек Вагнер. Состою в балетной труппе чешского королевского Национального театра в Праге, — с достоинством сказал второй.

В тот же вечер я привел их в «Литр», где они вступили в партию умеренного прогресса в рамках закона. Прием новых членов проходил у нас без всяких формальностей, но любой из вновь принятых обязан был произнести речь на указанную нами тему. Это служило у нас введением в курс ораторского искусства.

Каждому члену партии вменялось также в обязанность беспрекословно выполнять задания, которые большинством голосов будут поручены ему как репрессивная мера за недостойное поведение. И надо ведь чтоб в тот же вечер, когда приняли их с Кубином, артист балета допустил серьезную бестактность: во время речи генерального секретаря ковырял пальцем в носу. В соседнем зале сразу же собрался репрессивный совет.

— Кто его привел? — спросил Маген.

— Мы с Кубином, — ответил я.

Нас отослали обратно к бедному недоумевающему Вагнеру, а после четверти часа горячих дебатов председатель репрессивного совета, Маген, ознакомил нас с приговором, составленным в письменном виде.

*«Франтишек Вагнер за непристойное поведение настоящим приговаривается к следующему:*

*Утренним поездом прибыть послезавтра в Иглаву и оттуда пешком, через Моравию, Дольные Ракоусы, Венгрию, Хорватию, Краину, Штирию и Горные Ракоусы, прийти в Чехию, с тем чтоб в субботу октября седьмого дня этого года явиться снова к восьми вечера на штаб-квартиру партии «У золотого литра». Одновременно обязать Ярослава Гашека и Ярослава Кубина сопровождать Франтишека Вагнера на всем его пути и следить за неукоснительным выполнением данных ему предписаний. О малейшем нарушении оных Франтишеком Вагнером незамедлительно телеграфировать исполнительному комитету. Одновременно выдать из партийной кассы трем упомянутым лицам подъемные в размере 40 (сорока) крон и вменить всем троим в*

*обязанность повсеместно пропагандировать программу партии умеренного прогресса в рамках закона, каждый пятый день обстоятельно информируя нас о своей апостольской деятельности».*

Седьмого октября того же года, ровно в восемь вечера и появились мы все трое «У золотого литра», пройдя пешком чуть ли не половину средней Европы.

Что значит дисциплина, господа!

### **Апостольская деятельность трех членов партии, отраженная в письмах исполнительному комитету**

Иглава, дня...

**В**о исполнение задачи, возложенной на нас репрессивным советом, сообщаем, что к Франтишкеку Вагнеру пришли мы в четыре часа утра и предложили тут же собираться в Венгрию. Не без оснований полагаем, что он принял это за милую шутку, и только когда, протерев глаза, увидел рюкзаки у нас за плечами, гольфы и прочее туристское снаряжение, испугался и — можем в этом поклясться — горько заплакал. Мы заявили, что он не представляет себе, чем может обернуться для него отказ выполнить предписание совета, — и лишь тогда он начал вяло одеваться. С лица его при этом не сходило выражение панического ужаса. Поскольку он, сами понимаете, никак не снарядился в наш миссионерский путь, то должен был смену белья сложить в большую бельевую корзину, весившую восемь килограммов. Попробовав поднять ее, он бросился перед нами на колени, заклиная отпустить его. Мы, разумеется, были неумолимы и отыскивали у него в гардеробе две длинных полоски темно-зеленого сукна, он их обертывал вокруг бедер, когда в балете ему поручали партии сицилийских бандитов. Ими мы обмотали ему икры поверх брюк, и получилось нечто вроде туристических гамаш того злосчастного английского путешественника лорда Эвереста, который первым перевалил через Гималаи. За всеми этими приготовлениями следил Франтишек Вагнер с каменной неподвижностью дикого поросенка, на которого в джунглях уставилась кобра. Потом мы положили перед ним листок бумаги, чтобы он мог известить о внезапном отъезде свою старую тетку, у которой он проживал, и продиктовали следующее:

*«Дорогая тетя!*

*Волею судеб я должен обойти пешком полсвета. Если по дороге погибну, тут же сообщу.*

*Целую, твой племянник Франтишек».*

Полумертвого выволокли мы Вагнера вместе с корзиной из дома и в ближайшей распивочной опрокинули в него шесть чарок сливовицы, так что потом он уже шел за нами кротко, как ягненок. В шесть двадцать выехали мы на Иглаву — через Колин, Кутну Гору, Немецкий Брод. В пять тридцать пополудни прибыли в город, где разыскали пана Боздеха — сотрудника филиала Живностенского банка. Франтишек Вагнер вел себя безукоризненно, и вечером того же дня в иглавской «Чешской беседе» назначили мы первый доклад о партии умеренного прогресса в рамках закона и ее взглядах на положение чешского национального меньшинства. Едва собрание было открыто, явился комиссар полиции в сопровождении чиновника уездной управы и вежливо нас попросил проследовать в магистрат. Мы пошли с ним, и в магистрате нам

учинили допрос. Интересовались, какие цели ставит себе наша партия. Но когда Кубин их уверил, что в немецких населенных пунктах мы хотим провести для чешского национального меньшинства доклады о правомочных действиях немцев в Чехии, о чешской нетерпимости и экспансионизме, а также цикл лекций о немецкой литературе, приняли нас очень благосклонно и отвели в немецкое казино, где угощали до трех часов ночи. Потом в поддержку предложения помощника бургомистра Шафранека провел и сбор добровольных пожертвований и вручили нам их, в сумме ста двенадцати крон, на покрытие дорожных расходов. Помощник бургомистра Шафранек устроил нас на ночлег, а утром мы отправились к нашему другу Боздеху, который страшно нам обрадовался и заявил, что, когда нас забрали в магистрат, собрание чешского меньшинства послало в «Народни листы» телеграфное сообщение о совершенном пангерманцами насилии над тремя чешскими туристами в Иглаве и что министру юстиции тоже послана телеграмма с требованием запретить насилие над чешским человеком на земле славного маркграфства моравского.

Если в «Народних листах» вы прочтете сообщение о наглей горькой судьбе, не волнуйтесь: ибо как раз в это время мы покидаем помощника бургомистра Шафранека, унося с собой письмо, где горячо рекомендуют нас знойемскому магистрату. Нам, чехам, не позволила бы совесть вводить в расходы чешское национальное меньшинство — пусть лучше в Знойме тратится на нас немецкое большинство.

### **Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона**

#### *Марушице на Мораве*

**В** Марушице мы попали не прямо. Из Иглавы пошли на Тршебич, а уж оттуда божьим промыслом дошли до Марушиц. Дорогой никаких особых происшествий не было, только за Тршебичем — родиной славных социал-демократических вождей Шмералей — остановили нас два полицейских. В Тршебиче, как оказалось, пропала бельевая корзина, и полицейские, увидев, что подобную вещь тацит вспотевший Вагнер, приняли нас за воровскую шайку.

Лишь когда мы предъявили документы и вместо дамских панталон Вагнер извлек из корзины свои подштанники, поверили, что бельевых корзин мы не крадем. Довольные, что доказали свою невиновность, вошли мы в Марушице. Марушице, деревня, отстоящая от Зноймо километров на тридцать, насчитывает четыреста жителей. Связи с внешним миром они почти не имеют.

Через Марушице не проложено ни имперского тракта, ни земских, ни местных дорог — зато в Марушице есть местная секция Клуба туристов, Общество друзей озеленения и Общество гостеприимной встречи приезжих. Кто может забрести в такой медвежий угол? Мысль эта особенно удручала тамошнего учителя, который после смерти школьного попечителя был прислан сюда из Брно. По счастливому совпадению получил здесь крошечный приход и новый капеллан — тоже из Брно. За год эти два молодых человека пытались сделать из Марушиц место, куда повалят толпы туристов со всех частей света. И как торговец мог бы рекламировать штиблеты, так рекламировали пан учитель с капелланом — в «Лидовых новинах» и других газетах — эту деревеньку.

«Если вам хочется насладиться природой среди исторических памятников, приезжайте в Марушице. Здесь есть секция Клуба чешских туристов, Обще-

ство друзей озеленения и Общество гостеприимной встречи приезжих».

Хотя, конечно, до ближайшей станции отсюда десять часов пути.

И вот прошли одни вакации, потом другие... а в Марушице не забрел ни один приезжий. Пока наконец там не появились мы. Мы сидели в сельском трактире за кружками довольно скверного пива местного производства, вылавливая оттуда мух, и на вопрос трактирщика о том, сколько здесь намерены пробыть, ответили, что мы намерены сейчас же идти дальше. А в окна между тем глазели на нас все девяносто шесть деревенских ребятишек. Потом из всех ребячьих глоток разом грянуло:

— Хвала господу богу нашему Иисусу Христу, — и в трактир вошел пан учитель с его преподобием капелланом. Они направились прямо к нам, поклонились, и учитель проговорил с радостной дрожью в голосе:

— Я позволю себе приветствовать вас, господа, как председатель местной секции Клуба туристов, как член Общества друзей озеленения и заместитель председателя Общества гостеприимной встречи приезжих.

А синеглазый капеллан тепло добавил:

— Мы очень, очень рады, господа!

Через порог шагнул какой-то отрок и торжественно провозгласил:

— Телега для снопов готова, пан учитель!

— Идемте, господа, идемте! — вскричал капеллан, и нас, подталкивая, повели к телеге, в которую были впряжены кобыла и корова. На телеге стояло пять стульев, искусно привязанных веревками к ее боковым перекладинам. Здоровенный плечистый возница ухватил нас каждого сзади за штаны и за шкуру и водрузил на стулья. То же проделал он с капелланом и паном учителем. Толпа детей, едва только возница вскрикивал «Нно-о», пророкотала снова: «Хвала господу богу нашему Иисусу Христу», — и по колеям невообразимой дороги телега, сотрясаясь, въехала на гору. Там телега остановилась, возница так же ловко поставил нас каждого снова на землю, и пан учитель с его преподобием повели нас к какому-то здоровенному камню, намазанному красной краской. Тут пан учитель обнажил голову, его преподобие обнажил голову, возница обнажил голову, и мы все обнажили головы.

— Здесь, уважаемые господа, на этом самом камне, сидели святые Кирилл и Мефодий.

— Простите, — сказал я с невинным видом, — где именно сидел святой Кирилл: на левой стороне или на правой? Еще хотелось бы узнать, где сидел святой Мефодий. Слева или справа?

— Согласно нашим изысканиям, — сказал пан учитель, — сидел здесь только святой Кирилл, святой Мефодий стоял вон там, на следующем камне.

Тот камень был покрашен синей краской.

Мы подошли к нему с непокрытыми головами и благоговейно устались на свежие отпечатки чьих-то сапог, которые на нем виднелись. Отпечатки были намазаны колесной мазью.

— Но это, господа, еще не все, — сказал капеллан, — постойте, сейчас поднимемся на следующую гору.

И опять мы тряслись на телеге по ухабам и рытвинам и после долгих мытарств въехали на холм, посреди которого лежал вросший в землю валун, побеленный известью. Мы снова обнажили головы и сгрудились вокруг валуна. Слово взял капеллан:

— Здесь, господа, на этом самом камне сидел Наполеон, перед тем как повел свое войско на Аустерлиц.

Кубин почесал в затылке:

— Позвольте, господа, тут явная ошибка. Я долго занимался историей и занимаюсь по сей день, прочел обширную литературу и изучил много материалов по этому краю. Ряд видных чешских историографов, которые тоже изучали эту проблему, приходят к выводу, что как раз здесь — где, по-вашему, сидел Наполеон — стоял святой Мефодий, Наполеон же сидел на том камне, где, по-вашему, сидел святой Кирилл, а святой Кирилл стоял как раз на камне, где стоял святой Мефодий...

Если, друзья мои по «Золотому литру», вы где-нибудь прочтете, что марушицкие капеллан с учителем рехнулись, не удивляйтесь — это вполне закономерно. У них в округе полно было еще разных исторических камней, а мы им все их перепутали, так что потом учитель с капелланом сами не могли понять, присел ли Бонапарт там, где расположился отдохнуть Амос Коменский, или стоял он на святом Кирилле, тогда как сверху взгромоздился на него коленопреклоненный святой Мефодий.

### **Чешская Орлеанская дева м-ль Зюссова**

**У** Жанны д'Арк есть свои последователи в Чехии. Партия умеренного прогресса, как явствует из двух предшествующих глав, росла, и за ее существование шла ожесточенная борьба на всей обширной территории, отделяющей чешскую землю от Адриатического моря.

А тем временем в «Золотом литре» продолжала спокойно посиживать м-ль Зюссова.

«Süss», или, как теперь пишется, «sis», по-немецки означает нечто очень сладкое, сладостное.

Но когда м-ль Сисова стала подвизаться на ниве чешской литературы и волей судеб получила в свои руки «Беседы» Выдры, голос у нее неожиданно изменился.

В Китае случается, что курочки, вырастая, оказываются петушками. Вот и м-ль Сисова, став редактором «Бесед» Выдры, заговорила вдруг с Г. Р. Опоченским, стоявшим у дверей ее девичьей редакционной комнатки, громким, оглушительным басом:

— Войдите!

«Что это за малый там за дверью?» — удивился Г. Р. Опоченский, который принес в «Беседы» целую кипу своих стихов о несчастной любви, и постучал еще раз.

— Входите, пожалуйста, — снова послышался из-за двери глубокий бас.

Опоченский вошел и, к своему изумлению, увидел за письменным столом коротко стриженного мужчину в женской юбке, спросившего низким голосом:

— Что вам угодно?

Как позднее рассказывал нам Г. Р. Опоченский, он никак не мог объяснить себе странное поведение вышеупомянутого мужчины, переодевшегося в женское платье, и тут ему подумалось: а может быть, м-ль Сисова попросила своего брата, младочешского редактора, на какое-то время заменить ее. И вот преданный брат переоделся в женскую одежду, хотя и не стал подкладывать себе грудь, и, гладко выбрившись, ожидал прихода авторов.

Г. Р. Опоченский обратился к переодетому брату м-ль Сисовой:

— Разрешите попросить вас, уважаемый пан редактор, не будете ли вы так любезны передать мои стихи вашей сестре!

— Сестра этого воображаемого брата я сама, — раздался из-за письменного стола басовый голос, — что это за бредни, спятили вы, что ли?

Опоченский в ужасе протянул загадочному существу свои стихи и быстро ретировался.

На улице, поразмыслив, он сообразил, что собирался ведь просить аванс.

Густав Р. Опоченский вернулся, снова постучал и снова услышал басовое:

— Войдите.

Дрожа всем телом, Опоченский вошел.

— Мне бы, пан редактор, пардон, мадемуазель редактор, аванс какой-нибудь! Дело в том, что я нахожусь...

— В стесненных денежных обстоятельствах, — прозвучал из-за письменного стола басовый голос.

— Совершенно справедливо, в стесненных денежных обстоятельствах.

— И вы хотите аванс за стихи, пан Опоченский.

— Хочу аванс, как не хотеть.

— Хватит вам пятнадцать крон, пан Опоченский? — снова прозвучал басовый голос.

— Еще бы, конечно, хватит, пан редактор, пардон, мадемуазель редактор.

— Вот вам чек, и заметьте себе, что я женщина!

— Замечу, что вы изволите быть женщиной, — отозвался Г. Р. Опоченский, комкая в руке чек на пятнадцать крон.

И подойдя к существу, сидевшему за письменным столом, поцеловал ему руку со словами:

— Целую руку, мадемуазель!

Девица эта была не кто иная, как чешская дева Орлеанская, чешская Жанна д'Арк, м-ль редактор и писательница, женщина, стоящая выше всяких флиртов, истинная благодетельница как литератор и как редактор, святая дева Сисова.

Рассказывают, однажды напали на нее три парня.

— Барышня, — обратился к ней один.

— Чего вам от меня надо, разбойники, — воскликнула она своим глубоким басом, от которого тополя дрожат, как осины.

Парни в испуге бежали, побросав свои вещи.

И еще одно чудо свершилось с чешской девой Орлеанской.

Гуляя как-то по лесу, она для собственного удовольствия пела арию из «Далибора». А директор Национального театра как раз неподалеку от той, что столь прекрасно пела, собирал в лесу грибы.

Он и поныне ищет сей бас, желая пригласить его на сцену Национального театра...

### Пан писатель Рожек

Пока мы, трое рядовых членов партии, поднимали ногами пыль на проселках, пан писатель Рожек выходил каждую субботу из своей квартиры на Жижкове и бок о бок с женой трусил к «Литру». Толстячок с благодушным лицом, он мог бы показаться человеком очень незлобивым, но тот, кто думал так, глубоко заблуждался. Знаете докторшу Скршиванкову? Так вот, эту даму

он самым изощренным образом довел до такого отчаяния, что она отравилась. А ее мужа обрисовал последним негодяем, так что тот счел своим моральным долгом застрелиться, к тому же на глазах у публики: на сцене Интимного театра в Смихове. Специальность пана писателя Рожека — растаптывать семейное счастье, разрывать супружеские узы. И эту сокрушительную деятельность он направляет главным образом против людей среднего сословия. Ничто не доставляет ему большей радости, как случай послать анонимное письмо любовнице самого уважаемого человека в городе. Такие письма этот толстяк с благодушным лицом пишет сам. И более того: он публикует их — когда у Вилимека, а когда в «Мае».

Если чета молодоженов несказанно счастлива где-нибудь у сторожки лесника, пан Рожек наймет браконьеров, и в самый сочельник пуля наемного убийцы настигнет счастливого супруга за тарелкой ухи.

Молодую жену благодушный пан Рожек, злорадствуя, столкнет в прорубь, а если не удастся разбить счастье семьи сразу, поставит бедного служащего перед открытой кассой именно тогда, когда семья его в стесненных обстоятельствах, и примется нашептывать: «Возьми две тысячи крон... Возьми четыре тысячи... Возьми всю кассу...»

Служащий поддается на провокацию и выгребает всю наличность.

А тут, пожалуйста, — ревизия... Тогда пан Рожек подсакивает к растратчику, ведет его к открытому окну и говорит: «Пусти себе в лоб пулю из револьвера», — и служащий, выбросившись из окна, разбивается насмерть. Таковы драматические перипетии сюжетов пана Рожека, и в этом состоит неповторимость его творческой природы. Герой романа у него, скажем, все время собирается травиться. Читатель думает: «Отравится, куда ему деваться!» А когда все уже ясно, как дважды два, оказывается, что герой повесился. Вы представляете себе удивление читателя?! Говорят, Рожек не всегда был таким заклятым врагом рода человеческого. Первый роман издал на свои деньги где-то в провинции, в нем никого не лишал жизни, только владельца типографии лишил надежды, что роман выдержит и второе издание. А книга была предназначена читателям из средних слоев общества, и, когда пан писатель Рожек убедился, что слои эти ее игнорируют, со всей жестокостью обрушил на них свою месть. Как моровая язва, свирепствует он среди них с тех пор и не щадит даже невинных младенцев. Все у него должно иметь трагический конец.

И этот ангел смерти сидел каждую субботу «У золотого литра». Один из нашего литературного братства рассказывал, что зашел однажды к пану Рожеку домой и услышал из передней, как писатель говорит своей жене:

— А что, Марженка, может, задушить мне канцеляриста Комарека руками сторожа из податного управления?

— Не лучше ли, мой друг, — жена ему на это, — если ты, скажем, его заколешь или столкнешь со скалы во время пикника?

— Ну, не горюй, Марженка, — засмеялся ангел смерти, — как-нибудь да угробим...

Затем глазам вошедшего открылась умилительная сценка: двое малюток играли у ног своего страшного отца, нимало не подозревая, что на четвертушке лежащей перед ним белой бумаги он в эту самую минуту нанимает человека, который убьет Комарека... И этот тип назначен теперь школьным попечителем в Жижкове! Хорошенькое поколение он воспитает, если вместо запове-

ди «Не убий», провозглашает повсеместно: «Убивай всех и каждого!»

## Второе письмо миссионеров с дороги

Вена, дня...

«Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона.

Настоящим вынужден сообщить весьма неприятную новость о предательском поведении Франтишека Вагнера. На адрес: Вена, Марияхильферштрассе, 7, жду телеграфных указаний о том, как с упомянутым Вагнером поступить. Дело происходило так. С рекомендательным письмом иглавского магистрата знойемскому благополучно добрались мы до этого города, где отдали письмо бургомистру в собственные руки и, добавляю, при этом не переставали повторять: «Jawohl, jawohl!»[270] Знойемский бургомистр был председателем общества немецких туристов юго-западной Моравии — Provinz Westsüd-Mähren. Он выписал в поддержку нашей инициативы чек на сто крон, и эта сумма была тут же выплачена казначеем общества, пока мы еще продолжали восклицать: «Jawohl, jawohl!»

Затем, поскольку нас никто не контролировал, отправились мы в «Чешскую беседу», где Вагнер спел какие-то куплеты, после чего стал обходить собравшихся гостей. Сбор, поступивший нам в поддержку, с лихвой покрывал все дорожные расходы, так что нам оставалось сверх того еще двенадцать крон. Всего мы таким образом располагали капиталом в сто сорок две кроны. Согласно принятому нами раньше общему решению должность казначея исполнял каждый из нас по три дня подряд. В тот день должен был заступать Вагнер, который, приняв на хранение деньги, по своему обыкновению заявил:

— Зря не получите у меня ни крейцера.

Кубин хотел было пойти промочить горло, но Вагнер сказал, что на это он денег не даст и делать этого не имеет права и что его священная обязанность выдавать из вверенной ему суммы на необходимое, а не на всякую ерунду. Он призван охранять их общую казну от недостойных посягательств.

Должен вам сообщить, что в Зноймо есть базар. Это край сильно развитого земледелия, что, разумеется, небезызвестно, поскольку знойемские огурцы, лук, шпинат, помидоры и прочий овощ составляют тут главный предмет вывоза.

«Нашел о чем сообщать, болван...» — подумаете вы, читая эти строки, достойные того, чтобы их поместили где-нибудь в крестьянском календаре.

Пишу же я об этом просто потому, что с упомянутым товаром нам пришлось столкнуться очень близко, — я и теперь еще вижу во сне груды помидоров, отвалы лука, среди которых я лежу, рассолы знойемских огурчиков, куда я погружаюсь с головой, и накрывающие меня пучки шпината. А на соседней постели лежит Вагнер и плачет, как старая одинокая женщина, у которой последний из внуков отправлен на виселицу.

Кубин, пока я пишу эти строки, ходит широким шагом по комнате, останавливается время от времени у постели Вагнера и ругает его на чем свет стоит.

Теперь послушайте, что этот негодяй устроил. Еще в Зноймо мы кричали, что от него можно сбрендить, а теперь кричим это тут, в Вене.

Итак, в Зноймо был базарный день. Мы обосновались в одном чешском

трактире и запаслись табаком.

Вагнер смотрел из окна на базарную площадь и ахал:

— Вот это кралечки! Это я понимаю!..

Должен сказать, что Вагнер накануне того дня уже поплатился за свою эротическую невоздержанность. На подступах к Зноймо вздумал было облапить какую-то сельскую красотку, но та с размаху так наподдала ему ногой в живот, что его через полчаса вырвало и он сказал только:

— Признайтесь все-таки, что бюст у нее отменный!

— Оставил бы ты кралечек в покое, — заметил я резонно.

(Он все еще дергался там, у окна, при виде молодых крестьянок в национальных костюмах, хлопочущих возле телег с разными овощами — будь они неладны.)

Вагнер не послушался и, закричав: «Ух ты, какой розанчик!» — выбежал из комнаты.

Мы с Кубином восприняли это довольно равнодушно и продолжали лежать — один на постели, другой на кушетке.

Но прошел час, прошел второй, а Вагнер все не возвращался. Ну как сквозь землю провалился вместе с нашими деньгами!

Исчез. «Исчез» — пугающее слово, так это коротко и так немилосердно длинно.

Спать мы легли на голодный желудок. То ли он нас предал и бросил, то ли попал в какой-то переплет...

— Надеюсь, его где-нибудь убили, — сказал перед сном Кубин. — Если господь его прибрал, по крайней мере, не придется марать руки о предателя.

— Если произволением божьим он сломал себе шею, — сказал я, — мы сохраним о нем лишь светлые воспоминанья.

С тем мы уснули.

Он не явился и ночью. Я знаю, вы, сжав кулаки, кричите: «Где этот подлец? Подайте его нам!» Как я уже сказал, он теперь в Вене, лежит на постели и плачет, как баба.

Франтишек Вагнер соблаговолил явиться только на другой день в полдень. Мы, конечно, напустились на него, но он сквозь слезы крикнул только одно слово: «Мариша!» И то, что мы слышали, было печальнее, чем целая одноименная трагедия Мрштиков. Когда мы потеряли его из виду, он прежде всего выбежал на площадь, где шумел базар, и развлекал там некую девицу у телеги с овощами. Девица, чрезвычайно его прельстившая, сообщила ему, что живет в Драгонёвицах, в двух часах пути от Зноймо. Он очень мило с ней беседовал и наконец решительно сказал, что в девять вечера будет стоять в Драгонёвицах возле их двора или где она сама назначит. Она объяснила ему, где их двор и как туда пройти, сказала, что удобнее всего ждать «на задах», в саду, где надо только перелезть забор. А там уж...

Вагнер залился слезами:

— Я сразу же отправился в Драгонёвице и ждал там, пока не нарвался в саду на ее папашу. Вот его письменное подтверждение.

Он выгреб из кармана несколько бумажек, где ужасным почерком и ржавыми чернилами проставлено было:

«Принял от пана Франтишека Вагнера в счет уплаты за огурцы 20 крон».

«Принял от пана Франтишека Вагнера в счет уплаты за лук-сеянец 20

крон».

«Принял от пана Франтишека Вагнера в счет уплаты за помидоры 20 крон».

«Принял от пана Франтишека Вагнера в счет уплаты за шпинат 20 крон».

И далее в таком же роде.

— Что было делать, — всхлипнул в заключение Вагнер, — если он меня там накрыл? Пришлось сказать, что покупаю овощи.

— Сколько у тебя осталось, изверг?

— Десять крон.

— Всего-то?... — вскричал Кубин. — Немедля на колени! Читай «Отче наш»!

Вагнер забормотал «Отче наш», а Кубин сошел вниз в лавчонку. Вернувшись, он швырнул на пол Вагнеру моток веревки со словами:

— Теперь, я думаю, ты понимаешь, что тебе осталось?

А мне сказал только:

— Уйдем!

И мы ушли с Кубиным выпить по кружке пива и съесть чего-нибудь скромного. А когда вернулись, пообщипав дорогой веточки акации — мы на манер влюбленной барышни гадали: «повесился, не повесился» (причем все время выходило, что повесился), — увидели, что Вагнер сидит на постели и подвязывает веревкой подштанники, которые у него спадали. Такое применение нашел нашей веревке этот малодушный!

Теперь не проходит и десяти минут, чтобы мы его не шпыняли. По ночам будим и кричим прямо в ухо: «Разбойник! Куда девал наши деньги?» В ответ на что всякий раз слышится только сонное бормотанье: «Морковь, огурцы, помидоры, шпинат...»

Ввиду изложенного, запрашиваю исполнительный комитет партии умеренного прогресса в рамках закона: какое наложить на Вагнера взыскание? Прошу немедленно телеграфировать. *Ярослав Гашек*».

Утром пришла коротенькая телеграмма:

«Продать в Турцию как евнуха».

Мы с Кубином решили, что, пожалуй, правда, лучше бы спровадить его в Турцию; и мы бы продали его в какой-нибудь веселый дом, если бы разные обстоятельства тому не помешали.

А кто составил проект телеграфного ответа? Поэт Луи Кршикава.

**Поэт Луи Кршикава, по-иному «Блажеем Иорданом» именуемый**

**К** чести его будь сказано, что некогда и он сидел на штатной должности в редакции журнала «Мир животных». Это стационарное место он занимал ровно три с половиной часа. И то еще он продержался там довольно долго. В других местах он столько не выдерживал. Но это был воистину первый и последний случай, когда в редакции «Мира животных» сидел настоящий поэт. Теперешний редактор этого журнала Гаек тоже сочиняет стихи, но все-таки поэтом не является. Он пишет в рифму о косулях, о голубях, о грустных охотничьих собаках, и пишет с той же резвостью, с какой писал когда-то опус: «Отец мой ломом камни бил, пока здоровье не сгубил», — хотя отец его был главным бухгалтером в домажлицкой сберегательной кассе.

Теперь представьте себе, что настоящий поэт, каков есть Луи Кршикава, сидит в редакции «Мира животных» и переводит с немецкого статью об обезьянах. Издатель Фукс похаживает вокруг нового редактора, давая понять, что хозяин тут он и что он, а не кто другой, платит редактору жалованье. А Луи Кр-

шикава переводит. Душа его как бы раздваивается. Одна ее половина пишет о павианах, в то время как другая парит где-то неизмеримо выше этой мерзкой обезьяны с красным задом, и вместо дурака краснощекого та, более возвышенная часть его души, витая в сферах поэтических, зрит краснощекую девицу. В подобном хаотическом смешении противоположных понятий немецкую фразу «Die Affen sprongen vom Ast zum Ast» переводит Кршикава с потрясающей точностью: «Обезьяны прыгали от случая к случаю».

— Прочтите мне это, — говорит тоном плантатора пан Фукс.

И Кршикава читает:

— Обезьяны прыгали от случая к случаю.

— Боже милостивый! — ужаснулся пан Фукс. — Как могут обезьяны прыгать от случая к случаю? Ведь там же ясно сказано: «Прыгали с ветки на ветку»!

Тут-то и проявил Луи Кршикава всю несгибаемость воли настоящего поэта.

— Сударь, — сказал он, грозно поднимаясь, — если вы утром выдали мне жалованье за полмесяца вперед, то я, по-вашему, должен четырнадцать дней писать тут всякие ахинеи про павианов и про обезьян, а обезьяны, видите ли, не могут прыгать от случая к случаю? Да обезьяна делает что ей угодно, сударь! Что же касается меня, то я всегда отстаиваю свою точку зрения и не намерен изменить ни слова.

— А я приказываю вам поставить: «Обезьяны прыгали с ветки на ветку»! — закричал пан Фукс. — У нас журнал популярный, в статьях, которые мы помещаем, все должно подаваться нашим дуракам-читателям с предельной ясностью. Прочтет вам этаким мужик-хозяин, что обезьяны прыгали от случая к случаю, задумается и скажет: «Липа все это — а я им больше не подписчик».

— Хорошо же! — воскликнул Кршикава. — А знаете, что стало с тем наборщиком, который укоротил однажды мои стихи на целую строфу? Я оттянул ему уши на целый метр. Да что там говорить, с вами я поступлю не лучше!

Все это произошло в той же комнате, где спустя несколько лет покорный ваш слуга, будучи редактором в журнале «Мир животных», заявил пану Фуксу:

— Скажите мне еще хоть слово, и я выкину вас из этого окна!

Ну, а Луи Кршикава ушел с должности, продержавшись на ней три с половиной часа. А почему? Да потому, что он настоящий поэт, а поэтам не к лицу описывать краснозадых павианов.

### **Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона**

*Вена, дня...*

**К**ак мы без денег добрались из Зноймо до Вены? И было ли в Вене что-нибудь поучительное и достопримечательное, такое, что может обогатить новым опытом нашу политическую жизнь?

На первый вопрос отвечу совсем кратко. Мы прикинулись социал-демократами из Праги. В животном мире, как и в растительном, царит биологический закон ассимиляции — приспособления к условиям и окружению. Это весьма существенно и для людей. Короче говоря, из плаката, висевшего в Зноймо, мы узнали, что там проводится большое социал-демократическое торжество — у зноймского замка, на берегу Дьи, в большом парке у Гюнтера, — на которое

венские железнодорожники социал-демократы прибыли специальным поездом. Так вот, мы вынесли решение, что нам следует прикинуться социал-демократами и отказаться от программы партии умеренного прогресса в рамках закона. Глава приехавшей из Вены корпорации был как раз в том расположении духа, когда человек со всей готовностью рад отозваться на любую просьбу. А говоря иначе, был слегка под мухой и вывел нас на середину парка, где влез на стол и крикнул по-немецки и по-чешски:

— Нашего полку прибыло! Только что подошли новые гости — три чешских туриста из Праги!..

Ответом была буря ликований, разразившаяся в парке, поскольку вся толпа решила, что ради такого случая мы пришли в Зноймо пешком. Я взобрался на стол и начал говорить:

— Друзья! Благодарю от имени своих соратников за торжественную встречу, которую вы нам устроили. На всем пути через Чешско-Моравскую возвышенность, от Тршебича и до долины Дьи, устремлены были наши помыслы к вам, к тем, кто в мозолистых руках сжимает ныне стяг социализма именно вот здесь, у стен этого знойемского замка — у этой цитадели кичливой аристократии, которая трусливо поджимает хвост перед шеренгами воюющих за право и за равенство народа. А вам, друзья из Вены, объявляем: с вами — хоть на край света! Примите же еще раз нашу благодарность за то гостеприимство, которое вы нам окажете и которое воочию подтвердит, что нет на целом континенте места, где бы соратник соратника не заключил в дружеские объятия. *Geehrte Genossen, wir danken ihnen für alles! Sozialdemokratie hoch!*[271]

Нам дали какие-то красные повязки и повели к другому столу, где нас угощали. Потом под духовой оркестр все повалили к вокзалу, а когда начали садиться в вагоны, мы тоже сели и поехали тем специальным поездом в Вену. Было семь утра, когда мы прибыли на венский вокзал, утреннее солнышко раннего лета окутывали тучи и дымы фабричных кварталов, все наше достояние составляла одна крона. Одной кроны на троих — в Вене, безусловно, недостаточно. Мы сели в первый попавшийся трамвай и поехали к центру города.

О чем мы в тот момент мечтали, оказавшись в Вене? Кого так страстно жаждали увидеть? Махара. Жаждали стрельнуть деньжонок у поэта Махара. Ведь в статьях «Часа» мы не раз читали, как некое лицо из реалистов прибыло в Вену исключительно ради того, чтобы увидеть там Махара. Естественно, что оное лицо не преминуло написать об этом статью, чтобы в какой-то мере окупить расходы, связанные с поездкой. Я уж давно подозревал, что каждый чешский интеллигент едет в Вену со специальной целью перехватить немного денег у Махара. Теперь я в этом убедился.

Мы собирались сделать то же. Но если собираешься прийти к кому-то и сказать: «Простите, мы, видите ли, тут проездом...» — то надо прежде всего отыскать этого человека. И вот мы в старой части города пробрались на заброшенное кладбище, ставшее просто парком, и, сидя на могиле венского гражданина Макса Грюнхута, где стоял полуразвалившийся памятник с надписью «*Lebe wohl!*»[272], держали военный совет.

— Давайте оставим пока Махара в покое, — сказал я, — и извлечем пользу из достижений человеческой культуры. У дикарей ведь нет политических партий. А у людей просвещенных есть социал-демократы и национальные социалисты. Венская социал-демократия уже благодетельствовала нас — доста-

вила из Зноймо в Вену. Теперь очередь за национальными социалистами. Их партия издает в Вене журнал «Ческа Видень». Редакция у них, насколько мне известно, в Йозефштадте, в одном из старых домов Бертольдгассе. Итак, под давлением обстоятельств мы становимся на час-другой национальными социалистами. В редакции мы декларируем свою платформу и, разумеется, узнаём адрес Махара. Поближе к вечеру идем к нему домой, пани Махарову просим спеть нам что-нибудь за фортепиано, а в это время где-нибудь в соседней комнате один из нас пробует стрельнуть деньжонок у ее супруга. А можно отложить Махара и на послезавтра. Прийти к поэту никогда не поздно. Редакция журнала «Ческа видень» снабдит нас адресами чешских клубов. Мы быстренько обежим их, а уж тогда возьмемся за Махара. Составив этот глубоко продуманный план действий, мы вышли за ограду кладбища и двинулись в редакцию национальных социалистов, предусмотрительно продев себе в петлички кладбищенские красно-белые гвоздики, — такие вещи надо делать регулярно.

Редакционная комната журнала «Ческа видень» была обставлена предельно просто. И это как нельзя лучше доказывало, что партия национальных социалистов — партия социалистическая, и потому не терпит никаких излишеств. Посредине был кухонный стол, на нем — кастрюлька с кофе, бутылочка чернил, листы бумаги и ручка с пером. Еще имелись там два старых стула, а на листе, приколотом к стене, стояло: «Не позволим!»

В углу лежала кипа старых, тщательно не разрезанных журналов, а на стене, у двери, висел обсиженный мухами магистр Ян Гус. Печальный взор святого обращен был на кастрюльку с кофе. Людей в редакции не было.

Какая-то немолодая дама открыла дверь и с полной откровенностью сказала:

— Редактор с самого утра сидит в уборной.

— Да что ж он там, простите, делает так долго?

— Известно что. Пишет передовицу, обличающую социал-демократов. Там тихо, там ему покойно, никто его не отвлекает — ведь тут у каждого квартиранта[273] своя уборная. Его — по коридору первая от края, если хотите говорить с ним.

И мы, пройдя к невзрачной двери, за которой сидело наше избавление, отчетливо произнесли:

— Приветствуем тебя, брат, тут ждут тебя три пражских брата.

— Сейчас, братья мои, сейчас, — раздалось из-за двери. — Сию минуточку я выйду.

Редактор спустил воду и отважно вышел в коридор. Перед нами был молодой мужчина, смущенно уверявший, что это единственное место, где ему дают работать.

— Ну, разумеется, — ободрил его я, — Эмиль Золя сочинял в ванной.

— Так где мы выпьем кружечку-другую пива? — вскричал редактор, схватил шляпу и повел нас на улицы неприятельской Вены.

### Поэт Рацек

Пока мы обретались в неприятельской Вене, в «Золотой литр», нимало не смущаясь, являлся каждую субботу чиновник Торгово-промышленной палаты, бородатый поэт Рацек. Теперь уж Рацек никаких стихов не пишет — он пережил свою, хоть и печальную, но все же славу.

Когда-то на ристалище молодой чешской литературы отпраздновал он пир-

рову победу. Однако и поднесь еще он ходит в бороде и не стрижет своей отросшей шевелюры, походя в этом виде никак не на чиновника Торгово-промышленной палаты, а на натурщика, который в Пражском училище прикладного искусства мог бы служить моделью для мессии. Его и впрямь неоднократно останавливали длинноволосые молодые люди и с непосредственностью художников спрашивали, за сколько он согласится попозировать часок в голом виде. И весь день тогда Рацек ходил грустный-грустный: ведь волосы и бороду он отпустил единственно из-за того, что был поэтом. Тех, кому интересно узнать, что за сборник он выпустил, прошу вспомнить, что в 1900 году издательством «Лотос» в Усти-над-Лабой издана была диковинная пухлая книжка стихов, под названием «Червонный туз». Библиотечку «Лотоса» издавал любопытный тип по фамилии Герлес. Дружеская связь между этим конторским счетоводом и тогда еще молодым Рацеком и породила сей плод в красной обложке с черной надписью: «Червонный туз».

Имя поэта на книге не указывалось, и появление ее наделало в литературных кругах много шуму как необычностью формы, так и невиданным содержанием, заставлявшим предполагать в ее авторе человека, решившего покончить все счеты с жизнью. Ибо, как выразился тогдашний критик в «Народних листах», сборник в целом заставлял думать, что создавал его некто, приговоренный к повешению, который накануне казни попросил перо, чернила и бумагу и за ночь все это накатал, чтобы уйти из жизни с сознанием, что он успел-таки на прощанье сыграть с публикой славную шутку.

А издатель Герлес, купаясь в лучах этой славы Герострата, поджегшего эфесский храм, сказал моей сестре Мане, за которой в то время ухаживал, что автор сборника — он сам, и вручил экземпляр с дарственной надписью, рассчитывая звучным словом «поэт» произвести впечатление на Маню и на мою покойницу мать.

Сев ужинать, мы разрезали книгу, и мой брат Богуслав прочел:

*Вот тут бордель, а тут родильня,  
тут крест,  
и скотобойня здесь.*

— Вот это да, — сказала мама. — И ты с таким хочешь встречаться? Немедленно пошли книжку обратно!

Я понес сборник на почту, а в лавке букиниста мне предложили за нее пятьдесят геллеров. Я был тогда ужасно зол на автора, послал на него в «Модерни живот» уничтожающую критику и, в частности, указывал на полное отсутствие мыслей в сборнике, где есть подобные стихи:

*Мать, матерей моих мать,  
мать моих матерей,  
моя мать,  
Сестра, сестер моих сестра,  
сестра моих сестер  
моя сестра...*

Я даже написал: «Скороговорка «На дворе трава, на траве дрова...» — принадлежит, надо полагать, тому же автору».

В конечном счете выяснилось, что издатель Герлес никакой не автор сборника, а всю эту чепуху произвел на свет поэт Рацек.

Рацек лишил Герлеса невесты с неплохим приданым, и Рацек сочинил следующие стихи:

*Черноволосая дева,  
твои золотые власы  
унесли мародеры...*

И это было целое стихотворение. Через три года по выходе сборника наш друг Рацек перечитал свои стихи и с тех пор бродит ночами по улицам; если случайно вы встретите человека в плаще, который, обхватив руками голову, потерянно шепчет: «Что же я натворил-то?.. Господи, что натворил?!» — знайте, это поэт Рацек. И так он это все болезненно воспринял, что начал сочинять сказочки для детей. А чтоб узнать, какое действие оказывают его сказки на чистую душу ребенка, женился и завел своих. Когда же детки его стали входить в разум, прочел им в рукописи одну из своих сказок. Счастье, что доктор оказался под рукой — не прошло полугода, как детки почти оправились. С той поры Рацек бродит по улицам Праги еще более мрачный и все плотней запахиивается в свой плащ.

### **Погоня за Махаром**

*Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона.  
Вена, дня...*

**Р**едактор газеты «Ческа Видень» повел нас выпить кружечку-другую пива и был при этом очень весел и доволен — то и дело насвистывал и все повторял:

— Увидите, какое «У Кноблехов» пиво! Вот здорово, что вы приехали из Праги!

И мы были довольны, что нас так радушно принял человек, которого, естественно, могли мы считать нелюдимым и замкнутым. Он не говорил о политике, а со счастливой улыбкой повторял:

— Вот здорово, что вы ко мне пришли. «У Кноблехов» отличные картофельные кнедлики подают со свиной и капустой. Увидите, какая прелесть. Вот для чего стоит жить! Конечно, можно пойти и к Коминеку — но пиво там венское. Тут нам дадут «Тршебонь» — а это, братья, не одно и то же.

Он привел нас в ресторан и лишь тогда, за кружкой пива, начал серьезный разговор о задачах партии национальных социалистов.

— Мы этим еврейским выкорышам в Вене утрем носы. Мы уже увеличили тираж на целых пятьдесят экземпляров! А наша проза! Пальчики оближешь! Сам и пишу. Всеобъемлющий охват всего. Не то что там какая-то преснятина. Белошвейка убивает совратителя-хозяина и, пардон, не дает тому, еврейскому выкорышу... Чтобы вам было понятно, братья: он — социал-демократ, она же — национальная социалистка. Ну вот, пока она сидит в тюрьме — за убийство того социал-демократа, совратителя, — ребенка ее забирает ее дядя, который сам не кто иной, как социал-демократ. И вот они мучают, вот мучают ребенка, пока о всем этом не узнает Клофач и не увозет ребенка в Прагу. Ребенок подрастает... Да что там все это рассказывать!.. Возьмем-ка этих, со свиной... А? Каковы? Вижу, что нравятся, — эти кнедлики прямо тают во рту. Настоящая чешская кухня! Одно и есть утешение в этой чертовой Вене, вскормленной чешскими мозолями и потом. Теперь мы, партия националь-

ных социалистов, на подъеме, и недалек тот час, братья, когда вся Вена будет национально-социалистическая. Тут вам, братья, не как в иных местах, тут не мажут кнедлики невесть каким жиром, а кладут сало настоящих чешских поросят, и сам хозяин из национальных социалистов. В водовороте политической борьбы так славно посидеть тут... Не взять ли мне вторую порцию? А знаете, братья, я ее возьму, возьмите и вы себе по порции, вообще нам надо действовать сообща — ведь на скрижалях партии национальных социалистов стоят золотые слова: «Один за всех, и все за одного».

Что такое «все за одного», мы поняли позднее.

— Брат, — сказал я, — нам надо бы найти Махара.

Редактор журнала «Ческа Видень» уперся рукой в бок, как человек, которому загадали трудную загадку, потом сказал, что фамилия ему будто знакома, но на какой вывеске он ее видел, не помнит.

— На Рингерштрассе или... Махар... Махар... Нет, то «Махнер и Махнер, скорняжные работы» на Рингерштрассе... а Махар... Такого не припомню.

— Да как же, ну Махар, поэт...

— Не знаю, — сказал редактор — национальный социалист, — сейчас, во всяком случае, не припоминаю... К нам в «Ческа Видень» тоже присылали стихи, но это — Йожа Почаплицкий-Орлицкий, он для нас пишет эпиграммы. Поэтов тут вообще хоть пруд пруди. Все время появляются какие-то. Сам я пишу стихи. Очень значительные вещи. Вот, например, для следующего майского номера:

*Взлетай, наш стяг, взлетай,  
и полощись, и вей ты,  
таков твой долг,  
протрубим в рог,  
нас в Вене будет много,  
открыта нам дорога.*

Вот это, значит, я... братья. А Махара не знаю. Говорите, он тоже в Вене? Чего не знаю, того не знаю. Если водить со всеми знакомство, что тогда с партией будет? Впрочем, раз этот брат Махар приехал в Вену, почему сразу не вступил в какую-нибудь венскую организацию национальных социалистов? Скажем, в «Младе генераце». А теперь можно бы сходить в кофейню постучать на бильярде. Разочтитесь, братья, с официантом — я, как приеду в Прагу, буду ваш должник, сейчас у меня ни крейцера. И чтобы не платить вместо меня в кофейне — я у них человек известный, — дайте займы пять крон, я рассчитаюсь сам. А то у них и без того уже за мной крон десять долга. Ну, метрдотель-то, безусловно, наш.

Мы объяснили ему, что все как раз наоборот: он пригласил нас, мы теперь без денег и полагали, что нас угощает он.

Он слегка зарумянился, а потом сказал, что денег он сейчас добудет и расплатится за нас с официантом. Чтоб мы не волновались и спокойно ждали его возвращения. После его поспешного ухода, оставившего нас заложниками, разумеется, стало понятно, что бедняга уже не вернется.

— Это ужасно, мы никогда его больше не увидим! — воскликнул, утирая глаза, Кубин.

— Знаете что, друзья, — сказал я, — пойду-ка я искать Махара.

Они меня не отпускали. Кубин кричал, что он моложе, поэтому лучше пой-

ти им с Вагнером, а я могу сидеть и отдыхать, не говорил ли я, что у меня устали ноги!

Вагнер смотрел вокруг безучастно и наконец сказал:

— Чем умирать на улице от голода и жажды, лучше уж здесь. Я никуда отсюда не уйду.

— И мне, признаться, неохота уходить, — сказал Кубин. — Возьмем еще по кружке, а ты иди один, раз напросился.

Что было делать, я осушил эту кружку и один-одинешенек побрел по венским улицам искать Махара. Не придумав ничего умнее, я спросил у первого встречного полицейского:

— Entschuldigen Sie, kennen sie nicht den böhmischen Dichter Machar?[274]

— Wo wohnt der Kerle?[275]

— Das weiss ich eben nicht.[276]

— Ich auch nicht,[277] — сухо сказал полицейский и повернулся ко мне задом.

Я дошел до ближайшего полицейского участка, откуда после долгих разбирательств (караульный у ворот, видя мое удрученное лицо, выспрашивал, что мне этот Махар сделал, почему я его разыскиваю) направили меня в адресный стол.

— Тут, на листе, — сказал дежурный, — укажете имя и фамилию разыскиваемого, заплатите крону и завтра приходите за ответом.

— Сейчас, сейчас, — воскликнул я и, не давая им опомниться, удрал на улицу.

Придя в себя на воздухе, я вспомнил, что Махар служит в каком-то банке. У ближайшего полицейского осведомился о ближайшем крупном банке, рассудив справедливо, что банк, в котором служит крупный поэт, может быть только крупным.

— Um die Ecke,[278] — сказал полицейский.

— Und Name?[279]

— Credit-Bank.[280]

За углом высилось здание австрийского кредитного банка.

— Простите, пан Махар на месте?

— На Зиммеринге.

«Бог ты мой, Зиммеринг» — подумал я.

— А почему он вдруг отправился в Альпы?

— Какие Альпы! — Зиммеринг — двадцать второй район. Это его название. Дом номер двести двенадцать.

### Махара нет дома

Что бы ни говорили и ни писали о Махаре, будь это дифирамбы или сокрушительная критика, я никогда не поддержу ни тех, ни других — я буду лишь хвалить жену Махара.

И одно стану твердить всем и каждому: «Его тогда не было дома».

Прискорбный факт в богатой творческой биографии поэта Махара.

Его, Махара, уверявшего, что он бессменно на посту (и это подтверждает друг его, д-р Боучек), Махара, крупной литературной величины, воспетого бойца, всегда готового здесь, в имперской твердыне на Дунае, разить пером прогнившие устои чешской жизни, Махара, консула реалистов... не было дома. Неслыханный прецедент в истории литературы. В час, когда чехам невозмож-

но было обойтись без своего поэта, его, видите ли, не оказалось дома. Такого горького и страшного упрека не заслужил у нас еще ни один поэт или писатель. Измена общему делу чехов — наиболее мягкое выражение, которое здесь уместно. История с Сабиной — пустяк в сравнении с тем, как вероломно в этот знойный день поэт Махар поступил с тремя своими братьями по крови. Его не было дома. Не было дома, и все тут, — хоть лопни!

Едва я приблизился к его резиденции, первое, что попало мне на глаза, была курица, похаживавшая по двору уютного домика, в течение примерно двухсот дней в году скрывавшего в своих стенах известного чешского поэта. Я сразу же смекнул, что курица принадлежит Махару. Из уважения к поэту я хотел ее погладить, но на крыльце внезапно появилась девочка и крикнула куда-то в недра коридора:

— Мама! Тут один дядя трогает нашу курицу!

Как выяснилось позже, при каждом посещении Махара его почитателями у него пропадали куры. Есть такие охотники брать из дома любимого поэта что-нибудь себе на память — изжеванный сигарный окурок, например... коробку спичек, фиксатуар для усов, перочинный ножичек, золотые часы и тому подобные мелочи.

А почитатели Махара уносили куриц. Тайно, под полами плащей и дамских манто. И теперь эта дама, супруга Махара, видя, как я погнался за курицей, сразу же поняла, что я прочел все его произведения, и крикнула с крыльца.

— Заходите, милости прошу! Махара, правда, нету, но я вам покажу его кабинет, его письменный стол...

Меня как обухом по голове огрели: Махара, значит, нету дома!.. В отчаянии я пролепетал:

— Сколько платить за вход, сударыня? Я сейчас не при деньгах... Мы трое... Мы тут, в Вене без единого крейцера, мы из Праги, я пришел не как почитатель, а попросить займы... Я тоже публикуюсь...

Добрая пани Махарова повела меня в комнату — хотя я и хотел тут же уйти, — восклицая:

— Бедняжка Кубин! Бедняжка Вагнер! Музыку Вагнера Махар любит, — добавила она. — Вы, может быть, еще побудете в Вене, Махар дня через два придет, он на каких-то лекциях в Праге.

Потом она порылась в ящиках, из большого кожаного портмоне взяла бумажку в десять крон и стала предлагать их мне с такими околичностями, что я уж испугался, как бы она не передумала их отдавать. Но когда бумажка очутилась наконец у меня в кармане, у меня словно тяжелый камень сняли с души, и я вскричал:

— А у вас тут прелестно!

И, вспомнив, как Махар в своих статьях благодарил бога, избавившего его от необходимости возвращаться в чешском обществе Праги, перед самым уходом добавил:

— Не удивляюсь, сударыня, что Махару так нравится в Вене.

Жена Махара улыбнулась:

— Да он бы с радостью вернулся в Прагу.

Затем я приложился к ручке пани Махаровой, и она еще долго смотрела мне вслед, боясь, как бы я все же не стащил одну из ее куриц, и дипломатично

подзывала их:

— Цып, цып...

Я возвратился в ресторан Кноблхов и, к своему удивлению, нашел в этом пекле одного только Вагнера.

— Кубин уж полчаса как отправился за тобой к Махару, — сказал он, — узнал адрес у одного посетителя-чеха.

Через час Кубин вернулся и с победным видом показал нам пять крон.

Мы заплатили по счету и пошли отыскивать ближайший Чешский клуб, чтобы какой-нибудь влиятельный чех дал нам у себя пристанище.

### Как веселятся чехи в Вене

Венские чехи делятся на две группы: те, которые позажиточней, и те, которые победней. У тех, которые победней, есть свои профессиональные корпорации, а у зажиточных — свои клубы. Вся чешская жизнь сосредоточивается в этих клубах. К нам в Чехию доходят вести о том, каким преследованиям подвергаются чехи в Вене, как триста тысяч граждан нашей национальности стонут в скорбях и печалях в этой проклятой твердыне на Дунае. Участь наших земляков и впрямь могла бы вызвать сожаление, не будь у них своих клубов. Что окрыляет чешского человека и поднимает дух его в борьбе с неметчиной, так это чешское пиво в Чешских клубах. Есть две основные марки, воодушевляющие доблестных венских чехов, два сорта, снискавшие неоспоримую славу на ниве борьбы за национальные чешские интересы: тршебоньское и будейовицкое. И оба эти сорта для здешних чехов не хмельной напиток, а привет с земли отцов. Читают венские чехи мало, существенного вклада в чешскую литературу тоже не внесли, зато они пьют наше пиво. Ведь это пиво более счастливых братьев, которые не совершили такой глупости — не поселились в немецком городе. За год выпивается этого пива на сумму, которой хватило бы на постройку не то что двух — десяти чешских школ, но чехи в Вене предпочитают пить пиво и уповать на своих братьев в Чехии и Моравии. Кто-то утверждал даже, что чехов в Вене полмиллиона. И эти полмиллиона венских чехов считают совершенно нормальным, что две их школы существуют на пожертвования отзывчивых земляков из Чехии и Моравии. В североамериканском городе Цинциннати живет сорок тысяч чехов, и эти сорок тысяч построили уже восемь чешских школ и одно коммерческое училище — за собственные деньги, а ведь американская администрация ничуть не лучше австрийской и хочет из всех подданных Соединенных Штатов сделать англосаксов.

Хотя, конечно, шапки перед капиталом там снимают. Мы вот все говорим о чрезвычайном мужестве венских чехов — они-де так оберегают чистоту родного языка, — а неожиданно узнаем, что на все эти, беря минимальную цифру, триста тысяч чехов лишь восемьсот детей записаны в школы Коменского. На сто тысяч чикагских чехов в Америке приходится тридцать школ, которые они сами себе выстроили. Конечно, у нас есть известные нравственные обязательства по отношению к чешскому меньшинству, скажем, в Залужанах, где чехов всего триста человек, которые на собственные деньги не могут, разумеется, построить свою школу. Но когда венский еженедельник жалуется, что у полумиллионного чешского населения Вены нет до сих пор приличествующего здания под национальную школу и непрерывно кричит: «Вы, чехи в королевстве, не выполняете своего долга!» — то это уж, простите, чистое надува-

тельство. В Вене, видите ли, подавляющее большинство чехов — неимущие рабочие. Но почему тогда у нас в королевстве такие же неимущие посылают вам деньги на школу Коменского, хотя плата за труд рабочего у нас куда мизернее, чем в Вене?

Мы, впрочем, подбиваем нашу публику на благотворительность разными надуманными демонстрациями, объединенными с парадом рекламных повозок на выставке. Этот торжественный день называется: «Прага — венским чехам». Кондитерская фабрика Маршнера на Виноградах отряжает несколько своих рабочих и работниц в немыслимых национальных костюмах и фургон, задрапированный красно-белыми полотнищами, к которому сверху прикрепляют транспарант с надписью: «Банановое какао Маршнера — лучшее какао в мире». Умаявшиеся дивы в измятых национальных костюмах распространяют среди публики, кричащей: «Да здравствует чешская Вена», — рекламные листовки, призывающие пить маршнеровский шоколад и есть маршнеровские конфеты. А за фургоном, встречающим горячую симпатию публики — поскольку он, видимо, тоже имеет отношение к чешской Вене, — шагают восемь дюжих молодцов, призванных изображать средневековых наемников, хотя, пояись они в таком облачении в средние века, их, безусловно, повесили бы на первом же дереве, приняв за мародеров. Восемь этих громил несут на груди плакаты с надписью: «Мыло Голоубека — лучшее мыло». Поверить в это, впрочем, трудно: морды у молодцов немые. Народ, однако же, встречает их бурными кликами: «Слава чешской Вене!»

Затем важно вышагивает худой юноша, бледный, в черном платье горожанина и коротких панталонах, с видимым напряжением неся толстую Кралицкую библию. Это художник Вениг, выставяющий себя на подобный позор с превеликим удовольствием и регулярно. Он шагает возле фургона, взятого напрокат у одного вршовицкого молочника, а тянет эту колымагу наидряхлейшая извозчичья кляча, какую только могли отыскать в целой Праге и пригородах. Из фургона высовывает лицо беловласый дед с румяным носом, а возле сидят две актерки из Виноградского театра, которые тоже выставяют себя на позор, и над этими несчастными реет надпись: «Чешские изгнанники». К процессии еще примазывается какой-то юнец с саблей, взирающий на полицейских с таким гордым видом, будто он-то и есть как раз та самая Вена, которую тут восславляют. Далее следует повозка с аллегорическим изображением виноградской пивоварни. Восемь человек, сидящих у большой бочки, размахивают кружками и кричат:

— Попробуйте виноградского пива!

Они изображают пьяных, что в общем-то недалеко от истины. Внезапно возница останавливает лошадь и лучшего из восьми комедиантов привязывает к повозке — чтобы не свалился. У зрителей эта аллегорическая повозка особенно популярна, и встречают ее особенно бурными криками. А за повозкой — Ян Амос Коменский расстается с родиной. У него вид старого сельского учителя шестидесятих годов, на носу очки, а в руках какие-то молитвенные книги. Народ встречает его очень сердечно, а одна женщина говорит:

— Это портной Главачек из Жижкова.

Коменский замечает в толпе знакомого и благодушно окликает его:

— Завтра «У Шенфлоков»!..

Потом идут национальные социалисты и барачники в национальных ко-

стюмах, набранных из всех существующих костюмерных. Перед казино на Пршикопах затягивают: «Гей, славяне», — а когда «гром и ад» сотрясают Пршикопы, глава барачников говорит:

— Эх, выпить бы...

В возвышенном настроении доходят до выставки... и в результате всего этого чистая прибыль от праздника в размере десяти тысяч крон посылается обществу Коменского в Вену. Не будь подобного увеселительного мероприятия, даяния, конечно, не превысили бы двух-трех крейцеров, — теперь же, что ни говори, результаты весьма впечатляющие: пятьдесят тысяч человек за полдня пожертвовали на строительство чешских школ в Вене десять тысяч крон. Телеграфные сообщения об этом летят в Чешские клубы и Народные дома Вены, и тогда начинается грандиозное ликование и там.

Если в такую вот счастливую минуту турист-пражанин окажется гостем Чешского клуба, не удивительно, что в атмосфере, разогретой десятью тысячами крон из Праги, прием ему оказывают самый горячий.

В пору нашего визита в Вену десяти тысяч туда не приходило, пришло только четыре тысячи, собранных на каком-то торжестве, но и этого оказалось достаточно, чтобы в Чешском клубе одиннадцатого района нас кормили, поили и всячески ублажали три дня и три ночи. Вдобавок ко всему, хозяевами у нас были «индейцы» — ибо чешское общество в Вене делилось тогда на застольное братство «индейцев» и застольное братство «ашанти». В местах, где собирались «индейцы», имелась большая трубка мира; в особо торжественных случаях вроде нашего — когда пришли те самые четыре тысячи, — надевали холщовые мокасины и дергали за большую кожаную рукавицу, свисавшую с потолка, крича при этом: «Ховг, ховг, ховг!»

У «ашанти» же имелись деревянные мечи, большие щиты из картона и луки с колчанами, которые «ашанти» закидывали за спины и в таком виде сидели за своими столами, ходили в гости к «индейцам», принимали их в себя и при этом пировали и кутили так, что пыль столбом, — пока мы собирали по крейцеру на строительство школ нашим бедным притесняемым землякам в Вене.

### Наш друг Шкатула

**В** Вене мы познакомились с Эмануэлем Шкатулой, который потом в Праге тоже приходил на наши встречи. Это действительно один из лучших социал-демократов и в бою за права пролетариев обнадеживающе толстеет. Таков удел вождей не только социал-демократической партии, но и всех народных партий вообще. Если теперь у социал-демократов есть толстые Шмераль и Немец, то у национальных социалистов толстый Гюбшман и стовосемнадцатикилограммовый депутат Эксер. Обеим партиям не в чем себя упрекнуть, и это безусловный знак того, что пролетариат теперь на марше. От партии, где депутат худой, нельзя ждать ничего хорошего. К примеру, взять хотя бы членов партии государственного права, которых так метко охарактеризовал их же собственный депутат Гайн, весящий сорок пять килограммов. И вот мы видим: тот из служащих делу партии ораторов, политических агитаторов и редакторов, который понемногу, но настойчиво толстеет, становится в конечном счете депутатом — это закон природы.

Скажем, Шкатула на последних выборах, где его выставляли своим депутатом Винограды, получил на четыреста голосов больше, чем на предыдущих.

Но ведь и сам Шкатула с того времени прибавил в весе двенадцать килограммов. Кто был в редакции «Право лиду», тот безусловно помнит стоящие там во дворе весы. На тех весах и взвешивают председателей партии, цифры веса аккуратно заносятся в специальную учетную книгу и ясно говорят о том, что вес тела председательского находится в прямом соответствии с политическим весом партии и ее потенциальными возможностями. Почему потерпел поражение Соукуп в Голешовицах? Да потому, что на первом этапе заседаний имперского совета потерял пять килограммов, тогда как Стршибрный, теперешний депутат от Голешовиц, поправился за это время на три килограмма — бесспорный шаг вперед у национальных социалистов.

Когда мы познакомились со Шкатулой в Вене, он, понятно, еще не был таким толстым, как теперь. Толстеет он по мере поступательного движения партии, ибо редакторские доходы тем выше, чем больше людей подписывается на журнал и субсидирует его издание.

Вот почему редакторы газеты «Ческе слово» никак не могут потолстеть. Редактор Матею будет худым вечно, а д-р Гюбшман, как председатель кооперативного издательства, толстеет за них за всех.

И безусловно прав Эмануэль Шкатула, когда стремится полной мерой вкушать от того дара божьего, который именуется политикой. Когда на форуме народа он громогласно возглашает: «Дайте нам хлеба!» — то к хлебу этому после собрания берет еще три венских шницеля, какого-нибудь сыра и запивает все это не одной кружкой пльзеньского. А если человек проделывает это изо дня в день, то имеет достаточно веские основания стать депутатом. Первоначально Шкатула был по роду своих занятий скульптором. Приемы прежнего рода занятий он привнес в политику. Прежде лепил из глины разные фигурки — теперь, нащупывая верные пути к сердцам своих слушателей, лепит из этих людей социал-демократов. Но это далеко не все, что он умеет. Кто отказался бы от путешествий в дальние края и земли! Однако же бросается в глаза загадочная связь между таинственными отъездами Шкатулы и событиями, которые затем происходят именно в тех землях, где он побывал.

Отправился Шкатула в Стамбул, а как только вернулся, турки низложили султана и устроили революционный переворот.

Шкатула уехал в Португалию, пустился в обратный путь и не успел доехать до Праги, как в Португалии объявлена республика.

Спросите-ка в открытую у министра юстиции: известно ему об этих рейдах Эмануэля Шкатулы?

И еще. Шкатула знает итальянский, испанский, немецкий, французский. И чешский довольно прилично. Теперь вот начал изучать китайский, и, едва взял грамматику в руки, — в Китае вспыхнула революция и образовалась республика.

Известно об этом министру юстиции?

### **Воспоминания о литературном объединении «Сиринкс»**

Когда мы в Вене встретились с Эмануэлем Шкатулой, он подробно расспрашивал нас о литературных новостях и поинтересовался, существует ли еще литературное объединение «Сиринкс».

Что это за объединение? Оно возникло в 1901 году. И по случайному стечению обстоятельств было названо «Сиринкс», что означает по-древнегречески свирель свинопаса.

Основателем его был Роман Гашек, мой двоюродный брат.

В то время он начал издавать «Модерни живот» — журнал, распространяющий бесстыдство, как писал о нем католический журнал «Власт».

Вокруг журнала Роман Гашек сгруппировал нескольких молодых поэтов — забавных индивидуумов, большинство из которых теперь уже забыты, — чье литературное творчество состояло тогда во всемерном воспевании обнаженного женского тела. Роман Гашек предавался поэтическим мечтам и сплетал их в рифмы на Вышеграде и у Ботича. Туда же приходил выдумывать свои ужасные стихи и сюжеты сумасбродных романов молодой Бакуле, подписывавшийся фамилией Гилар. Он теперь ведает репертуаром в Виноградском театре.

Так стало складываться объединение «Свирель свинопасов» — «Сиринокс», сообщество молодых литераторов, в которое вошел потом и Г. Р. Опоченский.

Этот энтузиаст, увидев свои стихи в «Модерни животе» (гонорара там не платили, а каждый, кто хотел увидеть свою вещь в журнале, должен был на него подписаться), взял отцовские золотые часы и, никому не сказавшись, махнул в Прагу, сиявшую в его мечтах звездой неодолимой силы притяжения. Как только Г. Р. Опоченский заложил часы, он сразу превратился в записного поэта.

*Он, певший прежде:  
Снова — слышишь ли, мой друг? —  
коростель поет печальный.  
Песнь прекрасна! Тьма вокруг  
в молчанье[281], —*

теперь слушал бравурную музыку в разных танцевальных заведениях, гул бесшабашной пражской жизни и пел уже:

*Мое чело ласкает жаркий свет,  
спокойно льющийся из синей чаши;  
ах, прелесть дней таких не утомляет, нет, —  
они воистину благословенье наше![282]*

Оно и вправду Опоченского не утомляло до поры, пока он окончательно не промотал и не пропил сто крон, которые ему дали в ссудной кассе.

И наступили для юноши мрачные дни. Крахмальным воротничок его принял мрачный оттенок. Мрачно глядел Г. Р. Опоченский в том воротничке на камни чуждой Праги, которая так коварно залучила его в свои объятия.

Он слал домой письма, полные сыновней любви. Блудный сын с превеликой радостью возвратился бы к своему отцу, пану пастору.

Но войдите и в положение пастора. Представьте себе, что вы, евангелический священник, воспитываете сына в духе христианского смирения, а этот сын пишет стихи (Да какие! Не имеющие ровно ничего общего с евангелизмом) и берет у вас золотые часы, чтоб отправиться в Прагу издавать эти самые стихи в каком-то свинском журнале.

Поэтому-то Опоченский получил такой ответ:

«Шалопай! Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете царство небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Матфей, глава 23, стих 13. Посылаю тебе пять крон, приезжай немедля, дабы я мог тебя высечь. Твой отец».

«Нет, вы подумайте, — сказал себе Опоченский, поэта — высечь! Не бывать этому». И к утру от пяти крон остались лишь воспоминанья.

А крахмальный воротничок Опоченского принял еще более мрачный оттенок, и в этом траурном воротничке пожаловал он на открытие литературного объединения «Сиринкс» «У Ходера». Туда нагрянула еще целая ватага молодых литераторов, так никогда и не ставших известными, чьи произведения пачками отсылались обратно из всех редакций, так что потом, махнув рукой на все попытки возродить молодую чешскую литературу, они и вовсе перестали сочинять.

Из всех собравшихся в тот день на торжество открытия, устояло на поприще литературы ничтожное меньшинство. Остальные были смяты и отброшены в редакционные корзины для бумаг, сгорели без остатка в редакционных каминах... Рассеялись как дым и канули в небытие.

Как, скажем, Йозеф Анна Владимир Крецар. Он тогда выпустил за свои деньги книжку стихов под названием «Сбор незрелого винограда», а когда мы потом «У литра» распевали разные поносные частушки об этих молодых поэтах, о Крецаре пели:

*Мы незрелый виноград собрали,  
а после в туалете...*

Об Опоченском было сложено двустихие:

*Был такой угодник женский  
Густав Рогер Опоченский.*

Так вот, в том хаосе невразумительных выкриков новой литературной плеяды, ко мне подошел Опоченский и мрачно сказал:

— Приятель, вы, как я вижу, взяли лосося под майонезом. Из всех собравшихся вы только один ужинаете. Судя по этому, у вас много денег. Дайте четыре кроны на дорогу до Хрудими.

Когда я дал ему четыре кроны, присутствовавший там поэт Неклан Соукенка воскликнул:

— Друзья, этот день знаменует новый этап в чешской литературе!

Для кельнера он тоже ознаменовал новый этап — ведь то был день, когда вся эта милая компания сумела скинуться на пиво.

Особенно уничижительную критику навел метрдотель:

— Взяли дюжину пива на всех, да и то половину записей на подносах стерли.

Вот так унизили достоинство прекрасного, едва только рожденного содружества молодых литераторов «Сиринке», а по-иному — «Свирель свинопаса».

### **Неизвестный литератор**

**В** ту пору расцвета молодой чешской литературы ко всем редакторам периодики являлся странный визитер. Молодой человек с накладной бородкой входил в редакцию, кланялся, молча клал на редакционный стол пачку рукописей, мрачно взглядывал на редактора, гробовым голосом говорил:

— Прошу поместить.

И уходил так же таинственно, как появлялся.

На следующий день он приходил опять, снова отвечивал поклон, клал новую пачку рукописей и, прошептав: «Прошу поместить», — исчезал.

Все это было весьма необычно и не могло не обратить на себя внимания.

Пострадавшие редакторы наперебой рассказывали друг другу о странном визитере и по прошествии двух недель выяснили, что он совершал свои рейды во все без исключения редакции. Даже в специальные издания носил свои вещи. Так, например, в редакции «Газеты кузнецов» положил на стол пачку рассказов о кузнецах. Явившись в «Пекарскую газету» предложил роман из жизни рабочего хлебопекарни. И вызвал к себе живой интерес редакции католического «Чеха», оставив им стопку рассказов для широких слоев католического населения.

Редакторы беллетристических отделов в «Народных листах» и «Народни политике» были напуганы беспримерными темпами роста новых предложений. В конце недели выяснилось, что с понедельника упомянутый таинственный литератор разнес по всевозможным редакциям до семисот рассказов, новелл и романов. Композиционная особенность его вещей заключалась в том, что у них не было окончания, в конце стояло только: «Продолжение см. в «Народни политике». Произведение, предложенное в «Народни политике», начиналось пометкой: «См. начало в «Народных листах». Одновременно с этим таинственный человек с накладной бородкой являлся в театры и отдавал туда для постановки свои пьесы. Редакторы с невольным страхом ждали той минуты, когда таинственный человек появится в дверях их комнаты. А появлялся он всегда в одно и то же время: для каждой из редакций у него был свой определенный час. Все это было так непостижимо и загадочно, что под конец заинтересовало даже полицейских. А человек всегда носил свои рукописи в ручном чемоданчике. И вот однажды следом за таинственным человеком пошел детектив. На Бартоломейской улице человек проследовал в какой-то дом. Детектив вошел туда же. Человек отворил дверь, из-за которой доносился гул множества голосов. Детектив заглянул внутрь, и глазам его открылся длинный стол, за которым человек двенадцать юнцов лихорадочно строчили что-то на листах и четвертушках бумаги, — таинственный человек собрал все эти рукописи, набил ими свой чемоданчик и опять пошел на ловитву. За дверью была комната, где собирались члены литературного объединения «Сиринкс».

### Д-р К. Гуго Гилар

«Долголетний след исторических сюжетов. Внутрикмпозиционная шаткость, locus communis. Темнейшая антитеза. Ошибочно информирован. Недостойные идеи благодатной человеческой жатвы. Трансцендентная связь позитивных и негативных сил». — Так всегда вел свою речь К. Г. Гилар, фамилия которого вначале была Бакуле, но ее он стыдился, потому что вначале человек этот жил жизнью модернистского поэта.

Вот как раз так, такими куцыми фразами, разглагольствовал он о каком-нибудь из произведений новейшей чешской литературы и в бытность свою в литературном объединении «Сиринкс»:

— Не помню, как бы я стал развивать этот мотив. Сюжет, отравленный всеми возможными ядами расхожего скепсиса. Это же экзотическая флора, господа, — пунцовый стыд, горящий синим пламенем. Погасим свет — это не негативная прерогатива.

И задыхался, поскольку говорил он очень быстро:

— Сокращать «нечто» в обыкновенное «что-то» неправомерно. Поверхностная литературная претензия. Свобода критики в экстремальные века — замаскированный террор. Обеление есть формулированная точка зрения. Недобро-

хотная жесткая полемика. Рецензия научная и непредвзятая. Возвышенный торс идола. Эквивалент программы, не так ли?

И шпарил дальше:

— Циклический повтор горестной кантилены. Хаотичность и вызов, разве я не прав? Эгоцентризм творчества, извечный минус — суть слова. Пропущенная через весь роман линия, по-вашему, есть прояснение для скептиков? И, право же, невероятно трудная задача открыть такое, в чем бы дважды проступало воплощение принципа, играющего и пылающего как соцветья спектра, в своей безмерной ностальгии будущего, в том возвышенном хаосе, чьей фантазией оживляется вера в пантеизм добра, ну разве я не прав?

И он всегда был прав, ибо из сказанного становилось ясно, что он кое-что знает, а именно: как наименее удобоваримым образом употребить чужое слово и пустить пыль в глаза.

Прежде Гилар, как известно, считал за величайшую безнравственность публиковаться в периодике ради денег.

Потом, однако же, переменил свои воззрения на творчество и, как признался мне однажды, стал предлагать себя под разными псевдонимами в беллетристические отделы журналов, но успеха не имел. Труды его ему возвращали, и я помню, как Бакуле разозлился, когда нашел в одном журнале следующее уведомление редакционной почты: «К. Г. Гилар, слабо — не подходит».

И снова он вернулся на стезю свободного искусства. На стезю поэта, которую считал для себя наиболее подходящей. Еще он сочинил роман и опубликовал его на собственные деньги.

Писал он его, как поэт, у которого нет-нет да и соскочит с пера на бумагу вместе с кляксой какая-нибудь мысль, и если за нее зацепится другая, в поэзии это создаст самодовлеющее целое — в романе же может создать только нелестное впечатление о способностях автора.

В стихах это несет нагрузку настоящей мысли, которую, правда, не понимает ни читатель, ни сам автор. Но стихи выдержат всё. Чем нелепей абракадабра, тем больше людей усматривают там зерно мысли, своеобычность, необычайный талант, и тем больше людей признают гениальность поэта.

С прозой, однако, этот номер не пройдет. Гилар об этом не думал и компоновал свои фразы весьма лаконично:

«Но к чему сожалеть?.. Только потом, быть может, — может быть, потом... Но теперь?.. Не взыщите... Тени поднимаются над садом? Ведь уже сумерки? Да, это так. И это не удивляет. Поздний вечер. Необычно? Отнюдь. Естественно. А юноша глядит? И как глядит? Опять естественно? Конечно. К чему искать во всем необычность? Свет луны обязательно озарит его. Он это знает и потому ждет, когда она выйдет. Он это знает точно, и он счастлив. Так бывают счастливы юноши. Луна выйдет. Она выходит всегда. Неумолимая логика, — думает юноша. А почему бы ему и не думать так? Он должен радоваться свету. Ну, он-то не обрадуется. Его это ничуть не трогает».

Читателя, конечно, роман Гилара тоже ничуть не тронул.

И Гилар бросился на стезю театральной критики. Занятие несколько не обременительное. Фразеология — и только. Глупость. Ошеломляющая наглость. Мошенничество. Своекорыстие. Заурядность.

Театральная критика, как критика вообще, — обман людей. Это вопрос не каких-то там творческих устремлений — а просто от начала до конца чистой-

ший вздор. Просто хватается у кого-то наглости считать себя превыше всех и вся.

Сам ничего не может, а станет критиком и на том успокоится.

Впрочем, о К. Г. Гиларе, то бишь о К. Г. Бакуле, этого никак не скажешь.

Он стал еще заведовать репертуаром в Виноградском театре и в подтверждение своего права на это стал доктором философии, защитив диплом о каком-то там объекте комического, и вдобавок работает режиссером. Доктор философии — не бог весть что такое.

Как только он до всего до этого дошел — загадка. Но Виноградскому театру он не повредил, — как, впрочем, не принес и пользы.

### **Что было дальше с тремя членами партии умеренного прогресса в рамках закона**

**И**з давнего опыта знаю, что в странствиях человеку особенно хорошо и вольготно, когда в кармане у него ни крейцера, и он вынужден искать, где бы разжиться на дальнейший путь и пристроиться на ночь. Иметь же при себе в дороге деньги, в сущности говоря, грех. Ведь столько добрых людей не видят ничего плохого в том, что человек в наши дни ходит по свету без гроша в кармане, даже наоборот — усматривают в этом проявление высокого спортивного духа. Вы же во время странствий теряете всякую деликатность — если только она вообще была вам присуща — и в полном смысле слова берете приступом семьи своих соотечественников; вы даже начинаете думать, что окажете особую честь тем, у кого пообедаете, и если вам предложат закусить, что называется, чем бог послал, считаете таких людей невежами и возмущаетесь, что они могли так обойтись с вами.

Конечно, перед тем как сесть к столу, надо поговорить с главой семьи о том, какая для вас радость встретить земляка; сказать, что вас интересует положение чехов на чужбине, но все же вы бы не решились беспокоить его в предобеденное время, не будь у вас к нему одной только просьбы: позволить вам воспользоваться туалетом в этом доме, где бьются золотые чешские сердца, и написать домой, что у вас кончились все деньги, дабы родные вам перевели их в близлежащий город, куда вы попадете денька через три. Вы вытягиваете из него адреса соотечественников, проживающих по дороге в тот город, спрашиваете, не пройдете ли вы, по пути за деньгами, мимо каких-нибудь его знакомых, где бы можно было на него сослаться, снимаете рюкзак и говорите, просяв: «Ой, мы так рады наконец присесть, сегодня на дворе сущее пекло, а когда нет возможности зайти в трактир, становится совсем невыносимо, ой, мы так рады, так рады».

И тут вам открывается прекрасная возможность изучить особенности разных темпераментов. Вы встретите сангвиника, флегматика, холерика и меланхолика, и каждый из них поведет себя с вами по-разному. Холерик сначала очень воодушевится встречей с соотечественниками, но через два дня устанет и скажет неожиданно, что ему, право, жаль, но безотлагательные обстоятельства требуют завтра его отъезда — вызывают туда-то и туда-то; он вдруг поймет, что бы поддакивали каждому его слову лишь из-за этой жалкой тарелки супа, и испугается при мысли, как бы вы не вздумали остаться у него на все вакации, а если жена у него молодая, заберет себе в голову, что вы смотрите на нее за обедом — а вы и смотрите-то, может, только ей в тарелку, как бы не положила лишнего, оставила и вам — и наконец объявит напрямик:

— Что делать, господа! Вот десять крон, ничем не могу помочь, за околицу я вас провожу.

Вы продолжаете свой путь уже с ним, у последних домов он заводит вас в трактир, где угощает вином, жалеет вас, дает вам еще десять крон, просит, чтобы не поминали лихом; сокрушается, что побыли у него так мало, могли бы и еще побыть, если бы захотели — при этом ощутительно дрожит из страха, как бы вы и в самом деле не вернулись с ним обратно, — дарит вам на дорогу сигары и, выйдя за околицу, сопровождает вас еще в течение получаса, объясняет, как идти дальше, снабжает адресами своих знакомых во всех уголках этого края, обнимает на прощанье и потом долго машет вам вслед платком и кричит:

— С богом, ребята, доброго вам пути, с богом, с богом!

Флегматик же, когда к нему обращаешься, говорит:

— Да, понимаю, понимаю, мучит жажда, меня вот тоже мучит, а приходится идти по делу.

И оставляет вас на несколько часов зевать возле стола, вы слышите, как рядом в комнате обедают, потом он выходит, и опять ему хоть бы что, ушли вы или еще здесь, он только спросит:

— Вы еще не обедали? Так вы успеете — трактир у нас на площади, служанка наша вас туда проводит.

Вы с жаром объясняете ему, какие у вас обстоятельства, и он тогда говорит:

— Ну, это, разумеется, меняет дело, — придется поплотней поесть за ужином. Можете тут и подождать, пока вам придут деньги, — мне что, я ничего не имею против.

Вы у него осваиваетесь настолько, что курите из его трубок, носите его шлепанцы, его халат... а он по-прежнему ничего не имеет против, смотрит на вас спокойно, как овца, и когда через неделю вам это обрыднет, вы его покинете; задерживать вас он не будет, а даст вам то, что вы попросите, протянет на прощанье руку и опять уйдет по делу.

Меланхолик не видит в вас братьев по крови. Он простирает к вам отеческие объятия. Он говорит о родине, спрашивает, не знаком ли вам некий Паздера или Кулишка, и, получив отрицательный ответ, замечает:

— Это понятно, он ведь давно умер. Жаль их, какие были люди! — и видит в вас троих олицетворение отечества.

Он вспоминает, что и где там было, где что находилось, и с таким грустным-грустным видом говорит:

— Там была еще такая галерейка, под которой мы детьми всегда играли, а мама приносила нам туда по куску хлеба с салом...

И плачет, и мы плачем тоже. И это как раз самый подходящий момент, чтобы стрельнуть у него денег. Он даст вам всё, что у него окажется, и будет сожалеть, что не сумел дать больше; будет вас потчевать, рассказывать о покойнице-бабушке, ночью придет взглянуть, не сбросили ли вы во сне одеяла, потом разбудит вас, чтоб дать настойку, которую забыл дать вам на сон грядущий, утром положит вам в карман план местности и, когда потом будет идти около вас еще чуть ли не два часа — чтобы поговорить о родине, — купит вам на дорогу кусок сыра. Очень любопытная психологическая деталь — меланхолики обязательно покупают землякам на дорогу кусок сыра.

С сангвиником все обстоит гораздо проще. Он неизменно весел; едва уви-

дел вас, сейчас же перешел на «ты» — «ну что, друг? Давай, брат!»... — сыплет анекдотами, таскает вас по кабакам и попадает из-за вас впросак, берет для вас займы, потом два дня сопровождает вас по пути дальнейшего следования и проживает все, что с собой взял, так что потом вам приходится отдавать ему на обратную дорогу те самые деньги, которыми он вас ссудил.

Со всеми четырьмя этими типами столкнулись мы во время своих странствий и умудрены теперь опытом на всю оставшуюся жизнь, — хотя потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский и утверждает, что соотечественники на чужбине похожи друг на друга, как две капли воды.

### **Потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский**

**К**то же он, наконец, сей добрый мой знакомый? Возьмите готский альманах, где названы представители родовой знати всей Европы, венский благородный календарь тоже перечисляет фамилии аристократов, от личных дворян до особ императорского рода, однако оба эти словаря полностью игнорируют потомственного дворянина Эмануэля из Лешеграда.

Лешеград в Чехии действительно есть, но это деревенька, входящая в поместье Коллоредо-Мансфельдов, — так что вопрос происхождения потомственного дворянина Эмануэля Лешеградского становится тем более загадочным. До того как во владение поместьем вступил род Коллоредо-Мансфельдов, деревушка Лешеград принадлежала Рожемберкам. Как же тогда у потомственного дворянина Эмануэля Лешеградского достало смелости числить себя во дворянах? Истинный аристократ не будет обращать внимания на такие пустяки. Эмануэль вычитал где-то, что есть аристократы духа, и начал ставить под своими первыми литературными опытами: «Потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский». Подобным образом поступил и муниципальный советник Ченков, подписывавший свои работы псевдонимом «Рыцарь Ченковский». Так он подписывал и личную корреспонденцию и даже принялся отыскивать какой-то материал о своих предках и доказывать, что они были владельцами замка Ченков, каковой замок был-де сметен с лица земли, а хроники, упоминавшие о том, не сохранились, и вот теперь никто уже не помнит, где и как он стоял. Рыцарь Ченковский так ревностно и неуклонно оберегал свой предикат, что даже начал бывать в благородном собрании, о жене его говорили: «рыцарева супруга», — пока наконец не выплыло наружу, что никакой он не рыцарь, а самый обыкновенный муниципальный советник Ченков. Не правда ли, как трогательно, когда в наш демократический век писатель выступает под именем титулованной особы и в конце концов сам начинает верить, что таковой является, с пеной у рта отстаивая это, если кто-то утверждает обратное. Есть у нас еще несколько таких хватов, например: «Чех Чехенгерский» или «Ян Войковичский», а чтобы было еще того благородней: «Карел Деветтер». И все-то эти Лешеградские, Чехенгерские и даже Финберские рассчитывают потрясти подобным образом воображение читателя и набить цену своей продукции. Кто не вникает в эту кухню, думает: «Сколько аристократов в Чехии активно занято в литературе!» — и полагает, что аристократы ничего другого не делают, как только пишут стишки и рассказы. Однако человек, имевший дело с аристократами, знает, что любой из них глуп, как сивый мерин и насилу мог бы написать несколько связных фраз. Впрочем, работы этих псевдоаристократов сплошь и рядом бывают такими, как если бы их создавали аристократы настоящие.

Вот потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский нимало не печется о своем реноме благородного барина, поскольку нанялся батрачить на плантатора Гинека. Гинек сам по себе парень добрый, но потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский увяз в его тенетах. С фанатической верой в облагораживающее влияние работы редактирует там всякие сборники, гнет спину на фирму Гинека — поставщика бульварного чтыва — с тяжкими вздыханиями о том, как было бы прекрасно, будь он взаправду этим самым дворянином и имей в Лешеграде поместье и замок, дабы не приходилось сочинять для Гинека рассказы по четыре геллера за строчку. А чтобы быть немного ближе к эмпириям, куда воспаряет его благородная душа, он переехал на Мальвазинку и живет там в одном особнячке в мебелирашках. Какая же, однако, страшная судьба у этого аристократического рода! Поместьем его владеют Коллоредо-Мансфельды, сам потомственный дворянин должен ездить домой на трамвае, состоять в услужении у Гинека и ко всему тому не быть даже и дворянином, а всего только чешским писателем, — а уж это и впрямь самая страшная участь, какая только может постичь дворянина.

### **Авантюры партии умеренного прогресса в рамках закона в Винер Нейштадте**

Где порядочным людям оказывают самый гостеприимный прием? Разумеется, на пивоваренных заводах. Господа пивовары просто не могут быть равнодушны к людям нужным, а особенно к землякам.

Вот и пивовар Хрж из Винер Нейштадта над Литавкой встретил нас радушно и гостеприимно. Город этот расположен у самой венгерской границы и, во вторых, известен тем, что там находится военная академия.

Но прежде всего город славится своим пивоваренным заводом, главным пивоваром которого и является пан Хрж.

Пан Хрж — муж выдающихся достоинств, впрочем, он весьма осторожен.

Когда мы пришли к нему по рекомендации одного полицейского комиссара из Вены, чеха, исключительного патриота, этот достойный муж попросил нас не говорить громко по-чешски во дворе завода, ибо хотя он и чех, но — осторожный чех и не хочет иметь решительно никаких неприятностей, наоборот, жаждет приятностей, жизни приятной, не нарушаемой какими-то вспышками национальной розни.

— Среди немцев чеху надлежит быть весьма осторожным, — пояснил он, — осторожный чех добьется всего; всякие там осложнения — это лишнее; ну с какой стати я, скажем, пойду ночью на площадь в Винер Нейштадте и буду кричать: «Я — чех, бейте меня!» С течением времени, милые господа, человек черствеет и забывает о всяких национальных претензиях. Моя фамилия Хрж сразу выдает мое происхождение, так что я, ей-ей, никак не могу разубедить немцев, что я не чех, а немец. Сколько раз я, разумеется, просто так, смеха ради, говорил им: «Я не чех, ich bin doch kein Čech, ih bin ein Deutscher, aber was, s'hält mir gar nichts. Sie sagen: Aber unser lieber Cherž, ihr Name, ihr spashafter Name, was glauben sie! Sie sind ein Böh[m]». Ну а я, опять же просто так, в виде опыта, понимаете, отдал своих сыновей в немецкую школу, но все зря, совершенно напрасно. Немцы все равно мне не верят, что я не чех. Тщетно я им это объясняю, пытаюсь им внушить, в итоге они все равно смеются надо мной. Просто ужасно жить среди немцев и любой ценой пытаться с ними ладить.

Но я всегда рад, когда вижу настоящих чехов. Я уже и сам перестаю верить,

что я чех. Сыновья мои почему-то стали совсем как немцы. А я, господа, терпеть не могу всякую сентиментальность, но что поделать — едва увижу Чехию, чешских людей, и сразу растрогаюсь, в самом деле. Я сразу сам не свой, становлюсь ужасно сентиментальным. Чехия, дорогая родина, всех тебе благ, а вас, друзья, я рад приветствовать, в самом деле рад приветствовать, но, к сожалению, вечером мне придется пойти на заседание магистрата, членом которого я являюсь, и вы уж простите, что не поужинаю с вами, но, когда я вернусь, мы с вами поговорим. Родом я из Либани, о, эта милая Либань! Вы были в Либани? В самом деле? Ах, а эта долина у Старых Градов с фазаньим заказником. Пойдемте в охотничий салон, там вы увидите, чего я настрелял здесь, в Альпах, отсюда ведь до Альп недалеко. Ох, наша Либань. Ешьте, пейте, веселитесь, я вам все покажу. В леднике у меня сорок бутылок вина. Мы сходим туда. Есть вам принесут все, что пожелаете, уток, гусей, все, что угодно, радуйтесь, что вы в гостях у настоящего чеха. Делайте пока все, что захотите. Обнимаю вас, земляки. Вот звонок, позвоните, когда захотите пива, вам сразу же принесут сюда дюжину бутылок двенадцатиградусного. И вообще, делайте что вам захочется. Весь дом в вашем распоряжении. Жены нет, она отдыхает в Венгрии, сыновья в Вене, так что вам тут будет полная свобода, дорогие земляки. Ну-ну, значит, вы тоже были в Либани, знаете этот милый край, либаньские леса, любезные сердцу леса, их красоту, знаете, чем славится эта земля. На здар, земляки, делайте здесь что хотите, я вернусь к полуночи!

И мы делали что хотели. Сперва наелись, а потом пили, а под конец жестоко подрались со слугами пивовара, потому что никто не пожелал сбегать нам за сигарами. Мы черт-те что вытворяли, мебель в охотничьем салоне оказалась вся вверх ногами; один из нас, Вагнер, в лохмотьях (так его «обработали» и слуги и мы сами) как раз стоял посреди салона, являвшего собой картину ужасного опустошения — это был итог нашей отважной обороны, когда вдруг появился пан пивовар Хрж. Не знаю даже, как все случилось, но он, увидев этот разгром — на полу валялись его охотничьи трофеи, всяческие рога, закрычал:

— Вон, вон отсюда, чешские босяки!

И в ту ночь нас в Винер Нейштадте слуги пивовара вышвырнули на улицу. А я и по сей день не знаю, собственно, как и с чего началась драка, помню только, что у одного солодаря, из тех, что подавали нам за столом, мы отстригли ус. С этого и началось.

Зачем, собственно, мы его отстригли, я не знаю, потому что не помню других подробностей, знаю только, что мы выпили все вино, а ночью перешли венгерскую границу

### **Величайший чешский писатель Ярослав Гашек**

**П**оскольку в ходе описания истории партии умеренного прогресса в рамках закона я уже неоднократно касался своей особы, чувствую, что пора отбросить излишнюю скромность и перед всей общественностью нелицеприятна подвергнуть себя серьезной критике.

Как глава партии умеренного прогресса в рамках закона и ее кандидат, я должен оценивать свое поведение и поступки по возможности объективнее и вместе с тем недвусмысленно, чтобы ни от кого не ускользнула ни единая выдающаяся черта моего характера. Что греха таить, бывают в моей жизни минуты, когда, восхищенный каким-нибудь собственным поступком, я шепчу

про себя: «Господи, какой же я молодец». Но что толку, если мир об этом не знает. Люди должны убедиться в этом, человечество обязано надлежащим образом оценить меня, и не только мои великие задатки и недюжинные способности, но, главное, мой поразительный талант и необычайно благородный характер. Могут, понятно, и возразить — почему, мол, я не поручил написать сей панегирик другому, более авторитетному человеку, почему насилую собственную скромность, расхваливая сам себя?

Отвечаю: потому что сам я знаю себя лучше всего и наверняка не напишу ничего не соответствующего истине — смешно ведь, когда пишешь о себе, преувеличивать, поэтому я обхожусь самыми скромными выражениями всякий раз, когда нужно себя похвалить, но решительно стою на той точке зрения, что скромность украшает мужчину, хотя настоящему мужчине ни к чему себя украшать, так что нечего уж слишком-то скромничать. Отбросим же всякие сантименты, из-за которых нас прозвали «голубиным народом», и будем мужчинами. Без всякого смущения открыто признаемся в своих достоинствах! Как прекрасно, что я смело могу сказать: «Милостивые господа, я гений» — там, где не в меру скромный человек заметил бы: «Милостивые господа, я сукин сын».

Толковый человек всегда достаточно ловко протискивается вперед и сам себя превозносит; в то время как застенчивый человек отсиживается на толчке, его более удачливый друг, оценив себя по достоинству, может проявить себя и в общественной жизни. Застенчивость — наихудшая черта человеческого характера. И прикрываться скромностью было бы обманом с моей стороны, со стороны человека, имеющего такие заслуги в области чешской литературы, политики и общественной жизни; было бы позорно, было бы просто грешно заставлять чешский народ сомневаться — гениальный я человек или нет.

И потому, не мудрствуя лукаво, заявляю: в истории человечества существует лишь один столь всесторонне совершенный индивид, и это я. Взять, к примеру, хотя бы некоторые из моих удивительно удачных рассказов. И что мы видим, листая страницу за страницей? Что в каждой фразе заключен глубокий смысл, каждое слово стоит на своем месте, все сообразно с действительностью; когда я начинаю описывать пейзаж, вы видите его прямо как на фотографии, а люди, которых я изображаю в захватывающе-запутанном сюжете, выступают перед вами как живые. Притом чешский язык в моих литературных трудах удивительно прозрачен, своей чистотой он даже превосходит чешский язык Кралицкой библии; истинное наслаждение прочитать хоть строчку из моих произведений, и, когда вы это сделаете, вы будете очарованы, почувствуете, как на вас снисходит блаженство, и, улыбаясь, впредь никогда не расстанетесь с этой книгой, всегда будете носить ее при себе. Я неоднократно являлся свидетелем того, как люди с отвращением отбрасывали журнал, не увидев в нем моих произведений. Я и сам поступал точно так же, поскольку я тоже отношусь к числу своих поклонников и вовсе этого не скрываю. Любое свое напечатанное произведение я прошу прочесть вслух свою жену Ярмилу, самую обворожительную и самую умную женщину на свете, и каждая фраза вызывает у меня возгласы заслуженного восхищения: «Это изумительно, это превосходно! Ну что за умница этот пан Ярослав Гашек!» Но, разумеется, это я так, между прочим, поскольку именно это — прекрасное свидетельство того восторга, какой вызывает моя литературная деятельность в читательских кру-

гах; и я уверен, что тысячи и тысячи читателей столь же восторженно отзываются о моих произведениях, и восторг этот дорог для меня именно потому, что выплескивается из сердец весьма просвещенной толпы, для которой я навсегда останусь самым знаменитым писателем в мире. Я — живое доказательство того, сколь лживы сообщения и распространяемые бесчестными критиками утверждения, будто у нас нет ни одного писателя с мировым именем.

А теперь подхожу к оценке своего характера. Человек, который пишет столь прекрасные произведения, как я, должен иметь столь же прекрасную душу. И на следующих выборах в имперский совет наверняка представится случай — если меня единогласно изберут от какого-то одного или нескольких округов — положить конец этому вопиющему позору: в австрийском парламенте по сей день не заседал наибогороднейший человек Австро-Венгерской монархии! Полагаю, незачем пояснять, что этот наибогороднейший человек, о котором я говорю, — я. Наконец, я со всей откровенностью признаю, что и эти строки, написанные мною, представляют собой одно из величайших, благородных деяний, ибо что может быть прекраснее, чем превозносить кого-то, причем абсолютно бескорыстно, на вершину славы? К тому же данная глава откроет глаза многим, кто, быть может, искал в этой книге — в этой великой истории, складывающейся из отдельных фактов, — памфлеты и пренебрежительную критику в адрес многочисленных общественных деятелей. Уж если эти строки можно назвать памфлетом, тогда я, честное слово, не знаю, что такое памфлет!

### **Конференция делегатов партии умеренного прогресса в рамках закона с выдающимися венгерскими политиками**

**В**енгры интересуются политикой. Говорят, что у нас занимаются разговорами о политике за кружкой пива, — а венгры занимаются разговорами о политике за стаканом вина. Пиво никогда не делает человека столь политически зрелым, как вино, потому что: «эн вино алетейя» — «истина в вине». И венгры ищут эту истину до тех пор, пока не свалятся под стол. Когда у нас кто-нибудь валится под стол, он там и умолкает. Венгры же и под столом продолжают говорить о политике. На своих конференциях с выдающимися венгерскими политиками мы были свидетелями нескольких подобных случаев. В Надьмартоне окружной королевский нотар Барабаш еще под столом кричал: «Éljen a Kossuth!»[284] — и произнес именно лежа под столом одну из лучших своих политических речей.

Вагнер подумал, что обязан брать с него пример, свалился под стол и зарол: «Да здравствуют венгры, слава чехам!» Это была незабываемая политическая конференция. Цыгане беспрестанно играли «Kossuth Lajos azt üzente...» — «Кошут Лайош сообщал — три полка он потерял». Участники конференции теряли при этом не полки, а равновесие, качались, сидя на стульях из стороны в сторону, а если и падали со стула, до последнего вздоха кричали: «Éljenek a csehkek, éljen a Kossuth!»[285] — Клофач своим визитом в Пешт отлично проложил нам дорогу. И в этот хаос в Надьмартоне вмешался важский жупан Иштван Варгаи, заявив в своей незабываемой речи, что чехи и венгры единый народ, хоть и отличный по языку, но народ, который уже в течение ряда лет дружески общается между собой. Чешские футболисты играют в Пеште, венгерские в самом большом городе Чехии, в Праге, — fovárosi Prágában, Isten hozta a három legnagyobb cseh embert Nagyma rtonba! Éljen a

Kossuth, éljenek a csehek! Бог послал трех лучших чехов (то бишь нас, судя по всему) в Надьмартон, да здравствуют чехи! Слава Кошуту!

И подойдя к цыганскому оркестру, крикнул первой скрипке, чтобы сыграли чешский национальный гимн. «Понимаем, вельможный пан», — ответили цыгане и заиграли «Jeszcze Polska nie zgineta»[286].

Потом все встали и, поддерживая друг друга, хором воскликнули: «Egy pohár sört!»[287] — «Опрокинем по стакану вина!»

И в сей торжественный момент, когда мы залпом выпили до дна, по трактиру величественно разносился «наш чешский гимн» «Jeszcze Polska nie zgineta», в эту минуту Вагнер, лежащий под столом возле пана королевского нотариуса, вытянул из того 10 крон. По сей день остается для меня загадкой, как он это сумел сделать, ведь он не знал ни слова по-венгерски, а тот ни слова по-чешски. Кубин поднялся и, разгоряченный вином, произнес свою целомудренную политическую речь по-чешски:

— Уважаемые вельможи, досточтимые венгры! Многоуважаемые друзья, я вижу, что достопочтенный королевский нотариус лежит под столом, как самая последняя свинья из баконьских лесов, которая катается по желудям.

— Éljen, — крикнули венгры.

— Вот видите, болваны, я вас тут ругаю, а вы, ну, никакого серьезного образования вы не получили, — и, взмахнув кулаком, повысил голос: — Негодяи, даже по-чешски не понимаете.

— Éljen, éljen, — откликнулся трактирщик, а когда аплодисменты утихли, встал я и сказал:

— Éljen a Kossuth, éljen a haza! — Да здравствует отечество! Сколько вас тут есть, все вы напились до положения риз, а спроси вас сейчас кто-нибудь, что такое швейнфуртская зелень, вы бы это ни за что на свете не смогли объяснить. (Бурные аплодисменты.) Швейнфуртская зелень это яд, эх вы, головы! Она содержит в себе мышьяк, ну вот, теперь вам это известно, и оставьте нас в покое. Ваш Кошут тоже наверняка этого не знал. — (Бурные крики «Éljenek a csehek!» — «Да здравствуют чехи!») Ну и хватит мне тут с вами разговаривать. Привет!

Потом снова играли «Jeszcze Polska nie zgineta», и наконец утреннее солнце приветствовало всех участников политической конференции под столами и на столах.

А когда мы отбывали со своей великой политической миссией из Надьмартона дальше, нас остановил в коридоре официант и на чистейшем чешском языке сказал: «Я Богуслав Коуделка из Гержманова Местце». Это был тот самый венгр, который больше всех аплодировал и кричал «éljen!».

### М-ль Слава

**В** Надьмартон, где проходила эта памятная конференция, мне пришла художественная открытка с таким текстом:

*«Милый Гриша! Знайте: вчера я была на «Проданной невесте» в Национальном театре!  
Ваша приятельница Слава».*

И ниже:

«Это было великолепно! Я сидела на галерке».

И больше ни слова. Я ждал упоминания о Рутке, таинственном женихе м-

ль Славы, потому что она имела обыкновение в письмах своему жениху писать обо мне, а мне, в свою очередь, о Рутке или о кузене Лозе и вечно все валяла в одну кучу.

Кто же была м-ль Слава? Деревенская девица, мечтающая во что бы то ни стало в глазах окружающих выглядеть эмансипированной. При этом она оставалась весьма романтической и сентиментальной. Кроме того, она любила приврать и запутывалась во всевозможных мелких любовных интрижках, полагая, что все должны лежать у ее ног, требовала от знакомых мужчин только дружбы, но никоим образом не любви, пела романсы и оперные арии, любила музыку и, когда нечем было платить квартирной хозяйке, закладывала свои драгоценности. Чтобы пойти в театр, брала деньги в долг, всегда смотрела невинно, будто святая Альжбета, пила пиво и вино, посещала промысловый кружок. Родом Слава была из Моравии и уверяла, что ей на четыре года меньше, чем было на самом деле, жила в сплошных интригах, играла на пианино, плакала, напевая «Красную розу», продавала свои учебники, не занималась толком и проваливалась. Ей нравились русские, и она ходила в православную русскую церковь, говорила по-русски, чтобы люди думали, будто она русская, любила вышеградское кладбище, у могилы Божены Немцовой готовила географию к очередному уроку, рыдая, рвала здесь одуванчики и засушивала их в атласе, обожала дьячка певчего, бородатого Ванека из церкви святого Николая, ходила в православную «Беседу», два дня носила дохлую канарейку своей квартирной хозяйки в пенале, пока наконец не закопала на могиле Божены Немцовой в Вышеграде. Ходила в лес и пела любимые песни, увлеклась игрой на цитре и исполняла на ней казачьи военные песенки, брала на время книжки и не возвращала их, воображала себя д'Артаньяном из «Трех мушкетеров», курила сигареты, безумно любила сладости, говорила сюсюкая «это ж», называла своих знакомых уменьшительными именами, наконец, училась пению и по своей наивности вышла замуж за рабочего сцены какой-то театральной труппы. Такова была м-ль Слава.

От нее-то я и получил этот дружеский привет в далекой Венгрии. Она сочла нужным порадовать меня сообщением, что великолепно сидела на галерке на «Проданной невесте».

Такая уж это была добрая душа. Однажды я заболел, и она мне написала, что вчера съела три пирожных с кремом и что теперь поет арию из оперы «Тоска».

Это она в приступе дружбы заявила: «Все жаждут от меня любви, а я жажду искусства». И когда это с ней случилось, она ела пирожные и пела арии из опер.

Кто жаждал от нее любви? Да ни одни из тех, о ком она говорила. Однако она в своем целомудрии сразу же предлагала дружбу. А уж если она предложила, то потом не так-то просто было от нее отделаться. Дружба подобной девушки — нечто ужасное.

Я это испытал как никто другой, и по сей день у меня мурашки по спине бегут, когда я об этом вспоминаю.

Куда ни повернешься, она уже тут как тут. Теперь вот выследила меня в Венгрии и начнет бомбардировать все венгерские почты подобными дружескими открытками, и все лишь для того, чтобы иметь возможность написать: «Милый Гриша!»

Она была трогательно поэтична, но знакомство наше произошло до ужаса прозаично.

Все дело было в брюках. Случилось это за два года до нашего нынешнего апостольского турне. Я возвращался тогда пешком из Польши в Прагу через Тешин, Фридек, Моравию.

По прибытии во Фридек я выглядел так, что меня посадили в тюрьму и не выпускали до тех пор, пока мне из дома не прислали денег на дорогу. Я должен был ехать поездом в Прагу, но на вокзале подвернулась компания картежников, и к утру у меня осталось всего 30 геллеров, посему пришлось идти из Моравской Остравы в Прагу пешком.

Так я и шел, побираясь, с двумя бродягами по маркграфству. Мясника в Фульнеке схватили жандармы. Я остался с сапожником.

Обычно мы делили с ним встречавшиеся на пути населенные пункты. Левая сторона доставалась мне, правая — ему. Мы со спокойной совестью собирали крейцеры, кнедлики, куски хлеба, выпрашивали молоко и так дошли до самого Гельштына-над-Бечвой.

Здесь на моей стороне оказалась школа. Я вошел в нее как раз пополудни.

— Мое почтенье, — поздоровался я и представился учителю: — Писатель Ярослав Гашек из Праги, прошу дать мне, что осталось от обеда, и если есть — какие-нибудь брюки.

Этот добряк долго не мог прийти в себя, а когда я описал ему свою судьбу, он не только подарил мне брюки младшего учителя, умершего от тифа, но пригласил к себе обедать, предложив переодеться и искупаться в ванне в саду.

Там я познакомился с м-ль Славой. Бедняжка, увидев, как я привожу в порядок свой туалет, вбежала в школу с криком ужаса:

— Папа, какой-то бродяга раздевается у нас в саду!

Отец успокоил ее, объяснив, что я не бродяга, а писатель пан Ярослав Гашек, который лишь по несчастной случайности очутился в подобной ситуации.

За обедом м-ль Слава сказала мне напрямик:

— Будем друзьями.

До такой степени я потряс ее романтическое воображение.

После обеда, попрощавшись с ними, я двинулся в Прагу, куда после многих мытарств благополучно добрался через две недели.

Год спустя в апреле шла процессия сапожников от Примасов в Праге на нусельскую «фидловачку».

Вдруг какая-то девица потянула меня за пальто со словами:

— Ба, это ж пан Гашек, который переодевался у нас в саду.

Девица оказалась м-ль Славой. Она приехала учиться в Прагу. Ее романтическая и поэтическая натура не позволила ей пропустить праздничное шествие сапожников.

С той поры ее дружба доставляла мне немало горьких минут, потому что Слава преследовала меня, бегала за мной по пятам и находила всегда и везде. Это укрепляло ее во мнении, что наша дружба нерушима.

Я избегал ее, но она меня отыскивала. К счастью, она начала ухаживать за одним англичанином, немцем из Саксонии, а я — за своей будущей женой. На этом все и кончилось.

**«Майские выкрики»**

Чтобы всем было абсолютно ясно, какие помыслы владели нашими душами в момент основания партии умеренного прогресса в рамках закона, скажу, что, по всей вероятности, не было ни одного молодого человека, который бы в ту пору рождения новой партии не писал стихи.

И в этом новом потоке новых идей появился на книжном рынке того времени и сборник стихов под названием «Майские выкрики». Издали его мы с Ладиславом Гаеком Домажлицким на средства Й. Сёльха. Прага II, 313. На одной странице всегда стояло: Ладислав Г. Домажлицкий, на другой — Ярослав Гашек. Очень скромно, всего шестнадцать раз упоминалось имя каждого из нас в этом сборнике стихов, не считая титула, с ним — восемнадцать, да еще мы посвятили себе по четыре стихотворения, так что наши имена были увековечены двадцать два раза, хотя каждый был представлен в этой книжке всего тринадцатью стихотвореньицами. Это были волнующие стихи. Гаек пел:

*И как же веселы, эх-ма!  
мы были — кровь кипела!  
Что я, что вы, входя с ума,  
кричали то и дело[288].*

Когда он накричался, я отвечал ему на другой странице:

*Всю ночь картежный нас трепал азарт,  
и выпали из рук колоды карт.  
Кто на пол, кто на стол, куда попало  
мы спать ложимся с пьяных глаз,  
а пиво все несут, все мало,  
в напеве чьем-то грусть финала —  
никто, видать, не любит нас.*

Ну мог ли кто нас любить, если мы пели подобным образом! Тем не менее мы не стесняясь продолжали:

*Вешнее утро нам приказало:  
марш на приволье, марш на природу!  
Сердце ликует, вместе шагаем,  
в песнях бунтарских славим свободу.*

И деревья при виде такой парочки взволнованно трепетали:

*...под ноги цвет нам белый стелили,  
солнце встречать нас весело вышло,  
радуясь нашей ликующей силе.*

Итак, парочка поэтов шла и ликовала, но вокруг было полно недругов, и нам следовало откликнуться на это и объяснить, у кого, собственно, рыльце в пушку и кто больше всех нас ненавидит:

*Вслед нам лишь город дымные брови  
хмурил свирепо, нас проклиная...  
Ходит поныне в каменоломнях  
звонкое эхо буйного мая...*

Итак, это был город, который ярился в наш адрес из всех труб. Труба была взята в качестве символа. Дело в том, что под трубой мы подразумевали того несчастного владельца типографии, который напечатал наши стихи.

Имя издателя Сёльха мы не выдумали, просто в один прекрасный день при-

шли к выводу, что если написать: «Издано на средства авторов», читатели отвернутся, будь это даже стихи, по отношению к которым общественности следовало бы вести себя пристойнее, это все же не какой-нибудь там роман о грабителях. Нам не оставалось ничего другого, как поставить на книге имя постороннего человека в качестве издателя.

Мы выбрали лавочника Сельха. Прага II, 313, которого в глаза не видели. Во время прогулки мы списали название этой фирмы, и с той поры он наверняка нас тоже не любил.

Представьте себе, что владелец типографии, после того как мы уже выудили у него все экземпляры, подписав вексель, что заплатим за печатание до такого-то и такого-то, естественно, не питал никаких надежд, когда истек месяц с этого такого-то и такого-то, и направился к издателю, как кошка за мышью.

Добрый лавочник Сельх от этого визита владельца типографии горько плакал — вот какого мнения о нем люди, будто он до такой степени опустил, что издал на свои средства стихи! Он кричал, что всегда был честным и выдавал лишь книжки для записи долгов своим покупателям. А когда он увидел напечатанное с полным адресом: «Издано на средства Йозефа Сельха Прага II, Карлова площадь, 313», на него напала виттова пляска. Эта пляска продолжается по сей день, он навсегда остался калекой. С ним произошло то же, о чем написано мной в этом злосчастном сборнике:

*Видишь, береза? Время сломило  
душу мою.  
Дни мои меркнут, перед тобою  
в скорби стою.  
Часто, береза, зимней порой  
ствол вспоминаю с белой корой.*

Я убежден, что лавочник Сельх вспоминает, конечно, не о березе и ее стволе, а о двух негодах, обо мне и Ладиславе Гаеке Домажлицком.

А управляющий и владелец типографии изо дня в день приходили к этому бедному лавочнику, и в округе стали поговаривать, будто лавочник Сельх спятил, издает на старости лет стихи людей, которых вообще не знает, совсем решил ума.

Он уже знал наизусть все «Майские выкрики» и кричал:

— А вот еще что я издал, вот эту гадость:

*Нет, не пою ей серенад,  
облапил с хохотом — и рад.  
а запищит — сильней прижму,  
тут в щечки чмокать ни к чему,  
вот обругать могу, да как!..  
Она — фабричка, я — босяк.*

— Так я, значит, босяк, а она фабричная работница, — кричал он в лавке с утра до вечера, потом вдруг в один прекрасный день воскликнул:

*Смейся громче, дорогая,  
у весны недолгий срок.  
Как листву, любовь сжигая,  
осень ступит на порог.*

И когда из типографии пришли к нему с напоминаниями, он смеялся «ха-

ха, ха-ха» и бился в жутких конвульсиях и во время одного такого припадка завопил: «Подайте мне Л. Г. Домажлицкого, нож и Ярослава Гашека!» И тут сбитый с толку владелец типографии пристал к нему: «Будьте разумны и заплатите за эти восемьсот экземпляров!», на что бедный лавочник вскричал: «Ну так я за это заплачу!»

При сем присутствовал свидетель, и у него описали имущество.

А мы распродали эти 800 экземпляров за полгода по трактирам и при случае познакомились с писателем Яном Остеном в трактире «У Флеков», который купил сразу два экземпляра.

### **Самый толстый чешский писатель Ян Остен**

**В**ремя, когда чешские писатели были тощими, слава богу, позади. Наступил расцвет чешской литературы, чешские писатели смело могут принять участие в конкурсе и рассчитывать на выигрыш как мужчины с наибольшим весом. Самым толстым чешским писателям вовсе не обязательно писать самые лучшие вещи. Ясно, однако, что у тощего литератора в Чехии нет никаких шансов.

Когда я замещал редактора, бывшего в отпуске, и вел развлекательное приложение одной газеты, мне достаточно было увидеть автора, и я знал, годится ли нам его материал. Скажем, стоит перед тобой тощий человек, и как всякий тощий автор обязательно объясняет, что его работа первоклассна и непременно украсит наше приложение; это, например, всегда твердит Франтишек Шафр (он ужасно худ). Я рассуждал так: судя по твоему виду, литература дает тебе мало прибыли, а почему? Потому, видать, что труды твои ни к черту не годятся.

— Хорошо, посмотрим, — говорил я и порой даже на глазах автора швырял его рукопись в корзину. Зато какое наслаждение испытывает редактор, когда приходит толстый писатель, габариты которого сами говорят о достоинствах его трудов. Его рукопись можно, даже не читая, посылать в типографию с пометкой: шрифт «боргес», — ясно наперед, что эта работа первоклассная.

Исходя из этих соображений, Остен самолично приносит в редакцию свои рукописи, причем большей частью это работы вполне на уровне (за исключением статей в «Пародии политике»); его заработки составляют за год приличную сумму. Нынче настоящий чешский писатель пишет не кровью, а салом, и такому толстенному, заплывшему жиром писателю редактор не откажет ни в чем.

Как-то мне случайно попала в руки «Мюнхерне цайтунг». И я, к своему изумлению, прочел там следующее сообщение:

«Aus der Ausstellung der Dicken. Zum Schluß der gestrigen Aufstellung dicken Männer veröffentlicht Direktion des Klubs folgendes: I. Preis, goldenen Becher erhielt Johan Osten, Schriftsteller aus Prag»[289].

Так вот зачем Ян Остен ездит в Мюнхен! Так родились его «Письма из Баварии», в которых он пишет о Мюнхене, всегда с неподдельным восторгом, ежегодно сообщая, как прекрасна жизнь на королевской пивоварне; в общем-то он остается самым признанным знатоком мюнхенского пива среди чехов.

В «Симплициссимусе» появилась как-то карикатура, изображающая мюнхенскую придворную пивоварню, где художник Тома черпал сюжет для своих очерков. Толстый мужчина, сидящий на бочке, говорит кельнерше: «Heute schmeckt es mir nicht. Kann i'nach zehntem Maas ka' Durst kriegen!»[290]

В этом добряке на рисунке я, к своему удивлению, узнал Яна Остена. Там, в Hofbräuerei[291], все кельнерши знают его как постоянного клиента, он два раза в год непременно приезжает сюда, у него есть своя бочка в пивоварне в Мюнхене, и размышляет, сколько пива ему надо выпить здесь, чтобы прибавить в весе килограмм-другой — тогда в пражских редакциях его станут уважать еще больше. Когда он не сидит в мюнхенской пивоварне, то отдыхает в пивной «У Флеков» и, попыхивая виргинской сигарой, измышляет свои поразительно трогательные писания из жизни аристократов. Он с упоением пишет о людях худых и изящных. Его герои — спортсмены, они играют в теннис, ездят верхом, любят графинь, прыгают в воду, спасая своих невест, останавливают на скаку лошадей, которые понесли, а сам создатель этих изящных произведений вынужден выбирать стул попрочнее, который выдержал бы его тяжесть.

После обеда вы можете встретить его в винном погребе, где он с каннибальским наслаждением уничтожает сало, обдумывая очередной роман из жизни тощих дворян и их не менее тощих возлюбленных.

### Надьканижская идиллия

**М**ы не ставим себе целью дать читателю описание края и лишь представим ему тех, с кем встретились во время своего путешествия.

Наша партия была, собственно, первой политической партией, которая отправилась за рубеж своих представителей, чтобы там, за границей, они путем тщательного изучения политических, экономических, национальных и социальных отношений приобрели опыт, который стоит отразить в программе партии.

Значительно позднее, после нас, реалисты отправили Масарика в Америку, а спустя много лет социал-демократы послали д-ра Соукупа тоже в Америку. И оба они возвратились, обогащенные опытом; Масарик привез в Чехию новую идею — а именно: чтобы у нас кто-нибудь подхватил эту идею и начал возделывать на полях один из видов кактусовых, плоды которого весьма вкусны. А д-р Соукуп выразил свой опыт в такой прекрасной, хотя и немного странной, фразе: «Мы построим свою собственную Ниагару и сможем обеспечить движущей электрической силой всю Чехию»).

Итак, путешествуя по венгерскому королевству, мы внимательно и пристально изучали быт и жизнь населения. И пришли к убеждению, что люди, не меняющие белья, также доживают до глубокой старости. В Кёрменде нам показали крестьянина ста семи лет, который вот уже семьдесят восемь лет ходит в овчинном полушубке, надетом на голое тело. Пятьдесят лет назад с его тела свалились последние кальсоны и последняя сорочка. В полушубке он и спит, а от нижнего белья у него осталась лишь веревочка на поясе, которой он прежде подвязывал кальсоны. И человек этот помимо всего своим примером подтверждает известный социальный лозунг «Грязь не порок», он вот уже более шестидесяти лет является местным старостой. Весьма важное наблюдение мы сделали по пути из Шопрони в Надьканижу, где дольше всего удерживался турецкий пашалык, а именно: самыми довольными были те, кому насильно не успели навязать образованность.

В шопронской округе, да и в важской — вплоть до самого озера Балатон и по всему балатонскому краю, в Баконе, почва весьма плодородна, крестьяне зажиточны, но школ там почти нет. Крестьяне не умеют ни читать, ни писать,

но успешно торгуют зерном и скотом, и обмануть их никому не удастся. На образованного человека там не без основания смотрят подозрительно, как на вора, и они правы. В Кирайхиде учитель обчистил общинную кассу. Самый знаменитый конокрад во всех трех комитатах Шавани изучал теологию. Как вы можете убедиться — образованность частенько вредна, во всяком случае — окружению. И когда мы прибыли в Надьканижу, там сложилась совершенно ненормальная ситуация — в этом маленьком городке сосредоточилась вся какая была интеллигенция, и один обкрадывал другого.

Тамошний главный судья как раз находился под следствием, поскольку они с жупаном поделили меж собой деньги, выданные комитатом на строительство больницы. Самое интересное, что жупан лично вел расследование по делу своего сообщника. Местный священник на средства, собранные для ремонта городского костела, купил себе большой виноградник неподалеку от Муракёза, а затем с выгодой продал его еврейской винодельческой компании. Увидя это, старший раввин счел необходимым последовать примеру своего католического коллеги и организовал среди своих зажиточных единоверцев в Каниже, которых там предостаточно, сбор значительной суммы средств на строительство новой синагоги. А когда деньги были собраны, он бежал с ними в Италию. У старшего полицейского комиссара, в свою очередь, была какая-то некрасивая история со взяткой: он сорвал приличный куш за прекращение следствия по делу братьев Зарков, отличившихся тем, что задушили своего отца из-за наследства.

При таких-то обстоятельствах мы и прибыли в этот злосчастный город с рекомендацией к пивовару пану Знойемскому, а рекомендация была от Аугустина Эугена Мужика, его друга со студенческой скамьи.

Сердечно поздоровавшись с нами, пан Знойемский разговорился о положении в городе, присовокупив: «У нас тут идиллия — хоть куда. Раскрывают одну аферу за другой. Я и сам замешан в одной, даю взятки таможенникам», — а затем с большой заинтересованностью принялся расспрашивать нас о своем друге Аугустине Эугене Мужике, поэте и писателе.

Я рассказал о нем все, что знал.

— И он по-прежнему такой же ворчун? — спрашивал пан Знойемский.

— Ну, конечно, конечно.

### **Аугустин Эуген Мужик**

**М**ои первые литературные опыты самым тесным образом связаны с этим выдающимся чешским писателем и поэтом.

Я до сих пор помню, какое огромное впечатление произвел он на меня, когда я впервые появился в издательстве Отто, в редакции «Бесед лиду» и «Светозора», которые он тогда редактировал. (Сейчас за ним остался лишь «Светозор», а «Беседы лиду» перешли к Карелу Вике.)

Я долго поднимался по темной лестнице старого дома издательства Отто. Мне хотелось пристроить в «Беседах лиду» один рассказик о Словакии. Словаки были в то время в большой моде. Помню, был у меня и такой умысел: как только увижу прославленного редактора, сразу попрошу его, чтобы он тут же прочел рассказ и выписал крону-другую в качестве аванса.

Итак, я открыл первую дверь и очутился в огромной комнате, похожей на зал для аудиенций владетельной особы. За столом сидела тощая дама, редактор какой-то женской газеты. Напротив нее расположился некий юнец, кор-

ректор, то и дело вскидывавший на нее испуганный взгляд.

— Простите, пан редактор Аугустин Эуген Мужик здесь? — спросил я как можно учтивее и низко поклонился.

— Да, проходите, — ответила дама.

Я вошел в следующую комнату, где сидели двое. У одного стола расположился пан Лоукота, редактор «Пражских господаржских новин». Я подошел к нему и спросил:

— Простите, пан редактор Мужик у себя?

— Проходите дальше, — ответил редактор Лоукота.

И я направился к господину, который сидел в глубине комнаты, думая, что это и есть Мужик. Я не знал его в лицо. А этот второй стол вместе с сидевшей за ним особой представлял «Злату Прагу», особой же был пан Олива.

Я приблизился к нему:

— Прошу прощения, не мог бы я поговорить с паном редактором Мужиком?

— Проходите дальше, — ответствовала «Злата Прага».

Только теперь я заметил, что в задней стене была маленькая дверка, оклеенная обоями. Она показалась мне тайным входом в комнату пыток. Я тихонько постучал — никакого ответа; постучал еще раз — снова ничего. Когда же и после четвертого стука за дверью не послышалось «Войдите», я повернул ручку двери и вошел.

Из-за стола у окна на меня воззрился небритый господин в пенсне в золотой оправе и низким голосом проворчал:

— Не могли постучать?

— Извините, я стучал.

— Нет, вы не стучали, не стучали, я бы слышал. Что это за манера — так врываться в редакцию! И что вам, собственно, нужно?

Он говорил со мной так, как обычно разговаривают с надоевшим нахлебником из богадельни.

— Я позволил себе, пан редактор, принести вам очерк о Словакии. Если бы вы были так любезны и посмотрели его: не подойдет ли он для «Бесед лиду».

Я положил рукопись на стол, заваленный грудой бумаг, и продолжал покорно стоять, сохраняя кроткое выражение лица, и не сводил просительного взгляда с редактора, о котором знал только то, что он был родом с чешского юга. Вдруг меня осенило.

— Пан редактор, — осмелился я, — а ведь вы изволите быть моим земляком. Я из Мыдловар. Там у нас несколько семей с вашей фамилией. (Вообще это была неправда, но...) Трактирщик Франтишек Мужик — это, пан редактор, мой дядя, а его брат — он пошел в зятя в... (Если бы я только мог вспомнить то местечко, где родился сам Мужик!)

— Так это, наверно, в Свинары, — помог мне редактор. — Там у меня тетка.

— Ах да, конечно, Франтишка!

— Нет, не Франтишка, Анна, Анна. Тетя Франтишка в Козоварах.

— Да, да, пан редактор, в Козоварах; это примерно часа три ходьбы от Мыдловар. Она замужем за моим двоюродным братом.

— А, так это тот хромой Волешняк... Ну, конечно, как же, как же, знаю. Теперь уж вспомнил! — воскликнул редактор и, вынув из кармана портсигар, предложил мне сигарету. — Закуривайте, как это мило с вашей стороны... А

сколько детей у Волешняка?

Я не знал, что ответить, и выпалил:

— Восемнадцать!

— Да что вы! Восемнадцать!

— Нет, пан редактор, восемнадцатого прошлого месяца у них родился третий.

— Но я сам уже знал о пяти.

— Конечно, пан редактор, но этот третий родился живым, а те остальные пять были мертвенькими. Ему вообще не везет... У них недавно еще корова пала, пан редактор.

— Так у них теперь кроме торговли еще и хозяйство?

— Только совсем крошечное, пан редактор.

— Ну, что же, я очень рад, очень рад. Так, значит, ваша фамилия тоже Мужик?

— Нет, я, видите ли, Гашек. Моя мачеха в девичестве была Мужикова. А я от ее второго мужа — от пана Гашека.

— Это хорошо, это хорошо. Ну, а что вы делаете в Праге? Учитесь?

— Очень усердно, очень усердно, пан редактор. Но, к сожалению, мои финансовые возможности весьма ограничены, и я кое-как перебиваюсь. Вот пишу немного.

— Ну, так пишите, юноша, пишите. Я сейчас же это прочту и посмотрим, подойдет ли нам.

Он взял рукопись, быстро ее просмотрел и сказал:

— Это я дам в ближайший же номер. А вы, наверно, хотели бы получить аванс? Что ж, я выпишу вам распоряжение на десять крон, а остальные получите, когда выйдет номер.

Вот так с помощью Волешняка из Козовар я проник в «Беседы лиду» и «Светозор». Сими строками я приношу ему горячую благодарность.

### **Продолжение надъканижской идиллии**

Для путешественников пивоваренные заводы ныне служат тем же, чем в средние века были монастыри. Здесь находят пристанище все жаждущие духовной и телесной пищи, и весьма примечательно, что поистине духовными пастырями усталых путников выступают чешские пивовары. Чеха-пивовара вы встретите повсюду. Когда Коллар писал, что славяне живут на территории между Шумахой и Татрами, Крконошами и Уралом, он был не совсем точен: это чешские пивовары так «распространились» по свету. И даже далеко на восток, за Уралом, все пивоваренные заводы в Китае тоже ведут чешские пивовары. В Кантоне живет пивовар Веверка, в Пекине Граздира, и, надо сказать, все эти пивовары-чехи отличаются поразительным гостеприимством. А теперь представьте, что к такому пивовару, живущему на чужбине, является чех. Чешский пивовар радушно встречает всех. Как же ему тогда встречать чехов, своих земляков, которые, невзирая на расстояние в несколько тысяч километров, приходят к нему, чтобы увидеть его доброе лицо, поговорить с ним и по возможности подробней рассказать что нового в Чехии.

И когда пан пивовар Знойемский в Надъканиже, поведав нам о судьбах этого несчастного города, стал спрашивать нас, как живет людям в Чехии, что нового в Праге, Кубин ответил, что перед нашим отъездом из Праги трубочист Вавроушек на Жижкове свалился с крыши на двор, но расшибся не силь-

но, наверняка выживет; а если пан Знойемский знает, где в Праге ломбард в Новом Месте, то ему будет интересно, что фирма «Мария Шпонарова» прогорела. Но это тоже ничего серьезного, она тоже выкарабкается. Потом уже я сказал, что Петршинский холм еще стоит, но что его, наверное, сровняют, а обзорную башню хотят перенести на Жижковский холм. Так в приятной беседе прошло время до обеда, а после отменного обеда пан Знойемский отправился с нами в окрестности города на осмотр достопримечательностей. Могу себе представить радость такого чеха, живущего на чужбине, который может показать землякам что-то новое, чего они еще не видели. Он повел нас за город к виселице на холме — она хорошо сохранилась, да еще была отремонтирована. Виселица осталась от времен, когда турки еще хозяйничали в Надъканижском пашалыке. После их изгнания тогдашний бургомистр дал торжественный обет деве Марии, что город будет следить за состоянием виселицы, и это было записано в городских анналах, равно как и торжественное обещание, что городу на вечные времена даруется право повесить на этой виселице любого турка, который приедет в Надъканижу. Эта привилегия, дарованная тогда императрицей Марией-Терезией, наряду с другими привилегиями была подтверждена императором Леопольдом, так что она действует и поныне. Лет десять назад прибыл в Надъканижу некий турок. Едва эта весть разнеслась по городу, городские полицейские схватили его и прочитали ему выдержку о праве города повесить любого турка. На торжественном заседании городского магистрата турку был вынесен приговор о смертной казни через повешение, который был заменен высылкой из города на вечные времена. Турок дела так не оставил и, приехав в Пешт, подал жалобу в турецкое посольство. Министр юстиции распорядился провести строжайшее расследование. В Надъканижу прибыла комиссия, а вместе с ней приехал и турецкий посланник. Город был сильно возмущен: мало того что правительство посягнуло на привилегии города, так еще и допустило оплошность, позволив заявиться в город уже второму турку.

Вспыхнули серьезные беспорядки, народ собирался толпами, были разбиты окна в гостинице, где остановились турецкий посланник и комиссия. Это произошло как раз перед выборами в венгерский сейм, а потому случилось так, что, пока комиссия расследовала дело, а турецкий посланник четырнадцать дней умирал от страха, как бы комиссия не признала привилегию города действительной, все горожане в первый день (в Венгрии выборы проходят три дня) голосовали за оппозицию, и результаты выборов показали, что город не отступится от своих прав. Правительству для сохранения большинства в сейме дорог был каждый мандат, а потому министр юстиции попытался спасти, что еще было можно. И он телеграфировал государственной комиссии коротко и ясно: «Признать все привилегии, турка ко всем чертям». Таким образом, турка повесили, и кандидат правительственной партии на выборах победил.

### **Композитор Хланда**

**Н**а свете не так много музыкантов, которые, садясь за пианино в синематографе для сопровождения демонстрируемых на экране воровских авантюр, убийств и прочих кошмарных преступлений и кровавых драм, откидывают со лба волосы столь эффектным, широким жестом, как пианист и композитор Хланда. Стоит ему запустить пятерню в шевелюру — и сразу видно, что перед нами, несомненно, личность гениальная.

Странствуя по Венгрии, я не раз вспоминал, как, сидя за пианино в ресторанчике «У литра», он извлекал из него противные резкие звуки, утверждая, что, прежде чем сочинять, ему непременно нужно сыграть что-нибудь фальшиво. Из неблагозвучия он составляет и переносит на нотную бумагу оригинальные музыкальные темы, компонует эскизы в одно целое — и получается либо баллада, либо веселая песенка, в зависимости от того, как настроено пианино и как настроен Хланда. Если пианино расстроено или не настроен он сам, он ничего не сочиняет. Поскольку пианино в ресторанчиках редко бывают настроены, а сам Хланда и подавно, то сочиняет он крайне редко. Если же оба этих хрупких инструмента в порядке, Хланде для работы необходимы полная тишина и спокойствие. Но какая может быть тишина, если, сочиняя, приходится играть на пианино — без него музыканту не обойтись! Тут кто угодно выйдет из себя! И Хланда, махнув рукой, бежит от проклятого ящичка, ставшего преградой на его творческом пути.

А у Хланды есть мечта — написать оперу. Мысли о ней кружатся в его голове, и остановить их можно только одним способом: сначала сочинить весь текст, проникнуться содержанием и увязать его с музыкальными темами. Он любил повторять:

— В любой рифме я слышу мелодию. Порифмую, порифмую — «воля» — «доля» — «чисто поле» — и готов лейтмотив первого действия.

Однажды он появился «У литра» с огромной папкой, на которой значилось:

### **ОЧИ СИНИЕ**

Музыку на слова Хланды сочинил композитор Хланда

Он раскрыл папку — там лежала половина листа бумаги с текстом первой сцены и лист нотной бумаги, пока еще ничем не заполненный. Текст был такой:

Сцена представляет собой голубое небо, раскинувшееся над молодым зеленым лугом на фоне густого леса. Из-за правой кулисы выходит студент лесного училища **Горак**. Играет на валторне. Из кустов выбегает девушка в крестьянском наряде. Это **Аничка**, дочь лесничего.

#### **Аничка**

(поет)

*Мой плач несется вдаль,  
укрой, о лес, мою печаль!*

#### **Горак**

*Я устою едва ль.*

(Подходит к Аничке и поет.)

*Очи синие и прекрасные,  
как забыть мне вас, очи страстные?  
Не будите чувства напрасного,  
не смотрите так на несчастного!*

#### **Аничка**

*Что слышу я и от кого же?  
За что меня караешь, боже!*

Вдали за сценой слышен хор работающих в лесу **лесорубов**.

*Елки рубим мы с утра,  
отдохнуть давно пора.  
Губим, губим на корню  
буйну молодость свою.*

### Голос лесника

*А ну-ка, дармоеды, замолчите!  
Я трубочкой подымлю, вы ель свою рубите!*

### Аничка

*Ко всем суров отец мой стал не в меру.  
Быть может, он в людей утратил веру.  
Зачем он так с сынами чешского народа?  
Извечна цель их доблестной борьбы — свобода!*

### Горак

*Ах, Аничка, вы ж знаете: я — немец.  
Да, немец. Немец я. Я немец.*

### Аничка

*Как, вы?.. О, неужели немец вы?*

*(Падает наземь.)*

### Горак

*Воды, скорей воды!*

**Лесорубы** за сценой поют.

*Где родина моя...*

— Так-то, — сказал Хланда, зачитав нам столь многообещающее начало. — На эти слова музыка так и просится. Разве я могу кому-то доверить писать либретто, кроме себя самого? Вы еще увидите, что я из этого сделаю. Кое-какие арии уже вертятся в голове.

И, подойдя к пианино, он наиграл тему «Очи синие и прекрасные...».

— Чего смеетесь? — прикрикнул он на нас из-за пианино.

— Да это же старинная народная песня «Очи синие»...

— Господи всемогущий, — вскричал Хланда, — так и есть, сам теперь вижу.

А я уж думал тему эту лейтмотивом развернуть...

### **Интриган актер Писецкий и его драма**

**К**огда в Надьканиже пивовар Знойемский спросил нас, какова ситуация в современной чешской драматургии, я ответил, что самый выдающийся драматург нашего времени — бесспорно, актер Писецкий. Дело в том, что я вспомнил еще одно место наших сборов, а именно: трактир «У Благов» на Виноградах, куда хаживал самый знаменитый чешский архитектор Йозеф Майер, ныне проживающий в Дейвицах, и его брат Вратислав Майер, дипломированный художник, сграффито которого являются сегодня лучшими в чешском изобразительном искусстве. В этот трактир к «Благам», своего рода политический филиал организации, ходил также незабываемый пианист Гонза Ридл, брат которого Антонин как раз в то время просвещал пани Ольгу Фастрову, как следует одеваться мужчинам. Вот были времена! Ныне прочтешь какую-нибудь статью пани Ивонны о мужской моде, и тебе даже в голову не

придет, что этот щеголь Тоник Ридл — скульптор. Ибо его одеяние, как говорили древние чехи, лишено греховных вольностей, почти как одежда автора этого сочинения. Возможно, все же Ридл одевается немного лучше, чем автор сих строк, но греховного в этом ничего нет.

Так вот, в трактир на углу Розовых садов и Бланицкой улицы ходил также племянник пражского бургомистра Гроша — паршивая овца в роду Грошев. И в то время как Гонза Ридл играл на пианино венгерские песенки, племянник Гроша объяснял, что у него в кармане ни гроша, и, хлопая Гонзу по плечу, кричал: «Ты далеко пойдешь!» Он был абсолютно прав, ибо в то время как он сейчас торчит в магистрате пень пнем, Ридл играет где-то в Гамбурге, бросая мечтательные взгляды в сторону Америки.

Сюда, на нашу штаб-квартиру, забредал порой и воевода македонский Климеш, причем он ужасно не любил, когда говорили, что Писецкий — интриган. Этот великий революционер благородной души не мог понять, как смеет среди нас появляться интриган.

Интриган, то есть предатель, готовый, видимо, предать все; для него нет ничего святого, он является и строит планы, как предать своих товарищей-бойцов.

«Я тебе покажу, — подумал воевода Климеш, — посмотрю, за сколько ты, голубок, готов предать своих людей».

Мы ждали прихода Писецкого. На первый взгляд он совсем не походил на интригана; но если вы подольше посидите с ним в трактире, его физиономия перестанет вам нравиться.

Он вдруг мрачно уставится перед собой и заявит: «Ну, я пошел домой». А как он при этом глянет на вас! Словно хочет пронзить вас своим взглядом. Нет для него ничего святого. Ему плевать на ваш покой, плевать, что вы сидите в таком приятном расположении духа, плевать на все. Вы и без того уничтожены его взглядом, а он еще подходит к вам и произносит: «Друг...» Да с такой интонацией, что у вас мороз по коже... «Друг, дайте мне в долг пятак!» При этом смотрит на вас холодно и бесстрастно со скептической усмешкой. Интриган, в жилах которого течет кровь интриганов, всех, всех, вот что такое Писецкий.

Так вот его-то и поджидал Климеш. Возможно, он думал, что Писецкий предаст всех балканских повстанцев, а Писецкий между тем пришел и принес свою новую драму — «Отец и сын».

— Написал вот новую драму, — молвит он. — Отличная драма. Сын интригами довел своего отца до того, что тот повесился.

Не успел он договорить, как оказался на полу. А на нем — Климеш, коленями прижимая его к полу, угрожающе крича:

— Я проучу тебя, турок проклятый, я тебе покажу, как быть интриганом! Если ты можешь обойтись так со своим отцом, то что ты подстроил бы нам, пойдди ты с нами на гору Гарван, в тот страшный бой, когда мы осадили Манастир!

Писецкому, этому интригану, по сей день невдомек, из-за чего его тогда побили.

**Архитектор Пепа Майер**  
**(Глава, написанная моей супругой)**

Архитектор Пепа Майер вошел в объединение «Манес», но не стал членом партии умеренного прогресса в рамках закона. Возможно, он даже не заметил, что наши сходки у «Благов» носили политический характер, ибо, как подлинный художник, он не интересуется общественными проблемами, более того — он просто пренебрегает всем, что хоть сколько-нибудь отдает политикой, и наверняка смертельно оскорбится, если кто-то осмелится предположить, что он хоть раз в жизни прочел политическую передовицу. И все же заслуги его перед нашей партией неоспоримы, а потому я, как летописец, должен упомянуть о нем в этом политическом сочинении, невзирая на то, что ему будет в высшей степени неприятно оказаться вовлеченным в какую-то деятельность в сфере политики, притом не по своей воле.

Тем не менее правда должна быть обнародована общественность не должна остаться в неведении. Архитектор Майер — мы настоятельно повторяем это вновь и вновь — весьма способствовал росту нашей партии. Он сидел за столом, улыбался, поправлял манжеты, время от времени подергивая верхней губой, не курил и пил, словно невеста. Тем не менее на его подставке для кружки всегда красовался целый венок из черточек, сделанных официантом о количестве принесенных кружек. Окажись среди нас иностранец, он, увидя эту массу черточек, всплеснул бы руками и воскликнул:

— Ну и пьяница!

Но все дело в том, что архитектор Майер — отличный человек. Даже если вы с ним не знакомы, вы можете подойти к нему и спросить: «Можно мне записать это на ваш счет?» — «Ну конечно, отчего бы нет, извольте». А если вы с ним знакомы, то можете сказать кельнеру, даже не спрашивая Майера: «Запишите это вон туда, на тот счет». И покажете на подставку архитектора Майера. Он заплатит не раздумывая, и пусть вас не волнует, как вы с ним потом рассчитаетесь. Вы станете ему симпатичны, он начнет вам «тыкать», будет высоко ценить вас и называть «дружище». А если узнает, что вы чем-то «отличились», откололи какую-нибудь штучку, полюбит вас. Если вы ему расскажете о драке, он придет в восторг. Ну, а если вы гуляка, которого то и дело забирают в полицию? Это наверняка восхитит его! Ведь он сам сроду ничего не учудил, не участвует в драках и не беспутствует. Он не любит серьезных разговоров, сам серьезно никогда не говорит, но способен оценить любую шутку, и никто, наверно, не смеется искренней Пепы Майера, и никто не может сказать лучше него: «Господи, дружище, ну и умора».

И все же у этого, казалось бы, столь довольного жизнью и счастливого человека, стройного и всегда элегантного, есть свои заботы.

— Послушай, сегодня у меня не было аппетита. Как по-твоему, это не опасно?

И вид у него грустный, сам он бледен и утомлен.

«А-а, — думаете вы, — опять чертил до полуночи, потом рано поднялся, чертил в мастерской, пошел на службу, в бюро архитектора Бендмайера, чертил там до двух, вернулся домой, наскоро перекусил и опять чертил. А сейчас придет, станет вспоминать, где что ел и пил, и поспешит домой. Выпьет молока — чтобы был нормальный стул, и красного вина, чтобы не пронесло».

Кроме отсутствия аппетита есть у него еще одна большая забота. Он ломает голову над тем, какие шляпы будут носить дамы, ибо если Париж отвергнет дамские шляпы с широкими полями, то тысячи женщин не станут оплаки-

вать их так, как один архитектор Майер. Он также питает пристрастие к кружевам и страусовым перьям, чулкам со стрелками и французским туфлям. Женщина, не умеющая одеваться, приводит его в ужас. А если она к тому же мала ростом, он испытывает к ней презрение. Его требования к женщинам невелики, но в этих своих требованиях он весьма неуступчив. Женщина должна быть красива, высока и элегантно одета. Особую симпатию он питает к молодым еврейкам. В плане духовном он ограничивается двумя пунктами — чтобы женщина не пела и не играла на фортепьяно. Если дама пишет с орфографическими ошибками, она ничего не теряет в его глазах, ибо, считает он, красивой девушке мужчины не оставляют достаточно времени, чтобы она могла научиться писать без ошибок.

Архитектор Майер еще и спортсмен. «Умеренный спортсмен», — скажем мы, члены партии умеренного прогресса в рамках закона.

Кто видел хотя бы один из его архитектурных проектов, наверняка вообразит, что это чертил человек, полный сил, честолюбия и энергии, которая не покидает его никогда в жизни. Где там! Он не энергичен и не честолюбив. По крайней мере как спортсмен. И если его архитектурные проекты полны мощи и торжественного покоя, в спортивных достижениях им до них далеко. Лучше помолчим об этом, не то придется посвятить данной теме целую главу, и она будет печальной и куцей.

### Д-р Г

**В** одном номере старого, давно уже прекратившего свое существование журнала «Шотек» на последней странице было напечатано жирным шрифтом примерно следующее:

*Д-р Г.*

*Ваша последняя оригинальная юмореска некогда вышла за подписью известного немецкого писателя, автора военных юморесок Рейхенберга. Из этого вы наверняка и сами сделаете вывод, что больше вы не можете быть нашим автором, а на многочисленные вопросы наших читателей мы отвечаем, что имя господина, совершившего такой наглый плагиат, д-р Грдина.*

\* \* \*

Таким образом, д-р Грдина уже выступал перед общественностью на страницах «Шотека» и «Палечка» как чешский писатель и юморист. А в чем, собственно, провинился этот господин? С ним произошло то, что порой случается и с другими писателями, скажем, с Врхлицким. Такой невезучий писатель вдруг возьмет да и напишет что-нибудь, поразительно похожее на творения какого-нибудь иностранного, малоизвестного у нас писателя. Это в общем-то просто смешно, а поскольку д-р Грдина — писатель-юморист, то нет ничего удивительного, если он таким путем хочет насмешить читателей. Но д-р Грдина — человек, которого просто преследуют подобные мелкие неудачи: стоит ему что-нибудь написать, как вдруг выясняется, что это уже написал кто-то другой, причем гораздо лучше. Но д-р Грдина не отчаивается. И это положительная черта его характера. У немцев много авторов-юмористов — Reclams Bibliothek[292] стоит несколько пфенингов (за выпуск), а дома у д-ра Грдины есть словарь Ранка. Так что оригинальные юморески писать весьма легко, а д-р Грдина использует их весьма экономно.

Его юморески — это буквально ценные бумаги, они путешествуют из одной

редакции в другую. Напечатают их в одной газете, а через два-три года они появятся в другой.

Д-р Грдина умеет ценить свои юморески. Если какую его юмореску однажды уже напечатали, он проникается к ней любовью, переписывает ее с печатного текста снова на бумагу и посылает какого-нибудь служащего отнести свое творение в редакцию.

Но в редакции обнаруживают, что где-то уже читали это сочинение, сперва, скажем, в иностранной газете, а потом в «Народни политике».

Сообщают об этом д-ру Грдине, а он заявляет, что под его именем выступает какой-то проходимец, видимо, желая вытянуть из редакции гонорар.

Остается сделать вид, что ему верите — хотя вы знаете его почерк, — и вы роняете замечание, что этот проходимец, очевидно, весьма ловок, если так хорошо подделывает и почерк д-ра Грдины.

А д-р Грдина почтит своим визитом редакцию дневной газеты и принесет объявление:

«Остерегайтесь мошенника. В Праге и окрестностях замечен человек, выдающий себя за д-ра Грдину, известного и популярного писателя, хотя он не д-р Грдина».

Так же как с юморесками, обстоит дело и с его очерками и фельетонами.

Неруда создал чешский фельетон, а д-ру Грдине удалось его опошлить, превратив в ужасающий набор глупостей, нашпигованный выкриками: «Ну, Клианек, как дела?»

Сначала д-р Грдина угробил очерк и фельетон в «Народни политике», а теперь добывает его в «Ческом слове», где его творения уже находятся при последнем издыхании. А д-р Грдина, не желая более производить на свет новых уродцев, использует свои старые публикации из «Народни политики», аккуратно переписанные на четвертках бумаги. И вы во второй раз читаете ту же статью, тот же фельетон, а если скажете главному редактору «Ческого слова» Пихлу: «Слушай, ведь этот фельетон Грдины был в «Политике», тот ответит: «Ну и что, откуда ему взять новые мысли?»

Грдина так экономно расходует свои мысли, что если кто-то и станет выдавать себя за д-ра Грдину, то лишь навлечет на себя страшный позор; посему это и впрямь была бы необъяснимая случайность, выбери этот некто из всех чешских писателей именно безликого Грдину.

Как, собственно, представляет себе это сей почтенный муж практически? Или он воображает, что если где-нибудь в провинции кто-то скажет: «Я писатель Грдина», то все будут взбудоражены, срочно соорудят триумфальную арку, а учитель приведет к нему невинных деток, и они, чисто умытые, увенчают его венками, свитыми их ручонками?

Мне в самом деле хочется знать, как это представляет себе д-р Грдина, — ну что за выгода кому-то выдавать себя за д-ра Грдину!

Объяви себя кто-нибудь Грдиной в Праге, от него все бросятся врассыпную в страхе, что он станет требовать деньги, — ведь его прототип, подлинный д-р Грдина, едва напишет юмореску, сразу требует от редактора аванс в 200 крон, заём, вспомоществование; он-де настоятельно нуждается в них, ситуация-де безвыходная, а его спасут именно эти 200 крон.

Не позавидуешь тому простаку, который в Праге отважится заявить: «Я д-р Грдина». Он и рта раскрыть не успеет, чтоб произнести первую фразу, как

услышит: «Очень приятно, но, к сожалению, я в данное время не располагаю возможностью...»

### **Майер Вратислав, знаменитый автор сграффито**

Дипломированный художник Вратислав Майер, правда, ничем себя не проявил на политическом поприще — это мы можем утверждать с чистой совестью, однако, если мы сочли необходимым упомянуть об архитекторе Йозефе Майере, мы не можем обойти молчанием и Братислава, даже если бы этот весьма талантливый человек не имел совсем ничего общего с партией умеренного прогресса в рамках закона и вообще с какой-либо другой партией. Ибо если вы бывали в кругу художников, вам не доводилось слышать имени «пан Майер». Если вы спросите: «Вы знаете пана Майера?», в ответ лишь пожмут плечами. Но спросите вы: «Вы знаете братьев Майеров?», любой воскликнет: «А как же, кто их не знает!» Какие мы после этого историки, если обойдем вниманием тех, кто, казалось бы, не входит в политические рамки этого сочинения; ведь мы не сможем дать читателю верную картину развития самой молодой политической партии, если не включим сюда лиц, которые, допустим, ни прямо, ни косвенно не повлияли на историю политики, но зато стояли рядом с теми, кто каким-либо образом сам творил историю или участвовал в тех или иных важных событиях нашей политической жизни.

А поскольку мы показали, какую важную роль играл в филиале организации «У Благов» архитектор Пепа Майер, необходимо посвятить одну главу другому Майеру, Славе, ибо если вы знаете одного Майера, вам необходимо узнать и второго, а, возможно, и третьего, и четвертого, потому что каждый из них, выступая сам по себе как своеобразный творец, засверкает новыми гранями и еще ярче, если вы поставите его рядом с каким-либо из братьев. Потому-то и говорят всюду о братьях Майерах, и потому мы наверняка окажем услугу общественности, если заодно с Йозефом Майером представим кого-либо из братьев — Братислава, художника, как уже говорилось, архитектора Ярослава Майера или Майера Владимира. Мы выбрали Братислава как старшего из троих. О его заслугах и достоинствах как художника мы тут распространяться не будем, поскольку это сделал в текущем году в одном из номеров художественного альманаха «Дило» художник Алвис Калвода, и своим пером знатока безусловно сделал это более конкретно и ярко, чем смог бы автор данного сочинения. Мы только заявляем: если маэстро Калвода утверждает, что последняя крупная работа по отделке дома в Дейвицах выдвинула Братислава Майера в число ведущих художников этого типа, то мы не знаем, какие тут могут быть возражения. Как членам партии умеренного прогресса нам, правда, было бы приятней, если бы он выдвинулся не так «сразу», а продвигался бы потихоньку, шагком за шагком, к вершинам, о которых мечтал; однако, и несмотря на эту свою поспешность, молодой художник нам весьма симпатичен: к тому же, в конечном счете, в этой его поспешности мы не усмотрели ничего выходящего за рамки закона.

Характеризуя Йозефа Майера, мы ни словом не обмолвились о его личной привлекательности, нарочно оставив этот момент для данной главы. Потому что если вы хотите дать портрет одного Майера, лучше всего описать всех четырех. Братья Майеры не очень похожи. У них различны как характеры, так и лица, и лишь молодцеватость и энергия, смуглая кожа да какие-то семитские черты, особенно заметные у Пепы и Славы, присущи всем. Однако если Пепа с

его черными усиками и блестящими черными волосами похож на парижанина, черноволосый и черноглазый, с густыми бровями, Слава походит на южного славянина; у шатена Ярослава вид темпераментного немца, самый младший, восемнадцатилетний Владимир гордится тем, что в нем есть что-то от англичанина. Короче говоря: еврей из Парижа, еврей с юга, еврей из Англии и еврей из Пруссии. Но самое интересное в этом то, что упомянутые четыре еврея — не только чистокровные чехи, но и правоверные католики. Мы, впрочем, не утверждаем, что они придают какое-то значение этой своей «чистокровности». Они космополиты, сторонятся политики и индифферентны в вопросах веры. Самый младший, Владимир, правда, баловался некогда политикой и был социал-демократом, но это относится к тем золотым временам, когда он — угнетенный ученик второго класса реального училища — не мог не чувствовать себя пролетарием. Тогда он переписал, а возможно, и сам написал стихотворение:

*Молоток, пружина в гербе  
красно-белых бедняков.*

Продолжение нам не известно. Однако и сей юный муж, выйдя из сословия угнетенных реалистов, тоже стал натурой художественной и, соответственно, аполитичной.

Что касается Братислава Майера, он никогда не занимался политикой. Это серьезный молодой человек, который ходит на балы, но не танцует, и в пивную — но не пьет там. Слава, как и Пепа, не курит. Но если Пепа не курит и не пьет просто потому, что «это не для него», Слава не пьет и не курит из принципа. Это человек принципов, это человек дисциплины. Он как бы старший брат своего старшего брата. И этим, вероятно, сказано все.

### **Ярослав Гашек выступает в Надьканиже Шифрованное письмо**

**К**арел Тесаржик был из очень хорошей семьи и получил положенное в таких случаях воспитание. Волей судьбы усилия пестунов впрок ему не пошли, и, возмужав, Тесаржик всему предпочел ограбление церквей. Бывает, лучшие помыслы и чаяния, всю свою жизнь люди посвящают искусству, так и Тесаржик отдал святотатственному ремеслу все свое вдохновение и выдающиеся способности. Более того, можно смело сказать, что весь смысл Тесаржиковой жизни свелся к обчистке храмов божьих да часовен. Душой он прямо-таки сроднился с церковью: частенько можно было видеть стоящего перед алтарем человека, благоговейно взирающего на фигуры святых. Этим набожным прихожанином и был Тесаржик. Он помнил, на какой деке Марии какие драгоценности, где какие дарохранильницы в Чехии, и это было большое несчастье: набожность его была столь неодолима, что дарохранильницы он уносил домой и, естественно, имел из-за этого крупные неприятности с властями.

Тесаржик состоял под надзором полиции, и сыщик время от времени интересовался, как идут его дела. Случалось, в церкви, где Тесаржик стаивал на коленях перед алтарем, рядом пристраивался другой такой прихожанин — сыщик Кличка. Тесаржик смотрел на алтарь, Кличка — на Тесаржика. И после этого кто-то еще смеет говорить о свободе совести в Австрии!

После каждого такого богомолья у Тесаржика обычно производили домаш-

ний обыск в поисках писем друзей и знакомых, преимущественно завсегдатаев Панкраца, Картоузов, Боров, Мирова, мастерских принудительных работ и других подобных учреждений для простого народа.

Надо сказать, что Тесаржик давно был взят на заметку четвертым департаментом полиции и не удивительно, что вскоре вновь настал тот торжественный миг, когда к нему явились с очередным обыском. Обшарив все углы его квартиры, два полицейских и три сыщика так и не нашли ничего подозрительного, не считая письма, помеченного вчерашней датой:

*«Дорогой Карел!*

*Через три недели буду в Невеклове. По этому случаю можно пошарить в святом Якубе. В позапрошлом воскресенье ему надели новый терновый венец, серебряный, весь в рубинах, тысячи на две потянет. В храм запросто можно пролезть через ризницу. Дождемся благословения, народ разойдется, а мы спрячемся за кафедрой, и пусть запирают на ночь в храме господнем. Только уговор: никакой игры на органе, как тогда, в Таборе! Венец загоним в Дрездене еврею Вернеру — помнишь того косоного хрыча, которому Лойзик Трапл их уже две штуки сплавил. Можно и церковную кружку прихватить, но там, наверное, будет не густо. Так что готовься навести полный порядок в храме божьем.*

*Тонда Громада».*

Прочтя письмо, полицейский комиссар глубоко задумался.

— Шутка это, пан комиссар, с невинным видом уверил Тесаржик.

— Там видно будет, — уклончиво ответил комиссар. Следуя излюбленному методу до последнего оставлять вора на свободе, — чтобы на след навел, — комиссар вместе с подчиненными вернулся в участок, приказав одному из сыщиков везде и всюду тайно следить за Тесаржиком.

Ликование по поводу письма в участке было недолгим; старший комиссар, внезапно побледнев, в отчаянии воскликнул:

— Нет, господа, радоваться рано. Ведь мы не знаем, что написано в письме.

— Помилуйте, все черным по белому, во всех подробностях. Суций клад, а не письмо, лучше не бывает.

— Ошибаетесь, господа, — стоял на своем старший. — Не может того быть, чтобы такой матерый ворюга, как Тесаржик, запросто и откровенно обсуждал свои планы в письмах с не менее опытным сообщником. Нет, господа, письмо явно зашифровано. Взгляните: фразы составлены совершенно искусственно. Как специалист по криптографии, смею заверить, они пользуются специальной сеткой, по особой системе в ней сделаны прорезы, куда они вписывают все, что хотят, а вокруг букв наращивают слова и целые предложения совершенно невинного содержания. Сейчас главное — расшифровать тайнопись, а там мы им покажем! Определенно оба затевают крупную игру...

(Тут я позволил себе небольшую паузу.)

*Продолжение моего выступления, неожиданное для слушателей.*

...Разгадка зашифрованного письма — дело нешуточное. У меня имеется несколько сеток, можно прямо сейчас по ним и проверить.

Старший комиссар приложил первую сетку, и все прочли: «Не клей дома. Путь к нам. Река, железо умны. Собл хьяу».

— Ну, не мерзавцы! — воскликнул старший комиссар. — Что я говорил? Тут дело нечисто. Попробуем вторую, у анархиста Клемента конфисковали. А первую — у вора Мареша. Все они одна шатия-братия. Так, посмотрим... И что же мы читаем? «Нл кл бл йб р н дз рь рь ч к зд ы тьнмн м м н т т ж в н ему бревно, обл. ном.»

— Чтобы мы да не расшифровали, — довольно потер руки комиссар. — Мы на правильном пути. В нашей коллекции этих сеток штук сто пятьдесят, какая-нибудь обязательно подойдет, а нет — попробуем сразу по две накладывать. Мы чтоб не справились! Пока что больше всего подходит сетка Мареша.

Прошло две недели, а подобрать сетку все не удавалось. Пришлось доставить в участок Тесаржика и подвергнуть его перекрестному допросу.

— Послушайте, Тесаржик, — напирала на него, — прочтите или объясните нам это письмо. Сетку давайте, код или что там у вас. И не сопротивляйтесь: нам все известно.

— Но, господа, — подивился Тесаржик, — в письме все как есть написано. Что мне скрывать-то? Письмо у вас, Громаде я ответил, чтобы отказался от грешных мыслей и не трогал святого Якуба, а в Таборе я отродясь не был.

— Лжете, Тесаржик! Вы от нас что-то скрываете. Выкладывайте сетку, а то вам несдобровать.

Напрасно клялся Тесаржик, что Громада в точности описал все, как и задумывал, а сам Тесаржик ни при чем и вины за ним никакой нет. Ему так и не поверили и, отпуская, для острастки припугнули — сетку, мол, сами уже подыскали, так что теперь просто держись.

И полицейский участок в полном составе с новыми силами кинулся разгадывать письмо Громады — что за дьявольская головоломка под видом нехитрого послания! Старший комиссар разволновался не на шутку, когда один его приятель-математик подсчитал: если в разговоре и переписке употребляется примерно две тысячи чешских слов, в чешском языке тридцать две буквы, и каждая сетка насчитывает сто прорезей, то существует сто двадцать девять миллионов миллиардов вариантов. Донельзя расстроенный комиссар приказал всем практикантам участка в течение двух недель перебрать все варианты. Четверо застрелились на месте, пятый повесился. Старший комиссар, сжимая в руке письмо, бродил по комнатам как невменяемый; в каждом его кармане лежало по пачке сеток, то одну, то другую прикладывал он к письму, бормоча что-нибудь вроде: «Гн крп срч алк персн».

Тем временем сыщик Кличка вел тайную слежку за Тесаржиком с таким тщанием, что вскоре прислал из Неведова телеграмму: «Сегодня ночью Тесаржик Громадой ограбили храм Невеклове. Терновый венец святого Якуба дарохранительница церковная кружка Тесаржик Громада не обнаружены. Жду приказа».

Получив телеграмму, старший комиссар воскликнул:

— Узнаю их почерк! Чего только не сделают, чтобы сбить нас с толку!

Кончил он тихим помешанным, и до сих пор разгадывает «шифрованное письмо» Громады, бурча себе под нос:

— ...тогда получается «Др ман алкгп хом блгдл варр но на ч тр бр...»

Впрочем, он таки дослужился до седьмого класса, хоть и не перебрал еще даже миллиона вариантов.

**Мадемуазель Маня Бубелова**

В раннем детстве я верил в ангела-хранителя. Позже вера покинула меня — ангел-хранитель как-то раз не пожелал заметить, что я зацепился трусами под плотом. Но есть люди, которых он не оставляет никогда, приходя на помощь в самый что ни на есть нужный момент. Был такой ангелочек и у моей жены еще в ту пору, когда наша любовь только расцветала. Ангелочком была мадемуазель Маня Бубелова. До знакомства с мадемуазель Маней я считал, что ангелы бесплотно парят, опустив очи долу, и с непременной лилией в руке. Теперь же, если заработаю писаниной столько, что смогу позволить себе такую роскошь, я прикажу изобразить всех ангелов заново, ибо знаю, что у ангела в одной руке должна быть сумочка, в другой — учебник. И очи вовсе не опущены долу — ему же нечего стыдиться.

Именно так — с учебником русского языка под мышкой — являлась мадемуазель Маня и приводила Ярмилку, которую безбоязненно доверяла ей пани Майерова. Эта строгая дама всех дочкиных подруг подозревала в сговоре со мною, но на мадемуазель Маню никогда не падало ни тени подозрения. Негоже подозревать ангелов. Втроем мы отправлялись на еврейское кладбище — чтобы никто не видел их в моей компании — и там на могиле одного из Аронов я занимался с ними русским языком. Моя любовь упорно давала о себе знать во фразах, которые я диктовал для перевода Ярмилке: «Учитель любит прилежного ученика». При этом я, не мигая, смотрел ей в глаза в ожидании, не покраснеет ли она. Но Ярмилка отличалась малокровием и не краснела. Я не мог понять, как она ко мне относится, потому что переводила она голосом до ужаса равнодушным:

— Учитель любит прилежного ученика...

Бесстрастнее был разве что взгляд мадемуазель Мани, потому что у ангелов хватает такта не хихикать когда не надо. Это, конечно, еще не значит, что они не способны язвить. Я думаю, мадемуазель Маня издевалась надо мной, признавшись, что пишет стихи. Она тут же продекламировала небольшую поэму, кончавшуюся словами:

*Берегись, премудрый гений!  
У тебя от всех забот  
на лобастой головенке  
шишка мудрости растет.*

Ей не было и шестнадцати, когда она начала сочинять стихи в духе реализма, которые опубликовала в «Беседах» журнала «Час». Вот почему на мои литературные опусы мадемуазель Маня взирала явно свысока — меня-то ни разу еще не напечатали в «Беседах» журнала «Час»! Как-то она сказала мне:

— Вот, возьмите-ка и снесите это в редакцию «Шванды-дудака».

Я заметил, что это надежнее сделать ей самой.

— Пожалуй, вы правы. А то ведь не напечатают только потому, что принесете вы. К кому мне обратиться?

— К Герману, на Вацлавскую площадь. Идите, дерзайте и не слишком скромничайте.

Она отправилась в редакцию и дерзала там целых полчаса. Вернувшись, поделилась впечатлениями:

— Он оказался довольно милым старикашкой...

В следующем номере вышли ее стихи. Право, не уверен, опубликовал бы их

пан Герман, зная, что она сочла его старикашкой: не далее как сегодня Герман хвастался в редакции «Народных листов», что он еще мужчина хоть куда.

Все это было пять лет назад, когда я работал редактором «Комуны», газеты чешских анархистов. Я честно пытался увлечь обеих дам нашими идеями. Носил им «Комуну», анархистские брошюры, снабжал Кропоткиным, купил им «Детей сатаны». Но наконец понял, что цели не достиг. Мадемуазель Маня прочно остановила свой выбор на реалистической партии, а Ярмилка в разговорах со мной отстаивала идеи младочехов столь же рьяно, сколь дома — анархизм. Душа ее как бы распалась на две части. Бывало, она пела:

*Мильоны рук тьму лет разъяли.  
Красный петух, беспощаден будь!  
Тех, что тысячу лет у нас крали,  
сегодня заставим нам все вернуть.  
Путь наш, небо, багрянцем залей...*

И тут же как ни в чем не бывало продолжала:

*Готовы наши арсеналы,  
не потому ль дрожит буржуй...*

Мне было обидно до глубины души. Наконец она сказала:

— Знаете что, Гриша, надоели мне ваши анархисты. Стали б вы лучше социал-демократом. А потом национальным социалистом, потом младочехом — глядишь, депутатом выдвинут. А если б выбились в министры...

— ...Тогда вы выйдете за меня замуж?

— Кто же не выйдет замуж за министра?

Пришлось порвать с «Комуной». Я, правда, все еще не министр, зато Ярмилка теперь моя жена. Она по-прежнему надеется, что у меня все еще впереди. Национальным социалистом я уже побыл, надеюсь, успею походить в социал-демократах, а потом, решительно сменив политические убеждения, стану младочехом и облачусь в министерский фрак. Пока я упорно месил болото политики, Ярмилка успела сшить себе приданое, выйти за меня замуж и теперь училась готовить. Сделала свою карьеру и мадемуазель Маня. Она поступила на службу в промысловую Торговую палату на солидное жалованье, отреклась от церкви, работала для «Вольной мысли», сочиняла стихи, вошла в руководство движения прогрессивной молодежи, посещала политсеминары и популярные лекции в университете, ходила в театр, перечитала все, что того стоило, стояла у колыбели журнала «Руски обзор», и за что бы она ни бралась, во всем тут же проявляла незаурядные способности и выдающееся трудолюбие. При этом у нее нашлось время отменно изучить немецкий, польский, русский, английский и французский языки. Мало того — латынь и эсперанто. Не исключено, что она владеет еще какими-нибудь языками. Как бы там ни было, время она использует мастерски. В лавине работы, непременных лекций и семинаров у нее всегда оставалась свободная минутка. Это и было для мадемуазель Мани самое страшное — остаться без дела. Поэтому она тут же выискивала учителя и брала уроки скрипичной игры. Как-то летним утром, поняв, что время с шести до семи пропадает зря, она, схватившись за голову, помчалась на пляж под Вышеградом и с тех пор в любую погоду ежедневно по утрам училась плавать.

Но глубоко ошибаются те, кто представляет себе мадемуазель Маню измо-

танной и ворчливой, какими нередко бывают дамы умственного труда. Она всегда находит время со вкусом одеться, мило поболтать, натанцеваться до упаду да еще сходить в гости. Единственное, на что его никогда не хватает — это на еду и на сон. Но такие мелочи мадемуазель Маня без колебаний вычеркивает из своего распорядка.

### **Ян Ридл, знаменитый пианист**

**В** Надъканижу мне прислали открытку, подписанную благовскими Шалопаями. В одной из предыдущих глав уже говорилось, что «У Благов» собиралось крыло партии умеренного прогресса в рамках закона; они называли себя Шалопаями.

Интересы местных партийных организаций всегда своеобразны: в Чехии — одни, в Моравии — совсем иные. Конечно, в целом программа остается неизменной, но внутренняя жизнь организаций трансформируется в зависимости от местных условий.

Так вот и интересы разных ячеек нашей партии определялись местом, где они собирались — «У золотого литра», «У свечи» ли, в «Славянском кафе» или «У Благов». Разумеется, в политическом отношении мы были монолитны, но образ жизни наших ячеек значительно отличался. Скажем, «У золотого литра» мы привыкли к одному, а Шалопайи «У Благов» — совсем к другому, хотя нас прочно объединяли общие благородные устремления и цельная политическая программа, определявшая деятельность лучших мужей эпохи, описанных мною выше.

Среди фамилий под посланием мне сразу бросилась в глаза одна — «Гонза Ридл» с припиской: «В загул на всю неделю!» Прочтя это, я почувствовал, как волшебное тепло разлилось по всему моему телу.

Кто же такой Ян или просто Гонза Ридл, подпись которого оказала на меня почти гипнотическое действие? Мы уже упоминали о нем — это тот самый известный всем и каждому эпохальный пианист, тот замечательный человек, который с юных лет привлекал к себе пристальное, почтительное внимание не кого-нибудь, а архитектора Йозефа Майера.

У каждого из нас была юность, но такой, как у Гонзы Ридла, не было ни у кого. Он то и дело опровергал устаревшее мнение, что отцовский дом есть цитадель и лучший приют для детей-цыплят — под надежным крылом матери-наседки. Гонза же, светлая голова, пришел к выводу, что лучше всякого отца доля удаль-молодца, слаще материнской манки кварталы Фолиманки, а чем дома быть пай-мальчиком, веселей в разбойники податься.

И он убежал из дому, летал себе вольной птахой, шалопайничал, швырялся камнями в примерных деточек, питался если не манной небесной, то морковкой, выдернутой прямо в поле, обчищал сады, короче, жадными глотками вкушал прелести свободной жизни. Так что юность его была поистине прекрасна, лучше не сыскать. Лишь на такой почве мог взрасти человек неустрашимый, сохраняющий даже в самые лихие минуты жизни поразительное хладнокровие. Оно-то более всего и приводило в восторг Йозефа Майера.

К примеру, сам Ридл рассказывает, что как-то в Кошицах, когда он был солдатом и играл в военном оркестре, над ним, прижавшимся к земле, пронесся полк гусаров. Когда они ускакали, он поднялся как ни в чем не бывало — надоело лежать, к тому же приближалась артиллерия. А чего стоят его воспоминания о драках в кошицких трактирах, где против него выходило человек по

двадцать венгров и он одного за другим вышвыривал через окошко на улицу! Там Гонза выучил венгерский, часами мог болтать по-венгерски при всем честном народе. Больше всех его любил слушать архитектор Йозеф Майер, ни слова не знавший на этом языке.

— А ну, Гонза, шпарь по-венгерски! — не раз просил он, и Гонза извергал кошмарный набор созвучий. Это всегда кончалось только с моим приходом: все знали, что венгерский я знаю, по крайней мере, настолько, что Гонза меня не понимает. Как-то, отведя меня в сторону, он взмолился:

— Слушай, они думают, что я знаю венгерский. Ну и пусть думают, а?

В действительности дело обстояло так: он мог спеть несколько непристойных венгерских песен. Собственно, помнил он только мелодию, а слова давно забыл, поэтому, не опасаясь, мог бы исполнить их даже в обществе венгерских дам, которые наверняка удивились бы, что чешские народные песни поются на венгерские мотивы. Умел Гонза и ругаться на этом языке, но если бы он обрушил всю эту страшную брань на голову какого-нибудь венгра, тот, улыбнувшись, ответил бы:

— Nem tudom, — не понимаю.

Впрочем, не удивительно, что Ридлу не удалось постичь тонкости этого языка: оркестр кошицкого гарнизона состоял сплошь из чехов, с венграми же он общался исключительно во время драк, по-чешски и весьма лаконично. Вернувшись из Кошиц в Прагу, Гонза постоянно вспоминал о том героическом периоде жизни, когда на кошицких холмах трубил гонведским гусарам к выступлению, когда трижды разбивал казенную трубу о головы людей разных национальностей и занятий только за то, что они, по его выражению, говорили с ним «не на том венгерском». Там он завел восемьдесят пять романов с девицами всех возрастов, каждой купил колечко, а, собравшись на родину, одну за другой обошел всех и забрал подарки. Это был капитал, с которым он ехал домой. В Пеште колечки были проданы ювелиру, не считая тридцати, розданных в поезде попутчицам.

На военной службе его способности были отмечены по заслугам: трижды был в звании повышен и трижды разжалован. Если его и сажали под арест, то ненадолго: войско не могло выступить без его трубы, поэтому с Гонзы предпочитали спарывать звездочки. Однажды он дезертировал. А соскучившись по жизни военного оркестранта, послал с цыганом записку: так, мол, и так, господин фельдфебель, пришлите свежий галстук. Нечто подобное уже случилось с ним в юности: в одно прекрасное утро, покинув отчий дом, он поселился в пещере неподалеку от Праги, потом две недели скитался, кочевал в повозке. И это в то время, когда мать оплакивала его, а отец поднял на ноги всю полицию! Через некоторое время к убитым горем родителям явился какой-то чумазый малец со словами:

— Уважаемые домохозяева, Гонза просил передать, что ему нужен свежий воротничок. Он ждет на старых развалинах.

Тогда мать тут же полетела за Гонзой, чтобы вернуть его к семейному очагу, а в Кошицах за ним послали целый патруль — он получил-таки чистый галстук и две недели ареста. Сидеть бы ему в крепости, но он каким-то образом протащил в карцер полковую трубу и играл на ней до того скорбные, душераздирающие мелодии вроде «Могилы в пустыне», что полковник сжалился и отпустил его музицировать на свободе.

Так удивительно ли, что живительное тепло дружеских воспоминаний растеклось по жилам моим, когда рядом с именем такого человека я прочел еще и ликующее «В загул на всю неделю!».

### Жизнь среди Шалопаев

Приписка Гонзы Ридла «В загул на всю неделю!» на полученной мною открытке означала не что иное, как недельную гульбу в кругу друзей-Шалопаев. Эти слова стали девизом, с которым Шалопаи собирались целую неделю дружно гулять, оказывая друг другу всяческую помощь и поддержку, если кто-нибудь из них сдаст и не в силах будет держаться на ногах; деньги пойдут в общий котел во имя прекрасной цели — прокутить их себе в усладу по трактирам и ночным кабакам, наслаждаясь жизнью. Это дает лишний повод продемонстрировать, как протекала культурная и экономическая жизнь крыла партии умеренного прогресса в рамках закона, собиравшегося «У Благов». Тем более что я сам стал непосредственным участником их первого похождения, когда в едином порыве мы сроднились душой.

Чудным осенним вечером мы собрались «У Благов» обсудить события текущего момента и взбодриться в узком кругу друзей. Часов в одиннадцать вечера Писецкий чихнул и рухнул со стула.

— Слаб человек, — заметил Гонза Ридл, — то ли дело я. Судя по сегодняшнему, я понял: пора в загул на всю неделю!

Так впервые был обнародован этот программный лозунг, и Грош, подойдя к календарю, объявил:

— Сегодня двадцатое октября, так поклянемся же, что до двадцать седьмого друг друга не покинем!

Перво-наперво мы освободили Писецкого от обязанности участвовать в нашей неделе. Как ни протестовал он в благородном порыве дружеских чувств, все было напрасно: стоило усадить его на стул, он тут же чихал и оказывался на полу. Тем не менее Писецкий настойчиво уверял нас, что недельная гульба ему нипочем, выражая это примерно так:

— Д-д-да я хоть с-с-сколько выпью!

Ему решительно было объявлено, что так дело не пойдет, но он упорствовал, не желая нас покинуть, и мы, попросив у Благи тачку, вожжами прикрепили к ней Писецкого, со слезой в голосе продолжавшего вопить: «Я вас не-не-не брошу!», и повезли его к ночному трактиру «У Кровавого Тонды». Хозяином этого заведения с плохонькой гостиницей на проспекте Палацкого на Виноградах был пан Ваньга по прозвищу Кровавый Тонда. Здоровущий детина, толстенный, мускулистый, он обычно расхаживал по трактиру с засученными рукавами и зорко следил за клиентами. Стоило ему заметить, что кто-нибудь не доел суп, который здесь подавали по ночам, лицо его приобретало самое зверское выражение. Подойдя к несчастному, он ласково спрашивал:

— Что, олух, не вкусно? Какого рожна тогда приперся?

После чего брал клиента в охапку и выносил на улицу. О себе он говорил, что его не зря все боятся — попробуй кто из посетителей посягнуть на его добро — он отволочет мерзавца в подвал и там повесит.

Итак, подкатив тачку с поклажей к дверям трактира, мы оставили Писецкого, чтобы протрезвел, и зашли внутрь. Писецкий тем временем ужасно расшумелся. Лежа на тачке, он все еще кричал, что ни за что нас не покинет, но потом умолк, а когда через полчаса Гонза Ридл вышел с рюмкой, чтобы напо-

ить Писецкого, он тут же вернулся с воплями:

— Писецкого украли!

Как потом выяснилось, эту милую шутку проделали два прохожих, которые слегка навеселе брели с Виноград на Панкрацкую площадь. Выехав на дорогу между Крчью и Браником, они бросили Писецкого на пустыре. Позже они уверяли, что Писецкий от страха быстро уснул в тачке. На рассвете его обнаружил конный полицейский патруль, и Писецкий, с трудом придя в себя, заявил, что приехал сюда сам. Полицейским все это показалось весьма подозрительным, они не стали его отвязывать и прямо на тачке отправили в пражское полицейское управление, из сострадания закутав ему голову, чтобы никто не опознал его в момент продвижения по центру города, мимо «Народни политики». Закон беспощаден! В управлении Писецкого наконец отвязали. На его уверения, что все это лишь шутка, пари, ему ответили:

— Ладно, мы разберемся, а вы пока что с тачкой и двумя полицейскими отправляйтесь к пану Благе — необходимо установить, действительно ли тачка принадлежит именно ему.

Прохожие на Вацлавской площади могли наблюдать следующую картину: глубоко надвинув на лоб цилиндр, в сопровождении двух полицейских, по центру Праги тащился человек, с трудом толкая перед собой пустую тачку.

Дело осложнилось тем, что, кроме нас, на розыски Писецкого отправились два панкрацких шутника, умыкнувшие нашего приятеля — а это были вполне уважаемые люди, один, к примеру, учитель, — вспомнив, что натворили накануне. Самые ужасные картины мерещились им при мысли о дальнейшей судьбе похищенного и брошенного ими бедняги, потому что той ночью как раз стоял приличный морозец.

В полиции никак не могли понять, что за чушь порет учитель, такой уважаемый господин, — он утверждал, будто украл привязанного к тачке человека. Учителю посоветовали идти домой и успокоиться, так как у него, видимо, небольшой припадок, который скоро пройдет. Тогда виновники принялись за розыски сами.

В общем, утром мы столкнулись с обоими уже отчаявшимися похитителями в районе Крчи, куда нас притащил Плутон, шотландская овчарка Писецкого, которая сидела с нами в трактире и лакала из тарелки пиво, пока ее хозяин отдыхал на тачке.

### Неделя Шалобаев

Как только мы обнаружили этих двух удрученных господ, похитивших нашего Писецкого, мы угрозами принудили их указать то место, куда они предыдущей ночью завезли беднягу. Еще раз подчеркиваю, что сразу же после того, как собака Писецкого вывела нас на след своего господина, мы внесли в программу партии умеренного прогресса в рамках закона следующее положение: «Правительство обязано заботиться о содержании и лечении зверей вообще и собак в особенности. Налоги на собак должны быть отменены, а живодеры, равно как и детективы, должны находиться под надзором депутатов».

Я сообщаю это для того, чтобы подчеркнуть, что программа нашей партии отнюдь не свод каких-то там случайных положений, наоборот, она составлена на основе весьма серьезного изучения общественной жизни.

Припоминаю также, что эти господа хотели дать собаке нашего друга Писецкого приобретенную в трактире колбаску, но пес заворчал и к колбаске не

притронулся.

Наблюдая, как собака не дала себя подкупить людям, похитившим ее господина, мы прослезились.

И я спросил их:

— Неужели вы не сожалеете о содеянном, о том, что вы натворили? Неужели же вам не жаль эту божью тварь с грустными глазами, у которой вы отняли ее последнюю надежду и поддержку в старости?

Оба господина уставились в пространство.

— А сколько вам за это придется пережить позора, сколько у вас впереди допросов, ведь это же преступление, именуемое «ограничением личной свободы», и, кроме того, это же просто кража — кража людей. Вот что вы совершили! А если бедняга, привязанный к тачке, упал где-нибудь в ручей и утонул, то на вашей совести будет еще и убийство. Даже если он просто замерз — а это в лучшем случае, — вас будут судить за неоказание помощи и за пренебрежение долгом каждого гражданина заботиться о молодежи.

Тут господин постарше, по профессии учитель, ядовито заметил:

— Не будете ли вы так любезны, господа, и не объясните ли мне, как это случилось, что мы нашли его привязанным к тачке, ведь не случайность же это?

— Разумеется, нет, почтеннейший, — сказал я, — это не случайность, так же, как и вы далеко не случайно запрятали куда-то нашего бедного друга. Однако ж мы совершили поступок благородный и хороший, в то время как вы просто-напросто украли не принадлежащую вам вещь, то есть пана Писецкого. Чтобы понять происходящее, вы должны проникнуться обстоятельствами, имеющими место на проспекте Палацкого на Виноградах близ ресторана «У Кровавого Тонды». Иными словами, там пропадают люди. Судя по всему, их кто-то крадет. Приблизительно неделю назад на этой улице при таинственных обстоятельствах исчез пан депутат Клофач. Он шел с нами, но не успели мы дойти до угла, как он исчез. С того времени о нем ничего не знают — ни избиратели, ни парламент. Дело это до сих пор держится в тайне. Позже там же исчез один юрист. Это дело, напротив, предано гласности, так как этот юрист через четыре дня вернулся домой, но даже родителям он не захотел сказать, что же с ним произошло. И только после того, как отец сказал: «Выходит, на этот раз тебя украли!», он кивнул головой и воскликнул: «Да, украли! Вот это правильно сказано!» Больше от него ничего не добились. Очевидно, он связан какой-то страшной клятвой. Итак, для того, чтобы раскрыть эту тайну, а именно: выяснить, кто же, собственно, крадет людей, мы воспользовались старым испытанным методом индийских магараджей. Как известно, для того, чтобы выследить и поймать тигра, магараджи приказывают привязать в джунглях какого-либо политического заключенного на ночь к дереву в расчете, конечно, на то, что тигр туда придет и приманку сожрет. На другой день привязывают другого политического заключенного, и эта процедура повторяется до тех пор, пока тигр не привыкнет регулярно ходить ужинать в определенное место и пока у них имеется в запасе необходимое количество политических узников. Потом однажды ночью на это место отправляется экспедиция, и в тот момент, когда тигр идет к дереву, чтобы съесть очередного политического заключенного, его подстреливают. Однако иногда случается так, что политзаключенные привязывают к дереву магараджу и тигр его крадет,

но это, собственно, дела не меняет.

И тут Шалопаи прямо посреди шоссе, ведущего к Крчи, окружили этих двух господ и запели:

*Нам на это наплевать,  
бьют часы, пора вставать.*

— Как видите, господа, — сказал я, — метод этот в принципе весьма хорош. Итак, мы привязали Писецкого к тачке, поставили ее на улице и, сидя в ресторане, стали дожидаться, не захочет ли кто-нибудь его у нас украсть. Ну, так что вы нам на это ответите? Ведь вы наверняка интеллигентные люди, у вас есть семьи, вы пользуетесь уважением в обществе, и теперь представьте себе, что вы попадете в газеты. Вдруг в один прекрасный день все прочтут о том, что вы натворили. Какой позор, какой стыд, господа! На вас будут указывать пальцем, вас будут обходить стороной, опасаясь, как бы вы и их куда-нибудь не задевали. А потом — суд. Вас обмерят, сфотографируют, ваши описания будут помещены в «Курире», а потом вы, конечно, будете арестованы и, наконец, повеситесь в камере на собственных кальсонах, а членов вашей семьи засосет трясина большого города. Не особенно заманчивая перспектива, не правда ли? Посмотрите, как прекрасно светит солнце, но учтите, в тюремную камеру не проникает ни один его лучик, там все ваши надежды потеряны, погребены, и вы — живые трупы, лишённые гражданских прав.

Шалопаи начали петь, приплясывая вокруг этих двух поникших фигур: «Dies irae, dies illa «testis virgo cum Sibilla»[293]. А потом мы, извергая страшные проклятия, потащили их к месту, куда ночью они водворили нашего Писецкого.

Его уже здесь нет! — в ужасе заорали они.

— Тогда, значит, он в морге! — воскликнул Гонза Ридл, и мы потащили их обоих к Браницкому кладбищу.

Они уже плакали навзрыд, в то время как мы усердно и в подробностях расписывали им их ужасное будущее: тюрьма, суд, виселица, загубленные семьи.

Около кладбища мы встретили могильщика.

— Эти вот господа, — сказали мы, — хотели бы видеть Писецкого...

— Пожалуйте, господа, пойдёмте, — сказал могильщик. В эту минуту мороз пробежал у нас по коже, а господа перестали рыдать и начали прямо-таки выть.

— Вот здесь, пожалуйста, — сказал могильщик, показывая на холм у кладбищенской стены, на котором стоял простой деревянный крест с жестяной табличкой: «Здесь покоится Войтех Писецкий, каменщик из Браника. Умер в 1879 году».

Мы велели им помолиться за покойничка, и, когда они без лишних пререканий исполнили христианский обряд, мы потащили их, от всего этого совершенно обезумевших, в браницкую пивоварню.

А их тем временем уже начали разыскивать супруги.

**Попробуйте браницкое пиво!  
Шалопаи мстят**

Итак, мы вместе с нашими пленниками оказались в ресторане браницкой пивоварни. Большинству пражан хорошо известен призыв, украшающий стены домов и заборы по обе стороны Влтавы — на Вышеграде, Злихове и По-

доле — вплоть до самого Браника, — «Попробуйте браницкое пиво!». Казалось, эти слова большими, можно сказать, огромными буквами выводил какой-то грамотный великан, возвращаясь в приподнятом настроении из браницкой пивоварни. Переполненный благодарностью, он писал где попало, все снова и снова: «Попробуйте браницкое пиво! Попробуйте браницкое пиво!»

В жаркие летние дни, когда солнце направляет свои лучи прямо на эти написанные масляными красками, а потому и не смываемые дождем буквы, призыв этот действует особенно сильно и даже неодолимо на всех тех бодрых и непоседливых пражан, которые, будучи свято убеждены в том, что едут просто отдохнуть в деревню, умирают от жажды в пыли шоссе и в жаре паровых котлов.

Я знал одного человека, который утверждал, что во всей Европе нет места красивее Браника. Синий небосклон раскинулся над чистеньким ухоженным поселком, волны Влтавы ласкают берег, обсаженный вековыми деревьями, сотни лодочек бороздят водную поверхность, ласточки стремительно взмывают над рекой, белые чайки описывают в воздухе круги, устремляясь к хухельскому косогору, а там на самом верху стоит в величественном лесу маленький костел и просит небеса хранить этот очаровательный уголок от гибели.

— Но нет, — говорил он далее, — меня все эти красоты сами по себе не вдохновили бы. Ведь это лишь небольшая часть того, чем навсегда пленил мое сердце Браник. Это даже не протяжные песни паромщиков, не спокойствие вечеров, когда звуки гармоники плывут над Влтавой, а молодежь поет величественный гимн браницких матросов: «У меня есть дома белка...»

Нет, дело не в этом. Не вдохновляет меня и ритмичный звук ударов шара по кеглям в многочисленных браницких ресторанах, и та прекрасная фраза, которая напоминает нам о давней славе чешских богатырей: «Все девять!» Все это ничто по сравнению с тем видом, который нередко открывается моему увлажненному слезами взору, когда вдруг на противоположном хухельском берегу из облаков пыли, поднятых на шоссе автомобилями, вынырнет, как призрачное видение, гордый силуэт огромных зданий браницкой пивоварни... И вот я уже бегу в этот храм, как дитя, устремляющееся под охранительную руку матери.

Незачем даже говорить, что разговор этот происходил именно в браницкой пивоварне. И признание это было сделано не кем иным, как Кисбаулером, одним из членов нашей компании, обладающим удивительной способностью приходить в поэтическое настроение всякий раз, когда появлялась возможность задаром выпить. Оба похитителя Писецкого сидели совершенно неподвижно, как вдруг пан учитель заметил:

— Да, в Бранике уже пять тысяч жителей.

Грош решил, что он лучше осведомлен в этом вопросе, и закричал, что в Бранике давно уже шесть тысяч жителей. Веселье явно достигало своего апогея, и можно было ожидать, что через полчаса все изменится и потом будет продолжаться в совершенно иной тональности. За эти полчаса мы заметили, что оба наши пленника весьма старательно налегают на браницкое пиво, конечно же, по причине совершеннейшей печали и отчаянья. Пан учитель как-то странно сидел на стуле и все время с идиотской улыбкой повторял:

— Мы попали к пиратам, мы попали к пиратам.

Другой кивал головой и говорил:

— Вот и хорошо.

Потом они, очевидно для того, чтобы снискать наше уважение, пытались наиболее полно нам представиться, но, когда я спросил пана учителя, окончил ли он хотя бы начальную школу, он отреагировал на это исступленным плачем, в то время как другой кричал:

— Я окончил Политехнический институт! Я инженер из Крчи!

Гонза Ридл с Грошем усердно его в этом разуверяли, но он в знак протеста разлегся на бильярдном столе, раскинул руки и закричал:

— Распните меня, распните!

Затем пан учитель выкарабкался из-под перевернутых стульев, спотыкаясь, добрался до пана инженера, лежащего с раскинутыми руками на бильярде, и судорожно обнял его; можно было догадаться, что он приговаривает:

— Послушай, Пепичек, все будет хорошо, ведь Трансильвания далеко, ты только вспомни, как мы сидели тогда в «Лондонке», ты не плачь, Пепичек...

Беседа их затянулась, но наконец мы сняли их обоих с бильярда, и они, обнявшись, сели на стол напротив и запели:

*Уж мою милую ведут от алтаря...*

Потом они ушли, но вскоре вернулись и направились в комнату рядом, где шло заседание какого-то просветительского кружка. Потом учитель открыл двери пустого шкафа и, заглянув в него, начал рассуждать:

— Смотрите-ка, уже ночь, тьма, совершеннейшая тьма. Где же моя жена? Что делает моя дорогая жена? Я должен идти! Я должен идти к ней!

И он влез в шкаф, чтобы погрузиться в эту темную ночь. При этом он наткнулся на заднюю стенку шкафа, стукнулся носом и закричал: «Не трогай меня, не трогай меня, Фанинка!» Тут второй господин бросился следом за ним в шкаф и, потрясая поднятыми руками, закричал:

— Оставьте его, милостивая госпожа! Оставьте его, я один во всем виноват!

Тут мы заперли шкаф, и теперь было слышно только кряхтенье, сопенье и приглушенные крики:

— Оставь меня, Фанинка! Оставь меня, Фанинка! И другой голос:

— Я сейчас вас стукну, милостивая госпожа!

Это продолжалось еще некоторое время, затем мы открыли шкаф и вытащили обоих на свет божий. У пана учителя и у его друга были оторваны воротнички, из носа у обоих капала кровь, и они, едва очутившись на дневном свете и увидев кельнера, закричали в один голос:

— Что вы с нами сделали, пан трактирщик!

Тогда мы оттащили их в сад, к колонке, и, в то время как пана учителя держали, мы принудили пана инженера встать на колени, что он воспринял, как подготовку к казни, и, совершенно не сопротивляясь, упал на землю со словами:

— Препоручаю тебе душу свою, господи! Я невиновен! Да подтвердится правда моя!

Остальные его слова потонули в шуме воды, которую мы качали ему на голову. Потом мы перенесли его, — он был совершенно недвижим, так как думал, что уже умер, — обратно в трактир. И под струю воды был доставлен пан учитель. Тот был в настроении весьма элегическом. Оторвав пуговицу от жилетки, он попросил:

— Передайте это моей жене! И завяжите мне глаза!

Когда мы исполнили его последнее желание, он покорно склонил голову и воскликнул:

— Слава родине!

И снова шум воды заглушил его остальные слова.

На этого вода все-таки действовала, потому что он делал руками движения, будто плыл. Когда после основательного душа мы подняли его на ноги, он, глотая воду, стекавшую с его волос, закричал:

— Благодетели мои! Золотые вы мои!

Затем мы пошли на солнце, где оба наших пленника разморились, и ими овладело совершеннейшее отупение.

Расплатившись, мы повели их на пароход, отправлявшийся на Збраслав и до Давле. Там мы посадили их поближе к котлу, где они заснули. Между Збраславом и Давле оба проснулись, но, находясь в состоянии весьма еще сумеречном, начали спрашивать, куда это мы их везем. Гонза Ридл объяснил, что в Австралию и что мы вот уже четыре недели находимся в открытом море. Тогда они в отчаянии бросились друг другу на грудь и вскоре снова заснули, обнявшись, как обезьяны.

По прибытии в Давле, мы вывели их на твердую землю: дело было уже к вечеру.

На всем пути до давельского охотничьего домика они в буквальном смысле слова спали на ходу. Уже в сумерках мы положили их в помещении ресторана на лавку и попросили лесничего, который одновременно содержал ресторан, оставить этих двух господ у себя до утра. Мы сказали ему, что один из них — пан учитель, а другой — пан инженер, а затем в его присутствии составили перечень всех денег и ценных предметов, найденных у этих господ. Все это мы передали лесничему на хранение, он же нам этот перечень и заверил.

И в то время как наши подопечные храпели, мы выпили по бутылке пива и отправились в Збраслав, где при гостинице «У солнца» еще был открыт ресторан. Но прежде чем уйти, мы вложили каждому из этих господ в шляпу по четвертушке бумаги с небезызвестным призывом: «Попробуйте браницкое пиво! Ваш Писецкий».

### **Ярослав гашек в кабаке «У Звержинов» делает доклад о мертвом теле на Тисе**

Где-то на верхней Тисе два парня поймали медведя, сняли с него шкуру, отрубили лапы, а труп бросили в реку. И он поплыл дальше по течению, вниз к равнинам, а парни тем временем отнесли шкуру в Надьбаню, где обратили ее в деньги, получив сверх того вознаграждение за поимку медведя. Ободраный труп медведя плыл вниз по реке, пока не застрял в камышах в том месте, где река выходит на равнину. Размокнув в воде, труп вздулся и лопнул, и теперь издали он казался совсем белым, будто человеческая кожа.

После дождей поток воды вынес труп из укрытия, но сейчас по реке плыл уже не медведь, а утопленник. Крестьянин из Бечкере, наблюдавший с берега, как в Тисе опадает вода, увидел его.

Тиса задумчиво катила по равнине свои воды, и в задумчивости возвращался в свою деревню крестьянин, ибо увиденное наводило его на самые серьезные размышления. Пришел он к своему соседу Батори и сказал:

— Вот видишь, лили дожди и прошли. Впрочем, они были нужны для куку-

рузы. Представь себе, что, если бы кукуруза не уродилась. С чем бы ты тогда поехал в город на рынок! Скажи мне, с чем? А потом, когда ты, уже продав товар и выручив за него деньги, ехал бы обратно в Надьбаню, что, если бы тебя обобрали и бросили в воду? Ах, боже, боже! Ну и дела! Но кукуруза все-таки уродится. Да и вода уже спадает. Так что его где-нибудь выловят.

— О ком ты говоришь?

— О ком говорю? Да о покойнике. Его раздуло. А он плывет себе по реке, красивый, как картинка. Как гусар. Иду. значит, я к реке взглянуть, не опадает ли вода. И вижу, как он плывет, бедняга, прямо по середине реки. Я закричал, не помочь ли ему, потому что не сразу понял, что это, значит, утопленник. Но тут вдруг его перевернуло волной, и он поплыл животом вверх. Беленькое такое брюшко, как у поросенка на жаровне.

Батори причмокнул.

— Здоровенный, видно, был мужик, скажу я тебе. Знаешь, Батори, уже мертвый он так развалился на стремнине, что любо-дорого посмотреть. Выглядит он как христианин, значит, надо его вытащить и похоронить.

Он закурил трубку и, помедлив, продолжил:

— Конечно, для Бечкере это была бы неприятность, большая неприятность, может, пусть лучше доплывет он до Кишвагани, пусть себе злятся, когда им придется распутывать это дело. Там-то уж он никуда не денется, потому что там — плотина, а под плотиной к тому же строится новая запруда, и он, бедняга, обязательно попадет под доски. И придется этим негодьям потратиться ему на похороны.

Слово «негодья» он выговорил с каким-то тайным удовлетворением — ведь между Бечкере и Кишваганью издавна шли споры, причем по причине весьма основательной. Кишвагань лежала ниже по реке, и бечкерские крестьяне справедливо негодовали, что они лишены той рыбы, которую удавалось поймать кишваганьцам. Батори посмотрел в окно на равнину:

— Хотел бы я видеть, Солвеш, как будут его вытаскивать. Только ведь они скажут: «Что нам с ним делать, с беднягой? Одни сложности, хлопоты да путаница. Откуда, спросят, приплыл, знаете ли вы его, не знаете ли вы его? Видели его живьем, не видели его живьем? Кто его вытащил, кто да что об этом говорит?» Да и похороны еще потом надо устраивать и черт знает что еще. Они возьмут да и бросят беднягу обратно в речку, пусть себе плывет на Пёузтек.

— Вот будет переполоху, — сказал Солвеш и пошел домой, вывел из стойла коня и поскакал на Кишвагань. Он летел вдоль Тисы как ветер и, заметив утопленника, покачивавшегося на волнах в получасе езды от Бечкере, закричал:

— Нет, не так быстро, друг!

Спустя полчаса он был уже в Кишвагани на жандармском посту.

— В Тисе труп, — с этими словами он подошел к жандармскому вахмистру, отдыхавшему возле пасеки.

— Ну хорошо, — сказал вахмистр и растянулся еще удобнее. — Если это действительно труп, значит, кто-то утонул. Ничего удивительного. Может, какая скотина напилась и свалилась в воду. Или какой идиот пошел купаться и нарочно стал искушать господа бога, который не научил его плавать. Или дурака кто-нибудь толкнул в воду. А какой толк? Теперь он распух, не правда ли?

— Так точно.

— Значит, утонул. И теперь придется его вытаскивать, проклятого мужика. А мне как раз так хотелось подремать.

Вахмистр встал и пошел к старосте.

— Староста, — сказал он, — у вас в районе утопленник, пошлите общинного стражника и гробовщика под плотину.

— Пан вахмистр, а может, лучше пускай он плывет дальше, ведь с этими утопленниками бумажной волокиты не оберешься. Я буду писать, вы будете писать. А в Пёузтеке скучают, поди, без дела. Пусть плывет он, бедняга, в Пёузтек. Я велю стражнику подтолкнуть его шестом на стремнину. Почему, спрашивается, не поймали его у Бечкере? А нам чего с ним делать? Коли уж он доплыл до нас, пускай себе плывет до Пёузтека. А как будет чертыхаться тамошний староста, вы ведь знаете, он даже имени вашего не переносит — и все потому, что вы тогда за драку арестовали его сына. Он всегда говорит, что вы изволите быть буйволом, пан вахмистр. А тут, нате вам, у них — в их деревне обнаруживают труп. Вот и придется ему писаниной заниматься, нагрянет комиссия, и он, сукин сын, от всего этого окончательно одуреет, вы же знаете, какой он нервный. Утопленники ему и во сне мерещиться будут. И станет он чахнуть и сохнуть.

Солвещ, нарочно приехавший посмотреть на злоклучения и хлопоты киш-ваганьцев, по возвращении с огорчением сообщил Батори:

— Пустили его дальше на Пёузтек.

Пониже Пёузтека находится деревня Регень. И здесь утопленник зацепился за сваю, и его едва не вытащили, однако пёузтецкий стражник предусмотрительно воспрепятствовал этому, вспомнив, как три года назад регеньские мужики навязали Пёузтеку три цыганские семьи с поддельными документами, свидетельствующими, будто бы все эти цыгане приписаны к Пёузтеку.

Итак, труп снова оттолкнули, и утопленник, покачиваясь на волнах, как павшая скотина, поплыл в Регень. В Регени его увидели трое мальчишек, и ребята подрались за право первым сообщить об этом властям, а когда драка кончилась, труп плыл уже в Шиладь. Там на мосту ожидали въезда жупана. Городишко был украшен королевскими флагами, и утопленник подплыл к мосту с почестями — под грохот двух мортир и под пение школьников:

*Боже, храни мадьяр.*

Одновременно на мост въехал и жупан. Момент для извлечения утопленника явно был не самый подходящий, и, кроме того, это мероприятие не предусматривалось программой торжественной встречи.

Однако жупан все же заметил утопленника из окна кареты.

— Поросенок это, вельможный пан, — ответил староста на вопрос, что это там плывет по реке, — кабан, как есть кабан. Беда с ним стряслась. Не смогли удержать его, а он взял да и утопился перед самым приездом главного королевского жупана.

И утопленника понесло течением на Гальмадь, куда он прибыл ночью, отчего и не был никем замечен. И он поплыл дальше — на Гайдубёсёрмень. Город насчитывал двадцать тысяч жителей; по крайней мере тысяча из них видела труп в волнах реки, и приблизительно человек пятьсот из этой тысячи были готовы вытащить труп из воды, тем более что за утопленника платят шесть крон — согласно статье закона о падеже скота, как ни странно. Ну а,

кроме того, какая это радость, если в гайдубёсёрменских газетах можно будет прочесть: «Янош Мелек, или Иштван Керильд, или Лайош Пучар, или кто-нибудь еще вытащил из бурных вод Тисы труп утонувшего человека». Поэтому и случилось так, что целых пятьдесят человек собрались у плотины городской мельницы и приняли участие в этом мероприятии. Когда труп вытащили на берег, то с ужасом обнаружили следы убийства, ибо от рук и от ног покойника остались всего лишь обрубки. И на лбу тоже были следы страшного преступления. Один только нос хорошо сохранился, и все сразу же поняли, что перед ними еврей. На спасителей смотрели жутко вытаращенные, никем не закрытые глаза покойного, а на подбородке осталось немного щетины, как будто бы смерть настигла несчастного во время бритья. Впрочем, мы еще располагаем заключением местного физика доктора Шёра о том, что обнаруженный труп принадлежит опустившемуся индивидууму, страдавшему каким-то видом безумия. Убитый, судя по форме носа и другим признакам, является мужчиной еврейского происхождения, а судя по состоянию зубов и прочим приметам, погиб в возрасте 40–50 лет. Этот опустившийся индивидуум, согласно экспертизе, долго бродил по лесу, очевидно находясь в припадке безумия, а возможно, убитый просто был чудаком, потому что в содержимом его желудка была обнаружена полупереваренная лесная трава, мох и лесные корни, попавшие туда еще при жизни покойного. Несчастный, по мнению физика, был лишен жизни весьма жестоким способом. Он был застрелен в бок из ружья крупного калибра, а затем оскальпирован и зверски лишен конечностей.

В связи с этим было назначено судебное разбирательство, в результате которого было установлено, что убийство произошло в лесах над Надьбаней — в самых опасных дебрях. Было также высказано мнение, что несчастный еврей стал жертвой какого-то извращенного индивидуума. Потом состоялись похороны, в которых приняла участие вся еврейская община, и над гробом медведя раввин произнес прочувствованную речь о том, что все мы — прах и в прах обратимся, «но кто загубит иудейскую душу, тому так причтется, будто он загубил весь мир».

Через десять лет после этого события старый секей Йоррё, житель деревни Акна Шуготати, на смертном одре признался, что он десять лет тому назад убил в лесу еврея, а труп его бросил в реку. Поэтому в гайдубёсёрменский акт о смерти несчастного наконец было вписано имя предполагаемого убийцы Йоррё, и под этим верховный судья приписал «fecit» — «совершил». Но прибавил к этому еще и крестик, означавший, что Йоррё уже мертв, и посему дело прекращено.

## III

**Разведывательные аферы партии умеренного прогресса в рамках закона****Один день в редакции газеты «Ческе слово»**

Делаю публичное заявление, что я был направлен исполнительным комитетом партии умеренного прогресса в рамках закона в редакцию «Ческого слова» с целью — выведать, благодаря чему партии национальных социалистов удастся приобрести столь огромное количество членов и приверженцев. В связи с этим мне предстояло занимать в редакции совершенно незаметное положение, чтоб ненароком не выдать интересы партии умеренного прогресса в рамках закона и не начать лить воду на мельницу национальных социалистов. В любой редакции политического журнала самой удобной должностью, позволяющей, как из укрытия, следить за всеми политическими махинациями и ухищрениями, является должность сотрудника отдела происшествий. Ты занимаешься убийствами, сломанными ногами и всякими прочими происшествиями и при этом имеешь полную возможность спокойно наблюдать все, что вокруг тебя происходит.

Признаюсь, сначала я был занят исключительно своими обязанностями хроникера. Однако, если за день не было ни попыток к самоубийству, ни интересных увечий и тому подобное, мне приходилось выдумывать разные вещи, события и сенсации, которые должны были привлечь внимание читателей. Это были в основном сообщения о метеорах и редких небесных явлениях, достоверность которых невозможно было проверить.

Помню, однажды я написал такую заметку:

**ОГРОМНЫЙ МЕТЕОРИТ**

*появился вчера ночью на северо-западной стороне неба, ядро его было ослепительно белым, края фиолетовыми, его появление, которое можно было наблюдать в течение пяти минут, сопровождалось гулкими взрывами. Есть предположение, что метеорит упал где-то в Баварии.*

Такие сообщения очень увлекают читателей. На другой день после публикации этой заметки мы получили от учителя Д. из Тршебони длинное письмо, в котором он доводил до нашего сведения, что, возвращаясь домой в два часа ночи, он видел на горизонте нечто, напомилавшее по своей величине хвостатую комету третьего порядка. Бедный пан учитель, фамилию и анкетные данные которого мы полностью привели, не подумал о том, что тысячи читателей в Чехии сочтут его страшным гулякой, который, живя в таком маленьком городке, как Тршебонь, в два часа ночи возвращается домой. Опомнившись, бедняга учитель телеграфировал нам, чтобы мы ничего из его наблюдений не публиковали. Но было уже поздно, материал набрали.

Так вот и случается, что отдел происшествий, помещая материалы с самыми добрыми намерениями, частенько доставляет неприятности самым разным людям. Например, сообщение «Адамиты в Лоученском округе» я написал, исходя исключительно из благородных стремлений обогатить содержание и повысить престиж нашей газеты. Я писал, что в лесах близ Лоучени появились голые люди, принадлежащие к секте адамитов, в свое время решительно

истребленной Яном Жижкой и Прокопом Голым. И теперь женщины и девушки из окрестных деревень боятся ходить на богослужение в костел. Закончил же я так: «Жандармерия и служащие лесных хозяйств обязаны как можно скорее обнаружить местопребывание адамитов и выявить всех членов этой фантастической секты».

Разумеется, я не мог и подозревать, что эта невинная заметка доставит большие неприятности одному уважаемому крестьянину из близлежащей деревни. Бывают моменты в жизни, когда человеку необходимо уединиться в какое-нибудь укромное местечко неподалеку от дороги, чтобы там, частично обнажившись, справиться некую нужду.

Однако все же не следует этого делать в тот момент, когда жандармы повсюду разыскивают адамитов. И вот в укромном местечке в зарослях кустарника и застиг этого крестьянина жандарм, естественно полагавший, что, если уж человек расстегивает брюки, то наверняка он собирается обнажиться целиком, чтобы бегать потом в таком виде по лесу и участвовать в адамитских обрядах.

И хотя все потом выяснилось, несчастный крестьянин остался-таки под подозрением у всей округи. В особенности же это подозрение в тайном адамитстве усугубилось, когда батрак его обмолвился, что летом, в жару, хозяин обычно спит нагишом.

### **Шеф-редактор «Ческого слова» Иржи Пихл**

Раз уж речь зашла о редакции «Ческого слова» и партии национальных социалистов, где мне довелось наблюдать свойственные им отношения и нравы, я должен представить вам Иржи Пихла, главного редактора «Ческого слова».

Извольте подойти поближе, кормление зверей начинается.

Он помещен в ближнюю от входа комнату редакции. И сидит за внушительным письменным столом, за которым почти целиком теряется его небольшая фигурка. Он растягивает в стороны усы, пощипывает эспаньолку и раздувает ноздри. При этом он поглядывает на двери, протирает пенсне и от нетерпения облизывает губы кончиком маленького красного язычка. Именно так ведут себя хищники, поджидающие добычу. Но последние при этом потягиваются и вздыбливают шерсть, и шкура у них на хребте начинает волнообразно вздрагивать. Наверно, Пихлу тоже хотелось бы вздыбливать шерсть, но он, едва притронувшись к голове, разочарованно опускает руку. И ему остается только одна возможность — потянуться; он изящно потягивается, а затем вскакивает со стула и начинает кружить по своей шеф-редакторской комнате.

Его положение чем дальше, тем хуже. Скоро его уже можно будет назвать отчаянным. Вот уши его настораживаются — это Иржи Пихл что-то учуял. Нет, это опять не Шефрна. Шаги замерли на первом этаже, а Шефрны все нет. Это же просто ужас, что Шефрна, безупречный курьер редакции, до сих пор еще не принес ужин. А ведь Пихл твердо ему приказал: «Брат Шефрна, сходи-ка к Хмелю и что-нибудь принеси, вот тебе корона, купи чего-нибудь особенного, а что, выбери сам... понимаешь?»

И Шефрна исчез, заверив, что сделает все как приказано. В дверь из соседней комнаты заглядывает брат Ганзличек, редактор рубрики профсоюзных и партийных сообщений, и спрашивает: «Пихл, как ты думаешь, об этом масте-

ре с кирпичного завода надо написать порезче?»

— Пиши, Ганзличек, пиши как хочешь, — отвечает Пихл и снова начинает кружить по комнате.

До того ли ему сейчас? Какое сейчас имеет значение, напишут о чем-нибудь резко или благопристойно? В эти святые мгновения, когда он ждет ужина, ему нет дела ни до газеты, ни до партии, и мысли его неудержимо устремляются вслед за редакционным курьером Шефрной. Пихл мысленно сопровождает его и видит, как маленький Шефрна проходит по базару перед трактором «У золотого гуся», заходит в пивную и, озабоченно приговаривая: «По-быстрее, пожалуйста, я спешу за ужином для брата Пихла», выпивает маленькую кружку пива. Затем Пихл своим обостренным внутренним взором видит, как Шефрна осторожно переходит через трамвайную линию на Вацлавской площади и на противоположной стороне вновь оказывается у пивной стойки «Иллюзиона» и заявляет: «Налейте мне поскорее пива, я спешу за ужином для брата Пихла».

Затем Шефрна снова переходит Вацлавскую площадь и на Индржишской улице оказывается около освещенного магазина, из дверей которого вырывается душистый пар, поднимающийся к небесам, сохраняя при этом форму колбасных связок, и, как нимб, возносится над фирмой «Хмель. Колбасные изделия». И тут Пихл видит, как Шефрна входит внутрь.

Вот маленькая фигурка Шефрны исчезает в толпе людей, окруживших прилавков... А вот он уже выходит на улицу со свертком, на котором проступают жирные пятна. И снова все идет по порядку. Сначала пивная «Иллюзион», потом «У золотого гуся», и всюду Шефрна добросовестно сообщает: «Ах, налейте мне пива и, пожалуйста, поскорее. Я несу ужин, и брат Пихл, очевидно, уже проголодался».

И вот он торопливо поднимается по лестнице, открывает двери и — стоит перед братом Пихлом... Но тут призрак рассеивается, и Иржи Пихл — снова один в своем кабинете. В коридоре царит тишина, а издали до Пихла доносится монотонный гул типографских машин. Иржи Пихл садится за стол и прячет голову в ладони.

Иржи Пихл размышляет. Это случается с ним не часто — не больше одного раза в сутки. Конечно же, он не думает о политике национальных социалистов в масштабе государства, не думает ни о компромиссе с младочехами, ни о социал-демократии. В этот момент для него все идеи и вся борьба — вещи второстепенные. Он думает единственно о том, что принесет ему Шефрна на ужин, раз уж он ему приказал: «Знаешь, брат Шефрна, принеси-ка ты мне что-нибудь особенное».

И наконец появляется Шефрна, а Пихл идет к нему навстречу с сияющими глазами:

— Что же ты мне принес, брат Шефрничка?

А Шефрна уже стоит навтыжку перед Иржи Пихлом и твердым тихим голосом отвечает:

— Колбаски, брат Пихл.

### Редакционный курьер Шефрна

**К**ак агент партии умеренного прогресса в рамках закона, я приобрел во время своего пребывания в «Ческом слове» весьма ценный опыт и знания; я понял, что даже и партия, провозгласившая лозунг равенства, свободы и брат-

ства, имеет слуг. Исполнительный комитет партии национальных социалистов содержит в качестве курьера брата Свободу, а редакция «Ческого слова», печатного органа этой партии, — брата Шефрну.

Будь Шефрна на полголовы ниже, он смело мог бы выступать как лилипут. И тем не менее он представляет свою партию наилучшим образом, куда лучше, чем любой громила: ведь где бы ни появилась его маленькая фигурка, запоминающаяся, главным образом, благодаря черной как уголь бороденке а-ля Наполеон III, и где бы ни сверкнули его маленькие черненькие глазки, всюду становится ясно, что это вошел сам дух национальных социалистов, и происходит это потому, что там сразу же раздается слово «брат». Брат Шефрна знает только одно обращение, но зато самое высокое и самое прекрасное, а именно: великолепный звательный падеж от слова «брат». Это слово настолько срослось со всем его существом, что, даже осердясь, он не забывает о нем и восклицает: «Брате, ты же скотина!» Кто бы ни пришел в редакцию «Ческого слова» и не важно по какому делу, — пусть даже это полицейский комиссар, разыскивающий конфискованные экземпляры газеты, — ко всем Шефрна обращался с одним учтивым вопросом «Что тебе угодно, брат мой?».

Помню, однажды редакцию «Ческого слова» посетил только что вышедший в отставку министр Прашек. Шефрна тут же подошел к нему, указал на стул и сказал: «Садись, брат Прашек».

Во время межпартийных переговоров о компромиссе с младочехами Шефрну как-то послали к ним, а именно, к доктору Крамаржу с какими-то бумагами. Он всюду, у всех младочехов, никак не пользующихся обращением «брат», спрашивал: «Брат, скажи-ка, где найти мне брата Крамаржа?» И наконец все-таки нашел его в «Народних листах». Отдавая бумаги, он дружески сказал: «Вот несущ тебе, брат Крамарж, кое-что от братьев из «Ческого слова».

Однажды во время каких-то антинемецких демонстраций его схватила полиция, и, когда полицейский комиссар наложил на него трехдневный арест, он поклонился и сказал: «Благодарю тебя, брат».

Вообще-то этот последний эпизод весьма характерен для партии национальных социалистов, имеющей приверженцев во всех кругах общества, ибо про эту партию говорят: «Брат тебя арестует, брат тебя осудит и брат тебя повесит». Ведь ни для кого не секрет, что помощники палача Волынлегера являются искренними приверженцами партии национальных социалистов.

Как видно, слово «брат» играет большую роль в жизни Шефрны. И он всюду пропагандирует это возвышенное слово, ибо я не знаю более искреннего национального социалиста, чем брат Шефрна. Но кто хоть когда-нибудь в трактире или в ресторане прислушивался к высказываниям брата Шефрны на политические темы, тот наверняка удивился бы, услышав его решительное заявление о том, что даже Иисус Христос был национальным социалистом, хотя бы потому, что вообще-то брат Шефрна евреев — за исключением Иисуса Христа, конечно, — не любит. Не любит за то, что до сих пор еще никогда не видел, чтоб какой-нибудь еврей носил в петлице красно-белую гвоздику, кроме разве тех случаев, когда национал-социалистическая молодежь намеревалась кому-нибудь из них выбить окна.

Если не считать национальных социалистов и Иисуса Христа, которого Шефрна любит вдвойне — как старокатолик и как национальный социалист (хотя и утверждает, что стал старокатоликом не по убеждению, а из-за того, что

старокатолики причащаются вином дважды), он больше всего на свете любит сербов. Так сильно их любит, что однажды даже предал свою национальность, выступая на ярмарке в сербском костюме с сербской капеллой, состоявшей из восьми чехов и одного действительно настоящего серба-капельмейстера.

Поговаривают также, что то время, когда он работал под серба, было самым лучшим в его жизни, а объясняется это огромным количеством выпитого в те дни пива, потому как пиво является его вторым идеалом. Первый же его идеал, разумеется, — чешское государство с чешским королем.

— А как же так получилось, что публика не поняла, что вы — не сербы? — спросил я его однажды.

— А мы говорили между собой по-сербски.

— Да вы же не умеете.

— Конечно, нет, брат, — ответил Шефрна, — но мы чешский язык коверкали и придавали ему иностранный акцент, а главное, вместо мягкого «ге» говорили твердое, обычное. Ты бы только посмотрел, что творилось с ветеранами в Збраславе! Они спросили нас, не знаем ли мы случайно какую-нибудь чешскую песенку, и мы затянули им тогда нашу, переиначенную на сербский лад песню «Гора, гора высокая», а они заплакали от радости, и пиво потекло рекой. И, понимаешь, поехало нас в Збраслав давать концерт девять сербов, а обратно возвращалось уже девять чехов, потому что и тот — наш единственный серб — так перепил, что мог говорить уже только по-чешски.

А вообще-то, несмотря на то что Шефрна выдавал себя за серба, он отличался характером благодарным и даже скромным. Я дважды брал его с собой в Народный дом, а поскольку Шефрна охотно употребляет сравнения из чешской истории, он потом все сравнивал меня и себя с королем Вацлавом и королевским палачом. Почему-то именно это приходило ему всякий раз на ум, когда мы с ним входили в Народный дом.

### Женский псевдоним

**В** нашей среде вращался некто под женским псевдонимом. Никто и понятия не имел, что этот мужчина — женщина, или что-то в этом роде, или что эта женщина — на самом деле мужчина. Все было так поразительно перепутано, что во всем этом не могли разобраться ни в одной редакции. Ясно было только одно: некое таинственное существо пишет разные вещицы, большей частью галиматью, а другое существо, подлинное, разносит эти произведения по редакциям.

И так в редакциях журналов время от времени появляется высокая элегантная дама с прелестными формами и искрящимися глазами. Она входит к редактору с такой очаровательной улыбкой, которая способна привести в смущение даже Аугустина Эугена Мужика. И несчастный редактор начинает ерзать на стуле, млеет и, распалившись, спрашивает:

— Чем могу быть полезен, милостивая пани?

Красивых дам обычно приветливо встречают в любой редакции, ведь такой визит благотворно и смягчающе действует на редакторов. Редактор обхаживает милую посетительницу как может, ходит вокруг нее кругами, чтоб разглядеть ее всю целиком, потирает руки и улыбается, как тот солдат, которому предложили полную тарелку ливерных колбасок... Именно так всегда вел себя, например, редактор «Чешского слова» Иржи Пихл; он подпрыгивал, ерзал, его плотная фигурка просто-таки излучала сияние, а с уст его непрерывно

слетало:

— Извольте, пожалуйста, милостивая сударыня, я премного рад, это для меня наслаждение, конечно же, я сделаю все что смогу, я постараюсь, будьте уверены, дорогая, о конечно, конечно, буду бесконечно счастлив, сейчас же отправим в набор, я очень рад, очень рад, не составит никакого труда, для меня это истинное удовольствие...

Все это льется из его уст мощным нескончаемым потоком, и, кажется, говори он так на собраниях, то давным-давно стал бы уже каким-нибудь там депутатом — так нет же, на собраниях он заикается, как недорезанный, — конечно, избиратели это вам не прекрасная дама, приносящая заметки в газету, а если эта милостивая сударыня к тому же еще и кругленькая, ясно, Иржи Пихл, что твои глазки под пенсне засверкают, как у кота, то-то ты вертишься и подпрыгиваешь, как рыба в сачке.

И так же точно, как Иржи Пихл и этот славный Аугустин Мужик, ведет себя по отношению к улыбающимся, элегантным, красивым дамам большинство редакторов. А теперь представьте себе, что действительно очень красивая дама ходит по редакциям и держится при этом с определенной долей прямоты, тонко завуалированной под кокетство. Придет такая дама, улыбнется, протянет пану редактору свои рукописи и скажет: «Я, разумеется, воспользуюсь мужским псевдонимом, вам не кажется, что труды мои написаны слишком сильно для женщины?!» И как же это она прелестно скажет «слишком сильно», хотя на самом-то деле они слабее чего бы то ни было, а сильны — только лишь ее улыбками, сопровождающими передачу этих трудов в руки редактора.

Улыбками, конечно, дело не ограничивается. Такая женщина совершенно по-товарищески трясет руку редактора и даже может намекнуть ему, что она для блага редакции всегда готова отдать себя всю без остатка, а пока что она просто предлагает оценить, какие заметки годятся, а какие не годятся, и говорит о том, что в случае надобности, можно будет поработать и дома. И при этом она без зазрения совести лжет, что не замужем, что живет только лишь литературным трудом, и, господи боже мой, она такая молодая, а мать у нее такая старая. Идут годы, а она все еще такая молодая, а мать, естественно, стареет катастрофически.

И чем дальше, тем больше рукописей она разносит, чем дальше, тем более трафаретными и схематичными становятся ее работы под мужским псевдонимом, она все чаще возвращается к своим ранним рассказам, которые когда-то были написаны другими авторами, и вдруг она начинает проявлять живой интерес к внутренней жизни редакции, и хотя все и знают, что эта дама никогда непосредственной свидетельницей наших редакционных отношений не являлась, в высказываниях ее все-таки появляются малоизвестные подробности, соответствующие реальной действительности. И вдруг становится ясным, что в течение стольких лет она безбожно лгала и что писал все это ее муж. Такое вот явление и называется «женским псевдонимом».

С одним таким экземпляром столкнулась и партия умеренного прогресса в рамках закона — приблизительно так же, как русские революционеры с попом Гапоном. Но, чтоб никто не сомневался, кого касается эта глава, я должен заявить, что эта глава ни в коей мере не касается Йोजи Кратохвилевой.

**Чашка черного кофе**

**З**ахватывающая драма кабаре партии умеренного прогресса в рамках закона  
Кафе. Входит **Капуцин** и садится за столик. Ждет минуты три, но никто не появляется. Капуцин смотрит на часы и восклицает, оборачиваясь в сторону кухни.

**Капуцин**

*Что, кофе чашечку нельзя ли?  
Здесь не торопятся... А я устал слегка...  
Ау! Да чтобы не бурды мне дали,  
а крепкого, без молока,  
и, если можно, побыстрей!*

Проходит еще минута.

*Нет, этак дело не пойдет, ей-ей.  
Сижусь, в мозгу греховное роится:  
с панели, что естественно вполне,  
того гляди, сюда впорхнет девица —  
прости, о господи, что мне  
сия растленность общества известна!  
Но я-то сам, признаться честно,  
пока лишь кофе черного хочу,  
а что потом — секрет мой. Тсс... Молчу...  
Ау! Нельзя ли поживей?*

После паузы.

*Нет, этак дело не пойдет, ей-ей.  
А впрочем, жду: терпенье — добродетель.  
Ведь как бы истинный христианин ответил,  
вдруг получив по морде или в ухо,  
едва очухавшись? «Мерси, я очень рад,  
но ты в долгу передо мною, брат:  
с тебя еще вторая оплеуха!..»  
Нет, просто ужас: не идут.  
Торчу здесь десять уж минут,  
мое недоумение безмерно.*

(Подойдя к дверям кухни.)

*Я кофе, кажется, просил!*

(Снова садится.)

*Глас вопиющего в пустыне. Фу, как скверно.  
И эту жажду вынести нет сил...  
Однако участь божьих слуг такая,  
что, есть хотим мы или пить,  
бурды ли, кофе ли алкая,  
вовсю не подобает нам вопить.  
Навстречу испытаньям и обидам  
идти обязан я с блаженным видом.*

(Кричит.)

*Где кофе?! Уф, нет моченьки моей...  
Так дело не пойдет, ей-ей!*

Тишина.

*Не чешутся. Уснули... Но не клином  
на сей кофейне свет сошелся весь!  
Пойду в соседнюю: с монахом-капуцином  
там обойдутся вежливей, чем здесь.*

*(Отодвигает стул и выходит из кафе.)*

Вскоре появляется заспанный **официант**.

**Официант**

*Гляди-ка ты, на миг всего вздремнул,  
А тут уж кто-то отодвинул стул.  
Кому-то, знать, чего-то было надо,  
но гость меня не кликнул, вот досада.  
Э, сдвинут с места даже стол!  
Да, кто-то был, потом ушел,  
теперь вот убирать за ним изволь-ка —  
беда с такими, да и только.  
Хм, то-то видел я во сне,  
что кто-то все взывал, взывал ко мне,  
талдычил, что какое-то там дело  
куда-то не пойдет и ждать, мол, надоело...  
Вот жизнь! Тьфу, издевательство какое!  
Знай надрывайся, что твой вол,  
ни выручки, ни двух минут покоя:  
придут, рассядутся, своротят набок стол,  
за ними убирать изволь-ка —  
беда официанту, да и только!..  
Пойти поближе к печке и соснуть.  
Коль кто придет, услышу как-нибудь.*

*(Возвращается в кухню.)*

С улицы входит молоденькая, неискушенная **девушка**, кладет на стол букетик лилий и садится.

**Девушка**

*Ой, отдышусь... Он соблазнить хотел,  
назвавшись Гинеком из Колина, вражина,  
меня, Громадкову, — а я ж еще невинна...  
Ишь, торопыга! Ишь, пострел!  
А что в нем этой похоти... И лести...  
Поддайся я — в момент лишил бы чести.  
«Позвольте, — говорит, — вас проводить,  
вы не должны одна ходить,  
гораздо лучше будет вместе!»  
И так на грудь мою смотрел осатанело,  
что не могла не опустить я глаз,  
вся то краснела, то бледнела...  
У, распротивный ловелас!  
Неужто этот Гинек — вот дубина —  
не понимал, что я дитя, что я невинна,  
что в Праге я, приехав из села,  
служить хочу, подыскиваю место?  
Конечно, честное знакомство, как невеста,  
я с удовольствием бы тоже завела,  
но этот тип, я точно говорю,  
лишь ко греху б меня повел, не к алтарю...*

*Так-с, что тут? Крона у меня всего-то,  
а подкрепиться все равно охота,—  
эх, черного попить бы кофейку.*

*(Зовет.)*

*Подайте кофе мне! Ку-ку!*

*Через минуту.*

*Кафе, а тихо, как в костеле.  
Не отзывается никто — оглохли, что ли?  
И печки нет, вот-вот начну дрожать...  
Я сиротинка, спит в могиле мать,  
отца не знаю — дал от мамы деру,  
носить мне траур по обоим впору.*

*(Сквозь слезы, плаксиво.)*

*Ох, дайте чашку кофе! Я должна  
найти себе работу дотемна,  
сегодня же! Я обещала маме,  
когда уж снаряжалась в рай она,  
что перед всякими там грешными страстями  
я и в сиротстве устою,  
молитвами, трудом заполню жизнь свою.*

*(Кричит.)*

*Ну дайте ж кофе! Совесть есть у вас?  
Выпрашиваю целый час!*

*(Про себя.)*

*Так он из Колина, тот Гинек-волокита...*

*После паузы, в сторону кухни.*

*Ах, всеми я заброшена, забыта, —  
ну дайте ж кофе мне! Моя ль вина,  
что я так одинока, так бедна?  
А если я не дама городская,  
то, значит, можно, мной пренебрегая,  
не брать в расчет желание мое —  
пусть варит, мол, сама себе питье?*

*(Встает и кричит.)*

*Извольте кофе дать! Ку-ку!*

*(Садится.)*

*Нет, в ступе воду я толку...  
Что ж, вытри слезоньки, сиротка-горемыка, —  
места получше есть. Ступай да пощи-ка.*

*(Отодвигает столик, стул и уходит, забыв лиши.)*

*Протирая глаза, появляется **официант**.*

**Официант**

*Я не ошибся: кто-то был опять.  
Невежа, по всему видать.*

Кто благородного происхождения,  
 тот, покидая заведение,  
 поправит столик, стул придвинет сам,  
 как и положено приличным господам.  
 А так вот грубо и бесстыдно  
 поступит лишь мужлан — его и видно.  
 Ну просто разбирает злость:  
 заявится такой вот вишивый гость,  
 и наорет, и насвинячит,  
 хотя и не закажет ничего,  
 а я потом — ах, чтоб его! —  
 все прибирай и ставь на место, значит?  
 Ну, нет уж! Пусть имеет он в виду:  
 и усом я не поведу!  
 Бездельники... Слоняются тут все,  
 а я крутись, как белка в колесе.  
 А то еще и что-нибудь забудут —  
 не зонтик, так, пожалте вот, букет,  
 потом воротятся, канючить будут:  
 отдай, дескать... Ну, дудки! Нет и нет.  
 Чтоб столько мне хлопот, и все — бесплатно?!  
 Цветы — к чертям, и — спать: в тепло, обратно.

(Идет к дверям на улицу, выбрасывает лилии и возвращается в кухню.)

В кафе заходит **профессор Масарик**. Повесив шляпу, снимает с вешалки подшивку газеты «Час» и садится к столу.

**Профессор Масарик**

(Негромко.)

Э-э, черный кофе, чашечку одну.  
 Так-так, что в прессе нового? А ну...

(Громче.)

Да, и пожалуйста, без сахара!  
 Ведь в жизни чешской, сказано у Махара,  
 сверх меры сладостей. Отсюда: черен, чист  
 быть должен кофе твой, коль впрямь ты реалист.  
 Притом — без рома! Ибо опьянение  
 дает нетрезвое о мире представление —  
 да-да, нетрезвое и нереалистичное.

(Просматривает газету. Через некоторое время удивленно взглядывает на пустой стол.)

Раз кофе выпит, что ж я тут сижу?

(Зовет.)

Э-э, счет!

Пауза.

Кафе довольно симпатичное...  
 Раз не идут, я деньги положу  
 и двинусь дальше. Но... занятная история:  
 клянусь, что кофе был, ням-ням, не без цикория!

(Кладет на стол деньги и удаляется.)

Потягиваясь, входит **официант**.

**Официант**

*Подумать только: кто-то был тут снова,  
даюсь я диву, право слово.  
Оставил даже деньги... Кто, кому,  
за что, про что, зачем и почему?  
Во сне я вроде слышал слово «счет» —  
ну, думал, гость маленько обождет,  
пока досплю, сон досмотрю покуда,  
а он, чудак, улепетнул отсюда.  
Я деньги-то, само собой, возьму,  
но кто оставил их, за что и почему?  
Нет, скоро ум зайдет за разум у меня!  
Заботы, спешка, беготня —  
и так вот день проходит весь,  
ну прямо хоть на стенку лезь...*

(Схватив деньги, сметает со стола пыль.)

*От посетителей отбоя нет, ей-богу,  
сам черт сломил бы с ними ногу.  
Обхаживай любого, чтоб он сдох:  
«чего изволите», «что вам угодно»... Ох,  
не жизнь, а сущий ад, сплошная мука.  
Как я терплю все это? Ну и ну!..  
Пожалуй, к печке я сейчас пойду-ка  
и хорошенечко всхрапну.*

После ухода официанта появляется **Квидо Мария Выскочил**.

**Квидо Мария Выскочил**

(Стоя около стола.)

*Квидо Мария зовусь и Выскочилом являюсь  
я, пресловутого «Мая» многоуважаемый член.  
Родом из Пришибрама я, сказке прекрасной  
подобный,  
я, знаменитый поэт, я, воспеватель любви,  
Квидо Мария, всех Выскочилов законная гордость,  
а заскочил я сюда черного кофе вкусить.  
Слышите, вы? Я хочу, я требую черного кофе —  
черного, словно уголь в шахте, где гномы...  
Впрочем, к чему миогословье, — кофе несите скорей.  
Как? Вы его не несете, осмеливаетесь медлить?  
О, возделенье поэта, черная королева пустынь,  
евнухами окруженная, о, аравийское зелье,  
Мекки и Мокки сиянье!.. Да нет. Просто я кофе хочу,  
чашечку черного кофе — зачем вы ее не несете?  
Вы уж не дремлете ль там, кофе готовится где?  
Я и уйти ведь могу — я, Выскочил Квидо Мария  
родом из Пришибрама, — ибо обижен весьма.  
Вот возлагаю на стол визитную карточку эту,  
шествую горделиво к дверям, дабы выйти вон —  
ближе к искусству, к звездам. Вот уж открыл  
я двери.*

(Снаружи, из-за дверей.)

*Вот уж на улицу, прочь, выскочил — слышите, вы?..*

### Официант

*— Ну, разумеется: опять приперся кто-то.  
А толку?.. Вензеля' заместо счета.*

*(Рвет визитную карточку.)*

*Тьфу, чертовщина! Дал и этот тягу,  
какой-то Марья Иисус, — вот гусь!..  
Сейчас на лавке у печи залягу  
и, приходи хоть кто, не шевельнусь.*

*(Возвращается в кухню.)*

Занавес

### **Квидо Мария Выскочил, или Иисус Мария, выскочил!**

Очевидно, пришло время представить вам также и Квидо Марию Выскочила, поскольку в кабаре партии умеренного прогресса в рамках закона очень много и часто говорилось, пелось и толковалось об этом человеке. Итак, что же это за человек, каковы его стремления, привычки и тому подобное.

Стремления у него насквозь благородные. Нам в Чехии давно уже не доставало какой-нибудь писательницы или писателя, которые писали бы так, как пишут в Германии утонченные существа женского пола, во что бы то ни стало старающиеся ввести в свои романы и новеллы фигуру какой-нибудь принцессы и тем самым придать сказочное обаяние всему произведению, причем стремятся сделать это просто и ненавязчиво, будто по рецепту из поваренной книги: «добавить три желтка и перемешать». Так же точно и здесь все должно происходить согласно предписанию: «добавить бедного, но благородного и несчастно влюбленного молодого человека». Ведь в таком роде писали и Шварц, и Марлит, и Флюгаре-Карлен, по поводу которых шутил в свое время уже Неруда. Сегодня же у нас именно так, если не хуже, пишет Квидо Мария Выскочил. Последний, можно сказать, прямо-таки призван сохранить для чешского народа произведения подобного рода в наиоригинальнейшей их форме, и, надо отметить, удастся это ему наилучшим образом. Каждый год выходит в свет по несколько его слезливых историй, всегда радующих своими сказочными названиями, например «Русалка с гор», «Гномик в горах», или с другими столь же завлекательными заголовками. Квидо Мария Выскочил, кроме того, действует, руководствуясь испытанным рецептом: «Возьми богатую девицу, осмотри ее, удостоверься, насколько она хороша, и сообщи читателям, что это за принцесса, потом схвати бедного молодого человека, удостоверься, благороден ли он, и предоставь этим двоим, то есть богатой девице и бедному молодому человеку, столь долго быть друг возле друга на страницах книги, пока по ряду признаков не увидишь, что пришло время примешать к ним богатого дворянина. Потом возьми отца этой девицы и ее мать, и вот вся история уже почти готова. Далее, после того как бедный молодой человек уже достаточно поварился в этом соку, предоставь ему возможность тем или иным образом попасть в беду, — например, брось его, еще горяченького, в ледяную воду, — теперь остается суцая мелочь: извлечь благородную девицу из замка и повесить ее на березе, прямо под окнами ее отчего дома».

Разумеется, этот рецепт весьма прост. Однако путем простой перестановки действующих лиц можно замешать из этого теста совсем другую историю.

Вместо дворянина можно ввести туда лесника и его дочь, или дочь лесника и деревенского парня, или, скажем, это может быть сыночек другого лесника, бедного, как церковная мышь, но тогда он должен учиться и познакомиться с дочерью богатого помещика, и в этом случае, конечно, при условии приподнятого настроения создателя данного произведения, все это может счастливо кончиться тем, что сын лесника через несколько лет вернется из-за границы инженером и владельцем какой-нибудь фабрики, в то время как барон, ухаживающий за дочерью богатого помещика, будет разоблачен как банкрот, желающий поправить свои дела за счет женитьбы.

Все это рецепты для приготовления беллетристической тянучки, которых четко придерживается Квидо Мария Выскочил, обладающий одним несомненным достоинством: он не слишком подогревает любопытство читателей и, главное, никоим образом не разочаровывает их ожиданий, потому что читатель после первых же страниц бесконечно длинного романа Квидо Марии Выскочила сразу скажет: «Эти двое поженятся» или «Этот в конце повесится», ибо уже вначале прочтет: «Молодой человек посмотрел на могучую ветку дуба в замковом парке». Читателю сочинений Квидо Марии Выскочила а-ля «Серебряный павлин» (здесь обращаем внимание пана Выскочила на то, что он спутал павлина с серебряным фазаном или фазаном монгольским) не придется утруждать себя поисками какого бы то ни было смысла, что, конечно же, сделает это чтение исключительно приятным. Этим я, естественно, не хочу сказать, что Квидо Мария Выскочил не думает вообще, нет, нет, он все время, постоянно думает о том, что его труды являются украшением чешской литературы. Но уж очень это грустное украшение, наподобие бумажных роз, которыми во время престольного праздника украшают бедный деревенский храм. Заметьте, цветы эти столь же броски и вызывающе искусственны, как и имя Квидо Марии Выскочила.

Квидо Мария говорит о себе, что он поэт. Это святая правда. В одном из его романов я однажды прочел следующее прекрасное описание природы:

«Поощренные зелеными лучами ослепительного солнца фиолетово-золотистые мотыльки, жужжа, садились на ухоженные лужайки редкостных ярко-красных одуванчиков, в то время как серебряный голос церковных колоколов своими гулкими всхлипами возвещал близость вечерней мессы. Припекая все беспощадней и беспощадней, полуденное солнце уже едва проникало сквозь хмурые черные облака, тогда как месяц, подобный багрово-синей пасти разъяренного дракона, вступал в свои права на восточной стороне небосклона».

Говорят, что Квидо Мария Выскочил в последних классах гимназии за описание природы всегда получал двойки, но однажды он мужественно восстал: «Это я-то получаю двойки, это мои-то сочинения по чешскому языку ничего не стоят? Ну, это мы еще посмотрим». И — стал чешским писателем. Еще одна деталь, призванная прояснить любовь пана Выскочила к народу. Настоящее имя его — Клеофаш. Имя Квидо Мария он придумал себе сам — дабы не оскорблять наши национальные чувства.

### Афера Пеланта

Выше я уже сообщал, что Карел Пелант был членом нашей партии. Спросите Во нем любую старушку из тех, что подписываются на «Святого Войтеху», «Кршиж» или «Марию», — она сначала перекрестится, высморкается и только

после этого прошепелявит, что уж неведомо сколько времени молит господа о спасении души этого разбойника.

Неужели Карел Пелант разбойник? Ответ простой: он не верил в бога и в то время, о котором идет речь, как раз собирался выехать в Америку, чтобы отвратить окрещенных индейцев от веры в этого так тяжело им доставшегося господа бога. Деньги на это мероприятие он получил от «Вольной мысли», которая была тогда в зените своей славы, поскольку в Праге только что прошел съезд свободомыслящих и приуроченная к нему грандиозная демонстрация, которую возглавляли Пелант, Лоскот, Бартошек и Юлиус Мыслик...

Итак, в один прекрасный день верующие католики двинулись по улицам столицы на Градчаны, чтобы почтить архиепископа. Это была манифестация стариков и старух, министрантов и ризничих; гнусавые голоса тянули: «Тебя, бога, хвалим!»

Процессию сопровождали четыреста полицейских. Я видел, как один из них, шагая рядом с людским потоком, забывшись, по доброте душевной начал подтягивать: «Тебя, бога, хвалим!»

Но в то же самое время по Праге шествовало и около тридцати тысяч иных людей, которые пели социалистические песни и кричали: «Слава небесным козам!»

Набожные старушки, осмелевшие под охраной полиции, грозили им зонтиками... Но на углу проспекта Фердинанда один молодой полицейский чиновник, решивший, что старухи грозят ему, приказал шествие разогнать.

Противники господа бога воспользовались этим и, смешавшись с благочестивыми душами, начали бурно протестовать против действий полиции и кричать:

— Шествие к архиепископскому дворцу было разрешено полицией!

И два потока слились воедино. Только теперь уже верующие и неверующие шли не отдельно друг от друга: «безбожники» подхватили под руки старых бабушек и дедушек и под пение «Красного знамени» дружно двинулись на Градчаны, к архиепископскому дворцу.

Я сам тащил за собой сторожа из костела святого Штепана. Дедок громко читал вслух «Отче наш». А когда мы ревущей громадой, из которой время от времени неслись выкрики «Долой церковь!», приближались к Карлову мосту, он решил, что пробил его последний час, все верующие будут сброшены в реку подобно Яну Непомуцкому, и затрясся, как осина.

Пелант вел под руку старую деву с огромным крестом на груди — тертиарку ордена «Доминиканской розы» и уговаривал ее порвать с религией. В ответ она пищала:

— Люди добрые, этот безбожник пристает ко мне!

Наконец эта буйная толпа под грозный рев антирелигиозных песен поднялась по Нерудовой улице, разлившись вширь и вдаль перед архиепископским дворцом, и все крики моментально стихли. Толпа порой тоже умеет настраиваться на юмористический лад.

И тут старушки, костельные ризничии и члены Марианской конгрегации, рассеянные среди гнусных безбожников, подобно белым водяным лилиям в зловонных водах пруда, возвели глаза к окнам дворца, и над площадью Града разнеслось пение папского гимна.

Так было предусмотрено программой. Это пение должно было послужить

архиепископу сигналом покинуть свое укрытие за портьерами и выйти на балкон, что он и сделал. Но как только этот добрый пастырь появился на балконе, раздалось громовое «Позор!» и архиепископ посылал свое пастырское благословение многотысячной толпе, грянувшей враз, как по команде, «Красное знамя».

Неожиданно в этом хаосе звуков раздался писклявый голос убогой девы-тертиарки, которая, подняв свои слезящиеся глаза на освещенную солнцем фигуру его святейшества, возопила:

— Ваше преподобие, он меня щиплет!

Одновременно прозвучал негодующий протест Пеланта:

— Это неправда, граждане!

Тут в толпу врезались конные полицейские и стали ее разгонять. Они немилосердно расправлялись со всеми, невзирая на то, веруют они в бога или не веруют. И дивным промыслом Божиим захваченные ими пятнадцать человек все, как на подбор, оказались членами Марианской конгрегации.

Трогательно было видеть, как мужественно двинулись эти окруженные стражниками мученики к полицейскому участку. Шествие страстотерпцев возглавлял муж, который всю свою жизнь посвятил охране католической религии; два стражника вынуждены были держать его за шиворот, а он, вырываясь из их цепких рук, продолжал петь «Тебя, бога, хвалим!».

— Вы своего господ бога хвалите дома! — внушали ему полицейские. — А здесь не орите!

Вскоре внизу, под Градчанами, произошла новая стычка. В общей свалке Пелант потерял свою даму, а часть верующих, алчущих после перенесенных испытаний духовной утехи, хлынула в Тынский храм на Староместской площади и застыла там в благоговейной молитве, пока по храму не распространилась ужасающая вонь от разбрасываемых кем-то среди благочестивой толпы вонючих бомбочек. Служба была прервана...

Впоследствии «Чех» утверждал, что виновником сего святотатства был Пелант.

Это и была афера Пеланта.

### **Как пан Караус начал пить**

**К**араус был главным инспектором Общества страхования жизни. Бывая среди нас, он любил говорить, как было бы прекрасно, если бы внезапно вспыхнула эпидемия или война. Столько бы нашлось работы его конторе! При этом он пил только содовую воду, так как был активным членом Общества трезвости и подписывался на журнал «Друг природы». Самым большим для него удовольствием было говорить о живущих на земном шаре племенах, которые питаются одними растениями, пьют только воду и доживают до 180–200 лет. Так, например, на Новой Зеландии англичане обнаружили старуху в возрасте 180 лет, которая жива еще и сейчас. Кроме того, он предлагал всем питаться сушеными бананами, которые Палацкий будто бы назвал «пищей будущего». На самом деле было так: издатель «Друга природы», Крофта, когда-то закупил по дешевке на Смихове большую партию бананов, часть которых сгнила, высушил их и выставил в витрине своего магазина со следующей надписью: «Вот те самые сушеные бананы, о которых отец народа Палацкий сказал, что они станут пищей будущего». Таким образом, это сказал не Палацкий, а Крофта. Итак, Караус частенько распивал среди нас в ресторане «У

золотого литра» содовую воду и рассказывал нам о вреде алкоголя. Однажды он даже принес волшебный фонарь и стал демонстрировать на белой стене изображение почек и желудка алкоголика. Свою демонстрацию он сопровождал лекцией о влиянии алкоголизма на мозг и человеческое общество в целом.

— Представьте себе, — говорил он, — что большинство негодяев, лжецов, воров, отцеубийц, сластолюбцев, поджигателей, международных мошенников, шпионов и т. д. ежедневно выпивает больше трех кружек пива. Кроме того, все эти люди, подонки общества, пили водку, коньяк или ликер и кончали свою жизнь виселицей или тюрьмой. Иоанн Златоуст сказал: «Кому, ах, кому горе на этом свете? — Тому, кто сидит у вина и с пьяными ведет дружбу». Вот почему я пью только содовую воду.

Эту свою последнюю лекцию он прочел нам в пятницу, а когда в субботу он, как обычно, пришел в ресторан и заказал себе содовую воду, то Маген встал и сказал официанту:

— Перглер, возьмите эту воду и дайте ему пива.

— Никогда! — воскликнул инспектор Караус.

— Ну тогда через три месяца мы вас будем хоронить, — холодно сказал доктор Шкарда.

— Позвольте!

— Никакого «позвольте», — сказал доктор Шкарда. — Разве вы не читали газет?

— Я газет не читаю.

— Ну, тогда поставьте над собой крест, дружище, — заметил Маген.

— Как долго вы пьете содовую воду? — спросил Шкарда.

— Пятнадцать лет, — гордо ответил Караус.

— Тогда еще не все потеряно, несколько дней тому назад наука открыла, что содовая вода содержит мышьяк, который выделяется водородом, содержащимся в содовой воде. Вы, наверное, знаете, что такое мышьяк?

— Ах, боже мой! — воскликнул инспектор.

— Не говори «гоп», пока не перескочишь! Конечно, этого мышьяка в содовой воде не так уж много, но если пить ее регулярно в течение нескольких лет, то впоследствии внезапно может случиться отравление организма, при котором сердечная деятельность останавливается. И уже после вскрытия выясняется, что человек умер или от отравления мышьяком, или от паралича. Такая же смерть постигает, например, животных, которые подвергаются укусу змеи. Единственным спасением в таком случае служит большая доза алкоголя. Обычно бывает достаточно выпить пол-литра коньяку.

— Давайте сюда пол-литра коньяку! — закричал инспектор.

Но доктор Шкарда взял его за руку.

— Нет, так сразу нельзя! — сказал он. — В самом начале вы не должны пить коньяк, но сперва вам необходимо пить небольшие порции пива, да и то в таком порядке: первую кружку сразу, вторую через десять минут, а третью через четверть часа...

Через два часа вокруг Карауса можно было насчитать около пятнадцати пивных кружек.

Так Караус перестал быть трезвенником и с тех пор стал верным сторонником партии умеренного прогресса в рамках закона.

## О преследовании Карела Пеланта, члена новой партии

Каждая политическая партия должна пройти через преследования и испытания. Сам факт преследования для любой партии — полезный урок и хорошая реклама. Поэтому и партии умеренного прогресса в рамках закона, а точное, некоторым ее членам пришлось пережить притеснения и гонения.

На третий день после нашумевшей демонстрации католиков на Градчанах в наш политический центр пришел Пелант, чрезвычайно осунувшийся и поbledневший. Едва присев, он заявил: — Я, наверно, женюсь. — А потом вздохнул и запричитал: — Клянусь, я невинен, как агнец божий, ведь кто же, как не я, должен был предложить свою галантную помощь несчастной старой деве, рука об руку с которой мы шли на Градчаны, ведь я счел своим святым долгом уберечь ее от разнузданной толпы... А сегодня утром ко мне вдруг постучали в дверь, и не успел я сказать «войдите», как в комнате оказался монах-францисканец, сопровождаемый каким-то пожилым господином, и заявил, что он, па-тер Алоис, — духовник девицы Каролины Хрустальной, а другой господин — это ее родной дядя и что я обязан возратить девице Каролине Хрустальной ее утраченную честь. Эта пятидесятилетняя девица никогда ни с одним мужчиной никаких отношений не имела и уж тем более в непосредственное соприкосновение с мужскими добродетелями не вступала. И поэтому мне предлагалось уладить все подобру-поздорову, в противном случае мне будет предъявлено обвинение в нарушении брачных обязательств, и избежать скандала возможно будет только при условии пожертвования двухсот крон в пользу Общества крещения китайских младенцев.

Я, конечно же, закричал, что никаких китайцев я никогда крестить не буду, лучше уж я женюсь. Сегодня вечером — собрание правления «Вольной мысли», на котором я решил рассказать о случившемся, и тогда уже будет видно, как поступить. О, я несчастный, несчастный человек!

Он допил пиво и пошел на собрание. Вернулся он часам к двенадцати с просветленным лицом:

— Ну, все улажено, — сказал он, — «Вольная мысль» отправляет меня в Америку.

Отметим, что мы публикуем эти подробности для того, чтобы поставить в известность общественность, поскольку до сих пор никто об этом и понятия не имел. Итак, Пеланту придется уехать, потому что он на глазах у самого архиепископа умудрился тискать старую деву-хористку.

В тот памятный день нам казалось, что на этом преследования Карела Пеланта и закончатся. Но его ожидало еще новое преследование — в иной форме.

В следующее воскресенье вечером, когда все мы сошлись в пивной «У литра», Опоченский вдруг сообщил:

— Сегодня на Староместской площади я встретил Пеланта, прямо под аркой Тынского храма.

— Ага, — откликнулся инженер Кун.

И Опоченский тихо продолжал:

— Друзья мои, скажу вам по секрету, от него страшно воняло.

— Ага! — воскликнули тут все мы разом. — Выходит, «Чех» не врал, когда сообщил, что Пелант действительно разбрасывал в храме «У святой богоматери» зловонные катышки.

Того же мнения придерживалась и полиция. А кто еще видел Пеланта на Староместской площади у храма, когда туда устремляется больше всего прихожан на вечернюю службу? Конечно же, детектив Шпачек. Движимый инстинктом, простым инстинктом способного детектива, он последовал за Пелантом. И, втянув ноздрями воздух, почувствовал идущее от него зловоние. «Ага, он, наверное, сел и раздавил какой-нибудь катышек, — подумал Шпачек, — ну, значит, попался!» Шпачек приблизился к Пеланту, чтоб получше удостовериться, из какого именно кармана идет запах, вынул сигарету, зажал ее в зубах и, подойдя вплотную к Пеланту, сказал:

— Прошу прощения, не изволите ли иметь спички?

— Весьма сожалею, — ответил Пелант, — но я не курю.

— Ясно, — сказал детектив, — значит, не курите. Ну хорошо. Тогда я вас арестовываю именем закона. Пройдемте со мной.

— Позвольте, позвольте, — воскликнул Пелант, — такое возможно только в Австрии! Арестовать человека только за то, что он не курит! Это ли не свидетельство бюрократизма нашего правительства! Конечно же, я пойду с вами, будьте спокойны!

— Но я вас арестую не за то, что вы не курите, а за то, что вы, пан Пелант, смердите!

— Позвольте, гражданин! — еще громче воскликнул исполненный негодования Пелант. — Арестовать человека только за то, что он смердит, но ведь это к тому же и не правда! Если б вы меня арестовали за то, что я не курю, в этом не было бы ничего удивительного. Этому еще можно найти объяснение: что же это за австрийский гражданин, если он никак не поддерживает государство? Но арестовать человека за то, что он якобы смердит?

— Смрад смраду рознь, — отвечивал детектив. — Вы смердите небезопасно!

— Ну, увольте, тут уж я совсем ничего не понимаю, — заявил Пелант, — чтоб кто-нибудь еще и смердел небезопасно, я о таком отродясь не слыхивал!

— Зато я это чувствую! — вскричал детектив.

Развлекая друг друга таким образом, дошли они до полицейского управления, и в четвертом отделении Пелант был подвергнут строгому допросу. Но сначала он был обнюхан: один старший полицейский чин обнюхал Пеланта снизу доверху, а затем спереди и сзади — и заключил со знанием дела:

— Чистый сероводород!

— А теперь осмотрим ваши карманы!

И детектив Шпачек извлек из объемистого кармана пальто Пеланта продолговатый, тщательно завернутый в бумагу сверток, сверху обернутый к тому же обложкой «Вольной мысли».

— Вот видите, — сказал комиссар, — вот все и обнаружилось. Впрочем, вы ведь и не отпирались.

А затем взорам членов государственной полиции предстали выпавшие из бумаги, размякшие, подернутые синевой, отлично выдержанные оломоуцкие сырки, которые забывчивый Пелант уже несколько дней носил в кармане.

— Мои сырки! — обрадовался Пелант.

Сырки ему обратно завернули, а самого отпустили домой со строгим предупреждением — впредь таких штук не выкидывать!

**О пане Йозефе Валенте**

Пан Йозеф Валента, уже пожилой человек, не имел чести быть ни писателем, ни художником, ни музыкантом, ни поэтом и никогда не занимался общественной деятельностью, — так что даже странно, почему я о нем пишу, почему помещаю его в одну шеренгу с людьми примечательными, оставившими заметный след в жизни Чехии. Может, потому что был он верным приверженцем партии умеренного прогресса в рамках закона? Но ведь таких людей и без него, разумеется, было немало, однако я не собираюсь их всех здесь называть.

О пане Валенте я напишу тут как о весьма примечательном явлении нашей жизни.

Пан Валента сживал с нами еще в те времена, когда мы собирались «У свечки». И «У золотого литра», и в «Славянском кафе» — он постоянно был рядом с нами.

Он держался за нас, как клещ, и, как только мы перекочевали к Звержинам, он тут же последовал за нами: он никогда не покидал нас, и всегда у него в запасе была новенькая интересная история. Одежда его была весьма потрепанной. Он носил засаленный котелок, странный галстук, а его ботинки походили на настоящие корабли. Плащ его был сшит столь причудливо, что казалось, он, как шахматная доска, намеренно разделен на клетки. Тем не менее пан Валента умел импонировать окружающим своим гардеробом, ибо о каждом предмете своего туалета он рассказывал вещи столь удивительные, что все мы с явным восхищением смотрели на его убранство, как говаривали в старину. Его ботинки, как он нам объяснил, эти его страшные ботинки были не обыкновенные. Оказывается, они были сшиты не из простой яловой и не из свиной кожи, и даже не из шевро, а из шкуры тапира. Он говорил, и не раз, что приобрел их по случаю за огромные деньги у одного путешественника по Африке, с которым познакомился в Вене и затем в течение месяца принимал его там же в своем летнем дворце. Африканский путешественник был столь великодушен, что, уходя, отблагодарил его, оставив свою поношенную обувь. Пан Валента при каждом удобном случае показывал нам эти ужасные ботинки со стоптанными каблуками, чиненные-перечиненные, потрескавшиеся на носках, где зияли страшные дыры, предназначенные, по его словам, для того, чтобы в условиях тропической жары ноги проветривались и не потели.

Однажды при демонстрации ботинок, что частенько бывало гвоздем программы вечера, мы заметили, что на их язычках имеется тиснение «Антонин Шимек, обувщик, Прага-Смечка». Когда мы сказали об этом пану Валенте, он улыбнулся и пояснил:

— О, это еще один эпизод из моей жизни. Сапожник Шимек чрезвычайно мне обязан, потому что я спас ему жизнь, когда от нищеты и голода он бросился было в Влтаву. У бедняги не было ничего, чем он мог бы меня отблагодарить, ничего, кроме пары этих вот язычков. Он вшил их в мои ботинки, и при этом слезы, огромные, как горошины, падали на мои ноги.

Его брюки, залатанные сзади, были неизвестного науке цвета. Много раз мы спорили между собой, как же мажет называться этот цвет — нечто среднее между корицей и сажей. Если б кому-нибудь пришлось смотреть на эти штаны длительное время, он наверняка стал бы дальтоником. И все-таки это были редкостные брюки.

— Таких только трое во всем мире, — уверял пан Валента, — одни были у

дяди русского царя, другие — у миллионера Карнеги, а третьи — вот они на мне. Они сшиты самым лучшим парижским портным и обошлись мне в восемьсот франков.

Он говорил это так убедительно, что мы понимали: сам он всему этому верит. Само собой разумеется, заплаты на его брюках были тоже поставлены самым лучшим портным, которого он всем нам рекомендовал. Если я не ошибаюсь, фамилия его — Вальтнер.

А теперь обратим внимание на его жилет. Жилет первоначально был белым, пикейным. За те годы, что пан Валента его носил, жилет сперва порыжел, а потом и вовсе почернел, однако не до густой гуталинной черноты, мне кажется, более правильным было бы назвать этот цвет шоколадно-черным.

— Должен вам заметить, господа, — говорил пан Валента, — этот жилет представляет собой настоящий шедевр ткаческого искусства персов. Если бы я его снял, вы убедились бы, что с изнанки он точно такой же, как с лица. Для изготовления жилета потребовалось более 120 километров шелковых нитей, причем наилучшего качества. Такой шелк вырабатывается только в окрестностях Арабадса. Караван, отправившийся за этим шелком, был, можно сказать, наголову разбит разбойниками курдами, все погибли, и только лишь трем слугам вместе с этим редким шелком удалось спастись. Я смело могу утверждать, что на этом жилете кровь многих и многих людей, и поэтому он мне так мил и дорог.

В другой раз речь зашла о галстуках, и тут он, показывая на грязные лохмотья, повязанные вокруг шеи, заявил, что современная молодежь совсем не умеет покупать галстуки. В его времена люди умели красиво и элегантно одеваться. Сейчас же — вопреки тому, что пишут в газетах к что советует Ивонна и другие, никто одеваться не умеет. А вот его галстук — мастерское изделие, совершенство галстучного искусства. Далее он заявил, что его галстук может смело конкурировать с галстуком английского короля Эдуарда, который был всемирно знаменит как тонкий ценитель галстуков. Впрочем, так, как он завязывает этот галстук, всегда завязывали галстуки только два человека в мире, а именно — Гладстон, самый блестящий государственный деятель Великобритании, и покойный итальянский король. Подобные галстуки можно достать в Мюнхене — Гумбольдтштрассе, «Krawattenhandlung»[294]. И после этого он еще недели две утверждал, что написал туда и заказал всем нам по галстуку, конечно же, на собственные средства, а поскольку галстуки нам всё не доставлялись, он очень жаловался, что его надули и он бросил деньги на ветер.

Потом предметом обсуждения стал его замызганный, засаленный пиджак, такого же загадочного цвета, как и брюки.

— Только однажды в жизни, — говорил он, — меня надули при покупке одежды. За этот пиджак я отдал в Вене двести пятьдесят золотых, хотя стоил он примерно около ста пятидесяти. А надули меня потому, что я подъехал к магазину в экипаже. Ливрейный лакей открыл дверцу, я соскочил с подножки, и другой мой лакей внес меня на руках прямо в магазин. Ну и, само собой разумеется, все мне кланялись, кланялись — и в итоге ободрали меня как липку. При мне в магазин пришел князь Лихтенштейн и купил себе точно такой же пиджак, потому как мой необычайно ему понравился. И, знаете ли, он заплатил всего сто восемьдесят золотых, а я — двести пятьдесят. Когда потом че-

рез некоторое время мы встретились с Лихтенштейном на охоте в Венгрии и речь у нас зашла о пиджаках, знаете, что тогда сказал Лихтенштейн: «Ну и околпачили же тебя, коллега».

Таков был добрый пан Валента. Мне неизвестна история его демисезонного пальто, но она наверняка столь же занимательна.

Однажды он не пришел к нам в кабак, и мы примерно на третий день узнали, что дела его весьма плохи. Он схватил острое воспаление легких, что в его возрасте весьма небезопасно. Мы решили проведать пана Валенту и нашли его на Малой Стране, на третьем этаже грязного старого дома, в маленькой комнатке, где не было ничего, кроме убогой постели, графина с водой, стула, уставленного какими-то лекарствами и жестяной ложки. В стены было вбито несколько крюков, на которых висел нищенский гардероб пана Валенты. Когда мы входили, какая-то соседка сказала нам весьма нелюбезно:

— Этот старый болтун не протянет и до утра.

Так вот, следовательно, какова была шестикомнатная великолепно обставленная квартира!

Увидев нас, пан Валента, тяжело дыша, произнес:

— Удивляюсь я на доктора, приказавшего перенести меня из моей опочивальни сюда — в эту людскую, откуда, кстати сказать, к тому же вынесли всю мебель, чтоб было больше воздуха и покоя. Вы случайно не встретили на лестнице моего слугу?

Мы сказали, что никого не видели.

— Вот оно что! — сипло воскликнул пан Валента. — Будьте любезны, господа, посмотрите-ка в кармане моего пиджака, я приказал его сюда принести, там у меня должна быть сберегательная книжка на сто тысяч крон.

Мы сделали вид, что лезем в карманы пиджака, и сказали, что там ничего нет.

— Так я и знал, — прошептал пан Валента, — этот негодяй сбежал от меня вместе со всеми моими книжками.

— Ну, а что с вами, как вы себя чувствуете?

— Что ж, он метко попал в меня.

Он слегка приподнялся и прошептал:

— Об этом еще не говорят? Ничего еще не слышно? Ну ладно, я сам вам немножко намекну. Княгиня Шварцемберг и я. Понимаете? Ну, а князь нас застиг... Как же колет, как же колет! Такие ощущения были только у двоих: у Наполеона, когда он умирал на острове Святой Елены, а еще у фельдмаршала Радецкого. Однако, знаете, у меня уже был нотариус, и я ни о ком из вас не забыл.

Он приподнялся и совершенно явственно произнес:

— Я завещал вам весь этот дом и свой летний дворец в...

Он не договорил и умер.

Дом принадлежит пражскому магистрату, так что, очевидно, придется нам с ним судиться. Что же касается летнего дворца, то мы не знаем, о каком из них шла речь. У него их было несколько...

### Революционер Зиглозер

**В** пору нового политического подъема встречались мы, первые члены новой партии, с революционером Зиглозером. Был это очень подвижный мужчина, который регулярно появлялся в «Славянском кафе» и с большим интере-

сом слушал там наши разговоры. Каждый раз под конец он бросал одну и ту же фразу:

— Вот когда я состоял в «Омладине»...

Элегантно одетый, с тщательно напомаженными усами, в элегантных штиблетах, в одежде из модного материала, в брюках последнего покроя, он своими изысканными манерами, своим умением произнести слово «приятель» с мягкой интонацией дружеской преданности многих умел расположить к себе, тем более что вокруг то и дело слышалось: «Это тот, что состоял в «Омладине». Помню, как несколько лет тому назад, когда нашей партии еще не существовало, мой приятель Станислав Минаржик, которого только что выгнали из коммерческого училища, сидел в кафе «У Тумы» вместе со мной и моим другом Гаеком Домажлициком, неподвижно устремив свой взор в одну точку. Той точкой был революционер Зиглозер. И, глядя на этого мужа, который как раз протирал пенсне, произнес Минаржик:

— Там сидит Зиглозер из «Омладины». Будь в Чехии побольше таких людей, коммерческое училище давно бы уже прихлопнули.

А Зиглозер тем временем невозмутимо допивал свою чашку черного кофе, и его революционный дух как раз витал в размышлениях, в какую торговую фирму податься, чтобы предложить там для продажи очередную партию коньяка, ибо, хотя в душе он и оставался революционером, в практической жизни его интересы и занятия были другими: он служил посредником по продаже коньяка и торговых ярлыков для всевозможных товаров. Кроме того, он издавал журнал «Женское обозрение».

Как ему удалось завладеть этим журналом — история невеселая и далеко не революционная. Одному Зиглозеру известно, с помощью каких ухищрений он заполучил этот журнал, отобрав его у прежнего хозяина. Так и сделался владельцем «Женского обозрения» этот старый революционер, собравший затем вокруг себя несколько дамочек и учительниц, которым как раз нечего было делать, кроме как решать женский вопрос — занятие, признаться, несколько комическое, если учесть, что при этом над мужским вопросом никто даже не задумывается. Зиглозер верно рассчитал, что с помощью журнала он сможет войти в те круги, которые ратуют за право и справедливость. Коммивояжер различных фирм, он наносит визит главе какого-нибудь чешского торгового предприятия, где известна история с «Омладиной», и, к немалому удивлению добродушного хозяина, вдруг неожиданно начинает:

— Извините меня за дерзость, но мне хотелось бы узнать, что стало с вашим двоюродным братом Карелом Ваньгой. У вас нет никакого брата Ваньги? Но ведь совсем недавно мы вместе с ним находились под судом как члены «Омладины». Не может быть, чтобы я ошибался. Странно. Ведь мы с ним оба (моя фамилия — Зиглозер) старые омладинцы. Тогда, знаете, было время юношеского энтузиазма. К сожалению, многие из этих восторженных молодых людей потом жестоко поплатились. Под мрачными сводами тюрьмы у них начались разные заболевания, а никто не хотел позаботиться не только о том, чтобы им давали усиленное питание, но даже о том, чтобы они получали врачебную помощь.

В лучшем положении оказался только мой друг Карел Ваньга. Бледный молодой человек с высоким челом, он пользовался симпатией доктора тюрьмы На Борах, и тот выписал ему литр молока с коньяком в день. Ну, так вот и да-

вали ему это молоко. Но в один прекрасный день начальник тюрьмы инспектировал вместе с врачом камеры, и до сих пор не забуду, как врач вдруг стал принюхиваться, принюхиваться да и говорит:

— Тут ведь какой-то сивухой пахнет.

Подошел к столику, на котором стояло молоко с коньяком для моего приятеля Ваньги, понюхал и подзывает Начальника. А начальник попробовал и начал прямо в нашем присутствии отчитывать главного тюремного надзирателя: это, мол, самый обыкновенный венгерский коньяк, а вовсе никакой не дистиллят из вина, какая бы фирма его ни изготовляла, тут, мол, спирт добавлен. Тогда я впервые услышал, что лучшие коньяки — французские, а потом, выйдя из тюрьмы На Борах, я постарался об этом деле побольше разузнать. У меня было много знакомых, и они свели меня с главным представителем крупной французской фирмы «Моншон-Фрере». Обстоятельства сложились тогда таким образом, что я был вынужден хотя бы для начала принять его предложение о сотрудничестве в рекламировании французского коньяка в Чехии. Ведь вы не можете себе представить, милостивый государь, как смотрели на нас, когда мы после долгих мучений вышли из тюрьмы! Со временем, конечно, я свыкся со своим новым положением, но и нынче выполняю эту службу скорее из уважения к тогдашнему энтузиазму, из уважения к пионерам того энергичного политического движения, которое наблюдается во всех политических партиях в наши дни, когда происходит, по сути дела, возрождение чешской политики. Я твердо знаю также по собственному опыту, что лучший коньяк нынче — это коньяк фирмы «Моншон-Фрере», который при этом и по цене конкурирует с самыми дешевыми венгерскими коньяками. Из этих соображений позвольте предложить вам как опытному знатоку вот эти образцы: коньяк двадцатилетней выдержки, литр — четыре кроны двадцать геллеров franko amballage[295], десятилетней выдержки — четыре кроны, пятилетней — две кроны восемьдесят, franko Прага. За бочковую тару набавляется полпроцента. Оплата и претензии тут же, в Праге.

И, подняв на торговца свои добрые глаза, этот старый революционер и омладинец произносит:

— Ну что ж, закажем на пробу по пятьдесят литров каждого сорта? Договорились?

И с подписанным заказом в руках он покидает магазин, насвистывая «Марсельезу».

## IV

## Партия идет на выборы

## Манифест партии умеренного прогресса в рамках закона к последним выборам

Как только имперский совет был распущен, наш исполнительный комитет, резиденцией которого является «Коровник» на Краловских Виноградах, вынес постановление принять горячее участие в избирательной кампании, выдвинув своего кандидата; и в «Коровнике» вывесили следующий манифест:

*Народ чешский!*

*Шел 1492 год, когда Колумб отплыл из Генуи с намерением открыть Америку. С той поры минуло несколько столетий, и мы, видя сегодня прогресс в стране, открытой Колумбом, с полным основанием можем считать, что прогресс этот не мог возникнуть ни с того ни с сего, скажем, насильственным путем. Прогресс этот с момента того исторического события, когда самый знаменитый чех, Колумб, открыл Америку и отплыл из Генуэвии, развивался умеренно, в рамках закона, и, бесспорно, Америка не достигла бы сегодня такого уровня цивилизации, если б Колумб ее не открыл. Но Колумб не побоялся и уже в ту пору, руководствуясь принципом «умеренный прогресс в рамках закона», отпросился у досточтимого начальства и приплыл на край Америки, чтобы не доводить дело до крайности. Только следом за ним один американец открыл весь родной материк, который и назван в его честь Америкой. Затем понадобилось лишь истребить индейцев, ввести рабство и так повсюду вводить прогресс, полегоньку, не спеша, и в конечном итоге мы видим, что несколько столетий спустя Эдисону удалось изобрести фонограф. Не отправься Колумб в Америку, не решился он вообще на свою туристическую поездку, индейцы продолжали бы драться друг с другом, и у нас не было бы даже фонографа, а у вышеназванного государства такого источника доходов, как табачная монополия, у простого люда в деревне не было бы его картофельных клецок, мы не знали бы картофеля и самогонки из него, короче, пришел бы конец благоденствию. Итак, Колумб попытался и открыл Америку, известен же прекрасный древнечешский девиз: «Рискнуть — да и закаяться».*

*Вот так и мы, чешский народ, предлагаем тебе новую программу. Мы попытались создать новую политическую партию и убеждены, что получится так, как гласит польская поговорка: «От малой искры да большой пожар».*

*Чешский народ! Чехи! Земляки! Колумб тоже не знал, какие плоды принесет в один прекрасный день его путешествие в Америку, что выйдет из его затеи, и что в конце концов это приведет к всемирно-историческим событиям, и что его путешествие к неведомым берегам Америки завершится в итоге миллиардами, завещанными великодушным Карнеги в пользу американских университетов.*

*Вот и мы, создавшие новую политическую партию, не представляем да и не можем себе представить, что хорошего сделает эта партия для человечества, а особенно для тебя, дорогой народ чешский!*

*А вас всех, безусловно, интересуют принципы партии, ее программа. Но что может быть прекрасней лозунга, начертанного на знаменах партии — «Умеренный прогресс в рамках закона»?*

*Граждане, чехи!*

*Памятуя, что закон ограждает любого человека от насилия, мы отдали свою программу под охранительную сень закона, а поскольку все законы у нас со временем претерпевают изменения, иными словами, идут рука об руку с умеренным прогрессом, мы вписали сей умеренный прогресс в свою программу. Потому что просто немислимо, чтобы младенец каким-то насильственным способом сразу повзрослел; это может произойти лишь путем естественного развития, день за днем, год за годом.*

*Народ чешский!*

*Прежде чем ты попал под власть Габсбургов, должны были родиться Пршемисловичи, Ягеллоны, Люксембург!! и лишь столетия спустя ты очутился под властью Габсбургов. Точно так же было и с мостом Сватоплука Чеха — его не за одну ночь выстроили; сначала должен был родиться Сватоплук Чех, прославиться, умереть, затем привели в порядок берега и только после этого построили мост Сватоплука Чеха.*

*Народ чешский! Множество партий, существующих у чешской нации, станут уверять тебя, будто все это можно было совершить в один присест, разом! Иные партии, напротив, заявят, что этого вообще сделать невозможно! Кому же в таком случае ты должен верить? Разумеется тем, кто обращает твое внимание на то, что все это удастся совершить путем умеренного прогресса в рамках закона.*  
Прага, апрель 1911.

От имени исполнительного комитета партии умеренного прогресса в рамках закона:

Эдуард Дробилек

Дрейшуг

Ярослав Гашек

Йозеф Скружный

Йозеф Лада

Д-р Бог. Шмераль

Инж. Кун

Д-р Новак

Д-р юриспруденции Слабый,

полицейский комиссар Эмануэль Шкатула

**Доклад о недоброкачественных продуктах и суррогатах,  
прочитанный мною в «Коровнике» во время избирательной  
кампании 1911 года**

**У**важаемые друзья!

Я уверен, вы позволите мне в нашу бурную политическую эпоху, когда в парламент нужно избирать борцов за высшие ценности человечества, сказать несколько слов о святая святых — о том, что переполняет всех избирателей и кандидатов и что так метко было выражено еще в древнем Риме в виде надписи над входом в городские трактиры: «Набей свое брюхо!» Оглянитесь вокруг — и вам откроется прискорбное зрелище: все, что призвано удовлетворять насущные жизненные потребности, нещадно подделывается.

На одном из заседаний старого парламента депутат из Далмации, патер Бьянкини во время дебатов о военном бюджете ни с того ни с сего выкрикнул: «Отведайте настоящего далматинского вина!» Человек вполне достойный, он крикнул это во сне, ибо — как со всей искренностью признался позже — ему

снилось подделанное вино. То, что этот кошмарный сон привиделся ему именно в парламенте — вещь совершенно естественная, так как именно здесь он, будучи депутатом, обязан бороться хотя бы за минимальный жизненный уровень своих избирателей, выраженный словами: «Много не ешь, но коли ешь — то свежее и не суррогат!»

Увы, нынче за какой продукт ни возьмись — редко когда он попадает в первозданном качестве и чаще всего разбавлен всякими суррогатами менее питательного свойства.

Для торговца — верх блаженства подмешать в продукт чего попало.

Я знал одного лавочника, который места себе не находил: ко всему наловчился подмешивать суррогат, а горох ему не давался. Пришлось хоть каперсы добавить, чтобы все-таки облапошить покупателя.

Другой одержимый этой страстью торговец кончил просто трагически. Прежде он торговал мукой, подмешивая в нее гипс: во-первых, так уж издавна повелось, а во-вторых, гипс в десять раз дешевле муки. Власти все-таки уличили его и, когда это повторилось, лишили концессии на торговлю продуктами. Но поскольку он сердцем присох к гипсу, то открыл оптовую торговлю оным. Поначалу все шло гладко, однако год от года доходы падали, и в конце концов предприятие стало убыточным. А все почему? Да потому, что по привычке он теперь в гипс подмешивал муку! Удержаться не было никаких сил: пускай хоть в гипс — но надо же было что-то подмешать. Торговля постепенно сошла на нет, в итоге бедняга застрелился, бухнув как-то в гипсовый порошок пять мешков молотого кофе.

И вот вместе с недоброкачественными продуктами эта дурная привычка переварена и усвоена нашими избирателями. Появились бесчестные голосующие и сомнительные избирательные списки.

Я знаком с одним торговцем, который испортил вышеуказанным способом все продукты в своей лавке и, не зная, кого бы и как еще надуть, отправился голосовать.

Из всего этого следует, что необходимо всегда и всюду пресекать подобное одурачивание публики хотя бы во имя справедливости выборов.

Помню, дома раз замесили тесто на кнедлики; поставили их варить — через полчаса вытащили из кастрюли гипсовый бюст Гейдука, статуэтку Гавличка и голову Бетховена.

Красный перец, как известно, разбавляют толченым кирпичом. Как-то мы готовили паприкаш, сняли горшок с огня — а он до краев полон кирпичиков, не угрызешь.

Черный перец по виду не отличить от липовых семян. Однажды в саду, где мы обедали, дедушкина служанка пролила суп, и на землю упала горошина перца. Никто не обратил на это внимания, но сейчас на том месте, где втоптали в землю перец, стоит симпатичная липка.

Я готов привести вам еще немало подобных примеров. Скажем, что бы вы подумали, заметив, что за время вашего отсутствия в банке с кофе вошла фасоль?

Я уж не говорю о том, что нам подают в трактирах.

В провинциальном городишке я заказал — как стояло в меню — зайца. Еду долго не несли, и я спросил маленькую дочку трактирщика, где же мой заяц.

— Она в подвал убежала, — ответила девочка.

Таким образом, глубокоуважаемое собрание, совершенно необходимо, чтобы будущий парламент щадил желудки своих избирателей, и горе тому народу, который изберет в него торгашей...

### **Речь о кандидатах других партий**

Дорогие избиратели!

Я не могу сказать ничего хорошего о своих конкурентах. Мне это весьма неприятно, неприятно тем более, что я с величайшей охотой сказал бы все самое доброе, чтобы доказать, как прекрасна может быть месть, когда, не считаясь ни с чем, можешь расстроить планы конкурентов, выбив с помощью своей скорби оружие из их рук. Однако, к сожалению, если я намерен говорить избирателям всю правду, это невозможно. У каждого человека есть ошибки, скажем так — небольшие ошибочки, которых за всю человеческую жизнь наберется немало, и эти слабинки, слитые воедино, способны любого человека в глазах заинтересованных лиц превратить в незаурядного негодяя. В соответствии с этим мне следовало бы применить и к своим конкурентам слово «незаурядный», но руководствуясь верными принципами, что лучше оправдать или уменьшить вину своих ближних в глазах избирателей, я воспользуюсь лишь словом «заурядный». Но и это слово кажется мне недостаточно изысканным, похоже, будто я хочу отмстить своим конкурентам их же оружием; потому употреблю слово «негодяй» без всяких прикрас или бранных эпитетов.

Но, к сожалению, даже слово «негодяй» не дает представления о частной и общественной деятельности моих господ конкурентов, и, стремясь как можно точнее передать их характер, я считаю для них не оскорбительным и слово «мерзавец».

Конечно, те, кто их знает, твердо убеждены, что слова «негодяй» или «мерзавец» чересчур мягки и вовсе не выражают сути их характера.

Мне приходят на ум всякие бранные слова, которые отлично годились бы для характеристики этих господ, которых я, впрочем, весьма ценю и уважаю, но стесняюсь употреблять столь крепкие слова в порядочном обществе, каковым, уважаемое собрание, я до сих пор вас считаю.

Одно слово хуже другого вертится у меня на языке, но я не могу, право, не могу, уважаемое собрание, с помощью этих подходящих наименований обнажить перед вами всю ту нравственную наготу, в коей не стыдятся они предстать перед вами, по пословице «Нахальство — второе счастье».

Мне не хотелось бы подробно описывать вам их частную жизнь и общественную деятельность, которая таит в себе величайшие преступления и самые гнусные черты характера. На мой взгляд, неловко и неприлично касаться той моральной грязи и той гнусности, в которой погрязли мои почтенные господа конкуренты по самое горло.

Даже не выставляй я свою кандидатуру, я не мог бы молчать, а тем более не могу молчать теперь, когда претендую на ваше доверие и когда на ваше доверие претендуют и другие, которым, безусловно, лучше всего, памятуя о своем отвратительном прошлом, сидеть бы дома и невылезать на свет божий, имея рыльце в пуху. А то пух этот разлетится во все стороны, и они по горло увязнут в мерзости, гадости и грязи. Но если они все же рискнут предстать перед лицом общественной критики, я с превеликим удовольствием открою всю гнусность их сомнительного прошлого и не упущу случая проанализировать

по отдельности каждого хвастуна, для которого, несомненно, лучше всего было бы самому явиться с повинной в суд и просить, чтобы власти их обезвредили.

Возьмем первого, которого вы наверняка знаете, так же как знаете второго и третьего, все они друг друга стоят. Какая прекрасная троица собралась в этом округе! Первый обесчестил собственную бабушку, второй тещу, а третий — чужого дедушку, когда тот шел в лес за хворостом! При таком начале они и в дальнейшем, разумеется, не могли придумать ничего лучше, как красть, где удастся, и там, куда есть доступ. А раз уж они крали, то и грабили. Первый напал на молочницу, второй на беднягу шахтера, возвращавшегося после полочки домой, а третий на старичка санитара, который нес в город все свои сбережения, отложенные на похороны. Столь же прекрасной была вся их жизнь; они играли в карты, мошенничали, застраховали имущество, потом сами устроили поджог, наплевав на то, что на чердаке сторели их родители, потому что тем самым они устранили свидетелей своих преступлений. А с каким трогательным единством вся троица, хоть они и принадлежат к различным политическим лагерям, собиралась на вокзале! Один воровал кольца, другой очищал карманы, третий выступал в роли сводника. Лишь в одном случае у меня нет доказательств — кто из них убил владельца табачной лавочки, первый, второй или третий, после чего, разумеется, у него на совести было три убийства, стало быть, на одно больше, чем у остальных.

И теперь, обманутый люд, в скором времени ты подойдешь к избирательным урнам, чтобы путем голосования высказать свое мнение и дать понять, кого из трех этих негодяев, опять же говорю без прикрас, ты желал бы видеть в Вене в парламенте.

Выбрав одного из этой троицы, вы совершите похвальный поступок, потому что он хотя бы для себя добьется в Вене амнистии, а иначе всех их ждет тюрьма.

### **Лекция о реабилитации животных**

**У**важаемое собрание, друзья, чехи, соотечественники!

Вне сомнения, заслуживает внимания тот факт, что в Чехии появилась партия, нашедшая в себе смелость выступить с новой программой, один из пунктов которой гласит: «Пора наконец реабилитировать животных!» До сих пор любое из животных имело, как правило, дурную репутацию.

Возьмем для примера свинью. Свиньи издавна пользовались репутацией грязнух. Когда говорили «ты грязнуха», это означало «ты свинья», и наоборот. Встречались даже целые нации, объявившие свиньям бойкот. К примеру, евреи. Моисей утверждал, что употребление в пищу свинины может привести к половым болезням. Во времена Моисея многие евреи находили себе в том оправдание. Лишь под воздействием христианства, уничтожившего все еврейские законы, потребление в пищу свинины до такой степени возросло, что католическая церковь в конце концов даже ввела пирушки по случаю убоя свиней, дабы доказать, что Моисей говорил неправду.

Однако несмотря на это, свиней все считают нечистыми, потому что они валяются в грязи, хотя бальнеологи рекомендуют это и людям. Взять хотя бы Пештяны и пештянские грязи. Там валяются по соображениям медицины даже аристократы, а ведь никому в голову не придет назвать такого аристократа свиньей, а про д-ра Кучеру, рекомендующего подобный способ, тоже не ска-

жешь, что он грязнуха. И тем не менее свиней, подавших такой блестящий пример недужному человечеству, презирают, а их имя, особенно теперь, в период выборов, служит ругательным словом, которым награждают противника как человека бесчестного. А видели вы когда-нибудь бесчестную свинью? Взгляните на опаленную свиную тушу в витрине мясной лавки, это ль не явное проявление характера — ведь свинья и после смерти улыбается тем, кто собирается ее съесть. Посмотрел бы я, что бы вы делали на ее месте!

Как со свиньями, так поступают и со всеми остальными животными, которые приносят людям пользу, а кандидатами в депутаты используются в качестве ругательств. Те, кто часто посещает в эти дни собрания избирателей, несомненно, уже слышали выкрики: «Да замолчите вы, упрямый вол!» Оять же такие выкрики унижают определенный вид животных — под этим словом я подразумеваю, разумеется, не кандидатов в депутаты, ведь этот выкрик, по сути дела, восхваляет того кандидата в депутаты, в адрес которого он прозвучал, поскольку вол ценится значительно выше кандидата. Вол весит 700 кг, тогда как кандидат и 80 кг не потянет; продав вола, вы получите за него четыре сотни, а кандидат и одного золотого не стоит.

Слышал я и то, как на политическом собрании кандидату крикнули: «Собака!» Случись подобное со мной, я бы еще поблагодарил того, кто удостоил меня имени наиболее благороднейшего существа, и обещал бы, что по примеру этого животного только и буду делать, что носить из Вены их требования в виде поноски. Итак, общество не способно ни на что иное, кроме как систематически оскорблять скромных и послушных собак, называя их именами разных монархов. Собаку молочника, терпеливо и преданно тянущую тележку с продуктами, называют Нероном. Маленького той-терьера, который никого не обижает и никого не тиранит, зовут Цезарем.

О собаках говорят особенно пренебрежительно, потому что этим словом обзывают людей. И все же мы видим, что собаки в интересах службы безопасности под названием полицейских собак так славно служат сегодня всему человечеству! Итак, следовало бы реабилитировать животных хотя бы в лице этих наиумнейших представителей животного мира. Хорошо бы тех, кто обидит полицейскую собаку, привлечь за оскорбление должностного лица. Приложим же все усилия, чтобы впредь животные считались существами, на которых любая политическая партия взирала бы с известной долей уважения и никогда не пользовалась бы их именами для бешеной агитации в период избирательной кампании.

### **Речь о докторе Загорже, произнесенная мною на общем собрании партии умеренного прогресса в рамках закона в мае 1911 г.**

**У**важаемые граждане!

Я весьма признателен представившемуся мне случаю выступить перед наиболее передовыми кругами интеллигенции и надеюсь, что каждый из вас не только не будет перебивать меня во время высказывания мною принципиальных положений, но и вообще прослушает всю мою речь со вниманием и неослабевающим интересом.

В то время как вожди других политических партий, в частности национально-социальной, — в своих выступлениях перед избирателями пережевывают одно и то же и призывают вас следовать по стопам Гуса, Гавличка или Сватоплука Чеха, утверждая, что эти славные деятели были национальными

социалистами, я обращаю ваше внимание на совершенно нового в нашей истории человека — на бывшего пражского физика, доктора Загоржа.

К этому меня принуждает не только моя обязанность, но и благодарность, благодарность к человеку, который в нашей стране возродил традицию времен Яна Гуса, сущность которой состоит в том, что у нас каждый порядочный человек обрекает себя на сожжение. Вот настоящая форма просветительской деятельности! Вот горящий факел света, факел, в который превращали себя когда-то Джордано Бруно, Ян Гус, Иероним Пражский и целый ряд других церковных реформаторов, вольнодумцев, колдуний, бодро и уверенно шедших на костер и этим доказавших всему миру, что обычное погребение по церковному обряду негигиенично и вредно для здоровья.

И вот, идя по стопам великих реформаторов похорон, доктор Загорж через несколько столетий снова восстановил их славную традицию. Вместе с тем ему, после тщательного изучения, удалось изменить ритуальную сторону этого средневекового процесса, а именно: он нашел, что современный человек будет чувствовать полное удовлетворение, если его сожгут не заживо, а после смерти.

Само собой разумеется, что католическая церковь объявила борьбу доктору Загоржу, так как она до сих пор не может избавиться от привычки сжигать людей заживо. Кстати, в Священном писании нет ни слова, осуждающего эту привычку; между тем как сожжение людей после их смерти, то есть кремация, по утверждению католиков, противоречит духу католической религии. Это подтверждается следующими словами Священного писания: «Прах еси и в прах обратишься».

А эти слова вы никак не сможете толковать таким образом: «Ты пепел и в пепел превратишься». То есть у католической церкви на первом плане стоит вопрос о «прахе» или, вернее, о «прахах»[296].

Мало кто из всех живущих на свете способен с такой преданностью заботиться о судьбе человека после его смерти, как доктор Загорж. Однажды на одном собрании его последователей, членов крематорного общества, я слышал его речь. Он говорил с таким воодушевлением, на которое способны только люди, горячо убежденные в своем призвании. При этом его глаза пылали настоящим огнем.

— О, поверьте, дорогие друзья, — говорил он, — что самый прекрасный момент в жизни человека наступает тогда, когда его предадут сожжению. Как спокойно и легко, лежа в гробу, чувствует себя новопреставленный при такой мысли: «Итак, я еду в Готу или в Циттау. Мне сделали красивый и безупречный гроб. Еду я первым классом, и теперь без всяких церемоний при помощи машины меня вдвинут в самую совершенную печь и сожгут без смрадного дыма и запаха». Я бы искренне желал вам испытать это ощущение! Ах, какое удовольствие сознавать, что теперь сжигают без дыма! Несомненно, уважаемое собрание, что, когда такой новопреставленный все это хорошенько обдумает, его охватит большая радость и он скажет себе: «Теперь мои кости не будут валяться на кладбище, теперь я буду себе уютненько полеживать дома в урне, в виде пепла. И все это потому что я вовремя вступил в общество «Крематорий» и платил в год всего-навсего двадцать крон. Уважаемые граждане! Состоя в этом обществе, вы пользуетесь тем преимуществом, что за каких-нибудь двадцать крон вас сожгут по вашему желанию через год или через два...»

На это собрание заявили также и враги кремации из поповских кругов, а их вождь патер Емелка выступил со следующей обвинительной речью:

— Милостивые государи! Я персонально ничего не имею против доктора Загоржа. Это действительно личность серьезная, у которой есть свои взгляды на судьбу человека, ожидающую его после смерти. Но его взглядам я противопоставляю свои, строго соответствующие церковным законам. Я позволю себе сослаться на те слова Священного писания, в которых говорится о Последнем суде. Там точно сказано, что настанет час, когда ангел протрубит в трубу и мертвые восстанут из своих могил. Прошу обратить внимание: из могил, а не из крематория! А теперь представьте себе, что вы умерли, что вас везут в Готу на сожжение: о чем вы можете думать во время такой поездки? Вы в ужасе от охватившего вас страха, вы трясетесь в своем саване в запаянном гробу при мысли о том, что вас ожидает после сожжения, после того, как ваш пепел соберут в урну, которую поставят где-нибудь в кухне, и может случиться, что любовник вашей овдовевшей жены будет в нее выбивать пепел из своей трубки. Неужели вас не охватывает возмущение при одной мысли, что, после того как раздастся звук трубы ангела, призывающего к Последнему суду, вы явитесь перед лицом разгневанного господина в виде какой-то трубки, из которой потом черти будут курить серу и смолу? Дорогие христиане, как вы себя при этом будете чувствовать?

Когда патер уселся на свое место, я взял слово и сказал следующее:

— На вопрос патера Емелки я позволю себе ответить, что такая трубка[297] будет себя чувствовать весьма скверно. Почему? Сейчас я об этом расскажу. Как вам известно, в 1850 году возле Гаваны восставшими неграми было убито двести семьдесят два патера. Их трупы были зарыты в землю, то есть в соответствии с требованиями католической церкви.

С течением времени эти трупы были червями изглоданы так, что от них остались одни кости. И вот один весьма предприимчивый фермер (теперь он тоже в аду, и я думаю, теперь он парится в паппеновом котле) собрал кости этих патеров, перемолол в порошок и таким образом превратил их в искусственное удобрение, которое и использовал для своей табачной плантации. На плантациях рос и теперь еще растет превосходный табак.

И вот представьте себе: раздастся звук трубы ангела, призывающего на Последний суд, и перед улыбающимся лицом всемогущего появляются эти самые патеры в форме табачных пачек! Тогда разгневанный бог отдает приказание, чтобы эти табачные пачки и грешные трубки, которые набивались святым табаком, непрестанно думали о своем прегрешении перед богом, прегрешении, заключающемся в том, что они не позволили себя сжечь после своей смерти. Так вот поэтому-то на вопрос досточтимого патера Емелки: «Как себя будут чувствовать на Страшном суде такие трубки?» — отвечаю: «Очень плохо, дорогие христиане, очень плохо!»

Когда я кончил свою речь, ко мне подошел сияющий от восторга доктор Загорж, похлопал меня по плечу и воскликнул:

— Вот вам моя рука, дорогой друг! Я обещаю вам, что после вашей смерти мы сожжем вас бесплатно!

Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы публично поблагодарить дана Загоржа за его исключительную любовь к ближнему.

**Лекция о национализации дворников, в которой развивается, по**

**существо, программа партии умеренного прогресса в рамках закона****М**ногоуважаемые господа!

Пора в этой предвыборной борьбе взяться за ум и обратить внимание на те явления, которые играют столь важную роль в жизни всех чехов, хотя остальные политические партии не обращают на них должного внимания. Прежде всего следует вспомнить о людях, я бы даже сказал, об особой касте народа, наиболее угнетаемой и притесняемой, Остальные политические партии обращают внимание главным образом на другие слои, но я спрашиваю всех вас, к какому бы лагерю вы ни принадлежали, обращал ли кто из ведущих политических лидеров внимание на дворников? Отвечаю: да! Но как? Как они его на них обращали? Публично заявляю, что политические лидеры обращали внимание на дворников лишь с проклятьями. Я выполню не более чем приятную обязанность, если выдвину страшное обвинение против отсутствующего здесь конкурента Вацлава Хоца. Вы наверняка слышали его предвыборные речи, в которых он весьма трезво требует введения лучших жизненных условий для небогатых слоев населения, которые он именует неимущими. Но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы он говорил о дворниках? Он всегда оставляет в стороне этих благородных людей, совершенно игнорируя и их жен, а на каком основании? Друзья, именно теперь пришел черед страшного разоблачения. Бывший член национально-социальной партии, имперский депутат Вацлав Хоц, выставивший ныне свою кандидатуру в том же округе, что и я, задолжал за отпирание дверей в доме 12 по Будечской улице одну крону шестьдесят геллеров, а на Збраславе, где он прежде жил, выдавая себя за писателя, не должен ни геллера, по той простой причине, что там и дворника-то не было. А теперь представьте себе, друзья, что было бы, если б в доме, где жил мой конкурент, существовал дворник! До каких бы разоблачений теперь дошло дело? Безусловно, мой конкурент предстал бы перед вами во всей своей ужасающей наготе, да что я говорю, не просто во всей наготе, а в величайшей наготе, какую только, уважаемые господа, вы можете себе представить! Разумеется, то же самое я смело могу заявить и обо всех других конкурентах. Сколько остался должен дворникам товарищ Шкатула? А рассказать ли вам, уважаемые друзья, всю историю о том, как кандидат партии государственного права Виктор Дык выманил у дворника ключ от дома и по сей час за него не заплатил? Вот до чего доводит политический фанатизм. Должен рассказать вам и о том, что бывший депутат национально-социальной партии Вацлав Хоц заорал на дворничиху: «Замолчите, баба!» А что, собственно, хотела эта дама, мать двенадцати детей? Всего лишь получить одну крону шестьдесят геллеров за открывание двери, причем, поскольку произошло это несколько дней назад, она просила пана кандидата Хоца, когда он возвращается домой с предвыборных собраний, не пачкать стены коридора надписями: «Голосуйте за Вацлава Хоца!» Такую же ненависть испытывает к дворникам и Виктор Дык, который охотнее всего предпочел бы стать дворником в королевском дворце в Градчанах. А знаете, что ответил дворнику гражданин Шкатула, когда тот просил его заплатить ему наконец за отпирание дома? «Пока не вступите в социал-демократическую партию, не получите ни гроша». В этом вся тактика партии социал-демократов, многоуважаемое собрание! Потому что когда дворник, отчаявшись получить три кроны двадцать геллеров, вступил в социал-демократическую партию и снова попросил Шкатулу уплатить

эту сумму за отпирание входных дверей, Шкатула воскликнул: «Но, товарищ, не станешь же ты требовать, чтобы лидер твоей партии платил за подобный пустяк!» Из всего сказанного видно, что о дворниках до сих пор ни одна политическая партия не проявила заботы, что на дворников взирают, как на неизбежное зло. Только мы позволяем себе выступить с той частью нашей программы, где точно обозначен данный пункт. Пусть уважаемое правительство позаботится о национализации дворников законодательным путем, как это сделано в России[298]. Благодаря этому безусловно исчезнут подобные безобразные явления, когда кто-то осмеливается перечить дворнику или дворничихе, потому что в противном случае его ожидала бы кутузка. С помощью национализации дворников будет избавлена от различных злоупотреблений со стороны дилетантских кругов очень важная составная часть народа, у дворников же, в свою очередь, отпадет необходимость бегать по жильцам и рассказывать, что на втором этаже такая-то и такая-то семьи снова ругались промеж себя, что канцелярист опять забирает у мясника в долг, что у пани учительши с третьего этажа снова новое платье, а откуда она берет на это средства? Будучи национализированными, дворник и дворничиха сообщат о подобных вещах прямо в полицию, а они уж йотом проведут соответствующее расследование — почему у столяра с четвертого этажа подгорело молоко и на лестнице такая вонь? После своей национализации дворнику или дворничихе не придется ругаться с жильцами; кто им не по нраву, с тем расправа будет коротка, вызовет полицейский фургон и упомянутого жильца отвезет в полицейское управление, где тот будет наказан на основании «Prügel patent»[299]. Тем же самым наказаниям подвергнется и вся прислуга в доме, расплескивающая воду на ступеньках. Самые строгие наказания, разумеется, будут установлены тем, кто заставляет открывать входные двери, даже не считая нужным заплатить за это. С таким человеком поступят как со злым неплательщиком и имущество его конфискуют.

Полагаю, многоуважаемое собрание, с национализацией дворников будет уничтожена несправедливость, веками существовавшая по отношению к несчастным существам, по сей час ошибочно считаемым извергами рода человеческого.

### **Доклад об избирательном праве для женщин**

**М**ногоуважаемые друзья!

Больше всего мне нравится в сегодняшнем собрании, что здесь нет ни одной женщины, посему я волен без обиняков порассуждать на эту деликатную тему, и никто не будет перебивать меня, как это случается на собраниях других политических партий, — стоит вспомнить об избирательном праве для женщин. На такие собрания являются дамы, которым мало того, что многие политические партии готовы признать за ними право быть избранными в земский сейм и рейсрат. Нет, дамам подавай еще и законодательные органы, и городской совет. В результате, несмотря на всю готовность партий угодить им, они устраивают такой тарарам, что собрание приходится распускать. Поднимается крик, визг и ругань — и они глаза готовы выцарапать любому, кто посмеет утверждать, что нельзя вот так сразу, сию минуту превратить супругу инженера в премьер-министра, а жену пана советника (ту, что в данный момент брызжет слюной на какого-то юношу в углу) с бухты-барахты назначить бургомистром королевской столицы — Праги. Они воображают, что после та-

кого собрания все вмиг переменится, и берут за глотку его устроителей, — из чистого благородства пошедших на пересмотр проблемы эмансипации, — с таким энтузиазмом, будто вся чешская политика уже в женских руках.

В Англии суфражистки надавали оплеух премьер-министру Асквиту: отставившая избирательное право для женщин, премьер тем не менее заявил, что как только они этого права добьются, он тотчас покинет Англию и эмигрирует в Америку.

Партия умеренного прогресса в рамках закона учитывает все женские голоса в пользу всеобщего избирательного права, но в ближайшее время намерена основательно взвесить, не будет ли оно иметь одно-единственное последствие — умножение и так бесчисленного числа страдальцев мужского пола?

Не сомневаюсь, уважаемому собранию хорошо известно, что бывает, когда женщина оказывается права. Как она стервенеет, мелет суций вздор, ругается, царапается, кусается, щиплет, лягается, скрипит зубами, сжимает кулаки — короче, ведет себя не лучше особо буйных пациентов психиатрических лечебниц!

Но когда женщина не права — дело обстоит во сто крат хуже. Только представить себе, что этому хищнику будет дано еще и избирательное право!

Закон об избирательном праве для мужчин гласит: в выборах может участвовать каждый психически полноценный человек. Вообразите же, что будет, если женщинам предоставят-таки это право. Не понравится им кандидат — они задержаются, затолкаются, за брыкаются, ногами застучат и завопят: «Не стану за вас голосовать, за такого урода косоглазого!», а урод, может быть, найдостойнейший муж чешской нации!

Теперь представьте, что кандидат — красавец. И этому провал обеспечен, потому что каждая избирательница тут же смекнет: «Ага, все ясно, моя соседка так и вперилась в него, а уж он доволен, рот до ушей. Погодите, я вам покажу шуры-муры, ты у меня похвастаться любовником-депутатом!»

Так подумает про себя всякая женщина, и красавца-кандидата смешают с грязью.

Во всяком случае женщинам будет до смерти скучно на предвыборных встречах с кандидатом мужского пола. С ангельским видом разведет он канитель о водных путях и, осветив проблему речного судоходства в целом, воскликнет: «Многоуважаемые дамы, обещаю добиться перевозок по Влтаве от Чешских Будейовиц через Штеховице и Камык до Праги!»

Уважаемые господа! Разве вы, завоевывая женщин, обещали им за это, что мешок картошки подешевеет на двадцать геллеров за счет перевозки из Южной Чехии в Прагу не по суше, а по реке?

Нет, наверняка вы обещали им браслет, шубку или еще что-нибудь в этом духе, что делает их еще более привлекательными. И уж конечно, никто из вас не сулил возлюбленной каналы. Ведь канал не наденешь даже дома, не говоря уж об обществе. Так что соблазнять женщину каналом — все равно что старой калошей.

И еще предупреждаю вас, многоуважаемые господа, что пустыми посулами ничего вы от нее не добьетесь: ее благосклонность можно завоевать, лишь выложив подарок. Вот я, например, угощаю своих избирателей табаком и наперед обещаю им по поллитра на душу. А попробуй заманить бутылкой, скажем, незамужнюю учительницу! Меньше, чем на пианино, посмертную маску Бет-

ховена и непрременный брак с нею она не пойдет и лишь тогда, может быть, согласится внести в избирательный бюллетень имя, чем-то напоминающее ваше: женщины в этом отношении до того внимательно и пристально следят за политикой, прорываясь в нее всеми силами, что вашего точного имени они могут попросту не запомнить. Не исключено, что в бюллетень будет вписано имя вашего конкурента.

Однако приведенные мною доводы еще не основание для отказа женщинам в избирательном праве. Есть соображение более серьезное: с появлением кандидатов-женщин ни одному избирателю не гарантирована жизнь, ибо кандидатка, узнав, что такой-то за нее не проголосовал, обольет его серной кислотой. Мало того, ведь все женщины, достигшие тридцати лет, выдвигнут свою кандидатуру, и излишек кандидаток приведет к суровой конкурентной борьбе. При этом каждая, будь ей хоть все сорок, станет утверждать, что она — самая молодая претендентка. Ну, и наиболее настойчивыми кандидатами выступают, конечно, старые девы, ибо для них предвыборная кампания открывает возможность завязать отношения с мужчинами, потому что приставать к избирателю на улице и вешаться на шею в его собственной квартире не считается безнравственным.

### День выборов

Ни одна политическая партия не развернула такой агитации, как мы. Лекции и собрания избирателей проходили ежедневно, пока наконец не наступил тот памятный день, когда виноградские избиратели, голосуя за кандидата партии умеренного прогресса в рамках закона, должны были продемонстрировать свою политическую зрелость. Однако, к сожалению, те, кто, казалось бы, симпатизировал новой партии, в последнюю минуту трусливо покинули знамя, под которое стали в «Коровнике», и голосовали против нас. Всего тридцать восемь смельчаков из нашего избирательного округа сохранили нам верность и не дали уговорить себя кандидатам на цию на ль но-социальной, социал-демократической и государственно-правовой партии, отдав свои голоса кандидату партии умеренного прогресса в рамках закона, почетная обязанность представлять которую была возложена на меня.

Об этой горсточке избирателей я никогда не смогу говорить иначе как с величайшим уважением и буду заявлять всегда и везде, что они поступили как подобает настоящим мужчинам и сторонникам партии. Против этих тридцати восьми неподкупных борцов встали две тысячи девятьсот шестьдесят два фанатика, принадлежащих к трем вышеупомянутым политическим лагерям. Но они гордо, вдохновенно шли к избирательной урне, чтобы продемонстрировать свои взгляды, невзирая на всяческие притеснения.

Могу сказать, что они явились носителями новых идей и были прекрасны, подобно Аполлонам, и горды — уж и не знаю как кто. Их имена, надо полагать, останутся неизвестны человечеству, и все же следовало бы воздвигнуть памятник тем героям, которые заведомо знали, что останутся на поле брани вместе со своим вождем. Однако наше поражение на последних выборах является лишь предзнаменованием будущей победы. Хоть нам и всыпали по первое число, но мы одержали моральную победу, как говорят реалисты. Мы получили выволочку, но это лишь предвестие счастливых дней в будущем, как утверждают младочехи. Всего тридцать восемь голосовало за кандидата партии умеренного прогресса в рамках закона, но я могу воскликнуть, как это де-

лает партия клерикалов, когда ей зададут где-нибудь встрепку, что эти тридцать восемь голосов — свидетельство мощного расцвета партии. Мы чувствовали себя в «Коровнике» словно укротитель среди хищников. Напротив, на Коронном проспекте, мы видели окна избирательного участка партии государственного права, пестревшие надписями: «Голосуйте за Виктора Дыка!» А со стороны задней стены нашего избирательного участка в «Коровнике» угрожающе взирали окна избирательного участка национально-социальной партии с абсолютно несообразными призывами: «Голосуйте за Вацлава Хоца!», «Голосуйте за лучшего человека на Краловских Виноградах!» Наш голос был гласом вопиющего в пустыне, вокруг которого рыкают львы; мы были словно благоухающий цветок, теснимый со всех сторон сорняками. Мы стояли, словно невинное дитя на крыше затопленного домика, вокруг которого бушует грязный и мутный поток. Мы чувствовали себя, словно заманенная в логово позора невинная девушка, окруженная сводниками. Мы ощущали примерно то же, что человек, случайно севший без брюк на ежа. А вокруг нашей крохотной крепости все гудело от возбужденных голосов политических реакционеров, соблаздившихся велькопоповицким пивом и голосовавших за Хоца или смиховским пивом в трактире «У Либалов» и голосовавших за Виктора Дыка. По несчастному стечению обстоятельств на нашем избирательном участке подавалось виноградское пиво, наши агитаторы вынуждены были то и дело бегать в уборную, к этому и сводилась вся их агитация избирателей. В довершение ко всему волей судеб наш избирательный участок находился в трактире под названием «Коровник». И вот представьте себе все это вкупе: уборная, коровник, партия умеренного прогресса в рамках закона, кандидат с толстой физиономией, необычная политическая программа, короче, все это не могло окончиться не чем иным, кроме как, выражаясь красивым французским словом, — *débâcle*, крахом.

Что толку было от всех наших лозунгов, вывешенных и наклеенных на окнах избирательного участка: «Избиратели, протестуйте избирательными бюллетенями против землетрясения в Мексике!», «Раздам среди своих избирателей триста билетов сербской государственной лотереи, на которые можно выиграть пятнадцать миллионов франков золотом», «Каждый наш избиратель получит карманный аквариум», «Не голосуйте за бурша!», «Избиратели, то, чего вы ждете от Вены, вы и от меня получите!»

Все оказалось тщетным. Правда, перед избирательным участком в «Коровнике» теснились толпы, заходили отдельные избиратели, заказывали пиво, бежали в уборную и вместо заверения, что будут голосовать за меня, оставляли на нашем избирательном участке лишь легкое амбре. А наряду с этим поступали сообщения с конкурирующих избирательных участков, что партии противников ведут бешеную агитацию. Мы вывесили плакат, гласивший: «Примем добродетельного молодого человека для клеветы на конкурентов».

Время близилось к обеду. За окнами появился большой лист бумаги следующего содержания: «Сегодняшнее меню, составленное исключительно для наших господ избирателей! Супы: «Королевский», «Любимый». Лосось под майонезом. На заказ: заливной слоновий хобот. Винный погребок: печеный верблюжий хвост с морскими рачками.

Жареный морской конек с запеченными водорослями. Фаршированный желудок кенгуру. Акуля печень. Маринованный заяц. Паштет из соловьиных

язычков. Саланганье гнездо. Настоящие русские пироги. Кнедлики со сливами под шоколадным соусом. Татарский сыр из кумыса. Вина австрийские и венгерские. Виноградское пиво».

В час появился один избиратель и заказал сырок. Это был дурной знак. А в шесть часов мы потерпели поражение подавляющим большинством в две тысячи девятьсот девяносто два голоса. И вместо того чтобы нести нас на щите, нашего единственного избирателя увезли в полицейском фургоне.

# Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны



## Часть первая В тылу



## Предисловие

**В**еликой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, ни к кому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк».

И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде — тот самый brave солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.

Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе,

как это сделал глупец Герострат, для того чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии.

И этого вполне достаточно.

Автор

## Глава I Вторжение бравого солдата Швейка в мировую войну



— Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка. Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.

Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.

— Какого Фердинанда, пани Мюллерова? — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служит в аптекарском магазине Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил бутылку жидкости для ращения волос; а еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.

— Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного...

— Иисус Мария! — вскричал Швейк. — Вот те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?

— В Сараеве его уколошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле...

— Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А Наверное, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве! Сараево — это в Боснии, пани Мюллерова. А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину... Вот какие дела, пани Мюллерова. Эрцгерцог, значит, отдал богу душу. Долго мучился?

— Тут же помер, сударь. Известно — с револьвером шутки плохи. Недавно у

нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет на четвертом этаже.

— Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни — не выстрелишь. Таких систем — пропасть. Но для эрцгерцога наверняка купили что-нибудь получше. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога — штука нелегкая. Это не то что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременнo нужно надеть цилиндр, а то, глядишь, сцапает полицейский.

— Их, говорят, много было, сударь.

— Разумеется, пани Мюллерова, — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. — Если бы вы, к примеру, собрались убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо — два лучше. Один присоветует одно, другой — другое, «и путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне. Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям! С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих еще поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика-то, много врагов, побольше еще, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придет время — эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому — две. Потом его увезли в корзине очухаться... Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся! Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружье и пошел в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он — все свое: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и сразу: отправляйся, мол, в карцер, а он взял ружье и — бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.

— А что стало с тем солдатом? — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.

— Повесился на помочах, — ответил Швейк, чистя свой котелок. — И помочи-то были не его, он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать — не ждать же, пока тебя расстреляют! Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Порядочный, должно быть, человек, раз меня приветствует». А тот возьми да и хлопни его. Одну всадил или несколько?

— Газеты пишут, что эрцгерцог был как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны.

— Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в два счета перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет... Ну, я пошел в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы.

В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл кружки, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор.

Паливец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.

— Хорошее лето стоит, — завязывал Бретшнейдер серьезный разговор.

— А всему этому цена — дерьмо! — ответил Паливец, убирая посуду в горку.

— Ну и наделали нам в Сараеве делов! — со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.

— В каком «Сараеве»? — спросил Паливец. — В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело — Нусле!

— В боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?

— Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами! — вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. — Нынче вмешиваться в такие дела — того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог — нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацем пахнет.

Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.

— А когда-то здесь висел портрет государя императора, — помолчав, опять заговорил он. — Как раз на том месте, где теперь зеркало.

— Вы справедливо изволили заметить, — ответил пан Паливец, — висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплется неприятности. На кой черт мне это надо?

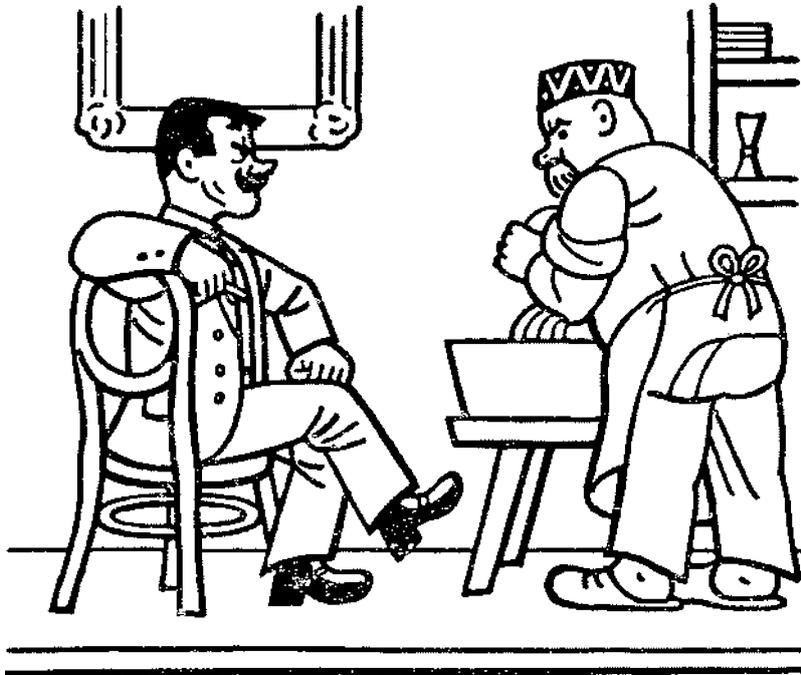
— В этом Сараеве скверно, видно, было? Как вы полагаете, уважаемый?

На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Паливец ответил чрезвычайно осторожно:

— Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали.

— В каком полку вы служили, уважаемый?

— Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью, — ответил пан Паливец. — На этот счет я не любопытен. Излишнее лю-



бопытство вредит.

Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом:

— В Вене сегодня тоже траур.

Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:

— В Конопиште вывешено десять черных флагов.

— Нет, их должно быть двенадцать, — сказал Швейк, отпив из кружки.

— Почему вы думаете, что двенадцать? — спросил Бретшнейдер.

— Для ровного счета — дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит, — ответил Швейк.

Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:

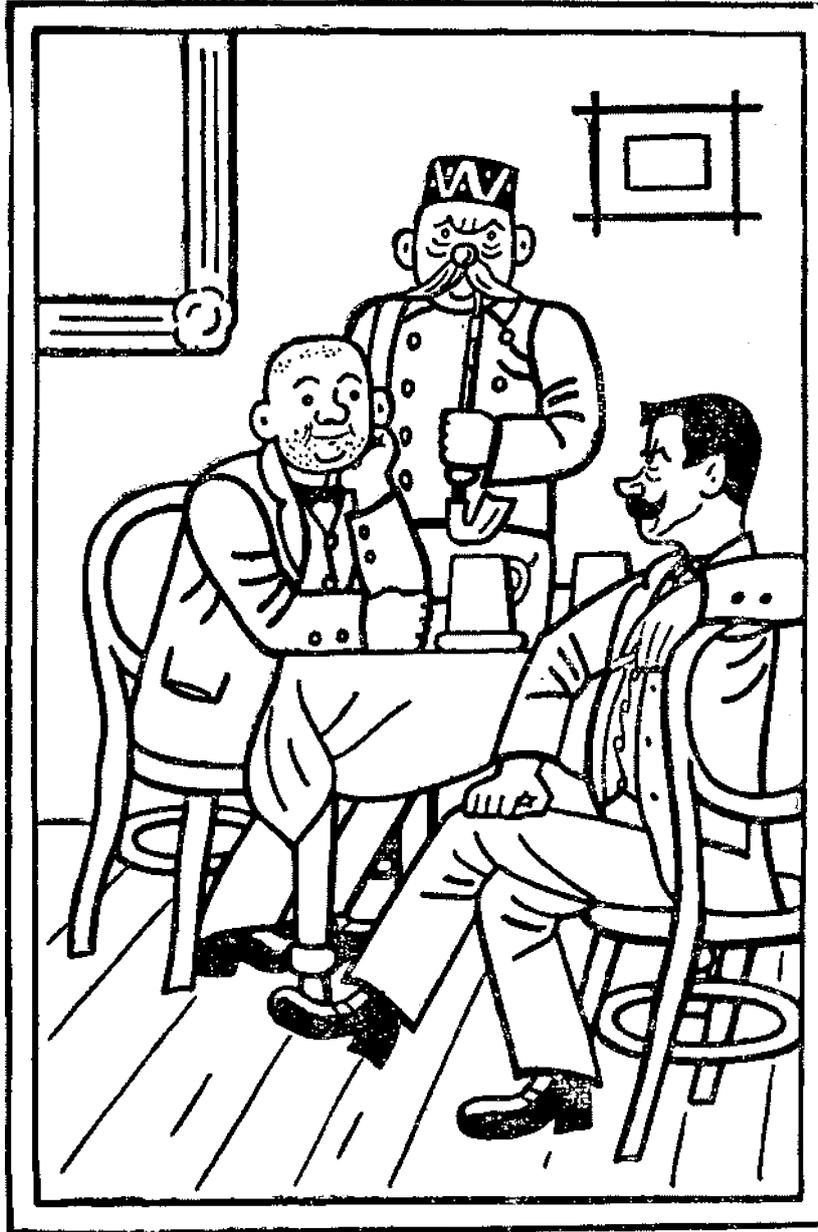
— Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов — мертвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотре это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве небось тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотре у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь, лежал, связанный «козлом». На военной службе должна быть дисциплина — без нее никто бы и пальцем для дела не пошевелил. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это самое ужасное.

— Все это сербы наделали, в Сараеве-то, — старался направить разговор Бретшнейдер.

— Ошибаетесь, — ответил Швейк. — Это все турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.

И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балка-

нах: турки проиграли в 1912 году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошел — застрелили Фердинанда.



— Ты турок любишь? — обратился Швейк к трактирщику Паливцу. — Этих нехристей? Ведь нет?

— Посетитель как посетитель, — сказал Паливец, — хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбредет — вот мое правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, — мне все равно.

— Хорошо, уважаемый, — промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадетя. — Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.

Вместо трактирщика ответил Швейк:

— Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще.

— Что вы хотите этим сказать? — оживился Бретшнейдер.

— Что хочу сказать? — с охотой ответил Швейк. — Вот что. Если бы он был

толще, то его уже давно бы хватил кондрашка, еще когда он в Конопиште гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только — дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! Несколько лет назад у нас в Будейовицах на базаре случилась небольшая ссора: проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, — так тот, бывало, куда ни придет продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорит себе: «Это сын того, которого проткнули на базаре. Тоже небось порядочный жулик!» В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву, потом пришлось его оттуда вытаскивать, воскрешать, воду из него выкачивать... И все же ему пришлось скончаться на руках у доктора, после того как тот ему впрыснул чего-то.

— Странные, однако, у вас сравнения, — многозначительно произнес Бретшнейдер. — Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.

— А какое тут сравнение, — возразил Швейк. — Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Вон пан Паливец меня знает. Верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет... Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с этакой безобразной фамилией — Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шабловица из Мыдловар, ну и того тоже взяли и прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезет, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у нее уже от этих лесников круглым счетом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа с Ражицкой запруды. И — что бы вы думали? — его тоже утопили во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул ее топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он откусил священнику нос и заявил, что вообще ни о чем не жалеет, да сказал еще что-то очень скверное про государя императора.

— А вы не знаете, что он про него сказал? — голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.

— Этого я вам сказать не могу, этого еще никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его еще до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие спьяна делаются.

— А какие оскорбления государю императору делаются спьяна? — спросил Бретшнейдер.

— Прошу вас, господа, перемените тему, — вмешался трактирщик Паливец. — Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.

— Какие оскорбления наносят государю императору спяна? — переспросил Швейк. — Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Иоганна Орта, а брата — мексиканского императора — в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нем и начнет поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови! — Швейк основательно хлебнул пива и продолжал: — Вы думаете, что государь император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!

В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно.

— Может статься, — продолжал он рисовать будущее Австрии, — что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам не скажу ничего.

Бретшнейдер встал и торжественно произнес:

— Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор.

Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему значок с орлом и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невиновен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.

Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.

Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:

— Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с роголиком. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.

Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:

— Вы женаты?

— Да.

— А может ваша жена вести дело вместо вас?

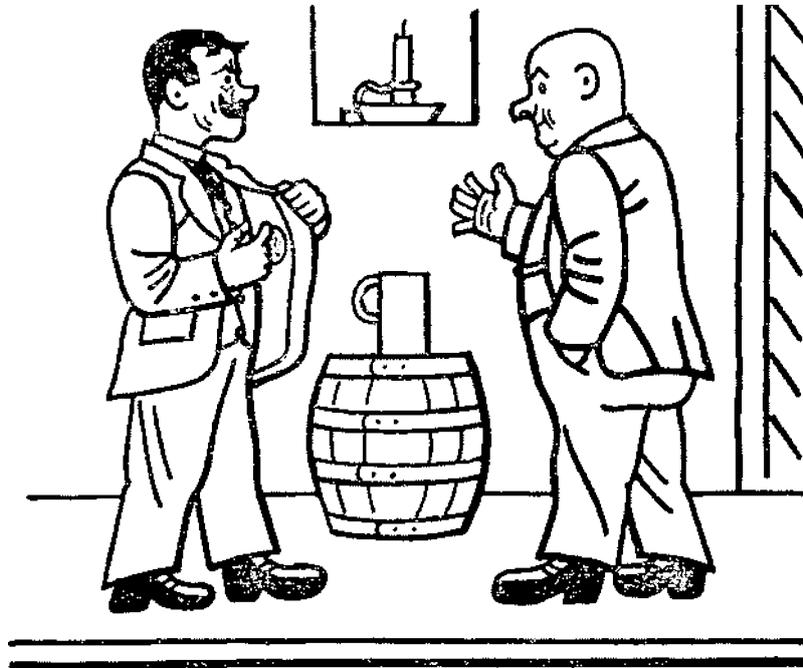
— Может.

— Тогда все в порядке, уважаемый, — весело сказал Бретшнейдер. — Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

— Не тревожься, — утешал Паливца Швейк. — Я арестован всего только за государственную измену.

— Но я-то за что? — заныл Паливец. — Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:



— За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.

Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой:

— Мне сойти с тротуара?

— Зачем?

— Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю.

Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил:

— Славно провели время! Вы часто бываете «У чаши»?

В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:

— Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?

Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.



Глава II

## Бравый солдат Швейк в полицейском управлении

Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил:

— Этот Фердинанд вам дорого обойдется!

Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой — мужчина средних лет.

Швейк начал спрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ.

— Из-за Сараева.

— Из-за Фердинанда.

— Из-за убийства эрцгерцога.

— За Фердинанда.

— За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.

Шестой — он всех сторонился — заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение: ведь он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа.

Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали.

Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребе, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках, с заплаканными глазами; он был арестован у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов «У Брейшки», а кроме того, агент Бриксы видел его, пьяного, в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету.

На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:

— У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

— Это для вас не оправдание.

Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребе, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами:

— Идея покушения проста, как колумбово яйцо.

— Как и то, что вас ждет Панкрац, — дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.

Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка «Добролюб» в Годковичках. В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель «Добролюба» добродушно сказал:

— Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне!».

Теперь он сидел повесив голову и причитал:

— В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз

подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.

Удивительную шутку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:

— Семь пулек, как в Сараеве!

У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда: он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:

— Читали об этом?

— Не читал.

— Знаете про это?

— Не знаю.

— А знаете в чем дело?

— Не знаю и знать не желаю.

— Все-таки это должно было бы вас интересовать.

— Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?

— Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?

— Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Смотри в оба, не будь болваном и не давай себя убивать.

На том разговор и окончился. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял:

— Я не виновен, я не виновен!



Эти слова он выкрикивал и когда входил в ворота полицейского управле-

ния. Эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру.

Выслушав эти страшные истории заговорщиков, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.

— Наше дело дрянь, — начал он слова утешения, — неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на действительной, так у нас нередко сажали и полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавку в ночь под рождество: он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия — дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать: не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за учебным плацем. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собою разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке «смирно» и «не моргни». Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас делать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуска не дам, всех на две недели в карцер!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.

— Я не виновен, я не виновен! — повторял взъерошенный человек.

— Иисус Христос был тоже невиновен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und weiter dienen»[300], — как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.

Швейк лег на койку и спокойно заснул.

Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик Паливец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:

— Я уже тоже здесь!

Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:

— Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая.

Но Паливец заявил, что такой точности цена — дерьмо, и шепотом спросил

Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.

Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.

Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя императора.

— Замарали мне его, бестии, — закончил он описание своих злоключений, — и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! — добавил он угрожающе.

Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.

Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись: «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:

— Добрый вечер всей честной компании!

Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников».

Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:

— Не прикидывайтесь идиотом.

— Ничего не поделаешь, — серьезно ответил Швейк. — Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот.

Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.

— Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здоровой памяти.

И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда; отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.

— Что вы на это скажете? — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.

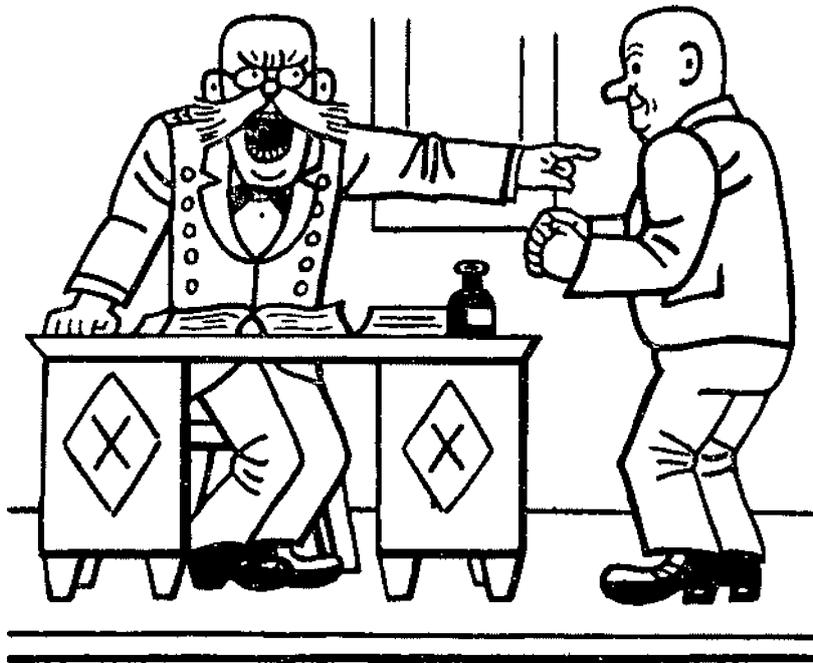
— Этого вполне достаточно, — невинно ответил Швейк. — Излишество вредит.

— Вот видите, вы же сами признаете...

— Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Когда я был на военной службе...

— Молчать! — крикнул полицейский комиссар на Швейка. — Отвечайте, только когда вас спрашивают! Понимаете?

— Как не понять, — согласился Швейк. — Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться.



- С кем состоите в сношениях?
- Со своей служанкой, ваша милость.
- А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?



— Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Народни политики», «сучку».

— Вон! — заревел господин со зверским выражением лица.

Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:

— Спокойной ночи, ваша милость.

Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.

— Раньше, — заметил Швейк, — бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал

себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие! — похваливал Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок. Тюфяки у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос — целых три коридора надо пройти и подняться на этаж выше, но зато в коридорах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого — туда. Тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радуетесь, что ты, по крайней мере, здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посоветовались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.

Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:

— Швейк, оденьтесь и идите на допрос!

— Я оденусь, — ответил Швейк. — Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И, кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.

— Вылезти и не трепаться! — последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.

Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно:

— Во всем признаетесь?

Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:

— Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чем не сознавайтесь», — я буду выкручиваться до последнего издыхания.

Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.

И Швейк подписал показания Бретшнейдера и следующее дополнение:

*«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк».*

Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:

— Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?

— Утром вас отвезут в уголовный суд, — последовал ответ.

— А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?

— Вон! — раздался во второй раз рев по ту сторону стола.

Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:

— Как по-писаному.

Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил:

— Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.

Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.

Только босниец сказал:

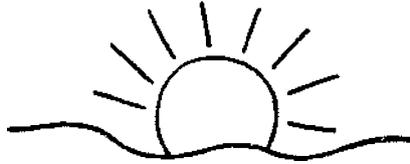
— Приветствую! Dobro došli!

Укладываясь на тюфяк, Швейк заметил:

— Глупо, что у нас нет будильника.

Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.

— Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, — сказал своим спутникам Швейк, когда «зеленый Антон» выезжал из ворот полицейского управления.



### Глава III

#### Швейк перед судебными врачами

Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, черные свежепокрашенные решетки и сам толстый пан Демартини, старший надзиратель подследственной тюрьмы, с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в великопостную среду и в страстную пятницу.

Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того чтобы честно умыть руки, посылали к «Тейссигу» за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.

Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.

Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не принимали закон всерьез. Ибо и между плеведами всегда найдется пшеница.

К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек; рассказывают, что когда-то, допрашивая известного убийцу Валеша, он то и дело предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».

Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:

— Так вы, значит, тот самый пан Швейк?

— Я думаю, что им и должен быть, — ответил Швейк, — раз мой батюшка был Швейк и маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отре-

каясь от своей фамилии.

Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя.

— Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.

— У меня всегда много кое-чего на совести, — ответил Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. — У меня на совести, может, еще побольше, чем у вас, ваша милость.



— Это видно из протокола, который вы подписали, — не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. — А на вас в полиции не оказывали давления?

— Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и, когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы мне от этого не было. Во всем должен быть порядок.

— Пан Швейк, чувствуете вы себя вполне здоровым?

— Совершенно здоровым, пожалуй, сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь опodelьдоком.

Старик опять любезно улыбнулся.

— А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?

— Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня тришпера.

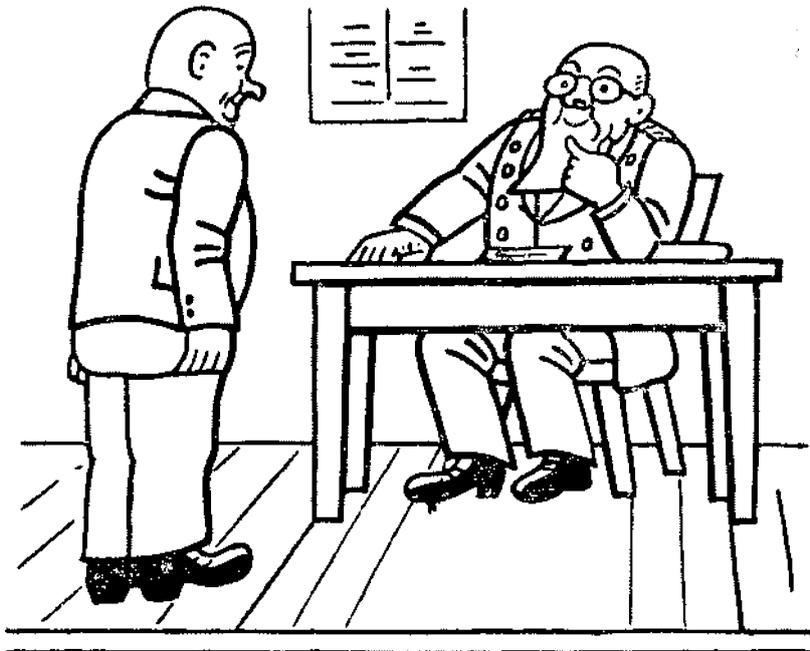
— Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война.

— Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.

— Не страдаете ли вы падучей?

— Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это было уже много лет тому назад.

На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям:



— Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора.

— Меня тоже осматривали судебные врачи, — сказал молодой человек, — когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то это пригодится на всю жизнь.

— Я этим судебным врачам нисколько не верю, — заметил господин интеллигентного вида. — Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха. А когда меня поймали, я симулировал паралитика в точности так, как их описывал профессор Геверох: потом укусил одного судебного врача из комиссии за ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.

— Я этих осмотров совершенно не боюсь, — заявил Швейк, — на военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо.

— Судебные доктора — стервы! — отозвался скрюченный человечек. — Недавно на моем лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голове сорок лет тому назад. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и приписное свидетельство.

— Я думаю, — сказал Швейк, — что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи — тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от «Банзетов», ко мне подошел один господин и хватить арапником по голове; я, понятно, свалился наземь, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» Эта ошибка его так разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано — ошибаться до самой смерти. Вот однажды был такой случай: один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного

пса, взял его с собою домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покрывами со священными надписями, а под голову положил Евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хорошая ошибка! — говорит церковный сторож. — Из-за такой ошибки нам придется снова освящать костел». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, и те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый, — дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце... Приведу вам еще один пример, как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттера, ошиблась в Кладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский округ стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот привели к нему однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.

Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других.

Здесь были представлены три разные школы психиатров.

И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!»

Дело было совершенно ясно. Благодаря этому непосредственному возгласу Швейка целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Каллерсона, доктора Гевеороха и англичанина Вейкинга.

— Радий тяжелее свинца?

— Я его, извиняюсь, не вешал, — со своей милой улыбкой ответил Швейк.

— Вы верите в конец света?

— Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его еще не будет, — небрежно бросил Швейк.

— А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?

— Извиняюсь, не смог бы, — сказал Швейк. — Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку, — продолжал он. — Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше — два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?

Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее один задал еще такой вопрос:

— Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?

— Этого, извините, не знаю, — поспышался ответ, — но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.

— Достаточно? — лаконически спросил председатель комиссии.

Но один из членов попросил разрешения задать еще один вопрос:

— Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?

— Семьсот двадцать девять, — не моргнув глазом, ответил Швейк.

— Я думаю, вполне достаточно, — сказал председатель комиссии. — Можете отвести обвиняемого на прежнее место.

— Благодарю вас, господа, — вежливо сказал Швейк, — с меня тоже вполне достаточно.

После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу: Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим стояло:

«Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из таких слов, как «да здравствует император Франц-Иосиф Первый», каковых вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого, нижеподписавшаяся комиссия предлагает:

1. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить.

2. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих».

В то время как составлялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме:

— На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись.

— Никому я не верю, — заметил скрюченный человек, на лугу которого случайно выкопали скелет. — Кругом одно жульничество.

— Без жульничества тоже нельзя, — возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрас. — Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.

## Глава IV

## Швейка выгоняют из сумасшедшего дома

Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой:

— По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, бегать и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дали. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за господ бога, и за божью мать, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом «жрал». Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что пра-родина цыган была в Крконошах, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного.



В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то стали там рассказывать сказки да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплетное шило», — иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там, как в раю. Мо-

жете себе кричать, реветь, петь, плакать, бляеть, мычать, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.

И правда, даже самый прием, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего Швейка раздели до нага, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив под мышки, причем один из санитаров развлекал его еврейскими анекдотами. В купальной его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это проделали с ним трижды, потом осведомились, как ему нравится. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы еще острижете мне ногти и волосы, то я буду совершенно счастлив», — прибавил он, мило улыбаясь.

Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть.

Швейк еще и теперь с любовью вспоминает то время:

— Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. В тот момент я испытал истинное блаженство.

На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клецками гусей.

Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.

Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: «Один из них при этом держал меня на руках», — вспоминал Швейк.

Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось:

— Tauglich![301]

— Что вы говорите? — спросил один из докторов. — Сделайте пять шагов вперед и пять назад.

Швейк сделал десять.

— Ведь я же вам сказал, — заметил доктор, — сделать пять.

— Мне лишней пары шагов не жалко.

После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул; один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что ре-



флексии вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый поднял Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.

— Послушайте, вы умеете петь? — спросил у Швейка один из докторов. — Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню?

— Сколько угодно, — ответил Швейк. — Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься.

И Швейк хватил:

*Что, монашек молодой,  
головушку клонишь,  
две горячие слезы  
ты на землю ронишь?*

— Дальше не знаю, — прервал Швейк. — Если желаете, спою вам:

*Ох, болит мое сердечко,  
ох, тоска запала в грудь.  
Выйду, сяду на крылечко  
на дороженьку взглянуть.*

### Где ж ты, милая зазноба...

— Дальше тоже не знаю, — вздохнул Швейк. — Знаю еще первую строфу из «Где родина моя» и потом «Виндишгрец и генералы утром спозаранку войну начинали», да еще парочку простонародных песенок вроде «Храни нам, боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» и «Достойно есть, яко воистину...».

Оба доктора переглянулись, и один из них спросил:

— Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?

— На военной службе, — торжественно и гордо ответил Швейк. — Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

— Сдается мне, что вы симулянт! — обрушился на Швейка второй доктор.

— Совсем не симулянт, господа! — защищался Швейк. — Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии Девяносто первого полка в Чешских Будейовицах или в управлении запасных в Карлине.

Старший врач безнадежно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам:

— Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение в первый коридор. Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтоб не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.

Врачи еще раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям, учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:

— Я ведь не одет, совсем нагишом, в чем мать родила, вот я и не хочу показывать панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал.

С того момента как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нем заботиться, велели одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение: «Слабоумный симулянт».

Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала.

Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда.

Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвел Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.

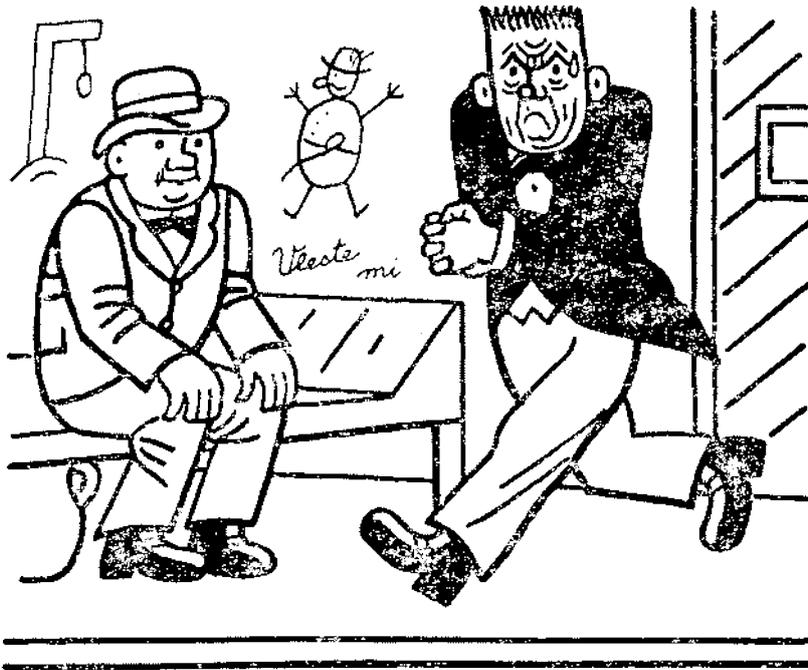
## Глава V

### Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице

За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили: «Киньте этого негодяя христианина львам!» — инспектор Браун сказал:

— За решетку его!

Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:



— Я готов, господа. Как я понимаю, «за решетку» означает — в одиночку, а это не так уж плохо.

— Не очень-то здесь распространяйся, — сказал полицейский, на что Швейк ответил:

— Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете.

В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.

— Мое почтение, сударь, — сказал Швейк, присаживаясь на нары. — Не знаете ли, который теперь час?

— Мне теперь не до часов, — ответил задумчивый господин.

— Здесь недурно, — попытался завязать разговор Швейк. — Нары из струганого дерева.

Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти.

А Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласит: «Вам это даром не пройдет!» Другой арестованный написал: «Ну вас к черту, петухи!» Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц». Была и надпись, потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, господи!» А под этим: «Поцелуйте меня в ж...»

Буква «ж» все же была перечеркнута, и сбоку приписано большими буквами: «ФАЛДУ». Рядом какая-то поэтическая душа накорябала стихи:

*У ручья печальный я сижу,  
солнышко за горы уж садится,  
на пригорок солнечный гляжу,  
там моя любезная томится...*

Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:

— Выпустите меня!.. Нет, они меня не выпустят, — сказал он через минуту как бы про себя, — не выпустят, нет, нет. Я здесь с шести часов утра.

На него вдруг ни с того ни с сего напала болтливость. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку:

— Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

— С большим удовольствием могу вам услужить, — ответил Швейк, снимая свой ремень. — Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне... Одно только досадно, — заметил он, оглядев камеру, — тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы нравятся. Так извольте...

Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками слезы и выкрикивая:

— У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена! Что скажут на службе! У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни!

И так далее, до бесконечности.

Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос:

— Чего надо?

— Выпустите меня! — проговорил он таким тоном словно это были его предсмертные слова.

— Куда? — раздался вопрос с другой стороны двери.

— На службу, — ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.

Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора... и шаги опять стихли.

— Видно, этот господин здорово ненавидит вас, коли так насмехается, —

сказал Швейк, в то время как его безутешный сосед опять уселся рядом. — Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда он взбешен, то пощады не жди. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?

— Трудно сказать, — вздохнул тот. — Дело в том, что я сам не помню, что я такое натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, закурить сигару. А началось все так хорошо... Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый...

— Не могу ли я помочь вам считать? — вызвался Швейк. — Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трех кружек пива не пил.

— Словом, — продолжал несчастный подчиненный того начальника, который так торжественно справлял свои именины, — когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальника-то потеряли, хотя мы его загодя привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом — не помню... Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже двадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал, по крайней мере, не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил... Поверьте мне, я порядочный интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь!

— А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы ее раскололи с одного маху? — вместо ответа поинтересовался Швейк.

— Сразу, — ответил интеллигентный господин.

— Тогда вы пропали, — задумчиво произнес Швейк. — Вам докажут, что вы готовились к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомо-го господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом? — И не ожидая ответа, пояснил: — Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление.

— На суде?.. — малодушно пролепетал почтенный отец семейства и повесив голову впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упреки совести[302].

— А дома знают, что вы арестованы, или они дожидаются, когда об этом сообщат в газетах? — спросил Швейк.

— Вы думаете, что это появится... в газетах? — наивно спросила жертва именин своего начальника.

— Вернее верного, — последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. — Читателям газеты это очень нравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире «У чаши» один посетитель выкинул такой номер: разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже читали в газетах об этом. Или, например, в «Бендловке» съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он дал мне сдачи. Для того чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и это сейчас же появилось в вечерней газете... Или еще случай: в кафе «У мертвеца» один советник разбил две подставки под пивные кружки. Думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты... Вам остается одно: послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас-де не касается и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок... Вам не холодно? — участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин дрожит как в лихорадке. — В этом году конец лета что-то холодноват.

— Погибший я человек! — зарыдал сосед Швейка. — Не видать мне повышения...

— Что и говорить, — участливо подхватил Швейк. — Если вас после отсидки обратно на службу не примут, — не знаю, скоро ли вы найдете другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельство о благонравном поведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдется... А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придется побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?

В ответ послышались рыдания:

— Бедные мои детки! Бедная моя жена!

Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях:

— У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьет только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым, право же, подобный казус случился первый раз в жизни.

— Он скаут? — воскликнул Швейк. — Люблю слушать про скаутов! Однажды в Мыдловарах под Зли вой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз когда наш Девяносто первый полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трех. И представьте себе, самый маленький из них, когда его взяли, так отчаянно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали... и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искусили восемь крестьян. Потом под розгами старосты они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. Да, кстати, они признались еще и в том, что у Ражиц перед самой жатвой сторела совершенно случайно полоса ржи, когда они жарили там на вертеле серну, к которой с ножом подкрались в общинном лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше пятидесяти кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишневых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много

всякого другого добра.

Но несчастный отец скаута все-таки не мог успокоиться.

— Что я наделал! — причитал он. — Погубил свою репутацию!

— Это уж как пить дать, — подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью. — После того что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь. Ведь если об этой истории напечатают в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайтесь внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной, этих-то суцая ерунда.

В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка.

— Простите, — рыцарски напомнил Швейк. — Я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин с шести утра. Я особенно не тороплюсь. Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестнице на второй этаж.

В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар. Он обратился к Швейку:

— Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?

— Самым простым манером, — ответил Швейк. — Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому что мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.

— Знаете что, Швейк, — примирительно сказал комиссар, — зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?

— Вы, как говорится, являетесь господином положения, — с удовлетворением ответил Швейк. — А пройтись вечером в полицейское управление совсем не дурно — это будет небольшая, но очень приятная прогулка.

— Очень рад, что мы с вами так легко договорились, — весело заключил полицейский комиссар. — Договориться — самое разлюбозное дело. Не правда ли, Швейк?

— Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими, — ответил Швейк. — Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.

Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского, который нес под мышкой объемистую книгу с немецкой надписью: «Arrestantenbuch»[303].

На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением.

— Это манифест государя императора об объявлении войны, — сказал Швейку конвоир.

— Я это предсказывал, — бросил Швейк. — А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первых рук.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил полицейский.

— Ведь там много господ офицеров, — объяснил Швейк.

Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул:

— Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!



Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.

— Эту войну мы безусловно выиграем, еще раз повторяю, господа! — С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.

В далекие, далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.

## Глава VI

### Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома

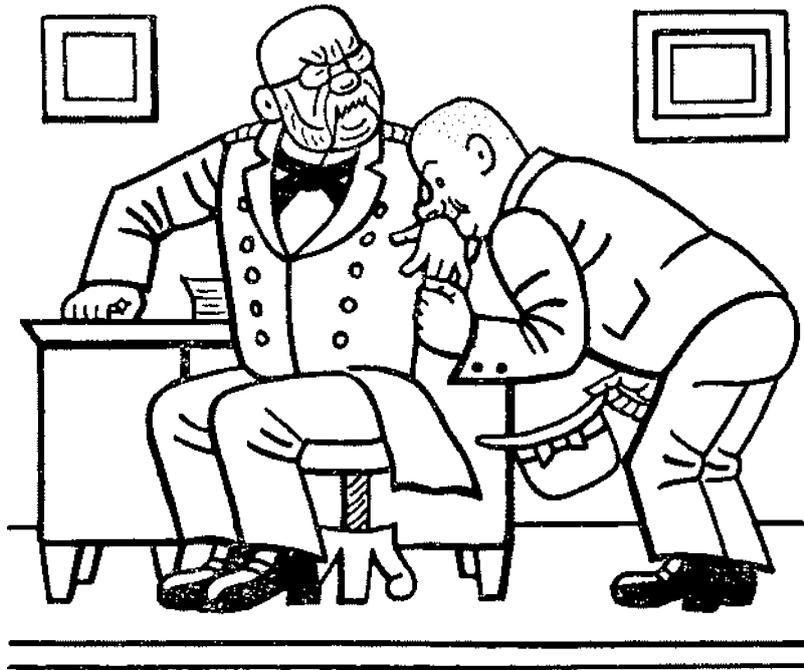
От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек, полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов.

При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово.

— Мне очень, очень жаль, — сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка, — что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь... но, увы, мы обманулись.

Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил:

— Не стройте из себя дурака! — Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон: — Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?



Швейк откашлялся.

— Я, извиняюсь, ничего о глупостях не знаю.

— Ну, разве это не глупость, пан Швейк, — увещевал хищник слащаво-отеческим тоном, — когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: «Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!»

— Я не мог оставаться в бездействии, — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. — Я расстроился, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни «ура»... вообще ничего, господин советник. Слово их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат Девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверно, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь, — мы должны довести ее до победного конца, должны постоянно провозглашать славу государю императору. Никто меня в этом не разубедит.

Прижатый к стенке черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:

— Я вполне понял бы ваше воодушевление, если б оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление.

— Идти под конвоем полицейского — это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох.

Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил ему своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом.

С минуту они пристально смотрели друг на друга.

— Идите к черту, — пробормотало наконец чиновничье рыло. — Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд в Градчаны. Попятно?

И не успел он договорить, как нежданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:

— Да вознаградит вас бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.

Так Швейк опять очутился на свободе.

По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.

В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей и среди них — церковный сторож из церкви св. Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, тупо глядя на пивные краны.

— Вот я и вернулся! — весело сказал Швейк. — Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось уже дома?

Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала:

— Дали ему... десять лет., неделю тому назад...

— Ну вот видите! — сказал Швейк. — Значит, семь дней уже отсидел.

— Он был такой... осторожный! — рыдала хозяйка. — Он сам это всегда о себе говорил...

Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца, призывая к еще большей осторожности.

— Осторожность — мать мудрости, — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пене которого образовалось несколько дырочек: туда капнули слезы жены Паливца, когда она несла пиво на стол. — Ныне время такое, приходится быть осторожным.

— Вчера у нас было двое похорон, — попытался перевести разговор на другое церковный сторож от св. Аполлинария.

— Видать, помер кто-нибудь! — заметил другой посетитель.

Третий спросил:

— Покойного-то на катафалке везли?

— Интересно, — сказал Швейк, — как будут происходить военные похороны во время войны?

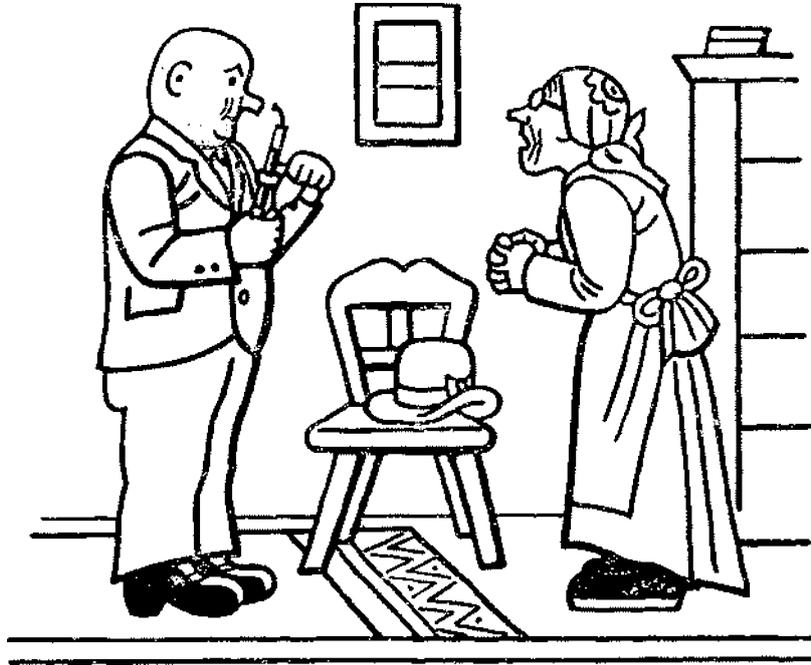
Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Паливцевой.

— Не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам, такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!

— Что же поделаешь, ведь мой-то признался, — плакала жена Паливца. — Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении и на суде повторил. Вызвали меня свидетельницей, да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем... Я перепугалась этих родственных отношений — как бы из этого еще чего-нибудь не вышло — и отказалась давать показания. Старик, бедняга, так на меня посмотрел... до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил: «Да здравствует «Вольная мысль»!»

— А пан Бретшнейдер сюда больше не заходит? — спросил Швейк.

— Заходил несколько раз, — ответила трактирщица. — Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Бретшнейдера, говорят только про футбол, а его от этого передергивает, — того и гляди, взбесится и начнет корчиться. За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с Поперечной улицы.



— Это дело навыка, — заметил Швейк. — Обойщик-то был глуповат, что ли?

— Ну как мой муж, — ответила с плачем хозяйка. — Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там *корону*. Тут мы все услышали, как пан Бретшнейдер произнес, вынув свою записную книжку: «Ага! Еще одна хорошенькая государственная измена!» — и вышел с этим обойщиком с Поперечной улицы, и тот уже больше не вернулся.

— Много их не возвращается, — сказал Швейк. — Дайте-ка мне рому.

Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.

Швейк снял с подставки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил:

— Смотрите-ка. Чимпера из села Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачипевес, продает усадьбу с семью корцами пашни. Имеется школа, и проходит железная дорога.

Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:

— Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?

— Ах, это вы? — воскликнул Швейк, подавая ему руку. — А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Ну, что поделяете? Часто заглядываете сюда?

— Сегодня я пришел, чтобы повидать вас, — сказал Бретшнейдер. — В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде...

— Это все мы вам можем предоставить, — ответил Швейк. — Желаете чистокровного или так... с улицы?

— Я думаю приобрести чистокровного пса, — ответил Бретшнейдер.

— А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? — спросил Швейк. — Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Вршовицах есть такой пес; он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности.

— Мне бы хотелось шпица, — сдержанно повторил Бретшнейдер, — шпица, который бы не кусался.

— Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк. — Есть такой на примете: в Дейвицах, у одного трактирщика.

— Пожалуй, лучше уж пинчера... — нерешительно произнес Бретшнейдер, собаководческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений.

Но приказ был точный, ясный и определенный: во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бретшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.

— Пинчеры бывают покрупнее и помельче, — сказал Швейк. — Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать.

— Это бы мне подошло, — заявил Бретшнейдер. — А сколько стоит пинчер?

— Смотря по величине, — ответил Швейк. — Все зависит от величины. Пинчер не теленок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот: чем меньше, тем дороже.

— Я взял бы покрупнее, дом сторожить, — сказал Бретшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции.

— Отлично! — подхватил Швейк. — Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь: вам щенят или постарше, и потом: кобельков или сучек?

— Мне все равно, — ответил Бретшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. — Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились?

— Договорились, приходите, — неохотно согласился Швейк. — В таком случае я бы попросил у вас задаток — тридцать крон.

— Какие могут быть разговоры! — сказал Бретшнейдер, отсчитывая деньги. — Ну а теперь мы с вами разопьем по четвертинке за мой счет...

Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Потом заказал Бретшнейдер, он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике.

Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста.

Бретшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он

провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи.

Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок сенбернара, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно издох.

Когда выпили по пятой, Бретшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться.

Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса.

За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:

— Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет.

Жена Паливца действительно плакала на стуле за стойкой.

— Чего вы плачете, хозяйюшка? — спросил Бретшнейдер. — Через три месяца мы победим, будет амнистия — и ваш муж вернется. Вот тогда уж мы закажем пирушку!.. Или вы не верите, что мы победим? — обратился он к Швейку.

— Зачем пережевывать одно и то же? — сказал Швейк. — Должны победить — и баста! Ну, мне пора домой.

Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, не кто иной, как сам Швейк.

— А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет, — сказала она с присущей ей откровенностью, — и я тут... из жалости... на время... взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что... у нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо и по всему виду — вы опытный преступник.

Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами: он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе пришел со своей дамой навеселе.

— Сударь, — сказал Швейк, тряся незваного гостя, — сударь, как бы вам не опоздать к обеду. Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не получишь обеда.

Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права.

По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше.

Швейк между тем собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:

— Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Для вас же лучше вылететь отсюда одетым.

— Я хотел спать до восьми часов вечера, — проговорил озадаченный швей-

цар, натягивая штаны. — Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе... Марженка, вставай!

Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда.

Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олух царя небесного!»

После ухода непрошенных жильцов Швейк пошел в кухню за пани Мюллеровой, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано:

«Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна».

— Врет! — сказал Швейк и стал ждать.

Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения.

— Если хотите броситься из окна, — сказал Швейк, — так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги и вам придется платить за лечение в больнице.

Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату Швейка... закрыла окно и, вернувшись, сказала:

— Дует, а при вашем ревматизме это нехорошо, сударь.

Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она, все еще заплаканная, вошла в кухню и доложила Швейку:

— Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подошли, а сенбернар сбежал во время обыска.

— Черт возьми! — воскликнул Швейк. — Он может влипнуть в историю! Теперь, наверное, его будет выслеживать полиция.

— Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, — продолжала пани Мюллерова, — когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сенбернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно — помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Народни политика», а вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокс-терьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в

жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.

— Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова! — вздохнул Швейк. — Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками.

Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ — 40 к.; ФТ — 50 к.; Л — 80 к. и так далее, но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ черно-желтому орлу.

В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ — фокстерьера, а Л — леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привел от Швейка в полицейское управление.

Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесью нечистокровного пуделя с дворняжкой; фокстерьер, с ушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом; леонберг своей лохматой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.

Сам сыщик Калоус заходил к Швейку, чтобы купить собаку... и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д — 90 к.

Этот урод должен был изображать дога.

Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище, какого-нибудь невероятного ублюдка.

Этим кончил знаменитый сыщик Бретшнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был настолько благороден, что избавил казну от расходов по похоронам.



В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышение по службе», были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами».

Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал:

— Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на Страшном суде.

## Глава VII Швейк идет на войну

В то время, когда галицийские леса по берегам реки Рабы видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям одной за другой, всыпали по первое число (что они уже давно заслужили), австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу.

Когда Швейку принесли повестку через неделю явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели: у него опять начался приступ ревматизма.

Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе.

— Пани Мюллерова, — послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка, — пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку.

Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес:

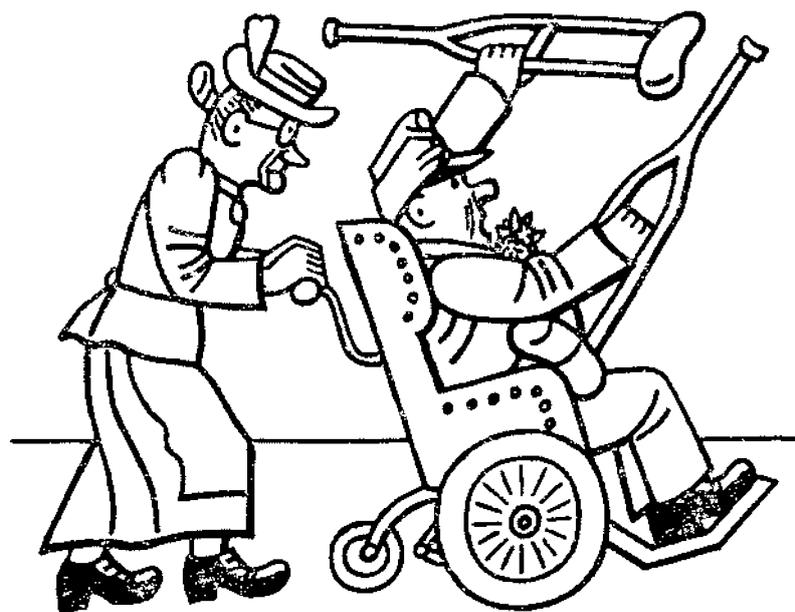
— Присядьте, пани Мюллерова.

Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил:

— Я иду на войну.

— Матерь божья! — воскликнула пани Мюллерова. — Что вы там будете делать?

— Сражаться, — гробовым голосом ответил Швейк. — У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу — на Венгрию. Всыпали нам и в хвост и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают в армию. Еще вчера я читал вам в газете, что «дорогую родину заволокли тучи».



— Но ведь вы не можете пошевелиться!

— Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондите-

ра за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего дедушку, хромого хрыча. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу.

Пани Мюллерова заплакала.

— Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?

— Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги... Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе.

И, в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати:

*Виндишгрец и прочие паны генералы  
утром спозаранку войну начинали.  
Гоп, гоп, гоп!  
Войну начинали, к господу взывали:  
«Помоги, Христос, нам с матерью пречистой!»  
Гоп, гоп, гоп!*

Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясаясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати:

*С матерью пречистой. Вон — четыре моста.  
Выставляй, Пьемонт, посильней форпосты.  
Гоп, гоп, гоп!  
Закипел тут славный бой у Сольферно,  
кровь лилась потоком, как из бочки винной,  
гоп, гоп, гоп!  
Кровь из бочки винной, а мяса — фургоны!  
Нет, не зря носили ребята погоны.  
Гоп, гоп, гоп!  
Не робей, ребята! По пятам за вами  
едет целый воз, груженный деньгами.  
Ген, гоп, гоп!*

— Ради бога, сударь, прошу вас! — раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца:

*Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.  
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?  
Гоп, гоп, гоп!*

Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал.

Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб, и сказал:

— Не бойтесь, я доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?

Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату и не помышлять о военной службе.

— Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас.

На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюл-

леровой, как себя чувствует пациент.

— Хуже ему, пан доктор, — с искренней грустью ответила пани Мюллерова. — Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн.

На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счел необходимым реагировать повышенной дозой брома.

На третий день панн Мюллерова доложила доктору, что Швейку еще хуже.

— После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит.

— А порошки принимает точно по предписанию?

— Он за ними еще не посылал, пан доктор.

Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел.

Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления: во-первых, послал пани Мюллерову купить военную фуражку, а во-вторых, попросить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом хромого хрыча, своего дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли.

Швейку недоставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только не появлялась, всюду плакала.

Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с надраенной кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик, какие обычно цепляют себе рекруты. Человек этот, ни на минуту не переставая размахивать костылями, кричал на всю улицу:

— На Белград! На Белград!

За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь.

На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурш в корпорантской шапочке, закричавший Швейку:

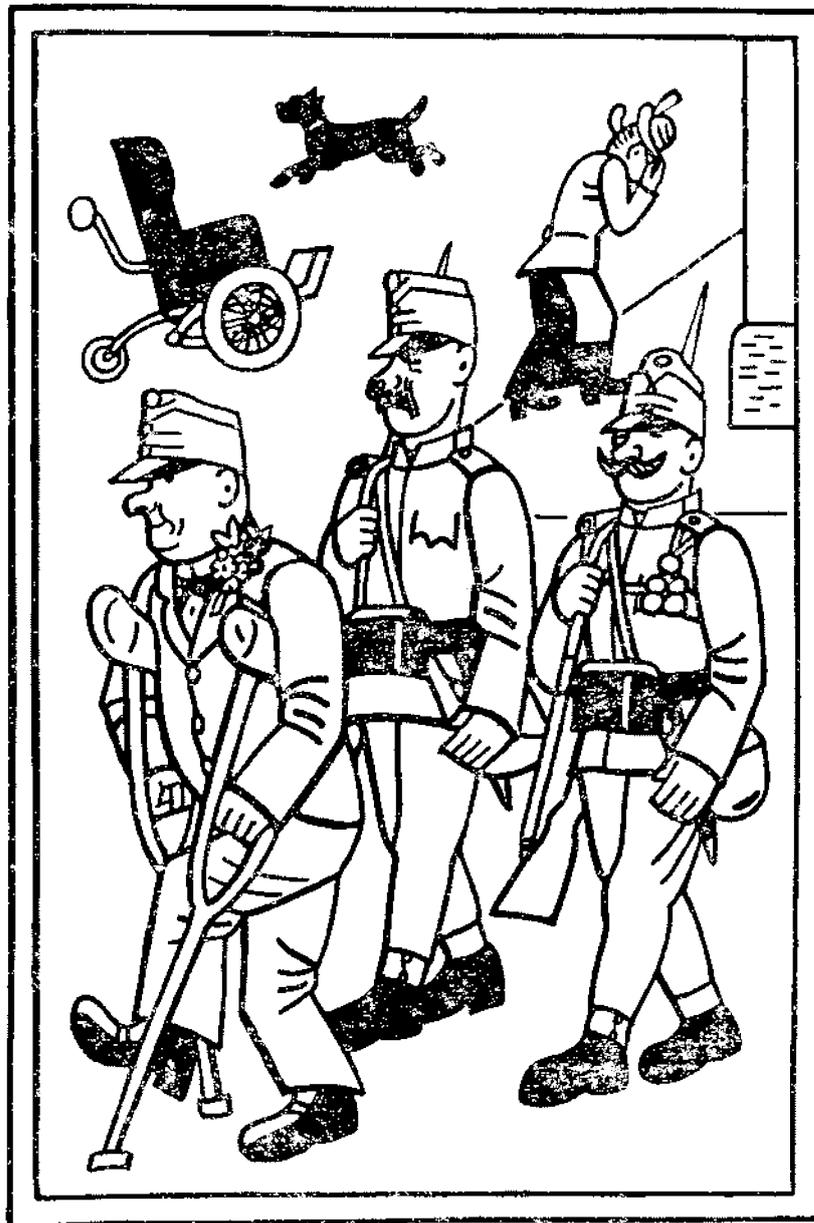
— Heil! Nieder mit den Serben![304]

На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров.

Обо всем происшедшем в «Пражской правительственной газете» была помещена следующая статья:

### *ПАТРИОТИЗМ КАЛЕКИ*

*Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и*



*серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв «На Белград!» встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому.*

В том же духе писала и газета «Прагер тагеблатт», где статья заканчивалась такими словами: «Калеку-добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты».

«Богемия», тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награжден, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя.

Итак, эти три газеты считали, что более благородного гражданина чешская страна дать не могла. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их

взгляда. Особенно старший военный врач Баутце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклониться от военной службы — от фронта, от пули и шрапнели. Известно его выражение: «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!»[305] За десять недель своей деятельности он из одиннадцати тысяч граждан выловил десять тысяч девятьсот девяносто девять симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливица не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: «Kehrt euch!»[306]

— Уберите этого симулянта, — приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер.

И вот в этот памятный день перед Баутце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.

— Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt[307], — сказал Баутце, — таких фиговых листков в раю не было.

— Освобожден по идиотизму, — огласил фельдфебель, просматривая документы Швейка.

— А еще чем вы больны? — спросил Баутце.

— Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю императору до последней капли крови, — скромно сказал Швейк. — У меня отекли колени.

Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:

— Sie sind ein Simulant![308] — И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал. — Den Kerl sogleich einsperren[309].

Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться...

А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на Малой Стране, перед памятником Радецкому, Швейк крикнул провожавшей его толпе:

— На Белград!



А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постаментов вслед ковылявшему на старых костылях bravому солдату Швейку с рекрутским букети-

ком на пиджаке.

Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут «дезертира».

## Глава VIII Швейк — симулянт

В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая градация мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно — чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями.

Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды:

1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.

2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба — мед. Это называлось: «Лизнуть хины».

3. Промывание желудка литром горячей воды два раза в день.

4. Клизтир из мыльной воды и глицерина.

5. Обертывание в мокрую холодную простыню.

Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом и не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.

Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.

— Больше не выдержу, — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.



— Завтра же еду в полк, — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.

На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.

— Уже третий на этой неделе, — заметил сосед справа.

— А ты чем болен? — спросили Швейка.

— У меня ревматизм, — ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, «симулирующий» туберкулез.

— С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, — серьезно предупредил Швейка толстый господин. — С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смалодушничал. «Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем: он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.

— Да, долго держался, — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров. — Не чета тому, с параличом. Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло.

— Дольше всех держался тот, искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему как могли, сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы — и все-таки пена у рта не выступала: нет, да и только. Это было ужасно! И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко! Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.

— Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, — сказал толстый симулянт. — Вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он этак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, закатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия, эпилепсия — первый сорт, самая что ни на есть настоящая. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине, и тут пришел конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно при-

шло. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета: утром кофе с булочкой, к обеду — суп, кнедик с соусом, вечером — каша или суп, и нам, с голодными выкачанными желудками да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравши, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других, с пороком сердца. Те тоже признались.

— Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два лежат два учителя. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает: сначала три раза медленно «гав, гав, гав», потом пять раз быстро «гав-гав-гав-гав-гав», а потом опять медленно, — и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель... Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрел себе за пятнадцать крон рак желудка.

— Я знаю одного трубочиста из Бржевнова, — заметил другой больной, — он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

— Это все пустяки, — сказал третий. — В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.

— Мне вывихнули ногу за пятерку, — раздался голос с постели у окна. — За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.

— Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, — заявил сосед, высохший, как жердь. — Назовите мне хоть один яд, которого я бы не испробовал, — не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен.

— Лучше всего, — заметил кто-то около дверей, — впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло: ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна.

— Вот видите, — сказал Швейк. — Все это каждый должен претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка, и клистир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали «козлом» и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрасом, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны «в козлы», а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осел, — царствие ему небесное! — заорал на меня, чтобы я стоял смиренно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh!» [310] Социа-

листическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую — по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет: «Идиот ты или не идиот?» — «Точно так, господин полковник, идиот». — «На двадцать один день карцера за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов шпангле! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже «Пражскую правительственную газету». В солдатской лавке запрещено было завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд, в каждой роте сочиняли стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того: писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник — зверь, и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчл из Глубокой был посажен на два года, — это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? — сказал полковник. — Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу! Молчит, ни звука. Полковник покраснел как вареный рак и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. Одиннадцатая опять шагает и... молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Ruht!»[311] — командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился да как заорет: «Abtreten!»[312] Сел на свою клячу и вон. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю — ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты рады-радешеньки, да и не только солдаты: и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась.

Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним — фельдшер с книгой.

— Мацуна!

- Здесь.
- Клистир и аспирин.
- Пóкорный!
- Здесь.
- Промывание желудка и хинин.
- Коваржик!



- Здесь.
  - Клистир и аспирин.
  - Котятко!
  - Здесь.
  - Промывание желудка и хинин.
- И так всех подряд — механически, грубо и безжалостно.
- Швейк!
  - Здесь.
- Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего.
- Чем больны?
  - Осмелюсь доложить, у меня ревматизм.

Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.

— Ах, вот что, ревматизм... — сказал он Швейку. — Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится этакая штука заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт! Я полагаю, это вас страшно огорчает?

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.

— А-а, вот как, его это огорчает! Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает, бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?

— Осмелюсь доложить, болят.

— И всю ночь напролет не можете заснуть? Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт: строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется. — И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: — Пишите: «Швейк, строгая диета, два раза в день промывание желудка и раз в день клистир». А там — увидим. Пока что отведите

его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир, но, знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.

Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций:

— Не думайте, что перед вами осел, которого можно водить за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут нежиться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! Так же, как и вы, сукины дети! И через двадцать лет будете криком кричать, когда вам при-  
снится, как вы у меня тут симулировали.

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, — послышался тихий голос с койки у окна, — я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка.

— Ваша фамилия?

— Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир.

— Хорошо, клистир вам еще поставят на дорогу, — распорядился доктор Грюнштейн, — чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается.

Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказа просьбами или угрозами: дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.

— Не щади меня, — подбадривал он палача, ставившего ему клистир, — помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир — и никаких. Помни, на этих клистирах держится Австрия. Мы победим!

На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина; все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить.

Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как пил хинин Швейк, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток.

Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне или на морском курорте.

— Ревматизм еще не прошел?

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит.

Швейк был подвергнут новым пыткам.

В это время вдова генерала от инфантерии, баронесса фон Боценгейм, при-

лагала невероятные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя везти в военную комиссию в коляске для больных и кричал: «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки.

Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны.

Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что «*der brave Soldat*[313] Швейк», о котором она справлялась, лежит в третьем бараке, койка номер семнадцать. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита.

Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна.

Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.

— Даже самые паршивые говяжьи шкварки можно есть, покуда они теплые, — заявил тот, которого лечили здесь от «застарелого катара желудка». — Когда сало обжарится, отожди их, посоли, поперчи, и, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.

— Полегче насчет гусиных шкварок, — сказал больной «раком желудка», — нет ничего лучше гусиных шкварок! Свиные ни в какое сравнение с ними не идут. Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают сало с кожей и поджаривают.

— По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок, — заметил сосед Швейка. — Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются: домашние шкварки. Они не коричневые, не желтые, цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят — значит, пережарены. Они должны таять на языке... но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку.

— А кто из вас ел шкварки из конского сала? — раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.

— По койкам! Сюда идет великая княгиня. Грязных ног из-под одеяла не высовывать!

Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия; тут был и счетовод госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнели, к проводочным заграждениям передовых позиций.

Он был бледен. Но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у

него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «вдова генерала» и все, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.

— Вот Швейк, — произнес доктор с деланным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. — Переносит все очень терпеливо.

Баронесса фон Боценгейм села на придвинутый к койке Швейка стул и сказала:

— Ческий зольдат, кароший зольдат, калека зольдат, храбрый зольдат. Я очень любилъ ческий австриец. — При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. — Я читаль все в газете, я вам принесля кушать: «ам-ам»; курить, сосать... Ческий зольдат, бравый зольдат!.. Johann, kommen Sie her![314]

Камердинер, своими взъерошенными бакенбардами напоминавший Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с плаксивым лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев.

Баронесса между тем вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой: «Gott strafe England»[315], с другой стороны бутылки были изображены Франц-Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу — не могу, засмейся — не хочу»; потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две пачки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете — «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика», обожавший старого Францика.

Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gott strafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus unitis»[316], сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. Крышка набора была украшена картинкой, на которой разрывалась шрапнель и герой в каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло: «Für Gott, Kaiser und Vaterland!»[317]

Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение

*Osterreich, du edles Haus,  
steck deine Fahne aus,  
Laß sie im Winde wehen,  
Osterreich muß ewig stehen!*

На другой стороне был помещен чешский перевод:

*О Австрия! Могучая держава!  
Пусть развеивается твой благородный флаг!  
Пусть развеивается он величаво,  
Неколебима Австрия в веках!*

Последним подарком был вазон с белым гиацинтом.

Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк, он сложил руки, как на молитве, и заговорил:

— «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое...» Пардон, мадам, наврал! Я хотел сказать: «Господи боже, отец небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради твоей вкусим. Аминь».

После этих слов он взял с постели цыпленка и набросился на него, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.

— Ах, как ему вкусно, зольдатику! — восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. — Наверное, он уже здоров и может отправляться на поле битвы. Отшень, отшень рада, что все это ей на пользу.

Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt euch Gott»[318] и покинула палату вместе со всей своей свитой.

Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу вниз, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашел только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов и их кости несколько месяцев палило солнце.

Исчезли и военный ликер, и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка печенья. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.

Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты неисправимые симулянты.

— Солдаты, — сказал он, — если бы у вас голова была на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали: «Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны». А теперь вы как нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок! Хотите нажать себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь! Прежде чем ваши желудки успеют переварить, я прочищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все тут же выкачали. Ну-ка, марш за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумней, чем вы все, вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать... Шагом марш!

Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшней загадочный визит, спросил:

— Вы знакомы с баронессой?

— Я ее незаконнорожденный сын, — спокойно ответил Швейк. — Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла.



Доктор Грюнштейн сказал лаконично:

— Поставьте Швейку добавочный клистир.

Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба.

Номер двадцать один у окна робко произнес:

— Хотите — верьте, ребята, хотите — нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печеных.

Кто-то проворчал:

— Сделайте ему темную!

Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места.

Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунул язык как только мог далеко; его лицо от натуги сморщилось в насмешливую гримасу, и он зажмурил глаза.

— Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовыва-

ется.

Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык.

Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк — «ein blöder Kerl»[319], в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой.

— Черт побери! — закричал на Швейка председатель комиссии. — Мы вас выведем на чистую воду!

Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка. Старший штабной врач вплотную подступил к нему.

— Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас?

— Осмелюсь доложить, не думаю ни о чем.

— Himmeldonnerwetter![320] — заорал один из членов комиссии, бряцая саблей. — Он таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?

— Осмелюсь доложить, потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: «Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а распоследняя вшивая штафирка. Размышления никогда не доводят...»

— Молчать! — злобно прервал Швейка председатель комиссии.

— У нас уже имеются о вас сведения. Der Kerl meint: man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot...[321] Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! Понимаете?

— Так точно, понимаю.

— Сказано вам молчать, слышали?

— Так точно, слышал, «молчать».

— Himmelherrgott! Ну так молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать.

— Так точно, знаю, что не смею болтать.

Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля.

— Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию, — указывая на Швейка, приказал старший штабной врач, — и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость. Парень здоров как бык, симулирует да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь собрались ему на потеху, что военная служба — шутка, комедия... В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган.

Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос:

*Я-то вздумал в самом деле  
баловать с войной, —  
дескать, через две недели  
попаду домой.*

В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху, в больничных палатах, комиссия

истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один — у которого нога была оторвана гранатой, а другой — с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «tauglich». Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь.

Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. Все скоты, дерьмо, и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда после войны им даже простят, что они пытались уклониться от военной службы и симулировать. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля.

Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки.

Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду: и на войне, и в частной жизни; что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского; что кровью своей они польют необозримые поля славы Австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, под простреленными знаменами своих полков они ринутся вперед к новой славе, к новым победам...

В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку:

— Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, по-хорошему или страдая, их ничем не проймешь. Это — банда!

## Глава IX Швейк в гарнизонной тюрьме

Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного нештатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, «стрельнул» часы у одного поручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, нештатных преподавателей, математиков, он считал глупым.

«Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», — сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму.

В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов: различные бухгалтеры интендантства, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалова-

нием, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели солдаты за преступления чисто воинского характера, как-то: нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов этих невинных были осуждены.

Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.

В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба.

Свежий материал для гарнизонной тюрьмы поставляла также гражданская полиция: господа Клима, Славичек и К°. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденций между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома; жандармы приводили сюда старых, неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по двенадцати лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома.



Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотольский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотольском плацу раздавалась отрывистая команда: «An! Feuer!»[322] По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного новобранца за «бунт», поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем.

А в гарнизонной тюрьме троица — штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингарт и фельдфебель Ржепа, по прозвищу «Палач», — оправдывала свое назначение. Сколько людей они до смерти избили в одиночках! Возможно, капитан Лингарт и в республике продолжает оставаться капита-

ном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике.

Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удавалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные.

Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немомго укора.

— Раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат, а? Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки.

И, чтобы прибавить весу своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес:

— Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!

Швейк понюхал.

— Не хотел бы я получить по носу таким кулаком. Пахнет могилой, — заметил он.

Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю.

— А ну-ка, ты! — крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. — Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? Взаправду нет? Только не врать! Вранье наказывается.

— Куда его денем? — спросил фельдфебель Ржепа.

— Сунем в шестнадцатую, — решил смотритель, — к голоштанникам. Не видите разве, что написал на препроводительной капитан Лингарт: «Streng behüten, beobachten»[323]. — Да, брат, — обратился он торжественно к Швейку, — со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку, а там переломаем ему ребра — пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником! Помните, Ржепа?

— Ну и задал он нам работы, господин смотритель! — произнес фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое. — Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще потом дней десять жил. Живучий был, сукин сын!

— Видишь, подлец, как у нас расправляются с теми, кому придет в голову взбунтоваться или удрать, — закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. — Это все равно что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция! К примеру, придет инспекция и спросит: «Есть жалобы?» Так ты, сукин сын, должен стать во фронт, взять под козырек и отрапортовать: «Никак нет, всем доволен». Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец!

— Никак нет, всем доволен, — повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность.

— Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую, — сказал он мягко,

не добавив, против обыкновения, ни «сволочь», ни «сукин сын», ни «мерзавец».

В шестнадцатой Швейк застал девятнадцать мужчин в одних подштанниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Streng behüten, beobachten». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они, чего доброго, не удрали.

Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решеток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник.

Швейка принял староста, давно не бритый детина в расстегнутой рубашке. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал:

— Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять в одних подштанниках как раз под кафедрой. Вот будет потеха.

Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня — излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не могло быть и речи.

Просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки. Дело заключалось вовсе и не в том, стал ты ближе к богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге — на лестнице или во дворе — брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли на земле, совсем оттеснил бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над богом, и над спасением души.

Да и кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат Отто Кац в общем был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии божьем, чтобы поддержать «падших духом» и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно орал у алтаря свое «Ite, missa est»[324]. Богослужение он вел весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал, — словом, такое, что до сих пор никто не видывал.

Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же, перед самой дарохранильницей, вкатит этому министранту одиночку и «шпангле».

Наказанный очень доволен: все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо ее играет.

Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара.

У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу как вольноопределяющийся. Он так прекрасно разобрался в вексельном праве и векселях, что за один год привел фирму «Кац и К°» к полному банкротству; крах был такой, что старому Кацу при-

шлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину.

Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму «Кац и К°» между Северной и Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, где приклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу.

Однако вольноопределяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и сыном божьим.

Его торжественно крестили в Эмаузском монастыре. Сам патер Альбан окунал его в купель. Это было великолепное зрелище. Присутствовали при сем набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из института благородных девиц на Градчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного.

Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он упился вдребезги в одном весьма порядочном доме с женской прислугой на Вейводовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции и, когда его назначили фельдкуратором, купил себе лошадь, гарцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.

На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворенных кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в фербла, и ходили не лишние основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали «святым отцом».

К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твердо засело представление, что солдат, посаженных в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.

Проповеди фельдкурата Отто Каца, напротив, радовали всех.

Шестнадцатую камеру водили в часовню в одних подштанниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки, — это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых подштанниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по до-

роге окурки, так как, за неимением карманов, им некуда было их спрятать.

Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар подштанников.

На кафедре, звеня шпорами, взобрался фельдкурат.

— Nabacht![325] — скомандовал он. — На молитву! Повторять все за мной! Эй, ты там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак, ты находишься в храме божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли, обормоты, «Отче наш»? Ну-ка, попробуем... Так и знал, что дело не пойдет. Какой уж там «Отче наш»! Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о господе боге. Что, не правду я говорю?

Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, всюду развлекались. В задних рядах играли в «мясо» — водящий угадывал, кто ему дал пинка под зад.

— Ничего, интересно, — шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы.

— То ли еще будет! — ответил тот. — Он сегодня опять здорово наакался, значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха.

Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он все время перегибался через перила кафедры, теряя равновесие, и чуть не свалился вниз.

— Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь! — закричал он сверху. — Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной.

*Есть ли в мире кто милей  
моей милки дорогой?  
Не один хожу я к ней —  
прут к ней тысячи гурьбой!  
К моей милке на поклон  
люди прут со всех сторон.  
Прут и справа, прут и слева,  
звать ее Мария-дева.*

— Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, — продолжал фельдкурат. — Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места, негодяи, ибо бог есть бытие... которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете! Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха...

— Во-во, начинается. Здорово надрался! — радостно зашептал Швейку сосед.

— Тернистый путь греха — это, болваны вы этакие, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитаете валяться в одиночках, вместо того чтобы вернуться к отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы... Я просил бы там, сзади, не фыркать! Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики... Так где бишь я остановился? Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut![326] Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно и что только один

бог вечен. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren?[327] А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своей милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно свое навеки и во веки веков не оставлял своею милостью вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить не намерен... — Фельдкурат икнул, — Не намерен... — упрямо повторял он. — Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием божественной любви, ибо господу богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами... Слышите, что я говорю? Эй, вы там, в подштанниках!



Двадцать подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали:

— Точно так, слышим.

— Мало только слышать, — продолжал свою проповедь фельдкурат. — В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание всевышнего, ибо и милосердие божье имеет свои пределы. А ты, осел, там, сзади, не смей ржать, не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь — одна потеха, словно здесь театр или кинематограф. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам — вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, вы бы все равно не исправились и не обратили души ваши к господу. И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал...»

Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.

Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.

— Пусть каждый из вас берет пример с этого человека, — продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. — Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще придется поразмыслить о бесконечном милосердии божьем, долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не

выйдет наконец на тот путь истинный, по коему ей надлежит идти... Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делают все остальные? Ни черта. Вот смотрите: один что-то жует, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, поисками бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как в прошлый раз, когда в задних рядах казенное белье обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.

Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвел в ризницу.

Фельдкурат сидел, развалясь, на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал:

— Ну вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.

Он соскочил со стола и, потрянув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского:

— Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!

Франциск Салеский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой и что вы, господа, со мною делаете?»

— Так точно, господин фельдкурат, — сказал Швейк серьезно, все ставя на карту, — исповедуясь всемогущему богу и вам, достойный отец, я должен признаться, что ревел правда только так, для смеху. Я видел, что вам недостает только кающегося грешника, к которому вы тщетно вzywали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.

Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного мученика на противоположной стене.

— Вы мне начинаете нравиться, — сказал фельдкурат, снова садясь на стол. — Какого полка? — спросил он, икая.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.

— А за что вы здесь сидите? — спросил фельдкурат, не переставая икать.

Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуясь. Мне просто не везет. Я стараюсь как получше, а выходит так, что хуже не придумаешь, вроде как у того мученика на иконе.

Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:

— Ей-богу, вы мне нравитесь! Придется порасспросить о вас у следователя. Ну а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы! Kehrt euch! Abtreten![328]

Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:

— В стельку пьян.

За следующим номером программы — святой мессой — публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух — и выиграл.

Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью рьяных католиков. Скорее, оно напоминало то чувство, какое рождается в театре, когда мы не знаем содержания пьесы, а действие все больше запутывается и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря.

Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку: все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение.

Рыжий министрانت, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом и суфлером, что не мешало святому отцу с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить ее, к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву.

— Ну и нализался сегодня, нечего сказать, — с огромным удовлетворением отметили перед алтарем. — Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.

Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «Ite missa est!», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу — проверить, не осталось ли там еще хоть капли вина, досадливо поморщился и обратился к слушателям:

— Ну, а теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами... даже при мне, хотя я здесь вместо девы Марии, Иисуса Христа и бога-отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и

ад земной! Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь.

Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый, избитый обычай посещения узников, прошел в ризницу, переделся, велел налить себе в кувшин церковного вина из громадной оплетенной бутылки, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию, к следователю Бернису.

Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах. Он постоянно куда-то засовывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил дезертиров за воровство, а воров — за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления его величества и эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.

— Servus![329] — сказал фельдкурат, подавая ему руку. — Как дела?

— Неважно, — ответил военный следователь Бернис. — Перепутали мне материалы, теперь в них сам черт не разберется. Вчера я послал начальству уже обработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне вернули назад, дескать, потому, что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!

Военный следователь плюнул.

— Играешь еще в карты? — спросил фельдкурат.

— Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я все ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка... А ты что поделываешь, святой отец?

— Мне нужен денщик, — сказал фельдкурат. — Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы бог сохранил его от беды и напасти, ну я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда?

Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как

всегда, не мог ничего найти.

— Наверно, у капитана Лингарта, — сказал он после долгих бесплодных поисков. — Черт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингарту. Позвоню-ка ему... Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно... Сам от вас принимал? Действительно странно. Сидит в шестнадцатой... Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются... Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется! Алло! Алло!

Огорченный Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингартом давно уже существовала неприязнь, причем ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Лингарта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингарт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам[330].

(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)

— Итак, пропал у меня Швейк, — сказал Бернис. — Велю вызвать его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам устроишь в полку.

После ухода фельдкурата следователь Бернис послал за Швейком; но он заставил его ждать за дверьми, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся рядового пехоты Майкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингарта.

Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следвателя.

Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила чересчур благоприятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные снимки спаленных хат и деревьев, ветви которых гнулись к земле под тяжестью повешенных. Особенно хорош был снимок из Сербии, где была сфотографирована повешенная семья: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер и курит сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.

— Ну, так что там с вами, Швейк? — спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. — Что вы натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, к. у. к. Militärgerisht[331]. Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только чистосердечное признание.

У следвателя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери ма-

териала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.

Следователь Бернис считал себя настолько проникательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проникательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире агитировал среди солдат за создание самостоятельного государства, в составе Чехии и Словакии, во главе с королем-славянином.

— У нас на руках документы, — сказал он несчастному цыгану. — Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.

Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а возвращаясь с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.

— Вы ни в чем не желаете признаться? — спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. — Вы не хотите рассказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то, по крайней мере, вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и смягчит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.

— Осмелюсь доложить, — прозвучал наконец добродушный голос Швейка, — я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.

— Что вы имеете в виду?

— Осмелюсь доложить, я могу объяснить это очень просто... На нашей улице живет угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик с Виноград в Либень, уселся на тротуаре, — тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то — умеет он говорить — все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш.

Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает чем бы кончилось это дело.

Наконец следователь остановился у своего стола.

— Послушайте-ка, — сказал он Швейку, равнодушно глазевшему по сторонам, — если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете помнить... Уведите его!

Пока Швейка вели назад, в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика.

— Впредь до дальнейших указаний Швейк передается в распоряжение гос-

подина фельдкурата Каца, — коротко приказал он. — Заготовить пропуск. Отвести Швейка с двумя конвойными к господину фельдкурату.

— Прикажете отвести его в кандалах, господин поручик?

Следователь ударил кулаком по столу:

— Осел! Я же тебе ясно сказал: заготовить пропуск!

И все, что накопилось за день в душе следователя — капитан Лингарт, Швейк, — все это бурным потоком устремилось на зрителя и кончилось словами:

— Поняли наконец, что вы коронованный осел?

Так полагается величать только королей и императоров, но даже простой зритель, особа отнюдь не коронованная, все же не остался доволен подобным обхождением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейка, то зритель решил оставить его хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, дабы предоставить ему возможность вкушать всех ее прелестей.

Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.

Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию зрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра.

Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье вшей, попавших под ногти арестантов.

Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немых человеческих тел и с вонью параша, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала в шестнадцатую новую волну смрада.

Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.

Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался «глазок» в двери и «архангел» заглядывал внутрь.

На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:

— Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали — политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принес из дому, чего только ему не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, этакие здоровенные хлебные караваи, яйца, масло, сигареты, табак... Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать. Хранил он свое добро в двух мешках. Да, и вбил он себе в башку, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет: дескать, ему тут две неде-

ли сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить все поровну или же есть по очереди... Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж был избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий... Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, — словом, жил как надо. Курил сигареты и даже затануться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается, и если «архангел» увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, три дня мы терпели. На четвертый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся... Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он — в крик: меня, мол, обокрали, оставили только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему и говорит: «Знаете что, накройте с головой одеялом и считайте до десяти, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три...» А либеньский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» Тот снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз, два... три...» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки да как начал кричать: «Иисус Мария! Люди добрые! Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либеньский ему снова: «Попробуйте, говорит, еще раз!» Так, верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидел, что в мешках опять нет ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради бога, отоприте!» Само собой, моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все, как один, заявляем, что он помешался: дескать, вчера жрал до самой поздней ночи и все съел один. А он только плачет и твердит свое: «Ведь крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на таковских напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не обнаружили, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлась ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился дешевыми сигаретами, и тут впервые он с нами заговорил, — дескать, дайте и мне затануться. Черта с два мы ему дали!

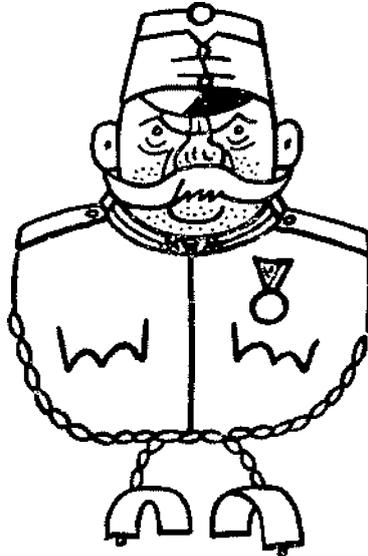
— А я боялся, что вы дадите, — заметил Швейк. — Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.

— А темную вы ему не сделали? — спросил кто-то.

— Нет, забыли.

В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю темную или нет. Большинство высказалось «за».

Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.



В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.

— Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, — поучал Швейка один из арестантов. — А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется.

Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.

Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.

## Глава X Швейк в денщиках у фельдкурата

**Ш**вейковская одиссея снова разворачивается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.

Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила прихрамывал на правую ногу, маленький — на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на Швейка, который шагал между ними и всем подряд отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В его штаны влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи, — а штаны доходили до самой шеи, — поневоле привлекали внимание зевак. Громадный грязный, засаленный мундир с заплатами на локтях болтался на Швейке, как каф-

тан на огородном пугале. Штаны висели, будто у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже выдали в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.



На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.

Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкуратор. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.

— Откуда будешь?

— Из Праги.

— Не удерешь от нас?

В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки по большей части бывают добродушными, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила возразил маленькому:

— Кабы мог, удрал бы!

— А на кой ему удирать? — отозвался маленький толстяк. — Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня.

— А что там, в этом пакете для фельдкуратора? — спросил верзила.

— Не знаю.

— Видишь, не знаешь, а говоришь...

Карлов мост они миновали в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком.

— Ты не знаешь, зачем мы ведем тебя к фельдкуратору?

— На исповедь, — небрежно ответил Швейк. — Завтра меня повесят. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.

— А за что тебя будут... того? — осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка.

Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.

— Не знаю, — ответил Швейк, добродушно улыбаясь. — Я ничего не знаю. Видно, судьба.

— Стало быть, ты родился под несчастливой звездой, — тоном знатока со-

чувственно заметил маленький. — У нас в селе Ясени, около Йозефова, еще во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефове повесили.

— Я думаю, — скептически заметил долговязый, — что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.

— В мирное время, — заметил Швейк, — может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.

— Послушай, а ты не политический? — спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.

— Политический, даже очень, — улыбнулся Швейк.

— Может, ты национальный социалист?

Но тут же маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.

— Нам-то что, — сказал он. — Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазют. Если бы мы могли где-нибудь в подворотне снять штыки, чтобы это... не так бросалось в глаза. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? — обратился он к верзиле.

Тот тихо отозвался:

— Штыки-то можно бы и снять. Все-таки это наш человек.

Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.

Они вместе высмотрели подходящую подворотню, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку пойти рядом.

— Небось курить хочется? Да? — спросил он. — Кто знает...

Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», но не закончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.

Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих под Градцем Кралове, о женах, о детях, о клочке земли, о единственной корове...

— Пить хочется, — заметил Швейк.

Долговязый и маленький переглянулись.

— По одной кружке и мы бы пропустили, — сказал маленький, почувствовав, что верзила тоже согласен, — но там, где бы на нас не очень глазели.

— Идемте в «Куклик», — предложил Швейк, — ружья вы оставите там на кухне. Хозяин в «Куклике» Серабона, сокол, его нечего бояться. Там играют на скрипке, и на гармошке, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в «Репрезентяк».

Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:

— Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.

По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».

Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом.

*Обзавелся я девчонкой,  
а гуляет с ней другой.*

За одним столом спал пьяный сардинчик. Время от времени он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал «Так не пойдет!» и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору:

— Молодой человек, угостите нас вермутом!

Неподалеку от музыкантов двое спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом пошла спать в гостиницу Валеша.

У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, без устали его угощал.

— Да выпейте уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда еще? Велеть, чтоб вам сыграли? Попросить «Сиротку»?

Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минутой спустя скрипка с гармошкой завели тоскливую «Сиротку». У старика выступили слезы на глазах, и он затянул дребезжащим голосом:

*Чуть понятливее стала,  
все о маме вопрошала,  
все о маме вопрошала.*

Из-за другого стола послышалось:

— Хватит! Ну их к черту! Заткнитесь. Катитесь вы с вашей «Сироткой».

И, прибегнув к последнему средству убеждения, вражеский стол грянул:

*Разлука, ах разлука —  
для сердца злая мука.*

— Франта, — позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца. — Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и неси сюда сигареты. Да брось ты их забавлять, лопухов!

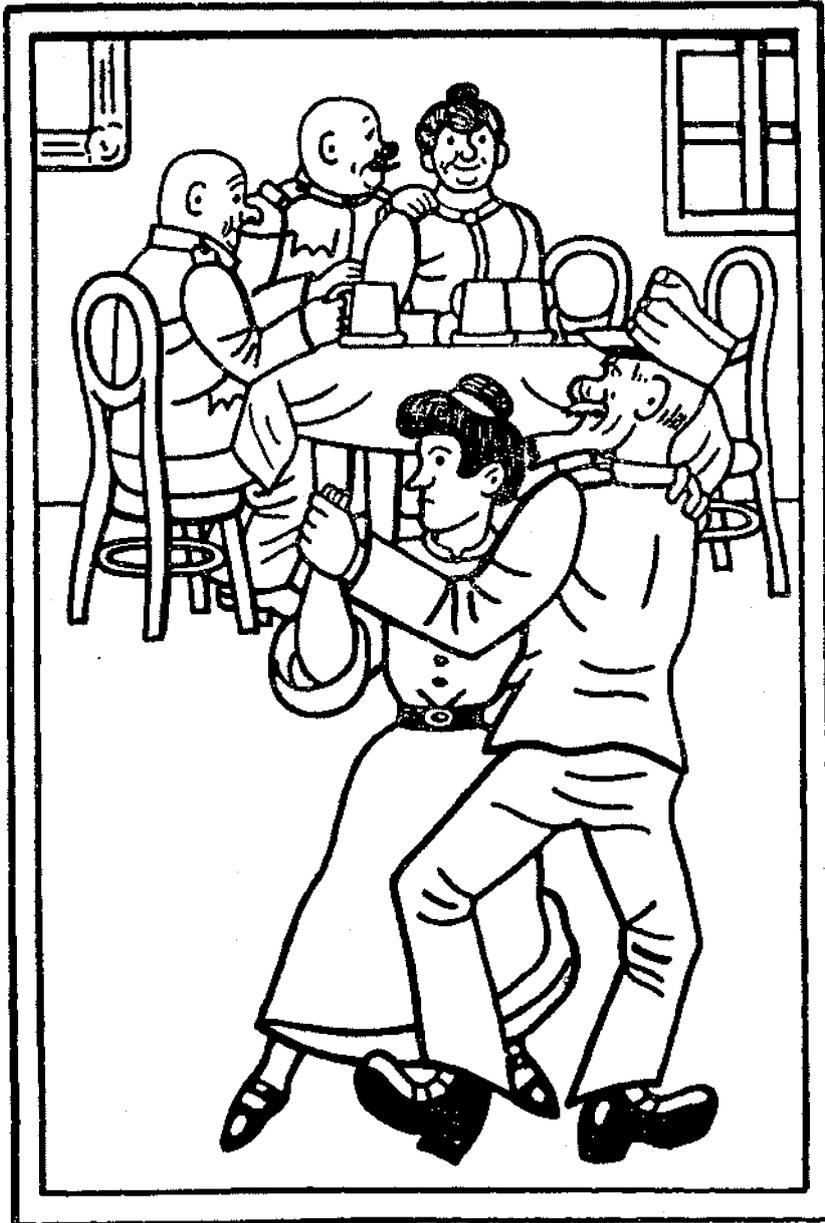
Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за происходящим. Швейк — он часто сживал тут еще до войны — пустился в воспоминания о том, как здесь, бывало, внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку.

Раз они даже запели ее хором:

*Как от Драшнера, да пана,  
паника поднялась.  
Лишь одна Марженка спьяна  
его не боялась...*

И тут вошел Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая затем сцена напоминала охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче и, на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, спросил: «А у вас есть на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил об одном

поэте, который сживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки сочинял стихи и тут же читал их проституткам.



У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начинало нравиться. Маленький толстяк первым почувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту колебался, но, отбросив свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность, и последние остатки рассудительности.

— Пойду станцюю, — сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары пляшут «шлапака».

Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него уже сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели.

Швейк пил.

Верзила кончил танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонов. В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас — хоть потоп».

После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за пять

крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или в руку керосин[332]. После этого они пролежат не менее двух месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все полгода, и их вынуждены будут совсем освободить от военной службы.

Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу керосин.

Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык уже начал заплетаться, упрашивал Швейка остаться еще. Верзила тоже придерживался того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в «Куклике» уже надоело, он пригрозил, что пойдет один.

Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал.

Остановились они за «Флоренцией», в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься.

Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому.

Всякий раз, когда навстречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупреждать своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить их до Королевского проспекта, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они вели его, а не он их.

Во втором этаже, где на дверях висела визитная карточка «Отто Кац — фельдкурат», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.

— Wir... melden... gehorsam... Herr... Feldkurat, — с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату, — ein... Paket... und ein Mann gebracht[333].

— Заползайте, — сказал солдат. — Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже... — И солдат сплюнул.

Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.

— Так вы уже здесь, — сказал он, обращаясь к Швейку. — А, это вас привели. Э... нет ли у вас спичек?

— Никак нет, господин фельдкурат, — ответил Швейк.

— А... а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является... является... Ну?

— Осмелюсь доложить, является без спичек, — подсказал Швейк.

— Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь во-вторых. У вас ноги не воняют, Швейк?

— Никак нет, не воняют.

— Так. Это во-вторых. А теперь в-третьих. Водку пьете?

— Никак нет, водку не пью, только ром.

— Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Мне одолжил его на денек поручик Фельдгубер, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой рр...тр...рез-

венник, а потому отправится с маршевой ротой. По...потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык... Ты т... т... резвенник! — обратился он к солдату. — Не... не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься — получишь в морду.

Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои винтовки.

— Вы п...пьяны!.. — сказал фельдкурат. — Вы напились при исполнении служебных обязанностей! За это я поса...садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придет патруль. Я сейчас п...позвоню в казармы.

Итак, слова Наполеона: «На войне ситуация меняется каждое мгновение», здесь полностью подтвердились — утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он не сбежал, а под вечер оказалось, что Швейк привел их к месту назначения и ему пришлось их караулить.

Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, то поняли все.

— Я бы чего-нибудь выпил, — вздохнул маленький оптимист.

Но верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что все это — низкое предательство, и громко принялся обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.

Швейк молча расхаживал около двери.

— Ослы мы были, — вопил верзила.

Выслушав все обвинения, Швейк сказал:

— Теперь вы, по крайней мере, видите, что военная служба — не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, «улыбнулась фортуна».

— Я бы чего-нибудь выпил! — в отчаянии повторял оптимист.

Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.

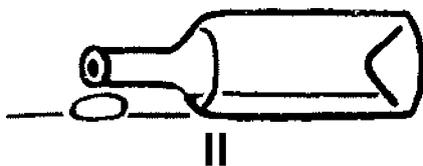
— Пусти нас домой, — сказал он Швейку, — брось дурачиться, голубчик!

— Отойди! — ответил Швейк. — Я должен вас караулить. Отныне мы незнакомы.

В дверях появился фельдкурат.

— Я... я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по...помните у меня, что на службе пьянствовать не...нельзя! Марш отсюда!

К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.



Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца и за это время видел его только один раз. На третий день пришел денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шел к ним за фельдкуратом.

По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат вдрызг пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, все-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет.

Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата. Тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырек и отпрапортовал:

— Честь имею явиться, господин фельдкурат!

— А что... вам... здесь надо?

— Осмелюсь доложить, я пришел за вами, господин фельдкурат. Я должен был прийти.

— Должны были прийти за мной? А куда мы пойдём?

— Домой, господин фельдкурат.

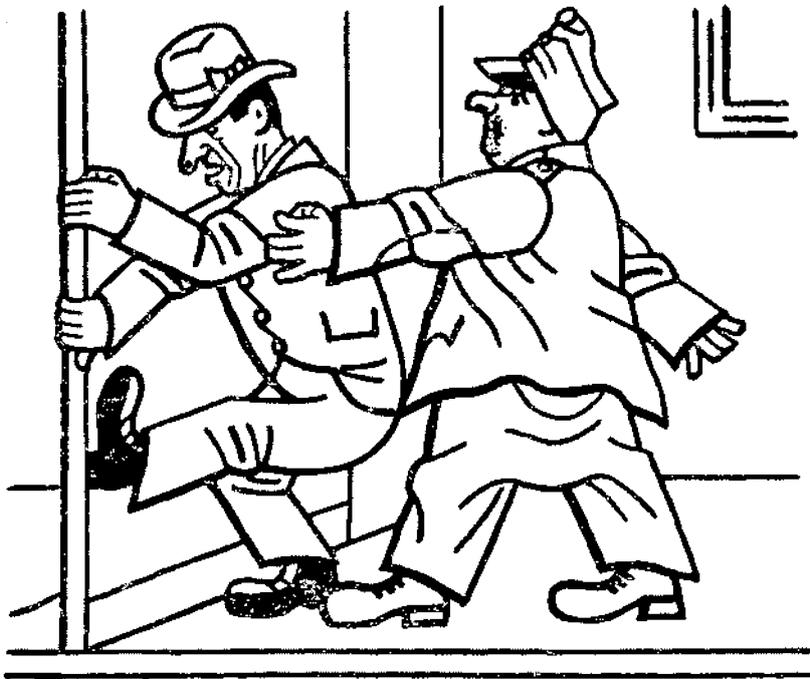
— А зачем мне идти домой? Разве я не дома?

— Никак нет, господин фельдкурат, вы — на лестнице в чужом доме.

— А как... как я... сюда попал?

— Осмелюсь доложить, вы были в гостях.

— В... гостях, в го...гостях я не... не был. Вы... о... ошибаетесь...



Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону, наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь:

— Я у вас сейчас упаду...

Наконец Швейку удалось снова прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять задремал.

Швейк разбудил его.

— Что вам угодно! — спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол. — Кто вы такой?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене, — я ваш денщик.

— Нет у меня никаких денщиков, — с трудом выговаривал фельдкурат, пытаясь упасть на Швейка, — и я не фельдкурат. Я свинья!.. — прибавил он с пьяной откровенностью. — Пустите меня, сударь, я с вами незнаком!

Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьезное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу.

— Я с вами, сударь, незнаком, — уверял он, сопротивляясь. — Знаете Отто Каца? Это — я. Я у архиепископа был! — орал он немного погодя за дверью. — Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете?

Швейк отбросил «осмелюсь доложить» и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне.

— Отпусти руку, говорят, — сказал он, — а не то дам раза! Идем домой — и баста! Не разговаривать!

Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка.

— Тогда пойдем куда-нибудь. Только к «Шутам» я не пойду, я там остался должен.

Швейк вытолкал фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому.

— Это что за фигура? — полюбопытствовал один из прохожих.

— Это мой брат, — пояснил Швейк. — Получил отпуск и приехал меня навестить да на радостях выпил — не думал, что застанет меня в живых.

Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промычал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим:

— Кто из вас умер, пусть явится в течение трех дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплен святой водой... — и замолк, норовя упасть носом на тротуар.

Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперед голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос:

— Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum[334].

У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошел договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезет.

— Заблевал мне все, — пояснил извозчик, — да еще не заплатил за проезд. Я его больше двух часов возил, пока нашел, где он живет. Три раза я к нему ходил, а он только через неделю дал мне за все пять крон.

Наконец после долгих переговоров какой-то извозчик взялся отвезти.

Швейк вернулся за фельдкуратом. Тот спал. Кто-то снял у него с головы черный котелок (он обыкновенно ходил в штатском) и унес.

Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное оцепенение. Он принял Швейка за полковника Семьдесят пятого пехотного полка Юста и несколько раз повторял:

— Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. Я свинья!

С минуту казалось, что от тряски пролетки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Вероятно, это была его собственная импровизация:

*Помню золотое время,*

*как все улыбались мне,  
проживали мы в то время  
у Домажлици в Мерклине.*

Однако минуто спустя он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к Швейку, спросил, прищурив один глаз:

— Как поживаете, мадам?.. Едете куда-нибудь на дачу? — после краткой паузы продолжал он.

В глазах у него двоилось, и он осведомился:

— Изволите иметь уже взрослого сына? — И указал пальцем на Швейка.

— А ну сидеть! — прикрикнул на него Швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. — Я тебя приучу к порядку!

Фельдкурат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросячьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит.

Потом, опять забыв обо всем на свете, он повернулся к Швейку и сказал тоскливым тоном:

— Пани, дайте мне первый класс, — и сделал попытку спустить брюки.

— Застегнись сейчас же, свинья! — заорал на него Швейк. — Тебя и так все извозчики знают. Один раз уже облевал все, а теперь еще и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз.

Фельдкурат меланхолически подпер голову рукой и стал напевать:

*Меня уже никто не любит...*

Но внезапно прервал пение и заметил:

— Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will![335]

Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «тпру», что экипаж остановился.

Когда спустя некоторое время они, по распоряжению Швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.

— Не закуривается, — сказал он, понапрасну исчиркав всю коробку спичек. — Вы мне дуете на спички.

Но внезапно он потерял нить размышлений и засмеялся.

— Вот смешно! Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега?

И он стал шарить по карманам.

— Я потерял билет! — закричал он. — Остановите вагон, билет должен найтись!

Потом покорно махнул рукой и крикнул:

— Трогай дальше!

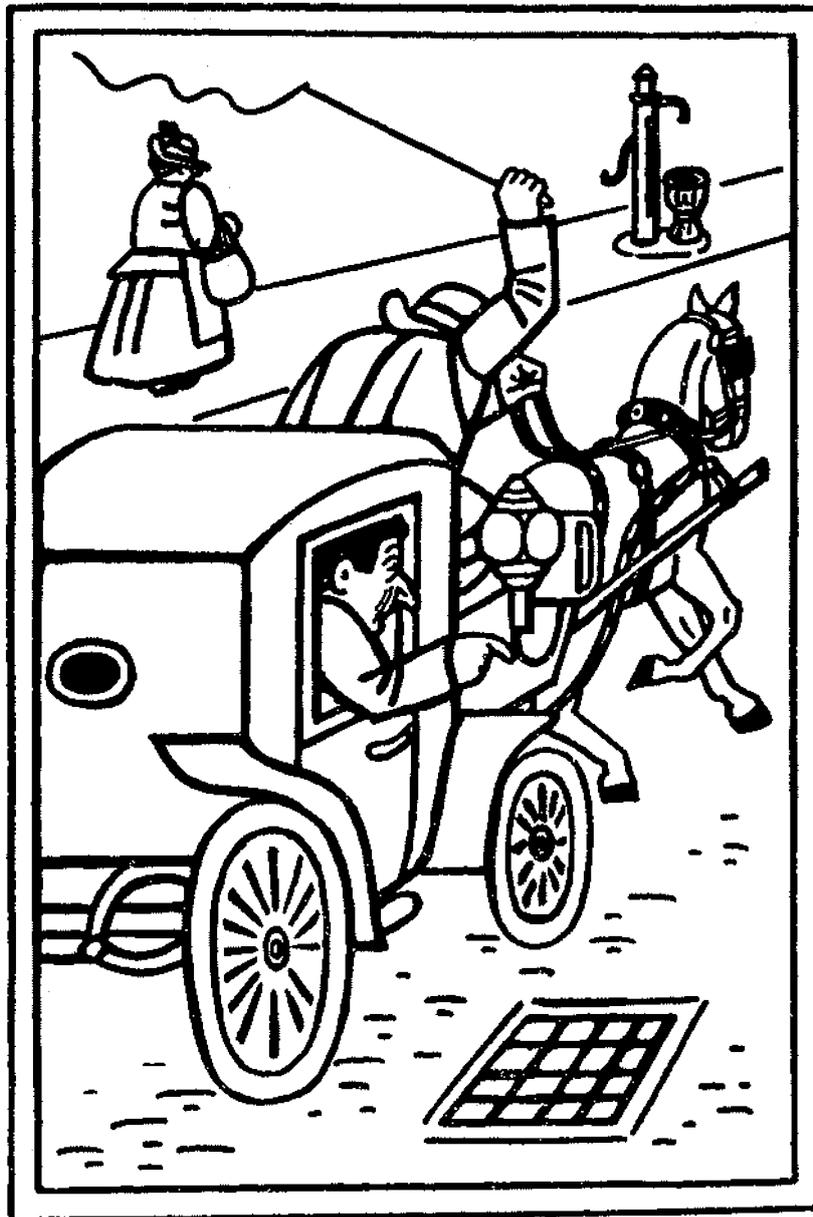
И вдруг забормотал:

— В большинстве случаев... Да, все в порядке... Во всех случаях... Вы находитесь в заблуждении... На третьем этаже?.. Это отговорка... Разговор идет не обо мне, а о вас, милостивая сударыня... Счет!.. Одна чашка черного кофе...

Засыпая, он начал спорить с каким-то воображаемым неприятелем, который лишил его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролетку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки.

— Нимбург, пересадка!

Швейк с силой притянул его к себе, и фельдкурат, забыв про поезд, принял-



ся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его «кукареку» победно разносилось по улицам.

На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать:

— Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер. — Он вдруг расхохотался. — Что, нехорош разве анекдотец?

Все это время Швейк обращался с фельдкуратором с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкуратора отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или выломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что дальше не поедет, так как вместо того чтобы ехать в Будейовице, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкуратора вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было:

— Не дрыхни, дохлятина!

На фельдкуратора внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слеза-

ми, выпытывая у Швейка, была ли у него мать.

— Одинок я на этом свете, — голосил он, — заступитесь, приласкайте меня!

— Не срами ты меня, — вразумлял его Швейк, — перестань, а то каждый скажет, что ты нализался!

— Я ничего не пил, друг, — ответил фельдкурат. — Я совершенно трезв!

Он вдруг приподнялся и отдал честь.

— Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen[336]. Я свинья! — повторил он раз десять с пьяной откровенностью, полной отчаяния.

И, обращаясь к Швейку, стал клянчить:

— Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везете?

Потом опустил на сиденье и забормотал:

— «В сиянье месяца золотого...» Вы верите в бессмертие души, господин капитан? Может ли лошадь попасть на небо?

Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту снова загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес:

— Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. Не были ли вы в Вене? Я помню вас по семинарии.

С минуту он развлекался декламацией латинских стихов:

— Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo[337]. Дальше у меня не получается, — сказал он. — Выкиньте меня вон. Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится. Я хочу упасть носом, — заявил он решительно. — Сударь! Дорогой друг, — продолжал он умоляющим тоном, — дайте мне подзатыльник!

— Один или несколько? — осведомился Швейк.

— Два.

— На!

Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь.

— Это отлично помогает пищеварению, — сказал он. — Теперь дайте мне по морде... Покорно благодарю!.. — воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. — Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку.

Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Им овладела тоска по мученичеству: он требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.

— Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. Хорошо бы штук десять, — восторженно произнес он.

Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет, однако и тут недолго задержался.

— Чардаш танцуете? — спросил он Швейка. — Знаете «Танец медведя»? Этак вот...

Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумачков и уложил на сиденье.

— Мне чего-то хочется, — кричал фельдкурат, — но я сам не знаю чего. Вы не знаете ли, чего мне хочется?

И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.

— Что мне до того, чего мне хочется! — сказал он вдруг серьезно. — И вам, сударь, до этого никакого дела нет! Я с вами незнаком. Как вы осмеливаетесь

так пристально на меня смотреть?.. Умеете фехтовать?

Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, фельдкурат осведомился:

— Сегодня у нас понедельник или пятница?

Он любопытствовал также, что теперь — декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы.

— Вы женаты? Любите сыр горгонзолу? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?

Потом фельдкурат пустился в откровенность: рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был триппер и он лечил его марганцовкой.

— Я ни о чем другом не мог думать, да и некогда было, — продолжал он, икая. — Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите, — ик! Что делать! — ик! Уж вы простите меня!

— Термосом, — начал он, забыв, о чем говорил минуту назад, — называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка... Как по-вашему, коллега, которая из игр честнее: ферблан или «двадцать одно»?.. Ей-богу, мы с тобой где-то уже встречались! — воскликнул он, покушавшись обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. — Мы ведь вместе ходили в школу... Ты славный парень! — говорил он, нежно глядя свою собственную ногу. — Как ты, однако, вырос за это время, что я тебя не видел! С тобой я забываю о всех пережитых страданиях.

Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться: «Богородице, дево, радуйся», — причем хохотал во все горло.

Когда они остановились перед домом, его никак не удавалось вытащить из экипажа.

— Мы еще не приехали! — кричал он. — Помогите! Меня похищают! Желая ехать дальше!

Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.

При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.

— Вы меня разорвете, господа!

Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.

— Вы меня хотите надуть, — заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику, — мы шли пешком.

И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелек.

— Возьми все! Ich kann bezahlen![338] Для меня лишний крейцер ничего не значит!

Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значит тридцать

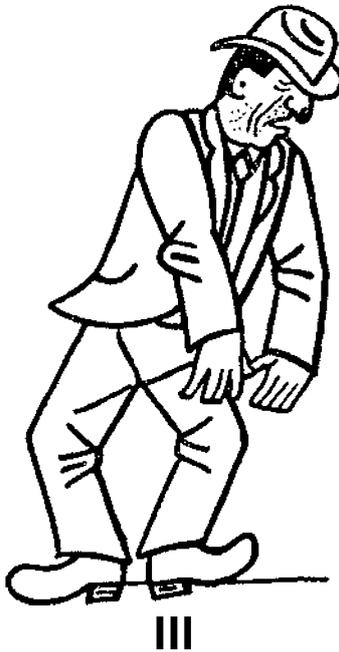
шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.

— Ну ударь! — посоветовал фельдкурат. — Думаешь, не выдержи? Пяток оплеух выдержи!

В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка.

Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы. Что только не приходило ему в голову: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки.

Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека — существо, равноценное сви-  
нье.



Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — сказал Швейк, — вы ночью...

В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили.

Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, фельдкурат пребывал в угнетенном состоянии духа.

— Не могу вспомнить, — сказал он, — каким образом я попал с кровати на диван?

— А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван — до постели дотащить не могли.

— А что я натворил? Не натворил ли я чего. А? Что же, я был пьян?

— До положения риз, — отвечал Швейк, — вдребезги, господин фельдкурат, до зеленого змия. Я думаю, вам станет легче, если вы переоденетесь и умое-  
тесь...

— У меня такое ощущение, будто меня избили, — жаловался фельдкурат, — и потом жажда. Я вчера не дрался?

— До этого не дошло, господин фельдкурат. А жажда — это из-за жажды вчерашней. От нее не так-то легко отделаться. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под новый тысяча девятьсот десятый год, а первого января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селедку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день вот уже четыре года подряд. И никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая вот карусель, как говаривал наш старый фельдфебель в Девяносто первом полку.

Фельдкурата ломало с похмелья и мучила хандра. Тот, кто услышал бы его рассуждения в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батека на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей» или что читает его книгу «Сто искр этики», — правда, с некоторыми изменениями.



— Я понимаю, — изливался фельдкурат, — если человек пьет благородные напитки, допустим, арак, мараскин или коньяк, а ведь я вчера пил можжевельковку. Удивляюсь, как я мог ее пить! Вкус отвратительный! Хотя бы это вишневка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой можжевельковки ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая можжевельковая настойка, какую я однажды пил в Моравии. А ведь вчерашняя была на каком-то древесном спирту и деревянном масле. Посмотрите, что за отрыжка! Водка — яд, — решительно заявил он. — Водка должна быть натуральной, настоящей, а та, что стряпают евреи холодным способом на фабрике, никуда не годится. В этом отношении с водкой дело обстоит, как с ромом, а хороший ром — редкость... Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, — вздохнул он, — она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске.

Он принялся рыться в кошельке.

— У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. Что, если продать диван... — рассуждал он. — Как вы думаете, Швейк? Купят его? Домохозяину я

скажу, что я его одолжил или что его украли. Нет, диван я оставлю. Пошлю-ка я вас к капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезет, ступайте в Вршовице в казарму к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Градчаны к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо платить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, зложим рояль. Будь что будет! Я вам напишу пару строк для каждого. Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша, Вообще выдумывайте, что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь, не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки.

Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывала полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты.

Деньги он получил всюду.

Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и одетому, триста крон, тот был поражен.

— Я взял все сразу, — сказал Швейк, — чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Все сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. Такая каналья! Но когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты...

— Алименты?! — в ужасе переспросил фельдкурат.

— Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто занимал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Они спрашивали, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще пятнадцати. Просили дать адрес.

— Недурно вы обстряпали это дело! — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. — Какой позор! — сказал он, хватаясь за голову. — А тут еще голова трещит!

— Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице, — разъяснял Швейк. — Я хотел провести дело основательно: приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем, пришлось кое-что выдумать. Да, вот еще: там пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится, — по крайней мере, на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу... И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене.

— А больше вы ничего не обстряпали, Швейк? — в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо двух буты-

лок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас и всегда нашлось что выпить... За роялем могут зайти? А то еще ломбард закроют...

Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу.

Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной.

Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик.

— Жаль, что у меня нет такого! — сокрушенно развел руками фельдкурат. — Трудно обо всем позаботиться заранее.

После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом.

К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему:

— Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату:

— Хватит! Теперь в постель и дрыхни! Понял?

— Лезу, милый, лезу... Как не полезть? — бормотал фельдкурат. — Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе и я за тебя писал работы по-греческому?.. У вас ведь вилла в Збраславе. Туда можно проехать паромом по Влтаве. Знаете, что такое Влтава?

Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям.

— Видите, господа, — жаловался он шкафу и фикусу, — как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! — вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель. — Восстань против меня земля и небо, я и тогда отрекусь от них!

И в комнате раздался храп фельдкурата.

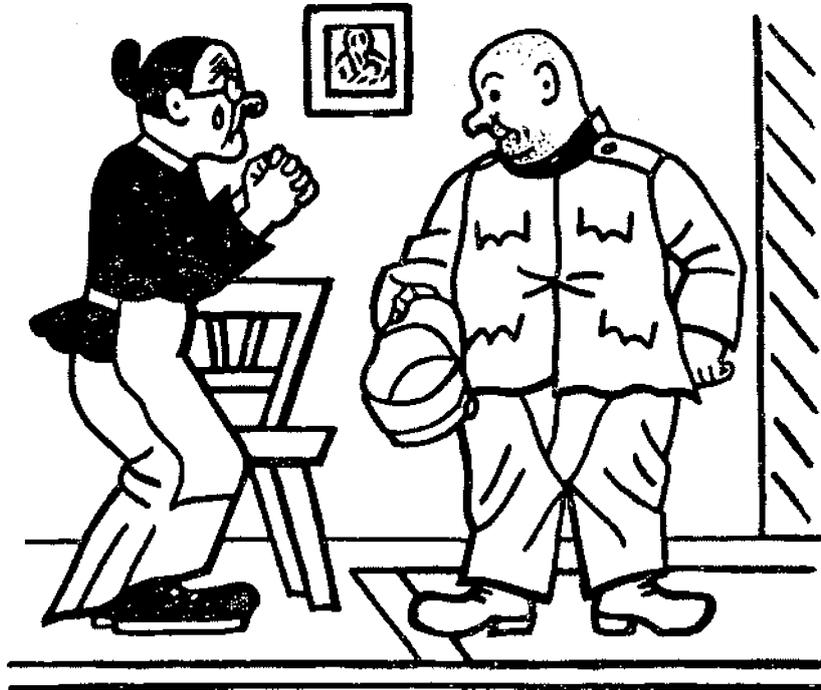
#### IV

К этому же периоду относится и визит Швейка на квартиру к его старой служанке пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и, ввиду того что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел:

*«Милая Аннушка!*

*Нам здесь очень хорошо и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной*  
 ❖❖❖ *есть и черная ❖❖❖❖. В остальном все в порядке. Еды у нас до-*

статочно, и мы собираем на суп картофельную  $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ . Слышала я, что пан Швейк уже  $\diamond\diamond\diamond\diamond$ , так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щенок той-терьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел, — с той поры, как пришли меня  $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ . Я думаю, что уже поздно и песик уже отдал  $\diamond\diamond\diamond\diamond$  душу».



Весь лист пересекал розовый штемпель:

Zensuriert. K. u. k. Konzentrationslager Steinhof[339].

— И в самом деле, песик был уже мертв! — всхлипнула двоюродная сестра пани Мюллеровой. — А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды, и цветы на окнах.

Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она наконец высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом.

— Забавно! — сказал Швейк. — Это мне ужасно нравится! Вот что, пани Кейржова, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите.

И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжения:

— Пани Кейржова, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться.

Заглянул Швейк и в трактир «У чаши». Увидав его, жена Паливца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир.

— Мой муж, — начала она мусолить старую историю, — был такой осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгулива-

ют на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали... Мы поосторожнее вас, — закончила она свою речь, — а нажили-таки беду. Не всем такое счастье, как вам.

Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошел к Швейку и сказал:

— Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать.

На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки, в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверения Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон.



— Это вам пригодится на первое время, — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. — Я вам вполне сочувствую, меня вам нечего бояться.

Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал:

— Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом... Или нет, лучше сварите грог.

## Глава XI

### Швейк с фельдкуратом едут служить полевую обедню

**П**риготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.

Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, совершали торжественное богослужение так же, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника.

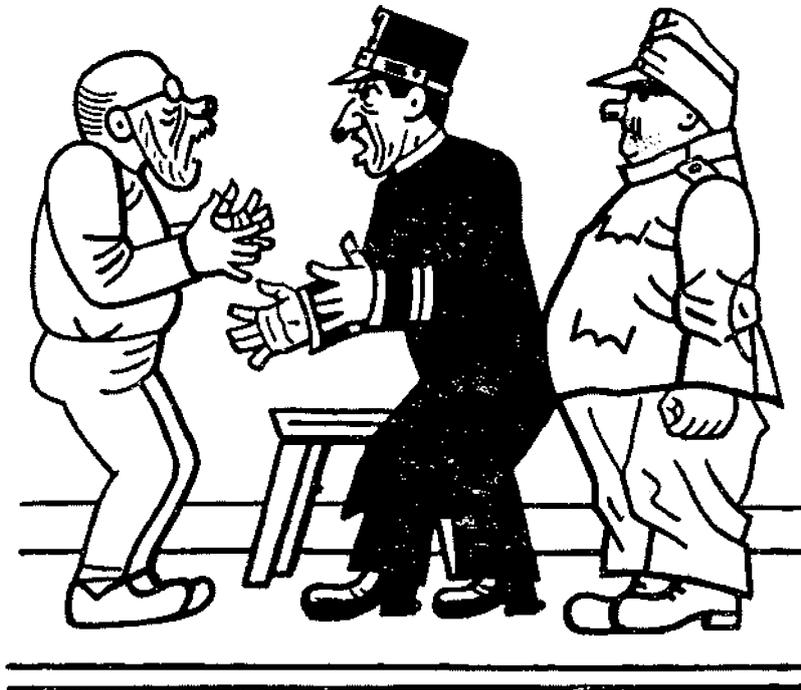
Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как-то: миссионеров, путешественников, коммивояжеров различных фирм и просто любопытных приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но, поскольку к ним еще не проникла культура церковных обла-

чений, в торжественных случаях они украшают свои зады венками из ярких перьев лесных птиц.

Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.

В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного.

В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник — к виселице, а во Франции — под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании — к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и т. д. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову или только повесят, удавят или пропустят через тебя пятнадцать тысяч вольт, — но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему!»



Великая бойня — мировая война — также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат; священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров.

Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтех, прозванный «святым», истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом — в другой.

Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их вместе с мясниками — императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге: «На суше, в воздухе, на море...» и т. д.

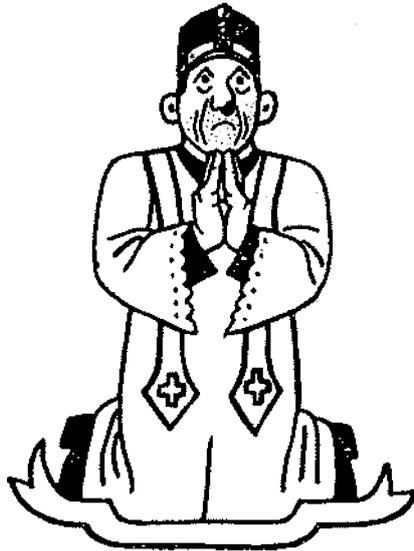
Полевую обедню служили дважды: когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем, как вели на смерть.

Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямехонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем

как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников.

Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия:

*Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось:  
сулил ты небо нам, но было суждено,  
чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась,  
оставив от тебя лишь мокрое пятно.*



II

Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия.

Фельдкурат Отто Кац был в восторге.

— Где это вы научились варить такую чудесную штуку? — спросил он.

— Еще в те годы, когда я бродил по свету, — ответил Швейк. — Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок.

— После такого грога, Швейк, хорошо служить полевую обедню, — рассуждал фельдкурат. — Я думаю перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодьям. Тут нужно иметь голову на плечах! Складной, карманный, так сказать, алтарь у нас есть... Иисус Мария! — схватился он за голову. — Ну и ослы же мы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!

— Беда, господин фельдкурат! — сказал Швейк. — Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грог и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.

— В самом деле, только походного алтаря недостает, — озабоченно сказал фельдкурат. — Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили. Дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня

должна быть своя, но где она может быть?

Он задумался.

— Допустим, я ее потерял.. В таком случае возьмем займы призовой кубок у поручика Семьдесят пятого полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба «Спорт-Фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун! Расстояние в сорок километров Вена — Медлинг покрыл за один час сорок восемь минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним, на всякий случай, еще вчера об этом договорился... Вечно я откладываю все на последнюю минуту! Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван!

И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет.

— Да идемте же искать этот походный алтарь! — взывал Швейк. — Уже утро. Надо только надеть форму и выпить на дорогу еще по стаканчику.



Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в «божье благословение» много денег, и если ему и дальше так повезет, то он выкупит рояль из ломбарда.

Это походило на обещание язычников принести жертву.

От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана — учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность: ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком.

До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться.

В Вршовицах в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костелу в ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись:

«Даровано во хвалу и славу божью учителем в отставке Коларжицом в лето от рождества Христова 1914».

Учитель, застигнутый в одном нижнем белье, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался. И когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал

на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарем вршовицкий костел.

— Это нас мало интересует, — заявил фельдкурат. — Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать ее в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!

— Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности, — добавил Швейк. — Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст божий может дорого вам обойтись! Нечего было обращать внимание на ангелов. Один человек из Згоржа тоже вот пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст божий и, вместо того чтобы чашу переплавить, понес ее священнику: хочу, дескать, пожертвовать ее в костел. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызения совести, и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел божью мать, а в результате получил десять лет. Самое благоразумное для вас — пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казенное имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.

Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.

— Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого! Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма господня в Вршовицах.

— Разумеется, за счет воинской казны? — оборвал его Швейк сурово и грубо. — Покорно благодарю за такой божий дар! Некий Пивонька из Хотеборжи, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар божий.

От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом.

Вршовицкий приходский священник еще спал и, когда его разбудили, начал браниться, решив спросонок, что его зовут с требой.

— Покоя не дадут с этим соборованием! — ворчал он, неохотно одеваясь. — И придет же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался! А потом торгуйся с ними о плате.

Итак, они встретились в прихожей — представитель господа бога у вршовицких штатских мирян-католиков, с одной стороны, и представитель бога на земле при военном ведомстве — с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным.

Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем менее его следовало перенести из дивана в ризницу костела, который посещается исключительно штатскими.

Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества, причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках.

Наконец они прошли в ризницу, и священник выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания:

«Получил походный алтарь, который случайно попал в Вршовицкий храм. Фельдкурат *Отто Кац*».

Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Мориц Малер, изготавливавшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как-то: четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки дальтонизма у железнодорожников.

Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и позеленевшим телом, словно гузка протухшего и разлагающегося гуся.

Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а, наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, — на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей компании: дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем.

Образ на противоположной створке алтаря должен был изображать святую троицу. Голубя художнику в общем не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот.

Зато бог-отец был похож на разбойника с Дикого запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы.

Бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем, бог-сын походил на спортсмена; крест он держал в руке элегантно, точно теннисную ракетку.

Издали вся троица расплывалась, создавая впечатление, будто в крытый вокзал въезжал поезд.

Что представляла собой третья икона — совсем нельзя было разобрать.

Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее под этой иконой стояло:

«Heilige Maria, Mutter Gottes, erbarme unser!»[340]

Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на святую троицу.

Швейк болтал с извозчиком о войне.

Извозчик оказался бунтарем — делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде: «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» — и так далее.

Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил:

— Пресвятую троицу и деву Марию с фельдкуратом.

Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом — в Бржевновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина.

Понятное дело — не так-то просто служить полевую обедню.

— Шаляй-валяй все делаем, — признался Швейк извозчику, и это была правда.

Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкурат забыл про министра.

Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который предпочел перевестись в телефонисты и уехал на фронт.

— Не беда, господин фельдкурат, — заявил Швейк. — Я могу его заменить.

— А вы умеете министровать?

— Никогда этим не занимался, — ответил Швейк, — но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое «*et cum spiritu tuo*»[341] к вашему «*dominus vobiscum*»[342]. В конце концов, не так уж, я думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина...

— Ладно! — сказал фельдкурат. — Только воды мне в чашу не наливайте. Вот что: вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз — значит, «направо», два — «налево». Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем, это все пустяки. Не бойтесь?

— Я ничего не боюсь, господин фельдкурат, даже не боюсь быть министрантом.

Фельдкурат был прав, что в общем все это — пустяки. Все шло как по маслу.

Речь фельдкурата была весьма лаконична:

— Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к богу: да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего.

— *Ruht!*[343] — скомандовал старый полковник на левом фланге.

Полевая обедня зовется полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных маневрах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго.

При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро.

Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает.

Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только: «*Et cum spiritu tuo*». Его движения несколько напоминали индейский танец вокруг жертвенника, но, в общем, богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев на заднем плане и

отхожими местами. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоение ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты, все шло как положено. То там, то здесь среди солдат слышалось: «Дай разок затянуться». И, как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит.

Наконец раздалось: «Zum Gebet!»[344], поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Виттингера, который он выиграл на состязании в беге на дистанции Вена — Медлинг.

Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат.

— Вот это глоток! — прокатывалось по рядам.

Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда: «На молитву!», хор грянул «Храни нам, боже, государя». Потом последовало: «Стройся!» и «Шагом марш!»

— Собирайте манатки, — сказал Швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. — Нам нужно все развезти владельцам.

Они поехали на том же извозчике и честно отдали все, кроме бутылки церковного вина.

Вернувшись домой, они отправили несчастного извозчика в комендантское управление получать плату за целодневные разъезды и Швейк обратился к фельдкурату:

— Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министр быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?

— Конечно, — ответил фельдкурат. — Иначе обедня будет недействительна.

— Господин фельдкурат! Произошла крупная ошибка, — заявил Швейк. — Ведь я — вне вероисповедания. Не везет мне, да и только!

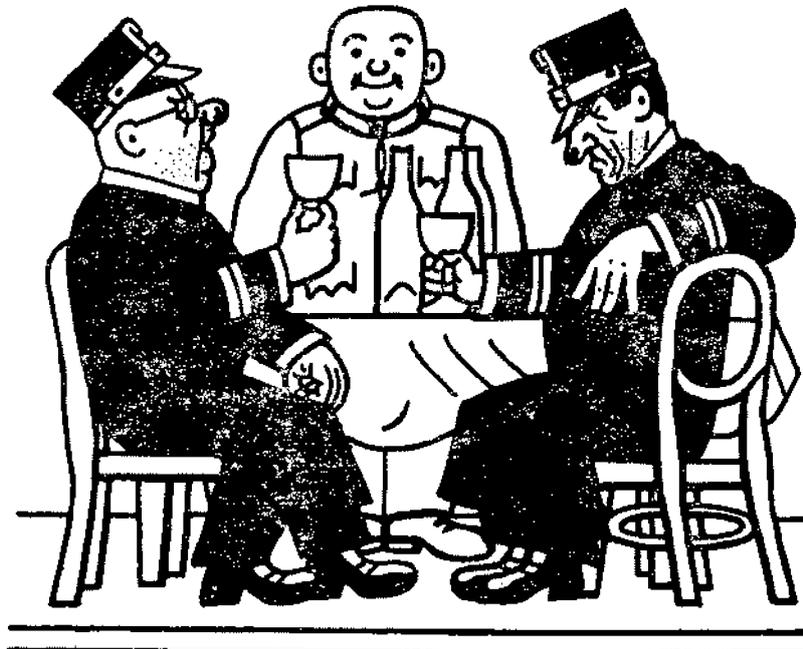
Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:

— Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви.

## Глава XII Религиозный диспут

Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам.

Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался декламировать Гейне.



Швейк отслужил с фельдкуратором еще одну полевую обедню, у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой фельдкуратор, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки — Швейк всегда носил ее с собой во время исполнения религиозных церемоний.

— Недурной коньяк, — похвастал Отто Кац. — Выпейте и поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова болит.

Набожный фельдкуратор покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью.

На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного, причем каждое третье слово ее составляли «и так далее» и «несомненно».

— Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее. Обратите же сердца

ваши к богу и так далее. Несомненно. Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее.

«Так далее» и «несомненно» гремело у алтаря попеременно с богом и со всеми святыми.

В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов.

Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких неприятностей — мило и весело. Саперы позабавились на славу.

На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору:

— Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке!

Добравшись наконец домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дароносицу.

— Неважно, — махнул рукой Швейк. — Первые христиане служили обедни и без дароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Впрочем, встречаются и такие чудачки. У нас в полку в Будейовицах служил один солдат, хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице шестьсот крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали: вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму! Никто с ним и разговаривать не хотел. Все, как один, повторяли: «Балда, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него девчонка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцуйки из трактира. Парень высох весь, стал задумываться и, наконец, бросился под поезд... А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его предупреждали: не отдавай в полицию, а он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за этот бриллиант дали? Знаем мы таких честных заявителей!» В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров, — цена этому хламу была двенадцать крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафа. После этого портной всюду говорил, что каждый честный заявитель заслуживает хорошей порки; таких, мол, нужно избивать до полусмерти, всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях... По-моему, нашу дароносительницу никто нам не вернет, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители... Вчера в трактире «У золотого венка» разговорился я с одним человеком из провинции, ему уже пятьдесят шесть лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления

округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень сказал, что везет консервы для армии, и попросил его минутку постеречь лошадей да больше не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь повозку и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться.

Вечером их навестил набожный фельдкурат, который утром тоже собирался служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к богу. Еще будучи учителем закона божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по системе розог.

Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу — результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников его сыну за то, что тот усомнился в существовании святой троицы; мальчик получил три тумака: один за бога-отца, другой за бога-сына и третий за святого духа. Сегодня бывший законоучитель пришел наставить своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу искру божью. Он начал с того, что заметил ему:

— Удивляюсь, что это у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?

Кац улыбнулся.

— Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней — моя бывшая любовница. Направо — японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли, очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк! Принесите его сюда и откройте на третьей странице.

Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.

Набожный фельдкурат был потрясен, когда на столе появились три бутылки:

— Это легкое церковное вино, коллега, — сказал Кац. — Очень хороший ринлинг. По вкусу напоминает мозельское.

— Я пить не буду, — упрямо заявил набожный фельдкурат. — Я пришел заронить в вашу душу искру божью.

— Но у вас, коллега, пересохнет в горле, — сказал Кац. — Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.

Набожный фельдкурат немного отпил и вытаращил глаза.

— Чертовски доброе винцо, коллега! Не правда ли? — спросил Кац.

Фанатик сурово заметил:

— Я замечаю, что вы сквернословите.

— Что поделаешь, привычка, — ответил Кац. — Иногда я даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Поверьте, я ругаюсь также богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе

с мое — и вы до этого дойдете. Это совсем нетрудно, а нам, духовным, все это очень близко: небо, бог, крест, причастие, и звучит красиво и вполне профессионально. Не правда ли? Пейте, коллега!

Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хотел бы возразить, но не может. Он собирался с мыслями.

— Выше голову, уважаемый коллега, — продолжал Кац, — не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слышал я, что однажды в пятницу, перепутав ее с четвергом, вы по ошибке съели в ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост мясо, не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Вам уже лучше?.. А может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются Паппеновы котлы, то есть котлы высокого давления? Считаете ли вы, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? Что в течение миллионов лет их, несчастных, мнут паровыми трамбовками для шоссежных дорог; скрежет зубовный дантисты вызывают при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? А в раю действуют распылители одеколонов и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку: ему, кажется, не по себе.

Придя в чувство, набожный фельдкурат произнес шепотом:

— Религия есть умственное воззрение... Кто не верит в существование святой троицы...

— Швейк, — перебил его Кац, — налейте господину фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он опомнится. Расскажите ему что-нибудь, Швейк.

— Во Влашине, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — начал Швейк, — был один настоятель. Когда его прежняя экономка вместе с ребенком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». — «Батюшка, — отвечает ему баба, — ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги». — «Это дьявольское наваждение, — говорит ей настоятель. — Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял ее в костеле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костела его отвезли в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре урсулинок хранится бутылочка с молоком девы Марии, которым-де она поила Христа, а в сиротский дом под Бенешовом привезли лурдскую воду, так этих сироток от нее прохватил такой понос, какого свет не видал.

У набожного фельдкурата зарябило в глазах, он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурив глаза, он спросил Каца:

— Вы не верите в непорочное зачатие девы Марии, не верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?

— Дорогой коллега, — ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине, — пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении божьем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи — и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.

— А я люблю господа бога, — промолвил набожный фельдкурат, начиная икать, — очень люблю! Дайте мне немного вина. Я господа бога уважаю, — продолжал он. — Очень, очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!

Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки подскочили.

— Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона... У него такое отвратительное имя!

— Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени, — заметил Швейк.

— Святую Людмилу люблю и святого Бернара, — продолжал бывший законоучитель. — Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесенных снегом...

Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понес околесицу.

— Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого декабря. Ирода ненавижу... Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.

Он засмеялся и запел:

*Святой боже, святой крепкий...*

Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу резко спросил:

— Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник успения богородицы?

Веселье было в полном разгаре. Появились новые бутылки, и время от времени слышался голос Каца:

— Скажи, что не веришь в бога, а то не налью.

Казалось, что возвращаются времена преследования первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:

— Верую в господа бога своего и не отрекусь от него! Не надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!

Наконец его уложили в постель. Но прежде чем заснуть, он провозгласил, подняв руку, как на присяге:

— Верую в бога — отца, сына и святого духа! Дайте мне молитвенник.

Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика

Отто Каца, и набожный фельдкурат заснул в объятиях с «Декамероном» Боккаччо.



### Глава XIII Швейк едет соборовать

Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства:

«Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила:

§ 1. Соборование на фронте отменяется.

§ 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания.

§ 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, если указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений.

§ 4. В исключительных случаях управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование.

§ 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому управление предлагает принять соборование».

Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых.

— Послушайте, Швейк, — позвал фельдкурат, — ну, не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат — это я! Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается.

— Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть, — сказал Швейк. — Катехизис для духовных пастырей — все равно что путеводитель для иностранцев... Вот, к примеру, в Эмаузском монастыре работал один помощником садовника. Решил он сделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крестным знаменем, кто единственный уберется от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и прочие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса».

Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал:

— Ну вот, соборование может совершать только священник и только еле-

ем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование.

Швейк прочел:

— «...совершается так: священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву: «Через это святое помазание и по своему всеблагодарному милосердию да простит тебе господь согрешения слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей».

— Хотел бы я знать, — прервал его фельдкурат, — как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?

— По-всякому, господин фельдкурат, — сказал Швейк. — Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках... Сами понимаете, какие там выкидывают номера.

— А ходьбой, Швейк?

— Если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели.

— А обонянием?

— Если кто нос от смрада воротит.

— Ну а вкусом?

— Когда на девочек облизывается.

— А речью?

— Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат: когда один болтает, а другой слушает...

После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом опять обратился к Швейку:

— Значит, нам нужен освященный епископом елей. Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверно, нет.

Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его было труднее, чем живую воду в сказках Божены Немцовой. Швейк побывал в нескольких москательных лавочках, но, стоило ему произнести: «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял серьезный вид.

Он решил попытать счастья в аптеках. Из первой велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету «скорой помощи», а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы Полак на Длоугом проспекте — торговля маслами и лаками — на складе наверняка найдется нужный елей.

Фирма Полак на Длоугом проспекте торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом.

Когда Швейк попросил елея, освященного епископом, на десять крон, хозяин сказал приказчику:

— Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.

А пан Таухен, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:

— Товарец высшего качества-с. В случае если потребуются кисти, лак, олифа — благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны. Фирма солидная.

Тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии.

Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения,

над которыми он от всей души хохотал.

«Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование «последнее помазание» происходит оттого, что оно обыкновенно является последним из всех святых помазаний, совершаемых церковью над человеком».

«Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста».

«Болящий принимает соборование, по возможности будучи еще в полном сознании и твердой памяти».

Пришел вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать «Союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов».

Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и «Сказание о католическом воине, умирающем за государя императора». На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валяются трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки с амуницией, торчат орудия лафетами вверх. На горизонте горит деревня и рвется шрапнель. На переднем плане лежит умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склоняется ангел, приносящий ему венок с надписью на ленте: «Нынче же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбается, словно ему поднесли мороженое.

Прочитав содержание пакета, Отто Кац плюнул и подумал: «Ну и денек будет завтра!»

Он знал этот «сброд», как он называл союз, еще по храму святого Игнатия, где несколько лет назад читал проповеди солдатам. В те времена он делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие потаскухи в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после проповеди и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока наконец его не допекли и он сказал: «Извините, mesdames, меня ждет капитан на партию в ферблан».

— Ну, елей у нас есть, — торжественно объявил Швейк, возвратясь из магазина Полака, — конопляное масло номер три, первый сорт. Хватит на целый батальон. Фирма солидная. Продает также олифу, лаки и кисти. Еще нам нужен колокольчик.

— А колокольчик на что?

— Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с господом богом и с конопляным маслом номер три. Так полагается. Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жижкове священник избил слепого, он тоже не снял шапки. Этого слепого еще посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой и, значит, звон колокольчика слышал и других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. Так если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик. Я мигом.

Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принес колокольчик.

— Это от ворот постоялого двора «У Кршижков», — сообщил он. — Обошелся в пять минут страху, но долго пришлось ждать, — все время народ мимо хо-

дил.

— Я пойду в кафе, Швейк. Если кто придет, пусть подождет меня.

Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой как палка.

Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбою уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во вселенной. Говорил он резко, сухо и строго:

— Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги — нету? А еще священник! Тьфу!

И он плюнул в кухне на пол.

— Сударь, не плюйте здесь, — попросил Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.

— А я еще плюну, видите — вот! — вызывающе ответил строгий господин и снова плюнул на пол. — Как ему не стыдно! А еще военный священник! Срам!

— Если вы воспитанный человек, — заметил ему Швейк, — то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны вести себя деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган, вы штатский оболтус.

Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал:

— Да как вы смеете! Я невоспитанный человек?! Кто же я, по-вашему? Ну?

— Дрянь! Вот кто вы, — ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. — Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.

Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата.

— Вы кончили? — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение: «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход». — Или, может быть, хотите что-нибудь добавить, перед тем как полетите с лестницы?

Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла.

Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и... такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта.

Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка.

— В следующий раз, когда придете с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично.

Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним.

Наконец гость дождался. Фельдкурат провел его в комнату и посадил на стул против себя.

Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем.

— Что вы делаете, Швейк?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков.

— Оставьте нас одних, Швейк. У нас есть кое-какие дела.



Швейк по-военному вытянулся.

— Так точно, господин фельдкурат, оставлю вас одних.

И ушел на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор.

— Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь? — спросил фельдкурат своего гостя.

— Да, и надеюсь...

Фельдкурат вздохнул.

— Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. О, как красиво звучит слово «надеюсь» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда, любовь...

— Я надеюсь, господин фельдкурат, что сумма...

— Безусловно, многоуважаемый, — перебил его фельдкурат. — Могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, которое дает деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни...

— В таком случае вы... — заикаясь, пролепетал гость.

— Да, в таком случае я, — ответил фельдкурат.

Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение.

— Сударь, это мошенничество, — сказал он, вставая.

— Успокойтесь, уважаемый!

— Это мошенничество! — закричал упрямый гость. — Вы злоупотребили моим доверием!

— Сударь, — сказал фельдкурат, — вам безусловно будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно... Швейк! — крикнул он. — Этому господину необходимо подышать свежим воздухом.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — донеслось из кухни, — один раз я его уже выставил.

— Повторить! — скомандовал фельдкурат, и команда была исполнена быст-

ро, стремительно и четко.

Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:

— Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить... В Малешицах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из Священного писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот вовремя наказует его. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке!»

— Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника, — улыбнулся фельдкурат. — Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает господа, его же представителем пастырь есть...» К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «милостью божьей предотвращены все козни врагов против дома сего».

На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошел открывать, вскоре вернулся и доложил:

— Опять он тут, господин фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать.

— Нехорошо вы поступаете, Швейк, — сказал фельдкурат. — Гость в дом — бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.

Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.

— Присаживайтесь, — ласково предложил фельдкурат. — Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?

— Надеюсь, я здесь не для шуток, — сказал мрачный господин. — Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — заметил Швейк, — вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либени. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной «Экснеров», и каждый раз он возвращался — дескать, «забыл трубку». Он лез в окна, двери, через кухню, через забор, через погреб к стойке, где отпускают пиво, и, наверно, спустился бы по дымовой трубе, если бы его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом! Наклали ему как следует!

Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил:

— Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать.

— Это вам разрешается, — сказал фельдкурат. — Говорите, уважаемый. Говорите, сколько вам угодно, а мы пока продолжим пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать? Швейк, подавайте на стол!

— Как вам известно, — начал настойчивый господин, — в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт.

Он вынул из кармана записную книжку и продолжал:

— У меня все записано. Поручик Яната был мне должен семьсот крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен две тысячи крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махек попал в Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон И таких у меня в книжке много. Один погибает в Карпатах с неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий, как назло, тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите! — он сунул Кацу под нос свою записную книжку. — Видите: фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви! Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!

— Это его долг, милый человек, — сказал фельдкурат. — Я тоже завтра пойду соборовать.

— И тоже в холерный барак, — заметил Швейк. — Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой.

— Господин фельдкурат, — продолжал настойчивый господин, — поверьте, я в отчаянном положении! Разве война существует для того, чтобы спроводить на тот свет всех моих должников?

— Вот когда вас призовут на военную службу и вы попадете на фронт, — заметил Швейк, — мы с господином фельдкуратом отслужим мессу, чтобы, по божьему соизволению, вас разорвало первым же снарядом.

— Сударь, у меня к вам серьезное дело, — настаивала гидра, обращаясь к фельдкурату. — Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить.

— Простите, господин фельдкурат, — отозвался Швейк, — извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав — ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов, я человек светский.

— Мне уже это начинает надоедать, Швейк, — сказал фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. — Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяче двухстах кронах, отвлекает меня от испытания своей совестью, от бога и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернить этот священный вечер! Скажите ему сами, Швейк: «Господин фельдкурат вам ничего не даст».

Швейк исполнил приказ, рывкнул в самое ухо гостю.

Однако настойчивый гость остался сидеть.

— Швейк, — сказал фельдкурат, — спросите его, долго ли он еще намерен здесь торчать.



— Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите, — упрямо заявила гидра. Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал:

— В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите.

— Пойдемте, сударь, — пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо. — Бог троицу любит.

И проделал свое упражнение быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле.

Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к богу, что еще в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение:

*Когда в поход мы собирались,  
слезами девки заливались.*

С ним вместе шел и бравый солдат Швейк.

В военном госпитале жаждали соборования двое: старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать.

Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезни. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли, и, когда утром в госпиталь явился фельдкурат со Швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.

— Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а они нам все дело испортили! — досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются.

И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки.

Правда, их было немного, хотя Швейк и старался наделать как можно больше шуму своим колокольчиком.

За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали хором:

— Сзади-то, сзади!

Швейк звонил, извозчик стегал кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула:

— Скачут с этим господом богом, словно черти! Так и чахотку недолго получить! — и, запыхавшись, вернулась на свое старое место.

Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчицью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.

В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк.

Фельдкурат прошел в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около ста пятидесяти крон за освященный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:

— Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конный завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искрение жалею, что те двое раненых не дождались соборования, это обошлось бы вам на пятьдесят крон дороже.

Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освященного еля, возбуждавшего в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с Чешско-Моравской возвышенности, который еще верил в бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах: дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды.

Старик резервист посмотрел на желторотого птенца и сказал:

— Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову! Дурачили нас только! До войны приезжал к нам депутат-клерикал и говорил о царстве божьем на земле. Мол, господь бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только началась война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о боге заговорили, будто о начальнике Генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом гос-

питале! Отрезанные руки и ноги прямо возами вывозят!

— Солдат хоронят нагишом, — сказал другой, — а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди.

— Пока не выиграем войну, — заметил Швейк.

— Такой денщик-холуй выиграет! — отозвался из угла капрал. — На фронт бы таких, в окопы, погнать вас на штыки, к чертовой матери, на проволочные заграждения, под огонь минометов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому не охота.

— А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком! — сказал Швейк. — Неплохо еще получить пулю в брюхо, а еще лучше, когда человека разрывает снаряд и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить.

Молоденький солдат горестно вздохнул. Ему стало жалко своей молодой жизни. И зачем только он родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? К чему все это?

Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:

— Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена...

— Оставьте свою ученость при себе, — перебил его капрал. — Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце! Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьешь!

— Пятна на солнце действительно имеют большое значение, — вмешался Швейк. — Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире «У Банзетов», в Нуслях. С той поры, перед тем как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну — «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», я никуда не хожу и пережидаю. Когда вулкан Монпелье уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Народни политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Народни политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели!

Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из «Союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов», старую, противную каргу, которая с самого утра ходила по госпиталю и раздавала образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы.

Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно-де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда сообщила фельдкурату:

— Эта война, вместо того чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.

Внизу больные показали ей язык, обозвали чучелом и «валаамовой ослицей».

— Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben[345].

И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдат. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя императора, когда верит в бога и полон религиозных чувств. Только тогда

он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай.

Болтунья наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать фельдкурата. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней.

— Поехали домой, Швейк! — крикнул он в караульное помещение.

Обратно они ехали без всякой торжественности.

— В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, — сказал фельдкурат. — Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией! Сволочи!

Увидев в руках Швейка бутылочку с «освященным елеем», он нахмурился:

— Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги.

— Я еще попробую смазать этим дверной замок, — прибавил Швейк, — а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой.

Так, не начавшись, закончилось соборование.

## Глава XIV

### Швейк в денщиках у поручика Лукаша

Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратом. Если до сих пор фельдкурат был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску.

Фельдкурат продал Швейка поручику Лукашу или, точнее говоря, проиграл его в карты: так некогда продавали в России крепостных.

Произошло все это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды теплая компания. Играли в «двадцать одно».

Фельдкурат все проиграл и заявил:

— Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но фигура презанятная, нечто *non plus ultra*[346]. Ручаюсь, что такого денщика у вас еще не было.

— Даю сто крон, — предложил поручик Лукаш. — Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип — вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все что попало. Бил я его — не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба — и это его не исправило.

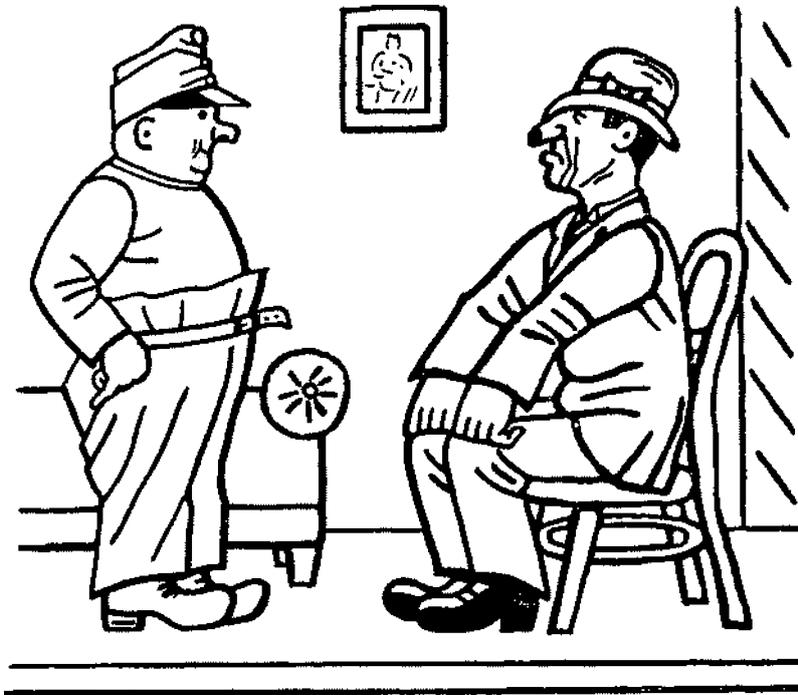
— Идет, — легкомысленно согласился фельдкурат. — Послезавтра получишь или сто крон, или Швейка.

Он проиграл и эти сто крон и, опечаленный, побрел домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра денег ему нигде не раздобыть и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал Швейка.

«Нужно было взять двести крон», — упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довезти его до дому, он ощутил угрызения совести и почувствовал приступ сентиментальности.

«Это некрасиво с моей стороны, — думал он, звоня к себе в квартиру. — Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза...»

— Милый Швейк, — сказал он, входя в комнату, — со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомета на руках



был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз прикупал к тузу или к десятке и каждый раз у банкюмета было столько же. Просадил все деньги...

Он замялся.

— ...и наконец проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль...

— Сто крон у меня найдется, — сказал Швейк. — Могу вам одолжить.

— Давайте их сюда, — оживился фельдкурат. — Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расставаться.

Лукаш был немало удивлен, снова увидев фельдкурата у себя.

— Пришел заплатить тебе долг, — заявил фельдкурат с победоносным видом. — Дай-ка и мне карту. А ну-ка... — сказал он, когда пришла его очередь. — Всего очко перебрал, — добавил он. — Ну, значит, играю, — сказал он, когда подошел следующий круг. — Беру! Стоп!

— Двадцать, — объявил банкюмет.

— А у меня девятнадцать, — произнес фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства.

Возвращаясь домой, фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша.

И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал:

— Все напрасно, Швейк. От судьбы не уйдешь! Я проиграл и вас и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша... Пришла пора нам расстаться.

— А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк. — Плохо дело, когда карта не идет, но еще хуже, когда везет чересчур... Жил в Здеразе жестяник, по фамилии Вейвода, частенько игрывал в «марьяж» в трактире позади «Столетнего кафе». Однажды черт его дернул предложить: «Не перекинуться ли нам в «двадцать одно» по пяти крейцеров?» Ну, се-

ли играть. Держал банк он. Все проиграли, банк вырос до десятки. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и все время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда». Вы не можете себе представить, как ему не везло: маленькая, плохонькая не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно: «Маленькая, плохонькая, сюда». Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Трубочистный мастер так разошелся, что сбегал домой за деньгами и, когда в банке было больше чем полторы сотни, пошел ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупать хоть до тридцати, только бы не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: «Шестнадцать». А у трубочиста всего-навсего оказалось пятнадцать. Ну, разве это не невезение! Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться, что, дескать, передергивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной. Там уже скопилось пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по сто крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую!» — сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду — у него было двадцать одно. Старик Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил. «Теперь придет туз или десятка, — заметил со злорадством трактирщик. — Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут». Все затаили дыхание, Вейвода тянет, и появляется... третья семерка. Трактирщик побледнел как полотно (это были его последние деньги) и ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка — он был у него в ученье, — кричит, чтобы мы скорей сняли трактирщика: хозяин-то висит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было — все деньги лежали в банке у Вейводы. А Вейвода знай свое: «Маленькая, плохонькая, сюда», и счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол, не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились: если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Здераза — около миллиона, швейцар из «Столетнего кафе» — восемьсот тысяч крон, а фельдшер — больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки: то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло двадцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостильщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что тако-

му нужно наподдать коленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место, — сказал он трубочисту. — Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовскую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар — свыше трех. А в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостильщик крикнул: «Спасайся, кто может!» Но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Здразский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в «корзине». В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал, — сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. — Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка, свыше ста шестидесяти миллионов крон. Старик от этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе нестораемые шкафы... Вот это называется — повезло в карты!

Тут Швейк пошел варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил.

— Продал я тебя, дружище, — всхлипывал он, — позорно продал. Прокляни меня, ударь — стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею взглянуть. Бей меня, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил. Знаешь, кто я?

И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул:

— Я последний подлец... — и уснул, словно ко дну пошел.

На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем.

— Швейк, — сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, — покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу.

Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен: «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет...»

— За тебя я не боюсь, — сказал Швейк. — С такими способностями ты у фельдкурата удержишься.

Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.



II

Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, еще у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы рыцарей. Кем, скажем, был Санчо Панса у Дон-Кихота? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. А то мы прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толедо с голода съел без соли своего денщика; об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной.

В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между

прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым, — словом, идеалом человека. Наша эпоха много изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врет, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это хитрый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдется самоотверженных существ, вроде благородного Фернандо, денщика альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет — в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками — начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходило до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик — вещь, часто только чучело для оплеух, раб, прислуга с неограниченным числом обязанностей. Не удивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и хитрить. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг — мальчишек в ресторанах в старое время; у них чувство порядочности развивали подзатыльниками и колотушками.

Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить. От него зависит отпуск. Он может походайствовать, чтобы при рапорте все сошло хорошо.

Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу.

В Девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награжден малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить.

Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, этот начальник выразился так:

«В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнем наступающего противника».

А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила мундир, сшитый лично ей по мерке.

Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройца, жи-

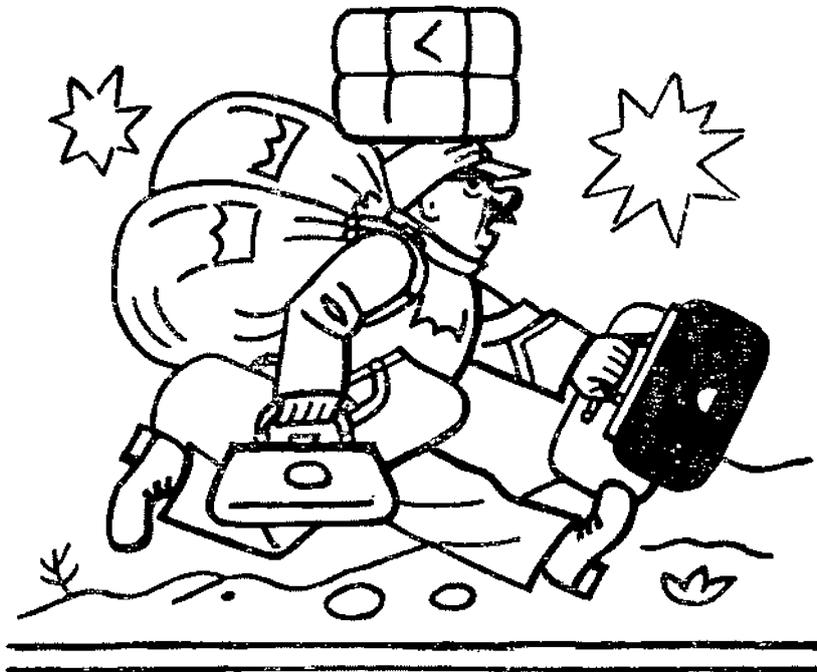
вя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах.

Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если денщик говорил: «В два часа тридцать пять минут улепетнем», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля.

Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню.

— Я люблю грудинку, — говорил он повару, — а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки, знаешь ведь, что я селезенку не жру.

Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашел артиллерийский снаряд. В эти минуты он желал только одного: чтобы его командир был ранен и он вместе с ним попал бы в тыл, как можно подальше.



Своими «секретами» он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», — сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив, если мог потом сказать: «Уже собрали».

Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель; не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека, совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество.

Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег как зеницу ока.

Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще пять различных ручных чемоданов да два одеяла и подушку, не считая узла, который он нес на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки.

Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента. зорко охранять каждую вещь... и умереть на своих чемоданах от сыпного тифа в лагере для военнопленных.

В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаве. Каждый из них — Наполеон. «Вот я и говорю нашему полковнику, пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать».

В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата связывали.

Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.



### III

Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей Австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона; в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я тоже чех...»

Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше.

Но в остальном он был человек славный: не боялся начальства и на маневрах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывал ее по сараям и часто из своего скромного жалованья выставлял солдатам бочку пива.

Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал:

*А как ноченька пришла,  
овес вылез из мешка,*

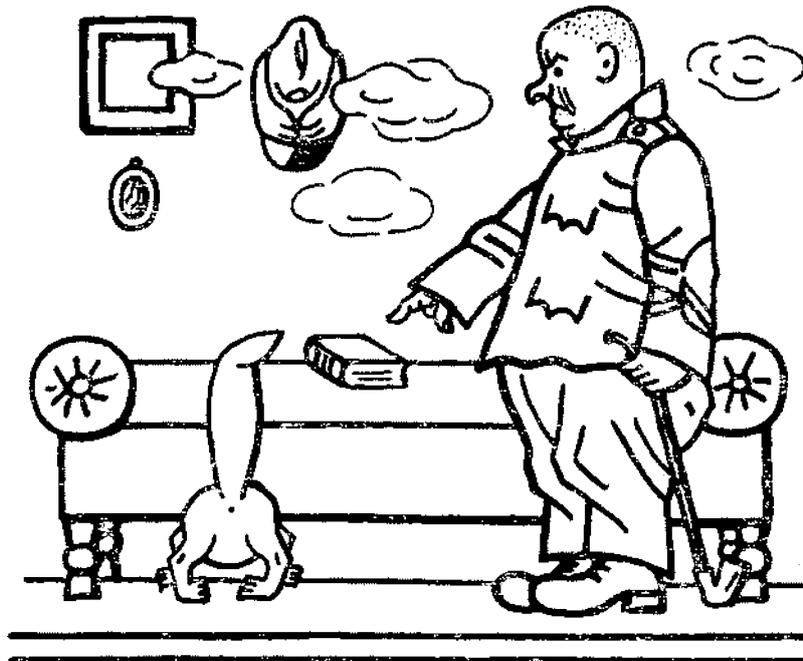
*тумтария бум!*

Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придираться.

Унтеры дрожали перед ним. Из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца.

Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения.

— Видите ли, голубчик, право же, мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины — «былинка, ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на мундире, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил? Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечет за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьете пуговицу и, значит, начнете лодырничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку, послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и, наконец, заснете на посту — и все из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Так-то, голубчик! Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжелого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определенную цель — исправление наказуемого солдата.



Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямоотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался.

Он родился в деревне среди темных лесов и озер Южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности.

Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным: он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда самые негодные и подлые.

Он не считал их за солдат, бил по лицу, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял их и всегда приходил к заключению: «Опять попалась подлая скотина!» Своих денщиков он считал существами низшего порядка.

Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гарцкая канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость.

Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников Швейка отвел бедного пса к живодеру на Панкрац, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело десять крон из своего кармана. А поручику он доложил, что пес сбежал на прогулке. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу.

Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик провел его к себе в комнату и сказал:

— Вас рекомендовал мне господин фельдкурт Кац. Надеюсь, вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу: «Прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?

Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым, добродушным тоном:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это гарцкая канарейка.

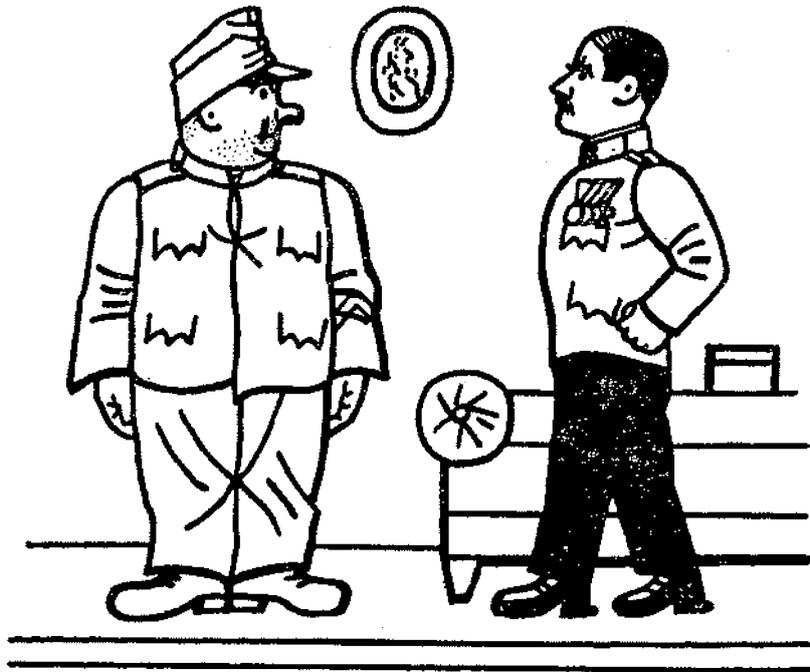
Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и, не моргнув глазом, уставился на поручика.

Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное выражение лица Швейка, произнес только:

— Господин фельдкурт аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурт взаправду не ошибся. Когда я служил на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, всеми признанного идиотизма. По этой причине отпустили из полка двоих: меня и еще одного, капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой — в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты... э-э... имейте в виду... э-э... что сегодня... среда, потому что... завтра будет четверг... э-э...»

Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну,



мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал «равнение направо» и «равнение налево» — смотря по тому, где находился поручик, — с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковер, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане:

— Да-с! Чтобы всегда у меня был порядок и чистота и не сметь лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и наказываю за нее немилосердно. Вы меня поняли?

— Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжет. Если уж начал кто завираться — знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он, лесник, как, значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что все это враки. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую операцию, да учитель отговорился: он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков. Так он и врал — чем дальше, тем больше. Наконец со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгреб и доставил жандармам, а оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, получил бы порцию щетины с солью всего-навсего; я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, — прийти и сказать: дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчет честности, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдет. Ну, все равно как при состязании в ходьбе: как только начнешь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорожденный, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным».

В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несую такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу».

Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк

закончил:

— Вы должны ходить в чищенных сапогах, держать мундир в порядке и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босняка. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был хравый вид, да и тот в конце концов украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале.

Поручик умолк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напирая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома.

— У меня бывают дамы, — подчеркнул он. — Иногда дама остается ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?

— Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если я неожиданно влзу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привел к себе домой барышню, и, когда мы с ней особенно мило развлекались, моя служанка возьми и принеси нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеем всю спину да еще сказала: «Дай вам господь доброго утра!» Нет, я знаю, как вести себя, когда ночует дама.

— Отлично, Швейк! С дамами мы должны вести себя исключительно тактично, — сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего все его свободное от казарм, плаца и карт время.

Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались приукрасить квартиру всевозможными безделушками.

Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику премиленькую дорожку на стол, на всем его нижнем белье монограммы и, наверное, докончила бы коврик на стену, если бы ее муж не прекратил эту идиллию.

Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню в дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила изображение ангела-хранителя.

Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой, она проникла и на кухню, где можно было видеть самые разнообразные кухонные принадлежности — великолепный подарок одной влюбленной фабрикантши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для толчения сухарей, растирания печенки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что еще.

Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что кроме нее у Лукаша есть еще около двадцати других любовниц: последнее обстоятельство заметно отразилось на исполнительных способностях этого породистого самца в мундире.

Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять склонность к фетишизму, У него хранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные, тончайшие дамские рубашечки, батистовые

платки и, наконец, один корсет и несколько чулок.

— Сегодня у меня дежурство, — сказал поручик Швейку, — я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт.

Отдав приказания, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не преминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.

После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала: сожрала вашу канарейку.

— Как?! — загремел поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных! Наш шляпный мастер выучил-таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трех канареек» а теперь уже ни одной больше не жрет, и канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такой наглости! Был бы это, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал, а то ведь замечательная канареечка, гарцкая! Да с такой еще жадностью жрала, вместе с перьями, и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования, они, бестии, не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслят... Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродинной, делать.

Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил:

— Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?

— Так точно, господин обер-лейтенант, — торжественно ответил Швейк. — Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Разве я виноват, что она сожрала канарейку и все знакомство на этом оборвалось! Несколько лет назад в гостинице «У Штупартов» кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи... И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится.

И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все Общество покровительства животных.

Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его:

— Вы умеете обращаться с животными? Любите их?

— Больше всего я люблю собак, — сказал Швейк, — потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми! Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворяжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса, из самой Германии, шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», — говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал: от одного — уши, от другого — хвост, еще от одного — шерсть на морде, от третьего — морду, от четвертого — кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Вот купил я однажды этакого кобеля, звали его Балабан, так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости; был он такой заброшенный и все время сидел у меня дома в углу, все грустил, так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел.

Поручика начал занимать этот доклад по собаководению. И Швейк смог без помехи продолжать:

— Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или выдаете такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрасьте пса в черный цвет — будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянки, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что: с людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить, и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить той-терьера, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо терьера охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только той-терьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и, вместо того чтобы увести дога, унесет в кармане вашего карликового терьера... Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчишки

играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет, что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырех часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: «Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост», — и больше мне с этой дамой не довелось разговаривать: из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом... Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно...

— Я сам люблю собак, — сказал поручик. — Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что, если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех; то есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю...

— По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер — очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что он щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, и умные. Куда до них болванам сенбернарам! Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного...

Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка:

— Уже поздно, мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера.

Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм.

«Скажите пожалуйста! — заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня. — Султан наградил императора Вильгельма большой серебряной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной нет».

Швейк задумался и вдруг вскочил.

— Чуть было не забыл! — И пошел в комнату к поручику.

Поручик крепко спал. Швейк разбудил его:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказания насчет кошки.

Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» — и заснул опять.

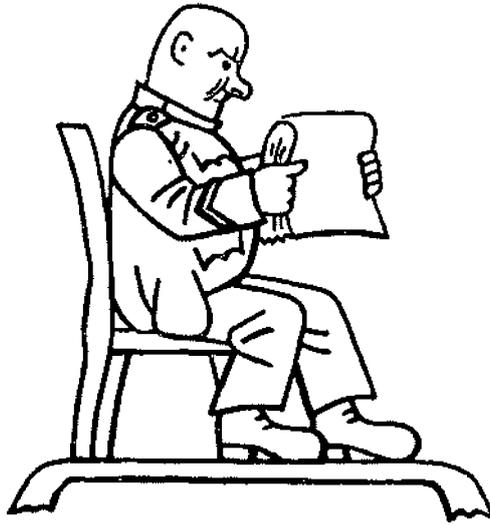
Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей:

— Три дня ареста, abtreten!

И ангорская кошка полезла обратно под диван.

#### IV

Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашем. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк



успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного.

— Нету дома, — твердо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку:



— Отнесите чемоданы в комнату.

— Без разрешения господина поручика нельзя, — сказал Швейк. — Господин поручик приказал мне без него ничего не делать.

— Вы с ума сошли! — вскричала молодая дама. — Я приехала к господину поручику в гости.

— Об этом мне ничего не известно, — ответил Швейк. — Господин поручик на службе и вернется только ночью, а я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. На нашей улице, у кондитера Бельчицкого, оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал... Конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного, — продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет, — но оставаться вам здесь решительно нельзя. Согласитесь сами: раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не полу-

чил приказания от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок.

Молодая дама между тем немного пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала:

— Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам пять крон на дорогу.

— Ничего не выйдет, — ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гостьи. — Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдемте вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмо и принесу ответ. Но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя! — После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами, как дворцовый ключник, стоя в дверях многозначительно сказал: — Запираем...

Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его, только когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор:

— А вы передадите наверное?

— Передам, раз обещал.

— А вы найдете господина поручика?

— Не знаю.

Они молча шагали рядом, пока наконец спутница Швейка не заговорила опять:

— Так вы думаете, что вы господина поручика не найдете?

— Нет, не думаю.

— А где он может быть, как вы думаете?

— Не знаю.

На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом:

— Вы не потеряли письмо?

— Пока что нет.

— Так вы наверное передадите его господину поручику?

— Да.

— А найдете вы поручика?

— Я уже сказал, что не знаю, — ответил Швейк. — Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же! Это все равно как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число.

Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор о войне с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить себе, какое это доставило даме удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в «Хронике мировой войны». Под фотографией стояла надпись: «Наследник австрийского престола беседует с

двумя летчиками, сбившими русский аэроплан».

Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманек, прибыл в Киев, а также что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами.

Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться.

Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернется — пусть она никуда не уходит, а сам пошел наверх в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить, и не имеет ни малейшего понятия о геометрии.

— Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии шестисот метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это очень просто, не правда ли?

Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегченно вздохнул, когда Швейк подошел к поручику и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам это письмо и ждет ответа. — При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул.

То, что прочел поручик, не произвело на него благоприятного впечатления.

*«Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muß unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh, ich bin unglücklich. Deine Katy».*[347]

Поручик Лукаш вздохнул, повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком.

— Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?

— Осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя как полагается, но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там не оставил. Ко всему прочему, она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой.

Поручик еще раз громко вздохнул, Швейк тоже вздохнул.

— Что?! — угрожающе крикнул поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтешской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжить из квартиры. В конце концов ему пришлось отравить и себя и ее светильным газом, и шутке был конец. Беда с бабьем! Я их на-

сквозь вижу!

— Тяжелый случай! — повторил поручик за Швейком; и никогда еще он не был так близок к истине.

«Дорогой Генрих» был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Тршебони пани Мицкова, чтобы в течение трех дней повторить то, что она регулярно делает раз в три месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера.

Поручик сидел на столе повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке:

*«Дорогая Катя!*

*До девяти часов вечера я буду на службе. Приду в десять. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены.*

*Твой Индржих».*

— Отдайте письмо даме, — сказал поручик. — Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все ее желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчет. Наверно, она пошлет вас за чем-нибудь; закажите для нее обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и сигареты «Мемфис». Так. Больше пока ничего. Можете идти. Еще раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, какое только прочтете в ее глазах.

Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и было очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке.

Швейк взял под козырек, подал ей письмо и доложил:

— Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично, служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас все, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта сто крон, но из этих денег я должен еще купить три бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис».

Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть к кучеру на козлы.

Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела ее в сильнейшее негодование.

Все это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго окопаться на этих завоеванных позициях.

Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришлось в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью, и, когда Швейк перетащил все из угла в угол, ей опять



не понравилось, и она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки.

Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу ее энергия в устройстве гнездышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился.

Дама вынула из комода чистое постельное белье и сама переменила наволочки на подушках и перинах. Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет заставлял чувственно трепетать ее ноздри.

Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама между тем переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно.

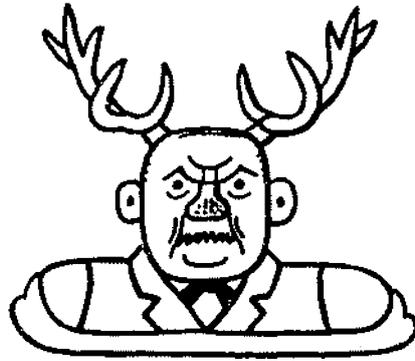
За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу «мемфисок» и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки.

— Швейк! — раздалось вдруг из спальни. — Швейк!

Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках.

— Войдите.

Швейк подошел к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную



материю, которая покрывала и скрывала все, приказала строго:

— Снимите башмаки и брюки. Покажите...

Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию.

— Спасибо, Швейк, — сказал поручик. — Много у нее было желаний?

— Так примерно шесть, — отрапортовал Швейк. — Теперь она спит как убитая, уездила. Я исполнил все ее желания, какие только смог прочесть в ее глазах.

## V

В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Рабо, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землю целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывающей теперь роль хозяйки дома.

Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться.

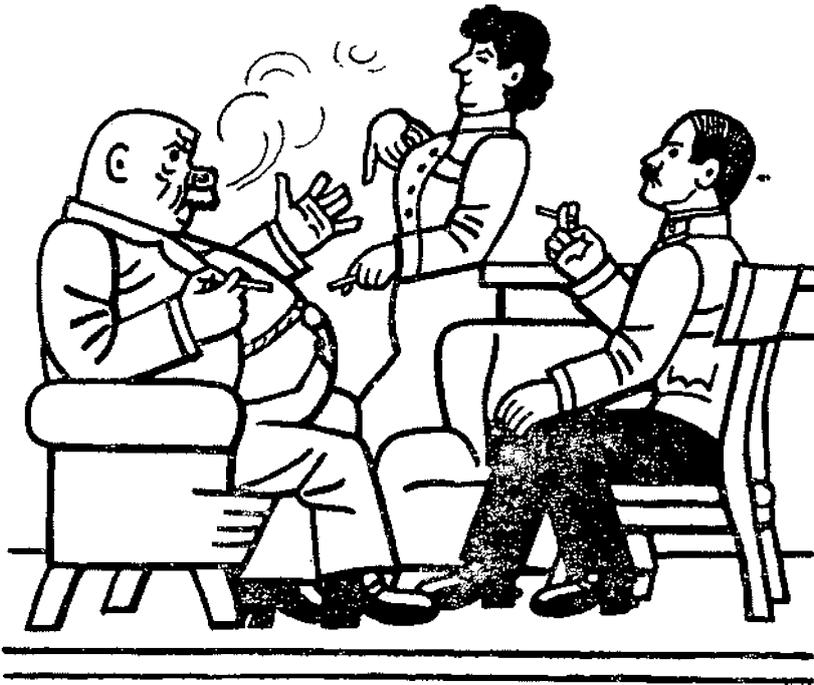
— Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если б ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он ее разыскивает, об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас и он может ее забрать, — и дело с концом. Во Вшенорах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и ее любовнику. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет... Да в конце концов вы совершенно не виноваты, никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два...

— Он весьма интеллигентный человек, — прервал Швейка поручик Лукаш, — я его знаю. Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму.

Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы:

«Адрес вашей супруги в настоящее время...» Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша.

В один прекрасный день пани Кати была весьма неприятно поражена, когда в квартиру нагрянул оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кати, не потеряв в этот момент



присутствия духа, представила друг другу обоих мужчин.

— Мой муж... Господин поручик Лукаш.

Ничего другого ей не пришло в голову.

— Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер, — приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем: — Не угодно ли?

Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил:

— Скоро едете на фронт, господин поручик?

— Я подал рапорт о переводе меня в Девяносто первый полк в Будейовицах. Вероятно, поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление: молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того чтобы стремиться стать кадетами, кандидатами на офицерскую должность.

— Война сильно повредила торговле хмелем, однако я думаю, она долго не продлится, — заметил торговец, поглядывая поочередно то на свою жену, то на поручика.

— Наше положение весьма благоприятно, — сказал поручик Лукаш. — Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи. Однако нет никакого сомнения, что, как только мы прорвем фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей Восточной Франции и, кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А еще надо учесть, что в Сербии наши маневры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку, многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что

наши строго рассчитанные маневры на южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть...

Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвел к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять:

— Восточные Бескиды — это наш самый надежный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы: война кончится скорее, чем мы предполагаем.

— А что Турция? — спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал.

— Турки держатся прекрасно, — ответил поручик, опять подводя его к столу. — Глава турецкого парламента Гали-бей и Али-бей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданельской армией назначен маршал Лиман фон Зандерс. Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. Наш император наградил орденами Энвер-пашу, вице-адмирала Уседон-пашу и генерала Джевад-пашу. Довольно много наград за такой короткий срок.

Некоторое время все сидели молча друг против друга, пока поручик не счел удобным прервать тягостное молчание словами:

— Когда изволили приехать, пан Вендлер?

— Сегодня утром.

— Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома: я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, собственно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, ее здесь никто не побеспокоит. Ради старого знакомства...

Торговец хмелем кашлянул.

— Кати — странная женщина, господин поручик. Примите мою сердечную благодарность за все, что вы для нее сделали. Ни с того ни с сего вздумалось ей ехать в Прагу лечиться от нервов. Я в разъездах, приезжаю домой — никого. Кати нет...

Притворясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил:

— Ты, наверно, решила, что если я уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома. Ты, конечно, и не подумала...

Видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и, указывая на подчеркнутые места, сказал:

— Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Посмотрите на эту большую, обращенную к юго-западу дугу, где группа гор образует естественное укрепление. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и Северной армией на Висле. Теперь вам это понятно?

Торговец хмелем ответил, что теперь ему все совершенно понятно, но потом с присущей ему тактичностью спохватился, что это могут принять за намек, и, садясь на прежнее место, заметил:

— Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия,

Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока еще отправляем его в Италию, но опасаясь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы!

— Италия сохранит строгий нейтралитет, — утешал его поручик. — Это совершенно...

— Но почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией? — внезапно рассвирепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову: и хмель, и жена, и война. — Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие, экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она еще в тысяча девятьсот двенадцатом году возобновила с нами тройственный союз? О чем думает итальянский министр иностранных дел маркиз ди Сан Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь?.. Пожалуйста, не думайте, что я не в курсе событий, — продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма.

Пани Кати с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догнало другое и разбивало его.

— Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему между Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбр-а-Вевр у Марша сгорело три пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше пятисот мешков хмеля? Гармансвейлерский пивоварный завод в Вогезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мильгауза сровнен с землей. Вот вам уже убыток в тысячу двести мешков хмеля в год для моей фирмы. Шесть раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек — вот вам еще убыток в триста пятьдесят мешков хмеля в год!

От волнения он не мог связно говорить, встал, подошел к своей жене и сказал:

— Кати, ты немедленно поедешь со мною домой. Одевайся! Меня все эти события совершенно выводят из равновесия, — сказал он через минуту, словно оправдываясь. — А раньше я был вполне уравновешенным человеком.

Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику:

— Это она проделывает не в первый раз: в прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с загребским пивоварным заводом на поставку шестисот мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя. Нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесет нам последний удар.

И, закуривая предложенную поручиком сигарету, он с отчаянием в голосе сказал:

— Одна только Варшава покупала у нас две тысячи триста семьдесят мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там Августинский. Их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние! Хорошо еще, что у меня нет детей!

Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя Августинского завода из Варшавы вызвало у поручика легкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счел нужным продолжить свою речь:

— Венгерские пивоваренные заводы в Шопроне и в Надьканиже покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию, приблизительно тысячу мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на тридцать процентов дешевле, а они все-таки не заказывают ни одного мешка... Застой, упадок, нищета, да ко всему этому еще семейные неприятности!

Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушила пани Кати, приготовившаяся к отъезду.

— Как быть с моими чемоданами?

— За ними заедут, Кати, — сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходов и неприятных сцен. — Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в два двадцать.

Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передней поручику:

— В случае если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать как самые заботливые няньки.

Вернувшись в спальню, где пани Кати одевалась на дорогу, поручик нашел на умывальнике четыреста крон и записку:

*«Господин поручик, вы не могли защитить меня от этой обезьяны, моего мужа, идиота высшей марки. Вы позволили ему утащить меня, как какую-то забытую в вашей квартире вещь. Кроме того, вы позволили себе заметить, будто предложили мне свое гостеприимство. Надеюсь, я ввела вас в расходы не более чем на прилагаемые здесь четыреста крон, которые прошу разделить с вашим денщиком».*

Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках, потом медленно разорвал ее, с улыбкой взглянул на деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причесываясь перед зеркалом, в волнении забыла на столе расческу, приобщил эту расческу к коллекции своих фетишей-реликвий.

После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика.

— Швейк, — сказал поручик, — вам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала. Ее увез муж. А за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике четыреста крон. Вы должны как следует поблагодарить ее, а также ее супруга, потому что это, собственно, его деньги, которые она забрала с собой на дорогу. Я вам продиктую письмо.

И он продиктовал:

— «Милостивый государь! Соблаговолите передать сердечную благодарность вашей супруге за четыреста крон, подаренные мне ею за услуги, которые я ей оказал во время пребывания в Праге. Все, что я для нее сделал, я делал с удовольствием и посему не могу принять эти деньги и посылаю их...» Ну, пишите же дальше, Швейк! Чего вы там вертитесь! На чем я остановился?

— «...и посылаю их...» — срывающимся, трагическим голосом прошептал Швейк.

— Так, отлично! «...посылаю их обратно с уверениями в совершенном уважении. Шлю почтительный привет и целую ручку вашей супруге. Йозеф Швейк, денщик поручика Лукаша...» Готово?

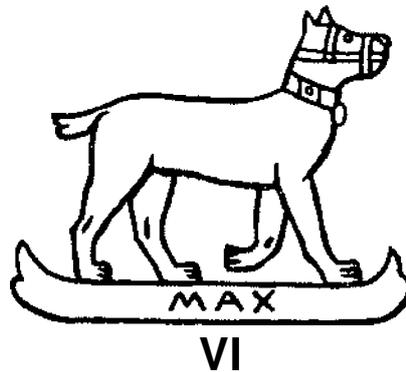
— Никак нет, господин обер-лейтенант, числа еще не хватает.

— «Двадцатого декабря тысяча девятьсот четырнадцатого года». Так. А теперь напишите конверт, возьмите четыреста крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу.

И поручик Лукаш начал весело насвистывать арию из оперетки «Разведенная жена».

— Да, вот еще что, Швейк, — сказал поручик, когда Швейк уходил на почту. — Как там насчет собаки, которую вы ходили искать?

— Есть одна подходящая, господин обер-лейтенант. Замечательно красивый пес. Но достать его будет трудновато. Завтра авось все-таки приведу. Кушается!



Последнего слова поручик Лукаш недослышал, а между тем оно было очень важным. «Хватает, сволочь, за что попало, — хотел еще раз повторить Швейк, но в конце концов решил: — Какое, собственно говоря, поручику до этого дело? Он хочет иметь собаку и получит ее».

Легко, конечно, сказать: «Приведите мне собаку». Но ведь каждый хозяин зорко следит за своей собакой, даже и за нечистокровной. Даже Жучку, которая ни на что другое не способна, как только согреть своей старушке хозяйке ноги, хозяйка любит и в обиду не даст.

Сама собака, особенно породистая, инстинктом чувствует, что в один прекрасный день ее у хозяина утащат. Она живет в постоянном страхе, что ее украдут, непременно украдут на прогулке. Например, пес отбегает от хозяина, сначала веселится, резвится, играет с другими собаками, лезет на них, не признавая никакой морали, а они на него, обнюхивает тумбы, закидывает ножку на каждом углу (кстати, и около торговки прямо на корзинку с картошкой), — словом, наслаждается жизнью вволю. Мир кажется ему поистине прекрасным, как юноше, удачно сдавшему экзамены на аттестат зрелости.

Но вдруг вы замечаете, что вся резвость его исчезает: пес начинает чувствовать, что погиб. Тут на него находит отчаяние. В испуге он носится взад и вперед по улице, тянет носом, скулит и в полном отчаянии, поджав хвост, заложив уши назад, начинает метаться посреди улицы, сам не зная куда.

Обладай он даром речи, он непременно закричал бы: «Господи боже, меня украдут!»

Были ли вы когда-нибудь на собачьем рынке, видели ли там очень испуганных собак? Это все краденые. Большой город воспитал особый вид воров, живущих исключительно кражей собак. Существуют породы маленьких, са-



лонных собачек — карликовые терьеры величиной с перчатку, которые легко поместятся в кармане пальто или в дамской муфте, где их и носят. Даже и от туда воры стянут у вас бедняжку! Злого немецкого пятнистого дога, свирепо стерегущего загородный особняк, крадут посреди ночи. Полицейскую собаку стибрят из-под носа у сыщика. Если вы ведете собаку на шнурке, у вас перережут шнурок и скроются с собакой, а вы будете стоять и с глупым видом разглядывать обрывок. Пятьдесят процентов собак, которых вы встречаете на улице, несколько раз меняли своих хозяев. И вы можете купить свою собственную собаку, которую у вас несколько лет назад еще щенком украли во время прогулки.

Но самая большая опасность быть украденной грозит собаке, когда ее выводят для отправления малой и большой физиологической надобности. Особенно много пропадает их при последнем акте. Вот почему каждая собака настоятельно оглядывается при этом по сторонам.

Есть несколько методов кражи собак. Собаку крадут или прямо, непосредственно — как воруют из кармана, или же несчастное создание коварным образом подманивают. Собака — верное животное... но только в хрестоматиях и учебниках естествознания. Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и в предвкушении сардельки он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.

На Малой Стране у Замковой лестницы приютилась маленькая пивная. Однажды в этой пивной в заднем углу в полутьме сидели двое: солдат и штатский. Наклонившись друг к другу, они тайно шептались. У обоих был вид заговорщиков времен Венецианской республики.

— Каждый день в восемь часов утра, — шептал штатский солдату, — прислуга водит его в сквер, на углу Гавличковой площади. Но кусается, сволочь, зверски. Погладить не дается.

И, наклонившись еще ближе к солдату, штатский зашептал ему на ухо:

— Даже сардельку не жрет.

— А жареную?

— И жареную не жрет.

Оба сплюнули.

— Так что же эта сволочь жрет?

— А черт ее знает что! Бывают такие изнеженные да избалованные псы, что твой архиепископ.

Солдат и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал:

— Один черный шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, тоже никак не хотел брать у меня сардельку. Ходил я за ним три дня, наконец не выдержал и прямо спросил хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, что, собственно, этот шпиц жрет. Уж больно он красивый. Хозяйке это польстило, и она сказала, что шпиц больше всего любит отбивные котлеты. Купил я ему шницель. Думаю, это будет еще лучше. А шпиц-то, стерва, понимаешь, на шницель даже и не взглянул, потому что это была телятина, а он, оказывается, ничего, кроме свинины, не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Дал я ему ее понюхать, а сам бегу. Собака за мной. Хозяйка как завопит: «Пунтик! Пунтик!» Куда там твой Пунтик! Пунтик побежал за котлетой за угол, а там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у нее было несколько белых пятен, так я их закрасил черным, никто ее и не узнал... Но другие собаки (а их было порядком) все хорошо шли на жареную сардельку из конины... Все-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел, — тебе она скорее скажет. Я уж один раз ее спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула: «А вам какое дело?» Собой-то она не больно хороша, попросту сказать — обезьяна, но с солдатом говорить станет.

— А это действительно чистокровный пинчер? Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет.

— Красавец пинчер! Пальчики оближешь — самый чистокровный! Это так же верно, как то, что ты Швейк, а я Благник. Мне главное — узнать, что он жрет. Тогда я ему это дам и приведу к тебе.

Приятели опять чокнулись. Когда еще до войны Швейк промышлял продажей собак, их поставлял ему Благник. Это был специалист своего дела. Говорили, что он покупал из-под полы у живодера подозрительных по бешенству собак и сплавлял их дальше. У него самого случилось раз бешенство, и в Венском пастеровском институте он чувствовал себя как дома. Теперь он считал своим долгом бескорыстно помочь Швейку-солдату. Он знал всех собак в Праге и ее окрестностях, а в пивной говорил шепотом, чтобы не выдать себя трактирщику, у которого он полгода назад унес из трактира под полой щенка таксу, дав этому щенку пососать молока из детской бутылочки с соской. Глупый щенок, видно, принял его за свою маму и даже ни разу не пискнул из-под пальто.

Благник принципиально воровал только породистых собак и мог бы стать судебным экспертом в этом деле. Он поставлял собак и на псарни, и частным лицам, как придется. Когда он шел по улице, на него рычали собаки, которых он когда-то украл. А стоило ему остановиться где-нибудь перед витриной, как мстительный пес закидывал лапу и опрыскивал у него брюки.



На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как brave солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади. Он поджидал служанку с пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взъерошенный, лохматый, с умными черными глазами пес, веселый, как все собаки после того, как справили свою нужду. Пес гонялся за воробьями, завтракавшими конским навозом.

Потом мимо Швейка прошла та, чьим заботам была вверена собака. Это была старая дева с благопристойно заплетенными косичками в виде венчика вокруг головы. Она посвистывала на собаку и помахивала цепочкой и изящным арапником.

Швейк заговорил с ней:

— Простите, барышня, как пройти на Жижков?

Она остановилась, посмотрела на него — нет ли тут подвоха, — но добродушное лицо Швейка говорило ей, что этому солдату действительно нужно пройти на Жижков. Выражение ее лица смягчилось, и она вежливо объяснила, как туда попасть.

— Я недавно переведен в Прагу, — сказал Швейк, — нездешний, из провинции. Вы тоже не пражанка?

— Я из Воднян.

— Так мы почти земляки: я из Противина.

Знание географии Южной Чехии, приобретенное Швейком во время маневров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края.

— Так вы, должно быть, знаете в Противине на площади мясника Пейхара?

— Как не знать! Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек добрый, услужливый, отпускает хорошее мясо и никогда не обвесит.

— Уж не Ярешов ли вы сын? — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику.

— Совершенно верно.

— А чей вы, какого Яреша, того, что из Корча под Противином, или из Ражиц?

— Из Ражиц.

— Ну как он там? Все еще развозит пиво?

— Развозит, как же.

— Но ведь ему уже небось за шестьдесят?

— Весной стукнуло шестьдесят восемь, — спокойно ответил Швейк. — Недавно он завел себе собаку, и теперь ему веселей разъезжать. Собака сидит на возу. Аккурат такая собачка, как вон та, что воробьев гоняет... Какая красивая собачка прямо красавица!

— Это наша, — объяснила Швейку его новая знакомая. — Я здесь служу у господина полковника. Знаете нашего полковника?

— Знаю. Очень образованный господин, — сказал Швейк. — У нас в Будейовицах тоже был один полковник.

— Наш хозяин строгий. Когда недавно пошли слухи, будто нас в Сербии потрепали, он пришел домой словно бешеный, раскидал на кухне все тарелки и меня хотел рассчитать.

— Так это, значит, ваш песик? — перебил ее Швейк. — Жаль, что мой оберлейтенант терпеть не может собак. Я их очень люблю.

Он сделал паузу и вдруг выпалил:

— Собака тоже не все жрет.

— Наш Фокс страсть как разборчив. Одно время и видеть не хотел мяса, но теперь опять стал его есть.

— А что он больше всего любит?

— Печенку, вареную печенку.

— Телячью или свиную?

— Это ему все равно, — улыбнулась «землячка» Швейка, приняв его вопрос за неудачную попытку сострить.

Они прогуливались еще некоторое время. Потом к ним присоединился пинчер, которого служанка взяла на цепочку. Пинчер обращался со Швейком очень фамильярно, прыгал на него и пытался хотя бы намордником разорвать ему брюки. Но внезапно, как бы учуяв намерение Швейка, перестал прыгать и поплелся с грустным, пришибленным видом, искоса поглядывая на него, словно хотел сказать: «Значит, и меня это ждет?»

Старая дева рассказала Швейку, что она гуляет здесь с собакой каждый день в шесть часов вечера и что она в Праге ни одному мужчине не верит. Однажды она дала в газете объявление, что хочет выйти замуж. Ну, явился один слесарь, вытянул у нее восемьсот крон на какое-то изобретение и исчез. В провинции люди куда честнее. Если уж выходить замуж, то только за деревенско-

го, и то лишь после войны. А выходить во время войны она считает глупым: останешься вдовой, как другие, — больше ничего.

Швейк вселил в ее сердце бездну надежд, сказав, что придет в шесть часов, и пошел сообщить своему приятелю Благнику, что пес жрет печенку всех сортов.

— Угощу его говяжьей, — решил Благник. — На говяжьё у меня клюнул сенбернар фабриканта Выдры, очень верный пес. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности.

Благник сдержал слово. Утром, когда Швейк кончил уборку комнат, за дверью раздался лай, и Благник втащил в квартиру упирающегося пинчера, еще более взъерошенного, чем его взъерошила природа. Пес дико вращал глазами и смотрел мрачно, словно голодный тигр в клетке, перед которой стоит упитанный посетитель зоологического сада. Пес щелкал зубами и рычал, как бы говоря: «Разорву, сожру!»

Собаку привязали к кухонному столу, и Благник рассказал по порядку весь ход отчуждения:

— Прошелся я нарочно мимо него, а в руке держу вареную печенку в бумаге. Пес стал принюхиваться и прыгать вокруг меня. Я не даю, иду дальше. Пес — за мной. Тогда я свернул со сквера на Бредовскую улицу и там дал ему первый кусок. Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индржишскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацлавскую площадь на Винограды до самых Вршовиц. По дороге пес выкидывал прямо чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лег на рельсы и не желал сдвинуться с места: должно быть, хотел, чтобы его переехали... Вот, кстати, я принес чистый бланк для аттестата, купил в писчебумажном магазине Фукса. Ты ведь, Швейк, мастак по части подделывания собачьих аттестатов!

— Это должно быть написано твоей рукой. Напиши, что собака происходит из Лейпцига, с псарни фон Бюлова. Отец — Арнгейм фон Кальсберг, мать — Эмма фон Траутенсдорф, происходящая от Зигфрида фон Бузенталь. Отец нашей собаки получил первый приз на Берлинской выставке пинчеров тысяча девятьсот двенадцатого года. Мать награждена золотой медалью Нюрнбергского общества разведения породистых собак. Как думаешь, сколько ему лет?

— По зубам — два года.

— Пиши — полтора.

— Он плохо обрублен, Швейк. Посмотри на уши.

— Это можно поправить. Подстрижем позднее, когда обживется. А сейчас пес еще больше озлится.

Похищенный грозно рычал, сопел, метался и, наконец, лег, усталый, с высунутым языком, и стал ждать, что с ним будет дальше. Понемногу он успокоился и только изредка жалобно скулил.

Швейк предложил собаке остатки печенки, которые дал ему Благник. Но пес даже не дотронулся до нее. Он лишь посмотрел на печенку и окинул обоих таких взглядом, будто хотел сказать: «Я уже на этом раз обжегся — жрите сами!»

Пес лежал с покорным видом и притворялся, что дремлет, но внезапно ему пришло что-то в голову, и, встав на задние лапы, он передними стал просить. Пес сдавался.

Но на Швейка эта трогательная сцена ничуть не подействовала.

— Ложись! — крикнул он псу.

Бедняга лег, жалобно скуля.

— Какую кличку вписать ему в аттестат? — спросил Благник. — Раньше его звали Фокс. Нужно подобрать что-нибудь похожее, чтобы сразу понял.

— Назовем его хотя бы Максом. Посмотри-ка, Благник, как ушами зашевелил. Встань, Максик!

Несчастный пинчер, у которого отняли и родной кров, и родное имя, встал в ожидании дальнейших приказаний.

— Я думаю, его можно отвязать, — решил Швейк. — Посмотрим, что он будет делать.

Когда собаку отвязали, она сразу подошла к двери и три раза отрывисто гавкнула на крючок, рассчитывая, очевидно, на великодушие этих злых людей. Однако, видя, что люди не понимают ее желания выйти отсюда, она сделала у двери лужу, уверенная, что за это ее вышвырнут, как это случилось во времена ее юности, когда полковник строго, по-военному учил ее соблюдать чистоту.

Вместо этого Швейк заметил:

— Э, да он хитрый, это прямо иезуитский номер!

Швейк вытянул Макса ремнем и ткнул его мордой в лужу, так что тот долго не мог дочиста облизаться.

Пес заскулил от позора и стал бегать по кухне, в отчаянии обнюхивая свой собственный след. Потом ни с того ни с сего подошел к столу, сожрал положенные на полу остатки печенки, лег к печке и после всех своих злоключений уснул.

— Сколько я тебе должен? — спросил Швейк Благника при прощании.

— Не будем об этом говорить, Швейк! — мягко сказал Благник. — Для старого товарища я на все готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через Гавличкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе еще понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу.

Швейк дал Максиму как следует выспаться, а сам тем временем купил у мясника четверть кило печенки, сварил ее и, положив собаке под нос, стал ждать, когда она проснется. Макс еще спронеся начал облизываться, потянулся, обнюхал печенку и проглотил ее. Потом подошел к двери и повторил свой опыт, залаяв на крючок.

— Максик, — позвал его Швейк, — поди сюда!

Макс недоверчиво подошел. Швейк взял его на колени и стал гладить. Тут Макс в первый раз приятельски завилял своим обрубок и осторожно стал хватать Швейка за руку. Потом нежно подержал ее в своей пасти, глядя на Швейка умным взглядом, будто говорил: «Ничего, брат, не попишешь, вижу, что дело проиграно».

Продолжая гладить собаку, Швейк стал нежным голосом рассказывать сказку:

— Жил-был на свете один песик, звали его Фокс, а жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришел однажды один человек да Фокса-то и украл. Попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту, и прозвали его Макс... Максик, дай лапку! Значит, будем с тобой, сукин сын,

приятели, если только будешь хорошим и будешь слушаться. А не то тебе на военной службе солоно придется!

Макс соскочил с колен и начал в шутку нападать на Швейка. Вечером, когда поручик вернулся из казармы, Швейк и Макс были уже закадычными друзьями.

Глядя на Макса, Швейк философствовал:

— Если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома.

Поручик Лукаш был приятно поражен, увидев Макса, который тоже обрадовался, опять увидев человека с саблей.

На вопрос поручика, где Швейк достал собаку и сколько за нее заплатил, Швейк совершенно спокойно сообщил, что собаку подарил ему один приятель, которого только что призвали в армию.

— Отлично, Швейк, — сказал поручик, играя с собакой. — Первого числа получите от меня за пса пятьдесят крон.

— Не могу принять, господин обер-лейтенант.

— Швейк, — строго сказал поручик, — когда вы поступали ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня пятьдесят крон, то вы должны их взять и пропить. Что вы сделаете, Швейк, с этими пятьюдесятью кронами?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пропью согласно приказанию.

— А если я забуду об этом, то приказываю вам, Швейк, доложить мне, что я должен вам дать за пса пятьдесят крон. Понятно? Нет ли у него блох? Лучше всего выкупайте и вычешите его. Завтра я на службе, а послезавтра пойду с ним гулять.

В то время как Швейк купал собаку, полковник, ее бывший владелец, ругался на чем свет стоит и угрожал неведомому вору, что предаст его военно-полевому суду и велит расстрелять, повесить, засадить на двадцать лет в тюрьму и изрубить на мелкие куски.

— *Der Teufel soll den Kerl buserieren!*[348] — разносилось по квартире полковника так, что стекла дрожали. — *Mit solchen Meuchelmördern werde ich bald fertig*[349].

Над Швейком и поручиком Лукашем нависла катастрофа.

## Глава XV Катастрофа

**П**олковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в XVIII столетии) был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: «Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?» Или: «Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?»

Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении.

«Книга, господа, это множество нарезанных в четверку листов бумаги раз-



ного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей».

Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, заведев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.

Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках.

Действительно, было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил прямо чудеса: никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло.

Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее тупыми военными сановниками старой Австрии он получал разные награды и ордена, которыми гордился чрезвычайно; он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук.

На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос: почему введенные в армии винтовки называются «манлихеровки»?

В полку о нем говорили с насмешкой: «Ну вот, развел свою манлихеровину!»

Он был необыкновенно мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошения в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации.

У полковника недоставало половины левого уха, которое ему отсекли в дни его молодости на дуэли, возникшей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергут — большой дурак.

Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц-Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота: то же безудержное словоизлияние, то же изобилие крайней наивности.

Однажды на банкете в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергут ни с того ни с сего провозгласил:

— А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, двумя! Вижу дым, подхожу ближе — оказывается, локомотив и с другой стороны — тоже локомотив. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного!

И, выдержав паузу, добавил:

— Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого еще болтают об инерции, господа! Не едет, стоит, с места не трогается! Нет бензина. Ну, не смешно ли?

При всей своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире стоял домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь в костел святого Игнатия и с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных.

Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных.

— К чему возить сюда пленных? — говорил он. — Перестрелять их всех! Никакой пощады! Плясать среди трупов! А гражданское население Сербии сжечь, все до последнего человека. Детей прикончить штыками. Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирордта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых он призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их:

*Пусть выше гор, до самых облаков  
людские кости и дымящееся мясо громоздятся...*

Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом.

— Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант, — заботливо сказал Швейк, — будьте с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. Я бы не советовал вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в гостинице «Образ Марии». Страшный кусака. Как увидит в своем районе чужую собаку — готов ее разорвать, боится,

как бы она у него чего не сожрала, совсем как нищий у церкви святого Гаштала.

Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю, в общем, всячески проявлял свою радость по поводу предстоящей прогулки.

Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышление о служебных делах. О чем завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? Как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания?.. На кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу?! Это нужно только артиллеристам. Существуют же наконец карты Генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту — и все ясно.

Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Halt!»[350].

Услышав этот окрик, пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое «Halt».

Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его.

Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь.

Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии.

«Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говорил он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм.

Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника. Рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря: «Мое почтеньице!» — он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания. «Я не видел».

«Солдат, — говорил он, — должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь, или делает вид, что не видит начальства, или же отдает честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное».

— Господин поручик, — грозно сказал полковник Краус, — младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено. А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да, с краденными! Собака, которая принадлежит другому, — краденая собака.

— Это собака, господин полковник... — возразил было поручик Лукаш.

— ...принадлежит мне, господин поручик! — грубо оборвал его полковник. — Это мой Фокс.

А Фокс, или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви...

— Гулять с краденными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера. Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий! — гремел полковник Краус, глядя Фокса-Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник науськивал его: «Возьми, возьми его!» — Господин поручик, — продолжал полковник, — считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденном коне? Прочли ли вы мое объявление в «Богемии» и «Тагеблатте» о том, что у меня пропал пинчер?.. Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты? — Полковник всплеснул руками. — Ну и офицеры пошли! Где дисциплина? Полковник дает объявление, а поручик их не читает!

«Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, старый хрыч!» — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, придававшие ему сходство с орангутангом.

— Пройдемте со мною, — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу. — На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво. Да-с. Прогуливаться с собакой своего начальника! В то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров... А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявления о пропаже собаки сто лет подряд. Двести лет! Триста лет!

Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и сказал: «Можете продолжать прогулку!» — повернулся и пошел, злобно стегая хлыстом по полам своей офицерской шинели.

Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услышал: «Halt!» Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца-запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его.

Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания, ругая по пути морской свиньей.

«Что сделать со Швейком? — размышлял поручик. — Всю морду ему разобью. Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней и то этому негодяю мало!»

Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой.

«Убью его, мерзавца!» — сказал он про себя, садясь в трамвай.

Между тем бравый солдат Швейк был всецело погружен в разговор с вестовым из казармы. Вестовой принес поручику бумаги на подпись и поджидал его.

Швейк угощал вестового кофе. Разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу.

Говорилось об этом как о чем-то, не подлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы.

— Государь император небось одурел от всего этого, — заявил Швейк. — Умным-то он вообще никогда не был, но эта война его наверняка доконает.

— Балда он! — веско поддержал солдат из казармы. — Глуп, как полено. Небось, и не знает, что война идет. Ему, наверно, постеснялись об этом доложить. А его подпись на манифесте к своим народам — одно жульничество. Напечатали без его ведома — он вообще уже ничего не соображает.

— Он того... — тоном эксперта дополнил Швейк. — Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребенка. Намедни в пивной один господин рассказывал, что у него две кормилицы, и три раза в день государя императора подносят к груди.

— Эх, — вздохнул солдат из казармы. — Поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия наконец успокоилась.



Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете, а солдат, делая из этого изречения практический вывод, прибавил:

— Как только попаду на фронт, тут же смоюсь.

Так высказывались солдаты о мировой войне. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слухи, будто у Находа уже слышна оружейная пальба и будто русский царь очень скоро будет в Кракове.

Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию и что германские солдаты получают сигареты и шоколад.

Потом они вспомнили о войнах былых времен, и Швейк серьезно доказывал, что когда в старое время в осажденный город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой вони. Он-де читал, что один город осаждали целых три года и неприятель только и делал, что развлекался с осажденными на такой манер.

Швейк рассказал бы еще что-нибудь не менее интересное и поучительное, если бы разговор не был прерван приходом поручика Лукаша.

Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату.

Глаза поручика метали молнии. Сев на стул и глядя на Швейка, он размыш-

лял о том, с чего начать избиение.

«Сначала дам ему раза два по морде, — решил поручик, — потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет».

На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти!

«Что мне с ним делать! — мелькнуло в голове поручика. — Боже, какой у него глупый вид!»

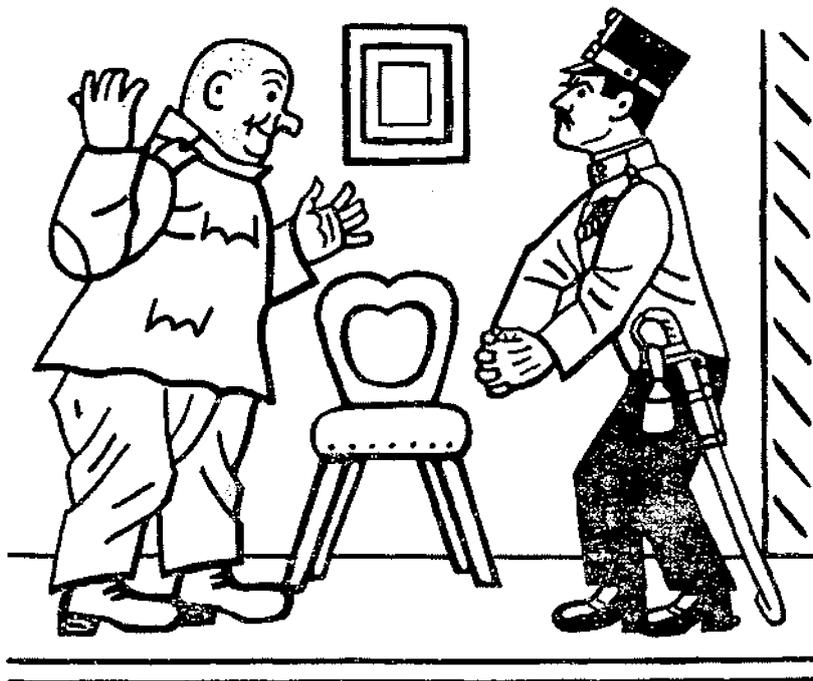
А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствуя о полном душевном равновесии: «Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается».

Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал:

— Швейк! Вы украли собаку!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На Спаленой улице живет мастер, который делает кожаные сумки, по фамилии Кунеш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял. Обычно он оставлял собаку в пивной, иногда у него ее крали, а то даже брали взаймы и не возвращали.

— Молчать, скотина, черт бы вас побрал! Вы или отъявленный негодяй, или же верблюд, болван! Ходячий анекдот! Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Откуда вы ее достали? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир! Говорите правду: украли или нет?



— Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал.

— А знали, что пес краденый?

— Так точно, господин обер-лейтенант. Знал, что пес краденый.

— Иисус Мария! Швейк! Himmelhergott! Я вас застрелю! Скотина! Тварь! Осел! Дерьмо! Неужели вы такой идиот?

— Так точно, господин обер-лейтенант, такой.

— Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом?

— Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант.

И швейковские глаза добродушно и приветливо глянули в лицо поручику. Поручик опустил в кресло и застонал:

— За что бог наказал меня такой скотиной?

В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богемия» и «Тагеблатт» и велел ему прочесть объявления полковника о пропаже собаки.

Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил:

— Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать, и еще сулит награду в сто крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается пятьдесят крон. Некий Божетех из Коширж только этим и кормился. Украдет, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявления о том, где какая собака потерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. Истратил на объявления целых пять крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божетех взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове и с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты...

— Идите-ка спать, Швейк, — приказал поручик. — Вы способны нести око-лесицу хоть до утра.

Сам поручик тоже отправился спать: в эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привел ему, Лукашу, а на смотре наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, гарцевал на нем перед своей ротой.

На рассвете поручик чувствовал себя как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове. Его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру, но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка, — он спрашивал, в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя.

Поручик тихо простонал в постели:

— Вон, скотина! Это ужасно!..

Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом:

— Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку.

— Знаете что, Швейк? У меня большое желание предать вас полевому суду, — сказал поручик со вздохом. — Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну скажите откровенно, Швейк: нравитесь ли вы самому себе?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как сосновая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится — с души воротит. Рот этак, голова — будто помойная лоханка, брюхо — как у налившегося пивом каноника, словом — фигура. Как-то шел мимо наместник, поглядел на себя... Ну ментально это зеркало пришлось снять.

Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться кофе со сливками.

Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение:

*Марширует Грневиль к Прашной бране на шпацир.  
Сабельки сверкают, а девушки рыдают.*

И потом:

*Мы солдаты-молодцы,  
любят нас красавицы.  
У нас денег сколько хошь,  
нам везде прием хорош...*

«Тебе-то, уж наверно, везде хорошо, прохвост!» — подумал поручик и сплюнул.

В дверях показалась голова Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы, вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь ординарец! — И фамильярно прибавил: — Это, должно быть, насчет той самой собачки.

Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал:

— Слышал уже.

И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд.

Это был не рапорт, а кое-что похуже.

Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот нахмурившись сидел в кресле.

— Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в Девяносто первый полк в Будейовице. Знаете ли вы, где находятся Будейовице? На Влтаве. Да. На Влтаве, и впадает в нее там Огрже иди что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный, и, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится.

Мы производили там маневры.

Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему:

— Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать... Ну вот! Муха попала в чернильницу. Это удивительно — зимой мухи падают в чернильницу. Непорядок!

«Да говори уж наконец, старый хрыч!» — подумал поручик.

Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету.

— Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты *не повторялись*, и тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в Девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в Девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров *перебили сербы*. Даю вам честное слово, что в течение трех дней вы будете в Девяносто первом полку в Будейовицах, где формируются *маршевые батальоны*. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые...

И, не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал:

— Уже половина одиннадцатого, пора принимать полковой рапорт.

На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни едет на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке.

Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка:

— Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это «маршбатьяк», а маршевая рота — «маршка». Мы это всегда сокращаем.

— Итак, объявляю вам, Швейк, — торжественно провозгласил поручик, — что мы вместе отправимся в «*маршбатьяк*», если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Вы довольны?

— Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен, — ответил бравый солдат Швейк. — Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падём на поле брани за государя императора и всю августейшую семью!



### Послесловие к первой части «В тылу»

**З**аканчивая первую часть «Похождений бравого солдата Швейка» («В тылу»),

сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части — «На фронте» и «В плену». В этих частях и солдаты и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности.

Жизнь — не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут говорит иначе, чем хозяин трактира «У чаши» Паливец. А наш роман не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это историческая картина определенной эпохи.

Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламентах.

Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изоцренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.

Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идет вразрез с тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература.

Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной.

Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь народ в сентиментальных людишек, онанистов псевдокультуры типа святого Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила.

Такие типы на людях страшно негодуют, но с огромным удовольствием читают непристойные надписи на стенках общественных уборных.

Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел мимоходом то, как разговаривают между собой люди в действительности.

Нельзя требовать от трактирщика Паливца, чтобы он выражался так же изысканно, как пани Лаудова, доктор Гут, пани Ольга Фастрова и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и перчатках; разговаривают они на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и изоцренному разврату.

Пользуюсь случаем сообщить, что трактирщик Паливец жив. Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца-Иосифа.

Прочитав о себе в моей книжке, он навел меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги.

Ему доставило громадное удовольствие все, что я о нем написал, выставив

его как всем известного грубияна.

«Меня уже никто не переделает, — сказал он мне. — Я всю жизнь выражался грубо, и говорил то, что думал, и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать себе рот из-за какой-то ослицы. Нынче я стал знаменитым».

Его уважение к себе возросло. Его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я хотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выражаться не следует (что, конечно, в мои намерения не входило), я безусловно оскорбил бы этого порядочного человека.

Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови.

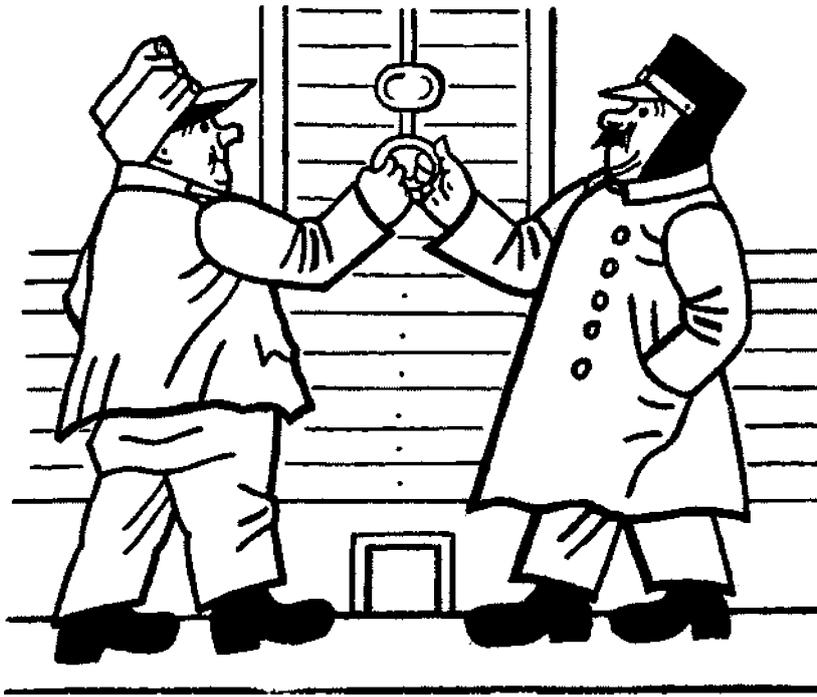
Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, вышел из церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без усталости проповедовал и в конце концов заявил: «Эй вы, гипсовые головы! Я — Отто Кац, фельдкурат!»

Много людей типа покойного Бретшнейдера, государственного сыщика старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит.

Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк». Это свидетельствует об обратном. Однако если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.

*Ярослав Гашек*

## Часть вторая На фронте



### Глава I Злоключения Швейка в поезде

В одном из купе второго класса скорого поезда Прага — Чешске Будейовице ехало трое пассажиров: поручик Лукаш, напротив которого сидел пожилой, совершенно лысый господин, и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно готовился выслушать очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк — скотина и тому подобное.

Дело было пустяковое: речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк.

— У нас украли чемодан! — ругал Швейка поручик. — Как только у вас язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — тихо ответил Швейк, — его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан, *несомненно*, понравился, и этот человек, *несомненно*, воспользовался моментом, когда я отошел от чемоданов доложить вам, что с нашим багажом все в порядке. Этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для него момент. Они только и подстерегают такие моменты. Два года тому назад на Северо-Западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце, но воры были настолько благородны, что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что ее, мол, подкинули и они нашли ее в воротах. Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку. — И Швейк с твердой убежденностью заключил: — На вокзалах всегда крали и будут красть — без этого не обойтись.

— Я глубоко убежден, Швейк, — прервал его поручик, — что вы плохо кончите. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так и родились ослом. Что было в этом чемодане?

— В общем ничего, господин обер-лейтенант, — ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа штатского, сидевшего напротив поручика с «Нейе фрейе прессе» в руках и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию. — Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно, не потерпели никаких убытков, потому как и зеркало и вешалка принадлежали домохозяину... — Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласково: — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я не знал заранее, а что касается зеркала и вешалки, то я хозяину обещал отдать все, когда вернемся с фронта. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни хозяин в убытке не останемся. Как только зайдем какой-нибудь город...

— Цыц! — не своим голосом взвизгнул поручик. — Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за тысячу лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель. Надеюсь, вы это тоже заметили?

— Так точно, господин обер-лейтенант, заметил. У меня, как говорится, очень развит талант наблюдения, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет, все равно как Нехлебе с Неказанки, что ходил в трактир «Сучий лесок». Тот вечно мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день рассказывал: «А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах!» И всегда, бывало, беда стряслась с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо-мирно домой; а под конец все-таки оказывалось, что он где-то сломал забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого приходил в отчаянье, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды дедушка его отправился бродить по свету...

— Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими рассказками!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все, что я сейчас говорю, — суцая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету...

— Швейк, — разозлился поручик, — еще раз приказываю вам прекратить болтовню. Я ничего не хочу от вас слышать. Как только приедем в Будейовице, я найду на вас управу. Посажу под арест. Вы знаете это?

— Никак нет, господин поручик, не знаю, — мягко ответил Швейк. — Вы об этом даже не заикались.

Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели «Богемию» и принялся читать сообщения о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и ее действиях на Средиземном море. Когда он дошел до сообщения о новом германском изобретении — разрушении городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются три раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином:

— Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабеком, агентом из банка «Славия»?

Не получив ответа, Швейк обратился к поручику:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я однажды читал в газетах, что у нормального человека должно быть в среднем от шестидесяти до семидесяти тысяч волос и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более

редкими, есть много тому примеров... А один фельдшер, — продолжал он неумолимо, — говорил в кафе «У Шпирков», что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые шесть недель после рождения...

Тут произошло нечто ужасное. Лысый господин вскочил и заорал на Швейка:

— Marsch heraus, Sie Schweinkerl![351] — и поддал его ногой. Потом лысый господин вернулся в купе и преподнес поручику небольшой сюрприз, представившись ему.

Швейк слегка ошибся: лысый субъект был не паном Пуркрабеком, агентом из банка «Славия», а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор в гражданском платье совершал инспекционную поездку по гарнизонам и в данный момент готовился нагрянуть в Будейовице.

Это был самый страшный из всех генерал-инспекторов, когда-либо рождавшихся под луной. Обнаружив где-нибудь непорядок, он заводил с начальником гарнизона такой разговор:

— Револьвер у вас есть?

— Есть.

— Прекрасно. На вашем месте я бы знал, что с ним делать. Это не гарнизон, а стадо свиней!

И действительно, после каждой его инспекционной поездки кто-нибудь да стрелялся.

В таких случаях генерал фон Шварцбург констатировал с удовлетворением:

— Правильно! Это настоящий солдат!

Казалось, его огорчало, если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места. Достаточно было пустяка, чтобы офицер распрощался со своей частью и отправился на черногорскую границу или в безнадежно спившийся гарнизон в грязной галицийской дыре.

— Господин поручик, — спросил генерал, — в каком военном училище вы обучались?

— В пражском.

— Итак, вы обучались в военном училище и не знаете даже, что офицер является ответственным за своего подчиненного? Недурно. Во-вторых, вы болтаете со своим денщиком, словно с близким приятелем. Вы допускаете, чтобы он говорил, не будучи спрошен. Еще лучше! В-третьих, вы разрешаете ему оскорблять ваше начальство. Прекрасно! Из всего этого я делаю определенные выводы... Как ваша фамилия, господин поручик?

— Лукаш.

— Какого полка?

— Я служил...

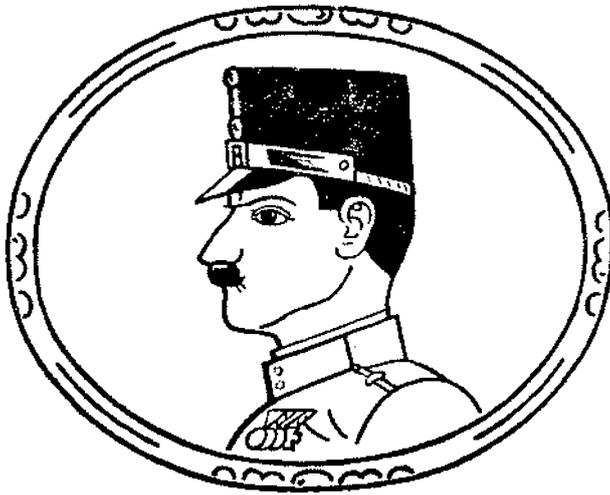
— Благодарю вас. Речь идет не о том, где вы служили. Я желаю знать, где вы служите теперь?

— В Девяносто первом пехотном полку, господин генерал-майор. Меня перевели...

— Вас перевели? И отлично сделали. Вам будет очень невредно вместе с Девяносто первым полком в ближайшее время увидеть театр военных действий.

— Об этом уже есть решение, господин генерал-майор.

Тут генерал-майор прочитал лекцию о том, что в последнее время, по его



наблюдениям, офицеры стали разговаривать с подчиненными в товарищеском тоне, что он видит в этом опасный уклон в сторону развития разного рода демократических принципов. Солдата следует держать в страхе, он должен дрожать перед своим начальником, бояться его; офицеры должны держать солдат на расстоянии десяти шагов от себя и не позволять им иметь собственные суждения и вообще думать. В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет. Раньше нижние чины боялись офицеров как огня, а теперь... — Генерал-майор безнадежно махнул рукой. — Теперь большинство офицеров нянчится со своими солдатами, вот что.

Генерал-майор опять взял газету и углубился в чтение.

Поручик Лукаш, бледный, вышел в коридор, чтобы рассчитаться со Швейком. Тот стоял у окна с таким блаженным и довольным выражением лица, какое бывает только у четырехнедельного младенца, который досыта насосался и сладко спит.

Поручик остановился и кивком головы указал Швейку на пустое купе. Затем сам вошел вслед за Швейком и запер за собою дверь.

— Швейк, — сказал он торжественно, — наконец-то пришел момент, когда я вкачу вам несколько оплеух, каких еще свет не видывал! Как вы смели приставать к этому плешивому господину! Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург!

Швейк принял вид мученика.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у меня никогда и в мыслях нет кого-нибудь обидеть, ни о каком генерал-майоре я понятия не имел. А он и вправду — вылитый пан Пуркрабек, агент из банка «Славия»! Тот ходил в наш трактир и однажды уснул за столом, и тут какой-то доброжелатель написал на его плечи чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу номер три «с», свои услуги по накоплению средств на приданое и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Известное дело, мне всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне влечь пару оплеух.

Слово «тоже» слетело с уст Швейка так трогательно и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука.

Швейк продолжал:

— Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться.

Ему действительно полагается иметь от шестидесяти до семидесяти тысяч волос — так писали в статье «Что должно быть у нормального человека». Мне никогда не приходило в голову, что на свете существуют плешивые генерал-майоры. Произошла, как говорится, роковая ошибка, это с каждым может случиться, если ты что-нибудь выскажешь, а другой придерется. Несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу через Леобен и вез с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Мориц и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал с ветчины влюбленных глаз. Портной Гивл это заметил, да и говорит себе вслух: «Ты, паршивец, тоже небось с удовольствием пожрал бы!» Тут господин отвечает ему по-чешски: «Ясно, я бы пожрал, если б ты дал». Ну и слопали вдвоем весь окорок, еще не доезжая Чешских Будейовиц. А звали того господина Войтех Роус.



Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из купе; не успел он усесться на свое место, как в дверях появилась добродушная физиономия Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять минут мы в

Таборе. Поезд стоит пять минут. Прикажете заказать что-нибудь к завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные...

Поручик вскочил как ужаленный и в коридоре сказал Швейку:

— Еще раз предупреждаю: чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив вовсе не видеть вас, и, будьте уверены, я об этом похлопочу. Не показывайтесь мне на глаза, изыди, скотина, идиот!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант!

Швейк отдал честь, сделал «кругом» и пошел в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завел разговор с каким-то железнодорожником:

— Разрешите обратиться к вам с вопросом...

Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул головой.

— Бывал у меня в гостях один знакомый, — начал Швейк, — славный парень, по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют; короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими вещами, правду сказать, никогда не интересовался, но раз уж я сегодня обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чем тут суть, а то вдруг понадобится.

Швейк встал и вместе с железнодорожником подошел к тормозу с надписью: «*В случае опасности*».

Железнодорожник счел своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата:

— Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать.

Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как случилось, что рукоять оттянулась назад и поезд остановился.

Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать, — дескать, он не хулиган какой-нибудь.

— Я сам удивляюсь, — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору, — почему это поезд вдруг остановился. Ехал, ехал, и вдруг на тебе — стоп! Мне это еще неприятнее, чем вам.

Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах.

А Швейк все время повторял, что он абсолютно честен и в задержке поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт.

— Начальник станции вам все разъяснит, — решил проводник. — Это обойдется вам в двадцать крон.

Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток обер-кондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле.

— И стоит, — рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие, — двадцать крон — это еще дешево. Однажды, когда государь император посетил Жижков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем императором на колени прямо посреди мостовой. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало делать этого в его районе, надо было на соседней улице, которая относится уже к участку

комиссара Краузе, и там выражать свои верноподданнические чувства. Потом Шнора посадили.

Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда число его слушателей возросло за счет подошедшего обер-кондуктора.

— Ну ладно, едем дальше, — сказал Швейк. — Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним, но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины: генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — паршивая вещь. Наполеон при Ватерлоо опоздал на пять минут, и всей его славе пришел конец.

В этот момент через толпу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только:

— Швейк!

Швейк взял под козырек и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, на меня свалили, что я остановил поезд. Чудные пломбы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах! К ним лучше не приближаться, а то наживешь беду и с тебя захотят содрать двадцать крон, как теперь с меня.

Обер-кондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся.

Пассажиры разошлись по своим купе, Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошел на свое место. Швейк, железнодорожник и проводник остались одни.

Проводник вынул записную книжку и стал составлять протокол о происшествии. Железнодорожник враждебно глядел на Швейка. Швейк миролюбиво спросил:

— Давно служите на железной дороге?

Так как железнодорожник не ответил, Швейк рассказал случай с одним из своих знакомых, неким Франтишеком Мличеком из Угржиневси под Прагой, который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через две недели, когда он пришел в Гостиварж в гости к огороднику Ванеку, подрался там и об него измочалили арапник.

— Это случилось, — прибавил Швейк, — в тысяча девятьсот двенадцатом году, в мае месяце.

Железнодорожник открыл дверь клозета и заперся там.

Со Швейком остался проводник, который начал вымогать у него двадцать крон штрафа, угрожая, что в противном случае сдаст его в Таборе начальнику станции.

— Ну что ж, отлично, — сказал Швейк, — я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции.

Швейк вынул из кармана мундира трубку, закурил и, выпуская едкий дым солдатского табака, продолжал:

— Несколько лет тому назад начальником станции Свитава был пан Вагнер. Вот был живодер! Придирался к подчиненным и тиранил как только мог, но больше всего донимал стрелочника Юнгвирта, рока несчастный с отчаяния не побежал топиться. Но перед тем как покончить с собою, Юнгвирт написал начальнику станции письмо о том, что будет пугать его по ночам. Ей-богу, не

вру! Так и сделал. Сидит вот начальник станции ночью у телеграфного аппарата, как вдруг раздается звонок, и начальник станции принимает телеграмму: «Как поживаешь, сволочь? Юнгвирт». Это продолжалось целую неделю, и начальник станции в ответ этому призраку разослал по всем направлениям следующую служебную депешу: «Прости меня, Юнгвирт!» А ночью аппарат настукал ему такой ответ: «Повесься на семафоре у моста. Юнгвирт». И начальник станции ему повиновался. Потом за это арестовали телеграфиста соседней станции. Видите, между небом и землей происходят такие вещи, о которых мы и понятия не имеем.

Поезд подошел к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции.

Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия.

«Плевать мне на все, — блеснуло у него в голове, — и на Швейка, и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк».

Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлеченного серьезным разговором с начальником станции. Швейк был окружен толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников.

Поручик Лукаш вздохнул. Но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем.

Поезд давно уже пыхтел по направлению к Чешским Будейовицам, а на перроне таборского вокзала толпа вокруг Швейка все не убывала.

Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то дама даже сказала:

— Опять к солдатику придираются.

Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка двадцать крон штрафа. Он убежден, что этот солдат невиновен.

— Вы только посмотрите на него, — показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившее: «Люди добрые, я не виноват!»

Затем появился жандарм, вывел из толпы какого-то гражданина, арестовал его и увел со словами: «Вы за это ответите! Я вам покажу, как народ подстрекать! Я покажу, как «нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются».

Несчастный гражданин не нашел других оправданий, кроме откровенного признания, что он мясник у Старой башни и вовсе «не то хотел сказать».

Между тем добрый господин, который верил в невиновность Швейка, заплатил за него в канцелярии станции штраф, повел Швейка в буфет третьего класса, угостил его там пивом и, выяснив, что все удостоверения и воинский железнодорожный билет Швейка находятся у поручика Лукаша, великодушно дал ему пять крон на билет и на другие расходы.

При расставании он доверительно сказал Швейку:

— Если попадете, солдатик, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Здолбунове. Вот вам моя фамилия. Будьте благоразумны и долго на фронте не задерживайтесь.

— Будьте покойны, — ответил Швейк, — всякому занятно посмотреть чужие края, да еще задаром.

Швейк остался один за столиком и помаленьку пропивал пятерку, полученную от благодетеля.

А в это время на перроне те, кто не присутствовал при разговоре Швейка с начальником станции, а только издали видели толпу, рассказывали, что поймали шпиона, который фотографировал вокзал. Однако это опровергала одна дама, утверждавшая, что никакого шпиона не было, а просто, как она слышала, один драгун возле дамской уборной зарубил офицера, потому как тот ломился туда за возлюбленной драгуна, провожавшей своего милого.

Этим фантастическим версиям, характеризующим нервозность военного времени, положили конец жандармы, которые очистили перрон от посторонних.

А Швейк продолжал пить, с нежностью думая о своем поручике: «Что-то он будет делать, когда приедет в Чешске Будейовице и во всем поезде не найдет своего денщика?»

Перед приходом пассажирского поезда ресторан третьего класса наполнился солдатами и штатскими. Преобладали солдаты различных полков, родов оружия и национальностей. Всех их занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они снова уезжали на фронт. Ехали за новыми ранениями, увечьями и болезнями, ехали, чтобы заработать себе где-нибудь на тоскливых равнинах восточной Галиции простой деревянный намогильный крест, на котором еще много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать вылинявшая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью; вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки — человеческие глаза...



Один из кандидатов на крестные муки, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире со следами ила и крови, подсел к Швейку. Это был хилый, исхудавший грустный солдат. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрепанный кошелек и стал пересчитывать деньги. Потом взглянул на Швейка и спросил:

— Magyarul?[352]

— Я чех, товарищ, — ответил Швейк. — Хочешь выпить?

— Nem tudom, barátom[353].

— Это, товарищ, не беда, — потчевал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдату, — пей на здоровье.

Тот понял, выпил и поблагодарил:

— Köszönöm szívesen[354].

Затем он снова стал просматривать содержимое своего кошелька и под конец вздохнул. Швейк понял, что мадьяр с удовольствием заказал бы себе пива, но у него не хватает денег. Швейк заказал ему кружку пива. Мадьяр опять поблагодарил и с помощью жестов стал рассказывать что-то, показывая свою простреленную руку, и прибавил на международном языке:

— Пиф-паф! Бац!

Швейк сочувственно покачал головой, а хилый солдат из команды выздоравливающих показал левой рукой на полметра от земли и, подняв три пальца, сообщил Швейку, что у него трое малых ребят.

— Nincs ам-ам, nincs ам-ам, — продолжал он, желая сказать, что дома нечего есть. Слезы брызнули у него из глаз, и он вытер их грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля.

Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в Чешске Будейовице. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом-мадьяром, все менее вероятной становилась возможность купить себе билет.

Через станцию прошел еще один поезд на Будейовице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое:

— Пиф-паф... Бац! Harom guermek, nincs ам-ам, eljen![355]

Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком.

— Валяй пей, мадьярское отродье, не стесняйся! — уговаривал его Швейк. — Нашего брата вы небось так бы не угощали!

Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что, когда их Двадцать восьмой полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх.

Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, оскорбился. Позднее это у солдат-чехов стало явлением обыкновенным; да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же.

Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сегедине они всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться и даже сам он получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться.

Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверно,

посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось «на память», — этим он поддержал бы честь своего полка.

— Ihre Dokumenten[356], фаши документ? — обратился к Швейку начальник патруля, фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками. — Я видит фас все фрема сидеть, пить, не ехать, только пить, зольдат!

— Нет у меня документов, миляга, — ответил Швейк. — Господин поручик Лукаш из Девяносто первого полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале.

— Was ist das Wort[357] «миляга»? — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил:

— «Миляга» — das ist wie «Herr Feldwebl»[358].

Фельдфебель возобновил разговор со Швейком:

— Документ должен каждый зольдат. Пез документ посадить auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund[359].

Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу — начальнику-фельдфебелю.

Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам.

Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделенные командиры Паульгарт и Бахмайер Двадцать первого стрелкового его величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью: «Унтер-офицер Пятого гонведского гусарского полка Ян Данко разведывает расположение неприятельских батарей».

Ниже, направо, висел плакат:

### ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ

Текст к этим плакатам с вымышленными примерами исключительной доблести сочиняли призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали: когда им на фронт присылали подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свертывали из них козьи ножки или же находили им еще более достойное применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих «образцов доблести».

Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочел на плакате:

#### ОБОЗНИК РЯДОВОЙ ИОСИФ БОНГ

*Санитары относили тяжелораненых к санитарным повозкам, стоявшим в готовности в неприметной ложбине. По мере того как повозки наполнялись, тяжелораненых отправляли к перевязочному пункту. Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали его обстреливать. Конь обозного ездового Иосифа Бонга, состоявшего при императорском третьем санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ра-*

нен осколком гранаты. Но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг навшего коня и оттащил тяжелую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи, я все равно не оставлю здесь упряжи!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. «Я не хотел бросать упряжи — ведь она почти новая. Жаль, думаю, пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт; только там он заявил о своем ранении. Некоторое время спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью «За храбрость!».

Прочтя плакат и видя, что фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении:

— Прекрасный пример доблести! Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге в «Пражской правительственной газете» я тоже читал об одной обозной истории, еще лучше этой. Там говорилось о вольноопределяющемся докторе Йозефе Войяне. Он служил в Галиции, в Седьмом егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми да и прилети новая граната, и оторвала ему руку, аккуратно ту, в которой он держал палку! Тогда он перебросил эту палку в другую руку и заорал, что этого он им не простит! Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы шрапнель не уложила его наповал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отдал бы его шрапнель. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорей исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!»

— Чего только в газетах не напишут, — заметил один из караульной команды. — Небось сам сочинитель и часу не вынес, отупел бы от всего этого.

Ополченец сплюнул.

— Был у нас в Чаславе один редактор из Вены, немец. Служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать, а когда прикомандировали его к «маршке», в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил.

В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля.

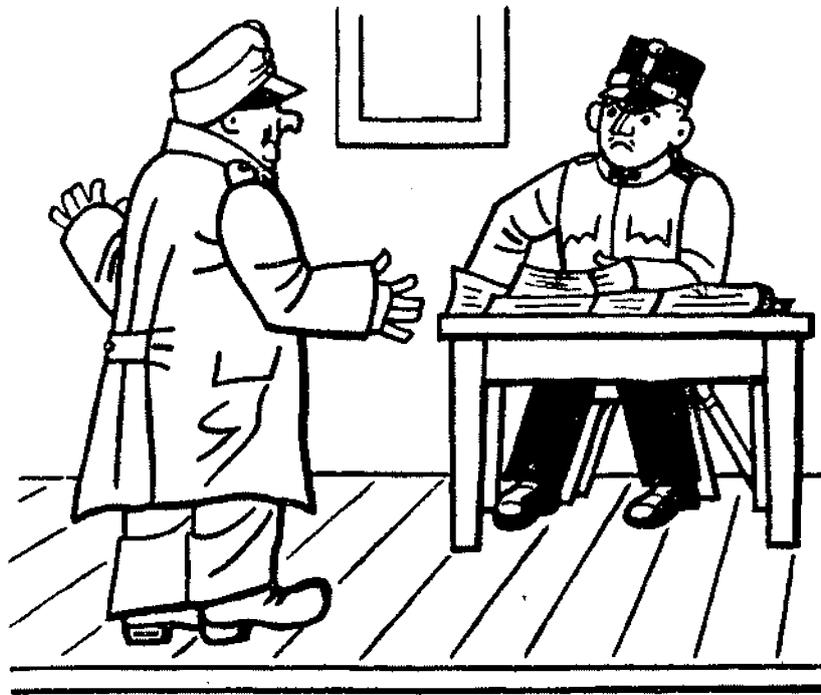
— Wenn man иду drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als:[360] «По-чешски, чехи».

И, уходя (очевидно, в буфет), приказал унтер-офицеру из ополченцев ответить этого вшивого негодяя (он указал на Швейка) к подпоручику, как только тот придет.

— Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается, — сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля. — Пристает к ней вот уже две недели и каждый день приходит с телеграфа злой как бес и говорит: «Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen»[361].

Подпоручик и на этот раз пришел злой как бес. Слышно было, как он хлопает по столу книгами.

— Ничего не поделаешь, брат, придется тебе пойти к нему, — посочувство-



вал Швейку унтер. — Через его руки немало уже солдат прошло — и старых и молодых. — И он ввел Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида.

Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе:

— Ага!..

Унтер-офицер отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов.

Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале Швейка задержат без документов.

Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был прийти к заключению, что предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов — вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он с неба свалился или упал с другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы.

Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать и о чем спрашивать.

— Что вы делали на вокзале? — наконец придумал он.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на Чешске Будейовице, чтобы попасть в свой Девяносто первый полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчет штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза.

— Не морочьте мне голову! — не выдержал подпоручик. — Говорите связно и коротко и не болтайте ерунды.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш Девяносто первый пехотный полк, нам не повезло: сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать,

какой-то господин генерал-майор, совершенно лысый...

— Himmelherrgott! — шумно вздохнув, выругался подпоручик.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня все лезло постепенно, как из старого матраса, а то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говаривал покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны, перед тем как выдрать его ремнем.

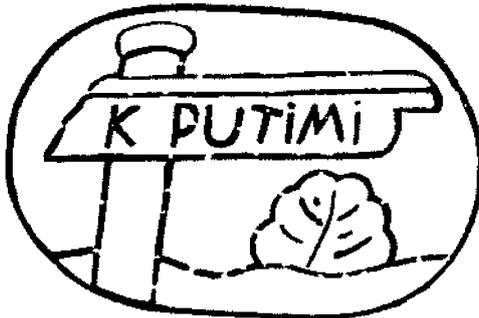
Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал:

— Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился, и поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор. А в коридоре меня потом обвинили в том, о чем я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне. Поезд ушел, господин поручик с чемоданами и со всеми — и своими и моими — документами тоже уехал, а я остался без документов и болтался, как сирота.

Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал: все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного идиота, — все это абсолютная правда.

Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будейовице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк с добродушной улыбкой, — пока я ждал следующего поезда, со мной вышел казус: сел я пить пиво — и пошло: кружка за кружкой, кружка за кружкой...



«Такого осла я еще не видывал, — подумал подпоручик. — Во всем признается. Сколько их прошло через мои руки, и все, как могли, ввали и не сознавались, а этот преспокойно заявляет: «Прозевал все поезда, потому что пил пиво, кружку за кружкой».

Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой и обратился к Швейку:

— Вы, голубчик, дегенерат. Знаете, что такое «дегенерат»?

— У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать — повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе как граф.

Подпоручик счел за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и отчеканил:

— Вот что, вы, балбес, балбес до мозга костей, немедленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будейовице. Если я еще раз увижу вас здесь, то поступлю с вами, как с дезертиром. Abtreten![362]

Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, под-

поручик закричал:

— Marsch hinaus, слышали, abtreten. Паланек, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в Чешске Будейовице.

Через минуту унтер-офицер Паланек снова явился в канцелярию. Сквозь приотворенную дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейка.

— Что еще там?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — таинственно зашептал унтер Паланек, — у него нет денег на дорогу, и у меня тоже нет. А даром его везти не хотят, потому что у него нет удостоверения о том, что он едет в полк.



Подпоручик долго принимал Соломоново решение.

— Пусть идет пешком, — распорядился он, — пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним возжаться.

— Ничего, брат, не поделаешь, — сказал Паланек Швейку, выйдя из канцелярии. — Хочешь не хочешь, а придется, братишка, тебе в Будейовице пешком переть. Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы ее дадим тебе на дорогу.

Спустя полчаса, после того как Швейка напоили черным кофе и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, еще и осьмушку табаку, он вышел темной ночью из Табора, напевая старую солдатскую песню:

*Шли мы прямо в Яромерь,  
коль не хочешь, так не верь.*

Черт его знает как это случилось, но бравый солдат Швейк, вместо того чтобы идти на юг, к Будейовицам, пошел прямехонько на запад.

Он шел по занесенному снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел:

*Я пойду пройтиться  
в зеленую рошу...*

И в занесенных снегом темных лесах далеко разносилось эхо, так, что в де-

ревнях лаяли собаки.

Когда Швейку надоело петь, он сел на кучу щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошел дальше, навстречу новым приключениям будейовицкого анабасиса.

## Глава II Будейовицкий анабасис Швейка

**К**сенофонт, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких ещё местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без усталости продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелем, который ждет первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, — вот что называется анабасисом.

У кого голова на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, — тот в походе совершает прямо чудеса.

Римские легионы Цезаря, забравшись (опять-таки без всяких географических карт) далеко на север, к Гальскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытаться счастья, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим.

Точно так же все дороги ведут и в Чешске Будейовице. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будейовицких краев увидел милевскую деревушку. Не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать bravому солдату добраться до Чешских Будейовиц.

Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала:



*Когда в поход мы отправлялись,  
слезами девки заливались...*

По дороге из Кветова во Враж, которая идет все время на запад, со Швейком

заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой:

— Добрый день, служивый. Куда путь держите?

— Иду я, матушка, в полк, в Будейовице, на войну эту самую.

— Батюшки, да вы не туда идете, солдатик! — испугалась бабушка. — Вам этак туда ни в жисть не попасть. Дорога-то ведет через Враж прямехонько на Клатовы.

— Я полагаю — из Клатов тоже можно попасть в Будейовице, — почтительно ответил Швейк. — Правда, прогулка не маленькая, особенно для того, кто торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности.

— Был у нас тоже один такой озорной, — вздохнула бабушка. — Звали его Тоничек Машек. Вышло ему ехать в Пльзень в ополчение. Племяннице он моей сродни. Да... Ну, поехал, значит. А уже через неделю его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас. В простой одежде, невоенной. «В отпуск, дескать, приехал». Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули... Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет.

Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка.

— В том вон лесочке пока, служивый, посидите, я картофельную похлебку принесу, погреетесь. Избу-то нашу отсюда видать, аккуратно за лесочком, направо. Через нашу деревню лучше не ходите, жандармы у нас все равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Малчин. Чижово, солдатик, обойдите стороной — жандармы там живодеры: дезентиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец у Гораждёвиц. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть?

— Нету, матушка.

— Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру, жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик, снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будейовице.

Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыла. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в Будейовицах два внука. Потом она еще раз подробно объяснила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть; наконец, вынула из кармана кофты крону и протянула ее Швейку, чтобы он купил себе в Малчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышли кусок изрядный.

По совету старухи, Швейк пошел, минуя Чижово, в Радомышль, на восток, решив, что должен попасть в Будейовице с какой угодно стороны света.

Из Малчина попутчиком у него оказался старик гармонист. Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку, перед тем как отправиться в далекий путь на Радомышль.

Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Гораждёвице: там у него живет дочка, у которой муж тоже дезертир. Гармонист, по всей видимости, в Малчине хватил лишнего.

— Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет и тебя спрячет тоже, — уго-

варивал он Швейка. — Просидите там до конца войны. Вдвоем не скучно будет.



Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошел налево, полями, пригрозив Швейку, что идет в Чижово доносить на него жандармам.

Вечером Швейк пришел в Радомысль. На Нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю.

— Бегут с военной службы. Воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит — стащат, — выразительно говорил он, глядя Швейку в глаза. — И каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет... Правда глаза колет, — прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет...

— Будь здоров, дедушка...

— Будь здоров! Ищите кого поглупее...

И Швейк уже шагнул где-то во тьме, а дед все не переставал ворчать:

— Идет, дескать, в Будейовице, в полк. Это из Табора-то! А сам, шаромыжник, сперва в Гораждёвице, а оттуда только в Писек. Да ведь это кругосветное путешествие!

Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле стог. Он отгреб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос:

— Какого полка? Куда бог несет?

— Девяносто первого, иду в Будейовице.

— А чего ты там не видал?

— У меня там обер-лейтенант.

Было слышно, что рядом засмеялись, и не один человек, а трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое Тридцать пятого,

а один, артиллерист, тоже из Будейовиц. Ребята из Тридцать пятого удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт, около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизации. Сам он был крестьянин из Путима, и стог принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе.

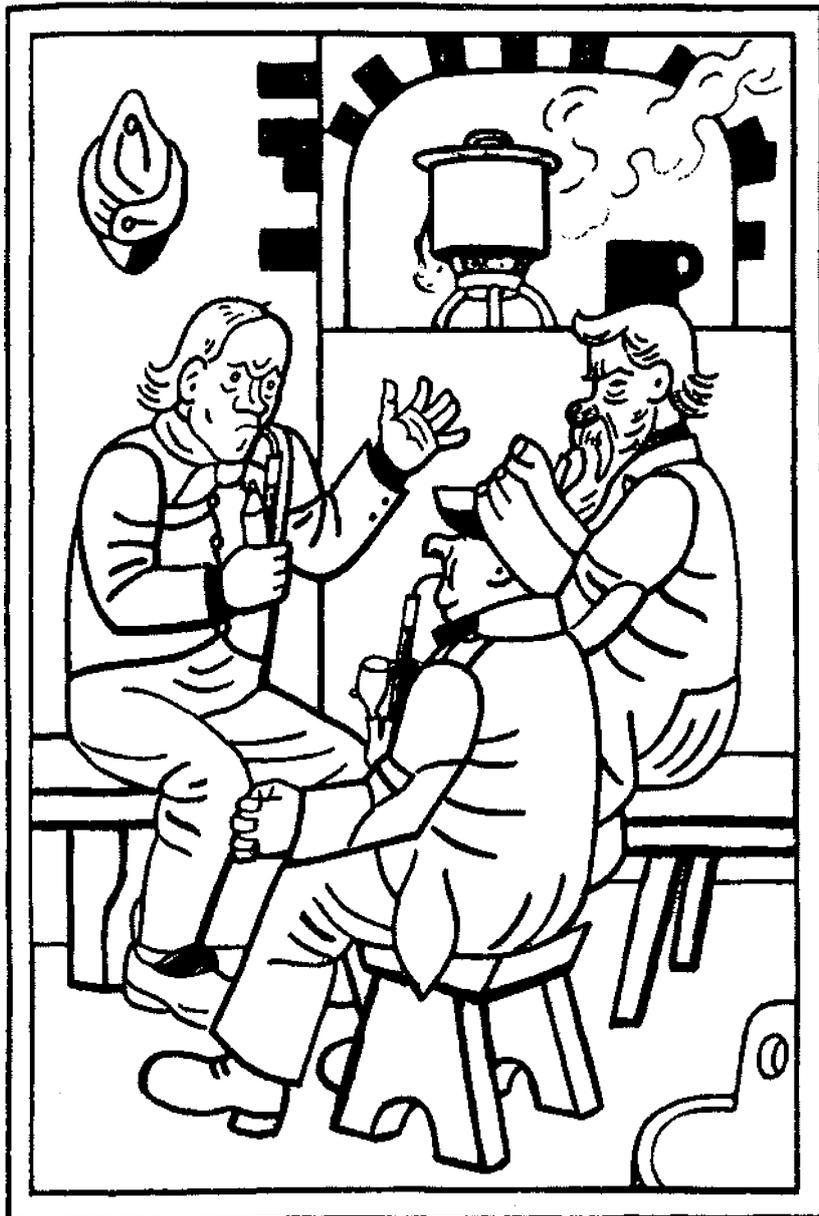
Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из Тридцать пятого тронутся в путь на Страконице, у одного из них там тетка, а у тетки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого — лесопилка, где можно спрятаться.

— Эй ты, из Девяносто первого, если хочешь, идем с нами, — предложили они Швейку. — На... ты на своего обер-лейтенанта.

— Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому.

Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то (очевидно, артиллерист) положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу.

Швейк пошел лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как доброго приятеля глотком водки.



— В этой одежде не ходи. Как бы тебя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят, теперь взялись за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о Девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику? — Куда теперь метишь? — спросил бродяга немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню.

— В Будейовице.

— Царица небесная! — испугался нищий. — Да тебя там в один момент стребут. И дыхнуть не успеешь. Штатскую одежду тебе надо, да порванее. Придется тебе сделаться хромым... Ну да не бойся: пойдём через Страконице, Вольтынь и Дуб, и никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страконицах много еще честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать — вот тебе и штатская одежда. Да много ли тебе нужно? Сапоги есть... Так, что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая?

— Старая.

— Ну, ее можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно еще штаны да пиджачишко. Когда раздобудем штатскую одежду, твои штаны и мундир можно будет продать еврею Герману в Воднянах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их в деревнях... Сегодня пойдём в Страконице. Отсюда часа четыре ходу до старой шварценбергской овчарни, — развивал он свой план. — Там у меня пастух знакомый — старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконице и свистнем где-нибудь штатское.

В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги и поэтому называл его, как и Швейка, «паренек».

— Так-то, ребята, — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. — В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезентировал. Но в Воднянах его поймали да так высекли, что с задницы только клочья летели. Ему еще повезло. А вот сын Яреша, дед старого Яреша, сторожа рыбного садка из Ражиц, что около Противина, был расстрелян в Писеке за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку.

— После мобилизации, когда нас отвели в казармы, — ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя.

— Перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно, вспоминая рассказ своего деда о том, как тот лазил через казарменные стены.

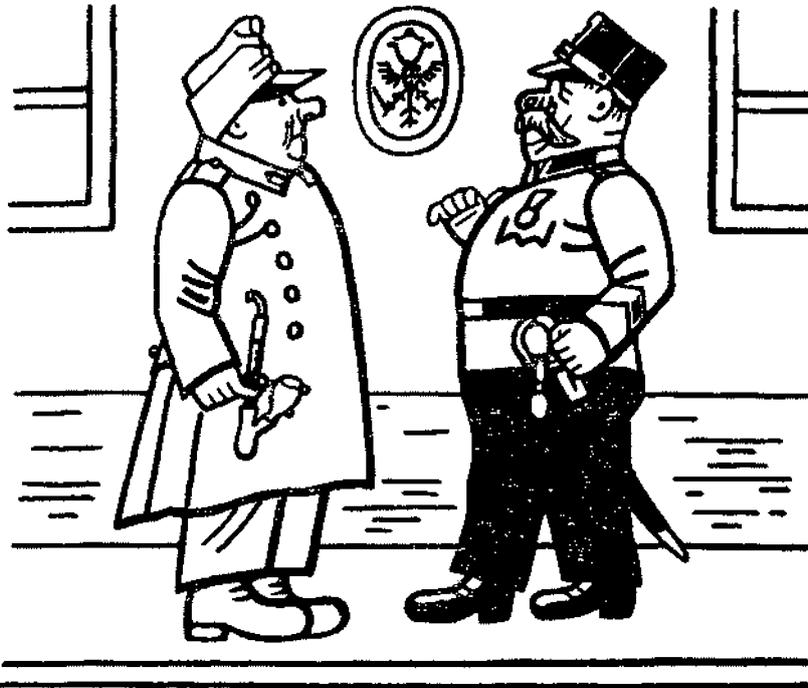
— Иначе нельзя было, дедушка.

— Стража была надежная? И стреляла небось?

— Стреляла, дедушка.

— А куда теперь направляешься?

— Вот с ума спятил! Тянет его в Будейовице, и все тут, — ответил за Швейка бродяга. — Ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон.



Придется взять его в учение. Свистнем какую ни на есть одежонку, а там все пойдет как по маслу! До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут. Голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет. Перебьют всех.

— Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И поделом: господь бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее, вишь ли, не хотели жрать! Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину да птицу, да все на масле да на сале. Вот бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как в наполеоновскую войну, войдут в разум. А наши бары — так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь, сопляк, все кругом своим автомобилем провонял. Погоди, господь бог уж намажет тебе харю бензином.

В горшке с картошкой забулькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрек:

— А войну эту не выиграт наш государь император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался, как говорит учитель из Стракониц. Пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово!

— Может быть, он это теперь как-нибудь обстригает, — заметил бродяга.

— Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать, — разгорячился пастух, — посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу, в Скочицах. У любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят! После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имена. Тамошнего Коржинку за такие речи уже сгребли жандармы: не подстрекай, дескать. Да что там! Нынче жандармы что хотят, то и делают.

— Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, в Кладно служил жандармский ротмистр Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак из породы овчарок, которые все вам могут выследить, когда их обучат. И развел он этих самых собачьих воспитанников полну задницу. Специально для собак выстроил домик; жили они там, что графские дети. Да, и придумал ротмистр обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладненской округе, чтобы жандармы стоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из Лан наутек, забираю поглубже лесом, да куда там! До роши, куда метил, не дошел, как уж меня сграбастали и повели к господину ротмистру. Родненькие мои! Вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками! Сначала дали меня этим собакам обнюхать, потом велели мне влезть по лесенке и, когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу, а она — бестия! — сволокла меня с лестницы наземь, а потом стала на грудь лапами, начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался и мотал на все четыре стороны. Направился я к долине Качака в лес и спрятался там. И полчаса не прошло, как прибежали две овчарки и повалили меня на землю, а пока одна держала меня за горло, другая побежала в Кладно, Через час пришел сам пан ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятерку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Черта с два! Я припустил к Бероуну, словно у меня под ногами земля горела, и больше в Кладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты... Обожал он этих собак! По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит где овчарку, то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку.

И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы показывали свою власть.

— В Липнице жандармский вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или еще где-нибудь в этом роде, а никак не в глухом переулке. Обхожу я как-то дома на окраине. На вывески-то не смотришь. Дом за домом, так идешь. Наконец в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе: «Подайте Христа ради убогому страннику...» Светы мои! Ноги у меня отнялись: гляжу — жандармский участок! Вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры, государь император над столом прямо на меня уставился. Я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне да ка-ак даст по морде! Так и покатился я по всем деревянным лестницам до самых Кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права!

Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать.

Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будейовице».

Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были Водня-

ны. Швейк ловко обошел их стороной, лугами, и первые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалеку от Противина.

— Вперед! — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. — Долг зовет. Я должен попасть в Будейовице.

Но по несчастной случайности, вместо того чтобы идти от Противина на юг — к Будейовицам, стопы Швейка направились на север — к Писеку.

К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал: «Так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к Будейовицам».

Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись: «Село Путим».

— Вот те на! — вздохнул Швейк. — Опять Путим! Ведь я здесь в стогу ночевал.

Больше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из окрашенного в белый цвет домика, на котором красовалась «курица» (так называли кое-где государственного орла), вышел жандарм — словно паук, проверяющий свою паутину.

Жандарм вплотную подступил к Швейку и спросил только:

— Куда?

— В Будейовице, в свой полк.

Жандарм саркастически усмехнулся.

— Ведь вы идете из Будейовиц! Будейовице-то ваши позади вас остались.

И потащил Швейка в жандармское отделение.

Путимский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрестному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрестный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала.

— Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым, — говаривал вахмистр своим подчиненным — Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов.

— Добро пожаловать, солдатик, — приветствовал жандармский вахмистр Швейка. — Присаживайтесь, с дороги-то устали небось. Расскажите: куда путь держите?

Швейк повторил, что идет в Чешске Будейовице, в свой полк.

— Вы, очевидно, сбились с пути, — улыбаясь, заметил вахмистр. — Дело в том, что вы идете из Чешских Будейовиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните: на юг от нас лежит Противин, южнее Противина — Глубокая, а еще южнее — Чешске Будейовице. Стало быть, вы идете не в Будейовице, а из Будейовиц.

Вахмистр ласково взглянул на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил:

— А все-таки я иду в Будейовице.

Это прозвучало сильнее, чем «а все-таки она вертится!», потому что Галилей, без сомнения, произнес свою фразу в состоянии сильной запальчивости.

— Знаете что, солдатик! — все так же ласково произнес вахмистр. — Должен вас предупредить — да вы и сами в конце концов придете к этому заключению, — что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание.



— Вы безусловно правы, — сказал Швейк. — Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание — и наоборот.

— Вот вы уже, солдатик, начинаете со мною соглашаться. Признайтесь чистосердечно, откуда вы вышли, когда направились в ваши Будейовице. Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют еще какие-то Будейовице, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту.

— Я вышел из Табора.

— А что вы делали в Таборе?

— Ждал поезда на Будейовице.

— Почему вы не поехали в Будейовице поездом?

— Потому что у меня не было билета.

— А почему вам как солдату не выдали бесплатный воинский проездной билет?

— Потому что при мне не было никаких документов.

— Ага, вот оно что! — победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. — Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы.

Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов:

— Итак, вы вышли из Табора. Куда же вы шли?

— В Чешске Будейовице.

Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту.

— Можете показать нам на карте, как вы шли в Будейовице?

— Я всех мест не помню. Помню только, что в Путиме я уже был один раз.

Жандармы выразительно переглянулись.

Вахмистр продолжал допрос:

— Значит, вы были на вокзале в Таборе? Что у вас в карманах? Выньте все.

После того как Швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистр спросил:

— Скажите, почему у вас ничего, решительно ничего нет?

— Потому что мне ничего не нужно.

— Ах ты, господи! — вздохнул вахмистр. — Ну и му́ка с вами!.. Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь делали тогда?

— Я шел мимо Путима в Будейовице.

— Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будейовице, между тем как мы вам доказали, что вы идете из Будейовиц.

— Наверно, я сделал круг.

Вахмистр и жандармы обменялись многозначительными взглядами.

— Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?

— До отхода последнего поезда на Будейовице.

— А что вы там делали?

— Разговаривал с солдатами.

Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих.

— А о чем вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали? Так, к примеру...

— Спрашивал, какого полка и куда едут.

— Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?

— Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю.

— Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?

— Конечно, господин вахмистр.

Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов.

— Вы говорите по-русски?

— Не говорю.

Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и, когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки;

— Ну, слышали? Он не говорит по-русски! Парень, видно, прошел огонь и воду и медные трубы. Во всем сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в Писек. Криминалистика — искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать! На вид дурак дураком, но именно с такими типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол.

И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «spionageverdächtig»[363].

Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами: «So melde ich gehorsam, wird den feindlichen Offizier heutigen Tages, nach Bezirksgendarmeriekommando Pisek, überliefert»[364], — он улыбнулся, глядя на свое произведение, и вызвал жандарма-ефрейтора.

— Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?

— Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием обеспечи-

ваются только те, кто был приведен и допрошен до двенадцати часов дня.

— Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, — веско возразил вахмистр. — Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир «У кота» за обедом. А если обедов уже нет, пусть сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом и все пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает?

— Просил табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно он дома. У вас, говорит, очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит ее под вечер, — упаси бог, если солнышко стоит над трубой.

— Тонкая штучка! — в полном восторге воскликнул вахмистр. — Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и наш враг. Ведь человек идет на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же? Небось каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно: «У вас тут тепло, и печка не дымит...» Вот это, господин ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами!.. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Народни политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен, вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей, всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью «За храбрость». — И вахмистр с серьезным видом прибавил: — Да, это я понимаю! Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство! Ну, заговорились мы тут с вами, бегите закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне.

Ефрейтор привел Швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители.

— Нету.

«Тем лучше, — подумал вахмистр, — по крайней мере, некому будет беднягу оплакивать». Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом теплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном:

— Ну а как вам нравится у нас в Чехии?

— Мне в Чехии всюду нравится, — ответил Швейк, — мне всюду попадались славные люди.

Вахмистр кивал головой в знак согласия.

— Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счет не идут. Я здесь уже пятнадцать лет, и, по моему расчету, тут приходится по три четверти убийства на год.

— Что же, не совсем убивают? Не приканчивают? — спросил Швейк.

— Нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств: пять с целью грабежа, а остальные шесть просто так... ерунда.

Вахмистр помолчал, а затем опять перешел к своей системе допроса.

— А что вы намерены были делать в Будейовицах?

— Приступить к исполнению своих обязанностей в Девяносто первом полку.

Вахмистр отослал Швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в писецкое окружное жандармское управление: «Владеет чешским языком в совершенстве. Намеревался в Будейовицах проникнуть в Девяносто первый пехотный полк».

Он радостно потер руки. Вахмистр был доволен этим богатым Материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чем его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом: «Согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство». И это называется допрос?

Вахмистр самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр Главного пражского жандармского управления с обычной надписью «*совершенно секретно*» и перечел его еще раз:

«Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшейся далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников русской академии Генерального штаба, которые, в совершенстве владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого Главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повесить бдительность особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанциям».

Жандармский вахмистр Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «*Секретные распоряжения*».

Таких распоряжений было много. Их составляло министерство внутренних дел совместно с министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия.

В Главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножить и рассылать.

В папке были:

приказ о наблюдении за настроениями местных жителей;

наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий;

анкета: как откосятся местное население к военным займам и сборам пожертвований;

анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными;

анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции;

распоряжение: безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население; насколько сильны отдельные политические партии;

приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население;

анкета: какие газеты, журналы и брошюры получают в районе данного жандармского отделения;

инструкция: как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чем их нелояльность проявляется;

инструкция: как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей;

инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении.

Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения.

Утопая в массе этих изобретений австрийского министерства внутренних дел, вахмистр Фландерка имел огромное количество «хвостов» и на анкеты посылал стереотипные ответы: у него все в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени Ia.

Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий:

Ia Ib Ic

IIa IIb IIc

IIIa IIIb IIIc

IVa IVb IVc

Римская четверка в соединении с «а» обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с «b» — концлагерь, а с «с» — необходимость выследить и посадить.

В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин.

Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо прибывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «свободно от оплаты», «служебное», у него начинается сердцебиение. Ночью после долгих размышлений он приходил к убеждению, что ему не дожидаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума и ему не придется порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков.

А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его за-

просами: почему до сих пор не отвечено на анкету за № 72345/721a/f d, как выполняется инструкция за № 88992/882gfeh z, каковы практические результаты наставления за № 123456/1922в/ч v и т. д.

Больше всего хлопот доставила ему инструкция о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь там, где начинается Блата, потому что в тех местах народ меднолобый, он наконец решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию Пепка-Прыгни. Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услышав свою кличку, несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека, за несколько золотых в год и за жалкие харчи пасший деревенское стадо.

Вахмистр велел его призвать и сказал ему:

— Знаешь, Пепка, кто такой «старик Прогулкин»?

— Ме-ме...

— Не мычи. Запомни: так называют государя императора. Знаешь, кто такой государь император?

— Это — гоцудаль импелатол...

— Молодец, Пепка. Так запомни: если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь император — скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, что говорят, будто мы проигрываем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. Но если я узнаю, что ты что-то скрываешь, — плохо тебе придется. Заберу и отправлю в Писек. А теперь, ну-ка, прыгни!

Пепка подпрыгнул, а вахмистр дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя.

На следующий день к вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку-Прыгни и тот ему сказал: «Батюска, вчела пан вахмистл говолил, что гоцудаль импелатол — скотина, а войну мы плоиглаем. Ме-е... Гоп!»

После дальнейших выяснений и разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее градчанский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков.

Пепка-Прыгни держал себя на суде, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул: «Ме-е!.. Гоп!» — и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жесткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду.

С тех пор у вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на пятьдесят крон, которые он пропивал в трактире «У кота». После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: «Что-то нынче наш вахмистр невеселый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его

ухода кто-нибудь всегда говорил: «Видать, наши в Сербии опять обделались — вахмистр сегодня больно молчаливый».

А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет:

«Настроение среди населения — Ia...»

Часто в ожидании ревизии и расследований вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля, вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у виселицы: «Wachtmeister, wo ist die Antwort des Zirkulärs[365] за № 1789678/23792 х. у. z.?»

Но теперь... Теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несется старое охотничье пожелание «ни пуха ни пера». И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет: «Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachtmeister»[366].

Жандармский вахмистр рисовал в своем воображении картины одну пленительней другой. В извилинах его чиновничьего мозга выростали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую перспективу для дальнейшей карьеры.



Вахмистр вызвал ефрейтора и спросил его:

— Обед раздобыли?

— Принесли ему копченой свинины с капустой и кнедликом. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще.

— Дать! — великодушно разрешил вахмистр. — Когда напьется чаю, приведите его ко мне.

Через полчаса ефрейтор привел Швейка, сытого и, как всегда, довольного.

— Ну как? Понравился вам обед? — спросил вахмистр.

— Обед сносный, господин вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть, домашнего копчения, от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой.

Вахмистр посмотрел на Швейка и начал:

— Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть?

— Ром во всем мире есть, господин вахмистр.

«Начинает выкручиваться, — подумал вахмистр. — Раньше нужно было думать, что говоришь!» И, интимно наклонясь к Швейку, спросил:

— А девочки хорошенькие в России есть?

— Хорошенькие девочки во всем мире имеются, господин вахмистр.

«Ишь ты какой, — снова подумал вахмистр. — Небось решил вывернуться!» — и выпалил, как из сорокадвухсантиметровки:

— Что вы намеревались делать в Девяносто первом полку?

— Идти с полком на фронт.

Вахмистр с удовлетворением посмотрел на Швейка и подумал: «Правильно! Самый лучший способ попасть в Россию».

— Задумано великолепно! — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на Швейка, но не прочел в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия.

«И глазом не моргнет, — ужаснулся в глубине души вахмистр. — Ну и выдержка у них! Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили».

— Утром мы отвезем вас в Писек, — проронил он как бы невзначай. — Вы были когда-нибудь в Писеке?

— В тысяча девятьсот десятом году на императорских маневрах.

На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошел самого себя.

— Вы оставались там до конца маневров?

— Ясное дело, господин вахмистр. Я был в пехоте.

Швейк продолжал смотреть на вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать все в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвести Швейка, а сам приписал в своем рапорте:

«План его был таков: проникнув в ряды Девяносто первого пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт; там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что благодаря бдительности наших органов возвращение туда иным путем невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путем продолжительного перекрестного допроса, он еще в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских маневрах в окрестностях Писека, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрестного допроса».

В дверях появился ефрейтор.

— Господин вахмистр! Он просится в нужник.

— *Vajonett auf!*[367] — скомандовал вахмистр. — Или нет, приведите его сюда... Вам нужно в уборную? — любезно спросил Швейка вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?

— Совершенно верно. Мне нужно «по-большому», господин вахмистр, — ответил Швейк.

— Смотрите, чтобы не случилось чего другого, — многозначительно сказал вахмистр, пристегивая кобуру с револьвером. — Я пойду с вами.

— У меня хороший револьвер, — сообщил он Швейку по дороге, — семиза-



рядный, абсолютно точно бьет в цель.

Однако, раньше чем выйти во двор, вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему:

— Примкните штык и, когда он войдет внутрь, станьте позади уборной. Как бы он не сделал подкопа через выгребную яму.

Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, уныло торчавшую посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности многие поколения. Теперь тут сидел Швейк и придерживал одной рукой веревочку от двери, между тем как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа.

Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь; вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если Швейк предпримет попытку к бегству.

Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворенный Швейк. Он осведомился у вахмистра:

— Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас?

— О, нисколько, нисколько, — ответил вахмистр и подумал:

«Какие они все-таки деликатные, вежливые. Знает ведь, что его ждет, но остается любезным. Надо отдать справедливость — вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать?!»

Вахмистр остался в караульном помещении и сел рядом со Швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные села. В настоящее время он уже сидел в Противине, в трактире «У вороного коня», и играл с сапожником в «марьяж», в перерывах доказывая, что Австрия должна победить.

Вахмистр закурил трубку, дал и Швейку набить трубку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Спустились зимние сумерки. Время дружеских задушевных бесед.

Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и наконец обратился к помощнику:

— По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга, за свою, так сказать, родину, заслуживает почетной смерти от пули. Как по-вашему, господин ефрейтор?

— Конечно, лучше расстрелять его, а не вешать, — согласился ефрейтор. — Послали бы, скажем, нас и сказали бы: «Вы должны выяснить, сколько у русских пулеметов в их пулеметном отделении». Что же, мы переоделись бы и пошли. И за это меня вешать, как бандита?

Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил:

— Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями!

— Вот тут-то и закавыка, — сказал Швейк. — Если парень не дурак — попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут.

— Нет, докажут! — загорячился вахмистр. — Ведь они тоже не дураки, и у них *есть своя особая система*. Вы сами в этом убедитесь. Убедитесь, — повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. Сколько ни вертись — у нас никакие увертки не помогут. Верно я говорю, господин ефрейтор?

Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет: чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдает.

— У вас моя школа, ефрейтор! — с гордостью провозгласил вахмистр. — Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это *corpus delicti* [368]. — И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору: — Что бы такое придумать на ужин?

— А в трактир вы нынче не пойдете, господин вахмистр?

Тут перед вахмистром во весь рост встала новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения.

Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надежный и бдительный, но однажды у него сбежали двое бродяг. (Фактически дело обстояло так: ефрейтору не хотелось тащиться с ними до Писека по морозу, и он отпустил их в поле около Ражиц, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки).

— Пошлем нашу бабку за ужином. А пиво она нам будет таскать в жбане, — разрешил наконец вахмистр эту сложную проблему. — Пусть бабка побегаёт — разомнет кости.

И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер.

После ужина сообщение на линии жандармское отделение — трактир «У кота» не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том, что вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире «У кота».

Когда же — в несчетный раз — бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку контушовки, терпение любопытного трактирщика лопнуло.

— Кто там у них?

— Да подозрительный какой-то, — ответила на его вопрос бабка. — Я сейчас оттуда — сидят с ним оба в обнимку, а господин вахмистр гладит его по го-



лове и приговаривает: «Золотце ты мое, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный!..»

Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину: ефрейтор спал, громко храпя; он растянулся поперек постели, как был — в полной форме; напротив сидел вахмистр с остатками настойки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею; слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от контушовки. Он бормотал:

— Ну, признайся — в России такой хорошей контушовки не найти. Скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Признайся, будь мужчиной!

— Не найти.

Вахмистр навалился на Швейка:

— Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать?

Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату, бормоча:

— Если б-бы я сразу не поп-пал на п-правильный п-путь, могло бы п-получиться совсем другое.

Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом: «*Ich muß noch dazu beizufügen, daß die russische Kontuszowka*[369] на основании § 56...»

Он сделал кляксу, слизнул ее языком, и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мертвым сном.

К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что Швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улегся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила. Бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и Швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала:

— Хоть бы постыдились спать одетым, нешто вы скотина? — А Швейку сде-

лала замечание, чтобы он застегивал ширинку, когда перед ним женщина.

Наконец, она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго.

— Ну и в компанию вы попали, — ворчала бабка, обращаясь к Швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит: «Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын — браконьер и господские дрова ворует». Вот и маюсь с ними уже четвертый год. — Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать: — Вахмистра берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало. Так и ищет, кого бы сцапать и посадить.

Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро.

Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутным взглядом смотря на ефрейтора:

— Сбежал?!

— Боже сохрани, парень честный.

Ефрейтор принялся расхаживать по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать.

Вахмистр неуверенно взглянул на него и наконец, точно желая уяснить, что тот о нем думает, сказал:

— Ладно уж, я вам помогу, господин ефрейтор; вчера небось я опять безобразничал?

Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника:

— Если бы вы только знали, господин вахмистр, что за речи вы вчера вели! Чего-чего вы только ему не наговорили! — И, наклонясь к самому уху вахмистра, зашептал: — Что все мы — чехи и русские — одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании все отрицать и плести с пятого на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Еще вы сказали, что очень скоро все лопнет, повторятся гуситские войны, крестьяне пойдут с цепями на Вену, из государя императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет, а император Вильгельм — зверь. Потом вы обещали ему посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормился, и много еще чего.

Ефрейтор отошел от вахмистра.

— Я все это отлично помню, — прибавил он, — потому что спервоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж, верно, нализался и дальше не помню ничего.

Вахмистр поглядел на ефрейтора.

— А я помню, — сказал он, — как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали: «Да здравствует Россия!»

Ефрейтор нервно зашагал по комнате.

— Вы орали, словно бык, — сказал вахмистр. — А потом повалились поперек кровати и захрапели.

Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил:

— Да и вы тоже, господин вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали: «Бабушка, зарубите себе на носу: любой император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и эта развалина, «старик Прогулкин», которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрунн».

— Я это говорил?!

— Да, господин вахмистр, именно это вы говорили, перед тем как идти на двор блевать, а еще кричали: «Бабушка, суньте мне палец в глотку!»

— А вы тоже прекрасно выразились, — прервал его вахмистр. — Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем?

— Этого я что-то не помню, — нерешительно отозвался ефрейтор.

— Еще бы вы помнили! Пьян был в стельку, и глаза словно у поросенка, а когда вам понадобилось «на двор», вы, вместо того чтобы выйти в дверь, полезли на печку.

Оба замолкли, пока наконец продолжительное молчание не нарушил вахмистр:

— Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель. Пить не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Как бы мы с вами оправдались? Ах ты, господи, как башка трещит! Говорю вам, господин ефрейтор, — продолжал вахмистр, — именно потому, что он не сбежал, мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны и он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье еще, что такому человеку не поверят, и если мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, то ему сам бог не поможет, а еще пришьют лишний параграф — и все. В его положении лишний параграф никакой роли не играет... Ох, хоть бы голова так не болела!

Наступила тишина. Немного погодя вахмистр приказал позвать бабуку.

— Послушайте, бабушка, — сказал вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. — Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда. — И на вопросительный взгляд бабуки крикнул: — Живо! Чтобы сей момент здесь было!

Затем вахмистр вынул из стола две свечи со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и, когда бабука приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажег свечи и торжественно произнес:

— Сядьте, бабушка.

Бабука Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра, свечи и распятие. Бабуку охватил страх, и было видно, как дрожат у нее ноги и сложенные на коленях руки.

Вахмистр прошелся раза два мимо нее, потом остановился и торжественно изрек:

— Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что вам с вашим глупым умом этого не понять, Солдат тот — разведчик, шпион, бабушка!

— Иисус Мария! — воскликнула Пейзлерка. — Пресвятая богородица! Мария Скочицкая!

— Тихо! Так вот: для того чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали. Вы, небось, слышали, какие странные разговоры мы вели?

— Слышала, — дрожащим голосом пролепетала бабка.

— Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался. И нам это удалось. Мы вытянули из него все. Сцапали голубчика.

Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечах, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку Пейзлерку:

— Вы, бабушка, присутствовали при сем, таким образом, посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная, вы о ней и заикнуться никому не смеее. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить.

— Иисус Мария, Иосиф! — заголосила Пейзлерка. — Занесла меня сюда нелегкая!

— Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию, сложите два пальца и подымите руку. Будете сейчас присягать мне. Повторяйте за мной...

Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая:

— Пресвятая богородица! Мария Скочицкая! И зачем только я этот порог переступила!

С креста глядело на нее измученное лицо Христа, свечки коптели, а бабке все это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у нее дрожали, руки тряслись, Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистр торжественно, с выражением, произнес слова присяги, которые бабка повторяла за ним:

— Клянусь богу всемогущему и вам, господин вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом господь бог!

— Теперь поцелуйте крест, — приказал вахмистр, после того как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. — Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса.

Ошеломленная Пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.

Вахмистр между тем переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту, словно мармелад.

Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его:

— Умеете фотографировать?

— Умею.

— А почему не носите с собой аппарата?

— Потому что его у меня нет, — чистосердечно признался Швейк.

— А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали? — спросил вахмистр.

— Если бы да кабы, во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра.



У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как:

— Трудно ли фотографировать вокзалы?

— Легче, чем что другое, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht № 2172 melde ich...»[370] В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:

«При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой, чтобы не возбуждать подозрений; это подтверждается и его собственным признанием в том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат...»

С похмелья вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал:

«Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорож-

ные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было».

Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору.

— Недурно получилось, — сказал он. — Видите, вот как составляются доклады. Здесь все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное — умело изложить все в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить.

— Итак, господин ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление в Писек, — важно сказал вахмистр Швейку. — Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству. — Вахмистр, видно тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: — И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам мое донесение.

— Счастливо оставаться, — мягко сказал Швейк. — Спасибо вам, господин вахмистр, за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости.

Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свел случай, и теперь они вместе идут в город, скажем, в костел.

— Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будейовице окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылис. Очутился он раз у памятника Палацкому на Морани и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стене этой ни конца, ни краю. Он пришел в отчаяние. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «караул», а когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылисы, потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколо-тил.

Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «На кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчет Будейовиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу.

— Здесь одни браконьеры, — ответил ефрейтор. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, а ничего не помогает — у них в штанах жечь.

И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников.

— И так на свете слишком много народу, — произнес он глубокомысленно. — Всем стало тесно, людей развелось до черта!



Они подошли к постоялому двору.

— Сегодня чертовски метет, — сказал ефрейтор. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в Писек. Это государственная тайна.

Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения «изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения».

— Не вздумайте проговориться, что вы за птица, — сказал он. — Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет — и пойдет по всей округе! Понимаете?

— Я панику устраивать не буду, — сказал Швейк и действительно держал себя соответственно этому заявлению.

Когда хозяин постоялого двора разговорился с ними, Швейк проронил:

— Вот брат говорит, что за час мы дойдем до Писека.

— Так, значит, ваш брат в отпуску? — спросил любопытный хозяин у ефрейтора.

Тот, не сморгнув, ответил:

— Сегодня у него отпуск кончается.

Когда трактирщик отошел в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал:

— Ловко мы его обработали! Главное, не поднимать паники — время военное.

Перед входом на постоялый двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трех часов начальник окружного жандармского управления обедает и бесполезно приходить туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут в Писек в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До шести времени хватит. Придется идти в темноте, по погоде видно. Раз-

ницы никакой: сейчас ли идти или попозже — Писек никуда от них не убежит.

— Хорошо, что сидим в тепле, — заключил он. — Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь, у печки.

От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоянного двора, распивая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика.

Ефрейтор все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоянного двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в ферблан, и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ:

— Э-это ты брось! Без паники! На этот счет у нас есть инструкция, — и пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений.

При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоянного двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственно, что он мог промямлить, — это что инструкциями войны не выиграешь.

Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писек. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял:

— Жми все время прямо до самого Писека.

Когда он произнес это в третий раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех: «Как с ледяной горы». Вскоре его снова не стало слышно: он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра:

— Упаду, паника!

Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет вверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись наконец к Швейку, уныло произнес:

— Я бы легко мог вас потерять.

— Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор, — успокоил его Швейк. — Самое лучшее, что можно сделать, — это привязаться, тогда мы не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?

— Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы, — веско ответил ефрейтор, ковыляя около Швейка. — Это хлеб наш насущный.

— Так давайте пристегнемся, — предложил Швейк, — попытка не пытка.

Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. Наконец ефрейтор сказал, что так дальше не пойдет и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов ефрейтор вздохнул:

— Мы связаны друг с другом на веки веков.

— Аминь, — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь.

Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до Писека. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удрученно сказал Швейку:

— Плохо дело — нам друг от друга не отлепиться.

И действительно, дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кенигом. Первое, что произнес ротмистр, было:

— Дыхните. Теперь понятно.

Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию.

— Ага! Ром, контушовка, «черт», рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная. Господин вахмистр, — обратился он к своему подчиненному, — вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному и прийти вдребезги пьяным! Влезть сюда в таком скотском виде! Снимите с них кандалы!

Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек.

— Что еще? — спросил его ротмистр.

— Осмелюсь доложить, господин ротмистр, принес донесение.

— О вас пойдет донесение в суд, — коротко бросил ротмистр. — Господин вахмистр, посадить обоих! Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру.

Писецкий ротмистр Кениг был типичным чиновником: строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей.

В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: «Ну слава богу, пронесло тучу!» Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистра Кенига. С утра до вечера ротмистр строил выговоры, напоминания и предупреждения, рассылая их по всей округе.

С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи нависли тяжелые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание.

— Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кениг во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, — всегда нужно ставить точку над «і»: «а» должно быть «а», «б» — «б».

Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе.

А сверху, *pis* министерства внутренних дел, его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю.

Кенига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных шли провожать своих мужей на фронт, — и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укокошить себя во славу государя императора.

Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались

Двадцать восьмой и Одиннадцатый полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через писецкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писецкие дамы.

В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия: «Heil! Nieder mit den Serben!» [371] Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице.

А в то время как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, боже, государя!» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы á la Путим о том, что все в полном порядке, никакой агитации против войны не ведется, настроение населения Ia, а воодушевление — Ia — b.

— Не жандармы, а городовые! — ругался ротмистр во время своих объездов. — Вместо того чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов. — Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: — Валяетесь дома на печке и думаете: «Mit ganzem Krieg kann man uns Arsch lecken!» [372]

Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению Австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы.

Ротмистр был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает и что все жандармы подвластных ему отделений лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию.

Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления, хотя и тот, будучи в трактире, отпускал замечания вроде «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана».

Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о Швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесением ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в «шнопс».

— На днях я вам говорил, Матейка, — сказал ротмистр, — что самый большой болван, которого мне пришлось встречать, это вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путимский вахмистр перецеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын пропойца-ефрейтор, — помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, — вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения, просто самый что ни на есть обыкновенный дезертир. Вахмистр в своем донесении порет несусветную чушь; ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский прелат. Немедленно приведите этого солдата, — приказал он, просматривая донесение из Путима. — Никогда в

жизни не случилось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того: он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо они меня знают! А я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя веревки вить позволю!

Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и по тому, как составляют донесения, видно, что каждый вахмистр превращает все в шутку и старается только запутать дело.

Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе лазутчиков, жандармские вахмистры начинают выработать этих лазутчиков оптом. Если война продлится, то жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путим, чтобы вахмистр явился завтра в Писек. Он выбьет ему из башки это «событие огромной важности», о котором тот пишет в своем донесении.

— Из какого полка вы дезертировали? — встретил ротмистр Швейка.

— Ни из какого полка.

Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности.

— Где вы достали обмундирование? — спросил ротмистр.

— Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование, — спокойно улыбаясь, ответил Швейк. — Я служу в Девяносто первом полку и не только не дезертировал из своего полка, а *наоборот*.

Это слово «наоборот» он произнес с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своем лице ироническое сострадание, спросил:

— Как это «наоборот»?

— Дело очень простое, — объяснил Швейк. — Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от Чешских Будейовиц. Только подумать, целый полк меня ждет! Путимский вахмистр показал на карте, что Будейовице лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север.

Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря: «Он и почище еще номера выкидывает, а не только отправляет людей на север».

— Значит, вы не можете найти свой полк? — сказал он. — Вы его искали?

Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал Табор и все места, через которые он шел в Будейовице: Милевско — Кветов — Враж — Малчин — Чижова — Седлец — Горождёвице — Радомышль — Путим — Штекно — Страконице — Волынь — Дуб — Водняны — Противин и опять Путим. Вдохновенно описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему Девяносто первому полку в Будейовицах и как все его усилия оказались тщетными.

Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого храбрый солдат Швейк не мог вырваться, отыскивая свой полк.

— Что и говорить, геркулесова работа, — сказал наконец ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая

задержка и невозможность попасть вовремя в полк. — Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима!

— Все бы уже разъяснилось, — заметил Швейк, — не будь этого господина вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил ни имени, ни номера полка, и все ему представлялось как-то шиворот-навыворот. Ему бы отправить меня в Будейовице, а там бы в казармах сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять воинские обязанности.

— Почему же вы в Путиме не сказали, что это недоразумение?

— Потому как я видел, что с ним говорить бесполезно. Бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк. Старый Рампа-трактирщик на Виноградах говаривал, когда у него просили займы, что порой человек становится глух, как чурбан.

После недолгого размышления ротмистр пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие, — ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке нижеследующее:

В штаб Девяносто первого императорского и королевского полка в Чешских Будейовицах

Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счет за довольствование вышеназванного, который соблаговолите перевести на счет министерства внутренних дел с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. I посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания, принятие коего следует подтвердить.

Время путешествия от Писека до Будейовиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал со Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма: «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу?»

Вопрос был разрешен так: в случае нужды взять Швейка с собой.

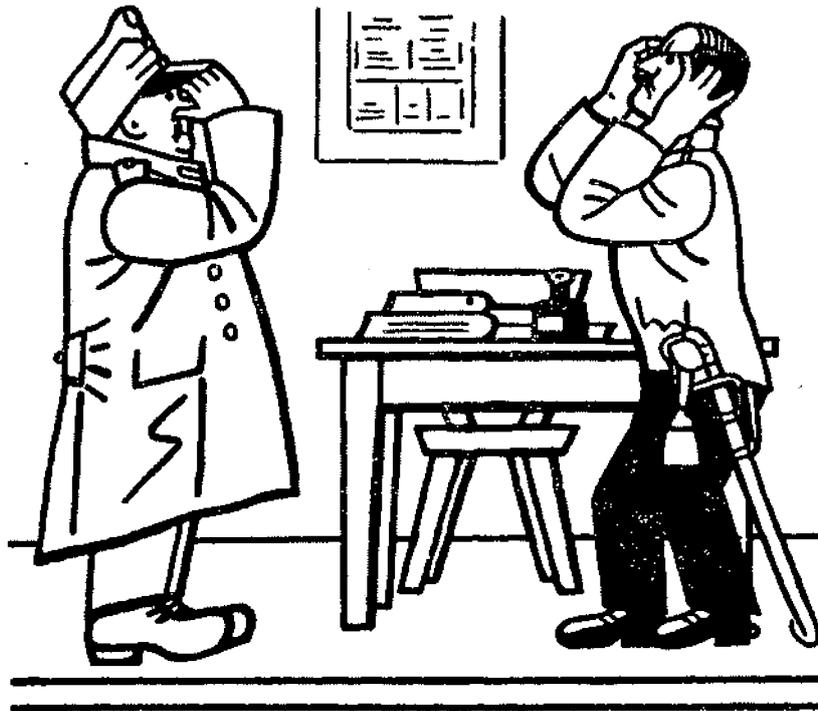
Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Будейовицах жандарм не спускал со Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или к перекрестку, как бы между прочим заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевым патронам; в ответ на это Швейк высказывал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы, во избежание всевозможных несчастий.

Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм.

Дежурство по казармам уже второй день нес поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут, — торже-

ственно произнес Швейк, взяв под козырек.



Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, заслышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек, повторил еще раз:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут.

Бледный как мел поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии.

Так кончился будейовицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что, если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошел бы до Будейовиц. Если доставку Швейка по месту назначения поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах.

Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга.

В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. А Швейк глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную.

В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный вольноопределяющийся, оставшийся дома из-за насморка, — это чувствовалось по его голосу, — гнусавя, зубрил «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей». Четко доносились слова: «Sobald die höchste Herrschaft in der Nähe der Festung anlangt, ist das Geschütz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern, der Platzmajor empfängt dieselbe mit dem Degen in der Hand zu Pferde, und reitet sodann vor»[373].

— Заткнитесь вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели.

Было слышно, как усердный вольноопределяющийся удаляется и как с конца коридора, словно эхо, раздается его гнусавый голос: «In dem Augenblicke, als

Kommandant salutiert, ist das Abfeuern des Geschützes zu wiederholen, welches bei dem Absteigen der höchststen Herrschaft zum drittenmale zu geschehen hat»[374].

А поручик и Швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока наконец первый не сказал тоном, полным злой иронии:

— Добро пожаловать в Чешске Будейовице, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился. Мое терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом... — Поручик зашагал по канцелярии. — Нет, это просто ужасно! Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. Что бы мне за это сделали? Ничего. Меня бы оправдали, понимаете?

— Так точно, господин поручик, вполне понимаю.

— Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее! Вас наконец-то проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу. — Поручик Лукаш потер руки. — Теперь вам какую!

Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвести Швейка к профосу и передать последнему записку.

Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой и надписью 'Regimentsarrest'[375] как Швейк исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один.

«Слава богу, — подумал поручик. — Наконец-то он там!»

В темной тюрьме Мариинских казарм Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матрасе толстый вольноопределяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольноопределяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику, собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так: артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольноопределяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольноопределяющегося Франтишека Матерну.

— Точь-в-точь такой же заморыш, — рассказывал он Швейку. — Ну, я это потихоньку подкрался сзади, сшиб с него фуражку и говорю: «Здорово, Франта!» А этот идиотина как начал свистеть! Ну, патруль и отвел меня. Возможно, — предположил вольноопределяющийся, — ему при этом раза два попало по шее, но, по-моему, это дела не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признает, что я сказал: «Здорово, Франта!» — а его зовут Антоном. Дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из госпиталя, а если вскроется дело с «больничной книгой»...

— Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будейовицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого: так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу, и, когда меня утром будили домашние, но-



ги у меня были горячие, словно я лежал в шлепанцах. Хоть бы ангину схватить! Нет, ни черта не получалось! Да что там: ерундовый триппер и то не мог поймать! Каждый божий день я ходил в «Порт-Артур», кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски, брат, не везет! Наконец познакомился я «У розы» с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру, и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного вспрыскивания. И действительно, я из Глубокой еле-еле домой дошел. Не подвел, золотая душа! Наконец-то я добился суставного ревматизма. Моментально в госпиталь — и дело было в шляпе! Потом счастье еще раз улыбнулось мне: в Будейовице, в госпиталь, был переведен мой родственник, доктор Масак из Жижкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы, да сам испортил себе всю музыку этим несчастным «Krankenbuch'ом»[376]. Штуку я придумал знаменитую: раздобыл себе большую конторскую книгу, наклеил на нее наклейку и вывел: «Krankenbuch des 91. Reg.», рубрики и все прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные имена, род болезни, температуру. Каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой под мышкой в город. У ворот госпиталя всегда дежурили ополченцы, так что и в этом отношении я был застрахован: покажу им книгу, а они мне под козырек. Обыкновенно я шел к одному знакомому чиновнику из податного управления, переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. В госпиталь, на свою койку, я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, я, бывало, покажу только «Krankenbuch» Девяносто первого полка, больше меня ни о чем не спрашивают. У ворот госпиталя опять, ни слова не говоря, показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки... Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может, пока не произошла роковая ошибка ночью, на площа-

ди, под арками. Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. Что слава? Дым. Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат! В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил! Глядишь, я бы уже был *felddienstunfähig*[377]. Такая протекция! Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей... Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку.

Свою исповедь вольноопределяющийся закончил торжественно:

— И Карфаген пал, от Ниневии остались одни развалины, дорогой друг, но все же — выше голову! Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, то я сделаю хоть один выстрел. *Regimentsraport!*[378] Исключение из школы! Да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм! Буду я еще корпеть в школе и сдавать экзамены! Кадет, юнкер, подпоручик, поручик... Нас...ть мне на них! *Offiziersschule! Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgang repetieren müssen!*[379] Вся армия разбита параличом! На каком плече носят винтовку: на левом или на правом? Сколько звездочек у капрала? *Evidenzhaltung Militärreservemänner! Himmelherrgott!*[380], курить нечего, товарищ! Хотите, я научу вас плевать в потолок? Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Пиво любите? Могу рекомендовать вам отличную воду, вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в «Мещанскую беседу». Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею:

*Профос дома? Крепко спит,  
Пока враг не налетит.  
Тут он встанет ото сна,  
Мысль его, как день, ясна;  
Против вражьей канонады  
Он воздвигнет баррикады,  
Пустит в ход скамейку, нару  
И затянет, полон жару,  
В честь австрийского двора:  
«Мы врагу готовим кару,  
Императору ура!»*

— Видите, товарищ, — продолжал толстяк вольноопределяющийся, — а вы говорите, что в народе уже нет прежнего уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и покурить-то нечего и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой и неделимой родине, которую лупят и в хвост и в гриву. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. *Morituri te salutant, caesar!* — Идущие на смерть тебя приветствуют, цезарь! А профос — дрянь. Нечего сказать, хорош у нас слуга! Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя, ему, мол, из-за этого будут неприятно-

сти. А эти пять крон, говорит, вернет мне, когда будет получка. Да, дружок, нынче никому нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. Обворовать арестанта, а? И этот тип еще распевает себе целый день: «Wo man singt, da leg' dich sicher nieder, böse Leute haben keine Lieder!»[381] Вот негодяй, хулиган, подлец, предатель!



После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился.

— Искал свой полк? — посочувствовал вольноопределяющийся, — Недурное турне. Табор — Милевско — Кветов — Враж — Малчин — Чижова — Седлец — Гораждёвице — Радомышль — Путим — Штекло — Страконице — Вольнь — Дуб — Водняны — Противин — Путим — Писек — Будейовице... Тернистый путь! И вы завтра на рапорт к полковнику? О милый брат! Мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шредер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи, предупреждения! И плюется при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что раньше, чем он кончит, рухнут стены Мариинских казарм. Я-то его хо-

рошо знаю, был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове, а из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шредер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. *Donnerwetter! Was machen Sie hier, Sie civilist?!*[382] — заорал он на меня так, что, должно быть, на Шумахе было слышно. Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольноопределяющийся и пришел на учение. Посмотрели бы вы на него! Ораторствовал целых полчаса и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и поскакал бог знает куда, словно дикий всадник, а потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь; меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на четырнадцать дней, велел нарядить в какие-то немислимые тряпки из цейхгауза и грозил, что спорет мне нашивки.

«Вольноопределяющийся — это нечто возвышенное, эмбрион славы, воинской чести, герой! — орал этот идиот полковник. — Вольноопределяющийся Вольтат, произведенный после экзамена в капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен пятнадцать человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры! Вас также ожидала блестящая будущность: повышения и отличия. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка!» — Вольноопределяющийся сплюнул. — Вот, брат, какие ослы рождаются под луной. Плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются: вольноопределяющийся, вы — скотина. Заметьте, как красиво звучит «вы — скотина», вместо грубого «ты — скотина», а после смерти вас украсят *signum laudis*[383] или большой серебряной медалью. Его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звездочками и без звездочек! Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое учение и на стрельбище.

Толстый вольноопределяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал:

— Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Такое не может вечно продолжаться. Попробуйте надуть славой поросенка — обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу:

*Три тонны удобрения для вражеских полей;  
Сорок человечков иль восемь лошадей.*

Дверь отворилась, и появился профос, принесший четверть пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды.

Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал профоса следующими словами:

— Как это возвышенно, как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса Девяносто первого полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадания! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты луч солнца, упавший к нам в темницу!

— На рапорте у полковника у вас пропадет охота шутить, — заворчал профос.

— Ишь как оцетинился, хомяк, — ответил с нар вольноопределяющийся. — Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если б тебе нужно было запереть десять вольноперов? Да не смотри, как балбес, ключарь Мариинских казарм! Запер бы двадцать, а десять бы выпустил, суслик ты этакий! Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба! Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном тебя только прошу: дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою! Фанфарон ты этакий!

Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью.

— Общество взаимопомощи по удалению профосов, — сказал вольноопределяющийся, справедливо деля хлеб на две половины. — Согласно параграфу шестнадцатому дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком, но здесь, как видно, властвует закон прерий: кто первый сожрет у арестантов паек.

Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб.

— На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба, — возобновил свои рассуждения вольноопределяющийся. — Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Этакий светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали, но теперь... боже мой! С каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы головой об нару и всунул бы по шею в сортирную яму! И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом.

Он запел:

*Она и черта не боялась,  
Но тут попался ей солдат...*

— Дорогой друг, — продолжал он, — наблюдая все это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. Пушкин писал, что его дядя — такая дохлятина, что ничего другого не остается, как только

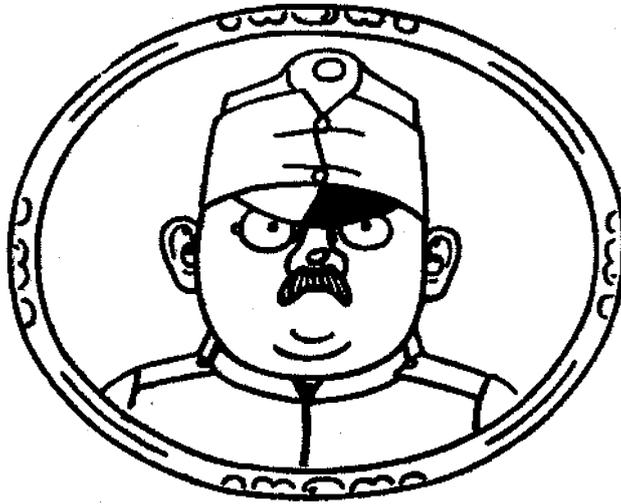
*Вздыхать и думать про себя:  
Когда же черт возьмет тебя?*

Опять послышалось щелканье ключа в замке, и профос зажег керосиновую лампочку в коридоре.

— Луч света в темном царстве! — крикнул вольноопределяющийся. — Просвещение проникает в ряды армии! Спокойной ночи, господин профос! Кланяйтесь там всем унтерам, желаю вам приятных сновидений. Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне пять крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет и которые вы пропили за мое здоровье. Спите сладко, чудовище!

Вслед за этим послышалось бормотанье профоса насчет завтрашнего полкового рапорта.

— Опять мы одни, — сказал вольноопределяющийся. — На сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днем расширяются зоо-



логические познания унтер-офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны и мыслящее пушечное мясо, необходимо основательное знакомство с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия, в которой на каждой странице встречаются слова, вроде: скот, поросята, свиньи. За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее продвинутых военных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В одиннадцатой роте капрал Альтгоф употребляет выражение «энгадинская коза», ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками», фельдфебель Зондернуммер — «ослиными лягушками» и «йоркширскими боровами» и сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причем проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чучельников. Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как-то: диким ревом, пляской вокруг рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель Зондернуммер заводит речь о «свинской банде», он поспешно прибавляет «die tschechische»[384], чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все унтера одиннадцатой роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали «ein Paar Ohrfeigen»[385]. Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство, но здорово ошибся. Разговор шел всего-навсего о солдатах. «Если, скажем, такая чешская свинья, — авторитетно поучал капрал Альтгоф ефрейтора Мюллера, — даже после тридцати раз «nieder!»[386] не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло — толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать: «Kehrt euch!»[387], а когда повернется, наподдать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг». Теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты одиннадцатой роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми ба-

бушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Дауэрлинг пользуется репутацией людоеда, антропофага из австралийских племен, что поедают людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб головку. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенес сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и, даже наоборот, утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастет, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которые он прошел экстерном, причем первый его домашний учитель преждевременно поседел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики. Образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше.

Ученик юнкерского училища Дауэрлинг не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве Дауэрлинг ушиб себе головку. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как «unser braver Trottel»[388]. Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться — спустя несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведенных гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в Девяносто первом полку.

Вольноопределяющийся перевел дух и продолжал:

— В издании военного министерства вышла книга «Drill oder Erziehung» [389], из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни, но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под «verschärft»[390]. Кстати, известно ли вам, что такое строгий арест? Целый день вас гоняют по плацу, а на ночь — в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На ученье Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон; он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит: «Выбирай, слон: в рыло или три дня строгого ареста?» Если солдат выбирает три дня строгого ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения: «Боишься, трус, за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так: «Pah, was für Geschichten mit einem Kerl, muß so wie so

krepieren»[391]. То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф: «Die Soldaten müssen so wie so krepieren»[392].

Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов; он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на ученье на плац около одиннадцатой роты. После команды: «Вольно!» — Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам.

«Я знаю, — начал он, — что все вы негодяи и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добратся. Наш верховный главнокомандующий — тоже немец. Слышите? Черт побери, nieder!»

Все легли, а Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования: «Сказано «ложись» — ну и лежи. Хоть лопни в этой грязи, а лежи. «Ложись» — такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена призывались все от семнадцати до шестидесяти лет и целых тридцать лет военной службы проводили в поле. Не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы кто заговорить у них по-этрусски! Господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать! Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем шалтай-болтай. Видите, как хорошо вам в грязи. Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать и он встал. Что бы я тогда сделал? Свернул бы сукину сыну челюсть, так как это является нарушением чинопочитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписаниям, из чего следует, что такого негодяя тоже ждет веревка и *Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen*»[393].

Вольноопределяющийся замолк и, видно найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни, продолжал:

— Случилось это при капитане Адамичке. Адамичка был человек чрезвычайно апатичный. В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Жрите меня, мухи с комарами». На батальонном рапорте бог весть о чем думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из одиннадцатой роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице чешской свиньей. Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства.

«Н-да-с, такие-то дела... — тихо проговорил капитан Адамичка (он всегда говорил очень тихо). — Он сказал это вечером на улице? Следует справиться, было ли вам разрешено уйти из казармы. *Abtreten!*»[394]

Через некоторое время капитан Адамичка вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено, — сказал он тихо, — что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до десяти часов вечера. Следовательно, наказания вы не понесете... *Abtreten!*»

С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичкой установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Что касается национальной травли, это был просто дьявол, и он наконец прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу.

Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи еще капитаном в Кутной Горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. (Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски и сыновья его учились в чешских гимназиях.) «Слово не воробей, вылетит — не поймашь», — эпизод этот попал в газеты, а какой-то депутат подал запрос в венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности, а тут — пожалуйста! — эта история с пьяным капитаном Венцелем из Кутной Горы.

Позднее капитан узнал, что вся история — дело рук некоего зауряд-прапорщика из вольноопределяющихся, Зитко. Это Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счеты еще с той поры, когда Зитко в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что «достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль: что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы? Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик».

Так как офицеры в это время порядочно нализались, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитко, как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил Зитко, где только мог, тем более что изречение прапорщика вошло прямо в поговорку.

«Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы», — это знала вся Кутна Гора.

«Я его, подлеца, доведу до самоубийства», — говаривал капитан Венцель. Но Зитко вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего.

«Раздавлю его, как клопа!» — любит повторять майор Венцель, и беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлет солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению, например, если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление, — скажем, попробует ночью перелезть через стену Мариинских казарм и уснет наверху, на стене, попадет в лапы артиллериста, патруля ополченцев, — словом, осрамит честь полка.

Я слышал однажды, как он орал в коридоре; «О, господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер; таких нужно выкидывать из полка, пусть отправляется в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не носите ему жрать. Тюфяка не стлать. Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпе этому».

Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал по площади в пролетке с какой-то барышней. Унтера рассказывали потом, что в канцелярии поднялся несусветный скандал. Старший писарь удрал с бумагами в коридор,

а майор орал на Дауэрлинга:

«Чтобы этого больше не было! Himmeldonnerwetter! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не Schweinfest[395]. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать, прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьезное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, так как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками!»

С тех пор Дауэрлинг изменился.

Вольноопределяющийся зевнул.

— Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шредер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шредера настоящим солдатом, хотя полковник Шредер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер — стреляный воробей, так же как и Шредер, он недолго любит офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными: их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя.

— Вообще все в армии уже воняет гнилью, — сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. — Массы пока еще не проснулись. Выпучив глаза, они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу; а попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет: «Мамочка», — и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка! Да здравствует армия! Спокойной ночи!

Вольноопределяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и наконец спросил:

— Вы спите, товарищ?

— Не спится, — ответил Швейк со своей койки, — размышляю...

— О чем же вы размышляете, товарищ?

— О большой серебряной медали «За храбрость», которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских Виноградах по фамилии Мличко; ему первому из полка в самом начале войны оторвало снарядам ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью: хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир «Аполлон» на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с боен. В драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке, а тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная... и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль «За храбрость» и понес ее закладывать в ломбард. Там его сцапали, и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу...

— Как так?

— Очень просто. В один прекрасный день пришла комиссия, заявила, что он недостойн носить искусственную ногу, отстегнула ее и унесла... Или вот еще тоже большая потеха, — продолжал Швейк, — когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте. На Божетеховой улице на Вышеграде один расвирепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге.

— Отсюда вытекает, — заметил вольноопределяющийся, — что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали «Памятку вольноопределяющегося», и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение:



*В сраженье доброволец пал...  
За короля, страну родную  
Он отдал душу молодую  
И всем другим пример подал.  
Везут на пушке труп героя,  
Венки и ленты впереди,  
И капитанскою рукою  
Приколот орден на груди.*

— Так как мне кажется, что боевой дух у нас падает, — сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся, — я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух. Но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери.

И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла:

*Он пушку заряжал,  
Ой, ладо, гей люли!  
И песню распевал,*

*Ой, ладо, гей люли!*

*Снаряд вдруг пронесло,  
Ой, ладо, гей люли!  
Башку оторвало,  
Ой, ладо, гей люли!*

*А он все заряжал,  
Он, ладо, гей люли!  
И песню распевал.  
Ой, ладо, гей люли!*

Во дворе раздались шаги и голоса.

— Это профос, — сказал вольноопределяющийся. — А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по «Чешской беседе». Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз.

И Швейк с вольноопределяющимся грянули снова:

*Он пушку заряжал...*

Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул:

— Здесь вам не зверинец!

— Пардон, — ответил вольноопределяющийся, — здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны».

— Прекратить! — приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. — Надеюсь, вам известно, что в девять часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил вольноопределяющийся, — мы не срепетировались как следует, быть может, получается некоторая дисгармония...

— Это он проделывает каждый вечер. — Профос старался подзудить подпоручика против своего врага, — И вообще ведет себя очень некультурно.

— Господин подпоручик, — обратился к Пеликану вольноопределяющийся, — разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью.

Когда профос вышел, вольноопределяющийся по-свойски попросил:

— Ну, гони сигареты, Франта... «Спорт»? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше? Ладно, и на том спасибо. Да и спички тоже... «Спорт», — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика. — И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд.

Перед сном вольноопределяющийся не забыл спеть:

*Горы, и доли, и скалы высокие — наши друзья,  
Ах, дорогая моя...  
Нам не вернуть того, что любили мы...*

Рекомендуя Швейку полковника Шредера как изверга, вольноопределяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда

он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен...

В то время как вольноопределяющийся разражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции; он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован.

— Ну вот, выскочили из окопов... По всей линии в два километра перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага. Ручные гранаты за поясом, противогазы, винтовки наперевес, готовы и к стрельбе, и к штыковому бою. Пули свистят. Вот падает один солдат — как раз в тот момент, когда вылезает из окопа, другой падает на бруствере, третий — сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперед с громовым «ура» в туче дыма и пыли! А неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и строчит из пулеметов. И опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулеметы. Одни падают, но другие уже впереди. Ура!! Падает офицер... Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное... Снова падает целый взвод. Трещат неприятельские пулеметы: «Тра-та-та-тата-та!» Падает... Простите, я дальше не могу, я пьян...

Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, остался сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нес околесицу:

— Рассудите сами: у нас под знаменами австрийские уланы-ополченцы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийская пехота, венгерские пешие гонведы, венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны, уланы, артиллерия, обоз, саперы, санитары, флот. Понимаете? А у Бельгии? Первый и второй призыв составляют оперативную часть армии, третий призыв несет службу в тылу... — Капитан Спиро стукнул по столу кулаком: — В мирное время ополчение несет службу в стране!

Один из молодых громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу:

— Туберкулезных я посылал бы на фронт, это им пойдет на пользу, да и, кроме того, — лучше терять убитыми больных, чем здоровых.

Полковник улыбался. Но вдруг нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, спросил:

— Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества? С тех пор как приехал, он ни разу не был среди нас.

— Стихи пишет, — насмешливо отозвался капитан Сагнер. — Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре.

Полковник поморщился:

— Говорят, он хорошо поет куплеты.

— Еще в кадетском корпусе всех нас забавлял куплетами, — ответил капитан Сагнер. — А анекдоты рассказывает — одно удовольствие! Не знаю, почему он сюда не ходит.

Полковник сокрушенно покачал головой.

— Нету нынче среди офицеров былого товарищества. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее веселье. Поручик Данкель — служил такой, — так тот, бывало, разденется донага, ляжет на пол,

воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку. Другой, подпоручик Шлейснер, умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. Помню еще капитана Скодай. Тот, стоило нам захотеть, приводил с собой трех девочек-сестер. Он их выдрессировал, словно собак. Поставит их на стол, и они в такт начинают раздеваться. Для этого он носил с собой дирижерскую палочку, и — следует отдать ему должное — дирижер он был прекрасный! Чего только он с ними на кушетке не проделывал! А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с теплой водой, и мы один за другим должны были с этими девочками купаться, а он нас фотографировал.

При одном воспоминании об этом полковник Шредер блаженно улыбнулся.

— Какие пари мы в этой ванне заключали!.. — продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзая в кресле. — А нынче? Разве это развлечение? Куплетист и тот не появляется. Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют! Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пятеро пьяных. А в прежние-то времена мы по двое суток сживали, и чем больше пили, тем трезвее становились. И лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры... Нынче уж нет настоящего боевого духа. Черт его знает, почему это так! Ни одного остроумного слова, все какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там, в конце стола, говорят об Америке.

На другом конце стола кто-то серьезным тоном говорил:

— Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена.

Полковник Шредер вздохнул.

— Вот она, болтовня офицеров запаса. Нелегкая их принесла! Небось вчера еще этакий господин строчил бумаги в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товар и торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод, а нынче он хочет быть ровней кадровым офицерам, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос. А кадровые офицеры, как, например, поручик Лукаш, не изволят появляться в нашей компании.

Полковник пошел домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, потому что в газетах, которые он читал, дежа в постели, в сводке с театра военных действий он несколько раз наталкивался на фразу: «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды похожий на дни у Шабаца.

Под впечатлением прочитанного полковник к десяти часам утра приступил к выполнению функции, которую вольноопределяющийся, по-видимому, правильно назвал Страшным судом.

Швейк и вольноопределяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе: фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды — полковой рапорт.

Наконец в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог.

Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошелся мимо Швейка и вольноопределяющегося, которые делали «равнение направо» и «равнение налево», смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец полковник остановился перед вольноопределяющимся.

Тот отрапортовал:

— Вольноопределяющийся...

— Знаю, — сухо сказал полковник, — выродок из вольноопределяющихся... Кем были до войны? Студентом классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент... Господин капитан, — сказал он Сагнеру, — приведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся... Да-с, — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся, — и с таким вот господином студентом классической философии приходится мараться нашему брату. Kehrt euch![396] Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу.

Команда вольноопределяющихся вступила во двор.

— В каре! — скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом.

— Посмотрите на этого человека, — начал свою речь полковник, — указывая хлыстом на вольноопределяющегося. — Он пропил вашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой, навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак! Он один вылакал бы весь солдатский ром... Что вы можете сказать в свое оправдание? — обратился он к вольноопределяющемуся. — Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова. А еще изучал классическую философию! Вот действительно классический случай! — Полковник произнес последние слова нарочито медленно и плюнул. — Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки! Тип! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии.

В этих словах выразилась вся ненависть Девяносто первого полка к будейвицкой артиллерии. Горе артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая, вендетта, кровная месть, она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и другой стороны в традиционных происшествиях: то пехотинцы где-то спихивали артиллеристов в Влтаву, то наоборот. Драки происходили в «Порт-Артуре», «У розы» и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии.

— Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания, этот тип должен быть исключен из школы вольноопределяющихся, он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. Regimentskanzlei![397]

Полковой писарь подошел со строгим видом, держа наготове дела и карандаш.

Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу и председатель провозглашает: «Объявляется приговор...»

Именно таким тоном полковник провозгласил:

— Вольноопределяющийся Марек присуждается к двадцати одному дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку!

И, повернувшись к команде вольноопределяющихся, полковник скомандовал:

— Построиться в колонну!

Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно четко отбивает шаг, и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой.

— Шаги должны греметь, господин капитан. Да вот еще, чуть было не забыл, — прибавил полковник. — Объявите, что вся команда вольноопределяющихся лишается отпуска на пять дней — пусть запомнят своего бывшего коллегу, этого негодяя Марека.

А негодяй Марек стоял около Швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего он не мог и желать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скачивать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать: «Einzelabfallen! Bajonett auf!»[398]

Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шредер остановился перед Швейком и пристально посмотрел на него. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовало его круглое улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали: «Разве я натворил что-нибудь?» и «Чем же я виноват?»



Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю:

— Идиот? — И увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка.

— Так точно, господин полковник, идиот, — ответил за писаря Швейк.

Полковник кивнул адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал

полкового писаря, и они просмотрели материал о Швейке.

— А! — сказал полковник Шредер. — Это, стало быть, денщик поручика Лукаша, который пропал в Таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучается. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы ведь тоже ни разу не видели его в нашем обществе? Ну вот. Значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика.

Полковник Шредер подошел к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал:

— На три дня под строгий арест, глупая скотина! По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу.

Таким образом, Швейк опять встретился с вольноопределяющимся на полковой гауптвахте, а поручик Лукаш, наверное, испытал большое удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал:

— Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик пропал на Таборском вокзале. Но ввиду того, что денщик ваш возвратился...

— Господин полковник... — с мольбою произнес поручик.

— ...я решил посадить его на три дня, после чего пошлю к вам, — твердо сказал полковник.

Потрясенный Лукаш, шатаясь, вышел из кабинета полковника.

Швейк с большим удовольствием провел три дня в обществе вольноопределяющегося Марека. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносилось «Храни нам, боже, государя», потом «Prinz Eugen, der edle Ritter»[399].

Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой:

*Ты не бойся, профос, смерти,  
Не придет тебе капут,  
За тобой прискачут черти  
И живьем тебя возьмут.*

Над нарами вольноопределяющийся нарисовал профоса и под ним написал текст старинной песенки:

*За колбасой я в Прагу мчался,  
Навстречу дурень мне попался.  
Тот злобный дурень был профос —  
Чуть-чуть не откусил мне нос.*

И пока оба дразнили профоса, как дразнят в Севилье алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится Швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей.

### Глава III

#### Приключения Швейка в Кирайхиде

Девяносто первый полк переводили в город Мост-на-Литаве — в Кирайхиду. Швейк просидел под арестом три дня. За три часа до освобождения его



вместе с вольноопределяющимся отвели на главную гауптвахту, а оттуда под конвоем отправили на вокзал.

— Давно было ясно, что нас переведут в Венгрию, — сказал Швейку вольноопределяющийся. — Там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами, в потом мы весело отправимся на Карпаты. А в Будейовицах разместят мадьярский гарнизон, и начнется смешение племен. Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности — лучшее средство против вырождения. Во время Тридцатилетней войны это делали шведы и испанцы, при Наполеоне — французы, а теперь в Будейовицком крае то же самое повторят мадьяры, и это не будет носить характера грубого изнасилования. Все получится само собой. Произойдет простой обмен: чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы.

— Перекрестное спаривание, — заметил Швейк, — это вообще очень интересная вещь. В Праге живет кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала в «Ладе» стишки о пастушках и ручейках в лесу. Учительница пошла с ним в гостиницу и «предалась блуду», как говорится в Священном писании. Каково же было ее удивление, когда у нее родился совершенно белый мальчик! Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был черен, как его отец — абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику кожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь краску вывести, но ей сказали, что у мальчика настоящая арапская черная кожа и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел «Советы читателям», вопросы, какое есть средство против арапов. Ее отвезли в Катержинки, а арапчонка поместили в сиротский дом. Вот была с ним потеха, пока он воспитывался! Потом он стал кельнером и танцевал в ночных

кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире «У чаши», дело с цветом кожи обстоит не так просто: от такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал: вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая, мерзавка, абсолютно, и в один прекрасный день — нате! — рождает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь.

— Ваш случай с негром Христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения, — предложил вольноопределяющийся. — Предположим, что этого негра призвали, а он пражанин и, следовательно, попадает в Двадцать восьмой полк. Как вы слышали, Двадцать восьмой полк перешел к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра Христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее нет, и что Австрией уже пущены в ход чернокожие резервы.

— Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, — проронил Швейк, — где-то на севере. Какая-то там Земля императора Франца-Иосифа.

— Бросьте это, ребята, — вмешался один из конвойных. — Нынче вести разговор о какой-то Земле императора Франца-Иосифа опасно. Самое лучшее — не называйте имен.

— А вы взгляните на карту, — перебил его вольноопределяющийся. — На самом деле существует Земля нашего все милостивейшего монарха, императора Франца-Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. Наибольшую опасность при экспортировании льда с Земли Франца-Иосифа представляет переправа льда через Полярный круг. Можете себе это представить?

Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя, капрал, подошел ближе и стал слушать объяснения вольноопределяющегося. Тот с глубокомысленным видом продолжал:

— Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и нарисовать на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов...

Капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалекий, старавшийся нахвататься всего, о чем не имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебеля.

— ...не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку, — продолжал вольноопределяющийся, — хотя министерство просвещения, господин капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. Тогда замерзло пять архитекторов-строителей и...

— Каменщики спаслись, — перебил его Швейк. — Они отогревались тем, что курили трубки.

— Не все, — возразил вольноопределяющийся, — с двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли, пришлось бедняг закопать в лед. Но школу в конце концов все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается! Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков затертых льдами торговых судов и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освящении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: «Gott strafe England!» Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы навести у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи.

— Этого еще не хватало, — глубокомысленно заметил капрал. — И без того военных изобретений хоть пруд пруди, Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову — и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили.

— Это только так пугают, — отозвался Швейк. — Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное еще с казарм, после солдатского хлеба да гороха с крупой. Но вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров.

— Какие-то особые электрические токи, — дополнил вольноопределяющийся. — Путем соединения с целлулоидными звездочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв. Что ни день, то новые ужасы!

Хотя капрал и до военной службы был настоящим осел, но и он наконец понял, что над ним смеются. Он отошел от арестованных и встал во главе конвоя.

Они уже приближались к вокзалу, куда собирались целые толпы будейовичан, пришедших проститься со своим полком.

Несмотря на то что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска.

Все внимание Швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И как бывает всегда, так случилось и теперь: конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны, а Швейка и вольноопределяющегося посадят в особый арестантский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах сразу же за штабными вагонами. Места в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй.

Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу:

— Наздар!

Это подействовало очень сильно, приветствие было громко подхвачено всей толпой.

— Наздар! — прокатилось по всей площади и забушевало перед вокзалом.

Далеко впереди по рядам пробежало:

— Идут!

Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на Швейка, чтобы тот заткнул рот. Но гул приветствий рос, как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу конвою. А толпа продолжала реветь: «Наздар!» — и махала шапками и шляпами.

Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала какие-то дамы махали платочками и кричали:

— Heil!

К возгласам «наздар!» из толпы примешивалось «heil!». Какому-то энтузиасту, который воспользовался этим обстоятельством и крикнул: «Nieder mit den Serben!» — подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке.

— Идут! — все дальше и дальше, как электрический ток, передавалось в толпе.

Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольноопределяющийся с серьезным лицом отдавал честь.

Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, боже, государя!», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестацией. К счастью, как раз вовремя подоспел обер-фельдкурт из Седьмой кавалерийской дивизии, патер Лацина, в черном котелке, и стал наводить порядок.

История того, как он сюда попал, совсем обыкновенная.

Патер Лацина, гроза всех офицерских столовок, ненасытный обжора и пьяница, приехал накануне в Будейовице и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню кланчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал, словно кот, все кости. Дорвавшись наконец в кладовой до рому, он наладился до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг.

Он обладал богатым опытом по этой части, и офицерам Седьмой кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать.

На следующее утро ему пришлось в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции.

Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, боже, государя!».

— Halt! — крикнул обер-фельдкурт, вырвав у него дирижерскую палочку. — Рано. Я дам знак. А теперь ruht[400]. Я сейчас приду.

После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком: «Halt!»

— Куда? — строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не

знал, что теперь делать.

Вместо него приветливо ответил Швейк:

— Нас везут в Брук, господин обер-фельдкурат. Если хотите, можете ехать с нами.

— И поеду! — заявил патер Лацина и, обернувшись к конвойным, крикнул: — Кто говорит, что я не могу ехать? Vorwärts! Marsch![401]



Очнувшись в арестантском вагоне, обер-фельдкурат лег на лавку, а добряк Швейк снял свою шинель и подложил ее патеру Лацине под голову.

Вольноопределяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса:

— За обер-фельдкуратами следует ухаживать!

Патер Лацина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять:

— Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и луку.

— Лук вы уже изволили положить раньше, — заметил вольноопределяющийся.

Капрал бросил на него полный отчаяния взгляд — для него патер Лацина

хоть и пьяный, но все же был начальством.

Положение капрала было действительно отчаянным.

— Господин обер-фельдкурат, безусловно, прав, — поддержал Швейк священника. — Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Пакомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирьи.

Патер Лацина продолжал неразборчиво бормотать как бы сквозь сон:

— Все зависит от кореньев, от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить, не... — он говорил все тише и тише, — ...не перегвоздить, не перелимонить, перекоренить, перемуска...

Он не договорил и захрапел с присвистом.

Капрал уставился на него с остолбенелым видом.

Конвойные смеялись втихомолку на своих лавках.

— Проснется не скоро, — проронил Швейк. — Здорово нализался!

Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал.

— Чего там, — продолжал Швейк, — пьян вдрызг — и все тут. А еще в чине капитана! У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех, должно быть, так самим богом установлено: по каждому поводу напиваются до положения риз. Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог все до нитки пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверно, самого господа бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили.

Швейк подошел к патеру Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнес:

— Будет дрыхнуть до самого Брука... — и вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего:

— Надо бы пойти заявить.

— Это придется отставить, — сказал вольноопределяющийся. — Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится, — тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя: сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались сбросить обер-фельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин капрал, это пахнет не чем иным, как разжалованием.

Капрал нерешительно запротестовал, что не он-де впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат — все же начальство.

— Здесь только один начальник — вы, — неумолимо возразил вольноопределяющийся, а Швейк прибавил:

— Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь император, вы не имели бы права этого разрешить. Это все равно как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот еще начнет спрашивать, какого сорта сигареты принести. За та-

кие штуки сажают в крепость.

Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил обер-фельдкурату ехать вместе с ними.

— А я могу себе это позволить, господин капрал, — ответил Швейк, — потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал.

— Давно ли вы на сверхсрочной? — как бы между прочим спросил капрала вольноопределяющийся.

— Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные.

— Можете на этом поставить крест, — цинично заявил вольноопределяющийся. — Я уже сказал, тут пахнет разжалованием.

— В конце концов какая разница, — отозвался Швейк, — убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды.

Обер-фельдкурат зашевелился.

— Дрыхнет, — объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. — Ему, должно быть, жратва приснилась. Одного боюсь, как бы он у нас тут не обделался... Мой фельдкурат Кац, так тот, бывало, налакается и ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте...

И Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся.

Рассказ Швейка был прерван только ревом, доносившимся из задних вагонов. Двенадцатая рота, состоявшая сплошь из крумловских и кашперских немцев, галдела:

*Wann ich kumm, wann ich kumm.  
Wann ich wieda, wieda kumm...[402]*

Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся Будейовицам:

*Und du, mein Schatz,  
bleibst hier.  
Holario, holario, holo![403]*

Вопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячьего вагона.

— Удивительно, что сюда еще не пришли с проверкой, — сказал капралу вольноопределяющийся. — Согласно предписанию, вы должны были доложить о нас коменданту поезда еще на вокзале, а не вожжаться со всякими пьяными обер-фельдкуратами.

Несчастный капрал упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы.

— Как только подумаю, что о нас никому не доложено, — продолжал ехидный вольноопределяющийся, — и что на первой же станции к нам, как пить дать, влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь! Словно мы какие-нибудь...

— Цыгане, — подхватил Швейк, — или бродяги. Похоже, будто мы боимся света божьего и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали.

— Помимо того, — не унимался вольноопределяющийся, — на основании распоряжения от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девять

того года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила: во-первых, арестантский вагон должен быть снабжен решетками, — это яснее ясного, и в данном случае первое правило соблюдено: мы находимся за безукоризненно прочными решетками. Это, значит, в порядке. Во-вторых, в дополнение к императорскому и королевскому распоряжению от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится: мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света. И, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна.

— Можете делать в окно, — в полном отчаянии пролепетал капрал.

— Вы забываете, — возразил Швейк, — что арестантам подходить к окну воспрещается.

— В-третьих, — продолжал вольноопределяющийся, — в вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. *Á proros!*[404] На какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Ну, так я и думал: вы об этом не спрашивали.

— Вот видите, господин капрал, — заметил Швейк, — возить арестантов — это вам не шутка. О нас нужно заботиться. Мы не простые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам все подай под самый нос, на то существуют распоряжения и параграфы, они должны исполняться, иначе какой же это порядок? «Арестованный все равно как ребенок в пеленках, — говаривал один мой знакомый бродяга, — за ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, чтобы не волновался, был доволен своей судьбой и чтобы никто бедняжку не обидел...» Впрочем, — прибавил Швейк, дружелюбно глядя на капрала, — когда пробьет одиннадцать часов, вы мне дайте об этом знать.

Капрал вопросительно посмотрел на Швейка.

— Вы, видно, хотите спросить, господин капрал, зачем вам нужно меня предупредить, когда будет одиннадцать часов? Дело в том, господин капрал, что с одиннадцати часов мое место — в телячьем вагоне, — торжественно объявил Швейк. — На полковом рапорте я был осужден на три дня. В одиннадцать часов я приступил к отбытию наказания и сегодня в одиннадцать часов должен быть освобожден. С одиннадцати часов мне здесь делать нечего. Ни один солдат не может оставаться под арестом дольше, чем ему полагается, потому что на военной службе дисциплина и порядок прежде всего, господин капрал.

После этого удара несчастный капрал долго не мог прийти в себя. Наконец он возразил, что не получил никаких официальных бумаг.

— Милейший господин капрал, — отозвался вольноопределяющийся, — письменные распоряжения сами к начальнику конвоя не прибегут. Если гора не идет к Магомету, то начальник конвоя должен идти за ними сам. Вы в настоящий момент попали в необычную ситуацию: у вас нет решительно никакого права задерживать кого-либо, кому полагается выйти на волю. С другой стороны, согласно действующим предписаниям, никто не имеет права покинуть арестантский вагон. По правде сказать, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения. Положение чем дальше, тем хуже. Сейчас

половина одиннадцатого. — Вольноопределяющийся спрятал часы в карман. — Очень любопытно, как вы поведете себя через полчаса, господин капрал.

— Через полчаса я должен занять мое место в телячьем вагоне, — мечтательно повторил Швейк.

Уничтоженный и сбитый с толку капрал обратился к нему:

— Если это не играет для вас большой роли., мне кажется, здесь гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне, Я думаю...

Его прервал обер-фельдкурат, крикнувший спросонья:

— Побольше соуса!

— Спи, спи, — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полу шинели. — Желаю тебе приятных снов о жратве.

Вольноопределяющийся запел:

*Спи, моя детка, спи...  
Глазки закрой свои,  
Бог с тобой будет спать.  
Люлечку ангел качать.  
Спи, моя детка, спи...*

Несчастный капрал уже ни на что не реагировал. Он тупо глядел в окно и дал полную свободу дезорганизации в арестантском купе.

Конвойные у перегородки играли в «мясо», и на ягодицы падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну.



Вольноопределяющийся на минуту задумался и затем обратился к изменченному капралу:

— Вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»?

— Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик, — ответил капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. — Большой был любитель санских коз, а они у него все дохли, так он спрашивал совета в этом журнале.

— Дорогой друг, — сказал вольноопределяющийся, — история, которую я вам сейчас изложу, со всею очевидностью докажет, что человеку свойственно ошибаться. Господа, там, сзади! Уверен, что вы перестанете играть в «мясо», ибо то, что я сейчас расскажу, покажется вам очень интересным, хотя бы потому, что многих специальных терминов вы не поймете. Я расскажу вам повесть о «Мире животных», чтобы вы позабыли о наших нынешних военных невзгодах.

Каким образом я стал редактором «Мира животных», журнала весьма любопытного, — долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришел к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю — Гаеку. Гаек добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку его издателя, Фукса. Фукс в два счета прогнал Гаека со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора.

Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные.

Когда мой друг Гаек представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он остался очень доволен. Я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и рассматривал их как переходную ступень к человеку и что, с точки зрения покровительства животным, я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет только одного, а именно: чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно.

Карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмем обычай рубить петухам головы. Общество покровительства животным борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их заживо жарили на маргарине. Что касается индюков...

Тут издатель прервал меня и спросил, знаком ли я с птицеводством, разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всем ее многообразии, сумею ли вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться Бремом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам, короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице.

Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как «Мир животных», мною уже давно обдуман и разработан и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя, так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях.

Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту. Реорганизовать его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен

завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных» (применяясь, конечно, к политическому моменту), и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, когда будут читать описание различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы домашних животных и «Движением среди скота».

Издатель опять прервал меня и сказал, что этого вполне достаточно и что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандоток, получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы: их владелец тогда же был удостоен золотой медали за отличное спаривание.

Могу сказать: старался я по мере сил и возможности и свою «правительственную» программу выполнял, насколько хватало моих способностей; более того: я даже пришел к открытию, что в своих статьях превзошел самого себя.

Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее — давным-давно известны каждому читателю «Мира животных» и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил «сернистого кита». Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой; из нее сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый... не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту «китовой кислотой». Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде.

Смею вас уверить, что читатели «Мира животных» вообще очень любопытны.

Вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей. Назову хотя бы «благуна продувного» — млекопитающее из семейства кенгуру, «быка съедобного» — прототип нашей коровы и «инфузорию сепавую», которую я причислил к семейству грызунов.

Новые животные у меня прибавлялись с каждым днем. Я сам был потрясен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брема в его «Жизни животных» могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брем и его последователи о моем нетопыре с острова Исландия, о так называемом «нетопыре заморском», или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «пачуха оленья раздражительная»?

Разве кто-нибудь из естествоиспытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о «блохе инженера Куна», которую я нашел в янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым «мацаратом пещерным» из Постоенской пещеры, которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана?

По этому незначительному, в сущности, поводу возникла крупная полеми-

ка между газетами «Время» и «Чех». «Чех», цитируя в своем фельетоне — рубрика «Разное» — статью об открытой мною блохе, сделал заключение: «Что бог ни делает, все к лучшему». «Время», естественно, чисто «реалистически» разбило мою блоху по всем пунктам, прихватив кстати и преподобного «Чеха». С той поры, по-видимому, моя счастливая звезда изобретателя-естествоиспытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики «Мира животных» начали высказывать недовольство.

Поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых своих собственных теорий, которые вызвали настоящую панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Пазоурека хватил удар, а на Шумае и в Подкрконошах все пчелы погибли. Домашнюю птицу постиг мор, — словом, все и везде дошло. Подписчики присылали угрожающие письма. Отказывались от подписки.

Я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором «Сельского обозрения», депутатом-клерикалом Йозефом М. Кадлачком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала «Countru Life» [405] картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. Я назвал ее «ореховкой», точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, «рябиновкой».

Заварилась каша. Кадлачок послал мне открытку, где напал на меня, утверждая, что это сойка, а вовсе не «ореховка» и что-де «ореховка» — это рабский перевод с немецкого Eichelhäher[406].

Я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно «ореховки», пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брема, мною самим придуманными.

Депутат Кадлачок ответил мне передовицей в «Сельском обозрении».

Мой шеф, пан Фукс, сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в «Мире животных». Когда я пришел в кафе, он показал на лежащее на столе «Сельское обозрение» и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами, — печальное выражение теперь не исчезало из его глаз.

Я прочел вслух перед всей публикой:

— «Многоуважаемая редакция!

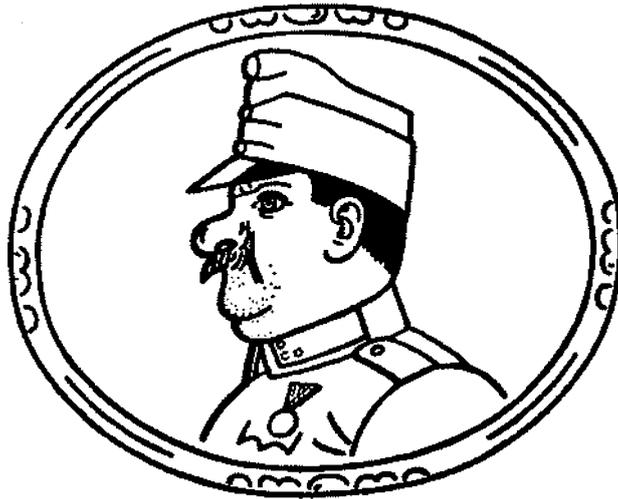
Мною замечено, что ваш журнал вводит непривычную и необоснованную зоологическую терминологию, пренебрегая чистотой чешского языка и придумывая всевозможных животных. Я уже указывал, что вместо общепринятого и с незапамятных времен употребляемого названия «сойка» ваш редактор вводит название «желудничка», что является дословным переводом немецкого термина «Eichelhäher» — сойка».

— Сойка, — безнадежно повторил за мною издатель.

Я спокойно продолжал читать:

— «В ответ на это я получил от редактора вашего журнала «Мир животных» письмо, написанное в крайне грубом, вызывающем тоне и носящее личный характер. В этом письме я был назван невежественной скотиной — оскорбление, как известно, наказуемое. Так порядочные люди не отвечают на замечания научного характера. Это еще вопрос, кто из нас большая скотина.

Возможно, что мне не следовало делать свои возражения в открытом письме, а нужно было написать закрытое письмо. Но ввиду перегруженности работой я не обратил внимания на такие пустяки. Теперь же, после хамских выпадов вашего редактора «Мира животных», я считаю своим долгом пригвоздить его к позорному столбу. Ваш редактор сильно ошибается, считая меня недоучкой и невежественной скотиной, не имеющей понятия о том, как называется та или иная птица. Я занимаюсь орнитологией в течение долгих лет и черпаю свои знания не из книг, но в самой природе, у меня в клетках птиц больше, чем за всю свою жизнь видел ваш редактор, не вылезавший из пражских кабаков и трактиров.



Но все это вещи второстепенные, хотя, конечно, вашему редактору «Мира животных» не мешало бы убедиться, что представляет собой тот, кого он называет скотиной, прежде чем нападки эти выйдут в свет и попадутся на глаза читателям в Моравии, Фридрихланде под Мистеком, где до этой статьи у вашего журнала также были подписчики.

В конце концов дело не в полемике личного характера с каким-то сумасшедшим, а в том, чтобы восстановить истину. Поэтому повторяю, что недопустимо выдумывать новые названия, исходя из дословного перевода, когда у нас есть всем известное отечественное — сойка».

— Да, сойка, — с еще бóльшим отчаянием в голосе произнес мой шеф.

Я спокойно читаю дальше, не давая себя прервать:

— «Когда неспециалист и хулиган берется не за свое дело, то это наглость с его стороны. Кто и когда называл сойку ореховкой? В труде «Наши птицы» на странице сто сорок восемь есть латинское название — «*Ganulus glandarius* В. А.». Это и есть сойка.

Редактор вашего журнала безусловно должен будет признать, что я знаю птиц, лучше чем их может знать неспециалист. Ореховка, по терминологии профессора Байера, является не чем иным, как *muscifraga caucatectes* В., и это латинское «В» не обозначает, как написал мне ваш редактор, начальную букву слова «болван». Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную, и им не известна ваша «желудничка», придуманная господином, к которому именно и подходит начальная буква «Б», согласно его же теории.

Наглые выходки, направленные против личности, сути дела не меняют. Сойка останется сойкой, хотя бы ваш редактор даже наклеил в штаны. Последнее явится только лишним доказательством того, что автор письма пишет

легкомысленно, не по существу дела, даже если он при этом в возмутительно грубой форме ссылается на Брема. Так, например, этот грубиян пишет, что сойка, согласно Брему, страница четыреста пятьдесят два, относится к отряду крокодиловидных, в то время как на этой странице говорится о жулане, или сорокопуге обыкновенном (*Lanius minor* L.). Мало того, этот, мягко выражаясь, невежда ссылается опять на Брема, заявляя, что сойка относится к отряду пятнадцатому, между тем как Брем относит вороновых к отряду семнадцатому, к которому принадлежат и вороны, семейства галок, причем автор письма настолько нагл, что и меня назвал галкой (*colaeus*) из семейства сорок, ворон синих, из подотряда болванов неотесанных, хотя на той же странице говорится о сойках лесных и сороках пестрых».

— Лесные сойки, — вздохнул мой издатель, схватившись за голову. — Дайте-ка сюда, я дочитаю.

Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал хрипеть.

— Груздык, или дрозд черный, турецкий, — прохрипел он, — все равно останется в чешском переводе черным дроздом, а серый дрозд — серым.

— Серого дрозда следует называть рябинником, или рябиновкой, господин шеф, — подтвердил я, — потому что он питается рябиной.

Пан Фукс, шмякнув газетой об стол, залез под бильярд, хрипя последние слова статьи: «*Turdus*»[407], груздык!

— К черту сойку! — орал он из-под бильярда. — Ореховка! Укушу!

Еле-еле его вытащили. Через три дня он скончался в узком семейном кругу от воспаления мозга.

Последние его слова перед кончиной в минуту просветления были:

— Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С этой точки зрения и примите мое последнее суждение как по существу, так и... — и икнул.

Вольноопределяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу:

— Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться.

Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он опять отвернулся к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога.

Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Швейка рассказ заинтересовал больше других.

— Нет ничего тайного, что не стало бы явным, — начал он. — Все рано или поздно вылезает наружу, даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадают. Выдумать животное — вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике — еще труднее. Несколько лет назад некий Местек обнаружил в Праге сирену и показывал ее на проспекте Гавличка, на Виноградах, за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жижкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников, из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задни-

ца, а на ней написано: «До свидания!» Зато насчет груди было слабо: висели до самого пупка, словно у старой шлюхи. В семь вечера Местек закрывал панораму и говорил: «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась, и в десять часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине: «Красавчик, пойдем побалуемся». Ввиду того что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими «мышками» арестовал во время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку.

В этот момент обер-фельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом, при общем молчании, стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадежным голосом сказал: «Хоть бы помог кто...» — конвойные оцепенело посмотрели на него, но и пальцем не пошевелили.

— Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, в другой раз он у меня выспался на шкафу. Бывало, спал и в чужой квартире, в корыте. И где он только не дрых!..

Капрал почувствовал вдруг прилив решительности, желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка:

— Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же, лезет со своей болтовней. Тля!

— Верно. А вы, господин капрал, бог, — ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. — Вы мать скорбящая.

— Господи боже! — сложив руки, как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся. — Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением! Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах!

Капрал побагровел и вскочил с места:

— Я запрещаю всякого рода замечания, вольноопределяющийся!

— Вы ни в чем не виноваты, — успокаивал его вольноопределяющийся, — При всем разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте; небось вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если б вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают, неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и образуют новый вид животного, по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы наконец сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет.

— Я вас посажу! — с отчаянием крикнул капрал.

Вольноопределяющийся улыбнулся.

— Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил? В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак

не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы — готов держать пари на что угодно! — не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу — раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление.

— Безусловно, — подтвердил Швейк. — Никто вам ни словечка не сказал, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шел об орангутангах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как... «Ну, говорит, как у того вон, скажем, господина за соседним столом». Мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укукошил этого господина. Потом мы его воскресили и, конечно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и все время только о нем и говорили. И — представьте — настаивал на своем. Мы уверяли, что ничего подобного и что он не орангутанг. А он все орангутанг да орангутанг, я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что он ничего не понимает и что он с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в «Туннель», но не пришлось: нас тоже посадили за решетку... Вот видите, господин капрал, во что может вылиться маленькое, пустяковое недоразумение, на которое и слов-то не стоит тратить. А вот в Немецком Броде один гражданин из Округлиц обиделся, когда его называли тигровой змеей. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать? Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы — выхухоль, могли бы вы за это на нас рассердиться?

Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выразивший гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший оберфельдкурат.

После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые, невыразительные глаза уставились вдаль, на леса и горы.

— Господин капрал, — сказал вольноопределяющийся, — сейчас, когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет! Как проникновенно, без тени деланности, жеманства та-



раците вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, думаете о том, как будет красиво здесь весной, когда по этим пустым местам раскинется ковер пестрых полевых цветов...

— Орошаемый ручейком, — подхватил Швейк. — А на пне сидит господин капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький читатель».

Капрал впал в полнейшую апатию. Вольноопределяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов.

— Простите, господин капрал, а не вы ли служили моделью скульптору Штурсе?

Капрал взглянул на вольноопределяющегося и ответил сокрушенно:

— Не я.

Вольноопределяющийся замолк и растянулся на лавке.

Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять: тогда бы у него для последнего хода осталась семерка.

— В прежние времена, — отозвался Швейк, — в трактирах были очень хо-

рошие надписи на стенах, специально насчет советчиков. Помню одну надпись: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам».

Воинский поезд приближался к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился.

— Так я и знал, — сказал беспощадный вольноопределяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала, — инспекция уже тут...

В вагон вошла инспекция.

Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса — доктор Мраз.

Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенный на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на будейовицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробежали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у Мраза разболелась голова, он принял уже три порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице.

Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе.

— А кого еще везете? — строго спросил он, указывая на обер-фельдкурата, который спал на животе, вызываясь выставив заднюю часть прямо на инспекторов.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — заикаясь, пролепетал капрал. — Этот, эт...

— Какой еще там «этотэт»? — недовольно заворчал Мраз. — Выражайтесь яснее.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за капрала Швейк, — человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин обер-фельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак — начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским.

Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на обер-фельдкурата, который должен был ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь — пожалуйста! — в арестантском купе ни с того ни с сего родился обер-фельдкурат.

Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе обер-фельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность.

Капрал после долгих усилий перевернул обер-фельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал:

— Eh, servus, Fredy, was dibt's neues? Abendessen schon fertig?[408]

После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене.

Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из Офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул.

— Пойдете за это на рапорт, — сказал он капралу и направился к выходу.

Швейк задержал его:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до одиннадцати, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на три дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или не направить к господину обер-лейтенанту Лукашу.

— Фамилия? — спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги.

— Швейк Йозеф, господин лейтенант.

— Мгм... вы, значит, тот самый Швейк, — буркнул Мраз. — Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в одиннадцать, но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили.

После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания:

— Вот видите, Швейк, ни черта вам не помогло обращение к высшей инстанции! Ни черта оно не стоило! Дерьмо цена ему! Захочу, могу вами обоими печку растопить.

— Господин капрал, — прервал его вольноопределяющийся. — Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность.

— Довольно с меня! — вскочил капрал. — Я вас обоих в тюрьму могу упрятать.

— За что же, голубчик? — невинно спросил вольноопределяющийся.

— Это уж мое дело, за что, — храбрился капрал.

— Ваше дело? — с улыбкой переспросил вольноопределяющийся. — Так же, как и наше. Это как в картах: «Деньги ваши будут наши». Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, а вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением.

— Грубияны вы, вот что! — закричал капрал, из последних сил стараясь казаться страшным.

— Знаете, что я вам скажу, господин капрал, — сказал Швейк. — Я старый солдат, и до войны служил, и не знаю случая, чтобы ругань приводила к чему-нибудь хорошему. Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как говорится, нянька его в детстве урони-

ла. Придирался он к нам, приставал как банный лист: то это не так, то то не по предписанию, — словом, придирался, как только мог, и всегда нас ругал: «Не солдаты вы, а ночные сторожа». В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты. «Чего тебе?» — спрашивает капитан. «Осмелюсь доложить, господин капитан, с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы как-никак солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю императору, а не баклуши бьем». — «Смотри у меня, насекомое, — ответил мне капитан. — Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться!» А я на это: «Покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа, а солдаты его императорского величества, он посадил меня на два дня, но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять: «Осмелюсь доложить, господин полковник, прошу направить меня на рапорт в бригаду». Этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера, и тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за «ночных сторожей». Потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был начеку, но все-таки не уберегся. Стоял я однажды на часах у цейхгауза. На стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память: нарисует, скажем, женские половые органы или стишок напишет. А я ничего не мог придумать и от скуки подписался как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер — сволочь». Фельдфебель, подлец, моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал, словно полицейский пес. По несчастной случайности, над этой надписью была другая: «На войну мы не пойдем, на нее мы все на...ем». А дело происходило в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда нас собирались послать против Сербии из-за консула Прохазки. Меня моментально отправили в Терезин, в военный суд. Раз пятнадцать господ из военного суда фотографировали стену цейхгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. Чтобы после исследовать мой почерк, меня раз десять заставляли писать: «На войну мы не пойдем, на нее мы все на...ем», пятнадцать раз мне пришлось в их присутствии писать: «Фельдфебель Шрейтер — сволочь». Наконец приехал эксперт-графолог и велел мне написать: «Двадцать девятого июня тысяча восемьсот девяносто седьмого года Кралов Двур изведаль ужасы стихийного разлива Лабы». «Этого мало, — сказал судебный следователь. — Нам важно это «на...ем». Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «с» и «р». Эксперт продиктовал мне: «Серб, сруб, свербеж, херувим, рубин, шваль». Судебный эксперт, видно, совсем зарепортовался и все время оглядывался назад, на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я три раза подряд написал: «Солнышко уже начинает припекать: наступают жаркие дни», — это, мол, пойдет в Вену. Затем весь материал направили в Вену, и наконец выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя, но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили шесть недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене.

— Видите, вас все-таки наказали, — не без удовлетворения отметил ка-

прал, — вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не шесть недель, а шесть лет.

— Не будьте таким грозным, — взял слово вольноопределяющийся. — По-размыслите-ка лучше о своем конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы приготовиться к этому серьезно-му моменту и взвесить всю брэнность вашего капральского существования. Что, собственно, представляете вы собою по сравнению со вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от этого воинского поезда на расстоянии в двести семьдесят пять тысяч раз больше, чем солнце, и ее параллакс равен одной дуговой секунде. Если представить себе вас во вселенной в виде неподвижной звезды, вы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было разглядеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во вселенной не существует понятия. За полгода вы описали бы на небосводе крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы неизмеримо малой величиной.

— В таком случае, — заметил Швейк, — господин капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин капрал, посадят, — продолжал Швейк с милой улыбкой, — в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа, и пусть они остаются при своем мнении, а вы при своем. Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую санкцию. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал:

*Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было!  
Никогда так не было, чтобы никак не было.*

За это его посадили в темную одиночку и не давали ему два дня ни есть, ни пить, а потом опять повели на допрос. Но он стоял на своем: «Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, чтобы никак не было». Его отправили в военный суд, и возможно, что и на виселицу он шел с теми же словами.

— Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают, — сказал один из конвойных. — Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылал, прощаясь с женою в Бенешове, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет.

— Всеу есть границы, — двусмысленно сказал вольноопределяющийся.

— Ваша правда, — отозвался капрал. — Так им, редакторам, и надо. Только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще в ефрейторах ходил, под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать воль-

ные упражнения до седьмого поту, он всегда говорил: «Прошу уважать во мне человека». Я ему тогда и показал, что такое «человек». Как-то раз — на казарменном дворе тогда повсюду была грязь — подвел я его к большой луже и командовал «Nieder!»; пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, и мундир сиять, как стеклышко. Ну и чистил, кряхтел, а чистил; да еще всякие замечания при этом делал. На следующий день снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал: «Ну-с, господин редактор, так кто же выше: паршивая овца или ваш «человек»?» Настоящий был интеллигент.

Капрал с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося и продолжал:

— Ему спорили нашивки вольноопределяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательствах над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать у винтовки, хоть десять раз показывай. Скажешь ему «равнение налево», а он, словно нарочно, воротит башку направо и глядит на тебя, точно ворона. Приемов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше братья: за ремень или за патронташ. Вывалит на тебя буркалы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку; честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, господи боже! При команде «кругом марш!» ему было все равно, с какой ноги делать: шлеп, шлеп, шлеп — уже после команды пер еще шагов шесть вперед, топ, топ, топ... и только тогда поворачивался, как петух на вертеле, а шаг держал, словно подагрик, или приплясывал, точно старая дева на престольном празднике.

Капрал плюнул.

— Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить, он тер ее, как кобель сучку, но если бы даже купил себе на два кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже, винтовка еще больше ржавела, а потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись, как это можно довести винтовку до такого состояния, — одна ржавчина. Наш капитан всегда ему говорил, что солдата из него не выйдет, лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал задаром солдатский хлеб. А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер, и это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было! Все только о разоружении и о мире между народами. За это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились, до тех пор пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки; его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если б по своей глупости не потерял права вольноопределяющегося. Мог бы стать лейтенантом.

Капрал вздохнул.

— Складок на шинели не умел заправить. Только и знал, что выписывал из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И все-таки его пуговицы были рыжие, как Исав. Но языком трепать умел, а когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствования. Он и раньше

был на это падок. Одно слово — «человек», как я вам уже говорил. Однажды, когда он пустился в рассуждения перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде «nieder», я ему сказал: «Когда начинают распространяться насчет человека да насчет грязи, мне, говорю, вспоминается, что человек был сотворен из грязи, — и там ему и место».

Высказавшись, капрал остался очень собою доволен и стал ждать, что скажет на это вольноопределяющийся. Однако отозвался Швейк:

— За такие вот штуки, за придирки, несколько лет тому назад в Тридцать шестом полку некий Коничек заколол капрала, а потом себя. В «Курьере» это было. У капрала на теле было этак с тридцать колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого капрала и, на нем сидя, заколол и себя. Другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось покрытым мраком неизвестности. Выяснили только, что фамилия зарезанного капрала Фиала, а сам он из Дравовны под Турновом. Затем известен мне еще один случай с капралом Рейманеком из Семьдесят пятого полка...

Не лишнее приятности повествование было прервано громким кряхтением, доносившимся с лавки, где спал обер-фельдкурат Лацина.

Патер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым веселым Рабле.

Обер-фельдкурат с шумом пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил:

— Что за черт, где это я?

Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил:

— Осмелюсь доложить, господин обер-фельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне.

На лице патера мелькнуло удивление. С минуту он сидел молча и напряженно соображал, но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, все еще стоявшего перед ним в подобострастной позе:

— А по чьему приказанию меня, как какого-нибудь...

— Осмелюсь доложить, безо всякого приказания, господин обер-фельдкурат.

Патер встал и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом опять сел и спросил:

— А куда мы, собственно, едем?

— Осмелюсь доложить, в Брук.

— А зачем мы едем в Брук?

— Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш Девяносто первый полк.

Патер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло, как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брук именно с Девяносто первым полком и под конвоем. Наконец он протрезвел настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольноопределяющийся. Он обратился к нему:

— Вы человек интеллигентный; может, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам?

— С удовольствием, — охотно согласился вольноопределяющийся. — Вы попросту примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой.

Капрал строго взглянул на вольноопределяющегося.

— Вы влезли к нам в вагон, — продолжал вольноопределяющийся, — таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт.

— Так, так, — вздохнул патер. — Значит, на ближайшей станции мне нужно пересестъ в штабной вагон. А что, обед уже разносили?

— Обед дадут только в Вене, господин обер-фельдкурат, — вставил капрал.

— Так, значит, это вы подложили мне под голову шинель? — обратился патер к Швейку. — Большое вам спасибо.

— Не за что, — ответил Швейк. — Я поступил так, как должен поступать каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под головой и что оно... того. Солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Народ они веселый и сердечный.

Обер-фельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее Швейку.

— Кури! Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт? — обратился он к капралу. — Ничего, брат, не бойся. Я тебя выручу. Ничего тебе не сделают. А тебя, — сказал он Швейку, — я возьму с собой; будешь жить, как у Христа за пазухой.

На него нашел новый припадок великодушия, и он насулил всем всяческих благ: вольноопределяющемуся обещал купить шоколада, конвойным — рому, капрала обещал перевести в фотографическое отделение при штабе Седьмой кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только Швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни.

— Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом, — сказал он. — Знакомств у меня много, и со мной вы не пропадете. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных господу богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь и, как я вижу, с готовностью и безропотно сноситесь испытания, ниспосланные на вас богом. На основании чего вы подверглись наказанию? — обратился он к Швейку.

— Бог меня покарал, — смиренно ответил Швейк, — избрав своим орудием полковой рапорт, господин обер-фельдкурат, по случаю не зависящего от меня опоздания в полк.

— Бог бесконечно милостив и справедлив, — торжественно возгласил обер-фельдкурат. — Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество. А вы за что сидите, вольноопределяющийся?

— Всемилоствому создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился, — ответил вольноопределяющийся. — По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне.

— Что бог ни делает, все к лучшему, — с пафосом провозгласил патер, слышав о кухне. — Порядочный человек и на кухне может сделать карьеру. Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все комбинировать, приправу, скажем, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготавливая подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит корниев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьей сале, — и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности — пропадешь. Вчера вечером в Будейовицах, в Офицерском собрании, подали нам, между прочим, почки в мадере. Тот, кто смог их так приготовить, — да отпустит ему за это господь бог все прегрешения! — был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Скутчи. А те же почки в мадере ел я однажды в офицерской столовой Шестьдесят четвертого запасного полка. Навалили туда тмину, — ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении!

Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и Швейк с охотой, но, как всегда, не к месту затынул:

*Идет Марина  
Из Годонина.  
За ней вприпрыжку  
С вином под мышкой  
Несется поп —  
Чугунный лоб.*

Но обер-фельдкурат нисколько не рассердился.

— Если бы было под рукой хоть немножко рому, то и вина не нужно, — сказал он, дружелюбно улыбаясь, — а что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один.

Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом.

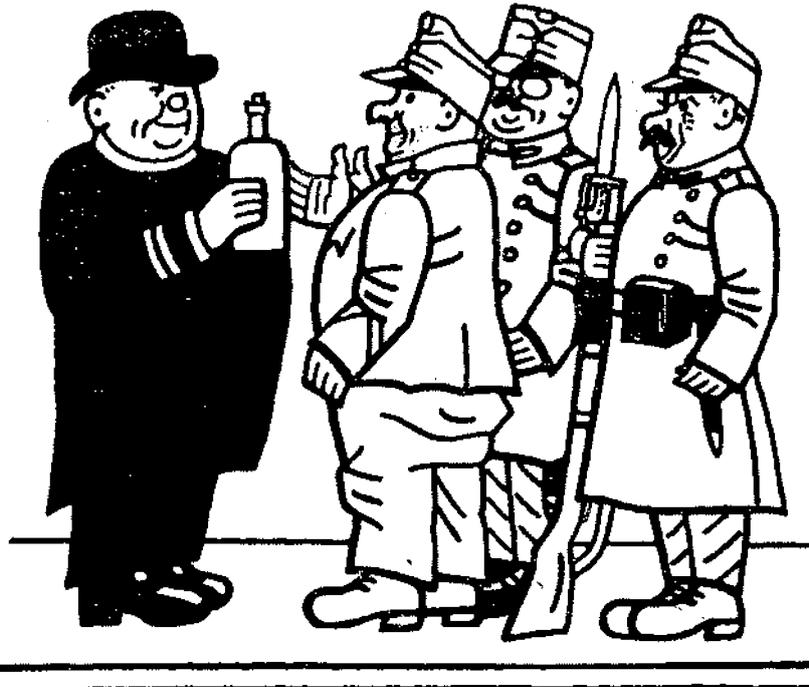
— Осмелюсь предложить, господин обер-фельдкурат, — по голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва, — не сочтите за обиду-с...

— Не сочту, голубчик, — ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. — Пью за наше благополучное путешествие.

— Иисус Мария! — вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка обер-фельдкурата исчезла половина содержимого фляжки.

— Ах вы, такой-сякой, — пригрозил ему обер-фельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольноопределяющемуся. — Ко всему прочему вы еще упоминаете имя божье всуе! За это он вас должен покарать. — Патер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал: — Прикончить!

— Приказ есть приказ, — добродушно сказал Швейк капралу, возвращая



ему пустую фляжку. В глазах унтера появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевнобольных.

— А теперь я чуточку вздремну до Вены, — объявил обер-фельдкурат. — Разбудите меня, как только приедем в Вену. А вы, — обратился он к Швейку, — сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина обер-фельдкурата Лацины. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки — невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок: пусть нальют рому.

Патер Лацина стал шарить по карманам.

— Послушайте, — сказал он капралу, — у меня нет мелочи, дайте-ка мне займы золотой... Так, вот вам. Как фамилия?

— Швейк.

— Вот вам, Швейк, на дорогу. Капрал, одолжите мне еще один золотой. Вот, Швейк, этот второй золотой вы получите, если исполните все как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите — не берите с краю, а если венгерскую колбасу, не берите кончик, лучше из середины, кусок посочнее.

Обер-фельдкурат растянулся на лавке и через минуту уснул.

— Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденышем, — сказал вольноопределяющийся капралу под храп патера. — Малыш хоть куда.

— Отлученный от груди, как говорится, — вставил Швейк, — уже из бутылочки сосет, господин капрал...

Капрал с минуту боролся сам с собой и, вдруг забыв всякое подобострастие, сухо сказал:

— Мягко стелет...

— Мелочи, дескать, у него нет, — проронил Швейк. — Это мне напоминает одного каменщика из Дейвиц по фамилии Мличко. У того никогда не было ме-

лочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупные-то пропил, а мелочи у него не было.

— В Семьдесят пятом полку, — ввязался в разговор один из конвойных, — капитан еще до войны пропил всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. Нынче он опять капитан. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлицы, больше двадцати штук, а теперь подпрапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на три дня.

— Это к делу не относится, — заявил капрал. — Но что правда, то правда: взять в долг у бедного капрала два золотых, чтобы дать на чай, — это уж...

— Вот вам ваш золотой, — сказал Швейк. — Я не хочу наживаться за ваш счет. А если получу от обер-фельдкурата второй, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных двух золотых. Посмотрел бы я, как бы вы запели, если б вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Скажем, если б он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями...

— Вы-то уж, наверно, наделали бы в штаны, — защищался капрал. — Денщик несчастный!

— Во время боя не один в штаны наложит, — заметил кто-то из конвоя. — Недавно в Будейовицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «ура». Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере, ногами вниз; при наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью попадало в траншею, аккуратно на его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут, брат, никто не знает, что с тобой случится.

— А иногда, — подхватил Швейк, — человека в бою вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге — в Погоржельце, в трактире «Панорама», — один из команды выздоравливающих, раненный под Перемышлем, рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Откуда ни возмись, полез на него русский солдат, парень-гора, штык наперевес, а из носу — здоровенная сопля. Бедняга только взглянул на его носище с соплей, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно заразился холерой.

— Кем он был: рядовым или капралом? — осведомился вольноопределяющийся.

— Капралом, — спокойно ответил Швейк.

— То же самое могло случиться и с каждым вольнопером, — глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося, словно говоря: «Что, выкусил? И крыть нечем».

Но вольноопределяющийся не ответил и улегся на скамейку.

Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление, даже немолчный галдеж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор, —

*Wann ich kumm, wann ich kumm,  
Wann ich wieda, wieda kumm!* —

затих под влиянием тяжелого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена Вена.

— Все в порядке, — заметил Швейк, глядя на окопы. — Все в полном порядке. Одно только неудобно: венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут на прогулку за город. Придется быть очень осторожным. Вена вообще замечательный город, — продолжал он. — Одних диких зверей в шенбруннском зверинце сколько! Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил ходить смотреть на обезьян, но туда никого не пускают, когда проезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мною был один портной из десятого района, так его арестовали потому, что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян.

— А во дворце вы были? — спросил капрал.

— Там прекрасно, — ответил Швейк. — Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. Самое красивое там — это дворцовая стража. Каждый из дворцовой стражи, говорят, должен быть в два метра ростом, а выйдя в отставку, он получает табачную лавку. А принцесс там как собак нерезаных.

Поезд проехал мимо какой-то станции, откуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча.

Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции и когда их повсюду встречали одетые в дурацкие белые платья дружечки с идиотскими лицами и идиотскими букетиками в руках. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура-патриотов и республиканцев.

Торжественная делегация состояла из трех дам — членов австрийского общества Красного Креста, двух дам — членов какого-то военного кружка венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного.

На лицах всех была написана усталость. Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час, на станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изо дня в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как и у тех, кто встречал Будейовицкий полк.

Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадежность, как у идущих на виселицу.

К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными

надписями: «Sieg und Rache», «Gott strafe England», «Der Österreicher hat ein Vaterland. Er liebt's und hat auch Ursach für's Vaterland zu kämpfen»[409].

Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадежность.

Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание обер-фельдкурата. Вольноопределяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят: двое конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон.

Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперед по полотну в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется. Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша.

— Кому вы это несете, Швейк? — спросил бедняга поручик, когда Швейк положил наземь целую кучу вещей, завернутых в шинель, — добычу, взятую с боем из офицерской кухни.

Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил:

— Осмелюсь доложить, это для вас, господин обер-лейтенант. Не могу вот только найти, где ваше купе, и, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами, — это такая свинья.

Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно:



— Настоящая свинья, господин обер-лейтенант. Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже одиннадцать часов, время свое я отсидел и мое место в телячьем вагоне либо с вами. А он меня страшно грубо оборвал: дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь. Сказал, что, по крайней мере, я опять не осрамлю вас в пути. Господин обер-лейтенант! — Швейк страдальчески скривил рот. — Точно я вас, господин обер-лейтенант, когда-нибудь

срамил!

Поручик Лукаш вздохнул.

— Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил, — продолжал Швейк. — Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и «промысел божий», как сказал старик Ваничек из Пелгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму. Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался, как бы все сделать половчее да получше. Разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получались лишь горе да мука?

— Только не плачьте, Швейк, — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. — Я все устрою, чтобы вы опять были со мной.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно: мы с вами самые несчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я, отроду такой старательный...

— Успокойтесь, Швейк.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант: если бы не субординация, я бы сказал, что нипочем не могу успокоиться, но, согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился.

— Так залезайте в вагон, Швейк.

— Так точно, уже лезу, господин обер-лейтенант.

В военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары.

Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон.

Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов его императорского величества. Там трудились днем и ночью: перерабатывали на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносило вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы.

Из-за покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь, на военном стрельбище, внизу, в долине Литавы, был виден красный электрический фонарь борделя «У кукурузного початка», который в 1908 году во время больших маневров у Шопрона почтил своим посещением эрцгерцог Стефан и где ежедневно собиралось офицерское общество.

Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольноопределяющиеся. Они посещали «Розовый дом». Его зеленые фонари также были видны из-за заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся «пуфами». Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых.

Мост-на-Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияла огнями Кирайхида; Цислейтания и Транслейтания. В обоих городах, в венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили. Кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь Мост-на-Литаве, Bruck an der

Leite[410], равно как и Кирайхида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель.

В одном из офицерских барачков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. Швейк сидел на постланной постели поручика, а напротив, на столе, сидел денщик майора Венцеля.

Майор Венцель вернулся с фронта в полк, после того как в Сербии, на Дрине, блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Кирайхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре.

Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался:

— Что бы это могло означать — старый черт не идет и не идет?.. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается? Мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постель и такого бы веселья задал! У нас там вина — залейся.

— Он, говорят, ворует, — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. — Ты-то небось должен знать, откуда у вас вино.

— Куда прикажет, туда и хожу, — тонким голоском сказал Микулашек. — Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой.

— А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал? — спросил Швейк. — За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист.

Микулашек заморгал своими маленькими глазками.

— Я бы еще подумал.

— Нечего тут думать, молокосос ты этакий! — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся.

Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке.

Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола, и, сидя, отдавал честь, к тому же еще запомнил, что на нем нет фуражки.

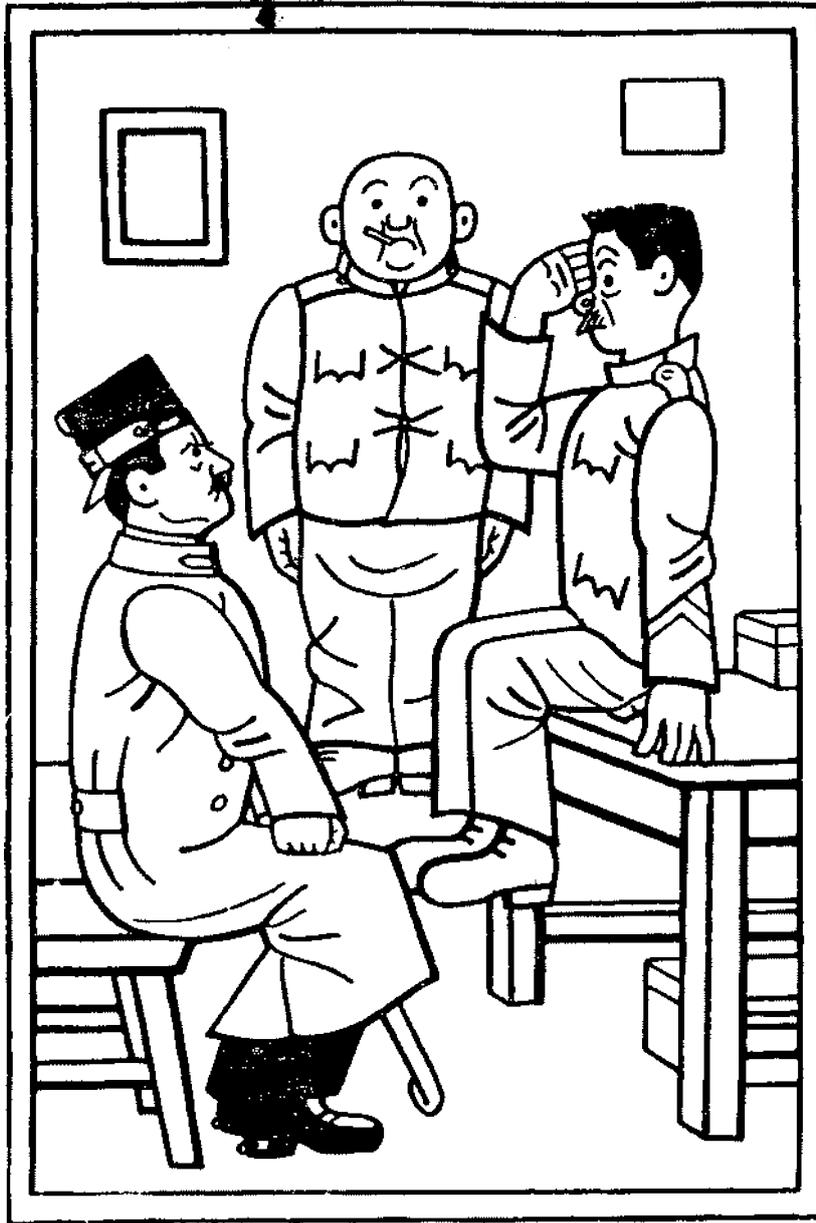
— Имею честь доложить, все в полном порядке, — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета.

Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашеку, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе.

— Поручик Лукаш, — представился поручик, подходя к Микулашеку не совсем твердым шагом. — А как ваша фамилия?

Микулашек молчал. Лукаш пододвинул себе стул, уселся против Микулашека и, глядя на него снизу вверх, сказал:

— Швейк, принесите-ка мне из чемодана служебный револьвер.



Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если б он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика.

— Как зовут, я спрашиваю?! — заорал поручик, глядя снизу вверх на Микулашека.

Но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог, хотел ответить — и не мог, хотел опустить руку, но рука не опускалась.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — раздался голос Швейка. — Револьвер не заряжен.

— Так зарядите его.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, это Микулашек — денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить. Совсем забитый ребенок. Одним словом — молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное — было бы чего пугаться, ведь он, собственно,

ничего такого не натворил.

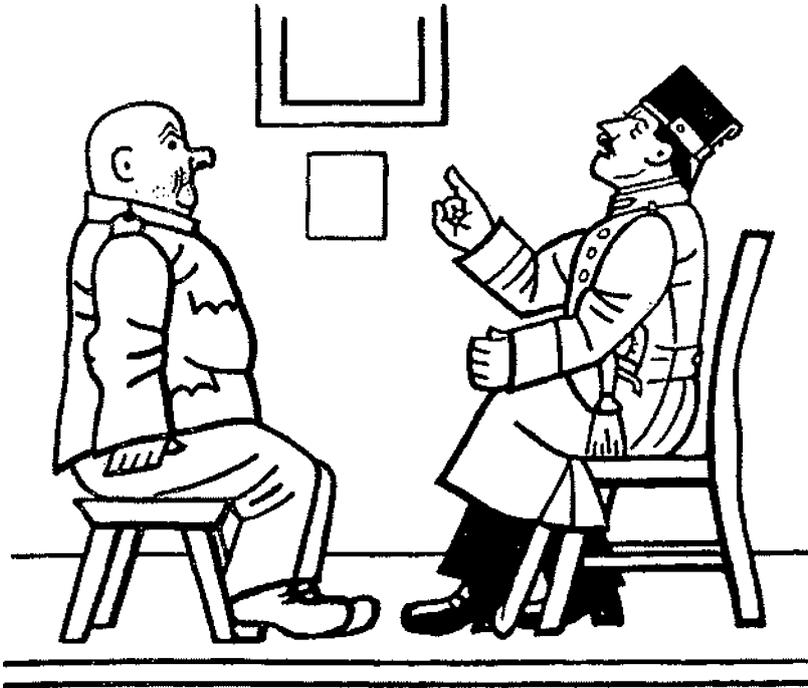
Швейк плюнул; в его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулашека и к его неумению держаться по-военному.

— С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю.

Швейк стащил со стола Микулашека, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил на пол и обнюхал его штаны.

— Пока еще нет, — доложил он, — но уже начинает. Прикажете его выбросить?

— Выбросьте его, Швейк.



Швейк вывел трясущегося Микулашека в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему:

— Я тебя спас от смерти, дурачина. Когда вернется господин майор Венцель, принеси мне за это потихоньку бутылочку вина. Кроме шуток, я спас тебе жизнь. Когда мой поручик надерется, с ним так и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить и никто другой.

— Я... — начал было Микулашек.

— Вонючка ты, — презрительно оборвал его Швейк. — Сядь на пороге и жди, пока придет твой майор Венцель.

— Наконец-то! — встретил Швейка поручик Лукаш. — Ну, идите, идите, мне нужно с вами поговорить. Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь-ка, Швейк, и бросьте ваше «слушаюсь». Молчите и слушайте внимательно. Знаете, где в Кирайхиде *Sopronyi utcza*?[411] Да бросьте вы ваше «осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик». Не знаете, так скажите «не знаю» — и баста! Запишите-ка себе на бумажке: *Sopronyi utcza*, номер шестнадцать. В том доме внизу скобяная торговля. Знаете, что такое скобяная торговля?.. Бог ты мой, не говорите «осмелюсь доложить»! Скажите «знаю» или «не знаю».

Итак, знаете, что такое скобяная торговля? Знаете — отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. Знаете что такое мадьяр? Так *himmelherrgott* — знаете или не знаете? Знаете — отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет, слышали? Не слышали, черт побери, так я

вам говорю, что он там живет! Поняли? Поняли — отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь? Хорошо. Итак, завтра утром, часов этак в десять, вы отправитесь в город, разыщете этот дом, подыметесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо.

Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул Швейку, зевая, белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса.

— Дело чрезвычайно важное, Швейк, — наставлял поручик. — Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. Да, запишите еще, что эту даму зовут Этелька. Запишите: «Госпожа Этелька Каконь». Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах. И ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. Что вы хотели сказать?

— А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда?

— Скажите, что вы во что бы то ни стало должны получить ответ, — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. — Ну, я пойду спать, я здорово устал. Сколько было выпито! После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет.

Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в Кирайхиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятно, была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли.

Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им напрокат в театре бинокль не был ахроматическим, и вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна.

В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а ее спутник отвечал по-мадьярски:

— Да, мой ангел, идем, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище.

— *Es ist ekelhaft!*[412] — возмущалась дама, в то время как ее кавалер подавал ей накидку.

В ее глазах, в больших темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша и еще раз решительно сказала:

— *Ekelhaft, wirklich ekelhaft!*[413]

Этот момент решил завязку короткого романа.

От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь и что у Каконя на Шопронской улице, номер шестнадцать, скобяная торговля.

— А живет он с пани Этелькой во втором этаже, — сообщила гардеробщица

подробности, как старая сводница. — Она немка из города Шопрона, а он мадьяр. Здесь все перемешались.

Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там в ресторане «У эрцгерцога Альбрехта» он встретился с офицерами Девяносто первого полка. Говорил он мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высококонравственной и красивой даме, к которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных див другие офицеры.

В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе «У креста св. Стефана», занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется донага и позволит ему делать с ней, что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных:

«Милостивая государыня!

Я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил...»

«Надо как следует напасть на него. По какому праву у этого субъекта такая очаровательная жена? — сказал сам себе поручик Лукаш. — Ведь он выглядит словно бритый павиан...»

И он написал:

«...ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека...»

«Бюст у нее изумительный, — подумал поручик Лукаш. — Эх, была не была!»

«Простите меня, милостивая государыня, за то, что, будучи вам неизвестен, я тем не менее откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваше суждение совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг — чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой...»

«Не годится», — сказал про себя поручик Лукаш, за черкнул «schleppt mit» [414] и написал:

«...который в своих личных интересах водит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве...»

«Здесь в отелях это будет неудобно. Придется везти ее в Вену, — подумал поручик. — Возьму командировку».

«Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком буду-

щем предстоят трудные военные походы и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которая понимала его так же глубоко, как и он понимал ее. Ваше решение будет для меня приказанием. Ваш ответ — решающим моментом в моей жизни».

Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками.

Было уже девять часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Кирайхиду. Я вас будил уже в семь часов, потом в половине восьмого, потом в восемь, когда все ушли на ученья, а вы только на другой бок повернулись. Господин обер-лейтенант, а господин обер-лейтенант!..

Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но это ему не удалось: Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом:

— Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Кирайхиду!

Поручик зевнул.

— Письмо?.. Ах да! Но это секрет, понимаете? Наша тайна... Abtreten...

Поручик завернулся в одеяло, которое с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Кирайхиду.

Найти Шопронскую улицу и дом номер шестнадцать было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичка, который был командирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Боиште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактир «У черного барашка» в Бруке, где работала знакомая кельнерша, чешка Руженка, которой были должны все чехи-вольнотопределяющиеся, когда-либо жившие в лагере.

Сапер Водичка, старый пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов-вольнотопределяющихся и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплатив долга.

— Тебя куда, собственно, несет? — спросил Водичка после первого стакана доброго винца.

— Это секрет, — ответил Швейк, — но тебе, как старому приятелю, могу сказать...

Он разъяснил ему все до подробностей, и Водичка заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо.

Оба увлеклись беседой о былом, и, когда вышли от «Черного барашка» (был уже первый час дня), все казалось им простым и легко достижимым.

По дороге к Шопронской улице, дом номер шестнадцать, Водичка все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без усталости рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где помешало ему подражаться с ними.

— Держим это мы раз одну этакую мадьярскую рожу за горло. Было это в Паусдорфе, куда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по



черепу в темноте; ведь мы как только началось дело, запустили бутылкой в лампу, а он вдруг как закричит: «Тонда, да ведь это я, Пуркрабек из Шестнадцатого запасного!» Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Незидлер-зе мы с ними, шутами мадьярскими, как следует расквитались! Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то гонведского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое: «Uram, uram, bíró uram», либо: «láňok, láňok, láňok a faluba»[415]. Садимся мы против них. Положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: «Подождите, сукины дети! Мы вам покажем «ланьок». А один из наших, Мейстршик, у него кулачище что твоя Белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и увести у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо — икрюстые, задастые, ляжкастые да глазастые. По тому, как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые и налитые, что твои мячи, и это им по вкусу: любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш Мейстршик в круг и давай отнимать у одного гонведа самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а Мейстршик как даст ему раза — тот и с катушек долой. Мы, не долго думая, схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу, а я крикнул ребятам: «Виноватый, невиноватый — крой всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. После этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке — у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего Мейстршика по уши и пошла с ним по направлению к Кирайхиде. Там по дороге сеновалы. Затащила его на сеновал, а потом потребовала пять крон, а он ей дал по морде. Мейстршик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные,

а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку.

— Короче говоря, мадьяры — шваль, — закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

— Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

— Как это не виноват? — загорячился Водичка. — Каждый виноват, — ска- занул тоже! Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курсы. Еще в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое, в школу, и один балда начал на доске чертить и объ- яснять, что такое блиндажи, как делают основание и как производятся изме- рения. «А завтра утром, говорит, у кого не будет все это начерчено, как я объ- яснял, того я велю связать и посадить». — «Черт побери, думаю, для чего я, соб- ственно говоря, на фронте записался на эти курсы: для того, чтобы удрать с фронта или чтобы вечерами чертить в тетрасточке карандашиком, чисто школьник?» Еле-еле я там высидел — такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза бы мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Кирайхиду и со злости только о том и думал, как бы най- ти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с легким сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а бог распо- лагает. Нашел я у реки среди садов действительно подходящий кабачок: тихо, что в твоей часовне, все словно создано для скандала. Посетителей было двое, лопотали что-то по-мадьярски. Это меня еще больше раззадорило, и я надрал- ся скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спьяна даже не заметил, что рядом находится еще такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар. Они на меня и насели, как только я съездил двум пер- вым посетителям по морде. Мерзавцы гусары так, брат, меня отделали и так гоняли по всем садам, что я до самого утра не мог попасть домой, а когда на- конец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал им, что свалился в кирпичную яму, и меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, по- ка спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Разве это люди? Скоты!

— Как аукнется, так и откликнется, — определил Швейк. — Нечего удив- ляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить все вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке, на месте, а потом тебя выбросить. Если б они свели с тобой счеты у стола, это и для них было бы лучше и для тебя. Знавал я одного кабат- чика Пароубека в Либени. У него в кабаке перепился раз можжевеловкой бро- дячий жестяник-словак и стал ругаться, что можжевеловка очень слабая, де- скать, кабатчик разбавляет ее водой «Если бы, говорит, я сто лет чинил прово- локой старую посуду и на весь свой заработок купил бы можжевеловки и сра- зу все выпил, то и после этого мог бы ходить по канату, а тебя, Пароубек, но- сить на руках». И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут Пароубек этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышелов- ки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил еще шестом, которым железные шторы опускают. Лупил до самой площади Инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь Инвалидов в Карлине до са- мого Жижкова, а оттуда через Еврейские Печи в Малешице, где наконец сло- мал об него шест, а потом уж вернулся обратно в Либень. Хорошо. Но в горяч-

ке он забыл, что публика-то осталась в кабаке и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он наконец добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около нее стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили порядок внутри кабака. Все, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, на улице валялся пустой бочонок из-под рома, а под стойкой Пароубек нашел двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того как Пароубек их вытащил, они хотели заплатить ему по два крейцера: больше, мол, водки не выпили... Так-то наказуется горячность. Это все равно как на войне, брат, — сперва противника разобьем, потом все за ним да за ним, а потом сами не успеваем улепетывать...

— Я этих сволочей хорошо запомнил, — проронил Водичка. — Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусар, я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, саперам, что-нибудь взбредет в голову, то мы на этот счет звери. Мы, брат, не то что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Етцбахер, сволочь, другой такой на свете не сыщешь. И он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих, — немец, но хороший парень, — из-за него застрелился. Ну, мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Етцбахеру капут. И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этак с пяток пуль. Живучий был, гадина, как кошка, — пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом чего не вышло. Только пробормотал что-то, да так, брат, смешно — прямо умора! — Водичка засмеялся. — На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ — теперь он тоже у нас в саперах — рассказывал, что, когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта — тоже собаку порядочную, — который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята будто бы чуть не померли со смеху.

Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шапронской улице, номер шестнадцать.

— Ты бы лучше подождал здесь, — сказал Швейк Водичке у подъезда дома, — я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.

— Оставить тебя одного? — удивился Водичка. — Плохо, брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну...

— Послушай, Водичка, — серьезно сказал Швейк, — дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил все как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта, а теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной

наверх.

— Плохо, Швейк, ты меня знаешь, — также весьма серьезно ответил старый сапер Водичка. — Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что мое слово свято. Идти вдвоем всегда безопаснее.

— А вот и нет, Водичка, сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь Некланову улицу на Вышеграде? У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привел к себе ночевать еще одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тоничек, если бы ты пришел один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда, с собой никого не приведу».

— Только этого еще не хватало, — рассердился Водичка, — чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа, полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться.

— Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю. Ведь дело касается женщины.

— И ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах, на «Розовом острове», одна этакая харя не хотела со мной танцевать, — у меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостиваржа, но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи! «Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было». Как я дал ей разок, она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, — только кружки полетели. Но мне, брат, весь «Розовый остров» был ни почем. Были там знакомые ребята из Вршовиц, они мне и помогли. Излупили мы этак семейств пять с ребятами вместе. Небось и в Михле было слышать. Потом в газетах напечатали: «В таком-то саду, во время загородного гулянья, устроенного таким-то благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города...» А потому, как мне помогли, и я всегда своему товарищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты мадьяр знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться; свиделись мы с тобой после стольких лет, да еще при таких обстоятельствах...

— Ладно уж, пойдем вместе, — решил Швейк. — Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.

— Не беспокойся, товарищ, — тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. — Я его ка-ак хрясну... — и еще тише прибавил: — Вот увидишь, с этой мадьярской рожей возни большой не будет.

И если бы в подъезде был кто-нибудь понимающий по-чешски, тот еще на лестнице услышал бы довольно громко произнесенный Водичкой девиз: «Плохо, брат, ты мадьяр знаешь!» — девиз, который зародился в тихом кабаке над рекой Литавой, среди садов прославленной Кирайхиды, окруженной холмами. Солдаты всегда будут проклинать Кирайхиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время ее, которыми их теоретически

подготавливали к практическим избиениям и резне.

Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Каконя. Прежде чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил:

— Ты когда-нибудь слышал половицу, Водичка, что осторожность — мать мудрости?

— Это меня не касается, — ответил Водичка, — Не давай ему рот разинуть...

— Да мне не с кем особенно разговаривать-то, Водичка.

Швейк позвонил, и Водичка громко сказал:

— Айн-цвай — и полетит с лестницы.

Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски:

— Что вам угодно?

— Nem tudom[416], — презрительно ответил Водичка. — Научись, девка, говорить по-чешски.

— Verstehen Sie deutsch?[417]— спросил Швейк.

— A pischen[418].

— Also, sagen der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, daß ein Brief ist von einem Herr, draußen in Kong[419].

— Я тебе удивляюсь, — сказал Водичка, входя вслед за Швейком в переднюю. — Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать?

Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил:

— Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика, а вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох.

Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку:

— Frau ist gesagt, daß Sie hat ka Zeit, wenn was ist das mir geben und sagen[420].

— Also, — торжественно сказал Швейк, — der Frau ein Brief, aber halten Kuschen[421].— Он вынул письмо поручика Лукаша. — Ich, — сказал он, указывая на себя пальцем, — Antwort warten hier in die Vorzimmer[422].

— Что же ты не сядешь? — сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены. — Вон стул. Стоит, точно нищий. Не унижайся перед этим мадьяром. Будет еще с ним канитель, вот увидишь, но я, брат, его ка-ак хрясну...

— Послушай-ка, — спросил он после небольшой паузы, — где это ты по-немецки наловчился.

— Самоучка, — ответил Швейк.

Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжелое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рев: «Bazsom az anyát, bazsom az istenet, bazsom a Kristus Mariát, bazsom az atyádót, bazsom a világot!»[423]

Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин во цвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом.

Старый сапер сидел ближе, и взбешенный господин накинулся сперва на него:

— Was soll das heißen, wo ist der verfluchte Kerl, welcher diesen Brief gebracht hat?[424]

— Полегче, — остановил его Водичка, подымаясь со стула. — Особенно-то не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принес письмо, так спро-

си у товарища. Да говори с ним поаккуратнее, а то в два счета очутишься за дверью.

Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешенного господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать.

— Мы слышали, что вы обедаете, — на ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски: — Мы тоже было подумали, что напрасно отрываем вас от обеда.



— Не унижайся, — сказал Водичка.

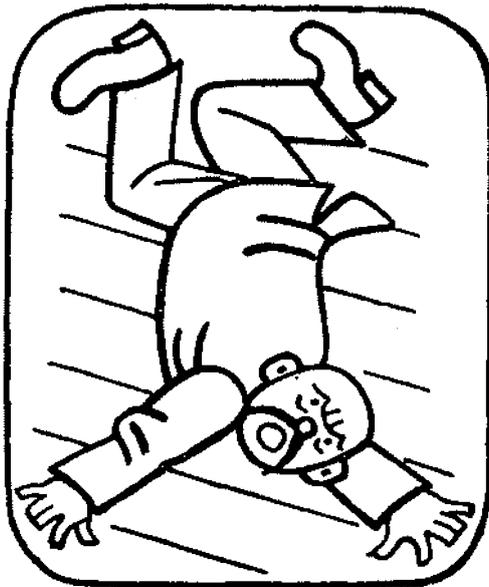
Разъяренный господин, который так оживленно жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал: он сначала подумал, что в письме речь идет о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге.

— Здесь бы поместилось порядочно войск, — сказал Швейк. — Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться.

Господин схватился за голову и разразился потоком упреков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса и что он охотно служил бы и теперь, но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущено, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлет это письмо в штаб полка, в военное министерство, он опубликует его в газетах...

— Сударь, — с достоинством сказал Швейк, — это письмо написал я. Ich geschrieben, kein Oberleutnant[425]. Подпись подделана. Unterschrift, Name falsch[426]. Мне ваша супруга очень нравится. Ich liebe Ihre Frau[427]. Я влюблен в вашу жену по уши, как говорил Врхлицкий — kapitales Frau[428].

Разъяренный господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапер Водичка, следивший за каждым движением Каконя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот все время размахивал, сунул в свой карман, и не успел господин Каконь опомниться, как Водичка его сгреб, отнес к двери, открыл ее одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как... что-то загремело вниз по лестнице.



Случилось все это быстро, как в сказке, когда черт приходит за человеком. От разъяренного господина осталась лишь салфетка. Швейк ее поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда пять минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач.

— Принес вам салфетку, — деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе. — Как бы на нее не наступили... Мое почтение!

Щелкнув каблуками и взяв под козырек, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, все сошло, как и предполагал Водичка, совершенно гладко. Только дальше, у ворот, Швейк нашел разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Каконь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии.

Зато на улице было оживленно. Господина Каконя оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков, — солдаты как раз проходили мимо.

Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще и как в руках у него появилась трость какого-то оторопевшего зеваки (тесака у Швейка не было).

Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех.

Рядом с Водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал *corpus delicti*.

Швейк шел с довольным видом, держа трость, как ружье, на плече.

Старый сапер Водичка всю дорогу упрямо молчал. Только входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку:

— Говорил я, что ты мадьяр плохо знаешь!

#### Глава IV Новые муки

Полковник Шредер не без удовольствия разглядывал бледное лицо и большие круги под глазами поручика Лукаша, а тот в смущении не поднимал на полковника глаз и украдкой, как бы изучая что-то, рассматривал план расположения воинских частей в лагере. План этот был единственным украшением в кабинете полковника. На столе перед полковником лежало несколько газет с отчеркнутыми синим карандашом статьями, которые он еще раз пробежал глазами. Пристально глядя на поручика Лукаша, полковник произнес:

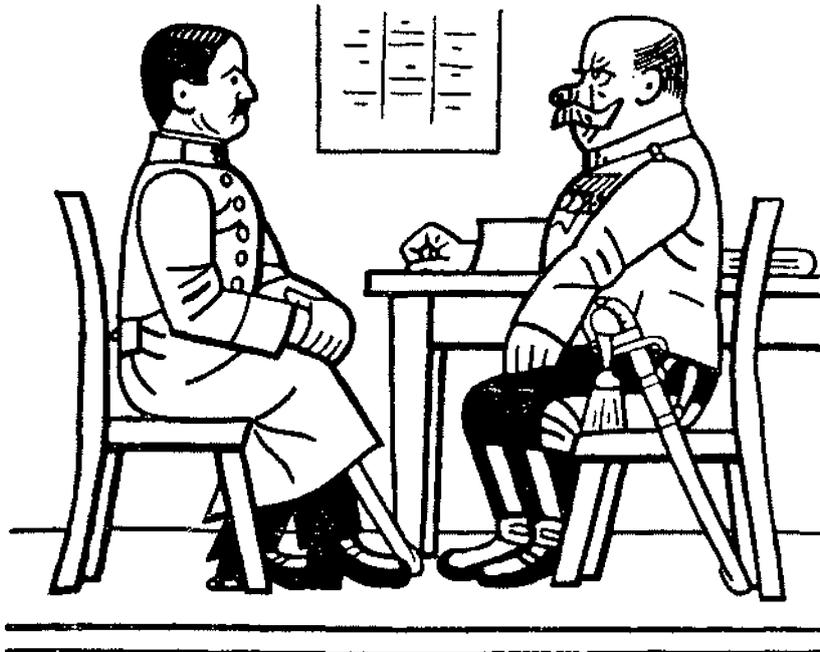
— Итак, вам уже известно, что ваш денщик Швейк арестован и дело его, вероятно, будет передано дивизионному суду?

— Так точно, господин полковник.

— Но и этим, разумеется, — многозначительно сказал полковник, с удовольствием разглядывая побледневшее лицо поручика Лукаша, — вопрос не исчерпан. Здешняя общественность взбудоражена инцидентом с вашим денщиком Швейком, и вся эта история связывается с вашим именем, господин поручик. Из штаба дивизии к нам поступил материал по этому делу. Вот газеты, которые пишут об этом инциденте. Прочтите мне вслух.

Полковник передал Лукашу газету с отчеркнутыми статьями, и поручик принялся монотонно читать, как если бы читал фразу из детской книги для чтения: «Мед значительно более питателен и легче переваривается, чем сахар».

— «В чем гарантия нашей будущности?»



— Это «Пестер-Ллойд»? — спросил полковник.

— Так точно, господин полковник, — ответил поручик Лукаш и продолжал читать: — «Ведение войны требует совместных усилий всех слоев населения Австро-Венгерской монархии. Если мы хотим обеспечить безопасность нашего государства, то все нации должны поддерживать друг друга. Гарантия нашей будущей безопасности лежит в добровольном уважении одним народом другого народа. Громадные жертвы наших доблестных воинов на фронтах, где они неустанно продвигаются вперед, не были бы возможны, если бы тыл — эта хозяйственная и политическая артерия наших прославленных армий — не был сплоченным, если бы в тылу наших армий подняли голову элементы, разбивающие единство государства, своей злонамеренной агитацией подрывающие авторитет государственного целого и вносящие смуту в солидарность народов нашей монархии. В эти исторические минуты мы не можем молча смотреть на горстку людей, из соображений местного национализма пытающихся помешать дружной работе и борьбе всех народов нашей империи за справедливое возмездие тем негодьям, которые без всякого повода напали на нашу родину, чтобы отнять у нее все культурные ценности и достижения цивилизации. Мы не можем молча пройти мимо гнусных деяний лиц с нездоровой психологией, единственная цель которых — разбить единоплеменные наших народов. Мы уже неоднократно обращали внимание наших читателей на то обстоятельство, что военные власти вынуждены принимать самые строгие меры против отдельных личностей в чешских полках, которые, пренебрегая славными полковыми традициями, сеют своими нелепыми бесчинствами в наших мадьярских городах озлобление против всего чешского народа, который, как целое, ни в чем не повинен и который всегда твердо стоял на страже интересов нашей империи, свидетельством чего является целый ряд выдающихся полководцев, вышедших из среды чехов. Достаточно вспомнить славного фельдмаршала Радецкого и других защитников Австро-Венгерской державы! Этим светлым личностям противостоит кучка негодяев, вышедших из подонков чешского народа, которые воспользовались мировой войной для того, чтобы вступить добровольцами в армию — с целью вызвать раздор среди народов монархии, удовлетворяя при этом свои низкие инстинкты. Мы уже

обращали внимание читателей на дебоширство N-ского полка в Дебрецене, бесчинства которого были обсуждены и осуждены будапештским парламентом, полка, знамя которого позднее было на фронте.. (Выпущено цензурой.) На чьей совести лежит этот позор?.. (Выпущено цензурой.) Кто втянул чешских солдат?.. (Выпущено цензурой.) До чего доходит дерзость пришлого элемента на нашей родной венгерской земле, лучше всего свидетельствует инцидент, имевший место в городе Кирайхиде на венгерском «островке» на Литаве. К какой национальности принадлежали солдаты из близлежащего военного лагеря в Мосте-на-Литаве, которые напали на тамошнего торговца, господина Дьюлу Каконя, и избили его? Долг властей — расследовать это преступление и выяснить в командовании дивизии, которое, несомненно, уже занимается этим делом, какую роль в этой неслыханной травле подданных венгерского королевства играет поручик Лукаш, имя которого в городе связывается с событиями последних дней, как сообщил нам наш местный корреспондент, уже собравший богатый материал по этому делу, в нынешний ответственный момент являющемся просто вопиющим. Читатели «Пестер-Ллойд», несомненно, будут с интересом следить за ходом следствия, и мы не преминем познакомить их ближе с этими событиями исключительной важности. Вместе с тем мы ждем официальных сообщений о кирайхидском преступлении, совершенном против венгерского населения. Мы не сомневаемся, что будапештский парламент сам займется этим делом, чтобы наконец всем стало ясно, что чешские солдаты, следующие на фронт через венгерское королевство, не смеют рассматривать землю короны святого Стефана как землю, взятую ими в аренду. Если же некоторые лица этой национальности, так ярко продемонстрировавшие в Кирайхиде «солидарность» всех народов Австро-Венгерской монархии, еще и теперь не учитывают ситуации, мы рекомендовали бы им угомониться, ибо в условиях военного времени пуля, петля, суд и штык заставят их повиноваться высшим интересам нашей общей родины».

— Чья подпись под статьей, господин поручик?

— Редактора, депутата Белы Барабаша, господин полковник.

— Старая bestия! Но прежде чем эта статья попала в «Пестер Ллойд», она была напечатана в «Пешти Хирлап». Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещенной в шопронской газете «Шопрони Напло».

Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде: «велеиe государственной мудрости», «государственный порядок», «человеческая извращенность», «втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство», «пиршество каннибалов», «избиение лучших представителей общества», «свора мамелюков», «закулисные махинации». Далее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то все застенографировал.

«О целом ряде серьезнейших фактов, — хныкала шопронская газета «Шопрони Напло», — у нас благоразумно умалчивают и ничего не пишут. Всякий знает, что такое чешский солдат в Венгрии и каков он на фронте. Всем нам известно, что вытворяют чехи и каковы настроения среди чехов и чья рука вид-

на здесь. Правда, бдительность властей отвлечена другими делами первостепенной важности, и, однако же, она должна надлежащим образом сочетаться с общим надзором, чтобы не повторилось то, чему мы на днях были свидетелями в Кирайхиде. Во вчерашней нашей статье пятнадцать мест было вычеркнуто цензурой. Нам не остается ничего другого, как только заявить, что и сегодня по техническим соображениям мы не имеем возможности широко осветить события в Кирайхиде. Посланный нами корреспондент убедился на месте, что власти энергично взялись за это дело и быстрым темпом ведут расследование. Удивляет нас только одно, а именно: некоторые участники этого истязания находятся до сих пор на свободе. Это касается особенно того господина, который, по слухам, безнаказанно обретается в лагере и до сих пор носит петлицы своего «попугайского полка». Фамилия его была названа третьего дня в «Пестер Ллойд» и в «Пешти Напло». Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерpellация депутатом от Кирайхидского округа Гезой Шавань».

— В таком же любезном тоне, господин поручик, — сказал полковник Шредер, — пишут о вас «Еженедельник», выходящий в Кирайхиде, и пресбургские газеты. Но, я думаю, это вас уже не интересует, так как тут все на один лад. Политически это легко объяснимо, потому что мы, австрийцы, — будь то немцы или чехи, — все же еще здорово против венгров... Вы меня понимаете, господин поручик. В этом видна определенная тенденция. Скорее вас может заинтересовать статья в «Комарненской вечерней газете», в которой утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Каконь прямо в столовой во время обеда в присутствии ее супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. Это самое последнее известие о вас, господин поручик. — Полковник усмехнулся и продолжал: — Власти не исполнили своего долга. Предварительная цензура здешних газет тоже в руках венгров. Они делают с нами что хотят. Наш офицер беззащитен против оскорблений венгерского штатского хама-журналиста. И только после нашего резкого демарша, а может быть, телеграммы нашего дивизионного суда, государственная прокуратура в Будапеште предприняла шаги к тому, чтобы произвести аресты отдельных лиц во всех упомянутых редакциях. Больше всего поплатился редактор «Комарненской вечерней газеты», он до самой смерти будет помнить свою «Вечерку». Дивизионный суд поручил мне, как вашему начальнику, допросить вас и одновременно посылает мне материалы следствия. Все сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный Швейк. С ним находился какой-то сапер Водичка; когда того привели на гауптвахту после драки, при нем нашли письмо, посланное вами госпоже Каконь. Так этот ваш Швейк утверждал на допросе, что письмо не ваше, что это писал он сам, — когда же ему было приказано переписать письмо, чтобы сравнить почерки, он ваше письмо сожрал. Тогда из полковой канцелярии были пересланы в дивизионный суд ваши рапорты для сравнения с почерком Швейка, — и вот вам результаты.

Полковник перелистал бумаги и указал поручику Лукашу на следующее место:

«Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать».

— Я, господин поручик, вообще не придаю никакого значения тому, что го-

ворили в дивизионном суде ваш Швейк или этот сапер. И Швейк и сапер утверждают, что все произошло из-за какой-то пустячной шутки, которая была не понята, что на них самих напали штатские, а они отбивались, чтобы защитить честь мундира. На следствии выяснилось, что ваш Швейк вообще фрукт. Так, например, на вопрос, почему он не сознается, он, согласно протоколу, ответил: «Я нахожусь сейчас в таком же положении, в каком очутился однажды из-за икон девы Марии слуга художника Панушки. Тому тоже, когда дело коснулось икон, которые он собирался присвоить, ничего другого не оставалось ответить, кроме как: «Что же, мне кровью блевать, что ли?» Разумеется, я, как командир полка, позаботился о том, чтобы во все газеты от имени дивизионного суда было послано опровержение подлых статей, напечатанных в здешних газетах. Сегодня это будет разослано, и полагаю, что я, со своей стороны, сделал все, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал:

«Настоящим дивизионный суд N-ской дивизии и штаб N-ского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершенных солдатами N-ского полка бесчинствах, ни в какой степени не соответствует действительности и от первой до последней строки вымышлена. Следствие, начатое против вышеназванных газет, поведет к строгому наказанию виновных».

— Дивизионный суд в своем отношении, посланном в штаб нашего полка, — продолжал полковник, — приходит к тому заключению, что дело, собственно, идет о систематической травле, направленной против воинских частей, прибывающих из Цислейтании в Транслейтанию. Притом сравните, какое количество войск отправлено на фронт с нашей стороны и какое с их стороны. Скажу вам откровенно: мне чешский солдат более по душе, чем этот венгерский сброд. Стоит только вспомнить, как под Белградом венгры стреляли по нашему второму маршевому батальону, который, не зная, что по нему стреляют венгры, начал палить в дейчмейстеров, стоявших на правом фланге, а дейчмейстеры тоже спутали и открыли огонь по стоящему рядом с ними боснийскому полку. Вот, скажу я вам, положеньице! Был я как раз на обеде в штабе бригады. Накануне мы должны были пробавляться ветчиной и супом из консервов, а в этот день нам приготовили хороший куриный бульон, филе с рисом и ромовые бабки. Как раз накануне вечером мы повесили в местечке сербского трактирщика, и наши повара нашли у него в погребе старое тридцатилетнее вино. Можете себе представить, как мы все ждали этого обеда. Покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка, потом пальба, и наша артиллерия, понятия не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала палить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербь, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон, а потом начали форсировать реку. Бригадного генерала зовут к телефону, и начальник дивизии поднимает страшный скандал, что это там за безобразие происходит на боевом участке бригады. Ведь он только что получил приказ из штаба армии начать наступление на сербские позиции на левом фланге в два часа тридцать пять минут ночи. Мы же являемся резервом и должны немедленно прекратить огонь. Ну, где там при такой ситуации «Feuer einstellen»[429]. Бригадная телефонная станция сообщает, что никуда не может дозвониться, кроме как в штаб Семьдесят пя-

того полка, который передает, что он получил от ближайшей дивизии приказ «ausharren»[430], что он не может связаться с нашей дивизией, что сербы заняли высоты 212, 226 и 327, требуется переброска одного батальона для связи, и необходимо наладить телефонную связь с нашей дивизией. Пытаемся связаться с дивизией, но связи нет, так как сербы пока что зашли с обоих флангов нам в тыл и сжали наш центр в треугольник, в котором оказались и пехота, и артиллерия, обоз со всей автоколонной, продовольственный магазин и полевой лазарет. Два дня я не слезал с седла, а начальник дивизии попал в плен и наш бригадный тоже. А всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, разумеется, всю вину свалили на наш полк. — Полковник сплюнул. — Вы теперь сами, господин поручик, убедитесь, как они ловко использовали ваши похождения в Кирайхиде.

Поручик Лукаш смущенно кашлянул.

— Господин поручик, — интимно обратился к нему полковник, — положи руку на сердце, сколько раз вы спали с мадам Каконь?

Полковник Шредер был сегодня в очень хорошем настроении.

— Бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я, будучи на трехнедельных топографических курсах в Эгере, все эти три недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками. Каждый день с другой: с молодыми, незамужними, с дамами более солидного возраста, замужними, — какие подвернутся. Работал так добросовестно, что, когда вернулся в полк, еле ноги волочил. Больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки, укусила при этом за нос и за всю ночь не дала мне глаз сомкнуть...

— «Начал переписываться»! — Полковник ласково потрепал поручика по плечу. — Знаем мы это! Не говорите мне ничего, у меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый Швейк... Знаете, господин поручик, этот Швейк все же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитание! Это мне в парне нравится. Ввиду всего этого следствие непременно должно быть приостановлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы — самый старший офицер в одиннадцатой роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде все уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо Швейка.

Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал:

— Швейка я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца.

Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал:

— Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи! Желаю вам отличиться на Восточном фронте. Если еще когда-нибудь увидимся, заходите, не избегайте нас, как в Будейовицах...

По дороге домой поручик Лукаш все время повторял про себя: «Ротный командир, ротный ординарец».

И перед ним вставал образ Швейка.

Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванеку подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал:

— А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком, — и, услышав, что полковник назначил Швейка ординарцем одиннадцатой роты, воскликнул: — Господи помилуй!

В арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в семь часов утра и принимались убирать матрацы, валявшиеся прямо на грязном полу: нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, на соломенный тюфяк складывали одеяла; те, кто кончили уборку, усаживались на лавках вдоль стены и либо искали вшей (те, что пришли с фронта), либо коротали время рассказами о всяких приключениях.

Швейк вместе с бывалым сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери.

— Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на венгерского молодчика у окна, как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?

— За что? Он хороший парень, — сказал Швейк. — Попал сюда потому, что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то, а посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится божьей заповеди. Ну, так ему эту божью заповедь покажут! Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрава. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье: носить ружье — это-де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он — нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял-таки на своем.

— Вот дурак, — сказал бывалый сапер Водичка, — мог бы присягнуть, а потом начал бы на все. И на присягу тоже.

— Я уже три раза присягал, — отозвался один пехотинец, — и в третий раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я пятнадцать лет назад в приступе помешательства уколошил свою тетку, меня бы уж раза три расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым.

— А на кой ты уколошил свою тетеньку? — спросил Швейк.

— На кой люди убивают, — охотно отозвался тот, — каждому ясно: из-за денег. У этой старухи было пять сберегательных книжек, ей как раз прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришел в гости. Кроме нее, у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла, а она — стерва! — иди, говорит, работать, ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Ну, слово за слово, я трахнул ее несколько раз кочергой по голове и так разделал физию, что уж и сам не мог узнать: тетенька это или не тетенька? Сижу я у нее на полу и все приговариваю: «Тетенька или не тетенька?» Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на Слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы.

Мимо них прошел худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке.

— Это учитель из нашей маршевой роты, — представил его егерь, сидев-

ший рядом со Швейком. — Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил.

— Эй, учитель! Поди-ка сюда, — окликнул он солдата с веником.

Тот с серьезным видом подошел к скамейке.

— Расскажи-ка нам про вшей.

Солдат с веником откашлялся и начал:

*Весь фронт во вшах. И с яростью скребется  
то нижний чин, то ротный командир.  
Сам генерал, как лев, со вшами бьется  
и, что ни миг, снимает свой мундир.  
Вшам в армии квартира даровая,  
на унтеров им трижды наплевать.  
Вошь прусскую, от страсти изнывая,  
австрийский вшивец валит на кровать.*

Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул:

— Вот и все. И из-за этого я уже четыре раза был на допросе у господина аудитора.

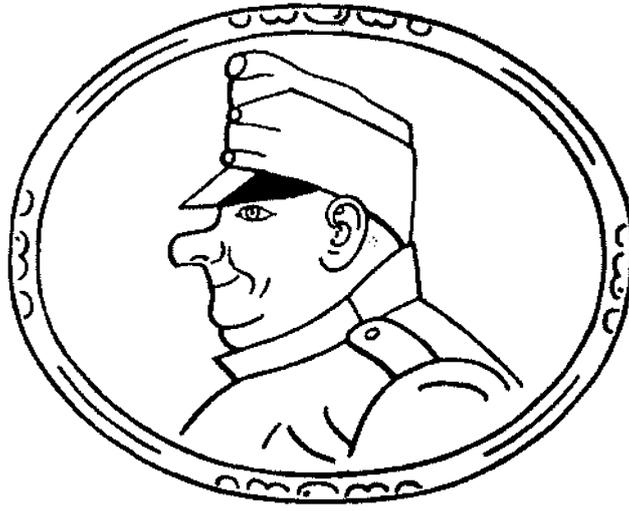
— Собственно, все это выеденного яйца не стоит, — веско заметил Швейк. — Все дело в том, кого они там в суде будут считать австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчет страсти. Этим вы собьете их с толку, и они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец и что на самку-вошь может лезть только самец-вшивец. Иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, — это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного удовольствия, и так же как свинья-самец называется боров, так самца вши называют вшивцем.

Учитель тяжело вздохнул.

— Что ж делать, если господин аудитор не знает как следует чешского языка. Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился. «Замец фжи по-чешски зовет фожак, завсем не фшивец, — заявил господин аудитор. — Femininum, Sie gebildeter Kerl, ist «он фож». Also, Maskulinum ist «она фожак». Wir kennen uns're Pappenheimer»[431].

— Короче говоря, — сказал Швейк, — ваше дело дрянь, но терять надежды не следует, как говорил цыган Янечек в Пльзени, когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа; все может обернуться к лучшему! И он угадал: в последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье: на третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что во всем виновен другой Янечек. Ну, пришлось его выкопать с арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на пльзеньском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище, а потом...

— Потом я тебе заеду в морду, — отозвался бывалый сапер Водичка. — Чего только этот парень не выдумает! У человека на шее висит дивизионный суд, а



он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то иерихонской розы.

— Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки Матей старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил: «Возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет, — это и есть иерихонская роза!» Я этой ерунды не придумывал, — защищался Швейк, — но нужно же было о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идем на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка.

— Уж ты развлечешь! — презрительно сплюнул Водичка. — Тут ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи да ладком рассчитаться с этими мадьярскими негодьями, а он утешает каким-то коровьим дерьмом.

А как я расквитаюсь с теми мадьярскими сопляками, сидя тут взаперти? Да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Эх, скажу я вам, собачья жизнь! Ну, попадись ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр! Раздавлю, как кутенка! Я ему покажу «Isten áld meg a maguart»[432], я с ним рассчитаюсь, будет он меня помнить!

— Нечего нам беспокоиться, — сказал Швейк, — все уладится. Главное — никогда на суде не говорить правды. Кто дает себя околпачить и признается, тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал в Моравской Острове, там произошел такой случай. Один шахтер с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, все время говорил, чтобы он отпирался, ему ничего за это не будет, а председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтер гнул свою линию: не сознается — и баста! Его освободили, потому что он доказал свое алиби: в этот самый день он был в Брно...

— Иисус Мария! — вскрикнул взбешенный Водичка. — Я больше не выдержу! На кой черт ты все это рассказываешь, никак не пойму! Вчера с нами допрашивали точь-в-точь такого же. Аудитор спрашивает, кем он был до военной службы, а он отвечает: «Поддувал у Креста». И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувал мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили: «Так что же, вы у него в ученье?» — он понес: «Так точно... одно мученье...»

В коридоре слышались шаги и возглас караульного:

— Zuwachs[433].

— Опять нашего полку прибыло! — радостно воскликнул Швейк. — Авось

он припрятал окурок.

Дверь открылась, и в барак втокнули вольноопределяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будейовицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил:

— Во веки веков, аминь!



Вольноопределяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил наземь одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные сигареты и роздал их. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки, чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и обронил как бы между прочим:

— Я обвиняюсь в том, что поднял восстание.

— Пустяки, — успокоил его Швейк, — ерунда.

— Разумеется, — сказал вольноопределяющийся, — если мы подобным способом намереваемся выиграть войну, с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации.

— А как же ты поднял восстание?! — спросил сапер Водичка, с симпатией глядя на вольноопределяющегося.

— Отказался чистить нужники на гауптвахте, — ответил вольноопределяющийся. — Повели меня к самому полковнику. Ну, а тот — отменная свинья. Стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как меня земля носит и от такого позора еще не перестала вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольноопределяющегося, имеющий право на офицерское звание и который тем не менее своими поступками может вызвать только омерзение у начальства. Я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольноопределяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее наши-

вок вольноопределяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется несколько странным, из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадет мерзлая свекла. А потом как заорет на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?!» — «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». — «Нет, будете, несчастный вольнопер!» — «Никак нет, не буду!» — «Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а сто нужников!» — «Никак нет. Не вычищу ни ста, ни одного нужника!» И пошло, и пошло! «Будете чистить?» — «Не буду чистить!» Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Моудрой для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии как угорелый, наконец сел и сказал: «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольноопределяющимся, расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили двух вольноопределяющихся десятой роты, а одного из девятой пристрелили, как ягненка. А за что? За упрямство! Те двое, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчишку одного «чужака» под Шабацием, а вольноопределяющийся девятой роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете?» — «Никак нет, не буду!» Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» — «Никак нет!»

После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже.

— Самое лучшее, — сказал Швейк, — выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и, на страх другим, осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто: начал корчить душевнобольного с тяжелой наследственностью и на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать, его всегда тянет куда-то; раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения; мать была проституткой, вечно пила и померла от белой горячки, младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сторел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию; двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа. За его воспитанием никто не следил, и до десяти лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было шесть месяцев и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головкой. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознает, что делает, в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу и только позднее, когда военная полиция арестовала его «У Флеков», пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от воен-

ной службы; и человек пять солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке:

Отец — алкоголик. Мать — проститутка.

I. Сестра (утопилась).

II. Сестра (поезд).

III. Брат (с моста).

IV. Дедушка + жену, керосин, поджег.

V. Бабушка (цыгане, спички) + и т. д.

Один из них начал болтать все это штабному врачу, но не успел перевалить через двоюродного брата, штабной врач (это был уже третий случай!) прервал его: «А твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа, за твоим воспитанием — лодырь ты этакий! — никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских ротах». Ну, отвели в тюрьму, связали «козлом» — и с него как рукой сняло и плохое воспитание, и отца-алкоголика, и мать-проститутку, и он предпочел добровольно пойти на фронт.

— Нынче, — сказал вольноопределяющийся, — на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность, а то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом.

В окованной железом двери лязнул ключ, и вошел профос.

— Пехотинец Швейк и сапер Водичка — к господину аудитору!

Оба поднялись, Водичка обратился к Швейку:

— Вот мерзавцы, каждый божий день допрос, а толку никакого! Уж лучше бы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантрапа кругом бегают...

По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапер Водичка обсуждал со Швейком, когда же наконец они предстанут перед настоящим судом.

— Допрос за допросом, — злился Водичка, — и хоть бы какой толк. Изведут уйму бумаги, сгниешь за решеткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Ну скажи по правде, можно ихний суп жрать? А ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал! Я представлял себе все это совсем иначе.

— А я доволен, — сказал Швейк. — Еще несколько лет назад, когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солпера говаривал нам: «На военной службе каждый должен знать свои обязанности!» И, бывало, так съездит тебе при этом по морде, век не забудешь! А покойный обер-лейтенант Квайзер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам: солдаты только скот, государство их кормит, поит кофеем, отпускает табак, — и за это они должны тянуть лямку, как волю.

Сапер Водичка задумался и немного погодя сказал:

— Швейк, когда придешь к аудитору, лучше не завирайся, а повторяй, что говорил прошлый раз, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь как ни крути, а мы все это делали с тобой сообща.

— Не бойся, Водичка, — успокаивал его Швейк. — Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного, — подумаешь, какой-то там дивизионный суд! Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Слу-

жил у нас на действительной учитель Герал, так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии-Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно, по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по пяти талеров. Само собой, — прибавил Швейк солидно, — полки тогда были больше и их постоянно пополняли в деревнях.

— Когда я был в Сербии, — сказал Водичка, — то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать «чужаков», платили сигаретами: повесит солдат мужчину — получает десяток сигарет «Спорт», женщину или ребенка — пять. Потом интендантство стало наводить экономию: расстреливали всех гуртом. Со мною служил цыган, мы долго не знали, что он этим промышляет. Только удивлялись, отчего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на Дрине. И как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах, а у этого хама в вещевом мешке — целых три коробки сигарет «Спорт» по сто штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним короткую расправу: повалили его, и Белоун удавил его ремнем. Живуч был, негодяй, как кошка. — Бывалый сапер Водичка сплюнул. — Никак не могли его удавить. Уж он обделался, глаза у него вылезли, а все еще был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его, совсем как кошку: двое за голову, двое за ноги, и перекрутили ему шею. Потом надели его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его, где поглубже, в Дрину. Кто их станет курить, такие сигареты! А утром начали его разыскивать...

— Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал, — рассудительно заметил Швейк, — мол, давно к этому готовился: каждый день говорил, что удерет.

— Охота нам была об этом думать, — ответил Водичка. — Мы свое дело сделали, а дальше не наша забота. Там это было очень легко и просто; каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из Дрины не вылавливали. Премило плыли по Дрине в Дунай раздутый «чужак» рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит в первый раз, — в дрожь бросает, чисто в лихорадке.

— Им надо было хину давать, — сказал Швейк.

С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию № 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер.

Перед ним лежал том Свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками.

Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия, к новой скорби распятого бога, а другою отдирает стакан с чаем, приклеившийся к Своду законов.

Высвободив стакан из объятий Свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в Офицерском собрании.

Это была книга Фр.-С. Краузе с многообещающим заглавием: «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral»[434].

Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Фр.-С. Краузе в уборных берлинского Западного вокзала, и не заметил вошедших.

Он оторвался от репродукций только после того, как Водичка кашлянул.

— Was geht los?[435] — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — ответил Швейк, — коллега Водичка простудился и кашляет.

Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и Водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.

— Наконец-то притащились, — проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. — Я приказал вас позвать на девять часов, а теперь без малого одиннадцать. Как ты стоишь, осел? — обратился он к Водичке, осмелившемуся стать «вольно». — Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами, что хочешь.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — отозвался Швейк, — он страдает ревматизмом.

— Держи язык за зубами! — разозлился аудитор Руллер. — Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже три раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду я это дело наконец или не найду? Досталось мне с вами, негодьями, хлопот! Ну, да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой! Так слушайте, байстрюки, — прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное:



### *SCHWEJK UND WODITSCHKA[436]*

— Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии. — Аудитор вздохнул. — Что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк? — продолжал он. — На фронте у тебя пропадет охота драться с гонведами. Дело ваше прекращается, каждый пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном по-

рядке, а потом отправится со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи! Я вас так проучу, не обрадуетесь! Вот вам ордер на освобождение, и ведите себя прилично. Отведите их во второй номер.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — сказал Швейк, — мы ваши слова запечатаем в сердцах, премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили.

— Убирайтесь ко всем чертям! — заорал на Швейка аудитор. — Не вступись за вас полковник Шредер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось.

Водичка почувствовал себя бывалым Водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию № 2.

Солдат, сопровождавший их, боялся опоздать к обеду.

— Ну-ка, ребята, прибавьте маленько шагу. Тащитесь, словно вши, — сказал он.

В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся, пусть скажет спасибо, что он чех, а будь он мадьяр, Водичка разделал бы его, как селедку. Так как военные писаря ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покамест отвести Швейка и Водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятий с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей.

— Друзья-приятели опять снимут весь жир с моего супа, — трагически причитал он, — а вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот я тоже конвоировал двоих в лагерь, а кто-то тем временем сожрал полпайка, который получили за меня.

— Вы тут, в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чем не думаете, — сказал совсем воспрянувший духом Водичка.

Когда Швейк и Водичка рассказали вольноопределяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул:

— Так, значит, в маршевую роту, друзья! «Попутного ветра», как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении с легким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далекой чужбине, как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те края, о которых еще старик Гумбольдт сказал: «Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция!» Богатый и ценный опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!

После обеда, перед уходом Швейка и Водички, в канцелярии к ним подошел злополучный учитель, сложивший стихотворение о вшах, и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал:

— Не забудьте, когда будете на русской стороне, сразу же сказать русским: «Здравствуйте, русские братья, мы братья чехи, мы не австрийцы».



При выходе из барака Водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не мог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал на него:

— Обуйся, прохвост!

— Жалко, — с неудовольствием сказал сапер Водичка Швейку, — что он ничего не ответил. Зря не ответил. Я бы его мадьярскую харю разорвал от уха до уха. А он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Черт возьми, Швейк, злость берет, что меня не осудили! Этак выходит, что над нами вроде как насмеваются, что это дело с мадьярами гроша ломаного не стоит. А ведь мы дрались, как львы. Это ты виноват, что нас не осудили, а дали такое удостоверение, будто мы и драться по-настоящему не умеем. Собственно, за кого они нас принимают? Что ни говори, это был вполне приличный конфликт.

— Милый мой, — добродушно сказал Швейк, — я что-то не понимаю, отчего тебя не радует, что дивизионный суд официально признал нас абсолютно приличными людьми, против которых он ничего не имеет. Правда, я при допросе всячески вывертывался, но ведь «так полагается», как говорит адвокат Басс своим клиентам. Когда аудитор спросил, зачем мы ворвались в квартиру господина Каконя, я ему ответил просто: «Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каконем, если будем ходить к нему в гости». После этого аудитор больше ни о чем меня не спрашивал, этого ему оказалось вполне достаточно.

— Запомни раз навсегда, — продолжал Швейк свои рассуждения, — перед военными судьями признаваться нельзя. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, один солдат из соседней камеры признался, а когда остальные арестанты об этом узнали, они устроили ему темную и заставили отречься от своего признания.

— Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался, — сказал сапер Водичка. — Ну, а если меня этот тип, аудитор, прямо спросил: «Дрались?» — так я ему и ответил: «Да, дрался». — «Избили кого-нибудь?» — «Так точно, господин аудитор». — «Ранили кого-нибудь?» — «Ясно, господин аудитор». Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас

освободили! Выходит, он не поверил, что я об этих мадьярских хулиганов измочалил свой ремень, что я их в лапшу превратил, наставил им шишек и фонарей. Ты ведь был при этом, помнишь, как на меня разом навалились три мадьярских холуя, а через минуту все валялись на земле, и я топтал их ногами. И после этого какой-то сморкач аудитор прекращает следствие. Все равно как если бы он сказал мне: «Дерьмо всякое, а лезет еще драться!» Вот только кончится война, буду штатским, я его, растяпу, разыщу и покажу, как я не умею драться! Потом приеду сюда, в Кирайхиду, и устрою такой мордобой, какого свет не видал: люди будут прятаться в погреба, заслышав, что я пришел посмотреть на этих кирайхидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев!



В канцелярии с делом покончили в два счета. Фельдфебель с еще жирными после обеда губами, подавая Швейку и Водичке бумаги, сделался необычайно серьезным и не преминул произнести перед ними речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою (он был силезский поляк) фельдфебель уснастил перлами своего диалекта, как-то: «marekvium», «glupi rolmopsie», «krajcová sedmina», «swiña porúpna» и «dum vám baně na mjěsjnuckovy vaši gzichty»[437].

Каждого отправляли в свою часть, и Швейк, прощаясь с Водичкой, сказал:

— Как кончится война, зайди проведать. С шести вечера я всегда «У чаши» на Боиште.

— Известно, приду, — ответил Водичка. — Там скандал какой-нибудь будет?

— Там каждый день что-нибудь бывает, — пообещал Швейк, — а уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим».

Друзья разошлись, и, когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, бравый сапер Водичка крикнул Швейку:

— Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду!

В ответ Швейк закричал:

— Непременно приходи после войны!

Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:

— Швейк! Швейк! Какое «У чаши» пиво?

Как эхо, отозвался ответ Швейка:

— Великопоповицкое!

— А я думал, смиховское! — кричал издали сапер Водичка.

— Там и девочки есть! — вопил Швейк.

— Так, значит, после войны в шесть! — орал Водичка.

— Приходи лучше в половине седьмого, на случай если запоздаю! — ответил Швейк.

И еще раз донесся издали голос Водички:

— А в шесть часов прийти не сможешь?!

— Ладно, приду в шесть! — услышал Водичка голос удаляющегося товарища.

Так разлучились бравый солдат Швейк и бывалый сапер Водичка.

*Wenn die Leute auseinander gehen,  
da sagen sie auf Wiedersehen[438].*

## Глава V Из Моста-на-Литаве в Сокаль

Поручик Лукаш в бешенстве расхаживал по канцелярии одиннадцатой маршевой роты. Это была темная дыра в ротном сарае, отгороженная от коридора только досками. В канцелярии стояли стол, два стула, бутылка с керосином и койка.

Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалованье, вел отчетность по солдатской кухне, — одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как Краконош. Это был Балоун, новый денщик поручика, до военной службы мельник из-под Чешского Крумлова.

## HOSTINEC U KALICHA



— Нечего сказать, подыскали мне денщика, — обратился поручик Лукаш к старшему писарю, — большое вам спасибо за такой сюрприз! В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину.

— Виноват, я разлил, — сказал толстенный великан.

— Допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркого принес такой кусочек, что его за нготь засунуть можно. Ну, а куда ты дел яблочный рулет?

— Я...

— Нечего врать. Ты его сожрал!

Последнее слово поручик произнес так строго и таким устрашающим тоном, что Балоун невольно отступил на два шага.

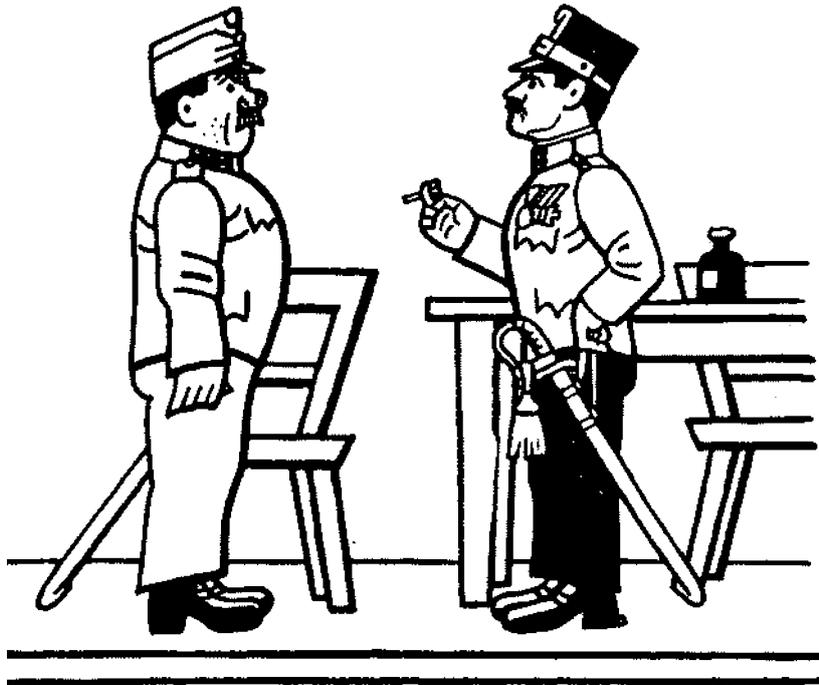
— Я справлялся в кухне, что у нас сегодня было на обед. Был суп с фрикадельками из печени. Куда ты девал фрикадельки? Повытаскивал их по дороге? Ясно как день. Затем была вареная говядина с огурцом. А с ней что ты сделал? Тоже сожрал. Два куса франкфуртского жаркого, а ты принес только полкусочка! Ну? Два куса яблочного рулета. Куда они девались? Нажрался, паршивая, грязная свинья! Отвечай, куда дел яблочный рулет? Может, в грязь уронил? Ну, мерзавец! Покажи мне, где эта грязь. Ах, туда, как будто ее звали, прибежала собака, нашла этот кусок и унесла?! Боже ты мой, Иисусе Христе! Я так набью тебе морду, что ее разнесет, как бочку! Эта грязная свинья осмеливается еще врать! Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришел ко мне и говорит: «Осмелюсь доложить, господин поручик, этот сукин сын Балоун жрет ваш обед. Смотрю я в окно, а он уписывает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел». Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот молодчик?



— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из всей нашей маршевой роты Балоун показался мне самым порядочным. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного ружейного приема, и дай ему винтовку, так он еще бед натворит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. Я полагал, что, по крайней мере, эту службу он сможет исполнять.

— Каждый день сжирать обед своего офицера! — воскликнул Лукаш. — Как будто ему не хватает своей порции. Ну, теперь ты сыт, я полагаю?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если кого остается хлеб — я тут же вымениваю его на сигареты, и все мне мало, такой уж я уродился. Ну, думаю, теперь уж я сыт — ан нет! Минуту спустя в животе снова начинает урчать, будто я не ел вовсе, и, глядь, он, стерва, желудок то есть, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж взаправду хватит, боль-



ше в меня уже не влезет, так нет тебе! Как увижу, что кто-то ест, или почую соблазнительный запах, сразу в животе — точно помелом вымели, опять он начинает заявлять о своих правах. Я тут готов хоть гвозди глотать! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уж просил: нельзя ли мне получать двойную порцию? По этой причине я был в Будейовицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на два дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. «Я, говорит, покажу тебе, каналье, как быть голодным. Попробуй приди сюда еще, так уйдешь отсюда, как щепка». Я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин обер-лейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы гарнир давали: картошку, кнедлики, немножко соусу, это ведь всегда остается.

— Довольно с меня твоих наглых выходок! — ответил поручик Лукаш. — Видали вы когда-нибудь, старший писарь, более нахального солдата, чем этот балбес: сожрал обед да еще хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию? Этот обед ты запомнишь! Старший писарь, — обратился он к Ванеку, — отведите его к капралу Вейденгоферу, пусть тот покрепче привяжет его на дворе около кухни на два часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается у колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Идемте, Балоун.

Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Балоуна, победоносно провозгласил:

— Ну что? Добился своего? Приятного аппетита! А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передов в военно-полевой суд!

Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал:

— Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать таких вещей, но я не могу по-

ступить иначе. Во-первых, вы знаете, что, когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балон привязан, имеет громадное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевой батальон и узнают, что завтра или послезавтра их отправят на позиции, делают, что им вздумается. — Измучившись, поручик тихо продолжал: — Позавчера во время ночных маневров мы должны были действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вел, но второй, который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Пели, стучали ногами так, что в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге на рекогносцировку местности около леса шел третий взвод. От нас, по крайней мере, десять минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят: повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, черт знает каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступать перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталась мне в наследство одиннадцатая маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать! Как они будут вести себя во время настоящего боя?

При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся.

— Вы на это, господин поручик, не обращайтесь внимания, — старался успокоить его старший писарь Ванек, — не ломайте себе голову. Я был уже в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна ни на волосок не была лучше вашей, господин обер-лейтенант. Хуже всех была девятая. Та потянула с собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином и они проделали все это без меня. А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала к Незидлер-зе? Марширует себе до самого утра, а разведочные патрули — так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнер. Они дошли бы до самого Шопрона, если б не рассвело! — сообщил конфиденциально старший писарь: ему нравилось смаковать подобные происшествия; ни одно из них не ускользнуло от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона? По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров, но потом будто бы пришел в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера...

Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету.

Обо всем этом он уже знал и был убежден, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошел его по службе. Однако Лукаш только проронил:

— Не в капитане Сагнере дело...

— Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь.. — Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну рогу за другой на сербские позиции под обстрел пулеметов, несмотря на то что это было совершенно гиблое дело и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только восемьдесят человек; сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился еще дизентерией и только после этого появился у нас в полку в Будейовицах. А вчера он будто бы распространялся в собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит *signum laudis*. За свою деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом, но теперь или ляжет костями со всем маршевым батальоном, или будет произведен в подполковники, а маршевому батальону придется туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером и что он в первую очередь пошлет в бой нашу одиннадцатую роту, в самые опасные места.

Старший писарь вздохнул.

— Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в десятой маршевой роте. Тогда все сошло гладко, пришел приказ «*nicht schießen!*» [439], мы и не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела, только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты ополченцы, и они так испугались русских, что начали удирать под гору по снегу — прямо как по льду. Ну, мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из десятой маршевой роты. К вечеру их прибыло сто двадцать человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на тобогане. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант! У русских в Карпатах были позиции и внизу и наверху... А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер...

— Оставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером! — сказал поручик Лукаш. — Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что, когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело.

— Это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить: обед нам приносили на гору холодный, в окопах — снег, огонь разводить нельзя, только ром и поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому и люди замерзали. Но зато у нас от рому покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведку посылать тех солдат, у которых носы красные.

— Теперь зима уже прошла, — многозначительно проронил поручик.

— Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, поддерживают хорошее настроение. За полкотелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. И какая это скотина опять стучит в дверь, на дверях же написано «*Nicht klopfen!*»[440].

— Herein![441]

Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо, приложив руку к козырьку, в канцелярию одиннадцатой маршевой роты вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь, еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись «*Nicht klopfen!*».

Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел, как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца.

Поручик Лукаш на мгновение зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверно, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана.



— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь, — загово-

рил Швейк так просто и непринужденно, что поручик сразу пришел в себя.

С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания.

Каждое утро поручик убеждал себя: «Сегодня он не появится. Наверно, опять чего-нибудь натворил, его еще подержат».

Но все эти расчеты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением.

Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели.

— Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалованья и зачисления на довольствие.

В канцелярии одиннадцатой маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко:

— Положите их на стол.

— Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних, — со вздохом произнес поручик Лукаш.

Ванек вышел и стал за дверью подслушивать, о чем они будут говорить.

Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть; он словно хотел его загипнотизировать.

Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой». Так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотце мое, вымолви хоть словечко!»

Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые постарался вложить изрядную долю иронии:

— Добро пожаловать, Швейк! Благодарю за визит. Наконец-то вы у нас, долгожданный гость.

Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалованье. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал:

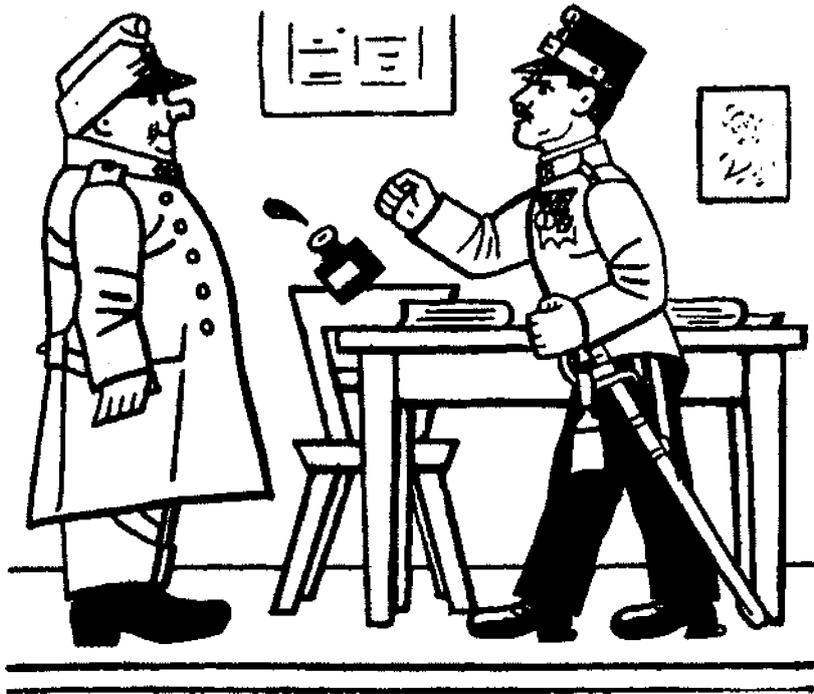
— Скотина!

Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, между тем как поручик Лукаш все бегал по канцелярии и в исступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу, — письмо, стало быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Каконь, и могу сказать, что это весьма интересная женщина, правда, я видел ее в слезах...

Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул:

— Когда же этому придет конец, Швейк?



Швейк, сделав вид, что недослышал, ответил:

— Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и, для того чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом по чистой случайности — иначе это никак не объяснить! — я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса. Но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию и что я там посижу больше пятнадцати минут. А сидел я там потому, что мне задержали жалованье, которое должны были выдать не в роге, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно.

Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был явиться к полковнику Шредеру, поручик стал быстро одеваться.

— Опять удружили вы мне, Швейк! — произнес он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику:

— Ничего, господин полковник подождет, ему все равно нечего делать.

Спустя некоторое время после ухода поручика в канцелярию вошел старший писарь Ванек.

Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним, но наконец не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы гот убирался отсюда.

— Господин старший писарь, — с достоинством произнес Швейк, — поз-

вольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я здесь ординарец, — гордо добавил Швейк. — Господин полковник Шредер прикомандировал меня к одиннадцатой маршевой роте, к господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время?



Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, панибратским гоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка:

— У меня аптекарский магазин в Кралупах. Фамилия моя Ванек.

— Я тоже учился аптекарскому делу, — ответил Швейк, — в Праге, у пана Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и, когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. А вы тоже готовили целебные травы для коров?

Ванек отрицательно покачал головой.

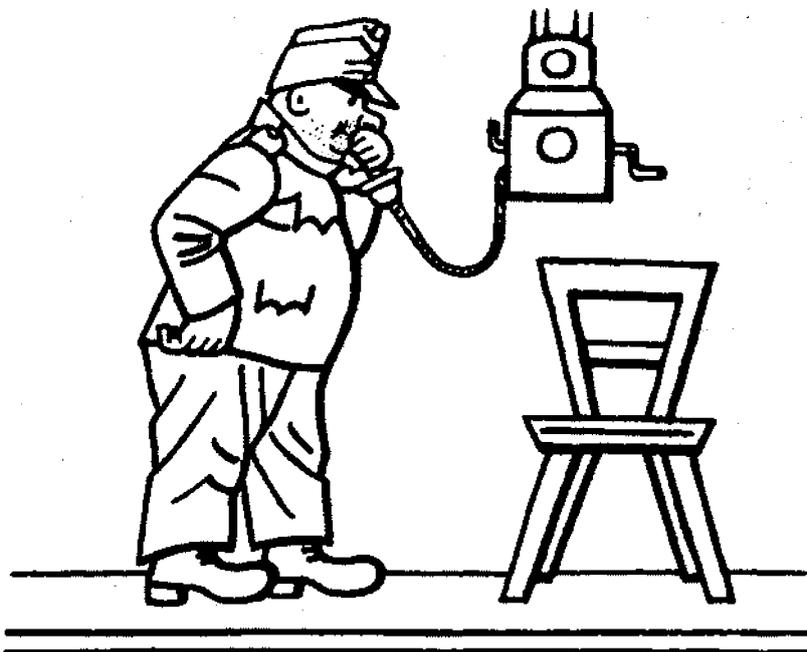
— Мы готовили целебные травы для коров вместе с освященными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так, по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эмаузский монастырь, где их освятили за двести золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в теплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот вечером наш старик Кокошка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным тра-

вам, чтобы завтра в десять часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию: коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух: если сочинит хорошую — он ему гульден на бочку выложит, нет — через две недели получит расчет. Пан Таухен целую ночь потел, утром, не выспавшись, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того: он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуетя и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и еще обучил нас другим способам подрабатывать. И у меня, мальчишки, дома была такая аптека — я ее из лавки в дом к себе натаскал, — какой не было и «У милосердных». Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте, говорит, взглянуть». Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него. Не успел я еще принести пива, а уж у Фердинанда половина дела была сделана, и он прочел нам:

*Голос с неба раздается,  
Утихает суета:  
У Кокошки продается  
Чудо-корень для скота!  
Исцелит сей корешочек  
(Только гульден за мешочек!)  
И теляток и коров  
Безо всяких докторов.*

Потом, когда Фердинанд выпил пива и основательно нализался желудочных капель на спирту, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил:

*Этот корень нашел сам святой Пилигрим.  
И за это ему мы хвалу воздадим:  
Ты крестьянам — утеха, коровам — отрада,  
Сохрани и спаси наше бедное стадо!*



Затем, когда пришел пан Кокошка, пан Таухен пошел с ним в контору, а

выйдя оттуда, показал нам два золотых, не один, как ему было обещано. Он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом, но слугу Фердинанда, когда тот увидел эти два золотых, сразу обуял бес корыстолюбия: «Или все, или ничего!» Ну, тогда пан Таухен ему ничего не дал, а оставил эти два золотых себе. Потом привел меня в магазин, дал мне подзатыльник и сказал, что я получу сто таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что сочинил не он. А если Фердинанд пойдет жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд — лгун. Мне пришлось в этом присягнуть перед бутылкой с эстрагоновым уксусом. Ну, а наш слуга принялся вымещать свою злобу на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он отовсюду, где только находил, сметал мышиное дерьмо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катышки, сушил их дома, толлок в ступке для кореньев и тоже подбрасывал в коровьи целебные травы с образом святого Пилигрима. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом все это размешивал. Выходило вроде каши с отрубями...

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подбежал к телефонному аппарату и с отвращением отбросил трубку.

— Надо идти в полковую канцелярию. Так внезапно... Это что-то мне не нравится.

Швейк опять остался один.

Через минуту снова раздался звонок.

Швейк начал телефонный разговор:

— Ванек?.. Он ушел в полковую канцелярию. Кто у телефона?.. Ординарец одиннадцатой маршевой роты. А кто там у телефона?.. Ординарец двенадцатой роты? Мое почтенье, коллега. Моя фамилия?.. Швейк. А твоя? Браун! Это не твой ли родственник Браун на Набережной улице в Карлине шляпочник? Нет? Не знаешь такого... Я тоже с ним не знаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. Что новенького?.. Я ничего не знаю. Когда едем? Я еще ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать?

— Вот олух! С ротой на фронт.

— Об этом я еще ничего не слыхал.

— Нечего сказать — хорош ординарец! А что твой лейтенант?

— Не лейтенант, а обер-лейтенант.

— Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошел на совещание к полковнику?

— Он его туда позвал.

— Ну вот видишь: и наш туда пошел, и командир тринадцатой роты тоже. Я только что говорил с ихним ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка. А не знаешь, музыкантская команда укладывается?

— Ничего не знаю.

— Не валяй дурака! Говорят, ваш старший писарь уже получил накладную на вагоны. Правда ведь? Сколько у вас солдат?

— Не знаю.

— Эх ты, глупая башка, что я, съем тебя, что ли? (Было слышно, как говоривший у телефона обратился к кому-то поблизости: «Франта, возьми вторую трубку, услышишь, какой в одиннадцатой роте дурак ординарец».) Алло!

Спишь ты там, что ли? Так отвечай, когда тебя коллега спрашивает. Значит, ты еще ничего не знаешь? Не скрытничай. Разве старший писарь не говорил, что вам будут выдавать консервы? Ты с ним о таких вещах не говоришь? Вот дубина! Тебя это не касается? (Слышен смех.) Тебя словно мешком по голове ударили. Ну, как только что-нибудь узнаешь, ты нам сейчас же позвони в двенадцатую маршевую роту, дурачок родимый! Откуда ты?

— Из Праги.

— Ты бы должен быть чуточку поумнее. Да, вот еще. Когда ушел из канцелярии ваш старший писарь?

— Только что.

— Вот оно как. А раньше-то не мог мне об этом сказать! Наш тоже только что ушел. Там что-то заваривается. С обозом не говорил еще?

— Нет.

— Господи Иисусе Христе! А говоришь — из Праги! Ни о чем не заботишься! И где только ты шляешься целый день?

— Я только с час тому назад пришел из дивизионного суда.

— Это другой коленкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть! Давай отбой два раза.

Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. «Ну вас к черту с вашим телефоном, — подумал Швейк, — стану я с вами трепаться».

Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка наконец лопнуло терпение, он взял телефонную трубку и заорал:

— Алло! Кто у телефона? Здесь ординарец одиннадцатой маршевой роты Швейк.

Швейк узнал голос поручика Лукаша.

— Что вы все там делаете? Где Ванек? Немедленно позвоните к телефону Ванека!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, телефон только что звонил.

— Послушайте, Швейк, мне некогда с вами дурака валять! Телефонные разговоры на военной службе — это вам не телефонная болтовня, когда кого-нибудь зовут на обед. Телефонный разговор должен быть ясен и краток. При телефонных разговорах отбрасывается «осмелюсь доложить», «обер-лейтенант». Итак, я вас спрашиваю, Швейк, Ванек там? Пусть немедленно подойдет к телефону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, под рукой его нет. Его только что, может, и четверти часа не будет, из нашей канцелярии вызвали в полковую канцелярию.

— Вот я с вами расправлюсь! Не можете выразаться кратко? Слушайте внимательно, что я сейчас буду говорить! Все ясно? Чтобы вы потом не отговаривались, будто в телефоне что-то хрипело. Немедленно, как только повесите трубку...

Пауза.

Снова звонок.

Швейк берет телефонную трубку, и его осыпают градом ругательств:

— Скотина, хулиган, мерзавец! Что вы делаете? Почему прервали разговор?

— Вы изволили сказать, чтобы я повесил трубку.



— Через час я вернусь домой. Не обрадуются вы у меня! Немедленно соберитесь и отправляйтесь в барак, найдите там какого-нибудь взводного, хотя бы Фукса, и скажите ему, чтобы он сейчас же взял десять солдат и шел с ними на склад получать консервы. Повторите, что он должен сделать.

— Идти с десятью солдатами на склад получать консервы для роты.

— Наконец-то вы не валяете дурака. Я пока что позвоню Ванеку в полковую канцелярию, чтобы он тоже шел на склад принять консервы. Если же он тем временем вернется в барак, пусть бросает все и бежит на склад. А теперь повесьте трубку.

Швейк довольно долго и тщетно искал взводного Фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным Балоуном, который, правда, всей ступней стоял на земле; его пожалели. Зрелище было презабавное. Один из поваров принес Балоуну ребро и сунул ему прямо в рог. Привязанный бородатый великан Балоун, не имея возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту и удерживал ее с помощью зубов и десен. Слово леший.

— Кто здесь из вас взводный Фукс? — спросил Швейк, найдя наконец унтеров.

Взводный Фукс не счел нужным отозваться, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец.

— Ясно говорят вам, — крикнул Швейк, — долго я еще буду вас спрашивать?! Где здесь взводный Фукс?

Взводный Фукс выступил вперед и с достоинством начал всячески обкладывать Швейка: он-де не взводный, а господин взводный и нельзя орать: «Где взводный?», а следует обращаться: «Осмелюсь доложить, здесь ли находится господин взводный?» В его взводе, если кто забудет сказать: «Ich melde gehorsam»[442], — немедленно получает в морду.

— Осторожней на повороте! — рассудительно предостерег Швейк. — Немедленно собирайтесь, идите в барак, возьмите там десять человек и бегом марш вместе с ними на склад получать консервы.

Взводный был так ошеломлен, что смог выговорить только:

— Чего?..

— Без всяких там «чего», — ответил Швейк. — Я ординарец одиннадцатой маршевой роты и только что разговаривал по телефону с господином обер-лейтенантом Лукашем, и тот приказал: «Бегом марш с десятью рядовыми на склад». Если вы не пойдете, господин взводный Фукс, так я немедленно вернусь обратно к телефону. Господин обер-лейтенант требует во что бы то ни стало, чтобы вы шли. Не может быть никаких разговоров! «Телефонный разговор, — говорит поручик Лукаш, — должен быть ясен и краток». Если сказано идти взводному Фуксу, то взводный Фукс должен идти! Такой приказ — это вам не какая-то там болтовня, когда кого-нибудь к обеду зовут. На военной службе, особенно во время войны, каждое промедление — преступно. «Если этот самый взводный Фукс сию же минуту не пойдет, как только вы ему об этом объявите, так вы мне немедленно телефонируйте, и я с ним разделаюсь! От взводного Фукса останется только мокрое место!» Плохо вы, милейший, знаете господина обер-лейтенанта!

Швейк победоносно оглядел унтер-офицеров, которые были поражены и уничтожены его выступлением.

Взводный Фукс пробурчал что-то невразумительное и быстро ушел. Швейк закричал ему вдогонку:

— Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что все в порядке?

— Немедленно буду с десятью солдатами на складе, — ответил взводный Фукс, уже подойдя к бараку.

А Швейк, не произнеся ни слова, ушел, оставив унтер-офицеров, ошеломленных не меньше, чем взводный Фукс.

— Начинается! — сказал низенький капрал Блажек. — Начнем паковать.

Швейк вернулся в канцелярию одиннадцатой маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш:

— Где вы шляетесь, Швейк? Звоню уже третий раз, и никто не отзывается.

— Разыскивал, господин обер-лейтенант.

— Что, уже пошли?

— Конечно, пошли, но еще не знаю, пришли ли они туда. Может, еще раз сбегать?

— Вы нашли взводного Фукса?

— Нашел, господин обер-лейтенант. Вначале он мне сказал «чего?», и только когда я ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен...

— Не дурачьтесь, Швейк!.. Ванек еще не вернулся?

— Не вернулся, господин обер-лейтенант.

— Да не орите вы так в трубку! Не знаете, где теперь может быть этот проклятый Ванек?

— Не знаю, господин обер-лейтенант, где может быть этот проклятый Ванек.

— Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушел. Может, в кантине?.. Отправляйтесь к нему, Швейк, и передайте, чтобы он немедленно шел на склад. Да вот еще что: найдите немедленно капрала Блажека и скажите, чтобы он тотчас же отвязал Балонуна, и пошлите Балонуна ко мне. Повесьте трубку.

Швейк действительно принялся хлопотать, нашел капрала Блажека и передал ему приказание поручика отвязать Балоуна. Капрал Блажек заворчал:

— Когда туго приходится, робеть начинают!

Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать Балоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к кантине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека.

Балоун смотрел на Швейка как на своего спасителя и обещал, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому.

— У нас скоро будут резать свинью, — меланхолично сказал Балоун. — Ты какую свиную колбасу любишь: с кровью или без крови? Скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило. Голова у ней как у бульдога, а такие свиньи — самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет! Сала на ней — пальцев на восемь. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так, бывало, налопаешься фаршу, что чуть не лопнешь. Прошлогодня свинья была на сто шестьдесят кило. Вот это свинья так свинья! — с восторгом сказал он на прощание, крепко пожимая руку Швейку. — А выкормил я ее на одной картошке и сам диву давался, как она у меня быстро жирела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой!.. Пальчики оближешь! После этого и пиво пьется с удовольствием!.. Что еще нужно человеку? И все это у нас отняла война.

Бородатый Балоун тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к кантине.

Старший писарь Ванек с блаженным видом сидел в кантине и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках.

Штабной писарь был вдребезги пьян. Днем приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и все утро до обеда угощал его в городе.

Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии оттого, что у него пропал аппетит, не соображал, о чем идет речь, а на трактат об эмалевых красках и вовсе не реагировал.

Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти на Тршебони в Пелгржимов, а потом обратно.

Когда вошел Швейк, Ванек попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на одном килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил:

— На обратном пути он умер, оставив после себя только письма.

Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного человека и начал обзывать его чревовещателем.

Швейк подошел к Ванеку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил.

— Господин старший писарь, — отрапортовал Швейк, — немедленно идите на склад, там вас уже ждет взводный Фукс с десятью рядовыми, и получайте консервы. Ноги в руки, бегом марш! Господин обер-лейтенант телефонирует уже дважды.



Ванек рассмеялся:

— Деточка моя, что я, идиот? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой! Времени на все хватит. Над нами ведь не каплет, золотце мое! Пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я, а тогда и разговаривает; небось тогда он ни к кому не будет зря приставать со своим «бегом марш!». Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем, надо укладываться и немедленно получать на дорогу провиант. А ты думаешь, что сделал я? Я самым спокойным манером зашел сюда выпить четвертинку вина. Сидится мне здесь спокойно, и пусть все идет своим чередом. Консервы останутся консервами, выдача — выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант. Я разбираюсь в том, что говорится на совещаниях господ офицеров у господина полковника. Ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или занимали в других полках, с которыми оказывались поблизости. Одному только Бенешовскому полку мы должны больше трехсот банок консервов. Хе, хе! Пусть на совещаниях они говорят, что им вздумается. Куда спешить? Ведь все равно, когда наши придут туда, каптенармус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. Так, что ли, старая картошка? — обратился он к штабному писарю.

Тот, очевидно, засыпал, или с ним случился небольшой припадок белой горячки, только он ответил:

— Она шла, держа над собой раскрытый зонт.

— Самое лучшее, — продолжал старший писарь Ванек, — махнуть на все рукой. Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, — этому и малый ребенок не поверит. Разве мы можем уехать без вагонов? При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона, точь-в-точь как было с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда два дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем. Даже сам полковник ничего не знал. Мы уж всю

Венгрию проехали, а все еще никто не знал: поедем мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии. А были мы просто какой-то заплатай. Пришили нас наконец где-то у Дуклы. Там нас разбили наголову, и мы снова поехали формироваться. Только не торопиться! Со временем все выяснится, а пока нечего спешить. Jawohl, pochamol! [443] Вино здесь замечательное, — продолжал Ванек, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь:

— Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich über diese Frage[444].

— Чего же попусту беспокоиться об отъезде маршевого батальона? У первой маршевой роты, с которой я ехал, все было готово за два часа, и все оказалось в полном порядке. Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых два дня, а наш ротный командир, лейтенант Пршеносил (франт такой был), нам прямо сказал: «Ребята, не спешите!» И все шло как по маслу. Только за два часа до отхода поезда мы начали укладываться. Самое лучшее — подсаживайтесь...

— Не могу, — с геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк, — Я должен идти в канцелярию. Что, если кто-нибудь позвонит?

— Ну, так идите, мое золотце. Но только запомните раз навсегда, что это некрасиво с вашей стороны и что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не относитесь столь рьяно к своим обязанностям. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя. Так-то, душенька.

Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты.

Ванек остался в одиночестве — никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушел в себя и бормотал, умиленно глядя четвертинку вина, самые удивительные вещи без всякой связи между собой, то по-чешски, то по-немецки:

— Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen Doktor gemacht[445]. Я стал старым калекой. Благодарю вас, Люси. Erscheinen sie in schön ausgestatteten Bänden[446], — может быть, найдется среди вас кто-нибудь, кто помнит это?

Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго сучать ему не пришлось: дверь отворилась, вошел повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул.

— Нам сегодня дали приказ, — залопотал он, — получить на дорогу коньяк. Но в нашей бутылки еще оставался ром, и нам пришлось ее опорожнить. Здорово пришлось-таки приналечь! Вся кухонная прислуга — в лежку! Я обсчитался на несколько порций. Полковник опоздал, и ему не хватило. Поэтому ему теперь делают омлет. Вот, я вам скажу, комедия!

— Занятная авантюра, — заметил Ванек, который за вином всегда любил вставить красивенькое словцо.

Повар Юрайда принялся философствовать, что отвечало его бывшей профессии. Перед войной он издавал оккультный журнал и серию книг под названием «Загадки жизни и смерти». На военной службе он примазался к полковой офицерской кухне, и, когда, бывало, увлечется чтением древнеиндий-

ских сутр Прагна Парамита («Откровения мудрости»), у него частенько подгорало жаркое.

Полковник Шредер ценил его как полковую достопримечательность. Действительно, какая офицерская кухня могла бы похвалиться поваром-окультистом, который, заглядывая в тайны жизни и смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу, что смертельно раненный под Комаровом подпоручик Дуфек все время звал Юрайду.

— Да, — сказал ни с того ни с сего еле державшийся на стуле Юрайда: от него на десять шагов разило ромом. — Когда сегодня не хватило на господина полковника и когда он увидел, что осталась только тушеная картошка, он впал в состояние гаки. Знаете, что такое «гаки»? Это состояние голодных духов. И вот тогда я ему сказал: «Обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно: выдержать то, что на вашу долю не хватило телячьей почки? В карме predetermined, чтобы вы, господин полковник, сегодня на ужин получили божественный омлет с рубленой тушеной телячьей печенкой».

— Милый друг, — после небольшой паузы обратился он вполголоса к старшему писарю, сделав при этом произвольный жест рукой и опрокинув все стоявшие перед ним на столе стаканы, — существует небытие всех явлений, форм и вещей, — мрачно произнес после всего содеянного повар-окультист. — Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, форма неотделима от небытия. То, что является небытием, является и формой, то, что есть форма, есть небытие.

Повар-окультист погрузился в молчание, подпер рукой голову и стал созерцать мокрый, облитый вином стол.

Штабной писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца:

— Хлеб исчез с полей, исчез — *in dieser Stimmung erhielt er Einladung und ging zu ihr*[447], праздник троицы бывает весной.

Старший писарь Ванек продолжал барабанить по столу, пил и время от времени вспоминал, что у продовольственного склада его ждут десять солдат во главе со взводным.

При этом воспоминании он улыбался и махал рукой.

Вернувшись поздно в канцелярию одиннадцатой маршевой роты, он нашел Швейка у телефона.

— Форма есть небытие, а небытие есть форма, — произнес он с трудом, завалился одетый на койку и сразу уснул.

Швейк неотлучно сидел у телефона, так как два часа назад поручик Лукаш по телефону сообщил ему, что он все еще на совещании у господина полковника, но сказать, что Швейк может отойти от телефона, забыл.

Потом со Швейком по телефону говорил взводный Фукс, который вместе с десятью рядовыми напрасно все это время ждал старшего писаря. И только теперь разглядел, что склад заперт.

Наконец Фукс ушел куда-то, и десять рядовых один за другим вернулись в свой барак.

Время от времени Швейк развлекался тем, что снимал телефонную трубку и слушал. Телефон был новейшей системы, недавно введенной в армии, и обладал тем преимуществом, что можно было вполне отчетливо слышать чу-

жие телефонные разговоры по всей линии.

Обоз переругивался с артиллерийскими казармами, саперы угрожали военной почте, полигон ругал пулеметную команду.

А Швейк, не вставая, все сидел да сидел у телефона..

Совещание у полковника продолжалось.

Полковник Шредер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчеркивал значение гранатометчиков.

Перескакивая с пятого на десятое, он говорил о расположении фронта два месяца тому назад на юге и на востоке, о важности тесной связи между отдельными частями, об удушливых газах, о стрельбе по неприятельским аэропланам, о снабжении солдат на фронте и потом перешел к внутренним взаимоотношениям в армии.

Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов к унтер-офицерам, о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что пятьдесят процентов чешских солдат *politisch verdachtig*[448].

— *Jawohl, meine Herren, der Kramarsch, Scheiner und Klófatsch...*[449]

Большинство офицеров во время доклада думали о том, когда наконец старый пустомеля перестанет нести эту белиберду, но полковник продолжал говорить всякий вздор о новых задачах новых маршевых батальонов, о павших в бою офицерах полка, о цепелинах, проволочных заграждениях, присяге...

Тут поручик Лукаш вспомнил, что в то время, когда весь маршевый батальон присягал, бравый солдат Швейк к присяге приведен не был, так как в те дни сидел в дивизионном суде.

При этом воспоминании он вдруг рассмеялся.

Это было что-то вроде истерического смеха, которым он заразил нескольких офицеров, сидевших рядом. Его смех привлек внимание полковника, только что заговорившего об опыте, приобретенном при отступлении германских армий в Арденнах. Смешав все это в одну кучу, полковник закончил:

— Господа, здесь нет ничего смешного.

Потом все отправились в Офицерское собрание, так как полковника Шредера вызвал к телефону штаб бригады.

Швейк дремал у телефона, когда его вдруг разбудил звонок.

— Алло! — послышалось в телефоне. — Звонят из канцелярии полка.

— Алло! — ответил Швейк. — Здесь канцелярия одиннадцатой роты.

— Не задерживай, — послышался голос, — возьми карандаш и пиши. Прими телефонограмму. Одиннадцатой маршевой роте...

Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили двенадцатая и тринадцатая маршевые роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец все утихло, и Швейк разобрал:

— Алло! Алло! Повтори и не задерживай!

— Что повторить?

— Что повторить, дубина? Телефонограмму!

— Какую телефонограмму?

— Черт побери! Глухой ты, что ли? Телефонограмму, которую я продиктовал тебе, балбес!

— Я ничего не слышал, здесь еще кто-то вмешался в наш разговор.

— Осел ты, и больше ничего! Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду?

Примешь ты телефонограмму или нет? Есть у тебя карандаш и бумага? Что?.. Нет?.. Скотина! Мне ждать, пока ты найдешь? Ну и солдаты пошли!.. Ну, так как же? Может, ты еще не подготовился? Наконец-то раскачался! Так слушай: Elfte Marschkumpanie[450]. Повтори!

— Elfte Marschkumpanie.

— Kumpaniekommandant...[451] Есть?.. Повтори!

— Kumpaniekommandant...

— Zur Besprechung morgen...[452] Готов? Повтори!

— Zur Besprechung morgen...

— Um neun Uhr. — Unterschrift[453]. Понимаешь, что такое Unterschrift, обезьяна? Это подпись! Повтори это!

— Um neun Uhr. — Unterschrift. Понимаешь... что... такое Unterschrift, обезьяна, это подпись.

— Дурак! Подпись: Oberst Schröder[454], скотина! Есть? Повтори!

— Oberst Schröder, скотина...

— Наконец-то, дубина! Кто принял телефонограмму?

— Я.

— Himmelherrgott! Кто это — «я»?

— Швейк. Что еще?

— Слава богу, больше ничего. Тебя надо было назвать «Осел». Что у вас там нового?

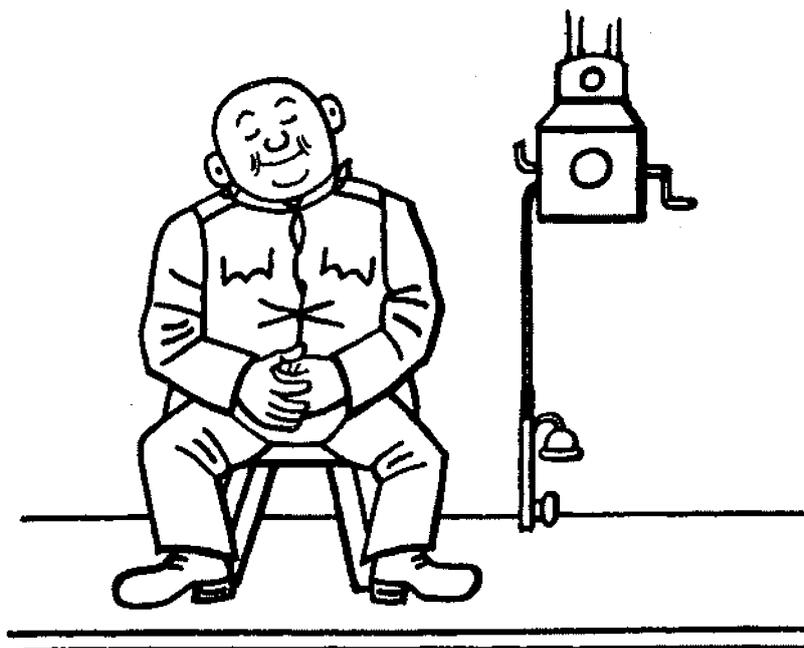
— Ничего нет. Все по-старому.

— Тебе небось все нравится? Говорят, у вас сегодня кого-то привязывали?

— Всего-навсего денщика господина обер-лейтенанта: он у него обед слопал. Не знаешь, когда мы едем?

— Это, брат, вопрос!.. Старик и тот этого не знает. Спокойной ночи! Блох у вас там много?

Швейк положил трубку и принялся будить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся; когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. Потом перевернулся на живот и стал брыкаться.



Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего особенного, — ответил Швейк, — я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму: завтра в девять часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание к господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать это сейчас, немедленно, или завтра утром. Я долго колебался: стоит мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели... А потом решил, куда ни шло: ум хорошо, два лучше...

— Ради бога, прошу вас, не мешайте спать, — завопил Ванек, зевая во весь рот, — отправляйтесь туда утром и не будите меня!

Он повернулся на бок и тотчас заснул.

Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок.

— Алло! Одиннадцатая маршевая рота?

— Да, одиннадцатая маршевая рота. Кто там?

— Тринадцатая маршевая рота. Алло! Который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станцией. Что-то долго не идут меня сменять.

— У нас часы стоят.

— Значит, как и у нас. Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией?

— Там ни хрена не знают, как и мы.

— Не грубите, барышня! Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт.

— Наши тоже пришли с пустыми руками.

— Зря только панику поднимают. Как думаешь, куда мы поедем?

— В Россию.

— А я думаю, что, скорее, в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште. Если нас повезут направо — так Сербия, а налево — Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалованье повысят. А ты играешь в три листика? Играешь — так приходи завтра. Мы наявиваем каждый вечер. Сколько вас сидит у телефона? Один? Так наплюй на все и ступай дрыхать. Странные у вас порядки! Ты небось попал как кур в оцип. Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье!

Швейк и в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался: ему никак не удавалось дозвониться до одиннадцатой маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до двенадцати часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделана противотифозная прививка.

Поручик Лукаш все еще сидел в Офицерском собрании с военным врачом Шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием об пол и произносил при этом следующие фразы:

— «Сарацинский султан Салах-Эддин первый признал нейтральность санитарного персонала.

Следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат.

Каждая сторона должна покрыть расходы на лекарства и лечение другой стороне.

Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам.

Точно так же попавших в плен раненых следует под охраною и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю.

Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать, их следует отправлять в безопасные места, в госпитали.

Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Все это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно».

Доктор Шанцлер уже сломал при этом два кия и все еще не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения.

Поручик Лукаш допил свой черный кофе и пошел домой, где нашел борода-того великана Балоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке.

— Я осмелился, — заикаясь, сказал Балоун, — я позволил себе, осмелюсь доложить...

Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Балоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неутолимый аппетит.

— Жарь, жарь, Балоун, — сказал он, отстегивая саблю, — с завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба.

Поручик сел к столу. И вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете.

*«Милая тетушка!*

*Только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой ротой. Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе. Повсюду идут жестокие бои, наши потери велики. И мне трудно закончить это письмо словом «до свидания»; правильнее написать «прощай».*

«Докончу завтра утром», — подумал поручик Лукаш и пошел спать.

Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Балоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью; он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Балоун испугался, — поручик зашевелился во сне, — быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих.

Потом потихоньку пошел посмотреть, что написал поручик.

Прочел и был тронут, особенно словом «прощай».

Он лег на свой соломенный матрас у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней.

Балоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемую яркую картину, как он прокалывает тлаченку, чтобы из нее вышел воздух: иначе во время варки она лопнет.

При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и развалилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном.

Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до

того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу, пропала буженина и для ливерных колбас не хватает лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Бруке-на-Лейте.

Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое вошло в благоухании сгущенного кофе, доносившемся из всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний моцион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идет к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кладет его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничихе:

*Подавай, старуха, кашу  
да попотчуй гостью нашу!*

Мельничиха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия.

*Утром мельник встал чуть свет,  
На дверях прочел куплет:  
«Потеряла в эту ночь  
Честь девичью ваша дочь».*

Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила: старший писарь Ванек проснулся и спросил:

— Который час?

— Только что играли утреннюю зорю.

— Встану уж после кофе, — решил Ванек: торопиться было не в его правилах, — и без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами. — Ванек зевнул и спросил: — Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?

— Так кое-что невпопад, — сказал Швейк. — Вы все время рассуждали сами с собой о каких-то формах: мол, форма не есть форма, а то, что не есть форма, есть форма, и та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу засвистели, словно лучковая пила.

Швейк замолчал, дошел до двери, опять повернул к койке старшего писаря, остановился и начал:

— Что касается меня лично, господин старший писарь, то когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Затке. Он служил на газовой станции на Летне, в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Просвещенный был человек, он ходил по разным ночным кабачкам на Летне: ведь от зажигания до гашения фонарей времени хватает. Утром на газовой станции он вел точь-в-точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так: «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра и грани я». Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привел меня за несоблюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию.

— В конце концов, — добавил Швейк тихо, — Затка этот кончил очень плохо. Вступил он в конгрегацию святой Марии, ходил с небесными козами на

проповеди патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь и, когда к святому Игнатию приехали миссионеры, забыл погасить все газовые фонари в своем районе, так что там непрерывно три дня и три ночи горел газ на улицах. Беда, — продолжал Швейк, — когда человек вдруг примется философствовать: это всегда пахнет белой горячкой. Несколько лет тому назад к нам из Семьдесят пятого полка перевели майора Блюгера. Тот, бывало, раз в месяц соберет нас, выстроит в каре и начнет вместе с нами философствовать: «Что такое офицерское звание?» Он ничего, кроме сливянки, не пил. «Каждый офицер, солдаты, — разъяснял он нам на казарменном дворе, — сам по себе является совершеннейшим существом, которое наделено умом в сто раз большим, чем вы все, вместе взятые. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер, даже если будете размышлять над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо необходимое, в то время как вы, рядовые, случайный элемент, ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны и вы пали бы за государя императора — прекрасно. От этого немного бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер, тогда бы вы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и сколь велика ваша потеря. Офицер должен существовать, и вы своим существованием обязаны только господам офицерам; вы от них происходите, вы без них не обойдетесь, вы без начальства и пернуть не можете. Офицер для вас, солдаты, закон нравственности — все равно, понимаете вы это или нет, — а так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас, солдаты, является только офицер, которому вы себя чувствуете — и должны чувствовать — обязанными во всем, и каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет».

А однажды, после того как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим: «Что ты чувствуешь, когдахватишь лишнего?»

Ну, ему отвечали как-то нескладно: дескать, или еще никогда до этого не доходило, или всякий раз, какхватишь лишнего, начинает тошнить, а один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Майор Блюгер тут же приказал отвести всех в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказание за то, что не умеют выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чем он распространялся в последний раз, и, когда майор подошел ко мне, я совершенно спокойно ему ответил:

«Осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнего, то всегда чувствую внутри какое-то беспокойство, страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение».

Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал:

«По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке! Он еще острит, сукин сын!» — и вкатил мне такие шпангли — мое почтение!

— На военной службе иначе нельзя, — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке, — это уж так исстари ведется: как ни ответь, как ни сделай — всегда над тобой тучи и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины!

— Правильно сказано, — заявил Швейк. — Никогда не забуду, как посадили

рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает: кто откуда? «Перво-наперво, желторотые, — обратился он к ним, — вы должны научиться отвечать коротко и ясно, точно кнутом щелкнуть. Итак, начнем. Откуда вы, Пех?» Пех был интеллигентный малый и ответил так: «Нижний Боусов, Unter Bautzen, двести шестьдесят семь домов, тысяча девятьсот тридцать шесть чешских обывателей, округ Ичин, волость Сobotка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь святой Екатерины, построенная в четырнадцатом столетии и реставрированная графом Вацлавом Вратиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, шесть ярмарок в году...»

Лейтенант Моц кинулся на него и стал лупить по морде, приговаривая: «Вот тебе первая ярмарка, вот тебе другая, третья, четвертая, пятая, шестая...» А Пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на батальонный рапорт. В канцелярии была тогда развеселая шатия. Ну, и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Рогелль. «Also, was gibt's?»[455] — спросил он Пеха, а тот выпалил: «Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове шесть ярмарок в году». Ну, здесь майор Рогелль на него заорал, затопал ногами и приказал немедленно отвести в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из Пеха самый что ни на есть последний солдат, — не солдат, а одно наказание.

— Солдата воспитать — дело нелегкое, — сказал, зевая, старший писарь Ванек. — Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке. Теперь как раз наоборот: самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими. Помню я рядового из восьмой маршевой роты Сильвануса. У того, бывало, что ни день — то наказание. Да какие наказания! Не стыдился украсть у товарища последний крейцер. А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, трех взял в плен и одного тут же по дороге застрелил, — дескать, он не внушал доверия. Он получил большую серебряную медаль, нашили ему две звездочки, и, если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов штук восемь и много колец. Повесили у штаба бригады.

— Из этого видно, — глубокомысленно заметил Швейк, — что каждый солдат сам должен завоевывать себе положение.

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошел к телефону. Можно было разобрать голос поручика Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй.

— Правда же, их нет, господин обер-лейтенант! — кричал в телефон Ванек. — Откуда им там взяться, это только фантазия интендантства. Совсем напрасно было посылать туда людей. Я хотел вам телефонию. Я был в кантине? Кто сказал? Повар-окультист из офицерской кухни? Действительно, я позволил себе туда зайти. Знаете, господин обер-лейтенант, как назвал этот



самый оккультист всю панику с консервами? «Ужас нерожденного». Никак нет, господин обер-лейтенант, я совершенно трезв. Что делает Швейк? Он здесь. Прикажете его позвать?.. Швейк, к телефону! — крикнул старший писарь и шепотом добавил: — Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, в полном порядке.

Швейк у телефона:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у телефона Швейк.

— Послушайте, Швейк, как обстоит дело с консервами? Все в порядке?

— Нет их, господин обер-лейтенант. Ни слуху ни духу.

— Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом. А когда поедем, — неотлучно находиться при мне. Что вы делали ночью?

— Неотлучно сидел у телефона.

— Были новости?

— Были, господин обер-лейтенант.

— Швейк, не валяйте опять дурака. Сообщали что-нибудь важное, срочное?

— Так точно, господин обер-лейтенант, но только к девяти часам.

— Что же вы сразу мне об этом не доложили?

— Не хотел вас беспокоить, господин обер-лейтенант, не смел об этом и помыслить.

— Так говорите же, черт вас дери! — что предстоит в девять часов?!

— Телефонограмма, господин обер-лейтенант.

— Я вас не понимаю.

— Я это записал, господин обер-лейтенант. Примите телефонограмму. Кто у телефона?.. Есть? Читай... Или еще что-то в этом роде...

— Черт вас побери, Швейк! Мука мне с вами... Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что... Ну?!

— Опять какое-то совещание, господин обер-лейтенант, сегодня в девять часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал.

— Еще бы вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды, на это и утром времени достаточно. *Wieder eine Besprechung, der Teufel soll das alles buserieren!*[456] Положите трубку, позовите к телефону Ванека.

— Старший писарь Ванек у телефона. *Rechnungsfeldwebl Vanek, Herr Oberleutnant*[457].

— Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балоун за ночь сожрал у меня весь шоколад. Привязать? Нет, отдадим его в санитары. Дитина — косая сажень в плечах, — пусть таскает раненых с поля сражения. Сейчас же и пошлю его к вам. Устройте все это в полковой канцелярии немедленно и тотчас возвращайтесь в роту. Как по-вашему, скоро мы тронемся?

— Торопиться некуда, господин обер-лейтенант. Когда мы отправлялись с девятой маршевой ротой, нас целых четыре дня водили за нос. С восьмой то же самое. Только с десятой дела обстояли лучше. Мы были в полной боевой готовности, в двенадцать часов получили приказ, а вечером уже ехали, но зато потом нас гоняли по всей Венгрии и не знали, какую дыру на каком фронте заткнуть нами.

С тех пор как поручик Лукаш стал командиром одиннадцатой маршевой роты, он находился в состоянии, называемом синкретизмом, — по имени той философской системы, которая старалась примирить противоречия понятий путем компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов.

А поэтому он ответил:

— Да, может быть, это и так. По-вашему, мы сегодня не тронемся? В девять часов совещание у полковника. Да, кстати, знаете о том, что вы дежурный? Я только так. Составьте мне... Подождите, что бишь должны вы мне составить? Список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит... Потом провиант для роты. Национальность? Да, да, и национальность... А главное, пришлите мне нового денщика. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Подготовиться к отправке. Счета?.. Приду подписать после обеда. В город никого не отпускайте. В кантину, в лагерь? После обеда на час... Позовите сюда Швейка... Швейк, вы пока останетесь у телефона.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я еще не пил кофе.

— Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока не позову. Знаете, что такое ординарец?

— Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант.

— Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позвоню. Напомните еще раз Ванеку, чтобы нашел для меня денщика. Швейк! Алло! Где вы?



— Здесь, господин обер-лейтенант, мне только что принесли кофе.

— Швейк! Алло!

— Я слушаю, господин обер-лейтенант. Кофе совсем холодный.

— Вы, Швейк, хорошо знаете, что такое денщик, поговорите с ним, а потом скажете мне, что он собой представляет. Повесьте трубку.

Ванек, прихлебывая черный кофе, в который подлил рома из бутылки с надписью «Tinte» [458], сделанной из предосторожности, посмотрел на Швейка и сказал:

— Наш обер-лейтенант так кричит в телефон, что я разобрал каждое слово. По всему видать, вы близко знакомы с господином обер-лейтенантом, Швейк?

— Я его правая рука. Рука руку моет. Попадали мы с ним в переделки. Сколько раз хотели нас разлучить, а мы опять сходились. Он на меня во всем полагается. Сколько раз я сам этому удивлялся. Вот вы только что слышали, как он сказал, чтобы я вам еще раз напомнил, что вы должны ему найти нового денщика, а я должен поговорить с ним и дать о нем отзыв. Господину обер-лейтенанту не каждый денщик угодит.

Полковник Шредер вызвал на совещание всех офицеров маршевого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шредером в дивизионный суд.

Из арестантского отделения дивизионного суда он только вчера ночью был переведен на гауптвахту, где и находился под стражей. Одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага из дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идет не о бунте, так как вольноопределяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого обвиняемый вольноопределяющийся Марек опять отсылается в свой полк, а следствие о нарушении дисциплины приостанавливается до конца

войны и будет возобновлено в случае нового проступка вольноопределяющегося Марека.

Предстояло еще одно дело. Одновременно с вольноопределяющимся Марекком из арестантского дивизионного суда был переведен на гауптвахту самозванец, взводный Тевелес, который недавно появился в полку, куда был послан из загребской больницы. Он имел большую серебряную медаль, нашивки вольноопределяющегося и три звездочки. Он рассказывал о геройских подвигах шестой маршевой роты в Сербии и о том, что от всей роты остался один он. Следствием было установлено, что с шестой маршевой ротой в начале войны действительно отправился какой-то Тевелес, который, однако, не имел прав вольноопределяющегося. Была затребована справка от бригады, к которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована шестая маршевая рота, и было установлено, что в списке представленных к награде и награжденных серебряными медалями никакого Тевелеса нет. Был ли, однако, рядовой Тевелес во время белградского похода произведен во взводные — выяснить не удалось, ввиду того что вся шестая маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после битвы у церкви св. Саввы в Белграде пропала без вести. В дивизионном суде Тевелес оправдывался тем, что действительно ему была обещана большая серебряная медаль и что поэтому он купил ее у одного босняка. Что касается нашивок вольноопределяющегося, то их он себе пришил в пьяном виде, а продолжал носить потому, что пьян был постоянно, ибо организм его ослабел от дизентерии.

Открыв собрание, прежде чем приступить к обсуждению этих двух вопросов, полковник Шредер указал, что перед отъездом, который уже не за горами, следует почаще встречаться. Из бригады сообщили, что ждут приказов от дивизии. Солдаты должны быть наготове, и ротные командиры обязаны бдительно следить за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он еще раз повторил все, о чем говорил вчера. Опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничто не должно сломить боевой дух армии и отвагу.

На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках, но флажки были опрокинуты и фронты передвинуты. Вытащенные булавки с флажками валялись под столом.

Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предместные укрепления и запакостил армейские корпуса.

Полковник Шредер был очень близорук.

Офицеры маршевого батальона с интересом следили за тем, как палец полковника Шредера приближался к этим кучкам.

— Путь на Бут, господа, лежит через Сокаль, — изрек полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот старался сделать рельефной карту театра военных действий.

— Was ist das, meine Herren?[459] — с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу.

— Wahrscheinlich, Katzendreck, Herr Oberst[460], — очень вежливо ответил за всех капитан Сагнер.

Полковник Шредер ринулся в соседнюю канцелярию, откуда слышались громовые проклятия и ужасные угрозы, что он заставит всю канцелярию вылизать языком оставленные котом следы.

Допрос был краток. Выяснилось, что кота две недели тому назад притащил в канцелярию младший писарь Цвибельфиш. По выяснении дела Цвибельфиш собрал свои манатки, а старший писарь отвел его на гауптвахту и посадил впредь до дальнейших распоряжений господина полковника.

Этим, собственно, совещание и закончилось.

Вернувшись к офицерам, багровый от злости, полковник Шредер забыл, что следовало еще потолковать о судьбе вольноопределяющегося Марека и лжезводного Тевелеса.

— Прошу господ офицеров быть готовыми и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций, — коротко сказал он.

Так и остались под стражей на гауптвахте вольноопределяющийся и Тевелес, и когда позднее к ним присоединился Цвибельфиш, они могли составить «марьяж», а после «марьяжа» стали приставать к своим караульным с требованием, чтобы те выловили всех блох из тюфяков.

Потом к ним сунули ефрейтора Пероутку из тринадцатой маршевой роты. Вчера, когда распространился по лагерю слух, что отправляются на позиции, Пероутка исчез и утром был найден патрулем в Бруке у «Белой розы». Он оправдывался тем, что хотел перед отъездом посмотреть знаменитый стекольный завод графа Гарраха у Брука, а на обратном пути заблудился и только утром, совершенно изможденный, добрал до «Белой розы» (в действительности же он спал с Розочкой из «Белой розы»).

Ситуация по-прежнему осталась неясной. Поедут или не поедут? Швейк по телефону в канцелярии одиннадцатой маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения: пессимистические и оптимистические. Двенадцатая маршевая рота телефонировала, будто кто-то из канцелярии слышал, что предвительно будут производиться упражнения в стрельбе по движущейся мишени и что поедут потом. Этого оптимистического взгляда не разделяла тринадцатая маршевая рота, которая телефонировала, что из города вернулся капрал Гавлик, слышавший от одного железнодорожного служащего, будто на станцию уже поданы вагоны.

Ванек вырвал у Швейка трубку и в ярости закричал, что железнодорожники ни хрена не знают и что он сам только что пришел из полковой канцелярии.

Швейк с истинным удовольствием дежурил у телефона и на вопросы: «Что нового?» — отвечал, что ничего определенного пока не известно.

Так он ответил и на вопрос поручика Лукаша:

— Что нового?

— Ничего определенного пока не известно, господин обер-лейтенант, — стереотипно ответил Швейк.

— Осел! Повесите трубку.

Потом пришло несколько телефонограмм, которые Швейк после всяческих недоразумений наконец принял.

В первую очередь ту, которую ему не могли продиктовать ночью из-за того, что он уснул, не повесив трубку. Телефонограмма эта касалась списка тех, кому была сделана и кому не была сделана противотифозная прививка.

Потом Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах. Вопрос этот был уже выяснен вчера.

Затем поступила телефонограмма всем батальонам, ротам и подразделениям полка.

*«Копия телефонограммы бригады № 756992. Приказ по бригаде № 172. При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться нижеследующего порядка: 1 — мясо, 2 — консервы, 3 — овощи свежие, 4 — овощи сушеные, 5 — рис, 6 — макароны, 7 — крупа, 8 — картофель, — вместо прежнего порядка: 4 — сушеные овощи, 5 — свежие овощи».*

Когда Швейк прочел все это старшему писарю, Ванек торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник.



— Какой-нибудь болван из штаба армии придумал, а потом это идет по всем дивизиям, бригадам, полкам.

Затем Швейк принял еще одну телефонограмму: ее продиктовали так быстро, что он успел лишь записать в блокноте что-то вроде шифра:

«In der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholet werden»[461].

— Все это лишнее, — сказал Ванек, после того как Швейк страшно удивился тому, что он написал, и трижды вслух прочел все. — Одна ерунда, хотя, — черт их знает! — может быть, это зашифрованная телефонограмма. У нас нет в роте шифровального отделения. Это также можно выбросить.

— Я тоже так полагаю, — сказал Швейк, — если я объявлю господину оберлейтенанту, что in der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholet werden, он еще обидится, пожалуй.

— Попадаются, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас! — продолжал Швейк, вновь погружаясь в воспоминания. — Ехал я однажды на трамвае с Высочан в Прагу, а в Либееи подсел к нам некий пан Новотный. Как только я его узнал, я пошел к нему на площадку и завел разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражова, а он на меня разорался, чтобы я к нему не приставал, что он якобы меня не знает. Я стал ему все объяснять, чтобы он припомнил, как я, еще маленьким мальчиком, ходил к нему с матерью, которую

звали Антония, а отца звали Прокоп, и был он приказчиком. Но он и после этого не хотел признаться, что мы знакомы. Так я ему привел в доказательство еще более подробные сведения: рассказал, что в Дражове было двое Новотных — Тонда и Иосиф, и он как раз тот Иосиф, и мне из Дражова о нем писали, что он застрелил свою жену за то, что она бранила его за пьянство. Тут он как замахнется на меня, а я увернулся, и он разбил большое стекло на передней площадке перед вагоновожатым. Ну, высадили нас и отвели, а в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что звали его вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Доубрава, и был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников.

Телефонный звонок прервал рассказ Швейка, и чей-то хриплый голос из пулеметной команды опять спросил, поедут ли. Об этом будто бы с утра идет совещание у господина полковника.

В дверях показался бледный как полотно кадет Биглер, самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде вольноопределяющихся он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтобы тот вышел в коридор, и там завел с ним продолжительный разговор.

Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся.

— Вот осел! — воскликнул он, обращаясь к Швейку. — Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте! Он тоже был на совещании. Напоследок при расставании господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить, должен ли он дать распоряжение связать Жлабека за то, что тот вычистил винтовку керосином. — Ванек разгорячился. — О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции! Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он остерегся ожесточать солдат.

— Раз уж заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта?

— Будьте благоразумнее, — ответил Ванек, — времени хватит. Между прочим, по-моему, господин обер-лейтенант привыкнет к Балоуну. Балоун разок-другой еще что-нибудь у него слопает, а потом это пройдет, когда попадем на фронт. Там, скорее всего, ни тому, ни другому жрать будет нечего. Когда я ему скажу, что Балоун остался, он ничего не сможет поделать. Это моя забота, господин обер-лейтенанта это не касается. Главное: не торопиться! — Ванек опять лег на свою койку и попросил: — Швейк, расскажите какой-нибудь анекдот из военной жизни.

— Можно, — ответил Швейк, — только боюсь, как бы снова не позвонили.

— Так выключите телефон: отвинтите провод или снимите трубку.

— Ладно, — сказал Швейк, снимая трубку. — Я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были маневры, а паника началась точь-в-точь такая же, как сегодня: мы тоже не знали, когда выступим из казарм. Служил со мной Шиц с Поржичи, хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что маневры — это что-то ужасное и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас, а когда мы выступили из казарм на маневры и пришли к Мнишеку, то сказал: «Я этого не выдержу, ребята, только господь бог меня может спасти!» Потом мы пришли к Горжови-

цам и там на два дня сделали привал, потому что из-за какой-то ошибки мы так быстро шли вперед, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамылись бы, потому что нашему корпусу полагалось про...ать, а противнику выиграть: у них там находился какой-то эрцгерцогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку. Когда мы разбили лагерь, он собрался и пошел в деревню за Горжовицами кое-что себе купить и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было, к тому же выпил он тоже здорово, и тут увидел он при дороге столб, на столбе был ящик, а в нем под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит: «Вот, чай, жарко тебе, не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом ты солнцепеке. Чай, все время потеешь?» Взболтал походную фляжку, выпил и говорит: «Оставил я и тебе глоток, святой Ян из Непомук». Потом спохватился, вылакал все, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. «Иисус Мария! — воскликнул он. — Святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить, я тебя за это вознагражу. Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь». И добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статушку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий вместе с ним спал на соломе. Шиц носил его с собой во время походов в ранце, и всегда ему страшно везло в карты. Где ни сделаем привал, он всегда выигрывал, пока не пришли мы в Прахенско. Квартировали мы в Драгеницах, и он вконец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на груше у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам и анекдот, ну, а теперь повешу трубку.

И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена.

В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать, и одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границе Галиции (первый этап).

7217-1238-475-2121-35 = Мошон.

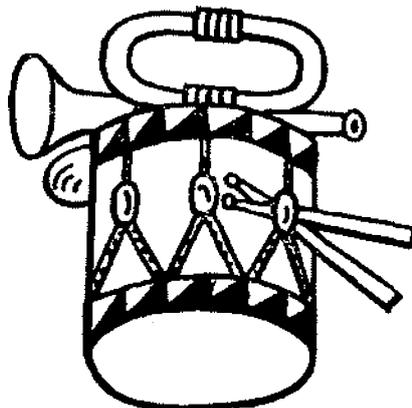
8922-375-7282 = Раб.

4432-1238-7217-35-8922-35 = Комарно.

7282-9299-310-375-7881-298-475-7979 = Будапешт.

Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул:

— Der Teufel soil das buserieren[462].



## Часть третья

### Торжественная порка



#### Глава I

#### По Венгрии

Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета сорок два человека или восемь лошадей. Лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения: воинский поезд вез новую партию людей в Галицию на убой.

И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось, до этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят: сегодня, завтра или послезавтра? Многие испытывали чувство приговоренных к смерти, со страхом ожидающих прихода палача. Но вот палач пришел и наступает успокоение — наконец-то все кончится!

Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанный: «Едем! Едем!»

Старший писарь Ванек был безусловно прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего.

Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам. И все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом Ванек заявил, что это фантазия. Какие там консервы! Полевая обедня — это еще куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы.

И правда, вместо мясных консервов появился обер-фельдкурат Ибл, который «единым махом троих побивахом». Он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов. Два из них он благословил на Сербию, а один — на Россию.

При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь на-

столько взволновала всех, что по дороге в Мошон Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившем импровизированной канцелярией:

— Что ни говори, а это в самом деле будет шикарно. Как он расписывал! «День начнет клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитания жителей, у которых над головами загорятся крыши». Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате.

Ванек в знак согласия кивнул головой:

— Это было чертовски трогательно!

— Это было красиво и поучительно, — назидательно сказал Швейк. — Я все прекрасно запомнил и, когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом «У чаши». Господин фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх, как бы он не поскользнулся да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дароносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Радецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Будто все это он видел своими собственными глазами!

В тот же день обер-фельдкурат Ибл попал в Вену, и еще один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк и которая так сильно ему понравилась, что он с полным основанием окрестил ее «идиотизмом в квадрате».

— Дорогие солдаты, — ораторствовал фельдкурат Ибл, — представьте себе: сейчас сорок восьмой год и только что победоносно окончилась битва у Кустоцы. После десятичасового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Радецкому — нашему «отцу солдатам», который на восемьдесят четвертом году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покоренной Кустоцей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы. Серьезность момента овладевает всеми, ибо — солдаты! — неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненный на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Преодолевая смертельную боль, доблестный знаменосец холодеющей рукой сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилося его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу.

«Не утруждай себя, мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку.

«Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин, — у меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду: победа за нами?»

«За нами, милый брат мой, — ласково ответил фельдмаршал. — Как жаль, что твоя радость омрачена ранением».

«Да, высокочтимый вождь, со мною покончено», — слабым голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь.

«Хочешь пить?» — спросил Радецкий.

«День был душный, господин фельдмаршал. Свыше тридцати градусов жары».

Тогда Радецкий, взяв у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду.

«Да вознаградит вас бог за это сторицей!» — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу.

«Давно ли служишь?» — спросил последний.

«Больше сорока лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль. Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. Пять раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу и императору возвращены его земли!»

В этот момент, дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, боже, государя». Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения. И прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться.

«Да здравствует Австрия! — иступленно воскликнул он. — Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал; последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат.

«Можно только позавидовать такой прекрасной кончине», — прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками.

Милые воины, я желаю вам всем дожить до такой прекрасной смерти!..

Вспоминая эту речь обер-фельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «идиотом в квадрате».

Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатам перед посадкой на поезд. Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем-Иосифом, а затем прочитали приказ главнокомандующего Восточной армией эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дукельском перевале, где два батальона Двадцать восьмого полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских.

Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык гласили:

*«ПРИКАЗ ПО АРМИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 1915 ГОДА:*

*Преисполненный горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально разложился уже на родине и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать.*

*Франц-Иосиф I»*

*«ПРИКАЗ ЭРЦГЕРЦОГА ИОСИФА-ФЕРДИНАНДА:*

*Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне по-*

зиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей.

При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей.

Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников.

Позор, стократ позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют.

Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача.

Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командире о таком мерзавце, подстрекателе и предателе.

Кто этого не сделает — сам предатель и негодяй.

Этот приказ зачитать всем солдатам чешских полков.

Императорский королевский 28-й полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии, и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления.

Эрцгерцог Иосиф-Фердинанд».

— Да, поздравляю нас его прочитали! — сказал Швейк Ванеку. — Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь, а государь император издал приказ семнадцатого апреля. Похоже, по каким-то соображениям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Если я издаю приказ семнадцатого апреля, так хоть тресни, а прочти его во всех полках семнадцатого апреля.

Напротив Ванека в другом конце вагона сидел повар-окультист из офицерской столовой и что-то писал. Позади него сидели денщик поручика Лукаша бородатый великан Балоун и телефонист Ходоунекий, прикомандированный к одиннадцатой маршевой роте. Балоун жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходоунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику.

Ходоунский пугал Балоуна: теперь, мол, шутить не будут, и за это его ждет пуля.

— Пора бы уж положить конец этим мучениям, — плакался Балоун. — Как-то раз, на маневрах под Вотицами, я чуть было не погиб. Пропадали мы там от голода и жажды, и, когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул: «Воды и хлеба!» Так вот, этот самый адъютант повернул коня в мою сторону и говорит, что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем. Но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Мне тогда здорово повезло: по дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понес, адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею.

Балоун тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша.

— Господа офицеры, — произнес он меланхолически, — получили печеночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек.

При этом он с вожделием смотрел на саквояжи своего поручика, словно

забытый всеми пес. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пес у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся окороков.

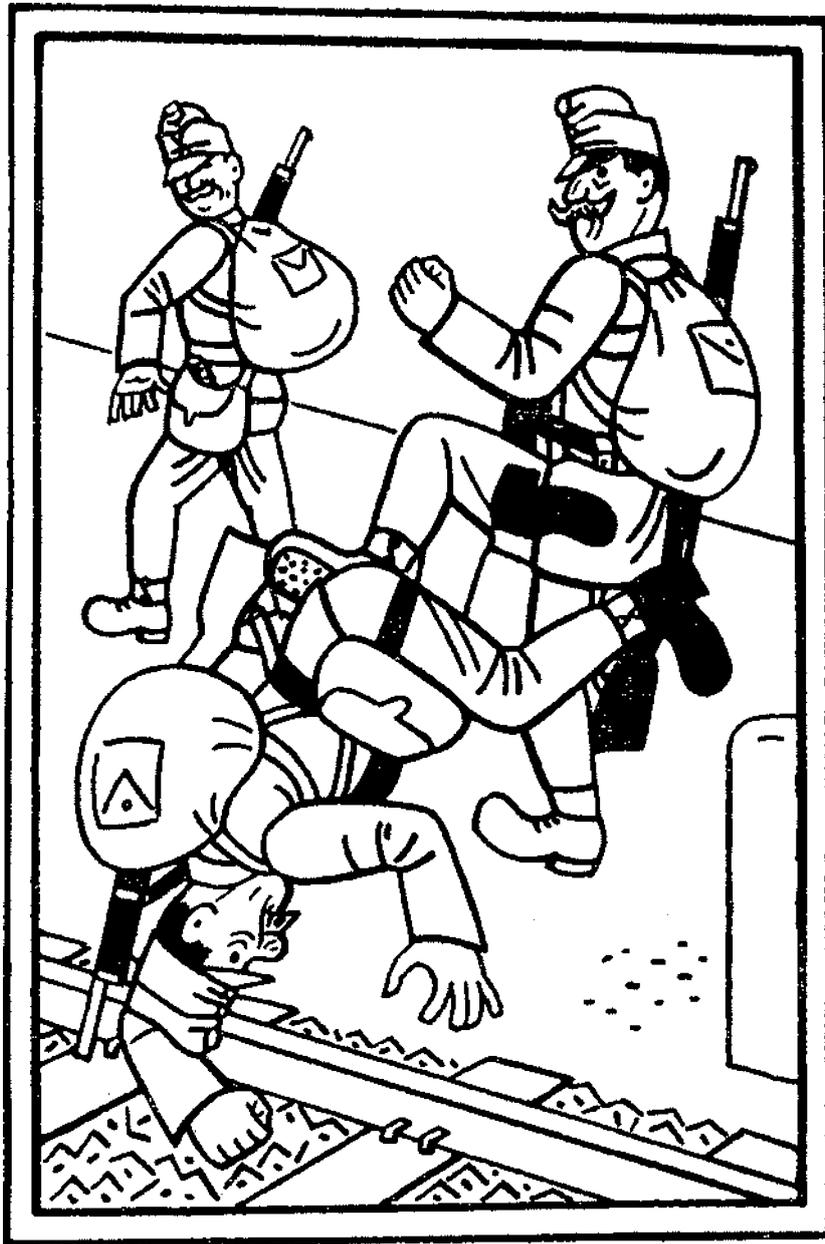
— Было бы невредно, — заметил Ходоунский, — если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Когда мы в начале войны ехали в Сербию, прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек снимали лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в «волки и овцы» на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке, двое из союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейка так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали. Но зато до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина — море разлитое, несмотря на то что спиртные напитки были запрещены. Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона!



Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже трефового туза. Вдруг ни с того ни с сего команда — вылезать. Мы даже партию не доиграли, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели «Und die Serben müssen sehen, daß wir Österreicher Sieger, Sieger sind»[463]. Но сзади кто-то наподдал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда. «Винтовки в козлы». Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну конечно, как всегда во время паники, увезли и наш провиант на два дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда до тех вон деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-

лейтенант Мацек — чех на все сто, хотя говорил только по-немецки, — и рассказывает, а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодорожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы-де получим подкрепление и разобьем их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалеку рвется шрапнель, не следует принимать во внимание: это-де наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось та-та-та-та-та-та. Это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы слышали ее впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат, ими был зажжен вокзал, с правой стороны засвистели пули, а вдали слышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе, перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацек на миг оцепенел, а потом отдал приказ: «*Vajonett auf*» — сам не зная зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Так мы довольно долго стояли в боевой готовности. Потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан и унтер-офицеры заорали: «*Alles decken, decken!*»[464] Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов, стоим «вольно». Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Еще издали он прокричал: «*Wo ist Batallionskommando?*» [465] Командир батальона выехал навстречу всаднику. Кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг, словно с ума спятил, обнажил саблю и полетел к нам. «*Alles zurück! Alles zurück!*»[466] — заорал он на офицеров. — *Direktion Mulde, einzeln abfallen!*»[467] А тут и началось! Со всех сторон, будто только этого и ждали, начали палить по нам. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад! Мы на четвереньках поползли к долине, рюкзаки сбросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанта Мацека стукнуло по голове, он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, — это разграбленный обоз. Наконец добрались до станции, где нас ожидал новый приказ: сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к Семьдесят третьему полку, чтобы легче было отступать; это мы проделали с величайшей радостью. Но, чтоб догнать Семьдесят третий полк, пришлось целый день маршировать.

Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в «долгий марьяж». Повар-окультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Балоун дремал на лавке, и телефонисту Ходоунскому не оставалось ничего другого, как повторять: «Да, этого мне не забыть...»



Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты.

— Ты бы мне хоть трубку разжег, — дружески обратился Швейк к Ходоунскому, — если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. «Долгий марьяж» — вещь серьезная, серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул! Так и дал бы себе по морде. Не подождал с королем, а ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес я!

Между тем повар-окультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко все сочинил, ловко обойдя военную цензуру:

*«Дорогая жена!*

*Когда ты получишь это письмо, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придется бить баклуши и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сегединский гуляш! Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую «шолю» — тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая*

*Геленка, я всей душой стремлюсь, по мере сил и возможности, скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал, стремясь всю душою даже на очень скромные средства поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твое пожелание исполнилось: мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все господа офицеры — наши лучшие друзья, а по отношению ко мне — отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты».*

Это письмо явилось следствием того, что повар-окультист вконец разозлил полковника Шредера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона, по несчастной случайности, на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек, и «отец родной» отправил «сынка» с маршевым батальоном на фронт, вверив полковнику офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове.

Повар-окультист еще раз пробежал написанное. Письмо показалось ему достаточно дипломатичным для того, чтобы помочь хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как, что там ни говори, а даже на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он как редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ.

Теперь он подошел к Швейку и Ванеку и начал подглядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в «марьяж» уже не вдвоем, а втроем, вместе с Ходоунским.

Ординарец Швейк распекал старшего писаря Ванека:

— Просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен, и все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трефовым валетом, и этот балбес выигрывает!

— Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки, — услышался вежливый ответ старшего писаря. — Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы. Эх вы, бардачный заседатель!

— Тогда вам надо было, умная голова, играть без козырей! — с улыбкой присоветовал Швейк. — Точь-в-точь такое случилось как-то в винном погребеке «У Вальшов». Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты! Всех мастей, самые крупные! И так же как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне и ни кому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы да платили. Я в конце концов не выдержал и говорю: «Господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей». Ну, а он на меня как набросится: имею, мол, право играть, как хочу, а вы должны держать язык за зубами, я-де с университетским образованием. Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый, официантка относилась к

нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили — и все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство — нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в «марьяже». Ну а когда его разоблачили, он удирал так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а он ничего лучшего не заслужил. Сидел с семи часов вечера до полночи всего за одной-единственной кружкой пива со стаканом содовой воды и корчил из себя бог весть кого потому только, что он профессор университета, а в «марьяже» понимал как свинья в апельсине... Ну, кому теперь сдавать?

— Теперь сыграем в «прикупного», — предложил повар-окультист, — по десять геллеров и по два.

— Лучше расскажите нам, — предложил старший писарь Ванек, — о переселении душ, как это вы рассказывали барышне в кантине, когда разбили себе нос.



— О переселении душ я уже слышал, — отозвался Швейк. — Как-то, несколько лет тому назад, я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием и пошел в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться самообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришел красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошел в библиотеку Музея. Там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я вычитал, что один индийский император после смерти превратился в свинью, а когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну, из обезьяны — в барсука, из барсука — в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на эполетах хоть одна звездочка, обзывает солдат либо морской свиньей, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что тысячу лет тому назад эти простые солдаты были знамени-

тыми полководцами. А в военное время такое переселение душ — глупейшая вещь. Черт знает, каких только метаморфоз не произойдет с человеком пока он станет, скажем, телефонистом поваром или пехотинцем! И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот в батареею когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части, а из коровы — ну, скажем, в телефониста, а из телефониста...

— Удивляюсь, — прервал Швейка явно задетый телефонист Ходоунский, — почему именно я должен быть мишенью идиотских острот?

— Ходоунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у святой троицы, не родственник ли ваш? — невинно спросил Швейк. — Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за двадцать лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер, — говорил он ему, — если бы в нынешнем году не было маневров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы. Ну, а теперь по вашей шишке будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы придем в такую местность, где не найдем лучшего ориентира». Ну и натерпелся бедняга от него! Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на пятьсот шагов вперед, а потом командует: «Направление — голова-шишка!» Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе! Получает он, например, задание: выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент сам не свой в их контору и дает поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим, а если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Или же наоборот. Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется ее муж, чтобы иметь основание почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек образованный, говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг «ее» или «его» *in flagranti*[468]. Другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку *in flagranti*, и только глаза бы пялил, а Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало, у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли вареную ветчину, при его рассказах о позах, в каких он заставлял разные парочки. Когда нас оставляли без отпуска в казарме, он нам все это очень тонко описывал. «В таком положении, говорит, я видел пани такую-то с паном таким-то, — и сообщал их адреса. И был очень грустный при этом. — А сколько пощечин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду. Он голый, и она голая. В отеле — и не заперлись на крючок! Вот дураки! На диване они не поместились, потому что оба были толстые. Резвились на ковре, словно котята. А ковер такой замызганный, пыльный, весь в окурках. Когда я вошел, оба вскочили, он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной,

на коже ясно отпечатались рисунок ковра, а к хребту прилип окурок. «Извините, говорю, пан Земек, я частный детектив Штендлер из бюро Ходоунского, и мой служебный долг поймать вас *in flagranti*, согласно заявке вашей уважаемой супруги. Дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова». Во всю свою жизнь я не видел более спокойного гражданина. «Разрешите, — сказал он как ни в чем не бывало, — я оденусь. Во всем единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упреками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остается никакого сомнения и позора уже не скрыть... Где мои кальсоны?» — спросил он спокойно. «На постели». Надевая кальсоны, он продолжал: «Если уж позор скрыть невозможно, остается одно: развод. Но этим пятно позора не смоешь. Вообще развод — вещь серьезная, — рассуждал он, одеваясь. — Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите. Я вас оставляю здесь наедине с этой госпожой». Пани Гротова между тем забралась в постель. Пан Земек пожал мне руку и вышел».

Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом говорил ей. Только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в постели, очень культурно рассуждал, например, что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью, и что долг каждого из супругов побороть похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. «При этом я, — рассказывал Штендлер, — начал раздеваться, и, когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки, в комнату вошел мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только: «Ага, пан Штендлер *in flagranti* с пани Гротовой! Поздравляю!» — закрыл тихо дверь и ушел».

«Теперь уж все равно, — сказала пани Гротова, — нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно места». — «У меня, милостивая государыня, действительно речь идет о месте, — ответил я, сам не понимая, что говорю. Помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей».

Далее он нам рассказал, как быстро оделся, как всюду удирал и как решил обо всем немедленно сообщить своему хозяину, пану Ходоунскому. По дороге он зашел подкрепиться, а когда пришел в контору, на нем уже был поставлен крест. Там уже успел побывать Штах, которому его хозяин приказал нанести удар Ходоунскому и показать ему, что представляет собою сотрудник его частного сыскного бюро. А Ходоунский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застаёт его *in flagranti*. «С той самой поры, — говорил пан Штендлер, когда об этом заходила речь, — моя башка стала еще больше походить на еловую шишку».

— Так будем играть в «пять — десять»?

Игра продолжалась.

Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер, из вагона никого не

выпустили.

Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким ревом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины:

*Gute Nacht! Gute Nacht!  
Allen Müden sei's gebracht.  
Neigt der Tag stille zu Ende  
ruhen alle fleiß'gen Hände,  
Bis der Morgen ist erwacht.  
Gute Nacht! Gute Nacht![469]*

— Halt Maul, du Elender![470] — прервал кто-то сентиментального певца, и он сразу же умолк. Его оттащили от окна.

Но «люди усталый» не отдыхал до утра. Как во всем поезде при свечах, так и здесь при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке, продолжали играть в «чапари». Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра, так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет.

— Когда играешь в «прикупного», — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семерку, но потом тебе остается лишь пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск.

— Сыграем в «здоровьице», — предложил Ванек под общий одобрительный гул.

— Семерка червей! — провозгласил Швейк, снимая карту. — С каждого по десяти геллеров, сдается по четыре карты. Ставьте, постараемся выиграть.

На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство, точно не было никакой войны, не было поезда, который вез солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками.

— Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и переменял все четыре карты, я не думал, что получу туза, — сказал Швейк после одной партии. — Куда вы прете с королем? Бью тузом!

В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными.

В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царил странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплете, озаглавленной «Die Sünden der Väter». Novelle von Ludvig Ganghofer[471]. Все одновременно сосредоточенно изучали страницу сто шестьдесят первую. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же сто шестьдесят первой странице.

Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все было строго конфиденциально.

Офицеры между тем пришли к заключению, что полковник Шредер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал

всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Die Sünden der Väter» Людвиг Гакгофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона.

— Господа, — произнес он чрезвычайно таинственно, — никогда не забывайте страницу сто шестьдесят первую!

Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На сто шестьдесят первой странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы; потом на той же странице появился некий Альберт, который без усталости острил. Но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил мундштук.

— Совсем спятил старикашка, — решили все. — Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство.

Обдумав все как следует, капитан Сагнер отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове полный план лекции о значении страницы сто шестьдесят первой.

Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами: «Meine Herren!»[472] — как это делал дед-полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него «Kamaraden»[473].

— Also, meine Herren![474] — И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы сто шестьдесят первой в «Die Sünden der Väter» Людвиг Гангофера.

— Also, meine Herren! — продолжал он торжественно. — Перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш.

Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш и голосом, выражавшим необычайное усердие и заинтересованность, произнес: «Я готов, господин капитан».

Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольноопределяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошел на войну и при первом удобном случае, когда начальник школы вольноопределяющихся знакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглер фон Лейтгольд» и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом.

С этого времени кадета прозвали «крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу невзлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего заячьими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился поглотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на свое место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам.

— Sie, Kadett![475] — сказал капитан Сагнер. — Покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. Вас не спрашивают. Нечего сказать, умный солдат!

Я сообщаю совершенно секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. В случае ее потери вас ждет военно-полевой суд!

Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться: он старался убедить каждого, что у него только благие намерения.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, — ответил он, — даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там написано, так как я стенографирую и мои сокращения прочесть никто не сумеет. Я пользуюсь английской системой стенографии.

Все посмотрели на него с презрением. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию:

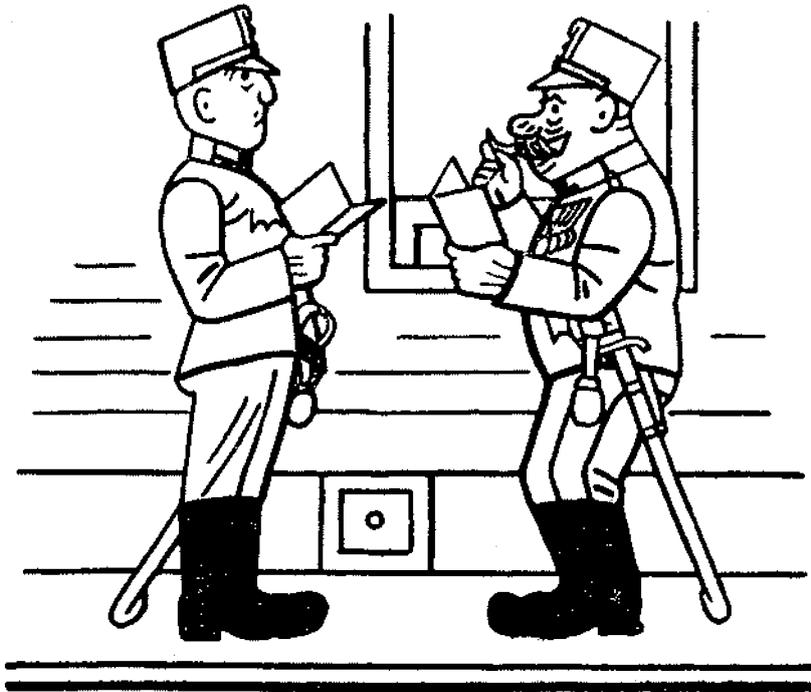
— Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно сто шестьдесят первую страницу романа Людвиг Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введенной согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, к которому мы прикомандированы. Как вам известно, имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый новый метод, которым мы пользуемся, — это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают врученный вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему.

— Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда, — восемь тысяч девятьсот двадцать два Р, — проворчал себе под нос дотошный кадет Биглер.

— Новая система необычайно проста, — разносился по вагону голос капитана. — Я лично получил от господина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ: «Auf der Kote 228 Maschinengewehrfeuer linksrichten»[476], то мы, господа, получим следующую депешу: Sache — mit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprochen — die — Martha — dich — das — ängstlich — dann — wir — Martha — wir — den — wir — Dank — wohl — Regiekollegium — Ende — wir — versprochen — wir — gebessert — versprochen — wirklich — denke — Idee — ganz — herrscht — Stimme — letzten[477].

Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из штаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту зашифрованную депешу, расшифрует ее следующим способом: берем «Die Sünden der Väter», открываем страницу сто шестьдесят первую и начинаем искать сверху на противоположной странице сто шестидесятой слово «Sache». Пожалуйста, господа! В первый раз «Sache» встречается на странице сто шестидесятой по порядку фраз пятьдесят вторым словом, тогда на противоположной сто шестьдесят первой странице ищем пятьдесят вторую букву сверху. Заметьте себе, что это «а». Следующее слово в депеше — это «mit». На странице сто шестидесятой это — седьмое слово, соответствующее седьмой букве на странице сто шестьдесят первой, букве «и». Потом идет «uns», то есть, прошу следить за мной внимательно, восемьдесят восьмое слово, соответствующее восемьдесят восьмой букве на противоположной, сто шестьдесят первой странице. Это буква «f». Мы расшифровали «auf». И так продолжаем, пока не расшифруем приказа: «На высоте двести двадцать восемь направить пулеметный огонь влево». Очень остроумно, господа, просто, и нет никакой возможности расшифровать без ключа сто шестьдесят первой страницы «Die Sünden

der Väter» Людвиг Гангофера.



Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина, и вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул:

— Herr Hauptmann, ich melde gehorsam... Jesus Maria! Es stimmt nicht![478]

И действительно, все было очень загадочно. Сколько господа офицеры не силились, сколько ни старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице сто шестидесятой названных слов, а на противоположной, сто шестьдесят первой странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв.

— Meine Herren! — неловко замялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. — В чем дело? В моем «Die Sünden der Väter» Гангофера все это есть, а в вашем нет?

— С вашего разрешения, капитан, — отозвался опять кадет Биглер, — позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Людвиг Гангофера в двух томах. Сдоблаговолите убедиться: на первой странице написано «Роман в двух томах». У нас *первый* том, а у вас *второй*, — развил свою мысль дотошный кадет. — Поэтому ясно как день, что наши сто шестидесятая и сто шестьдесят первая страницы не совпадают с вашими. У нас совершенно иной текст. Первое слово депеши у вас должно бы получиться «auf», а у нас выходит «Heu»!

Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп.

— Я получил второй том в штабе бригады, — сказал капитан Сагнер. — По видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том. Очевидно, — продолжал он таким тоном, словно для него все было ясно и просто еще задолго до начала лекции о чрезвычайно удобном способе шифровки, — в штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома, и вот результат.

Кадет Биглер обвел всех торжествующим взглядом. Подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что «крыло аиста с рыбьим хвостом» — здорово утерло нос капитану Сагнеру.

— Странный случай, господа, — снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание. — В канцелярии бригады си-

дят ограниченные люди.

— Позволю себе подчеркнуть, — перебил его неутомимый кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом, — подобные вещи секретного, строго секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркуляром только командирам частей, дивизий и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савойю, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны. Системы эти передавались...

— Плевать нам на это, кадет Биглер, — с выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер. — Несомненно одно: система, о которой шла речь и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостижимых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться, они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров еще никогда не бывало.

Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул.

— Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан, — сказал он, — на книгу Керикгофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве Военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхер, служивший при Наполеоне Первом в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером в его книге «Handbuch der militärischen Kryptographie»[479], которую каждый может купить в издательстве Военной академии в Винер-Нейштадте. Пожалуйста, господин капитан.

Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил.

— Пожалуйста. Извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример. Тот же самый пример, который мы все сейчас слышали.

*Депеша: «Auf der Kote 228 Maschinengewehrfeuer linksrichten».*

*Ключ: Ludwig Ganghofer «Die Sünden der Väter». Zweiter Band.*

Извольте проследить дальше. Шифр «Sache — mit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprochen — die — Martha». Точно, слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад.

Возразить было нечего. Сопливое «крыло аиста с рыбьим хвостом» было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу: нашел книгу Флейснера о военных шифрах, и дело с концом.

Пока все это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и, наконец, сказал, но совсем не то, что намеревался сказать сначала.

— Не следует все это воспринимать трагически, — произнес он в каком-то странном замешательстве. — За время нашего пребывания в лагере у Брука-на-Лейте сменилось несколько систем шифровки депеш. Пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но, думаю, что там вовсе не останется вре-

мени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет!

Капитан Сагнер нехотя согласился.

— Практически, — подтвердил он, — по крайней мере что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Что же касается частой смены шифров, это тоже верно.

Капитан Сагнер отступал по всем линиям.

— Главная причина того, что теперь при передаче приказов из штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу.

— Замешательство — самое скверное, что может быть на фронте, господа, — пророчески изрек он и опять умолк. — Через минуту, — снова заговорил капитан, глядя в окно, — мы будем в Рабе. Meine Herren! Солдаты получают здесь по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых. — Он посмотрел на маршрут. — В четыре двенадцать отправление. В три пятьдесят восемь — все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам: одиннадцатая и т. д. ...Zugsweise, Direktion Verpflegungsmagazin № 6[480]. Контроль при выдаче ведет кадет Биглер.

Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая: «Придется, молодкосос, выдержать здоровый бой».

Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот; однако ни один из командиров не знал этого толком, — они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках.

Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучные «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции Раб, он захлопнул ее и заметил:

— Этот Людвиг Гангофер неплохо пишет.

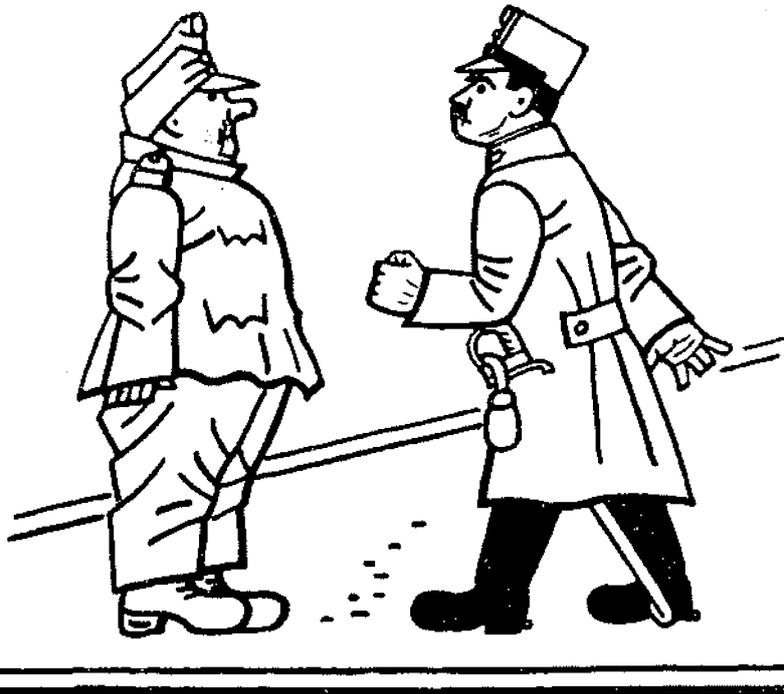
Поручик Лукаш первым выпрыгнул из штабного вагона и направился к Швейку.

Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты, а денщик поручика Лукаша Балоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну шестьдесят шестого года офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились с солдатами и курицей, и куском хлеба. Причитаниям Балоуна не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну.

— Уж очень молодой у тебя дедушка, — добродушно улыбаясь, начал он, когда приехал в Раб. — Твой дедушка помнит только войну шестьдесят шестого

года, а вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там двенадцать лет и вернулся домой капралом. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит: «Оставим эту сволочь здесь. На кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал орать и замахнулся на него палкой: «Выкорчевать пень, и все тут». Капрал и сказал-то ему всего-навсего: «Ты молокосос, я старый отставной солдат», — а уже через неделю получил повестку „и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще десять лет и написал домой, что, когда вернется, трахнет лесника по голове топором. По счастью, лесник умер раньше своей смертью.

В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш.



— Швейк, идите-ка сюда! — сказал он. — Бросьте ваши глупые разглагольствования, лучше разъясните мне кое-что.

— Слушаюсь, иду, господин обер-лейтенант.

Поручик Лукаш увел Швейка, окинув его весьма подозрительным взглядом.

Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу: «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии».

Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у остывшего паровоза, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил:

— Швейк, что стало с этими книжками?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно.

Помните, вы разорвали официальное отношение касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник, а я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна: за каждое окно двадцать геллеров и с гуся столько же...

— Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим, — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать. — Знаете Гангофера?

— Кто он такой? — вежливо осведомился Швейк.

— немецкий писатель, дурак вы этакий! — обозлился поручик Лукаш.

— Ей-богу, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку, — лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем, Гаеком Ладиславом из Домажлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы, такие печальные, что все со смеху умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь:

*Домажлицкая башня  
ропсью украшена.  
Кто ее так размалевал,  
часто девушек целовал.  
Больше нет его здесь:  
помер, вышел весь...*

— Вы не в театре! Орет, как оперный певец, — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу: «Помер, вышел весь...» — Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили, — сочинение Гангофера? Так что стало с теми книжками? — злобно выпалил поручик.

— С теми, которые я принес из полковой канцелярии? — задумчиво переспросил Швейк. — Они действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души; ведь все непременно должны были пойти в кантину, ибо, отправляясь на фронт, никто не знает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в кантине. Так вот, они там сидели и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Памятуя, что мне как ординарцу вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались: никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки. И рассудил по-своему: старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что, согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать, *который там том*. Эти книжки были в

двух томах — первый том отдельно, второй — отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять: «Вот вам первые тома, а вот — вторые. *Который том* должны читать господа офицеры, они уж сами знают!» Я подумал, что все нализались, потому что книжку всегда читают с начала. Скажем, роман об отцовских грехах, который я принес (я, можно сказать, знаю немецкий язык), нужно начинать с *первого тома*, ведь мы не евреи и не читаем сразу наперед. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из Офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все шиворот-навыворот и не полагается ли читать книжки в обратном порядке: сначала *второй том*, а потом *первый*. Вы ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что в «Отче наш», сначала идет «Отче наш» и только потом «аминь»... Вам нехорошо, господин обер-лейтенант? — с участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза.

Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано безнадежное отчаяние.

— Продолжайте, продолжайте, Швейк... Все уже безразлично...

— И я, — прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка, — придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рож Шаван из Баконского леса», и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было вначале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую, и глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии: господа офицеры, мол, сами знают, *который том* должны читать. Вообще вся история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны...

— Оставьте ваши глупости, Швейк, — простонал поручик Лукаш.

— Ведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома. А вы ответили точь-в-точь как теперь, чтобы я оставил свои глупости — нечего, мол, таскаться с какими-то книгами, и я решил: раз таково ваше мнение, то остальные господа офицеры тоже должны так считать. Посоветовался я об этом с нашим Ванеком. Ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. Он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война — чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целые библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг стибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет родила. Ванек рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирает себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант, всю задницу. Читать было некогда, так как все время приходилось удирать; все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом: заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривал все книги для чтения. Все это я уже знал, но мне хотелось, господин обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение, и, когда я вас спросил по те-

лефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что, когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех лор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин обер-лейтенант, отнес в канцелярию батальона только *первые тома* этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма, — все лишнее сдать на полковой склад. Я еще раз спросил господина Ванека, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. — Швейк помолчал, а минуту спустя добавил: — Там, на этом складе, чего только нет, даже цилиндр будейовицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации.



— Одно скажу вам, Швейк, — с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш. — Вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк... Но вы этого никогда не узнаете! Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома... Если пойдет речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы и виду не подавайте! Вы ничего не знаете, ни о чем не помните! Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю! Смотрите у меня...

Поручик Лукаш говорил как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса:

— Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту...

Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование:

— Балбес! Ничего я не буду объяснять! Лезьте обратно в вагон и скажите Балону, пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем чемоданчике, завернутый в станиоль. А Ванеку скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения, с прошлой недели.

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant[481], — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону.

Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бранил сам себя: «Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем!»

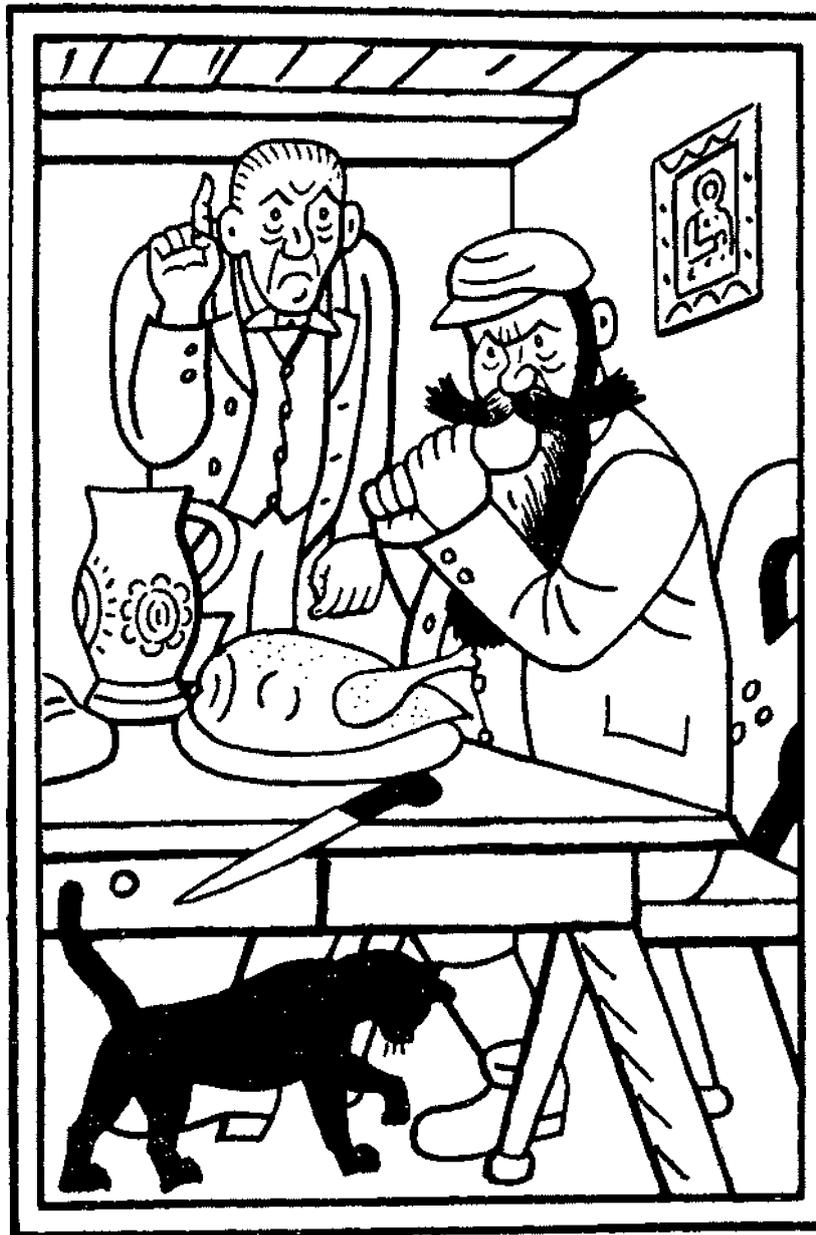
Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удастся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.

— Господин фельдфебель, — доложил Швейк, усевшись на свое место, — господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты.

— Боже ты мой! — разволновался Ванек. — Задам же я теперь этим взводным! Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте! Это возможно только в нашей одиннадцатой маршевой роте. Я это предчувствовал, я так и знал! Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает четырех порций, завтра, наоборот, три лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале! Еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалованья я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в будейовицкой туберкулезной больнице, а мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир, а куда он делся — один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте.

Старший писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагону.

— Будь я командиром, у меня все бы шло как по-писаному! Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся! И хуже всех взводный Зика. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что Коларжик откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто Коларжик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. А после этого я лошак! Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей!



Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе...

Балоун, слушавший разиня рот, договорил за Ванека это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор.

— Цыц, вы там! — озлился разволнованный старший писарь.

— Послушай-ка, Балоун, — вдруг вспомнил Швейк, — господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта, в самом низу.

Великан Балоун сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении.

— Нет его у меня, — едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. — Нет его у меня, — повторил он отрывисто. — Я думал... я его перед отъездом развернул... Я его понюхал... не испортился ли... Я его попробовал! — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно.

— Вы сожрали его вместе со станиолем, — остановился перед Балоуном старший писарь Ванек.

Он развеселился. Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численного состава «х» имеет свои глубокие корни в других «лошаках». Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора и объектом насмешек стал ненасытный Балоун и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывало сказать Балоуну что-нибудь неприятно-нравоучительное. Но его опередил повар-окультист Юрайда. Отложив свою любимую книжку — перевод древнеиндийских сутр «Прагна Парамита», он обратился к удрученному Балоуну, безропотно принимавшему новые удары судьбы.

— Вы, Балоун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникает проблема, подобная сегодняшней — сожрать или не сожрать, — спросите самого себя: «В каком отношении ко мне находится печеночный паштет?»

Швейк счел нужным пояснить это теоретическое положение примером:

— Ты, Балоун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее и что, как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. Вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него была костоеда. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, а если бы он вовремя не умер, его чинили бы, как карандаш с разбитым графитом. Представьте себе, что мы сожрали твой окорок, как ты слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта.

Великан Балоун обвел всех грустным взглядом.

— Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балоуну старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там — всем пули угодили в голову. Только четвертой паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить.

Балоун не сдержался и всхлипнул.

— Постыдился бы, — с презрением сказал Швейк. — А еще солдат!

— Да-а, если я не гожусь для войны! — захныкал Балоун. — Обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить. Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время какой-то войны восемь лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли крошить немного творогу, — ведь хлеба-то не бы-

ло, — это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен.

Балоун обратил печальный взор к небу.

— Но я верю, что господь бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет.

— Господь бог сотворил обжор, он о них и позаботится, — заметил Швейк. — Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверх пайка, он мне обычно говорил: «Возьмите это себе, Швейк» или же: «Чего там, мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте как знаете».



Когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, так я, чтоб он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще одну порцию, только бы он наелся досыта! Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я еще одну половину и принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил: «Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрелкнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция?» Господин обер-лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию: ведь не знал же он, что в этот день у него будут гости! Я подтвердил. «Вот видишь! — сказал мой обер-лейтенант. — Но это еще пустяки. Недавно Швейк принес на обед две гусиные ножки. Представь себе: лапша, говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка и, наконец, блинчики».

— Та-тта-тата! Черт подери! — облизывался Балоун.

Швейк продолжал:

— Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пиллава, ну словно шестинедельный ребенок накакал в пеленочку, — так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба набросился на него: ты, мол, половину сам сожрал, а тот знай твердит, что не виновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня: он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинно избитый солдат снова пошел за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал все своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Сижу я вечером с газетой и читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне — признавайся-де, сколько двойных порций купил в ресторане за свой счет; ему, мол, все известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же еще и сумасшедший — это ему будто бы в голову не приходило. Я-де так его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить сначала меня, а потом себя. «Господин обер-лейтенант, — объясняю я. — Когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики воры и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный жрать вашу...»

— Господи милостивый! — прошептал Балоун, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в Глубине вагона.

— Потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, — стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался! «Швейк, говорит, когда я получу жалованье, составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти — мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом». Как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард...

— Что вы там делаете, Балоун? — вдруг воскликнул старший писарь Ванек.

Бедняга Балоун поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку.

Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, битком набитый «дейчмейстерами», которых отправляли на сербский фронт. Они до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без усталости орали:

*Prinz Eugenius, der edle Ritter,  
wollt' dem Kaiser wiedrum kriegen  
Stadt und Festung Beograd.  
Er ließ schlagen einen Brucken,  
daß man kunnt' hinübrucken  
mit der Armee wohl für die Stadt[482].*

Какой-то капрал с залихватски закрученными усами облокотился о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал:



*Als der Bracken war geschlagen,  
daß man kunnt' mit Stuck und Wagen  
frei passier'n den Donaufluß,  
bei Semlin schlug man das Lager  
alle Serben zu verjagen...[483]*

Вдруг он потерял равновесие, вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нем, как наколотый. А поезд шел все дальше, и в задних вагонах пели другую песню:

*Graf Radetzky, edler Degen,  
schwur's des Kaisers Feind zu iegen  
aus der falschen Lombardei.  
In Verona langes Hoffen,  
als mehr Truppen eingetroffen,  
fühlt und rührt der Held sich frei...[484]*

Наколотый на дурацкую стрелку воинственный капрал был мертв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендантуры, исключительно серьезно выполнявший свои обязанности. Он стоял на вытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку.

Молодой солдат был мадьяр, и, когда из эшелона батальона Девяносто первого полка приходили смотреть на капрала, он орал на всю станцию:

— Nem szabat! Nem szabat! Komision militär, nem szabat![485]

— Уже отмучился, — вздохнул braveый солдат Швейк, который также оказался среди любопытствующих. — В этом есть свое преимущество. Хоть он и получил кусок железа в живот, зато все знают, где похоронен. Его могилу не придется разыскивать на полях сражений. Очень аккуратно накололся, — со знанием дела прибавил Швейк, обойдя капрала со всех сторон, — кишки в штанах...

— Nem szabat! Nem szabat! — кричал молоденький мадьярский солдат. — Komision militär — Bahnhof, nem szabat!

За спиной Швейка раздался строгий окрик:

— Вы что тут делаете?

Перед ним стоял кадет Биглер. Швейк отдал честь.

— Осмелюсь доложить, рассматриваем покойника, господин кадет!

— А что за агитацию вы здесь развели? Какое вам до всего этого дело?

— Осмелюсь доложить, господин кадет, — с достоинством и спокойно ответил Швейк, — я никогда никакой «заагитации» не вел.

За спиной кадета послышался смех солдат, и старший писарь Ванек выступил вперед.

— Господин кадет, — объяснил он, — господин обер-лейтенант послал сюда ординарца Швейка, чтобы тот сообщил ему о случившемся. Я был недавно в штабном вагоне. Вас там разыскивает Матушич по распоряжению господина командира батальона. Вам следует немедленно явиться к господину капитану Сагнеру.

Вскоре раздался сигнал «на посадку», и все разбрелись по вагонам.

Ванек, идя рядом со Швейком, сказал:

— Когда собирается много народу, вы поменьше разглагольствуйте. Могут быть неприятности. Раз этот капрал из «дейчмейстеров», то будут говорить, что вы радовались его смерти. Ведь Биглер — заядлый чеход.

— Да ведь я ничего и не говорил, — возразил Швейк тоном, исключавшим всякое сомнение, — одно только, что капрал напоролся аккуратно и все кишки остались у него в штанах... Он мог...

— Лучше прекратим этот разговор, Швейк. — И старший писарь Ванек сплюнул.

— Ведь все равно, — не унимался Швейк, — где за государя императора вылезут кишки, здесь или там. Он свой долг выполнил... Он мог бы...

— Посмотрите, Швейк, — прервал его Ванек, — ординарец батальона Матушич опять несется к штабному вагону. Удивляюсь, как он еще не растянулся на рельсах.

Незадолго перед этим между капитаном Сагнером и усердным Биглером произошел очень резкий разговор.

— Я удивлен, кадет Биглер, — начал капитан Сагнер. — Почему вы немедленно не доложили мне, что солдатам не выдали сто пятьдесят граммов венгерской колбасы? Теперь мне самому приходится ходить и выяснять, почему солдаты возвращаются со склада с пустыми руками. Господа офицеры тоже хороши, словно приказ не приказ. Ведь я точно выразился: «На склад походной колонной поротно». Это значит, если вы на складе ничего не достали, то и возвращаться нужно походной колонной поротно. Я вам приказал, кадет Биглер, поддерживать порядок, а вы пустили все на самотек. Обрадовались, что не нужно подсчитывать порции колбасы, и преспокойно пошли смотреть, как это я наблюдал из окна, на напоровшегося капрала из «дейчмейстеров». А когда я приказал вас позвать, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор. Я, мол, пошел убедиться, не ведется ли около напоротого капрала какой агитации...

— Осмелюсь доложить, ординарец одиннадцатой роты Швейк...

— Оставьте меня в покое с вашим Швейком! — закричал капитан Сагнер. — Не думайте, кадет Биглер, что вам здесь удастся плести интриги против поручика Лукаша. Мы послали туда Швейка... Вы так на меня смотрите, словно я к вам придираюсь. Да... я придираюсь к вам, кадет Биглер... Если вы не

уважаете своего начальника, стараетесь его осрамить, то я вам устрою такую службу, что вы, кадет Биглер, долго будете помнить станцию Раб. Хвастаться своими теоретическими познаниями... Погодите, вот прибудем на фронт... Тогда я пошлю вас в офицерскую разведку за проволочные заграждения... А как вы рапортуете? Да я и рапорта от вас не слышал, когда вы вошли... Даже теоретически, кадет Биглер...

— Осмелюсь доложить, господин капитан[486], что вместо ста пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. Пожалуйста, господин капитан...

Биглер подал командиру батальона две открытки, изданные дирекцией венского военного архива, начальником которого был генерал-от-инфантерии Войнович. На одной стороне был изображен русский солдат, бородатый мужик, которого обнимает скелет. Под карикатурой была подпись: «Der Tag, an dem das perfide Rusland krepieren wird, wird ein Tag der Erlösung für unsere ganze Monarchie sein»[487]. Другая открытка была сделана в Германской империи. Это был подарок германцев австро-венгерским воинам. Наверху открытки было напечатано: «Viribus unitis»[488], ниже помещалась картинка — сэр Грей на виселице; внизу под ним весело отдают честь австрийский и германский солдаты. Под картинкой стишок из книжки Грейнца «Железный кулак» — веселые куплеты о наших врагах. Германские газеты отмечали, что стихи Грейнца хлестки, полны неподдельного юмора и непревзойденного остроумия.

Текст под виселицей в переводе:

*ГРЕЙ*

*На виселице в приятной выси  
качается Эдвард Грей из породы лисьей  
Надо бы повесить его ранее, но обратите внимание:  
ни один наш дуб сука́ не дал,  
чтоб баюкать того, кто Христа предал,  
и приходится болтаться скотине  
на французской республиканской осине.*

Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полные «неподдельного юмора и непревзойденного остроумия», как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич.

Он был послан капитаном Сагнером на телеграф при станционной военной комендатуре узнать, нет ли каких приказов, и принес телеграмму из бригады. Прибегать к шифровальному ключу не пришлось. Телеграмма была нешифрованная и гласила: «Rasch abkochen, dann Vormarsch nach Sokal»[489].

Капитан Сагнер озабоченно покачал головой.

— Осмелюсь доложить, — сказал Матушич, — комендант станции велел просить вас лично зайти к нему для переговоров. Получена еще одна телеграмма.

Несколько позже между комендантом вокзала и капитаном Сагнером произошел строго конфиденциальный разговор.

Содержание первой телеграммы: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль» — вызвало недоумение: ведь в данный момент батальон находился на станции Раб. И все же телеграмма должна была быть передана по назначению. Адресат — маршевый батальон Девяносто первого полка, копия — мар-

шевому батальону Семьдесят пятого полка, который находился позади. Подпись правильная: «Командующий бригадой Риттер фон Герберт».

— Весьма секретно, господин капитан, — предостерег комендант вокзала. — Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир вашей бригады сошел с ума. Его отправили в Вену после того, как он разослал из бригады по всем направлениям несколько дюжин подобных телеграмм. В Будапеште вы получите еще одну такую же телеграмму. Все его телеграммы, понятно, следует аннулировать. Но пока мы никакого распоряжения не получили. У меня на руках, как я уже сказал, только приказ из дивизии: нешифрованные телеграммы во внимание не принимать. Но вручать я их обязан, так как на этот счет я не получил от своих инстанций никаких указаний. Через свои инстанции я справлялся у командования армейского корпуса. Начато расследование... Я кадровый офицер старой саперной службы, — прибавил он. — Участвовал в строительстве нашей стратегической железной дороги в Галиции. Господин капитан, — сказал он немного погодя, — нас, стариков, начавших службу с рядового солдата, гонят только на фронт! Нынче в военном министерстве штатских инженеров путей сообщения, сдавших экзамен на вольноопределяющегося, как собак нерезанных... Впрочем, вы ведь все равно через четверть часа поедете дальше... Помню, как однажды в кадетской школе в Праге я, ваш старший товарищ, помогал вам при упражнениях на трапеции. Тогда нас обоих оставили без отпуска. Вы ведь тоже дрались в своем классе с немцами...[490] С вами вместе учился Лукаш, и вы, кажется, были большими друзьями. Все это вспомнилось мне, когда я по телеграфу получил список офицеров маршевого батальона, которые проследуют через мою станцию с маршевым батальоном. Много воды утекло с тех пор. Я тогда очень симпатизировал кадету Лукашу.

На капитана Сагнера весь этот разговор произвел удручающее впечатление. Он узнал того, с кем говорил. В бытность свою учеником кадетского училища комендант руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционные настроения. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам, не в пример ему, Сагнеру, всюду обходили.

— Поручик Лукаш — отличный офицер, — подчеркнуто сказал капитан Сагнер. — Когда отправится поезд?

Комендант станции посмотрел на часы:

— Через шесть минут.

— Иду, — заторопился Сагнер.

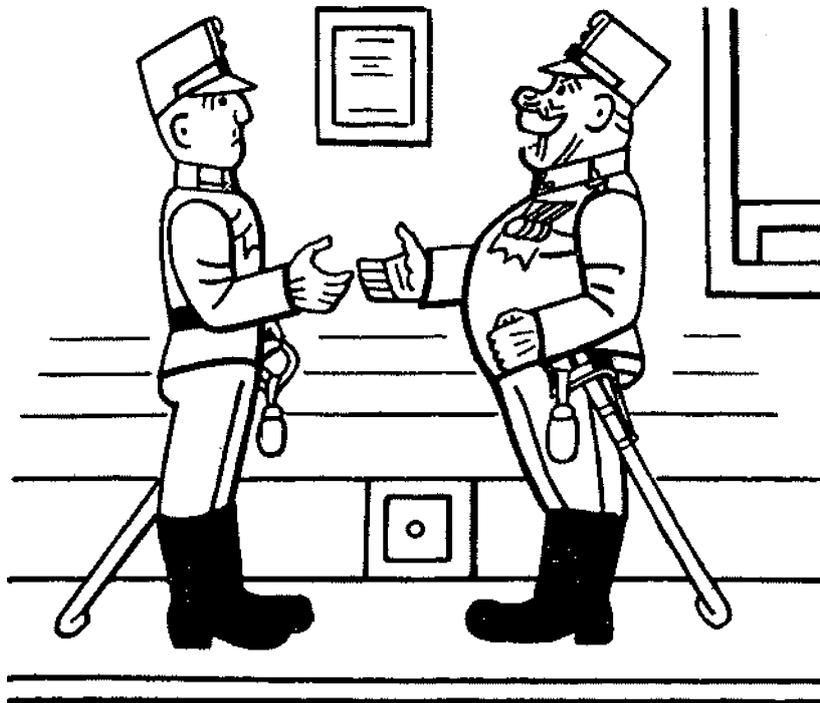
— Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер...

— Ну что же, привет! — ответил Сагнер и вышел из помещения комендатуры вокзала.

Вернувшись в штабной вагон поезда, капитан Сагнер нашел всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в «чапари» (frische viere). Не играл только кадет Биглер. Он перелистывал начатые рукописи о событиях на театре военных действий. Кадет Биглер мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще, как летописец военных событий. Владелец удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся военным писателем. Его литературные опыты начинались много-

обещающими заглавиями, и в них, как в зеркале, отражался милитаризм той эпохи. Но темы еще не были разработаны, на четвертушках бумаги значились только наименования будущих трудов.

«Образы воинов великой войны», «Кто начал войну?», «Политика Австро-Венгрии и рождение мировой войны», «Заметки с театра военных действий», «Австро-Венгрия и мировая война», «Уроки войны», «Популярная лекция о возникновении войны», «Размышления на военно-политические темы», «День славы Австро-Венгрии», «Славянский империализм и мировая война», «Военные документы», «Материалы по истории мировой войны», «Дневник мировой войны», «Ежедневный обзор мировой войны», «Первая мировая война», «Наша династия в мировой войне», «Народы Австро-Венгерской монархии под ружьем», «Борьба за мировое господство», «Мой опыт в мировую войну», «Хроника моего военного похода», «Как воюют враги Австро-Венгрии», «Кто победит?», «Наши офицеры и наши солдаты», «Достопамятные деяния моих: солдат», «Из эпохи великой войны», «В пылу сражений», «Книга об австро-венгерских героях», «Железная бригада», «Собрание моих писем с фронта», «Герои нашего маршевого батальона», «Пособие для солдат на фронте», «Дни сражений и дни побед», «Что я видел и испытал на поле сражения», «В окопах», «Офицер рассказывает...», «С сынами Австро-Венгрии вперед!», «Вражеские аэропланы и наша пехота», «После боя», «Наши артиллеристы — верные сыны родины», «Даже если бы все черти восстали против нас...», «Война оборонительная и война наступательная», «Кровь и железо», «Победа или смерть», «Наши герои в плену».



Капитан Сагнер подошел к кадету Биглеру, просмотрел все рукописи и спросил, для чего он все это написал и что все это значит.

Кадет Биглер восторженно ответил, что каждая надпись означает заглавие книги, которую он напишет. Сколько заглавий — столько книг.

— Я хотел бы, господин капитан, чтобы обо мне, когда я паду на поле брани, сохранилась память. Моим идеалом является немецкий профессор Удо Крафт. Он родился в тысяча восемьсот семидесятом году, в нынешнюю мировую войну добровольно вступил в ряды войск и пал двадцать второго августа

тысяча девятьсот четырнадцатого года в Анло. Перед своей смертью он издал книгу «Самовоспитание с целью умереть за императора»[491].

Капитан Сагнер отвел Биглера к окну.

— Покажите, кадет Биглер, что там еще у вас. Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность, — с нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер. — Что за тетрадку вы сунули за пазуху?

— Да так, пустяки, господин капитан, — смутился Биглер и по-детски залился румянцем, — Извольте удостовериться.

Тетрадь была озаглавлена:

*СХЕМЫ ВЫДАЮЩИХСЯ И СЛАВНЫХ БИТВ ВОЙСК АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ. СОСТАВЛЕНО СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИМПЕРАТОРСКИМ КОРОЛЕВСКИМ ОФИЦЕРОМ АДОЛЬФОМ БИГЛЕРОМ.*

*ПРИМЕЧАНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ СНАБДИЛ ИМПЕРАТОРСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОФИЦЕР АДОЛЬФ БИГЛЕР.*

Схемы были страшно примитивны.

Открывалась тетрадь схемой битвы у Нёрдлингена 6 сентября 1634 года, затем следовали битвы у Зенты 11 сентября 1697 года, у Кальдьеро 31 октября 1805 года, под Асперном 22 мая 1809 года, битва народов под Лейпцигом в 1813 году, далее битва под Санта-Лючией в мае 1848 года и бои у Трутнова 27 июня 1866 года. Последней в этой тетради была схема битвы у Сараева 19 августа 1878 года. Схемы и планы битв ничем не отличались друг от друга. Позиции одной воюющей стороны кадет Биглер обозначил пустыми клеточками, а другой — заштрихованными. На той и другой стороне был левый фланг, центр и правый фланг. Позади — резервы. Там и здесь — стрелки. Схема битвы под Нёрдлингеном, так же как и схема битвы у Сараева, напоминала футбольное поле, на котором еще в начале игры были расставлены игроки. Стрелки же указывали, куда та или другая сторона должна послать мяч.

Это моментально пришло в голову капитану Сагнеру, и он спросил:

— Кадет Биглер, вы играете в футбол?

Биглер еще больше покраснел и нервно заморгал; казалось, он собирается заплакать. Капитан Сагнер с усмешкой перелистывал тетрадку и остановился на примечании под схемой битвы у Трутнова в австро-прусскую войну.

Кадет Биглер писал: «Под Трутновом нельзя было давать сражения, ввиду того что гористая местность не позволяла генералу Мацухелли развернуть дивизию, которой угрожали сильные прусские колонны, расположенные на высотах, окружавших левый фланг нашей дивизии».

— По-вашему, сражение у Трутнова, — усмехнулся капитан Сагнер, возвращая тетрадку кадету Биглеру, — можно было дать только в том случае, если бы Трутнов лежал на ровном месте. Эх вы, будейовицкий Бенедек! Кадет Биглер, очень мило с вашей стороны, что за короткое время пребывания в рядах императорских войск вы старались вникнуть в стратегию. К сожалению, у вас все выглядит так, будто это мальчишки играют в солдаты и сами производят себя в генералы. Вы так быстро повысили себя в чине, прямо одно удовольствие! Императорский королевский офицер Адольф Биглер! Этак, пожалуй, мы еще не доедем до Будапешта, а вы уже будете фельдмаршалом. Еще позавчера вы взвешивали у папаши коровью кожу, императорский королевский лейтенант Адольф Биглер! Послушайте, ведь вы даже не офицер. Вы кадет. Вы

нечто среднее между ефрейтором и унтер-офицером. Вы с таким же правом можете называть себя офицером, как ефрейтор, который в трактире приказывает величать себя «господином штабным писарем».

— Послушай, Лукаш, — обратился он к поручику, — кадет Биглер у тебя в роте. Этого парня подтяни. Он подписывается офицером. Пусть сперва заслужит это звание в бою. Когда начнется ураганный артиллерийский огонь и мы пойдем в атаку, пусть кадет Биглер со своим взводом порежет проволочные заграждения, *der gute Junge!* А *propors*[492], тебе кланяется Цикан, он комендант вокзала в Рабе.

Кадет Биглер понял, что разговор закончен, отдал честь и, красный как рак, побежал по вагону, пока не очутился в самом конце коридора.

Словно лунатик, он отворил дверь уборной и, уставившись на немецко-венгерскую надпись «Пользование клозетом разрешается только во время движения», засопел, начал всхлипывать и горько расплакался. Потом спустил штаны и стал тужиться, утирая слезы. Затем использовал тетрадку, озаглавленную «Схемы выдающихся и славных битв австро-венгерской армии, составленные императорским королевским офицером Адольфом Биглером». Оскверненная тетрадь исчезла в дыре и, упав на колено, заметалась между рельсами под уходящим воинским поездом.

Кадет промыл покрасневшие глаза водой и вышел в коридор, решив быть сильным, дьявольски сильным. С утра у него болели голова и живот.

Он прошел мимо заднего купе, где ординарец батальона Матушич играл с денщиком командира батальона Батцером в венскую игру «шнопс» («шестьдесят шесть»).

Заглянув в открытую дверь купе, кадет Биглер кашлянул. Они обернулись и продолжали играть дальше.

— Не знаете разве, что полагается? — спросил кадет Биглер.

— Я не мог, *mi' is' d' Trump' ausganga*[493], — ответил денщик капитана Сагнера Батцер на ужасном немецком диалекте Кашперских гор. — Мне полагалось, господин кадет, идти с бубен, — продолжал он, — с крупных бубен и сразу после этого королем пик... вот что надо было мне сделать...

Не проронив больше ни слова, кадет Биглер залез в свой угол. Когда к нему подошел подпрапорщик Плешнер, чтоб угостить коньяком, выигранным им в карты, то удивился, до чего усердно кадет Биглер читает книгу профессора Удо Крафта «Самовоспитание с целью умереть за императора».

Еще до Будапешта кадет Биглер был в доску пьян Высунувшись из окна, он непрерывно кричал в безмолвное пространство:

— *Frisch drauf! Im Gottes Namen frisch drauf!*[494]

По приказу капитана Сагнера ординарец батальона Матушич втащил Биглера в купе и вместе с денщиком капитана Батцером уложил его на скамью.

Кадету Биглеру приснился сон.

### *СОН КАДЕТА БИГЛЕРА ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В БУДАПЕШТ*

*Он — майор, на груди у него signum laudis и железный крест. Он едет инспектировать участок вверенной ему бригады. Но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, все еще остается в чине майора. Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но «генерал» затерялся в бумагах на полевой почте. В душе он смеялся над капитаном Сагнером, который тогда, в поезде,*

грозился послать его резать проволочные заграждения. Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его — Биглера — предложению, были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус.

Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах. Когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него все было ясно. Собственно, он послан генеральным штабом армии.

Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских солдатских песен «Es gilt»:[495]

*Halt euch brav, ihr tapfren Brüder,  
werft den Feind nur herzlich nieder,  
laßt des Kaisers Fahne weh'n...[496]*

Пейзаж, напоминает иллюстрации из «Wiener Illustrierte Zeitung»[497]. На правой стороне у амбара разместилась артиллерия. Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле. Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается ружейными прикладами вышибить двери. Возле шоссе горит вражеский аэроплан. Вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни. Дальше, на небольшой возвышенности, расположены окопы маршевого батальона, откуда ведется пулеметный огонь. Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля. Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу: — Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель.

Но шофер спокойно отвечает:

— Господин генерал, это единственная приличная дорога. И в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат.

Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи.

Но шофер спокойно передает в трубку:

— Это отличное шоссе, господин генерал! Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина... Посмотрите, господин генерал! — снова кричит шофер. — Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцатисполовиной сантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно. А на этих каменистых проселочных дорогах у нас лопнули бы шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!

«Дз-дз-дз-дзум!» — слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.

— Не говорил ли я вам, господин генерал, — орет шофер в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцативосьмисантиметровка, а ямы никакой, шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле — и шинам конец. Теперь по нам стреляют с расстояния четырех километров.

— Куда мы едем?

— Это будет видно, — отвечает шофер, — пока шоссе такое, я за все ручаюсь.

Рывок! Страшный полет, и машина останавливается.

— Господин генерал, — кричит шофер, — есть у вас карта генерального штаба?

Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но это-морская карта гельголандского побережья 1864 года, времен войны Пруссии и Австрии с Данией за Шлезвиг.



— Здесь перекресток, — говорит шофер, — обе дороги ведут к вражеским позициям. Однако для меня важно только одно — хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал... Я отвечаю за штабной автомобиль...

Вдруг удар, оглушительный удар, и звезды становятся большими, как колеса. Млечный Путь густой, словно сливки.

Биглер — возносится во вселенную на одном сиденье с шофером. Все остальное обрезано, как ножницами. От автомобиля остался только боевой атакующий передок.

— Ваше счастье, — говорит шофер, — что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне, остальное взорвалось. Это была сорокадвухсантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит. После тридцативосьмисантиметровки могла быть только сорокадвухсантиметровка. Ведь других пока не производят, господин генерал.

— Куда вы правите?

— Летим на небо, господин генерал, нам необходимо сторониться комет. Они страшнее сорокадвухсантиметровок.

— Теперь под нами Марс, — сообщает шофер после долгой паузы.

Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным.

— Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом? — спрашивает он. — Фельдмаршал князь Шварценберг четырнадцатого октября тысяча восемьсот тринадцатого года шел на Либертковице, шестнадцатого октября произошло сражение за Линденау, бой генерала Мервельдта. Австрийские войска заняли Вахав, а когда девятнадцатого октября пал Лейпциг...

— Господин генерал, — вдруг перебил его шофер, — мы у врат небесных, вылезайте, господин генерал. Мы не можем проехать через небесные врата, здесь давка. Куда ни глянь — одни войска.

— Задавите кого-нибудь, — кричит он шоферу, — сразу посторонятся!

И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орет:

— Achtung, sie Schweinbande![498] Вот скоты, видят генерала и не подумают сделать равнение направо!

Шофер его успокаивает:

— Это им нелегко, господин генерал: у большинства оторваны голо-

вы.

Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела: головы, руки, ноги. Однако недостающее они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося возле небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом.

— Таков порядок, — опять поясняет шофер, проезжая сквозь густую толпу, — вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию. В небесные врата пропускают только по паролю, который генерал Биглер тут же вспомнил: «Für Gott und Kaiser»[499].

Автомобиль въезжает в рай.

— Господин генерал, — обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов, — вы должны явиться в ставку главнокомандующего.

Миновали учебный плац, кишевший рекрутами-ангелами, которых учили кричать «аллилуйя».

Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной форме, бил его кулаком в живот и орал: «Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья. Разве так кричат «аллилуйя»? Словно кнедлик застрял во рту. Хотел бы я знать, какой осел впустил тебя, скотину, сюда в рай? Попробуй еще раз...» — «Гла-гли-гля!» — «Ты что, бестия, и в раю у нас будешь гнусить? Еще раз попробуй, ты, кедр ливанский!»

Поехали дальше, но еще долго был слышен рев напуганного гнусавого ангела-рекрута: «Гла-гли-глу-гля» и крик ангела-капрала: «А-ли-лу-и-я-а-и-лу-и-я, корова ты иорданская!»



Потом они увидели величественное сияние над большим зданием, вроде Мариинских казарм в Чешских Будейовицах, а над зданием — два самолета, один слева, другой справа; между ними, посередине, натянуто громадное полотно с колоссальной надписью:

К. и. К. GOTTES HAUPTQUARTIER[500].

Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх, на вто-

рой этаж.

— Ведите себя прилично перед господом богом, — говорят они ему у дверей и вталкивают внутрь.

Посреди комнаты, на стенах которой висят портреты Франца-Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла-Франца-Иосифа, генерала Виктора Данкеля, эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит господь бог.

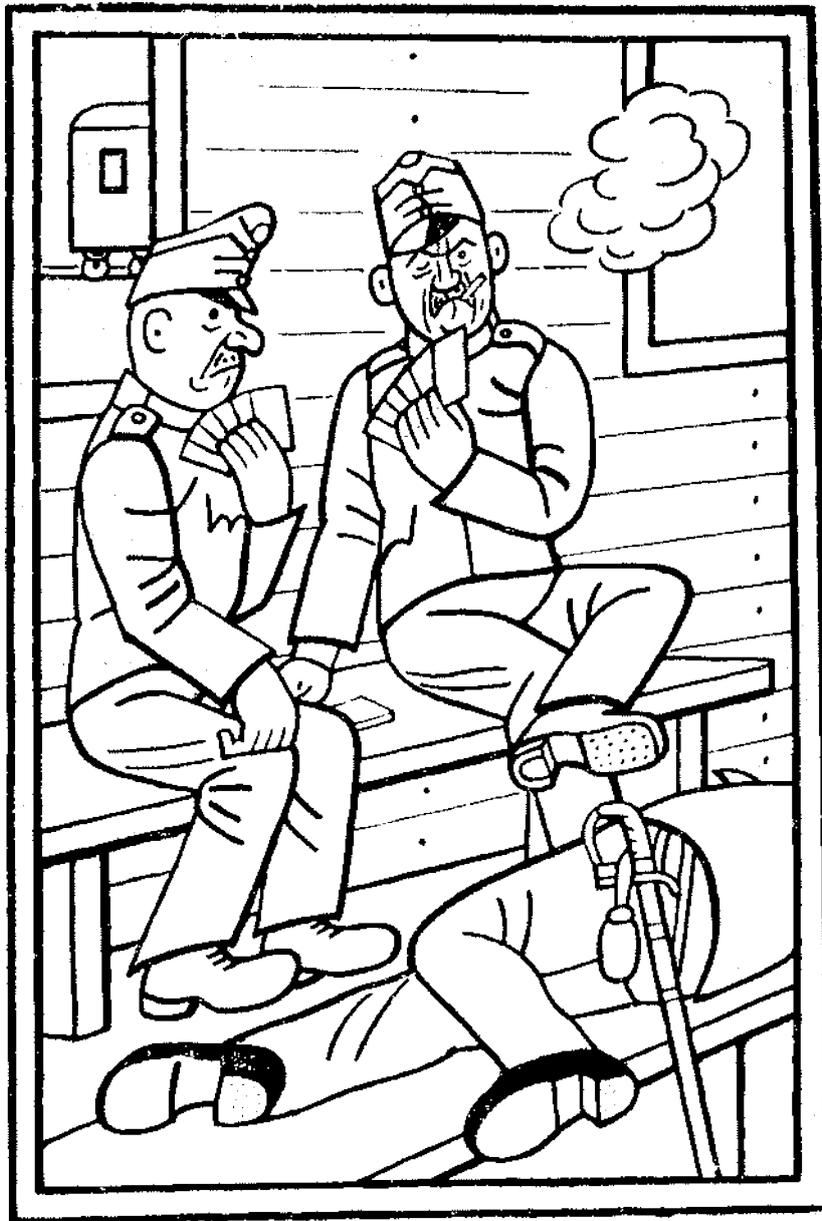
— Кадет Биглер, — строго спрашивает бог, — вы меня узнаете? Я бывший капитан Сагнер из одиннадцатой маршевой роты.

Биглер оцепенел.

— Кадет Биглер, — возглашает опять господь бог, — по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями?

— Осмелюсь доложить...

— Молчать, кадет Биглер, когда с вами разговаривает господь.



— Осмелюсь доложить, — еще раз, заикаясь, начинает Биглер.

— Так вы не изволите замолчать? — кричит бог, открывает дверь и зовет: — Два ангела, сюда!

В помещение входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнает в них Матушича и Батцера.

*А глас божий взывает:*

*— Бросьте его в сортир!*

*И кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью.*

Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Батцером и все время играли в «шестьдесят шесть».

— Stink awer d’Kerl wie a’Stockfisch[501], — обронил Батцер, с интересом наблюдавший, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится, — muß d’Hosen voll ha’n[502].

— Это с каждым может случиться, — философски заметил Матушич. — Не обращай внимания. Не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты.

Уже было видно зарево огней над Будапештом. Над Дунаем ощупывал небо прожектор.

Кадету Биглеру, очевидно, снилось уже другое. Он бормотал:

— Sagen sie meiner tapferen Armee, daß sie sich in meinem Herzen ein unvergängliches Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat[503].— Так как при этих словах он заворочался, вонь опять ударила Батцеру в нос, он сплюнул и проворчал:

— Stink, wie a’Haizlputza, wie a’bescheißena Haizlputza![504]

А кадет Биглер ворочался все беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен: он защищал Линц в войне за австрийское наследство. Ему снились редуты и укрепления вокруг города. Его славная ставка превращена в большой госпиталь. Повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I.

А он, комендант города, стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламентарю:

— Передайте своему императору, что я не сдамся!

Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города, вперед, к славе и победе, и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него — Биглера — защитника осажденного Линца.

Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая:

— Ein Mann, wie Sie, Herr Oberst, ist nötiger, als ein nichtsnutziger Oberleutnant![505]

Растроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит:

— Санитары! Санитары! — и падает с коня...

Батцер и Матушич подняли свалившегося кадета Биглера и положили обратно на лавку.

Затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное.

— Это не с коньяку, — сказал он. — Вернее всего — холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. В Мошоне я видел, как он...

— Холеру сразу не схватишь, Матушич. Скажите врачу — он в соседнем в купе, пусть осмотрит.

К батальону был прикомандирован «врач военного времени», вечный сту-

дент-медик и корпорант Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои пять пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-Венгрии, был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди студенту-медику Фридриху Вельферу выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в четыре больше жалованья ассистента в больнице. И кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины.

Наследники чуть не сошли с ума, объявляли его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться. Член приблизительно двенадцати корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался в «*Simplizissimus*» и спокойно продолжал учиться: над ним не каплет!

Но вот разыгралась война и коварно нанесла ему удар в спину. Поэта, автора книг «*Lachende Lieder*»[506], «*Krug und Wissenschaft*»[507], «*Märchen und Parabeln*»[508], забрали безо всяких, а один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание «лекаря военного времени». Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ: «*Lecken Sie mir Arsch*»[509]. Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это все предано забвению.

Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошел служить. После того как было установлено, что по отношению к солдатам он вел себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, в то время когда лозунгом было: «Валиться и подохнуть в больнице или валиться и подохнуть в окопах — все равно подохнуть», — доктора Вельфера отправили с тринадцатым маршевым батальоном на фронт.

Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным, офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним. Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учебы множество офицеров. Когда Вельфер — «лекарь военного времени» — прошел мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках, вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на третьем году обучения в кадетской школе он с товарищами «из штатских» был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору-словаку. Тот угостил их жареной свиной с гарниром из тыквы. Потом налил вина и сказал:

*Тыква, свинья  
хотят вина, —*

на что Лукаш страшно обиделся[510].

— Будапешта мы почти не увидим, — с сожалением заметил капитан Сагнер. — Нас везут по окружной. Согласно маршруту мы простоим здесь только два часа.

— Думаю, что будут переформировывать состав, — ответил поручик Лукаш. — Мы прибудем на сортировочную станцию Transport-Militär-Bahnhof [511].

К ним подошел «лекарь военного времени» Вельфер.

— Пустяки, — сказал он, улыбаясь. — Господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в Офицерском собрании своими стратегическо-историческими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно в один присест съедать посылку со сладостями. С момента отъезда из Брука кадет Биглер проглотил, как он сам признается, тридцать трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипяченую воду. Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера: «*Wer sagt von...*»[512]

— Послушайте, доктор, — прервал его капитан Сагнер, — не о Шиллере речь. Что, собственно, с кадетом Биглером?

«Лекарь военного времени» Вельфер ухмыльнулся:

— Кандидат в офицеры, *ваш* кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного, человек всего-навсего обделался. *Ваш* господин кандидат в офицеры выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребенок. Насколько мне известно, в Офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент...

Доктор Вельфер сплюнул.

— Он покупал всегда линцские пирожные!

— Значит, ничего серьезного? — переспросил капитан Сагнер. — Но... получив огласку, такое дело...

Поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру:

— Благодарю покорно за такого взводного командира!

— Я помог ему стать на ноги, — сказал Вельфер, не переставая улыбаться. — Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжелый случай дизентерии... необходима изоляция. Кадет Биглер попадет в заразный барак... Это, без сомнения, лучший выход из положения, — продолжал Вельфер с тою же отвратительной улыбкой, — Одно дело — обделававшийся кадет, другое — кадет, заболевший дизентерией.

Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу:

— Господин поручик, кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште.

Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеется, но, когда он взглянул на «лекаря военного времени», лицо того выражало полное безразличие.

— Итак, все в порядке, господин капитан, — спокойно произнес Вельфер, — кандидат на офицерский чин... — Он махнул рукой: — При дизентерии каждый может наложить в штаны.

Таким образом, доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изоля-

тор в Уйбуде.

Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны.

Грезы кадета Биглера о великих победах были заключены в одну из палат изоляционных барачков.

Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришел в восторг.

Велика ли разница: быть раненым или заболеть за государя императора при исполнении своего долга?

В госпитале с ним произошла маленькая неприятность: ввиду того что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барак.

Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач-мадьяр задумчиво покачал головой: 37°! Худший симптом при холере — сильное падение температуры. Больной становится апатичным.

Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что все равно страдает за государя императора.

Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход.

— Последняя стадия холеры, — решил он. — Начало конца. Крайняя слабость, больной перестает реагировать на окружающее, сознание затемнено. Умиравший улыбается в предсмертной агонии.

Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем.

— Симптомы медленного умирания, — определил штабной врач. — Пассивность...

Для верности он спросил венгерского санитаря унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне.

Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. Если при холере прекращаются понос и рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью.

Кадет Биглер, которого вынули из теплой ванны и совершенно голого положили на койку, страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей.

— Вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач. — Сильный озноб и похолодевшие конечности. Это — конец.

Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил по-немецки:

— Also, wie geht's?[513]

— S-s-se-hr-hr-gu-gu-tt, — застучал зубами кадет Биглер. — ...Ei-ne De-deck-ke!  
[514]

— Сознание моментами затемнено, моментами просветляется, — опять по-венгерски сказал штабной врач. — Тело худое. Губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют. — Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал: — Сердце не прослушивается.

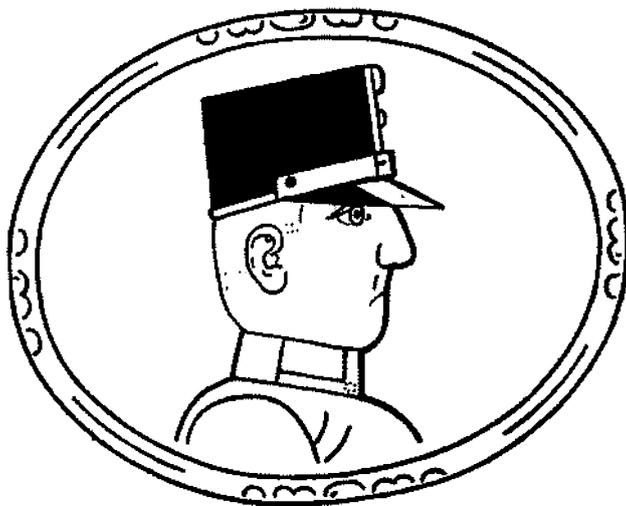
— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke, — стуча зубами, снова попросил кадет Биглер.

— Это его последние слова, — обращаясь к санитарю унтер-офицеру по-венгерски, предсказал штабной врач. — Завтра мы его похороним вместе с майо-

ром Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии?

— Будут там, — спокойно ответил санитар унтер-офицер.

— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke, — умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим.



В палате, где стояло шестнадцать коек, лежало всего пять человек, один из них — мертвый. Он умер два часа назад и был накрыт простыней. Умерший носил фамилию ученого, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера.

Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя императора. Из четырех оставшихся в живых двое умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение.

У двух других наступила бурная реакция, свидетельствующая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на штирийском наречии (как разобрал кадет Биглер), и успокаивал их.

— И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот вам и лучше стало. Получите отпуск и...

— Да не дрыгай ты ногами! — прикрикнул он на одного из больных, который наподдал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову. — У нас это не полагается. Скажи спасибо, что у тебя горячка. По крайней мере, не повезут отсюда с музыкой. Оба вы уже отделались.

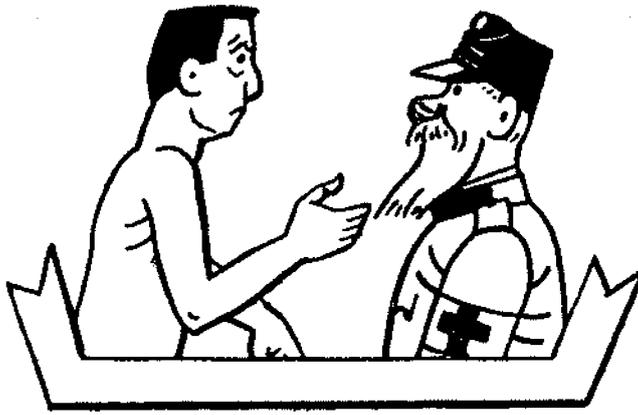
Он оглянулся.

— Вон те двое померли. Мы так и знали, — сказал он добродушно. — Будьте довольны, что отделались. Пойду за простынями.

Спустя некоторое время он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустил на колени и начал:

— Heilige Marie, Mutter Gottes![515]

Видавший виды санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни.



— Heilige Marie, Mutter Gottes! — набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу.

Это был кадет Биглер.

— Послушайте... — сказал он — Я купался... То есть меня купали... Мне нужно одеяло... Мне холодно...

— Исключительный случай, — полчаса спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. — Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасный госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл... Наша наука так далеко ушла вперед, что мы точно можем это установить. Вы из Девяносто первого полка?

— Тридцатого маршевого батальона, одиннадцатой роты, — ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер.

— Пишите, — приказал штабной врач: — «Кадет Биглер тринадцатого маршевого батальона, одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов. Носитель холерных бацилл...»

Так, полный энтузиазма воин, кадет Биглер стал носителем холерных бацилл.

## Глава II В Будапеште

**Н**а будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль». К этому было прибавлено: «Обоз зачислить в восточную группу. Разведочная служба отменяется. Тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах».

Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливой улыбкой встретил маленький толстый офицер.

— Ну и наворотил наш бригадный генерал, — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. — Но мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжения не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал четырнадцатый маршевый батальон Семьдесят пятого полка, и командир батальона получил телеграмму: выдать всей команде по шесть крон в качестве особой награды за Перемышль. К тому же было отдано распоряжение: две из этих шести крон каждый солдат должен внести на

военный заем... По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич.

— Господин майор, — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала. — Согласно приказам по полку, мы едем по маршруту к Гёдёллэ. Команде полагается получить здесь по сто пятьдесят граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили.

— И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь, — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. — Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. Впрочем, это не мое дело, обратитесь в управление по снабжению.



— Когда мы отправляемся, господин майор?

— Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя двадцать пять минут после артиллерии. На двенадцатом пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется десять минут спустя после санитарного, и через двадцать минут после него мы отправим ваш поезд. Конечно, если не будет каких-либо изменений, — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивел капитану Сагнеру.

— Извините, господин майор, — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер, — можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о ста пятидесяти граммах швейцарского сыра для полков из Чехии.

— Это секретный приказ, — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште.

«Нечего сказать, сел я в лужу, — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. — На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти с ними и с солдатами на продовольственный склад?»

Командир одиннадцатой роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по сто пятьдесят граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным Балоуном.

Балоун весь трясся.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк с обычной для него расторопностью, — дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справиться это дело где-нибудь в сторонке. Так выразился один мой товарищ, Шпатина из Згоржа, когда был шафером на свадьбе и ему в церкви вдруг захотелось...

— В чем дело, Швейк? — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку, так же как и Швейк по поручику Лукашу. — Отойдем.

Балоун поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками.

— Так в чем дело, Швейк? — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — выпалил Швейк, — всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы Балоун, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. Получил ты этот приказ или нет? — обратился Швейк к Балоуну.

Балоун еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника.

— К сожалению, господин обер-лейтенант, — продолжал Швейк, — этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я... Я его сожрал, — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балоуна. — Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печени. Раз это произошло в Здеразе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Младой Болеславе, раз в Пршибраме. Все отравленные умерли. Паштет из печени — ужаснейшая мерзость...

Балоун, трясаясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало.

— Что с вами, Балоун?

— Блю-блю-ю, го-го-сподин об-бе-бер-лей-те-нант, — между приступами рвоты кричал несчастный Балоун. — Э-э-э-то я со-со-жрал... — Из рта страдальца Балоуна лезли также куски станиолевой обертки паштета.

— Как видите, господин обер-лейтенант, — ничуть не растерявшись, сказал Швейк, — каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка, Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балоун вполне порядочный человек, но сожрет все, что ни доверь. Я знал еще одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копченого ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно: обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что, когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса.

Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь.

— Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант? — прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балоун непрерывно совал палец в глотку.

Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу.

На ум ему пришла парадоксальная мысль: раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров — Австрия выиграть войны не сможет.

Между тем Швейк перевел Балоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебреценских сосисок. Представление Швейка о столице венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копченостей.

— Как бы наш поезд не ушел, — заныл Балоун, ненасытность которого сочелась с исключительной скупостью.

— Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Балоун! Дрожишь за свой карман.

Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда «по вагонам». Солдаты разных рот возвращались к своим вагонам не солоно хлебавши. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии (Вена, XIX/4, ул. Канизусгассе). Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра им вручили Седлецкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвергшимся от фронта, вольноопределяющимся старшим писарем Шольцем.

У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона сгрудились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года.

Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии.

Еще в Бруке-на-Лейте в Офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии, однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого я вдоволь наемся у врат Вероны».

Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу.

Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ:

— «Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник — итальянский король — играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с двадцать второго на двадцать третье мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандую-

щий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймет, что, позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Виченце, Новаре, Кустоце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим!»



Потом последовало обычное «dreimal hoch»[516], и приунывшее воинство село в поезд. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией.

В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходоунский, Балоун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну.

— Подобный же случай произошел в Праге на Таборской улице, — начал Швейк. — Там жил купец Горжейший, неподалеку от него, напротив, в своей лавчонке хозяйничал купец Пошмоурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа.

Так вот, купцу Горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмоурного, и он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой «Горжейший и Гавласа». Но лавочник Гавласа пошел к купцу Пошмоурному да и рассказал ему, что Горжейший дает тысячу двести крон за его лавчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмоурный даст ему тысячу восемьсот, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжейшего. Договорились. Однако Гавласа, предав Горжейшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг, а когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал: «Да-да, скоро, скоро. Я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну, а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал Горжейшему. Вот раз утром пошел Горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента

большую вывеску, а на ней большими буквами выведено название фирмы «Пошмоурный и Гавласа».

— У нас, — вмешался глуповатый Балоун, — тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить телку, уже договорился, а вотицкий мясник возьми да и перехвати ее у меня под самым носом.

— Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розог, говорил, бывало, дедушка Хованец из Мотоле, который за небольшое вознаграждение сек соседских детей.

— Боюсь только, — высказал свои опасения Балоун, задрожав всем телом, — как бы из-за этой самой Италии нам пайки не сократили.

Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил:

— Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится.

— Эх, нам бы нового Радецкого, — сказал Швейк. — Вот кто был знаком с тамошним краем! Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь не легко — куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и состоит настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Как-то в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке поймали вора. Но он, подлец, когда лез, заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже не выбрался. Но наш отец родной, Радецкий, знал в Италии «каждую стежку», его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии и итальянцы удирали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он, потому что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию. После этого ему присвоили звание фельдмаршала.

— Нечего и говорить, прекрасная страна, — вступил в разговор повар Юрайда. — Я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиной. Когда он рассердится, все у него «porco maledetto»[517]. И папа римский у него «porco»[518], и «madonna mia é porco, papaí é porco»[519].

Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Кралупах в своей аптекарской лавке он готовил лимонные сиропы, — это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии.

— Легко сказать, отомстить! — с улыбкой возразил Швейк. — Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помо-



чился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Притом это дешево: всего шесть крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку!» В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в шесть крон. И насолил же ему этот господин своим анализом! Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что это человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к семи часам прийти к нему за мочой. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал: «Мое почтение, пан Малек, с добрым утром! Вот вам бутылочка, извольте помо-

читься. Мне с вас следует получить шесть крон». Тут такое началось!.. Хоть святых вон выноси! Швейцар выскочил из постели в одних подштанниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнет его в шкаф! Тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштанниках погнался за ним вниз по Челаковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малек вскочил в трамвай. Швейцара схватил полицейский, он подрался и с полицейским. А так как швейцар был в одних подштанниках и все у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и повезли в полицию, а он и из корзины ревел, как тур: «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу!» Ему дали шесть месяцев за насилие, совершенное в общественном месте, и за оскорбление полиции, но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. Может быть, сидит, бедняга, и по сей день. Вот почему я и говорю: «Когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный».

Балоун между тем напряженно и долго о чем-то размышлял и наконец с трепетом спросил Ванека:

— Простите, господин старший писарь, значит, по-вашему, из-за войны с Италией нам урежут пайки?

— Ясно как божий день, — ответил Ванек.

— Иисус Мария! — воскликнул Балоун, опустив голову на руки, и затих в углу.

Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии.



В штабном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб.

Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император

Максимилиан, который влез на скалу и не смог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый; в старших классах темы были более сложными. Например, в седьмом классе предлагалось сочинение «Император Франц-Иосиф — покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения Австро-Венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца-Иосифа I в Праге.

Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн.

В обществе его не любили, так как было определено известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом «тройки» крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках, дозволенных в Австро-Венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном косного преподавателя гимназии:

— В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще три месяца назад. После своей победоносной войны с Турцией из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и Южного Тироля. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает ирредентистское движение на юге. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад я — это было, следовательно, в Балканскую войну, во время аферы нашего консула Прохазки, — в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. И вот мы до этого дожили! — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтоб этот штатский трепач провалился в тартарары. — Правда, — продолжал он, несколько успокоившись, — в большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в тысяча восемьсот сорок восьмом году, равно как и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом... О них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг и еще перед окончанием учебного года почти, так сказать, в самом начале войны задал своим ученикам сочинение на тему «Unsere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custozza, oder...»[520].

И дурак подпоручик Дуб торжественно присовокупил:

— Blut und Leben für ein Osterreich, ganz, einig, groß!..[521]

Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся ситуации, и тогда он еще раз докажет, что уже пять лет тому назад предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнер, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск «Пе-

стер-Ллойд», просматривая газету, воскликнул: «Послушайте, та самая Вейнер, на гастролях которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь на сцене Малого театра!»

На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.

Ординарец батальона Матушич и денщик Сагнера Батцер, также ехавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения: еще давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в маневрах в Южном Тироле.

— Тяжело нам будет лазить по холмам, — вздохнул Батцер, — у капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. Я сам горный житель, но это совсем другое дело, когда, бывало, спрячешь ружье под куртку и идешь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга.

— Если нас действительно перебросят на юг, в Италию... Мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до жратвы, то там, на юге, одна полента и растительное масло, — печально сказал Матушич.

— А почему бы и не сунуть нас в эти горы? — разволновался Батцер. — Наш полк был и в Сербии и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. Два раза я их терял. Один раз в Сербии, другой раз в Карпатах. Во время такой баталии все может случиться. Может, то же самое ждет меня и в третий раз, на итальянской границе, а что касается тамошней жратвы... — Он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил: — Знаешь, у нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, повалят в яйцо, посыплют как следует сухарями, а потом... а потом поджаривают на свином сале!



Последнее слово он произнес замирающим от восторга голосом.

— Но лучше всего кнедлики с кислой капустой, — прибавил он меланхолически, — а макаронам место в сортире.

На этом и здесь закончился разговор об Италии...

В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повернут и пошлют в Италию, так как он уже больше двух часов стоит на вокзале.

Это отчасти подтвердилось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелонем. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба.

Но приказ есть приказ, санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона № 728, а потому преспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба, и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное.

Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю:

— Ну и дохлятинка.

Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика еще одни, ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал-дохлятинка улыбнулся придурковато, как, бывало, улыбался император Франц-Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал:

— Это хорошо, это хорошо!

После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорова ли его супруга.

— Осмелюсь доложить, — рявкнул капрал, — я холост!

На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал свое:

— Это хорошо, это хорошо!

Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду: «На первый-второй — рассчитайсь!» И тут же раздалось:

— Первый-второй, первый-второй, первый-второй...

Генерал-дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали:

— Первый-второй, первый-второй.

Таких генералов в Австрии было великое множество.

Когда осмотр благополучно окончился, генерал не поспешил на похвалы капитану Сагнеру; солдатам разрешили прогуляться по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через три часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрелнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклянчить сигарету.

Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов: теперь солдатам приходилось попрошайничать.

К капитану Сагнеру прибыла делегация от «Кружка для приветствия героев» в составе двух невероятно изможденных дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно: двадцать коробочек ароматных таблеток для освежения рта — реклама одной будапештской конфетной фаб-

рики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвед, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними — сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках: «Für Kaiser, Gott und Vaterland»[522].

Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед господом богом.

В каждой коробочке содержалось восемьдесят таблеток, так что на трех человек приходилось приблизительно по пять таблеток. Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар-Будафалу. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства «*Baszom a Kristusmarját*».

По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских, англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий Ирод.

Преосвященный архиепископ будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как: «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов. Да направит наисправедливейший господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный боже, содей так, дабы все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Следует еще раз отметить, что этим молитвам не хватало только: «*Baszom a Kristusmarját!*»



Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе как «*unsere braven Feldgrauen*»[523]. Обе состроили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были пе-

реправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не преминула похлопать по щеке бородастого Шимека из Будейовиц. Шимек, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам:

— Ну и нахальные эти шлюхи. Хоть бы мордой вышла, а то ведь цапля цаплей. Кроме тощих ног, ничего нет, а страшна как смертный грех; и этакая старая карга еще заигрывает с солдатами!..

На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику: два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев, по неизвестным причинам, ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Боснийцы целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христарадничать. Здесь, кроме злобной матерщины возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы боснийцев, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон Девяносто первого полка был опять согнан, и солдаты рассеялись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через три часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов.

Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем — наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют.

Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородастого казака.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел.

— Что же, собственно, вам тут не нравится? — спросил подпоручик Дуб.

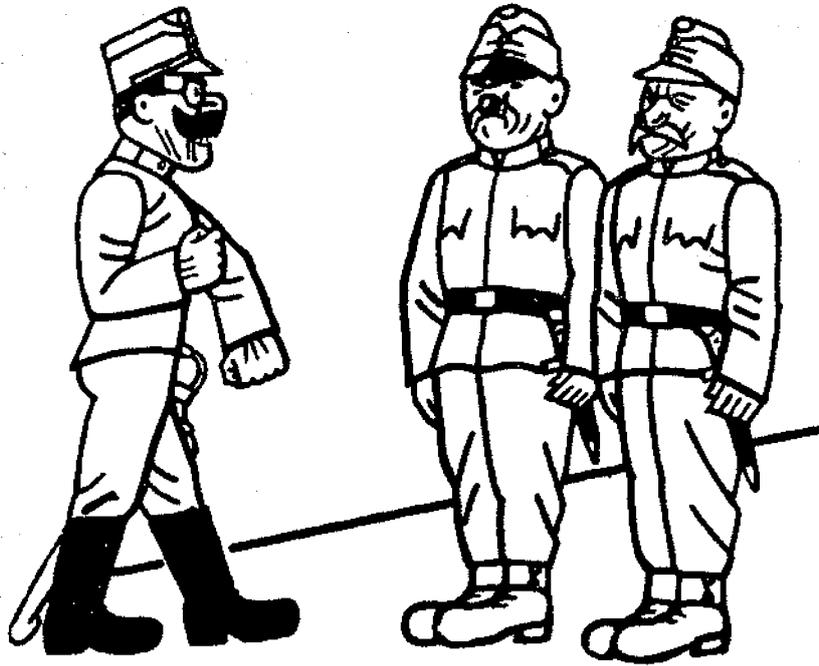
— Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему, его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо, все же и они люди.

Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос:

— Вам жалко этого русского, не правда ли?

— Мне жалко, господин лейтенант, их обоих: русского, потому что его прогнали, и нашего — потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь — она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил:

«Когда раздаётся «Набacht», ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку». А в общем, это был очень хороший человек. Раз на рождество он спятил: купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Полроты переломало штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм... а господин лейтенант сидел под домашним арестом.



Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил:

— Вы меня знаете?

— Знаю, господин лейтенант.

Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.

— А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!

Швейк невозмутимо-спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил:

— Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона.

— Вы меня не знаете, — снова закричал подпоручик Дуб. — Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. Так знаете теперь, с кем имеете дело, или нет?

— Знаю, господин лейтенант.

— В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете! Осел! Есть у вас братья?

— Так-точно, господин лейтенант, есть один.

Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное, открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал:

— Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы! Кем он был?

— Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера.

Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд подпоручика, и вскоре разговор окончился словом: «Abtreten!»

Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем.

Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану и тот прикажет арестовать Швейка; Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всем полку не сыщешь.

Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же Девяносто первого полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками: на вокзале и около него их бродило несметное множество.

Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба:

— Вы меня не знаете?!

А я вам говорю, что вы меня не знаете!..

Но вы меня еще узнаете!..

Может, вы меня знаете только с хорошей стороны!..

А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны!.. Я вас до слез доведу! Ослы!

Есть у вас братья?!!

Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе... Ну, хорошо... Не забывайте, что вы солдаты... Вы чехи?.. Знаете, что Палацкий сказал: если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать!.. Abtreten!

Но, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки «доставить их до слез» потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет.

Господин окружной начальник был того же мнения.

Особенно теперь, во время войны. Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию.

Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям, из роты дело поступает, как, вероятно, известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции — с рапортом к батальонному командиру. Однако если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявле-

нием о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтоб Швейк был вызван и допрошен.

Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса.

Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству.

— Впрочем, — добавил он, — судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный.

Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим.

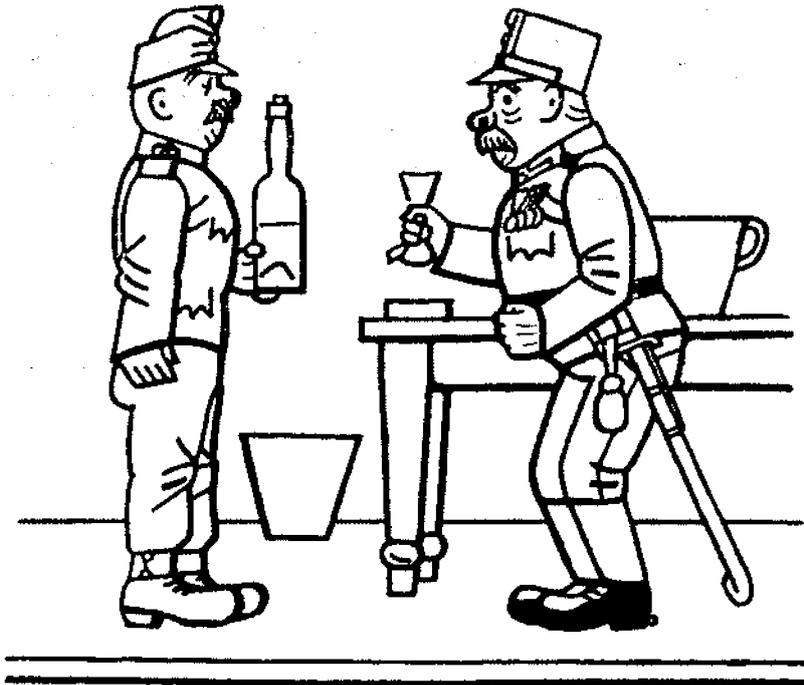
В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось: со всем предназначенным для солдат в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками.

Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей всевозможных канцелярий подозревали в превышении сметы и жульничестве.

Ввиду этого, пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, — если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью, — Баутанцель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути.

— Я проделал с маршевым батальоном уже два похода. Но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал. Эх, ребята! Прежде, до приезда в Прешов, у нас было все, что только душеньке угодно! У меня было припрятано десять тысяч «мемфисок», два круга швейцарского сыра, триста банок консервов. Когда мы направились на Бардеёв, в окопы, а русские у Мушины перерезали сообщение с Прешовом... Вот тут пошла торговля! Я для отвода глаз отдал маршевому батальону десятую часть своих запасов, это я, дескать, сэкономил, а все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка — настоящая свинья! Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шрапнель. Придет, бывало, к нам, он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовят обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, напьется сначала на кухне рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни: они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе, около окопов, было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть и речи. Единственную свободную дорогу, связывавшую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла, все сжирали сами, так что нам уж ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойка ничего не узнал, мы припрятали поро-

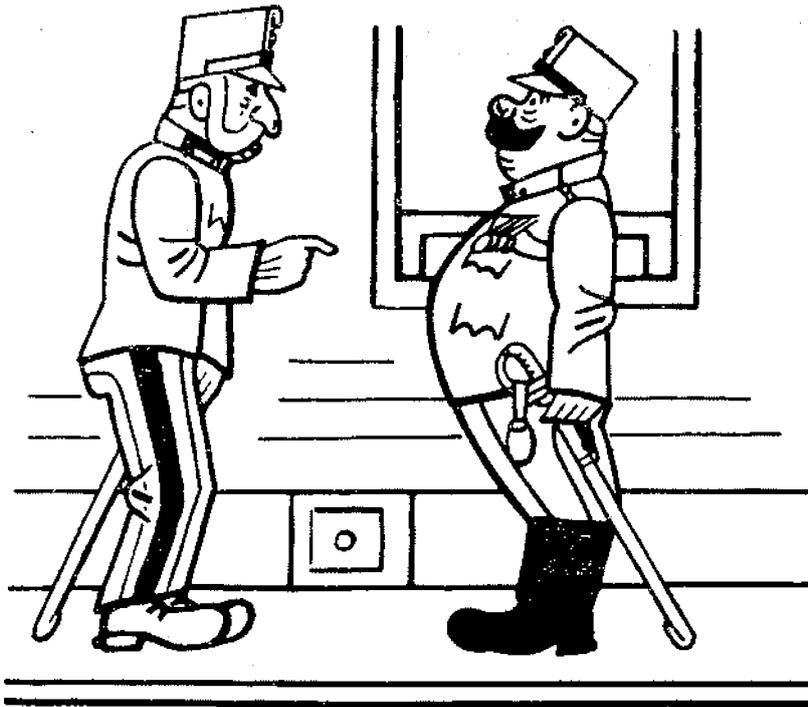
сенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и прежде всего попробует в кухне похлебку. Правда, мяса варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут пруссаки были нашими постоянными конкурентами; ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бардеёвом, я на закупке скота сэкономил тысячу двести крон с небольшим, да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платили бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радвани, а на западе — в Подолине. Нет хуже работать с таким народом, как тамошний: не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика.



Наше интендантство было прекрасно осведомлено об этом, так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложные квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, пруссаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому интендантство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно! Придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так этот майор Сойка ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвертую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мяса много не варили. На всю роту приходилось двенадцать прежних, настоящих порций мяса. Но он все это съел, потом попробовал похлебку и поднял скандал: дескать, как вода, и это, мол, непорядок — мясная похлебка без мяса... Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за все последнее время. Но пуще всего меня возмутило то, что на подболтку похлебки он загубил два кило сливочного масла, которые я сэконо-

мил в ту пору, когда была офицерская кухня. Хранилось оно у меня на полочке под койкой. Как он заорет на меня: «Это чье?» Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается пятнадцать граммов масла или двадцать один грамм сала, но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере.

Майор Сойка разозлился и начал орать, что я, наверно, жду, когда придут русские и отберут у нас последние два кило масла. «Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса!» Так я потерял весь свой запас. Верите ли, когда бы он ни появился, всегда мне на горе. Постепенно он так наострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжьёю печенку, и хотели мы ее тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крик я ему сказал, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового из обоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь да дернули по майору и по его котелку восемнадцатисантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было уже невозможно.



Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через четыре часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтоб оказать помощь.

Тут уж разыгралась фантазия всего батальона. Толковали о двух сотнях убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена: нужно же было заметить следы мошенничества при снабжении раненых.

Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях.

Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутанцель всем делится с офицерами.

В штабном вагоне капитан Сагнер заявил, что, согласно маршруту, они, соб-

ственно, должны бы уже быть на галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать для всей команды на три дня хлеба и консервов, но до Эгера еще десять часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнер получил приказ: вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по шесть крон семьдесят геллеров. Эти деньги выдадут при уплате жалованья за девять дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только двенадцать с чем-то тысяч крон.

— Это свинство со стороны полка, — не выдержал поручик Лукаш, — отправить нас без гроша.

Прапорщик Вольф и поручик Коларж начали шептаться о том, что полковник Шредер за последние три недели положил на свой личный счет в Венский банк шестнадцать тысяч крон.

Поручик Коларж потом объяснил, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку шесть тысяч и сунут их в собственный карман, а по всем кухням совершенно логично отдается приказ: порцию гороха на каждого человека сократить в день на три грамма. В месяц это составит девяносто граммов на человека. В каждой ротной кухне накапливается гороха не менее шестидцати кило. Ну, а в отчете повар укажет, что горох израсходован весь.

Поручик Коларж в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которых он лично был свидетелем.

Таковыми фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму.

Война требовала храбрости и в краже.

Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы единое тело и единая душа; крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь! Если ты не возьмешь — возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награл!»

В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам.

— Садитесь, господа, — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, даже не подозревая о его пребывании здесь.

Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся.

— В вашем эшелоне непорядок, в вашем эшелоне еще не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах, — в девять часов, — отрывисто пролаял он. — Около девяти часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите! Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть зорю и спать. Проверить и, кто не спит — наказывать! Да-с! Все? Ужин раздавать в шесть часов.

Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда

не было, что было где-то, так сказать, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Он стоял как призрак из царства четвертого измерения.

— Ужин раздать в шесть часов, — продолжал он, глядя на часы, на которых было десять минут двенадцатого ночи. — Um halb neune Alarm, Latrinenscheißen, dann schlafen gehen![524] На ужин в шесть часов гуляш с картофелем вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра.

Потом последовал приказ — проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом он постоянно показывал на стрелки часов.

— Also, sehen Sie. Um halb neune scheißen und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt vollkommen[525], В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон: сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. Одна треть солдат удобно располагается в вагоне и спит от девяти до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того как первые выспались, они уступают место второй трети, которая спит от полуночи до трех часов. Третья партия спит от трех до шести, потом побудка, и команда идет умываться. На ходу из вагона не выскать! Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не со-ска-ки-вали! Если солдату переломит ногу неприятель... — Генерал похлопал себя по ноге... — это достойно похвалы, но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу — наказуемо. Так, стало быть, это ваш батальон? — обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные лица солдат. Многие не могли удержаться и, внезапно разбуженные, зевали на свежем ночном воздухе.

— Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в девять часов должны спать.

Генерал остановился перед одиннадцатой ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал, опасаясь, как бы генерал не уделил Швейку более пристального внимания. Ему показалось, что Швейк зевает нарочно.

Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошел к нему:

— Böhm oder Deutscher?[526]

— Böhm, melde gehorsam, Herr Generalmajor[527].

— Добже, — сказал генерал по-чешски. Он был поляк, знавший немного по-чешски. — Ты ржевешь, как корова на сено. Молчи, заткни глотку! Не мычи! Ты уже был в отхожем месте?

— Никак нет, не был, господин генерал-майор.

— Отчего ты не пошел с другими солдатами?

— Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, на маневрах в Писеке господин полковник Вахтль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам делать в отхожем месте? Нам нечего из себя выдавливать. Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин и ничего не получили. С пустым брю-

хом в отхожее место не лезь!

Швейк, в простых словах объяснив генералу общую ситуацию, посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне обоснован.

— Отошлите их спать в вагоны, — приказал генерал капитану Сагнеру. — Как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получать ужин: здесь — питательный пункт. Иначе и быть не может. Имеется точно установленный план.

Генерал все это произнес тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало: так как уже около двенадцати часов ночи, а ужинать, как он уже указал, следовало в шесть часов, то стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до шести часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой.

— Нет ничего хуже, — с необычайно серьезным видом сказал генерал, — как во время войны, при переброске войск забывать об их снабжении. Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции. Ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботице на южнобоснийской дороге я констатировал, что шесть эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов забыли потребовать его. Шесть раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо куч и гор гуляша, уже на третьей станции христарадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация! — Генерал развел руками. — Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей! Пойдемте в канцелярию!

Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно.

В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск семьдесят два геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету семьдесят два геллера на человека, которые она получит от своего интендантства дополнительно при раздаче жалованья. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватиане по полбуханки.

Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так: для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции — и конец: эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов.

Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось, в начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу, необходимы опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику.

Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка.

— Могу вам привести конкретный пример, — сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. — Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдёмте в вокзальный ресторан.

В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов.

Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии.

По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании.

Победа Австрии явно вытекала из отхожего места.

Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получают гуляш с картошкой, в половине девятого войско «опорожнится» в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает.

Генерал-майор задумался, закурил «операс» и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицерам эшелона, раз уже он сюда попал.

— Ядро вашего батальона вполне здоровое, — вдруг начал он, когда все решило, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. — Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямоотой и выправкой подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови.

Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним.

— Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити, он должен знать, что содеяла каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона.

Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться.

На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон.

Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить два вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена — фирме Левенштейн так, как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме Левенштейн.

Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу.

На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка. Солдаты умывались около колонок из котелков. Генерал со своим поездом еще не уехал и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора: *Schwarmweise unter Kommando der Schwarmkommandanten*[528].

Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным.

Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило два отделения роты. Солдаты премило сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку.

У каждого из-под спущенных штанов выглядывали голые коленки, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды.

Во всем была видна железная воинская дисциплина и организованность.



На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда, и с интересом читал обрывок страницы из бог весть какого романа Ружены Есенской:

*...дешнем пансионе, к сожалению, дамы ем неопределенно, в действительности может быть больше ге в большинстве в себе самой заключенная поте- в свои комнаты или ходи- национальном празднике. А если выронили т шел лишь человек и только стосковался об э улучшалась или не хотела с таким успехом стать, как бы сами этого хотели ничего не оставалось молодому Кршичке...*

Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из от-

хожего места и замер от удивления. Там в полном параде стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом — подпоручик Дуб, что-то старательно им излагавший.

Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались.

Швейк понял всю серьезность момента.

Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, используя в последнюю минуту клочок бумаги, заорал: «Einstellen! Auf! Habacht! Rechts schaut!»[529] — и взял под козырек. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой.

Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал:

— Ruht, weiter machen![530]

Отделенный Малек первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырек, ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой — улыбающийся генерал-майор.

— Вас я видел ночью, — обратился генерал-майор к Швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе.

Взбешенный подпоручик Дуб бросился к генерал-майору:

— Ich melde gehorsam, Herr Generalmajor, der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt. Saghafter Dummkopf[531].

— Was sagen Sie, Herr Leutnant?[532] — неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. — Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальства не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду. Ведь господину подпоручику Дубу как раз и следовало бы подать команду, которую подал этот солдат: «Einstellen! Auf! Habacht! Rechts schaut!» — Ты уже вытер задницу? — спросил генерал-майор Швейка.

— Так точно, господин генерал-майор, все в порядке.

— Więcej srać nie będziesz?[533]

— Так точно, генерал-майор, готов.

— Так подтяни штаны и встань опять во фронт!

Так как «во фронт» генерал-майор произнес несколько громче, то сидевшие рядом с генералом начали привставать над ямой.

Однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал:

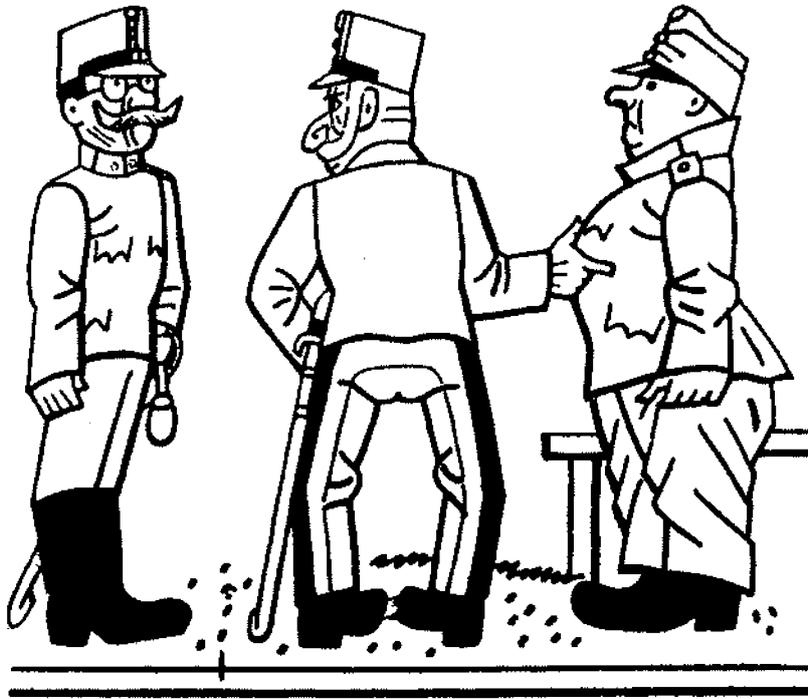
— Aber nein, ruht, ruht, nur weiter machen![534]

Швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором, который произнес по-немецки краткую речь:

— Уважение к начальству, знание устава и присутствие духа на военной службе — это все. А если к этим качествам присовокупить еще и доблесть, то ни один неприятель не устоит перед нами.

Генерал, тыча пальцем в живот Швейка, указывал подпоручику Дубу:

— Заметьте этого солдата; по прибытии на фронт немедленно повысите и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знание... Wissen Sie doch, was ich schon meine... Abtreten![535]



Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал, так, чтобы генерал-майору было слышно:

— Erster Schwarm, auf! Doppelreihen... Zweiter Schwarm...[536]

Швейк между тем направился к своему вагону и, проходя мимо подпоручика Дуба, отдал честь как полагается, но подпоручик все же заревел:

— Herstellt![537]

Швейк снова взял под козырек и опять услышал:

— Знаешь меня? Не знаешь меня. Ты знаешь меня с хорошей стороны, но ты узнаешь меня и с плохой стороны. Я доведу тебя до слез!

Наконец Швейк добрался до своего вагона. По дороге он вспомнил, что в Карлине, в казармах, тоже был лейтенант, по фамилии Худавый. Так тот, расшвирипев, выражался иначе: «Ребята! При встрече со мною не забывайте, что я для вас свинья, свиньей и останусь, покуда вы в моей роте».

Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балоуну, чтобы тот поспешил с кофе, а банку молочных консервов опять как следует закрыл, не то молоко испортится. Балоун как раз варил на маленькой спиртовке, в вагоне у старшего писаря Ванека, кофе для поручика Лукаша. Швейк, пришедший выполнить поручение, обнаружил, что в его отсутствие кофе начал пить весь вагон.

Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты, Балоун отхлебывал кофе прямо из котелка, заедая сгущенным молоком — он черпал его ложечкой прямо из банки, чтобы сдобрить кофе.

Повар-окультист Юрайда и старший писарь Ванек поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша консервы, как только они поступят на склад.

Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балоуну:

— Из штаба армии получен приказ: денщика, укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в двадцать четыре часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе.

Перепуганный Балоун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что сам ему налил, поставил подогреть, прибавил консервированного

молока и помчался с кофе к штабному вагону.

Вытаращив глаза, Балоун подал кофе поручику Лукашу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он распорядился консервами.

— Я задержался, — начал он, заикаясь, — потому что не мог сразу открыть.

— Может быть, ты пролил консервированное молоко, а? — пытал его поручик Лукаш, пробуя кофе. — А может, ты его лопал, как суп, ложками? Знаешь, что тебя ждет?

Балоун вздохнул и завопил:

— Господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей!

— Смотри, Балоун, еще раз предостерегаю, погубит тебя твоя прожорливость. Тебе Швейк ничего не говорил?

— Меня могут повесить в двадцать четыре часа, — ответил Балоун, трясаясь всем телом.

— Да не дрожи ты так, дурачина, — улыбаясь, сказал поручик Лукаш, — и исправься. Не будь таким обжорой и скажи Швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного. Дай ему эту десятку. Тебя не пошлю. Ты пойдешь разве только тогда, когда нажрешься до отвала. Ты еще не сожрал мои сардины? Не сожрал, говоришь? Принеси и покажи мне.

Балоун передал Швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он, Швейк, разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вдыхая, Балоун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику.

Он-то, несчастный, тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинах, а теперь — всему конец! Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балоун, лишится их. Балоун почувствовал себя обворованным.

— Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки, — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. — Прикажете открыть?

— Хорошо, Балоун, открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку. Когда ты принес кофе, мне показалось, что у тебя губы лоснятся, как от прованского масла. Швейк уже пошел?

— Так точно, господин обер-лейтенант, уже отправился, — ответил, сияя, Балоун. — Швейк сказал, что господин обер-лейтенант будут довольны и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошел куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место, за Ракошпалотой. Если же поезд уйдет без него, он примкнет к автоколонне и догонит нас на автомобиле. О нем, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности. Ничего страшного не случится, даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшеленом до самой Галиции: потом все можно будет вычестить из жалованья. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нем!

— Ну, убирайся, — грустно сказал поручик Лукаш.

Из комендатуры сообщили, что поезд отправится только в два пополудни в направлении Гёдёллэ — Асод и что на вокзале офицерам выдают по два литра красного вина и по бутылке коньяку. Рассказывали, будто найдена какая-то посылка для Красного Креста. Как бы там ни было, но посылка эта казалась даром небес, и в штабном вагоне развеселились. Коньяк был «три звездочки», а вино — марки «Гумпольдскирхен». Один только поручик Лукаш был не в духе. Прошел час, а Швейк все еще не возвращался. Потом прошло еще полчаса.



Из дверей комендатуры вокзала показалась странная процессия, направлявшаяся к штабному вагону. Впереди шагал Швейк, самозабвенно и торжественно, как первые христиане-мученики, когда их вели на арену.

По обеим сторонам шли венгерские гонимые с примкнутыми штыками, на левом фланге — взводный из комендатуры вокзала, а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах, в круглой шляпе, с подбитым глазом. В руках он держал живую, испуганно кудахтавшую курицу.

Все они полезли было в штабной вагон, но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей и его жене, чтобы они остались внизу.

Увидев поручика Лукаша, Швейк стал многозначительно подмигивать ему.

Взводный хотел говорить с командиром одиннадцатой маршевой роты. Поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом из комендатуры станции и, бледнея, прочел: «Командиру одиннадцатой маршевой роты N-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка к дальнейшему исполнению.

Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты N-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка, задержанный по обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Иштарче, в районе комендатуры вокзала. Основание: пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежащую супругам Иштван, когда та бегала в Иштарче за домом Иштван-супругов (в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово «Istvangatten»[538]), и был пойман владельцем курицы, который хотел ее у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть. Курица возвращена владельцу».

*Подпись дежурного офицера.*

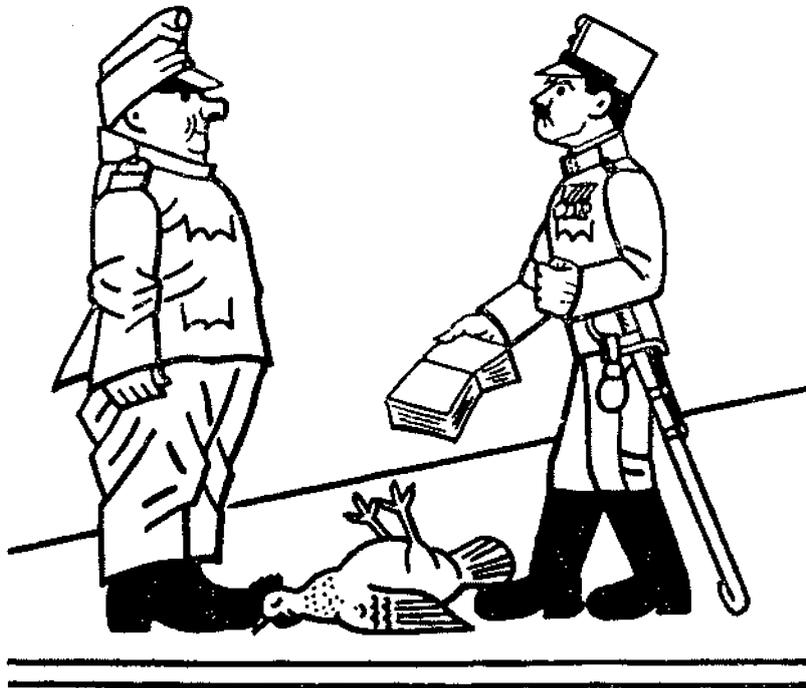
Когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка, у него тряслись колени. Швейк стоял близко и видел, что поручик Лукаш забыл приписать дату.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — произнес Швейк, — се-

годня двадцать четвертое. Вчера было двадцать третье мая, вчера нам Италия объявила войну. Я сейчас был на окраине города, так там об этом только и говорят.

Гонимые со взводным ушли, и внизу остались только супруги Иштван, которые все время делали попытки влезть в вагон.

— Если, господин обер-лейтенант, у вас при себе имеется пятерка, мы могли бы эту курицу купить. Он, злодей, хочет за нее пятнадцать золотых, включая сюда и десятку за свой синяк под глазом, — повествовал Швейк, — но, думаю, господин обер-лейтенант, что десять золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато. В трактире «Старая дама» токарю Матвею за двадцать золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли шесть зубов, а тогда деньги были дороже, чем нынче. Сам Вольшлегер вешает за четыре золотых. Иди сюда, — кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом и с курицей, — а ты, старуха, останься там.



Мужчина вошел в вагон.

— Он немножко говорит по-немецки, — сообщил Швейк, — понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить по-немецки.

— Also, zehn Gulden, — обратился он к мужчине. — Fünf Gulden Hennë, fünf Auge. Öt forint, — видишь, кукареку: öt forint kukuk, igen[539]. Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик? Давай сюда курицу!

Сунув ошеломленному мужику десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкнул крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал:

— Jó napot, baratom, adieu,[540] катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз.

— Вот видите, господин обер-лейтенант, все можно уладить, — успокоил Швейк поручика Лукаша. — Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний. Теперь мы с Балоуном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании будет благоухать.

Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у Швейка из рук злополучную курицу, бросил ее на пол и заорал:

— Знаете, Швейк, чего заслуживает солдат, который во время войны грабит

мирное население?

— Почетную смерть от пороха и свинца, — торжественно ответил Швейк.

— Но вы, Швейк, заслуживаете петли, ибо вы первый начали грабить. Вы, вы!.. Я просто не знаю, как вас назвать, вы забыли о присяге. У меня голова идет кругом!

Швейк вопросительно посмотрел на поручика Лукаша и быстро отозвался:

— Осмелюсь доложить, я не забыл о присяге, которую мы, военные, должны выполнять. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я торжественно присягал светлейшему князю и государю Францу-Иосифу Первому в том, что буду служить ему верой и правдой, а также генералов его величества и своих начальников буду слушаться, уважать и охранять, их распоряжения и приказания всегда точно выполнять; против всякого неприятеля, кто бы он ни был, где только этого потребует его императорское и королевское величество: на воде, под водой, на земле, в воздухе, в каждый час дня и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду...

Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу:

— ...всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно; свое войско, свои полки, знамена и пушки никогда не оставлять, с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать, всегда вести себя так, как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом бог. Аминь. А эту курицу, осмелюсь доложить, я не украл, я никого не ограбил и держал себя, помня о присяге, вполне прилично.

— Бросишь ты эту курицу или нет, скотина? — взвился поручик Лукаш, ударив Швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. — Взгляни на этот протокол. Видишь, черным по белому: «Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты... по обвинению в ограблении...» И теперь ты, мародер, гадина, будешь мне еще говорить... Нет, я тебя когда-нибудь убью! Понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило?

— Осмелюсь доложить, — вежливо ответил Швейк, — здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, что бы такое достать. За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушеной ослятины. Я, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, — тогда легче переносятся военные невзгоды. Мне хотелось доставить вам *горизонтальную радость*. Задумал я, господин обер-лейтенант, сварить вам куриный суп.

— Куриный суп! — повторил за ним поручик, хватаясь за голову.

— Так точно, господин обер-лейтенант, куриный суп. Я купил луку и пятьдесят граммов вермишели. Вот все здесь. В этом кармане лук, в этом — вермишель. Соль и перец имеются у нас, в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Пошел я, значит, за вокзал в Ишатарчу. Это, собственно, деревня, на город даже и не похожа, хоть на первой улице и висит дощечка с надписью: «Город Ишатарча». Прошел я одну улицу, с палисадниками, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, пока не дошел до конца тринадцатой улицы, где за последним домиком

уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошел к ним и выбрал самую большую и самую тяжелую. Извольте посмотреть на нее, господин обер-лейтенант, одно сало, и осматривать не надо, сразу, с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я ее у всех на виду, они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу ее за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит эта курица, хочу, мол, ее купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки, — я-де у него средь белого дня украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу, — словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями и хотела улететь, а так как я держал ее некрепко, она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну, а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина все время что-то лопотала и звала: «Цып, цып, цып!»

Тут какие-то идиоты, ни в чем не разобравшись, привели патруль гонимых, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невиновность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться, даже когда я попросил его узнать у вас, правда ли, что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее. Он еще обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как, мол, и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждет крепкий сук и хорошая веревка. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошел до того, что сторяча выпалил: такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот третьего дня тоже где-то неподалеку пропал индюк. А когда я ему напомнил, что третьего дня мы еще были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Послали меня к вам. Да, там еще на меня раскричался какой-то ефрейтор, которого я сперва не заметил: не знаю, дескать, я, что ли, кто передо мною стоит? Я ответил, что стоит ефрейтор, и если бы его перевели в команду егерей, то он был бы начальником патруля, а в артиллерии — обер-канониром.

— Швейк, — минуту спустя сказал поручик Лукаш, — с вами было столько всяких приключений и невзгод, столько, как вы говорите, «ошибок» и «ошибочек», что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля, со всеми военными почестями, в карё. Понимаете?

— Так точно, господин обер-лейтенант, каре из так называемого замкнутого батальона составляется из четырех и в виде исключения также из трех или пяти рот. Прикажете, господин обер-лейтенант, положить в куриный суп побольше вермишели, чтобы он был погуще?

— Швейк, приказываю вам немедленно исчезнуть вместе с вашей курицей, иначе я расшибу ее о вашу башку, идиот несчастный!

— Как прикажете, господин обер-лейтенант, но только осмелюсь доложить, сельдерея я не нашел, моркови тоже нигде нет. Я положу картош...

Швейк не успел договорить «ки», вылетев вместе с курицей из штабного вагона. Поручик Лукаш залпом выпил стопку коньяку.

Проходя мимо окон штабного вагона, Швейк взял под козырек и проследовал к себе.

Благополучно одержав победу в борьбе с самим собой, Балоун собрался уже открыть сардины поручика, как вдруг появился Швейк с курицей, что, естественно, вызвало волнение среди присутствовавших в вагоне. Все посмотрели на него, будто спрашивая: «Где это ты украл?»

— Купил для господина обер-лейтенанта, — сообщил Швейк, вытаскивая из карманов лук и вермишель. — Хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил ее мне.

— Дохлая? — недоверчиво спросил старший писарь Ванек.

— Своими руками свернул ей шею, — ответил Швейк, вытаскивая из кармана нож.

Балоун с благодарностью и уважением посмотрел на Швейка и молча стал готовить спиртовку поручика. Потом взял котелки и побежал за водой.

К Швейку, начавшему ошипывать курицу, подошел телеграфист Ходоунский и предложил свою помощь, доверительно спросив:

— Далеко отсюда? Надо перелезть во двор или прямо на улице?

— Я ее купил.

— Уж помалкивал бы, а еще товарищ называется! Мы же видели, как тебя вели.

Тем не менее телеграфист принял горячее участие в ошипывании курицы. В приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар-окультист Юрайда: он нарезал в суп картошку и лук.

Выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика Дуба, производившего обход. Он крикнул, чтобы показался тот, кто ошипывает курицу, и в двери тотчас же появилась довольная физиономия Швейка.

— Что это? — крикнул подпоручик Дуб, поднимая с земли отрезанную куриную голову.

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк. — Это голова курицы из породы черных итальянок — прекрасные несушки: несут до двухсот шестидесяти яиц в год. Извольте посмотреть, какой у нее был замечательный яичник. — Швейк сунул под самый нос подпоручику Дубу кишки и прочие куриные потроха.

Дуб плюнул и отошел. Но вскоре вернулся.

— Для кого эта курица?

— Для нас, осмелюсь доложить, господин лейтенант. Посмотрите, сколько сала!

Подпоручик Дуб, уходя, проворчал:

— Мы встретимся у Филипп.

— Что он тебе сказал? — спросил Швейка Юрайда.

— Мы назначили свидание где-то у Филиппа. Эти знатные бары в большинстве случаев педерасты.

Повар-окультист заявил, что только эстеты — гомосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма.

Старший писарь Ванек рассказал об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях.

И уже в то время, когда вода в котелке закипала, Швейк вспомнил, что одному воспитателю доверили колонию венских брошенных детей и этот воспитатель растлил их всех.

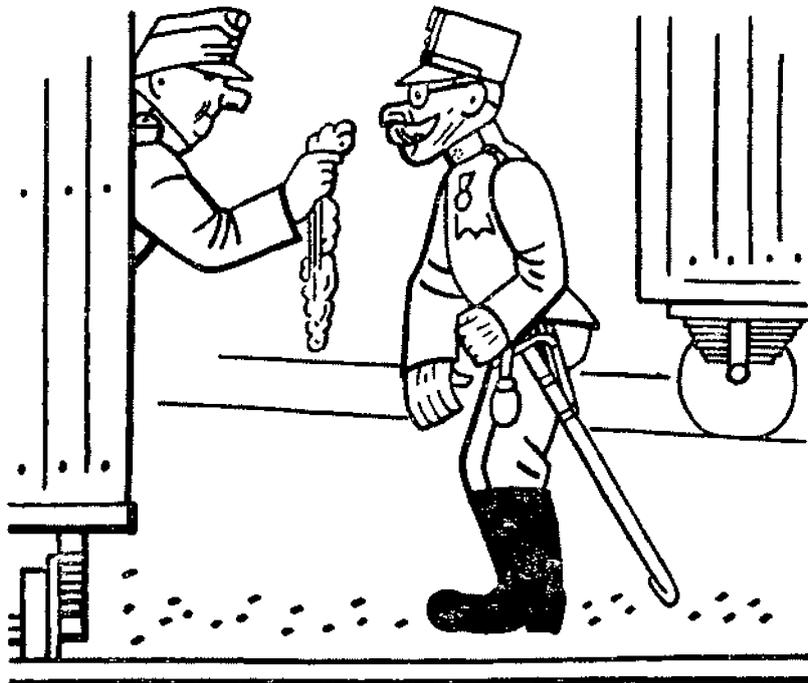
— Страсть! Ничего не попишешь! Но хуже всего, когда найдет страсть на женщин. Несколько лет тому назад в Праге Второй жили две брошенные да-



мочки-разводки, потому что были шлюхи, но фамилии Моуркова и Шоускова. Как-то раз, когда в розтокских аллеях цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента — столетнего шарманщика, оттащили в розтокскую рощу и изнасиловали. Чего они только с ним не делали! На Жижкове живет профессор Аксамит, он там делал раскопки, разыскивая могилы со скрюченными мертвецами, и несколько таких скелетов взял с собой. Так они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил и там его растерзали и изнасиловали. На другой день пришел профессор Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит. Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведенными барыньками шарманщик. Около него лежали одни щепки. На пятый день шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Вот это уж извращенность! Посолил уже? — обратился Швейк к Балоуну, который, воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу Швейка, что-то припрятывал в свой вещевой мешок. — Что ты там делаешь? Балоун, Балоун! — вдруг серьезно упрекнул приятеля Швейк. — Что ты собираешься делать с этой куриной ножкой? Поглядите-ка! Украд у нас куриную ножку, чтобы потом, тайно от нас, сварить ее. Понимаешь ли ты, Балоун, что ты совершил? Знаешь, как наказывают в армии того,

кто на фронте обворовал товарищей? Его привязывают к дулу пушки, и он разлетается, как картечь. Теперь уж поздно вздыхать! Как только мы встретим на фронте артиллерию, ты явишься к ближайшему обер-фейерверкеру. А пока что в наказание придется тебе заняться учением. Вылезай из вагона!

Несчастный Балоун вылез, а Швейк сел в дверях вагона, свесил ноги и начал командовать:



— Habacht! Ruht! Habacht! Rechts schaut! Habacht![541] Смотреть прямо! Ruht! [542] Теперь займемся упражнениями на месте... Recht um![543] Ну, брат, и корова же вы! Ваши рога должны очутиться там, где раньше было правое плечо! Herstellt! Rechts um! Lenks um! Halbrechts[544] Не так, осел! Herstellt! Halbrechts! [545] Ну, видите, лошак, уже получается. Halblinks! Links um! Links! Front! Front [546], дурак! Не знаешь, что ли, что такое шеренга! Grad aus! Kehrt euch! Kniet! Nieder! Setzen! Auf! Setzen! Auf! Nieder! Auf! Nieder! Auf! Setzen! Auf! Ruht![547] Ну, видишь, Балоун, как это полезно. По крайней мере, пищеварение будет нормальное.

Вокруг них собирались солдаты. Повсюду был слышен веселый смех.

— Будьте любезны, посторонитесь! — крикнул Швейк. — Мы займемся маршировкой. Смотри, Балоун, держи ухо востро, чтобы мне не приходилось двадцать раз отставлять. Не люблю команду гонять зря. Итак: Direktion Bahnhof [548]. Смотри, куда тебе показывают! Marschieren marsch! Glied — halt! Стой, черт подери, пока я тебя в карцер не посадил! Glied — halt![549] Наконец-то я тебя, дуралей, остановил. Kurzer Schritt![550] Ты не знаешь, что такое «kurzer Schritt»! Я те, брат, такой «kurzer Schritt» покажу, что своих не узнаешь. Voller Schritt! Wechselt Schritt! Ohne Schritt![551] Буйвол ты этакий! Когда я команду «Ohne Schritt»[552], ты должен топтаться на месте.

Вокруг собрались, по крайней мере, две роты. Балоун потел и не чувствовал под собой ног. А Швейк продолжал командовать:

— Gleicher Schritt! Glied rückwärts marsch! Glied halt! Laufschrift! Glied marsch! Schritt! Glied halt! Ruht! Habacht! Direktion Bahnhof! Laufschrift marsch! Halt! Kehrt euch Direktion Wagon! Laufschrift marsch! Kurzer Schritt! Glied halt! Ruht![553] Теперь отдохни, а потом начнем сызнова. При желании всего мож-

но достичь.

— Что тут происходит? — вдруг раздался голос подпоручика Дуба, в волнении подбежавшего к толпе солдат.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил Швейк, — мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного времени.

— Вылезайте из вагона! — приказал подпоручик Дуб. — Хватит! Пойдемте со мной к командиру батальона.

Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошел на перрон.

Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнеру о странном, как он выразился, времяпрепровождении бравого солдата Швейка. Капитан Сагнер был в прекрасном расположении духа, ибо «Гумпольдскирхен» оказался действительно превосходным.

— Так, значит, вы не хотите зря терять драгоценного времени? — улыбнулся он многозначительно. — Матушич, подите-ка сюда.

Батальонный ординарец получил приказание позвать фельдфебеля Насакло из двенадцатой роты, известного изверга, и немедленно раздобыть для Швейка винтовку.

— Вот этот солдат, — сказал капитан Сагнер фельдфебелю Насакло, — не хочет зря терять драгоценного времени. Пойдите с ним за вагон и позанимайтесь там часок ружейными приемами. Но не давать ему ни отдыха, ни сроку! Главное, займитесь двумя приемами, притом подряд! *Setzt ab, an, setzt ab!*[554]

— Вот увидите, Швейк, скучать не придется, — пообещал он на прощание. Вскоре за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насакло, которого оторвали от игры в «двадцать одно» как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет: «*Beim Fuß! Schultert! Beim Fuß! Schultert!*»[555]

На мгновение команда смолкла, и послышался довольный, рассудительный голос Швейка:

— Все это я проходил еще на действительной военной службе несколько лет тому назад. По команде «*beim Fuß*» винтовка стоит у правой ноги так, что конец приклада находится на прямой линии с носком. Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде же «*Schultert*» винтовка висит свободно на ремне на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонен назад.

— Хватит болтать! — раздался опять голос фельдфебеля Насакло. — *Nabacht! Rechts schaut!*[556] Черт побери, как вы это делаете...

— У меня «*schultert*» и при «*rechts schaut*» моя правая рука скользит по ремню и обхватывает шейку ложа, а голова поворачивается направо. По команде же «*nabacht!*»[557] правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас.

Опять раздался голос фельдфебеля:

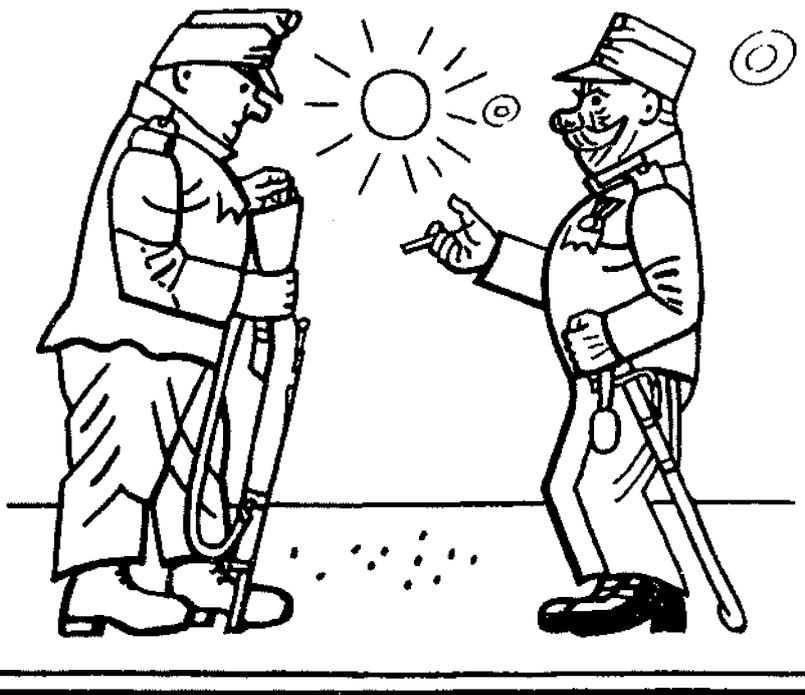
— *In die Balanz! Bein Fuß! In die Balanz! Schultert! Bajonett auf! Bajonett ab! Fällt das Bajonett! Zum Gebet! Vom Gebet! Kniet nieder zum Gebet! Laden! Schießen! Schießen halbrechts! Ziel Stabswagon! Distanz zwei Hundert Schritt...*

*Fertig! An! Feuer! Setzt ab! An! Feuer! An! Feuer! Setzt ab! Aufsatz normal! Patronen versorgen! Ruht!*[558]

Фельдфебель начал свертывать сигарку. Швейк между тем разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул:

— Четыре тысячи двести шестьдесят восемь! Такой номер был у одного паровоза в Печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увезти на ремонт в депо Лысую-на-Лабе, но не так-то это оказалось просто, господин фельдфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит: «На шестнадцатом пути стоит паровоз номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней. Я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так слушайте: номер паровоза, который нужно увезти в депо в Лысую-на-Лабе, — четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра — четыре, вторая — два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два — четыре, это первая цифра, которая, разделенная на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра — четыре, вторая — два, четвертая — восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра — четыре, вторая — два, а четыре плюс два — шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца — шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому же результату еще проще...»

Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал:



— Карре аб![559]

Швейк продолжал вполне серьезно:

— Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паро-

воза четыре тысячи двести шестьдесят восемь. «Восемь без двух — шесть. Теперь вы уже знаете шестьдесят восемь, а шесть минус два — четыре, теперь вы уже знаете четыре и шестьдесят восемь, и если вставить эту двойку, то все это составит четыре — два — шесть — восемь. Не очень трудно сделать это иначе, при помощи умножения и деления. Результат будет тот же самый. Запомните, — сказал начальник дистанции, — что два раза сорок два равняется восьмидесяти четырем. В году двенадцать месяцев. Вычтите теперь двенадцать из восьмидесяти четырех, и останется семьдесят два, вычтите из этого числа еще двенадцать месяцев, останется шестьдесят. Итак, у нас определенная шестерка, а ноль зачеркнем. Теперь уже у нас сорок два, шестьдесят восемь, четыре. Зачеркнем ноль, зачеркнем и четверку сзади, и мы преспокойно опять получили четыре тысячи двести шестьдесят восемь, то есть номер паровоза, который следует отправить в депо в Лысую-на-Лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это также очень легко. Вычисляем коэффициент, согласно таможенному тарифу...» Вам дурно, господин фельдфебель? Если хотите, я начну, например, с «General de charge! Fertig! Hoch an! Feuer!»[560] Черт подери! Господину капитану не следовало посылать нас на солнце. Побегу за носилками.

Пришедший врач констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек.

Когда фельдфебель пришел в себя, около него стоял Швейк и говорил:

— Чтобы закончить... Вы думаете, господин фельдфебель, этот машинист запомнил? Он перепутал и все помножил на три, так как вспомнил святую троицу. Паровоза он не нашел. Так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути.

Фельдфебель опять закрыл глаза.

Вернувшись в свой вагон, Швейк на вопрос, где он так долго пропадал, ответил: «Кто другого учит «бегом марш!» — тот сам делает стократ «на плечо!».

В заднем углу вагона дрожал Балон. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции Швейка.

Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращавшиеся из командировок или из-под ареста.

С этого поезда сошел вольноопределяющийся Марек, судившийся как бунтовщик, — он не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил. Следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольноопределяющийся Марек появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольноопределяющийся до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую.

Когда капитан Сагнер увидел вольноопределяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой «Politisch verdächtig! Vorsicht!»[561], большого удовольствия он не испытал. К счастью, он вспомнил о «генерале-от-отхожих мест», который столь занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона историографом.

— Вы очень нерадивы, вольноопределяющийся, — сказал капитан. — Для школы вольноопределяющихся вы были сущим наказанием; вместо того что-

бы стараться отличиться и получить чин соответственно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольноопределяющийся! Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. Испытаем вас! Вы интеллигентный молодой человек, безусловно владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете?

— Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю, полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создается история бригады, на основании истории бригад составляется история дивизий и так далее... Я вложу, господин капитан, в это дело все свое умение. — Вольноопределяющийся Марек приложил руку к сердцу. — Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были усыпаны победами.

— Вы, вольноопределяющийся, прикомандировываетесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольноопределяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Явитесь к старшему писарю одиннадцатой роты Ванеку и скажите ему, чтобы он поместил вас в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону.

Повар-окультист уснул, а Балоун не переставая дрожал, ибо он уже открыл сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевеловки, выпил ее и, растрогавшись, запел:

*Пока я в наслажденьях плавал,  
Меня манил земной простор.  
Ты мне вселяла в сердце веру,  
И мой горел любовью взор.  
Когда ж узнал я, горемыка,  
Что жизнь коварна, как шакал,  
Прошла любовь, угасла вера,  
И я впервые возрыдал.*

Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги:

*«Настоящим покорнейше прошу назначить меня батальонным горнистом.  
Телеграфист Ходоунский».*

Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком.

— Могу вам сказать одно: Марек, я бы выразился, человек подозрительный, *politisch verdächtig*. Бог мой! Ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят! Но это одно только предположение. Вы меня понимаете? Итак, я лишь предупреждаю вас, что, если он начнет что-нибудь этакое, его... понимаете?., нужно сразу осадить, чтобы у меня не вышло каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтобы перестал болтать, и вся недолга! Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что... Понимаете? Такие вещи бросают тень на весь батальон.

Вернувшись в вагон, Ванек отвел в сторону вольноопределяющегося Марека и сказал ему:

— Послушайте-ка, вы под подозрением? Впрочем, это не важно! Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходоунского.

Только он это сказал, Ходоунский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение.

*Всеми брошен, одинокий,  
Полон грусти безнадежной,  
Горьких слез я лил потоки  
На груди подруги нежной.  
И любовью неземной  
светят мне глаза голубки.  
И коралловые губки  
Шепчут: «Я навек с тобой».*

— Мы навек с тобой, — орал Ходоунский. — Все, что я услышу по телефону, тут же все вам расскажу. Насрать мне на присягу!

Балоун в углу испуганно крестился и молился вслух:

— Матерь божия, не отвергай моей мольбы! Но милостиво внимли мне! Утешь меня, милостивая! Помогни мне, несчастному! Взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей! Взываю к тебе в юдоли печали моей. Царица небесная! Заступись за меня, дабы милостию божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал!

Благословенная дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольноопределяющийся вытащил из своего выдавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке.

Балоун отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки.

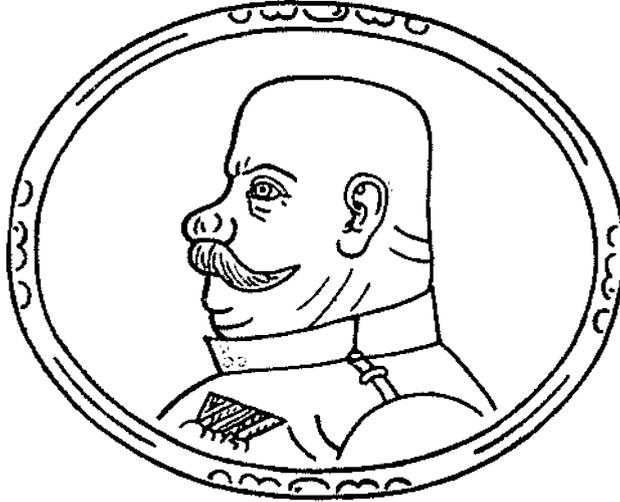
Однако когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Бало-

ун поддался искушению, открыл чемоданчик, а затем коробочку и жадно проглотил сардинки.

И тут благословенная и сладчайшая дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал:

— Балоун, живо носи сардинки своему обер-лейтенанту!

— Теперь посыплются оплеухи, — сказал писарь Ванек.



— С пустыми руками лучше уж не ходи, — посоветовал Швейк. — Возьми, по крайней мере, пять пустых жестянок.

— В чем вы провинились, отчего это бог вас так наказывает? — сочувственно спросил вольноопределяющийся. — В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатства? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, еще мальчишкой лазили за грушами в его сад?

Балоун сокрушенно замахал руками. Лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал: «Когда же настанет конец моим мучениям?»

— Понимаю, — догадался вольноопределяющийся, словно услышав вопль несчастного Балоуна. — Вы, дружище, потеряли связь с господом богом. Вы не можете умолить бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет.

Швейк добавил:

— Балоун до сих пор не может решиться препоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благодати «материнского сердца всевышнего бога», как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьет и на улице спьяну налетит на солдата.

Балоун завопил, что господь бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок.

— Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. — Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты.

— Знаю. — кивнул Швейк, — это возле Табора. У них там богатая дева Мария с фальшивыми бриллиантами... Как-то хотел ее обокрасть церковный сто-

рож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз «Отче наш» прочесть — такую епитимью наложил на него пан патер, чтобы он не удрал, — как церковные сторожа отвели его в жандармский участок.

Повар-окультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был еще ехидной или каким другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, — судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву, отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество.

Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание:

— Что и говорить! Ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет, и ни от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка — мы тогда служили в Карлине в дополнительной команде запасных — всегда говорил во время учения: «Не думайте, жуки навозные, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье!»

Между тем Балоун, думая, что говорят только о нем, в полном отчаянии продолжал свою публичную исповедь:

— Даже Клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми с богомолья, начинает считать кур, одной или двух недосчитается, — не удержался я. Ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве. А как выйду во двор, посмотрю на них — чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в Клокотах и молились за меня, чтобы я — их тятенька — опять чего-нибудь не сожрал дома и не нанес бы убытку хозяйству. Хожу я по двору и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки, и, не будь у меня на мельнице ученика, совсем еще маленького парнишки, — он эту кость вытащил, — не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый. Маленький такой бутуз, плотный, толстенный, жирненький...

Швейк подошел в Балоуну:

— Покажи язык!

Балоун высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим:

— Так я и знал. Он сожрал своего ученика! Признавайся, когда ты его сожрал? В тот день, когда ваши опять пошли в Клокоты? Правда?

Балоун в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул:

— Оставьте меня, братцы! Еще и такое слышать от своих товарищей!

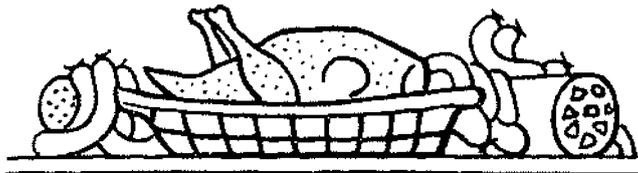
— Мы вас за это не осуждаем, — сказал вольноопределяющийся. — Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время напо-

леоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы безусловно съедобнее. Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер? Уж очень он тощий. Таким не накормишь и одну маршевую роту.

— Посмотрите-ка, — сказал старший писарь Ванек, — у Балоуна в руках четки.

И действительно, Балоун в великом горе своем искал спасения в фисташковых бусинках производства венской фирмы Мориц-Левенштейн.

— Они тоже из Клокот, — печально доложил Балоун, — раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусенка. Вот было мясо! Одна мякоть!



Вскоре пришел приказ по всему эшелону — через четверть часа отправляться. Но никто этому не поверил, и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались восемнадцати человек, в том числе и взводного из двенадцатой маршевой роты Насакло. Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине, в акациевой рощице за вокзалом, с какой-то проституткой, которая требовала с него пять крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу одну крону или несколько оплеух.

Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались люди, находившиеся на вокзале.

### Глава III

#### Из Хатвана на галицийскую границу

Во все время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло еще пешком пройти от Лаборца в Восточной Галиции до фронта и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где ехали вольноопределяющийся и Швейк; то же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в Фюзешабони из полка пришел приказ по армии, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на одну восьмую литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паек саго сокращался на десять граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал саго.

Тем не менее приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, саго теперь — дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше восьми крон.

В Фюзешабони выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были наконец сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды «генерал-от-сортиров».

В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверно, до сих пор стоит где-нибудь там, за баракком № 186, холодная и забытая.



Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии.

Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии; те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придет приказ «alles zugück!». Тогда гуляш выльют из котлов и солдаты останутся не солоно хлебавши.

Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, послышалась команда: «По вагонам!» И эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят.

Гуляш отправили в Тисалак, в Зомбор. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в Новом Месте у Шатора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, роздали.

Станция была перегружена. Сначала должны были отправить два поезда с боеприпасами, за ними — два эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии.

За вокзалом гонведы-гусары поймали двух польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие гонведы-гусары залезли под юбки чернооких дочерей

избитых евреев.

На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы. Все крепкое и новое ехало туда, на фронт, остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции.

Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка:

— Что там ни говори, а все же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особенно когда на лафете ты читаешь «k. u. k. Artillerie-Division»[562]. Очевидно, дело обстояло так: орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать, а такие трофеи много ценнее, потому что... Потому что, — вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба, — ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно как с Перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку.

Подпоручик Дуб просипел только:

— Чтобы духу вашего не было! Чтобы я вас здесь больше не видел!

— Слушаюсь, господин лейтенант. — И Швейк пошел к другим вагонам. Если бы подпоручик Дуб слышал все, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение: «Вмале и узрите мя и паки вмале и не узрите мя».

Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено: «Wiener-Neustadt»[563].

— Этот русский самолет мы сбили под Львовом, — твердил он.

Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил:

— При этом оба русских летчика сгорели.

И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обрутав про себя подпоручика Дуба ослом.

Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе и он горит желанием обо всем доложить своему начальству.

Швейк направлялся прямо к нему.

— Ich melde gehorsam, Kompanieordonanz[564] Швейк просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне...

— Послушайте, Швейк, — резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш. — Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, этого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольноопределяющийся Железный. Это еще задолго до войны случилось, находились мы в Карлинских казармах. Был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой «ранг».

Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому «ранг», а Швейк рассказывал дальше:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас, носил баки, как князь Лобковиц, — словом, вылитая обезьяна. Как рассердится, так прыгает выше своего роста. Мы прозвали его «резиновый дедушка». Это произошло как раз перед первым мая. Мы находились в полной боевой готовности. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернется в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека да еще, пожалуй, начнет палить в воздух. Ну, вольноопределяющийся Железный пришел в казармы и говорит: «Резиновый дедушка» в самом деле не глупо придумал. Ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, так лучше вообще не приходиться», — и осмелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать!

Ну, а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия! Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы, и неподалеку от Прашной браны прямо-таки наткнулся на Железного и тут же на него набросился: «Я тебе сатам, я тебе научу, я тебе покашу кузькину мать!» Наговорил ему всякой всячины и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба, угрожал всячески и все спрашивал фамилию: «Шелесный, ты проиграл, я рад, что тебе поймал, я тебе покашу «den ersten Mai»[565], Шелесный, Шелесный, ти тепер мой, я тебе запереть, крепко запереть!» Железному все равно терять было нечего, и он, когда они проходили по Поржичи мимо Розваржила, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым «резинового дедушку» удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассвирепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника и все перепутал. Пришел он в казармы и начал подсакивать до потолка (потолок был низкий). Дежурный по батальону очень удивлялся, почему это «дедушка» ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот знай кричит: «Метный запереть!», «Метный не запереть!», «Сфинцовый запереть!», «Олофьянный запереть!» Вот тут-то и начались страдания «дедушки». Он каждый день расспрашивал, не поймали ли Медного, Свинцового, Оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но Железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь — он по профессии был зубным техником. На этом вроде все закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире «У Буцеков» драгуна, который волочился за его девчонкой.

Ну, так выстроили нас в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. Тяжелобольных выводили под руки. Делать нечего, — Железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку, примерно в том смысле, что драгуны тоже солдаты и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. Какой-то вольноопределяющийся переводил приказ, полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошелся перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал Железного. Тот был в сажень ростом, так что, господин обер-лейтенант, очень было комично, когда полков-

ник выволок его на середину. Вольноопределяющийся сразу умолк, а полковник наш ну подсказывать перед Железным, вроде как пес перед кобылой, ну орать: «Ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не удрать, ты опять говорить, что Шелесный, а я все говорил Метный, Олофьянный, Сфинцовый. Он Шелесный, потзаборник, а он Шелесный, я тебе научил, Сфинцовый, Олофьянный, Метный, ты Mistvieh, du Schwein[566], ты Шелесный». Потом закатил ему месяц гауптвахты. А недели через две разболелись у полковника зубы, и тут он вспомнил, что Железный — зубной техник. Приказал он привести его в госпиталь и велел вырвать себе зуб. Железный дергал зуб с полчаса, так что «дедушку» раза три водой отливали, но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот оно как получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчиненного. А подчиненный никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал тот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер... Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант?



— Знаете, Швейк, — ответил поручик Лукаш, — чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы не уважаете своих начальников. Солдат и много лет спустя должен говорить о своих начальниках только хорошее.

Видно было, что этот разговор поручика Лукаша начинает забавлять.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — как бы оправдываясь, перебил его Швейк, — ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер, но если вы, господин обер-лейтенант, желаете, — я буду говорить о нем только самое хорошее. Он, господин обер-лейтенант, был для солдат ангел во плоти. Такой добрый, прямо что твой святой Мартин, который раздавал гусей бедным и голодным. Он мог поделиться своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись кнедлики с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой. Но по-настоящему он показал свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижние Краловице, он приказал за его счет выпить все пиво в нижнекрало-

вицком пивоваренном заводе. На свои именины и на день рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант...

Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал;

— Ну уж ладно, иди, каналья, оставь его!

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant![567] — Швейк направился к своему вагону. В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена.

Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как все должно было быть по-фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв.

В тот день пароль был «Карре»[568], а отзыв «Хатван». Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами поляк из Коломьи, по странной случайности попал в Девяносто первый полк.

Ясно, что он не имел никакого представления о «Карре». Но так как у него обнаруживались все же кое-какие способности к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово с «к». Когда дежурный по батальону подпоручик Дуб спросил у него пароль, он невозмутимо ответил «Kaffe». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломьи до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в брукском лагере.

Когда поляк еще раз прокричал свое «Kaffe», а подпоручик Дуб шел прямо на него, тогда поляк-часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал: «Halt!» Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке: «Бенже шайсн, бенже шайсн»[569].

Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича:

— Wachkommandant! Wachkommandant![570]

Появился взводный Елинек, разводящий у часового-поляка, и спросил у него пароль, потом то же сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломьи на все вопросы кричал «Kaffe! Kaffe!», да так громко, что слышно было по всему вокзалу.

Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками, началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон.

Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком — он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал:

— Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!

После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце — Требишов, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон Четырнадцатого венгерского гонведского полка, который проехал эту станцию еще ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. Своим ревом: «Isten aid meg a kiralut!»[571] — они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты, из наиболее сознательных, высунулись из вагонов и ответили им:

— Поцелуйте нас в задницу! Éljen![572]

Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали:

— Éljen! Éljen a Tizeneguedik regiment![573]

Через пять минут поезд шел по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы; там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними — наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись.

К полудню поезд подошел к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии.

На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста.

Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души, до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю.

Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвести арестованных на вокзал, в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают.

Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и, нужно отдать справедливость, большинство офицеров осудило такую жестокость.

— Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать.

Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменне мстят за смерть эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимачеком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами.

Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жан-

дармы тоже получали «Четырехлистник» Шимачека с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби.

Он вышел из вагона и пошел искать Швейка.

— Послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Шел он из Страшниц на Винограды и остановился по дороге в трактире «У остановки». Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Корунный проспект, как стал летать по всему Корунному из трактира в трактир до самого костела святой Людмилы, — вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире «У ремиза» в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в три недели совершит пешком кругосветное путешествие.

Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у «Черного пивовара» на Карловой площади. Оттуда он двинул на Малую Страну в пивную к «Святому Томашу», а потом, сделав остановку «У Монтагов», пошел выше, остановился «У брабантского короля» и отправился в «Прекрасный вид», а оттуда — в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала себя знать. Добрался он до Лоретанской площади, и тут на него напала такая тоска по дому, что он грохнулся наземь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду! Начхать мне (простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант) на это кругосветное путешествие!» Все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушел.

Поручик Лукаш уверил его, что раньше чем через два часа они не тронутся и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сagner уже послал туда Матушича, и тот принес ему за пятнадцать крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал Швейку пятнадцать крон и приказал действовать немедленно; но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное.

— Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде: я очень люблю все запрещенное, нет-нет да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая... Как-то раз в Карлинских казармах нам запретили...

— Kehrt euch — marschieren — marsch![574] — скомандовал поручик Лукаш.

Швейк пошел за вокзал, повторяя по дороге все задания своей экспедиции: коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным.

Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба.

— Ты чего шляешься? — налетел тот на Швейка. — Ты меня знаешь?

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк, отдавая честь, — я бы не хотел узнать вас с плохой стороны.

Подпоручик Дуб пришел в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, не отрывая руки от козырька, и продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слез, как вы недавно изволили выразиться.

От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашел в себе силы крикнуть:

— Пшел отсюда, негодяй! Мы с тобой еще поговорим!

Швейк ушел с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом, тут же у самой дороги, стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно все это добро было предназначено для школьной молодежи, готовящейся к загородной прогулке. Там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где — ломтики черного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения. Под большими корзинами хранились различные спиртные напитки: бутылки коньяку, водки, рома, можжевеловки и всяких других ликеров и настоек.

Тут же, за придорожной канавой, стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещенным товаром.

Солдаты сначала договаривались у корзин, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядевшей корзины водку и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюки или за пазуху.



Туда-то и направил свои стопы Швейк в то время, как от вокзала за ним наблюдал завзятый сыщик — подпоручик Дуб.

Швейк забрал все у первой же корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул в карман, при этом пейсатый торговец шепнул ему:

— Schnaps hab' ich auch, gnädiger Herr Soldat![575] Переговоры были быстро закончены. Швейк вошел в палатку, но заплатил только после того, как господин с пейсами раскупорил бутылку и дал ему попробовать. Коньяком Швейк остался доволен и, спрятав бутылку за пазуху, направился к вокзалу.

— Где был, подлец? — преградил ему дорогу подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, ходил за конфетами. — Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет. — Если господин лейтенант не побрезгует... я их пробовал, неплохие. У них, господин лейтенант, такой приятный особый вкус, как у повидла.

Под мундиром Швейка обрисовывались округлые очертания бутылки.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по груди:

— Что несешь, мерзавец? Вынь!

Швейк вынул бутылку с желтоватым содержанием, на этикетке которой черным по белому было написано: «Cognac»[576].

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — проговорил Швейк, ничуть не смутившись, — я в бутылку из-под коньяка накачал немного воды. У меня от этого самого вчерашнего гуляша страшная жажда. Только вода там, в колодеце, как видите, господин лейтенант, какая-то желтоватая. По-видимому, это железистая вода. Такая вода очень полезна для здоровья.

— Раз у тебя такая сильная жажда, Швейк, — дьявольски усмехаясь, сказал подпоручик Дуб, желая возможно дольше продлить сцену, которая должна была закончиться полным поражением Швейка, — так напейся, но как следует. Выпей все сразу!

Подпоручик Дуб наперед представлял себе, как Швейк, сделав несколько глотков, не в состоянии будет продолжать, а он, подпоручик Дуб, одержав над ним полную победу, скажет: «Дай-ка и мне немножко, у меня тоже жажда». Посмотрим, как будет выглядеть этот мошенник в грозный для него час! Потом последует рапорт и так далее.

Швейк открыл бутылку, приложил ее ко рту, и напиток глоток за глотком исчез в его горле.

Подпоручик Дуб оцепенел. На его глазах Швейк выдул все и бровью не повел, потом швырнул порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, у этой воды действительно железистый привкус. В Камыке-на-Влтаве один трактирщик летом делал для своих посетителей железистую воду очень просто: он бросал в колодец старые подковы!

— Я тебе дам старые подковы! Покажи колодец, из которого ты набрал эту воду!

— Недалеко отсюда, господин лейтенант, вон за той деревянной палаткой.

— Иди вперед, негодяй, я хочу видеть, как ты держишь шаг!

«Действительно странно, — подумал подпоручик Дуб. — По этому негодяю ничего не видно!»

Швейк шел, предав себя воле божьей. Что-то подсказывало ему, что колодец должен быть впереди, и поэтому он совсем не удивился, когда они действительно вышли к колодцу. Мало того, и насос был цел. Швейк начал качать, из насоса потекла желтоватая вода.

— Вот она, эта железистая вода, господин лейтенант, — торжественно провозгласил он.

Приблизился перепуганный пейсатый мужчина, и Швейк по-немецки попросил его принести стакан — дескать, господин лейтенант хотят пить.

Подпоручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от кото-



рой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал пейсатому еврею за этот стакан воды пять крон и, повернувшись к Швейку, сказал:

— Ты чего здесь глазеешь? Пошел домой!

Пять минут спустя Швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять, самое большее через десять минут я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своем вагоне; смею вас просить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение, по крайней мере, трех часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не высплусь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратором Кацем...

— Изыди, bestия! — крикнул, но без гнева, поручик Лукаш, зато подпору-

чик Дуб стал в его глазах, по крайней мере, процентов на пятьдесят менее симпатичным, чем был до сих пор.

Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим:

— Жил-был один человек. Как-то раз надрызгался он и попросил его не будить...

После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел.

Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-окультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул:

— Черт поberi! Пахнет коньяком!

У складного стола сидел вольноопределяющийся Марек, достигший наконец после всех злоключений должности батальонного историографа.

Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее.

Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольноопределяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять:

— Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система.

— Систематическая система, — заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь.

— Да, — небрежно обронил вольноопределяющийся, — систематизированная систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну. *Nihil nisi bene*[577]. Для обстоятельного историографа, как я, главное — составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон (это произойдет примерно месяца через два) чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, — скажем, полками донских казаков. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят, и тут капитан Сагнер дает приказ по батальону: «Бог не хочет нашей гибели, бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на нее. Она бешено улепетывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие, говоря пророчески, пан Ванек, влечет за собой далеко идущие последствия. Наш батальон идет от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля, но для описания этого необходимо овладеть слогом «Иллюстрированного военного корреспондента», выходявшего во время русско-японской войны в издательстве Вилимека.

Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Каждый из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит, как в масло, только иногда затрещит ребро. Спящие враги дергаются всем телом, на миг выкатывают удивленные, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются.

На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот еще лучше. Будет это приблизительно месяца через три. Наш батальон возьмет в плен русского царя, но об этом, пан Ванек, мы расскажем несколько позже, а пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придется придумать совершенно новые военные термины. Один я уже придумал. Это способность наших солдат, нашпигованных осколками гранат, к самопожертвованию. Взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных, скажем, двенадцатой или тринадцатой роты, оторвет голову.

— À propos, — сказал вольноопределяющийся, хлопнув себя по лбу, — чуть-чуть не забыл, господин старший писарь, или, выражаясь по-штатски, пан Ванек, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из двенадцатой роты. Гоуска? Хорошо, так, значит, взрывом этого фугаса оторвет голову Гоуске. Голова отлетит, но тело сделает еще несколько шагов, прицелится и выстрелом собьет вражеский аэроплан. Само собой разумеется, эти победы будут торжественно отпразднованы в семейном кругу в Шенбрунне. У Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличится, что исключительно в его честь будет устроено небольшое семейное торжество царствующего дома. Дело представляется так, как вы это видите в моих заметках: семья эрцгерцогини Марии-Валери ради этого перенесет свою резиденцию из Вальзее в Шенбрунн. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале рядом со спальней монарха, освещенной белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможности короткого замыкания, чего боится старенький монарх. В шесть часов вечера начинается торжество в честь и славу нашего батальона. В это время в зал, который, собственно говоря, относится к покоям в бозе почившей императрицы, вводят внуков его величества. Теперь вопрос, кто еще, кроме императорского семейства, будет присутствовать на торжестве. Там должен и будет присутствовать генерал-адъютант монарха, граф Паар. Ввиду того что при таких семейных и интимных приемах иногда кому-нибудь становится дурно, — я вовсе не хочу сказать, что граф Паар начнет блевать, — желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества Керцеля. Порядка ради, дабы камер-лакеи не позволяли себе вольностей по отношению к присутствующим на приеме фрейлинам, прибывают обер-гофмейстер барон Ледерер, камергер граф Белегарде и статс-дама графиня Бомбелль, которая среди фрейлин играет ту же роль, что «мадам» в борделе «У Шугов». После того как это великосветское общество собралось, докладывают императору. Он появляется в сопровождении внуков, занимает свое место за столом и поднимает тост в честь нашего маршевого батальона. После него слово берет эрцгерцогиня Мария-Валери, которая особенно похвально отзывается о вас, господин старший писарь. Правда, как видно из моих заметок, наш батальон терпит тяжелые и чувствительные потери, ибо батальон без павших — не батальон. Необходимо будет подготовить еще статью о наших павших. История батальона не должна складываться только из сухих фактов о победах, которых я наперед наметил около сорока двух. Вы, например, пан Ванек, падете у небольшой речки, а вот Балоун, который так дико глазеет на нас, погибнет своеобразной смертью, не от пули, не

от шрапнели и не от гранаты. Он будет удушен арканом, закинутым с неприятельского самолета, как раз в тот момент, когда будет пожирать обед своего обер-лейтенанта Лукаша.

Балоун отошел, горестно взмахнув руками, и удрученно прошептал:

— Я не виноват, уж таким я уродился! Еще когда я служил на действительной, так я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Как-то я три раза подряд получил на обед грудинку, а потом сидел за это целый месяц... Да будет воля твоя, господи!

— Не робейте, Балоун, — утешил его вольноопределяющийся. — В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда уплетали офицерский обед. Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона, павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ванек.

— А мне какую смерть вы готовите, Марек?

— Только не торопитесь, господин фельдфебель, это не так просто делается. Вольноопределяющийся задумался.

— Вы из Кралуп, не правда ли? Ну, так пишите домой в Кралупы, что пропадете без вести, но только напишите как-нибудь поосторожней. А может, вы предпочитаете быть тяжелораненым, остаться за проволочными заграждениями? Лежите себе этак с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, он начинает садить по вас гранатами и шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу, неприятельское войско на одного вас истратило столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. После всех взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух. Они поют гимн великой победе. Короче говоря, каждый получит по заслугам, каждый из нашего батальона отличится, так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы переполнять их, но ничего не могу поделать, все должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась хоть какая-нибудь память. Все это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, скажем, в сентябре, ровнехонько ничего не останется, кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им, что все те, кто уже не увидит родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ванек, я уже составил. Вечная память павшим! Их любовь к монархии — любовь самая святая, ибо привела к смерти. Да произносятся их имена с уважением, например, имя Ванека. А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слезы, ибо павшие были героями нашего батальона!

Телефонист Ходоунский и повар Юрайда с нескрываемым интересом слушали сообщение вольноопределяющегося о подготавливаемой им истории батальона.

— Подойдите поближе, господа, — попросил вольноопределяющийся, перелистывая свою рукопись. — Страница пятнадцать! «Телефонист Ходоунский пал третьего сентября одновременно с батальонным поваром Юрайдой». Теперь слушайте мои примечания: «Беспримерный героизм. Первый, находясь бесценно три дня у телефона, с опасностью для жизни защищает в своем блиндаже телефонный провод. Второй, видя угрожающую со стороны непри-

ятеля опасность обхода с фланга, с котлом кипящего супа бросается на врага, ошпаривает вражеских солдат и сеет панику в рядах противника. Прекрасная смерть обоих. Первый взрывается на фугасе, второй умирает от удушливых газов, которые ему сунули под самый нос, когда ему нечем было уже обороняться. Оба погибают с возгласами: «Es lebe unser Batallionskommandant!»[578] Верховному командованию не остается ничего другого, как только ежедневно выражать нам благодарность в форме приказов, чтобы и другие части нашей армии были осведомлены о доблестях нашего батальона и брали с него пример. Могу вам прочесть выдержку из приказа по армии, который зачитан по всем армейским частям. Он очень похож на приказ эрцгерцога Карла, изданный им в тысяча восемьсот пятом году, когда он со своей армией стоял под Падуей, где ему на другой день после объявления приказа всыпали по первое число... Ну, так слушайте, что будут читать о нашем батальоне как о доблестной, примерной для всей армии воинской части: «Надеюсь, вся армия возьмет пример с вышепоименованного батальона и переймет от него ту веру в свои силы и доблесть, ту несокрушимость в опасности, то беспримерное геройство, любовь и доверие к своим начальникам, словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон и которые ведут его к достойным удивления подвигам ко благу и победе нашей империи. Все да последуют его примеру!»

Из угла, где лежал Швейк, слышались громкий зевок и слова, произносимые во сне: «Вы правы, пани Мюллерова, бывают случаи удивительного сходства. В Кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярош. Он, как две капли воды, был похож на часовщика Лейганца из Пардубиц, а тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискора из Ичина, а все четверо — на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Индржихова Градца, прямо под железнодорожной насыпью, где он, вероятно, бросился под поезд...» Новый сладкий зевок, и все услышали продолжение: «Всех остальных присудили к большому штрафу, а завтра сварите, пани Мюллерова, лапшу...» Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-окультистом Юрайдой и вольноопределяющимся начались дебаты о предугадывании будущего.

Окультист Юрайда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрайды была сплошной завесой. Через каждую фразу он поминал завесу будущего, пока наконец не перешел на регенерацию, то есть восстановление человеческого тела, приплел сюда способность инфузорий восстанавливать части своего тела и закончил заявлением, что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у нее отрастет снова.

Телефонист Ходоунский прибавил к этому, что если бы люди обладали той же способностью, что и ящерицы, то было бы не житье, а масленица. Скажем, например, на войне оторвет кому-нибудь голову или какую другую часть тела. Для военного ведомства это было бы очень удобно, ведь тогда в армии не было бы инвалидов. Один австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады.

Вольноопределяющийся заявил, что в настоящее время благодаря достижениям военной техники неприятеля с успехом можно рассеять поперек, хотя бы

даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела у некоторых инфузорий, каждый отрезок инфузории возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерилось, из каждой ноги развивался бы новый свежий пехотинец.

— Если бы вас слышал Швейк, — заметил старший писарь Ванек, — тот бы, по крайней мере, привел нам какой-нибудь пример.

Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал:

— Hier!

Доказав свою дисциплинированность, он захрапел снова.

В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба.

— Швейк здесь? — спросил он.

— Так точно, господин лейтенант. Спит, — ответил вольноопределяющийся.

— Если я спрашиваю о Швейке, вы, вольноопределяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его.

— Нельзя, господин лейтенант, он спит.

— Так разбудите его! Удивляюсь, вольноопределяющийся, как вы сразу об этом не догадались. Вы должны быть более любезны по отношению к своим начальникам! Вы меня еще не знаете? Но когда вы меня узнаете...

Вольноопределяющийся начал будить Швейка:

— Швейк, пожар! Вставай!

— Когда был пожар на мельнице Одколека, — забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок, — даже с Высочан приехали пожарные...

— Извольте видеть, — спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу. — Бужу его, но толку никакого.

Подпоручик Дуб рассвирепел:

— Как фамилия, вольноопределяющийся?

— Марек.

— Ага, это тот вольноопределяющийся Марек, который все время сидел под арестом?

— Так точно, господин лейтенант. Прошел я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно: по оправданию в дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом с оставлением мне звания вольноопределяющегося.

— Долго им вы не будете! — заорал подпоручик Дуб, побагровев от гнева. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то хлестал его по щекам. — Я позабочусь об этом!

— Прощу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту, — с серьезным видом сказал вольноопределяющийся.

— Не шутите со мной, — не унимался подпоручик Дуб. — Я вам покажу рапорт! Мы еще с вами встретимся, но вам от этой встречи здорово солоно придется! Вы меня узнаете, если до сих пор еще не узнали!

Обозленный подпоручик Дуб ушел, в волнении позабыв о Швейке, хотя минутой тому назад намеревался позвать его и приказать: «Дыхни на меня!» Это было последней возможностью уличить Швейка в незаконном употреблении алкоголя.

Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону. Но теперь

было уже поздно — солдатам роздали черный кофе с ромом.

Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны.

— Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб.

Швейк выдохнул на него весь запас своих легких.

Словно горячий ветер пронес по полю запах винокуренного завода.

— Чем это от тебя разит, прохвост?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом.

— Попался, негодяй! — злорадствовал подпоручик Дуб. — Наконец-то я тебя накрыл!

— Так точно, господин лейтенант, — совершенно спокойно согласился Швейк, — мы только что получили ром к кофе, и я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не повторится.

— А отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Веспрема. Первый и Второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию и Западную Венгрию и окружили наш Четвертый корпус, расквартированный в Вене и в ее окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Они нас обошли, подойдя к мосту, который саперы наводили с правого берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга, от Осека. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет Третий армейский корпус, чтобы, когда мы начнем наступление против Второго армейского корпуса, нас не разбили между озером Балатон и Пресбургом. Да напрасно! Мы уже должны были победить, но затрубили отбой — и выиграла те, с белыми повязками.

Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку:

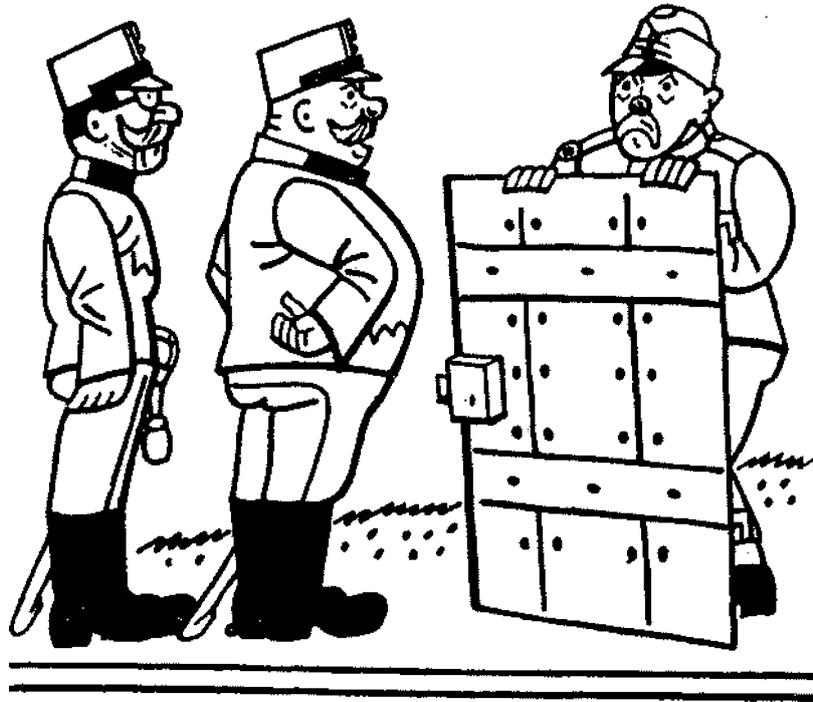
— Запомните все! Придет время, наплачетесь вы у меня!

На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата двенадцатой роты, которого привел фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева.

Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности.

Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему:

— Если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и уберите



тесь ко всем чертям!

Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел территорию вокзала и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки: «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрывался газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему: «Набacht!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в Гумен не в резерве. Подпоручик Дуб его потрянул, солдат-венгр встал и не считал даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним, солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе.

Подпоручик Дуб в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться! Я знаю, что вы забыли про нитки».

— Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина.

— Ну-ка, покажите! Немедленно! Тут же принести катушки сюда! Думаете, я вам верю?

Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал:

— Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, как легко они рвутся, а теперь посмотри на мои, сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь. На фронте хлам не нужен, на фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай не спросясь, а когда соберешься что-нибудь купить, приди ко

мне и спроси. Не стремись узнать меня короче! Ты еще не знаешь меня с плохой стороны!

Когда Кунерт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу:

— Мой денщик совсем неглупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но в общем очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего шурина. Несколько жареных молодых гусей. Так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся, а так как я быстро их съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат.

Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес:

— Да, сегодня среда.

Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно, по-приятельски, начал:

— Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о...

— Пардон, минутку, — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона.

Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине.

— Где это ты пропадал все время? Почему тебя нигде не было видно? — спросил Швейк.

— Небось знаешь, — ответил Кунерт, — у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся.

— Очень мило с его стороны — спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата — прямо отец родной, — серьезно сказал Швейк.

— Ты думаешь? — возразил Кунерт. — Большая свинья, а глуп, как пуп. Надел мне хуже горькой редьки, все время придирается.

— Поди ж ты! — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж все вы, денщики, такими уродились. Взять хоть денщика майора Венцеля, тот своего господина иначе не называет, как «окаянный балбес», а денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, честит его «вонючим чудовищем» и «вонючей вонючкой». А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будейовицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохазка, так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбив срок военной службы, по привычке стал так обзывать и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше, и мамаше, и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее «коровой» с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую, ну, а так — позор на всю Европу.

Между нами, Кунерт, о твоём лейтенанте я никогда бы этого не подумал.

Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным... Ты сам-то откуда? Прямо из Будейовиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живешь? Под аркадами? Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей? Так ты счастливее, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: «Когда он труп, он труп для земля, земейная связь уже нет, он польше чем «ein Held»[579] за то, что сфой шизнь «hat geopfert»[580] за большой земля, за «Vaterland»[581]. Ты живешь на пятом этаже?

— На первом.

— Да, да, верно, я теперь вспомнил, что там, на площади в Будейовицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? А-а! Твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень *интеллигентный*. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Смотри не забудь!

Швейк влез в свой вагон, а Кунерт с нитками убрался в свою берлогу.

Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни, Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои.

Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец (дорога проходила вдоль верховья Лаборца), видны были новые мосты и обгорелые устои старых.

Вся Медзилаборецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск.

После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров.

За Новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени.

Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь: деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек; хутора были разорены.

Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте.

Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию галдевшие свое «Wann ich kumm, wann ich wieda kumm...», начиная от Гуменне притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой.

В Медзилаборце поезд остановился за разбитым, сожженным вокзалом, из закоптелых стен которого торчали искореженные балки.

Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках: «Подписывайтесь на австрийский военный заем».

В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал.

Под железнодорожной насыпью в долине потока лежала разбитая полевая кухня.

Указывая на нее, Швейк сказал Балоуну:

— Посмотри, Балоун, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетел снаряд и вон как разделал кухню.

— Прямо страх берет! — вздохнул Балоун. — Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня. Ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будейовицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там, я все вздыхал по кожаным, городским... Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи мое прегрешение, вымачивать ее в пиве! — Балоун в полном отчаянии стал исповедоваться, как на духу: — Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальше, в Нижнем Загае избил капеллана. В бога я еще верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил, и вот теперь господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажилывал, а жену свою тиранил.

Швейк задумался:

— Вы мельник? Так ведь?! Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно, ведь из-за вас и разразилась мировая война.

Вольноопределяющийся вмешался в разговор:

— Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ офицеров? Когда на пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Балоун? Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли

вешать в вашей комнате. Ведь он, Балоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку: «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю императору: «Мы здесь и ждем дальнейших приказаний». Понимаете теперь, в чем дело, Балоун?

— Не понимаю, — вздохнул Балоун. — Тупая у меня башка. Мне все надо повторять по десяти раз.

— Может, маленько уступишь? — спросил Швейк. — Так я тебе еще раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придется верить в святого Иосифа, а когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя императора на случай новых войн. Ну, теперь ты, я полагаю, понял и хорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к ксендзу и потом, когда уже покаялась в различных грехах, застыдилась и сказала, что каждую ночь вела себя безнравственно... Ну ясно, как только ксендз это услышал, у него слюнки потекли. Он и говорит ей: «Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности». А она расплакалась: ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать, он-де отец ее духовный. Наконец, дрожа всем телом, она сказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась. А он снова: «Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость божия бесконечна!» Наконец она собралась с духом и, плача, проговорила: «Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее». Вот вам и вся безнравственность. Но я надеюсь, что ты, Балоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее, про настоящую безнравственность.



Балоун, по его собственным словам, безнравственно вел себя с крестьянами. Безнравственность состояла в том, что он подмешивал им плохую муку. И

это в простоте душевной Балоун называл безнравственностью. Больше всех был разочарован телеграфист Ходоунский, который все выпытывал, действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки. Балоун, отмахиваясь, ответил: «На это у меня ума не хватало».

Солдатам объявили, что обед будет за Палотой на Лупковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпоручиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзилаборец. В качестве патруля к ним были прикомандированы четыре солдата.

Не прошло и получаса, как они вернулись с тремя поросятами, связанными за задние ноги, с ревущей семьей угроруса — у него были реквизированы поросята — и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайтгамлю.

Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это последнее его достояние и что он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили.

При этом он совал капитану Сагнеру полученные им за поросят деньги; жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю.

Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку. Но это не помогло. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку.

Подпоручик Цайтгамль заявил тоном коммерсанта:

— У этого мужика осталось еще двенадцать поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер двенадцать тысяч четыреста двадцать, часть хозяйственная. Согласно параграфу шестнадцатому этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем две кроны шестнадцать геллеров за килограмм живого веса. В местах, войной затронутых, следует прибавлять на один килограмм живого веса тридцать шесть геллеров, что составит за один килограмм две кроны пятьдесят два геллера. Примечание: в случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости с полным составом свиного поголовья, то свиньи могут быть отправлены для снабжения проходящих частей; выплачивать же за реквизированную свинину следует как в местах, войною не затронутых, с особой приплатой в размере двенадцати геллеров на один килограмм живого веса. Если ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря (если дело идет о небольшом подразделении), которому поручена хозяйственная часть.

Все это подпоручик Цайтгамль прочел по копии дивизионного приказа, которую все время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за один килограмм моркови повышается на пятнадцать целых три десятых геллера, а для *Offiziersmenagekücheabteilung*[582] в прифронтовой полосе за цветную капусту оплата повышается на одну крону семьдесят пять геллеров за один килограмм.

Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу изобилующей морковью и цветной капустой.

Подпоручик Цайтгамль прочел это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он, а когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал:

— Значит, хочешь комиссию?

Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой. Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по две кроны пятьдесят два геллера за один килограмм или только по две кроны двадцать восемь геллеров.

Они еще не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донесся троекратный предсмертный визг поросят. Крестьянин понял, что всему конец, и отчаянно закричал:

— Давайте мне за каждую свинью по два золотых!

Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посередине пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул и не заорал на украинском диалекте утрорусов, чтобы они встали. Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами...

Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками; тогда один из солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась наутек.

Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. Уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами:

— Небось и вы не прочь этого пожрать? Не так ли? Нет, ребята, это только для унтеров. Поварам — печенка и почки, мозг и голова — господам фельдфебелям, а младшим писарям — только двойная солдатская порция мяса.

Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: «Свиное жаркое с тмином. Выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное!» Вот почему, когда на Лупковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по два маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только кусочек шкурки.

В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия.

Вольноопределяющийся Марек из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом: «Это нашему историографу», — Марек заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров.

Вольноопределяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что от-

казывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кашевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда, — тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока.

У писарей тоже лоснились морды; санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись еще не прибранные остатки недавних боев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, ключья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталась только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Везде валялись осколки снарядов; по видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом.

Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения — представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров.

Полуразрушенную водонапорную башню, деревянную будку железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалеку, из-за холма, поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки — на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных барачков.

Ныне одна группа барачков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии.

На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбургцам с надписью: «Den Helden von Lupkarass» [583], с большим германским орлом, вылитым из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками.

В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона.

Сообщения были невероятно путаны. Из них можно было заключить единственно, что им вовсе не следовало ехать на Лупковский перевал, а, добравшись до Нового Места у Шятора, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп — Унгвар — Киш-Березна — Ужок.

Через десять минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес: в батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой восьмой маршевый батальон Семьдесят пятого полка (военный шифр С<sub>3</sub>). Бригадный балбес удивлялся, получив ответ,

что на проводе седьмой маршевый батальон Девяносто первого полка, и спросил, кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрый, тогда как их маршрут через Лупковский перевал на Санок в Галицию.

Балбес был потрясен тем, что ему телеграфируют с Лупковского перевала, и послал шифрованную телеграмму: «Маршрут остается без изменения: Лупковский перевал — Санок, где ждать дальнейших распоряжений».

По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине, делая намеки на то, что, не будь германцев, восточная военная группа совершенно потеряла бы голову.

Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и нес околесицу насчет того, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок.

Офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать: «Этот господин не виноват, что таким идиотом уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил. И он повторил: «Да, безусловно, разумеется, русские отступали здесь в страшной панике».

Капитан Сагнер про себя решил, что, когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он из окна вагона, шепнул сгоряча:

— Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей.

Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане.

Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями.

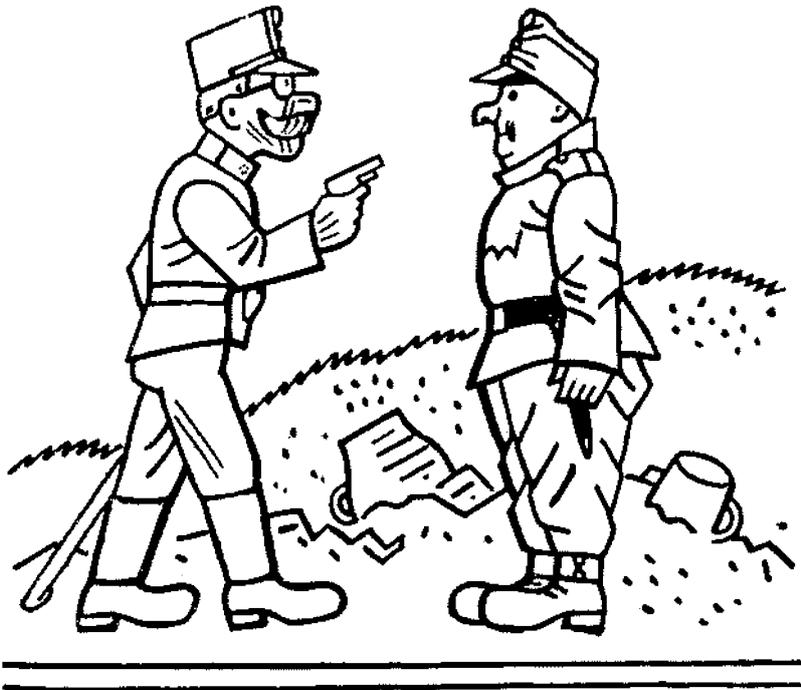
Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде «Потом мы двинулись на Буковско, чтобы обеспечить за собой линию Буковско — Дынув, поддерживая связь с бардеёвской группой у Большой Полянки, где мы разбили сарматскую дивизию неприятеля».

Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба: «О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником?»

Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукаша и вышел из вагона.

Воинский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами, которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же среди разнообразнейших предметов виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте надо рвом стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что среди них стоит Швейк и рассказывает что-то.

Он отправился туда.



— Что случилось? — раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который словно из-под земли вырос прямо перед Швейком.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за всех Швейк, — смотрим.

— На что смотрите? — крикнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, смотрим вниз, в ров.

— А кто разрешил?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, такова воля нашего господина полковника Шредера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боев, сугубое внимание обращать на то, как развивалось сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин лейтенант, в этом рву, мы видим, что́ солдату приходится бросать при отступлении. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя. И понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать.

У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилицаристскую пропаганду, а потому он быстро спросил:

— Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтоб они валялись где-нибудь в овраге, как вон там?

— Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант, — приятно улыбаясь, ответил Швейк, — извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок.

И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденный ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков.

Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось,

как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провел под кроватью.

На всех это произвело колоссальное впечатление. И так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла презабавная история на курорте Подебрады... Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик «Независимость», во главе которого стал подебрадский аптекарь, а редактором поставили Ладислава Гаека из Домажлиц.

Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки и прочую дребедень, набрал прямо-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну нализились они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и с хоругвями епископ Бриних из Градца. Подебрадский аптекарь решил, что это намек, и подал на Гаека в суд.

Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех:

— Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меня еще не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону.

Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий.

Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:

— Знаешь, что это такое?

— Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.

— Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.

Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: «Это я ему хорошо сказал: «про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!..»

Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:

— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».

В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»... Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его

части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. «Старикашка» заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у «старикашки» непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал! За это его и прозывали «старикашкой».

Но если «старикашка» понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто «старикашки» «паршивым старикашкой» или «дрянным старикашкой».

Высшая ступень непорядочности, придиристичности и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между «штатским пердуном» и «военным пердуном» была большая разница.

Первый, штатский, тоже является начальством, в учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и т. п. Это исключительный идиот и скотина, осел, который строит из себя умного, делает вид, что все ему ясно, все умеет объяснить, и к тому же на всех обижается.

Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и «пердуном» в военном мундире. Здесь это слово обозначало «старикашку», который был настоящим «паршивым старикашкой», всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто «старикашка» и отчасти «паршивый старикашка».

В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилым, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до «пердуна» не хватало еще пятидесяти процентов.

Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла, он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух: у него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком.

— В таком случае, — рассудил Швейк, — идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский: «От сих до сих». Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом, а при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет: в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. Однако это дела не меняет, — продолжал Швейк. — Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Губичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара поще-

чин на военной службе много значит.

Кунерт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону.

Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал:

— Что вам здесь нужно, негодяи?

— Держись с достоинством, — советовал Швейк Кунерту, вталкивая его в вагон.

В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер.

Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, на нем было написано, что произошли новые неприятные события.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — дело идет о рапорте.

— Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк! Мне это уже надоело.

— С вашего разрешения, я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, извольте быть командиром одиннадцатой роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам.

— Вы, Швейк, окончательно спятили! — прервал его поручик Лукаш. — Вы пьяны и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. Понимаешь, дурак, скотина?!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунерта, — это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтоб никого не переехало трамваем. В жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение.

Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало полнейшее отчаяние.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать, — неумолимо продолжал Швейк. — Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать.

— Странная история, — задумался капитан Сагнер. — Почему вы, Швейк, все время подталкиваете к нам Кунерта?

— Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп, ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени, он еле жив, оттого что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Кудея из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета, потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не



мог отличить его от туземца. Вообще очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил этих оплеух столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него: он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть «скромной фиалкой». Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба.

Подталкивая Кунерта вперед, Швейк сказал ему:  
— Да не трясись же ты как осиновый лист!

Капитан Сагнер спросил Кунерта, как было дело. Кунерт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всем расспросить самого господина лейтенанта. Вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил.

Иуда Кунерт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал.

Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб. Вдруг появившись в коридоре, он закричал на Кунерта:

— Хочешь схлопотать *новые* оплеухи?

Все стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу:

— С сегодняшнего дня Кунерт прикомандировывается к батальонной кухне, что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку.

Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил Швейку:

— Бьюсь об заклад, вам не миновать петли!

Когда Дуб ушел, Швейк растроганно и по-дружески обратился к поручику Лукашу:

— В Мниховом Градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: «Под виселицей встретимся».

— Ну и идиот же вы, Швейк! — с сердцем воскликнул поручик Лукаш. — Но не вздумайте, по своему обыкновению, ответить: «Так точно — я идиот».

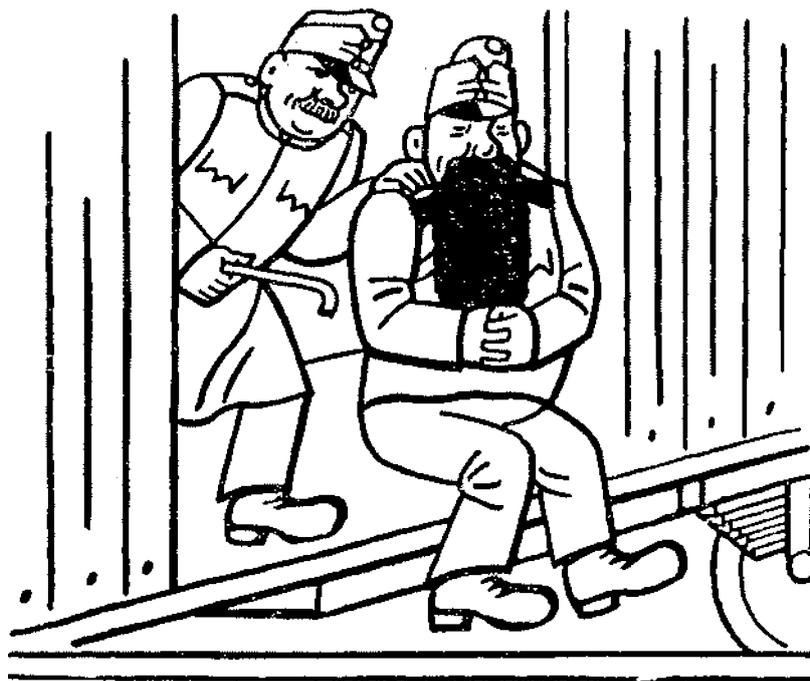
— Frappant![584] — воскликнул капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно; несчастье уже совершилось: под окном стоял подпоручик Дуб.

Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте.

— Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой.

— Я с тобой об этом не спорю, — сухо ответил капитан Сагнер и отошел от окна.

Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Санюку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления.



В вагоне, где находился Швейк, недоставало Балоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент от-

правления Балоун находился на платформе с полевыми кухнями и, когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна:

— Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба. Здесь много соуса.

Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда одиннадцатая рота приехала с котлом, вычищенным до блеска.

— Да вознаградит вас за это господь бог, товарищи, — сердечно благодарил Балоун. — С тех пор как я на военной службе, мне впервой привалило счастье.

И он был прав. На Лупковском перевале Балоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным.

Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Санокке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головою и шептал: «Вот увидите, товарищи, господь бог нас не оставит».

Все откровенно расхохотались, а кашевар, сидя на полевой кухне, запел:

*Жупайдия, жупайда,  
бог не выдаст никогда,  
коли нас посадит в лужу,  
сам же вытащит наружу,  
коли в лес нас заведет,  
сам дорогу нам найдет.  
Жупайдия, жупайда,  
бог не выдаст никогда.*

За станцией Шавне, в долине, опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути.

Поезд набирал скорость, летя по лощине к Санокку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта.

Около Кулашны, внизу, в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи.

Балоун вылупил глаза, его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно двадцативосьмисантиметровое орудие.

Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда:

— Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?

— Не полагается, но допускается, — ответил Швейк. — Попадание было хорошее, ну, а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью, красного креста не заметили. На свете вообще много чего не полагается, но что допускается. Главное, попытаться сделать то, чего делать нельзя. Во время императорских маневров под Писеком пришел приказ, что в походе запрещается

связывать солдат «козлом». Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный «козлом» солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто на просто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет пять-шесть назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик, а этажом выше — очень порядочный человек, студент консерватории Микеш. Этот Микеш был страшный бабник, начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий! Я не выдам ее за вас». — «Хорошо, — ответил пан Микеш, — что же делать, нельзя так нельзя! Не пропадать же мне совсем!» Через два месяца пан Карлик снова пришел к студенту да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Вы обесчестили нашу дочь!» — «Совершенно верно, — подтвердил он. — Я, милостивая государыня, испортил девчонку!» Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босяка. А тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой: тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоятся. Жениться на ней он не хочет; человек он с характером, не ветрогон: что сказал, то свято. А если его будут преследовать, — ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел «отлично». Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается, могут быть пути различны, но к единой устремимся цели!

— Дорогие друзья, — воскликнул вольноопределяющийся, усердно делавший какие-то заметки, — нет худа без добра! Этот взорванный, полусожженный и сброшенный с насыпи поезд Красного Креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона новым геройским подвигом. Представим себе, что этак около шестнадцатого сентября, как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание. Что я вижу! — удивился вольноопределяющийся, заглянув в свою тетрадь. — Как попал сюда наш пан Ванек? Послушайте, господин старший писарь, — обратился он к Ванеку, — какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче.

Вольноопределяющийся прочел патетическим тоном:

— *«Геройская смерть старшего писаря Ванека.* На отважный подвиг — подрыв неприятельского бронепоезда — среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестьянскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя, то увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания

о расположении и силах нашего войска. Ввиду того что он был найден передетым, его приговорили, как шпиона, к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом.

Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил: «Передайте через парламентаря моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину капитану Сагнеру, что, согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на две с половиной банки».

Так умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты: «Мой выигрыш отдайте русскому Красному Кресту», — сказал он, глядя в упор на наставленные дула ружей. Это великодушие и благородство до слез потрясли военные чины, присутствовавшие на казни».

— Простите, пан Ванек, — продолжал вольноопределяющийся, — что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счете, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению.

— Наш покойник, — сказал Швейк, — мог бы передать этот выигрыш «суповому учреждению» города Праги, но так, пожалуй, лучше, а то, чего доброго, городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы.

— Все равно крадут всюду, — сказал телефонист Ходоунский.

— Больше всего крадут в Красном Кресте, — с озлоблением сказал повар Юрайда. — Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия. Так он мне рассказывал, что заведующая лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период...

Повар-окультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяку.

— Вы видите здесь, — сказал он, откупоривая бутылку, — неопровержимое доказательство моего утверждения. Перед отъездом я взял эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки, выдан на сахарную глазурь для линцских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл, равно как мне было предопределено стать вором.

— Было бы не скверно, — отозвался Швейк, — если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие.

И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла вкруговую. Ванек утверждал, что коньяк сле-

дует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится пять человек, то есть число нечетное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на один глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив:

— Совершенно верно, и если пан Ванек хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам.

Тогда Ванек отказался от своего проекта и внес другой, великодушный: пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юрайде выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек раз уже хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки.

В конечном счете был принят проект вольноопределяющегося пить по алфавиту. Вольноопределяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой.

Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоунский, проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Но это оказалось грубым математическим просчетом, так как всего вышел двадцать один глоток.

Потом стали играть в «простой цвик» из трех карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из Священного писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил:

— Господи, остави ми валета и се лето дондеже окопаю и осыплю гноем, и аще убо сотворит плод...

Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмерку, он гласом велиим возопил:

— Или коя жена имуци десять драхм, аще погубит драхму едину, не возжигает ли светильника, и пометет храмину, и ищет прилежно, дондеже обрящет; и обретши созывает другини и соседы глаголюще: радуйтеся со мною, ибо взяла я восьмерку и прикупила козырного короля и туза... Давайте сюда карты, вы все сели.

Вольноопределяющемуся Мареку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным:

— И настанет трус великий в градах, глад и мор по всей земли, и будут знаменья велия на небе.

Наконец карты надоели, и они бросили играть, после того как Ходоунский просадил свое жалованье за полгода вперед. Он был страшно удручен этим, а вольноопределяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалованья старший писарь Ванек должен выдать жалованье Ходоунского ему, Мареку.

— Не трусь, Ходоунский, — подбодрил несчастного Швейк. — Тебе еще повезет. Если тебя убьют при первой схватке, Марек утрет себе морду твоей распиской. Подпиши!

Это замечание задело Ходоунского за живое, и он с уверенностью заявил:

— Я не могу быть убитым: я телефонист, а телефонисты все время находятся в блиндаже, а провода натягивают или ищут повреждения после боя.

В ответ на это вольноопределяющийся возразил, что как раз наоборот — те-



лефонисты подвергаются колоссальной опасности и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом на телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся телефонист в землю хоть на десять метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен двадцать восьмой набор на курсы телефонистов.

Ходоунскому стало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов в утешение:

— Здорово тебя объегорили!

Ходоунский приветливо отозвался:

— Цыц, тетенька!

— Посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х». Ходоунский... гм... Ходоунский... ага, здесь: «Телефонист Ходоунский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб: «Умираю. Поздравляю наш батальон с победой!»



— Этого с тебя достаточно? — спросил Швейк. — А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? Помнишь того телефониста на «Титанике»? Тот, когда корабль уже шел ко дну, еще телефониловал вниз, в затопленную кухню: «Когда же будет обед?»

— Это мне нетрудно, — уверил вольноопределяющийся. — Если угодно, предсмертные слова Ходоунского можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон: «Передайте мой привет нашей железной бригаде!»

#### Глава IV Шагом марш!

Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня одиннадцатой маршевой роты и где, наевшись до отвала, с шумом пускал ветры Балон, были правы, когда утверждали, что в Санокке батальон получит ужин и паек хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Санокке находится штаб «железной бригады», к которой, согласно своему метрическому свидетельству, был приписан батальон Девяносто первого полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее, до Великих Мостов, не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой «железная бригада» сосредоточивала маршевые батальоны в ста пятидесяти километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг и вдоль нее на север к Сокалю.

Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок.

Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрле.

— Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрле, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный. График своего продвижения вы должны были, понятно, сообщить заранее. *Вопреки диспозиции главного штаба ваш батальон прибыл на два дня раньше.*

Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути.

— Вы меня удивляете, — сказал капитан Тайрле.

— Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнер, — все мы, офицеры, между собой на «ты».

— Идет, — сказал капитан Тайрле. — Скажи, кадровый ты или штатский? Кадровый? Это совсем другое дело... Ведь на лбу у тебя не написано! Сколько здесь перебивало этих балбесов — лейтенантов запаса! Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти «тоже лейтенанты» теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав «интеллигентку», в конце концов становится кадровым. А то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком; а случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец.

Капитан Тайрле сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу:

— Задержитесь тут денька на два. Я вам все покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки, «Engelhugen»[585]. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она откалывает. По виду тощая, стерва, никогда не подумаешь! Но свое дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь! Ну да сам увидишь... Пардон, — смущенно извинился он, — пойду блевать, сего-

дня уже в третий раз.

Чтоб лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствие вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы.

С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме, с тремя золотыми звездочками, и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле:

— Что поделываешь, поросенок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню! — Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. — Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал.

— Да, — причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле, — здорово весело вчера было.

Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована бывшая пивная.

Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт двенадцать военных писарей. Это были одетые в экстра-форму приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии, с большими гладкими брюшками.

Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам «отлынивания от фронта» со словами:

— Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи! Меньше жрать и пьянствовать — больше бегать! Теперь я вам покажу еще один номер, — объявил Тайрле своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у двенадцати: — Когда лопнете, поросята?

Все двенадцать в один голос ответили:

— Как прикажете, господин капитан.

Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии.

Они втроем расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе не что иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал мадам в передней и закричал:

— Кто у мадемуазель Эллы?

Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее.

Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал своих солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он-де сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полемому суду.

Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого «городского кафе» и очень мило развлекался на этом диване.

Между тем капитан Сагнер вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась: капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта.

Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего Девяносто первого полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон Сто второго полка.

Все страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположение австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтной полосе, например, здесь, в Санокке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован батальон Девяносто первого полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады.

Бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ: «Бригаде оставить город в шесть часов вечера и идти по направлению Турова-Волска — Лисковец — Старая Соль — Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней сняться маршевому батальону Девяносто первого полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме: авангард выступает в полшестого на Турову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние три с половиной километра. Прикрывающий арьергард выступает в четверть седьмого».

В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку.

— Надеюсь, — сказал Швейку поручик Лукаш, — вы найдете его без всяких затруднений, у вас ведь вечно какие-то трения.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно какие-то трения.

Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу: немедленно явиться в гимназию на совещание, — Швейк уверял его:

— Так точно, господин обер-лейтенант, теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он безусловно в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдет все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе.

Все его солдаты следили, куда он сперва пойдет.

«Объединенное увеселительное заведение и городское кафе», о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шел черным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие: «Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни!»

Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибежала в одной рубашке; прежде всего барышня требовала денег; пока солдатик отмыкал штук, деньги тут же на месте забирала «мадам».

Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как вилась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях «мадам» ничего не допускала, — все происходило наверху, в комнатках.

В таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни: отец ее был фабрикантом, она — учительницей гимназии в Будапеште и вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке.

Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунерта; он так ее и называл, угрожая, по привычке, воображаемому Кунерту: «Кунерт, Кунерт, bestия! Ты еще узнаешь меня с плохой стороны!»

Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые входили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала «мадам» — полька; она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет.

— Не очень-то орите на меня, милостивая государыня, — вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой, — не то получите в морду. Раз у нас на Платнержской одну «мадам» отделали так, что она долго своих вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, Вондрачека, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой «мадам» — Кржованова. Когда ее на станции «Скорой помощи» привели в себя и спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «х». А позвольте узнать, как ваша фамилия?

После этого Швейк отстранил «мадам» и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх, на второй этаж, а почтенная матрона подняла страшный крик.

Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич, он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу.

Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставаания хозяина приобрели агрес-

сивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул: «Besetzt!»[586] — а бас подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится в своей комнате, в лагере, разрешил: «Herein!»[587]

Швейк приблизился к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идет большой военный совет!

Подпоручик Дуб вытаращил на него маленькие посоловевшие глаза, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал:

— Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк! Увидишь, что с тобой будет...

— Кунерт, — крикнул он Элле, — налей мне еще одну!

Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался:

— Это извинение? У — нас — извинения — недействительны! Мы — на — военной службе, — а не — в школе. Так — значит — тебя — поймали в борделе? Подойди — ко мне, Швейк, — ближе — я тебе — дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян, не знаешь, жеребец этакий?!

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — неумолимо стоял на своем Швейк, — это строжайший приказ по бригаде: господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем, теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, которая — во фланговом прикрытии и которая — в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу.

Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб несколько протрезвел: для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он все же спросил:

— Где я?

— Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути господни неисповедимы!

Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви, опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком.

На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понес какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку, что у него дома есть почтовая марка с Гельгоlanda и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:

— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!

— Вполне правильно, — твердил Швейк. — Вы говорите, как будейовицкий жестящик Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он



отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».

Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение:

— Марокканский султан — конченная фигура, — вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал: — Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы понимаете меня?

— Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир «У чаши» ходил один старый господин, какой-то отставной советник из Краевого комитета, он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали.

В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян.

Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал:

— Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян!

План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена

в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал:

— Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многая ему лета! Многая, многая, многая лета!

Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунерту уложить подпоручика Дуба рядом, в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей.

К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из гонведских батальонов, размещенный в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась гонведам коллекция минералов — пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам.

На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись: «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном гонвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные пресмыкающиеся.

Мировая война истребляла человеческое поколение даже настойкой на змеях.

Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунерта, который увел и уложил на кушетку подпоручика Дуба.

Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребенка: взял Кунерта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги.

— Как ваша фамилия? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Значит, ваша фамилия Кунерт. Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги.

Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал:

— Пока еще нет, но через четверть часа... Лучше всего искать бумажку с завязанными глазами.

Кунерт был настолько глуп, что действительно пришел через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручика Дуба: «*Фамилия вашей будущей супруги: пани Кунертова*».

Когда Кунерт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько ее беречь. Такие документы от начальства должно ценить; в мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном.

Когда все приготовления к выступлению, согласно данным диспозиции, были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнес речь. Генерал очень любил произносить речи. Он понес окоlesiцу, перескакивая с пятого на десятое, а исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте.

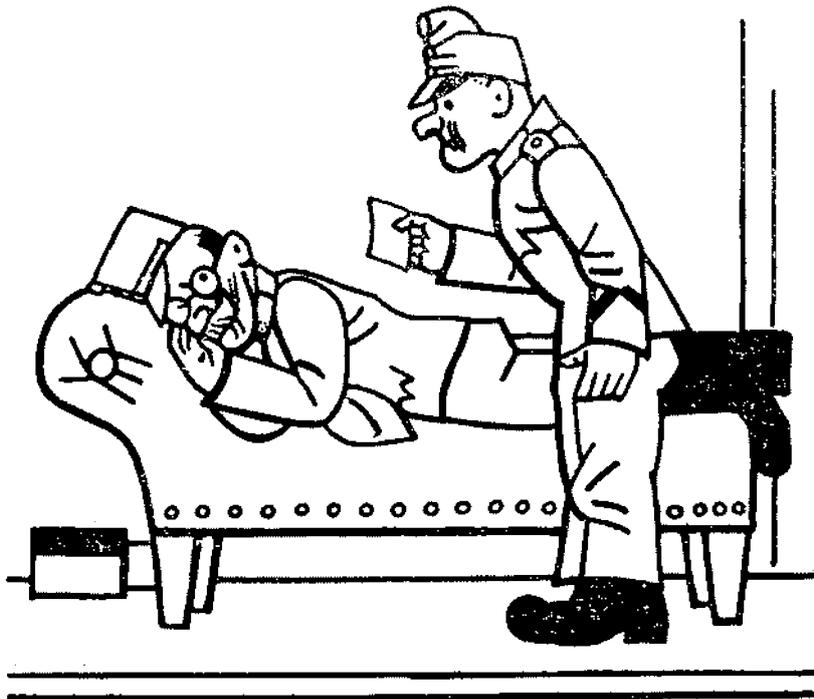
— Солдаты! — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре солдатам. —

Мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты, до сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили, свои адреса, дабы ваши далекие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых...

Он запутался, смешался, повторяя бесконечно: «Милые, далекие — дорогие родственники — милые покинутые» и т. д., пока наконец не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием: «Для этого и существует на фронте полевая почта».

Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью потому лишь, что на фронте существует полевая почта. И если граната оторвет кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты семьдесят два и там, быть может, лежит письмо из дому от далеких милых с посылкой, содержащей кусок копченого мяса, сало и домашние сухари.

После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход.



Одиннадцатая рота выступила в половине шестого по направлению на Турову-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец ее, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нес свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на маневрах возле Вельке Мезиржичи.

— Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже и не знали, что такое запасные консервы; если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближай-

шем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи. В одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила. Их оказалось так много, что кто-то там даже выстроил себе домик.

Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошастью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте:

— Прекрасная была речь! Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад служил в Будейовицах, за все время военной службы получил в казармы одно-единственное письмо; оно у меня до сих пор хранится.

Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошастью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью:

— «Ты подлый хам, душегуб и подлец! Господин капрал Кржиш приехал в Прагу в отпуск, я с ним танцевала «У Коцанов», и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будейовицах «У зеленой лягушки» с какой-то идиоткой-шлюхой и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами все кончено. Твоя бывшая Божена.

Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить, он на это мастак, и я его об этом просила. И еще, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдешь среди живых».

— Разумеется, — продолжал Швейк, труся рядом с лошастью поручика мелкой рысцой, — когда я приехал в отпуск, она была «среди живых», да еще среди каких живых! Нашел я ее там же «У Коцанов». Около нее увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней за лифчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет шестнадцати: на уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности!» Ну ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дуреху в коридор в «Беседе» и надавала пинков. Я пришел, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки все же откровеннее, чем изморенные городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишеке, я ходил танцевать в «Старый Книн» и ухаживал там за Карлой Векловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошел я с ней к пруду, и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой теплый, птицы пели, а она дьявольски захотала и ответила: «Люблю, как соломину в заднице. Дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели, я только показывал ей эту божью благодать и, как дурак, разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овес.

И как бы в подтверждение слов Швейка об овсе, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию:

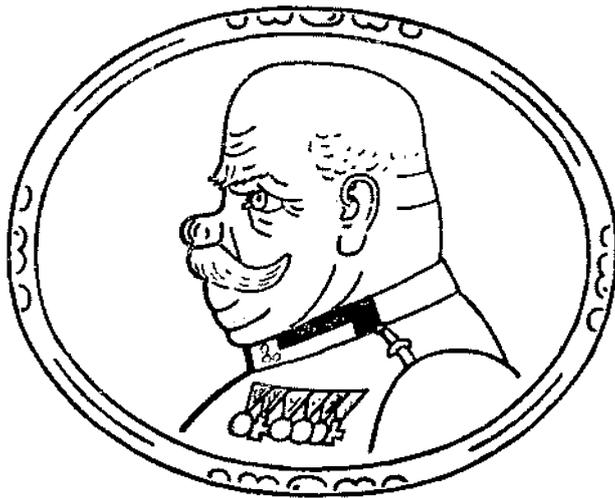
*А как ноченька пришла,  
овес вылез из мешка,  
жупайдия, жупайдас,  
нам любая девка даст!*

Остальные подхватили:

*Даст, даст, как не дать.  
Да почему бы ей не дать?  
Даст нам по два поцелуя,  
не кобенясь, не балуя.  
Жупайдия, жупайдас,  
нам любая девка даст.  
Даст, даст, как не дать,  
да почему бы ей не дать?*

Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки.

Это была старая солдатская песня. Ее, вероятно, на всех языках распевали солдаты еще во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по галицийской равнине, по пыльному шоссе, ведущему к Турове-Волске; по обе стороны дороги до видневшихся далеко-далеко на юге зеленых холмов нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжелых солдатских башмаков.



— Раз на маневрах около Писека мы этак же поле разделали, — проронил Швейк, оглядываясь кругом. — Был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесенный ими ущерб. Один крестьянин, по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял восемнадцать крон, которые казна ему давала за потоптанные пять мер поля, захотел, господин обер-лейтенант, судиться и получил за это восемнадцать месяцев.

Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле, Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крестный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждой приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал.

— Что вы там болтаете, Швейк? — окликнул ординарца поручик Лукаш.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я имел в виду того слона,

который нес на своей спине властелина, про которого я читал.

— Если бы вы только все правильно объясняли... — сказал поручик Лукаш и поскакал вперед. Там колонна раздвоилась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех; в плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода, как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое, большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе.

Головы поникли, все страдали от жажды. Несмотря на то что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к еще большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла и расслабляла всех. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до Туровы-Волски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуровывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно наверху портянки и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке; третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нем предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы ляжки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмет или что-нибудь в этом роде, если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, уже не погнал их вперед.

Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Туровы-Волски осталось километра три и там сделают привал.

Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришел в себя, правда, не окончательно, но все-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал что-то кричать людям из штаба роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал:

*Шли мы прямо в Яромерь,  
коль не хочешь, так не верь.  
Подоспели к ужину...*

Больше чем в пятистах шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:

— Солдаты, ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, всевозможные мытарства. Но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли.

— Молчал бы, дурень, что ли... — срифмовал Швейк.

Подпоручик Дуб продолжал:

— Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас! Это будет

твердый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!

— Смотри, поедешь в ригу, — опять срифмовал Швейк.

Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз: «Солдаты, вперед!» — повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Туровы-Волски, где его наконец поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришел в себя настолько, что мог наконец заявить: «Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля».

Впрочем, он не совсем пришел в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу:

— Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете!..

— О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка.

Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашел в обществе Балоуна и старшего писаря Ванека.

Балоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце, он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую господь бог теперь так его наказал, после творога съедал еще порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие божье покарало его, и в наказание он должен пить теплую вонючую воду из колодца в Турове-Волске, в которую солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру.

Балоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздается, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Санокке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балоун принес из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балоун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошел к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придет приказ ее вылить.

Тут подошел подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил:

— Беседуете?

— Беседуем, господин лейтенант, — за всех ответил Швейк, — беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может, тогда он легче забывает о своих мытарствах.

Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройти с ним, потому что ему тоже хочется кое о чем с ним побеседовать. Отведя Швейка в сторонку, Дуб неуверенно спросил:

— Вы не обо мне сейчас говорили?

— Никак нет. О вас ни слова, господин лейтенант, только об лимонной кислоте и копченом мясе.

— Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк.

Швейк ответил очень серьезно и многозначительно:

— Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестящика Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жечь, и тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашел вас, то «У Шугов», то «У Дворжаков». Внизу помещалось кафе, а наверху — в нашем случае — были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома, а вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашел вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили: «Вы меня еще не знаете...» Такая вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур в ощи́п. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире «У остановки», заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов — крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он все может снести, только не пьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой, да еще и наскандалит. «Надерись у меня, — говорил хозяин, — тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Старый Вейвода тут допил и пошел дальше, пока не пришел, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше заходил, там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода, — сказали ему, — но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они еще по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. «Это на Больцановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон». За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Больцанову улицу, где надо спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.

Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они

стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольное вино. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все разобьют вдребезги, вместе с граммофоном... Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Больцанову улицу. Пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство.

— К чему вы все это мне рассказываете? — подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится, но раз уж мы разговорились...

Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил, и так как он почти пришел в себя, то заорал:

— Ты меня узнаешь! Как ты стоишь?

— Осмелюсь доложить, плохо стою, я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, носки врозь! Сейчас это сделаю. — Швейк по всем правилам вытянулся во фронт.

Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему еще сказать, и в конце концов выговорил лишь:

— Смотри у меня, чтобы это было в последний раз! — И как бы в дополнение повторил свое старое присловье, немного изменив его: — Ты меня еще не знаешь! Но я-то тебя знаю!

Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал: «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал: «Я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны»».

Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунерта и приказал раздобыть кувшин воды.

Кунерт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове-Волске кувшина воды.

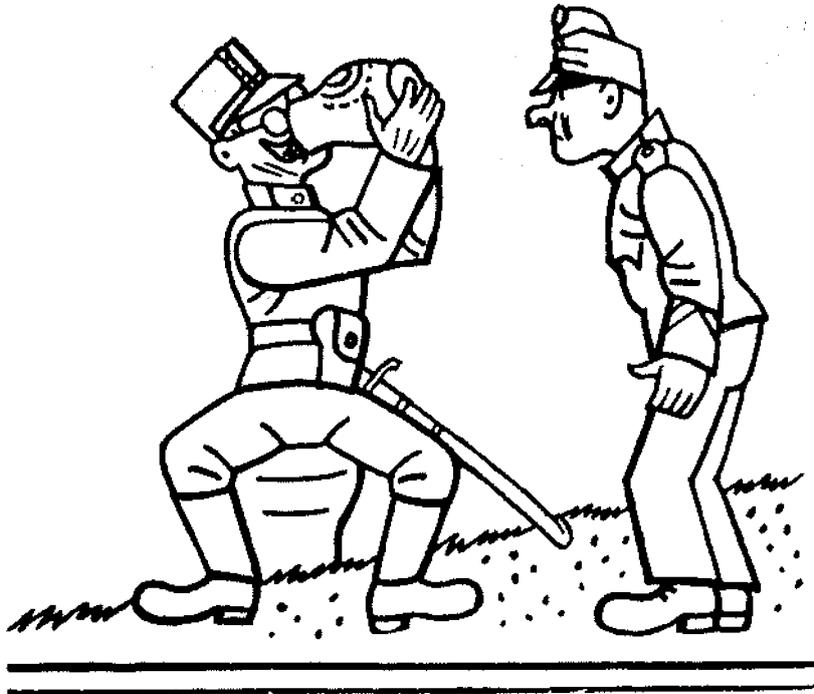
Кувшин ему наконец удалось выкрасть у священника. А воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нем тифозная.

Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем еще раз подтвердилась верность старой пословицы: «Доброй свинье все впрок».

Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове-Волске.

Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост: они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по проселочной дороге на Малый Поланец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец.

Швейк, Ванек и Ходоунский — квартирьеры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придет вслед за ними через час, максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трем следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю ро-



ту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными; избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросенку на Старую Соль.

Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место (под этим подразумевались окопы) подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки.

Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и роздал солдатам листовку с «Лурдской песней», в зависимости от национальности солдат каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни: ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной Галиции на автомобиле:

*Где в долину сбегает горный склон,  
всем благовестит колокольный звон:  
аве, аве, аве, Мария! Аве, аве, аве, Мария!*

*Юницу Бернарду ведет святой дух  
к берегу речному, на зеленый луг. —  
Аве!*

*Видит юница — лучи над скалой,  
стан осиянный и лик святой.  
Аве!*

*Мило украшены платом лиловым  
да голубеньким поясом новым.  
Аве!*

*Обвиты четок нитью живой*

*руки пречистой и всеблагой.  
Аве!*

*Ах, изменилась Бернарда лицом:  
отблеск небесных лучей на нем.  
Аве!*

*Став на колени, молитвы творит,  
а мать божья ей говорит:  
Аве!*

*Дитя я смогла без греха зачать  
и хочу заступницей вашей стать!  
Аве!*

*В торжественных шествиях мой набожный народ  
пускай сюда приходит, мне честь воздает.  
Аве!*

*Да будет свидетелем мраморным храм,  
что я здесь милость являть буду вам,  
Аве!*

*А ты их, журчащий родник, зови.  
Будь им порукой моей любви.  
Аве!*

*О, славься, долина из долин,  
в которой процвел сей райский крин!  
Аве!*

*Прообраз горних — пещера твоя,  
ладычица наша небесная!  
Аве!*

*Преславный, радостный день — вот он:  
Тянутся процессии к тебе на поклон.  
Аве!*

*Ты хотела заступницей верных быть:  
удостой и на нас свой взор склонить.  
Аве!*

*Звездой путеводной встав впереди,  
к престолу господню нас приведи.  
Аве!*

*Не лиши, пресвятая, любви своей  
и нас материнской лаской овей.  
Аве!*

В Турове-Волске было много отхожих мест, и там повсюду валялись бумажки с «Лурдской песней».

Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки, собрал несколько приятелей, и они стали петь немецкий текст «Лурд-

ской песни», без припева «Аве», на мотив «Принца Евгения».

Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной.

Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идешь неизвестно куда. Все — и темнота, и то, что их выслали вперед разыскивать квартиры, — казалось ему необыкновенно таинственным; его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста.

— Товарищи, — тихо сказал он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки, — нас принесли в жертву.

— Как так? — так же тихо, но строго прикрикнул на него Швейк.

— Товарищи, не будем кричать, — умоляющим голосом просил Балоун. — У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую: они нас услышат и начнут стрелять, я это знаю. Они нас послали вперед, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля, а когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна.

— Тогда иди вперед, — сказал Швейк. — Мы пойдем за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Ну, какой ты солдат, если пули боишься! Каждого солдата это должно только радовать, каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника останется боеприпасов. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере, не придется тащить на себе патроны, да и бежать легче.

Балоун тяжело вздохнул:

— Но если у меня дома хозяйство?!

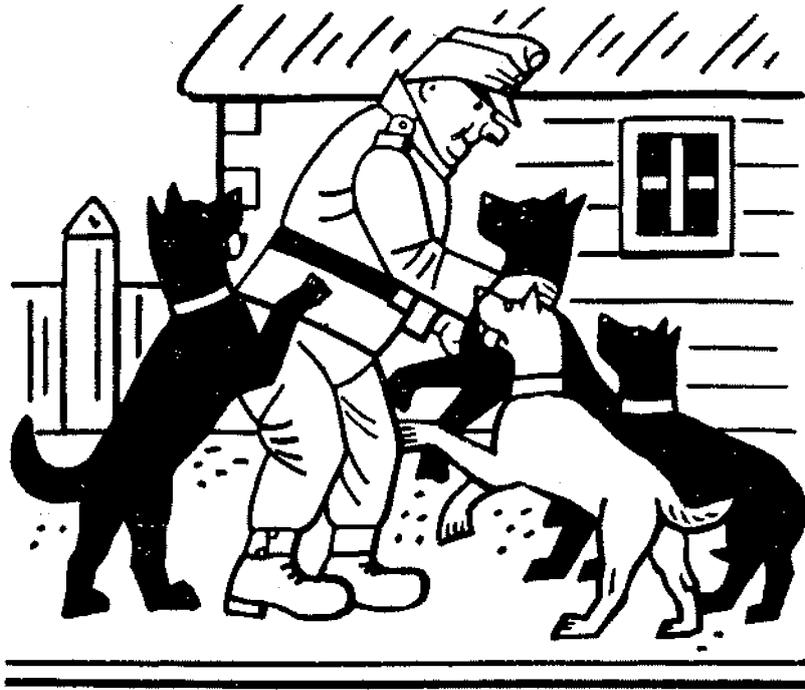
— Плюнь на хозяйство, — посоветовал Швейк. — Лучше отдай жизнь за государя императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?

— Они этого лишь слегка касались, — отозвался глупый Балоун, — меня только гоняли по плацу, а после я ни о чем подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь император кормил нас получше...

— Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить, это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: «Хулиганье проклятое! Если разразится война и вам придется идти в бой, не вздумайте нажираться перед битвой. Кто обожрется и получит пулю в живот, тому — конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата — сразу антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот все равно что оса укусила, одно удовольствие!»

— Я быстро перевариваю, — успокоил товарищей Балоун, — у меня в желудке никогда ничего не остается. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой и через полчаса больше трех суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрись этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно

ребенок наделал, остальное все в меня пойдет. У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбки кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедличков с косточками, а когда подошло время, пошел за гумно, потом расковырял это лущинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины. — Из уст Балоуна вылетел тихий, долгий вздох. — Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром, а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин... Не умел я ценить свое семейное счастье!



Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:

— Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедличков нет, сдается мне, что жена все же была права: с маком-то лучше. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нем. Эх! Только бы застрял! Много моя жена от меня натерпелась! Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу... Ей всегда за это от меня влетало! Однажды я ее, бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а все из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать — хватит, мол, и петушка.

— Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана, и петушка... Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы! А теперь пил бы как кофей!

Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.

За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек.

Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвется телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его; а еще хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот: когда исправляешь эти про-

клятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит из всей своей артиллерии.

Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни зги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям.

— Может, вернемся? — зашептал Балоун.

— Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость, — ответил Швейк.

Собаки заливались вовсю; наконец лай послышался с юга, с реки Ропы. Потом собаки залаяли в Кросенке и в других окрестных селах, потому что Швейк орал в ночной тишине:

— Куш, куш, куш! — вспомнив, как кричал он на собак, когда еще торговал ими.

Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка:

— Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает.

— Это как на маневрах в Таборском округе, — отозвался Швейк. — Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай разносился от села к селу, все дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались снова, а через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будейовицкий, Гумполецкий, Тршебоньский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, все ходил и спрашивал у патруля: «Кто лает? Чего лают?» Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашем возвращении с маневров остались без отпуска.

После этого случая он всегда выбирал «собачью команду» и посылал ее вперед. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я все перепутал и объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и, еще до того как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.

Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажженной сигареты, и вошли в село. На беду, никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости: они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное.

Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости идохлых лошадей.

Откуда ни возмись, около Швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху.

Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми.

— Вот и мы! Пришли к вам делать баиньки, покушать — ам, ам! Дадим вам косточек, корочек и утром отправимся дальше, на врага.

В селе, в хатах, зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты, чтобы узнать, где живет староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больны оспой, что москали все забрали и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не открывать ночью. Лишь после того как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живет староста, тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если ее внезапно разбудишь, бог весть что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится. Спать совершенно негде. И купить тоже ничего нельзя. Москали все забрали.



Если паны добродии не пренебрегут его советом, он отведет их в Кросенку, там большие хозяйства: это всего лишь три четверти часа отсюда, места там достаточно, каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров столько, что каждый солдат получит по котелку молока, вода тоже хорошая;

паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце что! Нужда, чесотка и вши! У него самого было когда-то пять коров, но москали всех забрали, и теперь, когда нужно молока для больных детей, он вынужден ходить за ним в Кросенку.

Как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос, кричавший: «Холера вас возьми!»

Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал:

— Единственная корова здесь у соседа Войцека, — вот вы изволили слышать, паны добро дни, она только что замычала. Но эта корова больная, тоскует она. Москали отняли у нее теленка. С тех пор молока она не дает, но хозяину жалко ее резать, он верит, что Ченстоховская божья мать опять все устроит к лучшему.

Говоря это, он надел на себя кунтуш...

— Пойдемте, паны добродии, в Кросенку, и трех четвертей часа не пройдет, да что я, грешный, болтаю, не пройдет и получаса! Я знаю дорогу через речку, затем через березовую рощицу, мимо дуба... Село большое, и дюже крепкая водка в корчмах. Пойдемте, паны добродии! Чего мешкать? Панам солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует, с удобствами. Пану императорскому королевскому солдату, который сражается с москалем, нужен, понятно, чистый ночлег, удобный ночлег. А у нас? Вши! Чесотка! Оспа и холера! Вчера у нас в нашей проклятой деревне, три хлопа почернели от холеры... Милосердный бог проклял Лисковец!

Тут Швейк величественно махнул рукой.

— Паны добродии! — начал он, подражая голосу старосты. — Читал я однажды в одной книжке, что во время шведских войн, когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и таком-то селе, а староста отговаривался и отказывался помочь в этом, его повесили на ближайшем дереве. Кроме того, один капрал-поляк рассказал мне сегодня в Саноке, что, когда квартирьеры приходят, староста обязан созвать всех десятских, те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят: «Здесь поместятся трое, тут четверо, в доме священника расположатся господа офицеры». И через полчаса все должно быть подготовлено. Пан добродий, — с серьезным видом обратился Швейк к старосте, — где здесь у тебя ближайшее дерево?

Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это береза, дуб, груша, яблоня, — словом, все, что имеет крепкие сучья. Староста опять не понял, а когда услышал названия некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает, у него перед домом стоит только дуб.

— Хорошо, — сказал Швейк, делая рукой международный знак повешения. — Мы тебя повесим здесь, перед твоей хатой, так как ты должен сознавать, что сейчас война и что мы получили приказ спать здесь, а не в какой-то Кросенке. Ты, брат, или не будешь нам менять наши стратегические планы, или будешь качаться, как говорится в той книжке о шведских войнах... Такой случай, господа, был раз на маневрах у Велького Мезиржичи...

Тут Швейка перебил старший писарь Ванек:

— Это, Швейк, вы нам расскажете потом, — и тут же обратился к старосте: — Итак, теперь тревога и квартиры!

Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих бла-

годетелей получше, но если иначе нельзя, то в деревне все же кой-что найдется и паньы будут довольны, он сейчас принесет фонарь.

Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажженная под образом какого-то скрюченного, как калека, святого, Ходунский воскликнул:

— Куда делся наш Балоун?

Но не успели они оглянуться, как за печкой тихонько скрипнула дверь, ведшая куда-то во двор, и в нее протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк:

— Я-я был в кла-до-вой, су-сунул во что-то хуку, набгал полный хот, а теперь оно пгхистало к нёбу. Оно ни сладко, ни солено. Это тесто.

Старший писарь Ванек направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им еще не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастерка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности.

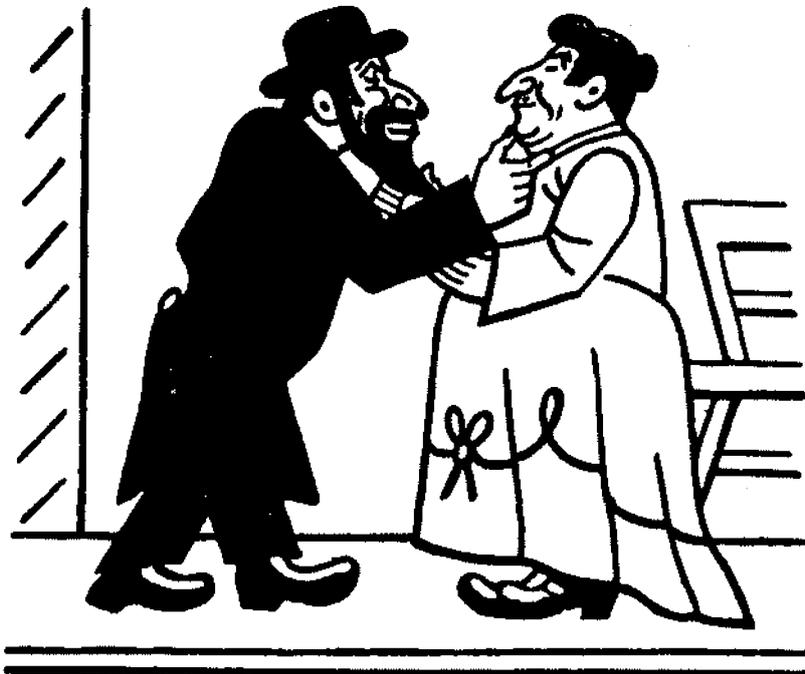
— Что с тобой, Балоун? — с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.

— Это огухцы, — хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз. — Осторожно, это соленые огухцы, я в чулане съел трхи, а остальные принес вам.

Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их.

На пороге вырос староста с фонарем. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил:

— Москали забирали, и наши забирают!



Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов: там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаенный им от товарищей.

— Что это на тебя собаки лезут? — поинтересовался Швейк.

После долгого размышления Балоун ответил:

— Чуют доброго человека.

Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал сало.

Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырова, Грабова и Голубли.

В некоторых хатах ютилось по восьми семейств. Вследствие потерь, нанесенных грабительской войной, один из периодов которой пронесся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду.

Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десяти человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную гольтьбу, обнищавших и лишенных земли беженцев.

Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарями, поваром и Швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел. Поэтому свободного места у него было много.

Ксендз был высокий худой старик, в выцветшей засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки.

Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей; ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет. Я нищий, вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба».

Более всех этим был огорчен Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксендза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили.

Но и в кухне Балоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника, во дворе маленького винокуренного завода, горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось.

Старший писарь с поваром обегали все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали все или съели, или забрали.

Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во

всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».

Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.

Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: «Elsalébn[588], солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»

С коровой было много возни. Моментами казалось, что ее вообще невозможно ободрать. Когда стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней обнажились мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.

Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета.

Несчастливая корова, если можно так назвать это редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что, если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки.

Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из нее не удалось сварить: чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ними единое целое, заостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только «делами».

Швейк, в качестве курьера поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил наконец поручику Лукашу:

— Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной.

Балоун с серьезным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в «Лурдскую песню».

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из мяса приготовить бифштекс.

При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура.

Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.

— Прошу соблюдать тишину, — произнес он голосом, полным отчаяния, —

мне дурно!

И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопидных яичек.

— Я утомлен, — проговорил он трагическим голосом, — я слаб и болен, прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес: Смихов, Краловская, номер восемнадцать. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской и королевской гимназии.

Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из заупокойной:

*Грех Марии отпустил ты,  
И разбойнику простил ты,  
Мне надежду подарил ты!*

После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще два часа, что о бифштексе не может быть и речи и что вместо бифштекса сделают гуляш.

Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют «на ужин», так как все равно ужин поспеет лишь к утру.

Старший писарь Ванек притащил откуда-то сена, подложил его себе в столовой дома ксендза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке:

— Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за все время войны...

В кухне перед зажженным огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет наконец определенный номер полевой почты. Он писал:

«Милая и дорогая жена, дражайшая Боженка!

Сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочитя за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженка. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты уже жила с паном Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязания, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую мое имя. Прости мне, дорогая Боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее. Иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя тысячу раз, кланяюсь па пень-

ке и маменьке.

*Твой Тоноуш.*

*NB. Не забывай, что ты носишь мою фамилию».*

Он начал писать второе письмо про запас:

*«Моя милейшая Боженка!*

Когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук десять неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывались шрапнели, я думал о тебе, дорогая Боженка. Что ты поделываешь, как живешь, что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной «У Томаша», и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю.

Пора в поход! Целую тебя тысячу раз, дорогая Боженка, и надейся, что все кончится благополучно!

*Искренне любящий тебя Тоноуш!»*

Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом.

Ксендз, который совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Ходоунского огарок церковной свечи.

В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлебки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отправлять их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идет речь — о человеческих или о костях другого убойного скота.

— Послушайте, Швейк, — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки, — пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю.

— Ох! — ответил Швейк. — Пока мыждемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услышал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет.

— Швейк, — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — вы опять начинаете пороть глупости.

— Так точно, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость, а может, воспоминание детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры, — в этом повар Юрайда был прав. Напившись в Бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы посто-



янно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви». Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и, только после того как его сбросили обратно, он стал умолять, чтобы его вытащили.

— Но все-таки, что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукаш.

— Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток: она думала, что все к ней пристают, все преследуют ее, и поэтому после работы строчила жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило.

Однажды утром пошла она в лес по грибы. И, проходя мимо школы, заметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы, тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения, и потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и, чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено: учитель однажды уже был обвинен в приставаниях к племяннице ксендза, с которой спал сам ксендз. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь — почтмейстерша — подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора: они-де все подкуплены учителем. Они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она обжаловала, — она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность.

Поручик Лукаш воскликнул:

— Иисус Мария! — и прибавил: — Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужина.

Швейк на это ответил:

— Я предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю.

Поручик Лукаш только рукой махнул.

— От вас я этих глупостей наслушался предостаточно.

— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убежденно сказал Швейк. — В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояния на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек» который ходил в трактир «У чаши». Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звездное небо, а вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер. Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой! Это такое расстояние, что, если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вел себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая, приблизительно, господин обер-лейтенант, километров десять в час. Или возьмем, господин обер-лейтенант, к примеру, муравьев...

Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди:

— Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк. Ведь я, Швейк, вас так давно знаю...

Швейк в знак согласия закивал головой.

— Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и немало пережили вместе. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это судьба. Что государь император ни делает, все к лучшему: он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?

Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдет справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, — если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь переход от Санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может.

— Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священника. В своем доме в Горних Стодулках священник Замастил написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди.

— Я вам что сказал, Швейк, отправитесь вы в кухню или нет?

Швейк ушел, и вслед за ним из угла как тень вышел на цыпочках Балоун...

Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на Старую Соль — Самбор, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути.

Солдатам дали на дорогу черный кофе.

Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после

вчерашнего ему стало еще хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без усталости бранил Кунерта за то, что вчера он нисколько о нем не заботился, и обещал по приезде на место назначения расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал ее, и тут же его рвало.

— Над кем, над чем смеетесь? — кричал он с двуколки. — Я вас проучу, вы со мной не шутите! Вы меня узнаете!

Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагала Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению, он рассказывал:

— Вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи. За спиной у них меньше, чем по тридцать кило, — и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного...

Поручик Лукаш соскочил с коня.

— Швейк, — крикнул он угрожающе, — если вы произнесете хоть слово о четвертом задатке, я столкну вас в канаву!

Он опять вскочил на коня, а Швейк серьезно продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился.

— Наконец-то, — облегченно вздохнул поручик Лукаш.

— Чтобы не забыть, — спохватился Швейк. — Лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он, всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как насадка цыплят, и начинал: «Вы, негодяи, не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас помотришь. Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес шестьдесят кило, весит свыше тысячи семисот килограммов. Вы бы подошли! Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше двухсот восьмидесяти килограммов, почти три центнера, а винтовка — около полутора центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки!» Был среди нас один несчастный учитель, он также осмелился взять слово: «С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек весом в шестьдесят килограммов, весит лишь тринадцать килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь четыре килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». — «Это ужасно, — сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек. — Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей легкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы, от тебя только мокрое место осталось бы... А если б я залепил тебе тяжелую солнеч-

ную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку». Дал он, значит ему обыкновенную земную затрецину. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил, господин обер-лейтенант, о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются, как с тварью бессловесной. Затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт, и его посадили на четырнадцать дней; после этого тому солдату оставалось служить еще шесть недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике, он этого не выдержал и умер в госпитале, как симулянт.

— Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик Лукаш, — вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство.

— Нет у меня такого обыкновения, — откровенно признался Швейк. — Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта, и хотел луной унизить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрецину, все облегченно вздохнули, никому это не было неприятно, наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрециной; это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать, — и дело в шляпе. Несколько лет тому назад, господин обер-лейтенант, в Праге, напротив кармелитского монастыря, была лавка пана Енома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Еном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билека. Пану Билеку это не нравилось, и он публично заявил в трактире, что, если пан Еном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Еном напился и все же пошел к пану Билеку, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билек заорал на пана Енома, — чего, мол, ему здесь надо. Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стальных часов остановился. Пан Билек расхохотался, подал пану Еному руку и сказал: «Милости прошу, войдите, пан Еном; присядьте, пожалуйста, надеюсь, вы не накакали в штаны? Ведь я не такой уж злой человек. Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, — вы очень приятный человек и большой оригинал. Я переплетчик, прочел много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, будто родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите. Та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил: «Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришел просить твоей руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и даже видеть его не хочет, так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Еном был опозорен в трактире, куда ходил Билек, и всюду, во всем квартале, его иначе не звали, как «засранец Еном». И все рассказывали, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит. Еще до войны к нам в трактир «У чаши» на Боиште ходили полицейский, старший вахмистр, пан Губичка, и один репортер, кото-

рый охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак, в дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Рессловой улице, за бывшей Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом мантио. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рывкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу!» Представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение, они возвращаются с банкета, который был дан у господина заместника. Экипаж довез их до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Морани, сам он советник из канцелярии заместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте, — продолжал орать переодетый репортер. — Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии генерал-губернатора, а ведете себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю, я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавших вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам». — «Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это, должно быть, кто-то, шедший впереди нас». — «Как же эта трость может у вас быть, — ответил переодетый репортер, — когда, я это сам видел, вы ее обломали вон за тем углом о старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортер велел эту пару отвести в комиссариат, сам он-де идет к «Святому Индржиху», по служебным делам был на Виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке, кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он приедет в комиссариат на Сальмовую улицу.

Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался «К чаше» на Боиште, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами.

Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку:

— Если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от часу будет глупее и глупее.

— Господин обер-лейтенант, — кричал вслед отъезжавшему поручику Швейк, — хотите узнать, чем это кончилось?

Поручик Лукаш поскакал галопом.

Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи, стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки.



Это был набор разных поучений. Он начал:

— Любовь солдат к господам офицерам делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, — и даже наоборот, — чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к этому принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьного сторожа к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь — не обычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина.

Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая «равнение направо».

Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь:

— Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и

офицером несложны: один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат, волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твердой и сильной воли.

Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк не отрываясь смотрит на него и держит «равнение направо». Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому заорал на Швейка:

— Чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?

— Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант. Вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что, когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст. Поскольку любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь, я был вынужден так поступить.

— Смотри, — кричал подпоручик Дуб, — в другую сторону! А на меня смотреть не смей, дурак! Знаешь, что я этого не люблю, не выношу твоей глупой морды. Я тебе еще покажу кузькину мать...

Швейк сделал «равнение налево» и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом.

Подпоручик Дуб не стерпел:

— Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу, я сделал «равнение налево».

— Ах, — вздохнул подпоручик Дуб, — мука мне с тобой! Смотри прямо и думай: «Я такой дурак, что мне терять нечего». Запомнил?

Швейк, глядя перед собой, сказал:

— Разрешите спросить, господин лейтенант, должен ли я на это ответить?

— Что ты себе позволяешь?! — заорал подпоручик Дуб. — Как ты со мной разговариваешь? Что ты имел в виду?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь.

— Значит, ты боишься меня, — обрадовался подпоручик Дуб. — Но как следует ты меня еще не узнал! Передо мной тряслись и не такие, как ты, запомни это! Я укрощал и не таких молодчиков!.. Молчи и иди позади, чтобы я тебя не видел!

Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где наконец все дождались супа и мяса злополучной коровы.

— Эту корову должны были, по крайней мере, недели две мариновать в уксусе, ну, если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал, — заявил Швейк.

Из бригады прискакал ординарец с новым приказом одиннадцатой роте: маршрут изменяется на Фельдштейн; Вораличе и Самбор оставить в стороне, так как в Самборе разместить роту нельзя, ввиду того что там находятся два познанских полка.

Поручик Лукаш распорядился: старший писарь Ванек со Швейком подыс-

кивают для роты ночлег в Фельдштейне.

— Только не выкиньте, Швейк, опять какой-нибудь штуки по дороге, — предупредил поручик Лукаш. — Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — постараюсь. Я на рассвете вздремнул немного, и приснился мне скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры. Такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошел однажды в Карлине за виадуком...

— Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями и посмотрите лучше с Ванеком по карте, куда вам следует идти. Видите эту деревню? Отсюда вы повернете направо, к речке, и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку (он будет у вас по правую руку), пойдете проселочной дорогой в гору прямо на север. Заблудиться тут нельзя. Вы попадете в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили?

Швейк со старшим писарем Ванеком отправился в путь согласно маршруту.

Было за полдень. Парило. Земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в места, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулеметы скосили целые батальоны людей. Рожицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду, на широких равнинах и на склонах гор, из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями.

— Пейзаж тут не тот, что под Прагой, — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание.

— У нас уже жатва прошла, — вспомнил старший писарь Ванек. — В Краупском районе жать начинают раньше всех.

— После войны здесь хороший урожай уродится, — после небольшой паузы проговорил Швейк. — Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк; короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит, как бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. Был в Карлинских казармах обер-лейтенант Голуб. Такой был ученый, что в роте его считали дурачком, потому что из-за своей учености он не научился ругать солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет, он остался спокойным, никого не обозвал ни свиньей или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде. Только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы — это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умен, чтобы безропотно сожрать все, что выдается, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают. Представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она — мать сыра-земля —

разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. А они, может, так же, как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечет так, что им солоно придется, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, все хорошо объяснил и еще раз повторять не буду. Кто впредь вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на божий свет». «Хоть бы обложил нас когда», — говорили между собой солдаты, потому что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивели. Раз меня выбрали представителем от всей роты. Я должен был ему сказать, что все его любят, но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошел к нему на квартиру и попросил не стесняться: военная служба — вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он упирался, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки. В конце концов я его уговорил, он дал мне затрецину и, чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. Подходит ко мне и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой, выпейте за мое здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи».



Швейк осмотрелся.

— Мне кажется, мы идем не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил. Нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы все время идем прямо. Или мы все это прошли и за разговором не заметили... Я определенно вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн. Я бы предложил теперь идти по этой дороге, налево.

Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрестке, старший писарь Ванек стал утверждать, что нужно идти направо.

— Моя дорога, — сказал Швейк, — удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где

растут незабудки, а вы попрете по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем; а раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору; пойду-ка я спокойненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нарву букет для господина обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав, я надеюсь, мы расстанемся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все дороги должны вести в Фельдштейн.



— Не сходите с ума, Швейк, — уговаривал Швейка Ванек, — по карте мы должны идти, как я сказал, именно направо.

— Карта тоже может ошибаться, — ответил Швейк, спускаясь в долину. — Однажды колбасник Кршенек из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги, от «Монтагов» на Малой Стране домой на Винограды, а к утру пришел в Розделов у Кладна. Его нашли окоченевшим во ржи, куда он свалился от усталости. Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте, в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь.

К вечеру Швейк пришел к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагишом пустился наутек.

Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда так долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавший русского беглеца. Жандармы были венгры и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль.

Все это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял свое положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных:

«Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой ро-

ты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирьера, по ошибке попал под Фельдштейном в австрийский плен».

## Часть четвертая

### Продолжение торжественной порки



#### Глава I

### Швейк в эшелоне пленных русских

Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельдштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «Baszom az elét[589]. Встань в строй, ты, русская свинья!»

Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному:

— Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что, если винтовка у него заряжена, а курок на боевом взводе? Ведь этак легко может случиться, что, в то время как он колотит прикладом по плечу другого, курок спустится, весь заряд влетит ему в глотку и он умрет при исполнении своего долга! На Шумаве в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга в предсмертных объятиях.

Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова.

— Не понимает, я крымский татарин. Аллах, ахпер.

Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться: «Аллах ахпер — аллах ахпер — безмила — арахран — арахим — малинкин мустафир».

— Так ты, выходит, татарин? — с сочувствием протянул Швейк. — Тебе повезло. Раз ты татарин, то должен понимать меня я тебя. Гм! Знаешь Ярослав из Штернберга? Даже имени такого не слышал, татарское отродье? Тот вам наложил у Гастина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали с Моравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую божью мать? Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят!

Швейк обратился к другому пленному:

— Ты тоже татарин?

Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой:

— Татарин нет, черкес, мой родной черкес, секим башка.

Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки.

К несчастью, он ни с кем из них не мог стовориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи.

В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из трехсот пленных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в свое время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых три недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы св. Стефана, кропильницы и четки.

С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных: «Wer kann deutsch sprechen?»[590]

Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию.

Писарь уселся за списки, за груды бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки.

— Ты еврей? Так? — спросил он Швейка.

Швейк отрицательно покачал головой.

— Не запирайся! Каждый из вас, пленных, знающих по-немецки, еврей, — уверенно продолжал писарь-переводчик. И баста! Как твоя фамилия? Швейх? Ну, видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего: можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага, Прага, знаю... знаю, это около Варшавы. У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Вар-

шавы. А какой номер у твоего полка? Девяносто первый?

Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.

— Девяносто первый полк, эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе; удивляешься, как это мы здесь все знаем?

Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету:

— Этот табак получше вашей махорки. Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь — сволочь, а наш голова! Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Ганс Лефлер!

— Hier! — слышался ответ, и в комнату вошел зобатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.

— Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу: «Halt!» При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать.

Зобатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять.

Старший писарь торжественно посмотрел на Швейку:

— Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина?

И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша.

— Halt! — наконец сказал он. — Теперь служи, апорт трубку! Хорошо, а теперь спой по-тирольски!

В помещении раздался рев: «Голарио, голарио...»

Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика стола четыре сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу, и тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».

Писарь засмеялся:

— У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдем к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных. Будешь получать на них питание, поделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого! Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем!

— Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь, — сказал Швейк.

— Только никаких сделок, — отрезал писарь. — Я этого не люблю, не то пошлю тебя в лагерь. Больно быстро ты у нас, в Австрии, акклиматизировался. Уже хочешь со мной поговорить частным образом... Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже... А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Ну, чего еще?

— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebel![591]

— Вылетай! Видишь, сколько у меня работы! — Писарь изобразил на лице крайнюю усталость.

Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во имя государя императора, приносят плоды!»

С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своем веку, но все же татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «Мне никто не поверит, — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар: Муглагалей Абдрахманов — Беймурат Аллагали — Джередже Чердедже — Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Живошти фамилия Вобейда»[592].

Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии: Джидралей Ганемалей — Бабамулей Мирзагали и так далее.

— Как это ты язык не прикусишь? — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. — Куда лучше наши имена и фамилии: Богуслав Штепанек, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова.

Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих Бабуля Галлее, Худжи Муджи, он решил еще раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости.

Писарь-переводчик еще с утра был вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво; Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал: «Граммфон меняю на детскую коляску!», «Покупаю бой белого и зеленого листового стекла», «Каждый может научиться составлять счета и балансы, кто пройдет заочные курсы бухгалтерии» и так далее.

Для некоторых объявлений мотив марша не подходил. Однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушовки, торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten» новое объявление: «Каролина Дреггер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях...»

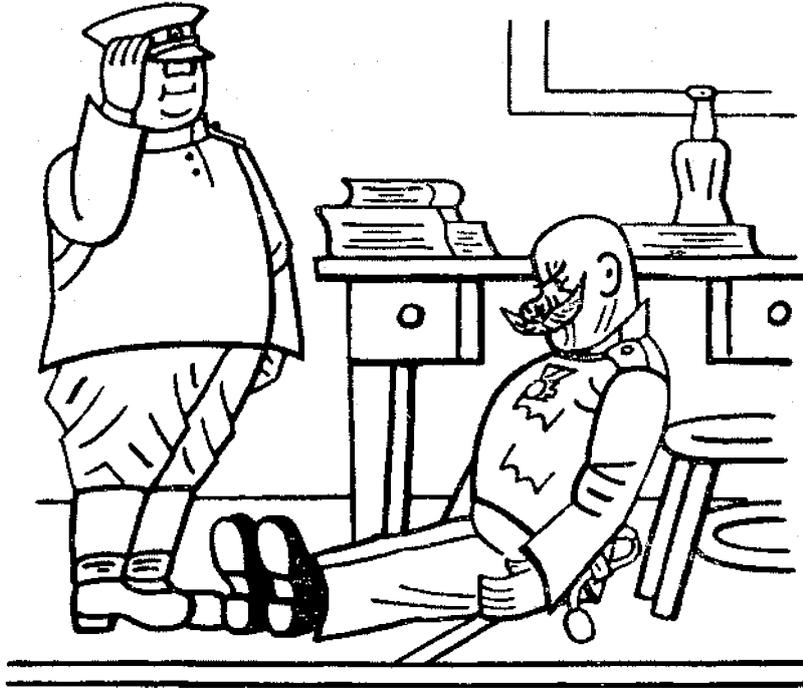
Он пел все тише и тише, потом чуть слышно, наконец совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказывать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке.

Швейк начал с того, что он все же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья, и он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью, как квартирьера, было найти кратчайший путь на Фельдштейн. Русский, как только его увидел, убежал, оставив свое обмундирование в кустах. Он — Швейк — не раз слышал, что даже на передовых позици-

ях, в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника, а потому на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме.

Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно: писарь уснул еще раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего было вполне достаточно, чтобы писарь-фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать.

— Извиняюсь, господин писарь! — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии.



Рано утром военно-инженерное управление изменило диспозицию, и было постановлено группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль — Любачов.

Все осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры всех и вся быстрым темпом гнали вперед.

В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил из строя, вытянулся перед офицером и крикнул: «Herr Leutnant, ich melde gehorsam!»

Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата-мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным.

Офицер швырнул вслед Швейку окурок сигареты, но его быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они обязаны воевать.

Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать, что он, собственно говоря, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии.

В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевели-

лась; казалось, что это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника.

Пленным роздали тут немного черной бурды из чистого цикория и по куску черствого кукурузного хлеба.

Потом их принял майор Вольф, в то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и ее окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбравшихся из пленных специалистов по строительству соответственно их способностям и полученному образованию.

Майор Вольф был твердо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос: «Умеешь ли строить железные дороги?» — все пленные давали стереотипный ответ: «Ни о чем не знаю, ни о чем таком даже не слыхал, жил честно-благородно».

Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык.

Швейк решительно выступил вперед, вытянулся перед майором, взял под козырек и отрапортовал, что говорит по-немецки.

Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он.

— Осмелюсь доложить, господин майор, — ответил Швейк, — я не инженер, но ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как...

— Что? — заорал Вольф.

— Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так...

— Вы чех, — не унимался майор Вольф, — вы переоделись в русскую форму?

— Так точно, господин майор, так оно и было, я искренне рад, что господин майор сразу вошел в мое положение. Может быть, наши уже сражаются, а я тут безо всякой пользы могу прогулять всю войну. Разрешите, господин майор, еще раз объяснить все по порядку.

— Хватит, — отрубил майор Вольф, призвал двух солдат и приказал им немедленно отвести этого человека на гауптвахту. Сам же с одним офицером медленно пошел вслед за Швейком и, разговаривая с ним на ходу, яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря проницательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о своей присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже.

В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перебежчиков австрийское министерство внутренних дел пока что действовало вслепую. Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Сокаль — Милятин — Бубново, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом: «В случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии».

Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос: «Чем ты здесь занимаешься?» — весело отвечали: «Я предал государя императора».

Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил себе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способности.

Прежде чем они дошли до гауптвахты, он уже уверил себя, что вопрос: «Кто говорит по-немецки?» — он задал умышленно, так как при первом же взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным.

Сопровождавший майора офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и предания подсудимого военному суду высшей инстанции. Поступить так, как предлагает господин майор, а именно: допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой, — решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путем, согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что еще при этом вскроется?

Майора Вольфа внезапно охватило упрямство, его обуяла скрытая до сих пор в тайниках души звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика-шпиона немедленно после допроса, на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомства в высоких сферах и ему все нипочем. Здесь как на фронте. Если бы шпиона поймали и разоблачили в непосредственной близости от поля сражения, он был бы немедленно допрошен и повешен, с ним бы не разводили церемоний. Впрочем, господину капитану известно, что в прифронтной полосе каждый командир от капитана и выше имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного напутал.

В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили от высших к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить двенадцатилетнего мальчика, показавшегося ему подозрительным лишь потому, что в покинутой и разграбленной деревне в развалившейся хате варил себе картофельную шелуху.

Спор между капитаном и майором обострился.

— Вы не имеете на это никакого права! — раздраженно кричал капитан. — Он будет повешен на основании приговора военного суда.

— Будет повешен без приговора! — шипит майор Вольф.

Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот увлекательный разговор с начала до конца, и только сказал сопровождавшим его конвойным:

— Что в лоб, что по лбу. В одном трактире в Либени мы не могли решить, как поступить со шляпником Вашаком, который постоянно хулиганил на танцуйках: выкинуть сразу, как только он появится в дверях, после того как он закажет пиво, заплатит и выпьет, или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил выбросить его не в начале танцулек, а после того, как он напьет и наест: пусть за все заплатит и сразу же вылетает. А знаете, что устроил этот негодяй? Не при шел. Ну, что вы на это

скажете?

Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили:

— Nix böhmisch[593].

— Verstehen sie deutsch?[594] — спокойно спросил Швейк.

— Jawohl![595]— ответили оба, на что Швейк заметил:

— Это хорошо, — по крайней мере, среди своих не пропадете.

Коротая время в дружеской беседе, они дошли до гауптвахты, где майор Вольф с капитаном продолжали дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно уселся позади на лавке.

Майор Вольф в конце концов склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь».

Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счет, он бы ответил: «Мне очень жаль, господин майор, но, хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна. Однажды сошел с ума судья одного из пражских районных судов. Долгое время за ним ничего не замечали, но во время разбирательства дела об оскорблении личности это выявилось. Некий Знаменачек, повстречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона божия надавал пощечин его сынишке, сказал: «Ах ты, осел, ах ты, черная уродина, набожный идиот, черная свинья, поповский козел, осквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у ксендзов кухарками, а он был крестным их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого: «Именем его величества императора и короля присуждаю вас к смертной казни через повешение! Приговор суда обжалованию не подлежит. Пан Горачек, — обратился он к судебному надзирателю, — возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите на пиво!» Само собой разумеется, пан Знаменачек и надзиратель остолбенели, но судья топнул ногой и заорал: «Вы будете повиноваться или нет?»

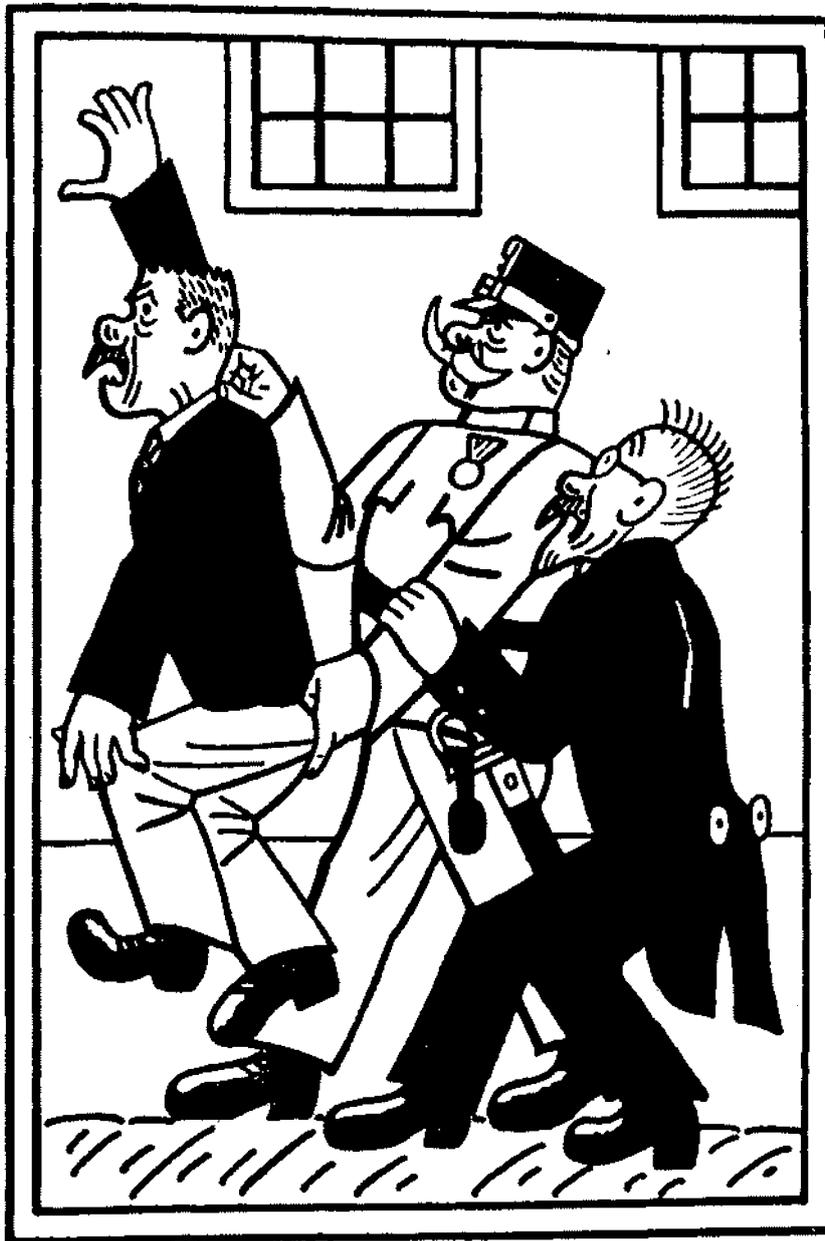
Тут надзиратель так напугался, что потащил пана Знаменачека вниз, и, не будь адвоката, который вмешался и вызвал «Скорую помощь», не знаю, чем бы все это кончилось для Знаменачека. Судью уже сажали в карету «Скорой помощи», а он все кричал: «Если не найдете веревки, повесьте его на простыне, стоимость учтем после в полугодовом отчете».

Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона, после того как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что Швейк, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны переделался в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией.

Все это было истинной правдой, и Швейк, как человек честный, возражать не мог. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора: «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю. Дело совершенно ясное».

И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться: «Так точно, молчу, дело совершенно ясное».

В комендатуре гарнизона он был отведен в какую-то дыру, где прежде нахо-



дился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не смущаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом.

Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом «о вонючей дупе» [596], и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как его оскорбил.

Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, они выполняли ее в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек, без права

на пенсию; кошки значились в интендантствах под рубрикой «K. u. k. Militärmagazinkatze»[597]. Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны шестьдесят шестого года.

Когда-то давно, при Марии-Терезии, во время войны, на военных складах тоже были кошки, и господа из интендантства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей.

Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствование императора Леопольда на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда были повешены шесть кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу.

Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втокнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели.

Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка.

Он начал прямо:

— Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в Двадцать восьмом полку и сразу перешел на службу к русским и вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку... Служил я в Шестой киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые вместе с нами пошли на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии и из каких мест они были, но ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего Двадцать восьмого полка.

Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку ко лбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Все этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и, когда надзиратель пришел спросить, почему арестованный так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедленно позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит в горячке.

Однако это не произвело должного впечатления: за больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и без умолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат.

— Вы наверняка напились болотной воды, — сказал Швейк, — как наш молодой Тынецкий, человек вообще неглупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии, дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его четыре раза в год: на всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на Успение богородицы. Как его схватит эта самая лихорадка, он, вроде вот вас, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, напри-

мер, в трамвае мог сказать незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого ни встретит на улице, — всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребе при ратуше в штирийском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ехали с ним на пароходе в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинках. Велели этому санитару ухаживать за помешанным, который целый божий день ничего не делал, а только сидел в углу и считал: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», и опять: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестерку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать: «Семь, восемь, девять, десять». Куда там! Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному и, когда тот проговорил «шесть», дал ему подзатыльник. «Вот вам, говорит, семь, а вот восемь, девять, десять». Что ни цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал, что в сумасшедшем доме, профессор сразу припомнил, что попал туда из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, восемнадцатого июня, в шесть часов утра, а ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно выздоровел и выписался, он взял этого санитаря в слуги. Никаких других обязанностей у него не было, только каждое утро давать господину профессору четыре подзатыльника, что он и выполнял добросовестно и аккуратно.

— Я знал всех ваших киевских знакомых, — неумоимо продолжал агент контрразведки. — Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка.

— Пусть это вас не беспокоит, — успокаивал его Швейк, — с каждым может случиться! Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых? Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Они, как говорится, составляют" большинство.

— Товарищ, — захныкал императорский и королевский мерзавец, — ты мне не веришь! А ведь нас ждет одинаковая участь!

— На то мы и солдаты, — невозмутимо ответил Швейк, — для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы падем за государя императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали Герцеговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. «Вы свиная банда, — говорил он, — кабаны вы необразованные, вы никчемные, ленивые обезьяны, вы своим ножищам покоя не даете, точно они никакой цены не имеют. Если вас убьют на поле сражения, то из каждой вашей ноги выйдет полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног — свыше двух кило. Сквозь вас, идиоты, на сахароваренных заводах будут фильтровать сахар. Вы и понятия не имеете, как после смерти будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олу-

хи». Я, помнится, задумался, а он ко мне: «О чем размышляешь?» — «Осмелюсь доложить, говорю, я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат». За это я получил три дня одиночки.

Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, а та доложила канцелярии.

Вскоре за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один.

Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила:

— Это мой старый товарищ по Киеву.

Целых двадцать четыре часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду.

Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает спящего. Швейку казалось, что кто-то нежно шепчет ему на ухо. На рассвете «шепот» этот был прерван конвоирами, пришедшими за арестованным.

Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички.

Допрос длился недолго.

Несколько больший интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски.

— Вы предали государя императора! — рявкнул он.

— Иисус Мария! Когда? — воскликнул Швейк. — Чтобы я предал государя императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал?!

— Бросьте глупости, — сказал майор.

— Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя императора — не глупость. Мы народ служивый и присягали государю императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, сдержал.

— Вот, — сказал майор, — вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда. — Он указал на объемистую кипу бумаг.

Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку.

— Вы и теперь не желаете сознаваться? — спросил майор. — Ведь вы сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз: принуждал вас кто-нибудь к этому?

— Я сделал это без всякого принуждения.

— Добровольно?

— Добровольно.

— Без давления?

— Без давления.

А вы знаете, что вы пропали?

Знаю; в Девяносто первом полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В тысяча девятьсот восьмом году, в



июле, в старом рукаве реки Бероунки в Зbrasлаве купался переплетчик Боже-тех с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но из воды этот незнакомый господин вылез первым: пора-де ужинать. Пан Божетех остался посидеть еще немного в воде, а когда пошел одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашел босяцкие лохмотья и записку: «Я долго размышлял: братъ, не братъ, ведь мы так хорошо веселились, тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел: братъ! А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их: они очищены от вшей неделю назад в окружной тюрьме Добржиши. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь: в воде всякий голый человек похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду еще разок, чтоб прийти в себя».

Пану Божетеху не оставалось ничего другого, как дожидаться темноты. Потом он завернулся в босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвел его в районный суд в Зbrasлав, ведь каждый может назваться Йозефом Боже-техом, переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер шестнадцать.

Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника, и переспросил:

— Ist das genau Prag, № 16, Jozef Vozetech?

— Живет ли он сейчас там, я не знаю, — ответил Швейк, — но тогда, в тысяча девятьсот восьмом году, жил. Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал соответственно содержанию. Если он делал на книге черный обрез, то ее не стоило читать: каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. Может, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть: он каждый день сидел «У Флеков» и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплет.

Майор подошел к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха.

Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкенштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда.

У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу.

Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовет суд, а через три часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось.

Как иной во что бы то ни стало должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или «марьяж», так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьезностью и радостью объявлял подсудимому мат.

Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести.

Угрызений совести он не испытывал, их для него не существовало. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в «марьяж», с удовлетворением вспоминая, как ему дали «флека», как он дал «ре», а они «супре», он «тути», они «боты», как он выиграл и набрал сто семь.

Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя императора. Он не говорил «именем его императорского величества вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто объявлял: «Я приговариваю вас».

Иногда он умел найти в повешении комические моменты, о чем однажды написал своей супруге в Вену: «...ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек — писарь. У него большая практика по части вешания. Для него это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда, по вынесении приговора, явился ко мне этот самый писарь и спрашивает: «Где прикажете повесить учителя?» Я говорю: «На ближайшем дереве». И вот представь себе комизм положения. Кругом степь, ничего, кроме травы, не видать, и далеко впереди нет ни единого деревца. Но приказ есть приказ, а потому взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево. Вернулись только вечером, и учитель с ними. Писарь пришел ко мне и спрашивает опять: «На чем повесить этого молодчика?» Я его выругал и напомнил, что уже дал приказ — на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать, а утром пришел бледный как полотно: за ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я простил всех, кто его караулил. И еще пошутил, что учитель, вероятно, сам пошел искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи малень-

кому Вилли, что папа его целует и скоро пришлет ему живого русского. Вилли будет на нем ездить, как на лошадке. Еще, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодец встретился нам на дороге, хотя делать ему там было нечего; он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, его повесили, но только на несколько секунд. Вдруг веревка оборвалась, и он упал, но сразу опомнился и закричал мне: «Господин генерал, я иду домой! Вы меня уже повесили, а, согласно закону, я не могу быть повешен дважды за одно и то же». Я расхохотался, и еврея мы отпустили. У нас, дорогая моя, весело!..»

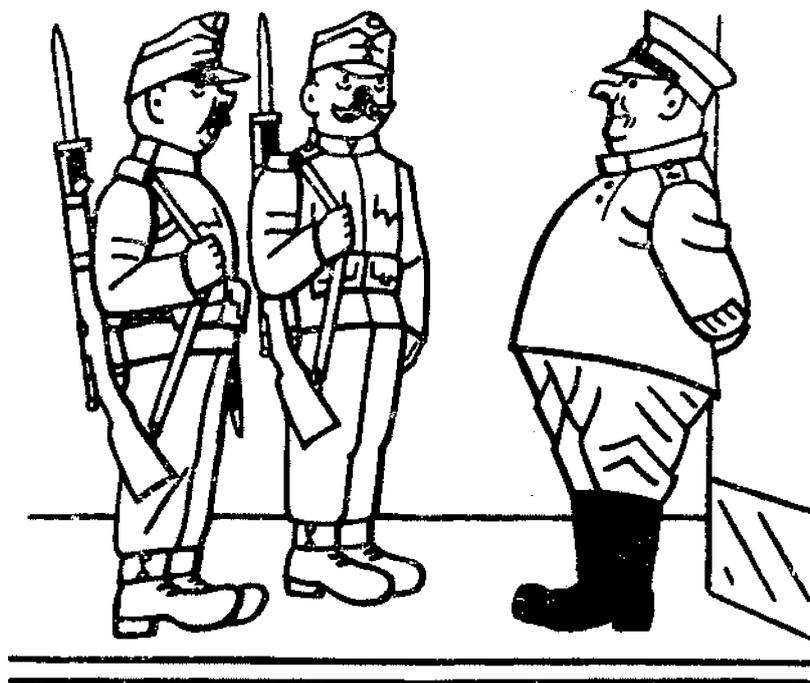
Когда генерала Финка назначили комендантом крепости Перемышль, ему уже не так часто подворачивалась возможность для подобных цирковых представлений, и он с большой радостью ухватился за дело Швейка.

Теперь Швейк стоял перед этим тигром, который, сидя в центре длинного стола, курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрительно кивал головой.

Майор внес предложение послать телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит.

Генерал высказался против и заявил, что этим задержится вынесение приговора, что противоречит смыслу данного мероприятия. Сейчас налицо полное признание обвиняемого в том, что он переделся в русскую форму, потом имеется одно важное свидетельское показание, согласно которому обвиняемый признался, что был в Киеве. Он, генерал, предлагает немедленно удалиться на совещание, вынести приговор и немедленно привести его в исполнение.

Майор все же настаивал, что необходимо установить личность обвиняемого, так как это — дело исключительной политической важности. Установив личность этого солдата, можно будет добраться и до связей обвиняемого с его бывшими товарищами по той воинской части, к которой он принадлежал.



Майор был романтиком-мечтателем. Он говорил, что нужно найти ка-

кие-то нити, что недостаточно приговорить одного человека. Приговор является только результатом определенного следствия, которое заключает в себе нити, каковые нити... Он окончательно запутался в своих нитях, но все его поняли и одобрительно закивали головой, даже сам генерал, которому нити очень понравились, потому что он представил, как на майоровых нитях висят новые полевые суды. Поэтому он уже не протестовал против того, чтобы справиться в бригаде и точно установить, действительно ли Швейк принадлежит к Девяносто первому полку и когда, во время каких операций одиннадцатой маршевой роты, он перешел к русским.

Швейк во время дебатов находился в коридоре, под охраной двух штыков. Потом его опять ввели в зал суда, поставили перед лицом судей и еще раз спросили, какого он полка. Потом Швейка перевели в гарнизонную тюрьму.

Вернувшись после неудавшегося полевого суда домой, генерал Финк лег на диван и стал обдумывать, как бы ускорить эту процедуру.

Он был твердо уверен, что ответ они получают скоро, но все же это уже не та быстрота, какой отличались его суды, так как после этого последует духовное напутствие приговоренного, что задержит приведение приговора в исполнение на лишние два часа.

— А, все равно, — решил генерал Финк. — Мы можем предоставить ему духовное напутствие еще перед вынесением приговора, до получения сведений из бригады. Все равно ему висеть.

Генерал Финк приказал позвать к себе фельдкурата Мартинца. Это был несчастный учитель закона божьего, капеллан, откуда-то из Моравии. Раньше он был под началом такого безнравственного варвара, что предпочел пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек, он с горечью в сердце вспоминал о своем фарарже, который медленно, но верно шел навстречу гибели. Он вспоминал, как его фарарж до положения риз надирался сливовицей и однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть ему в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда сильно навеселе возвращался с винокуренного завода.

Фельдкурат Мартинец надеялся, что, напутствуя раненых и умирающих на поле битвы, он искупит грехи своего распутного фараржа, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом:

— Еничек, Еничек! Толстая девка — жизнь моя!

Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями Офицерского собрания, а там велись такие разговоры, что в сравнении с ними «толстые девки» фараржа были невинной молитвой к ангелу-хранителю.

Обычно его вызывали к генералу Финку во время крупных операций на фронте, когда нужно было торжественно отпраздновать очередную победу австрийской армии. Генерал Финк с таким же удовольствием организовывал торжественные полевые обеды, с каким устраивал полевые суды.

Бестия Финк был таким ярим патриотом Австрии, что не молился о победе германского или турецкого оружия. Когда германцы одерживали победу над французами или англичанами, у алтаря царило молчание.

Незначительную удачную схватку австрийского разведочного патруля с

русским аванпостом штаб раздувал, словно огромный мыльный пузырь, до поражения целого корпуса русских, и это служило генералу Финку предлогом для торжественных богослужений. У несчастного фельдкурата Мартинца создавалось такое впечатление, что генерал-комендант Финк является одновременно главою католической церкви в Перемышле.

Генерал Финк сам распоряжался церемониалом обедни, высказывая всякий раз пожелание, чтобы такие богослужения совершались по образцу богослужений в праздник тела господня — с октавой.

Кроме того, генерал Финк имел обыкновение по возношении святых даров подскать галопом на коне к алтарю и троекратно возгласить: «Ура! ура! ура!»

Фельдкурат Мартинец, душа набожная и праведная, один из немногих, кто еще верил в бога, не любил визитов к генералу Финку.

Генерал крепости Финк давал фельдкурату необходимые инструкции, а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу божьему Мартинцу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии журналом «Lustige Blätter».

Генерал собрал целую библиотеку книжонок с глупыми названиями, вроде «Юмор для зрения и слуха в солдатском ранце», «Гинденбурговы анекдоты», «Гинденбург в зеркале юмора», «Второй ранец юмора, наполненный Феликсом Шлемпером», «Из нашей гуляшевой пушки», «Сочные гранатные осколки из окопов», или такая чепуха, как «Под двуглавым орлом», «Венский шницель из императорской королевской полевой кухни разогрел Артур Локеш». Иногда он пел веселые солдатские песни из сборника «Wir müssen siegen»[598], причем неустанно подливал чего-нибудь покрепче, заставляя фельдкурата пить и горланить вместе с ним. Потом заводил похабные разговоры, во время которых фельдкурат Мартинец с тоской в сердце вспоминал своего фараржа, по части сальностей ни в чем не уступавшего генералу Финку.

Фельдкурат Мартинец с ужасом замечал, что чем чаще он ходит в гости к генералу Финку, тем ниже падает нравственно.

Несчастному начали нравиться ликеры, которые он распивал у генерала. Постепенно он вошел во вкус генеральских разговоров. Воображению его рисовались безнравственные картины, и ради контушовки, рябиновки и старого вина в покрытых паутиной бутылках, которыми его поил генерал Финк, фельдкурат забывал о боге. Теперь между строчек требника у него танцевали «девочки» из генеральских анекдотов. Отвращение к посещениям генерала ослабевало.

Генерал полюбил фельдкурата Мартинца, который сначала явился к нему святым Игнатием Лойолой, а затем приспособился к генеральскому окружению.

Как-то раз генерал позвал к себе двух сестер милосердия из полевого госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжелые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартинца, который уже так запутался в тенетах дьявола, что после получасового флирта переменил обеих дам, причем вошел в такой раж, что обслонявил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь но-

чью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы — мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед Перемышлем.

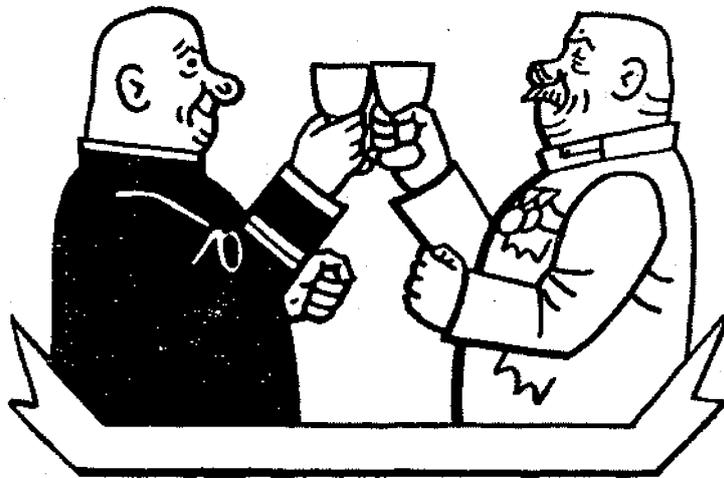
Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой:

— «Не осуди раба своего. Несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его. Да не будет суров твой приговор. Помощи у тебя молю и в руки твои, господи, предаю дух мой».

С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина: если генерал предлагает фельдкурату: «Налижись, товарищ!» — сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику.

Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал еще более торжественные пиры за счет гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребен перед лицом господним, и это приводило его в трепет.

Он ходил словно в забытьи и, не теряя в этом хаосе веры в бога, совершенно серьезно стал подумывать: не следует ли ему ежедневно систематически бичевать себя?



В таком настроении явился он по вызову к генералу.

Генерал вышел к нему сияющий и радостный.

— Слышали, — ликующе воскликнул он, идя навстречу Мартинцу, — о моем полевом суде? Будем вешать одного вашего земляка.

При слове «земляк» фельдкурат бросил на генерала страдальческий взгляд. Он уже несколько раз опровергал оскорбительное предположение, будто он чех, и неоднократно объяснял, что в их моравский приход входит два села: чешское и немецкое — и что ему часто случается одну неделю говорить проповеди для чехов, а другую — для немцев, но так как в чешском селе нет ни одной чешской школы, а только немецкая, то он должен преподавать закон божий в обоих селах по-немецки, и, следовательно, никоим образом не является чехом. Однажды это убедительное доказательство послужило сидевшему за столом майору предлогом для замечания, что этот фельдкурат из Моравии, собственно говоря, просто мелочная лавочка.

— Пардон, — извинился генерал, — я забыл, он не ваш земляк, это чех-перебежчик, изменник, служил у русских, будет повешен. Пока для проформы мы все же устанавливаем его личность. Впрочем, это не важно, он будет повешен немедленно, как только по телеграфу придет ответ.

Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал оживленно продолжал:

— У меня уж если полевой суд, то все должно делаться быстро, как полагается в полевом суде; быстрота — это мой принцип. В начале войны я был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через три минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного русина мы тоже повесили через пять минут после совещания. — Генерал добродушно рассмеялся. — Случайно оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а русин — священником. Здесь перед нами иной случай, теперь мы будем вешать католика. Мне пришла в голову превосходная идея: дабы потом не задерживаться, духовное напутствие вы дадите ему заранее, чтобы, как я только что вам объяснил, нам не задерживаться. — Генерал позвонил и приказал денщику: — Принеси две из вчерашней батареи.

Наполняя вскоре бокал фельдкурата вином, он приветливо обратился к нему:

— Выпейте на дорожку перед духовным напутствием...

В этот грозный час из-за решетки раздавалось пение сидевшего на койке Швейка:

*Мы солдаты-молодцы,  
Любят нас красавицы.  
У нас денег сколько хошь,  
Нам прием везде хорош.  
Ца-рара... Ein, zwei!*

## Глава II Духовное напутствие

Фельдкурат Мартинец не вошел, а буквально впорхнул к Швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого «Гумпольдскирхен» сделали его в эту трогательную минуту легким, как перышко. Ему казалось, что в этот серьезный и священный момент он приближается к богу, в то время как приближался он к Швейку.

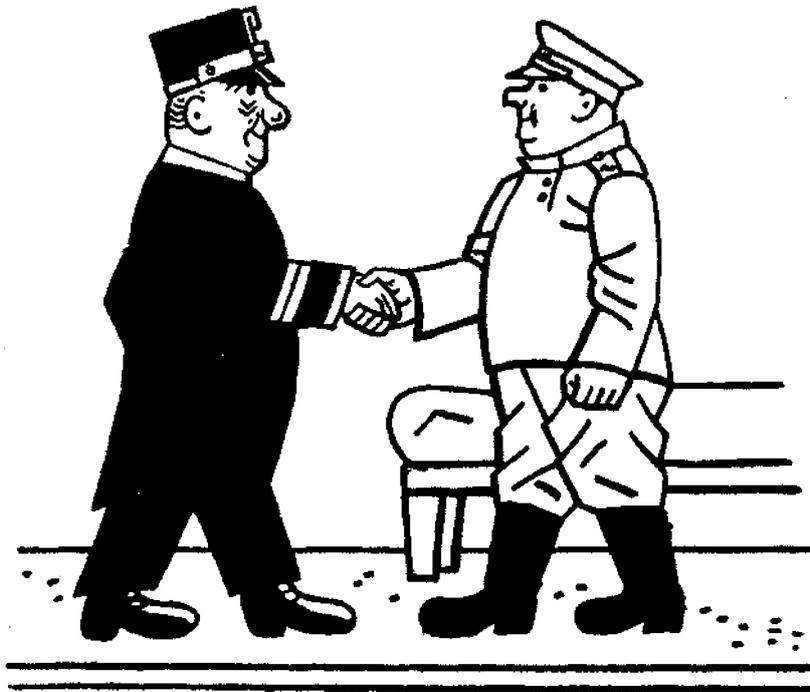
За ним заперли дверь и оставили наедине со Швейком. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке арестанту:

— Возлюбленный сын мой, я фельдкурат Мартинец.

Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески трогательным.

Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился:

— Очень приятно, я Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас упекли. Все же вы в чине офицера, и вам полагается сидеть в гарнизонной тюрьме, а вовсе не здесь. Ведь эта койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так



произойдет. Сидел я как-то, господин фельдкурат, под арестом в Будейовицах, в полковой тюрьме, и привели ко мне зауряд-кадета; эти зауряд-кадеты были вроде как фельдкураты: ни рыба ни мясо, орет на солдат, как офицер, а случись с ним что, — запирают вместе с простыми солдатами.

Были они, скажу я вам, господин фельдкурат, вроде как подзаборники: на довольствие в унтер-офицерскую кухню их не зачисляли, довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда пять человек. Сначала они только сырки жрали в солдатской кантине, ведь питание на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую кантину: это-де несовместимо с честью зауряд-кадета. Ну что им было делать: в офицерскую-то кантину их тоже не пускали. Повисли они между небом и землей и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в Мальшу, а другой сбежал из полка и два месяца спустя прислал в казарму письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их четверо: того, который топился в Мальше, спасли. Он когда бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать и что выдержал экзамен по плаванию на отлично. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать, укрывать офицерским одеялом или простым; нашли такой выход: одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через полчаса попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем еще мокрого, и посадили со мной. Просидел он дня четыре и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но все же питание. Он почувствовал под ногами, как говорится, твердую почву. На пятый день за ним пришли, а через полчаса он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня зауряд-кадетов будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак нам будут выдавать тоже наравне с солдатами».

Только теперь фельдкурат Мартинец опомнился и прервал Швейка фразой, содержание которой не имело никакого отношения к предшествовавшему разговору:

— Да, да, возлюбленный сын мой, между небом и землей существуют вещи, о которых следует размышлять с пламенным сердцем и с полной верой в бесконечное милосердие божие. Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным напутствием.

Он умолк, потому что напутствие у него как-то не клеилось. По дороге он обдумал план речи, которая должна была навести преступника на размышления о своей жизни и вселить в него уверенность, что на небе ему отпустят все грехи, если он покается и будет искренне скорбеть о них.

Пока он размышлял, как лучше перейти к основной теме, Швейк опередил его, спросив, нет ли у него сигареты.

Фельдкурат Мартинец до сих пор еще не научился курить. Это было то последнее, что он сохранил от своего прежнего образа жизни. Однажды в гостях у генерала Финка, когда в голове у него зашумело, он попробовал выкурить сигару, но его тут же вырвало. Тогда у него было такое ощущение, будто это ангел-хранитель предостерегающе пощекотал ему глотку.

— Я не курю, возлюбленный сын мой, — с необычайным достоинством ответил он Швейку.

— Удивляюсь, — сказал Швейк, — я был знаком со многими фельдкуратами, так те дымили, что твой винокуренный завод в Злихове! Я вообще не могу себе представить фельдкурата некурящего и непьющего. Знал я одного некурящего, но тот жевал табак. Во время проповеди он заплевывал всю кафедру. Вы откуда будете, господин фельдкурат?

— Из Нового Ичина, — упавшим голосом отозвался его императорское королевское преподобие Мартинец.

— Так вы, может, знали, господин фельдкурат, Ружену Гаудрсову, она в позапрошлом году служила в одном пражском винном погребе на Платнержской улице и подала в суд сразу на восемнадцать человек, требуя с них алименты, так как родила двойню. У одного из близнецов один глаз был голубой, другой карий, а у второго — один глаз серый, другой черный, поэтому она предполагала, что тут замешаны четыре господина с такими же глазами. Эти господа ходили в тот винный погребок и имели с ней кой-какие делишки. Кроме того, у первой из двойняшек одна ножка была кривая, как у советника из городской управы, он тоже закахивал туда, а у второго на одной ноге было шесть пальцев, как у одного депутата, тамошнего завсегдатая. Теперь представьте себе, господин фельдкурат, что в гостиницы и на частные квартиры с ней ходили восемнадцать таких посетителей и от каждого у этих близнецов осталась какая-нибудь примета. Суд решил, что в такой толчее отца установить невозможно, и тогда она все свалила на хозяина винного погребка, у которого служила, и подала иск на него. Но тот доказал, что он уже двадцать с лишним лет импотент после операции, которая была ему сделана в связи с воспалением нижних конечностей. В конце концов ее спровадили, господин фельдкурат, к вам в Новый Ичин. И вот вам наука: кто за большим погонится, тот ни черта не получит. Она должна была держаться одного и не утверждать перед судом, что один близнец от депутата, а другой от советника из городской управы. От одного — и все тут. Время рождения ребенка легко вычис-

лить: такого-то числа я была с ним в номере, а такого-то числа такого-то месяца у меня родился ребенок. Само собой разумеется, если роды нормальные, господин фельдкурат. В таких номерах за пятерку всегда можно найти свидетеля, полового, например, или горничную, которые присягнут, что в ту ночь он действительно был с нею и она ему еще сказала, когда они спускались по лестнице: «А если что-нибудь случится?» А он ей на это ответил: «Не бойся, моя канимура, о ребенке я позабочусь».

Фельдкурат задумался. Духовное напутствие теперь показалось ему делом нелегким, хотя в основном им был разработан план того, о чем и как он будет говорить с возлюбленным сыном: о безграничном милосердии в день Страшного суда, когда из могил восстанут все воинские преступники с петлей на шее. Если они покаются, то все будут помилованы, как «благоразумный разбойник» из Нового Завета.

Он подготовил, быть может, одно из самых проникновенных духовных напутствий, которое должно было состоять из трех частей: сначала он хотел побеседовать о том, что смерть через повешение легка, если человек вполне примирен с богом. Воинский закон наказывает за измену государю императору, который Является отцом всех воинов, так что самый незначительный проступок воина следует рассматривать как отцеубийство, глумление над отцом своим. Далее он хотел развить свою теорию о том, что государь император — помазанник божий, что он самим богом поставлен управлять светскими делами, как папа поставлен управлять делами духовными. Измена императору является изменой самому богу. Итак, воинского преступника ожидают, помимо петли, муки вечные, вечное проклятие. Однако если светское правосудие в силу воинской дисциплины не может отменить приговора и должно повесить преступника, то что касается другого наказания, а именно вечных мук, — здесь еще не все потеряно. Тут человек может парировать блестящим ходом — покаянием.

Фельдкурат представлял себе трогательнейшую сцену, после которой там, на небесах, вычеркнут все записи о его деяниях и поведении на квартире генерала Финка в Перемышле.

Он представлял себе, как под конец он заорет на осужденного: «Кайся, сын мой, преклоним вместе колена! Повторяй за мной, сын мой!»

А потом в этой вонючей, вшивой камере раздастся молитва: «Господи боже! Тебе же подобает смилостивиться и простить грешника! Усердно молю ты за душу воина (имярек), коей повелел ты покинуть свет сей, согласно приговору военно-полевого суда в Перемышле. Даруй этому пехотинцу, покаянно припадающему к стопам твоим, прощение, избавь его от мук ада и допусти его вкушать вечные твои радости».

— С вашего разрешения, господин фельдкурат, вы уже пять минут молчите, будто воды в рот набрали, словно вам и не до разговора. Сразу видать, что в первый раз попали под арест.

— Я пришел, — серьезно сказал фельдкурат, — ради духовного напутствия.

— Чудно, господин фельдкурат, чего вы все время толкуете об этом духовном напутствии? Я, господин фельдкурат, не в состоянии дать вам какое бы то ни было напутствие. Вы не первый и не последний фельдкурат, попавший за решетку. Кроме того, по правде сказать, господин фельдкурат, нет у меня такого дара слова, чтобы я мог кого-либо напутствовать в тяжелую минуту. Один

раз я попробовал было, но получилось не особенно складно. Присаживайтесь-ка поближе, я вам кое-что расскажу. Когда я жил на Опатовицкой улице, был у меня один приятель Фаустин, швейцар гостиницы, очень достойный человек. Правильный человек, рачительный. Всех уличных девок знал наперечет. В любое время дня и ночи вы, господин фельдкурат, могли прийти к нему в гостиницу и сказать: «Пан Фаустин, мне нужна барышня». Он вас подробно расспросит, какую вам: блондинку, брюнетку, маленькую, высокую, худую, толстую, немку, чешку или еврейку, незамужнюю, разведенную или замужнюю дамочку, образованную или без образования.

Швейк дружески прижался к фельдкурату и, обняв его за талию, продолжал:

— Ну, предположим, господин фельдкурат, вы ответили, — нужна блондинка, длинноногая, вдова, без образования. Через десять минут она будет у вас в постели и с метрическим свидетельством.

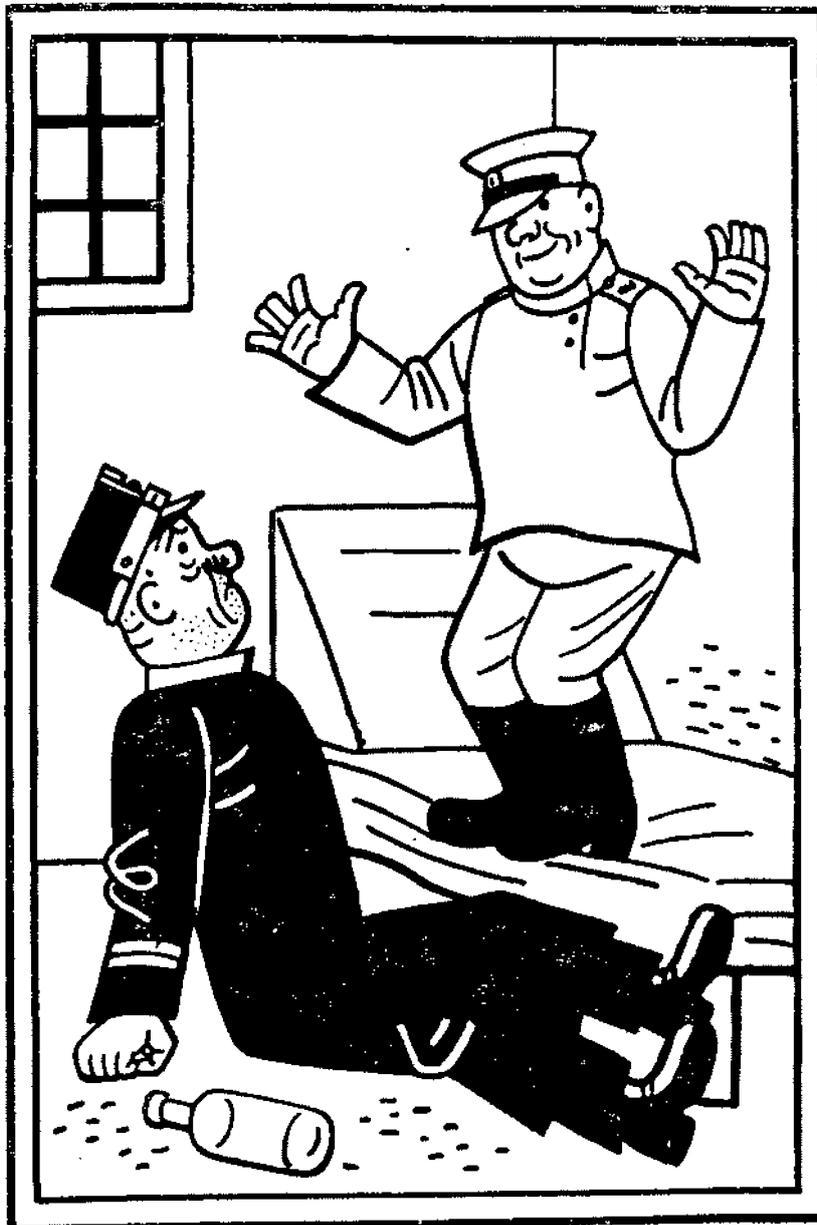
Фельдкурата бросило в жар, а Швейк рассказывал дальше, с материнской нежностью прижимая его к себе:

— Вы и предствить себе не можете, господин фельдкурат, какое у этого Фаустина было глубокое понятие о морали и честности. От женщин, которых он сватал и поставлял в номера, он и крейцера не брал на чай. Иной раз какая-нибудь из этих падших забудется и вздумает сунуть ему в руку мелочь, — нужно было видеть, как он сердился и как кричал на нее: «Свинья ты этакая! Если ты продаешь свое тело и совершаешь смертный грех, не воображай, что твои десять геллеров мне помогут. Я тебе не сводник, бесстыжая шлюха! Я делаю это единственно из сострадания к тебе, чтобы ты, раз уж так низко пала, не выставляла себя публично на позор, чтобы тебя ночью не схватил патруль и чтоб потом тебе не пришлось три дня отсиживать в полиции. Тут ты, по крайней мере, в тепле, и никто не видит, до чего ты дошла». Он ничего не хотел брать с них и возмещал это за счет клиентов. У него была своя такса: голубые глаза — десять крейцеров, черные — пятнадцать. Он подсчитывал все до мелочей на листке бумаги и подавал посетителю как счет. Это были очень доступные цены за посредничество. За необразованную бабу он накидывал десять крейцеров, так как исходил из принципа, что простая баба доставит удовольствия больше, чем образованная дама. Как-то под вечер пан Фаустин пришел ко мне на Опатовицкую улицу страшно взволнованный, сам не свой, словно его только что вытащили из-под предохранительной решетки трамвая и при этом украли часы. Сначала он ничего не говорил, только вынул из кармана бутылку рома, выпил, дал мне и говорит: «Пей!» Так мы с ним и молчали, а когда всю бутылку выпили, он вдруг выпалил: «Друг, будь добр, сослужи мне службу. Открой окно на улицу, я сяду на подоконник, а ты схватишь меня за ноги и столкнешь с четвертого этажа вниз. Мне ничего уже в жизни не надо. Одно для меня утешение, что нашелся верный друг, который спровадит меня со света. Не могу я больше жить на этом свете. На меня, на честного человека, подали в суд, как на последнего сводника из Еврейского квартала. Наш отель первоклассный. Все три горничные и моя жена имеют желтые билеты и ни одного крейцера не должны доктору за визит. Если ты хоть чуточку меня любишь, столкни меня с четвертого этажа, даруй мне последнее напутствие. Утешь меня». Велел я ему влезть на окно и столкнул вниз на улицу. Не пугайтесь, господин фельдкурат. — Швейк встал на нары и туда же втащил фельд-

курата. — Смотрите, господин фельдкурат, я его схватил вот так... и раз вниз!

Швейк приподнял фельдкурата и спустил его на пол. Пока перепуганный фельдкурат поднимался на ноги, Швейк закончил свой рассказ:

— Видите, господин фельдкурат, с вами ничего не случилось, и с ним, с паном Фаустином, тоже. Только окно там было раза в три выше, чем эта койка. Ведь он, пан Фаустин, был вдребезги пьян и забыл, что на Опатовицкой улице я жил на первом этаже, а не на четвертом. На четвертом этаже я жил за год до этого на Кршеменцевой улице, куда он ходил ко мне в гости.



Фельдкурат в ужасе смотрел с пола на Швейка, а Швейк, возвышаясь над ним, стоя на нарах, размахивал руками.

Фельдкурат решил, что имеет дело с сумасшедшим, и, заикаясь, начал:

— Да, да, возлюбленный сын мой, даже меньше чем в три раза. — Он потихоньку подобрался к двери и начал барабанить что есть силы. Он так ужасно вопил, что ему сразу открыли.

Швейк сквозь оконную решетку видел, как фельдкурат, энергично жестикулируя, быстро шагал по двору в сопровождении караульных.

— По-видимому, его отведут в сумасшедший дом, — заключил Швейк. Он соскочил с нар и, прохаживаясь солдатским шагом, запел:

*Перстенек, что ты дала, мне носить неловко.  
Что за черт? Почему?  
Буду я тем перстеньком  
заряжать винтовку.*

Вскоре после этого происшествия генералу Финку доложили о приходе фельдкурата.

У генерала уже собралось большое общество, где главную роль играли две милые дамы, вино и ликеры.

Офицеры, заседавшие в полевом суде, были здесь в полном составе. Отсутствовал только солдат-пехотинец, который утром подносил курящим зажженные спички.

Фельдкурат вплыл в комнату, как сказочное привидение. Был он бледен, взволнован, но исполнен достоинства, как человек, который сознает, что незаслуженно получил пощечину.

Генерал Финк, в последнее время обращавшийся с фельдкуратом весьма фамильярно, притянул его к себе на диван и пьяным голосом спросил:

— Что с тобой, мое духовное напутствие?

При этом одна из веселых дам кинула в фельдкурата сигаретку «Мемфис».

— Пейте, мое духовное напутствие, — предложил генерал Финк, наливая фельдкурату вино в большой зеленый бокал. А так как тот выпил не сразу, то генерал стал поить его собственноручно, и если бы фельдкурат глотал медленнее, он бы облил его с головы до пят.

Только потом начались расспросы, как осужденный держался во время духовного напутствия. Фельдкурат встал и трагическим голосом произнес:

— Спятил.

— Значит, напутствие было замечательное, — радостно захохотал генерал, и все общество загоготало в ответ, а дамы опять принялись бросать в фельдкурата сигаретками.



В конце стола клевал носом майор, хвативший лишнего. С приходом нового человека он оживился, быстро наполнил два бокала каким-то ликером, расчистил себе дорогу между стульев и принудил очумевшего духовного пастыря выпить с ним на брудершафт. Потом майор опять повалился в кресло и продолжал клевать носом.

Бокал, выпитый на брудершафт, бросил фельдкурата в сети дьявола, а тот раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках веселых дам, которые положили ноги на стол, так что из кружек на него глядел Вельзевул.

До самого последнего момента фельдкурат был уверен, что дело идет о спасении его души, что сам он — мученик.

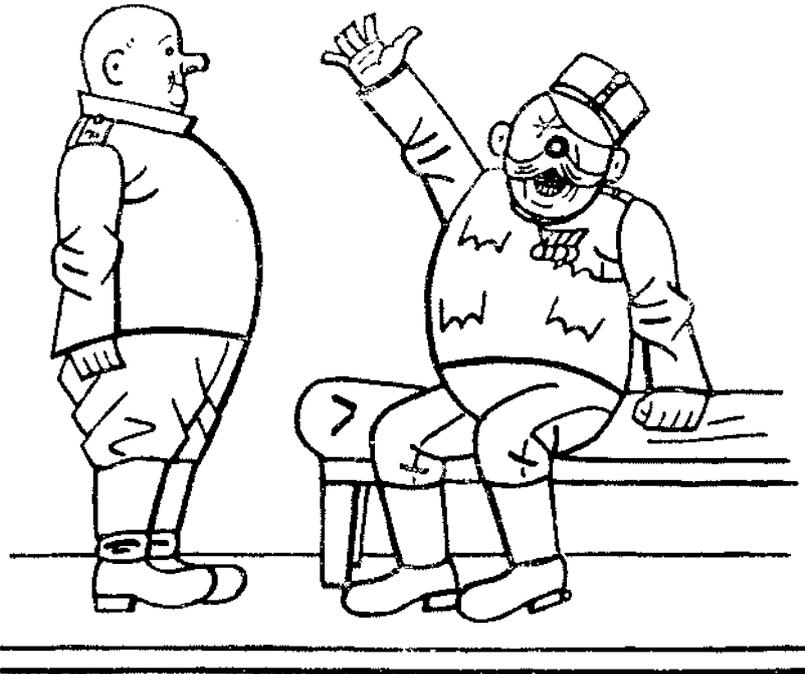
Он выразил это в словах, с которыми обратился к двум денщикам генерала, относившим его в соседнюю комнату на диван:

— Печальное, но вместе с тем и возвышенное зрелище откроется перед вашими очами, когда вы непредубежденно и с чистою мыслью вспомните о стольких прославленных страдальцах, которые пожертвовали собой за веру и причислены к лику святых мучеников. По мне вы видите, как человек становится выше всех страданий, если в сердце его обитают истина и добродетель, кои вооружают его для достижения славной победы над самыми страшными мучениями.

Здесь его повернули лицом к стенке, и он сразу же уснул.

Сон фельдкурата был тревожен.

Снилось ему, что днем он исполняет обязанности фельдкурата, а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара Фаустина, которого Швейк столкнул с четвертого этажа.



Со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то, что вместо блондинки он привел клиенту брюнетку, а вместо разведенной, образованной дамы доставил необразованную вдову.

Утром он проснулся, потный, как мышь. Желудок его расстроился, а в мозгу сверлила мысль, что его моравский фарарж по сравнению с ним ангел.

### Глава III

#### Швейк снова в своей маршевой роте

Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратом на брудершафт и клевал носом.

Никто не знал, когда и как майор ушел от генерала. Все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора не было среди них уже больше двух часов, а генерал, покручивая усы и глупо улыбаясь, кричал:

— Это вы хорошо сказали, господин майор!

Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней на вешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в третьем этаже нашли спящего поручика, тоже быв-

шего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты.

Майор как в воду канул.

Но если бы кто-нибудь заглянул в решетчатое окошко камеры, где был заперт Швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью спят на одной койке двое. Из-под шинели выглядывали две пары сапог: сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор — Швейку.

Оба лежали, прижавшись друг к другу, как два котенка. Лапа Швейка покоилась под головой майора, а майор обнимал Швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке.

В этом не было ничего загадочного, а со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга.

Наверно, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролет. Бывало, наверное, и так: вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит: «Иисус Мария! В восемь часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвратить от святого убеждения, что он должен немедленно наверстать упущенное по службе. Эти люди — те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в своей берлоге на кушетку, чтобы они проспались.

Точно такой приступ был в эту ночь у майора.

Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно и майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения.

Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. Он влетел туда как бомба.

Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные.

Майор в фуражке набекрень разразился такой руганью, что солдаты как зевали, так и остались с разинутыми ртами; лица у всех перекосились. На майора с отчаянием и как бы кривляясь смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян.

Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля:

— Вы нерадивый мужик, я уже тысячу раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней. — Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал — Солдаты! Из ваших глаз прет глупость, даже когда вы спите! А проснувшись, вы, мужичье, корчите такие рожи, словно каждый сожрал по вагону динамита.

После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требование немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк; он хочет подвергнуть преступника новому допросу.

Таким образом майор ночью попал к Швейку.

Он пришел в камеру, когда в нем, как говорится, все расплзлось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы.

Фельдфебель пришел в отчаяние от требований майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора

прекрасное впечатление.

— Вы банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Если бы вы выдали мне ключи, я бы вам показал!

— Осмелюсь доложить, — ответил фельдфебель, — я вынужден запереть вас и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь.

— Ты дурной, — сказал майор, — павиан ты, верблюды! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Черт вас побери! Заприте меня — и вон отсюда!

Керосиновая лампа с прикрученным фитилем, стоявшая в окошечке над дверью в решетчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя навтыжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит.

Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было.

Майор вдруг забыл, зачем он пришел сюда, и поэтому сказал:

— Ruht! Где у тебя арестованный?

— Это, осмелюсь доложить, я сам, — с гордостью ответил Швейк.

Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликеры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевочек направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринужденно повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросенок:

*Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum,  
wie schon sind deine Wlatter![599]*

Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел.

— Господин майор, — будил его Швейк, — осмелюсь доложить, вы наберетесь вшей!

Но это было совершенно бесполезно, Майор спал мертвым сном.

Швейк нежно посмотрел на него и сказал:

— Ну, тогда спи, бай-бай, пьянчуга, — и прикрыл его шинелью. Потом сам забрался под нее. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу.

К девяти часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока наконец майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло.

— Осмелюсь доложить, господин майор, — сказал Швейк, — сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете. На пивоваренном заводе в Угржинеvesи работал один

бондарь. Он спал обыкновенно до шести часов утра, но если проспит хотя бы четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня; он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода; со злости он потом нанес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии.

— Ты глупый? Так! — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок, и ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью, но зачем?

— Я уже был раз ночью здесь? — спросил он не совсем уверенно.

— Согласно приказу, господин майор, — ответил Швейк, — насколько я понял из слов господина майора, осмелюсь доложить, господин майор пришли меня допросить.

Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то.

— Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор, — успокоил его Швейк. — Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову. Парадная офицерская фуражка — все равно что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан Кардераз в Лоденице. Тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову, — он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре, — так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило, наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь с боку на бок, Кардераз своими волосами лоцил его так, что он всегда был как выютюженный.

Майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял:

— Ты дуришь? Да? Я быть здесь — я иди отсюда... — Он встал, пошел к двери и громко постучал.

Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку:

— Если телеграмм не прийти, что ты есть ты, то ты будешь висель.

— Сердечно благодарю, — ответил Швейк, — я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфяке одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец, и если он только один и вы не найдете такую длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда все хорошо, а то была бы парочка, а они, эти твари, ужас как быстро размножаются, еще быстрее, чем кролики.

— Lassen Sie das![600] — упавшим голосом сказал майор Швейку, когда ему отпирали дверь.

В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролетке по скверной мостовой Перемышля, все думал о том, что преступник — идиот первой категории, но все же, по-видимому, это невинная скотина, а ему, майору, остается одно из двух: или немедленно, вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выку-

паться, а после бань зайти в винный погребок у Фолльгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр.

Не доехав до своей квартиры, он выбрал второе.

На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя...

В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал:

— Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!

Но животное не отвечало. Лицо у него посинело: генерал слишком сильно сдавил ему горло.

Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принес из передней генерала.

Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках: денщик постоянно его обворовывал.

Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом:

— Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина, чтобы я смог передать ему служебную телеграмму?..

— Я здесь, — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях.

— А-а! — воскликнул генерал Финк. — Ты вернулся?

В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях.

Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлестанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом:

— Читай, это твоя работа.

Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил:

— А все-таки я его повешу!

Телеграмма гласила следующее:

«Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты, пропал без вести 16-го с. м. на переходе Хыров — Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады».

Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался: Фельдштейн находится в сорока километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше ста пятидесяти километров от фронта, — остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль — Турза — Козлов.

Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ — немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка.

В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия.

Майор возражал и все твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку; он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья у него сильно болела голова и он испытывал потребность рассеяться разговором.

Когда Швейка наконец привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма.

Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: «Признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля?» Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме: «Безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он-де предал государя императора.

— Этот человек просто идиот, — сказал генерал майору. — Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских — на это способен только идиот.

— Осмелюсь доложить, — откликнулся Швейк, — я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру...

— Цыц, осел! — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком.

— Пусть его повесят в бригаде, — решил генерал.

Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич, в штаб бригады.

В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение двадцати четырех часов у него маковой росинки во рту не было.

Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага: «На основании телеграммы № 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из одиннадцатой маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования».

Конвой, состоявший из четырех человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех; последнего назначили начальником конвоя: он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде.

— Ладно, — согласился Швейк, — только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевого пузыря, все знали, кто был тому виной. На все есть закон, господин ефрейтор.

Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повел Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще еф-

рейтор во время пути производил впечатление человека свирепого. Он старался выглядеть таким надутым, будто на завтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом.

Когда они сидели в поезде на линии Перемышль — Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал:

— Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Тренто. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объеме. У него стали опухать щеки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казенные штаны на нем не застегивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех раздувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжелый и может лопнуть, так как от звездочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звездочку, и он сразу все спустил.

С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, отчего говорится, что ефрейтор — это наказание роты.

Ефрейтор ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они придут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд. А когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил: «Это не твое дело».

Швейк на все лады пробовал разговаривать с ефрейтором. Рассказал, что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со своими конвоирами.

Но ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался:

— Мне кажется, господин ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи. Много знавал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор, простите и не сердитесь на меня, я еще не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает. Может, я помогу вам советом, так как у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, есть ли там пруды, а может быть, развалины замков. Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими руинами.

— Довольно! — крикнул вдруг ефрейтор.

— Вот счастливый человек, — порадовался Швейк, — ведь люди всегда чем-нибудь недовольны.

— В бригаде тебе вправят мозги, я с тобой связываться не стану, — это были последние слова ефрейтора, после чего он погрузился в полное молчание.

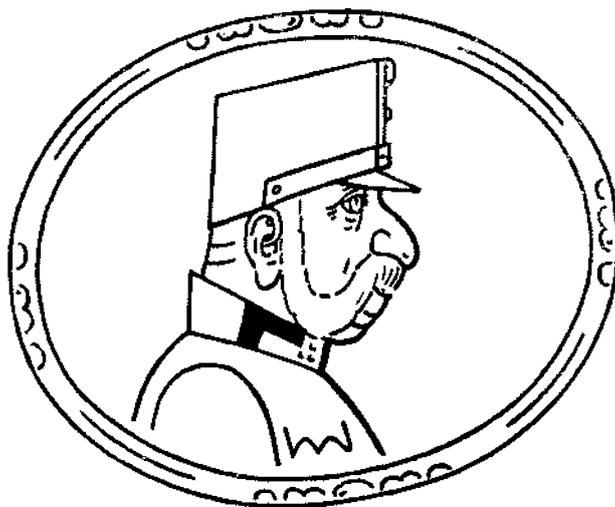
Вообще конвойные мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «jawohl»[601] и «was?»[602]. Когда немец что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал «jawohl», а когда умолкал, он говорил «was?», и немец начинал все снова. Конвоир-поляк держался аристократом: он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки, потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал о свои штаны, неустанно бормоча при этом: «Святая дева».

— У тебя что-то не получается, — сказал ему Швейк. — На Боиште в подвальной квартире жил метельщик Махачек. Так тот, бывало, высморкается на окно и так искусно размажет, что получалась картина, как Либуша пророчит славу Праге. За каждую картину он получал от жены такую государственную стипендию, что вечно ходил с распухшей рожей. Однако этого занятия он не бросил и продолжал совершенствоваться. Правда, это было его единственным развлечением.

Поляк ничего не ответил, и под конец весь конвой погрузился в глубокое молчание, будто они ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике.

Так они приблизились к Вояличу, где стоял штаб бригады.

Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены.



Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые ударили ему в ноги и проявились в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых, благодаря которым не ушел на пенсию, а слонялся по штабам разных крупных воинских соединений, получал высшие ставки с самыми разнообразнейшими надбавками военного времени и оставался на посту до тех пор, пока во время очередного подагрического приступа не выкидывал какой-нибудь глупости. После этого его переводили в другое место, обычно с повышением. За обедом он говорил с офицерами исключительно о своем отеком большом пальце на ноге, который иногда так распухал, что полковнику приходилось носить специальный сапог.

Во время еды самым приятным развлечением для него было рассказывать всем, что этот палец мокнет и беспрестанно потеет, что его постоянно приходится обкладывать ватой и что испарина от пальца пахнет прокисшим мясным супом.

Понятно, почему весь офицерский состав с искренней радостью расставался с Гербихом, когда его переводили в другое место. В общем это был приветливый господин. С младшими офицерами он держался по-приятельски и рассказывал им, сколько он в свое время выпил и съел вкусных вещей, покуда его не скрутило.

Когда Швейка доставили в бригаду и по приказу дежурного офицера с соответствующими бумагами привели к полковнику Гербиху, у последнего сидел

подпоручик Дуб.

Через несколько дней после перехода Санок — Самбор с подпоручиком Дубом стряслась новая беда. За Фельдштейном одиннадцатая маршевая рота повстречала транспорт лошадей, который перегоняли к драгунскому полку в Садовую Вишню.

Подпоручик Дуб и сам не знал, как это произошло, но ему вдруг захотелось показать поручику Лукашу свое кавалерийское искусство. Он не помнил, как вскочил на коня и как исчез вместе с ним в долине ручья. Позже подпоручика нашли прочно засевшим в небольшом болотце. Должно быть, и самый искусный садовник не сумел бы так посадить его. Когда подпоручика вытащили оттуда с помощью аркана, он ни на что не жаловался и только тихо стонал, словно перед смертью. В таком состоянии его привезли в штаб бригады, мимо которого шел их путь, и поместили в маленький лазарет.

Через несколько дней он пришел в себя, и врач объявил, что ему еще раз два или три намажут спину и живот йодом, а потом он смело может догонять свою роту.

Теперь подпоручик Дуб сидел у полковника Гербиха и разговаривал с ним о разных болезнях.

Завидев Швейка, Дуб, которому было известно о загадочном исчезновении ординарца у Фельдштейна, громко закричал:

— Так ты опять здесь! Многих негодяев носит черт знает где, но еще худшими мерзавцами они возвращаются обратно. Ты — один из них.

Для полноты картины следует заметить, что в результате приключения с конем подпоручик Дуб получил легкое сотрясение мозга. Поэтому мы не должны удивляться, что он, наступая на Швейка, призывал бога на борьбу со Швейком и кричал в рифму:

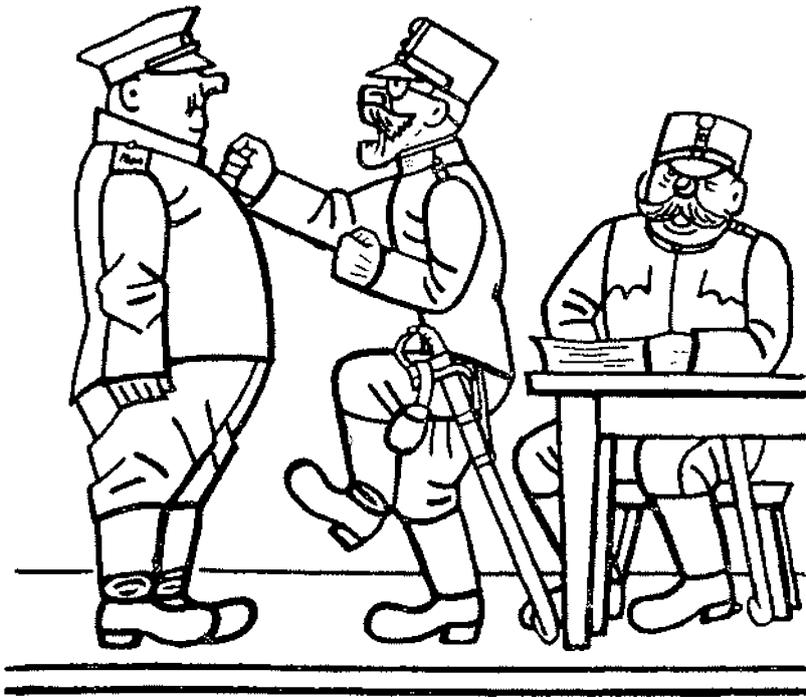
— О царю небесный, взываю к тебе! Дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие. Воеводе непобедимый, молю тебя, помоги мне одолеть этого разбойника... Где ты так долго пропал, мерзавец? Чье это обмундирование ты надел на себя?

Следует также добавить, что в канцелярии у полковника-подагрика были весьма демократические порядки, правда, лишь между приступами подагры. Здесь пребывали все чины, дабы выслушать его рассуждения относительно отекавшего пальца с запахом прокисшего мясного супа.

Когда у полковника Гербиха не было приступа, к нему в канцелярию набивались самые различные военные чины, ибо он в эти редкие минуты бывал очень весел и разговорчив, любил собирать вокруг себя слушателей, которым рассказывал сальные анекдоты, что на него действовало прекрасно, а остальным доставляло удовольствие принужденно посмеяться над старыми анекдотами времен генерала Лаудона.

В эти периоды служить у полковника Гербиха было очень легко. Всякий делал что ему вздумается, и можно с уверенностью сказать, что там, где штаб возглавлял полковник Гербих, всюду крали и творили всевозможные глупости.

Так и сегодня. Вместе со Швейком в канцелярию полковника нагрянули разные военные чины. Пока полковник читал препроводительную бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что произойдет дальше.

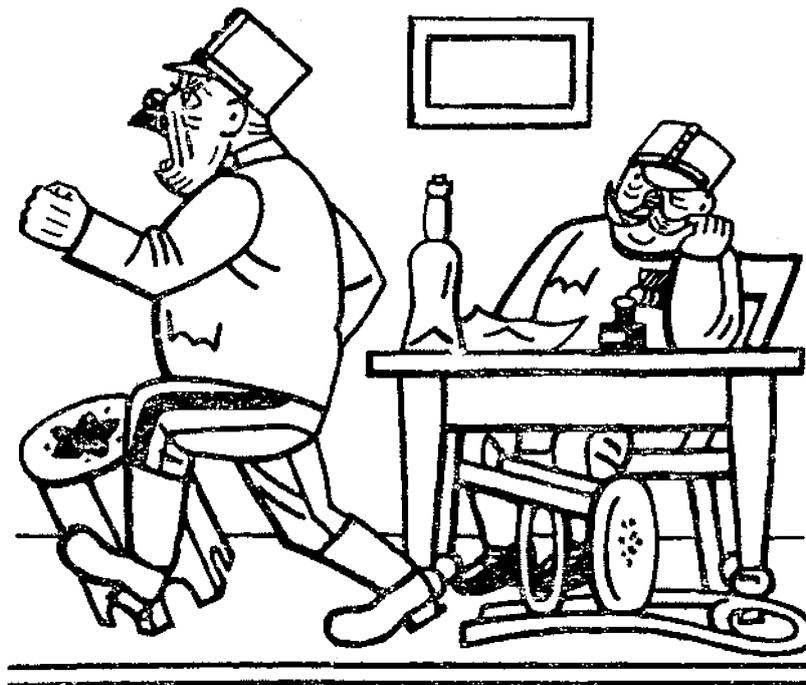


Подпоручик Дуб, однако, продолжал разговор со Швейком в привычной для него милой форме:

— Ты меня еще не знаешь, но когда узнаешь, подохнешь от страха!

Полковник обалдел от письма майора, так как тот диктовал эту бумагу, еще находясь под влиянием легкого отравления алкоголем. Несмотря на это, полковник Гербих был все же в хорошем настроении, так как со вчерашнего дня боли прекратились и его большой палец вел себя тихо, словно агнец.

— Так что вы, собственно, натворили? — спросил он Швейка так ласково, что у подпоручика Дуба от зависти сжалось сердце, и он поспешил ответить за Швейка.



— Этот солдат, господин полковник, — представил он Швейка, — строит из себя дурака, дабы прикрыть идиотством свои преступления. Правда, я не ознакомлен с содержанием присланной с ним бумаги, но тем не менее догадыва-

юсь, что этот негодяй опять что-то натворил, и в крупном масштабе. Если вы разрешите мне, господин полковник, ознакомиться с содержанием этой бумаги, я, безусловно, смогу вам дать определенные указания, как с ним поступить. — Обращаясь к Швейку, он сказал по-чешски: — Ты пьешь мою кровь, чувствуешь?

— Пью, — с достоинством ответил Швейк.

— Вот видите, что это за тип, господин полковник, — уже по-немецки продолжал подпоручик Дуб. — Вы ни о чем не можете его спросить, с ним вообще нельзя разговаривать. Но когда-нибудь найдет коса на камень! Его необходимо примерно наказать. Разрешите, господин полковник...

Подпоручик Дуб углубился в чтение бумаги, составленной майором из Перемышля, и, дочитав до конца, торжественно воскликнул:

— Теперь тебе, Швейк, аминь. Куда ты дел казенное обмундирование?

— Я оставил его на плотине пруда, когда примерял эти тряпки, чтобы узнать, как в них чувствуют себя русские солдаты, — ответил Швейк. — Это просто недоразумение.

Швейк подробно рассказал подпоручику Дубу, как он настрадался из-за этого недоразумения. Когда он кончил свой рассказ, подпоручик Дуб заорал на него:

— Вот теперь-то ты меня узнаешь! Понимаешь ты, что значит потерять казенное имущество? Знаешь ли ты, негодяй, что это значит — потерять на войне обмундирование?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — знаю. Когда солдат лишается обмундирования, он должен получить новое.

— Иисус Мария, — крикнул подпоручик Дуб, — осел, скотина ты этакая, если ты и впредь будешь так со мной шутить, то еще сто лет после войны будешь дослуживать!

Полковник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо его палец, который до сих пор вел себя смирно, из тихого и спокойного агнца превратился в ревущего тигра, в электрический ток в шестьсот вольт, в палец, каждую косточку которого молот медленно дробит в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и заорал диким голосом, как орет человек, которого медленно поджаривают на вертеле:

— Вон! Дайте мне револьвер!

Это был дурной признак, поэтому все выскочили вон вместе со Швейком, которого конвойные вытолкали в коридор. Остался лишь подпоручик Дуб. Он хотел использовать этот подходящий, как ему казалось, момент против Швейка и сказал готовому заплакать полковнику:

— Господин полковник, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что этот солдат...

Полковник замяукал и запустил в подпоручика чернильницей, после чего подпоручик в ужасе отдал честь и, пролепетав: «Разумеется, господин полковник», — исчез за дверью.

Еще долго потом из канцелярии полковника были слышны рев и вой. Наконец вопли прекратились. Палец полковника неожиданно опять превратился в агнца, приступ подагры прошел, полковник позвонил и снова приказал привести к нему Швейка.

— Так что, собственно, с тобой приключилось? — по-прежнему ласково спросил полковник Швейка. Все неприятное осталось позади. Он снова почувствовал себя прекрасно и испытывал такое блаженство, словно нежился на пляже на берегу моря.

Дружески улыбаясь полковнику, Швейк рассказал свою одиссею от начала до конца, доложил, что он ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка и что не знает, как они там без него обойдутся.

Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ: «Выписать Швейку воинский литер через Львов до станции Золтанец, куда завтра должна прибыть его маршевая рота, и выдать ему со склада новый казенный мундир и шесть крон восемьдесят два геллера вместо продовольствия на дорогу».

Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлен, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукашу.

Подпоручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Abtreten!», и, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя: «Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь!»

На станции Золтанец собрался весь батальон капитана Сагиера, за исключением арьергарда — четырнадцатой роты, потерявшейся где-то при обходе Львова.

Войдя в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалеко был фронт, где шла резня. Всюду стояли пушки и обозы; из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного подслащенного отвара цикория.

Пейсатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучки, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Со всех сторон раздавались крики, что это на реке Буг горят Утишков, Буск и Деревяны.

Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова Каменку-Струмилу и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Буг, к себе домой.

Повсюду царил суматоха, никто не знал точно — перешли русские в наступление, приостановив свое отступление по всему фронту, или нет.

В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой.

Итак, Швейк попал в эту сутолоку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался: не хочет ли Швейк, что-

бы капрал за него разыскал его маршевую роту? Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь, в местечке, расположена одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка такого-то маршевого батальона.

— Мне очень важно знать, — подчеркнул Швейк, — где находится одиннадцатая маршевая рота, так как я ее ординарец.

К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь; он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка:

— Свинья окаянная, ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота?

Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка: «Minagegeld!»[603]

Когда вошел толстый поручик, старший писарь крикнул:

— Habt Acht!

А поручик спросил Швейка:

— Где твои документы?

Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом:



— Информировать его, — и снова заперся в своей канцелярии.

Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь-фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом:

— Чтоб и духу твоего здесь не было, вонючка!

И Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока наконец не поставил все на карту.

Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его, Швейка, батальон и марше-

вая рота.

— Ты можешь со мною разговаривать по-чешски, — сказал полковник, — я тоже чех. Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтове, за железнодорожной линией, но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами.

Швейк направился в Климонтово.

Полковник окликнул его, полез в карман и дал пять крон на сигареты, потом, еще раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя: «Какой симпатичный солдатик».

Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай: двенадцать лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адидже растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием.

С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашел штаб батальона. Хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание — большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило галицийское краевое управление с целью усиления полонизации.

Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, гимнастический зал был превращен в операционную. Здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов.

Позади школы, в школьном саду, от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша; на одной ее ветви болтался обрывок перерезанной веревки, на которой еще недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинен в том, что был членом партии старорусов и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвиненного здесь не было вообще. Он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, — в Бохне Замуроване, где лечился от камней в желчном пузыре.

В повешении греко-католического священника сыграло роль несколько фактов: национальность, религиозная распря и курица. Дело в том, что несчастный священник перед самой войной убил в своем огороде одну из директорских кур, которые выклевывании посеянные им семена дыни.

Дом покойного греко-католического священника пустовал, и, можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике.

Один мужичок-поляк унес домой даже старый рояль, крышку от которого использовал для ремонта дверцы свиного хлева. Часть мебели, как водится, солдаты покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне уцелела большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке стояло много горшков и противней.

Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде Офи-

церского собрания. Столы и стулья собирали по всему селу.

Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин: купили в складчину свинью, и повар Юрайда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрайда был окружен разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ванека, остался кусок рыльца.

Больше всех таращил глаза ненасытный Балоун.

Должно быть, с такой же жадностью и вожделением людоеды смотрят на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок. Балоун чувствовал себя, как пес молочника, запряженный в тележку, мимо которого колбасник-подмастерье на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине. Ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить, не будь противного ремня на упряжке да этого мерзкого намордника.

А ливерный фарш в периоде зарождения, громадный эмбрион ливерной колбасы, лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печенкой.

Юрайда с засученными рукавами выглядел столь величественным, что с него можно было писать картину на тему, как бог из хаоса создает землю.

Балоун не выдержал и начал всхлипывать; всхлипывания постепенно перешли в рыдания.

— Чего реवेशь, как бык? — спросил его повар Юрайда.

— Вспомнился мне родной дом, — рыдая, ответил Балоун. — Я, бывало, ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинца даже самому лучшему своему соседу, все один хотел сожрать... и сжирал. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной, и все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору все равно как корову, которую раздуло от клевера. Пан Юрайда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут. Я не вынесу этих страданий.

Балоун поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошел к столу и протянул лапу к куче фарша.

Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Балоуну наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнувшие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели.

Повар Юрайда так разозлился, что выбросил вслед удирающему Балоуну целую связку лучинок и заорал:

— Нажрись деревянных шпилек, сволочь!

Между тем наверху уже собрались офицеры батальона и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки.

— Послушай, ты, — грубо оборвал его капитан Сагнер, — если ты прибавишь еще, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим.

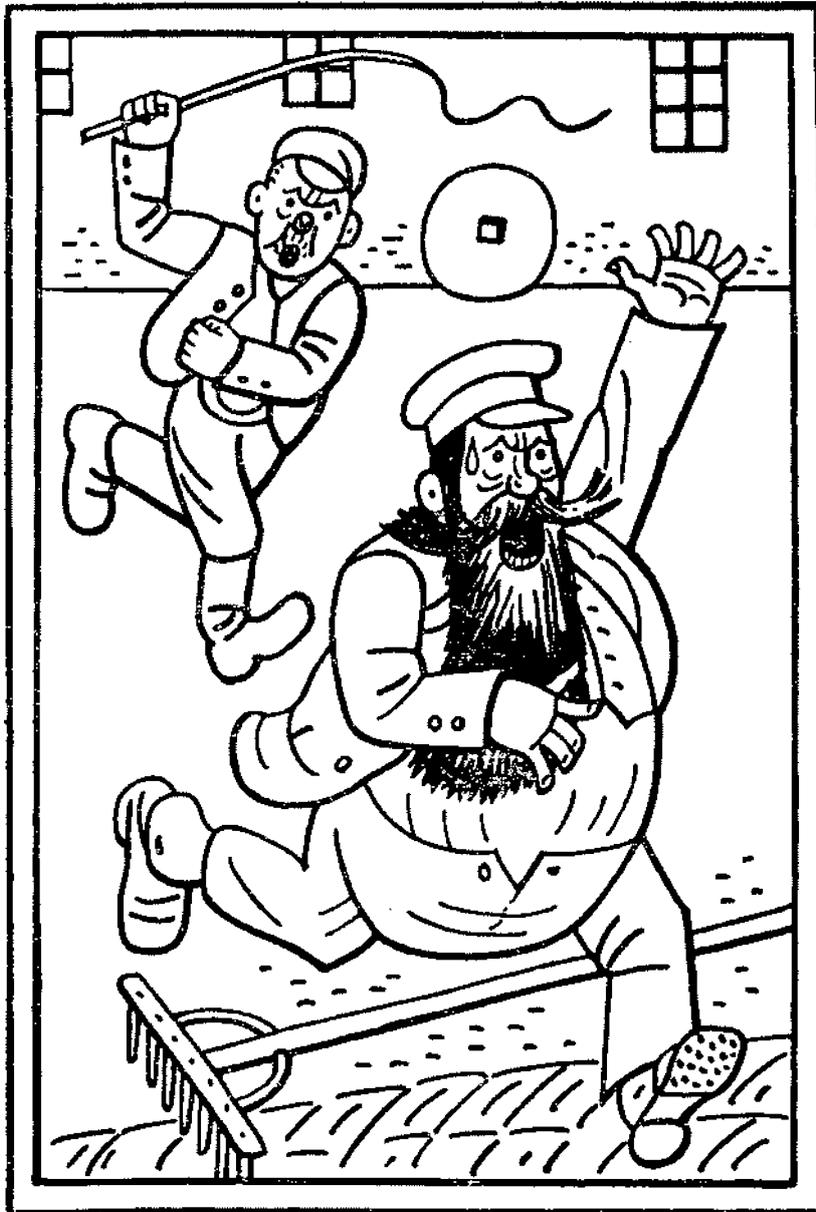
В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого ев-

рея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольноопределяющегося Марека. Марек воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем.

Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни N, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов N-ского полка и другой батальон N-ского полка, мы увидим, что наш N-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе N-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на N-ском участке».

— Вот видишь, — сказал Швейк вольноопределяющемуся, — я опять здесь.

— Позволь тебя обнюхать, — ответил растроганный вольноопределяющийся Марек. — Гм, от тебя действительно воняет тюрьмой.



— По обыкновению, — сказал Швейк, — это было лишь небольшое недоразумение. А ты что подельываешь?

— Как видишь, — ответил Марек, — запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу все связать воедино. Получаются одни только N. Я подчеркиваю, что буква N достигла необыкновенного совершен-

ства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения и после победы крадут вовсю. Впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют наголову, — вот здесь документ о нашей победе, ибо мне как историографу нашего батальона дано почетное задание написать: «Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы, мы немилосердно колем его штыками, так что он в беспорядке покидает окопы, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена! Я здоров. Отняла ли ты от груди нашего озорника? Только не учи его называть «папой» чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому высыпали, это можно понять по-разному, выражено неясно.

— Главное — ясно выразаться, — изрек Швейк. — В тысяча девятьсот двенадцатом году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил с амвона, что ему, вероятно, па небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестянщик Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру?! Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. «У Брейшков» много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка: возвращаясь с работы навеселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями; при этом он приговаривал: «Мы на вас, вы на нас...» Однажды он получил за это от одного вполне приличного господина из И главы вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу пятого класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей два зуба, а на третий день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности: он, мол, не хотел сказать никакой грубости, публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас», собственно, означает: «Мы на вас, вы на нас не должны сердиться». Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их хорошо обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупят как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными, и если он начнет с ними драться, то получит вдвое-втрое больше. Такой человек должен быть скромным и терпеливым. В Нуслях живет пан Гаубер. Как-то раз, в воскресенье, возвращался он с загородной прогул-

ки с Бартуньковой мельницы, и на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и, когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож, из золингенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились — до того были зазубренные и тупые. Потом его жене захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратице; но он был так скромненький, что ходил только к Банзетам в Нусли... Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его Банзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет.

— Ты ничуть не изменился, — заметил Швейку вольноопределяющийся.

— Не изменился, — просто ответил тот. — На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это еще не самое худшее, главное, я с двенадцатого числа нигде не получал жалованья!

— У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идем на Сокаль и жалованье будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать четыре кроны семьдесят два геллера.

— А еще что новенького у вас?



— Во-первых, потерялся наш арьергард, затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной семидесятилетней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается.

— Мне тоже кажется, — выразил свое мнение Швейк, — что он не виновен, ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у Табора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожей пол. Солдат Храмоста подкрался к ней и хлопнул ее, как бы это тебе сказать, по юбкам, что ли. Юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз, — она ничего, шлепнул другой, третий, — она все ничего, как будто это ее и не касается, тогда он решился на действие; она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймала, солдатик». Этой

бабушке было за семьдесят; после она рассказала об этом всему селу. Позволь теперь задать один вопрос. За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом?

— Да как-то случая не подвернулось, — оправдывался Марек, — но что касается тебя, приказ по батальону о твоём аресте отдан — это я должен тебе сообщить.

— Это не важно, — спокойно сказал Швейк, — они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать, батальон должен был отдать приказ о моём аресте, это было их обязанностью, ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь. У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот.

И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая:

*Полюбуйся на меня,  
Моя дорогая!  
Полюбуйся на меня:  
Ишь каким сегодня я  
Баринoм шагаю!*

Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров.

Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент честили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе, а адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил:

— Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка: Швейк...

— Hier! — из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил: — Hier! Melde gehorsam, Infanterist Švejk, Kumpanieordonanz 11. Marschkumpanie![604]

Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил:

— Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя императора.

— Бог мой, что вы говорите, Швейк? — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш.

— Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант...

И Швейк принялся обстоятельно описывать, как это с ним произошло.

Все смотрели на него, не веря глазам своим, а он рассказал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде Галлимулабалибей, а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Валиволаваливей, Малимуламалимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил:

— Я вас выкину, скотина. Продолжайте кратко, но связно.

И Швейк продолжал со свойственной ему последовательностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянув,



что генерал косит на левый глаз, а у майора — голубые очи.

— Не дают покоя в ночи! — добавил он в рифму.

Тут командир двенадцатой роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку.

Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант Дуб находится в бригаде, у него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалованье и деньги на табак.

Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент двери открылись, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов.

Это было начало наслаждений, которых ожидали все.

— Несчастный, — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение в предвкушении предстоящего блаженства, — вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи.

— Швейк, — добавил поручик Лукаш, — если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо.

— Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо, — подтвердил, отдавая честь, Швейк. — Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать...

— Исчезните! — заорал капитан Сагнер.

Швейк исчез и спустился в кухню.

Туда же вернулся удрученный Балоун и просил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке.

Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрайды с Балоуном.

Юрайда пользовался не совсем понятными выражениями.

— Ты *прожорливая* тварь, — говорил он Балоуну, — ты бы жрал до седьмого пота. Вот натерпелся бы ты мук *пекельных*, позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу.

Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились согласно разработанному поваром Юрайдой плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех.

— Здорово, — приветствовал Швейка старший писарь Ванек, обгладывая ножку. — Только что здесь был вольноопределяющийся Марек и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. В хорошенькую историю я влип из-за вас. Марек меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значит как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довел до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится, из-за этого могут назначить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интендантства. Вот когда пропадают две тысячи пар сапог, этим никто не поинтересуется.

— Но у нас ваше обмундирование потерялось, — трагически сообщил Ванек, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. — Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замерзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, стаскивали, — и на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще перед смертью. И несчастье как снег на голову. Приехал полковник из интендантства, и, не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову и не свались он в долину, не знаю, чем бы все это кончилось.

— С него тоже стащили сапоги? — любопытно спросил Швейк.

— Стащили, — задумчиво ответил Ванек, — но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете.

Повар Юрайда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного Балоуна. Опечаленный и уничтоженный, он сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот.

— Твое место в секте гезихастов, — с состраданием произнес ученый повар Юрайда, — те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства.

Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровавую колбаску.

— Жри, Балоун, — сказал он ласково, — жри, пока не лопнешь, подавись,

обжора.

У Балоуна на глазах выступили слезы.

— Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску, — я сперва съедал кусок буженины, все рыло, сердце, ухо, кусок печени, почки, селезенку, кусок бока, язык, а потом... — И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил: — А потом шли ливерные колбаски, шесть, десять штук, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные, так что не знаешь, с чего начать: то ли с сухарной, то ли с крупяной. Все тает во рту, все вкусно пахнет, и жрешь, жрешь...

— Я думаю, — продолжал Балоун, — пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил, он только трясется, и никакого от него толку. Жена, та, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко, я все хотел сам сожрать и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выпорил свинью, зарезал ее и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напороочил, что я подохну с голоду, оттого что нечего мне будет есть.

— Так, видно, оно и есть, — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы.

Повар Юрайда, только что пожалевший Балоуна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балоун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала грудка жареной свинины.

Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому как пловец прыгает с мостков в реку.

И, не давая Балоуну вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрайда схватил и выбросил обжору за дверь.

Удрученный Балоун уже в окно видел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом и стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами:

— Ешьте, мой скромный друг!

— Дева Мария! — завопил за окном Балоун. — Мой хлеб в сортире! — Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь.

Швейк, поедая великодушный дар Юрайды, говорил с набитым ртом:

— Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте. — Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил: — Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет.

Старший писарь Ванек с интересом спросил:

— Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?

— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.

— Денщик нашего капитана, — отозвался Юрайда, — рассказывал, и будто



он сам это слышал: как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем; после этого русские начнут переговоры о мире.

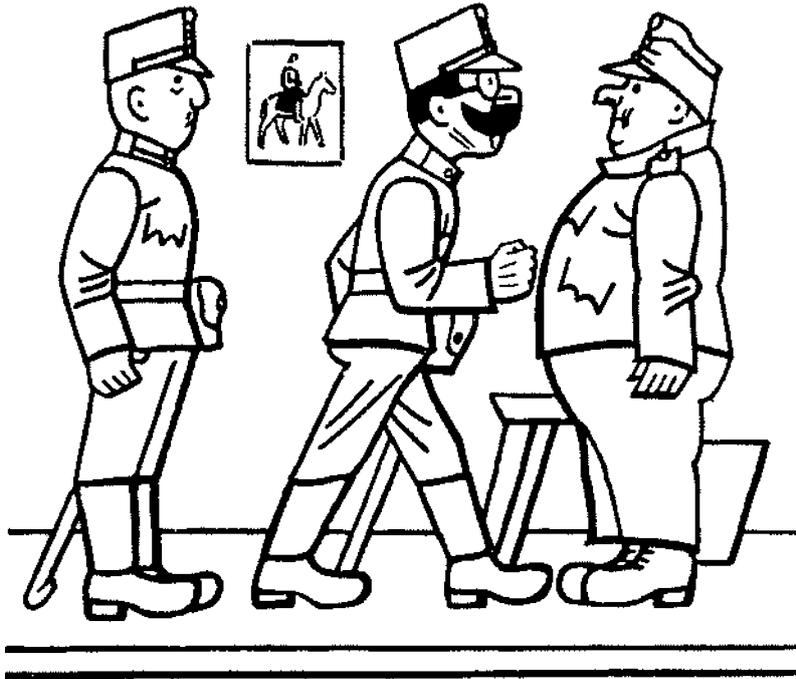
— Тогда не стоило и воевать, — убежденно сказал Швейк. — Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ? Возьмем, например, шведов в Тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого Немецкого Брода и до Липниц, где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах после полуночи говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них пруссаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно.

— Впрочем, — сказал Юрайда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбilo с толку, — все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина...

Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольноопределяющего Марека.

— Спасайся, кто может! — завопил Марек. — Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привез с собой вонючего кадета

Биглера.



— С Дубом происходит что-то страшное, — информировал далее Марек. — Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремну. Растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке и только стал засыпать, он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал: «Habt Acht!» Подпоручик Дуб поднял меня и набросился: «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей? Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил: «Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался: «Видно, в батальоне хотели от меня избавиться, не думайте, что это было сотрясение мозга, мой череп выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа: «Приказ по дивизии номер двести восемьдесят». Подпоручик Дуб, думая, что тот насмежается над его последней фразой насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру и теперь ведет его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться.

Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда.

Когда подпоручик Дуб вошел, Швейк закричал:

— Habacht! Всем встать!

Подпоручик Дуб вплотную подошел к Швейку и крикнул ему прямо в лицо:

— Теперь радуйся, теперь тебе аминь! Я велю из тебя сделать чучело на память Девяносто первому полку.

— Zum Befehl, господин лейтенант, — козырнул Швейк, — однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конем. Обоих павших отправили в Швецию, и из их трупов набили чучела, и теперь они стоят в Стокгольмском музее.

— Откуда у тебя такие познания, хам? — взвизгнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии.

Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед кадета Биглера, прошел наверх, в зал. Однако в дверях он все же не преминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул:

— Большой палец книзу!

— Осмелюсь доложить, — прокричал вслед ему Швейк, — пальцы всегда книзу!

Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах и после всех манипуляций, которые проделывали с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно произвольно делать в штаны, пока наконец на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратвой рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав легкого, как пар над горшком, кадета Биглера «frontdiensttauglich»[605].

Доктор был сердечный человек.

Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил: «Золотую медаль за храбрость у вас еще хватит сил унести. Ведь вы же добровольно пошли на войну».

Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью.

Его укрепленный кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы все еще мучили кадета, так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных клозетах, и поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересест с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона.

И все же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде.

Подпоручик Дуб еще некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде. Однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в расположение батальона Девяносто первого полка идет санитарная автомашина.

Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод: «Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником».

«Mit deinem Bezirkshauptmann kannst du mir Arsch lecken»[606], — подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на Каменку-Струмилову через Золтанец.

Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше двух часов сидел в офицерском ватерклозете. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со

сражения 6 сентября 1634 года у Нёрдлингена и кончая Сараевом 19 августа 1888 года. Несчетный раз дергая за цепочку в ватерклозете и слушая, как вода с шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рев битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек.

Встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни как на службе, так и вне ее.

Пытаясь в четвертый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись, крикнул:

— Кто там?

— Кадет одиннадцатой маршевой роты N-ского батальона Девяносто первого полка Биглер, — гласил гордый ответ.

— Здесь, — представился за дверью конкурент, — подпоручик той же роты Дуб.

— Сию минуту, господин подпоручик.

— Жду.

Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери пятнадцать минут, потом еще пять, затем следующие пять и на стук и толчки рукой и ногами получать все один и тот же ответ: «Сию минуту, господин подпоручик».

Подпоручика Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадеживающего шуршания бумаги прошло еще семь минут, а дверь все не открывалась.

Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду.

Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, который, может быть, отдаст приказ взломать дверь и вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации.

Спустя пять минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же: «In einer Minute fertig, Herr Leutnant!»[607]

Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу.

— Кадет Биглер, — загремел подпоручик Дуб, — не думайте, что я пришел сюда с той же целью, что и вы. Я пришел сюда потому, что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение?

Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего противоречащего дисциплине и инструкциям, касающимся отношений низших офицерских чинов с более высокими.

В его познаниях в этой области был большой пробел.

В школе им не читали лекций о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему, должен ли он, недоделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а другой отдавая честь.

— Ну, отвечайте, кадет Биглер! — вызывающе крикнул подпоручик Дуб.

И тут кадету Биглеру пришел на ум самый простой ответ:

— Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь, и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода. — И он торжественно прибавил: — Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу!

— Видите, это не мелочь, — с горечью сказал подпоручик Дуб. — По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же по прибытии в штаб бригады справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайно офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле, вы едете со мною. Никаких «но»!

Кадет Биглер возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому ребенку известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. Пока пролежишь сто восемьдесят километров, наложишь в штаны.

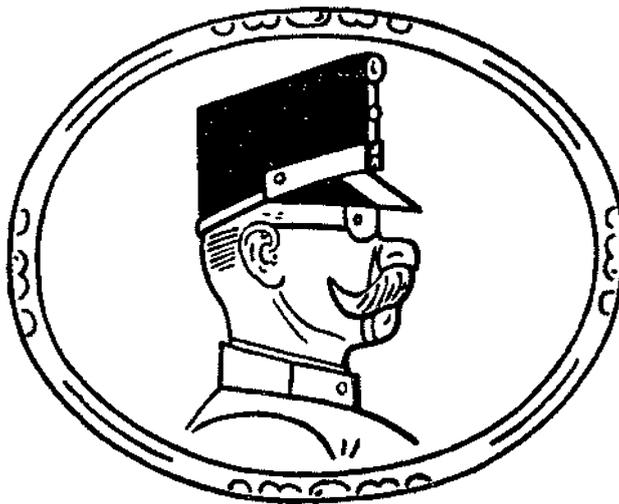
Черт знает, как это случилось, но вначале, когда они выехали, тряска автомобиля никак не подействовала на желудок Биглера.

Подпоручик Дуб был в полном отчаянии, оттого что ему не удастся осуществить свой план мести.

Дело в том, что, когда они выезжали, подпоручик Дуб подумал про себя: «Подожди, кадет Биглер, ты думаешь, что я позволю остановить, когда тебя схватит!»

Следуя этому плану, Дуб, насколько позволяла скорость, с которой они проглатывали километр за километром, начинал приятный разговор о том, что военные автомашины, получившие определенный маршрут, не должны зря расходовать бензин и делать остановки.

Кадет Биглер совершенно справедливо возразил, что на стоянке бензин вообще не расходуется, так как шофер выключает мотор.



— Поскольку, — неотвязно твердил подпоручик Дуб, — машина должна прибыть на место в установленное время, никакие остановки не разрешаются.

Со стороны кадета Биглера не последовало никаких реплик.

Так они резали воздух свыше четверти часа; вдруг подпоручик Дуб почувствовал, что у него пучит живот и что было бы желательно остановить машину, вылезти, сойти в ров, спустить штаны и облегчиться.

Он держался героем до сто двадцать шестого километра, но больше не вынес, энергично дернул шофера за шинель и крикнул ему в ухо: «Halt!»

— Кадет Биглер, — милостиво сказал подпоручик Дуб, быстро соскакивая с автомобиля и спускаясь в ров, — теперь у вас также есть возможность...

— Благодарю, — ответил кадет Биглер, — я не хочу понапрасну задерживать машину.

Кадет Биглер, который тоже чувствовал крайнюю потребность, решил про себя, что скорее наложит в штаны, чем упустит прекрасный случай осрамить подпоручика Дуба.

До Золтанца подпоручик Дуб еще два раза останавливал машину и на последней остановке угрюмо буркнул:

— На обед мне подали бигос по-польски. Из батальона пошлю телеграфную жалобу в бригаду. Испорченная кислая капуста и негодная к употреблению свинина. Дерзость поваров переходит всякие границы. Кто меня еще не знает, тот узнает.

— Фельдмаршал Ностиц-Ринек, цвет запасной кавалерии, — ответил на это Биглер, — издал сочинение «Was schadet dem Magen im Kriege»[608], в котором он вообще не рекомендует есть свинину во время военных тягот и лишений. Всякая неумеренность в походе вредна.

Подпоручик Дуб не произнес ни слова, только подумал про себя: «Я тебе покажу ученость, мальчишка», — а потом, поразмыслив, задал Биглеру глупейший вопрос:

— Итак, кадет Биглер, вы думаете, что офицер, по отношению к которому вы должны вести себя как подчиненный, неумеренно ест? Не собирались ли вы, кадет Биглер, сказать, что я обожрался? Благодарю за грубость. Будьте уверены, я с вами рассчитаюсь, вы меня еще не знаете, но, когда меня узнаете, вспомните подпоручика Дуба.

На последнем слове он чуть было не прикусил себе язык, так как в это время они перелетели через вымоину.

Кадет Биглер опять промолчал, что снова оскорбило подпоручика Дуба, и он грубо спросил:

— Послушайте, кадет Биглер, я думаю, вас учили отвечать на вопросы своего начальника?

— Конечно, — сказал кадет Биглер, — есть такое место в уставе. Но прежде всего следует разобраться в наших взаимоотношениях. Насколько мне известно, я еще никуда не прикомандирован, так что вопрос о моем непосредственном подчинении вам, господин подпоручик, совершенно отпадает. Однако самым важным является то, что в офицерских кругах на вопросы начальников подчиненный обязан отвечать лишь по служебным делам. Поскольку мы здесь сидим вдвоем в автомобиле, мы не представляем собой никакой боевой единицы, принимающей участие в определенной военной операции, между нами нет никаких служебных отношений. Мы оба направляемся к своим подразделениям, и ответ на ваш вопрос, собирался ли я сказать, что вы, господин подпоручик, обожрались, ни в коем случае не явился бы служебным высказыванием.

— Вы кончили? — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы...

— Да, — заявил твердо кадет Биглер, — не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд чести.

Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно, волнуясь, он нес еще большую ерунду, чем в спокойном состоянии.

Поэтому он проворчал:

— Вопрос о вас будет решать военный суд.

Кадет Биглер воспользовался этим случаем, чтобы окончательно добить Дуба, и потому самым дружеским тоном сказал:

— Ты шутишь, товарищ.

Подпоручик Дуб крикнул шоферу, чтобы тот остановился.

— Один из нас должен идти пешком, — сказал он заплетающимся языком.

— Я еду, — спокойно ответил кадет Биглер, — а ты, товарищ, поступай как хочешь.

— Поехали, — словно в бреду заревел на шофера подпоручик Дуб и вернулся в тогу молчания, полного достоинства, как Юлий Цезарь, когда к нему приблизились заговорщики с кинжалами, чтобы пронзить его.

Так они приехали в Золтанец, где напали на след своего батальона.

В то время как подпоручик Дуб и кадет Биглер спорили на лестнице о том, имеет ли никуда не зачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных рот, внизу, в кухне, уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская вовсю дым из трубок.

Повар Юрайда объявил:

— Итак, я сегодня изобрел замечательную вещь. Думаю, что это произведет полный переворот в кулинарном искусстве. Ты ведь, Ванек, знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майорана для ливера.

— *Herba majoranae*, — вымолвил старший писарь Ванек, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами.

Юрайда продолжал:

— Еще не исследовано, каким образом человеческий разум в нужде ухитрится находить самые разнообразные средства, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, о которых человечеству до сих пор и не снилось... Ищу я по всем домам майоран, бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду...

— Тебе нужно было описать его запах, — отозвался с лавки Швейк, — ты должен был сказать, что майоран пахнет, как пузырек с чернилами, если его понюхать в аллее цветущих акаций. На холме в Богдальце, возле Праги...

— Но, Швейк, — перебил умоляющим голосом вольноопределяющийся Марек. — Дайте Юрайде закончить.

Юрайда рассказывал дальше:

— В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времен оккупации Боснии и Герцеговины, который отбывал военную службу уланом в Пардубицах и еще не забыл чешского языка. Тот стал со мной спорить, что в Чехии в ливерную колбасу кладут не майоран, а ромашку. Я, по правде сказать, не знал, что делать, потому что каждый разумный и объективный человек должен считать майоран королем всех пряностей, которые идут в ливерную колбасу.

Необходимо было быстро найти такой заменитель, который придал бы колбасе характерный пряный привкус. И вот в одном доме я нашел свадебный

миртовый веночек, висевший под образом какого-то святого. Жили там молодожены, и веточки мирта у веночка были еще довольно свежие. Я положил мирт в ливерную колбасу; правда, свадебный веночек мне пришлось три раза ошпарить кипятком, чтобы листочки стали мягкими и потеряли чересчур острый запах и вкус. Понятно, когда я забирал для ливера этот свадебный миртовый веночек, было пролито немало слез... Молодожены, прощаясь со мной, уверяли, что за такое кощунство — ведь веночек священный — меня убьет первая пуля. Вы ели мой суп из потрохов, но никто из вас не заметил, что он пахнет миртом, а не майораном.

— В Индржиховом Градце, — отозвался Швейк, — много лет тому назад был колбасник Йозеф Линец. У него на полке стояли две коробки. В одной была смесь всяких пряностей, которые он клал в кровяную и ливерную колбасу. В другой — порошок от насекомых, так как этот колбасник неоднократно мог удостовериться, что его покупателям часто приходилось разгрызать в колбасе клопа или таракана. Он всегда говорил, что клопам присущ пряный привкус горького миндаля, который кладут в бабу, но прусаки в колбасных изделиях воняют, как старая заплесневелая Библия. Ввиду этого он зорко следил за чистотой в своей мастерской и повсюду рассыпал порошок от насекомых.

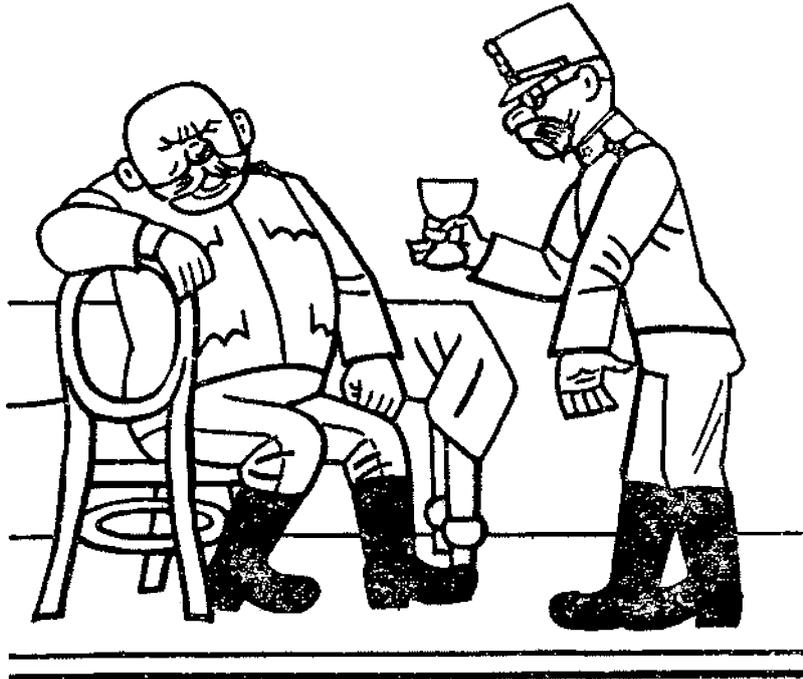


Так вот, делал он раз кровяную колбасу, а у него в это время был насморк. Схватил он коробку с порошком от насекомых и всыпал этот порошок в фарш, приготовленный для кровяной колбасы. С тех пор в Индржиховом Градце за кровяной колбасой ходили только к Линеку. Люди буквально ломались к нему в лавку. Он был не дурак и смекнул, что причиной всему — порошок от насекомых. С этого времени он стал заказывать наложенным платежом целые ящики этого порошка, а фирму, у которой он его покупал, предупредил, чтобы на ящиках писали: «Индийские пряности». Это было его тайной, и он унес ее с собой в могилу. Но самое интересное оказалось то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. С тех пор Индржихов Градец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии.

— Ты кончил? — спросил вольноопределяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре.

— С этим я покончил, — ответил Швейк, — но аналогичный случай произошел в Бескидах, об этом я расскажу вам, когда мы пойдем в сражение.

Вольноопределяющийся Марек начал:



— Поваренное искусство лучше всего познается во время войны, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лед. Это — излюбленные блюда в Северной Германии, Дании, Швеции. Но вот пришла война, и нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мерзлого супа, что они в рот его не брали, а между тем это — изысканное блюдо.

— Мерзлый гуляш есть можно, — возразил старший писарь Ванек, — но недолго, самое большее неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы.

— Еще в мирное время, — необычайно серьезно заметил Швейк, — вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будейовицах обер-лейтенант Закрейс тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он скамандует ему «смирно» и напустится: «Мерзавец, если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету, раздавлю тебя в картофельное пюре и потом тебе же дам это все сожрать. Полезут из тебя гусиные потроха с рисом, будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтоб люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой».

Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед.

В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера:

— Солдат должен еще в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу.

Потом запыхтел подпоручик Дуб.

— Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбление.

Наверху совершались великие дела.

Подпоручик Дуб, лелеявший известные коварные умыслы против кадета



*Jos. Lada*

Биглера и жаждавший излить свою душу перед командиром батальона, был встречен страшным ревом офицеров. На всех замечательно подействовала еврейская водка.

Один старался перекрыть другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба: «Без грума не обойдется!», «Испуганный мустанг!», «Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на Западе?», «Цирковой наездник!»

Капитан Сагнер быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорбленный подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый, поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами: «Мы уже все съели, товарищ».

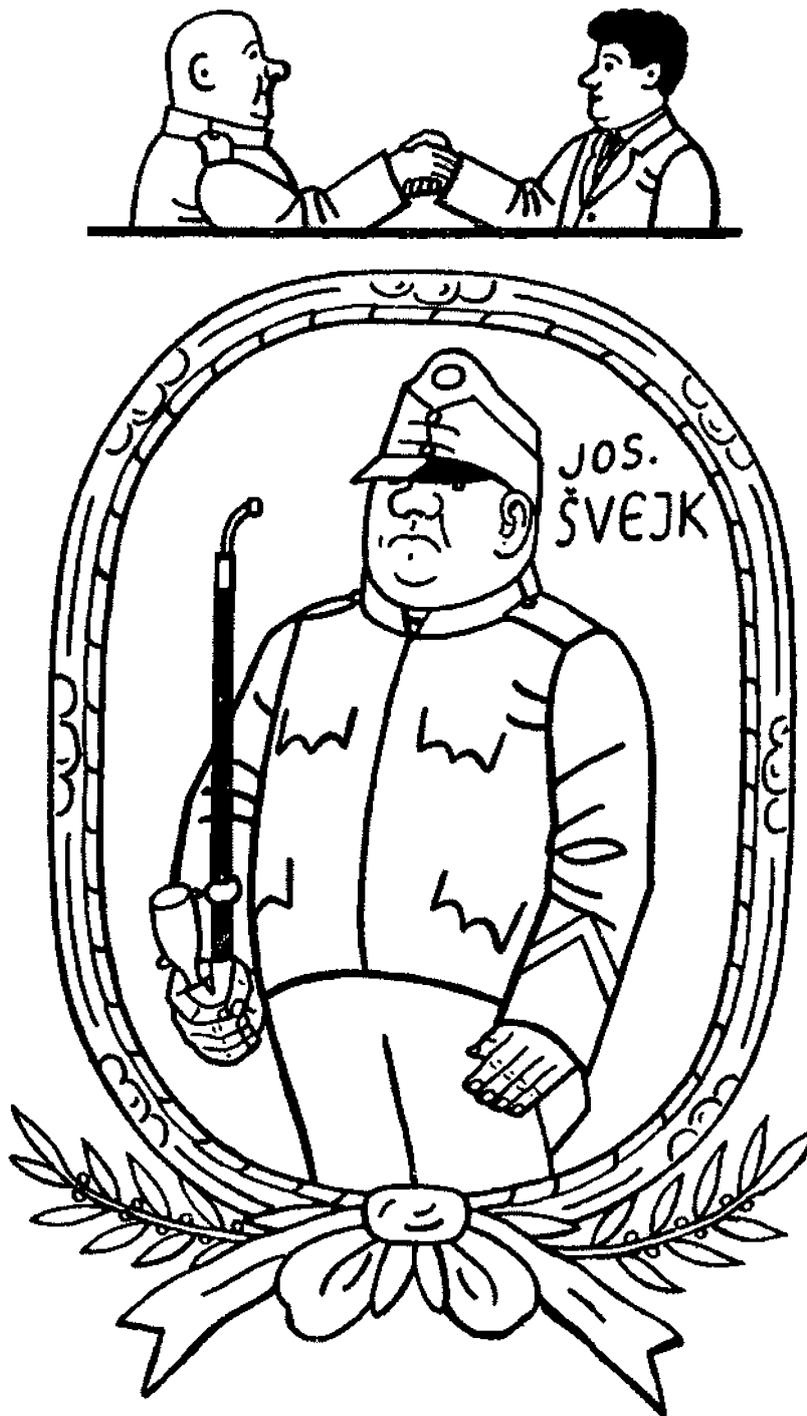
Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнеру и другим офицерам, каждый раз повторяя: «Кадет Биглер прибыл в штаб батальона». Хотя все это видели и знали, тем не менее его грустная фигура как-то образом осталась незамеченной.

Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, почерпнутые из учебников.

Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнеру:

— Мы с окружным начальником всегда говорили: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне». Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном

времени перейдут через границы.



До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек «Похождения braveго солдата Швейка во время мировой войны». Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после первой мировой войны.

## Биография

Вокруг фактов биографии писателя за годы накопилось изрядное количество легенд, слухов и анекдотов. Часть появилась ещё при жизни Ярослава Гашека (и он сам активно распространял всяческие небылицы о себе), часть появилась в первых мемуарах и биографиях, когда авторы пытались приблизить читателям образ писателя с помощью выдуманных историй и анекдотов. Но сохранилось и весьма большое количество документальной информации, как, например, полицейские протоколы, мемуары.

Незаменимым источником как фактов, так и мифов о жизни Гашека является его же творчество.

Феноменальная память, длительные странствия по Европе сделали его полиглотом. Он хорошо знал венгерский, немецкий, польский, сербский, словацкий и русский языки, мог изъясняться на французском и цыганском, а во время пребывания в России с 1915 овладел разговорными навыками в татарском, башкирском и некоторых других языках, а также начатками китайского и корейского.

## Семья

Гашеки происходили из древнего южночешского рода. По утверждению Вацлава Менгера (чеш. Vaclav Menger), приятеля Ярослава и одного из его первых биографов, дед писателя, Франтишек Гашек, крестьянин из Мыдловар (чеш.), принимал участие в Пражском восстании 1848 года и был депутатом Кромержжского сейма. Другой дед, Антонин Яреш, был сторожем у князей Шварценбергов. Когда отец писателя Йозеф Гашек учился в Писеке и жил в доме Ярешей, он познакомился с будущей супругой Катержиной.

Йозеф был четвёртым ребёнком в семье, обе семьи нельзя было назвать даже зажиточными, и из-за нехватки средств свадьба состоялась только через тринадцать лет.

Первенец, названный Йозефом, умер вскоре после рождения. Спустя шесть лет после свадьбы, 30 апреля 1883 года, у них родился второй сын. 12 мая его крестили в находившемся неподалеку храме Святого Штепана под полным именем: Ярослав Матей Франтишек. Крёстным отцом был педагог Матей Коварж. В 1886 году у супругов родился ещё один сын, Богуслав. Также чета Гашеков удочерила осиротевшую племянницу Марию.

Йозеф работал школьным учителем в частной гимназии (он не сдал государственного экзамена и не мог преподавать в государственных гимназиях). Однако когда дети стали подрастать и потребовалось платить за их учёбу, с помощью друзей он устроился на более доходную работу — в банк «Славия» статистиком по страховым расчетам. Однако постоянная нужда, неуверенность в завтрашнем дне повлияли на характер Йозефа; он ожесточился на мир и стал пить, чем изрядно подорвал своё здоровье. В 1896 году он заболел гриппом, который дал осложнения на почки. Не спасла его даже операция.

## Ранние годы

В 1889 году Ярослав поступил в школу. Благодаря отличной памяти он легко окончил начальную школу и успешно поступил в гимназию. Историю Чехии Ярославу читал известный чешский писатель Алоиз Ирасек, по бедности вынужденный подрабатывать учителем. Его лекции об истории Чехии времён независимости явно отразились на мировоззрении юного Ярослава. Он был непременно участником всех антинемецких демонстраций в Праге. Впрочем, благодаря своему непоседливому характеру, он также являлся непременно участником или свидетелем очень многих происшествий в городе — драк, скандалов.

Однако учёба в гимназии была недолгой. После смерти Йозефа Гашека в семье начались серьёзные финансовые проблемы. Единственным источником дохода для Катержины стало шитьё белья на заказ для магазинов, чего едва хватало на жизнь. За несколько лет семья сменила полтора десятка адресов, вынужденная съезжать с квартир после задержек оплаты. У Ярослава начались проблемы с учёбой: помимо хорошей памяти потребовались ещё и усердие, и прилежание, чего у мальчика никак не хватало. В третьем классе гимназии он переэкзаменовывался по математике, а в четвёртом даже остался на второй год.

Ситуация ухудшилась и политическим скандалом. В 1897 году разразилась очередная серия антинемецких демонстраций, приведшая к введению в Праге чрезвычайного положения. Гашек принимал самое активное участие в стычках с полицией и погромах немецких магазинов, о чём не раз вспоминал позднее. Однажды полицейский патруль при обыске Ярослава обнаружил у того в карманах камни и задержал для разбирательств. Уверения Гашека, что камни куплены для школьной коллекции минералов, были отвергнуты комиссаром полиции; он пригрозил, что ввиду чрезвычайного положения завтра Ярослава расстреляют без всякого суда. Сохранилась записка 14-летнего юноши об этом дне:

Дорогая мамочка! Завтра меня к обеду не ждите, так как я буду расстрелян. Господину учителю Гаспергу скажите, что... полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Когда к нам придёт мой товарищ Войтишек Горнгоф, то скажите ему, что меня вели 24 конных полицейских. Когда будут мои похороны, ещё неизвестно. [источник не указан 1984 дня]

С расстрелом всё обошлось, благо на следующий день делом Гашека занялся другой комиссар, но 12 февраля 1898 года Ярослав с разрешения матери бросил учёбу.

Первым местом работы Гашека стала аптека, куда его устроили учеником. Однако упорство и прилежание были не для Ярослава; вместо ежедневной работы он отправился в пешее путешествие. Вместе с компанией таких же подростков он обошёл изрядную часть Чехии, Словакии и Моравии.

В 1899 году Ярослав несколько остепенился и даже поступил в Торговую академию, где за отличную успеваемость был освобождён от платы за учёбу. Впрочем, все каникулы он по-прежнему проводил в походах. Академию он окончил в 1902 году, и в память об отце был принят в банк «Славия», где и начал работу в октябре 1902 года. И вновь ежедневная работа и бытовая рутина

оказались не по нраву непоседливого Ярослава. Уже зимой, вскоре после трудоустройства, он вновь отправился в поход, никого не предупредив. Однако на первый раз администрация банка ему это простила.

Впрочем, спустя короткий срок, в мае 1903 года Гашек вновь не является на рабочее место. По некоторым сведениям он ещё и оставил на рабочем столе записку: «Не волнуйтесь. Ярослав Гашек». Подобную выходку терпеть не стали и Гашек был уволен. Сам же он провёл всё лето 1903 года в путешествиях. Точных сведений о том, где он был почти полгода, не сохранилось, воспоминания друзей разнятся, и пути Ярослава его биографы прослеживали по точности описания тех или иных мест в его рассказах. Известно, что он помогал болгарским и македонским повстанцам на Балканах, побывал в Софии, Бухаресте, Кракове, Венгрии, Галиции и Словакии. Его несколько раз арестовывали за бродяжничество, о чём он позднее рассказывал в своих юморесках. В родную Прагу Ярослав вернулся лишь осенью. Кроме родного чешского языка Гашек свободно знал русский, немецкий, английский, французский, венгерский, сербский, башкирский языки. Учил китайский и японский.

## В тылу

После публикации в 1903 году сборника стихов «Майские выкрики», написанного совместно с Ладиславом Гаеком, и получения денег за свои заметки, которые он писал в ходе своих путешествий, Гашек решает стать писателем. Он подходит к этому делу с чрезвычайной практичностью, фактически сделав из творчества ремесло.

Он быстро становится самым популярным и читаемым юмористом своего времени, заполнив развлекательные рубрики ежедневных газет и еженедельников, юмористические журналы, семейные и военные календари. Однако почти никакой литературной ценности сочинения данного периода не представляют. Гашек и не скрывает, что пишет исключительно ради денег, стараясь лишь угодить вкусу широкой публики. Даже в дружеской компании из журналистов и литераторов невысокого уровня его талант не признавался. Как писал один из чешских писателей того времени Иржи Маген (англ.):

Тем не менее существовали люди, для которых Г. Р. Опоченский (нем.) был гением, а Гашек — каким-то Санчо Пансой. Мы знали: он носит по всем редакциям разную белиберду, издал вместе с Гаеком какие-то неудачные стихи и, несмотря на эту неудачу, кропает что-то новое, и чёрт знает что ещё из этого получится. В результате в Гашека как-то не верили. А порой между ним и окружением обнаруживалась пропасть, через которую никто не решался перешагнуть.

Образ жизни Ярослава и черты его характера послужили основой для появившегося позднее мифа о бродяге и короле богемы. Кофейни, винные погребки, трактиры, ночные прогулки, стычки с полицией были неотъемлемой частью жизни Гашека. Всё это нашло отражение и в его творчестве. Как писал тот же Маген:

Порой мы страшно любили Гашека, потому что он и в самом деле был живым воплощением юмора. Он, пожалуй, нас не любил, потому что мы играли в литераторов. Я даже убежден в этом. Но весь комизм ситуации заключается в том, что он делал литературу гораздо интенсивнее, чем все мы; собственно, он был литератором, а мы всеми силами противились тому, чтобы

целиком посвятить себя литературе.

Многочисленные псевдонимы Гашека (около 100) — также прямое следствие его малосерьёзного отношения к литературе. Он легко подписывался фамилиями друзей, фамилиями, попавшимися ему на глаза в газетах или рекламе.

Несколько лет Гашек перебивался нерегулярными публикациями, пока в 1909 году его приятель Ладислав Гаек (чеш. Ladislav Hajek Domazlicky), к тому времени уже бывший редактором журнала «Мир животных», не оставил свой пост при условии, что его место займёт именно Ярослав.

Однако спокойный академический характер издания претил весёлому и беспокойному характеру Гашека, и он решил порадовать читателей всяческими открытиями из жизни животных. Из-под его пера родились загадочный «табу-табуран», живущий в Тихом океане, муха с шестнадцатью крыльями, восемь из которых она обмахивается как веером, и домашние серебристо-серые вурдалаки, и даже древний ящер «идиотозавр». В 1910 году он так убедительно подал «новость о счастливом открытии» доисторической праблохи *Palaeopsylla*, что статью перепечатали несколько изданий, в том числе заграничные, иногда сопровождая её скептическими замечаниями. Вызванная в природоведческой печати оживлённая полемика закончилась посрамлением «открытия» и «дружескими» советами редактору журнала «не откладывая в долгий ящик, срочно утопиться вместе со всем редакционным персоналом». Неудивительно, что Гашек вскоре покинул журнал. Что характерно, подобным образом просвещал публику и другой известный писатель-сатирик — Марк Твен («18 юмористических рассказов»). [источник не указан 2899 дней] Данный эпизод позднее Гашек использовал в «Бравом солдате Швейке», где он сохранил и фамилию прежнего редактора, и название журнала. Полностью число мистификаций Гашека в журнале не раскрыто по крайней мере до конца 1990-х.

Следующее место работы Гашека также нашло своё отражение в его знаменитом романе. Ярослав открыл «Кинологический институт», а по сути просто контору по продаже собак. Не имея денег на покупку породистых щенков, он просто ловил дворняг, перекрашивал их и подделывал родословную. Подобное мошенничество продолжалось недолго и окончилось судом, под который попала и супруга Ярослава, Ярмила, числившаяся совладелецей.

В 1909-1911 годах в газете «Karikatury» он публикует цикл «Галерея карикатур» (Galerie karikatur).

Его работа в газете «Ческо слово» также оказалась недолгой. На собрании бастующих трамвайщиков, куда его отправили писать репортаж, он взял слово и выступил с заявлением, что лидеры профсоюза тайно вступили в сговор с предпринимателями. Однако, как Гашек вскоре выяснил, «Ческо слово» издавалось той же самой национал-социалистической партией, которая руководила данным профсоюзом.

Расставшись в 1912 году с женой и лишившись постоянных источников дохода, Гашек всюду ударился в творчество. За небольшой период он написал массу юморесок, часть из которых была напечатана в газетах, ещё часть — издана отдельными книгами.

Весёлый и озорной характер Гашека по-прежнему не менялся. Сохранились сведения о его многочисленных розыгрышах и происшествиях. Так, од-

нажды его отправили в сумасшедший дом. Прохожий, увидев, что Гашек стоит на мосту и пристально смотрит в воду, решил, что тот собирается покончить с собой. Подоспевшие полицейские задержали Гашека и отправили в участок... Где он представился Святым Яном Непомуцким, примерно 518 лет от роду. На вопрос: «Когда же вы родились?», он спокойно ответил, что он вообще не рождался, а его выловили из реки. Лечащий врач пояснил агентам полиции, что Гашек совершенно здоров и даже привёл в порядок всю больницу библиотеку. Однако домой его отправить не удаётся — он всюду ходит, всем интересуется, и, видимо, собирает материалы для новых рассказов. И этот эпизод из бурной биографии писателя также найдёт своё отражение в его романе.

Не менее характерен и другой случай, когда уже после начала Первой мировой войны Гашек поселился в одном пражском отеле. Вот только зарегистрировался он как «Лев Николаевич Тургенев. Родился 3 ноября 1885 года в городе Киеве. Живёт в Петрограде. Православный. Частный служащий. Приехал из Москвы. Цель приезда — ревизия австрийского генерального штаба.» Неудивительно, что его вскоре под усиленной охраной как русского шпиона доставили в полицию, где он заявил, что в качестве лояльного гражданина счёл долгом проверить, «как в это тяжкое для страны время функционирует государственная полиция». В полиции Гашека хорошо знали, и он получил 5 суток ареста.

Вообще имя Гашека часто фигурировало в полицейских протоколах: «вышеозначенный в нетрезвом состоянии справлял малую нужду перед зданием полицейского управления»; «в состоянии легкого алкогольного опьянения повредил две железные загородки»; «недалеко от полицейского участка зажёг три уличных фонаря, которые уже были погашены»; «стрелял из детского пугача»... Полицейские же протоколы показывают, как непринуждённо Ярослав менял место жительства: в них зафиксировано 33 различных адреса. Однако адресов было много больше, и часто полиции не удавалось установить, где теперь проживает Ярослав. Ну а присуждаемые ему штрафы никогда не оплачивались, поскольку всё кончалось на констатации факта, что «у должника нет никаких носильных вещей, которые можно было бы конфисковать, живёт он у своей матери и не имеет никакой собственности, кроме того, что на нём». Сам же он ещё и зарабатывал на этих происшествиях, публикуя юморески и фельетоны о произошедшем.

В довоенные годы Гашек написал около девятисот рассказов, фельетонов и очерков, роман «История мудрого вола» (рукопись была утрачена издателем), сатирическую книгу «Политическая и социальная история Партии умеренного прогресса в рамках закона» (1911, издавалась частями после его смерти: 10 глав в 1924-25, ещё 13 в 1937, полностью — в 1963) и, совместно с Фр. Лангером, Й. Махом и другими, ряд коротких комических представлений для участников собраний этой «партии».

## На фронте

В 1915 году война вошла и в жизнь Гашека. Его призвали в армию и зачислили в 91-й пехотный полк, расположенный в Ческе-Будеёвицах. Многие из похождений Швейка, описанных в романе, в действительности произошло с самим писателем. Так, в полк Ярослав явился в военной форме, но в цилиндре. Из школы вольноопределяющихся он был отчислен за нарушения дисциплины. А его симуляцию ревматизма признали попыткой дезертирства и даже осудили на три года, с отбытием по окончании войны. Так что на фронт Гашек, как и Швейк, отправился в арестантском вагоне.

В армии будущий роман пополнился не только историями и курьёзами, но и персонажами. В 91-м полку служили и поручик Лукаш, и капитан Сагнер, и писарь Ванек, и многие другие персонажи. Часть из них Гашек так и оставил под своими фамилиями, часть всё-таки переименовал. Он получил должность помощника писаря, что позволило ему уклоняться от учений и продолжать творчество. Тогда же он довольно тесно сошёлся с денщиком Лукаша Франтишком Страшлипкой, ставшим одним из основных прототипов Йозефа Швейка.

На фронте в Галиции Гашек выполнял обязанности квартирьера, позже был ординарцем и связным взвода. Участвовал в боях у горы Сокаль и даже был награждён серебряной медалью «За храбрость» и произведён в чин ефрейтора. Вот только обстоятельства подвига разнятся. По воспоминаниям Лукаша и Ванека, Гашек во многом против своей воли «взял в плен» группу русских дезертиров — он неплохо говорил по-русски и условился с русскими солдатами об условиях сдачи. Сам же Гашек заявлял, что медалью был награждён за то, что избавил батальонного командира от вшей, намазав его ртутной мазью.[источник не указан 1984 дня]

Утром 24 сентября 1915 года, в ходе контрнаступления русской армии на участке 91-го полка под Дубно, Гашек вместе со Страшлипкой добровольно сдался в плен.

## В плену

Как военнопленный № 294217, Гашек содержался в лагере под Киевом в Дарнице. Позднее он был переведён в аналогичный лагерь в Тоцком в Самарской губернии. В лагере разразилась эпидемия тифа, в ходе которой погибло множество пленных. Гашек также заболел, но выжил. Вскоре, подобно многим другим соотечественникам, Гашек вступил в Чехословацкий легион.

Однако медкомиссия признала его негодным к строевой службе, и в июне 1916 года он стал сначала писарем 1-го добровольческого полка имени Яна Гуса, а затем — сотрудником газеты «Чехослован», выходившей в Киеве. Гашек активно занимался агитацией в лагерях военнопленных в пользу Легиона, публиковал в газетах юморески и фельетоны. Своим острым языком он добился сначала того, что австрийские власти объявили его изменником за оскорбительные рассказы (именно в то время появился фельетон «Рассказ о портрете Франца-Иосифа I», который потом будет переложен в первой главе Похождения Швейка), а затем и руководство Чешского национального совета в Париже возмутилось его фельетоном «Клуб чешских Пиквигов». Гашека отправили на фронт и предали суду чести, где обязали принести письменные извинения руководству совета.

Впрочем, по ряду сведений, Гашек воевал не только на бумаге. Летом 1917 года за бой у Зборова он даже был награждён Георгиевским крестом 4-ой степени.

После заключения сепаратного мира между Россией и Германией и начавшейся эвакуацией чешского корпуса в Европу через Владивосток Гашек порывает с легионом и отправляется в Москву. Там он вступает в коммунистическую партию. В апреле 1918 года его отправили на партийную работу в Самару, где он вёл среди чехов и словаков агитацию против эвакуации во Францию, а также призывал их вступать в Красную Армию. К концу мая чешско-сербский отряд Гашека насчитывал 120 бойцов, которые принимали участие в боях с частями Белой армии и успешно подавили анархистский мятеж в Самаре.

Однако уже в июне 1918 года в ходе мятежа Чехословацкого корпуса чешские отряды, выступившие против Красной Армии, взяли Самару. Среди противостоявших им частей Красной Армии были и три взвода добровольцев, которыми командовали Ярослав Гашек и Иосиф Поспишил. Однако силы были неравными, пришлось отступить. Вспомнив, что в штаб-квартире чешских интернационалистов в гостинице «Сан-Ремо» остались списки добровольцев, которым эти сведения могли грозить репрессиями, Гашек в одиночку вернулся за документами и успел их уничтожить. Однако присоединиться к своему отряду он уже не успел; ему пришлось в одиночку выбираться из города.

Деятельность Гашека в качестве агитатора Красной Армии в чешской среде была недолгой, но не осталась незамеченной. В июле, то есть спустя всего три месяца после прибытия в Самару, в Омске полевой суд чехословацкого легиона выдал ордер на арест Гашека, как предателя чешского народа. Несколько месяцев он был вынужден, прикрываясь справкой, что он «полоумный сын немецкого колониста из Туркестана», скрываться от патрулей. Самарский краевед Александр Завальный приводит такую историю об этом этапе жизни писателя:

Однажды, когда он прятался у своих знакомых на одной из самарских дач, появился чешский патруль. Офицер решил допросить неизвестного, на что Гашек, разыграв из себя идиота, рассказал, как он спасал чешского офицера на станции Батраки: «Сижу я и думаю. Вдруг офицерик. Точь-в-точь вроде, как вы, такой деликатный и щупленький. Немецкую песенку мурлыкает и вроде бы приплясывает, как старая дева в пасхальный праздник. Благодаря испытанному нюху я сразу вижу — офицерик под мушкой. Гляжу, направляется прямо к уборной, из которой я только вышел. Присел я недалеко. Сижу десять, двадцать, тридцать минут. Не выходит офицер...» Далее Гашек изобразил, как он зашёл в туалет и, раздвинув гнилые доски, вытащил из нужника пьяного неудачника: «Вы, кстати, не знаете, какой награды удостоят меня за спасение жизни чешского офицера?».

Только к сентябрю Гашек пересёк линию фронта, и в Симбирске вновь прикнул к частям Красной Армии.

С октября 1918 года Гашек занимается активной партийной, политической и административной работой при политотделе 5-й армии Восточного фронта, 5 сентября 1919 он был назначен начальником Интернационального отделения политотдела. Несмотря на то, что в Чехии писатель вёл богемный образ жизни, был завсегдатаем многочисленных пражских трактиров и ресторанов, автором и участником всяческих шуток, розыгрышей и проказ, находясь в рядах Красной Армии он вёл себя по-другому. Здесь он показал себя ответственным и исполнительным человеком, хорошим организатором, к тому же беспощадным к врагам революции. Неудивительно, что его карьера быстро пошла в гору.

В декабре 1918 года его назначили заместителем коменданта Бугульмы, а вскоре, сместив начальника, он сам становится комендантом. Позднее его воспоминания об этом периоде легли в основу цикла из 9 рассказов 1921 года, опубликованных в газете «Трибуна». Некоторые историки и литературоведы считают парадоксом участие автора одного из самых антивоенных романов мира в Гражданской войне в России, другие же доказали, что это было естественным результатом его социалистических взглядов, выражаемых уже с ранней публицистики. Свою деятельность в России Гашек считал продолжением борьбы за самостоятельность чехов и словаков.

Но и на этом месте он долго не задерживается. Уже в январе 1919 года его переводят в Уфу, где он заведовал типографией и издавал большевистскую газету «Наш путь». В этой типографии Гашек знакомится со своей будущей женой.

Вместе с 5-й армией путь Гашека лежит на восток; он успел побывать в Челябинске, Омске, Красноярске, Иркутске, где был легко ранен при покушении. Правнучка Василия Чапаева Евгения Чапаева в своей книге «Мой неизвестный Чапаев» утверждает, что Гашек служил в составе 25-й дивизии Чапаева, входившей в 5-ю армию.

В Иркутске Гашек также активно участвовал в политической жизни: его избрали депутатом городского Совета. Не забывает он и журналистику. Гашек издаёт газеты «Штурм» и «Рога» («Наступление») на немецком и венгерском языках, а также «Бюллетень политработника» на русском. Гашек же издавал и одну из первых в мире газет на бурятском, называвшуюся «???» («Рассвет»). Сам Гашек пишет об этом так: «...я редактор и издатель трёх газет: немецкой

„Штурм“, в которую сам пишу статьи; венгерской „Рогам“, где у меня есть со-трудники, и бурято-монгольской „Ур“ („Заря“), в которую пишу все статьи, не пугайся — не на монгольском, а по-русски, у меня есть переводчики» Из как минимум 49 номеров его «Рогама» сохранилось лишь 2. Также Гашек позднее рассказывал, что выполнял секретную миссию в Монголии, где от имени ко-мандующего армией встречался с неким китайским генералом. Однако био-графам писателя не удалось найти никаких документальных подтверждений этому, хотя и известно, что китайский язык Ярослав действительно изучал.

После окончания Гражданской войны Гашек остался в Иркутске, где даже купил дом.

В ноябре 1920 года в Чехословакии разразился политический кризис, нача-лась всеобщая забастовка, а в Кладно рабочие провозгласили «советскую рес-публику». Чешские коммунисты в России получили распоряжение отпра-вляться на родину, чтобы поддержать местное коммунистическое движение и готовить мировую пролетарскую революцию, и 26 ноября 1920 года после недолгого пребывания в Москве Гашек вместе с женой Александрой Львовой уехал.

## Послевоенная жизнь

**В** декабре 1920 года Ярослав Гашек вместе с супругой вернулся в Прагу, где его не ждали. «Вчера посетителей кафе „Унион“ ожидал большой сюрприз; откуда ни возмись, как гром среди ясного неба, после пятилетнего пребыва-ния в России, сюда заявился Ярослав Гашек» — с таким текстом в Праге вы-шли утренние газеты. Ещё со времен сдачи в плен в прессе регулярно появля-лись некрологи: то его вешали легионеры, то его забивали в пьяной драке, то ещё что-либо. Один из приятелей Гашека вручил ему по возвращении целую коллекцию подобных сообщений.

Вернувшись на родину, я узнал, что был трижды повешен, дважды рас-стрелян и один раз четвертован дикими повстанцами киргизами у озера Ка-ле-Исих. Наконец меня окончательно закололи в дикой драке с пьяными мат-росами в одесском кабачке.

Учитывая его сотрудничество с большевиками, местная пресса активно вы-ступала против Гашека, называя его убийцей тысяч чехов и словаков, которых он резал, «как Ирод грудных детей»; его жену называли единственной остав-ленной им в живых дочерью князя Львова. Многие друзья отвернулись от него; однажды его чуть не избили бывшие легионеры. Одна журналистка спросила, на самом ли деле он питался в Красной Армии мясом убитых китай-цев? «Да, милостивая пани», — подтвердил Гашек и пожаловался на неприят-ный привкус.

Однако планировавшейся из Москвы коммунистической революции в Че-хии не предвиделось, восстание было подавлено, его лидеры оказались в за-ключении, партийная деятельность Гашека быстро сошла на нет, и он вернул-ся к прежней жизни. Он оказался почти без средств к существованию и даже продавал на улицах экземпляры своих книг, скопившиеся у издателей за вре-мя войны. Вскоре он снова жил на авансы от издателей, кочуя из трактира в трактир. В трактирах же он и писал свои новые произведения, часто там же их и зачитывал. Постоянная выпивка, два перенесённых тифа, отказ соблю-дать рекомендации врачей, запретивших есть острое и жирное, тяжёлая на-

следственность — всё приводило к постоянному ухудшению здоровья Гашека.

В конце августа 1921 года он перебирается из Праги в небольшой городок Липнице. По легенде это произошло следующим образом. Выйдя из дома за пивом, Гашек повстречал своего приятеля Ярослава Панушку, который ехал работать в Липнице, и, оставив кувшин для пива в кафе, прямо в домашней одежде сел в поезд. Хорошо подвешенный язык выручал его ещё со времен юношеских пеших походов, не подвел его и в этот раз. Они бесплатно добрались до Липнице, договорились с хозяином гостиницы и трактира «У чешской короны» о кредите, и Гашек поселился там. Лишь спустя три недели он удосужился сообщить жене, о том, где он. Та тотчас приехала и признала, что в Липнице действительно лучше для пошатнувшегося здоровья Гашека.

Несмотря на увеличивающиеся доходы от творчества, денег в семье Гашека не прибавлялось. Ярослав быстро перезнакомился со всей округой и щедро помогал всем знакомым, нуждающимся в материальной помощи. Он даже завёл собственного сапожника, который делал обувь как для самого Гашека, так и для его многочисленных друзей. Он даже стал попечителем местной школы.

Ярослав много бродил по окрестностям, часто исчезая на несколько дней. Однако его здоровье становилось всё хуже и хуже. Обнаружив, что не успева-ет записывать всё приходящее ему в голову, он нанял себе секретаря Климен-та Штепанека, который должен был записывать то, что надиктует Гашек с 9 до 12 часов и с 15 до 17. В это время Гашек работал над четвёртой частью по-хождений Швейка. Благодаря отличной памяти, он диктовал Швейка, не пользуясь никакими заметками и набросками, лишь изредка обращаясь к карте. Также он прекрасно помнил всё, надиктованное ранее, и работу над следующей главой начинал, используя лишь листок с окончанием предыду-щей.

В ноябре 1922 года Гашек наконец обзавёлся собственным домом. Но здоро-вье его ухудшалось и ухудшалось. Часто из-за болей приходилось прерывать работу. Однако Гашек трудился до конца. Последний раз он диктовал Швейка всего за 5 дней до собственной смерти. 3 января 1923 он подписал завещание и заявил, что «Швейк тяжело умирает».

3 января 1923 года Ярослав Гашек скончался. На похоронах присутствовали его жена Шулинька, сын Рихард, и более ста человек из окрестных сёл и Лип-нице. На его могиле одним из его местных друзей, каменотёсом Харамзой, был установлен памятник — раскрытая каменная книга, на одной странице кото-рой имя Гашека, на другой — Швейка. Из пражских друзей Гашека присут-ствовал только художник Панушка, с которым Гашек и приехал в Липнице. Остальные друзья Гашека не поверили сообщению о его смерти, считая, что это очередная мистификация. Его друг Эгон Эрвин Киш заявил:

Ярда не впервой дурачит нас всех, водит за нос. Не верю! Сколько раз он уже умирал! Гашек не имеет права умирать. Ведь ему нет ещё и сорока.

## Семейная жизнь

В 1905 году Ярослав Гашек сватается к дочери скульптора Ярмиле Майеровой. Однако родители Ярмилы не хотели, чтобы их дочь связала свою судьбу с безработным анархистом, и на их мнение не повлияло даже скорое расставание Гашека с анархизмом. К тому же в 1907 году он объявил о своём разрыве с религией, что только усилило противоречия между религиозными Майерами и Гашеком.

После получения должности редактора журнала в 1909 году у Ярослава появился стабильный источник дохода, позволявший ему содержать семью. Для подтверждения возвращения в лоно католической церкви он предъявил родителям невесты удостоверение о прохождении исповеди, выданное священником одного из костёлов. Как он добыл удостоверение — осталось загадкой, но в мае 1910 года состоялась свадьба. Венчание прошло в храме Святой Людмилы на Виноградах.

20 апреля 1912 года у пары родился сын Рихард. Однако их брак никак нельзя было назвать счастливым. Ярмила не хотела мириться с постоянными отлучками мужа, его вечными вечеринками с друзьями. Её родители также настаивали на разводе. Чего стоил один эпизод, когда они приехали увидеть внука, Ярослав вышел в кафе за пивом и вернулся только спустя несколько дней. Сохранились сведения и о том, как он носил новорождённого сына по своим любимым кабачкам и демонстрировал его своим приятелям-завсегдатаям. Только спустя несколько кабачков он вспомнил, что оставил сына ещё в самом первом посещённом питейном заведении. К счастью, Ярмила знала традиционные маршруты «путешествий» своего супруга и вскоре нашла сына. Но терпеть подобное дальше уже не могла. В том же 1912 году они разошлись. Однако Гашек не стал оформлять развод официально.

По некоторым сведениям, во время пребывания в России в Бугульме Ярослав сыграл свадьбу с местной телеграфисткой Гелей Бойковой, однако вскоре после свадьбы его жена скончалась от тифа.

В 1919 году, будучи в Уфе, он познакомился с работницей типографии, которой сам руководил, Александрой Гавриловной Львовой. Гашек называл её «Шулинька». Их брак был зарегистрирован в Красноярске 15 мая 1920 года. Этот брак оказался несколько успешнее первых, и Шулинька оставалась с Ярославом до самой его смерти.

Вернувшись в Чехию Гашек обнаружил, что ему угрожает суд за двоежёнство, а его уже девятилетний сын Рихард считает, что его отец — легионер, геройски погибший в России.

Первая жена, Ярмила, вначале препятствовала встрече отца и сына, а после при их первой встрече представила Ярослава как знакомого редактора. Только через некоторое время Гашек смог объясниться с сыном. Дело о двоеженстве было прекращено, поскольку Чехословакия в то время не признавала законы РСФСР, и его брак с Львовой таковым не признавался по чешским законам.

Позднее Ярмила простила Гашека и в воспоминаниях о нём писала:

Гашек был гений, и его произведения рождались из внезапных наитий. Сердце у него было горячее, душа чистая, а если он что и растоптал, то по неведению.

## Политические взгляды

В середине 1900-х Гашек сближается с анархистскими кругами и принимает участие в митингах, выступает с агитационными поездками и распространяет листовки. В полицейских сводках он именуется «опаснейшим анархистом», а в семье — «Митей» (неверное уменьшительное имя, в честь Михаила Бакунина). В результате он вновь часто оказывается в полицейских участках, но Ярослава это только забавляет. В 1907 году он провёл в камере целый месяц. Впрочем, к 1909 году он порывает с анархическим движением.

Его беспокойный характер не позволял ему участвовать в традиционной политической борьбе существующих партий. Верный своему стремлению всё делать с шумом и весельем он вместе с друзьями создаёт «Партию умеренного прогресса в рамках закона». К выборам в австрийский парламент в 1911 году партия во главе с Гашеком начала активную предвыборную кампанию, которая проходила в истинно гашековском стиле. Заседания партии проводились в местном ресторанчике «Кравин».

К заседаниям ресторан украшали лозунгами: «Нам не хватает пятнадцати голосов», «Если вы выберёте нашего кандидата, обещаем, что защитим вас от землетрясения в Мексике» и прочими. Заседания проходили под пиво и состояли из спектаклей, которые разыгрывали Гашек с приятелями. А в своих предвыборных речах, высмеивающих саму существующую политическую жизнь, он всю использовал анекдотические истории вроде тех, которые постоянно будет использовать позже Швейк. Заканчивал свои выступления Гашек обычно словами в стиле: «Граждане! Голосуйте только за Партию умеренного прогресса в рамках закона, которая вам гарантирует все, что хотите: пиво, водку, сосиски и хлеб!»

Заседания не оставались без внимания и политических конкурентов Гашека, которые приходили в ресторан повеселиться и вдоволь посмеяться. Полиция также посещала заседания партии: однако первый тайный агент был сразу же узнан и, поняв, что никто из присутствующих не станет свидетельствовать против Гашека, «отделался» тем, что купил для присутствовавших 50 кружек пива. Комиссар полиции, не поверив докладу неспросавшегося агента, отправился на следующее заседание сам. После чего взял небольшой отпуск, а на очередное заседание отправил двух своих недоброжелателей, также полицейских чиновников. В результате один из этих полицейских чинов допился до такой степени, что стал кричать о том, что в полиции работают одни бюрократы, подлецы и доносчики. Скандал замяли, отправив перепившего полицейского в санаторий как «переутомившегося на работе».

О серьёзности намерений партии говорит и их предвыборная программа:

Введение рабства

Реабилитация животных

Введение инквизиции

Обязательное введение алкоголизма и прочие пункты в этом же стиле.

Сам процесс выборов Гашек просто проигнорировал, хотя и рассказывал, что за него проголосовало тридцать восемь человек.

Партией, к которой окончательно примкнул Гашек, стала РКП(б). Во многом его вступление в коммунистическую партию можно объяснить тем, что одним из основных её лозунгов была «свобода для всех порабощённых наро-

дов», в то время как Чехия всё ещё не была свободной. Начав со статей в издававшихся в России социал-демократических чешских газетах, он со всем присутствующим ему пылом ударился в большевизм. Он активно вёл агитацию среди чешских легионеров, выступая против отправки во Францию, был заместителем коменданта Бугульмы, в 1920 году он занимал пост заведующего иностранной секцией политотдела 5-й армии и даже участвовал в красном терроре.

В Прагу Гашек приехал 20 декабря 1920 года, уже после того, как чехословацкий пролетариат потерпел поражение в решающей схватке с национальной буржуазией — борьбе за Народный дом в Праге, переросшей во всеобщую забастовку. Начались аресты и процессы. Гашека встретило злобное улюлюканье врагов. Реакция требовала расправы с «красным комиссаром». Тайная полиция установила за ним слежку. Многие старые друзья отвернулись от него. Надежда на близкую революцию в Чехословакии оказалась нереальной. Те, с кем он должен был непосредственно связаться для революционной работы, были арестованы. Другие ему не доверяли. Да и сам он был невысокого мнения о чешских левых социал-демократах, проявивших в период декабрьских классовых боёв нерешительность и непоследовательность.

Истинную политическую позицию Гашека раскрыли лишь его фельетоны и юморески, появившиеся в 1921 году на страницах коммунистических изданий («Руде право», «Стршатец»). В них писатель сводит счёты с чешским буржуазным правительством, и с реакционной прессой, и с антинародными партиями, и с предателями революции из среды бывших «социалистов». Перо сатирика служит теперь нуждам повседневной борьбы революционного пролетариата. Гашек говорил, что, будь у него десять жизней, а не одна, он с радостью пожертвовал бы ими ради торжества пролетарской революции.

## Творчество

Первое известное произведение Гашека рассказ «Ефрейтор Которба» появилось на свет в 1900 году, ещё во времена учёбы в Торговой академии. Одно время он даже посещал литературный кружок «Сирикс». В 1903 году вышла первая книга Гашека: сборник стихов «Майские выкрики», которую он написал в соавторстве с другом, Ладиславом Гаеком.

После решения стать писателем, Гашек активно занимается творчеством. Он пишет множество рассказов для различных газет и журналов. Не все из псевдонимов, которые он использовал для печати, были раскрыты. Творчество он начал с коротеньких рассказов чеховского типа, которые он называл «юморесками». Уже в этих рассказах высмеивалось религиозное ханжество, семейный быт мелкого буржуа, «коммерческий» брак, парламент и т. п.

В 1912—1913 годах в печати выходят сборники «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории» (переизданный в 1922 году как «Бравый солдат Швейк перед войной и другие удивительные истории»), «Страдания пана Тенкрата», «Гид для иностранцев». В 1915 году в свет вышел ещё один сборник рассказов Гашека — «Моя торговля собаками».

Всего в довоенные годы им были написаны сотни рассказов, очерков, фельетонов, юморесок. Самым крупным довоенным произведением писателя стала «Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона», созданная по воспоминаниям о предвыборной кампании в 1911 году. В книге автор с присущим ему юмором рассказывал о всевозможных приключениях членов партии. Также она содержала целый ряд шаржей на участников и современников «движения». Была предпринята попытка издать книгу в 1912 году, но издатель так и не решился сделать это. В печати появились лишь отдельные главы. Полностью книга была опубликована лишь в 1960-е.

Даже мобилизация лишь ненадолго прерывает творчество Гашека: получив должность помощника писаря, он находит достаточно времени, чтобы написать стихотворения «В резерве», «Плач вольноопределяющегося», «Песнь об отхожем месте».

Российский этап жизни Гашека нашёл своё отражение в основном в многочисленных газетных статьях и фельетонах, которые он писал для выходивших в России чешских газет. В июне 1917 года в Киеве вышла повесть «Бравый солдат Швейк в русском плену», продолжившая цикл, послуживший основой для знаменитого романа. В ходе похода Красной Армии в Сибирь Гашек тоже не оставляет литературное творчество. Так в Омске он всего за месяц написал пьесу «Хотим домой», адресованную в первую очередь военнопленным. А чтобы её поставить, он даже создал в городе новый театр. Всего же произведения, написанные Гашеком в России, составили целых два тома из шестнадцати в собрании его сочинений.

После возвращения в Прагу Гашек выпускает ещё три сборника рассказов: «Две дюжины рассказов» (1921), «Трое мужчин и акула» (1921), и «Мирная конференция и другие юморески» (1922). В это же время появляется главное произведение Гашека — его роман «Похождения бравого солдата Швейка». Роман печатался отдельными выпусками, которые сразу же стали популярными у читателей. Рекламные плакаты, сделанные Гашеком с друзьями гласили:

Одновременно с чешским изданием перевод книги на правах оригинала выходит во Франции, Англии, Америке.

Первая чешская книга, переведенная на мировые языки!

Лучшая юмористически-сатирическая книга мировой литературы!

Победа чешской книги за рубежом!

Первый тираж 100 000 экземпляров!»

Читателям предлагалось «выбросить из своих библиотек „Тарзана в джунглях“ и разные дурацкие переводы уголовных романов» и «приобрести новаторский образец юмора и сатиры». Книга Гашека объявлялась «революцией в чешской литературе». Наверное никто в Чехословакии, в том числе и сам Гашек, и не предполагал, что обещанное в буффонадных афишах сбудется. Однако тогда издать первый том романа, законченный к августу 1921 года, никто не взялся. Чешская пресса безоговорочно отнесла «Швейка» к аморальным книгам, которым нет места в приличном обществе. Тогда Гашек с присущей ему энергией создаёт собственное издательство.

К 1922 году первый том романа уже выдержал четыре издания, а второй — три. Но к 1923 году не выдержало здоровье Ярослава Гашека — четвёртая часть романа так и осталась неоконченной.

## Роман о бравом солдате Швейке

Война и революция определили второй период его творчества. От мелких бытовых рассказов Гашек перешёл к эпопее. Его «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (чеш. *Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války*, 1921 — 1923) в четырёх томах отразили никчёмность и бессмысленную жестокость австрийской государственной системы, с трудом связывавшей бюрократизмом разваливавшуюся «лоскутную» монархию. Война обнажила её социальные и национальные противоречия, ещё острее выявила воровство чиновников, взяточничество, саботаж.

Главное лицо эпопеи — бравый солдат Швейк — талантливый саботажник, ставший любимым героем Чехии. Призванный в войска, Швейк притворяется глупцом и выполняет отдаваемые ему приказания с такой точностью, что приводит их к абсурду. Военное начальство считает его неисправимым идиотом, но читатель очень скоро понимает, что идиотизмом проникнута вся военная система, основанная на чинах и званиях, что порождает некомпетентность начальства на всех уровнях. Утрируя послушание и подчинённость, Швейк тем самым становится негодным инструментом в руках своих начальников. Если бы армии всех воюющих сторон состояли из таких Швейков, война прекратилась бы сама собой.

Эта забавно и умно проведённая тенденция эпопеи сделала её значительным, а главное, исключительно популярным произведением, направленным против милитаризма. Книга вызвала большой общественный и государственный резонанс, во время Второй мировой войны солдатам в Чехословакии даже было запрещено чтение книги. Имя Швейка очень быстро стало нарицательным. Так Иосиф Сталин попрекал охранников: «Что ты передо мной бравым солдатом Швейком вытягиваешься?».

В формальном отношении произведение Гашека, написанное сочным языком, с примесью солдатского жаргона и пражского арго, построено на чередовании событий в солдатской жизни главного героя, изложение которых пре-

рывается характерными отступлениями (воспоминания Швейка о случившемся с ним ранее или примеры из его житейского опыта).

Тем более удивителен роман тем, что это, возможно, единственный известный в мировой литературе роман, который автор не читал ни по частям, ни в целом, ни в рукописи, ни в книжном издании. Роман писался сразу набело, и каждая написанная глава немедленно направлялась издателю.

## Мировое признание Гашека

Роман о похождениях Швейка оставил неизгладимый след в мировой культуре.

Друг Гашека, Карел Ванек по просьбе издателя окончил четвёртую часть романа. Позднее он же полностью написал пятую и шестые части, которые однако не стали популярными. Ванека обвинили в том, что он не смог удержаться на той тонкой грани между сатирой и пошлостью, что удавалось Гашеку.

Но появлением в малоизвестном продолжении жизнь Швейка не ограничилась. В годы второй мировой войны появляется пьеса Бертольда Брехта по роману, в разных странах выходит несколько кинофильмов по мотивам.

В 1955 году вышел кукольный фильм известного чешского режиссёра-мультипликатора Иржи Трнка "Бравый солдат Швейк".

В 2007 году вышла компьютерная игра в жанре «квест» по мотивам романа.

В 2002 году пражская газета «Деловая Прага» провела опрос среди своих читателей. Вопрос звучал просто: «Какие ассоциации вызывает у вас слово „Чехия“»? По итогам, Швейк оказался на третьем месте, уступив только чешскому пиву и хоккейной сборной.

Деятели науки, культуры, политические деятели о Ярославе Гашеке

Бертольт Брехт, автор пьесы «Швейк во Второй мировой войне», в своём дневнике оставил такую запись:

Если бы кто-нибудь предложил мне выбрать из художественной литературы нашего века три произведения, которые на мой взгляд представляют мировую литературу, то одним из таких произведений были бы «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека.

*(Из "Википедии")*

## Фотографии



Катерина Гашкова,  
мать писателя.



Йозеф Гашек,  
отец писателя.



Ярославу Гашеку  
четыре года (1904).



Ярослав Гашек — член редакции  
анархистского журнала.



Обложка журнала «Карикатуры» (1911), в котором печатались рассказы Я. Гашека.



Я. Гашек с друзьями в период создания партии  
умеренного прогресса в рамках закона.  
(Слева направо: Йозеф Мах, Эдуард Дробилек, Ярослав Гашек).  
Прага, 1911.

**Už dávno  
nebylo tu tak  
nevázaného  
humoru!**

Jen čtíte knihy

**Jaroslava Haška**

**Dobrý  
voják Švejk**

**a jiné podivné historky.**

Tento debut nejlepšího mladého satirického  
talentu vzbudí rozruch a překvapení.

Vychází v nové

**Knihovně humoru a satiry**

v sešitech po 30 hal., ilustrováno K. Strossem.

**Právě vyšel sešit 1.**

Předplácí se na 10 seš. K 3.—, na 20 seš. K 6.—.

Pro pp. předplatitele na 26 seš. v ceně K 7.30  
a na 50 seš. v ceně K 15.— velmi výhodné  
premluvné výhody, udané v prospektu.

Žádejte sešit na ukázkou! Obdržíte v každém  
knihkupectví, jakož i v

nakladatelství **Hejda & Tuček** knihkupectví

v Praze II., Karlovo náměstí č. 26.

Upozorňujeme na bohatý sklad knih  
nových i antikvárních. Seznamy skladu na  
požádání zdarma a franko, antikvárních knih  
za 50 hal., poštou 60 hal.

Обложка первого издания сборника рассказов Я. Гашека  
«Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории»,  
Прага, 1912.



Жена Я. Гашека Ярмила Майерова.



Шутливая сценка — Я. Гашек и его приятель З. М. Кудей  
в дамских купальных костюмах. Яхимов, июль 1913 г.



Я. Гашек в госпитале. Чешске Будейовице, 1915 г.



Я. Гашек перед отправлением на фронт  
в составе 11-й маршевой роты. 1915 г.



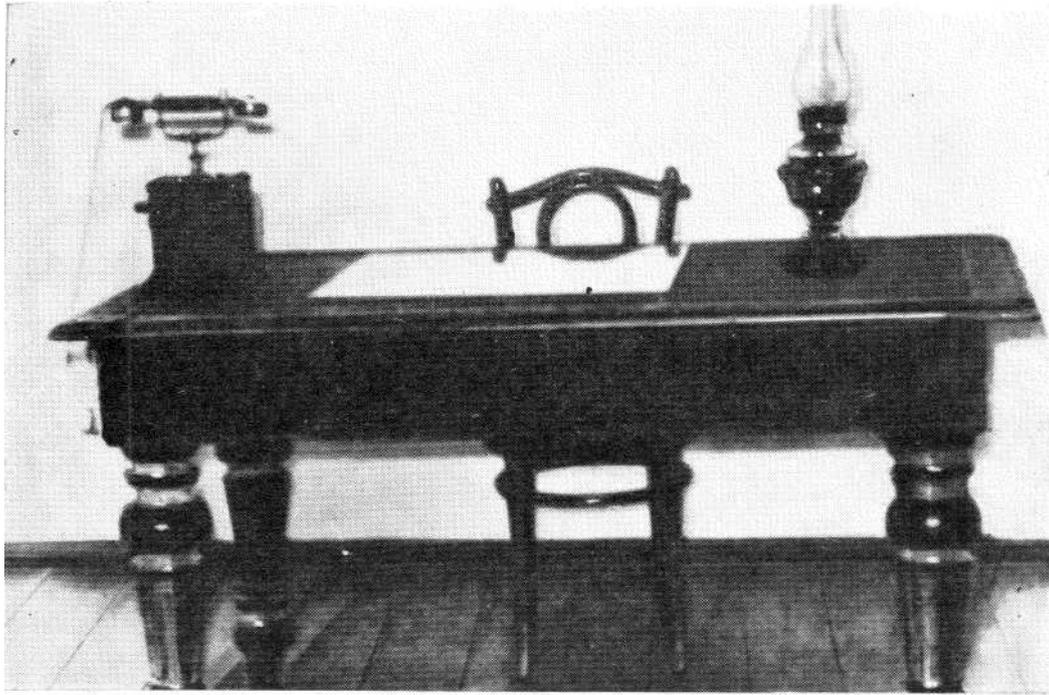
Я. Гашек по дороге на фронт. 1915 г.



Я. Гашек в редакции журнала «Чехослован». Киев, 1917 г.



Ярослав Гашек (фото 1921 г.)



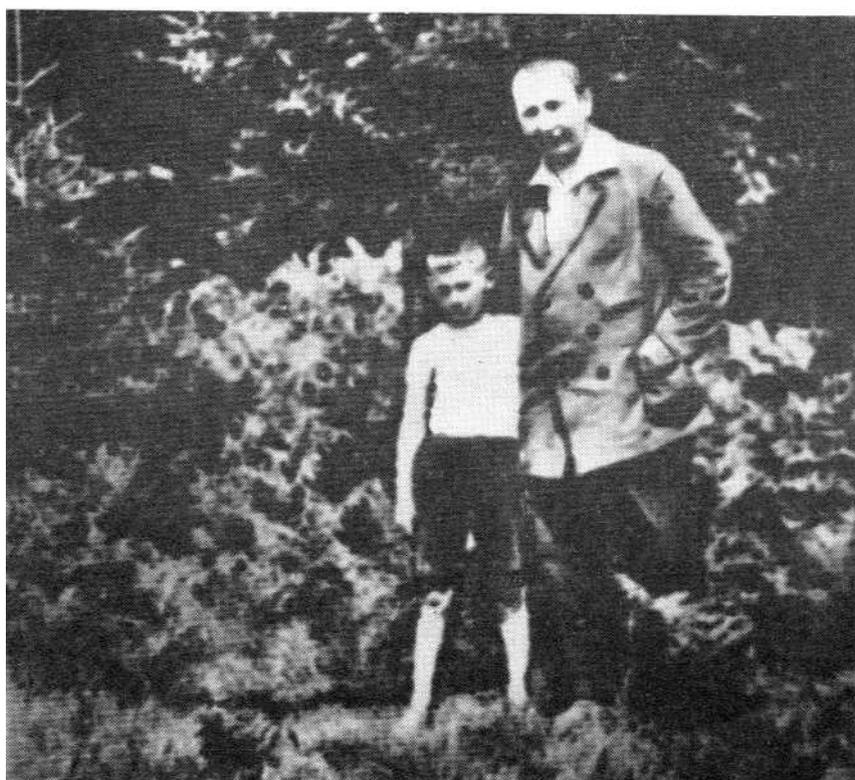
Письменный стол Я. Гашека  
в г. Бугульме (музей писателя)



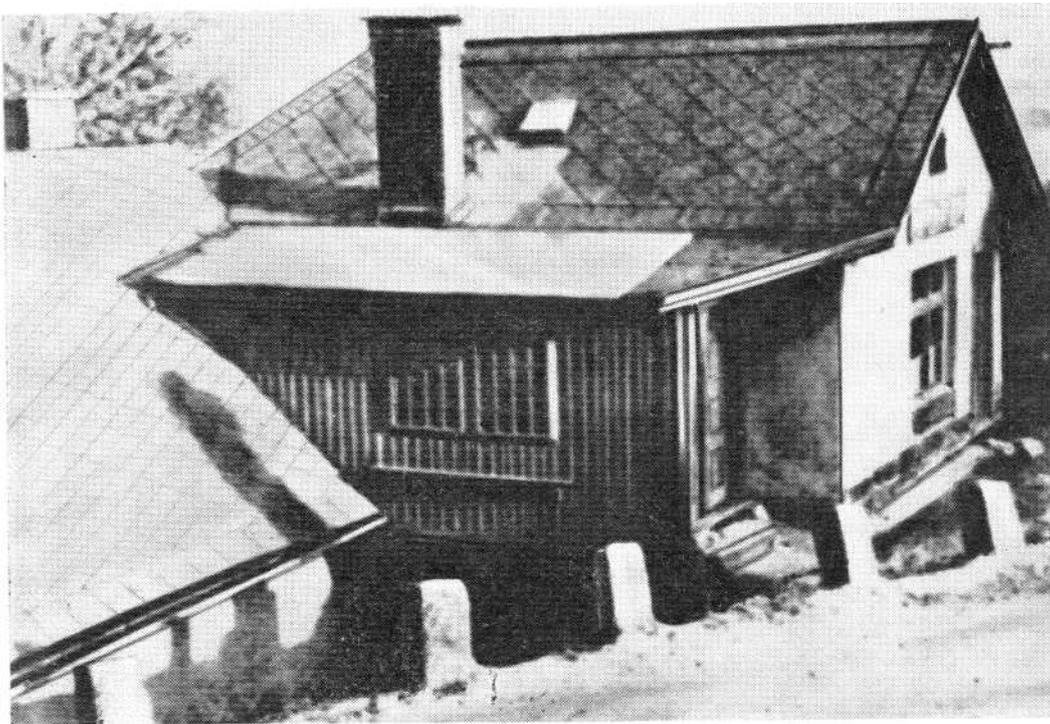
Партийный билет Я. Гашека, члена РКП(б)



Обложка первого издания «Похождений  
бравого солдата Швейка»



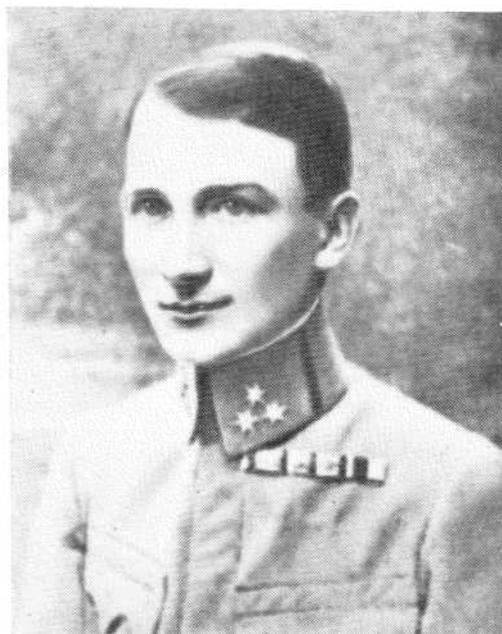
Я. Гашек с сыном Рихардом (1921)



Дом Я. Гашека в г. Липнице



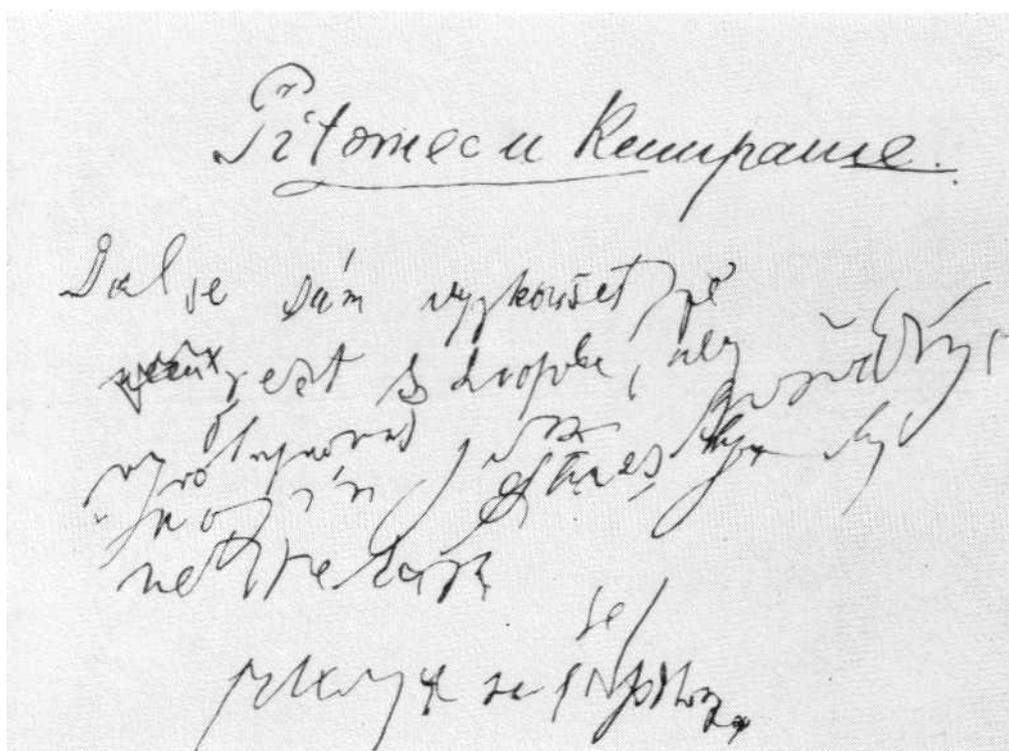
Последняя фотография Я. Гашека  
(декабрь 1922 г.)



Прототипы персонажей романа  
«Похождения бравого солдата Швейка»  
фельдфебель Ванек, поручик Лукаш,  
капитан Сагнер, денщик Страшлипка.



Прага в годы мировой войны.



Первые заметки о романе «Похождения бравого солдата Швейка».

Хейдта I.

Janábrník dobrého vojáka Švejka do  
světové války.

Tak nám pabíli šedinauda, ička postu kovacka  
pauu švejka, který opušil před lety vojenskou  
službu, když byl deť notivně prohlášen vojenskou  
historickou komisí za blba, živil se prodáváním psů,  
ačkoli syď neústalívající oblič, který m pabíval rudo-  
lá rudo.

Kromě toho jamestnamí byl otijěn pbeumatomem  
u majai si právi kolosa opodělokou.

Kerýho šedinauda, pauu Müllerova, ofajal se  
šejk, nepřestávaje si masívovat kolona, jo jme  
dva šedinaudy. Jednoho ten je slouhou o drogistu  
Priný, a vyjml pau tuu jednou vuytem la hec ni jaběho  
majai si vlesy a jo tom jmech jite šedinaud  
kókošku, co kbiti špse kóvinka. Tobou neme jidna  
ikova.

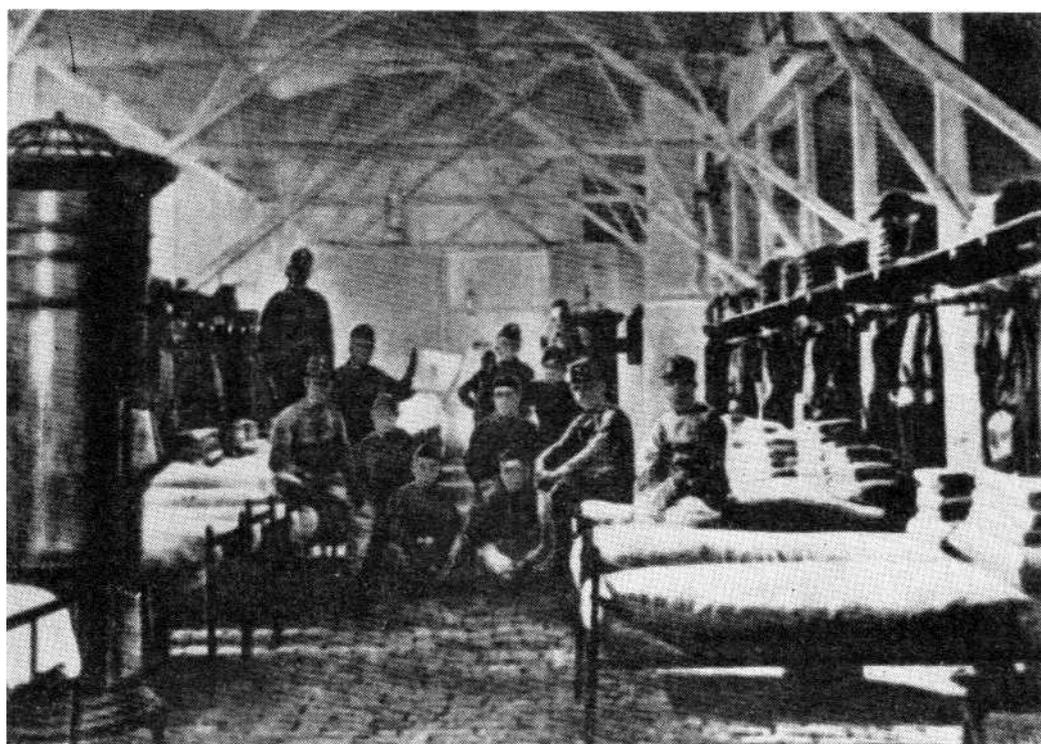
Alle, no bostpauu <sup>pauu</sup> arcivóodu šedinauda, Loko  
i onopistě, Loko slustyho, na bostyho.

Jagio mija, vybikel šejk, to je dobrý. A kde  
se má to, pauu arcivóodu stalo?

Práskli ho o sakajnu, mlóstpauu z revolveru,  
nědi šel sam stou soou akaikužnou i automobilu.



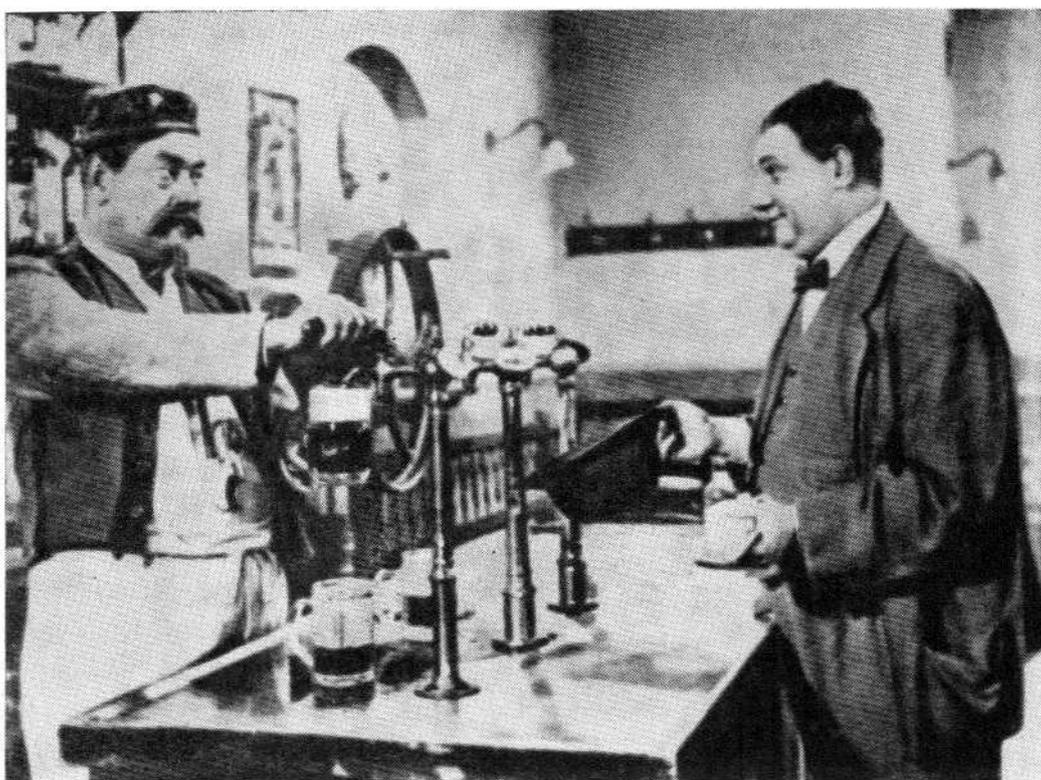
Ярослав Гашек в последние годы жизни.



Солдатский барак в Мосте-на-Литаве (Кирайхида), где был размещен батальон Я. Гашека.



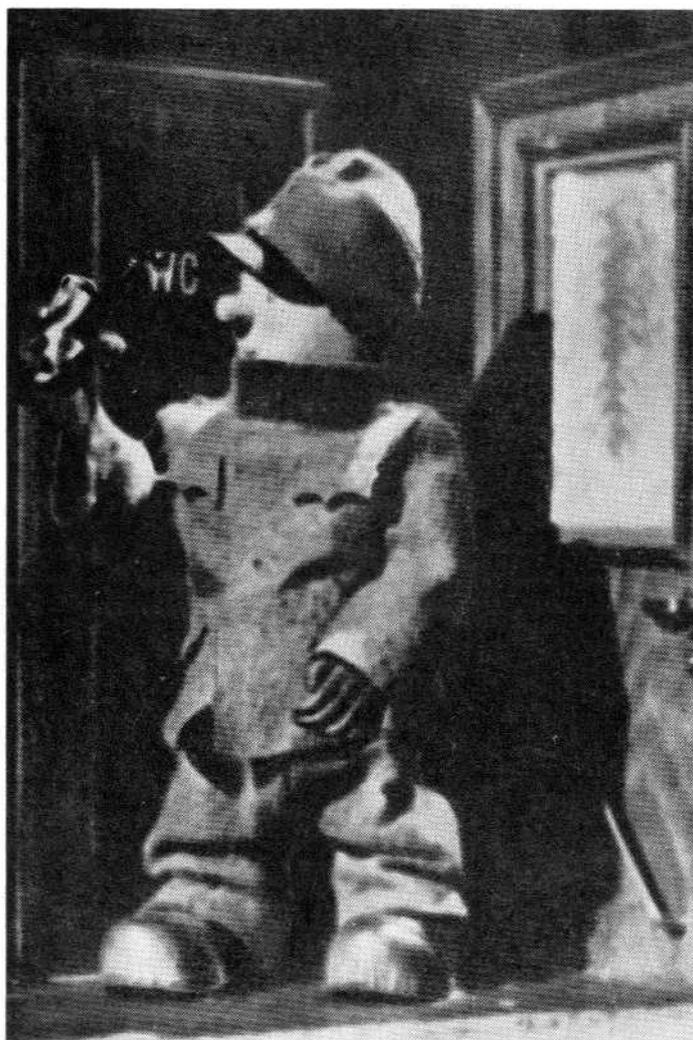
Замок в Липнице, где жил и работал Я. Гашек  
в последние годы жизни.



Р. Грушинский в роли Швейка в фильме «Бравый солдат Швейк»  
(1957).



«Бравый солдат Швейк» в инсценировке  
Э. Ф. Бурнаца (театр «Д-35»).



«Бравый солдат Швейк» в кукольном фильме Иржи Трнки.



Портрет Ярослава Гашека работы Й. Лады (1953).

## О переводчиках

## Рассказы 1901-1908 гг.

- Сельская идиллия. (Перевод Л. Касюги).  
Смерть горца. (Перевод Р. Разумовой).  
Wodka lasow, wodka jagodowa. (Перевод Т. Мироновой).  
Идиллия кукурузного поля. (Перевод В. Савицкого).  
Разбойник за Магурой. (Перевод Р. Разумовой).  
Рыбак Гулай. (Перевод Е. Элькинд).  
Заторская канония. (Перевод Н. Аросевой).  
Похождения Дьюлы Какони. (Перевод В. Чешихиной).  
Как дедушка Перунко вешался. (Перевод В. Чешихиной).  
Воспоминание о болоте. (Перевод Е. Элькинд).  
Крестины. (Перевод С. Востоковой).  
Три очерка о венгерской пусте. (Перевод Н. Аросевой).  
Ружье. (Перевод Н. Николаевой).  
Гей, Марка! (Перевод С. Востоковой).  
Старая дорога. (Перевод Е. Элькинд).  
Благодарность. (Перевод О. Гуреевой).  
Невезение пана Бенды. (Перевод Ю. Преснякова).  
Родные места. (Перевод А. Лешковой).  
Нет больше романтики в Гемере. (Перевод В. Чешихиной).  
Клинопись. (Перевод В. Чешихиной).  
Наш дом. (Перевод В. Чешихиной).  
Восточная сказка. (Перевод В. Чешихиной).  
Предвыборные выступления цыгана Шаваню. (Перевод Р. Разумовой).  
На сборе хмеля. (Перевод Е. Элькинд).  
Ослик Гут. (Перевод Е. Элькинд).  
Пример из жизни. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Ромашковая настойка. (Перевод Е. Рулиной).  
Милосердные самаритяне. (Перевод Е. Аникст).  
Как черти ограбили монастырь святого Томаша. (Перевод Н. Аросевой).  
Галицийский пейзаж с волками. (Перевод С. Востоковой).  
Среди бродяг. (Перевод Н. Зимяниной).  
Поминальная свеча. (Перевод Н. Зимяниной).  
Вознаграждение. (Перевод О. Гуреевой).  
Рекламная сцена. (Перевод С. Востоковой).  
Возвращение. (Перевод А. Лешковой).  
Новые течения. (Перевод А. Лешковой).  
Цыганская история. (Перевод В. Савицкого).  
Над озером Балатон. (Перевод В. Мартемьяновой).  
В стогу. (Перевод А. Лешковой).  
Над озером Нейзидлер-зе. (Перевод Н. Зимяниной).  
Ткач Бартак. (Перевод А. Лешковой).  
Из рассказа судейского чиновника. (Перевод А. Лешковой).  
Похищение людей. (Перевод Н. Аросевой).  
Фасоль. (Перевод А. Лешковой).  
Музыкальный талант. (Перевод Н. Зимяниной).  
Ищу поручителя. (Перевод Н. Зимяниной).

- Вшивая история. (Перевод Д. Горбова).  
Господин Глоац — борец за права народа. (Перевод Д. Горбова).  
Батистовый платочек. (Перевод Н. Зимяниной).  
Новый год. (Перевод А. Лешковой).  
О парламентах. (Перевод О. Гуреевой).  
Право. (Перевод О. Гуреевой).  
О балах. (Перевод А. Лешковой).  
Магурская зимняя быль. (Перевод Е. Элькинд).  
Об одном цензоре. (Перевод А. Лешковой).  
История старосты Томашека. (Перевод Е. Рулиной).  
Грабитель-убийца перед судом. (Перевод А. Лешковой).  
Лекция профессора Гарро «О развитии человеческого разума, которую он читает в 2207 году». (Перевод О. Гуреевой).  
Приключение Гая Антония Троссула. (Перевод Ю. Преснякова).  
О поэтах. (Перевод Ю. Шкариной).  
Поэзия социальная. (Перевод О. Малевича).  
Лечение ревматизма укусами пчел. (Перевод Н. Аросевой).  
Первомайский праздник маленького Франтишека. (Перевод Ю. Молочковского).  
История о выборах. (Перевод О. Гуреевой).  
Бетярская повесть. (Перевод Е. Элькинд).  
Трубка патера Иордана. (Перевод Д. Горбова).  
Кузнец Чекай. (Перевод О. Гуреевой).  
Восхождение на Мозерншице. (Перевод Д. Горбова).  
Искатели неизвестного. (Перевод В. Чешихиной).  
Художник-философ. (Перевод Ю. Преснякова).  
Про пана Петранека. (Перевод Ю. Молочковского).  
Рождество в «Народной политике». (Перевод Н. Николаевой).  
Рассказы о Ражицкой башне. (Перевод Ю. Преснякова).  
Бунт арестанта Шейбы. (Перевод А. Лешковой).  
Такова жизнь. (Перевод Е. Рулиной).  
Школьные хрестоматии. (Перевод А. Лешковой).  
Печальная судьба пана Блажея. (Перевод Ю. Молочковского).  
«Умер Мачек, умер...» (Перевод Н. Аросевой)... 389  
Рассказ о клопах. (Перевод А. Лешковой)... 395  
«Der verfluchte Ruthene». (Перевод Ю. Преснякова).  
Катастрофа в шахте. (Перевод Ю. Преснякова).  
Идиллия в аду. (Перевод Н. Аросевой).  
Юбилей служанки Анны. (Перевод А. Лешковой).  
Полчаса на Каналь Гранде. (Перевод Н. Зимяниной).  
История поросенка Ксавера. (Перевод Д. Горбова).  
Изумительное чудо святого Эвергарда. (Перевод Д. Горбова).  
Дедушка Янчар. (Перевод Р. Разумовой).  
Рассказ о безнравственном ежике. (Перевод Н. Николаевой).  
Мой дядюшка Габриель. (Перевод А. Лешковой).  
Осиротевшее дитя и его таинственная мать. (Перевод Д. Горбова).  
Тайна исповеди. (Перевод Е. Аникст).  
Удивительные приключения графа Кулдыбулдыдеса. (Перевод Ил. Грако-

вой).

В деревне у реки Рабы... (Перевод С. Востоковой).

Боснийская ослиная история. (Перевод Н. Николаевой).

Как Юрайда сделался атеистом. (Перевод Н. Аросевой).

Тюремная кухня. (Перевод А. Лешковой).

## Рассказы 1909-1912 гг.

О святом Гильдульфе. (Перевод С. Востоковой).

Нравоучительный рассказ. (Перевод С. Востоковой).

Клятва Михи Гамо. (Перевод Т. Чеботаревой).

Об одной ужасной собаке. (Перевод Т. Чеботаревой).

Антигосударственный заговор в Хорватии. (Перевод В. Суханова).

Юный император и кошка. (Перевод Ю. Молочковского).

В старой лавке москательных и аптекарских товаров. (Перевод Ил. Граковой).

Первое мая советника Мацковика. (Перевод Д. Горбова).

Животные и чудеса. (Перевод Н. Аросевой).

Ослик Гуат. (Перевод Т. Чеботаревой).

По долгу службы. (Перевод Т. Чеботаревой).

Случай у райских ворот. (Перевод В. Суханова).

Как мой друг Ключка рисовал святую Аполену. (Перевод С. Востоковой).

Д-р Карел Крамарж. (Перевод В. Петровой).

Сеанс спиритизма. (Перевод В. Суханова).

Фуражка пехотинца Трунца. (Перевод С. Востоковой).

Съезд младочешской рабочей партии. (Перевод Д. Горбова).

Д-р юриспруденции Йозеф Мысливец. (Перевод Ил. Граковой).

Министры д-р Жачек и д-р Браф. (Перевод И. Граковой).

Удивительное происшествие с Франтишекком Махулкой, практикантом магистрата. (Перевод С. Востоковой).

Король Румынии отправляется на медведей. (Перевод В. Суханова).

Приключения школьного инспектора Калоуса. (Перевод Д. Горбова).

По следам убийцы. (Перевод Ю. Молочковского).

Амстердамский торговец человечинной. (Перевод Д. Горбова).

Сочельник в приюте. (Перевод Т. Чеботаревой).

Акционерная фабрика по производству яиц. (Перевод Ил. Граковой).

Спасен. (Перевод Ю. Молочковского).

Пепичек Новый рассказывает про обручение своей сестры. (Перевод М. Скачкова).

Неприличные календари. (Перевод Ю. Молочковского).

Его превосходительству кавалеру Билиньскому, министру финансов, Вена. (Перевод Т. Чеботаревой).

Камень жизни. (Перевод Д. Горбова).

Семейная драма. (Перевод И. Ивановой).

Судебный процесс по делу Хама, сына Ноя. (Перевод Ю. Молочковского).

Дачицкая история. (Перевод В. Петровой).

Первое апреля пана Фабианека. (Перевод Т. Большаковой).

В Гавличковых садах. (Перевод Т. Чеботаревой).

- Монастырь в Бецкове. (Перевод С. Востоковой).  
На разведку. (Перевод Т. Чеботаревой).  
Фонд пана Каубле на благотворительные цели. (Перевод Ил. Граковой).  
Бунт братьев Безкочек в 1901 году. (Перевод В. Суханова).  
На родине. (Перевод М. Скачкова).  
Солитер княгини. (Перевод Д. Горбова).  
«Пражске уржедни новины». (Перевод И. Граковой).  
Как у нас варили картофельный суп для бедных детей. (Перевод Д. Горбова).
- Забастовка преступников. (Перевод С. Востоковой).  
Финансовый кризис. (Перевод В. Чешихиной). 254  
Проблема любви. (Перевод Н. Аросевой).  
Трагическое фиаско певицы Карневаль. (Перевод Ю. Молочковского)  
Падение кабинета Бинерта. (Перевод Н. Аросевой).  
Смерть старого Фенека. (Перевод Т. Большаковой).  
Дело государственной важности. (Перевод Т. Аксель)  
Заседание верхней палаты. (Перевод В. Чешихиной).  
Доисторическая обезьяна. (Перевод И. Ивановой).  
Мятеж в австрийском флоте. (Перевод Т. Аксель). 280  
Пятидесятилетний юбилей газеты «Народни листы». (Перевод В. Петровой).  
Несчастный гондольер Витторе. (Перевод Т. Чеботаревой).  
Смерть сатаны. (Перевод Д. Горбова).  
Происшествие в аду. (Перевод В. Суханова).  
Кирилло-Мефодиевское братство в Морушове. (Перевод Д. Горбова).  
Триумфальный въезд бухарского эмира. (Перевод В. Суханова).  
Дредноуты. (Перевод В. Петровой).  
Как пан Мазуха мстил за поруганную супружескую честь. (Перевод Н. Аросевой).
- Наследство Шафранека. (Перевод Т. Аксель).  
Анонимное письмо. (Перевод В. Петровой).  
Сердечное поздравление с именинами. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Служебное рвение Штепана Брыха, сборщика пошлыны на пражском мосту. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Торжество справедливости. (Перевод М. Скачкова).  
Исповедь государственного изменника, или Тайна Петршинского бастиона. (Перевод Ю. Гаврилова).  
Добросовестный цензор Свобода. (Перевод Д. Горбова).  
Чаган-куренский рассказ. (Перевод Д. Горбова).  
Несчастный случай с котом. (Перевод М. Скачкова).  
Непоколебимый католик дедушка Шафлер в день выборов. (Перевод Д. Горбова).
- Христианско-социалистическая партия в общих чертах. (Перевод Ил. Граковой).
- Сказка свечной бабы Альбрехтовой о том, почему в Пелгржимове прокатили на выборах его преподобие священника пана Милоша Зарубу. (Перевод И. Ивановой).
- Бравый солдат Швейк. (Перевод Д. Горбова)
1. Поход Швейка против Италии.

2. Швейк закупает церковное вино.
  3. Решение медицинской комиссии о храбром солдате Швейке.
  4. Храбрый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином.
  5. Храбрый солдат Швейк в воздушном флоте.
- «Счастливым домашним очагом». (Перевод Н. Зимяниной). 362  
 Немецкие астрономы. (Перевод Т. Чеботаревой).  
 Когда сносили старые стены. (Перевод В. Чешихиной).  
 Способ господина полицмейстера. (Перевод Д. Горбова). 411  
 Роман пана Хохолки, сборщика пошлыны. (Перевод В. Петровой).  
 Сватовство в нашей семье. (Перевод Н. Зимяниной).  
 Интервью со связанным офицером. (Перевод В. Суханова).  
 Как уездный начальник, пан Скршиванек, боролся с дороговизной. (Перевод В. Суханова).  
 Печальная участь вокзальной миссии. (Перевод Ю. Гаврилова).  
 Заметки пани Едличковой о моде. (Перевод Ил. Граковой).  
 Мой золотой дедушка. (Перевод Т. Большаковой).  
 Сказка о трагической судьбе одного порядочного министра. (Перевод Ил. Граковой).  
 Наказание с тетей. (Перевод И. Ивановой).  
 Преступная авантюра пана Тевлина. (Перевод Ил. Граковой).  
 Как я выбыл из национально-социальной партии. (Перевод В. Мартемьяновой).  
 Хозяйственные реформы барона Клейнгампла. (Перевод И. Ивановой).  
 Солнечное затмение. (Перевод В. Суханова).  
 Заседание сельского правления в Мейдлоуарах. (Перевод М. Скачкова).  
 Словное различие. (Перевод Д. Горбова).  
 Краткое содержание уголовного романа. (Перевод И. Ивановой).  
 Пособие неимущим литераторам. (Перевод Ю. Молочковского).  
 Конец святого Юро. (Перевод О. Малевича).  
 «Любовь, любовь, ты всемогуща...» (Перевод М. Скачкова).  
 Сыщик Паточка. (Перевод Ю. Молочковского).  
 Судебный исполнитель Янчар. (Перевод Ю. Молочковского).  
 Исповедь старого холостяка. (Перевод М. Скачкова).
1. Как я пришивал пуговицы к брюкам.
  2. Как я варил яйца всмятку.
  3. Как выглядят женщины.
  4. Прогулка в женском обществе.
  5. Интриги Анны Энгельмюллеровой.
  6. Пани Энгельмюллерова ищет меня с полицией.
  7. Приятный сон.
  8. Я окончательно становлюсь отцом.
- Куда поехать на дачу. (Перевод И. Ивановой).  
 Отцовские радости пана Мотейзлика. (Перевод И. Ивановой).  
 Продолжение отцовских радостей пана Мотейзлика. (Перевод И. Ивановой).  
 Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки. (Перевод Д. Горбова).  
 Святотатец в Хотеборжи. (Перевод В. Чешихиной).  
 Сербский поп Богумиров и коза муллы Исрима. Перевод В. Суханова. 523

Пятнадцатый номер. (Перевод Н. Аросевой).  
Деяния современного дипломата. (Перевод Н. Аросевой).  
Роман о ньюфаундленде Оглу. (Перевод А. Севастьяновой).

## Рассказы 1913-1917 гг.

Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге. (Перевод Д. Горбова).  
Экспедиция вора Шейбы. (Перевод В. Петровой).  
Борьба за души. (Перевод Н. Аросевой).  
Новый год храброго зайца с черным пятном на брюшке. (Перевод Н. Замошкиной).  
Закрытое заседание. (Перевод Т. Чеботаревой).  
Как я спас жизнь одному человеку. (Перевод М. Скачкова).  
Барон и его пес. (Перевод Д. Горбова).  
О запутавшейся лягушке. (Перевод Л. Васильевой).  
Как Балужка научился врать. (Перевод Д. Горбова).  
О курочке-идеалистке. (Перевод И. Граковой).  
Доброе намерение отца бедняков. (Перевод И. Ивановой).  
Благотворительное заведение. (Перевод В. Петровой).  
Хулиганство библиотекаря Чабуона. (Перевод М. Скачкова).  
В венгерском парламенте. (Перевод А. Соловьевой).  
Кобыла Джама. (Перевод Н. Замошкиной).  
Надьканижа и Кёрменд. (Перевод И. Ивановой).  
Когда цветут черешни. (Перевод С. Востоковой).  
После коронации. (Перевод Ю. Молочковского).  
Из записок австрийского офицера. (Перевод Ю. Молочковского).  
Бунт третьеклассников. (Перевод Д. Горбова).  
Как становятся премьер-министрами в Италии. (Перевод А. Соловьевой).  
Перед экзаменом. (Перевод Д. Горбова).  
Среди друзей. (Перевод Ю. Молочковского).  
Индийский рассказ. (Перевод Н. Николаевой).  
Как гром служил господу богу. (Перевод М. Скачкова).  
Сыскная контора. (Перевод И. Ивановой).  
Несчастный случай в Татрах. (Перевод Л. Васильевой).  
Проект закона. (Перевод А. Соловьевой).  
Протест против конфискации. (Перевод А. Соловьевой).  
Детективное бюро. (Перевод М. Скачкова).  
Полицейский комиссар Вагнер. (Перевод М. Скачкова).  
Бык села Яблечно. (Перевод Д. Горбова).  
Об искренней дружбе. (Перевод Д. Горбова).  
Идиллия в богадельне. (Перевод М. Скачкова).  
Мой друг Ганушка. (Перевод Н. Аросевой).  
Как бережливые спасли отчаявшегося. (Перевод Н. Аросевой).  
Предательство Балужки. (Перевод Н. Замошкиной).  
Как Цетличка был избирателем. (Перевод А. Соловьевой).  
Мытарства автора с типографией. (Перевод И. Ивановой).  
Любовное приключение. (Перевод И. Ивановой).  
Как Тёвёл вернул пятак. (Перевод Л. Васильевой).

- Репортаж с ипподрома. (Перевод Н. Замошкиной).  
Любовь в Муракёзе. (Перевод С. Востоковой).  
Короткий роман господина Перглера, воспитателя. (Перевод Н. Замошкиной).  
Супружеская измена. (Перевод Л. Васильевой).  
О двух мухах, переживших это. (Перевод Н. Замошкиной).  
Одежда для бедных деток школьного возраста. (Перевод В. Петровой).  
Перед уходом на пенсию. (Перевод В. Чешихиной).  
Приключения кота Маркуса. (Перевод В. Чешихиной).  
Кочицкая божедомная братия. (Перевод И. Ивановой).  
В исправительном доме. (Перевод М. Скачкова).  
История с биноклем. (Перевод Л. Васильевой).  
Букет и к незабудок на могилу национально-социальной партии. (Перевод В. Чешихиной).  
Урок закона божьего. (Перевод Д. Горбова).  
Как я торговал собаками. (Перевод Д. Горбова).  
Роман Боженки Графнетровой. (Перевод Д. Горбова).  
Весенние настроения. (Перевод Н. Николаевой).  
Визит в город Нейбург. (Перевод Л. Васильевой).  
Дело о взятке практиканта Бахуры. (Перевод В. Чешихиной).  
Страстное желание. (Перевод М. Скачкова).  
Маленький чародей. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Великий день Фолиманки. (Перевод Н. Замошкиной).  
Небольшая история из жизни Река. (Перевод А. Севастьяновой).  
Сказка о мертвом избирателе. (Перевод Д. Горбова).  
Сатисфакция. (Перевод Н. Николаевой).  
Страдания воспитателя. (Перевод Д. Горбова).  
Штявницкая идиллия. (Перевод Л. Васильевой).  
Писарь в Святой Торне. (Перевод Л. Васильевой).  
Опасный работник. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Колокола пана Гейгулы. (Перевод Н. Николаевой).  
О прекрасной даме и медведе из Зачалянской долины. (Перевод В. Петровой).  
Жертва уличной лотереи. (Перевод И. Граковой).  
Сыскная контора пана Звичины. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Моя дорогая подружка Юльча. (Перевод Н. Замошкиной).  
Ярмарка на Филипа и Якуба. (Перевод Т. Чеботаревой).  
История с хомяком. (Перевод М. Скачкова).  
Судьба пана Гурта. (Перевод Н. Аросевой).  
Повесть о портрете императора Франца-Иосифа I. (Перевод М. Скачкова).  
Итог похода капитана Альзербаха. (Перевод Н. Аросевой).  
По стопам полиции. (Перевод П. Богатырева).  
Бравый солдат Швейк в плену. (Перевод Н. Зимяниной).  
У кого какой объем шеи. (Перевод М. Скачкова).  
Школа для сыщиков. (Перевод П. Богатырева).  
Двадцать лет тому назад. (Перевод П. Богатырева).  
Разговор с горжицким окружным начальником. (Перевод Ю. Молочковско-го).

Идиллия в Мариновке. (Перевод И. Ивановой).

## Рассказы 1918-1923 гг.

**Н**а Златой улочке в Градчанах. (Перевод В. Мартемьяновой).

Градчаны и Смотровая башня продолжают разговор. (Перевод В. Мартемьяновой).

Из дневника уфимского буржуя. (Написано по-русски).

Трагедия одного попа. (Написано по-русски).

Два выстрела. (Написано по-русски).

Жизнь по катехизису. (Написано по-русски).

Vae victis. (Написано по-русски).

Преосвященный владыка Андрей. (Написано по-русски).

Армия адмирала Колчака. (Написано по-русски).

Из белогвардейских настроений. (Написано по-русски).

Что такое отделение церкви от государства. (Написано по-русски).

Уфимский Иван Иванович. (Написано по-русски).

Вооруженные силы пролетариата. (Написано по-русски).

Международное значение побед Красной Армии. (Написано по-русски).

Творчество эсеров. (Написано по-русски).

Замороженные чиновники в советских учреждениях. (Написано по-русски).

Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине. (Написано по-русски).

Из дневника уфимского буржуа. (Написано по-русски).

Обзор военных действий. (Написано по-русски).

Рабочие полки. (Написано по-русски).

Перебежчики. (Написано по-русски).

Сибирская скоропадчина. (Написано по-русски).

Дневник попа Малюты. (Написано по-русски).

В мастерской контрреволюции. (Написано по-русски).

Англо-французы в Сибири. (Написано по-русски).

Вопль из Японии. (Написано по-русски).

Жертва немецкой контрреволюции в Сибири. (Перевод с немецкого Н. Аро-севой).

Чешский вопрос. (Написано по-русски).

К празднику. (Написано по-русски).

Белые о 5-й армии. (Написано по-русски).

Чем болен аппарат экспедиции. (Написано по-русски).

Что станет с Чехословацкой буржуазной республикой? (Перевод с венгерского И. Салимона).

История заслуг пана Янко Крижа. (Перевод Т. Мироновой).

Археологические изыскания Бабама. (Перевод В. Савицкого).

Законное вознаграждение. (Перевод В. Мартемьяновой).

Письмо Ярослава Гашека к Яр. Салату-Петрлику. (Перевод С. Востоковой).

Душенька Ярослава Гашека рассказывает: «Как я умерла». (Перевод О. Гуревой).

Юбилейное воспоминание. (Перевод И. Ивановой).

Комендант города Бугульмы. (Перевод С. Востоковой).

- Адъютант коменданта города Бугульмы. (Перевод С. Востоковой).  
Крестный ход. (Перевод С. Востоковой).  
Стратегические затруднения. (Перевод С. Востоковой).  
Славные дни Бугульмы. (Перевод С. Востоковой).  
Новая опасность. (Перевод С. Востоковой).  
Потемкинские деревни. (Перевод С. Востоковой).  
Затруднения с пленными. (Перевод С. Востоковой).  
Перед Революционным трибуналом Восточного фронта. (Перевод С. Востоковой).  
Чжен-си, высшая правда. (Перевод Д. Горбова).  
Маленькое недоразумение. (Перевод Р. Хрипуновой).  
И отряхнул прах от ног своих... (Перевод Н. Аросевой).  
Как я встретился с автором некролога обо мне. (Перевод П. Богатырева).  
Возлюбим врагов наших. (Перевод Д. Горбова).  
Поединок с Армией спасения. (Перевод С. Востоковой).  
Моя исповедь. (Перевод Д. Горбова).  
Как я редактировал журнал «Обозрение для чешских женщин и девушек». (Перевод Т. Мироновой).  
Отдел писем в «Народни политике». (Перевод Д. Горбова).  
Отдел объявлений в «Народни политике». (Перевод Д. Горбова).  
Протокол II съезда Партии умеренного прогресса в рамках закона. (Перевод Д. Горбова).  
Советы для жизни. (Перевод Л. Касюги).  
Буржуй Рамзелик. (Перевод Е. Аникст).  
Истребление практикантов экспедиторской фирмы «Кобкан». (Перевод Ил. Граковой).  
Трое мужчин и акула. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Проблемы литературного творчества. (Перевод В. Мартемьяновой).  
Какие я писал бы передовицы, если бы был редактором правительственного органа. (Перевод Д. Горбова).  
Ценная торговля сахарином. (Перевод О. Гуреевой).  
Идиллия винного погребка. (Перевод Е. Аникст).  
О подходящих названиях. (Перевод О. Гуреевой).  
Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче. (Перевод Ил. Граковой).  
Вопросы и ответы. (Перевод Ил. Граковой).  
Солидное предприятие. (Перевод Р. Разумовой).  
Что я посоветовал бы коммунистам, если бы был главным редактором правительственного органа — газеты «Чехословацкая республика». (Перевод О. Гуреевой).  
Похождения общительного человека. (Перевод О. Гуреевой).  
История Господа бога. (Перевод О. Гуреевой).  
Брачная жизнь мужчины и женщины. (Перевод Р. Хрипуновой).  
Марафонский бег. (Перевод Р. Разумовой).  
Гид для иностранцев. (Перевод И. Ивановой).  
Товарищеский матч между «Тиллингеном» и «Гохштадтом». (Перевод Е. Аникст).  
Донесение агента государственного розыска Яндака (Кличка «Тршебиз-

ский»). (Перевод Д. Горбова).

Вознаграждение за честность. (Перевод В. Мартемьяновой).

Роковое заседание конференции по разоружению. (Перевод М. Скачкова).

Похождения чрезвычайного посла. (Перевод Ю. Молочковского).

Взаимоотношения родителей и детей. (Перевод М. Скачкова).

Разговор с цензором. (Перевод Д. Горбова).

Перемена фамилии. (Перевод Ю. Гаврилова).

Хрестоматия приятных манер. (Перевод Ил. Граковой).

Речь в защиту доброго приятеля. (Перевод В. Мартемьяновой).

Печальная участь изобретателя. (Перевод В. Мартемьяновой).

Конец фирмы «Гаррах и Гавелка». (Перевод О. Гуреевой).

Генуэзская конференция и «Народни листы». (Перевод Н. Аросевой).

Опыт безалкогольной вечеринки, или Американское увеселение. (Перевод Д. Горбова).

Мститель. (Перевод Р. Хрипуновой)....

Памяти Ольги Фастровой. (Перевод Р. Хрипуновой).

Путеводитель по Ничему. (Перевод Р. Хрипуновой).

Муниципальные выборы. (Перевод Д. Горбова).

Съезд земляков. (Перевод Е. Аникст).

Поможем деткам познать природу. (Перевод Т. Мироновой).

В альбом гражданину Махару. (Перевод Р. Разумовой).

О миссионерах. (Перевод Д. Горбова).

Как я получал деньги, посланные по телеграфу. (Перевод Е. Аникст).

Рассказ о черной трости. (Перевод О. Гуреевой).

История с градусником. (Перевод В. Мартемьяновой).

Случай с ветераном Кокошкой. (Перевод В. Мартемьяновой).

Прославленный греческий ученый Архимед на обследовании в римской психиатрической клинике. (Перевод В. Мартемьяновой).

Запятая. (Перевод В. Мартемьяновой).

## Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона.

Введение. (Перевод Т. Чеботаревой).

Декларация основных принципов партии умеренного прогресса в рамках закона. (Перевод Т. Чеботаревой).

Густав Р. Опоченский и македонский воевода Климеш. (Перевод Т. Чеботаревой).

Македонский воевода Климеш. (Перевод Т. Чеботаревой).

Первые неудачи партии в чешской провинции. (Перевод Т. Чеботаревой).

Соратник Станислав Земан. (Перевод Т. Чеботаревой).

Преследование первых христиан в Праге. (Перевод М. Скачкова).

Преследование новой партии правительственными кругами. (Перевод С. Востоковой).

Партия растет, но ее бьют. (Перевод Ю. Гаврилова).

В плену у карфагенян. (Перевод В. Петровой).

Приятель Иржи Маген и Йозеф Мах. (Перевод В. Петровой).

«Мир животных». (Перевод В. Петровой).

Помещение для собраний новой партии. (Перевод В. Петровой).

Поэт Томан говорит: «Monsieur, n'avez vous pas une coronne?» (Перевод В. Петровой).

Метр Арбес. (Перевод В. Петровой).

Казначей партии Эдуард Дробилек. (Перевод С. Востоковой).

Любовные злоключения Дробилека. (Перевод Н. Зимяниной).

Франтишек Шафр читает свой новый рассказ: «Расплата». (Перевод В. Петровой).

Рассыльный партии, поэт Фрабша. (Перевод В. Петровой).

Адольф Готвальд, переводчик с западных языков. (Перевод С. Никольского).

Послесловие к тому первому. (Перевод В. Петровой).

Профессор Франтишек Секанина. Чешский критик. (Перевод Е. Элькинд).

Художник Ярослав Кубин. (Перевод Е. Элькинд).

Апостольская деятельность трех членов партии, отраженная в письмах исполнительному комитету. (Перевод Е. Элькинд).

Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона. (Перевод Е. Элькинд).

Чешская Орлеанская дева м-ль Зюссова. (Перевод Ил. Граковой).

Пан писатель Рожек. (Перевод Е. Элькинд).

Второе письмо миссионеров с дороги. (Перевод Е. Элькинд).

Поэт Луи Кршикава, по-иному «Блажеем Иорданом» именуемый. (Перевод Е. Элькинд).

Исполнительному комитету партии умеренного прогресса в рамках закона. (Перевод Е. Элькинд).

Поэт Рацек. (Перевод Е. Элькинд).

Погоня за Махаром. (Перевод Е. Элькинд).

Махара нет дома. (Перевод Е. Элькинд).

Как веселятся чехи в Вене. (Перевод Е. Элькинд).

Наш друг Шкатула. (Перевод Е. Элькинд).

Воспоминания о литературном объединении «Сиринкс». (Перевод Е. Эль-

кинд).

Неизвестный литератор. (Перевод Е. Элькинд).

Д-р К. Гуго Гилар. (Перевод Е. Элькинд).

Что было дальше с тремя членами партии умеренного прогресса в рамках закона. (Перевод Е. Элькинд).

Потомственный дворянин Эмануэль Лешеградский. Перевод (Е. Элькинд).

Авантюры партии умеренного прогресса в рамках закона в Винер Нейштадте. (Перевод Л. Васильевой).

Величайший чешский писатель Ярослав Гашек. (Перевод Ил. Граковой).

Конференция делегатов партии умеренного прогресса в рамках закона с выдающимися венгерскими политиками. (Перевод Ил. Граковой).

М-ль Слава. (Перевод Ил. Граковой).

«Майские выкрики». (Перевод Ил. Граковой).

Самый толстый чешский писатель Ян Остен. (Перевод Л. Васильевой).

Надъканижская идиллия. (Перевод Л. Васильевой).

Аугустин Эуген Мужик. (Перевод С. Востоковой).

Продолжение надъканижской идиллии. (Перевод Л. Васильевой).

Композитор Хланда. (Перевод Н. Зимяниной).

Интриган актер Писецкий и его драма. (Перевод Л. Васильевой).

Архитектор Пепа Майер. (Перевод Л. Васильевой).

Д-р Г. (Перевод Л. Васильевой).

Майер Вратислав, знаменитый автор сграфитто. (Перевод Л. Васильевой).

Ярослав Гашек выступает в Надъканиже. (Перевод Н. Зимяниной).

Мадемуазель Маня Бубелова. (Перевод Н. Зимяниной).

Ян Ридл, знаменитый пианист. (Перевод Н. Зимяниной).

Жизнь среди Шалобаев. (Перевод Н. Зимяниной).

Неделя Шалобаев. (Перевод Н. Николаевой).

Попробуйте браницкое пиво! (Перевод Н. Николаевой).

Ярослав Гашек в кабаке «У Звержинов» делает доклад о мертвом теле на Тисе. (Перевод Н. Николаевой).

Один день в редакции газеты «Ческе слово». (Перевод Н. Николаевой).

Шеф-редактор «Ческого слова» Иржи Пихл. (Перевод Н. Николаевой).

Редакционный курьер Шефрна. (Перевод Н. Николаевой).

Женский псевдоним. (Перевод Н. Николаевой).

Чашка черного кофе. (Перевод В. Корчагина).

Квидо Мария Выскочил, или Иисус Мария, выскочил! (Перевод Т. Николаевой).

Афера Пеланта. (Перевод С. Востоковой).

Как пан Караус начал пить. (Перевод М. Скачкова).

О преследовании Карела Пеланта, члена новой партии. (Перевод Т. Николаевой).

О пане Йозефе Валенте. (Перевод Т. Николаевой).

Революционер Зиглозер. (Перевод С. Никольского).

Манифест партии умеренного прогресса в рамках закона к последним выборам. (Перевод Ил. Граковой).

Доклад о недоброкачественных продуктах и суррогатах, прочитанный мною в «Коровнике» во время избирательной кампании 1911 года. (Перевод Н. Зимяниной).

Речь о кандидатах других партий. (Перевод Ил. Граковой).

Лекция о реабилитации животных. (Перевод Ил. Граковой).

Речь о докторе Загорже... (Перевод М. Скачкова).

Лекция о национализации дворников... (Перевод Ил. Граковой).

Доклад об избирательном праве для женщин. (Перевод Н. Зимяниной).

День выборов. (Перевод Ил. Граковой).

## **Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны.**

**П**еревод П. Богатырева.

## О книге

**Серия супер-крупных книг «Diximir»** постоянно пополняется. Скачивайте новинки с официальных интернет-ресурсов проекта:

**Блог проекта «Diximir»:**  
**[boosty.to/diximir](https://boosty.to/diximir)**

**Ютуб проекта «Diximir»:**  
**[youtube.com/diximir](https://youtube.com/diximir)**

***Это гарантия чистоты и качества!***

Подписавшись на эти литературные сайты, Вы сможете «не напрягаясь» отслеживать все новинки и обновления серии «Diximir».

---

# Примечания

# 1

Лесное вино, вино земляничное (пол.).

[^^^]

## 2

Много вредно, много вредно (*лат.*).

[^^^]

### 3

В будущем (лат.).

[^^^]

# 4

Мой дом — моя крепость (*англ.*).

[^^^]

# 5

Левая рука (пол.).

[^^^]

## 6

Потолковать о разных разностях (*пол.*).

[^^^]

# 7

Доброго здоровья, пан! (пол.).

[^^^]

# 8

Браво, браво (венг.).

[^^^]

## 9

Хозяин (венг.). (Примеч. авт.).

[^^^]

# 10

Я не крал-воровал, только раз попробовал (*венг.*).

[^^^]

# 11

Величайшее бедствие (лат.).

[^^^]

# 12

Бремя (лат.).

[^^^]

# 13

Я доверяю (лат.).

[^^^]

# 14

Во имя господа (лат.).

[^^^]

# 15

Во веки веков (искаж. венг.).

[^^^]

# 16

Чтоб тебя... (искаж. венг.).

[^^^]

# 17

О прекрасная страна Тироль! (нем.).

[^^^]

# 18

Убирайтесь вон, мерзавцы! (нем.).

[^^^]

# 19

Сенат и народ римский (лат.).

[^^^]

## 20

Дамы-патронессы (англ.).

[^^^]

## 21

В действительности установлено, что свидетели существуют для забавы (*примеч. авт.*).

[^^^]

## 22

Преступление оскорбления величества (или величия) (*лат.*).

[^^^]

## 23

Мартовские иды 15 марта (*лат.*).

[^^^]

# 24

Здравствуй, цезарь! (*лат.*).

[^^^]

## 25

Возможно, название хутора.

[^^^]

# 26

Ядовитая (*пер. авт.*).

[^^^]

## 27

Друзья (лат.).

[^^^]

# 28

Ваше преподобие (*лат.*).

[^^^]

АМИНЬ (лат.).

[^^^]

**30**

Острие, пик (от нем. spize.).

[^^^]

## 31

Обращаем особое внимание господ самоубийц на эту заметку.

[^^^]

**32**

Боже милостивый! (нем.).

[^^^]

## 33

Мы (есть), мы (есть) честные люди (*фр.*).

[^^^]

# 34

Каюсь (*лат.*).

[^^^]

## 35

«Господи, помилуй» и «Христос, помилуй» (древнегреч.).

[^^^]

**36**

И со духом твоим (*лат.*).

[^^^]

## 37

Благодарение господу! (лат.).

[^^^]

**38**

Агнец божий (*лат.*).

[^^^]

## 39

Идите, месса окончена (*лат.*).

[^^^]

**40**

Проклятый русин (нем.).

[^^^]

## 41

В оригинале это слово приведено по-русски.

[^^^]

# 42

Налево кругом (нем.).

[^^^]

## 43

Одиночное заключение, карцер (нем.).

[^^^]

**44**

Мельница (нем.).

[^^^]

# 45

Крoвь Хриcта (лат.).

[^^^]

# 46

На Ораве, на Остроге (*венг.*).

[^^^]

# 47

Венгерское ругательство.

[^^^]

# 48

О презрении ко всякой суете мирской (*лат.*).

[^^^]

## 49

Преподобный отец! Во имя господи! Ваше преподобие! (лат.).

[^^^]

# 50

Венгерское ругательство.

[^^^]

# 51

Святой Эвергард, моли бога о нас! (*лат.*).

[^^^]

# 52

Во имя господа (лат.).

[^^^]

# 53

Господа (нем.).

[^^^]

# 54

Друг и поросенок (*фр.*).

[^^^]

## 55

Святой Гильдульф, молись за нас! (нем., лат.).

[^^^]

## 56

**Мурский округ**, Помурье, по-венгерски Муракёз или Муравидек — территория у реки Муры, населенная венгерскими вендами. На западе граничит со Штирией, на севере с Железной столицей, на юге с Хорватией, где река Драва составляет ее естественную границу. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

# 57

Добрый день (хорватскосербск.).

[^^^]

# 58

с божьей помощью (*хорватскосербск.*).

[^^^]

## 59

Во имя отца и сына и святого духа (хорватско-сербск.).

[^^^]

**60**

оглашение (хорватско-сербск.).

[^^^]

## 61

Христом богом... (хорватскосербск.).

[^^^]

# 62

дом (хорватско-сербск.).

[^^^]

## 63

За несколько лет до описываемых нами событий в Венгрии был принят закон о гражданском браке, согласно которому брак должен быть сначала зарегистрирован в государственном учреждении и только после этого, по желанию, производилось венчание. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

# 64

ГОСПОДЪ С ВАМИ (*лат.*).

[^^^]

## 65

Ныне отпускаеши... (лат.).

[^^^]

**66**

МИЛОСТЬ (*лат.*).

[^^^]

## 67

Живи и давай жить другим.

[^^^]

**68**

Господи (нем.).

[^^^]

## 69

золотое сердце (нем.).

[^^^]

# 70

Да, да, муха (нем.).

[^^^]

# 71

Ваше здоровье, господа! (*лат.*)

[^^^]

## 72

«Бумажные деньги в Австрии» (нем.).

[^^^]

## 73

право судить (лат.).

[^^^]

# 74

Разрешите доложить, ничего нового (нем.).

[^^^]

# 75

конфискован (нем.).

[^^^]

# 76

Отче наш, иже еси на небесех... (лат.).

[^^^]

# 77

С позволения сказать! (*лат*).

[^^^]

# 78

Конечно, мой друг (*нем.*).

[^^^]

# 79

То же самое (лат.).

[^^^]

**80**

милостивый государь (нем.).

[^^^]

## 81

с шарманкой, отец для бедняков (нем.).

[^^^]

## 82

Обращаем внимание читателей на изысканность стиля газеты. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

## 83

Еще раз просим читателей обратить внимание на красоту стиля. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

# 84

«Спорт в иллюстрациях» (нем.).

[^^^]

## 85

«Боснийская почта» (нем.).

[^^^]

## 86

«Лошади, собаки, птицы, скот. Болезни и лечение». Издание Эльман, сыновья и комп. Слау, Англия (англ.).

[^^^]

## 87

«человека разумного» (лат.).

[^^^]

**88**

Пресвятая богородица! (*ит.*)

[^^^]

«Христовы слезы» (лат.).

[^^^]

**90**

«Смилуйся надо мной, господи, благо велико милосердие твое» (*лат.*).

[^^^]

# 91

Вольноопределяющиеся! (нем.).

[^^^]

**92**

грязная скотина (нем.).

[^^^]

## 93

и у грязной скотины может быть доброе сердце (нем.).

[^^^]

**94**

Слушаюсь, господин лейтенант! (нем.).

[^^^]

ПОНОС (фр.).

[^^^]

# 96

«Германия превыше всего» (нем.).

[^^^]

## 97

«Город Дрезден» (нем.).

[^^^]

## 98

шаровидных (лат.).

[^^^]

ваше преподобие (лат.).

[^^^]

**100**

Гоп, моя девочка, гоп... (нем. диалект.).

[^^^]

# 101

приседание (нем.).

[^^^]

# 102

«Нотный магазин» (нем.).

[^^^]

Швабию (*искаж. нем.*).

[^^^]

# 104

СКОТИНА, СВИНЬЯ! (нем.).

[^^^]

# 105

грубы, но добродушны (нем. диалект.)

[^^^]

# 106

мерзавцы (нем.).

[^^^]

# 107

нравственной испорченностью (англ.).

[^^^]

# 108

Едем! ( $\varphi p.$ ).

[^^^]

# 109

вставай! (нем.).

[^^^]

# 110

тридцать и сорок (*φρ.*).

[^^^]

Черт возьми! (фр.)/

[^^^]

# 112

Здесь: решение об исключении (*лат.*).

[^^^]

# 113

Что это? (пол.).

[^^^]

# 114

венгерско-королевского (вен.).

[^^^]

# 115

Адресат неизвестен (англ.).

[^^^]

# 116

с лучшими намерениями (лат.).

[^^^]

# 117

очень плохо (венг.).

[^^^]

# 118

Что за народ (*фр.*).

[^^^]

# 119

Прошу прощенья, мадемуазель, я тоже понимаю этот язык (*фр.*).

[^^^]

# 120

**октаэдр** — восьмигранник; **октаван** — восьмиклассник.

[^^^]

## 121

Здесь по-чешски игра слов: «špicl» — «шпиц», а также «шпик, сыщик».

[^^^]

# 122

Маз равен 1,45 л.

[^^^]

## 123

*Много счастья тебе в странствованиях,  
спокойно проси милостыню в этом городе (нем.).*

[^^^]

# 124

Путники, не бойтесь ничего! (нем.).

[^^^]

# 125

СВИНЬЯ (нем.).

[^^^]

# 126

ливерной колбасы (нем.).

[^^^]

## 127

Мне пришлось туго, но потом обошлось (нем.).

[^^^]

# 128

дорожные расходы (нем.).

[^^^]

# 129

Я не имею в виду газету «Вержейне минени» («Общественное мнение»), редактируемую паном Гашеком. (*Примеч. авт.*).

[^^^]

# 130

«Ономатология забавная, искусная и магическая» (*лат.*).

[^^^]

## 131

Первым век золотой народился, не знавший возмездий. — **Овидий**. *Метаморфозы*. Песнь I. (Пер. С. Шервинекого.)

[^^^]

# 132

Куда идешь (лат.).

[^^^]

вступление (лат.).

[^^^]

# 134

заклучительная часть (*лат.*).

[^^^]

# 135

Венгерское ругательство.

[^^^]

# 136

дядя (венг.).

[^λλ]

# 137

да здоровствует (венг.).

[^^^]

**138**

«Был у меня товарищ» (нем.).

[^^^]

Немецкое ругательство.

[^^^]

# 140

Не понимаю (венг.).

[^^^]

# 141

Да покарает бог Англию (нем.).

[^^^]

# 142

Восклицание, выражающее удивление, досаду и пр. Соответствует русскому «Черт возьми!» (*исп.*)

[^^^]

# 143

Проклятая свинья (*ит.*).

[^^^]

# 144

В интересах евреев (нем.).

[^^^]

# 145

«Храни нам, боже...» (нем.).

[^^^]

# 146

Вы, чешская свинья, собака со своим красно-белым носом морской свиньи (нем.).

[^^^]

# 147

Строевой устав, ложись, кругом, болван (*искаж. нем.*).

[^^^]

# 148

Перевод Д. Горбова.

[^^^]

# 149

Немецкое приветствие.

[^^^]

# 150

Союз учительниц (нем.).

[^^^]

# 151

Чехов надо припереть к стене (нем.).

[^^^]

# 152

проклятая чешская банда (нем.).

[^^^]

# 153

Да (нем.).

[^^^]

# 154

Заткнись! (нем.).

[^^^]

# 155

ВИНОВЕН В ТОМ, ЧТО ОН... (нем.).

[^^^]

# 156

месяц карцера (*нем.*).

[^^^]

# 157

Осмелюсь доложить (нем.).

[^^^]

# 158

Долой сербов! (нем.).

[^^^]

## 159

Силы небесные! Да что же вы, Швейк, делаете? (нем.).

[^^^]

# 160

Осмелюсь доложить, господин капитан (*нем.*).

[^^^]

# 161

«Стража на Рейне» (нем.).

[^^^]

# 162

«Несется клич...» (нем.).

[^^^]

# 163

Троекратное ура (нем.).

[^^^]

# 164

Выдержать! (нем.).

[^^^]

# 165

Слава тебе в победном венце (нем.).

[^^^]

# 166

Долой русских! (*нем.*).

[^^^]

# 167

«Война и массовый психоз» (нем.).

[^^^]

# 168

Боже! (нем.).

[^^^]

# 169

Внимание, шагом марш! (нем.).

[^^^]

# 170

белой горячки (лат.).

[^^^]

# 171

«Слава тебе в победном венце» (нем.).

[^^^]

# 172

«О Австрия державная, пусть развевается твой флаг...» (нем.).

[^^^]

# 173

Надо побрить Тегетгофа! (нем.).

[^^^]

# 174

Великую Австрию (*нем.*).

[^^^]

# 175

годен (нем.).

[^^^]

# 176

жалкая скотина (*нем.*).

[^^^]

# 177

свинской банде (нем.).

[^^^]

# 178

чешская (нем.).

[^^^]

# 179

несколько оплеух (нем.).

[^^^]

# 180

Кругом! (нем.).

[^^^]

# 181

наш бравый болван (нем.).

[^^^]

# 182

«Муштра или воспитание» (нем.).

[^^^]

# 183

строгoгo ареста (нем.).

[^^^]

# 184

Да чего там церемониться с этими чехами, им все равно подыхать! (нем.).

[^^^]

## 185

«Служебного регламента» и «Стрелкового дела» (нем.).

[^^^]

# 186

изменнический образ действий (нем.).

[^^^]

## 187

Подрыв чувства уважения к начальству у других солдат (нем.).

[^^^]

**188**

друг, приятель (венг.).

[^^^]

увольнительной (нем.).

[^^^]

**190**

Марш! (нем.).

[^^^]

# 191

маршировку, учебное салютование (нем.).

[^^^]

# 192

приказ (нем.).

[^^^]

# 193

нарушение субординации (нем.).

[^^^]

# 194

Швейк, храбрый парень! (нем.).

[^^^]

# 195

рядовому составу (от нем. Mannschaft).

[^^^]

# 196

Здесь: денщик (от нем. Putztfleck).

[^^^]

# 197

Разделяй и властвуй (*лат.*).

[^^^]

# 198

Слушаюсь, господин прапорщик! (нем.).

[^^^]

Венгрии (венг.).

[^^^]

**200**

патруль (нем.).

[^^^]

## 201

«Чехи — предатели в Кирайхиде» (венг.).

[^^^]

## 202

Я погиб! (нем.).

[^^^]

## 203

Послушайте... а все-таки вы — чешская скотина! (нем.).

[^^^]

## 204

Грубое венгерское ругательство.

[^^^]

## 205

о чем ты говоришь, украсть надо, черт возьми (слов., нем., хорв.)

[^^^]

## 206

служебного регламента (нем.).

[^^^]

## 207

За кайзера и отечество (нем.).

[^^^]

## 208

Подите сюда, господин прапорщик! (нем.).

[^^^]

**209**

Когда я вернусь, когда я вернусь, когда я опять, опять вернусь... (нем. диалект .).

[^^^]

# 210

Шпионы (нем.).

[^^^]

## 211

Мы покажем этим русским, что австрийцы победят (нем.).

[^^^]

## 212

Авангард, арьергард и фланговые прикрытия (*нем.*).

[^^^]

## 213

неограниченно годными (нем.).

[^^^]

# 214

Ты, свинья, ничтожество! (нем.).

[^^^]

## 215

Спускаться по одному! (нем.).

[^^^]

## 216

Я пропал, боже мой, я пропал! (нем.).

[^^^]

## 217

Укрыться, всем укрыться! (нем.).

[^^^]

## 218

офицерский патруль (нем.).

[^^^]

## 219

Господин капитан Сагнер (*нем.*).

[^^^]

**220**

рапорт (*нем.*). Прощайте (*фр.*).

[^^^]

## 221

Здесь по-чешски игра слов; stanné právo — военное положение, statní právo — государственное право.

[^^^]

## 222

Трое составляют коллектив (*лаг.*).

За бога, кайзера и отечество! (*нем.*).

[^^^]

## 223

Повесить! (нем.).

[^^^]

## 224

За бога, кайзера и отечество (*нем.*).

[^^^]

## 225

Слава великой Австрии! (нем.).

[^^^]

## 226

«Об азиатской холере», «Лечебный источник и климат Пфальца». «Послеродовой период и физическое воспитание детей младшего возраста». «Догматические проповеди» (нем.).

[^ ^^]

## 227

умер (от нем. todt).

[^^^]

## 228

Аршин равен 0,71 м.

[^^^]

Привет! (чеш.).

[^^^]

## 230

По сути (*фр.*).

[^^^]

## 231

Еще и поныне в Сибири существуют лагеря военнопленных, где у офицеров есть денщики и особые офицерские кухни. (*Примеч. редакции газеты «Рогам-штурм».*)

[^^^]

## 232

Здесь: игра слов, так как фамилия Криж в переводе на русский означает «крест».

[^^^]

## 233

Храни тебя господь, Илона! (венг.).

[^^^]

## 234

Ясновельможный пан (венг.).

[^^^]

**Шапек** — шут (чеш.).

[^^^]

## 236

Куда идешь (*mat.*).

[^^^]

## 237

«...дурные люди песен не имеют» (нем.).

[^^^]

## 238

Очень трудно передать испорченный русский язык Лу-И-Иао. «Моя» — значит «я». У китайцев нет родов, падежей, склонений и спряжений. Кроме того, они изменяют значения слов в чужом языке. Так «мала-мала-машинка» — это русское слово «мошенник». (*Примеч. авт.*).

[^^^]

## 239

Солдатское общежитие (нем.).

[^^^]

## 240

Храни вас бог (*нем.*).

[^^^]

## 241

Да здравствует Венгрия! (венг.).

[^^^]

## 242

Здесь! (нем.)

[^^^]

## 243

*Когда я вернусь, когда я вернусь,  
Когда я снова, снова вернусь... (нем. диалект)*

[^^^]

## 244

Слава тебе в победном венце (нем.).

[^^^]

## 245

Сведущему понятно (лат.).

[^^^]

## 246

Белая горячка (*лат.*).

[^^^]

## 247

В оригинале песня на нем. яз.

[^^^]

## 248

Положение о драках (нем.).

[^^^]

Отлично (англ.).

[^^^]

## 250

**Патачао** — монета, соответствующая примерно чешской кроне. (*Примеч. авт* .).

[^^^]

## 251

Имя, выражающее характер поведения человека (*лат.*).

[^^^]

## 252

В данном случае: «руководство» (*лат.*).

[^^^]

## 253

Pouvoir — власть (*фр.*).

[^^^]

# 254

Не забудь меня (*нем.*).

[^^^]

## 255

Corpus delicti — вещественное доказательство (*лат.*).

[^^^]

## 256

Очень хорошо, Кокошка, очень хорошо сделал, проклятое чешское ничтожество (нем.).

[^^^]

## 257

Кто таков? — Осмелюсь доложить, Франц Кокошка из Хрушиц (*нем.*).

[^^^]

## 258

Да здравствует! (нем.).

[^^^]

## 259

Мартовские иды неоднократно фигурируют в истории Римской империи. (*Примеч. авт.*).

[^^^]

## 260

Не тронъте моихъ круговъ (*лат.*).

[^^^]

## 261

Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир (*лат.*).

[^^^]

## 262

«Баран» (исп.).

[^^^]

## 263

драчун, забияка (чешск.).

[^^^]

## 264

Мсье, нет ли у вас одной кроны? (*фр.*)

[^^^]

## 265

Да здравствует Равашоль! (фр.).

[^^^]

## 266

Пожалуйста! (*фр.*).

[^^^]

## 267

муштровкой (от нем. abrichten).

[^^^]

## 268

вспомогательной силы (от нем. Hilfsorgan).

[^^^]

## 269

Живи и давай жить другим (нем.).

[^^^]

## 270

О да, конечно! (нем.).

[^^^]

## 271

Досточтимые соратники, благодарим вас за все! Да здравствует социал-демократия! (нем.).

[^^^]

**272**

Прощай (досл.: «Живи хорошо») (нем.).

[^^^]

## 273

Непереводимая игра слов: «partaj» может означать и «квартирант» и «партия».

[^^^]

## 274

Простите, вы не знаете чешского поэта Махара? (нем.).

[^^^]

## 275

Где живет этот мальй? (нем.).

[^^^]

## 276

Именно это мне и неизвестно (*нем.*).

[^^^]

## 277

Мне тоже (нем.).

[^^^]

## 278

За углом (нем.).

[^^^]

## 279

И какой это банк? (нем.).

[^^^]

# 280

Кредитный (нем.).

[^^^]

## 281

Перевод стихов В. Корчагина.

[^^^]

## 282

Перевод стихов В. Корчагина.

[^^^]

**283**

Я не чех, я немец, но что проку, они говорят: «Но послушайте, милейший Херж, ваше имя, ваше смешное имя, ну что вы себе думаете! Вы чех» (нем.).

[^^^]

## 284

Да здравствуе Кошут! (венг.).

[^^^]

## 285

Да здравствуют чехи, да здравствует Кошут! (венг.).

[^^^]

**286**

Еще Польша не погибла (*пол.*).

[^^^]

## 287

Еще стакан пива! (венг.).

[^^^]

## 288

Перевод стихов в главе «Майские выкрики» В. Корчагина.

[^^^]

## 289

С выставки толстяков. По случаю закрытия вчерашней выставки толстых мужчин дирекция клуба извещает: «Первую премию, золотой кубок, завоевал Ян Остен, писатель из Праги» (нем.).

[^^^]

## 290

Сегодня у меня что-то пиво не идет. Не возникает жажды после десяти мазов! (нем.).

[^^^]

## 291

королевской пивоварне (нем.).

[^^^]

## 292

Рекламная серия (нем.).

[^^^]

**293**

«День гнева, сей день обратит мир во прах...» — переиначенная молитва (лат.).

[^^^]

## 294

Торговля галстуками (нем.).

[^^^]

## 295

с доставкой на дом (*фр.*).

[^^^]

## 296

Прахи — по-чешски деньги.

[^^^]

## 297

Непереводимая игра слов: в чешском языке «файфка» — трубка — имеет также значение нашего слова «шляпа», «растяпа» в применении к человеку-ротозею.

[^^^]

## 298

В царской России дворники находились непосредственно на службе в полиции. — Примечание чешского издателя («Руде право», 1937).

[^^^]

Палочного патента (нем.).

[^^^]

**300**

Держи язык за зубами и служи (*нем.*).

[^^^]

## 301

Годен! (нем.).

[^^^]

## 302

Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упрёки совести». Я не считаю это выражение вполне точным. Ведь и тигр человека пожирает, а не грызет. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

Книга записи арестованных.

[^^^]

# 304

Хайль! Долой сербов! (*нем.*).

[^^^]

## 305

Весь чешский народ — банда симулянтов (*нем.*).

[^^^]

**306**

Кругом! (нем.).

[^^^]

## 307

Это действительно необычный фиговый листок (нем.).

[^^^]

# 308

Вы симулянт! (нем.).

[^^^]

## 309

Немедленно арестовать этого типа (нем.).

[^^^]

## 310

Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная! (нем.).

[^^^]

## 311

Вольно! (нем.).

[^^^]

# 312

Разойдись! (нем.).

[^^^]

## 313

бравый солдат (нем.).

[^^^]

# 314

Иоганн, подойдите! (нем.).

[^^^]

## 315

Боже, покарай Англию (нем.).

[^^^]

# 316

Объединенными силами (лат.).

[^^^]

## 317

За бога, императора и отечество! (нем.).

[^^^]

# 318

Храни вас бог (*нем.*).

[^^^]

## 319

идиот (нем.).

[^^^]

**320**

Черт побери! (нем.).

[^^^]

## 321

Этот молодчик воображает, что ему поверят, будто он действительно идиот... (нем.).

[^^^]

**322**

Пли! (нем.).

[^^^]

## 323

Стеречь строго, наблюдать (нем.).

[^^^]

# 324

Изыдите, служба окончена (*лат.*).

[^^^]

## 325

Смирно! (нем.).

[^^^]

## 326

Да, насчет мира душевного, очень хорошо! (нем.).

[^^^]

## 327

Очень хорошо, не правда ли, господа? (нем.).

[^^^]

**328**

Кругом! Марш! (нем.).

[^^^]

**329**

Ваш покорный слуга (*от лат. servus* — раб). Приветствие, принятое в Австрии.

[^^^]

## 330

Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

## 331

императорский и королевский военный суд (нем.).

[^^^]

## 332

Это испытанное средство попасть в госпиталь. Однако часто выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином; еще позднее достигли они и других усовершенствований. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

## 333

Честь имеем... доложить... господин фельдкурат... доставили пакет и человека (нем.).

[^^^]

## 334

Благословение господне на вас, и со духом твоим. Благословение господне на вас (*лат.*).

[^^^]

## 335

Извините, дорогой товарищ, вы болван! Я могу петь что хочу! (нем.).

[^^^]

**336**

Честь имею доложить, господин полковник, я пьян (*нем.*).

[^^^]

## 337

Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья (*лат.*).

[^^^]

**338**

Я в состоянии заплатить! (нем.).

[^^^]

## 339

Просмотрено цензурой. Императорский и королевский концентрационный лагерь Штейнгоф (нем.).

[^^^]

## 340

Святая Мария, мать божья, помилуй нас! (нем.).

[^^^]

## 341

и со духом твоим (лат.).

[^^^]

## 342

благословение господне на вас (*лат.*).

[^^^]

## 343

Вольно! (нем.).

[^^^]

# 344

На молитву! (нем.).

[^^^]

## 345

В самом деле, это ужасно, господин фельдкурат. Народ так испорчен (нем.).

[^^^]

# 346

неповторимое (*лат.*).

[^^^]

**347**

Дорогой Генрих! Муж гонится за мной по пятам. Мне необходимо погостить у тебя несколько дней. Твой денщик — скотина. Я несчастна. Твоя Кати (нем.).

[^^^]

## 348

Грубое немецкое ругательство.

[^^^]

## 349

С этими бандитами я живо расправлюсь (нем.).

[^^^]

# 350

Стой! (нем.).

[^^^]

## 351

Вон отсюда, свинья! (нем.).

[^^^]

## 352

Мадьяр? (*искаж. венг.*).

[^^^]

## 353

Не понимаю, друг (*искаж. венг.*).

[^^^]

# 354

Сердечно благодарен (*искаж. венг.*).

[^^^]

## 355

Трое детей, нечего... ура! (венг.).

[^^^]

## 356

Ваши документы (нем.).

[^^^]

## 357

Что значит это слово? (нем.).

[^^^]

## 358

Это все равно что «господин фельдфебель» (нем.).

[^^^]

## 359

...в военную стационарную комендатуру вшивого парня, как бешеную собаку (нем.).

[^^^]

## 360

Стоит уйти на три минуты, как только и слышно... (нем.).

[^^^]

## 361

Вот ведь шлюха, не хочет спать со мной (нем.).

[^^^]

**362**

Марш! (нем.).

[^^^]

## 363

Подозревается в шпионаже (нем.).

[^^^]

## 364

Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писек (нем.).

[^^^]

## 365

Вахмистр! А где ответ на циркуляр?.. (нем.).

[^^^]

## 366

Поздравляю вас, господин вахмистр (*нем.*).

[^^^]

## 367

Примкнуть штык! (нем.).

[^^^]

**368**

Состав преступления (*лат.*).

[^^^]

## 369

Должен присовокупить, что русская контушовка... (нем.).

[^^^]

## 370

В дополнение к моему сообщению № 2172 докладываю... (нем.).

[^^^]

## 371

Хайль! Долой сербов! (нем.).

[^^^]

## 372

Со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу! (нем.).

[^^^]

## 373

Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед, с саблей наголо, чтобы принять их (*нем.*).

[^^^]

## 374

В момент, когда комендант отдает саблю честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости (*нем.*).

[^^^]

## 375

Полковая гауптвахта (нем).

[^^^]

**376**

Больничная книга (*нем.*).

[^^^]

## 377

Негоден к несению строевой службы (нем.).

[^^^]

**378**

Полковой рапорт! (нем.).

[^^^]

## 379

Военное училище! Занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год! (нем.).

[^^^]

## 380

Учет состава чинов запаса! Черт побери... (нем.).

[^^^]

## 381

Где поют — ложись и спи спокойно: кто поёт, тот человек достойный! (нем.).

[^^^]

## 382

Черт побери! Что вы тут делаете, штатский?! (нем.).

[^^^]

Знак отличия (лат.).

[^^^]

**384**

Чешская (нем.).

[^^^]

## 385

Несколько оплеух (нем.).

[^^^]

**386**

Ложись! (нем.).

[^^^]

## 387

Кругом! (нем.).

[^^^]

**388**

Наш бравый дурачок (нем.).

[^^^]

## 389

Муштровка или воспитание (нем.).

[^^^]

**390**

Строгий арест (*нем.*).

[^^^]

## 391

Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать (*нем.*).

[^^^]

## 392

Солдатам все равно подыхать (*нем.*).

[^^^]

## 393

Лишение права на уважение равных по положению граждан (нем.).

[^^^]

# 394

Марш! (нем.).

[^^^]

## 395

Праздник по поводу убоя свињи (нем.).

[^^^]

**396**

Кругом! (нем.).

[^^^]

## 397

Полковой писарь! (нем.).

[^^^]

## 398

Один за другим! Примкнуть штыки! (нем.).

[^^^]

## 399

Принц Евгений, славный рыцарь (нем.).

[^^^]

# 400

Вольно (нем.).

[^^^]

# 401

Вперед! Марш! (нем.).

[^^^]

## 402

Когда приеду я назад... (нем. диал.).

[^^^]

## 403

А ты, мое сокровище, останешься здесь. Голарио, голарио, голо! (нем.).

[^^^]

# 404

Кстати! (фр.).

[^^^]

## 405

«Сельская жизнь» (англ.).

[^^^]

**406**

От Eichel — желудь (*нем.*).

[^^^]

# 407

Дрозд (лат.).

[^^^]

## 408

А, Фреди, здорово, что нового? Ужин готов? (нем.).

[^^^]

**409**

«Победа и отмщение», «Боже, покарай Англию!», «У сына Австрии есть отчизна. Он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну» (нем.).

[^^^]

# 410

Брук-на-Лейте (нем.).

[^^^]

## 411

Шопронская улица? (искаж. венг.).

[^^^]

# 412

Это отвратительно! (нем.).

[^^^]

## 413

Отвратительно, в самом деле отвратительно! (нем.).

[^^^]

# 414

Таскает с собой (нем.).

[^^^]

## 415

Господин, господин, господин судья... Девочки, девочки, деревенские девочки  
(искаж. венг.).

[^^^]

# 416

Не понимаю (венг.).

[^^^]

## 417

Вы понимаете по-немецки? (нем.).

[^^^]

# 418

Немножко (*искаж. нем.*).

[^^^]

## 419

Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для нее в коридоре есть письмо от одного господина (нем.).

[^^^]

## 420

Барыня сказала, что у нее нет времени; если что-нибудь нужно, передайте мне (искаж. нем.).

[^^^]

## 421

Письмо для барыни, но держите язык за зубами (*искаж. нем.*)

[^^^]

## 422

Я подожду ответа здесь, в передней (*нем.*).

[^^^]

## 423

Венгерская площадная ругань.

[^^^]

## 424

Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принес письмо? (нем.).

[^^^]

## 425

Я написал, не обер-лейтенант (нем.).

[^^^]

## 426

Подпись, фамилия фальшивые (нем.).

[^^^]

## 427

Я люблю вашу жену (нем.).

[^^^]

# 428

Капитальная женщина (нем.).

[^^^]

## 429

Прекратить огонь (нем.).

[^^^]

# 430

Держаться (*нем.*).

[^{}]

## 431

Женский род — эх вы, а еще образованный человек — есть «он фож». А мужской род есть «она фожак». Мы знаем своих паппенгеймцев (*нем.*).

[^^^]

## 432

Благослови, боже, мадьяр (начало венгерского национального гимна).

[^^^]

## 433

Пополнение (нем.).

[^^^]

## 434

«Исследование по истории эволюции половой морали» (нем.).

[^^^]

## 435

В чем дело? (нем.).

[^^^]

# 436

Швейк и Водичка (нем.).

[^^^]

## 437

Морковные обжоры, глупые рольмопсы, трефовая семерка, грязная свинья, влеплю вам затрецины в ваши лунообразные морды (смесь чешск. и польск.).

[^^^]

## 438

Друзья в минуту расставанья с надеждой шепчут: «До свиданья» (нем.).

[^^^]

## 439

Не стрелять! (нем.).

[^^^]

# 440

Не стучать! (нем.).

[^^^]

# 441

Войдите! (нем.).

[^^^]

## 442

Осмелюсь доложить (нем.).

[^^^]

## 443

Да, еще раз! (нем. диал.).

[^^^]

## 444

Поверьте, до сих пор я видел в жизни мало хорошего. Меня удивляет этот вопрос (нем.).

[^^^]

## 445

Через полгода я сдам государственные экзамены и получу степень доктора (нем.).

[^^^]

## 446

Если они появятся в хороших переплетах (*нем.*).

[^^^]

## 447

В таком настроении он получил приглашение и пошел к ней (нем.).

[^^^]

# 448

Политически неблагонадежны (нем.).

[^^^]

## 449

Да, господа, Крамарж, Шейнер и Клофач... (нем.).

[^^^]

## 450

Одиннадцатой маршевой роте (нем.).

[^^^]

## 451

Ротному командиру (нем.).

[^^^]

## 452

Завтра утром на совещание (нем.).

[^^^]

## 453

В девять часов. — Подпись (нем.).

[^^^]

# 454

Полковник Шредер (*нем.*).

[^^^]

## 455

Итак, в чем дело? (нем.).

[^^^]

## 456

Опять совещание, черт их дери всех! (нем.).

[^^^]

## 457

Старший писарь фельдфебель Ванек, господин обер-лейтенант (нем.).

[^^^]

# 458

Чернила (нем.).

[^^^]

## 459

Это что такое, господа? (нем.).

[^^^]

## 460

По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник (*нем.*).

[^^^]

# 461

Бессмысленный набор немецких слов.

[^^^]

## 462

Грубое немецкое ругательство.

[^^^]

## 463

Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят (нем.).

[^^^]

# 464

Всем укрыться, укрыться! (нем.).

[^^^]

## 465

Где командование батальона? (нем.).

[^^^]

# 466

Все назад! Все назад! (*нем.*).

[^^^]

## 467

Направление на ложбину, по одному! (нем.).

[^^^]

## 468

на месте преступления (*лат.*).

[^^^]

## 469

*Спи, усни! Спи, усни!  
Очи сонные сомкни.  
Луч погас на небе алый,  
засыпай же, люд усталый,  
и до утра отдохни.  
Спи, усни! Спи, усни! (нем.).*

[^^^]

# 470

Заткнись ты, несчастный! (нем.).

[^^^]

## 471

«Грехи отцов». Роман Людвига Гангофера (нем.).

[^^^]

**472**

Господа! (нем.).

[^^^]

## 473

Товарищи (нем.).

[^^^]

# 474

Итак, господа! (нем.).

[^^^]

## 475

Вы, кадет! (нем.).

[^^^]

## 476

На высоте 228 направить пулеметный огонь влево (*нем.*).

[^^^]

## 477

Вещь — с — нами — это — мы — посмотреть — в — это — обещали — эта —  
Марта — тебя — это — боязливо — тогда — мы — Марта — мы — этого — мы —  
благодарность — блаженно — коллегия — конец — мы — обещали — мы —  
улучшили — обещали — действительно — думаю — идея — совершенно — гос-  
подствует — голос — последние (нем.).

[^^^]

## 478

Господин капитан, осмелюсь доложить... Иисус Мария! Не получается! (нем.).

[^^^]

## 479

«Руководство по военной тайнописи» (нем.).

[^^^]

# 480

Походной колонной, направление — склад № 6 (нем.).

[^^^]

## 481

Слушаюсь, господин обер-лейтенант (нем.).

[^^^]

## 482

*Храбрый рыцарь, принц Евгений,  
обещал монарху в Вене,  
что вернет ему Белград:  
перекинет мост понтонный,  
и тотчас пойдут колонны  
на войну, как на парад (нем.).*

[^^^]

## 483

*Скоро мост был перекинут  
и обоз тяжелый двинут  
вместе с войском за Дунай.  
Под Земліном стали наши,  
чтоб из сербов сделать кашу... (нем.).*

[^^^]

## 484

*Граф Радецкий, воин бравый,  
из Ломбардии лукавой  
клялся выместить врагов.  
Ждал в Вероне подкреплений  
и, хоть не без промедлений,  
дождался, вздохнул легко... (нем.).*

[^^^]

## 485

Не разрешается! Не разрешается! Военная комиссия, не разрешается! (*искаж. венг. и нем.*)

[^^^]

## 486

Все разговоры между офицерами, естественно, ведутся на немецком языке.

[^^^]

## 487

День, когда подохнет вероломная Россия, будет днем избавления для всей нашей монархии (нем.).

[^^^]

# 488

Объединенными силами (лат.).

[^^^]

## 489

Быстро сварить обед и наступать на Сокаль (нем.).

[^^^]

## 490

Оба офицера вели разговор по-немецки. Эта фраза звучала так: «Sie haben sich damals auch mit den deutschen Mitschülern gerauft».

[^^^]

## 491

**Udo Kraft**, Selbsterziehung zum Tod für Kaiser, C. F. Ameyangs Verlag, Leipzig.

[^^^]

## 492

милый мальчик! (*нем.*) Кстати (*фр.*).

[^^^]

## 493

у меня вышли все козыри (нем. диал.)

[^^^]

# 494

Смелее вперед! С богом, смелее вперед! (нем.).

[^^^]

## 495

«Дело идет о том» (нем.).

[^^^]

# 496

*Держитесь стойко, храбрецы,  
врага разите, удальцы,  
стяг императорский развейте... (нем.).*

[^^^]

## 497

«Венская иллюстрированная газета» (нем.).

[^^^]

# 498

Берегитесь, свиньи! (нем.).

[^^^]

## 499

За бога и императора (нем.).

[^^^]

## 500

Императорская и королевская штаб-квартира бога (нем.).

[^^^]

## 501

А воняет парень, словно треска (*нем. диал.*).

[^^^]

## 502

Наложил, должно быть, полные штаны (*нем. диал.*).

[^^^]

## 503

Передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моем сердце вечный памятник любви и благодарности (нем.).

[^^^]

# 504

Воняет, как золотарь! Как засранный золотарь! (*нем. диал.*)

[^^^]

## 505

Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчемный обер-лейтенант! (нем.).

[^^^]

**506**

«Смеющиеся песни» (нем.).

[^^^]

## 507

«Кружка и наука» (нем.).

[^^^]

# 508

«Сказки и притчи» (нем.).

[^^^]

## 509

Поцелуйте меня в задницу (нем.).

[^^^]

## 510

Разговор капитана Сагнера с поручиком Лукашем ведется на чешском языке.

[^^^]

# 511

Вокзал для воинских эшелонов (нем.).

[^^^]

# 512

Кто говорит о... (нем.).

[^^^]

## 513

Ну, как себя чувствуете? (нем.).

[^^^]

# 514

О-о-очень хо-ро-шо... Одеяло! (нем.).

[^^^]

## 515

Святая Мария, мать божья! (нем.).

[^^^]

# 516

Троекратное ура (*нем.*).

[^^^]

# 517

Проклятая свинья (*ит.*).

[^^^]

# 518

Свинья (*ит.*).

[^^^]

## 519

Мадонна моя свинья, папа свинья (*ит.*).

[^^^]

## 520

Наши герои в Италии от Виченцы до Кустоцы, или... (нем.).

[^^^]

## 521

Кровь и жизнь за Габсбургов! За Австрию, единую, неделимую, великую!.. (нем.).

[^^^]

## 522

За императора, бога и отечество (нем.).

[^^^]

## 523

наши бравые серые шинели (нем.).

[^^^]

# 524

В половине девятого тревога, испражняться и спать! (нем.).

[^^^]

## 525

Итак, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Этого вполне достаточно (нем.).

[^^^]

# 526

Чех или немец? (нем.).

[^^^]

## 527

Чех, осмелюсь доложить, господин генерал-майор (нем.).

[^^^]

## 528

Отделениями, под командой отделенных командиров (*нем.*).

[^^^]

## 529

Встать! Смирно! Равнение направо! (нем.).

[^^^]

# 530

Вольно, продолжайте! (нем.).

[^^^]

## 531

Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный, слышит за идиота, фантастический дурак (нем.).

[^^^]

## 532

Что вы говорите, господин лейтенант? (нем.).

[^^^]

## 533

Больше срать не будешь? (пол.)

[^^^]

## 534

Да нет, вольно, вольно, продолжайте! (нем.).

[^^^]

## 535

Понимаете, что я хочу сказать... Можете идти! (нем.).

[^^^]

## 536

Первое отделение, встать! Ряды вдвой... Второе отделение... (нем.).

[^^^]

# 537

Отставить! (нем.).

[^^^]

**538**

Иштвансупруги (нем.).

[^^^]

## 539

Итак, десять гульденов... Пять гульденов, курица, пять — глаз. Пять форинтов кукареку, пять форинтов глаз, да? (нем. и искаж. венг.).

[^^^]

## 540

Добрый день, приятель, прощай... (венг. и фр.)

[^^^]

## 541

Смирно! Вольно! Смирно! Направо равняйся! Смирно! (нем.).

[^^^]

# 542

Вольно! (*нем.*).

[^^^]

## 543

Направо! (нем.).

[^^^]

# 544

Отставить! Направо! Налево! Полуоборот направо! (нем.).

[^^^]

## 545

Отставить! Полуоборот направо! (нем.).

[^^^]

## 546

Полуоборот налево! Налево! Налево! Заходить шеренгой! Шеренгой... (нем.).

[^^^]

# 547

Прямо! Кругом! Стать на одно колено! Ложись! Приседание делай! Встать! Приседание делай! Встать! Ложись! Встать! Ложись! Встать! Приседание делай! Встать! Вольно! (нем.).

[^^^]

# 548

Направление на вокзал (*нем.*).

[^^^]

## 549

Отделение, стой! (нем.).

[^^^]

# 550

Короче шаг! (нем.).

[^^^]

# 551

Шире шаг! Переменить ногу! На месте! (нем.).

[^^^]

# 552

На месте (нем.).

[^^^]

## 553

В ногу! Отделение, кругом марш! Отделение, стой! Бегом марш! Отделение марш! Шагом! Отделение, стой! Вольно! Смирно! Направление на вокзал! Бегом марш! Стой! Кругом! Направление к вагону! Бегом марш! Короче шаг! Отделение, стой! Вольно! (нем.).

[^^^]

# 554

На прицел! Наизготовку! На прицел! (нем.).

[^^^]

## 555

К ноге! На плечо! К ноге! На плечо! (нем.).

[^^^]

# 556

Смирно! Равнение направо! (*нем.*).

[^^^]

# 557

Смирно! (нем.).

[^^^]

## 558

Наперевес! К ноге! Наперевес! На пле-чо! Примкнуть штыки! Отомкнуть штыки! Штык в ножны! На молитву! С молитвы! На колени к молитве! Заряжай! Пли! Стрелять вполуборот направо! Цель — штабной вагон! Дистанция — двести шагов... Приготовиться! На прицел! Пли! К ноге! На прицел! Пли! На прицел! Пли! К ноге! Прицел нормальный! Патроны готовы! Вольно! (нем.).

[^^^]

## 559

Снять головной убор! (нем.).

[^^^]

# 560

Стрельба залпами! (*фр.*) Готовьсь! На прицел! Пли! (*нем.*).

[^^^]

## 561

Политически неблагонадежен! Остерегаться! (нем.).

[^^^]

## 562

Императорский и королевский артиллерийский дивизион (*нем.*).

[^^^]

## 563

Винер-Нейштадт (нем.).

[^^^]

## 564

Осмелюсь доложить, ротный ординарец... (нем.).

[^^^]

## 565

Первое мая (нем.).

[^^^]

**566**

Грязная скотина, ты свинья (*нем.*).

[^^^]

## 567

Слушаюсь, господин обер-лейтенант! (нем.).

[^^^]

# 568

Шапка (нем.).

[^^^]

## 569

Буду стрелять! (Солдат-поляк плохо говорит по-немецки, и у него выходит scheisen вместо schiesen, то есть «срать» вместо «стрелять».)

[^^^]

# 570

Начальник караула! Начальник караула! (нем.).

[^^^]

## 571

Боже, храни короля! (нем.).

[^^^]

# 572

Слава! (нем.).

[^^^]

## 573

Слава! Слава Четырнадцатому полку! (венг.)

[^^^]

# 574

Кругом — шагом марш! (нем.).

[^^^]

## 575

Водка у меня тоже имеется, уважаемый господин солдат! (нем.).

[^^^]

# 576

КОНЬЯК.

[^^^]

## 577

Ничего, кроме хорошего (*лат.*).

[^^^]

## 578

Да здравствует наш батальонный командир! (нем.).

[^^^]

## 579

герой (нем.).

[^^^]

# 580

пожертвовал (*нем.*).

[^^^]

# 581

Отечество (нем.).

[^^^]

## 582

Отделения кухни офицерского питания (*нем.*).

[^^^]

## 583

Героям Лупковского перевала (нем.).

[^^^]

# 584

Поразительно! (*φρ.*)

[^^^]

## 585

Ангельские шлюхи (нем.).

[^^^]

# 586

Занято! (нем.).

[^^^]

# 587

Войдите! (нем.).

[^^^]

# 588

Эльза, жизнь моя (*еврейск.*).

[^^^]

## 589

Грубое мадьярское ругательство

[^^^]

# 590

Кто говорит по-немецки? (нем.).

[^^^]

## 591

Осмелюсь доложить, господин фельдфебель! (нем.).

[^^^]

## 592

**Вобейда** — в русском переводе «хулиган».

[^^^]

## 593

Не знаем по-чешски (нем.).

[^^^]

# 594

Вы понимаете по-немецки? (нем.).

[^^^]

# 595

Да! (нем.).

[^^^]

# 596

Задница (пол.).

[^^^]

## 597

Императорская и королевская кошка военных складов (нем.).

[^^^]

**598**

«Мы должны победить» (нем.).

[^^^]

## 599

О елочка, о елочка, как прекрасна твоя хвоя! (нем.).

[^^^]

# 600

Оставьте это! (нем.).

[^^^]

# 601

Да (нем.).

[^^^]

# 602

Что? (нем.).

[^^^]

## 603

Деньги на питание (нем.).

[^^^]

## 604

Здесь! Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты! (нем.).

[^^^]

## 605

Годным к строевой службе (нем.).

[^^^]

## 606

Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу (нем.).

[^^^]

## 607

Сию минуту, господин лейтенант! (нем.).

[^^^]

## 608

«Что вредит желудку на войне» (нем.).

[^^^]